**РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА**

**ШЕМЯКИН СУД**

Жили два брата. Один-то был бедный, а другой богатый. Не стало у бедного брата дров. Нечем вытопить печь. Холодно в избе.

Пошел он в лес, дров нарубил, а лошади нет. Как дрова привезти?

— Пойду к брату, попрошу коня.

Неласково принял его богатый брат.

— Взять коня возьми, да смотри большого возу не накладывай, а вперед на меня не надейся: сегодня дай да завтра дай, а потом и сам по миру ступай.

Привел бедняк коня домой и вспомнил:

— Ох, хомута-то у меня нет! Сразу не спросил, а теперь и ходить нечего — не даст брат.

Кое-как привязал покрепче дровни к хвосту братнина коня и поехал.

На обратном пути зацепились дровни за пень, а бедняк не заметил, подхлестнул коня.

Конь был горячий, рванулся и оторвал хвост.

Как увидал богатый брат, что у коня хвоста нет, заругался, закричал:

— Сгубил коня! Я этого дела так не оставлю!

И подал на бедняка в суд.

Много ли, мало ли времени прошло, вызывают братьев в город на суд.

Идут они, идут. Бедняк думает:

Сам в суде не бывал, а пословицу слыхал: слабый с сильным не борись, а бедняк с богатым не судись. Засудят меня.

Шли они как раз по мосту. Перил не было. Поскользнулся бедняк и упал с моста. А на ту пору внизу по льду ехал купец, вез старика отца к лекарю.

Бедняк упал да прямо в сани попал и ушиб старика насмерть, а сам остался жив и невредим.

Купец ухватил бедняка:

— Пойдем к судье!

И пошли в город трое: бедняк да богатый брат и купец.

Совсем бедняк пригорюнился:

Теперь уж наверняка засудят.

Тут он увидал на дороге увесистый камень. Схватил камень, завернул в тряпку и сунул за пазуху:

Семь бед — один ответ: коли не по мне станет судья судить да засудит, убью и судью.

Пришли к судье. К прежнему делу новое прибавилось. Стал судья судить, допрашивать.

А бедный брат поглядит на судью, вынет из-за пазухи камень в тряпке да и шепчет судье:

— Суди, судья, да поглядывай сюда.

Так раз, и другой, и третий. Судья увидал и думает: Уж не золото ли мужик показывает?

Еще раз взглянул — посул большой.

Коли и серебро, денег много.

И присудил бесхвостого коня держать бедному брату до тех пор, покуда у коня хвост не отрастет.

А купцу сказал:

— За то, что этот человек убил твоего отца, пусть он сам станет на льду под тем же мостом, а ты скачи на него с моста и задави его самого насмерть, как он твоего отца задавил.

На том суд и кончился.

Богатый брат говорит:

— Ну ладно, так и быть, возьму у тебя бесхвостого коня.

— Что ты, братец, — бедняк отвечает. — Уж пусть будет, как судья присудил: подержу твоего коня до тех пор, покуда хвост не вырастет.

Стал богатый брат уговаривать:

— Дам тебе тридцать рублей, только отдай коня.

— Ну ладно, давай деньги.

Отсчитал богатый брат тридцать рублей, и на том они поладили.

Тут и купец стал просить:

— Слушай, мужичок, я тебе твою вину прощаю, все равно родителя не воротишь.

— Нет, уж пойдем, коли суд присудил, скачи на меня с моста.

— Не хочу твоей смерти, помирись со мной, а я тебе сто рублей дам, — просит купец.

Получил бедняк с купца сто рублей. И только собрался уходить, подзывает его судья:

— Ну, давай посуленное.

Вынул бедняк из-за пазухи узелок, развернул тряпицу и показал судье камень.

— Вот чего тебе показывал да приговаривал: Суди, судья, да поглядывай сюда. Кабы ты меня засудил, так я б тебя убил.

Вот и хорошо, — думает судья, — что судил я по этому мужику, а то бы и живу не быть.

А бедняк веселый, с песенками, домой пришел.

**Н.М. КАРАМЗИН.**

**Наталья, боярская дочь**[**Править**](https://ru.m.wikisource.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F,_%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%87%D1%8C_(%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%BD)&action=edit&section=1)

**Кто из нас не любит тех времен, когда русские были русскими, когда они в собственное свое платье наряжались, ходили своею походкою, жили по своему обычаю, говорили своим языком и по своему сердцу, то есть говорили, как думали? По крайней мере, я люблю сии времена; люблю на быстрых крыльях воображения летать в их отдаленную мрачность, под сению давно истлевших вязов искать брадатых моих предков, беседовать с ними о приключениях древности, о характере длавного народа русского и с нежностью целовать ручки у моих прабабушек, которые не могут насмотреться на своего почтительного правнука, не могут наговориться со мною, надивиться моему разуму, потому что я, рассуждая с ними о старых и новых модах, всегда отдаю преимущество их подкапкам и шубейкам перед нынешними bonnets a la… {Bonnets a la (фр.) — чепчиками в вида…} и всеми галло-албионскими нарядами, блистающими на московских красавицах в конце осьмогонадесять века. Таким образом (конечно, понятным для всех читателей), старая Русь известна мне более, нежели многим из моих сограждан, и если угрюмая Парка еще несколько лет не перережет жизненной моей нити, то наконец не найду я и места в голове своей для всех анекдотов и повестей, рассказываемых мне жителями прошедших столетий. Чтобы облегчить немного груз моей памяти, намерен я сообщить любезным читателям одну быль или историю, слышанную мною в области теней, в царстве воображения, от бабушки моего дедушки, которая в свое время почиталась весьма красноречивою и почти всякий вечер сказывала сказки царице NN. Только страшусь обезобразить повесть ее; боюсь, чтобы старушка не примчалась на облаке с того света и не наказала меня клюкою своею за худое риторство… Ах нет! Прости безрассудность мою, великодушная тень, — ты неудобна, к такому делу! В самой земной жизни своей была ты смирна и незлобна, как юная овечка; рука твоя не умертвила здесь ни комара, ни мушки, и бабочка всегда покойно отдыхала на носу твоем: итак, возможно ли, чтобы теперь, когда ты плаваешь в море неописанного блаженства и дышишь чистейшим эфиром неба, — возможно ли, чтобы рука твоя поднялась на твоего покорного праправнука? Нет! Ты дозволишь ему беспрепятственно упражняться в похвальном ремесле марать бумагу, взводить небылицы на живых и мертвых, испытывать терпение своих читателей и, наконец, подобно вечно зевающему богу Морфею, низвергать их на мягкие диваны и погружать в глубокий сон… Ах! В самую сию минуту вижу необыкновенный свет в темном моем коридоре, вижу огненные круги, которые вертятся с блеском и с треском и, наконец, — о чудо! — являют мне твой образ, образ неописанной красоты, неописанного величества! Очи твои сияют, как солнцы; уста твои алеют, как заря утренняя, как вершины снежных гор при восходе дневного светила, — ты улыбаешься, как юное творение в первый день бытия своего улыбалось, и в восторге слышу я сладко-гремящие слова твои: «Продолжай, любезный мой праправнук!» Так, я буду продолжать, буду; и, вооружась пером, мужественно начертаю историю Натальи, боярской дочери. Но прежде должно мне отдохнуть; восторг, в который привело меня явление прапрабабушки, утомил душевные мои силы. На несколько минут кладу перо — и сии написанные строки да будут вступлением, или предисловием.**

В престольном граде славного Русского царства, в Москве белокаменной, жил боярин Матвей Андреев, человек богатый, умный, верный слуга царский и, по обычаю русских, великий хлебосол. Он владел многими поместьями и был не обидчиком, а покровителем и заступником своих бедных соседей, чему в наши просвещенные времена, может быть, не всякий поверит, но что в старину совсем не почиталось редкостию. Царь называл его правым глазом своим, и правый глаз никогда царя не обманывал. Когда ему надлежало разбирать важную тяжбу, он призывал к себе в помощь боярина Матвея, и боярин Матвей, кладя чистую руку на чистое сердце, говорил: «Сей прав (не по такому-то указу, состоявшемуся в таком-то году, но) по моей совести; сей виноват по моей совести» — и совесть его была всегда согласна с правдою и с совестью царскою. Дело решалось без замедления: правый подымал на небо слезящее око благодарности, указывая рукою на доброго государя и доброго боярина, а виноватый бежал в густые леса сокрыть стыд свой от человеков.

Еще не можем мы умолчать об одном похвальном обыкновении боярина Матвея, обыкновении, которое достойно подражания во всяком веке и во всяком царстве, а именно, в каждый дванадесятый праздник поставлялись длинные столы в его горницах, чистыми скатертьми накрытые, и боярин, сидя на лавке подле высоких ворот своих, звал к себе обедать всех мимоходящих бедных {В истине сего уверял меня не один старый человек. (Примеч. автора.)} людей, сколько их могло поместиться в жилище боярском; потом, собрав полное число, возвращался в дом и, указав место каждому гостю, садился сам между ними. Тут в одну минуту являлись на столах чаши и блюда, и ароматический пар горячего кушанья, как белое тонкое облако, вился над головами обедающих. Между тем хозяин ласково беседовал с гостями, узнавал их нужды, подавал им хорошие советы, предлагал свои услуги и наконец веселился с ними, как с друзьями. Так в древние патриархальные времена, когда век человеческий был не столь краток, почтенными сединами украшенный старец насыщался земными благами со многочисленным своим семейством — смотрел вокруг себя и, видя на всяком лице, во всяком взоре живое изображение любви и радости, восхищался в душе своей. После обеда все неимущие братья, наполнив вином свои чарки, восклицали в один голос: «Добрый, добрый боярин и отец наш! Мы пьем за твое здоровье! Сколько капель в наших чарках, столько лет живи благополучно!» Они пили, и благодарные слезы их капали на белую скатерть.

Таков был боярин Матвей, верный слуга царский, верный друг человечества. Уже минуло ему шестьдесят лет, уже кровь медленнее обращалась в жилах его, уже тихое трепетание сердца возвещало наступление жизненного вечера и приближение ночи — но доброму ли бояться сего густого непроницаемого мрака, в котором теряются дни человеческие? Ему ли страшиться его тенистого пути, когда с ним доброе сердце его, когда с ним добрые дела его? Он идет вперед бестрепетно, наслаждается последними лучами заходящего светила, обращает покойный взор на прошедшее и с радостным — хотя темным, но не менее того радостным предчувствием заносит ногу в оную неизвестность. Любовь народная, милость царская были наградою добродетелей старого боярина; но венцом его счастия и радостей была любезная Наталья, единственная дочь его. Уже давно оплакал он мать ее, которая заснула вечным сном в его объятиях, но кипарисы супружеской любви покрылись цветами любви родительской — в юной Наталье увидел он новый образ умершей, и вместо горьких слез печали воссияли в глазах его сладкие слезы нежности. Много цветов в поле, в рощах и на лугах зеленых, но нет подобного розе; роза всех прекраснее; много было красавиц в Москве белокаменной, ибо царство Русское искони почиталось жилищем красоты и приятностей, но никакая красавица не могла сравняться с Натальею — Наталья была всех прелестнее. Пусть читатель вообразит себе белизну итальянского мрамора и кавказского снега: он все еще не вообразит белизны лица ее — и, представя себе цвет зефировой любовницы, все еще не будет иметь совершенного понятия об алости щек Натальиных. Я боюсь продолжать сравнение, чтобы не наскучить читателю повторением известного, ибо в наше роскошное время весьма истощился магазин пиитических уподоблений красоты и не один писатель с досады кусает перо свое, ища и не находя новых. Довольно знать и того, что самые богомольные старики, видя боярскую дочь у обедни, забывали класть земные поклоны, и самые пристрастные матери отдавали ей преимущество перед своими дочерями. Сократ говорил, что красота телесная бывает всегда изображением душевной. Нам должно поверить Сократу, ибо он был, во-первых, искусным ваятелем (следственно, знал принадлежности красоты телесной), а во-вторых, мудрецом или любителем мудрости (следственно, знал хорошо красоту душевную). По крайней мере наша прелестная Наталья имела прелестную душу, была нежна, как горлица, невинна, как агнец, мила, как май месяц: одним словом, имела все свойства благовоспитанной девушки, хотя русские не читали тогда ни Локка «О воспитании», ни Руссова «Эмиля» — во-первых, для того, что сих авторов еще и на свете не было, а во-вторых, и потому, что худо знали грамоте, — не читали и воспитывали детей своих, как натура воспитывает травки и цветочки, то есть поили и кормили их, оставляя все прочее на произвол судьбы, но сия судьба была к ним милостива и за доверенность, которую имели они к ее всемогуществу, награждала их почти всегда добрыми детьми, утешением и подпорою их старых дней.

Один великий психолог, которого имени я, право, не упомню, сказал, что описание дневных упражнений человека есть вернейшее изображение его сердца. По крайней мере я так думаю и с дозволения моих любезных читателей опишу, как Наталья, боярская дочь, проводила время свое от восхода до заката красного солнца. Лишь только первые лучи сего великолепного светила показывались из-за утреннего облака, изливая на тихую землю жидкое, неосязаемое золото, красавица наша пробуждалась, открывала черные глаза свои' и, перекрестившись белою атласною, до нежного локтя обнаженною рукою, вставала, надевала на себя тонкое шелковое платье, камчатную телогрею и с распущенными темно-русыми волосами подходила к круглому окну высокого своего терема, чтобы взглянуть на прекрасную картину оживляемой натуры, — взглянуть на златоглавую Москву, с которой лучезарный день снимал туманный покров ночи и которая, подобно какой-нибудь огромной птице, пробужденной гласом утра, в веянии ветерка стряхивала с себя блестящую росу, — взглянуть на московские окрестности, на мрачную, густую, необозримую Марьину рощу, которая, как сизый, кудрявый дым, терялась от глаз в неизмеримом отдалении и где жили тогда все дикие звери севера, где страшный рев их заглушал мелодии птиц поющих. С другой стороны являлись Натальину взору сверкающие изгибы Москвы-реки, цветущие поля и дымящиеся деревни, откуда с веселыми песнями выезжали трудолюбивые поселяне на работы свои, — поселяне, которые и по сие время ни в чем не переменились, так же одеваются, так живут и работают, как прежде жили и работали, и среди всех изменений и личин представляют нам еще истинную русскую физиогномию. Наталья смотрела, опершись на окно, и чувствовала в сердце своем тихую радость; не умела красноречиво хвалить натуры, но умела ею наслаждаться; молчала и думала: «Как хороша Москва белокаменная! Как хороши ее окружности!» Но того не думала Наталья, что сама она в утреннем своем наряде была всего прекраснее. Юная кровь, разгоряченная ночными сновидениями, красила нежные щеки ее алейшим румянцем, солнечные лучи играли на белом ее лице и, проницая сквозь черные, пушистые ресницы, сияли в глазах ее светлее, нежели на золоте. Волосы, как темно-кофейный бархат, лежали на плечах и на белой полуоткрытой груди, но скоро прелестная скромность, стыдясь самого солнца, самого ветерка, самых немых стен, закрывала ее полотном тонким. Потом будила она свою няню, верную служанку ее покойной матери. «Вставай, мама! — говорила Наталья. — Скоро заблаговестят к обедне». Мама вставала, одевалась, называла свою барышню раннею птичкою, умывала ее ключевою водой, чесала ее длинные волосы белым костяным гребнем, заплетала их в косу и украшала голову нашей прелестницы жемчужною повязкою. Таким образом снарядившись, дожидались они благовеста и, заперев замком светлицу (чтобы в отсутствие их не закрался в нее какой-нибудь недобрый человек), отправлялись к обедне. «Всякий день?» — спросит читатель. Конечно, — таков был в старину обычай — и разве зимою одна жестокая вьюга, а летом проливной дождь с грозою могли тогда удержать красную девицу от исполнения сей набожной должности. Становясь всегда в уголке трапезы, Наталья молилась богу с усердием и между тем исподлобья посматривала направо и налево. В старину не было ни клобов, ни маскарадов, куда ныне ездят себя казать и других смотреть; итак, где же, как не в церкви, могла тогда любопытная девушка поглядеть на людей?

После обедни Наталья раздавала всегда несколько копеек бедным людям и приходила к своему родителю, с нежною любовию поцеловать его руку. Старец плакал от радости, видя, что дочь его день ото дня становилась лучше и милее, и не знал, как благодарить бога за такой неоцененный дар, за такое сокровище. Наталья садилась подле него или шить в пяльцах, или плести кружево, или сучить шелк, или низать ожерелье. Нежный родитель хотел смотреть на работу ее, но вместо того смотрел на нее самое и наслаждался безмолвным умилением. Читатель! Знаешь ли ты по собственному опыту родительские чувства? Если нет, то вспомни по крайней мере, как любовались глаза твои пестрою гвоздичкою или беленьким ясмином, тобою посаженным, с каким удовольствием рассматривал ты их краски и тени и сколь радовался мыслию: «Это — мой цветок; я посадил его и вырастил!», вспомни и знай, что отцу еще веселее смотреть на милую дочь и веселее думать: «Она — моя!» После русского сытного обеда боярин Матвей ложился отдыхать, а дочь свою с ее мамою отпускал гулять или в сад, или на большой зеленый луг, где ныне возвышаются Красные ворота с трубящею Славою. Наталья рвала цветы, любовалась летающими бабочками, питалась благоуханием трав, возвращалась домой весела и покойна и принималась снова за рукоделье. Наступал вечер — новое гулянье, новое удовольствие; иногда же юные подруги приходили делить с нею часы прохлады и разговаривать о всякой всячине. Сам добрый боярин Матвей бывал их собеседником, если государственные или нужные домашние дела не занимали его времени. Седая борода его не пугала молодых красавиц; он умел забавлять их приятным образом и рассказывал им приключения благочестивого князя Владимира и могучих богатырей российских. Зимою, когда нельзя было гулять ни в саду, пи в поле, Наталья каталась в санях по городу и ездила по вечеринкам, на которые собирались одни девушки, тешиться и веселиться и невинным образом сокращать время. Там мамы и няни выдумывали для своих барышень разные табавы, играли в жмурки, прятались, хоронили золото, пели песни, резвились, не нарушая благопристойности, и смеялись без насмешек, так что скромная и целомудренная дриада могла бы всегда присутствовать на сих вечеринках. Глубокая полночь разлучала девушек, и прелестная Наталья в объятиях мрака наслаждалась покойным сном, которым всегда юная невинность наслаждается. Так жила боярская дочь, и семнадцатая весна жизни ее наступила; травка зазеленелась, цветы расцвели в поле, жаворонки запели — и Наталья, сидя поутру в светлице своей под окном, смотрела в сад, где с кусточка на кусточек порхали птички и, нежно лобызаясь своими маленькими носиками, прятались в густоту листьев. Красавица в первый раз заметила, что они летали парами — сидели парами и скрывались парами. Сердце ее как будто бы вздрогнуло — как будто бы какой-нибудь чародей дотронулся до него волшебным жезлом своим! Она вздохнула — вздохнула в другой и в третий раз — посмотрела вокруг себя — увидела, что с нею никого не было, никого, кроме старой няни (которая дремала в углу горницы на красном весеннем солнышке), — опять вздохнула, и вдруг бриллиантовая слеза сверкнула в правом глазе ее, — потом и в левом — и обе выкатились — одна капнула на грудь, а другая остановилась на румяной щеке, в маленькой нежной ямке, которая у милых девушек бывает знаком того, что Купидон целовал их при рождении. Наталья подгорюнилась — чувствовала некоторую грусть, некоторую томность в душе своей; все казалось ей не так, все неловко; она встала и опять села, наконец, разбудив свою маму, сказала ей, что сердце у нее тоскует. Старушка начала крестить милую свою барышню и с некоторыми \_набожными оговорками\_ {Например, «Прости господи» и прочее тому подобное, что можно еще слышать и от нынешних нянюшек. (Примеч. автора.)} бранить того человека, который взглянул на прекрасную Наталью нечистым глазом или похвалил ее прелести нечистым языком, не от чистого сердца, не в добрый час, ибо старушка была уверена, что ее сглазили и что внутренняя тоска ее происходит ни от чего другого. Ах, добрая старушка! Хотя ты и долго жила на свете, однако ж многого не знала; не знала, что и как в некоторые лета начинается у нежных дочерей боярских; не знала… Но, может быть, и читатели (если до сей минуты они все еще держат в руках книгу и не засыпают), — может быть, и читатели не знают, что за беда случилась вдруг с нашею героинею, чего она искала глазами в горнице, отчего вздыхала, плакала, грустила. Известно, что до сего времени веселилась она, как вольная пташка, что жизнь ее текла, как прозрачный ручеек стремится по беленьким камешкам между злачных цветущих бережков; что ж сделалось с нею? Скромная Муза, поведай!.. — - - — С небесного лазоревого свода, а может быть, откуда-нибудь и повыше, слетела, как маленькая птичка колибри, порхала, порхала по чистому весеннему воздуху и влетела в Натальино нежное сердце — \_потребность любить, любить, любить\_!!! Вот вся загадка; вот причина красавицыной грусти — и если она покажется кому-нибудь из читателей не совсем понятною, то пусть требует он подробнейшего изъяснения от любезнейшей ему осьминадцатилетней девушки.

С сего времени Наталья во многом переменилась — стала не так жива, не так резва — иногда задумывалась, — и хотя по-прежнему гуляла в саду и в поле, хотя по-прежнему проводила вечера с подругами, но не находила ни в чем прежнего удовольствия. Так человек, вышедший из лет детства, видит игрушки, которые составляли забаву его младенчества, — берется за них, хочет играть, но, чувствуя, что они уже не веселят его, оставляет их со вздохом. Красавица наша не умела самой себе дать отчета в своих новых, смешанных, темных чувствах. Воображение представляло ей чудеса. Например, часто казалось ей (не только во сне, но даже и наяву), что перед нею, в мерцании отдаленной зари, носится какой-то образ, прелестный, милый призрак, который манит ее к себе ангельскою улыбкою и потом исчезает в воздухе. «Ах!» — восклицала Наталья, и простертые руки ее медленно опускались к земле. Иногда же воспаленным мыслям ее представлялся огромный храм, в который тысячи людей, мужчин и женщин, спешили с радостными лицами, держа друг друга за руку. Наталья хотела также войти в него, но невидимая рука удерживала ее за одежду, и неизвестный голос говорил ей: «Стой в притворе храма; никто без милого друга не входит в его внутренность». Она не понимала сердечных своих движений, не знала, как толковать сны свои, не разумела, чего желала, но живо чувствовала какой-то недостаток в душе своей и томилась. Так, красавицы! ваша жизнь с некоторых лет не может быть счастлива, если течет она, как уединенная река в пустыне, а без милого пастушка целый свет для вас пустыня, и веселые голоса подруг, веселые голоса птичек кажутся вам печальными отзывами уединенной скуки. Напрасно, обманывая самих себя, хотите вы пустоту души своей наполнить чувствами девической дружбы, напрасно избираете лучшую из подруг своих в предмет нежных побуждений вашего сердца! Нет, красавицы, нет! Сердце ваше желает чего-то другого: оно хочет такого сердца, которое не приближалось бы к нему без сильного трепета, которое вместе с ним составляло бы одно чувство, нежное, страстное, пламенное, — а где найти его, где? Конечно, не в Дафне, конечно, не в Хлое, которые вместе с вами могут только горевать, тайно или явно, — горевать и крушиться, желая и не находя того, чего вы сами ищете и не находите в хладной дружбе, но что найдете — или в противном случае вся жизнь ваша будет беспокойным, тяжелым сном, — найдете в тени миртовой беседки, где сидит теперь в унынии, в тоске милый юноша с светло-голубыми или черными глазами и в печальных песнях жалуется на вашу наружную жестокость. Любезный читатель! Прости мне сие отступление! Не один Стерн был рабом пера своего. Обратимся снова к нашей повести.

Боярин Матвей скоро приметил, что Наталья стала пасмурнее: родительское сердце его потревожилось. Он расспрашивал ее с нежною заботливостью о причине такой перемены и, наконец, заключив, что дочь его неможет, отправил нарочного гонца к столетней тетке своей, которая жила в темноте Муромских лесов, собирала травы и коренья, обходилась более с волками и медведями, нежели с людьми русскими, и прослыла если не чародейкою, то по крайней мере велемудрою старушкою, искусною в лечении всех недугов человеческих. Боярин Матвей описал ей все признаки Натальиной болезни и просил, чтобы она посредством своего искусства возвратила внучке здравие, а ему, старику, радость и спокойствие. Успех сего посольства остается в неизвестности; впрочем, нет большой нужды и знать его. Теперь должны мы приступить к описанию важнейших приключений.

Время и в старину так же скоро летело, как ныне, и, между тем как наша красавица вздыхала и томилась, год перевернулся на оси своей: зеленые ковры весны и лета покрылись пушистым снегом, грозная царица хлада воссела на ледяной престол свой и дохнула вьюгами на русское царство, то есть зима наступила, и Наталья по своему обыкновению пошла однажды к обедне. Помолившись с усердием, она не нарочно обратила глаза свои к левому крылосу — и что же увидела? Прекрасный молодой человек, в голубом кафтане с золотыми пуговицами, стоял там, как царь среди всех прочих людей, и блестящий проницательный взор его встретился с ее взором. Наталья в одну секунду вся закраснелась, и сердце ее, затрепетав сильно, сказало ей: «Вот он!..» Она потупила глаза свои, но ненадолго; снова взглянула на красавца, снова запылала в лице своем и снова затрепетала в своем сердце. Ей казалось, что любезный призрак, который ночью и днем прельщал ее воображение, был не что иное, как образ сего молодого человека, — и потому она смотрела на него как на своего милого знакомца. Новый свет воссиял в душе ее, как будто бы пробужденной явлением солнца, но еще не пришедший в себя после многих несвязных и замешанных сновидений, волновавших ее в течение долгой ночи. «Итак, — думала Наталья, — итак, подлинно есть на свете такой милый красавец, такой человек — такой прелестный юноша?.. Какой рост! Какая осанка! Какое белое, румяное лицо! А глаза, глаза у него, как молния; я, робкая, боюсь глядеть на них. Он па меня смотрит, смотрит очень пристально — даже и тогда, когда молится. Конечно, и я знакома ему; может быть, и он, подобно мне, грустил», вздыхал, думал, думал и видел меня, — хоть темно, однако ж видел так, как я видела его в душе моей".

Читатель должен знать, что мысли красных девушек бывают очень быстры, когда в сердце у них начинает ворошиться то, чего они долго но называют именем и что Наталья в сии минуты чувствовала. Обедня показалась ей очень коротка. Няня десять раз дергала ее за камчатную телогрею и десять раз говорила ей: «Пойдем, барышня; все кончилось». Но барышня все еще не трогалась с места, для того что и прекрасный незнакомец стоял как вкопанный подле левого крылоса; они посматривали друг на друга и тихонько вздыхали. Старая мама, по слабости зрения своего, ничего не видала и думала, что Наталья читает про себя молитвы и для того нейдет из церкви. Наконец дьячок загремел ключами: тут красавица опомнилась и, видя, что церковь хотят запирать, пошла к дверям, а за нею молодой человек — она влево, он направо. Наталья раза два обступилась, раза два роняла платок и должна была ворочаться назад; незнакомец оправлял кушак свой, стоял на одном месте, смотрел на красавицу и все еще не надевал бобровой шапки своей, хотя на дворе было холодно.

Наталья пришла домой и ни о чем больше не думала, как о молодом человеке в голубом кафтане с золотыми пуговицами. Она была не печальна, однако ж и не очень весела, подобно такому человеку, который наконец узнал, в чем состоит его блаженство, но имеет еще слабую надежду им насладиться. За обедом она не ела, по обыкновению всех влюбленных, — ибо для чего не сказать нам прямо и просто, что Наталья влюбилась в незнакомца? «В одну минуту? — скажет читатель. — Увидев в первый раз и не слыхав от него ни слова?» Милостивые государи! Я рассказываю, как происходило самое дело, не сомневайтесь в истине; не сомневайтесь в силе того взаимного влечения, которое чувствуют два сердца, друг для друга сотворенные! А кто не верит симпатии, тот поди от нас прочь и не читай нашей истории, которая сообщается только для одних чувствительных душ, имеющих сию сладкую веру!

Когда боярин Матвей после обеда заснул (не на вольтеровских креслах, так, как ныне спят бояре, а на широкой дубовой лавке), — Наталья пошла с нянею в светлицу свою, села под любимым окном, вынула из кармана белый платок, хотела что-то сказать, но раздумала — взглянула на окончины, расписанные морозом, оправила жемчужную повязку на голове своей и потом, смотря себе на колени, тихим и немного дрожащим голосом спросила у няни, каков показался ей молодой человек, бывший у обедни? Старушка не понимала, о ком говорит она. Надлежало изъясниться, но легко ли это для стыдливой девушки? «Я говорю о том, — продолжала Наталья, — о том, который — который был всех лучше». Няня все еще не понимала, и красавица принуждена была сказать, что он стоял подле левого крылоса и вышел из церкви за ними. «Я не приметила его», — холодно отвечала старушка, и Наталья тихонько пожала прекрасными своими плечиками, удивляясь, как можно было его не приметить.

На другой день Наталья пришла всех ранее к обедне и вышла всех позже из церкви, но красавца в голубом кафтане там не было — на третий день также не было, и чувствительная боярская дочь не хотела ни пить, ни есть, перестала спать и насилу ходить могла, однако ж старалась таить внутреннее свое мучение как от родителя, так и от няни. Только по ночам лились слезы ее на мягкое изголовье. «Жестокий, — думала она, — жестокий! Зачем скрываешься от глаз моих, которые тебя всеминутно ищут? Разве ты хочешь безвременной смерти моей? Я умру, умру — и ты не выронишь ни слезки на гробе злосчастной!» Ах! Для чего самая нежнейшая, самая пламеннейшая из страстей родится всегда с горестию, ибо какой влюбленный не вздыхает, какой влюбленный не тоскует в первые дни страсти своей, думая, что его не любят взаимно?

На четвертый день Наталья опять пошла к обедне, несмотря ни на слабость свою, ни на жестокий мороз, ни на то, что боярин Матвей, приметив накануне необыкновенную бледность ее лица, просил ее беречь себя и не выходить со двора в холодное время. Еще никого не было в церкви. Красавица, стоя на своем месте, смотрела на двери. Вошел первый человек — не он! Вошел другой — не он! Третий, четвертый — все не он! Вошел пятый, и все жилки затрепетали в Наталье — это он, тот красавец, которого образ навсегда в душе ее впечатлелся! От сильного внутреннего волнения она едва не упала и должна была опереться на плечо няни своей. Незнакомец поклонился на все четыре стороны, а ей особливо, и притом гораздо ниже и почтительнее, нежели прочим. Томная бледность изображалась на его лице, но глаза его сияли еще светлее прежнего; он смотрел почти беспрестанно на прелестную Наталью (которая от нежных чувств стала еще прелестнее) и вздыхал так неосторожно, что она приметила движение груди его и, невзирая на свою скромность, угадывала причину. Любовь, надеждою оживляемая, алела в сию минуту на щеках милой нашей красавицы, любовь сияла в ее взорах, любовь билась в ее сердце, любовь подымала руку ее, когда она крестилась. Час обедни был для нее одною блаженною секундою. Все стали выходить из церкви; она вышла после всех, а с нею и молодой человек. Вместо того чтобы идти опять в другую сторону, он пошел уже следом за Натальею, которая поглядывала на него и через правое и через левое плечо свое. Чудное дело! Любовники никогда не могут насмотреться друг на друга, подобно как алчный корыстолюбец не может никогда насытиться золотом. У ворот боярского дому Наталья в последний раз взглянула на красавца и нежным взором сказала ему: «Прости, милый незнакомец!» Калитка хлопнула, и Наталье послышалось, что молодой человек вздохнул; по крайней мере она сама вздохнула. Старушка няня была на сей раз приметливее и, не дождавшись еще ни слова Натальи, начала говорить о незнакомом красавце, который провожал их от церкви. Она хвалила его с великим жаром, доказывала, что он похож на ее покойного сына, не сомневалась в знатном роде его и желала барышне своей такого супруга. Наталья радовалась, краснелась, задумывалась, отвечала: «Да!», «Нет!» — и сама не знала, что отвечала.

На другой, на третий день опять ходили к обедне, видели, кого видеть желали, — возвращались домой и у ворот говорили нежным взором: «Прости!» Но сердце красной девушки есть удивительная вещь: чем оно довольно ныне, тем недовольно завтра — все более и более, и желаниям конца нет. Таким образом, и Наталье показалось уже мало того, чтобы смотреть на прекрасного незнакомца и видеть нежность в глазах его; ей захотелось слышать его голос, взять его за руку, быть поближе к его сердцу и проч. Что делать? Как быть? Такие желания искоренять трудно, а когда они не исполняются, красавице бывает грустно. Наталья опять принялась за слезы. Судьба, судьба! Ужели ты не сжалишься над нею? Ужели захочешь, чтобы светлые глаза ее от слез померкли? Посмотрим, что будет.

Однажды перед вечером, когда боярина Матвея не было дома, Наталья увидела в окно, что калитка их растворилась — вошел человек в голубом кафтане, и работа выпала из рук Натальиных, ибо сей человек был прекрасный незнакомец. «Няня! — сказала она слабым голосом. — Кто это?» Няня посмотрела, улыбнулась и вышла вон.

«Он здесь! Няня усмехнулась, пошла к нему, верно, к нему — ах, боже мой! Что будет?» — думала Наталья, смотрела в окно и видела, что молодой человек вошел уже в сени. Сердце ее летело к нему навстречу, но робость говорила ей: «Останься!» Красавица повиновалась сему последнему голосу, только с мучительным принуждением, с великою тоскою, ибо всего несноснее противиться влечению сердца. Она вставала, ходила, бралась за то и за другое, и четверть часа показалась ей годом. Наконец дверь растворилась, и скрып ее потряс Натальину душу. Вошла няня — взглянула на барышню, улыбнулась и — не сказала ни слова. Красавица также не начинала говорить и только одним робким взором спрашивала: «Что, няня? Что?» Старушка как будто бы веселилась ее смущением, ее нетерпением — долго молчала и спустя уже несколько минут сказала ей: «Знаешь ли, барышня, что этот молодой человек болен?» — «Болен? Чем?» — спросила Наталья, и цвет в лице ее переменился. «Очень болен, — продолжала няня, — у него так болит сердце, что бедный не может ни пить, ни есть, бледен как полотно и насилу ходит. Ему сказали, что у меня есть лекарство на эту болезнь, и для того 'он прибрел ко мне, плачет горькими слезами и просит, чтоб я помогла ему. Поверишь ли, барышня, что у меня слезы на глазах навернулись? Такая жалость!» — «Что же, няня? Дала ли ты ему лекарство?» — «Нет, я велела подождать». — «Подождать? Где?» — «В наших сенях». — «Можно ли? Там превеликий холод; со всех сторон несет, а он болен!» — «Что ж мне делать? Внизу у нас такой чад, что он может угореть до смерти; куда ж его вести, пока изготовлю лекарство? Разве сюда? Разве прикажешь ему войти в терем? Это будет доброе дело, барышня; он человек честный — станет за тебя богу молиться и никогда не забудет твоей милости. Теперь же батюшки нет дома — сумерки, темно — никто не увидит, и беды никакой нет: ведь только в сказках мужчины бывают страшны для красных девушек! Как думаешь, сударыня?» Наталья (не знаю отчего) дрожала и прерывающимся голосом отвечала ей: «Я думаю… как хочешь… ты лучше моего знаешь». Тут няня отворила дверь — и молодой человек бросился к ногам Натальиным. Красавица ахнула, и глаза ее на минуту закрылись; белые руки повисли, и голова приклонилась к высокой груди. Незнакомец осмелился поцеловать ее руку, в другой, в третий раз — осмелился поцеловать красавицу в розовые губы, в другой, в третий раз, и с таким жаром, что мама испугалась и закричала: «Барин! Барин! Помни уговор!» Наталья открыла черные глаза свои, которые прежде всего встретились с черными глазами незнакомца, ибо они в сию минуту были к ним всего ближе; и в тех и в других изображались пламенные чувства, любовию кипящее сердце. Наталья с трудом могла приподнять голову, чтобы вздохом облегчить грудь свою. Тогда молодой человек начал говорить — не языком романов, но языком истинной чувствительности; сказал простыми, нежными, страстными словами, что он увидел и полюбил ее, полюбил так, что не может быть счастлив и не хочет жить без взаимной ее любви. Красавица молчала; только сердце и взоры говорили — но недоверчивый незнакомец желал еще словесного подтверждения и, стоя на коленях, спросил у нее: «Наталья, прекрасная Наталья! Любишь ли меня? Твой ответ решит судьбу мою: я могу быть счастливейшим человеком на свете, или шумящая Москва-река будет гробом моим». — «Ах, барышня! — сказала жалостливая няня. — Отвечай скорее, что он тебе нравен! Ужели захочешь погубить его душу?» — «Ты мил сердцу моему, — произнесла Наталья нежным голосом, положив руку на плечо его. — Дай бог, — примолвила она, подняв глаза на небо и обратив их снова на восхищенного незнакомца, — дай бог, чтоб я была столько же мила тебе!» Они обняли друг друга; казалось, что дыхание их остановилось. Кто видал, как в первый раз целомудренные любовники обнимаются, как в первый раз добродетельная девушка целует милого друга, забывая в первый раз девическую стыдливость, пусть тот и вообразит себе сию картину; я не смею описывать ее, но она была трогательна — сама старая няня, свидетельница такого явления, выронила капли две слез и забыла напомнить любовнику об уговоре, но богиня непорочности присутствовала невидимо в Натальином тереме.

После первых минут немого восторга молодой человек, смотря на красавицу, залился слезами. «Ты плачешь?» — сказала Наталья нежным голосом, приклонив голову свою к его плечу. «Ах! Я должен открыть тебе мое сердце, прелестная Наталья! {Читатель догадается, что старинные любовники говорили не совсем так, как здесь говорят они; но тогдашнего языка мы не могли бы теперь и понимать. Надлежало только некоторым образом подделаться под древним колорит. (Примеч. автора.)} — отвечал он. — Оно еще не совершенно уверено в своем счастии». — «Что же ему надобно?» — спросила Наталья и с нетерпением ожидала ответа. «Обещай, что ты исполнишь мое требование». — «Скажи, скажи, что такое? Исполню, все сделаю, что велишь мне». — «В нынешнюю ночь, когда зайдет месяц, — в то время, как поют первые петухи, — я приеду в санях к вашим воротам, ты должна ко мне выйти и ехать со мною; вот чего от тебя требую!» — «Ехать? В нынешнюю ночь? Куда?» — «Сперва в церковь, где мы обвенчаемся, а потом туда, где я живу», — «Как? Без ведома отца моего? Без его благословения?» — «Без его ведома, без его благословения, или я погиб!» — «Боже мой!.. Сердце у меня замерло. Уехать тихонько из дому родительского? Что же будет с батюшкою? Он умрет с горя, и на душе моей останется страшный грех. Милый друг! Для чего нам не броситься к ногам его? Он полюбит тебя, благословит и сам отпустит нас в церковь». — «Мы бросимся к ногам его, но через некоторое время. Теперь он не может согласиться на брак наш. Самая жизнь моя будет в опасности, когда меня узнают». — «Когда тебя узнают? Тебя, милого душе моей?.. Боже мой! Как люди злы, если ты говоришь правду! Только я не могу поверить. Скажи мне, как тебя зовут?» — «Алексеем». — «Алексеем? Я всегда любила это имя. Что ж беды, если тебя узнают?» — «Все будет тебе известно, когда ты согласишься сделать меня счастливым. Прелестная, милая Наталья! Время проходит, мне нельзя быть долее с тобою. Чтобы родитель твой, которого я сам люблю и почитаю за добрые дела его, — чтобы родитель твой не сокрушался и не почитал дочери своей погибшею, я напишу к нему письмо и уведомлю, что ты жива и что он может скоро увидеть тебя. Скажи, скажи, чего ты хочешь: жизни моей или смерти?» При сих словах, произнесенных твердым голосом, он встал и смотрел огненными, пламенными глазами на красавицу. «Ты меня спрашиваешь? — сказала она с чувствительностью. — Разве я не обещала тебе повиноваться? С самого младенчества привыкла я любить моего родителя, потому что и он любит меня, очень, очень любит (тут Наталья обтерла платком слезы свои, которые одна за другою капали из глаз ее), — тебя знаю недавно, а люблю еще больше: как это случилось, не знаю». Алексей обнял ее с новым восхищением, снял золотой перстень с руки своей, надел его на руку Наталье, сказал: «Ты моя!» — и скрылся, как молния. Старушка няня проводила его со двора.

Вместе с читателем мы искренне виним Наталью, искренне порицаем ее за то, что она, видев только раза три молодого человека и услышав от него несколько приятных слов, вдруг решилась бежать с ним из родительского дому, не зная куда, — поручить судьбу свою незнакомому человеку, которого, по собственным речам его, можно было счесть подозрительным, — а что всего более — оставить доброго, чувствительного, нежного отца… Но такова ужасная любовь! Она может сделать преступником самого добродетельнейшего человека! И кто, любив пламенно в жизни своей, не поступил ни в чем против строгой нравственности, тот — счастлив! Счастлив тем, что страсть его не была в противоположности с добродетелью, — иначе последняя признала бы слабость свою и слезы тщетного раскаяния полились бы рекою. Летописи человеческого сердца уверяют нас в сей печальной истине.

Что принадлежит до няни, то молодой человек (после того как он увидел Наталью в церкви) нашел способ переговорить с нею и склонил ее на свою сторону разными пышными обещаниями и подарками. Увы! Люди, а особливо под старость, бывают падки на серебро и золото. Старушка забыла то, что она более сорока лет служила беспорочно и верно в доме боярина Матвея, — забыла и продала себя незнакомцу. Однако ж, по остатку честности, взяла с него слово жениться на прекрасной Наталье и до того времени не употреблять во зло ее любви и невинности.

Наталья, по уходе своего любовника, стояла несколько минут неподвижно; на лице ее видны были знаки сильных душевных движений, но не сомнения, не колеблемости, — ибо она уже решилась! И хотя тихий голос из глубины сердца, как будто бы из отдаленной пещеры, спрашивал ее: «Что ты делаешь, безрассудная?», но другой голос, гораздо сильнейший, в том же самом сердце отвечал за нее: «Люблю!»

Няня возвратилась и старалась успокоить Наталью, говоря ей, что она будет супругою молодого красавца и что жена, по самому закону, должна все оставить и все забыть для мужа своего. «Забыть? — прервала Наталья, вслушавшись в последние слова. — Нет! Я буду помнить моего родителя, буду всякий день об нем молиться. К тому же он сказал, что мы скоро бросимся к ногам батюшкиным, — не так ли, няня?» — «Конечно, барышня! — отвечала старушка. — А что он сказал, то будет». — «Верно, будет!» — сказала Наталья, и лицо ее стало веселее.

Боярин Матвей возвратился домой поздно и, думая, что дочь его уже спит, не зашел к ней в терем. Полночь приближалась — Наталья думала не обо сне,, а об милом друге, которому навеки отдала она сердце свое и которого с нетерпением ожидала к себе. Еще месяц сиял на небе — месяц, которым прежде глаза ее всегда веселились, теперь он стал ей неприятен; теперь думала красавица: «Как медленно катишься ты по круглому небу? Зайди скорее, месяц светлый! Он, он приедет за мною, когда ты сокроешься!» Луна опустилась — уже часть ее зашла за круг земной — мрак в воздухе сгустился — петухи запели — месяц исчез, и серебряным кольцом брякнули в боярские ворота. Наталья вздрогнула. «Ах, няня! Беги, беги скорее; он приехал!» Через минуту явился молодой человек, и Наталья бросилась в его объятия. «Вот письмо к твоему родителю», — сказал он, показав бумагу. «Письмо к моему родителю? Ах! Прочти его! Я хочу слышать, что ты написал». Молодой человек развернул бумагу и прочитал следующие строки: «Я люблю милую дочь твою боле всего на свете — ты не согласился бы отдать ее за меня — она едет со мною — прости нас! — Любовь всего сильнее — может быть, со временем я буду достоин называться зятем твоим». Наталья взяла письмо и, хотя не умела читать, однако же смотрела на него, и слезы лились из глаз ее. «Напиши, — сказала она, — напиши еще, что я прошу его не плакать, не крушиться, и что эта бумага мокра от слез моих; напиши, что я не вольна сама в себе и чтобы он или забыл, или простил меня».

Молодой человек вынул из кармана перо и чернильницу — написал, что говорила Наталья, и оставил письмо на столе. Потом красавица, надев лисью шубу свою, помолившись богу, взяв с собою тот образ, которым благословила ее покойная мать, и подав руку счастливому любовнику, вышла из терема, сошла с высокого крыльца, со двора, — взглянула на родительский дом, обтерла последние слезы, села в сани, прижалась к милому и сказала: «Вези меня куда хочешь!» Кучер ударил по лошадям, и лошади помчались, но вдруг раздался жалобный голос: «Меня покинули, меня, бедную, несчастную!» Молодой человек оглянулся и увидел бегущую няню, которая оставалась на минуту в светлице, чтобы прибрать некоторые из драгоценных Натальиных вещей и которую наши любовники совсем было забыли. Лошадей удержали, посадили старушку, снова поскакали м через четверть часа выехали из Москвы. На правой стороне дороги, вдали, светился огонек; туда поворотили, и Наталья увидела деревянную, низенькую церковь, занесенную снегом. Алексей (читатель не забыл имени молодого человека) — Алексей ввел любовницу свою во внутренность сего ветхого храма, освещенного одною маленькою, слабо горящею лампадою. Там встретил их старый священник, согбенный бременем лет, и дрожащим голосом сказал им: «Я долго ждал вас, любезные дети! внук мой уже заснул». Он разбудил мальчика, в углу церкви спавшего, поставил любовников перед налой и начал их венчать. Мальчик читал, пел, что надобно, с удивлением глядел на жениха и невесту и дрожал при всяком порыве ветра, который шумел в худое окно церкви. Алексей и Наталья молились усердно и, произнося обет свой, смотрели друг на друга с умилением и сладкими слезами. По совершении обряда престарелый священник сказал новобрачным: «Я не знаю и не спрашиваю, кто вы, но именем великого бога, которого нам и мрак ночи и шум бури проповедует (в сие мгновение страшно зашумел ветер), — именем непостижимого, ужасного для злых, для добрых милосердного, обещаю вам благоденствие в жизни, если вы будете всегда любить друг друга, ибо любовь супружеская есть любовь святая, божеству приятная, и кто соблюдает ее в чистом сердце — в нечистом же она жить не может, — тот приятен всевышнему. Грядите с миром и помните слова мои!» Новобрачные приняли благословение от старца, поцеловали руку его, поцеловали друг друга, вышли из церкви и поехали.

Ветер заносил дорогу, но резвые кони летели как молния — ноздри их дымились, пар вился столбом, и пушистый снег от копыт их подымался вверх облаками. Скоро путешественники наши въехали в темноту леса, где совсем не было дороги. Старушка няня дрожала от страха, но прекрасная Наталья, чувствуя подле себя милого друга, ничего не боялась. Молодой супруг отводил рукою все ветви и сучья, которые грозили уколоть белое лицо супруги его. Он держал ее в своих объятиях, когда сани опускались в глубину сугробов, и жаркими поцелуями удалял холод от нежных роз, которые цвели на устах ее. Около четырех часов ездили они по лесу, пробираясь сквозь ряды высоких дерев. Уже лошади начинали утомляться и с трудом вытаскивали ноги свои из глубин снежных; сани двигались медленно, и наконец Наталья, пожав руку своего любезного, тихим голосом спросила у него: «Скоро ли мы приедем?» Алексей посмотрел вокруг себя, на вершины дерев, и сказал, что жилище его недалеко. В самом деле, через несколько минут выехали они на узкую равнину, где стоял маленький домик, обнесенный высоким забором. Навстречу к ним вышли пять или шесть человек с пуками зажженной лучины и вооруженные длинными ножами, которые висели у них на кушаках.

Старушка няня, видя сие дикое, уединенное жилище посреди непроходимого леса, видя сих вооруженных людей и приметив на лицах их нечто суровое и свирепое, пришла в ужас, сплеснула руками и закричала: «Ахти! Мы погибли! Мы в руках — у разбойников!»

Теперь мог бы я представить страшную картину глазам читателей — прельщенную невинность, обманутую любовь, несчастную красавицу во власти варваров, убийц, женою атамана разбойников, свидетельницею ужасных злодейств и, наконец, после мучительной жизни, издыхающую на эшафоте под секирою правосудия, в глазах несчастного родителя; мог бы представить все сие вероятным, естественным, и чувствительный человек пролил бы слезы горести и скорби — но в таком случае я удалился бы от исторической истины, на которой основано мое повествование. Нет, любезный читатель, нет! На сей раз побереги слезы свои — успокойся — старушка няня ошиблась — Наталья не у разбойников!

Наталья не у разбойников!.. Но кто же сей таинственный молодой человек, или, говоря языком оссианским, \_сын опасности и мрака\_, живущий во глубине лесов? Прошу читать далее.

Наталья потревожилась восклицанием няни, схватила Алексея за руку и, смотря ему в глаза с некоторым беспокойством, но с полною доверенностью к любимцу души своей, спросила: «Где мы?» Молодой человек взглянул со гневом на старушку, потом, устремив нежный взор на милую Наталью, отвечал ей с улыбкою: «Ты у добрых людей — не бойся». Наталья успокоилась, ибо тот, кого она любила, велел ей успокоиться!

Вошли в домик, разделенный на две половины. «Здесь живут люди мои, — сказал Алексей, указывая направо, — а здесь — я». В первой горнице висели мечи и бердыши, шишаки и панцири, а в другой стояла высокая кровать, и перед иконою богоматери горела лампада. Наталья тут же поставила и свой образ, помолилась и, взглянув умильно на Алексея, низехонько поклонилась ему, как хозяину в доме. Молодой супруг снял с красавицы лисью шубу, дыханием своим отогрел ее руки, посадил ее на дубовую лавку, смотрел на прелестную и плакал от радости. Милая Наталья вместе с ним плакала, ибо нежность и счастие имеют также слезы свои…

Красавица забыла любопытство, или, лучше сказать, она совсем не имела его, зная то, что милый душе ее не может быть злым человеком. Ах! Если бы все люди, сколько их было тогда в Русском царстве, в один голос сказали Наталье: «Алексей — злодей!», она бы с тихою улыбкою отвечала им: «Нет!.. Сердце мое знает его лучше, нежели вы; сердце мое говорит, что он всех любезнее, всех добрее. Я вас не слушаю».

Но Алексей сам говорить начал. «Любезная Наталья! — сказал он. — Тайна жизни моей должна тебе открыться. Воля всевышнего соединила нас навеки; ничто уже не может разорвать союза нашего. Супруг не должен ничего скрывать от супруги своей. Итак, знай, что я сын несчастного боярина Любославского». — «Любославского? Возможно ли? Батюшка сказывал мне, что он пропал без вести». — «Его уже нет на свете! Выслушай. Ты не помнишь, но, конечно, слыхала о тех волнениях и бунтах, которые лет за тридцать перед сим возмущали спокойствие нашего царства. Некоторые из знатнейших честолюбивых бояр восстали против законной власти юного государя, но скоро гнев божеский наказал мятежников — рассеялись, как прах, многочисленные их сообщники, и кровь главных бунтовщиков пролилась на лобном месте. Родитель мой по некоторому подозрению, но совершенно ложному, взят был под стражу. Он имел неприятелей, злых и коварных; представили доказательства мнимой его измены и согласия с мятежниками; отец мой клялся в своей невинности, но обстоятельства осуждали его, и рука вышнего судии готова была подписать ему смерть… надежда исчезала в душе невинного — один всевышний мог спасти его — и спас. Верный друг отворил ему дверь темницы — и родитель мой скрылся, взяв с собою самых усерднейших слуг и меня, двенадцатилетнего сына своего. В пределах России не было для нас безопасности, мы удалились в ту страну, где река Свияга вливается в величественную Волгу и где многочисленные народы поклоняются лжепророку Магомету — народы суеверные, но страннолюбивые. Они приняли нас дружески, и мы около десяти лет жили с ними, не имели ни в чем недостатка, но беспрестанно горевали о своем отечестве; сидели на высоком берегу Волги и, смотря на ее волны, несущиеся от стран Российских, проливали жаркие слезы; всякая птица, летевшая с запада {То есть от России. (Примеч. автора.)}, казалась нам милее; всякую птицу, на запад летевшую, провожали мы глазами и — вздохами. Между тем отец мой ежегодно посылал в Москву тайного гонца и получал письма от своего друга, которые всегда подавали ему надежду, что невинность наша рано или поздно откроется и что мы с честию можем возвратиться в отечество. Но скорбь иссушила сердце моего родителя, силы его исчезали, и глаза покрывались густым мраком. Без ужаса чувствовал он приближение конца своего — благословил меня — и, сказав: „Бог и друг наш не оставят тебя“, умер в моих объятиях. Не буду говорить тебе о горести бедного сироты; несколько -месяцев глаза мои не просыхали. Я уведомил друга нашего о моем несчастии; в ответе своем, изъявляя душевную скорбь о кончине невинного страдальца, умершего в стране иноплеменных и погребенного в земле нехристианской, сей благодетельный друг звал меня в Россию. „Верстах в сорока от Москвы, — писал он, — в дремучем, непроходимом лесу, построил я уединенный домик, не известный никому, кроме меня и надежных людей моих. Там будешь ты жить до времени в совершенной безопасности. Посланный знает сие место“. Я изъявил благодарность мою гостеприимным жителям волжских берегов, простился с зеленою могилою родителя моего, поцеловал и оросил слезою каждый цветочек, каждую травку, на ней растущую, возвратился с верными слугами в пределы России, облобызал отечественную землю — ив густоте темного леса, на узкой равнине, нашел сей пустынный домик, где ты теперь со мною, любезная Наталья. Здесь встретил меня седой старец и сказал дрожащим голосом: „Ты сын боярина Любославского! Господин мой, верный друг его — тот, кто хотел быть вторым отцом твоим и строил для тебя сие жилище, — скончался! Но он помнил о сироте при кончине своей. Здесь найдешь все нужное для жизни; найдешь сокровища: они твои“. Я поднял глаза на небо; молчал — и слезы мои катились градом. „Кто будет моим помощником? — думал я. — Моим наставником? Я один в свете!.. Всевышний! Ты, кому поручил меня родитель мой! Не оставь бедного!“

Я поселился в пустыне; видел у себя множество серебра и золота, но нимало им не утешался. Через несколько дней захотелось мне побывать в царственном граде, где никто не мог узнать меня. Старый служитель моего благодетеля указал мне на деревах разные меты, которые вели к большой Московской дороге и которые никому, кроме нас, не могли быть понятны. Я увидел блестящие главы церквей, народное множество, огромные домы, все чудеса великого града, и радостные слезы сверкнули в глазах моих. Златые дни младенчества, дни невинности и забавы, проведенные мною в русской столице, представились моим мыслям как веселое сновидение. Я искал нашего бывшего дому и нашел одни пустые стены, в которых порхали летучие мыши… Хладный ужас разлился по моей внутренности.

Потом я часто бывал в Москве, останавливаясь в одной тихой гостинице и называя себя иногородним купцом, часто видал государя, отца народного, часто слыхал о благодеяниях родителя твоего, когда бояре, собираясь на площади против соборной церкви, рассказывали друг другу все добрые и похвальные дела, украшавшие столицу. Возвращаясь в пустыню, я сражался с дикими зверями, которых мы должны были истреблять для собственной нашей безопасности, но часто, выпуская из рук добычу, упадал на землю и проливал слезы. Везде было мне грустно — в пустом лесу и среди народа. С горестию ходил я по улицам царственного града и смотря на людей, которые встречались со мною, думал: „Они идут к родным и ближним, их дожидаются, им будут рады — мне идти не к кому, меня никто не дожидается, никто о сироте не думает!“ Иногда хотелось мне броситься к ногам государя, уверить его в невинности отца моего, в моей верности к царю благочестивому и поручить его милосердию судьбу мою; но какая-то могущественная невидимая рука не допускала меня исполнить сего намерения.

Пришла мрачная осень, пришла скучная зима: лесное уединение сделалось для меня еще несноснее. Я чаще прежнего стал ездить в город и — увидел тебя, прекрасная Наталья. Ты показалась мне ангелом божиим… Нет! Говорят, что сияние ангелов ослепляет глаза человеческие и что на них нельзя смотреть долго, а мне хотелось беспрестанно глядеть на тебя. Я видал прежде многих красавиц, дивился их прелестям и часто думал: „Господь бог не сотворил ничего лучше красных московских девушек“, но глаза мои на них смотрели, а сердце молчало и не трогалось — они казались мне \_чужими\_. Ты же первым взглядом влила какой-то огонь в мое сердце, первым взглядом привлекла к себе душу мою, которая тотчас полюбила тебя, как \_родную свою\_. Мне хотелось броситься и прижать тебя к моей груди так крепко, чтобы ничто уже не могло разлучить нас. Ты ушла, и мне показалось, что красное солнце закатилось и ночь наступила. Я стоял на улице и не чувствовал снега, который на меня сыпался; наконец я пришел в себя — стал расспрашивать и, узнав, кто ты, возвратился в свою гостиницу и размышлял о милой дочери боярина Матвея. Батюшка часто говаривал мне о любви, которую почувствовал он к матери моей, увидев ее в первый раз, и которая не давала ему покоя до самого того времени, как их повели в церковь. „Со мною то же делается, — думал я, — и мне нельзя быть ни покойным, ни счастливым без милой Натальи. Но как надеяться? Любимый царский боярин захочет ли выдать дочь свою за такого человека, которого отец почитается преступником? Правда, если бы она полюбила меня… с нею и пустыня лучше Москвы белокаменной. Может быть, ошибаюсь — только мне казалось, что она взглядывала на меня ласково… Но я, верно, ошибаюсь. Как этому быть? Такое счастье не вдруг приходит!“ Наступила ночь — и прошла, но глаза мои сном не смыкались. Ты беспрестанно была передо мною или в душе моей — крестилась белою рукою своею и прятала ее под соболью шубейку. На другой день почувствовал я сильную боль в голове и превеликую слабость, которая заставила меня около двух суток пролежать на постели». — «Так! — прервала Наталья. — Так! Я это знала; сердце мое тосковало недаром. Ни на другой, ни на третий день не было тебя у обедни».

«Однако ж и самая болезнь не мешала мне о тебе думать. Один из слуг был в доме твоего родителя, виделся с твоею нянею и уговорил ее прийти ко мне в гостиницу. Я открыл старушке любовь мою, просил, кланялся, уверял в моей благодарности — наконец она согласилась быть мне помощницею. Прочее ты знаешь. Я видел тебя в церкви — иногда льстился быть любимым, примечая в глазах твоих нежную умильность и краску на лице твоем, когда встречались наши взоры, — наконец решился узнать судьбу мою — упал к ногам твоим, и бедный сирота стал счастливейшим человеком в свете. Мог ли я после твоего признания расстаться с тобою? Мог ли жить под другим кровом и всякий час беспокоиться и всякий час думать: „Жива ли она? Не угрожают ли ей какие опасности? Не тоскует ли ее сердце? Ах! Не сватается ли за прекрасную какой-нибудь жених, богатый и знатный?“ Нет, нет! Мне оставалось умереть или жить с тобою! Священник загородной церкви, который нас венчал, был не подкуплен, а упрошен мною: слезы мои тронули старца.

Теперь известно тебе, кто супруг твой; теперь совершились все мои желания. Грусть, скука! Простите! Для вас уже нет места в уединенном моем домике. Милая Наталья любит меня, милая Наталья со мною! Но я вижу томность в глазах твоих, тебе надобно успокоиться, любезная души моей. Ночь проходит, и скоро утренняя заря покажется на небе».

Алексей поцеловал Натальину руку. Красавица вздохнула. «Ах! Для чего нет с нами батюшки! — сказала она, прижавшись к сердцу супруга. — Когда мы с ним увидимся? Когда он благословит нас? Когда я при нем поцелую тебя, сердечного друга моего?» — «Тот, — отвечал Алексей, — тот милостивый бог, который дал мне тебя, верно все для нас сделает. Положимся на него: он пошлет нам случай упасть к ногам твоего родителя и принять его благословение».

Сказав сии слова, он встал и вышел в переднюю горницу. Там сидели люди его с нянею, которая (уверившись, что они не разбойники и что длинные ножи служат им только обороною от лесных зверей) перестала бояться, познакомилась с ними и с любопытством старой женщины расспрашивала о молодом их господине, о причине пустыннической жизни его, и проч. и проч. Алексей пошептал на ухо одному человеку, и через минуту никого не осталось в передней: старушку схватили под руки и увели в другую половину. Молодой супруг возвратился к своей любезной — помог ей раздеться — сердца их бились — он взял ее за белую руку… Но скромная муза моя закрывает белым платком лицо свое — ни слова!.. Священный занавес опускается, священный и непроницаемый для глаз любопытных!

А вы, счастливые супруги, блаженствуйте в сердечных восторгах под влиянием звезд небесных, но будьте целомудренны в самых высочайших наслаждениях страсти своей! Невинная стыдливость да живет с вами неразлучно — и нежные цветы удовольствия не завянут никогда на супружеском ложе вашем!

Уже солнце взошло высоко на небе и рассыпало по снегу миллионы блестящих диамантов, но в спальне наших супругов все еще царствовало глубокое молчание. Старушка мама давно встала, раз десять подходила к двери, слушала и ничего не слыхала; наконец вздумала тихонько постучаться и сказала довольно громко: «Пора вставать — пора вставать!» Через несколько минут дверь отперли. Алексей был уже в голубом кафтане своем, но красавица лежала еще на постели и долго не могла взглянуть на старушку, стыдясь — неизвестно чего. Розы на щеках ее немного побледнели, в глазах изображалась томная слабость — но никогда Наталья не была так привлекательна, как в сие утро. Она оделась с помощию своей няни, помолилась богу со слезами и дожидалась супруга своего, который между тем занимался хозяйством, приказывал готовить обед и прочее, что нужно в домашнем быту. Когда он возвратился к любезной супруге, она с нежностию обняла его и сказала тихим голосом: «Милый друг! Я думаю о батюшке. Ах! Он, верно, тоскует, плачет, сокрушается!.. Мне бы хотелось об нем слышать, хотелось бы знать…» Наталья не договорила, но Алексей понял ее желание и немедленно отправил в Москву человека, чтобы наведаться о боярине Матвее.

Но мы предупредим сего посланного и посмотрим, что делается в царственном граде. Боярин Матвей долго ждал к себе поутру милой своей Натальи и наконец пошел в ее терем. Там все было пусто, все в беспорядке. Он изумился — увидел на столике письмо, развернул его, прочитал — но верил глазам своим — прочитал в другой раз — хотел еще не верить, — но дрожащие ноги его подогнулись, — он упал па землю. Несколько минут продолжалось его беспамятство. Образумившись, приказал он людям вести себя к государю. «Государь! — сказал трепещущий старец. — Государь!..» Он не мог говорить и подал царю Алексееве письмо. Чело благочестивого монарха помрачилось гневом. «Кто сей недостойный соблазнитель? — сказал он. — Но везде найдет его грозная рука правосудия». Сказал, и во все страны Русского царства отправились гонцы с повелением искать Наталью и ее похитителя.

Царь утешал боярина, как своего друга. Вздохи и слезы облегчили стесненную грудь несчастного родителя, и чувство гнева в сердце его уступило место нежной горести. «Бог видит, — сказал он, взглянув на небо, — бог видит, как я любил тебя, неблагодарная, жестокая, милая Наталья!.. Так, государь! Она и теперь мила мне боле всего на свете!.. Кто увез ее из родительского дому? Где она? Что с нею делается?.. Ах! На старости лет моих я побежал бы за нею на край света… Может быть, какой-нибудь злодей обольстил невинную и после бросит, погубит ее… Нет! Дочь моя не могла полюбить злодея!.. Но для чего же не открыться родителю?.. Кто бы он ни был, я обнял бы его как сына. Разве государь меня не жалует? Разве он не стал бы жаловать и зятя моего?.. Не знаю, что думать!.. Но ее нет!.. Я плачу: она не видит слез моих — умру: она не затворит глаз отца, который полагал в ней жизнь и душу свою!.. Правда, без воли всевышнего ничего не делается; может быть, я заслужил наказание руки его… Покоряюсь без роптания!.. Об одном прошу тебя, господи: будь ей отцом милосердным во всякой стране. Пусть умру в горести — лишь бы дочь моя была благополучна!.. Нельзя, чтобы она не любила меня, нельзя… (Тут боярин Матвей взял письмо и снова прочитал его.) Ты плакала; эта бумага мокра от слез твоих: я буду хранить ее на моем сердце как последний знак любви твоей. Ах! Если ты ко мне возвратишься хотя за час до моей смерти… Но как угодно всевышнему! Между тем отец твой, сирота на старости, будет отцом несчастных и горестных; обнимая их, как детей своих, — как твоих братии, — он скажет им со слезами: — Друзья! Молитесь о Наталье». Так говорил боярин Матвей, и чувствительный царь был тронут до глубины сердца.

Отныне, добрый боярин, жизнь твоя покрывается мраком печали — увы! и самая добродетель не может нас предохранить от горести! Беспрестанно будешь ты думать о милой сердца твоего — вздыхать и сидеть, подгорюнившись, перед широкими воротами своего дому! Никто, никто не принесет тебе вести о прелестной Наталье! Царские гонцы возвратятся, и вздох их будет ответом на вопросы твои. Сядут бедные за столы нищелюбивого боярина, но хлеб его покажется им горек — ибо они увидят скорбь на лице своего благодетеля!

Между тем Алексеев посланный возвратился в пустыню с известием, что боярин Матвей был во дворце царском и что во всей России велено искать его пропавшей дочери. Наталья хотела знать более и спрашивала, что написано было на лице родителя ее, когда он шел из дворца государева, вздыхал ли он, плакал ли, не произносил ли тихонько ее имени? Посланный не мог ответить ни да, ни нет, ибо он хотя и видел боярина, но смотрел на него не проницательными глазами нежной дочери. «Для чего, — сказала Наталья, — для чего не могу я превратиться в невидимку или маленькую птичку, чтобы слетать в Москву белокаменную, взглянуть на родителя, поцеловать руку его, выронить на нее слезу горячую и возвратиться к милому моему другу?» — «Ах, нет! Я не пустил бы тебя! — отвечал Алексей. — Почему знать, что бы могло с тобою случиться? Нет, мой друг! Я не могу и вздумать о разлуке — а ты можешь!» Наталья почувствовала нежную укоризну и оправдалась перед супругом улыбкою, слезами и поцелуем.

Теперь надлежало бы мне описывать счастие юных супругов и любовников, сокрытых лесным мраком от целого света, но вы, которые наслаждаетесь подобным счастием, скажите, можно ли описать его? Наталья и Алексей, живучи в своем уединении, не видали, как текло или летело время. Часы и минуты, дни и ночи, недели и месяцы сливались в пустыне их, как струи речные, не различимые глазом человеческим. Ах! Удовольствия любви бывают всегда одинаковы, но всегда новы и бесчисленны. Наталья просыпалась и — любила; вставала с постели и — любила; молилась и — любила; что ни думала — все любила и всем наслаждалась. Алексей тоже, и чувства их составляли восхитительную гармонию.

Но читатель не должен думать, чтобы они в уединенной жизни своей только смотрели друг на друга и сидели от утра до вечера, поджав руки, — нет! Наталья принялась за рукоделье, за пяльцы и скоро вышила разными шелками и разными узорами две прекрасные ширинки: первую для милого супруга, чтобы он утирал ею белое лицо свое, а другую для любезного родителя. «Когда-нибудь мы поедем к нему!» — говорила красавица и тихонько вздыхала. Что принадлежит до Алексея, то он, сидя подле своей супруги, рисовал пером разные ландшафты и картинки — любовался тем, что нравилось Наталье, и старался поправить то, что ей казалось несовершенным. Так, любезный читатель! Алексей умел рисовать, и притом весьма не худо, ибо сама природа выучила его сему искусству. Он видел образ кудрявых дерев в реках прозрачных и вздумал означать тень сию на бумаге; опыт был удачен, и скоро чертежи его сделались верными копиями натуры: не только дерева, но и другие предметы изображались им с величайшею точностию. Красавица смотрела на движение руки его и дивилась, как он мог одними чертами пера своего представлять разные виды: то рощу дубовую, то башни московские, то дворец государев. Но Алексей уже не сражался с дикими зверями, ибо они (как будто бы из уважения к прекрасной Наталье, новой обитательнице их дремучего леса) не приближались к жилищу супругов и ревели только в отдалении. Таким образом прошла зима, снег растаял, реки и ручьи зашумели, земля опушилась травкою, и зеленые пучочки распустились на деревьях. Алексей выбежал из своего домику, сорвал первый цветочек и принес его Наталье. Она улыбнулась, поцеловала своего друга — и в самую сию минуту запели в лесу весенние птички. «Ах, какая радость! Какое веселье! — сказала красавица. — Мой друг! Пойдем гулять!» Они пошли и сели на берегу реки. «Знаешь ли, — сказала Наталья супругу своему, — знаешь ли, что прошедшею весною не могла я без грусти слушать птичек? Теперь мне кажется, будто я их разумею и одно с ними думаю. Посмотри: здесь, на кусточке, поют две птички — кажется, малиновки — посмотри, как они обнимаются крылышками; они любят друг друга так, как я люблю тебя, мой друг, и как ты меня любишь! Не правда ли?» Всякий может вообразить себе ответ Алексеев и разные удовольствия, которые весна принесла с собою для наших пустынников.

Но нежная дочь, наслаждаясь любовию, не забывала и своего родителя. Алексей должен был всякую неделю два или три раза посылать в Москву человека наведываться о боярине Матвее. Вести привозились одинаковые: боярин делал добрые дела, печалился, кормил бедных и говорил им: «Друзья! Помолитесь о Наталье!» Наталья вздыхала и смотрела на образ.

Однажды возвратился посланный с великою поспешностию. «Государь! — сказал он Алексею. — Москва в смятении. Свирепые литовцы восстали на Русское царство. Я видел, как жители престольного града собирались перед дворцом государевым и как боярин Матвей, именем царя православного, ободрял воинов; я видел, как толпы народные бросали вверх шапки свои, восклицая в один голос: „Умрем за царя, — государя! Умрем за отечество или победим литовцев!“ Я видел, как русское воинство в ряды становилось, как сверкали его мечи, и бердыши, и копья булатные. Завтра выдет оно в поле под начальством воевод храбрейших». Сердце Алексеево затрепетало, кровь закипела — он схватил со стены меч отца своего — взглянул на супругу — и меч упал на землю — слезы показались в глазах его. Наталья взяла его за руку и не говорила ни слова. «Любезная Наталья! — сказал Алексей по некотором молчании. — Ты желаешь возвратиться в дом к своему родителю?»

Наталья. С тобою, мой друг, с тобою! Ах, я не смела говорить тебе; только мне всегда казалось, что мы напрасно скрываемся от батюшки. Увидя нас, он так обрадуется, что все забудет, а я возьму за руку тебя и его, заплачу от радости и скажу: «Вот они; вот те, которых люблю, — теперь я совершенно счастлива!»

Алексей. Но мне надобно заслужить прежде милость царскую. Теперь есть к тому случай.

Наталья. Какой же, мой друг?

Алексей. Ехать на войну, сразиться с неприятелями Русского царства и победить. Царь увидит тогда, что Любославские любят его и верно служат своему отечеству.

Наталья. Поедем, мой друг! Лишь бы ты был со мною: я всюду готова.

Алексей. Что ты говоришь, милая Наталья? Там летают смертоносные стрелы, там рубятся мечами: как тебе ехать со мною?

Наталья. Итак, ты хочешь меня оставить? Хочешь моей смерти? Потому что я не могу жить без тебя. Давно ли, мой друг, давно ли говорил ты, что никогда не покинешь меня? А теперь думаешь ехать один, и еще туда, где летают стрелы? Кто защитит тебя?.. Нет, ты возьмешь меня с собою — или бедная Наталья не мила уже сердцу твоему?

Алексей обнял свою супругу. «Поедем, — сказал он, — поедем и умрем вместе, если так богу угодно! Только на войне не бывает женщин, милая Наталья!» Красавица подумала, улыбнулась, пошла в спальню и заперла за собою дверь. Через несколько минут вышел оттуда прекрасный отрок… Алексей изумился, но скоро узнал в сем юном красавце любезную дочь боярина Матвея и бросился целовать. Наталья оделась в платье своего супруга, которое носил он будучи тринадцати или четырнадцати лет. «Я меньшой брат твой, — сказала она с усмешкою, — теперь дай мне только меч острый и копье булатное, шишак, панцирь и щит железный — увидишь, что я не хуже мужчины». Алексей не мог нарадоваться своим милым героем, выбрал ему самое легкое оружие, нарядил его в панцирь, сделанный из медных колец (на которых было подписано: «С нами бог: никто же на ны! {В Оружейной московской палате я видел много панцирей с сею надписью. (Примеч. автора.) „…никто же на ны“ — никто против нас [не посмеет пойти] (старослав.).}»), вооружил людей своих, готовых умереть за любезного господина надел латы покойного отца своего — и через несколько часов в пустынном домике осталась одна Натальина мама с двумя стариками.

А мы оставим на несколько времени супругов наших, в надежде, что небо не оставит их и будет им защитою в опасностях там, где летают смертоносные стрелы, где мечи сверкают, как молнии, где копья трещат и ломаются, где кровь человеческая льется реками, где герои умирают за свое отечество и делаются бессмертными. Возвратимся в Москву — там началась наша история, там должно ей и кончиться.

Увы! Какая пустота в столице российской! Все тихо, все печально. На улицах не видно никого, кроме слабых старцев и женщин, которые с унылыми лицами идут в церковь молить бога, чтобы он отвратил грозную тучу от Русского царства, даровал победу православным воинам и рассеял сонмы литовские. Добросердечный, чувствительный царь стоит на высоком крыльце своем и с нетерпением ожидает вести от начальников воинства, пошедшего навстречу врагам многочисленным. Боярин Матвей неразлучен с царем благочестивым. «Государь! — говорит он. — Надейся на бога и на храбрость своих подданных, храбрость, которая отличает их от всех иных народов. Страшно разят мечи российские; тверда, подобно камню, грудь сынов твоих — победа будет всегда верною их подругою». Так говорил боярин; думал о благе отечества — и тосковал о своей дочери.

В поту, в пыли прискакал вестник — царь встречает его на половине крыльца и дрожащею рукою развертывает письмо военачальников… Первое слово есть «победа»! «Победа!» — восклицает он в радости. — «Победа!» — восклицают бояре. — «Победа!» — народ повторяет — и во всем царственном граде раздавался один голос: «Победа!», и во всех сердцах было одно чувство: радость!

Начальники доносили государю обо всем с величайшею подробностию. Сражение было самое жестокое. Уже первый ряд русского воинства, теснимый бесчисленным множеством литовцев, начинал колебаться и хотел уступить врагу сильнейшему; но вдруг, как гром, загремел голос: «Умрем или победим!», и в то же мгновение от рядов российских отделился молодой воин и с мечом в руке бросился на неприятелей; за ним бросились и другие; все воинство двинулось и, восклицая: «Умрем или победим!», устремилось, как буря, на литовцев, которые, невзирая на великое число свое, скоро побежали и рассеялись. «Мы не можем, — писали начальники, — восхвалить по достоинству того юного воина; которому принадлежит вся честь победы и который гнал, разил неприятеля и собственною рукою пленил их предводителя. Повсюду следовал за ним брат его, прекрасный отрок, и закрывал его щитом своим. Он не хочет объявить имени своего никому, кроме тебя, государя. Побежденные литовцы спешат из пределов России, и скоро воинство твое возвратится со славою во град Москву. Мы сами представим царю непобедимого юношу, спасителя отечества и достойного всей твоей милости».

Царь с нетерпением ожидал своих героев и выехал встреть их в поле, вместе с боярином Матвеем и с другими чиновниками. В Москве никого не осталось; слабые старцы, забыв слабость, спешили за город навстречу к своим детям; супруги и матери, неся младенцев или ведя их за руки, спешили туда же. Первый ряд воинства показался — второй и третий; разноцветные знамена веяли над оными: воины шли с обнаженными мечами, ровным шагом, назади ехали конные — впереди начальники, под сению трофеев. Увидели государя, и восклицания: «Победа и здравие царю российскому!» — загремели в воздухе. Воеводы упали перед ним на колена. Он поднял их и сказал с улыбкою милости: «Благодарю вас именем отечества». — «Государь! — отвечали они. — Мы старались исполнить должность свою! Но бог даровал нам победу рукою сего юного воина». Тут юный воин, стоявший подле них с потупленным взором, преклонил колено. «Кто ты, храбрый юноша? — спросил государь, простирая к нему правую руку свою. — Имя твое должно быть славно в пределах Русского царства», — «Государь! — отвечал юноша. — Сын осужденного боярина Любославского, скончавшего дни свои в стране иноверных, приносит тебе свою голову». Царь поднял глаза на небо. «Благодарю тебя, боже, — сказал он, — что ты посылаешь мне случай хотя отчасти загладить неправосудие и злобу людей и за страдание невинного отца наградить достойного сына! Так, храбрый юноша! Невинность родителя твоего открылась — к несчастию, поздно! Увы! Я был тогда незрелым отроком, и боярин Матвей еще не имел места в совете моем. Злые бояре оклеветали Любославского; один из них, кончая недавно жизнь свою, признался в несправедливости доносов, по которым судили невинного. Видишь слезы мои. Будь же другом царя своего, первым по боярине Матвее!» — «Итак, память отца моего, — сказал Алексей, — чиста от поношения!.. Но я — я винен перед тобою, государь великий! Я увез дочь боярина Матвея из родительского дому!» Царь удивился. «Где же она?» — спросил он с нетерпением. Но боярин уже нашел дочь свою: прекрасная Наталья, в одежде воина, бросилась в его объятия; шишак спал с головы ее, и русые волосы по плечам рассыпались. Изумленный, восхищенный родитель не смел верить сему явлению, но сердце чувствительного старца сильным трепетом своим уверяло его, что милая нашлася. Едва мог он перенести радость свою и упал бы на землю, если бы другие бояре не поддержали его. Долго не говорил он ни слова, опустив голову на плечо Наталье, наконец назвал ее именем, как будто бы желая видеть, откликнется ли она, — назвал ее своею милою, прекрасною, — и при каждом ласковом слове сиял новый луч радости на лице его, которое так долго было печальным! Казалось, будто язык его учился произносить давно забытые имена: столь медленно он их выговаривал! И повторял столь часто! Наталья целовала его руки. «Ты меня так же любишь! — говорила она. — Так же любишь!» И теплые ручьи слез договаривали за нее прочее. Все воинство пребывало в тишине и в молчании. Государь был тронут сердечно, взял Алексея за руку и подвел его к боярину. «Вот, — сказала Наталья, — вот — супруг мой! Прости его, родитель мой, и люби так, как меня любишь!» Боярин Матвей поднял голову, посмотрел на Алексея и подал ему дрожащую руку свою. Молодой человек хотел броситься перед ним на колени, но старец прижал его к своему сердцу вместе с милою дочерью…

Царь. Они достойны друг друга и будут твоим утешением в старости.

«Она дочь моя, — сказал боярин Матвей прерывающимся голосом, — он сын мой… Господи! Дай мне умереть в их объятиях!»

Старец снова прижал их к своему сердцу.

Читатель вообразит себе все последующее. Старушку няню привезли в город, боярин Матвей простил ее и, призвав к себе того священника, который венчал Алексея и Наталью, хотел, чтобы он снова благословил их в его присутствии. Супруги жили счастливо и пользовались особенною царскою милостию. Алексей оказал важные услуги отечеству и государю, услуги, о которых упоминается в разных исторических рукописях. Благодетельный боярин Матвей дожил до самой глубокой старости и веселился своей дочерью, своим зятем и прекрасными детьми их. Смерть явилась ему в виде юнейшего и любезнейшего внука его, он хотел обнять милого отрока — и скончался. Больше я ничего не слыхал от бабушки моего дедушки, но за несколько лет перед сим прогуливаясь осенью по берегу Москвы-реки, близ темной сосновой рощи, нашел надгробный камень, заросший зеленым мохом и разломленный рукою времени, — с великим трудом мог я прочитать на нем следующую надпись: «Здесь погребен Алексей Любославский с своею супругою». Старые люди сказывали мне, что на сем месте была некогда церковь — вероятно, самая та, где венчались наши любовники и где они захотели лежать и по смерти своей.

Иван Крылов

**БАСНИ**

**КНИГА ПЕРВАЯ**

**I  
ВОРОНА И ЛИСИЦА**

Уж сколько раз твердили миру,  
Что лесть гнусна, вредна; но только всё не впрок,  
И в сердце льстец всегда отыщет уголок.  
Вороне где-то бог послал кусочек сыру;  
На ель Ворона взгромоздясь,  
Позавтракать-было совсем уж собралась,  
Да позадумалась, а сыр во рту держала.  
На ту беду Лиса близехонько бежала;  
Вдруг сырный дух Лису остановил:  
Лисица видит сыр, — Лисицу сыр пленил.  
Плутовка к дереву на цыпочках подходит;  
Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит,  
И говорит так сладко, чуть дыша:  
«Голубушка, как хороша!  
Ну что за шейка, что за глазки!  
Рассказывать, так, право, сказки!  
Какие перушки! какой носок!  
И верно ангельский быть должен голосок!  
Спой, светик, не стыдись! Что ежели, сестрица,  
При красоте такой, и петь ты мастерица,  
Ведь ты б у нас была царь-птица!»  
Вещуньина с похвал вскружилась голова,  
От радости в зобу дыханье сперло, —  
И на приветливы лисицыны слова  
Ворона каркнула во все воронье горло:  
Сыр выпал — с ним была плутовка такова.

**МУЗЫКАНТЫ**

Сосед соседа звал откушать;  
Но умысел другой тут был:  
Хозяин музыку любил  
И заманил к себе соседа певчих слушать.  
Запели молодцы: кто в лес, кто по дрова,  
И у кого что силы стало.  
В ушах у гостя затрещало,  
И закружилась голова.  
«Помилуй ты меня», сказал он с удивленьем:  
«Чем любоваться тут? Твой хор  
Горланит вздор!» —  
«То правда», отвечал хозяин с умиленьем:  
«Они немножечко дерут;  
Зато уж в рот хмельного не берут,  
И все с прекрасным поведеньем».  
А я скажу: по мне уж лучше пей,  
Да дело разумей.

**СВИНЬЯ ПОД ДУБОМ**

Свинья под Дубом вековым  
Наелась жолудей до-сыта, до-отвала;  
Наевшись, выспалась под ним;  
Потом, глаза продравши, встала  
И рылом подрывать у Дуба корни стала.  
«Ведь это дереву вредит»,  
Ей с Дубу во́рон говорит:  
«Коль корни обнажишь, оно засохнуть может». —  
«Пусть сохнет», говорит Свинья:  
«Ничуть меня то не тревожит;  
В нем проку мало вижу я;  
Хоть век его не будь, ничуть не пожалею;  
Лишь были б жолуди: ведь я от них жирею». —  
«Неблагодарная!» примолвил Дуб ей тут:  
«Когда бы вверх могла поднять ты рыло,  
Тебе бы видно было,  
Что эти жолуди на мне растут».

**ВОЛК НА ПСАРНЕ**

Волк, ночью, думая залезть в овчарню,  
Попал на псарню.  
Поднялся вдруг весь псарный двор.  
Почуя серого так близко забияку,  
Псы залились в хлевах и рвутся вон на драку;  
Псари кричат: «Ахти, ребята, вор!»  
И вмиг ворота на запор;  
В минуту псарня стала адом.  
Бегут: иной с дубьем,  
Иной с ружьем.  
«Огня!» — кричат: «огня!» Пришли с огнем.  
Мой Волк сидит, прижавшись в угол задом.  
Зубами щелкая и ощетиня шерсть,  
Глазами, кажется, хотел бы всех он съесть;  
Но, видя то, что тут не перед стадом,  
И что приходит, наконец,  
Ему рассчесться за овец, —  
Пустился мой хитрец  
В переговоры,  
И начал так: «Друзья! К чему весь этот шум?  
Я, ваш старинный сват и кум,  
Пришел мириться к вам, совсем не ради ссоры;  
Забудем прошлое, уставим общий лад!  
А я, не только впредь не трону здешних стад,  
Но сам за них с другими грызться рад,  
И волчьей клятвой утверждаю,  
Что я...» — «Послушай-ка, сосед»,  
Тут ловчий перервал в ответ:  
«Ты сер, а я, приятель, сед,  
И волчью вашу я давно натуру знаю;  
А потому обычай мой:  
С волками иначе не делать мировой,  
Как снявши шкуру с них долой».  
И тут же выпустил на Волка гончих стаю.

**СТРЕКОЗА И МУРАВЕЙ**

Попрыгунья Стрекоза  
Лето красное пропела;  
Оглянуться не успела,  
Как зима катит в глаза.  
Помертвело чисто поле;  
Нет уж дней тех светлых боле,  
Как под каждым ей листком  
Был готов и стол, и дом.  
Всё прошло: с зимой холодной  
Нужда, голод настает;  
Стрекоза уж не поет:  
И кому же в ум пойдет  
На желудок петь голодный!  
Злой тоской удручена,  
К Муравью ползет она:  
«Не оставь меня, кум милой!  
Дай ты мне собраться с силой  
И до вешних только дней  
Прокорми и обогрей!» —  
«Кумушка, мне странно это:  
Да работала ль ты в лето?»  
Говорит ей Муравей.  
«До того ль, голубчик, было?  
В мягких муравах у нас  
Песни, резвость всякий час,  
Так, что голову вскружило». —  
«А, так ты...» — «Я без души  
Лето целое всё пела». —  
«Ты всё пела? это дело:  
Так поди же, попляши!»

**КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА**

Береги честь смолоду.

Пословица.

**Глава I**

СЕРЖАНТ ГВАРДИИ

— Был бы гвардии он завтра ж капитан.  
— Того не надобно; пусть в армии послужит.  
— Изрядно сказано! пускай его потужит...  
  
Да кто его отец?

Княжнин.

Отец мой Андрей Петрович Гринев в молодости своей служил при графе Минихе и вышел в отставку премьер-майором в 17.. году. С тех пор жил он в своей Симбирской деревне, где и женился на девице Авдотье Васильевне Ю., дочери бедного тамошнего дворянина. Нас было девять человек детей. Все мои братья и сестры умерли во младенчестве.

Матушка была еще мною брюхата, как уже я был записан в Семеновский полк сержантом, по милости майора гвардии князя Б., близкого нашего родственника. Если бы паче всякого чаяния матушка родила дочь, то батюшка объявил бы куда следовало о смерти неявившегося сержанта, и дело тем бы и кончилось. Я считался в отпуску до окончания наук. В то время воспитывались мы не по-нонешнему. С пятилетнего возраста отдан я был на руки стремянному Савельичу, за трезвое поведение пожалованному мне в дядьки. Под его надзором на двенадцатом году выучился я русской грамоте и мог очень здраво судить о свойствах

борзого кобеля. В это время батюшка нанял для меня француза, мосье Бопре, которого выписали из Москвы вместе с годовым запасом вина и прованского масла. Приезд его сильно не понравился Савельичу. «Слава богу, — ворчал он про себя, — кажется, дитя умыт, причесан, накормлен. Куда как нужно тратить лишние деньги и нанимать мусье, как будто и своих людей не стало!»

Бопре в отечестве своем был парикмахером, потом в Пруссии солдатом, потом приехал в Россию pour être outchitel1), не очень понимая значение этого слова. Он был добрый малый, но ветрен и беспутен до крайности. Главною его слабостию была страсть к прекрасному полу; нередко за свои нежности получал он толчки, от которых охал по целым суткам. К тому же не был он (по его выражению) и *врагом бутылки,* т. е. (говоря по-русски) любил хлебнуть лишнее. Но как вино подавалось у нас только за обедом, и то по рюмочке, причем учителя обыкновенно и обносили, то мой Бопре очень скоро привык к русской настойке и даже стал предпочитать ее винам своего отечества, как не в пример более полезную для желудка. Мы тотчас поладили, и хотя по контракту обязан он был учить меня *по-французски, по-немецки и всем наукам,* но он предпочел наскоро выучиться от меня кое-как болтать по-русски, — и потом каждый из нас занимался уже своим делом. Мы жили душа в душу. Другого ментора я и не желал. Но вскоре судьба нас разлучила, и вот по какому случаю:

Прачка Палашка, толстая и рябая девка, и кривая коровница Акулька как-то согласились в одно время кинуться матушке в ноги, винясь в преступной слабости и с плачем жалуясь на мусье, обольстившего их неопытность. Матушка шутить этим не любила и пожаловалась батюшке. У него расправа была коротка. Он тотчас потребовал каналью француза. Доложили, что мусье давал мне свой урок. Батюшка пошел в мою комнату. В это время Бопре спал на кровати сном невинности. Я был занят делом. Надобно знать, что для меня выписана была из Москвы географическая карта.

1) чтобы стать учителем *(франц.).*

Она висела на стене безо всякого употребления и давно соблазняла меня шириною и добротою бумаги. Я решился сделать из нее змей и, пользуясь сном Бопре, принялся за работу. Батюшка вошел в то самое время, как я прилаживал мочальный хвост к Мысу Доброй Надежды. Увидя мои упражнения в географии, батюшка дернул меня за ухо, потом подбежал к Бопре, разбудил его очень неосторожно и стал осыпать укоризнами. Бопре в смятении хотел было привстать и не мог: несчастный француз был мертво пьян. Семь бед, один ответ. Батюшка за ворот приподнял его с кровати, вытолкал из дверей и в тот же день прогнал со двора, к неописанной радости Савельича. Тем и кончилось мое воспитание.

Я жил недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду с дворовыми мальчишками. Между тем минуло мне шестнадцать лет. Тут судьба моя переменилась.

Однажды осенью матушка варила в гостиной медовое варенье, а я, облизываясь, смотрел на кипучие пенки. Батюшка у окна читал Придворный календарь, ежегодно им получаемый. Эта книга имела всегда сильное на него влияние: никогда не перечитывал он ее без особенного участия, и чтение это производило в нем всегда удивительное волнение желчи. Матушка, знавшая наизусть все его свычаи и обычаи, всегда старалась засунуть несчастную книгу как можно подалее, и таким образом Придворный календарь не попадался ему на глаза иногда по целым месяцам. Зато, когда он случайно его находил, то, бывало, по целым часам не выпускал уж из своих рук. Итак, батюшка читал Придворный календарь, изредка пожимая плечами и повторяя вполголоса: «Генерал-поручик!.. Он у меня в роте был сержантом!.. Обоих российских орденов кавалер!.. А давно ли мы...» Наконец батюшка швырнул календарь на диван и погрузился в задумчивость, не предвещавшую ничего доброго.

Вдруг он обратился к матушке: «Авдотья Васильевна, а сколько лет Петруше?»

— Да вот пошел семнадцатый годок, — отвечала матушка. — Петруша родился в тот самый год, как окривела тетушка Настасья Гарасимовна, и когда еще...

«Добро, — прервал батюшка, — пора его в службу. Полно ему бегать по девичьим да лазить на голубятни».

Мысль о скорой разлуке со мною так поразила матушку, что она уронила ложку в кастрюльку, и слезы потекли по ее лицу. Напротив того, трудно описать мое восхищение. Мысль о службе сливалась во мне с мыслями о свободе, об удовольствиях петербургской жизни. Я воображал себя офицером гвардии, что, по мнению моему, было верхом благополучия человеческого.

Батюшка не любил ни переменять свои намерения, ни откладывать их исполнение. День отъезду моему был назначен. Накануне батюшка объявил, что намерен писать со мною к будущему моему начальнику, и потребовал пера и бумаги.

— Не забудь, Андрей Петрович, — сказала матушка, — поклониться и от меня князю Б.; я, дескать, надеюсь, что он не оставит Петрушу своими милостями.

— Что за вздор! — отвечал батюшка нахмурясь. — К какой стати стану я писать к князю Б.?

— Да ведь ты сказал, что изволишь писать к начальнику Петруши?

— Ну, а там что?

— Да ведь начальник Петрушин — князь Б. Ведь Петруша записан в Семеновский полк.

— Записан! А мне какое дело, что он записан? Петруша в Петербург не поедет. Чему научится он, служа в Петербурге? мотать да повесничать? Нет, пускай послужит он в армии, да потянет лямку, да понюхает пороху, да будет солдат, а не шаматон. Записан в гвардии! Где его пашпорт? подай его сюда.

Матушка отыскала мой паспорт, хранившийся в ее шкатулке вместе с сорочкою, в которой меня крестили, и вручила его батюшке дрожащею рукою. Батюшка прочел его со вниманием, положил перед собою на стол и начал свое письмо.

Любопытство меня мучило: куда ж отправляют меня, если уж не в Петербург? Я не сводил глаз с пера батюшкина, которое двигалось довольно медленно. Наконец он кончил, запечатал письмо в одном пакете с

паспортом, снял очки и, подозвав меня, сказал: «Вот тебе письмо к Андрею Карловичу Р., моему старинному товарищу и другу. Ты едешь в Оренбург служить под его начальством».

Итак, все мои блестящие надежды рушились! Вместо веселой петербургской жизни ожидала меня скука в стороне глухой и отдаленной. Служба, о которой за минуту думал я с таким восторгом, показалась мне тяжким несчастием. Но спорить было нечего. На другой день поутру подвезена была к крыльцу дорожная кибитка; уложили в нее чемодан, погребец с чайным прибором и узлы с булками и пирогами, последними знаками домашнего баловства. Родители мои благословили меня. Батюшка сказал мне: «Прощай, Петр. Служи верно, кому присягнешь; слушайся начальников; за их лаской не гоняйся; на службу не напрашивайся; от службы не отговаривайся; и помни пословицу: береги платье снову, а честь смолоду». Матушка в слезах наказывала мне беречь мое здоровье, а Савельичу смотреть за дитятей. Надели на меня заячий тулуп, а сверху лисью шубу. Я сел в кибитку с Савельичем и отправился в дорогу, обливаясь слезами.

В ту же ночь приехал я в Симбирск, где должен был пробыть сутки для закупки нужных вещей, что и было поручено Савельичу. Я остановился в трактире. Савельич с утра отправился по лавкам. Соскуча глядеть из окна на грязный переулок, я пошел бродить по всем комнатам. Вошед в биллиардную, увидел я высокого барина лет тридцати пяти, с длинными черными усами, в халате, с кием в руке и с трубкой в зубах. Он играл с маркером, который при выигрыше выпивал рюмку водки, а при проигрыше должен был лезть под биллиард на четверинках. Я стал смотреть на их игру. Чем долее она продолжалась, тем прогулки на четверинках становились чаще, пока наконец маркер остался под биллиардом. Барин произнес над ним несколько сильных выражений в виде надгробного слова и предложил мне сыграть партию. Я отказался по неумению. Это показалось ему, по-видимому, странным. Он поглядел на меня как бы с сожалением; однако мы разговорились. Я узнал, что его зовут Иваном

Ивановичем Зуриным, что он ротмистр \*\* гусарского полку и находится в Симбирске при приеме рекрут, а стоит в трактире. Зурин пригласил меня отобедать с ним вместе чем бог послал, по-солдатски. Я с охотою согласился. Мы сели за стол. Зурин пил много и потчевал и меня, говоря, что надобно привыкать ко службе; он рассказывал мне армейские анекдоты, от которых я со смеху чуть не валялся, и мы встали из-за стола совершенными приятелями. Тут вызвался он выучить меня играть на биллиарде. «Это, — говорил он, — необходимо для нашего брата служивого. В походе, например, придешь в местечко — чем прикажешь заняться? Ведь не все же бить жидов. Поневоле пойдешь в трактир и станешь играть на биллиарде; а для того надобно уметь играть!» Я совершенно был убежден и с большим прилежанием принялся за учение. Зурин громко ободрял меня, дивился моим быстрым успехам и, после нескольких уроков, предложил мне играть в деньги, по одному грошу, не для выигрыша, а так, чтоб только не играть даром, что, по его словам, самая скверная привычка. Я согласился и на то, а Зурин велел подать пуншу и уговорил меня попробовать, повторяя, что к службе надобно мне привыкать; а без пуншу что и служба! Я послушался его. Между тем игра наша продолжалась. Чем чаще прихлебывал я от моего стакана, тем становился отважнее. Шары поминутно летали у меня через борт; я горячился, бранил маркера, который считал бог ведает как, час от часу умножал игру, словом — вел себя как мальчишка, вырвавшийся на волю. Между тем время прошло незаметно. Зурин взглянул на часы, положил кий и объявил мне, что я проиграл сто рублей. Это меня немножко смутило. Деньги мои были у Савельича. Я стал извиняться. Зурин меня прервал: «Помилуй! Не изволь и беспокоиться. Я могу и подождать, а покамест поедем к Аринушке».

Что прикажете? День я кончил так же беспутно, как и начал. Мы отужинали у Аринушки. Зурин поминутно мне подливал, повторяя, что надобно к службе привыкать. Встав из-за стола, я чуть держался на ногах; в полночь Зурин отвез меня в трактир.

Савельич встретил нас на крыльце. Он ахнул, увидя несомненные признаки моего усердия к службе. «Что это, сударь, с тобою сделалось? — сказал он жалким голосом, — где ты это нагрузился? Ахти господи! отроду такого греха не бывало!» — «Молчи, хрыч! — отвечал я ему, запинаясь, — ты, верно, пьян, пошел спать... и уложи меня».

На другой день я проснулся с головною болью, смутно припоминая себе вчерашние происшествия. Размышления мои прерваны были Савельичем, вошедшим ко мне с чашкою чая. «Рано, Петр Андреич, — сказал он мне, качая головою, — рано начинаешь гулять. И в кого ты пошел? Кажется, ни батюшка, ни дедушка пьяницами не бывали; о матушке и говорить нечего: отроду, кроме квасу, в рот ничего не изволили брать. А кто всему виноват? проклятый мусье. То и дело, бывало, к Антипьевне забежит: «Мадам, же ву при, водкю». Вот тебе и же ву при! Нечего сказать: добру наставил, собачий сын. И нужно было нанимать в дядьки басурмана, как будто у барина не стало и своих людей!»

Мне было стыдно. Я отвернулся и сказал ему: «Поди вон, Савельич; я чаю не хочу». Но Савельича мудрено было унять, когда, бывало, примется за проповедь. «Вот видишь ли, Петр Андреич, каково подгуливать. И головке-то тяжело, и кушать-то не хочется. Человек пьющий ни на что не годен... Выпей-ка огуречного рассолу с медом, а всего бы лучше опохмелиться полстаканчиком настойки. Не прикажешь ли?»

В это время мальчик вошел и подал мне записку от И. И. Зурина. Я развернул ее и прочел следующие строки:

«Любезный Петр Андреевич, пожалуйста пришли мне с моим мальчиком сто рублей, которые ты мне вчера проиграл. Мне крайняя нужда в деньгах.

Готовый ко услугам  
*Иван Зурин».*

Делать было нечего. Я взял на себя вид равнодушный и, обратись к Савельичу, который был [*и денег, и белья, и дел моих рачитель*](#c1)*,* приказал отдать мальчику

сто рублей. «Как! зачем?» — спросил изумленный Савельич. «Я их ему должен», — отвечал я со всевозможной холодностию. «Должен! — возразил Савельич, час от часу приведенный в большее изумление, — да когда же, сударь, успел ты ему задолжать? Дело что-то не ладно. Воля твоя, сударь, а денег я не выдам».

Я подумал, что если в сию решительную минуту не переспорю упрямого старика, то уж в последствии времени трудно мне будет освободиться от его опеки, и, взглянув на него гордо, сказал: «Я твой господин, а ты мой слуга. Деньги мои. Я их проиграл, потому что так мне вздумалось. А тебе советую не умничать и делать то, что тебе приказывают».

Савельич так был поражен моими словами, что сплеснул руками и остолбенел. «Что же ты стоишь!» — закричал я сердито. Савельич заплакал. «Батюшка Петр Андреич, — произнес он дрожащим голосом, — не умори меня с печали. Свет ты мой! послушай меня, старика: напиши этому разбойнику, что ты пошутил, что у нас и денег-то таких не водится. Сто рублей! Боже ты милостивый! Скажи, что тебе родители крепко-накрепко заказали не играть, окроме как в орехи...» — «Полно врать, — прервал я строго, — подавай сюда деньги или я тебя взашей прогоню».

Савельич поглядел на меня с глубокой горестью и пошел за моим долгом. Мне было жаль бедного старика; но я хотел вырваться на волю и доказать, что уж я не ребенок. Деньги были доставлены Зурину. Савельич поспешил вывезти меня из проклятого трактира. Он явился с известием, что лошади готовы. С неспокойной совестию и с безмолвным раскаянием выехал я из Симбирска, не простясь с моим учителем и не думая с ним уже когда-нибудь увидеться.

**Глава II**

ВОЖАТЫЙ

Сторона ль моя, сторонушка,  
Сторона незнакомая!  
Что не сам ли я на тебя зашел,  
Что не добрый ли да меня конь завез:  
Завезла меня, доброго молодца,  
Прытость, бодрость молодецкая  
И хмелинушка кабацкая.

Старинная песня.

Дорожные размышления мои были не очень приятны. Проигрыш мой, по тогдашним ценам, был немаловажен. Я не мог не признаться в душе, что поведение мое в симбирском трактире было глупо, и чувствовал себя виноватым перед Савельичем. Все это меня мучило. Старик угрюмо сидел на облучке, отворотясь от меня, и молчал, изредка только покрякивая. Я непременно хотел с ним помириться и не знал с чего начать. Наконец я сказал ему: «Ну, ну, Савельич! полно, помиримся, виноват; вижу сам, что виноват. Я вчера напроказил, а тебя напрасно обидел. Обещаюсь вперед вести себя умнее и слушаться тебя. Ну, не сердись; помиримся».

— Эх, батюшка Петр Андреич! — отвечал он с глубоким вздохом. — Сержусь-то я на самого себя; сам я кругом виноват. Как мне было оставлять тебя одного в трактире! Что делать? Грех попутал: вздумал

забрести к дьячихе, повидаться с кумою. Так-то: зашел к куме, да засел в тюрьме. Беда да и только!.. Как покажусь я на глаза господам? что скажут они, как узнают, что дитя пьет и играет.

Чтоб утешить бедного Савельича, я дал ему слово впредь без его согласия не располагать ни одною копейкою. Он мало-помалу успокоился, хотя все еще изредка ворчал про себя, качая головою: «Сто рублей! легко ли дело!»

Я приближался к месту моего назначения. Вокруг меня простирались печальные пустыни, пересеченные холмами и оврагами. Все покрыто было снегом. Солнце садилось. Кибитка ехала по узкой дороге, или точнее по следу, проложенному крестьянскими санями. Вдруг ямщик стал посматривать в сторону и наконец, сняв шапку, оборотился ко мне и сказал:

— Барин, не прикажешь ли воротиться?

— Это зачем?

— Время ненадежно: ветер слегка подымается; вишь, как он сметает порошу.

— Что ж за беда!

— А видишь там что? (Ямщик указал кнутом на восток.)

— Я ничего не вижу, кроме белой степи да ясного неба.

— А вон — вон: это облачко.

Я увидел в самом деле на краю неба белое облачко, которое принял было сперва за отдаленный холмик. Ямщик изъяснил мне, что облачко предвещало буран.

Я слыхал о тамошних метелях и знал, что целые обозы бывали ими занесены. Савельич, согласно со мнением ямщика, советовал воротиться. Но ветер показался мне не силен; я понадеялся добраться заблаговременно до следующей станции и велел ехать скорее.

Ямщик поскакал; но все поглядывал на восток. Лошади бежали дружно. Ветер между тем час от часу становился сильнее. Облачко обратилось в белую тучу, которая тяжело подымалась, росла и постепенно облегала небо. Пошел мелкий снег — и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл; сделалась метель. В одно

мгновение темное небо смешалось со снежным морем. Все исчезло. «Ну, барин, — закричал ямщик, — беда: буран!»...

Я выглянул из кибитки: все было мрак и вихорь. Ветер выл с такой свирепой выразительностию, что казался одушевленным; снег засыпал меня и Савельича; лошади шли шагом — и скоро стали. «Что же ты не едешь?» — спросил я ямщика с нетерпением. «Да что ехать? — отвечал он, слезая с облучка, — невесть и так куда заехали: дороги нет, и мгла кругом». Я стал было его бранить. Савельич за него заступился. «И охота было не слушаться, — говорил он сердито, — воротился бы на постоялый двор, накушался бы чаю, почивал бы себе до утра, буря б утихла, отправились бы далее. И куда спешим? Добро бы на свадьбу!» Савельич был прав. Делать было нечего. Снег так и валил. Около кибитки подымался сугроб. Лошади стояли, понуря голову и изредка вздрагивая. Ямщик ходил кругом, от нечего делать улаживая упряжь. Савельич ворчал; я глядел во все стороны, надеясь увидеть хоть признак жила или дороги, но ничего не мог различить, кроме мутного кружения метели... Вдруг увидел я что-то черное. «Эй, ямщик! — закричал я, — смотри: что там такое чернеется?» Ямщик стал всматриваться. «А бог знает, барин, — сказал он, садясь на свое место, — воз не воз, дерево не дерево, а кажется, что шевелится. Должно быть, или волк, или человек».

Я приказал ехать на незнакомый предмет, который тотчас и стал подвигаться нам навстречу. Через две минуты мы поравнялись с человеком.

— Гей, добрый человек! — закричал ему ямщик. — Скажи, не знаешь ли где дорога?

— Дорога-то здесь; я стою на твердой полосе, — отвечал дорожный, — да что толку?

— Послушай, мужичок, — сказал я ему, — знаешь ли ты эту сторону? Возьмешься ли ты довести меня до ночлега?

— Сторона мне знакомая, — отвечал дорожный, — слава богу, исхожена и изъезжена вдоль и поперек. Да, вишь, какая погода: как раз собьешься с дороги. Лучше здесь остановиться да переждать, авось буран

утихнет да небо прояснится: тогда найдем дорогу по звездам.

Его хладнокровие ободрило меня. Я уж решился, предав себя божией воле, ночевать посреди степи, как вдруг дорожный сел проворно на облучок и сказал ямщику: «Ну, слава богу, жило недалеко; сворачивай вправо да поезжай».

— А почему мне ехать вправо? — спросил ямщик с неудовольствием. — Где ты видишь дорогу? Небось: лошади чужие, хомут не свой, погоняй не стой. — Ямщик казался мне прав. «В самом деле, — сказал я, — почему думаешь ты, что жило недалече?» — «А потому, что ветер оттоле потянул, — отвечал дорожный, — и я слышу, дымом пахнуло; знать, деревня близко». Сметливость его и тонкость чутья меня изумили. Я велел ямщику ехать. Лошади тяжело ступали по глубокому снегу. Кибитка тихо подвигалась, то въезжая на сугроб, то обрушаясь в овраг и переваливаясь то на одну, то на другую сторону. Это похоже было на плавание судна по бурному морю. Савельич охал, поминутно толкаясь о мои бока. Я опустил циновку, закутался в шубу и задремал, убаюканный пением бури и качкою тихой езды.

Мне приснился сон, которого никогда не мог я позабыть и в котором до сих пор вижу нечто пророческое, когда соображаю с ним странные обстоятельства моей жизни. Читатель извинит меня: ибо, вероятно, знает по опыту, как сродно человеку предаваться суеверию, несмотря на всевозможное презрение к предрассудкам.

Я находился в том состоянии чувств и души, когда существенность, уступая мечтаниям, сливается с ними в неясных видениях первосония. Мне казалось, буран еще свирепствовал и мы еще блуждали по снежной пустыне... Вдруг увидел я вороты и въехал на барский двор нашей усадьбы. Первою мыслию моею было опасение, чтобы батюшка не прогневался на меня за невольное возвращение под кровлю родительскую и не почел бы его умышленным ослушанием. С беспокойством я выпрыгнул из кибитки и вижу: матушка встречает меня на крыльце с видом глубокого огорчения.

«Тише, — говорит она мне, — отец болен при смерти и желает с тобою проститься». Пораженный страхом, я иду за нею в спальню. Вижу, комната слабо освещена; у постели стоят люди с печальными лицами. Я тихонько подхожу к постеле; матушка приподымает полог и говорит: «Андрей Петрович, Петруша приехал; он воротился, узнав о твоей болезни; благослови его». Я стал на колени и устремил глаза мои на больного. Что ж?.. Вместо отца моего вижу в постеле лежит мужик с черной бородою, весело на меня поглядывая. Я в недоумении оборотился к матушке, говоря ей: «Что это значит? Это не батюшка. И к какой мне стати просить благословения у мужика?» — «Все равно, Петруша, — отвечала мне матушка, — это твой посажёный отец; поцелуй у него ручку, и пусть он тебя благословит...» Я не соглашался. Тогда мужик вскочил с постели, выхватил топор из-за спины и стал махать во все стороны. Я хотел бежать... и не мог; комната наполнилась мертвыми телами; я спотыкался о тела и скользил в кровавых лужах... Страшный мужик ласково меня кликал, говоря: «Не бойсь, подойди под мое благословение...» Ужас и недоумение овладели мною... И в эту минуту я проснулся; лошади стояли; Савельич дергал меня за руку, говоря: «Выходи, сударь: приехали».

— Куда приехали? — спросил я, протирая глаза.

— На постоялый двор. Господь помог, наткнулись прямо на забор. Выходи, сударь, скорее да обогрейся.

Я вышел из кибитки. Буран еще продолжался, хотя с меньшею силою. Было так темно, что хоть глаз выколи. Хозяин встретил нас у ворот, держа фонарь под полою, и ввел меня в горницу, тесную, но довольно чистую; лучина освещала ее. На стене висела винтовка и высокая казацкая шапка.

Хозяин, родом яицкий казак, казался мужик лет шестидесяти, еще свежий и бодрый. Савельич внес за мною погребец, потребовал огня, чтоб готовить чай, который никогда так не казался мне нужен. Хозяин пошел хлопотать.

— Где же вожатый? — спросил я у Савельича .

«Здесь, ваше благородие», — отвечал мне голос сверху. Я взглянул на полати и увидел черную бороду и два сверкающие глаза. «Что, брат, прозяб?» — «Как не прозябнуть в одном худеньком армяке! Был тулуп, да что греха таить? заложил вечор у целовальника: мороз показался не велик». В эту минуту хозяин вошел с кипящим самоваром; я предложил вожатому нашему чашку чаю; мужик слез с полатей. Наружность его показалась мне замечательна: он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В черной бороде его показывалась проседь; живые большие глаза так и бегали. Лицо его имело выражение довольно приятное, но плутовское. Волоса были обстрижены в кружок; на нем был оборванный армяк и татарские шаровары. Я поднес ему чашку чаю; он отведал и поморщился. «Ваше благородие, сделайте мне такую милость, — прикажите поднести стакан вина; чай не наше казацкое питье». Я с охотой исполнил его желание. Хозяин вынул из ставца штоф и стакан, подошел к нему и, взглянув ему в лицо: «Эхе, — сказал он, — опять ты в нашем краю! Отколе бог принес?» Вожатый мой мигнул значительно и отвечал поговоркою: «В огород летал, конопли клевал; швырнула бабушка камушком — да мимо. Ну, а что ваши?»

— Да что наши! — отвечал хозяин, продолжая иносказательный разговор. — Стали было к вечерне звонить, да попадья не велит: поп в гостях, черти на погосте.

«Молчи, дядя, — возразил мой бродяга, — будет дождик, будут и грибки; а будут грибки, будет и кузов. А теперь (тут он мигнул опять) заткни топор за спину: лесничий ходит. Ваше благородие! за ваше здоровье!» При сих словах он взял стакан, перекрестился и выпил одним духом. Потом поклонился мне и воротился на полати.

Я ничего не мог тогда понять из этого воровского разговора; но после уж догадался, что дело шло о делах Яицкого войска, в то время только что усмиренного после бунта 1772 года. Савельич слушал с видом большого неудовольствия. Он посматривал с подозрением то на хозяина, то на вожатого. Постоялый двор,

или, по-тамошнему, *умет*, находился в стороне, в степи, далече от всякого селения, и очень походил на разбойническую пристань. Но делать было нечего. Нельзя было и подумать о продолжении пути. Беспокойство Савельича очень меня забавляло. Между тем я расположился ночевать и лег на лавку. Савельич решился убраться на печь; хозяин лег на полу. Скоро вся изба захрапела, и я заснул как убитый.

Проснувшись поутру довольно поздно, я увидел, что буря утихла. Солнце сияло. Снег лежал ослепительной пеленою на необозримой степи. Лошади были запряжены. Я расплатился с хозяином, который взял с нас такую умеренную плату, что даже Савельич с ним не заспорил и не стал торговаться по своему обыкновению, и вчерашние подозрения изгладились совершенно из головы его. Я позвал вожатого, благодарил за оказанную помочь и велел Савельичу дать ему полтину на водку. Савельич нахмурился. «Полтину на водку! — сказал он, — за что это? За то, что ты же изволил подвезти его к постоялому двору? Воля твоя, сударь: нет у нас лишних полтин. Всякому давать на водку, так самому скоро придется голодать». Я не мог спорить с Савельичем. Деньги, по моему обещанию, находились в полном его распоряжении. Мне было досадно, однако ж, что не мог отблагодарить человека, выручившего меня если не из беды, то по крайней мере из очень неприятного положения. «Хорошо, — сказал я хладнокровно, — если не хочешь дать полтину, то вынь ему что-нибудь из моего платья. Он одет слишком легко. Дай ему мой заячий тулуп».

— Помилуй, батюшка Петр Андреич! — сказал Савельич. — Зачем ему твой заячий тулуп? Он его пропьет, собака, в первом кабаке.

— Это, старинушка, уж не твоя печаль, — сказал мой бродяга, — пропью ли я или нет. Его благородие мне жалует шубу со своего плеча: его на то барская воля, а твое холопье дело не спорить и слушаться.

— Бога ты не боишься, разбойник! — отвечал ему Савельич сердитым голосом. — Ты видишь, что дитя еще не смыслит, а ты и рад его обобрать, простоты его ради. Зачем тебе барский тулупчик? Ты и не напялишь его на свои окаянные плечища.

— Прошу не умничать, — сказал я своему дядьке, — сейчас неси сюда тулуп.

— Господи владыко! — простонал мой Савельич. — Заячий тулуп почти новешенький! и добро бы кому, а то пьянице оголелому!

Однако заячий тулуп явился. Мужичок тут же стал его примеривать. В самом деле тулуп, из которого успел и я вырасти, был немножко для него узок. Однако он кое-как умудрился и надел его, распоров по швам. Савельич чуть не завыл, услышав, как нитки затрещали. Бродяга был чрезвычайно доволен моим подарком. Он проводил меня до кибитки и сказал с низким поклоном: «Спасибо, ваше благородие! Награди вас господь за вашу добродетель. Век не забуду ваших милостей». Он пошел в свою сторону, а я отправился далее, не обращая внимания на досаду Савельича, и скоро позабыл о вчерашней вьюге, о своем вожатом и о заячьем тулупе.

Приехав в Оренбург, я прямо явился к генералу. Я увидел мужчину росту высокого, но уже сгорбленного старостию. Длинные волосы его были совсем белы. Старый полинялый мундир напоминал воина времен Анны Иоанновны, а в его речи сильно отзывался немецкий выговор. Я подал ему письмо от батюшки. При имени его он взглянул на меня быстро: «Поже мой! — сказал он. — Тавно ли, кажется, Андрей Петрович был еще твоих лет, а теперь вот уш какой у него молотец! Ах, фремя, фремя!» Он распечатал письмо и стал читать его вполголоса, делая свои замечания. «Милостивый государь Андрей Карлович, надеюсь, что ваше превосходительство»... Это что за серемонии? Фуй, как ему не софестно! Конечно: дисциплина перво дело, но так ли пишут к старому камрад?.. «ваше превосходительство не забыло»... гм... «и... когда... покойным фельдмаршалом Мин... походе... также и... Каролинку»... Эхе, брудер! так он еще помнит стары наши проказ? «Теперь о деле... К вам моего повесу»... гм... «держать в ежовых рукавицах»... Что такое ешовы рукавиц? Это, должно быть, русска поговорк... Что такое

«дершать в ешовых рукавицах?» — повторил он, обращаясь ко мне.

— Это значит, — отвечал я ему с видом как можно более невинным, — обходиться ласково, не слишком строго, давать побольше воли, держать в ежовых рукавицах.

— Гм, понимаю... «и не давать ему воли»... нет, видно ешовы рукавицы значит не то... «При сем... его паспорт»... Где же он? А, вот... «отписать в Семеновский»... Хорошо, хорошо: все будет сделано... «Позволишь без чинов обнять себя и... старым товарищем и другом» — а! наконец догадался... и прочая и прочая... Ну, батюшка, — сказал он, прочитав письмо и отложив в сторону мой паспорт, — все будет сделано: ты будешь офицером переведен в \*\*\* полк, и, чтоб тебе времени не терять, то завтра же поезжай в Белогорскую крепость, где ты будешь в команде капитана Миронова, доброго и честного человека. Там ты будешь на службе настоящей, научишься дисциплине. В Оренбурге делать тебе нечего; рассеяние вредно молодому человеку. А сегодня милости просим: отобедать у меня».

«Час от часу не легче! — подумал я про себя, — к чему послужило мне то, что еще в утробе матери я был уже гвардии сержантом! Куда это меня завело? В \*\*\* полк и в глухую крепость на границу киргиз-кайсацких степей!..» Я отобедал у Андрея Карловича, втроем с его старым адъютантом. Строгая немецкая экономия царствовала за его столом, и я думаю, что страх видеть иногда лишнего гостя за своею холостою трапезою был отчасти причиною поспешного удаления моего в гарнизон. На другой день я простился с генералом и отправился к месту моего назначения.

**Глава III**

КРЕПОСТЬ

Мы в фортеции живем,  
Хлеб едим и воду пьем;  
А как лютые враги  
Придут к нам на пироги,  
Зададим гостям пирушку:  
Зарядим картечью пушку.

Солдатская песня.

Старинные люди, мой батюшка.

Недоросль.

Белогорская крепость находилась в сорока верстах от Оренбурга. Дорога шла по крутому берегу [Яика](#c2). Река еще не замерзала, и ее свинцовые волны грустно чернели в однообразных берегах, покрытых белым снегом. За ними простирались киргизские степи. Я погрузился в размышления, большею частию печальные. Гарнизонная жизнь мало имела для меня привлекательности. Я старался вообразить себе капитана Миронова, моего будущего начальника, и представлял его строгим, сердитым стариком, не знающим ничего, кроме своей службы, и готовым за всякую безделицу сажать меня под арест на хлеб и на воду. Между тем начало смеркаться. Мы ехали довольно скоро. «Далече ли до крепости?» — спросил я у своего ямщика. «Недалече, — отвечал он. — Вон уж видна». Я глядел во

все стороны, ожидая увидеть грозные бастионы, башни и вал; но ничего не видал, кроме деревушки, окруженной бревенчатым забором. С одной стороны стояли три или четыре скирда сена, полузанесенные снегом; с другой — скривившаяся мельница, с лубочными крыльями, лениво опущенными. «Где же крепость?» — спросил я с удивлением. «Да вот она», — отвечал ямщик, указывая на деревушку, и с этим словом мы в нее въехали. У ворот увидел я старую чугунную пушку; улицы были тесны и кривы; избы низки и большею частию покрыты соломою. Я велел ехать к коменданту, и через минуту кибитка остановилась перед деревянным домиком, выстроенным на высоком месте, близ деревянной же церкви.

Никто не встретил меня. Я пошел в сени и отворил дверь в переднюю. Старый инвалид, сидя на столе, нашивал синюю заплату на локоть зеленого мундира. Я велел ему доложить обо мне. «Войди, батюшка, — отвечал инвалид, — наши дома». Я вошел в чистенькую комнатку, убранную по-старинному. В углу стоял шкаф с посудой; на стене висел диплом офицерский за стеклом и в рамке; около него красовались лубочные картинки, представляющие [взятие Кистрина и Очакова](#c3), также выбор невесты и погребение кота. У окна сидела старушка в телогрейке и с платком на голове. Она разматывала нитки, которые держал, распялив на руках, кривой старичок в офицерском мундире. «Что вам угодно, батюшка?» — спросила она, продолжая свое занятие. Я отвечал, что приехал на службу и явился по долгу своему к господину капитану, и с этим словом обратился было к кривому старичку, принимая его за коменданта; но хозяйка перебила затверженную мною речь. «Ивана Кузмича дома нет, — сказала она, — он пошел в гости к отцу Герасиму; да все равно, батюшка, я его хозяйка. Прошу любить и жаловать. Садись, батюшка». Она кликнула девку и велела ей позвать урядника. Старичок своим одиноким глазом поглядывал на меня с любопытством. «Смею спросить, — сказал он, — вы в каком полку изволили служить?» Я удовлетворил его любопытству. «А смею спросить, — продолжал он, — зачем изволили вы

перейти из гвардии в гарнизон?» Я отвечал, что такова была воля начальства. «Чаятельно, за неприличные гвардии офицеру поступки», — продолжал неутомимый вопрошатель. «Полно врать пустяки, — сказала ему капитанша, — ты видишь, молодой человек с дороги устал; ему не до тебя... (держи-ка руки прямее...). А ты, мой батюшка, — продолжала она, обращаясь ко мне, — не печалься, что тебя упекли в наше захолустье. Не ты первый, не ты последний. Стерпится, слюбится. Швабрин Алексей Иваныч вот уж пятый год как к нам переведен за смертоубийство. Бог знает, какой грех его попутал; он, изволишь видеть, поехал за город с одним поручиком, да взяли с собою шпаги, да и ну друг в друга пырять; а Алексей Иваныч и заколол поручика, да еще при двух свидетелях! Что прикажешь делать? На грех мастера нет».

В эту минуту вошел урядник, молодой и статный казак. «Максимыч! — сказала ему капитанша. — Отведи господину офицеру квартиру, да почище». — «Слушаю, Василиса Егоровна, — отвечал урядник. — Не поместить ли его благородие к Ивану Полежаеву?» — «Врешь, Максимыч, — сказала капитанша, — у Полежаева и так тесно; он же мне кум и помнит, что мы его начальники. Отведи господина офицера... как ваше имя и отчество, мой батюшка? Петр Андреич?.. Отведи Петра Андреича к Семену Кузову. Он, мошенник, лошадь свою пустил ко мне в огород. Ну, что, Максимыч, все ли благополучно?»

— Все, слава богу, тихо, — отвечал казак, — только капрал Прохоров подрался в бане с Устиньей Негулиной за шайку горячей воды.

— Иван Игнатьич! — сказала капитанша кривому старичку. — Разбери Прохорова с Устиньей, кто прав, кто виноват. Да обоих и накажи. Ну, Максимыч, ступай себе с богом. Петр Андреич, Максимыч отведет вас на вашу квартиру.

Я откланялся. Урядник привел меня в избу, стоявшую на высоком берегу реки, на самом краю крепости. Половина избы занята была семьею Семена Кузова, другую отвели мне. Она состояла из одной горницы довольно опрятной, разделенной надвое

перегородкой. Савельич стал в ней распоряжаться; я стал глядеть в узенькое окошко. Передо мною простиралась печальная степь. Наискось стояло несколько избушек; по улице бродило несколько куриц. Старуха, стоя на крыльце с корытом, кликала свиней, которые отвечали ей дружелюбным хрюканьем. И вот в какой стороне осужден я был проводить мою молодость! Тоска взяла меня; я отошел от окошка и лег спать без ужина, несмотря на увещания Савельича, который повторял с сокрушением: «Господи владыко! ничего кушать не изволит! Что скажет барыня, коли дитя занеможет?»

На другой день поутру я только что стал одеваться, как дверь отворилась, и ко мне вошел молодой офицер невысокого роста, с лицом смуглым и отменно некрасивым, но чрезвычайно живым. «Извините меня, — сказал он мне по-французски, — что я без церемонии прихожу с вами познакомиться. Вчера узнал я о вашем приезде; желание увидеть наконец человеческое лицо так овладело мною, что я не вытерпел. Вы это поймете, когда проживете здесь еще несколько времени». Я догадался, что это был офицер, выписанный из гвардии за поединок. Мы тотчас познакомились. Швабрин был очень не глуп. Разговор его был остер и занимателен. Он с большой веселостию описал мне семейство коменданта, его общество и край, куда завела меня судьба. Я смеялся от чистого сердца, как вошел ко мне тот самый инвалид, который чинил мундир в передней коменданта, и от имени Василисы Егоровны позвал меня к ним обедать. Швабрин вызвался идти со мною вместе.

Подходя к комендантскому дому, мы увидели на площадке человек двадцать стареньких инвалидов с длинными косами и в треугольных шляпах. Они выстроены были во фрунт. Впереди стоял комендант, старик бодрый и высокого росту, в колпаке и в китайчатом халате. Увидя нас, он к нам подошел, сказал мне несколько ласковых слов и стал опять командовать. Мы остановились было смотреть на учение; но он просил нас идти к Василисе Егоровне, обещаясь быть вслед за нами. «А здесь, — прибавил он, — нечего вам смотреть».

Василиса Егоровна приняла нас запросто и радушно и обошлась со мною как бы век была знакома. Инвалид и Палашка накрывали стол. «Что это мой Иван Кузмич сегодня так заучился! — сказала комендантша. — Палашка, позови барина обедать. Да где же Маша?» Тут вошла девушка лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, с светло-русыми волосами, гладко зачесанными за уши, которые у ней так и горели. С первого взгляда она не очень мне понравилась. Я смотрел на нее с предубеждением: Швабрин описал мне Машу, капитанскую дочь, совершенною дурочкою. Марья Ивановна села в угол и стала шить. Между тем подали щи. Василиса Егоровна, не видя мужа, вторично послала за ним Палашку. «Скажи барину: гости-де, ждут, щи простынут; слава богу, ученье не уйдет; успеет накричаться». Капитан вскоре явился, сопровождаемый кривым старичком. «Что это, мой батюшка? — сказала ему жена. — Кушанье давным-давно подано, а тебя не дозовешься». — «А слышь ты, Василиса Егоровна, — отвечал Иван Кузмич, — я был занят службой: солдатушек учил». — «И, полно! — возразила капитанша. — Только слава, что солдат учишь: ни им служба не дается, ни ты в ней толку не ведаешь. Сидел бы дома да богу молился; так было бы лучше. Дорогие гости, милости просим за стол».

Мы сели обедать. Василиса Егоровна не умолкала ни на минуту и осыпала меня вопросами: кто мои родители, живы ли они, где живут и каково их состояние? Услыша, что у батюшки триста душ крестьян, «легко ли! — сказала она, — ведь есть же на свете богатые люди! А у нас, мой батюшка, всего-то душ одна девка Палашка; да слава богу, живем помаленьку. Одна беда: Маша; девка на выданье, а какое у ней приданое? частый гребень, да веник, да алтын денег (прости бог!), с чем в баню сходить. Хорошо, коли найдется добрый человек; а то сиди себе в девках вековечной невестою». Я взглянул на Марью Ивановну; она вся покраснела, и даже слезы капнули на ее тарелку. Мне стало жаль ее, и я спешил переменить разговор. «Я слышал, — сказал я довольно некстати, — что на вашу крепость собираются напасть

башкирцы». — «От кого, батюшка, ты изволил это слышать?» — спросил Иван Кузмич. «Мне так сказывали в Оренбурге», — отвечал я. «Пустяки! — сказал комендант. — У нас давно ничего не слыхать. Башкирцы — народ напуганный, да и киргизцы проучены. Небось на нас не сунутся; а насунутся, так я такую задам острастку, что лет на десять угомоню». — «И вам не страшно, — продолжал я, обращаясь к капитанше, — оставаться в крепости, подверженной таким опасностям?» — «Привычка, мой батюшка, — отвечала она. — Тому лет двадцать как нас из полка перевели сюда, и не приведи господи, как я боялась проклятых этих нехристей! Как завижу, бывало, рысьи шапки, да как заслышу их визг, веришь ли, отец мой, сердце так и замрет! А теперь так привыкла, что и с места не тронусь, как придут нам сказать, что злодеи около крепости рыщут».

— Василиса Егоровна прехрабрая дама, — заметил важно Швабрин. — Иван Кузмич может это засвидетельствовать.

— Да, слышь ты, — сказал Иван Кузмич, — баба-то не робкого десятка.

— А Марья Ивановна? — спросил я, — так же ли смела, как и вы?

— Смела ли Маша? — отвечала ее мать. — Нет, Маша трусиха. До сих пор не может слышать выстрела из ружья: так и затрепещется. А как тому два года Иван Кузмич выдумал в мои именины палить из нашей пушки, так она, моя голубушка, чуть со страха на тот свет не отправилась. С тех пор уж и не палим из проклятой пушки.

Мы встали из-за стола. Капитан с капитаншею отправились спать; а я пошел к Швабрину, с которым и провел целый вечер.

**Глава IV**

ПОЕДИНОК

Ин изволь, и стань же в позитуру.   
Посмотришь, проколю как я твою фигуру!

Княжнин.

Прошло несколько недель, и жизнь моя в Белогорской крепости сделалась для меня не только сносною, но даже и приятною. В доме коменданта был я принят как родной. Муж и жена были люди самые почтенные. Иван Кузмич, вышедший в офицеры из солдатских детей, был человек необразованный и простой, но самый честный и добрый. Жена его им управляла, что согласовалось с его беспечностию. Василиса Егоровна и на дела службы смотрела, как на свои хозяйские, и управляла крепостию так точно, как и своим домком. Марья Ивановна скоро перестала со мною дичиться. Мы познакомились. Я в ней нашел благоразумную и чувствительную девушку. Незаметным образом я привязался к доброму семейству, даже к Ивану Игнатьичу, кривому гарнизонному поручику, о котором Швабрин выдумал, будто бы он был в непозволительной связи с Василисой Егоровной, что не имело и тени правдоподобия; но Швабрин о том не беспокоился.

Я был произведен в офицеры. Служба меня не отягощала. В богоспасаемой крепости не было ни смотров, ни учений, ни караулов. Комендант по собственной

охоте учил иногда своих солдат; но еще не мог добиться, чтобы все они знали, которая сторона правая, которая левая, хотя многие из них, дабы в том не ошибиться, перед каждым оборотом клали на себя знамение креста. У Швабрина было несколько французских книг. Я стал читать, и во мне пробудилась охота к литературе. По утрам я читал, упражнялся в переводах, а иногда и в сочинении стихов. Обедал почти всегда у коменданта, где обыкновенно проводил остаток дня и куда вечерком иногда являлся отец Герасим с женою Акулиной Памфиловной, первою вестовщицею во всем околотке. С А. И. Швабриным, разумеется, виделся я каждый день; но час от часу беседа его становилась для меня менее приятною. Всегдашние шутки его насчет семьи коменданта мне очень не нравились, особенно колкие замечания о Марье Ивановне. Другого общества в крепости не было, но я другого и не желал.

Несмотря на предсказания, башкирцы не возмущались. Спокойствие царствовало вокруг нашей крепости. Но мир был прерван незапным междуусобием.

Я уже сказывал, что я занимался литературою. Опыты мои, для тогдашнего времени, были изрядны, и Александр Петрович Сумароков, несколько лет после, очень их похвалял. Однажды удалось мне написать песенку, которой был я доволен. Известно, что сочинители иногда, под видом требования советов, ищут благосклонного слушателя. Итак, переписав мою песенку, я понес ее к Швабрину, который один во всей крепости мог оценить произведения стихотворца. После маленького предисловия вынул я из кармана свою тетрадку и прочел ему следующие стишки:

Мысль любовну истребляя,   
Тщусь прекрасную забыть,  
И ах, Машу избегая,  
Мышлю вольность получить!

Но глаза, что мя пленили,  
Всеминутно предо мной;  
Они дух во мне смутили,  
Сокрушили мой покой.

Ты, узнав мои напасти,  
Сжалься, Маша, надо мной,  
Зря меня в сей лютой части,  
И что я пленен тобой.

— Как ты это находишь? — спросил я Швабрина, ожидая похвалы, как дани, мне непременно следуемой. Но, к великой моей досаде, Швабрин, обыкновенно снисходительный, решительно объявил, что песня моя нехороша.

— Почему так? — спросил я его, скрывая свою досаду.

— Потому, — отвечал он, — что такие стихи достойны учителя моего, Василья Кирилыча Тредьяковского, и очень напоминают мне его любовные куплетцы.

Тут он взял от меня тетрадку и начал немилосердно разбирать каждый стих и каждое слово, издеваясь надо мной самым колким образом. Я не вытерпел, вырвал из рук его мою тетрадку и сказал, что уж отроду не покажу ему своих сочинений. Швабрин посмеялся и над этой угрозою. «Посмотрим, — сказал он, — сдержишь ли ты свое слово: стихотворцам нужен слушатель, как Ивану Кузмичу графинчик водки перед обедом. А кто эта Маша, перед которой изъясняешься в нежной страсти и в любовной напасти? Уж не Марья ль Ивановна?»

— Не твое дело, — отвечал я нахмурясь, — кто бы ни была эта Маша. Не требую ни твоего мнения, ни твоих догадок.

— Ого! Самолюбивый стихотворец и скромный любовник! — продолжал Швабрин, час от часу более раздражая меня, — но послушай дружеского совета: коли ты хочешь успеть, то советую действовать не песенками.

— Что это, сударь, значит? Изволь объясниться.

— С охотою. Это значит, что ежели хочешь, чтоб Маша Миронова ходила к тебе в сумерки, то вместо нежных стишков подари ей пару серег.

Кровь моя закипела.

— А почему ты об ней такого мнения? — спросил я, с трудом удерживая свое негодование.

— А потому, — отвечал он с адской усмешкою,— что знаю по опыту ее нрав и обычай.

— Ты лжешь, мерзавец! — вскричал я в бешенстве, — ты лжешь самым бесстыдным образом.

Швабрин переменился в лице.

— Это тебе так не пройдет, — сказал он, стиснув мне руку. — Вы мне дадите сатисфакцию.

— Изволь; когда хочешь! — отвечал я, обрадовавшись. В эту минуту я готов был растерзать его.

Я тотчас отправился к Ивану Игнатьичу и застал его с иголкою в руках: по препоручению комендантши он нанизывал грибы для сушенья на зиму. «А, Петр Андреич! — сказал он, увидя меня, — добро пожаловать! Как это вас бог принес? по какому делу, смею спросить?» Я в коротких словах объяснил ему, что я поссорился с Алексеем Иванычем, а его, Ивана Игнатьича, прошу быть моим секундантом. Иван Игнатьич выслушал меня со вниманием, вытараща на меня свои единственный глаз. «Вы изволите говорить, — сказал он мне, — что хотите Алексея Иваныча заколоть и желаете, чтоб я при том был свидетелем? Так ли? смею спросить».

— Точно так.

— Помилуйте, Петр Андреич! Что это вы затеяли! Вы с Алексеем Иванычем побранились? Велика беда! Брань на вороту не виснет. Он вас побранил, а вы его выругайте; он вас в рыло, а вы его в ухо, в другое, в третье — и разойдитесь; а мы вас уж помирим. А то: доброе ли дело заколоть своего ближнего, смею спросить? И добро б уж закололи вы его: бог с ним, с Алексеем Иванычем; я и сам до него не охотник. Ну, а если он вас просверлит? На что это будет похоже? Кто будет в дураках, смею спросить?

Рассуждения благоразумного поручика не поколебали меня. Я остался при своем намерении. «Как вам угодно, — сказал Иван Игнатьич, — делайте как разумеете. Да зачем же мне тут быть свидетелем? К какой стати? Люди дерутся, что за невидальщина, смею спросить? Слава богу, ходил я под шведа и под турку: всего насмотрелся».

Я кое-как стал изъяснять ему должность секунданта, но Иван Игнатьич никак не мог меня понять. «Воля ваша, — сказал он. — Коли уж мне и вмешаться в это дело, так разве пойти к Ивану Кузмичу да донести ему по долгу службы, что в фортеции умышляется злодействие, противное казенному интересу: не благоугодно ли будет господину коменданту принять надлежащие меры...»

Я испугался и стал просить Ивана Игнатьича ничего не сказывать коменданту; насилу его уговорил; он дал мне слово, и я решился от него отступиться.

Вечер провел я, по обыкновению своему, у коменданта. Я старался казаться веселым и равнодушным, дабы не подать никакого подозрения и избегнуть докучных вопросов; но, признаюсь, я не имел того хладнокровия, которым хвалятся почти всегда те, которые находились в моем положении. В этот вечер я расположен был к нежности и к умилению. Марья Ивановна нравилась мне более обыкновенного. Мысль, что, может быть, вижу ее в последний раз, придавала ей в моих глазах что-то трогательное. Швабрин явился тут же. Я отвел его в сторону и уведомил его о своем разговоре с Иваном Игнатьичем. «Зачем нам секунданты, — сказал он мне сухо, — без них обойдемся». Мы условились драться за скирдами, что находились подле крепости, и явиться туда на другой день в седьмом часу утра. Мы разговаривали, по-видимому, так дружелюбно, что Иван Игнатьич от радости проболтался.

«Давно бы так, — сказал он мне с довольным видом, — худой мир лучше доброй ссоры, а и нечестен, так здоров».

— Что, что, Иван Игнатьич? — сказала комендантша, которая в углу гадала в карты, — я не вслушалась.

Иван Игнатьич, заметив во мне знаки неудовольствия и вспомня свое обещание, смутился и не знал, что отвечать. Швабрин подоспел к нему на помощь.

— Иван Игнатьич, — сказал он, — одобряет нашу мировую.

— А с кем это, мой батюшка, ты ссорился?

— Мы было поспорили довольно крупно с Петром Андреичем.

— За что так?

— За сущую безделицу: за песенку, Василиса Егоровна.

— Нашли за что ссориться! за песенку!.. да как же это случилось?

— Да вот как: Петр Андреич сочинил недавно песню и сегодня запел ее при мне, а я затянул мою любимую:

Капитанская дочь,  
Не ходи гулять в полночь...

Вышла разладица. Петр Андреич было и рассердился; но потом рассудил, что всяк волен петь, что кому угодно. Тем и дело кончилось.

Бесстыдство Швабрина чуть меня не взбесило; но никто, кроме меня, не понял грубых его обиняков; по крайней мере никто не обратил на них внимания. От песенок разговор обратился к стихотворцам, и комендант заметил, что все они люди беспутные и горькие пьяницы, и дружески советовал мне оставить стихотворство, как дело службе противное и ни к чему доброму не доводящее.

Присутствие Швабрина было мне несносно. Я скоро простился с комендантом и с его семейством; пришед домой, осмотрел свою шпагу, попробовал ее конец и лег спать, приказав Савельичу разбудить меня в седьмом часу.

На другой день в назначенное время я стоял уже за скирдами, ожидая моего противника. Вскоре и он явился. «Нас могут застать, — сказал он мне, — надобно поспешить». Мы сняли мундиры, остались в одних камзолах и обнажили шпаги. В эту минуту из-за скирда вдруг появился Иван Игнатьич и человек пять инвалидов. Он потребовал нас к коменданту. Мы повиновались с досадою; солдаты нас окружили, и мы отправились в крепость вслед за Иваном Игнатьичем, который вел нас в торжестве, шагая с удивительной важностию.

Мы вошли в комендантский дом. Иван Игнатьич отворил двери, провозгласив торжественно: «привел!» Нас встретила Василиса Егоровна. «Ах, мои батюшки!

На что это похоже? как? что? в нашей крепости заводить смертоубийство! Иван Кузмич, сейчас их под арест! Петр Андреич! Алексей Иваныч! подавайте сюда ваши шпаги, подавайте, подавайте. Палашка, отнеси эти шпаги в чулан. Петр Андреич! Этого я от тебя не ожидала. Как тебе не совестно? Добро Алексей Иваныч: он за душегубство и из гвардии выписан, он и в господа бога не верует; а ты-то что? туда же лезешь?»

Иван Кузмич вполне соглашался с своею супругою и приговаривал: «А слышь ты, Василиса Егоровна правду говорит. Поединки формально запрещены в воинском артикуле». Между тем Палашка взяла у нас наши шпаги и отнесла в чулан. Я не мог не засмеяться. Швабрин сохранил свою важность. «При всем моем уважении к вам, — сказал он ей хладнокровно, — не могу не заметить, что напрасно вы изволите беспокоиться, подвергая нас вашему суду. Предоставьте это Ивану Кузмичу: это его дело». — «Ах! мой батюшка! — возразила комендантша, — да разве муж и жена не един дух и едина плоть? Иван Кузмич! Что ты зеваешь? Сейчас рассади их по разным углам на хлеб да на воду, чтоб у них дурь-то прошла; да пусть отец Герасим наложит на них эпитимию, чтоб молили у бога прощения да каялись перед людьми».

Иван Кузмич не знал, на что решиться. Марья Ивановна была чрезвычайно бледна. Мало-помалу буря утихла; комендантша успокоилась и заставила нас друг друга поцеловать. Палашка принесла нам наши шпаги. Мы вышли от коменданта по-видимому примиренные. Иван Игнатьич нас сопровождал. «Как вам не стыдно было, — сказал я ему сердито, — доносить на нас коменданту после того, как дали мне слово того не делать?» — «Как бог свят, я Ивану Кузмичу того не говорил, — отвечал он, — Василиса Егоровна выведала все от меня. Она всем и распорядилась без ведома коменданта. Впрочем, слава богу, что все так кончилось». С этим словом он повернул домой, а Швабрин и я остались наедине. «Наше дело этим кончиться не может», — сказал я ему. «Конечно, — отвечал Швабрин, — вы своею кровью будете отвечать мне за вашу

дерзость; но за нами, вероятно, станут присматривать. Несколько дней нам должно будет притворяться. До свидания!» И мы расстались как ни в чем не бывали.

Возвратясь к коменданту, я, по обыкновению своему, подсел к Марье Ивановне. Ивана Кузмича не было дома; Василиса Егоровна занята была хозяйством. Мы разговаривали вполголоса. Марья Ивановна с нежностию выговаривала мне за беспокойство, причиненное всем моею ссорою с Швабриным. «Я так и обмерла, — сказала она, — когда сказали нам, что вы намерены биться на шпагах. Как мужчины странны! За одно слово, о котором через неделю верно б они позабыли, они готовы резаться и жертвовать не только жизнию, но и совестию и благополучием тех, которые... Но я уверена, что не вы зачинщик ссоры. Верно, виноват Алексей Иваныч».

— А почему же вы так думаете, Марья Ивановна?

— Да так... он такой насмешник! Я не люблю Алексея Иваныча. Он очень мне противен; а странно: ни за что б я не хотела, чтоб и я ему так же не нравилась. Это меня беспокоило бы страх.

— А как вы думаете, Марья Ивановна? Нравитесь ли вы ему, или нет?

Марья Ивановна заикнулась и покраснела.

— Мне кажется, — сказала она, — я думаю, что нравлюсь.

— Почему же вам так кажется?

— Потому что он за меня сватался.

— Сватался! Он за вас сватался? Когда же?

— В прошлом году. Месяца два до вашего приезда.

— И вы не пошли?

— Как изволите видеть. Алексей Иваныч, конечно, человек умный, и хорошей фамилии, и имеет состояние; но как подумаю, что надобно будет под венцом при всех с ним поцеловаться... Ни за что! ни за какие благополучия!

Слова Марьи Ивановны открыли мне глаза и объяснили мне многое. Я понял упорное злоречие, которым Швабрин ее преследовал. Вероятно, замечал он нашу взаимную склонность и старался отвлечь нас

друг от друга. Слова, подавшие повод к нашей ссоре, показались мне еще более гнусными, когда, вместо грубой и непристойной насмешки, увидел я в них обдуманную клевету. Желание наказать дерзкого злоязычника сделалось во мне еще сильнее, и я с нетерпением стал ожидать удобного случая.

Я дожидался недолго. На другой день, когда сидел я за элегией и грыз перо в ожидании рифмы, Швабрин постучался под моим окошком. Я оставил перо, взял шпагу и к нему вышел. «Зачем откладывать? — сказал мне Швабрин, — за нами не смотрят. Сойдем к реке. Там никто нам не помешает». Мы отправились молча. Опустясь по крутой тропинке, мы остановились у самой реки и обнажили шпаги. Швабрин был искуснее меня, но я сильнее и смелее, и monsieur Бопре, бывший некогда солдатом, дал мне несколько уроков в фехтовании, которыми я и воспользовался. Швабрин не ожидал найти во мне столь опасного противника. Долго мы не могли сделать друг другу никакого вреда; наконец, приметя, что Швабрин ослабевает, я стал с живостию на него наступать и загнал его почти в самую реку. Вдруг услышал я свое имя, громко произнесенное. Я оглянулся и увидел Савельича, сбегающего ко мне по нагорной тропинке... В это самое время меня сильно кольнуло в грудь пониже правого плеча; я упал и лишился чувств.

**Глава V**

ЛЮБОВЬ

Ах ты, девка, девка красная!  
Не ходи, девка, молода замуж;  
Ты спроси, девка, отца, матери,  
Отца, матери, роду-племени;  
Накопи, девка, ума-разума,  
Ума-разума, приданова.

Песня народная.

Буде лучше меня найдешь, позабудешь.  
Если хуже меня найдешь, воспомянешь.

То же.

Очнувшись, я несколько времени не мог опомниться и не понимал, что со мною сделалось. Я лежал на кровати, в незнакомой горнице, и чувствовал большую слабость. Передо мною стоял Савельич со свечкою в руках. Кто-то бережно развивал перевязи, которыми грудь и плечо были у меня стянуты. Мало-помалу мысли мои прояснились. Я вспомнил свой поединок и догадался, что был ранен. В эту минуту скрыпнула дверь. «Что? каков?» — произнес пошепту голос, от которого я затрепетал. «Все в одном положении, — отвечал Савельич со вздохом, — все без памяти вот уже пятые сутки». Я хотел оборотиться, но не мог. «Где я? кто здесь?» — сказал я с усилием. Марья Ивановна подошла к моей кровати и наклонилась ко мне. «Что?

как вы себя чувствуете?» — сказала она. «Слава богу, — отвечал я слабым голосом. — Это вы, Марья Ивановна? скажите мне...» Я не в силах был продолжать и замолчал. Савельич ахнул. Радость изобразилась на его лице. «Опомнился! опомнился! — повторял он. — Слава тебе, владыко! Ну, батюшка Петр Андреич! напугал ты меня! легко ли? пятые сутки!..» Марья Ивановна перервала его речь. «Не говори с ним много, Савельич, — сказала она. — Он еще слаб». Она вышла и тихонько притворила дверь. Мысли мои волновались. Итак, я был в доме коменданта, Марья Ивановна входила ко мне. Я хотел сделать Савельичу некоторые вопросы, но старик замотал головою и заткнул себе уши. Я с досадою закрыл глаза и вскоре забылся сном.

Проснувшись, подозвал я Савельича и вместо его увидел перед собою Марью Ивановну; ангельский голос ее меня приветствовал. Не могу выразить сладостного чувства, овладевшего мною в эту минуту. Я схватил ее руку и прильнул к ней, обливая слезами умиления. Маша не отрывала ее... и вдруг ее губки коснулись моей щеки, и я почувствовал их жаркий и свежий поцелуй. Огонь пробежал по мне. «Милая, добрая Марья Ивановна, — сказал я ей, — будь моею женою, согласись на мое счастие». Она опомнилась. «Ради бога успокойтесь, — сказала она, отняв у меня свою руку. — Вы еще в опасности: рана может открыться. Поберегите себя хоть для меня». С этим словом она ушла, оставя меня в упоении восторга. Счастие воскресило меня. Она будет моя! она меня любит! Эта мысль наполняла все мое существование.

С той поры мне час от часу становилось лучше. Меня лечил полковой цирюльник, ибо в крепости другого лекаря не было, и, слава богу, не умничал. Молодость и природа ускорили мое выздоровление. Все семейство коменданта за мною ухаживало. Марья Ивановна от меня не отходила. Разумеется, при первом удобном случае я принялся за прерванное объяснение, и Марья Ивановна выслушала меня терпеливее. Она безо всякого жеманства призналась мне в сердечной склонности и сказала, что ее родители, конечно, рады

будут ее счастию. «Но подумай хорошенько, — прибавила она, — со стороны твоих родных не будет ли препятствия?»

Я задумался. В нежности матушкиной я не сомневался, но, зная нрав и образ мыслей отца, я чувствовал, что любовь моя не слишком его тронет и что он будет на нее смотреть как на блажь молодого человека. Я чистосердечно признался в том Марье Ивановне и решился, однако, писать к батюшке как можно красноречивее, прося родительского благословения. Я показал письмо Марье Ивановне, которая нашла его столь убедительным и трогательным, что не сомневалась в успехе его и предалась чувствам нежного своего сердца со всею доверчивостию молодости и любви.

Со Швабриным я помирился в первые дни моего выздоровления. Иван Кузмич, выговаривая мне за поединок, сказал мне: «Эх, Петр Андреич! надлежало бы мне посадить тебя под арест, да ты уж и без того наказан. А Алексей Иваныч у меня таки сидит в хлебном магазине под караулом, и шпага его под замком у Василисы Егоровны. Пускай он себе надумается да раскается». Я слишком был счастлив, чтоб хранить в сердце чувство неприязненное. Я стал просить за Швабрина, и добрый комендант, с согласия своей супруги, решился его освободить. Швабрин пришел ко мне; он изъявил глубокое сожаление о том, что случилось между нами; признался, что был кругом виноват, и просил меня забыть о прошедшем. Будучи от природы не злопамятен, я искренно простил ему и нашу ссору и рану, мною от него полученную. В клевете его видел я досаду оскорбленного самолюбия и отвергнутой любви и великодушно извинял своего несчастного соперника.

Вскоре я выздоровел и мог перебраться на мою квартиру. С нетерпением ожидал я ответа на посланное письмо, не смея надеяться и стараясь заглушить печальные предчувствия. С Василисой Егоровной и с ее мужем я еще не объяснялся; но предложение мое не должно было их удивить. Ни я, ни Марья Ивановна

не старались скрывать от них свои чувства, и мы заранее были уж уверены в их согласии.

Наконец однажды утром Савельич вошел ко мне, держа в руках письмо. Я схватил его с трепетом. Адрес был написан рукою батюшки. Это приуготовило меня к чему-то важному, ибо обыкновенно письма писала ко мне матушка, а он в конце приписывал несколько строк. Долго не распечатывал я пакета и перечитывал торжественную надпись: «Сыну моему Петру Андреевичу Гриневу, в Оренбургскую губернию, в Белогорскую крепость». Я старался по почерку угадать расположение духа, в котором писано было письмо; наконец решился его распечатать и с первых строк увидел, что все дело пошло к черту. Содержание письма было следующее:

«Сын мой Петр! Письмо твое, в котором просишь ты нас о родительском нашем благословении и согласии на брак с Марьей Ивановой дочерью Мироновой, мы получили 15-го сего месяца, и не только ни моего благословения, ни моего согласия дать я тебе не намерен, но еще и собираюсь до тебя добраться да за проказы твои проучить тебя путем как мальчишку, несмотря на твой офицерской чин: ибо ты доказал, что шпагу носить еще недостоин, которая пожалована тебе на защиту отечества, а не для дуелей с такими же сорванцами, каков ты сам. Немедленно буду писать к Андрею Карловичу, прося его перевести тебя из Белогорской крепости куда-нибудь подальше, где бы дурь у тебя прошла. Матушка твоя, узнав о твоем поединке и о том, что ты ранен, с горести занемогла и теперь лежит. Что из тебя будет? Молю бога, чтоб ты исправился, хоть и не смею надеяться на его великую милость,

Отец твой А. Г.»

Чтение сего письма возбудило во мне разные чувствования. Жестокие выражения, на которые батюшка не поскупился, глубоко оскорбили меня. Пренебрежение, с каким он упоминал о Марье Ивановне, казалось мне столь же непристойным, как и несправедливым.

Мысль о переведении моем из Белогорской крепости меня ужасала; но всего более огорчило меня известие о болезни матери. Я негодовал на Савельича, не сомневаясь, что поединок мой стал известен родителям через него. Шагая взад и вперед по тесной моей комнате, я остановился перед ним и сказал, взглянув на него грозно: «Видно тебе не довольно, что я, благодаря тебя, ранен и целый месяц был на краю гроба: ты и мать мою хочешь уморить». Савельич был поражен как громом. «Помилуй, сударь, — сказал он, чуть не зарыдав, — что это изводишь говорить? Я причина, что ты был ранен! Бог видит, бежал я заслонить тебя своею грудью от шпаги Алексея Иваныча! Старость проклятая помешала. Да что ж я сделал матушке-то твоей?» — «Что ты сделал? — отвечал я. — Кто просил тебя писать на меня доносы? разве ты приставлен ко мне в шпионы?» — «Я? писал на тебя доносы? — отвечал Савельич со слезами. — Господи царю небесный! Так изволь-ка прочитать, что пишет ко мне барин: увидишь, как я доносил на тебя». Тут он вынул из кармана письмо, и я прочел следующее:

«Стыдно тебе, старый пес, что ты, невзирая на мои строгие приказания, мне не донес о сыне моем Петре Андреевиче и что посторонние принуждены уведомлять меня о его проказах. Так ли исполняешь ты свою должность и господскую волю? Я тебя, старого пса! пошлю свиней пасти за утайку правды и потворство к молодому человеку. С получением сего приказываю тебе немедленно отписать ко мне, каково теперь его здоровье, о котором пишут мне, что поправилось; да в какое именно место он ранен и хорошо ли его залечили».

Очевидно было, что Савельич передо мною был прав и что я напрасно оскорбил его упреком и подозрением. Я просил у него прощения; но старик был неутешен. «Вот до чего я дожил, — повторял он, — вот каких милостей дослужился от своих господ! Я и старый пес, и свинопас, да я ж и причина твоей раны? Нет, батюшка Петр Андреич! не я, проклятый

мусье всему виноват: он научил тебя тыкаться железными вертелами да притопывать, как будто тыканием да топанием убережешься от злого человека! Нужно было нанимать мусье да тратить лишние деньги!»

Но кто же брал на себя труд уведомить отца моего о моем поведении? Генерал? Но он, казалось, обо мне не слишком заботился; а Иван Кузмич не почел за нужное рапортовать о моем поединке. Я терялся в догадках. Подозрения мои остановились на Швабрине. Он один имел выгоду в доносе, коего следствием могло быть удаление мое из крепости и разрыв с комендантским семейством. Я пошел объявить обо всем Марье Ивановне. Она встретила меня на крыльце. «Что это с вами сделалось? — сказала она, увидев меня. — Как вы бледны!» — «Все кончено!» — отвечал я и отдал ей батюшкино письмо. Она побледнела в свою очередь. Прочитав, она возвратила мне письмо дрожащею рукою и сказала дрожащим голосом: «Видно, мне не судьба... Родные ваши не хотят меня в свою семью. Буди во всем воля господня! Бог лучше нашего знает, что нам надобно. Делать нечего, Петр Андреич; будьте хоть вы счастливы...» — «Этому не бывать! — вскричал я, схватив ее за руку, — ты меня любишь; я готов на все. Пойдем, кинемся в ноги к твоим родителям; они люди простые, не жестокосердые гордецы... Они нас благословят; мы обвенчаемся... а там, со временем, я уверен, мы умолим отца моего; матушка будет за нас; он меня простит...» — «Нет, Петр Андреич, — отвечала Маша, — я не выйду за тебя без благословения твоих родителей. Без их благословения не будет тебе счастия. Покоримся воле божией. Коли найдешь себе суженую, коли полюбишь другую — бог с тобою, Петр Андреич; а я за вас обоих...» Тут она заплакала и ушла от меня; я хотел было войти за нею в комнату, но чувствовал, что был не в состоянии владеть самим собою, и воротился домой.

Я сидел, погруженный в глубокую задумчивость, как вдруг Савельич прервал мои размышления. «Вот, сударь, — сказал он, подавая мне исписанный лист бумаги, — посмотри, доносчик ли я на своего барина и

стараюсь ли я помутить сына с отцом.» Я взял из рук его бумагу: это был ответ Савельича на полученное им письмо. Вот он от слова до слова:

«Государь Андрей Петрович,  
отец наш милостивый!

Милостивое писание ваше я получил, в котором изволишь гневаться на меня, раба вашего, что-де стыдно мне не исполнять господских приказаний; а я, не старый пес, а верный ваш слуга, господских приказаний слушаюсь и усердно вам всегда служил и дожил до седых волос. Я ж про рану Петра Андреича ничего к вам не писал, чтоб не испужать понапрасну, и, слышно, барыня, мать наша Авдотья Васильевна и так с испугу слегла, и за ее здоровие бога буду молить. А Петр Андреич ранен был под правое плечо, в грудь под самую косточку, в глубину на полтора вершка, и лежал он в доме у коменданта, куда принесли мы его с берега, и лечил его здешний цирюльник Степан Парамонов; и теперь Петр Андреич, слава богу, здоров, и про него, кроме хорошего, нечего и писать. Командиры, слышно, им довольны; а у Василисы Егоровны он как родной сын. А что с ним случилась такая оказия, то быль молодцу не укора: конь и о четырех ногах, да спотыкается. А изволите вы писать, что сошлете меня свиней пасти, и на то ваша боярская воля. За сим кланяюсь рабски.

Верный холоп ваш  
*Архип Савельев».*

Я не мог несколько раз не улыбнуться, читая грамоту доброго старика. Отвечать батюшке я был не в состоянии; а чтоб успокоить матушку, письмо Савельича мне показалось достаточным.

С той поры положение мое переменилось. Марья Ивановна почти со мною не говорила и всячески старалась избегать меня. Дом коменданта стал для меня постыл. Мало-помалу приучился я сидеть один у себя дома. Василиса Егоровна сначала за то мне пеняла; но, видя мое упрямство, оставила меня в покое. С Иваном Кузмичом виделся я только, когда того требовала

служба. Со Швабриным встречался редко и неохотно, тем более что замечал в нем скрытую к себе неприязнь, что и утверждало меня в моих подозрениях. Жизнь моя сделалась мне несносна. Я впал в мрачную задумчивость, которую питали одиночество и бездействие. Любовь моя разгоралась в уединении и час от часу становилась мне тягостнее. Я потерял охоту к чтению и словесности. Дух мой упал. Я боялся или сойти с ума, или удариться в распутство. Неожиданные происшествия, имевшие важное влияние на всю мою жизнь, дали вдруг моей душе сильное и благое потрясение.

**Глава VI**

ПУГАЧЕВЩИНА

Вы, молодые ребята, послушайте,  
Что мы, старые старики, будем сказывати.

Песня.

Прежде нежели приступлю к описанию странных происшествий, коим я был свидетель, я должен сказать несколько слов о положении, в котором находилась Оренбургская губерния в конце 1773 года.

Сия обширная и богатая губерния обитаема была множеством полудиких народов, признавших еще недавно владычество российских государей. Их поминутные возмущения, непривычка к законам и гражданской жизни, легкомыслие и жестокость требовали со стороны правительства непрестанного надзора для удержания их в повиновении. Крепости выстроены были в местах, признанных удобными, заселены по большей части казаками, давнишними обладателями яицких берегов. Но яицкие казаки, долженствовавшие охранять спокойствие и безопасность сего края, с некоторого времени были сами для правительства неспокойными и опасными подданными. В 1772 году произошло возмущение в их главном городке. Причиною тому были строгие меры, предпринятые генерал-майором Траубенбергом, дабы привести войско к должному повиновению. Следствием было варварское убиение Траубенберга, своевольная перемена в управлении и, наконец, усмирение бунта картечью и жестокими наказаниями.

Это случилось несколько времени перед прибытием моим в Белогорскую крепость. Все было уже тихо или казалось таковым; начальство слишком легко поверило мнимому раскаянию лукавых мятежников, которые злобствовали втайне и выжидали удобного случая для возобновления беспорядков.

Обращаюсь к своему рассказу.

Однажды вечером (это было в начале октября 1773 года) сидел я дома один, слушая вой осеннего ветра и смотря в окно на тучи, бегущие мимо луны. Пришли меня звать от имени коменданта. Я тотчас отправился. У коменданта нашел я Швабрина, Ивана Игнатьича и казацкого урядника. В комнате не было ни Василисы Егоровны, ни Марьи Ивановны. Комендант со мною поздоровался с видом озабоченным. Он запер двери, всех усадил, кроме урядника, который стоял у дверей, вынул из кармана бумагу и сказал нам: «Господа офицеры, важная новость! Слушайте, что пишет генерал». Тут он надел очки и прочел следующее:

«Господину коменданту Белогорской крепости   
Капитану Миронову.

По секрету.

Сим извещаю вас, что убежавший из-под караула донской казак и раскольник Емельян Пугачев, учиня непростительную дерзость принятием на себя имени покойного императора Петра III, собрал злодейскую шайку, произвел возмущение в яицких селениях и уже взял и разорил несколько крепостей, производя везде грабежи и смертные убийства. Того ради, с получением сего, имеете вы, господин капитан, немедленно принять надлежащие меры к отражению помянутого злодея и самозванца, а буде можно и к совершенному уничтожению оного, если он обратится на крепость, вверенную вашему попечению».

— Принять надлежащие меры! — сказал комендант, снимая очки и складывая бумагу. — Слышь ты, легко сказать. Злодей-то, видно, силен; а у нас всего сто тридцать человек, не считая казаков, на которых плоха надежда, не в укор буди тебе сказано, Максимыч. (Урядник усмехнулся.) Однако делать нечего, господа офицеры! Будьте исправны, учредите караулы да ночные дозоры; в случае нападения запирайте ворота да выводите солдат. Ты, Максимыч, смотри крепко за своими казаками. Пушку осмотреть да хорошенько вычистить. А пуще всего содержите все это в тайне, чтоб в крепости никто не мог о том узнать преждевременно.

Раздав сии повеления, Иван Кузмич нас распустил. Я вышел вместе со Швабриным, рассуждая о том, что мы слышали. «Как ты думаешь, чем это кончится?» — спросил я его. «Бог знает, — отвечал он, — посмотрим. Важного покамест еще ничего не вижу. Если же...» Тут он задумался и в рассеянии стал насвистывать французскую арию.

Несмотря на все наши предосторожности, весть о появлении Пугачева разнеслась по крепости. Иван Кузмич, хоть и очень уважал свою супругу, но ни за что на свете не открыл бы ей тайны, вверенной ему по службе. Получив письмо от генерала, он довольно искусным образом выпроводил Василису Егоровну, сказав ей, будто бы отец Герасим получил из Оренбурга какие-то чудные известия, которые содержит в великой тайне. Василиса Егоровна тотчас захотела отправиться в гости к попадье и, по совету Ивана Кузмича, взяла с собою и Машу, чтоб ей не было скучно одной.

Иван Кузмич, оставшись полным хозяином, тотчас послал за нами, а Палашку запер в чулан, чтоб она не могла нас подслушать.

Василиса Егоровна возвратилась домой, не успев ничего выведать от попадьи, и узнала, что во время ее отсутствия было у Ивана Кузмича совещание и что Палашка была под замком. Она догадалась, что была обманута мужем, и приступила к нему с допросом. Но Иван Кузмич приготовился к нападению. Он нимало не смутился и бодро отвечал своей любопытной

сожительнице: «А слышь ты, матушка, бабы наши вздумали печи топить соломою; а как от того может произойти несчастие, то я и отдал строгий приказ впредь соломою бабам печей не топить, а топить хворостом и валежником». — «А для чего ж было тебе запирать Палашку? — спросила комендантша. — За что бедная девка просидела в чулане, пока мы не воротились?» Иван Кузмич не был приготовлен к таковому вопросу; он запутался и пробормотал что-то очень нескладное. Василиса Егоровна увидела коварство своего мужа; но, зная, что ничего от него не добьется, прекратила свои вопросы и завела речь о соленых огурцах, которые Акулина Памфиловна приготовляла совершенно особенным образом. Во всю ночь Василиса Егоровна не могла заснуть и никак не могла догадаться, что бы такое было в голове ее мужа, о чем бы ей нельзя было знать.

На другой день, возвращаясь от обедни, она увидела Ивана Игнатьича, который вытаскивал из пушки тряпички, камушки, щепки, бабки и сор всякого рода, запиханный в нее ребятишками. «Что бы значили эти военные приготовления? — думала комендантша, — уж не ждут ли нападения от киргизцев? Но неужто Иван Кузмич стал бы от меня таить такие пустяки?» Она кликнула Ивана Игнатьича, с твердым намерением выведать от него тайну, которая мучила ее дамское любопытство.

Василиса Егоровна сделала ему несколько замечаний касательно хозяйства, как судия, начинающий следствие вопросами посторонними, дабы сперва усыпить осторожность ответчика. Потом, помолчав несколько минут, она глубоко вздохнула и оказала, качая головою: «Господи боже мой! Вишь какие новости! Что из этого будет?»

— И, матушка! — отвечал Иван Игнатьич. — Бог милостив: солдат у нас довольно, пороху много, пушку я вычистил. Авось дадим отпор Пугачеву. Господь не выдаст, свинья не съест!

— А что за человек этот Пугачев? — спросила комендантша.

Тут Иван Игнатьич заметил, что проговорился, и закусил язык. Но уже было поздно. Василиса Егоровна

принудила его во всем признаться, дав ему слово не рассказывать о том никому.

Василиса Егоровна сдержала свое обещание и никому не сказала ни одного слова, кроме как попадье, и то потому только, что корова ее ходила еще в степи и могла быть захвачена злодеями.

Вскоре все заговорили о Пугачеве. Толки были различны. Комендант послал урядника с поручением разведать хорошенько обо всем по соседним селениям и крепостям. Урядник возвратился через два дня и объявил, что в степи верст за шестьдесят от крепости видел он множество огней и слышал от башкирцев, что идет неведомая сила. Впрочем, не мог он сказать ничего положительного, потому что ехать дальше побоялся.

В крепости между казаками заметно стало необыкновенное волнение; во всех улицах они толпились в кучки, тихо разговаривали между собою и расходились, увидя драгуна или гарнизонного солдата. Посланы были к ним лазутчики. Юлай, крещеный калмык, сделал коменданту важное донесение. Показания урядника, по словам Юлая, были ложны: по возвращении своем лукавый казак объявил своим товарищам, что он был у бунтовщиков, представлялся самому их предводителю, который допустил его к своей руке и долго с ним разговаривал. Комендант немедленно посадил урядника под караул, а Юлая назначил на его место. Эта новость принята была казаками с явным неудовольствием. Они громко роптали, и Иван Игнатьич, исполнитель комендантского распоряжения, слышал своими ушами, как они говорили: «Вот ужо тебе будет, гарнизонная крыса!» Комендант думал в тот же день допросить своего арестанта; но урядник бежал из-под караула, вероятно при помощи своих единомышленников.

Новое обстоятельство усилило беспокойство коменданта. Схвачен был башкирец с возмутительными листами. По сему случаю комендант думал опять собрать своих офицеров и для того хотел опять удалить Василису Егоровну под благовидным предлогом. Но как Иван Кузмич был человек самый прямодушный и

правдивый, то и не нашел другого способа, кроме как единожды уже им употребленного.

«Слышь ты, Василиса Егоровна, — сказал он ей покашливая. — Отец Герасим получил, говорят, из города...» — «Полно врать, Иван Кузмич, — перервала комендантша, — ты, знать, хочешь собрать совещание да без меня потолковать об Емельяне Пугачеве; да лих не проведешь!» Иван Кузмич вытаращил глаза. «Ну, матушка, — сказал он, — коли ты уже все знаешь, так, пожалуй, оставайся; мы потолкуем и при тебе». — «То-то, батько мой, — отвечала она, — не тебе бы хитрить; посылай-ка за офицерами».

Мы собрались опять. Иван Кузмич в присутствии жены прочел нам воззвание Пугачева, писанное каким-нибудь полуграмотным казаком. Разбойник объявлял о своем намерении немедленно идти на нашу крепость; приглашал казаков и солдат в свою шайку, а командиров увещевал не супротивляться, угрожая казнию в противном случае. Воззвание написано было в грубых, но сильных выражениях и должно было произвести опасное впечатление на умы простых людей.

«Каков мошенник! — воскликнула комендантша. — Что смеет еще нам предлагать! Выйти к нему навстречу и положить к ногам его знамена! Ах он собачий сын! Да разве не знает он, что мы уже сорок лет в службе и всего, слава богу, насмотрелись? Неужто нашлись такие командиры, которые послушались разбойника?»

— Кажется, не должно бы, — отвечал Иван Кузмич. — А слышно, злодей завладел уж многими крепостями.

— Видно, он в самом деле силен, — заметил Швабрин.

— А вот сейчас узнаем настоящую его силу, — сказал комендант. — Василиса Егоровна, дай мне ключ от анбара. Иван Игнатьич, приведи-ка башкирца да прикажи Юлаю принести сюда плетей.

— Постой, Иван Кузмич, — сказала комендантша, вставая с места. — Дай уведу Машу куда-нибудь из дому; а то услышит крик, перепугается. Да и я, правду сказать, не охотница до розыска. Счастливо оставаться.

Пытка в старину так была укоренена в обычаях судопроизводства, что благодетельный указ, уничтоживший оную, долго оставался безо всякого действия. Думали, что собственное признание преступника необходимо было для его полного обличения, — мысль не только неосновательная, но даже и совершенно противная здравому юридическому смыслу: ибо, если отрицание подсудимого не приемлется в доказательство его невинности, то признание его и того менее должно быть доказательством его виновности. Даже и ныне случается мне слышать старых судей, жалеющих об уничтожении варварского обычая. В наше же время никто не сомневался в необходимости пытки, ни судьи, ни подсудимые. Итак, приказание коменданта никого из нас не удивило и не встревожило. Иван Игнатьич отправился за башкирцем, который сидел в анбаре под ключом у комендантши, и через несколько минут невольника привели в переднюю. Комендант велел его к себе представить.

Башкирец с трудом шагнул через порог (он был в колодке) и, сняв высокую свою шапку, остановился у дверей. Я взглянул на него и содрогнулся. Никогда не забуду этого человека. Ему казалось лет за семьдесят. У него не было ни носа, ни ушей. Голова его была выбрита; вместо бороды торчало несколько седых волос; он был малого росту, тощ и сгорблен; но узенькие глаза его сверкали еще огнем. «Эхе! — сказал комендант, узнав, по страшным его приметам, одного из бунтовщиков, наказанных в 1741 году. — Да ты, видно, старый волк, побывал в наших капканах. Ты, знать, не впервой уже бунтуешь, коли у тебя так гладко выстрогана башка. Подойди-ка поближе; говори, кто тебя подослал?»

Старый башкирец молчал и глядел на коменданта с видом совершенного бессмыслия. «Что же ты молчишь? — продолжал Иван Кузмич, — али бельмес по-русски не разумеешь? Юлай, спроси-ка у него по-вашему, кто его подослал в нашу крепость?»

Юлай повторил на татарском языке вопрос Ивана Кузмича. Но башкирец глядел на него с тем же выражением и не отвечал ни слова.

— Якши, — сказал комендант, — ты у меня заговоришь. Ребята! сымите-ка с него дурацкий полосатый халат да выстрочите ему спину. Смотри ж, Юлай: хорошенько его!

Два инвалида стали башкирца раздевать. Лицо несчастного изобразило беспокойство. Он оглядывался на все стороны, как зверок, пойманный детьми. Когда ж один из инвалидов взял его руки и, положив их себе около шеи, поднял старика на свои плечи, а Юлай взял плеть и замахнулся, — тогда башкирец застонал слабым, умоляющим голосом и, кивая головою, открыл рот, в котором вместо языка шевелился короткий обрубок.

Когда вспомню, что это случилось на моем веку и что ныне дожил я до кроткого царствования императора Александра, не могу не дивиться быстрым успехам просвещения и распространению правил человеколюбия. Молодой человек! если записки мои попадутся в твои руки, вспомни, что лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без всяких насильственных потрясений.

Все были поражены. «Ну, — сказал комендант, — видно, нам от него толку не добиться. Юлай, отведи башкирца в анбар. А мы, господа, кой о чем еще потолкуем».

Мы стали рассуждать о нашем положении, как вдруг Василиса Егоровна вошла в комнату, задыхаясь и с видом чрезвычайно встревоженным.

— Что это с тобою сделалось? — спросил изумленный комендант.

— Батюшки, беда! — отвечала Василиса Егоровна. — Нижнеозерная взята сегодня утром. Работник отца Герасима сейчас оттуда воротился. Он видел, как ее брали. Комендант и все офицеры перевешаны. Все солдаты взяты в полон. Того и гляди злодеи будут сюда.

Неожиданная весть сильно меня поразила. Комендант Нижнеозерной крепости, тихий и скромный молодой человек, был мне знаком: месяца за два перед тем проезжал он из Оренбурга с молодой своей женою и останавливался у Ивана Кузмича. Нижнеозерная находилась от нашей крепости верстах в двадцати пяти. С часу на час должно было и нам ожидать нападения

Пугачева. Участь Марьи Ивановны живо представилась мне, и сердце у меня так и замерло.

— Послушайте, Иван Кузмич! — сказал я коменданту. — Долг наш защищать крепость до последнего нашего издыхания; об этом и говорить нечего. Но надобно подумать о безопасности женщин. Отправьте их в Оренбург, если дорога еще свободна, или в отдаленную, более надежную крепость, куда злодеи не успели бы достигнуть.

Иван Кузмич оборотился к жене и сказал ей:

— А слышь ты, матушка, и в самом деле, не отправить ли вас подале, пока не управимся мы с бунтовщиками?

— И, пустое! — сказала комендантша. — Где такая крепость, куда бы пули не залетали? Чем Белогорская ненадежна? Слава богу, двадцать второй год в ней проживаем. Видали и башкирцев и киргизцев: авось и от Пугачева отсидимся!

— Ну, матушка, — возразил Иван Кузмич, — оставайся, пожалуй, коли ты на крепость нашу надеешься. Да с Машей-то что нам делать? Хорошо, коли отсидимся или дождемся сикурса; ну, а коли злодеи возьмут крепость?

— Ну, тогда... — Тут Василиса Егоровна заикнулась и замолчала с видом чрезвычайного волнения.

— Нет, Василиса Егоровна, — продолжал комендант, замечая, что слова его подействовали, может быть, в первый раз в его жизни. — Маше здесь оставаться не гоже. Отправим ее в Оренбург к ее крестной матери: там и войска и пушек довольно, и стена каменная. Да и тебе советовал бы с нею туда же отправиться; даром, что ты старуха, а посмотри, что с тобою будет, коли возьмут фортецию приступом.

— Добро, — сказала комендантша, — так и быть, отправим Машу. А меня и во сне не проси: не поеду. Нечего мне под старость лет расставаться с тобою да искать одинокой могилы на чужой сторонке. Вместе жить, вместе и умирать.

— И то дело, — сказал комендант. — Ну, медлить нечего. Ступай готовить Машу в дорогу. Завтра чем

свет ее и отправим; да дадим ей и конвой, хоть людей лишних у нас и нет. Да где же Маша?

— У Акулины Памфиловны, — отвечала комендантша. — Ей сделалось дурно, как услышала о взятии Нижнеозерной; боюсь, чтобы не занемогла. Господи владыко, до чего мы дожили!

Василиса Егоровна ушла хлопотать об отъезде дочери. Разговор у коменданта продолжался; но я уже в него не мешался и ничего не слушал. Марья Ивановна явилась к ужину бледная и заплаканная. Мы отужинали молча и встали из-за стола скорее обыкновенного; простясь со всем семейством, мы отправились по домам. Но я нарочно забыл свою шпагу и воротился за нею: я предчувствовал, что застану Марью Ивановну одну. В самом деле, она встретила меня в дверях и вручила мне шпагу. «Прощайте, Петр Андреич! — сказала она мне со слезами. — Меня посылают в Оренбург. Будьте живы и счастливы; может быть, господь приведет нас друг с другом увидеться; если же нет...» Тут она зарыдала. Я обнял ее. «Прощай, ангел мой, — сказал я, — прощай, моя милая, моя желанная! Что бы со мною ни было, верь, что последняя моя мысль и последняя молитва будет о тебе!» Маша рыдала, прильнув к моей груди. Я с жаром ее поцеловал и поспешно вышел из комнаты.

**Глава VII**

ПРИСТУП

Голова моя, головушка,   
Голова послуживая!  
Послужила моя головушка  
Ровно тридцать лет и три года.  
Ах, не выслужила головушка  
Ни корысти себе, ни радости,  
Как ни слова себе доброго  
И ни рангу себе высокого;  
Только выслужила головушка  
Два высокие столбика,   
Перекладинку кленовую,  
Еще петельку шелковую.

Народная песня.

В эту ночь я не спал и не раздевался. Я намерен был отправиться на заре к крепостным воротам, откуда Марья Ивановна должна была выехать, и там проститься с нею в последний раз. Я чувствовал в себе великую перемену: волнение души моей было мне гораздо менее тягостно, нежели то уныние, в котором еще недавно был я погружен. С грустию разлуки сливались во мне и неясные, но сладостные надежды, и нетерпеливое ожидание опасностей, и чувства благородного честолюбия. Ночь прошла незаметно. Я хотел уже выйти из дому, как дверь моя отворилась и ко мне явился капрал с донесением, что наши казаки ночью выступили из крепости, взяв насильно с собою Юлая,

и что около крепости разъезжают неведомые люди. Мысль, что Марья Ивановна не успеет выехать, ужаснула меня; я поспешно дал капралу несколько наставлений и тотчас бросился к коменданту.

Уж рассветало. Я летел по улице, как услышал, что зовут меня. Я остановился. «Куда вы? — сказал Иван Игнатьич, догоняя меня.— Иван Кузмич на валу и послал меня за вами. Пугач пришел». — «Уехала ли Марья Ивановна? — спросил я с сердечным трепетом». — «Не успела, — отвечал Иван Игнатьич, — дорога в Оренбург отрезана; крепость окружена. Плохо, Петр Андреич!»

Мы пошли на вал, возвышение, образованное природой и укрепленное частоколом. Там уже толпились все жители крепости. Гарнизон стоял в ружье. Пушку туда перетащили накануне. Комендант расхаживал перед своим малочисленным строем. Близость опасности одушевляла старого воина бодростию необыкновенной. По степи, не в дальнем расстоянии от крепости, разъезжали человек двадцать верхами. Они, казалося, казаки, но между ими находились и башкирцы, которых легко можно было распознать по их рысьим шапкам и по колчанам. Комендант обошел свое войско, говоря солдатам: «Ну, детушки, постоим сегодня за матушку государыню и докажем всему свету, что мы люди бравые и присяжные!» Солдаты громко изъявили усердие. Швабрин стоял подле меня и пристально глядел на неприятеля. Люди, разъезжающие в степи, заметя движение в крепости, съехались в кучку и стали между собою толковать. Комендант велел Ивану Игнатьичу навести пушку на их толпу и сам приставил фитиль. Ядро зажужжало и пролетело над ними, не сделав никакого вреда. Наездники, рассеясь, тотчас ускакали из виду, и степь опустела.

Тут явилась на валу Василиса Егоровна и с нею Маша, не хотевшая отстать от нее. «Ну, что? — сказала комендантша. — Каково идет баталья? Где же неприятель?» — «Неприятель недалече, — отвечал Иван Кузмич. — Бог даст, все будет ладно. Что, Маша, страшно тебе?» — «Нет, папенька, — отвечала Марья Ивановна, — дома одной страшнее». Тут она взглянула

на меня и с усилием улыбнулась. Я невольно стиснул рукоять моей шпаги, вспомня, что накануне получил ее из ее рук, как бы на защиту моей любезной. Сердце мое горело. Я воображал себя ее рыцарем. Я жаждал доказать, что был достоин ее доверенности, и с нетерпением стал ожидать решительной минуты.

В это время из-за высоты, находившейся в полверсте от крепости, показались новые конные толпы, и вскоре степь усеялась множеством людей, вооруженных копьями и сайдаками. Между ими на белом коне ехал человек в красном кафтане, с обнаженной саблею в руке: это был сам Пугачев. Он остановился; его окружили, и, как видно, по его повелению, четыре человека отделились и во весь опор подскакали под самую крепость. Мы в них узнали своих изменников. Один из них держал под шапкою лист бумаги; у другого на копье воткнута была голова Юлая, которую, стряхнув, перекинул он к нам чрез частокол. Голова бедного калмыка упала к ногам коменданта. Изменники кричали: «Не стреляйте; выходите вон к государю. Государь здесь!»

«Вот я вас! — закричал Иван Кузмич. — Ребята! стреляй!» Солдаты наши дали залп. Казак, державший письмо, зашатался и свалился с лошади; другие поскакали назад. Я взглянул на Марью Ивановну. Пораженная видом окровавленной головы Юлая, оглушенная залпом, она казалась без памяти. Комендант подозвал капрала и велел ему взять лист из рук убитого казака. Капрал вышел в поле и возвратился, ведя под уздцы лошадь убитого. Он вручил коменданту письмо. Иван Кузмич прочел его про себя и разорвал потом в клочки. Между тем мятежники, видимо, приготовлялись к действию. Вскоре пули начали свистать около наших ушей, и несколько стрел воткнулись около нас в землю и в частокол. «Василиса Егоровна! — сказал комендант. — Здесь не бабье дело; уведи Машу; видишь: девка ни жива ни мертва».

Василиса Егоровна, присмиревшая под пулями, взглянула на степь, на которой заметно было большое движение; потом оборотилась к мужу и сказала ему: «Иван Кузмич, в животе и смерти бог волен: благослови Машу. Маша, подойди к отцу».

Маша, бледная и трепещущая, подошла к Ивану Кузмичу, стала на колени и поклонилась ему в землю. Старый комендант перекрестил ее трижды; потом поднял и, поцеловав, сказал ей изменившимся голосом: «Ну, Маша, будь счастлива. Молись богу: он тебя не оставит. Коли найдется добрый человек, дай бог вам любовь да совет. Живите, как жили мы с Василисой Егоровной. Ну, прощай, Маша. Василиса Егоровна, уведи же ее поскорей». (Маша кинулась ему на шею и зарыдала.) «Поцелуемся ж и мы, — сказала, заплакав, комендантша. — Прощай, мой Иван Кузмич. Отпусти мне, коли в чем я тебе досадила!» — «Прощай, прощай, матушка! — сказал комендант, обняв свою старуху. — Ну, довольно! Ступайте, ступайте домой; да коли успеешь, надень на Машу сарафан». Комендантша с дочерью удалились. Я глядел вослед Марьи Ивановны; она оглянулась и кивнула мне головой. Тут Иван Кузмич оборотился к нам, и все внимание его устремилось на неприятеля. Мятежники съезжались около своего предводителя и вдруг начали слезать с лошадей. «Теперь стойте крепко, — сказал комендант, — будет приступ...» В эту минуту раздался страшный визг и крики; мятежники бегом бежали к крепости. Пушка наша заряжена была картечью. Комендант подпустил их на самое близкое расстояние и вдруг выпалил опять. Картечь хватила в самую середину толпы. Мятежники отхлынули в обе стороны и попятились. Предводитель их остался один впереди... Он махал саблею и, казалось, с жаром их уговаривал... Крик и визг, умолкнувшие на минуту, тотчас снова возобновились. «Ну, ребята, — сказал комендант, — теперь отворяй ворота, бей в барабан. Ребята! вперед, на вылазку, за мною!»

Комендант, Иван Игнатьич и я мигом очутились за крепостным валом; но обробелый гарнизон не тронулся. «Что ж вы, детушки, стоите? — закричал Иван Кузмич. — Умирать так умирать: дело служивое!» В эту минуту мятежники набежали на нас и ворвались в крепость. Барабан умолк; гарнизон бросил ружья; меня сшибли было с ног, но я встал и вместе с мятежниками вошел в крепость. Комендант, раненный в голову, стоял в кучке злодеев, которые требовали от него

ключей. Я бросился было к нему на помощь: несколько дюжих казаков схватили меня и связали кушаками, приговаривая: «Вот ужо вам будет, государевым ослушникам!» Нас потащили по улицам; жители выходили из домов с хлебом и солью. Раздавался колокольный звон. Вдруг закричали в толпе, что государь на площади ожидает пленных и принимает присягу. Народ повалил на площадь; нас погнали туда же.

Пугачев сидел в креслах на крыльце комендантского дома. На нем был красный казацкий кафтан, обшитый галунами. Высокая соболья шапка с золотыми кистями была надвинута на его сверкающие глаза. Лицо его показалось мне знакомо. Казацкие старшины окружали его. Отец Герасим, бледный и дрожащий, стоял у крыльца, с крестом в руках, и, казалось, молча умолял его за предстоящие жертвы. На площади ставили наскоро виселицу. Когда мы приближились, башкирцы разогнали народ и нас представили Пугачеву. Колокольный звон утих; настала глубокая тишина. «Который комендант?» — спросил самозванец. Наш урядник выступил из толпы и указал на Ивана Кузмича. Пугачев грозно взглянул на старика и сказал ему: «Как ты смел противиться мне, своему государю?» Комендант, изнемогая от раны, собрал последние силы и отвечал твердым голосом: «Ты мне не государь, ты вор и самозванец, слышь ты!» Пугачев мрачно нахмурился и махнул белым платком. Несколько казаков подхватили старого капитана и потащили к виселице. На ее перекладине очутился верхом изувеченный башкирец, которого допрашивали мы накануне. Он держал в руке веревку, и через минуту увидел я бедного Ивана Кузмича, вздернутого на воздух. Тогда привели к Пугачеву Ивана Игнатьича. «Присягай, — сказал ему Пугачев, — государю Петру Феодоровичу!» — «Ты нам не государь, — отвечал Иван Игнатьич, повторяя слова своего капитана. — Ты, дядюшка, вор и самозванец!» Пугачев махнул опять платком, и добрый поручик повис подле своего старого начальника.

Очередь была за мною. Я глядел смело на Пугачева, готовясь повторить ответ великодушных моих товарищей. Тогда, к неописанному моему изумлению, увидел

я среди мятежных старшин Швабрина, обстриженного в кружок и в казацком кафтане. Он подошел к Пугачеву и сказал ему на ухо несколько слов. «Вешать его!» — сказал Пугачев, не взглянув уже на меня. Мне накинули на шею петлю. Я стал читать про себя молитву, принося богу искреннее раскаяние во всех моих прегрешениях и моля его о спасении всех близких моему сердцу. Меня притащили под виселицу. «Не бось, не бось», — повторяли мне губители, может быть и вправду желая меня ободрить. Вдруг услышал я крик: «Постойте, окаянные! погодите!..» Палачи остановились. Гляжу: Савельич лежит в ногах у Пугачева. «Отец родной! — говорил бедный дядька. — Что тебе в смерти барского дитяти? Отпусти его; за него тебе выкуп дадут; а для примера и страха ради вели повесить хоть меня старика!» Пугачев дал знак, и меня тотчас развязали и оставили. «Батюшка наш тебя милует», — говорили мне. В эту минуту не могу сказать, чтоб я обрадовался своему избавлению, не скажу, однако ж, чтоб я о нем и сожалел. Чувствования мои были слишком смутны. Меня снова привели к самозванцу и поставили перед ним на колени. Пугачев протянул мне жилистую свою руку. «Целуй руку, целуй руку!» — говорили около меня. Но я предпочел бы самую лютую казнь такому подлому унижению. «Батюшка Петр Андреич! — шептал Савельич, стоя за мною и толкая меня. — Не упрямься! что тебе стоит? плюнь да поцелуй у злод... (тьфу!) поцелуй у него ручку». Я не шевелился. Пугачев опустил руку, сказав с усмешкою: «Его благородие, знать, одурел от радости. Подымите его!» Меня подняли и оставили на свободе. Я стал смотреть на продолжение ужасной комедии.

Жители начали присягать. Они подходили один за другим, целуя распятие и потом кланяясь самозванцу. Гарнизонные солдаты стояли тут же. Ротный портной, вооруженный тупыми своими ножницами, резал у них косы. Они, отряхиваясь, подходили к руке Пугачева, который объявлял им прощение и принимал в свою шайку. Все это продолжалось около трех часов. Наконец Пугачев встал с кресел и сошел с крыльца в сопровождении своих старшин. Ему подвели белого коня,

украшенного богатой сбруей. Два казака взяли его под руки и посадили на седло. Он объявил отцу Герасиму, что будет обедать у него. В эту минуту раздался женский крик. Несколько разбойников вытащили на крыльцо Василису Егоровну, растрепанную и раздетую донага. Один из них успел уже нарядиться в ее душегрейку. Другие таскали перины, сундуки, чайную посуду, белье и всю рухлядь. «Батюшки мои! — кричала бедная старушка. — Отпустите душу на покаяние. Отцы родные, отведите меня к Ивану Кузмичу». Вдруг она взглянула на виселицу и узнала своего мужа. «Злодеи! — закричала она в исступлении. — Что это вы с ним сделали? Свет ты мой, Иван Кузмич, удалая солдатская головушка! не тронули тебя ни штыки прусские, ни пули турецкие; не в честном бою положил ты свой живот, а сгинул от беглого каторжника!» — «Унять старую ведьму!» — сказал Пугачев. Тут молодой казак ударил ее саблею по голове, и она упала мертвая на ступени крыльца. Пугачев уехал; народ бросился за ним.

**Глава VIII**

НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ

Незваный гость хуже татарина.

Пословица.

Площадь опустела. Я все стоял на одном месте и не мог привести в порядок мысли, смущенные столь ужасными впечатлениями.

Неизвестность о судьбе Марьи Ивановны пуще всего меня мучила. Где она? что с нею? успела ли спрятаться? надежно ли ее убежище?.. Полный тревожными мыслями, я вошел в комендантский дом... Все было пусто; стулья, столы, сундуки были переломаны; посуда перебита; все растаскано. Я взбежал по маленькой лестнице, которая вела в светлицу, и в первый раз отроду вошел в комнату Марьи Ивановны. Я увидел ее постелю, перерытую разбойниками; шкап был разломан и ограблен; лампадка теплилась еще перед опустелым кивотом. Уцелело и зеркальце, висевшее в простенке... Где ж была хозяйка этой смиренной, девической кельи? Страшная мысль мелькнула в уме моем: я вообразил ее в руках у разбойников... Сердце мое сжалось... Я горько, горько заплакал и громко произнес имя моей любезной... В эту минуту послышался легкий шум, и из-за шкапа явилась Палаша, бледная и трепещущая.

— Ах, Петр Андреич! — сказала она, сплеснув руками. — Какой денек! какие страсти!..

— А Марья Ивановна? — спросил я нетерпеливо, — что Марья Ивановна?

— Барышня жива, — отвечала Палаша. — Она спрятана у Акулины Памфиловны.

— У попадьи! — вскричал я с ужасом. — Боже мой! да там Пугачев!..

Я бросился вон из комнаты, мигом очутился на улице и опрометью побежал в дом священника, ничего не видя и не чувствуя. Там раздавались крики, хохот и песни... Пугачев пировал с своими товарищами. Палаша прибежала туда же за мною. Я подослал ее вызвать тихонько Акулину Памфиловну. Через минуту попадья вышла ко мне в сени с пустым штофом в руках.

— Ради бога! где Марья Ивановна? — спросил я с неизъяснимым волнением.

— Лежит, моя голубушка, у меня на кровати, там за перегородкою, — отвечала попадья. — Ну, Петр Андреич, чуть было не стряслась беда, да, слава богу, все прошло благополучно: злодей только что уселся обедать, как она, моя бедняжка, очнется да застонет!.. Я так и обмерла. Он услышал: «А кто это у тебя охает, старуха?» Я вору в пояс: «Племянница моя, государь; захворала, лежит, вот уж другая неделя». — «А молода твоя племянница?» — «Молода, государь». — «А покажи-ка мне, старуха, свою племянницу». — У меня сердце так и екнуло, да нечего было делать. — «Изволь, государь; только девка-то не сможет встать и прийти к твоей милости». — «Ничего, старуха, я и сам пойду погляжу». И ведь пошел окаянный за перегородку; как ты думаешь! ведь отдернул занавес, взглянул ястребиными своими глазами! — и ничего... бог вынес! А веришь ли, я и батька мой так уж и приготовились к мученической смерти. К счастию, она, моя голубушка, не узнала его. Господи владыко, дождались мы праздника! Нечего сказать! бедный Иван Кузмич! кто бы подумал!.. А Василиса-то Егоровна? А Иван-то Игнатьич? Его-то за что?.. Как это вас пощадили? А каков Швабрин, Алексей Иваныч? Ведь остригся в кружок и теперь у нас тут же с ними пирует! Проворен, нечего сказать. А как сказала я про больную племянницу,

так он, веришь ли, так взглянул на меня, как бы ножом насквозь; однако не выдал, спасибо ему и за то. — В эту минуту раздались пьяные крики гостей и голос отца Герасима. Гости требовали вина, хозяин кликал сожительницу. Попадья расхлопоталась. — Ступайте себе домой, Петр Андреич, — сказала она, — теперь не до вас; у злодеев попойка идет. Беда, попадетесь под пьяную руку. Прощайте, Петр Андреич. Что будет то будет; авось бог не оставит.

Попадья ушла. Несколько успокоенный, я отправился к себе на квартиру. Проходя мимо площади, я увидел несколько башкирцев, которые теснились около виселицы и стаскивали сапоги с повешенных; с трудом удержал я порыв негодования, чувствуя бесполезность заступления. По крепости бегали разбойники, грабя офицерские дома. Везде раздавались крики пьянствующих мятежников. Я пришел домой. Савельич встретил меня у порога. «Слава богу! — вскричал он, увидя меня. — Я было думал, что злодеи опять тебя подхватили. Ну, батюшка Петр Андреич! веришь ли? все у нас разграбили, мошенники: платье, белье, вещи, посуду — ничего не оставили. Да что уж! Слава богу, что тебя живого отпустили! А узнал ли ты, сударь, атамана?»

— Нет, не узнал; а кто ж он такой?

— Как, батюшка? Ты и позабыл того пьяницу, который выманил у тебя тулуп на постоялом дворе? Заячий тулупчик совсем новешенький; а он, бестия, его так и распорол, напяливая на себя!

Я изумился. В самом деле сходство Пугачева с моим вожатым было разительно. Я удостоверился, что Пугачев и он были одно и то же лицо, и понял тогда причину пощады, мне оказанной. Я не мог не подивиться странному сцеплению обстоятельств: детский тулуп, подаренный бродяге, избавлял меня от петли, и пьяница, шатавшийся по постоялым дворам, осаждал крепости и потрясал государством!

— Не изволишь ли покушать? — спросил Савельич, неизменный в своих привычках. — Дома ничего нет; пойду пошарю да что-нибудь тебе изготовлю.

Оставшись один, я погрузился в размышления. Что мне было делать? Оставаться в крепости, подвластной злодею, или следовать за его шайкою было неприлично офицеру. Долг требовал, чтобы я явился туда, где служба моя могла еще быть полезна отечеству в настоящих затруднительных обстоятельствах... Но любовь сильно советовала мне оставаться при Марье Ивановне и быть ей защитником и покровителем. Хотя я и предвидел скорую и несомненную перемену в обстоятельствах, но все же не мог не трепетать, воображая опасность ее положения.

Размышления мои были прерваны приходом одного из казаков, который прибежал с объявлением, что-де «великий государь требует тебя к себе». — «Где же он?» — спросил я, готовясь повиноваться.

— В комендантском, — отвечал казак. — После обеда батюшка наш отправился в баню, а теперь отдыхает. Ну, ваше благородие, по всему видно, что персона знатная: за обедом скушать изволил двух жареных поросят, а парится так жарко, что и Тарас Курочкин не вытерпел, отдал веник Фомке Бикбаеву да насилу холодной водой откачался. Нечего сказать: все приемы такие важные... А в бане, слышно, показывал царские свои знаки на грудях: на одной двуглавый орел, величиною с пятак, а на другой персона его.

Я не почел нужным оспоривать мнения казака и с ним вместе отправился в комендантский дом, заранее воображая себе свидание с Пугачевым и стараясь предугадать, чем оно кончится. Читатель легко может себе представить, что я не был совершенно хладнокровен.

Начинало смеркаться, когда пришел я к комендантскому дому. Виселица с своими жертвами страшно чернела. Тело бедной комендантши все еще валялось под крыльцом, у которого два казака стояли на карауле. Казак, приведший меня, отправился про меня доложить и, тотчас же воротившись, ввел меня в ту комнату, где накануне так нежно прощался я с Марьей Ивановною.

Необыкновенная картина мне представилась: за столом, накрытым скатертью и установленным штофами и

стаканами, Пугачев и человек десять казацких старшин сидели, в шапках и цветных рубашках, разгоряченные вином, с красными рожами и блистающими глазами. Между ими не было ни Швабрина, ни нашего урядника, новобраных изменников. «А, ваше благородие! — сказал Пугачев, увидя меня. — Добро пожаловать; честь и место, милости просим». Собеседники потеснились. Я молча сел на краю стола. Сосед мой, молодой казак, стройный и красивый, налил мне стакан простого вина, до которого я не коснулся. С любопытством стал я рассматривать сборище. Пугачев на первом месте сидел, облокотись на стол и подпирая черную бороду своим широким кулаком. Черты лица его, правильные и довольно приятные, не изъявляли ничего свирепого. Он часто обращался к человеку лет пятидесяти, называя его то графом, то Тимофеичем, а иногда величая его дядюшкою. Все обходились между собою как товарищи и не оказывали никакого особенного предпочтения своему предводителю. Разговор шел об утреннем приступе, об успехе возмущения и о будущих действиях. Каждый хвастал, предлагал свои мнения и свободно оспоривал Пугачева. И на сем-то странном военном совете решено было идти к Оренбургу: движение дерзкое, и которое чуть было не увенчалось бедственным успехом! Поход был объявлен к завтрашнему дню. «Ну, братцы, — сказал Пугачев, — затянем-ка на сон грядущий мою любимую песенку. Чумаков! Начинай!» Сосед мой затянул тонким голоском заунывную бурлацкую песню и все подхватили хором:

Не шуми, мати зеленая дубровушка,  
Не мешай мне доброму молодцу думу думати.  
Что заутра мне доброму молодцу в допрос идти  
Перед грозного судью, самого царя.  
Еще станет государь-царь меня спрашивать:  
Ты скажи, скажи, детинушка крестьянский сын,  
Уж как с кем ты воровал, с кем разбой держал,  
Еще много ли с тобой было товарищей?  
Я скажу тебе, надежа православный царь,  
Всеё правду скажу тебе, всю истину,  
Что товарищей у меня было четверо:  
Еще первый мой товарищ темная ночь,  
А второй мой товарищ булатный нож,  
А как третий-то товарищ, то мой добрый конь,

А четвертый мой товарищ, то тугой лук,  
Что рассыльщики мои, то калены стрелы.  
Что возговорит надежа православный царь:  
Исполать тебе, детинушка крестьянский сын,  
Что умел ты воровать, умел ответ держать!  
Я за то тебя, детинушка, пожалую  
Середи поля хоромами высокими,  
Что двумя ли столбами с перекладиной.

Невозможно рассказать, какое действие произвела на меня эта простонародная песня про виселицу, распеваемая людьми, обреченными виселице. Их грозные лица, стройные голоса, унылое выражение, которое придавали они словам и без того выразительным, — все потрясало меня каким-то пиитическим ужасом.

Гости выпили еще по стакану, встали из-за стола и простились с Пугачевым. Я хотел за ними последовать, но Пугачев сказал мне: «Сиди; я хочу с тобою переговорить». Мы остались глаз на глаз.

Несколько минут продолжалось обоюдное наше молчание. Пугачев смотрел на меня пристально, изредка прищуривая левый глаз с удивительным выражением плутовства и насмешливости. Наконец он засмеялся, и с такою непритворной веселостию, что и я, глядя на него, стал смеяться, сам не зная чему.

— Что, ваше благородие? — сказал он мне. — Струсил ты, признайся, когда молодцы мои накинули тебе веревку на шею? Я чаю, небо с овчинку показалось... А покачался бы на перекладине, если бы не твой слуга. Я тотчас узнал старого хрыча. Ну, думал ли ты, ваше благородие, что человек, который вывел тебя к умету, был сам великий государь? (Тут он взял на себя вид важный и таинственный.) Ты крепко передо мною виноват, — продолжал он, — но я помиловал тебя за твою добродетель, за то, что ты оказал мне услугу, когда принужден я был скрываться от своих недругов. То ли еще увидишь! Так ли еще тебя пожалую, когда получу свое государство! Обещаешься ли служить мне с усердием?

Вопрос мошенника и его дерзость показались мне так забавны, что я не мог не усмехнуться.

— Чему ты усмехаешься? — спросил он меня нахмурясь. — Или ты не веришь, что я великий государь? Отвечай прямо.

Я смутился: признать бродягу государем был я не в состоянии: это казалось мне малодушием непростительным. Назвать его в глаза обманщиком — было подвергнуть себя погибели; и то, на что был я готов под виселицею в глазах всего народа и в первом пылу негодования, теперь казалось мне бесполезной хвастливостию. Я колебался. Пугачев мрачно ждал моего ответа. Наконец (и еще ныне с самодовольствием поминаю эту минуту) чувство долга восторжествовало во мне над слабостию человеческою. Я отвечал Пугачеву: «Слушай; скажу тебе всю правду. Рассуди, могу ли я признать в тебе государя? Ты человек смышленый: ты сам увидел бы, что я лукавствую».

— Кто же я таков, по твоему разумению?

— Бог тебя знает; но кто бы ты ни был, ты шутишь опасную шутку.

Пугачев взглянул на меня быстро. «Так ты не веришь, — сказал он, — чтоб я был государь Петр Федорович? Ну, добро. А разве нет удачи удалому? Разве в старину Гришка Отрепьев не царствовал? Думай про меня что хочешь, а от меня не отставай. Какое тебе дело до иного-прочего? Кто ни поп, тот батька. Послужи мне верой и правдою, и я тебя пожалую и в фельдмаршалы и в князья. Как ты думаешь?»

— Нет, — отвечал я с твердостию. — Я природный дворянин; я присягал государыне императрице: тебе служить не могу. Коли ты в самом деле желаешь мне добра, так отпусти меня в Оренбург.

Пугачев задумался. «А коли отпущу, — сказал он, — так обещаешься ли по крайней мере против меня не служить?»

— Как могу тебе в этом обещаться? — отвечал я. — Сам знаешь, не моя воля: велят идти против тебя — пойду, делать нечего. Ты теперь сам начальник; сам требуешь повиновения от своих. На что это будет похоже, если я от службы откажусь, когда служба моя понадобится? Голова моя в твоей власти: отпустишь меня — спасибо; казнишь — бог тебе судья; а я сказал тебе правду.

Моя искренность поразила Пугачева. «Так и быть, — сказал он, ударя меня по плечу. — Казнить так

казнить, миловать так миловать. Ступай себе на все четыре стороны и делай что хочешь. Завтра приходи со мною проститься, а теперь ступай себе спать, и меня уж дрема клонит».

Я оставил Пугачева и вышел на улицу. Ночь была тихая и морозная. Месяц и звезды ярко сияли, освещая площадь и виселицу. В крепости все было спокойно и темно. Только в кабаке светился огонь и раздавались крики запоздалых гуляк. Я взглянул на дом священника. Ставни и ворота были заперты. Казалось, все в нем было тихо.

Я пришел к себе на квартиру и нашел Савельича, горюющего по моем отсутствии. Весть о свободе моей обрадовала его несказанно. «Слава тебе, владыко! — сказал он перекрестившись. — Чем свет оставим крепость и пойдем куда глаза глядят. Я тебе кое-что заготовил; покушай-ка, батюшка, да и почивай себе до утра, как у Христа за пазушкой».

Я последовал его совету и, поужинав с большим аппетитом, заснул на голом полу, утомленный душевно и физически.

**Глава IX**

РАЗЛУКА

Сладко было спознаваться  
Мне, прекрасная, с тобой;  
Грустно, грустно расставаться,  
Грустно, будто бы с душой.

Херасков.

Рано утром разбудил меня барабан. Я пошел на сборное место. Там строились уже толпы пугачевские около виселицы, где все еще висели вчерашние жертвы. Казаки стояли верхами, солдаты под ружьем. Знамена развевались. Несколько пушек, между коих узнал я и нашу, поставлены были на походные лафеты. Все жители находились тут же, ожидая самозванца. У крыльца комендантского дома казак держал под уздцы прекрасную белую лошадь киргизской породы. Я искал глазами тела комендантши. Оно было отнесено немного в сторону и прикрыто рогожею. Наконец Пугачев вышел из сеней. Народ снял шапки. Пугачев остановился на крыльце и со всеми поздоровался. Один из старшин подал ему мешок с медными деньгами, и он стал их метать пригоршнями. Народ с криком бросился их подбирать, и дело обошлось не без увечья. Пугачева окружали главные из его сообщников. Между ими стоял и Швабрин. Взоры наши встретились; в моем он мог прочесть презрение, и он отворотился с выражением искренней злобы и притворной насмешливости. Пугачев,

увидев меня в толпе, кивнул мне головою и подозвал к себе. «Слушай, — сказал он мне. — Ступай сей же час в Оренбург и объяви от меня губернатору и всем генералам, чтоб ожидали меня к себе через неделю. Присоветуй им встретить меня с детской любовию и послушанием; не то не избежать им лютой казни. Счастливый путь, ваше благородие! — Потом обратился он к народу и сказал, указывая на Швабрина: — Вот вам, детушки, новый командир: слушайтесь его во всем, а он отвечает мне за вас и за крепость». С ужасом услышал я сии слова: Швабрин делался начальником крепости; Марья Ивановна оставалась в его власти! Боже, что с нею будет! Пугачев сошел с крыльца. Ему подвели лошадь. Он проворно вскочил в седло, не дождавшись казаков, которые хотели было подсадить его.

В это время из толпы народа, вижу, выступил мой Савельич, подходит к Пугачеву и подает ему лист бумаги. Я не мог придумать, что из того выйдет. «Это что?» — спросил важно Пугачев. «Прочитай, так изводишь увидеть», — отвечал Савельич. Пугачев принял бумагу и долго рассматривал с видом значительным. «Что ты так мудрено пишешь? — сказал он наконец. — Наши светлые очи не могут тут ничего разобрать. Где мой обер-секретарь?»

Молодой малый в капральском мундире проворно подбежал к Пугачеву. «Читай вслух», — сказал самозванец, отдавая ему бумагу. Я чрезвычайно любопытствовал узнать, о чем дядька мой вздумал писать Пугачеву. Обер-секретарь громогласно стал по складам читать следующее:

— «Два халата, миткалевый и шелковый полосатый, на шесть рублей».

— Это что значит? — сказал, нахмурясь, Пугачев.

— Прикажи читать далее, — отвечал спокойно Савельич.

Обер-секретарь продолжал:

— «Мундир из тонкого зеленого сукна на семь рублей.

Штаны белые суконные на пять рублей.

Двенадцать рубах полотняных голландских с манжетами на десять рублей.

Погребец с чайною посудою на два рубля с полтиною...»

— Что за вранье? — прервал Пугачев. — Какое мне дело до погребцов и до штанов с манжетами?

Савельич крякнул и стал объясняться.

— Это, батюшка, изволишь видеть, реестр барскому добру, раскраденному злодеями...

— Какими злодеями? — спросил грозно Пугачев.

— Виноват: обмолвился, — отвечал Савельич. — Злодеи не злодеи, а твои ребята таки пошарили да порастаскали. Не гневись: конь и о четырех ногах да спотыкается. Прикажи уж дочитать.

— Дочитывай, — сказал Пугачев. Секретарь продолжал:

— «Одеяло ситцевое, другое тафтяное на хлопчатой бумаге четыре рубля.

Шуба лисья, крытая алым ратином, 40 рублей.

Еще заячий тулупчик, пожалованный твоей милости на постоялом дворе, 15 рублей».

— Это что еще! — вскричал Пугачев, сверкнув огненными глазами.

Признаюсь, я перепугался за бедного моего дядьку. Он хотел было пуститься опять в объяснения, но Пугачев его прервал: «Как ты смел лезть ко мне с такими пустяками? — вскричал он, выхватя бумагу из рук секретаря и бросив ее в лицо Савельичу. — Глупый старик! Их обобрали: экая беда? Да ты должен, старый хрыч, вечно бога молить за меня да за моих ребят за то, что ты и с барином-то своим не висите здесь вместе с моими ослушниками... Заячий тулуп! Я-те дам заячий тулуп! Да знаешь ли ты, что я с тебя живого кожу велю содрать на тулупы?»

— Как изволишь, — отвечал Савельич, — а я человек подневольный и за барское добро должен отвечать.

Пугачев был, видно, в припадке великодушия. Он отворотился и отъехал, не сказав более ни слова. Швабрин и старшины последовали за ним. Шайка выступила из крепости в порядке. Народ пошел провожать Пугачева. Я остался на площади один с Савельичем. Дядька мой держал в руках свой реестр и рассматривал его с видом глубокого сожаления.

Видя мое доброе согласие с Пугачевым, он думал употребить оное в пользу; но мудрое намерение ему не удалось. Я стал было его бранить за неуместное усердие и не мог удержаться от смеха. «Смейся, сударь, — отвечал Савельич, — смейся; а как придется нам сызнова заводиться всем хозяйством, так посмотрим, смешно ли будет».

Я спешил в дом священника увидеться с Марьей Ивановной. Попадья встретила меня с печальным известием. Ночью у Марьи Ивановны открылась сильная горячка. Она лежала без памяти и в бреду. Попадья ввела меня в ее комнату. Я тихо подошел к ее кровати. Перемена в ее лице поразила меня. Больная меня не узнала. Долго стоял я перед нею, не слушая ни отца Герасима, ни доброй жены его, которые, кажется, меня утешали. Мрачные мысли волновали меня. Состояние бедной, беззащитной сироты, оставленной посреди злобных мятежников, собственное мое бессилие устрашали меня. Швабрин, Швабрин пуще всего терзал мое воображение. Облеченный властию от самозванца, предводительствуя в крепости, где оставалась несчастная девушка — невинный предмет его ненависти, он мог решиться на все. Что мне было делать? Как подать ей помощь? Как освободить из рук злодея? Оставалось одно средство: я решился тот же час отправиться в Оренбург, дабы торопить освобождение Белогорской крепости и по возможности тому содействовать. Я простился с священником и с Акулиной Памфиловной, с жаром поручая ей ту, которую почитал уже своею женою. Я взял руку бедной девушки и поцеловал ее, орошая слезами. «Прощайте, — говорила мне попадья, провожая меня, — прощайте, Петр Андреич. Авось увидимся в лучшее время. Не забывайте нас и пишите к нам почаще. Бедная Марья Ивановна, кроме вас, не имеет теперь ни утешения, ни покровителя».

Вышед на площадь, я остановился на минуту, взглянул на виселицу, поклонился ей, вышел из крепости и пошел по Оренбургской дороге, сопровождаемый Савельичем, который от меня не отставал.

Я шел, занятый своими размышлениями, как вдруг услышал за собою конский топот. Оглянулся; вижу: из

крепости скачет казак, держа башкирскую лошадь в поводья и делая издали мне знаки. Я остановился и вскоре узнал нашего урядника. Он, подскакав, слез с своей лошади и сказал, отдавая мне поводья другой: «Ваше благородие! Отец наш вам жалует лошадь и шубу с своего плеча (к седлу привязан был овчинный тулуп). Да еще, — примолвил, запинаясь, урядник, — жалует он вам... полтину денег... да я растерял ее дорогою; простите великодушно». Савельич посмотрел на него косо и проворчал: «Растерял дорогою! А что же у тебя побрякивает за пазухой? Бессовестный!» — «Что у меня за пазухой-то побрякивает? — возразил урядник, нимало не смутясь. — Бог с тобою, старинушка! Это бренчит уздечка, а не полтина». — «Добро, — сказал я, прерывая спор. — Благодари от меня того, кто тебя прислал; а растерянную полтину постарайся подобрать на возвратном пути и возьми себе на водку». — «Очень благодарен, ваше благородие, — отвечал он, поворачивая свою лошадь, — вечно за вас буду бога молить». При сих словах он поскакал назад, держась одной рукою за пазуху, и через минуту скрылся из виду.

Я надел тулуп и сел верхом, посадив за собою Савельича. «Вот видишь ли, сударь, — сказал старик, — что я недаром подал мошеннику челобитье: вору-то стало совестно, хоть башкирская долговязая кляча да овчинный тулуп не стоят и половины того, что они, мошенники, у нас украли, и того, что ты ему сам изволил пожаловать; да все же пригодится, а с лихой собаки хоть шерсти клок».

**Глава Х**

ОСАДА ГОРОДА

**Заняв луга и горы,  
С вершины, как орел, бросал на град он взоры.  
За станом повелел соорудить раскат  
И, в нем перуны скрыв, в нощи привесть под град.**

Херасков.

Приближаясь к Оренбургу, увидели мы толпу колодников с обритыми головами, с лицами, обезображенными щипцами палача. Они работали около укреплений под надзором гарнизонных инвалидов. Иные вывозили в тележках сор, наполнявший ров; другие лопатками копали землю; на валу каменщики таскали кирпич и чинили городскую стену. У ворот часовые остановили нас и потребовали наших паспортов. Как скоро сержант услышал, что я еду из Белогорской крепости, то и повел меня прямо в дом генерала.

Я застал его в саду. Он осматривал яблони, обнаженные дыханием осени, и с помощию старого садовника бережно их укутывал теплой соломой. Лицо его изображало спокойствие, здоровье и добродушие. Он мне обрадовался и стал расспрашивать об ужасных происшествиях, коим я был свидетель. Я рассказал ему все. Старик слушал меня со вниманием и между тем отрезывал сухие ветви. «Бедный Миронов! — сказал он, когда кончил я свою печальную повесть. — Жаль

его: хороший был офицер. И мадам Миронов добрая была дама и какая майстерица грибы солить! А что Маша, капитанская дочка?» Я отвечал, что она осталась в крепости на руках у попадьи. «Ай, ай, ай! — заметил генерал. — Это плохо, очень плохо. На дисциплину разбойников никак нельзя положиться. Что будет с бедной девушкою?» Я отвечал, что до Белогорской крепости недалеко, и что, вероятно, его превосходительство не замедлит выслать войско для освобождения бедных ее жителей. Генерал покачал головою с видом недоверчивости. «Посмотрим, посмотрим, — сказал он. — Об этом мы еще успеем потолковать. Прошу ко мне пожаловать на чашку чаю: сегодня у меня будет военный совет. Ты можешь нам дать верные сведения о бездельнике Пугачеве и об его войске. Теперь покамест поди отдохни».

Я пошел на квартиру, мне отведенную, где Савельич уже хозяйничал, и с нетерпением стал ожидать назначенного времени. Читатель легко себе представит, что я не преминул явиться на совет, долженствовавший иметь такое влияние на судьбу мою. В назначенный час я уже был у генерала.

Я застал у него одного из городских чиновников, помнится, директора таможни, толстого и румяного старичка в глазетовом кафтане. Он стал расспрашивать меня о судьбе Ивана Кузмича, которого называл кумом, и часто прерывал мою речь дополнительными вопросами и нравоучительными замечаниями, которые если и не обличали в нем человека сведущего в военном искусстве, то по крайней мере обнаруживали сметливость и природный ум. Между тем собрались и прочие приглашенные. Между ими, кроме самого генерала, не было ни одного военного человека. Когда все уселись и всем разнесли по чашке чаю, генерал изложил весьма ясно и пространно, в чем состояло дело. «Теперь, господа, — продолжал он, — надлежит решить, как нам действовать противу мятежников: *наступательно* или *оборонительно?* Каждый из оных способов имеет свою выгоду и невыгоду. Действие наступательное представляет более надежды на скорейшее истребление неприятеля; действие оборонительное более верно и

безопасно... Итак, начнем собирать голоса по законному порядку, то есть начиная с младших по чину. Господин прапорщик! — продолжал он, обращаясь ко мне. — Извольте объяснить нам ваше мнение».

Я встал и, в коротких словах описав сперва Пугачева и шайку его, сказал утвердительно, что самозванцу способа не было устоять противу правильного оружия.

Мнение мое было принято чиновниками с явною неблагосклонностию. Они видели в нем опрометчивость и дерзость молодого человека. Поднялся ропот, и я услышал явственно слово «молокосос», произнесенное кем-то вполголоса. Генерал обратился ко мне и сказал с улыбкою: «Господин прапорщик! Первые голоса на военных советах подаются обыкновенно в пользу движений наступательных; это законный порядок. Теперь станем продолжать собирание голосов. Господин коллежский советник! скажите нам ваше мнение!»

Старичок в глазетовом кафтане поспешно допил третью свою чашку, значительно разбавленную ромом, и отвечал генералу: «Я думаю, ваше превосходительство, что не должно действовать ни наступательно, ни оборонительно».

— Как же так, господин коллежский советник? — возразил изумленный генерал. — Других способов тактика не представляет: движение оборонительное или наступательное...

— Ваше превосходительство, двигайтесь подкупательно.

— Эх-хе-хе! мнение ваше весьма благоразумно. Движения подкупательные тактикою допускаются, и мы воспользуемся вашим советом. Можно будет обещать за голову бездельника... рублей семьдесят или даже сто... из секретной суммы...

— И тогда, — прервал таможенный директор, — будь я киргизский баран, а не коллежский советник, если эти воры не выдадут нам своего атамана, скованного по рукам и по ногам.

— Мы еще об этом подумаем и потолкуем, — отвечал генерал. — Однако надлежит во всяком случае предпринять и военные меры. Господа, подайте голоса ваши по законному порядку.

Все мнения оказались противными моему. Все чиновники говорили о ненадежности войск, о неверности удачи, об осторожности и тому подобном. Все полагали, что благоразумнее оставаться под прикрытием пушек, за крепкой каменной стеною, нежели на открытом поле испытывать счастие оружия. Наконец генерал, выслушав все мнения, вытряхнул пепел из трубки и произнес следующую речь:

— Государи мои! должен я вам объявить, что с моей стороны я совершенно с мнением господина прапорщика согласен, ибо мнение сие основано на всех правилах здравой тактики, которая всегда почти наступательные движения оборонительным предпочитает.

Тут он остановился и стал набивать свою трубку. Самолюбие мое торжествовало. Я гордо посмотрел на чиновников, которые между собою перешептывались с видом неудовольствия и беспокойства.

— Но, государи мои, — продолжал он, выпустив, вместе с глубоким вздохом, густую струю табачного дыму, — я не смею взять на себя столь великую ответственность, когда дело идет о безопасности вверенных мне провинций ее императорским величеством, всемилостивейшей моею государыней. Итак, я соглашаюсь с большинством голосов, которое решило, что всего благоразумнее и безопаснее внутри города ожидать осады, а нападения неприятеля силой артиллерии и (буде окажется возможным) вылазками — отражать.

Чиновники, в свою очередь, насмешливо поглядели на меня. Совет разошелся. Я не мог не сожалеть о слабости почтенного воина, который, наперекор собственному убеждению, решался следовать мнениям людей несведущих и неопытных.

Спустя несколько дней после сего знаменитого совета узнали мы, что Пугачев, верный своему обещанию, приближился к Оренбургу. Я увидел войско мятежников с высоты городской стены. Мне показалось, что число их вдесятеро увеличилось со времени последнего приступа, коему был я свидетель. При них была и артиллерия, взятая Пугачевым в малых крепостях, им уже покоренных. Вспомня решение совета, я

предвидел долговременное заключение в стенах оренбургских и чуть не плакал от досады.

Не стану описывать оренбургскую осаду, которая принадлежит истории, а не семейственным запискам. Скажу вкратце, что сия осада по неосторожности местного начальства была гибельна для жителей, которые претерпели голод и всевозможные бедствия. Легко можно себе вообразить, что жизнь в Оренбурге была самая несносная. Все с унынием ожидали решения своей участи; все охали от дороговизны, которая в самом деле была ужасна. Жители привыкли к ядрам, залетавшим на их дворы; даже приступы Пугачева уж не привлекали общего любопытства. Я умирал со скуки. Время шло. Писем из Белогорской крепости я не получал. Все дороги были отрезаны. Разлука с Марьей Ивановной становилась мне нестерпима. Неизвестность о ее судьбе меня мучила. Единственное развлечение мое состояло в наездничестве. По милости Пугачева, я имел добрую лошадь, с которой делился скудной пищею и на которой ежедневно выезжал я за город перестреливаться с пугачевскими наездниками. В этих перестрелках перевес был обыкновенно на стороне злодеев, сытых, пьяных и доброконных. Тощая городовая конница не могла их одолеть. Иногда выходила в поле и наша голодная пехота; но глубина снега мешала ей действовать удачно противу рассеянных наездников. Артиллерия тщетно гремела с высоты вала, а в поле вязла и не двигалась по причине изнурения лошадей. Таков был образ наших военных действий! И вот что оренбургские чиновники называли осторожностию и благоразумием!

Однажды, когда удалось нам как-то рассеять и прогнать довольно густую толпу, наехал я на казака, отставшего от своих товарищей; я готов был уже ударить его своею турецкою саблею, как вдруг он снял шапку и закричал:

— Здравствуйте, Петр Андреич! Как вас бог милует?

Я взглянул и узнал нашего урядника. Я несказанно ему обрадовался.

— Здравствуй, Максимыч, — сказал я ему. — Давно ли из Белогорской?

— Недавно, батюшка Петр Андреич; только вчера воротился. У меня есть к вам письмецо.

— Где ж оно? — вскричал я, весь так и вспыхнув.

— Со мною, — отвечал Максимыч, положив руку за пазуху. — Я обещался Палаше уж как-нибудь да вам доставить. — Тут он подал мне сложенную бумажку и тотчас ускакал. Я развернул ее и с трепетом прочел следующие строки:

«Богу угодно было лишить меня вдруг отца и матери: не имею на земле ни родни, ни покровителей. Прибегаю к вам, зная, что вы всегда желали мне добра и что вы всякому человеку готовы помочь. Молю бога, чтоб это письмо как-нибудь до вас дошло! Максимыч обещал вам его доставить. Палаша слышала также от Максимыча, что вас он часто издали видит на вылазках и что вы совсем себя не бережете и не думаете о тех, которые за вас со слезами бога молят. Я долго была больна; а когда выздоровела, Алексей Иванович, который командует у нас на месте покойного батюшки, принудил отца Герасима выдать меня ему, застращав Пугачевым. Я живу в нашем доме под караулом. Алексей Иванович принуждает меня выйти за него замуж. Он говорит, что спас мне жизнь, потому что прикрыл обман Акулины Памфиловны, которая сказала злодеям, будто бы я ее племянница. А мне легче было бы умереть, нежели сделаться женою такого человека, каков Алексей Иванович. Он обходится со мною очень жестоко и грозится, коли не одумаюсь и не соглашусь, то привезет меня в лагерь к злодею, и с вами-де то же будет, что с Лизаветой Харловой. Я просила Алексея Ивановича дать мне подумать. Он согласился ждать еще три дня; а коли через три дня за него не выду, так уж никакой пощады не будет. Батюшка Петр Андреич! вы один у меня покровитель; заступитесь за меня, бедную. Упросите генерала и всех командиров прислать к нам поскорее сикурсу да приезжайте сами, если можете. Остаюсь вам покорная бедная сирота

Марья Миронова».

Прочитав это письмо, я чуть с ума не сошел. Я пустился в город, без милосердия пришпоривая бедного моего коня. Дорогою придумывал я и то и другое для избавления бедной девушки и ничего не мог выдумать. Прискакав в город, я отправился прямо к генералу и опрометью к нему вбежал.

Генерал ходил взад и вперед по комнате, куря свою пенковую трубку. Увидя меня, он остановился. Вероятно, вид мой поразил его; он заботливо осведомился о причине моего поспешного прихода.

— Ваше превосходительство, — сказал я ему, — прибегаю к вам как к отцу родному; ради бога, не откажите мне в моей просьбе: дело идет о счастии всей моей жизни.

— Что такое, батюшка? — спросил изумленный старик. — Что я могу для тебя сделать? Говори.

— Ваше превосходительство, прикажите взять мне роту солдат и полсотни казаков и пустите меня очистить Белогорскую крепость.

Генерал глядел на меня пристально, полагая, вероятно, что я с ума сошел (в чем почти и не ошибался).

— Как это? Очистить Белогорскую крепость? — сказал он наконец.

— Ручаюсь вам за успех, — отвечал я с жаром. — Только отпустите меня.

— Нет, молодой человек, — сказал он, качая головою. — На таком великом расстоянии неприятелю легко будет отрезать вас от коммуникации с главным стратегическим пунктом и получить над вами совершенную победу. Пресеченная коммуникация...

Я испугался, увидя его завлеченного в военные рассуждения, и спешил его прервать.

— Дочь капитана Миронова, — сказал я ему, — пишет ко мне письмо: она просит помощи; Швабрин принуждает ее выйти за него замуж.

— Неужто? О, этот Швабрин превеликий Schelm1), и если попадется ко мне в руки, то я велю его судить в двадцать четыре часа, и мы расстреляем его на

1) плут *(нем.).*

парапете крепости! Но покамест надобно взять терпение...

— Взять терпение! — вскричал я вне себя. — А он между тем женится на Марье Ивановне!..

— О! — возразил генерал. — Это еще не беда: лучше ей быть покамест женою Швабрина: он теперь может оказать ей протекцию; а когда его расстреляем, тогда, бог даст, сыщутся ей и женишки. Миленькие вдовушки в девках не сидят; то есть, хотел я сказать, что вдовушка скорее найдет себе мужа, нежели девица.

— Скорее соглашусь умереть, — сказал я в бешенстве, — нежели уступить ее Швабрину!

— Ба, ба, ба, ба! — сказал старик. — Теперь понимаю: ты, видно, в Марью Ивановну влюблен. О, дело другое! Бедный малый! Но все же я никак не могу дать тебе роту солдат и полсотни казаков. Эта экспедиция была бы неблагоразумна; я не могу взять ее на свою ответственность.

Я потупил голову; отчаяние мною овладело. Вдруг мысль мелькнула в голове моей: в чем оная состояла, читатель увидит из следующей главы, как говорят старинные романисты.

**Глава XI**

МЯТЕЖНАЯ СЛОБОДА

В ту пору лев был сыт, хоть с роду он свиреп.  
«Зачем пожаловать изволил в мой вертеп?» —  
Спросил он ласково.

А. Сумароков.

Я оставил генерала и поспешил на свою квартиру. Савельич встретил меня с обыкновенным своим увещанием. «Охота тебе, сударь, переведываться с пьяными разбойниками! Боярское ли это дело? Не ровён час: ни за что пропадешь. И добро бы уж ходил ты на турку или на шведа, а то грех и сказать на кого».

Я прервал его речь вопросом: сколько у меня всего-навсе денег? «Будет с тебя, — отвечал он с довольным видом. — Мошенники как там ни шарили, а я все-таки успел утаить». И с этим словом он вынул из кармана длинный вязаный кошелек, полный серебра. «Ну, Савельич, — сказал я ему, — отдай же мне теперь половину; а остальное возьми себе. Я еду в Белогорскую крепость».

— Батюшка Петр Андреич! — сказал добрый дядька дрожащим голосом. — Побойся бога; как тебе пускаться в дорогу в нынешнее время, когда никуда проезду нет от разбойников! Пожалей ты хоть своих родителей, коли сам себя не жалеешь. Куда тебе

ехать? Зачем? Погоди маленько: войска придут, переловят мошенников; тогда поезжай себе хоть на все четыре стороны.

Но намерение мое было твердо принято.

— Поздно рассуждать, — отвечал я старику. — Я должен ехать, я не могу не ехать. Не тужи, Савельич: бог милостив; авось увидимся! Смотри же, не совестись и не скупись. Покупай, что тебе будет нужно, хоть втридорога. Деньги эти я тебе дарю. Если через три дня я не ворочусь...

— Что ты это, сударь? — прервал меня Савельич. — Чтоб я тебя пустил одного! Да этого и во сне не проси. Коли ты уж решился ехать, то я хоть пешком да пойду за тобой, а тебя не покину. Чтобы я стал без тебя сидеть за каменной стеною! Да разве я с ума сошел? Воля твоя, сударь, а я от тебя не отстану.

Я знал, что с Савельичем спорить было нечего, и позволил ему приготовляться в дорогу. Через полчаса я сел на своего доброго коня, а Савельич на тощую и хромую клячу, которую даром отдал ему один из городских жителей, не имея более средств кормить ее. Мы приехали к городским воротам; караульные нас пропустили; мы выехали из Оренбурга.

Начинало смеркаться. Путь мой шел мимо Бердской слободы, пристанища пугачевского. Прямая дорога занесена была снегом; но по всей степи видны были конские следы, ежедневно обновляемые. Я ехал крупной рысью. Савельич едва мог следовать за мною издали и кричал мне поминутно: «Потише, сударь, ради бога потише. Проклятая клячонка моя не успевает за твоим долгоногим бесом. Куда спешишь? Добро бы на пир, а то под обух, того и гляди... Петр Андреич... батюшка Петр Андреич!.. Не погуби!.. Господи владыко, пропадет барское дитя!»

Вскоре засверкали бердские огни. Мы подъехали к оврагам, естественным укреплениям слободы. Савельич от меня не отставал, не прерывая жалобных своих молений. Я надеялся объехать слободу благополучно, как вдруг увидел в сумраке прямо перед собой человек пять мужиков, вооруженных дубинами: это был передовой караул пугачевского пристанища.

Нас окликали. Не зная пароля, я хотел молча проехать мимо их; но они меня тотчас окружили, и один из них схватил лошадь мою за узду. Я выхватил саблю и ударил мужика по голове; шапка спасла его, однако он зашатался и выпустил из рук узду. Прочие смутились и отбежали; я воспользовался этой минутою, пришпорил лошадь и поскакал.

Темнота приближающейся ночи могла избавить меня от всякой опасности, как вдруг, оглянувшись, увидел я, что Савельича со мною не было. Бедный старик на свой хромой лошади не мог ускакать от разбойников. Что было делать? Подождав его несколько минут и удостоверясь в том, что он задержан, я поворотил лошадь и отправился его выручать.

Подъезжая к оврагу, услышал я издали шум, крики и голос моего Савельича. Я поехал скорее и вскоре очутился снова между караульными мужиками, остановившими меня несколько минут тому назад. Савельич находился между ими. Они стащили старика с его клячи и готовились вязать. Прибытие мое их обрадовало. Они с криком бросились на меня и мигом стащили с лошади. Один из них, по-видимому главный, объявил нам, что он сейчас поведет нас к государю. «А наш батюшка, — прибавил он, — волен приказать: сейчас ли вас повесить, али дождаться свету божия». Я не противился; Савельич последовал моему примеру, и караульные повели нас с торжеством.

Мы перебрались через овраг и вступили в слободу. Во всех избах горели огни. Шум и крики раздавались везде. На улице я встретил множество народу; но никто в темноте нас не заметил и не узнал во мне оренбургского офицера. Нас привели прямо к избе, стоявшей на углу перекрестка. У ворот стояло несколько винных бочек и две пушки. «Вот и дворец, — сказал один из мужиков, — сейчас об вас доложим». Он вошел в избу. Я взглянул на Савельича; старик крестился, читая про себя молитву. Я дожидался долго; наконец мужик воротился и сказал мне: «Ступай: наш батюшка велел впустить офицера».

Я вошел в избу, или во дворец, как называли ее мужики. Она освещена была двумя сальными свечами,

а стены оклеены были золотою бумагою; впрочем, лавки, стол, рукомойник на веревочке, полотенце на гвозде, ухват в углу и широкий шесток, уставленный горшками, — все было как в обыкновенной избе. Пугачев сидел под образами, в красном кафтане, в высокой шапке и важно подбочась. Около него стояло несколько из главных его товарищей, с видом притворного подобострастия. Видно было, что весть о прибытии офицера из Оренбурга пробудила в бунтовщиках сильное любопытство и что они приготовились встретить меня с торжеством. Пугачев узнал меня с первого взгляду. Поддельная важность его вдруг исчезла. «А, ваше благородие! — сказал он мне с живостию. — Как поживаешь? Зачем тебя бог принес?» Я отвечал, что ехал по своему делу и что люди его меня остановили. «А по какому делу?» — спросил он меня. Я не знал, что отвечать. Пугачев, полагая, что я не хочу объясняться при свидетелях, обратился к своим товарищам и велел им выйти. Все послушались, кроме двух, которые не тронулись с места. «Говори смело при них, — сказал мне Пугачев, — от них я ничего не таю». Я взглянул наискось на наперсников самозванца. Один из них, тщедушный и сгорбленный старичок с седою бородкою, не имел в себе ничего замечательного, кроме голубой ленты, надетой через плечо по серому армяку. Но ввек не забуду его товарища. Он был высокого росту, дороден и широкоплеч, и показался мне лет сорока пяти. Густая рыжая борода, серые сверкающие глаза, нос без ноздрей и красноватые пятна на лбу и на щеках придавали его рябому широкому лицу выражение неизъяснимое. Он был в красной рубахе, в киргизском халате и в казацких шароварах. Первый (как узнал я после) был беглый капрал Белобородов; второй — Афанасий Соколов (прозванный Хлопушей), ссыльный преступник, три раза бежавший из сибирских рудников. Несмотря на чувства, исключительно меня волновавшие, общество, в котором я так нечаянно очутился, сильно развлекало мое воображение. Но Пугачев привел меня в себя своим вопросом: «Говори: по какому же делу выехал ты из Оренбурга?»

Странная мысль пришла мне в голову: мне показалось, что провидение, вторично приведшее меня к Пугачеву, подавало мне случай привести в действо мое намерение. Я решился им воспользоваться и, не успев обдумать то, на что решался, отвечал на вопрос Пугачева:

— Я ехал в Белогорскую крепость избавить сироту, которую там обижают.

Глаза у Пугачева засверкали. «Кто из моих людей смеет обижать сироту? — закричал он. — Будь он семи пядень во лбу, а от суда моего не уйдет. Говори: кто виноватый?»

— Швабрин виноватый, — отвечал я. — Он держит в неволе ту девушку, которую ты видел, больную, у попадьи, и насильно хочет на ней жениться.

— Я проучу Швабрина, — сказал грозно Пугачев. — Он узнает, каково у меня своевольничать и обижать народ. Я его повешу.

— Прикажи слово молвить, — сказал Хлопуша хриплым голосом. — Ты поторопился назначить Швабрина в коменданты крепости, а теперь торопишься его вешать. Ты уж оскорбил казаков, посадив дворянина им в начальники; не пугай же дворян, казня их по первому наговору.

— Нечего их ни жалеть, ни жаловать! — сказал старичок в голубой ленте. — Швабрина сказнить не беда; а не худо и господина офицера допросить порядком: зачем изволил пожаловать. Если он тебя государем не признает, так нечего у тебя и управы искать, а коли признает, что же он до сегодняшнего дня сидел в Оренбурге с твоими супостатами? Не прикажешь ли свести его в приказную да запалить там огоньку: мне сдается, что его милость подослан к нам от оренбургских командиров.

Логика старого злодея показалась мне довольно убедительною. Мороз пробежал по всему моему телу при мысли, в чьих руках я находился. Пугачев заметил мое смущение. «Ась, ваше благородие? — сказал он мне подмигивая. — Фельдмаршал мой, кажется, говорит дело. Как ты думаешь?»

Насмешка Пугачева возвратила мне бодрость. Я спокойно отвечал, что я нахожусь в его власти и что он волен поступать со мною, как ему будет угодно.

— Добро, — сказал Пугачев. — Теперь скажи, в каком состоянии ваш город.

— Слава богу, — отвечал я, — все благополучно.

— Благополучно? — повторил Пугачев. — А народ мрет с голоду!

Самозванец говорил правду; но я по долгу присяги стал уверять, что все это пустые слухи и что в Оренбурге довольно всяких запасов.

— Ты видишь, — подхватил старичок, — что он тебя в глаза обманывает. Все беглецы согласно показывают, что в Оренбурге голод и мор, что там едят мертвечину, и то за честь; а его милость уверяет, что всего вдоволь. Коли ты Швабрина хочешь повесить, то уж на той же виселице повесь и этого молодца, чтоб никому не было завидно.

Слова проклятого старика, казалось, поколебали Пугачева. К счастию, Хлопуша стал противоречить своему товарищу.

— Полно, Наумыч, — сказал он ему. — Тебе бы все душить да резать. Что ты за богатырь? Поглядеть, так в чем душа держится. Сам в могилу смотришь, а других губишь. Разве мало крови на твоей совести?

— Да ты что за угодник? — возразил Белобородов. — У тебя-то откуда жалость взялась?

— Конечно, — отвечал Хлопуша, — и я грешен, и эта рука (тут он сжал свой костливый кулак и, засуча рукава, открыл косматую руку), и эта рука повинна в пролитой христианской крови. Но я губил супротивника, а не гостя; на вольном перепутье, да в темном лесу, не дома, сидя за печью; кистенем и обухом, а не бабьим наговором.

Старик отворотился и проворчал слова: «Рваные ноздри!»...

— Что ты там шепчешь, старый хрыч? — закричал Хлопуша. — Я тебе дам рваные ноздри; погоди, придет и твое время; бог даст, и ты щипцов понюхаешь... А покамест смотри, чтоб я тебе бородишки не вырвал!

— Господа енаралы! — провозгласил важно Пугачев. — Полно вам ссориться. Не беда, если б и все оренбургские собаки дрыгали ногами под одной перекладиной: беда, если наши кобели меж собою перегрызутся. Ну, помиритесь.

Хлопуша и Белобородов не сказали ни слова и мрачно смотрели друг на друга. Я увидел необходимость переменить разговор, который мог кончиться для меня очень невыгодным образом, и, обратясь к Пугачеву, сказал ему с веселым видом: «Ах! я было и забыл благодарить тебя за лошадь и за тулуп. Без тебя я не добрался бы до города и замерз бы на дороге».

Уловка моя удалась. Пугачев развеселился. «Долг платежом красен, — сказал он, мигая и прищуриваясь. — Расскажи-ка мне теперь, какое тебе дело до той девушки, которую Швабрин обижает? Уж не зазноба ли сердцу молодецкому? а?»

— Она невеста моя, — отвечал я Пугачеву, видя благоприятную перемену погоды и не находя нужды скрывать истину.

— Твоя невеста! — закричал Пугачев. — Что ж ты прежде не сказал? Да мы тебя женим и на свадьбе твоей попируем! — Потом, обращаясь к Белобородову: — Слушай, фельдмаршал! Мы с его благородием старые приятели; сядем-ка да поужинаем; утро вечера мудренее. Завтра посмотрим, что с ним сделаем.

Я рад был отказаться от предлагаемой чести, но делать было нечего. Две молодые казачки, дочери хозяина избы, накрыли стол белой скатертью, принесли хлеба, ухи и несколько штофов с вином и пивом, и я вторично очутился за одною трапезою с Пугачевым и с его страшными товарищами.

Оргия, коей я был невольным свидетелем, продолжалась до глубокой ночи. Наконец хмель начал одолевать собеседников. Пугачев задремал, сидя на своем месте; товарищи его встали и дали мне знак оставить его. Я вышел вместе с ними. По распоряжению Хлопуши, караульный отвел меня в приказную избу, где я нашел и Савельича и где меня оставили с ним взаперти. Дядька был в таком изумлении при виде всего,

что происходило, что не сделал мне никакого вопроса. Он улегся в темноте и долго вздыхал и охал; наконец захрапел, а я предался размышлениям, которые во всю ночь ни на одну минуту не дали мне задремать.

Поутру пришли меня звать от имени Пугачева. Я пошел к нему. У ворот его стояла кибитка, запряженная тройкою татарских лошадей. Народ толпился на улице. В сенях встретил я Пугачева: он был одет по-дорожному, в шубе и в киргизской шапке. Вчерашние собеседники окружали его, приняв на себя вид подобострастия, который сильно противуречил всему, чему я был свидетелем накануне. Пугачев весело со мною поздоровался и велел мне садиться с ним в кибитку.

Мы уселись. «В Белогорскую крепость!» — сказал Пугачев широкоплечему татарину, стоя правящему тройкою. Сердце мое сильно забилось. Лошади тронулись, колокольчик загремел, кибитка полетела...

«Стой! стой!» — раздался голос, слишком мне знакомый, — и я увидел Савельича, бежавшего нам навстречу. Пугачев велел остановиться. «Батюшка, Петр Андреич! — кричал дядька. — Не покинь меня на старости лет посреди этих мошен...» — «А, старый хрыч! — сказал ему Пугачев. — Опять бог дал свидеться. Ну, садись на облучок».

— Спасибо, государь, спасибо, отец родной! — говорил Савельич усаживаясь. — Дай бог тебе сто лет здравствовать за то, что меня старика призрил и успокоил. Век за тебя буду бога молить, а о заячьем тулупе и упоминать уж не стану.

Этот заячий тулуп мог наконец не на шутку рассердить Пугачева. К счастию, самозванец или не расслыхал, или пренебрег неуместным намеком. Лошади поскакали; народ на улице останавливался и кланялся в пояс. Пугачев кивал головою на обе стороны. Через минуту мы выехали из слободы и помчались по гладкой дороге.

Легко можно себе представить, что чувствовал я в эту минуту. Через несколько часов должен я был увидеться с той, которую почитал уже для меня

потерянною. Я воображал себе минуту нашего соединения... Я думал также и о том человеке, в чьих руках находилась моя судьба и который по странному стечению обстоятельств таинственно был со мною связан. Я вспоминал об опрометчивой жестокости, о кровожадных привычках того, кто вызывался быть избавителем моей любезной! Пугачев не знал, что она была дочь капитана Миронова; озлобленный Швабрин мог открыть ему все; Пугачев мог проведать истину и другим образом... Тогда что станется с Марьей Ивановной? Холод пробегал по моему телу, и волоса становились дыбом...

Вдруг Пугачев прервал мои размышления, обратясь ко мне с вопросом:

— О чем, ваше благородие, изволил задуматься?

— Как не задуматься, — отвечал я ему. — Я офицер и дворянин; вчера еще дрался противу тебя, а сегодня еду с тобой в одной кибитке, и счастие всей моей жизни зависит от тебя.

— Что ж? — спросил Пугачев. — Страшно тебе?

Я отвечал, что, быв однажды уже им помилован, я надеялся не только на его пощаду, но даже и на помощь.

— И ты прав, ей-богу прав! — сказал самозванец. — Ты видел, что мои ребята смотрели на тебя косо; а старик и сегодня настаивал на том, что ты шпион и что надобно тебя пытать и повесить; но я не согласился, — прибавил он, понизив голос, чтоб Савельич и татарин не могли его услышать, — помня твой стакан вина и заячий тулуп. Ты видишь, что я не такой еще кровопийца, как говорит обо мне ваша братья.

Я вспомнил взятие Белогорской крепости; но не почел нужным его оспоривать и не отвечал ни слова.

— Что говорят обо мне в Оренбурге? — спросил Пугачев, помолчав немного.

— Да, говорят, что с тобою сладить трудновато; нечего сказать: дал ты себя знать.

Лицо самозванца изобразило довольное самолюбие.

— Да! — сказал он с веселым видом. — Я воюю хоть куда. Знают ли у вас в Оренбурге о сражении под

Юзеевой? Сорок енаралов убито, четыре армии взято в полон. Как ты думаешь: прусский король мог ли бы со мною потягаться?

Хвастливость разбойника показалась мне забавна.

— Сам как ты думаешь? — сказал я ему, — управился ли бы ты с Фридериком?

— С Федор Федоровичем? А как же нет? С вашими енаралами ведь я же управляюсь; а они его бивали. Доселе оружие мое было счастливо. Дай срок, то ли еще будет, как пойду на Москву.

— А ты полагаешь идти на Москву?

Самозванец несколько задумался и сказал вполголоса:

— Бог весть. Улица моя тесна; воли мне мало. Ребята мои умничают. Они воры. Мне должно держать ухо востро; при первой неудаче они свою шею выкупят моею головою.

— То-то! — сказал я Пугачеву. — Не лучше ли тебе отстать от них самому, заблаговременно, да прибегнуть к милосердию государыни?

Пугачев горько усмехнулся.

— Нет, — отвечал он, — поздно мне каяться. Для меня не будет помилования. Буду продолжать как начал. Как знать? Авось и удастся! Гришка Отрепьев ведь поцарствовал же над Москвою.

— А знаешь ты, чем он кончил? Его выбросили из окна, зарезали, сожгли, зарядили его пеплом пушку и выпалили!

— Слушай, — сказал Пугачев с каким-то диким вдохновением. — Расскажу тебе сказку, которую в ребячестве мне рассказывала старая калмычка. Однажды орел спрашивал у ворона: скажи, ворон-птица, отчего живешь ты на белом свете триста лет, а я всего-навсе только тридцать три года? — Оттого, батюшка, отвечал ему ворон, что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной. Орел подумал: давай попробуем и мы питаться тем же. Хорошо. Полетели орел да ворон. Вот завидели палую лошадь; спустились и сели. Ворон стал клевать да похваливать. Орел клюнул раз, клюнул другой, махнул крылом и сказал ворону: нет, брат

ворон; чем триста лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью, а там что бог даст! — Какова калмыцкая сказка?

— Затейлива, — отвечал я ему. — Но жить убийством и разбоем значит по мне клевать мертвечину.

Пугачев посмотрел на меня с удивлением и ничего не отвечал. Оба мы замолчали, погрузясь каждый в свои размышления. Татарин затянул унылую песню; Савельич, дремля, качался на облучке. Кибитка летела по гладкому зимнему пути... Вдруг увидел я деревушку на крутом берегу Яика, с частоколом и с колокольней — и через четверть часа въехали мы в Белогорскую крепость.

**Глава XII**

СИРОТА

Как у нашей у яблоньки   
Ни верхушки нет, ни отросточек;  
Как у нашей у княгинюшки  
Ни отца нету, ни матери.  
Снарядить-то ее некому,   
Благословить-то ее некому.

Свадебная песня.

Кибитка подъехала к крыльцу комендантского дома. Народ узнал колокольчик Пугачева и толпою бежал за нами. Швабрин встретил самозванца на крыльце. Он был одет казаком и отрастил себе бороду. Изменник помог Пугачеву вылезть из кибитки, в подлых выражениях изъявляя свою радость и усердие. Увидя меня, он смутился; но вскоре оправился, протянул мне руку, говоря: «И ты наш? Давно бы так!» Я отворотился от него и ничего не отвечал.

Сердце мое заныло, когда очутились мы в давно знакомой комнате, где на стене висел еще диплом покойного коменданта, как печальная эпитафия прошедшему времени. Пугачев сел на том диване, на котором, бывало, дремал Иван Кузмич, усыпленный ворчанием своей супруги. Швабрин сам поднес ему водки. Пугачев выпил рюмку и сказал ему, указав на меня: «Попотчуй и его благородие». Швабрин подошел ко мне с своим подносом; но я вторично от него отворотился.

Он казался сам не свой. При обыкновенной своей сметливости он, конечно, догадался, что Пугачев был им недоволен. Он трусил перед ним, а на меня поглядывал с недоверчивости. Пугачев осведомился о состоянии крепости, о слухах про неприятельские войска и тому подобном, и вдруг спросил его неожиданно:

— Скажи, братец, какую девушку держишь ты у себя под караулом? Покажи-ка мне ее.

Швабрин побледнел как мертвый.

— Государь, — сказал он дрожащим голосом... — Государь, она не под караулом... она больна... она в светлице лежит.

— Веди ж меня к ней, — сказал самозванец, вставая с места. Отговориться было невозможно. Швабрин повел Пугачева в светлицу Марьи Ивановны. Я за ними последовал.

Швабрин остановился на лестнице.

— Государь! — сказал он. — Вы властны требовать от меня, что вам угодно; но не прикажите постороннему входить в спальню к жене моей.

Я затрепетал.

— Так ты женат! — сказал я Швабрину, готовяся его растерзать.

— Тише! — прервал меня Пугачев. — Это мое дело. А ты, — продолжал он, обращаясь к Швабрину, — не умничай и не ломайся: жена ли она тебе, или не жена, а я веду к ней кого хочу. Ваше благородие, ступай за мною.

У дверей светлицы Швабрин опять остановился и сказал прерывающимся голосом:

— Государь, предупреждаю вас, что она в белой горячке и третий день как бредит без умолку.

— Отворяй! — сказал Пугачев.

Швабрин стал искать у себя в карманах и сказал, что не взял с собою ключа. Пугачев толкнул дверь ногою; замок отскочил; дверь отворилась, и мы вошли.

Я взглянул и обмер. На полу, в крестьянском оборванном платье сидела Марья Ивановна, бледная, худая, с растрепанными волосами. Перед нею стоял кувшин воды, накрытый ломтем хлеба. Увидя меня, она

вздрогнула и закричала. Что тогда со мною стало — не помню.

Пугачев посмотрел на Швабрина и сказал с горькой усмешкою:

— Хорош у тебя лазарет! — Потом, подошед к Марье Ивановне: — Скажи мне, голубушка, за что твой муж тебя наказывает? в чем ты перед ним провинилась?

— Мой муж! — повторила она. — Он мне не муж. Я никогда не буду его женою! Я лучше решилась умереть, и умру, если меня не избавят.

Пугачев взглянул грозно на Швабрина.

— И ты смел меня обманывать! — сказал он ему. — Знаешь ли, бездельник, чего ты достоин?

Швабрин упал на колени... В эту минуту презрение заглушило во мне все чувства ненависти и гнева. С омерзением глядел я на дворянина, валяющегося в ногах беглого казака. Пугачев смягчился.

— Милую тебя на сей раз, — сказал он Швабрину, — но знай, что при первой вине тебе припомнится и эта.

Потом обратился он к Марье Ивановне и сказал ей ласково:

— Выходи, красная девица; дарую тебе волю. Я государь.

Марья Ивановна быстро взглянула на него и догадалась, что перед нею убийца ее родителей. Она закрыла лицо обеими руками и упала без чувств. Я кинулся к ней; но в эту минуту очень смело в комнату втерлась моя старинная знакомая Палаша и стала ухаживать за своею барышнею. Пугачев вышел из светлицы, и мы трое сошли в гостиную.

— Что, ваше благородие? — сказал, смеясь, Пугачев. — Выручили красную девицу! Как думаешь, не послать ли за попом, да не заставить ли его обвенчать племянницу? Пожалуй, я буду посаженым отцом, Швабрин дружкою; закутим, запьем — и ворота запрем!

Чего я опасался, то и случилось, Швабрин, услыша предложение Пугачева, вышел из себя.

— Государь! — закричал он в исступлении. — Я виноват, я вам солгал; но и Гринев вас обманывает.

*378*

Эта девушка не племянница здешнего попа: она дочь Ивана Миронова, который казнен при взятии здешней крепости.

Пугачев устремил на меня огненные свои глаза.

— Это что еще? — спросил он меня с недоумением.

— Швабрин сказал тебе правду, — отвечал я с твердостию.

— Ты мне этого не сказал, — заметил Пугачев, у коего лицо омрачилось.

— Сам ты рассуди, — отвечал я ему, — можно ли было при твоих людях объявить, что дочь Миронова жива. Да они бы ее загрызли. Ничто ее бы не спасло!

— И то правда, — сказал, смеясь, Пугачев. — Мои пьяницы не пощадили бы бедную девушку. Хорошо сделала кумушка-попадья, что обманула их.

— Слушай, — продолжал я, видя его доброе расположение. — Как тебя назвать не знаю, да и знать не хочу... Но бог видит, что жизнию моей рад бы я заплатить тебе за то, что ты для меня сделал. Только не требуй того, что противно чести моей и христианской совести. Ты мой благодетель. Доверши как начал: отпусти меня с бедной сиротою, куда нам бог путь укажет. А мы, где бы ты ни был и что бы с тобою ни случилось, каждый день будем бога молить о спасении грешной твоей души...

Казалось, суровая душа Пугачева была тронута. «Ин быть по-твоему! — сказал он. — Казнить так казнить, жаловать так жаловать: таков мой обычай. Возьми себе свою красавицу; вези ее куда хочешь, и дай вам бог любовь да совет!»

Тут он оборотился к Швабрину и велел выдать мне пропуск во все заставы и крепости, подвластные ему. Швабрин, совсем уничтоженный, стоял как остолбенелый. Пугачев отправился осматривать крепость. Швабрин его сопровождал; а я остался под предлогом приготовлений к отъезду.

Я побежал в светлицу. Двери были заперты. Я постучался. «Кто там?» — спросила Палаша. Я назвался. Милый голосок Марьи Ивановны раздался из-за дверей. «Погодите, Петр Андреич. Я переодеваюсь. Ступайте к Акулине Памфиловне: я сейчас туда же буду».

Я повиновался и пошел в дом отца Герасима. И он и попадья выбежали ко мне навстречу. Савельич их уже предупредил. «Здравствуйте, Петр Андреич, — говорила попадья. — Привел бог опять увидеться. Как поживаете? А мы-то про вас каждый день поминали. А Марья-то Ивановна всего натерпелась без вас, моя голубушка!.. Да скажите, мой отец, как это вы с Пугачевым-то поладили? Как он это вас не укокошил? Добро, спасибо злодею и за то». — «Полно, старуха, — прервал отец Герасим. — Не все то ври, что знаешь. Несть спасения во многом глаголании. Батюшка Петр Андреич! войдите, милости просим. Давно, давно не видались».

Попадья стала угощать меня чем бог послал. А между тем говорила без умолку. Она рассказала мне, каким образом Швабрин принудил их выдать ему Марью Ивановну; как Марья Ивановна плакала и не хотела с ними расстаться; как Марья Ивановна имела с нею всегдашние сношения через Палашку (девку бойкую, которая и урядника заставляет плясать по своей дудке); как она присоветовала Марье Ивановне написать ко мне письмо и прочее. Я, в свою очередь, рассказал ей вкратце свою историю. Поп и попадья крестились, услыша, что Пугачеву известен их обман. «С нами сила крестная! — говорила Акулина Памфиловна. — Промчи бог тучу мимо. Ай да Алексей Иваныч; нечего сказать: хорош гусь!» В самую эту минуту дверь отворилась, и Марья Ивановна пошла с улыбкою на бледном лице. Она оставила свое крестьянское платье и одета была по-прежнему просто и мило.

Я схватил ее руку и долго не мог вымолвить ни одного слова. Мы оба молчали от полноты сердца. Хозяева наши почувствовали, что нам было не до них, и оставили нас. Мы остались одни. Все было забыто. Мы говорили и не могли наговориться. Марья Ивановна рассказала мне все, что с нею ни случилось с самого взятия крепости; описала мне весь ужас ее положения, все испытания, которым подвергал ее гнусный Швабрин. Мы вспомнили и прежнее счастливое время... Оба мы плакали... Наконец я стал объяснять

ей мои предположения. Оставаться ей в крепости, подвластной Пугачеву и управляемой Швабриным, было невозможно. Нельзя было думать и об Оренбурге, претерпевающем все бедствия осады. У ней не было на свете ни одного родного человека. Я предложил ей ехать в деревню к моим родителям. Она сначала колебалась: известное ей неблагорасположение отца моего ее пугало. Я ее успокоил. Я знал, что отец почтет за счастие и вменит себе в обязанность принять дочь заслуженного воина, погибшего за отечество. «Милая Марья Ивановна! — сказал я наконец. — Я почитаю тебя своею женою. Чудные обстоятельства соединили нас неразрывно: ничто на свете не может нас разлучить». Марья Ивановна выслушала меня просто, без притворной застенчивости, без затейливых отговорок. Она чувствовала, что судьба ее соединена была с моею. Но она повторила, что не иначе будет моею женою, как с согласия моих родителей. Я ей и не противуречил. Мы поцеловались горячо, искренно — и таким образом все было между нами решено.

Через час урядник принес мне пропуск, подписанный каракульками Пугачева, и позвал меня к нему от его имени. Я нашел его готового пуститься в дорогу. Не могу изъяснить то, что я чувствовал, расставаясь с этим ужасным человеком, извергом, злодеем для всех, кроме одного меня. Зачем не сказать истины? В эту минуту сильное сочувствие влекло меня к нему. Я пламенно желал вырвать его из среды злодеев, которыми он предводительствовал, и спасти его голову, пока еще было время. Швабрин и народ, толпящийся около нас, помешали мне высказать все, чем исполнено было мое сердце.

Мы расстались дружески. Пугачев, увидя в толпе Акулину Памфиловну, погрозил пальцем и мигнул значительно; потом сел в кибитку, велел ехать в Берду, и когда лошади тронулись, то он еще раз высунулся из кибитки и закричал мне: «Прощай, ваше благородие! Авось увидимся когда-нибудь». Мы точно с ним увиделись, но в каких обстоятельствах!..

Пугачев уехал. Я долго смотрел на белую степь, по которой неслась его тройка. Народ разошелся.

Швабрин скрылся. Я воротился в дом священника. Все было готово к нашему отъезду; я не хотел более медлить. Добро наше все было уложено в старую комендантскую повозку. Ямщики мигом заложили лошадей. Марья Ивановна пошла проститься с могилами своих родителей, похороненных за церковью. Я хотел ее проводить, но она просила меня оставить ее одну. Через несколько минут она воротилась, обливаясь молча тихими слезами. Повозка была подана. Отец Герасим и жена его вышли на крыльцо. Мы сели в кибитку втроем: Марья Ивановна с Палашей и я. Савельич забрался на облучок. «Прощай, Марья Ивановна, моя голубушка! прощайте, Петр Андреич, сокол наш ясный! — говорила добрая попадья. — Счастливый путь, и дай бог вам обоим счастия!» Мы поехали. У окошка комендантского дома я увидел стоящего Швабрина. Лицо его изображало мрачную злобу. Я не хотел торжествовать над уничтоженным врагом и обратил глаза в другую сторону. Наконец мы выехали из крепостных ворот и навек оставили Белогорскую крепость.

**Глава XIII**

АРЕСТ

Не гневайтесь, сударь: по долгу моему  
Я должен сей же час отправить вас в тюрьму.  
— Извольте, я готов; но я в такой надежде,  
Что дело объяснить дозволите мне прежде.

Княжнин.

Соединенный так нечаянно с милой девушкою, о которой еще утром я так мучительно беспокоился, я не верил самому себе и воображал, что все со мною случившееся было пустое сновидение. Марья Ивановна глядела с задумчивостию то на меня, то на дорогу и, казалось, не успела еще опомниться и прийти в себя. Мы молчали. Сердца наши слишком были утомлены. Неприметным образом часа через два очутились мы в ближней крепости, также подвластной Пугачеву. Здесь мы переменили лошадей. По скорости, с каковой их запрягали, по торопливой услужливости брадатого казака, поставленного Пугачевым в коменданты, я увидел, что, благодаря болтливости ямщика, нас привезшего, меня принимали как придворного временщика.

Мы отправились далее. Стало смеркаться. Мы приближились к городку, где, по словам бородатого коменданта, находился сильный отряд, идущий на соединение к самозванцу. Мы были остановлены

караульными. На вопрос: кто едет? — ямщик отвечал громогласно: «Государев кум со своею хозяюшкою». Вдруг толпа гусаров окружила нас с ужасною бранью. «Выходи, бесов кум! — сказал мне усастый вахмистр. — Вот ужо тебе будет баня, и с твоею хозяюшкою!»

Я вышел из кибитки и требовал, чтоб отвели меня к их начальнику. Увидя офицера, солдаты прекратили брань. Вахмистр повел меня к майору. Савельич от меня не отставал, поговаривая про себя: «Вот тебе и государев кум! Из огня да в полымя... Господи владыко! чем это все кончится?» Кибитка шагом поехала за нами.

Через пять минут мы пришли к домику, ярко освещенному. Вахмистр оставил меня при карауле и пошел обо мне доложить. Он тотчас же воротился, объявив мне, что его высокоблагородию некогда меня принять, а что он велел отвести меня в острог, а хозяюшку к себе привести.

— Что это значит? — закричал я в бешенстве. — Да разве он с ума сошел?

— Не могу знать, ваше благородие, — отвечал вахмистр. — Только его высокоблагородие приказал ваше благородие отвести в острог, а ее благородие приказано привести к его высокоблагородию, ваше благородие!

Я бросился на крыльцо. Караульные не думали меня удерживать, и я прямо вбежал в комнату, где человек шесть гусарских офицеров играли в банк. Майор метал. Каково было мое изумление, когда, взглянув на него, узнал я Ивана Ивановича Зурина, некогда обыгравшего меня в Симбирском трактире!

— Возможно ли? — вскричал я. — Иван Иваныч! ты ли?

— Ба, ба, ба, Петр Андреич! Какими судьбами? Откуда ты? Здорово, брат. Не хочешь ли поставить карточку?

— Благодарен. Прикажи-ка лучше отвести мне квартиру.

— Какую тебе квартиру? Оставайся у меня.

— Не могу: я не один.

— Ну, подавай сюда и товарища.

— Я не с товарищем; я... с дамою.

— С дамою! Где же ты ее подцепил? Эге, брат! — (При сих словах Зурин засвистел так выразительно, что все захохотали, а я совершенно смутился.)

— Ну, — продолжал Зурин, — так и быть. Будет тебе квартира. А жаль... Мы бы попировали по-старинному... Гей! малой! Да что ж сюда не ведут кумушку-то Пугачева? или она упрямится? Сказать ей, чтоб она не боялась: барин-де прекрасный; ничем не обидит, да хорошенько ее в шею.

— Что ты это? — сказал я Зурину. — Какая кумушка Пугачева? Это дочь покойного капитана Миронова. Я вывез ее из плена и теперь провожаю до деревни батюшкиной, где и оставлю ее.

— Как! Так это о тебе мне сейчас докладывали? Помилуй! что ж это значит?

— После все расскажу. А теперь, ради бога, успокой бедную девушку, которую гусары твои перепугали.

Зурин тотчас распорядился. Он сам вышел на улицу извиняться перед Марьей Ивановной в невольном недоразумении и приказал вахмистру отвести ей лучшую квартиру в городе. Я остался ночевать у него.

Мы отужинали, и, когда остались вдвоем, я рассказал ему свои похождения. Зурин слушал меня с большим вниманием. Когда я кончил, он покачал головою и сказал: «Все это, брат, хорошо; одно нехорошо: зачем тебя черт несет жениться? Я, честный офицер, не захочу тебя обманывать: поверь же ты мне, что женитьба блажь. Ну, куда тебе возиться с женою да нянчиться с ребятишками? Эй, плюнь. Послушайся меня: развяжись ты с капитанскою дочкой. Дорога в Симбирск мною очищена и безопасна. Отправь ее завтра ж одну к родителям твоим; а сам оставайся у меня в отряде. В Оренбург возвращаться тебе незачем. Попадешься опять в руки бунтовщикам, так вряд ли от них еще раз отделаешься. Таким образом любовная дурь пройдет сама собою, и все будет ладно».

Хотя я не совсем был с ним согласен, однако ж чувствовал, что долг чести требовал моего присутствия в войске императрицы. Я решился последовать совету

Зурина: отправить Марью Ивановну в деревню и остаться в его отряде.

Савельич явился меня раздевать; я объявил ему, чтоб на другой же день готов он был ехать в дорогу с Марьей Ивановной. Он было заупрямился. «Что ты, сударь? Как же я тебя-то покину? Кто за тобою будет ходить? Что скажут родители твои?»

Зная упрямство дядьки моего, я вознамерился убедить его лаской и искренностию. «Друг ты мой, Архип Савельич! — сказал я ему. — Не откажи, будь мне благодетелем; в прислуге здесь я нуждаться не стану, а не буду спокоен, если Марья Ивановна поедет в дорогу без тебя. Служа ей, служишь ты и мне, потому что я твердо решился, как скоро обстоятельства дозволят, жениться на ней».

Тут Савельич сплеснул руками с видом изумления неописанного.

— Жениться! — повторил он. — Дитя хочет жениться! А что скажет батюшка, а матушка-то что подумает?

— Согласятся, верно согласятся, — отвечал я, — когда узнают Марью Ивановну. Я надеюсь и на тебя. Батюшка и матушка тебе верят: ты будешь за нас ходатаем, не так ли?

Старик был тронут. «Ох, батюшка ты мой Петр Андреич! — отвечал он. — Хоть раненько задумал ты жениться, да зато Марья Ивановна такая добрая барышня, что грех и пропустить оказию. Ин быть по-твоему! Провожу ее, ангела божия, и рабски буду доносить твоим родителям, что такой невесте не надобно и приданого».

Я благодарил Савельича и лег спать в одной комнате с Зуриным. Разгоряченный и взволнованный, я разболтался. Зурин сначала со мною разговаривал охотно; но мало-помалу слова его стали реже и бессвязнее; наконец, вместо ответа на какой-то запрос, он захрапел и присвистнул. Я замолчал и вскоре последовал его примеру.

На другой день утром пришел я к Марье Ивановне. Я сообщил ей свои предположения. Она признала их благоразумие и тотчас со мною согласилась.

Отряд Зурина должен был выступить из города в тот же день. Нечего было медлить. Я тут же расстался с Марьей Ивановной, поручив ее Савельичу и дав ей письмо к моим родителям. Марья Ивановна заплакала. «Прощайте, Петр Андреич! — сказала она тихим голосом. — Придется ли нам увидаться, или нет, бог один это знает; но век не забуду вас; до могилы ты один останешься в моем сердце». Я ничего не мог отвечать. Люди нас окружали. Я не хотел при них предаваться чувствам, которые меня волновали. Наконец она уехала. Я возвратился к Зурину, грустен и молчалив. Он хотел меня развеселить; я думал себя рассеять: мы провели день шумно и буйно и вечером выступили в поход.

Это было в конце февраля. Зима, затруднявшая военные распоряжения, проходила, и наши генералы готовились к дружному содействию. Пугачев все еще стоял под Оренбургом. Между тем около его отряды соединялись и со всех сторон приближались к злодейскому гнезду. Бунтующие деревни, при виде наших войск, приходили в повиновение; шайки разбойников везде бежали от нас, и все предвещало скорое и благополучное окончание. Вскоре князь Голицын, под крепостию Татищевой, разбил Пугачева, рассеял его толпы, освободил Оренбург, и, казалось, нанес бунту последний и решительный удар. Зурин был в то время отряжен противу шайки мятежных башкирцев, которые рассеялись прежде, нежели мы их увидали. Весна осадила нас в татарской деревушке. Речки разлились, и дороги стали непроходимы. Мы утешались в нашем бездействии мыслию о скором прекращении скучной и мелочной войны с разбойниками и дикарями.

Но Пугачев не был пойман. Он явился на сибирских заводах, собрал там новые шайки и опять начал злодействовать. Слух о его успехах снова распространился. Мы узнали о разорении сибирских крепостей. Вскоре весть о взятии Казани и о походе самозванца на Москву встревожила начальников войск, беспечно дремавших в надежде на бессилие презренного

бунтовщика. Зурин получил повеление переправиться через Волгу1).

Не стану описывать нашего похода и окончания войны. Скажу коротко, что бедствие доходило до крайности. Мы проходили через селения, разоренные бунтовщиками, и поневоле отбирали у бедных жителей то, что успели они спасти. Правление было повсюду прекращено: помещики укрывались по лесам. Шайки разбойников злодействовали повсюду; начальники отдельных отрядов самовластно наказывали и миловали; состояние всего обширного края, где свирепствовал пожар, было ужасно... Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!

Пугачев бежал, преследуемый Иваном Ивановичем Михельсоном. Вскоре узнали мы о совершенном его разбитии. Наконец Зурин получил известие о поимке самозванца, а вместе с тем и повеление остановиться. Война была кончена. Наконец мне можно было ехать к моим родителям! Мысль их обнять, увидеть Марью Ивановну, от которой не имел я никакого известия, одушевляла меня восторгом. Я прыгал как ребенок. Зурин смеялся и говорил, пожимая плечами: «Нет, тебе несдобровать! Женишься — ни за что пропадешь!»

Но между тем странное чувство отравляло мою радость: мысль о злодее, обрызганном кровию стольких невинных жертв, и о казни, его ожидающей, тревожила меня поневоле: «Емеля, Емеля! — думал я с досадою, — зачем не наткнулся ты на штык или не подвернулся под картечь? Лучше ничего не мог бы ты придумать». Что прикажете делать? Мысль о нем неразлучна была во мне с мыслию о пощаде, данной мне им в одну из ужасных минут его жизни, и об избавлении моей невесты из рук гнусного Швабрина.

Зурин дал мне отпуск. Через несколько дней должен я был опять очутиться посреди моего семейства, увидеть опять мою Марью Ивановну... Вдруг неожиданная гроза меня поразила.

В день, назначенный для выезда, в самую ту минуту, когда готовился я пуститься в дорогу, Зурин вошел ко мне в избу, держа в руках бумагу, с видом чрезвычайно озабоченным. Что-то кольнуло меня в сердце. Я испугался, сам не зная чего. Он выслал моего денщика и объявил, что имеет до меня дело. «Что такое?» — спросил я с беспокойством. «Маленькая неприятность, — отвечал он, подавая мне бумагу. — Прочитай, что сейчас я получил». Я стал ее читать: это был секретный приказ ко всем отдельным начальникам арестовать меня, где бы ни попался, и немедленно отправить под караулом в Казань в Следственную комиссию, учрежденную по делу Пугачева.

Бумага чуть не выпала из моих рук. «Делать нечего! — сказал Зурин. — Долг мой повиноваться приказу. Вероятно, слух о твоих дружеских путешествиях с Пугачевым как-нибудь да дошел до правительства. Надеюсь, что дело не будет иметь никаких последствий и что ты оправдаешься перед комиссией. Не унывай и отправляйся». Совесть моя была чиста; я суда не боялся; но мысль отсрочить минуту сладкого свидания, может быть на несколько еще месяцев, устрашала меня. Тележка была готова. Зурин дружески со мною простился. Меня посадили в тележку. Со мною сели два гусара с саблями наголо, и я поехал по большой дороге.

**Глава XIV**

СУД

Мирская молва —  
Морская волна.

Пословица.

Я был уверен, что виною всему было самовольное мое отсутствие из Оренбурга. Я легко мог оправдаться: наездничество не только никогда не было запрещено, во еще всеми силами было ободряемо. Я мог быть обвинен в излишней запальчивости, а не в ослушании. Но приятельские сношения мои с Пугачевым могли быть доказаны множеством свидетелей и должны были казаться по крайней мере весьма подозрительными. Во всю дорогу размышлял я о допросах, меня ожидающих, обдумывал свои ответы и решился перед судом объявить сущую правду, полагая сей способ оправдания самым простым, а вместе и самым надежным.

Я приехал в Казань, опустошенную и погорелую. По улицам, наместо домов, лежали груды углей и торчали закоптелые стены без крыш и окон. Таков был след, оставленный Пугачевым! Меня привезли в крепость, уцелевшую посереди сгоревшего города. Гусары сдали меня караульному офицеру. Он велел кликнуть кузнеца. Надели мне на ноги цепь и заковали ее наглухо. Потом отвели меня в тюрьму и оставили одного в тесной и темной конурке, с одними

голыми стенами и с окошечком, загороженным железною решеткою.

Таковое начало не предвещало мне ничего доброго. Однако ж я не терял ни бодрости, ни надежды. Я прибегнул к утешению всех скорбящих и, впервые вкусив сладость молитвы, излиянной из чистого, но растерзанного сердца, спокойно заснул, не заботясь о том, что со мною будет.

На другой день тюремный сторож меня разбудил с объявлением, что меня требуют в комиссию. Два солдата повели меня через двор в комендантский дом, остановились в передней и впустили одного во внутренние комнаты.

Я вошел в залу довольно обширную. За столом, покрытым бумагами, сидели два человека: пожилой генерал, виду строгого и холодного, и молодой гвардейский капитан, лет двадцати осьми, очень приятной наружности, ловкий и свободный в обращении. У окошка за особым столом сидел секретарь с пером за ухом, наклонясь над бумагою, готовый записывать мои показания. Начался допрос. Меня спросили о моем имени и звании. Генерал осведомился, не сын ли я Андрея Петровича Гринева? И на ответ мой возразил сурово: «Жаль, что такой почтенный человек имеет такого недостойного сына!» Я спокойно отвечал, что каковы бы ни были обвинения, тяготеющие на мне, я надеюсь их рассеять чистосердечным объяснением истины. Уверенность моя ему не понравилась. «Ты, брат, востер, — сказал он мне нахмурясь, — но видали мы и не таких!»

Тогда молодой человек спросил меня: по какому случаю и в какое время вошел я в службу к Пугачеву и по каким поручениям был я им употреблен?

Я отвечал с негодованием, что я, как офицер и дворянин, ни в какую службу к Пугачеву вступать и никаких поручений от него принять не мог.

— Каким же образом, — возразил мой допросчик, — дворянин и офицер один пощажен самозванцем, между тем как все его товарищи злодейски умерщвлены? Каким образом этот самый офицер и дворянин дружески пирует с бунтовщиками, принимает

от главного злодея подарки, шубу, лошадь и полтину денег? Отчего произошла такая странная дружба и на чем она основана, если не на измене или по крайней мере на гнусном и преступном малодушии?

Я был глубоко оскорблен словами гвардейского офицера и с жаром начал свое оправдание. Я рассказал, как началось мое знакомство с Пугачевым в степи, во время бурана; как при взятии Белогорской крепости он меня узнал и пощадил. Я сказал, что тулуп и лошадь, правда, не посовестился я принять от самозванца; но что Белогорскую крепость защищал я противу злодея до последней крайности. Наконец я сослался и на моего генерала, который мог засвидетельствовать мое усердие во время бедственной оренбургской осады.

Строгий старик взял со стола открытое письмо и стал читать его вслух:

— «На запрос вашего превосходительства касательно прапорщика Гринева, якобы замешанного в нынешнем смятении и вошедшего в сношения с злодеем, службою недозволенные и долгу присяги противные, объяснить имею честь: оный прапорщик Гринев находился на службе в Оренбурге от начала октября прошлого 1773 года до 24 февраля нынешнего года, в которое число он из города отлучился и с той поры уже в команду мою не являлся. А слышно от перебежчиков, что он был у Пугачева в слободе и с ним вместе ездил в Белогорскую крепость, в коей прежде находился он на службе; что касается до его поведения, то я могу...» Тут он прервал свое чтение и сказал мне сурово: «Что ты теперь скажешь себе в оправдание?»

Я хотел было продолжать, как начал, и объяснить мою связь с Марьей Ивановной так же искренно, как и все прочее. Но вдруг почувствовал непреодолимое отвращение. Мне пришло в голову, что если назову ее, то комиссия потребует ее к ответу; и мысль впутать имя ее между гнусными изветами злодеев и ее самую привести на очную с ними ставку — эта ужасная мысль так меня поразила, что я замялся и спутался.

Судьи мои, начинавшие, казалось, выслушивать ответы мои с некоторою благосклонностию, были снова

предубеждены противу меня при виде моего смущения. Гвардейский офицер потребовал, чтоб меня поставили на очную ставку с главным доносителем. Генерал велел кликнуть *вчерашнего злодея.* Я с живостию обратился к дверям, ожидая появления своего обвинителя. Через несколько минут загремели цепи, двери отворились, и вошел — Швабрин. Я изумился его перемене. Он был ужасно худ и бледен. Волоса его, недавно черные как смоль, совершенно поседели; длинная борода была всклокочена. Он повторил обвинения свои слабым, но смелым голосом. По его словам, я отряжен был от Пугачева в Оренбург шпионом; ежедневно выезжал на перестрелки, дабы передавать письменные известия о всем, что делалось в городе; что наконец явно передался самозванцу, разъезжал с ним из крепости в крепость, стараясь всячески губить своих товарищей-изменников, дабы занимать их места и пользоваться наградами, раздаваемыми от самозванца. Я выслушал его молча и был доволен одним: имя Марьи Ивановны не было произнесено гнусным злодеем, оттого ли, что самолюбие его страдало при мысли о той, которая отвергла его с презрением; оттого ли, что в сердце его таилась искра того же чувства, которое и меня заставляло молчать, — как бы то ни было, имя дочери белогорского коменданта не было произнесено в присутствии комиссии. Я утвердился еще более в моем намерении, и когда судьи спросили: чем могу опровергнуть показания Швабрина, я отвечал, что держусь первого своего объяснения и ничего другого в оправдание себе сказать не могу. Генерал велел нас вывести. Мы вышли вместе. Я спокойно взглянул на Швабрина, но не сказал ему ни слова. Он усмехнулся злобной усмешкою и, приподняв свои цепи, опередил меня и ускорил свои шаги. Меня опять отвели в тюрьму и с тех пор уже к допросу не требовали.

Я не был свидетелем всему, о чем остается мне уведомить читателя; но я так часто слыхал о том рассказы, что малейшие подробности врезались в мою память и что мне кажется, будто бы я тут же невидимо присутствовал.

Марья Ивановна принята была моими родителями с тем искренним радушием, которое отличало людей старого века. Они видели благодать божию в том, что имели случай приютить и обласкать бедную сироту. Вскоре они к ней искренно привязались, потому что нельзя было ее узнать и не полюбить. Моя любовь уже не казалась батюшке пустою блажью; а матушка только того и желала, чтоб ее Петруша женился на милой капитанской дочке.

Слух о моем аресте поразил все мое семейство. Марья Ивановна так просто рассказала моим родителям о странном знакомстве моем с Пугачевым, что оно не только не беспокоило их, но еще заставляло часто смеяться от чистого сердца. Батюшка не хотел верить, чтобы я мог быть замешан в гнусном бунте, коего цель была ниспровержение престола и истребление дворянского рода. Он строго допросил Савельича. Дядька не утаил, что барин бывал в гостях у Емельки Пугачева и что-де злодей его таки жаловал; но клялся, что ни о какой измене он и не слыхивал. Старики успокоились и с нетерпением стали ждать благоприятных вестей. Марья Ивановна сильно была встревожена, но молчала, ибо в высшей степени была одарена скромностию и осторожностию.

Прошло несколько недель... Вдруг батюшка получает из Петербурга письмо от нашего родственника князя Б \*\*. Князь писал ему обо мне. После обыкновенного приступа, он объявлял ему, что подозрения насчет участия моего в замыслах бунтовщиков, к несчастию, оказались слишком основательными, что примерная казнь должна была бы меня постигнуть, но что государыня, из уважения к заслугам и преклонным летам отца, решилась помиловать преступного сына и, избавляя его от позорной казни, повелела только сослать в отдаленный край Сибири на вечное поселение.

Сей неожиданный удар едва не убил отца моего. Он лишился обыкновенной своей твердости, и горесть его (обыкновенно немая) изливалась в горьких жалобах. «Как! — повторял он, выходя из себя. — Сын мой участвовал в замыслах Пугачева! Боже праведный, до чего я дожил! Государыня избавляет его от казни! От

этого разве мне легче? Не казнь страшна: пращур мой умер на лобном месте, отстаивая то, что почитал святынею своей совести; [отец мой пострадал вместе с Волынским и Хрущевым](#c7). Но дворянину изменить своей присяге, соединиться с разбойниками, с убийцами, с беглыми холопьями!.. Стыд и срам нашему роду!..» Испуганная его отчаянием матушка не смела при нем плакать и старалась возвратить ему бодрость, говоря о неверности молвы, о шаткости людского мнения. Отец мой был неутешен.

Марья Ивановна мучилась более всех. Будучи уверена, что я мог оправдаться, когда бы только захотел, она догадывалась об истине и почитала себя виновницею моего несчастия. Она скрывала от всех свои слезы и страдания и между тем непрестанно думала о средствах, как бы меня спасти.

Однажды вечером батюшка сидел на диване, перевертывая листы Придворного календаря; но мысли его были далеко, и чтение не производило над ним обыкновенного своего действия. Он насвистывал старинный марш. Матушка молча вязала шерстяную фуфайку, и слезы изредка капали на ее работу. Вдруг Марья Ивановна, тут же сидевшая за работой, объявила, что необходимость ее заставляет ехать в Петербург и что она просит дать ей способ отправиться. Матушка очень огорчилась. «Зачем тебе в Петербург? — сказала она. — Неужто, Марья Ивановна, хочешь и ты нас покинуть?» Марья Ивановна отвечала, что вся будущая судьба ее зависит от этого путешествия, что она едет искать покровительства и помощи у сильных людей, как дочь человека, пострадавшего за свою верность.

Отец мой потупил голову: всякое слово, напоминающее мнимое преступление сына, было ему тягостно и казалось колким упреком. «Поезжай, матушка! — сказал он ей со вздохом. — Мы твоему счастию помехи сделать не хотим. Дай бог тебе в женихи доброго человека, не ошельмованного изменника». Он встал и вышел из комнаты.

Марья Ивановна, оставшись наедине с матушкою, отчасти объяснила ей свои предположения. Матушка

со слезами обняла ее и молила бога о благополучном конце замышленного дела. Марью Ивановну снарядили, и через несколько дней она отправилась в дорогу с верной Палашей и с верным Савельичем, который, насильственно разлученный со мною, утешался по крайней мере мыслию, что служит нареченной моей невесте.

Марья Ивановна благополучно прибыла в Софию и, узнав на почтовом дворе, что Двор находился в то время в Царском Селе, решилась тут остановиться. Ей отвели уголок за перегородкой. Жена смотрителя тотчас с нею разговорилась, объявила, что она племянница придворного истопника, и посвятила ее во все таинства придворной жизни. Она рассказала, в котором часу государыня обыкновенно просыпалась, кушала кофей, прогуливалась; какие вельможи находились в то время при ней; что изволила она вчерашний день говорить у себя за столом, кого принимала вечером, — словом, разговор Анны Власьевны стоил нескольких страниц исторических записок и был бы драгоценен для потомства. Марья Ивановна слушала ее со вниманием. Они пошли в сад. Анна Власьевна рассказала историю каждой аллеи и каждого мостика, и, нагулявшись, они возвратились на станцию очень довольные друг другом.

На другой день рано утром Марья Ивановна проснулась, оделась и тихонько пошла в сад. Утро было прекрасное, солнце освещало вершины лип, пожелтевших уже под свежим дыханием осени. Широкое озеро сияло неподвижно. Проснувшиеся лебеди важно выплывали из-под кустов, осеняющих берег. Марья Ивановна пошла около прекрасного луга, где только что поставлен был памятник в честь недавних побед графа Петра Александровича Румянцева. Вдруг белая собачка английской породы залаяла и побежала ей навстречу. Марья Ивановна испугалась и остановилась. В эту самую минуту раздался приятный женский голос: «Не бойтесь, она не укусит». И Марья Ивановна увидела даму, сидевшую на скамейке противу памятника. Марья Ивановна села на другом конце скамейки. Дама пристально на нее смотрела; а Марья Ивановна, со своей стороны бросив несколько косвенных взглядов,

успела рассмотреть ее с ног до головы. Она была в белом утреннем платье, в ночном чепце и в душегрейке. Ей казалось лет сорок. Лицо ее, полное и румяное, выражало важность и спокойствие, а голубые глаза и легкая улыбка имели прелесть неизъяснимую. Дама первая перервала молчание.

— Вы, верно, не здешние? — сказала она.

— Точно так-с: я вчера только приехала из провинции.

— Вы приехали с вашими родными?

— Никак нет-с. Я приехала одна.

— Одна! Но вы так еще молоды.

— У меня нет ни отца, ни матери.

— Вы здесь, конечно, по каким-нибудь делам?

— Точно так-с. Я приехала подать просьбу государыне.

— Вы сирота: вероятно, вы жалуетесь на несправедливость и обиду?

— Никак нет-с. Я приехала просить милости, а не правосудия.

— Позвольте спросить, кто вы таковы?

— Я дочь капитана Миронова.

— Капитана Миронова! того самого, что был комендантом в одной из оренбургских крепостей?

— Точно так-с.

Дама, казалось, была тронута. «Извините меня, — сказала она голосом еще более ласковым, — если я вмешиваюсь в ваши дела; но я бываю при дворе; изъясните мне, в чем состоит ваша просьба, и, может быть, мне удастся вам помочь.»

Марья Ивановна встала и почтительно ее благодарила. Все в неизвестной даме невольно привлекало сердце и внушало доверенность. Марья Ивановна вынула из кармана сложенную бумагу и подала ее незнакомой своей покровительнице, которая стала читать ее про себя.

Сначала она читала с видом внимательным и благосклонным; но вдруг лицо ее переменилось, — и Марья Ивановна, следовавшая глазами за всеми ее движениями, испугалась строгому выражению этого лица, за минуту столь приятному и спокойному.

— Вы просите за Гринева? — сказала дама с холодным видом. — Императрица не может его простить. Он пристал к самозванцу не из невежества и легковерия, но как безнравственный и вредный негодяй.

— Ах, неправда! — вскрикнула Марья Ивановна.

— Как неправда! — возразила дама, вся вспыхнув.

— Неправда, ей-богу неправда! Я знаю все, я все вам расскажу. Он для одной меня подвергался всему, что постигло его. И если он не оправдался перед судом, то разве потому только, что не хотел запутать меня. — Тут она с жаром рассказала все, что уже известно моему читателю.

Дама выслушала ее со вниманием. «Где вы остановились?» — спросила она потом; и услыша, что у Анны Власьевны, примолвила с улыбкою: «А! знаю. Прощайте, не говорите никому о нашей встрече. Я надеюсь, что вы недолго будете ждать ответа на ваше письмо».

С этим словом она встала и вошла в крытую аллею, а Марья Ивановна возвратилась к Анне Власьевне, исполненная радостной надежды.

Хозяйка побранила ее за раннюю осеннюю прогулку, вредную, по ее словам, для здоровья молодой девушки. Она принесла самовар и за чашкою чая только было принялась за бесконечные рассказы о дворе, как вдруг придворная карета остановилась у крыльца, и камер-лакей вошел с объявлением, что государыня изволит к себе приглашать девицу Миронову.

Анна Власьевна изумилась и расхлопоталась. «Ахти господи! — закричала она. — Государыня требует вас ко двору. Как же это она про вас узнала? Да как же вы, матушка, представитесь к императрице? Вы, я чай, и ступить по-придворному не умеете... Не проводить ли мне вас? Все-таки я вас хоть в чем-нибудь да могу предостеречь. И как же вам ехать в дорожном платье? Не послать ли к повивальной бабушке за ее желтым роброном?» Камер-лакей объявил, что государыне угодно было, чтоб Марья Ивановна ехала одна и в том, в чем ее застанут. Делать было нечего: Марья Ивановна села в карету и поехала во дворец, сопровождаемая советами и благословениями Анны Власьевны.

Марья Ивановна предчувствовала решение нашей судьбы; сердце ее сильно билось и замирало. Чрез несколько минут карета остановилась у дворца. Марья Ивановна с трепетом пошла по лестнице. Двери перед нею отворились настежь. Она прошла длинный ряд пустых великолепных комнат; камер-лакей указывал дорогу. Наконец, подошед к запертым дверям, он объявил, что сейчас об ней доложит, и оставил ее одну.

Мысль увидеть императрицу лицом к лицу так устрашала ее, что она с трудом могла держаться на ногах. Через минуту двери отворились, и она вошла в уборную государыни.

Императрица сидела за своим туалетом. Несколько придворных окружали ее и почтительно пропустили Марью Ивановну. Государыня ласково к ней обратилась, и Марья Ивановна узнала в ней ту даму, с которой так откровенно изъяснялась она несколько минут тому назад. Государыня подозвала ее и сказала с улыбкою: «Я рада, что могла сдержать вам свое слово и исполнить вашу просьбу. Дело ваше кончено. Я убеждена в невинности вашего жениха. Вот письмо, которое сами потрудитесь отвезти к будущему свекру».

Марья Ивановна приняла письмо дрожащею рукою и, заплакав, упала к ногам императрицы, которая подняла ее и поцеловала. Государыня разговорилась с нею. «Знаю, что вы не богаты, — сказала она, — но я в долгу перед дочерью капитана Миронова. Не беспокойтесь о будущем. Я беру на себя устроить ваше состояние».

Обласкав бедную сироту, государыня ее отпустила. Марья Ивановна уехала в той же придворной карете. Анна Власьевна, нетерпеливо ожидавшая ее возвращения, осыпала ее вопросами, на которые Марья Ивановна отвечала кое-как. Анна Власьевна хотя и была недовольна ее беспамятством, но приписала оное провинциальной застенчивости и извинила великодушно. В тот же день Марья Ивановна, не полюбопытствовав взглянуть на Петербург, обратно поехала в деревню...

Здесь прекращаются записки Петра Андреевича Гринева. Из семейственных преданий известно, что он был освобожден от заключения в конце 1774 года, по именному повелению; что он присутствовал при казни Пугачева, который узнал его в толпе и кивнул ему головою, которая через минуту, мертвая и окровавленная, показана была народу. Вскоре потом Петр Андреевич женился на Марье Ивановне. Потомство их благоденствует в Симбирской губернии. В тридцати верстах от \*\*\* находится село, принадлежащее десятерым помещикам. В одном из барских флигелей показывают собственноручное письмо Екатерины II за стеклом и в рамке. Оно писано к отцу Петра Андреевича и содержит оправдание его сына и похвалы уму и сердцу дочери капитана Миронова. Рукопись Петра Андреевича Гринева доставлена была нам от одного из его внуков, который узнал, что мы заняты были трудом, относящимся ко временам, описанным его дедом. Мы решились, с разрешения родственников, издать ее особо, приискав к каждой главе приличный эпиграф и дозволив себе переменить некоторые собственные имена.

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

ПРОПУЩЕННАЯ ГЛАВА 1)

Мы приближались к берегам Волги; полк наш вступил в деревню \*\* и остановился в ней ночевать. Староста объявил мне, что на той стороне все деревни взбунтовались, шайки пугачевские бродят везде. Это известие меня сильно встревожило. Мы должны были переправиться на другой день утром. Нетерпение овладело мной. Деревня отца моего находилась в тридцати верстах по ту сторону реки. Я спросил, не сыщется ли перевозчика. Все крестьяне были рыболовы; лодок было много. Я пришел к Гриневу и объявил ему о своем намерении. «Берегись, — сказал он мне. — Одному ехать опасно. Дождись утра. Мы переправимся первые и приведем в гости к твоим родителям 50 человек гусаров на всякий случай».

Я настоял на своем. Лодка была готова. Я сел в нее с двумя гребцами. Они отчалили и ударили в весла.

Небо было ясно. Луна сияла. Погода была тихая — Волга неслась ровно и спокойно. Лодка, плавно качаясь, быстро скользила по темным волнам. Я погрузился в мечты воображения. Прошло около получаса. Мы уже достигли середины реки... вдруг гребцы начали шептаться между собою. «Что такое?» — спросил

1) Глава эта не включена в окончательную редакцию «Капитанской дочки» и сохранилась в черновой рукописи, где названа «Пропущенная глава». В тексте этой главы Гринев именуется Буланиным, а Зурин — Гриневым. (См. стр. 388.)

я, очнувшись. «Не знаем, бог весть», — отвечали гребцы, смотря в одну сторону. Глаза мои приняли то же направление, и я увидел в сумраке что-то плывшее вниз по Волге. Незнакомый предмет приближался. Я велел гребцам остановиться и дождаться его. Луна зашла за облако. Плывучий призрак сделался еще неяснее. Он был от меня уже близко, и я все еще не мог различить. «Что бы это было, — говорили гребцы. — Парус не парус, мачты не мачты...» — Вдруг луна вышла из-за облака и озарила зрелище ужасное. К нам навстречу плыла виселица, утвержденная на плоту, три тела висели на перекладине. Болезненное любопытство овладело мною. Я захотел взглянуть на лица висельников.

По моему приказанию гребцы зацепили плот багром, лодка моя толкнулась о плывучую виселицу. Я выпрыгнул и очутился между ужасными столбами. Яркая луна озаряла обезображенные лица несчастных. Один из них был старый чуваш, другой русский крестьянин, сильный и здоровый малый лет 20-ти. Но, взглянув на третьего, я сильно был поражен и не мог удержаться от жалобного восклицания: это был Ванька, бедный мой Ванька, по глупости своей приставший к Пугачеву. Над ними прибита была черная доска, на которой белыми крупными буквами было написано: «Воры и бунтовщики». Гребцы смотрели равнодушно и ожидали меня, удерживая плот багром. Я сел опять в лодку. Плот поплыл вниз по реке. Виселица долго чернела во мраке. Наконец она исчезла, и лодка моя причалила к высокому и крутому берегу...

Я щедро расплатился с гребцами. Один из них повел меня к выборному деревни, находившейся у перевоза. Я вошел с ним вместе в избу. Выборный, услыша, что я требую лошадей, принял было меня довольно грубо, но мой вожатый сказал ему тихо несколько слов, и его суровость тотчас обратилась в торопливую услужливость. В одну минуту тройка была готова, я сел в тележку и велел себя везти в нашу деревню.

Я скакал по большой дороге, мимо спящих деревень. Я. боялся одного: быть остановлену на дороге. Если ночная встреча моя на Волге доказывала присутствие

бунтовщиков, то она вместе была доказательством и сильного противудействия правительства. На всякий случай я имел в кармане пропуск, выданный мне Пугачевым, и приказ полковника Гринева. Но никто мне не встретился, и к утру я завидел реку и еловую рощу, за которой находилась наша деревня. Ямщик ударил по лошадям, и через четверть часа я въехал в \*\*.

Барский дом находился на другом конце села. Лошади мчались во весь дух. Вдруг посереди улицы ямщик начал их удерживать. «Что такое?» — спросил я с нетерпением. «Застава, барин», — отвечал ямщик, с трудом остановя разъяренных своих коней. В самом деле, я увидел рогатку и караульного с дубиною. Мужик подошел ко мне и снял шляпу, спрашивая пашпорту. «Что это значит? — спросил я его, — зачем здесь рогатка? Кого ты караулишь?» — «Да мы, батюшка, бунтуем», — отвечал он, почесываясь.

— А где ваши господа? — спросил я с сердечным замиранием...

— Господа-то наши где? — повторил мужик. — Господа наши в хлебном анбаре.

— Как в анбаре?

— Да Андрюха, земский, посадил, вишь, их в колодки и хочет везти к батюшке-государю.

— Боже мой! Отворачивай, дурак, рогатку. Что же ты зеваешь?

Караульный медлил. Я выскочил из телеги, треснул его (виноват) в ухо и сам отодвинул рогатку. Мужик мой глядел на меня с глупым недоумением. Я сел опять в телегу и велел скакать к барскому дому. Хлебный анбар находился на дворе. У запертых дверей стояли два мужика также с дубинами. Телега остановилась прямо перед ними. Я выскочил и бросился прямо на них. «Отворяйте двери!» — сказал я им. Вероятно, вид мой был страшен. По крайней мере оба убежали, бросив дубины. Я попытался сбить замок, а двери выломать, но двери были дубовые, а огромный замок несокрушим. В эту минуту статный молодой мужик вышел из людской избы и с видом надменным спросил меня, как я смею буянить. «Где Андрюшка земский, — закричал я ему. — Кликнуть его ко мне».

— Я сам Андрей Афанасьевич, а не Андрюшка, — отвечал он мне, гордо подбочась. — Чего надобно?

Вместо ответа я схватил его за ворот и, притащив к дверям анбара, велел их отпирать. Земский было заупрямился, но *отеческое* наказание подействовало и на него. Он вынул ключ и отпер анбар. Я кинулся через порог и в темном углу, слабо освещенном узким отверстием, прорубленным в потолке, увидел мать и отца. Руки их были связаны, на ноги набиты были колодки. Я бросился их обнимать и не мог выговорить ни слова. Оба смотрели на меня с изумлением, — три года военной жизни так изменили меня, что они не могли меня узнать. Матушка ахнула и залилась слезами.

Вдруг услышал я милый знакомый голос. «Петр Андреич! Это вы!» Я остолбенел... оглянулся и вижу в другом углу Марью Ивановну, также связанную.

Отец глядел на меня молча, не смея верить самому себе. Радость блистала на лице его. Я спешил саблею разрезать узлы их веревок.

— Здравствуй, здравствуй, Петруша, — говорил отец мне, прижимая меня к сердцу, — слава богу, дождались тебя...

— Петруша, друг мой, — говорила матушка. — Как тебя господь привел! Здоров ли ты?

Я спешил их вывести из заключения, — но, подошед к двери, я нашел ее снова запертою. «Андрюшка, — закричал я, — отопри!» — «Как не так, — отвечал из-за двери земский. — Сиди-ка сам здесь. Вот ужо научим тебя буянить да за ворот таскать государевых чиновников!»

Я стал осматривать анбар, ища, не было ли какого-нибудь способа выбраться.

— Не трудись, — сказал мне батюшка, — не таковской я хозяин, чтоб можно было в анбары мои входить и выходить воровскими лазейками.

Матушка, на минуту обрадованная моим появлением, впала в отчаяние, видя, что пришлось и мне разделить погибель всей семьи. Но я был спокойнее с тех пор, как находился с ними и с Марьей Ивановной. Со мною была сабля и два пистолета, я мог еще выдержать осаду. Гринев должен был подоспеть к вечеру и нас

освободить. Я сообщил все это моим родителям и успел успокоить матушку. Они предались вполне радости свидания.

— Ну, Петр, — сказал мне отец, — довольно ты проказил, и я на тебя порядком был сердит. Но нечего поминать про старое. Надеюсь, что теперь ты исправился и перебесился. Знаю, что ты служил, как надлежит честному офицеру. Спасибо. Утешил меня, старика. Коли тебе обязан я буду избавлением, то жизнь мне вдвое будет приятнее.

Я со слезами целовал его руку и глядел на Марью Ивановну, которая была так обрадована моим присутствием, что казалась совершенно счастлива и спокойна.

Около полудни услышали мы необычайный шум и крики. «Что это значит, — сказал отец, — уж не твой ли полковник подоспел?» — «Невозможно, — отвечал я. — Он не будет прежде вечера». Шум умножался. Били в набат. По двору скакали конные люди; в эту минуту в узкое отверстие, прорубленное в стене, просунулась седая голова Савельича, и мой бедный дядька произнес жалобным голосом: «Андрей Петрович, Авдотья Васильевна, батюшка ты мой, Петр Андреич, матушка Марья Ивановна, беда! злодеи вошли в село. И знаешь ли, Петр Андреич, кто их привел? Швабрин, Алексей Иваныч, нелегкое его побери!» Услыша ненавистное имя, Марья Ивановна всплеснула руками и осталась неподвижною.

— Послушай, — сказал я Савельичу, — пошли кого-нибудь верхом к \* перевозу, навстречу гусарскому полку; и вели дать знать полковнику об нашей опасности.

— Да кого же послать, сударь! Все мальчишки бунтуют, а лошади все захвачены! Ахти! Вот уж на дворе — до анбара добираются.

В это время за дверью раздалось несколько голосов. Я молча дал знак матушке и Марье Ивановне удалиться в угол, обнажил саблю и прислонился к стене у самой двери. Батюшка взял пистолеты и на обоих взвел курки и стал подле меня. Загремел замок, дверь отворилась, и голова земского показалась. Я ударил по ней саблею, и он упал, заградив вход. В ту же минуту

батюшка выстрелил в дверь из пистолета. Толпа, осаждавшая нас, отбежала с проклятиями. Я перетащил через порог раненого и запер дверь внутреннею петлею. Двор был полон вооруженных людей. Между ими узнал я Швабрина.

— Не бойтесь, — сказал я женщинам. — Есть надежда. А вы, батюшка, уже более не стреляйте. Побережем последний заряд.

Матушка молча молилась богу; Марья Ивановна стояла подле нее, с ангельским спокойствием ожидая решения судьбы нашей. За дверьми раздавались угрозы, брань и проклятия. Я стоял на своем месте, готовясь изрубить первого смельчака. Вдруг злодеи замолчали. Я услышал голос Швабрина, зовущего меня по имени.

— Я здесь, чего ты хочешь?

— Сдайся, Буланин, противиться напрасно. Пожалей своих стариков. Упрямством себя не спасешь. Я до вас доберусь!

— Попробуй, изменник!

— Не стану ни сам соваться по-пустому, ни своих людей тратить. А велю поджечь анбар и тогда посмотрим, что ты станешь делать, Дон-Кишот Белогорский. Теперь время обедать. Покамест сиди да думай на досуге. До свидания, Марья Ивановна, не извиняюсь перед вами: вам, вероятно, не скучно в потемках с вашим рыцарем.

Швабрин удалился и оставил караул у анбара. Мы молчали. Каждый из нас думал про себя, не смея сообщить другому своих мыслей. Я воображал себе все, что в состоянии был учинить озлобленный Швабрин. О себе я почти не заботился. Признаться ли? И участь родителей моих не столько ужасала меня, как судьба Марьи Ивановны. Я знал, что матушка была обожаема крестьянами и дворовыми людьми, батюшка, несмотря на свою строгость, был также любим, ибо был справедлив и знал истинные нужды подвластных ему людей. Бунт их был заблуждение, мгновенное пьянство, а не изъявление их негодования. Тут пощада была вероятна. Но Марья Ивановна? Какую участь готовил ей развратный и бессовестный человек? Я не смел остановиться на этой ужасной мысли и готовился, прости господи,

скорее умертвить ее, нежели вторично увидеть в руках жестокого недруга.

Прошло еще около часа. В деревне раздавались песни пьяных. Караульные наши им завидовали и, досадуя на нас, ругались и стращали нас истязаниями и смертию. Мы ожидали последствия угрозам Швабрина. Наконец сделалось большое движение на дворе, и мы опять услышали голос Швабрина.

— Что, надумались ли вы? Отдаетесь ли добровольно в мои руки?

Никто ему не отвечал. Подождав немного, Швабрин велел принести соломы. Через несколько минут вспыхнул огонь и осветил темный анбар и дым начал пробиваться из-под щелей порога. Тогда Марья Ивановна подошла ко мне и тихо, взяв меня за руку, сказала:

— Полно, Петр Андреич! Не губите за меня и себя и родителей. Выпустите меня. Швабрин меня послушает.

— Ни за что, — закричал я с сердцем. — Знаете ли вы, что вас ожидает?

— Бесчестия я не переживу, — отвечала она спокойно. — Но, может быть, я спасу моего избавителя и семью, которая так великодушно призрела мое бедное сиротство. Прощайте, Андрей Петрович. Прощайте, Авдотья Васильевна. Вы были для меня более, чем благодетели. Благословите меня. Простите же и вы, Петр Андреич. Будьте уверены, что... что... — тут она заплакала... и закрыла лицо руками... Я был как сумасшедший. Матушка плакала.

— Полно врать, Марья Ивановна, — сказал мой отец. — Кто тебя пустит одну к разбойникам! Сиди здесь и молчи. Умирать, так умирать уж вместе. Слушай, что там еще говорят?

— Сдаетесь ли? — кричал Швабрин. — Видите? через пять минут вас изжарят.

— Не сдадимся, злодей! — отвечал ему батюшка твердым голосом.

Лицо его, покрытое морщинами, оживлено было удивительною бодростию, глаза грозно сверкали из-под седых бровей. И, обратясь ко мне, сказал:

— Теперь пора!

Он отпер двери. Огонь ворвался и взвился по бревнам, законопаченным сухим мохом. Батюшка выстрелил из пистолета и шагнул за пылающий порог, закричав: «Все за мною». Я схватил за руку матушку и Марью Ивановну и быстро вывел их на воздух. У порога лежал Швабрин, простреленный дряхлою рукою отца моего; толпа разбойников, бежавшая от неожиданной нашей вылазки, тотчас ободрилась и начала нас окружать. Я успел нанести еще несколько ударов, но кирпич, удачно брошенный, угодил мне прямо в грудь. Я упал и на минуту лишился чувств. Пришед в себя, увидел я Швабрина, сидевшего на окровавленной траве, и перед ним все наше семейство. Меня поддерживали под руки. Толпа крестьян, казаков и башкирцев окружала нас. Швабрин был ужасно бледен. Одной рукой прижимал он раненый бок. Лицо его изображало мучение и злобу. Он медленно поднял голову, взглянул на меня и произнес слабым и невнятным голосом:

— Вешать его... и всех... кроме ее...

Тотчас толпа злодеев окружила нас и с криком потащила к воротам. Но вдруг они нас оставили и разбежались; в ворота въехал Гринев и за ним целый эскадрон с саблями наголо.

Бунтовщики утекали во все стороны; гусары их преследовали, рубили и хватали в плен. Гринев соскочил с лошади, поклонился батюшке и матушке и крепко пожал мне руку. «Кстати же я подоспел, — сказал он нам. — А! вот и твоя невеста». Марья Ивановна покраснела по уши. Батюшка к нему подошел и благодарил его с видом спокойным, хотя и тронутым. Матушка обнимала его, называя ангелом избавителем. «Милости просим к нам», — сказал ему батюшка и повел его к нам в дом.

Проходя мимо Швабрина, Гринев остановился. «Это кто?» — спросил он, глядя на раненого. «Это сам предводитель, начальник шайки, — отвечал мой отец с некоторой гордостью, обличающей старого воина, — бог помог дряхлой руке моей наказать молодого злодея и отомстить ему за кровь моего сына».

— Это Швабрин, — сказал я Гриневу.

— Швабрин! Очень рад. Гусары! возьмите его! Да сказать нашему лекарю, чтоб он перевязал ему рану и берег его как зеницу ока. Швабрина надобно непременно представить в секретную Казанскую комиссию. Он один из главных преступников, и показания его должны быть важны.

Швабрин открыл томный взгляд. На лице его ничего не изображалось, кроме физической муки. Гусары отнесли его на плаще.

Мы вошли в комнаты. С трепетом смотрел я вокруг себя, припоминая свои младенческие годы. Ничто в доме не изменилось, все было на прежнем месте. Швабрин не дозволил его разграбить, сохраняя в самом своем унижении невольное отвращение от бесчестного корыстолюбия. Слуги явились в переднюю. Они не участвовали в бунте и от чистого сердца радовались нашему избавлению. Савельич торжествовал. Надобно знать, что во время тревоги, произведенной нападением разбойников, он побежал в конюшню, где стояла Швабрина лошадь, оседлал ее, вывел тихонько и благодаря суматохе незаметным образом поскакал к перевозу. Он встретил полк, отдыхавший уже по сю сторону Волги. Гринев, узнав от него об нашей опасности, велел садиться, скомандовал марш, марш в галоп — и, слава богу, прискакал вовремя.

Гринев настоял на том, чтобы голова земского была на несколько часов выставлена на шесте у кабака.

Гусары возвратились с погони, захватя в плен несколько человек. Их заперли в тот самый анбар, в котором выдержали мы достопамятную осаду.

Мы разошлись каждый по своим комнатам. Старикам нужен был отдых. Не спавши целую ночь, я бросился на постель и крепко заснул. Гринев пошел делать свои распоряжения.

Вечером мы соединились в гостиной около самовара, весело разговаривая о минувшей опасности. Марья Ивановна разливала чай, я сел подле нее и занялся ею исключительно. Родители мои, казалось, благосклонно смотрели на нежность наших отношений. Доселе этот вечер живет в моем воспоминании. Я был счастлив,

счастлив совершенно, а много ли таковых минут в бедной жизни человеческой?

На другой день доложили батюшке, что крестьяне явились на барский двор с повинною. Батюшка вышел к ним на крыльцо. При его появлении мужики стали на колени.

— Ну что, дураки, — сказал он им, — зачем вы вздумали бунтовать?

— Виноваты, государь ты наш, — отвечали они в голос.

— То-то, виноваты. Напроказят, да и сами не рады. Прощаю вас для радости, что бог привел мне свидеться с сыном Петром Андреичем. Ну, добро: повинную голову меч не сечет. — Виноваты! Конечно, виноваты. Бог дал ведро, пора бы сено убрать; а вы, дурачье, целые три дня что делали? Староста! Нарядить поголовно на сенокос; да смотри, рыжая бестия, чтоб у меня к Ильину дню все сено было в копнах. Убирайтесь.

Мужики поклонились и пошли на барщину как ни в чем не бывало.

Рана Швабрина оказалась не смертельна. Его с конвоем отправили в Казань. Я видел из окна, как его уложили в телегу. Взоры наши встретились, он потупил голову, а я поспешно отошел от окна. Я боялся показывать вид, что торжествую над несчастием и унижением недруга.

Гринев должен был отправиться далее. Я решился за ним последовать, несмотря на мое желание пробыть еще несколько дней посреди моего семейства. Накануне похода я пришел к моим родителям и по тогдашнему обыкновению поклонился им в ноги, прося их благословения на брак с Марьей Ивановной. Старики меня подняли и в радостных слезах изъявили свое согласие. Я привел к ним Марью Ивановну бледную и трепещущую. Нас благословили... Что чувствовал я, того не стану описывать. Кто бывал в моем положении, тот и без того меня поймет, — кто не бывал, о том только могу пожалеть и советовать, пока еще время не ушло, влюбиться и получить от родителей благословение.

На другой день полк собрался, Гринев распростился

с нашим семейством. Все мы были уверены, что военные действия скоро будут прекращены; через месяц я надеялся быть супругом. Марья Ивановна, прощаясь со мною, поцеловала меня при всех. Я сел верхом. Савельич опять за мною последовал — и полк ушел.

Долго смотрел я издали на сельский дом, опять мною покидаемый. Мрачное предчувствие тревожило меня. Кто-то мне шептал, что не все несчастия для меня миновались. Сердце чуяло новую бурю.

Не стану описывать нашего похода и окончания Пугачевской войны. Мы проходили через селения, разоренные Пугачевым, и поневоле отбирали у бедных жителей то, что оставлено было им разбойниками.

Они не знали, кому повиноваться. Правление было всюду прекращено. Помещики укрывались по лесам. Шайки разбойников злодействовали повсюду. Начальники отдельных отрядов, посланных в погоню за Пугачевым, тогда уже бегущим к Астрахани, самовластно наказывали виноватых и безвинных... Состояние всего края, где свирепствовал пожар, было ужасно. Не приведи бог видеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердые, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка.

Пугачев бежал, преследуемый Ив. Ив. Михельсоном. Вскоре узнали мы о совершенном его разбитии. Наконец Гринев получил от своего генерала известие о поимке самозванца, а вместе и повеление остановиться. Наконец мне можно было ехать домой. Я был в восторге; но странное чувство омрачало мою радость.

Михаил Лермонтов

**МЦЫРИ**[1](" \l "fn1)

Вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю.

*1-я Книга Царств*

**1**

Немного лет тому назад,  
Там, где, сливаяся, шумят,  
Обнявшись, будто две сестры,  
Струи Арагвы и Куры,  
Был монастырь. Из-за горы  
И нынче видит пешеход  
Столбы обрушенных ворот,  
И башни, и церковный свод;  
Но не курится уж под ним  
Кадильниц благовонный дым,  
Не слышно пенье в поздний час  
Молящих иноков за нас.  
Теперь один старик седой,  
Развалин страж полуживой,  
Людьми и смертию забыт,  
Сметает пыль с могильных плит,  
Которых надпись говорит  
О славе прошлой — и о том,  
Как, удручен своим венцом,  
Такой-то царь, в такой-то год,  
Вручал России свой народ.  
И божья благодать сошла  
На Грузию! Она цвела  
С тех пор в тени своих садов,  
Не опасаяся врагов,  
За гранью дружеских штыков.

**2**

Однажды русский генерал  
Из гор к Тифлису проезжал;  
Ребенка пленного он вез.  
Тот занемог, не перенес  
Трудов далекого пути;  
Он был, казалось, лет шести,  
Как серна гор, пуглив и дик  
И слаб и гибок, как тростник.  
Но в нем мучительный недуг  
Развил тогда могучий дух  
Его отцов. Без жалоб он  
Томился, даже слабый стон  
Из детских губ не вылетал,  
Он знаком пищу отвергал  
И тихо, гордо умирал.  
Из жалости один монах  
Больного призрел, и в стенах  
Хранительных остался он,  
Искусством дружеским спасен.  
Но, чужд ребяческих утех,  
Сначала бегал он от всех,  
Бродил безмолвен, одинок,  
Смотрел, вздыхая, на восток,  
Томим неясною тоской  
По стороне своей родной.  
Но после к плену он привык,  
Стал понимать чужой язык,  
Был окрещен святым отцом  
И, с шумным светом незнаком,  
Уже хотел во цвете лет  
Изречь монашеский обет,  
Как вдруг однажды он исчез  
Осенней ночью. Темный лес  
Тянулся по горам кругом.  
Три дня все поиски по нем  
Напрасны были, но потом  
Его в степи без чувств нашли  
И вновь в обитель принесли.  
Он страшно бледен был и худ  
И слаб, как будто долгий труд,  
Болезнь иль голод испытал.  
Он на допрос не отвечал  
И с каждым днем приметно вял.  
И близок стал его конец;  
Тогда пришел к нему чернец  
С увещеваньем и мольбой;  
И, гордо выслушав, больной  
Привстал, собрав остаток сил,  
И долго так он говорил:

**3**

«Ты слушать исповедь мою  
Сюда пришел, благодарю.  
Все лучше перед кем-нибудь  
Словами облегчить мне грудь;  
Но людям я не делал зла,  
И потому мои дела  
Немного пользы вам узнать,—  
А душу можно ль рассказать?  
Я мало жил, и жил в плену.  
Таких две жизни за одну,  
Но только полную тревог,  
Я променял бы, если б мог.  
Я знал одной лишь думы власть,  
Одну — но пламенную страсть:  
Она, как червь, во мне жила,  
Изгрызла душу и сожгла.  
Она мечты мои звала  
От келий душных и молитв  
В тот чудный мир тревог и битв,  
Где в тучах прячутся скалы,  
Где люди вольны, как орлы.  
Я эту страсть во тьме ночной  
Вскормил слезами и тоской;  
Ее пред небом и землей  
Я ныне громко признаю  
И о прощенье не молю.

**4**

Старик! я слышал много раз,  
Что ты меня от смерти спас —  
Зачем?.. Угрюм и одинок,  
Грозой оторванный листок,  
Я вырос в сумрачных стенах  
Душой дитя, судьбой монах.  
Я никому не мог сказать  
Священных слов „отец“ и „мать“.  
Конечно, ты хотел, старик,  
Чтоб я в обители отвык  
От этих сладостных имен,—  
Напрасно: звук их был рожден  
Со мной. Я видел у других  
Отчизну, дом, друзей, родных,  
А у себя не находил  
Не только милых душ — могил!  
Тогда, пустых не тратя слез,  
В душе я клятву произнес:  
Хотя на миг когда-нибудь  
Мою пылающую грудь  
Прижать с тоской к груди другой,  
Хоть незнакомой, но родной.  
Увы! теперь мечтанья те  
Погибли в полной красоте,  
И я как жил, в земле чужой  
Умру рабом и сиротой.

**5**

Меня могила не страшит:  
Там, говорят, страданье спит  
В холодной вечной тишине;  
Но с жизнью жаль расстаться мне.  
Я молод, молод... Знал ли ты  
Разгульной юности мечты?  
Или не знал, или забыл,  
Как ненавидел и любил;  
Как сердце билося живей  
При виде солнца и полей  
С высокой башни угловой,  
Где воздух свеж и где порой  
В глубокой скважине стены,  
Дитя неведомой страны,  
Прижавшись, голубь молодой  
Сидит, испуганный грозой?  
Пускай теперь прекрасный свет  
Тебе постыл: ты слаб, ты сед,  
И от желаний ты отвык.  
Что за нужда? Ты жил, старик!  
Тебе есть в мире что забыть,  
Ты жил,— я также мог бы жить!

**6**

Ты хочешь знать, что видел я  
На воле? — Пышные поля,  
Холмы, покрытые венцом  
Дерев, разросшихся кругом,  
Шумящих свежею толпой,  
Как братья в пляске круговой.  
Я видел груды темных скал,  
Когда поток их разделял,  
И думы их я угадал:  
Мне было свыше то дано!  
Простерты в воздухе давно  
Объятья каменные их,  
И жаждут встречи каждый миг;  
Но дни бегут, бегут года —  
Им не сойтиться никогда!  
Я видел горные хребты,  
Причудливые, как мечты,  
Когда в час утренней зари  
Курилися, как алтари,  
Их выси в небе голубом,  
И облачко за облачком,  
Покинув тайный свой ночлег,  
К востоку направляло бег —  
Как будто белый караван  
Залетных птиц из дальних стран!  
Вдали я видел сквозь туман,  
В снегах, горящих, как алмаз,  
Седой незыблемый Кавказ;  
И было сердцу моему  
Легко, не знаю почему.  
Мне тайный голос говорил,  
Что некогда и я там жил,  
И стало в памяти моей  
Прошедшее ясней, ясней...

**7**

И вспомнил я отцовский дом,  
Ущелье наше и кругом  
В тени рассыпанный аул;  
Мне слышался вечерний гул  
Домой бегущих табунов  
И дальний лай знакомых псов.  
Я помнил смуглых стариков,  
При свете лунных вечеров  
Против отцовского крыльца  
Сидевших с важностью лица;  
И блеск оправленных ножон  
Кинжалов длинных... и как сон  
Все это смутной чередой  
Вдруг пробегало предо мной.  
А мой отец? он как живой  
В своей одежде боевой  
Являлся мне, и помнил я  
Кольчуги звон, и блеск ружья,  
И гордый непреклонный взор,  
И молодых моих сестер...  
Лучи их сладостных очей  
И звук их песен и речей  
Над колыбелию моей...  
В ущелье там бежал поток.  
Он шумен был, но неглубок;  
К нему, на золотой песок,  
Играть я в полдень уходил  
И взором ласточек следил,  
Когда они перед дождем  
Волны касалися крылом.  
И вспомнил я наш мирный дом  
И пред вечерним очагом  
Рассказы долгие о том,  
Как жили люди прежних дней,  
Когда был мир еще пышней.

**8**

Ты хочешь знать, что делал я  
На воле? Жил — и жизнь моя  
Без этих трех блаженных дней  
Была б печальней и мрачней  
Бессильной старости твоей.  
Давным-давно задумал я  
Взглянуть на дальние поля,  
Узнать, прекрасна ли земля,  
Узнать, для воли иль тюрьмы  
На этот свет родимся мы.  
И в час ночной, ужасный час,  
Когда гроза пугала вас,  
Когда, столпясь при алтаре,  
Вы ниц лежали на земле,  
Я убежал. О, я как брат  
Обняться с бурей был бы рад!  
Глазами тучи я следил,  
Рукою молнию ловил...  
Скажи мне, что средь этих стен  
Могли бы дать вы мне взамен  
Той дружбы краткой, но живой,  
Меж бурным сердцем и грозой?..

**9**

Бежал я долго — где, куда?  
Не знаю! ни одна звезда  
Не озаряла трудный путь.  
Мне было весело вдохнуть  
В мою измученную грудь  
Ночную свежесть тех лесов,  
И только! Много я часов  
Бежал, и наконец, устав,  
Прилег между высоких трав;  
Прислушался: погони нет.  
Гроза утихла. Бледный свет  
Тянулся длинной полосой  
Меж темным небом и землей,  
И различал я, как узор,  
На ней зубцы далеких гор;  
Недвижим, молча я лежал,  
Порой в ущелии шакал  
Кричал и плакал, как дитя,  
И, гладкой чешуей блестя,  
Змея скользила меж камней;  
Но страх не сжал души моей:  
Я сам, как зверь, был чужд людей  
И полз и прятался, как змей.

**10**

Внизу глубоко подо мной  
Поток, усиленный грозой,  
Шумел, и шум его глухой  
Сердитых сотне голосов  
Подобился. Хотя без слов  
Мне внятен был тот разговор,  
Немолчный ропот, вечный спор  
С упрямой грудою камней.  
То вдруг стихал он, то сильней  
Он раздавался в тишине;  
И вот, в туманной вышине  
Запели птички, и восток  
Озолотился; ветерок  
Сырые шевельнул листы;  
Дохнули сонные цветы,  
И, как они, навстречу дню  
Я поднял голову мою...  
Я осмотрелся; не таю:  
Мне стало страшно; на краю  
Грозящей бездны я лежал,  
Где выл, крутясь, сердитый вал;  
Туда вели ступени скал;  
Но лишь злой дух по ним шагал,  
Когда, низверженный с небес,  
В подземной пропасти исчез.

**11**

Кругом меня цвел божий сад;  
Растений радужный наряд  
Хранил следы небесных слез,  
И кудри виноградных лоз  
Вились, красуясь меж дерев  
Прозрачной зеленью листов;  
И грозды полные на них,  
Серег подобье дорогих,  
Висели пышно, и порой  
К ним птиц летал пугливый рой.  
И снова я к земле припал  
И снова вслушиваться стал  
К волшебным, странным голосам;  
Они шептались по кустам,  
Как будто речь свою вели  
О тайнах неба и земли;  
И все природы голоса  
Сливались тут; не раздался  
В торжественный хваленья час  
Лишь человека гордый глас.  
Все, что я чувствовал тогда,  
Те думы — им уж нет следа;  
Но я б желал их рассказать,  
Чтоб жить, хоть мысленно, опять.  
В то утро был небесный свод  
Так чист, что ангела полет  
Прилежный взор следить бы мог;  
Он так прозрачно был глубок,  
Так полон ровной синевой!  
Я в нем глазами и душой  
Тонул, пока полдневный зной  
Мои мечты не разогнал,  
И жаждой я томиться стал.

**12**

Тогда к потоку с высоты,  
Держась за гибкие кусты,  
С плиты на плиту я, как мог,  
Спускаться начал. Из-под ног  
Сорвавшись, камень иногда  
Катился вниз — за ним бразда  
Дымилась, прах вился столбом;  
Гудя и прыгая, потом  
Он поглощаем был волной;  
И я висел над глубиной,  
Но юность вольная сильна,  
И смерть казалась не страшна!  
Лишь только я с крутых высот  
Спустился, свежесть горных вод  
Повеяла навстречу мне,  
И жадно я припал к волне.  
Вдруг — голос — легкий шум шагов...  
Мгновенно скрывшись меж кустов,  
Невольным трепетом объят,  
Я поднял боязливый взгляд  
И жадно вслушиваться стал:  
И ближе, ближе все звучал  
Грузинки голос молодой,  
Так безыскусственно живой,  
Так сладко вольный, будто он  
Лишь звуки дружеских имен  
Произносить был приучен.  
Простая песня то была,  
Но в мысль она мне залегла,  
И мне, лишь сумрак настает,  
Незримый дух ее поет.

**13**

Держа кувшин над головой,  
Грузинка узкою тропой  
Сходила к берегу. Порой  
Она скользила меж камней,  
Смеясь неловкости своей,  
И беден был ее наряд;  
И шла она легко, назад  
Изгибы длинные чадры  
Откинув. Летние жары  
Покрыли тенью золотой  
Лицо и грудь ее; и зной  
Дышал от уст ее и щек.  
И мрак очей был так глубок,  
Так полон тайнами любви,  
Что думы пылкие мои  
Смутились. Помню только я  
Кувшина звон,— когда струя  
Вливалась медленно в него,  
И шорох... больше ничего.  
Когда же я очнулся вновь  
И отлила от сердца кровь,  
Она была уж далеко;  
И шла, хоть тише,— но легко,  
Стройна под ношею своей,  
Как тополь, царь ее полей!  
Недалеко, в прохладной мгле,  
Казалось, приросли к скале  
Две сакли дружною четой;  
Над плоской кровлею одной  
Дымок струился голубой.  
Я вижу будто бы теперь,  
Как отперлась тихонько дверь...  
И затворилася опять!..  
Тебе, я знаю, не понять  
Мою тоску, мою печаль;  
И если б мог,— мне было б жаль:  
Воспоминанья тех минут  
Во мне, со мной пускай умрут.

**14**

Трудами ночи изнурен,  
Я лег в тени. Отрадный сон  
Сомкнул глаза невольно мне...  
И снова видел я во сне  
Грузинки образ молодой.  
И странной, сладкою тоской  
Опять моя заныла грудь.  
Я долго силился вздохнуть —  
И пробудился. Уж луна  
Вверху сияла, и одна  
Лишь тучка кралася за ней,  
Как за добычею своей,  
Объятья жадные раскрыв.  
Мир темен был и молчалив;  
Лишь серебристой бахромой  
Вершины цепи снеговой  
Вдали сверкали предо мной  
Да в берега плескал поток.  
В знакомой сакле огонек  
То трепетал, то снова гас:  
На небесах в полночный час  
Так гаснет яркая звезда!  
Хотелось мне... но я туда  
Взойти не смел. Я цель одну —  
Пройти в родимую страну —  
Имел в душе и превозмог  
Страданье голода, как мог.  
И вот дорогою прямой  
Пустился, робкий и немой.  
Но скоро в глубине лесной  
Из виду горы потерял  
И тут с пути сбиваться стал.

**15**

Напрасно в бешенстве порой  
Я рвал отчаянной рукой  
Терновник, спутанный плющом:  
Все лес был, вечный лес кругом,  
Страшней и гуще каждый час;  
И миллионом черных глаз  
Смотрела ночи темнота  
Сквозь ветви каждого куста...  
Моя кружилась голова;  
Я стал влезать на дерева;  
Но даже на краю небес  
Все тот же был зубчатый лес.  
Тогда на землю я упал;  
И в исступлении рыдал,  
И грыз сырую грудь земли,  
И слезы, слезы потекли  
В нее горючею росой...  
Но, верь мне, помощи людской  
Я не желал... Я был чужой  
Для них навек, как зверь степной;  
И если б хоть минутный крик  
Мне изменил — клянусь, старик,  
Я б вырвал слабый мой язык.

**16**

Ты помнишь детские года:  
Слезы не знал я никогда;  
Но тут я плакал без стыда.  
Кто видеть мог? Лишь темный лес  
Да месяц, плывший средь небес!  
Озарена его лучом,  
Покрыта мохом и песком,  
Непроницаемой стеной  
Окружена, передо мной  
Была поляна. Вдруг по ней  
Мелькнула тень, и двух огней  
Промчались искры... и потом  
Какой-то зверь одним прыжком  
Из чащи выскочил и лег,  
Играя, навзничь на песок.  
То был пустыни вечный гость —  
Могучий барс. Сырую кость  
Он грыз и весело визжал;  
То взор кровавый устремлял,  
Мотая ласково хвостом,  
На полный месяц,— и на нем  
Шерсть отливалась серебром.  
Я ждал, схватив рогатый сук,  
Минуту битвы; сердце вдруг  
Зажглося жаждою борьбы  
И крови... да, рука судьбы  
Меня вела иным путем...  
Но нынче я уверен в том,  
Что быть бы мог в краю отцов  
Не из последних удальцов.

**17**

Я ждал. И вот в тени ночной  
Врага почуял он, и вой  
Протяжный, жалобный как стон  
Раздался вдруг... и начал он  
Сердито лапой рыть песок,  
Встал на дыбы, потом прилег,  
И первый бешеный скачок  
Мне страшной смертию грозил...  
Но я его предупредил.  
Удар мой верен был и скор.  
Надежный сук мой, как топор,  
Широкий лоб его рассек...  
Он застонал, как человек,  
И опрокинулся. Но вновь,  
Хотя лила из раны кровь  
Густой, широкою волной,  
Бой закипел, смертельный бой!

**18**

Ко мне он кинулся на грудь;  
Но в горло я успел воткнуть  
И там два раза повернуть  
Мое оружье... Он завыл,  
Рванулся из последних сил,  
И мы, сплетясь, как пара змей,  
Обнявшись крепче двух друзей,  
Упали разом, и во мгле  
Бой продолжался на земле.  
И я был страшен в этот миг;  
Как барс пустынный, зол и дик,  
Я пламенел, визжал, как он;  
Как будто сам я был рожден  
В семействе барсов и волков  
Под свежим пологом лесов.  
Казалось, что слова людей  
Забыл я — и в груди моей  
Родился тот ужасный крик,  
Как будто с детства мой язык  
К иному звуку не привык...  
Но враг мой стал изнемогать,  
Метаться, медленней дышать,  
Сдавил меня в последний раз...  
Зрачки его недвижных глаз  
Блеснули грозно — и потом  
Закрылись тихо вечным сном;  
Но с торжествующим врагом  
Он встретил смерть лицом к лицу,  
Как в битве следует бойцу!..

**19**

Ты видишь на груди моей  
Следы глубокие когтей;  
Еще они не заросли  
И не закрылись; но земли  
Сырой покров их освежит  
И смерть навеки заживит.  
О них тогда я позабыл,  
И, вновь собрав остаток сил,  
Побрел я в глубине лесной...  
Но тщетно спорил я с судьбой:  
Она смеялась надо мной!

**20**

Я вышел из лесу. И вот  
Проснулся день, и хоровод  
Светил напутственных исчез  
В его лучах. Туманный лес  
Заговорил. Вдали аул  
Куриться начал. Смутный гул  
В долине с ветром пробежал...  
Я сел и вслушиваться стал;  
Но смолк он вместе с ветерком.  
И кинул взоры я кругом:  
Тот край, казалось, мне знаком.  
И страшно было мне, понять  
Не мог я долго, что опять  
Вернулся я к тюрьме моей;  
Что бесполезно столько дней  
Я тайный замысел ласкал,  
Терпел, томился и страдал,  
И все зачем?.. Чтоб в цвете лет,  
Едва взглянув на божий свет,  
При звучном ропоте дубрав  
Блаженство вольности познав,  
Унесть в могилу за собой  
Тоску по родине святой,  
Надежд обманутых укор  
И вашей жалости позор!..  
Еще в сомненье погружен,  
Я думал — это страшный сон...  
Вдруг дальний колокола звон  
Раздался снова в тишине —  
И тут все ясно стало мне...  
О! я узнал его тотчас!  
Он с детских глаз уже не раз  
Сгонял виденья снов живых  
Про милых ближних и родных,  
Про волю дикую степей,  
Про легких, бешеных коней,  
Про битвы чудные меж скал,  
Где всех один я побеждал!..  
И слушал я без слез, без сил.  
Казалось, звон тот выходил  
Из сердца — будто кто-нибудь  
Железом ударял мне в грудь.  
И смутно понял я тогда,  
Что мне на родину следа  
Не проложить уж никогда.

**21**

Да, заслужил я жребий мой!  
Могучий конь, в степи чужой,  
Плохого сбросив седока,  
На родину издалека  
Найдет прямой и краткий путь...  
Что я пред ним? Напрасно грудь  
Полна желаньем и тоской:  
То жар бессильный и пустой,  
Игра мечты, болезнь ума.  
На мне печать свою тюрьма  
Оставила... Таков цветок  
Темничный: вырос одинок  
И бледен он меж плит сырых,  
И долго листьев молодых  
Не распускал, все ждал лучей  
Живительных. И много дней  
Прошло, и добрая рука  
Печально тронулась цветка,  
И был он в сад перенесен,  
В соседство роз. Со всех сторон  
Дышала сладость бытия...  
Но что ж? Едва взошла заря,  
Палящий луч ее обжег  
В тюрьме воспитанный цветок...

**22**

И как его, палил меня  
Огонь безжалостного дня.  
Напрасно прятал я в траву  
Мою усталую главу:  
Иссохший лист её венцом  
Терновым над моим челом  
Свивался, и в лицо огнем  
Сама земля дышала мне.  
Сверкая быстро в вышине,  
Кружились искры; с белых скал  
Струился пар. Мир божий спал  
В оцепенении глухом  
Отчаянья тяжелым сном.  
Хотя бы крикнул коростель,  
Иль стрекозы живая трель  
Послышалась, или ручья  
Ребячий лепет... Лишь змея,  
Сухим бурьяном шелестя,  
Сверкая желтою спиной,  
Как будто надписью златой  
Покрытый донизу клинок,  
Браздя рассыпчатый песок,  
Скользила бережно; потом,  
Играя, нежася на нем,  
Тройным свивалася кольцом;  
То, будто вдруг обожжена,  
Металась, прыгала она  
И в дальних пряталась кустах...

**23**

И было все на небесах  
Светло и тихо. Сквозь пары  
Вдали чернели две горы.  
Наш монастырь из-за одной  
Сверкал зубчатою стеной.  
Внизу Арагва и Кура,  
Обвив каймой из серебра  
Подошвы свежих островов,  
По корням шепчущих кустов  
Бежали дружно и легко...  
До них мне было далеко!  
Хотел я встать — передо мной  
Все закружилось с быстротой;  
Хотел кричать — язык сухой  
Беззвучен и недвижим был...  
Я умирал. Меня томил  
Предсмертный бред.  
 Казалось мне,  
Что я лежу на влажном дне  
Глубокой речки — и была  
Кругом таинственная мгла,  
И, жажду вечную поя,  
Как лед холодная струя,  
Журча, вливалася мне в грудь...  
И я боялся лишь заснуть,—  
Так было сладко, любо мне...  
А надо мною в вышине  
Волна теснилася к волне  
И солнце сквозь хрусталь волны  
Сияло сладостней луны...  
И рыбок пестрые стада  
В лучах играли иногда.  
И помню я одну из них:  
Она приветливей других  
Ко мне ласкалась. Чешуей  
Была покрыта золотой  
Ее спина. Она вилась  
Над головой моей не раз,  
И взор ее зеленых глаз  
Был грустно нежен и глубок...  
И надивиться я не мог:  
Ее сребристый голосок  
Мне речи странные шептал,  
И пел, и снова замолкал.  
Он говорил: „Дитя мое,  
 Останься здесь со мной:  
В воде привольное житье  
 И холод и покой.

**\***

Я созову моих сестер:  
 Мы пляской круговой  
Развеселим туманный взор  
 И дух усталый твой.

**\***

Усни, постель твоя мягка,  
 Прозрачен твой покров.  
Пройдут года, пройдут века  
 Под говор чудных снов.

**\***

О милый мой! не утаю,  
 Что я тебя люблю,  
Люблю как вольную струю,  
 Люблю как жизнь мою...“  
И долго, долго слушал я;  
И мнилось, звучная струя  
Сливала тихий ропот свой  
С словами рыбки золотой.  
Тут я забылся. Божий свет  
В глазах угас. Безумный бред  
Бессилью тела уступил...

**24**

Так я найден и поднят был...  
Ты остальное знаешь сам.  
Я кончил. Верь моим словам  
Или не верь, мне все равно.  
Меня печалит лишь одно:  
Мой труп холодный и немой  
Не будет тлеть в земле родной,  
И повесть горьких мук моих  
Не призовет меж стен глухих  
Вниманье скорбное ничье  
На имя темное мое.

**25**

Прощай, отец... дай руку мне:  
Ты чувствуешь, моя в огне...  
Знай, этот пламень с юных дней,  
Таяся, жил в груди моей;  
Но ныне пищи нет ему,  
И он прожег свою тюрьму  
И возвратится вновь к тому,  
Кто всем законной чередой  
Дает страданье и покой...  
Но что мне в том?— пускай в раю,  
В святом, заоблачном краю  
Мой дух найдет себе приют...  
Увы! — за несколько минут  
Между крутых и темных скал,  
Где я в ребячестве играл,  
Я б рай и вечность променял...

**26**

Когда я стану умирать,  
И, верь, тебе не долго ждать,  
Ты перенесть меня вели  
В наш сад, в то место, где цвели  
Акаций белых два куста...  
Трава меж ними так густа,  
И свежий воздух так душист,  
И так прозрачно-золотист  
Играющий на солнце лист!  
Там положить вели меня.  
Сияньем голубого дня  
Упьюся я в последний раз.  
Оттуда виден и Кавказ!  
Быть может, он с своих высот  
Привет прощальный мне пришлет,  
Пришлет с прохладным ветерком...  
И близ меня перед концом  
Родной опять раздастся звук!  
И стану думать я, что друг  
Иль брат, склонившись надо мной,  
Отер внимательной рукой.  
С лица кончины хладный пот  
И что вполголоса поет  
Он мне про милую страну...  
И с этой мыслью я засну,  
И никого не прокляну!..»

Николай Гоголь

**РЕВИЗОР**

КОМЕДИЯ В ПЯТИ ДЕЙСТВИЯХ

На зеркало неча пенять, коли рожа крива.

*Народная пословица*

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Антон Антонович Сквозник-Дмухановский, городничий.Анна Андреевна, жена его.Марья Антоновна, дочь его.Лука Лукич Хлопов, смотритель училищ.Жена его.Аммос Федорович Ляпкин-Тяпкин, судья.Артемий Филиппович Земляника, попечитель богоугодных заведений.Иван Кузьмич Шпекин, почтмейстер.

Петр Иванович ДобчинскийПетр Иванович Бобчинский

}

городские помещики.

Иван Александрович Хлестаков, чиновник из Петербурга.Осип, слуга его.Христиан Иванович Гибнер, уездный лекарь.

Федор Андреевич ЛюлюковИван Лазаревич РастаковскийСтепан Иванович Коробкин

}

отставные чиновники, почетные лица в городе.

Степан Ильич Уховертов, частный пристав.

СвистуновПуговицынДержиморда

}

полицейские.

Абдулин, купец.Февронья Петровна Пошлепкина, слесарша.Жена унтер-офицера.Мишка, слуга городничего.Слуга трактирный.Гости и гостьи, купцы, мещане, просители.

**ХАРАКТЕРЫ И КОСТЮМЫ**

*Замечания для господ актеров*

Городничий, уже постаревший на службе и очень неглупый по-своему человек. Хотя и взяточник, но ведет себя очень солидно; довольно сурьезен; несколько даже резонер; говорит ни громко, ни тихо, ни много, ни мало. Его каждое слово значительно. Черты лица его грубы и жестки, как у всякого, начавшего тяжелую службу с низших чинов. Переход от страха к радости, от низости к высокомерию довольно быстр, как у человека с грубо развитыми склонностями души. Он одет, по обыкновению, в своем мундире с петлицами и в ботфортах со шпорами. Волоса на нем стриженые, с проседью.Анна Андреевна, жена его, провинциальная кокетка, еще не совсем пожилых лет, воспитанная вполовину на романах и альбомах, вполовину на хлопотах в своей кладовой и девичьей. Очень любопытна и при случае выказывает тщеславие. Берет иногда власть над мужем потому только, что тот не находится что отвечать ей; но власть эта распространяется только на мелочи и состоит в выговорах и насмешках. Она четыре раза переодевается в разные платья в продолжение пьесы.Хлестаков, молодой человек лет двадцати трех, тоненький, худенький; несколько приглуповат и, как говорят, без царя в голове, — один из тех людей, которых в канцеляриях называют пустейшими. Говорит и действует без всякого соображения. Он не в состоянии остановить постоянного внимания на какой-нибудь мысли. Речь его отрывиста, и слова вылетают из уст его совершенно неожиданно. Чем более исполняющий эту роль покажет чистосердечия и простоты, тем более он выиграет. Одет по моде.Осип, слуга, таков, как обыкновенно бывают слуги несколько пожилых лет. Говорит сурьезно, смотрит несколько вниз, резонер и любит себе самому читать нравоучения для своего барина. Голос его всегда почти ровен, в разговоре с барином принимает суровое, отрывистое и несколько даже грубое выражение. Он умнее своего барина и потому скорее догадывается, но не любит много говорить и молча плут. Костюм его — серый или синий поношенный сюртук.Бобчинский и Добчинский, оба низенькие, коротенькие, очень любопытные; чрезвычайно похожи друг на друга; оба с небольшими брюшками; оба говорят скороговоркою и чрезвычайно много помогают жестами и руками. Добчинский немножко выше и сурьезнее Бобчинского, но Бобчинский развязнее и живее Добчинского.Ляпкин-Тяпкин, судья, человек, прочитавший пять или шесть книг, и потому несколько вольнодумен. Охотник большой на догадки, и потому каждому слову своему дает вес. Представляющий его должен всегда сохранять в лице своем значительную мину. Говорит басом с продолговатой растяжкой, хрипом и сапом — как старинные часы, которые прежде шипят, а потом уже бьют.Земляника, попечитель богоугодных заведений, очень толстый, неповоротливый и неуклюжий человек, но при всем том проныра и плут. Очень услужлив и суетлив.Почтмейстер, простодушный до наивности человек.Прочие роли не требуют особых изъяснений. Оригиналы их всегда почти находятся пред глазами.Господа актеры особенно должны обратить внимание на последнюю сцену. Последнее произнесенное слово должно произвесть электрическое потрясение на всех разом, вдруг. Вся группа должна переменить положение в один миг ока. Звук изумления должен вырваться у всех женщин разом, как будто из одной груди. От несоблюдения сих замечаний может исчезнуть весь эффект.

**ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ**

*Комната в доме городничего.*

**Явление I**

Городничий, попечитель богоугодных заведений, смотритель училищ, судья, частный пристав, лекарь, два квартальных.

Городничий. Я пригласил вас, господа, с тем чтобы сообщить вам пренеприятное известие: к нам едет ревизор.Аммос Федорович. Как ревизор?Артемий Филиппович. Как ревизор?Городничий. Ревизор из Петербурга, инкогнито. И еще с секретным предписаньем.Аммос Федорович. Вот те на!Артемий Филиппович. Вот не было заботы, так подай!Лука Лукич. Господи Боже! еще и с секретным предписаньем!Городничий. Я как будто предчувствовал: сегодня мне всю ночь снились какие-то две необыкновенные крысы. Право, этаких я никогда не видывал: черные, неестественной величины! пришли, понюхали — и пошли прочь. Вот я вам прочту письмо, которое получил я от Андрея Ивановича Чмыхова, которого вы, Артемий Филиппович, знаете. Вот что он пишет: «Любезный друг, кум и благодетель *(бормочет вполголоса, пробегая скоро глазами)*... и уведомить тебя». А! вот: «Спешу, между прочим, уведомить тебя, что приехал чиновник с предписанием осмотреть всю губернию и особенно наш уезд *(значительно поднимает палец вверх)*. Я узнал это от самых достоверных людей, хотя он представляет себя частным лицом. Так как я знаю, что за тобою, как за всяким, водятся грешки, потому что ты человек умный и не любишь пропускать того, что плывет в руки...» *(остановясь)*, ну, здесь свои... «то советую тебе взять предосторожность, ибо он может приехать во всякий час, если только уже не приехал и не живет где-нибудь инкогнито... Вчерашнего дни я...» Ну, тут уж пошли дела семейные: «...сестра Анна Кириловна приехала к нам с своим мужем; Иван Кирилович очень потолстел и все играет на скрыпке...» — и прочее, и прочее. Так вот какое обстоятельство!Аммос Федорович. Да, обстоятельство такое... необыкновенно, просто необыкновенно. Что-нибудь недаром.Лука Лукич. Зачем же, Антон Антонович, отчего это? Зачем к нам ревизор?Городничий. Зачем! Так уж, видно, судьба! *(Вздохнув.)* До сих пор, благодарение Богу, подбирались к другим городам; теперь пришла очередь к нашему.Аммос Федорович. Я думаю, Антон Антонович, что здесь тонкая и больше политическая причина. Это значит вот что: Россия... да... хочет вести войну, и министерия-то, вот видите, и подослала чиновника, чтобы узнать, нет ли где измены.Городничий. Эк куда хватили! Еще умный человек! В уездном городе измена! Что он, пограничный, что ли? Да отсюда, хоть три года скачи, ни до какого государства не доедешь.Аммос Федорович. Нет, я вам скажу, вы не того... вы не... Начальство имеет тонкие виды: даром что далеко, а оно себе мотает на ус.Городничий. Мотает или не мотает, а я вас, господа, предуведомил. Смотрите, по своей части я кое-какие распоряженья сделал, советую и вам. Особенно вам, Артемий Филиппович! Без сомнения, проезжающий чиновник захочет прежде всего осмотреть подведомственные вам богоугодные заведения — и потому вы сделайте так, чтобы все было прилично: колпаки были бы чистые, и больные не походили бы на кузнецов, как обыкновенно они ходят по-домашнему.Артемий Филиппович. Ну, это еще ничего. Колпаки, пожалуй, можно надеть и чистые.Городничий. Да, и тоже над каждой кроватью надписать по-латыни или на другом каком языке... это уж по вашей части, Христиан Иванович, — всякую болезнь: когда кто заболел, которого дня и числа... Нехорошо, что у вас больные такой крепкий табак курят, что всегда расчихаешься, когда войдешь. Да и лучше, если б их было меньше: тотчас отнесут к дурному смотрению или к неискусству врача.Артемий Филиппович. О! насчет врачеванья мы с Христианом Ивановичем взяли свои меры: чем ближе к натуре, тем лучше, — лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой: если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет. Да и Христиану Ивановичу затруднительно было б с ними изъясняться: он по-русски ни слова не знает.

Христиан Иванович издает звук, отчасти похожий на букву *и* и несколько на *е*.

Городничий. Вам тоже посоветовал бы, Аммос Федорович, обратить внимание на присутственные места. У вас там в передней, куда обыкновенно являются просители, сторожа завели домашних гусей с маленькими гусенками, которые так и шныряют под ногами. Оно, конечно, домашним хозяйством заводиться всякому похвально, и почему ж сторожу и не завесть его? только, знаете, в таком месте неприлично... Я и прежде хотел вам это заметить, но все как-то позабывал.Аммос Федорович. А вот я их сегодня же велю всех забрать на кухню. Хотите, приходите обедать.Городничий. Кроме того, дурно, что у вас высушивается в самом присутствии всякая дрянь и над самым шкапом с бумагами охотничий арапник. Я знаю, вы любите охоту, но все на время лучше его принять, а там, как проедет ревизор, пожалуй, опять его можете повесить. Также заседатель ваш... он, конечно, человек сведущий, но от него такой запах, как будто бы он сейчас вышел из винокуренного завода, — это тоже нехорошо. Я хотел давно об этом сказать вам, но был, не помню, чем-то развлечен. Есть против этого средства, если уже это действительно, как он говорит, у него природный запах: можно ему посоветовать есть лук, или чеснок, или что-нибудь другое. В этом случае может помочь разными медикаментами Христиан Иванович.

Христиан Иванович издает тот же звук.

Аммос Федорович. Нет, этого уже невозможно выгнать: он говорит, что в детстве мамка его ушибла, и с тех пор от него отдает немного водкою.Городничий. Да я так только заметил вам. Насчет же внутреннего распоряжения и того, что называет в письме Андрей Иванович грешками, я ничего не могу сказать. Да и странно говорить: нет человека, который бы за собою не имел каких-нибудь грехов. Это уже так Самим Богом устроено, и волтерианцы напрасно против этого говорят.Аммос Федорович. Что ж вы полагаете, Антон Антонович, грешками? Грешки грешкам — рознь. Я говорю всем открыто, что беру взятки, но чем взятки? Борзыми щенками. Это совсем иное дело.Городничий. Ну, щенками или чем другим — всё взятки.Аммос Федорович. Ну нет, Антон Антонович. А вот, например, если у кого-нибудь шуба стоит пятьсот рублей, да супруге шаль...Городничий. Ну, а что из того, что вы берете взятки борзыми щенками? Зато вы в Бога не веруете; вы в церковь никогда не ходите; а я по крайней мере в вере тверд и каждое воскресенье бываю в церкви. А вы... О, я знаю вас: вы если начнете говорить о сотворении мира, просто волосы дыбом поднимаются.Аммос Федорович. Да ведь сам собою дошел, собственным умом.Городничий. Ну, в ином случае много ума хуже, чем бы его совсем не было. Впрочем, я так только упомянул об уездном суде; а по правде сказать, вряд ли кто когда-нибудь заглянет туда: это уж такое завидное место, сам Бог ему покровительствует. А вот вам, Лука Лукич, так, как смотрителю учебных заведений, нужно позаботиться особенно насчет учителей. Они люди, конечно, ученые и воспитывались в разных коллегиях, но имеют очень странные поступки, натурально неразлучные с ученым званием. Один из них, например, вот этот, что имеет толстое лицо... не вспомню его фамилии, никак не может обойтись без того, чтобы, взошедши на кафедру, не сделать гримасу, вот этак *(делает гримасу)*, и потом начнет рукою из-под галстука утюжить свою бороду. Конечно, если он ученику сделает такую рожу, то оно еще ничего: может быть, оно там и нужно так, об этом я не могу судить; но вы посудите сами, если он сделает это посетителю, — это может быть очень худо: господин ревизор или другой кто может принять это на свой счет. Из этого черт знает что может произойти.Лука Лукич. Что ж мне, право, с ним делать? Я уж несколько раз ему говорил. Вот еще на днях, когда зашел было в класс наш предводитель, он скроил такую рожу, какой я никогда еще не видывал. Он-то ее сделал от доброго сердца, а мне выговор: зачем вольнодумные мысли внушаются юношеству.Городничий. То же я должен вам заметить и об учителе по исторической части. Он ученая голова — это видно, и сведений нахватал тьму, но только объясняет с таким жаром, что не помнит себя. Я раз слушал его: ну, покамест говорил об ассириянах и вавилонянах — еще ничего, а как добрался до Александра Македонского, то я не могу вам сказать, что с ним сделалось. Я думал, что пожар, ей-Богу! Сбежал с кафедры и что силы есть хвать стулом об пол. Оно, конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать? от этого убыток казне.Лука Лукич. Да, он горяч! Я ему это несколько раз уже замечал... Говорит: «Как хотите, для науки я жизни не пощажу».Городничий. Да, таков уже неизъяснимый закон судеб: умный человек — или пьяница, или рожу такую состроит, что хоть святых выноси.Лука Лукич. Не приведи Бог служить по ученой части! Всего боишься: всякий мешается, всякому хочется показать, что он тоже умный человек.Городничий. Это бы еще ничего, — инкогнито проклятое! Вдруг заглянет: «А, вы здесь, голубчики! А кто, скажет, здесь судья?» — «Ляпкин-Тяпкин». — «А подать сюда Ляпкина-Тяпкина! А кто попечитель богоугодных заведений?» — «Земляника». — «А подать сюда Землянику!» Вот что худо!

**Явление II**

Те же и почтмейстер.

Почтмейстер. Объясните, господа, что, какой чиновник едет?Городничий. А вы разве не слышали?Почтмейстер. Слышал от Петра Ивановича Бобчинского. Он только что был у меня в почтовой конторе.Городничий. Ну, что? Как вы думаете об этом?Почтмейстер. А что думаю? война с турками будет.Аммос Федорович. В одно слово! я сам то же думал.Городничий. Да, оба пальцем в небо попали!Почтмейстер. Право, война с турками. Это все француз гадит.Городничий. Какая война с турками! Просто нам плохо будет, а не туркам. Это уже известно: у меня письмо.Почтмейстер. А если так, то не будет войны с турками.Городничий. Ну что же, как вы, Иван Кузьмич?Почтмейстер. Да что я? Как вы, Антон Антонович?Городничий. Да что я? Страху-то нет, а так, немножко... Купечество да гражданство меня смущает. Говорят, что я им солоно пришелся, а я, вот ей-Богу, если и взял с иного, то, право, без всякой ненависти. Я даже думаю *(берет его под руку и отводит в сторону)*, я даже думаю, не было ли на меня какого-нибудь доноса. Зачем же в самом деле к нам ревизор? Послушайте, Иван Кузьмич, нельзя ли вам, для общей нашей пользы, всякое письмо, которое прибывает к вам в почтовую контору, входящее и исходящее, знаете, этак немножко распечатать и прочитать: не содержится ли в нем какого-нибудь донесения или просто переписки. Если же нет, то можно опять запечатать; впрочем, можно даже и так отдать письмо, распечатанное.Почтмейстер. Знаю, знаю... Этому не учите, это я делаю не то чтоб из предосторожности, а больше из любопытства: смерть люблю узнать, что есть нового на свете. Я вам скажу, что это преинтересное чтение. Иное письмо с наслажденьем прочтешь — так описываются разные пассажи... а назидательность какая... лучше, чем в «Московских ведомостях»!Городничий. Ну что ж, скажите, ничего не начитывали о каком-нибудь чиновнике из Петербурга?Почтмейстер. Нет, о петербургском ничего нет, а о костромских и саратовских много говорится. Жаль, однако ж, что вы не читаете писем: есть прекрасные места. Вот недавно один поручик пишет к приятелю и описал бал в самом игривом... очень, очень хорошо: «Жизнь моя, милый друг, течет, говорит, в эмпиреях: барышень много, музыка играет, штандарт скачет...» — с большим, с большим чувством описал. Я нарочно оставил его у себя. Хотите, прочту?Городничий. Ну, теперь не до того. Так сделайте милость, Иван Кузьмич: если на случай попадется жалоба или донесение, то без всяких рассуждений задерживайте.Почтмейстер. С большим удовольствием.Аммос Федорович. Смотрите, достанется вам когда-нибудь за это.Почтмейстер. Ах, батюшки!Городничий. Ничего, ничего. Другое дело, если бы вы из этого публичное что-нибудь сделали, но ведь это дело семейственное.Аммос Федорович. Да, нехорошее дело заварилось! А я, признаюсь, шел было к вам, Антон Антонович, с тем чтобы попотчевать вас собачонкою. Родная сестра тому кобелю, которого вы знаете. Ведь вы слышали, что Чептович с Варховинским затеяли тяжбу, и теперь мне роскошь: травлю зайцев на землях и у того и у другого.Городничий. Батюшки, не милы мне теперь ваши зайцы: у меня инкогнито проклятое сидит в голове. Так и ждешь, что вот отворится дверь и — шасть...

**Явление III**

Те же, Бобчинский и Добчинский, оба входят, запыхавшись.

Бобчинский. Чрезвычайное происшествие!Добчинский. Неожиданное известие!Все. Что, что такое?Добчинский. Непредвиденное дело: приходим в гостиницу...Бобчинский *(перебивая).* Приходим с Петром Ивановичем в гостиницу...Добчинский *(перебивая).* Э, позвольте, Петр Иванович, я расскажу.Бобчинский. Э, нет, позвольте уж я... позвольте, позвольте... вы уж и слога такого не имеете...Добчинский. А вы собьетесь и не припомните всего.Бобчинский. Припомню, ей-Богу, припомню. Уж не мешайте, пусть я расскажу, не мешайте! Скажите, господа, сделайте милость, чтоб Петр Иванович не мешал.Городничий. Да говорите, ради Бога, что такое? У меня сердце не на месте. Садитесь, господа! Возьмите стулья! Петр Иванович, вот вам стул.

Все усаживаются вокруг обоих Петров Ивановичей.

Ну, что, что такое?Бобчинский. Позвольте, позвольте: я все по порядку. Как только имел я удовольствие выйти от вас после того, как вы изволили смутиться полученным письмом, да-с, — так я тогда же забежал... уж, пожалуйста, не перебивайте, Петр Иванович! Я уж все, все, все знаю-с. Так я, вот изволите видеть, забежал к Коробкину. А не заставши Коробкина-то дома, заворотил к Растаковскому, а не заставши Растаковского, зашел вот к Ивану Кузьмичу, чтобы сообщить ему полученную вами новость, да, идучи оттуда, встретился с Петром Ивановичем...Добчинский *(перебивая).* Возле будки, где продаются пироги.Бобчинский. Возле будки, где продаются пироги. Да, встретившись с Петром Ивановичем, и говорю ему: «Слышали ли вы о новости-та, которую получил Антон Антонович из достоверного письма?» А Петр Иванович уж услыхали об этом от ключницы вашей Авдотьи, которая, не знаю, за чем-то была послана к Филиппу Антоновичу Почечуеву.Добчинский *(перебивая)*. За бочонком для французской водки.Бобчинский *(отводя его руки)*. За бочонком для французской водки. Вот мы пошли с Петром-то Ивановичем к Почечуеву... Уж вы, Петр Иванович... энтого... не перебивайте, пожалуйста, не перебивайте!.. Пошли к Почечуеву, да на дороге Петр Иванович говорит: «Зайдем, говорит, в трактир. В желудке-то у меня... с утра я ничего не ел, так желудочное трясение...» — да-с, в желудке-то у Петра Ивановича... «А в трактир, говорит, привезли теперь свежей семги, так мы закусим». Только что мы в гостиницу, как вдруг молодой человек...Добчинский *(перебивая)*. Недурной наружности, в партикулярном платье...Бобчинский. Недурной наружности, в партикулярном платье, ходит этак по комнате, и в лице этакое рассуждение... физиономия... поступки, и здесь *(вертит рукою около лба)*много, много всего. Я будто предчувствовал и говорю Петру Ивановичу: «Здесь что-нибудь неспроста-с». Да. А Петр-то Иванович уж мигнул пальцем и подозвали трактирщика-с, трактирщика Власа: у него жена три недели назад тому родила, и такой пребойкий мальчик, будет так же, как и отец, содержать трактир. Подозвавши Власа, Петр Иванович и спроси его потихоньку: «Кто, говорит, этот молодой человек?» — а Влас и отвечает на это: «Это», — говорит... Э, не перебивайте, Петр Иванович, пожалуйста, не перебивайте; вы не расскажете, ей-Богу не расскажете: вы пришепетываете; у вас, я знаю, один зуб во рту со свистом... «Это, говорит, молодой человек, чиновник, — да-с, — едущий из Петербурга, а по фамилии, говорит, Иван Александрович Хлестаков-с, а едет, говорит, в Саратовскую губернию и, говорит, престранно себя аттестует: другую уж неделю живет, из трактира не едет, забирает все на счет и ни копейки не хочет платить». Как сказал он мне это, а меня так вот свыше и вразумило. «Э!» — говорю я Петру Ивановичу...Добчинский. Нет, Петр Иванович, это я сказал: «э!»Бобчинский. Сначала вы сказали, а потом и я сказал. «Э! — сказали мы с Петром Ивановичем. — А с какой стати сидеть ему здесь, когда дорога ему лежит в Саратовскую губернию?» Да-с. А вот он-то и есть этот чиновник.Городничий. Кто, какой чиновник?Бобчинский. Чиновник-та, о котором изволили получить нотацию, — ревизор.Городничий *(в страхе)*. Что вы, Господь с вами! это не он.Добчинский. Он! и денег не платит и не едет. Кому же б быть, как не ему? И подорожная прописана в Саратов.Бобчинский. Он, он, ей-Богу он... Такой наблюдательный: все обсмотрел. Увидел, что мы с Петром-то Ивановичем ели семгу, — больше потому, что Петр Иванович насчет своего желудка... да, так он и в тарелки к нам заглянул. Меня так и проняло страхом.Городничий. Господи, помилуй нас, грешных! Где же он там живет?Добчинский. В пятом номере, под лестницей.Бобчинский. В том самом номере, где прошлого года подрались проезжие офицеры.Городничий. И давно он здесь?Добчинский. А недели две уж. Приехал на Василья Египтянина.Городничий. Две недели! *(В сторону.)* Батюшки, сватушки! Выносите, святые угодники! В эти две недели высечена унтер-офицерская жена! Арестантам не выдавали провизии! На улицах кабак, нечистота! Позор! поношенье! *(Хватается за голову.)*Артемий Филиппович. Что ж, Антон Антонович? — ехать парадом в гостиницу.Аммос Федорович. Нет, нет! Вперед пустить голову, духовенство, купечество; вот и в книге «Деяния Иоанна Масона»...Городничий. Нет, нет; позвольте уж мне самому. Бывали трудные случаи в жизни, сходили, еще даже и спасибо получал. Авось Бог вынесет и теперь. *(Обращаясь к Бобчинскому.)* Вы говорите, он молодой человек?Бобчинский. Молодой, лет двадцати трех или четырех с небольшим.Городничий. Тем лучше: молодого скорее пронюхаешь. Беда, если старый черт, а молодой весь наверху. Вы, господа, приготовляйтесь по своей части, а я отправлюсь сам или вот хоть с Петром Ивановичем, приватно, для прогулки, наведаться, не терпят ли проезжающие неприятностей. Эй, Свистунов!Свистунов. Что угодно?Городничий. Ступай сейчас за частным приставом; или нет, ты мне нужен. Скажи там кому-нибудь, чтобы как можно поскорее ко мне частного пристава, и приходи сюда.

Квартальный бежит впопыхах.

Артемий Филиппович. Идем, идем, Аммос Федорович! В самом деле может случиться беда.Аммос Федорович. Да вам чего бояться? Колпаки чистые надел на больных, да и концы в воду.Артемий Филиппович. Какое колпаки! Больным велено габерсуп давать, а у меня по всем коридорам несет такая капуста, что береги только нос.Аммос Федорович. А я на этот счет покоен. В самом деле, кто зайдет в уездный суд? А если и заглянет в какую-нибудь бумагу, так он жизни не будет рад. Я вот уж пятнадцать лет сижу на судейском стуле, а как загляну в докладную записку — а! только рукой махну. Сам Соломон не разрешит, что в ней правда и что неправда.

Судья, попечитель богоугодных заведений, смотритель училищ и почтмейстер уходят и в дверях сталкиваются с возвращающимся квартальным.

**Явление IV**

Городничий, Бобчинский, Добчинский и квартальный.

Городничий. Что, дрожки там стоят?Квартальный. Стоят.Городничий. Ступай на улицу... или нет, постой! Ступай принеси... Да другие-то где? неужели ты только один? Ведь я приказывал, чтобы и Прохоров был здесь. Где Прохоров?Квартальный. Прохоров в частном доме, да только к делу не может быть употреблен.Городничий. Как так?Квартальный. Да так: привезли его поутру мертвецки. Вот уже два ушата воды вылили, до сих пор не протрезвился.Городничий *(хватаясь за голову)*. Ах, Боже мой, Боже мой! Ступай скорее на улицу, или нет — беги прежде в комнату, слышь! и принеси оттуда шпагу и новую шляпу. Ну, Петр Иванович, поедем!Бобчинский. И я, и я... позвольте и мне, Антон Антонович!Городничий. Нет, нет, Петр Иванович, нельзя, нельзя! Неловко, да и на дрожках не поместимся.Бобчинский. Ничего, ничего, я так: петушком, петушком побегу за дрожками. Мне бы только немножко в щелочку-та, в дверь этак посмотреть, как у него эти поступки...Городничий *(принимая шпагу, к квартальному)*. Беги сейчас возьми десятских, да пусть каждый из них возьмет... Эк шпага как исцарапалась! Проклятый купчишка Абдулин — видит, что у городничего старая шпага, не прислал новой. О, лукавый народ! А так, мошенники, я думаю, там уж просьбы из-под полы и готовят. Пусть каждый возьмет в руки по улице... черт возьми, по улице — по метле! и вымели бы всю улицу, что идет к трактиру, и вымели бы чисто... Слышишь! Да смотри: ты! ты! я знаю тебя: ты там кумаешься да крадешь в ботфорты серебряные ложечки, — смотри, у меня ухо востро!.. Что ты сделал с купцом Черняевым — а? Он тебе на мундир дал два аршина сукна, а ты стянул всю штуку. Смотри! не по чину берешь! Ступай!

**Явление V**

Те же и частный пристав.

Городничий. А, Степан Ильич! Скажите, ради Бога: куда вы запропастились? На что это похоже?Частный пристав. Я был тут сейчас за воротами.Городничий. Ну, слушайте же, Степан Ильич! Чиновник-то из Петербурга приехал. Как вы там распорядились?Частный пристав. Да так, как вы приказывали. Квартального Пуговицына я послал с десятскими подчищать тротуар.Городничий. А Держиморда где?Частный пристав. Держиморда поехал на пожарной трубе.Городничий. А Прохоров пьян?Частный пристав. Пьян.Городничий. Как же вы это так допустили?Частный пристав. Да Бог его знает. Вчерашнего дня случилась за городом драка, — поехал туда для порядка, а возвратился пьян.Городничий. Послушайте ж, вы сделайте вот что: квартальный Пуговицын... он высокого роста, так пусть стоит для благоустройства на мосту. Да разметать наскоро старый забор, что возле сапожника, и поставить соломенную веху, чтоб было похоже на планировку. Оно чем больше ломки, тем больше означает деятельности градоправителя. Ах, Боже мой! я и позабыл, что возле того забора навалено на сорок телег всякого сору. Что это за скверный город! только где-нибудь поставь какой-нибудь памятник или просто забор — черт их знает откудова и нанесут всякой дряни! *(Вздыхает.)* Да если приезжий чиновник будет спрашивать службу: довольны ли? — чтобы говорили: «Всем довольны, ваше благородие»; а который будет недоволен, то ему после дам такого неудовольствия... О, ох, хо, хо, х! грешен, во многом грешен. *(Берет вместо шляпы футляр.)* Дай только, Боже, чтобы сошло с рук поскорее, а там-то я поставлю уж такую свечу, какой еще никто не ставил: на каждую бестию купца наложу доставить по три пуда воску. О Боже мой, Боже мой! Едем, Петр Иванович! *(Вместо шляпы хочет надеть бумажный футляр.)*Частный пристав. Антон Антонович, это коробка, а не шляпа.Городничий *(бросая коробку)*. Коробка так коробка. Черт с ней! Да если спросят, отчего не выстроена церковь при богоугодном заведении, на которую назад тому пять лет была ассигнована сумма, то не позабыть сказать, что начала строиться, но сгорела. Я об этом и рапорт представлял. А то, пожалуй, кто-нибудь, позабывшись, сдуру скажет, что она и не начиналась. Да сказать Держиморде, чтобы не слишком давал воли кулакам своим; он, для порядка, всем ставит фонари под глазами — и правому и виноватому. Едем, едем, Петр Иванович! *(Уходит и возвращается.)* Да не выпускать солдат на улицу безо всего: эта дрянная гарниза наденет только сверх рубашки мундир, а внизу ничего нет.

Все уходят.

**Явление VI**

Анна Андреевна и Марья Антоновна вбегают на сцену.

Анна Андреевна. Где ж, где ж они? Ах, Боже мой!.. *(Отворяя дверь.)* Муж! Антоша! Антон! *(Говорит скоро.)* А все ты, а всё за тобой. И пошла копаться: «Я булавочку, я косынку». *(Подбегает к окну и кричит.)* Антон, куда, куда? Что, приехал? ревизор? с усами! с какими усами?Голос городничего. После, после, матушка!Анна Андреевна. После? Вот новости — после! Я не хочу после... Мне только одно слово: что он, полковник? А? *(С пренебрежением.)* Уехал! Я тебе вспомню это! А все эта: «Маменька, маменька, погодите, зашпилю сзади косынку; я сейчас». Вот тебе и сейчас! Вот тебе ничего и не узнали! А все проклятое кокетство; услышала, что почтмейстер здесь, и давай пред зеркалом жеманиться; и с той стороны, и с этой стороны подойдет. Воображает, что он за ней волочится, а он просто тебе делает гримасу, когда ты отвернешься.Марья Антоновна. Да что ж делать, маменька? Все равно чрез два часа мы всё узнаем.Анна Андреевна. Чрез два часа! покорнейше благодарю. Вот одолжила ответом! Как ты не догадалась сказать, что чрез месяц еще лучше можно узнать! *(Свешивается в окно.)* Эй, Авдотья! А? Что, Авдотья, ты слышала, там приехал кто-то?.. Не слышала? Глупая какая! Машет руками? Пусть машет, а ты все бы таки его расспросила. Не могла этого узнать! В голове чепуха, всё женихи сидят. А? Скоро уехали! да ты бы побежала за дрожками. Ступай, ступай сейчас! Слышишь, побеги расспроси, куда поехали; да расспроси хорошенько: что за приезжий, каков он, — слышишь? Подсмотри в щелку и узнай все, и глаза какие: черные или нет, и сию же минуту возвращайся назад, слышишь? Скорее, скорее, скорее, скорее! *(Кричит до тех пор, пока не опускается занавес. Так занавес и закрывает их обеих, стоящих у окна.)*

**ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ**

*Маленькая комната в гостинице. Постель, стол, чемодан, пустая бутылка, сапоги, платяная щетка и прочее.*

**Явление I**

Осип лежит на барской постеле.

Черт побери, есть так хочется и в животе трескотня такая, как будто бы целый полк затрубил в трубы. Вот не доедем, да и только, домой! Что ты прикажешь делать? Второй месяц пошел, как уже из Питера! Профинтил дорогою денежки, голубчик, теперь сидит и хвост подвернул, и не горячится. А стало бы, и очень бы стало на прогоны; нет, вишь ты, нужно в каждом городе показать себя! *(Дразнит его.)* «Эй, Осип, ступай посмотри комнату, лучшую, да обед спроси самый лучший: я не могу есть дурного обеда, мне нужен лучший обед». Добро бы было в самом деле что-нибудь путное, а то ведь елистратишка простой! С проезжающим знакомится, а потом в картишки — вот тебе и доигрался! Эх, надоела такая жизнь! Право, на деревне лучше: оно хоть нет публичности, да и заботности меньше; возьмешь себе бабу, да и лежи весь век на полатях да ешь пироги. Ну, кто ж спорит: конечно, если пойдет на правду, так житье в Питере лучше всего. Деньги бы только были, а жизнь тонкая и политичная: кеятры, собаки тебе танцуют, и все что хочешь. Разговаривает все на тонкой деликатности, что разве только дворянству уступит; пойдешь на Щукин — купцы тебе кричат: «Почтенный!»; на перевозе в лодке с чиновником сядешь; компании захотел — ступай в лавочку: там тебе кавалер расскажет про лагери и объявит, что всякая звезда значит на небе, так вот как на ладони все видишь. Старуха офицерша забредет; горничная иной раз заглянет такая... фу, фу, фу! *(Усмехается и трясет головою.)* Галантерейное, черт возьми, обхождение! Невежливого слова никогда не услышишь, всякой тебе говорит «вы». Наскучило идти — берешь извозчика и сидишь себе как барин, а не хочешь заплатить ему — изволь: у каждого дома есть сквозные ворота, и ты так шмыгнешь, что тебя никакой дьявол не сыщет. Одно плохо: иной раз славно наешься, а в другой чуть не лопнешь с голоду, как теперь, например. А все он виноват. Что с ним сделаешь? Батюшка пришлет денежки, чем бы их попридержать — и куды!.. пошел кутить: ездит на извозчике, каждый день ты доставай в кеятр билет, а там через неделю, глядь — и посылает на толкучий продавать новый фрак. Иной раз все до последней рубашки спустит, так что на нем всего останется сертучишка да шинелишка... Ей-Богу, правда! И сукно такое важное, аглицкое! рублев полтораста ему один фрак станет, а на рынке спустит рублей за двадцать; а о брюках и говорить нечего — нипочем идут. А отчего? — оттого, что делом не занимается: вместо того чтобы в должность, а он идет гулять по прешпекту, в картишки играет. Эх, если б узнал это старый барин! Он не посмотрел бы на то, что ты чиновник, а, поднявши рубашонку, таких бы засыпал тебе, что дня б четыре ты почесывался. Коли служить, так служи. Вот теперь трактирщик сказал, что не дам вам есть, пока не заплатите за прежнее; ну, а коли не заплатим? *(Со вздохом.)* Ах, Боже Ты мой, хоть бы какие-нибудь щи! Кажись, так бы теперь весь свет съел. Стучится; верно, это он идет. *(Поспешно схватывается с постели.)*

**Явление II**

Осип и Хлестаков.

Хлестаков. На, прими это. *(Отдает фуражку и тросточку.)* А, опять валялся на кровати?Осип. Да зачем же бы мне валяться? Не видал я разве кровати, что ли?Хлестаков. Врешь, валялся; видишь, вся склочена.Осип. Да на что мне она? Не знаю я разве, что такое кровать? У меня есть ноги; я и постою. Зачем мне ваша кровать?Хлестаков *(ходит по комнате)*. Посмотри, там в картузе табаку нет?Осип. Да где ж ему быть, табаку? Вы четвертого дня последнее выкурили.Хлестаков *(ходит и разнообразно сжимает свои губы; наконец говорит громким и решительным голосом).* Послушай... эй, Осип!Осип. Чего изволите?Хлестаков *(громким, но не столь решительным голосом)*. Ты ступай туда.Осип. Куда?Хлестаков *(голосом вовсе не решительным и не громким, очень близким к просьбе).*Вниз, в буфет... Там скажи... чтобы мне дали пообедать.Осип. Да нет, я и ходить не хочу.Хлестаков. Как ты смеешь, дурак!Осип. Да так; все равно, хоть и пойду, ничего из этого не будет. Хозяин сказал, что больше не даст обедать.Хлестаков. Как он смеет не дать? Вот еще вздор!Осип. «Еще, говорит, и к городничему пойду; третью неделю барин денег не плотит. Вы-де с барином, говорит, мошенники, и барин твой — плут. Мы-де, говорит, этаких шерамыжников и подлецов видали».Хлестаков. А ты уж и рад, скотина, сейчас пересказывать мне все это.Осип. Говорит: «Этак всякий приедет, обживется, задолжается, после и выгнать нельзя. Я, говорит, шутить не буду, я прямо с жалобою, чтоб на съезжую да в тюрьму».Хлестаков. Ну, ну, дурак, полно! Ступай, ступай скажи ему. Такое грубое животное!Осип. Да лучше я самого хозяина позову к вам.Хлестаков. На что ж хозяина? Ты поди сам скажи.Осип. Да, право, сударь...Хлестаков. Ну, ступай, черт с тобой! позови хозяина.

Осип уходит.

**Явление III**

Хлестаков один.

Ужасно как хочется есть! Так немножко прошелся, думал, не пройдет ли аппетит, — нет, черт возьми, не проходит. Да, если б в Пензе я не покутил, стало бы денег доехать домой. Пехотный капитан сильно поддел меня: штосы удивительно, бестия, срезывает. Всего каких-нибудь четверть часа посидел — и всё обобрал. А при всем том страх хотелось бы с ним еще раз сразиться. Случай только не привел. Какой скверный городишко! В овошенных лавках ничего не дают в долг. Это уж просто подло. *(Насвистывает сначала из «Роберта», потом «Не шей ты мне, матушка», а наконец ни се ни то.)* Никто не хочет идти.

**Явление IV**

Хлестаков, Осип и трактирный слуга.

Слуга. Хозяин приказал спросить, что вам угодно?Хлестаков. Здравствуй, братец! Ну, что ты, здоров?Слуга. Слава Богу.Хлестаков. Ну что, как у вас в гостинице? хорошо ли все идет?Слуга. Да, слава Богу, все хорошо.Хлестаков. Много проезжающих?Слуга. Да, достаточно.Хлестаков. Послушай, любезный, там мне до сих пор обеда не приносят, так, пожалуйста, поторопи, чтоб поскорее, — видишь, мне сейчас после обеда нужно кое-чем заняться.Слуга. Да хозяин сказал, что не будет больше отпускать. Он, никак, хотел идти сегодня жаловаться городничему.Хлестаков. Да что ж жаловаться? Посуди сам, любезный, как же? ведь мне нужно есть. Этак могу я совсем отощать. Мне очень есть хочется; я не шутя это говорю.Слуга. Так-с. Он говорил: «Я ему обедать не дам, покамест он не заплатит мне за прежнее». Таков уж ответ его был.Хлестаков. Да ты урезонь, уговори его.Слуга. Да что ж ему такое говорить?Хлестаков. Ты растолкуй ему сурьезно, что мне нужно есть. Деньги сами собою... Он думает, что, как ему, мужику, ничего, если не поесть день, так и другим тоже. Вот новости!Слуга. Пожалуй, я скажу.

**Явление V**

Хлестаков один.

Это скверно, однако ж, если он совсем ничего не даст есть. Так хочется, как еще никогда не хотелось. Разве из платья что-нибудь пустить в оборот? Штаны, что ли, продать? Нет, уж лучше поголодать, да приехать домой в петербургском костюме. Жаль, что Иохим не дал напрокат кареты, а хорошо бы, черт побери, приехать домой в карете, подкатить этаким чертом к какому-нибудь соседу-помещику под крыльцо, с фонарями, а Осипа сзади, одеть в ливрею. Как бы, я воображаю, все переполошились: «Кто такой, что такое?» А лакей входит *(вытягиваясь и представляя лакея):* «Иван Александрович Хлестаков из Петербурга, прикажете принять?» Они, пентюхи, и не знают, что такое значит «прикажете принять». К ним если приедет какой-нибудь гусь помещик, так и валит, медведь, прямо в гостиную. К дочечке какой-нибудь хорошенькой подойдешь: «Сударыня, как я...» *(Потирает руки и подшаркивает ножкой.)* Тьфу! *(плюет)* даже тошнит, так есть хочется.

**Явление VI**

Хлестаков, Осип, потом слуга.

Хлестаков. А что?Осип. Несут обед.Хлестаков *(прихлопывает в ладоши и слегка подпрыгивает на стуле)*. Несут! несут! несут!Слуга *(с тарелками и салфеткой)*. Хозяин в последний раз уж дает.Хлестаков. Ну, хозяин, хозяин... Я плевать на твоего хозяина! Что там такое?Слуга. Суп и жаркое.Хлестаков. Как, только два блюда?Слуга. Только-с.Хлестаков. Вот вздор какой! я этого не принимаю. Ты скажи ему: что это, в самом деле, такое!.. Этого мало.Слуга. Нет, хозяин говорит, что еще много.Хлестаков. А соуса почему нет?Слуга. Соуса нет.Хлестаков. Отчего же нет? Я видел сам, проходя мимо кухни, там много готовилось. И в столовой сегодня поутру двое каких-то коротеньких человека ели семгу и еще много кой-чего.Слуга. Да оно-то есть, пожалуй, да нет.Хлестаков. Как нет?Слуга. Да уж нет.Хлестаков. А семга, а рыба, а котлеты?Слуга. Да это для тех, которые почище-с.Хлестаков. Ах ты, дурак!Слуга. Да-с.Хлестаков. Поросенок ты скверный... Как же они едят, а я не ем? Отчего же я, черт возьми, не могу так же? Разве они не такие же проезжающие, как и я?Слуга. Да уж известно, что не такие.Хлестаков. Какие же?Слуга. Обнаковенно какие! они уж известно: они деньги платят.Хлестаков. Я с тобою, дурак, не хочу рассуждать. *(Наливает суп и ест.)* Что это за суп? Ты просто воды налил в чашку: никакого вкусу нет, только воняет. Я не хочу этого супу, дай мне другого.Слуга. Мы примем-с. Хозяин сказал: коли не хотите, то и не нужно.Хлестаков *(защищая рукою кушанье)*. Ну, ну, ну... оставь, дурак! Ты привык там обращаться с другими: я, брат, не такого рода! со мной не советую... *(Ест.)* Боже мой, какой суп! *(Продолжает есть.)* Я думаю, еще ни один человек в мире не едал такого супу: какие-то перья плавают вместо масла. *(Режет курицу.)* Ай, ай, ай, какая курица! Дай жаркое! Там супу немного осталось, Осип, возьми себе. *(Режет жаркое.)* Что это за жаркое? Это не жаркое.Слуга. Да что ж такое?Хлестаков. Черт его знает, что такое, только не жаркое. Это топор, зажаренный вместо говядины. *(Ест.)* Мошенники, канальи, чем они кормят! И челюсти заболят, если съешь один такой кусок. *(Ковыряет пальцем в зубах.)* Подлецы! Совершенно как деревянная кора, ничем вытащить нельзя; и зубы почернеют после этих блюд. Мошенники! *(Вытирает рот салфеткой.)* Больше ничего нет?Слуга. Нет.Хлестаков. Канальи! подлецы! и даже хотя бы какой-нибудь соус или пирожное. Бездельники! дерут только с проезжающих.

Слуга убирает и уносит тарелки вместе с Осипом.

**Явление VII**

Хлестаков, потом Осип.

Хлестаков. Право, как будто и не ел; только что разохотился. Если бы мелочь, послать бы на рынок и купить хоть сайку.Осип *(входит)*. Там зачем-то городничий приехал, осведомляется и спрашивает о вас.Хлестаков *(испугавшись)*. Вот тебе на! Эка бестия трактирщик, успел уже пожаловаться! Что, если в самом деле он потащит меня в тюрьму? Что ж, если благородным образом, я, пожалуй... нет, нет, не хочу! Там в городе таскаются офицеры и народ, а я, как нарочно, задал тону и перемигнулся с одной купеческой дочкой... Нет, не хочу... Да что он, как он смеет в самом деле? Что я ему, разве купец или ремесленник? *(Бодрится и выпрямливается.)* Да я ему прямо скажу: «Как вы смеете, как вы...» *(У дверей вертится ручка; Хлестаков бледнеет и съеживается.)*

**Явление VIII**

Хлестаков, городничий и Добчинский. Городничий, вошед, останавливается. Оба в испуге смотрят несколько минут один на другого, выпучив глаза.

Городничий *(немного оправившись и протянув руки по швам)*. Желаю здравствовать!Хлестаков *(кланяется).* Мое почтение...Городничий. Извините.Хлестаков. Ничего...Городничий. Обязанность моя, как градоначальника здешнего города, заботиться о том, чтобы проезжающим и всем благородным людям никаких притеснений...Хлестаков *(сначала немного заикается, но к концу речи говорит громко)*. Да что ж делать?.. Я не виноват... Я, право, заплачу... Мне пришлют из деревни.

Бобчинский выглядывает из дверей.

Он больше виноват: говядину мне подает такую твердую, как бревно; а суп — он черт знает чего плеснул туда, я должен был выбросить его за окно. Он меня морил голодом по целым дням... Чай такой странный: воняет рыбой, а не чаем. За что ж я... Вот новость!Городничий *(робея)*. Извините, я, право, не виноват. На рынке у меня говядина всегда хорошая. Привозят холмогорские купцы, люди трезвые и поведения хорошего. Я уж не знаю, откуда он берет такую. А если что не так, то... Позвольте мне предложить вам переехать со мною на другую квартиру.Хлестаков. Нет, не хочу! Я знаю, что значит на другую квартиру: то есть — в тюрьму. Да какое вы имеете право? Да как вы смеете?.. Да вот я... Я служу в Петербурге. *(Бодрится.)*Я, я, я...Городничий *(в сторону)*. О Господи Ты Боже, какой сердитый! Все узнал, всё рассказали проклятые купцы!Хлестаков *(храбрясь)*. Да вот вы хоть тут со всей своей командой — не пойду! Я прямо к министру! *(Стучит кулаком по столу.)* Что вы? что вы?Городничий *(вытянувшись и дрожа всем телом)*. Помилуйте, не погубите! Жена, дети маленькие... не сделайте несчастным человека.Хлестаков. Нет, я не хочу! Вот еще! мне какое дело? Оттого, что у вас жена и дети, я должен идти в тюрьму, вот прекрасно!

Бобчинский выглядывает в дверь и в испуге прячется.

Нет, благодарю покорно, не хочу.Городничий *(дрожа)*. По неопытности, ей-Богу по неопытности. Недостаточность состояния... Сами извольте посудить: казенного жалованья не хватает даже на чай и сахар. Если ж и были какие взятки, то самая малость: к столу что-нибудь да на пару платья. Что же до унтер-офицерской вдовы, занимающейся купечеством, которую я будто бы высек, то это клевета, ей-Богу клевета. Это выдумали злодеи мои; это такой народ, что на жизнь мою готовы покуситься.Хлестаков. Да что? мне нет никакого дела до них. *(В размышлении.)* Я не знаю, однако ж, зачем вы говорите о злодеях или о какой-то унтер-офицерской вдове... Унтер-офицерская жена совсем другое, а меня вы не смеете высечь, до этого вам далеко... Вот еще! смотри ты какой!.. Я заплачу, заплачу деньги, но у меня теперь нет. Я потому и сижу здесь, что у меня нет ни копейки.Городничий *(в сторону)*. О, тонкая штука! Эк куда метнул! какого туману напустил! разбери кто хочет! Не знаешь, с которой стороны и приняться. Ну, да уж попробовать не куды пошло! Что будет, то будет, попробовать на авось. *(Вслух.)* Если вы точно имеете нужду в деньгах или в чем другом, то я готов служить сию минуту. Моя обязанность помогать проезжающим.Хлестаков. Дайте, дайте мне взаймы! Я сейчас же расплачусь с трактирщиком. Мне бы только рублей двести или хоть даже и меньше.Городничий *(поднося бумажки)*. Ровно двести рублей, хоть и не трудитесь считать.Хлестаков *(принимая деньги)*. Покорнейше благодарю. Я вам тотчас пришлю их из деревни... у меня это вдруг... Я вижу, вы благородный человек. Теперь другое дело.Городничий *(в сторону)*. Ну, слава Богу! деньги взял. Дело, кажется, пойдет теперь на лад. Я таки ему вместо двухсот четыреста ввернул.Хлестаков. Эй, Осип!

Осип входит.

Позови сюда трактирного слугу! *(К городничему и Добчинскому.)* А что ж вы стоите? Сделайте милость, садитесь. *(Добчинскому.)* Садитесь, прошу покорнейше.Городничий. Ничего, мы и так постоим.Хлестаков. Сделайте милость, садитесь. Я теперь вижу совершенно откровенность вашего нрава и радушие, а то, признаюсь, я уж думал, что вы пришли с тем, чтобы меня... *(Добчинскому.)* Садитесь.

Городничий и Добчинский садятся. Бобчинский выглядывает в дверь и прислушивается.

Городничий *(в сторону)*. Нужно быть посмелее. Он хочет, чтобы считали его инкогнитом. Хорошо, подпустим и мы турусы: прикинемся, как будто совсем и не знаем, что он за человек. *(Вслух.)* Мы, прохаживаясь по делам должности, вот с Петром Ивановичем Добчинским, здешним помещиком, зашли нарочно в гостиницу, чтобы осведомиться, хорошо ли содержатся проезжающие, потому что я не так, как иной городничий, которому ни до чего дела нет; но я, я, кроме должности, еще по христианскому человеколюбию хочу, чтоб всякому смертному оказывался хороший прием, — и вот, как будто в награду случай доставил такое приятное знакомство.Хлестаков. Я тоже сам очень рад. Без вас я, признаюсь, долго бы просидел здесь: совсем не знал, чем заплатить.Городничий *(в сторону)*. Да, рассказывай, не знал, чем заплатить! *(Вслух.)* Осмелюсь ли спросить: куда и в какие места ехать изволите?Хлестаков. Я еду в Саратовскую губернию, в собственную деревню.Городничий *(в сторону, с лицом, принимающим ироническое выражение)*. В Саратовскую губернию! А? и не покраснеет! О, да с ним нужно ухо востро. *(Вслух.)* Благое дело изволили предпринять. Ведь вот относительно дороги: говорят, с одной стороны, неприятности насчет задержки лошадей, а ведь, с другой стороны, развлеченье для ума. Ведь вы, чай, больше для собственного удовольствия едете?Хлестаков. Нет, батюшка меня требует. Рассердился старик, что до сих пор ничего не выслужил в Петербурге. Он думает, что так вот приехал да сейчас тебе Владимира в петлицу и дадут. Нет, я бы послал его самого потолкаться в канцелярию.Городничий *(в сторону)*. Прошу посмотреть, какие пули отливает! и старика отца приплел! *(Вслух.)* И на долгое время изволите ехать?Хлестаков. Право, не знаю. Ведь мой отец упрям и глуп, старый хрен, как бревно. Я ему прямо скажу: как хотите, я не могу жить без Петербурга. За что ж, в самом деле, я должен погубить жизнь с мужиками? Теперь не те потребности; душа моя жаждет просвещения.Городничий *(в сторону)*. Славно завязал узелок! Врет, врет — и нигде не оборвется! А ведь какой невзрачный, низенький, кажется, ногтем бы придавил его. Ну, да постой, ты у меня проговоришься. Я тебя уж заставлю побольше рассказать! *(Вслух.)* Справедливо изволили заметить. Что можно сделать в глуши? Ведь вот хоть бы здесь: ночь не спишь, стараешься для отечества, не жалеешь ничего, а награда неизвестно еще когда будет. *(Окидывает глазами комнату.)* Кажется, эта комната несколько сыра?Хлестаков. Скверная комната, и клопы такие, каких я нигде не видывал: как собаки кусают.Городничий. Скажите! такой просвещенный гость, и терпит — от кого же? — от каких-нибудь негодных клопов, которым бы и на свет не следовало родиться. Никак, даже темно в этой комнате?Хлестаков. Да, совсем темно. Хозяин завел обыкновение не отпускать свечей. Иногда что-нибудь хочется сделать, почитать или придет фантазия сочинить что-нибудь, — не могу: темно, темно.Городничий. Осмелюсь ли просить вас... но нет, я недостоин.Хлестаков. А что?Городничий. Нет, нет, недостоин, недостоин!Хлестаков. Да что ж такое?Городничий. Я бы дерзнул... У меня в доме есть прекрасная для вас комната, светлая, покойная... Но нет, чувствую сам, это уж слишком большая честь... Не рассердитесь — ей-Богу, от простоты души предложил.Хлестаков. Напротив, извольте, я с удовольствием. Мне гораздо приятнее в приватном доме, чем в этом кабаке.Городничий. А уж я так буду рад! А уж как жена обрадуется! У меня уже такой нрав: гостеприимство с самого детства, особливо если гость просвещенный человек. Не подумайте, чтобы я говорил это из лести; нет, не имею этого порока, от полноты души выражаюсь.Хлестаков. Покорно благодарю. Я сам тоже — я не люблю людей двуличных. Мне очень нравится ваша откровенность и радушие, и я бы, признаюсь, больше бы ничего и не требовал, как только оказывай мне преданность и уваженье, уваженье и преданность.

**Явление IX**

Те же и трактирный слуга, сопровождаемый Осипом. Бобчинский выглядывает в дверь.

Слуга. Изволили спрашивать?Хлестаков. Да; подай счет.Слуга. Я уж давича подал вам другой счет.Хлестаков. Я уж не помню твоих глупых счетов. Говори, сколько там?Слуга. Вы изволили в первый день спросить обед, а на другой день только закусили семги и потом пошли всё в долг брать.Хлестаков. Дурак! еще начал высчитывать. Всего сколько следует?Городничий. Да вы не извольте беспокоиться, он подождет. *(Слуге.)* Пошел вон, тебе пришлют.Хлестаков. В самом деле, и то правда. *(Прячет деньги.)*

Слуга уходит. В дверь выглядывает Бобчинский.

**Явление X**

Городничий, Хлестаков, Добчинский.

Городничий. Не угодно ли будет вам осмотреть теперь некоторые заведения в нашем городе, как-то — богоугодные и другие?Хлестаков. А что там такое?Городничий. А так, посмотрите, какое у нас течение дел... порядок какой...Хлестаков. С большим удовольствием, я готов.

Бобчинский выставляет голову в дверь.

Городничий. Также, если будет ваше желание, оттуда в уездное училище, осмотреть порядок, в каком преподаются у нас науки.Хлестаков. Извольте, извольте.Городничий. Потом, если пожелаете посетить острог и городские тюрьмы — рассмотрите, как у нас содержатся преступники.Хлестаков. Да зачем же тюрьмы? Уж лучше мы обсмотрим богоугодные заведения.Городничий. Как вам угодно. Как вы намерены: в своем экипаже или вместе со мною на дрожках?Хлестаков. Да, я лучше с вами на дрожках поеду.Городничий *(Добчинскому)*. Ну, Петр Иванович, вам теперь нет места.Добчинский. Ничего, я так.Городничий *(тихо Добчинскому)*. Слушайте: вы побегите, да бегом, во все лопатки, и снесите две записки: одну в богоугодное заведение Землянике, а другую жене. *(Хлестакову.)* Осмелюсь ли я попросить позволения написать в вашем присутствии одну строчку к жене, чтоб она приготовилась к принятию почтенного гостя?Хлестаков. Да зачем же?.. А впрочем, тут и чернила, только бумаги — не знаю... Разве на этом счете?Городничий. Я здесь напишу. *(Пишет и в то же время говорит про себя.)* А вот посмотрим, как пойдет дело после фриштика да бутылки толстобрюшки! Да есть у нас губернская мадера: неказиста на вид, а слона повалит с ног. Только бы мне узнать, что он такое и в какой мере нужно его опасаться. *(Написавши, отдает Добчинскому, который подходит к двери, но в это время дверь обрывается и подслушивавший с другой стороны Бобчинский летит вместе с нею на сцену. Все издают восклицания. Бобчинский подымается.)*Хлестаков. Что? не ушиблись ли вы где-нибудь?Бобчинский. Ничего, ничего-с, без всякого-с помешательства, только сверх носа небольшая нашлепка! Я забегу к Христиану Ивановичу: у него-с есть пластырь такой, так вот оно и пройдет.Городничий *(делая Бобчинскому укорительный знак, Хлестакову)*. Это-с ничего. Прошу покорнейше, пожалуйте! А слуге вашему я скажу, чтобы перенес чемодан. *(Осипу.)*Любезнейший, ты перенеси все ко мне, к городничему, — тебе всякий покажет. Прошу покорнейше! *(Пропускает вперед Хлестакова и следует за ним, но, оборотившись, говорит с укоризной Бобчинскому)*. Уж и вы! не нашли другого места упасть! И растянулся, как черт знает что такое. *(Уходит; за ним Бобчинский.)*

Занавес опускается.

**ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ**

*Комната первого действия.*

**Явление I**

Анна Андреевна, Марья Антоновна стоят у окна в тех же самых положениях.

Анна Андреевна. Ну вот, уж целый час дожидаемся, а все ты с своим глупым жеманством: совершенно оделась, нет, еще нужно копаться... Было бы не слушать ее вовсе. Экая досада! как нарочно, ни души! как будто бы вымерло все.Марья Антоновна. Да, право, маменька, чрез минуты две всё узнаем. Уж скоро Авдотья должна прийти. *(Всматривается в окно и вскрикивает.)* Ах, маменька, маменька! кто-то идет, вон в конце улицы.Анна Андреевна. Где идет? У тебя вечно какие-нибудь фантазии. Ну да, идет. Кто же это идет? Небольшого роста... во фраке... Кто ж это? а? Это, однако ж, досадно! Кто ж бы это такой был?Марья Антоновна. Это Добчинский, маменька.Анна Андреевна. Какой Добчинский? Тебе всегда вдруг вообразится этакое... Совсем не Добчинский. *(Машет платком.)* Эй вы, ступайте сюда! скорее!Марья Антоновна. Право, маменька, Добчинский.Анна Андреевна. Ну вот, нарочно, чтобы только поспорить. Говорят тебе — не Добчинский.Марья Антоновна. А что? а что, маменька? Видите, что Добчинский.Анна Андреевна. Ну да, Добчинский, теперь я вижу, — из чего же ты споришь? *(Кричит в окно.)* Скорей, скорей! вы тихо идете. Ну что, где они? А? Да говорите же оттуда — все равно. Что? очень строгий? А? А муж, муж? *(Немного отступя от окна, с досадою.)*Такой глупый: до тех пор, пока не войдет в комнату, ничего не расскажет!

**Явление II**

Те же и Добчинский.

Анна Андреевна. Ну, скажите, пожалуйста: ну, не совестно ли вам? Я на вас одних полагалась, как на порядочного человека: все вдруг выбежали, и вы туда ж за ними! и я вот ни от кого до сих пор толку не доберусь. Не стыдно ли вам? Я у вас крестила вашего Ванечку и Лизаньку, а вы вот как со мною поступили!Добчинский. Ей-Богу, кумушка, так бежал засвидетельствовать почтение, что не могу Духу перевесть. Мое почтение, Марья Антоновна!Марья Антоновна. Здравствуйте, Петр Иванович!Анна Андреевна. Ну что? Ну, рассказывайте: что и как там?Добчинский. Антон Антонович прислал вам записочку.Анна Андреевна. Ну, да кто он такой? генерал?Добчинский. Нет, не генерал, а не уступит генералу: такое образование и важные поступки-с.Анна Андреевна. А! так это тот самый, о котором было писано мужу.Добчинский. Настоящий. Я это первый открыл вместе с Петром Ивановичем.Анна Андреевна. Ну, расскажите: что и как?Добчинский. Да, слава Богу, все благополучно. Сначала он принял было Антона Антоновича немного сурово, да-с; сердился и говорил, что и в гостинице все нехорошо, и к нему не поедет, и что он не хочет сидеть за него в тюрьме; но потом, как узнал невинность Антона Антоновича и как покороче разговорился с ним, тотчас переменил мысли, и, слава Богу, все пошло хорошо. Они теперь поехали осматривать богоугодные заведения... А то, признаюсь, уже Антон Антонович думали, не было ли тайного доноса; я сам тоже перетрухнул немножко.Анна Андреевна. Да вам-то чего бояться? ведь вы не служите.Добчинский. Да так, знаете, когда вельможа говорит, чувствуешь страх.Анна Андреевна. Ну, что ж... это все, однако ж, вздор. Расскажите, каков он собою? что, стар или молод?Добчинский. Молодой, молодой человек; лет двадцати трех; а говорит совсем так, как старик: «Извольте, говорит, я поеду и туда, и туда...» *(размахивает руками)* так это все славно. «Я, говорит, и написать и почитать люблю, но мешает, что в комнате, говорит, немножко темно».Анна Андреевна. А собой каков он: брюнет или блондин?Добчинский. Нет, больше шантрет, и глаза такие быстрые, как зверки, так в смущенье даже приводят.Анна Андреевна. Что тут пишет он мне в записке? *(Читает.)* «Спешу тебя уведомить, душенька, что состояние мое было весьма печальное, но, уповая на милосердие Божие, за два соленые огурца особенно и полпорции икры рубль двадцать пять копеек...» *(Останавливается.)* Я ничего не понимаю: к чему же тут соленые огурцы и икра?Добчинский. А, это Антон Антонович писали на черновой бумаге по скорости: там какой-то счет был написан.Анна Андреевна. А, да, точно. *(Продолжает читать.)* «Но, уповая на милосердие Божие, кажется, все будет к хорошему концу. Приготовь поскорее комнату для важного гостя, ту, что выклеена желтыми бумажками; к обеду прибавлять не трудись, потому что закусим в богоугодном заведении у Артемия Филипповича, а вина вели побольше; скажи купцу Абдулину, чтобы прислал самого лучшего, а не то я перерою весь его погреб. Целуя, душенька, твою ручку, остаюсь твой: Антон Сквозник-Дмухановский...» Ах, Боже мой! Это, однако ж, нужно поскорей! Эй, кто там? Мишка!Добчинский *(бежит и кричит в дверь)*, Мишка! Мишка! Мишка!

Мишка входит.

Анна Андреевна. Послушай: беги к купцу Абдулину, постой, я дам тебе записочку *(садится к столу, пишет записку и между тем говорит):* эту записку ты отдай кучеру Сидору, чтоб он побежал с нею к купцу Абдулину и принес оттуда вина. А сам поди сейчас прибери хорошенько эту комнату для гостя. Там поставить кровать, рукомойник и прочее.Добчинский. Ну, Анна Андреевна, я побегу теперь поскорее посмотреть, как там он обозревает.Анна Андреевна. Ступайте, ступайте! я не держу вас.

**Явление III**

Анна Андреевна и Марья Антоновна.

Анна Андреевна. Ну, Машенька, нам нужно теперь заняться туалетом. Он столичная штучка: Боже сохрани, чтобы чего-нибудь не осмеял. Тебе приличнее всего надеть твое голубое платье с мелкими оборками.Марья Антоновна. Фи, маменька, голубое! Мне совсем не нравится: и Ляпкина-Тяпкина ходит в голубом, и дочь Земляники тоже в голубом. Нет, лучше я надену цветное.Анна Андреевна. Цветное!.. Право, говоришь — лишь бы только наперекор. Оно тебе будет гораздо лучше, потому что я хочу надеть палевое; я очень люблю палевое.Марья Антоновна. Ах, маменька, вам нейдет палевое!Анна Андреевна. Мне палевое нейдет?Марья Антоновна. Нейдет, я что угодно даю, нейдет: для этого нужно, чтобы глаза были совсем темные.Анна Андреевна. Вот хорошо! а у меня глаза разве не темные? самые темные. Какой вздор говорит! Как же не темные, когда я и гадаю про себя всегда на трефовую даму?Марья Антоновна. Ах, маменька! вы больше червонная дама.Анна Андреевна. Пустяки, совершенные пустяки! Я никогда не была червонная дама. *(Поспешно уходит вместе с Марьей Антоновной и говорит за сценою.)* Этакое вдруг вообразится! червонная дама! Бог знает что такое!

По уходе их отворяются двери, и Мишка выбрасывает из них сор. Из других дверей выходит Осип с чемоданом на голове.

**Явление IV**

Мишка и Осип.

Осип. Куда тут? Мишка. Сюда, дядюшка, сюда!Осип. Постой, прежде дай отдохнуть. Ах ты, горемычное житье! На пустое брюхо всякая ноша кажется тяжела. Мишка. Что, дядюшка, скажите: скоро будет генерал? Осип. Какой генерал? Мишка. Да барин ваш.Осип. Барин? Да какой он генерал?Мишка. А разве не генерал?Осип. Генерал, да только с другой стороны.Мишка. Что ж, это больше или меньше настоящего генерала?Осип. Больше.Мишка. Вишь ты как! то-то у нас сумятицу подняли.Осип. Послушай, малый: ты, я вижу, проворный парень; приготовь-ка там что-нибудь поесть.Мишка. Да для вас, дядюшка, еще ничего не готово. Простова блюда вы не будете кушать, а вот как барин ваш сядет за стол, так и вам того же кушанья отпустят.Осип. Ну, а простова-то что у вас есть?Мишка. Щи, каша да пироги.Осип. Давай их, щи, кашу и пироги! Ничего, всё будем есть. Ну, понесем чемодан! Что, там другой выход есть?Мишка. Есть.

Оба несут чемодан в боковую комнату.

**Явление V**

Квартальные отворяют обе половинки дверей. Входит Хлестаков; за ним городничий, далее попечитель богоугодных заведений, смотритель училищ, Добчинский и Бобчинский с пластырем на носу. Городничий указывает квартальным на полу бумажку — они бегут и снимают ее, толкая друг друга впопыхах.

Хлестаков. Хорошие заведения. Мне нравится, что у вас показывают проезжающим все в городе. В других городах мне ничего не показывали.Городничий. В других городах, осмелюсь доложить вам, градоправители и чиновники больше заботятся о своей, то есть, пользе. А здесь, можно сказать, нет другого помышления, кроме того, чтобы благочинием и бдительностью заслужить внимание начальства.Хлестаков. Завтрак был очень хорош; я совсем объелся. Что, у вас каждый день бывает такой?Городничий. Нарочно для такого приятного гостя.Хлестаков. Я люблю поесть. Ведь на то живешь, чтобы срывать цветы удовольствия. Как называлась эта рыба?Артемий Филиппович *(подбегая)*. Лабардан-с.Хлестаков. Очень вкусная. Где это мы завтракали? в больнице, что ли?Артемий Филиппович. Так точно-с, в богоугодном заведении.Хлестаков. Помню, помню, там стояли кровати. А больные выздоровели? там их, кажется, немного.Артемий Филиппович. Человек десять осталось, не больше; а прочие все выздоровели. Это уж так устроено, такой порядок. С тех пор как я принял начальство, — может быть, вам покажется даже невероятным, — все как мухи выздоравливают. Больной не успеет войти в лазарет, как уже здоров; и не столько медикаментами, сколько честностью и порядком.Городничий. Уж на что, осмелюсь доложить вам, головоломна обязанность градоначальника! Столько лежит всяких дел, относительно одной чистоты, починки, поправки... словом, наиумнейший человек пришел бы в затруднение, но, благодарение Богу, все идет благополучно. Иной городничий, конечно, радел бы о своих выгодах; но, верите ли, что, даже когда ложишься спать, все думаешь: «Господи Боже Ты мой, как бы так устроить, чтобы начальство увидело мою ревность и было довольно?..» Наградит ли оно, или нет — конечно, в его воле; по крайней мере, я буду спокоен в сердце. Когда в городе во всем порядок, улицы выметены, арестанты хорошо содержатся, пьяниц мало... то чего ж мне больше? Ей-ей, и почестей никаких не хочу. Оно, конечно, заманчиво, но пред добродетелью всё прах и суета.Артемий Филиппович *(в сторону)*. Эка, бездельник, как расписывает! Дал же Бог такой дар!Хлестаков. Это правда. Я, признаюсь, сам люблю иногда заумствоваться: иной раз прозой, а в другой и стишки выкинутся.Бобчинский *(Добчинскому)*. Справедливо, все справедливо, Петр Иванович! Замечания такие... видно, что наукам учился.Хлестаков. Скажите, пожалуйста, нет ли у вас каких-нибудь развлечений, обществ, где бы можно было, например, поиграть в карты?Городничий *(в сторону)*. Эге, знаем, голубчик, в чей огород камешки бросают! *(Вслух.)* Боже сохрани! здесь и слуху нет о таких обществах. Я карт и в руки никогда не брал; даже не знаю, как играть в эти карты. Смотреть никогда не мог на них равнодушно; и если случится увидеть этак какого-нибудь бубнового короля или что-нибудь другое, то такое омерзение нападет, что просто плюнешь. Раз как-то случилось, забавляя детей, выстроил будку из карт, да после того всю ночь снились проклятые. Бог с ними! Как можно, чтобы такое драгоценное время убивать на них?Лука Лукич *(в сторону)*. А у меня, подлец, выпонтировал вчера сто рублей.Городничий. Лучше ж я употреблю это время на пользу государственную.Хлестаков. Ну, нет, вы напрасно, однако же... Все зависит от той стороны, с которой кто смотрит на вещь. Если, например, забастуешь тогда, как нужно гнуть от трех углов... ну, тогда конечно... Нет, не говорите, иногда очень заманчиво поиграть.

**Явление VI**

Те же, Анна Андреевна и Марья Антоновна.

Городничий. Осмелюсь представить семейство мое: жена и дочь.Хлестаков *(раскланиваясь)*. Как я счастлив, сударыня, что имею в своем роде удовольствие вас видеть.Анна Андреевна. Нам еще более приятно видеть такую особу.Хлестаков *(рисуясь)*. Помилуйте, сударыня, совершенно напротив: мне еще приятнее.Анна Андреевна. Как можно-с! Вы это так изволите говорить, для комплимента. Прошу покорно садиться.Хлестаков. Возле вас стоять уже есть счастие; впрочем, если вы так уже непременно хотите, я сяду. Как я счастлив, что наконец сижу возле вас.Анна Андреевна. Помилуйте, я никак не смею принять на свой счет... Я думаю, вам после столицы вояжировка показалась очень неприятною.Хлестаков. Чрезвычайно неприятна. Привыкши жить comprenez vous, в свете, и вдруг очутиться в дороге: грязные трактиры, мрак невежества... Если б, признаюсь, не такой случай, который меня... *(посматривает на Анну Андреевну и рисуется перед ней)* так вознаградил за всё...Анна Андреевна. В самом деле, как вам должно быть неприятно.Хлестаков. Впрочем, сударыня, в эту минуту мне очень приятно.Анна Андреевна. Как можно-с! Вы делаете много чести. Я этого не заслуживаю.Хлестаков. Отчего же не заслуживаете? Вы, сударыня, заслуживаете.Анна Андреевна. Я живу в деревне... Хлестаков. Да деревня, впрочем, тоже имеет свои пригорки, ручейки... Ну, конечно, кто же сравнит с Петербургом! Эх, Петербург! что за жизнь, право! Вы, может быть, думаете, что я только переписываю; нет, начальник отделения со мной на дружеской ноге. Этак ударит по плечу: «Приходи, братец, обедать!» Я только на две минуты захожу в департамент, с тем только, чтобы сказать: «Это вот так, это вот так!» А там уж чиновник для письма, этакая крыса, пером только — тр, тр... пошел писать. Хотели было даже меня коллежским асессором сделать, да, думаю, зачем. И сторож летит еще на лестнице за мною со щеткою: «Позвольте, Иван Александрович, я вам, говорит, сапоги почищу». *(Городничему.)* Что вы, господа, стоите? Пожалуйста, садитесь!

Вместе.

{

Городничий. Чин такой, что еще можно постоять.Артемий Филиппович. Мы постоим.Лука Лукич. Не извольте беспокоиться!Хлестаков. Без чинов, прошу садиться.

Городничий и все садятся.

Я не люблю церемонии. Напротив, я даже стараюсь всегда проскользнуть незаметно. Но никак нельзя скрыться, никак нельзя! Только выйду куда-нибудь, уж и говорят: «Вон, говорят, Иван Александрович идет!» А один раз меня приняли даже за главнокомандующего: солдаты выскочили из гауптвахты и сделали ружьем. После уже офицер, который мне очень знаком, говорит мне: «Ну, братец, мы тебя совершенно приняли за главнокомандующего».Анна Андреевна. Скажите как!Хлестаков. С хорошенькими актрисами знаком. Я ведь тоже разные водевильчики... Литераторов часто вижу. С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему: «Ну что, брат Пушкин?» — «Да так, брат, — отвечает, бывало, — так как-то всё...» Большой оригинал.Анна Андреевна. Так вы и пишете? Как это должно быть приятно сочинителю! Вы, верно, и в журналы помещаете?Хлестаков. Да, и в журналы помещаю. Моих, впрочем, много есть сочинений: «Женитьба Фигаро», «Роберт-Дьявол», «Норма». Уж и названий даже не помню. И всё случаем: я не хотел писать, но театральная дирекция говорит: «Пожалуйста, братец, напиши что-нибудь». Думаю себе: «Пожалуй, изволь, братец!» И тут же в один вечер, кажется, всё написал, всех изумил. У меня легкость необыкновенная в мыслях. Все это, что было под именем барона Брамбеуса, «Фрегат «Надежды» и «Московский телеграф»... все это я написал.Анна Андреевна. Скажите, так это вы были Брамбеус?Хлестаков. Как же, я им всем поправляю статьи. Мне Смирдин дает за это сорок тысяч.Анна Андреевна. Так, верно, и «Юрий Милославский» ваше сочинение?Хлестаков. Да, это мое сочинение.Анна Андреевна. Я сейчас догадалась.Марья Антоновна. Ах, маменька, там написано, что это господина Загоскина сочинение.Анна Андреевна. Ну вот: я и знала, что даже здесь будешь спорить.Хлестаков. Ах да, это правда: это точно Загоскина; а есть другой «Юрий Милославский», так тот уж мой.Анна Андреевна. Ну, это, верно, я ваш читала. Как хорошо написано!Хлестаков. Я, признаюсь, литературой существую. У меня дом первый в Петербурге. Так уж и известен: дом Ивана Александровича. *(Обращаясь ко всем.)* Сделайте милость, господа, если будете в Петербурге, прошу, прошу ко мне. Я ведь тоже балы даю.Анна Андреевна. Я думаю, с каким там вкусом и великолепием даются балы!Хлестаков. Просто не говорите. На столе, например, арбуз — в семьсот рублей арбуз. Суп в кастрюльке прямо на пароходе приехал из Парижа; откроют крышку — пар, которому подобного нельзя отыскать в природе. Я всякий день на балах. Там у нас и вист свой составился: министр иностранных дел, французский посланник, английский, немецкий посланник и я. И уж так уморишься играя, что просто ни на что не похоже. Как взбежишь по лестнице к себе на четвертый этаж — скажешь только кухарке: «На, Маврушка, шинель...» Что ж я вру — я и позабыл, что живу в бельэтаже. У меня одна лестница стоит... А любопытно взглянуть ко мне в переднюю, когда я еще не проснулся: графы и князья толкутся и жужжат там, как шмели, только и слышно: ж... ж... ж... Иной раз и министр...

Городничий и прочие с робостью встают с своих стульев.

Мне даже на пакетах пишут: «ваше превосходительство». Один раз я даже управлял департаментом. И странно: директор уехал, — куда уехал, неизвестно. Ну, натурально, пошли толки: как, что, кому занять место? Многие из генералов находились охотники и брались, но подойдут, бывало, — нет, мудрено. Кажется и легко на вид, а рассмотришь — просто черт возьми! После видят, нечего делать, — ко мне. И в ту же минуту по улицам курьеры, курьеры, курьеры... можете представить себе, тридцать пять тысяч одних курьеров! Каково положение? — я спрашиваю. «Иван Александрович, ступайте департаментом управлять!» Я, признаюсь, немного смутился, вышел в халате: хотел отказаться, но думаю: дойдет до государя, ну да и послужной список тоже... «Извольте, господа, я принимаю должность, я принимаю, говорю, так и быть, говорю, я принимаю, только уж у меня: ни, ни, ни!.. Уж у меня ухо востро! уж я...» И точно: бывало, как прохожу через департамент, — просто землетрясенье, все дрожит и трясется, как лист.

Городничий и прочие трясутся от страха. Хлестаков горячится сильнее.

О! я шутить не люблю. Я им всем задал острастку. Меня сам Государственный совет боится. Да что в самом деле? Я такой! я не посмотрю ни на кого... я говорю всем: «Я сам себя знаю, сам». Я везде, везде. Во дворец всякий день езжу. Меня завтра же произведут сейчас в фельдмарш... *(Поскальзывается и чуть-чуть не шлепается на пол, но с почтением поддерживается чиновниками.)*Городничий *(подходя и трясясь всем телом, силится выговорить)*. А ва-ва-ва... ва...Хлестаков *(быстрым, отрывистым голосом)*. Что такое?Городничий. А ва-ва-ва... ва...Хлестаков *(таким же голосом)*. Не разберу ничего, всё вздор.Городничий. Ва-ва-ва... шество, превосходительство, не прикажете ли отдохнуть?.. вот и комната, и все, что нужно.Хлестаков. Вздор — отдохнуть. Извольте, я готов отдохнуть. Завтрак у вас, господа, хорош... Я доволен, я доволен. *(С декламацией.)* Лабардан! лабардан! *(Входит в боковую комнату, за ним городничий.)*

**Явление VII**

Те же, кроме Хлестакова и городничего.

Бобчинский *(Добчинскому)*. Вот это, Петр Иванович, человек-то! Вот оно, что значит человек! В жисть не был в присутствии такой важной персоны, чуть не умер со страху. Как вы думаете, Петр Иванович, кто он такой в рассуждении чина?Добчинский. Я думаю, чуть ли не генерал.Бобчинский. А я так думаю, что генерал-то ему и в подметки не станет! а когда генерал, то уж разве сам генералиссимус. Слышали: Государственный-то совет как прижал? Пойдем расскажем поскорее Аммосу Федоровичу и Коробкину. Прощайте, Анна Андреевна!Добчинский. Прощайте, кумушка!

Оба уходят.

Артемий Филиппович *(Луке Лукичу)*. Страшно просто. А отчего, и сам не знаешь. А мы даже и не в мундирах. Ну что, как проспится да в Петербург махнет донесение? *(Уходит в задумчивости вместе с смотрителем училищ, произнеся:)* Прощайте, сударыня!

**Явление VIII**

Анна Андреевна и Марья Антоновна.

Анна Андреевна. Ах, какой приятный!Марья Антоновна. Ах, милашка!Анна Андреевна. Но только какое тонкое обращение! сейчас можно увидеть столичную штучку. Приемы и все это такое... Ах, как хорошо! Я страх люблю таких молодых людей! я просто без памяти. Я, однако ж, ему очень понравилась: я заметила — все на меня поглядывал.Марья Антоновна. Ах, маменька, он на меня глядел!Анна Андреевна. Пожалуйста, с своим вздором подальше! Это здесь вовсе неуместно.Марья Антоновна. Нет, маменька, право!Анна Андреевна. Ну вот! Боже сохрани, чтобы не поспорить! нельзя, да и полно! Где ему смотреть на тебя? И с какой стати ему смотреть на тебя?Марья Антоновна. Право, маменька, все смотрел. И как начал говорить о литературе, то взглянул на меня, и потом, когда рассказывал, как играл в вист с посланниками, и тогда посмотрел на меня.Анна Андреевна. Ну, может быть, один какой-нибудь раз, да и то так уж, лишь бы только. «А, — говорит себе, — дай уж посмотрю на нее!»

**Явление IX**

Те же и городничий.

Городничий *(входит на цыпочках)*. Чш... ш...Анна Андреевна. Что?Городничий. И не рад, что напоил. Ну что, если хоть одна половина из того, что он говорил, правда? *(Задумывается.)* Да как же и не быть правде? Подгулявши, человек все несет наружу: что на сердце, то и на языке. Конечно, прилгнул немного; да ведь не прилгнувши не говорится никакая речь. С министрами играет и во дворец ездит... Так вот, право, чем больше думаешь... черт его знает, не знаешь, что и делается в голове; просто как будто или стоишь на какой-нибудь колокольне, или тебя хотят повесить.Анна Андреевна. А я никакой совершенно не ощутила робости; я просто видела в нем образованного, светского, высшего тона человека, а о чинах его мне и нужды нет.Городничий. Ну, уж вы — женщины! Все кончено, одного этого слова достаточно! Вам всё — финтирлюшки! Вдруг брякнут ни из того ни из другого словцо. Вас посекут, да и только, а мужа и поминай как звали. Ты, душа моя, обращалась с ним так свободно, как будто с каким-нибудь Добчинским.Анна Андреевна. Об этом я уж советую вам не беспокоиться. Мы кой-что знаем такое... *(Посматривает на дочь.)*Городничий *(один)*. Ну, уж с вами говорить!.. Эка в самом деле оказия! До сих пор не могу очнуться от страха! *(Отворяет дверь и говорит в дверь.)* Мишка, позови квартальных Свистунова и Держиморду: они тут недалеко где-нибудь за воротами. *(После небольшого молчания.)* Чудно все завелось теперь на свете: хоть бы народ-то уж был видный, а то худенький, тоненький — как его узнаешь, кто он? Еще военный все-таки кажет из себя, а как наденет фрачишку — ну точно муха с подрезанными крыльями. А ведь долго крепился давича в трактире, заламливал такие аллегории и екивоки, что, кажись, век бы не добился толку. А вот наконец и подался. Да еще наговорил больше, чем нужно. Видно, что человек молодой.

**Явление X**

Те же и Осип. Все бегут к нему навстречу, кивая пальцами.

Анна Андреевна. Подойди сюда, любезный!Городничий. Чш!.. что? что? спит?Осип. Нет еще, немножко потягивается.Анна Андреевна. Послушай, как тебя зовут?Осип. Осип, сударыня.Городничий *(жене и дочери)*. Полно, полно вам! *(Осипу.)* Ну что, друг, тебя накормили хорошо?Осип. Накормили, покорнейше благодарю; хорошо накормили.Анна Андреевна. Ну что, скажи: к твоему барину слишком, я думаю, много ездит графов и князей?Осип *(в сторону)*. А что говорить? Коли теперь накормили хорошо, значит, после еще лучше накормят. *(Вслух.)* Да, бывают и графы.Марья Антоновна. Душенька Осип, какой твой барин хорошенький!Анна Андреевна. А что, скажи, пожалуйста, Осип, как он...Городничий. Да перестаньте, пожалуйста! Вы этакими пустыми речами только мне мешаете. Ну что, друг?..Анна Андреевна. А чин какой на твоем барине?Осип. Чин обыкновенно какой.Городничий. Ах, Боже мой, вы всё с своими глупыми расспросами! не дадите ни слова поговорить о деле. Ну что, друг, как твой барин?.. строг? любит этак распекать или нет?Осип. Да, порядок любит. Уж ему чтоб все было в исправности.Городничий. А мне очень нравится твое лицо. Друг, ты должен быть хороший человек. Ну что...Анна Андреевна. Послушай, Осип, а как барин твой там, в мундире ходит, или...Городничий. Полно вам, право, трещотки какие! Здесь нужная вещь: дело идет о жизни человека... *(К Осипу.)* Ну что, друг, право, мне ты очень нравишься. В дороге не мешает, знаешь, чайку выпить лишний стаканчик, — оно теперь холодновато. Так вот тебе пара целковиков на чай.Осип *(принимая деньги)*. А покорнейше благодарю, сударь. Дай Бог вам всякого здоровья! бедный человек, помогли ему.Городничий. Хорошо, хорошо, я и сам рад. А что, друг...Анна Андреевна. Послушай, Осип, а какие глаза больше всего нравятся твоему барину?Марья Антоновна. Осип, душенька! какой миленький носик у твоего барина!..Городничий. Да постойте, дайте мне!.. *(К Осипу.)* А что, друг, скажи, пожалуйста: на что больше барин твой обращает внимание, то есть что ему в дороге больше нравится?Осип. Любит он, по рассмотрению, что как придется. Больше всего любит, чтобы его приняли хорошо, угощение чтоб было хорошее.Городничий. Хорошее?Осип. Да, хорошее. Вот уж на что я, крепостной человек, но и то смотрит, чтобы и мне было хорошо. Ей-Богу! Бывало, заедем куда-нибудь: «Что, Осип, хорошо тебя угостили?» — «Плохо, ваше высокоблагородие!» — «Э, говорит, это, Осип, нехороший хозяин. Ты, говорит, напомни мне, как приеду». — «А, — думаю себе *(махнув рукою)*, — Бог с ним! я человек простой».Городничий. Хорошо, хорошо, и дело ты говоришь. Там я тебе дал на чай, так вот еще сверх того на баранки.Осип. За что жалуете, ваше высокоблагородие? *(Прячет деньги.)* Разве уж выпью за ваше здоровье.Анна Андреевна. Приходи, Осип, ко мне, тоже получишь.Марья Антоновна. Осип, душенька, поцелуй своего барина!

Слышен из другой комнаты небольшой кашель Хлестакова.

Городничий. Чш! *(Поднимается на цыпочки; вся сцена вполголоса.)* Боже вас сохрани шуметь! Идите себе! полно уж вам...Анна Андреевна. Пойдем, Машенька! я тебе скажу, что я заметила у гостя такое, что нам вдвоем только можно сказать.Городничий. О, уж там наговорят! Я думаю, поди только да послушай, — и уши потом заткнешь. *(Обращаясь к Осипу.)* Ну, друг...

**Явление XI**

Те же, Держиморда и Свистунов.

Городничий. Чш! экие косолапые медведи — стучат сапогами! Так и валится, как будто сорок пуд сбрасывает кто-нибудь с телеги! Где вас черт таскает?Держиморда. Был по приказанию...Городничий. Чш! *(Закрывает ему рот.)* Эк как каркнула ворона! *(Дразнит его.)* Был по приказанию! Как из бочки, так рычит. *(К Осипу.)* Ну, друг, ты ступай приготовляй там, что нужно для барина. Все, что ни есть в доме, требуй.

Осип уходит.

А вы — стоять на крыльце, и ни с места! И никого не впускать в дом стороннего, особенно купцов! Если хоть одного из них впустите, то... Только увидите, что идет кто-нибудь с просьбою, а хоть и не с просьбою, да похож на такого человека, что хочет подать на меня просьбу, взашей так прямо и толкайте! так его! хорошенько! *(Показывает ногою.)* Слышите? Чш... чш... *(Уходит на цыпочках вслед за квартальными.)*

**ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ**

*Та же комната в доме городничего.*

**Явление I**

Входят осторожно, почти на цыпочках: Аммос Федорович, Артемий Филиппович, почтмейстер, Лука Лукич, Добчинский и Бобчинский, в полном параде и мундирах.

Вся сцена происходит вполголоса.

Аммос Федорович *(строит всех полукружием)*. Ради Бога, господа, скорее в кружок, да побольше порядку! Бог с ним: и во дворец ездит, и Государственный совет распекает! Стройтесь на военную ногу, непременно на военную ногу! Вы, Петр Иванович, забегите с этой стороны, а вы, Петр Иванович, станьте вот тут.

Оба Петра Ивановича забегают на цыпочках.

Артемий Филиппович. Воля ваша, Аммос Федорович, нам нужно бы кое-что предпринять.Аммос Федорович. А что именно?Артемий Филиппович. Ну, известно что.Аммос Федорович. Подсунуть?Артемий Филиппович. Ну да, хоть и подсунуть.Аммос Федорович. Опасно, черт возьми! раскричится: государственный человек. А разве в виде приношенья со стороны дворянства на какой-нибудь памятник?Почтмейстер. Или же: «вот, мол, пришли по почте деньги, неизвестно кому принадлежащие».Артемий Филиппович. Смотрите, чтоб он вас по почте не отправил куды-нибудь подальше. Слушайте: эти дела не так делаются в благоустроенном государстве. Зачем нас здесь целый эскадрон? Представиться нужно поодиночке, да между четырех глаз и того... как там следует — чтобы и уши не слыхали. Вот как в обществе благоустроенном делается! Ну, вот вы, Аммос Федорович, первый и начните.Аммос Федорович. Так лучше ж вы: в вашем заведении высокий посетитель вкусил хлеба.Артемий Филиппович. Так уж лучше Луке Лукичу, как просветителю юношества.Лука Лукич. Не могу, не могу, господа. Я, признаюсь, так воспитан, что, заговори со мною одним чином кто-нибудь повыше, у меня просто и души нет, и язык как в грязь завязнул. Нет, господа, увольте, право, увольте!Артемий Филиппович. Да, Аммос Федорович, кроме вас, некому. У вас что ни слово, то Цицерон с языка слетел.Аммос Федорович. Что вы! что вы: Цицерон! Смотрите, что выдумали! Что иной раз увлечешься говоря о домашней своре или гончей ищейке...Все *(пристают к нему)*. Нет, вы не только о собаках, вы и о столпотворении... Нет, Аммос Федорович, не оставляйте нас, будьте отцом нашим!.. Нет, Аммос Федорович!Аммос Федорович. Отвяжитесь, господа!

В это время слышны шаги и откашливание в комнате Хлестакова. Все спешат наперерыв к дверям, толпятся и стараются выйти, что происходит не без того, чтобы не притиснули кое-кого.

Раздаются вполголоса восклицания:

Голос Бобчинского. Ой, Петр Иванович, Петр Иванович! наступили на ногу!Голос Земляники. Отпустите, господа, хоть душу на покаяние — совсем прижали!

Выхватываются несколько восклицаний: «Ай, ай!» — наконец все выпираются, и комната остается пуста.

**Явление II**

Хлестаков один, выходит с заспанными глазами.

Я, кажется, всхрапнул порядком. Откуда они набрали таких тюфяков и перин? даже вспотел. Кажется, они вчера мне подсунули чего-то за завтраком: в голове до сих пор стучит. Здесь, как я вижу, можно с приятностию проводить время. Я люблю радушие, и мне, признаюсь, больше нравится, если мне угождают от чистого сердца, а не точтобы из интереса. А дочка городничего очень недурна, да и матушка такая, что еще можно бы... Нет, я не знаю, а мне, право, нравится такая жизнь.

**Явление III**

Хлестаков и Аммос Федорович.

Аммос Федорович *(входя и останавливаясь, про себя)*. Боже, Боже! вынеси благополучно; так вот коленки и ломает. *(Вслух, вытянувшись и придерживая рукою шпагу.)*Имею честь представиться: судья здешнего уездного суда, коллежский асессор Ляпкин-Тяпкин.Хлестаков. Прошу садиться. Так вы здесь судья?Аммос Федорович. С восемьсот шестнадцатого был избран на трехлетие по воле дворянства и продолжал должность до сего времени.Хлестаков. А выгодно, однако же, быть судьею?Аммос Федорович. За три трехлетия представлен к Владимиру четвертой степени с одобрения со стороны начальства. *(В сторону.)* А деньги в кулаке, да кулак-то весь в огне.Хлестаков. А мне нравится Владимир. Вот Анна третьей степени уже не так.Аммос Федорович *(высовывая понемногу вперед сжатый кулак. В сторону)*. Господи Боже! не знаю, где сижу. Точно горячие угли под тобою.Хлестаков. Что это у вас в руке?Аммос Федорович *(потерявшись и роняя на пол ассигнации)*. Ничего-с.Хлестаков. Как ничего? Я вижу, деньги упали.Аммос Федорович *(дрожа всем телом)*. Никак нет-с. *(В сторону.)* О Боже, вот уж я и под судом! и тележку подвезли схватить меня!Хлестаков *(подымая)*. Да, это деньги.Аммос Федорович *(в сторону)*. Ну, все кончено — пропал! пропал!Хлестаков. Знаете ли что? дайте их мне взаймы.Аммос Федорович *(поспешно)*. Как же-с, как же-с... с большим удовольствием. *(В сторону.)* Ну, смелее, смелее! Вывози, Пресвятая Матерь!Хлестаков. Я, знаете, в дороге издержался: то да се... Впрочем, я вам из деревни сейчас их пришлю.Аммос Федорович. Помилуйте, как можно! и без того это такая честь... Конечно, слабыми моими силами, рвением и усердием к начальству... постараюсь заслужить... *(Приподымается со стула, вытянувшись и руки по швам.)* Не смею более беспокоить своим присутствием. Не будет ли какого приказанья?Хлестаков. Какого приказанья?Аммос Федорович. Я разумею, не дадите ли какого приказанья здешнему уездному суду?Хлестаков. Зачем же? Ведь мне никакой нет теперь в нем надобности.Аммос Федорович *(раскланиваясь и уходя, в сторону)*. Ну, город наш!Хлестаков *(по уходе его)*. Судья — хороший человек!

**Явление IV**

Хлестаков и почтмейстер, входит вытянувшись, в мундире, придерживая шпагу.

Почтмейстер. Имею честь представиться: почтмейстер, надворный советник Шпекин.Хлестаков. А, милости просим. Я очень люблю приятное общество. Садитесь. Ведь вы здесь всегда живете?Почтмейстер. Так точно-с.Хлестаков. А мне нравится здешний городок. Конечно, не так многолюдно — ну что ж? Ведь это не столица. Не правда ли, ведь это не столица?Почтмейстер. Совершенная правда.Хлестаков. Ведь это только в столице бонтон и нет провинциальных гусей. Как ваше мнение, не так ли?Почтмейстер. Так точно-с. *(В сторону.)* А он, однако ж, ничуть не горд; обо всем расспрашивает.Хлестаков. А ведь, однако ж, признайтесь, ведь и в маленьком городке можно прожить счастливо?Почтмейстер. Так точно-с.Хлестаков. По моему мнению, что нужно? Нужно только, чтобы тебя уважали, любили искренне, — не правда ли?Почтмейстер. Совершенно справедливо.Хлестаков. Я, признаюсь, рад, что вы одного мнения со мною. Меня, конечно, назовут странным, но уж у меня такой характер. *(Глядя в глаза ему, говорит про себя.)* А попрошу-ка я у этого почтмейстера взаймы! *(Вслух.)* Какой странный со мною случай: в дороге совершенно издержался. Не можете ли вы мне дать триста рублей взаймы?Почтмейстер. Почему же? почту за величайшее счастие. Вот-с, извольте. От души готов служить.Хлестаков. Очень благодарен. А я, признаюсь, смерть не люблю отказывать себе в дороге, да и к чему? Не так ли?Почтмейстер. Так точно-с. *(Встает, вытягивается и придерживает шпагу.)* Не смея долее беспокоить своим присутствием... Не будет ли какого замечания по части почтового управления?Хлестаков. Нет, ничего.

Почтмейстер раскланивается и уходит.

*(Раскуривая сигарку.)* Почтмейстер, мне кажется, тоже очень хороший человек. По крайней мере, услужлив. Я люблю таких людей.

**Явление V**

Хлестаков и Лука Лукич, который почти выталкивается из дверей. Сзади его слышен голос почти вслух: «Чего робеешь?»

Лука Лукич *(вытягиваясь не без трепета и придерживая шпагу)*. Имею честь представиться: смотритель училищ, титулярный советник Хлопов.Хлестаков. А, милости просим! Садитесь, садитесь. Не хотите ли сигарку? *(Подает ему сигару.)*Лука Лукич *(про себя, в нерешимости)*. Вот тебе раз! Уж этого никак не предполагал. Брать или не брать?Хлестаков. Возьмите, возьмите; это порядочная сигарка. Конечно, не то, что в Петербурге. Там, батюшка, я куривал сигарочки по двадцати пяти рублей сотенка, просто ручки потом себе поцелуешь, как выкуришь. Вот огонь, закурите. *(Подает ему свечу.)*

Лука Лукич пробует закурить и весь дрожит.

Да не с того конца!Лука Лукич *(от испуга выронил сигару, плюнул и, махнув рукою, про себя)*. Черт побери все! сгубила проклятая робость!Хлестаков. Вы, как я вижу, не охотник до сигарок. А я признаюсь: это моя слабость. Вот еще насчет женского полу, никак не могу быть равнодушен. Как вы? Какие вам больше нравятся — брюнетки или блондинки?

Лука Лукич находится в совершенном недоумении, что сказать.

Нет, скажите откровенно: брюнетки или блондинки?Лука Лукич. Не смею знать.Хлестаков. Нет, нет, не отговаривайтесь! Мне хочется узнать непременно ваш вкус.Лука Лукич. Осмелюсь доложить... *(В сторону.)* Ну, и сам не знаю, что говорю.Хлестаков. А! а! не хотите сказать. Верно, уж какая-нибудь брюнетка сделала вам маленькую загвоздочку. Признайтесь, сделала?

Лука Лукич молчит.

А! а! покраснели! Видите! видите! Отчего ж вы не говорите?Лука Лукич. Оробел, ваше бла... преос... сият... *(В сторону.)* Продал проклятый язык, продал!Хлестаков. Оробели? А в моих глазах точно есть что-то такое, что внушает робость. По крайней мере, я знаю, что ни одна женщина не может их выдержать, не так ли?Лука Лукич. Так точно-с.Хлестаков. Вот со мной престранный случай: в дороге совсем издержался. Не можете ли вы мне дать триста рублей взаймы?Лука Лукич *(хватаясь за карманы, про себя)*. Вот те штука, если нет! Есть, есть! *(Вынимает и подает, дрожа, ассигнации.)*Хлестаков. Покорнейше благодарю.Лука Лукич *(вытягиваясь и придерживая шпагу)*. Не смею долее беспокоить присутствием.Хлестаков. Прощайте.Лука Лукич *(летит вон почти бегом и говорит в сторону)*. Ну, слава Богу! авось не заглянет в классы!

**Явление VI**

Хлестаков и Артемий Филиппович, вытянувшись и придерживая шпагу.

Артемий Филиппович. Имею честь представиться: попечитель богоугодных заведений, надворный советник Земляника.Хлестаков. Здравствуйте, прошу покорно садиться.Артемий Филиппович. Имел честь сопровождать вас и принимать лично во вверенных моему смотрению богоугодных заведениях.Хлестаков. А, да! помню. Вы очень хорошо угостили завтраком.Артемий Филиппович. Рад стараться на службу отечеству.Хлестаков. Я — признаюсь, это моя слабость, — люблю хорошую кухню. Скажите, пожалуйста, мне кажется, как будто бы вчера вы были немножко ниже ростом, не правда ли?Артемий Филиппович. Очень может быть. *(Помолчав.)* Могу сказать, что не жалею ничего и ревностно исполняю службу. *(Придвигается ближе с своим стулом и говорит вполголоса.)* Вот здешний почтмейстер совершенно ничего не делает: все дела в большом запущении, посылки задерживаются... извольте сами нарочно разыскать. Судья тоже, который только что был пред моим приходом, ездит только за зайцами, в присутственных местах держит собак и поведения, если признаться пред вами, — конечно, для пользы отечества я должен это сделать, хотя он мне родня и приятель, — поведения самого предосудительного. Здесь есть один помещик, Добчинский, которого вы изволили видеть; и как только этот Добчинский куда-нибудь выйдет из дому, то он там уж и сидит у жены его, я присягнуть готов... И нарочно посмотрите на детей: ни одно из них не похоже на Добчинского, но все, даже девочка маленькая, как вылитый судья.Хлестаков. Скажите пожалуйста! а я никак этого не думал.Артемий Филиппович. Вот и смотритель здешнего училища... Я не знаю, как могло начальство поверить ему такую должность: он хуже, чем якобинец, и такие внушает юношеству неблагонамеренные правила, что даже выразить трудно. Не прикажете ли, я все это изложу лучше на бумаге?Хлестаков. Хорошо, хоть на бумаге. Мне очень будет приятно. Я, знаете, этак люблю в скучное время прочесть что-нибудь забавное... Как ваша фамилия? я все позабываю.Артемий Филиппович. Земляника.Хлестаков. А, да! Земляника. И что ж, скажите, пожалуйста, есть у вас детки?Артемий Филиппович. Как же-с, пятеро; двое уже взрослых.Хлестаков. Скажите, взрослых! А как они... как они того?..Артемий Филиппович. То есть, не изволите ли вы спрашивать, как их зовут?Хлестаков. Да, как их зовут?Артемий Филиппович. Николай, Иван, Елизавета, Марья и Перепетуя.Хлестаков. Это хорошо.Артемий Филиппович. Не смея беспокоить своим присутствием, отнимать времени, определенного на священные обязанности... *(Раскланивается с тем, чтобы уйти.)*Хлестаков *(провожая)*. Нет, ничего. Это все очень смешно, что вы говорили. Пожалуйста, и в другое тоже время... Я это очень люблю. *(Возвращается и, отворивши дверь, кричит вслед ему.)* Эй вы! как вас? я все позабываю, как ваше имя и отчество.Артемий Филиппович. Артемий Филиппович.Хлестаков. Сделайте милость, Артемий Филиппович, со мной странный случай: в дороге совершенно издержался. Нет ли у вас денег взаймы — рублей четыреста?Артемий Филиппович. Есть.Хлестаков. Скажите, как кстати. Покорнейше вас благодарю.

**Явление VII**

Хлестаков, Бобчинский и Добчинский.

Бобчинский. Имею честь представиться: житель здешнего города, Петр Иванович сын Бобчинский.Добчинский. Помещик Петр Иванов сын Добчинский.Хлестаков. А, да я уж вас видел. Вы, кажется, тогда упали? Что, как ваш нос?Бобчинский. Слава Богу! не извольте беспокоиться: присох, теперь совсем присох.Хлестаков. Хорошо, что присох. Я рад... *(Вдруг и отрывисто.)* Денег нет у вас?Бобчинский. Денег? как денег?Хлестаков *(громко и скоро)*. Взаймы рублей тысячу.Бобчинский. Такой суммы, ей-Богу, нет. А нет ли у вас, Петр Иванович?Добчинский. При мне-с не имеется, потому что деньги мои, если изволите знать, положены в приказ общественного призрения.Хлестаков. Да, ну если тысячи нет, так рублей сто.Бобчинский *(шаря в карманах)*. У вас, Петр Иванович, нет ста рублей? У меня всего сорок ассигнациями.Добчинский *(смотря в бумажник)*. Двадцать пять рублей всего.Бобчинский. Да вы поищите-то получше, Петр Иванович! У вас там, я знаю, в кармане-то с правой стороны прореха, так в прореху-то, верно, как-нибудь запали.Добчинский и. Нет, право, и в прорехе нет.Хлестаков. Ну, все равно. Я ведь только так. Хорошо, пусть будет шестьдесят пять рублей. Это все равно. *(Принимает деньги.)*Добчинский. Я осмеливаюсь попросить вас относительно одного очень тонкого обстоятельства.Хлестаков. А что это?Добчинский. Дело очень тонкого свойства-с: старший-то сын мой, изволите видеть, рожден мною еще до брака.Хлестаков. Да?Добчинский. То есть оно так только говорится, а он рожден мною так совершенно, как бы и в браке, и все это, как следует, я завершил потом законными-с узами супружества-с. Так я, изволите видеть, хочу, чтоб он теперь уже был совсем, то есть, законным моим сыном-с и назывался бы так, как я: Добчинский-с.Хлестаков. Хорошо, пусть называется! Это можно.Добчинский. Я бы и не беспокоил вас, да жаль насчет способностей. Мальчишка-то этакой... большие надежды подает: наизусть стихи разные расскажет и, если где попадет ножик, сейчас сделает маленькие дрожечки так искусно, как фокусник-с. Вот и Петр Иванович знает.Бобчинский. Да, большие способности имеет.Хлестаков. Хорошо, хорошо! Я об этом постараюсь, я буду говорить... я надеюсь... все это будет сделано, да, да... *(Обращаясь к Бобчинскому.)* Не имеете ли и вы чего-нибудь сказать мне?Бобчинский. Как же, имею очень нижайшую просьбу.Хлестаков. А что, о чем?Бобчинский. Я прошу вас покорнейше, как поедете в Петербург, скажите всем там вельможам разным: сенаторам и адмиралам, что вот, ваше сиятельство, или превосходительство, живет в таком-то городе Петр Иванович Бобчинский. Так и скажите: живет Петр Иванович Бобчинский.Хлестаков. Очень хорошо.Бобчинский. Да если этак и государю придется, то скажите и государю, что вот, мол, ваше императорское величество, в таком-то городе живет Петр Иванович Бобчинский.Хлестаков. Очень хорошо.Добчинский. Извините, что так утрудили вас своим присутствием.Бобчинский. Извините, что так утрудили вас своим присутствием.Хлестаков. Ничего, ничего! Мне очень приятно. *(Выпровожает их.)*

**Явление VIII**

Хлестаков один.

Здесь много чиновников. Мне кажется, однако ж, они меня принимают за государственного человека. Верно, я вчера им подпустил пыли. Экое дурачье! Напишу-ка я обо всем в Петербург к Тряпичкину: он пописывает статейки — пусть-ка он их общелкает хорошенько. Эй, Осип, подай мне бумагу и чернила!

Осип выглянул из дверей, произнесши: «Сейчас».

А уж Тряпичкину, точно, если кто попадет на зубок, — берегись: отца родного не пощадит для словца, и деньгу тоже любит. Впрочем, чиновники эти добрые люди; это с их стороны хорошая черта, что они мне дали взаймы. Пересмотрю нарочно, сколько у меня денег. Это от судьи триста; это от почтмейстера триста, шестьсот, семьсот, восемьсот... Какая замасленная бумажка! Восемьсот, девятьсот... Ого! за тысячу перевалило... Ну-ка, теперь, капитан, ну-ка, попадись-ка ты мне теперь! Посмотрим, кто кого!

**Явление IX**

Хлестаков и Осип с чернилами и бумагою.

Хлестаков. Ну что, видишь, дурак, как меня угощают и принимают? *(Начинает писать.)*Осип. Да, слава Богу! Только знаете что, Иван Александрович?Хлестаков *(пишет)*. А что?Осип. Уезжайте отсюда. Ей-Богу, уже пора.Хлестаков *(пишет)*. Вот вздор! Зачем?Осип. Да так. Бог с ними со всеми! Погуляли здесь два денька — ну и довольно. Что с ними долго связываться? Плюньте на них! не ровен час, какой-нибудь другой наедет... ей-Богу, Иван Александрович! А лошади тут славные — так бы закатили!..Хлестаков *(пишет)*. Нет, мне еще хочется пожить здесь. Пусть завтра.Осип. Да что завтра! Ей-Богу, поедем, Иван Александрович! Оно хоть и большая честь вам, да все, знаете, лучше уехать скорее: ведь вас, право, за кого-то другого приняли... И батюшка будет гневаться, что так замешкались. Так бы, право, закатили славно! А лошадей бы важных здесь дали.Хлестаков *(пишет)*. Ну, хорошо. Отнеси только наперед это письмо; пожалуй, вместе и подорожную возьми. Да зато, смотри, чтоб лошади хорошие были! Ямщикам скажи, что я буду давать по целковому; чтобы так, как фельдъегеря, катили и песни бы пели!.. *(Продолжает писать.)* Воображаю, Тряпичкин умрет со смеху...Осип. Я, сударь, отправлю его с человеком здешним, а сам лучше буду укладываться, чтоб не прошло понапрасну время.Хлестаков *(пишет)*. Хорошо. Принеси только свечу.Осип *(выходит и говорит за сценой)*. Эй, послушай, брат! Отнесешь письмо на почту, и скажи почтмейстеру, чтоб он принял без денег; да скажи, чтоб сейчас привели к барину самую лучшую тройку, курьерскую; а прогону, скажи, барин не плотит: прогон, мол, скажи, казенный. Да чтоб все живее, а не то, мол, барин сердится. Стой, еще письмо не готово.Хлестаков *(продолжает писать)*. Любопытно знать, где он теперь живет — в Почтамтской или Гороховой? Он ведь тоже любит часто переезжать с квартиры и недоплачивать. Напишу наудалую в Почтамтскую. *(Свертывает и надписывает.)*

Осип приносит свечу. Хлестаков печатает. В это время слышен голос Держиморды: «Куда лезешь, борода? Говорят тебе, никого не велено пускать».

*(Дает Осипу письмо.)* На, отнеси.Голоса купцов. Допустите, батюшка! Вы не можете не допустить: мы за делом пришли.Голос Держиморды. Пошел, пошел! Не принимает, спит.

Шум увеличивается.

Хлестаков. Что там такое, Осип? Посмотри, что за шум.Осип *(глядя в окно)*. Купцы какие-то хотят войти, да не допускает квартальный. Машут бумагами: верно, вас хотят видеть.Хлестаков *(подходя к окну)*. А что вы, любезные?Голоса купцов. К твоей милости прибегаем. Прикажи, государь, просьбу принять.Хлестаков. Впустите их, впустите! пусть идут. Осип, скажи им: пусть идут.

Осип уходит.

*(Принимает из окна просьбы, развертывает одну из них и читает:)* «Его высокоблагородному светлости господину финансову от купца Абдулина...» Черт знает что: и чина такого нет!

**Явление X**

Хлестаков и купцы с кузовом вина и сахарными головами.

Хлестаков. А что вы, любезные?Купцы. Челом бьем вашей милости!Хлестаков. А что вам угодно?Купцы. Не погуби, государь! Обижательство терпим совсем понапрасну.Хлестаков. От кого?Один из купцов. Да всё от городничего здешнего. Такого городничего никогда еще, государь, не было. Такие обиды чинит, что описать нельзя. Постоем совсем заморил, хоть в петлю полезай. Не по поступкам поступает. Схватит за бороду, говорит: «Ах ты, татарин!» Ей-Богу! Если бы, то есть, чем-нибудь не уважили его, а то мы уж порядок всегда исполняем: что следует на платья супружнице его и дочке — мы против этого не стоим. Нет, вишь ты, ему всего этого мало — ей-ей! Придет в лавку и, что ни попадет, все берет. Сукна увидит штуку, говорит: «Э, милый, это хорошее суконцо: снеси-ка его ко мне». Ну и несешь, а в штуке-то будет без мала аршин пятьдесят.Хлестаков. Неужели? Ах, какой же он мошенник!Купцы. Ей-Богу! такого никто не запомнит городничего. Так все и припрятываешь в лавке, когда его завидишь. То есть, не то уж говоря, чтоб какую деликатность, всякую дрянь берет: чернослив такой, что лет уже по семи лежит в бочке, что у меня сиделец не будет есть, а он целую горсть туда запустит. Именины его бывают на Антона, и уж, кажись, всего нанесешь, ни в чем не нуждается; нет, ему еще подавай: говорит, и на Онуфрия его именины. Что делать? и на Онуфрия несешь.Хлестаков. Да это просто разбойник!Купцы. Ей-ей! А попробуй прекословить, наведет к тебе в дом целый полк на постой. А если что, велит запереть двери. «Я тебя, говорит, не буду, говорит, подвергать телесному наказанию или пыткой пытать — это, говорит, запрещено законом, а вот ты у меня, любезный, поешь селедки!»Хлестаков. Ах, какой мошенник! Да за это просто в Сибирь.Купцы. Да уж куда милость твоя ни запровадит его, все будет хорошо, лишь бы, то есть, от нас подальше. Не побрезгай, отец наш, хлебом и солью: кланяемся тебе сахарцом и кузовком вина.Хлестаков. Нет, вы этого не думайте: я не беру совсем никаких взяток. Вот если бы вы, например, предложили мне взаймы рублей триста — ну, тогда совсем дело другое: взаймы я могу взять.Купцы. Изволь, отец наш! *(Вынимают деньги.)* Да что триста! Уж лучше пятьсот возьми, помоги только.Хлестаков. Извольте: взаймы — я ни слова, я возьму.Купцы *(подносят ему на серебряном подносе деньги)*. Уж, пожалуйста, и подносик вместе возьмите.Хлестаков. Ну, и подносик можно.Купцы *(кланяясь)*. Так уж возьмите за одним разом и сахарцу.Хлестаков. О нет, я взяток никаких...Осип. Ваше высокоблагородие! зачем вы не берете? Возьмите! в дороге все пригодится. Давай сюда головы и кулек! Подавай все! все пойдет впрок. Что там? веревочка? Давай и веревочку, — и веревочка в дороге пригодится: тележка обломается или что другое, подвязать можно.Купцы. Так уж сделайте такую милость, ваше сиятельство. Если уже вы, то есть, не поможете в нашей просьбе, то уж не знаем, как и быть: просто хоть в петлю полезай.Хлестаков. Непременно, непременно! Я постараюсь.

Купцы уходят. Слышен голос женщины: «Нет, ты не смеешь не допустить меня! Я на тебя нажалуюсь ему самому. Ты не толкайся так больно!»

Кто там? *(Подходит к окну.)* А, что ты, матушка?Голоса двух женщин. Милости твоей, отец, прошу! Повели, государь, выслушать!Хлестаков *(в окно)*. Пропустить ее.

**Явление XI**

Хлестаков, слесарша и унтер-офицерша.

Слесарша *(кланяясь в ноги)*. Милости прошу...Унтер-офицерша. Милости прошу...Хлестаков. Да что вы за женщины?Унтер-офицерша. Унтер-офицерская жена Иванова.Слесарша. Слесарша, здешняя мещанка, Февронья Петрова Пошлепкина, отец мой...Хлестаков. Стой, говори прежде одна. Что тебе нужно?Слесарша. Милости прошу: на городничего челом бью! Пошли ему Бог всякое зло! Чтоб ни детям его, ни ему, мошеннику, ни дядьям, ни теткам его ни в чем никакого прибытку не было!Хлестаков. А что?Слесарша. Да мужу-то моему приказал забрить лоб в солдаты, и очередь-то на нас не припадала, мошенник такой! да и по закону нельзя: он женатый.Хлестаков. Как же он мог это сделать?Слесарша. Сделал, мошенник, сделал — побей Бог его и на том и на этом свете! Чтобы ему, если и тетка есть, то и тетке всякая пакость, и отец если жив у него, то чтоб и он, каналья, околел или поперхнулся навеки, мошенник такой! Следовало взять сына портного, он же и пьянюшка был, да родители богатый подарок дали, так он и присыкнулся к сыну купчихи Пантелеевой, а Пантелеева тоже подослала к супруге полотна три штуки; так он ко мне. «На что, говорит, тебе муж? он уж тебе не годится». Да я-то знаю — годится или не годится; это мое дело, мошенник такой! «Он, говорит, вор; хоть он теперь и не украл, да все равно, говорит, он украдет, его и без того на следующий год возьмут в рекруты». Да мне-то каково без мужа, мошенник такой! Я слабый человек, подлец ты такой! Чтоб всей родне твоей не довелось видеть света Божьего! А если есть теща, то чтоб и теще...Хлестаков. Хорошо, хорошо. Ну, а ты? *(Выпровожает старуху.)*Слесарша *(уходя)*. Не позабудь, отец наш! будь милостив!Унтер-офицерша. На городничего, батюшка, пришла...Хлестаков. Ну, да что, зачем? говори в коротких словах.Унтер-офицерша. Высек, батюшка!Хлестаков. Как?Унтер-офицерша. По ошибке, отец мой! Бабы-то наши задрались на рынке, а полиция не подоспела, да и схватил меня. Да так отрапортовали: два дни сидеть не могла.Хлестаков. Так что ж теперь делать?Унтер-офицерша. Да делать-то, конечно, нечего. А за ошибку-то повели ему заплатить штрафт. Мне от своего счастья неча отказываться, а деньги бы мне теперь очень пригодились.Хлестаков. Хорошо, хорошо. Ступайте, ступайте! я распоряжусь.

В окно высовываются руки с просьбами.

Да кто там еще? *(Подходит к окну.)* Не хочу, не хочу! Не нужно, не нужно! *(Отходя.)*Надоели, черт возьми! Не впускай, Осип!Осип *(кричит в окно)*. Пошли, пошли! Не время, завтра приходите!

Дверь отворяется, и выставляется какая-то фигура во фризовой шинели, с небритою бородою, раздутою губою и перевязанною щекою; за нею в перспективе показывается несколько других.

Пошел, пошел! чего лезешь? *(Упирается первому руками в брюхо и выпирается вместе с ним в прихожую, захлопнув за собою дверь.)*

**Явление XII**

Хлестаков и Марья Антоновна.

Марья Антоновна. Ах!Хлестаков. Отчего вы так испугались, сударыня?Марья Антоновна. Нет, я не испугалась.Хлестаков *(рисуется)*. Помилуйте, сударыня, мне очень приятно, что вы меня приняли за такого человека, который... Осмелюсь ли спросить вас: куда вы намерены были идти?Марья Антоновна. Право, я никуда не шла.Хлестаков. Отчего же, например, вы никуда не шли?Марья Антоновна. Я думала, не здесь ли маменька...Хлестаков. Нет, мне хотелось бы знать, отчего вы никуда не шли?Марья Антоновна. Я вам помешала. Вы занимались важными делами.Хлестаков *(рисуется)*. А ваши глаза лучше, нежели важные дела... Вы никак не можете мне помешать, никаким образом не можете; напротив того, вы можете принесть удовольствие.Марья Антоновна. Вы говорите по-столичному.Хлестаков. Для такой прекрасной особы, как вы. Осмелюсь ли быть так счастлив, чтобы предложить вам стул? Но нет, вам должно не стул, а трон.Марья Антоновна. Право, я не знаю... мне так нужно было идти. *(Села.)*Хлестаков. Какой у вас прекрасный платочек!Марья Антоновна. Вы насмешники, лишь бы только посмеяться над провинциальными.Хлестаков. Как бы я желал, сударыня, быть вашим платочком, чтобы обнимать вашу лилейную шейку.Марья Антоновна. Я совсем не понимаю, о чем вы говорите: какой-то платочек... Сегодня какая странная погода!Хлестаков. А ваши губки, сударыня, лучше, нежели всякая погода.Марья Антоновна. Вы всё эдакое говорите... Я бы вас попросила, чтобы вы мне написали лучше на память какие-нибудь стишки в альбом. Вы, верно, их знаете много.Хлестаков. Для вас, сударыня, все что хотите. Требуйте, какие стихи вам?Марья Антоновна. Какие-нибудь эдакие — хорошие, новые.Хлестаков. Да что стихи! я много их знаю.Марья Антоновна. Ну, скажите же, какие же вы мне напишете?Хлестаков. Да к чему же говорить? я и без того их знаю.Марья Антоновна. Я очень люблю их...Хлестаков. Да у меня много их всяких. Ну, пожалуй, я вам хоть это: «О ты, что в горести напрасно на Бога ропщешь, человек!..» Ну и другие... теперь не могу припомнить; впрочем, это все ничего. Я вам лучше вместо этого представлю мою любовь, которая от вашего взгляда... *(Придвигая стул.)*Марья Антоновна. Любовь! Я не понимаю любовь... я никогда и не знала, что за любовь... *(Отдвигает стул.)*Хлестаков *(придвигая стул)*. Отчего ж вы отдвигаете свой стул? Нам лучше будет сидеть близко друг к другу.Марья Антоновна *(отдвигаясъ)*. Для чего ж близко? все равно и далеко.Хлестаков *(придвигаясь)*. Отчего ж далеко? все равно и близко.Марья Антоновна *(отдвигается)*. Да к чему ж это?Хлестаков *(придвигаясь)*. Да ведь это вам кажется только, что близко; а вы вообразите себе, что далеко. Как бы я был счастлив, сударыня, если б мог прижать вас в свои объятия.Марья Антоновна *(смотрит в окно)*. Что это там как будто бы полетело? Сорока или какая другая птица?Хлестаков *(целует ее в плечо и смотрит в окно).* Это сорока.Марья Антоновна *(встает в негодовании)*. Нет, это уж слишком... Наглость такая!..Хлестаков *(удерживая ее)*. Простите, сударыня: я это сделал от любви, точно от любви.Марья Антоновна. Вы почитаете меня за такую провинциалку... *(Силится уйти.)*Хлестаков *(продолжая удерживать ее)*. Из любви, право, из любви. Я так только, пошутил, Марья Антоновна, не сердитесь! Я готов на коленках у вас просить прощения. *(Падает на колени.)* Простите же, простите! Вы видите, я на коленях.

**Явление XIII**

Те же и Анна Андреевна.

Анна Андреевна *(увидев Хлестакова на коленях)*. Ах, какой пассаж!Хлестаков *(вставая)*. А, черт возьми!Анна Андреевна *(дочери)*. Это что значит, сударыня? Это что за поступки такие?Марья Антоновна. Я, маменька...Анна Андреевна. Поди прочь отсюда! слышишь: прочь, прочь! И не смей показываться на глаза.

Марья Антоновна уходит в слезах.

Извините, я, признаюсь, приведена в такое изумление...Хлестаков *(в сторону)*. А она тоже очень аппетитна, очень недурна. *(Бросается на колени.)* Сударыня, вы видите, я сгораю от любви.Анна Андреевна. Как, вы на коленях? Ах, встаньте, встаньте! здесь пол совсем нечист.Хлестаков. Нет, на коленях, непременно на коленях! Я хочу знать, что такое мне суждено: жизнь или смерть.Анна Андреевна. Но позвольте, я еще не понимаю вполне значения слов. Если не ошибаюсь, вы делаете декларацию насчет моей дочери?Хлестаков. Нет, я влюблен в вас. Жизнь моя на волоске. Если вы не увенчаете постоянную любовь мою, то я недостоин земного существования. С пламенем в груди прошу руки вашей.Анна Андреевна. Но позвольте заметить: я в некотором роде... я замужем.Хлестаков. Это ничего! Для любви нет различия; и Карамзин сказал: «Законы осуждают». Мы удалимся под сень струй... Руки вашей, руки прошу!

**Явление XIV**

Те же и Марья Антоновна, вдруг вбегает.

Марья Антоновна. Маменька, папенька сказал, чтобы вы... *(Увидя Хлестакова на коленях, вскрикивает.)* Ах, какой пассаж!Анна Андреевна. Ну что ты? к чему? зачем? Что за ветреность такая! Вдруг вбежала, как угорелая кошка. Ну что ты нашла такого удивительного? Ну что тебе вздумалось? Право, как дитя какое-нибудь трехлетнее. Не похоже, не похоже, совершенно не похоже на то, чтобы ей было восемнадцать лет. Я не знаю, когда ты будешь благоразумнее, когда ты будешь вести себя, как прилично благовоспитанной девице; когда ты будешь знать, что такое хорошие правила и солидность в поступках.Марья Антоновна *(сквозь слезы)*. Я, право, маменька, не знала...Анна Андреевна. У тебя вечно какой-то сквозной ветер разгуливает в голове; ты берешь пример с дочерей Ляпкина-Тяпкина. Что тебе глядеть на них? не нужно тебе глядеть на них. Тебе есть примеры другие — перед тобою мать твоя. Вот каким примером ты должна следовать.Хлестаков *(схватывая за руку дочь)*. Анна Андреевна, не противьтесь нашему благополучию, благословите постоянную любовь!Анна Андреевна *(с изумлением)*. Так вы в нее?..Хлестаков. Решите: жизнь или смерть?Анна Андреевна. Ну вот видишь, дура, ну вот видишь: из-за тебя, этакой дряни, гость изволил стоять на коленях; а ты вдруг вбежала как сумасшедшая. Ну вот, право, стоит, чтобы я нарочно отказала: ты недостойна такого счастия.Марья Антоновна. Не буду, маменька. Право, вперед не буду.

**Явление XV**

Те же и городничий впопыхах.

Городничий. Ваше превосходительство! не погубите! не погубите!Хлестаков. Что с вами?Городничий. Там купцы жаловались вашему превосходительству. Честью уверяю, и наполовину нет того, что они говорят. Они сами обманывают и обмеривают народ. Унтер-офицерша налгала вам, будто бы я ее высек; она врет, ей-Богу врет. Она сама себя высекла.Хлестаков. Провались унтер-офицерша — мне не до нее!Городничий. Не верьте, не верьте! Это такие лгуны... им вот эдакой ребенок не поверит. Они уж и по всему городу известны за лгунов. А насчет мошенничества, осмелюсь доложить: это такие мошенники, каких свет не производил.Анна Андреевна. Знаешь ли ты, какой чести удостоивает нас Иван Александрович? Он просит руки нашей дочери.Городничий. Куда! куда!.. Рехнулась, матушка! Не извольте гневаться, ваше превосходительство: она немного с придурью, такова же была и мать ее.Хлестаков. Да, я точно прошу руки. Я влюблен.Городничий. Не могу верить, ваше превосходительство!Анна Андреевна. Да когда говорят тебе?Хлестаков. Я не шутя вам говорю... Я могу от любви свихнуть с ума.Городничий. Не смею верить, недостоин такой чести.Хлестаков. Да, если вы не согласитесь отдать руки Марьи Антоновны, то я черт знает что готов...Городничий. Не могу верить: изволите шутить, ваше превосходительство!Анна Андреевна. Ах, какой чурбан в самом деле! Ну, когда тебе толкуют?Городничий. Не могу верить.Хлестаков. Отдайте, отдайте! Я отчаянный человек, я решусь на все: когда застрелюсь, вас под суд отдадут.Городничий. Ах, Боже мой! Я, ей-ей, не виноват ни душою, ни телом. Не извольте гневаться! Извольте поступать так, как вашей милости угодно! У меня, право, в голове теперь... я и сам не знаю, что делается. Такой дурак теперь сделался, каким еще никогда не бывал.Анна Андреевна. Ну, благословляй!

Хлестаков подходит с Марьей Антоновной.

Городничий. Да благословит вас Бог, а я не виноват.

Хлестаков целуется с Марьей Антоновной. Городничий смотрит на них.

Что за черт! в самом деле! *(Протирает глаза.)* Целуются! Ах, батюшки, целуются! Точный жених! *(Вскрикивает, подпрыгивает от радости.)* Ай, Антон! Ай, Антон! Ай, городничий! Вона, как дело-то пошло!

**Явление XVI**

Те же и Осип.

Осип. Лошади готовы.Хлестаков. А, хорошо... я сейчас.Городничий. Как-с? Изволите ехать?Хлестаков. Да, еду.Городничий. А когда же, то есть... вы изволили сами намекнуть насчет, кажется, свадьбы?Хлестаков. А это... На одну минуту только... на один день к дяде — богатый старик; а завтра же и назад.Городничий. Не смеем никак удерживать, в надежде благополучного возвращения.Хлестаков. Как же, как же, я вдруг. Прощайте, любовь моя... нет, просто не могу выразить! Прощайте, душенька! *(Целует ее ручку.)*Городничий. Да не нужно ли вам в дорогу чего-нибудь? Вы изволили, кажется, нуждаться в деньгах?Хлестаков. О нет, к чему это? *(Немного подумав.)* А впрочем, пожалуй.Городничий. Сколько угодно вам?Хлестаков. Да вот тогда вы дали двести, то есть не двести, а четыреста, — я не хочу воспользоваться вашею ошибкою, — так, пожалуй, и теперь столько же, чтобы уже ровно было восемьсот.Городничий. Сейчас! *(Вынимает из бумажника.)* Еще, как нарочно, самыми новенькими бумажками.Хлестаков. А, да! *(Берет и рассматривает ассигнации.)* Это хорошо. Ведь это, говорят, новое счастье, когда новенькими бумажками.Городничий. Так точно-с.Хлестаков. Прощайте, Антон Антонович! Очень обязан за ваше гостеприимство. Я признаюсь от всего сердца: мне нигде не было такого хорошего приема. Прощайте, Анна Андреевна! Прощайте, моя душенька Марья Антоновна!

Выходят.

За сценой:

Голос Хлестакова. Прощайте, ангел души моей Марья Антоновна!Голос городничего. Как же это вы? прямо так на перекладной и едете?Голос Хлестакова. Да, я привык уж так. У меня голова болит от рессор.Голос ямщика. Тпр...Голос городничего. Так, по крайней мере, чем-нибудь застлать, хотя бы ковриком. Не прикажете ли, я велю подать коврик?Голос Хлестакова. Нет, зачем? это пустое; а впрочем, пожалуй, пусть дают коврик.Голос городничего. Эй, Авдотья! ступай в кладовую, вынь ковер самый лучший — что по голубому полю, персидский. Скорей!Голос ямщика. Тпр...Голос городничего. Когда же прикажете ожидать вас?Голос Хлестакова. Завтра или послезавтра.Голос Осипа. А, это ковер? давай его сюда, клади вот так! Теперь давай-ка с этой стороны сена.Голос ямщика. Тпр...Голос Осипа. Вот с этой стороны! сюда! еще! хорошо. Славно будет. *(Бьет рукою по ковру.)* Теперь садитесь, ваше благородие!Голос Хлестакова. Прощайте, Антон Антонович!Голос городничего. Прощайте, ваше превосходительство!Женские голоса. Прощайте, Иван Александрович!Голос Хлестакова. Прощайте, маменька!Голос ямщика. Эй вы, залетные!

Колокольчик звенит. Занавес опускается.

**ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ**

*Та же комната.*

**Явление I**

Городничий, Анна Андреевна и Марья Антоновна.

Городничий. Что, Анна Андреевна? а? Думала ли ты что-нибудь об этом? Экой богатый приз, канальство! Ну, признайся откровенно: тебе и во сне не виделось — просто из какой-нибудь городничихи и вдруг... фу ты, канальство!.. с каким дьяволом породнилась!Анна Андреевна. Совсем нет; я давно это знала. Это тебе в диковинку, потому что ты простой человек, никогда не видел порядочных людей.Городничий. Я сам, матушка, порядочный человек. Однако ж, право, как подумаешь, Анна Андреевна, какие мы с тобой теперь птицы сделались! а, Анна Андреевна? Высокого полета, черт побери! Постой же, теперь же я задам перцу всем этим охотникам подавать просьбы и доносы. Эй, кто там?

Входит квартальный.

А, это ты, Иван Карпович! Призови-ка сюда, брат, купцов. Вот я их, каналий! Так жаловаться на меня? Вишь ты, проклятый иудейский народ! Постойте ж, голубчики! Прежде я вас кормил до усов только, а теперь накормлю до бороды. Запиши всех, кто только ходил бить челом на меня, и вот этих больше всего писак, писак, которые закручивали им просьбы. Да объяви всем, чтоб знали: что вот, дискать, какую честь Бог послал городничему, — что выдает дочь свою не то чтобы за какого-нибудь простого человека, а за такого, что и на свете еще не было, что может все сделать, все, все все! Всем объяви, чтобы все знали. Кричи во весь народ, валяй в колокола, черт возьми! Уж когда торжество, так торжество!

Квартальный уходит.

Так вот как, Анна Андреевна, а? Как же мы теперь, где будем жить? здесь или в Питере?Анна Андреевна. Натурально, в Петербурге. Как можно здесь оставаться!Городничий. Ну, в Питере так в Питере; а оно хорошо бы и здесь. Что, ведь, я думаю, уже городничество тогда к черту, а, Анна Андреевна?Анна Андреевна. Натурально, что за городничество!Городничий. Ведь оно, как ты думаешь, Анна Андреевна, теперь можно большой чин зашибить, потому что он запанибрата со всеми министрами и во дворец ездит, так поэтому может такое производство сделать, что со временем и в генералы влезешь. Как ты думаешь, Анна Андреевна: можно влезть в генералы?Анна Андреевна. Еще бы! конечно, можно.Городничий. А, черт возьми, славно быть генералом! Кавалерию повесят тебе через плечо. А какую кавалерию лучше, Анна Андреевна: красную или голубую?Анна Андреевна. Уж конечно, голубую лучше.Городничий. Э? вишь, чего захотела! хорошо и красную. Ведь почему хочется быть генералом? — потому что, случится, поедешь куда-нибудь — фельдъегеря и адъютанты поскачут везде вперед: «Лошадей!» И там на станциях никому не дадут, всё дожидается: все эти титулярные, капитаны, городничие, а ты себе и в ус не дуешь. Обедаешь где-нибудь у губернатора, а там — стой, городничий! Хе, хе, хе! *(Заливается и помирает со смеху.)* Вот что, канальство, заманчиво!Анна Андреевна. Тебе все такое грубое нравится. Ты должен помнить, что жизнь нужно совсем переменить, что твои знакомые будут не то что какой-нибудь судья-собачник, с которым ты ездишь травить зайцев, или Земляника; напротив, знакомые твои будут с самым тонким обращением: графы и все светские... Только я, право, боюсь за тебя: ты иногда вымолвишь такое словцо, какого в хорошем обществе никогда не услышишь.Городничий. Что ж? ведь слово не вредит.Анна Андреевна. Да хорошо, когда ты был городничим. А там ведь жизнь совершенно другая.Городничий. Да, там, говорят, есть две рыбицы: ряпушка и корюшка, такие, что только слюнка потечет, как начнешь есть.Анна Андреевна. Ему всё бы только рыбки! Я не иначе хочу, чтоб наш дом был первый в столице и чтоб у меня в комнате такое было амбре, чтоб нельзя было войти и нужно бы только этак зажмурить глаза. *(Зажмуривает глаза и нюхает.)* Ах, как хорошо!

**Явление II**

Те же и купцы.

Городничий. А! Здорово, соколики!Купцы *(кланяясь)*. Здравия желаем, батюшка!Городничий. Что, голубчики, как поживаете? как товар идет ваш? Что, самоварники, аршинники, жаловаться? Архиплуты, протобестии, надувалы мирские! жаловаться? Что, много взяли? Вот, думают, так в тюрьму его и засадят!.. Знаете ли вы, семь чертей и одна ведьма вам в зубы, что...Анна Андреевна. Ах, Боже мой, какие ты, Антоша, слова отпускаешь!Городничий *(с неудовольствием)*. А, не до слов теперь! Знаете ли, что тот самый чиновник, которому вы жаловались, теперь женится на моей дочери? Что? А? что теперь скажете? Теперь я вас... у!.. обманываете народ... Сделаешь подряд с казною, на сто тысяч надуешь ее, поставивши гнилого сукна, да потом пожертвуешь двадцать аршин, да и давай тебе еще награду за это? Да если б знали, так бы тебе... И брюхо сует вперед: он купец; его не тронь. «Мы, говорит, и дворянам не уступим». Да дворянин... ах ты, рожа! — дворянин учится наукам: его хоть и секут в школе, да за дело, чтоб он знал полезное. А ты что? — начинаешь плутнями, тебя хозяин бьет за то, что не умеешь обманывать. Еще мальчишка, «Отче наша» не знаешь, а уж обмериваешь; а как разопрет тебе брюхо да набьешь себе карман, так и заважничал! Фу ты, какая невидаль! Оттого, что ты шестнадцать самоваров выдуешь в день, так оттого и важничаешь? Да я плевать на твою голову и на твою важность!Купцы *(кланяясь)*. Виноваты, Антон Антонович!Городничий. Жаловаться? А кто тебе помог сплутовать, когда ты строил мост и написал дерева на двадцать тысяч, тогда как его и на сто рублей не было? Я помог тебе, козлиная борода! Ты позабыл это? Я, показавши это на тебя, мог бы тебя также спровадить в Сибирь. Что скажешь? а?Один из купцов. Богу виноваты, Антон Антонович! Лукавый попутал. И закаемся вперед жаловаться. Уж какое хошь удовлетворение, не гневись только!Городничий. Не гневись! Вот ты теперь валяешься у ног моих. Отчего? — оттого, что мое взяло; а будь хоть немножко на твоей стороне, так ты бы меня, каналья, втоптал в самую грязь, еще бы и бревном сверху навалил.Купцы *(кланяются в ноги)*. Не погуби, Антон Антонович!Городничий. Не погуби! Теперь: не погуби! А прежде что? Я бы вас... *(Махнув рукой.)* Ну, да Бог простит! полно! Я не памятозлобен; только теперь смотри держи ухо востро! Я выдаю дочку не за какого-нибудь простого дворянина: чтоб поздравление было... понимаешь? не то чтоб отбояриться каким-нибудь балычком или головою сахару... Ну, ступай с Богом!

Купцы уходят.

**Явление III**

Те же, Аммос Федорович, Артемий Филиппович, потом Растаковский.

Аммос Федорович *(еще в дверях)*. Верить ли слухам, Антон Антонович? к вам привалило необыкновенное счастие?Артемий Филиппович. Имею честь поздравить с необыкновенным счастием. Я душевно обрадовался, когда услышал. *(Подходит к ручке Анны Андреевны.)* Анна Андреевна! *(Подходя к ручке Марьи Антоновны.)* Марья Антоновна!Растаковский *(входит)*. Антона Антоновича поздравляю. Да продлит Бог жизнь вашу и новой четы и даст вам потомство многочисленное, внучат и правнучат! Анна Андреевна! *(Подходит к ручке Анны Андреевны.)* Марья Антоновна! *(Подходит к ручке Марьи Антоновны.)*

**Явление IV**

Те же, Коробкин с женою, Люлюков.

Коробкин. Имею честь поздравить Антона Антоновича! Анна Андреевна! *(Подходит к ручке Анны Андреевны.)* Марья Антоновна! *(Подходит к ее ручке.)*Жена Коробкина. Душевно поздравляю вас, Анна Андреевна, с новым счастием.Люлюков. Имею честь поздравить, Анна Андреевна! *(Подходит к ручке и потом, обратившись к зрителям, щелкает языком с видом удальства.)* Марья Антоновна! Имею честь поздравить. *(Подходит к ее ручке и обращается к зрителям с тем же удальством.)*

**Явление V**

Множество гостей в сюртуках и фраках подходят сначала к ручке Анны Андреевны, говоря: «Анна Андреевна!» — потом к Марье Антоновне, говоря: «Марья Антоновна!»

Бобчинский и Добчинский проталкиваются.

Бобчинский. Имею честь поздравить! Добчинский. Антон Антонович! имею честь поздравить!Бобчинский. С благополучным происшествием! Добчинский. Анна Андреевна! Бобчинский. Анна Андреевна!

Оба подходят в одно время и сталкиваются лбами.

Добчинский. Марья Антоновна! *(Подходит к ручке.)* Честь имею поздравить. Вы будете в большом, большом счастии, в золотом платье ходить и деликатные разные супы кушать; очень забавно будете проводить время.Бобчинский *(перебивая)*. Марья Антоновна, имею честь поздравить! Дай Бог вам всякого богатства, червонцев и сынка-с этакого маленького, вон энтакого-с *(показывает рукою)*, чтоб можно было на ладонку посадить, да-с! Все будет мальчишка кричать: уа! уа! уа!..

**Явление VI**

Еще несколько гостей, подходящих к ручкам, Лука Лукич с женою.

Лука Лукич. Имею честь...Жена Луки Лукича *(бежит вперед)*. Поздравляю вас, Анна Андреевна!

Целуются.

А я так, право, обрадовалась. Говорят мне: «Анна Андреевна выдает дочку». «Ах, Боже мой!» — думаю себе, и так обрадовалась, что говорю мужу: «Послушай, Луканчик, вот какое счастие Анне Андреевне!» «Ну, — думаю себе, — слава Богу!» И говорю ему: «Я так восхищена, что сгораю нетерпением изъявить лично Анне Андреевне...» «Ах, Боже мой! — думаю себе, — Анна Андреевна именно ожидала хорошей партии для своей дочери, а вот теперь такая судьба: именно так сделалось, как она хотела», — и так, право, обрадовалась, что не могла говорить. Плачу, плачу, вот просто рыдаю. Уже Лука Лукич говорит: «Отчего ты, Настенька, рыдаешь?» — «Луканчик, говорю, я и сама не знаю, слезы так вот рекой и льются».Городничий. Покорнейше прошу садиться, господа! Эй, Мишка, принеси сюда побольше стульев.

Гости садятся.

**Явление VII**

Те же, частный пристав и квартальные.

Частный пристав. Имею честь поздравить вас, ваше высокоблагородие, и пожелать благоденствия на многие лета!Городничий. Спасибо, спасибо! Прошу садиться, господа!

Гости усаживаются.

Аммос Федорович. Но скажите, пожалуйста, Антон Антонович, каким образом все это началось, постепенный ход всего, то есть дела.Городничий. Ход дела чрезвычайный: изволил собственнолично сделать предложение.Анна Андреевна. Очень почтительным и самым тонким образом. Все чрезвычайно хорошо говорил. Говорит: «Я, Анна Андреевна, из одного только уважения к вашим достоинствам...» И такой прекрасный, воспитанный человек, самых благороднейших правил! «Мне, верите ли, Анна Андреевна, мне жизнь — копейка; я только потому, что уважаю ваши редкие качества».Марья Антоновна. Ах, маменька! ведь это он мне говорил.Анна Андреевна. Перестань, ты ничего не знаешь и не в свое дело не мешайся! «Я, Анна Андреевна, изумляюсь...» В таких лестных рассыпался словах... И когда я хотела сказать: «Мы никак не смеем надеяться на такую честь», — он вдруг упал на колени и таким самым благороднейшим образом: «Анна Андреевна, не сделайте меня несчастнейшим! согласитесь отвечать моим чувствам, не то я смертью окончу жизнь свою».Марья Антоновна. Право, маменька, он обо мне это говорил.Анна Андреевна. Да, конечно... и об тебе было, я ничего этого не отвергаю.Городничий. И так даже напугал: говорил, что застрелится. «Застрелюсь, застрелюсь!» — говорит.Многие из гостей. Скажите пожалуйста!Аммос Федорович. Экая штука!Лука Лукич. Вот подлинно, судьба уж так вела.Артемий Филиппович. Не судьба, батюшка, судьба — индейка: заслуги привели к тому. *(В сторону.)* Этакой свинье лезет всегда в рот счастье!Аммос Федорович. Я, пожалуй, Антон Антонович, продам вам того кобелька, которого торговали.Городничий. Нет, мне теперь не до кобельков.Аммос Федорович. Ну, не хотите, на другой собаке сойдемся.Жена Коробкина. Ах, как, Анна Андреевна, я рада вашему счастию! вы не можете себе представить.Коробкин. Где ж теперь, позвольте узнать, находится именитый гость? Я слышал, что он уехал зачем-то.Городничий. Да, он отправился на один день по весьма важному делу.Анна Андреевна. К своему дяде, чтоб испросить благословения.Городничий. Испросить благословения; но завтра же... *(Чихает.)*

Поздравления сливаются в один гул.

Много благодарен! Но завтра же и назад... *(Чихает.)*

Поздравительный гул; слышнее других голоса:

Частного пристава. Здравия желаем, ваше высокоблагородие!Бобчинского. Сто лет и куль червонцев!Добчинского. Продли Бог на сорок сороков!Артемия Филипповича. Чтоб ты пропал!Жены Коробкина. Черт тебя побери!Городничий. Покорнейше благодарю! И вам того ж желаю.Анна Андреевна. Мы теперь в Петербурге намерены жить. А здесь, признаюсь, такой воздух... деревенский уж слишком!.. признаюсь, большая неприятность... Вот и муж мой... он там получит генеральский чин.Городничий. Да, признаюсь, господа, я, черт возьми, очень хочу быть генералом.Лука Лукич. И дай Бог получить!Растаковский. От человека невозможно, а от Бога все возможно.Аммос Федорович. Большому кораблю — большое плаванье.Артемий Филиппович. По заслугам и честь.Аммос Федорович *(в сторону)*. Вот выкинет штуку, когда в самом деле сделается генералом! Вот уж кому пристало генеральство, как корове седло! Ну, брат, нет, до этого еще далека песня. Тут и почище тебя есть, а до сих пор еще не генералы.Артемий Филиппович *(в сторону)*. Эка, черт возьми, уж и в генералы лезет! Чего доброго, может, и будет генералом. Ведь у него важности, лукавый не взял бы его, довольно. *(Обращаясь к нему.)* Тогда, Антон Антонович, и нас не позабудьте.Аммос Федорович. И если что случится, например какая-нибудь надобность по делам, не оставьте покровительством!Коробкин. В следующем году повезу сынка в столицу на пользу государства, так сделайте милость, окажите ему вашу протекцию, место отца заступите сиротке.Городничий. Я готов с своей стороны, готов стараться.Анна Андреевна. Ты, Антоша, всегда готов обещать. Во-первых, тебе не будет времени думать об этом. И как можно и с какой стати себя обременять этакими обещаниями?Городничий. Почему ж, душа моя? иногда можно.Анна Андреевна. Можно, конечно, да ведь не всякой же мелюзге оказывать покровительство.Жена Коробкина. Вы слышали, как она трактует нас?Гостья. Да, она такова всегда была; я ее знаю: посади ее за стол, она и ноги свои...

**Явление VIII**

Те же и почтмейстер впопыхах, с распечатанным письмом в руке.

Почтмейстер. Удивительное дело, господа! Чиновник, которого мы приняли за ревизора, был не ревизор.Все. Как не ревизор?Почтмейстер. Совсем не ревизор, — я узнал это из письма...Городничий. Что вы? что вы? из какого письма?Почтмейстер. Да из собственного его письма. Приносят ко мне на почту письмо. Взглянул на адрес — вижу: «В Почтамтскую улицу». Я так и обомлел. «Ну, — думаю себе, — верно, нашел беспорядки по почтовой части и уведомляет начальство». Взял да и распечатал.Городничий. Как же вы?..Почтмейстер. Сам не знаю, неестественная сила побудила. Призвал было уже курьера, с тем чтобы отправить его с эштафетой, — но любопытство такое одолело, какого еще никогда не чувствовал. Не могу, не могу! слышу, что не могу! тянет, так вот и тянет! В одном ухе так вот и слышу: «Эй, не распечатывай! пропадешь, как курица»; а в другом словно бес какой шепчет: «Распечатай, распечатай, распечатай!» И как придавил сургуч — по жилам огонь, а распечатал — мороз, ей-Богу мороз. И руки дрожат, и все помутилось.Городничий. Да как же вы осмелились распечатать письмо такой уполномоченной особы?Почтмейстер. В том-то и штука, что он не уполномоченный и не особа!Городничий. Что ж он, по-вашему, такое?Почтмейстер. Ни се ни то; черт знает что такое!Городничий *(запальчиво)*. Как ни се ни то? Как вы смеете назвать его ни тем ни сем, да еще и черт знает чем? Я вас под арест...Почтмейстер. Кто? Вы?Городничий. Да, я!Почтмейстер. Коротки руки!Городничий. Знаете ли, что он женится на моей дочери, что я сам буду вельможа, что я в самую Сибирь законопачу?Почтмейстер. Эх, Антон Антонович! что Сибирь? далеко Сибирь. Вот лучше я вам прочту. Господа! позвольте прочитать письмо!Все. Читайте, читайте!Почтмейстер *(читает)*. «Спешу уведомить тебя, душа Тряпичкин, какие со мной чудеса. На дороге обчистил меня кругом пехотный капитан, так что трактирщик хотел уже было посадить в тюрьму; как вдруг, по моей петербургской физиономии и по костюму, весь город принял меня за генерал-губернатора. И я теперь живу у городничего, жуирую, волочусь напропалую за его женой и дочкой; не решился только, с которой начать, — думаю, прежде с матушки, потому что, кажется, готова сейчас на все услуги. Помнишь, как мы с тобой бедствовали, обедали нашерамыжку и как один раз было кондитер схватил меня за воротник по поводу съеденных пирожков на счет доходов аглицкого короля? Теперь совсем другой оборот. Все мне дают взаймы сколько угодно. Оригиналы страшные. От смеху ты бы умер. Ты, я знаю, пишешь статейки: помести их в свою литературу. Во-первых: городничий — глуп, как сивый мерин...»Городничий. Не может быть! Там нет этого.Почтмейстер *(показывает письмо)*. Читайте сами.Городничий *(читает)*. «Как сивый мерин». Не может быть! вы это сами написали.Почтмейстер. Как же бы я стал писать?Артемий Филиппович. Читайте!Лука Лукич. Читайте!Почтмейстер *(продолжая читать)*. «Городничий — глуп, как сивый мерин...»Городничий. О, черт возьми! нужно еще повторять! как будто оно там и без того не стоит.Почтмейстер *(продолжая читать)*. Хм... хм... хм... хм... «сивый мерин. Почтмейстер тоже добрый человек...» *(Оставляя читать.)* Ну, тут обо мне тоже он неприлично выразился.Городничий. Нет, читайте!Почтмейстер. Да к чему ж?..Городничий. Нет, черт возьми, когда уж читать, так читать! Читайте всё!Артемий Филиппович. Позвольте, я прочитаю. *(Надевает очки и читает.)*«Почтмейстер точь-в-точь департаментский сторож Михеев; должно быть, также, подлец, пьет горькую».Почтмейстер *(к зрителям)*. Ну, скверный мальчишка, которого надо высечь; больше ничего!Артемий Филиппович *(продолжая читать)*. «Надзиратель над богоугодным заведе...и...и...и...» *(Заикается.)*Коробкин. А что ж вы остановились?Артемий Филиппович. Да нечеткое перо... впрочем, видно, что негодяй.Коробкин. Дайте мне! Вот у меня, я думаю, получше глаза. *(Берет письмо.)*Артемий Филиппович *(не давая письма)*. Нет, это место можно пропустить, а там дальше разборчиво.Коробкин. Да позвольте, уж я знаю.Артемий Филиппович. Прочитать я и сам прочитаю; далее, право, все разборчиво.Почтмейстер. Нет, всё читайте! ведь прежде все читано.Все. Отдайте, Артемий Филиппович, отдайте письмо! *(Коробкину.)* Читайте!Артемий Филиппович. Сейчас. *(Отдает письмо.)* Вот, позвольте... *(Закрывает пальцем.)* Вот отсюда читайте.

Все приступают к нему.

Почтмейстер. Читайте, читайте! вздор, всё читайте!Коробкин *(читая)*. «Надзиратель за богоугодным заведением Земляника — совершенная свинья в ермолке».Артемий Филиппович *(к зрителям)*. И неостроумно! Свинья в ермолке! где ж свинья бывает в ермолке?Коробкин *(продолжая читать)*. «Смотритель училищ протухнул насквозь луком».Лука Лукич *(к зрителям)*. Ей-Богу, и в рот никогда не брал луку.Аммос Федорович *(в сторону)*. Славу Богу, хоть, по крайней мере, обо мне нет!Коробкин *(читает)*. «Судья...»Аммос Федорович. Вот тебе на! *(Вслух.)* Господа, я думаю, что письмо длинно. Да и черт ли в нем: дрянь этакую читать.Лука Лукич. Нет!Почтмейстер. Нет, читайте!Артемий Филиппович. Нет уж, читайте!Коробкин *(продолжает)*. «Судья Ляпкин-Тяпкин в сильнейшей степени моветон...» *(Останавливается.)* Должно быть, французское слово.Аммос Федорович. А черт его знает, что оно значит! Еще хорошо, если только мошенник, а может быть, и того еще хуже.Коробкин *(продолжая читать)*. «А впрочем, народ гостеприимный и добродушный. Прощай, душа Тряпичкин. Я сам, по примеру твоему, хочу заняться литературой. Скучно, брат, так жить; хочешь наконец пищи для души. Вижу: точно нужно чем-нибудь высоким заняться. Пиши ко мне в Саратовскую губернию, а оттуда в деревню Подкатиловку. *(Переворачивает письмо и читает адрес.)* Его благородию, милостивому государю, Ивану Васильевичу Тряпичкину, в Санкт-Петербурге, в Почтамтскую улицу, в доме под нумером девяносто седьмым, поворотя на двор, в третьем этаже направо».Одна из дам. Какой репримант неожиданный!Городничий. Вот когда зарезал, так зарезал! Убит, убит, совсем убит! Ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего... Воротить, воротить его! *(Машет рукою.)*Почтмейстер. Куды воротить! Я, как нарочно, приказал смотрителю дать самую лучшую тройку; черт угораздил дать и вперед предписание.Жена Коробкина. Вот уж точно, вот беспримерная конфузия!Аммос Федорович. Однако ж, черт возьми, господа! он у меня взял триста рублей взаймы.Артемий Филиппович. У меня тоже триста рублей.Почтмейстер *(вздыхает)*. Ох! и у меня триста рублей.Бобчинский. У нас с Петром Ивановичем шестьдесят пять-с на ассигнации-с, да-с.Аммос Федорович *(в недоумении расставляет руки).* Как же это, господа? Как это, в самом деле, мы так оплошали?Городничий *(бьет себя по лбу)*. Как я — нет, как я, старый дурак? Выжил, глупый баран, из ума!.. Тридцать лет живу на службе; ни один купец, ни подрядчик не мог провести; мошенников над мошенниками обманывал, пройдох и плутов таких, что весь свет готовы обворовать, поддевал на уду. Трех губернаторов обманул!.. Что губернатор! *(махнул рукой)*нечего и говорить про губернаторов...Анна Андреевна. Но это не может быть, Антоша: он обручился с Машенькой...Городничий *(в сердцах)*. Обручился! Кукиш с маслом — вот тебе обручился! Лезет мне в глаза с обрученьем!.. *(В исступлении.)* Вот смотрите, смотрите, весь мир, все христианство, все смотрите, как одурачен городничий! Дурака ему, дурака, старому подлецу! *(Грозит самому себе кулаком.)* Эх ты, толстоносый! Сосульку, тряпку принял за важного человека! Вон он теперь по всей дороге заливает колокольчиком! Разнесет по всему свету историю. Мало того что пойдешь в посмешище — найдется щелкопер, бумагомарака, в комедию тебя вставит. Вот что обидно! Чина, звания не пощадит, и будут все скалить зубы и бить в ладоши. Чему смеетесь? — Над собою смеетесь!.. Эх вы!.. *(Стучит со злости ногами об пол.)* Я бы всех этих бумагомарак! У, щелкоперы, либералы проклятые! чертово семя! Узлом бы вас всех завязал, в муку бы стер вас всех да черту в подкладку! в шапку туды ему!.. *(Сует кулаком и бьет каблуком в пол. После некоторого молчания.)* До сих пор не могу прийти в себя. Вот, подлинно, если Бог хочет наказать, так отнимет прежде разум. Ну что было в этом вертопрахе похожего на ревизора? Ничего не было! Вот просто ни на полмизинца не было похожего — и вдруг все: ревизор! ревизор! Ну кто первый выпустил, что он ревизор? Отвечайте!Артемий Филиппович *(расставляя руки)*. Уж как это случилось, хоть убей, не могу объяснить. Точно туман какой-то ошеломил, черт попутал.Аммос Федорович. Да кто выпустил — вот кто выпустил: эти молодцы! *(Показывает на Добчинского и Бобчинского.)*Бобчинский. Ей-ей, не я! и не думал...Добчинский. Я ничего, совсем ничего...Артемий Филиппович. Конечно, вы.Лука Лукич. Разумеется. Прибежали как сумасшедшие из трактира: «Приехал, приехал и денег не плотит...» Нашли важную птицу!Городничий. Натурально, вы! сплетники городские, лгуны проклятые!Артемий Филиппович. Чтоб вас черт побрал с вашим ревизором и рассказами!Городничий. Только рыскаете по городу да смущаете всех, трещотки проклятые! Сплетни сеете, сороки короткохвостые!Аммос Федорович. Пачкуны проклятые!Артемий Филиппович. Сморчки короткобрюхие!

Все обступают их.

Бобчинский. Ей-Богу, это не я, это Петр Иванович. Добчинский. Э, нет, Петр Иванович, вы ведь первые того...Бобчинский. А вот и нет; первые-то были вы.

**Явление последнее**

Те же и жандарм.

Жандарм. Приехавший по именному повелению из Петербурга чиновник требует вас сей же час к себе. Он остановился в гостинице.

Произнесенные слова поражают как громом всех. Звук изумления единодушно излетает из дамских уст; вся группа, вдруг переменивши положение, остается в окаменении.

**Немая сцена**

*Городничий посередине в виде столба, с распростертыми руками и закинутою назад головою. По правую сторону его жена и дочь с устремившимся к нему движеньем всего тела; за ними почтмейстер, превратившийся в вопросительный знак, обращенный к зрителям; за ним Лука Лукич, потерявшийся самым невинным образом; за ним, у самого края сцены, три дамы, гостьи, прислонившиеся одна к другой с самым сатирическим выраженьем лица, относящимся прямо к семейству городничего. По левую сторону городничего: Земляника, наклонивший голову несколько набок, как будто к чему-то прислушивающийся; за ним судья с растопыренными руками, присевший почти до земли и сделавший движенье губами, как бы хотел посвистать или произнесть: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» За ним Коробкин, обратившийся к зрителям с прищуренным глазом и едким намеком на городничего; за ним, у самого края сцены, Бобчинский и Добчинский с устремившимися движеньями рук друг к другу, разинутыми ртами и выпученными друг на друга глазами. Прочие гости остаются просто столбами. Почти полторы минуты окаменевшая группа сохраняет такое положение. Занавес опускается.*

Повести

Невский проспект[\*](#t_ps3633_1)

Нет ничего лучше Невского проспекта, по крайней мере в Петербурге; для него он составляет всё. Чем не блестит эта улица — красавица нашей столицы! Я знаю, что ни один из бледных и чиновных ее жителей не променяет на все блага Невского проспекта. Не только кто имеет двадцать пять лет от роду, прекрасные усы и удивительно сшитый сюртук, но даже тот, у кого на подбородке выскакивают белые волоса и голова гладка, как серебряное блюдо, и тот в восторге от Невского проспекта. А дамы! — О, дамам еще больше приятен Невский проспект. Да и кому же он не приятен? Едва только взойдешь на Невский проспект, как уже пахнет одним гуляньем. Хотя бы имел какое-нибудь нужное, необходимое дело, но, взошедши на него, верно, позабудешь о всяком деле. Здесь единственное место, где показываются люди не по необходимости, куда не загнала их надобность и меркантильный интерес, объемлющий весь Петербург. Кажется, человек, встреченный на Невском проспекте, менее эгоист, нежели в Морской, Гороховой, Литейной, Мещанской и других улицах, где жадность, и корысть, и надобность выражаются на идущих и летящих в каретах и на дрожках. Невский проспект есть всеобщая коммуникация Петербурга. Здесь житель Петербургской, или Выборгской части, несколько лет не бывавший у своего приятеля на Песках или у Московской заставы, может быть уверен, что встретится с ним непременно. Никакой адрес-календарь и справочное место не доставят такого верного известия, как Невский проспект. Всемогущий Невский проспект! Единственное развлечение бедного на гулянье Петербурга! Как чисто подметены его тротуары и, боже, сколько ног оставило на нем следы свои! И неуклюжий грязный сапог отставного солдата, под тяжестью которого, кажется, трескается самый гранит, и миниатюрный, легкий как дым, башмачек молоденькой дамы, оборачивающей свою головку к блестящим окнам магазина, как подсолнечник к солнцу, и гремящая сабля исполненного надежд прапорщика, проводящая на нем резкую царапину, — всё вымещает на нем могущество силы или могущество слабости. Какая быстрая совершается на нем фантасмагория в течение одного только дня! Сколько вытерпит он перемен в течение одних суток! Начнем с самого раннего утра, когда весь Петербург пахнет горячими только что выпеченными хлебами и наполнен старухами в изодранных платьях и салопах, совершающими свои наезды на церкви и на сострадательных прохожих. Тогда Невский проспект пуст: плотные содержатели магазинов и их комми еще спят в своих голландских рубашках, или мылят свою благородную щеку и пьют кофий; нищие собираются у дверей кондитерских, где сонный ганимед, летавший вчера как муха с шеколадом, вылезает с метлой в руке без галстуха и швыряет им черствые пироги и объедки. По улицам плетется нужный народ: иногда переходят ее русские мужики, спешащие на работу, в сапогах, запачканных известью, которых и Екатерининский канал, известный своею чистотою, не в состоянии бы был обмыть. В это время обыкновенно неприлично ходить дамам, потому что русской народ любит изъясняться такими резкими выражениями, каких они, верно, не услышат даже в театре. Иногда сонный чиновник проплетется с портфелем под мышкою, если через Невский проспект лежит ему дорога в департамент. Можно сказать решительно, что в это время, то есть до 12 часов, Невский проспект не составляет ни для кого цели, он служит только средством: он постепенно наполняется лицами, имеющими свои занятия, свои заботы, свои досады, но вовсе не думающими о нем. Русской мужик говорит о гривне, или о семи грошах меди, старики и старухи размахивают руками или говорят сами с собою, иногда с довольно разительными жестами, но никто их не слушает и не смеется над ними, выключая только разве мальчишек в пестрядевых халатах с пустыми штофами, или готовыми сапогами в руках, бегущих молниями по Невскому проспекту. В это время что бы вы на себя ни надели, хотя бы даже вместо шляпы картуз был у вас на голове, хотя бы воротнички слишком далеко высунулись из вашего галстуха, — никто этого не заметит.

В 12 часов на Невский проспект делают набеги гувернеры всех наций с своими питомцами в батистовых воротничках. Английские Джонсы и французские Коки идут под руку с вверенными их родительскому попечению питомцами и с приличною солидностию изъясняют им, что вывески над магазинами делаются для того, чтобы можно было посредством их узнать, что находится в самых магазинах. Гувернантки, бледные миссы и розовые славянки, идут величаво позади своих легеньких вертлявых девчонок, приказывая им поднимать несколько выше плечо и держаться прямее; короче сказать, в это время Невский проспект — педагогический Невский проспект. Но чем ближе к двум часам, тем уменьшается число гувернеров, педагогов и детей: они наконец вытесняются нежными их родителями, идущими под руку с своими пестрыми, разноцветными, слабонервными подругами. Мало-помалу присоединяются к их обществу все, окончившие довольно важные домашние занятия, как-то поговорившие с своим доктором о погоде и о небольшом прыщике, вскочившем на носу, узнавшие о здоровьи лошадей и детей своих, впрочем, показывающих большие дарования, прочитавшие афишу и важную статью в газетах о приезжающих и отъезжающих, наконец, выпивших чашку кофию и чаю; к ним присоединяются и те, которых завидная судьба наделила благословенным званием чиновников по особенным поручениям. К ним присоединяются и те, которые служат в иностранной коллегии и отличаются благородством своих занятий и привычек. Боже, какие есть прекрасные должности и службы! как они возвышают и услаждают душу! Но, увы! я не служу и лишен удовольствия видеть тонкое обращение с собою начальников. Всё, что вы ни встретите на Невском проспекте, всё исполнено приличия: мужчины в длинных сюртуках с заложенными в карманы руками, дамы в розовых, белых и бледноголубых атласных рединготах и шляпках. Вы здесь встретите бакенбарды единственные, пропущенные с необыкновенным и изумительным искусством под галстух, бакенбарды бархатные, атласные, черные как соболь или уголь, но, увы, принадлежащие только одной иностранной коллегии. Служащим в других департаментах провидение отказало в черных бакенбардах, они должны, к величайшей неприятности своей, носить рыжие. Здесь вы встретите усы чудные, никаким пером, никакою кистью неизобразимые; усы, которым посвящена лучшая половина жизни, — предмет долгих бдений во время дня и ночи, усы, на которые излились восхитительнейшие духи и ароматы и которых умастили все драгоценнейшие и редчайшие сорты помад, усы, которые заворачиваются на ночь тонкою веленевою бумагою, усы, к которым дышет самая трогательная привязанность их поссесоров и которым завидуют проходящие. Тысячи сортов шляпок, платьев, платков пестрых, легких, к которым иногда в течение целых двух дней сохраняется привязанность их владетельниц, ослепят хоть кого на Невском проспекте. Кажется, как будто целое море мотыльков поднялось вдруг со стеблей и волнуется блестящею тучею над черными жуками мужеского пола. Здесь вы встретите такие талии, какие даже вам не снились никогда: тоненькие, узенькие талии никак не толще бутылочной шейки, встретясь с которыми вы почтительно отойдете к сторонке, чтобы как-нибудь неосторожно не толкнуть невежливым локтем; сердцем вашим овладеет робость и страх, чтобы как-нибудь от неосторожного даже дыхания вашего не переломилось прелестнейшее произведение природы и искусства. А какие встретите вы дамские рукава на Невском проспекте! Ах, какая прелесть! Они несколько похожи на два воздухоплавательные шара, так что дама вдруг бы поднялась на воздух, если бы не поддерживал ее мужчина; потому что даму так же легко и приятно поднять на воздух, как подносимый ко рту бокал, наполненный шампанским. Нигде при взаимной встрече не раскланиваются так благородно и непринужденно, как на Невском проспекте. Здесь вы встретите улыбку единственную, улыбку верх искусства, иногда такую, что можно растаять от удовольствия, иногда такую, что увидите себя вдруг ниже травы и потупите голову, иногда такую, что почувствуете себя выше Адмиралтейского шпица и поднимете ее вверх. Здесь вы встретите разговаривающих о концерте или о погоде с необыкновенным благородством и чувством собственного достоинства. Тут вы встретите тысячу непостижимых характеров и явлений. Создатель! какие странные характеры встречаются на Невском проспекте! Есть множество таких людей, которые, встретившись с вами, непременно посмотрят на сапоги ваши, и если вы пройдете, они оборотятся назад, чтобы посмотреть на ваши фалды. Я до сих пор не могу понять, отчего это бывает. Сначала я думал, что они сапожники, но однакоже ничуть не бывало: они большею частию служат в разных департаментах, многие из них превосходным образом могут написать отношение из одного казенного места в другое; или же люди, занимающиеся прогулками, чтением газет до кондитерским, словом, большею частию всё порядочные люди. В это благословенное время от 2-х до 3-х часов пополудни, которое может назваться движущеюся столицею Невского проспекта, происходит главная выставка всех лучших произведений человека. Один показывает щегольской сюртук с лучшим бобром, другой — греческой прекрасный нос, третий несет превосходные бакенбарды, четвертая — пару хорошеньких глазок и удивительную шляпку, пятый — перстень с талисманом на щегольском мизинце, шестая — ножку в очаровательном башмачке, седьмой — галстух, возбуждающий удивление, осьмой — усы, повергающие в изумление. Но бьет три часа, и выставка оканчивается, толпа редеет… В три часа — новая перемена. На Невском проспекте вдруг настает весна: он покрывается весь чиновниками в зеленых виц-мундирах. Голодные титулярные, надворные и прочие советники стараются всеми силами ускорить свой ход. Молодые коллежские регистраторы, губернские и коллежские секретари спешат еще воспользоваться временем и пройтиться по Невскому проспекту с осанкою, показывающею, что они вовсе не сидели 6 часов в присутствии. Но старые коллежские секретари, титулярные и надворные советники идут скоро, потупивши голову: им не до того, чтобы заниматься рассматриванием прохожих; они еще не вполне оторвались от забот своих; в их голове ералаш и целый архив начатых и неоконченных дел; им долго вместо вывески показывается картонка с бумагами, или полное лицо правителя канцелярии.

С четырех часов Невский проспект пуст, и вряд ли вы встретите на нем хотя одного чиновника. Какая-нибудь швея из магазина перебежит через Невский проспект с коробкою в руках, какая-нибудь жалкая добыча человеколюбивого повытчика, пущенная по миру во фризовой шинели, какой-нибудь заезжий чудак, которому все часы равны, какая-нибудь длинная высокая англичанка с ридикюлем и книжкою в руках, какой-нибудь артельщик, русской человек в демикотоновом сюртуке с талией на спине, с узенькою бородою, живущий всю жизнь на живую нитку, в котором всё шевелится: спина, и руки, и ноги, и голова, когда он учтиво проходит по тротуару, иногда низкой ремесленник; больше никого не встретите вы на Невском проспекте.

Но как только сумерки упадут на домы и улицы и будошник, накрывшись рогожею, вскарабкается на лестницу зажигать фонарь, а из низеньких окошек магазинов выглянут те эстампы, которые не смеют показаться среди дня, тогда Невский проспект опять оживает и начинает шевелиться. Тогда настает то таинственное время, когда лампы дают всему какой-то заманчивый, чудесный свет. Вы встретите очень много молодых людей, большею частию холостых, в теплых сюртуках и шинелях. В это время чувствуется какая-то цель, или лучше что-то похожее на цель. Что-то чрезвычайно безотчетное, шаги всех ускоряются и становятся вообще очень неровны. Длинные тени мелькают по стенам и мостовой и чуть не достигают головами Полицейского моста. Молодые губернские регистраторы, губернские и коллежские секретари очень долго прохаживаются; но старые коллежские регистраторы, титулярные и надворные советники большею частию сидят дома, или потому, что это народ женатый, или потому, что им очень хорошо готовят кушанье живущие у них в домах кухарки-немки. Здесь вы встретите почтенных стариков, которые с такою важностью и с таким удивительным благородством прогуливались в два часа по Невскому проспекту. Вы их увидите бегущими так же, как молодые коллежские регистраторы, с тем, чтобы заглянуть под шляпку издали завиденной дамы, которой толстые губы и щеки, нащекатуренные румянами, так нравятся многим гуляющим, а более всего сидельцам, артельщикам, купцам, всегда в немецких сюртуках гуляющим целою толпою и обыкновенно под руку.

„Стой!“ закричал в это время поручик Пирогов, дернув шедшего с ним молодого человека во фраке и плаще. „Видел?“

„Видел, чудная, совершенно Перуджинова Бианка.“

„Да ты о ком говоришь?“

„Об ней, о той, что с темными волосами. И какие глаза! боже, какие глаза! всё положение и контура, и оклад лица — чудеса!“

„Я говорю тебе о блондинке, что прошла за ней в ту сторону. Что ж ты не идешь за брюнеткою, когда она так тебе понравилась?“

„О, как можно!“ воскликнул, закрасневшись, молодой человек во фраке: „Как будто она из тех, которые ходят ввечеру по Невскому проспекту; это должна быть очень знатная дама“, продолжал он, вздохнувши: „один плащ на ней стоит рублей восемьдесят!“

„Простак!“ закричал Пирогов, насильно толкнувши его в ту сторону, где развевался яркий плащ ее: „ступай, простофиля, прозеваешь! а я пойду за блондинкою.“

Оба приятеля разошлись.

„Знаем мы вас всех“, думал про себя с самодовольною и самонадеянною улыбкою Пирогов, уверенный, что нет красоты, могшей бы ему противиться.

Молодой человек во фраке и плаще робким и трепетным шагом пошел в ту сторону, где развевался вдали пестрый плащ, то окидывавшийся ярким блеском по мере приближения к свету фонаря, то мгновенно покрывавшийся тьмою по удалении от него. Сердце его билось и он невольно ускорял шаг свой. Он не смел и думать о том, чтобы получить какое-нибудь право на внимание улетавшей вдали красавицы, тем более допустить такую черную мысль, о какой намекал ему поручик Пирогов; но ему хотелось только видеть дом, заметить, где имеет жилище это прелестное существо, которое, казалось, слетело с неба прямо на Невский проспект и, верно, улетит неизвестно куда. Он летел так скоро, что сталкивал беспрестанно с тротуара солидных господ с седыми бакенбардами. Этот молодой человек принадлежал к тому классу, который составляет у нас довольно странное явление и столько же принадлежит к гражданам Петербурга, сколько лицо, являющееся нам в сновидении, принадлежит к существенному миру. Это исключительное сословие очень необыкновенно в том городе, где все или чиновники, или купцы, или мастеровые немцы. Это был художник. Не правда ли, странное явление? Художник петербургский! Художник в земле снегов, художник в стране финнов, где всё мокро, гладко, ровно, бледно, серо, туманно. Эти художники вовсе не похожи на художников итальянских, гордых, горячих, как Италия и ее небо; напротив того, это большею частию добрый, кроткий народ, застенчивый, беспечный, любящий тихо свое искусство, пьющий чай с двумя приятелями своими в маленькой комнате, скромно толкующий о любимом предмете и вовсе небрегущий об излишнем. Он вечно зазовет к себе какую-нибудь нищую старуху и заставит ее просидеть битых часов шесть с тем, чтобы перевести на полотно ее жалкую, бесчувственную мину. Он рисует перспективу своей комнаты, в которой является всякой художественный вздор: гипсовые руки и ноги, сделавшиеся кофейными от времени и пыли, изломанные живописные станки, опрокинутая палитра, приятель, играющий на гитаре, стены, запачканные красками, с растворенным окном, сквозь которое мелькает бледная Нева и бедные рыбаки в красных рубашках. У них всегда почти на всем серинькой мутный колорит, — неизгладимая печать севера. При всем том они с истинным наслаждением трудятся над своею работою. Они часто питают в себе истинный талант, и если бы только дунул на них свежий воздух Италии, он бы, верно, развился так же вольно, широко и ярко, как растение, которое выносят наконец из комнаты на чистый воздух. Они вообще очень робки; звезда и толстый эполет приводят их в такое замешательство, что они невольно понижают цену своих произведений. Они любят иногда пощеголять, но щегольство это всегда кажется на них слишком резким и несколько походит на заплату. На них встретите вы иногда отличный фрак и запачканный плащ, дорогой бархатный жилет и сюртук весь в красках. Таким же самым образом, как на неоконченном их пейзаже увидите вы иногда нарисованную вниз головою нимфу, которую он, не найдя другого места, набросал на запачканном грунте прежнего своего произведения, когда-то писанного им с наслаждением. Он никогда не глядит вам прямо в глаза; если же глядит, то как-то мутно, неопределенно; он не вонзает в вас ястребиного взора наблюдателя или соколиного взгляда кавалерийского офицера. Это происходит оттого, что он в одно и то же время видит и ваши черты, и черты какого-нибудь гипсового Геркулеса, стоящего в его комнате; или ему представляется его же собственная картина, которую он еще думает произвесть. От этого он отвечает часто несвязно, иногда невпопад, и мешающиеся в его голове предметы еще более увеличивают его робость. К такому роду принадлежал описанный нами молодой человек, художник Пискарев, застенчивый, робкий, но в душе своей носивший искры чувства, готовые при удобном случае превратиться в пламя. С тайным трепетом спешил он за своим предметом, так сильно его поразившим, и, казалось, дивился сам своей дерзости. Незнакомое существо, к которому так прильнули его глаза, мысли и чувства, вдруг поворотило голову и взглянуло на него. Боже, какие божественные черты! Ослепительной белизны прелестнейший лоб осенен был прекрасными как агат волосами. Они вились, эти чудные локоны, и часть их, падая из-под шляпки, касалась щеки, тронутой тонким свежим румянцем, проступившим от вечернего холода. Уста были замкнуты целым роем прелестнейших грез. Всё, что остается от воспоминания о детстве, что дает мечтание и тихое вдохновение при светящейся лампаде, — всё это, казалось, совокупилось, слилось и отразилось в ее гармонических устах. Она взглянула на Пискарева, и при этом взгляде затрепетало его сердце; она взглянула сурово, чувство негодования проступило у ней на лице при виде такого наглого преследования; но на этом прекрасном лице и самый гнев был обворожителен. Постигнутый стыдом и робостью, он остановился, потупив глаза; но как утерять это божество и не узнать даже той святыни, где оно опустилось гостить? Такие мысли пришли в голову молодому мечтателю, и он решился преследовать. Но чтобы не дать этого заметить, он отдалился на дальнее расстояние, беспечно глядел по сторонам и рассматривал вывески, а между тем не упускал из виду ни одного шага незнакомки. Проходящие реже начали мелькать, улица становилась тише; красавица оглянулась и ему показалось, как будто легкая улыбка сверкнула на губах ее. Он весь задрожал и не верил своим глазам. Нет, это фонарь обманчивым светом своим выразил на лице ее подобие улыбки, нет, это собственные мечты смеются над ним. Но дыхание занялось в его груди, всё в нем обратилось в неопределенный трепет, все чувства его горели и всё перед ним окинулось каким-то туманом. Тротуар несся под ним, кареты со скачущими лошадьми казались недвижимы, мост растягивался и ломался на своей арке, дом стоял крышею вниз, будка валилась к нему навстречу и алебарда часового вместе с золотыми словами вывески и нарисованными ножницами блестела, казалось, на самой реснице его глаз. И всё это произвел один взгляд, один поворот хорошенькой головки. Не слыша, не видя, не внимая, он несся по легким следам прекрасных ножек, стараясь сам умерить быстроту своего шага, летевшего под такт сердца. Иногда овладевало им сомнение: точно ли выражение лица ее было так благосклонно, — и тогда он на минуту останавливался; но сердечное биение, непреодолимая сила и тревога всех чувств стремила его вперед. Он даже не заметил, как вдруг возвысился перед ним четырехэтажный дом, все четыре ряда окон, светившиеся огнем, глянули на него разом и перилы у подъезда противупоставили ему железный толчек свой. Он видел, как незнакомка летела по лестнице, оглянулась, положила на губы палец и дала знак следовать за собою. Колени его дрожали; чувства, мысли горели; молния радости нестерпимым острием вонзилась в его сердце. Нет, это уже не мечта! боже, столько счастия в один миг! такая чудесная жизнь в двух минутах!

Но не во сне ли это всё? ужели та, за один небесный взгляд которой он готов бы был отдать всю жизнь, приблизиться к жилищу которой уже он почитал за неизъяснимое блаженство, ужели та была сейчас так благосклонна и внимательна к нему? Он взлетел на лестницу. Он не чувствовал никакой земной мысли; он не был разогрет пламенем земной страсти, нет, он был в эту минуту чист и непорочен, как девственный юноша, еще дышущий неопределенною духовною потребностью любви. И то, что возбудило бы в развратном человеке дерзкие помышления, то самое, напротив, еще более освятило их. Это доверие, которое оказало ему слабое прекрасное существо, это доверие наложило на него обет строгости рыцарской, обет рабски исполнять все повеления ее. Он только желал, чтоб эти веления были как можно более трудны и неудобоисполняемы, чтобы с бо̀льшим напряжением сил лететь преодолевать их. Он не сомневался, что какое-нибудь тайное и вместе важное происшествие заставило незнакомку ему ввериться; что от него, верно, будут требоваться значительные услуги, и он чувствовал уже в себе силу и решимость на всё.

Лестница вилась и вместе с нею вились его быстрые мечты. „Идите осторожнее!“ зазвучал, как арфа, голос и наполнил все жилы его новым трепетом. В темной вышине четвертого этажа незнакомка постучала в дверь — она отворилась и они вошли вместе. Женщина довольно недурной наружности встретила их со свечею в руке, но так странно и нагло посмотрела на Пискарева, что он опустил невольно свои глаза. Они вошли в комнату. Три женские фигуры в разных углах представились его глазам. Одна раскладывала карты; другая сидела за фортепианом и играла двумя пальцами какое-то жалкое подобие старинного полонеза; третья сидела перед зеркалом, расчесывая гребнем свои длинные волосы, и вовсе не думала оставить туалета своего при входе незнакомого лица. Какой-то неприятный беспорядок, который можно встретить только в беспечной комнате холостяка, царствовал во всем. Мебели довольно хорошие были покрыты пылью; паук застилал своею паутиною лепной карниз; сквозь непритворенную дверь другой комнаты блестел сапог со шпорой и краснела выпушка мундира; громкий мужской голос и женский смех раздавались без всякого принуждения.

Боже, куда зашел он! Сначала он не хотел верить и начал пристальнее всматриваться в предметы, наполнявшие комнату, но голые стены и окна без занавес не показывали никакого присутствия заботливой хозяйки; изношенные лица этих жалких созданий, из которых одна села почти перед его носом и так же спокойно его рассматривала, как пятно на чужом платье, всё это уверило его, что он зашел в тот отвратительный приют, где основал свое жилище жалкий разврат, порожденный мишурною образованностью и страшным многолюдством столицы. Тот приют, где человек святотатственно подавил и посмеялся над всем чистым и святым, украшающим жизнь, где женщина, эта красавица мира, венец творения, обратилась в какое-то странное, двусмысленное существо, где она вместе с чистотою души лишилась всего женского и отвратительно присвоила себе ухватки и наглости мужчины и уже перестала быть тем слабым, тем прекрасным и так отличным от нас существом. Пискарев мерял ее с ног до головы изумленными глазами, как бы еще желая увериться, та ли это, которая так околдовала и унесла его на Невском проспекте. Но она стояла перед ним так же хороша; волосы ее были так же прекрасны; глаза ее казались всё еще небесными. Она была свежа; ей было только 17 лет; видно было, что еще недавно настигнул ее ужасный разврат; он еще не смел коснуться к ее щекам, они были свежи и легко оттенены тонким румянцем — она была прекрасна.

Он неподвижно стоял перед нею и уже готов был так же простодушно позабыться, как позабылся прежде. Но красавица наскучила таким долгим молчанием и значительно улыбнулась, глядя ему прямо в глаза. Но эта улыбка была исполнена какой-то жалкой наглости: она так была странна и так же шла к ее лицу, как идет выражение набожности роже взяточника или бухгалтерская книга поэту. — Он содрогнулся. Она раскрыла свои хорошенькие уста и стала говорить что-то, но всё это было так глупо, так пошло… Как будто вместе с непорочностию оставляет и ум человека. Он уже ничего не хотел слышать. Он был чрезвычайно смешон и прост как дитя. Вместо того, чтобы воспользоваться такою благосклонностью, вместо того чтобы обрадоваться такому случаю, какому, без сомнения, обрадовался бы на его месте всякий другой, он бросился со всех ног, как дикая коза, и выбежал на улицу.

Повесивши голову и опустивши руки, сидел он в своей комнате, как бедняк, нашедший бесценную жемчужину и тут же выронивший ее в море. „Такая красавица, такие божественные черты и где же? в каком месте*!..*“ Вот всё, что он мог выговорить.

В самом деле, никогда жалость так сильно не овладевает нами, как при виде красоты, тронутой тлетворным дыханием разврата. Пусть бы еще безобразие дружилось с ним, но красота, красота нежная… она только с одной непорочностью и чистотой сливается в наших мыслях. Красавица, так околдовавшая бедного Пискарева, была, действительно, чудесное, необыкновенное явление. Ее пребывание в этом презренном кругу еще более казалось необыкновенным. Все черты ее были так чисто образованы, всё выражение прекрасного лица ее было означено таким благородством, что никак бы нельзя было думать, чтобы разврат распустил над нею страшные свои когти. Она бы составила неоцененный перл, весь мир, весь рай, всё богатство страстного супруга; она была бы прекрасной тихой звездой в незаметном семейном кругу и одним движением прекрасных уст своих давала бы сладкие приказания. Она бы составила божество в многолюдном зале, на светлом паркете, при блеске свечей, при безмолвном благоговении толпы поверженных у ног ее поклонников; — но, увы! она была какою-то ужасною волею адского духа, жаждущего разрушить гармонию жизни, брошена с хохотом в его пучину.

Проникнутый разрывающею жалостью, сидел он перед нагоревшею свечею. Уже и полночь давно минула, колокол башни бил половину первого, а он сидел неподвижный, без сна, без деятельного бдения. Дремота, воспользовавшись его неподвижностью, уже было начала тихонько одолевать его, уже комната начала исчезать, один только огонь свечи просвечивал сквозь одолевавшие его грезы, как вдруг стук у дверей заставил его вздрогнуть и очнуться. Дверь отворилась и вошел лакей в богатой ливрее. В его уединенную комнату никогда не заглядывала богатая ливрея, при том в такое необыкновенное время… Он недоумевал и с нетерпеливым любопытством смотрел на пришедшего лакея.

„Та барыня“, произнес с учтивым поклоном лакей, „у которой вы изволили за несколько часов пред сим быть, приказала просить вас к себе и прислала за вами карету.“

Пискарев стоял в безмолвном удивлении: карету, лакей в ливрее… Нет, здесь, верно, есть какая-нибудь ошибка… „Послушайте, любезный“, произнес он с робостью: „вы, верно, не туда изволили зайти. Вас барыня, без сомнения, прислала за кем-нибудь другим, а не за мною.“

„Нет, сударь, я не ошибся. Ведь вы изволили проводить барыню пешком к дому, что в Литейной, в комнату четвертого этажа?“

„Я.“

„Ну, так пожалуйте поскорее, барыня непременно желает видеть вас и просит вас уже пожаловать прямо к ним на дом.“

Пискарев сбежал с лестницы. На дворе, точно, стояла карета. Он сел в нее, дверцы хлопнули, камни мостовой загремели под колесами и копытами — и освещенная перспектива домов с яркими вывесками понеслась мимо каретных окон. Пискарев думал во всю дорогу и не знал как разрешить это приключение. Собственный дом, карета, лакей в богатой ливрее… всё это он никак не мог согласить с комнатою в четвертом этаже, пыльными окнами и расстроенным фортепианом. Карета остановилась перед ярко освещенным подъездом и его разом поразили: ряд экипажей, говор кучеров, ярко освещенные окна и звуки музыки. Лакей в богатой ливрее высадил его из кареты и почтительно проводил в сени с мраморными колоннами, с облитым золотом швейцаром, с разбросанными плащами и шубами, с яркою лампою. Воздушная лестница с блестящими перилами, надушенная ароматами, неслась вверх. Он уже был на ней, уже взошел в первую залу, испугавшись и попятившись с первым шагом от ужасного многолюдства. Необыкновенная пестрота лиц привела его в совершенное замешательство; ему казалось, что какой-то демон искрошил весь мир на множество разных кусков и все эти куски без смысла, без толку смешал вместе. Сверкающие дамские плечи и черные фраки, люстры, лампы, воздушные летящие газы, эфирные ленты и толстый контрабас, выглядывавший из-за перил великолепных хоров, — всё было для него блистательно. Он увидел за одним разом столько почтенных стариков и полустариков с звездами на фраках, дам, так легко, гордо и грациозно выступавших по паркету, или сидевших рядами, он услышал столько слов французских и английских, к тому же молодые люди в черных фраках были исполнены такого благородства, с таким достоинством говорили и молчали, так не умели сказать ничего лишнего, так величаво шутили, так почтительно улыбались, такие превосходные носили бакенбарды, так искусно умели показывать отличные руки, поправляя галстух, дамы так были воздушны, так погружены в совершенное самодовольство и упоение, так очаровательно потупляли глаза, что… но один уже смиренный вид Пискарева, прислонившегося с боязнию к колонне, показывал, что он растерялся вовсе. В это время толпа обступила танцующую группу. Они неслись, увитые прозрачным созданием Парижа, в платьях, сотканных из самого воздуха; небрежно касались они блестящими ножками паркета и были более эфирны, нежели если бы вовсе его не касались. Но одна между ими всех лучше, всех роскошнее и блистательнее одета. Невыразимое, самое тонкое сочетание вкуса разлилось во всем ее уборе и при всем том она, казалось, вовсе о нем не заботилась и оно вылилось невольно само собою. Она и глядела, и не глядела на обступившую толпу зрителей, прекрасные длинные ресницы опустились равнодушно и сверкающая белизна лица ее еще ослепительнее бросилась в глаза, когда легкая тень осенила при наклоне головы очаровательный лоб ее.

Пискарев употребил все усилия, чтобы раздвинуть толпу и рассмотреть ее; но, к величайшей досаде, какая-то огромная голова с темными курчавыми волосами заслоняла ее беспрестанно; притом толпа его притиснула так, что он не смел податься вперед, не смел попятиться назад, опасаясь толкнуть каким-нибудь образом какого-нибудь тайного советника. Но вот он продрался-таки вперед и взглянул на свое платье, желая прилично оправиться. Творец небесный, что это! на нем был сюртук и весь запачканный красками: спеша ехать, он позабыл даже переодеться в пристойное платье. Он покраснел до ушей и, потупив голову, хотел провалиться, но провалиться решительно было некуда: камер-юнкеры в блестящем костюме сдвинулись позади его совершенною стеною. Он уже желал быть как можно подалее от красавицы с прекрасным лбом и ресницами. Со страхом поднял глаза посмотреть, не глядит ли она на него: боже! она стоит перед ним… Но что это? что это? „Это она!“ вскрикнул он почти во весь голос. В самом деле, это была она, та самая, которую встретил он на Невском и которую проводил к ее жилищу.

Она подняла между тем свои ресницы и глянула на всех своим ясным взглядом. „Ай, ай, ай, как хороша*!..*“ мог только выговорить он с захватившимся дыханием. Она обвела своими глазами весь круг, наперерыв жаждавший остановить ее внимание, но с каким-то утомлением и невниманием она скоро отвратила их и встретилась с глазами Пискарева. О, какое небо! какой рай! дай силы, создатель, перенести это! жизнь не вместит его, он разрушит и унесет душу! Она подала знак, но не рукою, не наклонением головы, — нет: в ее сокрушительных глазах выразился этот знак, таким тонким незаметным выражением, что никто не мог его видеть, но он видел, он понял его. Танец длился долго; утомленная музыка, казалось, вовсе погасала и замирала и опять вырывалась, визжала и гремела; наконец — конец! — Она села, грудь ее воздымалась под тонким дымом газа; рука ее (создатель, какая чудесная рука!) упала на колени, сжала под собою ее воздушное платье, и платье под нею, казалось, стало дышать музыкою, и тонкий сиреневый цвет его еще виднее означил яркую белизну этой прекрасной руки. Коснуться бы только ее — и ничего больше! Никаких других желаний — они все дерзки… Он стоял у ней за стулом, не смея говорить, не смея дышать. „Вам было скучно?“ произнесла она: „я также скучала. Я замечаю, что вы меня ненавидите…“ прибавила она, потупив свои длинные ресницы.

„Вас ненавидеть! мне? я…“ хотел было произнесть совершенно потерявшийся Пискарев и наговорил бы, верно, кучу самых несвязных слов, но в это время подошел камергер с острыми и приятными замечаниями, с прекрасным завитым на голове хохлом. Он довольно приятно показывал ряд довольно недурных зубов и каждою остротою своею вбивал острый гвоздь в его сердце. Наконец кто-то из посторонних, к счастию, обратился к камергеру с каким-то вопросом.

„Как это несносно!“ сказала она, подняв на него свои небесные глаза. „Я сяду на другом конце зала; будьте там!“ Она проскользнула между толпою и исчезла. Он, как помешанный, растолкал толпу и был уже там.

Так, это она; она сидела, как царица, всех лучше, всех прекраснее и искала его глазами.

„Вы здесь“, произнесла она тихо. „Я буду откровенна перед вами: вам, верно, странными показались обстоятельства нашей встречи. Неужели вы думаете, что я могу принадлежать к тому презренному классу творений, в котором вы встретили меня? Вам кажутся странными мои поступки, но я вам открою тайну: будете ли вы в состоянии“ — произнесла она, устремив пристально на его глаза свои, — „никогда не изменить ей?“

„О, буду! буду! буду!“…

Но в это время подошел довольно пожилой человек, заговорил с ней на каком-то непонятном для Пискарева языке и подал ей руку. Она умоляющим взглядом посмотрела на Пискарева и дала знак остаться на своем месте и ожидать ее прихода, но в припадке нетерпения он не в силах был слушать никаких приказаний даже из ее уст. Он отправился вслед за нею; но толпа разделила их. Он уже не видел сиреневого платья; с беспокойством проходил он из комнаты в комнату и толкал без милосердия всех встречных, но во всех комнатах всё сидели тузы за вистом, погруженные в мертвое молчание. В одном углу комнаты спорило несколько пожилых людей о преимуществе военной службы перед статскою; в другом люди в превосходных фраках бросали легкие замечания о многотомных трудах поэта-труженика. Пискарев чувствовал, что один пожилой человек с почтенною наружностью схватил за пуговицу его фрака и представлял на его суждение одно весьма справедливое свое замечание, но он грубо оттолкнул его, даже не заметивши, что у него на шее был довольно значительный орден. Он перебежал в другую комнату — и там нет ее. В третью — тоже нет. „Где же она? дайте ее мне! о, я не могу жить, не взглянувши на нее! мне хочется выслушать, что она хотела сказать.“ Но все поиски его оставались тщетными. Беспокойный, утомленный он прижался к углу и смотрел на толпу; но напряженные глаза его начали ему представлять всё в каком-то неясном виде. Наконец, ему начали явственно показываться стены его комнаты. Он поднял глаза; перед ним стоял подсвечник с огнем, почти потухавшим в глубине его; вся свеча истаяла; сало было налито на столе его.

Так это он спал! Боже, какой сон! И зачем было просыпаться? Зачем было одной минуты не подождать: она бы, верно, опять явилась! Досадный свет неприятным своим тусклым сиянием глядел в его окна. Комната в таком сером, таком мутном беспорядке… О, как отвратительна действительность! Что она против мечты? Он разделся наскоро и лег в постель, закутавшись одеялом, желая на миг призвать улетевшее сновидение. Сон, точно, не замедлил к нему явиться, но представлял ему вовсе не то, что бы желал он видеть: то поручик Пирогов являлся с трубкою, то академический сторож, то действительный статский советник, то голова чухонки, с которой он когда-то рисовал портрет, и тому подобная чепуха.

До самого полудня пролежал он в постеле, желая заснуть; но она не являлась. Хотя бы на минуту показала прекрасные черты свои, хотя бы на минуту зашумела ее легкая походка, хотя бы ее обнаженная, яркая, как заоблачный снег, рука, мелькнула перед ним.

Всё откинувши, всё позабывши, сидел он с сокрушенным, с безнадежным видом, полный только одного сновидения. Ни к чему не думал он притронуться; глаза его без всякого участия, без всякой жизни, глядели в окно, обращенное в двор, где грязный водовоз лил воду, мерзнувшую на воздухе, и козлиный голос разносчика дребезжал:

*старого платья продать*. Вседневное и действительное странно поражало его слух. Так просидел он до самого вечера и с жадностью бросился в постель. Долго боролся он с бессонницею, наконец, пересилил ее. Опять какой-то сон, какой-то пошлый, гадкой сон. Боже, умилосердись: хотя на минуту, хотя на одну минуту покажи ее! Он опять ожидал вечера, опять заснул, опять снился какой-то чиновник, который был вместе и чиновник, и фагот; о, это нестерпимо! Наконец, она явилась! ее головка и локоны… она глядит… О, как ненадолго! Опять туман, опять какое-то глупое сновидение.

Наконец, сновидения сделались его жизнию и с этого времени вся жизнь его приняла странный оборот: он, можно сказать, спал наяву и бодрствовал во сне. Если бы его кто-нибудь видел сидящим безмолвно перед пустым столом или шедшим по улице, то верно бы принял его за лунатика или разрушенного крепкими напитками; взгляд его был вовсе без всякого значения, природная рассеянность наконец развилась и властительно изгоняла на лице его все чувства, все движения. Он оживлялся только при наступлении ночи.

Такое состояние расстроило его силы, и самым ужасным мучением было для него то, что, наконец, сон начал его оставлять вовсе. Желая спасти это единственное свое богатство, он употреблял все средства восстановить его. Он слышал, что есть средство восстановить сон, для этого нужно принять только опиум. Но где достать этого опиума? Он вспомнил про одного персиянина, содержавшего магазин шалей, который всегда почти, когда ни встречал его, просил нарисовать ему красавицу. Он решился отправиться к нему, предполагая, что у него, без сомнения, есть этот опиум. Персиянин принял его сидя на диване и поджавши под себя ноги. „На что тебе опиум?“ спросил он его. Пискарев рассказал ему про свою бессонницу. „Хорошо, я дам тебе опиуму, только нарисуй мне красавицу. Чтоб хорошая была красавица. Чтобы брови были черные и очи большие, как маслины; а я сама чтобы лежала возле нее и курила трубку, — слышишь? чтобы хорошая была! чтобы была красавица!“ Пискарев обещал всё. Персиянин на минуту вышел и возвратился с баночкою, наполненною темною жидкостью, бережно отлил часть ее в другую баночку и дал Пискареву с наставлением употреблять не больше как по семи капель в воде. С жадностью схватил он эту драгоценную баночку, которую не отдал бы за груду золота, и опрометью побежал домой.

Пришедши домой, он отлил несколько капель в стакан с водою и, проглотив, завалился спать.

Боже, какая радость! Она! опять она! Но уже совершенно в другом виде. О, как хорошо сидит она у окна деревенского светлого домика! Наряд ее дышит такою простотою, в какую только облекается мысль поэта. Прическа на голове ее… Создатель, как проста эта прическа и как она идет к ней! Коротенькая косынка была слегка накинута на стройной ее шейке; всё в ней скромно, всё в ней — тайное неизъяснимое чувство вкуса. Как мила ее грациозная походка! Как музыкален шум ее шагов и простенького платья! Как хороша рука ее, стиснутая волосяным браслетом! Она говорит ему со слезою на глазах: „Не презирайте меня: я вовсе не та, за которую вы принимаете меня. Взгляните на меня, взгляните пристальнее и скажите: разве я способна к тому, что вы думаете? О! нет, нет! пусть тот, кто осмелится подумать, пусть тот…“ Но он проснулся! растроганный, растерзанный, с слезами на глазах. „Лучше бы ты вовсе не существовала! не жила в мире, а была бы создание вдохновенного художника! Я бы не отходил от холста, я бы вечно глядел на тебя и целовал бы тебя. Я бы жил и дышал тобою, как прекраснейшею мечтою и я бы был тогда счастлив. Никаких бы желаний не простирал далее. Я бы призывал тебя как ангела-хранителя пред сном и бдением и тебя бы ждал я, когда бы случилось изобразить божественное и святое. Но теперь… какая ужасная жизнь! что пользы в том, что она живет? Разве жизнь сумасшедшего приятна его родственникам и друзьям, некогда его любившим? Боже, что за жизнь наша! вечный раздор мечты с существенностью!“ Почти такие мысли занимали его беспрестанно. Ни о чем он не думал, даже почти ничего не ел и с нетерпением, со страстию любовника ожидал вечера и желанного видения. Беспрестанное устремление мыслей к одному, наконец, взяло такую власть над всем бытием его и воображением, что желанный образ являлся ему почти каждый день всегда в положении противуположном действительности, потому что мысли его были совершенно чисты, как мысли ребенка. Чрез эти сновидения самый предмет как-то более делался чистым и вовсе преображался.

Приемы опиума еще более раскалили его мысли, и если был когда-нибудь влюбленный до последнего градуса безумия, стремительно, ужасно, разрушительно, мятежно, то этот несчастный был он.

Из всех сновидений одно было радостнее для него всех: ему представилась его мастерская, он так был весел, с таким наслаждением сидел с палитрою в руках! И она тут же. Она была уже его женою. Она сидела возле него, облокотившись прелестным локотком своим на спинку его стула, и смотрела на его работу. В ее глазах, томных, усталых, написано было бремя блаженства: всё в комнате его дышало раем; было так светло, так убрано. Создатель! она склонила к нему на грудь прелестную свою головку… Лучшего сна он еще никогда не видывал. Он встал после него как-то свежее и менее рассеянный, нежели прежде. В голове его родились странные мысли: может быть, думал он, она вовлечена каким-нибудь невольным ужасным случаем в разврат; может быть, движения души ее склонны к раскаянию; может быть, она желала бы сама вырваться из ужасного состояния своего. И неужели равнодушно допустить ее гибель и притом тогда, когда только сто̀ит подать руку, чтобы спасти ее от потопления? Мысли его простирались еще далее. „Меня никто не знает“, говорил он сам себе, „да и кому какое до меня дело, да и мне тоже нет до них дела. Если она изъявит чистое раскаяние и переменит жизнь свою, я женюсь тогда на ней. Я должен на ней жениться и, верно, сделаю гораздо лучше, нежели многие, которые женятся на своих ключницах и даже часто на самых презренных тварях. Но мой подвиг будет бескорыстен и может быть даже великим. Я возвращу миру прекраснейшее его украшение.“

Составивши такой легкомысленный план, он почувствовал краску, вспыхнувшую на его лице; он подошел к зеркалу и испугался сам впалых щек и бледности своего лица. Тщательно начал он принаряжаться; приумылся, пригладил волоса, надел новый фрак, щегольской жилет, набросил плащ и вышел на улицу. Он дохнул свежим воздухом и почувствовал свежесть на сердце, как выздоравливающий, решившийся выйти в первый раз после продолжительной болезни. Сердце его билось, когда он подходил к той улице, на которой нога его не была со времени роковой встречи.

Долго он искал дома; казалось, память ему изменила. Он два раза прошел улицу и не знал, перед которым остановиться. Наконец один показался ему похожим. Он быстро взбежал на лестницу, постучал в дверь: дверь отворилась и кто же вышел к нему навстречу? Его идеал, его таинственный образ, оригинал мечтательных картин, та, которою он жил, так ужасно, так страдательно, так сладко жил. Она сама стояла перед ним. Он затрепетал; он едва мог удержаться на ногах от слабости, охваченный порывом радости. Она стояла перед ним так же прекрасна, хотя глаза ее были заспаны, хотя бледность кралась на лице ее, уже не так свежем, но она всё была прекрасна.

„А!“ вскрикнула она, увидевши Пискарева и протирая глаза свои. Тогда было уже два часа. „Зачем вы убежали тогда от нас?“

Он в изнеможении сел на стул и глядел на нее.

„А я только что теперь проснулась; меня привезли в семь часов утра. Я была совсем пьяна“, прибавила она с улыбкою.

О, лучше бы ты была нема и лишена вовсе языка, чем произносить такие речи! Она вдруг показала ему как в панораме всю жизнь ее. Однакож, несмотря на это, скрепившись сердцем, решился попробовать он, не будут ли иметь над нею действия его увещания. Собравшись с духом, он дрожащим и вместе пламенным голосом начал представлять ей ужасное ее положение. Она слушала его с внимательным видом и с тем чувством удивления, которое мы изъявляем при виде чего-нибудь неожиданного и странного. Она взглянула, легко улыбнувшись, на сидевшую в углу свою приятельницу, которая, оставивши вычищать гребешок, тоже слушала со вниманием нового проповедника.

„Правда, я беден“, сказал наконец после долгого и поучительного увещания Пискарев, „но мы станем трудиться; мы постараемся наперерыв, один перед другим, улучшить нашу жизнь. Нет ничего приятнее, как быть обязану во всем самому себе. Я буду сидеть за картинами, ты будешь, сидя возле меня, одушевлять мои труды, вышивать, или заниматься другим рукоделием, и мы ни в чем не будем иметь недостатка.“

„Как можно!“ прервала она речь с выражением какого-то презрения. „Я не прачка и не швея, чтобы стала заниматься работою.“

Боже! в этих словах выразилась вся низкая, вся презренная жизнь, — жизнь, исполненная пустоты и праздности, верных спутников разврата.

„Женитесь на мне!“ подхватила с наглым видом молчавшая дотоле в углу ее приятельница. „Если я буду женою, я буду сидеть вот как!“ при этом она сделала какую-то глупую мину на жалком лице своем, которою чрезвычайно рассмешила красавицу.

О, это уже слишком! этого нет сил перенести. Он бросился вон, потерявши чувства и мысли. Ум его помутился: глупо, без цели, не видя ничего, не слыша, не чувствуя, бродил он весь день. Никто не мог знать, ночевал он где-нибудь или нет; на другой только день каким-то глупым инстинктом зашел он на свою квартиру, бледный, с ужасным видом, с растрепанными волосами, с признаками безумия на лице. Он заперся в свою комнату и никого не впускал, ничего не требовал. Протекли четыре дня, и его запертая комната ни разу не отворялась; наконец, прошла неделя, и комната всё так же была заперта. Бросились к дверям, начали звать его, но никакого не было ответа; наконец, выломали дверь и нашли бездыханный труп его с перерезанным горлом. Окровавленная бритва валялась на полу. По судорожно раскинутым рукам и по страшно искаженному виду можно было заключить, что рука его была неверна и что он долго еще мучился, прежде нежели грешная душа его оставила тело.

Так погиб, жертва безумной страсти, бедный Пискарев, тихий, робкий, скромный, детски-простодушный, носивший в себе искру таланта, быть может, со временем бы вспыхнувшего широко и ярко. Никто не поплакал над ним; никого не видно было возле его бездушного трупа, кроме обыкновенной фигуры квартального надзирателя и равнодушной мины городового лекаря. Гроб его тихо, даже без обрядов религии, повезли на Охту; за ним идучи, плакал один только солдат-сторож и то потому, что выпил лишний штоф водки. Даже поручик Пирогов не пришел посмотреть на труп несчастного бедняка, которому он при жизни оказывал свое высокое покровительство. Впрочем ему было вовсе не до того: он был занят чрезвычайным происшествием. Но обратимся к нему. — Я не люблю трупов и покойников и мне всегда неприятно, когда переходит мою дорогу длинная погребальная процессия и инвалидный солдат, одетый каким-то капуцином, нюхает левою рукою табак, потому что правая занята факелом. Я всегда чувствую на душе досаду при виде богатого катафалка и бархатного гроба; но досада моя смешивается с грустью, когда я вижу, как ломовой извозчик тащит красный, ничем не покрытый гроб бедняка и только одна какая-нибудь нищая, встретившись на перекрестке, плетется за ним, не имея другого дела.

Мы, кажется, оставили поручика Пирогова на том, как он расстался с бедным Пискаревым и устремился за блондинкою. Эта блондинка была легонькое, довольно интересное созданьице. Она останавливалась перед каждым магазином и заглядывалась на выставленные в окнах кушаки, косынки, серьги, перчатки и другие безделушки, беспрестанно вертелась, глазела во все стороны и оглядывалась назад. „Ты, голубушка, моя!“ говорил с самоуверенностию Пирогов, продолжая свое преследование и закутавши лицо свое воротником шинели, чтобы не встретить кого-нибудь из знакомых. Но не мешает известить читателей, кто таков был поручик Пирогов.

Но прежде нежели мы скажем, кто таков был поручик Пирогов, не мешает кое-что рассказать о том обществе, к которому принадлежал Пирогов. Есть офицеры, составляющие в Петербурге какой-то средний класс общества. На вечере, на обеде у статского советника, или у действительного статского, который выслужил этот чин сорокалетними трудами, вы всегда найдете одного из них. Несколько бледных, совершенно бесцветных, как Петербург, дочерей, из которых иные перезрели, чайный столик, фортепиан, домашние танцы — всё это бывает нераздельно с светлым эполетом, который блещет при лампе, между благонравной блондинкой и черным фраком братца или домашнего знакомого. Этих хладнокровных девиц чрезвычайно трудно расшевелить и заставить смеяться; для этого нужно большое искусство или лучше сказать совсем не иметь никакого искусства. Нужно говорить так, чтобы не было ни слишком умно, ни слишком смешно, чтобы во всем была та мелочь, которую любят женщины. В этом надобно отдать справедливость означенным господам. Они имеют особенный дар заставлять смеяться и слушать этих бесцветных красавиц. Восклицания, задушаемые смехом: „Ах, перестаньте! не стыдно ли вам так смешить!“ бывают им часто лучшею наградою. В высшем классе они попадаются очень редко или, лучше сказать, никогда. Оттуда они совершенно вытеснены тем, что называют в этом обществе аристократами; впрочем, они считаются учеными и воспитанными людьми. Они любят потолковать об литературе; хвалят Булгарина, Пушкина и Греча и говорят с презрением и остроумными колкостями об А. А. Орлове. Они не пропускают ни одной публичной лекции, будь она о бухгалтерии, или даже о лесоводстве. В театре, какая бы ни была пиеса, вы всегда найдете одного из них, выключая разве если уже играются какие-нибудь „Филатки“, которыми очень оскорбляется их разборчивый вкус. В театре они бессменно. Это самые выгодные люди для театральной дирекции. Они особенно любят в пиесе хорошие стихи, также очень любят громко вызывать актеров, многие из них, преподавая в казенных заведениях или приготовляя к казенным заведениям, заводятся, наконец, кабриолетом и парою лошадей. Тогда круг их становится обширнее: они достигают, наконец, до того, что женятся на купеческой дочери, умеющей играть на фортепиано, с сотнею тысяч, или около того, наличных и кучею брадатой родни. Однакож, этой чести они не прежде могут достигнуть, как выслуживши по крайней мере до полковничьего чина. Потому что русские бородки, несмотря на то что от них еще несколько отзывается капустою, никаким образом не хотят видеть дочерей своих ни за кем, кроме генералов или, по крайней мере, полковников. Таковы главные черты этого сорта молодых людей. Но поручик Пирогов имел множество талантов, собственно ему принадлежавших. Он превосходно декламировал стихи из „Димитрия Донского“ и „Горе от ума“, имел особенное искусство пускать из трубки дым кольцами так удачно, что вдруг мог нанизать их около десяти одно на другое. Умел очень приятно рассказать анекдот о том, что пушка сама по себе, а единорог сам по себе. Впрочем, оно несколько трудно перечесть все таланты, которыми судьба наградила Пирогова. Он любил поговорить об актрисе и танцовщице, но уже не так резко, как обыкновенно изъясняется об этом предмете молодой прапорщик. Он был очень доволен своим чином, в который был произведен недавно, и хотя иногда, ложась на диван, он говорил: „Ох, ох! Суета, всё суета! Что из этого, что я поручик?“ Но втайне его очень льстило это новое достоинство; он в разговоре часто старался намекнуть о нем обиняком, и один раз, когда попался ему на улице какой-то писарь, показавшийся ему невежливым, он немедленно остановил его, и в немногих, но резких словах дал заметить ему, что перед ним стоял поручик, а не другой какой офицер. Тем более старался он изложить это красноречивее, что тогда проходили мимо его две весьма недурные дамы. Пирогов вообще показывал страсть ко всему изящному и поощрял художника Пискарева; впрочем, это происходило, может быть, оттого, что ему весьма желалось видеть мужественную физиогномию свою на портрете. Но довольно о качествах Пирогова. Человек такое дивное существо, что никогда не можно исчислить вдруг всех его достоинств, и чем более в него всматриваешься, тем более является новых особенностей, и описание их было бы бесконечно. Итак, Пирогов не переставал преследовать незнакомку, от времени до времени занимая ее вопросами, на которые она отвечала резко, отрывисто и какими-то неясными звуками. Они вошли темными Казанскими воротами в Мещанскую улицу, улицу табачных и мелочных лавок, немцев-ремесленников и чухонских нимф. Блондинка бежала скорее и впорхнула в ворота одного довольно запачканного дома. Пирогов — за нею. Она взбежала по узенькой темной лестнице и вошла в дверь, в которую тоже смело пробрался Пирогов. Он увидел себя в большой комнате с черными стенами, с закопченным потолком. Куча железных винтов, слесарных инструментов, блестящих кофейников и подсвечников была на столе; пол был засорен медными и железными опилками. Пирогов тотчас смекнул, что это была квартира мастерового. Незнакомка порхнула далее в боковую дверь. Он было на минуту задумался, но, следуя русскому правилу, решился итти вперед. Он вошел в комнату, вовсе не похожую на первую, убранную очень опрятно, показывавшую, что хозяин был немец. Он был поражен необыкновенно странным видом.

Перед ним сидел Шиллер, не тот Шиллер, который написал „Вильгельма Теля“ и „Историю Тридцатилетней войны“, но известный Шиллер, жестяных дел мастер в Мещанской улице. Возле Шиллера стоял Гофман, не писатель Гофман, но довольно хороший сапожник с Офицерской улицы, большой приятель Шиллера. Шиллер был пьян и сидел на стуле, топая ногою и говоря что-то с жаром. Всё это еще бы не удивило Пирогова, но удивило его чрезвычайно странное положение фигур. Шиллер сидел, выставив свой довольно толстый нос и поднявши вверх голову; а Гофман держал его за этот нос двумя пальцами и вертел лезвием своего сапожнического ножа на самой его поверхности. Обе особы говорили на немецком языке и потому поручик Пирогов, который знал по-немецки только „гут морген“, ничего не мог понять из всей этой истории. Впрочем, слова Шиллера заключались вот в чем:

„Я не хочу, мне не нужен нос!“ говорил он размахивая руками… „У меня на один нос выходит три фунта табаку в месяц. И я плачу в русской скверный магазин, потому что немецкой магазин не держит русского табаку, я плачу в русской скверный магазин за каждый фунт по 40 копеек; это будет рубль двадцать копеек — это будет четырнадцать рублей сорок копеек. Слышишь, друг мой, Гофман? на один нос четырнадцать рублей сорок копеек. Да по праздникам я нюхаю рапе, потому что я не хочу нюхать по праздникам русской скверный табак. В год я нюхаю два фунта рапе, по два рубля фунт. Шесть да четырнадцать — двадцать рублей сорок копеек на один табак! Это разбой, я спрашиваю тебя, мой друг Гофман, не так ли?“ Гофман, который сам был пьян, отвечал утвердительно. „Двадцать рублей сорок копеек! Я швабский немец; у меня есть король в Германии. Я не хочу носа! Режь мне нос! Вот мой нос!“

И если бы не внезапное появление поручика Пирогова, то, без всякого сомнения, Гофман отрезал бы ни за что, ни про что Шиллеру нос, потому что он уже привел нож свой в такое положение, как бы хотел кроить подошву.

Шиллеру показалось очень досадно, что вдруг незнакомое, непрошенное лицо так некстати ему помешало. Он, несмотря на то, что был в упоительном чаду пива и вина, чувствовал, что несколько неприлично в таком виде и при таком действии находиться в присутствии постороннего свидетеля. Между тем Пирогов слегка наклонился и с свойственною ему приятностию сказал: „Вы извините меня“…

„Пошел вон!“ отвечал протяжно Шиллер.

Это озадачило поручика Пирогова. Такое обращение ему было совершенно ново. Улыбка, слегка было показавшаяся на его лице, вдруг пропала. С чувством огорченного достоинства он сказал: „Мне странно, милостивый государь… вы верно не заметили… я офицер…“

„Что такое офицер! Я — швабской немец. Мой сам“ (при этом Шиллер ударил кулаком по столу) „будет офицер: полтора года юнкер, два года поручик, и я завтра сейчас офицер. Но я не хочу служить. Я с офицером сделает этак: фу!“ при этом Шиллер подставил ладонь и фукнул на нее.

Поручик Пирогов увидел, что ему больше ничего не оставалось, как только удалиться; однакож такое обхождение, вовсе неприличное его званию, ему было неприятно. Он несколько раз останавливался на лестнице, как бы желая собраться с духом и подумать о том, каким бы образом дать почувствовать Шиллеру его дерзость. Наконец рассудил, что Шиллера можно извинить, потому что голова его была наполнена пивом; к тому же представилась ему хорошенькая блондинка, и он решился предать это забвению. На другой день поручик Пирогов рано по утру явился в мастерской жестяных дел мастера. В передней комнате встретила его хорошенькая блондинка и довольно суровым голосом, который очень шел к ее личику, спросила: что вам угодно?

„А, здравствуйте, моя миленькая! вы меня не узнали? плутовочка, какие хорошенькие глазки!“ При этом поручик Пирогов хотел очень мило поднять пальцем ее подбородок. Но блондинка произнесла пугливое восклицание и с тою же суровостию спросила: что вам угодно?

„Вас видеть, больше ничего мне не угодно“, произнес поручик Пирогов, довольно приятно улыбаясь и подступая ближе; но, заметив, что пугливая блондинка хотела проскользнуть в дверь, прибавил: „Мне нужно, моя миленькая, заказать шпоры. Вы можете мне сделать шпоры? хотя для того, чтобы любить вас, вовсе не нужно шпор, а скорее бы уздечку. Какие миленькие ручки!“ Поручик Пирогов всегда бывал очень любезен в изъяснениях подобного рода.

„Я сейчас позову моего мужа“, вскрикнула немка и ушла, и чрез несколько минут Пирогов увидел Шиллера, выходившего с заспанными глазами, едва очнувшегося от вчерашнего похмелья. Взглянувши на офицера, он припомнил как в смутном сне происшествие вчерашнего дня. Он ничего не помнил в таком виде, в каком было, но чувствовал, что сделал какую-то глупость, и потому принял офицера с очень суровым видом. „Я за шпоры не могу взять меньше пятнадцати рублей“, произнес он, желая отделаться от Пирогова; потому что ему, как честному немцу, очень совестно было смотреть на того, кто видел его в неприличном положении. Шиллер любил пить совершенно без свидетелей, с двумя, тремя приятелями, и запирался на это время даже от своих работников.

„Зачем же так дорого?“ ласково сказал Пирогов.

„Немецкая работа“, хладнокровно произнес Шиллер, поглаживая подбородок. „Русской возьмется сделать за два рубля“.

„Извольте, чтобы доказать, что я вас люблю и желаю с вами познакомиться, я плачу пятнадцать рублей“.

Шиллер минуту оставался в размышлении: ему, как честному немцу, сделалось немного совестно. Желая сам отклонить его от заказывания, он объявил, что раньше двух недель не может сделать. Но Пирогов без всякого прекословия изъявил совершенное согласие.

Немец задумался и стал размышлять о том, как бы лучше сделать свою работу, чтобы она, действительно, стоила пятнадцати рублей. В это время блондинка вошла в мастерскую и начала рыться на столе, уставленном кофейниками. Поручик воспользовался задумчивостию Шиллера, подступил к ней и пожал ручку, обнаженную до самого плеча. Это Шиллеру очень не понравилось.

„Мейн фрау![\*](#t_ps3724_2)“ закричал он.

„Вас волен зи дох?[\*](#t_ps3724_3)“ отвечала блондинка.

„Гензи на кухня![\*](#t_ps3724_4)“ Блондинка удалилась.

„Так через две недели?“ сказал Пирогов.

„Да, через две недели“, отвечал в размышлении Шиллер: „у меня теперь очень много работы“.

„До свидания! я к вам зайду“.

„До свидания“, отвечал Шиллер, запирая за ним дверь.

Поручик Пирогов решился не оставлять своих исканий, несмотря на то, что немка оказала явный отпор. Он не мог понять, чтобы можно было ему противиться; тем более, что любезность его и блестящий чин давали полное право на внимание. Надобно однакоже сказать и то, что жена Шиллера, при всей миловидности своей, была очень глупа. Впрочем глупость составляет особенную прелесть в хорошенькой жене. По крайней мере, я знал много мужей, которые в восторге от глупости своих жен и видят в ней все признаки младенческой невинности. Красота производит совершенные чудеса. Все душевные недостатки в красавице, вместо того чтобы произвести отвращение, становятся как-то необыкновенно привлекательны; самый порок дышет в них миловидностью; но исчезни она, — и женщине нужно быть в двадцать раз умнее мужчины, чтобы внушить к себе если не любовь, то, по крайней мере, уважение. Впрочем, жена Шиллера, при всей глупости, была всегда верна своей обязанности и потому Пирогову довольно трудно было успеть в смелом своем предприятии; но с победою препятствий всегда соединяется наслаждение, и блондинка становилась для него интереснее день ото дня. Он начал довольно часто осведомляться о шпорах, так что Шиллеру это наконец наскучило. Он употреблял все усилия, чтобы окончить скорее начатые шпоры; наконец, шпоры были готовы.

„Ах, какая отличная работа!“ закричал поручик Пирогов, увидевши шпоры. „Господи, как это хорошо сделано! У нашего генерала нет этаких шпор“.

Чувство самодовольствия распустилось по душе Шиллера. Глаза его начали глядеть довольно весело и он совершенно примирился с Пироговым. „Русской офицер, умный человек“, думал он сам про себя.

„Так вы, стало быть, можете сделать и оправу, например, к кинжалу или другим вещам?“

„О, очень могу“, сказал Шиллер с улыбкою.

„Так сделайте мне оправу к кинжалу. Я вам принесу; у меня очень хороший турецкой кинжал, но мне бы хотелось оправу к нему сделать другую“.

Шиллера это как бомбою хватило. Лоб его вдруг наморщился. Вот тебе на! подумал он про себя, внутренно ругая себя за то, что накликал сам работу. Отказаться он почитал уже бесчестным, притом же русской офицер похвалил его работу. — Он, несколько покачавши головою, изъявил свое согласие; но поцелуй, который, уходя, Пирогов влепил нахально в самые губки хорошенькой блондинки, поверг его в совершенное недоумение.

Я почитаю неизлишним познакомить читателя несколько покороче с Шиллером. Шиллер был совершенный немец в полном смысле всего этого слова. Еще с двадцатилетнего возраста, с того счастливого времени, в которое русской живет на фуфу, уже Шиллер размерил всю свою жизнь и никакого, ни в каком случае, не делал исключения. Он положил вставать в семь часов, обедать в два, быть точным во всем и быть пьяным каждое воскресенье. Он положил себе в течение 10 лет составить капитал из пятидесяти тысяч, и уже это было так верно и неотразимо, как судьба, потому что скорее чиновник позабудет заглянуть в швейцарскую своего начальника, нежели немец решится переменить свое слово. Ни в каком случае не увеличивал он своих издержек, и если цена на картофель слишком поднималась против обыкновенного, он не прибавлял ни одной копейки, но уменьшал только количество, и хотя оставался иногда несколько голодным, но однакоже привыкал к этому. Аккуратность его простиралась до того, что он положил целовать жену свою в сутки не более двух раз, а чтобы как-нибудь не поцеловать лишний раз, он никогда не клал перцу более одной ложечки в свой суп; впрочем в воскресный день это правило не так строго исполнялось, потому что Шиллер выпивал тогда две бутылки пива и одну бутылку тминной водки, которую однакоже он всегда бранил. Пил он вовсе не так, как англичанин, который тотчас после обеда запирает дверь на крючек и нарезывается один. Напротив, он, как немец, пил всегда вдохновенно, или с сапожником Гофманом, или с столяром Кунцом, тоже немцем и большим пьяницею. Таков был характер благородного Шиллера, который, наконец, был приведен в чрезвычайно затруднительное положение. Хотя он был флегматик и немец, однакож поступки Пирогова возбудили в нем что-то похожее на ревность. Он ломал голову и не мог придумать, каким образом ему избавиться от этого русского офицера. Между тем Пирогов, куря трубку в кругу своих товарищей, — потому что уже так провидение устроило, что где офицеры, там и трубки, — куря трубку в кругу своих товарищей, намекал значительно и с приятною улыбкою об интрижке с хорошенькою немкою, с которою, по словам его, он уже совершенно был накоротке и которую он, на самом деле, едва ли не терял уже надежды преклонить на свою сторону.

В один день прохаживался он по Мещанской, поглядывая на дом, на котором красовалась вывеска Шиллера с кофейниками и самоварами; к величайшей радости своей, увидел он головку блондинки, свесившуюся в окошко и разглядывавшую прохожих. Он остановился, сделал ей ручкою и сказал: гут морген! Блондинка поклонилась ему как знакомому.

„Что, ваш муж дома?“

„Дома“, отвечала блондинка.

„А когда он не бывает дома?“

„Он по воскресеньям не бывает дома“, сказала глупенькая блондинка.

„Это недурно“, подумал про себя Пирогов: „этим нужно воспользоваться.“ — И в следующее воскресенье, как снег на голову, явился пред блондинкою. Шиллера, действительно, не было дома. Хорошенькая хозяйка испугалась; но Пирогов поступил на этот раз довольно осторожно, обошелся очень почтительно и, раскланявшись, показал всю красоту своего гибкого перетянутого стана. Он очень приятно и учтиво шутил, но глупенькая немка отвечала на всё односложными словами. Наконец, заходивши со всех сторон и видя, что ничто не может занять ее, он предложил ей танцовать. Немка согласилась в одну минуту, потому что немки всегда охотницы до танцев. На этом Пирогов очень много основывал свою надежду: во-первых, это уже доставляло ей удовольствие, во-вторых, это могло показать его торнюру и ловкость, в-третьих, в танцах ближе всего можно сойтись, обнять хорошенькую немку и проложить начало всему; короче, он выводил из этого совершенный успех. Он начал какой-то гавот, зная, что немкам нужна постепенность. Хорошенькая немка выступила на средину комнаты и подняла прекрасную ножку. Это положение так восхитило Пирогова, что он бросился ее целовать. Немка начала кричать и этим еще более увеличила свою прелесть в глазах Пирогова; он ее засыпал поцелуями. Как вдруг дверь отворилась и вошел Шиллер с Гофманом и столяром Кунцом. Все эти достойные ремесленники были пьяны, как сапожники.

Но я предоставляю самим читателям судить о гневе и негодовании Шиллера.

„Грубиян!“ закричал он в величайшем негодовании: „как ты смеешь целовать мою жену? Ты подлец, а не русской офицер. Чорт побери, мой друг Гофман, я немец, а не русская свинья!“ Гофман отвечал утвердительно. „О, я не хочу иметь роги! бери его, мой друг Гофман, за воротник, я не хочу“, продолжал он, сильно размахивая руками, причем лицо его было похоже на красное сукно его жилета. „Я восемь лет живу в Петербурге, у меня в Швабии мать моя, и дядя мой в Нюренберге, я немец, а не рогатая говядина! прочь с него всё, мой друг Гофман! держи его за рука и нога, камарат мой Кунц!“ И немцы схватили за руки и ноги Пирогова.

Напрасно силился он отбиваться; эти три ремесленника были самый дюжий народ из всех петербургских немцев. Если бы Пирогов был в полной форме, то, вероятно, почтение к его чину и званию остановило бы буйных тевтонов. Но он прибыл совершенно как частный приватный человек в сюртучке и без эполетов. Немцы с величайшим неистовством сорвали с него всё платье. Гофман всей тяжестью своей сел ему на ноги, Кунц схватил за голову, а Шиллер схватил в руку пук прутьев, служивших метлою. Я должен с прискорбием признаться, что поручик Пирогов был очень больно высечен.

Я уверен, что Шиллер на другой день был в сильной лихорадке, что он дрожал, как лист, ожидая с минуты на минуту прихода полиции, что он бог знает чего бы не дал, чтобы всё происходившее вчера было во сне. Но что уже было, того нельзя переменить. Ничто не могло сравниться с гневом и негодованием Пирогова. Одна мысль об таком ужасном оскорблении приводила его в бешенство. Сибирь и плети он почитал самым малым наказанием для Шиллера. Он летел домой, чтобы, одевшись, оттуда итти прямо к генералу, описать ему самыми разительными красками буйство немецких ремесленников. Он разом хотел подать и письменную просьбу в Главный штаб. Если же Главный штаб определит недостаточное наказание, тогда прямо в Государственный совет, а не то самому государю.

Но всё это как-то странно кончилось: по дороге он зашел в кондитерскую, съел два слоеных пирожка, прочитал кое-что из „Северной Пчелы“ и вышел уже не в столь гневном положении. Притом довольно приятный прохладный вечер заставил его несколько пройтись по Невскому проспекту; к 9 часам он успокоился и нашел, что в воскресенье нехорошо беспокоить генерала, при том он, без сомнения, куда-нибудь отозван, и потому он отправился на вечер к одному правителю контрольной коллегии, где было очень приятное собрание чиновников и офицеров. Там с удовольствием провел вечер и так отличился в мазурке, что привел в восторг не только дам, но даже и кавалеров.

„Дивно устроен свет наш!“ думал я, идя третьего дня по Невскому проспекту и приводя на память эти два происшествия: „Как странно, как непостижимо играет нами судьба наша! Получаем ли мы когда-нибудь то, чего желаем? Достигаем ли мы того, к чему, кажется, нарочно приготовлены наши силы? Всё происходит наоборот. Тому судьба дала прекраснейших лошадей, и он равнодушно катается на них, вовсе не замечая их красоты, тогда как другой, которого сердце горит лошадиною страстью, идет пешком и довольствуется только тем, что пощелкивает языком, когда мимо его проводят рысака. Тот имеет отличного повара, но, к сожалению, такой маленький рот, что больше двух кусочков никак не может пропустить, другой имеет рот величиною в арку Главного штаба, но, увы, должен довольствоваться каким-нибудь немецким обедом из картофеля. Как странно играет нами судьба наша!“

Но страннее всего происшествия, случающиеся на Невском проспекте. О, не верьте этому Невскому проспекту! Я всегда закутываюсь покрепче плащем своим, когда иду по нем, и стараюсь вовсе не глядеть на встречающиеся предметы. Всё обман, всё мечта, всё не то, чем кажется! Вы думаете, что этот господин, который гуляет в отлично сшитом сюртучке, очень богат? — Ничуть не бывало: он весь состоит из своего сюртучка. Вы воображаете, что эти два толстяка, остановившиеся перед строящеюся церковью, судят об архитектуре ее? — Совсем нет: они говорят о том, как странно сели две вороны одна против другой. Вы думаете, что этот энтузиаст, размахивающий руками, говорит о том, как жена его бросила из окна шариком в незнакомого ему вовсе офицера? — Ничуть не бывало: он доказывает, в чем состояла главная ошибка Лафайета. Вы думаете, что эти дамы… но дамам меньше всего верьте. Менее заглядывайте в окна магазинов: безделушки, в них выставленные, прекрасны, но пахнут страшным количеством ассигнаций. Но боже вас сохрани заглядывать дамам под шляпки! Как ни развевайся вдали плащ красавицы, я ни за что не пойду за нею любопытствовать. Далее, ради бога, далее от фонаря! и скорее, сколько можно скорее, проходите мимо. Это счастие еще, если отделаетесь тем, что он зальет щегольской сюртук ваш вонючим своим маслом. Но и кроме фонаря всё дышет обманом. Он лжет во всякое время, этот Невский проспект, но более всего тогда, когда ночь сгущенною массою наляжет на него и отделит белые и палевые стены домов, когда весь город превратится в гром и блеск, мириады карет валятся с мостов, форейторы кричат и прыгают на лошадях и когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать всё не в настоящем виде.

Нос[\*](#t_ps3633_5)

Марта 25 числа случилось в Петербурге необыкновенно-странное происшествие. Цырюльник Иван Яковлевич, живущий на Вознесенском проспекте (фамилия его утрачена, и даже на вывеске его — где изображен господин с намыленною щекою и надписью: „и кровь отворяют“ — не выставлено ничего более), цырюльник Иван Яковлевич проснулся довольно рано и услышал запах горячего хлеба. Приподнявшись немного на кровати, он увидел, что супруга его, довольно почтенная дама, очень любившая пить кофий, вынимала из печи только что испеченные хлебы.

„Сегодня я, Прасковья Осиповна, не буду пить кофий“, — сказал Иван Яковлевич: — „а вместо того хочется мне съесть горячего хлебца с луком.“ (То-есть Иван Яковлевич хотел бы и того и другого, но знал, что было совершенно невозможно требовать двух вещей разом: ибо Прасковья Осиповна очень не любила таких прихотей.) Пусть дурак ест хлеб; мне же лучше“ — подумала про себя супруга: „останется кофию лишняя порция.“ И бросила один хлеб на стол.

Иван Яковлевич для приличия надел сверх рубашки фрак и, усевшись перед столом, насыпал соль, приготовил две головки луку, взял в руки нож и, сделавши значительную мину, принялся резать хлеб. — Разрезавши хлеб на две половины, он поглядел в середину и к удивлению своему увидел что-то белевшееся. Иван Яковлевич ковырнул осторожно ножом и пощупал пальцем: „Плотное?“ — сказал он сам про себя: „что бы это такое было?“

Он засунул пальцы и вытащил — нос*!..* Иван Яковлевич и руки опустил; стал протирать глаза и щупать: нос, точно нос! и еще, казалось, как будто чей-то знакомый. Ужас изобразился в лице Ивана Яковлевича. Но этот ужас был ничто против негодования, которое овладело его супругою.

„Где это ты, зверь, отрезал нос?“ закричала она с гневом. — „Мошенник! пьяница! Я сама на тебя донесу полиции. Разбойник какой! Вот уж я от трех человек слышала, что ты во время бритья так теребишь за носы, что еле держатся.“

Но Иван Яковлевич был ни жив, ни мертв. Он узнал, что этот нос был ни чей другой, как коллежского асессора Ковалева, которого он брил каждую середу и воскресенье.

„Стой, Прасковья Осиповна! Я положу его, завернувши в тряпку, в уголок: пусть там маленечко полежит; а после его вынесу.“

„И слушать не хочу! Чтобы я позволила у себя в комнате лежать отрезанному носу*?..* Сухарь поджаристый! Знай умеет только бритвой возить по ремню, а долга своего скоро совсем не в состоянии будет исполнять, потаскушка, негодяй! Чтобы я стала за тебя отвечать полиции*?..*

Ах ты пачкун, бревно глупое! Вон его! вон! неси куда хочешь! чтобы я духу его не слыхала!“

Иван Яковлевич стоял совершенно как убитый. Он думал, думал — и не знал, что подумать. „Чорт его знает, как это сделалось“, сказал он наконец, почесав рукою за ухом. „Пьян ли я вчера возвратился, или нет, уж наверное сказать не могу. А по всем приметам должно быть происшествие несбыточное: ибо хлеб — дело печеное, а нос совсем не то. Ничего не разберу*!..*“ Иван Яковлевич замолчал. Мысль о том, что полицейские отыщут у него нос и обвинят его, привела его в совершенное беспамятство. Уже ему мерещился алый воротник, красиво вышитый серебром, шпага… и он дрожал всем телом. Наконец, достал он свое исподнее платье и сапоги, натащил на себя всю эту дрянь и, сопровождаемый нелегкими увещаниями Прасковьи Осиповны, завернул нос в тряпку и вышел на улицу.

Он хотел его куда-нибудь подсунуть: или в тумбу под воротами, или так как-нибудь нечаянно выронить, да и повернуть в переулок. Но на беду ему попадался какой-нибудь знакомый человек, который начинал тотчас запросом: „куда идешь?“ или „кого так рано собрался брить?“ так что Иван Яковлевич никак не мог улучить минуты. В другой раз он уже совсем уронил его, но будошник еще издали указал ему алебардою, примолвив: „подыми! вон ты что-то уронил!“ И Иван Яковлевич должен был поднять нос и спрятать его в карман. Отчаяние овладело им, тем более что народ беспрестанно умножался на улице, по мере того как начали отпираться магазины и лавочки.

Он решился итти к Исакиевскому мосту: не удастся ли как-нибудь швырнуть его в Неву*?..* Но я несколько виноват, что до сих пор не сказал ничего об Иване Яковлевиче, человеке почтенном во многих отношениях.

Иван Яковлевич, как всякий порядочный русский мастеровой, был пьяница страшный. И хотя каждый день брил чужие подбородки, но его собственный был у него вечно не брит. Фрак у Ивана Яковлевича (Иван Яковлевич никогда не ходил в сюртуке) был пегий, то есть он был черный, но весь в коричнево-желтых и серых яблоках; воротник лоснился; а вместо трех пуговиц висели одни только ниточки. Иван Яковлевич был большой циник, и когда коллежский асессор Ковалев обыкновенно говорил ему во время бритья: „у тебя, Иван Яковлевич, вечно воняют руки!“, то Иван Яковлевич отвечал на это вопросом: „отчего ж бы им вонять?“ — „Не знаю, братец, только воняют“, говорил коллежский асессор, — и Иван Яковлевич, понюхавши табаку, мылил ему за это и на щеке, и под носом, и за ухом, и под бородою, одним словом, где только ему была охота.

Этот почтенный гражданин находился уже на Исакиевском мосту. Он прежде всего осмотрелся; потом нагнулся на перила будто бы посмотреть под мост: много ли рыбы бегает, и швырнул потихоньку тряпку с носом. Он почувствовал, как будто бы с него разом свалилось десять пуд: Иван Яковлевич даже усмехнулся. Вместо того, чтобы итти брить чиновничьи подбородки, он отправился в заведение с надписью: „Кушанье и чай“ спросить стакан пуншу, как вдруг заметил в конце моста квартального надзирателя благородной наружности, с широкими бакенбардами, в треугольной шляпе, со шпагою. Он обмер; а между тем квартальный кивал ему пальцем и говорил: „А подойди сюда, любезный!“

Иван Яковлевич, зная форму, снял издали еще картуз и, подошедши проворно, сказал: „Желаю здравия вашему благородию!“

„Нет, нет, братец, не благородию; скажи-ка, что ты там делал, стоя на мосту?“

„Ей богу, сударь, ходил брить, да посмотрел только, шибко ли река идет.“

„Врешь, врешь! Этим не отделаешься. Изволь-ка отвечать!“

„Я вашу милость два раза в неделю, или даже три, готов брить без всякого прекословия“, отвечал Иван Яковлевич.

„Нет, приятель, это пустяки! Меня три цырюльника бреют, да еще и за большую честь почитают. А вот изволь-ка рассказать, что ты там делал?“

Иван Яковлевич побледнел… Но здесь происшествие совершенно закрывается туманом, и что далее произошло, решительно ничего неизвестно.

Коллежский асессор Ковалев проснулся довольно рано и сделал губами: „брр…“, что всегда он делал, когда просыпался, хотя сам не мог растолковать, по какой причине. Ковалев потянулся, приказал себе подать небольшое, стоявшее на столе, зеркало. Он хотел взглянуть на прыщик, который вчерашнего вечера вскочил у него на носу; но к величайшему изумлению увидел, что у него вместо носа совершенно гладкое место! Испугавшись, Ковалев велел подать воды и протер полотенцем глаза: точно нет носа! Он начал щупать рукою, чтобы узнать: не спит ли он? кажется, не спит. Коллежский асессор Ковалев вскочил с кровати, встряхнулся: нет носа*!..* Он велел тотчас подать себе одеться и полетел прямо к обер-полицмейстеру.

Но между тем необходимо сказать что-нибудь о Ковалеве, чтобы читатель мог видеть, какого рода был этот коллежский асессор. Коллежских асессоров, которые получают это звание с помощию ученых аттестатов, никак нельзя сравнивать с теми коллежскими асессорами, которые делались на Кавказе. Это два совершенно особенные рода. Ученые коллежские асессоры… Но Россия такая чудная земля, что если скажешь об одном коллежском асессоре, то все коллежские асессоры, от Риги до Камчатки, непременно примут на свой счет. То же разумей и о всех званиях и чинах. — Ковалев был кавказский коллежский асессор. Он два года только еще состоял в этом звании и потому ни на минуту не мог его позабыть; а чтобы более придать себе благородства и веса, он никогда не называл себя коллежским асессором, но всегда маиором. „Послушай, голубушка“, — говорил он обыкновенно, встретивши на улице бабу, продававшую манишки: — „ты приходи ко мне на дом; квартира моя в Садовой; спроси только: здесь ли живет маиор Ковалев — тебе всякой покажет.“ Если же встречал какую-нибудь смазливенькую, то давал ей сверх того секретное приказание, прибавляя: „Ты спроси, душенька, квартиру маиора Ковалева.“ — Поэтому-то самому и мы будем вперед этого коллежского асессора называть маиором.

Маиор Ковалев имел обыкновение каждый день прохаживаться по Невскому проспекту. Воротничек его манишки был всегда чрезвычайно чист и накрахмален. Бакенбарды у него были такого рода, какие и теперь еще можно видеть у губернских, поветовых землемеров, у архитекторов и полковых докторов, также у отправляющих разные полицейские обязанности и, вообще, у всех тех мужей, которые имеют полные румяные щеки и очень хорошо играют в бостон: эти бакенбарды идут по самой средине щеки и прямехонько доходят до носа. Маиор Ковалев носил множество печаток сердоликовых и с гербами, и таких, на которых было вырезано: середа, четверг, понедельник и проч. Маиор Ковалев приехал в Петербург по надобности, а именно искать приличного своему званию места: если удастся, то вице-губернаторского, а не то — экзекуторского в каком-нибудь видном департаменте. Маиор Ковалев был не прочь и жениться; но только в таком случае, когда за невестою случится двести тысяч капиталу. И потому читатель теперь может судить сам: каково было положение этого маиора, когда он увидел, вместо довольно недурного и умеренного носа, преглупое, ровное и гладкое место.

Как на беду, ни один извозчик не показывался на улице, и он должен был итти пешком, закутавшись в свой плащ и закрывши платком лицо, показывая вид, как будто у него шла кровь. „Но авось-либо мне так представилось: не может быть, чтобы нос пропал сдуру“, подумал он и зашел в кондитерскую нарочно с тем, чтобы посмотреться в зеркало. К счастию, в кондитерской никого не было: мальчишки мели комнаты и расставляли стулья; некоторые с сонными глазами выносили на подносах горячие пирожки; на столах и стульях валялись залитые кофием вчерашние газеты. „Ну, слава богу, никого нет“ — произнес он: — „теперь можно поглядеть“. Он робко подошел к зеркалу и взглянул: „Чорт знает что, какая дрянь!“ произнес он, плюнувши… „Хотя бы уже что-нибудь было вместо носа, а то ничего!..“

С досадою закусив губы, вышел он из кондитерской и решился, против своего обыкновения, не глядеть ни на кого и никому не улыбаться. Вдруг он стал как вкопанный у дверей одного дома; в глазах его произошло явление неизъяснимое: перед подъездом остановилась карета; дверцы отворились; выпрыгнул, согнувшись, господин в мундире и побежал вверх по лестнице. Каков же был ужас и вместе изумление Ковалева, когда он узнал, что это был собственный его нос! При этом необыкновенном зрелище, казалось ему, всё переворотилось у него в глазах; он чувствовал, что едва мог стоять; но решился во что бы ни стало ожидать его возвращения в карету, весь дрожа как в лихорадке. Чрез две минуты нос действительно вышел. Он был в мундире, шитом золотом, с большим стоячим воротником; на нем были замшевые панталоны; при боку шпага. По шляпе с плюмажем можно было заключить, что он считался в ранге статского советника. По всему заметно было, что он ехал куда-нибудь с визитом. Он поглядел на обе стороны, закричал кучеру: „подавай!“, сел и уехал.

Бедный Ковалев чуть не сошел с ума. Он не знал, как и подумать о таком странном происшествии. Как же можно, в самом деле, чтобы нос, который еще вчера был у него на лице, не мог ездить и ходить, — был в мундире! Он побежал за каретою, которая, к счастию, проехала недалеко и остановилась перед Казанским собором.

Он поспешил в собор, пробрался сквозь ряд нищих старух с завязанными лицами и двумя отверстиями для глаз, над которыми он прежде так смеялся, и вошел в церковь. Молельщиков внутри церкви было немного; они все стояли только при входе в двери. Ковалев чувствовал себя в таком расстроенном состоянии, что никак не в силах был молиться, и искал глазами этого господина по всем углам. Наконец увидел его стоявшего в стороне. Нос спрятал совершенно лицо свое в большой стоячий воротник и с выражением величайшей набожности молился.

„Как подойти к нему?“ думал Ковалев. „По всему, по мундиру, по шляпе видно, что он статский советник. Чорт его знает, как это сделать!“

Он начал около него покашливать; но нос ни на минуту не оставлял набожного своего положения и отвешивал поклоны.

„Милостивый государь…“ — сказал Ковалев, внутренно принуждая себя ободриться: — „милостивый государь…“

„Что вам угодно?“ — отвечал нос, оборотившись.

„Мне странно, милостивый государь… мне кажется… вы должны знать свое место. И вдруг я вас нахожу и где же? — в церкви. Согласитесь…“

„Извините меня, я не могу взять в толк, о чем вы изволите говорить… Объяснитесь.“

„Как мне ему объяснить?“ подумал Ковалев и, собравшись с духом, начал: „Конечно я… впрочем я маиор. Мне ходить без носа, согласитесь, это неприлично. Какой-нибудь торговке, которая продает на Воскресенском мосту очищенные апельсины, можно сидеть без носа; но, имея в виду получить губернаторское место*….* притом будучи во многих домах знаком с дамами: Чехтарева, статская советница, и другие… Вы посудите сами… я не знаю, милостивый государь… (При этом маиор Ковалев пожал плечами)… Извините… если на это смотреть сообразно с правилами долга и чести… вы сами можете понять…“

„Ничего решительно не понимаю“, — отвечал нос. „Изъяснитесь удовлетворительнее.“

„Милостивый государь…“ — сказал Ковалев с чувством собственного достоинства: — „я не знаю, как понимать слова ваши… Здесь всё дело, кажется, совершенно очевидно… Или вы хотите… Ведь вы мой собственный нос!“

Нос посмотрел на маиора, и брови его несколько нахмурились.

— „Вы ошибаетесь, милостивый государь. Я сам по себе. Притом между нами не может быть никаких тесных отношений. Судя по пуговицам вашего виц-мундира, вы должны служить в сенате или, по крайней мере, по юстиции. Я же по ученой части.“ Сказавши это, нос отвернулся и продолжал молиться.

Ковалев совершенно смешался, не зная, что̀ делать и что̀ даже подумать. В это время послышался приятный шум дамского платья: подошла пожилая дама, вся убранная кружевами, и с нею тоненькая, в белом платье, очень мило рисовавшемся на ее стройной талии, в палевой шляпке легкой как пирожное. За ними остановился и открыл табакерку высокий гайдук с большими бакенбардами и целой дюжиной воротников.

Ковалев выступил поближе, высунул батистовый воротничек манишки, поправил висевшие на золотой цепочке свои печатки и, улыбаясь по сторонам, обратил внимание на легонькую даму, которая, как весенний цветочек, слегка наклонялась и подносила ко лбу свою беленькую ручку с полупрозрачными пальцами. Улыбка на лице Ковалева раздвинулась еще далее, когда он увидел из-под шляпки ее кругленький, яркой белизны подбородок и часть щеки, осененной цветом первой весенней розы. Но вдруг он отскочил, как будто бы обжёгшись. Он вспомнил, что у него вместо носа совершенно нет ничего, и слезы выдавились из глаз его. Он оборотился с тем, чтобы напрямик сказать господину в мундире, что он только прикинулся статским советником, что он плут и подлец и что он больше ничего, как только его собственный нос… Но носа уже не было: он успел ускакать, вероятно, опять к кому-нибудь с визитом.

Это повергло Ковалева в отчаяние. Он пошел назад и остановился с минуту под колоннадою, тщательно смотря во все стороны, не попадется ли где нос. Он очень хорошо помнил, что шляпа на нем была с плюмажем и мундир с золотым шитьем; но шинель не заметил, ни цвета его кареты, ни лошадей, ни даже того, был ли у него сзади какой-нибудь лакей и в какой ливрее. Притом карет неслось такое множество взад и вперед и с такою быстротою, что трудно было даже приметить; но если бы и приметил он какую-нибудь из них, то не имел бы никаких средств остановить. День был прекрасный и солнечный. На Невском народу была тьма; дам целый цветочный водопад сыпался по всему тротуару, начиная от Полицейского до Аничкина моста. Вон и знакомый ему надворный советник идет, которого он называл подполковником, особливо, ежели то случалось при посторонних. Вон и Ярыжкин, столоначальник в сенате, большой приятель, который вечно в бостоне обремизивался, когда играл восемь. Вон и другой маиор, получивший на Кавказе асессорство, махает рукой, чтобы шел к нему…

„А чорт возьми!“ — сказал Ковалев. „Эй, извозчик, вези прямо к обер-полицмейстеру!“

Ковалев сел в дрожки и только покрикивал извозчику: „валяй во всю ивановскую!“

„У себя обер-полицмейстер?“ вскричал он, зашедши в сени.

„Никак нет“, отвечал привратник: — „только что уехал.“

„Вот тебе раз!“

„Да“, — прибавил привратник — „оно и не так давно, но уехал. Минуточкой бы пришли раньше, то, может, застали бы дома.“

Ковалев, не отнимая платка от лица, сел на извозчика и закричал отчаянным голосом: „пошел!“

„Куда?“ сказал извозчик.

„Пошел прямо!“

„Как прямо? тут поворот: направо или налево?“

Этот вопрос остановил Ковалева и заставил его опять подумать. В его положении следовало ему прежде всего отнестись в Управу благочиния, не потому что оно имело прямое отношение к полиции, но потому, что ее распоряжения могли быть гораздо быстрее, чем в других местах; искать же удовлетворения по начальству того места, при котором нос объявил себя служащим, было бы безрассудно, потому что из собственных ответов носа уже можно было видеть, что для этого человека ничего не было священного, и он мог так же солгать и в этом случае, как солгал, уверяя, что он никогда не видался с ним. Итак, Ковалев уже хотел было приказать ехать в Управу благочиния, как опять пришла мысль ему, что этот плут и мошенник, который поступил уже при первой встрече таким бессовестным образом, мог опять удобно, пользуясь временем, как-нибудь улизнуть из города, — и тогда все искания будут тщетны, или могут продолжиться, чего боже сохрани, на целый месяц. Наконец, казалось, само небо вразумило его. Он решился отнестись прямо в газетную экспедицию и заблаговременно сделать публикацию с обстоятельным описанием всех качеств, дабы всякий, встретивший его, мог в ту же минуту его представить к нему или по крайней мере дать знать о месте пребывания. Итак он, решив на этом, велел извозчику ехать в газетную экспедицию, и во всю дорогу не переставал его тузить кулаком в спину, приговаривая: „скорей, подлец! скорей, мошенник!“ — „Эх, барин!“ говорил извозчик, потряхивая головой и стегая возжей свою лошадь, на которой шерсть была длинная как на болонке. Дрожки наконец остановились, и Ковалев, запыхавшись, вбежал в небольшую приемную комнату, где седой чиновник, в старом фраке и очках, сидел за столом и, взявши в зубы перо, считал принесенные медные деньги.

„Кто здесь принимает объявления?“ закричал Ковалев. „А, здравствуйте!“

„Мое почтение“, — сказал седой чиновник, поднявши на минуту глаза и опустивши их снова на разложенные кучи денег.

„Я желаю припечатать…“

„Позвольте. Прошу немножко повременить“, — произнес чиновник, ставя одною рукою цыфру на бумаге и передвигая пальцами левой руки два очка на счетах. Лакей с галунами и наружностию, показывавшею пребывание его в аристократическом доме, стоял возле стола с запискою в руках и почел приличным показать свою общежительность: „Поверите ли, сударь, что собачонка не сто̀ит восьми гривен, т. е. я не дал бы за нее и восьми грошей; а графиня любит, ей богу, любит, — и вот тому, кто ее отыщет, сто рублей! Если сказать по приличию, то вот так, как мы теперь с вами, вкусы людей совсем не совместны: уж когда охотник, то держи лягавую собаку или пуделя; не пожалей пятисот, тысячу дай, но зато уж чтоб была собака хорошая.“

Почтенный чиновник слушал это с значительною миною, и в то же время занимался сметою: сколько букв в принесенной записке. По сторонам стояло множество старух, купеческих сидельцев и дворников с записками. В одной значилось, что отпускается в услужение кучер трезвого поведения; в другой — малоподержанная коляска, вывезенная в 1814 году из Парижа; там отпускалась дворовая девка 19 лет, упражнявшаяся в прачешном деле, годная и для других работ; прочные дрожки без одной рессоры, молодая горячая лошадь в серых яблоках, семнадцати лет от роду, новые полученные из Лондона семена репы и редиса, дача со всеми угодьями: двумя стойлами для лошадей и местом, на котором можно развести превосходный березовый или еловый сад; там же находился вызов желающих купить старые подошвы, с приглашением явиться к переторжке каждый день от 8 до 3 часов утра. Комната, в которой местилось всё это общество, была маленькая, и воздух в ней был чрезвычайно густ; но коллежский асессор Ковалев не мог слышать запаха, потому что закрылся платком, и потому что самый нос его находился бог знает в каких местах.

„Милостивый государь, позвольте вас попросить… Мне очень нужно“, — сказал он наконец с нетерпением.

— „Сейчас, сейчас! Два рубля сорок три копейки! Сию минуту! Рубль шестьдесят четыре копейки!“ говорил седовласый господин, бросая старухам и дворникам записки в глаза. „Вам что угодно?“ наконец сказал он, обратившись к Ковалеву.

„Я прошу…“ сказал Ковалев: „случилось мошенничество, или плутовство, я до сих пор не могу никак узнать. Я прошу только припечатать, что тот, кто ко мне этого подлеца представит, получит достаточное вознаграждение.“

— „Позвольте узнать, как ваша фамилия?“

„Нет, зачем же фамилию? Мне нельзя сказать ее. У меня много знакомых: Чехтарева, статская советница, Палагея Григорьевна Подточина, штаб-офицерша… Вдруг узнают, боже сохрани! Вы можете просто написать: коллежский асессор, или, еще лучше, состоящий в маиорском чине.“

„А сбежавший был ваш дворовый человек?“

„Какое, дворовый человек? Это бы еще не такое большое мошенничество! Сбежал от меня… нос…“

„Гм! какая странная фамилия! И на большую сумму этот г. Носов обокрал вас?“

„Нос, то есть… вы не то думаете! Нос, мой собственный нос пропал неизвестно куда. Чорт хотел подшутить надо мною!“ „Да каким же образом пропал? Я что-то не могу хорошенько понять.“

„Да я не могу вам сказать, каким образом; но главное то, что он разъезжает теперь по городу и называет себя статским советником. И потому я вас прошу объявить, чтобы поймавший представил его немедленно ко мне в самом скорейшем времени. Вы посуди́те, в самом деле, как же мне быть без такой заметной части тела? это не то, что какой-нибудь мизинный палец на ноге, которую я в сапог — и никто не увидит, если его нет. Я бываю по четвергам у статской советницы Чехтаревой; Подточина Палагея Григорьевна, штаб-офицерша, и у ней дочка очень хорошенькая, тоже очень хорошие знакомые, и вы посудите сами, как же мне теперь… Мне теперь к ним нельзя явиться.“

Чиновник задумался, что означали крепко сжавшиеся губы.

— „Нет, я не могу поместить такого объявления в газетах“ — сказал он наконец после долгого молчания.

„Как? отчего?“

— „Так. Газета может потерять репутацию. Если всякий начнет писать, что у него сбежал нос, то… И так уже говорят, что печатается много несообразностей и ложных слухов.“

„Да чем же это дело несообразное? Тут, кажется, ничего нет такого.“

„Это вам так кажется, что нет. А вот, на прошлой неделе, такой же был случай. Пришел чиновник таким же образом, как вы теперь пришли, принес записку, денег по расчету пришлось 2 р. 73 к., и всё объявление состояло в том, что сбежал пудель черной шерсти. Кажется, что́ бы тут такое? А вышел пасквиль: пудель-то этот был казначей, не помню какого-то заведения.“

„Да ведь я вам не о пуделе делаю объявление, а о собственном моем носе: стало быть, почти то же, что о самом себе.“

„Нет, такого объявления я никак не могу поместить.“

„Да когда у меня точно пропал нос!“

„Если пропал, то это дело медика. Говорят, что есть такие люди, которые могут приставить какой угодно нос. Но впрочем я замечаю, что вы должны быть человек веселого нрава и любите в обществе пошутить.“

„Клянусь вам, вот как бог свят! Пожалуй, уж если до того дошло, то я покажу вам.“

„Зачем беспокоиться!“ продолжал чиновник, нюхая табак. „Впрочем, если не в беспокойство“, — прибавил он с движением любопытства: „то желательно бы взглянуть.“

Коллежский асессор отнял от лица платок.

— „В самом деле, чрезвычайно странно!“ — сказал чиновник: „место совершенно гладкое, как будто бы только что выпеченный блин. Да, до невероятности ровное!“

„Ну, вы теперь будете спорить? Вы видите сами, что нельзя не напечатать. Я вам буду особенно благодарен, и очень рад, что этот случай доставил мне удовольствие с вами познакомиться…“ Маиор, как видно из этого, решился на сей раз немного поподличать.

— „Напечатать-то, конечно, дело небольшое“, сказал чиновник: — „только я не предвижу в этом никакой для вас выгоды. Если уже хотите, то отдайте тому, кто имеет искусное перо, описать как редкое произведение натуры и напечатать эту статейку в "Северной Пчеле" (тут он понюхал еще раз табаку) для пользы юношества (тут он утер нос), или так, для общего любопытства.“

Коллежский асессор был совершенно обезнадежен. Он опустил глаза вниз газеты, где было извещение о спектаклях; уже лицо его было готово улыбнуться, встретив имя актрисы хорошенькой собою, и рука взялась за карман: есть ли при нем синяя ассигнация, потому что штаб-офицеры, по мнению Ковалева, должны сидеть в креслах, — но мысль о носе всё испортила!

Сам чиновник, казалось, был тронут затруднительным положением Ковалева. Желая сколько-нибудь облегчить его горесть, он почел приличным выразить участие свое в нескольких словах: „Мне, право, очень прискорбно, что с вами случился такой анекдот. Не угодно ли вам понюхать табачку? это разбивает головные боли и печальные расположения; даже в отношении к гемороидам это хорошо.“ Говоря это, чиновник поднес Ковалеву табакерку, довольно ловко подвернув под нее крышку с портретом какой-то дамы в шляпке.

Этот неумышленный поступок вывел из терпения Ковалева. „Я не понимаю, как вы находите место шуткам“, сказал он с сердцем: „разве вы не видите, что у меня именно нет того, чем бы я мог понюхать? Чтоб чорт побрал ваш табак! Я теперь не могу смотреть на него, и не только на скверный ваш березинский, но хоть бы вы поднесли мне самого рапе.“ Сказавши, он вышел, глубоко раздосадованный, из газетной экспедиции и отправился к частному приставу, чрезвычайному охотнику до сахару. На дому его вся передняя, она же и столовая, была установлена сахарными головами, которые нанесли к нему из дружбы купцы. Кухарка в это время скидала с частного пристава казенные ботфорты; шпага и все военные доспехи уже мирно развесились по углам и грозную трехугольную шляпу уже затрогивал трехлетний сынок его, и он, после боевой, бранной жизни, готовился вкусить удовольствия мира.

Ковалев вошел к нему в то время, когда он потянулся, крякнул и сказал: „Эх, славно засну два часика!“ И потому можно было предвидеть, что приход коллежского асессора был совершенно не во́-время. И не знаю, хотя бы он даже принес ему в то время несколько фунтов чаю или сукна, он бы не был принят слишком радушно. Частный был большой поощритель всех искусств и мануфактурностей; но государственную ассигнацию предпочитал всему. „Это вещь“, обыкновенно говорил он: „уж нет ничего лучше этой вещи: есть не просит, места займет немного, в кармане всегда поместится, уронишь — не расшибется.“

Частный принял довольно сухо Ковалева и сказал, что после обеда не то время, чтобы производить следствие, что сама натура назначила, чтобы, наевшись, немного отдохнуть (из этого коллежский асессор мог видеть, что частному приставу были не безызвестны изречения древних мудрецов), что у порядочного человека не оторвут носа и что много есть на свете всяких маиоров, которые не имеют даже и исподнего в приличном состоянии и таскаются по всяким непристойным местам.

То есть, не в бровь, а прямо в глаз! Нужно заметить, что Ковалев был чрезвычайно обидчивый человек. Он мог простить всё, что ни говорили о нем самом, но никак не извинял, если это относилось к чину или званию. Он даже полагал, что в театральных пьесах можно пропускать всё, что относится к обер-офицерам, но на штаб-офицеров никак не должно нападать. Прием частного так его сконфузил, что он тряхнул головою и сказал с чувством достоинства, немного расставив свои руки: „Признаюсь, после этаких обидных с вашей стороны замечаний, я ничего не могу прибавить…“ и вышел.

Он приехал домой, едва слыша под собою ноги. Были уже сумерки. Печальною или чрезвычайно гадкою показалась ему квартира после всех этих неудачных исканий. Взошедши в переднюю, увидел он на кожаном запачканном диване лакея своего Ивана, который, лежа на спине, плевал в потолок и попадал довольно удачно в одно и то же место. Такое равнодушие человека взбесило его; он ударил его шляпою по лбу, примолвив: „ты, свинья, всегда глупостями занимаешься!“

Иван вскочил вдруг с своего места и бросился со всех ног снимать с него плащ.

Вошедши в свою комнату, маиор, усталый и печальный, бросился в кресла, и наконец после нескольких вздохов сказал:

„Боже мой! боже мой! За что это такое несчастие? Будь я без руки или без ноги — всё бы это лучше; будь я без ушей — скверно, однакож всё сноснее; но без носа человек — чорт знает что: птица не птица, гражданин не гражданин; просто, возьми да и вышвырни за окошко! И пусть бы уже на войне отрубили или на дуэли, или я сам был причиною; но ведь пропал ни за что, ни про что, пропал даром, ни за грош*!..*Только нет, не может быть“, прибавил он, немного подумав. „Невероятно, чтобы нос пропал; никаким образом невероятно. Это, верно, или во сне снится, или просто грезится; может быть, я как-нибудь ошибкою выпил вместо воды водку, которою вытираю после бритья себе бороду. Иван дурак не принял, и я, верно, хватил ее.“ — Чтобы действительно увериться, что он не пьян, маиор ущипнул себя так больно, что сам вскрикнул. Эта боль совершенно уверила его, что он действует и живет наяву. Он потихоньку приблизился к зеркалу и сначала зажмурил глаза с тою мыслию, что авось-либо нос покажется на своем месте; но в ту же минуту отскочил назад, сказавши: „экой пасквильный вид!“

Это было, точно, непонятно. Если бы пропала пуговица, серебряная ложка, часы, или что-нибудь подобное; — но пропасть, и кому же пропасть? и притом еще на собственной квартире*!..* Маиор Ковалев, сообразя все обстоятельства, предполагал едва ли не ближе всего к истине, что виною этого должен быть не кто другой, как штаб-офицерша Подточина, которая желала, чтобы он женился на ее дочери. Он и сам любил за нею приволокнуться, но избегал окончательной разделки. Когда же штаб-офицерша объявила ему напрямик, что она хочет выдать ее за него, он потихоньку отчалил с своими комплиментами, сказавши, что еще молод, что нужно ему прослужить лет пяток, чтобы уже ровно было сорок два года. И потому штаб-офицерша, верно из мщения, решилась его испортить и наняла для этого каких-нибудь колдовок-баб, потому что никаким образом нельзя было предположить, чтобы нос был отрезан: никто не входил к нему в комнату; цырюльник же Иван Яковлевич брил его еще в среду, а в продолжение всей среды и даже во весь четверток нос у него был цел, — это он помнил и знал очень хорошо; притом была бы им чувствуема боль, и, без сомнения, рана не могла бы так скоро зажить и быть гладкою, как блин. Он строил в голове планы: звать ли штаб-офицершу формальным порядком в суд или явиться к ней самому и уличить ее. Размышления его прерваны были светом, блеснувшим сквозь все скважины дверей, который дал знать, что свеча в передней уже зажжена Иваном. Скоро показался и сам Иван, неся ее перед собою и озаряя ярко всю комнату. Первым движением Ковалева было схватить платок и закрыть то место, где вчера еще был нос, чтобы в самом деле глупый человек не зазевался, увидя у барина такую странность.

Не успел Иван уйти в конуру свою, как послышался в передней незнакомый голос, произнесший: „Здесь ли живет коллежский асессор Ковалев?“

— „Войдите. Маиор Ковалев здесь“, — сказал Ковалев, вскочивши поспешно и отворяя дверь.

Вошел полицейский чиновник красивой наружности, с бакенбардами не слишком светлыми и не темными, с довольно полными щеками, тот самый, который в начале повести стоял в конце Исакиевского моста.

„Вы изволили затерять нос свой?“

„Так точно.“

„Он теперь найден.“

„Что вы говорите?“ закричал маиор Ковалев. Радость отняла у него язык. Он глядел в оба на стоявшего перед ним квартального, на полных губах и щеках которого ярко мелькал трепетный свет свечи. „Каким образом?“

„Странным случаем: его перехватили почти на дороге. Он уже садился в дилижанс и хотел уехать в Ригу. И пашпорт давно был написан на имя одного чиновника. И странно то, что я сам принял его сначала за господина. Но к счастию были со мной очки, и я тот же час увидел, что это был нос. Ведь я близорук, и если вы станете передо мною, то я вижу только, что у вас лицо, но ни носа, ни бороды, ничего не замечу. Моя теща, то есть мать жены моей, тоже ничего не видит.“

Ковалев был вне себя. „Где же он? Где? Я сейчас побегу.“

„Не беспокойтесь. Я, зная, что он вам нужен, принес его с собою. И странно то, что главный участник в этом деле есть мошенник цырюльник на Вознесенской улице, который сидит теперь на съезжей. Я давно подозревал его в пьянстве и воровстве, и еще третьего дня стащил он в одной лавочке бортище пуговиц. Нос ваш совершенно таков, как был.“ — При этом квартальный полез в карман и вытащил оттуда завернутый в бумажке нос.

„Так, он!“ закричал Ковалев: „точно он! Откушайте сегодня со мною чашечку чаю.“

„Почел бы за большую приятность, но никак не могу: мне нужно заехать отсюда в смирительный дом… Очень большая поднялась дороговизна на все припасы… У меня в доме живет и теща, то есть мать моей жены, и дети; старший особенно подает большие надежды: очень умный мальчишка, но средств для воспитания совершенно нет никаких.“

Ковалев догадался и, схватив со стола красную ассигнацию, сунул в руки надзирателю, который, расшаркавшись, вышел за дверь, и в ту же почти минуту Ковалев слышал уже голос его на улице, где он увещевал по зубам одного глупого мужика, наехавшего со своею телегою как раз на бульвар.

Коллежский асессор, по уходе квартального, несколько минут оставался в каком-то неопределенном состоянии и едва через несколько минут пришел в возможность видеть и чувствовать: в такое беспамятство повергла его неожиданная радость. Он взял бережливо найденный нос в обе руки, сложенные горстью, и еще раз рассмотрел его внимательно.

„Так, он, точно он!“ говорил маиор Ковалев. „Вот и прыщик на левой стороне, вскочивший вчерашнего дня.“ Маиор чуть не засмеялся от радости.

Но на свете нет ничего долговременного, а потому и радость в следующую минуту за первою уже не так жива; в третью минуту она становится еще слабее и наконец, незаметно сливается с обыкновенным положением души, как на воде круг, рожденный падением камешка, наконец сливается с гладкою поверхностью. Ковалев начал размышлять и смекнул, что дело еще не кончено: нос найден, но ведь нужно же его приставить, поместить на свое место.

„А что̀, если он не пристанет?“

При таком вопросе, сделанном самому себе, маиор побледнел.

С чувством неизъяснимого страха бросился он к столу, придвинул зеркало, чтобы как-нибудь не поставить нос криво. Руки его дрожали. Осторожно и осмотрительно наложил он его на прежнее место. О, ужас! Нос не приклеивался*!..*

Он поднес его ко рту, нагрел его слегка своим дыханием и опять поднес к гладкому месту, находившемуся между двух щек; но нос никаким образом не держался.

„Ну! ну же! полезай, дурак!“ говорил он ему. Но нос был как деревянный и падал на стол с таким странным звуком, как будто бы пробка. Лицо маиора судорожно скривилось. „Неужели он не прирастет?“ говорил он в испуге. Но сколько раз ни подносил он его на его же собственное место, старание было попрежнему неуспешно.

Он кликнул Ивана и послал его за доктором, который занимал в том же самом доме лучшую квартиру в бельэтаже. Доктор этот был видный из себя мужчина, имел прекрасные смолистые бакенбарды, свежую, здоровую докторшу, ел поутру свежие яблоки и держал рот в необыкновенной чистоте, полоща его каждое утро почти три четверти часа и шлифуя зубы пятью разных родов щеточками. Доктор явился в ту же минуту. Спросивши, как давно случилось несчастие, он поднял маиора Ковалева за подбородок и дал ему большим пальцем щелчка в то самое место, где прежде был нос, так что маиор должен был откинуть свою голову назад с такою силою, что ударился затылком в стену. Медик сказал, что это ничего, и, посоветовавши отодвинуться немного от стены, велел ему перегнуть голову сначала на правую сторону и, пощупавши то место, где прежде был нос, сказал: „Гм!“ Потом велел ему перегнуть голову на левую сторону и сказал: „Гм!“ и в заключение дал опять ему большим пальцем щелчка, так что маиор Ковалев дернул головою как конь, которому смотрят в зубы. Сделавши такую пробу, медик покачал головою и сказал: „Нет, нельзя. Вы уж лучше так оставайтесь, потому что можно сделать еще хуже. Оно конечно, приставить можно; я бы, пожалуй, вам сейчас приставил его; но я вас уверяю, что это для вас хуже.“

„Вот хорошо! как же мне оставаться без носа?“ сказал Ковалев. „Уж хуже не может быть, как теперь. Это просто чорт знает что! Куда же я с этакою пасквильностию покажуся? Я имею хорошее знакомство: вот и сегодня мне нужно быть на вечере в двух домах. Я со многими знаком: статская советница Чехтарева, Подточина штаб-офицерша… хоть после теперешнего поступка ее я не имею с ней другого дела, как только чрез полицию. Сделайте милость“, произнес Ковалев умоляющим голосом: „нет ли средства? как-нибудь приставьте; хоть не хорошо, лишь бы только держался; я даже могу его слегка подпирать рукою в опасных случаях. Я же притом и не танцую, чтобы мог вредить каким-нибудь неосторожным движением. Всё, что относится на счет благодарности за визиты, уж будьте уверены, сколько дозволят мои средства…“

„Верите ли“, сказал доктор ни громким, ни тихим голосом, но чрезвычайно уветливым и магнетическим: „что я никогда из корысти не лечу. Это противно моим правилам и моему искусству. Правда, я беру за визиты, но единственно с тем только, чтобы не обидеть моим отказом. Конечно, я бы приставил ваш нос: но я вас уверяю честью, если уже вы не верите моему слову, что это будет гораздо хуже. Предоставьте лучше действию самой натуры. Мойте чаще холодною водою, и я вас уверяю, что вы, не имея носа, будете так же здоровы, как если бы имели его. А нос я вам советую положить в банку со спиртом или еще лучше влить туда две столовые ложки острой водки и подогретого уксуса, — и тогда вы можете взять за него порядочные деньги. Я даже сам возьму его, если вы только не подорожитесь.“

„Нет, нет! ни за что не продам!“ вскричал отчаянный маиор Ковалев: „лучше пусть он пропадет!“

„Извините!“ сказал доктор, откланиваясь, „я хотел быть вам полезным… Что ж делать! По крайней мере, вы видели мое старание.“ Сказавши это, доктор с благородною осанкою вышел из комнаты. Ковалев не заметил даже лица его и в глубокой бесчувственности видел только выглядывавшие из рукавов его черного фрака рукавчики белой и чистой как снег рубашки.

Он решился на другой же день, прежде представления жалобы, писать к штаб-офицерше, не согласится ли она без бою возвратить ему то, что следует. Письмо было такого содержания:

Милостивая государыня, Александра Григорьевна!

Не могу понять странного со стороны вашей действия. Будьте уверены, что, поступая таким образом, ничего вы не выиграете и ничуть не принудите меня жениться на вашей дочери. Поверьте, что история насчет моего носа мне совершенно известна, равно как то, что в этом вы есть главные участницы, а не кто другой. Внезапное его отделение с своего места, побег и маскирование, то под видом одного чиновника, то наконец в собственном виде, есть больше ничего, кроме следствие волхвований, произведенных вами или теми, которые упражняются в подобных вам благородных занятиях. Я с своей стороны почитаю долгом вас предуведомить, если упоминаемый мною нос не будет сегодня же на своем месте, то я принужден буду прибегнуть к защите и покровительству законов.

Впрочем, с совершенным почтением к вам, имею честь быть Ваш покорный слуга

*Платон Ковалев.*

Милостивая государыня, Александра Григорьевна!

Не могу понять странного со стороны вашей действия. Будьте уверены, что, поступая таким образом, ничего вы не выиграете и ничуть не принудите меня жениться на вашей дочери. Поверьте, что история насчет моего носа мне совершенно известна, равно как то, что в этом вы есть главные участницы, а не кто другой. Внезапное его отделение с своего места, побег и маскирование, то под видом одного чиновника, то наконец в собственном виде, есть больше ничего, кроме следствие волхвований, произведенных вами или теми, которые упражняются в подобных вам благородных занятиях. Я с своей стороны почитаю долгом вас предуведомить, если упоминаемый мною нос не будет сегодня же на своем месте, то я принужден буду прибегнуть к защите и покровительству законов.

Впрочем, с совершенным почтением к вам, имею честь быть Ваш покорный слуга

*Платон Ковалев.*

Милостивый государь, Платон Кузьмич!

Чрезвычайно удивило меня письмо ваше. Я, признаюсь вам по откровенности, никак не ожидала, а тем более относительно несправедливых укоризн со стороны вашей. Предуведомляю вас, что я чиновника, о котором упоминаете вы, никогда не принимала у себя в доме, ни замаскированного, ни в настоящем виде. Бывал у меня, правда, Филипп Иванович Потанчиков. И хотя он, точно, искал руки моей дочери, будучи сам хорошего, трезвого поведения и великой учености; но я никогда не подавала ему никакой надежды. Вы упоминаете еще о носе. Если вы разумеете под сим, что будто бы я хотела оставить вас с носом, то есть дать вам формальный отказ: то меня удивляет, что вы сами об этом говорите, тогда как я, сколько вам известно, была совершенно противного мнения, и если вы теперь же посватаетесь на моей дочери законным образом, я готова сей же час удовлетворить вас, ибо это составляло всегда предмет моего живейшего желания, в надежде чего остаюсь всегда готовою к услугам вашим

*Александра Подточина.*

Милостивый государь, Платон Кузьмич!

Чрезвычайно удивило меня письмо ваше. Я, признаюсь вам по откровенности, никак не ожидала, а тем более относительно несправедливых укоризн со стороны вашей. Предуведомляю вас, что я чиновника, о котором упоминаете вы, никогда не принимала у себя в доме, ни замаскированного, ни в настоящем виде. Бывал у меня, правда, Филипп Иванович Потанчиков. И хотя он, точно, искал руки моей дочери, будучи сам хорошего, трезвого поведения и великой учености; но я никогда не подавала ему никакой надежды. Вы упоминаете еще о носе. Если вы разумеете под сим, что будто бы я хотела оставить вас с носом, то есть дать вам формальный отказ: то меня удивляет, что вы сами об этом говорите, тогда как я, сколько вам известно, была совершенно противного мнения, и если вы теперь же посватаетесь на моей дочери законным образом, я готова сей же час удовлетворить вас, ибо это составляло всегда предмет моего живейшего желания, в надежде чего остаюсь всегда готовою к услугам вашим

*Александра Подточина.*

„Нет“, говорил Ковалев, прочитавши письмо. „Она точно не виновата. Не может быть! Письмо так написано, как не может написать человек, виноватый в преступлении.“ Коллежский асессор был в этом сведущ потому, что был посылан несколько раз на следствие еще в Кавказской области. „Каким же образом, какими судьбами это приключилось? Только чорт разберет это!“ сказал он наконец, опустив руки.

Между тем слухи об этом необыкновенном происшествии распространились по всей столице и, как водится, не без особенных прибавлений. Тогда умы всех именно настроены были к чрезвычайному: недавно только что занимали весь город опыты действия магнетизма. Притом история о танцующих стульях в Конюшенной улице была еще свежа, и потому нечего удивляться, что скоро начали говорить, будто нос коллежского асессора Ковалева ровно в 3 часа прогуливается по Невскому проспекту. Любопытных стекалось каждый день множество. Сказал кто-то, что нос будто бы находился в магазине Юнкера: и возле Юнкера такая сделалась толпа и давка, что должна была даже полиция вступиться. Один спекулатор почтенной наружности, с бакенбардами, продававший при входе в театр разные сухие кондитерские пирожки, нарочно поделал прекрасные деревянные, прочные скамьи, на которые приглашал любопытных становиться за 80 копеек от каждого посетителя. Один заслуженный полковник нарочно для этого вышел раньше из дому и с большим трудом пробрался сквозь толпу; но, к большому негодованию своему, увидел в окне магазина вместо носа обыкновенную шерстяную фуфайку и литографированную картинку с изображением девушки, поправлявшей чулок, и глядевшего на нее из-за дерева франта с откидным жилетом и небольшою бородкою, — картинку, уже более десяти лет висящую всё на одном месте. Отошед, он сказал с досадою: „как можно этакими глупыми и неправдоподобными слухами смущать народ?“ — Потом пронесся слух, что не на Невском проспекте, а в Таврическом саду прогуливается нос маиора Ковалева, что будто бы он давно уже там; что когда еще проживал там Хосрев-Мирза, то очень удивлялся этой странной игре природы. Некоторые из студентов Хирургической академии отправились туда. Одна знатная, почтенная дама просила особенным письмом смотрителя за садом показать детям ее этот редкий феномен и, если можно, с объяснением наставительным и назидательным для юношей.

Всем этим происшествиям были чрезвычайно рады все светские, необходимые посетители раутов, любившие смешить дам, у которых запас в то время совершенно истощился. Небольшая часть почтенных и благонамеренных людей была чрезвычайно недовольна. Один господин говорил с негодованием, что он не понимает, как в нынешний просвещенный век могут распространяться нелепые выдумки, и что он удивляется, как не обратит на это внимание правительство. Господин этот, как видно, принадлежал к числу тех господ, которые желали бы впутать правительство во всё, даже в свои ежедневные ссоры с женою. Вслед за этим… но здесь вновь всё происшествие скрывается туманом, и что было потом, решительно неизвестно.

Чепуха совершенная делается на свете. Иногда вовсе нет никакого правдоподобия: вдруг тот самый нос, который разъезжал в чине статского советника и наделал столько шуму в городе, очутился как ни в чем не бывало вновь на своем месте, то есть именно между двух щек маиора Ковалева. Это случилось уже апреля 7 числа. Проснувшись и нечаянно взглянув в зеркало, видит он: нос! хвать рукою — точно нос! „Эге!“ сказал Ковалев, и в радости чуть не дернул по всей комнате босиком тропака, но вошедший Иван помешал. Он приказал тот же час дать себе умыться и, умываясь, взглянул еще раз в зеркало: нос. Вытираясь утиральником, он опять взглянул в зеркало: нос!

„А посмотри, Иван, кажется, у меня на носу, как будто прыщик“, сказал он и между тем думал: „вот беда, как Иван скажет: да нет, судырь, не только прыщика, и самого носа нет!“

Но Иван сказал: „ничего-с, никакого прыщика: нос чистый!“

„Хорошо, чорт побери!“ сказал сам себе маиор и щелкнул пальцами. В это время выглянул в дверь цырюльник Иван Яковлевич; но так боязливо, как кошка, которую только-что высекли за кражу сала.

„Говори вперед: чисты руки?“ кричал еще издали ему Ковалев.

„Чисты.“

„Врешь!“

„Ей богу-с чисты, судырь.“

„Ну, смотри же.“

Ковалев сел. Иван Яковлевич закрыл его салфеткою и в одно мгновенье, с помощью кисточки, превратил всю бороду его и часть щеки в крем, какой подают на купеческих именинах. „Вишь ты!“ сказал сам себе Иван Яковлевич, взглянувши на нос, и потом перегнул голову на другую сторону и посмотрел на него сбоку: „Вона! эк его право как подумаешь“, продолжал он и долго смотрел на нос. Наконец, легонько, с бережливостью, какую только можно себе вообразить, он приподнял два пальца с тем, чтобы поймать его за кончик. Такова уж была система Ивана Яковлевича.

„Ну, ну, ну, смотри!“ закричал Ковалев. Иван Яковлевич и руки опустил, оторопел и смутился, как никогда не смущался. Наконец осторожно стал он щекотать бритвой у него под бородою, и хотя ему было совсем не сподручно и трудно брить без придержки за нюхательную часть тела, однако же, кое-как упираясь своим шероховатым большим пальцем ему в щеку и в нижнюю десну, наконец одолел все препятствия и выбрил.

Когда всё было готово, Ковалев поспешил тот же час одеться, взял извозчика и поехал прямо в кондитерскую. Входя, закричал он еще издали: „мальчик, чашку шоколаду!“, а сам в ту же минуту к зеркалу: есть нос. Он весело оборотился назад и с сатирическим видом посмотрел, несколько прищуря глаз, на двух военных, у одного из которых был нос никак не больше жилетной пуговицы. После того отправился он в канцелярию того департамента, где хлопотал об вице-губернаторском месте, а в случае неудачи об экзекуторском. Проходя чрез приемную, он взглянул в зеркало: есть нос. Потом поехал он к другому коллежскому асессору или маиору, большому насмешнику, которому он часто говорил в ответ на разные занозистые заметки: „ну, уж ты, я тебя знаю, ты шпилька!“ Дорогою он подумал: „если и маиор не треснет со смеху, увидевши меня, тогда уж верный знак, что всё, что ни есть, сидит на своем месте.“ Но коллежский асессор ничего. „Хорошо, хорошо, чорт побери!“ подумал про себя Ковалев. На дороге встретил он штаб-офицершу Подточину вместе с дочерью, раскланялся с ними и был встречен с радостными восклицаньями, стало быть ничего, в нем нет никакого ущерба. Он разговаривал с ними очень долго, и нарочно вынувши табакерку, набивал пред ними весьма долго свой нос с обоих подъездов, приговаривая про себя: „вот, мол, вам, бабьё, куриный народ! а на дочке всё-таки не женюсь. Так просто, par amour — изволь!“ И маиор Ковалев с тех пор прогуливался, как ни в чем не бывало, и на Невском проспекте, и в театрах, и везде. И нос тоже, как ни в чем не бывало, сидел на его лице, не показывая даже вида, чтобы отлучался по сторонам. И после того маиора Ковалева видели вечно в хорошем юморе, улыбающегося, преследующего решительно всех хорошеньких дам и даже остановившегося один раз перед лавочкой в Гостином дворе и покупавшего какую-то орденскую ленточку, неизвестно для каких причин, потому что он сам не был кавалером никакого ордена.

Вот какая история случилась в северной столице нашего обширного государства! Теперь только по соображении всего видим, что в ней есть много неправдоподобного. Не говоря уже о том, что точно странно сверхъестественное отделение носа и появленье его в разных местах в виде статского советника, — как Ковалев не смекнул, что нельзя чрез газетную экспедицию объявлять о носе? Я здесь не в том смысле говорю, чтобы мне казалось дорого заплатить за объявление: это вздор, и я совсем не из числа корыстолюбивых людей. Но неприлично, неловко, нехорошо! И опять тоже — как нос очутился в печеном хлебе, и как сам Иван Яковлевич*?..* нет, этого я никак не понимаю, решительно не понимаю! Но что́ страннее, что́ непонятнее всего, это то, как авторы могут брать подобные сюжеты. Признаюсь, это уж совсем непостижимо, это точно… нет, нет, совсем не понимаю. Во-первых, пользы отечеству решительно никакой; во-вторых… но и во-вторых тоже нет пользы. Просто я не знаю, что̀ это…

А однако же, при всем том, хотя, конечно, можно допустить и то, и другое, и третье, может даже… ну да и где ж не бывает несообразностей? — А всё однакоже, как поразмыслишь, во всем этом, право, есть что-то. Кто что̀ ни говори, а подобные происшествия бывают на свете; редко, но бывают.

Портрет[\*](#t_ps3633_6)

Нигде не останавливалось столько народа, как перед картинною лавочкою на Щукином дворе. Эта лавочка представляла, точно, самое разнородное собрание диковинок: картины большею частью были писаны масляными красками, покрыты темнозеленым лаком, в темножелтых мишурных рамах. Зима с белыми деревьями, совершенно красный вечер, похожий на зарево пожара, фламандский мужик с трубкою и выломанною рукою, похожий более на индейского петуха в манжетах, нежели на человека — вот их обыкновенные сюжеты. К этому нужно присовокупить несколько гравированных изображений: портрет Хозрева-Мирзы в бараньей шапке, портреты каких-то генералов в треугольных шляпах, с кривыми носами. Сверх того, двери такой лавочки обыкновенно бывают увешаны связками произведений, отпечатанных лубками на больших листах, которые свидетельствуют самородное дарованье русского человека. На одном была царевна Миликтриса Кирбитьевна, на другом город Иерусалим, по домам и церквам которого без церемонии прокатилась красная краска, захватившая часть земли и двух молящихся русских мужиков в рукавицах. Покупателей этих произведений обыкновенно немного, но зато зрителей-куча. Какой-нибудь забулдыга-лакей уже, верно, зевает перед ними, держа в руке судки с обедом из трактира для своего барина, который, без сомнения, будет хлебать суп не слишком горячий. Перед ним уже, верно, стоит в шинели солдат, этот кавалер толкучего рынка, продающий два перочинные ножика; торговка-охтенка с коробкою, наполненною башмаками. Всякой восхищается по-своему: мужики обыкновенно тыкают пальцами; кавалеры рассматривают серьёзно; лакеи-мальчики и мальчишки-мастеровые смеются и дразнят друг друга нарисованными карикатурами; старые лакеи во фризовых шинелях смотрят потому только, чтобы где-нибудь позевать; а торговки, молодые русские бабы, спешат по инстинкту, чтобы послушать, о чем калякает народ, и посмотреть, на что он смотрит. В это время невольно остановился перед лавкою проходивший мимо молодой художник Чартков. Старая шинель и нещегольское платье показывали в нем того человека, который с самоотвержением предан был своему труду и не имел времени заботиться о своем наряде, всегда имеющем таинственную привлекательность для молодости. Он остановился перед лавкою и сперва внутренно смеялся над этими уродливыми картинами. Наконец, овладело им невольное размышление: он стал думать о том, кому бы нужны были эти произведения. Что русской народ заглядывается на *Ерусланов Лазаревичей*, на *объедал и обпивал*, на *Фому и Ерему*, это не казалось ему удивительным: изображенные предметы были очень доступны и понятны народу; но где покупатели этих пестрых, грязных, масляных малеваний? кому нужны эти фламандские мужики, эти красные и голубые пейзажи, которые показывают какое-то притязание на несколько уже высший шаг искусства, но в котором выразилось всё глубокое его унижение? Это, казалось, не были вовсе труды ребенка-самоучки. Иначе в них бы, при всей бесчувственной карикатурности целого, вырывался острый порыв. Но здесь было видно просто тупоумие, бессильная, дряхлая бездарность, которая самоуправно стала в ряды искусств, тогда как ей место было среди низких ремесл, бездарность, которая была верна однакож своему призванию и внесла в самое искусство свое ремесло. Те же краски, та же манера, та же набившаяся, приобыкшая рука, принадлежавшая скорее грубо сделанному автомату, нежели человеку*!..* Долго стоял он пред этими грязными картинами, уже наконец не думая вовсе о них, а между тем хозяин лавки, серенький человечек, во фризовой шинели, с бородой небритой с самого воскресенья, толковал ему уже давно, торговался и условливался в цене, еще не узнав, что ему понравилось и что нужно. „Вот за этих мужичков и за ландшафтик возьму беленькую. Живопись-то какая! просто глаз прошибет; только-что получены с биржи; еще лак не высох. Или вот зима, возьмите зиму! Пятнадцать рублей! Одна рамка чего стоит. Вон она какая зима!“ Тут купец дал легкого щелчка в полотно, вероятно, чтобы показать всю доброту зимы. „Прикажете связать их вместе и снести за вами? Где изволите жить? Эй, малый, подай веревочку“. — Постой, брат, не так скоро — сказал очнувшийся художник, видя, что уж проворный купец принялся не в шутку их связывать вместе. Ему сделалось несколько совестно не взять ничего, застоявшись так долго в лавке, и он сказал: „А вот постой, я посмотрю, нет ли для меня чего-нибудь здесь“ и, наклонившись, стал доставать с полу наваленные громоздко, истертые, запыленные старые малеванья, непользовавшиеся, как видно, никаким почетом. Тут были старинные фамильные портреты, которых потомков, может быть, и на свете нельзя было отыскать, совершенно неизвестные изображения с прорванным холстом, рамки, лишенные позолоты, словом, всякой ветхой сор. Но художник принялся рассматривать, думая втайне: „авось что-нибудь и отыщется.“ Он слышал не раз рассказы о том, как иногда у лубочных продавцев были отыскиваемы в сору картины великих мастеров. Хозяин, увидев, куда полез он, оставил свою суетливость и, принявши обыкновенное положение и надлежащий вес, поместился съизнова у дверей, зазывая прохожих и указывая им одной рукой на лавку… „Сюда, батюшка; вот картины! зайдите, зайдите; с биржи получены.“ Уже накричался он вдоволь и большею частью бесплодно, наговорился досыта с лоскутным продавцем, стоявшим насупротив его также у дверей своей лавочки, и наконец, вспомнив, что у него в лавке есть покупатель, поворотил народу спину и отправился во внутрь ее. „Что, батюшка, выбрали что-нибудь?“ Но художник уже стоял несколько времени неподвижно перед одним портретом в больших, когда-то великолепных рамах, но на которых чуть блестели теперь следы позолоты. Это был старик с лицом бронзового цвета, скулистым, чахлым; черты лица, казалось, были схвачены в минуту судорожного движенья и отзывались не северною силою. Пламенный полдень был запечатлен в них. Он был драпирован в широкий азиатский костюм. Как ни был поврежден и запылен портрет; но когда удалось ему счистить с лица пыль, он увидел следы работы высокого художника. Портрет, казалось, был не кончен; но сила кисти была разительна. Необыкновеннее всего были глаза: казалось, в них употребил всю силу кисти и всё старательное тщание свое художник. Они просто глядели, глядели даже из самого портрета, как будто разрушая его гармонию своею странною живостью. Когда поднес он портрет к дверям, еще сильнее глядели глаза. Впечатление почти то же произвели они и в народе. Женщина, остановившаяся позади его, вскрикнула: „глядит, глядит“, и попятилась назад. Какое-то неприятное, непонятное самому себе чувство почувствовал он и поставил портрет на землю.

„А что ж, возьмите портрет!“ сказал хозяин.

„А сколько?“ сказал художник.

„Да что за него дорожиться? три четвертачка давайте!“

„Нет.“

„Ну, да что ж дадите?“

„Двугривенный“, сказал художник, готовясь итти.

„Эк цену какую завернули! да за двугривенный одной рамки не купишь. Видно, завтра собираетесь купить? Господин, господин, воротитесь! гривенничек хоть прикиньте. Возьмите, возьмите, давайте двугривенный. Право, для почину только, вот только-что первый покупатель.“ За сим он сделал жест рукой, как будто бы говоривший: „так уж и быть, пропадай картина!“

Таким образом Чартков совершенно неожиданно купил старый портрет, и в то же время подумал: зачем я его купил? на что он мне? но делать было нечего. Он вынул из кармана двугривенный, отдал хозяину, взял портрет под мышку и потащил его с собою. Дорогою он вспомнил, что двугривенный, который он отдал, был у него последний. Мысли его вдруг омрачились: досада и равнодушная пустота обняли его в ту же минуту. „Чорт побери! гадко на свете!“ сказал он с чувством русского, у которого дела плохи. И почти машинально шел скорыми шагами, полный бесчувствия ко всему. Красный свет вечерней зари оставался еще на половине неба; еще домы, обращенные к той стороне, чуть озарялись ее теплым светом; а между-тем уже холодное синеватое сиянье месяца становилось сильнее. Полупрозрачные легкие тени хвостами падали на землю, отбрасываемые домами и ногами пешеходцев. Уже художник начинал мало-по-малу заглядываться на небо, озаренное каким-то прозрачным, тонким, сомнительным светом, и почти в одно время излетали из уст его слова: „какой легкой тон!“ и слова: „досадно, чорт побери!“ И он, поправляя портрет, беспрестанно съезжавший из-под мышек, ускорял шаг. Усталый и весь в поту, дотащился он к себе в пятнадцатую линию на Васильевской Остров. С трудом и с отдышкой взобрался он по лестнице, облитой помоями и украшенной следами кошек и собак. На стук его в дверь не было никакого ответа: человека не было дома. Он прислонился к окну и расположился ожидать терпеливо, пока не раздались наконец позади его шаги парня в синей рубахе, его приспешника, натурщика, краскотерщика и выметателя полов, пачкавшего их тут же своими сапогами. Парень назывался Никитою, и проводил всё время за воротами, когда барина не было дома. Никита долго силился попасть ключем в замочную дырку, вовсе незаметную по причине темноты. Наконец дверь была отперта. Чартков вступил в свою переднюю, нестерпимо холодную, как всегда бывает у художников, чего впрочем они не замечают. Не отдавая Никите шинели, он вошел вместе с нею в свою студию, квадратную комнату, большую, но низенькую, с мерзнувшими окнами, уставленную всяким художеским хламом: кусками гипсовых рук, рамками, обтянутыми холстом, эскизами начатыми и брошенными, драпировкой, развешанной по стульям. Он устал сильно, скинул шинель, поставил рассеянно принесенный портрет между двух небольших холстов и бросился на узкой диванчик, о котором нельзя было сказать, что он обтянут кожею, потому-что ряд медных гвоздиков, когда-то прикреплявших ее, давно уже остался сам по себе, а кожа осталась тоже сверху сама по себе, так что Никита засовывал под нее черные чулки, рубашки и всё немытое белье. Посидев и разлегшись, сколько можно было разлечься на этом узеньком диване, он наконец спросил свечу.

„Свечи нет“, сказал Никита.

„Как нет?“

„Да ведь и вчера еще не было“, сказал Никита. Художник вспомнил, что действительно и вчера еще не было свечи, успокоился и замолчал. Он дал себя раздеть, и надел свой крепко и сильно заношенный халат.

„Да вот еще, хозяин был“, сказал Никита.

„Ну, приходил за деньгами? знаю“, сказал художник, махнув рукой.

„Да он не один приходил“, сказал Никита.

„С кем же?“

„Не знаю с кем… какой-то квартальный.“

„А квартальный зачем?“

„Не знаю зачем; говорит за тем, что за квартиру не плачено.“

„Ну что ж из того выйдет?“

„Я не знаю, что выйдет; он говорил, коли не хочет, так пусть, говорит, съезжает с квартиры; хотели завтра еще притти оба.“

„Пусть их приходят“, сказал с грустным равнодушием Чартков. И ненастное расположение духа овладело им вполне.

Молодой Чартков был художник с талантом, пророчившим многое: вспышками и мгновеньями его кисть отзывалась наблюдательностию, соображением, шибким порывом приблизиться более к природе. „Смотри, брат“, говорил ему не раз его профессор: „у тебя есть талант; грешно будет, если ты его погубишь. Но ты нетерпелив. Тебя одно что-нибудь заманит, одно что-нибудь полюбится — ты им занят, а прочее у тебя дрянь, прочее тебе ни по чем, ты уж и глядеть на него не хочешь. Смотри, чтоб из тебя не вышел модный живописец. У тебя и теперь уже что-то начинают слишком бойко кричать краски. Рисунок у тебя не строг, а подчас и вовсе слаб, линия невидна; ты уж гоняешься за модным освещеньем, за тем, что бьет на первые глаза — смотри, как раз попадешь в английской род. Берегись; тебя уж начинает свет тянуть; уж я вижу у тебя иной раз на шее щегольской платок, шляпа с лоском… Оно заманчиво, можно пуститься писать модные картинки, портретики за деньги. Да ведь на этом губится, а не развертывается талант. Терпи. Обдумывай всякую работу, брось щегольство — пусть их набирают другие деньги. Твое от тебя не уйдет.“

Профессор был отчасти прав. Иногда хотелось, точно, нашему художнику кутнуть, щегольнуть, словом, кое-где показать свою молодость. Но при всем том он мог взять над собою власть. Временами он мог позабыть всё, принявшись за кисть, и отрывался от нее не иначе, как от прекрасного прерванного сна. Вкус его развивался заметно. Еще не понимал он всей глубины Рафаэля, но уже увлекался быстрой, широкой кистью Гвида, останавливался пред портретами Тициана, восхищался фламандцами. Еще потемневший облик, облекающий старые картины, не весь сошел пред ним; но он уж прозревал в них кое-что, хотя внутренно не соглашался с профессором, чтобы старинные мастеры так недосягаемо ушли от нас; ему казалось даже, что девятнадцатый век кое в чем значительно их опередил, что подражание природе как-то сделалось теперь ярче, живее, ближе; словом, он думал в этом случае так, как думает молодость, уже постигшая кое-что и чувствующая это в гордом внутреннем сознании. Иногда становилось ему досадно, когда он видел, как заезжий живописец, француз или немец, иногда даже вовсе не живописец по призванью, одной только привычной замашкой, бойкостью кисти и яркостью красок производил всеобщий шум и скапливал себе в миг денежный капитал. Это приходило к нему на ум не тогда, когда, занятый весь своей работой, он забывал и питье, и пищу, и весь свет, но тогда, когда наконец сильно приступала необходимость, когда не на что было купить кистей и красок, когда неотвязчивый хозяин приходил раз по десяти на день требовать платы за квартиру. Тогда завидно рисовалась в голодном его воображеньи участь богача-живописца; тогда пробегала даже мысль, пробегающая часто в русской голове: бросить всё и закутить с горя на-зло всему. И теперь он почти был в таком положении.

„Да! терпи, терпи!“ произнес он с досадою. „Есть же наконец и терпенью конец. Терпи! а на какие деньги я завтра буду обедать? Взаймы ведь никто не даст. А понеси я продавать все мои картины и рисунки: за них мне за все двугривенный дадут. Они полезны, конечно, я это чувствую: каждая из них предпринята недаром, в каждой из них я что-нибудь узнал. Да ведь что пользы? этюды, попытки — и всё будут этюды, попытки, и конца не будет им. Да и кто купит, не зная меня по имени; да и кому нужны рисунки с антиков из натурного класса, или моя неоконченная любовь Психеи, или перспектива моей комнаты, или портрет моего Никиты, хотя он, право, лучше портретов какого-нибудь модного живописца? Что в самом деле? Зачем я мучусь и как ученик копаюсь над азбукой, тогда как бы мог блеснуть ничем не хуже других и быть таким, как они, с деньгами.“ Произнесши это, художник вдруг задрожал и побледнел; на него глядело, высунувшись из-за поставленного холста, чье-то судорожно искаженное лицо. Два страшные глаза прямо вперились в него, как бы готовясь сожрать его; на устах написано было грозное повеленье молчать. Испуганный, он хотел вскрикнуть и позвать Никиту, который уже успел запустить в своей передней богатырское храпение; но вдруг остановился и засмеялся. Чувство страха отлегло вмиг. Это был им купленный портрет, о котором он позабыл вовсе. Сияние месяца, озаривши комнату, упало и на него и сообщило ему странную живость. Он принялся его рассматривать и оттирать. Омакнул в воду губку, прошел ею по нем несколько раз, смыл с него почти всю накопившуюся и набившуюся пыль и грязь, повесил перед собой на стену и подивился еще более необыкновенной работе: всё лицо почти ожило и глаза взглянули на него так, что он наконец вздрогнул и, попятившись назад, произнес изумленным голосом: глядит, глядит человеческими глазами! Ему пришла вдруг на ум история, слышанная давно им от своего профессора, об одном портрете знаменитого Леонарда да Винчи, над которым великий мастер трудился несколько лет и всё еще почитал его неоконченным и который, по словам Вазари, был однако же почтен от всех за совершеннейшее и окончательнейшее произведение искусства. Окончательнее всего были в нем глаза, которым изумлялись современники; даже малейшие, чуть видные в них жилки были не упущены и приданы полотну. Но здесь однакоже, в сем, ныне бывшем пред ним, портрете, было что-то странное. Это было уже не искусство: это разрушало даже гармонию самого портрета. Это были живые, это были человеческие глаза! Казалось, как будто они были вырезаны из живого человека и вставлены сюда. Здесь не было уже того высокого наслажденья, которое объемлет душу при взгляде на произведение художника, как ни ужасен взятый им предмет; здесь было какое-то болезненное, томительное чувство. „Что это? невольно вопрошал себя художник. Ведь это однако же натура, это живая натура: отчего же это странно-неприятное чувство? Или рабское, буквальное подражание натуре есть уже проступок и кажется ярким, нестройным криком? Или, если возьмешь предмет безучастно, бесчувственно, не сочувствуя с ним, он непременно предстанет только в одной ужасной своей действительности, неозаренный светом какой-то непостижимой, скрытой во всем мысли, предстанет в той действительности, какая открывается тогда, когда, желая постигнуть прекрасного человека, вооружаешься анатомическим ножем, рассекаешь его внутренность и видишь отвратительного человека. Почему же простая, низкая природа является у одного художника в каком-то свету, и не чувствуешь никакого низкого впечатления; напротив, кажется, как будто насладился, и после того спокойнее и ровнее всё течет и движется вокруг тебя. И почему же та же самая природа у другого художника кажется низкою, грязною, а между прочим он так же был верен природе. Но нет, нет в ней чего-то озаряющего. Всё равно как вид в природе: как он ни великолепен, а всё недостает чего-то, если нет на небе солнца.“

Он опять подошел к портрету с тем, чтобы рассмотреть эти чудные глаза, и с ужасом заметил, что они точно глядят на него. Это уже не была копия с натуры, это была та странная живость, которою бы озарилось лицо мертвеца, вставшего из могилы. Свет ли месяца, несущий с собой бред мечты и облекающий всё в иные образы, противуположные положительному дню, или что другое было причиною тому, только ему сделалось вдруг, неизвестно отчего, страшно сидеть одному в комнате. Он тихо отошел от портрета, отворотился в другую сторону и старался не глядеть на него, а между тем глаз невольно сам собою, косясь, окидывал его. Наконец ему сделалось даже страшно ходить по комнате; ему казалось, как будто сей же час кто-то другой станет ходить позади его, и всякой раз робко оглядывался он назад. Он не был никогда труслив; но воображенье и нервы его были чутки, и в этот вечер он сам не мог истолковать себе своей невольной боязни. Он сел в уголок, но и здесь казалось ему, что кто-то вот-вот взглянет через плечо к нему в лицо. Самое храпенье Никиты, раздававшееся из передней, не прогоняло его боязни. Он наконец робко, не подымая глаз, поднялся с своего места, отправился к себе за ширмы и лег в постель. Сквозь щелки в ширмах он видел освещенную месяцем свою комнату и видел прямо висевший на стене портрет. Глаза еще страшнее, еще значительнее вперились в него и, казалось, не хотели ни на что другое глядеть, как только на него. Полный тягостного чувства, он решился встать с постели, схватил простыню и, приблизясь к портрету, закутал его всего. Сделавши это, он лег в постель покойнее, стал думать о бедности и жалкой судьбе художника, о тернистом пути, предстоящем ему на этом свете; а между тем глаза его невольно глядели сквозь щелку ширм на закутанный простынею портрет. Сиянье месяца усиливало белизну простыни, и ему казалось, что страшные глаза стали даже просвечивать сквозь холстину. Со страхом вперил он пристальнее глаза, как бы желая увериться, что это вздор. Но наконец уже в самом деле… он видит, видит ясно: простыни уже нет… портрет открыт весь и глядит мимо всего, что ни есть вокруг, прямо в него, глядит просто к нему во внутрь… У него захолонуло сердце. И видит: старик пошевелился и вдруг уперся в рамку обеими руками. Наконец приподнялся на руках и, высунув обе ноги, выпрыгнул из рам… Сквозь щелку ширм видны были уже одне только пустые рамы. По комнате раздался стук шагов, который наконец становился ближе и ближе к ширмам. Сердце стало сильнее колотиться у бедного художника. С занявшимся от страха дыханьем он ожидал, что вот-вот глянет к нему за ширмы старик. И вот он глянул, точно, за ширмы с тем же бронзовым лицом и поводя большими глазами. Чартков силился вскрикнуть и почувствовал, что у него нет голоса, силился пошевельнуться, сделать какое-нибудь движенье — не движутся члены. С раскрытым ртом и замершим дыханьем смотрел он на этот страшный фантом высокого роста, в какой-то широкой азиатской рясе и ждал, что станет он делать. Старик сел почти у самых ног его и вслед за тем что-то вытащил из-под складок своего широкого платья. Это был мешок. Старик развязал его, и, схвативши за два конца, встряхнул: с глухим звуком упали на пол тяжелые свертки в виде длинных столбиков; каждый был завернут в синюю бумагу и на каждом было выставлено: 1000 *червонных*. Высунув свои длинные, костистые руки из широких рукавов, старик начал разворачивать свертки. Золото блеснуло. Как ни велико было тягостное чувство и обеспамятевший страх художника, но он вперился весь в золото, глядя неподвижно, как оно разворачивалось в костистых руках, блестело, звенело тонко и глухо, и заворачивалось вновь. Тут заметил он один сверток, откатившийся подалее от других у самой ножки его кровати в головах у него. Почти судорожно схватил он его и, полный страха, смотрел, не заметит ли старик. Но старик был, казалось, очень занят. Он собрал все свертки свои, уложил их снова в мешок и, не взглянувши на него, ушел за ширмы. Сердце билось сильно у Чарткова, когда он услышал, как раздавался по комнате шелест удалявшихся шагов. Он сжимал покрепче сверток свой в руке, дрожа всем телом за него, и вдруг услышал, что шаги вновь приближаются к ширмам — видно старик вспомнил, что не доставало одного свертка. И вот — он глянул к нему вновь за ширмы. Полный отчаяния, стиснул он всею силою в руке своей сверток, употребил всё усилие сделать движенье, вскрикнул и проснулся. Холодный пот облил его всего; сердце его билось так сильно, как только можно было биться: грудь была так стеснена, как будто хотело улететь из нее последнее дыханье. Неужели это был сон? сказал он, взявши себя обеими руками за голову; но страшная живость явленья не была похожа на сон. Он видел, уже пробудившись, как старик ушел в рамки, мелькнула даже пола его широкой одежды, и рука его чувствовала ясно, что держала за минуту пред сим какую-то тяжесть. Свет месяца озарял комнату, заставляя выступать из темных углов ее, где холст, где гипсовую руку, где оставленную на стуле драпировку, где панталоны и нечищенные сапоги. Тут только заметил он, что не лежит в постеле, а стоит на ногах прямо перед портретом. Как он добрался сюда — уж этого никак не мог он понять. Еще более изумило его, что портрет был открыт весь и простыни на нем действительно не было. С неподвижным страхом глядел он на него и видел, как прямо вперились в него живые человеческие глаза. Холодный пот выступил на лице его; он хотел отойти, но чувствовал, что ноги его как будто приросли к земле. И видит он: это уже не сон; черты старика двинулись, и губы его стали вытягиваться к нему, как будто бы хотели его высосать… с воплем отчаянья отскочил он и проснулся. „Неужели и это был сон?“ С биющимся на-разрыв сердцем ощупал он руками вокруг себя. Да, он лежит на постеле в таком точно положеньи, как заснул. Пред ним ширмы: свет месяца наполнял комнату. Сквозь щель в ширмах виден был портрет, закрытый как следует простынею — так, как он сам закрыл его. Итак, это был тоже сон! Но сжатая рука чувствует доныне, как будто бы в ней что-то было. Биение сердца было сильно, почти страшно; тягость в груди невыносимая. Он вперил глаза в щель и пристально глядел на простыню. И вот видит ясно, что простыня начинает раскрываться, как будто бы под нею барахтались руки и силились ее сбросить. „Господи, боже мой, что это!“ вскрикнул он, крестясь отчаянно, и проснулся. И это был также сон! Он вскочил с постели, полоумный, обеспамятевший, и уже не мог изъяснить, что это с ним делается: давленье ли кошмара или домового, бред ли горячки, или живое виденье. Стараясь утишить сколько-нибудь душевное волненье и расколыхавшуюся кровь, которая билась напряженным пульсом по всем его жилам, он подошел к окну и открыл форточку. Холодный пахнувший ветер оживил его. Лунное сияние лежало всё еще на крышах и белых стенах домов, хотя небольшие тучи стали чаще переходить по небу. Всё было тихо: изредка долетало до слуха отдаленное дребезжанье дрожек извозчика, который где-нибудь в невидном переулке спал убаюкиваемый своею ленивою клячею, поджидая запоздалого седока. Долго глядел он, высунувши голову в форточку. Уже на небе рождались признаки приближающейся зари; наконец почувствовал он приближающуюся дремоту, захлопнул форточку, отошел прочь, лег в постель и скоро заснул как убитый самым крепким сном.

Проснулся он очень поздно и почувствовал в себе то неприятное состояние, которое овладевает человеком после угара: голова его неприятно болела. В комнате было тускло: неприятная мокрота сеялась в воздухе и проходила сквозь щели его окон, заставленные картинами или нагрунтованным холстом. Пасмурный, недовольный, как мокрый петух, уселся он на своем оборванном диване, не зная сам, за что приняться, что делать, и вспомнил наконец весь свой сон. По мере припоминанья сон этот представлялся в его воображеньи так тягостно-жив, что он даже стал подозревать, точно ли это был сон и простой бред, не было ли здесь чего-то другого, не было ли это виденье. Сдернувши простыню, он рассмотрел при дневном свете этот страшный портрет. Глаза, точно, поражали своей необыкновенной живостью, но ничего он не находил в них особенно страшного; только как будто какое-то неизъяснимое, неприятное чувство оставалось на душе. При всем том он всё-таки не мог совершенно увериться, чтобы это был сон. Ему казалось, что среди сна был какой-то страшный отрывок из действительности. Казалось, даже в самом взгляде и выражении старика как будто что-то говорило, что он был у него эту ночь; рука его чувствовала только-что лежавшую в себе тяжесть, как будто бы кто-то за одну только минуту пред сим ее выхватил у него. Ему казалось, что если бы он держал только покрепче сверток, он, верно, остался бы у него в руке и после пробуждения.

„Боже мой, если бы хотя часть этих денег!“ сказал он тяжело вздохнувши, и в воображеньи его стали высыпаться из мешка все виденные им свертки с заманчивой надписью: 1000 червонных. Свертки разворачивались, золото блестело, заворачивалось вновь, и он сидел, уставивши неподвижно и бессмысленно свои глаза в пустой воздух, не будучи в состоянья оторваться от такого предмета — как ребенок, сидящий пред сладким блюдом и видящий, глотая слюнки, как едят его другие. Наконец, у дверей раздался стук, заставивший его неприятно очнуться. Вошел хозяин с квартальным надзирателем, которого появление для людей мелких, как известно, еще неприятнее, нежели для богатых лицо просителя. Хозяин небольшого дома, в котором жил Чартков, был одно из творений, какими обыкновенно бывают владетели домов где-нибудь в пятнадцатой линии Васильевского Острова, на Петербургской стороне, или в отдаленном углу Коломны — творенье, каких много на Руси и которых характер так же трудно определить, как цвет изношенного сертука. В молодости своей он был капитан и крикун, употреблялся и по штатским делам, мастер был хорошо высечь, был и расторопен и щеголь, и глуп; но в старости своей он слил в себе все эти резкие особенности в какую-то тусклую неопределенность. Он был уже вдов, был уже в отставке, уже не щеголял, не хвастал, не задирался, любил только пить чай и болтать за ним всякой вздор; ходил по комнате, поправлял сальный огарок; аккуратно по истечении каждого месяца наведывался к своим жильцам за деньгами, выходил на улицу с ключем в руке для того, чтобы посмотреть на крышу своего дома; выгонял несколько раз дворника из его конуры, куда он запрятывался спать; одним словом, человек в отставке, которому, после всей забубенной жизни и тряски на перекладных, остаются одни пошлые привычки.

„Извольте сами глядеть, Варух Кузьмич“, сказал хозяин, обращаясь к квартальному и расставив руки: „вот не платит за квартиру, не платит.“

„Чтож, если нет денег? Подождите, я заплачу.“

„Мне, батюшка, ждать нельзя“, сказал хозяин в-сердцах, делая жест ключем, который держал в руке; у меня вот Потогонкин подполковник живет, семь лет уж живет; Анна Петровна Бухмистерова и сарай и конюшню нанимает на два стойла, три при ней дворовых человека — вот какие у меня жильцы. У меня, сказать вам откровенно, нет такого заведенья, чтобы не платить за квартиру. Извольте сей-час же заплатить деньги, да и съезжать вон.“

„Да, уж если порядились, так извольте платить“, сказал квартальный надзиратель с небольшим потряхиваньем головы и заложив палец за пуговицу своего мундира.

„Да чем платить? вопрос. У меня нет теперь ни гроша.“

„В таком случае удовлетворите Ивана Ивановича издельями своей профессии“, сказал квартальный: „он, может быть, согласится взять картинами.“

„Нет, батюшка, за картины спасибо. Добро бы были картины с благородным содержанием, чтобы можно было на стену повесить, хоть какой-нибудь генерал со звездой или князя Кутузова портрет, а то вон мужика нарисовал, мужика в рубахе, слуги-то, что трет краски. Еще с него, свиньи, портрет рисовать; ему я шею наколочу: он у меня все гвозди из задвижек повыдергивал, мошенник. Вот посмотрите, какие предметы: вот комнату рисует. Добро бы уж взял комнату прибранную, опрятную, а он вон как нарисовал её со всем сором и дрязгом, какой ни валялся. Вот посмотрите, как запакостил у меня комнату, изволите сами видеть. Да у меня по семи лет живут жильцы, полковники, Бухмистерова Анна Петровна… Нет, я вам скажу: нет хуже жильца, как живописец: свинья свиньей живет, просто не приведи бог.“

И всё это должен был выслушать терпеливо бедный живописец. Квартальный надзиратель между тем занялся рассматриваньем картин и этюдов и тут же показал, что у него душа живее хозяйской и даже была не чужда художественным впечатлениям.

„Хе“, сказал он, тыкнув пальцем на один холст, где была изображена нагая женщина, „предмет, того… игривый. А у этого зачем так под носом черно, табаком что-ли он себе засыпал?“

„Тень“, отвечал на это сурово и не обращая на него глаз Чартков.

„Ну, ее бы можно куда-нибудь в другое место отнести, а под носом слишком видное место“, сказал квартальный; „а это чей портрет?“ продолжал он, подходя к портрету старика: „уж страшен слишком. Будто он в самом деле был такой страшный; ахти, да он просто глядит. Эх, какой Громобой! С кого вы писали?“

„А это с одного…“ сказал Чартков, и не кончил слова: послышался треск. Квартальный пожал видно слишком крепко раму портрета, благодаря топорному устройству полицейских рук своих; боковые досточки вломились во внутрь, одна упала на пол и вместе с нею упал, тяжело звякнув, сверток в синей бумаге. Чарткову бросилась в глаза надпись: 1000 червонных. Как безумный бросился он поднять его, схватил сверток, сжал его судорожно в руке, опустившейся вниз от тяжести.

„Никак деньги зазвенели“, сказал квартальный, услышавший стук чего-то упавшего на пол и не могший увидать его за быстротой движенья, с какою бросился Чартков прибрать.

„А вам какое дело знать, что у меня есть?“

„А такое дело, что вы сейчас должны заплатить хозяину за квартиру; что у вас есть деньги, да вы не хотите платить — вот что.“

„Ну, я заплачу ему сегодня.“

„Ну, а зачем же вы не хотели заплатить прежде, да доставляете беспокойство хозяину, да вот и полицию тоже тревожите?“

„Потому что этих денег мне не хотелось трогать; я ему сегодня же ввечеру всё заплачу и съеду с квартиры завтра же, потому что не хочу оставаться у такого хозяина.“

„Ну, Иван Иванович, он вам заплатит“, сказал квартальный, обращаясь к хозяину. А если насчет того, что вы не будете удовлетворены, как следует, сегодня ввечеру, тогда уж извините, господин живописец.“ Сказавши это, он надел свою треугольную шляпу и вышел в сени, а за ним хозяин, держа вниз голову и, как казалось, в каком-то раздумьи.

„Слава богу, чорт их унес!“ сказал Чартков, когда услышал затворившуюся в передней дверь. Он выглянул в переднюю, услал за чем-то Никиту, чтобы быть совершенно одному, запер за ним дверь и, возвратившись к себе в комнату, принялся с сильным сердечным трепетаньем разворачивать сверток. В нем были червонцы, все до одного новые, жаркие как огонь. Почти обезумев, сидел он за золотою кучею, всё еще спрашивая себя, не во сне ли всё это. В свертке было ровно их тысяча; наружность его была совершенно такая, в какой они виделись ему во сне. Несколько минут он перебирал их, пересматривал, и всё еще не мог притти в себя. В воображении его воскресли вдруг все истории о кладах, шкатулках с потаенными ящиками, оставляемых предками для своих разорившихся внуков, в твердой уверенности на будущее их промотавшееся положение. Он мыслил так: не придумал ли и теперь какой-нибудь дедушка оставить своему внуку подарок, заключив его в рамку фамильного портрета. Полный романического бреда, он стал даже думать, нет ли здесь какой-нибудь тайной связи с его судьбою, не связано ли существованье портрета с его собственным существованьем, и самое приобретение его не есть ли уже какое-то предопределение. Он принялся с любопытством рассматривать рамку портрета. В одном боку ее был выдолбленный желобок, задвинутый дощечкой так ловко и неприметно, что если бы капитальная рука квартального надзирателя не произвела пролома, червонцы остались бы до скончания века в покое. Рассматривая портрет, он подивился вновь высокой работе, необыкновенной отделке глаз: они уже не казались ему страшными: но всё еще в душе оставалось всякой раз невольно неприятное чувство. „Нет“, сказал он сам в себе: „чей бы ты ни был дедушка, а я тебя поставлю за стекло и сделаю тебе за это золотые рамки.“ Здесь он набросил руку на золотую кучу, лежавшую пред ним, и сердце забилось сильно от такого прикосновенья. „Что с ним сделать?“ думал он, уставив на них глаза. „Теперь я обеспечен по крайней мере на три года, могу запереться в комнату, работать. На краски теперь у меня есть; на обед, на чай, на содержанье, на квартиру есть; мешать и надоедать мне теперь никто не станет: куплю себе отличный манкен, закажу гипсовый торсик, сформую ножки, поставлю Венеру, накуплю гравюр с первых картин. И если поработаю три года для себя, не торопясь, не на продажу, я зашибу их всех, и могу быть славным художником.“

Так говорил он заодно с подсказывавшим ему рассудком; но извнутри раздавался другой голос слышнее и звонче. И как взглянул он еще раз на золото, не то заговорили в нем 22 года и горячая юность. Теперь в его власти было всё то, на что он глядел доселе завистливыми глазами, чем любовался издали, глотая слюнки. Ух, как в нем забилось ретивое, когда он только подумал о том! Одеться в модный фрак, разговеться после долгого поста, нанять себе славную квартиру, отправиться тот же час в театр, в кондитерскую, в · · · и прочее, и он, схвативши деньги, был уже на улице. Прежде всего зашел к портному, оделся с ног до головы, и как ребенок стал обсматривать себя беспрестанно; накупил духов, помад, нанял, не торгуясь, первую попавшуюся великолепнейшую квартиру на Невском проспекте, с зеркалами и цельными стеклами; купил нечаянно в магазине дорогой лорнет, нечаянно накупил тоже бездну всяких галстухов, более нежели было нужно, завил у парикмахера себе локоны, прокатился два раза по городу в карете без всякой причины, объелся без меры конфектов в кондитерской и зашел к ресторану французу, о котором доселе слышал такие же неясные слухи, как о китайском государстве. Там он обедал подбоченившись, бросая довольно гордые взгляды на других и поправляя беспрестанно против зеркала завитые локоны. Там он выпил бутылку шампанского, которое тоже доселе было ему знакомо более по слуху. Вино несколько зашумело в голове, и он вышел на улицу живой, бойкой, по русскому выражению: чорту не брат. Прошелся по тротуару гоголем, наводя на всех лорнет. На мосту заметил он своего прежнего профессора и шмыгнул лихо мимо его, как будто бы не заметив его вовсе, так-что остолбеневший профессор долго еще стоял неподвижно на мосту, изобразив вопросительный знак на лице своем. Все вещи и всё, что ни было: станок, холст, картины, были в тот же вечер перевезены на великолепную квартиру. Он расставил то, что было получше, на видные места, что похуже, забросил в угол, и расхаживал по великолепным комнатам, беспрестанно поглядывая в зеркала. В душе его возродилось желанье непреоборимое схватить славу сей же час за хвост и показать себя свету. Уже чудились ему крики: „Чартков, Чартков! видали вы картину Чарткова? Какая быстрая кисть у Чарткова! Какой сильный талант у Чарткова!“ Он ходил в восторженном состоянии у себя по комнате — уносился ни весть куда. На другой же день, взявши десяток червонцев, отправился он к одному издателю ходячей газеты, прося великодушной помощи; был принят радушно журналистом, назвавшим его тот же час „почтеннейший“, пожавшим ему обе руки, расспросившим подробно об имени, отчестве, месте жительства, и на другой же день появилась в газете вслед за объявлением о новоизобретенных сальных свечах статья с таким заглавием: *О необыкновенных талантах Чарткова:* „Спешим обрадовать образованных жителей столицы прекрасным, можно сказать, во всех отношениях приобретением. Все согласны в том, что у нас есть много прекраснейших физиогномий и прекраснейших лиц, но не было до сих пор средства передать их на чудотворный холст, для передачи потомству; теперь недостаток этот пополнен: отыскался художник, соединяющий в себе, что нужно. Теперь красавица может быть уверена, что она будет передана со всей грацией своей красоты воздушной, легкой, очаровательной, чудесной, подобной мотылькам, порхающим по весенним цветкам. Почтенный отец семейства увидит себя окруженным своей семьей. Купец, воин, гражданин, государственный муж — всякой с новой ревностью будет продолжать свое поприще. Спешите, спешите, заходите с гулянья, с прогулки, предпринятой к приятелю, к кузине, в блестящий магазин, спешите, откуда бы ни было. Великолепная мастерская художника (Невский проспект, такой-то номер) уставлена вся портретами его кисти, достойной Вандиков и Тицианов. Не знаешь, чему удивляться, верности ли и сходству с оригиналами, или необыкновенной яркости и свежести кисти. Хвала вам, художник: вы вынули счастливый билет из лотереи. Виват, Андрей Петрович (журналист, как видно, любил фамилиарность)! Прославляйте себя и нас. Мы умеем ценить вас. Всеобщее стечение, а вместе с тем и деньги, хотя некоторые из нашей же братьи журналистов и восстают против них, будут вам наградою.“

С тайным удовольствием прочитал художник это объявление; лицо его просияло. О нем заговорили печатно — это было для него новостию; несколько раз перечитывал он строки. Сравнение с Вандиком и Тицианом ему сильно польстило. Фраза: „виват, Андрей Петрович!“ также очень понравилась; печатным образом называют его по имени и по отчеству — честь, доныне ему совершенно неизвестная. Он начал ходить скоро по комнате, ерошить себе волоса, то садился на кресла, то вскакивал с них и садился на диван, представляя поминутно, как он будет принимать посетителей и посетительниц, подходил к холсту и производил над ним лихую замашку кисти, пробуя сообщить грациозные движения руке. На другой день раздался колокольчик у дверей его; он побежал отворять, вошла дама, предводимая лакеем в ливрейной шинели на меху, и вместе с дамой вошла молоденькая 18-летняя девочка, дочь ее.

„Вы мсье Чартков?“ сказала дама. Художник поклонился.

„Об вас столько пишут; ваши портреты, говорят, верх совершенства.“ Сказавши это, дама наставила на глаз лорнет и побежала быстро осматривать стены, на которых ничего не было. „А где же ваши портреты?“

„Вынесли“, сказал художник, несколько смешавшись: „я только что переехал еще на эту квартиру, так они еще в дороге… не доехали.“

„Вы были в Италии?“ сказала дама, наводя на него лорнет, не найдя ничего другого, на что бы можно было навесть его.

„Нет, я не был, но хотел быть… впрочем теперь покамест я отложил… Вот кресла-с; вы устали…“

„Благодарю, я сидела долго в карете. А, вон наконец вижу вашу работу!“ сказала дама, побежав к супротивной стене и наводя лорнет на стоявшие на полу его этюды, программы, перспективы и портреты. „C’est charmant, Lise, Lise, venez ici[\*](#t_ps3724_7): комната во вкусе Теньера, видишь: беспорядок, беспорядок, стол, на нем бюст, рука, палитра; вон пыль, видишь, как пыль нарисована! c’est charmant. А вот на другом холсте женщина, моющая лицо — quelle jolie figure[\*](#t_ps3724_8)! Ах, мужичок! Lise, Lise, мужичок в русской рубашке! смотри: мужичок! Так вы занимаетесь не одними только портретами?“

„О, это вздор… Так, шалил… этюды…“

„Скажите, какого вы мнения на счет нынешних портретистов? Не правда ли, теперь нет таких, как был Тициан? Нет той силы в колорите, нет той… как жаль, что я не могу вам выразить по-русски (дама была любительница живописи и оббегала с лорнетом все галлереи в Италии). Однако, мсьё Ноль… ах, как он пишет! Какая необыкновенная кисть! Я нахожу, что у него даже больше выраженья в лицах, нежели у Тициана. Вы не знаете мсьё Ноля?“

„Кто этот Ноль?“ спросил художник.

„Мсьё Ноль. Ах, какой талант! он написал с нее портрет, когда ей было только 12 лет. Нужно, чтобы вы непременно у нас были. Lise, ты ему покажи свой альбом. Вы знаете, что мы приехали с тем, чтобы сей же час начали с нее портрет.“

„Как же, я готов сию минуту.“ И в одно мгновенье придвинул он станок с готовым холстом, взял в руки палитру, вперил глаз в бледное личико дочери. Если бы он был знаток человеческой природы, он прочел бы на нем в одну минуту начало ребяческой страсти к балам, начало тоски и жалоб на длинноту времени до обеда и после обеда, желанья побегать в новом платье на гуляньях, тяжелые следы безучастного прилежания к разным искусствам, внушаемого матерью для возвышения души и чувств. Но художник видел в этом нежном личике одну только заманчивую для кисти почти фарфоровую прозрачность тела, увлекательную легкую томность, тонкую светлую шейку и аристократическую легкость стана. И уже заранее готовился торжествовать, показать легкость и блеск своей кисти, имевшей доселе дело только с жесткими чертами грубых моделей, с строгими антиками и копиями кое-каких классических мастеров. Он уже представлял себе в мыслях, как выдет это легонькое личико.

„Знаете ли“, сказала дама с несколько даже трогательным выражением лица: „я бы хотела: на ней теперь платье; я бы, признаюсь, не хотела, чтобы она была в платье, к которому мы так привыкли: я бы хотела, чтоб она была одета просто и сидела бы в тени зелени, в виду каких-нибудь полей, чтобы стада вдали, или роща… чтобы незаметно было, что она едет куда-нибудь на бал или модный вечер. Наши балы, признаюсь, так убивают душу, так умерщвляют остатки чувств… простоты, простоты чтобы было больше.“ (Увы! на лицах и матушки и дочери написано было, что они до того исплясались на балах, что обе сделались чуть не восковыми.)

Чартков принялся за дело, усадил оригинал, сообразил несколько всё это в голове; провел по воздуху кистью, мысленно устанавливая пункты; прищурил несколько глаз, подался назад, взглянул издали, и в один час начал и кончил подмалевку. Довольный ею, он принялся уже писать, работа его завлекла. Уже он позабыл всё, позабыл даже, что находится в присутствии аристократических дам, начал даже выказывать иногда кое-какие художнические ухватки, произнося вслух разные звуки, временами подпевая, как случается с художником, погруженным всею душою в свое дело. Без всякой церемонии одним движеньем кисти заставлял он оригинал поднимать голову, который наконец начал сильно вертеться и выражать совершенную усталость.

„Довольно, на первый раз довольно“, сказала дама.

„Еще немножко“, говорил позабывшийся художник.

„Нет, пора! Lise, три часа!“ сказала она, вынимая маленькие часы, висевшие на золотой цепи у ее кушака, и вскрикнула: „Ах, как поздно!“

„Минуточку только“, говорил Чартков простодушным и просящим голосом ребенка.

Но дама, кажется, совсем не была расположена угождать на этот раз его художественным потребностям и обещала вместо того просидеть в другой раз долее.

„Это однакож досадно“, подумал про себя Чартков: „рука только что расходилась.“ И вспомнил он, что его никто не перебивал и не останавливал, когда он работал в своей мастерской на Васильевском Острове; Никита, бывало, сидел не ворохнувшись на одном месте — пиши с него, сколько угодно; он даже засыпал в заказанном ему положении. И, недовольный, положил он свою кисть и палитру на стул, и остановился смутно пред холстом. Комплимент, сказанный светской дамой, пробудил его из усыпления. Он бросился быстро к дверям провожать их; на лестнице получил приглашение бывать, притти на следующей неделе обедать, и с веселым видом возвратился к себе в комнату. Аристократическая дама совершенно очаровала его. До сих пор он глядел на подобные существа как на что-то недоступное, которые рождены только для того, чтобы пронестись в великолепной коляске с ливрейными лакеями и щегольским кучером и бросить равнодушный взгляд на бредущего пешком в небогатом плащишке человека. И вдруг теперь одно из этих существ вошло к нему в комнату; он пишет портрет, приглашен на обед в аристократический дом. Довольство овладело им необыкновенное; он был упоен совершенно и наградил себя за это славным обедом, вечерним спектаклем, и опять проехался в карете по городу без всякой нужды.

Во все эти дни обычная работа ему не шла вовсе на ум. Он только приготовлялся и ждал минуты, когда раздастся звонок. Наконец аристократическая дама приехала вместе с своею бледненькою дочерью. Он усадил их, придвинул холст уже с ловкостью и претензиями на светские замашки, и стал писать. Солнечный день и ясное освещение много помогли ему. Он увидел в легоньком своем оригинале много такого, что, быв уловлено и передано на полотно, могло придать высокое достоинство портрету; увидел, что можно сделать кое-что особенное, если выполнить всё в такой окончательности, в какой теперь представлялась ему натура. Сердце его начало даже слегка трепетать, когда он почувствовал, что выразит то, чего еще не заметили другие. Работа заняла его всего, весь погрузился он в кисть, позабыв опять об аристократическом происхождении оригинала. С занимавшимся дыханием видел, как выходили у него легкие черты и это почти прозрачное тело семнадцатилетней девушки. Он ловил всякой оттенок, легкую желтизну, едва заметную голубизну под глазами и уже готовился даже схватить небольшой прыщик, выскочивший на лбу, как вдруг услышал над собою голос матери: „Ах, зачем это? это не нужно“, говорила дама. „У вас тоже… вот, в некоторых местах… как будто бы несколько желто и вот здесь совершенно как темные пятнышки.“ Художник стал изъяснять, что эти-то пятнышки и желтизна именно разыгрываются хорошо, что они составляют приятные и легкие тоны лица. Но ему отвечали, что они не составят никаких тонов и совсем не разыгрываются; и что это ему только так кажется. „Но позвольте здесь в одном только месте тронуть немножко желтенькой краской“, сказал простодушно художник. Но этого-то ему и не позволили. Объявлено было, что Lise только сегодня немножко нерасположена, а что желтизны в ней никакой не бывает и лицо поражает особенно свежестью краски. С грустью принялся он изглаживать то, что кисть его заставила выступить на полотно. Исчезло много почти незаметных черт, а вместе с ними исчезло отчасти и сходство. Он бесчувственно стал сообщать ему тот общий колорит, который дается наизусть и обращает даже лица, взятые с натуры, в какие-то холодно-идеальные, видимые на ученических программах. Но дама была довольна тем, что обидный колорит был изгнан вовсе. Она изъявила только удивленье, что работа идет так долго, и прибавила, что слышала, будто он в два сеанса оканчивает совершенно портрет. Художник ничего не нашелся на это отвечать. Дамы поднялись и собирались выйти. Он положил кисть, проводил их до дверей и после того долго оставался смутным на одном и том же месте перед своим портретом. Он глядел на него глупо, а в голове его между тем носились те легкие женственные черты, те оттенки и воздушные тоны, им подмеченные, которые уничтожила безжалостно его кисть. Будучи весь полон ими, он отставил портрет в сторону и отыскал у себя где-то заброшенную головку Психеи, которую когда-то давно и эскизно набросал на полотно. Это было личико, ловко написанное, но совершенно идеальное, холодное, состоявшее из одних общих черт, не принявшее живого тела. От нечего делать он теперь принялся проходить его, припоминая на нем всё, что случилось ему подметить в лице аристократической посетительницы. Уловленные им черты, оттенки и тоны здесь ложились в том очищенном виде, в каком являются они тогда, когда художник, наглядевшись на природу, уже отдаляется от нее и производит ей равное создание. Психея стала оживать, и едва сквозившая мысль начала мало-по-малу облекаться в видимое тело. Тип лица молоденькой светской девицы невольно сообщился Психее и чрез то получила она своеобразное выражение, дающее право на название истинно оригинального произведения. Казалось, он воспользовался по частям и вместе всем, что представил ему оригинал, и привязался совершенно к своей работе. В продолжение нескольких дней он был занят только ею. И за этой самой работой застал его приезд знакомых дам. Он не успел снять со станка картину. Обе дамы издали радостный крик изумленья и всплеснули руками.

„Lise, Lise! ах, как похоже! Superbe, superbe![\*](#t_ps3724_9) Как хорошо вы вздумали, что одели ее в греческой костюм. Ах, какой сюрприз!“

Художник не знал, как вывести дам из приятного заблуждения. Совестясь и потупя голову, он произнес тихо: „Это Психея.“

„В виде Психеи? C’est charmant![\*](#t_ps3724_10)“ сказала мать, улыбнувшись; причем улыбнулась также и дочь. „Не правда ли, Lise, тебе больше всего идет быть изображенной в виде Психеи? Quelle idée délicieuse![\*](#t_ps3724_11) Но какая работа! Это Корредж. Признаюсь, я читала и слышала о вас, но я не знала, что у вас такой талант. Нет, вы непременно должны написать также и с меня портрет.“ Даме, как видно, хотелось также предстать в виде какой-нибудь Психеи.

„Что мне с ними делать?“ подумал художник: „если они сами того хотят, так пусть Психея пойдет за то, что им хочется“, и произнес вслух: „Потрудитесь еще немножко присесть, я кое-что немножко трону.“

„Ах, я боюсь, чтобы вы как-нибудь не… она так теперь похожа.“ Но художник понял, что опасенья были насчет желтизны, и успокоил их, сказав, что он только придаст более блеску и выраженья глазам. А по справедливости ему было слишком совестно и хотелось хотя сколько-нибудь более придать сходства с оригиналом, дабы не укорил его кто-нибудь в решительном бесстыдстве. И точно, черты бледной девушки стали наконец выходить яснее из облика Психеи.

„Довольно!“ сказала мать, начинавшая бояться, чтобы сходство не приблизилось наконец уже чересчур близко. Художник был награжден всем: улыбкой, деньгами, комплиментом, искренним пожатьем руки, приглашеньем на обеды; словом, получил тысячу лестных наград. Портрет произвел по городу шум. Дама показала его приятельницам; все изумлялись искусству, с каким художник умел сохранить сходство и вместе с тем придать красоту оригиналу. Последнее замечено было, разумеется, не без легкой краски зависти в лице. И художник вдруг был осажден работами. Казалось, весь город хотел у него писаться. У дверей поминутно раздавался звонок. С одной стороны это могло быть хорошо, представляя ему бесконечную практику разнообразием, множеством лиц. Но на беду, это всё был народ, с которым было трудно ладить, народ торопливый, занятой, или же принадлежащий свету, стало быть, еще более занятой, нежели всякой другой, и потому нетерпеливый до крайности. Со всех сторон только требовали, чтоб было хорошо и скоро. Художник увидел, что оканчивать решительно было невозможно, что всё нужно было заменить ловкостью и быстрой бойкостью кисти. Схватывать одно только целое, одно общее выраженье и не углубляться кистью в утонченные подробности; одним словом, следить природу в ее окончательности было решительно невозможно. Притом нужно прибавить, что у всех почти писавшихся много было других притязаний на разное. Дамы требовали, чтобы преимущественно только душа и характер изображались в портретах, чтобы остального иногда вовсе не придерживаться, округлить все углы, облегчить все изъянцы и даже, если можно, избежать их вовсе. Словом, чтобы на лицо можно было засмотреться, если даже не совершенно влюбиться. И вследствие этого, садясь писаться, они принимали иногда такие выражения, которые приводили в изумленье художника: та старалась изобразить в лице своем меланхолию, другая мечтательность, третья во что бы ни стало хотела уменьшить рот и сжимала его до такой степени, что он обращался наконец в одну точку, не больше булавочной головки. И, несмотря на всё это, требовали от него сходства и непринужденной естественности. Мужчины тоже были ничем не лучше дам. Один требовал себя изобразить в сильном, энергическом повороте головы; другой с поднятыми к верху вдохновенными глазами; гвардейский поручик требовал непременно, чтобы в глазах виден был Марс; гражданский сановник норовил так, чтобы побольше было прямоты, благородства в лице и чтобы рука оперлась на книгу, на которой бы четкими словами было написано: „всегда стоял за правду“. Сначала художника бросали в пот такие требованья: всё это нужно было сообразить, обдумать, а между тем сроку давалось очень немного. Наконец он добрался, в чем было дело, и уж не затруднялся нисколько. Даже из двух, трех слов смекал вперед, кто чем хотел изобразить себя. Кто хотел Марса, он в лицо совал Марса; кто метил в Байрона, он давал ему Байроновское положенье и поворот. Кориной ли, Ундиной, Аспазией ли желали быть дамы, он с большой охотой соглашался на всё и прибавлял от себя уже всякому вдоволь благообразия, которое, как известно, нигде не подгадит и за что простят иногда художнику и самое несходство. Скоро он уже сам начал дивиться чудной быстроте и бойкости своей кисти. А писавшиеся, само собою разумеется, были в восторге и провозглашали его гением.

Чартков сделался модным живописцем во всех отношениях. Стал ездить на обеды, сопровождать дам в галлереи и даже на гулянья, щегольски одеваться и утверждать гласно, что художник должен принадлежать к обществу, что нужно поддержать его званье, что художники одеваются как сапожники, не умеют прилично вести себя, не соблюдают высшего тона и лишены всякой образованности. Дома у себя, в мастерской он завел опрятность и чистоту в высшей степени, определил двух великолепных лакеев, завел щегольских учеников, переодевался несколько раз в день в разные утренние костюмы, завивался, занялся улучшением разных манер, с которыми принимать посетителей, занялся украшением всеми возможными средствами своей наружности, чтобы произвести ею приятное впечатление на дам; одним словом, скоро нельзя было в нем вовсе узнать того скромного художника, который работал когда-то незаметно в своей лачужке на Васильевском Острове. О художниках и об искусстве он изъяснялся теперь резко: утверждал, что прежним художникам уже чересчур много приписано достоинства, что все они до Рафаэля писали не фигуры, а селедки; что существует только в воображении рассматривателей мысль, будто бы видно в них присутствие какой-то святости; что сам Рафаэль даже писал не всё хорошо и за многими произведениями его удержалась только по преданию слава; что Микель-Анжел хвастун, потому что хотел только похвастать знанием анатомии, что грациозности в нем нет никакой, и что настоящий блеск, силу кисти и колорит нужно искать только теперь, в нынешнем веке. Тут натурально невольным образом доходило дело и до себя. „Нет, я не понимаю“, говорил он, „напряженья других сидеть и корпеть за трудом. Этот человек, который копается по нескольку месяцев над картиною, по мне труженик, а не художник. Я не поверю, чтобы в нем был талант. Гений творит смело, быстро. „Вот у меня“, говорил он, обращаясь обыкновенно к посетителям: „этот портрет я написал в два дня, эту головку в один день, это в несколько часов, это в час с небольшим. Нет, я… я, признаюсь, не признаю художеством того, что лепится строчка за строчкой; это уж ремесло, а не художество.“ Так рассказывал он своим посетителям, и посетители дивились силе и бойкости его кисти, издавали даже восклицания, услышав, как быстро они производились, и потом пересказывали друг другу: „Это талант, истинный талант! Посмотрите, как он говорит, как блестят его глаза! Il y a quelque chose d’extraordinaire dans toute sa figure[\*](#t_ps3724_12)!“

Художнику было лестно слышать о себе такие слухи. Когда в журналах появлялась печатная хвала ему, он радовался как ребенок, хотя эта хвала была куплена им за свои же деньги. Он разносил такой печатный лист везде и будто бы ненарочно показывал его знакомым и приятелям, и это его тешило до самой простодушной наивности. Слава его росла, работы и заказы увеличивались. Уже стали ему надоедать одни и те же портреты и лица, которых положенье и обороты сделались ему заученными. Уже без большой охоты он писал их, стараясь набросать только кое-как одну голову, а остальное давал доканчивать ученикам. Прежде он всё-таки искал дать какое-нибудь новое положение, поразить силою, эффектом. Теперь и это становилось ему скучно. Ум уставал придумывать и обдумывать. Это было ему не в мочь, да и некогда: рассеянная жизнь и общество, где он старался сыграть роль светского человека, — всё это уносило его далеко от труда и мыслей. Кисть его хладела и тупела, и он нечувствительно заключился в однообразные, определенные, давно изношенные формы. Однообразные, холодные, вечно прибранные и, так сказать, застегнутые лица чиновников военных и штатских не много представляли поля для кисти: она позабывала и великолепные драпировки, и сильные движения и страсти. О группах, о художественной драме, о высокой ее завязке нечего было и говорить. Пред ним были только мундир да корсет, да фрак, пред которыми чувствует холод художник и падает всякое воображение. Даже достоинств самых обыкновенных уже не было видно в его произведениях, а между тем они всё еще пользовались славою, хотя истинные знатоки и художники только пожимали плечами, глядя на последние его работы. А некоторые, знавшие Чарткова прежде, не могли понять, как мог исчезнуть в нем талант, которого признаки оказались уже ярко в нем при самом начале, и напрасно старались разгадать, каким образом может угаснуть дарованье в человеке, тогда как он только что достигнул еще полного развития всех сил своих.

Но этих толков не слышал упоенный художник. Уже он начинал достигать поры степенности ума и лет: стал толстеть и видимо раздаваться в ширину. Уже в газетах и журналах читал он прилагательные: почтенный наш Андрей Петрович, заслуженный наш Андрей Петрович. Уже стали ему предлагать по службе почетные места, приглашать на экзамены, в комитеты. Уже он начинал, как всегда случается в почетные лета, брать сильно сторону Рафаэля и старинных художников, не потому, что убедился вполне в их высоком достоинстве, но потому, чтобы колоть ими в глаза молодых художников. Уже он начинал по обычаю всех, вступающих в такие лета, укорять без изъятья молодежь в безнравственности и дурном направлении духа. Уже начинал он верить, что всё на свете делается просто, вдохновенья свыше нет и всё необходимо должно быть подвергнуто под один строгий порядок аккуратности и однообразья. Одним словом, жизнь его уже коснулась тех лет, когда всё, дышащее порывом, сжимается в человеке, когда могущественный смычок слабее доходит до души и не обвивается пронзительными звуками около сердца, когда прикосновенье красоты уже не превращает девственных сил в огонь и пламя, но все отгоревшие чувства становятся доступнее к звуку золота, вслушиваются внимательней в его заманчивую музыку и мало-по-малу нечувствительно позволяют ей совершенно усыпить себя. Слава не может дать наслажденья тому, кто украл ее, а не заслужил; она производит постоянный трепет только в достойном ее. И потому все чувства и порывы его обратились к золоту. Золото сделалось его страстью, идеалом, страхом, наслажденьем, целью. Пуки ассигнаций росли в сундуках, и как всякой, кому достается в удел этот страшный дар, он начал становиться скучным, недоступным ко всему, кроме золота, беспричинным скрягой, беспутным собирателем, и уже готов был обратиться в одно из тех странных существ, которых много попадается в нашем бесчувственном свете, на которых с ужасом глядит исполненный жизни и сердца человек, которому кажутся они движущимися каменными гробами с мертвецом внутри на место сердца. Но одно событие сильно потрясло и разбудило весь его жизненный состав.

В один день увидел он на столе своем записку, в которой Академия Художеств просила его, как достойного ее члена, приехать дать суждение свое о новом присланном из Италии произведении усовершенствовавшегося там русского художника. Этот художник был один из прежних его товарищей, который от ранних лет носил в себе страсть к искусству, с пламенной душой труженика погрузился в него всей душою своей, оторвался от друзей, от родных, от милых привычек, и помчался туда, где в виду прекрасных небес спеет величавый рассадник искусств, в тот чудный Рим, при имени которого так полно и сильно бьется пламенное сердце художника. Там как отшельник погрузился он в труд и в неразвлекаемые ничем занятия. Ему не было до того дела, толковали ли о его характере, о его неумении обращаться с людьми, о несоблюдении светских приличий, о унижении, которое он причинял званию художника своим скудным, не щегольским нарядом. Ему не было нужды, сердилась ли или нет на него его братья. Всем пренебрегал он, всё отдал искусству. Неутомимо посещал галлереи, по целым часам застаивался перед произведениями великих мастеров, ловя и преследуя чудную кисть. Ничего он не оканчивал без того, чтобы не поверить себя несколько раз с сими великими учителями и чтобы не прочесть в их созданьях безмолвного и красноречивого себе совета. Он не входил в шумные беседы и споры; он не стоял ни за пуристов, ни против пуристов. Он равно всему отдавал должную ему часть, извлекая изо всего только то, что было в нем прекрасно, и наконец оставил себе в учители одного божественного Рафаэля. Подобно как великий поэт-художник, перечитавший много всяких творений, исполненных многих прелестей и величавых красот, оставлял наконец себе настольною книгой одну только Илиаду Гомера, открыв, что в ней всё есть, чего хочешь, и что нет того, чтобы что не отразилось уже здесь в таком глубоком и великом совершенстве. И зато вынес он из своей школы величавую идею созданья, могучую красоту мысли, высокую прелесть небесной кисти.

Вошедши в залу, Чартков нашел уже целую огромную толпу посетителей, собравшихся перед картиною. Глубочайшее безмолвие, какое редко бывает между многолюдными ценителями, на этот раз царствовало всюду. Он поспешил принять значительную физиономию знатока и приблизился к картине; но, боже, что он увидел!

Чистое, непорочное, прекрасное как невеста стояло пред ним произведение художника. Скромно, божественно, невинно и просто как гений возносилось оно над всем. Казалось, небесные фигуры, изумленные столькими устремленными на них взорами, стыдливо опустили прекрасные ресницы. С чувством невольного изумления созерцали знатоки новую невиданную кисть. Всё тут казалось соединилось вместе: изученье Рафаэля, отраженное в высоком благородстве положений, изучение Корреджия, дышавшее в окончательном совершенстве кисти. Но властительней всего видна была сила созданья, уже заключенная в душе самого художника. Последний предмет в картине был им проникнут; во всем постигнут закон и внутренняя сила. Везде уловлена была эта плывучая округлость линий, заключенная в природе, которую видит только один глаз художника-создателя и которая выходит углами у кописта. Видно было, как всё, извлеченное из внешнего мира, художник заключил сперва себе в душу и уже оттуда, из душевного родника устремил его одной согласной, торжественной песнью. И стало ясно даже непосвященным, какая неизмеримая пропасть существует между созданьем и простой копией с природы. Почти невозможно было выразить той необыкновенной тишины, которою невольно были объяты все, вперившие глаза на картину — ни шелеста, ни звука; а картина между тем ежеминутно казалась выше и выше; светлей и чудесней отделялась от всего и вся превратилась наконец в один миг, плод налетевшей с небес на художника мысли, миг, к которому вся жизнь человеческая есть одно только приготовление. Невольные слезы готовы были покатиться по лицам посетителей, окруживших картину. Казалось, все вкусы, все дерзкие, неправильные уклонения вкуса слились в какой-то безмолвный гимн божественному произведению. Неподвижно, с отверстым ртом стоял Чартков перед картиною, и наконец, когда мало-по-малу посетители и знатоки зашумели и начали рассуждать о достоинстве произведения, и когда наконец обратились к нему с просьбою объявить свои мысли, он пришел в себя; хотел принять равнодушный, обыкновенный вид, хотел сказать обыкновенное, пошлое суждение зачерствелых художников, в роде следующего: „Да, конечно, правда, нельзя отнять таланта от художника; есть кое-что, видно, что хотел он выразить что-то, однако же, что касается до главного…“ И вслед за этим прибавить, разумеется, такие похвалы, от которых бы не поздоровилось никакому художнику. Хотел это сделать, но речь умерла на устах его, слезы и рыдания нестройно вырвались в ответ, и он как безумный выбежал из залы.

С минуту неподвижный и бесчувственный стоял он посреди своей великолепной мастерской. Весь состав, вся жизнь его была разбужена в одно мгновение, как будто молодость возвратилась к нему, как будто потухшие искры таланта вспыхнули снова. С очей его вдруг слетела повязка. Боже! и погубить так безжалостно лучшие годы своей юности; истребить, погасить искру огня, может быть, теплившегося в груди, может быть, развившегося бы теперь в величии и красоте, может быть, также исторгнувшего бы слезы изумления и благодарности! И погубить всё это, погубить без всякой жалости! Казалось, как будто в эту минуту разом и вдруг ожили в душе его те напряжения и порывы, которые некогда были ему знакомы. Он схватил кисть и приблизился к холсту. Пот усилия проступил на его лице; весь обратился он в одно желание и загорелся одною мыслию: ему хотелось изобразить отпадшего ангела. Эта идея была более всего согласна с состоянием его души. Но, увы! фигуры его, позы, группы, мысли ложились принужденно и несвязно. Кисть его и воображение слишком уже заключились в одну мерку, и бессильный порыв преступить границы и оковы, им самим на себя наброшенные, уже отзывался неправильностию и ошибкою. Он пренебрег утомительную, длинную лестницу постепенных сведений и первых основных законов будущего великого. Досада его проникла. Он велел вынесть прочь из своей мастерской все последние произведенья, все безжизненные модные картинки, все портреты гусаров, дам и статских советников. Заперся один в своей комнате, не велел никого впускать и весь погрузился в работу. Как терпеливый юноша, как ученик, сидел он за своим трудом. Но как беспощадно-неблагодарно было всё то, что выходило из-под его кисти! На каждом шагу он был останавливаем незнанием самых первоначальных стихий; простой, незначущий механизм охлаждал весь порыв и стоял неперескочимым порогом для воображения. Кисть невольно обращалась к затверженным формам, руки складывались на один заученный манер, голова не смела сделать необыкновенного поворота, даже самые складки платья отзывались вытверженным и не хотели повиноваться и драпироваться на незнакомом положении тела. И он чувствовал, он чувствовал и видел это сам!

„Но точно ли был у меня талант?“ сказал он наконец: „не обманулся ли я?“ И произнесши эти слова, он подошел к прежним своим произведениям, которые работались когда-то так чисто, так бескорыстно, там, в бедной лачужке, на уединенном Васильевском Острову, вдали людей, изобилья и всяких прихотей. Он подошел теперь к ним и стал внимательно рассматривать их все, и вместе с ними стала представать в его памяти вся прежняя бедная жизнь его. „Да“, проговорил он отчаянно: „у меня был талант. Везде, на всем видны его признаки и следы…“

Он остановился и вдруг затрясся всем телом: глаза его встретились с неподвижно-вперившимися на него глазами. Это был тот необыкновенный портрет, который он купил на Щукином дворе. Всё время он был закрыт, загроможден другими картинами и вовсе вышел у него из мыслей. Теперь же как нарочно, когда были вынесены все модные портреты и картины, наполнявшие мастерскую, он выглянул наверх вместе с прежними произведениями его молодости. Как вспомнил он всю странную его историю, как вспомнил, что некоторым образом он, этот странный портрет, был причиной его превращенья, что денежный клад, полученный им таким чудесным образом, родил в нем все суетные побужденья, погубившие его талант — почти бешенство готово было ворваться к нему в душу. Он в ту ж минуту велел вынести прочь ненавистный портрет. Но душевное волненье от того не умирилось: все чувства и весь состав были потрясены до дна, и он узнал ту ужасную муку, которая, как поразительное исключение, является иногда в природе, когда талант слабый силится выказаться в превышающем его размере и не может выказаться, ту муку, которая в юноше рождает великое, но в перешедшем за грань мечтаний обращается в бесплодную жажду, ту страшную муку, которая делает человека способным на ужасные злодеяния. Им овладела ужасная зависть, зависть до бешенства. Желчь проступала у него на лице, когда он видел произведение, носившее печать таланта. Он скрежетал зубами и пожирал его взором василиска. В душе его возродилось самое адское намерение, какое когда-либо питал человек, и с бешеною силою бросился он приводить его в исполнение. Он начал скупать всё лучшее, что только производило художество. Купивши картину дорогою ценою, осторожно приносил в свою комнату и с бешенством тигра на нее кидался, рвал, разрывал ее, изрезывал в куски и топтал ногами, сопровождая смехом наслажденья. Бесчисленные собранные им богатства доставляли ему все средства удовлетворять этому адскому желанию. Он развязал все свои золотые мешки и раскрыл сундуки. Никогда ни одно чудовище невежества не истребило столько прекрасных произведений, сколько истребил этот свирепый мститель. На всех аукционах, куда только показывался он, всякой заранее отчаявался в приобретении художественного создания. Казалось, как будто разгневанное небо нарочно послало в мир этот ужасный бич, желая отнять у него всю его гармонию. Эта ужасная страсть набросила какой-то страшный колорит на него: вечная желчь присутствовала на лице его. Хула на мир и отрицание изображалось само собой в чертах его. Казалось, в нем олицетворился тот страшный демон, которого идеально изобразил Пушкин. Кроме ядовитого слова и вечного порицанья ничего не произносили его уста. Подобно какой-то Гарпии, попадался он на улице, и все его даже знакомые, завидя его издали, старались увернуться и избегнуть такой встречи, говоря, что она достаточна отравить потом весь день.

К счастию мира и искусств, такая напряженная и насильственная жизнь не могла долго продолжаться: размер страстей был слишком неправилен и колоссален для слабых сил ее. Припадки бешенства и безумия начали оказываться чаще, и, наконец, всё это обратилось в самую ужасную болезнь. Жестокая горячка, соединенная с самою быстрою чахоткою, овладели им так свирепо, что в три дня оставалась от него одна тень только. К этому присоединились все признаки безнадежного сумасшествия. Иногда несколько человек не могли удержать его. Ему начали чудиться давно забытые, живые глаза необыкновенного портрета, и тогда бешенство его было ужасно. Все люди, окружавшие его постель, казались ему ужасными портретами. Он двоился, четверился в его глазах; все стены казались увешаны портретами, вперившими в него свои неподвижные, живые глаза. Страшные портреты глядели с потолка, с полу, комната расширялась и продолжалась бесконечно, чтобы более вместить этих неподвижных глаз. Доктор, принявший на себя обязанность его пользовать и уже несколько наслышавшийся о странной его истории, старался всеми силами отыскать тайное отношение между грезившимися ему привидениями и происшествиями его жизни, но ничего не мог успеть. Больной ничего не понимал и не чувствовал, кроме своих терзаний, и издавал одни ужасные вопли и непонятные речи. Наконец, жизнь его прервалась в последнем, уже безгласном порыве страдания. Труп его был страшен. Ничего тоже не могли найти от огромных его богатств; но, увидевши изрезанные куски тех высоких произведений искусства, которых цена превышала миллионы, поняли ужасное их употребление.

Множество карет, дрожек и колясок стояло перед подъездом дома, в котором производилась аукционная продажа вещей одного из тех богатых любителей искусств, которые сладко продремали всю жизнь свою, погруженные в зефиры и амуры, которые невинно прослыли меценатами и простодушно издержали для этого миллионы, накопленные их основательными отцами, а часто даже собственными прежними трудами. Таких меценатов, как известно, теперь уже нет, и наш XIX-й век давно уже приобрел скучную физиономию банкира, наслаждающегося своими миллионами только в виде цифр, выставляемых на бумаге. Длинная зала была наполнена самою пестрою толпой посетителей, налетевших как хищные птицы на неприбранное тело. Тут была целая флотилия русских купцов из гостиного двора и даже толкучего рынка в синих немецких сюртуках. Вид их и выраженье лиц были здесь как-то тверже, вольнее и не означались той приторной услужливостью, которая так видна в русском купце, когда он у себя в лавке перед покупщиком. Тут они вовсе не чинились, несмотря на то, что в этой же зале находилось множество тех аристократов, перед которыми они в другом месте готовы были своими поклонами смести пыль, нанесенную своими же сапогами. Здесь они были совершенно развязны, щупали без церемонии книги и картины, желая узнать доброту товара, и смело перебивали цену, набавляемую графами-знатоками. Здесь были многие необходимые посетители аукционов, постановившие каждый день бывать в нем вместо завтрака; аристократы-знатоки, почитавшие обязанностью не упустить случая умножить свою коллекцию и не находившие другого занятия от 12 до 1 часа; наконец те благородные господа, которых платья и карманы очень худы, которые являются ежедневно без всякой корыстолюбивой цели, но единственно, чтобы посмотреть, чем что кончится, кто будет давать больше, кто меньше, кто кого перебьет и за кем что останется. Множество картин было разбросано совершенно без всякого толку; с ними были перемешаны и мебели и книги с вензелями прежнего владетеля, может быть, не имевшего вовсе похвального любопытства в них заглядывать. Китайские вазы, мраморные доски для столов, новые и старые мебели с выгнутыми линиями, с грифами, сфинксами и львиными лапами, вызолоченные и без позолоты, люстры, кенкеты, всё было навалено и вовсе не в таком порядке, как в магазинах. Всё представляло какой-то хаос искусств. Вообще ощущаемое нами чувство при виде аукциона страшно: в нем всё отзывается чем-то похожим на погребальную процессию. Зал, в котором он производится, всегда как-то мрачен; окна, загроможденные мебелями и картинами, скупо изливают свет, безмолвие, разлитое на лицах, и погребальный голос аукциониста, постукивающего молотком и отпевающего панихиду бедным, так странно встретившимся здесь искусствам. Всё это, кажется, усиливает еще более странную неприятность впечатленья.

Аукцион, казалось, был в самом разгаре. Целая толпа порядочных людей, сдвинувшись вместе, хлопотала о чем-то наперерыв. Со всех сторон раздававшиеся слова: „рубль, рубль, рубль,“ не давали времени аукционисту повторять надбавляемую цену, которая уже возросла вчетверо больше объявленной. Обступившая толпа хлопотала из-за портрета, который не мог не остановить всех, имевших сколько-нибудь понятия в живописи. Высокая кисть художника выказывалась в нем очевидно. Портрет повидимому уже несколько раз был ресторирован и поновлен и представлял смуглые черты какого-то азиатца в широком платье, с необыкновенным, странным выраженьем в лице, но более всего обступившие были поражены необыкновенной живостью глаз. Чем более всматривались в них, тем более они, казалось, устремлялись каждому во внутрь. Эта странность, этот необыкновенный фокус художника заняли вниманье почти всех. Много уже из состязавшихся о нем отступились, потому что цену набили неимоверную. Остались только два известные аристократа, любители живописи, не хотевшие ни за что отказаться от такого приобретенья. Они горячились и набили бы вероятно цену до невозможности, если бы вдруг один из тут же рассматривавших не произнес: „позвольте мне прекратить на время ваш спор. Я, может быть, более, нежели всякой другой, имею право на этот портрет“. Слова эти вмиг обратили на него внимание всех. Это был стройный человек, лет тридцати пяти, с длинными черными кудрями. Приятное лицо, исполненное какой-то светлой беззаботности, показывало душу, чуждую всех томящих светских потрясений; в наряде его не было никаких притязаний на моду: всё показывало в нем артиста. Это был, точно, художник Б., знаемый лично многими из присутствовавших. „Как ни странны вам покажутся слова мои“, продолжал он, видя устремившееся на себя всеобщее внимание, „но если вы решитесь выслушать небольшую историю, может быть, вы увидите, что я был вправе произнести их. Всё меня уверяет, что портрет есть тот самый, которого я ищу“. Весьма естественное любопытство загорелось почти на лицах всех, и самый аукционист, разинув рот, остановился с поднятым в руке молотком, приготовляясь слушать. В начале рассказа многие обращались невольно глазами к портрету, но потом все вперились в одного рассказчика, по мере того, как рассказ его становился занимательней.

„Вам известна та часть города, которую называют Коломною“. Так он начал. „Тут всё непохоже на другие части Петербурга; тут не столица и не провинция; кажется, слышишь, перейдя в Коломенские улицы, как оставляют тебя всякие молодые желанья и порывы. Сюда не заходит будущее, здесь всё тишина и отставка, всё, что осело от столичного движенья. Сюда переезжают на житье отставные чиновники, вдовы, небогатые люди, имеющие знакомство с сенатом, и потому осудившие себя здесь почти на всю жизнь; выслужившиеся кухарки, толкающиеся целый день на рынках, болтающие вздор с мужиком в мелочной лавочке и забирающие каждый день на 5 копеек кофею да на четыре сахару, и наконец весь тот разряд людей, который можно назвать одним словом: пепельный, людей, которые с своим платьем, лицом, волосами, глазами имеют какую-то мутную, пепельную наружность, как день, когда нет на небе ни бури, ни солнца, а бывает просто ни сё, ни то: сеется туман и отнимает всякую резкость у предметов. Сюда можно причислить отставных театральных капельдинеров, отставных титулярных советников, отставных питомцев Марса с выколотым глазом и раздутою губою. Эти люди вовсе бесстрастны: идут, ни на что не обращая глаз, молчат, ни о чем не думая. В комнате их не много добра; иногда просто штоф чистой русской водки, которую они однообразно сосут весь день без всякого сильного прилива в голове, возбуждаемого сильным приемом, какой обыкновенно любит задавать себе по воскресным дням молодой немецкий ремесленник, этот удалец Мещанской улицы, один владеющий всем тротуаром, когда время перешло за 12 часов ночи.

Жизнь в Коломне страх уединенна: редко покажется карета, кроме разве той, в которой ездят актеры, которая громом, звоном и бряканьем своим одна смущает всеобщую тишину. Тут всё пешеходы; извозчик весьма часто без седока плетется, таща сено для бородатой лошаденки своей. Квартиру можно сыскать за пять рублей в месяц даже с кофеем поутру. Вдовы, получающие пенсион, тут самые аристократические фамилии; они ведут себя хорошо, метут часто свою комнату, толкуют с приятельницами о дороговизне говядины и капусты; при них часто бывает молоденькая дочь, молчаливое, безгласное, иногда миловидное существо, гадкая собачонка и стенные часы с печально постукивающим маятником. Потом следуют актеры, которым жалованье не позволяет выехать из Коломны, народ свободный, как все артисты, живущие для наслажденья. Они, сидя в халатах, чинят пистолет, клеят из картона всякие вещицы, полезные для дома, играют с пришедшим приятелем в шашки и карты, и так проводят утро, делая почти то же ввечеру, с присоединеньем кое-когда пунша. После сих тузов и аристократства Коломны следует необыкновенная дробь и мелочь. Их так же трудно поименовать, как исчислить то множество насекомых, которое зарождается в старом уксусе. Тут есть старухи, которые молятся; старухи, которые пьянствуют; старухи, которые и молятся и пьянствуют вместе; старухи, которые перебиваются непостижимыми средствами, как муравьи таскают с собою старое тряпье и белье от Калинкина мосту до толкучего рынка, с тем, чтобы продать его там за пятнадцать копеек; словом, часто самый несчастный осадок человечества, которому бы ни один благодетельный политический эконом не нашел средств улучшить состояние. Я для того привел их, чтобы показать вам, как часто этот народ находится в необходимости искать одной только внезапной, временной помощи, прибегать к займам, и тогда поселяются между ними особого рода ростовщики, снабжающие небольшими суммами под заклады и за большие проценты. Эти небольшие ростовщики бывают в несколько раз бесчувственней всяких больших, потому что возникают среди бедности и ярко выказываемых нищенских лохмотьев, которых не видит богатый ростовщик, имеющий дело только с приезжающими в каретах. И потому уже слишком рано умирает в душах их всякое чувство человечества. Между такими ростовщиками был один….

но не мешает вам сказать, что происшествие, о котором я принялся рассказать, относится к прошедшему веку, именно к царствованию покойной государыни Екатерины второй. Вы можете сами понять, что самый вид Коломны и жизнь внутри ее должны были значительно измениться. Итак, между ростовщиками был один — существо во всех отношениях необыкновенное, поселившееся уже давно в сей части города. Он ходил в широком азиатском наряде; темная краска лица указывала на южное его происхождение, но какой именно был он нации: индеец, грек, персиянин, об этом никто не мог сказать наверно. Высокий, почти необыкновенный рост, смуглое, тощее, запаленое лицо и какой-то непостижимо-страшный цвет его, большие, необыкновенного огня глаза, нависшие густые брови отличали его сильно и резко от всех пепельных жителей столицы. Самое жилище его не похоже было на прочие маленькие деревянные домики. Это было каменное строение в роде тех, которых когда-то настроили вдоволь генуэзские купцы, с неправильными, неравной величины окнами, с железными ставнями и засовами. Этот ростовщик отличался от других ростовщиков уже тем, что мог снабдить какою угодно суммою всех, начиная от нищей старухи до расточительного придворного вельможи. Пред домом его показывались часто самые блестящие экипажи, из оков которых иногда глядела голова роскошной светской дамы. Молва по обыкновению разнесла, что железные сундуки его полны без счету денег, драгоценностей, бриллиантов и всяких залогов, но что однакоже он вовсе не имел той корысти, какая свойственна другим ростовщикам. Он давал деньги охотно, распределяя, казалось, весьма выгодно сроки платежей. Но какими-то арифметическими странными выкладками заставлял их восходить до непомерных процентов. Так, по крайней мере, говорила молва. Но что страннее всего и что не могло не поразить многих — это была странная судьба всех тех, которые получали от него деньги: все они оканчивали жизнь несчастным образом. Было ли это просто людское мнение, нелепые суеверные толки, или с умыслом распущенные слухи — это осталось неизвестно. Но несколько примеров, случившихся в непродолжительное время пред глазами всех, были живы и разительны. Из среды тогдашнего аристократства скоро обратил на себя глаза юноша лучшей фамилии, отличившийся уже в молодых летах на государственном поприще, жаркий почитатель всего истинного, возвышенного, ревнитель всего, что породило искусство и ум человека, пророчивший в себе мецената. Скоро он был достойно отличен самой государыней, вверившей ему значительное место, совершенно согласное с собственными его требованиями, место, где он мог много произвести для наук и вообще для добра. Молодой вельможа окружил себя художниками, поэтами, учеными. Ему хотелось всему дать работу, всё поощрить. Он предпринял на собственный счет множество полезных изданий, надавал множество заказов, объявил поощрительные призы, издержал на это кучи денег и, наконец, расстроился. Но, полный великодушного движенья, он не хотел отстать от своего дела, искал везде занять и наконец обратился к известному ростовщику. Сделавши значительный заем у него, этот человек в непродолжительное время изменился совершенно: стал гонителем, преследователем развивающегося ума и таланта. Во всех сочинениях стал видеть дурную сторону, толковал криво всякое слово. Тогда на-беду случилась французская революция. Это послужило ему вдруг орудием для всех возможных гадостей. Он стал видеть во всем какое-то революционное направление, во всем ему чудились намеки. Он сделался подозрительным до такой степени, что начал наконец подозревать самого себя, стал сочинять ужасные, несправедливые доносы, наделал тьму несчастных. Само собой разумеется, что такие поступки не могли не достигнуть наконец престола. Великодушная государыня ужаснулась и, полная благородства души, украшающего венценосцев, произнесла слова, которые хотя не могли перейти к нам во всей точности, но глубокий смысл их впечатлелся в сердцах многих. Государыня заметила, что не под монархическим правлением угнетаются высокие, благородные движенья души, не там презираются и преследуются творенья ума, поэзии и художеств; что, напротив, одни монархи бывали их покровителями; что Шекспиры, Мольеры процветали под их великодушной защитой, между тем как Дант не мог найти угла в своей республиканской родине; что истинные гении возникают во время блеска и могущества государей и государств, а не во время безобразных политических явлений и терроризмов республиканских, которые доселе не подарили миру ни одного поэта; что нужно отличать поэтов-художников, ибо один только мир и прекрасную тишину низводят они в душу, а не волненье и ропот; что ученые, поэты и все производители искусств суть перлы и бриллианты в императорской короне; ими красуется и получает еще больший блеск эпоха великого государя. Словом, государыня, произнесшая сии слова, была в эту минуту божественно-прекрасна. Я помню, что старики не могли об этом говорить без слез. В деле все приняли участие. К чести нашей народной гордости надобно заметить, что в русском сердце всегда обитает прекрасное чувство взять сторону угнетенного. Обманувший доверенность вельможа был наказан примерно и отставлен от места. Но наказание гораздо ужаснейшее читал он на лицах своих соотечественников. Это было решительное и всеобщее презрение. Нельзя рассказать, как страдала тщеславная душа; гордость, обманутое честолюбие, разрушившиеся надежды, — всё соединилось вместе, и в припадках страшного безумия и бешенства прервалась его жизнь. — Другой разительный пример произошел тоже в виду всех: из красавиц, которыми не бедна была тогда наша северная столица, одна одержала решительное первенство над всеми. Это было какое-то чудное слиянье нашей северной красоты с красотой полудня, бриллиант, какой попадается на свете редко. Отец мой признавался, что никогда он не видывал во всю жизнь свою ничего подобного. Всё, казалось, в ней соединилось: богатство, ум и душевная прелесть. Искателей была толпа, и в числе их замечательнее всех был князь Р., благороднейший, лучший из всех молодых людей, прекраснейший и лицом и рыцарскими, великодушными порывами, высокий идеал романов и женщин, Грандинсон во всех отношениях. Князь Р. был влюблен страстно и безумно; такая же пламенная любовь была ему ответом. Но родственникам показалась партия неровною. Родовые вотчины князя уже давно ему не принадлежали, фамилия была в опале, и плохое положенье дел его было известно всем. Вдруг князь оставляет на-время столицу, будто бы с тем, чтобы поправить свои дела, и, спустя непродолжительное время, является окруженный пышностью и блеском неимоверным. Блистательные балы и праздники делают его известным двору. Отец красавицы становится благосклонным, и в городе разыгрывается интереснейшая свадьба. Откуда произошла такая перемена и неслыханное богатство жениха, этого не мог наверно изъяснить никто; но поговаривали стороною, что он вошел в какие-то условия с непостижимым ростовщиком и сделал у него заем. Как бы то ни было, но свадьба заняла весь город. И жених и невеста были предметом общей зависти. Всем была известна их жаркая, постоянная любовь, долгие томленья, претерпенные с обеих сторон, высокие достоинства обоих. Пламенные женщины начертывали заранее то райское блаженство, которым будут наслаждаться молодые супруги. Но вышло всё иначе. В один год произошла страшная перемена в муже. Ядом подозрительной ревности, нетерпимостью и неистощимыми капризами отравился дотоле благородный и прекрасный характер. Он стал тираном и мучителем жены своей, и, чего бы никто не мог предвидеть, прибегнул к самым бесчеловечным поступкам, даже побоям. В один год никто не мог узнать той женщины, которая еще недавно блистала и влекла за собою толпы покорных поклонников. Наконец, не в силах будучи выносить долее тяжелой судьбы своей, она первая заговорила о разводе. Муж пришел в бешенство при одной мысли о том. В первом движеньи неистовства ворвался он к ней в комнату с ножем и без сомнения заколол бы ее тут же, если бы его не схватили и не удержали. В порыве исступленья и отчаянья он обратил нож на себя — и в ужаснейших муках окончил жизнь. Кроме сих двух примеров, совершившихся в глазах всего общества, рассказывали множество случившихся в низших классах, которые почти все имели ужасный конец. Там честный, трезвый человек делался пьяницей; там купеческий приказчик обворовал своего хозяина; там извозчик, возивший несколько лет честно, за грош зарезал седока. Нельзя, чтобы такие происшествия, рассказываемые иногда не без прибавлений, не навели род какого-то невольного ужаса на скромных обитателей Коломны. Никто не сомневался о присутствии нечистой силы в этом человеке. Говорили, что он предлагал такие условия, от которых дыбом поднимались волоса и которых никогда потом не посмел несчастный передавать другому; что деньги его имеют притягающее свойство, раскаляются сами собою и носят какие-то странные знаки… словом, много было всяких нелепых толков. И замечательно то, что всё это Коломенское население, весь этот мир бедных старух, мелких чиновников, мелких артистов и, словом, всей мелюзги, которую мы только поименовали, соглашались лучше терпеть и выносить последнюю крайность, нежели обратиться к страшному ростовщику; находили даже умерших от голода старух, которые лучше соглашались умертвить свое тело, нежели погубить душу. Встречаясь с ним на улице, невольно чувствовали страх. Пешеход осторожно пятился и долго еще озирался после того назад, следя пропадавшую вдали его непомерную высокую фигуру. В одном уже образе было столько необыкновенного, что всякого заставило бы невольно приписать ему сверхъестественное существование. Эти сильные черты, врезанные так глубоко, как не случается у человека; этот горячий бронзовый цвет лица; эта непомерная гущина бровей, невыносимые, страшные глаза, даже самые широкие складки его азиатской одежды, всё, казалось, как будто говорило, что пред страстями, двигавшимися в этом теле, были бледны все страсти других людей. Отец мой всякой раз останавливался неподвижно, когда встречал его, и всякой раз не мог удержаться, чтобы не произнести: дьявол, совершенный дьявол! Но надобно вас поскорее познакомить с моим отцом, который между прочим есть настоящий сюжет этой истории. Отец мой был человек замечательный во многих отношениях. Это был художник, каких мало, одно из тех чуд, которых извергает из непочатого лона своего только одна Русь, художник-самоучка, отыскавший сам в душе своей, без учителей и школы, правила и законы, увлеченный только одною жаждою усовершенствованья и шедший по причинам, может быть, неизвестным ему самому, одною только указанною из души дорогою; одно из тех самородных чуд, которых часто современники честят обидным словом „невежи“ и которые не охлаждаются от охулений и собственных неудач, получают только новые рвенья и силы и уже далеко в душе своей уходят от тех произведений, за которые получили титло невежи. Высоким внутренним инстинктом почуял он присутствие мысли в каждом предмете; постигнул сам собой истинное значение слова: историческая живопись; постигнул, почему простую головку, простой портрет Рафаэля, Леонардо да Винчи, Тициана, Корреджио можно назвать историческою живописью, и почему огромная картина исторического содержания всё-таки будет tableau de genre[\*](#t_ps3724_13), несмотря на все притязанья художника на историческую живопись. И внутреннее чувство, и собственное убеждение обратили кисть его к христианским предметам, высшей и последней ступени высокого. У него не было честолюбия или раздражительности, так неотлучной от характера многих художников. Это был твердый характер, честный, прямой человек, даже грубый, покрытый снаружи несколько черствой корою, не без некоторой гордости в душе, отзывавшийся о людях вместе и снисходительно, и резко. „Что на них глядеть“, обыкновенно говорил он: „ведь я не для них работаю. Не в гостиную понесу я мои картины, их поставят в церковь. Кто поймет меня, поблагодарит, не поймет — всё-таки помолится богу. Светского человека нечего винить, что он не смыслит живописи; зато он смыслит в картах, знает толк в хорошем вине, в лошадях — зачем знать больше барину? Еще, пожалуй, как попробует того да другого, да пойдет умничать, тогда и житья от него не будет! Всякому своё, всякой пусть занимается своим. По мне уж лучше тот человек, который говорит прямо, что он не знает толку, нежели тот, который корчит лицемера, говорит, будто бы знает то, чего не знает, и только гадит да портит.“ Он работал за небольшую плату, то есть, за плату, которая была нужна ему только для поддержанья семейства и для доставленья возможности трудиться. Кроме того он ни в каком случае не отказывался помочь другому и протянуть руку помощи бедному художнику; веровал простой, благочестивой верою предков, и от того, может быть, на изображенных им лицах являлось само собою то высокое выраженье, до которого не могли докопаться блестящие таланты. Наконец, постоянством своего труда и неуклонностью начертанного себе пути он стал даже приобретать уважение со стороны тех, которые честили его невежей и доморощенным самоучкой. Ему давали беспрестанно заказы в церкви, и работа у него не переводилась. Одна из работ заняла его сильно. Не помню уже, в чем именно состоял сюжет ее, знаю только то — на картине нужно было поместить духа тьмы. Долго думал он над тем, какой дать ему образ; ему хотелось осуществить в лице его всё тяжелое, гнетущее человека. При таких размышлениях иногда проносился в голове его образ таинственного ростовщика, и он думал невольно: „Вот бы с кого мне следовало написать дьявола.“ Судите же об его изумлении, когда один раз, работая в своей мастерской, услышал он стук в дверь и вслед затем прямо вошел к нему ужасный ростовщик. Он не мог не почувствовать какой-то внутренней дрожи, которая пробежала невольно по его телу.

„Ты художник?“ сказал он без всяких церемоний моему отцу.

„Художник“, сказал отец в недоуменьи, ожидая, что будет далее.

„Хорошо. Нарисуй с меня портрет. Я, может быть, скоро умру, детей у меня нет; но я не хочу умереть совершенно, я хочу жить. Можешь ли ты нарисовать такой портрет, чтобы был совершенно как живой?“

Отец мой подумал: „чего лучше? он сам просится в дьяволы ко мне на картину.“ Дал слово. Они уговорились во времени и цене, и на другой же день, схвативши палитру и кисти, отец мой уже был у него. Высокий двор, собаки, железные двери и затворы, дугообразные окна, сундуки, покрытые странными коврами и наконец сам необыкновенный хозяин, севший неподвижно перед ним, всё это произвело на него странное впечатление. Окна как нарочно были заставлены и загромождены снизу так, что давали свет только с одной верхушки. „Чорт побери, как теперь хорошо осветилось его лицо!“ сказал он про себя, и принялся жадно писать, как бы опасаясь, чтобы как-нибудь не исчезло счастливое освещенье. „Экая сила!“ повторил он про себя: „если я хотя вполовину изображу его так, как он есть теперь, он убьет всех моих святых и ангелов; они побледнеют пред ним. Какая дьявольская сила! он у меня просто выскочит из полотна, если только хоть немного буду верен натуре. Какие необыкновенные черты!“ повторял он беспрестанно, усугубляя рвенье, и уже видел сам, как стали переходить на полотно некоторые черты. Но чем более он приближался к ним, тем более чувствовал какое-то тягостное, тревожное чувство, непонятное себе самому. Однакоже, несмотря на то, он положил себе преследовать с буквальною точностью всякую незаметную черту и выраженье. Прежде всего занялся он отделкою глаз. В этих глазах столько было силы, что, казалось, нельзя бы и помыслить передать их точно, как были в натуре. Однакоже, во что бы то ни стало, он решился доискаться в них последней мелкой черты и оттенка, постигнуть их тайну… Но как только начал он входить и углубляться в них кистью, в душе его возродилось такое странное отвращение, такая непонятная тягость, что он должен был на несколько времени бросить кисть и потом приниматься вновь. Наконец уже не мог он более выносить, он чувствовал, что эти глаза вонзались ему в душу и производили в ней тревогу непостижимую. На другой, на третий день это было еще сильнее. Ему сделалось страшно. Он бросил кисть и сказал наотрез, что не может более писать с него. Надобно было видеть, как изменился при этих словах странный ростовщик. Он бросился к нему в ноги и молил кончить портрет, говоря, что от сего зависит судьба его и существование в мире, что уже он тронул своею кистью его живые черты, что если он передаст их верно, жизнь его сверхъестественною силою удержится в портрете, что он чрез то не умрет совершенно, что ему нужно присутствовать в мире. Отец мой почувствовал ужас от таких слов: они ему показались до того странны и страшны, что он бросил и кисти, и палитру, и бросился опрометью вон из комнаты. Мысль о том тревожила его весь день и всю ночь, а поутру он получил от ростовщика портрет, который принесла ему какая-то женщина, единственное существо, бывшее у него в услугах, объявившая тут же, что хозяин не хочет портрета, не дает за него ничего и присылает назад. Ввечеру того же дни узнал он, что ростовщик умер и что собираются уже хоронить его по обрядам его религии. Всё это казалось ему неизъяснимо-странно. А между тем с этого времени оказалась в характере его ощутительная перемена: он чувствовал неспокойное, тревожное состояние, которому сам не мог понять причины, и скоро произвел он такой поступок, которого бы никто не мог от него ожидать: с некоторого времени труды одного из учеников его начали привлекать внимание небольшого круга знатоков и любителей. Отец мой всегда видел в нем талант и оказывал ему за то свое особенное расположение. Вдруг почувствовал он к нему зависть. Всеобщее участие и толки о нем сделались ему невыносимы. Наконец к довершению досады узнает он, что ученику его предложили написать картину для вновь отстроенной богатой церкви. Это его взорвало. „Нет, не дам же молокососу восторжествовать!“ говорил он: „рано, брат, вздумал стариков сажать в грязь! Еще, слава богу, есть у меня силы. Вот мы увидим, кто кого скорее посадит в грязь.“ И прямодушный, честный в душе человек употребил интриги и происки, которыми дотоле всегда гнушался; добился наконец того, что на картину объявлен был конкурс и другие художники могли войти также с своими работами. После чего заперся он в свою комнату и с жаром принялся за кисть. Казалось, все свои силы, всего себя хотел он сюда собрать. И точно, это вышло одно из лучших его произведений. Никто не сомневался, чтобы не за ним осталось первенство. Картины были представлены, и все прочие показались пред нею как ночь пред днем. Как вдруг один из присутствовавших членов, если не ошибаюсь духовная особа, сделал замечание, поразившее всех. „В картине художника точно есть много таланта“, сказал он: „но нет святости в лицах; есть даже, напротив того, что-то демонское в глазах, как будто бы рукою художника водило нечистое чувство.“ Все взглянули и не могли не убедиться в истине сих слов. Отец мой бросился вперед к своей картине, как бы с тем, чтобы поверить самому такое обидное замечание, и с ужасом увидел, что он всем почти фигурам придал глаза ростовщика. Они так глядели демонски-сокрушительно, что он сам невольно вздрогнул. Картина была отвергнута, и он должен был к неописанной своей досаде услышать, что первенство осталось за его учеником. Невозможно было описать того бешенства, с которым он возвратился домой. Он чуть не прибил мать мою, разогнал детей, переломал кисти и мольберт, схватил со стены портрет ростовщика, потребовал ножа и велел разложить огонь в камине, намереваясь изрезать его в куски и сжечь. На этом движеньи застал его вошедший в комнату приятель, живописец, как и он, весельчак всегда довольный собой, не заносившийся никакими отдаленными желаньями, работавший весело всё, что попадалось и еще веселей того принимавшийся за обед и пирушку.

„Что ты делаешь, что собираешься жечь?“ сказал он и подошел к портрету. „Помилуй, это одно из самых лучших твоих произведений. Это ростовщик, который недавно умер; да, это совершеннейшая вещь. Ты ему просто попал не в бровь, а в самые глаза залез. Так в жизнь никогда не глядели глаза, как они глядят у тебя.“

„А вот я посмотрю, как они будут глядеть в огне,“ сказал отец, сделавши движенье швырнуть его в камин.

„Остановись, ради бога!“ сказал приятель, удержав его: „отдай его уж лучше мне, если он тебе до такой степени колет глаз.“ Отец сначала упорствовал, наконец согласился, и весельчак, чрезвычайно довольный своим приобретением, утащил портрет с собою.

По уходе его отец мой вдруг почувствовал себя спокойнее. Точно как будто бы вместе с портретом свалилась тяжесть с его души. Он сам изумился своему злобному чувству, своей зависти и явной перемене своего характера. Рассмотревши поступок свой, он опечалился душою и не без внутренней скорби произнес: „Нет, это бог наказал меня; картина моя по-делом понесла посрамленье. Она была замышлена с тем, чтобы погубить брата. Демонское чувство зависти водило моею кистью, демонское чувство должно было и отразиться в ней.“ Он немедленно отправился искать бывшего ученика своего, обнял его крепко, просил у него прощенья и старался, сколько мог, загладить пред ним вину свою. Работы его вновь потекли попрежнему безмятежно; но задумчивость стала показываться чаще на его лице. Он больше молился, чаще бывал молчалив и не выражался так резко о людях; самая грубая наружность его характера как-то умягчилась. Скоро одно обстоятельство еще более потрясло его. Он уже давно не видался с товарищем своим, выпросившим у него портрет. Уже собирался было итти его проведать, как вдруг он сам вошел неожиданно в его комнату. После нескольких слов и вопросов с обеих сторон, он сказал: „Ну, брат, не даром ты хотел сжечь портрет. Чорт его побери, в нем есть что-то странное… Я ведьмам не верю, но воля твоя: в нем сидит нечистая сила…“

„Как?“ сказал отец мой.

„А так, что с тех пор, как повесил я к себе его в комнату, почувствовал тоску такую… точно как будто бы хотел кого-то зарезать. В жизнь мою я не знал, что такое бессонница, а теперь испытал не только бессонницу, но сны такие… я и сам не умею сказать, сны ли это или что другое: точно домовой тебя душит и всё мерещится проклятой старик. Одним словом, не могу рассказать тебе моего состояния. Подобного со мной никогда не бывало. Я бродил как шальной все эти дни: чувствовал какую-то боязнь, неприятное ожиданье чего-то. Чувствую, что не могу сказать никому веселого и искреннего слова; точно как будто возле меня сидит шпион какой-нибудь. И только с тех пор как отдал портрет племяннику, который напросился на него, почувствовал, что с меня вдруг будто какой-то камень свалился с плеч: вдруг почувствовал себя веселым, как видишь. Ну, брат, состряпал ты чорта“.

Во время этого рассказа отец мой слушал его с неразвлекаемым вниманием и, наконец, спросил: „И портрет теперь у твоего племянника?“

„Куды у племянника! не выдержал“, сказал весельчак: „знать, душа самого ростовщика переселилась в него: он выскакивает из рам, расхаживает по комнате, и то, что рассказывает племянник, просто уму непонятно. Я бы принял его за сумасшедшего, если бы отчасти не испытал сам. Он его продал какому-то собирателю картин, да и тот не вынес его и тоже кому-то сбыл с рук.“

Этот рассказ произвел сильное впечатленье на моего отца. Он задумался не в шутку, впал в ипохондрию и наконец совершенно уверился в том, что кисть его послужила дьявольским орудием, что часть жизни ростовщика перешла в самом деле как-нибудь в портрет и тревожит теперь людей, внушая бесовские побуждения, совращая художника с пути, порождая страшные терзанья зависти и проч. и проч. Три случившиеся вслед затем несчастия, три внезапные смерти жены, дочери и малолетного сына почел он небесною казнью себе и решился непременно оставить свет. Как только минуло мне девять лет, он поместил меня в академию художеств и, расплатясь с своими должниками, удалился в одну уединенную обитель, где скоро постригся в монахи. Там, строгостью жизни, неусыпным соблюдением всех монастырских правил, он изумил всю братью. Настоятель монастыря, узнавши об искусстве его кисти, требовал от него написать главный образ в церковь. Но смиренный брат сказал на-отрез, что он недостоин взяться за кисть, что она осквернена, что трудом и великими жертвами он должен прежде очистить свою душу, чтобы удостоиться приступить к такому делу. Его не хотели принуждать. Он сам увеличивал для себя, сколько было возможно, строгость монастырской жизни. Наконец уже и она становилась ему недостаточною и не довольно строгою. Он удалился с благословенья настоятеля в пустынь, чтоб быть совершенно одному. Там из древесных ветвей выстроил он себе келью, питался одними сырыми кореньями, таскал на себе камни с места на место, стоял от восхода до заката солнечного на одном и том же месте с поднятыми к небу руками, читая беспрерывно молитвы. Словом, изыскивал, казалось, все возможные степени терпенья и того непостижимого самоотверженья, которому примеры можно разве найти в одних житиях святых. Таким образом долго, в продолжение нескольких лет, изнурял он свое тело, подкрепляя его в то же время живительною силою молитвы. Наконец в один день пришел он в обитель и сказал твердо настоятелю: „теперь я готов. Если богу угодно, я совершу свой труд.“ Предмет, взятый им, было рождество Иисуса. Целый год сидел он за ним, не выходя из своей кельи, едва питая себя суровой пищей, молясь беспрестанно. По истечении года картина была готова. Это было точно чудо кисти. Надобно знать, что ни братья, ни настоятель не имели больших сведений в живописи, но все были поражены необыкновенной святостью фигур. Чувство божественного смиренья и кротости в лице пречистой матери, склонившейся над младенцем, глубокий разум в очах божественного младенца, как будто уже что-то прозревающих вдали, торжественное молчанье пораженных божественным чудом царей, повергнувшихся к ногам его, и, наконец, святая, невыразимая тишина, обнимающая всю картину — всё это предстало в такой согласной силе и могуществе красоты, что впечатленье было магическое. Вся братья поверглась на колена пред новым образом, и умиленный настоятель произнес: „Нет, нельзя человеку с помощью одного человеческого искусства произвести такую картину: святая высшая сила водила твоею кистью и благословенье небес почило на труде твоем.“

В это время окончил я свое ученье в академии, получил золотую медаль и вместе с нею радостную надежду на путешествие в Италию — лучшую мечту двадцатилетнего художника. Мне оставалось только проститься с моим отцом, с которым уже 12 лет я расстался. Признаюсь, даже самый образ его давно исчезнул из моей памяти. Я уже несколько наслышался о суровой святости его жизни и заранее воображал встретить черствую наружность отшельника, чуждого всему в мире, кроме своей кельи и молитвы, изнуренного, высохшего от вечного поста и бденья. Но как же я изумился, когда предстал предо мною прекрасный, почти божественный старец! И следов измождения не было заметно на его лице: оно сияло светлостью небесного веселия. Белая как снег борода и тонкие, почти воздушные волосы такого же серебристого цвета рассыпались картинно по груди и по складкам его черной рясы и падали до самого вервия, которым опоясывалась его убогая монашеская одежда; но более всего изумительно было для меня услышать из уст его такие слова и мысли об искусстве, которые, признаюсь, я долго буду хранить в душе и желал бы искренно, чтобы всякой мой собрат сделал то же.

„Я ждал тебя, сын мой“, сказал он, когда я подошел к его благословенью. „Тебе предстоит путь, по которому отныне потечет жизнь твоя. Путь твой чист, не совратись с него. У тебя есть талант; талант есть драгоценнейший дар бога — не погуби его. Исследуй, изучай всё, что ни видишь, покори всё кисти, но во всём умей находить внутреннюю мысль и пуще всего старайся постигнуть высокую тайну созданья. Блажен избранник, владеющий ею. Нет ему низкого предмета в природе. В ничтожном художник-создатель так же велик, как и в великом; в презренном у него уже нет презренного, ибо сквозит невидимо сквозь него прекрасная душа создавшего, и презренное уже получило высокое выражение, ибо протекло сквозь чистилище его души. Намек о божественном, небесном рае заключен для человека в искусстве, и потому одному оно уже выше всего. И во сколько раз торжественный покой выше всякого волненья мирского, во сколько раз творенье выше разрушенья; во сколько раз ангел одной только чистой невинностью светлой души своей выше всех несметных сил и гордых страстей сатаны, во столько раз выше всего, что ни есть на свете, высокое созданье искусства. Всё принеси ему в жертву и возлюби его всей страстью, не страстью, дышущей земным вожделением, но тихой небесной страстью; без неё не властен человек возвыситься от земли и не может дать чудных звуков успокоения. Ибо для успокоения и примирения всех нисходит в мир высокое созданье искусства. Оно не может поселить ропота в душе, но звучащей молитвой стремится вечно к богу. Но есть минуты, темные минуты…“ Он остановился, и я заметил, что вдруг омрачился светлый лик его, как будто бы на него набежало какое-то мгновенное облако. „Есть одно происшествие в моей жизни“, сказал он. „Доныне я не могу понять, что был тот странный образ, с которого я написал изображение. Это было точно какое-то дьявольское явление. Я знаю, свет отвергает существованье дьявола, и потому не буду говорить о нем. Но скажу только, что я с отвращением писал его, я не чувствовал в то время никакой любви к своей работе. Насильно хотел покорить себя и бездушно, заглушив всё, быть верным природе. Это не было созданье искусства, и потому чувства, которые объемлют всех при взгляде на него, суть уже мятежные чувства, тревожные чувства, не чувства художника, ибо художник и в тревоге дышит покоем. Мне говорили, что портрет этот ходит по рукам и рассевает томительные впечатленья, зарождая в художнике чувство зависти, мрачной ненависти к брату, злобную жажду производить гоненья и угнетенья. Да хранит тебя всевышний от сих страстей! Нет их страшнее. Лучше вынести всю горечь возможных гонений, нежели нанести кому-либо одну тень гоненья. Спасай чистоту души своей. Кто заключил в себе талант, тот чище всех должен быть душою. Другому простится многое, но ему не простится. Человеку, который вышел из дому в светлой праздничной одежде, стоит только быть обрызнуту одним пятном грязи из-под колеса, и уже весь народ обступил его и указывает на него пальцем и толкует об его неряшестве, тогда как тот же народ не замечает множества пятен на других проходящих, одетых в буднешние одежды. Ибо на буднешних одеждах не замечаются пятна.“ Он благословил меня и обнял. Никогда в жизни не был я так возвышенно подвигнут. Благоговейно, более нежели с чувством сына, прильнул я к груди его и поцеловал в рассыпавшиеся его серебряные волосы. Слеза блеснула в его глазах. „Исполни, сын мой, одну мою просьбу,“ сказал он мне уже при самом расставаньи. „Может быть, тебе случится увидеть где-нибудь тот портрет, о котором я говорил тебе. Ты его узнаешь вдруг по необыкновенным глазам и неестественному их выражению, — во что бы то ни было, истреби его…“ Вы можете судить сами, мог ли я не обещать клятвенно исполнить такую просьбу. В продолжение целых пятнадцати лет не случалось мне встретить ничего такого, что бы хотя сколько-нибудь походило на описание, сделанное моим отцом, как вдруг теперь на аукционе…“

Здесь художник, не договорив еще своей речи, обратил глаза на стену с тем, чтобы взглянуть еще раз на портрет. То же самое движение сделала в один миг вся толпа слушавших, ища глазами необыкновенного портрета. Но, к величайшему изумлению, его уже не было на стене. Невнятный говор и шум пробежал по всей толпе, и вслед за тем послышались явственно слова: „украден“. Кто-то успел уже стащить его, воспользовавшись вниманьем слушателей, увлеченных рассказом. И долго все присутствовавшие оставались в недоумении, не зная, действительно ли они видели эти необыкновенные глаза, или это была просто мечта, представшая только на миг глазам их, утружденным долгим рассматриванием старинных картин.

Шинель[\*](#t_ps3633_14)

В департаменте… но лучше не называть в каком департаменте. Ничего нет сердитее всякого рода департаментов, полков, канцелярий и, словом, всякого рода должностных сословий. Теперь уже всякой частный человек считает в лице своем оскорбленным всё общество. Говорят, весьма недавно поступила просьба от одного капитана-исправника, не помню какого-то города, в которой он излагает ясно, что гибнут государственные постановления и что священное имя его произносится решительно всуе. А в доказательство приложил к просьбе преогромнейший том какого-то романтического сочинения, где, чрез каждые десять страниц, является капитан-исправник, местами даже совершенно в пьяном виде. Итак, во избежание всяких неприятностей, лучше департамент, о котором идет дело, мы назовем

*одним департаментом*. Итак, в *одном департаменте* служил *один чиновник*, чиновник нельзя сказать чтобы очень замечательный, низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на-вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам щек и цветом лица что̀ называется гемороидальным… Что̀ ж делать! виноват петербургский климат. Что̀ касается до чина (ибо у нас прежде всего нужно объявить чин), то он был то̀, что̀ называют вечный титулярный советник, над которым, как известно, натрунились и наострились вдоволь разные писатели, имеющие похвальное обыкновенье налегать на тех, которые не могут кусаться. Фамилия чиновника была Башмачкин. Уже по самому имени видно, что она когда-то произошла от башмака; но когда, в какое время и каким образом произошла она от башмака, ничего этого неизвестно. И отец, и дед, и даже шурин и все совершенно Башмачкины ходили в сапогах, переменяя только раза три в год подметки. Имя его было: Акакий Акакиевич. Может быть, читателю оно покажется несколько странным и выисканным, но можно уверить, что его никак не искали, а что сами собою случились такие обстоятельства, что никак нельзя было дать другого имени, и это произошло именно вот как: родился Акакий Акакиевич против ночи, если только не изменяет память, на 23 марта. Покойница матушка, чиновница и очень хорошая женщина, расположилась, как следует, окрестить ребенка. Матушка еще лежала на кровати против дверей, а по правую руку стоял кум, превосходнейший человек, Иван Иванович Ерошкин, служивший столоначальником в сенате, и кума, жена квартального офицера, женщина редких добродетелей, Арина Семеновна Белобрюшкова. Родильнице предоставили на выбор любое из трех, какое она хочет выбрать: Моккия, Соссия, или назвать ребенка во имя мученика Хоздазата. „Нет, подумала покойница, имена-то всё такие.“ Чтобы угодить ей, развернули календарь в другом месте; вышли опять три имени: Трифилий, Дула и Варахасий. „Вот это наказание“, проговорила старуха: „какие всё имена, я право никогда и не слыхивала таких. Пусть бы еще Варадат или Варух, а то Трифилий и Варахасий.“ Еще переворотили страницу — вышли: Павсикахий и Вахтисий. „Ну, уж я вижу“, сказала старуха: „что, видно, его такая судьба. Уж если так, пусть лучше будет он называться как и отец его. Отец был Акакий, так пусть и сын будет Акакий.“ Таким образом и произошел Акакий Акакиевич. Ребенка окрестили; при чем он заплакал и сделал такую гримасу, как будто бы предчувствовал, что будет титулярный советник. Итак, вот каким образом произошло всё это. Мы привели потому это, чтобы читатель мог сам видеть, что это случилось совершенно по необходимости и другого имени дать было никак невозможно. Когда и в какое время он поступил в департамент и кто определил его, этого никто не мог припомнить. Сколько ни переменялось директоров и всяких начальников, его видели всё на одном и том же месте, в том же положении, в той же самой должности, тем же чиновником для письма; так что потом уверились, что он, видно, так и родился на свет уже совершенно готовым, в вицмундире и с лысиной на голове. В департаменте не оказывалось к нему никакого уважения. Сторожа́ не только не вставали с мест, когда он проходил, но даже не глядели на него, как будто бы через приемную пролетела простая муха. Начальники поступали с ним как-то холодно-деспотически. Какой-нибудь помощник столоначальника прямо совал ему под нос бумаги, не сказав даже: „перепишите“, или: „вот интересное, хорошенькое дельце“, или что-нибудь приятное, как употребляется в благовоспитанных службах. И он брал, посмотрев только на бумагу, не глядя кто ему подложил и имел ли на то право. Он брал, и тут же пристраивался писать ее. Молодые чиновники подсмеивались и острились над ним, во сколько хватало канцелярского остроумия, рассказывали тут же пред ним разные составленные про него истории, про его хозяйку, семидесятилетнюю старуху, говорили, что она бьет его, спрашивали, когда будет их свадьба, сыпали на голову ему бумажки, называя это снегом. Но ни одного слова не отвечал на это Акакий Акакиевич, как будто бы никого и не было перед ним; это не имело даже влияния на занятия его: среди всех этих докук он не делал ни одной ошибки в письме. Только если уж слишком была невыносима шутка, когда толкали его под руку, мешая заниматься своим делом, он произносил: „оставьте меня, зачем вы меня обижаете?“ И что-то странное заключалось в словах и в голосе, с каким они были произнесены. В нем слышалось что-то такое преклоняющее на жалость, что один молодой человек, недавно определившийся, который, по примеру других, позволил-было себе посмеяться над ним, вдруг остановился как будто пронзенный, и с тех пор как будто всё переменилось перед ним и показалось в другом виде. Какая-то неестественная сила оттолкнула его от товарищей, с которыми он познакомился, приняв их за приличных, светских людей. И долго потом, среди самых веселых минут, представлялся ему низенький чиновник с лысинкою на лбу, с своими проникающими словами: „оставьте меня, зачем вы меня обижаете“ — и в этих проникающих словах звенели другие слова: „я брат твой.“ И закрывал себя рукою бедный молодой человек, и много раз содрогался он потом на веку своем, видя, как много в человеке бесчеловечья, как много скрыто свирепой грубости в утонченной, образованной светскости, и, боже! даже в том человеке, которого свет признает благородным и честным.

Вряд ли где можно было найти человека, который так жил бы в своей должности. Мало сказать: он служил ревностно, нет, он служил с любовью. Там, в этом переписываньи, ему виделся какой-то свой разнообразный и приятный мир. Наслаждение выражалось на лице его; некоторые буквы у него были фавориты, до которых если он добирался, то был сам не свой: и подсмеивался, и подмигивал, и помогал губами, так что в лице его, казалось, можно было прочесть всякую букву, которую выводило перо его. Если бы соразмерно его рвению давали ему награды, он, к изумлению своему, может быть, даже попал бы в статские советники; но выслужил он, как выражались остряки, его товарищи, пряжку в петлицу, да нажил геморой в поясницу. Впрочем нельзя сказать, чтобы не было к нему никакого внимания. Один директор, будучи добрый человек и желая вознаградить его за долгую службу, приказал дать ему что-нибудь поважнее, чем обыкновенное переписыванье; именно из готового уже дела велено было ему сделать какое-то отношение в другое присутственное место; дело состояло только в том, чтобы переменить заглавный титул, да переменить кое-где глаголы из первого лица в третье. Это задало ему такую работу, что он вспотел совершенно, тер лоб и наконец сказал: „нет, лучше дайте я перепишу что-нибудь.“ С тех пор оставили его навсегда переписывать. Вне этого переписыванья, казалось, для него ничего не существовало. Он не думал вовсе о своем платье: вицмундир у него был не зеленый, а какого-то рыжевато-мучного цвета. Воротничек на нем был узинькой, низенькой, так что шея его, несмотря на то, что не была длинна, выходя из воротника, казалась необыкновенно длинною, как у тех гипсовых котенков, болтающих головами, которых носят на головах целыми десятками русские иностранцы. И всегда что-нибудь да прилипало к его вицмундиру: или сенца кусочек, или какая-нибудь ниточка; к тому же он имел особенное искусство, ходя по улице, поспевать под окно именно в то самое время, когда из него выбрасывали всякую дрянь, и оттого вечно уносил на своей шляпе арбузные и дынные корки и тому подобный вздор. Ни один раз в жизни не обратил он внимания на то̀, что̀ делается и происходит всякой день на улице, на что̀, как известно, всегда посмотрит его же брат, молодой чиновник, простирающий до того проницательность своего бойкого взгляда, что заметит даже, у кого на другой стороне тротуара отпоролась внизу панталон стремешка, — что̀ вызывает всегда лукавую усмешку на лице его.

Но Акакий Акакиевич если и глядел на что̀, то видел на всем свои чистые, ровным почерком выписанные строки, и только разве если, неизвестно откуда взявшись, лошадиная морда помещалась ему на плечо и напускала ноздрями целый ветер в щеку, тогда только замечал он, что он не на середине строки, а скорее на средине улицы. Приходя домой, он садился тот же час за стол, хлебал наскоро свои щи и ел кусок говядины с луком, вовсе не замечая их вкуса, ел всё это с мухами и со всем тем, что̀ ни посылал бог на ту пору. Заметивши, что желудок начинал пучиться, вставал из-за стола, вынимал баночку с чернилами и переписывал бумаги, принесенные на дом. Если же таких не случалось, он снимал нарочно, для собственного удовольствия, копию для себя, особенно, если бумага была замечательна не по красоте слога, но по адресу к какому-нибудь новому или важному лицу.

Даже в те часы, когда совершенно потухает петербургское серое небо и весь чиновный народ наелся и отобедал, кто как мог, сообразно с получаемым жалованьем и собственной прихотью, — когда всё уже отдохнуло после департаментского скрипенья перьями, беготни, своих и чужих необходимых занятий и всего того, что̀ задает себе добровольно, больше даже чем нужно, неугомонный человек, — когда чиновники спешат предать наслаждению оставшееся время: кто побойчее, несется в театр; кто на улицу, определяя его на рассматриванье кое-каких шляпенок; кто на вечер истратить его в комплиментах какой-нибудь смазливой девушке, звезде небольшого чиновного круга; кто, и это случается чаще всего, идет, просто, к своему брату в четвертый или третий этаж, в две небольшие комнаты с передней или кухней и кое-какими модными претензиями, лампой или иной вещицей, стоившей многих пожертвований, отказов от обедов, гуляний; словом, даже в то время, когда все чиновники рассеиваются по маленьким квартиркам своих приятелей поиграть в штурмовой вист, прихлебывая чай из стаканов с копеечными сухарями, затягиваясь дымом из длинных чубуков, рассказывая во время сдачи какую-нибудь сплетню, занесшуюся из высшего общества, от которого никогда и ни в каком состоянии не может отказаться русской человек, или даже, когда не о чем говорить, пересказывая вечный анекдот о коменданте, которому пришли сказать, что подрублен хвост у лошади Фальконетова монумента, — словом, даже тогда, когда всё стремится развлечься, Акакий Акакиевич не предавался никакому развлечению. Никто не мог сказать, чтобы когда-нибудь видел его на каком-нибудь вечере. Написавшись в-сласть, он ложился спать, улыбаясь заранее при мысли о завтрашнем дне: что-то бог пошлет переписывать завтра. Так протекала мирная жизнь человека, который с четырьмя стами жалованья умел быть довольным своим жребием, и дотекла бы, может быть, до глубокой старости, если бы не было разных бедствий, рассыпанных на жизненной дороге не только титулярным, но даже тайным, действительным, надворным и всяким советникам, даже и тем, которые не дают никому советов, ни от кого не берут их сами.

Есть в Петербурге сильный враг всех, получающих четыреста рублей в год жалованья, или около того. Враг этот не кто другой, как наш северный мороз, хотя впрочем и говорят, что он очень здоров. В девятом часу утра, именно в тот час, когда улицы покрываются идущими в департамент, начинает он давать такие сильные и колючие щелчки без разбору по всем носам, что бедные чиновники решительно не знают, куда девать их. В это время, когда даже у занимающих высшие должности болит от морозу лоб, и слезы выступают в глазах, бедные титулярные советники иногда бывают беззащитны. Всё спасение состоит в том, чтобы в тощенькой шинелишке перебежать как можно скорее пять-шесть улиц и потом натопаться хорошенько ногами в швейцарской, пока не оттают таким образом все замерзнувшие на дороге способности и дарованья к должностным отправлениям. Акакий Акакиевич с некоторого времени начал чувствовать, что его как-то особенно сильно стало пропекать в спину и плечо, несмотря на то, что он старался перебежать как можно скорее законное пространство. Он подумал, наконец, не заключается ли каких грехов в его шинели. Рассмотрев ее хорошенько у себя дома, он открыл, что в двух, трех местах, именно на спине и на плечах она сделалась точная серпянка: сукно до того истерлось, что сквозило, и подкладка расползлась. Надобно знать, что шинель Акакия Акакиевича служила тоже предметом насмешек чиновникам; от нее отнимали даже благородное имя шинели и называли ее капотом. В самом деле она имела какое-то странное устройство: воротник ее уменьшался с каждым годом более и более, ибо служил на подтачивание других частей ее. Подтачиванье не показывало искусства портного и выходило точно мешковато и некрасиво. Увидевши в чем дело, Акакий Акакиевич решил, что шинель нужно будет снести к Петровичу, портному, жившему где-то в четвертом этаже по черной лестнице, который, несмотря на свой кривой глаз и рябизну по всему лицу, занимался довольно удачно починкой чиновничьих и всяких других панталон и фраков, разумеется, когда бывал в трезвом состоянии и не питал в голове какого-нибудь другого предприятия. Об этом портном, конечно, не следовало бы много говорить, но так как уже заведено, чтобы в повести характер всякого лица был совершенно означен, то нечего делать, подавайте нам и Петровича сюда. Сначала он назывался просто Григорий и был крепостным человеком у какого-то барина; Петровичем он начал называться с тех пор, как получил отпускную и стал попивать довольно сильно по всяким праздникам, сначала по большим, а потом, без разбору, по всем церковным, где только стоял в календаре крестик. С этой стороны он был верен дедовским обычаям и, споря с женой, называл ее мирскою женщиной и немкой. Так как мы уже заикнулись про жену, то нужно будет и о ней сказать слова два; но, к сожалению, о ней немного было известно, разве только то̀, что у Петровича есть жена, носит даже чепчик, а не платок; но красотою, как кажется, она не могла похвастаться; по крайней мере, при встрече с нею, одни только гвардейские солдаты заглядывали ей под чепчик, моргнувши усом и испустивши какой-то особый голос.

Взбираясь по лестнице, ведшей к Петровичу, которая, надобно отдать справедливость, была вся умащена водой, помоями и проникнута насквозь тем спиртуозным запахом, который ест глаза и, как известно, присутствует неотлучно на всех черных лестницах петербургских домов, — взбираясь по лестнице, Акакий Акакиевич уже подумывал о том, сколько запросит Петрович и мысленно положил не давать больше двух рублей. Дверь была отворена, потому что хозяйка, готовя какую-то рыбу, напустила столько дыму в кухне, что нельзя было видеть даже и самых тараканов. Акакий Акакиевич прошел через кухню, не замеченный даже самою хозяйкою, и вступил наконец в комнату, где увидел Петровича, сидевшего на широком деревянном некрашенном столе и подвернувшего под себя ноги свои как турецкий паша. Ноги, по обычаю портных, сидящих за работою, были нагишом. И прежде всего бросился в глаза большой палец, очень известный Акакию Акакиевичу, с каким-то изуродованным ногтем, толстым и крепким, как у черепахи череп. На шее у Петровича висел моток шелку и ниток, а на коленях была какая-то ветошь. Он уже минуты с три продевал нитку в иглиное ухо, не попадал, и потому очень сердился на темноту и даже на самую нитку, ворча вполголоса: „не лезет, ва́рварка; уела ты меня, шельма этакая!“ Акакию Акакиевичу было неприятно, что он пришел именно в ту минуту, когда Петрович сердился: он любил что-либо заказывать Петровичу тогда, когда последний был уже несколько под куражем или, как выражалась жена его: осадился сивухой, одноглазый чорт. В таком состоянии Петрович обыкновенно очень охотно уступал и соглашался, всякой раз даже кланялся и благодарил. Потом, правда, приходила жена, плачась, что муж-де был пьян и потому дешево взялся; но гривенник, бывало, один прибавишь, и дело в шляпе. Теперь же Петрович был, казалось, в трезвом состоянии, а потому крут, несговорчив и охотник заламливать чорт знает какие цены. Акакий Акакиевич смекнул это и хотел было уже, как говорится, на попятный двор, но уж дело было начато. Петрович прищурил на него очень пристально свой единственный глаз и Акакий Акакиевич невольно выговорил: „Здравствуй, Петрович!“ „Здравствовать желаю, судырь“, сказал Петрович и покосил свой глаз на руки Акакия Акакиевича, желая высмотреть, какого рода добычу тот нес.

„А я вот к тебе, Петрович, того…“ Нужно знать, что Акакий Акакиевич изъяснялся большею частью предлогами, наречиями и, наконец, такими частицами, которые решительно не имеют никакого значения. Если же дело было очень затруднительно, то он даже имел обыкновение совсем не оканчивать фразы, так что весьма часто начавши речь словами: „это право совершенно того…“, а потом уже и ничего не было, и сам он позабывал, думая, что всё уже выговорил.

„Что̀ ж такое?“ — сказал Петрович, и обсмотрел в то же время своим единственным глазом весь вицмундир его, начиная с воротника до рукавов, спинки, фалд и петлей, что̀ всё было ему очень знакомо, потому что было собственной его работы. Таков уж обычай у портных; это первое, что он сделает при встрече.

„А я вот того, Петрович… шинель-то, сукно… вот видишь, везде в других местах совсем крепкое, оно немножко запылилось, и кажется, как будто старое, а оно новое, да вот только в одном месте немного того… на спине, да еще вот на плече одном немного попротерлось, да вот на этом плече немножко — видишь, вот и всё. И работы немного…“

Петрович взял капот, разложил его сначала на стол, рассматривал долго, покачал головою и полез рукою на окно за круглой табакеркой с портретом какого-то генерала, какого именно, неизвестно, потому что место, где находилось лицо, было проткнуто пальцем, и потом заклеено четвероугольным лоскуточком бумажки. Понюхав табаку, Петрович растопырил капот на руках и рассмотрел его против света и опять покачал головою. Потом обратил его подкладкой вверх и вновь покачал, вновь снял крышку с генералом, заклеенным бумажкой, и натащивши в нос табаку, закрыл, спрятал табакерку и наконец сказал:

„Нет, нельзя поправить: худой гардероб!“

У Акакия Акакиевича при этих словах ёкнуло сердце. „Отчего же нельзя, Петрович?“ сказал он почти умоляющим голосом ребенка: „ведь только всего что на плечах поистерлось, ведь у тебя есть же какие-нибудь кусочки…“

„Да кусочки-то можно найти, кусочки найдутся“, сказал Петрович: „да нашить-то нельзя: дело совсем гнилое, тронешь иглой — а вот уж оно и ползет.“

„Пусть ползет, а ты тотчас заплаточку.“

„Да заплаточки не на чем положить, укрепиться ей не́ за что, подержка больно велика. Только слава что сукно, а подуй ветер, так разлетится.“

„Ну да уж прикрепи. Как же этак право того*!..*“

„Нет“, сказал Петрович решительно: „ничего нельзя сделать. Дело совсем плохое. Уж вы лучше, как придет зимнее холодное время, наделайте из нее себе онучек, потому что чулок не греет. Это немцы выдумали, чтобы побольше себе денег забирать (Петрович любил при случае кольнуть немцев); а шинель уж видно вам придется новую делать.“

При слове „новую“ у Акакия Акакиевича затуманило в глазах, и всё, что̀ ни было в комнате, так и пошло пред ним путаться. Он видел ясно одного только генерала с заклеенным бумажкой лицом, находившегося на крышке Петровичевой табакерки. „Как же новую?“ сказал он, всё еще как будто находясь во сне: „ведь у меня и денег на это нет.“

„Да, новую“, сказал с варварским спокойствием Петрович.

„Ну, а если бы пришлось новую, как бы она того…“

„То есть, что будет стоить?“

„Да.“

„Да три полсотни слишком надо будет приложить“, сказал Петрович и сжал при этом значительно губы. Он очень любил сильные эффекты, любил вдруг как-нибудь озадачить совершенно и потом поглядеть искоса, какую озадаченный сделает рожу после таких слов.

„Полтораста рублей за шинель!“, вскрикнул бедный Акакий Акакиевич, вскрикнул, может быть, в первый раз от-роду, ибо отличался всегда тихостью голоса.

„Да-с“, сказал Петрович: „да еще какова шинель. Если положить на воротник куницу, да пустить капишон на шелковой подкладке, так и в двести войдет.“

„Петрович, пожалуйста“, говорил Акакий Акакиевич умоляющим голосом, не слыша и не стараясь слышать сказанных Петровичем слов и всех его эффектов: „как-нибудь поправь, чтобы хоть сколько-нибудь еще послужила.“

„Да нет, это выйдет: и работу убивать и деньги попусту тратить“, сказал Петрович, и Акакий Акакиевич после таких слов вышел совершенно уничтоженный. А Петрович, по уходе его, долго еще стоял, значительно сжавши губы и не принимаясь за работу, будучи доволен, что и себя не уронил, да и портного искусства тоже не выдал.

Вышед на улицу, Акакий Акакиевич был как во сне. „Этаково-то дело этакое“ говорил он сам себе: „я право и не думал, чтобы оно вышло того…“ а потом, после некоторого молчания, прибавил: „так вот как! наконец вот что̀ вышло, а я право совсем и предполагать не мог, чтобы оно было этак.“ За сим последовало опять долгое молчание, после которого он произнес: „так этак-то! вот какое уж точно никак неожиданное, того… этого бы никак… этакое-то обстоятельство!“ Сказавши это, он вместо того, чтобы итти домой, пошел совершенно в противную сторону, сам того не подозревая. Дорогою задел его всем нечистым своим боком трубочист и вычернил всё плечо ему; целая шапка извести высыпалась на него с верхушки строившегося дома. Он ничего этого не заметил, и потом уже, когда натолкнулся на будочника, который, поставя около себя свою алебарду, натряхивал из рожка на мозолистый кулак табаку, тогда только немного очнулся, и то потому, что будочник сказал: „чего лезешь в самое рыло, разве нет тебе трухтуара?“ Это заставило его оглянуться и поворотить домой. Здесь только он начал собирать мысли, увидел в ясном и настоящем виде свое положение, стал разговаривать с собою уже не отрывисто, но рассудительно и откровенно, как с благоразумным приятелем, с которым можно поговорить о деле самом сердечном и близком. „Ну нет“, сказал Акакий Акакиевич: „теперь с Петровичем нельзя толковать: он теперь того… жена, видно, как-нибудь поколотила его. А вот я лучше приду к нему в воскресный день утром: он после канунешной субботы будет косить глазом и заспавшись, так ему нужно будет опохмелиться, а жена денег не даст, а в это время я ему гривенничек и того, в руку, он и будет сговорчивее и шинель тогда и того…“ Так рассудил сам с собою Акакий Акакиевич, ободрил себя и дождался первого воскресенья, и увидев издали, что жена Петровича куда-то выходила из дому, он прямо к нему. Петрович точно после субботы сильно косил глазом, голову держал к полу и был совсем заспавшись; но при всем том, как только узнал, в чем дело, точно как будто его чорт толкнул. „Нельзя“, сказал: „извольте заказать новую.“ Акакий Акакиевич тут-то и всунул ему гривенничек. „Благодарствую, судырь, подкреплюсь маленечко за ваше здоровье“, сказал Петрович: „а уж об шинели не извольте беспокоиться: она ни на какую годность не годится. Новую шинель уж я вам сошью на славу, уж на этом постоим.“

Акакий Акакиевич еще-было насчет починки, но Петрович не дослышал и сказал: „уж новую я вам сошью беспременно, в этом извольте положиться, старание приложим. Можно будет даже так, как пошла мода, воротник будет застегиваться на серебряные лапки под аплике.“

Тут-то увидел Акакий Акакиевич, что без новой шинели нельзя обойтись, и поник совершенно духом. Как же в самом деле, на что̀, на какие деньги ее сделать? Конечно, можно бы отчасти положиться на будущее награждение к празднику, но эти деньги давно уже размещены и распределены вперед. Требовалось завести новые панталоны, заплатить сапожнику старый долг за приставку новых головок к старым голенищам, да следовало заказать швее три рубахи, да штуки две того белья, которое неприлично называть в печатном слоге, словом: все деньги совершенно должны были разойтися, и если бы даже директор был так милостив, что, вместо сорока рублей наградных, определил бы сорок пять или пятьдесят, то всё-таки останется какой-нибудь самый вздор, который в шинельном капитале будет капля в море. Хотя конечно он знал, что за Петровичем водилась блажь заломить вдруг чорт знает какую непомерную цену, так что уж, бывало, сама жена не могла удержаться, чтобы не вскрикнуть: „что ты, с ума сходишь, дурак такой! В другой раз ни за что возьмет работать, а теперь разнесла его нелегкая запросить такую цену, какой и сам не стоит.“ Хотя, конечно, он знал, что Петрович и за восемьдесят рублей возьмется сделать; однако всё же, откуда взять эти восемьдесят рублей? Еще половину можно бы найти: половина бы отыскалась; может быть, даже немножко и больше; но где взять другую половину*?..*

Но прежде читателю должно узнать, где взялась первая половина. Акакий Акакиевич имел обыкновение со всякого истрачиваемого рубля откладывать по грошу в небольшой ящичек, запертый на ключ, с прорезанною в крышке дырочкой для бросания туда денег. По истечении всякого полугода, он ревизовал накопившуюся медную сумму и заменял ее мелким серебром. Так продолжал он с давних пор, и таким образом в продолжение нескольких лет оказалось накопившейся суммы более, чем на сорок рублей. Итак половина была в руках; но где же взять другую половину? Где взять другие сорок рублей? Акакий Акакиевич думал, думал и решил, что нужно будет уменьшить обыкновенные издержки, хотя по крайней мере в продолжение одного года: изгнать употребление чаю по вечерам, не зажигать по вечерам свечи, а если что̀ понадобится делать, итти в комнату к хозяйке и работать при ее свечке; ходя по улицам, ступать как можно легче и осторожнее по камням и плитам, почти на цыпочках, чтобы таким образом не истереть скоровременно подметок; как можно реже отдавать прачке мыть белье, а чтобы не занашивалось, то всякой раз, приходя домой, скидать его и оставаться в одном только демикотоновом халате, очень давнем и щадимом даже самым временем. Надобно сказать правду, что сначала ему было несколько трудно привыкать к таким ограничениям, но потом как-то привыклось и пошло на-лад; даже он совершенно приучился голодать по вечерам; но зато он питался духовно, нося в мыслях своих вечную идею будущей шинели. С этих пор как будто самое существование его сделалось как-то полнее, как будто бы он женился, как будто какой-то другой человек присутствовал с ним, как будто он был не один, а какая-то приятная подруга жизни согласилась с ним проходить вместе жизненную дорогу, — и подруга эта была не кто другая, как та же шинель на толстой вате, на крепкой подкладке без износу. Он сделался как-то живее, даже тверже характером, как человек, который уже определил и поставил себе цель. С лица и с поступков его исчезло само собою сомнение, нерешительность, словом все колеблющиеся и неопределенные черты. Огонь порою показывался в глазах его, в голове даже мелькали самые дерзкие и отважные мысли: не положить ли точно куницу на воротник. Размышления об этом чуть не навели на него рассеянности. Один раз, переписывая бумагу, он чуть-было даже не сделал ошибки, так что почти вслух вскрикнул: „ух!“ и перекрестился. В продолжение каждого месяца он, хотя один раз, наведывался к Петровичу, чтобы поговорить о шинели, где лучше купить сукна, и какого цвета, и в какую цену, и хотя несколько озабоченный, но всегда довольный возвращался домой, помышляя, что наконец придет же время, когда всё это купится и когда шинель будет сделана. Дело пошло даже скорее, чем он ожидал. Противу всякого чаяния, директор назначил Акакию Акакиевичу не сорок или сорок пять, а целых шестьдесят рублей: уж предчувствовал ли он, что Акакию Акакиевичу нужна шинель или само собой так случилось, но только у него чрез это очутилось лишних двадцать рублей. Это обстоятельство ускорило ход дела. Еще каких-нибудь два-три месяца небольшого голодания — и у Акакия Акакиевича набралось точно около восьмидесяти рублей. Сердце его, вообще весьма покойное, начало биться. В первый же день он отправился вместе с Петровичем в лавки. Купили сукна очень хорошего — и не мудрено, потому что об этом думали еще за полгода прежде и редкой месяц не заходили в лавки применяться к ценам; зато сам Петрович сказал, что лучше сукна и не бывает. На подкладку выбрали коленкору, но такого добротного и плотного, который, по словам Петровича, был еще лучше шелку и даже на вид казистей и глянцевитей. Куницы не купили, потому что была точно дорога́, а вместо ее выбрали кошку лучшую, какая только нашлась в лавке, кошку, которую издали можно было всегда принять за куницу. Петрович провозился за шинелью всего две недели, потому что много было стеганья, а иначе она была бы готова раньше. За работу Петрович взял двенадцать рублей — меньше никак нельзя было: всё было решительно шито на шелку, двойным мелким швом, и по всякому шву Петрович потом проходил собственными зубами, вытесняя ими разные фигуры. Это было… трудно сказать в который именно день, но, вероятно, в день самый торжественнейший в жизни Акакия Акакиевича, когда Петрович принес наконец шинель. Он принес ее поутру, перед самым тем временем, как нужно было итти в департамент. Никогда бы в другое время не пришлась так кстати шинель, потому что начинались уже довольно крепкие морозы и, казалось, грозили еще более усилиться. Петрович явился с шинелью, как следует хорошему портному. В лице его показалось выражение такое значительное, какого Акакий Акакиевич никогда еще не видал. Казалось, он чувствовал в полной мере, что сделал немалое дело и что вдруг показал в себе бездну, разделяющую портных, которые подставляют только подкладки и переправляют, от тех, которые шьют за-ново. Он вынул шинель из носового платка, в котором ее принес; платок был только что от прачки; он уже потом свернул его и положил в карман для употребления. Вынувши шинель, он весьма гордо посмотрел и, держа в обеих руках, набросил весьма ловко на плеча Акакию Акакиевичу; потом потянул и осадил ее сзади рукой книзу; потом драпировал ею Акакия Акакиевича несколько на-распашку. Акакий Акакиевич, как человек в летах, хотел попробовать в рукава; Петрович помог надеть и в рукава — вышло, что и в рукава была хороша. Словом, оказалось, что шинель была совершенно и как-раз в пору. Петрович не упустил при сем случае сказать, что он так только, потому, что живет без вывески на небольшой улице и притом давно знает Акакия Акакиевича, потому взял так дешево; а на Невском проспекте с него бы взяли за одну только работу семьдесят пять рублей. Акакий Акакиевич об этом не хотел рассуждать с Петровичем, да и боялся всех сильных сумм, какими Петрович любил запускать пыль. Он расплатился с ним, поблагодарил и вышел тут же в новой шинели в департамент. Петрович вышел вслед за ним и, оставаясь на улице, долго еще смотрел издали на шинель, и потом пошел нарочно в сторону, чтобы, обогнувши кривым переулком, забежать вновь на улицу и посмотреть еще раз на свою шинель с другой стороны, то есть прямо в лицо. Между тем, Акакий Акакиевич шел в самом праздничном расположении всех чувств. Он чувствовал всякой миг минуты, что на плечах его новая шинель, и несколько раз даже усмехнулся от внутреннего удовольствия. В самом деле две выгоды: одно то̀, что тепло, а другое, что хорошо. Дороги он не приметил вовсе и очутился вдруг в департаменте; в швейцарской он скинул шинель, осмотрел ее кругом и поручил в особенный надзор швейцару. Неизвестно, каким образом в департаменте все вдруг узнали, что у Акакия Акакиевича новая шинель и что уже капота более не существует. Все в ту же минуту выбежали в швейцарскую смотреть новую шинель Акакия Акакиевича. Начали поздравлять его, приветствовать, так что тот сначала только улыбался, а потом сделалось ему даже стыдно. Когда же все, приступив к нему, стали говорить, что нужно вспрыснуть новую шинель, и что по крайней мере он должен задать им всем вечер, Акакий Акакиевич потерялся совершенно, не знал как ему быть, что̀ такое отвечать и как отговориться. Он уже минут через несколько, весь закрасневшись, начал-было уверять довольно простодушно, что это совсем не новая шинель, что это так, что это старая шинель. Наконец один из чиновников, какой-то даже помощник столоначальника, вероятно, для того, чтобы показать, что он ничуть не гордец и знается даже с низшими себя, сказал: „так и быть, я вместо Акакия Акакиевича даю вечер и прошу ко мне сегодня на чай: я же, как нарочно, сегодня именинник.“ Чиновники, натурально, тут же поздравили помощника столоначальника и приняли с охотою предложение. Акакий Акакиевич начал-было отговариваться, но все стали говорить, что неучтиво, что просто стыд и срам, и он уж никак не мог отказаться. Впрочем, ему потом сделалось приятно, когда вспомнил, что он будет иметь чрез то̀ случай пройтись даже и ввечеру в новой шинели. Этот весь день был для Акакия Акакиевича точно самый большой торжественный праздник. Он возвратился домой в самом счастливом расположении духа, скинул шинель и повесил ее бережно на стене, налюбовавшись еще раз сукном и подкладкой, и потом нарочно вытащил, для сравненья, прежний капот свой, совершенно расползшийся. Ой взглянул на него, и сам даже засмеялся: такая была далекая разница! И долго еще потом за обедом он всё усмехался, как только приходило ему на ум положение, в котором находился капот. Пообедал он весело и после обеда уж ничего не писал, никаких бумаг, а так немножко посибаритствовал на постели, пока не потемнело. Потом, не затягивая дела, оделся, надел на плеча шинель и вышел на улицу. Где именно жил пригласивший чиновник, к сожалению, не можем сказать: память начинает нам сильно изменять, и всё, что̀ ни есть в Петербурге, все улицы и домы слились и смешались так в голове, что весьма трудно достать оттуда что-нибудь в порядочном виде. Как бы то ни было, но верно по крайней мере то, что чиновник жил в лучшей части города, стало быть, очень не близко от Акакия Акакиевича. Сначала надо было Акакию Акакиевичу пройти кое-какие пустынные улицы с тощим освещением, но по мере приближения к квартире чиновника, улицы становились живее, населенней и сильнее освещены. Пешеходы стали мелькать чаще, начали попадаться и дамы красиво одетые, на мужчинах попадались бобровые воротники, реже встречались ваньки с деревянными решетчатыми своими санками, утыканными позолоченными гвоздочками — напротив, всё попадались лихачи в малиновых бархатных шапках, с лакированными санками, с медвежьими одеялами, и пролетали улицу, визжа колесами по снегу, кареты с убранными козлами. Акакий Акакиевич глядел на всё это, как на новость. Он уже несколько лет не выходил по вечерам на улицу. Остановился с любопытством перед освещенным окошком магазина посмотреть на картину, где изображена была какая-то красивая женщина, которая скидала с себя башмак, обнаживши таким образом всю ногу очень недурную; а за спиной ее, из дверей другой комнаты, выставил голову какой-то мужчина с бакенбардами и красивой испаньолкой под губой. Акакий Акакиевич покачнул головой и усмехнулся, и потом пошел своею дорогою. Почему он усмехнулся, потому ли, что встретил вещь вовсе незнакомую, но о которой однакоже всё-таки у каждого сохраняется какое-то чутье, или подумал он, подобно многим другим чиновникам, следующее: „ну уж эти французы! что и говорить, уж ежели захотят что-нибудь того, так уж точно того…“ А может быть, даже и этого не подумал — ведь нельзя же залезть в душу человеку и узнать всё, что̀ он ни думает. Наконец достигнул он дома, в котором квартировал помощник столоначальника. Помощник столоначальника жил на большую ногу: на лестнице светил фонарь, квартира была во втором этаже. Вошедши в переднюю, Акакий Акакиевич увидел на полу целые ряды калош. Между ними, посреди комнаты, стоял самовар, шумя и испуская клубами пар. На стенах висели всё шинели, да плащи, между которыми некоторые были даже с бобровыми воротниками или с бархатными отворотами. За стеной был слышен шум и говор, которые вдруг сделались ясными и звонкими, когда отворилась дверь и вышел лакей с подносом, уставленным опорожненными стаканами, сливочником и корзиною сухарей. Видно, что уж чиновники давно собрались и выпили по первому стакану чаю. Акакий Акакиевич, повесивши сам шинель свою, вошел в комнату, и перед ним мелькнули в одно время свечи, чиновники, трубки, столы для карт, и смутно поразили слух его: беглый, со всех сторон подымавшийся разговор и шум передвигаемых стульев. Он остановился весьма неловко среди комнаты, ища и стараясь придумать, что̀ ему сделать. Но его уже заметили, приняли с криком и все пошли тот же час в переднюю и вновь осмотрели его шинель. Акакий Акакиевич хотя было отчасти и сконфузился, но будучи человеком чистосердечным, не мог не порадоваться, видя, как все похвалили шинель. Потом, разумеется, все бросили и его и шинель, и обратились, как водится, к столам, назначенным для виста. Всё это: шум, говор и толпа людей, всё это было как-то чудно Акакию Акакиевичу. Он, просто, не знал, как ему быть, куда деть руки, ноги и всю фигуру свою; наконец подсел он к игравшим, смотрел в карты, засматривал тому и другому в лица и чрез несколько времени начал зевать, чувствовать, что скучно, тем более, что уж давно наступило то время, в которое он, по обыкновению, ложился спать. Он хотел проститься с хозяином, но его не пустили, говоря, что непременно надо выпить, в честь обновки, по бокалу шампанского. Через час подали ужин, состоявший из винегрета, холодной телятины, паштета, кондитерских пирожков и шампанского. Акакия Акакиевича заставили выпить два бокала, после которых он почувствовал, что в комнате сделалось веселее, однакож никак не мог позабыть, что уже двенадцать часов и что давно пора домой. Чтобы как-нибудь не вздумал удерживать хозяин, он вышел потихоньку из комнаты, отыскал в передней шинель, которую не без сожаления увидел лежавшею на полу, стряхнул ее, снял с нее всякую пушинку, надел на плеча и опустился по лестнице на улицу. На улице всё еще было светло. Кое-какие мелочные лавчонки, эти бессменные клубы дворовых и всяких людей, были отперты, другие же, которые были заперты, показывали однакож длинную струю света во всю дверную щель, означавшую, что они не лишены еще общества и, вероятно, дворовые служанки или слуги еще доканчивают свои толки и разговоры, повергая своих господ в совершенное недоумение насчет своего местопребывания. Акакий Акакиевич шел в веселом расположении духа, даже подбежал-было вдруг, неизвестно почему, за какою-то дамою, которая, как молния, прошла мимо и у которой всякая часть тела была исполнена необыкновенного движения. Но однакож он тут же остановился и пошел опять по-прежнему очень тихо, подивясь даже сам неизвестно откуда взявшейся рыси. Скоро потянулись перед ним те пустынные улицы, которые даже и днем не так веселы, а тем более вечером. Теперь они сделались еще глуше и уединеннее: фонари стали мелькать реже — масла, как видно, уже меньше отпускалось; пошли деревянные домы, заборы; нигде ни души; сверкал только один снег по улицам, да печально чернели с закрытыми ставнями заснувшие низенькие лачужки. Он приблизился к тому месту, где перерезывалась улица бесконечною площадью с едва видными на другой стороне ее домами, которая глядела страшною пустынею.

Вдали, бог знает где, мелькал огонек в какой-то будке, которая казалась стоявшею на краю света. Веселость Акакия Акакиевича как-то здесь значительно уменьшилась. Он вступил на площадь не без какой-то невольной боязни, точно как будто сердце его предчувствовало что-то недоброе. Он оглянулся назад и по сторонам: точное море вокруг него. „Нет, лучше и не глядеть“, подумал и шел, закрыв глаза, и когда открыл их, чтобы узнать, близко ли конец площади, увидел вдруг, что перед ним стоят почти перед носом какие-то люди с усами, какие именно, уж этого он не мог даже различить. У него затуманило в глазах и забилось в груди. „А ведь шинель-то моя!“ сказал один из них громовым голосом, схвативши его за воротник. Акакий Акакиевич хотел-было уже закричать „караул“, как другой приставил ему к самому рту кулак, величиною в чиновничью голову, примолвив: „а вот только крикни!“ Акакий Акакиевич чувствовал только, как сняли с него шинель, дали ему пинка коленом, и он упал навзничь в снег и ничего уж больше не чувствовал. Чрез несколько минут он опомнился и поднялся на ноги, но уж никого не было. Он чувствовал, что в поле холодно, и шинели нет, стал кричать, но голос, казалось, и не думал долетать до концов площади. Отчаянный, не уставая кричать, пустился он бежать через площадь прямо к будке, подле которой стоял будочник и опершись на свою алебарду, глядел, кажется, с любопытством, желая знать, какого чорта бежит к нему издали и кричит человек. Акакий Акакиевич, прибежав к нему, начал задыхающимся голосом кричать, что он спит и ни за чем не смотрит, не видит, как грабят человека. Будочник отвечал, что он не видал ничего, что видел, как остановили его среди площади какие-то два человека, да думал, что то были его приятели; а что пусть он вместо того, чтобы понапрасну браниться, сходит завтра к надзирателю, так надзиратель отыщет, кто взял шинель. Акакий Акакиевич прибежал домой в совершенном беспорядке: волосы, которые еще водились у него в небольшом количестве на висках и затылке, совершенно растрепались; бок и грудь и все панталоны были в снегу. Старуха, хозяйка квартиры его, услыша страшный стук в дверь, поспешно вскочила с постели и с башмаком на одной только ноге побежала отворять дверь, придерживая на груди своей, из скромности, рукою рубашку; но, отворив, отступила назад, увидя в таком виде Акакия Акакиевича. Когда же рассказал он, в чем дело, она всплеснула руками и сказала, что нужно итти прямо к частному, что квартальный надует, пообещается и станет водить; а лучше всего итти прямо к частному, что он даже ей знаком, потому что Анна, чухонка, служившая прежде у нее в кухарках, определилась теперь к частному в няньки, что она часто видит его самого, как он проезжает мимо их дома, и что он бывает также всякое воскресенье в церкви, молится, а в то же время весело смотрит на всех и что, стало быть, по всему видно, должен быть добрый человек. Выслушав такое решение, Акакий Акакиевич печальный побрел в свою комнату, и как он провел там ночь, предоставляется судить тому, кто может сколько-нибудь представить себе положение другого. Поутру рано отправился он к частному; но сказали, что спит; он пришел в десять — сказали опять: спит; он пришел в одиннадцать часов — сказали: да нет частного дома; он в обеденное время — но писаря в прихожей никак не хотели пустить его и хотели непременно узнать, за каким делом и какая надобность привела и что такое случилось. Так-что наконец Акакий Акакиевич раз в жизни захотел показать характер и сказал на-отрез, что ему нужно лично видеть самого частного, что они не смеют его не допустить, что он пришел из департамента за казенным делом, а что вот как он на них пожалуется, так вот тогда они увидят. Против этого писаря̀ ничего не посмели сказать и один из них пошел вызвать частного. Частный принял как-то чрезвычайно странно рассказ о грабительстве шинели. Вместо того, чтобы обратить внимание на главный пункт дела, он стал расспрашивать Акакия Акакиевича: да почему он так поздно возвращался, да не заходил ли он и не был ли в каком непорядочном доме, так что Акакий Акакиевич сконфузился совершенно и вышел от него, сам не зная, возымеет ли надлежащий ход дело о шинели, или нет. Весь этот день он не был в присутствии (единственный случай в его жизни). На другой день он явился весь бледный и в старом капоте своем, который сделался еще плачевнее. Повествование о грабеже шинели, несмотря на то, что нашлись такие чиновники, которые не пропустили даже и тут посмеяться над Акакием Акакиевичем, однако же многих тронуло. Решились тут же сделать для него складчину, но собрали самую безделицу, потому что чиновники и без того уже много истратились, подписавшись на директорский портрет и на одну какую-то книгу, по предложению начальника отделения, который был приятелем сочинителю, — итак сумма оказалась самая бездельная. Один кто-то, движимый состраданием, решился по крайней мере помочь Акакию Акакиевичу добрым советом, сказавши, чтоб он пошел не к квартальному, потому что хоть и может случиться, что квартальный, желая заслужить одобрение начальства, отыщет каким-нибудь образом шинель, но шинель всё-таки останется в полиции, если он не представит законных доказательств, что она принадлежит ему; а лучше всего, чтобы он обратился к одному *значительному лицу*, что *значительное лицо* спишась и снесясь, с кем следует, может заставить успешнее итти дело. Нечего делать, Акакий Акакиевич решился итти к *значительному лицу*. Какая именно и в чем состояла должность *значительного лица*, это осталось до сих пор неизвестным. Нужно знать, что *одно значительное лицо* недавно сделался значительным лицом, а до того времени он был незначительным лицом. Впрочем место его и теперь не почиталось значительным в сравнении с другими еще значительнейшими. Но всегда найдется такой круг людей, для которых незначительное в глазах прочих есть уже значительное. Впрочем он старался усилить значительность многими другими средствами, именно: завел, чтобы низшие чиновники встречали его еще на лестнице, когда он приходил в должность; чтобы к нему являться прямо никто не смел, а чтоб шло всё порядком строжайшим: коллежский регистратор докладывал бы губернскому секретарю, губернский секретарь — титулярному, или какому приходилось другому, и чтобы уже таким образом доходило дело до него. Так уж на святой Руси всё заражено подражанием, всякой дразнит и корчит своего начальника. Говорят даже, какой-то титулярный советник, когда сделали его правителем какой-то отдельной небольшой канцелярии, тотчас же отгородил себе особенную комнату, назвавши ее „комнатой присутствия“ и поставил у дверей каких-то капельдинеров с красными воротниками, в галунах, которые брались за ручку дверей и отворяли ее всякому приходившему, хотя в „комнате присутствия“ насилу мог уставиться обыкновенный письменный стол. Приемы и обычаи *значительного лица*

были солидны и величественны, но не многосложны. Главным основанием его системы была строгость. „Строгость, строгость и — строгость“, говаривал он обыкновенно, и при последнем слове обыкновенно смотрел очень значительно в лицо тому, которому говорил. Хотя впрочем этому и не было никакой причины, потому что десяток чиновников, составлявших весь правительственный механизм канцелярии, и без того был в надлежащем страхе: завидя его издали, оставлял уже дело и ожидал стоя в вытяжку, пока начальник пройдет через комнату. Обыкновенный разговор его с низшими отзывался строгостью и состоял почти из трех фраз: „как вы смеете? знаете ли вы, с кем говорите? понимаете ли, кто стоит перед вами?“ Впрочем он был в душе добрый человек, хорош с товарищами, услужлив; но генеральский чин совершенно сбил его с толку. Получивши генеральский чин, он как-то спутался, сбился с пути и совершенно не знал, как ему быть. Если ему случалось быть с ровными себе, он был еще человек, как следует, человек очень порядочный, во многих отношениях даже не глупый человек; но как только случалось ему быть в обществе, где были люди хоть одним чином пониже его, там он был просто хоть из рук вон: молчал, и положение его возбуждало жалость тем более, что он сам даже чувствовал, что мог бы провести время несравненно лучше. В глазах его иногда видно было сильное желание присоединиться к какому-нибудь интересному разговору и кружку, но останавливала его мысль: не будет ли это уж очень много с его стороны, не будет ли фамилиарно, и не уронит ли он чрез то своего значения? И вследствие таких рассуждений он оставался вечно в одном и том же молчаливом состоянии, произнося только изредка какие-то односложные звуки, и приобрел таким образом титул скучнейшего человека. К такому-то *значительному лицу* явился наш Акакий Акакиевич и явился во время самое неблагоприятное, весьма некстати для себя, хотя впрочем кстати для значительного лица. Значительное лицо находился в своем кабинете и разговорился очень-очень весело с одним недавно приехавшим старинным знакомым и товарищем детства, с которым несколько лет не видался. В это время доложили ему, что пришел какой-то Башмачкин. Он спросил отрывисто: „кто такой?“ ему отвечали: „какой-то чиновник“. — „А! может подождать, теперь не время“, сказал значительный человек. Здесь надобно сказать, что значительный человек совершенно прилгнул: ему было время, они давно уже с приятелем переговорили обо всем и уже давно перекладывали разговор весьма длинными молчаньями, слегка только потрепливая друг друга по ляшке и приговаривая: „так-то, Иван Абрамович!“ — „этак-то, Степан Варламович!“ Но при всем том однакоже велел он чиновнику подождать, чтобы показать приятелю, человеку давно не служившему и зажившемуся дома в деревне, сколько времени чиновники дожидаются у него в передней. Наконец наговорившись, а еще более намолчавшись вдоволь и выкуривши сигарку в весьма покойных креслах с откидными спинками, он наконец как будто вдруг вспомнил и сказал секретарю, остановившемуся у дверей с бумагами для доклада: „да, ведь, там стоит, кажется, чиновник; скажите ему, что он может войти“. Увидевши смиренный вид Акакия Акакиевича и его старенькой вицмундир, он оборотился к нему вдруг и сказал: „что̀ вам угодно?“ голосом отрывистым и твердым, которому нарочно учился заране у себя в комнате, в уединении и перед зеркалом, еще за неделю до получения нынешнего своего места и генеральского чина. Акакий Акакиевич уже заблаговременно почувствовал надлежащую робость, несколько смутился, и как мог, сколько могла позволить ему свобода языка, изъяснил с прибавлением даже чаще, чем в другое время частиц „того“, что была-де шинель совершенно новая, и теперь ограблен бесчеловечным образом, и что он обращается к нему, чтоб он ходатайством своим как-нибудь того, списался бы с г. обер-полицмейстером, или другим кем, и отыскал шинель. Генералу, неизвестно почему, показалось такое обхождение фамилиарным. „Что вы, милостивый государь“, продолжал он отрывисто: „не знаете порядка? куда вы зашли? не знаете, как водятся дела? Об этом вы бы должны были прежде подать просьбу в канцелярию; она пошла бы к столоначальнику, к начальнику отделения, потом передана была бы секретарю, а секретарь доставил бы ее уже мне…“

„Но, ваше превосходительство“, сказал Акакий Акакиевич, стараясь собрать всю небольшую горсть присутствия духа, какая только в нем была, и чувствуя в то же время, что он вспотел ужасным образом: „я ваше превосходительство осмелился утрудить потому, что секретари того… ненадежный народ…“

„Что, что, что?“ сказал значительное лицо: „откуда вы набрались такого духу? откуда вы мыслей таких набрались? что за буйство такое распространилось между молодыми людьми против начальников и высших!“ Значительное лицо, кажется, не заметил, что Акакию Акакиевичу забралось уже за пятьдесят лет. Стало-быть, если бы он и мог назваться молодым человеком, то разве только относительно, то есть в отношении к тому, кому уже было семьдесят лет. „Знаете ли вы, кому это говорите? понимаете ли вы, кто стоит перед вами? понимаете ли вы это, понимаете ли это? я вас спрашиваю.“ Тут он топнул ногою, возведя голос до такой сильной ноты, что даже и не Акакию Акакиевичу сделалось бы страшно. Акакий Акакиевич так и обмер, пошатнулся, затрясся всем телом и никак не мог стоять: если бы не подбежали тут же сторожа поддержать его, он бы шлепнулся на пол; его вынесли почти без движения. А значительное лицо, довольный тем, что эффект превзошел даже ожидание и совершенно упоенный мыслью, что слово его может лишить даже чувств человека, искоса взглянул на приятеля, чтобы узнать, как он на это смотрит, и не без удовольствия увидел, что приятель его находился в самом неопределенном состоянии и начинал даже с своей стороны сам чувствовать страх.

Как сошел с лестницы, как вышел на улицу, ничего уж этого не помнил Акакий Акакиевич. Он не слышал ни рук, ни ног. В жизнь свою он не был еще так сильно распечен генералом, да еще и чужим. Он шел по вьюге, свистевшей в улицах, разинув рот, сбиваясь с тротуаров; ветер, по петербургскому обычаю, дул на него со всех четырех сторон, из всех переулков. Вмиг надуло ему в горло жабу, и добрался он домой, не в силах будучи сказать ни одного слова; весь распух и слег в постель. Так сильно иногда бывает надлежащее распеканье! На другой же день обнаружилась у него сильная горячка. Благодаря великодушному вспомоществованию петербургского климата, болезнь пошла быстрее, чем можно было ожидать, и когда явился доктор, то он, пощупавши пульс, ничего не нашелся сделать, как только прописать припарку, единственно уже для того чтобы больной не остался без благодетельной помощи медицины; а впрочем тут же объявил ему чрез полтора суток непременный капут. После чего обратился к хозяйке и сказал: „А вы, матушка, и времени даром не теряйте, закажите ему теперь же сосновый гроб, потому что дубовый будет для него дорог.“ Слышал ли Акакий Акакиевич эти произнесенные роковые для него слова, а если и слышал, произвели ли они на него потрясающее действие, пожалел ли он о горемычной своей жизни, — ничего этого неизвестно, потому что он находился всё время в бреду и жару. Явления, одно другого страннее, представлялись ему беспрестанно: то видел он Петровича и заказывал ему сделать шинель с какими-то западнями для воров, которые чудились ему беспрестанно под кроватью, и он поминутно призывал хозяйку вытащить у него одного вора даже из-под одеяла; то спрашивал, зачем висит перед ним старый капот его, что у него есть новая шинель; то чудилось ему, что он стоит перед генералом, выслушивая надлежащее распеканье и приговаривает: виноват, ваше превосходительство; то, наконец, даже сквернохульничал, произнося самые страшные слова, так что старушка хозяйка даже крестилась, от роду не слыхав от него ничего подобного, тем более, что слова эти следовали непосредственно за словом „ваше превосходительство“. Далее он говорил совершенную бессмыслицу, так что ничего нельзя было понять; можно было только видеть, что беспорядочные слова и мысли ворочались около одной и той же шинели. Наконец, бедный Акакий Акакиевич испустил дух. Ни комнаты, ни вещей его не опечатывали, потому что, во-первых, не было наследников, а во-вторых, оставалось очень немного наследства, именно: пучок гусиных перьев, десть белой казенной бумаги, три пары носков, две-три пуговицы, оторвавшиеся от панталон, и уже известный читателю капот. Кому всё это досталось, бог знает: об этом, признаюсь, даже не интересовался рассказывающий сию повесть. Акакия Акакиевича свезли и похоронили. И Петербург остался без Акакия Акакиевича, как будто бы в нем его и никогда не было. Исчезло и скрылось существо никем не защищенное, никому не дорогое, ни для кого не интересное, даже не обратившее на себя внимание и естествонаблюдателя, не пропускающего посадить на булавку обыкновенную муху и рассмотреть ее в микроскоп; — существо, переносившее покорно канцелярские насмешки и без всякого чрезвычайного дела сошедшее в могилу, но для которого всё же таки, хотя перед самым концом жизни, мелькнул светлый гость в виде шинели, ожививший на миг бедную жизнь, и на которое так же потом нестерпимо обрушилось несчастие, как обрушивалось на царей и повелителей мира… Несколько дней после его смерти послан был к нему на квартиру из департамента сторож, с приказанием немедленно явиться: начальник-де требует; но сторож должен был возвратиться ни с чем, давши отчет, что не может больше прийти, и на запрос: „почему?“ выразился словами: „да так, уж он умер, четвертого дня похоронили.“ Таким образом узнали в департаменте о смерти Акакия Акакиевича, и на другой день уже на его месте сидел новый чиновник, гораздо выше ростом и выставлявший буквы уже не таким прямым почерком, а гораздо наклоннее и косее.

Но кто бы мог вообразить, что здесь еще не всё об Акакии Акакиевиче, что суждено ему на несколько дней прожить шумно после своей смерти, как бы в награду за непримеченную никем жизнь? Но так случилось, и бедная история наша неожиданно принимает фантастическое окончание. По Петербургу пронеслись вдруг слухи, что у Калинкина моста и далеко подальше стал показываться по ночам мертвец в виде чиновника, ищущего какой-то утащенной шинели и под видом стащенной шинели сдирающий со всех плеч, не разбирая чина и звания, всякие шинели: на кошках, на бобрах, на вате, енотовые, лисьи, медвежьи шубы, словом, всякого рода меха и кожи, какие только придумали люди для прикрытия собственной. Один из департаментских чиновников видел своими глазами мертвеца и узнал в нем тотчас Акакия Акакиевича; но это внушило ему однакоже такой страх, что он бросился бежать со всех ног и оттого не мог хорошенько рассмотреть, а видел только, как тот издали погрозил ему пальцем. Со всех сторон поступали беспрестанно жалобы, что спины и плечи, пускай бы еще только титулярных, а то даже самих тайных советников, подвержены совершенной простуде по причине ночного сдергивания шинелей. В полиции сделано было распоряжение поймать мертвеца, во что бы то ни стало, живого или мертвого, и наказать его, в пример другим, жесточайшим образом, и в том едва было даже не успели. Именно будочник какого-то квартала в Кирюшкином переулке схватил-было уже совершенно мертвеца за ворот на самом месте злодеяния, на покушении сдернуть фризовую шинель с какого-то отставного музыканта, свиставшего в свое время на флейте. Схвативши его за ворот, он вызвал своим криком двух других товарищей, которым поручил держать его, а сам полез только на одну минуту за сапог, чтобы вытащить оттуда тавлинку с табаком, освежить на время шесть раз на веку примороженный нос свой; но табак верно был такого рода, которого не мог вынести даже и мертвец. Не успел будочник, закрывши пальцем свою правую ноздрю, потянуть левою полгорсти, как мертвец чихнул так сильно, что совершенно забрызгал им всем троим глаза. Покамест они поднесли кулаки протереть их, мертвеца и след пропал, так что они не знали даже, был ли он точно в их руках. С этих пор будочники получили такой страх к мертвецам, что даже опасались хватать и живых, и только издали покрикивали: „эй ты, ступай своею дорогою!“ и мертвец-чиновник стал показываться даже за Калинкиным мостом, наводя немалый страх на всех робких людей. Но мы однакоже совершенно оставили

*одно значительное лицо*, который по-настоящему едва ли не был причиною фантастического направления впрочем совершенно истинной истории. Прежде всего долг справедливости требует сказать, что *одно значительное лицо*, скоро по уходе бедного распеченного в-пух Акакия Акакиевича, почувствовал что-то вроде сожаления. Сострадание было ему не чуждо; его сердцу были доступны многие добрые движения, несмотря на то̀, что чин весьма часто мешал им обнаруживаться. Как только вышел из его кабинета приезжий приятель, он даже задумался о бедном Акакии Акакиевиче. И с этих пор почти всякий день представлялся ему бледный Акакий Акакиевич, не выдержавший должностного распеканья. Мысль о нем до такой степени тревожила его, что, неделю спустя, он решился даже послать к нему чиновника узнать, что́ он и как, и нельзя ли в самом деле чем помочь ему; и когда донесли ему, что Акакий Акакиевич умер скоропостижно в горячке, он остался даже пораженным, слышал упреки совести и весь день был не в духе. Желая сколько-нибудь развлечься и позабыть неприятное впечатление, он отправился на вечер к одному из приятелей своих, у которого нашел порядочное общество, а что̀ всего лучше, все там были почти одного и того же чина, так что он совершенно ничем не мог быть связан. Это имело удивительное действие на душевное его расположение. Он развернулся, сделался приятен в разговоре, любезен, словом, провел вечер очень приятно. За ужином выпил он стакана два шампанского — средство, как известно, недурно действующее в рассуждении веселости. Шампанское сообщило ему расположение к разным экстренностям, а именно: он решил не ехать еще домой, а заехать к одной знакомой даме Каролине Ивановне, даме, кажется, немецкого происхождения, к которой он чувствовал совершенно приятельские отношения. Надобно сказать, что значительное лицо был уже человек не молодой, хороший супруг, почтенный отец семейства. Два сына, из которых один служил уже в канцелярии, и миловидная шестнадцатилетняя дочь с несколько выгнутым, но хорошеньким носиком, приходили всякий день целовать его руку, приговаривая: bonjour, papa[\*](#t_ps3724_15). Супруга его, еще женщина свежая и даже ничуть не дурная, давала ему прежде поцеловать свою руку, и потом переворотивши ее на другую сторону, целовала его руку. Но значительное лицо, совершенно впрочем довольный домашними семейными нежностями, нашел приличным иметь для дружеских отношений приятельницу в другой части города. Эта приятельница была ничуть не лучше и не моложе жены его; но такие уж задачи бывают на свете, и судить об них не наше дело. Итак, значительное лицо сошел с лестницы, сел в сани и сказал кучеру: „к Каролине Ивановне“, а сам, закутавшись весьма роскошно в теплую шинель, оставался в том приятном положении, лучше которого и не выдумаешь для русского человека, то есть, когда сам ни о чем не думаешь, а между тем мысли сами лезут в голову, одна другой приятнее, не давая даже труда гоняться за ними и искать их. Полный удовольствия, он слегка припоминал все веселые места проведенного вечера, все слова̀, заставившие хохотать небольшой круг; многие из них он даже повторял вполголоса и нашел, что они всё так же смешны, как и прежде, а потому немудрено, что и сам посмеивался от души. Изредка мешал ему однако же порывистый ветер, который, выхватившись вдруг, бог знает откуда и нивесть от какой причины, так и резал в лицо, подбрасывая ему туда клочки снега, хлобуча, как парус, шинельный воротник, или вдруг с неестественною силою набрасывая ему его на голову и доставляя таким образом вечные хлопоты из него выкарабкиваться. Вдруг почувствовал значительное лицо, что его ухватил кто-то весьма крепко за воротник. Обернувшись, он заметил человека небольшого роста в старом поношенном вицмундире, и не без ужаса узнал в нем Акакия Акакиевича. Лицо чиновника было бледно, как снег, и глядело совершенным мертвецом. Но ужас значительного лица превзошел все границы, когда он увидел, что рот мертвеца покривился и, пахнувши на него страшно могилою, произнес такие речи: „А! так вот ты наконец! наконец я тебя того, поймал за воротник! твоей-то шинели мне и нужно! не похлопотал об моей, да еще и распек — отдавай же теперь свою!“ Бедное *значительное лицо* чуть не умер. Как ни был он характерен в канцелярии и вообще перед низшими, и хотя, взглянувши на один мужественный вид его и фигуру, всякий говорил: „у, какой характер!“ но здесь он, подобно весьма многим имеющим богатырскую наружность, почувствовал такой страх, что не без причины даже стал опасаться насчет какого-нибудь болезненного припадка. Он сам даже скинул поскорее с плеч шинель свою и закричал кучеру не своим голосом: „пошел во весь дух домой!“ Кучер, услышавши голос, который произносится обыкновенно в решительные минуты и даже сопровождается кое-чем гораздо действительнейшим, упрятал на всякий случай голову свою в плечи, замахнулся кнутом и помчался, как стрела. Минут в шесть с небольшим, значительное лицо уже был пред подъездом своего дома. Бледный, перепуганный и без шинели, вместо того, чтобы к Каролине Ивановне, он приехал к себе, доплелся кое-как до своей комнаты и провел ночь весьма в большом беспорядке, так что на другой день поутру за чаем дочь ему сказала прямо: „ты сегодня совсем бледен, папа.“ Но папа молчал и никому ни слова о том, что с ним случилось, и где он был, и куда хотел ехать. Это происшествие сделало на него сильное впечатление. Он даже гораздо реже стал говорить подчиненным: „как вы смеете, понимаете ли, кто перед вами“; если же и произносил, то уж не прежде, как выслушавши сперва, в чем дело. Но еще более замечательно то̀, что с этих пор совершенно прекратилось появление чиновника-мертвеца: видно, генеральская шинель пришлась ему совершенно по плечам; по крайней мере, уже не было нигде слышно таких случаев, чтобы сдергивали с кого шинели. Впрочем многие деятельные и заботливые люди никак не хотели успокоиться и поговаривали, что в дальних частях города всё еще показывался чиновник-мертвец. И точно, один коломенский будочник видел собственными глазами, как показалось из-за одного дома привидение; но будучи по природе своей несколько бессилен, так что один раз обыкновенный взрослый поросенок, кинувшись из какого-то частного дома, сшиб его с ног, к величайшему смеху стоявших вокруг извозчиков, с которых он вытребовал за такую издевку по грошу на табак, — итак будучи бессилен, он не посмел остановить его, а так шел за ним в темноте до тех пор, пока наконец привидение вдруг оглянулось и, остановись, спросило: „тебе чего хочется?“ и показало такой кулак, какого и у живых не найдешь. Будочник сказал: „ничего“, да и поворотил тот же час назад. Привидение однакоже было уже гораздо выше ростом, носило преогромные усы, и направив шаги, как казалось, к Обухову мосту, скрылось совершенно в ночной темноте.

Михаил Салтыков-Щедрин

**ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА**

ПО ПОДЛИННЫМ ДОКУМЕНТАМ ИЗДАЛ М. Е. САЛТЫКОВ (ЩЕДРИН)

**ОТ ИЗДАТЕЛЯ**

Давно уже имел я намерение написать историю какого-нибудь города (или края) в данный период времени, но разные обстоятельства мешали этому предприятию. Преимущественно же препятствовал недостаток в материале, сколько-нибудь достоверном и правдоподобном. Ныне, роясь в глуповском городском архиве, я случайно напал на довольно объемистую связку тетрадей, носящих общее название «Глуповского Летописца», и, рассмотрев их, нашел, что они могут служить немаловажным подспорьем в деле осуществления моего намерения. Содержание «Летописца» довольно однообразно; оно почти исключительно исчерпывается биографиями градоначальников, в течение почти целого столетия владевших судьбами города Глупова, и описанием замечательнейших их действий, как-то: скорой езды на почтовых, энергического взыскания недоимок, походов против обывателей, устройства и расстройства мостовых, обложения данями откупщиков и т. д. Тем не менее даже и по этим скудным фактам оказывается возможным уловить физиономию города и уследить, как в его истории отражались разнообразные перемены, одновременно происходившие в высших сферах. Так, например, градоначальники времен Бирона отличаются безрассудством, градоначальники времен Потемкина — распорядительностью, а градоначальники времен Разумовского — неизвестным происхождением и рыцарскою отвагою. Все они секут обывателей, но первые секут абсолютно, вторые объясняют причины своей распорядительности требованиями цивилизации, третьи желают, чтоб обыватели во всем положились на их отвагу. Такое разнообразие мероприятий, конечно, не могло не воздействовать и на самый внутренний склад обывательской жизни; в первом случае, обыватели трепетали бессознательно, во втором — трепетали с сознанием собственной пользы, в третьем — возвышались до трепета, исполненного доверия. Даже энергическая езда на почтовых — и та неизбежно должна была оказывать известную долю влияния, укрепляя обывательский дух примерами лошадиной бодрости и нестомчивости.Летопись ведена преемственно четырьмя городовыми архивариусами и обнимает период времени с 1731 по 1825 год. В этом году, по-видимому, даже для архивариусов литературная деятельность перестала быть доступною. Внешность «Летописца» имеет вид самый настоящий, то есть такой, который не позволяет ни на минуту усомниться в его подлинности; листы его так же желты и испещрены каракулями, так же изъедены мышами и загажены мухами, как и листы любого памятника погодинского древлехранилища. Так и чувствуется, как сидел над ними какой-нибудь архивный Пимен, освещая свой труд трепетно горящею сальною свечкой и всячески защищая его от неминуемой любознательности гг. Шубинского, Мордовцева и Мельникова. Летописи предшествует особый свод, или «опись», составленная, очевидно, последним летописцем; кроме того, в виде оправдательных документов, к ней приложено несколько детских тетрадок, заключающих в себе оригинальные упражнения на различные темы административно-теоретического содержания. Таковы, например, рассуждения: «Об административном всех градоначальников единомыслии», «О благовидной градоначальников наружности», «О спасительности усмирений (с картинками)», «Мысли при взыскании недоимок», «Превратное течение времени» и, наконец, довольно объемистая диссертация «О строгости». Утвердительно можно сказать, что упражнения эти обязаны своим происхождением перу различных градоначальников (многие из них даже подписаны) и имеют то драгоценное свойство, что, во-первых, дают совершенно верное понятие о современном положении русской орфографии и, во-вторых, живописуют своих авторов гораздо полнее, доказательнее и образнее, нежели даже рассказы «Летописца».Что касается до внутреннего содержания «Летописца», то оно по преимуществу фантастическое и по местам даже почти невероятное в наше просвещенное время. Таков, например, совершенно ни с чем не сообразный рассказ о градоначальнике с музыкой. В одном месте «Летописец» рассказывает, как градоначальник летал по воздуху, в другом — как другой градоначальник, у которого ноги были обращены ступнями назад, едва не сбежал из пределов градоначальства. Издатель не счел, однако ж, себя вправе утаить эти подробности; напротив того, он думает, что возможность подобных фактов в прошедшем еще с большею ясностью укажет читателю на ту бездну, которая отделяет нас от него. Сверх того, издателем руководила и та мысль, что фантастичность рассказов нимало не устраняет их административно-воспитательного значения, и что опрометчивая самонадеянность летающего градоначальника может даже и теперь послужить спасительным предостережением для тех из современных администраторов, которые не желают быть преждевременно уволенными от должности.Во всяком случае, в видах предотвращения злонамеренных толкований, издатель считает долгом оговориться, что весь его труд в настоящем случае заключается только в том, что он исправил тяжелый и устарелый слог «Летописца» и имел надлежащий надзор за орфографией, нимало не касаясь самого содержания летописи. С первой минуты до последней издателя не покидал грозный образ Михаила Петровича Погодина, и это одно уже может служить ручательством, с каким почтительным трепетом он относился к своей задаче.

**ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ**

***от последнего архивариуса-летописца***[1](#fn1)

Ежели древним еллинам и римлянам дозволено было слагать хвалу своим безбожным начальникам и предавать потомству мерзкие их деяния для назидания, ужели же мы, христиане, от Византии свет получившие, окажемся в сем случае менее достойными и благодарными? Ужели во всякой стране найдутся и Нероны преславные, и Калигулы, доблестью сияющие[2](" \l "fn2), и только у себя мы таковых не обрящем? Смешно и нелепо даже помыслить таковую нескладицу, а не то чтобы оную вслух проповедывать, как делают некоторые вольнолюбцы, которые потому свои мысли вольными полагают, что они у них в голове, словно мухи без пристанища, там и сям вольно летают.Не только страна, но и град всякий, и даже всякая малая весь, — и та своих доблестью сияющих и от начальства поставленных Ахиллов имеет, и не иметь не может. Взгляни на первую лужу — и в ней найдешь гада, который иройством своим всех прочих гадов превосходит и затемняет. Взгляни на древо — и там усмотришь некоторый сук больший и против других крепчайший, а следственно, и доблестнейший. Взгляни, наконец, на собственную свою персону — и там прежде всего встретишь главу, а потом уже не оставишь без приметы брюхо, и прочие части. Что же, по-твоему, доблестнее: глава ли твоя, хотя и легкою начинкою начиненная, но и за всем тем горе́ устремляющаяся, или же стремящееся до́лу брюхо, на то только и пригодное, чтобы изготовлять... О, подлинно же легкодумное твое вольнодумство!Таковы-то были мысли, которые побудили меня, смиренного городового архивариуса (получающего в месяц два рубля содержания, но и за всем тем славословящего), купно с троими моими предшественниками, неумытными устами воспеть хвалу славных оных Неронов[3](" \l "fn3), кои не безбожием и лживою еллинскою мудростью, но твердостью и начальственным дерзновением преславный наш град Глупов преестественно украсили. Не имея дара стихослагательного, мы не решились прибегнуть к бряцанию и, положась на волю божию, стали излагать достойные деяния недостойным, но свойственным нам языком, избегая лишь подлых слов. Думаю, впрочем, что таковая дерзостная наша затея простится нам ввиду того особливого намерения, которое мы имели, приступая к ней.Сие намерение — есть изобразить преемственно градоначальников, в город Глупов от российского правительства в разное время поставленных. Но, предпринимая столь важную материю, я, по крайней мере, не раз вопрошал себя: по силам ли будет мне сие бремя? Много видел я на своем веку поразительных сих подвижников, много видели таковых и мои предместники. Всего же числом двадцать два, следовавших непрерывно, в величественном порядке, один за другим, кроме семидневного пагубного безначалия, едва не повергшего весь град в запустение. Одни из них, подобно бурному пламени, пролетали из края в край, все очищая и обновляя; другие, напротив того, подобно ручью журчащему, орошали луга и пажити, а бурность и сокрушительность предоставляли в удел правителям канцелярии. Но все, как бурные, так и кроткие, оставили по себе благодарную память в сердцах сограждан, ибо все были градоначальники. Сие трогательное соответствие само по себе уже столь дивно, что немалое причиняет летописцу беспокойство. Не знаешь, что более славословить: власть ли, в меру дерзающую, или сей виноград, в меру благодарящий?Но сие же самое соответствие, с другой стороны, служит и не малым, для летописателя, облегчением. Ибо в чем состоит собственно задача его? В том ли, чтобы критиковать или порицать? — Нет, не в том. В том ли, чтобы рассуждать? — Нет, и не в этом. В чем же? — А в том, легкодумный вольнодумец, чтобы быть лишь изобразителем означенного соответствия, и об оном предать потомству в надлежащее назидание.В сем виде взятая, задача делается доступною даже смиреннейшему из смиренных, потому что он изображает собой лишь скудельный сосуд, в котором замыкается разлитое повсюду в изобилии славословие. И чем тот сосуд скудельнее, тем краше и вкуснее покажется содержимая в нем сладкая славословная влага. А скудельный сосуд про себя скажет: вот и я на что-нибудь пригодился, хотя и получаю содержания два рубля медных в месяц!Изложив таким манером нечто в свое извинение, не могу не присовокупить, что родной наш город Глупов, производя обширную торговлю квасом, печенкой и вареными яйцами, имеет три реки и, в согласность древнему Риму, на семи горах построен, на коих в гололедицу великое множество экипажей ломается и столь же бесчисленно лошадей побивается. Разница в том только состоит, что в Риме сияло нечестие, а у нас — благочестие, Рим заражало буйство, а нас — кротость, в Риме бушевала подлая чернь, а у нас — начальники.И еще скажу: летопись сию преемственно слагали четыре архивариуса: Мишка Тряпичкин, да Мишка Тряпичкин другой, да Митька Смирномордов, да я, смиренный Павлушка, Маслобойников сын. Причем единую имели опаску, дабы не попали наши тетрадки к г. Бартеневу, и дабы не напечатал он их в своем «Архиве». А за тем богу слава и разглагольствию моему конец.

**О КОРЕНИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГЛУПОВЦЕВ**

«Не хочу я, подобно Костомарову, серым волком рыскать по земли, ни, подобно Соловьеву, шизым орлом ширять под облакы, ни, подобно Пыпину, растекаться мыслью по древу, но хочу ущекотать прелюбезных мне глуповцев, показав миру их славные дела и предобрый тот корень, от которого знаменитое сие древо произросло и ветвями своими всю землю покрыло»[1](#fn1).Так начинает свой рассказ летописец, и затем, сказав несколько слов в похвалу своей скромности, продолжает.Был, говорит он, в древности народ, головотяпами именуемый, и жил он далеко на севере, там, где греческие и римские историки и географы предполагали существование Гиперборейского моря. Головотяпами же прозывались эти люди оттого, что имели привычку «тяпать» головами обо все, что бы ни встретилось на пути. Стена попадется — об стену тяпают; богу молиться начнут — об пол тяпают. По соседству с головотяпами жило множество независимых племен, но только замечательнейшие из них поименованы летописцем, а именно: моржееды, лукоеды, гущееды, клюковники, куралесы, вертячие бобы, лягушечники, лапотники, чернонёбые, долбежники, проломленные головы, слепороды, губошлепы, вислоухие, кособрюхие, ряпушники, заугольники, крошевники и рукосуи. Ни вероисповедания, ни образа правления эти племена не имели, заменяя все сие тем, что постоянно враждовали между собою. Заключали союзы, объявляли войны, мирились, клялись друг другу в дружбе и верности, когда же лгали, то прибавляли «да будет мне стыдно», и были наперед уверены, что «стыд глаза не выест». Таким образом взаимно разорили они свои земли, взаимно надругались над своими женами и девами и в то же время гордились тем, что радушны и гостеприимны. Но когда дошли до того, что ободрали на лепешки кору с последней сосны, когда не стало ни жен, ни дев, и нечем было «людской завод» продолжать, тогда головотяпы первые взялись за ум. Поняли, что кому-нибудь да надо верх взять, и послали сказать соседям: будем друг с дружкой до тех пор головами тяпаться, пока кто кого перетяпает. «Хитро это они сделали, — говорит летописец, — знали, что головы у них на плечах растут крепкие — вот и предложили». И действительно, как только простодушные соседи согласились на коварное предложение, так сейчас же головотяпы их всех, с божьею помощью, перетяпали. Первые уступили слепороды и рукосуи; больше других держались гущееды, ряпушники и кособрюхие. Чтобы одолеть последних, вынуждены были даже прибегнуть к хитрости. А именно: в день битвы, когда обе стороны встали друг против друга стеной, головотяпы, неуверенные в успешном исходе своего дела, прибегли к колдовству: пустили на кособрюхих солнышко. Солнышко-то и само по себе так стояло, что должно было светить кособрюхим в глаза, но головотяпы, чтобы придать этому делу вид колдовства, стали махать в сторону кособрюхих шапками: вот, дескать, мы каковы, и солнышко заодно с нами. Однако кособрюхие не сразу испугались, а сначала тоже догадались: высыпали из мешков толокно и стали ловить солнышко мешками. Но изловить не изловили, и только тогда, увидев, что правда на стороне головотяпов, принесли повинную.Собрав воедино куралесов, гущеедов и прочие племена, головотяпы начали устраиваться внутри, с очевидною целью добиться какого-нибудь порядка. Истории этого устройства летописец подробно не излагает, а приводит из нее лишь отдельные эпизоды. Началось с того, что Волгу толокном замесили, потом теленка на баню тащили, потом в кошеле кашу варили, потом козла в соложеном тесте утопили, потом свинью за бобра купили, да собаку за волка убили, потом лапти растеряли да по дворам искали: было лаптей шесть, а сыскали семь; потом рака с колокольным звоном встречали, потом щуку с яиц согнали, потом комара за восемь верст ловить ходили, а комар у пошехонца на носу сидел, потом батьку на кобеля променяли, потом блинами острог конопатили, потом блоху на цепь приковали, потом беса в солдаты отдавали, потом небо кольями подпирали, наконец, утомились и стали ждать, что из этого выйдет.Но ничего не вышло. Щука опять на яйца села; блины, которыми острог конопатили, арестанты съели; кошели, в которых кашу варили, сгорели вместе с кашею. А рознь да галденье пошли пуще прежнего: опять стали взаимно друг у друга земли разорять, жен в плен уводить, над девами ругаться. Нет порядку, да и полно. Попробовали снова головами тяпаться, но и тут ничего не доспели. Тогда надумали искать себе князя.— Он нам все мигом предоставит, — говорил старец Добромысл, — он и солдатов у нас наделает, и острог, какой следовает, выстроит! Айда́, ребята!Искали, искали они князя и чуть-чуть в трех соснах не заблудилися, да спасибо случился тут пошехонец-слепород, который эти три сосны как свои пять пальцев знал. Он вывел их на торную дорогу и привел прямо к князю на двор.— Кто вы такие? и зачем ко мне пожаловали? — вопросил князь посланных.— Мы головотяпы! нет нас в свете народа мудрее и храбрее! Мы даже кособрюхих и тех шапками закидали! — хвастали головотяпы.— А что вы еще сделали?— Да вот комара за семь верст ловили, — начали было головотяпы, и вдруг им сделалось так смешно, так смешно... Посмотрели они друг на дружку и прыснули.— А ведь это ты, Петра, комара-то ловить ходил! — насмехался Ивашка.— Ан ты!— Нет, не я! у тебя он и на носу-то сидел!Тогда князь, видя, что они и здесь, перед лицом его, своей розни не покидают, сильно распалился и начал учить их жезлом.— Глупые вы, глупые! — сказал он, — не головотяпами следует вам, по делам вашим, называться, а глуповцами! Не хочу я володеть глупыми! а ищите такого князя, какого нет в свете глупее — и тот будет володеть вами.Сказавши это, еще маленько поучил жезлом и отослал головотяпов от себя с честию.Задумались головотяпы над словами князя; всю дорогу шли и все думали.— За что он нас раскастил? — говорили одни, — мы к нему всей душой, а он послал нас искать князя глупого!Но в то же время выискались и другие, которые ничего обидного в словах князя не видели.— Что же! — возражали они, — нам глупый-то князь, пожалуй, еще лучше будет! Сейчас мы ему коврижку в руки: жуй, а нас не замай!— И то правда, — согласились прочие.Воротились добры молодцы домой, но сначала решили опять попробовать устроиться сами собою. Петуха на канате кормили, чтоб не убежал, божку съели... Однако толку все не было. Думали-думали и пошли искать глупого князя.Шли они по ровному месту три года и три дня, и всё никуда прийти не могли. Наконец, однако, дошли до болота. Видят, стоит на краю болота чухломец-рукосуй, рукавицы торчат за поясом, а он других ищет.— Не знаешь ли, любезный рукосуюшко, где бы нам такого князя сыскать, чтобы не было его в свете глупее? — взмолились головотяпы.— Знаю, есть такой, — отвечал рукосуй, — вот идите прямо через болото, как раз тут.Бросились они все разом в болото, и больше половины их тут потопло («Многие за землю свою поревновали», говорит летописец); наконец вылезли из трясины и видят: на другом краю болотины, прямо перед ними, сидит сам князь — да глупый-преглупый! Сидит и ест пряники писаные. Обрадовались головотяпы: вот так князь! лучшего и желать нам не надо!— Кто вы такие? и зачем ко мне пожаловали? — молвил князь, жуя пряники.— Мы головотяпы! нет нас народа мудрее и храбрее! Мы гущеедов — и тех победили! — хвастались головотяпы.— Что же вы еще сделали?— Мы щуку с яиц согнали, мы Волгу толокном замесили... — начали было перечислять головотяпы, но князь не захотел и слушать их.— Я уж на что глуп, — сказал он, — а вы еще глупее меня! Разве щука сидит на яйцах? или можно разве вольную реку толокном месить? Нет, не головотяпами следует вам называться, а глуповцами! Не хочу я володеть вами, а ищите вы себе такого князя, какого нет в свете глупее, — и тот будет володеть вами!И, наказав жезлом, отпустил с честию.Задумались головотяпы: надул курицын сын рукосуй! Сказывал, нет этого князя глупее — ан он умный! Однако воротились домой и опять стали сами собой устраиваться. Под дождем онучи сушили, на сосну Москву смотреть лазили. И все нет как нет порядку, да и полно. Тогда надоумил всех Петра Комар.— Есть у меня, — сказал он, — друг-приятель, по прозванью вор-новото́р, уж если экая выжига князя не сыщет, так судите вы меня судом милостивым, рубите с плеч мою голову бесталанную!С таким убеждением высказал он это, что головотяпы послушались и призвали новото́ра-вора. Долго он торговался с ними, просил за розыск алтын да деньгу, головотяпы же давали грош да животы свои в придачу. Наконец, однако, кое-как сладились и пошли искать князя.— Ты нам такого ищи, чтоб немудрый был! — говорили головотяпы новотору-вору, — на что нам мудрого-то, ну его к ляду!И повел их вор-новотор сначала все ельничком да березничком, потом чащей дремучею, потом перелесочком, да и вывел прямо на поляночку, а посередь той поляночки князь сидит.Как взглянули головотяпы на князя, так и обмерли. Сидит, это, перед ними князь да умной-преумной; в ружьецо попаливает да сабелькой помахивает. Что ни выпалит из ружьеца, то сердце насквозь прострелит, что ни махнет сабелькой, то голова с плеч долой. А вор-новотор, сделавши такое пакостное дело, стоит, брюхо поглаживает да в бороду усмехается.— Что ты! с ума, никак, спятил! пойдет ли этот к нам? во сто раз глупее были, — и те не пошли! — напустились головотяпы на новотора-вора.— Ни́што! обладим! — молвил вор-новотор, — дай срок, я глаз на глаз с ним слово перемолвлю.Видят головотяпы, что вор-новотор кругом на кривой их объехал, а на попятный уж не смеют.— Это, брат, не то, что с «кособрюхими» лбами тяпаться! нет, тут, брат, ответ подай: каков таков человек? какого чину и звания? — гуторят они меж собой.А вор-новотор этим временем дошел до самого князя, снял перед ним шапочку соболиную и стал ему тайные слова на ухо говорить. Долго они шептались, а про что — не слыхать. Только и почуяли головотяпы, как вор-новотор говорил: «Драть их, ваша княжеская светлость, завсегда очень свободно».Наконец и для них настал черед встать перед ясные очи его княжеской светлости.— Что вы за люди? и зачем ко мне пожаловали? — обратился к ним князь.— Мы головотяпы! нет нас народа храбрее, — начали было головотяпы, но вдруг смутились.— Слыхал, господа головотяпы! — усмехнулся князь («и таково ласково усмехнулся, словно солнышко просияло!» — замечает летописец), — весьма слыхал! И о том знаю, как вы рака с колокольным звоном встречали — довольно знаю! Об одном не знаю, зачем же ко мне-то вы пожаловали?— А пришли мы к твоей княжеской светлости вот что объявить: много мы промеж себя убивств чинили, много друг дружке разорений и наругательств делали, а все правды у нас нет. Иди и володей нами!— А у кого, спрошу вас, вы допрежь сего из князей, братьев моих, с поклоном были?— А были мы у одного князя глупого, да у другого князя глупого ж — и те володеть нами не похотели!— Ладно. Володеть вами я желаю, — сказал князь, — а чтоб идти к вам жить — не пойду! Потому вы живете звериным обычаем: с беспробного золота пенки снимаете, снох портите! А вот посылаю к вам, заместо себя, самого этого новотора-вора: пущай он вами до́ма правит, а я отсель и им и вами помыкать буду!Понурили головотяпы головы и сказали:— Так!— И будете вы платить мне дани многие, — продолжал князь, — у кого овца ярку принесет, овцу на меня отпиши, а ярку себе оставь; у кого грош случится, тот разломи его на́четверо: одну часть мне отдай, другую мне же, третью опять мне, а четвертую себе оставь. Когда же пойду на войну — и вы идите! А до прочего вам ни до чего дела нет!— Так! — отвечали головотяпы.— И тех из вас, которым ни до чего дела нет, я буду миловать; прочих же всех — казнить.— Так! — отвечали головотяпы.— А как не умели вы жить на своей воле и сами, глупые, пожелали себе кабалы, то называться вам впредь не головотяпами, а глуповцами.— Так! — отвечали головотяпы.Затем приказал князь обнести послов водкою да одарить по пирогу, да по платку алому, и, обложив данями многими, отпустил от себя с честию.Шли головотяпы домой и воздыхали. «Воздыхали не ослабляючи, вопияли сильно!» — свидетельствует летописец. «Вот она, княжеская правда какова!» — говорили они. И еще говорили: «Та́кали мы, та́кали, да и прота́кали!» Один же из них, взяв гусли, запел:

Не шуми, мати зелена дубровушка!  
Не мешай добру молодцу думу думати,  
Как заутра мне, добру молодцу, на допрос идти  
Перед грозного судью, самого царя...

Чем далее лилась песня, тем ниже понуривались головы головотяпов. «Были между ними, — говорит летописец, — старики седые и плакали горько, что сладкую волю свою прогуляли; были и молодые, кои той воли едва отведали, но и те тоже плакали. Тут только познали все, какова такова прекрасная воля есть». Когда же раздались заключительные стихи песни:

Я за то тебя, детинушку, пожалую  
Среди поля хоромами высокими,  
Что двумя столбами с перекладиною... —

то все пали ниц и зарыдали.Но драма уже совершилась бесповоротно. Прибывши домой, головотяпы немедленно выбрали болотину и, заложив на ней город, назвали Глуповым, а себя по тому городу глуповцами. «Так и процвела сия древняя отрасль», — прибавляет летописец.Но вору-новотору эта покорность была не по нраву. Ему нужны были бунты, ибо усмирением их он надеялся и милость князя себе снискать, и собрать хабару с бунтующих. И начал он донимать глуповцев всякими неправдами, и действительно, не в долгом времени возжег бунты. Взбунтовались сперва заугольники, а потом сычужники. Вор-новотор ходил на них с пушечным снарядом, палил неослабляючи и, перепалив всех, заключил мир, то есть у заугольников ел палтусину, у сычужников — сычуги. И получил от князя похвалу великую. Вскоре, однако, он до того проворовался, что слухи об его несытом воровстве дошли даже до князя. Распалился князь крепко и послал неверному рабу петлю. Но новотор, как сущий вор, и тут извернулся: предварил казнь тем, что, не выждав петли, зарезался огурцом.После новотора-вора пришел «заместь князя» одоевец, тот самый, который «на грош постных яиц купил». Но и он догадался, что без бунтов ему не жизнь, и тоже стал донимать. Поднялись кособрюхие, калашники, соломатники — все отстаивали старину да права свои. Одоевец пошел против бунтовщиков, и тоже начал неослабно палить, но, должно быть, палил зря, потому что бунтовщики не только не смирялись, но увлекли за собой чернонёбых и губошлепов. Услыхал князь бестолковую пальбу бестолкового одоевца и долго терпел, но напоследок не стерпел: вышел против бунтовщиков собственною персоною и, перепалив всех до единого, возвратился восвояси.— Посылал я сущего вора — оказался вор, — печаловался при этом князь, — посылал одоевца по прозванию «продай на грош постных яиц» — и тот оказался вор же. Кого пошлю ныне?Долго раздумывал он, кому из двух кандидатов отдать преимущество: орловцу ли — на том основании, что «Орел да Кромы — первые воры» — или шуянину, на том основании, что он «в Питере бывал, на полу сыпа́л, и тут не упал», но, наконец, предпочел орловца, потому что он принадлежал к древнему роду «Проломленных Голов». Но едва прибыл орловец на место, как встали бунтом старичане и, вместо воеводы, встретили с хлебом с солью петуха. Поехал к ним орловец, надеясь в Старице стерлядями полакомиться, но нашел, что там «только грязи довольно». Тогда он Старицу сжег, а жен и дев старицких отдал самому себе на поругание. «Князь же, уведав о том, урезал ему язык».Затем князь еще раз попробовал послать «вора попроще», и в этих соображениях выбрал калязинца, который «свинью за бобра купил», но этот оказался еще пущим вором, нежели новотор и орловец. Взбунтовал семендяевцев и заозерцев и «убив их, сжег».Тогда князь выпучил глаза и воскликнул:— Несть глупости горшия, яко глупость!«И прибых собственною персоною в Глупов и возопи:— Запорю!»С этим словом начались исторические времена.

**ОПИСЬ ГРАДОНАЧАЛЬНИКАМ**

***в разное время в город Глупов от вышнего начальства поставленным(1731 — 1826)***

1. Клементий, Амадей Мануйлович. Вывезен из Италии Бироном, герцогом Курляндским, за искусную стряпню макарон; потом, будучи внезапно произведен в надлежащий чин, прислан градоначальником. Прибыв в Глупов, не только не оставил занятия макаронами, но даже многих усильно к тому принуждал, чем себя и воспрославил. За измену бит в 1734 году кнутом и, по вырвании ноздрей, сослан в Березов.2) Ферапонтов, Фотий Петрович, бригадир. Бывый брадобрей оного же герцога Курляндского. Многократно делал походы против недоимщиков и столь был охоч до зрелищ, что никому без себя сечь не доверял. В 1738 году, быв в лесу, растерзан собаками.3) Великанов, Иван Матвеевич. Обложил в свою пользу жителей данью по три копейки с души, предварительно утопив в реке экономии директора. Перебил в кровь многих капитан-исправников. В 1740 году, в царствование кроткия Елисавет, быв уличен в любовной связи с Авдотьей Лопухиной, бит кнутом и, по урезании языка, сослан в заточение в чердынский острог.4) Урус-Кугуш-Кильдибаев, Маныл Самылович, капитан-поручик из лейб-кампанцев. Отличался безумной отвагой, и даже брал однажды приступом город Глупов. По доведении о сем до сведения, похвалы не получил и в 1745 году уволен с распубликованием.5) Ламврокакис, беглый грек, без имени и отчества, и даже без чина, пойманный графом Кирилою Разумовским в Нежине, на базаре. Торговал греческим мылом, губкою и орехами; сверх того, был сторонником классического образования. В 1756 году был найден в постели, заеденный клопами.6) Баклан, Иван Матвеевич, бригадир. Был роста трех аршин и трех вершков, и кичился тем, что происходит по прямой линии от Ивана Великого (известная в Москве колокольня). Переломлен пополам во время бури, свирепствовавшей в 1761 году.7) Пфейфер, Богдан Богданович, гвардии сержант, голштинский выходец. Ничего не свершив, сменен в 1762 году за невежество.8) Брудастый, Дементий Варламович. Назначен был впопыхах и имел в голове некоторое особливое устройство, за что и прозван был «Органчиком». Это не мешало ему, впрочем, привести в порядок недоимки, запущенные его предместником. Во время сего правления произошло пагубное безначалие, продолжавшееся семь дней, как о том будет повествуемо ниже.9) Двоекуров, Семен Константиныч, штатский советник и кавалер. Вымостил Большую и Дворянскую улицы, завел пивоварение и медоварение, ввел в употребление горчицу и лавровый лист, собрал недоимки, покровительствовал наукам и ходатайствовал о заведении в Глупове академии. Написал сочинение: «Жизнеописания замечательнейших обезьян». Будучи крепкого телосложения, имел последовательно восемь амант. Супруга его, Лукерья Терентьевна, тоже была весьма снисходительна, и тем много способствовала блеску сего правления. Умер в 1770 году своею смертью.10) Маркиз де Санглот, Антон Протасьевич, французский выходец и друг Дидерота. Отличался легкомыслием и любил петь непристойные песни. Летал по воздуху в городском саду, и чуть было не улетел совсем, как зацепился фалдами за шпиц, и оттуда с превеликим трудом снят. За эту затею уволен в 1772 году, а в следующем же году, не уныв духом, давал представления у Излера на минеральных водах[1](#fn1).11) Фердыщенко, Петр Петрович, бригадир. Бывший денщик князя Потемкина. При не весьма обширном уме, был косноязычен. Недоимки запустил; любил есть буженину и гуся с капустой. Во время его градоначальствования город подвергся голоду и пожару. Умер в 1779 году от объедения.12) Бородавкин, Василиск Семенович. Градоначальничество сие было самое продолжительное и самое блестящее. Предводительствовал в кампании против недоимщиков, причем спалил тридцать три деревни и, с помощью сих мер, взыскал недоимок два рубля с полтиною. Ввел в употребление игру ламуш и прованское масло; замостил базарную площадь и засадил березками улицу, ведущую к присутственным местам; вновь ходатайствовал о заведении в Глупове академии, но, получив отказ, построил съезжий дом. Умер в 1798 году, на экзекуции, напутствуемый капитан-исправником.13) Негодяев, Онуфрий Иванович, бывый гатчинский истопник. Размостил вымощенные предместниками его улицы и из добытого камня настроил монументов. Сменен в 1802 году за несогласие с Новосильцевым, Чарторыйским и Строгоновым (знаменитый в свое время триумвират) насчет конституций, в чем его и оправдали последствия.14) Микаладзе, князь Ксаверий Георгиевич, черкашенин, потомок сладострастной княгини Тамары. Имел обольстительную наружность, и был столь охоч до женского пола, что увеличил глуповское народонаселение почти вдвое. Оставил полезное по сему предмету руководство. Умер в 1814 году от истощения сил.15) Беневоленский, Феофилакт Иринархович, статский советник, товарищ Сперанского по семинарии. Был мудр и оказывал склонность к законодательству. Предсказал гласные суды и земство. Имел любовную связь с купчихою Распоповою, у которой, по субботам, едал пироги с начинкой. В свободное от занятий время сочинял для городских попов проповеди и переводил с латинского сочинения Фомы Кемпийского. Вновь ввел в употребление, яко полезные, горчицу, лавровый лист и прованское масло. Первый обложил данью откуп, от коего и получал три тысячи рублей в год. В 1811 году, за потворство Бонапарту, был призван к ответу и сослан в заточение.16) Прыщ, майор, Иван Пантелеич. Оказался с фаршированной головой, в чем и уличен местным предводителем дворянства.17) Иванов, статский советник, Никодим Осипович. Был столь малого роста, что не мог вмещать пространных законов. Умер в 1819 году от натуги, усиливаясь постичь некоторый сенатский указ.18) Дю Шарио, виконт, Ангел Дорофеевич, французский выходец. Любил рядиться в женское платье и лакомился лягушками. По рассмотрении, оказался девицею. Выслан в 1821 году за границу.20) Грустилов, Эраст Андреевич, статский советник. Друг Карамзина. Отличался нежностью и чувствительностью сердца, любил пить чай в городской роще, и не мог без слез видеть, как токуют тетерева. Оставил после себя несколько сочинений идиллического содержания и умер от меланхолии в 1825 году. Дань с откупа возвысил до пяти тысяч рублей в год.21) Угрюм-Бурчеев, бывый прохвост. Разрушил старый город и построил другой на новом месте.22) Перехват-Залихватский, Архистратиг Стратилатович, майор. О сем умолчу. Въехал в Глупов на белом коне, сжег гимназию и упразднил науки.

**ОРГАНЧИК**[1](#fn1)

В августе 1762 года в городе Глупове происходило необычное движение по случаю прибытия нового градоначальника, Дементия Варламовича Брудастого. Жители ликовали; еще не видав в глаза вновь назначенного правителя, они уже рассказывали об нем анекдоты и называли его «красавчиком» и «умницей». Поздравляли друг друга с радостью, целовались, проливали слезы, заходили в кабаки, снова выходили из них, и опять заходили. В порыве восторга вспомнились и старинные глуповские вольности. Лучшие граждане собрались перед соборной колокольней и, образовав всенародное вече, потрясали воздух восклицаниями: батюшка-то наш! красавчик-то наш! умница-то наш!Явились даже опасные мечтатели. Руководимые не столько разумом, сколько движениями благодарного сердца, они утверждали, что при новом градоначальнике процветет торговля, и что, под наблюдением квартальных надзирателей, возникнут науки и искусства. Не удержались и от сравнений. Вспомнили только что выехавшего из города старого градоначальника, и находили, что хотя он тоже был красавчик и умница, но что, за всем тем, новому правителю уже по тому одному должно быть отдано преимущество, что он новый. Одним словом, при этом случае, как и при других подобных, вполне выразились: и обычная глуповская восторженность, и обычное глуповское легкомыслие.Между тем новый градоначальник оказался молчалив и угрюм. Он прискакал в Глупов, как говорится, во все лопатки (время было такое, что нельзя было терять ни одной минуты), и едва вломился в пределы городского выгона, как тут же, на самой границе, пересек уйму ямщиков. Но даже и это обстоятельство не охладило восторгов обывателей, потому что умы еще были полны воспоминаниями о недавних победах над турками, и все надеялись, что новый градоначальник во второй раз возьмет приступом крепость Хотин.Скоро, однако ж, обыватели убедились, что ликования и надежды их были, по малой мере, преждевременны и преувеличенны. Произошел обычный прием, и тут в первый раз в жизни пришлось глуповцам на деле изведать, каким горьким испытаниям может быть подвергнуто самое упорное начальстволюбие. Все на этом приеме совершилось как-то загадочно. Градоначальник безмолвно обошел ряды чиновных архистратигов, сверкнул глазами, произнес: «Не потерплю!» — и скрылся в кабинет. Чиновники остолбенели; за ними остолбенели и обыватели.Несмотря на непреоборимую твердость, глуповцы — народ изнеженный и до крайности набалованный. Они любят, чтоб у начальника на лице играла приветливая улыбка, чтобы из уст его, по временам, исходили любезные прибаутки, и недоумевают, когда уста эти только фыркают или издают загадочные звуки. Начальник может совершать всякие мероприятия, он может даже никаких мероприятий не совершать, но ежели он не будет при этом калякать, то имя его никогда не сделается популярным. Бывали градоначальники истинно мудрые, такие, которые не чужды были даже мысли о заведении в Глупове академии (таков, например, штатский советник Двоекуров, значащийся по «описи» под № 9), но так как они не обзывали глуповцев ни «братцами», ни «робятами», то имена их остались в забвении. Напротив того, бывали другие, хотя и не то чтобы очень глупые — таких не бывало, — а такие, которые делали дела средние, то есть секли и взыскивали недоимки, но так как они при этом всегда приговаривали что-нибудь любезное, то имена их не только были занесены на скрижали, но даже послужили предметом самых разнообразных устных легенд.Так было и в настоящем случае. Как ни воспламенились сердца обывателей по случаю приезда нового начальника, но прием его значительно расхолодил их.— Что ж это такое! — фыркнул — и затылок показал! нешто мы затылков не видали! а ты по душе с нами поговори! ты лаской-то, лаской-то пронимай! ты пригрозить-то пригрози, да потом и помилуй! — Так говорили глуповцы, и со слезами припоминали, какие бывали у них прежде начальники, всё приветливые, да добрые, да красавчики — и все-то в мундирах! Вспомнили даже беглого грека Ламврокакиса (по «описи» под № 5), вспомнили, как приехал в 1756 году бригадир Баклан (по «описи» под № 6), и каким молодцом он на первом же приеме выказал себя перед обывателями.— Натиск, — сказал он, — и притом быстрота, снисходительность, и притом строгость. И притом благоразумная твердость. Вот, милостивые государи, та цель или, точнее сказать, те пять целей, которых я, с божьею помощью, надеюсь достигнуть при посредстве некоторых административных мероприятий, составляющих сущность или, лучше сказать, ядро обдуманного мною плана кампании!И как он потом, ловко повернувшись на одном каблуке, обратился к городскому голове и присовокупил:— А по праздникам будем есть у вас пироги!— Так вот, сударь, как настоящие-то начальники принимали! — вздыхали глуповцы, — а этот что! фыркнул какую-то нелепицу, да и был таков!Увы! последующие события не только оправдали общественное мнение обывателей, но даже превзошли самые смелые их опасения. Новый градоначальник заперся в своем кабинете, не ел, не пил и все что-то скреб пером. По временам он выбегал в зал, кидал письмоводителю кипу исписанных листков, произносил: «Не потерплю!» — и вновь скрывался в кабинете. Неслыханная деятельность вдруг закипела во всех концах города; частные пристава поскакали; квартальные поскакали; заседатели поскакали; будочники позабыли, что значит путем поесть, и с тех пор приобрели пагубную привычку хватать куски на лету. Хватают и ловят, секут и порют, описывают и продают... А градоначальник все сидит, и выскребает всё новые и новые понуждения... Гул и треск проносятся из одного конца города в другой, и над всем этим гвалтом, над всей этой сумятицей, словно крик хищной птицы, царит зловещее: «Не потерплю!»Глуповцы ужаснулись. Припомнили генеральное сечение ямщиков, и вдруг всех озарила мысль: а ну, как он этаким манером целый город выпорет! Потом стали соображать, какой смысл следует придавать слову «не потерплю!» — наконец, прибегли к истории Глупова, стали отыскивать в ней примеры спасительной градоначальнической строгости, нашли разнообразие изумительное, но ни до чего подходящего все-таки не доискались.— И хоть бы он делом сказывал, по скольку с души ему надобно! — беседовали между собой смущенные обыватели, — а то цыркает, да и на-поди!Глупов, беспечный, добродушно-веселый Глупов, приуныл. Нет более оживленных сходок за воротами домов, умолкло щелканье подсолнухов, нет игры в бабки! Улицы запустели, на площадях показались хищные звери. Люди только по нужде оставляли дома свои и, на мгновение показавши испуганные и изнуренные лица, тотчас же хоронились. Нечто подобное было, по словам старожилов, во времена тушинского царика, да еще при Бироне, когда гулящая девка, Танька Корявая, чуть-чуть не подвела всего города под экзекуцию. Но даже и тогда было лучше; по крайней мере, тогда хоть что-нибудь понимали, а теперь чувствовали только страх, зловещий и безотчетный страх.В особенности тяжело было смотреть на город поздним вечером. В это время Глупов, и без того мало оживленный, окончательно замирал. На улице царили голодные псы, но и те не лаяли, а в величайшем порядке предавались изнеженности и распущенности нравов; густой мрак окутывал улицы и дома, и только в одной из комнат градоначальнической квартиры мерцал, далеко за полночь, зловещий свет. Проснувшийся обыватель мог видеть, как градоначальник сидит, согнувшись, за письменным столом, и все что-то скребет пером... И вдруг подойдет к окну, крикнет «не потерплю!» — и опять садится за стол, и опять скребет...Начали ходить безобразные слухи. Говорили, что новый градоначальник совсем даже не градоначальник, а оборотень, присланный в Глупов по легкомыслию; что он по ночам, в виде ненасытного упыря, парит над городом и сосет у сонных обывателей кровь. Разумеется, все это повествовалось и передавалось друг другу шепотом; хотя же и находились смельчаки, которые предлагали поголовно пасть на колена и просить прощенья, но и тех взяло раздумье. А что, если это так именно и надо? что, ежели признано необходимым, чтобы в Глупове, грех его ради, был именно такой, а не иной градоначальник? Соображения эти показались до того резонными, что храбрецы не только отреклись от своих предложений, но тут же начали попрекать друг друга в смутьянстве и подстрекательстве.И вдруг всем сделалось известным, что градоначальника секретно посещает часовых и органных дел мастер Байбаков. Достоверные свидетели сказывали, что однажды, в третьем часу ночи, видели, как Байбаков, весь бледный и испуганный, вышел из квартиры градоначальника и бережно нес что-то обернутое в салфетке. И что всего замечательнее, в эту достопамятную ночь никто из обывателей не только не был разбужен криком «не потерплю!», но и сам градоначальник, по-видимому, прекратил на время критический анализ недоимочных реестров[2](#fn2) и погрузился в сон.Возник вопрос: какую надобность мог иметь градоначальник в Байбакове, который, кроме того что пил без просыпа, был еще и явный прелюбодей?Начались подвохи и подсылы с целью выведать тайну, но Байбаков оставался нем как рыба, и на все увещания ограничивался тем, что трясся всем телом. Пробовали споить его, но он, не отказываясь от водки, только потел, а секрета не выдавал. Находившиеся у него в ученье мальчики могли сообщить одно: что действительно приходил однажды ночью полицейский солдат, взял хозяина, который через час возвратился с узелком, заперся в мастерской и с тех пор затосковал.Более ничего узнать не могли. Между тем таинственные свидания градоначальника с Байбаковым участились. С течением времени Байбаков не только перестал тосковать, но даже до того осмелился, что самому градскому голове посулил отдать его без зачета в солдаты, если он каждый день не будет выдавать ему на шкалик. Он сшил себе новую пару платья и хвастался, что на днях откроет в Глупове такой магазин, что самому Винтергальтеру[3](#fn3) в нос бросится.Среди всех этих толков и пересудов, вдруг как с неба упала повестка, приглашавшая именитейших представителей глуповской интеллигенции, в такой-то день и час, прибыть к градоначальнику для внушения. Именитые смутились, но стали готовиться.То был прекрасный весенний день. Природа ликовала; воробьи чирикали; собаки радостно взвизгивали и виляли хвостами. Обыватели, держа под мышками кульки, теснились на дворе градоначальнической квартиры и с трепетом ожидали страшного судбища. Наконец ожидаемая минута настала.Он вышел, и на лице его в первый раз увидели глуповцы ту приветливую улыбку, о которой они тосковали. Казалось, благотворные лучи солнца подействовали и на него (по крайней мере, многие обыватели потом уверяли, что собственными глазами видели, как у него тряслись фалдочки). Он по очереди обошел всех обывателей, и хотя молча, но благосклонно принял от них все, что следует. Окончивши с этим делом, он несколько отступил к крыльцу и раскрыл рот... И вдруг что-то внутри у него зашипело и зажужжало, и чем более длилось это таинственное шипение, тем сильнее и сильнее вертелись и сверкали его глаза. «П...п...плю!» наконец вырвалось у него из уст... С этим звуком он в последний раз сверкнул глазами и опрометью бросился в открытую дверь своей квартиры.Читая в «Летописце» описание происшествия столь неслыханного, мы, свидетели и участники иных времен и иных событий, конечно, имеем полную возможность отнестись к нему хладнокровно. Но перенесемся мыслью за сто лет тому назад, поставим себя на место достославных наших предков, и мы легко поймем тот ужас, который долженствовал обуять их при виде этих вращающихся глаз и этого раскрытого рта, из которого ничего не выходило, кроме шипения и какого-то бессмысленного звука, непохожего даже на бой часов. Но в том-то именно и заключалась доброкачественность наших предков, что, как ни потрясло их описанное выше зрелище, они не увлеклись ни модными в то время революционными идеями, ни соблазнами, представляемыми анархией, но остались верными начальстволюбию, и только слегка позволили себе пособолезновать и попенять на своего более чем странного градоначальника.— И откуда к нам экой прохвост выискался! — говорили обыватели, изумленно вопрошая друг друга и не придавая слову «прохвост» никакого особенного значения.— Смотри, братцы! как бы нам тово... отвечать бы за него, за прохвоста, не пришлось! — присовокупляли другие.И за всем тем спокойно разошлись по домам и предались обычным своим занятиям.И остался бы наш Брудастый на многие годы пастырем вертограда сего, и радовал бы сердца начальников своею распорядительностью, и не ощутили бы обыватели в своем существовании ничего необычайного, если бы обстоятельство совершенно случайное (простая оплошность) не прекратило его деятельности в самом ее разгаре.Немного спустя после описанного выше приема письмоводитель градоначальника, вошедши утром с докладом в его кабинет, увидел такое зрелище: градоначальниково тело, облеченное в вицмундир, сидело за письменным столом, а перед ним, на кипе недоимочных реестров, лежала, в виде щегольского пресс-папье, совершенно пустая градоначальникова голова... Письмоводитель выбежал в таком смятении, что зубы его стучали.Побежали за помощником градоначальника и за старшим квартальным. Первый прежде всего напустился на последнего, обвинил его в нерадивости, в потворстве наглому насилию, но квартальный оправдался. Он не без основания утверждал, что голова могла быть опорожнена не иначе как с согласия самого же градоначальника, и что в деле этом принимал участие человек, несомненно принадлежащий к ремесленному цеху, так как на столе, в числе вещественных доказательств, оказались: долото, буравчик и английская пилка. Призвали на совет главного городового врача и предложили ему три вопроса: 1) могла ли градоначальникова голова отделиться от градоначальникова туловища без кровоизлияния? 2) возможно ли допустить предположение, что градоначальник снял с плеч и опорожнил сам свою собственную голову? и 3) возможно ли предположить, чтобы градоначальническая голова, однажды упраздненная, могла впоследствии нарасти вновь с помощью какого-либо неизвестного процесса? Эскулап задумался, пробормотал что-то о каком-то «градоначальническом веществе», якобы источающемся из градоначальнического тела, но потом, видя сам, что зарапортовался, от прямого разрешения вопросов уклонился, отзываясь тем, что тайна построения градоначальнического организма наукой достаточно еще не обследована[4](" \l "fn4).Выслушав такой уклончивый ответ, помощник градоначальника стал в тупик. Ему предстояло одно из двух: или немедленно рапортовать о случившемся по начальству и между тем начать под рукой следствие, или же некоторое время молчать и выжидать, что будет. Ввиду таких затруднений он избрал средний путь, то есть приступил к дознанию, и в то же время всем и каждому наказал хранить по этому предмету глубочайшую тайну, дабы не волновать народ и не поселить в нем несбыточных мечтаний.Но как ни строго хранили будочники вверенную им тайну, неслыханная весть об упразднении градоначальниковой головы в несколько минут облетела весь город. Из обывателей многие плакали, потому что почувствовали себя сиротами, и сверх того боялись подпасть под ответственность за то, что повиновались такому градоначальнику, у которого на плечах, вместо головы, была пустая посудина. Напротив, другие хотя тоже плакали, но утверждали, что за повиновение их ожидает не кара, а похвала.В клубе, вечером, все наличные члены были в сборе. Волновались, толковали, припоминали разные обстоятельства и находили факты свойства довольно подозрительного. Так, например, заседатель Толковников рассказал, что однажды он вошел врасплох в градоначальнический кабинет по весьма нужному делу и застал градоначальника играющим своею собственною головою, которую он, впрочем, тотчас же поспешил пристроить к надлежащему месту. Тогда он не обратил на этот факт надлежащего внимания, и даже счел его игрою воображения, но теперь ясно, что градоначальник, в видах собственного облегчения, по временам снимал с себя голову и вместо нее надевал ермолку, точно так как соборный протоиерей, находясь в домашнем кругу, снимает с себя камилавку и надевает колпак. Другой заседатель, Младенцев, вспомнил, что однажды, идя мимо мастерской часовщика Байбакова, он увидал в одном из ее окон градоначальникову голову, окруженную слесарным и столярным инструментом. Но Младенцеву не дали докончить, потому что, при первом упоминовении о Байбакове, всем пришло на память его странное поведение и таинственные ночные походы его в квартиру градоначальника...Тем не менее из всех этих рассказов никакого ясного результата не выходило. Публика начала даже склоняться в пользу того мнения, что вся эта история есть не что иное, как выдумка праздных людей, но потом, припомнив лондонских агитаторов[5](" \l "fn5) и переходя от одного силлогизма к другому, заключила, что измена свила себе гнездо в самом Глупове. Тогда все члены заволновались, зашумели и, пригласив смотрителя народного училища, предложили ему вопрос: бывали ли в истории примеры, чтобы люди распоряжались, вели войны и заключали трактаты, имея на плечах порожний сосуд? Смотритель подумал с минуту и отвечал, что в истории многое покрыто мраком; но что был, однако же, некто Карл Простодушный, который имел на плечах хотя и не порожний, но все равно *как бы* порожний сосуд, а войны вел и трактаты заключал.Покуда шли эти толки, помощник градоначальника не дремал. Он тоже вспомнил о Байбакове и немедленно потянул его к ответу. Некоторое время Байбаков запирался и ничего, кроме «знать не знаю, ведать не ведаю», не отвечал, но когда ему предъявили найденные на столе вещественные доказательства и, сверх того, пообещали полтинник на водку, то вразумился и, будучи грамотным, дал следующее показание:«Василием зовут меня, Ивановым сыном, по прозванию Байбаковым. Глуповский цеховой; у исповеди и святого причастия не бываю, ибо принадлежу к секте фармазонов, и есмь оной секты лжеиерей. Судился за сожитие вне брака с слободской женкой Матренкой, и признан по суду явным прелюбодеем, в каковом звании и поныне состою. В прошлом году, зимой, — не помню, какого числа и месяца, — быв разбужен в ночи, отправился я, в сопровождении полицейского десятского, к градоначальнику нашему, Дементию Варламовичу, и, пришед, застал его сидящим и головою то в ту, то в другую сторону мерно помава́ющим. Обеспамятев от страха и притом будучи отягощен спиртными напитками, стоял я безмолвен у порога, как вдруг господин градоначальник поманили меня рукою к себе и подали мне бумажку. На бумажке я прочитал: „Не удивляйся, но попорченное исправь“. После того господин градоначальник сняли с себя собственную голову и подали ее мне. Рассмотрев ближе лежащий предо мной ящик, я нашел, что он заключает в одном углу небольшой органчик, могущий исполнять некоторые нетрудные музыкальные пьесы. Пьес этих было две: „разорю!“ и „не потерплю!“. Но так как в дороге голова несколько отсырела, то на валике некоторые колки расшатались, а другие и совсем повыпали. От этого самого господин градоначальник не могли говорить внятно, или же говорили с пропуском букв и слогов. Заметив в себе желание исправить эту погрешность и получив на то согласие господина градоначальника, я с должным рачением завернул голову в салфетку и отправился домой. Но здесь я увидел, что напрасно понадеялся на свое усердие, ибо как ни старался я выпавшие колки утвердить, но столь мало успел в своем предприятии, что при малейшей неосторожности или простуде колки вновь вываливались, и в последнее время господин градоначальник могли произнести только: п-плю! В сей крайности, вознамерились они сгоряча меня на всю жизнь несчастным сделать, но я тот удар отклонил, предложивши господину градоначальнику обратиться за помощью в Санкт-Петербург, к часовых и органных дел мастеру Винтергальтеру, что и было ими выполнено в точности. С тех пор прошло уже довольно времени, в продолжение коего я ежедневно рассматривал градоначальникову голову и вычищал из нее сор, в каковом занятии пребывал и в то утро, когда ваше высокоблагородие, по оплошности моей, законфисковали принадлежащий мне инструмент. Но почему заказанная у господина Винтергальтера новая голова до сих пор не прибывает, о том неизвестен. Полагаю, впрочем, что за разлитием рек, по весеннему нынешнему времени, голова сия и ныне находится где-либо в бездействии. На спрашивание же вашего высокоблагородия о том, во-первых, могу ли я, в случае присылки новой головы, оную утвердить, и, во-вторых, будет ли та утвержденная голова исправно действовать? ответствовать сим честь имею: утвердить могу и действовать оная будет, но настоящих мыслей иметь не может. К сему показанию явный прелюбодей Василий Иванов Байбаков руку приложил».Выслушав показание Байбакова, помощник градоначальника сообразил, что ежели однажды допущено, чтобы в Глупове был городничий, имеющий вместо головы простую укладку, то, стало быть, это так и следует. Поэтому он решился выжидать, но в то же время послал к Винтергальтеру понудительную телеграмму[6](" \l "fn6) и, заперев градоначальниково тело на ключ, устремил всю свою деятельность на успокоение общественного мнения.Но все ухищрения оказались уже тщетными. Прошло после того и еще два дня; пришла, наконец, и давно ожидаемая петербургская почта; но никакой головы не привезла.Началась анархия, то есть безначалие. Присутственные места запустели; недоимок накопилось такое множество, что местный казначей, заглянув в казенный ящик, разинул рот, да так на всю жизнь с разинутым ртом и остался; квартальные отбились от рук и нагло бездействовали; официальные дни исчезли. Мало того, начались убийства, и на самом городском выгоне поднято было туловище неизвестного человека, в котором, по фалдочкам хотя и признали лейб-кампанца, но ни капитан-исправник, ни прочие члены временного отделения, как ни бились, не могли отыскать отделенной от туловища головы.В восемь часов вечера помощник градоначальника получил по телеграфу известие, что голова давным-давно послана. Помощник градоначальника оторопел окончательно.Проходит и еще день, а градоначальниково тело все сидит в кабинете и даже начинает портиться. Начальстволюбие, временно потрясенное странным поведением Брудастого, робкими, но твердыми шагами выступает вперед. Лучшие люди едут процессией к помощнику градоначальника и настоятельно требуют, чтобы он распорядился. Помощник градоначальника, видя, что недоимки накопляются, пьянство развивается, правда в судах упраздняется, а резолюции не утверждаются, обратился к содействию штаб-офицера. Сей последний, как человек обязательный, телеграфировал о происшедшем случае по начальству, и по телеграфу же получил известие, что он, за нелепое донесение, уволен от службы[7](" \l "fn7).Услыхав об этом, помощник градоначальника пришел в управление и заплакал. Пришли заседатели — и тоже заплакали; явился стряпчий, но и тот от слез не мог говорить.Между тем Винтергальтер говорил правду, и голова действительно была изготовлена и выслана своевременно. Но он поступил опрометчиво, поручив доставку ее на почтовых мальчику, совершенно несведущему в органном деле. Вместо того чтоб держать посылку бережно на весу, неопытный посланец кинул ее на дно телеги, а сам задремал. В этом положении он проскакал несколько станций, как вдруг почувствовал, что кто-то укусил его за икру. Застигнутый болью врасплох, он с поспешностью развязал рогожный кулек, в котором завернута была загадочная кладь, и странное зрелище вдруг представилось глазам его. Голова разевала рот и поводила глазами; мало того: она громко и совершенно отчетливо произнесла: «Разорю!»Мальчишка просто обезумел от ужаса. Первым его движением было выбросить говорящую кладь на дорогу; вторым — незаметным образом спуститься из телеги и скрыться в кусты.Может быть, тем бы и кончилось это странное происшествие, что голова, пролежав некоторое время на дороге, была бы со временем раздавлена экипажами проезжающих и, наконец, вывезена на поле в виде удобрения, если бы дело не усложнилось вмешательством элемента до такой степени фантастического, что сами глуповцы — и те стали в тупик. Но не будем упреждать событий и посмотрим, что делается в Глупове.Глупов закипал. Не видя несколько дней сряду градоначальника, граждане волновались и, нимало не стесняясь, обвиняли помощника градоначальника и старшего квартального в растрате казенного имущества. По городу безнаказанно бродили юродивые и блаженные и предсказывали народу всякие бедствия. Какой-то Мишка Возгрявый уверял, что он имел ночью сонное видение, в котором явился к нему муж грозен и облаком пресветлым одеян.Наконец глуповцы не вытерпели; предводительствуемые излюбленным гражданином Пузановым, они выстроились в каре́ перед присутственными местами и требовали к народному суду помощника градоначальника, грозя в противном случае разнести и его самого, и его дом.Противообщественные элементы всплывали наверх с ужасающею быстротой. Поговаривали о самозванцах, о каком-то Степке, который, предводительствуя вольницей, не далее как вчера, в виду всех, свел двух купеческих жен.— Куда ты девал нашего батюшку? — завопило разозленное до неистовства сонмище, когда помощник градоначальника предстал перед ним.— Атаманы-молодцы! где же я вам его возьму, коли он на ключ заперт! — уговаривал толпу объятый трепетом чиновник, вызванный событиями из административного оцепенения. В то же время он секретно мигнул Байбакову, который, увидев этот знак, немедленно скрылся.Но волнение не унималось.— Врешь, переметная сума! — отвечала толпа, — вы нарочно с квартальным стакнулись, чтоб батюшку нашего от себя избыть!И бог знает, чем разрешилось бы всеобщее смятение, если бы в эту минуту не послышался звон колокольчика и вслед за тем не подъехала к бунтующим телега, в которой сидел капитан-исправник, а с ним рядом!.. исчезнувший градоначальник!На нем был надет лейб-кампанский мундир; голова его была сильно перепачкана грязью и в нескольких места побита. Несмотря на это, он ловко выскочил с телеги и сверкнул на толпу глазами.— Разорю! — загремел он таким оглушительным голосом, что все мгновенно притихли.Волнение было подавлено сразу; в этой, недавно столь грозно гудевшей, толпе водворилась такая тишина, что можно было расслышать, как жужжал комар, прилетевший из соседнего болота подивиться на «сие нелепое и смеха достойное глуповское смятение».— Зачинщики вперед! — скомандовал градоначальник, все более возвышая голос.Начали выбирать зачинщиков из числа неплательщиков податей, и уже набрали человек с десяток, как новое и совершенно диковинное обстоятельство дало делу совсем другой оборот.В то время как глуповцы с тоскою перешептывались, припоминая, на ком из них более накопилось недоимки, к сборищу незаметно подъехали столь известные обывателям градоначальнические дрожки. Не успели обыватели оглянуться, как из экипажа выскочил Байбаков, а следом за ним в виду всей толпы очутился точь-в-точь такой же градоначальник, как и тот, который, за минуту перед тем, был привезен в телеге исправником! Глуповцы так и остолбенели.Голова у этого другого градоначальника была совершенно новая и притом покрытая лаком. Некоторым прозорливым гражданам показалось странным, что большое родимое пятно, бывшее несколько дней тому назад на правой щеке градоначальника, теперь очутилось на левой.Самозванцы встретились и смерили друг друга глазами. Толпа медленно и в молчании разошлась[8](" \l "fn8).

[1](" \l "fns1)

**СКАЗАНИЕ О ШЕСТИ ГРАДОНАЧАЛЬНИЦАХ**

***Картина глуповского междоусобия***

Как и должно было ожидать, странные происшествия, совершившиеся в Глупове, не остались без последствий.Не успело еще пагубное двоевластие пустить зловредные свои корни, как из губернии прибыл рассыльный, который, забрав обоих самозванцев и посадив их в особые сосуды, наполненные спиртом, немедленно увез для освидетельствования.Но этот, по-видимому, естественный и законный акт административной твердости едва не сделался источником еще горших затруднений, нежели те, которые произведены были непонятным появлением двух одинаковых градоначальников.Едва простыл след рассыльного, увезшего самозванцев, едва узнали глуповцы, что они остались совсем без градоначальника, как, движимые силою начальстволюбия, немедленно впали в анархию.«И лежал бы град сей и доднесь в оной погибельной бездне, — говорит летописец, — ежели бы не был извлечен оттоль твердостью и самоотвержением некоторого неустрашимого штаб-офицера из местных обывателей».Анархия началась с того, что глуповцы собрались вокруг колокольни и сбросили с раската двух граждан: Степку да Ивашку. Потом пошли к модному заведению француженки, девицы де Сан-Кюлот (в Глупове она была известна под именем Устиньи Протасьевны Трубочистихи; впоследствии же оказалась сестрою Марата[1](#fn1) и умерла от угрызений совести) и, перебив там стекла, последовали к реке. Тут утопили еще двух граждан: Перфишку да другого Ивашку, и, ничего не доспев, разошлись по домам.Между тем измена не дремала. Явились честолюбивые личности, которые задумали воспользоваться дезорганизацией власти для удовлетворения своим эгоистическим целям. И, что всего страннее, представительницами анархического элемента явились на сей раз исключительно женщины.Первая, которая замыслила похитить бразды глуповского правления, была Ираида Лукинишна Палеологова, бездетная вдова, непреклонного характера, мужественного сложения, с лицом темно-коричневого цвета, напоминавшим старопечатные изображения. Никто не помнил, когда она поселилась в Глупове, так что некоторые из старожилов полагали, что событие это совпадало с мраком времен. Жила она уединенно, питаясь скудною пищею, отдавая в рост деньги и жестоко истязуя четырех своих крепостных девок. Дерзкое свое предприятие она, по-видимому, зрело обдумала. Во-первых, она сообразила, что городу без начальства ни на минуту оставаться невозможно; во-вторых, нося фамилию Палеологовых, она видела в этом некоторое тайное указание; в-третьих, не мало предвещало ей хорошего и то обстоятельство, что покойный муж ее, бывший винный пристав, однажды, за оскудением, исправлял где-то должность градоначальника. «Сообразив сие, — говорит „Летописец“, — злоехидная оная Ираидка начала действовать».Не успели глуповцы опомниться от вчерашних событий, как Палеологова, воспользовавшись тем, что помощник градоначальника с своими приспешниками засел в клубе в бостон, извлекла из ножон шпагу покойного винного пристава и, напоив, для храбрости, троих солдат из местной инвалидной команды, вторглась в казначейство. Оттоль, взяв в плен казначея и бухгалтера, а казну бессовестно обокрав, возвратилась в дом свой. Причем бросала в народ медными деньгами, а пьяные ее подручники восклицали: «Вот наша матушка! теперь нам, братцы, вина будет вволю!»Когда, на другой день, помощник градоначальника проснулся, все уже было кончено. Он из окна видел, как обыватели поздравляли друг друга, лобызались и проливали слезы. Затем, хотя он и попытался вновь захватить бразды правления, но так как руки у него тряслись, то сейчас же их выпустил. В унынии и тоске он поспешил в городовое управление, чтоб узнать, сколько осталось верных ему полицейских солдат, но на дороге был схвачен заседателем Толковниковым и приведен пред Ираидку. Там уже застал он связанного казенных дел стряпчего, который тоже ожидал своей участи.— Признаёте ли вы меня за градоначальницу? — кричала на них Ираидка.— Если ты имеешь мужа и можешь доказать, что он здешний градоначальник, то признаю! — твердо отвечал мужественный помощник градоначальника. Казенных дел стряпчий трясся всем телом и трясением этим как бы подтверждал мужество своего сослуживца.— Не о том вас спрашивают, мужняя ли я жена или вдова, а о том, признаете ли вы меня градоначальницею? — пуще ярилась Ираидка.— Если более ясных доказательств не имеешь, то не признаю! — столь твердо отвечал помощник градоначальника, что стряпчий защелкал зубами и заметался во все стороны.— Что с ними толковать! на раскат их! — вопил Толковников и его единомышленники.Нет сомнения, что участь этих оставшихся верными долгу чиновников была бы весьма плачевна, если б не выручило их непредвиденное обстоятельство. В то время, когда Ираида беспечно торжествовала победу, неустрашимый штаб-офицер не дремал и, руководясь пословицей: «Выбивай клин клином», научил некоторую авантюристку, Клемантинку де Бурбон, предъявить права свои. Права эти заключались в том, что отец ее, Клемантинки, кавалер де Бурбон, был некогда где-то градоначальником и за фальшивую игру в карты от должности той уволен. Сверх сего, новая претендентша имела высокий рост, любила пить водку и ездила верхом по-мужски. Без труда склонив на свою сторону четырех солдат местной инвалидной команды и будучи тайно поддерживаема польскою интригою, эта бездельная проходимица овладела умами почти мгновенно. Опять шарахнулись глуповцы к колокольне, сбросили с раската Тимошку да третьего Ивашку, потом пошли к Трубочистихе и дотла разорили ее заведение, потом шарахнулись к реке и там утопили Прошку да четвертого Ивашку.В таком положении были дела, когда мужественных страдальцев повели к раскату. На улице их встретила предводимая Клемантинкою толпа, посреди которой недреманным оком бодрствовал неустрашимый штаб-офицер. Пленников немедленно освободили.— Что, старички! признаете ли вы меня за градоначальницу? — спросила беспутная Клемантинка.— Ежели ты имеешь мужа и можешь доказать, что он здешний градоначальник, то признаём! — мужественно отвечал помощник градоначальника.— Ну, Христос с вами! отведите им по клочку земли под огороды! пускай сажают капусту и пасут гусей! — кротко сказала Клемантинка и с этим словом двинулась к дому, в котором укрепилась Ираидка.Произошло сражение; Ираидка защищалась целый день и целую ночь, искусно выставляя вперед пленных казначея и бухгалтера.— Сдайся! — говорила Клемантинка.— Покорись, бесстыжая! да уйми своих кобелей! — храбро отвечала Ираидка.Однако к утру следующего дня Ираидка начала ослабевать, но и то благодаря лишь тому обстоятельству, что казначей и бухгалтер, проникнувшись гражданскою храбростью, решительно отказались защищать укрепление. Положение осажденных сделалось весьма сомнительным. Сверх обязанности отбивать осаждающих, Ираидке необходимо было усмирять измену в собственном лагере. Предвидя конечную гибель, она решилась умереть геройскою смертью и, собрав награбленные в казне деньги, в виду всех взлетела на воздух вместе с казначеем и бухгалтером.Утром помощник градоначальника, сажая капусту, видел, как обыватели вновь поздравляли друг друга, лобызались и проливали слезы. Некоторые из них до того осмелились, что даже подходили к нему, хлопали по плечу и в шутку называли свинопасом. Всех этих смельчаков помощник градоначальника, конечно, тогда же записал на бумажку.Вести о «глуповском нелепом и смеха достойном смятении» достигли, наконец, и до начальства. Велено было «беспутную оную Клемантинку, сыскав, представить, а которые есть у нее сообщники, то и тех, сыскав, представить же, а глуповцам крепко-накрепко наказать, дабы неповинных граждан в реке занапрасно не утапливали и с раската звериным обычаем не сбрасывали». Но известия о назначении нового градоначальника все еще не получалось.Между тем дела в Глупове запутывались все больше и больше. Явилась третья претендентша, ревельская уроженка Амалия Карловна Штокфиш, которая основывала свои претензии единственно на том, что она два месяца жила у какого-то градоначальника в помпадуршах. Опять шарахнулись глуповцы к колокольне, сбросили с раската Семку и только что хотели спустить туда же пятого Ивашку, как были остановлены именитым гражданином Силой Терентьевым Пузановым.— Атаманы-молодцы! — говорил Пузанов, — однако ведь мы таким манером всех людишек перебьем, а толку не измыслим!— Правда! — согласились опомнившиеся атаманы-молодцы.— Стой! — кричали другие, — а зачем Ивашко галдит? галдеть разве велено?Пятый Ивашко стоял ни жив ни мертв перед раскатам, машинально кланяясь на все стороны.В это время к толпе подъехала на белом коне девица Штокфиш, сопровождаемая шестью пьяными солдатами, которые вели взятую в плен беспутную Клемантинку. Штокфиш была полная, белокурая немка, с высокою грудью, с румяными щеками и с пухлыми, словно вишни, губами. Толпа заволновалась.— Ишь толстомясая! пупки́-то нагуляла! — раздалось в разных местах.Но Штокфиш, очевидно, заранее взвесила опасности своего положения и поторопилась отразить их хладнокровием.— Атаманы-молодцы! — гаркнула она, молодецки указывая на обезумевшую от водки Клемантинку, — вот беспутная оная Клемантинка, которую велено, сыскав, представить! видели?— Видели! — шумела толпа.— Точно видели? и признаёте ее за ту самую беспутную оную Клемантинку, которую велено, сыскав, немедленно представить?— Видели! признаем!— Так выкатить им три бочки пенного! — воскликнула неустрашимая немка, обращаясь к солдатам, и, не торопясь, выехала из толпы.— Вот она! вот она, матушка-то наша Амалия Карловна! теперь, братцы, вина у нас будет вдоволь! — гаркнули атаманы-молодцы вслед уезжающей.В этот день весь Глупов был пьян, а больше всех пятый Ивашко. Беспутную оную Клемантинку посадили в клетку и вывезли на площадь; атаманы-молодцы подходили и дразнили ее. Некоторые, более добродушные, потчевали водкой, но требовали, чтобы она за это откинула какое-нибудь коленце.Легкость, с которою толстомясая немка Штокфиш одержала победу над беспутною Клемантинкой, объясняется очень просто. Клемантинка, как только уничтожила Раидку, так сейчас же заперлась с своими солдатами и предалась изнеженности нравов. Напрасно пан Кшепшицюльский и пан Пшекшицюльский, которых она была тайным орудием, усовещивали, протестовали и угрожали — Клемантинка через пять минут была до того пьяна, что ничего уж не понимала. Паны некоторое время еще подержались, но потом, увидев бесполезность дальнейшей стойкости, отступились. И действительно, в ту же ночь Клемантинка была поднята в бесчувственном виде с постели и выволочена в одной рубашке на улицу.Неустрашимый штаб-офицер (из обывателей) был в отчаянии. Из всех его ухищрений, подвохов и переодеваний ровно ничего не выходило. Анархия царствовала в городе полная; начальствующих не было; предводитель удрал в деревню; старший квартальный зарылся с смотрителем училищ на пожарном дворе в солому и трепетал. Самого его, штаб-офицера, сыскивали по городу и за поимку назначено было награды алтын. Обыватели заволновались, потому что всякому было лестно тот алтын прикарманить. Он уж подумывал, не лучше ли ему самому воспользоваться деньгами, явившись к толстомясой немке с повинною, как вдруг неожиданное обстоятельство дало делу совершенно новый оборот.Легко было немке справиться с беспутною Клемантинкою, но несравненно труднее было обезоружить польскую интригу, тем более что она действовала невидимыми подземными путями. После разгрома Клемантинкинова паны Кшепшицюльский и Пшекшицюльский грустно возвращались по домам и громко сетовали на неспособность русского народа, который даже для подобного случая ни одной талантливой личности не сумел из себя выработать, как внимание их было развлечено одним, по-видимому, ничтожным происшествием.Было свежее майское утро, и с неба падала изобильная роса. После бессонной и бурно проведенной ночи глуповцы улеглись спать, и в городе царствовала тишина непробудная. Около деревянного домика невзрачной наружности суетились какие-то два парня и мазали дегтем ворота. Увидев панов, они, по-видимому, смешались и спешили наутек, но были остановлены.— Что вы тут делаете? — спросили паны.— Да вот, Нелькины ворота дегтем мажем! — сознался один из парней, — оченно она ноне на все стороны махаться стала!Паны переглянулись и как-то многозначительно цыркнули. Хотя они пошли далее, но в головах их созрел уже план. Они вспомнили, что в ветхом деревянном домике действительно жила и содержала заезжий дом их компатриотка, Анеля Алоизиевна Лядоховская, и что хотя она не имела никаких прав на название градоначальнической помпадурши, но тоже была как-то однажды призываема к градоначальнику. Этого последнего обстоятельства совершенно достаточно было, чтобы выставить новую претендентшу и сплести новую польскую интригу.Они тем легче могли успеть в своем намерении, что в это время своеволие глуповцев дошло до размеров неслыханных. Мало того что они в один день сбросили с раската и утопили в реке целые десятки излюбленных граждан, но на заставе самовольно остановили ехавшего из губернии, по казенной подорожной, чиновника.— Кто ты? и с чем к нам приехал? — спрашивали глуповцы у чиновника.— Чиновник из губернии (имярек), — отвечал приезжий, — и приехал сюда для розыску бездельных Клемантинкиных дел!— Врет он! Он от Клемантинки, от подлой, подослан! волоките его на съезжую! — кричали атаманы-молодцы.Напрасно протестовал и сопротивлялся приезжий, напрасно показывал какие-то бумаги, народ ничему не верил и не выпускал его.— Нам, брат, этой бумаги целые вороха показывали — да пустое дело вышло! а с тобой нам ссылаться не пригоже, потому ты, и по обличью видно, беспутной оной Клемантинки лазутчик! — кричали одни.— Что с ним по пустякам лясы точить! в воду его — и шабаш! — кричали другие.Несчастного чиновника увели в съезжую избу и отдали за приставов.Между тем Амалия Штокфиш распоряжалась; назначила с мещан по алтыну с каждого двора, с купцов же по фунту чаю да по голове сахару по большой. Потом поехала в казармы и из собственных рук поднесла солдатам по чарке водки и по куску пирога. Возвращаясь домой, она встретила на дороге помощника градоначальника и стряпчего, которые гнали хворостиной гусей с луга.— Ну, что, старички? одумались? признаёте меня? — спросила она их благосклонно.— Ежели имеешь мужа и можешь доказать, что он наш градоначальник, то признаем! — твердо ответствовал помощник градоначальника.— Ну, Христос с вами! пасите гусей! — сказала толстомясая немка и проследовала далее.К вечеру полил такой сильный дождь, что улицы Глупова сделались на несколько часов непроходимыми. Благодаря этому обстоятельству, ночь минула благополучно для всех, кроме злосчастного приезжего чиновника, которого, для вернейшего испытания, посадили в темную и тесную каморку, исстари носившую название «большого блошиного завода», в отличие от малого завода, в котором испытывались преступники менее опасные. Наставшее затем утро также не благоприятствовало проискам польской интриги, так как интрига эта, всегда действуя в темноте, не может выносить солнечного света. «Толстомясая немка», обманутая наружною тишиной, сочла себя вполне утвердившеюся и до того осмелилась, что вышла на улицу без провожатого и начала заигрывать с проходящими. Впрочем, к вечеру она, для формы, созвала опытнейших городских будочников и открыла совещание. Будочники единогласно советовали: первое, беспутную оную Клемантинку, не медля, утопить, дабы не смущала народ и не дразнила; второе, помощника градоначальника и стряпчего пытать, и в-третьих, неустрашимого штаб-офицера, сыскав, представить. Но таково было ослепление этой несчастной женщины, что она и слышать не хотела о мерах строгости и даже приезжего чиновника велела перевести из большого блошиного завода в малый.Между тем глуповцы мало-помалу начинали приходить в себя, и охранительные силы, скрывавшиеся дотоле на задних дворах, робко, но твердым шагом, выступали вперед. Помощник градоначальника, сославшись с стряпчим и неустрашимым штаб-офицером, стал убеждать глуповцев удаляться немкиной и Клемантинкиной злоехидной прелести и обратиться к своим занятиям. Он строго порицал распоряжение, вследствие которого приезжий чиновник был засажен в блошиный завод, и предрекал Глупову великие от того бедствия. Сила Терентьев Пузанов, при этих словах, тоскливо замотал головой, так что если б атаманы-молодцы были крошечку побойчее, то они, конечно, разнесли бы съезжую избу по бревнышку. С другой стороны, и «беспутная оная Клемантинка» оказала немаловажную услугу партии порядка...Дело в том, что она продолжала сидеть в клетке на площади, и глуповцам в сладость было, в часы досуга, приходить дразнить ее, так как она остервенялась при этом неслыханно, в особенности же когда к ее телу прикасались концами раскаленных железных прутьев.— Что, Клемантинка, сладко? — хохотали одни, видя, как «беспутная» вертелась от боли.— А сколько, братцы, эта паскуда винища у нас слопала — страсть! — прибавляли другие.— Ваше я, что ли, пила? — огрызалась беспутная Клемантинка, — кабы не моя несчастная слабость да не покинули меня паны мои милые, узнали бы вы у меня ужо́, какова я есть!— Толстомясая-то тебе небось прежде, какова она есть, показала!— То-то «толстомясая»! Я, какова ни на есть, а все-таки градоначальническая дочь, а то взяли себе расхожую немку!Призадумались глуповцы над этими Клемантинкиными словами. Загадала она им загадку.— А что, братцы! ведь она, Клемантинка, хоть и беспутная, а правду молвила! — говорили одни.— Пойдем, разнесем толстомясую! — галдели другие.И если б не подоспели тут будочники, то несдобровать бы «толстомясой», полететь бы ей вниз головой с раската! Но так как будочники были строгие, то дело порядка оттянулось, и атаманы-молодцы, пошумев еще с малость, разошлись по домам.Но торжество «вольной немки» приходило к концу само собою. Ночью, едва успела она сомкнуть глаза, как услышала на улице подозрительный шум и сразу поняла, что все для нее кончено. В одной рубашке, босая, бросилась она к окну, чтобы, по крайней мере, избежать позора и не быть посаженной, подобно Клемантинке, в клетку, но было уже поздно.Сильная рука пана Кшепшицюльского крепко держала ее за стая, а Нелька Лядоховская, «разъярившись неслыханно», требовала к ответу.— Правда ли, девка Амалька, что ты обманным образом власть похитила и градоначальницей облыжно называть себя изволила и тем многих людишек в соблазн ввела? — спрашивала ее Лядоховская.— Правда, — отвечала Амалька, — только не обманным образом и не облыжно, а была и есмь градоначальница по самой сущей истине.— И с чего тебе, паскуде, такое смехотворное дело в голову взбрело? и кто тебя, паскуду, тому делу научил? — продолжала допрашивать Лядоховская, не обращая внимания на Амалькин ответ.Амалька обиделась.— Может быть, и есть здесь паскуда, — сказала она, — только не я.Сколько затем ни предлагали девке Амальке вопросов, она презрительно молчала; сколько ни принуждали ее повиниться — не повинилась. Решено было запереть ее в одну клетку с беспутною Клемантинкой.«Ужасно было видеть, — говорит „Летописец“, — как оные две беспутные девки, от третьей, еще беспутнейшей, друг другу на съедение отданы были! Довольно сказать, что к утру на другой день, в клетке ничего, кроме смрадных их костей, уже не было!»Проснувшись, глуповцы с удивлением узнали о случившемся; но и тут не затруднились. Опять все вышли на улицу и стали поздравлять друг друга, лобызаться и проливать слезы. Некоторые просили опохмелиться.— Ах, ляд вас побери! — говорил неустрашимый штаб-офицер, взирая на эту картину. — Что ж мы, однако, теперь будем делать? — спрашивал он в тоске помощника градоначальника.— Надо орудовать, — отвечал помощник градоначальника, — вот что! не пустить ли, сударь, в народе слух, что оная шельма Анелька, заместо храмов божиих, костелы везде ставить велела?— И чудесно!Но к полудню слухи сделались еще тревожнее. События следовали за событиями с быстротою неимоверною. В пригородной солдатской слободе объявилась еще претендентша, Дунька-толстопятая, а в стрелецкой слободе такую же претензию заявила Матренка-ноздря. Обе основывали свои права на том, что и они не раз бывали у градоначальников «для лакомства». Таким образом, приходилось отражать уже не одну, а разом трех претендентш.И Дунька, и Матренка бесчинствовали несказанно. Выходили на улицу и кулаками сшибали проходящим головы, ходили в одиночку на кабаки и разбивали их, ловили молодых парней и прятали их в подполья, ели младенцев, а у женщин вырезали груди и тоже ели. Распустивши волоса по ветру, в одном утреннем неглиже, они бегали по городским улицам, словно исступленные, плевались, кусались и произносили неподобные слова.Глуповцы просто обезумели от ужаса. Опять все побежали к колокольне, и сколько тут было перебито и перетоплено тел народных — того даже приблизительно сообразить невозможно. Началось общее судбище; всякий припоминал про своего ближнего всякое, даже такое, что тому и во сне не снилось, и так как судоговорение было краткословное, то в городе только и слышалось: шлеп-шлеп-шлеп! К четырем часам пополудни загорелась съезжая изба; глуповцы кинулись туда и оцепенели, увидав, что приезжий из губернии чиновник сгорел весь без остатка. Опять началось судбище; стали доискиваться, от чьего воровства произошел пожар, и порешили, что пожар произведен сущим вором и бездельником пятым Ивашкой. Вздернули Ивашку на дыбу, требуя чистосердечного во всем признания, но в эту самую минуту в пушкарской слободе загорелся тараканий малый заводец, и все шарахнулись туда, оставив пятого Ивашку висящим на дыбе. Зазвонили в набат, но пламя уже разлилось рекою и перепалило всех тараканов без остачи. Тогда поймали Матренку-ноздрю и начали вежливенько топить ее в реке, требуя, чтоб она сказала, кто ее, сущую бездельницу и воровку, на воровство научил и кто в том деле ей пособлял? Но Матренка только пускала в воде пузыри, а сообщников и пособников не выдала никого.Среди этой общей тревоги об шельме Анельке совсем позабыли. Видя, что дело ее не выгорело, она, под шумок, снова переехала в свой заезжий дом, как будто за ней никаких пакостей и не водилось, а папы Кшепшицюльский и Пшекшицюльский завели кондитерскую и стали торговать в ней печатными пряниками. Оставалась одна толстопятая Дунька, но с нею совладать было решительно невозможно.— А надо, братцы, изымать ее беспременно! — увещевал атаманов-молодцов Сила Терентьич Пузанов.— Да! поди, сунься! ловкой! — отвечали молодцы.Был, по возмущении, уже день шестый.Тогда произошло зрелище умилительное и беспримерное. Глуповцы вдруг воспрянули духом и сами совершили скромный подвиг собственного спасения. Перебивши и перетопивши целую уйму народа, они основательно заключили, что теперь в Глупове крамольного греха не осталось ни на эстолько. Уцелели только благонамеренные. Поэтому всякий смотрел всякому смело в глаза, зная, что его невозможно попрекнуть ни Клемантинкой, ни Раидкой, ни Матренкой. Решили действовать единодушно и прежде всего снестись с пригородами. Как и следовало ожидать, первый выступил на сцену неустрашимый штаб-офицер.— Сограждане! — начал он взволнованным голосом, но так как речь его была секретная, то весьма естественно, что никто ее не слыхал.Тем не менее глуповцы прослезились и начали нудить помощника градоначальника, чтобы вновь принял бразды правления; но он, до поимки Дуньки, с твердостью от того отказался. Послышались в толпе вздохи; раздались восклицания: «Ах! согрешения наши великие!» — но помощник градоначальника был непоколебим.— Атаманы-молодцы! в ком еще крамола осталась — выходи! — гаркнул голос из толпы.Толпа молчала.— Все очистились? — допрашивал тот же голос.— Все! все! — загудела толпа.— Крестись, братцы!Все перекрестились, объявлено было против Дуньки-толстопятой общее ополчение.Пригороды между тем один за другим слали в Глупов самые утешительные отписки. Все единодушно соглашались, что крамолу следует вырвать с корнем и для начала прежде всего очистить самих себя. Особенно трогательна была отписка пригорода Полоумнова. «Точию же, братие, сами себя прилежно испытуйте, — писали тамошние посадские люди, — да в сердцах ваших гнездо крамольное не свиваемо будет, а будете здравы, и пред лицом начальственным не злокозненны, но добротщательны, достохвальны и прелюбезны». Когда читалась эта отписка, в толпе раздавались рыдания, а посадская жена Аксинья Гунявая, воспалившись ревностью великою, тут же высыпала из кошеля два двугривенных и положила основание капиталу, для поимки Дуньки предназначенному.Но Дунька не сдавалась. Она укрепилась на большом клоповном заводе и, вооружившись пушкой, стреляла из нее как из ружья.— Ишь, шельма, каки артикулы пушкой выделывает! — говорили глуповцы, и не смели подступиться.— Ах, съешь тя клопы! — восклицали другие.Но и клопы были с нею как будто заодно. Она целыми тучами выпускала их против осаждающих, которые в ужасе разбегались. Решили обороняться от них варом, и средство это как будто помогло. Действительно, вылазки клопов прекратились, но подступиться к избе все-таки было невозможно, потому что клопы стояли там стена стеною, да и пушка продолжала действовать смертоносно. Пытались было зажечь клоповный завод, но в действиях осаждающих было мало единомыслия, так как никто не хотел взять на себя обязанность руководить ими, — и попытка не удалась.— Сдавайся, Дунька! не тронем! — кричали осаждающие, думая покорить ее льстивыми словами.Но Дунька отвечала невежеством.Так шло дело до вечера. Когда наступила ночь, осаждающие, благоразумно отступив, оставили, для всякого случая, у клоповного завода сторожевую цепь.Оказалось, однако, что стратагема с варом осталась не без последствий. Не находя пищи за пределами укрепления и раздраженные запахом человеческого мяса, клопы устремились внутрь искать удовлетворения своей кровожадности. В самую глухую полночь Глупов был потрясен неестественным воплем: то испускала дух толстопятая Дунька, изъеденная клопами. Тело ее, буквально представлявшее сплошную язву, нашли на другой день лежащим посреди избы, и около нее пушку и бесчисленные стада передавленных клопов. Прочие клопы, как бы устыдившись своего подвига, попрятались в щелях.Был, после начала возмущения, день седьмый. Глуповцы торжествовали. Но, несмотря на то что внутренние враги были побеждены и польская интрига посрамлена, атаманам-молодцам было как-то не по себе, так как о новом градоначальнике все еще не было ни слуху ни духу. Они слонялись по городу, словно отравленные мухи, и не смели ни за какое дело приняться, потому что не знали, как-то понравятся ихние недавние затеи новому начальнику.Наконец, в два часа пополудни седьмого дня он прибыл. Вновь назначенный, «сущий» градоначальник был статский советник и кавалер Семен Константинович Двоекуров.Он немедленно вышел на площадь к буянам и потребовал зачинщиков. Выдали Степку Горластого да Фильку Бесчастного.Супруга нового начальника, Лукерья Терентьевна, милостиво на все стороны кланялась.Так кончилось это бездельное и смеха достойное неистовство; кончилось и с тех пор не повторялось.

**ИЗВЕСТИЕ О ДВОЕКУРОВЕ**

Семен Константинович Двоекуров градоначальствовал в Глупове с 1762 по 1770 год. Подробного описания его градоначальствования не найдено, но, судя по тому, что оно соответствовало первым и притом самым блестящим годам екатерининской эпохи, следует предполагать, что для Глупова это было едва ли не лучшее время в его истории.О личности Двоекурова «Глуповский Летописец» упоминает три раза: в первый раз в «краткой описи градоначальникам», во второй — в конце отчета о смутном времени, и в третий — при изложении истории глуповского либерализма (см. описание градоначальствования Угрюм-Бурчеева). Из всех этих упоминовений явствует, что Двоекуров был человек передовой и смотрел на свои обязанности более нежели серьезно. Нельзя думать, чтобы «Летописец» добровольно допустил такой важный биографический пропуск в истории родного города; скорее должно предположить, что преемники Двоекурова с умыслом уничтожили его биографию, как представляющую свидетельство слишком явного либерализма, и могущую послужить для исследователей нашей старины соблазнительным поводом к отыскиванию конституционализма даже там, где, в сущности, существует лишь принцип свободного сечения. Догадку эту отчасти оправдывает то обстоятельство, что в глуповском архиве до сих пор существует листок, очевидно принадлежавший к полной биографии Двоекурова и до такой степени перемаранный, что, несмотря на все усилия, издатель «Летописи» мог разобрать лишь следующее: «имея не малый рост... подавал твердую надежду, что... Но объят ужасом... не мог сего выполнить... Вспоминая, всю жизнь грустил...» И только. Что означают эти загадочные слова? — С полною достоверностью отвечать на этот вопрос, разумеется, нельзя, но если позволительно допустить в столь важном предмете догадки, то можно предположить одно из двух: или что в Двоекурове, при немалом его росте (около трех аршин), предполагался какой-то особенный талант (например, нравиться женщинам), которого он не оправдал, или что на него было возложено поручение, которого он, сробев, не выполнил. И потом всю жизнь грустил.Как бы то ни было, но деятельность Двоекурова в Глупове была несомненно плодотворна. Одно то, что он ввел медоварение и пивоварение и сделал обязательным употребление горчицы и лаврового листа, доказывает, что он был по прямой линии родоначальником тех смелых новаторов, которые, спустя три четверти столетия, вели войны во имя картофеля. Но самое важное дело его градоначальствования — это, бесспорно, записка о необходимости учреждения в Глупове академии.К счастию, эта записка уцелела вполне[1](#fn1) и дает возможность произнести просвещенной деятельности Двоекурова вполне правильный и беспристрастный приговор. Издатель позволяет себе думать, что изложенные в этом документе мысли не только свидетельствуют, что в то отдаленное время уже встречались люди, обладавшие правильным взглядом на вещи, но могут даже и теперь служить руководством при осуществлении подобного рода предприятий. Конечно, современные нам академии имеют несколько иной характер, нежели тот, который предполагал им дать Двоекуров, но так как сила не в названии, а в той сущности, которую преследует проект и которая есть не что иное, как «рассмотрение наук», то очевидно, что покуда царствует потребность в «рассмотрении», до тех пор и проект Двоекурова удержит за собой все значение воспитательного документа. Что названия произвольны и весьма редко что-либо изменяют — это очень хорошо доказал один из преемников Двоекурова, Бородавкин. Он тоже ходатайствовал об учреждении академии, и когда получил отказ, то, без дальнейших размышлений, выстроил вместо нее съезжий дом. Название изменилось, но предположенная цель была достигнута — Бородавкин ничего больше и не желал. Да и кто же может сказать, долго ли просуществовала бы построенная Бородавкиным академия и какие принесла бы она плоды? Быть может, она оказалась бы выстроенною на песке; быть может, вместо «рассмотрения» наук занялась бы насаждением таковых? Все это в высшей степени гадательно и неверно. А со съезжим домом — дело верное: и выстроен он прочно, и из колеи «рассмотрения» не выбьется никуда.Вот эту-то мысль и развивает Двоекуров в своем проекте с тою непререкаемою ясностью и последовательностью, которыми, к сожалению, не обладает ни один из современных нам прожектёров. Конечно, он не был настолько решителен, как Бородавкин, то есть не выстроил съезжего дома вместо академии, но решительность, кажется, вообще не была в его нравах. Следует ли обвинять его за этот недостаток? или, напротив того, следует видеть в этом обстоятельстве тайную наклонность к конституционализму? — разрешение этого вопроса предоставляется современным исследователям отечественной старины, которых издатель и отсылает к подлинному документу.

**ГОЛОДНЫЙ ГОРОД**

1776-й год наступил для Глупова при самых счастливых предзнаменованиях. Целых шесть лет сряду город не горел, не голодал, не испытывал ни повальных болезней, ни скотских падежей, и граждане не без основания приписывали такое неслыханное в летописях благоденствие простоте своего начальника, бригадира Петра Петровича Фердыщенка. И действительно, Фердыщенко был до того прост, что летописец считает нужным неоднократно и с особенною настойчивостью остановиться на этом качестве, как на самом естественном объяснении того удовольствия, которое испытывали глуповцы во время бригадирского управления. Он ни во что не вмешивался, довольствовался умеренными данями, охотно захаживал в кабаки покалякать с целовальниками, по вечерам выходил в замасленном халате на крыльцо градоначальнического дома и играл с подчиненными в носки, ел жирную пищу, пил квас и любил уснащать свою речь ласкательным словом «братик-сударик».— А ну, братик-сударик, ложись! — говорил он провинившемуся обывателю.Или:— А ведь корову-то, братик-сударик, у тебя продать надо! потому, братик-сударик, что недоимка — это святое дело!Понятно, что после затейливых действий маркиза де Санглота, который летал в городском саду по воздуху, мирное управление престарелого бригадира должно было показаться и «благоденственным», и «удивления достойным». В первый раз свободно вздохнули глуповцы и поняли, что жить «без утеснения» не в пример лучше, чем жить «с утеснением».— Нужды нет, что он парадов не делает да с полками на нас не ходит, — говорили они, — зато мы при нем, батюшке, свет у́зрили! Теперича, вышел ты за ворота: хошь — на месте сиди; хошь — куда хошь иди! А прежде, сколько одних порядков было — и не приведи бог!Но на седьмом году правления Фердыщенку смутил бес. Этот добродушный и несколько ленивый правитель вдруг сделался деятелен и настойчив до крайности: скинул замасленный халат, и стал ходить по городу в вицмундире. Начал требовать, чтоб обыватели по сторонам не зевали, а смотрели в оба, и к довершению всего устроил такую кутерьму, которая могла бы очень дурно для него кончиться, если б, в минуту крайнего раздражения глуповцев, их не осенила мысль: «А ну как, братцы, нас за это не похвалят!»Дело в том, что в это самое время, на выезде из города, в слободе Навозной, цвела красотой посадская жена Алена Осипова. По-видимому, эта женщина представляла собой тип той сладкой русской красавицы, при взгляде на которую человек не загорается страстью, но чувствует, что все его существо потихоньку тает. При среднем росте, она была полна, бела и румяна; имела большие серые глаза навыкате, не то бесстыжие, не то застенчивые, пухлые вишневые губы, густые, хорошо очерченные брови, темно-русую косу до пят и ходила по улице «серой утицей». Муж ее, Дмитрий Прокофьев, занимался ямщиной, и был тоже под стать жене: молод, крепок, красив. Ходил он в плисовой поддевке и в поярковом грешневике, расцвеченном павьими перьями. И Дмитрий не чаял души в Аленке, и Аленка не чаяла души в Дмитрии. Частенько похаживали они в соседний кабак и, счастливые, распевали там вместе песни. Глуповцы же просто не могли нарадоваться на их согласную жизнь.Долго ли, коротко ли они так жили, только в начале 1776 года, в тот самый кабак, где они в свободное время благодушествовали, зашел бригадир. Зашел, выпил косушку, спросил целовальника, много ли прибавляется пьяниц, но в это самое время увидел Аленку и почувствовал, что язык у него прилип к гортани. Однако при народе объявить о том посовестился, а вышел на улицу и поманил за собой Аленку.— Хочешь, молодка, со мною в любви жить? — спросил бригадир.— А на что мне тебя... гунявого? — отвечала Аленка, с наглостью смотря ему в глаза, — у меня свой муж хорош!Только и было сказано между ними слов; но нехорошие это были слова. На другой же день бригадир прислал к Дмитрию Прокофьеву на постой двух инвалидов, наказав им при этом действовать «с утеснением». Сам же, надев вицмундир, пошел в ряды и, дабы постепенно приучить себя к строгости, с азартом кричал на торговцев:— Кто ваш начальник? сказывайте! или, может быть, не я ваш начальник?С своей стороны, Дмитрий Прокофьев, вместо того чтоб смириться да полегоньку бабу вразумить, стал говорить бездельные слова, а Аленка, вооружась ухватом, гнала инвалидов прочь и на всю улицу орала:— Ай да бригадир! к мужней жене, словно клоп, на перину всползти хочет!Понятно, как должен был огорчиться бригадир, сведавши об таких похвальных словах. Но так как это было время либеральное и в публике ходили толки о пользе выборного начала, то распорядиться своею единоличною властью старик поопасился. Собравши излюбленных глуповцев, он вкратце изложил перед ними дело и потребовал немедленного наказания ослушников.— Вам, старички-братики, и книги в руки! — либерально прибавил он, — какое количество по душе назначите, я наперед согласен! Потому теперь у нас время такое: всякому свое, лишь бы поронцы были!Излюбленные посоветовались, слегка погалдели и вынесли следующий ответ:— Сколько есть на небе звезд, столько твоему благородию их, шельмов, и учить следовает!Стал бригадир считать звезды («очень он был прост», повторяет по этому случаю архивариус-летописец), но на первой же сотне сбился и обратился за разъяснениями к денщику. Денщик отвечал, что звезд на небе видимо-невидимо.Должно думать, что бригадир остался доволен этим ответом, потому что когда Аленка с Митькой воротились, после экзекуции, домой, то шатались словно пьяные.Однако Аленка и на этот раз не унялась или, как выражается летописец, «от бригадировых шелепов пользы для себя не вкусила». Напротив того, она как будто пуще остервенилась, что и доказала через неделю, когда бригадир опять пришел б кабак и опять поманил Аленку.— Что, дурья порода, надумалась? — спросил он ее.— Ишь тебя, старого пса, ущемило! Или мало на стыдобушку мою насмотрелся! — огрызнулась Аленка.— Ладно! — сказал бригадир.Однако упорство старика заставило Аленку призадуматься. Воротившись после этого разговора домой, она некоторое время ни за какое дело взяться не могла, словно места себе не находила; потом подвалилась к Митьке и горько-горько заплакала.— Видно, как-никак, а быть мне у бригадира в полюбовницах! — говорила она, обливаясь слезами.— Только ты это сделай! да я тебя... и черепки-то твои поганые по ветру пущу! — задыхался Митька, и в ярости полез уж было за вожжами на полати, но вдруг одумался, затрясся всем телом, повалился на лавку и заревел.Кричал он шибко, что мочи, а про что кричал, того разобрать было невозможно. Видно было только, что человек бунтует.Узнал бригадир, что Митька затеял бунтовство, и вдвое против прежнего огорчился. Бунтовщика заковали и увели на съезжую. Как полоумная, бросилась Аленка на бригадирский двор, но путного ничего выговорить не могла, а только рвала на себе сарафан и безобразно кричала:— На́, пес! жри! жри! жри!К удивлению, бригадир не только не обиделся этими словами, но, напротив того, еще ничего не видя, подарил Аленке вяземский пряник и банку помады. Увидев эти дары, Аленка как будто опешила; кричать — не кричала, а только потихоньку всхлипывала. Тогда бригадир приказал принести свой новый мундир, надел его и во всей красе показался Аленке. В это же время выбежала в дверь старая бригадирова экономка и начала Аленку усовещивать.— Ну, чего ты, паскуда, жалеешь, подумай-ко! — говорила льстивая старуха, — ведь тебя бригадир-то в медовой сыте купать станет.— Митьку жалко! — отвечала Аленка, но таким нерешительным голосом, что было очевидно, что она уже начинает помышлять о сдаче.В ту же ночь в бригадировом доме случился пожар, который, к счастию, успели потушить в самом начале. Сгорел только архив, в котором временно откармливалась к праздникам свинья. Натурально, возникло подозрение в поджоге, и пало оно не на кого другого, а на Митьку. Узнали, что Митька напоил на съезжей сторожей и ночью отлучился неведомо куда. Преступника изловили и стали допрашивать с пристрастием, но он, как отъявленный вор и злодей, от всего отпирался.— Ничего я этого не знаю, — говорил он, — знаю только, что ты, старый пес, у меня жену уводом увел, и я тебе это, старому псу, прощаю... жри!Тем не менее Митькиным словам не поверили, и так как казус был спешный, то и производство по нем велось с упрощением. Через месяц Митька уже был бит на площади кнутом и, по наложении клейм, отправлен в Сибирь, в числе прочих сущих воров и разбойников. Бригадир торжествовал; Аленка потихоньку всхлипывала.Однако ж глуповцам это дело не прошло даром. Как и водится, бригадирские грехи прежде всего отразились на них.Все изменилось с этих пор в Глупове. Бригадир, в полном мундире, каждое утро бегал по лавкам и все тащил, все тащил. Даже Аленка начала по́ходя тащить, и вдруг, ни с того ни с сего, стала требовать, чтоб ее признавали не за ямщичиху, а за поповскую дочь.Но этого мало: самая природа перестала быть благосклонною к глуповцам. «Новая сия Иезавель, — говорит об Аленке летописец, — навела на наш город сухость». С самого вешнего Николы, с той поры, как начала входить вода в межень, и вплоть до Ильина дня, не выпало ни капли дождя. Старожилы не могли запомнить ничего подобного, и не без основания приписывали это явление бригадирскому грехопадению. Небо раскалилось и целым ливнем зноя обдавало все живущее; в воздухе замечалось словно дрожанье и пахло гарью; земля трескалась и сделалась тверда, как камень, так что ни сохой, ни даже заступом взять ее было невозможно; травы и всходы огородных овощей поблекли; рожь отцвела и выколосилась необыкновенно рано, но была так редка, и зерно было такое тощее, что не чаяли собрать и семян; яровые совсем не взошли, и засеянные ими поля стояли черные, словно смоль, удручая взоры обывателей безнадежной наготою; даже лебеды не родилось; скотина металась, мычала и ржала; не находя в поле пищи, она бежала в город и наполняла улицы. Людишки словно осунулись и ходили с понурыми головами; одни горшечники радовались вёдру, но и те раскаялись, как скоро убедились, что горшков много, а ва́рева нет.Однако глуповцы не отчаивались, потому что не могли еще обнять всей глубины ожидавшего их бедствия. Покуда оставался прошлогодний запас, многие, по легкомыслию, пили, ели и задавали банкеты, как будто и конца запасу не предвидится. Бригадир ходил в мундире по городу и строго-настрого приказывал, чтоб людей, имеющих «уныльный вид», забирали на съезжую и представляли к нему. Дабы ободрить народ, он поручил откупщику устроить в загородной роще пикник и пустить фейерверк. Пикник сделали, фейерверк сожгли, «но хлеба через то людишкам не предоставили». Тогда бригадир призвал к себе «излюбленных» и велел им ободрять народ. Стали «излюбленные» ходить по соседям, и ни одного унывающего не пропустили, чтоб не утешить.— Мы люди привышные! — говорили одни, — мы претерпеть мо́гим. Ежели нас теперича всех в кучу сложить и с четырех концов запалить — мы и тогда противного слова не молвим!— Это что говорить! — прибавляли другие, — нам терпеть можно! потому мы знаем, что у нас есть начальники!— Ты думаешь как? — ободряли третьи, — ты думаешь, начальство-то спит? Нет, брат, оно одним глазком дремлет, а другим поди уж где видит!Но когда убрались с сеном, то оказалось, что животы кормить будет нечем; когда окончилось жнитво, то оказалось, что и людишкам кормиться тоже нечем. Глуповцы испугались и начали похаживать к бригадиру на двор.— Так как же, господин бригадир, насчет хлебца-то? похлопочешь? — спрашивали они его.— Хлопочу, братики, хлопочу! — отвечал бригадир.— То-то; уж ты постарайся!В конце июля полили бесполезные дожди, а в августе людишки начали помирать, потому что все, что было, приели. Придумывали, какую такую пищу стряпать, от которой была бы сытость; мешали муку с ржаной резкой, но сытости не было; пробовали, не будет ли лучше с толченой сосновой корой, но и тут настоящей сытости не добились.— Хоть и точно, что от этой пищи словно кабы живот наедается, однако, братцы, надо так сказать: самая эта еда пустая! — говорили промеж себя глуповцы.Базары опустели, продавать было нечего, да и некому, потому что город обезлюдел. «Кои померли, — говорит летописец, — кои, обеспамятев, разбежались кто куда». А бригадир между тем все не прекращал своих беззаконий и купил Аленке новый драдедамовый платок. Сведавши об этом, глуповцы опять встревожились и целой громадой ввалили на бригадиров двор.— А ведь это поди ты не ладно, бригадир, делаешь, что с мужней женой уводом живешь! — говорили они ему, — да и не затем ты сюда от начальства прислан, чтоб мы, сироты, за твою дурость напасти терпели!— Потерпите, братики! всего вдоволь будет! — вертелся бригадир.— То-то! мы терпеть согласны! Мы люди привышные! А только ты, бригадир, об этих наших словах подумай, потому не ровён час: терпим-терпим, а тоже и промеж нас глупого человека не мало найдется! Как бы чего не сталось!Громада разошлась спокойно, но бригадир крепко задумался. Видит и сам, что Аленка всему злу заводчица, а расстаться с ней не может. Послал за батюшкой, думая в беседе с ним найти утешение, но тот еще больше обеспокоил, рассказавши историю об Ахаве и Иезавели.— И доколе не растерзали ее псы, весь народ изгиб до единого! — заключил батюшка свой рассказ.— Очнись, батя! ужли ж Аленку собакам отдать! — испугался бригадир.— Не к тому о сем говорю! — объяснился батюшка, — однако и о нижеследующем не излишне размыслить: паства у нас равнодушная, доходы малые, провизия дорогая... где пастырю-то взять, господин бригадир?— Ох! за грехи меня, старого, бог попутал! — простонал бригадир и горько заплакал.И вот, сел он опять за свое писанье; писал много, писал всюду.Рапортовал так: коли хлеба не имеется, так, по крайности, пускай хоть команда прибудет. Но ни на какое свое писание ни из какого места ответа не удостоился.А глуповцы с каждым днем становились назойливее и назойливее.— Что? получил, бригадир, ответ? — спрашивали они его с неслыханной наглостью.— Не получил, братики! — отвечал бригадир.Глуповцы смотрели ему «нелепым обычаем» в глаза и покачивали головами.— Гунявый ты! вот что! — укоряли они его, — оттого тебе, гадёнку, и не отписывают! не стоишь!Одним словом, вопросы глуповцев делались из рук вон щекотливыми. Наступила такая минута, когда начинает говорить брюхо, против которого всякие резоны и ухищрения оказываются бессильными.— Да; убеждениями с этим народом ничего не поделаешь! — рассуждал бригадир, — тут не убеждения требуются, а одно из двух: либо хлеб, либо... команда!Как и все добрые начальники, бригадир допускал эту последнюю идею лишь с прискорбием; но мало-помалу он до того вник в нее, что не только смешал команду с хлебом, но даже начал желать первой пуще последнего.Встанет бригадир утром раненько, сядет к окошку, и все прислушивается, не раздастся ли откуда: туру-туру?

Рассыпьтесь, молодцы!  
 За камни, за кусты!  
 По два в ряд!

— Нет! не слыхать!— Словно и бог-то наш край позабыл! — молвит бригадир.А глуповцы между тем всё жили, всё жили.Молодые все до одного разбежались. «Бежали-бежали, — говорит летописец, — многие, ни до чего не добежав, венец приняли; многих изловили и заключили в узы; сии почитали себя благополучными». До́ма остались только старики да малые дети, у которых не было ног, чтоб бежать. На первых порах оставшимся полегчало, потому что доля бежавших несколько увеличила долю остальных. Таким образом прожили еще с неделю, но потом опять стали помирать. Женщины выли, церкви переполнились гробами, трупы же людей худородных валялись по улицам неприбранные. Трудно было дышать в зараженном воздухе; стали опасаться, чтоб к голоду не присоединилась еще чума, и для предотвращения зла сейчас же составили комиссию, написали проект об устройстве временной больницы на десять кроватей, нащипали корпии и послали во все места по рапорту. Но, несмотря на столь видимые знаки начальственной попечительности, сердца обывателей уже ожесточились. Не проходило часа, чтобы кто-нибудь не показал бригадиру фигу, не назвал его «гунявым», «гадёнком» и проч.К довершению бедствия, глуповцы взялись за ум. По вкоренившемуся исстари крамольническому обычаю, собрались они около колокольни, стали судить да рядить и кончили тем, что выбрали из среды своей ходока — самого древнего в целом городе человека, Евсеича. Долго кланялись и мир, и Евсеич друг другу в ноги: первый просил послужить, второй просил освободить. Наконец мир сказал:— Сколько ты, Евсеич, на свете годов живешь, сколько начальников видел, а все жив состоишь!Тогда и Евсеич не вытерпел.— Много годов я выжил! — воскликнул он, внезапно воспламенившись. — Много начальников видел! Жив есмь!И, сказавши это, заплакал. «Взыграло древнее сердце его, чтобы послужить», — прибавляет летописец. И сделался Евсеич ходоком, и положил в сердце своем искушать бригадира до трех раз.— Ведомо ли тебе, бригадиру, что мы здесь целым городом сироты помираем? — так начал он свое первое искушение.— Ведомо, — ответствовал бригадир.— И то ведомо ли тебе, от чьего бездельного воровства такой обычай промеж нас учинился?— Нет, не ведомо.Первое искушение кончилось. Евсеич воротился к колокольне и отдал миру подробный отчет. «Бригадир же, видя таковое Евсеича ожесточение, весьма убоялся», — говорит летописец.Через три дня Евсеич явился к бригадиру во второй раз, «но уже прежний твердый вид утерял».— С правдой мне жить везде хорошо! — сказал он, — ежели мое дело справедливое, так ссылай ты меня хоть на край света, — мне и там с правдой будет хорошо!— Это точно, что с правдой жить хорошо, — отвечал бригадир, — только вот я какое слово тебе молвлю: лучше бы тебе, древнему старику, с правдой дома сидеть, чем беду на себя наклика́ть!— Нет! мне с правдой дома сидеть не приходится! потому она, правда-матушка, непоседлива! Ты глядишь: как бы в избу да на полати влезти, ан она, правда-матушка, из избы вон гонит... вот что́!— Что ж! по мне пожалуй! Только как бы ей, правде-то твоей, не набежать на рожон!И второе искушение кончилось. Опять воротился Евсеич к колокольне, и вновь отдал миру подробный отчет. «Бригадир же, видя Евсеича о правде безнуждно беседующего, убоялся его против прежнего не гораздо», — прибавляет летописец. Или, говоря другими словами, Фердыщенко понял, что ежели человек начинает издалека заводить речь о правде, то это значит, что он сам не вполне уверен, точно ли его за эту правду не посекут.Еще через три дня Евсеич пришел к бригадиру в третий раз и сказал:— А ведомо ли тебе, старому псу...Но не успел он еще порядком рот разинуть, как бригадир, в свою очередь, гаркнул:— Одеть дурака в кандалы!Надели на Евсеича арестантский убор и, «подобно невесте, навстречу жениха грядущей», повели, в сопровождении двух престарелых инвалидов, на съезжую. По мере того как кортеж приближался, толпы глуповцев расступались и давали дорогу.— Небось, Евсеич, небось! — раздавалось кругом, — с правдой тебе везде будет жить хорошо!Он же кланялся на все стороны и говорил:— Простите, атаманы-молодцы! ежели кого обидел, и ежели перед кем согрешил, и ежели кому неправду сказал... все простите!— Бог простит! — слышалось в ответ.— И ежели перед начальством согрубил... и ежели в зачинщиках был... и в том, Христа ради, простите!— Бог простит!С этой минуты исчез старый Евсеич, как будто его на свете не было, исчез без остатка, как умеют исчезать только «старатели» русской земли. Однако строгость бригадира все-таки оказала лишь временное действие. На несколько дней город действительно попритих, но так как хлеба все не было («нет этой нужды горше!» говорит летописец), то волею-неволею опять пришлось глуповцам собраться около колокольни. Смотрел бригадир с своего крылечка на это глуповское «бунтовское неистовство», и думал: «Вот бы теперь горошком — раз-раз-раз — и се не бе!» Но глуповцам приходилось не до бунтовства. Собрались они, начали тихим манером сговариваться, как бы им «о себе промыслить», но никаких новых выдумок измыслить не могли, кроме того, что опять выбрали ходока.Новый ходок, Пахомыч, взглянул на дело несколько иными глазами, нежели несчастный его предшественник. Он понял так, что теперь самое верное средство — это начать во все места просьбы писать.— Знаю я одного человечка, — обратился он к глуповцам, — не к нему ли нам наперед поклониться сходить?Услышав эту речь, большинство обрадовалось. Как ни велика была «нужа», но всем как будто полегчало при мысли, что есть где-то какой-то человек, который готов за всех «стараться». Что без «старанья» не обойдешься — это одинаково сознавалось всеми; но всякому казалось не в пример удобнее, чтоб за него «старался» кто-нибудь другой. Поэтому толпа уж совсем было двинулась вперед, чтоб исполнить совет Пахомыча, как возник вопрос, куда идти: направо или налево? Этим моментом нерешительности воспользовались люди охранительной партии.— Стойте, атаманы-молодцы! — сказали они, — как бы нас за этого человека бригадир не взбондировал! Лучше спросим наперед, каков таков человек?— А таков этот человек, что все ходы и выходы знает! Одно слово, прожженный! — успокоил Пахомыч.Оказалось на поверку, что «человечек» — не кто иной, как отставной приказный Боголепов, выгнанный из службы «за трясение правой руки», каковому трясению состояла причина в напитках. Жил он где-то на «болоте», в полуразвалившейся избенке некоторой мещанской девки, которая, за свое легкомыслие, пользовалась прозвищем «козы» и «опчественной кружки». Занятий настоящих он не имел, а составлял с утра до вечера ябеды, которые писал, придерживая правую руку левою. Никаких других сведений об «человечке» не имелось, да, по-видимому, и не ощущалось в них надобности, потому что большинство уже зараньше было предрасположено к безусловному доверию.Тем не менее вопрос «охранительных людей» все-таки не прошел даром. Когда толпа окончательно двинулась, по указанию Пахомыча, то несколько человек отделились и отправились прямо на бригадирский двор. Произошел раскол. Явились так называемые «отпадшие», то есть такие прозорливцы, которых задача состояла в том, чтобы оградить свои спины от потрясений, ожидающихся в будущем. «Отпадшие» пришли на бригадирский двор, но сказать ничего не сказали, а только потоптались на месте, чтобы засвидетельствовать.Несмотря, однако, на раскол, дело, затеянное глуповцами на «болоте», шло своим чередом.На минуту Боголепов призадумался, как будто ему еще нужно было старый хмель из головы вышибить. Но это было раздумье мгновенное. Вслед за тем он торопливо вынул из чернильницы перо, обсосал его, сплюнул, вцепился левой рукою в правую и начал строчить:

*ВО ВСЕ МЕСТА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ*

Просят пренесчастнейшего города Глупова всенижайшие и всебедствующие всех сословий чины и людишки, а о чем, тому следуют пункты:

1) Сим доводим до всех Российской империи мест и лиц: мрем мы все, сироты, до единого. Начальство же кругом себя видим неискусное, ко взысканию податей строгое, к подаянию же помощи мало поспешное. И еще доводим: которая у того бригадира, Фердыщенка, ямская жена Аленка, то от нее беспременно всем нашим бедам источник приключился, а более того причины не видим. А когда жила Аленка у мужа своего, Митьки-ямщика, то было в нашем городе смирно и жили мы всем изобильно. Хотя же и дальше терпеть согласны, однако опасаемся: ежели все помрем, то как бы бригадир со своей Аленкой нас не оклеветал и перед начальством в сумненье не ввел.2) Более сего пунктов не имеется.

|  |
| --- |
| *К сему прошению, вместо людишек города Глупова, за неграмотностью их, поставлено двести и тринадцать крестов.* |

Когда прошение было прочитано и закрестовано, то у всех словно отлегло от сердца. Запаковали бумагу в конверт, запечатали и сдали на почту.— Ишь, поплелась! — говорили старики, следя за тройкой, уносившей их просьбу в неведомую даль, — теперь, атаманы-молодцы, терпеть нам не долго!И действительно, в городе вновь сделалось тихо; глуповцы никаких новых бунтов не предпринимали, а сидели на завалинках и ждали. Когда же проезжие спрашивали: как дела? — то отвечали:— Теперь наше дело верное! теперича мы, братец мой, бумагу подали!Но проходил месяц, проходил другой — резолюции не было. А глуповцы всё жили и всё что-то жевали. Надежды росли и с каждым новым днем приобретали всё больше и больше вероятия. Даже «отпадшие» начали убеждаться в неуместности своих опасений и крепко приставали, чтоб их записывали в зачинщики. Очень может быть, что так бы и кончилось это дело измором, если б бригадир своим административным неискусством сам не взволновал общественного мнения. Обманутый наружным спокойствием обывателей, он очутился в самом щекотливом положении. С одной стороны, он чувствовал, что ему делать нечего; с другой стороны, тоже чувствовал — что ничего не делать нельзя. Поэтому он затеял нечто среднее, что-то такое, что́ до некоторой степени напоминало игру в бирюльки. Опустит в гущу крючок, вытащит оттуда злоумышленника и засадит. Потом опять опустит, опять вытащит и опять засадит. И в то же время все пишет, все пишет. Первого, разумеется, засадил Боголепова, который со страху оговорил целую кучу злоумышленников. Каждый из злоумышленников, в свою очередь, оговорил по куче других злоумышленников. Бригадир роскошествовал, но глуповцы не только не устрашались, но, смеясь, говорили промеж себя: «Каку таку новую игру старый пес затеял?»— Постой! — рассуждали они, — вот придет ужо́ бумага!Но бумага не приходила, а бригадир плел да плел свою сеть и доплел до того, что помаленьку опутал ею весь город. Нет ничего опаснее, как корни и нити, когда примутся за них вплотную. С помощью двух инвалидов бригадир перепутал и перетаскал на съезжую почти весь город, так что не было дома, который не считал бы одного или двух злоумышленников.— Этак он, братцы, всех нас завинит! — догадывались глуповцы, и этого опасения было достаточно, чтобы подлить масла в потухавший огонь.Разом, без всякого предварительного уговора, уцелевшие от бригадирских когтей сто пятьдесят «крестов» очутились на площади («отпадшие» вновь благоразумно скрылись) и, дойдя до градоначальнического дома, остановились.— Аленку! — гудела толпа.Бригадир понял, что дело зашло слишком далеко и что ему ничего другого не остается, как спрятаться в архив. Так он и поступил. Аленка тоже бросилась за ним, но случаю угодно было, чтоб дверь архива захлопнулась в ту самую минуту, как бригадир переступил порог ее. Замок щелкнул, и Аленка осталась снаружи с простертыми врозь руками. В таком положении застала ее толпа; застала бледную, трепещущую всем телом, почти безумную.— Пожалейте, атаманы-молодцы, мое тело белое! — говорила Аленка ослабевшим от ужаса голосом, — ведомо вам самим, что он меня силко́м от мужа увел!Но толпа ничего уж не слышала.— Сказывай, ведьма! — гудела она, — через какое твое колдовство на наш город сухость нашла?Аленка словно обеспамятела. Она металась и, как бы уверенная в неизбежном исходе своего дела, только повторяла: «Тошно мне! ох, батюшки, тошно мне!»Тогда совершилось неслыханное дело. Аленку разом, словно пух, взнесли на верхний ярус колокольни и бросили оттуда на раскат с вышины более пятнадцати саженей...«И не осталось от той бригадировой сладкой утехи даже ни единого ло́скута. В одно мгновение ока разнесли ее приблудные голодные псы».И вот, в то самое время, когда совершилась эта бессознательная кровавая драма, вдали, по дороге, вдруг поднялось густое облако пыли.— Хлеб идет! — вскрикнули глуповцы, внезапно переходя от ярости к радости.— Ту-ру! ту-ру! — явственно раздалось из внутренностей пыльного облака...

В колонну  
Соберись бегом!  
 Трезвону  
Зададим штыком!  
Скорей! скорей! скорей!

**СОЛОМЕННЫЙ ГОРОД**

Едва начал поправляться город, как новое легкомыслие осенило бригадира: прельстила его окаянная стрельчиха Домашка.Стрельцы в то время хотя уж не были настоящими, допетровскими стрельцами, однако кой-что еще помнили. Угрюмые и отчасти саркастические нравы с трудом уступали усилиям начальственной цивилизации, как ни старалась последняя внушить, что галдение и крамолы ни в каком случае не могут быть терпимы в качестве «постоянных занятий». Жили стрельцы в особенной пригородной слободе, названной по их имени Стрелецкою, а на противоположном конце города расположилась слобода Пушкарская, в которой обитали опальные петровские пушкари и их потомки. Общая опала, однако ж, не соединила этих людей, и обе слободы постоянно враждовали друг с другом. Казалось, между ними существовали какие-то старые счеты, которых они не могли забыть и которые каждая сторона формулировала так: «Кабы не ваше (взаимно) тогда воровство, гуляли бы мы и о сю пору по матушке-Москве». В особенности выступали наружу эти счеты при косьбе лугов. Каждая слобода имела в своем владении особенные луга, но границы этих лугов были определены так: «в урочище, „где Петру Долгого секли“ — клин, да в дву потому ж». И стрельцы и пушкари аккуратно каждый год около петровок выходили на место; сначала, как и путные, искали какого-то оврага, какой-то речки, да еще кривой березы, которая в свое время составляла довольно ясный межевой признак, но лет тридцать тому назад была срублена; потом, ничего не сыскав, заводили речь об «воровстве» и кончали тем, что помаленьку пускали в ход косы. Побоища происходили очень серьезные, но глуповцы до того пригляделись к этому явлению, что нимало даже не формализировались им. Впоследствии, однако ж, начальство обеспокоилось и приказало косы отобрать. Тогда не стало чем косить траву, и животы помирали от бескормицы. «И не было ни стрельцам, ни пушкарям прибыли ни малыя, а только землемерам злорадство великое», — прибавляет по этому случаю летописец.На одно из таких побоищ явился сам Фердыщенко с пожарной трубою и бочкой воды. Сначала он распоряжался довольно деятельно и даже пустил в дерущихся порядочную струю воды; но когда увидел Домашку, действовавшую в одной рубахе, впереди всех, с вилами в руках, то «злопыхательное» сердце его до такой степени воспламенилось, что он мгновенно забыл и о силе данной им присяги, и о цели своего прибытия. Вместо того чтоб постепенно усиливать обливательную тактику, он преспокойно уселся на кочку и, покуривая из трубочки, завел с землемерами пикантный разговор. Таким образом, пожирая Домашку глазами, он просидел до вечера, когда сгустившиеся сумерки сами собой принудили сражающихся разойтись по домам.Стрельчиха Домашка была совсем в другом роде, нежели Аленка. Насколько последняя была плавна́ и женственна во всех движениях, настолько же первая — резка, решительна и мужественна. Худо умытая, растрепанная, полурастерзанная, она представляла собой тип бабы-халды, по́ходя ругающейся и пользующейся всяким случаем, чтоб украсить речь каким-нибудь непристойным движением. С утра до вечера звенел по слободе ее голос, клянущий и сулящий всякие нелегкие, и умолкал только тогда, когда зелено́ вино угомоняло ее до потери сознания. Стрельцы из молодых гонялись за нею без памяти, однако ж не враждовали из-за нее промеж собой, а все вообще называли «сахарницей» и «проезжим шляхом». Пушкари ее боялись, но втайне тоже вожделели. Смелости она была необыкновенной. Она наступала на человека прямо, как будто говорила: а ну, посмотрим, покоришь ли ты меня? — и всякому, конечно, делалось лестным доказать этой «прорве», что «покорить» ее можно. Об одеждах своих она не заботилась, как будто инстинктивно чувствовала, что сила ее не в цветных сарафанах, а в той неистощимой струе молодого бесстыжества, которое неудержимо прорывалось во всяком ее движении. Был у нее, по слухам, и муж, но так как она дома ночевала редко, а все по клевушка́м да по овинам, да и детей у нее не было, то в скором времени об этом муже совсем забыли, словно так и явилась она на свет божий прямо бабой мирскою да бабой нероди́хою.Но это-то собственно, то есть совсем наглое забвение всяких околичностей, и привлекло «злопыхательное» сердце привередливого старца. Сладостная, тающая бесстыжесть Аленки позабылась; потребовалось возбуждение более острое, более способное действовать на засыпающие чувства старика. «Испытали мы бабу сладкую, — сказал он себе, — теперь станем испытывать бабу строптивую». И, сказавши это, командировал в Стрелецкую слободу урядника, снабдив его, для порядка, рассыльною книгой. Урядник застал Домашку вполпьяна, за огородами, около амбарушки, окруженную толпою стрельчат. Услышав требование явиться, она как бы изумилась, но так как, в сущности, ей было все равно, «кто ни поп — тот батька», то после минутного колебания она начала приподниматься, чтоб последовать за посланным. Но тут возмутились стрельчата и отняли у урядника бабу.— Больно лаком стал! — кричали они, — давно ли Аленку у Митьки со двора свел, а теперь, поди-кось, уж у опчества бабу отнять вздумал!Конечно, бригадиру следовало бы на сей раз посовеститься; но его словно бес обуял. Как ужаленный бегал он по городу и кричал криком. Не пошли ему впрок ни уроки прошлого, ни упреки собственной совести, явственно предупреждавшей распалившегося старца, что не ему придется расплачиваться за свои грехи, а все тем же ни в чем не повинным глуповцам. Как ни отбивались стрельчата, как ни отговаривалась сама Домашка, что она «против опчества идти не смеет», но сила, по обыкновению, взяла верх. Два раза стегал бригадир заупрямившуюся бабенку, два раза она довольно стойко вытерпела незаслуженное наказание, но когда принялись в третий раз, то не выдержала...Тогда выступили вперед пушкари и стали донимать стрельцов насмешками за то, что не сумели свою бабу от бригадировых шелепов отстоять. «Глупые были пушкари, — поясняет летописец, — того не могли понять, что, посмеваясь над стрельцами, сами над собой посмеваются». Но стрельцам было не до того, чтобы объяснять действия пушкарей глупостью или иною причиной. Как люди, чувствующие кровную обиду и не могущие отомстить прямому ее виновнику, они срывали свою обиду на тех, которые напоминали им о ней. Начались драки, бесчинства и увечья; ходили друг против дружки и в одиночку и стена на стену, и всего больше страдал от этой ненависти город, который очутился как раз посередке между враждующими лагерями. Но бригадир уже ничего не слушал и ни на что не обращал внимания. Он забрался с Домашкой на вышку градоначальнического дома и первый день своего торжества ознаменовал тем, что мертвецки напился пьян с новой жертвой своего сластолюбия...И вот новое ужасное бедствие не замедлило постигнуть город...Пожар начался 7-го июля, накануне праздника Казанской божией матери.До первых чисел июля все шло самым лучшим образом. Перепадали дожди, и притом такие тихие, теплые и благовременные, что все растущее с неимоверною быстротой поднималось в росте, наливалось и зрело, словно волшебством двинутое из недр земли. Но потом началась жара и сухмень, что также было весьма благоприятно, потому что наступала рабочая пора. Граждане радовались, надеялись на обильный урожай и спешили с работами.Шестого числа утром вышел на площадь юродивый Архипушко, стал середь торга и начал раздувать по ветру своей пестрядинной рубашкой.— Горю! горю! — кричал блаженный.Старики, гуторившие кругом, примолкли, собрались около блаженненького и спросили:— Где, батюшко?Но прозорливец бормотал что-то нескладное.— Стрела бежит, огнем палит, смрадом-дымом душит. Увидите меч огненный, услышите голос архангельский... горю!Больше ничего от него не могли добиться, потому что, выговоривши свою нескладицу, юродивый тотчас же скрылся (точно сквозь землю пропал), а задержать блаженного никто не посмел. Тем не меньше старики задумались.— Про «стрелу» помянул! — говорили они, покачивая головами на Стрелецкую слободу.Но этим дело не ограничилось. Не прошло часа, как на той же площади появилась юродивая Анисьюшка. Она несла в руках крошечный узелок и, севши посередь базара, начала ковырять пальцем ямку. И ее обступили старики.— Что ты, Анисьюшка, делаешь? на что ямку копаешь? — спрашивали они.— Добро хороню! — отвечала блаженная, оглядывая вопрошавших с бессмысленною улыбкой, которая с самого дня рождения словно застыла у ней на лице.— По́што же ты хоронишь его? чай, и так от тебя, божьей старушки, никто не покорыствуется?Но блаженная бормотала:— Добро хороню... восемь ленточек... восемь тряпочек... восемь платочков шелковыих... восемь золотыих запоночков... восемь сережек яхонтовенькиих... восемь перстеньков изумрудныих... восьмеро бус янтарныих... восьмеро ниток бурмицкиих... девятая — лента алая... хи-хи! — засмеялась она своим тихим, младенческим смехом.— Господи! что такое будет! — шептали испуганные старики.Обернулись, ан бригадир, весь пьяный, смотрит на них из окна и лыка не вяжет, а Домашка-стрельчиха угольком фигуры у него на лице рисует.— Вот-то пса несытого нелегкая принесла! — чуть-чуть было не сказали глуповцы, но бригадир словно понял их мысль и не своим голосом закричал:— Опять за бунты принялись! не прочухались!С тяжелою думой разбрелись глуповцы по своим домам, и не было слышно в тот день на улицах ни смеху, ни песен, ни говору.На другой день, с утра, погода чуть-чуть закуражилась; но так как работа была спешная (зачиналось жнитво), то все отправились в поле. Работа, однако ж, шла вяло. Оттого ли, что дело было перед праздником, или оттого, что всех томило какое-то смутное предчувствие, но люди двигались словно сонные. Так продолжалось до пяти часов, когда народ начал расходиться по домам, чтоб принарядиться и отправиться ко всенощной. В исходе седьмого в церквах заблаговестили, и улицы наполнились пестрыми толпами народа. На небе было всего одно облачко, но ветер крепчал и еще более усиливал общие предчувствия. Не успели отзвонить третий звон, как небо заволокло сплошь и раздался такой оглушительный раскат грома, что все молящиеся вздрогнули; за первым ударом последовал второй, третий; затем послышался где-то, не очень близко, набат. Народ разом схлынул из всех церквей. У выходов люди теснились, давили друг друга, в особенности женщины, которые заранее причитали по своим животам и пожиткам. Горела Пушкарская слобода, и от нее, навстречу толпе, неслась целая стена песку и пыли.Хотя был всего девятый час в начале, но небо до такой степени закрылось тучами, что на улицах сделалось совершенно темно. Сверху черная, безграничная бездна, прорезываемая молниями; кругом воздух, наполненный крутящимися атомами пыли, — все это представляло неизобразимый хаос, на грозном фоне которого выступал не менее грозный силуэт пожара. Видно было, как вдали копошатся люди, и казалось, что они бессознательно толкутся на одном месте, а не мечутся в тоске и отчаянье. Видно было, как кружатся в воздухе оторванные вихрем от крыш клочки зажженной соломы, и казалось, что перед глазами совершается какое-то фантастическое зрелище, а не горчайшее из злодеяний, которыми так обильны бессознательные силы природы. Постепенно одно за другим занимались деревянные строения и словно таяли. В одном месте пожар уже в полном разгаре; все строение обнял огонь, и с каждой минутой размеры его уменьшаются, и силуэт принимает какие-то узорчатые формы, которые вытачивает и выгрызает страшная стихия. Но вот в стороне блеснула еще светлая точка, потом ее закрыл густой дым, и через мгновение из клубов его вынырнул огненный язык; потом язык опять исчез, опять вынырнул — и взял силу. Новая точка, еще точка... сперва черная, потом ярко-оранжевая; образуется целая связь светящихся точек, и затем — настоящее море, в котором утопают все отдельные подробности, которое крутится в берегах своею собственною силою, которое издает свой собственный треск, гул и свист. Не скажешь, что́ тут горит, что́ плачет, что́ страдает; тут все горит, все плачет, все страдает... Даже стонов отдельных не слышно.Люди стонали только в первую минуту, когда без памяти бежали к месту пожара. Припоминалось тут все, что когда-нибудь было дорого; все заветное, пригретое, приголубленное, все, что помогало примиряться с жизнью и нести ее бремя. Человек так свыкся с этими извечными идолами своей души, так долго возлагал на них лучшие свои упования, что мысль о возможности потерять их никогда отчетливо не представлялась уму. И вот настала минута, когда эта мысль является не как отвлеченный призрак, не как плод испуганного воображения, а как голая действительность, против которой не может быть и возражений. При первом столкновении с этой действительностью человек не может вытерпеть боли, которою она поражает его; он стонет, простирает руки, жалуется, клянет, но в то же время еще надеется, что злодейство, быть может, пройдет мимо. Но когда он убедился, что злодеяние уже совершилось, то чувства его внезапно стихают, и одна только жажда водворяется в сердце его — это жажда безмолвия. Человек приходит к собственному жилищу, видит, что оно насквозь засветилось, что из всех пазов выпалзывают тоненькие огненные змейки, и начинает сознавать, что вот это и есть тот самый *конец всего,* о котором ему когда-то смутно грезилось и ожидание которого, незаметно для него самого, проходит через всю его жизнь. Что остается тут делать? что можно еще предпринять? Можно только сказать себе, что прошлое кончилось и что предстоит начать нечто новое, нечто такое, от чего охотно бы оборонился, но чего невозможно избыть, потому что оно придет само собою и назовется завтрашним днем.— Все ли вы тут? — раздается в толпе женский голос, — один, другой... Николка-то где?— Я, мамонька, здеся, — отвечал боязливый лепет ребенка, притаившегося сзади около сарафана матери.— Где Матренка? — слышится в другом месте, — ведь Матренка-то в избе осталась!На этот призыв выходит из толпы парень и с разбега бросается в пламя. Проходит одна томительная минута, другая. Обрушиваются балки одна за другой, трещит потолок. Наконец парень показывается среди облаков дыма; шапка и полушубок на нем затлелись, в руках ничего нет. Слышится вопль: Матренка! Матренка! где ты? потом следуют утешения, сопровождаемые предположениями, что, вероятно, Матренка с испуга убежала на огород...Вдруг, в стороне, из глубины пустого сарая раздается нечеловеческий вопль, заставляющий даже эту, совсем обеспамятевшую толпу перекреститься и вскрикнуть: «спаси господи!» Весь или почти весь народ устремляется по направлению этого крика. Сарай только что загорелся, но подступиться к нему уже нет возможности. Огонь охватил плетеные стены, обвил каждую отдельную хворостинку, и в одну минуту сделал из темной, дымившейся массы рдеющий, ярко-прозрачный костер. Видно было, как внутри метался и бегал человек, как он рвал на себе рубашку, царапал ногтями грудь, как он вдруг останавливался и весь вытягивался, словно вдыхал. Видно было, как брызгали на него искры, словно обливали, как занялись на нем волосы, как он сначала тушил их, потом вдруг закружился на одном месте...— Батюшки! да ведь это Архипушко! — разглядели люди.Действительно, это был он. Среди рдеющего кругом хвороста темная, полудикая фигура его казалась просветлевшею. Людям виделся не тот нечистоплотный, блуждающий мутными глазами Архипушко, каким его обыкновенно видали, не Архипушко, преданный предсмертным корчам и, подобно всякому другому смертному, бессильно борющийся против неизбежной гибели, а словно какой-то энтузиаст, изнемогающий под бременем переполнившего его восторга.— Отворь ворота, Архипушко! отворь, батюшко! — кричали издали люди, жалеючи.Но Архипушко не слыхал и продолжал кружиться и кричать. Очевидно было, что у него уже начинало занимать дыхание. Наконец столбы, поддерживавшие соломенную крышу, подгорели. Целое облако пламени и дыма разом рухнуло на землю, прикрыло человека и закрутилось. Рдеющая точка на время опять превратилась в темную; все инстинктивно перекрестились...Не успели пушкари опамятоваться от этого зрелища, как их ужаснуло новое: загудели на соборной колокольне колокола, и вдруг самый большой из них грохнулся вниз. Бросились и туда, но тут увидели, что вся слобода уже в пламени, и начали помышлять о собственном спасении. Толпа, оставшаяся без крова, пропитания и одежды, повалила в город, но и там встретилась с общим смятением. Хотя очевидно было, что пламя взяло все, что могло взять, но горожанам, наблюдавшим за пожаром по ту сторону речки, казалось, что пожар все рос и зарево больше и больше рдело. Весь воздух был наполнен какою-то светящеюся массою, в которой, отдельными точками, кружились и вихрились головни и горящие пуки соломы. «Куда-то они полетят? На ком обрушатся?» — спрашивали себя оцепенелые горожане.Этот вопрос произвел всеобщую панику; всяк бросился к своему двору спасать имущество. Улицы запрудились возами и пешеходами, нагруженными и навьюченными домашним скарбом. Торопливо, но без особенного шума двигалась эта вереница по направлению к выгону и, отойдя от города на безопасное расстояние, начала улаживаться. В эту минуту полил долго желанный дождь и растворил на выгоне легко уступающий чернозем.Между тем пушкари остановились на городской площади и решились дожидаться тут до свету. Многие присели на землю и дали волю слезам. Какой-то начетчик запел: *на реках вавилонских* и, заплакав, не мог кончить; кто-то произнес имя стрельчихи Домашки, но отклика ниоткуда не последовало. О бригадире все словно позабыли, хотя некоторые и уверяли, что видели, как он слонялся с единственной пожарной трубой и порывался отстоять попов дом. Поп был тут же, вместе со всеми, и роптал.— Беззаконновахом! — говорил он.— Ты бы, батька, побольше богу молился, да поменьше с попадьей проклажался! — в упор последовал ответ, и затем разговор по этому предмету больше не возобновлялся.К свету пожар, действительно, стал утихать, отчасти потому, что гореть было нечему, отчасти потому, что пошел проливной дождь. Пушкари побрели обратно на пожарище и увидели кучи пепла и обуглившиеся бревна, под которыми тлелся огонь. Достали откуда-то крючьев, привезли из города трубу и начали, не торопясь, растаскивать уцелевший материал и тушить остатки огня. Всякий рылся около своего дома и чего-то искал; многие в самом деле доискивались и крестились. Сгоревших людей оказалось с десяток, в том числе двое взрослых; Матренку же, о которой накануне был разговор, нашли спящею на огороде между гряд. Мало-помалу день принял свой обычный, рабочий вид. Убытки редко кем высчитывались; всякий старался прежде всего определить себе не то, что он потерял, а то, что у него есть. У кого осталось нетронутым подполье, и по этому поводу выражалась радость, что уцелел квас и вчерашний каравай хлеба; у кого каким-то чудом пожар обошел клевушок, в котором была заперта буренушка.— Ай да буренушка! умница! — хвалили кругом.Начал и город понемногу возвращаться в свои логовища из вынужденного лагеря; но не надолго. Около полдня, у Ильи Пророка, что на болоте, опять забили в набат. Загорелся сарай той самой «Козы», у которой в предыдущем рассказе летописец познакомил нас с приказным Боголеповым. Полагают, что Боголепов, в пьяном виде, курил трубку и заронил искру в сенную труху; но так как он сам при этом случае сгорел, то догадка эта настоящим образом в известность не приведена. В сущности, пожар был не весьма значителен, и мог бы быть остановлен довольно легко, но граждане до того были измучены и потрясены происшествиями вчерашней бессонной ночи, что достаточно было слова: «пожар!», чтоб произвести между ними новую общую панику. Все опять бросились к домам, тащили оттуда кто что мог и побежали на выгон. А пожар между тем разрастался и разрастался.Не станем описывать дальнейших перипетий этого бедствия, тем более что они вполне схожи с теми, которые уже приведены нами выше. Скажем только, что два дня горел город, и в это время без остатка сгорели две слободы: Болотная и Негодница, названная так потому, что там жили солдатки, промышлявшие зазорным ремеслом. Только на третий день, когда огонь уже начал подбираться к собору и к рядам, глуповцы несколько очувствовались. Подстрекаемые крамольными стрельцами, они выступили из лагеря, явились толпой к градоначальническому дому и поманили оттуда Фердыщенку.— Долго ли нам гореть будет? — спросили они его, когда он, после некоторых колебаний, появился на крыльце.Но лукавый бригадир только вертел хвостом и говорил, что ему с богом спорить не приходится.— Мы не про то говорим, чтоб тебе с богом спорить, — настаивали глуповцы, — куда тебе, гунявому, на́ бога лезти! а ты вот что скажи: за чьи бесчинства мы, сироты, теперича помирать должны?Тогда бригадир вдруг засовестился. Загорелось сердце его стыдом великим, и стоял он перед глуповцами и точил слезы. («И все те его слезы были крокодиловы», — предваряет летописец события.)— Мало ты нас в прошлом году истязал? Мало нас от твоей глупости да от твоих шелепов смерть приняло? — продолжали глуповцы, видя, что бригадир винится. — Одумайся, старче! Оставь свою дурость!Тогда бригадир встал перед миром на колени и начал каяться. («И было то покаяние его аспидово», — опять предваряет события летописец.)— Простите меня, ради Христа, атаманы-молодцы! — говорил он, кланяясь миру в ноги, — оставляю я мою дурость на веки вечные, и сам вам тоё мою дурость с рук на руки сдам! только не наругайтесь вы над нею, ради Христа, а проводите честь честью к стрельцам в слободу!И, сказав это, вывел Домашку к толпе. Увидели глуповцы разбитную стрельчиху и животами охнули. Стояла она перед ними, та же немытая, нечесаная, как прежде *была;* стояла, и хмельная улыбка бродила по лицу ее. И стала им эта Домашка так люба, так люба, что и сказать невозможно.— Здорово живешь, Домаха! — гаркнули в один голос граждане.— Здравствуйте! Ослобонять пришли? — отвечала Домашка.— Охотой идешь в опчество?— Со всем моим великим удовольствием!Тогда Домашку взяли под руки и привели к тому самому анбару, откуда она была, за несколько времени перед тем, уведена силою.Стрельцы радовались, бегали по улицам, били в тазы и в сковороды, и выкрикивали свой обычный воинственный клич:— Посрамихом! посрамихом!И началась тут промеж глуповцев радость и бодренье великое. Все чувствовали, что тяжесть спала с сердец и что отныне ничего другого не остается, как благоденствовать. С бригадиром во главе двинулись граждане навстречу пожару, в несколько часов сломали целую улицу домов и окопали пожарище со стороны города глубокою канавой. На другой день пожар уничтожился сам собою, вследствие недостатка питания.Но летописец недаром предварял события намеками: слезы бригадировы действительно оказались крокодиловыми, и покаяние его было покаяние аспидово. Как только миновала опасность, он засел у себя в кабинете и начал рапортовать во все места. Десять часов сряду макал он перо в чернильницу, и чем дальше макал, тем больше становилось оно ядовитым.«Сего 10-го июля, — писал он, — от всех вообще глуповских граждан последовал против меня великий бунт. По случаю бывшего в слободе Негоднице великого пожара собрались ко мне, бригадиру, на двор всякого звания люди и стали меня нудить и на коленки становить, дабы я перед теми бездельными людьми прощение принес. Я же без страха от сего уклонился. И теперь рассуждаю так: ежели таковому их бездельничеству потворство сделать, да и впредь потрафлять, то как бы оное не явилось повторительным, и не гораздо к утишению способным?»Отписав таким образом, бригадир сел у окошечка и стал поджидать, не послышится ли откуда: ту-ру! ту-ру! Но в то же время с гражданами был приветлив и обходителен, так что даже едва совсем не обворожил их своими ласками.— Миленькие вы, миленькие! — говорил он им, — ну, чего вы, глупенькие, на меня рассердились! Ну, взял бог — ну, и опять даст бог! У него, у царя небесного, милостей много! Так-то, братики-сударики!По временам, однако ж, на лице его показывалась какая-то сомнительная улыбка, которая не предвещала ничего доброго...И вот, в одно прекрасное утро, по дороге показалось облако пыли, которое, постепенно приближаясь и приближаясь, подошло, наконец, к самому Глупову.— Ту-ру! ту-ру! — явственно раздалось из внутренностей таинственного облака.

Трубят в рога!  
Разить врага  
Другим пора!

Глуповцы оцепенели.

**ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК**

Едва успели глуповцы поправиться, как бригадирово легкомыслие чуть-чуть не навлекло на них новой беды.Фердыщенко вздумал путешествовать.Это намерение было очень странное, ибо в заведовании Фердыщенка находился только городской выгон, который не заключал в себе никаких сокровищ ни на поверхности земли, ни в недрах оной. В разных местах его валялись, конечно, навозные кучи, но они, даже в археологическом отношении, ничего примечательного не представляли. «Куда и с какою целью тут путешествовать?» Все благоразумные люди задавали себе этот вопрос, но удовлетворительно разрешить не могли. Даже бригадирова экономка — и та пришла в большое смущение, когда Фердыщенко объявил ей о своем намерении.— Ну, куда тебя слоняться несет? — говорила она, — на первую кучу наткнешься и завязнешь! Кинь ты свое озорство, Христа ради!Но бригадир был непоколебим. Он вообразил себе, что травы сделаются зеленее и цветы расцветут ярче, как только он выедет на выгон. «Утучнятся поля, прольются многоводные реки, поплывут суда, процветет скотоводство, объявятся пути сообщения», — бормотал он про себя и лелеял свой план пуще зеницы ока. «Прост он был, — поясняет летописец, — так прост, что даже после стольких бедствий простоты своей не оставил».Очевидно, он копировал в этом случае своего патрона и благодетеля, который тоже был охотник до разъездов (по краткой описи градоначальникам, Фердыщенко обозначен так: бывый денщик князя Потемкина) и любил, чтоб его везде чествовали.План был начертан обширный. Сначала направиться в один угол выгона; потом, перерезав его площадь поперек, нагрянуть в другой конец; потом очутиться в середине, потом ехать опять по прямому направлению, а затем уже куда глаза глядят. Везде принимать поздравления и дары.— Вы смотрите! — говорил он обывателям, — как только меня завидите, так сейчас в тазы бейте, а потом зачинайте поздравлять, как будто я и невесть откуда приехал!— Слушаем, батюшка Петр Петрович! — говорили проученные глуповцы; но про себя думали: «Господи! того гляди, опять город спалит!»Выехал он в самый Николин день, сейчас после ранних обеден, и дома сказал, что будет не скоро. С ним был денщик Василий Черноступ да два инвалидных солдата. Шагом направился этот поезд в правый угол выгона, но так как расстояние было близкое, то как ни медлили, а через полчаса поспели. Ожидавшие тут глуповцы, в числе четырех человек, ударили в тазы, а один потрясал бубном. Потом начали подносить дары: подали тёшку осетровую соленую, да севрюжку провесную среднюю, да кусок ветчины. Вышел бригадир из брички и стал спорить, что даров мало, «да и дары те не настоящие, а лежалые», и служат к умалению его чести. Тогда вынули глуповцы еще по полтиннику, и бригадир успокоился.— Ну, теперь показывайте мне, старички, — сказал он ласково, — каковы у вас есть достопримечательности?Стали ходить взад и вперед по выгону, но ничего достопримечательного не нашли, кроме одной навозной кучи.— Это в прошлом году, как мы лагерем во время пожара стояли, так в ту пору всякого скота тут довольно было! — объяснил один из стариков.— Хорошо бы здесь город поставить, — молвил бригадир, — и назвать его Домнославом, в честь той стрельчихи, которую вы занапрасно в то время обеспокоили!И потом прибавил:— Ну, а в недрах земли как?— Об этом мы неизвестны, — отвечали глуповцы, — думаем, что много всего должно быть, однако допытываться боимся: как бы кто не увидал да начальству не пересказал!— Боитесь?! — усмехнулся бригадир.Словом сказать, в полчаса, да и то без нужды, весь осмотр кончился. Видит бригадир, что времени остается много (отбытие с этого пункта было назначено только на другой день), и зачал тужить и корить глуповцев, что нет у них ни мореходства, ни судоходства, ни горного и монетного промыслов, ни путей сообщения, ни даже статистики — ничего, чем бы начальниково сердце возвеселить. А главное, нет предприимчивости.— Вам бы следовало корабли заводить, кофей-сахар развозить, — сказал он, — а вы что!Переглянулись между собою старики, видят, что бригадир как будто и к слову, а как будто и не к слову свою речь говорит, помялись на месте и вынули еще по полтиннику.— На этом спасибо, — молвил бригадир, — а что про мореходство сказалось, на том простите!Выступил тут вперед один из граждан и, желая подслужиться, сказал, что припасена у него за пазухой деревянного дела пушечка малая на колесцах и гороху сушеного запасец небольшой. Обрадовался бригадир этой забаве несказанно, сел на лужок и начал из пушечки стрелять. Стреляли долго, даже умучились, а до обеда все еще много времени остается.— Ах, прах те побери! Здесь и солнце-то словно назад пятится! — сказал бригадир, с негодованием поглядывая на небесное светило, медленно выплывавшее по направлению к зениту.Наконец, однако, сели обедать, но так как со времени стрельчихи Домашки бригадир стал запивать, то и тут напился до безобразия. Стал говорить неподобные речи и, указывая на «деревянного дела пушечку», угрожал всех своих амфитрионов перепалить. Тогда за хозяев вступился денщик, Василий Черноступ, который хотя тоже был пьян, но не гораздо.— Пустое ты дело затеял! — сразу оборвал он бригадира, — кабы не я, твой приставник, — слова бы тебе, гунявому, не пикнуть, а не то чтоб за экое орудие взяться!Время между тем продолжало тянуться с безнадежною вялостью. Обедали-обедали, пили-пили, а солнце все высоко стоит. Начали спать. Спали-спали, весь хмель переспали, наконец начали вставать.— Никак солнце-то высоко взошло! — сказал бригадир, просыпаясь и принимая запад за восток.Но ошибка была столь очевидна, что даже он понял ее. Послали одного из стариков в Глупов за квасом, думая ожиданием сократить время; но старик оборотил духом и принес на голове целый жбан, не пролив ни капли. Сначала пили квас, потом чай, потом водку. Наконец, чуть смерклось, зажгли плошку и осветили навозную кучу. Плошка коптела, мигала и распространяла смрад.— Слава богу! не видали, как и день кончился! — сказал бригадир и, завернувшись в шинель, улегся спать во второй раз.На другой день поехали наперерез и, по счастью, встретили по дороге пастуха. Стали его спрашивать, кто он таков и зачем по пустым местам шатается, и нет ли в том шатании умысла. Пастух сначала оробел, но потом во всем повинился. Тогда его обыскали и нашли хлеба ломоть небольшой да лоскуток от онуч.— Сказывай, в чем был твой умысел? — допрашивал бригадир с пристрастием.Но пастух на все вопросы отвечал мычанием, так что путешественники вынуждены были, для дальнейших расспросов, взять его с собою, и в таком виде приехали в другой угол выгона.Тут тоже в тазы звонили и дары дарили, но время пошло поживее, потому что допрашивали пастуха, и в него грешным делом из малой пушечки стреляли. Вечером опять зажгли плошку и начадили так, что у всех разболелись головы.На третий день, отпустив пастуха, отправились в середку, но тут ожидало бригадира уже настоящее торжество. Слава о его путешествиях росла не по дням, а по часам, и так как день был праздничный, то глуповцы решились ознаменовать его чем-нибудь особенным. Одевшись в лучшие одежды, они выстроились в каре и ожидали своего начальника. Стучали в тазы, потрясали бубнами и даже играла одна скрипка. В стороне дымились котлы, в которых варилось и жарилось такое количество поросят, гусей и прочей живности, что даже попам стало завидно. В первый раз бригадир понял, что любовь народная есть сила, заключающая в себе нечто съедобное. Он вышел из брички и прослезился.Плакали тут все, плакали и потому, что жалко, и потому, что радостно. В особенности разливалась одна древняя старуха (сказывали, что она была внучка побочной дочери Марфы Посадницы).— О чем ты, старушка, плачешь? — спросил бригадир, ласково трепля ее по плечу.— Ох ты наш батюшка! как нам не плакать-то, кормилец ты наш! век мы свой всё-то плачем... всё плачем! — всхлипывала в ответ старуха.В полдень поставили столы и стали обедать; но бригадир был так неосторожен, что еще перед закуской пропустил три чарки очищенной. Глаза его вдруг сделались неподвижными и стали смотреть в одно место. Затем, съевши первую перемену (были щи с солониной), он опять выпил два стакана, и начал говорить, что ему нужно бежать.— Ну, куда тебе без ума бежать? — урезонивали его почетные глуповцы, сидевшие по сторонам.— Куда глаза глядят! — бормотал он, очевидно припоминая эти слова из своего маршрута.После второй перемены (был поросенок в сметане) ему сделалось дурно; однако он превозмог себя и съел еще гуся с капустою. После этого ему перекосило рог.Видно было, как вздрогнула на лице его какая-то административная жилка, дрожала-дрожала, и вдруг замерла... Глуповцы в смятении и испуге повскакали с своих мест.Кончилось...Кончилось достославное градоначальство, омрачившееся в последние годы двукратным вразумлением глуповцев. «Была ли в сих вразумлениях необходимость?» — спрашивает себя летописец и, к сожалению, оставляет этот вопрос без ответа.На некоторое время глуповцы погрузились в ожидание. Они боялись, чтоб их не завинили в преднамеренном окормлении бригадира и чтоб опять не раздалось неведомо откуда: «туру-туру!»

Встаньте гуще!  
Чтобы пуще  
Побеждать врага!

К счастию, однако ж, на этот раз опасения оказались неосновательными. Через неделю прибыл из губернии новый градоначальник и превосходством принятых им административных мер заставил забыть всех старых градоначальников, а в том числе и Фердыщенку. Это был Василиск Семенович Бородавкин, с которого, собственно, и начинается золотой век Глупова. Страхи рассеялись, урожаи пошли за урожаями, комет не появлялось, а денег развелось такое множество, что даже куры не клевали их... Потому что это были ассигнации.

**ВОЙНЫ ЗА ПРОСВЕЩЕНИЕ**

Василиск Семенович Бородавкин, сменивший бригадира Фердыщенку, представлял совершенную противоположность своему предместнику. Насколько последний был распущен и рыхл, настолько же первый поражал расторопностью и какою-то неслыханной административной въедчивостью, которая с особенной энергией проявлялась в вопросах, касавшихся выеденного яйца. Постоянно застегнутый на все пуговицы и имея наготове фуражку и перчатки, он представлял собой тип градоначальника, у которого ноги во всякое время готовы бежать неведомо куда. Днем он, как муха, мелькал по городу, наблюдая, чтоб обыватели имели бодрый и веселый вид; ночью — тушил пожары, делал фальшивые тревоги и вообще заставал врасплох.Кричал он во всякое время, и кричал необыкновенно. «Столько вмещал он в себе крику, — говорит по этому поводу летописец, — что от оного многие глуповцы и за себя, и за детей навсегда испугались». Свидетельство замечательное и находящее себе подтверждение в том, что впоследствии начальство вынуждено было дать глуповцам разные льготы, именно «испуга их ради». Аппетит имел хороший, но насыщался с поспешностью и при этом роптал. Даже спал только одним глазом, что приводило в немалое смущение его жену, которая, несмотря на двадцатипятилетнее сожительство, не могла без содрогания видеть его другое, недремлющее, совершенно круглое и любопытно на нее устремленное око. Когда же совсем нечего было делать, то есть не предстояло надобности ни мелькать, ни заставать врасплох (в жизни самых расторопных администраторов встречаются такие тяжкие минуты), то он или издавал законы, или маршировал по кабинету, наблюдая за игрой сапожного носка, или возобновлял в своей памяти военные сигналы.Была и еще одна особенность за Бородавкиным: он был сочинитель. За десять лет до прибытия в Глупов он начал писать проект «о вящем армии и флотов по всему лицу распространении, дабы через то возвращение (sic) древней Византии под сень российския державы уповательным учинить», и каждый день прибавлял к нему по одной строчке. Таким образом составилась довольно объемистая тетрадь, заключавшая в себе три тысячи шестьсот пятьдесят две строчки (два года было високосных), на которую он не без гордости указывал посетителям, прибавляя при том:— Вот, государь мой, сколь далеко я виды свои простираю!Вообще, политическая мечтательность была в то время в большом ходу, а потому и Бородавкин не избегнул общих веяний времени. Очень часто видали глуповцы, как он, сидя на балконе градоначальнического дома, взирал оттуда, с полными слез глазами, на синеющие вдалеке византийские твердыни. Выгонные земли Византии и Глупова были до такой степени смежны, что византийские стада почти постоянно смешивались с глуповскими, и из этого выходили беспрестанные пререкания. Казалось, стоило только кликнуть клич... И Бородавкин ждал этого клича, ждал с страстностью, с нетерпением, доходившим почти до негодования.— Сперва с Византией покончим-с, — мечтал он, — а потом-с...

На Драву, Мораву, на дальнюю Саву,  
 На тихий и синий Дунай...

Д-да-с!Сказать ли всю истину: по секрету, он даже заготовил на имя известного нашего географа, К. И. Арсеньева, довольно странную резолюцию: «Предоставляется вашему благородию, — писал он, — на будущее время известную вам Византию во всех учебниках географии числить тако: Константинополь, бывшая Византия, а ныне губернский город Екатериноград, стоит при излиянии Черною моря в древнюю Пропонтиду и под сень Российской державы приобретен в 17.. году, с распространением на оный единства касс (единство сие в том состоит, что византийские деньги в столичном городе Санктпетербурге употребление себе находить должны). По обширности своей город сей, в административном отношении, находится в ведении четырех градоначальников, кои состоят между собой в непрерывном пререкании. Производит торговлю грецкими орехами и имеет один мыловаренный и два кожевенных завода». Но, увы! дни проходили за днями, мечты Бородавкина росли, а клича все не было. Проходили через Глупов войска пешие, проходили войска конные.— Куда, голубчики? — с волнением спрашивал Бородавкин солдатиков.Но солдатики в трубы трубили, песни пели, носками сапогов играли, пыль столбом на улицах поднимали, и всё проходили, всё проходили.— Валом валит солдат! — говорили глуповцы, и казалось им, что это люди какие-то особенные, что они самой природой созданы для того, чтоб ходить без конца, ходить по всем направлениям. Что они спускаются с одной плоской возвышенности для того, чтобы лезть на другую плоскую возвышенность, переходят через один мост для того, чтобы перейти вслед за тем через другой мост. И еще мост, и еще плоская возвышенность, и еще, и еще...В этой крайности Бородавкин понял, что для политических предприятий время еще не наступило и что ему следует ограничить свои задачи только так называемыми насущными потребностями края. В числе этих потребностей первое место занимала, конечно, цивилизация, или, как он сам определял это слово, «наука о том, колико каждому Российской Империи доблестному сыну отечества быть твердым в бедствиях надлежит».Полный этих смутных мечтаний, он явился в Глупов и прежде всего подвергнул строгому рассмотрению намерения и деяния своих предшественников. Но когда он взглянул на скрижали, то так и ахнул. Вереницею прошли перед ним: и Клементий, и Великанов, и Ламврокакис, и Баклан, и маркиз де Санглот, и Фердыщенко, но что делали эти люди, о чем они думали, какие задачи преследовали — вот этого-то именно и нельзя было определить ни под каким видом. Казалось, что весь этот ряд — не что иное, как сонное мечтание, в котором мелькают образы без лиц, в котором звенят какие-то смутные крики, похожие на отдаленное галденье захмелевшей толпы... Вот вышла из мрака одна тень, хлопнула: раз-раз! — и исчезла неведомо куда; смотришь, на место ее выступает уж другая тень, и тоже хлопает как попало, и исчезает... «Раззорю!», «не потерплю!» слышится со всех сторон, а что разорю, чего не потерплю — того разобрать невозможно. Рад бы посторониться, прижаться к углу, но ни посторониться, ни прижаться нельзя, потому что из всякого угла раздается все то же «раззорю!», которое гонит укрывающегося в другой угол и там, в свою очередь, опять настигает его. Это была какая-то дикая энергия, лишенная всякого содержания, так что даже Бородавкин, несмотря на свою расторопность, несколько усомнился в достоинстве ее. Один только штатский советник Двоекуров с выгодою выделялся из этой пестрой толпы администраторов, являл ум тонкий и проницательный и вообще выказывал себя продолжателем того преобразовательного дела, которым ознаменовалось начало восемнадцатого столетия в России. Его-то, конечно, и взял себе Бородавкин за образец.Двоекуров совершил очень много. Он вымостил улицы: Дворянскую и Большую, собрал недоимки, покровительствовал наукам и ходатайствовал об учреждении в Глупове академии. Но главная его заслуга состояла в том, что он ввел в употребление горчицу и лавровый лист. Это последнее действие до того поразило Бородавкина, что он тотчас же возымел дерзкую мысль поступить точно таким же образом и относительно прованского масла. Начались справки, какие меры были употреблены Двоекуровым, чтобы достигнуть успеха в затеянном деле, по так как архивные дела, по обыкновению, оказались сгоревшими (а быть может, и умышленно уничтоженными), то пришлось удовольствоваться изустными преданиями и рассказами.— Много у нас всякого шуму было! — рассказывали старожилы, — и через солдат секли, и запросто секли... Многие даже в Сибирь через это самое дело ушли!— Стало быть, были бунты? — спрашивал Бородавкин.— Мало ли было бунтов! У нас, сударь, насчет этого такая примета: коли секут — так уж и знаешь, что бунт!Из дальнейших расспросов оказывалось, что Двоекуров был человек настойчивый и, однажды задумав какое-нибудь предприятие, доводил его до конца. Действовал он всегда большими массами, то есть и усмирял, и расточал без остатка; но в то же время понимал, что одного этого средства недостаточно. Поэтому, независимо от мер общих, он, в течение нескольких лет сряду, непрерывно и неустанно делал сепаратные набеги на обывательские дома и усмирял каждого обывателя по одиночке. Вообще во всей истории Глупова поражает один факт: сегодня расточат глуповцев и уничтожат их всех до единого, а завтра, смотришь, опять появятся глуповцы и даже, по обычаю, выступят вперед на сходках так называемые «старики» (должно быть, «из молодых да ранние»). Каким образом они нарастали — это была тайна, но тайну эту отлично постиг Двоекуров, и потому розог не жалел. Как истинный администратор, он различал два сорта сечения: сечение без рассмотрения и сечение с рассмотрением, и гордился тем, что первый в ряду градоначальников ввел сечение с рассмотрением, тогда как все предшественники секли как попало, и часто даже совсем не тех, кого следовало. И действительно, воздействуя разумно и беспрерывно, он добился результатов самых блестящих. В течение всего его градоначальничества глуповцы не только не садились за стол без горчицы, но даже развели у себя довольно обширные горчичные плантации для удовлетворения требованиям внешней торговли. «И процвела оная весь, яко крин сельный, посылая сей горький продукт в отдаленнейшие места державы Российской, и получая взамен оного драгоценные металлы и меха».Но в 1770 году Двоекуров умер, и два градоначальника, последовавшие за ним, не только не поддержали его преобразований, но даже, так сказать, загадили их. И что всего замечательнее, глуповцы явились неблагодарными. Они нимало не печалились упразднению начальственной цивилизации и даже как будто радовались. Горчицу перестали есть вовсе, а плантации перепахали, засадили капустою и засеяли горохом. Одним словом, произошло то, что всегда случается, когда просвещение слишком рано приходит к народам младенческим и в гражданском смысле незрелым. Даже летописец не без иронии упоминает об этом обстоятельстве: «Много лет выводил он (Двоекуров) хитроумное сие здание, а о том не догадался, что строит на песце». Но летописец, очевидно, и в свою очередь, забывает, что в том-то собственно и заключается замысловатость человеческих действий, чтобы сегодня одно здание на «песце» строить, а завтра, когда оно рухнет, зачинать новое здание на том же «песце» воздвигать.Таким образом, оказывалось, что Бородавкин поспел как раз кстати, чтобы спасти погибавшую цивилизацию. Страсть строить на «песце» была доведена в нем почти до исступления. Дни и ночи он все выдумывал, что́ бы такое выстроить, чтобы оно вдруг, по выстройке, грохнулось и наполнило вселенную пылью и мусором. И так думал, и этак, но настоящим манером додуматься все-таки не мог. Наконец, за недостатком оригинальных мыслей, остановился на том, что буквально пошел по стопам своего знаменитого предшественника.— Руки у меня связаны, — горько жаловался он глуповцам, — а то узнали бы вы у меня, где раки зимуют!Тут же кстати он доведался, что глуповцы, по упущению, совсем отстали от употребления горчицы, а потому на первый раз ограничился тем, что объявил это употребление обязательным; в наказание же за ослушание прибавил еще прованское масло. И в то же время положил в сердце своем: дотоле не класть оружия, доколе в городе останется хоть один недоумевающий.Но глуповцы тоже были себе на уме. Энергии действия они с большою находчивостью противопоставили энергию бездействия.— Что хошь с нами делай! — говорили одни, — хошь — на куски режь; хошь — с кашей ешь, а мы не согласны!— С нас, брат, не что возьмешь! — говорили другие, — мы не то что прочие, которые телом обросли! нас, брат, и уколупнуть негде!И упорно стояли при этом на коленах.Очевидно, что когда эти две энергии встречаются, то из этого всегда происходит нечто весьма любопытное. Нет бунта, но и покорности настоящей нет. Есть что-то среднее, чему мы видали примеры при крепостном праве. Бывало, попадется барыне таракан в супе, призовет она повара и велит того таракана съесть. Возьмет повар таракана в рот, видимым образом жует его, а глотать не глотает. Точно так же было и с глуповцами: жевали они довольно, а глотать не глотали.— Сломлю я эту энергию! — говорил Бородавкин и медленно, без торопливости, обдумывал план свой.А глуповцы стояли на коленах и ждали. Знали они, что бунтуют, но не стоять на коленах не могли. Господи! чего они не передумали в это время! Думают: станут они теперь есть горчицу, — как бы на будущее время еще какую ни на есть мерзость есть не заставили; не станут — как бы шелепов не пришлось отведать. Казалось, что колени в этом случае представляют средний путь, который может умиротворить и ту и другую стороны.И вдруг затрубила труба, и забил барабан. Бородавкин, застегнутый на все пуговицы и полный отваги, выехал на белом коне. За ним следовал пушечный и ружейный снаряд. Глуповцы думали, что градоначальник едет покорять Византию, а вышло, что он замыслил покорить их самих...Так начался тот замечательный ряд событий, который описывает летописец под общим наименованием «войн за просвещение».Первая война «за просвещение» имела, как уже сказано выше, поводом горчицу, и началась в 1780 году, то есть почти вслед за прибытием Бородавкина в Глупов.Тем не менее Бородавкин сразу палить не решился; он был слишком педант, чтобы впасть в столь явную административную ошибку. Он начал действовать постепенно, и с этою целью предварительно созвал глуповцев и стал их заманивать. В речи, сказанной по этому поводу, он довольно подробно развил перед обывателями вопрос о подспорьях вообще, и о горчице как о подспорье, в особенности; но оттого ли, что в словах его было более личной веры в правоту защищаемого дела, нежели действительной убедительности, или оттого, что он, по обычаю своему, не говорил, а кричал, — как бы то ни было, результат его убеждений был таков, что глуповцы испугались и опять всем обществом пали на колени.«Было чего испугаться глуповцам, — говорит по этому случаю летописец, — стоит перед ними человек роста невеликого, из себя не дородный, слов не говорит, а только криком кричит».— Поняли, старички? — обратился он к обеспамятевшим обывателям.Толпа низко кланялась и безмолвствовала. Натурально, это его пуще взорвало.— Что я... на смерть, что ли, вас веду... ммерррзавцы!Но едва раздался из уст его новый раскат, как глуповцы стремительно повскакали с коленей и разбежались во все стороны.— Раззорю! — закричал он им вдогонку.Весь этот день Бородавкин скорбел. Молча расхаживал он по залам градоначальнического дома и только изредка тихо произносил: «Подлецы!»Более всего заботила его Стрелецкая слобода, которая и при предшественниках его отличалась самым непреоборимым упорством. Стрельцы довели энергию бездействия почти до утонченности. Они не только не являлись на сходки по приглашениям Бородавкина, но, завидев его приближение, куда-то исчезали, словно сквозь землю проваливались. Некого было убеждать, не у кого было ни о чем спросить. Слышалось, что кто-то где-то дрожит, но где дрожит и как дрожит — разыскать невозможно.Между тем не могло быть сомнения, что в Стрелецкой слободе заключается источник всего зла. Самые безотрадные слухи доходили до Бородавкина об этом крамольничьем гнезде. Явился проповедник, который перелагал фамилию «Бородавкин» на цифры и доказывал, что ежели выпустить букву *р,* то выйдет 666, то есть князь тьмы. Ходили по рукам полемические сочинения, в которых объяснялось, что горчица есть былие, выросшее из тела девки-блудницы, прозванной за свое распутство горькою, — оттого-де и пошла в мир «горчица». Даже сочинены были стихи, в которых автор добирался до градоначальниковой родительницы и очень неодобрительно отзывался о ее поведении. Внимая этим песнопениям и толкованиям, стрельцы доходили почти до восторженного состояния. Схватившись под руки, они бродили вереницей по улице и, дабы навсегда изгнать из среды своей дух робости, во все горло орали.Бородавкин чувствовал, как сердце его, капля по капле, переполняется горечью. Он не ел, не пил, а только произносил сквернословия, как бы питая ими свою бодрость. Мысль о горчице казалась до того простою и ясною, что неприятие ее нельзя было истолковать ничем иным, кроме злонамеренности. Сознание это было тем мучительнее, чем больше должен был употреблять Бородавкин усилий, чтобы обуздывать порывы страстной натуры своей.— Руки у меня связаны! — повторял он, задумчиво покусывая темный ус свой, — а то бы я показал вам, где раки зимуют!Но он не без основания думал, что натуральный исход всякой коллизии есть все-таки сечение, и это сознание подкрепляло его. В ожидании этого исхода он занимался делами и писал втихомолку устав «о нестеснении градоначальников законами». Первый и единственный параграф этого устава гласил так: «Ежели чувствуешь, что закон полагает тебе препятствие, то, сняв оный со стола, положи под себя. И тогда все сие, сделавшись невидимым, много тебя в действии облегчит».Однако ж покуда устав еще утвержден не был, а следовательно, и от стеснений уклониться было невозможно. Через месяц Бородавкин вновь созвал обывателей и вновь закричал. Но едва успел он произнести два первых слога своего приветствия («об оных, стыда ради, умалчиваю», оговаривается летописец), как глуповцы опять рассыпались, не успев даже встать на колени. Тогда только Бородавкин решился пустить в ход настоящую цивилизацию.Ранним утром выступил он в поход и дал делу такой вид, как будто совершает простой военный променад. Утро было ясное, свежее, чуть-чуть морозное (дело происходило в половине сентября). Солнце играло на касках и ружьях солдат; крыши домов и улицы были подернуты легким слоем инея; везде топились печи, и из окон каждого дома виднелось веселое пламя.Хотя главною целью похода была Стрелецкая слобода, но Бородавкин хитрил. Он не пошел ни прямо, ни направо, ни налево, а стал маневрировать. Глуповцы высыпали из домов на улицу и громкими одобрениями поощряли эволюции искусного вождя.— Слава те господи! кажется, забыл про горчицу! — говорили они, снимая шапки и набожно крестясь на колокольню.А Бородавкин все маневрировал да маневрировал и около полдён достиг до слободы Негодницы, где сделал привал. Тут всем участвующим в походе роздали по чарке водки и приказали петь песни, а ввечеру взяли в плен одну мещанскую девицу, отлучившуюся слишком далеко от ворот своего дома.На другой день, проснувшись рано, стали отыскивать «языка». Делали все это серьезно, не моргнув. Привели какого-то еврея и хотели сначала повесить его, но потом вспомнили, что он совсем не для того требовался, и простили. Еврей, положив руку под стегно, свидетельствовал, что надо идти сначала на слободу Навозную, а потом кружить по полю до тех пор, пока не явится урочище, называемое «Дунькиным врагом». Оттуда же, миновав три поверки, идти куда глаза глядят.Так Бородавкин и сделал. Но не успели люди пройти и четверти версты, как почувствовали, что заблудились. Ни земли, ни воды, ни неба — ничего не было видно. Потребовал Бородавкин к себе вероломного жида, чтоб повесить, но его уж и след простыл (впоследствии оказалось, что он бежал в Петербург, где в это время успел получить концессию на железную дорогу). Плутали таким образом среди белого дня довольно продолжительное время, и сделалось с людьми словно затмение, потому что Навозная слобода стояла въяве у всех на глазах, а никто ее не видал. Наконец спустились на землю действительные сумерки, и кто-то крикнул: грабят! Закричал какой-то солдатик спьяна, а люди замешались и, думая, что идут стрельцы, стали биться. Бились крепко всю ночь, бились не глядя, а как попало. Много тут было раненых, много и убиенных. Только когда уж совсем рассвело, увидели, что бьются свои с своими же и что сцена этого недоразумения происходит у самой околицы Навозной слободы. Положили: убиенных похоронив, заложить на месте битвы монумент, а самый день, в который она происходила, почтить наименованием «слепорода» и в воспоминание об нем учредить ежегодное празднество с свистопляскою.На третий день сделали привал в слободе Навозной; но тут, наученные опытом, уже потребовали заложников. Затем, переловив обывательских кур, устроили поминки по убиенным. Странно показалось слобожанам это последнее обстоятельство, что вот человек игру играет, а в то же время и кур ловит; но так как Бородавкин секрета своего не разглашал, то подумали, что так следует «по игре», и успокоились.Но когда Бородавкин, после поминовения, приказал солдатикам вытоптать прилегавшее к слободе озимое поле, тогда обыватели призадумались.— Ужли, братцы, всамделе такая игра есть? — говорили они промеж себя, но так тихо, что даже Бородавкин, зорко следивший за направлением умов, и тот ничего не расслышал.На четвертый день, ни свет ни заря, отправились к «Дунькину вра́гу», боясь опоздать, потому что переход предстоял длинный и утомительный. Долго шли, и дорогой беспрестанно спрашивали у заложников: скоро ли? Велико было всеобщее изумление, когда вдруг, посреди чистого поля, аманаты крикнули: здеся! И было, впрочем, чему изумиться: кругом не было никакого признака поселенья; далеко-далеко раскинулось голое место и только вдали углублялся глубокий провал, в который, по преданию, скатилась некогда пушкарская девица Дунька, спешившая, в нетрезвом виде, на любовное свидание.— Где ж слобода? — спрашивал Бородавкин у аманатов.— Нету здесь слободы! — ответствовали аманаты, — была слобода, везде прежде слободы были, да солдаты все уничтожили!Но словам этим не поверили, и решили: сечь аманатов до тех пор, пока не укажут, где слобода. Но странное дело! Чем больше секли, тем слабее становилась уверенность отыскать желанную слободу! Это было до того неожиданно, что Бородавкин растерзал на себе мундир и, подняв правую руку к небесам, погрозил пальцем и сказал:— Я вас!Положение было неловкое; наступила темень, сделалось холодно и сыро, и в поле показались волки. Бородавкин ощутил припадок благоразумия и издал приказ: всю ночь не спать и дрожать.На пятый день отправились обратно в Навозную слободу и по дороге вытоптали другое озимое поле. Шли целый день и только к вечеру, утомленные и проголодавшиеся, достигли слободы. Но там уже никого не застали. Жители, издали завидев приближающееся войско, разбежались, угнали весь скот и окопались в неприступной позиции. Пришлось брать с бою эту позицию, но так как порох был не настоящий, то, как ни палили, никакого вреда, кроме нестерпимого смрада, сделать не могли.На шестой день Бородавкин хотел было продолжать бомбардировку, но уже заметил измену. Аманатов ночью выпустили и многих настоящих солдат уволили вчистую и заменили оловянными солдатиками. Когда он стал спрашивать, на каком основании освободили заложников, ему сослались на какой-то регламент, в котором будто бы сказано: «Аманата сечь, а будет которой уж высечен, и такого более суток отнюдь не держать, а выпущать домой на излечение». Волею-неволей Бородавкин должен был согласиться, что поступлено правильно, но тут же вспомнил про свой проект «о нестеснении градоначальников законами» и горько заплакал.— А это что? — спросил он, указывая на оловянных солдатиков.— Для легости, ваше благородие! — отвечали ему, — провианту не просит, а маршировку и он исполнять может!Пришлось согласиться и с этим. Заперся Бородавкин в избе и начал держать сам с собою военный совет. Хотелось ему наказать «навозных» за их наглость, но, с другой стороны, припоминалась осада Трои, которая длилась целых десять лет, несмотря на то что в числе осаждавших были Ахиллес и Агамемнон. Не лишения страшили его, не тоска о разлуке с милой супругой печалила, а то, что в течение этих десяти лет может быть замечено его отсутствие из Глупова, и притом без особенной для него выгоды. Вспомнился ему по этому поводу урок из истории, слышанный в детстве, и сильно его взволновал. «Несмотря на добродушие Менелая, — говорил учитель истории, — никогда спартанцы не были столь счастливы, как во время осады Трои; ибо хотя многие бумаги оставались неподписанными, но зато многие же спины пребыли невыстеганными, и второе лишение с лихвою вознаградило за первое»...К довершению всего, полились затяжные осенние дожди, угрожая испортить пути сообщения и прекратить подвоз продовольствия.— И на кой черт я не пошел прямо на стрельцов! — с горечью восклицал Бородавкин, глядя из окна на увеличивавшиеся с минуты на минуту лужи, — в полчаса был бы уж там!В первый раз он понял, что многоумие в некоторых случаях равносильно недоумию, и результатом этого сознания было решение: бить отбой, а из оловянных солдатиков образовать благонадежный резерв.На седьмой день выступили чуть свет, но так как ночью дорогу размыло, то люди шли с трудом, а орудия вязли в расступившемся черноземе. Предстояло атаковать на пути гору Свистуху; скомандовали: В атаку! — передние ряды отважно бросились вперед, но оловянные солдатики за ними не последовали. И так как на лицах их, «ради поспешения», черты были нанесены лишь в виде абриса и притом в большом беспорядке, то издали казалось, что солдатики иронически улыбаются. А от иронии до крамолы — один шаг.— Трусы! — процедил сквозь зубы Бородавкин, но явно сказать это затруднился и вынужден был отступить от горы с уроном.Пошли в обход, но здесь наткнулись на болото, которого никто не подозревал. Посмотрел Бородавкин на геометрический план выгона — везде все пашня да по мокрому месту покос, да кустарнику мелкого часть, да камню часть, а болота нет, да и полно.— Нет тут болота! врете вы, подлецы! марш! — скомандовал Бородавкин и встал на кочку, чтоб ближе наблюсти за переправой.Полезли люди в трясину и сразу потопили всю артиллерию. Однако сами кое-как выкарабкались, выпачкавшись сильно в грязи. Выпачкался и Бородавкин, но ему было уж не до того. Взглянул он на погибшую артиллерию и, увидев, что пушки, до половины погруженные, стоят, обратив жерла к небу и как бы угрожая последнему расстрелянием, начал тужить и скорбеть.— Сколько лет копил, берёг, холил! — роптал он, — что я теперь делать буду! как без пушек буду править!Войско было окончательно деморализировано. Когда вылезли из трясины, перед глазами опять открылась обширная равнина и опять без всякого признака жилья. По местам валялись человеческие кости и возвышались груды кирпича; все это свидетельствовало, что в свое время здесь существовала довольно сильная и своеобразная цивилизация (впоследствии оказалось, что цивилизацию эту, приняв в нетрезвом виде за бунт, уничтожил бывший градоначальник Урус-Кугуш-Кильдибаев), но с той поры прошло много лет, и ни один градоначальник не позаботился о восстановлении ее. По полю пробегали какие-то странные тени; до слуха долетали таинственные звуки. Происходило что-то волшебное, вроде того, что изображается в 3-м акте «Руслана и Людмилы», когда на сцену вбегает испуганный Фарлаф. Хотя Бородавкин был храбрее Фарлафа, но и он не мог не содрогнуться при мысли, что вот-вот навстречу выйдет злобная Наина...Только на осьмой день, около полдён измученная команда увидела стрелецкие высоты и радостно затрубила в рога. Бородавкин вспомнил, что великий князь Святослав Игоревич, прежде нежели побеждать врагов, всегда посылал сказать: иду на вы! — и, руководствуясь этим примером, командировал своего ординарца к стрельцам с таким же приветствием.На другой день, едва позолотило солнце верхи соломенных крыш, как уже войско, предводительствуемое Бородавкиным, вступало в слободу. Но там никого не было, кроме заштатного попа, который в эту самую минуту рассчитывал, не выгоднее ли ему перейти в раскол. Поп был древний и скорее способный поселять уныние, нежели вливать в душу храбрость.— Где жители? — спрашивал Бородавкин, сверкая на попа глазами.— Сейчас тут были! — шамкал губами поп. — Как сейчас? куда же они бежали?— Куда бежать? зачем от своих домов бежать? Чай, здесь где-нибудь от тебя схоронились!Бородавкин стоял на одном месте и рыл ногами землю. Была минута, когда он начинал верить, что энергия бездействия должна восторжествовать.— Надо было зимой поход объявить! — раскаивался он в сердце своем, — тогда бы они от меня не спрятались.— Эй! кто тут! выходи! — крикнул он таким голосом, что оловянные солдатики — и те дрогнули.Но слобода безмолвствовала, словно вымерла. Вырывались откуда-то вздохи, но таинственность, с которою они выходили из невидимых организмов, еще более раздражала огорченного градоначальника.— Где они, бестии, вздыхают? — неистовствовал он, безнадежно озираясь по сторонам и видимо теряя всякую сообразительность, — сыскать первую бестию, которая тут вздыхает, и привести ко мне!Бросились искать, но как ни шарили, а никого не нашли. Сам Бородавкин ходил по улице, заглядывая во все щели — нет никого! Это до того его озадачило, что самые несообразные мысли вдруг целым потоком хлынули в его голову.«Ежели я теперича их огнем раззорю... нет, лучше голодом поморю!..» — думал он, переходя от одной несообразности к другой.И вдруг он остановился, как пораженный, перед оловянными солдатиками.С ними происходило что-то совсем необыкновенное. Постепенно, в глазах у всех, солдатики начали наливаться кровью. Глаза их, доселе неподвижные, вдруг стали вращаться и выражать гнев; усы, нарисованные вкривь и вкось, встали на свои места и начали шевелиться; губы, представлявшие тонкую розовую черту, которая от бывших дождей почти уже смылась, оттопырились и изъявляли намерение нечто произнести. Появились ноздри, о которых прежде и в помине не было, и начали раздуваться и свидетельствовать о нетерпении.— Что скажете, служивые? — спросил Бородавкин.— Избы... избы... ломать! — невнятно, но как-то мрачно произнесли оловянные солдатики.Средство было отыскано.Начали с крайней избы. С гиком бросились «оловянные» на крышу и мгновенно остервенились. Полетели вниз вязки соломы, жерди, деревянные спицы. Взвились вверх целые облака пыли.— Тише! тише! — кричал Бородавкин, вдруг заслышав около себя какой-то стон.Стонала вся слобода. Это был неясный, но сплошной гул, в котором нельзя было различить ни одного отдельного звука, но который всей своей массой представлял едва сдерживаемую боль сердца.— Кто тут? выходи! — опять крикнул Бородавкин во всю мочь.Слобода смолкла, но никто не выходил. «Чаяли стрельцы, — говорит летописец, — что новое сие изобретение (то есть усмирение посредством ломки домов), подобно всем прочим, одно мечтание представляет, но не долго пришлось им в сей сладкой надежде себя утешать».— Катай! — произнес Бородавкин твердо.Раздался треск и грохот; бревна, одно за другим, отделялись от сруба, и по мере того, как они падали на землю, стон возобновлялся и возрастал. Через несколько минут крайней избы как не бывало, и «оловянные», ожесточившись, уже брали приступом вторую. Но когда спрятавшиеся стрельцы, после короткого перерыва, вновь услышали удары топора, продолжавшего свое разрушительное дело, то сердца их дрогнули. Выползли они все вдруг, и старые и малые, и мужеск и женск пол, и, воздев руки к небу, пали среди площади на колени. Бородавкин сначала было разбежался, но потом вспомнил слова инструкции: «при усмирениях не столько стараться об истреблении, сколько о вразумлении» — и притих. Он понял, что час триумфа уже наступил, и что триумф едва ли не будет полнее, если в результате не окажется ни расквашенных носов, ни свороченных на сторону скул.— Принимаете ли горчицу? — внятно спросил он, стараясь, по возможности, устранить из голоса угрожающие ноты.Толпа безмолвно поклонилась до земли.— Принимаете ли, спрашиваю я вас? — повторил он, начиная уж закипать.— Принимаем! принимаем! — тихо гудела, словно шипела, толпа.— Хорошо. Теперь сказывайте мне, кто промеж вас память любезнейшей моей родительницы в стихах оскорбил?Стрельцы позамялись; неладно им показалось выдавать того, кто в горькие минуты жизни был их утешителем; однако, после минутного колебания, решились исполнить и это требование начальства.— Выходи, Федька! небось! выходи! — раздавалось в толпе.Вышел вперед белокурый малый и стал перед градоначальником. Губы его подергивались, словно хотели сложиться в улыбку, но лицо было бледно, как полотно, и зубы тряслись.— Так это ты? — захохотал Бородавкин и, немного отступя, словно желая осмотреть виноватого во всех подробностях, повторил: — Так это ты?Очевидно, в Бородавкине происходила борьба. Он обдумывал, мазнуть ли ему Федьку по лицу или наказать иным образом. Наконец придумано было наказание, так сказать, смешанное.— Слушай! — сказал он, слегка поправив Федькину челюсть, — так как ты память любезнейшей моей родительницы обесславил, то ты же впредь каждый день должен сию драгоценную мне память в стихах прославлять, и стихи те ко мне приносить!С этим словом он приказал дать отбой.Бунт кончился; невежество было подавлено, и на место его водворено просвещение. Через полчаса Бородавкин, обремененный добычей, въезжал с триумфом в город, влача за собой множество пленников и заложников. И так как в числе их оказались некоторые военачальники и другие первых трех классов особы, то он приказал обращаться с ними ласково (выколов, однако, для верности, глаза), а прочих сослать на каторгу.В тот же вечер, запершись в кабинете, Бородавкин писал в своем журнале следующую отметку:«Сего 17-го сентября, после трудного, но славного девятидневного похода, совершилось всерадостнейшее и вожделеннейшее событие. Горчица утверждена повсеместно и навсегда, причем не было произведено в расход ни единой капли крови».«Кроме той, — иронически прибавляет летописец, — которая была пролита у околицы Навозной слободы и в память которой доднесь празднуется торжество, именуемое свистопляскою»...Очень может статься, что многое из рассказанного выше покажется читателю чересчур фантастическим. Какая надобность была Бородавкину делать девятидневный поход, когда Стрелецкая слобода была у него под боком и он мог прибыть туда через полчаса? Как мог он заблудиться на городском выгоне, который ему, как градоначальнику, должен быть вполне известен? Возможно ли поверить истории об оловянных солдатиках, которые будто бы не только маршировали, но под конец даже налились кровью?Понимая всю важность этих вопросов, издатель настоящей летописи считает возможным ответить на них нижеследующее: история города Глупова прежде всего представляет собой мир чудес, отвергать который можно лишь тогда, когда отвергается существование чудес вообще. Но этого мало. Бывают чудеса, в которых, по внимательном рассмотрении, можно подметить довольно яркое реальное основание. Все мы знаем предание о Бабе-яге-костяной-ноге, которая ездила в ступе и погоняла помелом, и относим эти поездки к числу чудес, созданных народною фантазией. Но никто не задается вопросом: почему же народная фантазия произвела именно этот, а не иной плод? Если б исследователи нашей старины обратили на этот предмет должное внимание, то можно быть заранее уверенным, что открылось бы многое, что доселе находится под спудом тайны. Так, например, наверное обнаружилось бы, что происхождение этой легенды чисто административное и что Баба-яга была не кто иное, как градоправительница, или, пожалуй, посадница, которая, для возбуждения в обывателях спасительного страха, именно этим способом путешествовала по вверенному ей краю, причем забирала встречавшихся по дороге Иванушек и, возвратившись домой, восклицала: «Покатаюся, поваляюся, Иванушкина мясца поевши».Кажется, этого совершенно достаточно, чтобы убедить читателя, что летописец находится на почве далеко не фантастической и что все рассказанное им о походах Бородавкина можно принять за документ вполне достоверный. Конечно, с первого взгляда может показаться странным, что Бородавкин девять дней сряду кружит по выгону; но не должно забывать, во-первых, что ему незачем было торопиться, так как можно было заранее предсказать, что предприятие его во всяком случае окончится успехом, и, во-вторых, что всякий администратор охотно прибегает к эволюциям, дабы поразить воображение обывателей. Если б можно было представить себе так называемое исправление на теле без тех предварительных обрядов, которые ему предшествуют, как-то: снимания одежды, увещаний со стороны лица исправляющего и испрошения прощения со стороны лица исправляемого, — что бы от него осталось? Одна пустая формальность, смысл которой был бы понятен лишь для того, кто ее испытывает! Точно то же следует сказать и о всяком походе, предпринимается ли он с целью покорения царств или просто с целью взыскания недоимок. Отнимите от него «эволюции» — что останется?Нет, конечно, сомнения, что Бородавкин мог избежать многих весьма важных ошибок. Так, например, эпизод, которому летописец присвоил название «слепорода», — из рук вон плох. Но не забудем, что успех никогда не обходится без жертв и что если мы очистим остов истории от тех лжей, которые нанесены на него временем и предвзятыми взглядами, то в результате всегда получится только бо́льшая или меньшая порция «убиенных». Кто эти «убиенные»? Правы они или виноваты и насколько? Каким образом они очутились в звании «убиенных»? — все это разберется после. Но они необходимы, потому что без них не по ком было бы творить поминки.Стало быть, остается неочищенным лишь вопрос об оловянных солдатиках; но и его летописец не оставляет без разъяснения. «Очень часто мы замечаем, — говорит он, — что предметы, по-видимому, совершенно неодушевленные (камню подобные), начинают ощущать вожделение, как только приходят в соприкосновение с зрелищами, неодушевленности их доступными». И в пример приводит какого-то ближнего помещика, который, будучи разбит параличом, десять лет лежал недвижим в кресле, но и за всем тем радостно мычал, когда ему приносили оброк...Всех войн «за просвещение» было четыре. Одна из них описана выше; из остальных трех первая имела целью разъяснить глуповцам пользу от устройства под домами каменных фундаментов; вторая возникла вследствие отказа обывателей разводить персидскую ромашку, и третья, наконец, имела поводом разнесшийся слух об учреждении в Глупове академии. Вообще видно, что Бородавкин был утопист, и что если б он пожил подольше, то наверное кончил бы тем, что или был бы сослан за вольномыслие в Сибирь, или выстроил бы в Глупове фаланстер.Подробно описывать этот ряд блестящих подвигов нет никакой надобности, но нелишнее будет указать здесь на общий характер их.В дальнейших походах со стороны Бородавкина замечается весьма значительный шаг вперед. Он с большею тщательностью подготовляет материалы для возмущений и с большею быстротою подавляет их. Самый трудный поход, имевший поводом слух о заведении академии, продолжался лишь два дня; остальные — не более нескольких часов. Обыкновенно Бородавкин, напившись утром чаю, кликал клич; сбегались оловянные солдатики, мгновенно наливались кровью и во весь дух бежали до места. К обеду Бородавкин возвращался домой и пел благодарственную песнь. Таким образом он достиг, наконец, того, что через несколько лет ни один глуповец не мог указать на теле своем места, которое не было бы высечено.Со стороны обывателей, как и прежде, царствовало полнейшее недоразумение. Из рассказов летописца видно, что они и ради были не бунтовать, но никак не могли устроить это, ибо не знали, в чем заключается бунт. И в самом деле, Бородавкин опутывал их чрезвычайно ловко. Обыкновенно он ничего порядком не разъяснял, а делал известными свои желания посредством прокламаций, которые секретно, по ночам, наклеивались на угловых домах всех улиц. Прокламации писались в духе нынешних объявлений от магазина Кача, причем крупными буквами печатались слова совершенно несущественные, а все существенное изображалось самым мелким шрифтом. Сверх того, допускалось употребление латинских названий; так, например, персидская ромашка называлась не персидской ромашкой, а «Pyrethrum roseum», иначе слюногон, слюногонка, жгунец, принадлежит к семейству «Compositas» и т. д. Из этого выходило следующее: грамотеи, которым обыкновенно поручалось чтение прокламаций, выкрикивали только те слова, которые были напечатаны прописными буквами, а прочие скрадывали. Как, например (см. прокламацию о персидской ромашке):

*ИЗВЕСТНОкакое опустошение производят клопы, блохи и т. д.НАКОНЕЦ НАШЛИ!!!Предприимчивые люди вывезли с Дальнего Востока, и т. д.*

Из всех этих слов народ понимал только: «известно» и «наконец нашли». И когда грамотеи выкрикивали эти слова, то народ снимал шапки, вздыхал и крестился. Ясно, что в этом не только не было бунта, а скорее исполнение предначертаний начальства. Народ, доведенный до вздыхания, — какого еще идеала можно требовать!Стало быть, все дело заключалось в недоразумении, и это сказывается тем достовернее, что глуповцы даже и до сего дня не могут разъяснить значение слова «академия», хотя его-то именно и напечатал Бородавкин крупным шрифтом (см. в полном собрании прокламаций № 1089). Мало того: летописец доказывает, что глуповцы даже усиленно добивались, чтоб Бородавкин пролил свет в их темные головы, но успеха не получили, и не получили именно по вине самого градоначальника. Они нередко ходили всем обществом на градоначальнический двор и говорили Бородавкину:— Развяжи ты нас, сделай милость! укажи нам конец!— Прочь, буяны! — обыкновенно отвечал Бородавкин.— Какие мы буяны! знать, не видывал ты, какие буяны бывают! Сделай милость, скажи!Но Бородавкин молчал. Почему он молчал? потому ли, что считал непонимание глуповцев не более как уловкой, скрывавшей за собой упорное противодействие, или потому, что хотел сделать обывателям сюрприз, — достоверно определить нельзя. Но должно думать, что тут примешивалось отчасти и то и другое. Никакому администратору, ясно понимающему пользу предпринимаемой меры, никогда не кажется, чтоб эта польза могла быть для кого-нибудь неясною или сомнительною. С другой стороны, всякий администратор непременно фаталист и твердо верует, что, продолжая свой административный бег, он в конце концов все-таки очутится лицом к лицу с человеческим телом. Следовательно, если начать предотвращать эту неизбежную развязку предварительными разглагольствиями, то не значит ли это еще больше растравлять ее и придавать ей более ожесточенный характер? Наконец, всякий администратор добивается, чтобы к нему питали доверие, а какой наилучший способ выразить это доверие, как не беспрекословное исполнение того, чего не понимаешь?Как бы то ни было, но глуповцы всегда узнавали о предмете похода лишь по окончании его.Но как ни казались блестящими приобретенные Бородавкиным результаты, в существе они были далеко не благотворны. Строптивость была истреблена — это правда, но в то же время было истреблено и довольство. Жители понурили головы и как бы захирели; нехотя они работали на полях, нехотя возвращались домой, нехотя садились за скудную трапезу и слонялись из угла в угол, словно все опостылело им.В довершение всего, глуповцы насеяли горчицы и персидской ромашки столько, что цена на эти продукты упала до невероятности. Последовал экономический кризис, и не было ни Молинари, ни Безобразова, чтоб объяснить, что это-то и есть настоящее процветание. Не только драгоценных металлов и мехов не получали обыватели в обмен за свои продукты, но не на что было купить даже хлеба.Однако до 1790 года дело все еще кой-как шло. С полной порции обыватели перешли на полпорции, но даней не задерживали, а к просвещению оказывали даже некоторое пристрастие. В 1790 году повезли глуповцы на главные рынки свои продукты, и никто у них ничего не купил: всем стало жаль клопов. Тогда жители перешли на четверть порции и задержали дани. В это же время, словно на смех, вспыхнула во Франции революция, и стало всем ясно, что «просвещение» полезно только тогда, когда оно имеет характер непросвещенный. Бородавкин получил бумагу, в которой ему рекомендовалось: «По случаю известного вам происшествия извольте прилежно смотреть, дабы неисправимое сие зло искореняемо было без всякого упущения».Только тогда Бородавкин спохватился и понял, что шел слишком быстрыми шагами и совсем не туда, куда идти следует. Начав собирать дани, он с удивлением и негодованием увидел, что дворы пусты, и что если встречались кой-где куры, то и те были тощие от бескормицы. Но, по обыкновению, он обсудил этот факт не прямо, а с своей собственной оригинальной точки зрения, то есть увидел в нем бунт, произведенный на сей раз уже не невежеством, а излишеством просвещения.— Вольный дух завели! разжирели! — кричал он без памяти, — на французов поглядываете!И вот начался новый ряд походов, — походов уже против просвещения. В первый поход Бородавкин спалил слободу Навозную, во второй — разорил Негодницу, в третий — расточил Болото. Но подати всё задерживались. Наступала минута, когда ему предстояло остаться на развалинах одному с своим секретарем, и он деятельно приготовлялся к этой минуте. Но провидение не допустило того. В 1798 году уже собраны были скоровоспалительные материалы для сожжения всего города, как вдруг Бородавкина не стало... «Всех расточил он, — говорит по этому случаю летописец, — так, что даже попов для напутствия его не оказалось. Вынуждены были позвать соседнего капитан-исправника, который и засвидетельствовал исшествие многомятежного духа его».

**ЭПОХА УВОЛЬНЕНИЯ ОТ ВОЙН**

В 1802 году пал Негодяев. Он пал, как говорит летописец, за несогласие с Новосильцевым и Строгоновым насчет конституций. Но, как кажется, это был только благовидный предлог, ибо едва ли даже можно предположить, чтоб Негодяев отказался от насаждения конституции, если б начальство настоятельно того потребовало. Негодяев принадлежал к школе так называемых «птенцов», которым было решительно все равно, что ни насаждать. Поэтому действительная причина его увольнения заключалась едва ли не в том, что он был когда-то в Гатчине истопником и, следовательно, до некоторой степени представлял собой гатчинское демократическое начало. Сверх того, начальство, по-видимому, убедилось, что войны за просвещение, обратившиеся потом в войны против просвещения, уже настолько изнурили Глупов, что почувствовалась потребность на некоторое время его вообще от войн освободить. Что предположение о конституциях представляло не более как слух, лишенный твердого основания, — это доказывается, во-первых, новейшими исследованиями по сему предмету, а во-вторых, тем, что, на место Негодяева, градоначальником был назначен «черкашенин» Микаладзе, который о конституциях едва ли имел понятие более ясное, нежели Негодяев.Конечно, невозможно отрицать, что попытки конституционного свойства существовали; но, как кажется, эти попытки ограничивались тем, что квартальные настолько усовершенствовали свои манеры, что не всякого прохожего хватали за воротник. Это единственная конституция, которая предполагалась возможною при тогдашнем младенческом состоянии общества. Прежде всего необходимо было приучить народ к учтивому обращению, и потом уже, смягчив его нравы, давать ему настоящие якобы права. С точки зрения теоретической такой взгляд, конечно, совершенно верен. Но, с другой стороны, не меньшего вероятия заслуживает и то соображение, что как ни привлекательна теория учтивого обращения, но, взятая изолированно, она нимало не гарантирует людей от внезапного вторжения теории обращения неучтивого (как это и доказано впоследствии появлением на арене истории такой личности, как майор Угрюм-Бурчеев), и следовательно, если мы действительно желаем утвердить учтивое обращение на прочном основании, то все-таки прежде всего должны снабдить людей настоящими якобы правами. А это, в свою очередь, доказывает, как шатки теории вообще и как мудро поступают те военачальники, которые относятся к ним с недоверчивостью.Новый градоначальник понял это и потому поставил себе задачею привлекать сердца исключительно посредством изящных манер. Будучи в военном чине, он не обращал внимания на форму, а о дисциплине отзывался даже с горечью. Ходил всегда в расстегнутом сюртуке, из-под которого заманчиво виднелась снежной белизны пикейная жилетка и отложные воротнички. Охотно подавал подчиненным левую руку, охотно улыбался, и не только не позволял себе ничего утверждать слишком резко, но даже любил, при докладах, употреблять выражения, вроде: «Итак, вы изволили сказать», или: «Я имел уже честь доложить вам» и т. д. Только однажды, выведенный из терпения продолжительным противодействием своего помощника, он дозволил себе сказать: «Я уже имел честь подтверждать тебе, курицыну сыну»... но тут же спохватился и произвел его в следующий чин. Страстный по природе, он с увлечением предавался дамскому обществу, и в этой страсти нашел себе преждевременную гибель. В оставленном им сочинении «О благовидной господ градоначальников наружности» (см. далее, в оправдательных документах) он довольно подробно изложил свои взгляды на этот предмет, но, как кажется, не вполне искренно связал свои успехи у глуповских дам с какими-то политическими и дипломатическими целями. Вероятнее всего, ему было совестно, что он, как Антоний в Египте, ведет исключительно изнеженную жизнь, и потому он захотел уверить потомство, что иногда и самая изнеженность может иметь смысл административно-полицейский. Догадка эта подтверждается еще тем, что из рассказа летописца вовсе не видно, чтобы во время его градоначальствования производились частые аресты или чтоб кто-нибудь был нещадно бит, без чего, конечно, невозможно было бы обойтись, если б амурная деятельность его действительно была направлена к ограждению общественной безопасности. Поэтому почти наверное можно утверждать, что он любил амуры для амуров и был ценителем женских атуров просто, без всяких политических целей; выдумал же эти последние лишь для ограждения себя перед начальством, которое, несмотря на свой несомненный либерализм, все-таки не упускало от времени до времени спрашивать: не пора ли начать войну? «Он же, — говорит по этому поводу летописец, — жалеючи сиротские слезы, всегда отвечал: не время, ибо не готовы еще собираемые известным мне способом для сего материалы. И, не собрав таковых, умре».Как бы то ни было, но назначение Микаладзе было для глуповцев явлением в высшей степени отрадным. Предместник его, капитан Негодяев, хотя и не обладал так называемым «сущим» злонравием, но считал себя человеком убеждения (летописец везде, вместо слова «убеждения», ставит слово «норов»), и в этом качестве постоянно испытывал, достаточно ли глуповцы тверды в бедствиях. Результатом такой усиленной административной деятельности было то, что к концу его градоначальничества Глупов представлял беспорядочную кучу почерневших и обветшавших изб, среди которых лишь съезжий дом гордо высил к небесам свою каланчу. Не было ни еды настоящей, ни одёжи изрядной. Глуповцы перестали стыдиться, обросли шерстью и сосали лапы.— Но как вы таким манером жить можете? — спросил у обывателей изумленный Микаладзе.— Так и живем, что настоящей жизни не имеем, — отвечали глуповцы, и при этом не то засмеялись, не то заплакали.Понятно, что ввиду такого нравственного расстройства главная забота нового градоначальника была направлена к тому, чтобы прежде всего снять с глуповцев испуг. И надо сказать правду, что он действовал в этом смысле довольно искусно. Предпринят был целый ряд последовательных мер, которые исключительно клонились к упомянутой выше цели и сущность которых может быть формулирована следующим образом: 1) просвещение и сопряженные с оным экзекуции временно прекратить, и 2) законов не издавать. Результаты были получены с первого же раза изумительные. Не прошло месяца, как уже шерсть, которою обросли глуповцы, вылиняла вся без остатка, и глуповцы начали стыдиться наготы. Спустя еще один месяц они перестали сосать лапу, а через полгода в Глупове, после многих лет безмолвия, состоялся первый хоровод, на котором лично присутствовал сам градоначальник и потчевал женский пол печатными пряниками.Такими-то мирными подвигами ознаменовал себя черкашенин Микаладзе. Как и всякое выражение истинно плодотворной деятельности, управление его не было ни громко, ни блестяще, не отличалось ни внешними завоеваниями, ни внутренними потрясениями, но оно отвечало потребности минуты и вполне достигало тех скромных целей, которые предположило себе. Видимых фактов было мало, но следствия бесчисленны. «Мудрые мира сего! — восклицает по этому поводу летописец, — прилежно о сем помыслите! и да не смущаются сердца ваши при взгляде на шелепа и иные орудия, в коих, по высокоумному мнению вашему, якобы сила и свет просвещения замыкаются!»По всем этим причинам, издатель настоящей истории находит совершенно естественным, что летописец, описывая административную деятельность Микаладзе, не очень-то щедр на подробности. Градоначальник этот важен не столько как прямой деятель, сколько как первый зачинатель на том мирном пути, по которому чуть-чуть было не пошла глуповская цивилизация. Благотворная сила его действий была неуловима, ибо такие мероприятия, как рукопожатие, ласковая улыбка и вообще кроткое обращение, чувствуются лишь непосредственно и не оставляют ярких и видимых следов в истории. Они не производят переворота ни в экономическом, ни в умственном положении страны, но ежели вы сравните эти административные проявления с такими, например, как обозвание управляемых курицыными детьми или беспрерывное их сечение, то должны будете сознаться, что разница тут огромная. Многие, рассматривая деятельность Микаладзе, находят ее не во всех отношениях безупречною. Говорят, например, что он не имел никакого права прекращать просвещение — это так. Но, с другой стороны, если с просвещением фаталистически сопряжены экзекуции, то не требует ли благоразумие, чтоб даже и в таком очевидно полезном деле допускались краткие часы для отдохновения? И еще говорят, что Микаладзе не имел права не издавать законов, — и это, конечно, справедливо. Но, с другой стороны, не видим ли мы, что народы самые образованные наипаче почитают себя счастливыми в воскресные и праздничные дни, то есть тогда, когда начальники мнят себя от писания законов свободными?Пренебречь этими указаниями опыта едва ли возможно. Пускай рассказ летописца страдает недостатком ярких и осязательных фактов, — это не должно мешать нам признать, что Микаладзе был первый в ряду глуповских градоначальников, который установил драгоценнейший из всех административных прецедентов — прецедент кроткого и бесскверного славословия. Положим, что прецедент этот не представлял ничего особенно твердого; положим, что в дальнейшем своем развитии он подвергался многим случайностям более или менее жестоким; но нельзя отрицать, что, будучи однажды введен, он уже никогда не умирал совершенно, а время от времени даже довольно вразумительно напоминал о своем существовании. Ужели же этого мало?Одну имел слабость этот достойный правитель — это какое-то неудержимое, почти горячечное стремление к женскому полу. Летописец довольно подробно останавливается на этой особенности своего героя, но замечательно, что в рассказе его не видится ни горечи, ни озлобления. Один только раз он выражается так: «Много было от него порчи женам и девам глуповским», и этим как будто дает понять, что, и по его мнению, все-таки было бы лучше, если б порчи не было. Но прямого негодования нигде и ни в чем не выказывается. Впрочем, мы не последуем за летописцем в изображении этой слабости, так как желающие познакомиться с нею могут почерпнуть все нужное из прилагаемого сочинения: «О благовидной градоначальников наружности», написанного самим высокопоставленным автором. Справедливость требует, однако ж, сказать, что в сочинении этом пропущено одно довольно крупное обстоятельство, о котором упоминается в летописи. А именно: однажды Микаладзе забрался ночью к жене местного казначея, но едва успел отрешиться от уз (так называет летописец мундир), как был застигнут врасплох ревнивцем-мужем. Произошла баталия, во время которой Микаладзе не столько сражался, сколько был сражаем. Но так как он вслед за тем умылся, то, разумеется, следов от бесчестья не осталось никаких. Кажется, это была единственная неудача, которую он потерпел в этом роде, и потому понятно, что он не упомянул об ней в своем сочинений. Это была такая ничтожная подробность в громадной серии многотрудных его подвигов по сей части, что не вызвала в нем даже потребности в стратегических соображениях, могущих обеспечить его походы на будущее время...Микаладзе умер в 1806 году, от истощения сил.Когда почва была достаточно взрыхлена учтивым обращением и народ отдохнул от просвещения, тогда, сама собой, стала на очередь потребность в законодательстве. Ответом на эту потребность явился статский советник Феофилакт Иринархович Беневоленский, друг и товарищ Сперанского по семинарии.С самой ранней юности Беневоленский чувствовал непреоборимую наклонность к законодательству. Сидя на скамьях семинарии, он уже начертал несколько законов, между которыми наиболее замечательны следующие: «Всякий человек да имеет сердце сокрушенно», «Всяка душа да трепещет» и «Всякий сверчок да познает соответствующий званию его шесток». Но чем более рос высокодаровитый юноша, тем непреоборимее делалась врожденная в нем страсть. Что из него должен во всяком случае образоваться законодатель, — в этом никто не сомневался; вопрос заключался только в том, какого сорта выйдет этот законодатель, то есть напомнит ли он собой глубокомыслие и административную прозорливость Ликурга или просто будет тверд, как Дракон. Он сам чувствовал всю важность этого вопроса, и в письме к «известному другу» (не скрывается ли под этим именем Сперанский?) следующим образом описывает свои колебания по этому случаю.«Сижу я, — пишет он, — в унылом моем уединении, и всеминутно о том мыслю, какие законы к употреблению наиболее благопотребны суть. Есть законы мудрые, которые хотя человеческое счастие устрояют (таковы, например, законы о повсеместном всех людей продовольствовании), но, по обстоятельствам, не всегда бывают полезны; есть законы немудрые, которые, ничьего счастья не устрояя, по обстоятельствам бывают, однако ж, благопотребны (примеров сему не привожу: сам знаешь!); и есть, наконец, законы средние, не очень мудрые, но и не весьма немудрые, такие, которые, не будучи ни полезными, ни бесполезными, бывают, однако ж, благопотребны в смысле наилучшего человеческой жизни наполнения. Например, когда мы забываемся и начинаем мнить себя бессмертными, сколь освежительно действует на нас сие простое выражение: memento mori![1](#fn1) Так точно и тут. Когда мы мним, что счастию нашему нет пределов, что мудрые законы не при нас писаны, а действию немудрых мы не подлежим, тогда являются на помощь законы средние, которых роль в том и заключается, чтоб напоминать живущим, что несть на земле дыхания, для которого не было бы своевременно написано хотя какого-нибудь закона. И поверишь ли, друг? чем больше я размышляю, тем больше склоняюсь в пользу законов средних. Они очаровывают мою душу, потому что это собственно даже не законы, а скорее, так сказать, *сумрак* законов. Вступая в их область, чувствуешь, что находишься в общении с легальностью, но в чем состоит это общение — не понимаешь. И все сие совершается помимо всякого размышления; ни о чем не думаешь, ничего определенного не видишь, но в то же время чувствуешь какое-то беспокойство, которое кажется неопределенным, потому что ни на что в особенности не опирается. Это, так сказать, апокалипсическое письмо, которое может понять только тот, кто его получает. Средние законы имеют в себе то удобство, что всякий, читая их, говорит: какая глупость! а между тем всякий же неудержимо стремится исполнять их. Ежели бы, например, издать такой закон: „всякий да яст“, то это будет именно образец тех средних законов, к выполнению которых каждый устремляется без малейших мер понуждения. Ты спросишь меня, друг: зачем же издавать такие законы, которые и без того всеми исполняются? На это отвечу: цель издания законов двоякая: одни издаются для вящего народов и стран устроения, другие — для того, чтобы законодатели не коснели в праздности»...И так далее.Таким образом, когда Беневоленский прибыл в Глупов, взгляд его на законодательство уж установился, и установился именно в том смысле, который всего более удовлетворял потребностям минуты. Стало быть, благополучие глуповцев, начатое черкашенином Микаладзе, не только не нарушилось, но получило лишь пущее утверждение. Глупову именно нужен был «сумрак законов», то есть такие законы, которые, с пользою занимая досуги законодателей, никакого внутреннего касательства до посторонних лиц иметь не могут. Иногда подобные законы называются даже мудрыми, и, по мнению людей компетентных, в этом названии нет ничего ни преувеличенного, ни незаслуженного.Но тут встретилось непредвиденное обстоятельство. Едва Беневоленский приступил к изданию первого закона, как оказалось, что он, как простой градоначальник, не имеет даже права издавать собственные законы. Когда секретарь доложил об этом Беневоленскому, он сначала не поверил ему. Стали рыться в сенатских указах, но хотя перешарили весь архив, а такого указа, который уполномочивал бы Бородавкиных, Двоекуровых, Великановых, Беневоленских и т. п. издавать собственного измышления законы — не оказалось.— Без закона все, что угодно, можно! — говорил секретарь, — только вот законов писать нельзя-с!— Странно! — молвил Беневоленский и в ту же минуту отписал по начальству о встреченном им затруднении.«Прибыл я в город Глупов, — писал он, — и хотя увидел жителей, предместником моим в тучное состояние приведенных, но в законах встретил столь великое оскудение, что обыватели даже различия никакого между законом и естеством не полагают. И тако, без явного светильника, в претемной ночи бродят. В сей крайности спрашиваю я себя: ежели кому из бродяг сих случится оступиться или в пропасть впасть, что их от такового падения остережет? Хотя же в Российской Державе законами изобильно, но все таковые по разным делам разбрелись, и даже весьма уповательно, что большая их часть в бывшие пожары сгорела. И того ради, существенная видится в том нужда, дабы можно было мне, яко градоначальнику, издавать для скорости собственного моего умысла законы, хотя бы даже не первого сорта (о сем и помыслить не смею!), но второго или третьего. В сей мысли еще более меня утверждает то, что город Глупов, по самой природе своей, есть, так сказать, область второзакония, для которой нет даже надобности в законах отяготительных и многосмысленных. В ожидании же милостивого на сие мое ходатайство разрешения, пребываю» и т. д.Ответ на это представление последовал скоро.«На представление, — писалось Беневоленскому, — о считаньи города Глупова областью второзакония, предлагается на рассуждение ваше следующее:1) Ежели таковых областей, в коих градоначальники станут второго сорта законы сочинять, явится изрядное количество, то не произойдет ли от сего некоторого для архитектуры Российской Державы повреждения?и 2) Ежели будет предоставлено градоначальникам, яко градоначальникам, второго сорта законы сочинять, то не придется ли потом и сотским, яко сотским, таковые ж законы издавать предоставить, и какого те законы будут сорта?»Беневоленский понял, что запрос этот заключает в себе косвенный отказ, и опечалился этим глубоко. Современники объясняют это огорчение тем, будто бы души его уже коснулся яд единовластия; но это едва ли так. Когда человек и без законов имеет возможность делать все, что угодно, то странно подозревать его в честолюбии за такое действие, которое не только не распространяет, но именно ограничивает эту возможность. Ибо закон, каков бы он ни был (даже такой, как, например: «всякий да яст», или «всяка душа да трепещет»), все-таки имеет ограничивающую силу, которая никогда честолюбцам не по душе. Очевидно, стало быть, что Беневоленский был не столько честолюбец, сколько добросердечный доктринер, которому казалось предосудительным даже утереть себе нос, если в законах не формулировано ясно, что «всякий имеющий надобность утереть свой нос — да утрет».Как бы то ни было, но Беневоленский настолько огорчился отказом, что удалился в дом купчихи Распоповой (которую уважал за искусство печь пироги с начинкой), и, чтобы дать исход пожиравшей его жажде умственной деятельности, с упоением предался сочинению проповедей. Целый месяц во всех городских церквах читали попы эти мастерские проповеди, и целый месяц вздыхали глуповцы, слушая их — так чувствительно они были написаны! Сам градоначальник учил попов, как произносить их.— Проповедник, — говорил он, — обязан иметь сердце сокрушенно и, следственно, главу слегка наклоненную набок. Глас не лаятельный, но томный, как бы воздыхающий. Руками не неистовствовать, но, утвердив первоначально правую руку близ сердца (сего истинного источника всех воздыханий), постепенно оную отодвигать в пространство, а потом вспять к тому же источнику обращать. В патетических местах не выкрикивать и ненужных слов от себя не сочинять, но токмо воздыхать громчае.А глуповцы между тем тучнели всё больше и больше, и Беневоленский не только не огорчался этим, но радовался. Ни разу не пришло ему на мысль: а что, кабы сим благополучным людям да кровь пустить? напротив того, наблюдая из окон дома Распоповой, как обыватели бродят, переваливаясь, по улицам, он даже задавал себе вопрос: не потому ли люди сии и благополучны, что никакого сорта законы не тревожат их? Однако ж последнее предположение было слишком горько, чтоб мысль его успокоилась на нем. Едва отрывал он взоры от ликующих глуповцев, как тоска по законодательству снова овладевала им.— Я даже изобразить сего не в состоянии, почтеннейшая моя Марфа Терентьевна, — обращался он к купчихе Распоповой, — что бы я такое наделал, и как были бы сии люди против нынешнего благополучнее, если б мне хотя по одному закону в день издавать предоставлено было!Наконец он не выдержал. В одну темную ночь, когда не только будочники, но и собаки спали, он вышел крадучись на улицу и во множестве разбросал листочки, на которых был написан первый, сочиненный им для Глупова, закон. И хотя он понимал, что этот путь распубликования законов весьма предосудителен, но долго сдерживаемая страсть к законодательству так громко вопияла об удовлетворении, что перед голосом ее умолкли даже доводы благоразумия.Закон был, видимо, написан второпях, а потому отличался необыкновенною краткостью. На другой день, идя на базар, глуповцы подняли с полу бумажки и прочитали следующее:

*Закон 1-й*

«Всякий человек да опасно ходит; откупщик же да принесет дары».И только. Но смысл закона был ясен, и откупщик на другой же день явился к градоначальнику. Произошло объяснение; откупщик доказывал, что он и прежде был готов по мере возможности; Беневоленский же возражал, что он в прежнем неопределенном положении оставаться не может; что такое выражение, как «мера возможности», ничего не говорит ни уму, ни сердцу, и что ясен только закон. Остановились на трех тысячах рублей в год и постановили считать эту цифру законною, до тех пор, однако ж, пока «обстоятельства перемены законам не сделают».Рассказав этот случай, летописец спрашивает себя: была ли польза от такого закона? и отвечает на этот вопрос утвердительно. «Напоминанием об опасном хождении, — говорит он, — жители города Глупова нимало потревожены не были, ибо и до того, по самой своей природе, великую к таковому хождению способность имели и повсеминутно в оном упражнялись. Но откупщик пользу того узаконения ощутил подлинно, ибо когда преемник Беневоленского, Прыщ, вместо обычных трех тысяч, потребовал против прежнего вдвое, то откупщик продерзостно отвечал: „Не могу, ибо по закону более трех тысяч давать не обязываюсь“. Прыщ же сказал: „И мы тот закон переменим“. И переменил».Ободренный успехом первого закона, Беневоленский начал деятельно приготовляться к изданию второго. Плоды оказались скорые, и на улицах города, тем же таинственным путем, явился новый и уже более пространный закон, который гласил тако:

*УСТАВ  
О ДОБРОПОРЯДОЧНОМ ПИРОГОВ ПЕЧЕНИИ*

«1. Всякий да печет по праздникам пироги, не возбраняя себе таковое печение и в будни.2. Начинку всякий да употребляет по состоянию. Тако: поймав в реке рыбу — класть; изрубив намелко скотское мясо — класть же; изрубив капусту — тоже класть. Люди неимущие да кладут требуху.*Примечание.* Делать пироги из грязи, глины и строительных материалов навсегда возбраняется.3. По положении начинки и удобрении оной должным числом масла и яиц, класть пирог в печь и содержать в вольном духе, доколе не зарумянится.4. По вынутии из печи всякий да возьмет в руку нож и, вырезав из средины часть, да принесет оную в дар.5. Исполнивший сие да яст».

Глуповцы тем быстрее поняли смысл этого нового узаконения, что они издревле были приучены вырезывать часть своего пирога и приносить ее в дар. Хотя же в последнее время, при либеральном управлении Микаладзе, обычай этот, по упущению, не исполнялся, но они не роптали на его возобновление, ибо надеялись, что он еще теснее скрепит благожелательные отношения, существовавшие между ними и новым градоначальником. Все наперерыв спешили обрадовать Беневоленского; каждый приносил лучшую часть, а некоторые дарили даже по целому пирогу.С тех пор законодательная деятельность в городе Глупове закипела. Не проходило дня, чтоб не явилось нового подметного письма и чтобы глуповцы не были чем-нибудь обрадованы. Настал, наконец, момент, когда Беневоленский начал даже помышлять о конституции.— Конституция, доложу я вам, почтеннейшая моя Марфа Терентьевна, — говорил он купчихе Распоповой, — вовсе не такое уж пугало, как люди несмысленные о сем полагают. Смысл каждой конституции таков: всякий в дому своем благополучно да почивает! Что же тут, спрашиваю я вас, сударыня моя, страшного или презорного?И начал он обдумывать свое намерение, но чем больше думал, тем более запутывался в своих мыслях. Всего более его смущало то, что он не мог дать достаточно твердого определения слову: «права». Слово «обязанности» он сознавал очень ясно, так что мог об этом предмете исписать целые дести бумаги, но «права» — что такое «права»? Достаточно ли было определить их, сказав: «всякий в дому своем благополучно да почивает»? не будет ли это чересчур уж кратко? А с другой стороны, если пуститься в разъяснения, не будет ли чересчур уж обширно и для самих глуповцев обременительно?Сомнения эти разрешились тем, что Беневоленский, в виде переходной меры, издал «Устав о свойственном градоначальнику добросердечии», который, по обширности его, помещается в оправдательных документах.— Знаю я, — говорил он по этому случаю купчихе Распоповой, — что истинной конституции документ сей в себе еще не заключает, но прошу вас, моя почтеннейшая, принять в соображение, что никакое здание, хотя бы даже то был куриный хлев, разом не завершается! По времени, выполним и остальное достолюбезное нам дело, а теперь утешимся тем, что возложим упование наше на бога!Тем не менее нет никакого повода сомневаться, что Беневоленский рано или поздно привел бы в исполнение свое намерение, но в это время над ним уже нависли тучи. Виною всему был Бонапарт. Наступил 1811 год, и отношения России к Наполеону сделались чрезвычайно натянутыми. Однако ж слава этого нового «бича божия» еще не померкла и даже достигла Глупова. Там, между многочисленными его почитательницами (замечательно, что особенною приверженностью к врагу человечества отличался женский пол), самый горячий фанатизм выказывала купчиха Распопова.— Уж как мне этого Бонапарта захотелось! — говаривала она Беневоленскому, — кажется, ничего бы не пожалела, только бы глазком на него взглянуть!Сначала Беневоленский сердился и даже называл речи Распоповой «дурьими», но так как Марфа Терентьевна не унималась, а все больше и больше приставала к градоначальнику: вынь да положь Бонапарта, то под конец он изнемог. Он понял, что не исполнить требование «дурьей породы» невозможно, и мало-помалу пришел даже к тому, что не находил в нем ничего предосудительного.— Что же! пущай дурья порода натешится! — говорил он себе в утешение, — кому от того убыток!И вот он вступил в секретные сношения с Наполеоном...Каким образом об этих сношениях было узнано — это известно одному богу; но кажется, что сам Наполеон разболтал о том князю Куракину во время одного из своих petits levés[2](#fn2). И вот, в одно прекрасное утро, Глупов был изумлен, узнав, что им управляет не градоначальник, а изменник, и что из губернии едет особенная комиссия ревизовать его измену.Тут открылось все: и то, что Беневоленский тайно призывал Наполеона в Глупов, и то, что он издавал свои собственные законы. В оправдание свое он мог сказать только то, что никогда глуповцы в столь тучном состоянии не были, как при нем, но оправдание это не приняли, или, лучше сказать, ответили на него так, что «правее бы он был, если б глуповцев совсем в отощание привел, лишь бы от издания нелепых своих строчек, кои продерзостно законами именует, воздержался».Была теплая лунная ночь, когда к градоначальническому дому подвезли кибитку. Беневоленский твердою поступью сошел на крыльцо и хотел было поклониться на все четыре стороны, как с смущением увидел, что на улице никого нет, кроме двух жандармов. По обыкновению, глуповцы и в этом случае удивили мир своею неблагодарностью, и как только узнали, что градоначальнику приходится плохо, так тотчас же лишили его своей популярности. Но как ни горька была эта чаша, Беневоленский испил ее с бодрым духом. Внятным и ясным голосом он произнес: «Бездельники!» и, сев в кибитку, благополучно проследовал в тот край, куда Макар телят не гонял.Так окончил свое административное поприще градоначальник, в котором страсть к законодательству находилась в непрерывной борьбе с страстью к пирогам. Изданные им законы в настоящее время, впрочем, действия не имеют.Но счастию глуповцев, по-видимому, не предстояло еще скорого конца. На смену Беневоленскому явился подполковник Прыщ и привез с собою систему администрации еще более упрощенную.Прыщ был уже не молод, но сохранился необыкновенно. Плечистый, сложенный кряжем, он всею своею фигурой так, казалось, и говорил: не смотрите на то, что у меня седые усы: я могу! я еще очень могу! Он был румян, имел алые и сочные губы, из-за которых виднелся ряд белых зубов; походка у него была деятельная и бодрая, жест быстрый. И все это украшалось блестящими штаб-офицерскими эполетами, которые так и играли на плечах при малейшем его движении.По принятому обыкновению, он сделал рекомендательные визиты к городским властям и прочим знатным обоего пола особам, и при этом развил перед ними свою программу.— Я человек простой-с, — говорил он одним, — и не для того сюда приехал, чтоб издавать законы-с. Моя обязанность наблюсти, чтобы законы были в целости и не валялись по столам-с. Конечно, и у меня есть план кампании, но этот план таков: отдохнуть-с!Другим он говорил так:— Состояние у меня, благодарение богу, изрядное. Командовал-с; стало быть, не растратил, а умножил-с. Следственно, какие есть насчет этого законы — те знаю, а новых издавать не желаю. Конечно, многие на моем месте понеслись бы в атаку, а может быть, даже устроили бы бомбардировку, но я человек простой и утешения для себя в атаках не вижу-с!Третьим высказывался так:— Я не либерал и либералом никогда не бывал-с. Действую всегда прямо и потому даже от законов держусь в отдалении. В затруднительных случаях приказываю поискать, но требую одного: чтоб закон был старый. Новых законов не люблю-с. Многое в них пропускается, а о прочем и совсем не упоминается. Так я всегда говорил, так отозвался и теперь, когда отправлялся сюда. От новых, говорю, законов увольте, прочее же надеюсь исполнить в точности!Наконец, четвертым он изображал себя в следующих красках:— Про себя могу сказать одно: в сражениях не бывал-с, но в парадах закален даже сверх пропорции. Новых идей не понимаю. Не понимаю даже того, зачем их следует понимать-с.Этого мало: в первый же праздничный день он собрал генеральную сходку глуповцев и перед нею формальным образом подтвердил свои взгляды на администрацию.— Ну, старички, — сказал он обывателям, — давайте жить мирно. Не трогайте вы меня, а я вас не трону. Сажайте и сейте, ешьте и пейте, заводите фабрики и заводы — что же-с! все это вам же на пользу-с! По мне, даже монументы воздвигайте — я и в этом препятствовать не стану! Только с огнем, ради Христа, осторожнее обращайтесь, потому что тут не долго и до греха. Имущества свои попалите, сами погорите — что хорошего!Как ни избалованы были глуповцы двумя последними градоначальниками, но либерализм столь беспредельный заставил их призадуматься: нет ли тут подвоха? Поэтому некоторое время они осматривались, разузнавали, говорили шепотом и вообще «опасно ходили». Казалось несколько странным, что градоначальник не только отказывается от вмешательства в обывательские дела, но даже утверждает, что в этом-то невмешательстве и заключается вся сущность администрации.— И законов издавать не будешь? — спрашивали они его с недоверчивостью.— И законов не буду издавать — живите с богом!— То-то! уж ты сделай милость, не издавай! Смотри, как за это прохвосту-то (так называли они Беневоленского) досталось! Стало быть, коли опять за то же примешься, как бы и тебе и нам в ответ не попасть!Но Прыщ был совершенно искренен в своих заявлениях и твердо решился следовать по избранному пути. Прекратив все дела, он ходил по гостям, принимал обеды и балы и даже завел стаю борзых и гончих собак, с которыми травил на городском выгоне зайцев, лисиц, а однажды заполевал очень хорошенькую мещаночку. Не без иронии отзывался он о своем предместнике, томившемся в то время в заточении.— Филат Иринархович, — говорил, — больше на бумаге сулил, что обыватели при нем якобы благополучно в домах своих почивать будут, а я на практике это самое предоставлю... да-с!И точно: несмотря на то что первые шаги Прыща были встречены глуповцами с недоверием, они не успели и оглянуться, как всего у них очутилось против прежнего вдвое и втрое. Пчела роилась необыкновенно, так что меду и воску было отправлено в Византию почти столько же, сколько при великом князе Олеге. Хотя скотских падежей не было, но кож оказалось множество, и так как глуповцам за всем тем ловчее было щеголять в лаптях, нежели в сапогах, то и кожи спровадили в Византию полностию, и за все получили чистыми ассигнациями. А поелику навоз производить стало всякому вольно, то и хлеба уродилось столько, что, кроме продажи, осталось даже на собственное употребление. «Не то что в других городах, — с горечью говорит летописец, — где железные дороги[3](#fn3) не успевают перевозить дары земные, на продажу назначенные, жители же от бескормицы в отощание приходят. В Глупове, в сию счастливую годину, не токмо хозяин, но и всякий наймит ел хлеб настоящий, а не в редкость бывали и шти с приварком».Прыщ смотрел на это благополучие и радовался. Да и нельзя было не радоваться ему, потому что всеобщее изобилие отразилось и на нем. Амбары его ломились от приношений, делаемых в натуре; сундуки не вмещали серебра и золота, а ассигнации просто валялись по полу.Так прошел и еще год, в течение которого у глуповцев всякого добра явилось уже не вдвое или втрое, но вчетверо. Но по мере того, как развивалась свобода, нарождался и исконный враг ее — анализ. С увеличением материального благосостояния приобретался досуг, а с приобретением досуга явилась способность исследовать и испытывать природу вещей. Так бывает всегда, но глуповцы употребили эту «новоявленную у них способность» не для того, чтобы упрочить свое благополучие, а для того, чтоб оное подорвать.Неокрепшие в самоуправлении, глуповцы начали приписывать это явление посредничеству какой-то неведомой силы. А так как на их языке неведомая сила носила название чертовщины, то и стали думать, что тут не совсем чисто и что, следовательно, участие черта в этом деле не может подлежать сомнению. Стали присматривать за Прыщом и нашли в его поведении нечто сомнительное. Рассказывали, например, что однажды кто-то застал его спящим на диване, причем будто бы тело его было кругом обставлено мышеловками. Другие шли далее и утверждали, что Прыщ каждую ночь уходит спать на ледник. Все это обнаруживало нечто таинственное, и хотя никто не спросил себя, какое кому дело до того, что градоначальник спит на леднике, а не в обыкновенной спальной, но всякий тревожился. Общие подозрения еще более увеличились, когда заметили, что местный предводитель дворянства с некоторого времени находится в каком-то неестественно-возбужденном состоянии, и всякий раз, как встретится с градоначальником, начинает кружиться и выделывать нелепые телодвижения.Нельзя сказать, чтоб предводитель отличался особенными качествами ума и сердца; но у него был желудок, в котором, как в могиле, исчезали всякие куски. Этот не весьма замысловатый дар природы сделался для него источником живейших наслаждений. Каждый день с раннего утра он отправлялся в поход по городу и поднюхивал запахи, вылетавшие из обывательских кухонь. В короткое время обоняние его было до такой степени изощрено, что он мог безошибочно угадать составные части самого сложного фарша.Уже при первом свидании с градоначальником предводитель почувствовал, что в этом сановнике таится что-то не совсем обыкновенное, а именно, что от него пахнет трюфлями. Долгое время он боролся с своею догадкою, принимая ее за мечту воспаленного съестными припасами воображения, но чем чаще повторялись свидания, тем мучительнее становились сомнения. Наконец он не выдержал и сообщил о своих подозрениях письмоводителю дворянской опеки Половинкину.— Пахнет от него! — говорил он своему изумленному наперснику, — пахнет! Точно вот в колбасной лавке!— Может быть, они трюфельной помадой голову себе мажут-с? — усомнился Половинкин.— Ну, это, брат, дудки! После этого каждый поросенок будет тебе в глаза лгать, что он не поросенок, а только поросячьими духами прыскается!На первый раз разговор не имел других последствий, но мысль о поросячьих духах глубоко запала в душу предводителя. Впавши в гастрономическую тоску, он слонялся по городу, словно влюбленный, и, завидев где-нибудь Прыща, самым нелепым образом облизывался. Однажды, во время какого-то соединенного заседания, имевшего предметом устройство во время масленицы усиленного гастрономического торжества, предводитель, доведенный до исступления острым запахом, распространяемым градоначальником, вне себя вскочил с своего места и крикнул: «Уксусу и горчицы!» И затем, припав к градоначальнической голове, стал ее нюхать.Изумление лиц, присутствовавших при этой загадочной сцене, было беспредельно. Странным показалось и то, что градоначальник, хотя и сквозь зубы, но довольно неосторожно сказал:— Угадал, каналья!И потом, спохватившись, с непринужденностию, очевидно притворною, прибавил:— Кажется, наш достойнейший предводитель принял мою голову за фаршированную... ха, ха!Увы! Это косвенное признание заключало в себе самую горькую правду!Предводитель упал в обморок и вытерпел горячку, но ничего не забыл и ничему не научился. Произошло несколько сцен, почти неприличных. Предводитель юлил, кружился и наконец, очутившись однажды с Прыщом глаз на глаз, решился.— Кусочек! — стонал он перед градоначальником, зорко следя за выражением глаз облюбованной им жертвы.При первом же звуке столь определенно формулированной просьбы градоначальник дрогнул. Положение его сразу обрисовалось с той бесповоротной ясностью, при которой всякие соглашения становятся бесполезными. Он робко взглянул на своего обидчика и, встретив его полный решимости взор, вдруг впал в состояние беспредельной тоски.Тем не менее он все-таки сделал слабую попытку дать отпор. Завязалась борьба; но предводитель вошел уже в ярость и не помнил себя. Глаза его сверкали, брюхо сладостно ныло. Он задыхался, стонал, называл градоначальника «душкой», «милкой» и другими несвойственными этому сану именами; лизал его, нюхал и т. д. Наконец с неслыханным остервенением бросился предводитель на свою жертву, отрезал ножом ломоть головы и немедленно проглотил...За первым ломтем последовал другой, потом третий, до тех пор, пока не осталось ни крохи...Тогда градоначальник вдруг вскочил и стал обтирать лапками те места своего тела, которые предводитель полил уксусом. Потом он закружился на одном месте и вдруг всем корпусом грохнулся на пол.На другой день глуповцы узнали, что у градоначальника их была фаршированная голова...Но никто не догадался, что, благодаря именно этому обстоятельству, город был доведен до такого благосостояния, которому подобного не представляли летописи с самого его основания.

**ПОКЛОНЕНИЕ МАМОНЕ И ПОКАЯНИЕ**

Человеческая жизнь — сновидение, говорят философы-спиритуалисты, и если б они были вполне логичны, то прибавили бы: и история — тоже сновидение. Разумеется, взятые абсолютно, оба эти сравнения одинаково нелепы, однако нельзя не сознаться, что в истории действительно встречаются по местам словно провалы, перед которыми мысль человеческая останавливается не без недоумения. Поток жизни как бы прекращает свое естественное течение и образует водоворот, который кружится на одном месте, брызжет и покрывается мутною накипью, сквозь которую невозможно различить ни ясных типических черт, ни даже сколько-нибудь обособившихся явлений. Сбивчивые и неосмысленные события бессвязно следуют одно за другим, и люди, по-видимому, не преследуют никаких других целей, кроме защиты нынешнего дня. Попеременно, они то трепещут, то торжествуют, и чем сильнее дает себя чувствовать унижение, тем жестче и мстительнее торжество. Источник, из которого вышла эта тревога, уже замутился; начала, во имя которых возникла борьба, стушевались; остается борьба для борьбы, искусство для искусства, изобретающее дыбу, хождение по спицам и т. д.Конечно, тревога эта преимущественно сосредоточивается на поверхности; однако ж едва ли возможно утверждать, что и на дне в это время обстоит благополучно. Что происходит в тех слоях пучины, которые следуют непосредственно за верхним слоем и далее, до самого дна? пребывают ли они спокойными, или и на них производит свое давление тревога, обнаружившаяся в верхнем слое? — с полною достоверностью определить это невозможно, так как вообще у нас еще нет привычки приглядываться к тому, что уходит далеко вглубь. Но едва ли мы ошибемся, сказавши, что давление чувствуется и там. Отчасти оно выражается в форме материальных ущербов и утрат, но преимущественно в форме более или менее продолжительной отсрочки общественного развития. И хотя результаты этих утрат с особенною горечью сказываются лишь впоследствии, однако ж можно догадываться, что и современники без особенного удовольствия относятся к тем давлениям, которые тяготеют над ними.Одну из таких тяжких исторических эпох, вероятно, переживал Глупов в описываемое летописцем время. Собственная внутренняя жизнь города спряталась на дно, на поверхность же выступили какие-то злостные эманации, которые и завладели всецело ареной истории. Искусственные примеси сверху донизу опутали Глупов, и ежели можно сказать, что в общей экономии его существования эта искусственность была небесполезна, то с не меньшею правдой можно утверждать и то, что люди, живущие под гнетом ее, суть люди не весьма счастливые. Претерпеть Бородавкина для того, чтоб познать пользу употребления некоторых злаков; претерпеть Урус-Кугуш-Кильдибаева для того, чтобы ознакомиться с настоящею отвагою, — как хотите, а такой удел не может быть назван ни истинно нормальным, ни особенно лестным, хотя, с другой стороны, и нельзя отрицать, что некоторые злаки действительно полезны, да и отвага, употребленная в свое время и в своем месте, тоже не вредит.При таких условиях невозможно ожидать, чтобы обыватели оказали какие-нибудь подвиги по части благоустройства и благочиния или особенно успели по части наук и искусств. Для них подобные исторические эпохи суть годы учения, в течение которых они испытывают себя в одном: в какой мере они могут претерпеть. Такими именно и представляет нам летописец своих сограждан. Из рассказа его видно, что глуповцы беспрекословно подчиняются капризам истории и не представляют никаких данных, по которым можно было бы судить о степени их зрелости, в смысле самоуправления; что, напротив того, они мечутся из стороны в сторону, без всякого плана, как бы гонимые безотчетным страхом. Никто не станет отрицать, что это картина не лестная, но иною она не может и быть, потому что материалом для нее служит человек, которому с изумительным постоянством долбят голову и который, разумеется, не может прийти к другому результату, кроме ошеломления. Историю этих ошеломлений летописец раскрывает перед нами с тою безыскусственностью и правдою, которыми всегда отличаются рассказы бытописателей-архивариусов. По моему мнению, это все, чего мы имеем право требовать от него. Никакого преднамеренного глумления в рассказе его не замечается: напротив того, во многих местах заметно даже сочувствие к бедным ошеломляемым. Уже один тот факт, что, несмотря на смертный бой, глуповцы все-таки продолжают жить, достаточно свидетельствует в пользу их устойчивости и заслуживает серьезного внимания со стороны историка.Не забудем, что летописец преимущественно ведет речь о так называемой черни, которая и доселе считается стоящею как бы вне пределов истории. С одной стороны, его умственному взору представляется сила, подкравшаяся издалека и успевшая организоваться и окрепнуть, с другой — рассыпавшиеся по углам и всегда застигаемые врасплох людишки и сироты. Возможно ли какое-нибудь сомнение насчет характера отношений, которые имеют возникнуть из сопоставления стихий столь противоположных?Что сила, о которой идет речь, отнюдь не выдуманная — это доказывается тем, что представление об ней даже положило основание целой исторической школе. Представители этой школы совершенно искренно проповедуют, что чем больше уничтожать обывателей, тем благополучнее они будут и тем блестящее будет сама история. Конечно, это мнение не весьма умное, но как доказать это людям, которые настолько в себе уверены, что никаких доказательств не слушают и не принимают? Прежде нежели начать доказывать, надобно еще заставить себя выслушать, а как это сделать, когда жалобщик самого себя не умеет достаточно убедить, что его не следует истреблять?— Говорил я ему: какой вы, сударь, имеете резон драться? а он только знай по зубам щелкает: вот тебе резон! вот тебе резон!Такова единственно ясная формула взаимных отношений, возможная при подобных условиях. Нет резона драться, но нет резона и не драться; в результате виднеется лишь печальная тавтология, в которой оплеуха объясняется оплеухою. Конечно, тавтология эта держится на нитке, на одной только нитке, но как оборвать эту нитку? — в этом-то весь и вопрос. И вот само собою высказывается мнение: не лучше ли возложить упование на будущее? Это мнение тоже не весьма умное, но что же делать, если никаких других мнений еще не выработалось? И вот его-то, по-видимому, держались и глуповцы.Уподобив себя вечным должникам, находящимся во власти вечных кредиторов, они рассудили, что на свете бывают всякие кредиторы: и разумные и неразумные. Разумный кредитор помогает должнику выйти из стесненных обстоятельств и в вознаграждение за свою разумность получает свой долг. Неразумный кредитор сажает должника в острог или непрерывно сечет его и в вознаграждение не получает ничего. Рассудив таким образом, глуповцы стали ждать, не сделаются ли все кредиторы разумными? И ждут до сего дня.Поэтому я не вижу в рассказах летописца ничего такого, что посягало бы на достоинство обывателей города Глупова. Это люди, как и все другие, с тою только оговоркою, что природные их свойства обросли массой наносных атомов, за которою почти ничего не видно. Поэтому о действительных «свойствах» и речи нет, а есть речь только о наносных атомах. Было ли бы лучше или даже приятнее, если б летописец, вместо описания нестройных движений, изобразил в Глупове идеальное средоточие законности и права? Например, в ту минуту, когда Бородавкин требует повсеместного распространения горчицы, было ли бы для читателей приятнее, если б летописец заставил обывателей не трепетать перед ним, а с успехом доказывать несвоевременность и неуместность его затей? Положа руку на сердце, я утверждаю, что подобное извращение глуповских обычаев было бы не только не полезно, но даже положительно неприятно. И причина тому очень проста: рассказ летописца в этом виде оказался бы *несогласным с истиною.*Неожиданное усекновение головы майора Прыща не оказало почти никакого влияния на благополучие обывателей. Некоторое время, за оскудением градоначальников, городом управляли квартальные; но так как либерализм еще продолжал давать тон жизни, то и они не бросались на жителей, но учтиво прогуливались по базару и умильно рассматривали, который кусок пожирнее. Но даже и эти скромные походы не всегда сопровождались для них удачею, потому что обыватели настолько осмелились, что охотно дарили только требухой.Последствием такого благополучия было то, что в течение целого года в Глупове состоялся всего один заговор, но и то не со стороны обывателей против квартальных (как это обыкновенно бывает), а, напротив того, со стороны квартальных против обывателей (чего никогда не бывает). А именно: мучимые голодом квартальные решились отравить в гостином дворе всех собак, дабы иметь в ночное время беспрепятственный вход в лавки. К счастью, покушение было усмотрено вовремя, и заговор разрешился тем, что самих же заговорщиков лишили на время установленной дачи требухи.После того прибыл в Глупов статский советник Иванов, но оказался столь малого роста, что не мог вмещать ничего пространного. Как нарочно, это случилось в ту самую пору, когда страсть к законодательству приняла в нашем отечестве размеры чуть-чуть не опасные; канцелярии кипели уставами, как никогда не кипели сказочные реки млеком и медом, и каждый устав весил отнюдь не менее фунта. Вот это-то обстоятельство именно и причинило погибель Иванова, рассказ о которой, впрочем, существует в двух совершенно различных вариантах. Один вариант говорит, что Иванов умер от испуга, получив слишком обширный сенатский указ, понять который он не надеялся. Другой вариант утверждает, что Иванов совсем не умер, а был уволен в отставку за то, что голова его, вследствие постепенного присыхания мозгов (от ненужности в их употреблении), перешла в зачаточное состояние. После этого он будто бы жил еще долгое время в собственном имении, где и удалось ему положить начало целой особи короткоголовых (микрокефалов), которые существуют и доднесь.Какой из этих двух вариантов заслуживает большего доверия — решить трудно; но справедливость требует сказать, что атрофирование столь важного о́ргана, как голова, едва ли могло совершиться в такое короткое время. Однако ж, с другой стороны, не подлежит сомнению, что микрокефалы действительно существуют и что родоначальником их предание называет именно статского советника Иванова. Впрочем, для нас это вопрос второстепенный; важно же то, что глуповцы, и во времена Иванова, продолжали быть благополучными и что, следовательно, изъян, которым он обладал, послужил обывателям не во вред, а на пользу.В 1815 году приехал на смену Иванову виконт дю Шарио, французский выходец. Париж был взят; враг человечества навсегда водворен на острове Св. Елены; «Московские ведомости» заявили, что с посрамлением врага задача их кончилась, и обещали прекратить свое существование; но на другой день взяли свое обещание назад и дали другое, которым обязывались прекратить свое существование лишь тогда, когда Париж будет взят вторично. Ликование было общее, а вместе со всеми ликовал и Глупов. Вспомнили про купчиху Распопову, как она, вместе с Беневоленским, интриговала в пользу Наполеона, выволокли ее на улицу и разрешили мальчишкам дразнить. Целый день преследовали маленькие негодяи злосчастную вдову, называли ее Бонапартовной, антихристовой наложницей, и проч., покуда наконец она не пришла в исступление и не начала прорицать. Смысл этих прорицаний объяснился лишь впоследствии, когда в Глупов прибыл Угрюм-Бурчеев и не оставил в городе камня на камне.Дю Шарио был весел. Во-первых, его эмигрантскому сердцу было радостно, что Париж взят; во-вторых, он столько времени настоящим манером не едал, что глуповские пироги с начинкой показались ему райскою пищей. Наевшись досыта, он потребовал, чтоб ему немедленно указали место, где было бы можно passer son temps à faire des bêtises[1](#fn1), и был отменно доволен, когда узнал, что в Солдатской слободе есть именно такой дом, какого ему желательно. Затем он начал болтать и уже не переставал до тех пор, покуда не был, по распоряжению начальства, выпровожен из Глупова за границу. Но так как он все-таки был сыном XVIII века, то в болтовне его нередко прорывался дух исследования, который мог бы дать очень горькие плоды, если б он не был в значительной степени смягчен духом легкомыслия. Так, например, однажды он начал объяснять глуповцам права человека; но, к счастью, кончил тем, что объяснил права Бурбонов. В другой раз он начал с того, что убеждал обывателей уверовать в богиню Разума, и кончил тем, что просил признать непогрешимость папы. Все это были, однако ж, одни façons de parler;[2](#fn2) и в сущности виконт готов был стать на сторону какого угодно убеждения или догмата, если имел в виду, что за это ему перепадет лишний четвертак.Он веселился без устали, почти ежедневно устроивал маскарады, одевался дебардером, танцевал канкан и в особенности любил интриговать мужчин[3](#fn3). Мастерски пел он гривуазные песенки и уверял, что этим песням научил его граф д'Артуа (впоследствии французский король Карл X), во время пребывания в Риге. Ел сначала все, что попало, но когда отъелся, то стал употреблять преимущественно так называемую не́чисть, между которой отдавал предпочтение давленине и лягушкам. Но дел не вершил и в администрацию не вмешивался.Это последнее обстоятельство обещало продлить благополучие глуповцев без конца; но они сами изнемогли под бременем своего счастья. Они забылись. Избалованные пятью последовательными градоначальничествами, доведенные почти до ожесточения грубою лестью квартальных, они возмечтали, что счастье принадлежит им по праву и что никто не в силах отнять его у них. Победа над Наполеоном еще более утвердила их в этом мнении, и едва ли не в эту самую эпоху сложилась знаменитая пословица: шапками закидаем! — которая впоследствии долгое время служила девизом глуповских подвигов на поле брани.И вот последовал целый ряд прискорбных событий, которые летописец именует «бесстыжим глуповским неистовством», но которое гораздо приличнее назвать скоропреходящим глуповским баловством.Начали с того, что стали бросать хлеб под стол и креститься неистовым обычаем. Обличения того времени полны самых горьких указаний на этот печальный факт. «Было время, — гремели обличители, — когда глуповцы древних Платонов и Сократов благочестием посрамляли; ныне же не токмо сами Платонами сделались, но даже того горчае, ибо едва ли и Платон хлеб божий не в уста, а на пол метал, как нынешняя некая модная затея то делать повелевает». Но глуповцы не внимали обличителям и с дерзостью говорили: «Хлеб пущай свиньи едят, а мы свиней съедим — тот же хлеб будет!» И дю Шарио не только не возбранял подобных ответов, но даже видел в них возникновение какого-то духа исследования.Почувствовавши себя на воле, глуповцы с какой-то яростью устремились по той покатости, которая очутилась под их ногами. Сейчас же они вздумали строить башню, с таким расчетом, чтоб верхний ее конец непременно упирался в небеса. Но так как архитекторов у них не было, а плотники были не ученые и не всегда трезвые, то довели башню до половины и бросили, и только, быть может, благодаря этому обстоятельству избежали смешения языков.Но и этого показалось мало. Забыли глуповцы истинного бога и прилепились к идолам. Вспомнили, что еще при Владимире Красном Солнышке некоторые вышедшие из употребления боги были сданы в архив, бросились туда и вытащили двух: Перуна и Волоса. Идолы, несколько веков не знавшие ремонта, находились в страшном запущении, а у Перуна даже были нарисованы углем усы. Тем не менее глуповцам показались они так любы, что немедленно собрали они сходку и порешили так: знатным обоего пола особам кланяться Перуну, а смердам — приносить жертвы Волосу. Призвали и причетников и требовали, чтоб они сделались кудесниками; но они ответа не дали, и в смущении лишь трепетали воскрилиями. Тогда припомнили, что в Стрелецкой слободе есть некто, именуемый «расстрига Кузьма» (тот самый, который, если читатель припомнит, задумывал при Бородавкине перейти в раскол), и послали за ним. Кузьма к этому времени совсем уже оглох и ослеп, но едва дали ему понюхать монету рубль, как он сейчас же на все согласился и начал выкрикивать что-то непонятное стихами Аверкиева из оперы «Рогнеда».Дю Шарио смотрел из окна на всю эту церемонию и, держась за бока, кричал: «Sont-ils bêtes! dieux des dieux! sont-ils bêtes, ces moujiks de Gloupoff!»[4](#fn4)Развращение нравов развивалось не по дням, а по часам. Появились кокотки и кокодессы; мужчины завели жилетки с неслыханными вырезками, которые совершенно обнажали грудь; женщины устраивали сзади возвышения, имевшие преобразовательный смысл и возбуждавшие в прохожих вольные мысли. Образовался новый язык, получеловечий, полуобезьяний, но во всяком случае вполне негодный для выражения каких бы то ни было отвлеченных мыслей. Знатные особы ходили по улицам и пели: «A moi l'pompon», или «La Vénus aux carottes»[5](#fn5), смерды слонялись по кабакам и горланили камаринскую. Мнили, что во время этой гульбы хлеб вырастет сам собой, и потому перестали возделывать поля. Уважение к старшим исчезло; агитировали вопрос, не следует ли, по достижении людьми известных лет, устранять их из жизни, но корысть одержала верх, и порешили на том, чтобы стариков и старух продать в рабство. В довершение всего, очистили какой-то манеж и поставили в нем «Прекрасную Елену», пригласив, в качестве исполнительницы, девицу Бланш Гандон.И за всем тем продолжали считать себя самым мудрым народом в мире.В таком положении застал глуповские дела статский советник Эраст Андреевич Грустилов. Человек он был чувствительный, и когда говорил о взаимных отношениях двух полов, то краснел. Только что перед этим он сочинил повесть под названием: «Сатурн, останавливающий свой бег в объятиях Венеры», в которой, по выражению критиков того времени, счастливо сочетавалась нежность Апулея с игривостью Парни. Под именем Сатурна он изображал себя, под именем Венеры — известную тогда красавицу Наталью Кирилловну де Помпадур. «Сатурн, — писал он, — был обременен годами и имел согбенный вид, но еще мог некоторое совершить. Надо же, чтоб Венера, приметив сию в нем особенность, остановила на нем благосклонный свой взгляд»...Но меланхолический вид (предтеча будущего мистицизма) прикрывал в нем много наклонностей несомненно порочных. Так, например, известно было, что, находясь при действующей армии провиантмейстером, он довольно непринужденно распоряжался казенною собственностью и облегчал себя от нареканий собственной совести только тем, что, взирая на солдат, евших затхлый хлеб, проливал обильные слезы. Известно было также, что и к мадам де Помпадур проник он отнюдь не с помощью какой-то «особенности», а просто с помощью денежных приношений, и при ее посредстве избавился от суда и даже получил высшее против прежнего назначение. Когда же Помпадурша была, «за слабое держание некоторой тайности», сослана в монастырь и пострижена под именем инокини Нимфодоры, то он первый бросил в нее камнем и написал «Повесть о некоторой многолюбивой жене», в которой делал очень ясные намеки на прежнюю свою благодетельницу. Сверх того, хотя он робел и краснел в присутствии женщин, но под этою робостью таилось то пущее сластолюбие, которое любит предварительно раздражить себя и потом уже неуклонно стремится к начертанной цели. Примеров этого затаенного, но жгучего сластолюбия рассказывали множество. Таким образом, однажды, одевшись лебедем, он подплыл к одной купавшейся девице, дочери благородных родителей, у которой только и приданого было, что красота, и в то время, когда она гладила его по головке, сделал ее на всю жизнь несчастною. Одним словом, он основательно изучил мифологию, и хотя любил прикидываться благочестивым, но, в сущности, был злейший идолопоклонник.Глуповская распущенность пришлась ему по вкусу. При самом въезде в город он встретил процессию, которая сразу заинтересовала его. Шесть девиц, одетых в прозрачные хитоны, несли на носилках Перунов болван; впереди, в восторженном состоянии, скакала предводительша, прикрытая одними страусовыми перьями; сзади следовала толпа дворян и дворянок, между которыми виднелись почетнейшие представители глуповского купечества (мужики, мещане и краснорядцы победнее кланялись в это время Волосу). Дойдя до площади, толпа остановилась. Перуна поставили на возвышение, предводительша встала на колени и громким голосом начала читать «Жертву вечернюю» г. Боборыкина.— Что такое? — спросил Грустилов, высовываясь из кареты и кося исподтишка глазами на наряд предводительши.— Перуновы именины справляют, ваше высокородие! — отвечали в один голос квартальные.— А девочки... девочки... есть? — как-то томно спросил Грустилов.— Весь синклит-с! — отвечали квартальные, сочувственно переглянувшись между собою.Грустилов вздохнул и приказал следовать далее.Остановившись в градоначальническом доме и осведомившись от письмоводителя, что недоимок нет, что торговля процветает, а земледелие с каждым годом совершенствуется, он задумался на минуту, потом помялся на одном месте, как бы затрудняясь выразить заветную мысль, но наконец каким-то неуверенным голосом спросил:— Тетерева у вас водятся?— Точно так-с, ваше высокородие!— Я, знаете, мой почтеннейший, люблю иногда... Хорошо иногда посмотреть, как они... как в природе ликованье этакое бывает...И покраснел. Письмоводитель тоже на минуту смутился, однако ж сейчас же вслед за тем и нашелся.— На что лучше-с! — отвечал он, — только осмелюсь доложить вашему высокородию: у нас на этот счет даже лучше зрелища видеть можно-с!— Гм... да?..— У нас, ваше высокородие, при предместнике вашем, кокотки завелись, так у них в народном театре как есть настоящий ток устроен-с. Каждый вечер собираются-с, свищут-с, ногами перебирают-с...— Любопытно взглянуть! — промолвил Грустилов и сладко задумался.В то время существовало мнение, что градоначальник есть хозяин города, обыватели же суть как бы его гости. Разница между «хозяином» в общепринятом значении этого слова и «хозяином города» полагалась лишь в том, что последний имел право сечь своих гостей, что относительно хозяина обыкновенного приличиями не допускалось. Грустилов вспомнил об этом праве и задумался еще слаще.— А часто у вас секут? — спросил он письмоводителя, не поднимая на него глаз.— У нас, ваше высокородие, эта мода оставлена-с. Со времени Онуфрия Иваныча господина Негодяева даже примеров не было. Всё лаской-с.— Ну-с, а я сечь буду... девочек!.. — прибавил он, внезапно покраснев.Таким образом характер внутренней политики определился ясно. Предполагалось продолжать действия пяти последних градоначальников, усугубив лишь элемент гривуазности, внесенной виконтом дю Шарио, и сдобрив его, для вида, известным колоритом сантиментальности. Влияние кратковременной стоянки в Париже сказывалось повсюду. Победители, принявшие впопыхах гидру деспотизма за гидру революции и покорившие ее, были, в свою очередь, покорены побежденными. Величавая дикость прежнего времени исчезла без следа; вместо гигантов, сгибавших подковы и ломавших целковые, явились люди женоподобные, у которых были на уме только милые непристойности. Для этих непристойностей существовал особый язык. Любовное свидание мужчины с женщиной именовалось «ездою на остров любви»; грубая терминология анатомии заменилась более утонченною; появились выражения вроде: «шаловливый мизантроп», «милая отшельница» и т. п.Тем не менее, говоря сравнительно, жить было все-таки легко, и эта легкость в особенности приходилась по нутру так называемым смердам. Ударившись в политеизм, осложненный гривуазностью, представители глуповской интеллигенции сделались равнодушны ко всему, что происходило вне замкнутой сферы «езды на остров любви». Они чувствовали себя счастливыми и довольными, и в этом качестве не хотели препятствовать счастию и довольству других. Во времена Бородавкиных, Негодяевых и проч. казалось, например, непростительною дерзостью, если смерд поливал свою кашу маслом. Не потому это была дерзость, чтобы от того произошел для кого-нибудь ущерб, а потому что люди, подобные Негодяеву — всегда отчаянные теоретики и предполагают в смерде одну способность: быть твердым в бедствиях. Поэтому они отнимали у смерда кашу и бросали собакам. Теперь этот взгляд значительно изменился, чему, конечно, не в малой степени содействовало и размягчение мозгов — тогдашняя модная болезнь. Смерды воспользовались этим и наполняли свои желудки жирной кашей до крайних пределов. Им неизвестна еще была истина, что человек не одной кашей живет, и поэтому они думали, что если желудки их полны, то это значит, что и сами они вполне благополучны. По той же причине они так охотно прилепились и к многобожию: оно казалось им более сподручным, нежели монотеизм. Они охотнее преклонялись перед Волосом или Ярилою, но в то же время мотали себе на ус, что если долгое время не будет у них дождя или будут дожди слишком продолжительные, то они могут своих излюбленных богов высечь, обмазать нечистотами и вообще сорвать на них досаду. И хотя очевидно, что материализм столь грубый не мог продолжительное время питать общество, но в качестве новинки он нравился и даже опьянял.Все спешило жить и наслаждаться; спешил и Грустилов. Он совсем бросил городническое правление и ограничил свою административную деятельность тем, что удвоил установленные предместниками его оклады и требовал, чтобы они бездоимочно поступали в назначенные сроки. Все остальное время он посвятил поклонению Киприде в тех неслыханно-разнообразных формах, которые были выработаны цивилизацией того времени. Это беспечное отношение к служебным обязанностям было, однако ж, со стороны Грустилова большою ошибкою.Несмотря на то что в бытность свою провиантмейстером Грустилов довольно ловко утаивал казенные деньги, административная опытность его не была ни глубока, ни многостороння. Многие думают, что ежели человек умеет незаметным образом вытащить платок из кармана своего соседа, то этого будто бы уже достаточно, чтобы упрочить за ним репутацию политика или сердцеведца. Однако это ошибка. Воры-сердцеведцы встречаются чрезвычайно редко; чаще же случается, что мошенник даже самый грандиозный только в этой сфере и является замечательным деятелем, вне же пределов ее никаких способностей не выказывает. Для того чтобы воровать с успехом, нужно обладать только проворством и жадностью. Жадность в особенности необходима, потому что за малую кражу можно попасть под суд. Но какими бы именами ни прикрывало себя ограбление, все-таки сфера грабителя останется совершенно другою, нежели сфера сердцеведца, ибо последний уловляет людей, тогда как первый уловляет только принадлежащие им бумажники и платки. Следовательно, ежели человек, произведший в свою пользу отчуждение на сумму в несколько миллионов рублей, сделается впоследствии даже меценатом и построит мраморный палаццо, в котором сосредоточит все чудеса науки и искусства, то его все-таки нельзя назвать искусным общественным деятелем, а следует назвать только искусным мошенником.Но в то время истины эти были еще неизвестны, и репутация сердцеведца утвердилась за Грустиловым беспрепятственно. В сущности, однако ж, это было не так. Если бы Грустилов стоял действительно на высоте своего положения, он понял бы, что предместники его, возведшие тунеядство в административный принцип, заблуждались очень горько и что тунеядство, как животворное начало, только тогда может считать себя достигающим полезных целей, когда оно концентрируется в известных пределах. Если тунеядство существует, то предполагается само собою, что рядом с ним существует и трудолюбие — на этом зиждется вся наука политической экономии. Трудолюбие питает тунеядство, тунеядство же оплодотворяет трудолюбие — вот единственная формула, которую, с точки зрения науки, можно свободно прилагать ко всем явлениям жизни. Грустилов ничего этого не понимал. Он думал, что тунеядствовать могут все поголовно и что производительные силы страны не только не иссякнут от этого, но даже увеличатся. Это было первое грубое его заблуждение.Второе заблуждение заключалось в том, что он слишком увлекся блестящею стороною внутренней политики своих предшественников. Внимая рассказам о благосклонном бездействии майора Прыща, он соблазнился картиною общего ликования, бывшего результатом этого бездействия. Но он упустил из виду, во-первых, что народы даже самые зрелые не могут благоденствовать слишком продолжительное время, не рискуя впасть в грубый материализм, и во-вторых, что собственно в Глупове, благодаря вывезенному из Парижа духу вольномыслия, благоденствие в значительной степени осложнялось озорством. Нет спора, что можно и даже должно давать народам случай вкушать от плода познания добра и зла, но нужно держать этот плод твердой рукою и притом так, чтобы можно было во всякое время отнять его от слишком лакомых уст.Последствия этих заблуждений сказались очень скоро. Уже в 1815 году в Глупове был чувствительный недород, а в следующем году не родилось совсем ничего, потому что обыватели, развращенные постоянной гульбой, до того понадеялись на свое счастие, что, не вспахав земли, зря разбросали зерно по целине.— И так, шельма, родит! — говорили они в чаду гордыни.Но надежды их не сбылись, и когда поля весной освободились от снега, то глуповцы не без изумления увидели, что они стоят совсем голые. По обыкновению, явление это приписали действию враждебных сил и завинили богов за то, что они не оказали жителям достаточной защиты. Начали сечь Волоса, который выдержал наказание стоически, потом принялись за Ярилу, и говорят, будто бы в глазах его показались слезы. Глуповцы в ужасе разбежались по кабакам и стали ждать, что будет. Но ничего особенного не произошло. Был дождь и было вёдро, но полезных злаков на незасеянных полях не появилось.Грустилов присутствовал на костюмированном балу (в то время у глуповцев была каждый день масленица), когда весть о бедствии, угрожавшем Глупову, дошла до него. По-видимому, он ничего не подозревал. Весело шутя с предводительшей, он рассказывал ей, что в скором времени ожидается такая выкройка дамских платьев, что можно будет по прямой линии видеть паркет, на котором стоит женщина. Потом завел речь о прелестях уединенной жизни и вскользь заявил, что он и сам надеется когда-нибудь найти отдохновение в стенах монастыря.— Конечно, женского? — спросила предводительша, лукаво улыбаясь.— Если вы изволите быть в нем настоятельницей, то я хоть сейчас готов дать обет послушания, — галантерейно отвечал Грустилов.Но этому вечеру суждено было провести глубокую демаркационную черту во внутренней политике Грустилова. Бал разгорался; танцующие кружились неистово; в вихре развевающихся платьев и локонов мелькали белые, обнаженные, душистые плечи. Постепенно разыгрываясь, фантазия Грустилова умчалась наконец в надзвездный мир, куда он, по очереди, переселил вместе с собою всех этих полуобнаженных богинь, которых бюсты так глубоко уязвляли его сердце. Скоро, однако ж, и в надзвездном мире сделалось душно; тогда он удалился в уединенную комнату и, усевшись среди зелени померанцев и миртов, впал в забытье.В эту самую минуту перед ним явилась маска и положила ему на плечо свою руку. Он сразу понял, что это — *она.* Она так тихо подошла к нему, как будто под атласным домино, довольно, впрочем, явственно обличавшим ее воздушные формы, скрывалась не женщина, а сильф. По плечам рассыпались русые, почти пепельные кудри, из-под маски глядели голубые глаза, а обнаженный подбородок обнаруживал существование ямочки, в которой, казалось, свил свое гнездо амур. Все в ней было полно какого-то скромного и в то же время небезрасчетного изящества, начиная от духов violettes de Parme[6](#fn6), которыми опрыскан был ее платок, и кончая щегольскою перчаткой, обтягивавшей ее маленькую, аристократическую ручку. Очевидно, однако ж, что она находилась в волнении, потому что грудь ее трепетно поднималась, а голос, напоминавший райскую музыку, слегка дрожал.— Проснись, падший брат! — сказала она Грустилову.Грустилов не понял; он думал, что ей представилось, будто он спит, и в доказательство, что это ошибка, стал простирать руки.— Не о теле, а о душе говорю я! — грустно продолжала маска, — не тело, а душа спит... глубоко спит!Тут только понял Грустилов, в чем дело, но так как душа его закоснела в идолопоклонстве, то слово истины, конечно, не могло сразу проникнуть в нее. Он даже заподозрил в первую минуту, что под маской скрывается юродивая Аксиньюшка, та самая, которая, еще при Фердыщенке, предсказала большой глуповский пожар и которая, во время отпадения глуповцев в идолопоклонство, одна осталась верною истинному богу.— Нет, я не та, которую ты во мне подозреваешь, — продолжала между тем таинственная незнакомка, как бы угадав его мысли, — я не Аксиньюшка, ибо недостойна облобызать даже прах ее ног. Я просто такая же грешница, как и ты!С этими словами она сняла с лица своего маску.Грустилов был поражен. Перед ним было прелестнейшее женское личико, какое когда-нибудь удавалось ему видеть. Случилось ему, правда, встретить нечто подобное в вольном городе Гамбурге, но это было так давно, что прошлое казалось как бы задернутым пеленою. Да; это именно те самые пепельные кудри, та самая матовая белизна лица, те самые голубые глаза, тот самый полный и трепещущий бюст; но как все это преобразилось в новой обстановке, как выступило вперед лучшими, интереснейшими своими сторонами! Но еще более поразило Грустилова, что незнакомка с такою прозорливостью угадала его предположение об Аксиньюшке...— Я — твое внутреннее слово! я послана объявить тебе свет Фавора, которого ты ищешь, сам того не зная! — продолжала между тем незнакомка, — но не спрашивай, кто меня послал, потому что я и сама объявить о сем не умею!— Но кто же ты? — вскричал встревоженный Грустилов.— Я та самая юродивая дева, которую ты видел с потухшим светильником в вольном городе Гамбурге! Долгое время находилась я в состоянии томления, долгое время безуспешно стремилась к свету, но князь тьмы слишком искусен, чтобы разом упустить из рук свою жертву! Однако *там* мой путь уже был начертан! Явился здешний аптекарь Пфейфер и, вступив со мной в брак, увлек меня в Глупов; здесь я познакомилась с Аксиньюшкой, — и задача просветления обозначилась передо мной так ясно, что восторг овладел всем существом моим. Но если бы ты знал, как жестока была борьба!Она остановилась, подавленная скорбными воспоминаниями; он же алчно простирал руки, как бы желая осязать это непостижимое существо.— Прими руки! — кротко сказала она, — не осязанием, но мыслью ты должен прикасаться ко мне, чтобы выслушать то, что я должна тебе открыть!— Но не лучше ли будет, ежели мы удалимся в комнату более уединенную? — спросил он робко, как бы сам сомневаясь в приличии своего вопроса.Однако ж она согласилась, и они удалились в один из тех очаровательных приютов, которые со времен Микаладзе устраивались для градоначальников во всех мало-мальски порядочных домах города Глупова. Что происходило между ними — это для всех осталось тайною; но он вышел из приюта расстроенный и с заплаканными глазами. *Внутреннее слово*подействовало так сильно, что он даже не удостоил танцующих взглядом и прямо отправился домой.Происшествие это произвело сильное впечатление на глуповцев. Стали доискиваться, откуда явилась Пфейферша. Одни говорили, что она не более как интриганка, которая, с ведома мужа, задумала овладеть Грустиловым, чтобы вытеснить из города аптекаря Зальцфиша, делавшего Пфейферу сильную конкуренцию. Другие утверждали, что Пфейферша еще в вольном городе Гамбурге полюбила Грустилова за его меланхолический вид и вышла замуж за Пфейфера единственно затем, чтобы соединиться с Грустиловым и сосредоточить на себе ту чувствительность, которую он бесполезно растрачивал на такие пустые зрелища, как токованье тетеревов и кокоток.Как бы то ни было, нельзя отвергать, что это была женщина далеко не дюжинная. Из оставшейся после нее переписки видно, что она находилась в сношениях со всеми знаменитейшими мистиками и пиетистами того времени и что Лабзин, например, посвящал ей те избраннейшие свои сочинения, которые не предназначались для печати. Сверх того, она написала несколько романов, из которых в одном, под названием «Скиталица Доротея», изобразила себя в наилучшем свете. «Она была привлекательна на вид, — писалось в этом романе о героине, — но хотя многие мужчины желали ее ласк, она оставалась холодною и как бы загадочною. Тем не менее душа ее жаждала непрестанно, и когда в этих поисках встретилась с одним знаменитым химиком (так называла она Пфейфера), то прилепилась к нему бесконечно. Но при первом же земном ощущении она поняла, что жажда ее не удовлетворена»... и т. д.Возвратившись домой, Грустилов целую ночь плакал. Воображение его рисовало греховную бездну, на дне которой метались черти. Были тут и кокотки, и кокодессы, и даже тетерева — и всё огненные. Один из чертей вылез из бездны и поднес ему любимое его кушанье, но едва он прикоснулся к нему устами, как по комнате распространился смрад. Но что всего более ужасало его — так это горькая уверенность, что не один он погряз, но в лице его погряз и весь Глупов.— За всех ответить или всех спасти! — кричал он, цепенея от страха, — и, конечно, решился спасти.На другой день, ранним утром, глуповцы были изумлены, услыхав мерный звон колокола, призывавший жителей к заутрене. Давным-давно уже не раздавался этот звон, так что глуповцы даже забыли об нем. Многие думали, что где-нибудь горит; но вместо пожара увидели зрелище более умилительное. Без шапки, в разодранном вицмундире, с опущенной долу головой и бия себя в перси, шел Грустилов впереди процессии, состоявшей, впрочем, лишь из чинов полицейской и пожарной команды. Сзади процессии следовала Пфейферша, без кринолина; с одной стороны ее конвоировала Аксиньюшка, с другой — знаменитый юродивый Парамоша, заменивший в любви глуповцев не менее знаменитого Архипушку, который сгорел таким трагическим образом в общий пожар (см. «Соломенный город»).Отслушав заутреню, Грустилов вышел из церкви ободренный и, указывая Пфейферше на вытянувшихся в струнку пожарных и полицейских солдат («кои и во время глуповского беспутства втайне истинному богу верны пребывали», присовокупляет летописец), сказал:— Видя внезапное сих людей усердие, я в точности познал, сколь быстрое имеет действие сия вещь, которую вы, сударыня моя, внутренним словом справедливо именуете.И потом, обращаясь к квартальным, прибавил:— Дайте сим людям, за их усердие, по гривеннику!— Рады стараться, ваше высокородие! — гаркнули в один голос полицейские и скорым шагом направились в кабак.Таково было первое действие Грустилова после внезапного его обновления. Затем он отправился к Аксиньюшке, так как без ее нравственной поддержки никакого успеха в дальнейшем ходе дела ожидать было невозможно. Аксиньюшка жила на самом краю города, в какой-то землянке, которая скорее похожа была на кротовью нору, нежели на человеческое жилище. С ней же, в нравственном сожитии, находился и блаженный Парамоша. Сопровождаемый Пфейфершей, Грустилов ощупью спустился по темной лестнице вниз и едва мог нащупать дверь. Зрелище, представившееся глазам его, было поразительное. На грязном голом полу валялись два полуобнаженные человеческие остова (это были сами блаженные, уже успевшие возвратиться с богомолья), которые бормотали и выкрикивали какие-то бессвязные слова и в то же время вздрагивали, кривлялись и корчились, словно в лихорадке. Мутный свет проходил в нору сквозь единственное крошечное окошко, покрытое слоем пыли и паутины; на стенах слоилась сырость и плесень. Запах был до того отвратительный, что Грустилов в первую минуту сконфузился и зажал нос. Прозорливая старушка заметила это.— Духи царские! духи райские! — запела она пронзительным голосом, — не надо ли кому духов?И сделала при этом такое движение, что Грустилов наверное поколебался бы, если б Пфейферша не поддержала его.— Спит душа твоя... спит глубоко! — сказала она строго, — а еще так недавно ты хвалился своей бодростью!— Спит душенька на подушечке... спит душенька на перинушке... а боженька тук-тук! да по головке тук-тук! да по темечку тук-тук! — визжала блаженная, бросая в Грустилова щепками, землею и сором.Парамоша лаял по-собачьи и кричал по-петушиному.— Брысь, сатана! петух запел! — бормотал он в промежутках.— Маловерный! Вспомни внутреннее слово! — настаивала с своей стороны Пфейферша.Грустилов ободрился.— Матушка Аксинья Егоровна! извольте меня разрешить! — сказал он твердым голосом.— Я и Егоровна, я и тараторовна! Ярило — мерзило! Волос — без волос! Перун — старый... Парамон — он умен! — провизжала блаженная, скорчилась и умолкла.Грустилов озирался в недоумении.— Это значит, что следует поклониться Парамону Мелентьичу! — подсказала Пфейферша.— Батюшка Парамон Мелентьич! извольте меня разрешить! — поклонился Грустилов.Но Парамоша некоторое время только корчился и икал.— Ниже! ниже поклонись! — командовала блаженная, — не жалей спины-то! не твоя спина — божья!— Извольте меня, батюшка, разрешить! — повторил Грустилов, кланяясь ниже.— Без працы не бенды кололацы! — пробормотал блаженный диким голосом — и вдруг вскочил.Немедленно вслед за ним вскочила и Аксиньюшка, и начали они кружиться. Сперва кружились медленно и потихоньку всхлипывали; потом круги начали делаться быстрее и быстрее, покуда, наконец, не перешли в совершенный вихрь. Послышался хохот, визг, трели, всхлебывания, подобные тем, которые можно слышать только весной в пруду, дающем приют мириадам лягушек.Грустилов и Пфейферша стояли некоторое время в ужасе, но, наконец, не выдержали. Сначала они вздрагивали и приседали, потом постепенно начали кружиться и вдруг завихрились и захохотали. Это означало, что наитие совершилось, и просимое разрешение получено.Грустилов возвратился домой усталый до изнеможения; однако ж он еще нашел в себе достаточно силы, чтобы подписать распоряжение о наипоспешнейшей высылке из города аптекаря Зальцфиша. Верные ликовали, а причетники, в течение многих лет питавшиеся одними негодными злаками, закололи барана, и мало того что съели его всего, не пощадив даже копыт, но долгое время скребли ножом стол, на котором лежало мясо, и с жадностью ели стружки, как бы опасаясь утратить хотя один атом питательного вещества. В тот же день Грустилов надел на себя вериги (впоследствии оказалось, впрочем, что это были просто помочи, которые дотоле не были в Глупове в употреблении) и подвергнул свое тело бичеванию.«В первый раз сегодня я понял, — писал он по этому случаю Пфейферше, — что значат слова: *всладце уязви мя,* которые вы сказали мне при первом свидании, дорогая сестра моя по духу! Сначала бичевал я себя с некоторою уклончивостью, но, постепенно разгораясь, позвал под конец денщика и сказал ему: „хлещи!“ И что же? даже сие оказалось недостаточным, так что я вынужденным нашелся расковырять себе на невидном месте рану, но и от того не страдал, а находился в восхищении. Отнюдь не больно! Столь меня сие удивило, что я и доселе спрашиваю себя: полно, страдание ли это и не скрывается ли здесь какой-либо особливый вид плотоугодничества и самовосхищения? Жду вас к себе, дорогая сестра моя по духу, дабы разрешить сей вопрос в совокупном рассмотрении».Может показаться странным, каким образом Грустилов, будучи одним из гривуазнейших поклонников мамоны, столь быстро обратился в аскета. На это могу сказать одно: кто не верит в волшебные превращения, тот пусть не читает летописи Глупова. Чудес этого рода можно найти здесь даже более, чем нужно. Так, например, один начальник плюнул подчиненному в глаза, и тот прозрел. Другой начальник стал сечь неплательщика, думая преследовать в этом случае лишь воспитательную цель, и совершенно неожиданно открыл, что в спине у секомого зарыт клад[7](#fn7). Если факты, до такой степени диковинные, не возбуждают ни в ком недоверия, то можно ли удивляться превращению столь обыкновенному, как то, которое случилось с Грустиловым?Но, с другой стороны, этот же факт объясняется и иным путем, более естественным. Есть указания, которые заставляют думать, что аскетизм Грустилова был совсем не так суров, как это можно предполагать с первого взгляда. Мы уже видели, что так называемые вериги его были не более как помочи; из дальнейших же объяснений летописца усматривается, что и прочие подвиги были весьма преувеличены Грустиловым и что они в значительной степени сдабривались духовною любовью. Шелеп, которым он бичевал себя, был бархатный (он и доселе хранится в глуповском архиве); пост же состоял в том, что он к прежним кушаньям прибавил рыбу тюрбо, которую выписывал из Парижа на счет обывателей. Что же тут удивительного, что бичевание приводило его в восторг и что самые язвы казались восхитительными?Между тем колокол продолжал в урочное время призывать к молитве, и число верных с каждым днем увеличивалось. Сначала ходили только полицейские, но потом, глядя на них, стали ходить и посторонние. Грустилов, с своей стороны, подавал пример истинного благочестия, плюя на капище Перуна каждый раз, как проходил мимо него. Может быть, так и разрешилось бы это дело исподволь, если б мирному исходу его не помешали замыслы некоторых беспокойных честолюбцев, которые уже и в то время были известны под именем «крайних».Во главе партии состояли те же Аксиньюшка и Парамоша, имея за собой целую толпу нищих и калек. У нищих единственным источником пропитания было прошение милостыни на церковных папертях; но так как древнее благочестие в Глупове на некоторое время прекратилось, то естественно, что источник этот значительно оскудел. Реформы, затеянные Грустиловым, были встречены со стороны их громким сочувствием; густою толпою убогие люди наполняли двор градоначальнического дома; одни ковыляли на деревяшках, другие ползали на четверинках. Все славословили, но в то же время уже все единогласно требовали, чтобы обновление совершилось сию минуту и чтоб наблюдение за этим делом было возложено на них. И тут, как всегда, голод оказался плохим советчиком, а медленные, но твердые и дальновидные действия градоначальника подверглись превратным толкованиям. Напрасно льстил Грустилов страстям калек, высылая им остатки от своей обильной трапезы; напрасно объяснял он выборным от убогих людей, что постепенность не есть потворство, а лишь вящее упрочение затеянного предприятия, — калеки ничего не хотели слышать. Гневно потрясали они своими деревяшками и громко угрожали поднять знамя бунта.Опасность предстояла серьезная, ибо для того, чтобы усмирять убогих людей, необходимо иметь гораздо больший запас храбрости, нежели для того, чтобы палить в людей, не имеющих изъянов. Грустилов понимал это. Сверх того, он уже потому чувствовал себя беззащитным перед демагогами, что последние, так сказать, считали его своим созданием, и в этом смысле действовали до крайности ловко. Во-первых, они окружили себя целою сетью доносов, посредством которых до сведения Грустилова доводился всякий слух, к посрамлению его чести относящийся; во-вторых, они заинтересовали в свою пользу Пфейфершу, посулив ей часть так называемого посумного сбора (этим сбором облагалась каждая нищенская сума́; впоследствии он лег в основание всей финансовой системы города Глупова).Пфейферша денно и нощно приставала к Грустилову, в особенности преследуя его перепискою, которая, несмотря на короткое время, представляла уже в объеме довольно обширный том. Основание ее писем составляли видения, содержание которых изменялось, смотря по тому, довольна или недовольна она была своим «духовным братом». В одном письме она видит его «ходящим по облаку» и утверждает, что не только она, но и Пфейфер это видел; в другом усматривает его в геенне огненной, в сообществе с чертями всевозможных наименований. В одном письме развивает мысль, что градоначальники вообще имеют право на безусловное блаженство в загробной жизни, по тому одному, что они градоначальники; в другом утверждает, что градоначальники обязаны обращать на свое поведение особенное внимание, так как, в загробной жизни, они против всякого другого подвергаются истязаниям вдвое и втрое. Все равно как папы или князья.В данном случае письма ее имели характер угрожающий. «Спешу известить вас, — писала она в одном из них, — что я в сию ночь во сне видела. Стоите вы в темном и смрадном месте и привязаны к столбу, а привязки сделаны из змий и на груди (у вас) доска, на которой написано: сей есть ведомый покровитель нечестивых и агарян (sic). И бесы, собравшись, радуются, а праведные стоят в отдалении и, взирая на вас, льют слезы. Извольте сами рассмотреть, не видится ли тут какого не совсем выгодного для вас предзнаменования?»Читая эти письма, Грустилов приходил в небычайное волнение. С одной стороны, природная склонность к апатии, с другой, страх чертей — все это производило в его голове какой-то неслыханный сумбур, среди которого он путался в самых противоречивых предположениях и мероприятиях. Одно казалось ясным: что он тогда только будет благополучен, когда глуповцы поголовно станут ходить ко всенощной и когда инспектором-наблюдателем всех глуповских училищ будет назначен Парамоша.Это последнее условие было в особенности важно, и убогие люди предъявляли его очень настойчиво. Развращение нравов дошло до того, что глуповцы посягнули проникнуть в тайну построения миров, и открыто рукоплескали учителю каллиграфии, который, выйдя из пределов своей специальности, проповедовал с кафедры, что мир не мог быть сотворен в шесть дней. Убогие очень основательно рассчитали, что если это мнение утвердится, то вместе с тем разом рухнет все глуповское миросозерцание вообще. Все части этого миросозерцания так крепко цеплялись друг за друга, что невозможно было потревожить одну, чтобы не разрушить всего остального. Не вопрос о порядке сотворения мира тут важен, а то, что вместе с этим вопросом могло вторгнуться в жизнь какое-то совсем новое начало, которое, наверное, должно было испортить всю кашу. Путешественники того времени единогласно свидетельствуют, что глуповская жизнь поражала их своею цельностью, и справедливо приписывают это счастливому отсутствию духа исследования. Если глуповцы с твердостию переносили бедствия самые ужасные, если они и после того продолжали жить, то они обязаны были этим только тому, что вообще всякое бедствие представлялось им чем-то совершенно от них не зависящим, а потому и неотвратимым. Самое крайнее, что дозволялось в виду идущей навстречу беды, — это прижаться куда-нибудь к сторонке, затаить дыхание и пропасть на все время, покуда беда будет кутить и мутить. Но и это уже считалось строптивостью; бороться же или открыто идти против беды — упаси боже! Стало быть, если допустить глуповцев рассуждать, то, пожалуй, они дойдут и до таких вопросов, как, например, действительно ли существует такое предопределение, которое делает для них обязательным претерпение даже такого бедствия, как, например, краткое, но совершенно бессмысленное градоправительство Брудастого (см. выше рассказ «Органчик»)? А так как вопрос этот длинный, а руки у них коротки, то очевидно, что существование вопроса только поколеблет их твердость в бедствиях, но в положении существенного улучшения все-таки не сделает.Но покуда Грустилов колебался, убогие люди решились действовать самостоятельно. Они ворвались в квартиру учителя каллиграфии Линкина, произвели в ней обыск и нашли книгу: «Средства для истребления блох, клопов и других насекомых». С торжеством вытолкали они Линкина на улицу и, потрясая воздух радостными восклицаниями, повели его на градоначальнический двор. Грустилов сначала растерялся и, рассмотрев книгу, начал было объяснять, что она ничего не заключает в себе ни против религии, ни против нравственности, ни даже против общественного спокойствия. Но нищие ничего уже не слушали.— Плохо ты, верно, читал! — дерзко кричали они градоначальнику и подняли такой гвалт, что Грустилов испугался и рассудил, что благоразумие повелевает уступить требованиям общественного мнения.— Сам ли ты зловредную оную книгу сочинил? а ежели не сам, то кто тот заведомый вор и сущий разбойник, который таковое злодейство учинил? и как ты с тем вором знакомство свел? и от него ли ту книжицу получил? и ежели от него, то зачем, кому следует, о том не объявил, но, забыв совесть, распутству его потакал и подражал? — Так начал Грустилов свой допрос Линкину.— Ни сам я тоя книжицы не сочинял, ни сочинителя оной в глаза не видывал, а напечатана она в столичном городе Москве, в университетской типографии, иждивением книгопродавцев Манухиных! — твердо отвечал Линкин.Толпе этот ответ не понравился, да и вообще она ожидала не того. Ей казалось, что Грустилов, как только приведут к нему Линкина, разорвет его пополам — и дело с концом. А он, вместо того, разговаривает! Поэтому, едва градоначальник разинул рот, чтоб предложить второй вопросный пункт, как толпа загудела:— Что ты с ним балы-то точишь! он в бога не верит!Тогда Грустилов в ужасе разодрал на себе вицмундир.— Точно ли ты в бога не веришь? — подскочил он к Линкину, и по важности обвинения, не выждав ответа, слегка ударил его, в виде задатка, по щеке.— Никому я о сем не объявлял, — уклонился Линкин от прямого ответа.— Свидетели есть! свидетели! — гремела толпа.Выступили вперед два свидетеля: отставной солдат Карапузов да слепенькая нищенка Маремьянушка. «И было тем свидетелям дано за ложное показание по пятаку серебром», — говорит летописец, который в этом случае явно становится на сторону угнетенного Линкина.— Намеднись, а когда именно — не упомню, — свидетельствовал Карапузов, — сидел я в кабаке и пил вино, а неподалеку от меня сидел этот самый учитель и тоже пил вино. И выпивши он того вина довольно, сказал: все мы, что человеки, что скоты — всё едино; все помрем и все к чертовой матери пойдем!— Но когда же... — заикнулся было Линкин.— Стой! ты погоди пасть-то розевать! пущай сперва свидетель доскажет! — крикнула на него толпа.— И будучи я приведен от тех его слов в соблазн, — продолжал Карапузов, — кротким манером сказал ему: «Как же, мол, это так, ваше благородие? ужели, мол, что человек, что скотина — все едино? и за что, мол, вы так нас порочите, что и места другого, кроме как у чертовой матери, для нас не нашли? Батюшки, мол, наши духовные не тому нас учили, — вот что!» Ну, он, это, взглянул на меня этак сыскоса: «Ты, говорит, колченогий (а у меня, ваше высокородие, точно что под Очаковом ногу унесло), в полиции, видно, служишь?» — взял шапку и вышел из кабака вон.Линкин разинул рот, но это только пуще раздражило толпу.— Да зажми ты ему пасть-то! — кричала она Грустилову, — ишь речистый какой выискался!Карапузова сменила Маремьянушка.— Сижу я намеднись в питейном, — свидетельствовала она, — и тошно мне, слепенькой, стало; сижу этак-то и все думаю: куда, мол, нонче народ, против прежнего, гордее стал! Бога забыли, в посты скоромное едят, нищих не оделяют; смотри, мол, скоро и на солнышко прямо смотреть станут! Право. Только и подходит ко мне самый этот молодец: «Слепа бабушка?» — говорит. «Слепенькая, мол, ваше высокое благородие». — «А отчего, мол, ты слепа?» — «От бога, говорю, ваше высокое благородие». — «Какой тут бог, от воспы, чай?» — это он-то все говорит. «А воспа-то, говорю, от кого же?» — «Ну, да, от бога, держи карман! Вы, говорит, в сырости да в нечистоте всю жизнь копаетесь, а бог виноват!»Маремьянушка остановилась и заплакала.— И так это меня обидело, — продолжала она, всхлипывая, — уж и не знаю как! «За что же, мол, ты бога-то обидел?» — говорю я ему. А он не то чтобы что, плюнул мне прямо в глаза: «Утрись, говорит, может, будешь видеть», — и был таков.Обстоятельства дела выяснились вполне; но так как Линкин непременно требовал, чтобы была выслушана речь его защитника, то Грустилов должен был скрепя сердце исполнить его требование. И точно: вышел из толпы какой-то отставной подьячий и стал говорить. Сначала говорил он довольно невнятно, но потом вник в предмет, и, к общему удивлению, вместо того чтобы защищать, стал обвинять. Это до того подействовало на Линкина, что он сейчас же не только сознался во всем, но даже много прибавил такого, чего никогда и не бывало.— Смотрел я однажды у пруда на лягушек, — говорил он, — и был смущен диаволом. И начал себя бездельным обычаем спрашивать, точно ли один человек обладает душою, и нет ли таковой у гадов земных! И, взяв лягушку, исследовал. И по исследовании нашел: точно; душа есть и у лягушки, токмо малая видом и не бессмертная.Тогда Грустилов обратился к убогим и, сказав:— Сами видите! — приказал отвести Линкина в часть.К сожалению, летописец не рассказывает дальнейших подробностей этой истории. В переписке же Пфейферши сохранились лишь следующие строки об этом деле: «Вы, мужчины, очень счастливы; вы можете быть твердыми; но на меня вчерашнее зрелище произвело такое действие, что Пфейфер не на шутку встревожился и поскорей дал мне принять успокоительных капель». И только.Но происшествие это было важно в том отношении, что если прежде у Грустилова еще были кой-какие сомнения насчет предстоящего ему образа действия, то с этой минуты они совершенно исчезли. Вечером того же дня он назначил Парамошу инспектором глуповских училищ, а другому юродивому, Яшеньке, предоставил кафедру философии, которую нарочно для него создал в уездном училище. Сам же усердно принялся за сочинение трактата: «О восхищениях благочестивой души».В самое короткое время физиономия города до того изменилась, что он сделался почти неузнаваем. Вместо прежнего буйства и пляски наступила могильная тишина, прерываемая лишь звоном колоколов, которые звонили на все манеры: и во вся, и в одиночку, и с перезвоном. Капища запустели; идолов утопили в реке, а манеж, в котором давала представления девица Гандон, сожгли. Затем по всем улицам накурили смирною и ливаном, и тогда только обнадежились, что вражья сила окончательно посрамлена.Но злаков на полях все не прибавлялось, ибо глуповцы от бездействия весело-буйственного перешли к бездействию мрачному. Напрасно они воздевали руки, напрасно облагали себя поклонами, давали обеты, постились, устраивали процессии — бог не внимал мольбам. Кто-то заикнулся было сказать, что «как-никак, а придется в поле с сохою выйти», но дерзкого едва не побили каменьями и в ответ на его предложение утроили усердие.Между тем Парамоша с Яшенькой делали свое дело в школах. Парамошу нельзя было узнать; он расчесал себе волосы, завел бархатную поддевку, душился, мыл руки мылом добела и в этом виде ходил по школам и громил тех, которые надеются на князя мира сего. Горько издевался он над суетными, тщеславными, высокоумными, которые о пище телесной заботятся, а духовною небрегут, и приглашал всех удалиться в пустыню. Яшенька, с своей стороны, учил, что сей мир, который мы думаем очима своима видети, есть сонное некое видение, которое насылается на нас врагом человечества, и что сами мы не более как странники, из лона исходящие и в оное же лоно входящие. По мнению его, человеческие души, яко жито духовное, в некоей житнице сложены, и оттоль, в мере надобности, слушаются долу, дабы оное сонное видение вскорости увидети и по малом времени вспять в благожелаемую житницу благопоспешно возлететь. Существенные результаты такого учения заключались в следующем: 1) что работать не следует; 2) тем менее надлежит провидеть, заботиться и пещись, и 3) следует возлагать упование и созерцать — и ничего больше. Парамоша указывал даже, как нужно созерцать. «Для сего, — говорил он, — уединись в самый удаленный угол комнаты, сядь, скрести руки под грудью и устреми взоры на пупок».Аксиньюшка тоже не плошала, но била в баклуши неутомимо. Она ходила по домам и рассказывала, как однажды черт водил ее по мытарствам, как она первоначально приняла его за странника, но потом догадалась и сразилась с ним. Основные начала ее учения были те же, что у Парамоши и Яшеньки, то есть, что работать не следует, а следует созерцать. «И, главное, подавать нищим, потому что нищие не о мамоне пекутся, а о том, как бы душу свою спасти», — присовокупляла она, протягивая при этом руку. Проповедь эта шла столь успешно, что глуповские копейки дождем сыпались в ее карманы, и в скором времени она успела скопить довольно значительный капитал. Да и нельзя было не давать ей, потому что она всякому, не подающему милостыни, без церемонии плевала в глаза и, вместо извинения, говорила только: «Не взыщи!»Но представителей местной интеллигенции даже эта суровая обстановка уже не удовлетворяла. Она удовлетворяла лишь внешним образом, но настоящего уязвления не доставляла. Конечно, они не высказывали этого публично и даже в точности исполняли обрядовую сторону жизни, но это была только внешность, с помощью которой они льстили народным страстям. Ходя по улицам с опущенными глазами, благоговейно приближаясь к папертям, они как бы говорили смердам: «Смотрите! и мы не гнушаемся общения с вами!» — но, в сущности, мысль их блуждала далече. Испорченные недавними вакханалиями политеизма и пресыщенные пряностями цивилизации, они не довольствовались просто верою, но искали каких-то «восхищений». К сожалению, Грустилов первый пошел по этому пагубному пути и увлек за собой остальных. Приметив на самом выезде из города полуразвалившееся здание, в котором некогда помещалась инвалидная команда, он устроил в нем сходбища, на которые по ночам собирался весь так называемый глуповский бомонд. Тут сначала читали критические статьи г. Н. Страхова, но так как они глупы, то скоро переходили к другим занятиям. Председатель вставал с места и начинал корчиться; примеру его следовали другие; потом, мало-помалу, все начинали скакать, кружиться, петь и кричать, и производили эти неистовства до тех пор, покуда, совершенно измученные, не падали ниц. Этот момент собственно и назывался «восхищением».Мог ли продолжаться такой жизненный установ и сколько времени? — определительно отвечать на этот вопрос довольно трудно. Главное препятствие для его бессрочности представлял, конечно, недостаток продовольствия, как прямое следствие господствовавшего в то время аскетизма; но, с другой стороны, история Глупова примерами совершенно положительными удостоверяет нас, что продовольствие совсем не столь необходимо для счастия народов, как это кажется с первого взгляда. Ежели у человека есть под руками говядина, то он, конечно, охотнее питается ею, нежели другими, менее питательными веществами; но если мяса нет, то он столь же охотно питается хлебом, а буде и хлеба недостаточно, то и лебедою. Стало быть, это вопрос еще спорный. Как бы то ни было, но безобразная глуповская затея разрешилась гораздо неожиданнее и совсем не от тех причин, которых влияние можно было бы предполагать самым естественным.Дело в том, что в Глупове жил некоторый, не имеющий определенных занятий, штаб-офицер, которому было случайно оказано пренебрежение. А именно, еще во времена политеизма, на именинном пироге у Грустилова, всем лучшим гостям подали уху стерляжью, а штаб-офицеру, — разумеется, без ведома хозяина, — досталась уха из окуней. Гость проглотил обиду («только ложка в руке его задрожала», говорит летописец), но в душе поклялся отомстить. Начались контры; сначала борьба велась глухо, но потом, чем дальше, тем разгоралась все пуще и пуще. Вопрос об ухе был забыт и заменился другими вопросами политического и теологического свойства, так что когда штаб-офицеру, из учтивости, предложили присутствовать при «восхищениях», то он наотрез отказался.И был тот штаб-офицер доноситель...Несмотря на то что он не присутствовал на собраниях лично, он зорко следил за всем, что там происходило. Скакание, кружение, чтение статей Страхова — ничто не укрылось от его проницательности. Но он ни словом, ни делом не выразил ни порицания, ни одобрения всем этим действиям, а хладнокровно выжидал, покуда нарыв созреет. И вот, эта вожделенная минута наконец наступила: ему попался в руки экземпляр сочиненной Грустиловым книги: «О восхищениях благочестивой души»...В одну из ночей кавалеры и дамы глуповские, по обыкновению, собрались в упраздненный дом инвалидной команды. Чтение статей Страхова уже кончилось, и собравшиеся начинали слегка вздрагивать; но едва Грустилов, в качестве председателя собрания, начал приседать и вообще производить предварительные действия, до восхищения души относящиеся, как снаружи послышался шум. В ужасе бросились сектаторы ко всем наружным выходам, забыв даже потушить огни и устранить вещественные доказательства... Но было уже поздно.У самого главного выхода стоял Угрюм-Бурчеев и вперял в толпу цепенящий взор...Но что это был за взор... О, господи! что это был за взор!..

**ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОКАЯНИЯ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Он был ужасен.Но он сознавал это лишь в слабой степени и с какою-то суровою скромностью оговаривался. «Идет некто за мной, — говорил он, — который будет еще ужаснее меня».Он был ужасен; но, сверх того, он был краток и с изумительною ограниченностью соединял непреклонность, почти граничившую с идиотством. Никто не мог обвинить его в воинственной предприимчивости, как обвиняли, например, Бородавкина, ни в порывах безумной ярости, которым были подвержены Брудастый, Негодяев и многие другие. Страстность была вычеркнута из числа элементов, составлявших его природу, и заменена непреклонностью, действовавшею с регулярностью самого отчетливого механизма. Он не жестикулировал, не возвышал голоса, не скрежетал зубами, не гоготал, не топал ногами, не заливался начальственно-язвительным смехом; казалось, он даже не подозревал нужды в административных проявлениях подобного рода. Совершенно беззвучным голосом выражал он свои требования, и неизбежность их выполнения подтверждал устремлением пристального взора, в котором выражалась какая-то неизреченная бесстыжесть. Человек, на котором останавливался этот взор, не мог выносить его. Рождалось какое-то совсем особенное чувство, в котором первенствующее значение принадлежало не столько инстинкту личного самосохранения, сколько опасению за человеческую природу вообще. В этом смутном опасении утопали всевозможные предчувствия таинственных и непреодолимых угроз. Думалось, что небо обрушится, земля разверзнется под ногами, что налетит откуда-то смерч и все поглотит, все разом... То был взор, светлый как сталь, взор, совершенно свободный от мысли, и потому недоступный ни для оттенков, ни для колебаний. Голая решимость — и ничего более.Как человек ограниченный, он ничего не преследовал, кроме правильности построений. Прямая линия, отсутствие пестроты, простота, доведенная до наготы, — вот идеалы, которые он знал и к осуществлению которых стремился. Его понятие о «долге» не шло далее всеобщего равенства перед шпицрутеном; его представление о «простоте» не переступало далее простоты зверя, обличавшей совершенную наготу потребностей. Разума он не признавал вовсе, и даже считал его злейшим врагом, опутывающим человека сетью обольщений и опасных привередничеств. Перед всем, что напоминало веселье или просто досуг, он останавливался в недоумении. Нельзя сказать, чтоб эти естественные проявления человеческой природы приводили его в негодование: нет, он просто-напросто не понимал их. Он никогда не бесновался, не закипал, не мстил, не преследовал, а, подобно всякой другой бессознательно действующей силе природы, шел вперед, сметая с лица земли все, что не успевало посторониться с дороги. «Зачем?» — вот единственное слово, которым он выражал движения своей души.Вовремя посторониться — вот все, что было нужно. Район, который обнимал кругозор этого идиота, был очень узок; вне этого района можно было и болтать руками, и громко говорить, и дышать, и даже ходить распоясавшись; он ничего не замечал; внутри района — можно было только маршировать. Если б глуповцы своевременно поняли это, им стоило только встать несколько в стороне и ждать. Но они сообразили это поздно, и в первое время, по примеру всех начальстволюбивых народов, как нарочно совались ему на глаза. Отсюда бесчисленное множество вольных истязаний, которые, словно сетью, охватили существование обывателей, отсюда же — далеко не заслуженное название «сатаны», которое народная молва присвоила Угрюм-Бурчееву. Когда у глуповцев спрашивали, что послужило поводом для такого необычного эпитета, они ничего толком не объясняли, а только дрожали. Молча указывали они на вытянутые в струну дома свои, на разбитые перед этими домами палисадники, на форменные казакины, в которые однообразно были обмундированы все жители до одного, — и трепетные губы их шептали: сатана!Сам летописец, вообще довольно благосклонный к градоначальникам, не может скрыть смутного чувства страха, приступая к описанию действий Угрюм-Бурчеева. «Была в то время, — так начинает он свое повествование, — в одном из городских храмов картина, изображавшая мучения грешников в присутствии врага рода человеческого. Сатана представлен стоящим на верхней ступени адского трона, с повелительно простертою вперед рукою и с мутным взором, устремленным в пространство. Ни в фигуре, ни даже в лице врага человеческого не усматривается особливой страсти к мучительству, а видится лишь нарочитое упразднение естества. Упразднение сие произвело только одно явственное действие: повелительный жест, — и затем, сосредоточившись само в себе, перешло в окаменение. Но что весьма достойно примечания: как ни ужасны пытки и мучения, в изобилии по всей картине рассеянные, и как ни удручают душу кривлянья и судороги злодеев, для коих те муки приуготовлены, но каждому зрителю непременно сдается, что даже и сии страдания менее мучительны, нежели страдания сего подлинного изверга, который до того всякое естество в себе победил, что и на сии неслыханные истязания хладным и непонятливым оком взирать может». Таково начало летописного рассказа, и хотя далее следует перерыв и летописец уже не возвращается к воспоминанию о картине, но нельзя не догадываться, что воспоминание это брошено здесь недаром.В городском архиве до сих пор сохранился портрет Угрюм-Бурчеева. Это мужчина среднего роста, с каким-то деревянным лицом, очевидно никогда не освещавшимся улыбкой. Густые, остриженные под гребенку и как смоль черные волосы покрывают конический череп и плотно, как ермолка, обрамливают узкий и покатый лоб. Глаза серые, впавшие, осененные несколько припухшими веками; взгляд чистый, без колебаний; нос сухой, спускающийся от лба почти в прямом направлении книзу; губы тонкие, бледные, опушенные подстриженною щетиной усов; челюсти развитые, но без выдающегося выражения плотоядности, а с каким-то необъяснимым букетом готовности раздробить или перекусить пополам. Вся фигура сухощавая с узкими плечами, приподнятыми кверху, с искусственно выпяченною вперед грудью и с длинными, мускулистыми руками. Одет в военного покроя сюртук, застегнутый на все пуговицы, и держит в правой руке сочиненный Бородавкиным «Устав о неуклонном сечении», но, по-видимому, не читает его, а как бы удивляется, что могут существовать на свете люди, которые даже эту неуклонность считают нужным обеспечивать какими-то уставами! Кругом — пейзаж, изображающий пустыню, посреди которой стоит острог; сверху, вместо неба, нависла серая солдатская шинель...Портрет этот производит впечатление очень тяжелое. Перед глазами зрителя восстает чистейший тип идиота, принявшего какое-то мрачное решение и давшего себе клятву привести его в исполнение. Идиоты вообще очень опасны, и даже не потому, что они непременно злы (в идиоте злость или доброта — совершенно безразличные качества), а потому, что они чужды всяким соображениям и всегда идут напролом, как будто дорога, на которой они очутились, принадлежит исключительно им одним. Издали может показаться, что это люди хотя и суровых, но крепко сложившихся убеждений, которые сознательно стремятся к твердо намеченной цели. Однако ж это оптический обман, которым отнюдь не следует увлекаться. Это просто со всех сторон наглухо закупоренные существа, которые ломят вперед, потому что не в состоянии сознать себя в связи с каким бы то ни было порядком явлений...Обыкновенно противу идиотов принимаются известные меры, чтоб они, в неразумной стремительности, не все опрокидывали, что встречается им на пути. Но меры эти почти всегда касаются только *простых* идиотов; когда же придатком к идиотству является властность, то дело ограждения общества значительно усложняется. В этом случае грозящая опасность увеличивается всею суммою неприкрытости, в жертву которой, в известные исторические моменты, кажется отданною жизнь... Там, где простой идиот расшибает себе голову или наскакивает на рожон, идиот властный раздробляет пополам всевозможные рожны и совершает свои, так сказать, бессознательные злодеяния вполне беспрепятственно. Даже в самой бесплодности или очевидном вреде этих злодеяний он не почерпает никаких для себя поучений. Ему нет дела ни до каких результатов, потому что результаты эти выясняются не на нем (он слишком окаменел, чтобы на нем могло что-нибудь отражаться), а на чем-то ином, с чем у него не существует никакой органической связи. Если бы, вследствие усиленной идиотской деятельности, даже весь мир обратился в пустыню, то и этот результат не устрашил бы идиота. Кто знает, быть может, пустыня и представляет в его глазах именно ту обстановку, которая изображает собой идеал человеческого общежития?Вот это-то отвержденное и вполне успокоившееся в самом себе идиотство и поражает зрителя в портрете Угрюм-Бурчеева. На лице его не видно никаких вопросов; напротив того, во всех чертах выступает какая-то солдатски-невозмутимая уверенность, что все вопросы давно уже решены. Какие это вопросы? Как они решены? — это загадка до того мучительная, что рискуешь перебрать всевозможные вопросы и решения и не напасть именно на те, о которых идет речь. Может быть, это решенный вопрос о всеобщем истреблении, а может быть, только о том, чтобы все люди имели грудь выпяченную вперед на манер колеса. Ничего неизвестно. Известно только, что этот неизвестный вопрос во что бы ни стало будет приведен в действие. А так как подобное противоестественное приурочение известного к неизвестному запутывает еще более, то последствие такого положения может быть только одно: всеобщий панический страх.Самый образ жизни Угрюм-Бурчеева был таков, что еще более усугублял ужас, наводимый его наружностию. Он спал на голой земле, и только в сильные морозы позволял себе укрыться на пожарном сеновале; вместо подушки клал под голову камень; вставал с зарею, надевал вицмундир и тотчас же бил в барабан; курил махорку до такой степени вонючую, что даже полицейские солдаты и те краснели, когда до обоняния их доходил запах ее; ел лошадиное мясо и свободно пережевывал воловьи жилы. В заключение, по три часа в сутки маршировал на дворе градоначальнического дома, один, без товарищей, произнося самому себе командные возгласы и сам себя подвергая дисциплинарным взысканиям и даже шпицрутенам («причем бичевал себя не притворно, как предшественник его, Грустилов, а по точному разуму законов», прибавляет летописец).Было у него и семейство; но покуда он градоначальство-вал, никто из обывателей не видал ни жены, ни детей его. Был слух, что они томились где-то в подвале градоначальнического дома и что он самолично раз в день, через железную решетку, подавал им хлеб и воду. И действительно, когда последовало его административное исчезновение, были найдены в подвале какие-то нагие и совершенно дикие существа, которые кусались, визжали, впивались друг в друга когтями и огрызались на окружающих. Их вывели на свежий воздух и дали горячих щей; сначала, увидев пар, они фыркали и выказывали суеверный страх; но потом обручнели и с такою зверскою жадностию набросились на пищу, что тут же объелись и испустили дух.Рассказывали, что возвышением своим Угрюм-Бурчеев обязан был совершенно особенному случаю. Жил будто бы на свете какой-то начальник, который вдруг встревожился мыслию, что никто из подчиненных не любит его.— Любим, вашество! — уверяли подчиненные.— Все вы так на досуге говорите, — настаивал на своем начальник, — а дойди до дела, так никто и пальцем для меня не пожертвует.Мало-помалу, несмотря на протесты, идея эта до того окрепла в голове ревнивого начальника, что он решился испытать своих подчиненных и кликнул клич.— Кто хочет доказать, что любит меня, — глашал он, — тот пусть отрубит указательный палец правой руки своей!Никто, однако ж, на клич не спешил; одни не выходили вперед, потому что были изнежены и знали, что порубление пальца сопряжено с болью; другие не выходили по недоразумению: не разобрав вопроса, думали, что начальник опрашивает, всем ли довольны, и опасаясь, чтоб их не сочли за бунтовщиков, по обычаю во весь рот зевали: «Рады стараться, ваше-е-е-ество-о!»— Кто хочет доказать? выходи! не бойся! — повторил свой клич ревнивый начальник.Но и на этот раз ответом было молчание или же такие крики, которые совсем не исчерпывали вопроса. Лицо начальника сперва побагровело, потом как-то грустно поникло.— Сви...Но не успел он кончить, как из рядов вышел простой, изнуренный шпицрутенами прохвост и велиим голосом возопил:— Я хочу доказать!С этим словом, положив палец на перекладину, он тупым тесаком раздробил его.Сделавши это, он улыбнулся. Это был единственный случай во всей многоизбиенной его жизни, когда в лице его мелькнуло что-то человеческое.Многие думали, что он совершил этот подвиг только ради освобождения своей спины от палок; но нет, у этого прохвоста созрела своего рода идея...При виде раздробленного пальца, упавшего к ногам его, начальник сначала изумился, но потом пришел в умиление.— Ты меня возлюбил, — воскликнул он, — а я тебя возлюблю сторицею!И послал его в Глупов.В то время еще ничего не было достоверно известно ни о коммунистах, ни о социалистах, ни о так называемых нивелляторах вообще. Тем не менее нивелляторство существовало, и притом в самых обширных размерах. Были нивелляторы «хождения в струне», нивелляторы «бараньего рога», нивелляторы «ежовых рукавиц» и проч. и проч. Но никто не видел в этом ничего угрожающего обществу или подрывающего его основы. Казалось, что ежели человека, ради сравнения с сверстниками, лишают жизни, то хотя лично для него, быть может, особливого благополучия от сего не произойдет, но для сохранения общественной гармонии это полезно, и даже необходимо. Сами нивелляторы отнюдь не подозревали, что они — нивелляторы, а называли себя добрыми и благопопечительными устроителями, в мере усмотрения радеющими о счастии подчиненных и подвластных им лиц...Такова была простота нравов того времени, что мы, свидетели эпохи позднейшей, с трудом можем перенестись даже воображением в те недавние времена, когда каждый эскадронный командир, не называя себя коммунистом, вменял себе, однако ж, за честь и обязанность быть оным от верхнего конца до нижнего.Угрюм-Бурчеев принадлежал к числу самых фанатических нивелляторов этой школы. Начертавши прямую линию, он замыслил втиснуть в нее весь видимый и невидимый мир, и притом с таким непременным расчетом, чтоб нельзя было повернуться ни взад ни вперед, ни направо, ни налево. Предполагал ли он при этом сделаться благодетелем человечества? — утвердительно отвечать на этот вопрос трудно. Скорее, однако ж, можно думать, что в голове его вообще никаких предположений ни о чем не существовало. Лишь в позднейшие времена (почти на наших глазах) мысль о сочетании идеи прямолинейности с идеей всеобщего осчастливления была возведена в довольно сложную и неизъятую идеологических ухищрений административную теорию, но нивелляторы старого закала, подобные Угрюм-Бурчееву, действовали в простоте души, единственно по инстинктивному отвращению от кривой линии и всяких зигзагов и извилин. Угрюм-Бурчеев был прохвост в полном смысле этого слова. Не потому только, что он занимал эту должность в полку, но прохвост всем своим существом, всеми помыслами. Прямая линия соблазняла его не ради того, что она в то же время есть и кратчайшая — ему нечего было делать с краткостью, — а ради того, что по ней можно было весь век маршировать и ни до чего не домаршироваться. Виртуозность прямолинейности, словно ивовый кол, засела в его скорбной голове и пустила там целую непроглядную сеть корней и разветвлений. Это был какой-то таинственный лес, преисполненный волшебных сновидений. Таинственные тени гуськом шли одна за другой, застегнутые, выстриженные, однообразным шагом, в однообразных одеждах, всё шли, всё шли... Все они были снабжены одинаковыми физиономиями, все одинаково молчали и все одинаково куда-то исчезали. Куда? Казалось, за этим сонно-фантастическим миром существовал еще более фантастический провал, который разрешал все затруднения тем, что в нем все пропадало, — все без остатка. Когда фантастический провал поглощал достаточное количество фантастических теней, Угрюм-Бурчеев, если можно так выразиться, перевертывался на другой бок и снова начинал другой такой же сон. Опять шли гуськом тени одна за другой, все шли, все шли...Еще задолго до прибытия в Глупов, он уже составил в своей голове целый систематический бред, в котором, до последней мелочи, были регулированы все подробности будущего устройства этой злосчастной муниципии. На основании этого бреда вот в какой приблизительно форме представлялся тот город, который он вознамерился возвести на степень образцового.Посредине — площадь, от которой радиусами разбегаются во все стороны улицы, или, как он мысленно называл их, роты. По мере удаления от центра, роты пересекаются бульварами, которые в двух местах опоясывают город и в то же время представляют защиту от внешних врагов. Затем форштадт, земляной вал — и темная занавесь, то есть конец свету. Ни реки, ни ручья, ни оврага, ни пригорка — словом, ничего такого, что могло бы служить препятствием для вольной ходьбы, он не предусмотрел. Каждая рота имеет шесть сажен ширины — не больше и не меньше; каждый дом имеет три окна, выдающиеся в палисадник, в котором растут: барская спесь, царские кудри, бураки и татарское мыло. Все дома окрашены светло-серою краской, и хотя в натуре одна сторона улицы всегда обращена на север или восток, а другая на юг или запад, но даже и это упущено было из вида, а предполагалось, что и солнце и луна все стороны освещают одинаково и в одно и то же время дня и ночи.В каждом доме живут по двое престарелых, по двое взрослых, по двое подростков и по двое малолетков, причем лица различных полов не стыдятся друг друга. Одинаковость лет сопрягается с одинаковостию роста. В некоторых ротах живут исключительно великорослые, в других — исключительно малорослые, или застрельщики. Дети, которые при рождении оказываются необещающими быть твердыми в бедствиях, умерщвляются; люди крайне престарелые и негодные для работ тоже могут быть умерщвляемы, но только в таком случае, если, по соображениям околоточных надзирателей, в общей экономии наличных сил города чувствуется излишек. В каждом доме находится по экземпляру каждого полезного животного мужеского и женского пола, которые обязаны, во-первых, исполнять свойственные им работы и, во-вторых, — размножаться. На площади сосредоточиваются каменные здания, в которых помещаются общественные заведения, как-то: присутственные места и всевозможные манежи: для обучения гимнастике, фехтованию и пехотному строю, для принятия пищи, для общих коленопреклонений и проч. Присутственные места называются штабами, а служащие в них — писарями. Школ нет, и грамотности не полагается; наука числ преподается по пальцам. Нет ни прошедшего, ни будущего, а потому летосчисление упраздняется. Праздников два: один весною, немедленно после таянья снегов, называется «Праздником неуклонности» и служит приготовлением к предстоящим бедствиям; другой — осенью, называется «Праздником предержащих властей» и посвящается воспоминаниям о бедствиях, уже испытанных. От будней эти праздники отличаются только усиленным упражнением в маршировке.Такова была внешняя постройка этого бреда. Затем предстояло урегулировать внутреннюю обстановку живых существ, в нем захваченных. В этом отношении фантазия Угрюм-Бурчеева доходила до определительности поистине изумительной.Всякий дом есть не что иное, как *поселенная единица,* имеющая своего командира и своего шпиона (на шпионе он особенно настаивал) и принадлежащая к десятку, носящему название *взвода.* Взвод, в свою очередь, имеет командира и шпиона; пять взводов составляют роту, пять рот — полк. Всех полков четыре, которые образуют, во-первых, две бригады и, во-вторых, дивизию; в каждом из этих подразделений имеется командир и шпион. Затем следует собственно *Город,* который из Глупова переименовывается в «вечно-достойныя памяти великого князя Святослава Игоревича город *Непреклонск».* Над городом парит окруженный облаком градоначальник или, иначе, сухопутных и морских сил города Непреклонска обер-комендант, который со всеми входит в пререкания и всем дает чувствовать свою власть. Около него... шпион!!В каждой поселенной единице время распределяется самым строгим образом. С восходом солнца все в доме поднимаются; взрослые и подростки облекаются в единообразные одежды (по особым, апробованным градоначальником рисункам), подчищаются и подтягивают ремешки. Малолетные сосут на скорую руку материнскую грудь; престарелые произносят краткое поучение, неизменно оканчивающееся непечатным словом; шпионы спешат с рапортами. Через полчаса в доме остаются лишь престарелые и малолетки, потому что прочие уже отправились к исполнению возложенных на них обязанностей. Сперва они вступают в «манеж для коленопреклонений», где наскоро прочитывают молитву; потом направляют стопы в «манеж для телесных упражнений», где укрепляют организм фехтованием и гимнастикой; наконец, идут в «манеж для принятия пищи», где получают по куску черного хлеба, посыпанного солью. По принятии пищи выстраиваются на площади в каре, и оттуда, под предводительством командиров, повзводно разводятся на общественные работы. Работы производятся по команде. Обыватели разом нагибаются и выпрямляются; сверкают лезвия кос, взмахивают грабли, стучат заступы, сохи бороздят землю, — всё по команде. Землю пашут, стараясь выводить сохами вензеля, изображающие начальные буквы имен тех исторических деятелей, которые наиболее прославились неуклонностию. Около каждого рабочего взвода мерным шагом ходит солдат с ружьем, и через каждые пять минут стреляет в солнце. Посреди этих взмахов, нагибаний и выпрямлений прохаживается по прямой линии сам Угрюм-Бурчеев, весь покрытый по́том, весь преисполненный казарменным запахом, и затягивает:

Раз — перво́й! раз — другой! —

а за ним все работающие подхватывают:

Ухнем!  
Дубинушка, ухнем!

Но вот солнце достигает зенита, и Угрюм-Бурчеев кричит: «Шабаш!» Опять повзводно строятся обыватели и направляются обратно в город, где церемониальным маршем проходят через «манеж для принятия пищи» и получают по куску черного хлеба с солью. После краткого отдыха, состоящего в маршировке, люди снова строятся, и прежним порядком разводятся на работы впредь до солнечного заката. По закате всякий получает по новому куску хлеба и спешит домой лечь спать. Ночью над Непреклонском витает дух Угрюм-Бурчеева и зорко стережет обывательский сон...Ни бога, ни идолов — ничего...В этом фантастическом мире нет ни страстей, ни увлечений, ни привязанностей. Все живут каждую минуту вместе, и всякий чувствует себя одиноким. Жизнь ни на мгновенье не отвлекается от исполнения бесчисленного множества дурацких обязанностей, из которых каждая рассчитана заранее и над каждым человеком тяготеет как рок. Женщины имеют право рожать детей только зимой, потому что нарушение этого правила может воспрепятствовать успешному ходу летних работ. Союзы между молодыми людьми устраиваются не иначе, как сообразно росту и телосложению, так как это удовлетворяет требованиям правильного и красивого фронта. Нивелляторство, упрощенное до определенной дачи черного хлеба, — вот сущность этой кантонистской фантазии...Тем не менее, когда Угрюм-Бурчеев изложил свой бред перед начальством, то последнее не только не встревожилось им, но с удивлением, доходившим почти до благоговения, взглянуло на темного прохвоста, задумавшего уловить вселенную. Страшная масса исполнительности, действующая как один человек, поражала воображение. Весь мир представлялся испещренным черными точками, в которых, под бой барабана, двигаются по прямой линии люди, и всё идут, всё идут. Эти поселенные единицы, эти взводы, роты, полки — все это, взятое вместе, не намекает ли на какую-то лучезарную даль, которая покамест еще задернута туманом, но со временем, когда туманы рассеются и когда даль откроется... Что же это, однако, за даль? что скрывает она?— Ка-за-р-рмы! — совершенно определительно подсказывало возбужденное до героизма воображение.— Казар-р-мы! — в свою очередь, словно эхо, вторил угрюмый прохвост и произносил при этом такую несосветимую клятву, что начальство чувствовало себя как бы опаленным каким-то таинственным огнем...Управившись с Грустиловым и разогнав безумное скопище, Угрюм-Бурчеев немедленно приступил к осуществлению своего бреда.Но в том виде, в каком Глупов предстал глазам его, город этот далеко не отвечал его идеалам. Это была скорее беспорядочная куча хижин, нежели город. Не имелось ясного центрального пункта; улицы разбегались вкривь и вкось; дома лепились кое-как, без всякой симметрии, по местам теснясь друг к другу, по местам оставляя в промежутках огромные пустыри. Следовательно, предстояло не улучшать, но создавать вновь. Но что же может значить слово «создавать» в понятиях такого человека, который с юных лет закалился в должности прохвоста? — «Создавать» — это значит представить себе, что находишься в дремучем лесу; это значит взять в руку топор и, помахивая этим орудием творчества направо и налево, неуклонно идти куда глаза глядят. Именно так Угрюм-Бурчеев и поступил.На другой же день по приезде он обошел весь город. Ни кривизна улиц, ни великое множество закоулков, ни разбросанность обывательских хижин — ничто не остановило его. Ему было ясно одно: что, перед глазами его дремучий лес и что следует с этим лесом распорядиться. Наткнувшись на какую-нибудь неправильность, Угрюм-Бурчеев на минуту вперял в нее недоумевающий взор, но тотчас же выходил из оцепенения и молча делал жест вперед, как бы проектируя прямую линию. Так шел он долго, все простирая руку и проектируя, и только тогда, когда глазам его предстала река, он почувствовал, что с ним совершилось что-то необыкновенное.Он позабыл... он ничего подобного не предвидел... До сих пор фантазия его шла все прямо, все по ровному месту. Она устраняла, рассекала и воздвигала моментально, не зная препятствий, а питаясь исключительно своим собственным содержанием. И вдруг... Излучистая полоса жидкой стали сверкнула ему в глаза, сверкнула и не только не исчезла, но даже не замерла под взглядом этого административного василиска. Она продолжала двигаться, колыхаться и издавать какие-то особенные, но несомненно живые звуки. Она жила.— Кто тут? — спросил он в ужасе.Но река продолжала свой говор, и в этом говоре слышалось что-то искушающее, почти зловещее. Казалось, эти звуки говорили: «Хитер, прохвост, твой бред, но есть и другой бред, который, пожалуй, похитрей твоего будет». Да; это был тоже бред, или, лучше сказать, тут встали лицом к лицу два бреда: один, созданный лично Угрюм-Бурчеевым, и другой, который врывался откуда-то со стороны и заявлял о совершенной своей независимости от первого.— Зачем? — спросил, указывая глазами на реку, Угрюм-Бурчеев у сопровождавших его квартальных, когда прошел первый момент оцепенения.Квартальные не поняли; но во взгляде градоначальника было нечто до такой степени устраняющее всякую возможность уклониться от объяснения, что они решились отвечать, даже не понимая вопроса.— Река-с... навоз-с... — лепетали они как попало.— Зачем? — повторил он испуганно и вдруг, как бы боясь углубляться в дальнейшие расспросы, круто повернул налево кругом и пошел назад.Судорожным шагом возвращался он домой и бормотал себе под нос:— Уйму! я ее уйму!Дома он через минуту уж решил дело по существу. Два одинаково великих подвига предстояли ему: разрушить город и устранить реку. Средства для исполнения первого подвига были обдуманы уже заранее; средства для исполнения второго представлялись ему неясно и сбивчиво. Но так как не было той силы в природе, которая могла бы убедить прохвоста в неведении чего бы то ни было, то в этом случае невежество являлось не только равносильным знанию, но даже в известном смысле было прочнее его.Он не был ни технолог, ни инженер; но он был твердой души прохвост, а это тоже своего рода сила, обладая которою можно покорить мир. Он ничего не знал ни о процессе образования рек, ни о законах, по которым они текут вниз, а не вверх, но был убежден, что стоит только указать: от сих мест до сих — и на протяжении отмеренного пространства наверное возникнет материк, а затем по-прежнему, и направо и налево, будет продолжать течь река.Остановившись на этой мысли, он начал готовиться.В какой-то дикой задумчивости бродил он по улицам, заложив руки за спину и бормоча под нос невнятные слова. На пути встречались ему обыватели, одетые в самые разнообразные лохмотья, и кланялись в пояс. Перед некоторыми он останавливался, вперял непонятливый взор в лохмотья и произносил:— Зачем?И, снова впавши в задумчивость, продолжал путь далее.Минуты этой задумчивости были самыми тяжелыми для глуповцев. Как оцепенелые, застывали они перед ним, не будучи в силах оторвать глаза от его светлого, как сталь, взора. Какая-то неисповедимая тайна скрывалась в этом взоре, и тайна эта тяжелым, почти свинцовым пологом нависла над целым городом.Город приник; в воздухе чувствовались спертость и духота.*Он* еще не сделал никаких распоряжений, не высказал никаких мыслей, никому не сообщил своих планов, а все уже понимали, что пришел *конец.* В этом убеждало беспрерывное мелькание идиота, носившего в себе тайну; в этом убеждало тихое рычание, исходившее из его внутренностей. Незримо ни для кого, прокрался в среду обывателей смутный ужас и безраздельно овладел всеми. Все мыслительные силы сосредоточивались на загадочном идиоте, и в мучительном беспокойстве кружились в одном и том же волшебном круге, которого центром был *он.* Люди позабыли прошедшее и не задумывались о будущем. Нехотя исполняли они необходимые житейские дела, нехотя сходились друг с другом, нехотя жили со дня на день. К чему? — вот единственный вопрос, который ясно представлялся каждому при виде грядущего вдали идиота. Зачем жить, если жизнь навсегда отравлена представлением об идиоте? Зачем жить, если нет средств защитить взор от его ужасного вездесущия? Глуповцы позабыли даже взаимные распри и попрятались по углам в тоскливом ожидании...Казалось, он и сам понимал, что конец наступил. Никакими текущими делами он не занимался, а в правление даже не заглядывал. Он порешил однажды навсегда, что старая жизнь безвозвратно канула в вечность и что, следовательно, незачем и тревожить этот хлам, который не имеет никакого отношения к будущему. Квартальные нравственно и физически истерзались; вытянувшись и затаивши дыхание, они становились на линии, по которой *он* проходил, и ждали, не будет ли приказаний; но приказаний не было. Он молча проходил мимо и не удостоивал их даже взглядом. Не стало в Глупове никакого суда: ни милостивого, ни немилостивого, ни скорого, ни нескорого. На первых порах глуповцы, по старой привычке, вздумали было обращаться к нему с претензиями и жалобами друг на друга; но он даже не понял их.— Зачем? — говорил он, с каким-то диким изумлением обозревая жалобщика с головы до ног.В смятении оглянулись глуповцы назад и с ужасом увидели, что назади действительно ничего нет.Наконец страшный момент настал. После недолгих колебаний он решил так: сначала разрушить город, а потом уже приступить и к реке. Очевидно, он еще надеялся, что река образумится сама собой.За неделю до Петрова дня он объявил приказ: всем говеть. Хотя глуповцы всегда говели охотно, но, выслушавши внезапный приказ Угрюм-Бурчеева, смутились. Стало быть, и в самом деле предстоит что-нибудь решительное, коль скоро, для принятия этого решительного, потребны такие приготовления? Этот вопрос сжимал все сердца тоскою. Думали сначала, что *он* будет палить, но, заглянув на градоначальнический двор, где стоял пушечный снаряд, из которого обыкновенно палили в обывателей, убедились, что пушки стоят незаряженные. Потом остановились на мысли, что будет произведена повсеместная «выемка», и стали готовиться к ней: прятали книги, письма, лоскутки бумаги, деньги и даже иконы, — одним словом, все, в чем можно было усмотреть какое-нибудь «оказательство».— Кто его знает, какой он веры? — шептались промеж себя глуповцы, — может, и фармазон?А *он* все маршировал по прямой линии, заложив руки за спину, и никому не объявлял своей тайны.В Петров день все причастились, а многие даже соборовались накануне. Когда запели причастный стих, в церкви раздались рыдания, «больше же всех вопили голова и предводитель, опасаясь за многое имение свое». Затем, проходя от причастия мимо градоначальника, кланялись и поздравляли; но он стоял дерзостно и никому даже не кивнул головой. День прошел в тишине невообразимой. Стали люди разгавливаться, но никому не шел кусок в горло, и все опять заплакали. Но когда проходил мимо градоначальник (он в этот день ходил форсированным маршем), то поспешно отирали слезы и старались придать лицам беспечное и доверчивое выражение. Надежда не вся еще исчезла. Все думалось: вот увидят начальники нашу невинность и простят...Но Угрюм-Бурчеев ничего не увидел и ничего не простил.«30-го июня, — повествует летописец, — на другой день празднованья памяти святых и славных апостолов Петра и Павла, был сделан первый приступ к сломке города». Градоначальник, с топором в руке, первый выбежал из своего дома и, как озаренный, бросился на городническое правление. Обыватели последовали примеру его. Разделенные на отряды (в каждом уже с вечера был назначен особый урядник и особый шпион), они разом на всех пунктах начали работу разрушения. Раздался стук топора и визг пилы; воздух наполнился криками рабочих и грохотом падающих на землю бревен; пыль густым облаком нависла над городом и затемнила солнечный свет. Все были налицо, все до единого: взрослые и сильные рубили и ломали; малолетные и слабосильные сгребали мусор и свозили его к реке. От зари до зари люди неутомимо преследовали задачу разрушения собственных жилищ, а на ночь укрывались в устроенных на выгоне бараках, куда было свезено и обывательское имущество. Они сами не понимали, что делают, и даже не вопрошали друг друга, точно ли это наяву происходит. Они сознавали только одно: что конец наступил и что за ними везде, везде следит непонятливый взор угрюмого идиота. Мельком, словно во сне, припоминались некоторым старикам примеры из истории, а в особенности из эпохи, когда градоначальствовал Бородавкин, который навел в город оловянных солдатиков и однажды, в минуту безумной отваги, скомандовал им: «Ломай!» Но ведь тогда все-таки была война, а теперь... без всякого повода... среди глубокого земского мира...Угрюм-Бурчеев мерным шагом ходил среди всеобщего опустошения, и на губах его играла та же самая улыбка, которая озарила лицо его в ту минуту, когда он, в порыве начальстволюбия, отрубил себе указательный палец правой руки. Он был доволен, он даже мечтал. Мысленно он уже шел дальше простого разрушения. Он рассортировывал жителей по росту и телосложению; он разводил мужей с законными женами и соединял с чужими; он раскассировывал детей по семьям, соображаясь с положением каждого семейства; он назначал взводных, ротных и других командиров, избирал шпионов и т. д. Клятва, данная начальнику, наполовину уже выполнена. Все начеку, все кипит, все готово вынырнуть во всеоружии; остаются подробности, но и те давным-давно предусмотрены и решены. Какая-то сладкая восторженность пронизывала все существо угрюмого прохвоста и уносила его далеко, далеко.В упоении гордости он вперял глаза в небо, смотрел на светила небесные, и, казалось, это зрелище приводило его в недоумение.— Зачем? — бормотал он чуть слышно и долго-долго о чем-то думал и что-то соображал.Что именно?Через полтора или два месяца не оставалось уже камня на камне. Но по мере того, как работа опустошения приближалась к набережной реки, чело Угрюм-Бурчеева омрачалось. Рухнул последний, ближайший к реке дом; в последний раз звякнул удар топора, а река не унималась. По-прежнему она текла, дышала, журчала и извивалась; по-прежнему один берег ее был крут, а другой представлял луговую низину, на далекое пространство заливаемую, в весеннее время, водой. Бред продолжался.Громадные кучи мусора, навоза и соломы уже были сложены по берегам и ждали только мания, чтобы исчезнуть в глубинах реки. Нахмуренный идиот бродил между грудами и вел им счет, как бы опасаясь, чтоб кто-нибудь не похитил драгоценного материала. По временам он с уверенностию бормотал:— Уйму́! я ее уйму!И вот вожделенная минута наступила. В одно прекрасное утро, созвавши будочников, он привел их к берегу реки, отмерил шагами пространство, указал глазами на течение и ясным голосом произнес:— От сих мест — до сих!Как ни были забиты обыватели, но и они восчувствовали. До сих пор разрушались только дела рук человеческих, теперь же очередь доходила до дела извечного, нерукотворного. Многие разинули рты, чтоб возроптать, но он даже не заметил этого колебания, а только как бы удивился, зачем люди мешкают.— Гони! — скомандовал он будочникам, вскидывая глазами на колышущуюся толпу.Борьба с природой восприяла начало.Масса, с тайными вздохами ломавшая дома свои, с тайными же вздохами закопошилась в воде. Казалось, что рабочие силы Глупова сделались неистощимыми и что чем более заявляла себя бесстыжесть притязаний, тем растяжимее становилась сумма орудий, подлежащих ее эксплуатации.Много было наезжих людей, которые разоряли Глупов; одни — ради шутки, другие — в минуту грусти, запальчивости или увлечения; но Угрюм-Бурчеев был первый, который задумал разорить город серьезно. От зари до зари кишели люди в воде, вбивая в дно реки сваи и заваливая мусором и навозом пропасть, казавшуюся бездонною. Но слепая стихия шутя рвала и разметывала наносимый ценою нечеловеческих усилий хлам и с каждым разом все глубже и глубже прокладывала себе ложе. Щепки, навоз, солома, мусор — все уносилось быстриной в неведомую даль, и Угрюм-Бурчеев, с удивлением, доходящим до испуга, следил «непонятливым» оком за этим почти волшебным исчезновением его надежд и намерений.Наконец люди истомились и стали заболевать. Сурово выслушивал Угрюм-Бурчеев ежедневные рапорты десятников о числе выбывших из строя рабочих и, не дрогнув ни одним мускулом, командовал:— Гони!Появлялись новые партии рабочих, которые, как цвет папоротника, где-то таинственно нарастали, чтобы немедленно же исчезнуть в пучине водоворота. Наконец привели и предводителя, который один в целом городе считал себя свободным от работ, и стали толкать его в реку. Однако предводитель пошел не сразу, но протестовал и сослался на какие-то права.— Гони! — скомандовал Угрюм-Бурчеев.Толпа загоготала. Увидев, как предводитель, краснея и стыдясь, засучивал штаны, она почувствовала себя бодрою и удвоила усилия.Но тут встретилось новое затруднение: груды мусора убывали в виду всех, так что скоро нечего было валить в реку. Принялись за последнюю груду, на которую Угрюм-Бурчеев надеялся как на каменную гору. Река задумалась, забуровила дно, но через мгновение потекла веселее прежнего.Однажды, однако, счастье улыбнулось ему. Собрав последние усилия и истощив весь запас мусора, жители принялись за строительный материал и разом двинули в реку целую массу его. Затем толпы с гиком бросились в воду и стали погружать материал на дно. Река всею массою вод хлынула на это новое препятствие и вдруг закрутилась на одном месте. Раздался треск, свист и какое-то громадное клокотание, словно миллионы неведомых гадин разом пустили свой шип из водяных хлябей. Затем все смолкло; река на минуту остановилась и тихо-тихо начала разливаться по луговой стороне.К вечеру разлив был до того велик, что не видно было пределов его, а вода между тем все еще прибывала и прибывала. Откуда-то слышался гул; казалось, что где-то рушатся целые деревни, и там раздаются вопли, стоны и проклятия. Плыли по воде стоги сена, бревна, плоты, обломки изб и, достигнув плотины, с треском сталкивались друг с другом, ныряли, опять выплывали и сбивались в кучу в одном месте. Разумеется, Угрюм-Бурчеев ничего этого не предвидел, но, взглянув на громадную массу вод, он до того просветлел, что даже получил дар слова и стал хвастаться.— Тако да видят людие! — сказал он, думая попасть в господствовавший в то время фотиевско-аракчеевский тон; но потом, вспомнив, что он все-таки не более как прохвост, обратился к будочникам и приказал согнать городских попов:— Гони!Нет ничего опаснее, как воображение прохвоста, не сдерживаемого уздою и не угрожаемого непрерывным представлением о возможности наказания на теле. Однажды возбужденное, оно сбрасывает с себя всякое иго действительности и начинает рисовать своему обладателю предприятия самые грандиозные. Погасить солнце, провертеть в земле дыру, через которую можно было бы наблюдать за тем, что делается в аду, — вот единственные цели, которые истинный прохвост признает достойными своих усилий. Голова его уподобляется дикой пустыне, во всех закоулках которой восстают образы самой привередливой демонологии. Все это мятется, свистит, гикает и, шумя невидимыми крыльями, устремляется куда-то в темную, безрассветную даль...То же произошло и с Угрюм-Бурчеевым. Едва увидел он массу воды, как в голове его уже утвердилась мысль, что у него будет свое собственное море. И так как за эту мысль никто не угрожал ему шпицрутенами, то он стал развивать ее дальше и дальше. Есть море — значит, есть и флоты: во-первых, разумеется, военный, потом торговый. Военный флот то и дело бомбардирует; торговый — перевозит драгоценные грузы. Но так как Глупов всем изобилует и ничего, кроме розог и административных мероприятий, не потребляет, другие же страны, как-то: село Недоедово, деревня Голодаевка и проч., суть совершенно голодные и притом до чрезмерности жадные, то естественно, что торговый баланс всегда склоняется в пользу Глупова. Является великое изобилие звонкой монеты, которую, однако ж, глуповцы презирают и бросают в навоз, а из навоза секретным образом выкапывают ее евреи и употребляют на исходатайствование железнодорожных концессий.И что ж! — все эти мечты рушились на другое же утро. Как ни старательно утаптывали глуповцы вновь созданную плотину, как ни охраняли они ее неприкосновенность в течение целой ночи, измена уже успела проникнуть в ряды их.Едва успев продрать глаза, Угрюм-Бурчеев тотчас же поспешил полюбоваться на произведение своего гения, но, приблизившись к реке, встал как вкопанный. Произошел новый бред. Луга обнажились; остатки монументальной плотины в беспорядке уплывали вниз по течению, а река журчала и двигалась в своих берегах, точь-в-точь как за день тому назад.Некоторое время Угрюм-Бурчеев безмолвствовал. С каким-то странным любопытством следил он, как волна плывет за волною, сперва одна, потом другая, и еще, и еще... И все это куда-то стремится и где-то, должно быть, исчезает...Вдруг он пронзительно замычал и порывисто повернулся на каблуке.— Напра-во круг-гом! за мной! — раздалась команда.Он решился. Река не захотела уйти от него — он уйдет от нее. Место, на котором стоял старый Глупов, опостылело ему. Там не повинуются стихии, там овраги и буераки на каждом шагу преграждают стремительный бег; там воочию совершаются волшебства, о которых не говорится ни в регламентах, ни в сепаратных предписаниях начальства. Надо бежать!Скорым шагом удалялся он прочь от города, а за ним, понурив головы и едва поспевая, следовали обыватели. Наконец, к вечеру, он пришел. Перед глазами его расстилалась совершенно ровная низина, на поверхности которой не замечалось ни одного бугорка, ни одной впадины. Куда ни обрати взоры — везде гладь, везде ровная скатерть, по которой можно шагать до бесконечности. Это был тоже бред, но бред точь-в-точь совпадавший с тем бредом, который гнездился в его голове...— Здесь! — крикнул он ровным, беззвучным голосом.Строился новый город на новом месте, но одновременно с ним выползало на свет что-то иное, чему еще не было в то время придумано названия, и что лишь в позднейшее время сделалось известным под довольно определенным названием «дурных страстей» и «неблагонадежных элементов». Неправильно было бы, впрочем, полагать, что это «иное» появилось тогда в первый раз; нет, оно уже имело свою историю...Еще во времена Бородавкина летописец упоминает о некотором Ионке Козыре, который, после продолжительных странствий по теплым морям и кисельным берегам, возвратился в родной город и привез с собой собственного сочинения книгу под названием: «Письма к другу о водворении на земле добродетели». Но так как биография этого Ионки составляет драгоценный материал для истории русского либерализма, то читатель, конечно, не посетует, если она будет рассказана здесь с некоторыми подробностями.Отец Ионки, Семен Козырь, был простой мусорщик, который, воспользовавшись смутными временами, нажил себе значительное состояние. В краткий период безначалия (см. «Сказание о шести градоначальницах»), когда, в течение семи дней, шесть градоначальниц вырывали друг у друга кормило правления, он, с изумительною для глуповца ловкостью, перебегал от одной партии к другой, причем так искусно заметал следы свои, что законная власть ни минуты не сомневалась, что Козырь всегда оставался лучшею и солиднейшею поддержкой ее. Пользуясь этим ослеплением, он сначала продовольствовал войска Ираидки, потом войска Клементинки, Амальки, Нельки и, наконец, кормил крестьянскими лакомствами Дуньку-толстопятую и Матренку-ноздрю. За все это он получал деньги по справочным ценам, которые сам же сочинял, а так как для Мальки, Нельки и прочих время было горячее и считать деньги некогда, то расчеты кончались тем, что он запускал руку в мешок и таскал оттуда пригоршнями.Ни помощник градоначальника, ни неустрашимый штаб-офицер — никто ничего не знал об интригах Козыря, так что когда приехал в Глупов подлинный градоначальник, Двоекуров, и началась разборка «оного нелепого и смеха достойного глуповского смятения», то за Семеном Козырем не только не было найдено ни малейшей вины, но, напротив того, оказалось, что это «подлинно достойнейший и благопоспешительнейший к подавлению революций гражданин».Двоекурову Семен Козырь полюбился по многим причинам. Во-первых, за то, что жена Козыря, Анна, пекла превосходнейшие пироги; во-вторых, за то, что Семен, сочувствуя просветительным подвигам градоначальника, выстроил в Глупове пивоваренный завод и пожертвовал сто рублей для основания в городе академии; в-третьих, наконец, за то, что Козырь не только не забывал ни Симеона-богоприимца, ни Гликерии-девы (дней тезоименитства градоначальника и супруги его), но даже праздновал им дважды в год.Долго памятен был указ, которым Двоекуров возвещал обывателям об открытии пивоваренного завода и разъяснял вред водки и пользу пива. «Водка, — говорилось в том указе, — не токмо не вселяет веселонравия, как многие полагают, но, при довольном употреблении, даже отклоняет от оного и порождает страсть к убивству. Пива же можно кушать сколько угодно и без всякой опасности, ибо оное не печальные мысли внушает, а токмо добрые и веселые. А потому советуем и приказываем: водку кушать только перед обедом, но и то из малой рюмки; в прочее же время безопасно кушать пиво, которое ныне в весьма превосходном качестве и не весьма дорогих цен из заводов 1-й гильдии купца Семена Козыря отпущается». Последствия этого указа были для Козыря бесчисленны. В короткое время он до того процвел, что начал уже находить, что в Глупове ему тесно, а «нужно-де мне, Козырю, вскорости в Петербурге быть, а тамо и ко двору явиться».Во время градоначальствования Фердыщенки Козырю посчастливилось еще больше, благодаря влиянию ямщичихи Аленки, которая приходилась ему внучатной сестрой. В начале 1766 года он угадал голод и стал заблаговременно скупать хлеб. По его наущению Фердыщенко поставил у всех застав полицейских, которые останавливали возы с хлебом и гнали их прямо на двор к скупщику. Там Козырь объявлял, что платит за хлеб «по такции», и ежели между продавцами возникали сомнения, то недоумевающих отправлял в часть.Но как пришло это баснословное богатство, так оно и улетучилось. Во-первых, Козырь не поладил с Домашкой-стрельчихой, которая заняла место Аленки. Во-вторых, побывав в Петербурге, Козырь стал хвастаться; князя Орлова звал Гришей, а о Мамонове и Ермолове говорил, что они умом коротки, что он, Козырь, «много им насчет национальной политики толковал, да мало они поняли».В одно прекрасное утро, нежданно-негаданно, призвал Фердыщенко Козыря и повел к нему такую речь:— Правда ли, — говорил он, — что ты, Семен, светлейшего Римской империи князя Григория Григорьевича Орлова Гришкою величал и, ходючи по кабакам, перед всякого звания людьми за приятеля себе выдавал?Козырь замялся.— И на то у меня свидетели есть, — продолжал Фердыщенко таким тоном, который не дозволял усомниться, что он подлинно знает, что говорит.Козырь побледнел.— И я тот твой бездельный поступок, по благодушию своему, прощаю! — вновь начал Фердыщенко, — а которое ты имение награбил, и то имение твое отписываю я, бригадир, на себя. Ступай и молись богу.И точно: в тот же день отписал бригадир на себя Козыреву движимость и недвижимость, подарив, однако, виновному хижину на краю города, чтобы было где душу спасти и себя прокормить.Больной, озлобленный, всеми забытый, доживал Козырь свой век и на закате дней вдруг почувствовал прилив «дурных страстей» и «неблагонадежных элементов». Стал проповедывать, что собственность есть мечтание, что только нищие да постники взойдут в царствие небесное, а богатые да бражники будут лизать раскаленные сковороды и кипеть в смоле. Причем, обращаясь к Фердыщенке (тогда было на этот счет просто: грабили, но правду выслушивали благодушно), прибавлял:— Вот и ты, чертов угодник, в аду с братцем своим сатаной калеными угольями трапезовать станешь, а я, Семен, тем временем на лоне Авраамлем почивать буду.Таков был первый глуповский демагог.Ионы Козыря не было в Глупове, когда отца его постигла страшная катастрофа. Когда он возвратился домой, все ждали, что поступок Фердыщенки приведет его, по малой мере, в негодование; но он выслушал дурную весть спокойно, не выразив ни огорчения, ни даже удивления. Это была довольно развитая, но совершенно мечтательная натура, которая вполне безучастно относилась к существующему факту и эту безучастность восполняла большою дозою утопизма. В голове его мелькал какой-то рай, в котором живут добродетельные люди, делают добродетельные дела и достигают добродетельных результатов. Но все это именно только мелькало, не укладываясь в определенные формы и не идя далее простых и не вполне ясных афоризмов. Самая книга «О водворении на земле добродетели» была не что иное, как свод подобных афоризмов, не указывавших и даже не имевших целью указать на какие-либо практические применения. Ионе приятно было сознавать себя добродетельным, а, конечно, еще было бы приятнее, если б и другие тоже сознавали себя добродетельными. Это была потребность его мягкой, мечтательной натуры; это же обусловливало для него и потребность пропаганды. Сожительство добродетельных с добродетельными, отсутствие зависти, огорчений и забот, кроткая беседа, тишина, умеренность — вот идеалы, которые он проповедовал, ничего не зная о способах их осуществления.Несмотря на свою расплывчивость, учение Козыря приобрело, однако ж, столько прозелитов в Глупове, что градоначальник Бородавкин счел нелишним обеспокоиться этим. Сначала он вытребовал к себе книгу «О водворении на земле добродетели» и освидетельствовал ее; потом вытребовал и самого автора для освидетельствования.— Чёл я твою, Ионкину, книгу, — сказал он, — и от многих написанных в ней злодейств был приведен в омерзение.Ионка казался изумленным. Бородавкин продолжал:— Мнишь ты всех людей добродетельными сделать, а про то позабыл, что добродетель не от тебя, а от бога, и от бога же всякому человеку пристойное место указано.Ионка изумлялся все больше и больше этому приступу и не столько со страхом, сколько с любопытством ожидал, к каким Бородавкин придет выводам.— Ежели есть на свете клеветники, тати, злодеи и душегубцы (о чем и в указах неотступно публикуется), — продолжал градоначальник, — то с чего же тебе, Ионке, на ум взбрело, чтоб им не быть? и кто тебе такую власть дал, чтобы всех сих людей от природных их званий отставить и зауряд с добродетельными людьми в некоторое смеха достойное место, тобою «раем» продерзостно именуемое, включить?Ионка разинул было рот для некоторых разъяснений, но Бородавкин прервал его:— Погоди. И ежели все люди «в раю» в песнях и плясках время препровождать будут, то кто же, по твоему, Ионкину, разумению, землю пахать станет? и вспахавши сеять? и посеявши жать? и собравши плоды, оными господ дворян и прочих чинов людей довольствовать и питать?Опять разинул рот Ионка, и опять Бородавкин удержал его порыв.— Погоди. И за те твои бессовестные речи судил я тебя, Ионку, судом скорым, и присудили тако: книгу твою, изодрав, растоптать (говоря это, Бородавкин изодрал и растоптал), с тобой же самим, яко с растлителем добрых нравов, по предварительной отдаче на поругание, поступить, как мне, градоначальнику, заблагорассудится.Таким образом, Ионой Козырем начался мартиролог глуповского либерализма.Разговор этот происходил утром в праздничный день, а в полдень вывели Ионку на базар и, дабы сделать вид его более омерзительным, надели на него сарафан (так как в числе последователей Козырева учения было много женщин), а на груди привесили дощечку с надписью: *бабник и прелюбодей.* В довершение всего квартальные приглашали торговых людей плевать на преступника, что и исполнялось. К вечеру Ионки не стало.Таков был первый дебют глуповского либерализма. Несмотря, однако ж, на неудачу, «дурные страсти» не умерли, а образовали традицию, которая переходила преемственно из поколения в поколение и при всех последующих градоначальниках. К сожалению, летописцы не предвидели страшного распространения этого зла в будущем, а потому, не обращая должного внимания на происходившие перед ними факты, заносили их в свои тетрадки с прискорбною краткостью. Так, например, при Негодяеве упоминается о некоем дворянском сыне Ивашке Фарафонтьеве, который был посажен на цепь за то, что говорил хульные слова, а слова те в том состояли, что «всем-де людям в еде равная потреба настоит, и кто-де ест много, пускай делится с тем, кто есть мало». «И сидя на цепи, Ивашка умре», — прибавляет летописец. Другой пример случился при Микаладзе, который хотя был сам либерал, но, по страстности своей натуры, а также по новости дела, не всегда мог воздерживаться от заушений. Во время его управления городом, тридцать три философа были рассеяны по лицу земли за то, что «нелепым обычаем говорили: трудящийся да яст; нетрудящийся же да вкусит от плодов безделия своего». Третий пример был при Беневоленском, когда был «подвергнут расспросным речам» дворянский сын Алешка Беспятов, за то, что в укору градоначальнику, любившему заниматься законодательством, утверждал: «худы-де те законы, кои писать надо, а те законы исправны, кои и без письма в естестве у каждого человека нерукотворно написаны». И он тоже «от расспросных речей да с испугу и с боли умре». После Беспятова либеральный мартиролог временно прекратился. Прыщ и Иванов были глупы; дю Шарио же был и глуп, и, кроме того, сам заражен либерализмом. Грустилов, в первую половину своего градоначальствования, не только не препятствовал, но даже покровительствовал либерализму, потому что смешивал его с вольным обращением, к которому от природы имел непреодолимую склонность. Только впоследствии, когда блаженный Парамоша и юродивенькая Аксиньюшка взяли в руки бразды правления, либеральный мартиролог вновь восприял начало, в лице учителя каллиграфии Линкина, доктрина которого, как известно, состояла в том, что «все мы, что человеки, что скоты — все помрем и все к чертовой матери пойдем». Вместе с Линкиным чуть было не попались впросак два знаменитейшие философа того времени, Фунич и Мерзицкий, но вовремя спохватились и начали, вместе с Грустиловым, присутствовать при «восхищениях» (см. «Поклонение мамоне и покаяние»). Поворот Грустилова дал либерализму новое направление, которое можно назвать центробежно-центростремительно-неисповедимо-завиральным. Но это был все-таки либерализм, а потому и он успеха иметь не мог, ибо уже наступила минута, когда либерализма не требовалось вовсе. Не требовалось совсем, ни под каким видом, ни в каких формах, ни даже в форме нелепости, ни даже в форме восхищения начальством.Восхищение начальством! что значит восхищение начальством? Это значит такое оным восхищение, которое в то же время допускает и возможность оным *не*восхищения! А отсюда до революции — один шаг!Со вступлением в должность градоначальника Угрюм-Бурчеева либерализм в Глупове прекратился вовсе, а потому и мартиролог не возобновлялся. «Будучи, выше меры, обременены телесными упражнениями, — говорит летописец, — глуповцы, с устатку, ни о чем больше не мыслили, кроме как о выпрямлении согбенных работой телес своих». Таким образом продолжалось все время, покуда Угрюм-Бурчеев разрушал старый город и боролся с рекою. Но по мере того как новый город приходил к концу, телесные упражнения сокращались, а вместе с досугом из-под пепла возникало и пламя измены...Дело в том, что по окончательном устройстве города последовал целый ряд празднеств. Во-первых, назначен был праздник по случаю переименования города из Глупова в Непреклонск; во-вторых, последовал праздник в воспоминание побед, одержанных бывшими градоначальниками над обывателями; и, в-третьих, по случаю наступления осеннего времени, сам собой подошел праздник «предержащих властей». Хотя, по первоначальному проекту Угрюм-Бурчеева, праздники должны были отличаться от будней только тем, что в эти дни жителям, вместо работ, предоставлялось заниматься усиленной маршировкой, но на этот раз бдительный градоначальник оплошал. Бессонная ходьба по прямой линии до того сокрушила его железные нервы, что, когда затих в воздухе последний удар топора, он едва успел крикнуть «шабаш!» — как тут же повалился на землю и захрапел, не сделав даже распоряжения о назначении новых шпионов.Изнуренные, обруганные и уничтоженные, глуповцы, после долгого перерыва, в первый раз вздохнули свободно. Они взглянули друг на друга — и вдруг устыдились. Они не понимали, что именно произошло вокруг них, но чувствовали, что воздух наполнен сквернословием и что далее дышать в этом воздухе невозможно. Была ли у них история, были ли в этой истории моменты, когда они имели возможность проявить свою самостоятельность? — ничего они не помнили. Помнили только, что у них были Урус-Кугуш-Кильдибаевы, Негодяевы, Бородавкины и, в довершение позора, этот ужасный, этот бесславный прохвост! И все это глушило, грызло, рвало зубами — во имя чего? Груди захлестывало кровью, дыхание занимало, лица судорожно искривляло гневом при воспоминании о бесславном идиоте, который, с топором в руке, пришел неведомо отколь и с неисповедимою наглостью изрек смертный приговор прошедшему, настоящему и будущему...А он между тем неподвижно лежал на самом солнечном припеке и тяжело храпел. Теперь он был у всех на виду; всякий мог свободно рассмотреть его и убедиться, что это подлинный идиот — и ничего более.Когда он разрушал, боролся со стихиями, предавал огню и мечу, еще могло казаться, что в нем олицетворяется что-то громадное, какая-то всепокоряющая сила, которая, независимо от своего содержания, может поражать воображение; теперь, когда он лежал поверженный и изнеможенный, когда ни на ком не тяготел его, исполненный бесстыжества, взор, делалось ясным, что это «громадное», это «всепокоряющее» — не что иное, как идиотство, не нашедшее себе границ.Как ни запуганы были умы, но потребность освободить душу от обязанности вникать в таинственный смысл выражения «курицын сын» была настолько сильна, что изменила и самый взгляд на значение Угрюм-Бурчеева. Это был уже значительный шаг вперед в деле преуспеяния «неблагонадежных элементов». Прохвост проснулся, но взор его уже не произвел прежнего впечатления. Он раздражал, но не пугал. Убеждение, что это не злодей, а простой идиот, который шагает все прямо и ничего не видит, что делается по сторонам, с каждым днем приобретало все больший и больший авторитет. Но это раздражало еще сильнее. Мысль, что шагание бессрочно, что в идиоте таится какая-то сила, которая цепенит умы, сделалась невыносимою. Никто не задавался предположениями, что идиот может успокоиться или обратиться к лучшим чувствам и что при таком обороте жизнь сделается возможною и даже, пожалуй, спокойною. Не только спокойствие, но даже самое счастье казалось обидным и унизительным, в виду этого прохвоста, который единолично сокрушил целую массу мыслящих существ.«Он» даст какое-то счастие! «Он» скажет им: я вас разорил и оглушил, а теперь позволю вам быть счастливыми! И они выслушают эту речь хладнокровно! они воспользуются его дозволением и будут счастливы! Позор!!!А Угрюм-Бурчеев все маршировал и все смотрел прямо, отнюдь не подозревая, что под самым его носом кишат дурные страсти и чуть-чуть не воочию выплывают на поверхность неблагонадежные элементы. По примеру всех благопопечительных благоустроителей, он видел только одно: что мысль, так долго зревшая в его заскорузлой голове, наконец осуществилась, что он подлинно обладает прямою линией и может маршировать по ней сколько угодно. Затем, имеется ли на этой линии что-нибудь живое, и может ли это «живое» ощущать, мыслить, радоваться, страдать, способно ли оно, наконец, из «благонадежного» обратиться в «неблагонадежное» — все это не составляло для него даже вопроса...Раздражение росло тем сильнее, что глуповцы все-таки обязывались выполнять все запутанные формальности, которые были заведены Угрюм-Бурчеевым. Чистились, подтягивались, проходили через все манежи, строились в каре, разводились по работам и проч. Всякая минута казалась удобною для освобождения, и всякая же минута казалась преждевременною. Происходили беспрерывные совещания по ночам; там и сям прорывались одиночные случаи нарушения дисциплины; но все это было как-то до такой степени разрозненно, что в конце концов могло, самою медленностью процесса, возбудить подозрительность даже в таком убежденном идиоте, как Угрюм-Бурчеев.И точно, он начал нечто подозревать. Его поразила тишина во время дня и шорох во время ночи. Он видел, как, с наступлением сумерек, какие-то тени бродили по городу и исчезали неведомо куда, и как, с рассветом дня, те же самые тени вновь появлялись в городе и разбегались по домам. Несколько дней сряду повторялось это явление, и всякий раз он порывался выбежать из дома, чтобы лично расследовать причину ночной суматохи, но суеверный страх удерживал его. Как истинный прохвост, он боялся чертей и ведьм.И вот однажды появился по всем поселенным единицам приказ, возвещавший о назначении шпионов. Это была капля, переполнившая чашу...Но здесь я должен сознаться, что тетрадки, которые заключали в себе подробности этого дела, неизвестно куда утратились. Поэтому я нахожусь вынужденным ограничиться лишь передачею развязки этой истории, и то благодаря тому, что листок, на котором она описана, случайно уцелел.«Через неделю (после чего?), — пишет летописец, — глуповцев поразило неслыханное зрелище. Север потемнел и покрылся тучами; из этих туч нечто неслось на город: не то ливень, не то смерч. Полное гнева, *оно* неслось, буровя землю, грохоча, гудя и стеня и по временам изрыгая из себя какие-то глухие, каркающие звуки. Хотя *оно* было еще не близко, но воздух в городе заколебался, колокола сами собой загудели, деревья взъерошились, животные обезумели и метались по полю, не находя дороги в город. *Оно* близилось, и по мере того как близилось, время останавливало бег свой. Наконец земля затряслась, солнце померкло... глуповцы пали ниц. Неисповедимый ужас выступил на всех лицах, охватил все сердца.*Оно* пришло...В эту торжественную минуту Угрюм-Бурчеев вдруг обернулся всем корпусом к оцепенелой толпе и ясным голосом произнес:— Придет...Но не успел он договорить, как раздался треск, и бывый прохвост моментально исчез, словно растаял в воздухе.История прекратила течение свое».

Конец

**ОПРАВДАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

**I. Мысли о градоначальническом единомыслии, а также о градоначальническом единовластии и о прочем**

*Сочинил глуповский градоначальник Василиск Бородавкин*[1](#fn1)

Необходимо, дабы между градоначальниками царствовало единомыслие. Чтобы они, так сказать, по всему лицу земли едиными устами. О вреде градоначальнического многомыслия распространюсь кратко. Какие суть градоначальниковы права и обязанности? — Права сии суть: чтобы злодеи трепетали, а прочие чтобы повиновались. Обязанности суть: чтобы употреблять меры кротости, но не упускать из вида и мер строгости. Сверх того, поощрять науки. В сих кратких чертах заключается недолгая, но и не легкая градоначальническая наука. Размыслим кратко, что из сего произойти может?«Чтобы злодеи трепетали» — прекрасно! Но кто же сии злодеи? Очевидно, что при многомыслии по сему предмету может произойти великая в действиях неурядица. Злодеем может быть вор, но это злодей, так сказать, третьестепенный; злодеем называется убийца, но и это злодей лишь второй степени, наконец, злодеем может быть вольнодумец — это уже злодей настоящий, и притом закоренелый и нераскаянный. Из сих трех сортов злодеев, конечно, каждый должен трепетать, но в равной ли мере? Нет, не в равной. Вору следует предоставить трепетать менее, нежели убийце; убийце же менее, нежели безбожному вольнодумцу. Сей последний должен всегда видеть пред собой пронзительный градоначальнический взор, и оттого трепетать беспрерывно. Теперь, ежели мы допустим относительно сей материи в градоначальниках многомыслие, то, очевидно, многое выйдет наоборот, а именно: безбожники будут трепетать умеренно, воры же и убийцы всеминутно и прежестоко. И таким образом упразднится здравая административная экономия и нарушится величественная административная стройность!Но последуем далее. Выше сказано: «прочие чтобы повиновались» — но кто же сии «прочие»? Очевидно, здесь разумеются обыватели вообще: однако же и в сем общем наименовании необходимо различать: во-первых, благородное дворянство, во-вторых, почтенное купечество и, в-третьих, земледельцев и прочий подлый народ. Хотя бесспорно, что каждый из сих трех сортов обывателей обязан повиноваться, но нельзя отрицать и того, что каждый из них может употребить при этом свой особенный, ему свойственный манер. Например, дворянин повинуется благородно и вскользь предъявляет резоны; купец повинуется с готовностью и просит принять хлеб-соль; наконец, подлый народ повинуется просто и, чувствуя себя виноватым, раскаивается и просит прощения. Что будет, ежели градоначальник в сии оттенки не вникнет, а особливо ежели он подлому народу предоставит предъявлять резоны? Страшусь сказать, но опасаюсь, что в сем случае градоначальническое многомыслие может иметь последствия не только вредные, но и с трудом исправимые!Рассказывают следующее. Один озабоченный градоначальник, вошед в кофейную, спросил себе рюмку водки и, получив желаемое вместе с медною монетою, в сдачу, монету проглотил, а водку вылил себе в карман. Вполне сему верю, ибо при градоначальнической озабоченности подобные пагубные смешения весьма возможны. Но при этом не могу не сказать: вот как градоначальники должны быть осторожны в рассмотрении своих собственных действий!Последуем еще далее. Выше я упомянул, что у градоначальников, кроме прав, имеются еще и обязанности. «Обязанности»! — о, сколь горькое это для многих градоначальников слово! Но не будем, однако ж, поспешны, господа мои любезные сотоварищи! размыслим зрело, и, может быть, мы увидим, что, при благоразумном употреблении, даже горькие вещества могут легко превращаться в сладкие! Обязанности градоначальнические, как уже сказано, заключаются в употреблении мер кротости, без пренебрежения, однако, мерами строгости. В чем выражаются меры кротости? Меры сии преимущественно выражаются в приветствиях и пожеланиях. Обыватели, а в особенное подлый народ, великие до сего охотники; но при этом необходимо, чтобы градоначальник был в мундире и имел открытую физиономию и благосклонный взгляд. Нелишнее также, чтобы на лице играла улыбка. Мне неоднократно случалось в сем триумфальном виде выходить к обывательским толпам, и когда я звучным и приятным голосом восклицал: «здорово, ребята!» — то, ручаюсь честью, немного нашлось бы таких, кои не согласились бы, по первому моему приветливому знаку, броситься в воду и утопиться, лишь бы снискать благосклонное мое одобрение. Конечно, я никогда сего не требовал, но, признаюсь, такая на всех лицах видная готовность всегда меня радовала. Таковы суть меры кротости. Что же касается до мер строгости, то они всякому, даже не бывшему в кадетских корпусах, довольно известны. Стало быть, распространяться об них не стану, а прямо приступлю к описанию способов применения тех и других мероприятий.Прежде всего замечу, что градоначальник никогда не должен действовать иначе, как чрез посредство мероприятий. Всякое его действие не есть действие, а есть мероприятие. Приветливый вид, благосклонный взгляд суть такие же меры внутренней политики, как и экзекуция. Обыватель *всегда* в чем-нибудь виноват, и потому *всегда же* надлежит на порочную его волю воздействовать. В сем-то смысле первою мерою воздействия и должна быть мера кротости. Ибо, ежели градоначальник, выйдя из своей квартиры, прямо начнет палить, то он достигнет лишь того, что перепалит всех обывателей и, как древний Марий, останется на развалинах один с письмоводителем. Таким образом, употребив первоначально меру кротости, градоначальник должен прилежно смотреть, оказала ли она надлежащий плод, и когда убедится, что оказала, то может уйти домой; когда же увидит, что плода нет, то обязан, нимало не медля, приступить к мерам последующим. Первым действием в сем смысле должен быть суровый вид, от коего обыватели мгновенно пали бы на колени. При сем: речь должна быть отрывистая, взор обещающий дальнейшие распоряжения, походка неровная, как бы судорожная. Но если и затем толпа будет продолжать упорствовать, то надлежит: набежав с размаху, вырвать из оной одного или двух человек, под наименованием зачинщиков, и, отступя от бунтовщиков на некоторое расстояние, немедля распорядиться. Если же и сего недостаточно, то надлежит: отделив из толпы десятых и признав их состоящими на правах зачинщиков, распорядиться подобно как с первыми. По большей части, сих мероприятий (особенно если они употреблены благовременно и быстро) бывает достаточно; однако может случиться и так, что толпа, как бы окоченев в своей грубости и закоренелости, коснеет в ожесточении. Тогда надлежит палить.Итак, вот какое существует разнообразие в мероприятиях, и какая потребна мудрость в уловлении всех оттенков их. Теперь представим себе, что может произойти, если относительно сей материи будет существовать пагубное градоначальническое многомыслие? А вот что: в одном городе градоначальник будет довольствоваться благоразумными распоряжениями, а в другом, соседнем, другой градоначальник, при тех же обстоятельствах, будет уже палить. А так как у нас все на слуху́, то подобное отсутствие единомыслия может в самих обывателях поселить резонное недоумение и даже многомыслие. Конечно, обыватели должны быть всегда готовы к перенесению всякого рода мероприятий, но при сем они не лишены некоторого права на их постепенность. В крайнем случае, они могут даже требовать, чтобы с ними первоначально распорядились, и только потом уже палили. Ибо, как я однажды сказал, ежели градоначальник будет палить без расчета, то со временем ему даже не с кем будет распорядиться... И таким образом вновь упразднится административная экономия, и вновь нарушится величественная административная стройность.И еще я сказал: градоначальник обязан насаждать науки. Это так. Но и в сем разе необходимо дать себе отчет: какие науки? Науки бывают разные; одни трактуют об удобрении полей, о построении жилищ человеческих и скотских, о воинской доблести и непреоборимой твердости — сии суть полезные; другие, напротив, трактуют о вредном франмасонском и якобинском вольномыслии, о некоторых, якобы природных человеку, понятиях и правах, причем касаются даже строения мира — сии суть вредные. Что будет, ежели один градоначальник примется насаждать первые науки, а другой — вторые? Во-первых, последний будет за сие предан суду и чрез то лишится права на пенсию; во-вторых, и для самих обывателей будет от того не польза, а вред. Ибо, встретившись где-либо на границе, обыватель одного города будет вопрошать об удобрении полей, а обыватель другого города, не вняв вопрошающего, будет отвечать ему о естественном строении миров. И таким образом, поговорив между собой, разойдутся.Следственно, необходимость и польза градоначальнического единомыслия очевидны. Развив сию материю в надлежащей полноте, приступим к рассуждению о средствах к ее осуществлению.Для сего предлагаю кратко:1) Учредить особливый воспитательный градоначальнический институт. Градоначальники, как особливо обреченные, должны и воспитание получать особливое. Следует градоначальников от сосцов материнских отлучать и воспитывать не обыкновенным материнским млеком, а млеком указов правительствующего сената и предписаний начальства. Сие есть истинное млеко градоначальниково, и напитавшийся им тверд будет в единомыслии и станет ревниво и строго содержать свое градоначальство. При сем: прочую пищу давать умеренную, от употребления вина воздерживать безусловно, в нравственном же отношении внушать ежечасно, что взыскание недоимок есть первейший градоначальника долг и обязанность. Для удовлетворения воображения допускать картинки. Из наук преподавать три: а) арифметику, как необходимое пособие при взыскании недоимок; б) науку о необходимости очищать улицы от навоза; и в) науку о постепенности меропрятий. В рекреационное время занимать чтением начальственных предписаний и анекдотов из жизни доблестных администраторов. При такой системе, можно сказать наперед; а) что градоначальники будут крепки и б) что они не дрогнут.2) Издавать надлежащие руководства. Сие необходимо, в видах устранения некоторых гнусных слабостей. Хотя и вскормленный суровым градоначальническим млеком, градоначальник устроен, однако же, яко и человеки, и, следовательно, имеет некоторые естественные надобности. Одна из сих надобностей — и преимущественнейшая — есть привлекательный женский пол. Нельзя довольно изъяснить, сколь она настоятельна и сколь много от нее ущерба для казны происходит. Есть градоначальники, кои вожделеют ежемгновенно и, находясь в сем достойном жалости виде, оставляют резолюции городнического правления по целым месяцам без утверждения. Надлежит, чтобы упомянутые выше руководства от сей пагубной надобности градоначальников предостерегали и сохраняли супружеское их ложе в надлежащей опрятности. Вторая весьма пагубная слабость есть приверженность градоначальников к утонченному столу и изрядным винам. Есть градоначальники, кон до того объедаются присылаемыми от купцов стерлядями, что в скором времени тучнеют и делаются к предписаниям начальства весьма равнодушными. Надлежит и в сем случае освежать градоначальников руководительными статьями, а в крайности — даже пригрозить градоначальническим суровым млеком. Наконец, третья и самая гнусная слаб... (Здесь рукопись на несколько строк прерывается, ибо автор, желая засыпать написанное песком, залил, по ошибке, чернилами. Сбоку приписано: «сие место залито чернилами, по ошибке».)3) Устраивать от времени до времени секретные в губернских городах градоначальнические съезды. На съездах сих занимать их чтением градоначальнических руководств и освежением в их памяти градоначальнических наук. Увещевать быть твердыми и не взирать.и 4) Ввести систему градоначальнического единонаграждения. Но материя сия столь обширна, что об ней надеюсь говорить особо.Утвердившись таким образом в самом центре, единомыслие градоначальническое неминуемо повлечет за собой и единомыслие всеобщее. Всякий обыватель, уразумев, что градоначальники: а) распоряжаются единомысленно, б) палят также единомысленно, — будет единомысленно же и изготовляться к воспринятию сих мероприятий. Ибо от такого единомыслия некуда будет им деваться. Не будет, следственно, ни свары, ни розни, а будут распоряжения и пальба повсеместная.В заключение скажу несколько слов о градоначальническом единовластии и о прочем. Сие также необходимо, ибо без градоначальнического единовластия невозможно и градоначальническое единомыслие. Но на сей счет мнения существуют различные. Одни, например, говорят, что градоначальническое единовластие состоит в покорении стихий. Один градоначальник мне лично сказывал: какие, брат, мы с тобой градоначальники! у меня солнце каждый день на востоке встает, и я не могу распорядиться, чтобы оно вставало на западе! Хотя слова сии принадлежат градоначальнику подлинно образцовому, но я все-таки похвалить их не могу. Ибо желать следует только того, что к достижению возможно; ежели же будешь желать недостижимого, как, например, укрощения стихий, прекращения течения времени и подобного, то сим градоначальническую власть не токмо не возвысишь, а наипаче сконфузишь. Посему о градоначальническом единовластии следует трактовать совсем не с точки зрения солнечного восхода или иных враждебных стихий, а с точки зрения заседателей, советников и секретарей различных ведомств, правлений и судов. По моему мнению, все сии лица суть вредные, ибо они градоначальнику, в его, так сказать, непрерывном административном беге, лишь поставляют препоны... Здесь прерывается это замечательное сочинение. Далее следуют лишь краткие заметки, вроде: «проба пера», «попка дурак», «рапорт», «рапорт», «рапорт» и т. п.

**II. О благовидной всех градоначальников наружности**

*Сочинил градоначальник князь Ксаверий Георгиевич Микаладзе*[2](#fn2)

Необходимо, дабы градоначальник имел наружность благовидную. Чтоб был не тучен и не скареден, рост имел не огромный, но и не слишком малый, сохранял пропорциональность во всех частях тела и лицом обладал чистым, не обезображенным ни бородавками, ни (от чего боже сохрани!) злокачественными сыпями. Глаза у него должны быть серые, способные по обстоятельствам выражать и милосердие, и суровость. Нос надлежащий. Сверх того, он должен иметь мундир.Излишняя тучность точно так же, как и излишняя скаредность, равно могут иметь неприятные последствия. Я знал одного градоначальника, который хотя и отлично знал законы, но успеха не имел, потому что от туков, во множестве скопленных в его внутренностях, задыхался. Другого градоначальника я знал весьма тощего, который тоже не имел успеха, потому что едва появился в своем городе, как сразу же был прозван от обывателей одною из тощих фараоновых коров, и затем уже ни одно из его распоряжений действительной силы иметь не могло. Напротив того, градоначальник не тучный, но и не тощий, хотя бы и не был сведущ в законах, всегда имеет успех. Ибо он бодр, свеж, быстр и всегда готов.То, что сказано выше о тучности и скаредности, применяется и к градоначальническому росту. Истинный сей рост — между 6-ю и 8-ю вершками. Поразительны примеры, представляемые неисполнением сего на первый взгляд ничтожного правила. Мне лично известно таковых три. В одной из приволжских губерний градоначальник был роста трех аршин с вершком, и что же? — прибыл в тот город малого роста ревизор, вознегодовал, повел подкопы и достиг того, что сего, впрочем, достойного человека предали суду. В другой губернии столь же рослый градоначальник страдал необыкновенной величины солитером. Наконец, третий градоначальник имел столь малый рост, что не мог вмещать пространных законов, и от натуги у́мре. Таким образом, все трое пострадали по причине непоказанного роста.Сохранение пропорциональности частей тела также не маловажно, ибо гармония есть первейший закон природы. Многие градоначальники обладают длинными руками, и за это со временем отрешаются от должностей; многие отличаются особливым развитием иных оконечностей, или же уродливою их малостью, и от того кажутся смешными или зазорными. Сего всемерно избегать надлежит, ибо ничто так не подрывает власть, как некоторая выдающаяся или заметная для всех гнусность.Чистое лицо украшает не только градоначальника, но и всякого человека. Сверх того, оно оказывает многочисленные услуги, из коих первая — доверие начальства. Кожа гладкая без изнеженности, вид смелый без дерзости, физиономия открытая без наглости — все сие пленяет начальство, особливо если градоначальник стоит, подавшись корпусом вперед и как бы устремляясь. Малейшая бородавка может здесь нарушить гармонию и сообщить градоначальнику вид продерзостный. Вторая услуга, оказываемая чистым лицом, есть любовь подчиненных. Когда лицо чисто и притом освежается омовениями, то кожа становится столь блестящею, что делается способною отражать солнечные лучи. Сей вид для подчиненных бывает весьма приятен.Голос обязан иметь градоначальник ясный и далеко слышный; он должен помнить, что градоначальнические легкие созданы для отдания приказаний. Я знал одного градоначальника, который, приготовляясь к сей должности, нарочно поселился на берегу моря и там во всю мочь кричал. Впоследствии этот градоначальник усмирил одиннадцать больших бунтов, двадцать девять средних возмущений и более полусотни малых недоразумений. И все сие с помощью одного своего далеко слышного голоса.Теперь о мундире. Вольнодумцы, конечно, могут (под личною, впрочем, за сие ответственностью) полагать, что пред лицом законов естественных все равно, кованая ли кольчуга или кургузая кучерская поддевка облекают начальника, но в глазах людей опытных и серьезных материя сия всегда будет пользоваться особливым перед всеми другими предпочтением. Почему так? а потому, господа вольнодумцы, что при отправлении казенных должностей мундир, так сказать, предшествует человеку, а не наоборот. Я, конечно, не хочу этим выразить, что мундир может действовать и распоряжаться независимо от содержащегося в нем человека, но, кажется, смело можно утверждать, что при блестящем мундире даже худосочные градоначальники — и те могут быть на службе терпимы. Посему, находя, что все ныне существующие мундиры лишь в слабой степени удовлетворяют этой важной цели, я полагал бы необходимым составить специальную на сей предмет комиссию, которой и препоручить начертать план градоначальнического мундира. С своей стороны, я предвижу возможность подать следующую мысль: колет из серебряного глазета, сзади страусовые перья, спереди панцирь от кованого золота, штаны глазетовые же и на голове литого золота шишак, увенчанный перьями. Кажется, что, находясь в сем виде, каждый градоначальник в самом скором времени все дела приведет в порядок.Все сказанное выше о благовидности градоначальников получит еще большее значение, если мы припомним, сколь часто они обязываются иметь секретное обращение с женским полом. Все знают пользу, от сего проистекающую, но и за всем тем сюжет этот далеко не исчерпан. Ежели я скажу, что через женский пол опытный администратор может во всякое время знать все сокровенные движения управляемых, то этого одного уже достаточно, чтобы доказать, сколь важен этот административный метод. Не один дипломат открывал сим способом планы и замыслы неприятелей и через то делал их непригодными; не один военачальник, с помощью этой же методы, выигрывал сражения или своевременно обращался в бегство. Я же, с своей стороны, изведав это средство на практике, могу засвидетельствовать, что не дальше как на сих днях, благодаря оному, раскрыл слабые действия одного капитан-исправника, который и был, вследствие того, представлен мною к увольнению от должности.Затем нелишнее, кажется, будет еще сказать, что, пленяя нетвердый женский пол, градоначальник должен искать уединения, и отнюдь не отдавать сих действий своих в жертву гласности или устности. В сем приятном уединении он, под видом ласки или шутливых манер, может узнать много такого, что для самого расторопного сыщика не всегда бывает доступно. Так, например, если сказанная особа — жена ученого, можно узнать, какие понятия имеет ее муж о строении миров, о предержащих властях и т. д. Вообще же необходимым последствием такой любознательности бывает то, что градоначальник в скором времени приобретает репутацию сердцеведца...Изобразив изложенное выше, я чувствую, что исполнил свой долг добросовестно. Элементы градоначальнического естества столь многочисленны, что, конечно, одному человеку обнять их невозможно. Поэтому и я не хвалюсь, что все обнял и изъяснил. Но пускай одни трактуют о градоначальнической строгости, другие — о градоначальническом единомыслии, третьи — о градоначальническом везде-первоприсутствии; я же, рассказав, что знаю о градоначальнической благовидности, утешаю себя тем,

Что тут и моего хоть капля меду есть...

**III. Устав о свойственном градоправителю добросердечии**

*Сочинил градоначальник Беневоленский*

1. Всякий градоправитель да будет добросердечен.2. Да памятует градоправитель, что одною строгостью, хотя бы оная была стократ сугуба, ни голода людского утолить, ни наготы человеческой одеть не можно.3. Всякий градоправитель приходящего к нему из обывателей да выслушает; который же, не выслушав, зачнет кричать, а тем паче бить — и тот будет кричать и бить втуне.4. Всякий градоправитель, видящий обывателя, занимающегося делом своим, да оставит его при сем занятии беспрепятственно.5. Всякий да содержит в уме своем, что ежели обыватель временно прегрешает, то оный же еще того более полезных деяний соделывать может.6. Посему: ежели кто из обывателей прегрешит, то не тотчас такового усекновению предавать, но прилежно рассматривать, не простирается ли и на него российских законов действие и покровительство.7. Да памятует градоправитель, что не от кого иного слава Российской империи украшается, а прибытки казны умножаются, как от обывателя.8. Посему: казнить, расточать или иным образом уничтожать обывателей надлежит с осмотрительностью, дабы не умалился от таковых расточений Российской империи авантаж и не произошло для казны ущерба.9. Буде который обыватель не приносит даров, то всемерно исследовать, какая тому непринесению причина, и если явится оскудение, то простить, а явится нерадение или упорство, напоминать и вразумлять, доколе не будет исправен.10. Всякий обыватель да потрудится; потрудившись же, да вкусит отдохновение. Посему: человека гуляющего или мимоидущего за воротник не имать и в съезжий дом не сажать.11. Законы издавать добрые, человеческому естеству приличные; противоестественных же законов, а тем паче невнятных и к исполнению неудобных не публиковать.12. На гуляньях и сборищах народных — людей не давить; напротив того, сохранять на лице благосклонную усмешку, дабы веселящиеся не пришли в испуг.13. В пище и питии никому препятствия не полагать.14. Просвещение внедрять с умеренностью, по возможности избегая кровопролития.15. В остальном поступать по произволению.

Николай Лесков

**СТАРЫЙ ГЕНИЙ**

Гений лет не имеет — он преодолевает все, что останавливает обыкновенные умы.

*Ларошфуко.*

**ГЛАВА ПЕРВАЯ**

Несколько лет назад в Петербург приехала маленькая старушка-помещица, у которой было, по ее словам, «вопиющее дело». Дело это заключалось в том, что она по своей сердечной доброте и простоте, чисто из одного участия, выручила из беды одного великосветского франта, — заложив для него свой домик, составлявший все достояние старушки и ее недвижимой, увечной дочери да внучки. Дом был заложен в пятнадцати тысячах, которые франт полностию взял, с обязательством уплатить в самый короткий срок.Добрая старушка этому верила, да и не мудрено было верить, потому что должник принадлежал к одной из лучших фамилий, имел перед собою блестящую карьеру и получал хорошие доходы с имений и хорошее жалованье по службе. Денежные затруднения, из которых старушка его выручила, были последствием какого-то мимолетного увлечения или неосторожности за картами в дворянском клубе, что поправить ему было, конечно, очень легко, — «лишь бы только доехать до Петербурга». Старушка знавала когда-то мать этого господина и, во имя старой приязни, помогла ему; он благополучно уехал в Питер, а затем, разумеется, началась довольно обыкновенная в подобных случаях игра в кошку и мышку. Приходят сроки, старушка напоминает о себе письмами — сначала самыми мягкими, потом немножко пожестче, а наконец, и бранится — намекает, что «это нечестно», но должник ее был зверь травленый и все равно ни на какие ее письма не отвечал. А между тем время уходит, приближается срок закладной — и перед бедной женщиной, которая уповала дожить свой век в своем домишке, вдруг разверзается страшная перспектива холода и голода с увечной дочерью и маленькою внучкою.Старушка в отчаянии поручила свою больную и ребенка доброй соседке, а сама собрала кое-какие крохи и полетела в Петербург «хлопотать».

**ГЛАВА ВТОРАЯ**

Хлопоты ее вначале были очень успешны: адвокат ей встретился участливый и милостивый, и в суде ей решение вышло скорое и благоприятное, но как дошло дело до исполнения — тут и пошла закорюка, да такая, что и ума к ней приложить было невозможно. Не то, чтобы полиция или иные какие пристава должнику мирволили — говорят, что тот им самим давно надоел и что они все старушку очень жалеют и рады ей помочь, да *не смеют...*Было у него какое-то такое могущественное родство или свойство, что нельзя было его приструнить, как всякого иного грешника.О силе и значении этих связей достоверно не знаю, да думаю, что это и не важно. Все равно — какая бабушка ему ни ворожила и все на милость преложила.Не умею тоже вам рассказать в точности, что над ним надо было учинить, но знаю, что нужно было «вручить *должнику* с распискою» какую-то бумагу, и вот этого-то никто — никакие лица никакого уряда — не могли сделать. К кому старушка ни обратится, все ей в одном роде советуют:— Ах, сударыня, и охота же вам! Бросьте лучше! Нам очень вас жаль, да что делать, когда он никому не платит... Утешьтесь тем, что не вы первая, не вы и последняя.— Батюшки мои, — отвечает старушка, — да какое же мне в этом утешение, что не мне одной худо будет? Я бы, голубчики, гораздо лучше желала, чтобы и мне и всем другим хорошо было.— Ну, — отвечают, — чтоб всем-то хорошо — вы уж это оставьте, — это специалисты выдумали, и это невозможно.А та, в простоте своей, пристает:— Почему же невозможно? У него состояние во всяком случае больше, чем он всем нам должен, и пусть он должное отдаст, а ему еще много останется.— Э, сударыня, у кого «много», тем никогда много не бывает, а им всегда недостаточно, но главное дело в том, что он платить не привык, и если очень докучать станете — может вам неприятность сделать.— Какую неприятность?— Ну, что вам расспрашивать: гуляйте лучше тихонько по Невскому проспекту, а то вдруг уедете.— Ну, извините, — говорит старушка, — я вам не поверю: он замотался, но человек хороший.— Да, — отвечают, — конечно, он барин хороший, но только дурной платить; а если кто этим занялся, тот и все дурное сделает.— Ну, так тогда употребите меры.— Да вот тут-то, — отвечают, — и точка с запятою: мы не можем против всех «употреблять меры». Зачем с такими знались.— Какая же разница?А вопрошаемые на нее только посмотрят да отвернутся или даже предложат идти высшим жаловаться.

**ГЛАВА ТРЕТЬЯ**

Ходила она и к высшим. Там и доступ труднее и разговору меньше, да и отвлеченнее.Говорят: «Да где он? о нем доносят, что его нет!»— Помилуйте, — плачет старушка, — да я его всякий день на улице вижу — он в своем доме живет.— Это вовсе и не его дом. У него нет дома: это дом его жены.— Ведь это все равно: муж и жена — одна сатана.— Да это вы так судите, но закон судит иначе. Жена на него тоже счеты предъявляла и жаловалась суду, и он у нее не значится... Он, черт его знает, он всем нам надоел, — и зачем вы ему деньги давали! Когда он в Петербурге бывает — он прописывается где-то в меблированных комнатах, но там не живет. А если вы думаете, что мы его защищаем или нам его жалко, то вы очень ошибаетесь: ищите его, поймайте, — это ваше дело, — тогда ему*«вручат».*Утешительнее этого старушка ни на каких высотах ничего не добилась, и, по провинциальной подозрительности, стала шептать, будто все это «оттого, что сухая ложка рот дерет».— Что ты, — говорит, — мне ни уверяй, а я вижу, что все оно от того же самого движет, что *надо смазать.*Пошла она «мазать» и пришла еще более огорченная. Говорит, что «прямо с целой тысячи начала», то есть обещала тысячу рублей из взысканных денег, но ее и слушать не хотели, а когда она, благоразумно прибавляя, насулила до трех тысяч, то ее даже попросили выйти.— Трех тысяч не берут за то только, чтобы бумажку вручить! Ведь это что же такое?.. Нет, прежде лучше было.— Ну, тоже, — напоминаю ей, — забыли вы, верно, как тогда хорошо шло: кто больше дал, тот и прав был.— Это, — отвечает, — твоя совершенная правда, но только между старинными чиновниками бывали отчаянные доки. Бывало, его спросишь: «Можно ли?» — а он отвечает: «В России невозможности нет», и вдруг выдумку выдумает и сделает. Вот мне и теперь один такой объявился и пристает ко мне, да не знаю: верить или нет? Мы с ним вместе в Мариинском пассаже у саечника Василья обедаем, потому что я ведь теперь экономлю и над каждым грошем трясусь — горячего уже давно не ем, все на дело берегу, а он, верно, тоже по бедности или питущий... но преубедительно говорит: «дайте мне пятьсот рублей — я *вручу».*Как ты об этом думаешь?— Голубушка моя, — отвечаю ей, — уверяю вас, что вы меня своим горем очень трогаете, но я и своих-то дел вести не умею и решительно ничего не могу вам посоветовать. Расспросили бы вы по крайней мере о нем кого-нибудь: кто он такой и кто за него поручиться может?— Да уж я саечника расспрашивала, только он ничего не знает. «Так, говорит, надо думать, или купец притишил торговлю, или подупавший из каких-нибудь своих благородий».— Ну, самого его прямо спросите.— Спрашивала — кто он такой и какой на нем чин? «Это, говорит, в нашем обществе рассказывать совсем лишнее и не принято; называйте меня Иван Иваныч, а чин на мне из четырнадцати овчин, — какую захочу, ту вверх шерстью и выворочу».— Ну вот видите, — это, выходит, совсем какая-то темная личность.— Да, темная... «Чин из четырнадцати овчин» — это я понимаю, так как я сама за чиновником была. Это значит, что он четырнадцатого класса. А насчет имени и рекомендаций прямо объявляет, что «насчет рекомендаций, говорит, я ими пренебрегаю и у меня их нет, а я гениальные мысли в своем лбу имею и знаю достойных людей, которые всякий мой план готовы привести за триста рублей в исполнение».«Почему же, батюшка, непременно *триста?»*«А так — уж это у нас такой прификс, с которого мы уступать не желаем и больше не берем».«Ничего, сударь, не понимаю».«Да и не надо. Нынешние ведь много тысяч берут, а мы сотни. Мне двести за мысль и за руководство да триста исполнительному герою, в соразмере, что он может за исполнение три месяца в тюрьме сидеть, и конец дело венчает. Кто хочет — пусть нам верит, потому что я всегда берусь за дела только за невозможные; а кто веры не имеет, с тем делать нечего», — но что до меня касается, — прибавляет старушка, — то, представь ты себе мое искушение: я ему почему-то верю...— Решительно, — говорю, — не знаю, отчего вы ему верите?— Вообрази — предчувствие у меня, что ли, какое-то, и сны я вижу, и все это как-то так тепло убеждает довериться.— Не подождать ли еще?— Подожду, пока возможно.Но скоро это сделалось невозможно.

**ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ**

Приезжает ко мне старушка в состоянии самой трогательной и острой горести: во-первых, настает рождество; во-вторых, из дому пишут, что дом на сих же днях поступает в продажу; и в-третьих, она встретила своего должника под руку с дамой и погналась за ними, и даже схватила его за рукав, и взывала к содействию публики, крича со слезами: «Боже мой, он мне должен!» Но это повело только к тому, что ее от должника с его дамою отвлекли, а привлекли к ответственности за нарушение тишины и порядка в людном месте. Ужаснее же этих трех обстоятельств было четвертое, которое заключалось в том, что должник старушки добыл себе заграничный отпуск и не позже как завтра уезжает с роскошною дамою своего сердца за границу — где наверно пробудет год или два, а может быть, и совсем не вернется, «потому что она очень богатая».Сомнений, что все это именно так, как говорила старушка, не могло быть ни малейших. Она научилась зорко следить за каждым шагом своего неуловимого должника и знала все его тайности от подкупленных ею слуг.Завтра, стало быть, конец этой долгой и мучительной комедии: завтра он несомненно улизнет, и надолго, а может быть, и навсегда, потому что его компаньонка, всеконечно, не желала афишировать себя за миг иль краткое мгновенье.Старушка все это во всех подробностях повергла уже обсуждению дельца, имеющего чин из четырнадцати овчин, и тот там же, сидя за ночвами у саечника в Мариинском пассаже, отвечал ей:«Да, дело кратко, но помочь еще можно: сейчас пятьсот рублей на стол, и завтра же ваша душа на простор; а если не имеете ко мне веры — ваши пятнадцать тысяч пропали».— Я, друг мой, — рассказывает мне старушка, — уже решилась ему довериться... Что же делать: все равно ведь никто не берется, а он берется и твердо говорит: «Я вручу». Не гляди, пожалуйста, на меня так, глаза испытуючи. Я нимало не сумасшедшая, — а и сама ничего не понимаю, но только имею к нему какое-то таинственное доверие в моем предчувствии, и сны такие снились, что я решилась и увела его с собою.— Куда?— Да видишь ли, мы у саечника ведь только в одну пору, всё в обед встречаемся. А тогда уже поздно будет, — так я его теперь при себе веду и не отпущу до завтрего. В мои годы, конечно, уже об этом никто ничего дурного подумать не может, а за ним надо смотреть, потому что я должна ему сейчас же все пятьсот рублей отдать, и без всякой расписки.— И вы решаетесь?— Конечно, решаюсь. — Что же еще сделать можно? Я ему уже сто рублей задатку дала, и он теперь ждет меня в трактире, чай пьет, а я к тебе с просьбою: у меня еще двести пятьдесят рублей есть, а полутораста нет. Сделай милость, ссуди меня, — я тебе возвращу. Пусть хоть дом продадут — все-таки там полтораста рублей еще останется.Знал я ее за женщину прекрасной честности, да и горе ее таксе трогательное, — думаю: отдаст или не отдаст — господь с ней, от полутораста рублей не разбогатеешь и не обеднеешь, а между тем у нее мучения на душе не останется, что она не все средства испробовала, чтобы «вручить» бумажку, которая могла спасти ее дело.Взяла она просимые деньги и поплыла в трактир к своему отчаянному дельцу. А я с любопытством дожидал ее на следующее утро, чтобы узнать: на какое еще новое штукарство изловчаются плутовать в Петербурге?Только то, о чем я узнал, превзошло мои ожидания: пассажный гений не постыдил ни веры, ни предчувствий доброй старушки.

**ГЛАВА ПЯТАЯ**

На третий день праздника она влетает ко мне в дорожном платье и с саквояжем, и первое, что делает, — кладет мне на стол занятые у меня полтораста рублей, а потом показывает банковую, переводную расписку с лишком на пятнадцать тысяч...— Глазам своим не верю! Что это значит?— Ничего больше, как я получила все свои деньги с процентами.— Каким образом? Неужто все это четырнадцатиовчинный Иван Иваныч устроил?— Да, он. Впрочем, был еще и другой, которому он от себя триста рублей дал — потому что без помощи этого человека обойтись было невозможно.— Это что же еще за деятель? Вы уж расскажите все, как они вам помогали!— Помогли очень честно. Я как пришла в трактир и отдала Ивану Иванычу деньги — он сосчитал, принял и говорит: «Теперь, госпожа, поедем. Я, говорит, гений по мысли моей, но мне нужен исполнитель моего плана, потому что я сам таинственный незнакомец и своим лицом юридических действий производить не могу». Ездили по многим низким местам и по баням — всё искали какого-то «сербского сражателя», но долго его не могли найти. Наконец нашли. Вышел этот сражатель из какой-то ямки, в сербском военном костюме, весь оборванный, а в зубах пипочка из газетной бумаги, и говорит: «Я все могу, что кому нужно, но прежде всего надо выпить». Все мы трое в трактире сидели и торговались, и сербский сражатель требовал «по сту рублей на месяц, за три месяца». На этом решили. Я еще ничего не понимала, но видела, что Иван Иваныч ему деньги отдал, стало быть он верит, и мне полегче стало. А потом я Ивана Иваныча к себе взяла, чтобы в моей квартире находился, а сербского сражателя в бани ночевать отпустили с тем, чтобы утром явился. Он утром пришел и говорит: «Я готов!» А Иван Иваныч мне шепчет: «Пошлите для него за водочкой: от него нужна смелость. Много я ему пить не дам, а немножко необходимо для храбрости: настает самое главное его исполнение».Выпил сербский сражатель, и они поехали на станцию железной дороги, с поездом которой старушкин должник и его дама должны были уехать. Старушка все еще ничего не понимала, что такое они замыслили и как исполнят, но сражатель ее успокоивал и говорил, что «все будет честно и благородно». Стала съезжаться к поезду публика, и должник явился тут, как лист перед травою, и с ним дама; лакей берет для них билеты, а он сидит с своей дамой, чай пьет и тревожно осматривается на всех. Старушка спряталась за Ивана Иваныча и указывает на должника — говорит: «Вот — он!»Сербский воитель увидал, сказал «хорошо», и сейчас же встал и прошел мимо франта раз, потом во второй, а потом в третий раз, прямо против него остановился и говорит:— Чего это вы на меня так смотрите?Тот отвечает:— Я на вас вовсе никак не смотрю, я чай пью.— А-а! — говорит воитель, — вы не смотрите, а чай пьете? так я же вас заставлю на меня смотреть, и вот вам от меня к чаю лимонный сок, песок и шоколаду кусок!.. — Да с этим — хлоп, хлоп, хлоп! его три раза по лицу и ударил.Дама бросилась в сторону, господин тоже хотел убежать и говорил, что он теперь не в претензии; но полиция подскочила и вмешалась: «Этого, говорит, нельзя: это в публичном месте», — и сербского воителя арестовали, и побитого тоже. Тот в ужасном был волнении — не знает: не то за своей дамой броситься, не то полиции отвечать. А между тем уже и протокол готов, и поезд отходит... Дама уехала, а он остался... и как только объявил свое звание, имя и фамилию, полицейский говорит: «Так вот у меня кстати для вас и бумажка в портфеле есть для вручения». Тот — делать нечего — при свидетелях поданную ему бумагу принял и, чтобы освободить себя от обязательств о невыезде, немедленно же сполна и с процентами уплатил чеком весь долг свой старушке.Так были побеждены неодолимые затруднения, правда восторжествовала, и в честном, но бедном доме водворился покой, и праздник стал тоже светел и весел.Человек, который нашелся — как уладить столь трудное дело, кажется, вполне имеет право считать себя в самом деле гением.

Л.Н. ТОЛСТОЙ.

**ПОСЛЕ БАЛА**

РАССКАЗ

— Вот вы говорите, что человек не может сам по себе понять, что хорошо, что дурно, что все дело в среде, что среда заедает. А я думаю, что все дело в случае. Я вот про себя скажу.Так заговорил всеми уважаемый Иван Васильевич после разговора, шедшего между нами, о том, что для личного совершенствования необходимо прежде изменить условия, среди которых живут люди. Никто, собственно, не говорил, что нельзя самому понять, что хорошо, что дурно, но у Ивана Васильевича была такая манера отвечать на свои собственные, возникающие вследствие разговора мысли и по случаю этих мыслей рассказывать эпизоды из своей жизни. Часто он совершенно забывал повод, по которому он рассказывал, увлекаясь рассказом, тем более что рассказывал он очень искренно и правдиво.Так он сделал и теперь.— Я про себя скажу. Вся моя жизнь сложилась так, а не иначе, не от среды, а совсем от другого.— От чего же? — спросили мы.— Да это длинная история. Чтобы понять, надо много рассказывать.— Вот вы и расскажите.Иван Васильевич задумался, покачал головой.— Да, — сказал он. — Вся жизнь переменилась от одной ночи, или скорее утра.— Да что же было?— А было то, что был я сильно влюблен. Влюблялся я много раз, но это была самая моя сильная любовь. Дело прошлое; у нее уже дочери замужем. Это была Б..., да, Варенька Б..., — Иван Васильевич назвал фамилию. — Она и в пятьдесят лет была замечательная красавица. Но в молодости, восемнадцати лет, была прелестна: высокая, стройная, грациозная и величественная, именно величественная. Держалась она всегда необыкновенно прямо, как будто не могла иначе, откинув немного назад голову, и это давало ей, с ее красотой и высоким ростом, несмотря на ее худобу, даже костлявость, какой-то царственный вид, который отпугивал бы от нее, если бы не ласковая, всегда веселая улыбка и рта, и прелестных, блестящих глаз, и всего ее милого, молодого существа.— Каково Иван Васильевич расписывает.— Да как ни расписывай, расписать нельзя так, чтобы вы поняли, какая она была. Но не в том дело: то, что я хочу рассказать, было в сороковых годах. Был я в то время студентом в провинциальном университете. Не знаю, хорошо ли это или дурно, но не было у нас в то время в нашем университете никаких кружков, никаких теорий, а были мы просто молоды и жили, как свойственно молодости: учились и веселились. Был я очень веселый и бойкий малый, да еще и богатый. Был у меня иноходец лихой, катался с гор с барышнями (коньки еще не были в моде), кутил с товарищами (в то время мы ничего, кроме шампанского, не пили; не было денег — ничего не пили, но не пили, как теперь, водку). Главное же мое удовольствие составляли вечера и балы. Танцевал я хорошо и был не безобразен.— Ну, нечего скромничать, — перебила его одна из собеседниц. — Мы ведь знаем ваш еще дагерротипный портрет. Не то что не безобразен, а вы были красавец.— Красавец так красавец, да не в том дело. А дело в том, что во время этой моей самой сильной любви к ней был я в последний день масленицы на бале у губернского предводителя, добродушного старичка, богача-хлебосола и камергера. Принимала такая же добродушная, как и он, жена его в бархатном пюсовом платье, в брильянтовой фероньерке на голове и с открытыми старыми, пухлыми, белыми плечами и грудью, как портреты Елизаветы Петровны, Бал был чудесный: зала прекрасная, с хорами, музыканты — знаменитые в то время крепостные помещика-любителя, буфет великолепный и разливанное море шампанского. Хоть я и охотник был до шампанского, но не пил, потому что без вина был пьян любовью, но зато танцевал до упаду — танцевал и кадрили, и вальсы, и польки, разумеется, насколько возможно было, всё с Варенькой. Она была в белом платье с розовым поясом и в белых лайковых перчатках, немного не доходивших до худых, острых локтей, и в белых атласных башмачках. Мазурку отбили у меня: препротивный инженер Анисимов — я до сих пор не могу простить это ему — пригласил ее, только что она вошла, а я заезжал к парикмахеру и за перчатками и опоздал. Так что мазурку я танцевал не с ней, а с одной немочкой, за которой я немножко ухаживал прежде. Но, боюсь, в этот вечер был очень неучтив с ней, не смотрел на нее, а видел только высокую стройную фигуру в белом платье с розовым поясом, ее сияющее, зарумянившееся с ямочками лицо и ласковые, милые глаза. Не я один, все смотрели на нее и любовались ею, любовались и мужчины, и женщины, несмотря на то, что она затмила их всех. Нельзя было не любоваться.По закону, так сказать, мазурку я танцевал не с нею, но в действительности танцевал я почти все время с ней. Она, не смущаясь, через всю залу шла прямо ко мне, и я вскакивал, не дожидаясь приглашения, и она улыбкой благодарила меня за мою догадливость. Когда нас подводили к ней и она не угадывала моего качества, она, подавая руку не мне, пожимала худыми плечами и, в знак сожаления и утешения, улыбалась мне. Когда делали фигуры мазурки вальсом, я подолгу вальсировал с нею, и она, часто дыша, улыбалась и говорила мне: «Encore»[1](#fn1). И я вальсировал еще и еще и не чувствовал своего тела.— Ну, как же не чувствовали, я думаю, очень чувствовали, когда обнимали ее за талию, не только свое, но и ее тело, — сказал один из гостей.Иван Васильевич вдруг покраснел и сердито закричал почти:— Да, вот это вы, нынешняя молодежь. Вы, кроме тела, ничего не видите. В наше время было не так. Чем сильнее я был влюблен, тем бестелеснее становилась для меня она. Вы теперь видите ноги, щиколки и еще что-то, вы раздеваете женщин, в которых влюблены, для меня же, как говорил Alphonse Karr[2](#fn2), хороший был писатель, — на предмете моей любви были всегда бронзовые одежды. Мы не то что раздевали, а старались прикрыть наготу, как добрый сын Ноя. Ну, да вы не поймете...— Не слушайте его. Дальше что? — сказал один из нас.— Да. Так вот танцевал я больше с нею и не видал, как прошло время. Музыканты уж с каким-то отчаянием усталости, знаете, как бывает в конце бала, подхватывали все тот же мотив мазурки, из гостиных поднялись уже от карточных столов папаши и мамаши, ожидая ужина, лакеи чаще забегали, пронося что-то. Был третий час. Надо было пользоваться последними минутами. Я еще раз выбрал ее, и мы в сотый раз прошли вдоль залы.— Так после ужина кадриль моя? — сказал я ей, отводя ее к месту.— Разумеется, если меня не увезут, — сказала она, улыбаясь.— Я не дам, — сказал я.— Дайте же веер, — сказала она.— Жалко отдавать, — сказал я, подавая ей белый дешевенький веер.— Так вот вам, чтоб вы не жалели, — сказала она, оторвала перышко от веера и дала мне.Я взял перышко и только взглядом мог выразить весь свой восторг и благодарность. Я был не только весел и доволен, я был счастлив, блажен, я был добр, я был не я, а какое-то неземное существо, не знающее зла и способное на одно добро. Я спрятал перышко в перчатку и стоял, не в силах отойти от нее.— Смотрите, папа просят танцевать, — сказала она мне, указывая на высокую статную фигуру ее отца, полковника с серебряными эполетами, стоявшего в дверях с хозяйкой и другими дамами.— Варенька, подите сюда, — услышали мы громкий голос хозяйки в брильянтовой фероньерке и с елисаветинскими плечами.Варенька подошла к двери, и я за ней.— Уговорите, ma chère[3](#fn3), отца пройтись с вами. Ну, пожалуйста, Петр Владиславич, — обратилась хозяйка к полковнику.Отец Вареньки был очень красивый, статный, высокий и свежий старик. Лицо у него было очень румяное, с белыми à la Nicolas I[4](#fn4) подвитыми усами, белыми же, подведенными к усам бакенбардами и с зачесанными вперед височками, и та же ласковая, радостная улыбка, как и у дочери, была в его блестящих глазах и губах. Сложен он был прекрасно, с широкой, небогато украшенной орденами, выпячивающейся по-военному грудью, с сильными плечами и длинными стройными ногами. Он был воинский начальник типа старого служаки николаевской выправки.Когда мы подошли к дверям, полковник отказывался, говоря, что он разучился танцевать, но все-таки, улыбаясь, закинув на левую сторону руку, вынул шпагу из портупеи, отдал ее услужливому молодому человеку и, натянув замшевую перчатку на правую руку, — «надо всё по закону», — улыбаясь, сказал он, взял руку дочери и стал в четверть оборота, выжидая такт.Дождавшись начала мазурочного мотива, он бойко топнул одной ногой, выкинул другую, и высокая, грузная фигура его то тихо и плавно, то шумно и бурно, с топотом подошв и ноги об ногу, задвигалась вокруг залы. Грациозная фигура Вареньки плыла около него, незаметно, вовремя укорачивая или удлиняя шаги своих маленьких белых атласных ножек. Вся зала следила за каждым движением пары. Я же не только любовался, но с восторженным умилением смотрел на них. Особенно умилили меня его сапоги, обтянутые штрипками, — хорошие опойковые сапоги, но не модные, с острыми, а старинные, с четвероугольными носками и без каблуков, Очевидно, сапоги были построены батальонным сапожником. «Чтобы вывозить и одевать любимую дочь, он не покупает модных сапог, а носит домодельные», — думал я, и эти четвероугольные носки сапог особенно умиляли меня. Видно было, что он когда-то танцевал прекрасно, но теперь был грузен, и ноги уже не были достаточно упруги для всех тех красивых и быстрых па, которые он старался выделывать. Но он все-таки ловко прошел два круга. Когда же он, быстро расставив ноги, опять соединил их и, хотя и несколько тяжело, упал на одно колено, а она, улыбаясь и поправляя юбку, которую он зацепил, плавно прошла вокруг него, все громко зааплодировали. С некоторым усилием приподнявшись, он нежно, мило обхватил дочь руками за уши и, поцеловав в лоб, подвел ее ко мне, думая, что я танцую с ней. Я сказал, что не я ее кавалер.— Ну, все равно, пройдитесь теперь вы с ней, — сказал он, ласково улыбаясь и вдевая шпагу в портупею.Как бывает, что вслед за одной вылившейся из бутылки каплей содержимое ее выливается большими струями, так и в моей душе любовь к Вареньке освободила всю скрытую в моей душе способность любви. Я обнимал в то время весь мир своей любовью. Я любил и хозяйку в фероньерке, с ее елисаветинским бюстом, и ее мужа, и ее гостей, и ее лакеев, и даже дувшегося на меня инженера Анисимова. К отцу же ее, с его домашними сапогами и ласковой, похожей на нее, улыбкой, я испытывал в то время какое-то восторженно-нежное чувство.Мазурка кончилась, хозяева просили гостей к ужину, но полковник Б. отказался, сказав, что ему надо завтра рано вставать, и простился с хозяевами. Я было испугался, что и ее увезут, но она осталась с матерью.После ужина я танцевал с нею обещанную кадриль, и, несмотря на то, что был, казалось, бесконечно счастлив, счастье мое все росло и росло. Мы ничего не говорили о любви. Я не спрашивал ни ее, ни себя даже о том, любит ли она меня. Мне достаточно было того, что я любил ее. И я боялся только одного, чтобы что-нибудь не испортило моего счастья.Когда я приехал домой, разделся и подумал о сне, я увидал, что это совершенно невозможно. У меня в руке было перышко от ее веера и целая ее перчатка, которую она дала мне, уезжая, когда садилась в карету и я подсаживал ее мать и потом ее. Я смотрел на эти вещи и, не закрывая глаз, видел ее перед собой то в ту минуту, когда она, выбирая из двух кавалеров, угадывает мое качество, и слышу ее милый голос, когда говорит: *«Гордость?*да?» — и радостно подает мне руку или когда за ужином пригубливает бокал шампанского и исподлобья смотрит на меня ласкающими глазами. Но больше всего я вижу ее в паре с отцом, когда она плавно двигается около него и с гордостью и радостью и за себя и за него взглядывает на любующихся зрителей. И я невольно соединяю его и ее в одном нежном, умиленном чувстве.Жили мы тогда одни с покойным братом. Брат и вообще не любил света и не ездил на балы, теперь же готовился к кандидатскому экзамену и вел самую правильную жизнь. Он спал. Я посмотрел на его уткнутую в подушку и закрытую до половины фланелевым одеялом голову, и мне стало любовно жалко его, жалко за то, что он не знал и не разделял того счастья, которое я испытывал. Крепостной наш лакей Петруша встретил меня со свечой и хотел помочь мне раздеваться, но я отпустил его. Вид его заспанного лица с спутанными волосами показался мне умилительно трогательным. Стараясь не шуметь, я на цыпочках прошел в свою комнату и сел на постель. Нет, я был слишком счастлив, я не мог спать. Притом мне жарко было в натопленных комнатах, и я, не снимая мундира, потихоньку вышел в переднюю, надел шинель, отворил наружную дверь и вышел на улицу.С бала я уехал в пятом часу, пока доехал домой, посидел дома, прошло еще часа два, так что, когда я вышел, уже было светло. Была самая масленичная погода, был туман, насыщенный водою снег таял на дорогах, и со всех крыш капало. Жили Б. тогда на конце города, подле большого поля, на одном конце которого было гулянье, а на другом — девический институт. Я прошел наш пустынный переулок и вышел на большую улицу, где стали встречаться и пешеходы, и ломовые с дровами на санях, достававших полозьями до мостовой. И лошади, равномерно покачивающие под глянцевитыми дугами мокрыми головами, и покрытые рогожками извозчики, шлепавшие в огромных сапогах подле возов, и дома улицы, казавшиеся в тумане очень высокими, — все было мне особенно мило и значительно.Когда я вышел на поле, где был их дом, я увидал в конце его, по направлению гулянья, что-то большое, черное и услыхал доносившиеся оттуда звуки флейты и барабана. В душе у меня все время пело и изредка слышался мотив мазурки. Но это была какая-то другая, жесткая, нехорошая музыка.«Что это такое?» — подумал я и по проезженной посередине поля скользкой дороге пошел по направлению звуков. Пройдя шагов сто, я из-за тумана стал различать много черных людей. Очевидно, солдаты. «Верно, ученье», — подумал я и вместе с кузнецом в засаленном полушубке и фартуке, несшим что-то и шедшим передо мной, подошел ближе. Солдаты в черных мундирах стояли двумя рядами друг против друга, держа ружья к ноге, и не двигались. Позади их стояли барабанщик и флейтщик и не переставая повторяли всё ту же неприятную, визгливую мелодию.— Что это они делают? — спросил я у кузнеца, остановившегося рядом со мною.— Татарина гоняют за побег, — сердито сказал кузнец, взглядывая в дальний конец рядов.Я стал смотреть туда же и увидал посреди рядов что-то страшное, приближающееся ко мне. Приближающееся ко мне был оголенный по пояс человек, привязанный к ружьям двух солдат, которые вели его. Рядом с ним шел высокий военный в шинели и фуражке, фигура которого показалась мне знакомой. Дергаясь всем телом, шлепая ногами по талому снегу, наказываемый, под сыпавшимися с обеих сторон на него ударами, подвигался ко мне, то опрокидываясь назад — и тогда унтер-офицеры, ведшие его за ружья, толкали его вперед, то падая наперед — и тогда унтер-офицеры, удерживая его от падения, тянули его назад. И не отставая от него, шел твердой, подрагивающей походкой высокий военный. Это был ее отец, с своим румяным лицом и белыми усами и бакенбардами.При каждом ударе наказываемый, как бы удивляясь, поворачивал сморщенное от страдания лицо в ту сторону, с которой падал удар, и, оскаливая белые зубы, повторял какие-то одни и те же слова. Только когда он был совсем близко, я расслышал эти слова. Он не говорил, а всхлипывал: «Братцы, помилосердуйте. Братцы, помилосердуйте». Но братцы не милосердовали, и, когда шествие совсем поравнялось со мною, я видел, как стоявший против меня солдат решительно выступил шаг вперед и, со свистом взмахнув палкой, сильно шлепнул ею по спине татарина. Татарин дернулся вперед, но унтер-офицеры удержали его, и такой же удар упал на него с другой стороны, и опять с этой, и опять с той. Полковник шел подле, и, поглядывая то себе под ноги, то на наказываемого, втягивал в себя воздух, раздувая щеки, и медленно выпускал его через оттопыренную губу. Когда шествие миновало то место, где я стоял, я мельком увидал между рядов спину наказываемого. Это было что-то такое пестрое, мокрое, красное, неестественное, что я не поверил, чтобы это было тело человека.— О Господи, — проговорил подле меня кузнец.Шествие стало удаляться, все так же падали с двух сторон удары на спотыкающегося, корчившегося человека, и все так же били барабаны и свистела флейта, и все так же твердым шагом двигалась высокая, статная фигура полковника рядом с наказываемым. Вдруг полковник остановился и быстро приблизился к одному из солдат.— Я тебе помажу, — услыхал я его гневный голос. — Будешь мазать? Будешь?И я видел, как он своей сильной рукой в замшевой перчатке бил по лицу испуганного малорослого, слабосильного солдата за то, что он недостаточно сильно опустил свою палку на красную спину татарина.— Подать свежих шпицрутенов! — крикнул он, оглядываясь, и увидел меня. Делая вид, что он не знает меня, он, грозно и злобно нахмурившись, поспешно отвернулся. Мне было до такой степени стыдно, что, не зная, куда смотреть, как будто я был уличен в самом постыдном поступке, я опустил глаза и поторопился уйти домой. Всю дорогу в ушах у меня то била барабанная дробь и свистела флейта, то слышались слова: «Братцы, помилосердуйте», то я слышал самоуверенный, гневный голос полковника, кричащего: «Будешь мазать? Будешь?» А между тем на сердце была почти физическая, доходившая до тошноты, тоска, такая, что я несколько раз останавливался, и мне казалось, что вот-вот меня вырвет всем тем ужасом, который вошел в меня от этого зрелища. Не помню, как я добрался домой и лег. Но только стал засыпать, услыхал и увидел опять все и вскочил.«Очевидно, он что-то знает такое, чего я не знаю, — думал я про полковника. — Если бы я знал то, что он знает, я бы понимал и то, что я видел, и это не мучило бы меня». Но сколько я ни думал, я не мог понять того, что знает полковник, и заснул только к вечеру, и то после того, как пошел к приятелю и напился с ним совсем пьян.Что ж, вы думаете, что я тогда решил, что то, что я видел, было — дурное дело? Ничуть. «Если это делалось с такой уверенностью и признавалось всеми необходимым, то, стало быть, они знали что-то такое, чего я не знал», — думал я и старался узнать это. Но сколько ни старался — и потом не мог узнать этого. А не узнав, не мог поступить в военную службу, как хотел прежде, и не только не служил в военной, но нигде не служил и никуда, как видите, не годился.— Ну, это мы знаем, как вы никуда не годились, — сказал один из нас. — Скажите лучше: сколько бы людей никуда не годились, кабы вас не было.— Ну, это уж совсем глупости, — с искренней досадой сказал Иван Васильевич.— Ну, а любовь что? — спросили мы.— Любовь? Любовь с этого дня пошла на убыль. Когда она, как это часто бывало с ней, с улыбкой на лице, задумывалась, я сейчас же вспоминал полковника на площади, и мне становилось как-то неловко и неприятно, и я стал реже видаться с ней. И любовь так и сошла на нет. Так вот какие бывают дела и от чего переменяется и направляется вся жизнь человека. А вы говорите... — закончил он.

**АСЯ**

**I**

Мне было тогда лет двадцать пять, — начал H. H., — [дела давно минувших дней](#c1), как видите. Я только что вырвался на волю и уехал за границу, не для того, чтобы «окончить мое воспитание», как говаривалось тогда, а просто мне захотелось посмотреть на мир божий. Я был здоров, молод, весел, деньги у меня не переводились, заботы еще не успели завестись — я жил без оглядки, делал что хотел, процветал, одним словом. Мне тогда и в голову не приходило, что человек не растение и процветать ему долго нельзя. Молодость ест пряники золоченые, да и думает, что это-то и есть хлеб насущный; а придет время — и хлебца напросишься. Но толковать об этом не для чего.

Я путешествовал без всякой цели, без плана; останавливался везде, где мне нравилось, и отправлялся тотчас далее, как только чувствовал желание видеть новые лица — именно лица. Меня занимали исключительно одни люди; я ненавидел любопытные памятники, замечательные собрания, один вид лон-лакея возбуждал во мне ощущение тоски и злобы; [я чуть с ума не сошел в дрезденском «Грюне Гевёлбе»](#c2). Природа действовала на меня чрезвычайно, но я не любил так называемых ее красот, необыкновенных гор, утесов, водопадов; я не любил, чтобы она навязывалась мне, чтобы она мне мешала. Зато лица, живые, человеческие лица — речи людей, их движения, смех — вот без чего я обойтись не мог. В толпе мне было всегда особенно легко и отрадно; мне было весело идти, куда шли другие, кричать, когда другие кричали, и в то же время я любил смотреть, как эти другие кричат. Меня забавляло наблюдать людей... да я даже не наблюдал их — я их рассматривал с каким-то радостным и ненасытным любопытством. Но я опять сбиваюсь в сторону.

Итак, лет двадцать тому назад я проживал [в немецком небольшом городке З., на левом берегу Рейна. Я искал уединения](#c3): я только что был поражен в сердце одной молодой вдовой, с которой познакомился на водах. Она была очень хороша собой и умна, кокетничала со всеми — и со мною, грешным, — сперва даже поощряла меня, а потом жестоко меня уязвила, пожертвовав мною одному краснощекому баварскому лейтенанту. Признаться сказать, рана моего сердца не очень была глубока; но я почел долгом предаться на некоторое время печали и одиночеству — чем молодость не тешится! — и поселился в З.

[Городок этот мне понравился своим местоположением у подошвы двух высоких холмов, своими дряхлыми стенами](#c4) и башнями, вековыми липами, крутым мостом над светлой речкой, впадавшей в Рейн, — а главное, своим хорошим вином. По его узким улицам гуляли вечером, тотчас после захождения солнца (дело было в июне), прехорошенькие белокурые немочки и, встретясь с иностранцем, произносили приятным голоском: «Guten Abend!»1 — а некоторые из них не уходили даже и тогда, когда луна поднималась из-за острых крыш стареньких домов и мелкие каменья мостовой четко рисовались в ее неподвижных лучах. Я любил бродить тогда по городу; луна, казалось, пристально глядела на него с чистого неба; и город чувствовал этот взгляд и стоял чутко и мирно, весь облитый ее светом, этим безмятежным и в то же время тихо душу волнующим светом. [Петух на высокой готической колокольне](#c5) блестел бледным золотом; таким же золотом переливались струйки по черному глянцу речки; тоненькие свечки (немец бережлив!) скромно теплились в узких окнах под грифельными кровлями; виноградные лозы таинственно высовывали свои завитые усики из-за каменных оград; что-то пробегало в тени около старинного колодца на трехугольной площади, внезапно раздавался сонливый свисток ночного сторожа, добродушная собака ворчала вполголоса, а воздух так и ластился к лицу, и липы пахли так сладко, что грудь поневоле всё глубже и глубже дышала, и слово: «Гретхен» — не то восклицание, не то вопрос — так и просилось на уста.

Городок З. лежит в двух верстах от Рейна. Я часто ходил смотреть на величавую реку и, не без некоторого напряжения мечтая о коварной вдове, просиживал долгие часы на каменной скамье под одиноким огромным ясенем. [Маленькая статуя мадонны с почти детским лицом и красным сердцем на груди, пронзенным мечами](#c6), печально выглядывала из его ветвей. На противоположном берегу находился [городок Л., немного побольше того, в котором я поселился](#c7). Однажды вечером сидел я на своей любимой скамье и глядел то на реку, то на небо, то на виноградники. Передо мною белоголовые мальчишки карабкались по бокам лодки, вытащенной на берег и опрокинутой насмоленным брюхом кверху. Кораблики тихо бежали на слабо надувшихся парусах; зеленоватые волны скользили мимо, чуть-чуть вспухая и урча. Вдруг донеслись до меня звуки музыки; я прислушался. В городе Л. играли вальс; [контрбас](#c8) гудел отрывисто, скрипка неясно заливалась, флейта свистала бойко.

— Что это? — спросил я у подошедшего ко мне старика в плисовом жилете, синих чулках и башмаках с пряжками.

— Это, — отвечал он мне, предварительно передвинув мундштук своей трубки из одного угла губ в другой, — [студенты приехали из Б. на коммерш.](#c9)

«А посмотрю-ка я на этот коммерш, — подумал я, — кстати же я в Л. не бывал». Я отыскал перевозчика и отправился на другую сторону.

**II**

Может быть, не всякий знает, что такое коммерш. Это особенного рода торжественный пир, на который сходятся [студенты одной земли, или братства (Landsmannschaft). Почти все участники в коммерше носят издавна установленный костюм немецких студентов: венгерки, большие сапоги и маленькие шапочки с околышами известных цветов. Собираются студенты обыкновенно к обеду под председательством сениора](#c10), то есть старшины, — и пируют до утра, пьют, поют песни, [Landesvater, Gaudeamus](#c11), курят, [бранят филистеров](#c12); иногда они нанимают оркестр.

Такой точно коммерш происходил в г. Л. перед небольшой гостиницей под вывескою Солнца, в саду, выходившем на улицу. Над самой гостиницей и над садом веяли флаги; студенты сидели за столами под обстриженными липками; огромный бульдог лежал под одним из столов; в стороне, в беседке из плюща, помещались музыканты и усердно играли, то и дело подкрепляя себя пивом. На улице, перед низкой оградой сада, собралось довольно много народа: добрые граждане городка Л. не хотели пропустить случая поглазеть на заезжих гостей. Я тоже вмешался в толпу зрителей. Мне было весело смотреть на лица студентов; их объятия, восклицания, невинное кокетничанье молодости, горящие взгляды, смех без причины — лучший смех на свете — всё это радостное кипение жизни юной, свежей, этот порыв вперед — куда бы то ни было, лишь бы вперед, — это добродушное раздолье меня трогало и поджигало. [«Уж не пойти ли к ним?» — спрашивал я себя...](#c13)

— Ася, довольно тебе? — вдруг произнес за мною мужской голос по-русски.

— Подождем еще, — отвечал другой, женский голос на том же языке.

Я быстро обернулся... Взор мой упал на красивого молодого человека в фуражке и широкой куртке; он держал под руку девушку невысокого роста, в соломенной шляпе, закрывавшей всю верхнюю часть ее лица.

— Вы русские? — сорвалось у меня невольно с языка.

Молодой человек улыбнулся и промолвил:

— Да, русские.

— Я никак не ожидал... в таком захолустье, — начал было я.

— И мы не ожидали, — перебил он меня, — что ж? тем лучше. Позвольте рекомендоваться: меня зовут Гагиным, а вот это моя... — он запнулся на мгновенье, — моя сестра. А ваше имя позвольте узнать?

Я назвал себя, и мы разговорились. Я узнал, что Гагин, путешествуя, так же как я, для своего удовольствия, неделю тому назад заехал в городок Л., да и застрял в нем. Правду сказать, я неохотно знакомился с русскими за границей. Я их узнавал даже издали по их походке, покрою платья, а главное, по выражению

их лица. Самодовольное и презрительное, часто повелительное, оно вдруг сменялось выражением осторожности и робости... Человек внезапно настораживался весь, глаз беспокойно бегал... «Батюшки мои! не соврал ли я, не смеются ли надо мною», — казалось, говорил этот уторопленный взгляд... Проходило мгновенье — и снова восстановлялось величие физиономии, изредка чередуясь с тупым недоуменьем. Да, я избегал русских, но Гагин мне понравился тотчас. Есть на свете такие счастливые лица: глядеть на них всякому любо, точно они греют вас или гладят. У Гагина было именно такое лицо, милое, ласковое, с большими мягкими глазами и мягкими курчавыми волосами. Говорил он так, что, даже не видя его лица, вы по одному звуку его голоса чувствовали, что он улыбается.

Девушка, которую он назвал своей сестрою, с первого взгляда показалась мне очень миловидной. Было что-то свое, особенное, в складе ее смугловатого круглого лица, с небольшим тонким носом, почти детскими щечками и черными, светлыми глазами. Она была грациозно сложена, но как будто не вполне еще развита. Она нисколько не походила на своего брата.

— Хотите вы зайти к нам? — сказал мне Гагин, — кажется, довольно мы насмотрелись на немцев. Наши бы, правда, стекла разбили и поломали стулья, но эти уж больно скромны. Как ты думаешь, Ася, пойти нам домой?

Девушка утвердительно качнула головой.

— Мы живем за городом, — продолжал Гагин, — в винограднике, в одиноком домишке, высоко. У нас славно, посмотрите. Хозяйка обещала приготовить нам кислого молока. Теперь же скоро стемнеет, и вам лучше будет переезжать Рейн при луне.

Мы отправились. [Чрез низкие ворота города (старинная стена из булыжника окружала его со всех сторон, даже бойницы не все еще обрушились) мы вышли в поле](#c14) и, пройдя шагов сто вдоль каменной ограды, остановились перед узенькой калиткой. Гагин отворил ее и повел нас в гору по крутой тропинке. С обеих сторон, на уступах, рос виноград; солнце только что село, и алый тонкий свет лежал на зеленых лозах, на высоких тычинках, на сухой земле, усеянной сплошь крупным и мелким плитняком, и на белой стене небольшого

домика, с косыми черными перекладинами и четырьмя светлыми окошками, стоявшего на самом верху горы, по которой мы взбирались.

— Вот и наше жилище! — воскликнул Гагин, как только мы стали приближаться к домику, — а вот и хозяйка несет молоко. Guten Abend, Madame!..l Мы сейчас примемся за еду; но прежде, — прибавил он, — оглянитесь... каков вид?

Вид был, точно, чудесный. Рейн лежал перед нами весь серебряный, между зелеными берегами; в одном месте он горел багряным золотом заката. Приютившийся к берегу городок показывал все свои дома и улицы; широко разбегались холмы и поля. Внизу было хорошо, но наверху еще лучше: меня особенно поразила чистота и глубина неба, сияющая прозрачность воздуха. Свежий и легкий, он тихо колыхался и перекатывался волнами, словно и ему было раздольнее на высоте.

— Отличную вы выбрали квартиру, — промолвил я.

— Это Ася ее нашла, — отвечал Гагин, — ну-ка, Ася, — продолжал он, — распоряжайся. Вели всё сюда подать. Мы станем ужинать на воздухе. Тут музыка слышнее. Заметили ли вы, — прибавил он, обратясь ко мне, — вблизи иной вальс никуда не годится — пошлые, грубые звуки, — а в отдаленье, чудо! так и шевелит в вас все романтические струны.

Ася ([собственно имя ее было Анна, но Гагин называл ее Асей](#c15), и уж вы позвольте мне ее так называть) — Ася отправилась в дом и скоро вернулась вместе с хозяйкой. Они вдвоем несли большой поднос с горшком молока, тарелками, ложками, сахаром, ягодами, хлебом. Мы уселись и принялись за ужин. Ася сняла шляпу; ее черные волосы, остриженные и причесанные, как у мальчика, падали крупными завитками на шею и уши. Сначала она дичилась меня; но Гагин сказал ей:

— Ася, полно ежиться! он не кусается.

Она улыбнулась и немного спустя уже сама заговаривала со мной. Я не видал существа более подвижного. Ни одно мгновенье она не сидела смирно; вставала, убегала в дом и прибегала снова, напевала вполголоса, часто смеялась, и престранным образом: казалось, она смеялась не тому, что слышала, а разным мыслям,

приходившим ей в голову. Ее большие глаза глядели прямо, светло, смело, но иногда веки ее слегка щурились, и тогда взор ее внезапно становился глубок и нежен.

Мы проболтали часа два. День давно погас, и вечер, сперва весь огнистый, потом ясный и алый, потом бледный и смутный, тихо таял и переливался в ночь, а беседа наша всё продолжалась, мирная и кроткая, как воздух, окружавший нас. Гагин велел принести бутылку рейнвейна; мы ее ро́спили не спеша. Музыка по-прежнему долетала до нас, звуки ее казались слаще и нежнее; огни зажглись в городе и над рекою. Ася вдруг опустила голову, так что кудри ей на глаза упали, замолкла и вздохнула, а потом сказала нам, что хочет спать, и ушла в дом; я, однако, видел, как она, не зажигая свечи, долго стояла за нераскрытым окном. Наконец луна встала и заиграла по Рейну; всё осветилось, потемнело, изменилось, даже вино в наших граненых стаканах заблестело таинственным блеском. Ветер упал, точно крылья сложил, и замер: ночным, душистым теплом повеяло от земли.

— Пора! — воскликнул я, — а то, пожалуй, перевозчика не сыщешь.

— Пора, — повторил Гагин.

Мы пошли вниз по тропинке. Камни вдруг посыпались за нами: это Ася нас догоняла.

— Ты разве не спишь? — спросил ее брат, но она, не ответив ему ни слова, пробежала мимо.

Последние умиравшие плошки, зажженные студентами в саду гостиницы, освещали снизу листья деревьев, что придавало им праздничный и фантастический вид. Мы нашли Асю у берега: она разговаривала с перевозчиком. Я прыгнул в лодку и простился с новыми моими друзьями. Гагин обещал навестить меня на следующий день; я пожал его руку и протянул свою Асе; но она только посмотрела на меня и покачала головой. Лодка отчалила и понеслась по быстрой реке. Перевозчик, бодрый старик, с напряжением погружал весла в темную воду.

— Вы в лунный столб въехали, вы его разбили, — закричала мне Ася.

Я опустил глаза; вокруг лодки, чернея, колыхались волны.

— Прощайте! — раздался опять ее голос.

— До завтра, — проговорил за нею Гагин.

Лодка причалила. Я вышел и оглянулся. Никого уж не было видно на противоположном берегу. Лунный столб опять тянулся золотым мостом через всю реку. Словно на прощание примчались звуки старинного [ланнеровского вальса](#c16). Гагин был прав: я почувствовал, что все струны сердца моего задрожали в ответ на те заискивающие напевы. Я отправился домой через потемневшие поля, медленно вдыхая пахучий воздух, и пришел в свою комнатку весь разнеженный сладостным томлением беспредметных и бесконечных ожиданий. Я чувствовал себя счастливым... Но отчего я был счастлив? Я ничего не желал, я ни о чем не думал... Я был счастлив.

Чуть не смеясь от избытка приятных и игривых чувств, я нырнул в постель и уже закрыл было глаза, как вдруг мне пришло на ум, что в течение вечера я ни разу не вспомнил о моей жестокой красавице... «Что же это значит? — спросил я самого себя. — Разве я не влюблен?» Но, задав себе этот вопрос, я, кажется, немедленно заснул, как дитя в колыбели.

**III**

На другое утро (я уже проснулся, но еще не вставал) стук палки раздался у меня под окном, и голос, который я тотчас признал за голос Гагина, запел:

[Ты спишь ли? Гитарой](#c17)  
Тебя разбужу...

Я поспешил отворить ему дверь.

— Здравствуйте, — сказал Гагин, входя, — я вас раненько потревожил, но посмотрите, какое утро. Свежесть, роса, жаворонки поют...

С своими курчавыми блестящими волосами, открытой шеей и розовыми щеками он сам был свеж, как утро.

Я оделся; мы вышли в садик, сели на лавочку, велели подать себе кофе и принялись беседовать. Гагин сообщил мне свои планы на будущее: владея порядочным состоянием и ни от кого не завися, он хотел посвятить себя живописи и только сожалел о том, что поздно хватился за ум и много времени потратил по-пустому; я также упомянул о моих предположениях, да кстати

поверил ему тайну моей несчастной любви. Он выслушал меня с снисхождением, но, сколько я мог заметить, сильного сочувствия к моей страсти я в нем не возбудил. Вздохнувши вслед за мной раза два из вежливости, Гагин предложил мне пойти к нему посмотреть его этюды. Я тотчас согласился.

Мы не застали Асю. Она, по словам хозяйки, отправилась на «развалину». Верстах в двух от города Л. находились остатки феодального замка. Гагин раскрыл мне все свои картоны. В его этюдах было много жизни и правды, что-то свободное и широкое; но ни один из них не был окончен, и рисунок показался мне небрежен и неверен. Я откровенно высказал ему мое мнение.

— Да, да, — подхватил он со вздохом, — вы правы; всё это очень плохо и незрело, что делать! Не учился я как следует, да и проклятая славянская распущенность берет свое. Пока мечтаешь о работе, так и паришь орлом; землю, кажется, сдвинул бы с места — а в исполнении тотчас ослабеешь и устаешь.

Я начал было ободрять его, но он махнул рукой и, собравши картоны в охапку, бросил их на диван.

— Коли хватит терпенья, из меня выйдет что-нибудь, — промолвил он сквозь зубы, — не хватит, останусь недорослем из дворян. Пойдемте-ка лучше Асю отыскивать.

Мы пошли.

**IV**

Дорога к развалине вилась по скату узкой лесистой долины; на дне ее бежал ручей и шумно прядал через камни, как бы торопясь слиться с великой рекой, спокойно сиявшей за темной гранью круто рассеченных горных гребней. Гагин обратил мое внимание на некоторые счастливо освещенные места; в словах его слышался если не живописец, то уж наверное художник. Скоро показалась развалина. [На самой вершине голой скалы возвышалась четыреугольная башня, вся черная, еще крепкая, но словно разрубленная продольной трещиной. Мшистые стены примыкали к башне; кой-где лепился плющ](#c18); искривленные деревца свешивались с седых бойниц и рухнувших сводов. Каменистая тропинка вела к уцелевшим воротам. Мы уже подходили к ним, как вдруг впереди нас мелькнула женская

фигура, быстро перебежала по груде обломков и поместилась на уступе стены, прямо над пропастью.

— А ведь это Ася! — воскликнул Гагин, — экая сумасшедшая!

Мы вошли в ворота и очутились на небольшом дворике, до половины заросшем дикими яблонями и крапивой. На уступе сидела, точно, Ася. Она повернулась к нам лицом и засмеялась, но не тронулась с места. Гагин погрозил ей пальцем, а я громко упрекнул ее в неосторожности.

— Полноте, — сказал мне шёпотом Гагин, — не дразните ее; вы ее не знаете: она, пожалуй, еще на башню взберется. А вот вы лучше подивитесь смышлености здешних жителей.

Я оглянулся. В уголке, приютившись в крошечном деревянном балаганчике, старушка вязала чулок и косилась на нас чрез очки. Она продавала туристам пиво, пряники и зельтерскую воду. Мы уместились на лавочке и принялись пить из тяжелых оловянных кружек довольно холодное пиво. Ася продолжала сидеть неподвижно, подобрав под себя ноги и закутав голову кисейным шарфом; стройный облик ее отчетливо и красиво рисовался на ясном небе; но я с неприязненным чувством посматривал на нее. Уже накануне заметил я в ней что-то напряженное, не совсем естественное... «Она хочет удивить нас, — думал я, — к чему это? Что за детская выходка?» Словно угадавши мои мысли, она вдруг бросила на меня быстрый и пронзительный взгляд, засмеялась опять, в два прыжка соскочила со стены и, подойдя к старушке, попросила у ней стакан воды.

— Ты думаешь, я хочу нить? — промолвила она, обратившись к брату, — нет; тут есть цветы на стенах, которые непременно полить надо.

Гагин ничего не отвечал ей; а она, с стаканом в руке, пустилась карабкаться по развалинам, изредка останавливаясь, наклоняясь и с забавной важностью роняя несколько капель воды, ярко блестевших на солнце. Ее движенья были очень милы, но мне по-прежнему было досадно на нее, хотя я невольно любовался ее легкостью и ловкостью. На одном опасном месте она нарочно вскрикнула и потом захохотала... Мне стало еще досаднее.

— Да она как коза лазит, — пробормотала себе под

нос старушка, оторвавшись на мгновенье от своего чулка.

Наконец Ася опорожнила весь свой стакан и, шаловливо покачиваясь, возвратилась к нам. Странная усмешка слегка подергивала ее брови, ноздри и губы; полудерзко, полувесело щурились темные глаза.

«Вы находите мое поведение неприличным, — казалось, говорило ее лицо, — всё равно: я знаю, вы мной любуетесь».

— Искусно, Ася, искусно, — промолвил Гагин вполголоса.

Она вдруг как будто застыдилась, опустила свои длинные ресницы и скромно подсела к нам, как виноватая. Я тут в первый раз хорошенько рассмотрел ее лицо, самое изменчивое лицо, какое я только видел. Несколько мгновений спустя оно уже всё побледнело и приняло сосредоточенное, почти печальное выражение; самые черты ее мне показались больше, строже, проще. Она вся затихла. Мы обошли развалину кругом (Ася шла за нами следом) и полюбовались видами. Между тем час обеда приближался. Расплачиваясь со старушкой, Гагин спросил еще кружку пива и, обернувшись ко мне, воскликнул с лукавой ужимкой:

— За здоровье дамы вашего сердца!

— А разве у него, — разве у вас есть такая дама? — спросила вдруг Ася.

— Да у кого же ее нет? — возразил Гагин.

Ася задумалась на мгновенье; ее лицо опять изменилось, опять появилась на нем вызывающая, почти дерзкая усмешка.

На возвратном пути она пуще хохотала и шалила. Она сломала длинную ветку, положила ее к себе на плечо, как ружье, повязала себе голову шарфом. Помнится, нам встретилась многочисленная семья белокурых и чопорных англичан; все они, словно по команде, с холодным изумлением проводили Асю своими стеклянными глазами, а она, как бы им назло, громко запела. Воротясь домой, она тотчас ушла к себе в комнату и появилась только к самому обеду, одетая в лучшее свое платье, тщательно причесанная, перетянутая и в перчатках. За столом она держалась очень чинно, почти чопорно, едва отведывала кушанья и пила воду из рюмки. Ей явно хотелось разыграть передо мною новую роль —

роль приличной и благовоспитанной барышни. Гагин не мешал ей: заметно было, что он привык потакать ей во всем. Он только по временам добродушно взглядывал на меня и слегка пожимал плечом, как бы желая сказать: «Она ребенок; будьте снисходительны». Как только кончился обед, Ася встала, сделала нам книксен, и, надевая шляпу, спросила Гагина: можно ли ей пойти к фрау Луизе?

— Давно ли ты стала спрашиваться? — отвечал он с своей неизменной, на этот раз несколько смущенной улыбкой, — разве тебе скучно с нами?

— Нет, но я вчера еще обещала фрау Луизе побывать у ней; притом же я думала, вам будет лучше вдвоем: г. Н. (она указала на меня) что-нибудь еще тебе расскажет.

Она ушла.

— Фрау Луизе, — начал Гагин, стараясь избегать моего взора, — вдова бывшего здешнего бургомистра, добрая, впрочем пустая старушка. Она очень полюбила Асю. У Аси страсть знакомиться с людьми круга низшего; я заметил: причиною этому всегда бывает гордость. Она у меня порядком избалована, как видите, — прибавил он, помолчав немного, — да что прикажете делать? Взыскивать я ни с кого не умею, а с нее и подавно. Я *обязан* быть снисходительным с нею.

Я промолчал. Гагин переменил разговор. Чем больше я узнавал его, тем сильнее я к нему привязывался. Я скоро его понял. Это была прямо русская душа, правдивая, честная, простая, но, к сожалению, немного вялая, без цепкости и внутреннего жара. Молодость не кипела в нем ключом; она светилась тихим светом. Он был очень мил и умен, но я не мог себе представить, что с ним станется, как только он возмужает. Быть художником... Без горького, постоянного труда не бывает художников... а трудиться, думал я, глядя на его мягкие черты, слушая его неспешную речь, — нет! трудиться ты не будешь, сжаться ты не сумеешь. Но не полюбить его не было возможности: сердце так и влеклось к нему. Часа четыре провели мы вдвоем, то сидя на диване, то медленно расхаживая перед домом; и в эти четыре часа сошлись окончательно.

Солнце село, и мне уже пора было идти домой. Ася всё еще не возвращалась.

— Экая она у меня вольница! — промолвил Гагин. — Хотите, я пойду провожать вас? Мы по пути завернем к фрау Луизе; я спрошу, там ли она? Крюк не велик.

Мы спустились в город и, свернувши в узкий, кривой переулочек, остановились перед домом в два окна шириною и вышиною в четыре этажа. Второй этаж выступал на улицу больше первого, третий и четвертый еще больше второго; весь дом с своей ветхой резьбой, двумя толстыми столбами внизу, острой черепичной кровлей и протянутым в виде клюва воротом на чердаке казался огромной, сгорбленной птицей.

— Ася! — крикнул Гагин, — ты здесь?

Освещенное окошко в третьем этаже стукнуло и отворилось, и мы увидали темную головку Аси. Из-за нее выглядывало беззубое и подслеповатое лицо старой немки.

— Я здесь, — проговорила Ася, кокетливо опершись локтями на оконницу, — мне здесь хорошо. На тебе, возьми, — прибавила она, бросая Гагину ветку гераниума, — вообрази, что я дама твоего сердца.

Фрау Луизе засмеялась.

— Н. уходит, — возразил Гагин, — он хочет с тобой проститься.

— Будто? — промолвила Ася, — в таком случае дай ему мою ветку, а я сейчас вернусь.

Она захлопнула окно и, кажется, поцеловала фрау Луизе. Гагин протянул мне молча ветку. Я молча положил ее в карман, дошел до перевоза и перебрался на другую сторону.

Помнится, я шел домой, ни о чем не размышляя, но с странной тяжестью на сердце, как вдруг меня поразил сильный, знакомый, но в Германии редкий запах. Я остановился и увидал возле дороги небольшую грядку конопли. Ее степной запах мгновенно напомнил мне родину и возбудил в душе страстную тоску по ней. Мне захотелось дышать русским воздухом, ходить по русской земле. «Что я здесь делаю, зачем таскаюсь я в чужой стороне, между чужими?» — воскликнул я, и мертвенная тяжесть, которую я ощущал на сердце, разрешилась внезапно в горькое и жгучее волнение. Я пришел домой совсем в другом настроении духа, чем накануне. Я чувствовал себя почти рассерженным и долго

не мог успокоиться. Непонятная мне самому досада меня разбирала. Наконец я сел и, вспомнив о своей коварной вдове (официальным воспоминанием об этой даме заключался каждый мой день), достал одну из ее записок. Но я даже не раскрыл ее; мысли мои тотчас приняли иное направление. Я начал думать... думать об Асе. Мне пришло в голову, что Гагин в течение разговора намекнул мне на какие-то затруднения, препятствующие его возвращению в Россию... «Полно, сестра ли она его?» — произнес я громко.

Я разделся, лег и старался заснуть; но час спустя я опять сидел в постели, облокотившись локтем на подушку, и снова думал об этой «капризной девочке с натянутым смехом...» «Она сложена, как [маленькая рафаэлевская Галатея в Фарнезине](#c19), — шептал я, — да; и она ему не сестра...»

А записка вдовы преспокойно лежала на полу, белея в лучах луны.

**V**

На следующее утро я опять пошел в Л. Я уверял себя, что мне хочется повидаться с Гагиным. но втайне меня тянуло посмотреть, что станет делать Ася, так же ли она будет «чудить», как накануне. Я застал обоих в гостиной, и, странное дело! — оттого ли, что я ночью и утром много размышлял о России, — Ася показалась мне совершенно русской девушкой, да, простою девушкой, чуть не горничной. На ней было старенькое платьице, волосы она зачесала за уши и сидела, не шевелясь, у окна да шила в пяльцах, скромно, тихо, точно она век свой ничем другим не занималась. Она почти ничего не говорила, спокойно посматривала на свою работу, и черты ее приняли такое незначительное, будничное выражение, что мне невольно вспомнились наши доморощенные Кати и Маши. Для довершения сходства она [принялась напевать вполголоса «Матушку, голубушку»](#c20). Я глядел на ее желтоватое, угасшее личико, вспоминал о вчерашних мечтаниях, и жаль мне было чего-то. Погода была чудесная. Гагин объявил нам, что пойдет сегодня рисовать этюд с натуры; я спросил его, позволит ли он мне провожать его, не помешаю ли ему?

— Напротив, — возразил он, — вы мне можете хороший совет дать.

Он надел круглую шляпу à la Van Dyck, блузу, взял картон под мышку и отправился; я поплелся вслед за ним. Ася осталась дома. Гагин, уходя, попросил ее позаботиться о том, чтобы суп был не слишком жидок: Ася обещалась побывать на кухне. Гагин добрался до знакомой уже мне долины, присел на камень и начал срисовывать старый дуплистый дуб с раскидистыми сучьями. Я лег на траву и достал книжку; но я двух страниц не прочел, а он только бумагу измарал; мы всё больше рассуждали и, сколько я могу судить, довольно [умно и тонко рассуждали о том, как именно должно работать, чего следует избегать, чего придерживаться и какое собственно значение художника в наш век.](#c21) Гагин, наконец, решил, что он «сегодня не в ударе», лег рядом со мною, и уж тут свободно потекли молодые наши речи, то горячие, то задумчивые, то восторженные, но почти всегда неясные речи, в которых так охотно разливается русский человек. Наболтавшись досыта и наполнившись чувством удовлетворения, словно мы что-то сделали, успели в чем-то, вернулись мы домой. Я нашел Асю точно такою же, какою я ее оставил; как я ни старался наблюдать за нею — ни тени кокетства, ни признака намеренно принятой роли я в ней не заметил; на этот раз не было возможности упрекнуть ее в неестественности.

— А-га! — говорил Гагин, — пост и покаяние на себя наложила.

К вечеру она несколько раз непритворно зевнула и рано ушла к себе. Я сам скоро простился с Гагиным и, возвратившись домой, не мечтал уже ни о чем: этот день прошел в трезвых ощущениях. Помнится, однако, ложась спать, я невольно промолвил вслух:

— Что за хамелеон эта девушка! — и, подумав немного, прибавил: — А все-таки она ему не сестра.

**VI**

Прошли целые две недели. Я каждый день посещал Гагиных. Ася словно избегала меня, но уже не позволяла себе ни одной из тех шалостей, которые так удивили меня в первые два дня нашего знакомства. Она казалась втайне огорченной или смущенной; она и смеялась меньше. Я с любопытством наблюдал за ней.

Она довольно хорошо говорила по-французски и по-немецки; но по всему было заметно, что она с детства не была в женских руках и воспитание получила странное, необычное, не имевшее ничего общего с воспитанием самого Гагина. [От него, несмотря на его шляпу à la Van Dyck и блузу, так и веяло мягким, полуизнеженным, великорусским дворянином](#c22), а она не походила на барышню; во всех ее движениях было что-то неспокойное: этот дичок недавно был привит, это вино еще бродило. По природе стыдливая и робкая, она досадовала на свою застенчивость и с досады насильственно старалась быть развязной и смелой, что ей не всегда удавалось. Я несколько раз заговаривал с ней об ее жизни в России, об ее прошедшем: она неохотно отвечала на мои расспросы; я узнал, однако, что до отъезда за границу она долго жила в деревне. Я застал ее раз за книгой, одну. Опершись головой на обе руки и запустив пальцы глубоко в волосы, она пожирала глазами строки.

— Браво! — сказал я, подойдя к ней, — как вы прилежны!

Она приподняла голову, важно и строго посмотрела на меня.

— Вы думаете, я только смеяться умею, — промолвила она и хотела удалиться...

Я взглянул на заглавие книги: [это был какой-то французский роман](#c23).

— Однако я ваш выбор похвалить не могу, — заметил я.

— Что же читать! — воскликнула она и, бросив книгу на стол, прибавила: — Так лучше пойду дурачиться, — и побежала в сад.

В тот же день, вечером, [я читал Гагину «Германа и Доротею»](#c24). Ася сперва всё только шныряла мимо нас, потом вдруг остановилась, приникла ухом, тихонько подсела ко мне и прослушала чтение до конца. На следующий день я опять не узнал ее, пока не догадался, что ей вдруг вошло в голову: быть домовитой и степенной, как Доротея. Словом, она являлась мне полузагадочным существом. Самолюбивая до крайности, она привлекала меня, даже когда я сердился на нее. В одном только я более и более убеждался, а именно в том, что она не сестра Гагина. Он обходился с нею не по-братски:

слишком ласково, слишком снисходительно и в то же время несколько принужденно.

Странный случай, по-видимому, подтвердил мои подозрения.

Однажды вечером, подходя к винограднику, где жили Гагины, я нашел калитку запертою. Не долго думавши, добрался я до одного обрушенного места в ограде, уже прежде замеченного мною, и перескочил через нее. Недалеко от этого места, в стороне от дорожки, находилась небольшая беседка из акаций; я поравнялся с нею и уже прошел было мимо... Вдруг меня поразил голос Аси, с жаром и сквозь слезы произносившей следующие слова:

— Нет, я никого не хочу любить, кроме тебя, нет, нет, одного тебя я хочу любить — и навсегда.

— Полно, Ася, успокойся, — говорил Гагин, — ты знаешь, я тебе верю.

Голоса их раздавались в беседке. Я увидал их обоих сквозь негустой переплет ветвей. Они меня не заметили.

— Тебя, тебя одного, — повторила она, бросилась ему на шею и с судорожными рыданиями начала целовать его и прижиматься к его груди.

— Полно, полно, — твердил он, слегка проводя рукой по ее волосам.

Несколько мгновений остался я неподвижным... Вдруг я встрепенулся. «Подойти к ним?.. Ни за что!» — сверкнуло у меня в голове. Быстрыми шагами вернулся я к ограде, перескочил через нее на дорогу и чуть не бегом пустился домой. Я улыбался, потирал руки, удивлялся случаю, внезапно подтвердившему мои догадки (я ни на одно мгновенье не усомнился в их справедливости), а между тем на сердце у меня было очень горько. «Однако, — думал я, — умеют же они притворяться! Но к чему? Что за охота меня морочить? Не ожидал я этого от него... И что за чувствительное объяснение?»

**VII**

Я спал дурно и на другое утро встал рано, привязал походную котомочку за спину и, объявив своей хозяйке, чтобы она не ждала меня к ночи, отправился пешком в горы, вверх по течению реки, на которой лежит городок З. Эти горы, отрасли хребта, называемого

Собачьей спиной (Hundsrück), очень любопытны в геологическом отношении; в особенности замечательны они правильностью и чистотой базальтовых слоев; но мне было не до геологических наблюдений. Я не отдавал себе отчета в том, что во мне происходило; одно чувство было мне ясно: нежелание видеться с Гагиными. Я уверял себя, что единственной причиной моего внезапного нерасположения к ним была досада на их лукавство. Кто их принуждал выдавать себя за родственников? Впрочем, я старался о них не думать; бродил не спеша по горам и долинам, засиживался в деревенских харчевнях, мирное беседуя с хозяевами и гостями, или ложился на плоский, согретый камень и смотрел, как плыли облака, благо погода стояла удивительная. В таких занятиях я провел три дня, и не без удовольствия, — хотя на сердце у меня щемило по временам. Настроение моих мыслей приходилось как раз под стать спокойной природе того края.

Я отдал себя всего тихой игре случайности, набегавшим впечатлениям; неторопливо сменяясь, протекали они по душе и оставили в ней, наконец, одно общее чувство, в котором слилось всё, что я видел, ощутил, слышал в эти три дня, — всё: тонкий запах смолы по лесам, крик и стук дятлов, немолчная болтовня светлых ручейков с пестрыми форелями на песчаном дне, не слишком смелые очертания гор, хмурые скалы, чистенькие деревеньки с почтенными старыми церквами и деревьями, аисты в лугах, уютные мельницы с проворно вертящимися колесами, радушные лица поселян, их синие камзолы и серые чулки, скрипучие, медлительные возы, запряженные жирными лошадьми, а иногда коровами, [молодые длинноволосые странники по чистым дорогам](#c25), обсаженным яблонями и грушами...

Даже и теперь мне приятно вспоминать мои тогдашние впечатления. Привет тебе, скромный уголок германской земли, с твоим незатейливым довольством, с повсеместными следами прилежных рук, терпеливой, хотя неспешной работы... Привет тебе и мир!

Я пришел домой к самому концу третьего дня. Я забыл сказать, что с досады на Гагиных я попытался воскресить в себе образ жестокосердой вдовы; но мои усилия остались тщетны. Помнится, когда я принялся мечтать о ней, я увидел перед собою крестьянскую девочку

лет пяти, с круглым любопытным личиком, с невинно выпученными глазенками. Она так детски-простодушно смотрела на меня... Мне стало стыдно ее чистого взора, я не хотел лгать в ее присутствии и тотчас же окончательно и навсегда раскланялся с моим прежним предметом.

Дома я нашел записку от Гагина. Он удивлялся неожиданности моего решения, пенял мне, зачем, я не взял его с собою, и просил прийти к ним, как только я вернусь. Я с неудовольствием прочел эту записку, но на другой же день отправился в Л.

**VIII**

Гагин встретил меня по-приятельски, осыпал меня ласковыми упреками; но Ася, точно нарочно, как только увидала меня, расхохоталась без всякого повода и, по своей привычке, тотчас убежала. Гагин смутился, пробормотал ей вслед, что она сумасшедшая, попросил меня извинить ее. Признаюсь, мне стало очень досадно на Асю; уж и без того мне было не по себе, а тут опять этот неестественный смех, эти странные ужимки. Я, однако, показал вид, будто ничего не заметил, и сообщил Гагину подробности моего небольшого путешествия. Он рассказал мне, что делал в мое отсутствие. Но речи наши не клеились; Ася входила в комнатку и убегала снова; я объявил наконец, что у меня есть спешная работа и что мне пора вернуться домой. Гагин сперва меня удерживал, потом, посмотрев на меня пристально, вызвался провожать меня. В передней Ася вдруг подошла ко мне и протянула мне руку; я слегка пожал ее пальцы и едва поклонился ей. Мы вместе с Гагиным переправились через Рейн и, проходя мимо любимого моего ясеня с статуйкой мадонны, присели на скамью, чтобы полюбоваться видом. Замечательный разговор произошел тут между нами.

Сперва мы перекинулись немногими словами, потом замолкли, глядя на светлую реку.

— Скажите, — начал вдруг Гагин, с своей обычной улыбкой, — какого вы мнения об Асе? Не правда ли, она должна казаться вам немного странной?

— Да, — ответил я не без некоторого недоумения. Я не ожидал, что он заговорит о ней.

— Ее надо хорошенько узнать, чтобы о ней судить, — промолвил он, — у ней сердце очень доброе, но голова бедовая. Трудно с нею ладить. Впрочем, ее нельзя винить, и если б вы знали ее историю...

— Ее историю?.. — перебил я, — разве она не ваша...

Гагин взглянул на меня.

— Уж не думаете ли вы, что она не сестра мне?.. Нет, — продолжал он, не обращая внимания на мое замешательство, — она точно мне сестра, она дочь моего отца. Выслушайте меня. Я чувствую к вам доверие и расскажу вам всё.

Отец мой был человек весьма добрый, умный, образованный — и несчастливый. Судьба обошлась с ним не хуже, чем со многими другими; но он и первого удара ее не вынес. Он женился рано, по любви; жена его, моя мать, умерла очень скоро; я остался после нее шести месяцев. Отец увез меня в деревню и целые двенадцать лет не выезжал никуда. Он сам занимался моим воспитанием и никогда бы со мной не расстался, если б брат его, мой родной дядя, не заехал к нам в деревню. Дядя этот жил постоянно в Петербурге и занимал довольно важное место. Он уговорил отца отдать меня к нему на руки, так как отец ни за что не соглашался покинуть деревню. Дядя представил ему, что мальчику моих лет вредно жить в совершенном уединении, что с таким вечно унылым и молчаливым наставником, каков был мой отец, я непременно отстану от моих сверстников, да и самый нрав мой легко может испортиться. Отец долго противился увещаниям своего брата, однако уступил наконец. Я плакал, расставаясь с отцом; я любил его, хотя никогда не видал улыбки на лице его... но, попавши в Петербург, скоро позабыл наше темное и невеселое гнездо. Я поступил в юнкерскую школу, а из школы перешел в гвардейский полк. Каждый год приезжал я в деревню на несколько недель и с каждым годом находил отца моего всё более и более грустным, в себя углубленным, задумчивым до робости. Он каждый день ходил в церковь и почти разучился говорить. В одно из моих посещений (мне уже было лет двадцать с лишком) я в первый раз увидал у нас в доме худенькую черноглазую девочку лет десяти — Асю. Отец сказал, что она сирота и взята им на прокормление — он именно так выразился. Я не обратил особенного внимания на

нее; она была дика, проворна и молчалива, как зверек, и как только я входил в любимую комнату моего отца, огромную и мрачную комнату, где скончалась моя мать и где даже днем зажигались свечки, она тотчас пряталась за вольтеровское кресло его или за шкаф с книгами. Случилось так, что в последовавшие за тем три, четыре года обязанности службы помешали мне побывать в деревне. Я получал от отца ежемесячно по короткому письму; об Асе он упоминал редко, и то вскользь. Ему было уже за пятьдесят лет, но он казался еще молодым человеком. Представьте же мой ужас: вдруг я, ничего не подозревавший, получаю от приказчика письмо, в котором он извещает меня о смертельной болезни моего отца и умоляет приехать как можно скорее, если хочу проститься с ним. Я поскакал сломя голову и застал отца в живых, но уже при последнем издыхании. Он обрадовался мне чрезвычайно, обнял меня своими исхудалыми руками, долго поглядел мне в глаза каким-то не то испытующим, не то умоляющим взором и, взяв с меня слово, что я исполню его последнюю просьбу, велел своему старому камердинеру привести Асю. Старик привел ее: она едва держалась на ногах и дрожала всем телом.

— Вот, — сказал мне с усилием отец, — завещаю тебе мою дочь — твою сестру. Ты всё узнаешь от Якова, — прибавил он, указав на камердинера.

Ася зарыдала и упала лицом на кровать... Полчаса спустя мой отец скончался.

Вот что я узнал. Ася была дочь моего отца и бывшей горничной моей матери, Татьяны. Живо помню я эту Татьяну, помню ее высокую стройную фигуру, ее благообразное, строгое, умное лицо, с большими темными глазами. Она слыла девушкой гордой и неприступной. Сколько я мог понять из почтительных недомолвок Якова, отец мой сошелся с нею несколько лет спустя после смерти матушки. Татьяна уже не жила тогда в господском доме, а в избе у замужней сестры своей, скотницы. Отец мой сильно к ней привязался и после моего отъезда из деревни хотел даже жениться на ней, но она сама не согласилась быть его женой, несмотря на его просьбы.

— Покойница Татьяна Васильевна, — так докладывал мне Яков, стоя у двери с закинутыми назад

руками, — во всем были рассудительны и не захотели батюшку вашего обидеть. Что, мол, я вам за жена? какая я барыня? Так они говорить изволили, при мне говорили-с.

Татьяна даже не хотела переселиться к нам в дом и продолжала жить у своей сестры, вместе с Асей. В детстве я видывал Татьяну только по праздникам, в церкви. Повязанная темным платком, с желтой шалью на плечах, она становилась в толпе, возле окна, — ее строгий профиль четко вырезывался на прозрачном стекле, — и смиренно и важно молилась, кланяясь низко, по-старинному. Когда дядя увез меня, Асе было всего два года, а на девятом году она лишилась матери.

Как только Татьяна умерла, отец взял Асю к себе в дом. Он и прежде изъявлял желание иметь ее при себе, но Татьяна ему и в этом отказала. Представьте же себе, что должно было произойти в Асе, когда ее взяли к барину. Она до сих пор не может забыть ту минуту, когда ей в первый раз надели шелковое платье и поцеловали у ней ручку. Мать, пока была жива, держала ее очень строго; у отца она пользовалась совершенной свободой. Он был ее учителем; кроме его, она никого не видала. Он не баловал ее, то есть не нянчился с нею; но он любил ее страстно и никогда ничего ей не запрещал: он в душе считал себя перед ней виноватым. Ася скоро поняла, что она главное лицо в доме, она знала, что барин ее отец; но она так же скоро поняла свое ложное положение; самолюбие развилось в ней сильно, недоверчивость тоже; дурные привычки укоренялись, простота исчезла. Она хотела (она сама мне раз призналась в этом) заставить *целый мир* забыть ее происхождение; она и стыдилась своей матери, и стыдилась своего стыда, и гордилась ею. Вы видите, что она многое знала и знает, чего не должно бы знать в ее годы... Но разве она виновата? Молодые силы разыгрывались в ней, кровь кипела, а вблизи ни одной руки, которая бы ее направила. Полная независимость во всем! да разве легко ее вынести? Она хотела быть не хуже других барышень; она бросилась на книги. Что тут могло выйти путного? Неправильно начатая жизнь слагалась неправильно, но сердце в ней не испортилось, ум уцелел.

И вот я, двадцатилетний малый, очутился с тринадцатилетней девочкой на руках! В первые дни после

смерти отца, при одном звуке моего голоса, ее била лихорадка, ласки мои повергали ее в тоску, и только понемногу, исподволь, привыкла она ко мне. Правда, потом, когда она убедилась, что я точно признаю ее за сестру и полюбил ее, как сестру, она страстно ко мне привязалась: у ней ни одно чувство не бывает вполовину.

Я привез ее в Петербург. Как мне ни больно было с ней расстаться, — жить с ней вместе я никак не мог; я поместил ее в один из лучших пансионов. Ася поняла необходимость нашей разлуки, но начала с того, что заболела и чуть не умерла. Потом она обтерпелась и выжила в пансионе четыре года; но, против моих ожиданий, осталась почти такою же, какою была прежде. Начальница пансиона часто жаловалась мне на нее. «И наказать ее нельзя, — говаривала она мне, — и на ласку она не поддается». Ася была чрезвычайно понятлива, училась прекрасно, лучше всех; но никак не хотела подойти под общий уровень, упрямилась, глядела букой... Я не мог слишком винить ее: в ее положении ей надо было либо прислуживаться, либо дичиться. Из всех своих подруг она сошлась только с одной, некрасивой, загнанной и бедной девушкой. Остальные барышни, с которыми она воспитывалась, большей частью из хороших фамилий, не любили ее, язвили ее и кололи как только могли; Ася им на волос не уступала. Однажды на уроке из закона божия преподаватель заговорил о пороках. «Лесть и трусость — самые дурные пороки», — громко промолвила Ася. Словом, она продолжала идти своей дорогой; только манеры ее стали лучше, хотя и в этом отношении она, кажется, не много успела.

Наконец ей минуло семнадцать лет; оставаться ей долее в пансионе было невозможно. Я находился в довольно большом затруднении. Вдруг мне пришла благая мысль: выйти в отставку, поехать за границу на год или на два и взять Асю с собою. Задумано — сделано; и вот мы с ней на берегах Рейна, где я стараюсь заниматься живописью, а она... шалит и чудит по-прежнему. Но теперь я надеюсь, что вы не станете судить ее слишком строго; а она хоть и притворяется, что ей всё нипочем, — мнением каждого дорожит, вашим же в особенности.

И Гагин опять улыбнулся своей тихой улыбкой. Я крепко стиснул ему руку.

— Всё так, — заговорил опять Гагин, — но с нею мне беда. Порох она настоящий. До сих пор ей никто не нравился, но беда, если она кого полюбит! Я иногда не знаю, как с ней быть. На днях она что вздумала: начала вдруг уверять меня, что я к ней стал холоднее прежнего и что она одного меня любит и век будет меня одного любить... И при этом так расплакалась...

— Так вот что... — промолвил было я и прикусил язык.

— А скажите-ка мне, — спросил я Гагина: дело между нами пошло на откровенность, — неужели в самом деле ей до сих пор никто не нравился? В Петербурге видала же она молодых людей?

— Они-то ей и не нравились вовсе. Нет, Асе нужен герой, необыкновенный человек — или живописный пастух в горном ущелье. А впрочем, я заболтался с вами, задержал вас, — прибавил он, вставая.

— Послушайте, — начал я, — пойдемте к вам, мне домой не хочется.

— А работа ваша?

Я ничего не отвечал; Гагин добродушно усмехнулся, и мы вернулись в Л. Увидев знакомый виноградник и белый домик на верху горы, я почувствовал какую-то сладость — именно сладость на сердце; точно мне втихомолку меду туда налили. Мне стало легко после гагинского рассказа.

**IX**

Ася встретила нас на самом пороге дома; я снова ожидал смеха; но она вышла к нам вся бледная, молчаливая, с потупленными глазами.

— Вот он опять, — заговорил Гагин, — и, заметь, сам захотел вернуться.

Ася вопросительно посмотрела на меня. Я в свою очередь протянул ей руку и на этот раз крепко пожал ее холодные пальчики. Мне стало очень жаль ее; теперь я многое понимал в ней, что прежде сбивало меня с толку: ее внутреннее беспокойство, неуменье держать себя, желание порисоваться — всё мне стало ясно. Я заглянул в эту душу: тайный гнет давил ее

постоянно, тревожно путалось и билось неопытое самолюбие, но всё существо ее стремилось к правде. Я понял, почему эта странная девочка меня привлекала; не одной только полудикой прелестью, разлитой но всему ее тонкому телу, привлекала она меня: ее душа мне нравилась.

Гагин начал копаться в своих рисунках; я предложил Асе погулять со мною по винограднику. Она тотчас согласилась, с веселой и почти покорной готовностью. Мы спустились до половины горы и присели на широкую плиту.

— И вам не скучно было без нас? — начала Ася.

— А вам без меня было скучно? — спросил я.

Ася взглянула на меня сбоку.

— Да, — отвечала она. — Хорошо в горах? — продолжала она тотчас, — они высоки? Выше облаков? Расскажите мне, что вы видели. Вы рассказывали брату, но я ничего не слыхала.

— Вольно ж вам было уходить, — заметил я.

— Я уходила... потому что... Я теперь вот не уйду, — прибавила она с доверчивой лаской в голосе, — вы сегодня были сердиты.

— Я?

— Вы.

— Отчего же, помилуйте...

— Не знаю, но вы были сердиты и ушли сердитыми. Мне было очень досадно, что вы так ушли, и я рада, что вы вернулись.

— И я рад, что вернулся, — промолвил я.

Ася повела плечами, как это часто делают дети, когда им хорошо.

— О, я умею отгадывать! — продолжала она, — бывало, я по одному папашину кашлю из другой комнаты узнавала, доволен ли он мной или нет.

До того дня Ася ни разу не говорила мне о своем отце. Меня это поразило.

— Вы любили вашего батюшку? — проговорил я и вдруг, к великой моей досаде, почувствовал, что краснею.

Она ничего не отвечала и покраснела тоже. Мы оба замолкли. Вдали по Рейну бежал и дымился пароход. Мы принялись глядеть на него.

— Что же вы не рассказываете? — прошептала Ася.

— Отчего вы сегодня рассмеялись, как только увидели меня? — спросил я.

— Сама не знаю. Иногда мне хочется плакать, а я смеюсь. Вы не должны судить меня... по тому, что я делаю. Ах, кстати, [что это за сказка о Лорелее? Ведь это *ее*скала виднеется? Говорят, она прежде всех топила, а как полюбила, сама бросилась в воду.](#c26) Мне нравится эта сказка. Фрау Луизе мне всякие сказки сказывает. У фрау Луизе есть черный кот с желтыми глазами...

Ася подняла голову и встряхнула кудрями.

— Ах, мне хорошо, — проговорила она.

В это мгновенье долетели до нас отрывочные, однообразные звуки. Сотни голосов разом и с мерными расстановками повторяли молитвенный напев: [толпа богомольцев тянулась внизу по дороге с крестами и хоругвями.](#c27)

— Вот бы пойти с ними, — сказала Ася, прислушиваясь к постепенно ослабевавшим взрывам голосов.

— Разве вы так набожны?

— Пойти куда-нибудь далеко, на молитву, на трудный подвиг, — продолжала она. — А то дни уходят, жизнь уйдет, а что мы сделали?

— Вы честолюбивы, — заметил я, — вы хотите прожить не даром, след за собой оставить...

— А разве это невозможно?

«Невозможно», — чуть было не повторил я... Но я взглянул в ее светлые глаза и только промолвил:

— Попытайтесь.

— Скажите, — заговорила Ася после небольшого молчания, в течение которого какие-то тени пробежали у ней по лицу, уже успевшему побледнеть, — вам очень нравилась та дама... Вы помните, брат пил ее здоровье в развалине, на второй день нашего знакомства?

Я засмеялся.

— Ваш брат шутил; мне ни одна дама не нравилась; по крайней мере теперь ни одна не нравится.

— А что вам нравится в женщинах? — спросила Ася, закинув голову с невинным любопытством.

— Какой странный вопрос! — воскликнул я.

Ася слегка смутилась.

— Я не должна была сделать вам такой вопрос, не правда ли? Извините меня, я привыкла болтать всё,

что мне в голову входит. Оттого-то я и боюсь говорить.

— Говорите ради бога, не бойтесь, — подхватил я, — я так рад, что вы, наконец, перестаете дичиться.

Ася потупилась и засмеялась тихим и легким смехом; я не знал за ней такого смеха.

— Ну, рассказывайте же, — продолжала она, разглаживая полы своего платья и укладывая их себе на ноги, точно она усаживалась надолго, — рассказывайте или прочтите что-нибудь, как, помните, вы нам читали из «Онегина»...

Она вдруг задумалась...

[Где нынче крест и тень ветвей](#c28)  
Над бедной матерью моей! —

проговорила она вполголоса.

— У Пушкина не так, — заметил я.

— А я хотела бы быть Татьяной, — продолжала она всё так же задумчиво. — Рассказывайте, — подхватила она с живостью.

Но мне было не до рассказов. Я глядел на нее, всю облитую ясным солнечным лучом, всю успокоенную и кроткую. Всё радостно сияло вокруг нас, внизу, над нами — небо, земля и воды; самый воздух, казалось, был насыщен блеском.

— Посмотрите, как хорошо! — сказал я, невольно понизив голос.

— Да, хорошо! — так же тихо отвечала она, не смотря на меня. — Если б мы с вами были птицы, — как бы мы взвились, как бы полетели... Так бы и утонули в этой синеве... Но мы не птицы.

— А крылья могут у нас вырасти, — возразил я.

— Как так?

— Поживите — узнаете. Есть чувства, которые поднимают нас от земли. Не беспокойтесь, у вас будут крылья.

— А у вас были?

— Как вам сказать... Кажется, до сих пор я еще не летал.

Ася опять задумалась. Я слегка наклонился к ней.

— Умеете вы вальсировать? — спросила она вдруг.

— Умею, — отвечал я, несколько озадаченный.

— Так пойдемте, пойдемте... Я попрошу брата сыграть нам вальс... Мы вообразим, что мы летаем, что у нас выросли крылья.

Она побежала к дому. Я побежал вслед за нею — и несколько мгновений спустя мы кружились в тесной комнате, под сладкие звуки Ланнера. Ася вальсировала прекрасно, с увлечением. Что-то мягкое, женское проступило вдруг сквозь ее девически строгий облик. Долго потом рука моя чувствовала прикосновение ее нежного стана, долго слышалось мне ее ускоренное, близкое дыханье, долго мерещились мне темные, неподвижные, почти закрытые глаза на бледном, но оживленном лице, резво обвеянном кудрями.

**X**

Весь этот день прошел как нельзя лучше. Мы веселились, как дети. Ася была очень мила и проста. Гагин радовался, глядя на нее. Я ушел поздно. Въехавши на середину Рейна, я попросил перевозчика пустить лодку вниз по течению. Старик поднял весла — и царственная река понесла нас. Глядя кругом, слушая, вспоминая, я вдруг почувствовал тайное беспокойство на сердце... поднял глаза к небу — но и в небе не было покоя: испещренное звездами, оно всё шевелилось, двигалось, содрогалось; я склонился к реке... но и там, и в этой темной, холодной глубине, тоже колыхались, дрожали звезды; тревожное оживление мне чудилось повсюду — и тревога росла во мне самом. Я облокотился на край лодки... Шёпот ветра в моих ушах, тихое журчанье воды за кормою меня раздражали, и свежее дыханье волны не охлаждало меня; соловей запел на берегу и заразил меня сладким ядом своих звуков. Слезы закипали у меня на глазах, но то не были слезы беспредметного восторга. Что я чувствовал, было не то смутное, еще недавно испытанное ощущение всеобъемлющих желаний, когда душа ширится, звучит, когда ей кажется, что она всё понимает и всё любит... Нет! во мне зажглась жажда счастия. Я еще не смел назвать его по имени, — но счастья, счастья до пресыщения — вот чего хотел я, вот о чем томился... А лодка всё неслась, и старик перевозчик сидел и дремал, наклонясь над веслами.

**XI**

Отправляясь на следующий день к Гагиным, я не спрашивал себя, влюблен ли я в Асю, но я много размышлял о ней, ее судьба меня занимала, я радовался неожиданному нашему сближению. Я чувствовал, что только с вчерашнего дня я узнал ее; до тех пор она отворачивалась от меня. И вот, когда она раскрылась, наконец, передо мною, каким пленительным светом озарился ее образ, как он был нов для меня, какие тайные обаяния стыдливо в нем сквозили...

Бодро шел я по знакомой дороге, беспрестанно посматривая на издали белевший домик; я не только о будущем — я о завтрашнем дне не думал; мне было очень хорошо.

Ася покраснела, когда я вошел в комнату; я заметил, что она опять принарядилась, но выражение ее лица не шло к ее наряду: оно было печально. А я пришел таким веселым! Мне показалось даже, что она, по обыкновению своему, собралась было бежать, но сделала усилие над собою — и осталась. Гагин находился в том особенном состоянии художнического жара и ярости, которое, в виде припадка, внезапно овладевает дилетантами, когда они вообразят, что им удалось, как они выражаются, «поймать природу за хвост». Он стоял, весь взъерошенный и выпачканный красками, перед натянутым холстом и, широко размахивая по нем кистью, почти свирепо кивнул мне головой, отодвинулся, прищурил глаза и снова накинулся на свою картину. Я не стал мешать ему и подсел к Асе. Медленно обратились ко мне ее темные глаза.

— Вы сегодня не такая, как вчера, — заметил я после тщетных усилий вызвать улыбку на ее губы.

— Нет, не такая, — возразила она неторопливым и глухим голосом. — Но это ничего. Я нехорошо спала, всю ночь думала.

— О чем?

— Ах, я о многом думала. Это у меня привычка с детства: еще с того времени, когда я жила с матушкой...

Она с усилием выговорила это слово и потом еще раз повторила:

— Когда я жила с матушкой... я думала, отчего

это никто не может знать, что с ним будет; а иногда и видишь беду — да спастись нельзя; и отчего никогда нельзя сказать всей правды?.. Потом я думала, что я ничего не знаю, что мне надобно учиться. Меня перевоспитать надо, я очень дурно воспитана. Я не умею играть на фортепьяно, не умею рисовать, я даже шью плохо. У меня нет никаких способностей, со мной должно быть очень скучно.

— Вы несправедливы к себе, — возразил я. — Вы много читали, вы образованны, и с вашим умом...

— А я умна? — спросила она с такой наивной любознательностью, что я невольно засмеялся; но она даже не улыбнулась. — Брат, я умна? — спросила она Гагина.

Он ничего не отвечал ей и продолжал трудиться, беспрестанно меняя кисти и высоко поднимая руку.

— Я сама не знаю иногда, что у меня в голове, — продолжала Ася с тем же задумчивым видом. — Я иногда самой себя боюсь, ей-богу. Ах, я хотела бы... Правда ли, что женщинам не следует читать много?

— Много не нужно, но...

— Скажите мне, что я должна читать? скажите, что я должна делать? Я всё буду делать, что вы мне скажете, — прибавила она, с невинной доверчивостью обратясь ко мне.

Я не тотчас нашелся, что сказать ей.

— Ведь вам не будет скучно со мной?

— Помилуйте, — начал я.

— Ну, спасибо! — возразила Ася, — а я думала, что вам скучно будет.

И ее маленькая горячая ручка крепко стиснула мою.

— Н.! — вскрикнул в это мгновенье Гагин, — не темен этот фон?

Я подошел к нему. Ася встала и удалилась.

**XII**

Она вернулась через час, остановилась в дверях и подозвала меня рукою.

— Послушайте, — сказала она, — если б я умерла, вам было бы жаль меня?

— Что у вас за мысли сегодня! — воскликнул я.

— Я воображаю, что я скоро умру; мне иногда кажется, что всё вокруг меня со мною прощается. Умереть лучше, чем жить так... Ах! не глядите так на меня; я, право, не притворяюсь. А то я вас опять бояться буду.

— Разве вы меня боялись?

— Если я такая странная, я, право, не виновата, — возразила она. — Видите, я уж и смеяться не могу...

Она осталась печальной и озабоченной до самого вечера. Что-то происходило в ней, чего я не понимал. Ее взор часто останавливался на мне; сердце мое тихо сжималось под этим загадочным взором. Она казалась спокойною — а мне, глядя на нее, всё хотелось сказать ей, чтобы она не волновалась. Я любовался ею, я находил трогательную прелесть в ее побледневших чертах, в ее нерешительных, замедленных движениях — а ей почему-то воображалось, что я не в духе.

— Послушайте, — сказала она мне незадолго до прощанья, — меня мучит мысль, что вы меня считаете легкомысленной... Вы вперед всегда верьте тому, что я вам говорить буду, только и вы будьте со мной откровенны; а я вам всегда буду говорить правду, даю вам честное слово...

Это «честное слово» опять заставило меня засмеяться.

— Ах, не смейтесь, — проговорила она с живостью, — а то я вам скажу сегодня то, что вы мне сказали вчера: «Зачем вы смеетесь?» — и, помолчав немного, она прибавила: — Помните, вы вчера говорили о крыльях?.. Крылья у меня выросли — да лететь некуда.

— Помилуйте, — промолвил я, — перед вами все пути открыты...

Ася посмотрела мне прямо и пристально в глаза.

— Вы сегодня дурного мнения обо мне, — сказала она, нахмурив брови.

— Я? дурного мнения? о вас!..

— Что это вы точно в воду опущенные, — перебил меня Гагин, — хотите, я, по-вчерашнему, сыграю вам вальс?

— Нет, нет, — возразила Ася и стиснула руки, — сегодня ни за что!

— Я тебя не принуждаю, успокойся...

— Ни за что, — повторила она, бледнея

«Неужели она меня любит?» — думал я, подходя к Рейну, быстро катившему темные волны.

**XIII**

«Неужели она меня любит?» — спрашивал я себя на другой день, только что проснувшись. Я не хотел заглядывать в самого себя. Я чувствовал, что ее образ, образ «девушки с натянутым смехом», втеснился мне в душу и что мне от него не скоро отделаться. Я пошел в Л. и остался там целый день, но Асю видел только мельком. Ей нездоровилось; у ней голова болела. Она сошла вниз, на минутку, с повязанным лбом, бледная, худенькая, с почти закрытыми глазами; слабо улыбнулась, сказала: «Это пройдет, это ничего, всё пройдет, не правда ли?» — и ушла. Мне стало скучно и как-то грустно-пусто; я, однако, долго не хотел уходить и вернулся поздно, не увидав ее более.

Следующее утро прошло в каком-то полусне сознания. Я хотел приняться за работу — не мог; хотел ничего не делать и не думать... и это не удалось. Я бродил по городу; возвращался домой, выходил снова.

— Вы ли г-н Н.? — раздался вдруг за мною детский голос. Я оглянулся; передо мною стоял мальчик. — Это вам от фрейлейн Annette, — прибавил он, подавая мне записку.

Я развернул ее — и узнал неправильный и быстрый почерк Аси. «Я непременно должна вас видеть, — писала мне она, — приходите сегодня в четыре часа к каменной часовне на дороге возле развалины. Я сделала сегодня большую неосторожность... Придите ради бога, вы всё узнаете... Скажите посланному: да».

— Будет ответ? — спросил меня мальчик.

— Скажи, что да, — отвечал я.

Мальчик убежал.

**XIV**

Я пришел к себе в комнату, сел и задумался. Сердце во мне сильно билось. Несколько раз перечел я записку Аси. Я посмотрел на часы: и двенадцати еще не было.

Дверь отворилась — вошел Гагин.

Лицо его было пасмурно. Он схватил меня за руку и крепко пожал ее. Он казался очень взволнованным.

— Что с вами? — спросил я.

Гагин взял стул и сел против меня.

— Четвертого дня, — начал он с принужденной улыбкой и запинаясь, — я удивил вас своим рассказом; сегодня удивлю еще более. С другим я, вероятно, не решился бы... так прямо... Но вы благородный человек, вы мне друг, не так ли? Послушайте: моя сестра, Ася, в вас влюблена.

Я весь вздрогнул и приподнялся...

— Ваша сестра, говорите вы...

— Да, да, — перебил меня Гагин. — Я вам говорю, она сумасшедшая и меня с ума сведет. Но, к счастью, она не умеет лгать — и доверяет мне. Ах, что за душа у этой девочки... но она себя погубит, непременно.

— Да вы ошибаетесь, — начал я.

— Нет, не ошибаюсь. Вчера, вы знаете, она почти целый день пролежала, ничего не ела, впрочем, не жаловалась... Она никогда не жалуется. Я не беспокоился, хотя к вечеру у ней сделался небольшой жар. Сегодня, в два часа ночи, меня разбудила наша хозяйка: «Ступайте, говорит, к вашей сестре: с ней что-то худо». Я побежал к Асе и нашел ее нераздетою, в лихорадке, в слезах; голова у ней горела, зубы стучали. «Что с тобой? — спросил я, — ты больна?» Она бросилась мне на шею и начала умолять меня увезти ее как можно скорее, если я хочу, чтобы она осталась в живых... Я ничего не понимаю, стараюсь ее успокоить... Рыдания ее усиливаются... и вдруг сквозь эти рыдания услышал я... Ну, словом я услышал, что она вас любит. Уверяю вас, мы с вами, благоразумные люди, и представить себе не можем, как она глубоко чувствует и с какой невероятной силой высказываются в ней эти чувства; это находит на нее так же неожиданно и так же неотразимо, как гроза. Вы очень милый человек, — продолжал Гагин, — но почему она вас так полюбила — этого я, признаюсь, не понимаю. Она говорит, что привязалась к вам с первого взгляда. Оттого она и плакала на днях, когда уверяла меня, что, кроме меня, никого любить не хочет. Она воображает, что вы ее

презираете, что вы, вероятно, знаете, кто она; она спрашивала меня, не рассказал ли я вам ее историю, — я, разумеется, сказал, что нет; но чуткость ее — просто страшна. Она желает одного: уехать, уехать тотчас. Я просидел с ней до утра; она взяла с меня слово, что нас завтра же здесь не будет, — и тогда только она заснула. Я подумал, подумал и решился — поговорить с вами. По-моему, Ася права: самое лучшее — уехать нам обоим отсюда. И я сегодня же бы увез ее, если б не пришла мне в голову мысль, которая меня остановила. Может быть... как знать? — вам сестра моя нравится? Если так, с какой стати я увезу ее? Я вот и решился, отбросив в сторону всякий стыд... Притом же я сам кое-что заметил... Я решился... узнать от вас... — Бедный Гагин смутился. — Извините меня, пожалуйста, — прибавил он, — я не привык к таким передрягам. Я взял его за руку.

— Вы хотите знать, — произнес я твердым голосом, — нравится ли мне ваша сестра? Да, она мне нравится...

Гагин взглянул на меня.

— Но, — проговорил он запинаясь, — ведь вы не женитесь на ней?

— Как вы хотите, чтобы я отвечал на такой вопрос? Посудите сами, могу ли я теперь...

— Знаю, знаю, — перебил меня Гагин. — Я не имею никакого права требовать от вас ответа, и вопрос мой — верх неприличия... Но что прикажете делать? С огнем шутить нельзя. Вы не знаете Асю; она в состоянии занемочь, убежать, свиданье вам назначить... Другая умела бы всё скрыть и выждать — но не она. С нею это в первый раз, — вот что беда! Если б вы видели, как она сегодня рыдала у ног моих, вы бы поняли мои опасения.

Я задумался. Слова Гагина «свиданье вам назначить» кольнули меня в сердце. Мне показалось постыдным не отвечать откровенностью на его честную откровенность.

— Да, — сказал я наконец, — вы правы. Час тому назад я получил от вашей сестры записку. Вот она.

Гагин взял записку, быстро пробежал ее и уронил руки на колени. Выражение изумления на его лице было очень забавно, но мне было не до смеху.

— Вы, повторяю, благородный человек, — проговорил он, — но что же теперь делать? Как? она сама хочет уехать, и пишет к вам, и упрекает себя в неосторожности... и когда это она успела написать? Чего ж она хочет от вас?

Я успокоил его, и мы принялись толковать хладнокровно по мере возможности о том, что нам следовало предпринять.

Вот на чем мы остановились наконец: во избежание беды я должен был идти на свиданье и честно объясниться с Асей; Гагин обязался сидеть дома и не подать вида, что ему известна ее записка; а вечером мы положили сойтись опять.

— Я твердо надеюсь на вас, — сказал Гагин и стиснул мне руку, — пощадите и ее и меня. А уезжаем мы все-таки завтра, — прибавил он, вставая, — потому что ведь вы на Асе не женитесь.

— Дайте мне сроку до вечера, — возразил я.

— Пожалуй, но вы не женитесь.

Он ушел, а я бросился на диван и закрыл глаза. Голова у меня ходила кругом: слишком много впечатлений в нее нахлынуло разом. Я досадовал на откровенность Гагина, я досадовал на Асю, ее любовь меня и радовала и смущала. Я не мог понять, что заставило ее всё высказать брату; неизбежность скорого, почти мгновенного решения терзала меня...

«Жениться на семнадцатилетней девочке, с ее нравом, как это можно!» — сказал я, вставая.

**XV**

В условленный час переправился я через Рейн, и первое лицо, встретившее меня на противоположном берегу, был самый тот мальчик, который приходил ко мне поутру. Он, по-видимому, ждал меня.

— От фрейлейн Annette, — сказал он шёпотом и подал мне другую записку.

Ася извещала меня о перемене места нашего свидания. Я должен был прийти через полтора часа не к часовне, а в дом к фрау Луизе, постучаться внизу и войти в третий этаж.

— Опять: да? — спросил меня мальчик.

— Да, — повторил я и пошел по берегу Рейна.

Вернуться домой было некогда, я не хотел бродить по улицам. За городской стеною находился маленький сад с навесом для кеглей и столами для любителей пива. Я вошел туда. Несколько уже пожилых немцев играли в кегли; со стуком катились деревянные шары, изредка раздавались одобрительные восклицания. Хорошенькая служанка с заплаканными глазами принесла мне кружку пива; я взглянул в ее лицо. Она быстро отворотилась и отошла прочь.

— Да, да, — промолвил тут же сидевший толстый и краснощекий гражданин, — [Ганхен](#c29) наша сегодня очень огорчена: жених ее пошел в солдаты.

Я посмотрел на нее; она прижалась в уголок и подперла рукою щеку; слезы капали одна за другой по ее пальцам. Кто-то спросил пива; она принесла ему кружку и опять вернулась на свое место. Ее горе подействовало на меня; я начал думать об ожидавшем меня свидании, но мои думы были заботливые, невеселые думы. Не с легким сердцем шел я на это свидание, не предаваться радостям взаимной любви предстояло мне; мне предстояло сдержать данное слово, исполнить трудную обязанность. «С ней шутить нельзя» — эти слова Гагина, как стрелы, впились в мою душу. А еще четвертого дня в этой лодке, уносимой волнами, не томился ли я жаждой счастья? Оно стало возможным — и я колебался, я отталкивал, я должен был оттолкнуть его прочь... Его внезапность меня смущала. Сама Ася, с ее огненной головой, с ее прошедшим, с ее воспитанием, это привлекательное, но странное существо — признаюсь, она меня пугала. Долго боролись во мне чувства. Назначенный срок приближался. «Я не могу на ней жениться, — решил я наконец, — она не узнает, что и я полюбил ее».

Я встал — и, положив талер в руку бедной Ганхен (она даже не поблагодарила меня), направился к дому фрау Луизе. Вечерние тени уже разливались в воздухе, и узкая полоса неба, над темной улицей, алела отблеском зари. Я слабо стукнул в дверь; она тотчас отворилась. Я переступил порог и очутился в совершенной темноте.

— Сюда! — послышался старушечий голос. — Вас ждут.

Я шагнул раза два ощупью, чья-то костлявая рука взяла мою руку.

— Вы это, фрау Луизе? — спросил я.

— Я, — отвечал мне тот же голос, — я, мой прекрасный молодой человек.

Старуха повела меня опять вверх, по крутой лестнице, и остановилась на площадке третьего этажа. При слабом свете, падавшем из крошечного окошка, я увидал морщинистое лицо вдовы бургомистра. Приторно-лукавая улыбка растягивала ее ввалившиеся губы, ежила тусклые глазки. Она указала мне на маленькую дверь. Судорожным движением руки отворил я ее и захлопнул за собою.

**XVI**

В небольшой комнатке, куда я вошел, было довольно темно, и я не тотчас увидел Асю. Закутанная в длинную шаль, она сидела на стуле возле окна, отвернув и почти спрятав голову, как испуганная птичка. Она дышала быстро и вся дрожала. Мне стало несказанно жалко ее. Я подошел к ней. Она еще больше отвернула голову...

— Анна Николаевна, — сказал я.

Она вдруг вся выпрямилась, хотела взглянуть на меня — и не могла. Я схватил ее руку, она была холодна и лежала, как мертвая, на моей ладони.

— Я желала... — начала Ася, стараясь улыбнуться, но ее бледные губы не слушались ее, — я хотела... Нет, не могу, — проговорила она и умолкла. Действительно, голос ее прерывался на каждом слове.

Я сел подле нее.

— Анна Николаевна, — повторил я и тоже не мог ничего прибавить.

Настало молчание. Я продолжал держать ее руку и глядел на нее. Она по-прежнему вся сжималась, дышала с трудом и тихонько покусывала нижнюю губу, чтобы не заплакать, чтобы удержать накипавшие слезы... Я глядел на нее; было что-то трогательно-беспомощное в ее робкой неподвижности: точно она от усталости едва добралась до стула и так и упала на него. Сердце во мне растаяло...

— Ася, — сказал я едва слышно...

Она медленно подняла на меня свои глаза... О, взгляд женщины, которая полюбила, — кто тебя

опишет? Они молили, эти глаза, они доверялись, вопрошали, отдавались... Я не мог противиться их обаянию. Тонкий огонь пробежал по мне жгучими иглами; я нагнулся и приник к ее руке...

Послышался трепетный звук, похожий на прерывистый вздох, и я почувствовал на моих волосах прикосновение слабой, как лист дрожавшей руки. Я поднял голову и увидал ее лицо. Как оно вдруг преобразилось! Выражение страха исчезло с него, взор ушел куда-то далеко и увлекал меня за собою, губы слегка раскрылись, лоб побледнел, как мрамор, и кудри отодвинулись назад, как будто ветер их откинул. Я забыл всё, я потянул ее к себе — покорно повиновалась ее рука, всё ее тело повлеклось вслед за рукою, шаль покатилась с плеч, и голова ее тихо легла на мою грудь, легла под мои загоревшиеся губы...

— Ваша... — прошептала она едва слышно.

Уже руки мои скользили вокруг ее стана... Но вдруг воспоминание о Гагине, как молния, меня озарило.

— Что мы делаем!.. — воскликнул я и судорожно отодвинулся назад. — Ваш брат... ведь он всё знает... Он знает, что я вижусь с вами.

Ася опустилась на стул.

— Да, — продолжал я, вставая и отходя на другой угол комнаты. — Ваш брат всё знает... Я должен был ему всё сказать.

— Должны? — проговорила она невнятно. Она, видимо, не могла еще прийти в себя и плохо меня понимала.

— Да, да, — повторил я с каким-то ожесточением, — и в этом вы одни виноваты, вы одни. Зачем вы сами выдали вашу тайну? Кто заставлял вас всё высказать вашему брату? Он сегодня был сам у меня и передал мне ваш разговор с ним. — Я старался не глядеть на Асю и ходил большими шагами по комнате. — Теперь всё пропало, всё, всё.

Ася поднялась было со стула.

— Останьтесь, — воскликнул я, — останьтесь, прошу вас. Вы имеете дело с честным человеком — да, с честным человеком. Но, ради бога, что взволновало вас? Разве вы заметили во мне какую перемену? А я не мог скрываться перед вашим братом, когда он пришел сегодня ко мне.

«Что я такое говорю?» — думал я про себя, и мысль, что я безнравственный обманщик, что Гагин знает о нашем свидании, что всё искажено, обнаружено, — так и звенела у меня в голове.

— Я не звала брата, — послышался испуганный шёпот Аси, — он пришел сам.

— Посмотрите же, что вы наделали, — продолжал я. — Теперь вы хотите уехать...

— Да, я должна уехать, — так же тихо проговорила она, — я и попросила вас сюда для того только, чтобы проститься с вами.

— И вы думаете, — возразил я, — мне будет легко с вами расстаться?

— Но зачем же вы сказали брату? — с недоумением повторила Ася.

— Я вам говорю — я не мог поступить иначе. Если б вы сами не выдали себя...

— Я заперлась в моей комнате, — возразила она простодушно, — я не знала, что у моей хозяйки был другой ключ...

Это невинное извинение, в ее устах, в такую минуту — меня тогда чуть не рассердило... а теперь я без умиления не могу его вспомнить. Бедное, честное, искреннее дитя!

— И вот теперь всё кончено! — начал я снова. — Всё. Теперь нам должно расстаться. — Я украдкой взглянул на Асю... лицо ее быстро краснело. Ей, я это чувствовал, и стыдно становилось и страшно. Я сам ходил и говорил, как в лихорадке. — Вы не дали развиться чувству, которое начинало созревать, вы сами разорвали нашу связь, вы не имели ко мне доверия, вы усомнились во мне...

Пока я говорил, Ася всё больше и больше наклонялась вперед — и вдруг упала на колени, уронила голову на руки и зарыдала. Я подбежал к ней, пытался поднять ее, но она мне не давалась. Я не выношу женских слез: при виде их я теряюсь тотчас.

— Анна Николаевна, Ася, — твердил я, — пожалуйста, умоляю вас, ради бога, перестаньте... — Я снова взял ее за руку...

Но, к величайшему моему изумлению, она вдруг вскочила — с быстротою молнии бросилась к двери и исчезла...

Когда несколько минут спустя фрау Луизе вошла в комнату — я всё еще стоял по самой середине ее, уж точно как громом пораженный. Я не понимал, как могло это свидание так быстро, так глупо кончиться — кончиться, когда я и сотой доли не сказал того, что хотел, что должен был сказать, когда я еще сам не знал, чем оно могло разрешиться...

— Фрейлейн ушла? — спросила меня фрау Луизе, приподняв свои желтые брови до самой накладки.

Я посмотрел на нее как дурак — и вышел вон.

**XVII**

Я выбрался из города и пустился прямо в поле. Досада, досада бешеная, меня грызла. Я осыпал себя укоризнами. Как я мог не понять причину, заставившую Асю переменить место нашего свидания, как не оценить, чего ей стоило прийти к этой старухе, как я не удержал ее! Наедине с ней в той глухой, едва освещенной комнате у меня достало силы, достало духа — оттолкнуть ее от себя, даже упрекать ее... А теперь ее образ меня преследовал, я просил у ней прощения; воспоминания об этом бледном лице, об этих влажных и робких глазах, о развитых волосах на наклоненной шее, о легком прикосновении ее головы к моей груди — жгли меня. «Ваша...» — слышался мне ее шёпот. «Я поступил по совести», — уверял я себя... Неправда! Разве я точно хотел такой развязки? Разве я в состоянии с ней расстаться? Разве я могу лишиться ее? «Безумец! безумец!» — повторял я с озлоблением...

Между тем ночь наступала. Большими шагами направился я к дому, где жила Ася.

**XVIII**

Гагин вышел ко мне навстречу.

— Видели вы сестру? — закричал он мне еще издали.

— Разве ее нет дома? — спросил я.

— Нет.

— Она не возвращалась?

— Нет. Я виноват, — продолжал Гагин, — не мог утерпеть: против нашего уговора, ходил к часовне; там ее не было; стало быть, она не приходила?

— Она не была у часовни.

— И вы ее не видели?

Я должен был сознаться, что я ее видел.

— Где?

— У фрау Луизе. Я расстался с ней час тому назад, — прибавил я, —я был уверен, что она домой вернулась.

— Подождем, — сказал Гагин.

Мы вошли в дом и сели друг подле друга. Мы молчали. Нам очень неловко было обоим. Мы беспрестанно оглядывались, посматривали на дверь, прислушивались. Наконец Гагин встал.

— Это ни на что не похоже! — воскликнул он, — у меня сердце не на месте. Она меня уморит, ей-богу... Пойдемте искать ее.

Мы вышли. На дворе уже совсем стемнело.

— О чем же вы с ней говорили? — спросил меня Гагин, надвигая шляпу на глаза.

— Я виделся с ней всего минут пять, — отвечал я, — я говорил с ней, как было условлено.

— Знаете ли что? — возразил он, — лучше нам разойтись; этак мы скорее на нее наткнуться можем. Во всяком случае приходите сюда через час.

**XIX**

Я проворно спустился с виноградника и бросился в город. Быстро обошел я все улицы, заглянул всюду, даже в окна фрау Луизе, вернулся к Рейну и побежал по берегу... Изредка попадались мне женские фигуры, но Аси нигде не было видно. Уже не досада меня грызла, — тайный страх терзал меня, и не один страх я чувствовал... нет, я чувствовал раскаяние, сожаление самое жгучее, любовь — да! самую нежную любовь. Я ломал руки, я звал Асю посреди надвигавшейся ночной тьмы, сперва вполголоса, потом всё громче и громче; я повторял сто раз, что я ее люблю, я клялся никогда с ней не расставаться; я бы дал всё на свете, чтобы опять держать ее холодную руку, опять слышать ее тихий голос, опять видеть ее перед собою... Она была

так близка, она пришла ко мне с полной решимостью, в полной невинности сердца и чувств, она принесла мне свою нетронутую молодость... и я не прижал ее к своей груди, я лишил себя блаженства увидать, как ее милое лицо расцвело бы радостью и тишиною восторга... Эта мысль меня с ума сводила.

«Куда могла она пойти, что она с собою сделала?» — восклицал я в тоске бессильного отчаяния... Что-то белое мелькнуло вдруг на самом берегу реки. Я знал это место; там, над могилой человека, утонувшего лет семьдесят тому назад, стоял до половины вросший в землю каменный крест с старинной надписью. Сердце во мне замерло... Я подбежал к кресту: белая фигура исчезла. Я крикнул: «Ася!» Дикий голос мой испугал меня самого — но никто не отозвался...

Я решился пойти узнать, не нашел ли ее Гагин.

**XX**

Быстро взбираясь по тропинке виноградника, я увидел свет в комнате Аси... Это меня несколько успокоило.

Я подошел к дому; дверь внизу была заперта, я постучался. Неосвещенное окошко в нижнем этаже осторожно отворилось, и показалась голова Гагина.

— Нашли? — спросил я его.

— Она вернулась, — отвечал он мне шёпотом, — она в своей комнате и раздевается. Всё в порядке.

— Слава богу! — воскликнул я с несказанным порывом радости, — слава богу! Теперь всё прекрасно. Но вы знаете, мы должны еще переговорить.

— В другое время, — возразил он, тихо потянув к себе раму, — в другое время, а теперь прощайте.

— До завтра, — промолвил я, — завтра всё будет решено.

— Прощайте, — повторил Гагин. Окно затворилось.

Я чуть было не постучал в окно. Я хотел тогда же сказать Гагину, что я прошу руки его сестры. Но такое сватанье в такую пору... «До завтра, — подумал я, — завтра я буду счастлив...»

Завтра я буду счастлив! У счастья нет завтрашнего дня; у него нет и вчерашнего; оно не помнит

прошедшего, не думает о будущем; у него есть настоящее — и то не день, а мгновенье.

Я не помню, как дошел я до З. Не ноги меня несли, не лодка меня везла: меня поднимали какие-то широкие, сильные крылья. Я прошел мимо куста, где пел соловей, я остановился и долго слушал: мне казалось, он пел мою любовь и мое счастье.

**XXI**

Когда, на другой день утром, я стал подходить к знакомому домику, меня поразило одно обстоятельство: все окна в нем были растворены и дверь тоже была раскрыта; какие-то бумажки валялись перед порогом; служанка с метлой показалась за дверью.

Я приблизился к ней...

— Уехали! — брякнула она, прежде чем я успел спросить ее: дома ли Гагин?

— Уехали?.. — повторил я. — Как уехали? Куда?

— Уехали сегодня утром, в шесть часов, и не сказали куда. Постойте, ведь вы, кажется, г-н Н.?

— Я г-н Н.

— К вам есть письмо у хозяйки. — Служанка пошла наверх и вернулась с письмом. — Вот-с, извольте.

— Да не может быть... Как же это так?.. — начал было я.

Служанка тупо посмотрела на меня и принялась мести.

Я развернул письмо. Ко мне писал Гагин; от Аси не было ни строчки. Он начал с того, что просил не сердиться на него за внезапный отъезд; он был уверен, что, по зрелом соображении, я одобрю его решение. Он не находил другого выхода из положения, которое могло сделаться затруднительным и опасным. «Вчера вечером, — писал он,— пока мы оба молча ожидали Асю, я убедился окончательно в необходимости разлуки. Есть предрассудки, которые я уважаю; я понимаю, что вам нельзя жениться на Асе. Она мне всё сказала; для ее спокойствия я должен был уступить ее повторенным, усиленным просьбам». В конце письма он изъявлял сожаление о том, что наше знакомство так скоро прекратилось, желал мне счастья, дружески

жал мне руку и умолял меня не стараться их отыскивать.

«Какие предрассудки? — вскричал я, как будто он мог меня слышать, — что за вздор! Кто дал право похитить ее у меня...» Я схватил себя за голову...

Служанка начала громко кликать хозяйку: ее испуг заставил меня прийти в себя. Одна мысль во мне загорелась: сыскать их, сыскать во что бы то ни стало. Принять этот удар, примириться с такою развязкой было невозможно. Я узнал от хозяйки, что они в шесть часов утра сели на пароход и поплыли вниз по Рейну. Я отправился в контору: там мне сказали, что они взяли билеты до Кёльна. Я пошел домой с тем, чтобы тотчас уложиться и поплыть вслед за ними. Мне пришлось идти мимо дома фрау Луизе... Вдруг я слышу: меня кличет кто-то. Я поднял голову и увидал в окне той самой комнаты, где я накануне виделся с Асей. вдову бургомистра. Она улыбалась своей противной улыбкой и звала меня. Я отвернулся и прошел было мимо; но она мне крикнула вслед, что у ней есть что-то для меня. Эти слова меня остановили, и я вошел в ее дом. Как передать мои чувства, когда я увидал опять эту комнатку...

— По-настоящему, — начала старуха, показывая мне маленькую записку, — я бы должна была дать вам это только в случае, если б вы зашли ко мне сами, но вы такой прекрасный молодой человек. Возьмите.

Я взял записку.

На крошечном клочке бумаги стояли следующие слова, торопливо начерченные карандашом:

«Прощайте, мы не увидимся более. Не из гордости я уезжаю — нет, мне нельзя иначе. Вчера, когда я плакала перед вами, если б вы мне сказали одно слово, одно только слово — я бы осталась. Вы его не сказали. Видно, так лучше... Прощайте навсегда!»

Одно слово... О, я безумец! Это слово... я со слезами повторял его накануне, я расточал его на ветер, я твердил его среди пустых полей... но я не сказал его ей, я не сказал ей, что я люблю ее... Да я и не мог произнести тогда это слово. Когда я встретился с ней в той роковой комнате, во мне еще не было ясного сознания моей любви; оно не проснулось даже тогда,

когда я сидел с ее братом в бессмысленном и тягостном молчании... оно вспыхнуло с неудержимой силой лишь несколько мгновений спустя, когда, испуганный возможностью несчастья, я стал искать и звать ее... но уж тогда было поздно. «Да это невозможно!» — скажут мне; не знаю, возможно ли это, — знаю, что это правда. Ася бы не уехала, если б в ней была хоть тень кокетства и если б ее положение не было ложно. Она не могла вынести того, что всякая другая снесла бы; я этого не понял. Недобрый мой гений остановил признание на устах моих при последнем свидании с Гагиным перед потемневшим окном, и последняя нить, за которую я еще мог ухватиться, — выскользнула из рук моих.

В тот же день вернулся я с уложенным чемоданом в город Л. и поплыл в Кёльн. Помню, пароход уже отчаливал, и я мысленно прощался с этими улицами, со всеми этими местами, которые я уже никогда не должен был позабыть, — я увидел Ганхен. Она сидела возле берега на скамье. Лицо ее было бледно, но не грустно; молодой красивый парень стоял с ней рядом и, смеясь, рассказывал ей что-то; а на другой стороне Рейна маленькая моя мадонна всё так же печально выглядывала из темной зелени старого ясеня.

**XXII**

В Кёльне я напал на след Гагиных; я узнал, что они поехали в Лондон; я пустился вслед за ними; но в Лондоне все мои розыски остались тщетными. Я долго не хотел смириться, долго упорствовал, но я должен был отказаться, наконец, от надежды настигнуть их.

И я не увидел их более — я не увидел Аси. Темные слухи доходили до меня о нем, но она навсегда для меня исчезла. Я даже не знаю, жива ли она. Однажды, несколько лет спустя, я мельком увидал за границей, в вагоне железной дороги, женщину, лицо которой живо напомнило мне незабвенные черты... но я, вероятно, был обманут случайным сходством. Ася осталась в моей памяти той самой девочкой, какою я знавал ее в лучшую пору моей жизни, какою я ее видел в последний раз, наклоненной на спинку низкого деревянного стула.

Впрочем, я должен сознаться, что я не слишком долго грустил по ней; я даже нашел, что судьба хорошо распорядилась, не соединив меня с Асей; я утешался мыслию, что я, вероятно, не был бы счастлив с такой женой. Я был тогда молод — и будущее, это короткое, быстрое будущее, казалось мне беспредельным. Разве не может повториться то, что было, думал я, и еще лучше, еще прекраснее?.. Я знавал других женщин, — но чувство, возбужденное во мне Асей, то жгучее, нежное, глубокое чувство, уже не повторилось. Нет! ни одни глаза не заменили мне тех, когда-то с любовию устремленных на меня глаз, ни на чье сердце, припавшее к моей груди, не отвечало мое сердце таким радостным и сладким замиранием! Осужденный на одиночество бессемейного бобыля, доживаю я скучные годы, но я храню, как святыню, ее записочки и высохший цветок гераниума, тот самый цветок, который она некогда бросила мне из окна. Он до сих пор издает слабый запах, а рука, мне давшая его, та рука, которую мне только раз пришлось прижать к губам моим, быть может, давно уже тлеет в могиле... И я сам — что сталось со мною? Что осталось от меня, от тех блаженных и тревожных дней, от тех крылатых надежд и стремлений? Так легкое испарение ничтожной травки переживает все радости и все горести человека — переживает самого человека.

Иван Бунин

**КАВКАЗ**

Приехав в Москву, я воровски остановился в незаметных номерах в переулке возле Арбата и жил томительно, затворником — от свидания до свидания с нею. Была она у меня за эти дни всего три раза и каждый раз входила поспешно со словами:— Я только на одну минуту...Она была бледна прекрасной бледностью любящей взволнованной женщины, голос у нее срывался, и то, как она, бросив куда попало зонтик, спешила поднять вуальку и обнять меня, потрясало меня жалостью и восторгом.— Мне кажется, — говорила она, — что он что-то подозревает, что он даже знает что-то, — может быть, прочитал какое-нибудь ваше письмо, подобрал ключ к моему столу... Я думаю, что он на все способен при его жестоком, самолюбивом характере. Раз он мне прямо сказал: «Я ни перед чем не остановлюсь, защищая свою честь, честь мужа и офицера!» Теперь он почему-то следит буквально за каждым моим шагом, и, чтобы наш план удался, я должна быть страшно осторожна. Он уже согласен отпустить меня, так внушила я ему, что умру, если не увижу юга, моря, но, ради бога, будьте терпеливы!План наш был дерзок: уехать в одном и том же поезде на кавказское побережье и прожить там в каком-нибудь совсем диком месте три-четыре недели. Я знал это побережье, жил когда-то некоторое время возле Сочи, — молодой, одинокий, — на всю жизнь запомнил те осенние вечера среди черных кипарисов, у холодных серых волн... И она бледнела, когда я говорил: «А теперь я там буду с тобой, в горных джунглях, у тропического моря...» В осуществление нашего плана мы не верили до последней минуты — слишком великим счастьем казалось нам это.В Москве шли холодные дожди, похоже было на то, что лето уже прошло и не вернется, было грязно, сумрачно, улицы мокро и черно блестели раскрытыми зонтами прохожих и поднятыми, дрожащими на бегу верхами извозчичьих пролеток. И был темный, отвратительный вечер, когда я ехал на вокзал, все внутри у меня замирало от тревоги и холода. По вокзалу и по платформе я пробежал бегом, надвинув на глаза шляпу и уткнув лицо в воротник пальто.В маленьком купе первого класса, которое я заказал заранее, шумно лил дождь по крыше. Я немедля опустил оконную занавеску и, как только носильщик, обтирая мокрую руку о свой белый фартук, взял на чай и вышел, на замок запер дверь. Потом чуть приоткрыл занавеску и замер, не сводя глаз с разнообразной толпы, взад и вперед сновавшей с вещами вдоль вагона в темном свете вокзальных фонарей. Мы условились, что я приеду на вокзал как можно раньше, а она как можно позже, чтобы мне как-нибудь не столкнуться с ней и с ним на платформе. Теперь им уже пора было быть. Я смотрел все напряженнее — их все не было. Ударил второй звонок — я похолодел от страха: опоздала или он в последнюю минуту вдруг не пустил ее! Но тотчас вслед за тем был поражен его высокой фигурой, офицерским картузом, узкой шинелью и рукой в замшевой перчатке, которой он, широко шагая, держал ее под руку. Я отшатнулся от окна, упал в угол дивана, рядом был вагон второго класса — я мысленно видел, как он хозяйственно вошел в него вместе с нею, оглянулся, — хорошо ли устроил ее носильщик, — и снял перчатку, снял картуз, целуясь с ней, крестя ее... Третий звонок оглушил меня, тронувшийся поезд поверг в оцепенение... Поезд расходился, мотаясь, качаясь, потом стал нести ровно, на всех парах... Кондуктору, который проводил ее ко мне и перенес ее вещи, я ледяной рукой сунул десятирублевую бумажку...Войдя, она даже не поцеловала меня, только жалостно улыбнулась, садясь на диван и снимая, отцепляя от волос шляпку.— Я совсем не могла обедать, — сказала она. — Я думала, что не выдержу эту страшную роль до конца. И ужасно хочу пить. Дай мне нарзану, — сказала она в первый раз говоря мне «ты». — Я убеждена, что он поедет вслед за мною. Я дала ему два адреса, Геленджик и Гагры. Ну вот, он и будет дня через три-четыре в Геленджике... Но бог с ним, лучше смерть, чем эти муки...Утром, когда я вышел в коридор, в нем было солнечно, душно, из уборных пахло мылом, одеколоном и всем, чем пахнет людный вагон утром. За мутными от пыли и нагретыми окнами шла ровная выжженная степь, видны были пыльные широкие дороги, арбы, влекомые волами, мелькали железнодорожные будки с канареечными кругами подсолнечников и алыми мальвами в палисадниках... Дальше пошел безграничный простор нагих равнин с курганами и могильниками, нестерпимое сухое солнце, небо подобное пыльной туче, потом призраки первых гор на горизонте...Из Геленджика и Гагр она послала ему по открытке, написала, что еще не знает, где останется.Потом мы спустились вдоль берега к югу.Мы нашли место первобытное, заросшее чинаровыми лесами, цветущими кустарниками, красным деревом, магнолиями, гранатами, среди которых поднимались веерные пальмы, чернели кипарисы...Я просыпался рано и, пока она спала, до чая, который мы пили часов в семь, шел по холмам в лесные чащи. Горячее солнце было уже сильно, чисто и радостно. В лесах лазурно светился, расходился и таял душистый туман, за дальними лесистыми вершинами сияла предвечная белизна снежных гор... Назад я проходил по знойному и пахнущему из труб горящим кизяком базару нашей деревни: там кипела торговля, было тесно от народа, от верховых лошадей и осликов, — по утрам съезжалось туда на базар множество разноплеменных горцев, — плавно ходили черкешенки в черных длинных до земли одеждах, в красных чувяках, с закутанными во что-то черное головами, с быстрыми птичьими взглядами, мелькавшими порой из этой траурной запутанности.Потом мы уходили на берег, всегда совсем пустой, купались и лежали на солнце до самого завтрака. После завтрака — все жаренная на шкаре рыба, белое вино, орехи и фрукты — в знойном сумраке нашей хижины под черепичной крышей тянулись через сквозные ставни горячие, веселые полосы света.Когда жар спадал и мы открывали окно, часть моря, видная из него между кипарисов, стоявших на скате под нами, имела цвет фиалки и лежала так ровно, мирно, что, казалось, никогда не будет конца этому покою, этой красоте.На закате часто громоздились за морем удивительные облака; они пылали так великолепно, что она порой ложилась на тахту, закрывала лицо газовым шарфом и плакала: еще две, три недели — и опять Москва!Ночи были теплы и непроглядны, в черной тьме плыли, мерцали, светили топазовым светом огненные мухи, стеклянными колокольчиками звенели древесные лягушки. Когда глаз привыкал к темноте, выступали вверху звезды и гребни гор, над деревней вырисовывались деревья, которых мы не замечали днем. И всю ночь слышался оттуда, из духана, глухой стук в барабан и горловой, заунывный, безнадежно-счастливый вопль как будто все одной и той же бесконечной песни.Недалеко от нас, в прибрежном овраге, спускавшемся из лесу к морю, быстро прыгала по каменистому ложу мелкая, прозрачная речка. Как чудесно дробился, кипел ее блеск в тот таинственный час, когда из-за гор и лесов, точно какое-то дивное существо, пристально смотрела поздняя луна!Иногда по ночам надвигались с гор страшные тучи, шла злобная буря, в шумной гробовой черноте лесов то и дело разверзались волшебные зеленые бездны и раскалывались в небесных высотах допотопные удары грома. Тогда в лесах просыпались и мяукали орлята, ревел барс, тявкали чекалки... Раз к нашему освещенному окну сбежалась целая стая их, — они всегда сбегаются в такие ночи к жилью, — мы открыли окно и смотрели на них сверху, а они стояли под блестящим ливнем и тявкали, просились к нам... Она радостно плакала, глядя на них.Он искал ее в Геленджике, в Гаграх, в Сочи. На другой день по приезде в Сочи, он купался утром в море, потом брился, надел чистое белье, белоснежный китель, позавтракал в своей гостинице на террасе ресторана, выпил бутылку шампанского, пил кофе с шартрезом, не спеша выкурил сигару. Возвратясь в свой номер, он лег на диван и выстрелил себе в виски из двух револьверов.

Александр Куприн

**КУСТ СИРЕНИ**

Николай Евграфович Алмазов едва дождался, пока жена отворила ему двери, и, не снимая пальто, в фуражке прошел в свой кабинет. Жена, как только увидела его насупившееся лицо со сдвинутыми бровями и нервно закушенной нижней губой, в ту же минуту поняла, что произошло очень большое несчастие... Она молча пошла следом за мужем. В кабинете Алмазов простоял с минуту на одном месте, глядя куда-то в угол. Потом он выпустил из рук портфель, который упал на пол и раскрылся, а сам бросился в кресло, злобно хрустнув сложенными вместе пальцами...Алмазов, молодой небогатый офицер, слушал лекции в Академии генерального штаба и теперь только что вернулся оттуда. Он сегодня представлял профессору последнюю и самую трудную практическую работу — инструментальную съемку местности...До сих пор все экзамены сошли благополучно, и только одному богу да жене Алмазова было известно, каких страшных трудов они стоили... Начать с того, что самое поступление в академию казалось сначала невозможным. Два года подряд Алмазов торжественно проваливался и только на третий упорным трудом одолел все препятствия. Не будь жены, он, может быть, не найдя в себе достаточно энергии, махнул бы на все рукою. Но Верочка не давала ему падать духом и постоянно поддерживала в нем бодрость... Она приучилась встречать каждую неудачу с ясным, почти веселым лицом. Она отказывала себе во всем необходимом, чтобы создать для мужа хотя и дешевый, но все-таки необходимый для занятого головной работой человека комфорт. Она бывала, по мере необходимости, его переписчицей, чертежницей, чтицей, репетиторшей и памятной книжкой.Прошло минут пять тяжелого молчания, тоскливо нарушаемого хромым ходом будильника, давно знакомым и надоевшим: раз, два, три-три: два чистых удара, третий с хриплым перебоем. Алмазов сидел, не снимая пальто и шапки и отворотившись в сторону... Вера стояла в двух шагах от него так же молча, с страданием на красивом, нервном лице. Наконец она заговорила первая, с той осторожностью, с которой говорят только женщины у кровати близкого труднобольного человека...— Коля, ну как же твоя работа?.. Плохо?Он передернул плечами и не отвечал.— Коля, забраковали твой план? Ты скажи, все равно ведь вместе обсудим.Алмазов быстро повернулся к жене и заговорил горячо и раздраженно, как обыкновенно говорят, высказывая долго сдержанную обиду.— Ну да, ну да, забраковали, если уж тебе так хочется знать. Неужели сама не видишь? Все к черту пошло!.. Всю эту дрянь, — и он злобно ткнул ногой портфель с чертежами, — всю эту дрянь хоть в печку выбрасывай теперь! Вот тебе и академия! Через месяц опять в полк, да еще с позором, с треском. И это из-за какого-то поганого пятна... О, черт!— Какое пятно, Коля? Я ничего не понимаю.Она села на ручку кресла и обвила рукой шею Алмазова. Он не сопротивлялся, но продолжал смотреть в угол с обиженным выражением.— Какое же пятно, Коля? — спросила она еще раз.— Ах, ну, обыкновенное пятно, зеленой краской. Ты ведь знаешь, я вчера до трех часов не ложился, нужно было окончить. План прекрасно вычерчен и иллюминован. Это все говорят. Ну, засиделся я вчера, устал, руки начали дрожать — и посадил пятно... Да еще густое такое пятно... жирное. Стал подчищать и еще больше размазал. Думал я, думал, что теперь из него сделать, да и решил кучу деревьев на том месте изобразить... Очень удачно вышло, и разобрать нельзя, что пятно было. Приношу нынче профессору. «Так, так, н-да. А откуда у вас здесь, поручик, кусты взялись?» Мне бы нужно было так и рассказать, как все было. Ну, может быть, засмеялся бы только... Впрочем, нет, не рассмеется, — аккуратный такой немец, педант. Я и говорю ему: «Здесь действительно кусты растут». А он говорит: «Нет, я эту местность знаю, как свои пять пальцев, и здесь кустов быть не может». Слово за слово, у нас с ним завязался крупный разговор. А тут еще много наших офицеров было. «Если вы так утверждаете, говорит, что на этой седловине есть кусты, то извольте завтра же ехать туда со мной верхом... Я вам докажу, что вы или небрежно работали, или счертили прямо с трехверстной карты...»— Но почему же он так уверенно говорит, что там нет кустов?— Ах, господи, почему? Какие ты, ей-богу, детские вопросы задаешь. Да потому, что он вот уже двадцать лет местность эту знает лучше, чем свою спальню. Самый безобразнейший педант, какие только есть на свете, да еще немец вдобавок... Ну и окажется в конце концов, что я лгу и в препирательство вступаю... Кроме того...Во все время разговора он вытаскивал из стоявшей перед ним пепельницы горелые спички и ломал их на мелкие кусочки, а когда замолчал, то с озлоблением швырнул их на пол. Видно было, что этому сильному человеку хочется заплакать.Муж и жена долго сидели в тяжелом раздумье, не произнося ни слова. Но вдруг Верочка энергичным движением вскочила с кресла.— Слушай, Коля, нам надо сию минуту ехать! Одевайся скорей.Николай Евграфович весь сморщился, точно от невыносимой физической боли.— Ах, не говори, Вера, глупостей. Неужели ты думаешь, я поеду оправдываться и извиняться. Это значит над собой прямо приговор подписать. Не делай, пожалуйста, глупостей.— Нет, не глупости, — возразила Вера, топнув ногой. — Никто тебя не заставляет ехать с извинением... А просто, если там нет таких дурацких кустов, то их надо посадить сейчас же.— Посадить?.. Кусты?.. — вытаращил глаза Николай Евграфович.— Да, посадить. Если уж сказал раз неправду, — надо поправлять. Собирайся, дай мне шляпку... Кофточку... Не здесь ищешь, посмотри в шкапу... Зонтик!Пока Алмазов, пробовавший было возражать, но не выслушанный, отыскивал шляпку и кофточку, Вера быстро выдвигала ящики столов и комодов, вытаскивала корзины и коробочки, раскрывала их и разбрасывала по полу.— Серьги... Ну, это пустяки... За них ничего не дадут... А вот это кольцо с солитером дорогое... Надо непременно выкупить... Жаль будет, если пропадет. Браслет... тоже дадут очень мало. Старинный и погнутый... Где твой серебряный портсигар, Коля?Через пять минут все драгоценности были уложены в ридикюль. Вера, уже одетая, последний раз оглядывалась кругом, чтобы удостовериться: не забыто ли что-нибудь дома.— Едем, — сказала она, наконец, решительно.— Но куда же мы поедем? — пробовал протестовать Алмазов. — Сейчас темно станет, а до моего участка почти десять верст.— Глупости... Едем!Раньше всего Алмазовы заехали в ломбард. Видно было, что оценщик так давно привык к ежедневным зрелищам человеческих несчастий, что они вовсе не трогали его. Он так методично и долго рассматривал привезенные вещи, что Верочка начинала уже выходить из себя. Особенно обидел он ее тем, что попробовал кольцо с брильянтом кислотой и, взвесив, оценил его в три рубля.— Да ведь это настоящий брильянт,—возмущалась Вера, — он стоит тридцать семь рублей, и то по случаю.Оценщик с видом усталого равнодушия закрыл глаза.— Нам это все равно-с, сударыня. Мы камней вовсе не принимаем, — сказал он, бросая на чашечку весов следующую вещь, — мы оцениваем только металлы-с.Зато старинный и погнутый браслет, совершенно неожиданно для Веры, был оценен очень дорого. В общем, однако, набралось около двадцати трех рублей. Этой суммы было более чем достаточно.Когда Алмазовы приехали к садовнику, белая петербургская ночь уже разлилась по небу и в воздухе синим молоком. Садовник, чех, маленький старичок в золотых очках, только что садился со своей семьею за ужин. Он был очень изумлен и недоволен поздним появлением заказчиков и их необычной просьбой. Вероятно, он заподозрил какую-нибудь мистификацию и на Верочкины настойчивые просьбы отвечал очень сухо:— Извините. Но я ночью не могу посылать в такую даль рабочих. Если вам угодно будет завтра утром — то я к вашим услугам.Тогда оставалось только одно средство: рассказать садовнику подробно всю историю с злополучным пятном, и Верочка так и сделала. Садовник слушал сначала недоверчиво, почти враждебно, но когда Вера дошла до того, как у нее возникла мысль посадить куст, он сделался внимательнее и несколько раз сочувственно улыбался.— Ну, делать нечего, — согласился садовник, когда Вера кончила рассказывать, — скажите, какие вам можно будет посадить кусты?Однако изо всех пород, какие были у садовника, ни одна не оказывалась подходящей: волей-неволей пришлось остановиться на кустах сирени.Напрасно Алмазов уговаривал жену отправиться домой. Она поехала вместе с мужем за город, все время, пока сажали кусты, горячо суетилась и мешала рабочим и только тогда согласилась ехать домой, когда удостоверилась, что дерн около кустов совершенно нельзя отличить от травы, покрывавшей всю седловинку.На другой день Вера никак не могла усидеть дома и вышла встретить мужа на улицу. Она еще издали, по одной только живой и немного подпрыгивающей походке, узнала, что история с кустами кончилась благополучно... Действительно, Алмазов был весь в пыли и едва держался на ногах от усталости и голода, но лицо его сияло торжеством одержанной победы.— Хорошо! Прекрасно! — крикнул он еще за десять шагов в ответ на тревожное выражение женина лица. — Представь себе, приехали мы с ним к этим кустам. Уж глядел он на них, глядел, даже листочек сорвал и пожевал. «Что это за дерево?» — спрашивает. Я говорю: «Не знаю, ваше-ство». — «Березка, должно быть?» — говорит. Я отвечаю: «Должно быть, березка, ваше-ство». Тогда он повернулся ко мне и руку даже протянул. «Извините, говорит, меня, поручик. Должно быть, я стареть начинаю, коли забыл про эти кустики». Славный он, профессор, и умница такой. Право, мне жаль, что я его обманул. Один из лучших профессоров у нас. Знания — просто чудовищные. И какая быстрота и точность в оценке местности — удивительно!Но Вере было мало того, что он рассказал. Она заставляла его еще и еще раз передавать ей в подробностях весь разговор с профессором. Она интересовалась самыми мельчайшими деталями: какое было выражение лица у профессора, каким тоном он говорил про свою старость, что чувствовал при этом сам Коля...И они шли домой так, как будто бы, кроме них, никого на улице не было: держась за руки и беспрестанно смеясь. Прохожие с недоумением останавливались, чтобы еще раз взглянуть на эту странную парочку...Николай Евграфович никогда с таким аппетитом не обедал, как в этот день... После обеда, когда Вера принесла Алмазову в кабинет стакан чаю, — муж и жена вдруг одновременно засмеялись и поглядели друг на друга.— Ты — чему? — спросила Вера.— А ты чему?— Нет, ты говори первый, а я потом.— Да так, глупости. Вспомнилась вся эта история с сиренью. А ты?— Я тоже, глупости, и тоже — про сирень. Я хотела сказать, что сирень теперь будет навсегда моим любимым цветком…

И.С. Шмелёв. Как я стал писателем.

Вышло это так просто и неторжественно, что я и не заметил. Можно сказать, вышло непредумышленно.

Теперь, когда это вышло на самом деле, кажется мне порой, что я не делался писателем, а будто всегда им был, только — писателем «без печати».

Помнится, нянька, бывало, говорила: — И с чего ты такая балаболка? Мелет-мелет невесть чего... как только язык у тебя не устает, балаболка!..

Живы во мне доныне картинки детства, обрывки, миги. Вспомнится вдруг игрушка, кубик с ободранной картинкой, складная азбучка с буквой, похожей на топорик или жука, солнечный луч на стенке, дрожащий зайчиком... Ветка живой березки, выросшей вдруг в кроватке у образка, зеленой такой, чудесной. Краска на дудочке из жести, расписанной ярко розами, запах и вкус ее, смешанный с вкусом крови от расцарапанной острым краем губки, черные тараканы на полу, собравшиеся залезть ко мне, запах кастрюльки с кашкой... Боженька в уголке с лампадкой, лепет непонимаемой молитвы, в которой светится «деворадуйся»...

Я говорил с игрушками — живыми, с чурбачками и стружками, которые пахли «лесом» — чем-то чудесно-страшным, в котором «волки».

Но и «волки» и «лес» — чудесные. Они у меня мои.

Я говорил с белыми звонкими досками — горы их были на дворе, с зубастыми, как страшные «звери», пилами, с блиставшими в треске топорами, которые грызли бревна. На дворе были плотники и доски. Живые, большие плотники, с лохматыми головами, и тоже живые доски. Все казалось живым, моим. Живая была метла, — бегала по двору за пылью, мерзла в снегу и даже плакала. И половая щетка была живая, похожая на кота на палке. Стояла в углу — «наказана». Я утешал ее, гладил ее волосики.

Все казалось живым, все мне рассказывало сказки, — о, какие чудесные!

Должно быть, за постоянную болтовню прозвали меня в первом классе гимназии «римский оратор», и кличка эта держалась долго. В балльниках то и дело отмечалось: «Оставлен на полчаса за постоянные разговоры на уроках».

Это был, так сказать, «дописьменный» век истории моего писательства. За ним вскоре пришел и «письменный».

В третьем, кажется, классе я увлекся романами Жюля Верна и написал — длинное и в стихах! — путешествие наших учителей на Луну, на воздушном шаре, сделанном из необъятных штанов нашего латиниста Бегемота. «Поэма» моя имела большой успех, читали ее даже и восьмиклассники, и она наконец попала в лапы к инспектору. Помню пустынный зал, иконостас у окон, в углу налево, шестая моя гимназия! — благословляющего детей Спасителя — и высокий, сухой Баталин, с рыжими бакенбардами, трясет над моей стриженой головой тонким костлявым пальцем с отточенным остро ногтем, и говорит сквозь зубы — ну прямо цедит! — ужасным, свистящим голосом, втягивая носом воздух, — как самый холодный англичанин:

- И ссто-с такое.., и сс... таких лет, и сс... так неуваззытельно отзываесса, сс... так пренебреззытельно о сстарссых... о наставниках, об учителях... нашего поосстенного Михаила Сергеевича, сына такого нашего великого историка позволяесс себе называть... Мартысской!.. По решению педагогического совета...

Гонорар за эту «поэму» я получил высокий — на шесть часов «на воскресенье», на первый раз.

Долго рассказывать о первых моих шагах. Расцвел я пышно на сочинениях. С пятого класса я до того развился, что к описанию храма Христа Спасителя как-то приплел... Надсона! Помнится, я хотел выразить чувство душевного подъема, которое охватывает тебя, когда стоишь под глубокими сводами, где парит Саваоф, «как в небе», и вспоминаются ободряющие слова нашего славного поэта и печальника Надсона:

Друг мой, брат мой... усталый, страдающий брат,

Кто б ты ни был — не падай душой:

Пусть неправда и зло полновластно царят

Над омытой слезами землей...

Баталин вызвал меня под кафедру и, потрясая тетрадкой, начал пилить со свистом:

- Ссто-с такое?! Напрасно сситаете книзки, не вклюсенные в усенисескую библиотеку! У нас есть Пускин, Лермонтов, Дерзавин... но никакого вашего Надсона... нет! Сто такой и кто такой... На-дсон. Вам дана тема о храме Христа Спасителя, по плану... а вы приводите ни к сселу "ни к городу какого-то «страдающего брата»... какие-то вздорные стихи! Было бы на четверку, но я вам ставлю три с минусом. И зачем только тут какой-то «философ»... с «в» на конце! — «филосов-в Смальс»! Слово «философ» не умеете написать, пишете через «в», а в философию пускаетесь? И во-вторых, был Смайс, а не Смальс, что значит - свиное сало! И никакого отношения он, как и ваш Надсон, — он говорил, ударяя на первый слог, — ко храму Христа Спасителя не имели! Три с минусом! Ступайте и задумайтесь.

Я взял тетрадку и попробовал отстоять свое:

- Но это, Николай Иваныч... тут лирическое отступление у меня, как у Гоголя, например.

Николай Иваныч потянул строго носом, отчего его рыжие усы поднялись и показались зубки, а зеленоватые и холодные глаза так уставились на меня, с таким выражением усмешки и даже холодного презрения, что во мне все похолодело. Все мы знали, что это — его улыбка: так улыбается лисица, перегрызая горлышко петушку.

- Ах, во-от вы ка-ак... Гоголь!., или, может быть, гоголь-моголь? — Вот как... — и опять страшно потянул носом. — Дайте сюда тетрадку...

Он перечеркнул три с минусом и нанес сокрушительный удар — колом! Я получил кол и — оскорбление. С тех пор я возненавидел и Надсона и философию. Этот кол испортил мне пересадку и средний балл, и меня не допустили к экзаменам: я остался на второй год. Но все это было к лучшему.

Я попал к другому словеснику, к незабвенному Федору Владимировичу Цветаеву. И получил у него свободу: пиши как хочешь!

И я записал ретиво, — «про природу». Писать классные сочинения на поэтические темы, например, — «Утро в лесу», «Русская зима», «Осень по Пушкину», «Рыбная ловля», «Гроза в лесу»... — было одно блаженство. Это было совсем не то, что любил задавать Баталин: не «Труд и любовь к ближнему, как основы нравственного совершенствования», не «Чем замечательно послание Ломоносова к Шувалову „О пользе стекла"» и не «Чем отличаются союзы от наречий». Плотный, медлительный, как будто полусонный, говоривший чуть-чуть на «о», посмеивающийся чуть глазом, благодушно, Федор Владимирович любил «слово»: так, мимоходом будто, с ленцою русской, возьмет и прочтет из Пушкина... Господи, да какой же Пушкин! Даже Данилка, прозванный Сатаной, и тот проникнется чувством.

Имел он песен дивный дар

И голос, шуму вод подобный, —

певуче читал Цветаев, и мне казалось, что — для себя.

Он ставил мне за «рассказы» пятерки с тремя иногда крестами, — такие жирные! — и как-то, тыча мне пальцем в голову, словно вбивал в мозги, торжественно изрек:

— Вот что, муж-чи-на... — а некоторые судари пишут «муш-чи-на», как, например, зрелый му-жи-чи-на Шкро- бов! — у тебя есть что-то... некая, как говорится, «шишка». Притчу о талантах... пом-ни!

С ним, единственным из наставников, поменялись мы на прощанье карточками. Хоронили его — я плакал. И до сего дня — он в сердце.

И вот — третий период, уже «печатный».

От «Утра в лесу» и «Осени по Пушкину» я перешел незаметно к «собственному».

Случилось это, когда я кончил гимназию. Лето перед восьмым классом я провел на глухой речушке, на рыбной ловле. Попал на омут, у старой мельницы. Жил там глухой старик, мельница не работала. Пушкинская «Русалка» вспоминалась. Так меня восхитило запустенье, обрывы, бездонный омут «с сомом», побитые грозою, расщепленные ветлы, глухой старик — из «Князя Серебряного» мельник!.. Как-то на ранней зорьке, ловя подлещиков, я тревожно почувствовал — что-то во мне забилось, заспешило, дышать мешало. Мелькнуло что-то неясное. И — прошло. Забыл. До глубокого сентября я ловил окуней, подлещиков. В ту осень была холера, и ученье было отложено. Что-то — не приходило. И вдруг, в самую подготовку на аттестат зрелости, среди упражнений с Гомером, Софоклом, Цезарем, Вергилием, Овидием Назоном... — что-то опять явилось! Не Овидий ли натолкнул меня? не его ли «Метаморфозы» — чудо!

Я увидел мой омут, мельницу, разрытую плотину, глинистые обрывы, рябины, осыпанные кистями ягод, деда... Помню, — я отшвырнул все книги, задохнулся... и написал — за вечер — большой рассказ. Писал я «с маху». Правил и переписывал, — и правил. Переписывал отчетливо и крупно. Перечитал... — и почувствовал дрожь и радость. Заглавие? Оно явилось само, само очертилось в воздухе, зелено-красное, как рябина — там. Дрожащей рукой я вывел: У мельницы.

Это было мартовским вечером 1894 года. Но и теперь еще помню я первые строчки первого моего рассказа:

«Шум воды становился все отчетливей и громче: очевидно, я подходил к запруде. Вокруг рос молодой, густой осинник, и его серые стволики стояли передо мною, закрывая шумевшую неподалеку речку. С треском я пробирался чащей, спотыкался на остренькие пеньки осинового сухостоя, получал неожиданные удары гибких веток...»

Рассказ был жуткий, с житейской драмой, от «я». Я сделал себя свидетелем развязки, так ярко, казалось, сделал, что поверил собственной выдумке. Но что же дальше? Литераторов я совсем не знал. В семье и среди знакомых было мало людей интеллигентных. Я не знал и «как это делается» — как и куда послать. Не с кем мне было посоветоваться: почему-то и стыдно было. Скажут еще: «Э, пустяками занимаешься!» Газет я еще не читал тогда, — «Московский листок» разве, но там было смешное только или про «Чуркина». Сказать по правде, я считал себя выше этого. «Нива» не пришла в голову. И вот вспомнилось мне, что где-то я видел вывесочку, узенькую совсем: «Русское обозрение», ежемесячный журнал. Буквы были — славянские? вспоминал-вспоминал... — и вспомнил, что на Тверской. Об этом журнале я ничего не знал. Восьмиклассник, почти студент, я не знал, что есть «Русская мысль», в Москве. С неделю я колебался: вспомню про «Русское обозрение» — так и похолодею и обожгусь. Прочитаю «У мельницы» — ободрюсь. И вот я пустился на Тверскую — искать «Русское обозрение». Не сказал никому ни слова.

Помню, прямо с уроков, с ранцем, в тяжелом ватном пальто, сильно повыгоревшем и пузырившемся к полам, — я его все донашивал, поджидая студенческого, чудесного! — приоткрыл огромную, под орех, дверь и сунул голову в щель, что-то проговорил кому-то. Там скучно крякнуло. Сердце во мне упало: крякнуло будто строго?.. Швейцар медленно шел ко мне.

Пожалуйте... желают вас сами видеть.

Чудесный был швейцар, с усами, бравый! Я сорвался с диванчика и, как был, — в грязных, тяжелых ботинках, с тяжелым ранцем, ремни которого волоклись со звоном, — все вдруг отяжелело! — вступил в святилище.

Огромный, очень высокий кабинет, огромные шкафы с книгами, огромный письменный стол, исполинская над ним пальма, груды бумаг и книг, а за столом, широкий, красивый, грузный и строгий — так показалось мне, — господин, профессор, с седеющими по плечам кудрями. Это был сам редактор, приват-доцент Московского университета Анатолий Александров. Он встретил меня мягко, но с усмешкой, хотя и ласково:

Ага, принесли рассказ?.. А в каком вы классе? Кончаете... Ну, что же... поглядим. Многонько написали... — взвесил он на руке тетрадку. — Ну, зайдите месяца через два...

Я зашел в самый разгар экзаменов. Оказалось, что надо «заглянуть месяца через два». Я не заглянул. Я уже стал студентом. Другое пришло и захватило — не писанье. О рассказе я позабыл, не верил. Пойти? Опять: «Месяца через два зайдите».

Уже в новом марте я получил неожиданно конверт — «Русское обозрение» — тем же полуцерковным шрифтом. Анатолий Александров просил меня «зайти переговорить». Уже юным студентом вошел я в чудесный кабинет. Редактор учтиво встал и через стол протянул мне руку, улыбаясь.

Поздравляю вас, ваш рассказ мне понравился. У вас довольно хороший диалог, живая русская речь. Вы чувствуете русскую природу. Пишите мне.

Я не сказал ни слова, ушел в тумане. И вскоре опять забыл. И совсем не думал, что стал писателем.

В первых числах июля 1895 года я получил по почте толстую книгу в зелено-голубой — ? — обложке — «Русское обозрение», июль. У меня тряслись руки, когда раскрывал ее. Долго не находил, — все прыгало. Вот оно: «У мельницы», — самое то, мое! Двадцать с чем-то страниц — и, кажется, ни одной поправки! ни пропуска! Радость? Не помню, нет... Как-то меня пришибло... поразило? Не верилось.

Счастлив я был — два дня. И — забыл. Новое пригла­шение редактора— «пожаловать». Я пошел, не зная, зачем я нужен.

Вы довольны? — спросил красивый профессор, предлагая кресло. — Ваш рассказ многим понравился. Будем рады дальнейшим опытам. А вот и ваш гонорар... Первый? Ну, очень рад.

Он вручил мне... во-семь-де-сят рублей! Это было великое богатство: за десять рублей в месяц я ходил на урок через всю Москву. Я растерянно сунул деньги за борт тужурки, не в силах промолвить ни слова.

Вы любите Тургенева? Чувствуется, у вас несомненное влияние «Записок охотника», но это пройдет. У вас и свое есть. Вы любите наш журнал?

Я что-то прошептал, смущенный. Я и не знал журнала: только «июль» и видел.

Вы, конечно, читали нашего основателя, славного Константина Леонтьева... что-нибудь читали?..

Нет, не пришлось еще, — проговорил я робко.

Редактор, помню, выпрямился и поглядел под пальму, — пожал плечами. Это его, кажется, смутило.

Теперь... — посмотрел он грустно и ласково на меня, — вы обязаны его знать. Он откроет вам многое. Это, во-первых, большой писатель, большой художник... — Он стал говорить-говорить... — не помню уже подробности — что-то о «красоте», о Греции... — Он великий мыслитель наш, русский необычайный! — восторженно заявил он мне. — Видите — этот стол?.. Это его стол! — И он благоговейно погладил стол, показавшийся мне чудесным. — О, какой светлый дар, какие песни пела его душа! — нежно сказал он в пальму. И вспомнилось мне недавнее:

Имел он песен дивный дар,

И голос, шуму вод подобный.

- И эта пальма — его!

Я посмотрел на пальму, и она показалась мне особенно чудесной.

— Искусство, — продолжал говорить редактор, — прежде всего — благо-говение! Искусство... ис-кус! Искусство — молитвенная песнь. Основа его — религия. Это всегда, у всех. У нас — Христово слово! «И Бог бе слово». И я рад, что вы начинаете в его доме... в его журнале. Как-нибудь заходите, я буду давать вам его творения. Не во всякой они библиотеке... Ну-с, молодой писатель, до сви-да-ния. Желаю вам...

Я пожал ему руку, и так мне хотелось целовать его, послушать о нем, неведомом, сидеть и глядеть на стол. Он сам проводил меня.

Я ушел опьяненный новым, чувствуя смутно, что за всем этим моим — случайным? — есть что-то великое и священное, незнаемое мною, необычайно важное, к чему я только лишь прикоснулся.

Шел я как оглушенный. Что-то меня томило. Прошел Тверскую, вошел в Александровский сад, присел. Я — писатель. Ведь я же выдумал весь рассказ!.. Я обманул редактора, и за это мне дали деньги!.. Что я могу рассказывать? Ничего. А искусство — благоговение, молитва... А во мне ничего-то нет. Деньги, во-семь-десят рублей... за это!.. Долго сидел я так, в раздумье. И не с кем поговорить... У Каменного моста зашел в часовню, о чем-то помолился. Так бывало перед экзаменом.

Дома я вынул деньги, пересчитал. Во-семьдесят рублей... Взглянул на свою фамилию под рассказом, — как будто и не моя! Было в ней что-то новое, совсем другое. И я — другой. Я впервые тогда почувствовал, что — другой. Писатель? Это я не чувствовал, не верил, боялся думать. Только одно я чувствовал: что-то я должен сделать, многое узнать, читать, вглядываться и думать... — готовиться. Я — другой, другой.

Тэффи. Жизнь и воротник.Человек только воображает, что беспредельно властвует над вещами. Иногда самая невзрачная вещица вотрется в жизнь, закрутит ее и перевернет всю судьбу не в ту сторону, куда бы ей надлежало идти.  
 Олечка Розова три года была честной женой честного человека. Характер имела тихий, застенчивый, на глаза не лезла, мужа любила преданно, довольствовалась скромной жизнью.  
 Но вот как-то пошла она в Гостиный двор и, разглядывая витрину мануфактурного магазина, увидела крахмальный дамский воротник, с продернутой в него желтой ленточкой.  
 Как женщина честная, она сначала подумала: "Еще что выдумали!" Затем зашла и купила.  
 Примерила дома перед зеркалом. Оказалось, что если желтую ленточку завязать не спереди, а сбоку, то получится нечто такое, необъяснимое, что, однако, скорее хорошо, чем дурно.  
 Но воротничок потребовал новую кофточку. Из старых ни одна к нему не подходила.  
 Олечка мучилась всю ночь, а утром пошла в Гостиный двор и купила кофточку из хозяйственных денег. Примерила все вместе. Было хорошо, но юбка портила весь стиль. Воротник ясно и определенно требовал круглую юбку с глубокими складками.  
 Свободных денег больше не было. Но не останавливаться же на полпути?  
 Олечка заложила серебро и браслетку. На душе у нее было беспокойно и жутко, и, когда воротничок потребовал новых башмаков, она легла в постель и проплакала весь вечер.  
 На другой день она ходила без часов, но в тех башмаках, которые заказал воротничок.  
 Вечером, бледная и смущенная, она, заикаясь, говорила своей бабушке:  
 – Я забежала только на минутку. Муж очень болен. Ему доктор велел каждый день натираться коньяком, а это так дорого.  
 Бабушка была добрая, и на следующее же утро Олечка смогла купить себе шляпу, пояс и перчатки, подходящие к характеру воротничка.  
 Следующие дни были еще тяжелее.  
 Она бегала по всем родным и знакомым, лгала и выклянчивала деньги, а потом купила безобразный полосатый диван, от которого тошнило и ее, и честного мужа, и старую вороватую кухарку, но которого уже несколько дней настойчиво требовал воротничок.  
 Она стала вести странную жизнь. Не свою. Воротничковую жизнь. А воротничок был какого-то неясного, путаного стиля, и Олечка, угождая ему, совсем сбилась с толку.  
 – Если ты английский и требуешь, чтоб я ела сою, то зачем же на тебе желтый бант? Зачем это распутство, которого я не могу понять и которое толкает меня по наклонной плоскости?  
 Как существо слабое и бесхарактерное, она скоро опустила руки и поплыла по течению, которым ловко управлял подлый воротник.  
 Она обстригла волосы, стала курить и громко хохотала, если слышала какую-нибудь двусмысленность.  
 Где-то, в глубине души, еще теплилось в ней сознание всего ужаса ее положения, и иногда, по ночам или даже днем, когда воротничок стирался, она рыдала и молилась, но не находила выхода.  
 Раз даже она решилась открыть все мужу, но честный малый подумал, что она просто глупо пошутила, и, желая польстить, долго хохотал.  
 Так дело шло все хуже и хуже.  
 Вы спросите, почему не догадалась она просто-напросто вышвырнуть за окно крахмальную дрянь?  
 Она не могла. Это не странно. Все психиатры знают, что для нервных и слабосильных людей некоторые страдания, несмотря на всю мучительность их, становятся необходимыми, И не променяют они эту сладкую муку на здоровое спокойствие – ни за что на свете.  
 Итак, Олечка слабела все больше и больше в этой борьбе, а воротник укреплялся и властвовал.  
 Однажды ее пригласили на вечер.  
 Прежде она нигде не бывала, но теперь воротник напялился на ее шею и поехал в гости. Там он вел себя развязно до неприличия и вертел ее головой направо и налево.  
 За ужином студент, Олечкин сосед, пожал ей под столом ногу.  
 Олечка вся вспыхнула от негодования, но воротник за нее ответил:  
 – Только-то?  
 Олечка со стыдом и ужасом слушала и думала:  
 – Господи! Куда я попала?!  
 После ужина студент вызвался проводить ее домой. Воротник поблагодарил и радостно согласился прежде, чем Олечка успела сообразить, в чем дело.  
 Едва сели на извозчика, как студент зашептал страстно:  
 – Моя дорогая!  
 А воротник пошло захихикал в ответ.  
 Тогда студент обнял Олечку и поцеловал прямо в губы. Усы у него были мокрые, и весь поцелуй дышал маринованной корюшкой, которую подавали за ужином.  
 Олечка чуть не заплакала от стыда и обиды, а воротник ухарски повернул ее голову и снова хихикнул:  
 – Только-то?  
 Потом студент с воротником поехали в ресторан, слушать румын. Пошли в кабинет.  
 – Да ведь здесь нет никакой музыки! – возмущалась Олечка.  
 Но студент с воротником не обращали на нее никакого внимания. Они пили ликер, говорили пошлости и целовались.  
 Вернулась Олечка домой уже утром. Двери ей открыл сам честный муж.  
 Он был бледен и держал в руках ломбардные квитанции, вытащенные из Олечкиного стола.  
 – Где ты была? Я не спал всю ночь! Где ты была?   
 Вся душа у нее дрожала, но воротник ловко вел свою линию.  
 – Где была? Со студентом болталась!   
 Честный муж пошатнулся.  
 – Оля! Олечка! Что с тобой! Скажи, зачем ты закладывала вещи? Зачем занимала у Сатовых и у Яниных? Куда ты девала деньги?  
 – Деньги? Профукала!  
 И, заложив руки в карманы, она громко свистнула, чего прежде никогда не умела. Да и знала ли она это дурацкое слово – "профукала"? Она ли это сказала?  
 Честный муж бросил ее и перевелся в другой город.  
 Но что горше всего, так это то, что на другой же день после его отъезда воротник потерялся в стирке.  
 Кроткая Олечка служит в банке.  
 Она так скромна, что краснеет даже при слове "омнибус", потому что оно похоже на "обнимусь".  
 – А где воротник? – спросите вы.  
 – А я-то почем знаю, – отвечу я. – Он отдан был прачке, с нее и спрашивайте.  
 Эх, жизнь!

**Челкаш (Горький)**

Потемневшее от пыли голубое южное небо — мутно; жаркое солнце смотрит в зеленоватое море, точно сквозь тонкую серую вуаль. Оно почти не отражается в воде, рассекаемой ударами весел, пароходных винтов, острыми килями турецких фелюг и других судов, бороздящих по всем направлениям тесную гавань. Закованные в гранит волны моря подавлены громадными тяжестями, скользящими по их хребтам, бьются о борта судов, о берега, бьются и ропщут, вспененные, загрязненные разным хламом.

Звон якорных цепей, грохот сцеплений вагонов, подвозящих груз, металлический вопль железных листов, откуда-то падающих на камень мостовой, глухой стук дерева, дребезжание извозчичьих телег, свистки пароходов, то пронзительно резкие, то глухо ревущие, крики грузчиков, матросов и таможенных солдат — все эти звуки сливаются в оглушительную музыку трудового дня и, мятежно колыхаясь, стоят низко в небе над гаванью, — к ним вздымаются с земли все новые и новые волны звуков — то глухие, рокочущие, они сурово сотрясают все кругом, то резкие, гремящие, — рвут пыльный, знойный воздух.

Гранит, железо, дерево, мостовая гавани, суда и люди — все дышит мощными звуками страстного гимна Меркурию. Но голоса людей, еле слышные в нем, слабы и смешны. И сами люди, первоначально родившие этот шум, смешны и жалки: их фигурки, пыльные, оборванные, юркие, согнутые под тяжестью товаров, лежащих на их спинах, суетливо бегают то туда, то сюда в тучах пыли, в море зноя и звуков, они ничтожны по сравнению с окружающими их железными колоссами, грудами товаров, гремящими вагонами и всем, что они создали. Созданное ими поработило и обезличило их.

Стоя под парами, тяжелые гиганты-пароходы свистят, шипят, глубоко вздыхают, и в каждом звуке, рожденном ими, чудится насмешливая нота презрения к серым, пыльным фигурам людей, ползавших по их палубам, наполняя глубокие трюмы продуктами своего рабского труда. До слез смешны длинные вереницы грузчиков, несущих на плечах своих тысячи пудов хлеба в железные животы судов для того, чтобы заработать несколько фунтов того же хлеба для своего желудка. Рваные, потные, отупевшие от усталости, шума и зноя люди и могучие, блестевшие на солнце дородством машины, созданные этими людьми, — машины, которые в конце концов приводились в движение все-таки не паром, а мускулами и кровью своих творцов, — в этом сопоставлении была целая поэма жестокой иронии.

Шум — подавлял, пыль, раздражая ноздри, — слепила глаза, зной — пек тело и изнурял его, и все кругом казалось напряженным, теряющим терпение, готовым разразиться какой-то грандиозной катастрофой, взрывом, за которым в освеженном им воздухе будет дышаться свободно и легко, на земле воцарится тишина, а этот пыльный шум, оглушительный, раздражающий, доводящий до тоскливого бешенства, исчезнет, и тогда в городе, на море, в небе станет тихо, ясно, славно…

Раздалось двенадцать мерных и звонких ударов в колокол. Когда последний медный звук замер, дикая музыка труда уже звучала тише. Через минуту еще она превратилась в глухой недовольный ропот. Теперь голоса людей и плеск моря стали слышней. Это — наступило время обеда.

**I**[**Править**](https://ru.m.wikisource.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%88_(%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9)&action=edit&section=1)

Когда грузчики, бросив работать, рассыпались по гавани шумными группами, покупая себе у торговок разную снедь и усаживаясь обедать тут же, на мостовой, в тенистых уголках, — появился Гришка Челкаш, старый травленый волк, хорошо знакомый гаванскому люду, заядлый пьяница и ловкий, смелый вор. Он был бос, в старых, вытертых плисовых штанах, без шапки, в грязной ситцевой рубахе с разорванным воротом, открывавшим его сухие и угловатые кости, обтянутые коричневой кожей. По всклокоченным черным с проседью волосам и смятому, острому, хищному лицу было видно, что он только что проснулся. В одном буром усе у него торчала соломина, другая соломина запуталась в щетине левой бритой щеки, а за ухо он заткнул себе маленькую, только что сорванную ветку липы. Длинный, костлявый, немного сутулый, он медленно шагал по камням и, поводя своим горбатым, хищным носом, кидал вокруг себя острые взгляды, поблескивая холодными серыми глазами и высматривая кого-то среди грузчиков. Его бурые усы, густые и длинные, то и дело вздрагивали, как у кота, а заложенные за спину руки потирали одна другую, нервно перекручиваясь длинными, кривыми и цепкими пальцами. Даже и здесь, среди сотен таких же, как он, резких босяцких фигур, он сразу обращал на себя внимание своим сходством с степным ястребом, своей хищной худобой и этой прицеливающейся походкой, плавной и покойной с виду, но внутренне возбужденной и зоркой, как лет той хищной птицы, которую он напоминал.

Когда он поравнялся с одной из групп босяков-грузчиков, расположившихся в тени под грудой корзин с углем, ему навстречу встал коренастый малый с глупым, в багровых пятнах, лицом и поцарапанной шеей, должно быть, недавно избитый. Он встал и пошел рядом с Челкашом, вполголоса говоря:

— Флотские двух мест мануфактуры хватились… Ищут.

— Ну? — спросил Челкаш, спокойно смерив его глазами.

— Чего — ну? Ищут, мол. Больше ничего.

— Меня, что ли, спрашивали, чтоб помог поискать? И Челкаш с улыбкой посмотрел туда, где возвышался пакгауз Добровольного флота.

— Пошел к черту! Товарищ повернул назад.

— Эй, погоди! Кто это тебя изукрасил? Ишь как испортили вывеску-то… Мишку не видал здесь?

— Давно не видал! — крикнул тот, уходя к своим товарищам.

Челкаш шагал дальше, встречаемый всеми, как человек хорошо знакомый. Но он, всегда веселый и едкий, был сегодня, очевидно, не в духе и отвечал на расспросы отрывисто и резко.

Откуда-то из-за бунта товара вывернулся таможенный сторож, темно-зеленый, пыльный и воинственно-прямой. Он загородил дорогу Челкашу, встав перед ним в вызывающей позе, схватившись левой рукой за ручку кортика, а правой пытаясь взять Челкаша за ворот.

— Стой! Куда идешь?

Челкаш отступил шаг назад, поднял глаза на сторожа и сухо улыбнулся.

Красное, добродушно-хитрое лицо служивого пыталось изобразить грозную мину, для чего надулось, стало круглым, багровым, двигало бровями, таращило глаза и было очень смешно.

— Сказано тебе — в гавань не смей ходить, ребра изломаю! А ты опять? — грозно кричал сторож.

— Здравствуй, Семеныч! мы с тобой давно не видались, — спокойно поздоровался Челкаш и протянул ему руку.

— Хоть бы век тебя не видать! Иди, иди!.. Но Семеныч все-таки пожал протянутую руку.

— Вот что скажи, — продолжал Челкаш, не выпуская из своих цепких пальцев руки Семеныча и приятельски-фамильярно потряхивая ее, — ты Мишку не видал?

— Какого еще Мишку? Никакого Мишки не знаю! Пошел, брат, вон! а то пакгаузный увидит, он те…

— Рыжего, с которым я прошлый раз работал на «Костроме», — стоял на своем Челкаш.

— С которым воруешь вместе, вот как скажи! В больницу его свезли, Мишку твоего, ногу отдавило чугунной штыкой. Поди, брат, пока честью просят, поди, а то в шею провожу!..

— Ага, ишь ты! а ты говоришь — не знаю Мишки… Знаешь вот. Ты чего же такой сердитый, Семеныч?..

— Вот что, ты мне зубы не заговаривай, а иди!.. Сторож начал сердиться и, оглядываясь по сторонам, пытался вырвать свою руку из крепкой руки Челкаша. Челкаш спокойно посматривал на него из-под своих густых бровей и, не отпуская его руки, продолжал разговаривать:

— Ты не торопи меня. Я вот наговорюсь с тобой вдосталь и уйду. Ну, сказывай, как живешь?.. жена, детки — здоровы? — И, сверкая глазами, он, оскалив зубы насмешливой улыбкой, добавил: — В гости к тебе собираюсь, да все времени нет — пью все вот…

— Ну, ну, — ты это брось! Ты, — не шути, дьявол костлявый! Я, брат, в самом деле… Али ты уж по домам, по улицам грабить собираешься?

— Зачем? И здесь на наш с тобой век добра хватит. Ей-богу, хватит, Семеныч! Ты, слышь, опять два места мануфактуры слямзил?.. Смотри, Семеныч, осторожней! не попадись как-нибудь!..

Возмущенный Семеныч затрясся, брызгая слюной и пытаясь что-то сказать. Челкаш отпустил его руку и спокойно зашагал длинными ногами назад к воротам гавани. Сторож, неистово ругаясь, двинулся за ним.

Челкаш повеселел; он тихо посвистывал сквозь зубы и, засунув руки в карманы штанов, шел медленно, отпуская направо и налево колкие смешки и шутки. Ему платили тем же.

— Ишь ты, Гришка, начальство-то как тебя оберегает! — крикнул кто-то из толпы грузчиков, уже пообедавших и валявшихся на земле, отдыхая.

— Я — босый, так вот Семеныч следит, как бы мне ногу не напороть, — ответил Челкаш.

Подошли к воротам. Два солдата ощупали Челкаша и легонько вытолкнули его на улицу.

Челкаш перешел через дорогу и сел на тумбочку против дверей кабака. Из ворот гавани с грохотом выезжала вереница нагруженных телег. Навстречу им неслись порожние телеги с извозчиками, подпрыгивавшими на них. Гавань изрыгала воющий гром и едкую пыль…

В этой бешеной сутолоке Челкаш чувствовал себя прекрасно. Впереди ему улыбался солидный заработок, требуя немного труда и много ловкости. Он был уверен, что ловкости хватит у него, и, щуря глаза, мечтал о том, как загуляет завтра поутру, когда в его кармане явятся кредитные бумажки… Вспомнился товарищ, Мишка, — он очень пригодился бы сегодня ночью, если бы не сломал себе ногу. Челкаш про себя обругался, думая, что одному, без Мишки, пожалуй, и не справиться с делом. Какова-то будет ночь?.. Он посмотрел на небо и вдоль по улице.

Шагах в шести от него, у тротуара, на мостовой, прислонясь спиной к тумбочке, сидел молодой парень в синей пестрядинной рубахе, в таких же штанах, в лаптях и в оборванном рыжем картузе. Около него лежала маленькая котомка и коса без черенка, обернутая в жгут из соломы, аккуратно перекрученный веревочкой. Парень был широкоплеч, коренаст, русый, с загорелым и обветренным лицом и с большими голубыми глазами, смотревшими на Челкаша доверчиво и добродушно.

Челкаш оскалил зубы, высунул язык и, сделав страшную рожу, уставился на него вытаращенными глазами.

Парень, сначала недоумевая, смигнул, но потом вдруг расхохотался, крикнул сквозь смех: «Ах, чудак!» — и, почти не вставая с земли, неуклюже перевалился от своей тумбочки к тумбочке Челкаша, волоча свою котомку по пыли и постукивая пяткой косы о камни.

— Что, брат, погулял, видно, здорово!.. — обратился он к Челкашу, дернув его штанину.

— Было дело, сосунок, было этакое дело! — улыбаясь, сознался Челкаш. Ему сразу понравился этот здоровый добродушный парень с ребячьими светлыми глазами. — С косовицы, что ли?

— Как же!.. Косили версту — выкосили грош. Плохи дела-то! Нар-роду — уйма! Голодающий этот самый приплелся, — цену сбили, хоть не берись! Шесть гривен в Кубани платили. Дела!.. А раньше-то, говорят, три целковых цена, четыре, пять!..

— Раньше!.. Раньше-то за одно погляденье на русского человека там трьшну платили. Я вот годов десять тому назад этим самым и промышлял. Придешь в станицу — русский, мол, я! Сейчас тебя поглядят, пощупают, подивуются и — получи три рубля! Да напоят, накормят. И живи сколько хочешь!

Парень, слушая Челкаша, сначала широко открыл рот, выражая на круглой физиономии недоумевающее восхищение, но потом, поняв, что оборванец врет, шлепнул губами и захохотал. Челкаш сохранял серьезную мину, скрывая улыбку в своих усах.

— Чудак, говоришь будто правду, а я слушаю да верю… Нет, ей-богу, раньше там…

— Ну, а я про что? Ведь и я говорю, что, мол, там раньше…

— Поди ты!.. — махнул рукой парень. — Сапожник, что ли? Али портной?.. Ты-то?

— Я-то? — переспросил Челкаш и, подумав, сказал: — Рыбак я…

— Рыба-ак! Ишь ты! Что же, ловишь рыбу?..

— Зачем рыбу? Здешние рыбаки не одну рыбу ловят. Больше утопленников, старые якорья, потонувшие суда — все! Удочки такие есть для этого…

— Ври, ври!.. Из тех, может, рыбаков, которые про себя поют:

Мы закидывали сети

По сухим берегам

Да по амбарам, по клетям!..

— А ты видал таких? — спросил Челкаш, с усмешкой поглядывая на него.

— Нет, видать где же! Слыхал…

— Нравятся?

— Они-то? Как же!.. Ничего ребята, вольные, свободные…

— А что тебе — свобода?.. Ты разве любишь свободу?

— Да ведь как же? Сам себе хозяин, пошел — куда хошь, делай — что хошь… Еще бы! Коли сумеешь себя в порядке держать, да на шее у тебя камней нет, — первое дело! Гуляй знай, как хошь, бога только помни…

Челкаш презрительно сплюнул и отвернулся от парня.

— Сейчас вот мое дело… — говорил тот. — Отец у меня — умер, хозяйство — малое, мать-старуха, земля высосана, — что я должен делать? Жить — надо. А как? Неизвестно. Пойду я в зятья в хороший дом. Ладно. Кабы выделили дочь-то!.. Нет ведь — тесть-дьявол не выделит. Ну, и буду я ломать на него… долго… Года! Вишь, какие дела-то! А кабы мне рублей ста полтора заробить, сейчас бы я на ноги встал и — Антипу-то — на-кося, выкуси! Хошь выделить Марфу? Нет? Не надо! Слава богу, девок в деревне не одна она. И был бы я, значит, совсем свободен, сам по себе… Н-да! — Парень вздохнул. — А теперь ничего не поделаешь иначе, как в зятья идти. Думал было я: вот, мол, на Кубань-то пойду, рублев два ста тяпну, — шабаш! барин!.. АН не выгорело. Ну и пойдешь в батраки… Своим хозяйством не исправлюсь я, ни в каком разе! Эхе-хе!..

Парню сильно не хотелось идти в зятья. У него даже лицо печально потускнело. Он тяжело заерзал на земле.

Челкаш спросил:

— Теперь куда ж ты?

— Да ведь — куда? известно, домой.

— Ну, брат, мне это неизвестно, может, ты в Турцию собрался.

— В Ту-урцию!.. — протянул парень. — Кто ж это туда ходит из православных? Сказал тоже!..

— Экой ты дурак! — вздохнул Челкаш и снова отворотился от собеседника. В нем этот здоровый деревенский парень что-то будил…

Смутно, медленно назревавшее, досадливое чувство копошилось где-то глубоко и мешало ему сосредоточиться и обдумать то, что нужно было сделать в эту ночь.

Обруганный парень бормотал что-то вполголоса, изредка бросая на босяка косые взгляды. У него смешно надулись щеки, оттопырились губы и суженные глаза как-то чересчур часто и смешно помаргивали. Он, очевидно, не ожидал, что его разговор с этим усатым оборванцем кончится так быстро и обидно.

Оборванец не обращал больше на него внимания. Он задумчиво посвистывал, сидя на тумбочке и отбивая по ней такт голой грязной пяткой.

Парню хотелось поквитаться с ним.

— Эй ты, рыбак! Часто это ты запиваешь-то? — начал было он, но в этот же момент рыбак быстро обернул к нему лицо, спросив его:

— Слушай, сосун! Хочешь сегодня ночью работать со мной? Говори скорей!

— Чего работать? — недоверчиво спросил парень.

— Ну, чего!.. Чего заставлю… Рыбу ловить поедем. Грести будешь…

— Так… Что же? Ничего. Работать можно. Только вот… не влететь бы во что с тобой. Больно ты закомурист… темен ты…

Челкаш почувствовал нечто вроде ожога в груди и с холодной злобой вполголоса проговорил:

— А ты не болтай, чего не смыслишь. Я те вот долбану по башке, тогда у тебя в ней просветлеет…

Он соскочил с тумбочки, дернул левой рукой свой ус, а правую сжал в твердый жилистый кулак и заблестел глазами.

Парень испугался. Он быстро оглянулся вокруг и, робко моргая, тоже вскочил с земли. Меряя друг друга глазами, они молчали.

— Ну? — сурово спросил Челкаш. Он кипел и вздрагивал от оскорбления, нанесенного ему этим молоденьким теленком, которого он во время разговора с ним презирал, а теперь сразу возненавидел за то, что у него такие чистые голубые глаза, здоровое загорелое лицо, короткие крепкие руки, за то, что он имеет где-то там деревню, дом в ней, за то, что его приглашает в зятья зажиточный мужик, — за всю его жизнь прошлую и будущую, а больше всего за то, что он, этот ребенок по сравнению с ним, Челкашем, смеет любить свободу, которой не знает цены и которая ему не нужна. Всегда неприятно видеть, что человек, которого ты считаешь хуже и ниже себя, любит или ненавидит то же, что и ты, и, таким образом, становится похож на тебя.

Парень смотрел на Челкаша и чувствовал в нем хозяина.

— Ведь я… не прочь… — заговорил он. — Работы ведь и ищу. Мне все равно, у кого работать, у тебя или у другого. Я только к тому сказал, что не похож ты на рабочего человека, — больно уж тово… драный. Ну, я ведь знаю, что это со всяким может быть. Господи, рази я не видел пьяниц! Эх, сколько!.. да еще и не таких, как ты.

— Ну, ладно, ладно! Согласен? — уже мягче переспросил Челкаш.

— Я-то? Аида!.. с моим удовольствием! Говори цену.

— Цена у меня по работе. Какая работа будет. Какой улов, значит… Пятитку можешь получить. Понял?

Но теперь дело касалось денег, а тут крестьянин хотел быть точным и требовал той же точности от нанимателя. У парня вновь вспыхнуло недоверие и подозрительность.

— Это мне не рука, брат! Челкаш вошел в роль:

— Не толкуй, погоди! Идем в трактир!

И они пошли по улице рядом друг с другом, Челкаш — с важной миной хозяина, покручивая усы, парень — с выражением полной готовности подчиниться, но все-таки полный недоверия и боязни.

— А как тебя звать? — спросил Челкаш.

— Гаврилом! — ответил парень.

Когда они пришли в грязный и закоптелый трактир, Челкаш, подойдя к буфету, фамильярным тоном завсегдатая заказал бутылку водки, щей, поджарку из мяса, чаю и, перечислив требуемое, коротко бросил буфетчику:

«В долг все!» — на что буфетчик молча кивнул головой. Тут Гаврила сразу преисполнился уважения к своему хозяину, который, несмотря на свой вид жулика, пользуется такой известностью и доверием.

— Ну, вот мы теперь закусим и поговорим толком. Пока ты посиди, а я схожу кое-куда.

Он ушел. Гаврила осмотрелся кругом. Трактир помещался в подвале; в нем было сыро, темно, и весь он был полон удушливым запахом перегорелой водки, табачного дыма, смолы и еще чего-то острого. Против Гаврилы, за другим столом, сидел пьяный человек в матросском костюме, с рыжей бородой, весь в угольной пыли и смоле. Он урчал, поминутно икая, песню, всю из каких-то перерванных и изломанных слов, то страшно шипящих, то гортанных. Он был, очевидно, не русский.

Сзади его поместились две молдаванки; оборванные, черноволосые, загорелые, они тоже скрипели песню пьяными голосами.

Потом из тьмы выступали еще разные фигуры, все странно растрепанные, все полупьяные, крикливые, беспокойные…

Гавриле стало жутко. Ему захотелось, чтобы хозяин воротился скорее. Шум в трактире сливался в одну ноту, и казалось, что это рычит какое-то огромное животное, оно, обладая сотней разнообразных голосов, раздраженно, слепо рвется вон из этой каменной ямы и не находит выхода на волю… Гаврила чувствовал, как в его тело всасывается что-то опьяняющее и тягостное, от чего у него кружилась голова и туманились глаза, любопытно и со страхом бегавшие по трактиру…

Пришел Челкаш, и они стали есть и пить, разговаривая. С третьей рюмки Гаврила опьянел. Ему стало весело и хотелось сказать что-нибудь приятное своему хозяину, который — славный человек! — так вкусно угостил его. Но слова, целыми волнами подливавшиеся ему к горлу, почему-то не сходили с языка, вдруг отяжелевшего.

Челкаш смотрел на него и, насмешливо улыбаясь, говорил:

— Наклюкался!.. Э-эх, тюря! с пяти рюмок!.. как работать-то будешь?..

— Друг!.. — лепетал Гаврила. — Не бойсь! я тебе уважу!.. Дай поцелую тебя!.. а?..

— Ну, ну!.. На, еще клюкни!

Гаврила пил и дошел наконец до того, что у него в глазах все стало колебаться ровными, волнообразными движениями. Это было неприятно, и от этого тошнило. Лицо у него сделалось глупо восторженное. Пытаясь сказать что-нибудь, он смешно шлепал губами и мычал. Челкаш, пристально поглядывая на него, точно вспоминал что-то, крутил свои усы и все улыбался хмуро.

А трактир ревел пьяным шумом. Рыжий матрос спал, облокотясь на стол.

— Ну-ка, идем! — сказал Челкаш, вставая. Гаврила попробовал подняться, но не смог и, крепко обругавшись, засмеялся бессмысленным смехом пьяного.

— Развезло! — молвил Челкаш, снова усаживаясь против него на стул.

Гаврила все хохотал, тупыми глазами поглядывая на хозяина. И тот смотрел на него пристально, зорко и задумчиво. Он видел перед собою человека, жизнь которого попала в его волчьи лапы. Он, Челкаш, чувствовал себя в силе повернуть ее и так и этак. Он мог разломать ее, как игральную карту, и мог помочь ей установиться в прочные крестьянские рамки. Чувствуя себя господином другого, он думал о том, что этот парень никогда не изопьет такой чаши, какую судьба дала испить ему, Челкашу… И он завидовал и сожалел об этой молодой жизни, подсмеивался над ней и даже огорчался за нее, представляя, что она может еще раз попасть в такие руки, как его… И все чувства в конце концов слились у Челкаша в одно — нечто отеческое и хозяйственное. Малого было жалко, и малый был нужен. Тогда Челкаш взял Гаврилу под мышки и, легонько толкая его сзади коленом, вывел на двор трактира, где сложил на землю в тень от поленницы дров, а сам сел около него и закурил трубку. Гаврила немного повозился, помычал и заснул.

**II**[**Править**](https://ru.m.wikisource.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%88_(%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9)&action=edit&section=2)

— Ну, готов? — вполголоса спросил Челкаш у Гаврилы, возившегося с веслами.

— Сейчас! Уключина вот шатается, — можно разок вдарить веслом?

— Ни-ни! Никакого шуму! Надави ее руками крепче, она и войдет себе на место.

Оба они тихо возились с лодкой, привязанной к корме одной из целой флотилии парусных барок, нагруженных дубовой клепкой, и больших турецких фелюг, занятых пальмой, сандалом и толстыми кряжами кипариса.

Ночь была темная, по небу двигались толстые пласты лохматых туч, море было покойно, черно и густо, как масло. Оно дышало влажным соленым ароматом и ласково звучало, плескаясь от борта судов о берег, чуть-чуть покачивая лодку Челкаша. На далекое пространство от берега с моря подымались темные остовы судов, вонзая в небо острые мачты с разноцветными фонарями на вершинах. Море отражало огни фонарей и было усеяно массой желтых пятен. Они красиво трепетали на его бархате, мягком, матово-черном. Море спало здоровым, крепким сном работника, который сильно устал за день.

— Едем! — сказал Гаврила, спуская весла в воду.

— Есть! — Челкаш сильным ударом руля вытолкнул лодку в полосу воды между барками, она быстро поплыла по скользкой воде, и вода под ударами весел загоралась голубоватым фосфорическим сиянием, — длинная лента его, мягко сверкая, вилась за кормой.

— Ну, что голова? болит? — ласково спросил Челкаш.

— Страсть!.. как чугун гудит… Намочу ее водой сейчас.

— Зачем? Ты на-ко вот, нутро помочи, может, скорее очухаешься, — и он протянул Гавриле бутылку.

— Ой ли? Господи благослови!..

Послышалось тихое бульканье.

— Эй ты! рад?.. Будет! — остановил его Челкаш. Лодка помчалась снова, бесшумно и легко вертясь среди судов… Вдруг она вырвалась из их толпы, и море — бесконечное, могучее — развернулось перед ними, уходя в синюю даль, где из вод его вздымались в небо горы облаков — лилово-сизых, с желтыми пуховыми каймами по краям, зеленоватых, цвета морской воды, и тех скучных, свинцовых туч, что бросают от себя такие тоскливые, тяжелые тени. Облака ползли медленно, то сливаясь, то обгоняя друг друга, мешали свои цвета и формы, поглощая сами себя и вновь возникая в новых очертаниях, величественные и угрюмые… Что-то роковое было в этом медленном движении бездушных масс. Казалось, что там, на краю моря, их бесконечно много и они всегда будут так равнодушно всползать на небо, задавшись злой целью не позволять ему никогда больше блестеть над сонным морем миллионами своих золотых очей — разноцветных звезд, живых и мечтательно сияющих, возбуждая высокие желания в людях, которым дорог их чистый блеск.

— Хорошо море? — спросил Челкаш.

— Ничего! Только боязно в нем, — ответил Гаврила, ровно и сильно ударяя веслами по воде. Вода чуть слышно звенела и плескалась под ударами длинных весел и все блестела теплым голубым светом фосфора.

— Боязно! Экая дура!.. — насмешливо проворчал Челкаш.

Он, вор, любил море. Его кипучая нервная натура, жадная на впечатления, никогда не пресыщалась созерцанием этой темной широты, бескрайной, свободной и мощной. И ему было обидно слышать такой ответ на вопрос о красоте того, что он любил. Сидя на корме, он резал рулем воду и смотрел вперед спокойно, полный желания ехать долго и далеко по этой бархатной глади.

На море в нем всегда поднималось широкое, теплое чувство, — охватывая всю его душу, оно немного очищало ее от житейской скверны. Он ценил это и любил видеть себя лучшим тут, среди воды и воздуха, где думы о жизни и сама жизнь всегда теряют — первые — остроту, вторая — цену. По ночам над морем плавно носится мягкий шум его сонного дыхания, этот необъятный звук вливает в душу человека спокойствие и, ласково укрощая ее злые порывы, родит в ней могучие мечты…

— А снасть-то где? — вдруг спросил Гаврила, беспокойно оглядывая лодку. Челкаш вздрогнул.

— Снасть? Она у меня на корме.

Но ему стало обидно лгать пред этим мальчишкой, и ему было жаль тех дум и чувств, которые уничтожил этот парень своим вопросом. Он рассердился. Знакомое ему острое жжение в груди и у горла передернуло его, он внушительно и жестко сказал Гавриле:

— Ты вот что — сидишь, ну и сиди! А не в свое дело носа не суй. Наняли тебя грести, и греби. А коли будешь языком трепать, будет плохо. Понял?..

На минуту лодка дрогнула и остановилась. Весла остались в воде, вспенивая ее, и Гаврила беспокойно завозился на скамье.

— Греби!

Резкое ругательство потрясло воздух. Гаврила взмахнул веслами. Лодка точно испугалась и пошла быстрыми, нервными толчками, с шумом разрезая воду.

— Ровней!..

Челкаш привстал с кормы, не выпуская весла из рук и воткнув свои холодные глаза в бледное лицо Гаврилы. Изогнувшийся наклоняясь вперед, он походил на кошку, готовую прыгнуть. Слышно было злое скрипение зубов и робкое пощелкивание какими-то костяшками.

— Кто кричит? — раздался с моря суровый окрик.

— Ну, дьявол, греби же!.. тише!.. убью, собаку!.. Ну же, греби!.. Раз, два! Пикни только!.. Р-разорву!.. — шипел Челкаш.

— Богородице… дево… — шептал Гаврила, дрожа и изнемогая от страха и усилий.

Лодка плавно повернулась и пошла назад к гавани, где огни фонарей столпились в разноцветную группу и видны были стволы мачт.

— Эй! кто орет? — донеслось снова.

Теперь голос был дальше, чем в первый раз. Челкаш успокоился.

— Сам ты и орешь! — сказал он по направлению криков и затем обратился к Гавриле, все еще шептавшему молитву:

— Ну, брат, счастье твое! Кабы эти дьяволы погнались за нами — конец тебе. Чуешь? Я бы тебя сразу — к рыбам!..

Теперь, когда Челкаш говорил спокойно и даже добродушно, Гаврила, все еще дрожащий от страха, взмолился:

— Слушай, отпусти ты меня! Христом прошу, отпусти! Высади куда-нибудь! Ай-ай-ай!.. Про-опал я совсем!.. Ну, вспомни бога, отпусти! Что я тебе? Не могу я этого!.. Не бывал я в таких делах… Первый раз… Господи! Пропаду ведь я! Как ты это, брат, обошел меня? а? Грешно тебе!.. Душу ведь губишь!.. Ну, дела-а…

— Какие дела? — сурово спросил Челкаш. — А? Ну, какие дела?

Его забавлял страх парня, и он наслаждался и страхом Гаврилы, и тем, что вот какой он, Челкаш, грозный человек.

— Темные дела, брат… Пусти для бога!.. Что я тебе?.. а?.. Милый…

— Ну, молчи! Не нужен был бы, так я тебя не брал бы. Понял? — ну и молчи!

— Господи! — вздохнул Гаврила.

— Ну-ну!.. куксись у меня! — оборвал его Челкаш. Но Гаврила теперь уже не мог удержаться и, тихо всхлипывая, плакал, сморкался, ерзал по лавке, но греб сильно, отчаянно. Лодка мчалась стрелой. Снова на дороге встали темные корпуса судов, и лодка потерялась в них, волчком вертясь в узких полосах воды между бортами.

— Эй ты! слушай! Буде спросит кто о чем — молчи, коли жив быть хочешь! Понял?

— Эхма!.. — безнадежно вздохнул Гаврила в ответ на суровое приказание и горько добавил: — Судьбина моя пропащая!..

— Не ной! — внушительно шепнул Челкаш. Гаврила от этого шепота потерял способность соображать что-либо и помертвел, охваченный холодным предчувствием беды. Он машинально опускал весла в воду, откидывался назад, вынимал их, бросал снова и все время упорно смотрел на свои лапти.

Сонный шум волн гудел угрюмо и был страшен. Вот гавань… За ее гранитной стеной слышались людские голоса, плеск воды, песня и тонкие свистки.

— Стой! — шепнул Челкаш. — Бросай весла! Упирайся руками в стену! Тише, черт!..

Гаврила, цепляясь руками за скользкий камень, повел лодку вдоль стены. Лодка двигалась без шороха, скользя бортом по наросшей на камне слизи.

— Стой!.. Дай весла! Дай сюда! А паспорт у тебя где? В котомке? Дай котомку! Ну, давай скорей! Это, мил друг, для того, чтобы ты не удрал… Теперь не удерешь. Без весел-то ты бы кое-как мог удрать, а без паспорта побоишься. Жди! Да смотри, коли ты пикнешь — на дне моря найду!..

И вдруг, уцепившись за что-то руками, Челкаш поднялся на воздух и исчез на стене.

Гаврила вздрогнул… Это вышло так быстро. Он почувствовал, как с него сваливается, сползает та проклятая тяжесть и страх, который он чувствовал при этом усатом, худом воре… Бежать теперь!.. И он, свободно вздохнув, оглянулся кругом. Слева возвышался черный корпус без мачт, — какой-то огромный гроб, безлюдный и пустой… Каждый удар волны в его бока родил в нем глухое, гулкое эхо, похожее на тяжелый вздох. Справа над водой тянулась сырая каменная стена мола, как холодная, тяжелая змея. Сзади виднелись тоже какие-то черные остовы, а спереди, в отверстие между стеной и бортом этого гроба, видно было море, молчаливое, пустынное, с черными над ним тучами. Они медленно двигались, огромные, тяжелые, источая из тьмы ужас и готовые раздавить человека тяжестью своей. Все было холодно, черно, зловеще. Гавриле стало страшно. Этот страх был хуже страха, навеянного на него Челкашем; он охватил грудь Гаврилы крепким объятием, сжал его в робкий комок и приковал к скамье лодки…

А кругом все молчало. Ни звука, кроме вздохов моря. Тучи ползли по небу так же медленно и скучно, как и раньше, но их все больше вздымалось из моря, и можно было, глядя на небо, думать, что и оно тоже море, только море взволнованное и опрокинутое над другим, сонным, покойным и гладким. Тучи походили на волны, ринувшиеся на землю вниз кудрявыми седыми хребтами, и на пропасти, из которых вырваны эти волны ветром, и на зарождавшиеся валы, еще не покрытые зеленоватой пеной бешенства и гнева.

Гаврила чувствовал себя раздавленным этой мрачной тишиной и красотой и чувствовал, что он хочет видеть скорее хозяина. А если он там останется?.. Время шло медленно, медленнее, чем ползли тучи по небу… И тишина, от времени, становилась все зловещей… Но вот за стеной мола послышался плеск, шорох и что-то похожее на шепот. Гавриле показалось, что он сейчас умрет…

— Эй! Спишь? Держи!.. осторожно!.. — раздался глухой голос Челкаша.

Со стены спускалось что-то кубическое и тяжелое. Гаврила принял это в лодку. Спустилось еще одно такое же. Затем поперек стены вытянулась длинная фигура Челкаша, откуда-то явились весла, к ногам Гаврилы упала его котомка, и тяжело дышавший Челкаш уселся на корме.

Гаврила радостно и робко улыбался, глядя на него.

— Устал? — спросил он.

— Не без того, теля! Ну-ка, гребни добре! Дуй во всю силу!.. Хорошо ты, брат, заработал! Полдела сделали. Теперь только у чертей между глаз проплыть, а там — получай денежки и ступай к своей Машке. Машка-то есть у тебя? Эй, дитятко?

— Н-нету! — Гаврила старался во всю силу, работая грудью, как мехами, и руками, как стальными пружинами. Вода под лодкой рокотала, и голубая полоса за кормой теперь была шире. Гаврила весь облился потом, но продолжал грести во всю силу. Пережив дважды в эту ночь такой страх, он теперь боялся пережить его в третий раз и желал одного: скорей кончить эту проклятую работу, сойти на землю и бежать от этого человека, пока он в самом деле не убил или не завел его в тюрьму. Он решил не говорить с ним ни о чем, не противоречить ему, делать все, что велит, и, если удастся благополучно развязаться с ним, завтра же отслужить молебен Николаю Чудотворцу. Из его груди готова была вылиться страстная молитва. Но он сдерживался, пыхтел, как паровик, и молчал, исподлобья кидая взгляды на Челкаша.

А тот, сухой, длинный, нагнувшийся вперед и похожий на птицу, готовую лететь куда-то, смотрел во тьму вперед лодки ястребиными очами и, поводя хищным, горбатым носом, одной рукой цепко держал ручку руля, а другой теребил ус, вздрагивавший от улыбок, которые кривили его тонкие губы. Челкаш был доволен своей удачей, собой и этим парнем, так сильно запуганным им и превратившимся в его раба. Он смотрел, как старался Гаврила, и ему стало жалко, захотелось ободрить его.

— Эй! — усмехаясь, тихо заговорил он. — Что, здорово ты перепугался? а?

— Н-ничего!.. — выдохнул Гаврила и крякнул.

— Да уж теперь ты не очень наваливайся на весла-то. Теперь шабаш. Вот еще только одно бы место пройти… Отдохни-ка…

Гаврила послушно приостановился, вытер рукавом рубахи пот с лица и снова опустил весла в воду.

— Ну, греби тише, чтобы вода не разговаривала. Воротца одни надо миновать. Тише, тише… А то, брат, тут народы серьезные… Как раз из ружья пошалить могут. Такую шишку на лбу набьют, что и не охнешь.

Лодка теперь кралась по воде почти совершенно беззвучно. Только с весел капали голубые капли, и когда они падали в море, на месте их падения вспыхивало ненадолго тоже голубое пятнышко. Ночь становилась все темнее и молчаливей. Теперь небо уже не походило на взволнованное море — тучи расплылись по нем и покрыли его ровным тяжелым пологом, низко опустившимся над водой и неподвижным. А море стало еще спокойней, черней, сильнее пахло теплым, соленым запахом и уж не казалось таким широким, как раньше.

— Эх, кабы дождь пошел! — прошептал Челкаш. — Так бы мы и проехали, как за занавеской.

Слева и справа от лодки из черной воды поднялись какие-то здания — баржи, неподвижные, мрачные и тоже черные. На одной из них двигался огонь, кто-то ходил с фонарем. Море, гладя их бока, звучало просительно и глухо, а они отвечали ему эхом, гулким и холодным, точно спорили, не желая уступить ему в чем-то.

— Кордоны!.. — чуть слышно шепнул Челкаш. С момента, когда он велел Гавриле грести тише, Гаврилу снова охватило острое выжидательное напряжение. Он весь подался вперед, во тьму, и ему казалось, что он растет, — кости и жилы вытягивались в нем с тупой болью, голова, заполненная одной мыслью, болела, кожа на спине вздрагивала, а в ноги вонзались маленькие, острые и холодные иглы. Глаза ломило от напряженного рассматриванья тьмы, из которой — он ждал — вот-вот встанет нечто и гаркнет на них: «Стой, воры!..»

Теперь, когда Челкаш шепнул «кордоны!», Гаврила дрогнул: острая, жгучая мысль прошла сквозь него, прошла и задела по туго натянутым нервам, — он хотел крикнуть, позвать людей на помощь к себе… Он уже открыл рот и привстал немного на лавке, выпятил грудь, вобрал в нее много воздуха и открыл рот, — но вдруг, пораженный ужасом, ударившим его, как плетью, закрыл глаза и свалился с лавки.

… Впереди лодки, далеко на горизонте, из черной воды моря поднялся огромный огненно-голубой меч, поднялся, рассек тьму ночи, скользнул своим острием по тучам в небе и лег на грудь моря широкой, голубой полосой. Он лег, и в полосу его сияния из мрака выплыли невидимые до той поры суда, черные, молчаливые, обвешанные пышной ночной мглой. Казалось, они долго были на дне моря, увлеченные туда могучей силой бури, и вот теперь поднялись оттуда по велению огненного меча, рожденного морем, — поднялись, чтобы посмотреть на небо и на все, что поверх воды… Их такелаж обнимал собой мачты и казался цепкими водорослями, поднявшимися со дна вместе с этими черными гигантами, опутанными их сетью. И он опять поднялся кверху из глубин моря, этот страшный голубой меч, поднялся, сверкая, снова рассек ночь и снова лег уже в другом направлении. И там, где он лег, снова всплыли остовы судов, невидимых до его появления.

Лодка Челкаша остановилась и колебалась на воде, как бы недоумевая. Гаврила лежал на дне, закрыв лицо руками, а Челкаш толкал его ногой и шипел бешено, но тихо:

— Дурак, это крейсер таможенный… Это фонарь электрический!.. Вставай, дубина! Ведь на нас свет бросят сейчас!.. Погубишь, черт, и себя и меня! Ну!..

И, наконец, когда один из ударов каблуком сапога сильнее других опустился на спину Гаврилы, он вскочил, все еще боясь открыть глаза, сел на лавку и, ощупью схватив весла, двинул лодку.

— Тише! Убью ведь! Ну, тише!.. Эка дурак, черт тебя возьми!.. Чего ты испугался? Ну? Харя!.. Фонарь — только и всего. Тише веслами!.. Кислый черт!.. За контрабандой это следят. Нас не заденут — далеко отплыли они. Не бойся, не заденут. Теперь мы… — Челкаш торжествующе оглянулся кругом. — Кончено, выплыли!.. Фу-у!.. Н-ну, счастлив ты, дубина стоеросовая!..

Гаврила молчал, греб и, тяжело дыша, искоса смотрел туда, где все еще поднимался и опускался этот огненный меч. Он никак не мог поверить Челкашу, что это только фонарь. Холодное голубое сияние, разрубавшее тьму, заставляя море светиться серебряным блеском, имело в себе нечто необъяснимое, и Гаврила опять впал в гипноз тоскливого страха. Он греб, как машина, и все сжимался, точно ожидал удара сверху, и ничего, никакого желания не было уже в нем — он был пуст и бездушен. Волнения этой ночи выглодали наконец из него все человеческое.

А Челкаш торжествовал. Его привычные к потрясениям нервы уже успокоились. У него сладострастно вздрагивали усы и в глазах разгорался огонек. Он чувствовал себя великолепно, посвистывал сквозь зубы, глубоко вдыхал влажный воздух моря, оглядывался кругом и добродушно улыбался, когда его глаза останавливались на Гавриле.

Ветер пронесся и разбудил море, вдруг заигравшее частой зыбью. Тучи сделались как бы тоньше и прозрачней, но все небо было обложено ими. Несмотря на то, что ветер, хотя еще легкий, свободно носился над морем, тучи были неподвижны и точно думали какую-то серую, скучную Думу.

— Ну ты, брат, очухайся, пора! Ишь тебя как — точно из кожи-то твоей весь дух выдавили, один мешок костей остался! Конец уж всему. Эй!..

Гавриле все-таки было приятно слышать человеческий голос, хоть это и говорил Челкаш.

— Я слышу, — тихо сказал он.

— То-то! Мякиш… Ну-ка, садись на руль, а я — на весла, устал, поди!

Гаврила машинально переменил место. Когда Челкаш, меняясь с ним местами, взглянул ему в лицо и заметил, что он шатается на дрожащих ногах, ему стало еще больше жаль парня. Он хлопнул его по плечу.

— Ну, ну, не робь! Заработал зато хорошо. Я те, брат, награжу богато. Четвертной билет хочешь получить? а?

— Мне — ничего не надо. Только на берег бы… Челкаш махнул рукой, плюнул и принялся грести, далеко назад забрасывая весла своими длинными руками.

Море проснулось. Оно играло маленькими волнами, рождая их, украшая бахромой пены, сталкивая друг с другом и разбивая в мелкую пыль. Пена, тая, шипела и вздыхала, — и все кругом было заполнено музыкальным шумом и плеском. Тьма как бы стала живее.

— Ну, скажи мне, — заговорил Челкаш, — придешь ты в деревню, женишься, начнешь землю копать, хлеб сеять, жена детей народит, кормов не будет хватать; ну, будешь ты всю жизнь из кожи лезть… Ну, и что? Много в этом смаку?

— Какой уж смак! — робко и вздрагивая ответил Гаврила.

Кое-где ветер прорывал тучи, и из разрывов смотрели голубые кусочки неба с одной-двумя звездочками на них. Отраженные играющим морем, эти звездочки прыгали по волнам, то исчезая, то вновь блестя.

— Правее держи! — сказал Челкаш. — Скоро уж приедем. Н-да!.. Кончили. Работка важная! Вот видишь как?.. Ночь одна — и полтысячи я тяпнул!

— Полтысячи?! — недоверчиво протянул Гаврила, но сейчас же испугался и быстро спросил, толкая ногой тюки в лодке: — А это что же будет за вещь?

— Это — дорогая вещь. Все-то, коли по цене продать, так и за тысячу хватит. Ну, я не дорожусь… Ловко?

— Н-да-а?.. — вопросительно протянул Гаврила. — Кабы мне так-то вот! — вздохнул он, сразу вспомнив деревню, убогое хозяйство, свою мать и все то далекое, родное, ради чего он ходил на работу, ради чего так измучился в эту ночь. Его охватила волна воспоминаний о своей деревеньке, сбегавшей по крутой горе вниз, к речке, скрытой в роще берез, ветел, рябин, черемухи… — Эх, важно бы!.. — грустно вздохнул он.

— Н-да!.. Я думаю, ты бы сейчас по чугунке домой… Уж и полюбили бы тебя девки дома, а-ах как!.. Любую бери! Дом бы себе сгрохал — ну, для дома денег, положим, маловато…

— Это верно… для дому нехватка. У нас дорог лес-то.

— Ну что ж? Старый бы поправил. Лошадь как? есть?

— Лошадь? Она и есть, да больно стара, черт.

— Ну, значит, лошадь. Ха-арошую лошадь! Корову… Овец… Птицы разной… А?

— Не говори!.. Ох ты, господи! вот уж пожил бы!

— Н-да, брат, житьишко было бы ничего себе… Я тоже понимаю толк в этом деле. Было когда-то свое гнездо… Отец-то был из первых богатеев в селе…

Челкаш греб медленно. Лодка колыхалась на волнах, шаловливо плескавшихся о ее борта, еле двигалась по темному морю, а оно играло все резвей и резвей. Двое людей мечтали, покачиваясь на воде и задумчиво поглядывая вокруг себя. Челкаш начал наводить Гаврилу на мысль о деревне, желая немного ободрить и успокоить его. Сначала он говорил, посмеиваясь себе в усы, но потом, подавая реплики собеседнику и напоминая ему о радостях крестьянской жизни, в которых сам давно разочаровался, забыл о них и вспоминал только теперь, — он постепенно увлекся и вместо того, чтобы расспрашивать парня о деревне и ее делах, незаметно для себя стал сам рассказывать ему:

— Главное в крестьянской жизни — это, брат, свобода! Хозяин ты есть сам себе. У тебя твой дом — грош ему цена — да он твой. У тебя земля своя — и того ее горсть — да она твоя! Король ты на своей земле!.. У тебя есть лицо… Ты можешь от всякого требовать уважения к тебе… Так ли? — воодушевленно закончил Челкаш.

Гаврила глядел на него с любопытством и тоже воодушевлялся. Он во время этого разговора успел уже забыть, с кем имеет дело, и видел пред собой такого же крестьянина, как и сам он, прилепленного навеки к земле потом многих поколений, связанного с ней воспоминаниями детства, самовольно отлучившегося от нее и от забот о ней и понесшего за эту отлучку должное наказание.

— Это, брат, верно! Ах, как верно! Вот гляди-ка на себя, что ты теперь такое без земли? Землю, брат, как мать, не забудешь надолго.

Челкаш одумался… Он почувствовал это раздражающее жжение в груди, являвшееся всегда, чуть только его самолюбие — самолюбие бесшабашного удальца — бывало задето кем-либо, и особенно тем, кто не имел цены в его глазах.

— Замолол!.. — сказал он свирепо, — ты, может, думал, что я все это всерьез… Держи карман шире!

— Да чудак человек!.. — снова оробел Гаврила. — Разве я про тебя говорю? Чай, таких-то, как ты, — много! Эх, сколько несчастного народу на свете!.. Шатающих…

— Садись, тюлень, в весла! — кратко скомандовал Челкаш, почему-то сдержав в себе целый поток горячей ругани, хлынувшей ему к горлу.

Они опять переменились местами, причем Челкаш, перелезая на корму через тюки, ощутил в себе острое желание дать Гавриле пинка, чтобы он слетел в воду.

Короткий разговор смолк, но теперь даже от молчания Гаврилы на Челкаша веяло деревней… Он вспоминал прошлое, забывая править лодкой, повернутой волнением и плывшей куда-то в море. Волны точно понимали, что эта лодка потеряла цель, и, все выше подбрасывая ее, легко играли ею, вспыхивая под веслами своим ласковым голубым огнем. А перед Челкашем быстро неслись картины прошлого, далекого прошлого, отделенного от настоящего целой стеной из одиннадцати лет босяцкой жизни. Он успел посмотреть себя ребенком, свою деревню, свою мать, краснощекую, пухлую женщину, с добрыми серыми глазами, отца — рыжебородого гиганта с суровым лицом; видел себя женихом и видел жену, черноглазую Анфису, с длинной косой, полную, мягкую, веселую, снова себя, красавцем, гвардейским солдатом; снова отца, уже седого и согнутого работой, и мать, морщинистую, осевшую к земле; посмотрел и картину встречи его деревней, когда он возвратился со службы; видел, как гордился перед всей деревней отец своим Григорием, усатым, здоровым солдатом, ловким красавцем… Память, этот бич несчастных, оживляет даже камни прошлого и даже в яд, выпитый некогда, подливает капли меда…

Челкаш чувствовал себя овеянным примиряющей, ласковой струей родного воздуха, донесшего с собой до его слуха и ласковые слова матери, и солидные речи истового крестьянина-отца, много забытых звуков и много сочного запаха матушки-земли, только что оттаявшей, только что вспаханной и только что покрытой изумрудным шелком озими… Он чувствовал себя одиноким, вырванным и выброшенным навсегда из того порядка жизни, в котором выработалась та кровь, что течет в его жилах.

— Эй! а куда же мы едем? — спросил вдруг Гаврила. Челкаш дрогнул и оглянулся тревожным взором хищника.

— Ишь черт занес!.. Гребни-ка погуще…

— Задумался? — улыбаясь, спросил Гаврила.

— Устал…

— Так теперь мы, значит, уж не попадемся с этим? — Гаврила ткнул ногой в тюки.

— Нет… Будь покоен. Сейчас вот сдам и денежки получу… Н-да!

— Пять сотен?

— Не меньше.

— Это, тово, — сумма! Кабы мне, горюну!.. Эх, и сыграл бы я песенку с ними!..

— По крестьянству?

— Никак больше! Сейчас бы…

И Гаврила полетел на крыльях мечты. А Челкаш молчал. Усы у него обвисли, правый бок, захлестанный волнами, был мокр, глаза ввалились и потеряли блеск. Все хищное в его фигуре обмякло, стушеванное приниженной задумчивостью, смотревшей даже из складок его грязной рубахи.

Он круто повернул лодку и направил ее к чему-то черному, высовывавшемуся из воды.

Небо снова все покрылось тучами, и посыпался дождь, мелкий, теплый, весело звякавший, падая на хребты волн.

— Стой! Тише! — скомандовал Челкаш.

Лодка стукнулась носом о корпус барки.

— Спят, что ли, черти?.. — ворчал Челкаш, цепляясь багром за какие-то веревки, спускавшиеся с борта. — Трап давай!.. Дождь пошел еще, не мог раньше-то! Эй вы, губки!.. Эй!..

— Селкаш это? — раздалось сверху ласковое мурлыканье.

— Ну, спускай трап!

— Калимера, Селкаш!

— Спускай трап, копченый дьявол! — взревел Челкаш.

— О, сердытий пришел сегодня… Элоу!

— Лезь, Гаврила! — обратился Челкаш к товарищу. В минуту они были на палубе, где три темных бородатых фигуры, оживленно болтая друг с другом на странном сюсюкающем языке, смотрели за борт в лодку Челкаша. Четвертый, завернутый в длинную хламиду, подошел к нему и молча пожал ему руку, потом подозрительно оглянул Гаврилу.

— Припаси к утру деньги, — коротко сказал ему Челкаш. — А теперь я спать иду. Гаврила, идем! Есть хочешь?

— Спать бы… — ответил Гаврила и через пять минут храпел, а Челкаш, сидя рядом с ним, примерял себе на ногу чей-то сапог и, задумчиво сплевывая в сторону, грустно свистел сквозь зубы. Потом он вытянулся рядом с Гаврилой, заложив руки под голову, поводя усами.

Барка тихо покачивалась на игравшей воде, где-то поскрипывало дерево жалобным звуком, дождь мягко сыпался на палубу, и плескались волны о борта… Все было грустно и звучало, как колыбельная песнь матери, не имеющей надежд на счастье своего сына…

Челкаш, оскалив зубы, приподнял голову, огляделся вокруг и, прошептав что-то, снова улегся… Раскинув ноги, он стал похож на большие ножницы.

**III**[**Править**](https://ru.m.wikisource.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%88_(%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9)&action=edit&section=3)

Он проснулся первым, тревожно оглянулся вокруг, сразу успокоился и посмотрел на Гаврилу, еще спавшего. Тот сладко всхрапывал и во сне улыбался чему-то всем своим детским, здоровым, загорелым лицом. Челкаш вздохнул и полез вверх по узкой веревочной лестнице. В отверстие трюма смотрел свинцовый кусок неба. Было светло, но по-осеннему скучно и серо.

Челкаш вернулся часа через два. Лицо у него было красно, усы лихо закручены кверху. Он был одет в длинные крепкие сапоги, в куртку, в кожаные штаны и походил на охотника. Весь его костюм был потерт, но крепок, и очень шел к нему, делая его фигуру шире, скрадывая его костлявость и придавая ему воинственный вид.

— Эй, теленок, вставай!.. — толкнул он ногой Гаврилу. Тот вскочил и, не узнавая его со сна, испуганно уставился на него мутными глазами. Челкаш захохотал.

— Ишь ты какой!.. — широко улыбнулся наконец Гаврила. — Барином стал!

— У нас это скоро. Ну и пуглив же ты! Сколько раз умирать-то вчера ночью собирался?

— Да ты сам посуди, впервой я на такое дело! Ведь можно было душу загубить на всю жизнь!

— Ну, а еще раз поехал бы? а?

— Еще?.. Да ведь это — как тебе сказать? Из-за какой корысти?.. вот что!

— Ну ежели бы две радужных?

— Два ста рублев, значит? Ничего… Это можно…

— Стой! А как душу-то загубишь?..

— Да ведь, может… и не загубишь! — улыбнулся Гаврила. — Не загубишь, а человеком на всю жизнь сделаешься. Челкаш весело хохотал.

— Ну, ладно! будет шутки шутить. Едем на берег… И вот они снова в лодке. Челкаш на руле, Гаврила на веслах. Над ними небо, серое, ровно затянутое тучами, и лодкой играет мутно-зеленое море, шумно подбрасывая ее на волнах, пока еще мелких, весело бросающих в борта светлые, соленые брызги. Далеко по носу лодки видна желтая полоса песчаного берега, а за кормой уходит вдаль море, изрытое стаями волн, убранных пышной белой пеной. Там же, вдали, видно много судов; далеко влево — целый лес мачт и белые груды домов города. Оттуда по морю льется глухой гул, рокочущий и вместе с плеском волн создающий хорошую, сильную музыку… И на все наброшена тонкая пелена пепельного тумана, отдаляющего предметы друг от друга…

— Эх, разыграется к вечеру-то добре! — кивнул Челкаш головой на море.

— Буря? — спросил Гаврила, мощно бороздя волны веслами. Он был уже мокр с головы до ног от этих брызг, разбрасываемых по морю ветром.

— Эге!.. — подтвердил Челкаш. Гаврила пытливо посмотрел на него…

— Ну, сколько ж тебе дали? — спросил он наконец, видя, что Челкаш не собирается начать разговора.

— Вот! — сказал Челкаш, протягивая Гавриле что-то, вынутое из кармана.

Гаврила увидал пестрые бумажки, и все в его глазах приняло яркие, радужные оттенки.

— Эх!.. А я ведь думал: врал ты мне!.. Это — сколько?

— Пятьсот сорок!

— Л-ловко!.. — прошептал Гаврила, жадными глазами провожая пятьсот сорок, снова спрятанные в карман. — Э-эх-ма!.. Кабы этакие деньги!.. — И он угнетенно вздохнул.

— Гульнем мы с тобой, парнюга! — с восхищением вскрикнул Челкаш. — Эх, хватим… Не думай, я тебе, брат, отделю… Сорок отделю! а? Доволен? Хочешь, сейчас дам?

— Коли не обидно тебе — что же? Я приму! Гаврила весь трепетал от ожидания, острого, сосавшего ему грудь.

— Ах ты, чертова кукла! Приму! Прими, брат, пожалуйста! Очень я тебя прошу, прими! Не знаю я, куда мне такую кучу денег девать! Избавь ты меня, прими-ка, на!..

Челкаш протянул Гавриле несколько бумажек. Тот взял их дрожащей рукой, бросил весла и стал прятать куда-то за пазуху, жадно сощурив глаза, шумно втягивая в себя воздух, точно пил что-то жгучее. Челкаш с насмешливой улыбкой поглядывал на него. А Гаврила уже снова схватил весла и греб нервно, торопливо, точно пугаясь чего-то и опустив глаза вниз. У него вздрагивали плечи и уши.

— А жаден ты!.. Нехорошо… Впрочем, что же?.. Крестьянин… — задумчиво сказал Челкаш.

— Да ведь с деньгами-то что можно сделать!.. — воскликнул Гаврила, вдруг весь вспыхивая страстным возбуждением. И он отрывисто, торопясь, точно догоняя свои мысли и с лету хватая слова, заговорил о жизни в деревне с деньгами и без денег. Почет, довольство, веселье!..

Челкаш слушал его внимательно, с серьезным лицом и с глазами, сощуренными какой-то думой. По временам он улыбался довольной улыбкой.

— Приехали! — прервал он речь Гаврилы.

Волна подхватила лодку и ловко ткнула ее в песок.

— Ну, брат, теперь кончено. Лодку нужно вытащить подальше, чтобы не смыло. Придут за ней. А мы с тобой — прощай!.. Отсюда до города верст восемь. Ты что, опять в город вернешься? а?

На лице Челкаша сияла добродушно-хитрая улыбка, и весь он имел вид человека, задумавшего нечто весьма приятное для себя и неожиданное для Гаврилы. Засунув руку в карман, он шелестел там бумажками.

— Нет… я… не пойду… я… — Гаврила задыхался и давился чем-то.

Челкаш посмотрел на него.

— Что это тебя корчит? — спросил он.

— Так… — Но лицо Гаврилы то краснело, то делалось серым, и он мялся на месте, не то желая броситься на Челкаша, не то разрываемый иным желанием, исполнить которое ему было трудно.

Челкашу стало не по себе при виде такого возбуждения в этом парне. Он ждал, чем оно разразится.

Гаврила начал как-то странно смеяться смехом, похожим на рыдание. Голова его была опущена, выражения его лица Челкаш не видал, смутно видны были только уши Гаврилы, то красневшие, то бледневшие.

— Ну тя к черту! — махнул рукой Челкаш. — Влюбился ты в меня, что ли? Мнется, как девка!.. Али расставанье со мной тошно? Эй, сосун! Говори, что ты? А то уйду я!..

— Уходишь?! — звонко крикнул Гаврила.

Песчаный и пустынный берег дрогнул от его крика, и намытые волнами моря желтые волны песку точно всколыхнулись. Дрогнул и Челкаш. Вдруг Гаврила сорвался с своего места, бросился к ногам Челкаша, обнял их своими руками и дернул к себе. Челкаш пошатнулся, грузно сел на песок и, скрипнув зубами, резко взмахнул в воздухе своей длинной рукой, сжатой в кулак. Но он не успел ударить, остановленный стыдливым и просительным шепотом Гаврилы:

— Голубчик!.. Дай ты мне эти деньги! Дай, Христа ради! Что они тебе?.. Ведь в одну ночь — только в ночь… А мне — года нужны… Дай — молиться за тебя буду! Вечно — в трех церквах — о спасении души твоей!.. Ведь ты их на ветер… а я бы — в землю! Эх, дай мне их! Что в них тебе?.. Али тебе дорого? Ночь одна — и богат! Сделай доброе дело! Пропащий ведь ты… Нет тебе пути… А я бы — ох! Дай ты их мне!

Челкаш, испуганный, изумленный и озлобленный, сидел на песке, откинувшись назад и упираясь в него руками, сидел, молчал и страшно таращил глаза на парня, уткнувшегося головой в его колени и шептавшего, задыхаясь, свои мольбы. Он оттолкнул его, наконец, вскочил на ноги и, сунув руку в карман, бросил в Гаврилу бумажки.

— На! Жри… — крикнул он, дрожа от возбуждения, острой жалости и ненависти к этому жадному рабу. И, бросив деньги, он почувствовал себя героем.

— Сам я хотел тебе больше дать. Разжалобился вчера я, вспомнил деревню… Подумал: дай помогу парню. Ждал я, что ты сделаешь, попросишь — нет? А ты… Эх, войлок! Нищий!.. Разве из-за денег можно так истязать себя? Дурак! Жадные черти!.. Себя не помнят… За пятак себя продаете!..

— Голубчик!.. Спаси Христос тебя! Ведь это теперь у меня что?.. я теперь… богач!.. — визжал Гаврила в восторге, вздрагивая и пряча деньги за пазуху. — Эх ты, милый!.. Вовек не забуду!.. Никогда!.. И жене и детям закажу — молись!

Челкаш слушал его радостные вопли, смотрел на сиявшее, искаженное восторгом жадности лицо и чувствовал, что он — вор, гуляка, оторванный от всего родного — никогда не будет таким жадным, низким, не помнящим себя. Никогда не станет таким!.. И эта мысль и ощущение, наполняя его сознанием своей свободы, удерживали его около Гаврилы на пустынном морском берегу.

— Осчастливил ты меня! — кричал Гаврила и, схватив руку Челкаша, тыкал ею себе в лицо.

Челкаш молчал и по-волчьи скалил зубы. Гаврила все изливался:

— Ведь я что думал? Едем мы сюда… думаю… хвачу я его — тебя — веслом… рраз!.. денежки — себе, его — в море… тебя-то… а? Кто, мол, его хватится? И найдут, не станут допытываться — как да кто. Не такой, мол, он человек, чтоб из-за него шум подымать!.. Ненужный на земле! Кому за него встать?

— Дай сюда деньги!.. — рявкнул Челкаш, хватая Гаврилу за горло…

Гаврила рванулся раз, два, — другая рука Челкаша змеей обвилась вокруг него… Треск разрываемой рубахи — и Гаврила лежал на песке, безумно вытаращив глаза, цапаясь пальцами рук за воздух и взмахивая ногами. Челкаш, прямой, сухой, хищный, зло оскалив зубы, смеялся дробным, едким смехом, и его усы нервно прыгали на угловатом, остром лице. Никогда за всю жизнь его не били так больно, и никогда он не был так озлоблен.

— Что, счастлив ты? — сквозь смех спросил он Гаврилу и, повернувшись к нему спиной, пошел прочь по направлению к городу. Но он не сделал пяти шагов, как Гаврила кошкой изогнулся, вскочил на ноги и, широко размахнувшись в воздухе, бросил в него круглый камень, злобно крикнув:

— Рраз!..

Челкаш крякнул, схватился руками за голову, качнулся вперед, повернулся к Гавриле и упал лицом в песок. Гаврила замер, глядя на него. Вот он шевельнул ногой, попробовал поднять голову и вытянулся, вздрогнув, как струна. Тогда Гаврила бросился бежать вдаль, где над туманной степью висела мохнатая черная туча и было темно. Волны шуршали, взбегая на песок, сливаясь с него и снова взбегая. Пена шипела, и брызги воды летали по воздуху.

Посыпался дождь. Сначала редкий, он быстро перешел в плотный, крупный, лившийся с неба тонкими струйками. Они сплетали целую сеть из ниток воды — сеть. сразу закрывшую собой даль степи и даль моря. Гаврила исчез за ней. Долго ничего не было видно, кроме дождя и длинного человека, лежавшего на песке у моря. Но вот из дождя снова появился бегущий Гаврила, он летел птицей; подбежав к Челкашу, упал перед ним и стал ворочать его на земле. Его рука окунулась в теплую красную слизь… Он дрогнул и отшатнулся с безумным, бледным лицом.

— Брат, встань-кось! — шептал он под шум дождя в ухо Челкашу.

Челкаш очнулся и толкнул Гаврилу от себя, хрипло сказав:

— Поди прочь!..

— Брат! Прости!.. дьявол это меня… — дрожа, шептал Гаврила, целуя руку Челкаша.

— Иди… Ступай… — хрипел тот.

— Сними грех с души!.. Родной! Прости!..

— Про… уйди ты!.. уйди к дьяволу! — вдруг крикнул Челкаш и сел на песке. Лицо у него было бледное, злое, глаза мутны и закрывались, точно он сильно хотел спать. — Чего тебе еще? Сделал свое дело… иди! Пошел! — И он хотел толкнуть убитого горем Гаврилу ногой, но не смог и снова свалился бы, если бы Гаврила не удержал его, обняв за плечи. Лицо Челкаша было теперь в уровень с лицом Гаврилы. Оба были бледны и страшны.

— Тьфу! — плюнул Челкаш в широко открытые глаза своего работника.

Тот смиренно вытерся рукавом и прошептал:

— Что хошь делай… Не отвечу словом. Прости для Христа!

— Гнус!.. И блудить-то не умеешь!.. — презрительно крикнул Челкаш, сорвал из-под своей куртки рубаху и молча, изредка поскрипывая зубами, стал обвязывать себе голову. — Деньги взял? — сквозь зубы процедил он.

— Не брал я их, брат! Не надо мне!.. беда от них!.. Челкаш сунул руку в карман своей куртки, вытащил пачку денег, одну радужную бумажку положил обратно в карман, а все остальные кинул Гавриле.

— Возьми и ступай!

— Не возьму, брат… Не могу! Прости!

— Бери, говорю!.. — взревел Челкаш, страшно вращая глазами.

— Прости!.. Тогда возьму… — робко сказал Гаврила и пал в ноги Челкаша на сырой песок, щедро поливаемый дождем.

— Врешь, возьмешь, гнус! — уверенно сказал Челкаш, и, с усилием подняв его голову за волосы, он сунул ему деньги в лицо.

— Бери! бери! Не даром работал! Бери, не бойсь! Не стыдись, что человека чуть не убил! За таких людей, как я, никто не взыщет. Еще спасибо скажут, как узнают. На, бери!

Гаврила видел, что Челкаш смеется, и ему стало легче. Он крепко сжал деньги в руке.

— Брат! а простишь меня? Не хошь? а? — слезливо спросил он.

— Родимой!.. — в тон ему ответил Челкаш, подымаясь на ноги и покачиваясь. — За что? Не за что! Сегодня ты меня, завтра я тебя…

— Эх, брат, брат!.. — скорбно вздохнул Гаврила, качая головой.

Челкаш стоял перед ним и странно улыбался, а тряпка на его голове, понемногу краснея, становилась похожей на турецкую феску.

Дождь лил, как из ведра. Море глухо роптало, волны бились о берег бешено и гневно.

Два человека помолчали.

— Ну прощай! — насмешливо сказал Челкаш, пускаясь в путь.

Он шатался, у него дрожали ноги, и он так странно держал голову, точно боялся потерять ее.

— Прости, брат!.. — еще раз попросил Гаврила.

— Ничего! — холодно ответил Челкаш, пускаясь в путь.

Он пошел, пошатываясь и все поддерживая голову ладонью левой руки, а правой тихо дергая свой бурый ус.

Гаврила смотрел ему вслед до поры, пока он не исчез в дожде, все гуще лившем из туч тонкими, бесконечными струйками и окутывавшем степь непроницаемой стального цвета мглой.

Потом Гаврила снял свой мокрый картуз, перекрестился, посмотрел на деньги, зажатые в ладони, свободно и глубоко вздохнул, спрятал их за пазуху и широкими, твердыми шагами пошел берегом в сторону, противоположную той, где скрылся Челкаш.

Море выло, швыряло большие, тяжелые волны на прибрежный песок, разбивая их в брызги и пену. Дождь ретиво сек воду и землю… ветер ревел… Все кругом наполнялось воем, ревом, гулом… За дождем не видно было ни моря, ни неба.

Скоро дождь и брызги волн смыли красное пятно на том месте, где лежал Челкаш, смыли следы Челкаша и следы молодого парня на прибрежном песке… И на пустынном берегу моря не осталось ничего в воспоминание о маленькой драме, разыгравшейся между двумя людьми.

**Песня о соколе**

Море — огромное, лениво вздыхающее у берега, — уснуло и неподвижно в дали, облитой голубым сиянием луны. Мягкое и серебристое, оно слилось там с синим южным небом и крепко спит, отражая в себе прозрачную ткань перистых облаков, неподвижных и не скрывающих собою золотых узоров звезд. Кажется, что небо все ниже наклоняется над морем, желая понять то, о чем шепчут неугомонные волны, сонно всползая на берег.

Горы, поросшие деревьями, уродливо изогнутыми норд-остом, резкими взмахами подняли свои вершины в синюю пустыню над ними, суровые контуры их округлились, одетые теплой и ласковой мглой южной ночи.

Горы важно задумчивы. С них на пышные зеленоватые гребни волн упали черные тени и одевают их, как бы желая остановить единственное движение, заглушить немолчный плеск воды и вздохи пены — все звуки, которые нарушают тайную тишину, разлитую вокруг вместе с голубым серебром сияния луны, еще скрытой за горными вершинами.

— А-ала-ах-а-акбар!.. — тихо вздыхает Надыр-Рагим-оглы, старый крымский чабан, высокий, седой, сожженный южным солнцем, сухой и мудрый старик.

Мы с ним лежим на песке у громадного камня, оторвавшегося от родной горы, одетого тенью, поросшего мхом, — у камня печального, хмурого. На тот бок его, который обращен к морю, волны набросали тины, водорослей, и обвешанный ими камень кажется привязанным к узкой песчаной полоске, отделяющей море от гор. Пламя нашего костра освещает его со стороны, обращенной к горе, оно вздрагивает, и по старому камню, изрезанному частой сетью глубоких трещин, бегают тени.

Мы с Рагимом варим уху из только что наловленной рыбы и оба находимся в том настроении, когда все кажется прозрачным, одухотворенным, позволяющим проникать в себя, когда на сердце так чисто, легко и нет иных желаний, кроме желания думать.

А море ластится к берегу, и волны звучат так ласково, точно просят пустить их погреться к костру. Иногда в общей гармонии плеска слышится более повышенная и шаловливая нота — это одна из волн, посмелее, подползла ближе к нам.

Рагим лежит грудью на песке, головой к морю, и вдумчиво смотрит в мутную даль, опершись локтями и положив голову на ладони. Мохнатая баранья шапка съехала ему на затылок, с моря веет свежестью в его высокий лоб, весь в мелких морщинах. Он философствует, не справляясь, слушаю ли я его, точно он говорит с морем:

— Верный богу человек идет в рай. А который не служит богу и пророку? Может, он — вот в этой пене… И те серебряные пятна на воде, может, он же… кто знает?

Темное, могуче размахнувшееся море светлеет, местами на нем появляются небрежно брошенные блики луны. Она уже выплыла из-за мохнатых вершин гор и теперь задумчиво льет свой свет на море, тихо вздыхающее ей навстречу, на берег и камень, у которого мы лежим.

— Рагим!.. Расскажи сказку… — прошу я старика.

— Зачем? — спрашивает Рагим, не оборачиваясь ко мне.

— Так! Я люблю твои сказки.

— Я тебе все уж рассказал… Больше не знаю… — Это он хочет, чтобы я попросил его. Я прошу.

— Хочешь, я расскажу тебе песню? — соглашается Рагим.

Я хочу слышать старую песню, и унылым речитативом, стараясь сохранить своеобразную мелодию песни, он рассказывает.

«Высоко в горы вполз Уж и лег там в сыром ущелье, свернувшись в узел и глядя в море.  
Высоко в небе сияло солнце, а горы зноем дышали в небо, и бились волны внизу о камень…  
А по ущелью, во тьме и брызгах, поток стремился навстречу морю, гремя камнями…  
Весь в белой пене, седой и сильный, он резал гору и падал в море, сердито воя.  
Вдруг в то ущелье, где Уж свернулся, пал с неба Сокол с разбитой грудью, в крови на перьях…  
С коротким криком он пал на землю и бился грудью в бессильном гневе о твердый камень…  
Уж испугался, отполз проворно, но скоро понял, что жизни птицы две-три минуты…  
Подполз он ближе к разбитой птице, и прошипел он ей прямо в очи:  
— Что, умираешь?  
— Да, умираю! — ответил Сокол, вздохнув глубоко. — Я славно пожил!.. Я знаю счастье!.. Я храбро бился!.. Я видел небо… Ты не увидишь его так близко!.. Эх ты, бедняга!  
— Ну что же — небо? — пустое место… Как мне там ползать? Мне здесь прекрасно… тепло и сыро!  
Так Уж ответил свободной птице и усмехнулся в душе над нею за эти бредни.  
И так подумал: «Летай иль ползай, конец известен: все в землю лягут, все прахом будет…»  
Но Сокол смелый вдруг встрепенулся, привстал немного и по ущелью повел очами…  
Сквозь серый камень вода сочилась, и было душно в ущелье темном и пахло гнилью.  
И крикнул Сокол с тоской и болью, собрав все силы:  
— О, если б в небо хоть раз подняться!.. Врага прижал бы я… к ранам груди и… захлебнулся б моей он кровью!.. О, счастье битвы!..  
А Уж подумал: «Должно быть, в небе и в самом деле пожить приятно, коль он так стонет!..»  
И предожил он свободной птице: «А ты подвинься на край ущелья и вниз бросайся. Быть может, крылья тебя поднимут и поживешь ты еще немного в твоей стихии».  
И дрогнул Сокол и, гордо крикнув, пошел к обрыву, скользя когтями по слизи камня.  
И подошел он, расправил крылья, вздохнул всей грудью, сверкнул очами и — вниз скатился.  
И сам, как камень, скользя по скалам, он быстро падал, ломая крылья, теряя перья…  
Волна потока его схватила и, кровь омывши, одела в пену, умчала в море.  
А волны моря с печальным ревом о камень бились… И трупа птицы не видно было в морском пространстве… II  
В ущелье лежа, Уж долго думал о смерти птицы, о страсти к небу.  
И вот взглянул он в ту даль, что вечно ласкает очи мечтой о счастье.  
— А что он видел, умерший Сокол, в пустыне этой без дна и края? Зачем такие, как он, умерши, смущают душу своей любовью к полетам в небо? Что им там ясно? А я ведь мог бы узнать все это, взлетевши в небо хоть ненадолго.  
Сказал и — сделал. В кольцо свернувшись, он прянул в воздух и узкой лентой блеснул на солнце.  
Рожденный ползать — летать не может!.. Забыв об этом, он пал на камни, но не убился, а рассмеялся…  
— Так вот в чем прелесть полетов в небо! Она — в паденье!.. Смешные птицы! Земли не зная, на ней тоскуя, они стремятся высоко в небо и ищут жизни в пустыне знойной. Там только пусто. Там много света, но нет там пищи и нет опоры живому телу. Зачем же гордость? Зачем укоры? Затем, чтоб ею прикрыть безумство своих желаний и скрыть за ними свою негодность для дела жизни? Смешные птицы!.. Но не обманут теперь уж больше меня их речи! Я сам все знаю! Я — видел небо… Взлетал в него я, его измерил, познал паденье, но не разбился, а только крепче в себя я верю. Пусть те, что землю любить не могут, живут обманом. Я знаю правду. И их призывам я не поверю. Земли творенье — землей живу я.  
И он свернулся в клубок на камне, гордясь собою.  
Блестело море, все в ярком свете, и грозно волны о берег бились.  
В их львином реве гремела песня о гордой птице, дрожали скалы от их ударов, дрожало небо от грозной песни:  
«Безумству храбрых поем мы славу!  
Безумство храбрых — вот мудрость жизни! О смелый Сокол! В бою с врагами истек ты кровью… Но будет время — и капли крови твоей горячей, как искры, вспыхнут во мраке жизни и много смелых сердец зажгут безумной жаждой свободы, света!  
Пускай ты умер!.. Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету!  
Безумству храбрых поем мы песню!..»

… Молчит опаловая даль моря, певуче плещут волны на песок, и я молчу, глядя в даль моря. На воде все больше серебряных пятен от лунных лучей… Наш котелок тихо закипает.

Одна из волн игриво вскатывается на берег и, вызывающе шумя, ползет к голове Рагима.

— Куда идешь?.. Пшла! — машет на нее Рагим рукой, и она покорно скатывается обратно в море.

Мне нимало не смешна и не страшна выходка Рагима, одухотворяющего волны. Все кругом смотрит странно живо, мягко, ласково. Море так внушительно спокойно, и чувствуется, что в свежем дыхании его на горы, еще не остывшие от дневного зноя, скрыто много мощной, сдержанной силы. По темно-синему небу золотым узором звезд написано нечто торжественное, чарующее душу, смущающее ум сладким ожиданием какого-то откровения.

Все дремлет, но дремлет напряженно чутко, и кажется, что вот в следующую секунду все встрепенется и зазвучит в стройной гармонии неизъяснимо сладких звуков. Эти звуки расскажут про тайны мира, разъяснят их уму, а потом погасят его, как призрачный огонек, и увлекут с собой душу высоко в темно-синюю бездну, откуда навстречу ей трепетные узоры звезд тоже зазвучат дивной музыкой откровения…

**Александр Степанович Грин. Жизнь Гнора**

Большие деревья притягивают молнию.

Александр Дюма

**I**

Рано утром за сквозной решеткой ограды парка слышен был тихий

разговор. Молодой человек, спавший в северной угловой комнате, проснулся в

тот момент, когда короткий выразительный крик женщины заглушил чириканье

птиц.

Проснувшийся некоторое время лежал в постели; услышав быстрые шаги под

окном, он встал, откинул гардину и никого не заметил; все стихло, раннее

холодное солнце падало в аллеи низким светом; длинные росистые тени

пестрили веселый полусон парка; газоны дымились, тишина казалась дремотной

и неспокойной.

"Это приснилось", - подумал молодой человек и лег снова, пытаясь

заснуть.

- Голос был похож, очень похож, - пробормотал он, поворачиваясь на

другой бок. Так он дремал с открытыми глазами минут пять, размышляя о

близком своем отъезде, о любви и нежности. Вставали полузабытые

воспоминания; в утренней тишине они приобретали трогательный оттенок снов,

волнующих своей неосязаемой беглостью и невозвратностью.

Обратившись к действительности, Гнор пытался некоторое время

превратить свои неполные двадцать лет в двадцать один. Вопрос о

совершеннолетии стоял для него ребром: очень молодым людям, когда они

думают жениться на очень молодой особе, принято чинить разные препятствия.

Гнор обвел глазами прекрасную обстановку комнаты, в которой жил около

месяца. Ее солидная роскошь по отношению к нему была чем-то вроде надписи,

вывешенной над конторкой дельца: "сутки имеют двадцать четыре часа". На

языке Гнора это звучало так: "у нее слишком много денег".

Гнор покраснел, перевернул горячую подушку - и сна не стало совсем.

Некоторое время душа его лежала под прессом уязвленной гордости; вслед за

этим, стряхнув неприятную тяжесть, Гнор очень непоследовательно и нежно

улыбнулся. Интимные воспоминания для него, как и для всякой простой души,

были убедительнее выкладок общественной математики. Медленно шевеля губами,

Гнор повторил вслух некоторые слова, сказанные вчера вечером; слова,

перелетевшие из уст в уста, подобно птицам, спугнутым на заре и пропавшим в

тревоге сумерек. Все крепче прижимаясь к подушке, он вспомнил первые

осторожные прикосновения рук, серьезный поцелуй, блестящие глаза и клятвы.

Гнор засмеялся, укутав рот одеялом, потянулся и услышал, как в дальней

комнате повторился шесть раз глухой быстрый звон.

- Шесть часов, - сказал Гнор, - а я не хочу спать. Что мне делать?

Исключительное событие вчерашнего дня наполняло его светом,

беспричинной тоской и радостью. Человек, получивший первый поцелуй женщины,

не знает на другой день, куда девать руки и ноги; все тело, кроме сердца,

кажется ему несносной обузой. Вместе с тем потребность двигаться, жить и

начать жить как можно раньше бывает постоянной причиной неспокойного сна

счастливых. Гнор торопливо оделся, вышел, прошел ряд бледных, затянутых

цветным шелком лощеных зал; в последней из них стенное зеркало отразило

спину сидящего за газетой человека. Человек этот сидел за дальним угловым

столом; опущенная голова его поднялась при звуке шагов Гнора; последний

остановился.

- Как! - сказал он, смеясь. - Вы тоже не спите?! Вы, образец

регулярной жизни! Теперь, по крайней мере, я могу обсудить с вами вдвоем,

что делать, проснувшись так безрассудно рано.

У человека с газетой было длинное имя, но все и он сам

довольствовались одной частью его: Энниок. Он бросил зашумевший лист на

пол, встал, лениво потер руки и вопросительно осмотрел Гнора. Запоздалая

улыбка появилась на его бледном лице.

- Я не ложился, - сказал Энниок. - Правда, для этого не было особо

уважительных причин. Но все же перед отъездом я имею привычку разбираться в

бумагах, делать заметки. Какое сочное золотистое утро, не правда ли?

- Вы тоже едете?

- Да. Завтра.

Энниок смотрел на Гнора спокойно и ласково; обычно сухое лицо его было

теперь привлекательным, почти дружеским. "Как может меняться этот человек,

- подумал Гнор, - он - целая толпа людей, молчаливая и нервная толпа. Он

один наполняет этот большой дом".

- Я тоже уеду завтра, - сказал Гнор, - и хочу спросить вас, в каком

часу отходит "Епископ Архипелага"?

- Не знаю. - Голос Энниока делался все более певучим и приятным. - Я

не завишу от пароходных компаний; ведь у меня, как вы знаете, есть своя

яхта. И если вы захотите, - прибавил он, - для вас найдется хорошенькая

поместительная каюта.

- Благодарю, - сказал Гнор, - но пароход идет прямым рейсом. Я буду

дома через неделю.

- Неделя, две недели - какая разница? - равнодушно возразил Энниок. -

Мы посетим глухие углы земли и напомним самим себе любопытных рыб, попавших

в золотые сети чудес. О некоторых местах, особенно в молодости, остаются

жгучие воспоминания. Я знаю земной шар; сделать крюк в тысячу миль ради вас

и прогулки не даст мне ничего, кроме здоровья.

Гнор колебался. Парусное плавание с Энниоком, гостившим два месяца под

одной крышей с ним, казалось Гнору хорошим и скверным. Энниок разговаривал

с ней, смотрел на нее, втроем они неоднократно совершали прогулки. Для

влюбленных присутствие такого человека после того, как предмет страсти

сделался невидимым, далеким, служит иногда горьким, но осязательным

утешением. А скверное было то, что первое письмо Кармен, подлинный ее

почерк, бумага, на которой лежала ее рука, ждали бы его слишком долго. Это

прекрасное, не написанное еще письмо Гнор желал прочесть как можно скорее.

- Нет, - сказал он, - я благодарю и отказываюсь.

Энниок поднял газету, тщательно сложил ее, бросил на стол и повернулся

лицом к террасе. Утренние, ослепительные ее стекла горели зеленью; сырой

запах цветов проникал в залу вместе с тихим ликованием света, делавшим

холодную пышность здания ясной и мягкой.

Гнор посмотрел вокруг, как бы желая запомнить все мелочи и

подробности. Дом этот стал важной частью его души; на всех предметах,

казалось, покоился взгляд Кармен, сообщая им таинственным образом нежную

силу притяжения; беззвучная речь вещей твердила о днях, прошедших быстро и

беспокойно, о болезненной тревоге взглядов, молчании, незначительных

разговорах, волнующих, как гнев, как радостное потрясение; немых призывах

улыбающемуся лицу, сомнениях и мечтах. Почти забыв о присутствии Энниока,

Гнор молча смотрел в глубь арки, открывающей перспективу дальних,

пересеченных косыми столбами дымного утреннего света, просторных зал.

Прикосновение Энниока вывело его из задумчивости.

- Отчего вы проснулись? - спросил Энниок зевая. - Я выпил бы кофе, но

буфетчик еще спит, также и горничные. Вы, может быть, видели страшный сон?

- Нет, - сказал Гнор, - я стал нервен... Какой-то пустяк, звуки

разговора, быть может, на улице...

Энниок взглянул на него из-под руки, которой тер лоб, вдумчиво, но

спокойно. Гнор продолжал:

- Пойдемте в биллиардную. Мне и вам совершенно нечего делать.

- Охотно. Я попытаюсь отыграть вчерашний свой проигрыш раззолоченному

мяснику Кнасту.

- Я не играю на деньги, - сказал Гнор и, улыбаясь, прибавил: - у меня

их к тому же теперь в обрез.

- Мы договоримся внизу, - сказал Энниок.

Он быстро пошел вперед и исчез в крыле коридора. Гнор двинулся вслед

за ним. Но, услыхав сзади хорошо знакомые шаги, обернулся и радостно

протянул руки. Кармен подходила к нему с недоумевающим, бледным, но живым и

ясным лицом; движения ее обнаруживали беспокойство и нерешительность.

- Это не вы, это солнце, - сказал Гнор, взяв маленькую руку, - оттого

так светло и чисто. Почему вы не спите?

- Не знаю.

Эта изящная девушка, с доброй складкой бровей и твердым ртом, говорила

открытым грудным голосом, немного старившим ее, как бабушкин чепчик,

надетый десятилетней девочкой.

- А вы?

- Сегодня никто не спит, - сказал Гнор. - Я люблю вас. Энниок и я - мы

не спим. Вы третья.

- Бессонница. - Она стояла боком к Гнору; рука ее, удержанная молодым

человеком, доверчиво забиралась в его рукав, оставляя меж сукном и рубашкой

блаженное ощущение мимолетной ласки. - Вы уедете, но возвращайтесь скорее,

а до этого пишите мне чаще. Ведь и я люблю вас.

- Есть три мира, - проговорил растроганный Гнор, - мир красивый,

прекрасный и прелестный. Красивый мир - это земля, прекрасный - искусство.

Прелестный мир - это вы. Я совсем не хочу уезжать, Кармен; этого хочет

отец; он совсем болен, дела запущены. Я еду по обязанности. Мне все равно.

Я не хочу обижать старика. Но он уже чужой мне; мне все чуждо, я люблю

только вас одну.

- И я, - сказала девушка. - Прощайте, мне нужно прилечь, я устала,

Гнор, и если вы...

Не договорив, она кивнула Гнору, продолжая смотреть на него тем

взглядом, каким умеет смотреть лишь женщина в расцвете первой любви, отошла

к двери, но возвратилась и, подойдя к роялю, блестевшему в пыльном свете

окна, тронула клавиши. То, что она начала играть негромко и быстро, было

знакомо Гнору; опустив голову, слушал он начало оригинальной мелодии,

веселой и полнозвучной. Кармен отняла руки; неоконченный такт замер

вопросительным звоном.

- Я доиграю потом, - сказала она.

- Когда?

- Когда ты будешь со мной.

Она улыбнулась и, улыбаясь, скрылась в боковой двери.

Гнор тряхнул головой, мысленно докончил мелодию, оборванную Кармен, и

ушел к Энниоку. Здесь были сумерки; низкие окна, завешанные плотной

материей, почти не давали света; небольшой ореховый биллиард выглядел

хмуро, как ученическая меловая доска в пустом классе. Энниок нажал кнопку;

электрические тюльпаны безжизненно засияли под потолком; свет этот, мешаясь

с дневным, вяло озарил комнату. Энниок рассматривал кий, тщательно намелил

его и сунул под мышку, заложив руки в карман.

- Начинайте вы, - сказал Гнор.

- На что мы будем играть? - медленно произнес Энниок, вынимая руку из

кармана и вертя шар пальцами. - Я возвращаюсь к своему предложению. Если вы

проиграете, я везу вас на своей яхте.

- Хорошо, - сказал Гнор. Ироническая беспечность счастливого человека

овладела им. - Хорошо, яхта - так яхта. Во всяком случае, это лестный

проигрыш! Что вы ставите против этого?

- Все, что хотите. - Энниок задумался, выгибая кий; дерево треснуло и

выпало из рук на паркет. - Как я неосторожен, - сказал Энниок, отбрасывая

ногой обломки. - Вот что: если выиграете, я не буду мешать вам жить,

признав судьбу.

Эти слова произнес он быстро, чуть-чуть изменившимся голосом, и тотчас

же принялся хохотать, глядя на удивленного Гнора неподвижными, добрыми

глазами.

- Я шутник, - сказал он. - Ничего не доставляет мне такого, по

существу, безобидного удовольствия, как заставить человека разинуть рот.

Нет, выиграв, вы требуете и получаете все, что хотите.

- Хорошо. - Гнор выкатил шар. - Я не разорю вас.

Он сделал три карамболя, отведя шар противника в противоположный угол,

и уступил место Энниоку.

- Раз, - сказал тот. Шары забегали, бесшумными углами чертя сукно, и

остановились в выгодном положении. - Два. - Ударяя кием, он почти не сходил

с места. - Три. Четыре. Пять. Шесть.

Гнор, принужденно улыбаясь, смотрел, как два покорных шара, отскакивая

и кружась, подставляли себя третьему, бегавшему вокруг них с быстротой

овчарки, загоняющей стадо. Шар задевал поочередно остальных двух сухими

щелчками и возвращался к Энниоку.

- Четырнадцать, - сказал Энниок; крупные капли пота выступили на его

висках; он промахнулся, перевел дух и отошел в сторону.

- Вы сильный противник, - сказал Гнор, - и я буду осторожен.

Играя, ему удалось свести шары рядом; он поглаживал их своим шаром то

с одной, то с другой стороны, стараясь не разъединить их и не оставаться с

ними на прямой линии. Попеременно, делая то больше, то меньше очков, игроки

шли поровну; через полчаса на счетчике у Гнора было девяносто пять,

девяносто девять у Энниока.

- Пять, - сказал Гнор. - Пять, - повторил он, задев обоих, и

удовлетворенно вздохнул. - Мне остается четыре.

Он сделал еще три удара и скиксовал на последнем: кий скользнул, а шар

не докатился.

- Ваше счастье, - сказал Гнор с некоторой досадой, - я проиграл.

Энниок молчал. Гнор взглянул на сукно и улыбнулся: шары стояли друг

против друга у противоположных бортов; третий, которым должен был играть

Энниок, остановился посередине биллиарда; все три соединялись прямой

линией. "Карамболь почти невозможен", - подумал он и стал смотреть.

Энниок согнулся, уперся пальцами левой руки в сукно, опустил кий и

прицелился. Он был очень бледен, бледен, как белый костяной шар. На

мгновение он зажмурился, открыл глаза, вздохнул и ударил изо всей силы под

низ шара; шар блеснул, щелкнул дальнего, взвившегося дугой прочь, и, быстро

крутясь в обратную сторону, как бумеранг, катясь все тише, легко, словно

вздохнув, тронул второго. Энниок бросил кий.

- Я раньше играл лучше, - сказал он. Руки его тряслись.

Он стал мыть их, нервно стуча педалью фаянсового умывальника.

Гнор молча поставил кий. Он не ожидал проигрыша, и происшедшее

казалось ему поэтому вдвойне нелепым. "Ты не принесла мне сегодня счастья,

- подумал он, - и я не получу скоро твоего письма. Все случайность".

- Все дело случая, - как бы угадывая его мысли, сказал Энниок,

продолжая возиться у полотенца. - Может быть, вы зато счастливы в любви.

Итак, я вам приготовлю каюту. Недавно наверху играла Кармен; у нее хорошая

техника. Как странно, что мы трое проснулись в одно время.

- Странно? Почему же? - рассеянно сказал Гнор. - Это случайность.

- Да, случайность. - Энниок погасил электричество. - Пойдемте

завтракать, милый, и поговорим о предстоящем нам плавании.

**II**

Зеленоватые отсветы волн, бегущих за круглым стеклом иллюминатора,

ползли вверх, колебались у потолка и, снова, повинуясь размахам судна,

бесшумно неслись вниз. Ропот водяных струй, обливающих корпус яхты

стремительными прикосновениями; топот ног вверху; заглушенный возглас,

долетающий как бы из другого мира; дребезжание дверной ручки; ленивый скрип

мачт, гул ветра, плеск паруса; танец висячего календаря на стене - весь

ритм корабельного дня, мгновения тишины, полной сурового напряжения,

неверный уют океана, воскрешающий фантазии, подвиги и ужасы, радости и

катастрофы морских летописей, - наплыв впечатлений этих держал Гнора минут

пять в состоянии торжественного оцепенения; он хотел встать, выйти на

палубу, но тотчас забыл об этом, следя игру брызг, стекавших по

иллюминатору мутной жижей. Мысли Гнора были, как и всегда, в одной точке

отдаленного берега - точке, которая была отныне постоянной их резиденцией.

В этот момент вошел Энниок; он был очень весел; клеенчатая морская

фуражка, сдвинутая на затылок, придавала его резкому подвижному лицу

оттенок грубоватой беспечности. Он сел на складной стул. Гнор закрыл книгу.

- Гнор, - сказал Энниок, - я вам готовлю редкие впечатления. "Орфей"

через несколько минут бросит якорь, мы поедем вдвоем на гичке. То, что вы

увидите, восхитительно. Милях в полутора отсюда лежит остров Аш; он

невелик, уютен и как бы создан для одиночества. Но таких островов много;

нет, я не стал бы отрывать вас от книги ради сентиментальной прогулки. На

острове живет человек.

- Хорошо, - сказал Гнор, - человек этот, конечно, Робинзон или внук

его. Я готов засвидетельствовать ему свое почтение. Он угостит нас козьим

молоком и обществом попугая.

- Вы угадали. - Энниок поправил фуражку, оживление его слиняло, голос

стал твердым и тихим. - Он живет здесь недавно, я навещу его сегодня в

последний раз. После ухода гички он не увидит более человеческого лица. Мое

желание ехать вдвоем с вами оправдывается способностью посторонних глаз из

пустяка создавать истории. Для вас это не вполне понятно, но он сам,

вероятно, расскажет вам о себе; история эта для нашего времени звучит эхом

забытых легенд, хотя так же жизненна и правдива, как вой голодного или

шишка на лбу; она жестока и интересна.

- Он старик, - сказал Гнор, - он, вероятно, не любит жизнь и людей?

- Вы ошибаетесь. - Энниок покачал головой. - Нет, он совсем еще

молодое животное. Он среднего роста, сильно похож на вас.

- Мне очень жалко беднягу, - сказал Гнор. - Вы, должно быть,

единственный, кто ему не противен.

- Я сам состряпал его. Это мое детище. - Энниок стал тереть руки,

держа их перед лицом; дул на пальцы, хотя температура каюты приближалась к

точке кипения. - Я, видите ли, прихожусь ему духовным отцом. Все

объяснится. - Он встал, подошел к трапу, вернулся и, предупредительно

улыбаясь, взял Гнора за пуговицу. - "Орфей" кончит путь через пять, много

шесть дней. Довольны ли вы путешествием?

- Да. - Гнор серьезно взглянул на Энниока. - Мне надоели

интернациональные плавучие толкучки пароходных рейсов; навсегда, на всю

жизнь останутся у меня в памяти смоленая палуба, небо, выбеленное парусами,

полными соленого ветра, звездные ночи океана и ваше гостеприимство.

- Я - сдержанный человек, - сказал Энниок, качая головою, как будто

ответ Гнора не вполне удовлетворил его, - сдержанный и замкнутый.

Сдержанный, замкнутый и мнительный. Все ли было у вас в порядке?

- Совершенно.

- Отношение команды?

- Прекрасное.

- Стол? Освещение? Туалет?

- Это жестоко, Энниок, - возразил, смеясь, Гнор, - жестоко заставлять

человека располагать в виде благодарности лишь жалкими человеческими

словами. Прекратите пытку. Самый требовательный гость не мог бы лучше меня

жить здесь.

- Извините, - настойчиво продолжал Энниок, - я, как уже сказал вам,

мнителен. Был ли я по отношению к вам джентльменом?

Гнор хотел отвечать шуткой, но стиснутые зубы Энниока мгновенно

изменили спокойное настроение юноши, он молча пожал плечами.

- Вы меня удивляете, - несколько сухо произнес он, - и я вспоминаю,

что... да... действительно, я имел раньше случаи не вполне понимать вас.

Энниок занес ногу за трап.

- Нет, это простая мнительность, - сказал он. - Простая мнительность,

но я выражаю ее юмористически.

Он исчез в светлом кругу люка, а Гнор, машинально перелистывая

страницы книги, продолжал мысленный разговор с этим развязным, решительным,

пожившим, заставляющим пристально думать о себе человеком. Их отношения

всегда были образцом учтивости, внимания и предупредительности; как будто

предназначенные в будущем для неведомого взаимного состязания, они

скрещивали еще бессознательно мысли и выражения, оттачивая слова - оружие

духа, борясь взглядами и жестами, улыбками и шутками, спорами и молчанием.

Выражения их были изысканны, а тон голоса всегда отвечал точному смыслу

фраз. В сердцах их не было друг для друга небрежной простоты - спутника

взаимной симпатии; Энниок видел Гнора насквозь, Гнор не видел настоящего

Энниока; живая форма этого человека, слишком гибкая и податливая, смешивала

тона.

Зверский треск якорной цепи перебил мысли Гнора на том месте, где он

говорил Энниоку: "Ваше беспокойство напрасно и смахивает на шутку".

Солнечный свет, соединявший отверстие люка с тенистой глубиной каюты,

дрогнул и скрылся на палубе. "Орфей" повернулся.

Гнор поднялся наверх.

Полдень горел всей силой огненных легких юга; чудесная простота

океана, синий блеск его окружал яхту; голые обожженные спины матросов

гнулись над опущенными парусами, напоминавшими разбросанное белье гиганта;

справа, отрезанная белой нитью прибоя, высилась скалистая впадина берега.

Два человека возились около деревянного ящика. Один подавал предметы,

другой укладывал, по временам выпрямляясь и царапая ногтем листок бумаги:

Гнор остановился у шлюпбалки, матросы продолжали работу.

- Карабин в чехле? - сказал человек с бумагой, проводя под строкой

черту.

- Есть, - отвечал другой.

- Одеяло?

- Есть.

- Патроны?

- Есть.

- Консервы?

- Есть.

- Белье?

- Есть.

- Свечи?

- Есть.

- Спички?

- Есть.

- Огниво, два кремня?

- Есть.

- Табак?

- Есть.

Матрос, сидевший на ящике, стал забивать гвозди. Гнор повернулся к

острову, где жил странный, сказочный человек Энниока; предметы, упакованные

в ящик, вероятно, предназначались ему. Он избегал людей, но о нем, видимо,

помнили, снабжая необходимым, - дело рук Энниока.

- Поступки красноречивы, - сказал себе Гнор. - Он мягче, чем я думал о

нем.

Позади его раздались шаги; Гнор обернулся: Энниок стоял перед ним,

одетый для прогулки, в сапогах и фуфайке; у него блестели глаза.

- Не берите ружья, я взял, - сказал он.

- Когда я первый раз в жизни посетил обсерваторию, - сказал Гнор, -

мысль, что мне будут видны в черном колодце бездны светлые глыбы миров, что

телескоп отдаст меня жуткой бесконечности мирового эфира, - страшно

взволновала меня. Я чувствовал себя так, как если бы рисковал жизнью.

Похоже на это теперешнее мое состояние. Я боюсь и хочу видеть вашего

человека; он должен быть другим, чем мы с вами. Он грандиозен. Он должен

производить сильное впечатление.

- Несчастный отвык производить впечатление, - легкомысленно заявил

Энниок. - Это бунтующий мертвец. Но я вас покину. Я приду через пять минут.

Он ушел вниз к себе, запер изнутри дверь каюты, сел в кресло, закрыл

глаза и не шевелился. В дверь постучали. Энниок встал.

- Я иду, - сказал он, - сейчас иду. - Поясной портрет, висевший над

койкой, казалось, держал его в нерешительности. - Он посмотрел на него,

вызывающе щелкнул пальцами и рассмеялся. - Я все-таки иду, Кармен, - сказал

Энниок.

Открыв дверь, он вышел. Темноволосый портрет ответил его цепкому,

тяжелому взгляду простой, легкой улыбкой.

**III**

Береговой ветер, полный душистой лесной сырости, лез в уши и легкие;

казалось, что к ногам падают невидимые охапки травы и цветущих ветвей,

задевая лицо. Гнор сидел на ящике, выгруженном из лодки, Энниок стоял у

воды.

- Я думал, - сказал Гнор, - что отшельник Аша устроит нам маленькую

встречу. Быть может, он давно умер?

- Ну, нет. - Энниок взглянул сверху на Гнора и наклонился, подымая

небольшой камень. - Смотрите, я сделаю множество рикошетов. - Он

размахнулся, камень заскакал по воде и скрылся. - Что? Пять? Нет, я думаю,

не менее девяти. Гнор, я хочу быть маленьким, это странное желание у меня

бывает изредка; я не поддаюсь ему.

- Не знаю. Я вас не знаю. Может быть, это хорошо.

- Быть может, но не совсем. - Энниок подошел к лодке, вынул из чехла

ружье и медленно зарядил его. - Теперь я выстрелю два раза, это сигнал. Он

нас услышит и явится.

Подняв дуло вверх, Энниок разрядил оба ствола; гулкий треск повторился

дважды и смутным отголоском пропал в лесу. Гнор задумчиво покачал головой.

- Этот салют одиночеству, Энниок, - сказал он, - почему-то меня

тревожит. Я хочу вести с жителем Аша длинный разговор. Я не знаю, кто он;

вы говорили о нем бегло и сухо, но судьба его, не знаю - почему, трогает и

печалит меня; я напряженно жду его появления. Когда он придет... я...

Резкая морщина, признак усиленного внимания, пересекла лоб Энниока.

Гнор продолжал:

- Я уговорю его ехать с нами.

Энниок усиленно засмеялся.

- Глупости, - сказал он, кусая усы, - он не поедет.

- Я буду его расспрашивать.

- Он будет молчать.

- Расспрашивать о прошлом. В прошлом есть путеводный свет.

- Его доконало прошлое. А свет - погас.

- Пусть полюбит будущее, неизвестность, заставляющую нас жить.

- Ваш порыв, - сказал Энниок, танцуя одной ногой, - ваш порыв

разобьется, как ломается кусок мела о голову тупого ученика. - Право, - с

одушевлением воскликнул он, - стоит ли думать о чудаке? Дни его среди людей

были бы банальны и нестерпимо скучны, здесь же он не лишен некоторого,

правда, весьма тусклого, ореола. Оставим его.

- Хорошо, - упрямо возразил Гнор, - я расскажу ему, как прекрасна

жизнь, и, если его рука никогда не протягивалась для дружеского пожатия или

любовной ласки, он может повернуться ко мне спиной.

- Этого он ни в коем случае не сделает.

- Его нет, - печально сказал Гнор. - Он умер или охотится в другом

конце острова.

Энниок, казалось, не слышал Гнора; медленно подымая руки, чтобы

провести ими по бледному своему лицу, он смотрел прямо перед собой

взглядом, полным сосредоточенного размышления. Он боролся; это была

короткая запоздалая борьба, жалкая схватка. Она обессилила и раздражила

его. Минуту спустя он сказал твердо и почти искренно:

- Я богат, но отдал бы все и даже свою жизнь, чтобы только быть на

месте этого человека.

- Темно сказано, - улыбнулся Гнор, - темно, как под одеялом. А

интересно.

- Я расскажу про себя. - Энниок положил руку на плечо Гнора. -

Слушайте. Сегодня мне хочется говорить без умолку. Я обманут. Я перенес

великий обман. Это было давно; я плыл с грузом сукна в Батавию, - и нас

разнесло в щепки. Дней через десять после такого начала я лежал поперек

наскоро связанного плота, животом вниз. Встать, размяться, предпринять

что-нибудь у меня не было ни сил, ни желания. Начался бред; я грезил

озерами пресной воды, трясся в лихорадке и для развлечения негромко стонал.

Шторм, погубивший судно, перешел в штиль. Зной и океан сварили меня; плот

стоял неподвижно, как поплавок в пруде, я голодал, задыхался и ждал смерти.

Снова подул ветер. Ночью я проснулся от мук жажды; был мрак и грохот.

Голубые молнии полосовали пространство; меня вместе с плотом швыряло то

вверх - к тучам, то вниз - в жидкие черные ямы. Я разбил подбородок о край

доски; по шее текла кровь. Настало утро. На краю неба, в беспрерывно

мигающем свете небесных трещин, неудержимо влеклись к далеким облакам

пенистые зеленоватые валы; среди них метались черные завитки смерчей; над

ними, как стая обезумевших птиц, толпились низкие тучи - все смешалось. Я

бредил; бред изменил все. Бесконечные толпы черных женщин с поднятыми к

небу руками стремились вверх; кипящая груда их касалась небес; с неба в

красных просветах туч падали вниз прозрачным хаосом нагие, розовые и белые

женщины. Озаренные клубки тел, сплетаясь и разрываясь, кружась вихрем или

камнем летя вниз, соединили в беспрерывном своем движении небо и океан. Их

рассеяла женщина с золотой кожей. Она легла причудливым облаком над далеким

туманом. Меня спасли встречные рыбаки, я был почти жив, трясся и говорил

глупости. Я выздоровел, а потом сильно скучал; те дни умирания в океане, в

бреду, полном нежных огненных призраков, отравили меня. То был прекрасный и

страшный сон - великий обман.

Он замолчал, а Гнор задумался над его рассказом.

- Тайфун - жизнь? - спросил Гнор. - Но кто живет так?

- Он. - Энниок кивнул головой в сторону леса и нехорошо засмеялся. - У

него есть женщина с золотой кожей. Вы слышите что-нибудь? Нет? И я нет.

Хорошо, я стреляю еще.

Он взял ружье, долго вертел в руках, но сунул под мышку.

- Стрелять не стоит. - Энниок вскинул ружье на плечо. - Разрешите мне

вас оставить. Я пройду немного вперед и разыщу его. Если хотите, - пойдемте

вместе. Я не заставлю вас много ходить.

Они тронулись. Энниок впереди, Гнор сзади. Тропинок и следов не было;

ноги по колено вязли в синевато-желтой траве; экваториальный лес напоминал

гигантские оранжереи, где буря снесла прозрачные крыши, стерла границы

усилий природы и человека, развертывая пораженному зрению творчество

первобытных форм, столь родственное нашим земным понятиям о чудесном и

странном. Лес этот в каждом листе своем дышал силой бессознательной,

оригинальной и дерзкой жизни, ярким вызовом и упреком; человек, попавший

сюда, чувствовал потребность молчать.

Энниок остановился в центре лужайки. Лесные голубоватые тени бороздили

его лицо, меняя выражение глаз.

Гнор ждал.

- Вам незачем идти дальше. - Энниок стоял к Гнору спиной. - Тут

неподалеку... он... я не хотел бы сразу и сильно удивить его, являясь

вдвоем. Вот сигары.

Гнор кивнул головой. Спина Энниока, согнувшись, нырнула в колючие

стебли растений, сплетавших деревья; он зашумел листьями и исчез.

Гнор посмотрел вокруг, лег, положил руки под голову и принялся

смотреть вверх.

Синий блеск неба, прикрытый над его головой плотными огромными

листьями, дразнил пышным, голубым царством. Спина Энниока некоторое время

еще стояла перед глазами в своем последнем движении; потом, уступив место

разговору с Кармен, исчезла. "Кармен, я люблю тебя, - сказал Гнор, - мне

хочется поцеловать тебя в губы. Слышишь ли ты оттуда?"

Притягательный образ вдруг выяснился его напряженному чувству, почти

воплотился. Это была маленькая, смуглая, прекрасная голова; растроганно

улыбаясь, Гнор зажал ладонями ее щеки, любовно присмотрелся и отпустил.

Детское нетерпение охватило его. Он высчитал приблизительно срок,

разделявший их, и добросовестно сократил его на половину, затем еще на

четверть. Это жалкое утешение заставило его встать, - он чувствовал

невозможность лежать далее в спокойной и удобной позе, пока не продумает

своего положения до конца.

Влажный зной леса веял дремотой. Лиловые, пурпурные и голубые цветы

качались в траве; слышалось меланхолическое гудение шмеля, запутавшегося в

мшистых стеблях; птицы, перелетая глубину далеких просветов, разражались

криками, напоминающими негритянский оркестр. Волшебный свет, игра цветных

теней и оцепенение зелени окружали Гнора; земля беззвучно дышала полной

грудью - задумчивая земля пустынь, кротких и грозных, как любовный крик

зверя. Слабый шум послышался в стороне; Гнор обернулся, прислушиваясь,

почти уверенный в немедленном появлении незнакомца, жителя острова. Он

старался представить его наружность. "Это должен быть очень замкнутый и

высокомерный человек, ему терять нечего", - сказал Гнор.

Птицы смолкли; тишина как бы колебалась в раздумьи; это была

собственная нерешительность Гнора; подождав и не выдержав, он закричал:

- Энниок, я жду вас на том же месте!

Безответный лес выслушал эти слова и ничего не прибавил к ним.

Прогулка пока еще ничего не дала Гнору, кроме утомительного и бесплодного

напряжения. Он постоял некоторое время, думая, что Энниок забыл

направление, потом медленно тронулся назад к берегу. Необъяснимое сильное

беспокойство гнало его прочь из леса. Он шел быстро, стараясь понять, куда

исчез Энниок; наконец, самое простое объяснение удовлетворило его:

неизвестный и Энниок увлеклись разговором.

- Я привяжу лодку, - сказал Гнор, вспомнив, что она еле вытащена на

песок. - Они придут.

Вода, пронизанная блеском мокрых песчаных отмелей, сверкнула перед ним

сквозь опушку, но лодки не было. Ящик лежал на старом месте. Гнор подошел к

воде и влево, где пестрый отвес скалы разделял берег, увидел лодку.

Энниок греб, сильно кидая весла; он смотрел вниз и, по-видимому, не

замечал Гнора.

- Энниок! - сказал Гнор; голос его отчетливо прозвучал в тишине

прозрачного воздуха. - Куда вы?! Разве вы не слышали, как я звал вас?!

Энниок резко ударил веслами, не поднял головы и продолжал плыть. Он

двигался, казалось, теперь быстрее, чем минуту назад; расстояние между

скалой и лодкой становилось заметно меньше. "Камень скроет его, - подумал

Гнор, - и тогда он не услышит совсем".

- Энниок! - снова закричал Гнор. - Что вы хотите делать?

Плывущий поднял голову, смотря прямо в лицо Гнору так, как будто на

берегу никого не было. Еще продолжалось неловкое и странное молчание, как

вдруг, случайно, на искристом красноватом песке Гнор прочел фразу,

выведенную дулом ружья или куском палки: "Гнор, вы здесь останетесь.

Вспомните музыку, Кармен и биллиард на рассвете".

Первое, что ощутил Гнор, была тупая боль сердца, позыв рассмеяться и

гнев. Воспоминания против золи головокружительно быстро швырнули его назад,

в прошлое; легион мелочей, в свое время ничтожных или отрывочных, блеснул в

памяти, окреп, рассыпался и занял свои места в цикле ушедших дней с

уверенностью солдат во время тревоги, бросающихся к своим местам, услышав

рожок горниста. Голая, кивающая убедительность смотрела в лицо Гнору.

"Энниок, Кармен, я, - схватил на лету Гнор. - Я не видел, был слеп; так..."

Он медленно отошел от написанного, как будто перед ним открылся

провал. Гнор стоял у самой воды, нагибаясь, чтобы лучше рассмотреть

Энниока; он верил и не верил; верить казалось ему безумием. Голова его

выдержала ряд звонких ударов страха и наполнилась шумом; ликующий океан

стал мерзким и отвратительным.

- Энниок! - сказал Гнор твердым и ясным голосом - последнее усилие

отравленной воли. - Это писали вы?

Несколько секунд длилось молчание. "Да", - бросил ветер. Слово это

было произнесено именно тем тоном, которого ждал Гнор, - циническим. Он

стиснул руки, пытаясь удержать нервную дрожь пальцев; небо быстро темнело;

океан, разубранный на горизонте облачной ряской, закружился, качаясь в

налетевшем тумане. Гнор вошел в воду, он двигался бессознательно. Волна

покрыла колени, бедра, опоясала грудь, Гнор остановился. Он был теперь

ближе к лодке шагов на пять; разоренное, взорванное сознание его

конвульсивно стряхивало тяжесть мгновения и слабело, как приговоренный,

отталкивающий веревку.

- Это подлость. - Он смотрел широко раскрытыми глазами и не шевелился.

Вода медленно колыхалась вокруг него, кружа голову и легонько подталкивая.

- Энниок, вы сделали подлость, вернитесь!

- Нет, - сказал Энниок. Слово это прозвучало обыденно, как ответ

лавочника.

Гнор поднял револьвер и тщательно определил прицел. Выстрел не помешал

Энниоку; он греб, быстро откидываясь назад; вторая пуля пробила весло;

Энниок выпустил его, поймал и нагнулся, ожидая новых пуль. В этом движении

проскользнула снисходительная покорность взрослого, позволяющего ребенку

бить себя безвредными маленькими руками.

Третий раз над водой щелкнул курок; непобедимая слабость апатии

охватила Гнора; как парализованный, он опустил руку, продолжая смотреть.

Лодка ползла за камнем, некоторое время еще виднелась уползающая корма,

потом все исчезло.

Гнор вышел на берег.

- Кармен, - сказал Гнор, - он тоже любит тебя? Я не сойду с ума, у

меня есть женщина с золотой кожей... Ее имя Кармен. Вы, Энниок, ошиблись!

Он помолчал, сосредоточился на том, что ожидало его, и продолжал

говорить сам с собой, возражая жестоким голосам сердца, толкающим к

отчаянию: "Меня снимут отсюда. Рано или поздно придет корабль. Это будет на

днях. Через месяц. Через два месяца". - Он торговался с судьбой. - "Я сам

сделаю лодку. Я не умру здесь. Кармен, видишь ли ты меня? Я протягиваю тебе

руки, коснись их своими, мне страшно".

Боль уступила место негодованию. Стиснув зубы, он думал об Энниоке.

Гневное исступление терзало его. "Бестыдная лиса, гадина, - сказал Гнор, -

еще будет время посмотреть друг другу в лицо". Затем совершившееся

показалось ему сном, бредом, нелепостью. Под ногами хрустел песок, песок

настоящий. "Любое парусное судно может зайти сюда. Это будет на днях.

Завтра. Через много лет. Никогда".

Слово это поразило его убийственной точностью своего значения. Гнор

упал на песок лицом вниз и разразился гневными огненными слезами, тяжкими

слезами мужчины. Прибой усилился; ленивый раскат волны сказал громким

шепотом: "Отшельник Аша".

- Аша, - повторил, вскипая, песок.

Человек не шевелился. Солнце, тяготея к западу, коснулось скалы,

забрызгало ее темную грань жидким огнем и бросило на побережье Аша тени -

вечернюю грусть земли. Гнор встал.

- Энниок, - сказал он обыкновенным своим негромким, грудным голосом, -

я уступаю времени и необходимости. Моя жизнь не доиграна. Это старая,

хорошая игра; ее не годится бросать с середины, и дни не карты; над трупами

их, погибающих здесь, бесценных моих дней, клянусь вам затянуть разорванные

концы так крепко, что от усилия заноет рука, и в узле этом захрипит ваша

шея. Подымается ветер. Он донесет мою клятву вам и Кармен!

**IV**

Сильная буря, разразившаяся в центре Архипелага, дала хорошую встрепку

трехмачтовому бригу, носившему неожиданное, мало подходящее к суровой

профессии кораблей, имя - "Морской Кузнечик". Бриг этот, с оборванными

снастями, раненный в паруса, стеньги и ватер-линию, забросило далеко в

сторону от обычного торгового пути. На рассвете показалась земля.

Единственный уцелевший якорь с грохотом полетел на дно. День прошел в

обычных после аварий работах, и только вечером все, начиная с капитана и

кончая поваром, могли дать себе некоторый отчет в своем положении.

Лаконический отчет этот вполне выражался тремя словами: "Черт знает что!"

- Роз, - сказал капитан, испытывая неподдельное страдание, - это

корабельный журнал, и в нем не место различным выкрутасам. Зачем вы, пустая

бутылка, нарисовали этот скворешник?

- Скворешник! - Замечание смутило Роза, но оскорбленное самолюбие

тотчас же угостило смущение хорошим пинком. - Где видали вы такие

скворешники? Это барышня. Я ее зачеркну.

Капитан Мард совершенно закрыл левый глаз, отчего правый стал

невыносимо презрительным. Роз стукнул кулаком по столу, но смирился.

- Я ее зачеркнул, сделав кляксу; понюхайте, если не видите. Журнал

подмок.

- Это верно, - сказал Мард, щупая влажные прошнурованные листы. -

Волна хлестала в каюту. Я тоже подмок. Я и ахтер-штевен - мы вымокли

одинаково. А вы, Аллигу?

Третий из этой группы, почти падавший от изнурения на стол, за которым

сидел, сказал:

- Я хочу спать.

В каюте висел фонарь, озарявший три головы тенями и светом старинных

портретов. Углы помещения, заваленные сдвинутыми в одну кучу складными

стульями, одеждой и инструментами, напоминали подвал старьевщика. Бриг

покачивало; раздражение океана не утихает сразу. Упустив жертву, он фыркает

и морщится. Мард облокотился на стол, склонив к чистой странице журнала

свое лошадиное лицо, блестевшее умными хмурыми глазами. У него почти не

было усов, а подбородок напоминал каменную глыбу в миниатюре. Правая рука

Марда, распухшая от ушиба, висела на полотенце.

Роз стал водить пером в воздухе, выделывая зигзаги и арабески; он

ждал.

- Ну, пишите, - сказал Мард, - пишите: заброшены к дьяволу, неизвестно

зачем; пишите так... - Он стал тяжело дышать, каждое усилие мысли страшно

стесняло его. - Постойте. Я не могу опомниться, Аллигу, меня все еще как

будто бросает о площадку, а надо мною Роз тщетно пытается удержать штурвал.

Я этой скверной воды не люблю.

- Был шторм, - сказал Аллигу, проснувшись, и снова впал в сонное

состояние. - Был шторм.

- Свежий ветер, - методично поправил Роз. - Свежий... Сущие пустяки.

- Ураган.

- Простая шалость атмосферы.

- Водо- и воздухотрясение.

- Пустяшный бриз.

- Бриз! - Аллигу удостоил проснуться и, засыпая, снова сказал: - Если

это был, как вы говорите, простой бриз, то я более не Аллигу.

Мард сделал попытку жестикулировать ушибленной правой рукой, но

побагровел от боли и рассердился.

- Океан кашлял, - сказал он, - и выплюнул нас... Куда? Где мы? И что

такое теперь мы?

- Солнце село, - сообщил вошедший в каюту боцман. - Завтра утром

узнаем все. Поднялся густой туман; ветер слабее.

Роз положил перо.

- Писать - так писать, - сказал он, - а то я закрою журнал.

Аллигу проснулся в тридцать второй раз.

- Вы, - зевнул он с той сладострастной грацией, от которой трещит

стул, - забыли о бесштаннике-кочегаре на Стальном Рейде. Что стоило

провезти беднягу? Он так мило просил. Есть лишние койки и сухари? Вы ему

отказали, Мард, он послал вас к черту вслух - к черту вы и приехали. Не

стоит жаловаться.

Мард налился кровью.

- Пусть возят пассажиров тонконогие франты с батистовыми платочками;

пока я на "Морском Кузнечике" капитан, у меня этого балласта не будет. Я

парусный грузовик.

- Будет, - сказал Аллигу.

- Не раздражайте меня.

- Подержим пари от скуки.

- Какой срок?

- Год.

- Ладно. Сколько вы ставите?

- Двадцать.

- Мало. Хотите пятьдесят?

- Все равно, - сказал Аллигу, - денежки мои, вам не везет на легкий

заработок. Я сплю.

- Хотят, - проговорил Мард, - чтобы я срезался на пассажире. Вздор!

С палубы долетел топот, взрыв смеха; океан вторил ему заунывным гулом.

Крики усилились: отдельные слова проникли в каюту, но невозможно было

понять, что случилось. Мард вопросительно посмотрел на боцмана.

- Чего они? - спросил капитан. - Что за веселье?

- Я посмотрю.

Боцман вышел. Роз прислушался и сказал:

- Вернулись матросы с берега.

Мард подошел к двери, нетерпеливо толкнул ее и удержал взмытую ветром

шляпу. Темный силуэт корабля гудел взволнованными, тревожными голосами; в

центре толпы матросов, на шканцах блестел свет; в свете чернели плечи и

головы. Мард растолкал людей.

- По какому случаю бал? - сказал Мард. Фонарь стоял у его ног, свет

ложился на палубу. Все молчали.

Тогда, посмотрев прямо перед собой, капитан увидел лицо незнакомого

человека, смуглое вздрагивающее лицо с неподвижными искрящимися глазами.

Шапки у него не было. Волосы темного цвета падали ниже плеч. Он был одет в

сильно измятый костюм городского покроя и высокие сапоги. Взгляд

неизвестного быстро переходил с лица на лицо; взгляд цепкий, как сильно

хватающая рука.

Изумленный Мард почесал левую щеку и шумно вздохнул; тревога

всколыхнула его.

- Кто вы? - спросил Мард. - Откуда?

- Я - Гнор, - сказал неизвестный. - Меня привезли матросы. Я жил

здесь.

- Как? - переспросил Мард, забыв о больной руке; он еле сдерживался,

чтобы не разразиться криком на мучившее его загадочностью своей собрание.

Лицо неизвестного заставляло капитана морщиться. Он ничего не понимал. -

Что вы говорите?

- Я - Гнор, - сказал неизвестный. - Меня привезла ваша лодка... Я -

Гнор...

Мард посмотрел на матросов. Многие улыбались напряженной, неловкой

улыбкой людей, охваченных жгучим любопытством. Боцман стоял по левую руку

Марда. Он был серьезен. Мард не привык к молчанию и не выносил загадок, но,

против обыкновения, не вспыхивал: тихий мрак, полный грусти и крупных

звезд, остановил его вспышку странной властью, осязательной, как резкое

приказание.

- Я лопну, - сказал Мард, - если не узнаю сейчас, в чем дело.

Говорите.

Толпа зашевелилась; из нее выступил пожилой матрос.

- Он, - начал матрос, - стрелял два раза в меня и раз в Кента. Мы его

не задели. Он шел навстречу. Четверо из нас таскали дрова. Было еще светло,

когда он попался. Кент, увидев его, сначала испугался, потом крикнул меня;

мы пошли вместе. Он выступил из каменной щели против воды. Одежда его была

совсем другая, чем сейчас. Я еще не видал таких лохмотьев. Шерсть на нем

торчала из шкур, как трава на гнилой крыше.

- Это небольшой остров, - сказал Гнор. - Я давно живу здесь. Восемь

лет. Мне говорить трудно. Я очень много и давно молчу. Отвык.

Он тщательно разделял слова, редко давая им нужное выражение, а по

временам делая паузы, в продолжение которых губы его не переставали

двигаться.

Матрос испуганно посмотрел на Гнора и повернулся к Марду.

- Он выстрелил из револьвера, потом закрылся рукой, закричал и

выстрелил еще раз. Меня стукнуло по голове, я повалился, думая, что он

перестанет. Кент бежал на него, но, услыхав третий выстрел, отскочил в

сторону. Больше он не стрелял. Я сшиб его с ног. Он, казалось, был рад

этому, потому что не обижался. Мы потащили его к шлюпке, он смеялся. Тут у

нас, у самой воды, началось легкое объяснение. Я ничего не мог понять,

тогда Кент вразумил меня. "Он хочет, - сказал Кент, - чтобы мы ему дали

переодеться". Я чуть не лопнул от смеха. Однако, не отпуская его ни на шаг,

мы тронулись, куда он нас вел, - и что вы думаете?.. У него был, знаете ли,

маленький гардероб в каменном ящике, вроде как у меня сундучок. Пока он

натягивал свой наряд и перевязывал шишку на голове, - "слушай, - сказал мне

Кент, - он из потерпевших крушение, - я слыхал такие истории". Тогда этот

человек взял меня за руку и поцеловал, а потом Кента. У меня было,

признаться, погано на душе, так как я ударил его два раза, когда настиг...

- Зачем вы, - сказал Мард, - зачем вы стреляли в них? Объясните.

Гнор смотрел дальше строгого лица Марда - в тьму.

- Поймите, - произнес он особенным, заставившим многих вздрогнуть

усилием голоса, - восемь лет. Я один. Солнце, песок, лес. Безмолвие. Раз

вечером поднялся туман. Слушайте: я увидел лодку; она шла с моря; в ней

было шесть человек. Шумит песок. Люди вышли на берег, зовут меня, смеются и

машут руками. Я побежал, задыхаясь, не мог сказать слова, слов не было. Они

стояли все на берегу... живые лица, как теперь вы. Они исчезли, когда я был

от них ближе пяти шагов. Лодку унес туман. Туман рассеялся. Все по-старому.

Солнце, песок, безмолвие. И море кругом.

Моряки сдвинулись тесно, некоторые встали на цыпочки, дыша в затылки

передним. Иные оборачивались, как бы ища разделить впечатление с существом

выше человека. Тишина достигла крайнего напряжения. Хриплый голос сказал:

- Молчите.

- Молчите, - подхватил другой. - Дайте ему сказать.

- Так было много раз, - продолжал Гнор. - Я кончил тем, что стал

делать выстрелы. Звук выстрела уничтожал видение. После этого я,

обыкновенно, целый день не мог есть. Сегодня я не поверил; как всегда, не

больше. Трудно быть одному.

Мард погладил больную руку.

- Как вас зовут?

- Гнор.

- Сколько вам лет?

- Двадцать восемь.

- Кто вы?

- Сын инженера.

- Как попали сюда?

- Об этом, - неохотно сказал Гнор, - я расскажу одному вам.

Голоса их твердо и тяжело уходили в тьму моря: хмурый - одного,

звонкий - другого; голоса разных людей.

- Вы чисто одеты, - продолжал Мард, - это для меня непонятно.

- Я хранил себя, - сказал Гнор, - для лучших времен.

- Вы также брились?

- Да.

- Чем вы питались?

- Чем случится.

- На что надеялись?

- На себя.

- И на нас также?

- Меньше, чем на себя. - Гнор тихо, но выразительно улыбнулся, и все

лица отразили его улыбку. - Вы могли встретить труп, идиота и человека. Я

не труп и не идиот.

Роз, стоявший позади Гнора, крепко хватил его по плечу и, вытащив из

кармана платок, пронзительно высморкался; он был в восторге.

Иронический взгляд Аллигу остановился на Марде. Они смотрели друг

другу в глаза, как авгуры, прекрасно понимающие, в чем дело. "Ты проиграл,

кажись", - говорило лицо штурмана. "Оберну вокруг пальца", - ответил взгляд

Марда.

- Идите сюда, - сказал капитан Гнору. - Идите за мной. Мы потолкуем

внизу.

Они вышли из круга; множество глаз проводило высокий силуэт Гнора.

Через минуту на палубе было три группы, беседующие вполголоса о тайнах

моря, суевериях, душах умерших, пропавшей земле, огненном бриге из

Калифорнии. Четырнадцать взрослых ребят, делая страшные глаза и таинственно

кашляя, рассказывали друг другу о приметах пиратов, о странствиях проклятой

бочки с водкой, рыбьем запахе сирен, подводном гроте, полном золотых

слитков. Воображение их, получившее громовую встряску, неслось кувырком.

Недавно еще ждавшие неумолимой и верной смерти, они забыли об этом; своя

опасность лежала в кругу будней, о ней не стоило говорить.

Свет забытого фонаря выдвигал из тьмы наглухо задраенный люк трюма,

борта и нижнюю часть вант. Аллигу поднял фонарь; тени перескочили за борт.

- Это вы, Мард? - сказал Аллигу, приближая фонарь к лицу идущего. -

Да, это вы, теленок не ошибается. А он?

- Все в порядке, - вызывающе ответил Мард. - Не стоит беспокоиться,

Аллигу.

- Хорошо, но вы проиграли.

- А может быть, вы?

- Как, - возразил удивленный штурман, - вы оставите его доживать тут?

А бунта вы не боитесь?

- И я не камень, - сказал Мард. - Он рассказал мне подлую штуку...

Нет, я говорить об этом теперь не буду. Хотя...

- Ну, - Аллигу переминался от нетерпения. - Деньги на бочку!

- Отстаньте!

- Тогда позвольте поздравить вас с пассажиром.

- С пассажиром? - Мард подвинулся к фонарю, и Аллигу увидел злорадно

торжествующее лицо. - Обольстительнейший и драгоценнейший Аллигу, вы

ошиблись. Я нанял его на два месяца хранителем моих свадебных подсвечников,

а жалованье уплатил вперед, в чем имею расписку; запомните это, свирепый

Аллигу, и будьте здоровы.

- Ну, дока, - сказал, оторопев, штурман после неприятного долгого

молчания. - Хорошо, вычтите из моего жалованья.

**V**

На подоконнике сидел человек. Он смотрел вниз с высоты третьего этажа,

на вечернюю суету улицы. Дом, мостовая и человек дрожали от грохота

экипажей.

Человек сидел долго, - до тех пор, пока черные углы крыш не утонули в

черноте ночи. Уличные огни внизу отбрасывали живые тени; тени прохожих

догоняли друг друга, тень лошади перебирала ногами. Маленькие пятна

экипажных фонарей беззвучно мчались по мостовой. Черная дыра переулка,

полная фантастических силуэтов, желтая от огня окон, уличного свиста и

шума, напоминала крысиную жизнь мусорной ямы, освещенной заржавленным

фонарем тряпичника.

Человек прыгнул с подоконника, но скоро нашел новое занятие. Он стал

закрывать и открывать электричество, стараясь попасть взглядом в заранее

намеченную точку обоев; комната сверкала и пропадала, повинуясь щелканью

выключателя. Человек сильно скучал.

Неизвестно, чем бы он занялся после этого, если бы до конца вечера

остался один. С некоторых пор ему доставляло тихое удовольствие сидеть

дома, проводя бесцельные дни, лишенные забот и развлечений, интересных

мыслей и дел, смотреть в окно, перебирать старые письма, отделяя себя ими

от настоящего; его никуда не тянуло, и ничего ему не хотелось; у него был

хороший аппетит, крепкий сон; внутреннее состояние его напоминало в

миниатюре зевок человека, утомленного китайской головоломкой и бросившего,

наконец, это занятие.

Так утомляет жизнь и так сказывается у многих усталость; душа и тело

довольствуются пустяками, отвечая всему гримасой тусклого равнодушия.

Энниок обдумал этот вопрос и нашел, что стареет. Но и это было для него

безразлично.

В дверь постучали: сначала тихо, потом громче.

- Войдите, - сказал Энниок.

Человек, перешагнувший порог, остановился перед Энниоком, закрывая

дверь рукой позади себя и слегка наклоняясь, в позе напряженного ожидания.

Энниок пристально посмотрел на него и отступил в угол; забыть это лицо,

мускулистое, с маленьким подбородком и ртом, было не в его силах.

Вошедший, стоя у двери, наполнял собой мир - и Энниок, пошатываясь от

бьющего в голове набата, ясно увидел это лицо таким, каким было оно прежде,

давно. Сердце его на один нестерпимый миг перестало биться; мертвея и

теряясь, он молча тер руки. Гнор шумно вздохнул.

- Это вы, - глухо сказал он. - Вы, Энниок. Ну, вот мы и вместе. Я рад.

Два человека, стоя друг против друга, тоскливо бледнели, улыбаясь

улыбкой стиснутых ртов.

- Вырвался! - крикнул Энниок. Это был болезненный вопль раненого. Он

сильно ударил кулаком о стол, разбив руку; собрав всю силу воли, овладел,

насколько это было возможно, заплясавшими нервами и выпрямился. Он был вне

себя.

- Это вы! - наслаждаясь повторил Гнор. - Вот вы. От головы до пяток,

во весь рост. Молчите. Я восемь лет ждал встречи. - Нервное взбешенное лицо

его дергала судорога. - Вы ждали меня?

- Нет. - Энниок подошел к Гнору. - Вы знаете - это катастрофа. -

Обуздав страх, он вдруг резко переменился и стал, как всегда. - Я лгу. Я

очень рад видеть вас, Гнор.

Гнор засмеялся.

- Энниок, едва ли вы рады мне. Много, слишком много поднимается в душе

чувств и мыслей... Если бы я мог все сразу обрушить на вашу голову!

Довольно крика. Я стих.

Он помолчал; страшное спокойствие, похожее на неподвижность

работающего парового котла, дало ему силы говорить дальше.

- Энниок, - сказал Гнор, - продолжим нашу игру.

- Я живу в гостинице. - Энниок пожал плечами в знак сожаления. -

Неудобно мешать соседям. Выстрелы - мало популярная музыка. Но мы, конечно,

изобретем что-нибудь.

Гнор не ответил; опустив голову, он думал о том, что может не выйти

живым отсюда. "Зато я буду до конца прав - и Кармен узнает об этом. Кусочек

свинца осмыслит все мои восемь лет, как точка".

Энниок долго смотрел на него. Любопытство неистребимо.

- Как вы?.. - хотел спросить Энниок; Гнор перебил его.

- Не все ли равно? Я здесь. А вы - как вы зажали рты?

- Деньги, - коротко сказал Энниок.

- Вы страшны мне, - заговорил Гнор. - С виду я, может быть, теперь и

спокоен, но мне душно и тесно с вами; воздух, которым вы дышите, мне

противен. Вы мне больше, чем враг, - вы ужас мой. Можете смотреть на меня

сколько угодно. Я не из тех, кто прощает.

- Зачем прощение? - сказал Энниок. - Я всегда готов заплатить. Слова

теперь бессильны. Нас захватил ураган; кто не разобьет лоб, тот и прав.

Он закурил слегка дрожащими пальцами сигару и усиленно затянулся,

жадно глотая дым.

- Бросим жребий.

Энниок кивнул головой, позвонил и сказал лакею:

- Дайте вино, сигары и карты.

Гнор сел у стола; тягостное оцепенение приковало его к стулу; он долго

сидел, понурившись, сжав руки между колен, стараясь представить, как

произойдет все; поднос звякнул у его локтя; Энниок отошел от окна.

- Мы сделаем все прилично, - не повышая голоса, сказал он. - Вино это

старше вас, Гнор; вы томились в лесах, целовали Кармен, учились и родились,

а оно уже лежало в погребе. - Он налил себе и Гнору, стараясь не

расплескать. - Мы, Гнор, любим одну женщину. Она предпочла вас; а моя

страсть поэтому выросла до чудовищных размеров. И это, может быть, мое

оправдание. А вы бьете в точку.

- Энниок, - заговорил Гнор, - мне только теперь пришло в голову, что

при других обстоятельствах мы, может быть, не были бы врагами. Но это так,

к слову. Я требую справедливости. Слезы и кровь бросаются мне в голову при

мысли о том, что перенес я. Но я перенес - слава богу, и ставлю жизнь

против жизни. Мне снова есть чем рисковать, - не по вашей вине. У меня

много седых волос, а ведь мне нет еще тридцати. Я вас искал упорно и долго,

работая, как лошадь, чтобы достать денег, переезжая из города в город. Вы

снились мне. Вы и Кармен.

Энниок сел против него; держа стакан в левой руке, он правой

распечатал колоду.

- Черная ответит за все.

- Хорошо. - Гнор протянул руку. - Позвольте начать мне. А перед этим я

выпью.

Взяв стакан и прихлебывая, он потянул карту. Энниок удержал его руку,

сказав:

- Колода не тасована.

Он стал тасовать карты, долго мешал их, потом веером развернул на

столе, крапом вверх.

- Если хотите, вы первый.

Гнор взял карту, не раздумывая, - первую попавшуюся под руку.

- Берите вы.

Энниок выбрал из середины, хотел взглянуть, но раздумал и посмотрел на

партнера. Их глаза встретились. Рука каждого лежала на карте. Поднять ее

было не так просто. Пальцы не повиновались Энниоку. Он сделал усилие,

заставив их слушаться, и выбросил туза червей. Красное очко блеснуло, как

молния, радостно - одному, мраком - другому.

- Шестерка бубей, - сказал Гнор, открывая свою. - Начнем снова.

- Это - как бы двойной выстрел. - Энниок взмахнул пальцами над колодой

и, помедлив, взял крайнюю. - Вот та лежала с ней рядом, - заметил Гнор, -

та и будет моя.

- Черви и бубны светятся в ваших глазах, - сказал Энниок, - пики - в

моих. - Он успокоился, первая карта была страшнее, но чувствовал где-то

внутри, что кончится это для него плохо. - Откройте сначала вы, мне хочется

продлить удовольствие.

Гнор поднял руку, показал валета червей и бросил его на стол.

Конвульсия сжала ему горло; но он сдержался, только глаза его блеснули

странным и жутким весельем.

- Так и есть, - сказал Энниок, - карта моя тяжела; предчувствие,

кажется, не обманет. Двойка пик.

Он разорвал ее на множество клочков, подбросил вверх - и белые

струйки, исчертив воздух, осели на стол белыми неровным пятнами.

- Смерть двойке, - проговорил Энниок, - смерть и мне.

Гнор пристально посмотрел на него, встал и надел шляпу. В душе его не

было жалости, но ощущение близкой чужой смерти заставило его пережить

скверную минуту. Он укрепил себя воспоминаниями; бледные дни отчаяния,

поднявшись из могилы Аша, грозным хороводом окружали Гнора; прав он.

- Энниок, - осторожно сказал Гнор, - я выиграл и удаляюсь. Отдайте

долг судьбе без меня. Но есть у меня просьба: скажите, почему проснулись мы

трое в один день, когда вы, по-видимому, уже решили мою участь? Можете и не

отвечать, я не настаиваю.

- Это цветок из Ванкувера, - не сразу ответил Энниок, беря третью

сигару. - Я сделаю вам нечто вроде маленькой исповеди. Цветок был привезен

мной; я не помню его названия; он невелик, зеленый, с коричневыми

тычинками. Венчик распускается каждый день утром, свертываясь к

одиннадцати. Накануне я сказал той, которую продолжаю любить. "Встаньте

рано, я покажу вам каприз растительного мира". Вы знаете Кармен, Гнор; ей

трудно отказать другому в маленьком удовольствии. Кроме того, это ведь

действительно интересно. Утром она была сама как цветок; мы вышли на

террасу; я нес в руках ящик с растением. Венчик, похожий на саранчу,

медленно расправлял лепестки. Они выровнялись, напряглись - и цветок стал

покачиваться от ветерка. Он был не совсем красив, но оригинален. Кармен

смотрела и улыбалась. "Он дышит, - сказала она, - такой маленький". Тогда я

взял ее за руку и сказал то, что долго меня терзало; я сказал ей о своей

любви. Она покраснела, смотря на меня в упор и отрицательно качая головой.

Ее лицо сказало мне больше, чем старое слово "нет", к которому меня совсем

не приучили женщины. "Нет, - холодно сказала она, - это невозможно.

Прощайте". Она стояла некоторое время задумавшись, потом ушла в сад. Я

догнал ее больной от горя и продолжал говорить - не знаю что. "Опомнитесь",

- сказала она. Вне себя от страсти я обнял ее и поцеловал. Она замерла; я

прижал ее к сердцу и поцеловал в губы, но силы к ней тотчас вернулись, она

закричала и вырвалась. Так было. Я мог только мстить - вам; я мстил. Будьте

уверены, что, если бы вы споткнулись о черную масть, я не остановил бы вас.

- Я знаю это, - спокойно возразил Гнор. - Вдвоем нам не жить на свете.

Прощайте.

Детское живет в человеке до седых волос - Энниок удержал Гнора

взглядом и загородил дверь.

- Вы, - самолюбиво сказал он, - вы, гибкая человеческая сталь, должны

помнить, что у вас был достойный противник.

- Верно, - сухо ответил Гнор, - пощечина и пожатие руки - этим я

выразил бы всего вас. В силу известной причины я не делаю первого. Возьмите

второе.

Они протянули руки, стиснув друг другу пальцы; это было странное, злое

и задумчивое пожатие сильных врагов.

Последний взгляд их оборвала закрытая Гнором дверь; Энниок опустил

голову.

- Я остаюсь с таким чувством, - прошептал он, - как будто был шумный,

головокружительный, грозной красоты бал; он длился долго, и все устали.

Гости разъехались, хозяин остался один; одна за другой гаснут свечи, грядет

мрак.

Он подошел к столу, отыскал, расшвыряв карты, револьвер и почесал

дулом висок. Прикосновение холодной стали к пылающей коже было почти

приятным. Потом стал припоминать жизнь и удивился: все казалось в ней

старообразным и глупым.

- Я мог бы обмануть его, - сказал Энниок, - но не привык бегать и

прятаться. А это было бы неизбежно. К чему? Я взял от жизни все, что хотел,

кроме одного. И на этом "одном" сломал шею. Нет, все вышло как-то совсем

кстати и импозантно.

- Глупая смерть, - продолжал Энниок, вертя барабан револьвера. -

Скучно умирать так от выстрела. Я могу изобрести что-нибудь. Что - не знаю;

надо пройтись.

Он быстро оделся, вышел и стал бродить по улицам. В туземных кварталах

горели масляные фонари из красной и голубой бумаги; воняло горелым маслом,

отбросами, жирной пылью. Липкий мрак наполнял переулки; стучали одинокие

ручные тележки; фантастические контуры храмов теплились редкими огоньками.

Мостовая, усеянная шелухой фруктов, соломой и клочками газет, окружала

подножья уличных фонарей светлыми дисками; сновали прохожие; высокие,

закутанные до переносья женщины шли медленной поступью; черные глаза их,

подернутые влажным блеском, звали к истасканным циновкам, куче голых ребят

и грязному петуху семьи, поглаживающему бороду за стаканом апельсиновой

воды.

Энниок шел, привыкая к мысли о близкой смерти. За углом раздался

меланхолический стон туземного барабана, пронзительный вой рожков, адская

музыка сопровождала ночную религиозную процессию. Тотчас же из-за старого

дома высыпала густая толпа; впереди, кривляясь и размахивая палками,

сновали юродивые; туча мальчишек брела сбоку; на высоких резных палках

качались маленькие фонари, изображения святых, скорченные темные идолы,

напоминавшие свирепых младенцев в материнской утробе; полуосвещенное море

голов теснилось вокруг них, вопя и рыдая; блестела тусклая позолота дерева;

металлические хоругви, задевая друг друга, звенели и дребезжали.

Энниок остановился и усмехнулся: дерзкая мысль пришла ему в голову.

Решив умереть шумно, он быстро отыскал глазами наиболее почтенного,

увешанного погремушками старика. У старика было строгое, взволнованное и

молитвенное лицо; Энниок рассмеялся; тяжкие перебои сердца на мгновение

стеснили дыхание; затем, чувствуя, что рушится связь с жизнью и темная жуть

кружит голову, он бросился в середину толпы.

Процессия остановилась; смуглые плечи толкали Энниока со всех сторон;

смешанное горячее дыхание, запах пота и воска ошеломили его, он зашатался,

но не упал, поднял руки и, потрясая вырванным у старика идолом, крикнул изо

всей силы:

- Плясунчики, голые обезьяны! Плюньте на своих деревяшек! Вы очень

забавны, но надоели!

Свирепый рев возбудил его; в исступлении, уже не сознавая, что делает,

он швырнул идола в первое, искаженное злобой, коричневое лицо; глиняный

бог, встретив мостовую, разлетелся кусками. В то же время режущий удар по

лицу свалил Энниока; взрыв ярости пронесся над ним; тело затрепетало и

вытянулось.

Принимая последние, добивающие удары фанатиков, Энниок, охватив руками

голову, залитую кровью, услышал явственный, идущий как бы издалека голос;

голос этот повторил его собственные недавние слова:

- Бал кончился, разъехались гости, хозяин остается один. И мрак

одевает залы.

**VI**

"Над прошлым, настоящим и будущим имеет власть человек".

Подумав это, Гнор обратился к прошлому. Там была юность; нежные,

озаряющие душу голоса ясной любви; заманчиво кружащая голову жуткость все

полнее и радостнее звучащей жизни; темный ад горя, - восемь лет потрясения,

исступленной жажды, слез и проклятий, чудовищный, безобразный жребий;

проказа времени; гора, обрушенная на ребенка; солнце, песок, безмолвие. Дни

и ночи молитв, обращенных к себе: "спасайся"!

Он стоял теперь как бы на вершине горы, еще дыша часто и утомленно, но

с отдыхающим телом и раскрепощенной душой. Прошлое лежало на западе, в

стране светлых возгласов и уродливых теней; он долго смотрел туда, всему

было одно имя - Кармен.

И, простив прошлому, уничтожая его, оставил он одно имя - Кармен.

В настоящем Гнор видел себя, сожженного безгласной любовью, страданием

многих лет, окаменевшего в одном желании, более сильном, чем закон и

радость. Он был одержим тоской, увеличивающей изо дня в день силы

переносить ее. Это был юг жизни, ее знойный полдень; жаркие голубые тени,

жажда и шум невидимого еще ключа. Всему было одно имя - Кармен. Только одно

было у него в настоящем - имя, обвеянное волнением, боготворимое имя

женщины с золотой кожей - Кармен.

Будущее - красный восток, утренний ветер, звезда, гаснущая над

чудесным туманом, радостная бодрость зари, слезы и смех земли; будущему

могло быть только одно единственное имя - Кармен.

Гнор встал. Звонкая тяжесть секунд душила его. Время от времени полный

огонь сознания ставил его на ноги во весь рост перед закрытой дверью не

наступившего еще счастья; он припоминал, что находится здесь, в этом доме,

где все знакомо и все в страшной близости с ним, а сам он чужой и будет

чужой до тех пор, пока не выйдет из двери та, для которой он свой, родной,

близкий, потерянный, жданный, любимый.

Так ли это? Острая волна мысли падала, уничтожаемая волнением, и Гнор

мучился новым, ужасным, что отвергала его душа, как религиозный человек

отвергает кощунство, навязчиво сверлящее мозг. Восемь лет легло между ними;

своя, независимая от него текла жизнь Кармен - и он уже видел ее, взявшую

счастье с другим, вспоминающую о нем изредка в сонных грезах или, может

быть, в минуты задумчивости, когда грустная неудовлетворенность жизнью

перебивается мимолетным развлечением, смехом гостя, заботой дня, интересом

минуты. Комната, в которой сидел Гнор, напоминала ему лучшие его дни;

низкая, под цвет сумерек мебель, бледные стены, задумчивое вечернее окно,

полуспущенная портьера с нырнувшим под нее светом соседней залы - все жило

так же, как он, - болезненно неподвижной жизнью, замирая от ожидания. Гнор

просил только одного - чуда, чуда любви, встречи, убивающей горе, огненного

удара - того, о чем бессильно умолкает язык, так как нет в мире радости

больше и невыразимее, чем взволнованное лицо женщины. Он ждал ее кротко,

как дитя; жадно, как истомленный любовник; грозно и молча, как

восстановляющий право. Секундой он переживал годы; мир, полный терпеливой

любви, окружал его; больной от надежды, растерянный, улыбающийся, Гнор,

стоя, ждал - и ожидание мертвило его.

Рука, откинувшая портьеру, сделала то, что было выше сил Гнора; он

бросился вперед и остановился, отступил назад и стал нем; все последующее

навеки поработило его память. Та же, та самая, что много лет назад играла

ему первую половину старинной песенки, вошла в комнату. Ее лицо выделилось

и удесятерилось Гнору; он взял ее за плечи, не помня себя, забыв, что

сказал; звук собственного голоса казался ему диким и слабым, и с криком, с

невыразимым отчаянием счастья, берущего глухо и слепо первую, еще тягостную

от рыданий ласку, он склонился к ногам Кармен, обнимая их ревнивым кольцом

вздрагивающих измученных рук. Сквозь шелк платья нежное тепло колен

прильнуло к его щеке; он упивался им, крепче прижимал голову и, с мокрым от

бешеных слез лицом, молчал, потерянный для всего.

Маленькие мягкие руки уперлись ему в голову, оттолкнули ее, схватили и

обняли.

- Гнор, мой дорогой, мой мальчик, - услышал он после вечности

блаженной тоски. - Ты ли это? Я ждала тебя, ждала долго-долго, и ты пришел.

- Молчи, - сказал Гнор, - дай умереть мне здесь, у твоих ног. Я не

могу удержать слез, прости меня. Что было со мной? Сон? Нет, хуже. Я еще не

хочу видеть твоего взгляда, Кармен; не подымай меня, мне хорошо так, я был

твой всегда.

Тоненькая, высокая девушка нагнулась к целующему ее платье человеку.

Мгновенно и чудесно изменилось ее лицо: прекрасное раньше, оно было теперь

более чем прекрасным, - радостным, страстно живущим лицом женщины. Как

дети, сели они на полу, не замечая этого, сжимая руки, глядя друг другу в

лицо, и все, чем жили оба до встречи, стало для них пустым.

- Гнор, куда уходил ты, где твоя жизнь? Я не слышу, не чувствую ее...

Ведь она моя, с первой до последней минуты... Что было с тобой?

Гнор поднял девушку высоко на руках, прижимая к себе, целуя в глаза и

губы; тонкие сильные руки ее держали его голову, не отрываясь, притягивая к

темным глазам.

- Кармен, - сказал Гнор, - настало время доиграть арию. Я шел к тебе

долгим любящим усилием; возьми меня, лиши жизни, сделай, что хочешь, - я

дожил свое. Смотри на меня, Кармен, смотри и запомни. Я не тот, ты та же;

но выправится моя душа - и в первое же раннее утро не будет нашей разлуки.

Ее покроет любовь. Не спрашивай; потом, когда схлынет это безумие - безумие

твоих колен, твоего тела, тебя, твоих глаз и слов, первых слов за восемь

лет, - я расскажу тебе сказку - и ты поплачешь. Не надо плакать теперь.

Пусть все живут так. Вчера ты играла мне, а сегодня я видел сон, что мы

никогда больше не встретимся. Я поседел от этого сна - значит, люблю. Это

ты, ты!..

Их слезы смешались еще раз - завидные, редкие слезы - и тогда,

медленно отстранив девушку, Гнор первый раз, улыбаясь, посмотрел в ее

кинувшееся к нему, бледное от долгих призывов, тоскующее, родное лицо.

- Как мог я жить без тебя, - сказал Гнор, - теперь я не пойму этого.

- Я никогда не думала, что ты умер.

- Ты жила в моем сердце. Мы будем всегда вместе. Я не отойду от тебя

на шаг. - Он поцеловал ее ресницы; они были мокрые, милые и соленые. - Не

спрашивай ни о чем, я еще не владею собой. Я забыл все, что хотел сказать

тебе, идя сюда. Вот еще немного слез, это последние. Я счастлив... но не

надо об этом думать. Простим жизни, Кармен; она - нищая перед нами. Дай мне

обнять тебя. Вот так. И молчи.

Около того времени, но, стало быть, немного позже описанной нами

сцены, по улице шел прохожий - гладко выбритый господин с живыми глазами;

внимание его было привлечено звуками музыки. В глубине большого высокого

дома неизвестный музыкант играл на рояле вторую половину арии, хорошо

известной прохожему. Прохожий остановился, как останавливаются, придираясь

к первому случаю, малозанятые люди, послушал немного и пошел далее, напевая

вполголоса эту же песенку:

Забвенье - печальный, обманчивый звук,

Понятный лишь только в могиле;

Ни радости прошлой, ни счастья, ни мук

Предать мы забвенью не в силе.

Что в душу запало - останется в ней:

Ни моря нет глубже, ни бездны темней.

Алые паруса

Феерия   
 Нине Николаевне Грин подносит и посвящает   
 Автор Пбг, 23 ноября 1922 г.   
 I ПРЕДСКАЗАНИЕ   
 Лонгрен, матрос "Ориона", крепкого трехсоттонного брига, на котором он прослужил десять лет и к которому был привязан сильнее, чем иной сын к родной матери, должен был, наконец, покинуть службу.   
 Это произошло так. В одно из его редких возвращений домой, он не увидел, как всегда еще издали, на пороге дома свою жену Мери, всплескивающую руками, а затем бегущую навстречу до потери дыхания. Вместо нее, у детской кроватки -- нового предмета в маленьком доме Лонгрена -- стояла взволнованная соседка.   
 -- Три месяца я ходила за нею, старик, -- сказала она, -- посмотри на свою дочь.   
 Мертвея, Лонгрен наклонился и увидел восьмимесячное существо, сосредоточенно взиравшее на его длинную бороду, затем сел, потупился и стал крутить ус. Ус был мокрый, как от дождя.   
 -- Когда умерла Мери? -- спросил он.   
 Женщина рассказала печальную историю, перебивая рассказ умильным гульканием девочке и уверениями, что Мери в раю. Когда Лонгрен узнал подробности, рай показался ему немного светлее дровяного сарая, и он подумал, что огонь простой лампы -- будь теперь они все вместе, втроем -- был бы для ушедшей в неведомую страну женщины незаменимой отрадой.   
 Месяца три назад хозяйственные дела молодой матери были совсем плохи. Из денег, оставленных Лонгреном, добрая половина ушла на лечение после трудных родов, на заботы о здоровье новорожденной; наконец, потеря небольшой, но необходимой для жизни суммы заставила Мери попросить в долг денег у Меннерса. Меннерс держал трактир, лавку и считался состоятельным человеком.   
 Мери пошла к нему в шесть часов вечера. Около семи рассказчица встретила ее на дороге к Лиссу. Заплаканная и расстроенная Мери сказала, что идет в город заложить обручальное кольцо. Она прибавила, что Меннерс соглашался дать денег, но требовал за это любви. Мери ничего не добилась.   
 -- У нас в доме нет даже крошки съестного, -- сказала она соседке. -- Я схожу в город, и мы с девочкой перебьемся как-нибудь до возвращения мужа.   
 В этот вечер была холодная, ветреная погода; рассказчица напрасно уговаривала молодую женщину не ходить в Лисе к ночи. "Ты промокнешь, Мери, накрапывает дождь, а ветер, того и гляди, принесет ливень".   
 Взад и вперед от приморской деревни в город составляло не менее трех часов скорой ходьбы, но Мери не послушалась советов рассказчицы. "Довольно мне колоть вам глаза, -- сказала она, -- и так уж нет почти ни одной семьи, где я не взяла бы в долг хлеба, чаю или муки. Заложу колечко, и кончено". Она сходила, вернулась, а на другой день слегла в жару и бреду; непогода и вечерняя изморось сразила ее двухсторонним воспалением легких, как сказал городской врач, вызванный добросердной рассказчицей. Через неделю на двуспальной кровати Лонгрена осталось пустое место, а соседка переселилась в его дом нянчить и кормить девочку. Ей, одинокой вдове, это было не трудно. К тому же, -- прибавила она, -- без такого несмышленыша скучно.   
 Лонгрен поехал в город, взял расчет, простился с товарищами и стал растить маленькую Ассоль. Пока девочка не научилась твердо ходить, вдова жила у матроса, заменяя сиротке мать, но лишь только Ассоль перестала падать, занося ножку через порог, Лонгрен решительно объявил, что теперь он будет сам все делать для девочки, и, поблагодарив вдову за деятельное сочувствие, зажил одинокой жизнью вдовца, сосредоточив все помыслы, надежды, любовь и воспоминания на маленьком существе.   
 Десять лет скитальческой жизни оставили в его руках очень немного денег. Он стал работать. Скоро в городских магазинах появились его игрушки -- искусно сделанные маленькие модели лодок, катеров, однопалубных и двухпалубных парусников, крейсеров, пароходов -- словом, того, что он близко знал, что, в силу характера работы, отчасти заменяло ему грохот портовой жизни и живописный труд плаваний. Этим способом Лонгрен добывал столько, чтобы жить в рамках умеренной экономии. Малообщительный по натуре, он, после смерти жены, стал еще замкнутее и нелюдимее. По праздникам его иногда видели в трактире, но он никогда не присаживался, а торопливо выпивал за стойкой стакан водки и уходил, коротко бросая по сторонам "да", "нет", "здравствуйте", "прощай", "помаленьку" -- на все обращения и кивки соседей. Гостей он не выносил, тихо спроваживая их не силой, но такими намеками и вымышленными обстоятельствами, что посетителю не оставалось ничего иного, как выдумать причину, не позволяющую сидеть дольше.   
 Сам он тоже не посещал никого; таким образом меж ним и земляками легло холодное отчуждение, и будь работа Лонгрена -- игрушки -- менее независима от дел деревни, ему пришлось бы ощутительнее испытать на себе последствия таких отношений. Товары и съестные припасы он закупал в городе -- Меннерс не мог бы похвастаться даже коробкой спичек, купленной у него Лонгреном. Он делал также сам всю домашнюю работу и терпеливо проходил несвойственное мужчине сложное искусство ращения девочки.   
 Ассоль было уже пять лет, и отец начинал все мягче и мягче улыбаться, посматривая на ее нервное, доброе личико, когда, сидя у него на коленях, она трудилась над тайной застегнутого жилета или забавно напевала матросские песни -- дикие ревостишия. В передаче детским голосом и не везде с буквой "р" эти песенки производили впечатление танцующего медведя, украшенного голубой ленточкой. В это время произошло событие, тень которого, павшая на отца, укрыла и дочь.   
 Была весна, ранняя и суровая, как зима, но в другом роде. Недели на три припал к холодной земле резкий береговой норд.   
 Рыбачьи лодки, повытащенные на берег, образовали на белом песке длинный ряд темных килей, напоминающих хребты громадных рыб. Никто не отваживался заняться промыслом в такую погоду. На единственной улице деревушки редко можно было увидеть человека, покинувшего дом; холодный вихрь, несшийся с береговых холмов в пустоту горизонта, делал "открытый воздух" суровой пыткой. Все трубы Каперны дымились с утра до вечера, трепля дым по крутым крышам.   
 Но эти дни норда выманивали Лонгрена из его маленького теплого дома чаще, чем солнце, забрасывающее в ясную погоду море и Каперну покрывалами воздушного золота. Лонгрен выходил на мостик, настланный по длинным рядам свай, где, на самом конце этого дощатого мола, подолгу курил раздуваемую ветром трубку, смотря, как обнаженное у берегов дно дымилось седой пеной, еле поспевающей за валами, грохочущий бег которых к черному, штормовому горизонту наполнял пространство стадами фантастических гривастых существ, несущихся в разнузданном свирепом отчаянии к далекому утешению. Стоны и шумы, завывающая пальба огромных взлетов воды и, казалось, видимая струя ветра, полосующего окрестность, -- так силен был его ровный пробег, -- давали измученной душе Лонгрена ту притупленность, оглушенность, которая, низводя горе к смутной печали, равна действием глубокому сну.   
 В один из таких дней двенадцатилетний сын Меннерса, Хин, заметив, что отцовская лодка бьется под мостками о сваи, ломая борта, пошел и сказал об этом отцу. Шторм начался недавно; Меннерс забыл вывести лодку на песок. Он немедленно отправился к воде, где увидел на конце мола, спиной к нему стоявшего, куря, Лонгрена. На берегу, кроме их двух, никого более не было. Меннерс прошел по мосткам до середины, спустился в бешено-плещущую воду и отвязал шкот; стоя в лодке, он стал пробираться к берегу, хватаясь руками за сваи. Весла он не взял, и в тот момент, когда, пошатнувшись, упустил схватиться за очередную сваю, сильный удар ветра швырнул нос лодки от мостков в сторону океана. Теперь даже всей длиной тела Меннерс не мог бы достичь самой ближайшей сваи. Ветер и волны, раскачивая, несли лодку в гибельный простор. Сознав положение, Меннерс хотел броситься в воду, чтобы плыть к берегу, но решение его запоздало, так как лодка вертелась уже недалеко от конца мола, где значительная глубина воды и ярость валов обещали верную смерть. Меж Лонгреном и Меннерсом, увлекаемым в штормовую даль, было не больше десяти сажен еще спасительного расстояния, так как на мостках под рукой у Лонгрена висел сверток каната с вплетенным в один его конец грузом. Канат этот висел на случай причала в бурную погоду и бросался с мостков.   
 -- Лонгрен! -- закричал смертельно перепуганный Меннерс. -- Что же ты стал, как пень? Видишь, меня уносит; брось причал!   
 Лонгрен молчал, спокойно смотря на метавшегося в лодке Меннерса, только его трубка задымила сильнее, и он, помедлив, вынул ее из рта, чтобы лучше видеть происходящее.   
 -- Лонгрен! -- взывал Меннерс. -- Ты ведь слышишь меня, я погибаю, спаси!   
 Но Лонгрен не сказал ему ни одного слова; казалось, он не слышал отчаянного вопля. Пока не отнесло лодку так далеко, что еле долетали слова-крики Меннерса, он не переступил даже с ноги на ногу. Меннерс рыдал от ужаса, заклинал матроса бежать к рыбакам, позвать помощь, обещал деньги, угрожал и сыпал проклятиями, но Лонгрен только подошел ближе к самому краю мола, чтобы не сразу потерять из вида метания и скачки лодки. "Лонгрен, -- донеслось к нему глухо, как с крыши -- сидящему внутри дома, -- спаси!" Тогда, набрав воздуха и глубоко вздохнув, чтобы не потерялось в ветре ни одного слова, Лонгрен крикнул: -- Она так же просила тебя! Думай об этом, пока еще жив, Меннерс, и не забудь!   
 Тогда крики умолкли, и Лонгрен пошел домой. Ассоль, проснувшись, увидела, что отец сидит пред угасающей лампой в глубокой задумчивости. Услышав голос девочки, звавшей его, он подошел к ней, крепко поцеловал и прикрыл сбившимся одеялом.   
 -- Спи, милая, -- сказал он, -- до утра еще далеко.   
 -- Что ты делаешь?   
 -- Черную игрушку я сделал, Ассоль, -- спи!   
 На другой день только и разговоров было у жителей Каперны, что о пропавшем Меннерсе, а на шестой день привезли его самого, умирающего и злобного. Его рассказ быстро облетел окрестные деревушки. До вечера носило Меннерса; разбитый сотрясениями о борта и дно лодки, за время страшной борьбы с свирепостью волн, грозивших, не уставая, выбросить в море обезумевшего лавочника, он был подобран пароходом "Лукреция", шедшим в Кассет. Простуда и потрясение ужаса прикончили дни Меннерса. Он прожил немного менее сорока восьми часов, призывая на Лонгрена все бедствия, возможные на земле и в воображении. Рассказ Меннерса, как матрос следил за его гибелью, отказав в помощи, красноречивый тем более, что умирающий дышал с трудом и стонал, поразил жителей Каперны. Не говоря уже о том, что редкий из них способен был помнить оскорбление и более тяжкое, чем перенесенное Лонгреном, и горевать так сильно, как горевал он до конца жизни о Мери, -- им было отвратительно, непонятно, поражало их, что Лонгрен молчал. Молча, до своих последних слов, посланных вдогонку Меннерсу, Лонгрен стоял; стоял неподвижно, строго и тихо, как судья, выказав глубокое презрение к Меннерсу -- большее, чем ненависть, было в его молчании, и это все чувствовали. Если бы он кричал, выражая жестами или суетливостью злорадства, или еще чем иным свое торжество при виде отчаяния Меннерса, рыбаки поняли бы его, но он поступил иначе, чем поступали они -- поступил внушительно, непонятно и этим поставил себя выше других, словом, сделал то, чего не прощают. Никто более не кланялся ему, не протягивал руки, не бросал узнающего, здоровающегося взгляда. Совершенно навсегда остался он в стороне от деревенских дел; мальчишки, завидев его, кричали вдогонку: "Лонгрен утопил Меннерса!". Он не обращал на это внимания. Так же, казалось, он не замечал и того, что в трактире или на берегу, среди лодок, рыбаки умолкали в его присутствии, отходя в сторону, как от зачумленного. Случай с Меннерсом закрепил ранее неполное отчуждение. Став полным, оно вызвало прочную взаимную ненависть, тень которой пала и на Ассоль.   
 Девочка росла без подруг. Два-три десятка детей ее возраста, живших в Каперне, пропитанной, как губка водой, грубым семейным началом, основой которого служил непоколебимый авторитет матери и отца, переимчивые, как все дети в мире, вычеркнули раз -- навсегда маленькую Ассоль из сферы своего покровительства и внимания. Совершилось это, разумеется, постепенно, путем внушения и окриков взрослых приобрело характер страшного запрета, а затем, усиленное пересудами и кривотолками, разрослось в детских умах страхом к дому матроса.   
 К тому же замкнутый образ жизни Лонгрена освободил теперь истерический язык сплетни; про матроса говаривали, что он где-то кого-то убил, оттого, мол, его больше не берут служить на суда, а сам он мрачен и нелюдим, потому что "терзается угрызениями преступной совести". Играя, дети гнали Ассоль, если она приближалась к ним, швыряли грязью и дразнили тем, что будто отец ее ел человеческое мясо, а теперь делает фальшивые деньги. Одна за другой, наивные ее попытки к сближению оканчивались горьким плачем, синяками, царапинами и другими проявлениями общественного мнения; она перестала, наконец, оскорбляться, но все еще иногда спрашивала отца: -- "Скажи, почему нас не любят?" -- "Э, Ассоль, -- говорил Лонгрен, -- разве они умеют любить? Надо уметь любить, а этого-то они не могут". -- "Как это -- уметь?" -- "А вот так!" Он брал девочку на руки и крепко целовал грустные глаза, жмурившиеся от нежного удовольствия.   
 Любимым развлечением Ассоль было по вечерам или в праздник, когда отец, отставив банки с клейстером, инструменты и неоконченную работу, садился, сняв передник, отдохнуть, с трубкой в зубах, -- забраться к нему на колени и, вертясь в бережном кольце отцовской руки, трогать различные части игрушек, расспрашивая об их назначении. Так начиналась своеобразная фантастическая лекция о жизни и людях -- лекция, в которой, благодаря прежнему образу жизни Лонгрена, случайностям, случаю вообще, -- диковинным, поразительным и необыкновенным событиям отводилось главное место. Лонгрен, называя девочке имена снастей, парусов, предметов морского обихода, постепенно увлекался, переходя от объяснений к различным эпизодам, в которых играли роль то брашпиль, то рулевое колесо, то мачта или какой-нибудь тип лодки и т. п., а от отдельных иллюстраций этих переходил к широким картинам морских скитаний, вплетая суеверия в действительность, а действительность -- в образы своей фантазии. Тут появлялась и тигровая кошка, вестница кораблекрушения, и говорящая летучая рыба, не послушаться приказаний которой значило сбиться с курса, и Летучий Голландец с неистовым своим экипажем; приметы, привидения, русалки, пираты -- словом, все басни, коротающие досуг моряка в штиле или излюбленном кабаке. Рассказывал Лонгрен также о потерпевших крушение, об одичавших и разучившихся говорить людях, о таинственных кладах, бунтах каторжников и многом другом, что выслушивалось девочкой внимательнее, чем может быть слушался в первый раз рассказ Колумба о новом материке. -- "Ну, говори еще", -- просила Ассоль, когда Лонгрен, задумавшись, умолкал, и засыпала на его груди с головой, полной чудесных снов.   
 Также служило ей большим, всегда материально существенным удовольствием появление приказчика городской игрушечной лавки, охотно покупавшей работу Лонгрена. Чтобы задобрить отца и выторговать лишнее, приказчик захватывал с собой для девочки пару яблок, сладкий пирожок, горсть орехов. Лонгрен обыкновенно просил настоящую стоимость из нелюбви к торгу, а приказчик сбавлял. -- "Эх, вы, -- говорил Лонгрен, -- да я неделю сидел над этим ботом. -- Бот был пятивершковый. -- Посмотри, что за прочность, а осадка, а доброта? Бот этот пятнадцать человек выдержит в любую погоду". Кончалось тем, что тихая возня девочки, мурлыкавшей над своим яблоком, лишала Лонгрена стойкости и охоты спорить; он уступал, а приказчик, набив корзину превосходными, прочными игрушками, уходил, посмеиваясь в усы. Всю домовую работу Лонгрен исполнял сам: колол дрова, носил воду, топил печь, стряпал, стирал, гладил белье и, кроме всего этого, успевал работать для денег. Когда Ассоль исполнилось восемь лет, отец выучил ее читать и писать. Он стал изредка брать ее с собой в город, а затем посылать даже одну, если была надобность перехватить денег в магазине или снести товар. Это случалось не часто, хотя Лисе лежал всего в четырех верстах от Каперны, но дорога к нему шла лесом, а в лесу многое может напугать детей, помимо физической опасности, которую, правда, трудно встретить на таком близком расстоянии от города, но все-таки не мешает иметь в виду. Поэтому только в хорошие дни, утром, когда окружающая дорогу чаща полна солнечным ливнем, цветами и тишиной, так что впечатлительности Ассоль не грозили фантомы воображения, Лонгрен отпускал ее в город.   
 Однажды, в середине такого путешествия к городу, девочка присела у дороги съесть кусок пирога, положенного в корзинку на завтрак. Закусывая, она перебирала игрушки; из них две-три оказались новинкой для нее: Лонгрен сделал их ночью. Одна такая новинка была миниатюрной гоночной яхтой; белое суденышко подняло алые паруса, сделанные из обрезков шелка, употреблявшегося Лонгреном для оклейки пароходных кают -- игрушек богатого покупателя. Здесь, видимо, сделав яхту, он не нашел подходящего материала для паруса, употребив что было -- лоскутки алого шелка. Ассоль пришла в восхищение. Пламенный веселый цвет так ярко горел в ее руке, как будто она держала огонь. Дорогу пересекал ручей, с переброшенным через него жердяным мостиком; ручей справа и слева уходил в лес. "Если я спущу ее на воду поплавать немного, размышляла Ассоль, -- она ведь не промокнет, я ее потом вытру". Отойдя в лес за мостик, по течению ручья, девочка осторожно спустила на воду у самого берега пленившее ее судно; паруса тотчас сверкнули алым отражением в прозрачной воде: свет, пронизывая материю, лег дрожащим розовым излучением на белых камнях дна. -- "Ты откуда приехал, капитан? -- важно спросила Ассоль воображенное лицо и, отвечая сама себе, сказала: -- Я приехал" приехал... приехал я из Китая. -- А что ты привез? -- Что привез, о том не скажу. -- Ах, ты так, капитан! Ну, тогда я тебя посажу обратно в корзину". Только что капитан приготовился смиренно ответить, что он пошутил и что готов показать слона, как вдруг тихий отбег береговой струи повернул яхту носом к середине ручья, и, как настоящая, полным ходом покинув берег, она ровно поплыла вниз. Мгновенно изменился масштаб видимого: ручей казался девочке огромной рекой, а яхта -- далеким, большим судном, к которому, едва не падая в воду, испуганная и оторопевшая, протягивала она руки. "Капитан испугался", -- подумала она и побежала за уплывающей игрушкой, надеясь, что ее где-нибудь прибьет к берегу. Поспешно таща не тяжелую, но мешающую корзинку, Ассоль твердила: -- "Ах, господи! Ведь случись же..." -- Она старалась не терять из вида красивый, плавно убегающий треугольник парусов, спотыкалась, падала и снова бежала.   
 Ассоль никогда не бывала так глубоко в лесу, как теперь. Ей, поглощенной нетерпеливым желанием поймать игрушку, не смотрелось по сторонам; возле берега, где она суетилась, было довольно препятствий, занимавших внимание. Мшистые стволы упавших деревьев, ямы, высокий папоротник, шиповник, жасмин и орешник мешали ей на каждом шагу; одолевая их, она постепенно теряла силы, останавливаясь все чаще и чаще, чтобы передохнуть или смахнуть с лица липкую паутину. Когда потянулись, в более широких местах, осоковые и тростниковые заросли, Ассоль совсем было потеряла из вида алое сверкание парусов, но, обежав излучину течения, снова увидела их, степенно и неуклонно бегущих прочь. Раз она оглянулась, и лесная громада с ее пестротой, переходящей от дымных столбов света в листве к темным расселинам дремучего сумрака, глубоко поразила девочку. На мгновение оробев, она вспомнила вновь об игрушке и, несколько раз выпустив глубокое "ф-ф-у-уу", побежала изо всех сил.   
 В такой безуспешной и тревожной погоне прошло около часу, когда с удивлением, но и с облегчением Ассоль увидела, что деревья впереди свободно раздвинулись, пропустив синий разлив моря, облака и край желтого песчаного обрыва, на который она выбежала, почти падая от усталости. Здесь было устье ручья; разлившись нешироко и мелко, так что виднелась струящаяся голубизна камней, он пропадал в встречной морской волне. С невысокого, изрытого корнями обрыва Ассоль увидела, что у ручья, на плоском большом камне, спиной к ней, сидит человек, держа в руках сбежавшую яхту, и всесторонне рассматривает ее с любопытством слона, поймавшего бабочку. Отчасти успокоенная тем, что игрушка цела, Ассоль сползла по обрыву и, близко подойдя к незнакомцу, воззрилась на него изучающим взглядом, ожидая, когда он подымет голову. Но неизвестный так погрузился в созерцание лесного сюрприза, что девочка успела рассмотреть его с головы до ног, установив, что людей, подобных этому незнакомцу, ей видеть еще ни разу не приходилось.   
 Но перед ней был не кто иной, как путешествующий пешком Эгль, известный собиратель песен, легенд, преданий и сказок. Седые кудри складками выпадали из-под его соломенной шляпы; серая блуза, заправленная в синие брюки, и высокие сапоги придавали ему вид охотника; белый воротничок, галстук, пояс, унизанный серебром блях, трость и сумка с новеньким никелевым замочком -- выказывали горожанина. Его лицо, если можно назвать лицом нос, губы и глаза, выглядывавшие из бурно разросшейся лучистой бороды и пышных, свирепо взрогаченных вверх усов, казалось бы вялопрозрачным, если бы не глаза, серые, как песок, и блестящие, как чистая сталь, с взглядом смелым и сильным.   
 -- Теперь отдай мне, -- несмело сказала девочка. -- Ты уже поиграл. Ты как поймал ее?   
 Эгль поднял голову, уронив яхту, -- так неожиданно прозвучал взволнованный голосок Ассоль. Старик с минуту разглядывал ее, улыбаясь и медленно пропуская бороду в большой, жилистой горсти. Стиранное много раз ситцевое платье едва прикрывало до колен худенькие, загорелые ноги девочки. Ее темные густые волосы, забранные в кружевную косынку, сбились, касаясь плеч. Каждая черта Ассоль была выразительно легка и чиста, как полет ласточки. Темные, с оттенком грустного вопроса глаза казались несколько старше лица; его неправильный мягкий овал был овеян того рода прелестным загаром, какой присущ здоровой белизне кожи. Полураскрытый маленький рот блестел кроткой улыбкой.   
 -- Клянусь Гриммами, Эзопом и Андерсеном, -- сказал Эгль, посматривая то на девочку, то на яхту. -- Это что-то особенное. Слушай-ка ты, растение! Это твоя штука?   
 -- Да, я за ней бежала по всему ручью; я думала, что умру. Она была тут?   
 -- У самых моих ног. Кораблекрушение причиной того, что я, в качестве берегового пирата, могу вручить тебе этот приз. Яхта, покинутая экипажем, была выброшена на песок трехвершковым валом -- между моей левой пяткой и оконечностью палки. -- Он стукнул тростью. -- Как зовут тебя, крошка?   
 -- Ассоль, -- сказала девочка, пряча в корзину поданную Эглем игрушку.   
 -- Хорошо, -- продолжал непонятную речь старик, не сводя глаз, в глубине которых поблескивала усмешка дружелюбного расположения духа. -- Мне, собственно, не надо было спрашивать твое имя. Хорошо, что оно так странно, так однотонно, музыкально, как свист стрелы или шум морской раковины: что бы я стал делать, называйся ты одним из тех благозвучных, но нестерпимо привычных имен, которые чужды Прекрасной Неизвестности? Тем более я не желаю знать, кто ты, кто твои родители и как ты живешь. К чему нарушать очарование? Я занимался, сидя на этом камне, сравнительным изучением финских и японских сюжетов... как вдруг ручей выплеснул эту яхту, а затем появилась ты... Такая, как есть. Я, милая, поэт в душе -- хоть никогда не сочинял сам. Что у тебя в корзинке?   
 -- Лодочки, -- сказала Ассоль, встряхивая корзинкой, -- потом пароход да еще три таких домика с флагами. Там солдаты живут.   
 -- Отлично. Тебя послали продать. По дороге ты занялась игрой. Ты пустила яхту поплавать, а она сбежала -- ведь так?   
 -- Ты разве видел? -- с сомнением спросила Ассоль, стараясь вспомнить, не рассказала ли она это сама. -- Тебе кто-то сказал? Или ты угадал?   
 -- Я это знал. -- А как же?   
 -- Потому что я -- самый главный волшебник. Ассоль смутилась: ее напряжение при этих словах Эгля переступило границу испуга. Пустынный морской берег, тишина, томительное приключение с яхтой, непонятная речь старика с сверкающими глазами, величественность его бороды и волос стали казаться девочке смешением сверхъестественного с действительностью. Сострой теперь Эгль гримасу или закричи что-нибудь -- девочка помчалась бы прочь, заплакав и изнемогая от страха. Но Эгль, заметив, как широко раскрылись ее глаза, сделал крутой вольт.   
 -- Тебе нечего бояться меня, -- серьезно сказал он. -- Напротив, мне хочется поговорить с тобой по душе. -- Тут только он уяснил себе, что в лице девочки было так пристально отмечено его впечатлением. "Невольное ожидание прекрасного, блаженной судьбы, -- решил он. -- Ах, почему я не родился писателем? Какой славный сюжет".   
 -- Ну-ка, -- продолжал Эгль, стараясь закруглить оригинальное положение (склонность к мифотворчеству -- следствие всегдашней работы -- было сильнее, чем опасение бросить на неизвестную почву семена крупной мечты), -- ну-ка, Ассоль, слушай меня внимательно. Я был в той деревне -- откуда ты, должно быть, идешь, словом, в Каперне. Я люблю сказки и песни, и просидел я в деревне той целый день, стараясь услышать что-нибудь никем не слышанное. Но у вас не рассказывают сказок. У вас не поют песен. А если рассказывают и поют, то, знаешь, эти истории о хитрых мужиках и солдатах, с вечным восхвалением жульничества, эти грязные, как немытые ноги, грубые, как урчание в животе, коротенькие четверостишия с ужасным мотивом... Стой, я сбился. Я заговорю снова. Подумав, он продолжал так: -- Не знаю, сколько пройдет лет, -- только в Каперне расцветет одна сказка, памятная надолго. Ты будешь большой, Ассоль. Однажды утром в морской дали под солнцем сверкнет алый парус. Сияющая громада алых парусов белого корабля двинется, рассекая волны, прямо к тебе. Тихо будет плыть этот чудесный корабль, без криков и выстрелов; на берегу много соберется народу, удивляясь и ахая: и ты будешь стоять там Корабль подойдет величественно к самому берегу под звуки прекрасной музыки; нарядная, в коврах, в золоте и цветах, поплывет от него быстрая лодка. -- "Зачем вы приехали? Кого вы ищете?" -- спросят люди на берегу. Тогда ты увидишь храброго красивого принца; он будет стоять и протягивать к тебе руки. -- "Здравствуй, Ассоль! -- скажет он. -- Далеко-далеко отсюда я увидел тебя во сне и приехал, чтобы увезти тебя навсегда в свое царство. Ты будешь там жить со мной в розовой глубокой долине. У тебя будет все, чего только ты пожелаешь; жить с тобой мы станем так дружно и весело, что никогда твоя душа не узнает слез и печали". Он посадит тебя в лодку, привезет на корабль, и ты уедешь навсегда в блистательную страну, где всходит солнце и где звезды спустятся с неба, чтобы поздравить тебя с приездом.   
 -- Это все мне? -- тихо спросила девочка. Ее серьезные глаза, повеселев, просияли доверием. Опасный волшебник, разумеется, не стал бы говорить так; она подошла ближе. -- Может быть, он уже пришел... тот корабль?   
 -- Не так скоро, -- возразил Эгль, -- сначала, как я сказал, ты вырастешь. Потом... Что говорить? -- это будет, и кончено. Что бы ты тогда сделала?   
 -- Я? -- Она посмотрела в корзину, но, видимо, не нашла там ничего достойного служить веским вознаграждением. -- Я бы его любила, -- поспешно сказала она, и не совсем твердо прибавила: -- если он не дерется.   
 -- Нет, не будет драться, -- сказал волшебник, таинственно подмигнув, -- не будет, я ручаюсь за это. Иди, девочка, и не забудь того, что сказал тебе я меж двумя глотками ароматической водки и размышлением о песнях каторжников. Иди. Да будет мир пушистой твоей голове!   
 Лонгрен работал в своем маленьком огороде, окапывая картофельные кусты. Подняв голову, он увидел Ассоль, стремглав бежавшую к нему с радостным и нетерпеливым лицом.   
 -- Ну, вот ... -- сказала она, силясь овладеть дыханием, и ухватилась обеими руками за передник отца. -- Слушай, что я тебе расскажу... На берегу, там, далеко, сидит волшебник... Она начала с волшебника и его интересного предсказания. Горячка мыслей мешала ей плавно передать происшествие. Далее шло описание наружности волшебника и -- в обратном порядке -- погоня за упущенной яхтой.   
 Лонгрен выслушал девочку, не перебивая, без улыбки, и, когда она кончила, воображение быстро нарисовало ему неизвестного старика с ароматической водкой в одной руке и игрушкой в другой. Он отвернулся, но, вспомнив, что в великих случаях детской жизни подобает быть человеку серьезным и удивленным, торжественно закивал головой, приговаривая: -- Так, так; по всем приметам, некому иначе и быть, как волшебнику. Хотел бы я на него посмотреть... Но ты, когда пойдешь снова, не сворачивай в сторону; заблудиться в лесу нетрудно.

Бросив лопату, он сел к низкому хворостяному забору и посадил девочку на колени. Страшно усталая, она пыталась еще прибавить кое-какие подробности, но жара, волнение и слабость клонили ее в сон. Глаза ее слипались, голова опустилась на твердое отцовское плечо, мгновение -- и она унеслась бы в страну сновидений, как вдруг, обеспокоенная внезапным сомнением, Ассоль села прямо, с закрытыми глазами и, упираясь кулачками в жилет Лонгрена, громко сказала: -- Ты как думаешь, придет волшебниковый корабль за мной или нет?   
 -- Придет, -- спокойно ответил матрос, -- раз тебе это сказали, значит все верно.   
 "Вырастет, забудет, -- подумал он, -- а пока... не стоит отнимать у тебя такую игрушку. Много ведь придется в будущем увидеть тебе не алых, а грязных и хищных парусов: издали -- нарядных и белых, вблизи -- рваных и наглых. Проезжий человек пошутил с моей девочкой. Что ж?! Добрая шутка! Ничего -- шутка! Смотри, как сморило тебя, -- полдня в лесу, в чаще. А насчет алых парусов думай, как я: будут тебе алые паруса".   
 Ассоль спала. Лонгрен, достав свободной рукой трубку, закурил, и ветер пронес дым сквозь плетень, в куст, росший с внешней стороны огорода. У куста, спиной к забору, прожевывая пирог, сидел молодой нищий. Разговор отца с дочерью привел его в веселое настроение, а запах хорошего табаку настроил добычливо. -- Дай, хозяин, покурить бедному человеку, -- сказал он сквозь прутья. -- Мой табак против твоего не табак, а, можно сказать, отрава.   
 -- Я бы дал, -- вполголоса ответил Лонгрен, -- но табак у меня в том кармане. Мне, видишь, не хочется будить дочку.   
 -- Вот беда! Проснется, опять уснет, а прохожий человек взял да и покурил.   
 -- Ну, -- возразил Лонгрен, -- ты не без табаку все-таки, а ребенок устал. Зайди, если хочешь, попозже.   
 Нищий презрительно сплюнул, вздел на палку мешок и разъяснил: -- Принцесса, ясное дело. Вбил ты ей в голову эти заморские корабли! Эх ты, чудак-чудаковский, а еще хозяин!   
 -- Слушай-ка, -- шепнул Лонгрен, -- я, пожалуй, разбужу ее, но только затем, чтобы намылить твою здоровенную шею. Пошел вон!   
 Через полчаса нищий сидел в трактире за столом с дюжиной рыбаков. Сзади их, то дергая мужей за рукав, то снимая через их плечо стакан с водкой, -- для себя, разумеется, -- сидели рослые женщины с гнутыми бровями и руками круглыми, как булыжник. Нищий, вскипая обидой, повествовал: -- И не дал мне табаку. -- "Тебе, -- говорит, -- исполнится совершеннолетний год, а тогда, -- говорит, -- специальный красный корабль ... За тобой. Так как твоя участь выйти за принца. И тому, -- говорит, -- волшебнику -- верь". Но я говорю: -- "Буди, буди, мол, табаку-то достать". Так ведь он за мной полдороги бежал.   
 -- Кто? Что? О чем толкует? -- слышались любопытные голоса женщин. Рыбаки, еле поворачивая головы, растолковывали с усмешкой: -- Лонгрен с дочерью одичали, а может, повредились в рассудке; вот человек рассказывает. Колдун был у них, так понимать надо. Они ждут -- тетки, вам бы не прозевать! -- заморского принца, да еще под красными парусами!   
 Через три дня, возвращаясь из городской лавки, Ассоль услышала в первый раз: -- Эй, висельница! Ассоль! Посмотри-ка сюда! Красные паруса плывут!   
 Девочка, вздрогнув, невольно взглянула из-под руки на разлив моря. Затем обернулась в сторону восклицаний; там, в двадцати шагах от нее, стояла кучка ребят; они гримасничали, высовывая языки. Вздохнув, девочка побежала домой. II ГРЭЙ   
 Если Цезарь находил, что лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме, то Артур Грэй мог не завидовать Цезарю в отношении его мудрого желания. Он родился капитаном, хотел быть им и стал им.   
 Огромный дом, в котором родился Грэй, был мрачен внутри и величественен снаружи. К переднему фасаду примыкали цветник и часть парка. Лучшие сорта тюльпанов -- серебристо-голубых, фиолетовых и черных с розовой тенью -- извивались в газоне линиями прихотливо брошенных ожерелий. Старые деревья парка дремали в рассеянном полусвете над осокой извилистого ручья. Ограда замка, так как это был настоящий замок, состояла из витых чугунных столбов, соединенных железным узором. Каждый столб оканчивался наверху пышной чугунной лилией; эти чаши по торжественным дням наполнялись маслом, пылая в ночном мраке обширным огненным строем.   
 Отец и мать Грэя были надменные невольники своего положения, богатства и законов того общества, по отношению к которому могли говорить "мы". Часть их души, занятая галереей предков, мало достойна изображения, другая часть -- воображаемое продолжение галереи -- начиналась маленьким Грэем, обреченным по известному, заранее составленному плану прожить жизнь и умереть так, чтобы его портрет мог быть повешен на стене без ущерба фамильной чести. В этом плане была допущена небольшая ошибка: Артур Грэй родился с живой душой, совершенно не склонной продолжать линию фамильного начертания.   
 Эта живость, эта совершенная извращенность мальчика начала сказываться на восьмом году его жизни; тип рыцаря причудливых впечатлений, искателя и чудотворца, т. е. человека, взявшего из бесчисленного разнообразия ролей жизни самую опасную и трогательную -- роль провидения, намечался в Грэе еще тогда, когда, приставив к стене стул, чтобы достать картину, изображавшую распятие, он вынул гвозди из окровавленных рук Христа, т. е. попросту замазал их голубой краской, похищенной у маляра. В таком виде он находил картину более сносной. Увлеченный своеобразным занятием, он начал уже замазывать и ноги распятого, но был застигнут отцом. Старик снял мальчика со стула за уши и спросил: -- Зачем ты испортил картину?   
 -- Я не испортил.   
 -- Это работа знаменитого художника.   
 -- Мне все равно, -- сказал Грэй. -- Я не могу допустить, чтобы при мне торчали из рук гвозди и текла кровь. Я этого не хочу.   
 В ответе сына Лионель Грэй, скрыв под усами улыбку, узнал себя и не наложил наказания.   
 Грэй неутомимо изучал замок, делая поразительные открытия. Так, на чердаке он нашел стальной рыцарский хлам, книги, переплетенные в железо и кожу, истлевшие одежды и полчища голубей. В погребе, где хранилось вино, он получил интересные сведения относительно лафита, мадеры, хереса. Здесь, в мутном свете остроконечных окон, придавленных косыми треугольниками каменных сводов, стояли маленькие и большие бочки; самая большая, в форме плоского круга, занимала всю поперечную стену погреба, столетний темный дуб бочки лоснился как отшлифованный. Среди бочонков стояли в плетеных корзинках пузатые бутыли зеленого и синего стекла. На камнях и на земляном полу росли серые грибы с тонкими ножками: везде -- плесень, мох, сырость, кислый, удушливый запах. Огромная паутина золотилась в дальнем углу, когда, под вечер, солнце высматривало ее последним лучом. В одном месте было зарыто две бочки лучшего Аликанте, какое существовало во время Кромвеля, и погребщик, указывая Грэю на пустой угол, не упускал случая повторить историю знаменитой могилы, в которой лежал мертвец, более живой, чем стая фокстерьеров. Начиная рассказ, рассказчик не забывал попробовать, действует ли кран большой бочки, и отходил от него, видимо, с облегченным сердцем, так как невольные слезы чересчур креп кой радости блестели в его повеселевших глазах.   
 -- Ну вот что, -- говорил Польдишок Грэю, усаживаясь на пустой ящик и набивая острый нос табаком, -- видишь ты это место? Там лежит такое вино, за которое не один пьяница дал бы согласие вырезать себе язык, если бы ему позволили хватить небольшой стаканчик. В каждой бочке сто литров вещества, взрывающего душу и превращающего тело в неподвижное тесто. Его цвет темнее вишни, и оно не потечет из бутылки. Оно густо, как хорошие сливки. Оно заключено в бочки черного дерева, крепкого, как железо. На них двойные обручи красной меди. На обручах латинская надпись: "Меня выпьет Грэй, когда будет в раю". Эта надпись толковалась так пространно и разноречиво, что твой прадедушка, высокородный Симеон Грэй, построил дачу, назвал ее "Рай", и думал таким образом согласить загадочное изречение с действительностью путем невинного остроумия. Но что ты думаешь? Он умер, как только начали сбивать обручи, от разрыва сердца, -- так волновался лакомый старичок. С тех пор бочку эту не трогают. Возникло убеждение, что драгоценное вино принесет несчастье. В самом деле, такой загадки не задавал египетский сфинкс. Правда, он спросил одного мудреца: -- "Съем ли я тебя, как съедаю всех? Скажи правду, останешься жив", но и то, по зрелом размышлении...   
 -- Кажется, опять каплет из крана, -- перебивал сам себя Польдишок, косвенными шагами устремляясь в угол, где, укрепив кран, возвращался с открытым, светлым лицом. -- Да. Хорошо рассудив, а главное, не торопясь, мудрец мог бы сказать сфинксу: "Пойдем, братец, выпьем, и ты забудешь об этих глупостях". "Меня выпьет Грэй, когда будет в раю!" Как понять? Выпьет, когда умрет, что ли? Странно. Следовательно, он святой, следовательно, он не пьет ни вина, ни простой водки. Допустим, что "рай" означает счастье. Но раз так поставлен вопрос, всякое счастье утратит половину своих блестящих перышек, когда счастливец искренно спросит себя: рай ли оно? Вот то-то и штука. Чтобы с легким сердцем напиться из такой бочки и смеяться, мой мальчик, хорошо смеяться, нужно одной ногой стоять на земле, другой -- на небе. Есть еще третье предположение: что когда-нибудь Грэй допьется до блаженно-райского состояния и дерзко опустошит бочечку. Но это, мальчик, было бы не исполнение предсказания, а трактирный дебош.   
 Убедившись еще раз в исправном состоянии крана большой бочки, Польдишок сосредоточенно и мрачно заканчивал: -- Эти бочки привез в 1793 году твой предок, Джон Грэй, из Лиссабона, на корабле "Бигль"; за вино было уплачено две тысячи золотых пиастров. Надпись на бочках сделана оружейным мастером Вениамином Эльяном из Пондишери. Бочки погружены в грунт на шесть футов и засыпаны золой из виноградных стеблей. Этого вина никто не пил, не пробовал и не будет пробовать.   
 -- Я выпью его, -- сказал однажды Грэй, топнув ногой.   
 -- Вот храбрый молодой человек! -- заметил Польдишок. -- Ты выпьешь его в раю?   
 -- Конечно. Вот рай!.. Он у меня, видишь? -- Грэй тихо засмеялся, раскрыв свою маленькую руку. Нежная, но твердых очертаний ладонь озарилась солнцем, и мальчик сжал пальцы в кулак. -- Вот он, здесь!.. То тут, то опять нет...   
 Говоря это, он то раскрывал, то сжимал руку и наконец, довольный своей шуткой, выбежал, опередив Польдишока, по мрачной лестнице в коридор нижнего этажа.   
 Посещение кухни было строго воспрещено Грэю, но, раз открыв уже этот удивительный, полыхающий огнем очагов мир пара, копоти, шипения, клокотания кипящих жидкостей, стука ножей и вкусных запахов, мальчик усердно навещал огромное помещение. В суровом молчании, как жрецы, двигались повара; их белые колпаки на фоне почерневших стен придавали работе характер торжественного служения; веселые, толстые судомойки у бочек с водой мыли посуду, звеня фарфором и серебром; мальчики, сгибаясь под тяжестью, вносили корзины, полные рыб, устриц, раков и фруктов. Там на длинном столе лежали радужные фазаны, серые утки, пестрые куры: там свиная туша с коротеньким хвостом и младенчески закрытыми глазами; там -- репа, капуста, орехи, синий изюм, загорелые персики.   
 На кухне Грэй немного робел: ему казалось, что здесь всем двигают темные силы, власть которых есть главная пружина жизни замка; окрики звучали как команда и заклинание; движения работающих, благодаря долгому навыку, приобрели ту отчетливую, скупую точность, какая кажется вдохновением. Грэй не был еще так высок, чтобы взглянуть в самую большую кастрюлю, бурлившую подобно Везувию, но чувствовал к ней особенное почтение; он с трепетом смотрел, как ее ворочают две служанки; на плиту выплескивалась тогда дымная пена, и пар, поднимаясь с зашумевшей плиты, волнами наполнял кухню. Раз жидкости выплеснулось так много, что она обварила руку одной девушке. Кожа мгновенно покраснела, даже ногти стали красными от прилива крови, и Бетси (так звали служанку), плача, натирала маслом пострадавшие места. Слезы неудержимо катились по ее круглому перепутанному лицу.   
 Грэй замер. В то время, как другие женщины хлопотали около Бетси, он пережил ощущение острого чужого страдания, которое не мог испытать сам.   
 -- Очень ли тебе больно? -- спросил он.   
 -- Попробуй, так узнаешь, -- ответила Бетси, накрывая руку передником.   
 Нахмурив брови, мальчик вскарабкался на табурет, зачерпнул длинной ложкой горячей жижи (сказать кстати, это был суп с бараниной) и плеснул на сгиб кисти. Впечатление оказалось не слабым, но слабость от сильной боли заставила его пошатнуться. Бледный, как мука, Грэй подошел к Бетси, заложив горящую руку в карман штанишек.   
 -- Мне кажется, что тебе очень больно, -- сказал он, умалчивая о своем опыте. -- Пойдем, Бетси, к врачу. Пойдем же!   
 Он усердно тянул ее за юбку, в то время как сторонники домашних средств наперерыв давали служанке спасительные рецепты. Но девушка, сильно мучаясь, пошла с Грэем. Врач смягчил боль, наложив перевязку. Лишь после того, как Бетси ушла, мальчик показал свою руку. Этот незначительный эпизод сделал двадцатилетнюю Бетси и десятилетнего Грэя истинными друзьями. Она набивала его карманы пирожками и яблоками, а он рассказывал ей сказки и другое истории, вычитанные в своих книжках. Однажды он узнал, что Бетси не может выйти замуж за конюха Джима, ибо у них нет денег обзавестись хозяйством. Грэй разбил каминными щипцами свою фарфоровую копилку и вытряхнул оттуда все, что составляло около ста фунтов. Встав рано. когда бесприданница удалилась на кухню, он пробрался в ее комнату и, засунув подарок в сундук девушки, прикрыл его короткой запиской: "Бетси, это твое. Предводитель шайки разбойников Робин Гуд". Переполох, вызванный на кухне этой историей, принял такие размеры, что Грэй должен был сознаться в подлоге. Он не взял денег назад и не хотел более говорить об этом.   
 Его мать была одною из тех натур, которые жизнь отливает в готовой форме. Она жила в полусне обеспеченности, предусматривающей всякое желание заурядной души, поэтому ей не оставалось ничего делать, как советоваться с портнихами, доктором и дворецким. Но страстная, почти религиозная привязанность к своему странному ребенку была, надо полагать, единственным клапаном тех ее склонностей, захлороформированных воспитанием и судьбой, которые уже не живут, но смутно бродят, оставляя волю бездейственной. Знатная дама напоминала паву, высидевшую яйцо лебедя. Она болезненно чувствовала прекрасную обособленность сына; грусть, любовь и стеснение наполняли ее, когда она прижимала мальчика к груди, где сердце говорило другое, чем язык, привычно отражающий условные формы отношений и помышлений. Так облачный эффект, причудливо построенный солнечными лучами, проникает в симметрическую обстановку казенного здания, лишая ее банальных достоинств; глаз видит и не узнает помещения: таинственные оттенки света среди убожества творят ослепительную гармонию.   
 Знатная дама, чье лицо и фигура, казалось, могли отвечать лишь ледяным молчанием огненным голосам жизни, чья тонкая красота скорее отталкивала, чем привлекала, так как в ней чувствовалось надменное усилие воли, лишенное женственного притяжения, -- эта Лилиан Грэй, оставаясь наедине с мальчиком, делалась простой мамой, говорившей любящим, кротким тоном те самые сердечные пустяки, какие не передашь на бумаге -- их сила в чувстве, не в самих них. Она решительно не могла в чем бы то ни было отказать сыну. Она прощала ему все: пребывание в кухне, отвращение к урокам, непослушание и многочисленные причуды.   
 Если он не хотел, чтобы подстригали деревья, деревья оставались нетронутыми, если он просил простить или наградить кого-либо, заинтересованное лицо знало, что так и будет; он мог ездить на любой лошади, брать в замок любую собаку; рыться в библиотеке, бегать босиком и есть, что ему вздумается.   
 Его отец некоторое время боролся с этим, но уступил -- не принципу, а желанию жены. Он ограничился удалением из замка всех детей служащих, опасаясь, что благодаря низкому обществу прихоти мальчика превратятся в склонности, трудно-искоренимые. В общем, он был всепоглощенно занят бесчисленными фамильными процессами, начало которых терялось в эпохе возникновения бумажных фабрик, а конец -- в смерти всех кляузников. Кроме того, государственные дела, дела поместий, диктант мемуаров, выезды парадных охот, чтение газет и сложная переписка держали его в некотором внутреннем отдалении от семьи; сына он видел так редко, что иногда забывал, сколько ему лет.   
 Таким образом, Грэй жил в своем мире. Он играл один -- обыкновенно на задних дворах замка, имевших в старину боевое значение. Эти обширные пустыри, с остатками высоких рвов, с заросшими мхом каменными погребами, были полны бурьяна, крапивы, репейника, терна и скромнопестрых диких цветов. Грэй часами оставался здесь, исследуя норы кротов, сражаясь с бурьяном, подстерегая бабочек и строя из кирпичного лома крепости, которые бомбардировал палками и булыжником.   
 Ему шел уже двенадцатый год, когда все намеки его души, все разрозненные черты духа и оттенки тайных порывов соединились в одном сильном моменте и тем получив стройное выражение стали неукротимым желанием. До этого он как бы находил лишь отдельные части своего сада -- просвет, тень, цветок, дремучий и пышный ствол -- во множестве садов иных, и вдруг увидел их ясно, все -- в прекрасном, поражающем соответствии.   
 Это случилось в библиотеке. Ее высокая дверь с мутным стеклом вверху была обыкновенно заперта, но защелка замка слабо держалась в гнезде створок; надавленная рукой, дверь отходила, натуживалась и раскрывалась. Когда дух исследования заставил Грэя проникнуть в библиотеку, его поразил пыльный свет, вся сила и особенность которого заключалась в цветном узоре верхней части оконных стекол. Тишина покинутости стояла здесь, как прудовая вода. Темные ряды книжных шкапов местами примыкали к окнам, заслонив их наполовину, между шкапов были проходы, заваленные грудами книг. Там -- раскрытый альбом с выскользнувшими внутренними листами, там -- свитки, перевязанные золотым шнуром; стопы книг угрюмого вида; толстые пласты рукописей, насыпь миниатюрных томиков, трещавших, как кора, если их раскрывали; здесь -- чертежи и таблицы, ряды новых изданий, карты; разнообразие переплетов, грубых, нежных, черных, пестрых, синих, серых, толстых, тонких, шершавых и гладких. Шкапы были плотно набиты книгами. Они казались стенами, заключившими жизнь в самой толще своей. В отражениях шкапных стекол виднелись другие шкапы, покрытые бесцветно блестящими пятнами. Огромный глобус, заключенный в медный сферический крест экватора и меридиана, стоял на круглом столе.   
 Обернувшись к выходу, Грэй увидел над дверью огромную картину, сразу содержанием своим наполнившую душное оцепенение библиотеки. Картина изображала корабль, вздымающийся на гребень морского вала. Струи пены стекали по его склону. Он был изображен в последнем моменте взлета. Корабль шел прямо на зрителя. Высоко поднявшийся бугшприт заслонял основание мачт. Гребень вала, распластанный корабельным килем, напоминал крылья гигантской птицы. Пена неслась в воздух. Паруса, туманно видимые из-за бакборта и выше бугшприта, полные неистовой силы шторма, валились всей громадой назад, чтобы, перейдя вал, выпрямиться, а затем, склоняясь над бездной, мчать судно к новым лавинам. Разорванные облака низко трепетали над океаном. Тусклый свет обреченно боролся с надвигающейся тьмой ночи. Но всего замечательнее была в этой картине фигура человека, стоящего на баке спиной к зрителю. Она выражала все положение, даже характер момента. Поза человека (он расставил ноги, взмахнув руками) ничего собственно не говорила о том, чем он занят, но заставляла предполагать крайнюю напряженность внимания, обращенного к чему-то на палубе, невидимой зрителю. Завернутые полы его кафтана трепались ветром; белая коса и черная шпага вытянуто рвались в воздух; богатство костюма выказывало в нем капитана, танцующее положение тела -- взмах вала; без шляпы, он был, видимо, поглощен опасным моментом и кричал -- но что? Видел ли он, как валится за борт человек, приказывал ли повернуть на другой галс или, заглушая ветер, звал боцмана? Не мысли, но тени этих мыслей выросли в душе Грэя, пока он смотрел картину. Вдруг показалось ему, что слева подошел, став рядом, неизвестный невидимый; стоило повернуть голову, как причудливое ощущение исчезло бы без следа. Грэй знал это. Но он не погасил воображения, а прислушался. Беззвучный голос выкрикнул несколько отрывистых фраз, непонятных, как малайский язык; раздался шум как бы долгих обвалов; эхо и мрачный ветер наполнили библиотеку. Все это Грэй слышал внутри себя. Он осмотрелся: мгновенно вставшая тишина рассеяла звучную паутину фантазии; связь с бурей исчезла.   
 Грэй несколько раз приходил смотреть эту картину. Она стала для него тем нужным словом в беседе души с жизнью, без которого трудно понять себя. В маленьком мальчике постепенно укладывалось огромное море. Он сжился с ним, роясь в библиотеке, выискивая и жадно читая те книги, за золотой дверью которых открывалось синее сияние океана. Там, сея за кормой пену, двигались корабли. Часть их теряла паруса, мачты и, захлебываясь волной, опускалась в тьму пучин, где мелькают фосфорические глаза рыб. Другие, схваченные бурунами, бились о рифы; утихающее волнение грозно шатало корпус; обезлюдевший корабль с порванными снастями переживал долгую агонию, пока новый шторм не разносил его в щепки. Третьи благополучно грузились в одном порту и выгружались в другом; экипаж, сидя за трактирным столом, воспевал плавание и любовно пил водку. Были там еще корабли-пираты, с черным флагом и страшной, размахивающей ножами командой; корабли-призраки, сияющие мертвенным светом синего озарения; военные корабли с солдатами, пушками и музыкой; корабли научных экспедиций, высматривающие вулканы, растения и животных; корабли с мрачной тайной и бунтами; корабли открытий и корабли приключений.   
 В этом мире, естественно, возвышалась над всем фигура капитана. Он был судьбой, душой и разумом корабля. Его характер определял досуга и работу команды. Сама команда подбиралась им лично и во многом отвечала его наклонностям. Он знал привычки и семейные дела каждого человека. Он обладал в глазах подчиненных магическим знанием, благодаря которому уверенно шел, скажем, из Лиссабона в Шанхай, по необозримым пространствам. Он отражал бурю противодействием системы сложных усилий, убивая панику короткими приказаниями; плавал и останавливался, где хотел; распоряжался отплытием и нагрузкой, ремонтом и отдыхом; большую и разумнейшую власть в живом деле, полном непрерывного движения, трудно было представить. Эта власть замкнутостью и полнотой равнялась власти Орфея.   
 Такое представление о капитане, такой образ и такая истинная действительность его положения заняли, по праву душевных событий, главное место в блистающем сознании Грэя. Никакая профессия, кроме этой, не могла бы так удачно сплавить в одно целое все сокровища жизни, сохранив неприкосновенным тончайший узор каждого отдельного счастья. Опасность, риск, власть природы, свет далекой страны, чудесная неизвестность, мелькающая любовь, цветущая свиданием и разлукой; увлекательное кипение встреч, лиц, событий; безмерное разнообразие жизни, между тем как высоко в небе то Южный Крест, то Медведица, и все материки -- в зорких глазах, хотя твоя каюта полна непокидающей родины с ее книгами, картинами, письмами и сухими цветами, обвитыми шелковистым локоном в замшевой ладанке на твердой груди. Осенью, на пятнадцатом году жизни, Артур Грэй тайно покинул дом и проник за золотые ворота моря. Вскорости из порта Дубельт вышла в Марсель шхуна "Ансельм", увозя юнгу с маленькими руками и внешностью переодетой девочки. Этот юнга был Грэй, обладатель изящного саквояжа, тонких, как перчатка, лакированных сапожков и батистового белья с вытканными коронами.   
 В течение года, пока "Ансельм" посещал Францию, Америку и Испанию, Грэй промотал часть своего имущества на пирожном, отдавая этим дань прошлому, а остальную часть -- для настоящего и будущего -- проиграл в карты. Он хотел быть "дьявольским" моряком. Он, задыхаясь, пил водку, а на купаньи, с замирающим сердцем, прыгал в воду головой вниз с двухсаженной высоты. По-немногу он потерял все, кроме главного -- своей странной летящей души; он потерял слабость, став широк костью и крепок мускулами, бледность заменил темным загаром, изысканную беспечность движений отдал за уверенную меткость работающей руки, а в его думающих глазах отразился блеск, как у человека, смотрящего на огонь. И его речь, утратив неравномерную, надменно застенчивую текучесть, стала краткой и точной, как удар чайки в струю за трепетным серебром рыб.   
 Капитан "Ансельма" был добрый человек, но суровый моряк, взявший мальчика из некоего злорадства. В отчаянном желании Грэя он видел лишь эксцентрическую прихоть и заранее торжествовал, представляя, как месяца через два Грэй скажет ему, избегая смотреть в глаза: -- "Капитан Гоп, я ободрал локти, ползая по снастям; у меня болят бока и спина, пальцы не разгибаются, голова трещит, а ноги трясутся. Все эти мокрые канаты в два пуда на весу рук; все эти леера, ванты, брашпили, тросы, стеньги и саллинги созданы на мучение моему нежному телу. Я хочу к маме". Выслушав мысленно такое заявление, капитан Гоп держал, мысленно же, следующую речь: -- "Отправляйтесь куда хотите, мой птенчик. Если к вашим чувствительным крылышкам пристала смола, вы можете отмыть ее дома одеколоном "Роза-Мимоза". Этот выдуманный Гопом одеколон более всего радовал капитана и, закончив воображенную отповедь, он вслух повторял: -- Да. Ступайте к "Розе-Мимозе".   
 Между тем внушительный диалог приходил на ум капитану все реже и реже, так как Грэй шел к цели с стиснутыми зубами и побледневшим лицом. Он выносил беспокойный труд с решительным напряжением воли, чувствуя, что ему становится все легче и легче по мере того, как суровый корабль вламывался в его организм, а неумение заменялось привычкой. Случалось, что петлей якорной цепи его сшибало с ног, ударяя о палубу, что непридержанный у кнека канат вырывался из рук, сдирая с ладоней кожу, что ветер бил его по лицу мокрым углом паруса с вшитым в него железным кольцом, и, короче сказать, вся работа являлась пыткой, требующей пристального внимания, но, как ни тяжело он дышал, с трудом разгибая спину, улыбка презрения не оставляла его лица. Он молча сносил насмешки, издевательства и неизбежную брань, до тех пор пока не стал в новой сфере "своим", но с этого времени неизменно отвечал боксом на всякое оскорбление.   
 Однажды капитан Гоп, увидев, как он мастерски вяжет на рею парус, сказал себе: "Победа на твоей стороне, плут". Когда Грэй спустился на палубу, Гоп вызвал его в каюту и, раскрыв истрепанную книгу, сказал: -- Слушай внимательно! Брось курить! Начинается отделка щенка под капитана.   
 И он стал читать -- вернее, говорить и кричать -- по книге древние слова моря. Это был первый урок Грэя. В течение года он познакомился с навигацией, практикой, кораблестроением, морским правом, лоцией и бухгалтерией. Капитан Гоп подавал ему руку и говорил: "Мы".   
 В Ванкувере Грэя поймало письмо матери, полное слез и страха. Он ответил: "Я знаю. Но если бы ты видела, как я; посмотри моими глазами. Если бы ты слышала, как я: приложи к уху раковину: в ней шум вечной волны; если бы ты любила, как я -- все, в твоем письме я нашел бы, кроме любви и чека, -- улыбку..." И он продолжал плавать, пока "Ансельм" не прибыл с грузом в Дубельт, откуда, пользуясь остановкой, двадцатилетний Грэй отправился навестить замок. Все было то же кругом; так же нерушимо в подробностях и в общем впечатлении, как пять лет назад, лишь гуще стала листва молодых вязов; ее узор на фасаде здания сдвинулся и разросся.   
 Слуги, сбежавшиеся к нему, обрадовались, встрепенулись и замерли в той же почтительности, с какой, как бы не далее как вчера, встречали этого Грэя. Ему сказали, где мать; он прошел в высокое помещение и, тихо прикрыв дверь, неслышно остановился, смотря на поседевшую женщину в черном платье. Она стояла перед распятием: ее страстный шепот был звучен, как полное биение сердца. -- "О плавающих, путешествующих, болеющих, страдающих и плененных", -- слышал, коротко дыша, Грэй. Затем было сказано: -- "и мальчику моему..." Тогда он сказал: -- "Я ..." Но больше не мог ничего выговорить. Мать обернулась. Она похудела: в надменности ее тонкого лица светилось новое выражение, подобное возвращенной юности. Она стремительно подошла к сыну; короткий грудной смех, сдержанное восклицание и слезы в глазах -- вот все. Но в эту минуту она жила сильнее и лучше, чем за всю жизнь. -- "Я сразу узнала тебя, о, мой милый, мой маленький!" И Грэй действительно перестал быть большим. Он выслушал о смерти отца, затем рассказал о себе. Она внимала без упреков и возражений, но про себя -- во всем, что он утверждал, как истину своей жизни, -- видела лишь игрушки, которыми забавляется ее мальчик. Такими игрушками были материки, океаны и корабли.

Грэй пробыл в замке семь дней; на восьмой день, взяв крупную сумму денег, он вернулся в Дубельт и сказал капитану Гопу: "Благодарю. Вы были добрым товарищем. Прощай же, старший товарищ, -- здесь он закрепил истинное значение этого слова жутким, как тиски, рукопожатием, -- теперь я буду плавать отдельно, на собственном корабле". Гоп вспыхнул, плюнул, вырвал руку и пошел прочь, но Грэй, догнав, обнял его. И они уселись в гостинице, все вместе, двадцать четыре человека с командой, и пили, и кричали, и пели, и выпили и съели все, что было на буфете и в кухне.   
 Прошло еще мало времени, и в порте Дубельт вечерняя звезда сверкнула над черной линией новой мачты. То был "Секрет", купленный Грэем; трехмачтовый галиот в двести шестьдесят тонн. Так, капитаном и собственником корабля Артур Грэй плавал еще четыре года, пока судьба не привела его в Лисе. Но он уже навсегда запомнил тот короткий грудной смех, полный сердечной музыки, каким встретили его дома, и раза два в год посещал замок, оставляя женщине с серебряными волосами нетвердую уверенность в том, что такой большой мальчик, пожалуй, справится с своими игрушками. III РАССВЕТ   
 Струя пены, отбрасываемая кормой корабля Грэя "Секрет", прошла через океан белой чертой и погасла в блеске вечерних огней Лисса. Корабль встал на рейде недалеко от маяка.   
 Десять дней "Секрет" выгружал чесучу, кофе и чай, одиннадцатый день команда провела на берегу, в отдыхе и винных парах; на двенадцатый день Грэй глухо затосковал, без всякой причины, не понимая тоски.   
 Еще утром, едва проснувшись, он уже почувствовал, что этот день начался в черных лучах. Он мрачно оделся, неохотно позавтракал, забыл прочитать газету и долго курил, погруженный в невыразимый мир бесцельного напряжения; среди смутно возникающих слов бродили непризнанные желания, взаимно уничтожая себя равным усилием. Тогда он занялся делом.   
 В сопровождении боцмана Грэй осмотрел корабль, велел подтянуть ванты, ослабить штуртрос, почистить клюзы, переменить кливер, просмолить палубу, вычистить компас, открыть, проветрить и вымести трюм. Но дело не развлекало Грэя. Полный тревожного внимания к тоскливости дня, он прожил его раздражительно и печально: его как бы позвал кто-то, но он забыл, кто и куда.   
 Под вечер он уселся в каюте, взял книгу и долго возражал автору, делая на полях заметки парадоксального свойства. Некоторое время его забавляла эта игра, эта беседа с властвующим из гроба мертвым. Затем, взяв трубку, он утонул в синем дыме, живя среди призрачных арабесок, возникающих в его зыбких слоях. Табак страшно могуч; как масло, вылитое в скачущий разрыв волн, смиряет их бешенство, так и табак: смягчая раздражение чувств, он сводит их несколькими тонами ниже; они звучат плавнее и музыкальнее. Поэтому тоска Грэя, утратив наконец после трех трубок наступательное значение, перешла в задумчивую рассеянность. Такое состояние длилось еще около часа; когда исчез душевный туман, Грэй очнулся, захотел движения и вышел на палубу. Была полная ночь; за бортом в сне черной воды дремали звезды и огни мачтовых фонарей. Теплый, как щека, воздух пахнул морем. Грэй, поднял голову, прищурился на золотой уголь звезды; мгновенно через умопомрачительность миль проникла в его зрачки огненная игла далекой планеты. Глухой шум вечернего города достигал слуха из глубины залива; иногда с ветром по чуткой воде влетала береговая фраза, сказанная как бы на палубе; ясно прозвучав, она гасла в скрипе снастей; на баке вспыхнула спичка, осветив пальцы, круглые глаза и усы. Грэй свистнул; огонь трубки двинулся и поплыл к нему; скоро капитан увидел во тьме руки и лицо вахтенного.   
 -- Передай Летике, -- сказал Грэй, -- что он поедет со мной. Пусть возьмет удочки.   
 Он спустился в шлюп, где ждал минут десять. Летика, проворный, жуликоватый парень, загремев о борт веслами, подал их Грэю; затем спустился сам, наладил уключины и сунул мешок с провизией в корму шлюпа. Грэй сел к рулю.   
 -- Куда прикажете плыть, капитан? -- спросил Летика, кружа лодку правым веслом.   
 Капитан молчал. Матрос знал, что в это молчание нельзя вставлять слова, и поэтому, замолчав сам, стал сильно грести.   
 Грэй взял направление к открытому морю, затем стал держаться левого берега. Ему было все равно, куда плыть. Руль глухо журчал; звякали и плескали весла, все остальное было морем и тишиной.   
 В течение дня человек внимает такому множеству мыслей, впечатлений, речей и слов, что все это составило бы не одну толстую книгу. Лицо дня приобретает определенное выражение, но Грэй сегодня тщетно вглядывался в это лицо. В его смутных чертах светилось одно из тех чувств, каких много, но которым не дано имени. Как их ни называть, они останутся навсегда вне слов и даже понятий, подобные внушению аромата. Во власти такого чувства был теперь Грэй; он мог бы, правда, сказать: -- "Я жду, я вижу, я скоро узнаю ...", -- но даже эти слова равнялись не большему, чем отдельные чертежи в отношении архитектурного замысла. В этих веяниях была еще сила светлого возбуждения.   
 Там, где они плыли, слева волнистым сгущением тьмы проступал берег. Над красным стеклом окон носились искры дымовых труб; это была Каперна. Грэй слышал перебранку и лай. Огни деревни напоминали печную дверцу, прогоревшую дырочками, сквозь которые виден пылающий уголь. Направо был океан, явственный, как присутствие спящего человека. Миновав Каперну, Грэй повернул к берегу. Здесь тихо прибивало водой; засветив фонарь, он увидел ямы обрыва и его верхние, нависшие выступы; это место ему понравилось.   
 -- Здесь будем ловить рыбу, -- сказал Грэй, хлопая гребца по плечу.   
 Матрос неопределенно хмыкнул.   
 -- Первый раз плаваю с таким капитаном, -- пробормотал он. -- Капитан дельный, но непохожий. Загвоздистый капитан. Впрочем, люблю его.   
 Забив весло в ил, он привязал к нему лодку, и оба поднялись вверх, карабкаясь по выскакивающим из-под колен и локтей камням. От обрыва тянулась чаща. Раздался стук топора, ссекающего сухой ствол; повалив дерево, Летика развел костер на обрыве. Двинулись тени и отраженное водой пламя; в отступившем мраке высветились трава и ветви; над костром, перевитый дымом, сверкая, дрожал воздух.   
 Грэй сел у костра.   
 -- Ну-ка, -- сказал он, протягивая бутылку, -- выпей, друг Летика, за здоровье всех трезвенников. Кстати, ты взял не хинную, а имбирную.   
 -- Простите, капитан, -- ответил матрос, переводя дух. -- Разрешите закусить этим... -- Он отгрыз сразу половину цыпленка и, вынув изо рта крылышко, продолжал: -- Я знаю, что вы любите хинную. Только было темно, а я торопился. Имбирь, понимаете, ожесточает человека. Когда мне нужно подраться, я пью имбирную. Пока капитан ел и пил, матрос искоса посматривал на него, затем, не удержавшись, сказал: -- Правда ли, капитан, что говорят, будто бы родом вы из знатного семейства?   
 -- Это не интересно, Летика. Бери удочку и лови, если хочешь.   
 -- А вы?   
 -- Я? Не знаю. Может быть. Но... потом. Летика размотал удочку, приговаривая стихами, на что был мастер, к великому восхищению команды: -- Из шнурка и деревяшки я изладил длинный хлыст и, крючок к нему приделав, испустил протяжный свист. -- Затем он пощекотал пальцем в коробке червей. -- Этот червь в земле скитался и своей был жизни рад, а теперь на крюк попался -- и его сомы съедят.   
 Наконец, он ушел с пением: -- Ночь тиха, прекрасна водка, трепещите, осетры, хлопнись в обморок, селедка, -- удит Летика с горы!   
 Грэй лег у костра, смотря на отражавшую огонь воду. Он думал, но без участия воли; в этом состоянии мысль, рассеянно удерживая окружающее, смутно видит его; она мчится, подобно коню в тесной толпе, давя, расталкивая и останавливая; пустота, смятение и задержка попеременно сопутствуют ей. Она бродит в душе вещей; от яркого волнения спешит к тайным намекам; кружится по земле и небу, жизненно беседует с воображенными лицами, гасит и украшает воспоминания. В облачном движении этом все живо и выпукло и все бессвязно, как бред. И часто улыбается отдыхающее сознание, видя, например, как в размышление о судьбе вдруг жалует гостем образ совершенно неподходящий: какой-нибудь прутик, сломанный два года назад. Так думал у костра Грэй, но был "где-то" -- не здесь.   
 Локоть, которым он опирался, поддерживая рукой голову, просырел и затек. Бледно светились звезды, мрак усилился напряжением, предшествующим рассвету. Капитан стал засыпать, но не замечал этого. Ему захотелось выпить, и он потянулся к мешку, развязывая его уже во сне. Затем ему перестало сниться; следующие два часа были для Грэя не долее тех секунд, в течение которых он склонился головой на руки. За это время Летика появлялся у костра дважды, курил и засматривал из любопытства в рот пойманным рыбам -- что там? Но там, само собой, ничего не было.   
 Проснувшись, Грэй на мгновение забыл, как попал в эти места. С изумлением видел он счастливый блеск утра, обрыв берега среди этих ветвей и пылающую синюю даль; над горизонтом, но в то же время и над его ногами висели листья орешника. Внизу обрыва -- с впечатлением, что под самой спиной Грэя -- шипел тихий прибой. Мелькнув с листа, капля росы растеклась по сонному лицу холодным шлепком. Он встал. Везде торжествовал свет. Остывшие головни костра цеплялись за жизнь тонкой струей дыма. Его запах придавал удовольствию дышать воздухом лесной зелени дикую прелесть.   
 Летики не было; он увлекся; он, вспотев, удил с увлечением азартного игрока. Грэй вышел из чащи в кустарник, разбросанный по скату холма. Дымилась и горела трава; влажные цветы выглядели как дети, насильно умытые холодной водой. Зеленый мир дышал бесчисленностью крошечных ртов, мешая проходить Грэю среди своей ликующей тесноты. Капитан выбрался на открытое место, заросшее пестрой травой, и увидел здесь спящую молодую девушку.   
 Он тихо отвел рукой ветку и остановился с чувством опасной находки. Не далее как в пяти шагах, свернувшись, подобрав одну ножку и вытянув другую, лежала головой на уютно подвернутых руках утомившаяся Ассоль. Ее волосы сдвинулись в беспорядке; у шеи расстегнулась пуговица, открыв белую ямку; раскинувшаяся юбка обнажала колени; ресницы спали на щеке, в тени нежного, выпуклого виска, полузакрытого темной прядью; мизинец правой руки, бывшей под головой, пригибался к затылку. Грэй присел на корточки, заглядывая девушке в лицо снизу и не подозревая, что напоминает собой фавна с картины Арнольда Беклина.   
 Быть может, при других обстоятельствах эта девушка была бы замечена им только глазами, но тут он иначе увидел ее. Все стронулось, все усмехнулось в нем. Разумеется, он не знал ни ее, ни ее имени, ни, тем более, почему она уснула на берегу, но был этим очень доволен. Он любил картины без объяснений и подписей. Впечатление такой картины несравненно сильнее; ее содержание, не связанное словами, становится безграничным, утверждая все догадки и мысли.   
 Тень листвы подобралась ближе к стволам, а Грэй все еще сидел в той же малоудобной позе. Все спало на девушке: спал;! темные волосы, спало платье и складки платья; даже трава поблизости ее тела, казалось, задремала в силу сочувствия. Когда впечатление стало полным, Грэй вошел в его теплую подмывающую волну и уплыл с ней. Давно уже Летика кричал: -- "Капитан. где вы?" -- но капитан не слышал его.   
 Когда он наконец встал, склонность к необычному застала его врасплох с решимостью и вдохновением раздраженной женщины. Задумчиво уступая ей, он снял с пальца старинное дорогое кольцо, не без основания размышляя, что, может быть, этим подсказывает жизни нечто существенное, подобное орфографии. Он бережно опустил кольцо на малый мизинец, белевший из-под затылка. Мизинец нетерпеливо двинулся и поник. Взглянув еще раз на это отдыхающее лицо, Грэй повернулся и увидел в кустах высоко поднятые брови матроса. Летика, разинув рот, смотрел на занятия Грэя с таким удивлением, с каким, верно, смотрел Иона на пасть своего меблированного кита.   
 -- А, это ты, Летика! -- сказал Грэй. -- Посмотри-ка на нее. Что, хороша?   
 -- Дивное художественное полотно! -- шепотом закричал матрос, любивший книжные выражения. -- В соображении обстоятельств есть нечто располагающее. Я поймал четыре мурены и еще какую-то толстую, как пузырь.   
 -- Тише, Летика. Уберемся отсюда.   
 Они отошли в кусты. Им следовало бы теперь повернуть к лодке, но Грэй медлил, рассматривая даль низкого берега, где над зеленью и песком лился утренний дым труб Каперны. В этом дыме он снова увидел девушку.   
 Тогда он решительно повернул, спускаясь вдоль склона; матрос, не спрашивая, что случилось, шел сзади; он чувствовал, что вновь наступило обязательное молчание. Уже около первых строений Грэй вдруг сказал: -- Не определишь ли ты, Летика, твоим опытным глазом, где здесь трактир? -- Должно быть, вон та черная крыша, -- сообразил Летика, -- а, впрочем, может, и не она.   
 -- Что же в этой крыше приметного?   
 -- Сам не знаю, капитан. Ничего больше, как голос сердца.   
 Они подошли к дому; то был действительно трактир Меннерса. В раскрытом окне, на столе, виднелась бутылка; возле нее чья-то грязная рука доила полуседой ус.   
 Хотя час был ранний, в общей зале трактирчика расположилось три человека У окна сидел угольщик, обладатель пьяных усов, уже замеченных нами; между буфетом и внутренней дверью зала, за яичницей и пивом помещались два рыбака. Меннерс, длинный молодой парень, с веснушчатым скучным лицом и тем особенным выражением хитрой бойкости в подслеповатых глазах, какое присуще торгашам вообще, перетирал за стойкой посуду. На грязном полу лежал солнечный переплет окна.   
 Едва Грэй вступил в полосу дымного света, как Меннерс, почтительно кланяясь, вышел из-за своего прикрытия. Он сразу угадал в Грэе настоящего капитана -- разряд гостей, редко им виденных. Грэй спросил рома. Накрыв стол пожелтевшей в суете людской скатертью, Меннерс принес бутылку, лизнув предварительно языком кончик отклеившейся этикетки. Затем он вернулся за стойку, поглядывая внимательно то на Грэя, то на тарелку, с которой отдирал ногтем что-то присохшее.   
 В то время, как Летика, взяв стакан обеими руками, скромно шептался с ним, посматривая в окно, Грэй подозвал Меннерса. Хин самодовольно уселся на кончик стула, польщенный этим обращением и польщенный именно потому, что оно выразилось простым киванием Грэева пальца.   
 -- Вы, разумеется, знаете здесь всех жителей, -- спокойно заговорил Грэй. -- Меня интересует имя молодой девушки в косынке, в платье с розовыми цветочками, темнорусой и невысокой, в возрасте от семнадцати до двадцати лет. Я встретил ее неподалеку отсюда. Как ее имя?   
 Он сказал это с твердой простотой силы, не позволяющей увильнуть от данного тона. Хин Меннерс внутренне завертелся и даже ухмыльнулся слегка, но внешне подчинился характеру обращения. Впрочем, прежде чем ответить, он помолчал -- единственно из бесплодного желания догадаться, в чем дело.   
 -- Гм! -- сказал он, поднимая глаза в потолок. -- Это, должно быть, "Корабельная Ассоль", больше быть некому. Она полоумная.   
 -- В самом деле? -- равнодушно сказал Грэй, отпивая крупный глоток. -- Как же это случилось?   
 -- Когда так, извольте послушать. -- И Хин рассказал Грэю о том, как лет семь назад девочка говорила на берегу моря с собирателем песен. Разумеется, эта история с тех пор, как нищий утвердил ее бытие в том же трактире, приняла очертания грубой и плоской сплетни, но сущность оставалась нетронутой. -- С тех пор так ее и зовут, -- сказал Меннерс, -- зовут ее "Ассоль Корабельная".   
 Грэй машинально взглянул на Летику, продолжавшего быть тихим и скромным, затем его глаза обратились к пыльной дороге, пролегающей у трактира, и он ощутил как бы удар -- одновременный удар в сердце и голову. По дороге, лицом к нему, шла та самая Корабельная Ассоль, к которой Меннерс только что отнесся клинически. Удивительные черты ее лица, напоминающие тайну неизгладимо волнующих, хотя простых слов, предстали перед ним теперь в свете ее взгляда. Матрос и Меннерс сидели к окну спиной, но, чтобы они случайно не повернулись -- Грэй имел мужество отвести взгляд на рыжие глаза Хина. Поле того, как он увидел глаза Ассоль, рассеялась вся косность Меннерсова рассказа. Между тем, ничего не подозревая, Хин продолжал: -- Еще могу сообщить вам, что ее отец сущий мерзавец. Он утопил моего папашу, как кошку какую-нибудь, прости господи. Он...   
 Его перебил неожиданный дикий рев сзади. Страшно ворочая глазами, угольщик, стряхнув хмельное оцепенение, вдруг рявкнул пением и так свирепо, что все вздрогнули.   
 Корзинщик, корзинщик,   
 Дери с нас за корзины!..   
 -- Опять ты нагрузился, вельбот проклятый! -- закричал Меннерс. -- Уходи вон!   
 ... Но только бойся попадать   
 В наши Палестины!..   
 -- взвыл угольщик и, как будто ничего не было, потопил усы в плеснувшем стакане.   
 Хин Меннерс возмущенно пожал плечами.   
 -- Дрянь, а не человек, -- сказал он с жутким достоинством скопидома. -- Каждый раз такая история!   
 -- Более вы ничего не можете рассказать? -- спросил Грэй.   
 -- Я-то? Я же вам говорю, что отец мерзавец. Через него я, ваша милость, осиротел и еще дитей должен был самостоятельно поддерживать бренное пропитание..   
 -- Ты врешь, -- неожиданно сказал угольщик. -- Ты врешь так гнусно и ненатурально, что я протрезвел. -- Хин не успел раскрыть рот, как угольщик обратился к Грэю: -- Он врет. Его отец тоже врал; врала и мать. Такая порода. Можете быть покойны, что она так же здорова, как мы с вами. Я с ней разговаривал. Она сидела на моей повозке восемьдесят четыре раза, или немного меньше. Когда девушка идет пешком из города, а я продал свой уголь, я уж непременно посажу девушку. Пускай она сидит. Я говорю, что у нее хорошая голова. Это сейчас видно. С тобой, Хин Меннерс, она, понятно, не скажет двух слов. Но я, сударь, в свободном угольном деле презираю суды и толки. Она говорит, как большая, но причудливый ее разговор. Прислушиваешься -- как будто все то же самое, что мы с вами сказали бы, а у нее то же, да не совсем так. Вот, к примеру, раз завелось дело о ее ремесле. -- "Я тебе что скажу, -- говорит она и держится за мое плечо, как муха за колокольню, -- моя работа не скучная, только все хочется придумать особенное. Я, -- говорит, -- так хочу изловчиться, чтобы у меня на доске сама плавала лодка, а гребцы гребли бы по-настоящему; потом они пристают к берегу, отдают причал и честь-честью, точно живые, сядут на берегу закусывать". Я, это, захохотал, мне, стало быть, смешно стало. Я говорю: -- "Ну, Ассоль, это ведь такое твое дело, и мысли поэтому у тебя такие, а вокруг посмотри: все в работе, как в драке". -- "Нет, -- говорит она, -- я знаю, что знаю. Когда рыбак ловит рыбу, он думает, что поймает большую рыбу, какой никто не ловил". -- "Ну, а я?" -- "А ты? -- смеется она, -- ты, верно, когда наваливаешь углем корзину, то думаешь, что она зацветет". Вот какое слово она сказала! В ту же минуту дернуло меня, сознаюсь, посмотреть на пустую корзину, и так мне вошло в глаза, будто из прутьев поползли почки; лопнули эти почки, брызнуло по корзине листом и пропало. Я малость протрезвел даже! А Хин Меннерс врет и денег не берет; я его знаю!   
 Считая, что разговор перешел в явное оскорбление, Меннерс пронзил угольщика взглядом и скрылся за стойку, откуда горько осведомился: -- Прикажете подать что-нибудь?   
 -- Нет, -- сказал Грэй, доставая деньги, -- мы встаем и уходим. Летика, ты останешься здесь, вернешься к вечеру и будешь молчать. Узнав все, что сможешь, передай мне. Ты понял?   
 -- Добрейший капитан, -- сказал Летика с некоторой фамильярностью, вызванной ромом, -- не понять этого может только глухой.   
 -- Прекрасно. Запомни также, что ни в одном из тех случаев, какие могут тебе представиться, нельзя ни говорить обо мне, ни упоминать даже мое имя. Прощай!   
 Грэй вышел. С этого времени его не покидало уже чувство поразительных открытий, подобно искре в пороховой ступке Бертольда, -- одного из тех душевных обвалов, из-под которых вырывается, сверкая, огонь. Дух немедленного действия овладел им. Он опомнился и собрался с мыслями, только когда сел в лодку. Смеясь, он подставил руку ладонью вверх -- знойному солнцу, -- как сделал это однажды мальчиком в винном погребе; затем отплыл и стал быстро грести по направлению к гавани. IV НАКАНУНЕ   
 Накануне того дня и через семь лет после того, как Эгль, собиратель песен, рассказал девочке на берегу моря сказку о корабле с Алыми Парусами, Ассоль в одно из своих еженедельных посещений игрушечной лавки вернулась домой расстроенная, с печальным лицом. Свои товары она принесла обратно. Она была так огорчена, что сразу не могла говорить и только лишь после того, как по встревоженному лицу Лонгрена увидела, что он ожидает чего-то значительно худшего действительности, начала рассказывать, водя пальцем по стеклу окна, у которого стала, рассеянно наблюдая море.   
 Хозяин игрушечной лавки начал в этот раз с того, что открыл счетную книгу и показал ей, сколько за ними долга. Она содрогнулась, увидев внушительное трехзначное число. -- "Вот сколько вы забрали с декабря, -- сказал торговец, -- а вот посмотри, на сколько продано". И он уперся пальцем в другую цифру, уже из двух знаков.   
 -- Жалостно и обидно смотреть. Я видела по его лицу, что он груб и сердит. Я с радостью убежала бы, но, честное слово, сил не было от стыда. И он стал говорить: -- "Мне, милая, это больше не выгодно. Теперь в моде заграничный товар, все лавки полны им, а эти изделия не берут". Так он сказал. Он говорил еще много чего, но я все перепутала и забыла. Должно быть, он сжалился надо мной, так как посоветовал сходить в "Детский Базар" и "Аладинову Лампу".   
 Выговорив самое главное, девушка повернула голову, робко посмотрев на старика. Лонгрен сидел понурясь, сцепив пальцы рук между колен, на которые оперся локтями. Чувствуя взгляд, он поднял голову и вздохнул. Поборов тяжелое настроение, девушка подбежала к нему, устроилась сидеть рядом и, продев свою легкую руку под кожаный рукав его куртки, смеясь и заглядывая отцу снизу в лицо, продолжала с деланным оживлением: -- Ничего, это все ничего, ты слушай, пожалуйста. Вот я пошла. Ну-с, прихожу в большой страшеннейший магазин; там куча народа. Меня затолкали; однако я выбралась и подошла к черному человеку в очках. Что я ему сказала, я ничего не помню; под конец он усмехнулся, порылся в моей корзине, посмотрел кое-что, потом снова завернул, как было, в платок и отдал обратно.   
 Лонгрен сердито слушал. Он как бы видел свою оторопевшую дочку в богатой толпе у прилавка, зава ленного ценным товаром. Аккуратный человек в очках снисходительно объяснил ей, что он должен разориться, ежели начнет торговать нехитрыми изделиями Лонгрена. Небрежно и ловко ставил он перед ней на прилавок складные модели зданий и железнодорожных мостов; миниатюрные отчетливые автомобили, электрические наборы, аэропланы и двигатели. Все это пахло краской и школой. По всем его словам выходило, что дети в играх только подражают теперь тому, что делают взрослые.   
 Ассоль была еще в "Аладиновой Лампе" и в двух других лавках, но ничего не добилась.   
 Оканчивая рассказ, она собрала ужинать; поев и выпив стакан крепкого кофе, Лонгрен сказал: -- Раз нам не везет, надо искать. Я, может быть, снова поступлю служить -- на "Фицроя" или "Палермо". Конечно, они правы, -- задумчиво продолжал он, думая об игрушках. -- Теперь дети не играют, а учатся. Они все учатся, учатся и никогда не начнут жить. Все это так, а жаль, право, жаль. Сумеешь ли ты прожить без меня время одного рейса? Немыслимо оставить тебя одну.   
 -- Я также могла бы служить вместе с тобой; скажем, в буфете.   
 -- Нет! -- Лонгрен припечатал это слово ударом ладони по вздрогнувшему столу. -- Пока я жив, ты служить не будешь. Впрочем, есть время подумать.   
 Он хмуро умолк. Ассоль примостилась рядом с ним на углу табурета; он видел сбоку, не поворачивая головы, что она хлопочет утешить его, и чуть было не улыбнулся. Но улыбнуться -- значило спугнуть и смутить девушку. Она, приговаривая что-то про себя, разгладила его спутанные седые волосы, поцеловала в усы и, заткнув мохнатые отцовские уши своими маленькими тоненькими пальцами, сказала: -- "Ну вот, теперь ты не слышишь, что я тебя люблю". Пока она охорашивала его, Лонгрен сидел, крепко сморщившись, как человек, боящийся дохнуть дымом, но, услышав ее слова, густо захохотал.   
 -- Ты милая, -- просто сказал он и, потрепав девушку по щеке, пошел на берег посмотреть лодку.   
 Ассоль некоторое время стояла в раздумье посреди комнаты, колеблясь между желанием отдаться тихой печали и необходимостью домашних забот; затем, вымыв посуду, пересмотрела в шкалу остатки провизии. Она не взвешивала и не мерила, но видела, что с мукой не дотянуть до конца недели, что в жестянке с сахаром виднеется дно, обертки с чаем и кофе почти пусты, нет масла, и единственное, на чем, с некоторой досадой на исключение, отдыхал глаз, -- был мешок картофеля. Затем она вымыла пол и села строчить оборку к переделанной из старья юбке, но тут же вспомнив, что обрезки материи лежат за зеркалом, подошла к нему и взяла сверток; потом взглянула на свое отражение.   
 За ореховой рамой в светлой пустоте отраженной комнаты стояла тоненькая невысокая девушка, одетая в дешевый белый муслин с розовыми цветочками. На ее плечах лежала серая шелковая косынка. Полудетское, в светлом загаре, лицо было подвижно и выразительно; прекрасные, несколько серьезные для ее возраста глаза посматривали с робкой сосредоточенностью глубоких душ. Ее неправильное личико могло растрогать тонкой чистотой очертаний; каждый изгиб, каждая выпуклость этого лица, конечно, нашли бы место в множестве женских обликов, но их совокупность, стиль -- был совершенно оригинален, -- оригинально мил; на этом мы остановимся. Остальное неподвластно словам, кроме слова "очарование".   
 Отраженная девушка улыбнулась так же безотчетно, как и Ассоль. Улыбка вышла грустной; заметив это, она встревожилась, как если бы смотрела на постороннюю. Она прижалась щекой к стеклу, закрыла глаза и тихо погладила зеркало рукой там, где приходилось ее отражение. Рой смутных, ласковых мыслей мелькнул в ней; она выпрямилась, засмеялась и села, начав шить.   
 Пока она шьет, посмотрим на нее ближе -- вовнутрь. В ней две девушки, две Ассоль, перемешанных в замечательной прекрасной неправильности. Одна была дочь матроса, ремесленника, мастерившая игрушки, другая -- живое стихотворение, со всеми чудесами его созвучий и образов, с тайной соседства слов, во всей взаимности их теней и света, падающих от одного на другое. Она знала жизнь в пределах, поставленных ее опыту, но сверх общих явлений видела отраженный смысл иного порядка. Так, всматриваясь в предметы, мы замечаем в них нечто не линейно, но впечатлением -- определенно человеческое, и -- так же, как человеческое -- различное. Нечто подобное тому, что (если удалось) сказали мы этим примером, видела она еще сверх видимого. Без этих тихих завоеваний все просто понятное было чуждо ее душе. Она умела и любила читать, но и в книге читала преимущественно между строк, как жила. Бессознательно, путем своеобразного вдохновения она делала на каждом шагу множество эфирнотонких открытий, невыразимых, но важных, как чистота и тепло. Иногда -- и это продолжалось ряд дней -- она даже перерождалась; физическое противостояние жизни проваливалось, как тишина в ударе смычка, и все, что она видела, чем жила, что было вокруг, становилось кружевом тайн в образе повседневности. Не раз, волнуясь и робея, она уходила ночью на морской берег, где, выждав рассвет, совершенно серьезно высматривала корабль с Алыми Парусами. Эти минуты были для нее счастьем; нам трудно так уйти в сказку, ей было бы не менее трудно выйти из ее власти и обаяния.   
 В другое время, размышляя обо всем этом, она искренне дивилась себе, не веря, что верила, улыбкой прощая море и грустно переходя к действительности; теперь, сдвигая оборку, девушка припоминала свою жизнь. Там было много скуки и простоты. Одиночество вдвоем, случалось, безмерно тяготило ее, но в ней образовалась уже та складка внутренней робости, та страдальческая морщинка, с которой не внести и не получить оживления. Над ней посмеивались, говоря: -- "Она тронутая, не в себе"; она привыкла и к этой боли; девушке случалось даже переносить оскорбления, после чего ее грудь ныла, как от удара. Как женщина, она была непопулярна в Каперне, однако многие подозревали, хотя дико и смутно, что ей дано больше прочих -- лишь на другом языке. Капернцы обожали плотных, тяжелых женщин с масляной кожей толстых икр и могучих рук; здесь ухаживали, ляпая по спине ладонью и толкаясь, как на базаре. Тип этого чувства напоминал бесхитростную простоту рева. Ассоль так же подходила к этой решительной среде, как подошло бы людям изысканной нервной жизни общество привидения, обладай оно всем обаянием Ассунты или Аспазии: то, что от любви, -- здесь немыслимо. Так, в ровном гудении солдатской трубы прелестная печаль скрипки бессильна вывести суровый полк из действий его прямых линий. К тому, что сказано в этих строках, девушка стояла спиной.

Меж тем, как ее голова мурлыкала песенку жизни, маленькие руки работали прилежно и ловко; откусывая нитку, она смотрела далеко перед собой, но это не мешало ей ровно подвертывать рубец и класть петельный шов с отчетливостью швейной машины. Хотя Лонгрен не возвращался, она не беспокоилась об отце. Последнее время он довольно часто уплывал ночью ловить рыбу или просто проветриться.   
 Ее не теребил страх; она знала, что ничего худого с ним не случится. В этом отношении Ассоль была все еще той маленькой девочкой, которая молилась по-своему, дружелюбно лепеча утром: -- "Здравствуй, бог!", а вечером: -- "Прощай, бог!".   
 По ее мнению, такого короткого знакомства с богом было совершенно достаточно для того, чтобы он отстранил несчастье. Она входила и в его положение: бог был вечно занят делами миллионов людей, поэтому к обыденным теням жизни следовало, по ее мнению, относиться с деликатным терпением гостя, который, застав дом полным народа, ждет захлопотавшегося хозяина, ютясь и питаясь по обстоятельствам.   
 Кончив шить, Ассоль сложила работу на угловой столик, разделась и улеглась. Огонь был потушен. Она скоро заметила, что нет сонливости; сознание было ясно, как в разгаре дня, даже тьма казалась искусственной, тело, как и сознание, чувствовалось легким, дневным. Сердце отстукивало с быстротой карманных часов; оно билось как бы между подушкой и ухом. Ассоль сердилась, ворочаясь, то сбрасывая одеяло, то завертываясь в него с головой. Наконец, ей удалось вызвать привычное представление, помогающее уснуть: она мысленно бросала камни в светлую воду, смотря на расхождение легчайших кругов. Сон, действительно, как бы лишь ждал этой подачки; он пришел, пошептался с Мери, стоящей у изголовья, и, повинуясь ее улыбке, сказал вокруг: "Шшшш". Ассоль тотчас уснула. Ей снился любимый сон: цветущие деревья, тоска, очарование, песни и таинственные явления, из которых, проснувшись, она припоминала лишь сверканье синей воды, подступающей от ног к сердцу с холодом и восторгом. Увидев все это, она побыла еще несколько времени в невозможной стране, затем проснулась и села.   
 Сна не было, как если бы она не засыпала совсем. Чувство новизны, радости и желания что-то сделать согревало ее. Она осмотрелась тем взглядом, каким оглядывают новое помещение. Проник рассвет -- не всей ясностью озарения, но тем смутным усилием, в котором можно понимать окружающее. Низ окна был черен; верх просветлел. Извне дома, почти на краю рамы, блестела утренняя звезда. Зная, что теперь не уснет, Ассоль оделась, подошла к окну и, сняв крюк, отвела раму, За окном стояла внимательная чуткая тишина; она как бы наступила только сейчас. В синих сумерках мерцали кусты, подальше спали деревья; веяло духотой и землей.   
 Держась за верх рамы, девушка смотрела и улыбалась. Вдруг нечто, подобное отдаленному зову, всколыхнуло ее изнутри и вовне, и она как бы проснулась еще раз от явной действительности к тому, что явнее и несомненнее. С этой минуты ликующее богатство сознания не оставляло ее. Так, понимая, слушаем мы речи людей, но, если повторить сказанное, поймем еще раз, с иным, новым значением. То же было и с ней.   
 Взяв старенькую, но на ее голове всегда юную шелковую косынку, она прихватила ее рукою под подбородком, заперла дверь и выпорхнула босиком на дорогу. Хотя было пусто и глухо, но ей казалось, что она звучит как оркестр, что ее могут услышать. Все было мило ей, все радовало ее. Теплая пыль щекотала босые ноги; дышалось ясно и весело. На сумеречном просвете неба темнели крыши и облака; дремали изгороди, шиповник, огороды, сады и нежно видимая дорога. Во всем замечался иной порядок, чем днем, -- тот же, но в ускользнувшем ранее соответствии. Все спало с открытыми глазами, тайно рассматривая проходящую девушку.  
 Она шла, чем далее, тем быстрей, торопясь покинуть селение. За Каперной простирались луга; за лугами по склонам береговых холмов росли орешник, тополя и каштаны. Там, где дорога кончилась, переходя в глухую тропу, у ног Ассоль мягко завертелась пушистая черная собака с белой грудью и говорящим напряжением глаз. Собака, узнав Ассоль, повизгивая и жеманно виляя туловищем, пошла рядом, молча соглашаясь с девушкой в чем-то понятном, как "я" и "ты". Ассоль, посматривая в ее сообщительные глаза, была твердо уверена, что собака могла бы заговорить, не будь у нее тайных причин молчать. Заметив улыбку спутницы, собака весело сморщилась, вильнула хвостом и ровно побежала вперед, но вдруг безучастно села, деловито выскребла лапой ухо, укушенное своим вечным врагом, и побежала обратно.   
 Ассоль проникла в высокую, брызгающую росой луговую траву; держа руку ладонью вниз над ее метелками, она шла, улыбаясь струящемуся прикосновению.   
 Засматривая в особенные лица цветов, в путаницу стеблей, она различала там почти человеческие намеки -- позы, усилия, движения, черты и взгляды; ее не удивила бы теперь процессия полевых мышей, бал сусликов или грубое веселье ежа, пугающего спящего гнома своим фуканьем. И точно, еж, серея, выкатился перед ней на тропинку. -- "Фук-фук", -- отрывисто сказал он с сердцем, как извозчик на пешехода. Ассоль говорила с теми, кого понимала и видела. -- "Здравствуй, больной, -- сказала она лиловому ирису, пробитому до дыр червем. -- Необходимо посидеть дома", -- это относилось к кусту, застрявшему среди тропы и потому обдерганному платьем прохожих. Большой жук цеплялся за колокольчик, сгибая растение и сваливаясь, но упрямо толкаясь лапками. -- "Стряхни толстого пассажира", -- посоветовала Ассоль. Жук, точно, не удержался и с треском полетел в сторону. Так, волнуясь, трепеща и блестя, она подошла к склону холма, скрывшись в его зарослях от лугового пространства, но окруженная теперь истинными своими друзьями, которые -- она знала это -- говорят басом.   
 То были крупные старые деревья среди жимолости и орешника. Их свисшие ветви касались верхних листьев кустов. В спокойно тяготеющей крупной листве каштанов стояли белые шишки цветов, их аромат мешался с запахом росы и смолы. Тропинка, усеянная выступами скользких корней, то падала, то взбиралась на склон. Ассоль чувствовала себя, как дома; здоровалась с деревьями, как с людьми, то есть пожимая их широкие листья. Она шла, шепча то мысленно, то словами: "Вот ты, вот другой ты; много же вас, братцы мои! Я иду, братцы, спешу, пустите меня. Я вас узнаю всех, всех помню и почитаю". "Братцы" величественно гладили ее чем могли -- листьями -- и родственно скрипели в ответ. Она выбралась, перепачкав ноги землей, к обрыву над морем и встала на краю обрыва, задыхаясь от поспешной ходьбы. Глубокая непобедимая вера, ликуя, пенилась и шумела в ней. Она разбрасывала ее взглядом за горизонт, откуда легким шумом береговой волны возвращалась она обратно, гордая чистотой полета. Тем временем море, обведенное по горизонту золотой нитью, еще спало; лишь под обрывом, в лужах береговых ям, вздымалась и опадала вода. Стальной у берега цвет спящего океана переходил в синий и черный. За золотой нитью небо, вспыхивая, сияло огромным веером света; белые облака тронулись слабым румянцем. Тонкие, божественные цвета светились в них. На черной дали легла уже трепетная снежная белизна; пена блестела, и багровый разрыв, вспыхнув средь золотой нити, бросил по океану, к ногам Ассоль, алую рябь.   
 Она села, подобрав ноги, с руками вокруг колен. Внимательно наклоняясь к морю, смотрела она на горизонт большими глазами, в которых не осталось уже ничего взрослого, -- глазами ребенка. Все, чего она ждала так долго и горячо, делалось там -- на краю света. Она видела в стране далеких пучин подводный холм; от поверхности его струились вверх вьющиеся растения; среди их круглых листьев, пронизанных у края стеблем, сияли причудливые цветы. Верхние листья блестели на поверхности океана; тот, кто ничего не знал, как знала Ассоль, видел лишь трепет и блеск.   
 Из заросли поднялся корабль; он всплыл и остановился по самой середине зари. Из этой дали он был виден ясно, как облака. Разбрасывая веселье, он пылал, как вино, роза, кровь, уста, алый бархат и пунцовый огонь. Корабль шел прямо к Ассоль. Крылья пены трепетали под мощным напором его киля; уже встав, девушка прижала руки к груди, как чудная игра света перешла в зыбь; взошло солнце, и яркая полнота утра сдернула покровы с всего, что еще нежилось, потягиваясь на сонной земле.   
 Девушка вздохнула и осмотрелась. Музыка смолкла, но Ассоль была еще во власти ее звонкого хора. Это впечатление постепенно ослабевало, затем стало воспоминанием и, наконец, просто усталостью. Она легла на траву, зевнула и, блаженно закрыв глаза, уснула -- по-настоящему, крепким, как молодой орех, сном, без заботы и сновидений.   
 Ее разбудила муха, бродившая по голой ступне. Беспокойно повертев ножкой, Ассоль проснулась; сидя, закалывала она растрепанные волосы, поэтому кольцо Грэя напомнило о себе, но считая его не более, как стебельком, застрявшим меж пальцев, она распрямила их; так как помеха не исчезла, она нетерпеливо поднесла руку к глазам и выпрямилась, мгновенно вскочив с силой брызнувшего фонтана.   
 На ее пальце блестело лучистое кольцо Грэя, как на чужом, -- своим не могла признать она в этот момент, не чувствовала палец свой. -- "Чья это шутка? Чья шутка? -- стремительно вскричала она. -- Разве я сплю? Может быть, нашла и забыла?". Схватив левой рукой правую, на которой было кольцо, с изумлением осматривалась она, пытая взглядом море и зеленые заросли; но никто не шевелился, никто не притаился в кустах, и в синем, далеко озаренном море не было никакого знака, и румянец покрыл Ассоль, а голоса сердца сказали вещее "да". Не было объяснений случившемуся, но без слов и мыслей находила она их в странном чувстве своем, и уже близким ей стало кольцо. Вся дрожа, сдернула она его с пальца; держа в пригоршне, как воду, рассмотрела его она -- всею душою, всем сердцем, всем ликованием и ясным суеверием юности, затем, спрятав за лиф, Ассоль уткнула лицо в ладони, из-под которых неудержимо рвалась улыбка, и, опустив голову, медленно пошла обратной дорогой.   
 Так, -- случайно, как говорят люди, умеющие читать и писать, -- Грэй и Ассоль нашли друг друга утром летнего дня, полного неизбежности. V БОЕВЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ   
 Когда Грэй поднялся на палубу "Секрета", он несколько минут стоял неподвижно, поглаживая рукой голову сзади на лоб, что означало крайнее замешательство. Рассеянность -- облачное движение чувств -- отражалась в его лице бесчувственной улыбкой лунатика. Его помощник Пантен шел в это время по шканцам с тарелкой жареной рыбы; увидев Грэя, он заметил странное состояние капитана.   
 -- Вы, быть может, ушиблись? -- осторожно спросил он. -- Где были? Что видели? Впрочем, это, конечно, ваше дело. Маклер предлагает выгодный фрахт; с премией. Да что с вами такое?..   
 -- Благодарю, -- сказал Грэй, вздохнув, -- как развязанный. -- Мне именно недоставало звуков вашего простого, умного голоса. Это как холодная вода. Пантен, сообщите людям, что сегодня мы поднимаем якорь и переходим в устье Лилианы, миль десять отсюда. Ее течение перебито сплошными мелями. Проникнуть в устье можно лишь с моря. Придите за картой. Лоцмана не брать. Пока все... Да, выгодный фрахт мне нужен как прошлогодний снег. Можете передать это маклеру. Я отправляюсь в город, где пробуду до вечера.   
 -- Что же случилось?   
 -- Решительно ничего, Пантен. Я хочу, чтобы вы приняли к сведению мое желание избегать всяких расспросов. Когда наступит момент, я сообщу вам, в чем дело. Матросам скажите, что предстоит ремонт; что местный док занят.   
 -- Хорошо, -- бессмысленно сказал Пантен в спину уходящего Грэя. -- Будет исполнено.   
 Хотя распоряжения капитана были вполне толковы, помощник вытаращил глаза и беспокойно помчался с тарелкой к себе в каюту, бормоча: "Пантен, тебя озадачили. Не хочет ли он попробовать контрабанды? Не выступаем ли мы под черным флагом пирата?" Но здесь Пантен запутался в самых диких предположениях. Пока он нервически уничтожал рыбу, Грэй спустился в каюту, взял деньги и, переехав бухту, появился в торговых кварталах Лисса.   
 Теперь он действовал уже решительно и покойно, до мелочи зная все, что предстоит на чудном пути. Каждое движение -- мысль, действие -- грели его тонким наслаждением художественной работы. Его план сложился мгновенно и выпукло. Его понятия о жизни подверглись тому последнему набегу резца, после которого мрамор спокоен в своем прекрасном сиянии.   
 Грэй побывал в трех лавках, придавая особенное значение точности выбора, так как мысленно видел уже нужный цвет и оттенок. В двух первых лавках ему показали шелка базарных цветов, предназначенные удовлетворить незатейливое тщеславие; в третьей он нашел образцы сложных эффектов. Хозяин лавки радостно суетился, выкладывая залежавшиеся материи, но Грэй был серьезен, как анатом. Он терпеливо разбирал свертки, откладывал, сдвигал, развертывал и смотрел на свет такое множество алых полос, что прилавок, заваленный ими, казалось, вспыхнет. На носок сапога Грэя легла пурпурная волна; на его руках и лице блестел розовый отсвет. Роясь в легком сопротивлении шелка, он различал цвета: красный, бледный розовый и розовый темный, густые закипи вишневых, оранжевых и мрачно-рыжих тонов; здесь были оттенки всех сил и значений, различные -- в своем мнимом родстве, подобно словам: "очаровательно" -- "прекрасно" -- "великолепно" -- "совершенно"; в складках таились намеки, недоступные языку зрения, но истинный алый цвет долго не представлялся глазам нашего капитана; что приносил лавочник, было хорошо, но не вызывало ясного и твердого "да". Наконец, один цвет привлек обезоруженное внимание покупателя; он сел в кресло к окну, вытянул из шумного шелка длинный конец, бросил его на колени и, развалясь, с трубкой в зубах, стал созерцательно неподвижен.   
 Этот совершенно чистый, как алая утренняя струя, полный благородного веселья и царственности цвет являлся именно тем гордым цветом, какой разыскивал Грэй. В нем не было смешанных оттенков огня, лепестков мака, игры фиолетовых или лиловых намеков; не было также ни синевы, ни тени -- ничего, что вызывает сомнение. Он рдел, как улыбка, прелестью духовного отражения. Грэй так задумался, что позабыл о хозяине, ожидавшем за его спиной с напряжением охотничьей собаки, сделавшей стойку. Устав ждать, торговец напомнил о себе треском оторванного куска материи.   
 -- Довольно образцов, -- сказал Грэй, вставая, -- этот шелк я беру.   
 -- Весь кусок? -- почтительно сомневаясь, спросил торговец. Но Грэй молча смотрел ему в лоб, отчего хозяин лавки сделался немного развязнее. -- В таком случае, сколько метров?   
 Грэй кивнул, приглашая повременить, и высчитал карандашом на бумаге требуемое количество.   
 -- Две тысячи метров. -- Он с сомнением осмотрел полки. -- Да, не более двух тысяч метров.   
 -- Две? -- сказал хозяин, судорожно подскакивая, как пружинный. -- Тысячи? Метров? Прошу вас сесть, капитан. Не желаете ли взглянуть, капитан, образцы новых материй? Как вам будет угодно. Вот спички, вот прекрасный табак; прошу вас. Две тысячи... две тысячи по. -- Он сказал цену, имеющую такое же отношение к настоящей, как клятва к простому "да", но Грэй был доволен, так как не хотел ни в чем торговаться. -- Удивительный, наилучший шелк, -- продолжал лавочник, -- товар вне сравнения, только у меня найдете такой.   
 Когда он наконец весь изошел восторгом, Грэй договорился с ним о доставке, взяв на свой счет издержки, уплатил по счету и ушел, провожаемый хозяином с почестями китайского короля. Тем временем через улицу от того места, где была лавка, бродячий музыкант, настроив виолончель, заставил ее тихим смычком говорить грустно и хорошо; его товарищ, флейтист, осыпал пение струи лепетом горлового свиста; простая песенка, которою они огласили дремлющий в жаре двор, достигла ушей Грэя, и тотчас он понял, что следует ему делать дальше. Вообще все эти дни он был на той счастливой высоте духовного зрения, с которой отчетливо замечались им все намеки и подсказы действительности; услыша заглушаемые ездой экипажей звуки, он вошел в центр важнейших впечатлений и мыслей, вызванных, сообразно его характеру, этой музыкой, уже чувствуя, почему и как выйдет хорошо то, что придумал. Миновав переулок, Грэй прошел в ворота дома, где состоялось музыкальное выступление. К тому времени музыканты собрались уходить; высокий флейтист с видом забитого достоинства благодарно махал шляпой тем окнам, откуда вылетали монеты. Виолончель уже вернулась под мышку своего хозяина; тот, вытирая вспотевший лоб, дожидался флейтиста.   
 -- Ба, да это ты, Циммер! -- сказал ему Грэй, признавая скрипача, который по вечерам веселил своей прекрасной игрой моряков, гостей трактира "Деньги на бочку". -- Как же ты изменил скрипке?   
 -- Досточтимый капитан, -- самодовольно возразил Циммер, -- я играю на всем, что звучит и трещит. В молодости я был музыкальным клоуном. Теперь меня тянет к искусству, и я с горем вижу, что погубил незаурядное дарование. Поэтому-то я из поздней жадности люблю сразу двух: виолу и скрипку. На виолончели играю днем, а на скрипке по вечерам, то есть как бы плачу, рыдаю о погибшем таланте. Не угостите ли винцом, а? Виолончель -- это моя Кармен, а скрипка.   
 -- Ассоль, -- сказал Грэй. Циммер не расслышал.   
 -- Да, -- кивнул он, -- соло на тарелках или медных трубочках -- Другое дело. Впрочем, что мне?! Пусть кривляются паяцы искусства -- я знаю, что в скрипке и виолончели всегда отдыхают феи.   
 -- А что скрывается в моем "тур-лю-рлю"? -- спросил подошедший флейтист, рослый детина с бараньими голубыми глазами и белокурой бородой. -- Ну-ка, скажи?   
 -- Смотря по тому, сколько ты выпил с утра. Иногда -- птица, иногда -- спиртные пары. Капитан, это мой компаньон Дусс; я говорил ему, как вы сорите золотом, когда пьете, и он заочно влюблен в вас.   
 -- Да, -- сказал Дусс, -- я люблю жест и щедрость. Но я хитер, не верьте моей гнусной лести.   
 -- Вот что, -- сказал, смеясь, Грэй. -- У меня мало времени, а дело не терпит. Я предлагаю вам хорошо заработать. Соберите оркестр, но не из щеголей с парадными лицами мертвецов, которые в музыкальном буквоедстве или -- что еще хуже -- в звуковой гастрономии забыли о душе музыки и тихо мертвят эстрады своими замысловатыми шумами, -- нет. Соберите своих, заставляющих плакать простые сердца кухарок и лакеев; соберите своих бродяг. Море и любовь не терпят педантов. Я с удовольствием посидел бы с вами, и даже не с одной бутылкой, но нужно идти. У меня много дела. Возьмите это и пропейте за букву А. Если вам нравится мое предложение, приезжайте повечеру на "Секрет", он стоит неподалеку от головной дамбы.   
 -- Согласен! -- вскричал Циммер, зная, что Грэй платит, как царь. -- Дусс, кланяйся, скажи "да" и верти шляпой от радости! Капитан Грэй хочет жениться!   
 -- Да, -- просто сказал Грэй. -- Все подробности я вам сообщу на "Секрете". Вы же...   
 -- За букву А! -- Дусс, толкнув локтем Циммера, подмигнул Грэю. -- Но... как много букв в алфавите! Пожалуйте что-нибудь и на фиту...   
 Грэй дал еще денег. Музыканты ушли. Тогда он зашел в комиссионную контору и дал тайное поручение за крупную сумму -- выполнить срочно, в течение шести дней. В то время, как Грэй вернулся на свой корабль, агент конторы уже садился на пароход. К вечеру привезли шелк; пять парусников, нанятых Грэем, поместились с матросами; еще не вернулся Летика и не прибыли музыканты; в ожидании их Грэй отправился потолковать с Пантеном.   
 Следует заметить, что Грэй в течение нескольких лет плавал с одним составом команды. Вначале капитан удивлял матросов капризами неожиданных рейсов, остановок -- иногда месячных -- в самых неторговых и безлюдных местах, но постепенно они прониклись "грэизмом" Грэя. Он часто плавал с одним балластом, отказываясь брать выгодный фрахт только потому, что не нравился ему предложенный груз. Никто не мог уговорить его везти мыло, гвозди, части машин и другое, что мрачно молчит в трюмах, вызывая безжизненные представления скучной необходимости. Но он охотно грузил фрукты, фарфор, животных, пряности, чай, табак, кофе, шелк, ценные породы деревьев: черное, сандал, пальму. Все это отвечало аристократизму его воображения, создавая живописную атмосферу; не удивительно, что команда "Секрета", воспитанная, таким образом, в духе своеобразности, посматривала несколько свысока на все иные суда, окутанные дымом плоской наживы. Все-таки этот раз Грэй встретил вопросы в физиономиях; самый тупой матрос отлично знал, что нет надобности производить ремонт в русле лесной реки.   
 Пантен, конечно, сообщил им приказание Грэя; когда тот вошел, помощник его докуривал шестую сигару, бродя по каюте, ошалев от дыма и натыкаясь на стулья. Наступал вечер; сквозь открытый иллюминатор торчала золотистая балка света, в которой вспыхнул лакированный козырек капитанской фуражки.   
 -- Все готово, -- мрачно сказал Пантен. -- Если хотите, можно поднимать якорь.   
 -- Вы должны бы, Пантен, знать меня несколько лучше, -- мягко заметил Грэй. -- Нет тайны в том, что я делаю. Как только мы бросим якорь на дно Лилианы, я расскажу все, и вы не будете тратить так много спичек на плохие сигары. Ступайте, снимайтесь с якоря.   
 Пантен, неловко усмехаясь, почесал бровь.   
 -- Это, конечно, так, -- сказал он. -- Впрочем, я ничего. Когда он вышел, Грэй посидел несколько времени, неподвижно смотря в полуоткрытую дверь, затем перешел к себе. Здесь он то сидел, то ложился; то, прислушиваясь к треску брашпиля, выкатывающего громкую цепь, собирался выйти на бак, но вновь задумывался и возвращался к столу, чертя по клеенке пальцем прямую быструю линию. Удар кулаком в дверь вывел его из маниакального состояния; он повернул ключ, впустив Летику. Матрос, тяжело дыша, остановился с видом гонца, вовремя Предупредившего казнь.   
 -- "Летика, Летика", -- сказал я себе, -- быстро заговорил он, -- когда я с кабельного мола увидел, как танцуют вокруг брашпиля наши ребята, поплевывая в ладони. У меня глаз, как у орла. И я полетел; я так дышал на лодочника, что человек вспотел от волнения. Капитан, вы хотели оставить меня на берегу?   
 -- Летика, -- сказал Грэй, присматриваясь к его красным глазам, -- я ожидал тебя не позже утра. Лил ли ты на затылок холодную воду?   
 -- Лил. Не столько, сколько было принято внутрь, но лил. Все сделано.   
 -- Говори. -- Не стоит говорить, капитан; вот здесь все записано. Берите и читайте. Я очень старался. Я уйду.   
 -- Куда?   
 -- Я вижу по укоризне глаз ваших, что еще мало лил на затылок холодной воды.   
 Он повернулся и вышел с странными движениями слепого. Грэй развернул бумажку; карандаш, должно быть, дивился, когда выводил по ней эти чертежи, напоминающие расшатанный забор. Вот что писал Летика: "Сообразно инструкции. После пяти часов ходил по улице. Дом с серой крышей, по два окна сбоку; при нем огород. Означенная особа приходила два раза: за водой раз, за щепками для плиты два. По наступлении темноты проник взглядом в окно, но ничего не увидел по причине занавески".   
 Затем следовало несколько указаний семейного характера, добытых Летикой, видимо, путем застольного разговора, так как меморий заканчивался, несколько неожиданно, словами: "В счет расходов приложил малость своих".   
 Но существо этого донесения говорило лишь о том, что мы знаем из первой главы. Грэй положил бумажку в стол, свистнул вахтенного и послал за Пантеном, но вместо помощника явился боцман Атвуд, обдергивая засученные рукава.   
 -- Мы ошвартовались у дамбы, -- сказал он. -- Пантен послал узнать, что вы хотите. Он занят: на него напали там какие-то люди с трубами, барабанами и другими скрипками. Вы звали их на "Секрет"? Пантен просит вас прийти, говорит, у него туман в голове.   
 -- Да, Атвуд, -- сказал Грэй, -- я, точно, звал музыкантов; подите, скажите им, чтобы шли пока в кубрик. Далее будет видно, как их устроить. Атвуд, скажите им и команде, что я выйду на палубу через четверть часа. Пусть соберутся; вы и Пантен, разумеется, тоже послушаете меня.   
 Атвуд взвел, как курок, левую бровь, постоял боком у двери и вышел. Эти десять минут Грэй провел, закрыв руками лицо; он ни к чему не приготовлялся и ничего не рассчитывал, но хотел мысленно помолчать. Тем временем его ждали уже все, нетерпеливо и с любопытством, полным догадок. Он вышел и увидел по лицам ожидание невероятных вещей, но так как сам находил совершающееся вполне естественным, то напряжение чужих душ отразилось в нем легкой досадой.   
 -- Ничего особенного, -- сказал Грэй, присаживаясь на трап мостика. -- Мы простоим в устье реки до тех пор, пока не сменим весь такелаж. Вы видели, что привезен красный шелк; из него под руководством парусного мастера Блента смастерят "Секрету" новые паруса. Затем мы отправимся, но куда -- не скажу; во всяком случае, недалеко отсюда. Я еду к жене. Она еще не жена мне, но будет ею. Мне нужны алые паруса, чтобы еще издали, как условлено с нею, она заметила нас. Вот и все. Как видите, здесь нет ничего таинственного. И довольно об этом.   
 -- Да, -- сказал Атвуд, видя по улыбающимся лицам матросов, что они приятно озадачены и не решаются говорить. -- Так вот в чем дело, капитан... Не нам, конечно, судить об этом. Как желаете, так и будет. Я поздравляю вас.   
 -- Благодарю! -- Грэй сильно сжал руку боцмана, но тот, сделав невероятное усилие, ответил таким пожатием, что капитан уступил. После этого подошли все, сменяя друг друга застенчивой теплотой взгляда и бормоча поздравления. Никто не крикнул, не зашумел -- нечто не совсем простое чувствовали матросы в отрывистых словах капитана. Пантен облегченно вздохнул и повеселел -- его душевная тяжесть растаяла. Один корабельный плотник остался чем-то недоволен: вяло подержав руку Грэя, он мрачно спросил: -- Как это вам пришло в голову, капитан?   
 -- Как удар твоего топора, -- сказал Грэй. -- Циммер! Покажи своих ребятишек.   
 Скрипач, хлопая по спине музыкантов, вытолкнул семь человек, одетых крайне неряшливо.   
 -- Вот, -- сказал Циммер, -- это -- тромбон; не играет, а палит, как из пушки. Эти два безусых молодца -- фанфары; как заиграют, так сейчас же хочется воевать. Затем кларнет, корнет-а-пистон и вторая скрипка. Все они -- великие мастера обнимать резвую приму, то есть меня. А вот и главный хозяин нашего веселого ремесла -- Фриц, барабанщик. У барабанщиков, знаете, обычно -- разочарованный вид, но этот бьет с достоинством, с увлечением. В его игре есть что-то открытое и прямое, как его палки. Так ли все сделано, капитан Грэй?   
 -- Изумительно, -- сказал Грэй. -- Всем вам отведено место в трюме, который на этот раз, значит, будет погружен разными "скерцо", "адажио" и "фортиссимо". Разойдитесь. Пантен, снимайте швартовы, трогайтесь. Я вас сменю через два часа.   
 Этих двух часов он не заметил, так как они прошли все в той же внутренней музыке, не оставлявшей его сознания, как пульс не оставляет артерий. Он думал об одном, хотел одного, стремился к одному. Человек действия, он мысленно опережал ход событий, жалея лишь о том, что ими нельзя двигать так же просто и скоро, как шашками. Ничто в спокойной наружности его не говорило о том напряжении чувства, гул которого, подобно гулу огромного колокола, бьющего над головой, мчался во всем его существе оглушительным нервным стоном. Это довело его, наконец, до того, что он стал считать мысленно: "Один", два... тридцать..." и так далее, пока не сказал "тысяча". Такое упражнение подействовало: он был способен наконец взглянуть со стороны на все предприятие. Здесь несколько удивило его то, что он не может представить внутреннюю Ассоль, так как даже не говорил с ней. Он читал где-то, что можно, хотя бы смутно, понять человека, если, вообразив себя этим человеком, скопировать выражение его лица. Уже глаза Грэя начали принимать несвойственное им странное выражение, а губы под усами складываться в слабую, кроткую улыбку, как, опомнившись, он расхохотался и вышел сменить Пантена.   
 Было темно. Пантен, подняв воротник куртки, ходил у компаса, говоря рулевому: "Лево четверть румба; лево. Стой: еще четверть". "Секрет" шел с половиною парусов при попутном ветре.   
 -- Знаете, -- сказал Пантен Грэю, -- я доволен.   
 -- Чем?   
 -- Тем же, чем и вы. Я все понял. Вот здесь, на мостике. -- Он хитро подмигнул, светя улыбке огнем трубки.   
 -- Ну-ка, -- сказал Грэй, внезапно догадавшись, в чем дело, -- что вы там поняли? -- Лучший способ провезти контрабанду, -- шепнул Пантен. -- Всякий может иметь такие паруса, какие хочет. У вас гениальная голова, Грэй!   
 -- Бедный Пантен! -- сказал капитан, не зная, сердиться или смеяться. -- Ваша догадка остроумна, но лишена всякой основы. Идите спать. Даю вам слово, что вы ошибаетесь. Я делаю то, что сказал.   
 Он отослал его спать, сверился с направлением курса и сел. Теперь мы его оставим, так как ему нужно быть одному. VI АССОЛЬ ОСТАЕТСЯ ОДНА   
 Лонгрен провел ночь в море; он не спал, не ловил, а шел под парусом без определенного направления, слушая плеск воды, смотря в тьму, обветриваясь и думая. В тяжелые часы жизни ничто так не восстанавливало силы его души, как эти одинокие блужданья. Тишина, только тишина и безлюдье -- вот что нужно было ему для того, чтобы все самые слабые и спутанные голоса внутреннего мира зазвучали понятно. Эту ночь он думал о будущем, о бедности, об Ассоль. Ему было крайне трудно покинуть ее даже на время; кроме того, он боялся воскресить утихшую боль. Быть может, поступив на корабль, он снова вообразит, что там, в Каперне его ждет не умиравший никогда друг, и возвращаясь, он будет подходить к дому с горем мертвого ожидания. Мери никогда больше не выйдет из дверей дома. Но он хотел, чтобы у Ассоль было что есть, решив поэтому поступить так, как приказывает забота.

Когда Лонгрен вернулся, девушки еще не было дома. Ее ранние прогулки не смущали отца; на этот раз однако в его ожидании была легкая напряженность. Похаживая из угла в угол, он на повороте вдруг сразу увидел Ассоль; вошедшая стремительно и неслышно, она молча остановилась перед ним, почти испугав его светом взгляда, отразившего возбуждение. Казалось, открылось ее второе лицо -- то истинное лицо человека, о котором обычно говорят только глаза. Она молчала, смотря в лицо Лонгрену так непонятно, что он быстро спросил: -- Ты больна?   
 Она не сразу ответила. Когда смысл вопроса коснулся наконец ее духовного слуха, Ассоль встрепенулась, как ветка, тронутая рукой, и засмеялась долгим, ровным смехом тихого торжества. Ей надо было сказать что-нибудь, но, как всегда, не требовалось придумывать -- что именно; она сказала: -- Нет, я здорова... Почему ты так смотришь? Мне весело. Верно, мне весело, но это оттого, что день так хорош. А что ты надумал? Я уж вижу по твоему лицу, что ты что-то надумал.   
 -- Что бы я ни надумал, -- сказал Лонгрен, усаживая девушку на колени, -- ты, я знаю, поймешь, в чем дело. Жить нечем. Я не пойду снова в дальнее плавание, а поступлю на почтовый пароход, что ходит между Кассетом и Лиссом.   
 -- Да, -- издалека сказала она, силясь войти в его заботы и дело, но ужасаясь, что бессильна перестать радоваться. -- Это очень плохо. Мне будет скучно. Возвратись поскорей. -- Говоря так, она расцветала неудержимой улыбкой. -- Да, поскорей, милый; я жду.   
 -- Ассоль! -- сказал Лонгрен, беря ладонями ее лицо и поворачивая к себе. -- Выкладывай, что случилось?   
 Она почувствовала, что должна выветрить его тревогу, и, победив ликование, сделалась серьезно-внимательной, только в ее глазах блестела еще новая жизнь.   
 -- "Ты странный, -- сказала она. -- Решительно ничего. Я собирала орехи."   
 Лонгрен не вполне поверил бы этому, не будь он так занят своими мыслями. Их разговор стал деловым и подробным. Матрос сказал дочери, чтобы она уложила его мешок; перечислил все необходимые вещи и дал несколько советов.   
 -- Я вернусь домой дней через десять, а ты заложи мое ружье и сиди дома. Если кто захочет тебя обидеть, скажи: -- "Лонгрен скоро вернется". Не думай и не беспокойся обо мне; худого ничего не случится.   
 После этого он поел, крепко поцеловал девушку и, вскинув мешок за плечи, вышел на городскую дорогу. Ассоль смотрела ему вслед, пока он не скрылся за поворотом; затем вернулась. Немало домашних работ предстояло ей, но она забыла об этом. С интересом легкого удивления осматривалась она вокруг, как бы уже чужая этому дому, так влитому в сознание с детства, что, казалось, всегда носила его в себе, а теперь выглядевшему подобно родным местам, посещенным спустя ряд лет из круга жизни иной. Но что-то недостойное почудилось ей в этом своем отпоре, что-то неладное. Она села к столу, на котором Лонгрен мастерил игрушки, и попыталась приклеить руль к корме; смотря на эти предметы, невольно увидела она их большими, настоящими; все, что случилось утром, снова поднялось в ней дрожью волнения, и золотое кольцо, величиной с солнце, упало через море к ее ногам.   
 Не усидев, она вышла из дома и пошла в Лисе. Ей совершенно нечего было там делать; она не знала, зачем идет, но не идти -- не могла. По дороге ей встретился пешеход, желавший разведать какое-то направление; она толково объяснила ему, что нужно, и тотчас же забыла об этом.   
 Всю длинную дорогу миновала она незаметно, как если бы несла птицу, поглотившую все ее нежное внимание. У города она немного развлеклась шумом, летевшим с его огромного круга, но он был не властен над ней, как раньше, когда, пугая и забивая, делал ее молчаливой трусихой. Она противостояла ему. Она медленно прошла кольцеобразный бульвар, пересекая синие тени деревьев, доверчиво и легко взглядывая на лица прохожих, ровной походкой, полной уверенности. Порода наблюдательных людей в течение дня замечала неоднократно неизвестную, странную на взгляд девушку, проходящую среди яркой толпы с видом глубокой задумчивости. На площади она подставила руку струе фонтана, перебирая пальцами среди отраженных брызг; затем, присев, отдохнула и вернулась на лесную дорогу. Обратный путь она сделала со свежей душой, в настроении мирном и ясном, подобно вечерней речке, сменившей, наконец, пестрые зеркала дня ровным в тени блеском. Приближаясь к селению, она увидала того самого угольщика, которому померещилось, что у него зацвела корзина; он стоял возле повозки с двумя неизвестными мрачными людьми, покрытыми сажей и грязью. Ассоль обрадовалась. -- Здравствуй. Филипп, -- сказала она, -- что ты здесь делаешь?   
 -- Ничего, муха. Свалилось колесо; я его поправил, теперь покуриваю да калякаю с нашими ребятами. Ты откуда?   
 Ассоль не ответила.   
 -- Знаешь, Филипп, -- заговорила она, -- я тебя очень люблю, и потому скажу только тебе. Я скоро уеду; наверное, уеду совсем. Ты не говори никому об этом.   
 -- Это ты хочешь уехать? Куда же ты собралась? -- изумился угольщик, вопросительно раскрыв рот, отчего его борода стала длиннее.   
 -- Не знаю. -- Она медленно осмотрела поляну под вязом, где стояла телега, -- зеленую в розовом вечернем свете траву, черных молчаливых угольщиков и, подумав, прибавила: -- Все это мне неизвестно. Я не знаю ни дня, ни часа и даже не знаю, куда. Больше ничего не скажу. Поэтому, на всякий случай, -- прощай; ты часто меня возил.   
 Она взяла огромную черную руку и привела ее в состояние относительного трясения. Лицо рабочего разверзло трещину неподвижной улыбки. Девушка кивнула, повернулась и отошла. Она исчезла так быстро, что Филипп и его приятели не успели повернуть голову.   
 -- Чудеса, -- сказал угольщик, -- поди-ка, пойми ее. -- Что-то с ней сегодня... такое и прочее.   
 -- Верно, -- поддержал второй, -- не то она говорит, не то -- уговаривает. Не наше дело.   
 -- Не наше дело, -- сказал и третий, вздохнув. Затем все трое сели в повозку и, затрещав колесами по каменистой дороге, скрылись в пыли. VII АЛЫЙ "СЕКРЕТ"   
 Был белый утренний час; в огромном лесу стоял тонкий пар, полный странных видений. Неизвестный охотник, только что покинувший свой костер, двигался вдоль реки; сквозь деревья сиял просвет ее воздушных пустот, но прилежный охотник не подходил к ним, рассматривая свежий след медведя, направляющийся к горам.   
 Внезапный звук пронесся среди деревьев с неожиданностью тревожной погони; это запел кларнет. Музыкант, выйдя на палубу, сыграл отрывок мелодии, полной печального, протяжного повторения. Звук дрожал, как голос, скрывающий горе; усилился, улыбнулся грустным переливом и оборвался. Далекое эхо смутно напевало ту же мелодию.   
 Охотник, отметив след сломанной веткой, пробрался к воде. Туман еще не рассеялся; в нем гасли очертания огромного корабля, медленно повертывающегося к устью реки. Его свернутые паруса ожили, свисая фестонами, расправляясь и покрывая мачты бессильными щитами огромных складок; слышались голоса и шаги. Береговой ветер, пробуя дуть, лениво теребил паруса; наконец, тепло солнца произвело нужный эффект; воздушный напор усилился, рассеял туман и вылился по реям в легкие алые формы, полные роз. Розовые тени скользили по белизне мачт и снастей, все было белым, кроме раскинутых, плавно двинутых парусов цвета глубокой радости.   
 Охотник, смотревший с берега, долго протирал глаза, пока не убедился, что видит именно так, а не иначе. Корабль скрылся за поворотом, а он все еще стоял и смотрел; затем, молча пожав плечами, отправился к своему медведю.   
 Пока "Секрет" шел руслом реки, Грэй стоял у штурвала, не доверяя руля матросу -- он боялся мели. Пантен сидел рядом, в новой суконной паре, в новой блестящей фуражке, бритый и смиренно надутый. Он по-прежнему не чувствовал никакой связи между алым убранством и прямой целью Грэя.   
 -- Теперь, -- сказал Грэй, -- когда мои паруса рдеют, ветер хорош, а в сердце моем больше счастья, чем у слона при виде небольшой булочки, я попытаюсь настроить вас своими мыслями, как обещал в Лиссе. Заметьте -- я не считаю вас глупым или упрямым, нет; вы образцовый моряк, а это много стоит. Но вы, как и большинство, слушаете голоса всех нехитрых истин сквозь толстое стекло жизни; они кричат, но, вы не услышите. Я делаю то, что существует, как старинное представление о прекрасном-несбыточном, и что, по существу, так же сбыточно и возможно, как загородная прогулка. Скоро вы увидите девушку, которая не может, не должна иначе выйти замуж, как только таким способом, какой развиваю я на ваших глазах.   
 Он сжато передал моряку то, о чем мы хорошо знаем, закончив объяснение так: -- Вы видите, как тесно сплетены здесь судьба, воля и свойство характеров; я прихожу к той, которая ждет и может ждать только меня, я же не хочу никого другого, кроме нее, может быть именно потому, что благодаря ей я понял одну нехитрую истину. Она в том, чтобы делать так называемые чудеса своими руками. Когда для человека главное -- получать дражайший пятак, легко дать этот пятак, но, когда душа таит зерно пламенного растения -- чуда, сделай ему это чудо, если ты в состоянии. Новая душа будет у него и новая у тебя. Когда начальник тюрьмы сам выпустит заключенного, когда миллиардер подарит писцу виллу, опереточную певицу и сейф, а жокей хоть раз попридержит лошадь ради другого коня, которому не везет, -- тогда все поймут, как это приятно, как невыразимо чудесно. Но есть не меньшие чудеса: улыбка, веселье, прощение, и -- вовремя сказанное, нужное слово. Владеть этим -- значит владеть всем. Что до меня, то наше начало -- мое и Ассоль -- останется нам навсегда в алом отблеске парусов, созданных глубиной сердца, знающего, что такое любовь. Поняли вы меня?   
 -- Да, капитан. -- Пантен крякнул, вытерев усы аккуратно сложенным чистым платочком. -- Я все понял. Вы меня тронули. Пойду я вниз и попрошу прощения у Никса, которого вчера ругал за потопленное ведро. И дам ему табаку -- свой он проиграл в карты.   
 Прежде чем Грэй, несколько удивленный таким быстрым практическим результатом своих слов, успел что-либо сказать, Пантен уже загремел вниз по трапу и где-то отдаленно вздохнул. Грэй оглянулся, посмотрев вверх; над ним молча рвались алые паруса; солнце в их швах сияло пурпурным дымом. "Секрет" шел в море, удаляясь от берега. Не было никаких сомнений в звонкой душе Грэя -- ни глухих ударов тревоги, ни шума мелких забот; спокойно, как парус, рвался он к восхитительной цели; полный тех мыслей, которые опережают слова.   
 К полудню на горизонте показался дымок военного крейсера, крейсер изменил курс и с расстояния полумили поднял сигнал -- "лечь в дрейф!".   
 -- Братцы, -- сказал Грэй матросам, -- нас не обстреляют, не бойтесь; они просто не верят своим глазам.   
 Он приказал дрейфовать. Пантен, крича как на пожаре, вывел "Секрет" из ветра; судно остановилось, между тем как от крейсера помчался паровой катер с командой и лейтенантом в белых перчатках; лейтенант, ступив на палубу корабля, изумленно оглянулся и прошел с Грэем в каюту, откуда через час отправился, странно махнув рукой и улыбаясь, словно получил чин, обратно к синему крейсеру. По-видимому, этот раз Грэй имел больше успеха, чем с простодушным Пантеном, так как крейсер, помедлив, ударил по горизонту могучим залпом салюта, стремительный дым которого, пробив воздух огромными сверкающими мячами, развеялся клочьями над тихой водой. Весь день на крейсере царило некое полупраздничное остолбенение; настроение было неслужебное, сбитое -- под знаком любви, о которой говорили везде -- от салона до машинного трюма, а часовой минного отделения спросил проходящего матроса: -- "Том, как ты женился?" -- "Я поймал ее за юбку, когда она хотела выскочить от меня в окно", -- сказал Том и гордо закрутил ус.   
 Некоторое время "Секрет" шел пустым морем, без берегов; к полудню открылся далекий берег. Взяв подзорную трубу, Грэй уставился на Каперну. Если бы не ряд крыш, он различил бы в окне одного дома Ассоль, сидящую за какой-то книгой. Она читала; по странице полз зеленоватый жучок, останавливаясь и приподнимаясь на передних лапах с видом независимым и домашним. Уже два раза был он без досады сдунут на подоконник, откуда появлялся вновь доверчиво и свободно, словно хотел что-то сказать. На этот раз ему удалось добраться почти к руке девушки, державшей угол страницы; здесь он застрял на слове "смотри", с сомнением остановился, ожидая нового шквала, и, действительно, едва избег неприятности, так как Ассоль уже воскликнула: -- "Опять жучишка... дурак!.." -- и хотела решительно сдуть гостя в траву, но вдруг случайный переход взгляда от одной крыши к другой открыл ей на синей морской щели уличного пространства белый корабль с алыми парусами.   
 Она вздрогнула, откинулась, замерла; потом резко вскочила с головокружительно падающим сердцем, вспыхнув неудержимыми слезами вдохновенного потрясения. "Секрет" в это время огибал небольшой мыс, держась к берегу углом левого борта; негромкая музыка лилась в голубом дне с белой палубы под огнем алого шелка; музыка ритмических переливов, переданных не совсем удачно известными всем словами: "Налейте, налейте бокалы -- и выпьем, друзья, за любовь"... -- В ее простоте, ликуя, развертывалось и рокотало волнение.   
 Не помня, как оставила дом, Ассоль бежала уже к морю, подхваченная неодолимым ветром события; на первом углу она остановилась почти без сил; ее ноги подкашивались, дыхание срывалось и гасло, сознание держалось на волоске. Вне себя от страха потерять волю, она топнула ногой и оправилась. Временами то крыша, то забор скрывали от нее алые паруса; тогда, боясь, не исчезли ли они, как простой призрак, она торопилась миновать мучительное препятствие и, снова увидев корабль, останавливалась облегченно вздохнуть.   
 Тем временем в Каперне произошло такое замешательство, такое волнение, такая поголовная смута, какие не уступят аффекту знаменитых землетрясений. Никогда еще большой корабль не подходил к этому берегу; у корабля были те самые паруса, имя которых звучало как издевательство; теперь они ясно и неопровержимо пылали с невинностью факта, опровергающего все законы бытия и здравого смысла. Мужчины, женщины, дети впопыхах мчались к берегу, кто в чем был; жители перекликались со двора в двор, наскакивали друг на друга, вопили и падали; скоро у воды образовалась толпа, и в эту толпу стремительно вбежала Ассоль. Пока ее не было, ее имя перелетало среди людей с нервной и угрюмой тревогой, с злобным испугом. Больше говорили мужчины; сдавленно, змеиным шипением всхлипывали остолбеневшие женщины, но если уж которая начинала трещать -- яд забирался в голову. Как только появилась Ассоль, все смолкли, все со страхом отошли от нее, и она осталась одна средь пустоты знойного песка, растерянная, пристыженная, счастливая, с лицом не менее алым, чем ее чудо, беспомощно протянув руки к высокому кораблю.   
 От него отделилась лодка, полная загорелых гребцов; среди них стоял тот, кого, как ей показалось теперь, она знала, смутно помнила с детства. Он смотрел на нее с улыбкой, которая грела и торопила. Но тысячи последних смешных страхов одолели Ассоль; смертельно боясь всего -- ошибки, недоразумений, таинственной и вредной помехи -- она вбежала по пояс в теплое колыхание волн, крича: -- Я здесь, я здесь! Это я!   
 Тогда Циммер взмахнул смычком -- и та же мелодия грянула по нервам толпы, но на этот раз полным, торжествующим хором. От волнения, движения облаков и волн, блеска воды и дали девушка почти не могла уже различать, что движется: она, корабль или лодка -- все двигалось, кружилось и опадало.   
 Но весло резко плеснуло вблизи нее; она подняла голову. Грэй нагнулся, ее руки ухватились за его пояс. Ассоль зажмурилась; затем, быстро открыв глаза, смело улыбнулась его сияющему лицу и, запыхавшись, сказала: -- Совершенно такой.   
 -- И ты тоже, дитя мое! -- вынимая из воды мокрую драгоценность, сказал Грэй. -- Вот, я пришел. Узнала ли ты меня?   
 Она кивнула, держась за его пояс, с новой душой и трепетно зажмуренными глазами. Счастье сидело в ней пушистым котенком. Когда Ассоль решилась открыть глаза, покачиванье шлюпки, блеск волн, приближающийся, мощно ворочаясь, борт "Секрета", -- все было сном, где свет и вода качались, кружась, подобно игре солнечных зайчиков на струящейся лучами стене. Не помня -- как, она поднялась по трапу в сильных руках Грэя. Палуба, крытая и увешанная коврами, в алых выплесках парусов, была как небесный сад. И скоро Ассоль увидела, что стоит в каюте -- в комнате, которой лучше уже не может быть.   
 Тогда сверху, сотрясая и зарывая сердце в свой торжествующий крик, вновь кинулась огромная музыка. Опять Ассоль закрыла глаза, боясь, что все это исчезнет, если она будет смотреть. Грэй взял ее руки и, зная уже теперь, куда можно безопасно идти, она спрятала мокрое от слез лицо на груди друга, пришедшего так волшебно. Бережно, но со смехом, сам потрясенный и удивленный тем, что наступила невыразимая, недоступная никому драгоценная минута, Грэй поднял за подбородок вверх это давным-давно пригрезившееся лицо, и глаза девушки, наконец, ясно раскрылись. В них было все лучшее человека.   
 -- Ты возьмешь к нам моего Лонгрена? -- сказала она.   
 -- Да. -- И так крепко поцеловал он ее вслед за своим железным "да", что она засмеялась.   
 Теперь мы отойдем от них, зная, что им нужно быть вместе одним. Много на свете слов на разных языках и разных наречиях, но всеми ими, даже и отдаленно, не передашь того, что сказали они в день этот друг другу.   
 Меж тем на палубе у гротмачты, возле бочонка, изъеденного червем, с сбитым дном, открывшим столетнюю темную благодать, ждал уже весь экипаж. Атвуд стоял; Пантен чинно сидел, сияя, как новорожденный. Грэй поднялся вверх, дал знак оркестру и, сняв фуражку, первый зачерпнул граненым стаканом, в песне золотых труб, святое вино.   
 -- Ну, вот... -- сказал он, кончив пить, затем бросил стакан. -- Теперь пейте, пейте все; кто не пьет, тот враг мне.   
 Повторить эти слова ему не пришлось. В то время, как полным ходом, под всеми парусами уходил от ужаснувшейся навсегда Каперны "Секрет", давка вокруг бочонка превзошла все, что в этом роде происходит на великих праздниках.   
 -- Как понравилось оно тебе? -- спросил Грэй Летику.   
 -- Капитан! -- сказал, подыскивая слова, матрос. -- Не знаю, понравился ли ему я, но впечатления мои нужно обдумать. Улей и сад!   
 -- Что?! -- Я хочу сказать, что в мой рот впихнули улей и сад. Будьте счастливы, капитан. И пусть счастлива будет та, которую "лучшим грузом" я назову, лучшим призом "Секрета"!   
 Когда на другой день стало светать, корабль был далеко от Каперны. Часть экипажа как уснула, так и осталась лежать на палубе, поборотая вином Грэя; держались на ногах лишь рулевой да вахтенный, да сидевший на корме с грифом виолончели у подбородка задумчивый и хмельной Циммер. Он сидел, тихо водил смычком, заставляя струны говорить волшебным, неземным голосом, и думал о счастье...

(Охотник и пастушок)

Таинственный лес. Александр Грин.

Машинально приглаживая рукой волосы, оправляя галстук, косясь на проходящих мимо в суровой чистоте блузок, сосредоточенных учащихся барышень, Рылеев справился у библиотекаря, выписана ли затребованная книга, и, получив ее, занял обычное место у окна.

Он работал в библиотеке второй месяц, выписывая из специальных изданий все сведения, факты и обобщения, которые должны были составить в обработке содержание заказанной Рылееву научным издательством книги. Процесс работы был приятен Рылееву. Книга эта представляла собой один из крупных камней здания его жизни: помимо материальных выгод, издание книги обеспечивало ему некоторую, тоже выгодную, известность.

Все здание жизни, упорно подготовляемое долгими годами ученья, хлопот, настойчивых усилий и каменного терпения, должно было увенчаться осенью получением хорошегоштатного места при академии и женитьбой на давно уже, несколько лет, любимой девушке.

Рылеев любил думать о своем будущем, относился к нему ревниво и строго.

Сев, Рылеев снял пенсне, вытер его, надел снова и посмотрел, как всегда, прямо перед собой, потом влево и вправо. Впереди, подходя к солнечным венецианским окнам, тянулась вереница лиц и затылков, склоненных над книгами. Это была всегда одна и та же картина выраженного фигурами людей массового мозгового напряжения. Слева от Рылеева сидела полная, невысокая дама с флюсом и обиженными глазами: она рылась в старых журналах. Справа, локоть к локтю Рылеева, вытянув под столом ноги и подперев небритый подбородок пальцем левой руки, плохо одетый, не первой молодости человек читал, не подымая глаз, французский переводной роман. Романы менялись, а чтец их, аккуратно являясь к открытию библиотеки, требовал недочитанную «Морскую змею» или «Жеводанского зверя» и, усаживаясь на прежнем месте, щипал траурными пальцами уголок страницы.

Рылеев, посмотрев с неуважением на этого человека, ушел в работу, и прошло немного времени, как в памяти его и блокноте внедрились свежие научные новости, достойныеобработки. Он мысленно отшлифовал их, приодел, исправил погрешности перевода, в одной фразе нашел легкую казуистическую вольность, усмехнулся, похерил мировоззрение автора, записал голые факты и перешел к следующей главе. Изредка давая отдохнуть глазам или обдумывая что-либо, он подымал голову, видя все то же: светлую пустотупод потолком, голые солнечные подоконники, согнутые спины идущих на цыпочках людей и концентрические подковы черных столов, утомляющие глаз казенной симметрией. Между портретами Державина и Кольцова круглые стенные часы, сдержанно зашипев, пробили час; в углу, покраснев и не удержавшись, чихнула барышня, где-то заскрипел стул, потом упал карандаш. Звуки эти, разделенные долгими паузами тишины, резко останавливали внимание. И так, погруженный в хоровод своих и чужих мыслей, Рылеев просидел два часа.

Почувствовав утомление, сухость во рту и неудержимое желание перебирать под столом ногами, он встал, бесшумно удалился в курительную и, в обществе нескольких молодых курильщиков, смотревших, прислонясь к стене, на носки сапог, выкурил тоненькую, хмельную натощак, папиросу. Еще немного оставалось ему записать отмеченных в книге мест; он вышел и в коридоре столкнулся с улыбавшимся ему студентом Гоголевым, шедшим навстречу. Рылеев и Гоголев снимали вместе одну меблированную комнату.

— Я думал, вы ушли, — сказал Гоголев, отстегивая пуговицу мундира. — Я искал вас, вам письмо есть, почтальон был сейчас. А мне надоело сидеть дома, прошелся, так хорошо, тепло, кстати и письмо захватил.

Румяное, женственное лицо его с тупым под белыми усиками ртом силилось что-то вспомнить; он прибавил:

— Мурмина и Григорий Антонович приглашают вас вечером. Еще будут гости. А Валечка разучила что-то, сыграет… Придете?

— Хорошо, — сказал Рылеев, беря письмо. Взглянув на почерк, узнал руку Лизы и, обрадованный, забыл, что сказал Гоголев. — Так что вы говорите? Мурминой сыграть? Ах да, я приду, спасибо.

— Я Блосса буду читать, — заявил Гоголев, обдернул рукава и отошел. Рылеев, стоя в углу коридора, смотрел на конверт, стесненно вздохнул и, как всегда несколько волнуясь, разорвал угол письма. В это мгновение он был далек суровому быту читальни. Проходя мимо Рылеева, сухо посмотрела на него женщина воинственно-ученой осанки. Он, не заметив ее, прочел письмо:

«Милый мой Алексей! Этим письмом я расстаюсь с тобой навсегда. Случилось то, чего не надобно тебе знать, и не все ли равно? Наши дороги разошлись.

Забудь меня совсем, прости; мне кажется, что ты не тот, кого я ищу. Пока еще думаю о тебе, и мне тебя жаль. Прости же.Лиза».

Прочтя это, Рылеев невольно задержал дыхание, шумно вздохнул и сделал несколько шагов поперек коридора, усиливаясь придать лицу, для себя самого, комически ошеломленное выражение. Но и тени самообладания не было уже в нем, все впечатления дня вдруг испуганно посторонились, уступая место жесткому выражению строк, дрожавших в руке Рылеева. Из странной, глубокой отдаленности доносились к нему, шаги мимо идущих людей, сдержанные голоса, кашель. Тихо и строго, пока еще лишенное смысла, повторялось его душой прочитанное письмо, и чувствовал он, что лицо болезненно горит, как будто жар невидимого огня усиливается в воздухе. Так же как простреленный навылет солдат, почесав едва ощущаемую сгоряча рану, бежит еще некоторое время, удивленно смотря на побледневшие за него лица товарищей, — Рылеев, опустив руку с письмом, вошел в зал, увидел свой пустой стул, книгу, тощие скулы чтеца романов, сел и понял.

Он понял, что библиотека, трудовые часы его, бесчисленное количество книг, к которым доныне был он жаден, полон острого, охотничьего чувства, посетители, сидящие и выходящие, портрет Державина и умное, как бы приглашающее работать, лицо красивой библиотекарши не нужны ему, существуют по недоразумению и противны. Также он понял, что от Лизы писем больше не будет, что наступила полоса большого, острого горя, но не мог еще понять и примириться с тем, что лишился любви. Этого он, продолжая любить,не понимал. И текущий день стал перед ним в трагическом свете, как бы говоря теперь, что утром было у него хорошее настроение по ошибке, что иначе надо понимать светлые аллеи бульваров, что день потерпел крушение.

Посидев еще немного, Рылеев, сильнее, чем всегда, размахивая руками, встал и вышел из библиотеки на улицу.II

Ночью, после того, как вернувшийся из гостей Гоголев (Рылеев не был у Мурминых) съел, зевая, остатки сыра и колбасы, рассказывая набитым ртом, что, в сущности, Мурминымилы, но старомодны, Рылеев уснул тяжелым, полным стремительных, грозных образов, сном, во сне стонал и, неожиданно для себя, словно его ударил тотчас же спрятавшийся неизвестно куда враг, проснулся около двух. Было темно, тихо, в темноте шептали стенные часы, а на стекле окна, как нарисованная, обозначилась белесоватым зигзагом пленка зари.

Еще не помнившийся, растирая левую сторону груди, где, стесненное, болезненно колотилось сердце; Рылеев сел, потянул рукой одеяло, собираясь снова заснуть, но вспомнил вчерашний день, письмо и выпрямился; сон исчез, полная работа сознания остановилась на том, чему отныне всегда могло быть только одно имя: горе. Рылеев привык думать о своей любви и окончательном соединении с любимой девушкой, как о таком жизненном положении, которое не властны изменить ни он сам, ни она, ни какие-либо посторонние силы. Дремлющий, как у большинства людей, дух его спокойно относился к будущему: спокойно любил Рылеев, думая, — так как мы склонны переносить чувства свои на других, — что и он любим тоже спокойно, тихо, сильно и верно.

План Рылеева был такой: заработать побольше к осени денег, написать Лизе, что все устроено, что они могут жить вместе, не опасаясь нужды. Лиза жила в далеком провинциальном городе, где, мыкаясь в поисках заработка, случайно познакомился с нею Рылеев; она служила в транспортной торговой конторе. Ей шел теперь двадцать второй год,она была роста несколько выше среднего, красивая девушка с темными тяжелыми волосами: исключительно женственных очертаний стройная фигура ее, высоко поставленные брови и темный разрез глаз всегда мысленным портретом стояли перед глазами Рылеева. Сидя на кровати, обхватив руками колени и легонько покачиваясь, словно ритм этих маятникообразных движений мог успокоить хаос разоренного чувства, Рылеев почти физически слышал и понимал, как прежняя спокойная, элегическая влюбленность его перерождается в тоскливый недуг страсти, ревнивой и беспомощной, более мучительной от тех самых интимных воспоминаний, которые еще недавно он назвал бы светлыми.

В письме, оставившем по себе такое чувство, как будто бы двое суток подряд сильно болела голова, но боль прошла, сменившись нервной слабостью и дрожью рук, — в этом письме не было ничего, что прямо указывало бы на личность соперника, похитившего любовь женщины. Тем не менее Рылеев чувствовал этого другого так ясно, как если бы тот дышал ему прямо в лицо. Навязчивые представления овладели им. Ужасаясь и возмущаясь, Рылеев видел Лизу радостно отдающейся другому, а подробности представлений — для себя только волнующие — по отношению к невидимому сопернику казались страшным цинизмом.

Часы пробили два. Нервная городская ночь, просветлевшая до возможности отчетливо, как днем, различать предметы, торопилась изжить себя, перегорев в белых, без лучистого света, извилистых плоскостях рек и каналов. У Рылеева от напряжения и тоски звенело в ушах; прекратившись, звон этот раздался в углах торопливым, невнятным шепотом. Казалось, ожили к неподвижной, безглазой жизни мебель и книги, стены и занавески; все, что находилось здесь, потянулось друг к другу, шепчась секретно, меланхолически, шепотом наполняя воздух, и даже воздух, не вынося бессонных человеческих глаз, беззвучно шептал тенями странных слов крики, мольбы, угрозы, нежные клятвы, предостережения, жалобы. Погруженный в их торопливый мир, Рылеев сидел долго, опустив голову. Все уже передумал он; а все вертелась по огненному кругу мысль, одна и та же, об одном и том же, пока не стало ясным совсем, что не может быть примирения, что жить без Лизы он не может и не хочет.

Рылеев вырос в той думающей готовыми, приличными и культурными мыслями среде, которую принято называть интеллигенцией. В среде этой по отношению к любви господствовал умный, бесполый на нее взгляд: признавалось, что чувство любви свободно; что уважать свободу любви необходимо, если уважаешь человеческую личность; что тот, кого разлюбили, должен отнестись к этому внешне спокойно, не ревновать и не стараться силой ли, хитростью или страстью завоевать вновь потерянные отношения. Однако самоубийство не то что допускалось, а смотрели на него сквозь пальцы: «Неумный это был человек — и погиб». Ревность же, действительный признак силы и глубины любви, старались выставить стадным, животным пережитком. Так же относился ко всему этому и Рылеев; не раз слушая нежные голоса, твердившие беззвучно ему о возвышенности его любви, думал он, что, если возлюбленная его полюбит другого, не станет он мешать ее счастью, а отойдет и будет велик жертвой своей и, молча страдая, полюбит любовь к другому.

Все это исчезло, как будто и не было его никогда.

«Моя!» — твердила закипавшая кровь, а интеллигент в Рылееве, отойдя к сторонке, стоял растерянно. «Не может быть иначе, не будет этого, я не хочу!» — сказал Рылеев и тут же подумал, что у соперника должны быть насмешливые глаза; глаза эти издалека смотрели на него, обвеянные женской страстью.

В комнате, от падающих из-за реки и бледных, но уже веселых лучей было совсем по-дневному. Успокоенный главным решением, принятым бессознательно еще в библиотеке, бросившим его случаю и человеческой воле, Рылеев тяжело задремал.

Проснувшись с горьким вкусом во рту и сразу же, по воспоминании о происшедшем, возбуждаясь так, что похолодели руки, он увидел пустую кровать Гоголева, часовую стрелку на двух и тепленький самовар. Не одеваясь, Рылеев выпил стакан холодного чаю, завалил комнату бельем, книгами, нужными в дороге вещами и, собрав чемодан, оставил на столе Гоголеву половинные за квартиру деньги. С собою он брал все, что было накоплено для жизни с Лизой: четыреста двенадцать рублей. Потом, одевшись, постоял немного на одном месте, сел и написал записку сожителю:

«Я приеду через неделю, не думайте ничего особенного».

Сделав это, прошел мимо переставшего от удивления что-то жевать швейцара и крикнул извозчика. Швейцар вышел на тротуар.

— Ехать изволите? — сказал он, смотря главным образом на чемодан.

— Да, — ответил Рылеев, — я на один день.

Говорить ему было противно и трудно. Швейцар поддержал Рылеева за локоть и поместил чемодан удобнее, чем это сделал извозчик. Рылеев дал рубль швейцару, а тот, сняв фуражку, блеснул лысиной.

Извозчик дернул вожжами. Прекрасный, полный воздушного огня, день весело и деловито развернулся вокруг Рылеева, но от света, движения уличной толпы и жидкого лязгаподков извозчичьей клячи Рылеев еще острее почувствовал, как чужда, до неведомого исхода страдания, сделалась ему жизнь.II

Ночью, после того, как вернувшийся из гостей Гоголев (Рылеев не был у Мурминых) съел, зевая, остатки сыра и колбасы, рассказывая набитым ртом, что, в сущности, Мурминымилы, но старомодны, Рылеев уснул тяжелым, полным стремительных, грозных образов, сном, во сне стонал и, неожиданно для себя, словно его ударил тотчас же спрятавшийся неизвестно куда враг, проснулся около двух. Было темно, тихо, в темноте шептали стенные часы, а на стекле окна, как нарисованная, обозначилась белесоватым зигзагом пленка зари.

Еще не помнившийся, растирая левую сторону груди, где, стесненное, болезненно колотилось сердце; Рылеев сел, потянул рукой одеяло, собираясь снова заснуть, но вспомнил вчерашний день, письмо и выпрямился; сон исчез, полная работа сознания остановилась на том, чему отныне всегда могло быть только одно имя: горе. Рылеев привык думать о своей любви и окончательном соединении с любимой девушкой, как о таком жизненном положении, которое не властны изменить ни он сам, ни она, ни какие-либо посторонние силы. Дремлющий, как у большинства людей, дух его спокойно относился к будущему: спокойно любил Рылеев, думая, — так как мы склонны переносить чувства свои на других, — что и он любим тоже спокойно, тихо, сильно и верно.

План Рылеева был такой: заработать побольше к осени денег, написать Лизе, что все устроено, что они могут жить вместе, не опасаясь нужды. Лиза жила в далеком провинциальном городе, где, мыкаясь в поисках заработка, случайно познакомился с нею Рылеев; она служила в транспортной торговой конторе. Ей шел теперь двадцать второй год,она была роста несколько выше среднего, красивая девушка с темными тяжелыми волосами: исключительно женственных очертаний стройная фигура ее, высоко поставленные брови и темный разрез глаз всегда мысленным портретом стояли перед глазами Рылеева. Сидя на кровати, обхватив руками колени и легонько покачиваясь, словно ритм этих маятникообразных движений мог успокоить хаос разоренного чувства, Рылеев почти физически слышал и понимал, как прежняя спокойная, элегическая влюбленность его перерождается в тоскливый недуг страсти, ревнивой и беспомощной, более мучительной от тех самых интимных воспоминаний, которые еще недавно он назвал бы светлыми.

В письме, оставившем по себе такое чувство, как будто бы двое суток подряд сильно болела голова, но боль прошла, сменившись нервной слабостью и дрожью рук, — в этом письме не было ничего, что прямо указывало бы на личность соперника, похитившего любовь женщины. Тем не менее Рылеев чувствовал этого другого так ясно, как если бы тот дышал ему прямо в лицо. Навязчивые представления овладели им. Ужасаясь и возмущаясь, Рылеев видел Лизу радостно отдающейся другому, а подробности представлений — для себя только волнующие — по отношению к невидимому сопернику казались страшным цинизмом.

Часы пробили два. Нервная городская ночь, просветлевшая до возможности отчетливо, как днем, различать предметы, торопилась изжить себя, перегорев в белых, без лучистого света, извилистых плоскостях рек и каналов. У Рылеева от напряжения и тоски звенело в ушах; прекратившись, звон этот раздался в углах торопливым, невнятным шепотом. Казалось, ожили к неподвижной, безглазой жизни мебель и книги, стены и занавески; все, что находилось здесь, потянулось друг к другу, шепчась секретно, меланхолически, шепотом наполняя воздух, и даже воздух, не вынося бессонных человеческих глаз, беззвучно шептал тенями странных слов крики, мольбы, угрозы, нежные клятвы, предостережения, жалобы. Погруженный в их торопливый мир, Рылеев сидел долго, опустив голову. Все уже передумал он; а все вертелась по огненному кругу мысль, одна и та же, об одном и том же, пока не стало ясным совсем, что не может быть примирения, что жить без Лизы он не может и не хочет.

Рылеев вырос в той думающей готовыми, приличными и культурными мыслями среде, которую принято называть интеллигенцией. В среде этой по отношению к любви господствовал умный, бесполый на нее взгляд: признавалось, что чувство любви свободно; что уважать свободу любви необходимо, если уважаешь человеческую личность; что тот, кого разлюбили, должен отнестись к этому внешне спокойно, не ревновать и не стараться силой ли, хитростью или страстью завоевать вновь потерянные отношения. Однако самоубийство не то что допускалось, а смотрели на него сквозь пальцы: «Неумный это был человек — и погиб». Ревность же, действительный признак силы и глубины любви, старались выставить стадным, животным пережитком. Так же относился ко всему этому и Рылеев; не раз слушая нежные голоса, твердившие беззвучно ему о возвышенности его любви, думал он, что, если возлюбленная его полюбит другого, не станет он мешать ее счастью, а отойдет и будет велик жертвой своей и, молча страдая, полюбит любовь к другому.

Все это исчезло, как будто и не было его никогда.

«Моя!» — твердила закипавшая кровь, а интеллигент в Рылееве, отойдя к сторонке, стоял растерянно. «Не может быть иначе, не будет этого, я не хочу!» — сказал Рылеев и тут же подумал, что у соперника должны быть насмешливые глаза; глаза эти издалека смотрели на него, обвеянные женской страстью.

В комнате, от падающих из-за реки и бледных, но уже веселых лучей было совсем по-дневному. Успокоенный главным решением, принятым бессознательно еще в библиотеке, бросившим его случаю и человеческой воле, Рылеев тяжело задремал.

Проснувшись с горьким вкусом во рту и сразу же, по воспоминании о происшедшем, возбуждаясь так, что похолодели руки, он увидел пустую кровать Гоголева, часовую стрелку на двух и тепленький самовар. Не одеваясь, Рылеев выпил стакан холодного чаю, завалил комнату бельем, книгами, нужными в дороге вещами и, собрав чемодан, оставил на столе Гоголеву половинные за квартиру деньги. С собою он брал все, что было накоплено для жизни с Лизой: четыреста двенадцать рублей. Потом, одевшись, постоял немного на одном месте, сел и написал записку сожителю:

«Я приеду через неделю, не думайте ничего особенного».

Сделав это, прошел мимо переставшего от удивления что-то жевать швейцара и крикнул извозчика. Швейцар вышел на тротуар.

— Ехать изволите? — сказал он, смотря главным образом на чемодан.

— Да, — ответил Рылеев, — я на один день.

Говорить ему было противно и трудно. Швейцар поддержал Рылеева за локоть и поместил чемодан удобнее, чем это сделал извозчик. Рылеев дал рубль швейцару, а тот, сняв фуражку, блеснул лысиной.

Извозчик дернул вожжами. Прекрасный, полный воздушного огня, день весело и деловито развернулся вокруг Рылеева, но от света, движения уличной толпы и жидкого лязгаподков извозчичьей клячи Рылеев еще острее почувствовал, как чужда, до неведомого исхода страдания, сделалась ему жизнь.III

Петруха и Демьян с утра рубили на делянке дрова, а Звонкий, третий дроворуб, сидел дома. За неделю была выставлена им сажень дров, под эту сажень куренщик выдал Звонкому муки, мяса, водки и табаку.

Звонкий был безнадежно ленив той ленью, которая, чтобы удовлетворить себя, должна предварительно покориться необходимости заработать трешницу. Он был ободран, грязен, великолепно рыж, бородат, толстогуб; с припухшими от сна, хитрыми серо-голубыми глазами. В лаптях на босую ногу, отчего кривые ноги его, обтянутые узенькими холщовыми портками, казались тонкими, как у ребенка. Звонкий подпоясал рубаху монастырским пояском с надписью: «Блаженны нищие, яко тех есть царство небесное», развел под остывшим котелком с водой огонь и, сев на пороге, стал думать; что здесь скучно, а работа тяжка, и нет народа, с которым шумно, гульливо, озорно, полное визжащих баб, течет мужицкое воскресенье или двунадесятый. Звонкий был мужик из не теряющих своего мужицкого обличия крестьян, своеобразный рыцарь отхожих заработков, грузивший барки на Волге, косивший хлеб у колонистов в Саратове и даже тушивший в Баку пожары нефтяных вышек, — но всюду неприкосновенно пронесший свои портки, лапти, монастырский поясок и ту диковинную для горожанина психологию, в которой все начинается с утверждения, а доказательства вырабатываются собственными боками.

Звонкий, дуя на блюдечко, долго пил горячий вприкуску чай, покурил, надел шапку и вышел. Вдали, в синем зареве леса и неба, тянулась сизая седловина холмов. Мужик тронулся по тропе к делянке Петрухи. Свеженарубленные поленницы тянулись меж низко срезанных пней и груд хвороста. Мелкие белые цветы, лиловые колокольчики, ландыши, желтая богородская травка, сливаясь пятнами, напоминали брошенные цветные платки. Звонкий увидел Петруху — мужик, сидя на земле, подпиливал голую до вершины сосну. Пила, скрываясь в разрезе, шипела еле уловимым, шипящим звоном.

Звонкий остановился сзади Петрухи. Петруха, пропилив три четверти ствола, забил в щель клин, и дерево, заскрипев, нагнулось. Сопя от утомления, дроворуб встал, положил пилу и, обернувшись, увидел Звонкого.

— Не работаешь? — сказал Петруха.

— Вали сам, — ответил Звонкий, — а я посмотрю. Навалил ты, мужик, лесу, как кирпичей.

— А што? — самодовольно сказал Петруха. — Куб выставлю сегодня, ей-богу.

— Пилу направил?

— Направил. — Петруха поднял пилу и, держа ее против солнца, нацелился глазами вдоль зубьев. Математически правильно разведенные острия блеснули ему прямо в лицоогненным желобком. — Еще и не совсем ладно.

— Скажи секрет, Петруха, чем пилу направил?

— Чудак твой отец, — сказал дроворуб, вытирая рукавом потное, широкое лицо. Он щелкнул пальцем по зазвеневшей пиле. — Ручку одну сними. И отрежь пилы с этого концачетверть. А развод сделай по нитке, и чтоб все зубы были как один, и спили каждого, сколько другого спилил, как в аптеке. Понял?

Он стал распиливать сучковатый кругляк. Пила от первых же движений руки ушла в дерево так глубоко и легко, как нож в хлеб. Менее чем через минуту кругляк рассыпался надвое.

— Видел? — сказал Петруха.

— Вот елки-палки! — проговорил Звонкий. — Ну и пила!

Демьян, высокого роста худой старик, наколачивая топорище на обух, сказал Звонкому:

— Мутит от тебя, Коскентин, шел бы ты куда.

— Ишь, — захохотал Звонкий, — старухе на платок потеешь. Стар уж, капитала не наживешь.

Старик, не отвечая, проворно, словно руки и ноги его были моложе тела лет на сорок, захлопотал около дерева, сек, размахивая топором, сучья и изо всех сил, приговаривая, как мясник, разрубающий тушу: «Кэах, кэах», принялся рассекать ствол. Топор уходил все глубже; все яростнее металась старческая, обведенная полуседым венчиком вьющихся волос голова. Топор судорожно звенел.

Перестав рубить, Демьян оглянулся, желая сказать Звонкому еще раз: «Шел бы ты, право», но никого не увидел. Звонкий шел по направлению к сухому болоту, где рос некрупный кедровник. Он испытывал тоскливую потребность двигаться, придумывая ненужные и сомнительные предлоги: сбить шишки, надрать лыка, хотя лаптей сам не плел, а по вечерам предпочитал рассказывать сказки. Он знал их множество. Это были уродливые порождения фабрично-босяцкой фантазии, где в противоестественном, фантастически-похабном сплетении выступали попы, генеральши, лакеи, животные и неизменный солдат-ловкач, берущий в жены принцессу, выражающуюся, например, так: «Окромя пирожного — ничего».

Утренний лес, под светлым, режущим глаза, небом, печальный крик сойки, смутные голоса чащи, скользкая под ногами хвоя, седой от мхов бурелом, полное дыхание летней земли и рассеянный лесной свет неотступно окружили идущего мужика. Он не думал о них так же, как мало думаем мы о привычных для нас вещах: книгах, письменных принадлежностях. Простое, но чрезвычайно поразившее Звонкого представление заставляло мужика хмыкать носом и, скаля зубы, подозревать учиненный ему неведомо кем подвох. Былли это подвох — Звонкий еще не знал в точности, но очень хорошо знал, что вырубленные им дрова плывут по реке к заводу, пережигаются в уголь, и углем этим плавят чугун. Чугун превращается в железо, а из железа делается пила. Пилой опять пилят дрова, и это может продолжаться до второго пришествия.

Поверхностный взгляд не открыл бы даже и одной шишки в густой, мягкой хвое молодых кедров. Человек, желающий разжиться орехами, должен очень долго смотреть на дерево, тогда висящие под ветвями снизу коричневые шишки становятся доступны если не руке, то глазу. Звонкий поднял высохший сук и швырнул его в ту часть кедра, где гуще, у вершины, гнездились шишки. Упало несколько штук. Мужик, сунув их в пазуху, продолжал занятие. Кружась, отступая, пятясь задом, высматривая и сбивая орехи, Звонкий вернулся к просеке. И в редкой опушке кедров случайно рассеянному взгляду его мелькнуло человеческое лицо. Оно не было ни мужским, ни женским. Присмотревшись, Звонкий различил два лица — мужское и женское. Игра света и теней соединила их на мгновение в один образ; мужчина сидел на земле, подогнув ноги, женщина полулежала, опираясь на локоть, и, поднимая глаза к наклоняющемуся над ней мужскому лицу, говорила что-то непонятное Звонкому.

«Со станции, больше неоткуда», — подумал мужик, и лицо его, незаметно для самого Звонкого, расплылось в двусмысленную, широченную улыбку. «Любовь крутят», — мелькнуло под рыжими волосами. Стоя неподвижно, с руками, полными шишек, мужик наслаждался неожиданным зрелищем. Десятками поколений предков наметанный взгляд его безошибочно определил барышню. В белом, по-бабьи надетом платке была эта женщина, и в ситцевом, простом, по белому синим горошком, платье — но не так, аккуратно вытянув ноги в остреньких башмачках, — лежит баба, и не так прямо смотрят ее глаза. Звонкий, аккуратно сложив шишки к пеньку, опустился на четвереньки и, дыша в бороду, подполз ксамой просеке; теперь в десяти шагах от него была пара, и мог он смотреть досыта.

Насколько легко мужик определил барышню, настолько же трудно было ему сказать себе, что этот кавалер — вот то-то и то-то. Не понять было его. Здоровый и длиннорукий, в канаусовой «барде» — рубахе, подпоясанной ремешком, — в сапогах до ляжек, какие носят шахтовые забойщики, с белым лицом, веснушчатый; выпуклые, светлые под низкими бровями глаза, густой пушок темнил губу. На голове неизвестного плотно сидела бобриковая, с плисовым верхом, шапка. По приметам всем этим — свой брат, из чистых, но говорил непонятное и не так, как говорят мужики, а сверху бросая слово, как бы в руке подержав его, ощупав и кинув.

Осмотрев мужчину, Звонкий погрузился в созерцание барышни. «Одно слово — беленькая», — подумал он. Ее лицо насупило и поразило его: было оно как теплая у сердца рука, а волосы — темные, и над большими глазами — тонкие, как серп раннего месяца, шнурками брови. Она протянула свою руку мужчине, тот погладил ее, как гладят трущуюся у колен кошку, и поцеловал в кисть. И это более всего поразило Звонкого. Все, что видел он потом, глухим и ненасытным раздражением проникло в него, но поцелованная рука так и засела в памяти. У мужика пересохло во рту. Лежа на брюхе, сладко потянулся он и подумал: «Как заору — так и стрекача дадут». Но настоящего желания заорать у него не было, а только радовался он, что, если захочет напугать, напугает и уж не красиво будет, а смешно и совестно.

Он начал понимать уже, о чем говорит пара, — что барышне мешает в чем-то Рылеев, а мужчине к вечеру надо куда-то идти на место и что очень он любит, — как вдруг теснее и ближе сели они друг к другу, обнялись, застыли, и, губы в губы, взасос, звонкий поцелуй обжег слух Звонкого. Смотря на чужую любовь, мужик, хихикая, похолодел весь, имелкой дрожью забило его, как от страха. На просеке горячее солнце золотило березовые пеньки; смешанный в этом месте лес, залитый паутиной теней, пестрел цветной зыбью. Мужик налился кровью и перестал дышать. «Ухну!» — подумал он, и тотчас же нестерпимое желание зашуметь пересилило его любопытство. Открыв рот, набрал он воздухаи крикнул, но безголосый в пересохшей гортани сип бессильно растаял в воздухе.

Мужчина встал, встала и женщина; разгоревшиеся, казались оба Звонкому — в лежачем положении — гигантами. Он смотрел на них снизу вверх, уже струсив, боясь, не заметили ли его воровского присутствия. Как только они встали, отвалило у него с души ревнивое о чужой жизни беспокойство, а вместе с тем было жаль, что ничего, то есть главного, не было. Оба пошли рядом, не оглядываясь. Звонкий оскалил зубы, смотрел им вслед, потом медленно, отряхнув ползущих за воротник муравьев, встал и подошел к томуместу, где только что сидели два человека. Медленно, как бы пробуждаясь от сладкого сна, неохотно выпрямлялась примятая у бугорка трава; у ног Звонкого, певуче гудя,летал шмель, а в ушах отзвуком сновидений раздавались замолкшие вдали голоса людей. Шмыгнув носом, мужик сел на бугор, подмигнул себе и, находясь в сказочном настроении, тихо проговорил никому:

— Если по-благородному, уж без сумления.

Он сидел, согнув ноги, и коленки заныли. Звонкий встал, щеголевато потрагивая замусленную шапку; все еще хотелось ему заочно подойти к барышне, так и рябил в глазах синий, по белому ситцу, горошек.

— Эх, и посидела бы ты тут со мной, уж я бы!.. — искренне воскликнул он и оборвал, не договорив, что хотел выразить, да и не было на его языке таких слов, чтобы грубое соединить не с грубым, а с новым.IV

Поезд еще не подошел к вокзалу, а в проходах вагонов толпились уже гуськом пассажиры, тыкая друг друга чемоданами и корзинками. Тут же стоял Рылеев, переминаясь от нетерпения. Поезд равномерно замедлил ход, зашипел тормоз, вагон, дрогнув, остановился, и все мало-помалу, падая друг на друга, вышли из поезда.

Отдав вещи на хранение, Рылеев прямо с вокзала нанял извозчика. Дорога почти не утомила Рылеева; трое суток, проведенных в вагоне, были так малы в сравнении с пережитым, что вспоминал он о дороге менее всего как о времени. Но путешествие заставляло его чувствовать полный разрыв с прежним, оно само и было разрывом.

Сказав извозчику адрес, Рылеев весь взволновался, так неотвратимо было теперь, что эту улицу и дом этот он увидит, почувствует. «Какой это дом нумер двадцать девять, какая улица Чудовская?» — спрашивал он, бывало, себя раньше, получая Лизины письма, и, конечно, ничего не представлял себе, но дом и улица, как и все, что имело отношение к Лизе, были обвеяны для него таинственным любовным томлением; в дом этот и улицу, не зная их, он был влюблен тоже. Пасмурное летнее утро бросало на провинциальный город тень скуки. Шли, раскачивая поставленными на голову корзинками, татары, покрикивая: «Апельсины, лимоны хороши», из-за угла выехал порожний извозчик, старая дама в сопровождении кухарки шла с сумочкой на базар, мальчишки пускали змеев. И столичное разнообразие уличных впечатлений мешалось в голове Рылеева с дамой, змеем и апельсинами.

У деревянных ворот извозчик остановился. Рылеев удивился, что вот уже путь окончен, обрадовался и испугался, и вдруг определенно захотелось ему все еще ехать в поезде, думать об окончательном, вообще отодвинуть наступающий серьезный момент. Поняв, что это — слабость, Рылеев нахмурился, стараясь не смотреть на окна, расплатился с извозчиком. «Ну что же, как же произойдет все?» — беспомощно твердил Рылеев, идя по заросшим травой каменным плитам двора к желтому крыльцу с обветрившимися деревянными колонками. Ему вдруг стало так тяжело и так жаль себя, что на мгновение он остановился, глотая закипевшие слезы. «Не надо быть смешным, — сказал Рылеев, — иначе все пропало. Главное — не быть смешным». Заторопившись, он взошел на крыльцо, дернул звонок и тотчас подумал, что Лиза уже слышит звонок, но не знает, кто звонит, акогда узнает — произойдет неизвестно что, странное и по-своему радостное.

Кто-то, кашляя, сошел по внутренней лестнице. Это была маленькая, остролицая, с подвязанной щекой, старуха в кухонном грязном переднике.

— Вам что, батюшка? — сказала она, держась за крюк.

— Елисавета Авдеевна Громова здесь живет? — сдавленным голосом произнес Рылеев.

— Нет, съехали они, — сказала старуха. — Объявление повесили, давно уж.

Рылеев пристально посмотрел на нее, удивляясь, что эта женщина почему-то говорит о Лизе спокойным, простым голосом.

— Куда же переехала она? — спросил Рылеев, злясь на старуху за то, что она сама не догадается сказать ему это. — Куда переехала?

— А вот не знаю. Уж чего не знаю, так не знаю, батюшка.

— Как не знаете? — пугаясь, спросил Рылеев.

— А так и не знаю. Не сказались, а я им человек чужой, не моя болезнь.

— Как не знаете? — тихо повторил Рылеев, и все всколыхнулось в нем. — Всякая хозяйка это знает, а вы не знаете.

— Да, не знаю, — проворно и, как показалось Рылееву, торжествующе сказала старуха. — А у меня живет подруга ихняя — может, знаете? — Павлинова, вместе они и столовались; тай зайдите, может, ее спросите.

«Все разъехалось», — с досадой и острой тревогой подумал Рылеев. Показалось ему теперь, что так же далек он от Лизы, как три дня назад. Покраснев от неожиданности, Рылеев сказал:

— А что ж, зайду к этой Павлиновой. Проводите меня.

Он пошел за старухой, шагая через ступеньку.

«Какая это Павлинова? Может, Лиза все рассказала ей», — думал Рылеев и густо вспыхнул. Но смущение длилось один момент: входя в прихожую, он был уже скрытным, владеющим собой и холодно степенным в разговоре. Это произошло от сильного внутреннего напряжения.

— Тут вот, — сказала старуха, тыча рукой в дверь, — тут они живут, Павлинова, — стукнитесь.

Рылеев, прислушавшись, постучал, а внутри поспешно отозвались: «Можно». Старуха, вытирая руки о передник и оглядываясь на ноги Рылеева, ушла. Рылеев открыл дверь, вошел и увидел перед собой высокую, с простонародным лицом женщину. Серые ее глаза, однако, спокойной внимательностью своей обличали интеллигентную горожанку.

— Извините, пожалуйста, — сказал Рылеев, — я разыскиваю адрес своей знакомой, Лизаветы Авдеевны. Может, вы знаете?

Чувствуя, что подозрительно комкает речь и надо говорить подробнее, он поправился:

— Мне сказала, должно быть, ваша хозяйка, старуха, тут внизу. Вы, что ли, коротко с ней знакомы были? Так вот, пожалуйста. Позвольте представиться: Рылеев.

— А я — Павлинова, — сказала женщина и замолчала, пристально смотря в лицо посетителя.

«Как долго смотрит на меня. Наверное, все знает и теперь рассматривает», — с тоской подумал Рылеев. «Перестань глазеть!» — мысленно закричал он, а вслух сказал:

— Очень прошу вас сообщить.

— Да я не знаю ее адреса, — натянуто произнесла женщина. — Не знаю, не знаю.

Снова, как на крыльце внизу, Рылеев испытал противное ощущение нудной оторванности.

После такого ответа, разумеется, следовало извиниться еще раз и уйти, но он стоял и ждал, сам не зная чего, бегая глазами по углам комнаты. Она пестрела дешевыми обоями, было в ней много аккуратно разложенных книг, по стенам — открыток, и веяло скучной трудовой жизнью.

— А может быть, знаете? — подумав, спросил Рылеев.

Логика положения была за то, что эта женщина знает, но не желает сказать.

— Нет, повторяю вам.

— Нет, знаете, — твердо сказал Рылеев. Павлинова, слегка покраснев, нетерпеливо пошевелила рукой, глаза ее взглянули на Рылеева без смущения, раздумчиво, и по этому взгляду, а в особенности по тому, что сам хотел этого, Рылеев сразу, инстинктом угадал, что Павлинова не только знает, где Лиза, а знает, кто такой Рылеев, его положение и не сочувствует Лизе; но ему было уже все равно, что подумают о нем.

Шагнув вперед, он сказал:

— Вы знаете. Скажите, пожалуйста.

— Какое вы имеете право?.. — спокойно начала Павлинова, но, заметив, что Рылеев бледен и не в себе, вздохнула, опустила голову и прибавила: — Я знаю, правда, но вам нескажу.

— Почему? — раздражаясь, спросил Рылеев. — Какой же смысл?

— Лиза просила не говорить вам.

— Я все-таки прошу вас.

— Нет, извините.

Оба были взволнованы и то прямо, твердо смотрели друг другу в глаза, то отводили их. Прошло несколько секунд тяжелого молчания.

— Ну, так вот же, — глухо сказал Рылеев, — ради вашей матери…

Дальше он не мог ничего сказать. Горе, злоба и слезы давили его. Женщина еще раз внимательно остановила свои серые равнодушные глаза на Рылееве, губы ее дрогнули не то усмешкой, не то гримасой.

— Ну, — сказала она лениво и запинаясь, — я вам скажу. Знаете село Крестцы? Вот там. Там живет мужик Аверьянов, запишите: у кузницы, — у него и живет она на квартире.

Рылеев глубоко вздохнул. Ему не пришло даже в голову спросить, где это село и сколько до него верст. Сказанное Павлиновой без записи отпечаталось в его мозгу. По голосу Павлиновой было видно, что выдать секрет ей неприятно, но любопытно, как всякому, имеющему возможность повернуть хотя бы на вершок колесо чужой жизни.

— Спасибо, спасибо вам! — горячо сказал Рылеев и, взяв руку Павлиновой, пожал ее. — Пожалуйста, извините меня.

Узнав, что было ему нужно, он чувствовал теперь стыд за то, что выдал себя; но со стороны этого не было заметно, а казалось, что человек настойчив и странен. Поклонившись еще раз, Рылеев вышел на улицу, вспомнил, что в конце разговора Павлинова принужденно улыбнулась, и ужаснулся тому, что не в состоянии подойти к Лизе сам, что тут мешаются и будут мешаться чужие люди.

«Что же значит все это? — растерянно спрашивал себя Рылеев, выходя к рынку. — Почему село, Павлинова и что от меня скрывают?» — Глубокий тормоз неожиданностей топил все его планы и ожидания. Построив несколько бессмысленных, невероятных догадок, Рылеев усмехнулся, захотел есть и, поравнявшись с галдящей у дверей трактира кучкой мастеровых, вошел в заведение.

Едкая вонь щипала глаза; пахло кухонным чадом; у стойки мужики ковыряли пальцами в соусниках. Постояв, Рылеев из чувства брезгливости хотел уйти, но, подумав, сел к столику. Глубокая рассеянность овладела им. Сев, он тотчас же перестал и брезговать и удивляться себе, зашедшему в простонародный трактир.

— Что изволите заказать? — отвыкшим от подобострастия голосом, но тонно спросил половой.

— Суп, щей там… жаркое. И водки, — поспешно прибавил Рылеев, — немного.

— Графинчик возьмете?

— Ну, графинчик.

Он принялся есть, жадно, торопливо, глотая куски, а перед едой выпил три рюмки. Ударило в голову, стало немного терпимее. Когда заиграл оркестрион, Рылеев стал напряженно думать о будущем, почувствовал, как любима, враждебна, мила и далека теперь ему Лиза, и испытал ощущение, похожее на то, что чувствует нетрусливый путник, подъезжая на бойких лошадях к темнеющему ухабу. Хотя Рылеев и понимал, что это не что иное, как возбуждающее действие хмеля, все-таки ему было приятно чувствовать себя готовым на все. Он не замечал, что он действительно не совсем тот Рылеев, который аккуратно придумывал жизнь, сидя в библиотеке, но разница была еще так ничтожна, как между обрезанным и разорванным по сгибу листом бумаги. Неизвестность сосала его, хотя многое верно понималось им инстинктивно, но понимание это не переводилось ни на слова, ни на представления — род болезненного предчувствия; так иногда приведенный с завязанными глазами человек знает, есть кто или нет возле него.

Задумавшийся Рылеев очнулся, посмотрел вокруг; посетители не обращали уже на него внимания, машина гремела.

— Что это играют? — спросил Рылеев.

— Польку-мазурку, — сказал половой, отыскал глазами на столе рылеевский рубль, брякнул сдачей и отошел.

Рылеев вышел.V

У печи, покрывшись, несмотря на духоту, тулупом, храпел на лавке ямщик; чернявая баба мыла квашню, а с улицы неслись плаксивые голоса мальчишек, играющих в бабки. Рылеев хлопнул дверью; баба сказала:

— Откеда едете?

— Лошадей надо, — сказал Рылеев. — Есть лошади?

Баба, перестав спрашивать, высунулась в окно, крича:

— Гаврюшка-а! Беги, злыдень, к хозяину, проезжающие, слышь; беги скоренько!

— Ти-тя-ас! — пискнуло в переулке.

Рылеев сел у стола, осматриваясь. Сбоку висел в рамке портрет лихого кавалериста с вывороченным набок деревянным лицом; конь поднялся на задние ноги, распустив хвост, а всадник стрелял из пистолета в воздух. В перспективе виднелся конный памятник Николаю I. Внизу вязью была выведена подпись:

«Конь Геркулес. Лейб-гвардии Кирасирского полка рядовой Иван Мухачев».

На подоконнике, в цветочном горшке, под засиженной мухами занавеской, рос лук, а у печи вместе с азямами и шапками болтался чересседельник. Мужик, спавший на лавке, высунул из-под тулупа всклокоченную голову, посмотрел на Рылеева, отвернулся, полежал несколько секунд в прежней позе, потом вдруг вскочил, почесываясь, и, не смотряна проезжающего, стал крутить цигарку. Он был бос, крепок, а лицом очень похож на всадника с пистолетом.

Кто-то прошел под окном; баба сказала:

— Хозяин идет.

Толстогубый, с серебряной на животе цепочкой, мужик в цветной татарской жилетке, надетой поверх ситцевой навыпуск рубахи, вошел в кухню, сказал в пространство: «Здрасте», — и уставился на Рылеева.

— Хозяин вы? — сказал Рылеев. — Дайте мне лошадей.

— Можно, — не сразу ответил мужик. — Да вы куда?

— В Крестцы.

— Парочку вам или одну?

— Пару лучше.

— Сею секундою. Иван, громоздись, поедешь с им, — сказал хозяин. — Обедал ты, я чай?

— Обедал. А очередь чья? — Иван взял валявшийся у лавки сапог за ушко и, подержав, сердито бросил на пол: — Кикину, чать, ехать.

— Да пьян ведь, — сказал хозяин. — Не лопнешь.

Ямщик сплюнул, оделся и вышел. Хозяин спросил Рылеева:

— Откуда будете?

— Скажите, чтоб скорее запрягали, — отозвался Рылеев.

— Нездешний, чай?

Рылеев промолчал. Мужик сердито посмотрел на него, ушел, хлопнув дверью, и скоро со двора донеслось фырканье выведенных лошадей. Рылеев посмотрел в окно. Иван возился с упряжкой, а хозяин стоял рядом, говоря:

— Занозистый, стрекулист какой, вези с прохладцой. Не дави брюхо кобыле, Ваня. Наказываю беспременно тебе, чтобы таратайку нашу Гужов пригнал, пускай свою купит.

— Ладно, — сказал Иван. — Володя, тпру, не куксись.

Володя был пристяжной, в темных подпалинах, мерин. Обладив запряжку, ямщик набросал в таратайку сена и вместе с хозяином вошел в кухню.

— Садитесь, господин, выходите, — сказал ямщик.

— Прогоны дозвольте получить, — враждебно заявил хозяин. — Два с четвертью.

Рылеев заплатил и вышел. Расположившись возможно удобнее, он подумал, что ехать будет покойно, и от этого по контрасту еще больнее повернулась в душе его мысль о Лизе. Иван, в желтом, верблюжьей шерсти азяме, похожем на больничный халат, влез на козлы, сказал: «Эй, вы!» Лошади, семеня, тронулись. Рылеев оглянулся и увидел в окне смотрящую, не мигая, вслед бабу; перед воротами толклись мальчишки.

— Конь Володя, — не то саркастически, не то по привычке сказал один из них.

Иван вынул кнут, лошади, взяв дружно, наперебой рвались вперед, колокольчик, позванивая, разошелся и заголосил. «Поехали», — подумал Рылеев, откинулся к плетеному задку таратайки, вынул папиросу и, морщась от глубоких затяжек, с жадностью стал курить.

Дорога шла слободой, потом, за последними заборами, открылся слева кирпичный завод, справа — выгон; по выщипанной зеленой траве бродили коровы, пастух лежал врастяжку, выправив ноги циркулем, рожок блестел возле него. День уступал вечеру, низкий свет солнца, растягивая густые тени, блестел в далекой реке желтым сплывом, за ясной линией берега медленно двигалась черная линия мачты, нежаркий воздух сырел. Скоро выехали на тракт, мелькнул верстовой столб, дуплистые березы потянулись с двух сторон, низкий гул телеграфной проволоки монотонно звучал над головой Рылеева, и скоро все звуковое в езде — стук колес, колокольчик, пенье проволоки, — установившись на однообразном меланхолическом ритме, дало вполне почувствовать Рылееву, как далек он от привычной для себя обстановки.

Сосредоточившись на цели своего путешествия, он стал невольно для себя переживать мысленно сцены воображаемой развязки всего: то горестные, то счастливые речи говорил он и в ответ слышал все, что хотел слышать, хотя воображал самые разнообразные положения, стараясь угадать будущее. Временами, стараясь развлечься, принималсяон смотреть по сторонам и видел, что лес ближе, перелески раскидываются по холмам, верхушки маленьких елей светятся еще в последних лучах, а по лощинам притаились сплошные тени, и небо вверху бледнеет. Дорога змеей уходила в лес, пристяжной Володя, неуклюже тряся крупом, бежал, пофыркивая и мотая гривой, коренник, видимо, старался, а уши его вертелись во все стороны, слушая, не скажет ли чего ямщик такого, где будет слово «пегаша».

Иван, въехав в лес, отпустил вожжи, давая передохнуть коням, и повернулся на облучке лицом к Рылееву. Лицо ямщика показалось теперь Рылееву совсем похожим на кавалериста с пистолетом. Он сказал:

— Скоро станция?

— Десять отсюда. — Иван помолчал. — Уйду от этакого Ирода, — сказал он.

— Кто Ирод?

— А хозяин наш.

— Плох?

— Плох. — Иван полез за кисетом. — Мало сказать этого, а завсегда у него свербит, чтобы доконать человека. Одно слово — кашалот.

— Тай и уйдите, — радуясь разговору, сказал Рылеев.

По обеим сторонам дороги тянулась мелкая заросль можжевельника, мальв и пихты, а далее грудью стоял лес; в глубине его, засыпая, чирикали птицы. С невидимых болот сладко пахло гнилью и ландышами. Почти стемнело, бледный свет луны перебил тьму, стало тускло, рассеянный мглистый свет приник к земле. Снова обернувшись, Иван сказал:

— Чей сами будете, барин?

— Я из Петербурга.

— Питерский? — Иван оживился. — Знаю, бывал, ведь жил там, на службе был.

— Да это не твой ли портрет там на станции висел? — улыбнулся Рылеев.

— Как же, наш, — басом сказал ямщик, говоря во втором лице, по-видимому, оттого, что портрет конного молодца стал для него отдельно существующей личностью. — Мы и снимались на втором годе это, в Гатчине.

— Откуда же в Гатчине памятник? Там нет памятника.

— Так что ж! — Иван весело засмеялся. — Памятник для почету.

— Что ж, хорошо служить?

— Всяко. Разно. — Ямщик помолчал. — Та ли жизнь? — сказал он громко с воодушевлением. — Петербург — одно слово!

И вспомнил ли он портрет свой, засиженный на гаденькой станции непочтительными ко всему мухами, или затосковал по военной конюшне, где другой Иван чистит теперь Геркулеса, или же просто тихо и глухо показалось ему в лесу после блестящего, мелькнувшего как сон, столичного города, — только он вытащил торопливо из-под облучка кнут, свирепо взмахнул им, выругался — и бешено заговорили колеса, наполняя шумом стремительного движения уснувший лес.

Лошади неслись вскачь.

— Их, их, их! — покрикивал Иван.

Рылеева трясло, подбрасывало, сидел он в неловкой позе, подобрав ноги, но быстрая езда чем-то отвечала душевному его состоянию. Довольный, смотрел он ямщику в спину,замирая, испытывая особенное, подмывающее ощущение легкости и того, что вот в этот момент все хорошо.

Сплошной лес кончился. Потянулись лесистые острова, кружала: из низов, где серебристые от месяца и росы болота тянулись тонким дымком пара, понеслись к скачущей таратайке хороводы бледных лесных лиц, сотканных из полусвета и тьмы.VI

Четыре раза переменив лошадей, Рылеев утром приехал в село Крестцы. Весь замирая, глубоко и часто дыша, смотрел он широко открытыми глазами, как выбегает дорога по косогору к зеленым холстам огородов, как, блестя крышами и стеклами, увеличиваются дома и быстрее, почуяв стойло, одушевленной рысью взбивают сухую пыль лошади. Ночь, полная бегущих за лошадьми видений, короткого, прерываемого тряской сна, предутреннего холодка, усталости и напряжения, кончилась. Рылеев посмотрел на часы — было восемь.

Проехали мимо осыпанной взлетающими и воркующими на карнизах голубями церкви; у двухэтажного, обшитого потемневшим тесом дома ямщик сказал лошадям: «Тпру». Несколько мужиков и баб, проходя мимо, остановились, равнодушно смотря, как вылезает Рылеев. Он торопился.

— А на станцию не зайдете? — спросил ямщик, видя, что Рылеев направляется в сторону.

Рылеев не ответил — он не слыхал. Вслед ему из-под руки смотрели вышедший на крыльцо в рубахе без пояса мужик с недоеденным куском хлеба в руке, две босые девицы и несколько белоголовых мальчишек. Двое из них вдруг сорвались с места, побежали за Рылеевым и, догнав, пошли рядом, сося пальцы и заглядывая исподлобья в лицо барину. Скоро они отстали. Рылеев шел быстро; он не хотел спрашивать на станции, где дом Аверьянова, во избежание пересудов и неизбежных расспросов. Молодой парень в суконномкартузе, с завязанным глазом, медленно шел навстречу.

— А который Аверьянова дом? — спросил Рылеев.

— К реке вот так идите. — Парень взялся левой рукой за подвязанный глаз, а правой махнул вперед. — За углом, где забор разворочен, сруб ставят. Вот рядом будет Аверьянова.

— Спасибо, — сказал Рылеев.

Отойдя, он оглянулся. Парень стоял, смотря на Рылеева с тем замкнутым, ничего не говорящим выражением лица, которое свойственно только крестьянину, чувствующему себя дома. Отвернувшись, Рылеев поспешно, волнуясь все сильнее, вышел, как указал парень, к реке, повернул влево, увидел вокруг новенького сруба кучи ослепительных в солнце щеп и подальше — зажиточной внешности, двухэтажный дом. «Это, должно быть», — подумал Рылеев.

Через минуту он стоял у крыльца, потом очутился в сенях. Грудастая баба, бережно держа крынку с молоком, стояла перед ним. Он не помнил хорошо, что и как спросил бабу,помнил только, что женщина, толково, звонко и многословно голося, показывала ему пальцем на дверь. Внезапный страх овладел им, но чувствовал он, что по внешности спокоен и тих. «Да, я войду, увижу — и все кончится. А вдруг разрыдаюсь, брошусь к ней, и тут кто-нибудь войдет? Будет суматоха и стыд. Нет, надо владеть собой», — подумал Рылеев. Помедлив еще, он потянул дверь и вошел.

Лиза сидела у самовара. В комнате было светло, и Рылеев увидел девушку сразу всю, до мельчайших складок ее одежды. Как будто огонь бросился ему в глаза; он остановился, глубоко вздохнул и засмеялся. Первое ощущение его была живая, полная, облегчающая радость.

— Лиза, — сказал Рылеев, — не ожидали? Слава богу, я вижу вас, слава богу.

Лиза, уронив полотенце, быстро встала, держась за стул. Выражение ее лица было такое, словно ее ударили, она слабо улыбнулась и потерялась.

— Боже мой! — медленно произнесла Лиза и поднесла руку к горлу, как бы собираясь кашлять.

— Простите. Вы… я… Алексей?

— Да, Лиза, я. Давно-давно мы не виделись, — сказал Рылеев и остановился, не зная, что сказать дальше.

Испытанного и передуманного им за последнее время хватило бы на многие дни горячих, торопливых речей, но теперь все смешалось в нем, и мучительно чувствовал Рылеев, что, по крайней мере в первые мгновения, он ничего, кроме обыденных, простых фраз, не скажет и не услышит.

— Садитесь, — взволнованно шепнула Лиза.

От возбуждения и тревоги слово это сказалось ею почти одним движением губ; она отвернулась и заплакала, вздрагивая плечами. И в тот же момент Рылеев овладел собой, стал горестно спокоен, серьезен и нежен.

— Я рад, а вы плачете, — тревожно сказал он. — Да успокойтесь же, Лиза. Я к вам пришел другом.

Девушка прижала к глазам платок, вытерла лицо и села.

— Эх, слабость проклятая! — зло, по-мужски проговорила она.

В заплаканном ее лице уловил Рылеев намеренно чуждое, холодное выражение. Этого он ожидал, и к этому он приготовился. И потом все время, пока говорили они, он пропускал мимо сознания все красноречивые подробности взаимного их положения, стараясь верить, что эти мучительные подробности не важны, а лишь неизбежны. Он сказал:

— Лиза, я плохо сознаю сейчас, как я, где я. Я счастлив тем, что вижу вас. Но мне тяжко, что после десяти месяцев я не смею просто подойти к вам и радоваться. Я вот должен сидеть и спрашивать, как чужой объясняться. Скажите же, что произошло, почему это письмо?

— Как вы разыскали меня? — быстро спросила, девушка.

— Человек не иголка, — грустно ответил Рылеев. — Так мы чужие?

— Я вам писала. Не нужно было, Алексей, приезжать, спрашивать меня и мучить. Все кончено между нами.

Рылеев побледнел, улыбнулся и опустил глаза. Последние слова Лизы подняли в нем бурю упрямого отчаяния. Нестерпимо захотелось в горячих, отчаянных словах бросить всего себя к ногам женщины, но еще что-то мешало этому; он заключил жизнь в границы своего чувства, и несообразным с этим казалось ему, что так прост разговор их, а между тем действительно рушится все.

Он встал, подошел к Лизе и хотел, как прежде, обнять; но девушка не шевельнулась, и руки его сами собой в замешательстве опустились.

— Вы любите другого, Лиза? — сказал Рылеев.

— Да, — виновато, по-детски сказала девушка. Глаза ее вопросительно поднялись к Рылееву, но остались чужими. Жалость и гнев овладели им: в «да» этом он был уверен, но теперь действительность посмотрела ему в лицо своими ужасными, немигающими глазами. Потрясенный, Рылеев сел. В окне мелькнул женский платок; почти тотчас же, скрипя дверью, вошла та самая баба, которую встретил в сенях Рылеев. Сложив руки под грудями, баба уставилась на Рылеева.

Щекастое ее лицо выражало припадок истерического бабьего любопытства.

— Что, хозяйка, тебе? — холодно спросила Лиза.

— Сродственник будете? — заговорила баба. — Мы ведь неученые, темные, за обращение извините; и как это завидела я, к гостям пазуха свербит и свербит; корову доила, думала: и кому же быть? А уж я вас, миленький, золотой, как и звать-величать, не знаю.

— Ступай прочь, — коротко приказала девушка.

— А ты не гордись, — вдруг вспыхнув, басом сказала баба, — чай, не писаря жена.

— Пошла вон! — крикнула, вскочив, Лиза.

Баба осклабилась, подняла руку и, навалившись спиной на дверь, исчезла.

— Все лезут, все знать надо, гады! — помолчав, произнесла Лиза.

Лицо ее оставалось еще некоторое время гневным и раздраженным; удивленно смотрел на него Рылеев — так быстро и круто менялось оно. «Та ли это спокойная, немного дичок — Лиза?» Баба стояла еще перед его глазами нудным видением. «Противно, словно в лицо плюнула», — подумал Рылеев.

— Что же, расстанемтесь, Алексей… — тоскливо сказала девушка. — Я любила вас.

— Да, расстанемся. Нет, не могу, не в силах! — почти крикнул Рылеев, и вдруг страдание его перешло предел, в котором можно хоть сколько-нибудь сдерживаться; с истинным, мятежным облегчением ощутил он, что дал наконец волю себе и не остановится, пока не скажет всего.

А когда заговорил, то увидел, что и не подозревал раньше, как может сказать о любви, — это было ему чудесным подарком, откровением; без усилия, торопясь покориться озарившей, пересилившей его самого тоске, Рылеев сказал:

— Уйти я не могу. Вопреки вашей воле я рвусь к вам. Я — конченый человек, Лиза; днем и ночью я вижу вас ярче дневного света; любите вы другого или нет, ненавидите меняили нет — я не могу разлюбить вас; с тоской и страхом думаю я теперь, что мог жить вдали. Где бы ни были вы — в радости или горе, в позоре, несчастии, нищете или довольстве, — как бы ни относились к вам другие, если бы даже имя ваше произносилось повсюду с отвращением и стыдом, если бы вы стали безобразной, слепой, если бы вы мучили меня всю жизнь, — никогда я не перестану любить вас. Ведь у меня не было счастья; все, что сохранила память от моего прошлого с вами, вы теперь разрушаете и молчите. Я — мужчина, жизнь давалась мне нелегко, везде горбом с детских лет, очерствело сердце, а между тем я думаю, что хорошо плакать, но нет слез. Как хотите, так и думайте обомне. Я все отдам вам, Лиза, — все будущее мое, всего себя, буду жить с вами — и буду этим так горд и счастлив, как никто на земле. Всегда, неотступно я буду представлять вас только на моих руках, у сердца. Скажите мне, Лиза, доброе слово по-прежнему.

Лиза болезненно улыбнулась, лицо ее стало осунувшимся и печальным.

— Вы все забыли, — хрипло сказал Рылеев, — а я все помню. Когда я уезжал, у вас было вот такое же, как теперь, лицо.

— Как забыла? — сказала девушка, рассматривая чайную ложку. — Нет, не забыла, конечно. Вас так долго не было возле меня. Много легло между нами.

— Неправда, — задумчиво ответил Рылеев. — Что хочет человек, то и делает. Но я стал чужой вам.

— Я ничего не знаю. Мне больно, очень тяжело, Алексей. Оставьте меня.

— Я уйду, — сказал после короткого молчания Рылеев. Он встал, дрожащими, неповинующимися пальцами застегивая пуговицы пиджака, хотя в этом не было никакой надобности. — Вот и все.

— Простите меня, — плача, сказала Лиза. — Или нет… Вы где остановились… в городе? Подождите там два-три дня, я напишу вам или приеду.

— Зачем? — похолодев, как от оскорбления, произнес Рылеев. — Милости я не прошу, не надо.

— Вы не понимаете, — быстро раздражаясь и топая от волнения ногой, заговорила девушка. — Не напишу и не приеду, и так может быть. Но подождите… ради себя… Я здесь на заводе служу в конторе, мне идти надо…

— Лиза, — просияв, сказал Рылеев и протянул руку. Девушка скользнула по этой протянутой руке своей — маленькой, горячей, как у больного ребенка, — и спрятала за спину.

— Не надо, не надо ничего, — полушепотом произнесла она. — Уходите. Уходите. Пожалейте меня. Уйдите.

Несколько мгновений, как оглушенный, неподвижно стоял Рылеев, смотря на опущенную темноволосую голову, потом отвернулся, толкнул дверь, и прохладный воздух сеней пахнул в его разгоревшееся лицо свежей волной. Рылеев медленно вышел на улицу. За изгородями переулка, на выгоне у реки валялись, лягая копытами, жеребцы; летний цветистый блеск солнца резал глаза. Неверными шагами, как избитый, Рылеев вышел к огородам, не заботясь о том, куда идет, пьяный от горя и слабости. Жизнь показалась ему вдруг отвратительным сном.

«Зачем я здесь, в каком-то селе?» — подумал Рылеев.

Лиза, опустив голову, сидела перед ним всюду, куда он обращал глаза: на сложенных у изб бревнах, в дорожной пыли, на картофельной зелени. Но была, смутно бередя душу, тень сомнения в том, что все кончено, — тень уродливая, без радости, улыбок, отчаяния и надежды.VII

Работа не клеилась у Звонкого. Сумрачно поплевывал он на клин, острил его, метился при ударе быстро и точно, но или руки не слушались, или выскакивал, как тугая из шипучего вина пробка, клин, или в обрезке сырые слои, проеденные сучками, закручивались штопором, и не раскалывался обрезок. Звонкий повалил четыре сосны, обрубил сучья, распилил на куски стволы — и все с помехой: заедало пилу, соскакивал с топорища топор, и долго отшибленные ныли пальцы.

Близился сырой, полный мошкары вечер. Неподалеку от Звонкого, в разлапистом просвете ветвей, над большим столетним деревом трудился Петруха — подпиливал его, взявот земли пол-аршина. Невидимый, торопливо стучал топором Демьян. Мечтая об еде и лежке, Звонкий приходил понемногу в окончательно дурное настроение; разломило спину и шею, и стал он колотить как попало, думая: «Полсосны расколю — шабаш: рубль с четвертаком заработал». Сделав так, Звонкий сложил готовые дрова в поленницу и с папиросой в зубах пошел к Петрухе.

— Айда чай пить, — сказал Звонкий. — Будет и тебе, Петруха, горб мылить.

— Вот спилю, повалю.

Петруха крепче забил в щель клин, встал, взял то? пор и сделал на другой стороне дерева глубокий рубец; теперь, чтобы сосна упала, следовало добивать клин. Ломаясь нарубце, ствол падал.

— Коська, — сказал Петруха, бросая топор и ссыпая в ладонь из кисета остатки махорки, — пойдем на прииска, надоело мне тут… Лодырь ты, — прибавил он, усмехаясь, — наплачешься с тобой в товарищах.

— Я и один не пропаду, — сказал Звонкий, — везде с народом был, жил, жив, слава богу, мать твою курицу, в Баке с татарами жил.

И от скуки захотелось ему поговорить так, чтоб другому завидно стало.

— Мазут из фонтана добывают, — помолчав, сказал он, — сверлом землю долбят, на канате махает, так вот в нутро и облицуют трубой, а мазут спертой как дрызнет из низов, снесет постройку, на полверсты в небо хвостом все зальет, и надо его убрать. Тогда канавки роют, а по канавкам в лезервуары; день и ночь в канавке стоишь, сор отбиваешь, чтобы не засоряло. Три рубля день, пять рублей ночь, восемь целковых сутки.

— Рубли-то маленькие, — недоверчиво сказал Петруха. — Брехун ты, много получаете, да домой не носите.

— Мял с тебя с сосны за три версты. Я, голубь, две тройки тогда купил, за одну на Солдатском базаре сменку дали, так и ту барину не стыд надеть.

— Гулял, поди?

— Уж было дело. — Звонкий покрутил головой. — К персианкам ходил, а в трактирах девки, как барыни, сидят, сама рука в карман лезет.

— Там бы и жил, — сказал Петруха, раскуривая.

— Жил, — сердито возразил Звонкий, — я жил, ты поживи.

Он смолк, задумался и увидел ту странную, нерусскую сторону: татары с шемахинской дорожкой, как зовут их пробритую лентой со лба на затылок голову, аршинные кинжалы, холеные лошадки в бисере и бубенчиках, чурек, лаваш, море, черная от нефти земля.

— Пошли, — сказал Звонкий, настораживаясь.

Глухо треснуло внизу, у земли. Еще не сообразил он, в чем дело, как, треснув зловеще, склонилась, валясь на него, подпиленная сосна. Далекая вершина ее стала вдруг ближе, занося над головой гору ветвей. Размах падения из ленивого и как бы раздумывающего перешел в неуклонный, быстрый. Звонкий оторопел, хотел отскочить, но не было для этого от внезапности и испуга ни силы, ни ясного соображения. Распустив беспомощно рот, смотрел он на падающее дерево, а в лесу стало вдруг тихо и душно.

С присвистом шумно вздохнул воздух; ветвями стегнуло Звонкого по лицу, и кряжистый гул падения оглушил его.

— Ой! — крикнул, словно проваливаясь сквозь землю, Петруха и исчез.

Звонкий отлетел в сторону. «Помираю, смерть пришла!» — ударил по голове страх, но, полежав с минуту, он поднялся; лицо и руки его были в крови. Он подошел к дереву, держась руками за грудь, и весь затрясся, вспотев: из-под смятых стволом ветвей шевелились белые, дрожащие, как струна, пальцы, и был виден сквозь хвою смутный очерк пораженного человека.

— Караул! — закричал Звонкий. — Петруха-то где, смотри! — Бросившись к дереву, он ухватился за сучья, разорвал рукав и, отступив, хлопнул себя по бедрам. — Старик! — закричал он, вспомнив про Демьяна. — Ах, беды! Старик! — Он, не отрываясь, смотрел на переставшие шевелиться пальцы, крича все одно и то же, пока не заметил, что Демьян стоит рядом.

Старик, сняв шапку, перекрестился один раз истово я медленно, а потом стал креститься мелкими, быстрыми крестиками.

— Что стоишь-то? — сказал Звонкий. — Не помер он. За комель берись, снесем.

Тогда как будто откровение осенило обоих, указывая, что делать, — оба вплотную, хрипя и шатаясь от напряжения, приподняли за вершину упругий сырой ствол, освободивзадавленного. Осыпанный хвоей Петруха лежал, не двигаясь, подвернув ноги и стиснув зубы. Удар пощадил лицо; на белых щеках тенью пробегал мгновенный трепет; посиневшие веки плотно закрывали глаза. Было жутко и жалко до отвращения.

— Зашибло парня, — сказал Демьян. — Молодой парень, ядреный, хучь бы што.

Мужики, опустив руки, стояли возле лежащего. На шее Петрухи, вздрагивая, билась вздувшаяся жила.

Петруха открыл глаза, смотря в небо смертным, тупым взглядом, и захрипел.

— Петр, а Петр! — позвал вполголоса Звонкий.

— Нести тебя, или… Помрешь, што ль?

Петруха как бы не слыхал этого, но немного погодя сознание овладело вопросом. Дроворуб заморгал, по щеке его медленно сползла и упала в траву слеза.

— Помру, — неожиданно довольно громко сказал Петруха. — Отпишите дядьке… за грехи.

— Побегу в курень, лошадь запрягчи, — спохватившись, сообразил Демьян. — Помешкай-ка тут, Коскентин! Эко дело, эко дело, ах, пропадай все!

И он побежал, высоко вскидывая старческие костлявые ноги. Сумеречные тени, напоминающие опущенные ресницы увлеченного мечтой человека, охватили вечереющий лес. Звонкий смотрел вслед старику. Вдали, у мохнатого бурелома, ясно краснела в желтом пятне луча земляничная ягода.

Звонкий повернулся к Петрухе. Умирающий слабо дышал, закрыв глаза. Скверное, как перед опасностью, чувство отравило Звонкого. Враждебно-страшно были ему лес, Петруха, Петрухина смерть.

— Загубило человека, Петруха, — сказал Звонкий, — а с чего? Разговаривали мы честью…

Широко открыв глаза, Петруха смотрел вверх, думал о боге, покаянии, аде и рае. Ад, набитый битком, как печь в пекарне, пылающими дровами, совсем бледным показался Петрухе, мирным и безразличным; однако, вздохнув, подумал он: «Маги богородица, умилосердись».

— Коська, — забормотал Петруха, — Коська, иди-ка, Коська.

Звонкий, присев на корточки, уставился в лицо умирающего горестно устремленными глазами.

— Тут я, — сказал он. — Меня, што ль?

— Деньги возьми, — плохо выговаривая слова, сказал Петр, — в азяме, в полу, заштопал семьдесят рублей… Азям носи; на поминанье положи деньги-то — слышь?

— Оправишься, бог даст, — сказал Звонкий, — чего там!

— На помин, — повторил Петруха. — Не пропей, смотри…

— Несуразное говоришь! — возмущенно ответил Звонкий.

Петруха закрыл глаза, и стало представляться ему, будто за столом, почесываясь, сидит дядька. Чешет везде, а сам смотрит в угол, где веник.

«А ведь опаршивел дядька», — вдруг весело подумал Петруха.

Дядька пропал, а у самого зачесалось колено. Начинает он его чесать, в кровь расчесал, а все, не переставая, зудит. Толстая солдатка Мавра в полушубке легла на Петруху, закрыв глаза, сжала губы и потемнела. «А ну вас, паскуды!» — хотел закричать Петруха, но не смог, часто задышал, забился и умер.

— А сродственники? — сказал Звонкий и, не получив ответа, нагнулся. — Не спи, хуже будет, — помолчав, сказал он. — Потерпи, за лошадью побегли, в больницу тебя.

Ответа не было. Звонкий вытянул указательный палец, ткнув им мертвого в висок, — лицо Петрухи осталось спокойно восковым и серьезным.

— Помер.

Звонкий перекрестился, удивляясь, когда успел помереть человек, только что говоривший о деньгах.

— Вот и жизнь наша.

Мужик сел на землю, охватив колена руками. Стемнело, разоренный день светлел еще над лесом бескровной бледностью неба, внизу же, стряхивая уныло падающие шишки, расползлась тьма. Низкий шмелиный гул леса охватывал пустыню. «Лес струнит», — подумал Звонкий, сосредоточил мысли на мертвеце, думая больше вздохами, чем словами, и торжественное чувство одиночества, сознание того, что было два, а остался один, другой же навеки холодно-нем, поразило Звонкого заячьим страхом; невольно оглянулся он, тряхнул головой и стал ждать Демьяна.

Время текло медленно, даже как бы остановилось совсем. Возвращаясь к прошлому, вспомнил Звонкий барышню с гордыми, тоненькими бровями и сказал мысленно: «Скажи ты мне, мужику, разумное, чтобы я по коленку ударил». И подумал Звонкий, что надо бы эту барышню сюда, а для чего — не знал, но казалось, что, приди она и стань возле раздавленного деревом трупа, веселей выглядел бы мертвый Петруха, а он, Звонкий, как бы поняв что, весело хлопнул бы по колену. «Баба, баба ведь немудрящая, а занозистая… и что в ей? Чахотка одна. Ну, распоясал мозги, заколесил», — сказал немного погодя сам себе Звонкий и повернулся к Петрухе.

Трудно уже было отчетливо рассмотреть его, только белело лицо с темными у глаз пятнами. Звонкий пристально смотрел на Петруху, словно от этого пристального рассматривания было понятнее, отчего так круто и страшно бедой обернулся день, мертвый лежит, а живой сидит возле него. Все напряженнее смотрел Звонкий. Дикая его осенила мысль, что Петруха не умер, а прикинулся, — зачем — про это знает он сам; того и гляди, захрипит, дернув головой: «Коська, обскажу я тебе…» — и есть тут, во всем этом неладное, нехорошее. Пугаясь, оглянулся Звонкий во все стороны, вытянув шею, затаил дыхание, гирей застучало в груди, и вот, точно, пошевелился Петруха, пошевелился так, как движется для пристально на воду смотрящего человека пристань, на которой стоит он: не изменив положения, весь ожил в глазах страха бездыханный труп, вытянулся, напряг руки и ноги. Похолодев, Звонкий встал и, не переставая смотреть в жуткую печаль тьмы, принялся шарить вокруг ног шапку, отыскал, надел и для храбрости медленно стал отходить, думая: «Пойду в курень, мертвому живой не нужен, тоскливо здесь». Отойдя же подумал: «А вот он сел, сел!» Представление это было таким ярким и грозным, что не выдержал больше Звонкий: опасливо расставляя в темноте руки, с мертвящим в спине и затылке холодом, помчался он, запинаясь и падая, не слыша, как стучит в стороне телега с Демьяном. Так, попадая чудом с тропы на тропу, бежал он до тех пор, пока, жарко и осипло дыша, не увидел на берегу светлое куренное окно и тень мечущейся за ним люльки, но все еще ярок был в глазах труп.

«Не уснешь ведь, — подумал Звонкий, — скажут: „Чего прибежал?“ За хлебом, скажу, пришел».VIII

Пройдя запаханный под огороды овраг, Рылеев остановился; два желания боролись в нем: одно толкало его все бросить и уехать немедленно, другое было — страсть к одиночеству. «Совершенно уйти от людей, хотя бы на час отдохнуть», — подумал Рылеев. Лесная опушка, полная тени, начала действовать на его воображение: горькой радостью представлялось ему идти в глухих лесных провалах, бродить одиноко, без цели, угасая душой. Подумав об этом пристальнее, Рылеев ужаснулся, сказав самому себе: «Ведь это слабость, упадок духа, нехорошо» — и, стиснув зубы, решил быть настойчивым до конца. Увидев тропинку, Рылеев отдался ее изгибам и не заметил, как стало вокруг совершенно спокойно и тихо. На ходу он думал об утомившей и потрясшей его встрече, но более о неизвестном своем сопернике. Почему-то представлялся ему соперник человеком среднего роста, широкоплечим, с тонким, как в корсете, станом, с прекрасным овалом лица; под высоким и чистым лбом Рылеев видел ненавистные, синие, насмешливые глаза. Откуда сложились в душе его эти фантастические черты — он знал так же мало, как и женщины, представляющие своих соперниц привлекательнее себя: человек всегда думает, что его могут променять лишь на более в каком-либо отношении достойного. Эта черта души почти всегда заключает в себе также и уважение к предмету любви.

Бессонная ночь, усталость и влажный лесной жар, бросающий в испарину, сморил Рылеева. Ослабевший, сонный, он лег, стараясь ни о чем не думать, и мгновенно поразил егосон — полная потеря сознания, без видений и бреда.

Спал он долго и неподвижно. Золотой цветок дня, развертываясь, достиг пышного, полного своего блеска, затем, клонясь к усталой земле, осыпался над горами вечерним багровым светом и дал плод — темные семена мрака. Сырость, наполнив лес, разбудила Рылеева.

Проснувшись, вскочив и припомнив все, Рылеев задумался.

— Темнеет, — сказал он, — близится ночь, я должен уйти отсюда.

Дико и жутко показалось ему в лесу. Кое-как определив направление, в котором лежит село, Рылеев, решив взять лошадей и ехать, стал нащупывать глазами тропу, по которой шел, и не находил ее. Кругом тянулись растущие на одинаковом почти расстоянии друг от друга крупные пихты, лиственницы и ели, а в промежутках мелкая лесная братия кустарниками извивалась над щупальцами корней, взрезавших густой Мох.

— Это недоставало еще, — сказал, немного тревожась, Рылеев.

Он стал бродить наудачу, затем взял левее, потом это направление показалось ему отчего-то ложным; сомнительно покачав головой, он заколебался, но взял вправо. Ниже надвинулся ему на глаза козырек сумерек, а время вдруг показало свое лицо, спрятанное прежде озабоченностью и вниманием розысков. «Около получаса я иду, — подумал Рылеев, — и голод проснулся». И только подумал Рылеев о том, что голоден, как; почувствовал, что голоден нестерпимо. Он пошел вдвое, быстрее, стараясь идти все прямо, чтоб не кружиться на одном месте, и смутно сознавая, что сбился. Ровная почва стала покатой, все под гору, и под гору спускался Рылеев, попав, наконец, в лог, полный валежника. Идти здесь не было никакой возможности. Его движения напоминали движения пьяного человека в толпе. Убедившись, что вперед идти трудно, Рылеев выбрался обратно по косогору в сравнительно чистый лес, и ему скоро повезло: высветилась редина, за ней гарь с черными жердями обгоревших деревьев, за гарью же, выгибаясь луком, текла неширокая речка, в одну сторону выходя к селу и заводу, а верхами взвиваясь к далеким каменным хрящам горной цепи. Угол черного от дыма и солнца бревенчатого строения выглядывал из-за деревьев; из трубы шел дым. «Вот жилье, — подумал Рылеев, — сейчас поем». Обрадованный, не чувствуя, как болят натруженные ноги, поспешил он к строению.

Был поздний, светлый и теплый вечер, сумерки медлили переходить в мрак, тихая, застывшая их улыбка веяла дикой грустью пустынь. Приближаясь, Рылеев увидел на лавочке возле дверей подстриженного в кружок черноволосого мужика. Обрюзгшее лицо мужика заплыло желтым жиром, вытеснившим растительность, редкие над китайским разрезом глаз брови и немощная вкруг голого подбородка черная борода оставляли общее бабье выражение лица почти нетронутым. Длинная, в три звена, изба стояла на самом берегу журчливой речки; не было ни двора, ни изгороди.

— Добрый вечер, — сказал, остановившись, Рылеев.

Мужик мотнул головой.

— Нет ли у вас еды какой-нибудь? — продолжал Рылеев. — Я заплачу.

— А ты чей? — подозрительно спросил мужик.

— Я… я с завода.

— Чиновник?

— Нет. Заплутал…

— Идите, — сказал мужик, — не знаю, горячего што есть ли.

Рылеев прошел за ним в плохо налаженную дверь. Внутренность помещения состояла из бревенчатых стен, пары желтых стульев, грязного половика, стола, на котором валялись счеты, связка баранок, две-три приходо-расходных книги, медные деньги и четвертушка бумаги. На стене горела жестяная с рефлектором лампа. Пахло чем-то противным и в то же время съедобным. За стеной в такт заунывно и глухо распеваемой кем-то песенке скрипела люлька.

— Садитесь.

Мужик, тяжело ворочая ногами, вышел. Немного погодя, рванув дверь и затоптавшись на месте, а потом сердито подбежав к столу, некрасивая, нечесаная и босая лет пятнадцати девица сунула на стол глиняную чашку со щами, кусок хлеба, ложку, ножик — и скрылась; столкнувшись с нею в дверях, пришел мужик, стал у притолоки и вздохнул, смотря на жадно уписывающего щи Рылеева.

— К заводу вам этта идти было, — сказал, почесывая штанину, мужик. — На Семияровскую дорогу ежели, то и готово.

— А сколько до села? — обжигаясь и торопливо жуя, спросил Рылеев.

— Да уж заночуете. Далеко до села. Верстов пятнадцать, чай, да и все ли тут, еще версты не меряны.

Мужик, как ни любопытен был, все же дал Рылееву спокойно окончить ужин. Изредка за спиной своей слышал Рылеев жирный вздох и молитвенное: «Охо-хо, господи».

— Ну, спасибо! — сказал сытый, несколько стесняясь, Рылеев. — Наелся. — «Вот опростился я, — подумал он, — где-то в глуши ем щи, да и говорить скоро начну как этот мужик… А ведь он счастливее меня. А кто же счастливее его — птица, зверь? Нет, вранье. Лиза, Лиза!» — ударила среди смешанных мыслей тоска, и тоскливое настроение вернулось к Рылееву.

Он обернулся, услышав за спиной шаги. На пороге остановился человек высокого роста, босой, с резким, Холодно-задорным лицом.

— Вы хотите ночевать? — лениво спросил он. — Так у меня ночуйте.

Человек не смотрел на Рылеева, а осматривал его. Рылеев не успел ничего ответить. Вошедший продолжал тем же равнодушным голосом:

— Войдите сюда, мы познакомимся. Если устали, сейчас и уснете, или же будем пить чай.

Мужик осклабился.

— Ничего, — сказал он, — ступайте с ими, они у меня живут.

Неизвестный, высокий и босой, отступил в глубину дверей, а Рылеев, отвечая на улыбку улыбкой, вошел за перегородку. Человек протянул руку.

— Моя фамилия Тушин, — сказал он, — будем знакомы.

Рылеев назвал себя. Снова осматривающее выражение блеснуло в глазах Тушина, но быстро и бесследно исчезло. Небольшой стол, сложенная из простых ящиков кровать и крашеный табурет были единственной в узком помещении мебелью. Два ружья стояли в углу. На столе у лампы появились во множестве разбросанные медные гильзы, стояли пузырьки с картечью и дробью, коробки с пыжами, войлочными и картонными, маленькие коробки с пистонами, и лежало еще множество мелких предметов и инструментов: отвертки,куски проволоки, обрывки свинца, вата, клочки грязных от пороховой копоти тряпок. Еще заметил Рылеев смятое на кровати бумажное одеяло, железный крестьянский умывальник, полотенце над ним и брошенные в угол болотные сапоги.

— Садитесь, — сказал Тушин, очищая на столе место для локтя, занял сам табурет, а Рылеев сел на кровать.

Рылеев с тем особенным чувством удовольствия, с каким за границей рядовой русский человек встречает русского же, видел в Тушине не мужика. Разговор бойко и легко начался меж ними. Первый заговорил Рылеев.

— Странный для меня день, — сказал он, — я заблудился довольно серьезно и сам не знаю, как попал сюда. От леса все еще кружится голова. Вы здесь живете?

— Да.

Тушин, видя, что Рылеев с любопытством осматривается, машинально осмотрелся сам.

— Я слышал разговор ваш; да и мне случалось плутать в лесу. Он огромен.

— Вы, кажется, городской человек? — спросил Рылеев.

— Да, я учился в \*\*\*. — Он назвал западную губернию. — А что?

— Вы здесь живете, по-видимому, оттого я и спросил.

— Да, живу. Здесь хорошо жить.

Тушин отвечал Рылееву с таким видом, как будто ожидал вопросов и приготовился к ним. Но из дальнейшего Рылееву стало ясно, что Тушин раз навсегда определил свое положение и хорошо знает, чего хочет.

— Вы охотитесь?

— Да, я люблю это дело.

— Какое же это дело? — улыбнулся Рылеев. — Это забава, удовольствие.

— Как смотреть, — возразил Тушин. — Я, например, охотник-промышленник. Этим я живу. Это мой капитал, моя рента, все, что хотите, — я да ружье.

— Как? — спросил, невольно посмотрев на босые ноги Тушина, Рылеев. — Вы совершенно отдались этому?

— Конечно. Это мое призвание. У одного призвание — служба, у другого — благотворительность, у третьего — искусство, а у меня — охота. Нет, меня что удивляет, — помолчав и катая на ладони дробинку, продолжал Тушин, — русские на себя непохожи. Верно. Бесконечные леса, озера, болота, реки и тундры окружают нас. В этих угодьях до сих пор птица, зверь неистребимы. Между тем посмотрите на рядового русского образованного человека-неудачника — он станет чем угодно, уважая труд: сделается дворником, чернорабочим, холуем в трактире — и не вспомнит о свободной жизни в лесах. Такова наша история. От Чернобога и лапотцев прямехонько к рафинированному мозгу.

— Что вы! — сказал Рылеев, засмеялся и стал думать. — Нет, вы не то… Да как же жить? Человек учится с малых лет — и вот пожалуйте.

— Снова начнет учиться, — сказал Тушин. — Я не хочу всех сделать охотниками. Нет, выходов много; я говорю про тот, который нашел сам. Мне повезло: счастливо соединились страсть и рассудок.

Тушин обернулся к перегородке и постучал в стену.

— Это я самовар тороплю, — сказал он. — Вы чаю напьетесь и уснете.

— Да, я устал.

Рылеев посмотрел на дверь. Та же девица, что давала ему есть, внесла рыжий самовар. Тушин встал и, очистив на столе место для чаепития, бросил в чайник заварку.

— Так пейте же, — сказал он, снимая с гвоздика вязку сушек. — Ешьте и сушки. Это не та дрянь, что под именем баранок делают вам бабы на юге; настоящая сушка. А знаете, как ее делают? Ногами тесто месят.

Рылеев поморщился.

— А чем руки чище ног? — хрустя полным ртом, сказал Тушин. — Руками за все хватаются.

— Да вы, кажется, с удовольствием…

— Люблю есть, когда голоден. Чувствую в горле пищу и вкус ее.

Чувство новизны и редкости своего положения все сильнее овладевало Рылеевым. Осознав это чувство, он, прихлебывая из стакана чай, внезапно перенесся мыслью в большой свой город, и был тот как другой мир. Все же, что случилось с Рылеевым до последнего момента, показалось таким густым, страдальчески острым и любопытным, что у него захватило дух. «Да где же я, как живу и что будет дальше? — подумал он, тотчас ответив: — А ничего; заблудился, Лиза отвергла, и у охотника заночую». Подумав о Лизе, Рылеев внутренно забился, затосковал, но посмотрел в разгоревшееся от чая лицо Тушина и заговорил, стараясь голосом прогнать грусть:

— Да, интересно вы живете, но и тяжело, вероятно, — ведь вам привыкать надо было.

— Вот и привыкал, — сказал Тушин. — Птичьи повадки легче, а зверя труднее. Вы думаете, отчего становится из года в год меньше добычи? Говорят, леса гибнут, люди — хищники. Да, но и от того, что животные, в свою очередь, неустанно хитря с человеком, изучают его, по наследству передают потомству свои неписаные заметки. Изучать места для капканов, западней и ловушек, отыскивать тока, всевозможные птичьи свадьбы, замечать гнезда и норы, наконец дойти до того, что, придя в какое-нибудь глухое лесное место, ни с того ни с сего остановиться и сказать: «А тут есть, что — не знаю, взвожу курок», — через минуту же выстрелить по лисе или лосю — нужны труд и способности… Да вы спать хотите.

Рылеев слушал через силу, глаза у него слипались.

— Я лягу, — сказал он. — Где же лечь мне?

— Да там, где сидите, на кровати.

— А вы?

— На чердаке много соломы.

— Эгоистично с моей стороны, — сказал Рылеев, — я лягу, спасибо.

— Ну, спите. — Тушин встал. — Я оставляю вам лампу. Читать нечего.

— Совсем не читаете?

— Читаю зимой, когда живу в городе, — там я уже не босяк, а барин.

Тушин, как был босиком, взяв табачную коробку и спички, пожелал Рылееву спокойной ночи и вышел, а Рылеев, слегка прикрутив огонь лампы, лег, не раздеваясь. В комнатке, слепо падая на ламповое стекло, толклась мошкара.

Он слышал еще, как, загремев колесами, выехала от куреня телега, неразборчивый разговор мужиков, потом стремительно и крепко уснул; перед тем как заснуть, подумал: «Лизину загадку хотя бы разгадать мне, ведь я до сих пор мучусь, как слепой».

К рассвету, догорев, погасла лампа. Сырость и белый без солнца свет прошли в раскрытое окно. Озябнув во сне, Рылеев свернулся, поджав ноги, и не просыпался еще, но ужев сон вошли сны — признак скорого пробуждения. Между прочим, увидел он, будто стоит перед кроватью его высокий, белокурый соперник, с синими насмешливыми глазами, говоря: «Я и нитки собираю, нитки на что-нибудь пригодятся». Застонав от ревности, Рылеев проснулся — еще в полузабытьи. Тушин, совсем одетый, в болотных сапогах и с сумкой через плечо, смотрел на Рылеева; взгляд его был пристален и раздумчив. Он стоял у стола, забирая левой рукой в сумку патроны.

— А? Что? — пробормотал, оглядываясь, Рылеев.

— Спите, спите, — голосом няньки сказал Тушин. — Я иду по своим делам; больше не увидимся, прощайте. А что передать Лизе?

Рылеев вскочил. Кровь ударила ему в голову. Ничего не понимая, но смутно заволновавшись, расширенными глазами посмотрел он в лицо Тушину, спрашивая:

— Как… то есть какой Лизе?

— Да уж вам лучше знать, — серьезно сказал Тушин. — Она меня любит.

Рылеев провел рукой по волосам. С минуту он не почувствовал правды, почувствовав же, не смог ничего сказать, побледнел и медленно глубоко вздохнул. В это мгновение не видел он ничего, кроме Тушина.

— Вы меня знаете? — сказал наконец Рылеев.

— Я карточку вашу видел, — помолчав, сказал Тушин и, невесело улыбнувшись, прибавил: — Не сердитесь же. Там у куренщика старик с плотиком, на плотике он довезет васдо самого села.

Волнение Рылеева передалось Тушину; с изменившимся слегка и твердым лицом он вышел, не оборачиваясь.

Углубляясь в лес, Тушин думал, что сделал хорошо. «Если он крепок и хорошо себя ценит, то вывернется из-под удара душой, и вновь закипит в нем жизнь, разве смерть закроет глаза. Но я не уступлю никому Лизу. А будем ли мы всегда любить? Не знаю, да и не надо об этом думать».

Белый без солнца свет наполнил лес. В нем было тихо, как в душе младенца, и весело.IX

Лиза и Тушин встретились на том же месте, где видел их мужик Звонкий. Тушин любовнее, чем всегда, поцеловал девушку; в лице ее бросилось ему выражение усталости, скрывающей себя преувеличенно веселой улыбкой и выдающейся рассеянностью взгляда. Но он ничем не дал понять ей, что заметил это, однако, со свойственной ему стремительностью, после многих ласковых слов и шуток, сказал:

— К тебе жених приехал, я его видел, он у меня ночевал.

Лиза, подняв голову, вспыхнула, слабо улыбнулась и встала. Тушин сидел, обхватив руками колени.

— Странно, расскажи, — глухо произнесла девушка. — Нет, здесь ничего не скроешь, и напрасно мы воровски видимся: все равно, я думаю, по селу сплетни ходят.

Тушин, невольно улыбаясь тому, что отбил у Рылеева женщину, передал Лизе о том, как заблудился приезжий и как ночевал, но умолчал об утреннем разговоре.

— Что же, уехал он? — спросила после долгого молчания Лиза. — И он не знает, что ты — ты?

— Нет. Уехал ли, не знаю, а что ему делать там? Лиза, — живо сказал Тушин, — ты ведь его любила?

— Любила, что же из этого? — Лиза повернулась к Тушину, и он раздумчиво уклоняющимися своими глазами встретился на мгновение с ее блестящим, прямым взглядом. — Все же я не могу отнестись к нему, как к первому встречному.

— Это понятно, — сказал Тушин. — У вас, конечно, был разговор?

— Да.

— Ну, расскажи сама, если хочешь, — сухо произнес Тушин, — не в моей привычке сидеть над душой.

— Не сердись. — Лиза опустилась на колени и теплой, пахнущей лесным воздухом, рукой обняла шею Тушина. Закинув слегка голову и улыбаясь, она, порозовев, вся сияла твердым любовным вызовом. — Поцелуй меня, лесничок!

— Нет, — трогаясь, но уже полный ревности, сказал Тушин. — Я не спокоен теперь. Идя сюда, был спокоен, а теперь нет.

— Не сердись, — снова сказала Лиза. Она ближе пододвинулась к Тушину и пристально, взвешивающим что-то взглядом смотрела на его губы. — Не сердись, — повторила она, приникла головой к плечу Тушина, стиснула руками его шею и замерла. — Ты знаешь, — услышал под плечом Тушин, — мне… мне тяжело.

Тушин, затосковав, освободился и встал. Лиза тоже.

— Чего ты хочешь? — грустно спросил Тушин. — Кого любишь? Меня? Тогда садись и будем нежны друг с другом. А его — тогда нечего и говорить нам.

— Я устала, — резко сказала девушка. — Вот в чем дело. Мы видимся редко и утомительно. Ну, хочешь, я буду откровенна? Ты ведь меня никогда в двуличности упрекнуть не мог. Не то чтобы я его тоже любила, но он мне как-то понятнее, чем ты. Мне, дорогой, не хочется прожить здесь всю жизнь. Я тебя горячо, упрямо люблю. Но вот он вчера был у меня, я на него смотрела, вспоминала — и вдруг потянуло меня в далекие города. Там богато, шумно, изящно и умно течет жизнь. Я молода, красива, я — женщина. Меня окружают грязные бабы и пьяные мужики, мои книги засижены мухами, меня тошнит от тараканов в молоке! Все это мне надоело. Дорогой мой, — Лиза взяла Тушина за руки и крепко сжала их, — если ты меня любишь, оставь эту жизнь. Мы уедем в столицу или большой провинциальный город; мне хочется быть частью шумной волны, блестеть в ней, кипеть. Ты силен и одарен богато, ты везде будешь хозяином. Разве нет? Ведь я не ошиблась же в тебе?

— Эх ты! — хмуро сказал Тушин и замолчал.

Взяв ружье, он машинально гладил рукой стволы.

Взгляд его упал на ствол молодой ели: из-под чешуи коры светлая смоляная капля, вытягиваясь сережкой, блестела маленьким солнцем. «Ах, тихая, чистая жизнь и беспокойный в ней человек, — подумал Тушин, — есть ли что лучше?» Глухая нежность к пустыне, крику орлов, озерам и перелетным стаям вдруг поднялась в нем, клином вошла в любовь и выразила в лице все, что не расскажешь словами: боль, грусть и волнение. «Никогда, никогда, никогда», — стараясь быть спокойным, сказал себе Тушин. Но он, человек с тяжелыми, каменеющими в упорстве своем чувствами, любил также стоявшую перед ним женщину.

— Ты что же… Так вот с чем ты пришла сегодня? Нет, этого я не сделаю.

Лизу, по-видимому, не удивил ответ Тушина, хотя гордость ее была сильно задета. Глаза девушки расширились и поблекли. Не зная еще, что сказать, она стояла, покачивая в раздумье головой, но решимость не покидала ее.

— Тогда я уеду, — тихо и уныло, подымая заблестевшие печалью глаза, сказала она. — Если б ты любил меня так, как он! Не надо мне половинку апельсина.

— Я люблю, люблю… — теряясь, сказал пораженный Тушин. — Ну вот, смотри, разве не чувствуешь, что люблю?

Он степенно, серьезно обнял девушку, увидел в ее зрачках крошечное темное свое отражение и, положив ладонь на лоб Лизы, слегка отклонил ее голову. Поднятое лицо женщины было прекрасно. Особенно прелестной и милой казалась его близость — возвышенная близость лица, смутно напоминающего теперь взволнованное, но ясное море. Он крепко поцеловал женщину, и жгучий холодок подымающегося страстного томления опалил Тушина.

— Да, умеешь любить, — шепотом сказала она, — и я.

Тушин сжал Лизу. Не вырываясь, она забилась в его руках: смех и глухой вздох были ответом его порыву.

Некоторое время оба молчали. Тушин сидел, положив голову на ее колени, дремала женщина, мужчина упорно думал, смотря в лес.

— Со мной или без меня? — сказала Лиза. — Решай.

Тушин пошевелился, но промолчал.

Первая боль прошла. «Ведь она вернется к нему. У женщины два пути: один — к тому, кого любит, другой — с кем лучше. И старая любовь порой, падая в необузданное сердце, дает пламя… Не отдам Лизу, — подумал Тушин, — уеду, все должен испытать человек. Но представим иначе: вот я один…» Он сосредоточился на этом, и голый ревнивый страхпересек дыхание. Он понял, что издали недоступная отныне женщина и недоступная любовь станут для него истязанием.

— Еду! — быстро сказал Тушин. — Когда?

— Сегодня, — сияя, сказала Лиза. — Приходи вечером, я буду тебя ждать к десяти, уложусь. Мне стало здесь скучно и тяжело.

Оба встали, поцеловались и долго, держась за руки, смотрели друг другу в глаза. Тушин, утомленный волнением, спокойно смотрел на девушку, думая: «Да не бойся, решил так решил».

— Прощай.

— Иди себе.

— Что же ты будешь делать?

— Пошатаюсь, приберусь, лягу спать.

Лиза, оглядываясь и кивая головой, ушла. Оставшись, Тушин быстро, спешными шагами вышел на извилистую лесную дорогу. На ходу, думая о перемене жизни, он сознавал, чтонаступил момент, когда и ему пришлось считаться с желаниями другого. Рано или поздно так должно было случиться.

Тушин шел к озеру. Лес становился холмистее, светлее и реже, дорога шла вверх, потом, обогнув круглую луговую пустошь, на зелени которой островками пестрели лиловыйаконит, рябой щавель и по белым песочным россыпям — лопушный лист земляных орехов, падала круто вниз по густому хвощу, к сияющей глубине воды. Отсюда начинались озера, площадью равные четырем Петербургам, гигантское скопище воды, полной рыбы и птицы.

На берегу Тушин остановился, снял шапку: мокрые от пота на висках и лбу волосы обвеял прохладный озерный ветер, унося комаров. Суровая и нежная чистота открытого пространства мягко приветствовала человека. «Тихо и безлюдно, — подумал Тушин, — а солнце жжет. Расти здесь, как зерно в колыбели, — будешь прямо смотреть на солнце, будешь задумчив и тверд». Он обернулся к лесу. Синий вдали лес настойчиво, беззвучно приглашал расположиться, как дома. «Я — выродок, дикий, дикий я человек, — с отчаянием подумал Тушин. — У моего деда шесть тысяч десятин было, отец напилочком ногти отделывает, а я — бродяга… Надо прощаться со знакомыми».

— Прощай, лес! — громко сказал он. Эхо, ударяясь в берега и лесистые среди воды острова, медленно повторило:

— Аай-э, ай-э, ай-э!

— Прощай, озеро! — крикнул Тушин. — Прощайте все!

Слезы выступили на его глазах. Долго, понурясь, стоял он на берегу, втаптывая носок сапога в ил и раздраженно дыша.

«Ну, поеду, — сказал себе Тушин, — последний раз, как рекрут, гульну… Козихина лодка хороша, а Буторова еще лучше — ту и возьму».

Он подошел к осмоленной снаружи и изнутри лодке, столкнул ее на воду, вскочил сам и начал, стоя в корме, грести рулевым веслом. Повертывая в воде весло, он плыл к ближайшему острову, откуда скрытый камышами пролив вел в другие, еще большие, извилистые водные равнины.

Заблудиться в этих местах было легче, чем в лесной гати. Легкомысленный солдат, бежав из полка, бродил здесь на челноке несколько дней и умер от голода, оставив на солдатском билете горелой спичкой безграмотно выведенную записку: «Помераю голоднаю смертью, не хотел солдатского хлеба есть, простите жена и дети», — труп его вывез старик Капин, зимой и летом живущий при озере.

Опасной глухой прелестью дышали эти места. Тушин изучил их не сразу: долгое время страшно похожие друг на друга каймы тростниковых зарослей, подымающиеся из воды бесчисленные лесистые холмы и спрятанные зеленью озерной проливы кружили ему до утомления и испуга голову, но он присмотрелся к ним, изучил приметы — и двигался теперь безопасно.

Вода, прозрачная, и на четырехсаженной глубине казалась зеленоватым продолжением воздуха. Коричневое дно ясно, во всех мелких подробностях, выступало сквозь озаренную полднем глубь, мелкие раковины, галька, что-то похожее на рассыпанную черную крупу, раки, запавший у берегов хворост, резко освещенный в воде солнцем, были отчетливы — казалось, стоит протянуть руку и взять их. Тростниковые плавни выходили наверх аршинной в вышину зеленью. Рыба, проходя под лодкой, напоминала птицу в кустарниках.

Тушин повернул в длинный, заросший хвощом пролив. Куакая, поднялись кроншнепы, резкий полет их осенил воду нервным трепетом крыльев. Шумно рванувшись, полетели, огибая похожий на замок остров, черно-белые турпаны, узкоглазая гагара, издали высмотрев человека, закричала ребячьим плачем, нырнула и скрылась. По берегам засуетились дрозды; трясогузки, прыгая на полусгнивших в воде стволах, усиленно трясли хвостиками. На лодке плыл человек, птицы негодовали.

Тушин не трогал лежащего перед ним ружья. Он ехал, грустно осматриваясь и в раздумье кивая головой, с душой, полной чуждых людской жизни звуков, внимательно слушая предупреждающий крик сторожевой птицы и возражения на него со стороны тех пернатых, которые, не видя еще человека, занимались флиртом или едой. В конце пролива маленькая ручеек-речка беззвучно соединялась с озером; в устье, поросшем ивой, заполоскавшись, шмыгнула выдра; мордочка ее, удаляясь вверх по течению, пристально осмотрела Тушина. Охотник вздрогнул, поднял и вновь опустил ружье: сегодня зверь имел право жить рядом с ним, не боясь смерти. Медлительные красноклювые чайки, грустно крича, играли с голубым воздухом; на середину озера, касаясь рогами спины, выплыл лось, заметил человека и скрылся за лесом; водяная крыса черной точкой ползла наперерез лодке; вдали, маленькие, как комары, снялись лебеди.

— Да уж не бойтесь, — сказал Тушин, смотря им вслед, — мне и плыть лень.

Он подвигал лодку вдоль берега. На серых и лиловых песчаных отмелях бродили болотные петушки ростом с цыпленка, проворно передвигая длинными ногами; рыжевато-зеленые воротнички их, топорщась вкруг тонкой шеи, блестели на солнце цветным букетом. Они бегали вокруг маленькой ослепительной лужицы.

Лужица эта, когда Тушин подъехал ближе, смотря разгоревшимися глазами на тропических по окраске своей северных птиц, неожиданно изменила свои очертания, зашевелилась и побежала.

— Урод! Красавец! — сказал Тушин, похолодев от страсти.

Руки его сами собой взяли ружье, взводя курки. Болотный петушок, выше и крупнее других, поразительно чистого золотого оттенка, пламенно и нежно блестя, вился перед человеком, тревожно бегая по песку. Сияющая тревога его движений заразила и остальных: птицы, непугливые по натуре, рассеялись, часть взбежала по маленькому косогору; крик их, похожий на звонкое, отрывистое мурлыканье, раздался в траве. Остальные убегали по линии воды. Тушин, с пересохшим от волнения горлом, забыв все на свете, кроме огненного живого пятна, прицелился и выстрелил. Петушки, стремительно и молчаливо взлетев, исчезли, а золотой, поднявшись на воздух, блеснул трепетным солнцем и сел неподалеку в кусты.

«Промах, — засовывая дрожавшими пальцами свежий патрон, подумал Тушин, — и на близком расстоянии. Нет, стой, этого я возьму». Он вспомнил все рассказы охотников о голубом тетереве и белом волке, предводителях своего племени. Рассказы эти, основанные на редкой игре природы и пылком воображении, слушал он не раз у костров, с улыбкой смотря на клятвенно ударяющие в грудь кулаки.

— Ну и выродок, ну и выродок! — шептал он, быстро подплывая к кустам. — Не пропущу такого.

Удерживая дыхание, Тушин вытянул шею, стремясь опередить движение лодки. Лодка остановилась, покачиваясь. В пяти саженях был берег; зелень ивы купалась в воде; темные густые прутья ее, подымаясь из ила, рябили в глазах сеткой, и трудно было рассмотреть что-нибудь. В то время, как, приглядываясь, Тушин менее всего ожидал этого, птица, выбежав из тени к воде, отразилась в ней испуганно шевелящимся блеском, выждала момент, когда черные кружки дула остановились на ее спине, вспорхнула и, продержавшись секунду на одном месте, светлой струей ушла в глубину дали.

Дробь хлопнула по песку, срезав прутья, второй выстрел, посланный в направлении полета, покрыл мгновенными пузырьками воду. Дым рассеялся. «Да я разучился стрелять», — сказал, беря снова весло, Тушин; жгучая досада разочарования покрыла его лицо потом и бледностью. Лихорадочно быстро гребя, он пересек озеро, рассчитывая встретить петушка на том берегу. Сильное возбуждение овладело им, он думал, как о высшем счастье, о возможности удачного выстрела. Преследование захватило его всей силой блеска, поразившего зрение. Смотря на воду, Тушин видел подымающихся от светлой поверхности ее петушков; бесплотные мгновенные призраки эти рассеивались, переходя в искристые переливы воздушных струй.

Птица словно ждала его. Еще раз увидел он ее перед собою на мокром песке и, с туманом в глазах, выстрелил. Петушок спокойно, как бы издеваясь над Тушиным, поднялся и уселся невдалеке, вблизи маленьких островков с белой осокой. Тушин неотступно подвигался за ним. Редкий экземпляр болотной породы тянул и манил его к себе, как магнит; болезненное опасение, что петушок окончательно и уже навсегда исчезнет, сменилось постепенно странной уверенностью, что этого не случится. Поглощенный одним желанием, настойчиво и страстно ослепившим его до такой степени, что все движения, впечатления и мысли вертелись на оси бессознательного, близкого к голому инстинкту животных, Тушин передвигал лодку от островка к островку, замирал, отыскивал глазами неуловимого петушка, прицеливался, то опуская ружье без выстрела, если птица срывалась, то стреляя; чем дальше, тем торопливее, без выдержки, нажимал он спуск, почти уверенный, что даст промах. Этого с ним не было никогда. Всего выстрелил он шесть раз. Петушок как бы вел его, неуязвимый, к известной одному ему цели; все это преследование принимало оттенок сновидения. «Гнездо, где-нибудь есть гнездо, — без устали гребя веслом, думал Тушин, — уводит от гнезда он, только и всего». Но против воли жуткое недоумение овладело им; сердито и презрительно рассмеявшись, вложил он свежие два заряда и погнал лодку.

Он увидел его еще раз, на более далеком, чем прежде, расстоянии, подобного брошенной на зеленое сукно червонной монете, и, вне себя, разрядил оба ствола, хотя чувствовал, что дистанция велика. Некоторое время за дымом нельзя было ничего различить. «Попал, что ли? — сказал себе Тушин. — Кажется, не взлетел». Однако, подъехав к траве, где видел птицу, он не нашел ничего, кроме следов, похожих на то, как если бы по песку тыкали кисточкой. «Ушел, а должен быть неподалеку. Да все равно я найду».

После этого прошел значительный промежуток времени, когда лодка с взволнованным и усталым человеком на ней огибала малые и большие озерка, тыкаясь в болотную тинузаливов, обшаривая острова, проливы и мели. Уже вечерней сыростью и прохладой дышала вода, забытое человеком время вдруг показало призрачную сущность свою, начав существовать снова лишь с того момента, когда Тушин посмотрел на солнце и вынул часы. Солнце, в высоте сажени над горизонтом, бросало грустный и низкий свет, на часах было девять. «Возвращаться надо, — без желания подумал Тушин. — Сегодня Лиза и я уедем, и все будет по-новому». Устало и бледно текли мысли его о женщине, он возвращался к ним насильно, без трепета и нежной тоски. Озера, безлюдные тростниковые заросли, дышащее печалью вечернее небо, розовый отсвет водяной глади, полной затопленных облаков, и одиночество кружили голову Тушина неслышной, как мысленно воспроизводимый мотив, заунывной песней. Снова потянуло его к петушку стремление, близкое страданию и нежному гневу; принимаясь за поиски, он был бесповоротно уверен, что встретит еще раз странную птицу, и, отдохнув, поплыл далее.

В течение часа Тушин безрезультатно напрягал мускулы и глаза; он подвигался теперь в позеленевшей гнилой воде, высыхающей к концу лета в трудно проходимые болота и топи. Лодка шла медленно, расплескивая сплошную гущу водорослей. Вдруг Тушин поднял весло и окаменел.

На желтой и плоской, вытоптанной дикими гусями кочке стоял петушок. Внезапное появление человека на расстоянии трех-четырех шагов, видимо, поразило и птицу; неподвижно, вытянув голову с блестящими черными глазами, стояло маленькое золотое видение, смотря на охотника. Тушин видел изгиб каждого пера, коричневую перепонку ног, маленький желтый нарост у клюва. Это продолжалось мгновение. Не отводя глаз, Тушин прицелился, но внезапное представление о крови, смешанной с грязью, удержало его, — выстрел на таком близком расстоянии дал бы лишь обезображенный трупик. «Ну, спасся», — сказал, не двигаясь, Тушин. Чудесная окраска перьев показалась ему теперь еще прекраснее и заманчивее. «Золотой, совсем золотой, — думал он. — Ну, заслужил жизнь, живи».

Петушок, видя, что страхи его напрасны, опомнился, но счел за лучшее, однако, взлететь и, вскрикнув, поднялся. Казалось, целый рой искр посыпался от него. Не удержавшись, Тушин вскинул ружье, курок дал осечку — птица была уже вне выстрела.

С сильно бьющимся сердцем Тушин, стукнув прикладом о дно лодки, смотрел вслед петушку. Он взлетел над вечерней, усеянной кувшинками, красной водой болот, ослепительно развернул крылья и, быстро уменьшаясь, словно закат растоплял его, исчез светлой точкой, улыбающейся ямочкой воздуха, таинственный и простой, как все живое, пленяющее сердца теплым обманом, а может быть, и настоящим зовом, в ответ которому «куда?» спрашивает человек.

Изнемогая от усталости, Тушин начал соображать, успеет ли он возвратиться. «Нет, нечего и думать», — сказал он, осматриваясь. Незнакомые места окружали его; темнело; пятнадцать — двадцать верст путаного водяного пути невозможно было бы одолеть даже к утру. Пристав к сухой части берега, Тушин повесил на прут куста котелок, достал хлеб, крупу, мясо и стал разводить костер. Внезапное соображение, что Лиза уложилась, ждала его и теперь в тревоге, резнуло Тушина. Он сморщился, решил на рассвете ехать и лег возле огня, голодный, как вернувшийся с работы поденщик, усталый и сонный.

В темноте, где-то за линией отбрасываемого костром света, сунув клюв в ил, беспокойно кричала выпь. Пахло водой, дымом и лиственным перегноем. Тушин повел мысленный разговор с Лизой. Все время до последней с ней встречи было у него такое чувство, как будто в крепко сжатой руке его лежит рука маленькая, пожатьем отвечая пожатью и бережно, тихонько освобождаясь.X

Видя, что Тушин удаляется, Рылеев хотел догнать и остановить его, но, бросившись вслед и сделав пять-шесть шагов, остановился… Из этого не могло выйти ничего, кроме того, что, положив обернувшемуся Тушину на плечо руку, Рылеев вздохнул бы с исказившимся лицом несколько раз, а Тушину стало бы ясно, как больно и тяжело приезжему.

Рылеев подошел к окну — в минуты сильного волнения он видел всегда плохо и неясно. Зеленый за окошком туман стоял перед его глазами, и вместе с тем вдруг почувствовал он, что начинает смотреть на себя со стороны, третьим лицом. Признание Тушина, а главное, то, что в тяжелом положении Рылеева не могло быть уже ничего горше, как выслушать это признание от того самого человека, ради которого изменила ему женщина, — произвело на него своеобразное, отрезвляющее, пристыдившее его действие. Болезненный стыд этот — стыд за то, что на него, Рылеева, смотрят уже как на лицо постороннее и такое отношение он опровергнуть не в силах, — так хлестко и сильно проник в Рылеева, что он, как от удара по лицу, весь вспыхнул и замер, и даже потускнело его чувство к Лизе: менее желанной и близкой на мгновение стала ему она.

«Ведь он ни разу не спросил, кто я, — вспомнил Рылеев. — Он знал уже, а я и не догадался, да и как догадаться — никому в голову не придет».

— Я уеду! — вслух сказал, успокаиваясь, Рылеев. — Уеду сейчас, вот теперь. Фу-ты, боже мой! — почти вскрикнул он, припоминая отчетливо разговор с Тушиным, и, снова, затосковав, покраснел, как мальчик. Одно еще интересовало его, это — как и когда Лиза познакомилась с Тушиным? «Когда — не все ли равно, а как?..» Он представил внимательно ищущее лицо женщины, а рядом с ним — так же настойчиво обшаривающее глазами человеческие углы лицо мужчины и вспомнил, что почти у всех когда-либо виденных им людей было в слабой или сильной степени такое выражение лиц, словно человек про себя думал: «Да, я говорю с тобой, но ты мне не нужна (или не нужен), а вот постой, я сейчас встречу…»

«Искали, сошлись и успокоились, — продолжал размышлять Рылеев. — Вначале всего этого был, вероятно, разговор о погоде и местных новостях, а там глаза перекинулисьчем-то таким, от чего хочется вздрогнуть, — и готово».

Придав лицу сонное и равнодушное выражение, Рылеев вышел из куреня.

Вчерашний мужик так же сидел на лавочке, упираясь в нее руками, словно у него заболел живот. Рылеев сказал:

— Выспался, отдохнул. Как бы мне уехать отсюда? Нет ли у тебя лошади?

— Вот беда, — хихикнул мужик, — лошадь ноне захромала: ездил по дрова, подковать лень было, на колдобине-то ногу зашибла кобылка… А чего лучше вам с плотиком?

— С плотиком? — вспомнив слова Тушина, сказал Рылеев. — Ну, а как?

— А по речке. Дровяник заночевал у меня, с плотиком едет. Плотик, что говорить, немудрящий, сухостойный, а троих подымет, да вас двое всего и будет. По речке тут к полдню, а то и раньше, поспеете.

— Мне все равно, — сказал Рылеев. — А где этот человек?

Куренщик оглянулся.

— В избе обувается… Да вот он, багор несет.

Маленький, деловитого и сухого вида старик, в натуго подпоясанном азяме, лаптях и обычной для местных крестьян татарской, на вате, шапке, тащил за конец шест. За поясом мужика болтался топор.

— А что, Бурмакин, — сказал куренщик, — пассажир тебе есть. Свезешь, поди, — вчера-то говорили.

— Давай, — бодро ответил, прищурившись, крестьянин. — Куды ни шло, не утопнем.

— Мне в село надо, на станцию, — сказал Рылеев.

— Туды и еду. Айда! — Старик, замедлив несколько шаг, чтобы выслушать и ответить, продолжал быстро идти к реке.

— Ступайте, свезет, — сказал куренщик Рылееву. — Езжайте благополучно.

Старик, бросив вперед себя шест, прыгнул на середину плотика, Рылеев осторожно прошел к нему, замочил ноги и сел по-турецки.

— Разгонистая речишка, бурливая, — сказал, смеясь похожим на кашель смешком, старик. — Не бойтесь.

— Чего бояться, — искренне ответил Рылеев, — бояться нечего.

Старик, проворно колупая пальцами, отвязал причал, снял шапку, перекрестился на заблестевший восток и, подбежав к рулю, сильно двинул им к берегу. Плот тотчас, качнувшись, отошел и поплыл с быстротою идущего скорым шагом человека. Река, шириной не более десяти сажен, с плота показалась Рылееву шире и глубже. Берега, обрывистые, с вылезающими из подмоин корнями, плыли назад. Рылеев оглянулся, испытывая от необычайного способа путешествия род смешливого внутреннего неудобства и какого-то полудетского ожидания: что будет дальше? Старик, щуря рысьи с кисточками в бровях глаза, стоял лицом по течению; согнувшись, расставив ноги и поводя рулем, он сильно напоминал елочного деда.

Ивняк, среди которого, начиная от куреня, текла речка, кончился. Течение усиливалось. Тем временем утренний свет, озарив небо и землю, ударил по воде и прильнул к ней. Мгновенно преображенное, изменилось серенькое лесное утро.

Красная, радостная вода окружала убегающий плот; оттенки ее в светлой чистоте воздуха горели зеленым и розовым. Все получило вдруг свежесть и чистоту, выпуклость инеяркий, полный мирной улыбки блеск; Гарь, как и ивняк, кончилась, уступив место пышной заросли берегов. Дикий в цвету шиповник, мальвы, высокие лиловые колокольчики; теснясь среди белых, как молоко, тонких березок, обросли кручи; кое-где, зеленея у воды, папоротники отражались в глубине стрежей переливчатой цветной дрожью. Бревна, на которых сидел Рылеев, блестели. Беспричинно весело стало ему. Он щурился, смотря, как играет рыба, гоняясь за приседающей на воду стрекозой, и внутренне подтянулся. Веселое насилие совершалось над ним, словно в мрачную монашескую трапезу вбежала молоденькая девица, пугаясь, не выгонят ли ее, но низко склонились над тарелками с постной кашей черные головы, ухмыляясь в усы… И Рылеев немного ожил.

Шиповник тянулся по склонам береговых зазубрин а дальше, у подножия невысоких, стеснивших реку отвесов розового и белого известняка цвета эти переходили один в другой бледными, как бы полинявшими выступами.

«Хорошо, что я поехал на плотике, — думал Рылеев. — Вот я несчастен, а смотрю с удовольствием вокруг и так бы ехал еще долго. Да несчастен ли я? — сказал он, подумав. — Что же — жизнь для меня кончилась, что ли? Отлегло на душе, поэтому так и рассуждаешь, — возразил он сам себе. — А потом что?» Но вернувшаяся и осторожно укрепляющаяся в душе бодрость направила его мысли в сторону самозащиты. «Я не тряпка, а только убивающий сам себя человек. За всю жизнь я не пережил столько, сколько за эту неделю. Другую буду любить. Пройдет все. Другой я; спасибо тебе, Лиза». Чрезвычайно отчетливо припомнил он библиотеку и себя в ней, работающего без устали ради будущего. Все люди, посещавшие библиотеку, вспомнились ему с книжкой под мышкой: Гоголев, барышни, гимназистки, дама с флюсом, небритый пожиратель романов. И все-таки тень жизни осеняет его, подумал Рылеев, а многих ли осеняет она? И жизнь представилась ему такой, какая она есть: чудесная, полная неожиданностей, а вместе с тем — грубая и голая правда о борьбе, скуке и смерти, — кто чего хочет. Он не знал еще, что надвое должен жить человек, что для упорствующих жизнь-женщина стыдится ходить в черном теле; неряха муж видит жену по утрам растерзанной, нечесаной, и, мелочь за мелочью, проходит любовь. У жизни своя правда, у человека — своя, и надо соединить их. «Я знаю… — сказал Рылеев, — знаю», — и не мог сам себе выяснить, что знает и как. Это было знание, невыразимое словами и мыслью, новые глаза, полнота человеческих желаний. «Напишу или приеду», — повторил слова Лизы Рылеев и не поверил словам: слишком резко стояло перед ним серьезное лицо Тушина. «Подожду три дня и уеду», — сказал Рылеев. Снова захотелось ему женской ласки и нежности. «Другую буду любить», — мстительно прошептал он. Злые слезы подступили к его горлу. Он поборол их и встал.

— Когда приедем? — спросил Рылеев Бурмакина.

— А приедем, — сказал старик, — пошто торопиться, в самый раз попадем.

— Ты почему на плотике едешь?

— Я от хозяина. Вишь, плоты снесло; после дождя это, так бревна засекло по хрящам, застряли то есть, да, видно, снесло опять, — чистая река-то!

Рылеев посмотрел вперед. Река стала шире и ленивее, по берегам тянулся теперь смешанный густой лес. «Нет, нет, — сказал он себе, одолевая последние, уже слабые приступы возмущения и тоски, — так было, значит, так хорошо, ты зрячий, теперь живи и смотри в оба».XI

Тушин вошел в сени, быстро отворил дверь и осмотрелся, улыбающимися глазами ища Лизу.

— Лиза! — позвал Тушин, прошел к столу и вправо, где стояла кровать, увидел девушку. Одетая, прикрыв плечи и голову тонким серым платком, Лиза лежала, согнувшись, лицом к стене. Улыбаясь, приблизился к ней на цыпочках Тушин и, опустив голову, прислушался.

Спокойное, ровное дыхание спящей женщины заставило его улыбнуться еще раз. Поколебавшись, он уперся ладонью в плечо девушки, поцеловал Лизу в розовый от сна висок и сказал:

— Проснись, это я.

Лиза медленно зашевелилась, вздохнула и, открыв глаза, села, проводя по лицу руками. Сонный, еще блестящий сквозь пальцы взгляд ее прояснился, осветив заспанное лицо ровной улыбкой.

— Который час, Миша? — спросила девушка.

— Девять, — сказал Тушин. — Я опоздал на сутки. Ты сердишься?

Лиза тряхнула головой и села, кутаясь в платок, у окна, смотря на улицу. Минуту спустя лицо ее, усталое и внимательное, обернулось к Тушину.

— Я рада, что ты жив и здоров, Миша, — сказала она. — Так что не сержусь я, благодарю тебя за то, что ты цел. Я не спала ночь. Мне казалось, что ты утонул, простудился, умер, что был какой-то несчастный случай.

— Я виноват, — сказал Тушин, беря ее теплые руки и целуя их, — будь милостива. Я готов теперь. Если хочешь, можно ехать сегодня.

Лиза нагнулась и поцеловала его в голову.

— Чем это пахнет от тебя? Ах, знаю. Смолой, порохом и травой. Расскажи, что ты делал и почему опоздал.

— Ах, Лиза, — нетерпеливо сказал Тушин, — зачем спрашивать? Соврать недолго: «Заблудился» — и делу конец. Я был сам собою последний раз в этих местах, делал то, чтоделал всегда. Я не принял в расчет, что ты можешь подумать, будто со мной несчастье, — в этом я виноват.

— Я не упрекаю, — слегка побледнев, возразила Лиза. Некоторое время она молча смотрела на него, тихонько жмурясь. — Миша, дорогой мой, мы сегодня видимся последний раз. Мы расстанемся. Постой, не волнуйся. Сядь, дай руку и выслушай.

Тушин, быстро и резко встав, вырвал руку. Тоскливое, глухое упорство поднялось в нем. Теперь, хотя бы в тысячу раз сильнее кружилась от гнева и раненой любви голова, он был способен сидеть молча битый час, слушая, что ему скажут, кивая и холодно соглашаясь.

— Не мне оспаривать добычу Рылеева, — усмехнулся дрожащим ртом Тушин. — Этой чести он не дождется.

— Зачем оскорбления? — покачав головой, грустно сказала Лиза. — Дело ведь в нас с тобой, а не в нем. Я люблю тебя, но мы разойдемся. Об этом сегодня ночью я думала. Миша, вчера ты не подумал обо мне в тот момент, когда более всего нужна была мне поддержка. Я не наказываю тебя — ты ведь не мальчик, но ясно вижу, что взяли мы друг от друга все, что могли. Ты не друг мне. У каждой женщины, милый, есть полоса горячки, любви в цветах, полной огня, смеха и слез; для одних, самых несчастливых из нас, это заключается иногда в одном только вспоминаемом всю жизнь взгляде или прикосновении. Но мне было дано много. Это я ценю и благодарю тебя, более же не дашь ты мне ничего. Моим прошлым с тобою я проживу всю жизнь, а то, что остается у меня еще от способности любить и ценить чужую любовь, отдам ему. Он заслужил это. Я любила и люблю тебя за то, что в любви ты нежен и горд, чист душой, горяч и стремителен, красив и силен, за то, что жизнь твоя трудна и опасна и никто не помогал в ней тебе. Жить вместе мне и тебе нельзя: слишком мы душою противоречивы и разноцветны. Не сердись.

Торопливо и сбивчиво, тем тоном, каким взволнованная мать утешает ребенка, произнесла Лиза эти слова, встала и обняла Тушина. Нежной, но твердой силой повеяло на него от этой последней ласки. Расстроенный, он встал сам, отвел Лизины руки и посмотрел ей в лицо. Невыразимым прощальным очарованием горели черты женщины. И понял Тушин, что после сказанного нет места возмущению, так как нет лжи…

— Прощай же, — пересиливая боль, слезы и резкие движения страсти, серьезно сказал он, — не забывай. В память твою я буду здесь всегда, здесь и умру. На просеке, в зеленых кустах еще движется и дышит твоя тень — тень милая и прекрасная. Я скоро приду в то место, посижу, вспомню тебя.

— Долго еще ты будешь со мной. — Лиза, положив голову на плечо Тушина, закрыла глаза и улыбнулась. — До тех пор, пока ты этого хочешь. Я почувствую, когда ты перестанешь меня любить. И ты почувствуешь. В тот момент среди смеха станет серьезным твое лицо, за делом ты испытаешь отвращение к делу, среди ночи — проснешься и, как живую, меня увидишь, я буду смотреть мимо тебя.

— Пусть никогда не будет этого, — сказал Тушин. — Прощай. Лучше уйти мне — легче.

— Прощай.

Они обнялись последний раз, и от этого полного тоски и силы объятия исчезли сумерки. Закрыв глаза, в немом, обессиливающем поцелуе Лиза и Тушин увидели себя еще раз в светлом от берез и солнца лесном затишье, шмель жужжал низкой струной у их ног, а заунывный крик сойки казался веселым.

Тушин нежно оттолкнул Лизу и, не обернувшись, вышел; она же, закрыв глаза, сделала рукой движение, как бы собираясь перекрестить уходящего, затем опустила руку, услышала, как с обычным, негромким стуком закрылась дверь, и осталась одна. Некоторое время ей казалось, что он еще здесь, а она продолжает уговаривать и утешать его; но воспоминание о том, как Тушин принял разрыв, заставило ее почувствовать всей силой окружающей тишины, что его нет возле нее не на минуту, не на день, а навсегда.

Глухое чувство сопротивления уводило Лизу от Тушина; чему противилась она, то было неистребимо, так как неистребимым определяется человек. Он ушел, и любовь ее к нему стала тише, терпеливее; она думала о нем столько же, сколько и о Рылееве; думала о Тушине сердцем, о Рылееве — пока еще братским уголком души, но пристально и бесповоротно.

Тушин, выйдя от Лизы, шел, встряхивая головой и морщась, к реке. У лавки, с висящими на дверях ременными кнутами, цветными платками и картинками лубочно-божественного содержания, серых от муки и крупы, сидел лавочник. Свирепый, жирный кот лежал у его ног; другой кот, поменьше, гоняясь у крыльца за мухами, прыгал козлом. Лавочник узнал Тушина, говоря:

— Михаил Васильевич, заверните, чайку стаканчик.

Тушин остановился. Простая фраза о стакане чайку, которого ему вовсе не хотелось, нарушив очарование горя, прозвучала жестоко и наивно, но он уцепился за нее, так как можно было говорить и выслушивать еще подобные фразы — и не думать. Лавочник, страстный рыболов, знакомый Тушину по встречам на озере, смотрел сыто и бойко, улыбаясь.

— Сколько раз в день чай пьете? — сказал Тушин, подходя. — Вы, торговые мастера.

— Жара-с. Лето-с. — Лавочник хлопнул себя по коленям. — Всего-навсего собираюсь шестой раз чайку испить, это по-божески. Да вы что, больны, никак?

— Я здоров. Почему? — спросил Тушин. — Всегда здоров, у меня и зубы никогда не болят.

— Глаза у вас нехорошие. — Лавочник пихнул кота ногой и встал. — В теплушку пожалуйте. Щучий жор пошел, Михаил Васильевич; жерлицы готовлю, блесны. А Ванька мой ястребенка словил вчера; в клетку чижову посадили, да велика клетка-то… мала, значит.

— Покажите, — рассеянно сказал Тушин.

— В-вот он, вор-куроцап, жулик, да еще мал, подлеток.

На прилавке, возле банок с вареньем, оберточной бумаги и свечных пачек, в нечистой маленькой клетке сидел «куроцап». Голова птицы, грозно вытянутая к склонившемусялицу Тушина, неподвижно блестела глазом. Ястребенок, дыша часто, как в лихорадке, лежал боком и грудью на полу клетки; сломанное в крыле перо сиротливо торчало вверх.

— Зашиб малость, — сказал лавочник. — Лечит теперь Ванька-то. Отдышался, жулик. Есть стал.

— Поправится, — сказал Тушин.

— И то. Поправится, полетит, сыт будет.

— Пустишь?

— Ванька пустить хочет, мне-то што — его игрушка. А ты что, Михаил Васильевич, не в лице ходишь?

— Голова болит, — сказал Тушин. — Это ничего, пустяки. Ну-ка, закурим да выпьем чайку, что ли.

Разговаривая, они прошли в теплушку, а на место хозяина вышел торговать сын его, Ванька, сел к прилавку, вычистил пальцем нос и вздремнул.XII

Парни, подростки и бородатые мужики играли в орлянку. Игроки всё прибывали и прибывали. Празднично по случаю воскресенья одетая молодежь, в расшитых и вышитых любовницами цветных ярких рубахах, подходила парами, кучками и по одному. Блестело кое-где золото. Человек, проигравший его, наполнял круг гвалтом, плевался и махал руками.

К игрокам подошел Звонкий. Он был навеселе, грустен и неуклюж. Пятак, возвращаясь с неба, шлепнулся у его ног решеткой вверх. Орлянщик, горестно крутя головой, стал платить деньги.

— Метну и я, — сказал Звонкий. — Ставь, деревня, — свои приехали. Я, братцы, гуляю. — Ухмыляясь, вытащил он пятак и, отступив, размахнулся. Тотчас к ногам его посыпались гривенники, четвертаки, полтинники и рубли. Пьяный размах покинул на мгновение Звонкого. Жалея погибающую без молебнов душу Петрухи, остановился Звонкий с занесенной рукой, как бы спрашивая себя — метнуть или нет, тряхнул головой и «стукнул». Монета, черкнув воздух, при общем гаме и шуме легла «решкой».

Пошатываясь и разводя руками, отдал мужик деньги. Парень сказал:

— Стукай еще.

Звонкий посмотрел исподлобья вокруг. Множество глаз было устремлено на его руки с блестящими меж пальцев полтинниками и гривенниками. Ему стало скучно и страшно.

— Эка, нашли дурака, отдай им вот ни за что. — Медленно и задумчиво пошел он из круга.

Он не прошел десяти шагов, как кто-то обнял его сзади, дыша сивухой.

— Изобидели человека, жулье, — сказал смутно знакомый мужику голос, — а за что? Арестанты, одно слово.

Звонкий остановился, обернулся и, ухватив двумя пальцами подошедшего за бороду, умильно расцвел всем своим широченным лицом, увидев земляка; земляк был сапожник.

— Ах, милый, друг ты мне, — любовно сказал мужик, — изобидели меня, Вася. За что? Бог судья.

— Известно, жулики, — повторил сапожник, быстро осматривая Звонкого. — Им бы дорваться. Обрадовались.

— Деньги пропиваю, — мрачно сказал Звонкий. — Два стаканчика-то и выпить всего хотел. Упокой, господи, раба твоего Петра Голикова. Угости меня, Вася. Выпьем.

— Ко мне пойдем — что ветер ловить? Четверть есть. — Сапожник взял мужика под руку, но Звонкий упирался, припадая головой к плечу земляка и добродушно смеясь. — Да шел бы ты, — сказал сапожник, — чего околачиваться?

— Петрухи деньги, — сказал вдруг Звонкий, выпрямляясь и тараща глаза. — Это как понимать?

— Да уж так и понимать надо, — оглядываясь, вздохнул сапожник. — Деньги не твои.

— Похоронили Петруху, не видать мне его. Помер Петруха — вот тебе и весь сказ.

— Это уж как быть.

— Ежели свои, — пробормотал Звонкий, пытаясь набить трубку, — а то ведь Петрухи. Это ты, Вася, пойми.

— Я все понимаю, — сказал сапожник. — Ты, Конскентин, правильно.

— Правильно?

— В точку.

— Это деньги, милый… такие, не наши деньги.

— Бог с ними.

— Известно, Вася, Петрушка, значит, просил, как бог свят. А попа дома не было — косит он, батька-то, понял?

— Все знаю, — переминаясь от нетерпения, сказал сапожник.

— Я их попу отдам.

— Отдай, мне что?

— Так отдать?

— Беспременно.

— Нет, Вася, ты рассуди: я их отдать должен?

— Верно.

Звонкий умолк. Того, чего бессознательно ждал он, — легкого искушения, не было в словах земляка, но поддакивание рассердило его.

— Пропью, — сказал Звонкий. — Я, брат, человек пропащий.

Сапожник не ответил. Осторожная и жестокая мудрость подсказывала ему, что теперь следует как бы равнодушно молчать. Оттого ли, что пристально смотрел на него сапожник, или оттого, что сапожник был терпелив и не спорил, — Звонкий почувствовал желание куда-то идти.

— Пойду я, — сказал Звонкий. — Пропал я, и ты пропал, Вася. Прощай, когда…

— Иди спать, зимогор. Право, под забором уснешь ведь, сапоги снимут.

— Пускай. — Звонкий вдруг устремился, заламывая шапку, в переулок.

Сапожник, догнав его, схватил за плечи, толкая назад.

— Иди к лешему! — сказал Звонкий. — Не тронь, я пойду.

— Да где тебе, дура, ходить, непристроенный ты чурбан? Иди спать!

— А… пойду, — сказал, вырываясь, упрямо и зло мужик. — Не лезь.

С минуту они нелепо и бестолково боролись. Сапожник, отступив, плюнул и выругался.

— Да дьявол с тобой, — закричал он, — тебе, дураку, добра хотят! Тьфу! Залил глотку, немочь лесная, ломается!

Он повернулся и, оглядываясь, скрылся за углом. Звонкий же, забыв мгновенно о земляке, шел, не зная куда. Высокая, в платке, женщина попалась ему навстречу; мужик поднял голову и узнал барышню. На ней было другое платье, иным выглядело осунувшееся лицо, но Звонкий узнал и обрадовался так, что выступили на глазах пьяные слезы. Расставив бесцеремонно руки и ухмыляясь, мужик сделал вид, что ловит: побледневшую от испуга Лизу, и сдернул шапку.

В переулке никого не было. Лиза, подняв руку, хотела пройти, Звонкий сказал нараспев:

— В лесу да с милым дружочка-ам сид-дела я, млада. Проходите без опаски, а ежели не так, то просим прощенья.

Лицо его было комично и добродушно. Рыжий вихор петушьим гребнем висел над ухом. Хмурясь, девушка прошла мимо Звонкого. Он долго смотрел ей вслед, потом, надев шапку, сказал:

— Барыня или баба, а бухгалтерия первый сорт одинакова. Господь с тобой, и иди себе, я не трону, нет; мужик я, одно слово, правильный.

Остановившись под окном, сквозь стекло которого смутно белела пара детских лиц, мужик продолжал, размахивая у носа пальцем:

— Господа, значит, дело не наше. Это верно.

От господ мысль его перешла к легкой и чистой господской жизни. О жизни этой не столько он думал, сколько, размахнув полы азяма, стоял над нею. Расставил ноги и вздыхал, но от этого ничего, кроме ощущения бесформенно светлого пятна, находящегося неизвестно где, не укладывалось в голове Звонкого. Сев на лавочку и подперев щеку рукой, мужик затянул песню:«Скажи мне, звездочка злата-ая,Зачем печально так горишь?Король, король, о чем вздыха-ешь,Со страхом р-речи гово-ришь?»

Солнце закатывалось. Лучи его, ломаясь на гребне крыши, били в глаза расплесканным, нестерпимым блеском и гасли. Одолев дремоту, мужик встал, намереваясь идти в кабак. Шестьдесят непропитых рублей держали его на вожжах; думал он о Петрухе лукаво, грустно и благодарно.

Встав, мужик сунул руку в карман, где лежали деньги, замигал, медленно вынул руку и сел снова. Тоска, злоба и хмель кружили ему голову. Еще надеясь, но испуганный и павший духом, он стал рыться в другом кармане, выворачивая его так, что трещали швы; медные деньги рассыпались у его ног; кисета же с запрятанными в табак бумажками как не бывало.

— Ловко, — сказал Звонкий; протрезвев, склонился он головой на руки и отчаянно зарыдал.

Немного спустя видел мужика человек, очень похожий на сапожника. Человек этот, заметив Звонкого, прошел другой стороной сломанного плетня, руки в карманы; Звонкий же, не видя и не замечая ничего, крепко зажав в кулаке подобранные пятаки, шел в трактир. Другим переулком, задами и огородами, человек, похожий на сапожника, шел тоже в трактир.XIII

Рылеев спал шестнадцать часов.

Проснувшись, он опустил одну ногу, держа за ушко сапог. Собственные движения казались ему лишенными всякого смысла; в отдохнувших за ночь душе и теле пропал бодрый инстинкт жизни, ее сложный секрет, позыв к движению.

«Ну вот, все испорчено, — сказал себе Рылеев, — испорчена жизнь. Оденусь, напьюсь чаю и — на вокзал». Сердце его сжалось. Тряхнув головой, он встал и подошел к зеркалу, ожидая увидеть человека с ясно выраженными в лице отчаяньем и унынием, но, к своему удивлению, увидел все того же, хорошо знакомого двойника, с прямым суховатым взглядом, белым лицом и крепкой, загоревшей слегка шеей. «Как лжет лицо, — сказал он, — а вернее всего — что показывает оно меня таким, какой я всегда». Помолчав мысленно, Рылеев отошел к вешалке, оделся и позвонил. Коридорный, человек с необыкновенно густыми бровями и уныло-волчьим лицом, стал на пороге, спрашивая, что нужно.

— Самовар дайте, булку, — сказал Рылеев.

И в тот же момент из-за спины полового, мелькнув в полутьме коридора светлым платьем, вошла, взволнованно улыбаясь, Лиза.

Это было так сильно и неожиданно, что Рылеев, подняв руку, негромко вскрикнул. Опахнув комнату из окна, в раскрытую дверь метнулся сквозняк; занавеска, полоща, взвилась и опала, а коридорный, отступив назад, тупо мигал. Рылеев, не отводя глаз от Лизы, закрыл дверь. Глухой смех вырвался из его груди; потрясенный и безудержно счастливый, он продолжал нервно смеяться, приближаясь к женщине.

— Я вернулась, — сказала Лиза, — успокойтесь.

Взгляды их, полные тяжелых воспоминаний, светились улыбкой сквозь слезы.

— Лизочка, — сказал Рылеев, — что вы со мною делаете?

Она не ответила и стояла, держась за поля шляпы, как будто хотела пригнуть их, закрыть щеки. Момент, когда Рылеев хотел и мог бы встретить девушку иначе, дав волю чувствам — обнять и поцеловать, — прошел, и радость осталась скованной, но полной предчувствий недалекой и сложной близости.

— Ко мне? — отрывисто, не переставая улыбаться, спросил Рылеев.

Лиза наклонила голову; мягко-испытующий взгляд ее осветился глубокой уверенностью в том, что Рылеев любит ее и ждал.

— Так будем жить, — сказал Рылеев. — Уедем отсюда.

— Что же мы, как чужие? — с упреком произнесла Лиза. — Вот, я первая…

Восхищенный, почувствовал Рылеев на своем плече ее руку и голову. Связанность оставила его, он обнял и поцеловал Лизу в висок, но чувствовал, что все это еще не настоящее, что им нужно снова, помогая любви, привыкнуть и сродниться друг с другом. Ревность проснулась в нем далеким, глухим эхом, но все острое в ревности перегорело, было затоптано радостью тревожного возвращения.

— Сядем, — выпустив теплый стан девушки, сказал Рылеев, — мы ведь теперь дома.

Лиза, смеясь, развела руками:

— Вы все такой же. Вы глубоко семейный человек, Алексей. У вас плохой номер.

— Почему такой же? Я — другой, — серьезно и оживленно сказал Рылеев. — Как странно мы встретились; или это уже свойство души человеческой — быть свободной и звучной только наедине с собой. Прежние Рылеев и Лиза умерли, другие сидят здесь, это первая наша встреча.

— Счастливы ли вы со мной… теперь? — спросила Лиза.

— Счастлив, — сказал Рылеев. — Да, я не кричу, не пою и не пляшу от радости, но это потому, что я еще не совсем ясно понимаю, что делается, — я в тумане. Нам нужно еще,Лиза, много слушать друг друга.

— Да. После.

— После, Лиза! — терзаясь тем, что говорит, не облегчая себя, вскричал Рылеев. — Я вас люблю, люблю радостно, страшно и хорошо. Будьте мне другом — я вам отдам жизнь.

— Милый, — сказала, волнуясь и подходя к Рылееву, Лиза, — не надо этих слов. — Она нагнулась к нему, шепча на ухо: — Я знаю, как ты будешь меня любить, ты — гадкий, но очень хороший, мой любимый, не мучь себя больше — сны кончились.

— Ах, Лиза, для меня все сон, — сказал Рылеев. — Я буду сердиться на тебя после, задним числом, сейчас я какой-то блаженный, вот…

Те слезы, что подступали к его горлу еще в библиотеке, при чтении Лизиного письма, вдруг, накипев и освободившись, стеснили дыхание. Отвернувшись, он дал им волю. И долго, страдая от того, что не может — от полноты ли жизни или от фантастических, хмурых теней ее — заплакать сама, смотрела красивая молодая женщина на склоненный по-детски затылок взрослого человека. Как женщине, ей это было приятно, как человеку — больно и совестно.

В поезде на Рылеева обращали внимание главным образом замужние пожилые дамы: он светился весь замкнутым, молодым трепетом.

На остановке вошел плотный, с бакенбардами, господин. Лицо его показалось Рылееву удивительно приятным и симпатичным. И много появлялось еще народа, старых и молодых, мужиков и господ, детей и прислуг. На всех их смотрел Рылеев — все были прекрасны и симпатичны. Отвернувшись, смотрел он в окно. Поезд шел лесом; за солнечной опушкой, у рельсов, теряя на расстоянии всю простоту и ясность отчетливых сплетений ветвей, синела таинственная, как всегда, даль, а торжественные лесистые холмы казались одушевленным пространством, ступенями к улыбке и гневу.

«Там Тушин», — подумал Рылеев, задумался и вздохнул.

Андрей Платонов

**ВОЗВРАЩЕНИЕ**

Алексей Алексеевич Иванов, гвардии капитан, убывал из армии по демобилизации. В части, где он прослужил всю войну, Иванова проводили, как и быть должно, с сожалением, с любовью, уважением, с музыкой и вином. Близкие друзья и товарищи поехали с Ивановым на железнодорожную станцию и, попрощавшись там окончательно, оставили Иванова одного. Поезд, однако, опоздал на долгие часы, а затем, когда эти часы истекли, опоздал еще дополнительно. Наступала уже холодная осенняя ночь; вокзал был разрушен в войну, ночевать было негде, и Иванов вернулся на попутной машине обратно в часть. На другой день сослуживцы Иванова снова его провожали; они опять пели песни и обнимались с убывающим в знак вечной дружбы с ним, но чувства свои они затрачивали уже более сокращенно, и дело происходило в узком кругу друзей.Затем Иванов вторично уехал на вокзал; на вокзале он узнал, что вчерашний поезд все еще не прибыл, и поэтому Иванов мог бы, в сущности, снова вернуться в часть на ночлег. Но неудобно было в третий раз переживать проводы, беспокоить товарищей, и Иванов остался скучать на пустынном асфальте перрона.Возле выходной стрелки станции стояла уцелевшая будка стрелочного поста. На скамейке у той будки сидела женщина в ватнике и теплом платке; она и вчера там сидела при своих вещах, и теперь сидит, ожидая поезда. Уезжая вчера ночевать в часть, Иванов подумал было: не пригласить ли и эту одинокую женщину, пусть она тоже переночует у медсестер в теплой избе, зачем ей мерзнуть всю ночь, неизвестно — сможет ли она обогреться в будке стрелочника. Но пока он думал, попутная машина тронулась, и Иванов забыл об этой женщине.Теперь та женщина по-прежнему неподвижно находилась на вчерашнем месте. Это постоянство и терпение означали верность и неизменность женского сердца — по крайней мере, в отношении вещей и своего дома, куда эта женщина, вероятно, возвращалась. Иванов подошел к ней: может быть, ей тоже не так будет скучно с ним, как одной.Женщина обернулась лицом к Иванову, и он узнал ее. Это была девушка, ее звали «Маша — дочь пространщика», потому что так она себя когда-то назвала, будучи действительно дочерью служащего в бане, пространщика. Иванов изредка за время войны встречал ее, наведываясь в один БАО, где эта Маша, дочь пространщика, служила в столовой помощником повара по вольному найму.В окружающей их осенней природе было уныло и грустно в этот час. Поезд, который должен увезти отсюда домой и Машу, и Иванова, находился неизвестно где в сером пространстве. Единственное, что могло утешить и развлечь сердце человека, было сердце другого человека.Иванов разговорился с Машей, и ему стало хорошо. Маша была миловидна, проста душою и добра своими большими рабочими руками и здоровым, молодым телом. Она тоже возвращалась домой и думала, как она будет жить теперь новой гражданской жизнью; она привыкла к своим военным подругам, привыкла к летчикам, которые любили ее, как старшую сестру, дарили ей шоколад и называли «просторной Машей» за ее большой рост и сердце, вмещающее, как у истинной сестры, всех братьев в одну любовь и никого в отдельности. А теперь Маше непривычно, странно и даже боязно было ехать домой к родственникам, от которых она уже отвыкла.Иванов и Маша чувствовали себя сейчас осиротевшими без армии; однако Иванов не мог долго пребывать в уныло-печальном состоянии; ему казалось, что в такие минуты кто-то издали смеется над ним и бывает счастливым вместо него, а он остается лишь нахмуренным простачком. Поэтому Иванов быстро обращался к делу жизни, то есть он находил себе какое-либо занятие или утешение либо, как он сам выражался, простую подручную радость, — и тем выходил из своего уныния.Он придвинулся к Маше и попросил, чтобы она по-товарищески позволила ему поцеловать ее в щеку.— Я чуть-чуть, — сказал Иванов, — а то поезд опаздывает, скучно его ожидать.— Только поэтому, что поезд опаздывает? — спросила Маша и внимательно посмотрела в лицо Иванова.Бывшему капитану было на вид лет тридцать пять; кожа на лице его, обдутая ветрами и загоревшая на солнце, имела коричневый цвет; серые глаза Иванова глядели на Машу скромно, даже застенчиво, и говорил он хотя и прямо, но деликатно и любезно. Маше понравился его глухой, хриплый голос пожилого человека, его темное грубое лицо и выражение силы и беззащитности на нем. Иванов погасил огонь в трубке большим пальцем, нечувствительным к тлеющему жару, и вздохнул в ожидании разрешения. Маша отодвинулась от Иванова. От него сильно пахло табаком, сухим поджаренным хлебом, немного вином — теми чистыми веществами, которые произошли из огня или сами могут родить огонь. Похоже было, что Иванов только и питался табаком, сухарями, пивом и вином.Иванов повторил свою просьбу.— Я осторожно, я поверхностно, Маша... Вообразите, что я вам дядя.— Я вообразила уже... Я вообразила, что вы мне папа, а не дядя.— Вон как... Так вы позволите...— Отцы у дочерей не спрашивают, — засмеялась Маша.Позже Иванов признавался себе, что волосы Маши пахнут, как осенние павшие листья в лесу, и он не мог их никогда забыть... Отошедший от железнодорожного пути, Иванов разжег небольшой костер, чтобы приготовить яичницу на ужин для Маши и для себя.Ночью пришел поезд и увез Иванова и Машу в их сторону, на родину. Двое суток они ехали вместе, а на третьи сутки Маша доехала до города, где она родилась двадцать лет тому назад. Маша собрала свои вещи в вагоне и попросила Иванова поудобнее заправить ей на спину мешок, но Иванов взял ее мешок себе на плечи и вышел вслед за Машей из вагона, хотя ему еще оставалось ехать до места более суток.Маша была удивлена и тронута вниманием Иванова. Она боялась сразу остаться одна в городе, где она родилась и жила, но который стал теперь для нее почти чужбиной. Мать и отец Маши были угнаны отсюда немцами и погибли в неизвестности, а теперь остались у Маши на родине лишь двоюродная сестра и две тетки, и к ним Маша не чувствовала сердечной привязанности.Иванов оформил у железнодорожного коменданта остановку в городе и остался с Машей. В сущности, ему нужно было бы скорее ехать домой, где его ожидала жена и двое детей, которых он не видел четыре года. Однако Иванов откладывал радостный и тревожный час свидания с семьей. Он сам не знал, почему так делал, — может быть, потому, что хотел погулять еще немного на воле.Маша не знала семейного положения Иванова и по девичьей застенчивости не спросила его о нем. Она доверилась Иванову по доброте сердца, не думая более ни о чем.Через два дня Иванов уезжал далее, к родному месту. Маша провожала его на вокзале. Иванов привычно поцеловал ее и любезно обещал вечно помнить ее образ.Маша улыбнулась в ответ и сказала:— Зачем меня помнить вечно? Этого не надо, и вы все равно забудете... Я же ничего не прошу от вас, забудьте меня.— Дорогая моя Маша! Где вы раньше были, почему я давно-давно не встретил вас?— Я до войны в десятилетке была, а давно-давно меня совсем не было...Поезд пришел, и они попрощались. Иванов уехал и не видел, как Маша, оставшись одна, заплакала, потому что никого не могла забыть, ни подруги, ни товарища, с кем хоть однажды сводила ее судьба.Иванов смотрел через окно вагона на попутные домики городка, который он едва ли когда увидит в своей жизни, и думал, что в таком же подобном домике, но в другом городе, живет его жена Люба с детьми Петькой и Настей, и они ожидают его; он еще из части послал жене телеграмму, что он без промедления выезжает домой и желает как можно скорее поцеловать ее и детей.Любовь Васильевна, жена Иванова, три дня подряд выходила ко всем поездам, что прибывали с запада. Она отпрашивалась с работы, не выполняла нормы и по ночам не спала от радости, слушая, как медленно и равнодушно ходит маятник стенных часов. На четвертый день Любовь Васильевна послала на вокзал детей — Петра и Настю, чтобы они встретили отца, если он приедет днем, а к ночному поезду она опять вышла сама.Иванов приехал на шестой день. Его встретил сын Петр; сейчас Петрушке шел уже двенадцатый год, и отец не сразу узнал своего ребенка в серьезном подростке, который казался старше своего возраста. Отец увидел, что Петр был малорослый и худощавый мальчуган, но зато головастый, лобастый, и лицо у него было спокойное, словно бы уже привычное к житейским заботам, а маленькие карие глаза его глядели на белый свет сумрачно и недовольно, как будто повсюду они видели один непорядок. Одет-обут Петрушка был аккуратно: башмаки на нем были поношенные, но еще годные, штаны и куртка старые, переделанные из отцовской гражданской одежды, но без прорех — где нужно, там заштопано, где потребно, там положена латка, и весь Петрушка походил на маленького, небогатого, но исправного мужичка. Отец удивился и вздохнул.— Ты отец, что ль? — спросил Петрушка, когда Иванов его обнял и поцеловал, приподнявши к себе. — Знать, отец!— Отец... Здравствуй, Петр Алексеевич!— Здравствуй... Чего ехал долго? Мы ждали-ждали.— Это поезд, Петя, тихо шел... Как мать и Настя: живы-здоровы?— Нормально, — сказал Петр. — Сколько у тебя орденов?— Два, Петя, и три медали.— А мы с матерью думали — у тебя на груди места чистого нету. У матери тоже две медали есть, ей по заслуге выдали... Что ж у тебя мало вещей — одна сумка?— Мне больше не нужно.— А у кого сундук, тому воевать тяжело? — спросил сын.— Тому тяжело, — согласился отец. — С одной сумкой легче. Сундуков там ни у кого не бывает.— А я думал — бывает. Я бы в сундуке берег свое добро — в сумке сломается и помнется.Он взял вещевой мешок отца и понес его домой, а отец пошел следом за ним.Мать встретила их на крыльце дома; она опять отпросилась с работы, словно чувствовало ее сердце, что муж сегодня приедет. С завода она сначала зашла домой, чтобы потом пойти на вокзал. Она боялась — не явился ли домой Семен Евсеевич: он любит заходить иногда днем; у него есть такая привычка — являться среди дня и сидеть вместе с пятилетней Настей и Петрушкой. Правда, Семен Евсеевич никогда пустой не приходит, он всегда принесет что-нибудь для детей — конфет, или сахару, или белую булку, либо ордер на промтовары. Сама Любовь Васильевна ничего плохого от Семена Евсеевича не видела; за все эти два года, что они знали друг друга, Семен Евсеевич был добр к ней, а к детям он относился, как родной отец, и даже внимательнее иного отца. Но сегодня Любовь Васильевна не хотела, чтобы муж увидел Семена Евсеевича; она прибрала кухню и комнату, в доме должно быть чисто и ничего постороннего. А позже, завтра или послезавтра, она сама расскажет мужу всю правду, как она была. К счастью, Семен Евсеевич сегодня не явился.Иванов приблизился к жене, обнял ее и так стоял с нею не разлучаясь, чувствуя забытое и знакомое тепло любимого человека.Маленькая Настя вышла из дома и, посмотрев на отца, которого она не помнила, начала отталкивать его от матери, упершись руками в его ногу, а потом заплакала. Петрушка стоял молча возле отца с матерью, с отцовским мешком за плечами; обождав немного, он сказал:— Хватит вам, а то Настька плачет, она не понимает.Отец отошел от матери и взял к себе на руки Настю, плакавшую от страха.— Настька! — окликнул ее Петрушка. — Опомнись, — кому я говорю! Это отец наш, он нам родня!..В доме отец умылся и сел за стол. Он вытянул ноги, закрыл глаза и почувствовал тихую радость в сердце и спокойное довольство. Война миновала. Тысячи верст исходили его ноги за эти годы, морщины усталости лежали на его лице, и глаза резала боль под закрытыми веками — они хотели теперь отдыха в сумраке или во тьме.Пока он сидел, вся его семья хлопотала в горнице и на кухне, готовя праздничное угощение. Иванов рассматривал все предметы дома по порядку — стенные часы, шкаф для посуды, термометр на стене, стулья, цветы на подоконниках, русскую кухонную печь... Долго они жили здесь без него и скучали по нем. Теперь он вернулся и смотрел на них, вновь знакомясь с каждым, как с родственником, жившим без него в тоске и бедности. Он дышал устоявшимся родным запахом дома — тлением дерева, теплом от тела своих детей, гарью на печной загнетке. Этот запах был таким же и прежде, четыре года тому назад, и он не рассеялся и не изменился без него. Нигде более Иванов не ощущал этого запаха, хотя он бывал за войну по разным странам в сотнях жилищ; там пахло иным духом, в котором, однако, не было свойства родного дома. Иванов вспомнил еще запах Маши, как пахли ее волосы; но они пахли лесною листвой, незнакомой заросшей дорогой, не домом, а снова тревожной жизнью. Что она делает сейчас и как устроилась жить по-граждански, Маша — дочь пространщика? Бог с ней...Иванов видел, что более всех действовал по дому Петрушка. Мало того, что он сам работал, он и матери с Настей давал указания, что надо делать, и что не надо, и как надо делать правильно. Настя покорно слушалась Петрушку и уже не боялась отца, как чужого человека; у нее было живое сосредоточенное лицо ребенка, делающего все в жизни по правде и всерьез, и доброе сердце, потому что она не обижалась на Петрушку.— Настька, опорожни кружку от картошечной шкурки, мне посуда нужна...Настя послушно освободила кружку и вымыла ее. Мать меж тем поспешно готовила пирог-скородум, замешанный без дрожжей, чтобы посадить его в печку, в которой Петрушка уже разжег огонь.— Поворачивайся, мать, поворачивайся живее! — командовал Петрушка. — Ты видишь, у меня печь наготове. Привыкла копаться, стахановка!— Сейчас, Петруша, я сейчас, — послушно говорила мать. — Я изюму положу, и все, отец ведь давно, наверно, не кушал изюма. Я давно изюм берегу.— Он ел его, — сказал Петрушка. — Нашему войску изюм тоже дают. Наши бойцы, гляди, какие мордастые ходят, они харчи едят... Настька, чего ты села — в гости, что ль, пришла? Чисть картошку, к обеду жарить будем на сковородке... Одним пирогом семью не укормишь!Пока мать готовила пирог, Петрушка посадил в печь большим рогачом чугун со щами, чтобы не горел зря огонь, и тут же сделал указание и самому огню в печи:— Чего горишь по-лохматому — ишь, во все стороны ерзаешь! Гори ровно. Грей под самую еду, даром, что ль, деревья на дрова в лесу росли... А ты, Настька, чего ты щепу как попало в печь насовала, надо уложить ее было, как я тебя учил. И картошку опять ты чистишь по-толстому, а надо чистить тонко — зачем ты мясо с картошки стругаешь: от этого у нас питание пропадает... Я тебе сколько раз про то говорил, теперь последний раз говорю, а потом по затылку получишь!— Чего ты, Петруша, Настю-то все теребишь, — кротко произнесла мать. — Чего она тебе? Разве сноровится она столько картошек очистить и чтоб тебе тонко было, как у парикмахера, нигде мяса не задеть... К нам отец приехал, а ты все серчаешь!— Я не серчаю, я по делу... Отца кормить надо, он с войны пришел, а вы добро портите... У нас в кожуре от картошек за целый год сколько пищи-то пропало?.. Если б свиноматка у нас была, можно б ее за год одной кожурой откормить и на выставку послать, а на выставке нам медаль бы дали... Видали, что было бы, а вы не понимаете!Иванов не знал, что у него вырос такой сын, и теперь сидел и удивлялся его разуму. Но ему больше нравилась маленькая кроткая Настя, тоже хлопочущая своими ручками по хозяйству, и ручки ее уже были привычные и умелые. Значит, они давно приучены работать по дому.— Люба, — спросил Иванов жену, — ты что же мне ничего не говоришь — как ты это время жила без меня, как твое здоровье и что на работе ты делаешь?..Любовь Васильевна теперь стеснялась мужа, как невеста: она отвыкла от него. Она даже краснела, когда муж обращался к ней, и лицо ее, как в юности, принимало застенчивое, испуганное выражение, которое столь нравилось Иванову.— Ничего, Алеша... Мы ничего жили. Дети болели мало, я растила их... Плохо, что я дома с ними только ночью бываю. Я на кирпичном заводе работаю, на прессу, ходить туда далеко...— Где работаешь? — не понял Иванов.— На кирпичном заводе, на прессу. Квалификации ведь у меня не было, сначала я во дворе разнорабочей была, а потом меня обучили и на пресс поставили. Работать хорошо, только дети одни и одни... Видишь — какие выросли. Сами все умеют делать, как взрослые стали, — тихо произнесла Любовь Васильевна. — К хорошему ли это, Алеша, сама не знаю...— Там видно будет, Люба... Теперь мы все вместе будем жить, потом разберемся — что хорошо, что плохо...— При тебе все лучше будет, а то я одна не знаю — что правильно, а что нехорошо, и я боялась. Ты сам теперь думай, как детей нам растить...Иванов встал и прошелся по горнице.— Так, значит, в общем ничего, говоришь, настроение здесь было у вас?— Ничего, Алеша, все уже прошло, мы протерпели. Только по тебе мы сильно скучали, и страшно было, что ты никогда к нам не приедешь, что ты погибнешь там, как другие...Она заплакала над пирогом, уже положенным в железную форму, и слезы ее закапали в тесто. Она только что смазала поверхность пирога жидким яйцом и еще водила ладонью руки по тесту, продолжая теперь смазывать праздничный пирог слезами.Настя обхватила ногу матери руками, прижалась лицом к ее юбке и исподлобья сурово посмотрела на отца.Отец склонился к ней.— Ты чего?.. Настенька, ты чего? Ты обиделась на меня?Он поднял ее к себе на руки и погладил ей головку.— Чего ты, дочка? Ты совсем забыла меня, ты маленькая была, когда я ушел на войну...Настя положила голову на отцовское плечо и тоже заплакала.— Ты что, Настенька моя?— А мама плачет, и я буду.Петрушка, стоявший в недоумении возле печной загнетки, был недоволен.— Чего вы все?.. Настроеньем заболели, а в печке жар прогорает. Сызнова, что ль, топить будем, а кто ордер на дрова нам новый даст! По старому-то всё получили и сожгли, чуть-чуть в сарае осталось — поленьев десять, и то одна осина... Давай, мать, тесто, пока дух горячий не остыл.Петрушка вынул из печи большой чугун со щами и разгреб жар на поду, а Любовь Васильевна торопливо, словно стараясь поскорее угодить Петрушке, посадила в печь две формы пирогов, забыв смазать жидким яйцом второй пирог.Странен и еще не совсем понятен был Иванову родной дом. Жена была прежняя — с милым, застенчивым, хотя уже сильно утомленным лицом, и дети были те самые, что родились от него, только выросшие за время войны, как оно и быть должно. Но что-то мешало Иванову чувствовать радость своего возвращения всем сердцем, — вероятно, он слишком отвык от домашней жизни и не мог сразу понять даже самых близких, родных людей. Он смотрел на Петрушку, на своего выросшего первенца-сына, слушал, как он дает команду и наставления матери и маленькой сестре, наблюдал его серьезное, озабоченное лицо и со стыдом признавался себе, что его отцовское чувство к этому мальчугану, влечение к нему как к сыну недостаточно. Иванову было еще более стыдно своего равнодушия к Петрушке от сознания того, что Петрушка нуждался в любви и заботе сильнее других, потому что на него жалко сейчас смотреть. Иванов не знал в точности той жизни, которой жила без него его семья, и он не мог еще ясно понять, почему у Петрушки сложился такой характер.За столом, сидя в кругу семьи, Иванов понял свой долг. Ему надо как можно скорее приниматься за дело, то есть поступать на работу, чтобы зарабатывать деньги, и помочь жене правильно воспитывать детей, — тогда постепенно все пойдет к лучшему, и Петрушка будет бегать с ребятами, сидеть за книжкой, а не командовать с рогачом у печки.Петрушка за столом съел меньше всех, но подобрал все крошки за собою и высыпал их себе в рот.— Что ж ты, Петр, — обратился к нему отец, — крошки ешь, а свой кусок пирога не доел... Ешь! Мать тебе еще потом отрежет.— Поесть все можно, — нахмурившись, произнес Петрушка, — а мне хватит.— Он боится, что если он начнет есть помногу, то Настя тоже, глядя на него, будет много есть, — простосердечно сказала Любовь Васильевна, — а ему жалко.— А вам ничего не жалко, — равнодушно сказал Петрушка. — А я хочу, чтоб вам больше досталось.Отец и мать поглядели друг на друга и содрогнулись от слов сына.— А ты что плохо кушаешь? — спросил отец у маленькой Насти. — Ты на Петра, что ль, глядишь?.. Ешь как следует, а то так и останешься маленькой...— Я выросла большая, — сказала Настя.Она съела маленький кусок пирога, а другой кусок, что был побольше, отодвинула от себя и накрыла его салфеткой.— Ты зачем так делаешь? — спросила ее мать. — Хочешь, я тебе маслом пирог помажу?— Не хочу, я сытая стала...— Ну, ешь так... Зачем пирог отодвинула?— А дядя Семен придет. Это я ему оставила. Пирог не ваш, я сама его не ела. Я его под подушку положу, а то остынет...Настя сошла со стула и отнесла кусок пирога, обернутый салфеткой, на кровать и положила его там под подушку.Мать вспомнила, что она тоже накрывала готовый пирог подушками, когда пекла его Первого мая, чтобы пирог не остыл к приходу Семена Евсеевича.— А кто этот дядя Семен? — спросил Иванов жену.Любовь Васильевна не знала, что сказать, и сказала:— Не знаю, кто такой... Ходит к детям один, его жену и его детей немцы убили, он к нашим детям привык и ходит играть с ними.— Как играть? — удивился Иванов. — Во что же они играют здесь у тебя? Сколько ему лет?Петрушка проворно посмотрел на мать и на отца; мать в ответ отцу ничего не сказала, только глядела на Настю грустными глазами, а отец по-недоброму улыбнулся, встал со стула и закурил папиросу.— Где же игрушки, в которые этот дядя Семен с вами играет? — спросил затем отец у Петрушки.Настя сошла со стула, влезла на другой стул у комода, достала с комода книжки и принесла их отцу.— Они книжки-игрушки, — сказала Настя отцу, — дядя Семен мне вслух их читает: вот какой забавный Мишка, он игрушка, он и книжка...Иванов взял в руки книжки-игрушки, что подала ему дочь: про медведя Мишку, про пушку-игрушку, про домик, где бабушка Домна живет и лен со внучкой прядет...Петрушка вспомнил, что пора уже вьюшку в печной трубе закрывать, а то тепло из дома выйдет.Закрыв вьюшку, он сказал отцу:— Он старей тебя — Семен Евсеич!.. Он нам пользу приносит, пусть живет...Глянув на всякий случай в окно, Петрушка заметил, что там на небе плывут не те облака, которые должны плыть в сентябре.— Чтой-то облака, — проговорил Петрушка, — свинцовые плывут — из них, должно быть, снег пойдет! Иль наутро зима спозаранку станет? Ведь что ж тогда нам делать-то: картошка вся в поле, заготовки в хозяйстве нету... Ишь положение какое!..Иванов глядел на своего сына, слушал его слова и чувствовал свою робость перед ним. Он хотел было спросить у жены более точно, кто же такой этот Семен Евсеевич, что ходит уже два года в его семейство, и к кому он ходит — к Насте или к его миловидной жене, — но Петрушка отвлек Любовь Васильевну хозяйственными делами:— Давай мне, мать, хлебные карточки на завтра и талоны на прикрепление. И еще талоны на керосин давай — завтра последний день, и уголь древесный надо взять, а ты мешок потеряла, а там отпускают в нашу тару, ищи теперь мешок, где хочешь, иль из тряпок новый шей, нам жить без мешка нельзя. А Настька пускай завтра к нам во двор за водой никого не пускает, а то много воды из колодца черпают: зима вот придет, вода тогда ниже опустится, и у нас веревки не хватит бадью опускать, а снег жевать не будешь, а растапливать его — дрова тоже нужны.Говоря свои слова, Петрушка одновременно заметал возле печки и складывал в порядок кухонную утварь. Потом он вынул из печи чугун со щами.— Закусили немножко пирогом, теперь щи мясные с хлебом будем есть, — указал всем Петрушка. — А тебе, отец, завтра с утра надо бы в райсовет и военкомат сходить, станешь сразу на учет — скорей карточки на тебя получим.— Я схожу, — покорно согласился отец.— Сходи, не позабудь, а то утром проспишь и забудешь.— Нет, я не забуду, — пообещал отец.Свой первый общий обед после войны, щи и мясо, семья съела в молчании, даже Петрушка сидел спокойно, точно отец с матерью и дети боялись нарушить нечаянным словом тихое счастье вместе сидящей семьи.Потом Иванов спросил у жены:— Как у вас, Люба, с одеждой — наверно, пообносились?— В старом ходили, а теперь обновки будем справлять, — улыбнулась Любовь Васильевна. — Я чинила на детях, что было на них, и твой костюм, двое твоих штанов и все белье твое перешила на них. Знаешь, лишних денег у нас не было, а детей надо одевать...— Правильно сделала, — сказал Иванов, — детям ничего не жалей.— Я не жалела, и пальто продала, что ты мне купил, теперь хожу в ватнике.— Ватник у нее короткий, она ходит — простудиться может, — высказался Петрушка. — Я кочегаром в баню поступлю, получку буду получать и справлю ей пальто. На базаре торгуют на руках, я ходил — приценялся, там есть подходящее...— Без тебя, без твоей получки обойдемся, — сказал отец.После обеда Настя надела на нос большие очки и села у окна штопать материны варежки, которые мать надевала теперь под рукавицы на работе, — уже холодно стало, осень во дворе.Петрушка глянул на сестру и осерчал на нее:— Ты что балуешься, зачем очки дяди Семена одела?..— А я через очки гляжу, я не в них.— Еще чего! Я вижу! Вот испортишь глаза и ослепнешь, а потом будешь иждивенкой всю жизнь проживать и на пенсии. Скинь очки сейчас же — я тебе говорю! И брось варежки штопать, мать сама заштопает или я сам возьмусь, когда отделаюсь. Бери тетрадь и пиши палочки, — забыла уж, когда занималась!— А Настя что́ — учится? — спросил отец.Мать ответила, что нет еще, она мала, но Петрушка велит Насте каждый день заниматься, он купил ей тетрадь, и она пишет палочки. Петрушка еще учит сестру счету, складывая и вычитая перед нею тыквенные семена, а буквам Настю учит сама Любовь Васильевна.Настя положила варежку и вынула из ящика комода тетрадь и вставочку с пером, а Петрушка, оставшись доволен, что все исполняется по порядку, надел материн ватник и пошел во двор колоть дрова на завтрашний день; наколотые дрова Петрушка обыкновенно приносил на ночь домой и складывал их за печь, чтобы они там подсохли и горели затем более жарко и хозяйственно.Вечером Любовь Васильевна рано собрала ужинать. Она хотела, чтобы дети пораньше уснули и чтобы можно было наедине посидеть с мужем и поговорить с ним. Но дети после ужина долго не засыпали; Настя, лежавшая на деревянном диване, долго смотрела из-под одеяла на отца, а Петрушка, легший на русскую печь, где он всегда спал, и зимой и летом, ворочался там, кряхтел, шептал что-то и не скоро еще угомонился. Но наступило позднее время ночи, и Настя закрыла уставшие глядеть глаза, а Петрушка захрапел на печке.Петрушка спал чутко и настороженно: он всегда боялся, что ночью может что-нибудь случиться и он не услышит — пожар, залезут воры-разбойники или мать забудет затворить дверь на крючок, а дверь ночью отойдет, и все тепло выйдет наружу. Нынче Петрушка проснулся от тревожных голосов родителей, говоривших в комнате рядом с кухней. Сколько было времени — полночь или уже под утро, — он не знал, а отец с матерью не спали.— Алеша, ты не шуми, дети проснутся, — тихо говорила мать. — Не надо его ругать, он добрый человек, он детей твоих любил...— Не нужно нам его любви, — сказал отец. — Я сам люблю своих детей... Ишь ты, чужих детей он полюбил! Я тебе аттестат присылал, и ты сама работала, — зачем тебе он понадобился, этот Семен Евсеич? Кровь, что ль, у тебя горит еще... Эх ты, Люба, Люба! А я там думал о тебе другое. Значит, ты в дураках меня оставила...Отец замолчал, а потом зажег спичку, чтобы раскурить трубку.— Что ты, Алеша, что ты говоришь! — громко воскликнула мать. — Детей ведь я выходила, они у меня почти не болели и на тело полные...— Ну и что же!.. — говорил отец. — У других по четверо детей оставалось, а жили неплохо, и ребята выросли не хуже наших. А у тебя вон Петрушка что за человек вырос — рассуждает, как дед, а читать небось забыл.Петрушка вздохнул на печи и захрапел для видимости, чтобы слушать дальше. «Ладно, — подумал он, — пускай я дед, тебе хорошо было на готовых харчах!»— Зато он все самое трудное и важное в жизни узнал! — сказала мать. — А от грамоты он тоже не отстанет.— Кто он такой, этот твой Семен? Хватит тебе зубы мне заговаривать, — серчал отец.— Он добрый человек.— Ты его любишь, что ль?— Алеша, я мать твоих детей...— Ну дальше! Отвечай прямо!— Я тебя люблю, Алеша. Я мать, а женщиной была давно, с тобою только, уже забыла когда.Отец молчал и курил трубку в темноте.— Я по тебе скучала, Алеша... Правда, дети при мне были, но они тебе не замена, и я все ждала тебя, долгие страшные годы, мне просыпаться утром не хотелось.— А кто он по должности, где работает?— Он служит по снабжению материальной части на нашем заводе.— Понятно. Жулик.— Он не жулик. Я не знаю... А семья его вся погибла в Могилеве, трое детей было, дочь уже невеста была.— Не важно, он взамен другую готовую семью получил — и бабу еще не старую, собой миловидную, так что ему опять живется тепло.Мать ничего не ответила. Наступила тишина, но вскоре Петрушка расслышал, что мать плакала.— Он детям о тебе рассказывал, Алеша, — заговорила мать, и Петрушка расслышал, что в глазах ее были большие остановившиеся слезы. — Он детям говорил, как ты воюешь там за нас и страдаешь... Они спрашивали у него: а почему? А он отвечал им: потому, что ты добрый...Отец засмеялся и выбил жар из трубки.— Вот он какой у вас — этот Семен-Евсей! И не видел меня никогда, а одобряет. Вот личность-то!— Он тебя не видел. Он выдумывал нарочно, чтоб дети не отвыкли от тебя и любили отца.— Но зачем, зачем ему это? Чтоб тебя поскорее добиться? Ты скажи, что ему надо было?— Может быть, в нем сердце хорошее, Алеша, — поэтому он такой. А почему же?— Глупая ты, Люба. Прости ты меня, пожалуйста. Ничего без расчета не бывает.— А Семен Евсеич часто детям приносил что-нибудь, каждый раз приносил, то конфеты, то муку белую, то сахар, а недавно валенки Насте принес, но они не годились — размер маленький. А самому ему ничего от нас не нужно. Нам тоже не надо было, мы бы, Алеша, обошлись без его подарков, мы привыкли, но он говорит, что у него на душе лучше бывает, когда он заботится о других, тогда он не так сильно тоскует о своей мертвой семье. Ты увидишь его — это не так, как ты думаешь...— Все это чепуха какая-то! — сказал отец. — Не задуривай ты меня... Скучно мне, Люба, с тобою, а я жить еще хочу.— Живи с нами, Алеша...— Я с вами, а ты с Сенькой-Евсейкой будешь?— Я не буду, Алеша. Он больше к нам никогда не придет, я скажу ему, чтобы он больше не приходил.— Так, значит, было, раз ты больше не будешь?.. Эх, какая ты, Люба, все вы, женщины, такие.— А вы какие? — с обидой спросила мать. — Что значит — все мы такие? Я не такая... Я работала день и ночь, мы огнеупоры делали для кладки в паровозных топках. Я стала на лицо худая, страшная, всем чужая, у меня нищий милостыни просить не станет. Мне тоже было трудно, и дома дети одни. Я приду, бывало, дома не топлено, не варено ничего, темно, дети тоскуют, они не сразу хозяйствовать сами научились, как теперь, Петрушка тоже мальчиком был... И стал тогда ходить к нам Семен Евсеевич. Придет — и сидит с детьми. Он ведь живет совсем один. «Можно, — спрашивает меня, — я буду к вам в гости ходить, я у вас отогреюсь?» Я говорю ему, что у нас тоже холодно и у нас дрова сырые, а он мне отвечает: «Ничего, у меня вся душа продрогла, я хоть возле ваших детей посижу, а топить печь для меня не нужно». Я сказала — ладно, ходите пока: детям с вами не так боязно будет. Потом я тоже привыкла к нему, и всем нам бывало лучше, когда он приходил. Я глядела на него и вспоминала тебя, что ты есть у нас... Без тебя было так грустно и плохо; пусть хоть кто-нибудь приходит, тогда не так скучно бывает и время идет скорее. Зачем нам время, когда тебя нет!— Ну дальше, дальше что? — поторопил отец.— Дальше ничего. Теперь ты приехал, Алеша.— Ну что ж, хорошо, если так, — сказал отец. — Пора спать.Но мать попросила отца:— Обожди еще спать. Давай поговорим, я так рада с тобой.«Никак не угомонятся, — думал Петрушка на печи, — помирились, и ладно; матери на работу надо рано вставать, а она все гуляет — обрадовалась не вовремя, перестала плакать-то».— А этот Семен любил тебя? — спросил отец.— Обожди, я пойду Настю накрою, она раскрывается во сне и зябнет.Мать укрыла Настю одеялом, вышла в кухню и приостановилась возле печи, чтобы послушать — спит ли Петрушка? Петрушка понял мать и начал храпеть. Затем мать ушла обратно, и он услышал ее голос:— Наверно, любил. Он смотрел на меня умильно, я видела, а какая я — разве я хорошая теперь? Несладко ему было, Алеша, и кого-нибудь надо было ему любить.— Ты бы его хоть поцеловала, раз уж так у вас задача сложилась, — по-доброму произнес отец.— Ну вот еще! Он меня сам два раза поцеловал, хоть я и не хотела.— Зачем же он так делал, раз ты не хотела?— Не знаю. Он говорил, что забылся и жену вспомнил, а я на жену его немножко похожа.— А он на меня тоже похож?— Нет, не похож. На тебя никто не похож, ты один, Алеша.— Я один, говоришь? С одного-то счет и начинается: один, потом два.— Так он меня только в щеку поцеловал, а не в губы.— Это все равно — куда.— Нет, не все равно, Алеша... Что ты понимаешь в нашей жизни?— Как что? Я всю войну провоевал, я смерть видел ближе, чем тебя...— Ты воевал, а я по тебе здесь обмирала, у меня руки от горя тряслись, а работать надо было с бодростью, чтоб детей кормить и государству польза против неприятелей-фашистов.Мать говорила спокойно, только сердце ее мучилось, и Петрушке было жалко мать: он знал, что она научилась сама обувь чинить себе и ему с Настей, чтобы дорого не платить сапожнику, и за картошку исправляла электрические печки соседям.— И я не стерпела жизни и тоски по тебе, — говорила мать. — А если бы стерпела, я бы умерла, я знаю, что я бы умерла тогда, а у меня дети... Мне нужно было почувствовать что-нибудь другое, Алеша, какую-нибудь радость, чтоб я отдохнула. Один человек сказал, что он любит меня, и он относился ко мне так нежно, как ты когда-то давно...— Это кто, опять Семен-Евсей этот? — спросил отец.— Нет, другой человек. Он служит инструктором райкома нашего профсоюза, он эвакуированный...— Ну черт с ним, кто он такой! Так что случилось-то, утешил он тебя?Петрушка ничего не знал про этого инструктора и удивился, почему он не знал его. «Ишь ты, а мать наша тоже бедовая», — прошептал он сам себе.Мать сказала отцу в ответ:— Я ничего не узнала от него, никакой радости, и мне было потом еще хуже. Душа моя потянулась к нему, потому что она умирала, а когда он стал мне близким, совсем близким, я была равнодушной, я думала в ту минуту о своих домашних заботах и пожалела, что позволила ему быть близким. Я поняла, что только с тобою я могу быть спокойной, счастливой и с тобою отдохну, когда ты будешь близко. Без тебя мне некуда деться, нельзя спасти себя для детей... Живи с нами, Алеша, нам хорошо будет!Петрушка расслышал, как отец молча поднялся с кровати, закурил трубку и сел на табурет.— Сколько раз ты встречалась с ним, когда бывала совсем близкой? — спросил отец.— Один только раз, — сказала мать. — Больше никогда не было. А сколько нужно?— Сколько хочешь, дело твое, — произнес отец. — Зачем же ты говорила, что ты мать наших детей, а женщиной была только со мной, и то давно...— Это правда, Алеша...— Ну как же так, какая тут правда? Ведь с ним ты тоже была женщиной?— Нет, не была я с ним женщиной, я хотела быть и не могла... Я чувствовала, что пропадаю без тебя, мне нужно было — пусть кто-нибудь будет со мной, я измучилась вся, и сердце мое темное стало, я детей своих уже не могла любить, а для них, ты знаешь, я все стерплю, для них я и костей своих не пожалею!..— Обожди! — сказал отец. — Ты же говоришь — ошиблась в этом новом своем Сеньке-Евсейке, ты никакой радости будто от него не получила, а все-таки не пропала и не погибла, целой осталась.— Я не пропала, — прошептала мать, — я живу.— Значит, и тут ты мне врешь! Где же твоя правда?— Не знаю, — шептала мать. — Я мало чего знаю.— Ладно. Зато я знаю много, я пережил больше, чем ты, — проговорил отец. — Стерва ты, и больше ничего.Мать молчала. Отец, слышно было, часто и трудно дышал.— Ну вот я и дома, — сказал он. — Войны нет, а ты в сердце ранила меня... Ну что ж, живи теперь с Сенькой и Евсейкой! Ты потеху, посмешище сделала из меня, а я тоже человек, а не игрушка...Отец начал в темноте одеваться и обуваться. Потом он зажег керосиновую лампу, сел за стол и завел часы на руке.— Четыре часа, — сказал он сам себе. — Темно еще. Правду говорят, баб много, а жены одной нету.Стало тихо в доме. Настя ровно дышала во сне на деревянном диване. Петрушка приник к подушке на теплой печи и забыл, что ему нужно храпеть.— Алеша! — добрым голосом сказала мать. — Алеша, прости меня!Петрушка услышал, как отец застонал и как потом хрустнуло стекло; через щели занавески Петрушка видел, что в комнате, где были отец и мать, стало темнее, но огонь еще горел. «Он стекло у лампы раздавил, — догадался Петрушка, — а стекол нету нигде».— Ты руку себе порезал, — сказала мать. — У тебя кровь течет, возьми полотенце в комоде.— Замолчи! — закричал отец на мать. — Я голоса твоего слышать не могу... Буди детей, буди сейчас же!.. Буди, тебе говорят! Я им расскажу, какая у них мать! Пусть они знают!Настя вскрикнула от испуга и проснулась.— Мама! — позвала она. — Можно я к тебе?Настя любила приходить ночью к матери на кровать и греться у нее под одеялом.Петрушка сел на печи, спустил ноги вниз и сказал всем:— Спать пора! Чего вы разбудили меня? Дня еще нету, темно во дворе! Чего вы шумите и свет зажгли?— Спи, Настя, спи, рано еще, я сейчас сама к тебе приду, — ответила мать. — И ты, Петрушка, не вставай, не разговаривай больше.— А вы чего говорите? Чего отцу надо? — заговорил Петрушка.— А тебе какое дело — чего мне надо? — отозвался отец. — Ишь ты, сержант какой?— А зачем ты стекло у лампы раздавливаешь? Чего ты мать пугаешь? Она и так худая, картошку без масла ест, а масло Настьке отдает.— А ты знаешь, что мать делала тут, чем занималась? — жалобным голосом, как маленький, вскричал отец.— Алеша! — кротко обратилась Любовь Васильевна к мужу.— Я знаю, я все знаю! — говорил Петрушка. — Мать по тебе плакала, тебя ждала, а ты приехал, она тоже плачет. Ты не знаешь!— Да ты еще не понимаешь ничего! — рассерчал отец. — Вот вырос у нас отросток.— Я все дочиста понимаю, — отвечал Петрушка с печки. — Ты сам не понимаешь. У нас дело есть, жить надо, а вы ругаетесь, как глупые какие...Петрушка умолк; он прилег на свою подушку и нечаянно, неслышно заплакал.— Большую волю ты дома взял, — сказал отец. — Да теперь уж все равно, живи здесь за хозяина...Утерев слезы, Петрушка ответил отцу:— Эх ты, какой отец, чего говоришь, а сам старый и на войне был... Вон пойди завтра в инвалидную кооперацию, там дядя Харитон за прилавком служит, а он хлеб режет, никого не обвешивает. Он тоже на войне был и домой вернулся. Пойди у него спроси, он всем говорит и смеется, я сам слышал. У него жена Анюта, она на шофера выучилась ездить, хлеб развозит теперь, а сама добрая, хлеб не ворует. Она тоже дружила и в гости ходила, ее угощали там. Этот знакомый ее с орденом был, он без руки и главным служит в магазине, где по единичкам промтовар выбрасывают...— Чего ты городишь там, спи лучше, скоро светать начнет, — сказала мать.— А вы мне тоже спать не давали... Светать еще не скоро будет. Этот без руки сдружился с Анютой, стало им хорошо житься. А Харитон на войне жил. Потом Харитон приехал и стал ругаться с Анютой. Весь день ругается, а ночью вино пьет и закуску ест, а Анюта плачет, не ест ничего. Ругался-ругался, потом уморился, не стал Анюту мучить и сказал ей: чего у тебя один безрукий был, ты дура баба, вот у меня без тебя и Глашка была, и Апроська была, и Маруська была, и тезка твоя Нюшка была, и еще на добавок Магдалинка была. А сам смеется. И тетя Анюта смеется, потом она сама хвалилась — Харитон ее хороший, лучше нигде нету, он фашистов убивал и от разных женщин ему отбоя нету. Дядя Харитон все нам в лавке рассказывает, когда хлеб поштучно принимает. А теперь они живут смирно, по-хорошему. А дядя Харитон опять смеется, он говорит: «Обманул я свою Анюту, никого у меня не было — ни Глашки не было, ни Нюшки, ни Апроськи не было и Магдалинки на добавок не было, солдат — сын отечества, ему некогда жить по-дурацки, его сердце против неприятеля лежит. Это я нарочно Анюту напугал...» Ложись спать, отец, потуши свет, чего огонь коптит без стекла...Иванов с удивлением слушал историю, что рассказывал его Петрушка. «Вот сукин сын какой! — размышлял отец о сыне. — Я думал, он и про Машу мою скажет сейчас...»Петрушка сморился и захрапел; он уснул теперь по правде.Проснулся он, когда день стал совсем светлый, и испугался, что долго спал, ничего не сделал по дому с утра.Дома была одна Настя. Она сидела на полу и листала книжку с картинками, которую давно еще купила ей мать. Она ее рассматривала каждый день, потому что другой книги у нее не было, и водила пальчиком по буквам, как будто читала.— Чего книжку с утра пачкаешь? Положь ее на место! — сказал Петрушка сестре. — Где мать-то, на работу ушла?— На работу, — тихо ответила Настя и закрыла книгу.— А отец куда делся? — Петрушка огляделся по дому, в кухне и в комнате. — Он взял свой мешок?— Он взял свой мешок, — сказала Настя.— А что он тебе говорил?— Он не говорил, он в рот меня и в глазки поцеловал.— Так-так, — сказал Петрушка и задумался. — Вставай с пола, — велел он сестре, — дай я тебя умою почище и одену, мы с тобой на улицу пойдем...Их отец сидел в тот час на вокзале. Он уже выпил двести граммов водки и пообедал с утра по талону на путевое довольствие. Он еще ночью окончательно решил уехать в тот город, где он оставил Машу, чтобы снова встретить ее там и, может быть, уже никогда не разлучаться с нею. Плохо, что он много старше этой дочери пространщика, у которой волосы пахли природой. Однако там видно будет, как оно получится, вперед нельзя угадывать. Все же Иванов надеялся, что Маша хоть немного обрадуется, когда снова увидит его, и этого будет с него достаточно; значит, и у него есть новый близкий человек, и притом прекрасный собою, веселый и добрый сердцем. А там видно будет!Вскоре пришел поезд, который шел в ту сторону, откуда только вчера прибыл Иванов. Он взял свой вещевой мешок и пошел на посадку. «Вот Маша не ожидает меня, — думал Иванов. — Она мне говорила, что я все равно забуду ее и мы никогда с ней не увидимся, а я к ней еду сейчас навсегда».Он вошел в тамбур вагона и остался в нем, чтобы, когда поезд пойдет, посмотреть в последний раз на небольшой город, где он жил до войны, где у него рожались дети... Он еще раз хотел поглядеть на оставленный дом; его можно разглядеть из вагона, потому что улица, на которой стоит дом, где он жил, выходит на железнодорожный переезд и через тот переезд пойдет поезд.Поезд тронулся и тихо поехал через станционные стрелки в пустые осенние поля. Иванов взялся за поручни вагона и смотрел из тамбура на домики, здания, сараи, на пожарную каланчу города, бывшего ему родным. Он узнал две высокие трубы вдалеке: одна была на мыловаренном, а другая на кирпичном заводе; там работала сейчас Люба у кирпичного пресса; пусть она живет теперь по-своему, а он будет жить по-своему. Может быть, он и мог бы ее простить, но что это значит? Все равно его сердце ожесточилось против нее, и нет в нем прощения человеку, который целовался и жил с другим, чтобы не так скучно, не в одиночестве проходило время войны и разлуки с мужем. А то, что Люба стала близкой к своему Семену или Евсею потому, что жить ей было трудно, что нужда и тоска мучили ее, так это не оправдание, это подтверждение ее чувства. Вся любовь происходит из нужды и тоски; если бы человек ни в чем не нуждался и не тосковал, он никогда не полюбил бы другого человека.Иванов собрался было уйти из тамбура в вагон, чтобы лечь спать, не желая смотреть в последний раз на дом, где он жил и где остались его дети; не надо себя мучить напрасно. Он выглянул вперед — далеко ли осталось до переезда, и тут же увидел его. Железнодорожный путь здесь пересекала сельская грунтовая дорога, шедшая в город; на этой земляной дороге лежали пучки соломы и сена, павшие с возов, ивовые прутья и конский навоз. Обычно эта дорога была безлюдной, кроме двух базарных дней в неделю; редко, бывало, проедет крестьянин в город с полным возом сена или возвращается обратно в деревню. Так было и сейчас; пустой лежала деревенская дорога; лишь из города, из улицы, в которую входила дорога, бежали вдалеке какие-то двое ребят; один был побольше, а другой поменьше, и больший, взяв за руку меньшего, быстро увлекал его за собою, а меньший, как ни торопился, как ни хлопотал усердно ножками, а не поспевал за большим. Тогда тот, что был побольше, волочил его за собою. У последнего дома города они остановились и поглядели в сторону вокзала, решая, должно быть, идти им туда или не надо. Потом они посмотрели на пассажирский поезд, проходивший через переезд, и побежали по дороге прямо к поезду, словно захотев вдруг догнать его.Вагон, в котором стоял Иванов, миновал переезд. Иванов поднял мешок с пола, чтобы пройти в вагон и лечь спать на верхнюю полку, где не будут мешать другие пассажиры. Но успели или нет добежать те двое детей хоть до последнего вагона поезда? Иванов высунулся из тамбура и посмотрел назад.Двое детей, взявшись за руки, все еще бежали по дороге к переезду. Они сразу оба упали, поднялись и опять побежали вперед. Бо́льший из них поднял одну свободную руку и, обратив лицо по ходу поезда в сторону Иванова, махал рукою к себе, как будто призывая кого-то, чтобы тот возвратился к нему. И тут же они снова упали на землю. Иванов разглядел, что у бо́льшего одна нога была обута в валенок, а другая в калошу, — от этого он и падал так часто.Иванов закрыл глаза, не желая видеть и чувствовать боли упавших обессилевших детей, и сам почувствовал, как жарко у него стало в груди, будто сердце, заключенное и томившееся в нем, билось долго и напрасно всю его жизнь и лишь теперь оно пробилось на свободу, заполнив все его существо теплом и содроганием. Он узнал вдруг все, что знал прежде, гораздо точнее и действительней. Прежде он чувствовал другую жизнь через преграду самолюбия и собственного интереса, а теперь внезапно коснулся ее обнажившимся сердцем.Он еще раз поглядел со ступенек вагона в хвост поезда на удаленных детей. Он уже знал теперь, что это были его дети, Петрушка и Настя. Они, должно быть, видели его, когда вагон проходил по переезду, и Петрушка звал его домой к матери, а он смотрел на них невнимательно, думал о другом и не узнал своих детей.Сейчас Петрушка и Настя бежали далеко позади поезда по песчаной дорожке возле рельсов; Петрушка по-прежнему держал за руку маленькую Настю и волочил ее за собою, когда она не поспевала бежать ногами.Иванов кинул вещевой мешок из вагона на землю, а потом спустился на нижнюю ступень вагона и сошел с поезда на ту песчаную дорожку, по которой бежали ему вослед его дети.

Ольга Фокина. Стихи.

**А ландыши растут на круче**

А ландыши растут на круче,   
Где папоротники дремучи,   
Где ели хмуры, бородаты,   
Где заблудилась я когда-то.   
Тот день был не совсем обычен:   
Десяток первых земляничин   
Несла я в кулаке зажатом   
На радость маленькому брату.   
Десяток земляничин первых   
Несла и потихоньку пела.   
И птицы надо мною пели,   
Пока не обступили ели.   
Я испугалась, оглянулась,   
И песенка моя споткнулась,   
А папоротники молчали,   
А ели головой качали.   
И — ни тропинки, ни следочка!   
Лишь три невиданных цветочка,   
Зажатые в еловых лапах,   
И — запах, запах, запах, запах!   
...Мне было лет совсем немного.   
Не сразу я нашла дорогу,   
Не скоро оказалась дома...   
Но с той поры зато знакомо,   
Что ландыши растут на круче,   
Где папоротники дремучи,   
Где ели хмуры, бородаты,   
Где заблудилась я когда-то.

**ВСТРЕЧА**

На заре шагаю молча   
Вдоль песчаной борозды,   
Где одни мои да волчьи   
Отпечатаны следы.   
  
— Волчьи?   
— Волчьи!   
— Ну, однако!..  
— Испугается родня.   
— Впрочем, может, тут собака   
Пробежала до меня.   
  
Мне-то что? Моя охота   
Ведь не хищное зверье:   
Вон в траве алеет что-то -   
Это — самое моё.   
  
Это славное — в корзинку,   
Это сладкое — к губам,   
Всё в сверкающих росинках..   
Туру-рум! Тара-ра-рам!   
  
Наклоняюсь, обросею   
И — домой!   
...Наперерез   
- Это кто ж — огромный, серый —   
Вскачь — из клевера да в лес?

ЗДРАВСТВУЙ, ЗИМА!   
  
Ещё дымит и кружится   
Свободная река,   
Но не растаять лужицам   
Уже наверняка.   
  
Ещё в весёлой панике   
Снежинки не летят,   
Но крыши, словно пряники,   
Под инеем блестят.   
  
Ещё пустынны скучные   
Закрытые катки,   
Но нетерпеньем скручены   
«Снегурок» хоботки!   
  
И лыжам снятся кроссы   
И снится крутизна.   
Да здравствуют морозы!   
Да здравствует зима!

Федор Александрович Абрамов   
 Жила-была семужка   
 Северная сказка   
 Ее звали Красавкой.   
 Это была маленькая пестрая рыбка, очень похожая своей золотисто-палевой, в красных пятнышках, расцветкой на гольянов – самую нарядную рыбешку северных рек.   
 Вот только голова у Красавки была большая, непомерно толстая, и, наверно, поэтому те же самые гольяны – их семейка жила рядом, в тихой заводи у берега, – никогда не заглядывали к ней на быстринку.   
 Быстринка – маленькая веточка-протока, оторвавшаяся от пенистого порога. От главной речной дороги, по которой гуляют большие рыбы, ее отделяет серый ноздреватый валун. Сверху валун густо забрызган белыми пятнами – на нем постоянно вертятся трясогузки, а под валуном – промоины, спасительные промоины с холодной ключевой водой. Жарко – ныряй в промоины, разразилась буря-непогодь – и опять выручают промоины. А главное – где бы она укрывалась от врагов?   
 Врагов много. Враги со всех сторон. Зубастые щуки, рыскающие в прибрежной осоке, огнеперые разбойники окуни, налимы-притворщики, наподобие серых палок залегшие у камней, и даже ерши. Ужасные нахалы! Подойдут скопом к быстринке, развернутся, как для нападения, и стоят неприступные, ощетинившиеся, выпучив большие синие глазищи.   
 Поэтому Красавка – ни на шаг от своей быстринки.   
 С утра она ловила букашек и пауков, которых приносило течением, а затем, если было солнечно, играла: то подталкивала носиком искрометные камешки на дне, то прыгала за изумрудными стрекозами, снующими над самой водой, а иногда, ради забавы, даже кидалась на какого-нибудь зазевавшегося малька.   
 Но особенно она любила наблюдать за большими рыбами. Она часами могла смотреть на пляску проворных хариусов в шумном пороге, на стремительный бег красавцев сигов, которые, подобно серебряной молнии, прорезали темные глубины плеса – огромной ямины, начинающейся сразу за валуном.   
 В общем, ей нравилось житье на веселой быстринке.   
 Но вот наступили темные, хмурые дни, с дождями, туманами, и Красавка затосковала.   
 Солнце теперь показывалось редко, сверху все время сыпались листья, лохматые, разбухшие, и на быстринке было неуютно и сиротливо. А по ночам к валуну стал наведываться обжора-налим. Скользкий, безобразно голый, морда с усищами, он подолгу шарил под валуном, принюхивался, тяжело сопел. Красавка еще глубже забивалась в промоины и до самого рассвета дрожала от страха. И так ночь за ночью.   
 Что делать? Куда податься?   
 Однажды утром, в который раз размышляя над своей судьбой, она вдруг увидела слева от валуна, на плесе, там, где пролегала главная дорога в реке, огромную, незнакомую ей рыбу. Рыба неторопливо плыла вниз по течению, и, когда она изредка взмахивала хвостом, от нее расходились волны. А как она красива была, эта рыба! Тело длинное, сильное, в розовых и золотистых пятнах, могучие темные плавники с оранжевой каймой…   
 Едва проплыла эта удивительная рыба, как вслед за нею показалась стайка пестряток – таких же цветастых рыбок, как сама Красавка, но только побольше ростом.   
 И что поразительно: пестрятки бежали весело и беззаботно, словно по меньшей мере они находились под покровительством этой рыбы.   
 Недолго раздумывая, Красавка поплыла им наперерез.   
 – Скажите, пожалуйста, – очень вежливо обратилась она к ним, – что это за рыба прошла мимо?   
 – Как? – удивились пестрятки. – Ты не знаешь свою родственницу семгу?   
 – Родственницу? – пролепетала изумленная Красавка. – Значит, и я буду такой же сильной рыбой?   
 – Ну а как же… Вот еще дуреха! – расхохотались пестрятки. – Да откуда ты взялась?   
 – Я… я тут, с быстринки…   
 – Ах, да она сеголеток, – разочарованно сказали пестрятки, – и ни черта еще в жизни не видала. Хочешь с нами на порог?   
 – А что вы там собираетесь делать?   
 – Спрашиваешь! Когда семга икру мечет, что делают?   
 Грубость и высокомерная развязность пестряток покоробили Красавку. Но почему бы ей не присоединиться к ним?   
 На дресвяном приплаве у грохочущего порога творились странные вещи. Большая семга, работая плавниками, разрывала мелкую цветную гальку, а рядом с ней хлопалась еще одна семга, поменьше, – розоватая, с длинной костлявой головой и уродливым хрящеватым отростком на кончике нижней челюсти. Это, как сказали Красавке, был самец, которого называли Крюком.   
 – А что они делают? – тихо спросила Красавка, с любопытством присматриваясь к семгам.   
 – Они роют коп – яму, куда откладывается икра.   
 Пестрятки обошли стороной большую семгу и начали спускаться в шумный, пенистый порог.   
 – Ой, я боюсь, меня унесет! – закричала Красавка, отчаянно работая хвостиком.   
 – Да не бойся ты, глупая. Разве такие бывают пороги!   
 Впрочем, Красавку напугал не столько сам порог, сколько то, что она увидела за горловиной порога. Там, под густыми шапками пены, толпилась крупная рыба: темноспинные хариусы с оранжевыми плавниками, крутолобые, поблескивающие слизью налимы. Зачем же она полезет к ним в пасть?   
 Красавка прибилась к стайке пестряток, задержавшихся у небольшого валуна, сбоку стремнины, и стала ждать, что будет дальше.   
 Тускло мерцало оловянное солнце. В горловину порога со стуком скатывались камешки, выворачиваемые плавниками.   
 Вдруг вода вокруг – семги уже наполовину зарылись в яму – забурлила, закипела ключом. Семги неистово били хвостами, извивались, с яростью терлись брюхом о дресву.   
 Пестрятки насторожились.   
 – Что они делают? – шепотом спросила Красавка, кивая на коп.   
 – Ну и бестолочь! Милуются…   
 – А зачем?   
 – Зачем, зачем…   
 Из-под хвоста большой семги выскользнули веселые оранжевые горошинки и тотчас же от брюха самца отделилось белое мутное облачко…   
 Пестрятки стремительно бросились на эти горошины.   
 Красавке тоже удалось схватить несколько штук.   
 – Ну как, хороша семужья икра? – спросила ее одна из пестряток.   
 – Вкусна. Очень вкусна. – Красавка от удовольствия даже помахала хвостиком. – Я ничего подобного не ела.   
 – То-то же!   
 Меж тем икринки все выкатывались и выкатывались из-под хвоста семги, янтарной цепочкой растекались по течению. Их хватали пестрятки, заглатывали налимы, за ними охотились хариусы. И так продолжалось день и ночь.   
 Красавка наелась до отвала.   
 Она была очень благодарна большой семге и решила хоть на словах выразить ей свою признательность.   
 – У вас очень вкусная икра, – сказала она, осторожно приближаясь к ней сбоку.   
 – Ты пожирательница своего рода, – прохрипела семга. Глаза у нее были мутные, осовелые, она с трудом ворочала плавниками, и по всему чувствовалось, что страшно устала.   
 – Что это значит?   
 – Я мечу икру – и из каждой икринки должна вырасти семужка. А ты пожираешь своих сестер и братьев.   
 – Боже мой! Неужели? Простите, пожалуйста. Я не знала.   
 Несколько секунд Красавка растерянно смотрела по сторонам, затем бросилась усовещевать пестряток:   
 – Стойте! Остановитесь! Знаете ли вы, что делаете? Вы поедаете своих сестер и братьев.   
 Пестрятки рассмеялись:   
 – Чистоплюйка! Вздумала мораль читать. Сама налопалась, а другие не моги…   
 Красавка, опечаленная, вернулась к семге:   
 – Они меня не послушали.   
 Семга ничего не ответила. Она выбиралась из копа.   
 Крюка уже не было.   
 Красавка, влекомая любопытством, подплыла к кромке копа, заглянула в него. Там, на дресвяном дне, кое-где посеребренном чешуей, лежала горка веселых оранжевых икринок. И, казалось, они улыбались, точно радуясь своему появлению на свет. Неужели это правда, что из этих вот крохотулек вылупятся рыбки?   
 Вдруг в яму посыпались камешки, песок. Красавка с испугом отпрянула в сторону. Большая семга, работая хвостом и плавниками, засыпала коп.   
 – Послушайте, – вне себя закричала Красавка, – что вы делаете? Ведь икринки погибнут под дресвой.   
 – Не погибнут, – ответила семга. – Вот если бы я их не засыпала, тогда бы они погибли. Их пожрали бы рыбы. А так икринки будут лежать до весны. Большой водой размоет коп, и из них к тому времени вылупятся маленькие рыбки. Поняла?   
 – Но почему, – допытывалась Красавка, – вы позволили рыбам поедать икру? Почему вы не отогнали их? Ведь вы такая большая и сильная.   
 – Ах, ты еще ребенок и ничего не понимаешь. Вот когда ты станешь матерью, ты узнаешь, каково рожать детей. Я измучена, у меня нет сил. Я с трудом двигаю плавниками. А мне еще надо идти в море.   
 – В море? А это что такое?   
 – Море… – У семги на мгновение блеснули глаза. – Море – это далеко, очень далеко. И ты еще узнаешь его в свое время.   
 Выгибая хвост, семга начала разворачиваться. На нее было больно смотреть. Тело ее похудело, высохло и стало плоским, как доска. На брюхе появились кровоточащие ссадины.   
 Быстрая стремнина подхватила семгу и понесла в пенистую горловину порога.   
 – Счастливого пути! – крикнула вдогонку Красавка.   
 Ей никто не ответил. Ревел порог. На месте недавней ямы-копа, где лежала семга, бугрился маленький холмик, омываемый струйками воды. Пестрятки, отяжелевшие от еды, медленно поднимались вверх по течению.   
 «Как странно и непонятно устроена жизнь… – думала Красавка. – Зачем пошла семга в море? И что такое море?»   
 С этим вопросом Красавка обращалась ко многим рыбам. Но никто из них: ни ельцы, ни сиги, ни хариусы, ни тем более такая глупая и нахальная рыбешка, как ерши, – никто из них ничего не слыхал про море. Может быть, о нем знают щуки и окуни? Но как подступиться к этим живоглотам? Ни одна рыба не может без страха пройти мимо их урочищ, а тут добровольно плыть на верную гибель…   
 Ночи стали еще длиннее и тоскливее. Сверху целыми днями сыпались белые хлопья. На реке выросла мохнатая ледяная шуга. Куда девалось солнце?   
 Вокруг поговаривали, что так бывает каждый раз, когда от них уходит семга.   
 Неужели она унесла с собой солнце? О, это было бы жестоко, слишком жестоко!   
 Рыбы присмирели, притихли, стали вялыми и неподвижными. Многие из них перекочевали к порогу – там еще играла вода и было легче дышать.   
 Но вот и порог заковало льдом. В реке воцарилась сплошная ночь.   
 – Что же это такое? – со страхом спрашивала у рыб Красавка.   
 – Это пришла пора большой духоты – самое тяжелое для нас время.   
 На яме – зимней стоянке рыб – великая теснота. Сюда перебрались все обитатели реки, большие и малые. Душно. Темно. В нижних этажах ямы день и ночь разбойничает налим, у которого, по разговорам, в это время начинаются свадьбы, и оттуда часто доносятся вскрики очередной жерты.   
 Красавка, стоявшая у какого-то камня на выходе к порогу, была ни жива ни мертва. Она задыхалась. Ей не хотелось ни есть, ни двигаться. Только бы глоток свежей воды. Один-единственный глоток! А потом ей стало все безразлично. На нее напала спячка, длинная и тягучая…   
 Избавление, как это ни странно, пришло от щуки, так по крайней мере говорили в реке. Будто разозлилась однажды щука, ударила хвостом по ледяному панцирю, и тот распался.   
 Ах, какое это счастье – снова вволю дышать, двигаться, ловить личинок, вдоволь есть!   
 По всему плесу, празднуя свое освобождение, рыбы водили брачные игры. Целыми днями в берегах клокотали щуки, бесновались в курьях окуни, распуская серую кисею икры, весело рассекали мутную воду косяки хариусов, и даже голубоглазые ерши, воинственно ощетинив перья, без передышки пировали в тихих заводях. Потом заговорили, запенились пороги, зазеленели подводные луга – излюбленные пастбища рыб летом, а потом… потом в реку спустилось солнце и золотыми искрами рассыпалось по каменистому дну.   
 Ура, к нам идет семга!   
 Красавка лишилась сна и покоя. Она постоянно прислушивалась ко всем звукам и всплескам, выплывала на плес и часто, хотя и украдкой, смотрелась в блестящие камешки – очень уж ей хотелось быть посолиднее да покрасивее. Что ж, кажется, она подросла немножко, а платье ее стало еще цветастее. Наконец, не выдержав, она перебралась поближе к порогу. Ведь оттуда, из этой кипящей пучины, должна прийти семга. И кто же, как не она, Красавка, должна встретить ее?   
 Был ранний час. Рыбы еще только-только просыпались.   
 И вдруг по всему плесу прокатился невероятной силы грохот. Пошли волны. Это царь-рыба извещала плес о своем возвращении.   
 …Вот она, вот! Серебряным клином прорезает темную яму. Яростный взмах хвостом – и тело ее в брызгах и пене взлетает над водой…   
 Тихо и жутко стало в реке, когда она кончила свою пляску. Рыбы, и малые, и большие, затаились в своих тайниках.   
 Красавка смело поплыла к семге. Чего ей бояться?   
 Ведь это ее старая знакомая.   
 – Здравствуйте. Вы узнаете меня?   
 Семга хмуро посмотрела на пеструю пигалицу.   
 – Ну как же? – с живостью подсказала Красавка. – Прошлой осенью на копе. Помните, я еще провожала вас в море?   
 – Ты путаешь, девочка. Я не была в прошлом году здесь.   
 – Вот удивительно! Ну точь-в-точь такая же была семга – только платье на ней было другое. Розоватое, с желтыми блестками. И она еще хотела рассказать мне про море.   
 – Море? – У семги зажглись глаза. – Море – это хорошо. Там сейчас много солнца. А какие штормы, волны…   
 – Ах, как бы я хотела в море! – с жаром воскликнула Красавка.   
 – Тебе еще рано. Но через год, – семга оглянула ее более приветливо, – ты увидишь море. А теперь посторонись. Я хочу пройтись по плесу.   
 Короткий взмах хвостом – и в темную глубь реки побежала веселая, сверкающая белыми и желтыми камешками дорожка.   
 Жить стало очень интересно. Щуки теперь не решались высунуть носа из травы, налимы, разморенные жарой, отлеживались под корягами. А как завидовала Красавке всякая мелкота! Еще бы – дружить с самой семгой! Ни одна рыба не смеет гулять по семужьим тропам, а Красавка гуляет каждый день. А кто осмелится запросто подплыть к семге, когда та отдыхает солнечным днем в травнике, и завести с ней разговор о море?   
 Но больше всего Красавка любила те минуты, когда семга водила свои утренние и вечерние пляски. Бух-бух – гулко разносится по плесу, и где-то в сторонке, у бережка, беззвучно, как от дождинки, расходятся маленькие кружки. Это Красавка учится семужьим пляскам.   
 Да, – многому научилась она у семги. И все-таки сколько еще было в жизни старой семги такого, что, казалось, совершенно непостижимо для Красавки! Красавка, например, ни разу не видела, чтобы семга ела.   
 – Мы, семги, – был ответ, – совсем не едим в речной воде. И ты в свое время будешь обходиться без пищи.   
 Или вот еще диковина. Семужье серебряное платье вдруг ни с того ни с сего потускнело, стало приобретать мутный, розовый отлив.   
 – А вы здорово загорели, – сказала однажды Красавка, стараясь доставить удовольствие семге.   
 Та в ответ слабо улыбнулась:   
 – Нет, это не загар. Это приближается время нереста, время брачных игр, и мы, семги, надеваем новые платья – яркие, радужные…   
 – Рассказывайте, рассказывайте дальше.   
 – Ты еще маленькая, и тебе рано об этом знать.   
 Наконец наступило время, когда семга перестала плясать. Ее теперь все больше тянуло на лежку, бросало в дрему.   
 – Вам невесело со мной, да? Или я что-нибудь не так сделала? – с горечью допытывалась Красавка.   
 Старая семга обычно отмалчивалась, но однажды вдруг рассердилась:   
 – Отстань! Надоела ты мне со своими расспросами.   
 Как знать, может быть на этом и кончилась бы ее дружба с семгой, насилу мил не будешь, но тут неожиданно свалилась беда, которая круто перевернула всю рыбью жизнь.   
 На реке появились люди – самке опасные враги, как сказали о них рыбы. Они, эти люди, походили на деревья, что росли возле речки. Но только деревья эти двигались, издавали страшный шум и грохот. Они толкли воду длинными кольями, распускали коварную паутину по реке.   
 Рыбы как оглашенные носились по взбаламученному плесу.   
 Вечером, когда все затихло. Красавка отправилась разыскивать свою родственницу. Боже, что творилось на плесе! Не плещутся больше веселые хариусы в порогах за серым валуном, на стоянке у жирных ельцов пусто. Пусто и в доме приветливых сигов.   
 А семгу, великую семгу. Красавка нашла в невероятном месте – в темной яме у берега под обомшелой корягой!   
 – Они ушли? – спросила семга.   
 – Да, их нету.   
 – Но они придут, придут, – сказала с мрачной убежденностью семга. – Они не оставят меня в покое.   
 И точно, в последующие дни опять приходили люди и опять гремели кольями, опутывали плес своей паутиной.   
 Семга теперь по целым дням не выходила из своего укрытия. Ерши злорадствовали при встрече с Красавкой:   
 – Ну что твоя тетка? Струсила? А нам хоть бы что! Нам сам черт нипочем.   
 Обнаглели щуки, пользуясь безнаказанностью.   
 Красавка умоляла семгу:   
 – Уходите, уходите. Мне очень, очень скучно будет без вас. Но вам нельзя здесь оставаться. Вас могут поймать.   
 – Нет, мне нельзя уйти отсюда, – отвечала семга. – Ты еще маленькая и ничего не понимаешь.   
 Дни потекли серые и однообразные. Дожди. Ненастье.   
 Мутные, затяжные рассветы по утрам. Красавка «сбилась с ног»: ей надо было и добывать для себя еду, и остерегаться речных хищников, и навещать семгу.   
 И вот случилось так, что однажды пришла Красавка к убежищу семги, и там ее не оказалось.   
 День и два бегала Красавка по плесу, искала свою родственницу. Шел дождь. Качались валы. Рыбы сиротливо жались к корягам и камням. И никто из них не знал, куда девалась семга.   
 В конце концов Красавка отыскала ее на приплаве у нижнего порога. И все тут было точь-в-точь как в прошлом году: в дресвяной яме, тяжко ворочаясь, лежала семга, над ней, самозабвенно извиваясь, колдовал розовый Крюк, распуская белый шлейф, а внизу, в пороге, с разинутыми пастями толклись налимы, юркие хариусы, пестрятки.   
 – Ах, как я рада, что снова вижу вас! – сказала Красавка, подплывая к семге. – А я так волновалась, так волновалась. Почему вы ушли, ничего не сказав мне?   
 Семга молчала. Красавка из деликатности отошла в сторонку. А потом, когда семга вылезла из копа и стала зарывать его дресвой, она снова подплыла к ней:   
 – Вы сейчас в море? Возьмите меня с собой.   
 – Тебе еще рано. У тебя не хватит сил. О, это далекий-далекий путь. И я сама боюсь его.   
 – Ну так оставайтесь здесь. Я бы все-все стала делать для вас.   
 – Не говори глупостей. Я задохлась бы в этой речонке.   
 Развернувшись, семга устало сказала: «Прощай» – и, подхваченная стремниной, стукаясь головой и телом о камни, покатилась в порог.   
 Глухая тоска сдавила сердце Красавки. Она смотрела туда, в пенистую горловину порога, в котором только что исчезла семга, и с ужасом думала о том, что ее ждет впереди. Духота, темень, вечный страх перед щукой и налимом… А там где-то море, простор. И солнце, много солнца.   
 Нет, она не может больше оставаться в реке. Нет, нет!   
 Красавка напружинила мускулы и очерти голову кинулась в клокочущую пасть буруна.   
 Шумные, рокочущие пороги, широченные плесы, бездонные ямы… И нет им ни конца, ни края.   
 Старая семга, израненная, изможденная, с растрепанными, измочаленными плавниками, казалось, совсем обессилела. В бурных порогах ее вертело, как щепку, било о камни. Но она все плыла и плыла…   
 Самое трудное для Красавки было добывать еду.   
 Впрочем, пока они плыли маленькой речкой, она еще кое-как справлялась с этим: там схватит букашку, тут подцепит какого-нибудь червяка.   
 Но вот они вошли в большую реку, и Красавка приуныла. Голод терзал ее. Правда, она ухитрялась иногда свернуть на отмель и схватить какого-нибудь жучка. Но разве это еда?   
 Однажды, когда они шли угрюмым, глубоким плесом, старая семга вдруг обернулась:   
 – Идешь все-таки?   
 Красавка смутилась – она ведь думала, что старая семга до сих пор не заметила ее.   
 – Ты храбрая девочка, – сказала семга. – Но я советую тебе вернуться домой. Скоро начнется новая река, и там ты совсем не найдешь еды. Вернись. Ты еще успеешь добраться домой до наступления большой духоты.   
 Красавка, пригорюнившись, молчала.   
 – Слушай же ты, глупая! – повысила голос старая семга. – Знаешь ли ты, сколько нас гибнет на этом великом пути? Твое время еще не пришло. Семужья молодь скатывается в море весной. Поняла?   
 Слова старой семги совсем пришибли Красавку. Она-то теперь понимала, как безрассудно поступила, отправившись в это путешествие. Но что ей делать?   
 Скоро они вошли в новую реку. Боже, какая черная вода! Темень, глубь. И хоть бы одна отмель на пути. От постоянного недоедания у нее кружилась голова, плавнички стали вялыми и непослушными. Она плакала, завидовала старой семге, которая так долго может не есть.   
 Как-то раз, когда ей совсем стало невмоготу, она не выдержала, взмолилась:   
 – Остановитесь же немножко. Я не могу больше без еды. Постойте здесь, я сплаваю к берегу.   
 – Мне нельзя останавливаться, – прохрипела старая семга. – Я хочу есть. Я вся высохла. От меня остались одни кожа да кости.   
 – Так давайте поплывем вместе к берегу.   
 – Ты забыла, что я не могу есть в пресной воде. Для меня здесь нет пищи.   
 – Ну можете же вы минутку обождать? – И Красавка, полагаясь на сознательность старой семги, поплыла к берегу.   
 У берега был лед. Но ей все-таки удалось разыскать несколько червяков. Повеселевшая, воспрянувшая духом, она поспешила назад. Семги на старом месте не оказалось. Красавка кричала, бегала вокруг, потом, сообразив, что семга могла уйти вперед, кинулась догонять ее. Она плыла-плыла, долго плыла, а семги все не было. Ужас и отчаяние охватили ее. Что же с ней будет теперь?   
 На ее счастье, в это время показалось несколько семог, идущих одна за другой сверху. Красавка несказанно обрадовалась:   
 – Вы куда? Не в море?   
 – Да, мы идем в море.   
 – Вот хорошо-то! Мне тоже в море.   
 – Тебе в море? – устало рассмеялись семги. – Да как ты вообще попала сюда?   
 – О, я издалека. Сначала мы со старой семгой плыли маленькой речкой, потом большой, а потом заплыли в эту…   
 – А-а, – семги переглянулись, – она, верно, из того рода, что каждое лето уходит в верховье Юлы.   
 – Да, я слыхала, наша речка впадает в Юлу. А вы откуда? – Красавка рада была отвести душу с этими разговорчивыми и еще довольно сильными рыбами.   
 – Мы? Мы не такие глупые, как в вашем роду. У нас дом ближе. И мы меньше устаем. Но все-таки, – снова спросили семги, – как ты оказалась здесь? Это неслыханно! Ты еще совсем глупая девчонка!   
 – Да, наверно, глупая, – с печалью в голосе согласилась Красавка. – Так мне и старая семга говорила.   
 – И она глупая. Еще глупее тебя. Разве можно было брать с собой сопливую девчонку? Посмотри, ты ведь даже из детского платьишка не вылезла. А тоже в море собралась…   
 Что ж, пускай смеются. Только бы не гнали ее. И снова путь. И снова голод. Снова бесконечная угрюмая река – без берегов, без дна…   
 Наконец однажды на рассвете семужья стая вышла на песчаную отмель. Впереди что-то грохотало, ухало. Мутно-зеленая вода, накатывавшаяся волнами, отдавала соленой горечью.   
 Красавка, прислушиваясь к грохоту, робко спросила:   
 – Что это такое?   
 – Это море, глупая. Море! Как хорошо!   
 Семги лежали на песчаной отмели, как на перине, страшно усталые, изможденные, тихо покачиваясь на зыбкой волне. Зубастые пасти их были широко раскрыты, и они с наслаждением вбирали в себя соленую, горьковатую воду, от которой у Красавки кружилась голоса.   
 – Что, мутит? – спросила ее ближняя семга. – Это морская болезнь. Но она скоро пройдет. Тебе повезло, малютка. Ты первая в этом возрасте достигла моря.   
 Семги еще полежали немного и вдруг с неожиданной силой взмахнули хвостами. Красавка кинулась вслед за ними, но внезапно налетевшая волна отбросила ее назад.   
 – Постойте, постойте! – закричала она. – Подождите меня.   
 – Не робей, детка! – донесся поощряющий голос из глубины. – Тебе только перескочить вал, а здесь тихо, спокойно.   
 Море бурлило, ревело, выворачивало со дна песок.   
 И долго еще, как щепку, кидало Красавку из стороны в сторону, пока она наконец не достигла глубины, где стояли семги.   
 Темно, мрачно. Наверху качаются громадные белые льдины…   
 И это море, море, о котором она так мечтала! Нет, не таким она представляла себе море. Оно казалось ей большой светлой рекой, вечно залитой солнцем. Или ей наврали про солнце, которое уносят из реки семги? Где оно, это солнце? Она ни разу не видела его за всю дорогу.   
 Но еще больше разочаровали ее сами семги. Когда сбоку в зеленой толще воды показалась стайка серебристых рыбок, похожих на уклеек, семги с криком «Сельдь, сельдь!» набросились на них. Началась дикая, отвратительная бойня. Трепещущие рыбки одна за другой стали исчезать в зубастых пастях.   
 Красавка с ужасом смотрела на это пиршество. Так вот зачем они ходят в море!   
 Когда было покончено с сельдью, семги, отрыгивая, с довольным видом поглядывая друг на дружку, сказали:   
 – Ну, кончился наш великий пост. Теперь-то мы поедим вдоволь.   
 – А ты чего глаза таращила? Не проголодалась? – кивнула Красавке одна семга.   
 – Но я ем только червяков и рачков.   
 – Э-э, нет, – сказала семга, – червяки и рачки – это не семужья еда…   
 – Но я не понимаю, как можно глотать живых рыб. Ведь им же больно.   
 Семги расхохотались:   
 – Запомни, детка. Море – это вот что: либо ты съешь, либо тебя съедят. И с червяком в брюхе не много нагуляешь по морю. Море любит сильных.   
 – И еще запомни, – сказала другая семга: – Держись подальше от нас. Мы ведь не всегда разбираем, кто попадает нам на зубы. Поняла?   
 И семги, дугой выгибая хвосты, лихо побежали вперед.   
 Ушли… Одна в целом море… Что же будет теперь с нею? Бежать, догонять их? Но она вспомнила предупреждение семги, и сердце у нее сжалось от страха. Все враги. Даже на семог нельзя положиться…   
 По сторонам мелькали какие-то загадочные, пугающие тени, внизу – черная непроглядная пучина. Голод выворачивал ей внутренности.   
 Она поплыла к берегу. Там есть дно – и должна же она найти хоть какого-нибудь червяка.   
 Но в тот день ей не суждено было раздобыть еды.   
 Едва она начала различать иловато-песчаную желтую россыпь дна, как оттуда стремительно вынырнула большая красноперая рыба. Красавка из последних сил кинулась в сторону…   
 И скоро все стало так, как было когда-то в реке. Она лежит у большого валуна, прижимаясь своим вздрагивающим тельцем к песку. Голодная, одинокая. Так зачем же она пошла в это море?   
 Ночь была длинная, темная. Вокруг ползали какие-то красные и голубые огоньки. Камень вздрагивал от ударов льдин, ворочался. В черные прогалины воды заглядывали далекие, но такие колючие звезды. И всю ночь, не смея отойти от камня, не смыкала глаз голодная Красавка.   
 К утру камень оброс льдом. Сквозь него начал слабо пробиваться розовый рассвет. Потом постепенно выжелтилось песчаное дно, голое, неуютное. Где же червяки?   
 Где рачки? Неужели ей помирать голодной смертью?   
 Вдруг она увидела, как неподалеку от нее зашевелился крохотный песчаный холмик. Из холмика проклюнулся сначала остренький носик, а затем, извиваясь, выскользнула узенькая полосатая рыбка. Это была песчанка, которая на ночь зарывается в песок. Красавка, не помня себя, бросилась на рыбку… А потом она заглатывала эту рыбку и плакала. Плакала оттого, что она оказалась такой же хищницей, как все остальные семги.   
 Но теперь она знала, что не умрет.   
 Ранней весной у берегов Северной Норвегии скопляются громадные косяки сельди. Тут ее нерестилища. Бухты и отмели, забитые сельдью, похожи на гигантские котлы.   
 Воздух рвется, раскалывается от крика ненасытных чаек.   
 Трещат лебедки рыбачьих траулеров. А со стороны моря на беззащитную сельдь вихрем обрушивается семга.   
 В одной из таких бухт жировала и наша Красавка. Но кто бы теперь узнал ее! Прошло всего полтора года, а маленькая пестрая рыбка, едва достигавшая размеров среднего пескаря, превратилась в полуметровую рыбину со сверкающей серебряной чешуей. Правда, по сравнению с другими семгами она все еще была недоростком, но зато выносливости и проворности ее могла позавидовать любая старая семга.   
 Она не знала расслабляющей усталости. Ее не страшили ни бури, ни штормы. Она могла целыми днями гнаться за крылатыми тенями, скользящими по поверхности воды, потому что чайки – главные поводыри семги в море. И они рано или поздно наведут ее на новый косяк сельди.   
 И еще одно отличало Красавку – необыкновенная прожорливость. Соленая вода вызывала у нее бешеный аппетит, а кроме того, у Красавки были еще другие причины «нажимать» на еду. «Море любит сильных!» О, она хорошо запомнила этот урок.   
 У нее не было времени, чтобы месяцами приспосабливаться к новым условиям, как это делает семужья молодь, скатывающаяся в море весной. Она должна была пройти этот курс в спешном порядке. Да еще глубокой осенью. И она прошла его.   
 Почти месяц Красавка провела у берегов Северной Двины. И весь этот месяц она беспрерывно ела и ела. Скорее вырасти! Скорее стать такой же сильной, как семги!   
 И вот настал день, когда она почувствовала себя достаточно окрепшей, чтобы присоединиться к последнему семужьему косяку, уходящему в открытое море.   
 У нее дух захватывало от новизны. Необыкновенные подводные луга из красных и бурых водорослей, новые неведомые рыбы, медузы, гигантские чудища – акулы, тюлени, которые, подобно бревнам, выскакивают из черной морской пучины…   
 Много врагов в море. Каждую секунду будь начеку. Но какой простор! Какая ошеломляющая ширь и свобода!   
 Сотни, тысячи километров проходит беломорская семга, чтобы попасть к берегам Норвежья – своим извечным морским пастбищам. И тут начинается для нее настоящий праздник – сплошное, непрерывное пиршество.   
 Красавка с быстротой молнии налетала на беззащитную рыбу. Еще плывут где-то сзади старые семги, прицеливаясь к своим жертвам, а она уже яростно вонзает свои молодые зубы в добычу. Хруст рвущейся рыбы – и она снова летит вперед. Нельзя задерживаться! Старые семги не будут разбирать, кто ты – их родственница или селедка.   
 Шли недели и месяцы. Над буйным Баренцем встало немеркнущее солнце. Начиналось любимое рыбами время года. Но что это происходит с семгами? Они всё медленнее и медленнее продвигаются вперед, часто принюхиваются к «воде, наконец однажды семги собрались в косяк и повернули назад.   
 Красавка немало была удивлена этим.   
 – Послушайте, – сказала она, догнав хвостовую семгу, – почему вы повернули обратно? Разве вам мало здесь пищи?   
 – Как? Ты забыла, что мы в эту пору возвращаемся на родину?   
 – На родину? Это что? Новое море?   
 Семга удивленно выпучила глаза, затем громко расхохоталась, так что остановились другие семги.   
 – Нет, вы послушайте! Она не знает, что такое родина. Она называет родину морем.

Семги окружили со всех сторон Красавку и с возмущением заговорили:   
 – Какой позор! Какой стыд! Она забыла родину.   
 – И тебя не тянет, несчастная, домой?   
 – Ты забыла, откуда пришла в море?   
 Красавка искренне пыталась припомнить, что такое родина, откуда она пришла в море, но в памяти ее смутно всплывала какая-то духота, тяжкий и мучительный путь.   
 – Ты самая несчастная из всех семг, – устрашающе заговорила самая большая семга. – Ты забыла родину, ты забыла великий закон наших предков.   
 – Простите, пожалуйста, – сказала Красавка. – Но почему вы так враждебно разговариваете со мной? Может быть, я виновата. Но я действительно плохо помню то, что вы называете родиной, – ведь я совсем маленькой пришла в море, и я совершенно не слыхала о великом законе предков.   
 – Нет, это бог знает что! – с негодованием восклицали семги. – Какая молодежь пошла нынче! Она не слыхала про великий закон предков! А про что же ты слыхала?   
 Красавка вспылила:   
 – Вы бы лучше объяснили мне, чем орать. Что же в том плохого – ведь я честно признаю, что не слыхала про великий закон предков. Не хотите же вы, чтобы я лгала?   
 Нашлась, однако, одна рассудительная семга, которая заговорила с ней спокойно и деловито:   
 – Так ты говоришь, не слыхала про великий закон предков? Но разве ты уже не исполняла его? Разве ты еще не возвращалась на родину?   
 – Нет, я приплыла в море откуда-то совсем маленькой.   
 – Это поразительно, – заговорили семги, переглядываясь друг с дружкой. – Ей надо объяснить великий закон наших предков.   
 – Ну, так слушай же, – торжественно начала рассудительная семга, – и постарайся запомнить навсегда. Давно, давно это было. Наши предки тогда постоянно жили в реках и мало чем отличались от других рыб, тем более от таких, как наши родственники сиги и хариусы. Как сиги и хариусы, они довольствовались лишь тем, что ходили от устья до вершины реки и собирали пищу. Пищи было мало. Наши предки часто голодали, росли хилыми и вялыми, и мясо у них было белое, как у других речных рыб. А потом наступала зима, и им совсем становилось худо. Они задыхались под ледяным панцирем, гибли. Их притесняли щуки, налимы… И так было до тех пор, пока в семужьем племени не родился один юноша, по имени Лох. Это был необыкновенный юноша. Сама природа отметила его. На нижней челюсти у него вырос крюк – потому-то с тех пор всех мужчин в нашем роду зовут еще крюками. О смелости Лоха слагали легенды. Он не кланялся ни налиму, ни окуню и даже злой щуке не уступал дороги. И вот однажды, когда стало приближаться время большой духоты, Лох на чал подбивать самых молодых и отважных:   
 „Нам нельзя больше жить по-старому. Наш род вымирает, гибнет от злых щук, гибнет от тесноты и духоты. Пойдемте искать новые воды“.   
 Услыхали эти слова старики и призвали Лоха к ответу. Много было споров на том сборище, дело не раз доходило до драки. Но в конце концов умные старики рассудили.   
 „Что ж, – сказали они Лоху, – в твоих словах много правды. Наш род действительно хиреет с каждым годом.   
 Бери самых сильных и иди – ищи новые реки. Но прежде чем отправиться в поход, ты должен поклясться, Лох: ты не забудешь родину отцов – ты будешь носить ее в своем сердце. И ты вернешься домой. Иначе тебе не будет удачи“.   
 Лох со своими смельчаками дал клятву и ушел.   
 Долго Лох и его товарищи не подавали о себе вестей.   
 И все думали, что они погибли. Над семгами смеялись налимы и окуни, а злые щуки совсем обнаглели, в любое время нападали на семужьи стаи. Но вот однажды, когда миновало время большой духоты и в реку вернулось солнце, в нашей реке появились необыкновенные рыбы. Их было немного – всего несколько, но зато какие это были рыбы! Большие, сильные! И тело их было словно отлито из серебра. Они шли серединой реки, и тогда все разбегались по сторонам, а когда они начинали резвиться, подпрыгивать кверху, даже щуки замирали от страха.   
 Наши предки, убоявшись их, кинулись бежать вместе с другими рыбами. И вдруг громовой голос прокатился по реке:   
 „Куда же вы бежите от нас? Ведь мы же ваши сыновья и братья. Разве вы забыли своего Лоха?“ Да, это был Лох, наш великий Лох… Он говорил на нашем семужьем языке. И тогда наши предки повернули навстречу этим молодцам. И была радость великая и ликование в семужьем племени.   
 „Где ты пропадал, Лох? Откуда явился? Как ты стал таким великаном, в то время как мы едва не умерли от духоты?“   
 И Лох рассказывал, рассказывал, какой путь он проделал со своими товарищами, как много их погибло на этом пути, а потом он стал петь гимны морю, морю, где рождаются богатыри. Там необыкновенные просторы, говорил Лох, там много еды, так много, что он, Лох, и его товарищи могут ничего не есть все лето. Подойдите ко мне поближе, говорил Лох, потрогайте мои мускулы, мой хвост.   
 И это все мне дало море. Я на всю жизнь просолел морской солью, и тело у меня стало красное, как закат.   
 И тогда наши предки, воспламененные его речами, воскликнули:   
 „Веди нас в море, Лох! Мы хотим стать такими же крепкими и могучими, как ты и твои товарищи“.   
 „Хорошо, – сказал Лох, – я отведу вас в море. Но отведу не раньше, чем настанет время большой духоты.   
 А пока я хочу насладиться вдоволь пресной водой, порезвиться в родной реке, ибо только мысль о ней давала нам силы в борьбе с морской стихией“.   
 – С тех пор, – заключила семга, – мы и стали жить по закону великого Лоха. Когда наступает время большой духоты, мы идем в море, а когда оно проходит, мы возвращаемся на родину предков.   
 Красавка слушала как зачарованная. Так вот какой тайной окружен ее род! Так вот зачем семги ходят в море!   
 А она-то, глупая, думала только о жратве, о своих собственных удовольствиях. И ей стало нестерпимо стыдно за свою мелочную, эгоистичную жизнь.   
 – Скажите, – спросила она, – а что же сталось с великим Лохом?   
 – Великому Лоху за его подвиг природа даровала бессмертие.   
 – И он жив сейчас? – воскликнула Красавка.   
 – Да, он живет среди нас.   
 – Боже мой! И я увижу великого Лоха?!   
 – Нет, – сказала семга. – Ты никогда не увидишь его. В твоем сердце не живет закон великого Лоха. Ты забыла родину. А великий Лох выбирает в подруги только ту из нас…   
 – Вот как, – перебила Красавка, – с великим Лохом можно даже дружить! Ах, как бы мне хотелось стать его подругой!   
 – Нет, – сказала семга. – Ты никогда не станешь его подругой. Он выбирает из нас самую достойную и самую смелую, ту, что превыше всего чтит его закон.   
 Красавка, опечаленная, задумалась. Как жаль, что она никогда не увидит великого Лоха, не станет его подругой!   
 Но разве она не смелая? Разве старые семги не говорили ей когда-то, что еще не было в их роду такой безрассудной девчонки, которая бы рискнула в ее возрасте отправиться в море?   
 Красавка сразу повеселела. Ей хотелось спросить» где и когда великий Лох выбирает себе подругу – должна же она попытать своего счастья, – но косяк семог, словно забыв про нее, был уже далеко.   
 Красавка кинулась догонять их. Да, она выполнит закон великого Лоха. Она пойдет в родную реку, и, может быть, однажды великий Лох, прослышав о ней, сам придет к ней.   
 Долго шли семги бурным морем. Шли мимо каменных гряд, шли бездонными глубинами, шли песчаными отмелями.   
 Красавка часто вырывалась вперед. Как знать, может быть, откуда-нибудь со стороны на них смотрит сам великий Лох, и она должна быть на виду.   
 Как-то раз у песчаной косы они наткнулись на большой косяк крупных семог. У Красавки сладко забилось сердце.   
 Ей подумалось, что, наверно, это и есть то место, куда со всего моря стекаются семги и где им устраивает смотр великий Лох. Но семга, к которой она обратилась за разъяснением, презрительно скривила губы:   
 – Это морянки. Их не уважает великий Лох.   
 – Почему?   
 – Потому что они плохо соблюдают его закон. Они начинают свой ход в родные реки только осенью и осенью же скатываются в море.   
 Красавка решительно отвернулась от этих негодниц.   
 Она ничего общего не желает иметь с ними, раз они наполовину изменили великому Лоху. Она легко бежала вперед и первой бросалась навстречу грохочущей волне: великий Лох любит смелых!   
 Потом был незабываемый момент, когда она вкусила пресной воды. Старые семги, расслабленно покачиваясь на мелкой волне, не стесняясь, плакали.   
 – Здравствуй, родина, – тихо и молитвенно шептали они.   
 Я чую запах своей реки! – раздался радостный возглас.   
 – И я! И я!.. – закричали семги.   
 У Красавки трепетало сердце от счастья. Ей тоже казалось, что в рот ее бьет какая-то томительная, волнующая струйка воды. И тут случилось невероятное: в памяти ее начала оживать далекая-далекая речка с певучими порогами.   
 «О, как хорошо, как хорошо!» – шептала про себя Красавка. Нет, нет, не правы те, кто говорил, что в ее сердце не живет закон великого Лоха. Он живет. Она знает теперь путь на родину своих предков. Тоненькая струйка родной воды, как нитка, поведет ее вперед.   
 Путь был нелегок. Бешеное течение, ледяные заторы, какая-то преграда из бревен во всю реку. Но что ей теперь эти препятствия, если жизнь ее наполнена великим смыслом!   
 – Вот мы и дома, – сказали однажды семги, останавливаясь на широком плесе. – Слышите, как приветствует нас родная река?   
 Издали доносился глухой шум воды.   
 – Это гремят наши пороги, – пояснила одна из рыб, с которой часто плыла рядом Красавка. – Ах, какие у нас пороги! А вода – чистая, ключевая. Пойдем с нами, – вдруг предложила она Красавке. – Ты хорошая товарка. Мы славно повеселимся в нашей реке. Мы тебя научим нашим пляскам. А какие у нас молодцы лохи!   
 – Нет, нет, – сказала Красавка. – Я должна идти в свою реку. Разве ты не знаешь закон великого Лоха?   
 Немного спустя от семужьего косяка отделилась еще одна семья, затем отделилась другая и третья, а Красавка с поредевшей стаей все продолжала двигаться вперед.   
 Плохо, конечно, что у нее так далеко родина, но родину не выбирают.   
 Их было всего лишь несколько рыб, когда однажды на утренней заре они вошли в родную реку. Но боже, как они радовались, вступая в нее! В горловине устья звонко журчала вода, прыгая с камня на камень. Наверху ходили туманы, и молодое, розовое солнце с любопытством подглядывало за большими серебряными рыбами, плескавшимися в пороге.   
 – Вот это водичка, – говорили семги, блаженно замирая под щекочущей струёй. – Такой реки, как наша, на целом свете не сыскать.   
 Омывши дорожную пыль, они вышли на ближайший плес и начали свою первую пляску в реке – так приветствовали родину еще их предки, возвращаясь домой из далекого странствия.   
 Красавка, по общему признанию, прыгала выше всех.   
 И ей очень приятна была похвала опытных подруг.   
 Затем наступило ни с чем не сравнимое путешествие по родной реке. Целыми днями искрится галька и песок, поют пороги. И тишина, ласковая тишина малиновых зорь… Мечется в панике речная мелочь. Ельцы, ершишки, хариусы – все разбегаются по сторонам. Глупые! Ну чего же вам-то бояться! А вот злодеек-щук – тех следовало бы проучить. Хватит, поразбойничали на своем веку. Но где они? Неужели те колючие огоньки, время от времени зло вспыхивающие в зеленой прибрежной осоке, – их глаза?   
 Ага, струсили, проклятые!   
 Постепенно вода в речке начала падать. Семги одна за другой стали вставать на плесы – места, где они выросли.   
 И каждая из них предлагала Красавке свой дом, но Красавка наотрез отказывалась. Разве можно нарушать закон великого Лоха? Нет, нет, она пойдет на свой плес.   
 И вот, оставшись одна, она еще долго шла вверх по речке. Порой ее охватывало отчаяние. Речка от порога к порогу становилась все уже и мельче. Ей часто приходилось прыгать через кипящие буруны, со всего маху падать на острые камни, и когда она наконец вошла в свой плес, то не знала, радоваться ей или плакать. Такое вокруг все было маленькое, невзрачное. Сонный плес по краям зарос лопухом. Пороги – как она боялась их в детстве! – шепелявили, как беззубые старики. А ее быстринка, светлая быстринка, на которой она провела столько радостных и тревожных дней! Вялая, жиденькая косица воды, сиротливо жмущаяся к серому валуну. Какая-то пестрая рыбка, завидев ее, с испугом юркнула в водоросли. Неужели и она когда-то была такой же крохотулей?   
 Да, ни одна рыба не вышла ей навстречу. Море навсегда отделило ее от речных обитателей. Она здесь гостья, недолгая гостья. И все-таки она сейчас была рада, что снова у себя на родине. Семги живут по закону великого Лоха – и она исполнит его.   
 Лето стояло жаркое, знойное. Белые ночи, короткие и легкие, как вздох, не освежали воды, проросшей зеленой тиной. Дышать, было трудно. Вдобавок Красавку точил морской клоп, и она не могла смыть его в обмелевших порогах.   
 Тем не менее она мужественно переносила все испытания. По утрам она плясала, кидалась на щук, если те осмеливались выйти на плес. Пусть дохнут с голоду в своей поганой траве. Ведь защита слабых – это тоже исполнение закона великого Лоха. Он, великий Лох, не может быть несправедливым…   
 …Помутнели, погасли белые ночи. Над рекой заклубились густые туманы. Потом разразился дружный и благостный ливень. Река моментально вздулась. Зарокотали пороги. Это хорошо. Это река расчищает путь великому Лоху.   
 Красавка во сне и наяву грезила о нем. В черные осенние ночи она почти не спала. Вот сверху падает звезда, и ей уже чудится, что это сам великий Лох в звездном сиянии идет к ней. А что там за шум на пороге?   
 Плывут, кружатся листья по реке. Вот и солнце уже редко стало заглядывать на плес. А Лоха все нет и нет…   
 Как-то рано утром на плес заявился темно-розоватый запыхавшийся крючок.   
 – Пойдем на коп. Я уже который день ищу себе подругу.   
 – С тобой на коп? – Красавка едва не рассмеялась, так смешон и самонадеян был этот маленький нахал. – А что я там не видела?   
 – Как? Неужели тебя не тянет на коп? Все семги гуляют в это время на копах.   
 – Мне нечего там делать. Я жду великого Лоха.   
 – Великий Лох, великий Лох… – обиделся крючок. – Подумаешь, зафорсила…   
 Бедный дурачок! Он даже не понимает, о каком Лохе идет речь.   
 В следующие дни еще приходили крюки – маленькие, уродливые заморыши с длинными костлявыми головами.   
 и все они звали, умоляли ее пойти с ними на коп.   
 – О, какая ты бессердечная! – в один голос стонали они. – Зачем ты мучаешь нас?   
 Нет, она не хотела мучить их. Но что ей поделать с собой, если ее не тянет на коп? И потом, разве затем она пришла сюда, чтобы поиграть с этими молокососами на дресве?   
 Сыплет белой крупой сверху. По утрам ледяная корка вырастает у берегов. А великий Лох все еще не подает вестей о себе. Может быть, он забыл о ней? А может, она слишком самонадеянна? Кто сказал, что именно к ней, а не к другой семге придет царственный Лох?   
 Однажды, лежа на дне плеса и прислушиваясь к речным звукам, она вдруг почувствовала странное, незнакомое томление во всем теле. Ее неудержимо потянуло на дресву, на мелкий рассыпчатый галечник.   
 Она взмолилась:   
 – О великий Лох! Я старалась жить по твоему закону. Я долго ждала тебя. Почему же ты не идешь?   
 Немо и пусто вокруг. Ни звука не услышала она в ответ. «А может быть, я провинилась в чем-нибудь? – пришло ей вдруг в голову. – Может, я прогневила великого Лоха тем, что отказалась пойти на коп с его сыновьями? И он наказывает меня за гордыню? Но где, где они, эти крюки? Куда подевались?»   
 Она бегала взад и вперед по плесу, спускалась за пороги. Крюков не было.   
 Наконец, совершенно измученная, вся охваченная нестерпимым желанием, она приткнулась к дресве на приплаве у порога.   
 Была кромешная ночь. Плыли, сшибаясь в темноте друг с дружкой, мохнатые льдины. Хрустела дресва, скатываясь в порог.   
 Красавка рыла коп. Рыла неистово, безрассудно, повинуясь всесильному инстинкту продолжения рода. А потом, когда яма была готова, она обессиленно свалилась в нее и снова – в который раз! – зашептала горячо и призывно:   
 – О великий Лох! За что ты караешь меня? Ну пусть я недостойна тебя. Пускай забыл ты обо мне. Но ведь у тебя много сыновей. И что тебе стоит прислать одного из них. Ну хоть самого-самого захудалого крючка…   
 И только произнесла она эти слова, как в горловине порога послышался звон и грохот, а затем все вокруг задрожало от яркого, ослепительного света, точно само солнце заполыхало в ночи.   
 Ничего подобного не видела она в своей жизни. Это Лох, сам великий Лох идет к ней. Кто же еще может ходить в таком громе и лучезарном сиянии? Вот оно, счастье, вот награда за все страдания и муки, которые она претерпела в реке.   
 Сладостная истома волнами заливала ее тело. Она лежала на своем ложе притихшая, завороженная необыкновенным, сказочным сиянием, и ждала…   
 Удар был меток и беспощаден. Стальные зубья остроги попали ей в затылок. Она еще билась, хлестала хвостом, когда ее втащили в лодку…   
 – Семга! – ошалело и радостно закричал с кормы молодой здоровый парень, который шестом удерживал лодку.   
 – Тише ты, падло! – прохрипел бородатый мужик, с испугом озираясь по сторонам. – По штрафу заскучал… Живо к берегу!   
 Лодка качалась. Пламя козы – железной решетки с горящим смольем, укрепленной на носу, – шарахалось из стороны в сторону. В черное небо летели искры…   
 Вот и вся невыдуманная история одной семужьей жизни.

* [Виктор Астафьев](http://www.serann.ru/node/1398)

Фотография, на которой меня нет

Глухой зимою, во времена тихие, сонные нашу школу взбудоражило неслыханно важное событие.

Из города на подводе приехал фотограф!

И не просто так приехал, по делу — приехал фотографировать.

И фотографировать не стариков и старух, не деревенский люд, алчущий быть увековеченным, а нас, учащихся овсянской школы.

Фотограф прибыл за полдень, и по этому случаю занятия в школе были прерваны.

Учитель и учительница — муж с женою — стали думать, где поместить фотографа на ночевку.

Сами они жили в одной половине дряхленького домишка, оставшегося от выселенцев, и был у них маленький парнишка-ревун. Бабушка моя, тайком от родителей, по слезной просьбе тетки Авдотьи, домовничавшей у наших учителей, три раза заговаривала пупок дитенку, но он все равно орал ночи напролет и, как утверждали сведущие люди, наревел пуп в луковицу величиной.

Во второй половине дома размещалась контора сплавного участка, где висел пузатый телефон, и днем в него было не докричаться, а ночью он звонил так, что труба на крыше рассыпалась, и по телефону этому можно было разговаривать. Сплавное начальство и всякий народ, спьяну или просто так забредающий в контору, кричал и выражался в трубку телефона.

Такую персону, как фотограф, неподходяще было учителям оставить у себя. Решили поместить его в заезжий дом, но вмешалась тетка Авдотья. Она отозвала учителя в куть и с напором, правда, конфузливым, взялась его убеждать:

— Им тама нельзя. Ямщиков набьется полна изба. Пить начнут, луку, капусты да картошек напрутся и ночью себя некультурно вести станут. — Тетка Авдотья посчитала все эти доводы неубедительными и прибавила: — Вшей напустют…

— Что же делать?

— Я чичас! Я мигом! — Тетка Авдотья накинула полушалок и выкатилась на улицу.

Фотограф был пристроен на ночь у десятника сплавконторы. Жил в нашем селе грамотный, деловой, всеми уважаемый человек Илья Иванович Чехов. Происходил он из ссыльных. Ссыльными были не то его дед, не то отец. Сам он давно женился на нашей деревенской молодице, был всем кумом, другом и советчиком по части подрядов на сплаве, лесозаготовках и выжиге извести. Фотографу, конечно же, в доме Чехова — самое подходящее место. Там его и разговором умным займут, и водочкой городской, если потребуется, угостят, и книжку почитать из шкафа достанут.

Вздохнул облегченно учитель. Ученики вздохнули. Село вздохнуло — все переживали.

Всем хотелось угодить фотографу, чтобы оценил он заботу о нем и снимал бы ребят как полагается, хорошо снимал.

Весь длинный зимний вечер школьники гужом ходили по селу, гадали, кто где сядет, кто во что оденется и какие будут распорядки. Решение вопроса о распорядках выходило не в нашу с Санькой пользу. Прилежные ученики сядут впереди, средние — в середине, плохие — назад — так было порешено. Ни в ту зиму, ни во все последующие мы с Санькой не удивляли мир прилежанием и поведением, нам и на середину рассчитывать было трудно. Быть нам сзади, где и не разберешь, кто заснят? Ты или не ты? Мы полезли в драку, чтоб боем доказать, что мы — люди пропащие… Но ребята прогнали нас из своей компании, даже драться с нами не связались. Тогда пошли мы с Санькой на увал и стали кататься с такого обрыва, с какого ни один разумный человек никогда не катался. Ухарски гикая, ругаясь, мчались мы не просто так, в погибель мчались, поразбивали о каменья головки санок, коленки посносили, вывалялись, начерпали полные катанки снегу.

Бабушка уж затемно сыскала нас с Санькой на увале, обоих настегала прутом. Ночью наступила расплата за отчаянный разгул — у меня заболели ноги. Они всегда ныли от «рематизни», как называла бабушка болезнь, якобы доставшуюся мне по наследству от покойной мамы. Но стоило мне застудить ноги, начерпать в катанки снегу — тотчас нудь в ногах переходила в невыносимую боль.

Я долго терпел, чтобы не завыть, очень долго. Раскидал одежонку, прижал ноги, ровно бы вывернутые в суставах, к горячим кирпичам русской печи, потом растирал ладонями сухо, как лучина, хрустящие суставы, засовывал ноги в теплый рукав полушубка — ничего не помогало.

И я завыл. Сначала тихонько, по-щенячьи, затем и в полный голос.

— Так я и знала! Так я и знала! — проснулась и заворчала бабушка. — Я ли тебе, язвило бы тебя в душу и в печенки, не говорила: «Не студися, не студися!» — повысила она голос. — Так он ведь умнее всех! Он бабушку послушат? Он добрым словам воньмет? Загибат теперь! Загибат, худа немочь! Мольчи лучше! Мольчи! — Бабушка поднялась с кровати, присела, схватившись за поясницу. Собственная боль действует на нее усмиряюще. — И меня загибат…

Она зажгла лампу, унесла ее с собой в куть и там зазвенела посудою, флакончиками, баночками, скляночками — ищет подходящее лекарство. Припугнутый ее голосом и отвлеченный ожиданиями, я впал в усталую дрему.

— Где ты тутока?

— Зде-е-е-ся. — по возможности жалобно откликнулся я и перестал шевелиться.

— Зде-е-еся! — передразнила бабушка и, нашарив меня в темноте, перво-наперво дала затрещину. Потом долго натирала мои ноги нашатырным спиртом. Спирт она втирала основательно, досуха, и все шумела: — Я ли тебе не говорила? Я ли тебя не упреждала? — И одной рукой натирала, а другой мне поддавала да поддавала: — Эк его умучило! Эк его крюком скрючило? Посинел, будто на леде, а не на пече сидел…

Я уж ни гугу, не огрызался, не перечил бабушке — лечит она меня.

Выдохлась, умолкла докторша, заткнула граненый длинный флакон, прислонила его к печной трубе, укутала мои ноги старой пуховой шалью, будто теплой опарой облепила, да еще сверху полушубок накинула и вытерла слезы с моего лица шипучей от спирта ладонью.

— Спи, пташка малая, Господь с тобой и анделы во изголовье.

Заодно бабушка свою поясницу и свои руки-ноги натерла вонючим спиртом, опустилась на скрипучую деревянную кровать, забормотала молитву Пресвятой Богородице, охраняющей сон, покой и благоденствие в дому. На половине молитвы она прервалась, вслушивается, как я засыпаю, и где-то уже сквозь склеивающийся слух слышно:

— И чего к робенку привязалася? Обутки у него починеты, догляд людской…

Не уснул я в ту ночь. Ни молитва бабушкина, ни нашатырный спирт, ни привычная шаль, особенно ласковая и целебная оттого, что мамина, не принесли облегчения. Я бился и кричал на весь дом. Бабушка уж не колотила меня, а перепробовавши все свои лекарства, заплакала и напустилась на деда:

— Дрыхнешь, старый одер!.. А тут хоть пропади!

— Да не сплю я, не сплю. Че делать-то?

— Баню затопляй!

— Середь ночи?

— Середь ночи. Экой барин! Робенок-то! — Бабушка закрылась руками: — Да откуль напасть такая, да за что же она сиротиночку ломат, как тонку тали-и-инку… Ты долго кряхтеть будешь, толстодум? Чо ишшэш? Вчерашний день ишшэш? Вон твои рукавицы. Вон твоя шапка!..

Утром бабушка унесла меня в баню — сам я идти уже не мог. Долго растирала бабушка мои ноги запаренным березовым веником, грела их над паром от каленых камней, парила сквозь тряпку всего меня, макая веник в хлебный квас, и в заключение опять же натерла нашатырным спиртом. Дома мне дали ложку противной водки, настоянной на борце, чтоб внутренность прогреть, и моченой брусники. После всего этого напоили молоком, кипяченным с маковыми головками. Больше я ни сидеть, ни стоять не в состоянии был, меня сшибло с ног, и я проспал до полудня.

Разбудился от голосов. Санька препирался или ругался с бабушкой в кути.

— Не может он, не может… Я те русским языком толкую! — говорила бабушка. — Я ему и рубашечку приготовила, и пальтишко высушила, упочинила все, худо, бедно ли, изладила. А он слег…

— Бабушка Катерина, машину, аппарат наставили. Меня учитель послал. Бабушка Катерина!.. — настаивал Санька.

— Не может, говорю.. Постой-ко, это ведь ты, жиган, сманил его на увал-то! — осенило бабушку. — Сманил, а теперича?..

— Бабушка Катерина…

Я скатился с печки с намерением показать бабушке, что все могу, что нет для меня преград, но подломились худые ноги, будто не мои они были. Плюхнулся я возле лавки на пол. Бабушка и Санька тут как тут.

— Все равно пойду! — кричал я на бабушку. — Давай рубаху! Штаны давай! Все равно пойду!

— Да куда пойдешь-то? С печки на полати, — покачала головой бабушка и незаметно сделала рукой отмашку,чтоб Санька убирался.

— Санька, постой! Не уходи-и-и! — завопил я и попытался шагать. Бабушка поддерживала меня и уже робко, жалостливо уговаривала:

— Ну, куда пойдешь-то? Куда?

— Пойду-у-у! Давай рубаху! Шапку давай!..

Вид мой поверг и Саньку в удручение. Он помялся, помялся, потоптался, потоптался и скинул с себя новую коричневую телогрейку, выданную ему дядей Левонтием по случаю фотографирования.

— Ладно! — решительно сказал Санька. — Ладно! — еще решительней повторил он. — Раз так, я тоже не пойду! Все! — И под одобрительным взглядом бабушки Катерины Петровны проследовал в середнюю. — Не последний день на свете живем! — солидно заявил Санька. И мне почудилось: не столько уж меня, сколько себя убеждал Санька. — Еще наснимаемся! Ништя-а-ак! Поедем в город и на коне, может, и на ахтомобиле заснимемся. Правда, бабушка Катерина? — закинул Санька удочку.

— Правда, Санька, правда. Я сама, не сойти мне с этого места, сама отвезу вас в город, и к Волкову, к Волкову. Знаешь Волкова-то?

Санька Волкова не знал. И я тоже не знал.

— Самолучший это в городе фотограф! Он хочь на портрет, хочь на пачпорт, хочь на коне, хочь на ероплане, хочь на чем заснимет!

— А школа? Школу он заснимет?

— Школу-то? Школу? У него машина, ну, аппарат-то не перевозной. К полу привинченный, — приуныла бабушка.

— Вот! А ты…

— Чего я? Чего я? Зато Волков в рамку сразу вставит.

— В ра-амку! Зачем мне твоя рамка?! Я без рамки хочу!

— Без рамки! Хочешь? Дак на! На! Отваливай! Коли свалишься с ходуль своих, домой не являйся! — Бабушка покидала в меня одежонку: рубаху, пальтишко, шапку, рукавицы, катанки — все покидала. — Ступай, ступай! Баушка худа тебе хочет! Баушка — враг тебе! Она коло него, аспида, вьюном вьется, а он, видали, какие благодарствия баушке!..

Тут я заполз обратно на печку и заревел от горького бессилия. Куда я мог идти, если ноги не ходят?

В школу я не ходил больше недели. Бабушка меня лечила и баловала, давала варенья, брусницы, настряпала отварных сушек, которые я очень любил. Целыми днями сидел я на лавке, глядел на улицу, куда мне ходу пока не было, от безделья принимался плевать на стекла, и бабушка стращала меня, мол, зубы заболят. Но ничего зубам не сделалось, а вот ноги, плюй не плюй, все болят, все болят. Деревенское окно, заделанное на зиму, — своего рода произведение искусства. По окну, еще не заходя в дом, можно определить, какая здесь живет хозяйка, что у нее за характер и каков обиход в избе.

Бабушка рамы вставляла в зиму с толком и неброской красотой. В горнице меж рам валиком клала вату и на белое сверху кидала три-четыре розетки рябины с листиками — и все. Никаких излишеств. В середней же и в кути бабушка меж рам накладывала мох вперемежку с брусничником. На мох несколько березовых углей, меж углей ворохом рябину — и уже без листьев.

Бабушка объяснила причуду эту так:

— Мох сырость засасывает. Уголек обмерзнуть стеклам не дает, а рябина от угару. Тут печка, с кути чад.

Бабушка иной раз подсмеивалась надо мною, выдумывала разные штуковины, но много лет спустя, у писателя Александра Яшина, прочел о том же: рябина от угара — первое средство. Народные приметы не знают границ и расстояний.

Бабушкины окна и соседские окна изучил я буквально- досконально, по выражению предсельсовета Митрохи.

У дяди Левонтия нечего изучать. Промеж рам у них ничего не лежит, и стекла в рамах не все целы — где фанерка прибита, где тряпками заткнуто, в одной створке красным пузом выперла подушка. В доме наискосок, у тетки Авдотьи, меж рам навалено всего: и ваты, и моху, и рябины, и калины, но главное там украшение — цветочки. Они, эти бумажные цветочки, синие, красные, белые, отслужили свой век на иконах, на угловике и теперь попали украшением меж рам. И еще у тетки Авдотьи за рамами красуется одноногая кукла, безносая собака-копилка, развешаны побрякушки без ручек и конь стоит без хвоста и гривы, с расковыренными ноздрями. Все эти городские подарки привозил деткам муж Авдотьи, Терентий, который где ныне находится — она и знать не знает. Года два и даже три может не появляться Терентий. Потом его словно коробейники из мешка вытряхнут, нарядного, пьяного, с гостинцами и подарками. Пойдет тогда шумная жизнь в доме тетки Авдотьи. Сама тетка Авдотья, вся жизнью издерганная, худая, бурная, бегучая, все в ней навалом — и легкомыслие, и доброта, и бабья сварливость.

Дальше тетки Авдотьиного дома ничего не видать. Какие там окна, что в них — не знаю. Раньше не обращал внимания — некогда было, теперь вот сижу да поглядываю, да бабушкину воркотню слушаю.

Какая тоска!

Оторвал листок у мятного цветка, помял в руках — воняет цветок, будто нашатырный спирт. Бабушка листья мятного цветка в чай заваривает, пьет с вареным молоком. Еще на окне алой остался, да в горнице два фикуса. Фикусы бабушка стережет пуще глаза, но все равно прошлой зимой ударили такие морозы, что потемнели листья у фикусов, склизкие, как обмылки, сделались и опали. Однако вовсе не погибли — корень у фикуса живучий, и новые стрелки из ствола проклюнулись. Ожили фикусы. Люблю я смотреть на оживающие цветы. Все почти горшки с цветами — геранями, сережками, колючей розочкой, луковицами — находятся в подполье. Горшки или вовсе пустые, или торчат из них серые пеньки.

Но как только на калине под окном ударит синица по первой сосульке и послышится тонкий звон на улице, бабушка вынет из подполья старый чугунок с дыркою на дне и поставит его на теплое окно в кути.

Через три-четыре дня из темной нежилой земли проткнутся бледно-зеленые острые побеги — и пойдут, пойдут они торопливо вверх, на ходу накапливая в себе темную зелень, разворачиваясь в длинные листья, и однажды возникает в пазухе этих листьев круглая палка, проворно двинется та зеленая палка в рост, опережая листья, породившие ее, набухнет щепотью на конце и вдруг замрет перед тем, как сотворить чудо.

Я всегда караулил то мгновение, тот миг свершающегося таинства — расцветания, и ни разу скараулить не мог. Ночью или на рассвете, скрыто от людского урочливого глаза, зацветала луковка.

Встанешь, бывало, утром, побежишь еще сонный до ветру, а бабушкин голос остановит:

— Гляди-ко, живунчик какой у нас народился!

На окне, в старом чугунке, возле замерзшего стекла над черной землею висел и улыбался яркогубый цветок с бело мерцающей сердцевиной и как бы говорил младенчески- радостным ртом: «Ну вот и я! Дождалися?»

К красному граммофончику осторожная тянулась рука, чтоб дотронуться до цветка, чтоб поверить в недалекую теперь весну, и боязно было спугнуть среди зимы впорхнувшего к нам предвестника тепла, солнца, зеленой земли.

После того как загоралась на окне луковица, заметней прибывал день, плавились толсто обмерзшие окна, бабушка доставала из подполья остальные цветы, и они тоже возникали из тьмы, тянулись к свету, к теплу, обрызгивали окна и наш дом цветами. Луковица меж тем, указав путь весне и цветению, сворачивала граммофончики, съеживалась, роняла на окно сохлые лепестки и оставалась с одними лишь гибко падающими, подернутыми хромовым блеском ремнями стеблей, забытая всеми, снисходительно и терпеливо дожидалась весны, чтоб вновь пробудиться цветами и порадовать людей надеждами на близкое лето.

Во дворе залился Шарик.

Бабушка перестала починяться, прислушалась. В дверь постучали. А так как в деревнях нет привычки стучать и спрашивать, можно ли войти, то бабушка всполошилась, побежала в куть.

— Какой это там лешак ломится?.. Милости просим! Милости просим! — совсем другим, церковным голоском запела бабушка. Я понял: к нам нагрянул важный гость, поскорее спрятался на печку и с высоты увидел школьного учителя, который обметал веником катанки и прицеливался, куда бы повесить шапку. Бабушка приняла шапку, пальто, бегом умчала одежду гостя в горницу, потому как считала, что в кути учителевой одежде висеть неприлично, пригласила учителя проходить.

Я притаился на печи. Учитель прошел в середнюю, еще раз поздоровался и справился обо мне.

— Поправляется, поправляется, — ответила за меня бабушка и, конечно же, не удержалась, чтоб не поддеть меня: — На еду уж здоров, вот на работу хил покуда. Учитель улыбнулся, поискал меня глазами. Бабушка потребовала, чтоб я слезал с печки.

Боязливо и нехотя я спустился с печи, присел на припечек. Учитель сидел возле окошка на стуле, принесенном бабушкой из горницы, и приветливо смотрел на меня. Лицо учителя, хотя и малоприметное, я не забыл до сих пор. Было оно бледновато по сравнению с деревенскими, каленными ветром, грубо тесанными лицами. Прическа под «политику» — волосы зачесаны назад. А так ничего больше особенного не было, разве что немного печальные и оттого необыкновенно добрые глаза, да уши торчали, как у Саньки левонтьевского. Было ему лет двадцать пять, но он мне казался пожилым и очень солидным человеком.

— Я принес тебе фотографию, — сказал учитель и поискал глазами портфель.

Бабушка всплеснула руками, метнулась в куть — портфель остался там. И вот она, фотография — на столе.

Я смотрю. Бабушка смотрит. Учитель смотрит. Ребят и девчонок на фотографии, что семечек в подсолнухе! И лица величиной с подсолнечные семечки, но узнать всех можно. Я бегаю глазами по фотографии: вот Васька Юшков, вот Витька Касьянов, вот Колька-хохол, вот Ванька Сидоров, вот Нинка Шахматовская, ее брат Саня… В гуще ребят, в самой середке — учитель и учительница. Он в шапке и в пальто, она в полушалке. Чему-то улыбаются едва заметно учитель и учительница. Ребята чего-нибудь сморозили смешное. Им что? У них ноги не болят.

Санька из-за меня на фотографию не попал. И чего приперся? То измывается надо мной, вред мне наносит, а тут восчувствовал. Вот и не видно его на фотографии. И меня не видно. Еще и еще перебегаю с лица на лицо. Нет, не видно. Да и откуда я там возьмусь, коли на печке лежал и загибала меня «худа немочь».

— Ничего, ничего! — успокоил меня учитель. — Фотограф, может быть, еще приедет.

— А я что ему толкую? Я то же и толкую…

Я отвернулся, моргая на русскую печку, высунувшую толстый беленый зад в середнюю, губы мои дрожат. Что мне толковать? Зачем толковать? На этой фотографии меня нет. И не будет!

Бабушка настраивала самовар и занимала учителя разговорами.

— Как парнишечка? Грызть-то не унялася?

— Спасибо, Екатерина Петровна. Сыну лучше. Последние ночи спокойней.

— И слава Богу. И слава Богу. Они, робятишки, пока вырастут, ой сколько натерпишься с имя! Вон у меня их сколько, субчиков-то было, а ниче, выросли. И ваш вырастет…

Самовар запел в кути протяжную тонкую песню. Разговор шел о том о сем. Бабушка про мои успехи в школе не спрашивала. Учитель про них тоже не говорил, поинтересовался насчет деда.

— Сам-от? Сам уехал в город с дровами. Продаст, деньжонками разживемся. Какие наши достатки? Огородом, коровенкой да дровами живем.

— Знаете, Екатерина Петровна, какой случай вышел?

— Какой жа?

— Вчера утром обнаружил у своего порога воз дров. Сухих, швырковых. И не могу дознаться, кто их свалил.

— А чего дознаваться-то? Нечего и дознаваться. Топите — и все дела.

— Да как-то неудобно.

— Чего неудобного. Дров-то нету? Нету. Ждать, когда преподобный Митроха распорядится? А и привезут сельсоветские — сырье сырьем, тоже радости мало. Бабушка, конечно, знает, кто свалил учителю дрова. И всему селу это известно. Один учитель не знает и никогда не узнает.

Уважение к нашему учителю и учительнице всеобщее, молчаливое. Учителей уважают за вежливость, за то, что они здороваются со всеми кряду, не разбирая ни бедных, ни богатых, ни ссыльных, ни самоходов. Еще уважают за то, что в любое время дня и ночи к учителю можно прийти и попросить написать нужную бумагу. Пожаловаться на кого угодно: на сельсовет, на разбойника мужа, на свекровку. Дядя Левонтий — лиходей из лиходеев, когда пьяный, всю посуду прибьет, Васене фонарь привесит, ребятишек поразгонит. А как побеседовал с ним учитель — исправился дядя Левонтий. Неизвестно, о чем говорил с ним учитель, только дядя Левонтий каждому встречному и поперечному радостно толковал:

— Ну чисто рукой дурь снял! И вежливо все, вежливо. Вы, говорит, вы… Да ежели со мной по-людски, да я что, дурак, что ли? Да я любому и каждому башку сверну, если такого человека пообидят!

Тишком, бочком просочатся деревенские бабы в избу учителя и забудут там кринку молока либо сметанки, творогу, брусники туесок. Ребеночка доглядят, полечат, если надо, учительницу необидно отругают за неумелость в обиходе с дитем. Когда на сносях была учительница, не позволяли бабы ей воду таскать. Один раз пришел учитель в школу в подшитых через край катанках. Умыкнули бабы катанки — и к сапожнику Жеребцову снесли. Шкалик поставили, чтоб с учителя, ни Боже мой, копейки не взял Жеребцов и чтоб к утру, к школе все было готово. Сапожник Жеребцов — человек пьющий, ненадежный. Жена его, Тома, спрятала шкалик и не отдавала до тех пор, пока катанки не были подшиты.

Учителя были заводилами в деревенском клубе. Играм и танцам учили, ставили смешные пьесы и не гнушались представлять в них попов и буржуев; на свадьбах бывали почетными гостями, но блюли себя и приучили несговорчивый в гулянке народ выпивкой их не неволить.

А в какой школе начали работу наши учителя!

В деревенском доме с угарными печами. Парт не было, скамеек не было, учебников, тетрадей, карандашей тоже не было. Один букварь на весь первый класс и один красный карандаш. Принесли ребята из дома табуретки, скамейки, сидели кружком, слушали учителя, затем он давал нам аккуратно заточенный красный карандаш, и мы, пристроившись на подоконнике, поочередно писали палочки. Счету учились на спичках и палочках, собственноручно выструганных из лучины.

Кстати говоря, дом, приспособленный под школу, был рублен моим прадедом, Яковом Максимовичем, и начинал я учиться в родном доме прадеда и деда Павла. Родился я, правда, не в доме, а в бане. Для этого тайного дела места в нем не нашлось. Но из бани-то меня принесли в узелке сюда, в этот дом. Как и что в нем было — не помню. Помню лишь отголоски той жизни: дым, шум, многолюдье и руки, руки, поднимающие и подбрасывающие меня к потолку. Ружье на стене, как будто к ковру прибитое. Оно внушало почтительный страх. Белая тряпка на лице деда Павла. Осколок малахитового камня, сверкающего на изломе, будто весенняя льдина. Возле зеркала фарфоровая пудреница, бритва в коробочке, папин флакон с одеколоном, мамина гребенка. Санки помню, подаренные старшим братом бабушки Марьи, которая была одних лет с моей мамой, хотя и приходилась ей свекровью. Замечательные, круто выгнутые санки с отводинами — полное подобие настоящих конских саней. На тех санках мне не разрешалось кататься из-за малости лет с горы, но мне хотелось кататься, и кто-нибудь из взрослых, чаще всего прадед или кто посвободней, садили меня в санки и волочили по полу сенок или по двору.

Папа мой отселился в зимовье, крытое занозистой, неровной дранью, отчего крыша при больших дождях протекала. Знаю по рассказам бабушки и, кажется, помню, как радовалась мама отделению от семьи свекра и обретению хозяйственной самостоятельности, пусть и в тесном, но в «своем углу». Она все зимовье прибрала, перемыла, бессчетно белила и подбеливала печку. Папа грозился сделать в зимовье перегородку и вместо козырька-навеса сотворить настоящие сенки, но так и не исполнил своего намерения.

Когда выселили из дома деда Павла с семьей — не знаю, но как выселяли других, точнее, выгоняли семьи на улицу из собственных домов — помню я, помнят все старые люди.

Раскулаченных и подкулачников выкинули вон глухой осенью, стало быть, в самую подходящую для гибели пору. И будь тогдашние времена похожими на нынешние, все семьи тут же и примерли бы. Но родство и землячество тогда большой силой были, родственники дальние, близкие, соседи, кумовья и сватовья, страшась угроз и наветов, все же подобрали детей, в первую голову грудных, затем из бань, стаек, амбаров и чердаков собрали матерей, беременных женщин, стариков, больных людей, за ними «незаметно» и всех остальных разобрали по домам.

Днем «бывшие» обретались по тем же баням и пристройкам, на ночь проникали в избы, спали на разбросанных попонах, на половиках, под шубами, старыми одеялишками и на всякой бросовой рямнине. Спали вповалку, не раздеваясь, все время готовые на вызов и выселение.

Прошел месяц, другой. Пришла глухая зима, «ликвидаторы», радуясь классовой победе, гуляли, веселились и как будто забыли об обездоленных людях. Тем надо было жить, мыться, рожать, лечиться, кормиться. Они прилепились к пригревшим их семьям либо прорубили окна в стайках, утеплили и отремонтировали давно заброшенные зимовья иль времянки, срубленные для летней кухни.

Картошка, овощь, соленая капуста, огурцы, бочки с грибами оставались в подвалах покинутых подворий. Их нещадно и безнаказанно зорили лихие людишки, шпана разная, не ценящая чужого добра и труда, оставляя открытыми крышки погребов и подвалов. Выселенные женщины, ночной порой ходившие в погреба, причитали о погибшем добре, молили Бога о спасении одних и наказании других. Но в те годы Бог был занят чем-то другим, более важным, и от русской деревни отвернулся. Часть кулацких пустующих домов — нижний конец села весь почти пустовал, тогда как верхний жил справнее, но «задарили, запоили» верховские активистов — шел шепот по деревне, а я думаю, что активистам-ликвидаторам просто ловчее было зорить тех, кто поближе, чтоб далеко не ходить, верхний конец села держать «в резерве». Словом, живучий элемент начал занимать свои пустующие избы или жилье пролетарьев и активистов, переселившихся и покинутые дома, занимали и быстро приводили их в божеский вид. Крытые как попало и чем попало низовские окраинные избушки преобразились, ожили, засверкали чистыми окнами.

Многие дома в нашем селе строены на две половины, и не всегда во второй половине жили родственники, случалось, просто союзники по паю. Неделю, месяц, другой они могли еще терпеть многолюдство, теснотищу, но потом начинались раздоры, чаще всего возле печи, меж бабами-стряпухами. Случалось, семья выселенцев снова оказывалась на улице, искала приюту. Однако большинство семейств все же ужились между собой. Бабы посылали парнишек в свои заброшенные дома за припрятанным скарбом, за овощью в подвал. Сами хозяйки иной раз проникали домой. За столом сидели, спали на кровати, на давно не беленной печи, управлялись по дому, крушили мебелишку новожители.

«Здравствуйте», — остановившись возле порога, еле слышно произносила бывшая хозяйка дома. Чаще всего ей не отвечали, кто от занятости и хамства, кто от презрения и классовой ненависти.

У Болтухиных, сменивших и загадивших уже несколько домов, насмехались, ерничали: «Проходите, хвастайте, чего забыли?..» — «Да вот сковороду бы взять, чигунку, клюку, ухват — варить…» — «Дак че? Бери, как свое…» — Баба вызволяла инвентарь, норовя, помимо названного, прихватить и еще чего-нибудь: половичишки, одежонку какую-никакую, припрятанный в ей лишь известном месте кусок полотна или холста.

Заселившие «справный» дом новожители, прежде всего бабы, стыдясь вторжения в чужой угол, опустив долу очи, пережидали, когда уйдет «сама». Болтухины же следили за «контрой», за недавними своими собутыльниками, подругами и благодетелями — не вынесет ли откудова золотишко «бывшая», не потянут ли из захоронки ценную вещь: шубу, валенки, платок. Как уличат пойманного злоумышленника, сразу в крик: «А-а, воруешь? В тюрьму захотела?..» — «Да как же ворую… это же мое, наше…» — «Было ваше, стало наше! Поволоку вот в сельсовет…»

Попускались добром горемыки. «Подавитесь!» — говорили. Катька Болтухина металась по селу, меняла отнятую вещь на выпивку, никого не боясь, ничего не стесняясь. Случалось, тут же предлагала отнятое самой хозяйке. Бабушка моя, Катерина Петровна, все деньжонки, скопленные на черный день, убухала, не одну вещь «выкупила» у Болтухиных и вернула в описанные семьи.

К весне в пустующих избах были перебиты окна, сорваны двери, истрепаны половики, сожжена мебель. За зиму часть села выгорела. Молодняк иногда протапливал печи в домнинской или какой другой просторной избе и устраивал там вечерки. Не глядя на классовые расслоения, парни щупали по углам девок. Ребятишки как играли, так и продолжали играть вместе. Плотники, бондари, столяры и сапожники из раскулаченных потихоньку прилаживались к делу, смекали заработать на кусок хлеба. Но и работали, и жили в своих, чужих ли домах, пугливо озираясь, ничего капитально не ремонтируя, прочно, надолго не налаживая, жили, как в ночевальной заезжей избе. Этим семьям предстояло вторичное выселение, еще более тягостное, при котором произошла единственная за время раскулачивания трагедия в нашем селе.

Немой Кирила, когда первый раз Платоновских выбрасывали на улицу, был на заимке, и ему как-то сумели втолковать после, что изгнание из избы произошло вынужденное, временное. Однако Кирила насторожился и, живя скрытником на заимке со спрятанным конем, не угнанным со двора в колхоз по причине дутого брюха и хромой ноги, нет-нет и наведывался в деревню верхом.

Кто-то из колхозников или мимоезжих людей и сказал на заимке Кириле, что дома у них неладно, что снова Платоновских выселяют. Кирила примчался к распахнутым воротам в тот момент, когда уже вся семья стояла покорно во дворе, окружив выкинутое барахлишко. Любопытные толпились в проулке, наблюдая, как самое Платошиху нездешние люди с наганами пытаются тащить из избы. Платошиха хваталась за двери, за косяки, кричала зарезанно. Вроде уж совсем ее вытащат, но только отпустят, она сорванными, кровящими ногтями вновь находит, за что уцепиться.

Хозяин, чернявый по природе, от горя сделавшийся совсем черным, увещевал жену:

«Да будет тебе, Парасковья! Чего уж теперь? Пойдем к добрым людям…»

Ребятишки, их много было во дворе Платоновских, уже и тележку, давно приготовленную, загрузили, вещи, кои дозволено было взять, сложили, в оглобли тележки впряглись. «Пойдем, мама. Пойдем…» — умоляли они Платошиху, утираясь рукавами.

Ликвидаторам удалось-таки оторвать от косяка Платошиху. Они столкнули ее с крыльца, но, полежав со скомканно задравшимся подолом на настиле, она снова поползла по двору, воя и протягивая руки к распахнутой двери. И снова оказалась на крыльце. Тогда городской уполномоченный с наганом на боку пхнул женщину подошвой сапога в лицо. Платошиха опрокинулась с крыльца, зашарила руками по настилу, что-то отыскивая. «Парасковья! Парасковья! Что ты? Что ты?..» Тут и раздался утробный бычий крик: «М-м-мауууу!..» Кирила выхватил из чурки ржавый колун, метнулся к уполномоченному. Знавший только угрюмую рабскую покорность, к сопротивлению не готовый, уполномоченный не успел даже и о кобуре вспомнить. Кирила всмятку разнес его голову, мозги и кровь выплеснулись на крыльцо, обрызгали стену. Дети закрылись руками, бабы завопили, народ начал разбегаться в разные стороны. Через забор хватанул второй уполномоченный, стриганули со двора понятые и активисты. Разъяренный Кирила бегал по селу с колуном, зарубил свинью, попавшуюся на пути, напал на сплавщицкий катер и чуть не порешил матроса, нашего же, деревенского.

На катере Кирилу окатили водой из ведра, связали и выдали властям.

Гибель уполномоченного и бесчинство Кирилы ускорили выселение раскулаченных семей. Платоновских на катере уплавили в город, и никто, никогда, ничего о них больше не слышал.

Прадед был выслан в Игарку и умер там в первую же зиму, а о деде Павле речь впереди.

Перегородки в родной моей избе разобрали, сделав большой общий класс, потому я почти ничего не узнавал и заодно с ребятишками что-то в доме дорубал, доламывал и сокрушал.

Дом этот и угодил на фотографию, где меня нет. Дома тоже давным-давно на свете нет.

После школы было в нем правление колхоза. Когда колхоз развалился, жили в нем Болтухины, опиливая и дожигая сени, терраску. Потом дом долго пустовал, дряхлел и, наконец пришло указание разобрать заброшенное жилище, сплавить к Гремячей речке, откуда его перевезут в Емельяново и поставят. Быстро разобрали овсянские мужики наш дом, еще быстрее сплавили куда велено, ждали, ждали, когда приедут из Емельянова, и не дождались. Сговорившись потихоньку с береговыми жителями, сплавщики дом продали на дрова и денежки потихоньку пропили. Ни в Емельянове, ни в каком другом месте о доме никто так и не вспомнил.

Учитель как-то уехал в город и вернулся с тремя подводами. На одной из них были весы, на двух других ящики со всевозможным добром. На школьном дворе из плах соорудили временный ларек «Утильсырье». Вверх дном перевернули школьники деревню. Чердаки, сараи, амбары очистили от веками скапливаемого добра — старых самоваров, плугов, костей, тряпья.

В школе появились карандаши, тетради, краски вроде пуговиц, приклеенные к картонкам, переводные картинки. Мы попробовали сладких петушков на палочках, женщины разжились иголками, нитками, пуговицами.

Учитель еще и еще ездил в город на сельсоветской кляче, выхлопотал и привез учебники, один учебник на пятерых. Потом еще полегчение было — один учебник на двоих. Деревенские семьи большие, стало быть, в каждом доме появился учебник. Столы и скамейки сделали деревенские мужики и плату за них не взяли, обошлись магарычом, который, как я теперь догадываюсь, выставил им учитель на свою зарплату.

Учитель вот фотографа сговорил к нам приехать, и тот заснял ребят и школу. Это ли не радосгь! Это ли не достижение!

Учитель пил с бабушкой чай. И я первый раз в жизни сидел за одним столом с учителем и изо всей мочи старался не обляпаться, не пролить из блюдца чай. Бабушка застелила стол праздничной скатертью и понаставила-а-а-а… И варенье, и брусница, и сушки, и лампасейки, и пряники городские, и молоко в нарядном сливочнике. Я очень рад и доволен, что учитель пьет у нас чай, безо всяких церемоний разговаривает с бабушкой, и все у нас есть, и стыдиться перед таким редким гостем за угощение не приходится.

Учитель выпил два стакана чаю. Бабушка упрашивала выпить еще, извиняясь, по деревенской привычке, за бедное угощение, но учитель благодарил ее. говорил, что всем он премного доволен, и желал бабушке доброго здоровья. Когда учитель уходил из дома, я все же не удержался и полюбопытствовал насчет фотографа: «Скоро ли он опять приедет?»

— А, штабы тебя приподняло да шлепнуло! — бабушка употребила самое вежливое ругательство в присутствии учителя.

— Думаю, скоро, — ответил учитель. — Выздоравливай и приходи в школу, а то отстанешь. — Он поклонился дому, бабушке, она засеменила следом, провожая его до ворот с наказом, чтоб кланялся жене, будто та была не через два посада от нас, а невесть в каких дальних краях.

Брякнула щеколда ворот. Я поспешил к окну. Учитель со стареньким портфелем прошел мимо нашего палисадника, обернулся и махнул мне рукой, дескать, приходи скорее в школу, — и улыбнулся при этом так, как только он умел улыбаться, — вроде бы грустно и в то же время ласково и приветно. Я проводил его взглядом до конца нашего переулка и еще долго смотрел на улицу, и было у меня на душе отчего-то щемливо, хотелось заплакать.

Бабушка, ахая, убирала со стола богатую снедь и не переставала удивляться:

— И не поел-то ничего. И чаю два стакана токо выпил. Вот какой культурный человек! Вот че грамота делат! — И увещевала меня; — Учись, Витька, хорошеньче! В учителя, может, выйдешь або в десятники…

Не шумела в этот день бабушка ни на кого, даже со мной и с Шариком толковала мирным голосом, а хвасталась, а хвасталась! Всем, кто заходил к нам, подряд хвасталась, что был у нас учитель, пил чай, разговаривал с нею про разное. И так разговаривал, так разговаривал! Школьную фотокарточку показывала, сокрушалась, что не попал я на нее, и сулилась заключить со в рамку, которую она купит у китайцев на базаре.

Рамку она и в самом деле купила, фотографию на стену повесила, но в город меня не везла, потому как болел я в ту зиму часто, пропускал много уроков.

К весне тетрадки, выменянные на утильсырье, исписались, краски искрасились, карандаши исстрогались, и учитель стал водить нас но лесу и рассказывать про деревья, про цветки, про травы, про речки и про небо.

Как он много знал! И что кольца у дерева — это годы его жизни, и что сера сосновая идет на канифоль, и что хвоей лечатся от нервов, и что из березы делают фанеру; из хвойных пород — он так и сказал, — не из лесин, а из пород! — изготавливают бумагу, что леса сохраняют влагу в почве, стало быть, и жизнь речек.

Но и мы тоже знали лес, пусть по-своему, по-деревенски, но знали то, чего учитель не знал, и он слушал нас внимательно, хвалил, благодарил даже. Мы научили его копать и есть корни саранок, жевать лиственничную серу, различать по голосам птичек, зверьков и, если он заблудится в лесу, как выбраться оттуда, в особенности как спасаться от лесного пожара, как выйти из страшного таежного огня.

Однажды мы пошли на Лысую гору за цветами и саженцами для школьного двора. Поднялись до середины горы, присели на каменья отдохнуть и поглядеть сверху на Енисей, как вдруг кто-то из ребят закричал:

— Ой, змея, змея!..

И все увидели змею. Она обвивалась вокруг пучка кремовых подснежников и, разевая зубастую пасгь, злобно шипела.

Еще и подумать никто ничего не успел, как учитель оттолкнул нас, схватил палку и принялся, молотить по змее, по подснежникам. Вверх полетели обломки палки, лепестки прострелов. Змея кипела ключом, подбрасывалась на хвосте.

— Не бейте через плечо! Не бейте через плечо! — кричали ребята, но учитель ничего не слышал. Он бил и бил змею, пока та не перестала шевелиться. Потом он приткнул концом палки голову змеи в камнях и обернулся. Руки его дрожали. Ноздри и глаза его расширились, весь он был белый, «политика» его рассыпалась, и волосы крыльями висели на оттопыренных ушах.

Мы отыскали в камнях, отряхнули и подали ему кепку.

— Пойдемте, ребята, отсюда.

Мы посыпались с горы, учитель шел за нами следом, и все оглядывался, готовый оборонять нас снова, если змея оживет и погонится. Под горою учитель забрел в речку — Малую Слизневку, попил из ладоней воды, побрызгал на лицо, утерся платком и спросил: — Почему кричали, чтоб не бить гадюку через плечо?

— Закинуть же на себя змею можно. Она, зараза, обовьется вокруг палки!.. — объясняли ребята учителю. — Да вы раньше-то хоть видели змей? — догадался кто-то спросить учителя.

— Нет, — виновато улыбнулся учитель. — Там, где я рос, никаких гадов не водится. Там нет таких гор, и тайги нет.

Вот тебе и на! Нам надо было учителя-то оборонять, а мы?!

Прошли годы, много, ох много их минуло. А я таким вот и помню деревенского учителя — с чуть виноватой улыбкой, вежливого, застенчивого, но всегда готового броситься вперед и оборонить своих учеников, помочь им в беде, облегчить и улучшить людскую жизнь. Уже работая над этой книгой, я узнал, что звали наших учителей Евгений Николаевич и Евгения Николаевна. Мои земляки уверяют, что не только именем-отчеством, но и лицом они походили друг на друга. «Чисто брат с сестрой!..» Тут, я думаю, сработала благодарная человеческая память, сблизив и сроднив дорогих людей, а вот фамилии учителя с учительницей никто в Овсянке вспомнить не может. Но фамилию учителя можно и забыть, важно, чтоб осталось слово «учитель»! И каждый человек, мечтающий стать учителем, пусть доживет до такой почести, как наши учителя, чтоб раствориться в памяти народа, с которым и для которого они жили, чтоб сделаться частицей его и навечно остаться в сердце даже таких нерадивых и непослушных людей, как я и Санька.

Школьная фотография жива до сих пор. Она пожелтела, обломалась по углам. Но всех ребят я узнаю на ней. Много их полегло в войну. Всему миру известно прославленное имя — сибиряк.

Как суетились бабы по селу, спешно собирая у соседей и родственников шубенки, телогрейки, все равно бедновато, шибко бедновато одеты ребятишки. Зато как твердо держат они материю, прибитую к двум палкам. На материи написано каракулисто: «Овсянская нач. школа 1-й ступени». На фоне деревенского дома с белыми ставнями — ребятишки: кто с оторопелым лицом, кто смеется, кто губы поджал, кто рот открыл, кто сидит, кто стоит, кто на снегу лежит.

Смотрю, иногда улыбнусь, вспоминая, а смеяться и тем паче насмехаться над деревенскими фотографиями не могу, как бы они порой нелепы ни были. Пусть напыщенный солдат или унтер снят у кокетливой тумбочки, в ремнях, в начищенных сапогах — всего больше их и красуется на стенах русских изб, потому как в солдатах только и можно было раньше «сняться» на карточку; пусть мои тетки и дядья красуются в фанерном автомобиле, одна тетка в шляпе вроде вороньего гнезда, дядя в кожаном шлеме, севшем на глаза; пусть казак, точнее, мой братишка Кеша, высунувший голову в дыру на материи, изображает казака с газырями и кинжалом; пусть люди с гармошками, балалайками, гитарами, с часами, высунутыми напоказ из-под рукава, и другими предметами, демонстрирующими достаток в доме, таращатся с фотографий.

Я все равно не смеюсь.

Деревенская фотография — своеобычная летопись нашего народа, настенная его история, а еще не смешно и оттого, что фото сделано на фоне родового, разоренного гнезда.

**Александр Трифонович Твардовский. Василий Теркин**

На войне, в пыли походной,

В летний зной и в холода,

Лучше нет простой, природной

Из колодца, из пруда,

Из трубы водопроводной,

Из копытного следа,

Из реки, какой угодно,

Из ручья, из-подо льда, -

Лучше нет воды холодной,

Лишь вода была б - вода.

На войне, в быту суровом,

В трудной жизни боевой,

На снегу, под хвойным кровом,

На стоянке полевой, -

Лучше нет простой, здоровой,

Доброй пищи фронтовой.

Важно только, чтобы повар

Был бы повар - парень свой;

Чтобы числился недаром,

Чтоб подчас не спал ночей, -

Лишь была б она с наваром

Да была бы с пылу, с жару -

Подобрей, погорячей;

Чтоб идти в любую драку,

Силу чувствуя в плечах,

Бодрость чувствуя.

Однако

Дело тут не только в щах.

Жить без пищи можно сутки,

Можно больше, но порой

На войне одной минутки

Не прожить без прибаутки,

Шутки самой немудрой.

Не прожить, как без махорки,

От бомбежки до другой

Без хорошей поговорки

Или присказки какой -

Без тебя, Василий Теркин,

Вася Теркин - мой герой,

А всего иного пуще

Не прожить наверняка -

Без чего? Без правды сущей,

Правды, прямо в душу бьющей,

Да была б она погуще,

Как бы ни была горька.

Что ж еще?.. И все, пожалуй.

Словом, книга про бойца

Без начала, без конца.

Почему так - без начала?

Потому, что сроку мало

Начинать ее сначала.

Почему же без конца?

Просто жалко молодца.

С первых дней годины горькой,

В тяжкий час земли родной

Не шутя, Василий Теркин,

Подружились мы с тобой,

Я забыть того не вправе,

Чем твоей обязан славе,

Чем и где помог ты мне.

Делу время, час забаве,

Дорог Теркин на войне.

Как же вдруг тебя покину?

Старой дружбы верен счет.

Словом, книгу с середины

И начнем. А там пойдет.

**НА ПРИВАЛЕ**

- Дельный, что и говорить,

Был старик тот самый,

Что придумал суп варить

На колесах прямо.

Суп - во-первых. Во-вторых,

Кашу в норме прочной.

Нет, старик он был старик

Чуткий - это точно.

Слышь, подкинь еще одну

Ложечку такую,

Я вторую, брат, войну

На веку воюю.

Оцени, добавь чуток.

Покосился повар:

"Ничего себе едок -

Парень этот новый".

Ложку лишнюю кладет,

Молвит несердито:

- Вам бы, знаете, во флот

С вашим аппетитом.

Тот: - Спасибо. Я как раз

Не бывал во флоте.

Мне бы лучше, вроде вас,

Поваром в пехоте. -

И, усевшись под сосной,

Кашу ест, сутулясь.

"Свой?" - бойцы между собой, -

"Свой!" - переглянулись.

И уже, пригревшись, спал

Крепко полк усталый.

В первом взводе сон пропал,

Вопреки уставу.

Привалясь к стволу сосны,

Не щадя махорки,

На войне насчет войны

Вел беседу Теркин.

- Вам, ребята, с серединки

Начинать. А я скажу:

Я не первые ботинки

Без починки здесь ношу.

Вот вы прибыли на место,

Ружья в руки - и воюй.

А кому из вас известно,

Что такое сабантуй?

- Сабантуй - какой-то праздник?

Или что там - сабантуй?

- Сабантуй бывает разный,

А не знаешь - не толкуй,

Бот под первою бомбежкой

Полежишь с охоты в лежку,

Жив остался - не горюй:

- Это малый сабантуй.

Отдышись, покушай плотно,

Закури и в ус не дуй.

Хуже, брат, как минометный

Вдруг начнется сабантуй.

Тот проймет тебя поглубже, -

Землю-матушку целуй.

Но имей в виду, голубчик,

Это - средний сабантуй.

Сабантуй - тебе наука,

Браг лютует - сам лютуй.

Но совсем иная штука

Это - главный сабантуй.

Парень смолкнул на минуту,

Чтоб прочистить мундштучок,

Словно исподволь кому-то

Подмигнул: держись, дружок...

- Вот ты вышел спозаранку,

Глянул - в пот тебя и в дрожь;

Прут немецких тыща танков...

- Тыща танков? Ну, брат, врешь..

- А с чего мне врать, дружище?

Рассуди - какой расчет?

- Но зачем же сразу - тыща?

- Хорошо. Пускай пятьсот,

- Ну, пятьсот. Скажи по чести,

Не пугай, как старых баб.

- Ладно. Что там триста, двести -

Повстречай один хотя б...

- Что ж, в газетке лозунг точен;

Не беги в кусты да в хлеб.

Танк - он с виду грозен очень,

А на деле глух и слеп.

- То-то слеп. Лежишь в канаве,

А на сердце маята:

Вдруг как сослепу задавит, -

Ведь не видит ни черта.

Повторить согласен снова:

Что не знаешь - не толкуй.

Сабантуй - одно лишь слово -

Сабантуй!.. Но сабантуй

Может в голову ударить,

Или попросту, в башку.

Вот у нас один был парень...

Дайте, что ли, табачку.

Балагуру смотрят в рот,

Слово ловят жадно.

Хорошо, когда кто врет

Весело и складно.

В стороне лесной, глухой,

При лихой погоде,

Хорошо, как есть такой

Парень на походе.

И несмело у него

Просят: - Ну-ка, на ночь

Расскажи еще чего,

Василий Иваныч...

Ночь глуха, земля сыра.

Чуть костер дымится.

- Нет, ребята, спать пора,

Начинай стелиться.

К рукаву припав лицом,

На пригретом взгорке

Меж товарищей бойцов

Лег Василий Теркин.

Тяжела, мокра шинель,

Дождь работал добрый.

Крыша - небо, хата - ель,

Корни жмут под ребра.

Но не видно, чтобы он

Удручен был этим,

Чтобы сон ему не в сон

Где-нибудь на свете.

Вот он полы подтянул,

Укрывая спину,

Чью-то тещу помянул,

Печку и перину.

И приник к земле сырой,

Одолен истомой,

И лежит он, мой герой,

Спит себе, как дома.

Спит - хоть голоден, хоть сыт,

Хоть один, хоть в куче.

Спать за прежний недосып,

Спать в запас научен.

И едва ль герою снится

Всякой ночью тяжкий сон:

Как от западной границы

Отступал к востоку он;

Как прошел он, Вася Теркин,

Из запаса рядовой,

В просоленной гимнастерке

Сотни верст земли родной.

До чего земля большая,

Величайшая земля.

И была б она чужая,

Чья-нибудь, а то - своя.

Спит герой, храпит - и точка.

Принимает все, как есть.

Ну, своя - так это ж точно.

Ну, война - так я же здесь.

Спит, забыв о трудном лете.

Сон, забота, не бунтуй.

Может, завтра на рассвете

Будет новый сабантуй.

Спят бойцы, как сон застал,

Под сосною впОкат,

Часовые на постах

Мокнут одиноко.

Зги не видно. Ночь вокруг.

И бойцу взгрустнется.

Только что-то вспомнит вдруг,

Вспомнит, усмехнется.

И как будто сон пропал,

Смех дрогнал зевоту.

- Хорошо, что он попал,

Теркин, в нашу роту.

**x x x**

Теркин - кто же он такой?

Скажем откровенно:

Просто парень сам собой

Он обыкновенный.

Впрочем, парень хоть куда.

Парень в этом роде

В каждой роте есть всегда,

Да и в каждом взводе.

И чтоб знали, чем силен,

Скажем откровенно:

Красотою наделен

Не был он отменной,

Не высок, не то чтоб мал,

Но герой - героем.

На Карельском воевал -

За рекой Сестрою.

И не знаем почему, -

Спрашивать не стали, -

Почему тогда ему

Не дали медали.

С этой темы повернем,

Скажем для порядка:

Может, в списке наградном

Вышла опечатка.

Не гляди, что на груди,

А гляди, что впереди!

В строй с июня, в бой с июля,

Снова Теркин на войне.

- Видно, бомба или пуля

Не нашлась еще по мне.

Был в бою задет осколком,

Зажило - и столько толку.

Трижды был я окружен,

Трижды - вот он! - вышел вон.

И хоть было беспокойно -

Оставался невредим

Под огнем косым, трехслойным,

Под навесным и прямым.

И не раз в пути привычном,

У дорог, в пыли колонн,

Был рассеян я частично,

А частично истреблен...

Но, однако,

Жив вояка,

К кухне - с места, с места - в бой.

Курит, ест и пьет со смаком

На позиции любой.

Как ни трудно, как ни худо -

Не сдавай, вперед гляди,

Это присказка покуда,

Сказка будет впереди.

**ПЕРЕД БОЕМ**

- Доложу хотя бы вкратце,

Как пришлось нам в счет войны

С тыла к фронту пробираться

С той, с немецкой стороны.

Как с немецкой, с той зарецкой

Стороны, как говорят,

Вслед за властью за советской,

Вслед за фронтом шел наш брат.

Шел наш брат, худой, голодный,

Потерявший связь и часть,

Шел поротно и повзводно,

И компанией свободной,

И один, как перст, подчас.

Полем шел, лесною кромкой,

Избегая лишних глаз,

Подходил к селу в потемках,

И служил ему котомкой

Боевой противогаз.

Шел он, серый, бородатый,

И, цепляясь за порог,

Заходил в любую хату,

Словно чем-то виноватый

Перед ней. А что он мог!

И по горькой той привычке,

Как в пути велела честь,

Он просил сперва водички,

А потом просил поесть.

Тетка - где ж она откажет?

Хоть какой, а все ж ты свой,

Ничего тебе не скажет,

Только всхлипнет над тобой,

Только молвит, провожая:

- Воротиться дай вам бог...

То была печаль большая,

Как брели мы на восток.

Шли худые, шли босые

В неизвестные края.

Что там, где она, Россия,

По какой рубеж своя!

Шли, однако. Шел и я...

Я дорогою постылой

Пробирался не один.

Человек нас десять было,

Был у нас и командир.

Из бойцов. Мужчина дельный,

Местность эту знал вокруг.

Я ж, как более идейный,

Был там как бы политрук.

Шли бойцы за нами следом,

Покидая пленный край.

Я одну политбеседу

Повторял:

- Не унывай.

Не зарвемся, так прорвемся,

Будем живы - не помрем.

Срок придет, назад вернемся,

Что отдали - все вернем.

Самого б меня спросили,

Ровно столько знал и я,

Что там, где она, Россия,

По какой рубеж своя?

Командир шагал угрюмо,

Тоже, исподволь смотрю,

Что-то он все думал, думал ..

- Брось ты думать, - говорю.

Говорю ему душевно.

Он в ответ и молвит вдруг:

- По пути моя деревня.

Как ты мыслишь, политрук?

Что ответить? Как я мыслю?

Вижу, парень прячет взгляд,

Сам поник, усы обвисли.

Ну, а чем он виноват,

Что деревня по дороге,

Что душа заныла в нем?

Тут какой бы ни был строгий,

А сказал бы ты: "Зайдем..."

Встрепенулся ясный сокол,

Бросил думать, начал петь.

Впереди идет далеко,

Оторвался - не поспеть.

А пришли туда мы поздно,

И задами, коноплей,

Осторожный и серьезный,

Вел он всех к себе домой.

Вот как было с нашим братом,

Что попал домой с войны:

Заходи в родную хату,

Пробираясь вдоль стены.

Знай вперед, что толку мало

От родимого угла,

Что война и тут ступала,

Впереди тебя прошла,

Что тебе своей побывкой

Не порадовать жену:

Забежал, поспал урывком,

Догоняй опять войну...

Вот хозяин сел, разулся,

Руку правую - на стол,

Будто с мельницы вернулся,

С поля к ужину пришел.

Будто так, а все иначе...

- Ну, жена, топи-ка печь,

Всем довольствием горячим

Мне команду обеспечь.

Дети спят, Жена хлопочет,

В горький, грустный праздник свой,

Как ни мало этой ночи,

А и та - не ей одной.

Расторопными руками

Жарит, варит поскорей,

Полотенца с петухами

Достает, как для гостей;

Напоила, накормила,

Уложила на покой,

Да с такой заботой милой,

С доброй ласкою такой,

Словно мы иной порою

Завернули в этот дом,

Словно были мы герои,

И не малые притом.

Сам хозяин, старший воин,

Что сидел среди гостей,

Вряд ли был когда доволен

Так хозяйкою своей.

Вряд ли всей она ухваткой

Хоть когда-нибудь была,

Как при этой встрече краткой,

Так родна и так мила.

И болел он, парень честный,

Понимал, отец семьи,

На кого в плену безвестном

Покидал жену с детьми...

Кончив сборы, разговоры,

Улеглись бойцы в дому.

Лег хозяин. Но не скоро

Подошла она к нему.

Тихо звякала посудой,

Что-то шила при огне.

А хозяин ждет оттуда,

Из угла.

Неловко мне.

Все товарищи уснули,

А меня не гнет ко сну.

Дай-ка лучше в карауле

На крылечке прикорну.

Взял шинель да, по присловью,

Смастерил себе постель,

Что под низ, и в изголовье,

И наверх, - и все - шинель.

Эх, суконная, казенная,

Военная шинель, -

У костра в лесу прожженная,

Отменная шинель.

Знаменитая, пробитая

В бою огнем врага

Да своей рукой зашитая, -

Кому не дорога!

Упадешь ли, как подкошенный,

Пораненный наш брат,

На шинели той поношенной

Снесут тебя в санбат.

А убьют - так тело мертвое

Твое с другими в ряд

Той шинелкою потертою

Укроют - спи, солдат!

Спи, солдат, при жизни краткой

Ни в дороге, ни в дому

Не пришлось поспать порядком

Ни с женой, ни одному...

На крыльцо хозяин вышел.

Той мне ночи не забыть.

- Ты чего?

- А я дровишек

Для хозяйки нарубить.

Вот не спится человеку,

Словно дома - на войне.

Зашагал на дровосеку,

Рубит хворост при луне.

Тюк да тюк. До света рубит.

Коротка солдату ночь.

Знать, жену жалеет, любит,

Да не знает, чем помочь.

Рубит, рубит. На рассвете

Покидает дом боец.

А под свет проснулись дети,

Поглядят - пришел отец.

Поглядят - бойцы чужие,

Ружья разные, ремни.

И ребята, как большие,

Словно поняли они.

И заплакали ребята.

И подумать было тут:

Может, нынче в эту хату

Немцы с ружьями войдут...

И доныне плач тот детский

В ранний час лихого дня

С той немецкой, с той зарецкой

Стороны зовет меня.

Я б мечтал не ради славы

Перед утром боевым,

Я б желал на берег правый,

Бой пройдя, вступить живым.

И скажу я без утайки,

Приведись мне там идти,

Я хотел бы к той хозяйке

Постучаться по пути.

Попросить воды напиться -

Не затем, чтоб сесть за стол,

А затем, чтоб поклониться

Доброй женщине простой.

Про хозяина ли спросит,

"Полагаю - жив, здоров".

Взять топор, шинелку сбросить,

Нарубить хозяйке дров.

Потому - хозяин-барин

Ничего нам не сказал.

Может, нынче землю парит,

За которую стоял...

Впрочем, что там думать, братцы,

Надо немца бить спешить.

Вот и все, что Теркин вкратце

Вам имеет доложить.

**ПЕРЕПРАВА**

Переправа, переправа!

Берег левый, берег правый,

Снег шершавый, кромка льда.,

Кому память, кому слава,

Кому темная вода, -

Ни приметы, ни следа.

Ночью, первым из колонны,

Обломав у края лед,

Погрузился на понтоны.

Первый взвод.

Погрузился, оттолкнулся

И пошел. Второй за ним.

Приготовился, пригнулся

Третий следом за вторым.

Как плоты, пошли понтоны,

Громыхнул один, другой

Басовым, железным тоном,

Точно крыша под ногой.

И плывут бойцы куда-то,

Притаив штыки в тени.

И совсем свои ребята

Сразу - будто не они,

Сразу будто не похожи

На своих, на тех ребят:

Как-то все дружней и строже,

Как-то все тебе дороже

И родней, чем час назад.

Поглядеть - и впрямь - ребята!

Как, по правде, желторот,

Холостой ли он, женатый,

Этот стриженый народ.

Но уже идут ребята,

На войне живут бойцы,

Как когда-нибудь в двадцатом

Их товарищи - отцы.

Тем путем идут суровым,

Что и двести лет назад

Проходил с ружьем кремневым

Русский труженик-солдат.

Мимо их висков вихрастых,

Возле их мальчишьих глаз

Смерть в бою свистела часто

И минет ли в этот раз?

Налегли, гребут, потея,

Управляются с шестом.

А вода ревет правее -

Под подорванным мостом.

Вот уже на середине

Их относит и кружит...

А вода ревет в теснине,

Жухлый лед в куски крошит,

Меж погнутых балок фермы

Бьется в пене и в пыли...

А уж первый взвод, наверно,

Достает шестом земли.

Позади шумит протока,

И кругом - чужая ночь.

И уже он так далеко,

Что ни крикнуть, ни помочь.

И чернеет там зубчатый,

За холодною чертой,

Неподступный, непочатый

Лес над черною водой.

Переправа, переправа!

Берег правый, как стена...

Этой ночи след кровавый

В море вынесла волна.

Было так: из тьмы глубокой,

Огненный взметнув клинок,

Луч прожектора протоку

Пересек наискосок.

И столбом поставил воду

Вдруг снаряд. Понтоны - в ряд.

Густо было там народу -

Наших стриженых ребят...

И увиделось впервые,

Не забудется оно:

Люди теплые, живые

Шли на дно, на дно, на дно..

Под огнем неразбериха -

Где свои, где кто, где связь?

Только вскоре стало тихо, -

Переправа сорвалась.

И покамест неизвестно,

Кто там робкий, кто герой,

Кто там парень расчудесный,

А наверно, был такой.

Переправа, переправа...

Темень, холод. Ночь как год.

Но вцепился в берег правый,

Там остался первый взвод.

И о нем молчат ребята

В боевом родном кругу,

Словно чем-то виноваты,

Кто на левом берегу.

Не видать конца ночлегу.

За ночь грудою взялась

Пополам со льдом и снегом

Перемешанная грязь.

И усталая с похода,

Что б там ни было, - жива,

Дремлет, скорчившись, пехота,

Сунув руки в рукава.

Дремлет, скорчившись, пехота,

И в лесу, в ночи глухой

Сапогами пахнет, потом,

Мерзлой хвоей и махрой.

Чутко дышит берег этот

Вместе с теми, что на том

Под обрывом ждут рассвета,

Греют землю животом, -

Ждут рассвета, ждут подмоги,

Духом падать не хотят.

Ночь проходит, нет дороги

Ни вперед и ни назад...

А быть может, там с полночи

Порошит снежок им в очи,

И уже давно

Он не тает в их глазницах

И пыльцой лежит на лицах -

Мертвым все равно.

Стужи, холода не слышат,

Смерть за смертью не страшна,

Хоть еще паек им пишет

Первой роты старшина,

Старшина паек им пишет,

А по почте полевой

Не быстрей идут, не тише

Письма старые домой,

Что еще ребята сами

На привале при огне

Где-нибудь в лесу писали

Друг у друга на спине...

Из Рязани, из Казани,

Из Сибири, из Москвы -

Спят бойцы.

Свое сказали

И уже навек правы.

И тверда, как камень, груда,

Где застыли их следы...

Может - так, а может - чудо?

Хоть бы знак какой оттуда,

И беда б за полбеды.

Долги ночи, жестки зори

В ноябре - к зиме седой.

Два бойца сидят в дозоре

Над холодною водой.

То ли снится, то ли мнится,

Показалось что невесть,

То ли иней на ресницах,

То ли вправду что-то есть?

Видят - маленькая точка

Показалась вдалеке:

То ли чурка, то ли бочка

Проплывает по реке?

- Нет, не чурка и не бочка -

Просто глазу маята.

- Не пловец ли одиночка?

- Шутишь, брат. Вода не та!

- Да, вода... Помыслить страшно.

Даже рыбам холодна.

- Не из наших ли вчерашних

Поднялся какой со дна?..

Оба разом присмирели.

И сказал один боец:

- Нет, он выплыл бы в шинели,

С полной выкладкой, мертвец.

Оба здорово продрогли,

Как бы ни было, - впервой.

Подошел сержант с биноклем.

Присмотрелся: нет, живой.

- Нет, живой. Без гимнастерки.

- А не фриц? Не к нам ли в тыл?

- Нет. А может, это Теркин? -

Кто-то робко пошутил.

- Стой, ребята, не соваться,

Толку нет спускать понтон.

- Разрешите попытаться?

- Что пытаться!

- Братцы, - он!

И, у заберегов корку

Ледяную обломав,

Он как он, Василий Теркин,

Встал живой, - добрался вплавь.

Гладкий, голый, как из бани,

Встал, шатаясь тяжело.

Ни зубами, ни губами

Не работает - свело.

Подхватили, обвязали,

Дали валенки с ноги.

Пригрозили, приказали -

Можешь, нет ли, а беги.

Под горой, в штабной избушке,

Парня тотчас на кровать

Положили для просушки,

Стали спиртом растирать.

Растирали, растирали...

Вдруг он молвит, как во сне:

- Доктор, доктор, а нельзя ли

Изнутри погреться мне,

Чтоб не все на кожу тратить?

Дали стопку - начал жить,

Приподнялся на кровати:

- Разрешите доложить...

Взвод на правом берегу

Жив-здоров назло врагу!

Лейтенант всего лишь просит

Огоньку туда подбросить.

А уж следом за огнем

Встанем, ноги разомнем.

Что там есть, перекалечим,

Переправу обеспечим...

Доложил по форме, словно

Тотчас плыть ему назад.

- Молодец! - сказал полковник.

Молодец! Спасибо, брат.

И с улыбкою неробкой

Говорит тогда боец:

- А еще нельзя ли стопку,

Потому как молодец?

Посмотрел полковник строго,

Покосился на бойца.

- Молодец, а будет много -

Сразу две.

- Так два ж конца...

Переправа, переправа!

Пушки бьют в кромешной мгле.

Бой идет святой и правый.

Смертный бой не ради славы,

Ради жизни на земле.

**О ВОЙНЕ**

- Разрешите доложить

Коротко и просто:

Я большой охотник жить

Лет до девяноста.

А война - про все забудь

И пенять не вправе.

Собирался в дальний путь,

Дан приказ: "Отставить!"

Грянул год, пришел черед,

Нынче мы в ответе

За Россию, за народ

И за все на свете.

От Ивана до Фомы,

Мертвые ль, живые,

Все мы вместе - это мы,

Тот народ, Россия.

И поскольку это мы,

То скажу вам, братцы,

Нам из этой кутерьмы

Некуда податься.

Тут не скажешь: я - не я,

Ничего не знаю,

Не докажешь, что твоя

Нынче хата с краю.

Не велик тебе расчет

Думать в одиночку.

Бомба - дура. Попадет

Сдуру прямо в точку.

На войне себя забудь,

Помни честь, однако,

Рвись до дела - грудь на грудь,

Драка - значит, драка.

И признать не премину,

Дам свою оценку,

Тут не то, что в старину, -

Стенкою на стенку.

Тут не то, что на кулак:

Поглядим, чей дюже, -

Я сказал бы даже так:

Тут гораздо хуже...

Ну, да что о том судить, -

Ясно все до точки.

Надо, братцы, немца бить,

Не давать отсрочки.

Раз война - про все забудь

И пенять не вправе,

Собирался в долгий путь,

Дан приказ: "Отставить!"

Сколько жил - на том конец,

От хлопот свободен.

И тогда ты - тот боец,

Что для боя годен.

И пойдешь в огонь любой,

Выполнишь задачу.

И глядишь - еще живой

Будешь сам в придачу.

А застигнет смертный час,

Значит, номер вышел.

В рифму что-нибудь про нас

После нас напишут.

Пусть приврут хоть во сто крат,

Мы к тому готовы,

Лишь бы дети, говорят,

Были бы здоровы...

**ТЕРКИН РАНЕН**

На могилы, рвы, канавы,

На клубки колючки ржавой,

На поля, холмы - дырявой,

Изувеченной земли,

На болотный лес корявый,

На кусты - снега легли.

И густой поземкой белой

Ветер поле заволок.

Вьюга в трубах обгорелых

Загудела у дорог.

И в снегах непроходимых

Эти мирные края

В эту памятную зиму

Орудийным пахли дымом,

Не людским дымком жилья.

И в лесах, на мерзлой груде,

По землянкам без огней,

Возле танков и орудий

И простуженных коней

На войне встречали люди

Долгий счет ночей и дней.

И лихой, нещадной стужи

Не бранили, как ни зла:

Лишь бы немцу было хуже,

О себе ли речь там шла!

И желал наш добрый парень:

Пусть померзнет немец-барин,

Немец-барин не привык,

Русский стерпит - он мужик.

Шумным хлопом рукавичным,

Топотней по целине

Спозаранку день обычный

Начинался на войне.

Чуть вился дымок несмелый,

Оживал костер с трудом,

В закоптелый бак гремела

Из ведра вода со льдом.

Утомленные ночлегом,

Шли бойцы из всех берлог

Греться бегом, мыться снегом,

Снегом жестким, как песок.

А потом - гуськом по стежке,

Соблюдая свой черед,

Котелки забрав и ложки,

К кухням шел за взводом взвод.

Суп досыта, чай до пота, -

Жизнь как жизнь.

И опять война - работа:

- Становись!

**x x x**

Вслед за ротой на опушку

Теркин движется с катушкой,

Разворачивает снасть, -

Приказали делать связь.

Рота головы пригнула.

Снег чернеет от огня.

Теркин крутит; - Тула, Тула!

Тула, слышишь ты меня?

Подмигнув бойцам украдкой:

Мол, у нас да не пойдет, -

Дунул в трубку для порядку,

Командиру подает.

Командиру все в привычку, -

Голос в горсточку, как спичку

Трубку книзу, лег бочком,

Чтоб поземкой не задуло.

Все в порядке.

- Тула, Тула,

Помогите огоньком...

Не расскажешь, не опишешь,

Что за жизнь, когда в бою

За чужим огнем расслышишь

Артиллерию свою.

Воздух круто завивая,

С недалекой огневой

Ахнет, ахнет полковая,

Запоет над головой.

А с позиций отдаленных,

Сразу будто бы не в лад,

Ухнет вдруг дивизионной

Доброй матушки снаряд.

И пойдет, пойдет на славу,

Как из горна, жаром дуть,

С воем, с визгом шепелявым

Расчищать пехоте путь,

Бить, ломать и жечь в окружку.

Деревушка? - Деревушку.

Дом - так дом. Блиндаж - блиндаж.

Врешь, не высидишь - отдашь!

А еще остался кто там,

Запорошенный песком?

Погоди, встает пехота,

Дай достать тебя штыком.

Вслед за ротою стрелковой

Теркин дальше тянет провод.

Взвод - за валом огневым,

Теркин с ходу - вслед за взводом,

Топит провод, точно в воду,

Жив-здоров и невредим.

Вдруг из кустиков корявых,

Взрытых, вспаханных кругом, -

Чох! - снаряд за вспышкой ржавой.

Теркин тотчас в снег - ничком.

Вдался вглубь, лежит - не дышит,

Сам не знает: жив, убит?

Всей спиной, всей кожей слышит,

Как снаряд в снегу шипит...

Хвост овечий - сердце бьется.

Расстается с телом дух.

"Что ж он, черт, лежит - не рвется,

Ждать мне больше недосуг".

Приподнялся - глянул косо.

Он почти у самых ног -

Гладкий, круглый, тупоносый,

И над ним - сырой дымок.

Сколько б душ рванул на выброс

Вот такой дурак слепой

Неизвестного калибра -

С поросенка на убой.

Оглянулся воровато,

Подивился - смех и грех:

Все кругом лежат ребята,

Закопавшись носом в снег.

Теркин встал, такой ли ухарь,

Отряхнулся, принял вид:

- Хватит, хлопцы, землю нюхать,

Не годится, - говорит.

Сам стоит с воронкой рядом

И у хлопцев на виду,

Обратясь к тому снаряду,

Справил малую нужду...

Видит Теркин погребушку -

Не оттуда ль пушка бьет?

Передал бойцам катушку:

- Вы - вперед. А я - в обход.

С ходу двинул в дверь гранатой.

Спрыгнул вниз, пропал в дыму.

- Офицеры и солдаты,

Выходи по одному!..

Тишина. Полоска света.

Что там дальше - поглядим.

Никого, похоже, нету.

Никого. И я один.

Гул разрывов, словно в бочке,

Отдается в глубине.

Дело дрянь: другие точки

Бьют по занятой. По мне.

Бьют неплохо, спору нету,

Добрым словом помяни

Хоть за то, что погреб этот

Прочно сделали они.

Прочно сделали, надежно -

Тут не то что воевать,

Тут, ребята, чай пить можно,

Стенгазету выпускать.

Осмотрелся, точно в хате:

Печка теплая в углу,

Вдоль стены идут полати,

Банки, склянки на полу.

Непривычный, непохожий

Дух обжитого жилья:

Табаку, одежи, кожи

И солдатского белья.

Снова сунутся? Ну что же,

В обороне нынче - я-.

На прицеле вход и выход,

Две гранаты под рукой.

Смолк огонь. И стало тихо.

И идут - один, другой...

Теркин, стой. Дыши ровнее.

Теркин, ближе подпусти.

Теркин, целься. Бей вернее,

Теркин. Сердце, не части.

Рассказать бы вам, ребята,

Хоть не верь глазам своим,

Как немецкого солдата

В двух шагах видал живым.

Подходил он в чем-то белом,

Наклонившись от огня,

И как будто дело делал:

Шел ко мне - убить меня.

В этот ровик, точно с печки,

Стал спускаться на заду...

Теркин, друг, не дай осечки.

Пропадешь, - имей в виду.

За секунду до разрыва,

Знать, хотел подать пример;

Прямо в ровик спрыгнул живо

В полушубке офицер.

И поднялся незадетый,

Цельный. Ждем за косяком.,

Офицер - из пистолета,

Теркин - в мягкое - штыком.

Сам присел, присел тихонько.

Повело его легонько.

Тронул правое плечо.

Ранен. Мокро. Горячо.

И рукой коснулся пола;

Кровь, - чужая иль своя?,

Тут как даст вблизи тяжелый,

Аж подвинулась земля!

Вслед за ним другой ударил,

И темнее стало вдруг.

"Это - наши, - понял парень, -

Наши бьют, - теперь каюк".

Оглушенный тяжким гулом,

Теркин никнет головой.

Тула, Тула, что ж ты, Тула,

Тут же свой боец живой.

Он сидит за стенкой дзота,

Кровь течет, рукав набряк.

Тула, Тула, неохота

Помирать ему вот так.

На полу в холодной яме

Неохота нипочем

Гибнуть с мокрыми ногами,

Со своим больным плечом.

Жалко жизни той, приманки,

Малость хочется пожить,

Хоть погреться на лежанке,

Хоть портянки просушить...

Теркин сник. Тоска согнула.

Тула, Тула... Что ж ты, Тула?

Тула, Тула. Это ж я...

Тула... Родина моя!..

**x x x**

А тем часом издалека,

Глухо, как из-под земли,

Ровный, дружный, тяжкий рокот

Надвигался, рос. С востока

Танки шли.

Низкогрудый, плоскодонный,

Отягченный сам собой,

С пушкой, в душу наведенной,

Стращен танк, идущий в бой.

А за грохотом и громом,

За броней стальной сидят,

По местам сидят, как дома,

Трое-четверо знакомых

Наших стриженых ребят.

И пускай в бою впервые,

Но ребята - свет пройди,

Ловят в щели смотровые

Кромку поля впереди.

Видят - вздыбился разбитый,

Развороченный накат.

Крепко бито. Цель накрыта.

Ну, а вдруг как там сидят!

Может быть, притих до срока

У орудия расчет?

Развернись машина боком -

Бронебойным припечет.

Или немец с автоматом,

Лезть наружу не дурак,

Там следит за нашим братом,

Выжидает. Как не так.

Двое вслед за командиром

Вниз - с гранатой - вдоль стены.

Тишина.- Углы темны...

- Хлопцы, занята квартира, -

Слышат вдруг из глубины.

Не обман, не вражьи шутки,

Голос вправдашный, родной:

- Пособите. Вот уж сутки

Точка данная за мной...

В темноте, в углу каморки,

На полу боец в крови.

Кто такой? Но смолкнул Теркин,

Как там хочешь, так зови.

Он лежит с лицом землистым,

Не моргнет, хоть глаз коли.

В самый срок его танкисты

Подобрали, повезли.

Шла машина в снежной дымке,

Ехал Теркин без дорог.

И держал его в обнимку

Хлопец - башенный стрелок.

Укрывал своей одежей,

Грел дыханьем. Не беда,

Что в глаза его, быть может,

Не увидит никогда...

Свет пройди, - нигде не сыщешь,

Не случалось видеть мне

Дружбы той святей и чище,

Что бывает на войне.

**О НАГРАДЕ**

- Нет, ребята, я не гордый.

Не загадывая вдаль,

Так скажу: зачем мне орден?

Я согласен на медаль.

На медаль. И то не к спеху.

Вот закончили б войну,

Вот бы в отпуск я приехал

На родную сторону.

Буду ль жив еще? - Едва ли.

Тут воюй, а не гадай.

Но скажу насчет медали:

Мне ее тогда подай.

Обеспечь, раз я достоин.

И понять вы все должны:

Дело самое простое -

Человек пришел с войны.

Вот пришел я с полустанка

В свой родимый сельсовет.

Я пришел, а тут гулянка.

Нет гулянки? Ладно, нет.

Я в другой колхоз и в третий -

Вся округа на виду.

Где-нибудь я в сельсовете

На гулянку попаду.

И, явившись на вечерку,

Хоть не гордый человек,

Я б не стал курить махорку,

А достал бы я "Казбек".

И сидел бы я, ребята,

Там как раз, друзья мои,

Где мальцом под лавку прятал

Ноги босые свои.

И дымил бы папиросой,

Угощал бы всех вокруг.

И на всякие вопросы

Отвечал бы я не вдруг.

- Как, мол, что? - Бывало всяко.

- Трудно все же? - Как когда.

- Много раз ходил в атаку?

- Да, случалось иногда.

И девчонки на вечерке

Позабыли б всех ребят,

Только слушали б девчонки,

Как ремни на мне скрипят.

И шутил бы я со всеми,

И была б меж них одна...

И медаль на это время

Мне, друзья, вот так нужна!

Ждет девчонка, хоть не мучай,

Слова, взгляда твоего...

- Но, позволь, на этот случай

Орден тоже ничего?

Вот сидишь ты на вечерке,

И девчонка - самый цвет.

- Нет, -сказал Василий Теркин

И вздохнул. И снова: - Нет.

Нет, ребята. Что там орден.

Не загадывая вдаль,

Я ж сказал, что я не гордый,

Я согласен на медаль.

**x x x**

Теркин, Теркин, добрый малый,

Что тут смех, а что печаль.

Загадал ты, друг, немало,

Загадал далеко вдаль.

Были листья, стали почки,

Почки стали вновь листвой.

А не носит писем почта

В край родной смоленский твой.

Где девчонки, где вечерки?

Где родимый сельсовет?

Знаешь сам, Василий Теркин,

Что туда дороги нет.

Нет дороги, нету права

Побывать в родном селе.

Страшный бой идет, кровавый,

Смертный бой не ради славы,

Ради жизни на земле.

**ГАРМОНЬ**

По дороге прифронтовой,

Запоясан, как в строю,

Шел боец в шинели новой,

Догонял свой полк стрелковый,

Роту первую свою.

Шел легко и даже браво

По причине по такой,

Что махал своею правой,

Как и левою рукой.

Отлежался. Да к тому же

Щелкал по лесу мороз,

Защемлял в пути все туже,

Подгонял, под мышки нес.

Вдруг - сигнал за поворотом,

Дверцу выбросил шофер,

Тормозит:

- Садись, пехота,

Щеки снегом бы натер.

Далеко ль?

- На фронт обратно.

Руку вылечил.

- Понятно.

Не герой?

- Покамест нет.

- Доставай тогда кисет.

Курят, едут. Гроб - дорога.

Меж сугробами - туннель.

Чуть ли что, свернешь немного,

Как свернул - снимай шинель.

- Хорошо - как есть лопата.

- Хорошо, а то беда.

- Хорошо - свои ребята.

- Хорошо, да как когда.

Грузовик гремит трехтонный,

Вдруг колонна впереди.

Будь ты пеший или конный,

А с машиной - стой и жди.

С толком пользуйся стоянкой.

Разговор - не разговор.

Наклонился над баранкой, -

Смолк шофер,

Заснул шофер.

Сколько суток полусонных,

Сколько верст в пурге слепой

На дорогах занесенных

Он оставил за гобой...

От глухой лесной опушки

До невидимой реки -

Встали танки, кухни, пушки,

Тягачи, грузовики,

Легковые - криво, косо,

В ряд, не вряд, вперед-назад,

Гусеницы и колеса

На снегу еще визжат.

На просторе ветер резок,

Зол мороз вблизи железа,

Дует в душу, входит в грудь -

Не дотронься как-нибудь.

- Вот беда: во всей колонне

Завалящей нет гармони,

А мороз - ни стать, ни сесть...

Снял перчатки, трет ладони,

Слышит вдруг:

- Гармонь-то есть.

Уминая снег зернистый,

Впеременку - пляс не пляс -

Возле танка два танкиста

Греют ноги про запас.

- У кого гармонь, ребята?

- Да она-то здесь, браток...-

Оглянулся виновато

На водителя стрелок.

- Так сыграть бы на дорожку?

- Да сыграть - оно не вред.

- В чем же дело? Чья гармошка?

- Чья была, того, брат, нет...

И сказал уже водитель

Вместо друга своего:

- Командир наш был любитель...

Схоронили мы его.

- Так...- С неловкою улыбкой

Поглядел боец вокруг,

Словно он кого ошибкой,

Нехотя обидел вдруг.

Поясняет осторожно,

Чтоб на том покончить речь:

- Я считал, сыграть-то можно,

Думал, что ж ее беречь.

А стрелок:

- Вот в этой башне

Он сидел в бою вчерашнем...

Трое - были мы друзья.

- Да нельзя так уж нельзя.

Я ведь сам понять умею,

Я вторую, брат, войну...

И ранение имею,

И контузию одну.

И опять же - посудите -

Может, завтра - с места в бой...

- Знаешь что, - сказал водитель, -

Ну, сыграй ты, шут с тобой.

Только взял боец трехрядку,

Сразу видно - гармонист.

Для началу, для порядку

Кинул пальцы сверху вниз.

Позабытый деревенский

Вдруг завел, глаза закрыв,

Стороны родной смоленской

Грустный памятный мотив,

И от той гармошки старой,

Что осталась сиротой,

Как-то вдруг теплее стало

На дороге фронтовой.

От машин заиндевелых

Шел народ, как на огонь.

И кому какое дело,

Кто играет, чья гармонь.

Только двое тех танкистов,

Тот водитель и стрелок,

Все глядят на гармониста -

Словно что-то невдомек.

Что-то чудится ребятам,

В снежной крутится пыли.

Будто виделись когда-то,

Словно где-то подвезли...

И, сменивши пальцы быстро,

Он, как будто на заказ,

Здесь повел о трех танкистах,

Трех товарищах рассказ.

Не про них ли слово в слово,

Не о том ли песня вся.

И потупились сурово

В шлемах кожаных друзья.

А боец зовет куда-то,

Далеко, легко ведет.

- Ах, какой вы все, ребята,

Молодой еще народ.

Я не то еще сказал бы, -

Про себя поберегу.

Я не так еще сыграл бы, -

Жаль, что лучше не могу.

Я забылся на минутку,

Заигрался на ходу,

И давайте я на шутку

Это все переведу.

Обогреться, потолкаться

К гармонисту все идут.

Обступают.

- Стойте, братцы,

Дайте на руки подуть.

- Отморозил парень пальцы, -

Надо помощь скорую.

- Знаешь, брось ты эти вальсы,

Дай-ка ту, которую...

И опять долой перчатку,

Оглянулся молодцом

И как будто ту трехрядку

Повернул другим концом.

И забыто - не забыто,

Да не время вспоминать,

Где и кто лежит убитый

И кому еще лежать.

И кому траву живому

На земле топтать потом,

До жены прийти, до дому, -

Где жена и где тот дом?

Плясуны на пару пара

С места кинулися вдруг.

Задышал морозным паром,

Разогрелся тесный круг.

- Веселей кружитесь, дамы!

На носки не наступать!

И бежит шофер тот самый,

Опасаясь опоздать.

Чей кормилец, чей поилец,

Где пришелся ко двору?

Крикнул так, что расступились:

- Дайте мне, а то помру!..

И пошел, пошел работать,

Наступая и грозя,

Да как выдумает что-то,

Что и высказать нельзя.

Словно в праздник на вечерке

Половицы гнет в избе,

Прибаутки, поговорки

Сыплет под ноги себе.

Подает за штукой штуку:

- Эх, жаль, что нету стуку,

Эх, друг,

Кабы стук,

Кабы вдруг -

Мощеный круг!

Кабы валенки отбросить,

Подковаться на каблук,

Припечатать так, чтоб сразу

Каблуку тому - каюк!

А гармонь зовет куда-то,

Далеко, легко ведет...

Нет, какой вы все, ребята,

Удивительный народ.

Хоть бы что ребятам этим,

С места - в воду и в огонь.

Все, что может быть на свете,

Хоть бы что - гудит гармонь.

Выговаривает чисто,

До души доносит звук.

И сказали два танкиста

Гармонисту:

- Знаешь, друг...

Не знакомы ль мы с тобою?

Не тебя ли это, брат,

Что-то помнится, из боя

Доставляли мы в санбат?,

Вся в крови была одежа,

И просил ты пить да пить...

Приглушил гармонь:

- Ну что же,

Очень даже может быть.

- Нам теперь стоять в ремонте.

У тебя маршрут иной.

- Это точно...

- А гармонь-то,

Знаешь что, - бери с собой.

Забирай, играй в охоту,

В этом деле ты мастак,

Весели свою пехоту.

- Что вы, хлопцы, как же так?..

- Ничего, -сказал водитель, -

Так и будет. Ничего.

Командир наш был любитель,

Это - память про него...

И с опушки отдаленной

Из-за тысячи колес

Из конца в конец колонны:

"По машинам!" - донеслось.

И опять увалы, взгорки,

Снег да елки с двух сторон...

Едет дальше Вася Теркин, -

Это был, конечно, он.

**ДВА СОЛДАТА**

В поле вьюга-завируха,

В трех верстах гудит война.

На печи в избе старуха,

Дед-хозяин у окна.

Рвутся мины. Звук знакомый

Отзывается в спине.

Это значит - Теркин дома,

Теркин снова на войне.

А старик как будто ухом

По привычке не ведет.

- Перелет! Лежи, старуха. -

Или скажет:

- Недолет...

На печи, забившись в угол,

Та следит исподтишка

С уважительным испугом

За повадкой старика,

С кем жила - не уважала,

С кем бранилась на печи,

От кого вдали держала

По хозяйству все ключи.

А старик, одевшись в шубу

И в очках подсев к столу,

Как от клюквы, кривит губы -

Точит старую пилу.

- Вот не режет, точишь, точишь,

Не берет, ну что ты хочешь!.. -

Теркин встал:

- А может, дед,

У нее развода нет?

Сам пилу берет:

- А ну-ка...-

И в руках его пила,

Точно поднятая щука,

Острой спинкой повела.

Повела, повисла кротко.

Теркин щурится:

- Ну, вот.

Поищи-ка, дед, разводку,

Мы ей сделаем развод.

Посмотреть - и то отрадно:

Завалящая пила

Так-то ладно, так-то складно

У него в руках прошла.

Обернулась - и готово.

- На-ко, дед, бери, смотри.

Будет резать лучше новой,

Зря инстрУмент не кори.

И хозяин виновато

У бойца берет пилу.

- Вот что значит мы, солдаты, -

Ставит бережно в углу.

А старуха:

- Слаб глазами.

Стар годами мой солдат.

Поглядел бы, что с часами,

С той войны еще стоят...,

Снял часы, глядит: машина,

Точно мельница, в пыли.

Паутинами пружины

Пауки обволокли.

Их повесил в хате новой

Дед-солдат давным-давно:

На стене простой сосновой

Так и светится пятно.

Осмотрев часы детально, -

Все ж часы, а не пила, -

Мастер тихо и печально

Посвистел:

- Плохи дела...

Но куда-то шильцем сунул,

Что-то высмотрел в пыли,

Внутрь куда-то дунул, плюнул, -

Что ты думаешь, - пошли!

Крутит стрелку, ставит пятый,

Час - другой, вперед - назад.

- Вот что значит мы, солдаты.

Прослезился дед-солдат.

Дед растроган, а старуха,

Отслонив ладонью ухо,

С печки слушает:

- Идут!

- Ну и парень, ну и шут...

Удивляется. А парень

Услужить еще не прочь.

- Может, сало надо жарить?

Так опять могу помочь.

Тут старуха застонала:

- Сало, сало! Где там сало...

Теркин:

- Бабка, сало здесь.

Не был немец - значит, есть!

И добавил, выжидая,

Глядя под ноги себе:

- Хочешь, бабка, угадаю,

Где лежит оно в избе?

Бабка охнула тревожно,

Завозилась на печи.

- Бог с тобою, разве можно...

Помолчи уж, помолчи.

А хозяин плутовато

Гостя под локоть тишком:

- Вот что значит мы, солдаты,

А ведь сало под замком.

Ключ старуха долго шарит,

Лезет с печки, сало жарит

И, страдая до конца,

Разбивает два яйца.

Эх, яичница! Закуски

Нет полезней и прочней.

Полагается по-русски

Выпить чарку перед ней.

- Ну, хозяин, понемножку,

По одной, как на войне.

Это доктор на дорожку

Для здоровья выдал мне.

Отвинтил у фляги крышку:

- Пей, отец, не будет лишку.

Поперхнулся дед-солдат.

Подтянулся:

- Виноват!..

Крошку хлебушка понюхал.

Пожевал - и сразу сыт.

А боец, тряхнув над ухом

Тою флягой, говорит:

- Рассуждая так ли, сяк ли,

Все равно такою каплей

Не согреть бойца в бою.

Будьте живы!

- Пейте.

- Пью...

И сидят они по-братски

За столом, плечо в плечо.

Разговор ведут солдатский,

Дружно спорят, горячо.

Дед кипит:

- Позволь, товарищ.

Что ты валенки мне хвалишь?

Разреши-ка доложить.

Хороши? А где сушить?

Не просушишь их в землянке,

Нет, ты дай-ка мне сапог,

Да суконные портянки

Дай ты мне - тогда я бог!

Снова где-то на задворках

Мерзлый грунт боднул снаряд.

Как ни в чем - Василий Теркин,

Как ни в чем - старик солдат.

- Эти штуки в жизни нашей, -

Дед расхвастался, - пустяк!

Нам осколки даже в каше

Попадались. Точно так.

Попадет, откинешь ложкой,

А в тебя - так и мертвец.

- Но не знали вы бомбежки,

Я скажу тебе, отец.

- Это верно, тут наука,

Тут напротив не попрешь.

А скажи, простая штука

Есть у вас?

- Какая?

- Вошь.

И, макая в сало коркой,

Продолжая ровно есть,

Улыбнулся вроде Теркин

И сказал

- Частично есть...

- Значит, есть? Тогда ты - воин,

Рассуждать со мной достоин.

Ты - солдат, хотя и млад,

А солдат солдату - брат.

И скажи мне откровенно,

Да не в шутку, а всерьез.

С точки зрения военной

Отвечай на мой вопрос.

Отвечай: побьем мы немца

Или, может, не побьем?

- Погоди, отец, наемся,

Закушу, скажу потом.

Ел он много, но не жадно,

Отдавал закуске честь,

Так-то ладно, так-то складно,

Поглядишь - захочешь есть.

Всю зачистил сковородку,

Встал, как будто вдруг подрос,

И платочек к подбородку,

Ровно сложенный, поднес.

Отряхнул опрятно руки

И, как долг велит в дому,

Поклонился и старухе

И солдату самому.

Молча в путь запоясался,

Осмотрелся - все ли тут?

Честь по чести распрощался,

На часы взглянул: идут!

Все припомнил, все проверил,

Подогнал и под конец

Он вздохнул у самой двери

И сказал:

- Побьем, отец...

В поле вьюга-завируха,

В трех верстах гремит война.

На печи в избе - старуха.

Дед-хозяин у окна.

В глубине родной России,

Против ветра, грудь вперед,

По снегам идет Василий

Теркин. Немца бить идет.

**О ПОТЕРЕ**

Потерял боец кисет,

Заискался, - нет и нет.

Говорит боец:

- Досадно.

Столько вдруг свалилось бед:

Потерял семью. Ну, ладно.

Нет, так нА тебе - кисет!

Запропастился куда-то,

Хвать-похвать, пропал и след.

Потерял и двор и хату.

Хорошо. И вот - кисет.

Кабы годы молодые,

А не целых сорок лет...

Потерял края родные,

Все на свете и кисет.

Посмотрел с тоской вокруг:

- Без кисета, как без рук.

В неприютном школьном доме

Мужики, не детвора.

Не за партой - на соломе,

Перетертой, как кострА.

Спят бойцы, кому досуг.

Бородач горюет вслух:

- Без кисета у махорки

Вкус не тот уже. Слаба!

Вот судьба, товарищ Теркин.-

Теркин:

- Что там за судьба!

Так случиться может с каждым, -

Возразил бородачу, -

Не такой со мной однажды

Случай был. И то молчу.

И молчит, сопит сурово.

Кое-где привстал народ.

Из мешка из вещевого

Теркин шапку достает.

Просто шапку меховую,

Той подругу боевую,

Что сидит на голове.

Есть одна. Откуда две?

- Привезли меня на танке, -

Начал Теркин, - сдали с рук.

Только нет моей ушанки,

Непорядок чую вдруг.

И не то чтоб очень зябкий, -

Просто гордость у меня.

Потому, боец без шапки -.

Не боец. Как без ремня.

А девчонка перевязку

Нежно делает, с опаской,

И, видать, сама она

В этом деле зелена.

- Шапку, шапку мне, иначе

Не поеду! - Вот дела.

Так кричу, почти что плачу,

Рана трудная была.

А она, девчонка эта,

Словно "баюшки-баю":

- Шапки вашей, - молвит, -нету,

Я вам шапку дам свою.

Наклонилась и надела.

- Не волнуйтесь, - говорит

И своей ручонкой белой

Обкололась: был небрит.

Сколько в жизни всяких шапок

Я носил уже - не счесть,

Но у этой даже запах

Не такой какой-то есть...

- Ишь ты, выдумал примету.

- Слышал звон издалека.

- А зачем ты шапку эту

Сохраняешь?

- Дорога.

Дорога бойцу, как память.

А еще сказать могу

По секрету, между нами, -

Шапку с целью берегу.

И в один прекрасный вечер

Вдруг случится разговор:

"Разрешите вам при встрече

Головной вручить убор..."

Сам привстал Василий с места

И под смех бойцов густой,

Как на сцене, с важным жестом

Обратился будто к той,

Что пять слов ему сказала,

Что таких ребят, как он,

За войну перевязала,

Может, целый батальон.

- Ишь, какие знает речи,

Из каких политбесед:

"Разрешите вам при встрече..."

Вон тут что. А ты - кисет.

- Что ж, понятно, холостому

Много лучше на войне:

Нет тоски такой по дому,

По детишкам, по жене.

- Холостому? Это точно.

Это ты как угадал.

Но поверь, что я нарочно

Не женился. Я, брат, знал!

- Что ты знал! Кому другому

Знать бы лучше наперед,

Что уйдет солдат из дому,

А война домой придет.

Что пройдет она потопом

По лицу земли живой

И заставит рыть окопы

Перед самою Москвой.

Что ты знал!..

- А ты постой-ка,

Не гляди, что с виду мал,

Я не столько,

Не полстолько, -

Четверть столько! -

Только знал.

- Ничего, что я в колхозе,

Не в столице курс прошел.

Жаль, гармонь моя в обозе,

Я бы лекцию прочел.

Разреши одно отметить,

Мой товарищ и сосед:

Сколько лет живем на свете?

Двадцать пять! А ты -

кисет.

Бородач под смех и гомон

Роет вновь труху-солому,

Перещупал все вокруг:

- Без кисета, как без рук...

- Без кисета, несомненно,

Ты боец уже не тот.

Раз кисет - предмет военный,

На-ко мой, не подойдет?

Принимай, я - добрый парень.

Мне не жаль. Не пропаду.

Мне еще пять штук подарят

В наступающем году,

Тот берет кисет потертый,,

Как дитя, обновке рад...

И тогда Василий Теркин

Словно вспомнил:

- Слушай, брат,

Потерять семью не стыдно -

Не твоя была вина.

Потерять башку - обидно,

Только что ж, на то война.

Потерять кисет с махоркой,

Если некому пошить, -

Я не спорю, - тоже горько,

Тяжело, но можно жить,

Пережить беду-проруху,

В кулаке держать табак,

Но Россию, мать-старуху,

Нам терять нельзя никак.

Наши деды, наши дети,

Наши внуки не велят.

Сколько лет живем на свете?

Тыщу?.. Больше! То-то, брат!

Сколько жить еще на свете, -

Год, иль два, иль тащи лет, -

Мы с тобой за все в ответе.

То-то, врат! А ты - кисет...

**ПОЕДИНОК**

Немец был силен и ловок,

Ладно скроен, крепко сшит,

Он стоял, как на подковах,

Не пугай - не побежит.

Сытый, бритый, береженый,

Дармовым добром кормленный,

На войне, в чужой земле

Отоспавшийся в тепле.

Он ударил, не стращая,

Бил, чтоб сбить наверняка.

И была как кость большая

В русской варежке рука...

Не играл со смертью в прятки, -

Взялся - бейся и молчи, -

Теркин знал, что в этой схватке

Он слабей: не те харчи.

Есть войны закон не новый:

В отступленье - ешь ты вдоволь,

В обороне - так ли сяк,

В наступленье - натощак.

Немец стукнул так, что челюсть

Будто вправо подалась.

И тогда боец, не целясь,

Хряснул немца промеж глаз.

И еще на снег не сплюнул

Первой крови злую соль,

Немец снова в санки сунул

С той же силой, в ту же боль.

Так сошлись, сцепились близко,

Что уже обоймы, диски,

Автоматы - к черту, прочь!

Только б нож и мог помочь.

Бьются двое в клубах пара,

Об ином уже не речь, -

Ладит Теркин от удара

Хоть бы зубы заберечь.

Но покуда Теркин санки

Сколько мог

В бою берег,

Двинул немец, точно штангой,

Да не в санки,

А под вздох.

Охнул Теркин: плохо дело,

Плохо, думает боец.

Хорошо, что легок телом -

Отлетел. А то б - конец...

Устоял - и сам с испугу

Теркин немцу дал леща,

Так что собственную руку

Чуть не вынес из плеча.

Черт с ней! Рад, что не промазал,

Хоть зубам не полон счет,

Но и немец левым глазом

Наблюденья не ведет.

Драка - драка, не игрушка!

Хоть огнем горит лицо,

Но и немец красной юшкой

Разукрашен, как яйцо.

Вот он-в полвершке - противник.

Носом к носу. Теснота.

До чего же он противный -

Дух у немца изо рта.

Злобно Теркин сплюнул кровью,

Ну и запах! Валит с ног.

Ах ты, сволочь, для здоровья,

Не иначе, жрешь чеснок!

Ты куда спешил - к хозяйке?

Матка, млеко? Матка, яйки?

Оказать решил нам честь?

Подавай! А кто ты есть,

Кто ты есть, что к нашей бабке

Заявился на порог,

Не спросясь, не скинув шапки

И не вытерши сапог?

Со старухой сладить в силе?

Подавай! Нет, кто ты есть,

Что должны тебе в России

Подавать мы пить и есть?

Не калека ли убогий,

Или добрый человек --

Заблудился

По дороге,

Попросился

На ночлег?

Добрым людям люди рады.

Нет, ты сам себе силен,

Ты наводишь

Свой порядок.

Ты приходишь -

Твой закон.

Кто ж ты есть? Мне толку нету,

Чей ты сын и чей отец.

Человек по всем приметам, -

Человек ты? Нет. Подлец!

Двое топчутся по кругу,

Словно пара на кругу,

И глядят в глаза друг другу:

Зверю - зверь и враг - врагу.

Как на древнем поле боя,

Грудь на грудь, что щит на щит, -

Вместо тысяч бьются двое,

Словно схватка все решит.

А вблизи от деревушки,

Где застал их свет дневной,

Самолеты, танки, пушки

У обоих за спиной.

Но до боя нет им дела,

И ни звука с тех сторон.

В одиночку - грудью, телом

Бьется Теркин, держит фронт.

На печальном том задворке,

У покинутых дворов

Держит фронт Василий Теркин,

В забытьи глотая кровь.

Бьется насмерть парень бравый,

Так что дым стоит сырой,

Словно вся страна-держава

Видит Теркина:

- Герой!

Что страна! Хотя бы рота

Видеть издали могла,

Какова его работа

И какие тут дела.

Только Теркин не в обиде.

Не затем на смерть идешь,

Чтобы кто-нибудь увидел.

Хорошо б. А нет - ну что ж...

Бьется насмерть парень бравый -

Так, как бьются на войне.

И уже рукою правой

Он владеет не вполне.

Кость гудит от раны старой,

И ему, чтоб крепче бить,

Чтобы слева класть удары,

Хорошо б левшою быть.

Бьется Теркин,

В драке зоркий,

Утирает кровь и пот.

Изнемог, убился Теркин,

Но и враг уже не тот.

Далеко не та заправка,

И побита морда вся,

Словно яблоко-полявка,

Что иначе есть нельзя.

Кровь - сосульками. Однако

В самый жар вступает драка.

Немец горд.

И Теркин горд.

- Раз ты пес, так я - собака,

Раз ты черт,

Так сам я - черт!

Ты не знал мою натуру,

А натура - первый сорт.

В клочья шкуру -

Теркин чуру

Не попросит. Вот где черт!

Кто одной боится смерти -

Кто плевал на сто смертей.

Пусть ты черт. Да наши черти

Всех чертей

В сто раз чертей.

Бей, не милуй. Зубы стисну,

А убьешь, так и потом

На тебе, как клещ, повисну,

Мертвый буду на живом.

Отоспись на мне, будь ласков,

Да свали меня вперед.

Ах, ты вон как! Драться каской?

Ну не подлый ли народ!

Хорошо же! -

И тогда-то,

Злость и боль забрав в кулак,

Незаряженной гранатой

Теркин немца - с левой - шмяк!

Немец охнул и обмяк...

Теркин ворот нараспашку,

Теркин сел, глотает снег,

Смотрит грустно, дышит тяжко, -

Поработал человек.

Хорошо, друзья, приятно,

Сделав дело, ко двору -

В батальон идти обратно

Из разведки поутру.

По земле ступать советской,

Думать - мало ли о чем!

Автомат нести немецкий,

Между прочим, за плечом.

"Языка" - добычу ночи, -

Что идет, куда не хочет,

На три шага впереди

Подгонять:

- Иди, иди...

Видеть, знать, что каждый встречный-

Поперечный - это свой.

Не знаком, а рад сердечно,

Что вернулся ты живой.

Доложить про все по форме,

Сдать трофеи не спеша.

А потом тебя покормят, -

Будет мерою душа.

Старшина отпустит чарку,

Строгий глаз в нее кося.

А потом у печки жаркой

Ляг, поспи. Война не вся.

Фронт налево, фронт направо,

И в февральской вьюжной мгле

Страшный бой идет, кровавый,

Смертный бой не ради славы,

Ради жизни на земле.

**ОТ АВТОРА**

Сто страниц минуло в книжке,

Впереди - не близкий путь.

Стой-ка, брат. Без передышки

Невозможно. Дай вздохнуть.

Дай вздохнуть, возьми в догадку:

Что теперь, что в старину -

Трудно слушать по порядку

Сказку длинную одну

Все про то же - про войну.

Про огонь, про снег, про танки,

Про землянки да портянки,

Про портянки да землянки,

Про махорку и мороз...

Вот уж нынче повелось:

Рыбаку лишь о путине,

Печнику дудят о глине,

Леснику о древесине,

Хлебопеку о квашне,

Коновалу о коне,

А бойцу ли, генералу -

Не иначе - о войне.

О войне - оно понятно,

Что война. А суть в другом:

Дай с войны прийти обратно

При победе над врагом.

Учинив за все расплату,

Дай вернуться в дом родной

Человеку. И тогда-то

Сказки нет ему иной.

И тогда ему так сладко

Будет слушать по порядку

И подробно обо всем,

Что изведано горбом,

Что исхожено ногами,

Что испытано руками,

Что повидано в глаза

И о чем, друзья, покамест

Все равно - всего нельзя...

Мерзлый грунт долби, лопата,

Танк - дави, греми - граната,

Штык - работай, бомба - бей.

На войне душе солдата

Сказка мирная милей.

Друг-читатель, я ли спорю,

Что войны милее жизнь?

Да война ревет, как море,

Грозно в дамбу упершись.

Я одно скажу, что нам бы

Поуправиться с войной,

Отодвинуть эту дамбу

За предел земли родной.

А покуда край обширный

Той земли родной - в плену,

Я - любитель жизни мирной -

На войне пою войну.

Что ж еще? И все, пожалуй,

Та же книга про бойца,

Без начала, без конца,

Без особого сюжета,

Впрочем, правде не во вред,

На войне сюжета нету,

- Как так нету?

- Так вот, нет.

Есть закон - служить до срока,

Служба - труд, солдат - не гость.

Есть отбой - уснул глубоко,

Есть подъем - вскочил, как гвоздь.

Есть война - солдат воюет,

Лют противник - сам лютует.

Есть сигнал: вперед!.. - Вперед.

Есть приказ: умри!.. - Умрет.

На войне ни дня, ни часа

Не живет он без приказа,

И не может испокон

Без приказа командира

Ни сменить свою квартиру,

Ни сменить портянки он.

Ни жениться, ни влюбиться

Он не может, - нету прав,

Ни уехать за границу

От любви, как бывший граф.

Если в песнях и поется,

Разве можно брать в расчет,

Что герой мой у колодца,

У каких-нибудь ворот,

Буде случай подвернется,

Чью-то долю ущипнет?

А еще добавим к слову;

Жив-здоров герой пока,

Но отнюдь не заколдован

От осколка-дурака,

От любой дурацкой пули,

Что, быть может, наугад,

Как пришлось, летит вслепую,

Подвернулся, - точка, брат.

Ветер злой навстречу пышет,

Жизнь, как веточку, колышет,

Каждый день и час грозя.

Кто доскажет, кто дослышит -

Угадать вперед нельзя,

И до той глухой разлуки,

Что бывает на войне,

Рассказать еще о друге

Кое-что успеть бы мне,

Тем же ладом, тем же рядом,

Только стежкою иной.

Пушки к бою едут задом, -

Это сказано не мной.

**"КТО СТРЕЛЯЛ?"**

Отдымился бой вчерашний,

Высох пот, металл простыл.

От окопов пахнет пашней,

Летом мирным и простым.

В полверсте, в кустах - противник,

Тут шагам и пядям счет.

Фронт. Война. А вечер дивный

По полям пустым идет.

По следам страды вчерашней,

По немыслимой тропе;

По ничьей, помятой, зряшной

Луговой, густой траве;

По земле, рябой от рытвин,

Рваных ям, воронок, рвов,

Смертным зноем жаркой битвы

Опаленных у краев...

И откуда по пустому

Долетел, донесся звук,

Добрый, давний и знакомый

Звук вечерний. Майский жук!

И ненужной горькой лаской

Растревожил он ребят,

Что в росой покрытых касках

По окопчикам сидят,

И такой тоской родною

Сердце сразу обволок!

Фронт, война. А тут иное:

Выводи коней в ночное,

Торопись на "пятачок".

Отпляшись, а там сторонкой

Удаляйся в березняк,

Провожай домой девчонку

Да целуй - не будь дурак,

Налегке иди обратно,

Мать заждалася...

И вдруг -

Вдалеке возник невнятный,

Новый, ноющий, двукратный,

Через миг уже понятный

И томящий душу звук.

Звук тот самый, при котором

В прифронтовой полосе

Поначалу все шоферы

Разбегались от шоссе.

На одной постылой ноте

Ноет, воет, как в трубе.

И бежать при всей охоте

Не положено тебе.

Ты, как гвоздь, на этом взгорке

Вбился в землю. Не тоскуй.

Ведь - согласно поговорке -

Это малый сабантуй...

Ждут, молчат, глядят ребята,

Зубы сжав, чтоб дрожь унять.

И, как водится, оратор

Тут находится под стать,

С удивительной заботой

Подсказать тебе горазд:

- Вот сейчас он с разворота

И начнет. И жизни даст,

Жизни даст!

Со страшным ревом

Самолет ныряет вниз,

И сильнее нету слова

Той команды, что готова

На устах у всех;

- Ложись!..

Смерть есть смерть. Ее прихода

Все мы ждем по старине.

А в какое время года

Легче гибнуть на войне?

Летом солнце греет жарко,

И вступает в полный цвет

Все кругом. И жизни жалко

До зарезу. Летом - нет.

В осень смерть под стать картине,

В сон идет природа вся.

Но в грязи, в окопной глине

Вдруг загнуться? Нет, друзья...

А зимой - земля, как камень,

На два метра глубиной,

Привалит тебя комками, -,

Нет уж, ну ее - зимой.

А весной, весной... Да где там,

Лучше скажем наперед:

Если горько гибнуть летом,

Если осенью - не мед,

Если в зиму дрожь берет,

То весной, друзья, от этой

Подлой штуки - душу рвет.

И какой ты вдруг покорный

На груди лежишь земной,

Заслонясь от смерти черной

Только собственной спиной.

Ты лежишь ничком, парнишка

Двадцати неполных лет.

Вот сейчас тебе и крышка,

Вот тебя уже и нет.

Ты прижал к вискам ладони,

Ты забыл, забыл, забыл,

Как траву щипали кони,

Что в ночное ты водил.

Смерть грохочет в перепонках,

И далек, далек, далек

Вечер тот и та девчонка,

Что любил ты и берег.

И друзей и близких лица,

Дом родной, сучок в стене...

Нет, боец, ничком молиться

Не годится на войне.

Нет, товарищ, зло и гордо,

Как закон велит бойцу,

Смерть встречай лицом к лицу,

И хотя бы плюнь ей в морду,

Если все пришло к концу...

Ну-ка, что за перемена?

То не шутки - бой идет.

Встал один и бьет с колена

Из винтовки в самолет.

Трехлинейная винтовка

На брезентовом ремне,

Да патроны с той головкой,

Что страшна стальной броне.

Бой неравный, бой короткий,

Самолет чужой, с крестом,

Покачнулся, точно лодка,

Зачерпнувшая бортом.

Накренясь, пошел по кругу,

Кувыркается над лугом, -

Не задерживай - давай,

В землю штопором въезжай!

Сам стрелок глядит с испугом:

Что наделал невзначай.

Скоростной, военный, черный,

Современный, двухмоторный -

Самолет - стальная снасть -

Ухнул в землю, завывая,

Шар земной пробить желая

И в Америку попасть,

- Не пробил, старался слабо.

- Видно, место прогадал.

- Кто стрелял? - звонят из штаба, -

Кто стрелял, куда попал?

Адъютанты землю роют,

Дышит в трубку генерал.

- Разыскать тотчас героя,

Кто стрелял?

А кто стрелял?

Кто не спрятался в окопчик,

Поминая всех родных,

Кто он - свой среди своих -

Не зенитчик и не летчик,

А герой - не хуже их?

Вот он сам стоит с винтовкой,

Вот поздравили его.

И как будто всем неловко -

Неизвестно отчего.

Виноваты, что ль, отчасти?

И сказал сержант спроста:

- Вот что значит парню счастье,

Глядь - и орден, как с куста!

Не промедливши с ответом,

Парень сдачу подает:

- Не горюй, у немца этот -

Не последний самолет...

С этой шуткой-поговоркой,

Облетевшей батальон,

Перешел в герои Теркин, -

Это был, понятно, он.

**О ГЕРОЕ**

- Нет, поскольку о награде

Речь опять зашла, друзья,

То уже не шутки ради

Кое-что добавлю я.

Как-то в госпитале было.

День лежу, лежу второй.

Кто-то смотрит мне в затылок,

Погляжу, а то - герой.

Сам собой, сказать, - мальчишка,

Недолеток-стригунок.

И мутит меня мыслишка:

Вот он мог, а я не мог...

Разговор идет меж нами,

И спроси я с первых слов:

- Вы откуда родом сами -

Не из наших ли краев?

Смотрит он:

- А вы откуда? -

Отвечаю:

- Так и так,

Сам как раз смоленский буду,

Может, думаю, земляк?

Аж привстал герой:

- Ну что вы,

Что вы, - вскинул головой, -

Я как раз из-под Тамбова, -

И потрогал орден свой.

И умолкнул. И похоже,

Подчеркнуть хотел он мне,

Что таких, как он, не может

Быть в смоленской стороне;

Что уж так они вовеки

Различаются места,

Что у них ручьи и реки

И сама земля не та,

И полянки, и пригорки,

И козявки, и жуки...

И куда ты, Васька Теркин,

Лезешь сдуру в земляки!

Так ли, нет - сказать, - не знаю,

Только мне от мысли той

Сторона моя родная

Показалась сиротой,

Сиротинкой, что не видно

На народе, на кругу...

Так мне стало вдруг обидно, -

Рассказать вам не могу.

Это да, что я не гордый

По характеру, а все ж

Вот теперь, когда я орден

Нацеплю, скажу я: врешь!

Мы в землячество не лезем,

Есть свои у нас края.

Ты - тамбовский? Будь любезен.

А смоленский - вот он я,

Не иной какой, не энский,

Безымянный корешок,

А действительно смоленский,

Как дразнили нас, рожок.

Не кичусь родным я краем,

Но пройди весь белый свет -

Кто в рожки тебе сыграет

Так, как наш смоленский дед.

Заведет, задует сивая

Лихая борода:

Ты куда, моя красивая,

Куда идешь, куда..,

И ведет, поет, заяривает -

Ладно, что без слов,

Со слезою выговаривает

Радость и любовь.

И за ту одну старинную

За музыку-рожок

В край родной дорогу длинную

Сто раз бы я прошел,

Мне не надо, братцы, ордена,

Мне слава не нужна,

А нужна, больна мне родина,

Родная сторона!

**ГЕНЕРАЛ**

Заняла война полсвета,

Стон стоит второе лето.

Опоясал фронт страну.

Где-то Ладога... А где-то

Дон - и то же на Дону...

Где-то лошади в упряжке

В скалах зубы бьют об лед...

Где-то яблоня цветет,

И моряк в одной тельняшке

Тащит степью пулемет...

Где-то бомбы топчут город,

Тонут на море суда...

Где-то танки лезут в горы,

К Волге двинулась беда...

Где-то будто на задворке,

Будто знать про то не знал,

На своем участке Теркин

В обороне загорал.

У лесной глухой речушки,

Что катилась вдоль войны,

После доброй постирушки

Поразвесил для просушки

Гимнастерку и штаны.

На припеке обнял землю.

Руки выбросил вперед

И лежит и так-то дремлет,

Может быть, за целый год.

И речушка - неглубокий

Родниковый ручеек -

Шевелит травой-осокой

У его разутых ног.

И курлычет с тихой лаской,

Моет камушки на дне.

И выходит не то сказка,

Не то песенка во сне.

Я на речке ноги вымою.

Куда, реченька, течешь?

В сторону мою, родимую,

Может, где-нибудь свернешь.

Может, где-нибудь излучиной

По пути зайдешь туда,

И под проволокой колючею

Проберешься без труда,

Меж немецкими окопами,

Мимо вражеских постов,

Возле пушек, в землю вкопанных,

Промелькнешь из-за кустов.

И тропой своей исконною

Протечешь ты там, как тут,

И ни пешие, ни конные

На пути не переймут,

Дотечешь дорогой кружною

До родимого села.

На мосту солдаты с ружьями,

Ты под мостиком прошла,

Там печаль свою великую,

Что без края и конца,

Над тобой, над речкой, выплакать,

Может, выйдет мать бойца.

Над тобой, над малой речкою,

Над водой, чей путь далек,

Послыхать бы хоть словечко ей,

Хоть одно, что цел сынок.

Помороженный, простуженный

Отдыхает он, герой,

Битый, раненый, контуженный,

Да здоровый и живой...

Теркин - много ли дремал он,

Землю-мать прижав к щеке, -

Слышит:

- Теркин, к генералу

На одной давай ноге.

Посмотрел, поднялся Теркин,

Тут связной стоит,

- Ну что ж,

Без штанов, без гимнастерки

К генералу не пойдешь.

Говорит, чудит, а все же

Сам, волнуясь и сопя,

Непросохшую одежу

Спешно пялит на себя.

Приросла к спине - не стронет..

- Теркин, сроку пять минут.

- Ничего. С земли не сгонят,

Дальше фронта не пошлют.

Подзаправился на славу,

И хоть знает наперед,

Что совсем не на расправу

Генерал его зовет, -

Все ж у главного порога

В генеральском блиндаже -

Был бы бог, так Теркин богу

Помолился бы в душе.

Шутка ль, если разобраться:

К генералу входишь вдруг, -

Генерал - один на двадцать,

Двадцать пять, а может статься,

И на сорок верст вокруг.

Генерал стоит над нами, -

Оробеть при нем не грех, -

Он не только что чинами,

Боевыми орденами,

Он годами старше всех.

Ты, обжегшись кашей, плакал,

Ты пешком ходил под стол,

Он тогда уж был воякой,

Он ходил уже в атаку,

Взвод, а то и роту вел.

И на этой половине -

У передних наших линий,

На войне - не кто как он

Твой ЦК и твой Калинин.

Суд. Отец. Глава. Закон.

Честью, друг, считай немалой,

Заработанной в бою,

Услыхать от генерала

Вдруг фамилию свою.

Знай: за дело, за заслугу

Жмет тебе он крепко руку

Боевой своей рукой.

- Вот, брат, значит, ты какой.

Богатырь. Орел. Ну, просто -

Воин! - скажет генерал.

И пускай ты даже ростом

И плечьми всего не взял,

И одет не для парада, -

Тут война- парад потом, -

Говорят: орел, так надо

И глядеть и быть орлом.

Стой, боец, с достойным видом,

Понимай, в душе имей:

Генерал награду выдал -

Как бы снял с груди своей -

И к бойцовской гимнастерке

Прикрепил немедля сам,

И ладонью:

- Вот, брат Теркин, -

По лихим провел усам.

В скобках надобно, пожалуй,

Здесь отметить, что усы,

Если есть у генерала,

То они не для красы.

На войне ли, на параде

Не пустяк, друзья, когда

Генерал усы погладил

И сказал хотя бы:.

- Да...

Есть привычка боевая,

Есть минуты и часы...

И не зря еще Чапаев

Уважал свои усы.

Словом - дальше. Генералу

Показалось под конец,

Что своей награде мало

Почему-то рад боец.

Что ж, боец - душа живая,

На войне второй уж год...

И не каждый день сбивают

Из винтовки самолет.

Молодца и в самом деле

Отличить расчет прямой,

- Вот что, Теркин, на неделю

Можешь с орденом - домой...

Теркин - понял ли, не понял,

Иль не верит тем словам?

Только дрогнули ладони

Рук, протянутых по швам.

Про себя вздохнув глубоко,

Теркин тихо отвечал:

- На неделю мало сроку

Мне, товарищ генерал-

Генерал склонился строго;

- Как так мало? Почему?

- Потому - трудна дорога

Нынче к дому моему.

Дом-то вроде недалечко,

По прямой - пустяшный путь...

- Ну а что ж?

- Да я не речка;

Чтоб легко туда шмыгнуть.

Мне по крайности вначале

Днем соваться не с руки.

Мне идти туда ночами,

Ну, а ночи коротки...

Генерал кивнул:

- Понятно!

Дело с отпуском - табак. -

Пошутил:

- А как обратно

Ты пришел бы?..

- Точно ж так...

Сторона моя лесная,

Каждый кустик мне - родня.

Я пути такие знаю,

Что поди поймай меня!

Мне там каждая знакома

Борозденка под межой.

Я - смоленский. Я там дома.

Я там - свой, а о\_н - чужой.

- Погоди-ка. Ты без шуток.

Ты бы вот что мне сказал...

И как будто в ту минуту

Что-то вспомнил генерал.

На бойца взглянул душевней

И сказал, шагнув к стене:

- Ну-ка, где твоя деревня?

Покажи по карте мне.

Теркин дышит осторожно

У начальства за плечом.

- Можно, - молвит, - это можно.

Вот он Днепр, а вот мой дом.

Генерал отметил точку.

- Вот что, Теркин, в одиночку

Не резон тебе идти.

Потерпи уж, дай отсрочку,

Нам с тобою по пути...

Отпуск точно, аккуратно

За тобой прошу учесть.

И боец сказал:

- Понятно.-

И еще добавил:

- Есть.

Встал по форме у порога,

Призадумался немного,

На секунду на одну...

Генерал усы потрогал

И сказал, поднявшись:

- Ну?..

Скольких он, над картой сидя,

Словом, подписью своей,

Перед тем в глаза не видя,

Посылал на смерть людей!

Что же, всех и не увидишь,

С каждым к росстаням не выйдешь,

На прощанье всем нельзя

Заглянуть тепло в глаза.

Заглянуть в глаза, как другу,

И пожать покрепче руку,

И по имени назвать,

И удачи пожелать,

И, помедливши минутку,

Ободрить старинной шуткой:

Мол, хотя и тяжело,

А, между прочим, ничего...

Нет, на всех тебя не хватит,

Хоть какой ты генерал.

Но с одним проститься кстати

Генерал не забывал.

Обнялись они, мужчины,

Генерал-майор с бойцом, -

Генерал - с любимым сыном,

А боец - с родным отцом.

И бойцу за тем порогом

Предстояла путь-дорога

На родную сторону,

Прямиком - через войну.

**О СЕБЕ**

Я покинул дом когда-то,

Позвала дорога вдаль.

Не мала была утрата,

Но светла была печаль.

И годами с грустью нежной -

Меж иных любых тревог -

Угол отчий, мир мой прежний

Я в душе моей берег.

Да и не было помехи

Взять и вспомнить наугад

Старый лес, куда в орехи

Я ходил с толпой ребят.

Лес - ни пулей, ни осколком

Не пораненный ничуть,

Не порубленный без толку,

Без порядку как-нибудь;

Не корчеванный фугасом,

Не поваленный огнем,

Хламом гильз, жестянок, касок

Не заваленный кругом;

Блиндажами не изрытый,

Не обкуренный зимой,

Ни своими не обжитый,

Ни чужими под землей.

Милый лес, где я мальчонкой

Плел из веток шалаши,

Где однажды я теленка,

Сбившись с ног, искал в глуши...

Полдень раннего июня

Был в лесу, и каждый лист,

Полный, радостный и юный,

Был горяч, но свеж и чист.

Лист к листу, листом прикрытый,

В сборе лиственном густом

Пересчитанный, промытый

Первым за лето дождем.

И в глуши родной, ветвистой,

И в тиши дневной, лесной

Молодой, густой, смолистый,

Золотой держался зной.

И в спокойной чаще хвойной

У земли мешался он

С муравьиным духом винным

И пьянил, склоняя в сон.

И в истоме птицы смолкли...

Светлой каплею смола

По коре нагретой елки,

Как слеза во сне, текла...

Мать-земля моя родная,

Сторона моя лесная,

Край недавних детских лет,

Отчий край, ты есть иль нет?

Детства день, до гроба милый,

Детства сон, что сердцу свят,

Как легко все это было

Взять и вспомнить год назад.

Вспомнить разом что придется -

Сонный полдень над водой,

Дворик, стежку до колодца,

Где песочек золотой;

Книгу, читанную в поле,

Кнут, свисающий с плеча,

Лед на речке, глобус в школе

У Ивана Ильича...

Да и не было запрета,

Проездной купив билет,

Вдруг туда приехать летом,

Где ты не был десять лет...

Чтобы с лаской, хоть не детской,

Вновь обнять старуху мать,

Не под проволокой немецкой

Нужно было проползать.

Чтоб со взрослой грустью сладкой

Праздник встречи пережить -

Не украдкой, не с оглядкой

По родным лесам кружить.

Чтоб сердечным разговором

С земляками встретить день -

Не нужда была, как вору,

Под стеною прятать тень...

Мать-земля моя родная,

Сторона моя лесная,

Край, страдающий в плену!

Я приду - лишь дня не знаю,

Но приду, тебя верну.

Не звериным робким следом

Я приду, твой кровный сын, -

Вместе с нашею победой

Я иду, а не один.

Этот час не за горою,

Для меня и для тебя...

А читатель той порою

Скажет:

- Где же про героя?

Это больше про себя,

Про себя? Упрек уместный,

Может быть, меня пресек.

Но давайте скажем честно!.

Что ж, а я не человек?,

Спорить здесь нужды не вижу,

Сознавайся в чем в другом.

Я ограблен и унижен,

Как и ты, одним врагом.

Я дрожу от боли острой,

Злобы горькой и святой.

Мать, отец, родные сестры

У меня за той чертой.

Я стонать от боли вправе

И кричать с тоски клятой.

То, что я всем сердцем славил

И любил - за той чертой.

Друг мой, так же не легко мне,

Как тебе с глухой бедой.

То, что я хранил и помнил,

Чем я жил - за той, за той -

За неписаной границей,

Поперек страны самой,

Что горит, горит в зарницах

Вспышек - летом и зимой...

И скажу тебе, не скрою, -

В этой книге, там ли, сям,

То, что молвить бы герою,

Говорю я лично сам.

Я за все кругом в ответе,

И заметь, коль не заметил,

Что и Теркин, мой герой,

За меня гласит порой.

Он земляк мой и, быть может,

Хоть нимало не поэт,

Все же как-нибудь похоже

Размышлял. А нет, ну - нет.

Теркин - дальше. Автор - вслед.

**БОЙ В БОЛОТЕ**

Бой безвестный, о котором

Речь сегодня поведем,

Был, прошел, забылся скоро...

Да и вспомнят ли о нем?

Бой в лесу, в кустах, в болоте,

Где война стелила путь,

Где вода была пехоте

По колено, грязь - по грудь;

Где брели бойцы понуро,

И, скользнув с бревна в ночи,

Артиллерия тонула,

Увязали тягачи.

Этот бой в болоте диком

На втором году войны

Не за город шел великий,

Что один у всей страны;

Не за гордую твердыню,

Что у матушки-реки,

А за некий, скажем ныне,

Населенный пункт Борки.

Он стоял за тем болотом

У конца лесной тропы,

В нем осталось ровным счетом

Обгорелых три трубы.

Там с открытых и закрытых

Огневых - кому забыть! -

Было бито, бито, бито,

И, казалось, что там бить?

Там в щебенку каждый камень,

В щепки каждое бревно.

Называлось там Борками

Место черное одно.

А в окружку - мох, болото,

Край от мира в стороне.

И подумать вдруг, что кто-то

Здесь родился, жил, работал,

Кто сегодня на войне.

Где ты, где ты, мальчик босый,

Деревенский пастушок,

Что по этим дымным росам,

Что по этим кочкам шел?

Бился ль ты в горах Кавказа,

Или пал за Сталинград,

Мой земляк, ровесник, брат,

Верный долгу к приказу

Русский труженик-солдат.

Или, может, а этих дымах,

Что уже недалеки,

Видишь нынче свой родимый

Угол дедовский, Борки?

И у той черты недальной,

У земли многострадальной,,

Что была к тебе добра,

Влился голос твой в печальный

И протяжный стон: "Ура-а..."

Как в бою удачи мало

И дела нехороши,

Виноватого, бывало,

Там попробуй поищи.

Артиллерия толково

Говорит - она права:

- Вся беда, что танки снова

В лес свернули по дрова.

А еще сложнее счеты,

Чуть танкиста повстречал:

- Подвела опять пехота.

Залегла. Пропал запал.

А пехота не хвастливо,

Без отрыва от земли

Лишь махнет рукой лениво:

- Точно. Танки подвели.

Так идет оно по кругу,

И ругают все друг друга,

Лишь в согласье все подряд

Авиацию бранят.

Все хорошие ребята,

Как посмотришь - красота.

И ничуть не виноваты,

И деревня не взята.

И противник по болоту,

По траншейкам торфяным

Садит вновь из минометов -

Что ты хочешь делай с ним.

Адреса разведал точно,

Шлет посылки спешной почтой,

И лежишь ты, адресат,

Изнывая, ждешь за кочкой,

Скоро ль мина влепит в зад.

Перемокшая пехота

В полный смак клянет болото,

Не мечтает о другом -

Хоть бы смерть, да на сухом.

Кто-нибудь еще расскажет,

Как лежали там в тоске.

Третьи сутки кукиш кажет

В животе кишка кишке.

Посыпает дождик редкий,

Кашель злой терзает грудь.

Ни клочка родной газетки -

Козью ножку завернуть;

И ни спичек, ни махорки -

Все раскисло от воды.

- Согласись, Василий Теркин,

Хуже нет уже беды?

Тот лежит у края лужи,

Усмехнулся:

- Нет, друзья,

о сто раз бывает хуже,

Это точно знаю я.

- Где уж хуже...

- А не спорьте,

Кто не хочет, тот не верь,

Я сказал бы: на курорте

Мы находимся теперь.

И глядит шутник великий

На людей со стороны.

Губы - то ли от черники,

То ль от холода черны,

Говорит:

- В своем болоте

Ты находишься сейчас.

Ты в цепи. Во взводе. В роте.

Ты имеешь связь и часть.

Даже сетовать неловко

При такой, чудак, судьбе.

У тебя в руках винтовка,

Две гранаты при тебе.

У тебя - в тылу ль, на фланге, -

Сам не знаешь, как силен, -

Бронебойки, пушки, танки.

Ты, брат, - это батальон.

Полк. Дивизия. А хочешь -

Фронт. Россия! Наконец,

Я, скажу тебе короче

И понятней: ты - боец.

Ты в строю, прошу усвоить,

А быть может, год назад

Ты бы здесь изведал, воин,

То, что наш изведал брат.

Ноги б с горя не носили!

Где свои, где чьи края?

Где тот фронт и где Россия?

По какой рубеж своя?

И однажды ночью поздно,

От деревни в стороне

Укрывался б ты в колхозной,

Например, сенной копне...

Тут, озноб вдувая в души,

Долгой выгнувшись дугой,

Смертный свист скатился в уши,

Ближе, ниже, суше, глуше -

И разрыв!

За ним другой...

- Ну, накрыл. Не даст дослушать

Человека.

- Он такой...

И за каждым тем разрывом

На примолкнувших ребят

Рваный лист, кружась лениво,

Ветки сбитые летят.

Тянет всех, зовет куда-то,

Уходи, беда вот-вот...

Только Теркин:

- Брось, ребята,

Говорю - не попадет.

Сам сидит как будто в кресле,

Всех страхует от огня.

- Ну, а если?..

- А уж если...

Получи тогда с меня.

Слушай лучше. Я серьезно

Рассуждаю о войне.

Вот лежишь ты в той бесхозной,

В поле брошенной копне.

Немец где? До ближней хаты

Полверсты - ни дать ни взять,

И приходят два солдата

В поле сена навязать.

Из копнушки вяжут сено,

Той, где ты нашел приют,

Уминают под колено

И поют. И что ж поют!

Хлопцы, верьте мне, не верьте,

Только врать не стал бы я,

А поют худые черти,

Сам слыхал: "Москва моя".

Тут состроил Теркин рожу

И привстал, держась за пень,

И запел весьма похоже,

Как бы немец мог запеть.

До того тянул он криво,

И смотрел при этом он

Так чванливо, так тоскливо,

Так чудно, - печенки вон!

- Вот и смех тебе. Однако

Услыхал бы ты тогда

Эту песню, - ты б заплакал

От печали и стыда.

И смеешься ты сегодня,

Потому что, знай, боец:

Этой песни прошлогодней

Нынче немец не певец.

- Не певец-то - это верно,

Это ясно, час не тот...

- А деревню-то, примерно,

Вот берем - не отдает.

И с тоскою бесконечной,

Что, быть может, год берег,

Кто-то так чистосердечно,

Глубоко, как мех кузнечный,

Вдруг вздохнул:

- Ого, сынок!

Подивился Теркин вздоху,

Посмотрел, - ну, ну! - сказал, -

И такой ребячий хохот

Всех опять в работу взял.

- Ах ты, Теркин. Ну и малый.

И в кого ты удался,

Только мать, наверно, знала...

- Я от тетки родился.

- Теркин - теткин, елки-палки,

Сыпь еще назло врагу.

- Не могу. Таланта жалко.

До бомбежки берегу.

Получай тогда на выбор,

Что имею про запас.

- И за то тебе спасибо.

- На здоровье. В добрый час.

Заключить теперь нельзя ли,

Что, мол, горе не беда,

Что ребята встали, взяли

Деревушку без труда?

Что с удачей постоянной

Теркин подвиг совершил:

Русской ложкой деревянной

Восемь фрицев уложил!

Нет, товарищ, скажем прямо:

Был он долог до тоски,

Летний бой за этот самый

Населенный пункт Борки.

Много дней прошло суровых,

Горьких, списанных в расход.

- Но позвольте, - скажут снова, -

Так о чем тут речь идет?.

Речь идет о том болоте,

Где война стелила путь,

Где вода была пехоте

По колено, грязь - по грудь;

Где в трясине, в ржавой каше,

Безответно - в счет, не в счет -

Шли, ползли, лежали наши

Днем и ночью напролет;

Где подарком из подарков,

Как труды ни велики,

Не Ростов им был, не Харьков,

Населенный пункт Борки.

И в глуши, в бою безвестном,

В сосняке, в кустах сырых

Смертью праведной и честной

Пали многие из них.

Пусть тот бой не упомянут

В списке славы золотой,

День придет - еще повстанут

Люди в памяти живой.

И в одной бессмертной книге

Будут все навек равны -

Кто за город пал великий,

Что один у всей страны;

Кто за гордую твердыню,

Что у Волги у реки,

Кто за тот, забытый ныне,

Населенный пункт Борки.

И Россия - мать родная -

Почесть всем отдаст сполна.

Бой иной, пора иная,

Жизнь одна и смерть одна.

**О ЛЮБВИ**

Всех, кого взяла война,

Каждого солдата

Проводила хоть одна

Женщина когда-то...

Не подарок, так белье

Собрала, быть может,

И что дольше без нее,

То она дороже.

И дороже этот час,

Памятный, особый,

Взгляд последний этих глаз,

Что забудь попробуй.

Обойдись в пути большом,

Глупой славы ради,

Без любви, что видел в нем,

В том прощальном взгляде.

Он у каждого из нас

Самый сокровенный

И бесценный наш запас,

Неприкосновенный.

Он про всякий час, друзья,

Бережно хранится.

И с товарищем нельзя

Этим поделиться,

Потому - он мой, он весь -

Мой, святой и скромный,

У тебя он тоже есть,

Ты подумай, вспомни.

Всех, кого взяла война,

Каждого солдата

Проводила хоть одна

Женщина когда-то...

И приходится сказать,

Что из всех тех женщин,

Как всегда, родную мать

Вспоминают меньше.

И не принято родной

Сетовать напрасно, -

В срок иной, в любви иной

Мать сама была женой

С тем же правом властным.

Да, друзья, любовь жены, -

Кто не знал - проверьте, -

На войне сильней войны

И, быть может, смерти.

Ты ей только не перечь,

Той любви, что вправе

Ободрить, предостеречь,

Осудить, прославить.

Вновь достань листок письма,

Перечти сначала,

Пусть в землянке полутьма,

Ну-ка, где она сама

То письмо писала?

При каком на этот раз

Примостилась свете?

То ли спали в этот час,

То ль мешали дети,

То ль болела голова

Тяжко, не впервые,

Оттого, брат, что дрова

Не горят сырые?..

Впряжена в тот воз одна,

Разве не устанет?

Да зачем тебе жена

Жаловаться станет?

Жены думают, любя,

Что иное слово

Все ж скорей найдет тебя

На войне живого.

Нынче жены все добры,

Беззаветны вдосталь,

Даже те, что до поры

Были ведьмы просто.

Смех - не смех, случалось мне

С женами встречаться,

От которых на войне

Только и спасаться.

Чем томиться день за днем

С той женою-крошкой,

Лучше ползать под огнем

Или под бомбежкой.

Лучше, пять пройдя атак,

Ждать шестую в сутки...

Впрочем, это только так,

Только ради шутки.

Нет, друзья, любовь жены, -

Сотню раз проверьте, -

На войне сильней войны

И, быть может, смерти.

И одно сказать о ней

Вы б могли вначале:

Что короче, что длинней -

Та любовь, война ли?

Но, бестрепетно в лицо

Глядя всякой правде,

Я замолвил бы словцо

За любовь, представьте.

Как война на жизнь ни шла,

Сколько ни пахала,

Но любовь пережила

Срок ее немалый.

И недаром нету, друг,

Письмеца дороже,

Что из тех далеких рук,

Дорогих усталых рук

В трещинках по коже.

И не зря взываю я

К женам настоящим:

- Жены, милые друзья,

Вы пишите чаще.

Не ленитесь к письмецу

Приписать, что надо.

Генералу ли, бойцу,

Это - как награда.

Нет, товарищ, не забудь

На войне жестокой:

У войны короткий путь,

У любви - далекий.

И ее большому дню

Сроки близки ныне.

А к чему я речь клоню?

Вот к чему, родные.

Всех, кого взяла война,

Каждого солдата

Проводила хоть одна

Женщина когда-то...

Но хотя и жалко мне,

Сам помочь не в силе,

Что остался в стороне

Теркин мой Василий.

Не случилось никого

Проводить в дорогу.

Полюбите вы его,

Девушки, ей-богу!

Любят летчиков у нас,

Конники в почете.

Обратитесь, просим вас,

К матушке-пехоте!

Полюбите молодца,

Сердце подарите,

До победного конца

Верно полюбите!

Пусть тот конник на коне,

Летчик в самолете,

И, однако, на войне

Первый ряд - пехоте.

Пусть танкист красив собой

И горяч в работе,

А ведешь машину в бой -

Поклонись пехоте.

Пусть форсист артиллерист

В боевом расчете,

Отстрелялся - не гордись,

Дела суть - в пехоте.

Обойдите всех подряд,

Лучше не найдете:

Обратите нежный взгляд,

Девушки, к пехоте.

**ОТДЫХ ТЕРКИНА**

На войне - в пути, в теплушке,

В тесноте любой избушки,

В блиндаже иль погребушке, -

Там, где случай приведет, -

Лучше нет, как без хлопот,

Без перины, без подушки,

Примостясь кой-как друг к дружке,

Отдохнуть... Минут шестьсот.

Даже больше б не мешало,

Но солдату на войне

Срок такой для сна, пожалуй,

Можно видеть лишь во сне.

И представь, что вдруг, покинув

В некий час передний край,

Ты с попутною машиной

Попадаешь прямо в рай.

Мы здесь вовсе не желаем

Шуткой той блеснуть спроста,

Что, мол, рай с передним краем

Это - смежные места.

Рай по правде. Дом. Крылечко.

Веник - ноги обметай.

Дальше - горница и печка.

Все, что надо. Чем не рай?

Вот и в книге ты отмечен,

Раздевайся, проходи.

И плечьми у теплой печи

На свободе поведи.

Осмотрись вокруг детально,

Вот в ряду твоя кровать.

И учти, что это - спальня,

То есть место - специально

Для того, чтоб только спать.

Спать, солдат, весь срок недельный,

Самолично, безраздельно

Занимать кровать свою,

Спать в сухом тепле постельном,

Спать в одном белье нательном,

Как положено в раю.

И по строгому приказу,

Коль тебе здесь быть пришлось,

Ты помимо сна обязан

Пищу в день четыре раза

Принимать. Но как? - вопрос.

Всех привычек перемена

Поначалу тяжела.

Есть в раю нельзя с колена,

Можно только со стола.

И никто в раю не может

Бегать к кухне с котелком,

И нельзя сидеть в одеже

И корежить хлеб штыком.

И такая установка

Строго-настрого дана,

Что у ног твоих винтовка

Находиться не должна.

И в ущерб своей привычке

Ты не можешь за столом

Утереться рукавичкой

Или - так вот - рукавом.

И когда покончишь с пищей,

Не забудь еще, солдат,

Что в раю за голенище

Ложку прятать не велят.

Все такие оговорки

Разобрав, поняв путем,

Принял в счет Василий Теркин

И решил:

- Не пропадем.

Вот обед прошел и ужин.

- Как вам нравится у нас?

- Ничего. Немножко б хуже,

То и было б в самый раз...

Покурил, вздохнул и на бок.

Как-то странно голове.

Простыня - пускай одна бы,

Нет, так на, мол, сразу две.

Чистота - озноб по коже,

И неловко, что здоров,

А до крайности похоже,

Будто в госпитале вновь.

Бережет плечо в кровати,

Головой не повернет.

Вот и девушка в халате

Совершает свой обход.

Двое справа, трое слева

К ней разведчиков тотчас.

А она, как королева:

Мол, одна, а сколько вас.

Теркин смотрит сквозь ресницы:

О какой там речь красе.

Хороша, как говорится,

В прифронтовой полосе.

Хороша, при смутном свете,

Дорога, как нет другой,

И видать, ребята эти

Отдохнули день, другой...

Сон-забвенье на пороге,

Ровно, сладко дышит грудь.

Ах, как холодно в дороге

У объезда где-нибудь!

Как прохватывает ветер,

Как луна теплом бедна!

Ах, как трудно все на свете:

Служба, жизнь, зима, война.

Как тоскует о постели

На войне солдат живой!

Что ж не спится в самом деле?

Не укрыться ль с головой?

Полчаса и час проходит,

С боку на бок, навзничь, ниц.

Хоть убейся - не выходит.

Все храпят, а ты казнись.

То ли жарко, то ли зябко,

Не понять, а сна все нет.

- Да надень ты, парень, шапку, -

Вдруг дают ему совет.

Разъясняют:

- Ты не первый,

Не второй страдаешь тут.

Поначалу наши нервы

Спать без шапки не дают.

И едва надел родимый

Головной убор солдат,

Боевой, пропахший дымом

И землей, как говорят, -

Тот, обношенный на славу

Под дождем и под огнем,

Что еще колючкой ржавой

Как-то прорван был на нем;

Тот, в котором жизнь проводишь,

Не снимая, - так хорош! -

И когда ко сну отходишь,

И когда на смерть идешь, -

Видит: нет, не зря послушал

Тех, что знали, в чем резон:

Как-то вдруг согрелись уши,

Как-то стало мягче, груше -

И всего свернуло в сон.

И проснулся он до срока

С чувством редкостным - точь-в-точь

Словно где-нибудь далеко

Побывал за эту ночь;

Словно выкупался где-то,

Где - хоть вновь туда вернись -

Не зима была, а лето,

Не война, а просто жизнь.

И с одной ногой обутой,

Шапку снять забыв свою,

На исходе первых суток

Он задумался в раю.

Хороши харчи и хата,

Осуждать не станем зря,

Только, знаете, война-то

Не закончена, друзья.

Посудите сами, братцы,

Кто б чудней придумать мог:

Раздеваться, разуваться

На такой короткий срок.

Тут обвыкнешь - сразу крышка,

Чуть покинешь этот рай.

Лучше скажем: передышка.

Больше время не теряй.

Закусил, собрался, вышел,

Дело было на мази.

Грузовик идет, - заслышал,

Голосует:

- Подвези.

И, четыре пуда грузу

Добавляя по пути,

Через борт ввалился в кузов,

Постучал: давай, крути.

Ехал - близко ли, далеко -

Кому надо, вымеряй.

Только, рай, прощай до срока,

И опять - передний край.

Соскочил у поворота, -

Глядь - и дома, у огня.

- Ну, рассказывайте, что тут,

Как тут, хлопцы, без меня?

- Сам рассказывай. Кому же

Неохота знать тотчас,

Как там, что в раю у вас...

- Хорошо. Немножко б хуже,

Верно, было б в самый раз...

Хорошо поспал, богато,

Осуждать не станем зря.

Только, знаете, война-то

Не закончена, друзья.

Как дойдем до той границы

По Варшавскому шоссе,

Вот тогда, как говорится,

Отдохнем. И то не все.

А пока - в пути, в теплушке,

В тесноте любой избушки,

В блиндаже иль погребушке,

Где нам случай приведет, -

Лучше нет, как без хлопот,

Без перины, без подушки,

Примостясь плотней друг к дружке,

Отдохнуть.

А там - вперед.

**В НАСТУПЛЕНИИ**

Столько жили в обороне,

Что уже с передовой

Сами шли, бывало, кони,

Как в селе, на водопой.

И на весь тот лес обжитый,

И на весь передний край

У землянок домовитый

Раздавался песий лай.

И прижившийся на диво,

Петушок - была пора -

По утрам будил комдива,

Как хозяина двора.

И во славу зимних буден

В бане - пару не жалей -

Секлись вениками люди

Вязки собственной своей.

На войне, как на привале,

Отдыхали про запас,

Жили, "Теркина" читали

На досуге.

Вдруг - приказ...

Вдруг - приказ, конец стоянке.

И уж где-то далеки

Опустевшие землянки,

Сиротливые дымки.

И уже обыкновенно

То, что минул целый год,

Точно день. Вот так, наверно,

И война, и все пройдет...

И солдат мой поседелый,

Коль останется живой,

Вспомнит: то-то было дело,

Как сражались под Москвой...

И с печалью горделивой

Он начнет в кругу внучат

Свой рассказ неторопливый,

Если слушать захотят...

Трудно знать. Со стариками

Не всегда мы так добры.

Там посмотрим.

А покамест

Далеко до той поры.

**x x x**

Бой в разгаре. Дымкой синей

Серый снег заволокло.

И в цепи идет Василий,

Под огнем идет в село.

И до отчего порога,

До родимого села

Через то село дорога -

Не иначе - пролегла.

Что поделаешь - иному

И еще кружнее путь.

И идет иной до дому

То ли степью незнакомой,

То ль горами где-нибудь...

Низко смерть над шапкой свищет,

Хоть кого согнет в дугу.

Цепь идет, как будто ищет

Что-то в поле на снегу.

И бойцам, что помоложе,

Что впервые так идут,

В этот час всего дороже

Знать одно, что Теркин тут.

Хорошо - хотя ознобцем

Пронимает под огнем -

Не последним самым хлопцем

Показать себя при нем.

Толку нет, что в миг тоскливый,

Как снаряд берет разбег,

Теркин так же ждет разрыва,

Камнем кинувшись на снег;

Что над страхом меньше власти

У того в бою подчас,

Кто судьбу свою и счастье

Испытал уже не раз;

Что, быть может, эта сила

Уцелевшим из огня

Человека выносила

До сегодняшнего дня, -

До вот этой борозденки,

Где лежит, вобрав живот,

Он, обшитый кожей тонкой

Человек. Лежит и ждет...

Где-то там, за полем бранным,

Думу думает свою

Тот, по чьим часам карманным

Все часы идут в бою.

И за всей вокруг пальбою,

За разрывами в дыму

Он следит, владыка боя,

И решает, что к чему.

Где-то там, в песчаной круче,

В блиндаже сухом, сыпучем,

Глядя в карту, генерал

Те часы свои достал;

Хлопнул крышкой, точно дверкой,

Поднял шапку, вытер пот...

И дождался, слышит Теркин:

- Взвод! За Родину! Вперед!..

И хотя слова он эти -

Клич у смерти на краю -

Сотни раз читал в газете

И не раз слыхал в бою, -

В душу вновь они вступали

С одинаковою той

Властью правды и печали,

Сладкой горечи святой;

С тою силой неизменной,

Что людей в огонь ведет,

Что за все ответ священный

На себя уже берет.

- Взвод! За Родину! Вперед!..

Лейтенант щеголеватый,

Конник, спешенный в боях,

По-мальчишечьи усатый,

Весельчак, плясун, казак,

Первым встал, стреляя с ходу,

Побежал вперед со взводом,

Обходя село с задов.

И пролег уже далеко

След его в снегу глубоком -

Дальше всех в цепи следов.

Вот уже у крайней хаты

Поднял он ладонь к усам:

- Молодцы! Вперед, ребята! -

Крикнул так молодцевато,

Словно был Чапаев сам.

Только вдруг вперед подался,

Оступился на бегу,

Четкий след его прервался

На снегу...

И нырнул он в снег, как в воду,

Как мальчонка с лодки в вир.

И пошло в цепи по взводу:

- Ранен! Ранен командир!..

Подбежали. И тогда-то,

С тем и будет не забыт,

Он привстал:

- Вперед, ребята!

Я не ранен. Я - убит...

Край села, сады, задворки -

В двух шагах, в руках вот-вот...

И увидел, понял Теркин,

Что вести его черед.

- Взвод! За Родину! Вперед!..

И доверчиво по знаку,

За товарищем спеша,

С места бросились в атаку

Сорок душ - одна душа...

Если есть в бою удача,

То в исходе все подряд

С похвалой, весьма горячей,

Друг о друге говорят..

- Танки действовали славно.

- Шли саперы молодцом.

- Артиллерия подавно

Не ударит в грязь лицом.

- А пехота!

- Как по нотам,

Шла пехота. Ну да что там!

Авиация - и та...

Словом, просто - красота.

И бывает так, не скроем,

Что успех глаза слепит:

Столько сыщется героев,

Что - глядишь - один забыт,

Но для точности примерной,

Для порядка генерал,

Кто в село ворвался первым,

Знать на месте пожелал.

Доложили, как обычно:

Мол, такой-то взял село,

Но не смог явиться лично,

Так как ранен тяжело.

И тогда из всех фамилий,

Всех сегодняшних имен -

Теркин - вырвалось - Василий!

Это был, конечно, он.

**СМЕРТЬ И ВОИН**

За далекие пригорки

Уходил сраженья жар.

На снегу Василий Теркин

Неподобранный лежал.

Снег под ним, набрякши кровью,

Взялся грудой ледяной.

Смерть склонилась к изголовью:

- Ну, солдат, пойдем со мной.

Я теперь твоя подруга,

Недалеко провожу,

Белой вьюгой, белой вьюгой,

Вьюгой след запорошу.

Дрогнул Теркин, замерзая

На постели снеговой.

- Я не звал тебя, Косая,

Я солдат еще живой.

Смерть, смеясь, нагнулась ниже:

- Полно, полно, молодец,

Я-то знаю, я-то вижу:

Ты живой, да не - жилец.

Мимоходом тенью смертной

Я твоих коснулась щек,

А тебе и незаметно,

Что на них сухой снежок.

Моего не бойся мрака,

Ночь, поверь, не хуже дня...

- А чего тебе, однако,

Нужно лично от меня?

Смерть как будто бы замялась,

Отклонилась от него.

- Нужно мне... такую малость,

Ну почти что ничего.

Нужен знак один согласья,

Что устал беречь ты жизнь,

Что о смертном молишь часе...

- Сам, выходит, подпишись? -

Смерть подумала.

- Ну что же, -

Подпишись, и на покой.

- Нет, уволь. Себе дороже.

- Не торгуйся, дорогой.

Все равно идешь на убыль. -

Смерть подвинулась к плечу. -

Все равно стянулись губы,

Стынут зубы...

- Не хочу.

- А смотри-ка, дело к ночи,

На мороз горит заря.

Я к тому, чтоб мне короче

И тебе не мерзнуть зря...

- Потерплю.

- Ну, что ты, глупый!

Ведь лежишь, всего свело.

Я б тебя тотчас тулупом,

Чтоб уже навек тепло.

Вижу, веришь. Вот и слезы,

Вот уж я тебе милей.

- Врешь, я плачу от мороза,

Не от жалости твоей.

- Что от счастья, что от боли -

Все равно. А холод лют.

Завилась поземка в поле.

Нет, тебя уж не найдут...

И зачем тебе, подумай,

Если кто и подберет.

Пожалеешь, что не умер

Здесь, на месте, без хлопот...

- Шутишь, Смерть, плетешь тенета.

Отвернул с трудом плечо.-

Мне как раз пожить охота,

Я и не жил-то еще...

- А и встанешь, толку мало, -

Продолжала Смерть, смеясь. -

А и встанешь - все сначала:

Холод, страх, усталость, грязь...

Ну-ка, сладко ли, дружище,

Рассуди-ка в простоте.

- Что судить! С войны не взыщешь

Ни в каком уже суде.

- А тоска, солдат, в придачу;

Как там дома, что с семьей?

- Вот уж выполню задачу -

Кончу немца - и домой.

- Так. Допустим. Но тебе-то

И домой к чему прийти?,

Догола земля раздета

И разграблена, учти.

Все в забросе.

- Я работник,

Я бы дома в дело вник,

- Дом разрушен.

- Я и плотник...

- Печки нету.

- И печник...

Я от скуки - на все руки,

Буду жив - мое со мной.

- Дай еще сказать старухе:

Вдруг придешь с одной рукой?

Иль еще каким калекой, -

Сам себе и то постыл...

И со Смертью Человеку

Спорить стало свыше сил.

Истекал уже он кровью,

Коченел. Спускалась ночь...

- При одном моем условье,

Смерть, послушай... я не прочь...

И, томим тоской жестокой,

Одинок, и слаб, и мал,

Он с мольбой, не то с упреком

Уговариваться стал:

- Я не худший и не лучший,

Что погибну на войне.

Но в конце ее, послушай,

Дашь ты на день отпуск мне?

Дашь ты мне в тот день последний,

В праздник славы мировой,

Услыхать салют победный,

Что раздастся над Москвой?

Дашь ты мне в тот день немножко

Погулять среди живых?

Дашь ты мне в одно окошко

Постучать в краях родных?

И как выйдут на крылечко, -

Смерть, а Смерть, еще мне там

Дашь сказать одно словечко?

Полсловечка?

- Нет. Не дам...

Дрогнул Теркин, замерзая

На постели снеговой.

- Так пошла ты прочь, Косая,

Я солдат еще живой.

Буду плакать, выть от боли,

Гибнуть в поле без следа,

Но тебе по доброй воле

Я не сдамся никогда.

- Погоди. Резон почище

Я найду, - подашь мне знак...

- Стой! Идут за мною. Ищут.

Из санбата.

- Где, чудак?

- Вон, по стежке занесенной...

Смерть хохочет во весь рот:

- Из команды похоронной.

- Все равно: живой народ.

Снег шуршит, подходят двое.

Об лопату звякнул лом.

- Вот еще остался воин.

К ночи всех не уберем.

- А и то устали за день,

Доставай кисет, земляк.

На покойничке присядем

Да покурим натощак.

- Кабы, знаешь, до затяжки -

Щей горячих котелок.

- Кабы капельку из фляжки.

- Кабы так - один глоток.

- Или два...

И тут, хоть слабо,

Подал Теркин голос свой:

- Прогоните эту бабу,

Я солдат еще живой.

Смотрят люди: вот так штука!

Видят: верно, - жив солдат,

- Что ты думаешь!

- А ну-ка,

Понесем его в санбат.

- Ну и редкостное дело, -

Рассуждают не спеша. -

Одно дело - просто тело,

А тут - тело и душа.

- Еле-еле душа в теле...

- Шутки, что ль, зазяб совсем.

А уж мы тебя хотели,

Понимаешь, в наркомзем...

- Не толкуй. Заждался малый.

Вырубай шинель во льду.

Поднимай.

А Смерть сказала:

- Я, однако, вслед пойду.

Земляки - они к работе

Приспособлены к иной.

Врете, мыслит, растрясете

И еще он будет мой.

Два ремня да две лопаты,

Две шинели поперек.

- Береги, солдат, солдата.

- Понесли. Терпи, дружок.

Норовят, чтоб меньше тряски,

Чтоб ровнее как-нибудь,

Берегут, несут с опаской:

Смерть сторонкой держит путь.

А дорога - не дорога, -

Целина, по пояс снег.

- Отдохнули б вы немного,

Хлопцы...

- Милый человек, -

Говорит земляк толково, -

Не тревожься, не жалей.

Потому несем живого,

Мертвый вдвое тяжелей.

А другой:

- Оно известно.

А еще и то учесть,

Что живой спешит до места, -

Мертвый дома - где ни есть.

- Дело, стало быть, в привычке, -

Заключают земляки.-

Что ж ты, друг, без рукавички?

На-ко теплую, с руки...

И подумала впервые

Смерть, следя со стороны:

"До чего они, живые,

Меж собой свои - дружны.

Потому и с одиночкой

Сладить надобно суметь,

Нехотя даешь отсрочку".

И, вздохнув, отстала Смерть.

**ТЕРКИН ПИШЕТ**

...И могу вам сообщить

Из своей палаты,

Что, большой любитель жить,

Выжил я, ребята.

И хотя натер бока,

Належался лежнем,

Говорят, зато нога

Будет лучше прежней.

И намерен я опять

Вскоре без подмоги

Той ногой траву топтать,

Встав на обе ноги...

Озабочен я сейчас

Лишь одной задачей,

Чтоб попасть в родную часть,

Никуда иначе.

С нею жил и воевал,

Курс наук усвоил.

Отступая, пыль глотал,

Наступая, снег черпал

Валенками воин.

И покуда что она

Для меня - солдата -

Все на свете, все сполна:

И родная сторона,

И семья, и хата.

И охота мне скорей

К ней в ряды вклиниться

И, дождавшись добрых дней,

По Смоленщине своей

Топать до границы.

Впрочем, даже суть не в том,

Я скажу точнее:

Доведись другим путем

До конца идти, - пойдем,

Где угодно, с нею!

Если ж пуля в третий раз

Клюнет насмерть, злая,

То по крайности средь вас,

Братцы, свой последний час

Встретить я желаю.

Только с этим мы спешить

Без нужды не станем.

Я большой любитель жить,

Как сказал заране.

И, поскольку я спешу

Повстречаться с вами,

Генералу напишу

Теми же словами.

Полагаю, генерал

Как-никак уважит, -

Он мне орден выдавал,

В просьбе не откажет.

За письмом, надеюсь, вслед

Буду сам обратно...

Ну и повару привет

От меня двукратный.

Пусть и впредь готовят так,

Заправляя жирно,

Чтоб в котле стоял черпак

По команде "смирно"...

И одним слова свои

Заключить хочу я:

Что великие бои,

Как погоду, чую.

Так бывает у коня

Чувство близкой свадьбы...

До того большого дня

Мне без палок встать бы!

Сплю скорей да жду вестей.

Все сказал до корки...

Обнимаю вас, чертей.

Ваш

Василий Теркин.

**ТЕРКИН-ТЕРКИН**

Чья-то печка, чья-то хата,

На дрова распилен хлев...

Кто назябся - дело свято,

Тому надо обогрев.

Дело свято - чья там хата,

Кто их нынче разберет.

Грейся, радуйся, ребята,

Сборный, смешанный народ.

На полу тебе солома,

Задремалось, так ложись.

Не у тещи, и не дома,

Не в раю, однако, жизнь.

Тот сидит, разувши ногу,

Приподняв, глядит на свет.

Всю ощупывает строго, -

Узнает - его иль нет.

Тот, шинель смахнув без страху,

Высоко задрав рубаху,

Прямо в печку хочет влезть.

- Не один ты, братец, здесь.

- Отслонитесь, хлопцы. Темень...

- Что ты, правда, как тот немец..

- Нынче немец сам не тот.

- Ну, брат, он еще дает,

Отпускает, не скупится...

- Все же с прежним не сравнится, -

Снял сапог с одной ноги.

- Дело ясное, - беги!

- Охо-хо. Война, ребятки.

- А ты думал! Вот чудак.

- Лучше нет - чайку в достатке,

Хмель - он греет, да не так.

- Это чья же установка

Греться чаем? Вот и врешь.

- Эй, не ставь к огню винтовку...

- А еще кулеш хорош...

Опрокинутый истомой,

Теркин дремлет на спине,

От беседы в стороне.

Так ли, сяк ли, Теркин дома,

То есть - снова на войне...

Это раненым известно:

Воротись ты в полк родной -

Все не то: иное место

И народ уже иной.

Прибаутки, поговорки

Не такие ловит слух...

- Где-то наш Василий Теркин? -

Это слышит Теркин вдруг.

Привстает, шурша соломой,

Что там дальше - подстеречь.

Никому он не знакомый -

И о нем как будто речь.

Но сквозь шум и гам веселый,

Что кипел вокруг огня,

Вот он слышит новый голос:

- Это кто там про меня?..

- Про тебя? -

Без оговорки

Тот опять:

- Само собой.

- Почему?

- Так я же Теркин.

Это слышит Теркин мой.

Что-то странное творится,

Непонятное уму.

Повернулись тотчас лица

Молча к Теркину. К тому.

Люди вроде оробели:

- Теркин - лично?

- Я и есть.

- В самом деле?

- В самом деле.

- Хлопцы, хлопцы, Теркин здесь!

- Не свернете ли махорки? -

Кто-то вытащил кисет.

И не мой, а тот уж Теркин

Говорит:

- Махорки? Нет.

Теркин мой - к огню поближе,

Отгибает воротник.

Поглядит, а он-то рыжий -

Теркин тот, его двойник.

Если б попросту махорки

Теркин выкурил второй,

И не встрял бы, может, Теркин,

Промолчал бы мой герой.

Но, поскольку водит носом,

Задается человек,

Теркин мой к нему с вопросом:

- А у вас небось "Казбек"?

Тот помедлил чуть с ответом:

Мол, не понял ничего.

- Что ж, трофейной сигаретой

Угощу. -

Возьми его!

Видит мой Василий Теркин -

Не с того зашел конца.

И не то чтоб чувством горьким

Укололо молодца, -

Не любил людей спесивых,

И, обиду затая,

Он сказал, вздохнув лениво:

- Все же Теркин - это я...

Смех, волненье.

- Новый Теркин!

- Хлопцы, двое...

- Вот беда...

- Как дойдет их до пятерки,

Разбудите нас тогда.

- Нет, брат, шутишь, - отвечает

Теркин тот, поджав губу, -

Теркин - я.

- Да кто их знает, -

Не написано на лбу.

Из кармана гимнастерки

Рыжий - книжку:

- Что ж я вам...

- Точно: Теркин...

- Только Теркин

Не Василий, а Иван.

Но, уже с насмешкой глядя,

Тот ответил моему:

- Ты пойми, что рифмы ради

Можно сделать хоть Фому.

Этот выдохнул затяжку:

- Да, но Теркин-то - герой.

Тот шинелку нараспашку:

- Вот вам орден, вот другой,

Вот вам Теркин-бронебойщик,

Верьте слову, не молве.

И машин подбил я больше -

Не одну, а целых две...

Теркин будто бы растерян,

Грустно щурится в огонь.

- Я бы мог тебя проверить,

Будь бы здесь у нас гармонь.

Все кругом:

- Гармонь найдется,

Есть у старшего.

- Не тронь.

- Что не тронь?

- Смотри, проснется...

- Пусть проснется.

- Есть гармонь!

Только взял боец трехрядку,

Сразу видно: гармонист.

Для началу, для порядку

Кинул пальцы сверху вниз.

И к мехам припал щекою,

Строг и важен, хоть не брит,

И про вечер над рекою

Завернул, завел навзрыд...

Теркин мой махнул рукою:

- Ладно. Можешь, - говорит, -

Но одно тебя, брат, губит:

Рыжесть Теркину нейдет.

- Рыжих девки больше любят, -

Отвечает Теркин тот.

Теркин сам уже хохочет,

Сердцем щедрым наделен.

И не так уже хлопочет

За себя, - что Теркин он.

Чуть обидно, да приятно,

Что такой же рядом с ним.

Непонятно, да занятно

Всем ребятам остальным.

Молвит Теркин:

- Сделай милость,

Будь ты Теркин насовсем.

И пускай однофамилец

Буду я...;

А тот:

- Зачем?..

- Кто же Теркин?

- Ну и лихо!.. -

Хохот, шум, неразбериха...

Встал какой-то старшина

Да как крикнет:

- Тишина!

Что вы тут не разберете,

Не поймете меж собой?

По уставу каждой роте

Будет придан Теркин свой,

Слышно всем? Порядок ясен?

Жалоб нету? Ни одной?

Разойдись!

И я согласен

С этим строгим старшиной.

Я бы, может быть, и взводам

Придал Теркина в друзья...

Впрочем, все тут мимоходом

К разговору вставил я.

**ОТ АВТОРА**

По которой речке плыть, -

Той и славушку творить...

С первых дней годины горькой,

В тяжкий час земли родной,

Не шутя, Василий Теркин,

Подружились мы с тобой.

Но еще не знал я, право,

Что с печатного столбца

Всем придешься ты по нраву,

А иным войдешь в сердца.

До войны едва в помине

Был ты, Теркин, на Руси.

Теркин? Кто такой? А ныне

Теркин - кто такой? - спроси.

- Теркин, как же!

- Знаем.

- Дорог.

- Парень свой, как говорят.

- Словом, Теркин, тот, который

На войне лихой солдат,

На гулянке гость не лишний,

На работе - хоть куда...

Жаль, давно его не слышно,

Может, что худое вышло?

Может, с Теркиным беда?

- Не могло того случиться.

- Не похоже.

- Враки.

- Вздор...

- Как же, если очевидца

Подвозил один шофер.

В том бою лежали рядом,

Теркин будто бы привстал,

В тот же миг его снарядом

Бронебойным - наповал.

- Нет, снаряд ударил мимо.

А слыхали так, что мина...

- Пуля-дура...

- А у нас

Говорили, что фугас.

- Пуля, бомба или мина -

Все равно, не в том вопрос.

А слова перед кончиной

Он какие произнес?.

- Говорил насчет победы.

Мол, вперед. Примерно так...

- Жаль, - сказал, - что до обеда

Я убитый, натощак.

Неизвестно, мол, ребята,

Отправляясь на тот свет,

Как там, что: без аттестата

Признают нас или нет?

- Нет, иное почему-то

Слышал раненый боец.

Молвил Теркин в ту минуту:

"Мне - конец, войне - конец".

Если так, тогда не верьте,

Разве это невдомек:

Не подвержен Теркин смерти,

Коль войне не вышел срок...

Шутки, слухи в этом духе

Автор слышит не впервой.

Правда правдой остается,

А молва себе - молвой.

Нет, товарищи, герою,

Столько лямку протащив,

Выходить теперь из строя? -

Извините! - Теркин жив!

Жив-здоров. Бодрей, чем прежде.

Помирать? Наоборот,

Я в такой теперь надежде:

Он меня переживет.

Все худое он изведал,

Он терял родимый край

И одну политбеседу

Повторял:

- Не унывай!

С первых дней годины горькой

Мир слыхал сквозь грозный гром,

Повторял Василий Теркин:

- Перетерпим. Перетрем...

Нипочем труды и муки,

Горечь бедствий и потерь.

А кому же книги в руки,

Как не Теркину теперь?!

Рассуди-ка, друг-товарищ,

Посмотри-ка, где ты вновь

На привалах кашу варишь,

В деревнях грызешь морковь.

Снова воду привелося

Из какой черпать реки!

Где стучат твои колеса,

Где ступают сапоги!

Оглянись, как встал с рассвета

Или ночь не спал, солдат,

Был иль не был здесь два лета,

Две зимы тому назад.

Вся она - от Подмосковья

И от Волжского верховья

До Днепра и Заднепровья -

Вдаль на запад сторона, -

Прежде отданная с кровью,

Кровью вновь возвращена.

Вновь отныне это свято:

Где ни свет, то наша хата,

Где ни дым, то наш костер,

Где ни стук, то наш топор,

Что ни груз идет куда-то, -

Наш маршрут и наш мотор!

И такую-то махину,

Где гони, гони машину, -

Есть где ехать вдаль и вширь,

Он пешком, не вполовину,

Всю промерил, богатырь.

Богатырь не тот, что в сказке -

Беззаботный великан,

А в походной запояске,

Человек простой закваски,

Что в бою не чужд опаски,

Коль не пьян. А он не пьян.

Но покуда вздох в запасе,

Толку нет о смертном часе.

В муках тверд и в горе горд,

Теркин жив и весел, черт!

Праздник близок, мать-Россия,

Оберни на запад взгляд:

Далеко ушел Василий,

Вася Теркин, твой солдат.

То серьезный, то потешный,

Нипочем, что дождь, что снег, -

В бой, вперед, в огонь кромешный

Он идет, святой и грешный,

Русский чудо-человек.

Разносись, молва, по свету:

Объявился старый друг...

- Ну-ка, к свету.

- Ну-ка, вслух.

**ДЕД И БАБА**

Третье лето. Третья осень.

Третья озимь ждет весны.

О своих нет-нет и спросим

Или вспомним средь войны.

Вспомним с нами отступавших,

Воевавших год иль час,

Павших, без вести пропавших,

С кем видались мы хоть раз,

Провожавших, вновь встречавших,

Нам попить воды подавших,

Помолившихся за нас.

Вспомним вьюгу-завируху

Прифронтовой полосы,

Хату с дедом и старухой,

Где наш друг чинил часы.

Им бы не было износу

Впредь до будущей войны,

Но, как водится, без спросу

Снял их немец со стены:

То ли вещью драгоценной

Те куранты посчитал,

То ль решил с нужды военной, -

Как-никак цветной металл.

Шла зима, весна и лето.

Немец жить велел живым.

Шла война далеко где-то

Чередом глухим своим.

И в твоей родимой речке

Мылся немец тыловой.

На твоем сидел крылечке

С непокрытой головой.

И кругом его порядки,

И немецкий, привозной

На смоленской узкой грядке

Зеленел салат весной.

И ходил сторонкой, боком

Ты по улочке своей, -

Уберегся ненароком,

Жить живи, дышать не смей.

Так и жили дед да баба

Без часов своих давно,

И уже светилось слабо

На пустой стене пятно...

Но со страстью неизменной

Дед судил, рядил, гадал

О кампании военной,

Как в отставке генерал.

На дорожке возле хаты

Костылем старик чертил

Окруженья и охваты,

Фланги, клинья, рейды в тыл...

- Что ж, за чем там остановка? -

Спросят люди.- Срок не мал...

Дед-солдат моргал неловко,

Кашлял:

- Перегруппировка...-

И таинственно вздыхал.

У людей уже украдкой

Наготове был упрек,

Словно добрую догадку

Дед по скупости берег.

Словно думал подороже

Запросить с души живой.

- Дед, когда же?

- Дед, ну что же?

- Где ж он, дед, Буденный твой?

И едва войны погудки

Заводил вдали восток,

Дед, не медля ни минутки,

Объявил, что грянул срок.

Отличал тотчас по слуху

Грохот наших батарей.

Бегал, топал:

- Дай им духу!

Дай еще! Добавь! Прогрей!

Но стихала канонада,

Потухал зарниц пожар.

- Дед, ну что же?

- Думать надо,

Здесь не главный был удар.

И уже казалось деду, -

Сам хотел того иль нет, -

Перед всеми за победу

Лично он держал ответ.

И, тая свою кручину,

Для всего на свете он

И угадывал причину,

И придумывал резон.

Но когда пора настала,

Долгожданный вышел срок,

То впервые воин старый

Ничего сказать не мог...

Все тревоги, все заботы

У людей слились в одну:

Чтоб за час до той свободы

Не постигла смерть в плену.

**x x x**

В ночь, как все, старик с женой

Поселились в яме.

А война - не стороной,

Нет, над головами.

Довелось под старость лет:

Ни в пути, ни дома,

А у входа на тот свет

Ждать в часы приема.

Под накатом из жердей,

На мешке картошки,

С узелком, с горшком углей,

С курицей в лукошке...

Две войны прошел солдат

Целый, невредимый.

Пощади его, снаряд,

В конопле родимой!

Просвисти над головой,

Но вблизи не падай,

Даже если ты и свой, -

Все равно не надо!

Мелко крестится жена,

Сам не скроешь дрожи!

Ведь живая смерть страшна

И солдату тоже.

Стихнул грохот огневой

С полночи впервые.

Вдруг - шаги за коноплей.

- Ну, идут... немые...

По картофельным рядам

К погребушке прямо.

- Ну, старик, не выйти нам

Из готовой ямы.

Но старик встает, плюет

По-мужицки в руку,

За топор - и наперед:

Заслонил старуху.

Гибель верную свою,

Как тот миг ни горек,

Порешил встречать в бою,

Держит свой топорик.

Вот шаги у края - стоп!

И на шубу глухо

Осыпается окоп.

Обмерла старуха.

Все же вроде как жива, -

Наше место свято, -

Слышит русские слова:

- Жители, ребята?..

- Детки! Родненькие... Детки!..

Уронил топорик дед.

- Мы, отец, еще в разведке,

Тех встречай, что будут вслед.

На подбор орлы-ребята,

Молодец до молодца.

И старшой у аппарата, -

Хоть ты что, знаком с лица.

- Закурить? Верти, папаша.-

Дед садится, вытер лоб.

- Ну, ребята, счастье ваше -

Голос подали. А то б...

И старшой ему кивает:

- Ничего. На том стоим.

На войне, отец, бывает -

Попадает по своим.

- Точно так. - И тут бы деду

В самый раз, что покурить,

В самый раз продлить беседу:

Столько ждал! - Поговорить.

Но они спешат не в шутку.

И еще не снялся дым...

- Погоди, отец, минутку,

Дай сперва освободим...

Молодец ему при этом

Подмигнул для красоты,

И его по всем приметам

Дед узнал:

- Так это ж ты!

Друг-знакомец, мастер-ухарь,

С кем сидели у стола.

Погляди скорей, старуха!

Узнаешь его, орла?

Та как глянула:

- Сыночек!

Голубочек. Вот уж гость.

Может, сала съешь кусочек,

Воевал, устал небось?

Смотрит он, шутник тот самый:

- Закусить бы счел за честь,

Но ведь нету, бабка, сала?

- Да и нет, а все же есть...

- Значит, цел, орел, покуда.

- Ну, отец, не только цел:

Отступал солдат отсюда,

А теперь, гляди, кто буду, -

Вроде даже офицер.

- Офицер? Так-так. Понятно, -

Дед кивает головой.-

Ну, а если... на попятный,

То опять как рядовой?..

- Нет, отец, забудь. Отныне

Нерушим простой завет:

Ни в большом, ни в малом чине

На попятный ходу нет.

Откажи мне в черствой корке,

Прогони тогда за дверь.

Это я, Василий Теркин,

Говорю. И ты уж верь.

- Да уж верю! Как получше,

На какой теперь манер:

Господин, сказать, поручик

Иль товарищ, офицер?

- Стар годами, слаб глазами,

И, однако, ты, старик,

За два года с господами

К обращению привык...

Дед - плеваться, а старуха,

Подпершись одной рукой,

Чуть склонясь и эту руку

Взявши под локоть другой,

Все смотрела, как на сына

Смотрит мать из уголка.

- 3акуси еще, - просила, -

Закуси, поешь пока...

И спешил, а все ж отведал,

Угостился, как родной..

Табаку отсыпал деду

И простился.

- Связь, за мной! -

И уже пройдя немного, -

Мастер памятлив и тут, -

Теркин будто бы с порога

Про часы спросил:

- Идут?

- Как не так! - и вновь причина

Бабе кинуться в слезу.

- Будет, бабка! Из Берлина

Двое новых привезу.

**НА ДНЕПРЕ**

За рекой еще Угрою,

Что осталась позади,

Генерал сказал герою:

- Нам с тобою по пути...

Вот, казалось, парню счастье,

Наступать расчет прямой:

Со своей гвардейской частью

На войне придет домой.

Но едва ль уже мой Теркин,

Жизнью тертый человек,

При девчонках на вечерке

Помышлял курить "Казбек"...

Все же с каждым переходом,

С каждым днем, что ближе к ней,

Сторона, откуда родом,

Земляку была больней.

И в пути, в горячке боя,

На привале и во сне

В нем жила сама собою

Речь к родимой стороне:

- Мать-земля моя родная,

Сторона моя лесная,

Приднепровский отчий край,

Здравствуй, сына привечай!

Здравствуй, пестрая осинка,

Ранней осени краса,

Здравствуй, Ельня, здравствуй, Глинка,

Здравствуй, речка Лучеса...

Мать-земля моя родная,

Я твою изведал власть,

Как душа моя больная

Издали к тебе рвалась!

Я загнул такого крюку,

Я прошел такую даль,

И видал такую муку,

И такую знал печаль!

Мать-земля моя родная,

Дымный дедовский большак,

Я про то не вспоминаю,

Не хвалюсь, а только так!..

Я иду к тебе с востока,

Я тот самый, не иной.

Ты взгляни, вздохни глубоко,

Встреться наново со мной.

Мать-земля моя родная,

Ради радостного дня

Ты прости, за что - не знаю,

Только ты прости меня!..

Так в пути, в горячке боя,

В суете хлопот и встреч

В нем жила сама собою

Эта песня или речь.

Но война - ей все едино,

Все - хорошие края:

Что Кавказ, что Украина,

Что Смоленщина твоя.

Через реки и речонки,

По мостам, и вплавь, и вброд,

Мимо, мимо той сторонки

Шла дивизия вперед.

А левее той порою,

Ранней осенью сухой,

Занимал село героя

Генерал совсем другой...

Фронт полнел, как половодье,

Вширь и вдаль. К Днепру, к Днепру

Кони шли, прося поводья,

Как с дороги ко двору.

И в пыли, рябой от пота,

Фронтовой смеялся люд:

Хорошо идет пехота.

Раз колеса отстают.

Нипочем, что уставали

По пути к большой реке

Так, что ложку на привале

Не могли держать в руке.

Вновь сильны святым порывом,

Шли вперед своим путем,

Со страдальчески-счастливым,

От жары открытым ртом.

Слева наши, справа наши,

Не отстать бы на ходу.

- Немец кухни с теплой кашей

Второпях забыл в саду.

- Подпереть его да в воду.

- Занял берег, сукин сын!

- Говорят, уж занял с ходу

Населенный пункт Берлин...

Золотое бабье лето

Оставляя за собой,

Шли войска - и вдруг с рассвета

Наступил днепровский бой...

Может быть, в иные годы,

Очищая русла рек,

Все, что скрыли эти воды,

Вновь увидит человек.

Обнаружит в илах сонных,

Извлечет из рыбьей мглы,

Как стволы дубов мореных,

Орудийные стволы;

Русский танк с немецким в паре,

Что нашли один конец,

И обоих полушарий

Сталь, резину и свинец;

Хлам войны - понтона днище,

Трос, оборванный в песке,

И топор без топорища,

Что сапер держал в руке.

Может быть, куда как пуще

И об этом топоре

Скажет кто-нибудь в грядущей

Громкой песне о Днепре;

О страде неимоверной

Кровью памятного дня.

Но о чем-нибудь, наверно,

Он не скажет за меня.

Пусть не мне еще с задачей

Было сладить. Не беда.

В чем-то я его богаче, -

Я ступал в тот след горячий,

Я там был. Я жил тогда...

Если с грузом многотонным

Отстают грузовики,

И когда-то мост понтонный

Доберется до реки, -

Под огнем не ждет пехота,

Уставной держась статьи,

За паром идут ворота;

Доски, бревна - за ладьи.

К ночи будут переправы,

В срок поднимутся мосты,

А ребятам берег правый

Свесил на воду кусты.

Подплывай, хватай за гриву.

Словно доброго коня.

Передышка под обрывом

И защита от огня.

Не беда, что с гимнастерки,

Со всего ручьем течет...

Точно так Василий Теркин

И вступил на берег тот.

На заре туман кудлатый,

Спутав дымы и дымки,

В берегах сползал куда-то,

Как река поверх реки.,

И еще в разгаре боя,

Нынче, может быть, вот-вот,

Вместе с берегом, с землею

Будет в воду сброшен взвод.

Впрочем, всякое привычно, -

Срок войны, что жизни век.

От заставы пограничной

До Москвы-реки столичной

И обратно - столько рек!

Вот уже боец последний

Вылезает на песок

И жует сухарь немедля,

Потому - в Днепре намок,

Мокрый сам, шуршит штанами.

Ничего! - На то десант.

- Наступаем. Днепр за нами,

А, товарищ лейтенант?..

Бой гремел за переправу,

А внизу, южнее чуть -

Немцы с левого на правый,

Запоздав, держали путь.

Но уже не разминуться,

Теркин строго говорит:

- Пусть на левом в плен сдаются,

Здесь пока прием закрыт,

А на левом с ходу, с ходу

Подоспевшие штыки

Их толкали в воду, в воду,

А вода себе теки...

И еще меж берегами

Без разбору, наугад

Бомбы сваи помогали

Загонять, стелить накат...

Но уже из погребушек,

Из кустов, лесных берлог

Шел народ - родные души -

По обочинам дорог...

К штабу на берег восточный

Плелся стежкой, стороной

Некий немец беспорточный,

Веселя народ честной.

- С переправы?

- С переправы.

Только-только из Днепра.

- Плавал, значит?

- Плавал, дьявол,

Потому - пришла жара...

- Сытый, черт!

Чистопородный.

- В плен спешит, как на привал...

Но уже любимец взводный -

Теркин, в шутки не встревал.

Он курил, смотрел нестрого,

Думой занятый своей.

За спиной его дорога

Много раз была длинней.

И молчал он не в обиде,

Не кому-нибудь в упрек, -

Просто, больше знал и видел,

Потерял и уберег...

- Мать-земля моя родная,

Вся смоленская родня,

Ты прости, за что - не знаю,

Только ты прости меня!

Не в плену тебя жестоком,

По дороге фронтовой,

А в родном тылу глубоком

Оставляет Теркин твой.

Минул срок годины горькой,

Не воротится назад.

- Что ж ты, брат, Василий Теркин,

Плачешь вроде?..

- Виноват...

**ПРО СОЛДАТА-СИРОТУ**

Нынче речи о Берлине.

Шутки прочь, - подай Берлин.

И давно уж не в помине,

Скажем, древний город Клин.

И на Одере едва ли

Вспомнят даже старики,

Как полгода с бою брали

Населенный пункт Борки.

А под теми под Борками

Каждый камень, каждый кол

На три жизни вдался в память

Нам с солдатом-земляком.

Был земляк не стар, не молод,

На войне с того же дня

И такой же был веселый,

Наподобие меня.

Приходилось парню драпать,

Бодрый дух всегда берег,

Повторял: "Вперед, на запад",

Продвигаясь на восток.

Между прочим, при отходе,

Как сдавали города,

Больше вроде был он в моде,

Больше славился тогда.

И по странности, бывало,

Одному ему почет,

Так что даже генералы

Были будто бы не в счет.

Срок иной, иные даты.

Разделен издревле труд:

Города сдают солдаты,

Генералы их берут.

В общем, битый, тертый, жженый,

Раной меченный двойной,

В сорок первом окруженный,

По земле он шел родной.

Шел солдат, как шли другие,

В неизвестные края:

"Что там, где она, Россия,

По какой рубеж своя?.."

И в плену семью кидая,

За войной спеша скорей,

Что он думал, не гадаю,

Что он нес в душе своей.

Но какая ни морока,

Правда правдой, ложью ложь.

Отступали мы до срока,

Отступали мы далеко,

Но всегда твердили:

- Врешь!..

И теперь взглянуть на запад

От столицы. Край родной!

Не на шутку был он заперт

За железною стеной.

И до малого селенья

Та из плена сторона

Не по щучьему веленью

Вновь сполна возвращена,

По веленью нашей силы,

Русской, собственной своей.

Ну-ка, где она, Россия,

У каких гремит дверей!

И, навеки сбив охоту

В драку лезть на свой авось,

Враг ее - какой по счету! -

Пал ничком и лапы врозь.

Над какой столицей круто

Взмыл твой флаг, отчизна-мать!

Подождемте до салюта,

Чтобы в точности сказать.

Срок иной, иные даты.

Правда, ноша не легка...

Но продолжим про солдата,

Как сказали, земляка.

Дом родной, жена ли, дети,

Брат, сестра, отец иль мать

У тебя вот есть на свете, -

Есть куда письмо послать.

А у нашего солдата -

Адресатом белый свет.

Кроме радио, ребята,

Близких родственников нет.

На земле всего дороже,

Коль имеешь про запас

То окно, куда ты сможешь

Постучаться в некий час.

На походе за границей,

В чужедальней стороне,

Ах, как бережно хранится

Боль-мечта о том окне!

А у нашего солдата, -

Хоть сейчас войне отбой, -

Ни окошка нет, ни хаты,

Ни хозяйки, хоть женатый,

Ни сынка, а был, ребята, -

Рисовал дома с трубой...

Под Смоленском наступали.

Выпал отдых. Мой земляк

Обратился на привале

К командиру: так и так, -

Отлучиться разрешите,

Дескать, случай дорогой,

Мол, поскольку местный житель,

До двора - подать рукой.

Разрешают в меру срока...

Край известный до куста.

Но глядит - не та дорога,

Местность будто бы не та.

Вот и взгорье, вот и речка,

Глушь, бурьян солдату в рост,

Да на столбике дощечка,

Мол, деревня Красный Мост.

И нашлись, что были живы,

И скажи ему спроста

Все по правде, что служивый -

Достоверный сирота.

У дощечки на развилке,

Сняв пилотку, наш солдат

Постоял, как на могилке,

И пора ему назад.

И, подворье покидая,

За войной спеша скорей,

Что он думал, не гадаю,

Что он нес в душе своей...

Но, бездомный и безродный,

Воротившись в батальон,

Ел солдат свой суп холодный

После всех, и плакал он.

На краю сухой канавы,

С горькой, детской дрожью рта,

Плакал, сидя с ложкой в правой,

С хлебом в левой, - сирота.

Плакал, может быть, о сыне,

О жене, о чем ином,

О себе, что знал: отныне

Плакать некому о нем.

Должен был солдат и в горе

Закусить и отдохнуть,

Потому, друзья, что вскоре

Ждал его далекий путь.

До земли советской края

Шел тот путь в войне, в труде.

А война пошла такая -

Кухни сзади, черт их где!

Позабудешь и про голод

За хорошею войной.

Шутки, что ли, сутки - город,

Двое суток - областной.

Срок иной, пора иная -

Бей, гони, перенимай.

Белоруссия родная,

Украина золотая,

Здравствуй, пели, и прощай.

Позабудешь и про жажду,

Потому что пиво пьет

На войне отнюдь не каждый

Тот, что брал пивной завод.

Так-то с ходу ли, не с ходу,

Соступив с родной земли,

Пограничных речек воду

Мы с боями перешли.

Счет сведен, идет расплата

На свету, начистоту.

Но закончим про солдата,

Про того же сироту.

Где он нынче на поверку.

Может, пал в бою каком,

С мелкой надписью фанерку

Занесло сырым снежком.

Или снова был он ранен,

Отдохнул, как долг велит,

И опять на поле брани

Вместе с нами брал Тильзит?

И, Россию покидая,

За войной спеша скорей,

Что он думал, не гадаю,

Что он нес в душе своей.

Может, здесь еще бездонней

И больней душе живой,

Так ли, нет, - должны мы помнить

О его слезе святой.

Если б ту слезу руками

Из России довелось

На немецкий этот камень

Донести, - прожгла б насквозь"

Счет велик, идет расплата.

И за той большой страдой

Не забудемте, ребята,

Вспомним к счету про солдата,

Что остался сиротой.

Грозен счет, страшна расплата

За мильоны душ и тел.

Уплати - и дело свято,

Но вдобавок за солдата,

Что в войне осиротел.

Далеко ли до Берлина,

Не считай, шагай, смоли, -

Вдвое меньше половины

Той дороги, что от Клина,

От Москвы уже прошли.

День идет за ночью следом,

Подведем штыком черту.

Но и в светлый день победы

Вспомним, братцы, за беседой

Про солдата-сироту...

**ПО ДОРОГЕ НА БЕРЛИН**

По дороге на Берлин

Вьется серый пух перин.

Провода умолкших линий,

Ветки вымокшие лип

Пух перин повил, как иней,

По бортам машин налип.

И колеса пушек, кухонь

Грязь и снег мешают с пухом.

И ложится на шинель

С пухом мокрая метель...

Скучный климат заграничный,

Чуждый край краснокирпичный,

Но война сама собой,

И земля дрожит привычно,

Хрусткий щебень черепичный

Отряхая с крыш долой...

Мать-Россия, мы полсвета

У твоих прошли колес,

Позади оставив где-то

Рек твоих раздольный плес.

Долго-долго за обозом

В край чужой тянулся вслед

Белый цвет твоей березы

И в пути сошел на нет.

С Волгой, с древнею Москвою

Как ты нынче далека.

Между нами и тобою -

Три не наших языка.

Поздний день встает не русский

Над немилой стороной.

Черепичный щебень хрусткий

Мокнет в луже под стеной.

Всюду надписи, отметки,

Стрелки, вывески, значки,

Кольца проволочной сетки,

Загородки, дверцы, клетки -

Все нарочно для тоски...

Мать-земля родная наша,

В дни беды и в дни побед

Нет тебя светлей и краше

И желанней сердцу нет.

Помышляя о солдатской

Непредсказанной судьбе,

Даже лечь в могиле братской

Лучше, кажется, в тебе.

А всего милей до дому,

До тебя дойти живому,

Заявиться в те края:

- Здравствуй, родина моя!

Воин твой, слуга народа,

С честью может доложить:

Воевал четыре года,

Воротился из похода

И теперь желает жить.

Он исполнил долг во славу

Боевых твоих знамен.

Кто еще имеет право

Так любить тебя, как он!

День и ночь в боях сменяя,

В месяц шапки не снимая,

Воин твой, защитник-сын,

Шел, спешил к тебе, родная,

По дороге на Берлин.

По дороге неминучей

Пух перин клубится тучей.

Городов горелый лом

Пахнет паленым пером.

И под грохот канонады

На восток, из мглы и смрада,

Как из адовых ворот,

Вдоль шоссе течет народ.

Потрясенный, опаленный,

Всех кровей, разноплеменный,

Горький, вьючный, пеший люд...

На восток - один маршрут.

На восток, сквозь дым и копоть,

Из одной тюрьмы глухой

По домам идет Европа.

Пух перин над ней пургой.

И на русского солдата

Брат француз, британец брат,

Брат поляк и все подряд

С дружбой будто виноватой,

Но сердечною глядят.

На безвестном перекрестке

На какой-то встречный миг -

Сами тянутся к прическе

Руки девушек немых.

И от тех речей, улыбок

Залит краской сам солдат;

Вот Европа, а спасибо

Все по-русски говорят.

Он стоит, освободитель,

Набок шапка со звездой.

Я, мол, что ж, помочь любитель,

Я насчет того простой.

Мол, такая служба наша,

Прочим флагам не в упрек...

- Эй, а ты куда, мамаша?

- А туда ж, - домой, сынок.

В чужине, в пути далече,

В пестром сборище людском

Вдруг слова родимой речи,

Бабка в шубе, с посошком.

Старость вроде, да не дряхлость

В ту котомку впряжена.

По-дорожному крест-накрест

Вся платком оплетена,

Поздоровалась и встала.

Земляку-бойцу под стать,

Деревенская, простая

Наша труженица-мать.

Мать святой извечной силы,

Из безвестных матерей,

Что в труде неизносимы

И в любой беде своей;

Что судьбою, повторенной

На земле сто раз подряд,

И растят в любви бессонной,

И теряют нас, солдат;

И живут, и рук не сложат,

Не сомкнут своих очей,

Коль нужны еще, быть может,

Внукам вместо сыновей.

Мать одна в чужбине где-то!

- Далеко ли до двора?

- До двора? Двора-то нету,

А сама из-за Днепра...

Стой, ребята, не годится,

Чтобы этак с посошком

Шла домой из-за границы

Мать солдатская пешком.

Нет, родная, по порядку

Дай нам делать, не мешай.

Перво-наперво лошадку

С полной сбруей получай.

Получай экипировку,

Ноги ковриком укрой.

А еще тебе коровку

Вместе с приданной овцой.

В путь-дорогу чайник с кружкой

Да ведерко про запас,

Да перинку, да подушку, -

Немцу в тягость, нам как раз...

- Ни к чему. Куда, родные? -

А ребята - нужды нет -

Волокут часы стенные

И ведут велосипед.

- Ну, прощай. Счастливо ехать!

Что-то силится сказать

И закашлялась от смеха,

Головой качает мать.

- Как же, детки, путь не близкий,

Вдруг задержат где меня:

Ни записки, ни расписки

Не имею на коня,

- Ты об этом не печалься,

Поезжай да поезжай.

Что касается начальства, -

Свой у всех передний край.

Поезжай, кати, что с горки,

А случится что-нибудь,

То скажи, не позабудь:

Мол, снабдил Василий Теркин, -

И тебе свободен путь.

Будем живы, в Заднепровье

Завернем на пироги.

- Дай господь тебе здоровья

И от пули сбереги...

Далеко, должно быть, где-то

Едет нынче бабка эта,

Правит, щурится от слез.

И с боков дороги узкой,

На земле еще не русской -

Белый цвет родных берез.

Ах, как радостно и больно

Видеть их в краю ином!..

Пограничный пост контрольный,

Пропусти ее с конем!

**В БАНЕ**

На околице войны -

В глубине Германии -

Баня! Что там Сандуны

С остальными банями!

На чужбине отчий дом -

Баня натуральная.

По порядку поведем

Нашу речь похвальную.

Дом ли, замок, все равно,

Дело безобманное:

Банный пар занес окно

Пеленой туманною.

Стулья графские стоят

Вдоль стены в предбаннике.

Снял подштанники солдат,

Докурил без паники.

Докурил, рубаху с плеч

Тащит через голову.

Про солдата в бане речь, -

Поглядим на голого.

Невысок, да грудь вперед

И в кости надежен.

Телом бел, - который год

Загорал в одеже.

И хоть нет сейчас на нем

Форменных регалий,

Что знаком солдат с огнем,

Сразу б угадали.

Подивились бы спроста,

Что остался целым.

Припечатана звезда

На живом, на белом.

Неровна, зато красна,

Впрямь под стать награде,

Пусть не спереди она, -

На лопатке сзади.

С головы до ног мельком

Осмотреть атлета:

Там еще рубец стручком,

Там иная мета.

Знаки, точно письмена

Памятной страницы.

Тут и Ельня, и Десна,

И родная сторона

В строку с заграницей.

Столько верст я столько вех,

Не забыть иную.

Но разделся человек,

Так идет в парную,

Он идет, но как идет,

Проследим сторонкой:

Так ступает, точно лед

Под ногами тонкий;

Будто делает G трудом

Шаг - и непременно:

- Ух, ты! -"- крякает, притом

Щурится блаженно.

Говор, плеск, веселый гул,

Капли с потных сводов...

Ищет, руки протянув,

Прежде пар, чем воду.

Пар бодает в потолок

Ну-ка, о ходу на полок!

В жизни мирной или бранной,

У любого рубежа,

Благодарны ласке банной

Наше тело и душа.

Ничего, что ты природой

Самый русский человек,

А берешь для бани воду

Из чужих; далеких рек.

Много хуже для здоровья,

По зиме ли, по весне,

Возле речек Подмосковья

Мыться в бане на войне.

- Ну-ка ты, псковской, елецкий

Иль еще какой земляк,

Зачерпни воды немецкой

Да уважь, плесни черпак.

Не жалей, добавь на пфенниг,

А теперь погладить швы

Дайте, хлопцы, русский веник,

Даже если он с Литвы.

Честь и слава помпохозу,

Снаряжавшему обоз,

Что советскую березу

Аж за Кенигсберг завез.

Эй, славяне, что с Кубани,

С Дона, с Волги, с Иртыша,

Занимай высоты в бане,

Закрепляйся не спеша!

До того, друзья, отлично

Так-то всласть, не торопясь,

Парить веником привычным

Заграничный пот и грязь.

Пар на славу, молодецкий,

Мокрым доскам горячо.

Ну-ка, где ты, друг елецкий,

Кинь гвардейскую еще!

Кинь еще, а мы освоим

С прежней дачей заодно.

Вот теперь спасибо, воин,

Отдыхай. Теперь - оно!

Кто не нашей подготовки,

Того с полу на полок

Не встянуть и на веревке, -

Разве только через блок.

Тут любой старик любитель,

Сунься только, как ни рьян,

Больше двух минут не житель,

А и житель - не родитель,

Потому не даст семян.

Нет, куда, куда, куда там,

Хоть кому, кому, кому

Браться париться с солдатом, -

Даже черту самому.

Пусть он жиловатый парень,

Да такими вряд ли он,

Как солдат, жарами жарен

И морозами печен.

Пусть он, в общем, тертый малый,

Хоть, понятно, черта нет,

Да поди сюда, пожалуй,

Так узнаешь, где тот свет.

На полке, полке, что тесан

Мастерами на войне,

Ходит веник жарким чесом

По малиновой спине.

Человек поет и стонет,

Просит;

- Гуще нагнетай.-

Стонет, стонет, а не донят:

- Дай! Дай! Дай! Дай!

Не допариться в охоту,

В меру тела для бойца -

Все равно, что немца с ходу

Не доделать до конца.

Нет, тесни его, чтоб вскоре

Опрокинуть навзничь в море,

А который на земле -

Истолочь живьем в "котле".

И за всю войну впервые -

Немца нет перед тобой.

В честь победы огневые

Грянут следом за Москвой.

Грянет залп многоголосый,

Заглушая шум волны.

И пошли стволы, колеса

На другой конец войны.

С песней тронулись колонны

Не в последний ли поход?

И ладонью запыленной

Сам солдат слезу утрет.

Кто-то свистнет, гикнет кто-то,

Грусть растает, как дымок,

И война - не та работа,

Если праздник недалек.

И война - не та работа,

Ясно даже простаку,

Если по три самолета

В помощь придано штыку.

И не те как будто люди,

И во всем иная стать,

Если танков и орудий -

Сверх того, что негде стать.

Сила силе доказала:

Сила силе - не ровня.

Есть металл прочней металла,

Есть огонь страшней огня!

Бьют Берлину у заставы

Судный час часы Москвы...

А покамест суд да справа -

Пропотел солдат на славу,

Кость прогрел, разгладил швы,

Новый с ног до головы -

И слезай, кончай забаву...

А внизу - иной уют,

В душевой и ванной

Завершает голый люд

Банный труд желанный.

Тот упарился, а тот

Борется с истомой.

Номер первый спину трет

Номеру второму.

Тот, механик и знаток

У светца хлопочет,

Тот макушку мылит впрок,

Тот мозоли мочит;

Тот платочек носовой,

Свой трофей карманный,

Моет мыльною водой,

Дармовою банной.

Ну, а наш слегка остыл

И - конец лежанке.

В шайке пену нарастил,

Обработал фронт и тыл,

Не забыл про фланги.

Быстро сладил с остальным,

Обдался и вылез.

И невольно вслед за ним

Все поторопились.

Не затем, чтоб он стоял

Выше в смысле чина,

А затем, что жизни дал

На полке мужчина.

Любит русский человек

Праздник силы всякий,

Оттого и хлеще всех

Он в труде и драке.

И в привычке у него

Издавна, извечно

За лихое удальство

Уважать сердечно.

И с почтеньем все глядят,

Как опять без паники

Не спеша надел солдат

Новые подштанники.

Не спеша надел штаны

И почти что новые,

С точки зренья старшины,

Сапоги кирзовые.

В гимнастерку влез солдат,

А на гимнастерке -

Ордена, медали в ряд

Жарким пламенем горят...

- Закупил их, что ли, брат,

Разом в военторге?

Тот стоит во всей красе,

Занят самокруткой.

- Это что! Еще не все, -

Метит шуткой в шутку.

- Любо-дорого. А где ж

Те, мол, остальные?..

- Где последний свой рубеж

Держит немец ныне.

И едва простился он,

Как бойцы в восторге

Вслед вздохнули:

- Ну, силен!

- Все равно, что Теркин.

**ОТ АВТОРА**

"Светит месяц, ночь ясна,

Чарка выпита до дна..."

Теркин, Теркин, в самом деле,

Час настал, войне отбой.

И как будто устарели

Тотчас оба мы с тобой.

И как будто оглушенный

В наступившей тишине,

Смолкнул я, певец смущенный,

Петь привыкший на войне.

В том беды особой нету:

Песня, стало быть, допета.

Песня новая нужна,

Дайте срок, придет она.

Я сказать хотел иное,

Мой читатель, друг и брат,

Как всегда, перед тобою

Я, должно быть, виноват.

Больше б мог, да было к спеху,

Тем, однако, дорожи,

Что, случалось, врал для смеху,

Никогда не лгал для лжи.

И, по совести, порою

Сам вздохнул не раз, не два,

Повторив слова героя,

То есть Теркина слова!

"Я не то еще сказал бы, -

Про себя поберегу.

Я не так еще сыграл бы, -

Жаль, что лучше не могу".

И хотя иные вещи

В годы мира у певца

Выйдут, может быть, похлеще

Этой книги про бойца, -

Мне она всех прочих боле

Дорога, родна до слез,

Как тот сын, что рос не в холе,

А в годину бед и гроз...

С первых дней годины горькой,

В тяжкий час земли родной,

Не шутя, Василий Теркин,

Подружились мы с тобой.

Я забыть того не вправе,

Чем твоей обязан славе,

Чем и где помог ты мне,

Повстречавшись на войне.

От Москвы, от Сталинграда

Неизменно ты со мной -

Боль моя, моя отрада,

Отдых мой и подвиг мой!

Эти строки и страницы -

Дней и верст особый счет,

Как от западной границы

До своей родной столицы,

И от той родной столицы

Вспять до западной границы,

А от западной границы

Вплоть до вражеской столицы

Мы свой делали поход.

Смыли весны горький пепел

Очагов, что грели нас.

С кем я не был, с кем я не пил

В первый раз, в последний раз..

С кем я только не был дружен

С первой встречи близ огня.

Скольким душам был я нужен,

Без которых нет меня.

Скольких их на свете нету,

Что прочли тебя, поэт,

Словно бедной книге этой

Много, много, много лет.

И сказать, помыслив здраво:

Что ей будущая слава!

Что ей критик, умник тот,

Что читает без улыбки,

Ищет, нет ли где ошибки, -

Горе, если не найдет.

Не о том с надеждой сладкой

Я мечтал, когда украдкой

На войне, под кровлей шаткой,

По дорогам, где пришлось,

Без отлучки от колес,

В дождь, укрывшись плащ-палаткой,

Иль зубами сняв перчатку

На ветру, в лютой мороз,

Заносил в свою тетрадку

Строки, жившие вразброс.

Я мечтал о сущем чуде:

Чтоб от выдумки моей

На войне живущим людям

Было, может быть, теплей,

Чтобы радостью нежданной

У бойца согрелась грудь,

Как от той гармошки драной,

Что случится где-нибудь.

Толку нет, что, может статься,

У гармошки за душой

Весь запас, что на два танца, -

Разворот зато большой.

И теперь, как смолкли пушки,

Предположим наугад,

Пусть нас где-нибудь в пивнушке

Вспомнит после третьей кружки

С рукавом пустым солдат;

Пусть в какой-нибудь каптерке

У кухонного крыльца

Скажут в шутку: "Эй ты, Теркин!"

Про какого-то бойца;

Пусть о Теркине почтенный

Скажет важно генерал, -

Он-то скажет непременно, -

Что медаль ему вручал;

Пусть читатель вероятный

Скажет с книжкою в руке:

- Вот стихи, а все понятно,

Все на русском языке...

Я доволен был бы, право,

И - не гордый человек -

Ни на чью иную славу

Не сменю того вовек.

Повесть памятной годины,

Эту книгу про бойца,

Я и начал с середины

И закончил без конца

С мыслью, может, дерзновенной

Посвятить любимый труд

Павшим памяти священной,

Всем друзьям поры военной,

Всем сердцам, чей дорог суд.

**Вениамин Александрович Каверин Два капитана.**

**ЧАСТЬ 1.**

**ДЕТСТВО.**

**Глава 1.**

**ПИСЬМО. ЗА ГОЛУБЫМ РАКОМ.**

Помню просторный грязный двор и низкие домики, обнесенные забором. Двор сеял у самой реки, и по веснам, когда спадала полая вода, он был усеян щепой и ракушками, а иногда и другими, куда более интересными вещами. Так, однажды мы нашли туго набитую письмами сумку, а потом вода принесла и осторожно положила на берег я самого почтальона. Он лежал на спине, закинув руки, как будто заслонясь от солнца, еще совсем молодой, белокурый, в форменной тужурке с блестящими пуговицами: должно быть, отправляясь в свой последний рейс, почтальон начистил их мелом.

Сумку отобрал городовой, а письма, так как они размокли и уже никуда не годились, взяла себе тетя Даша. Но они не совсем размокли: сумка была новая, кожаная и плотно запиралась. Каждый вечер тетя Даша читала вслух по одному письму, иногда только мне, а иногда всему двору. Это было так интересно, что старухи, ходившие к Сковородникову играть в «козла», бросали карты и присоединялись к нам. Одно из этих писем тетя Даша чита- ла чаще других – так часто, что, в конце концов, я выучил его наизусть. С тех пор прошло много лет, но я еще помню его от первого до последнего слова.

*«Глубокоуважаемая Мария Васильевна!*

*Спешу сообщить Вам, что Иван Львович жив и здоров. Четыре месяца тому назад я, согласно его предписаниям, покинул шхуну, и со мной тринадцать человек команды. Надеясь вскоре увидеться с Вами, не буду рассказывать о вашем тяжелом путешествии на Землю Франца–Иосифа по плавучим льдам. Не- вероятные бедствия и лишения приходилось терпеть. Скажу только, что из нашей группы я один благополучно (если не считать отмороженных ног) до- брался до мыса Флоры. «Св. Фока» экспедиции лейтенанта Седова подобрал меня и доставил в Архангельск. Я остался жив, но приходится, кажется, по- жалеть об этом, так как в ближайшие дни мне предстоит операция, после ко- торой останется только уповать на милосердие Божие, а как я буду жить без ног – не знаю. Но вот что я должен сообщить Вам: «Св. Мария» замерзла еще в Карском море и с октября 1913 года беспрестанно движется на север вместе с полярными льдами. Когда мы ушли, шхуна находилась на широте 82°55'. Она стоит спокойно среди ледяного поля, или, вернее, стояла с осени 1913 года до моего ухода. Может быть, она освободится и в этом году, но, по моему мне- нию, вероятнее, что в будущем, когда она будет приблизительно в том месте, где освободился «Фрам». Провизии у оставшихся еще довольно, и ее хватит до октября–ноября будущего года. Во всяком случае, спешу Вас уверить, что мы покинули судно не потому, что положение его безнадежно. Конечно, я должен был выполнить предписание командира корабля, но не скрою, что оно шло навстречу моему желанию. Когда я с тринадцатью матросами уходил с судна, Иван Львович вручил мне пакет на имя покойного теперь начальника Гидрогра- фического управления, и письмо для Вас. Не рискую посылать их почтой, пото- му что оставшись один, дорожу каждым свидетельством моего честного по- ведения. Поэтому прошу Вас прислать за ними или приехать лично в Архангельск, так как не менее трех месяцев я должен провести в больнице. Жду Вашего ответа.*

*С совершенным уважением, готовый к услугам*

*штурман дальнего плавания*

**И.Климов».**

Адрес был размыт водой, но все же видно было, что он написан тем же твердым, прямым почерком на толстом пожелтевшем конверте.

Должно быть, это письмо стало для меня чем–то вроде молитвы, – каждый вечер я повторял его, дожидаясь, когда придет отец.

Он поздно возвращался с пристани: пароходы приходили теперь каждый день и грузили не лен я хлеб, как раньше, а тяжелые ящики с патронами и частями орудий. Он прихо- дил – грузный, коренастый, усатый, в маленькой суконной шапочке, в брезентовых штанах. Мать говорила и говорила, а он молча ел и только откашливался изредка да вытирал усы. Потом он брал детей – меня я сестру – и заваливался на кровать. От него пахло пенькой, иногда яблоками, хлебом, а иногда каким–то протухшим машинным маслом, и я пожню, как от этого запаха мне становилось скучно.

Мне кажется, что именно в тот несчастный вечер, лежа рядом с отцом, я впервые сознательно оценил то, что меня окружало. Маленький, тесный домик с низким потолком, оклеенным газетной бумагой, с большой щелью под окном, из которой тянет свежестью и пахнет рекою, – это наш дом. Красивая черная женщина с распущенными волосами, спящая за полу на двух мешках, набитых соломой, – это моя мать. Маленькие детские ноги, торчащие из–под лоскутного одеяла, – это ноги моей сестры. Худенький черный мальчик в больших штанах, который, дрожа, слезает с постели и крадучись выходит во двор, – это я.

Уже давно было выбрано подходящее место, веревка припасена, и даже хворост сложен у Пролома; – нахватало только куска гнилого мяса, чтобы отправиться за голубым ра- ком. В нашей реке разноцветное дно, и раки попадались разноцветные – черные, зеленые, желтые. Эти шли на лягушек, на костер. Но голубой рак – в этом были твердо убеждены все мальчишки – шел только на гнилое мясо. Вчера, наконец, повезло: я стащил у матери кусок мяса я целый день держал его на солнце. Теперь оно была гнилое, – чтобы убедиться в этом, не нужно было даже брать его в руки…

Я быстро пробежал по берегу до Пролома: здесь был сложен хворост для костра. Вдали видны были башни – на одном берегу Покровская, на другом Спасская, в которой, когда началась война, устроили военный кожевенный склад. Петька Сковородников уверял, что прежде в Спасской башне жили черти и что юн сам видел, как они перебирались за наш берег, – перебрались, затопили паром и пошли жить в Покровскую башню. Он уверял, что черти любят курить и пьянствовать, что они востроголовые и что среди них много хромых, потому что они упали с неба. В Покровской башне они развелись и в хорошую погоду выходят на реку красть табак, – который рыбаки привязывают к сетям, чтобы подкупить водяного.

Словом, я не очень удивился, когда, раздувая маленький костер, увидел черную худую фигуру в проломе крепостной стены.

* Ты что здесь делаешь, шкет? – спросил черт, совершенно как люди.

Если бы я и мог, я бы ничего не ответил. Я только смотрел на него и трясся.

В эту минуту луна вышла из–за облаков, а сторож, ходивший на том берегу вокруг кожевенного склада, стал виден – большой, грузный, с винтовкой, торчавшей за спиною.

* Раков ловишь?

Он легко прыгнул вниз и присел у костра.

* Что ж ты молчишь, дурак? – спросил он сурово.

Нет, это был не черт! Это был тощий человек без шапки, с тросточкой, которой он все время похлопывал себя по ногам. Я не разглядел лица, но зато успел заметить, что пиджак был надет на голое тело, а рубашку заменял шарф.

* Что ж – ты говорить со мной не хочешь, подлец? – Он ткнул меня тростью. – Ну, отвечай! Отвечай! Или…

Не вставая, он схватил меня за ногу и потащил к себе. Я замычал.

* Э, да ты глухонемой!

Он отпустил меня и долго сидел, пошевеливая тросточкой угли.

* Прекрасный город, – сказал он с отвращением. – В каждом дворе – собаки; городовые – зверя. Ракоеды проклятые!

И он стал ругаться.

Если бы я знал, что произойдет через час, я постарался бы запомнить, что он говорил, хотя все равно не мог никому передать ни слова. Он долго ругался, даже плюнул в костер и заскрипел зубами. Потом замолчал, закинув голову – и обняв колени. Я мельком взглянул на него и, кажется, пожалел бы, если бы он не был такой неприятный.

Вдруг человек вскочил. Через несколько минут он был уже на понтонном мосту, который недавно наводили солдаты, а потом мелькнул на том берегу и исчез.

Костер мой погас, но и без костра я видел очень ясно, что среди раков, которых я натаскал уже немало, не было ни одного голубого. Обыкновенные черные раки, не очень крупные, – в пивной за таких платили копейку пара.

Холодный ветер начал тянуть откуда–то сзади, штаны мои раздувались, я стал замерзать. Пора домой! В последний раз была закинута веревка с мясом, когда я увидел на жом берегу сторожа, бежавшего вниз по склону. Спасская башня стояла высоко над рекой, и от нее спускался к берегу косогор, усеянный камнями. Никого не видно было на косогоре ярко освещенном луной, но сторож почему–то на ходу снял винтовку.

– Стой!

Он не выстрелил, только щелкнул затвором, и в эту минуту я увидел на понтонном мосту того, за кем он бежал. Пишу так осторожно потому, что и теперь еще не уверен, что это был человек, который час назад сидел у моего костра. Но я как будто вижу перед собой эту картину: тихие берега, расширяющиеся лунную дорогу прямо от меня к баржам понтонного моста и на мосту две длинные тени бегущих людей.

Сторож бежал тяжело и один раз даже остановился, чтобы перевести дух. Но тому, кто бежал впереди, было, как видно, еще тяжелее, потому что он вдруг присел у перил. Сторож подбежал к нему, крякнул я вдруг откинулся назад, – должно быть, его ударили снизу. И он еще висел на перилах, медленно сползая вниз, а убийца уже исчез за крепостной стеной.

Не знаю почему, но в эту ночь никто не караулил понтонный мост: будка была пуста, и вокруг никого, только сторож, лежавший на боку, вытянув вперед руки. Большая яловая кожа валялась рядом с ним, и он медленно зевал, когда, трясясь от страха, я подошел к нему. Через много лет я узнал, что многие перед смертью зевают. Потом он глубоко вздохнул, как будто с облегчением, и все стало тихо.

Не зная, что делать, я наклонился над ним, побежал к будке – и вот тут–то, а увидел, что она пуста, и снова вернулся к сторожу. Я даже кричать не мог, и не только потому, что был тогда немой, а просто от страха. Но вот с берега донеслись голоса, и я бросился назад, к тому месту, где ловил раков. Никогда больше не спалось мне бегать с такой быстротой, даже в груди закололо и остановилось дыхание. Я не успел прикрыть травой раков я растерял половину, пока добрался до дому, Но тут было не до раков!

С быстро бьющимся сердцем я бесшумно приоткрыл дверь. В нашей единственной комнате было темно, все спокойно спали, никто не заметил ни моего ухода, ни возвращения. Еще минута, и я лежал на прежнем месте, рядом с отцом. Но долго еще я не мог уснуть. У меня перед глазами были этот мост, совещенный луной, я две длинные бегущие тени.

**Глава 2. ОТЕЦ.**

Два огорчения ожидали меня на следующее утро.

Во–первых, мать нашла раков и сварила их. Таким образом, пропал мой двугривенный, а с ним надежда на новые крючки и блесну для щук. Во–вторых, пропал перочинный нож. Собственно говоря, это был отцовский нож, но так как лезвие было сломано, отец подарил его мне. Я все перебрал я дома я во дворе – нож как сквозь землю провалился.

Так провозился я до двенадцати часов, когда нужно было идти на пристань – нести отцу обед. Это была моя обязанность, и я ею очень гордился.

Пристань теперь на другом берегу, а на этом – бульвар, засаженный липами, которые так и остались любимыми деревьями нашего города. Но в тот день, когда я нес отцу горшок щей в узелке и картошку на месте этого бульвара стояли балаганы, построенные для рабочих; вдоль крепостной стены были сложены пирамидами хлебные кули я мешки; широкие доски перекинуты с барж на берег, и грузчики с криком: «Эй, поберегись!» – катили по нам заваленные товарами тачки. Я помню воду у пристани в жирных перламутровых пятнах, стертые столбы, на которые взбрасывались причалы, смешанный запах рыбы, смолы, рого- жи.

Еще работали, когда я пришел. Тачка застряла между досками, и все движение с борта на берег остановилось Задние кричала и ругались, двое каталей лежали на ломе, стараясь поднять и поставить в колею соскользнувшую тачку. Отец неторопливо обошел их. Он что–то сказал, наклонился… Таким я запомнил его – большим, с круглым усатым лицом, широкоплечим, легко поднимающим тяжело нагруженную тачку. Таким я его больше же видел.

Он ел и все посматривал на меня – «что, Саня?», – когда толстый пристав и трое городовых появились на пристани. Один крикнул «дядю» – так назывался староста артели – и что–то сказал ему. «Дядя» ахнул, перекрестился, и все они направились к нам.

* Ты Иван Григорьев? – спросил пристав, закладывая за спину шашку.
* Я.
* Берите его! – закричал пристав и побагровел. – Он арестован! Все зашумели. Отец встал, я все замолчали.
* За что?
* Ты у меня поговори! Взять!

Городовые подошли к отцу я взяли его под руки. Отец двинул плечом – они отскочи- ли, я один городовой вынул шашку.

* Ваше благородие, как же так? – оказал отец. – За что же брать женя? Я не кто–нибудь, меня все знают.
* Нет, брат, тебя еще не знают, – возразил пристав.
* Ты разбойник. Взять!

Снова городовые подступили к отцу.

* Ты, дурак, селедкой–то не махай, – тихо, сквозь зубы сказал отец тому, который вы- нул шашку. – Ваше благородие, я семейный человек, работаю на этой пристани двадцать лет. Что я сделал? Вы скажите всем, чтобы все знали, за что меня берут. А то ведь и вправду подумают люди, что я – разбойник!
* Ну, прикидывайся, святой! – закричал пристав. – Не знаю я вас! Ну! Городовые как будто медлили.
* Ну!
* Подождите, ваше благородие, я сам пойду, – сказал отец. – Саня… – он наклонился ко мне. – Саня, беги к матери, скажи ей… Ах, да ты ведь…

Он хотел сказать, что я немой, но удержался. Он никогда не произносил этого слова, как будто надеялся, что я когда–нибудь еще заговорю. Он замолчал и оглянулся

* Я схожу с ним, Иван, – сказал староста, – ты не беспокойся.
* Сходи, дядя Миша. Да вот еще… – Отец вынул три рубля и отдал артельному. – Пе- редай ей. Ну, прощайте!

Все хором ответили ему.

Он погладил меня по голове и сказал:

* Не плачь, Саня.

А я и не знал, что плачу.

И теперь страшно мне вспомнить, что сделалось с матерью, – когда она узнала, что забрали отца. Она не заплакала, но зато, только «дядя» ушел, села на кровать и стиснув зу- бы, сильно ударилась головой о стену. Мы с сестрой заревели, она даже не оглянулась. Бормоча что–то она билась головой о стену. Потом встала, накинула платок и ушла.

Тетя Даша хозяйничала у нас целый день. Мы спали, то есть сестра спала, а я лежал с открытыми глазами и думал: сперва об отце, как он со всеми прощался, потом о толстом приставе, потом о его маленьком сыне в матроске, которого я видел в губернаторском саду, потом о трехколесном велосипеде, на котором катался этот мальчик, – вот бы мне такой ве- лосипед!

* и, наконец, ни о чем, – когда вернулась мать. Она вошла похудевшая, черная, и тетя Даша подбежала к ней…

Не знаю почему, мне вдруг представилось, что отца зарубили городовые, и несколько минут я лежал не двигаясь, не помня себя от горя и не слыша ни слова. Потом помял, что нет, он жив, но мать к нему не пускают. Три раза она сказала, что он взят за убийство, – но- чью убили сторожа на понтонном мосту, – прежде чем я догадался, что ночью – это сегодня ночью, что сторож

* это тот самый сторож, что понтонный воет – тот самый понтонный мост, на котором он лежал, вытянув руки. Я вскочил, бросился к матери, закричал. Она обняла меня: должно быть, подумала, что я испугался. Но я уже «говорил»…

Если бы я умы тогда говорить!

Мне хотелось рассказать все, решительно все: и как я тайком удрал на Песчинку ло- вить раков, и как черный человек с тросточкой появился в проломе крепостной стены, и как он ругался, скрипел зубами, а потом плюнул в костер и ушел. Слишком трудная задача для восьмилетнего мальчика, который едва мог произнести два–три невнятных слова!

* И дети–то расстроились, – вздохнув, сказала тетя Даша, когда я замолчал и, думая, что теперь все ясно, посмотрел за мать.
* Нет, он что–то хочет сказать. Ты что–нибудь знаешь, Саня?

О, сели бы я умел говорить! Снова принялся я рассказывать, изображать… Мать по- нимала меня лучше всех, но на этот раз я с отчаянием видел, что и она не понимает ни слова. Еще бы! Как не похожа была сцена на понтонном мосту за то, что пытался изобразить ху- денький черный мальчик, метавшийся по комнате в одной рубашке. То он бросался на кро- вать, чтобы показать, как крепко спал отец в эту ночь, то вскакивал на стул и поднимал крепко сложенные кулаки над недоумевающей тетей Дашей.

Она перекрестила меня, наконец.

* Его мальчишки побили. Я замотал половой.
* Он рассказывает, как отца арестовали, – сказала мать, – как городовой на него за- махнулся. Правда, Саня?

Я заплакал, уткнувшись в ее колен. Она отнесла меня на кровать, и я долго лежал, слушая, как они говорят, и думая, как бы мне передать свою необыкновенную тайну.

**Глава 3.**

**ХЛОПОТЫ.**

Все же мне это удалось бы в конце концов, если бы наутро не заболела мать. Она у меня всегда была странная, но такой странной я ее еще никогда не видел.

Прежде, когда она вдруг начинала стоять у окна часами или ночью вскакивать и в од- ной рубашке сидеть у стола до утра, отец отвозил ее за несколько дней домой, в деревню, и она возвращалась здоровой. Теперь не было отца, да, впрочем, едва ли помогла бы ей теперь эта поездка!

Простоволосая, босая, она стояла в сенях и даже не оборачивалась, когда кто–нибудь проходил в дом. Она все молчала, только изредка рассеянно говорила два–три слова.

И она как будто боялась меня. Когда я начинал «говорить», она с болезненным выра- жением затыкала уши. Как будто стараясь что–то припомнить, она проводила рукой по гла- зам, по лбу. Она была такая, что даже тетя Даша втихомолку крестилась, когда, в ответ за ее уговоры, мать оборачивалась и молча смотрела на нее исподлобья черными, страшными глазами…

Прошло, должно быть, недели две, прежде чем она сшилась. Рассеянность еще мучила ее, но понемногу она стала разговаривать, выходить со двора, работать. Теперь все чаще по- вторялось у нее слово «хлопотать». Первый сказал его старик Сковородников, за ним тетя Даша, а потом уже и весь двор. Нужно хлопотать! Мне смутно казалось, что это слово чем–то связано с игрушечным магазином «Эврика» на Сергиевской улице, в окнах которого висели хлопушки.

Но вскоре я убедился, что это совсем другое.

В этот день мать взяла нас с собой – меня и сестру. Мы шли в «присутствие» и несли прошение. «Присутствие» – это было темное здание за Базарной площадью, за высокой же- лезной оградой.

Мне случалось видеть несколько раз, как чиновники по утрам шли в присутствие. Не знаю, откуда появилось у меня такое странное представление, но я был твердо убежден, что они там и оставались, а на другое утро в присутствие шли уже новые чиновники, на третье – новые, и так каждый день.

Мы с сестрой долго сидели в полутемном высоком коридоре на железной скамейке. Сторожа бегали с бумагами, хлопали двери. Потом мать вернулась, схватила сестру за руку, в мы побежали. Комната, в которую мы вошли, была разделена барьером, и я не видел, с кем говорила и кому униженно кланялась моя мать. Но я услышал сухой, равнодушный голос, и этот голос, к моему ужасу, говорил то, на что только я один во всем мире мог бы основа- тельно ответить.

* Григорьев Иван… – И послышался шорох переворачиваемых страниц. – Статья 1454 Уложения о наказаниях. – Предумышленное убийство. Что ж ты, голубушка, хочешь?
* Ваше благородие, – незнакомым, напряженным голосом сказала мать, – он не вино- ват. Не убивал он никогда.
* Суд разберет.

Я давно уже стоял на носках, закинув голову так далеко, что она, кажется, готова была отвалиться, но видел над барьером только руку с длинными сухими пальцами, в которых медленно покачивались очки.

* Ваше благородие, – снова сказала мать, – я желаю подать прощение в суд. Весь двор подписал.
* Прошение можешь подать, оплатив гербовой маркой в один рубль.
* Тут заплачено. Ваше благородие, это не его нож нашли. Нож?! Я подумал, что ослышался.
* На этот счет имеется собственное показание подсудимого.
* Может, он его неделю как потерял…

Я видел снизу, как у матери задрожали губы.

* Подобрали бы, голубушка! Впрочем, суд разберет.

Больше я ничего не слышал. В эту минуту я понял, почему арестовали отца. Не он, а я потерял этот нож – старый монтерский нож с деревянной ручкой. Нож, который я искал наутро после убийства. Нож, который мог выпасть из моего кармана, когда я наклонялся над сторожем на понтонном мосту. Нож, на котором Петька Сковородников выжег мою фами- лию сквозь увеличительное стекло.

Теперь, вспоминая об этом, я начинаю думать, что моему рассказу все равно не пове- рили бы чиновники, сидевшие в энском присутствии за высокими барьерами в полутемных залах. Но тогда! Чем больше я думал, тем все тяжелее становилось у меня на душе. Значит, по моей вине арестовали отца, по моей вине мы теперь голодаем. По моей вине было про- дано новое драповое пальто, на которое мать целый год копила, по моей вине она должна ходить в присутствие и говорить таким незнакомым голосом и униженно кланяться этому невидимому человеку с такими длинными, страшными, сухими пальцами, в которых мед- ленно покачивались очки…

Никогда еще с такой силой я не чувствовал свою немоту.

**Глава 4. ДЕРЕВНЯ.**

Последние плоты уже прошли вниз по реке. Огоньки в маленьких, медленно двигаю- щихся домиках не были видны по ночам, когда я просыпался. Пусто было на реке, пусто во дворе, пусто в доме.

Мать стирала в больнице, уходила с утра, когда мы еще спали, а я шел к Сковородни- ковым и слушал, как ругался старик.

В стальных очках, седой и косматый, он сидел в маленькой черной кухне за низком кожаном табурете и шил сапоги. Иногда он шил сапоги, иногда плел сети или вырезывал из осины фигурки птиц и коней на продажу. Это ремесло – оно называлось «точить лясы» – он вывез с Волги, откуда был родом.

Он любил меня, – должно быть, за то, что я был его единственным собеседником, от которого он никогда не слышал ни одного возражения. Он ругал докторов, чиновников, торговцев. Но с особенной злостью он ругал попов.

* Человек умирает, но смеет ли он за это роптать на бога? Попы говорят, что нет. А я говорю: да! Что такое ропот?

Я не знал, что такое ропот.

* Ропот есть недовольство. А что такое недовольство? Желать больше, чем тебе пред- назначено. Попы говорят: нельзя. Почему?..

Я не знал почему.

* Потому, что «земля еси и в землю идеши». Он горько смеялся
* А что нужно земле? Не больше того, что ей предназначено.

Я сидел у него по целым дням. Мне все нравилось – и как он говорит совершенно не- понятно, и как смеется с таким страшным, ржавым скрипом, что я невольно засматривался на него в каком–то оцепенении.

Итак, была уже осень, и даже раки, которые за последнее время стали серьезным под- спорьем в нашем хозяйстве, забились в норы и не соблазнялись больше моими лягушками.

Мы голодали, и мать решила, наконец, отправить меня и сестру в деревню.

Я плохо помню наше путешествие, и как раз по причине того странного оцепенения, о котором только что упомянул. В детстве я часто засматривался, заслушивался и очень мно- гого не понимал. Самые простые вещи поражали меня. С открытым от изумления ртом я изучал расстилающийся передо мною мир…

Теперь я засмотрелся на мальчишку, проверявшего билеты на пароходе. Две недели назад его звали Минькой, и он играл с Петькой Сковородниковым в рюхи у нас на дворе. Разумеется, он не узнал меня. В синей курточке с матросскими пуговицами, в кепи, на ко- тором было вышито «Нептун» – так назывался пароход, – он стоял на лесенке, небрежно поглядывая на пассажиров. Ничто больше не занимало меня – ни таинственный капитан, он же рулевой, бородатая морда которого виднелась в будке над рулем, ни грозное пыхтение машины. Минька поразил меня, и я не сводил с него глаз всю дорогу. «Нептун» был знаме- нитый пароход, на котором я мечтал прокатиться. Сколько раз мы ждали его, купаясь, чтобы с размаху броситься в волны! Теперь все пропало. Как очарованный, я смотрел на Миньку до тех пор, пока не стемнело, до тех пор, пока бородатый капитан–рулевой не сказал глухо в трубку: «Стоп! Задний ход!» Забурлила под кормой вода, и матрос ловко поймал брошен- ный ему с борта канат.

Я никогда не был в деревне, но знал, что в деревне у отца есть дом и при доме усадьба. Усадьба! Как я был разочарован, узнав, что под этим словом скрывается просто маленький заросший огород, посреди которого стояло несколько старых яблонь!

Отцу было восемнадцать лет, когда он получил это наследство. Но он не стал жить в деревне, и с тех пор дом стоял пустой. Словом, дом был отцовский, и мне казалось, что он должен походить на отца, то есть быть таким же просторным и круглым. Как я ошибся!

Это был маленький домик, когда–то пошатнувшийся и с тех вор стоявший в наклон- ном положении. Крыша у него была кривая, окна выбиты, нижние венцы согнулись. Русская печь на вид была хороша, пока мы ее не затопили. Длинные черные скамейки стояли вдоль стен, в одном углу висела икона, и на ее закоптелых досках чуть видно было чье–то лицо.

Каков бы он ни был, это был наш дом, и мы развязали узлы, набили сенники соломой, вставили стекла и стали жить.

Но мать провела с нами только недели три и вернулась в город. Ее взялась заменить нам бабушка Петровна, приходившаяся теткой отцу, а нам, стало быть, двоюродной бабкой. Это была добрая старуха, хотя к ее седой бороде и усам трудно было привыкнуть. Беда была только в том, что она сама нуждалась в уходе, – и точно: мы с сестрой всю зиму присматри- вали за ней – носили воду, топили печь, благо изба ее, которая была немного лучше нашей,

стояла недалеко.

В ту зиму я привязался к сестре. Ей шел восьмой год. В нашей семье все были черные, а она – беленькая, с вьющимися косичками, с голубыми главами. Мы все молчаливые, осо- бенно мать, а она начинала разговаривать, чуть только открывала глаза. Я никогда же видел, чтобы она плакала, но ничего не стоило ее рассмешить. Так же, как и меня, ее звали Саней, – меня Александром, ее Александрой. Тетя Даша научила ее петь, и она пела каждый вечер очень длинные песни таким серьезным тончайшим голоском, что нельзя было слушать ее без смеха.

А как ловко хозяйничала она в свои семь лет! Впрочем, хозяйство было простое: в од- ном углу чердака лежала картошка, в другом – свекла, капуста, лук и соль. За хлебом мы ходили к Петровне.

Так мы жили – двое детей – в пустой избе в глухой, заваленной снегом деревне. Каж- дое утро мы протаптывали дорожку к Петровне. Страшно было только по вечерам: так тихо, что слышен, кажется, даже мягкий стук падающего снега, и в такой тишине вдруг начинал выть в трубе ветер.

**Глава 5.**

**ДОКТОР ИВАН ИВАНЫЧ. УЧУСЬ ГОВОРИТЬ.**

И вот однажды, когда мы только что легли и только что умолкла сестра, засыпавшая всегда в ту минуту, когда она произносила последнее слово, и наступила эта печальная ти- шина, а потом завыл в трубе ветер, я услышал, что стучат в окно.

Это был высокий бородатый человек в полушубке, в треухе, такой замерзший, что ко- гда я зажег лампу и впустил его в дом, он не мог даже закрыть за собой дверь. Заслонив свет ладонью, я увидел, что у него совершенно белый нос. Он хотел снять заплечный мешок, со- гнулся и вдруг сел на пол.

Таким впервые предстал передо мной этот человек, которому я обязан тем, что сейчас пишу эту повесть, – замерзший до полусмерти, он вполз ко мне чуть ли не на четвереньках. Пытаясь положить в рот дрожащие пальцы, он сидел на полу и громко дышал. Я стал сни- мать с него полушубок. Он пробормотал что то и в обмороке повалился на бок.

Мне случилось видеть однажды, как мать лежала в обмороке и тетя Даша дула ей в рот. Точно так же поступил и я в этом случае. Мой гость лежал у теплой печки, и неизвест- но, в конце концов, что помогло ему, хотя дул я просто отчаянно, так что и у меня самого голова закружилась. Как бы то ни было, он пришел в себя, сел и стал с жадностью греться. Нос его отошел. Он даже попробовал улыбнуться, когда я налил ему кружку горячей воды.

– Вы здесь одни, ребята?

Саня только сказала: «Одни», а он уже спал. Так быстро заснул, что я испугался: не умер ли? Но он, как будто в ответ, захрапел.

По–настоящему он пришел в себя на следующий день.

Когда я проснулся, он сидел на лежанке рядом с сестрой, и они разговаривали. Она уже знала, что его зовут Иваном Иванычем, что он заблудился и что никому не нужно о нем говорить, а то его «возьмут на цугундер». Честно сознаюсь – до сих пор не знаю точного смысла этого выражения, но помню, что мы с сестрой сразу поняли, что нашему гостю гро- зит какая–то опасность, и, не сговариваясь, решили, что никому и ни за что не скажем о нем ни слова. Разумеется, мне легче было промолчать, чем Сане. Иван Иваныч сидел на лежан- ке, подложив под себя руки, и слушал, а она болтала. Все уже было рассказано: отца забрали в тюрьму, мы подавали прошение, мать привезла нас и уехала в город, я – немой, бабка Петровна живет – второй дом от колодца, и у нее тоже есть борода, только поменьше и се- дая.

– Ах вы, мои милые, – сказал Иван Иваныч и легко соскочил с лежанки.

У него были светлые, глаза, а борода черная и гладкая. Сперва мне было странно, что он делает руками так много лишних движений; так и казалось, что он сейчас возьмет себя за ухо через голову или почешет подошву. Но скоро я привык к нему. Разговаривая, он вдруг брал в руки какую–нибудь вещь и начинал подкидывать ее или ставить на руку, как жон-

глер.

В первый же день он показал нам множество интересных затей. Он сделал из спичек,

коры и головки лука какого–то смешного зверя, напоминавшего кошку, а из хлебного мя- киша – мышку, и кошка ловила мышку и мурлыкала, как настоящая кошка, Он показывал фокусы: глотал часы, а потом вынимал их из рукава; он научил нас печь картошку на па- лочках, – словом, эти дни, которые он провел у нас, мы с сестрой не скучали.

* Ребята, а ведь я доктор, – однажды сказал он. – Говорите, что у кого болит? Сразу вылечу.

Мы были здоровы. Но он почему–то не захотел идти к старосте, у которого заболела дочка.

Но в такой позиции Я боюся, страх, Чтобы инквизиции Не донес монах,

* сказал он и засмеялся.

От него я впервые услышал стихи. Он часто говорил стихами, даже пел их или бормо- тал, подняв брови и сидя по–турецки перед огнем.

Сперва ему, кажется, нравилось, что я ни о чем не могу его спросить, особенно когда он по ночам просыпался от каждого скрипа шагов за окном и долго лежал, опершись на ло- коть и прислушиваясь. Или когда он прятался на чердаке и сидел, пока не стемнеет, – так он провел один день, помнится, праздник Егория. Или когда он отказался познакомиться с Петровной. Но прошло два–три дня, и он заинтересовался моей немотой.

* Ты почему не говоришь? Не хочешь? Я молча смотрел на него.
* А я тебе скажу, что ты должен говорить. Ты слышишь, стало быть, должен говорить.

Это, брат, редчайший случай, коли ты все слышишь – и немой. Может, ты глухонемой?

Я замотал головой.

* Ну, вот. Значит, заговоришь.

Он вынул из заплечного мешка какие–то инструменты, пожалел, что мало света, хотя был ясный солнечный день, и полез мне в ухо.

* Ухо вульгарис, – объявил он с удовольствием, – ухо обыкновенное. Он отошел в угол и сказал шепотом: «Дурак».
* Слышал? Я засмеялся.
* Хорошо слышишь, как собака. – Он подмигнул Сане, которая, разиня рот, смотрела на нас. – Отлично слышишь. Что же ты, милый, не говоришь?

Он взял меня двумя пальцами за язык и вытащил его так далеко, что я испугался и за- хрипел.

* У тебя, брат, такое горло! Чистый Шаляпин. Н–да! Он с минуту смотрел на меня.
* Нужно учиться, милый, – серьезно сказал он. – Ты про себя–то можешь что–нибудь сказать? В уме?

Он стукнул меня по лбу.

* В голове, понимаешь? Я промычал, что да.
* Ну, а вслух? Скажи вслух все, что ты можешь. Ну, скажи: «да». Я почти ничего не мог. Но все–таки сказал:
* Да.
* Прекрасно! Еще раз. Я сказал еще раз.
* Теперь свистни. Я свистнул.
* Теперь скажи: «у».

Я сказал «у».

* Лентяй ты, вот что! Ну, повторяй за мной…

Он не знал, что я все говорил в уме. Без сомнения, именно поэтому с такой отчетливо- стью запомнились мне первые годы. Но от моей немой речи еще так далеко было до всех этих «е», «у», «ы», до этих незнакомых движений губ, языка и горла, в котором застревали самые простые слова. Мне удавалось повторять за ним отдельные звуки главным образом гласные, но соединять их, произносить их плавно, не «лаять», как он мне велел, – вот была задача!

Только три слова: «ухо», «мама» и «плита», получились сразу, как будто я произносил их когда–то, а теперь оставалось только припомнить. Так оно и было: мать рассказывала, что в два года я уже начинал говорить и вдруг замолчал после какой–то болезни.

Мой учитель спал на полу, покрывшись полушубком и положив под сенник какую–то металлическую светлую штуку, а я все ворочался, пил воду, садился на постели, смотрел в замерзшее узорами окно. Я думал о том, как я вернусь домой, как стану говорить с матерью, с тетей Дашей. Я вспомнил первую минуту, когда я понял, что не умею, не могу говорить: это было вечером, мать думала, что я сплю, и, бледная, прямая, с черными косами, пере- брошенными на грудь, долго смотрела на меня. Тогда впервые пришла мне в голову горькая мысль, отравившая мои первые годы: «Я хуже всех, и она меня стыдится. Повторяя „е“, „у“,

„ы“, я не спал до утра от счастья. Саня разбудила меня, когда был уже день.

* Я к бабушке бегала, а ты все спишь, – сказала она бистро. – У бабушки котенок про- пал, его Мурка в котел снесла. А Иван Иваныч где?

Сенник лежал на полу, и еще видны были примятые места: голова, плечи, ноги. Но самого Ивана Иваныча не било. Он подкладывал под голову заплечный мешок – и мешка не было. Он покрывался полушубком – не было и полушубка.

* Иван Иваныч!

Мы побежали на чердак – никого.

* Вот те крест, он спал, пока я к бабушке бегала, я на него еще посмотрела, вижу – спит, думаю – пока я к бабушке сбегаю. Санька, смотри! На столе стояла черная трубочка с двумя кружками на концах: один плоский, побольше, другой маленький и поглубже. Мы вспомнили, что Иван Иваныч вынимал ее вместе с другими инструментами из заплечного мешка, когда смотрел мои уши.

Где же он? Иван Иваныч!..

С тех пор прошло много лет. Я летал над Беринговым, над Баренцевым морями. Я был в Испании. Я изучал побережье между Леной и Енисеем. И не из суеверия, а из благодарно- сти к этому человеку я всегда вожу с собой эту черную трубочку, которую он забыл у нас или, может быть, оставил на память. Скоро я узнал, что это – стетоскоп, очень простой ин- струмент, которым доктора выслушивают легкие и сердце. Но тогда он казался мне таким же таинственным и милым, как и сам Иван Иваныч, как все, что он говорил и делал.

* Иван Иваныч!

Исчез, пропал, ушел, никому не сказавшись! Грустный, я вышел во двор и обошел во- круг дома. Следы! Его следы, уже слегка запорошенные снегом, шли прямо в поле, минуя дорогу, лежавшую в другой стороне. Все меньше становились они и, дойдя до пруда, исчез- ли на тропинке, по которой бабы ходили полоскать в проруби белье.

**Глава 6.**

**СМЕРТЬ ОТЦА. НЕ ХОЧУ ГОВОРИТЬ.**

Всю зиму я учился говорить. С утра, едва проснувшись, и громко произносил шесть слов, которые Иван Иваныч завещал мне произносить ежедневно: «кура», «седло», «ящик»,

«вьюга», «пьют», «Абрам». Как это было трудно! И как хорошо, как непохоже говорила эти слова сестра! Но я был настойчив. Точно заклинанье, которое должно было мне помочь, я повторял их по тысяче раз в день. Они мне снились. Я представлял себе какого–то загадоч- ного Абрама, который сажает куру в ящик или уходит из дому в шляпе и несет на плече седло. Вьюга, пьют!

Язык мой не слушался, губы чуть двигались. Сколько раз я готов был побить Саню, которая невольно смеялась надо мной. По ночам я просыпался в тоске и чувствовал; нет, никогда я не научусь говорить, навсегда останусь уродом, как однажды назвала меня мать. Но в эту же минуту я пробовал сказать и это слово: урод. Я помню, как это удалось мне наконец, и я уснул счастливый. Иван Иваныч велел мне учиться говорить, не двигая руками, чтобы отстать от той привычки глухонемых, которая уже довольно прочно во мне укорени- лась. Положив руки в карманы, я глазами показывал на что–нибудь – на окно, на печь, на ведра – и громко, по слогам произносил это слово. Почему–то ударения мне не давались, я еще и до сих пор ставлю неправильные ударения…

День, когда, проснувшись, я не сказал шести заветных слов, был одним из самых пе- чальных в моей жизни. Петровна рано разбудила нас в этот день – уже и это было очень странно, потому что не она, а мы обычно приходили к ней по утрам, топили печку, ставили чайник. Она вошла, стуча палкой, и остановилась перед иконой. Она долго бормотала что–то и крестилась. Потом окликнула сестру, велела зажечь лампу…

Через много лет, взрослым человеком, я как–то увидел в детской книжке бабу–ягу. Это была та же Петровна – бородатая, сгорбленная, с клюкою. Но Петровна была добрая ба- ба–яга, а в этот день… в этот день, тяжело вздыхая, она сидела на лавке, и мне показалось даже, что слезы катятся по ее бороде.

* Слезай, Санька! – сказала она. – Иди ко мне. Я подошел.
* Ты уже большой, Санька. – Петровна погладила меня по голове. – Вчера от матери письмо пришло, что Иван заболел.

Она плакала.

* Очень дюже заболел он в тюрьме. Голова у него распухла и ноги. Пишет, что не знает, жив он теперь или нет.

И сестра заплакала.

* Что делать, божья воля, – сказала Петровна. – Божья воля, – повторила она с ка- кой–то злостью и снова подняла глаза на икону.

Она сказала только, что отец заболел, но вечером, в церкви, я понял, что он умер. Ве- чером Петровна повела нас в церковь, чтобы мы «помолились во здравие», как она сказала.

Очень странно, но, прожив в деревне три месяца, я почти никого не знал, кроме не- скольких мальчишек, с которыми катался на лыжах. Я никуда не ходил, стесняясь своей немоты. И вот теперь, в церкви, я увидел всю нашу деревню – толпу женщин и стариков, бедно одетых, молчаливых и таких же невеселых, как мы. Они стояли в темноте, – только спереди, где протяжно читал поп, горели свечи. Многие вздыхали и крестились.

«Господи, помилуй», – без конца повторял поп. Изо рта у него шел пар, а из кадила, которым он помахивал, – синеватый дымок. И мне казалось, что все, так же как и я не мо- лятся, а просто смотрят на этот дымок, как он поднимается струйками, кружится и несется вверх, к синему, замерзшему окну. Должно быть, я забыл об отце. Но вдруг Петровна сер- дито толкнула меня в спину – до сих пор не знаю, за что, – и в эту минуту я вспомнил его и понял, что он умер.

Все вздыхали и крестились, потому что он умер, и мы с сестрой стояли здесь, в темно- те церкви, потому что он умер, и Петровна сердито толкнула меня, потому что он умер. Мы стоим и «молимся во здравие», потому что он умер.

Петровна взяла сестру к себе, а я вернулся домой и долго сидел, не зажигая огня. Черные тараканы, которых бабка нарочно – на счастье – принесла к нам, шуршали на хо- лодной плите. Я ел картошку и плакал.

Умер, и я его никогда не увижу! Вот его выносят из присутствия, из той комнаты, где мы с матерью подавали прошение… Я перестал есть и стиснул зубы, вспомнив этот холод- ный голос и руку с длинными сухими пальцами, в которой медленно качались очки. Подо- жди же! Я тебе отплачу! Когда–нибудь ты мне будешь кланяться, а я отвечу: «Голубчик, суд разберет…» Вот гроб несут по коридору, а мимо пробегают сторожа с бумагами, и никто не видит, не хочет видеть, что его несут. Только тетя Даша идет навстречу в длинном черном платке, как монашка. Идет и крестится и плачет. Но вот мы останавливаемся, кто–то стоит у дверей, гроб качается на руках и опускается на пол. Мать кланяется, и я вижу снизу, как

дрожат у нее губы…

Я опомнился, услышав свой голо. Должно быть, у меня был жар, потому что я нес ка- кую–то бессвязную, чепуху, ругал себя и почему–то мать и, помнится, разговаривал с Ива- ном Иванычем, хотя отлично знал, что он давно ушел и даже что его следы держались в по- ле только два дня, а потом их завалило снегом.

Но я говорил – громко и ясно! Я говорил, я мог бы теперь рассказать, что произошло в ту ночь на понтонном мосту, я доказал бы, что нож – мой, что я потерял его, когда накло- нялся над убитым. Поздно! Опоздал на всю жизнь, и уже ничем нельзя помочь!

Обхватив голову руками, я лежал в темноте. В избе было холодно, ноги застыли, но я так и не встал до утра. Я решил, что больше не стану говорить. Зачем? Все равно он умер, и я его никогда не увижу.

**Глава 7. МАТЬ.**

Я плохо помню Февральскую революцию и до возвращения в город не понимал этого слова. Но я помню, что загадочное волнение, непонятные разговоры я тогда связал с моим ночным гостем, научившим меня говорить.

По вечерам, насаживая на палочки картошку, я часто думал о нем, и все таинственнее, все привлекательнее он мне представлялся. Почему он так неожиданно исчез? Не простился, не сказал, куда он идет. Почему он прятался на чердаке? Почему не хотел лечить старостину Маньку и даже к Петровне не пошел? Где он теперь? Вернется ли? Просыпаясь по ночам, я прислушивался: не стучат ли в окно? Не он ли? Никто не, стучал, только мягко, с неслыш- ным шумом падал снег на наш дом, и вдруг начинал свистеть в трубе ветер.

И никто не спрашивал нас о нем. Но я был уверен, сам не знаю почему, что теперь все было бы иначе. Теперь ему не пришлось бы прятаться на чердаке. Пожалуй, он не отказался бы теперь познакомиться с Петровной!

Я не заметил, когда окончилась весна. Но лето началось в тот день, когда «Нептун», свистя и грозно пятясь задом, причалил к пристани, на которой мы с мамой ждали его с утра.

Минька, в кепке с золотыми буквами, в синей, уже изрядно потрепанной курточке, стоял, как прежде, на лесенке, отважно и небрежно поглядывая на пассажиров. Бородатый капитан–рулевой глухо говорил в трубку: «Стоп! Вперед!» и «Стоп! Задний ход!» Палуба таинственно дрожала. Мы возвращались в город. Мать везла нас домой – похудевшая, по- молодевшая, в новом пальто и новом цветном платке…

Я часто думал зимой, как она будет поражена, услышав, что я говорю. А она только обняла меня и засмеялась. Она стала совсем другая за зиму. Все время она думала о чем–то

* это я сразу узнавал по живым движеньям лица – и то расстраивалась молча, про себя, то улыбалась. Петровна решила, что она сходит с ума, и, ахнув, однажды спросила ее об этом. Мать улыбнулась и сказала, что нет.

Мы пошли в лес драть лыко для Петровны, которая плела лапти на продажу, и мать запомнилась мне такой, какой она была в этот день: черноволосая, крепкая, белозубая, в цветном платке, повязанном на груди крест на крест; она наклонялась, ловко срезала дерев- цо и, оборвав ветки, надкусив комель, одним движением сдирала лыко. Она и меня хотела научить, но ничего не вышло, и я только порезал палец.

Потом я спрятался в кустах и долго сидел задумавшись, слушая, как наперебой щебе- чут птицы, и поглядывая на мать, которая уходила от меня все дальше. И вдруг она запела:

Приехали торгаши за задние ворота. Кобылушку продала, белил я себе взяла;

Я коровушку продала, румян я себе взяла; Подойничек продала, сурьмы я себе взяла.

Солнце осветило кусты, и она выпрямилась, раскрасневшаяся, с блестящими глазами.

Тут что–то было! При нас она редко вспоминала отца. Но каждый раз, когда она ласково говорила со мной, я знал, что она думала о нем. Сестру она всегда любила…

На пароходе она все думала – поднимала брови, покачивала головой, – должно быть, спорила с кем–то в уме. Я тоже думал и думал: мне представлялось, с какой важностью и буду разгуливать по двору и вдруг небрежно скажу что–нибудь, как будто всегда умел го- ворить. Заглядевшись на воду, я задремал и до смерти испугала во сне: мне померещилось, что я опять онемел.

* Мама, – сказал я шепотом. Она молчала.
* Мама! – в ужасе заорал я. Она обернулась.

Каким заброшенным, каким бедным показался мне наш двор, когда мы вернулись! В этом году никто не позаботился о стоках, и грязная вода, в которой плавали щепки, так и осталась стоять под каждым крыльцом. Низенькие амбары еще больше покосились за зиму, в заборе образовались такие дыры, через которые можно было въехать на телеге, за Сково- родниковыми была навалена гора вонючих костей, копыт и обрезков шкур.

Старик варил клей. Он сидел на том же табурете, в переднике, в очках, примус стоял на плите, а на примусе – железная шайка, от которой так страшно несло, что меня все время тошнило, пока я у него сидел.

* Все думают, что это обыкновенный клей, – сказал он мне, когда полчаса спустя я за- просился на свежий воздух, – а это клей универсальный. Он все берет – Железо, стекло, да- же кирпич, если найдется такой дурак, чтобы кирпичи клеить. Я его изобрел. Мездровый клей Сковородникова. И чем он крепче воняет, тем крепче берет.

Он недоверчиво посмотрел на меня поверх очков.

* Мездровый клей Сковородникова, – повторил он и вздохнул. – И занять бы еще у кого–нибудь семь рублей на рекламу – отбою бы не было. Мужики берут на рынке столяр- ный клей сорок копеек фунт. Это как назвать? Грабеж. Ну–ка, скажи что–нибудь!

Я сказал. Он одобрительно кивнул головой.

* Эх, Ивана мне жаль, – сказал он.

Тетя Даша была в отъезде и вернулась недели через две. Вот кого я обрадовал и испу- гал! Мы сидели на кухне вечером. Она все спрашивала меня, как нам жилось в деревне, – спрашивала и сама же отвечала.

* Что же вы, бедняги, должно быть, скучали одни–то да одни? Кто же вам варил–то?

Петровна? Петровна.

* Нет, не Петровна, – вдруг сказал я, – мы сами варили.

Никогда не забуду, какое лицо сделалось у тети Даши, когда я произнес эти слова. От- крыв рот, она потрясла головой и икнула.

* И не скучали, – добавил я хохоча. – Только по тебе, тетя Даша, скучали. Что же ты к нам не приехала, а?

Она обняла меня.

* Милый ты мой, да как же это? Заговорил? Заговорил, голубчик ты мой! И молчит, еще притворяется, ах ты этакой! Ну, рассказывай!

И я рассказал ей о замерзшем докторе, постучавшемся в нашу избу, как мы прятали его трое суток, как он показал мне «е», «у», «ы» и заставил сказать «ухо».

* Ты за него должен молиться, Саня, – серьезно сказала тетя Даша. – Как его зовут?
* Иван Иваныч.
* Молись, каждый вечер молись! Но я не умел и не любил молиться.

**Глава 8.**

**ПЕТЬКА СКОВОРОДНИКОВ.**

Тетя Даша сказала, что я очень переменился с тех пор, как стал говорить. Я и сам это

чувствовал. Прошлым летом я чурался товарищей, тяжелое сознание своего недостатка

связывало меня. Я был болезненно застенчив, угрюм и очень печален. Теперь этому, пожа- луй, трудно поверить.

За два–три месяца я догнал своих сверстников. Петька Сковородников, которому было двенадцать лет, подружился со мной. Он был длинный, решительный, рыжий мальчик.

Первые в моей жизни книги я увидел у Петьки. Это были «Рассказы о действиях охотников в прежние войны», «Юрий Милославский» и «Письмовник», на обложке которо- го был изображен усатый молодец в красной рубашке, с пером в руке, а над ним в голубом овале – девица.

За чтением этого «Письмовника» мы и подружились. Что–то таинственное было в этих обращениях: «Любезный друг» или «Милостивый государь А.Ф.». Письмо штурмана даль- него плавания припомнилось мне, и я впервые сказал его вслух.

Мы сидели в Соборном саду. По ту сторону реки был виден наш двор и дома, очень маленькие, гораздо меньше, чем на самом деле. Вот меленькая тетя Даша вышла на крыльцо и села чистить рыбу. Мне казалось, что я вижу, как серебристые чешуйки отскакивают и, поблескивая, ложатся у ее ног. Вот Карлуша, городской сумасшедший, который беспре- станно то хмурился, то улыбался, прошел по тому берегу и остановился у наших ворот, – должно быть, заговорил с тетей Дашей.

Я все время смотрел на них, пока читал письмо. Петька внимательно слушал.

* Интересно, – сказал он. – Я это тоже знал, да забыл. А потом что?
* Все.
* Интересно, что потом с этим кораблем стало?

К нему могла помощь подоспеть. Ты читал Ника Картера?

* Нет.
* Там тоже был такой случай. Одного миллионера бросили в водоем. Он догадался и закрыл кран. Тогда садовник стал поливать и думает: почему не идет вода? И в последнюю минуту подоспела помощь. Он бы там подох. А ты здорово наизусть говоришь. Долго учил?
* Не знаю.
* Я сейчас что–нибудь прочитаю, а ты можешь повторить? Он прочитал:

*«Ответ с отказом. Милостливый государь С. Н.*

*Выраженные Вами чувства чрезвычайно лестны для меня, но мне невоз- можно принять их по причинам, которые бесполезно приводить здесь, ибо они не касаются Вас:*

*Примите и проч.*

*Примечание. Ответы с отказом всегда пишутся общими простыми фра- зами. В них не должно заключаться никаких посторонних идей, кроме учтиво- сти».*

Слово в слово я повторил это письмо вместе с примечанием. Петька недоверчиво вы- сморкался.

– Здорово – сказал он. – А это?

И он прочитал, не останавливаясь, одним духом:

*«Письмо к нему и к ней.*

*Начну чужими словами: «Я желала б забыть все минувшее, да с минувшим расстаться мне жаль: в нем и счастье, мгновенно мелькнувшее, в нем и радость моя, и печаль». Знаешь ли? Я нашла то, что дорого ценю в тебе (следует ука- зать, что именно). Лучше тебя, дороже и милее нет, ты мне мил был, как (сле- дует как). Вспомнила я первые слезы и первый твой поцелуй на руке моей. Вот уже два дня, как я живу без тебя (следует: весело, скучно, хорошо или о семей- ных обстоятельствах), Прощай, целую тебя».*

Слегка запинаясь, я повторил и это письмо.

– Здорово! – с восхищением сказал Петька. – Вот так память!

К сожалению, мы очень редко так хорошо проводили время. Петька был занят: он

«торговал папиросами от китайцев» – так называлось в нашем городе это тяжелое дело. Ки- тайцы, жившие в Покровской слободе, набивали гильзы и нанимали мальчишек торговать. Как сейчас, я вижу перед собой одного из них, по фамилии Ли, – маленького, чер- но–желтого, с необыкновенно морщинистым лицом и довольно доброго: считалось, что «на угощенье» Ли дает больше других китайцев. «На угощенье» – это был наш чистый зарабо- ток (потом и я стал торговать), потому что мы действительно всех угощали: «Курите, пожа- луйста»; но тот наивный покупатель, который принимал угощение, непременно платил за него чистоганом. Это были наши денежки. Папиросы были в коробках по двести пятьдесят штук – «Катык», «Александр III», и мы продавали их на вокзале, в поездах, на бульварах.

Приближалась осень 1917 года, но я бы сказал неправду, если бы стал уверять, что ви- дел, чувствовал или хоть немного понимал все глубокое значение этого времени для меня, для всей страны и для всего земного шара… Ничего я не видел и ничего не понимал. Я за- был даже и то неопределенное волнение, которое испытал весною в деревне. Я просто жил день за днем, торговал папиросами и ловил раков, желтых, зеленых, серых, – голубой так и не попался ни разу.

Но всем вольностям скоро пришел конец.

**Глава 9.**

**ПАЛОЧКА, ПАЛОЧКА, ПАЛОЧКА, ПЯТАЯ, ДВАДЦАТАЯ, СОТАЯ…**

Наверно, он бывал у нас еще до нашего возвращения в город: все знали его во дворе, и то неопределенно–насмешливое отношение, которое он встречал у Сковородниковых и тети Даши, уже сложилось. Но теперь он стал приходить почти каждый день. Иногда он прино- сил что–нибудь, но, честное слово, я не съел ни одной его сливы, ни одного стручка, ни од- ной карамели!

Он был кудреватый, усы – кольцами, с жирным лицом, но довольно стройный. Густой голос его был, по–моему, очень противен. Он лечился от угрей, заметных на его смуглой коже. Но со всеми своими угрями и кудрями, со своим густым противным голосом он, к со- жалению, нравился моей матери – разве иначе стал бы он бывать у нас почти ежедневно? Да, он нравился ей. При нем она становилась совсем другая, смеялась и даже начинала так же длинно говорить, как и он. Однажды я видел, как она сидела одна и улыбалась, – я по ее лицу догадался, что она думает о нем. Другой раз, разговаривая с тетей Дашей, она сказала про кого–то: «Ненормальностей сколько угодно». Это были его слова.

Фамилия его была Тимошкин, но он почему–то называл себя Гаер Кулий, – до сих пор не знаю, что он хотел этим сказать. Помню только, что он любил говорить матери, что «в жизни он бедный гаер» и что «жизнь швыряла его, как щелку».

При этом он делал значительное лицо и с глупым, задумчивым видом смотрел на мать. И этот гаер бывал теперь у нас каждый вечер. Вот один из таких вечеров.

Кухонная лампа висит на стене, и вихрастая тень моей головы закрывает тетрадку, – бутылку чернил и руку, которая, беспомощно скрипя пером, двигается по бумаге. Я сижу за столом, от старания упираясь языком в щеку, и вывожу палочки – одну, другую, третью, сотую, тысячную. Я вывел не меньше миллиона палочек, потому что мой учитель утвер- ждал, что, пока они не будут «попиндикулярны», дальше двигаться ни в коем случае нельзя. Он сидит рядом со мной и учит меня, по временам снисходительно поглядывая на мать. Он учит не только как писать, но и как жить, и от этих бесконечных дурацких рассуждений у меня начинает кружиться голова, и палочки выходят пузатые, хвостатые, какие угодно, но только не прямые, не «попиндикулярные».

* Каждому охота схватить лакомый кусок, – говорит он, – и к этому по природе каж- дый должен стремиться. Но можно ли подобный кусок назвать обеспечивающим явлением – это еще вопрос!

Палочка, палочка, палочка, пятая, двадцатая, сотая…

* Я, например, с детства попал в трудную атмосферу, и мне отнюдь не удалось рас-

считывать на рабочую силу моей матери. Наоборот, когда семейная жизнь пришла у нас к развалу и отца, как обвиненного в краже лошадей, приговорили к тюремному заключению, не кто иной, как я, был вынужден добывать кусок хлеба.

Палочка, палочка, толстая, тонкая, кривая, пузатая, пятая, двадцатая, сотая…

* Печально то, что, вернувшись из тюрьмы, отец стал выпивать, а поскольку человек углубляется в пьянство, постольку разрушается и его хозяйство. Потом его встрела смерть, и, безусловно, скоропостижная, потому что она явилась следствием обдирания павшей ло- шади.

Я отлично знаю, что произошло потом с отцом моего учителя: он распух, и «начатый делать гроб пришлось спешно переделывать, ибо фигура покойника до трех раз превзошла его живого по объему». Эта отвратительная смерть однажды приснилась мне…

Палочка, палочка, палочка… перо скрипит, палочка, клякса…

* И опустела наша родовая избенка. Но я отнюдь не пал духом и не сел на шею матери в одиннадцать лет.

Учитель смотрит на меня. Мне только десять, но я начинаю беспокойно ерзать на та- бурете.

* Я поступил в ресторан, я стал слугой и побегушкой, но перестал, как лишний рот, отражаться на заработке моей матери.

Без сомнения, именно эта удивительная манера выражаться произвела такое сильное впечатление на мою мать. Если бы Гаер говорил просто; она бы мигом догадалась, что это обыкновенный человек – глупый, ленивый и жестокий. Впрочем, о том, что он очень же- сток, она скоро узнала.

Она сидит за тем же столом и слушает его, как зачарованная. Она чинит рубашки – отцовские рубашки, – и я знаю, для кого она их чинит. С предчувствием какой–то беды я поднимаю глаза на ее бледное лицо, на черные волосы с пробором посредине, на тонкие руки – и возвращаюсь к своим палочкам… Очень хочется провести хоть одну, длинную черту вдоль строчки, вышел бы прекрасный забор, – но нельзя! Палочки должны быть «по- пиндикулярны».

* Между тем моя мать, – продолжал Гаер, – стала заметно подаваться в сторону доброхотных подаяний. Что же я сделал? Сознавая, что для моего развития это является безусловным минусом, я обратился к моему дяде, незабвенной памяти Никите Зуеву, и по- просил его повлиять на мать…

Сотый раз я слышу про этого незабвенной памяти дядю, и мне представляется, как старый жирный человек с таким же угреватым лицом приезжает на розвальнях из деревни, снимает желтую шубу и входит, отряхивая снег и крестясь на икону. Он бьет мать, а ма- ленький Гаер Кулий стоит и спокойно смотрит, как бьют его мать.

Палочки, палочки… но забор уже давно нарисован, и хотя я отлично знаю, что мне сейчас попадет, я быстро рисую над забором солнце, птиц, облака. Продолжая говорить, Гаер косится на меня, я торопливо закрываю солнце и птиц рукавом. Поздно! Он берет в руки мою тетрадку. Он поднимает брови. Я встаю.

* А вот теперь посмотрите, Аксинья Федоровна, чем занимается ваш любезный сынок! И моя мать, которая никогда не била детей, пока был жив отец, берет меня за ухо и стучит моей головой о стол. Бывали и другие вечера: случалось, что мой будущий отчим читал вслух, – и как не похожи были эти чтения на наши с Петькой Сковородниковым в Соборном саду. Гаер читал всегда одну и ту же книгу: «Из дневника артурца», с таким сти-

хотворением, напечатанным на обложке:

Ныне полный кавалер, Защищая царя и отечество, Шкуры своей не жалел,

Пять ран и две контузии получил, Но хорошо и врага проучил.

И эту книгу он читал с таким назидательно–угрожающим выражением, как будто не кто иной, как я, был виноват во всех бедствиях храброго артурца.

Уроки прекратились в тот день, когда Гаер Кулий переехал к нам. Накануне была от- празднована свадьба, на которую, сказавшись больной, не пришла тетя Даша.

Я помню, какая нарядная сидела на свадьбе мать. Она была в белой жакетке рытого бархата – подарок жениха – и причесана, как девушка: косы крест на крест вокруг головы. Она разговаривала, пила, улыбалась, но иногда со странным выражением проводила рукой по лицу. Гаер Кулий произнес речь, в которой указал на свои заслуги перед бедной семьей,

«безусловно шедшей к развалу, поскольку ее бывший глава оставил разрушительную кар- тину», и, между прочим, упомянул о том, что он открыл передо мной «общее образование», очевидно понимая под этим словом «папиндикулярные» палочки.

Едва ли мама слышала эту речь. Опустив глаза, она сидела рядом с женихом и, вдруг нахмурясь, смотрела прямо перед собой с растерянным выражением.

Старик Сковородников, крепко выпив, подошел к ней и ударил по плечу.

– Эх, Аксинья, променяла ты…

Она стала беспомощно, торопливо улыбаться.

Месяца два после свадьбы мой отчим служил на пристани в конторе, и, хотя очень тя- жело было видеть, как он приходит и садится, развалясь, на то место, где прежде сидел отец, и ест его ложкой, из его тарелки, все–таки еще можно было жить, убегая, отмалчиваясь, возвращаясь домой, когда он уже спал. Но вскоре, за какие–то темные дела его выгнали из конторы, и жизнь сразу стала невыносимой. Несчастная мысль заняться нашим воспитанием

* моим и сестры – пришла в эту туманную голову, и у меня не стало больше ни одной сво- бодной минутки.

Теперь я догадываюсь, что в юности он служил в лакеях – видел же он где–нибудь все эти смешные и странные штуки, которым он подвергал меня и сестру!

Прежде всего он потребовал, чтобы мы приходили здороваться с ним по утрам, хотя мы спали на полу в двух шагах от его кровати. И мы приходили. Но никакие силы не могли заставить меня произнести: «Доброе утро, папа!»

Утро было не доброе, и папа был не папа. Нельзя было прежде него садиться за стол, а чтобы встать, нужно было попросить у него позволения. Мы должны были благодарить его, хотя мать по прежнему стирала в больнице, а обед, купленный на ее и мои деньги, варила сестра. Я помню отчаяние, овладевшее мною, когда бедная Саня встала из–за стала и, не- красиво присев, как он ее учил, сказала в первый раз: «Благодарю вас, папа». Как мне хоте- лось бросить в это толстое лицо тарелку с недоеденной кашей! Я не сделал этого и до сих пор сожалею…

Как я его ненавидел! Мне противны были его походка, его храп, его волосы, даже его сапоги, которые с мрачной энергией он сам чистил каждое утро. Просыпаясь по ночам, я подолгу с ненавистно смотрел на его толстое спящее лицо. Он не подозревал, какой опасно- сти подвергался! Я бы убил его, если бы не тетя Даша.

**Глава 10.**

**ТЕТЯ ДАША.**

Я не стал бы, пожалуй, и вспоминать это время, но другой и милый образ встает пере- до мной – тетя Даша, которую я тогда впервые сознательно оценил и полюбил.

Я приходил к ней и молчал – она и так все знала.

Чтобы утешить меня, она рассказывала мне историю своей жизни. С удивлением я узнал, что ей нет еще и сорока лет! А мне она казалась настоящей бабушкой, в особенности, когда, надев очки, она читала по вечерам чужие письма, занесенные на наш двор половодь- ем (она их еще читала).

Двадцати пяти лет она осталась вдовой: ее муж был убит в самом начале рус- ско–японской войны. На комоде, накрытом кружевной накидкой, между вазами голубого витого стекла стоял его портрет. А за портретом хранилось письмо, которое я, разумеется, знал наизусть. Походная канцелярия 26–го Восточно–Сибирского стрелкового полка изве- щала тетю Дашу, что ее муж, рядовой Федор Александрович Федоров, награжденный зна- ками отличия военного ордена 3–й и 4–й степеней, пал геройской смертью в бою с японца-

ми. Герой! Долго еще при этом слове мне представлялся коротко остриженный мужчина с усами и бородкой, сидящий на фоне снежных гор в камышовом кресле.

Каждый вечер тетя Даша читала по одному письму – это стало для нее чем–то вроде обряда. Обряд начинался с того, что тетя Даша пробовала угадать содержание письма по конверту, по адресу, в большинстве случаев совершенно размытому водой.

Потом происходило чтение – именно происходило, – неторопливое, с долгими вздо- хами, с ворчаньем, когда попадались неразборчивые слова. Тетя Даша радовалась чужим радостям, сочувствовала чужим горестям одних поругивала, других хвалила. Выходило, одним словом, что все эти письма адресованы ей. Точно так же она читала и книги. Семей- ные и любовные дела разных князей и графов, героев приложений к журналу «Родина», тетя Даша разбирала так, как будто все князья и графы жили на соседнем дворе.

– А барон–то Л., – говорила она оживленно, – так я и знала, что он бросит мадам де Сан–Су. Милая, милая, а вот – на тебе! Хорош, голубчик!

Когда, спасаясь от Гаера Кулия, я проводил у нее вечера, она уже дочитывала почту – оставалось не больше пятнадцати писем. Среди них было одно, которое я должен привести здесь. Тетя Даша не поняла его. Но мне и тогда казалось, что оно чем–то связано с письмом штурмана дальнего плавания…

Вот оно (первые строчки тетя Даша не могла разобрать):

*«…молю тебя об одном: не верь этому человеку! Можно смело сказать, что всеми нашими неудачами мы обязаны только ему. Достаточно, что из шестидесяти собак, которых он продал нам в Архангельске, большую часть еще на Новой Земле пришлось пристрелить. Вот как дорого обошлась нам эта услуга. Не только я один – вся экспедиция шлет ему проклятия. Мы шли на риск, мы знали, что идем на риск, но мы не ждали такого удара.*

*Остается делать все, что в наших силах. Как много я мог бы рассказать тебе о нашем путешествии! Для Катюшки хватило бы историй на целую зиму. Но какой ценой приходится расплачиваться, боже мой! Я не хочу, чтобы ты подумала, что наше положение безнадежно. Но вы все–таки не особенно жди- те…»*

Тетя Даша читала запинаясь, поглядывая на меня через очки с поучительным выраже- нием. Я слушал ее. Я не знал, что через несколько лет буду мучительно вспоминать каждое слово.

Письмо была длинное на семи или восьми страницах – подробный рассказ о жизни корабля, затертого льдами и медленно двигающегося на север. Меня особенно поразило, что лед был даже в каютах и каждое утро приходилось вырубать его топором.

Я мог бы рассказать своими словами о том, как, охотясь на медведей, упал в трещину и разбился насмерть матрос

Скачков, о том, как все измучились, ухаживая за больным механиком Тиссом. Но до- словно я запомнил только те несколько строк, которые приведены выше. Тетя Даша все чи- тала, вздыхая, – и словно туманная картина представлялась мне: белые палатки на белом снегу; собаки, тяжело дыша, тащат сани; огромный человек, великан в меховых сапогах, в меховой высоченной шапке, идет навстречу саням, как поп в меховой рясе… Однажды, придя к тете Даше, я застал ее в слезах. Она плакала перед комодом, на котором стоял порт- рет ее мужа, героя русско–японской войны. Увидев меня, она содрала с головы платок.

* Вот что делает со мною, кровопийца, ругатель, – сказала она мне с такой злобой, что я удивился. – Вот как надругался! Думаете, сирота, так и некому меня охранить? Найдется!
* Тетя Даша!
* Найдется! – повторила она и снова заплакала. – Не буду я терпеть. Уеду, вот тебе и вся стать. Поминай, как звали!

Она села на кровать, сняла ботинок и швырнула его об пол

* Пускай возьмут тебя черти! – сказала она торжественно. – И сам ты, старый черт, помни и знай! Я тебе не пара. Не будет этого никогда, Я понял, что она ругала старика Ско- вородникова, и спросил, что он сделал. Но она только махнула рукой. Мне еще тогда пока-

залось, что она сама хорошенько не знает, обидел он ее или нет. Во всяком случае, он сказал ей что–то особенное, потому что вечером тетя Даша надела свой черный кружевной платок и пошла к цыганке–гадалке, которая жила на соседнем дворе. Вернулась она задумчивая, тихая и больше не ругала Сковородникова; наоборот, вдруг сказала про себя: «и непью- щий».

Это странное поведение продолжалось и на следующий день. Тетя Даша сидела во дворе и вязала, когда у ворот появился незнакомый красномордый человек в грязном пару- синовом пальто, в толстых сапогах. Осмотревшись, он направился к старику Сковородни- кову, варившему свой универсальный клей на крыльце.

* Это вы–с продаете дом? Сковородников посмотрел на него, потом на тетю Дашу.
* Я, – отвечал он, – продаю этот дом и все имущество по причине отъезда.

Тетя Даша взволнованно зашептала, зашептала, вскочила, уронив стул, и, как вчера, содрала с головы платок.

* Земля имеется?
* Имею землю, ограниченную в пределах забора. Тетя Даша шептала все громче.
* Не продается! – вдруг закричала она. – Не продажный этот дом! Уходите! Сково- родников с хитрым выражением закрыл один глаз.
* Ты хозяин? – вдруг быстро спросил его человек в парусиновом пальто.
* Я.
* Так что же – продаешь, нет?
* Вот, говорят – не продается, – самодовольно сказал Сковородников и захохотал.

Петька был при этой сцене. Он стоял на пороге кухни и презрительно усмехался. Я ничего не понимал. Но вскоре все разъяснилось.

**Глава 11.**

**РАЗГОВОР С ПЕТЬКОЙ.**

Еще сидя над «попиндикулярными» палочками, я задумал удрать. Недаром рисовал я над забором солнце, птиц, облака! Потом я забыл эту мысль. Но с каждым днем мне все трудней становилось возвращаться домой.

С матерью я почти не встречался. Она уходила, когда я еще спал. Иногда, просыпаясь по ночам, я видел ее за столом. Белая, как мел, от усталости, она медленно ела, и даже Гаер немного робел, встречаясь с ее черными из подлобья глазами.

Сестру я очень любил. Но уж лучше бы я и ее не любил. Я помню, как этот подлец Га- ер избил ее до полусмерти за то, что она пролила рюмку постного масла. Ее прогнали из–за стола, но я тайком принес ей картошки. Она ела ее и горько плакала и вдруг спохватилась – не потеряла ли она свои цветные стеклышки, когда ее били. Стеклышки нашлись. Она за- смеялась, доела картошку и снова начала плакать…

Должно быть, уже приближалась осень, потому что мы с Петькой бродили по Собор- ному саду и подкидывали босыми ногами листья. Петька врал, будто старинный, прикрытый горкой подкоп, на котором мы сидели, ведет из сада на тот берег реки под водой и будто Петька один раз дошел до середины.

– Всю ночь шел, – небрежно сказал Петька. – Там скелеты на каждом шагу

С горки был виден на высоком берегу Покровский монастырь, белый, окруженный невысокими крытыми стенами, за ним – луга, то светло–зеленые, то желтые, под ветром менявшие цвета, как море.

Но тогда мы с Петькой очень мало думали о красоте природы. Мы лежали на горке вниз животами и сосали какие–то горькие корешки, про которые Петька говорил, что они сладкие.

Помнится, разговор начался с крыс: живут ли в подкопе крысы? Петька сказал, что живут, сам видел, и что у крыс, как у пчел, бывает царица–матка.

* Они в високосный год все передохнут, – добавил он, – а царица опять наплодит. Она громадная, как зайчиха.

* Врешь!
* Вот те крест, – равнодушно сказал Петька. У нас было как бы условлено, о чем мож- но врать, а о чем нет. Мы уже и тогда, мальчиками, уважали друг друга.
* А в Туркестане крыс нет, – задумчиво добавил Петька, – там тушканчики, и в степи полевые крысы. Но это совсем другое: они едят траву, вроде кроликов. Он часто говорил о Туркестане. Это был, по его словам, город, в котором груши, яблоки, апельсины росли пря- мо на улицах, так что можно срывать их сколько угодно и никто за это не всадит тебе в спину хороший заряд соли, как сторожа в наших фруктовых садах. Спят там на коврах под открытым небом, потому что зимы не бывает, а ходят в одних халатах – ни тебе сапог, ни пальто
* Там турки живут. Все вооруженные поголовно. Кривые шашки в серебре, за опояс- ком нож, а на груди патроны. Поехали, а?

Я решил, что он шутит. Но он не шутил. Немного побледнев, он вдруг отвернулся от меня и встал, взволнованно глядя на далекий берег, где знакомый старый рыбак спал над своими удочками, у самой воды вставленными в гальку. Мы помолчали.

* А батька? Отпустит?
* Стану я его спрашивать! Ему теперь не до меня.
* Почему?
* Потому что он женится, – с презрением сказал Петька. Я был поражен.
* На ком?
* На тете Даше.
* Врешь!
* Он ей сказал, что если она за него не выйдет, он дом продаст, а сам пойдет по дерев- ням кастрюли лудить. Она сперва ершилась, а потом согласилась. Влюблена, что ли, – пре- зрительно добавил Петька и плюнул.

Я еще не верил. Тетя Даша! Замуж! За старика Сковородникова? Которого она так ру-

гала?

* А тебе что?
* Ничего! – сказал Петька.

Он насупился и заговорил о другом. Два года тому назад умерла его мать, и он, плача,

не помня себя, пошел со двора и забрел так далеко, что его насилу отыскали Я вспомнил, как его за это дразнили мальчишки.

Мы еще немного поговорили, а потом легли на спину, раскинув руки крестом, и стали смотреть в небо. Петька уверял, что если так пролежать минут двадцать не мигая, можно днем увидеть звезды и луну. И вот мы лежали и смотрели. Небо было ясное, просторное; где–то высоко, перегоняя друг друга, быстро шли облака. Глаза мои налились слезами, но я изо всех сил старался не мигать. Луны все не было, а про звезды я сразу понял, что Петька соврал.

Где–то шумел мотор. Мне показалось, что это военный грузовик работает на пристани (пристань была внизу, под крепостной стеной). Но шум приближался.

– Аэроплан, – сказал Петька.

Он летел, освещенный солнцем, серый, похожий на красивую крылатую рыбу. Облака надвигались на него, он летел против ветра. Но с какой свободой, впервые поразившей меня, он обошел облака! Вот он был уже за Покровским монастырем, черная крестообразная тень, бежала за ним по лугам на той стороне реки, Он давно исчез, а мне все казалось, что я еще вижу вдалеке маленькие серые крылья.

**Глава 12.**

**ГАЕР КУЛИЙ В БАТАЛЬОНЕ СМЕРТИ.**

У Петьки был родной дядя в Москве, и весь наш план держался на этом дяде. Дядя ра- ботал на железной дороге – Петька утверждал, что машинистом, а я думал, что кочегаром. Во всяком случае, прежде Петька всегда называл его кочегаром. Этот машинист–кочегар

служил на поездах, пять лет тому назад ходивших из Москвы в Ташкент. Я говорю с такой точностью – пять лет – потому, что от дяди уже пять лет не было писем. Но Петька говорил, что это ничего не значит, потому что дядя всегда редко писал, а работает он на тех же самых поездах, тем более что последнее письмо пришло из Самары. Мы вместе посмотрели карту, и действительно оказалось, что Самара находится между Москвой и Ташкентом.

Словом, нужно было только разыскать этого дядю. Адрес его Петька знал, – если бы и не знал, всегда можно по фамилии найти человека. Насчет фамилии у нас не было ни ма- лейших сомнений: Сковородников – такая же, как у Петьки.

Так представлялась нам вторая часть пути: дядя должен был просто отвезти нас из Москвы в Ташкент на паровозе. Но как добраться до Москвы?

Петька не уговаривал меня. Но с каменным лицом он выслушивал мои робкие возра- жения. Он не отвечал мне – ему было все ясно. А мне ясно было только одно: если бы не Гаер, я бы никуда не ушел. И вдруг оказалось, что он уходит, – он уходит, а я остаюсь.

Это был памятный день. В военной форме, в новых, блестящих, скрипящих сапогах, в фуражке набекрень, из–под которой ровной волной выходили кудри, он явился домой и по- ложил на стол двести рублей. По тому времени это были неслыханные деньги, мать с не- вольной жадностью прикрыла их руками.

На меня и Петьку и всех мальчишек с нашего двора поразили не деньги, – нет! Совсем другое. На рукаве его форменной гимнастерки был вышит череп, а под черепом – скрещен- ные кости, Отчим, поступил в батальон смерти.

Без сомнения, мои читатели не помнят этих батальонов. Человек с барабаном вдруг появлялся на каком–нибудь собрании, на гулянье – везде, где было много народу. Он бил в барабан – все умолкали. Тогда другой человек, большей частью офицер с таким же черепом и костями на рукаве, как у моего отчима, начинал говорить. От имени Временного прави- тельства он приглашал всех в батальон смерти. Но хотя он и утверждал, что каждый запи- савшийся получит шестьдесят рублей в месяц плюс офицерское обмундирование, не считая подъемных, никому не хотелось умирать за Временное правительство, и в батальон смерти записывались главным образом такие жулики, как мой отчим.

Но в тот день, когда, торжественно–мрачный, он пришел домой в новой форме и при- нес двести рублей, он никому не казался жуликом. Даже тетя Даша, которая его ненавидела, вышла и неестественно поклонилась.

Вечером он пригласил гостей и произнес речь.

– Все эти проделываемые начальством процедуры, – сказал он, – имеют назначение оградить свободу революции от нищих, абсолютное большинство которых составляют евреи. Нищие и большевики создают подлую авантюру, от которой, безусловно, страдают все плоды существующего порядка. Для нас, защитников свободы, эта трагедия решается очень просто. Мы берем в свои руки оружие, и горе тому, кто ради удовлетворения личной власти покусится на революцию и свободу! Свобода стоит дорого.

Задешево мы ее не отдадим! Такова в общих чертах окружающая момент обстановка!

Мать была очень весела в этот вечер. В белой бархатной жакетке, которая очень шла ей, она с бутылкой вина обходила гостей и после каждой рюмки все подливала. Приятель отчима, коротенький любезный толстяк, тоже из батальона смерти, встал и почтительно предложил выпить за ее здоровье. Он от души смеялся, когда отчим говорил, а теперь стал очень серьезен. Высоко подняв бокал с вином, он чокнулся с матерью и коротко сказал:

«Ура!»

Все закричали «ура». Она смутилась. Немного порозовев, она вышла на середину комнаты и низко, по–старинному, поклонилась.

* Красавица! – громко сказал толстяк.

Потом старик Сковородников произнес ответную речь. Он был пьян и поэтому гово- рил с очень длинными паузами, во время которых все молчали.

* Каждый должен понимать о смерти, – сурово сказал он. – Тем более кое–кто только напрасно коптит небо, и ему одна дорога – в ваш батальон. Но меня, например, туда калачом не заманишь. Почему? Потому что я за вашу свободу умирать не желаю. Ваша свобода – это торговля. И ваш батальон – та же торговля. Продажа своей будущей смерти за двести руб- лей. Позвольте, а если я не умру? Деньги обратно?

Он сказал еще что–то про министров–капиталистов и сел. Сжав кулаки, отчим подо- шел к нему. Плохо кончился бы этот праздник… Но толстяк (который от души смеялся и над ответной речью) вскочил и бросился между ними. Пока он уговаривал отчима, Сково- родников вышел, нарочно громко стуча сапогами.

Но праздник все–таки кончился плохо.

**Глава 13.**

**ДАЛЬНИЕ ПРОВОДЫ.**

Должно быть, шел третий час, я давно спал и проснулся от крика. Табачный дым неподвижно висел над столом, все давно ушли, отчим спал на полу, раскинув руки и ноги. Крик повторился, я узнал голос тети Даши и подошел к окну. Какая–то женщина лежала на дворе, и тетя Даша громко дула ей в рот.

* Тетя Даша!

Как будто не слыша меня, тетя Даша вскочила, зачем–то обежала наш дом и постучала в окно.

* Воды дайте! Петр Иваныч! Там Аксинья лежит! Я открыл дверь, она вошла и стала будить отчима.
* Петр Иваныч! Ах ты, господи! – Отчим только мычал. – Саня, нужно ее сюда пере- нести, она, должно быть, упала во дворе и расшиблась. Петр Иваныч!

С закрытыми глазами отчим сел, потом снова лег. Так мы его и не добудились.

Всю ночь мы возились с матерью, и только под утро она пришла в себя. Это был про- стой обморок, но, падая, она ударилась головой о камни, и мы, к несчастью, узнали об этом лишь от доктора к вечеру другого дня. Доктор велел прикладывать лед. Но покупать лед всем показалось странным, и тетя Даша решила вместо льда прикладывать мокрое полотен- це.

Я помню, как Саня выбегала во двор, плача, мочила полотенце в ведре и возвращалась, вытирая слезы ладонью. Мать лежала спокойная, такая же бледная, как всегда. Ни разу она не спросила об отчиме, на другой день перебравшемся в свой батальон, но зато нас – меня и сестру – не отпускала от себя ни на шаг. Тошнота мучила ее, она поминутно щурилась, как будто старалась что–то разглядеть, и это почему–то очень не нравилось тете Даше. Она проболела три недели и, кажется, уже начинала поправляться. И вдруг на нее «нашло».

Однажды я проснулся под утро и увидел, что она сидит в постели, спустив босые ноги на пол.

* Мама!

Она посмотрела на меня исподлобья, и вдруг я понял, что она меня не видит.

* Мама! Мама!

Все с тем же внимательным, строгим выражением она отвела мои руки, когда я хотел ее уложить… С этого дня она перестала есть, и доктор велел кормить ее насильно яйцами и маслом. Это был прекрасный совет, но у нас не было денег, а в городе не было ни яиц, ни масла.

Тетя Даша ругала ее и плакала, а мать лежала рассеянная, мрачная, перекинув на грудь черные косы, и не говорила ни слова. Только раз, когда тетя Даша в отчаянии объявила, что она знает, почему мать не ест, – не хочет жить, потому и не ест, – мать пробормотала что–то, нахмурилась и отвернулась.

Она стала очень ласкова со мной с тех пор, как заболела, и даже как будто полюбила не меньше, чем Саню. Часто она подолгу смотрела на меня – внимательно и, кажется, с ка- ким–то удивлением. Никогда она не плакала до болезни, а теперь – каждый день, и я пони- мал, о чем она плачет. Она жалела, что прежде не любила меня, раскаивалась, что забыла отца, быть может, просила прощения за Гаера, за все, что он с нами делал. На какое–то оце- пенение нашло на меня. Все валилось из рук, я ничего не делал, ни о чем не думал.

Таков был и наш последний разговор – ни я, ни она не произнесли ни слова. Она толь- ко подозвала меня и взяла за руку, качая головой и с трудом удерживая дрожащие губы… Я понял, что она хочет проститься. Но, как чурбан, я стоял, опустив голову и упорно глядя

вниз, на пол.

На другой день она умерла…

В полной походной форме, с винтовкой за плечами, с гранатой у пояса, отчим плакал в сенях, но никто почему–то не обращал на него никакого внимания… Мы с сестрой сидели во дворе, и все, кто бы ни пришел, останавливались подле нас и говорили одно и то же:

«Небось, жалко вам маму?» или: «Теперь одни остались, сиротки?» Это был какой–то один страшный обряд – и то, что старухи, приходившие к Сковородниковым играть в «козла», заперлись у нас, а потом, с подоткнутыми юбками, с засученными рукавами, выносили вед- ра, как будто мыли полы, и то, что тетя Даша бегала за какой–то «подорожной». Мне каза- лось, что мы должны сидеть во дворе, пока не кончится этот обряд. И вот мы сидели и жда- ли.

Через много лет я прочитал у Бальзака, что «наблюдательность обостряется от стра- даний», и тотчас же вспомнил эти дни, когда обряжали, отпевали и хоронили мать. Мне за- помнилось каждое слово, каждое движение – и свое, и чужое. Я понял, почему в первый день при матери, лежавшей на столе с иконкой в сложенных руках, все говорили шепотом, потом все громче и наконец, своими обыкновенными голосами. Они привыкли – и Сково- родников, и отчим, и тетя Даша, – уже привыкли к тому, что она умерла! Я с ужасом заме- тил, что и сам вдруг начинал думать о другом.

Неужели я привык, неужели я думаю о битке со свинцовой пулей, который Петька по- дарил мне уже давно, а я из–за смерти матери так и не собрался испытать этот биток! И сейчас же с раскаяньем я принуждал себя думать о маме.

Так было и в день похорон.

У Сани болела голова, и ее оставили дома. Отчим, которого с утра вызвали в батальон, опоздал к выносу, и мы, прождав его добрых два часа, одни отправились за гробом. Мы – это Сковородников, тетя Даша и я.

Они шли пешком, тетя Даша держалась за какую–то скобу, чтобы не отставать, а меня посадили на колесницу.

Стыдно вспомнить, но я чувствовал гордость, когда знакомые мальчишки встречались по дороге и, остановившись, провожали нашу процессию глазами или когда кто–нибудь на две–три минуты присоединялся к нам, чтобы спросить, кого это хоронят. Сейчас же я начи- нал ругать себя. Но мы ехали все дальше и дальше, равнодушный кучер в кепке и грязном балахоне сонно покрикивал на клячу, и мысль опять начинала бродить бог весть где – дале- ко от этого бедного, едва прикрытого белой тряпкой гроба.

Вот Застенная; вдоль городской стены деревянные щиты закрывали проломы, чтобы никто не прошел в Летний сад без билета. И никто, кроме нас с Петькой, не знал, что пред- последний щит можно раздвинуть – и, пожалуйста, ты в саду! Хочешь – слушай музыку, хочешь – нарви тайком левкоев в садоводстве и после спектакля продавай публике – пять копеек за пучок!

Вот – кадетский корпус; возы с матрацами стоят во дворе, и люди в светлых шинелях, не то офицеры, не то гимназисты, зачем–то тащат матрацы, закладывают ими окна во вто- ром этаже. Вот Афонина горка, про которую в городе говорили, что это засыпанная церковь и в пасхальную ночь из–под земли слышится пенье. Кто–то копошился на Афониной горке, и, приглядевшись, я различил те же светлые шинели, мелькавшие среди наваленных веток.

И вдруг я очнулся. Я вспомнил, что еще когда мы проезжали Базарную площадь, у во- рот присутствия стоял часовой, в саду за решеткой торопливо ходили какие–то люди в штатском, и один из них тащил пулемет. Магазины были закрыты, улицы пусты, за Серги- евской мы не встретили ни одного человека. Что случилось?

Кучер в грязном балахоне торопился, то и дело подхлестывая лошадь. Тетя Даша и Сковородников едва поспевали. Мы выехали на Посадскую пустошь – так называлось пу- стое грязное место между городом и Посадом, – а там спуск к реке, Мельничий мост… Что–то коротко простучало вдалеке, кучер испуганно оглянулся и нерешительно поднял кнут. Тетя Даша догнала нас и стала ругаться:

* Ошалел, что ли? Не дрова везешь!
* Стреляют, – мрачно возразил кучер.

Спуск к реке был прорыт в косогоре, и несколько минут мы ехали, ничего не видя по

сторонам. Где–то стреляли, но все реже. Мельничий мост, с которого я не раз ловил песка- рей, был уже виден. И вдруг кучер привстал, замахнулся… Лошадь рванулась, и мы помча- лись вдоль берега, далеко за собой оставив Сковородникова и тетю Дашу.

Наверно, это были пули, потому что мелкие щепочки стали отлетать от колесницы, и одна попала мне прямо в лицо. Резной столбик, за который я держался рукой, зашатался, за- скрипел, нас тряхнуло, и он упал на дорогу. Я слышал, как где–то позади кричал Сковород- ников, плачущим голосом ругалась тетя Даша.

Надвинув пониже свою кепку и крутя над головой кнутом, кучер гнал лошадь прямо на мост, как будто не видя, что въезд перегорожен какими–то балками, досками, кирпичами. Раз! Лошадь попятилась, рванулась направо, налево и остановилась.

Среди людей, выбежавших к нам из–за этих балок, я узнал знакомого наборщика, ко- торый прошлым летом снимал комнату у гадалки на соседнем дворе. В руках у него была винтовка, а за кожаным поясом, выглядевшим очень странно на обыкновенном пальто, тор- чал наган. Все они были вооружены, у некоторых были даже шашки.

Кучер слез, подоткнул балахон и, засунув кнут в сапог, стал ругаться.

* Что же, вы не видите – похороны? Чуть лошадь не застрелили!
* Мы не стреляли, это ты под кадет попал, – возразил наборщик. – А ты не видишь, дурак, что баррикады?
* Как твоя фамилия? – кричал кучер – Вы мне ответите! Кто за ремонт платить бу- дет? – Он ходил вокруг колесницы и трогал пальцем побитые места.
* Вы мне спицу сломали!
* Дурак, – снова сказал наборщик, – говорят тебе – не мы! Станем мы по гробам стре- лять. Дура!
* Кого хоронишь, мальчик? – тихо спросил меня пожилой человек в папахе, на кото- рой вместо кокарды была красная лента.
* Мать, – с трудом сказал я. Он снял папаху.
* Вы, товарищи, потише, – сказал он. – Похороны. Вот парнишка мать провожает. Не- хорошо все–таки.

Все посмотрели на меня. Наверно, у меня был неважный вид, потому что когда все было улажено и тетя Даша, плача, догнала нас и мы через мельницу выехали на мост, я нашел в кармане своей курточки два куска сахару и белый сухарь.

Измученные, по тому берегу Песчинки мы вернулись домой после похорон.

Над городом стояло зарево – горели казармы Красноярского полка. У понтонного мо- ста Сковородников окликнул знакомого постового, и начался длиннейший разговор, из ко- торого я ничего не понял: кто–то где–то разобрал пути, конный корпус идет на Петроград, вокзал занят батальоном смерти. Фамилия «Керенский» с разными прибавлениями повторя- лась ежеминутно. Я чуть стоял на ногах, тетя Даша охала и вздыхала.

Сестра спала, когда мы вернулись. Не раздеваясь, я сел подле нее на постель.

Не знаю почему, в эту ночь, первую ночь, когда мы остались одни, тетя Даша не ноче- вала у нас. Она принесла мне каши, но мне не хотелось есть, и она поставила тарелку на ок- но. На окно – не на стол, где утром лежала мать. Утром, а сейчас ночь. Саня спит на ее по- стели. На ее постели, на том месте, где она лежала с венчиком на лбу, с подорожной в руке, – я и не знал, что так называется эта свернутая трубкой бумага. Я встал и подошел к окну. Темно было на дворе, а над рекой – зарево, черно–дымные полосы разгорались и гас- ли.

Казармы горят, но ведь они за железной дорогой, далеко, совсем в другой стороне! Я вспомнил, как она взяла меня за руку, качая головой и стараясь не плакать. Почему я ничего не сказал ей? Она очень ждала хоть одного слова.

Галька накатывала на берег, – должно быть, поднялся ветер, и дождь стал накрапы- вать. Долго, ни о чем не думая, я смотрел, как большие тяжелые капли скатывались по стеклу – сперва медленно, потом все быстрее и быстрее.

Мне приснилось, что кто–то рванул дверь, вбежал в комнату и скинул мокрую шинель на пол. Я не сразу догадался, что это вовсе не сон. Отчим метался по дому, на ходу стаски- вал с себя гимнастерку. Скрипя зубами, он стаскивал ее, а она не шла, облепила спину. Го-

лый, в одних штанах, он бросился к своему сундуку и вынул из него заплечный мешок.

* Петр Иваныч!

Мельком он взглянул на меня и ничего не ответил. Мохнатый и потный, он торопливо перекладывал белье из сундука в мешок. Он закатал одеяло, прижал коленом, перетянул ремнем. Все время он злобно двигал губами, и сжатые зубы становились видны – крупные и длинные, настоящие волчьи.

Три гимнастерки он надел на себя, а четвертую сунул в мешок. Должно быть, он за- был, что я не сплю, иначе, пожалуй, посовестился бы сорвать с гвоздя и сунуть туда же, в мешок, мамину бархатную жакетку.

* Петр Иваныч!
* Молчи! – подняв голову, сказал он. – Все к черту!

Он переобулся, надел шинель и вдруг увидел на рукаве череп и кости. С ругательством он снова скинул шинель и стал срывать череп и кости зубами. Мешок на плечо – и на десять лет этот человек исчез из моей жизни! Остались только грязные следы на полу да пустая жестянка от папирос «Катык», в которой он держал запонки и цветные булавки.

Все объяснилось на другой день. Военно–революционный комитет объявил в городе советскую власть. Батальон смерти и добровольцы выступили против него и были разбиты.

**Глава 14.**

**БЕГСТВО. Я НЕ СПЛЮ, Я ПРИТВОРЯЮСЬ, ЧТО СПЛЮ.**

Откуда Петька взял, что теперь по всем железным дорогам можно будет ездить бес- платно? Наверно, слух о бесплатных трамваях донесся до него в таком преувеличенном ви- де.

* Взрослым нужно командировку, – твердо сказал он. – А нам – ничего.

Он больше не молчал. Он уговаривал меня, дразнил, упрекал в трусости и презритель- но смеялся. Что бы ни происходило на белом свете, все убеждало его, что мы, ни минуты не медля, должны махнуть в Туркестан. Сковородников объявил, что он большевик, и велел тете Даше убрать иконы. Петька сейчас же объяснил это событие в свою пользу и доказал, что теперь во дворе все равно никому не будет житья.

* Его бабы загрызут, – сказал он мрачно. – Я теперь за него не ручаюсь.

Военно–революционный комитет приказал разбить ренсковые погреба и спустить вина в Песчинку. Оказалось, что и это способствует нашему плану.

* Рыба передохнет, – равнодушно, как взрослый, сказал Петька, – и все одно – начнут самогон гнать. Нет, нужно ехать!

Не знаю, уговорил бы он меня в конце концов или нет, если бы тетя Даша и Сково- родников на семейном совете не решили отдать меня и Саню в приют. Тетя Даша была ма- стер на все руки – вышивала рубашки, делала абажуры. Но кому нужны были теперь ее абажуры? Возможно, что, выходя за Сковородникова, она надеялась поправить свое хозяй- ство. Но, увлекшись политической деятельностью, старик забросил свой универсальный клей, и жить окончательно стало нечем. Со слезами она объявила, что будет ходить к нам в приют каждый день, что отдает нас только на зиму, а летом мы непременно вернемся. В приюте нас будут кормить, учить, оденут. Дадут новые сапоги, две рубашки, пальто с шап- кой, чулки и кальсоны. Помню, как я спросил ее:

* А что такое кальсоны?

Мы знали приютских. Это были бледные ребята в серых курточках, в измятых серых штанах. Они здорово били птиц из рогаток, а потом жарили их у себя в саду и ели. Вот как их кормили в приюте! Вообще они были «арестанты», и мы с ними дрались, и вот теперь я стану «арестантом»!

В тот же день я пошел к Петьке и сказал, что согласен. Денег у нас было немного – де- сять рублей. Мы продали на толкучке мамины ботинки – еще десять. Итого – двадцать. С большими предосторожностями было вынесено из дому одеяло. С такими же предосторож- ностями оно было возвращено назад: никто не взял, хотя мы просили очень дешево, – ка- жется, четыре с полтиной. Как раз эти четыре с полтиной мы проели, пока таскались по

рынку с одеялом. Итого – пятнадцать с полтиной.

Петька хотел загнать свои книжки, но книжки, к счастью, никто не купил. Я говорю – к счастью, потому что эти книжки стоят теперь в моей библиотеке на самом почетном месте. Впрочем, одну, – кажется, «Юрий Милославский», – удалось продать. Итого – шестнадцать. Мы считали, что этих денег хватит до дяди, а там начнется увлекательная, превосходная паровозная жизнь. Помнится, нас очень волновал и вызывал множество споров вопрос о во- оружении. У Петьки был финский нож, который он называл кинжалом. Мы сшили для него чехол из старого сапога. Но пускаться в путь с одним холодным оружием было как–то не- интересно. Где достать револьвер?

Одно время мы надеялись, что военно–революционный комитет выдаст нам по нагану. Потом решили, что, пожалуй, не выдаст, и отправились на толкучку – не продаст ли нам свое оружие какой–нибудь дезертир? После долгих поисков мы нашли то, что нам было нужно.

Это был большой пятиствольный револьвер с резной деревянной ручкой – именно пя- тиствольный, я не оговорился. Он заряжался со всех своих пяти стволов, и после каждого выстрела нужно было поворачивать эти стволы рукою. Без сомнения, это был один из пер- вых револьверов на земле. Я потом видел такие в музее. Но нам он очень понравился. Именно эти пять стволов нас поразили. Из такого как ахнешь! Продавал его не дезертир, а старая генеральша – это тоже внушало нам уважение. Словом, из шестнадцати рублей едва ли осталось бы больше трех с полтиной, если бы, пока мы ходили за деньгами, генеральша не исчезла вместе со своим револьвером.

Теперь я вижу, что нам все–таки повезло. Случись так, что мы купили бы это оружие и испытали его (а у нас уже и порох был заготовлен), вместо маршрута Энск – Москва – Таш- кент мы отправились бы по маршруту наш двор – Спасское кладбище.

Итак, решено было ограничиться холодным оружием.

Все остальное было в полном порядке: ботинки крепкие, пальто целые, у Петьки даже с бобриковым воротником, штанов по паре.

Я был очень мрачен в этот день, и тетя Даша несколько раз принималась меня уте- шать. Бедная тетя Даша! Если бы она знала, что мы отложили наш отъезд только потому, что рассчитывали на ее кокоры! Завтра она должна была отвести нас с Саней в приют и це- лый день пекла нам «в дорогу» кокоры. Она пекла их целый день и все снимала очки и сморкалась.

С меня она взяла торжественное обещание – не воровать, не курить, не грубить, не ле- ниться, не пьянствовать, не ругаться, не драться, – больше заповедей, чем в священном пи- сании. Сестренке, которая была очень грустна, она подарила прекрасную старинную ленту.

Разумеется, можно было просто уйти из дому – и поминай, как звали! Но Петька ре- шил, что это неинтересно, и выработал довольно сложный план, поразивший меня своей таинственностью.

Во–первых, мы должны были дать друг другу «кровавую клятву дружбы». Вот она:

*«Кто изменит этому честному слову, – не получит пощады, пока не со- считает, сколько в море песку, сколько листьев в лесу, сколько с неба падает дождевых капель. Захочет идти вперед – посылай назад, захочет идти налево – посылай направо. Как я ударяю моей шапкой о землю, так гром поразит того, кто нарушит это честное слово. Бороться и искать, найти и не сдаваться».*

По очереди произнося эту клятву, мы должны были пожать друг другу руки и разом ударить шапками о землю. Это было сделано в Соборном саду накануне отъезда. Я сказал клятву наизусть, Петька прочитал по бумажке. Потом он уколол палец булавкой и распи- сался на бумажке кровью: «П.С.», то есть Петр Сковородников. Я с трудом нацарапал:

«А.Г.», то есть Александр Григорьев.

Во–вторых, я должен был лечь в десять часов и притвориться, что сплю, хотя никто не интересовался, сплю я или притворяюсь. В три часа ночи Петька должен был свистнуть под окном три раза – условный сигнал: все в порядке, дорога свободна, можно бежать.

Это было гораздо опаснее, чем днем, когда действительно все было в порядке, дорога

свободна, когда никто бы не заметил, что мы убежали. Ночью нас могли сцапать караулы – город был на осадном положении, – собаки по всему берегу на ночь спускались с цепей. Но

Петька приказал, и я повиновался, И вот наступил этот вечер – мой последний вечер в родном доме.

Тетя Даша сидит за столом и чинит мою рубашку. Хоть в приюте и дают белье, а все–таки еще одну, на всякий случай! Перед нею – лампа, на лампе – голубой абажур, пода- рок тети Даши на мамину свадьбу. Теперь у него какой–то сконфуженный вид – как будто он плохо чувствует себя в нашем опустевшем доме. Темно в углах. Чайник висит над пли- той, а на тени – это не чайник, а чей–то огромный перевернутый нос. Из щели под окном тянет свежестью, пахнет рекою. Тетя Даша шьет и говорит. Она что–то берет со стола, и светлый круг на потолке начиняет дрожать. Десять часов. Я притворяюсь, что сплю.

* Ты, Саня, смотри, слушайся брата во всем, – говорит тетя Даша сестре. – Ты, как де- вочка, должна на него опираться. Мы всегда опираемся на мужчин, как на силу. Уж он тебя в обиду не даст.

Сердце щемит, но я стараюсь не думать о Сане. Вот мы приезжаем в Москву! Петькин дядя встречает нас на вокзале. Он похож на Сковородникова, но моложе, веселей. Паровоз стоит на далеких путях, черный человек подбрасывает уголь в топку, искры сыплются из трубы и гаснут. Мы мчимся, мелькают деревья, ходят вверх и вниз телефонные провода. Теперь и мы с Петькой бросаем уголь в топку – жарко, весело; выглянешь – и ветер свистит в ушах.

* А ты, Саня, – говорит мне тетя Даша, и я вижу, как слеза ползет из–под очков и па- дает на мою рубашку, – береги сестру. Вы будете в разных отделениях, но я попрошу, чтобы тебе разрешили каждый день ее навещать.
* Ладно, тетя Даша.
* Господи, боже ты мой! Была бы жива Аксинья…

Она поправляет лампу, вдевает нитку и снова берется за работу, вздохнув.

Половина одиннадцатого. Я не сплю, я притворяюсь, что сплю. Я вижу деревья в бе- лых цветах, а в тени, под цветами, ковры – синие, зеленые, голубые. Мы в Туркестане. Апельсины растут на улицах. Мы рвем их сперва потихоньку, потом все смелее. Больше не- куда класть, и Петька вынимает из мешка запасную пару штанов. Он завязывает концы на штанах, он бросает апельсины в штаны. Вот старик с бородой ведет нас в маленький белый дом. Оружие висит на стене – кинжалы, пятиствольные револьверы, кривые шашки в сереб- ре. «Якши?» – говорит он и предлагает нам выбрать по кинжалу, револьверу и шашке.

* И читать научат и писать, – слышу я сквозь сон и думаю: откуда же здесь тетя Да- ша? – Может, и в люди выйдешь. Может, и нам еще спасибо скажешь.

Я не сплю, я притворяюсь, что сплю. Половина двенадцатого, двенадцать. Тетя Даша встает. В последний, в самый последний раз я вижу ее доброе лицо над лампой, освещенное снизу. Она ставит ладонь над стеклом, дует – и темнота! Она крестит нас в темноте и ло- жится: сегодня она ночует у нас.

Хорошо притворяться, когда не хочется спать! Я с трудом открываю глаза. Который час? Еще далеко до трех. Пьяная песня доносится с реки. Галька накатывает на берег. А сигнала все нет как нет, только ходики тикают да тетя Даша, вздыхая, ворочается с боку на бок.

Я сажусь, чтобы не заснуть, и кладу голову на колени. Я притворяюсь, что сплю. Я слышу свист и не могу проснуться.

Петька потом говорил, что охрип, как цыган, пока меня досвистался. Но он свистал все время, пока я надевал сапоги, пальто, клал в мешок кокоры. Очень сердитый, он зачем–то велел мне поднять воротник пальто, и мы побежали.

Все обошлось превосходно, никто нас не тронул – ни собаки, ни люди. Правда, на всякий случай мы версты три дали крюку по городскому валу. Дорогой я пытался узнать у Петьки, уверен ли он, что теперь по всем железным дорогам бесплатный проезд. Он отвечал, что уверен, – на худой конец доедем под лавкой. Две ночи – и Москва, скорый поезд отхо- дит в пять сорок.

Никакого поезда в пять сорок не было, когда, обойдя караулы, мы в полуверсте от станции махнули через забор.

Тускло блестели мокрые черные рельсы, тускло горели на стрелках желтые фонари. Что было делать? Ждать до утра на станции? Нельзя: могут забрать караулы. Вернуться до- мой?

В эту минуту бородатый, весь залитый маслом сцепщик вылез из–под товарного со- става и пошел к нам навстречу по шпалам.

* Дяденька, – смело сказал ему Петька, – как отсюда в Москву – направо или налево? Сцепщик посмотрел на него, потом на меня. Я похолодел: «Сейчас отправит в комендату- ру».
* До Москвы, хлопцы, пятьсот верст.
* Ты только скажи, дяденька: направо или налево? Сцепщик засмеялся.
* Налево.
* Спасибо, дяденька. Санька, пошли налево!

**Глава 15.**

**БОРОТЬСЯ И ИСКАТЬ, НАЙТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ.**

Все путешествия, когда путешественникам по одиннадцати–двенадцати лет, когда они ездят под вагонами и не моются месяцами, похожи одно на другое. В этом легко убедиться, перелистав несколько книг из жизни беспризорных. Вот почему я не стану описывать наше- го путешествия из Энска в Москву.

Семь заповедей тети Даши были вскоре забыты. Мы ругались, дрались, курили – ино- гда навоз, чтобы согреться. Мы врали: то тетка, поехавшая в Оренбург за солью, потеряла нас по дороге, то мы были беженцами и шли к бабушке в Москву. Мы выдавали себя за братьев – это производило трогательное впечатление. Мы не умели петь, но я читал в поез- дах письмо штурмана дальнего плавания. Помню, как на станции Вышний Волочок ка- кой–то моложавый седой моряк заставил меня повторить это письмо дважды.

– Очень странно, – сказал он, глядя мне прямо в лицо суровыми серыми глазами, – экспедиция лейтенанта Седова? Очень странно.

И все же мы не были беспризорниками. Подобно капитану Гаттерасу (Петька расска- зывал мне о нем с такими подробностями, о которых не подозревал и сам Жюль Верн), мы шли вперед и вперед. Мы шли вперед не только потому, что в Туркестане был хлеб, а здесь его уже не было. Мы шли открывать новую страну – солнечные города, привольные сады. Мы дали друг другу клятву.

Как эта клятва помогала нам!

Однажды, подходя к Старой Руссе, мы сбились с дороги и заблудились в лесу. Я лег на снег и закрыл глаза. Петька пугал меня волками, ругался, даже бил – все было напрасно. Я не мог больше сделать ни шагу. Тогда он снял шапку и бросил ее на снег.

– Ты клятву давал, Санька, – сказан он, – бороться и искать, найти и не сдаваться.

Значит, ты теперь клятвопреступник? Сам сказал – клятвопреступник не получит пощады.

Я заплакал, но встал. Поздней ночью мы дошли до деревни. Деревня была староверче- ская, но одна старушка все же приняла нас, накормила и даже вымыла в бане.

Так от деревни к деревне, от станции к станции мы, наконец, добрались до Москвы. Дорогой мы продали, променяли и проели почти все, что было взято с собой из Энска. Даже Петькин кинжал в ножнах из старого сапога, был продан, помнится, за два куска студня.

Непроданными остались только наши бумаги–клятвы, подписанные кровью «П.С.» и

«А.Г.», и адрес Петькиного дяди.

Дядя! Как часто мы говорили о нем! В конце концов, он стал представляться мне ка- ким–то паровозным владыкой: борода по ветру, дым из трубы, пар из–под котла…

И вот наконец – Москва! Морозной февральской ночью мы выбрались через окно из уборной, в которой провели последний перегон, и спрыгнули на рельсы. Москвы было не видать, темно, да мы ею и не интересовались. Это была просто Москва, а дядя жил в Москве–Товарной, седьмое депо, ремонтная мастерская. Два часа мы блуждали по шпалам, путались среди сходящихся и расходящихся рельсов. Начинало светать, когда седьмое депо

предстало перед нами – мрачное здание с темными овальными окнами, с высокой овальной дверью, на которой висел замок. Дяди не было. Не у кого было даже спросить о дяде. Утром в комитете седьмого депо мы узнали, что дядя уехал на фронт.

Все кончено! Мы вышли и сели на эстакаду.

Прощайте, улицы, на которых растут апельсины, прощайте, ночи под открытым небом, прощайте, нож за опояской и кривая шашка в серебре!

На всякий случай Петька вернулся в комитет – спросить: не был ли дядя женат? Нет, дядя был холостой. Он жил, оказывается, в каком–то вагоне и так в этом вагоне и поехал на фронт.

Совсем рассвело, и Москва была теперь видна: дома, дома (мне казалось, что все это – вокзалы), огромные кучи снега, редкие трамваи. И снова дома и дома. Что делать?

Так начались плохие дни. Чем мы только не занимались! Мы дежурили в очередях. Мы нанимались к буржуям сгребать снег с панелей перед домами: была объявлена «трудо- вая повинность». Мы выгребали из цирковой конюшни навоз. Мы ночевали в подъездах, на кладбищах, на чердаках.

И вдруг все переменилось…

Мы шли, помнится, по Божедомке, мечтая только об одном: встретить где–нибудь ко- стер; тогда случалось, что костры разводили и на Кузнецком. Нет, не видать! Снег, темнота, тишина! Холодная ночь. Подъезды, куда ни глянь, закрыты. Дрожа, мы шли и молчали. Бо- юсь, пришлось бы Петьке снова бить шапкой о землю, но в эту минуту пьяные голоса до- неслись из подворотни, мимо которой мы только что прошли. Петька зашел во двор, я сел на тумбу, стуча зубами и засунув в рот дрожащие пальцы. Петька вернулся.

– Айда! – радостно сказал он. – Пустили!

**Глава 16.**

**ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ.**

Хорошо спать, когда над головою крыша! Хорошо в двадцатиградусный мороз сидеть у «буржуйки», колоть и подкидывать дровишки, пока не загудит в трубе! Но еще лучше, развешивая соль или муку, думать о том, что за работу нам обещан сам Туркестан. Мы по- пали в притон инвалидов–спекулянтов, хозяин притона, хромой поляк с обваренной физио- номией, обещал взять нас с собой в Туркестан. Оказывается, это не город, я страна, столица Ташкент, тот самый Ташкент, куда каждые две три недели ездят наши инвалиды.

Мы нанялись к этим жуликам паковать продукты.

Жалованья мы не получали – только стол и приют. Но мы были рады и этому.

Если бы не хозяйка, жена хромого спекулянта, жизнь была бы просто не дурна! Хо- зяйка нам досмерти надоела.

Толстая, с вытаращенными глазами, тряся животом, она прибегала в сарай, где мы па- ковали продукты, посмотреть, все ли цело.

* Пфе! А пфе! Як смиешь так робиць? /Как смеешь так делать?/

Робиць не робиць, а действительно, это было не так просто – развешивая, например, свиной шпиг, не отщипнуть хоть маленький кусочек. Пиленый сахар сам застревал в рука- вах и карманах. Но мы держались. Эх! Знали бы мы, что все равно не видеть нам Туркеста- на, как своих ушей, – пожалуй, чего–нибудь и недосчиталась бы старая ведьма!

Однажды (мы работали в притоне уже третий месяц) она примчалась к нам в одном халате. В руках у нее был замок, которым наш сарай запирался на ночь. Вытаращив глаза, она остановилась на пороге, оглянулась и побледнела.

* Не биться, не стучаться – прошептала она и схватилась за голову. – Не кричать!

Молчать!

Мы и опомниться не успели, как, тяжело дыша, она задвинула засов, повесила замок и ушла.

Это было так неожиданно, что с минуту мы и точно молчали. Потом Петька выругался и лег на пол. Я тоже лег, и мы стали смотреть – под дверьми была узкая щель.

Сперва все было тихо – пустой двор, подтаявший снег с желтыми, налившимися водой

следами. Потом появились незнакомые ноги в черных крепких сапогах – одна пара, другая, третья. Ноги шли к флигелю через двор. Две пары пропали, третья осталась у крыльца. Ря- дом опустился приклад.

* Облава, – прошептал Петька и вскочил.

В темноте он стукнул меня головой, и я прикусил язык. Но тут было не до языка.

* Нужно бежать!..

Кто знает, может быть, моя жизнь пошла бы другим путем, если бы мы захватили с собой веревку. Веревок было сколько угодно в сарае. Но мы вспомнили о них, когда были уже на чердаке. Сарай был каменный, с чердаком, крыша односкатная, и на задней стенке – круглое отверстие, выходившее на соседний двор.

Петька выглянул в это отверстие и оглянулся. Он расцарапал щеку, когда мы в темноте отдирали от потолка доски, и теперь поминутно вытирал кровь кулаком.

* Прыгнуть, что ли?

Но не так легко прыгнуть с высоты пяти–шести метров через небольшое отверстие в гладкой стене, – разве только как в воду, вниз головой. Нужно было вылезть в это отверстие ногам наружу, сесть, согнувшись в три погибели, и, оттолкнувшись всем телом, упасть вниз. Петька так и сделал. Я еще думал, не вернуться ли за веревкой, а он уже сидел в дыре. Обернуться он не мог. Он только сказал:

* Ничего, Саня, смелее.

И исчез. С упавшим сердцем я поглядел ему вслед. Ничего, он упал счастливо на мок- рую кучу снега по ту сторону забора, подходившего в этом месте очень близко к сараю.

* Давай!

Я вылез и сел, сжимая колени. Весь соседний двор был теперь виден – маленькая де- вочка каталась на финских санках вдоль старинного с колоннами дома, ворона сидела на водосточной трубе. Вот девочка остановилась и с любопытством посмотрела на нас. Ворона тоже посмотрела, но равнодушно, и отвернулась, втянув голову между крыльев.

* Давай!

Кроме девочки и вороны, на дворе был еще человек в кожаном пальто. Он стоял у того места, где наш флигель примыкал к чужому двору. Я видел, как он докурил папиросу, бро- сил ее и спокойно направился к нам.

* Давай! – отчаянно крикнул Петька.

Все вдруг пришло в движение, когда я стал слабо отталкиваться руками. Ворона вспорхнула, девочка испуганно попятилась. Петька опрометью кинулся к воротам, человек в кожаном пальто побежал за ним. Я все понял в эту минуту. Но было уже поздно – я летел вниз.

Таков был мой первый полет – вниз по прямой, с высоты пяти метров, без парашюта. Не могу сказать, что он был удачен. Я грудью ударился о забор, вскочил и снова упал. По- следнее, что я еще видел, был Петька, выскочивший на улицу и захлопнувший ворота перед самым носом человека в кожаном пальто.

**Глава 17. ЛЯСЫ.**

Разумеется, это было очень глупо – бежать, когда мы ни в чем не виноваты. Ведь мы сами не спекулировали, только работали у спекулянтов. Нам бы ничего не сделали, только допросили бы и отпустили. Но теперь поздно было раскаиваться. Человек в кожаном пальто крепко держал меня за руку, мы шли куда–то, – наверное, в тюрьму. Я попался, а Петька удрал. Я был теперь один. Вот уже вечер, солнце садится, галки медленно летят над дере- вьями вдоль Страстного бульвара… Я не плакал, но, должно быть, у меня было отчаянное лицо, потому что человек в кожаном пальто внимательно посмотрел на меня и разжал свою руку: понял, что не убегу.

Он привел меня в просторный, светлый зал на шестом этаже огромного дома у Никит- ских ворот. Это был распределитель Наробраза, в котором я провел три памятных дня…

У меня сердце упало, когда я увидел эти багровые морды. Одни, сидя на корточках

вокруг глиняной печки, резались в карты, другие снимали с высоких окон длинные карнизы и тут же отправляли их в печку, третьи спали, четвертые строили дом – дом из старых рам и полотен, сложенных как попало в углу. По ночам, когда в распределителе становилось хо- лодней, чем на улице, эти домохозяева зажигали примус и пускали желающих в свой дом – кого за пару папирос, кого за кусок хлеба… И среди этого дикого развала на высоких по- стаментах стояли и равнодушно смотрели белыми слепыми глазами гипсовые фигуры гре- ческих богов – Аполлона, Дианы и Геркулеса. Только у богов и были человеческие лица. Под утро, просыпаясь от холода и выбивая зубами дробь, я робко поглядывал на них. Небось, думают: «Дурак ты, дурак! Зачем ушел из дому? Подумаешь, приют, – весной вер- нулся бы, стал бы помогать старикам, нашлась бы работа! А теперь ты остался один, – умрешь, никто и не вспомнит. Только Петька порыскает по Москве, да вздохнет тяжело тетя Даша! Проси–ка, брат, одежду да вылетай домой!» В Наробразе меняли одежду – старую жгли, а взамен выдавали штаны и рубашку. Многие беспризорники нарочно попадались, чтобы сменить ободравшуюся одежду.

Все три дня я промолчал. Для мальчика, который так недавно научился говорить, это было совсем не трудно. Да и с кем говорить? Каждый раз, когда приводили новых беспри- зорников, я невольно смотрел, нет ли среди них моего Петьки. Нет. И хорошо, что нет! Я сидел в стороне и молчал.

И вот от голода, от холода, от тоски я стал заниматься лепкой. В бывшей мастерской живописи и ваяния было сколько угодно белой скульптурной глины. Как–то я взял кусок, размочил его кипятком и начал мять в пальцах. И вот сама собой получилась жаба. Я сделал ей большие ноздри, выпученные глаза и попробовал вылепить зайца, Разумеется, это было еще очень плохо. Но что–то шевельнулось в душе, когда я вдруг увидел раздвоенную мор- дочку в бесформенном комке глины. Я запомнил эту минуту: никто не видел, что я леплю; старый вор, попавший каким–то чудом в распределитель для беспризорных, рассказывал о том, как на вокзалах «работают в паре». Я стоял в стороне у окна, сдерживая дыхание, смотрел на маленький комок глины, из которого торчали заячьи уши, и не понимал, почему я волнуюсь…

Потом я вылепил коня с толстой расчесанной гривой. Лясы! Конь старика Сковород- никова, вот что это такое! Это были лясы, только не из дерева, а из глины. Не знаю почему, но это открытие обрадовало меня. Я заснул веселый. Я как будто надеялся, что лясы спасут меня. Помогут выйти отсюда, помогут найти Петьку, помогут мне вернуться домой, а ему добраться до Туркестана. Помогут сестре в приюте, Петькиному дяде на фронте, помогут всем, кто бродит ночью по улицам в холодной и голодной Москве. Так я молился – не богу, нет! Жабе, коню и зайцу, которые сушились на окне, прикрытые кусочками газеты.

Пожалуй, другой мальчик – не такой безбожник, как я, – стал бы идолопоклонником и навсегда уверовал бы в жабу, коня и зайца. Они помогли мне!

На другой день в распределитель явилась комиссия Отдела народного образования, и распределитель был уничтожен отныне и на веки веков.

Воры были отправлены в тюрьмы, беспризорники – в колонии, нищие – по домам. В просторном зале мастерской живописи и ваяния остались только греческие боги – Аполлон, Геркулес и Диана.

– А это что? – спросил один из членов комиссии, лохматый, небритый юноша, которо- го все называли просто Шура. – Посмотрите–ка, Иван Андреевич, какая скульптура!

Иван Андреевич, тоже лохматый и небритый, но старый, надел пенсне и стал изучать

лясы.

* Типичная русская игрушка из Сергиевского посада, – сказал он. – Интересно. Это

кто сделал? Ты?

* + Я.
  + Как фамилия?
  + Григорьев Александр.
  + Учиться хочешь?

Я смотрел на него и молчал. Должно быть, я все–таки здорово натерпелся за эти ме- сяцы холодной уличной жизни, потому что у меня вдруг перекосилось лицо и отовсюду по- текло – из глаз и из носу.

* + Хочет, – сказал член комиссии Шура. – Куда бы нам его направить, Иван Андреевич,

а?

* + К Николаю Антонычу, по–моему, – ответил тот, осторожно ставя на подоконник мо-

его зайца.

* + А ведь верно! У Николая Антоныча есть этот уклон в искусство. Ну, Григорьев Александр, хочешь к Николаю Антонычу?
  + Шура, он его не знает. Запишите–ка лучше. Григорьев Александр… Сколько лет?
  + Одиннадцать.

Я прибавил полгода.

* + Одиннадцать лет, Записали? К Татаринову, в четвертую школу–коммуну.

**Глава 18.**

**НИКОЛАЙ АНТОНЫЧ.**

Толстая девушка из Наробраза, чем–то похожая тетю Дашу, оставила меня в длинной полутемной комнате–коридоре и ушла, сказав, что сейчас вернется. Я был в раздевалке. Пу- стые вешалки, похожие на тощих людей с рогами, стояли в открытых шкафах. Вдоль стены двери и двери. Одна была стеклянная. Впервые после Энска я увидел себя. Вот так вид! Бледный мальчик с круглой стриженой головой уныло смотрел на меня, очень маленький, гораздо меньше, чем я думал. Острый нос, обтянутый рот. Меня оттирали пемзой в наробразовской бане, но кое–где еще остались темные пятна. Длинную форменную тужурку можно было обернуть вокруг меня еще раз, длинные штаны болтались вокруг сапог.

Толстуха вернулась, и мы пошли к Николаю Антонычу. Это был полный, бледный че- ловек, лысеющий, с зачесанными назад редкими волосами. Во рту у него блестел золотой зуб, и я по своей глупой привычке, как уставился на этот зуб, так и смотрел на него не от- рываясь Мы довольно долго ждали: Николай Антоныч был занят. Он разговаривал с ребя- тами лет по шестнадцати, обступившими его со всех сторон и что–то толковавшими напе- ребой. Он слушал их, шевеля толстыми пальцами, напоминавшими мне каких–то волосатых гусениц, кажется, капустниц. Он был нетороплив, снисходителен, важен…

* Тише, ребята, не все сразу, – сказал Николай Антоныч. – Ну, Игорь, говори хоть ты. Он встал и обнял за плечи мальчика в очках, черного, курчавого, румяного, с черным пухом на щеках и пол носом.
* Николай Антоныч! – торжественно сказал Игорь и покраснел. – Мы протестуем против реального училища Лядова. Мы решили идти в тринадцатое объединение и проте- стовать. Какая же это коммуна, если норму оставили, а членов прибавили? Кораблев гово- рит, что это борьба за кашу. А мы считаем, что дело в принципе. Если мы – коммуна, мы сами должны решать, принимаем мы новых членов или не принимаем. Реальное училище Лядова мы не принимаем. Уж лучше, если на то пошло, мы возьмем женскую гимназию Бржозовской. Он говорил так пылко, что только на одну секунду остановился, когда все за- смеялись.
* Вообще, мы протестуем против оскорблений Кораблева и требуем, чтобы вопрос был поставлен на школьном совете.
* И останетесь в меньшинстве, – возразил Николай Антоныч и кивнул нам. Мы подошли.
* Беспризорник?
* Нет.
* С Наробраза, – объяснила толстуха и положила на стол бумагу.
* Откуда ж ты, Григорьев? – читая бумагу, внушительно спросил меня Николай Ан- тоныч.
* Из Энска.
* А как сюда попал, в Москву?
* Проездом, – отвечал я.
* Вот как, милый! Куда же ты ехал?

Я набрал в грудь воздуха и ничего не сказал. Меня уже сто раз спрашивали, кто да от-

куда.

* Ну, мы с тобой еще потолкуем. – Николай Антоныч написал что–то на обороте моей

бумаги из Наробраза. – А не убежишь?

Я был уверен, что убегу. Но на всякий случай сказал:

* + Нет.

Мы ушли. На пороге я обернулся. Игорь, с нетерпеливым презрением ожидавший конца нашего объяснения, быстро говорил что–то, а Николай Антоныч, не слушая, задум- чиво глядел мне вслед. О чем он думал? Уж, верно, не о том, что сама судьба явилась к нему в этот день в образе заморыша с темными пятнами на голове, в болтающихся сапогах, в форменной курточке, из которой торчала худая шея.

**ЧАСТЬ 2.**

**ЕСТЬ НАД ЧЕМ ПОДУМАТЬ.**

**Глава 1.**

**СЛУШАЮ СКАЗКИ.**

«До первого теплого дня» – иначе я и не думал. Спадут морозы – и до свиданья, только меня и видели в детском доме! Но вышло иначе. Я никуда не удрал. Меня удержали чте- ния…

С утра мы ездили в пекарню за хлебом, потом занимались. Считалось, что мы в первой группе, хотя по возрасту кое–кому пора уже было учиться в шестой. Старенькая преподава- тельница Серафима Петровна, приходившая в школу с дорожным мешком за плечами, учила нас… Право, мне даже трудно объяснить, чему она нас учила.

Помнится, мы проходили утку. Это были сразу три урока: география, естествознание и русский. На уроке естествознания утка изучалась как утка какие у нее крылышки, какие лапки, как она плавает и так далее. На уроке географии та же утка изучалась как житель земного шара: нужно было на карте показать, где она живет и где ее нет. На русском Сера- фима Петровна учила нас писать «у–т–к–а» и читала что–нибудь об утках из Брема. Мимо- ходом она сообщала нам, что по–немецки утка так–то, а по–французски так–то. Кажется, это называлось тогда «комплексным методом». В общем, все выходило «мимоходом». Очень может быть, что Серафима Петровна что–нибудь перепутала в этом методе. Она была ста- ренькая и носила на груди перламутровые часики, приколотые булавкой, так что мы, отве- чая, всегда смотрели, который час.

Зато по вечерам она нам читала. От нее я впервые услышал сказку о сестрице Але- нушке и братце Иванушке.

Солнце высоко, Колодец далеко, Жар донимает, Пот выступает.

Стоит козлиное копытце Полное водицы.

«Али–Баба и сорок разбойников» в особенности поразили меня. «Сезам, отворись!» Я был очень огорчен, прочтя через много лет в новом переводе «Тысячи одной ночи», что нужно читать не Сезам, а Сим–Сим, и что это какое–то растение, кажется, конопля. Сезам – это было чудо, заколдованное слово. Как я был разочарован, узнав, что это – просто коноп- ля.

Без преувеличения можно сказать, что я был потрясен этими сказками. Больше всего на свете мне хотелось теперь научиться читать, как Серафима Петровна.

В общем, мне понравилось в детском доме. Тепло, не дует, кормят да еще учат. Не скучно, во всяком случае, не очень скучно. Товарищи относились ко мне хорошо, – наверное, потому, что я был маленького роста. В первые же дни я подружился с двумя хулигана- ми, и мы не теряли свободного времени даром.

Одного из моих новых друзей звали Ромашкой. Он был тощий, с большой головой, на которой росли в беспорядке кошачьи желтые космы. Нос у него был приплюснутый, глаза неестественно круглые, подбородок квадратный – довольно страшная и несимпатичная морда. Мы с ним подружились за ребусами. Я хорошо решал ребусы, это его подкупило.

Другой был Валька Жуков, ленивый мальчик с множеством планов. То он собирался поступить в Зоологический сад учиться на укротителя львов, то его тянуло к пожарному де- лу. В пекарне ему хотелось быть пекарем; из театра он выходил с твердым намерением стать актером. Впрочем, у него были и смелые мысли.

* А что, если… – начинал он задумчиво.
* Землю прорыть насквозь и на ту сторону выйти, – язвительно подхватывал Ромашка.
* А что, если…
* Живую мышь проглотить…

Валька любил собак. Все собаки на Садово–Триумфальной относились к нему с боль- шим уважением.

Но все же Валька – это был только Валька, а Ромашка – Ромашка. До Петьки и тому и другому было далеко.

Не могу передать, как я скучал без него.

Я обошел все места, по которым мы бродили, спрашивал о нем у беспризорников, де- журил у распределителей, у детских домов. Нет и нет. Уехал ли он в Туркестан, пристроив- шись в каком–нибудь ящике под международным вагоном? Вернулся ли домой пешком из голодной Москвы? Кто знает!

Только теперь, во время этих ежедневных скитаний, я узнал и полюбил Москву. Она была таинственная, огромная, снежная, занятая голодом и войной. Карты висели на площа- дях, и красная нитка, поддерживаемая флажками, проходила где–то между Курском и Харьковом, приближаясь к Москве. Охотный ряд был низкий, длинный, деревянный и рас- крашенный. Художники–футуристы намалевывали странные картины на его стенах – людей с зелеными лицами, церкви с падающими куполами. Такие же картины украшали высокий забор на Тверской. В окнах магазинов висели плакаты РОСТа:

Ешь ананасы, Рябчиков жуй, – День твой последний Приходит, буржуй.

Это были первые стихи, которые я самостоятельно прочитал.

**Глава 2. ШКОЛА.**

Кажется, я уже упоминал, что, по мнению Наробраза. наш детский дом был чем–то вроде питомника юных дарований. Наробраз полагал, что мы отличаемся дарованиями в области музыки, живописи и литературы. Поэтому после уроков мы могли делать что угод- но. Считалось, что мы свободно развиваем свои дарования. И мы их действительно разви- вали. Кто убегал на Москву–реку помогать пожарникам ловить в прорубях рыбу, кто тол- кался на Сухаревке, присматривая, что плохо лежит.

А я все чаще оставался дома. Мы жили этажом ниже, под школой, и вся жизнь школы проходила перед моими глазами. Это была непонятная, загадочная, сложная жизнь. Я тол- кался среди старшеклассников, прислушивался к разговорам. Новые отношения, новые мысли, новые люди. На Энск все это было так же не похоже, как самый Энск не похож на Москву. Я долго ничего не понимал, удивляясь всему без разбору. Но вот как представляет- ся мне четвертая трудовая школа теперь.

Еще недавно в большом красном здании на Садово–Триумфальной помещалась гимназия Пестова. При ней был открыт маленький детский дом – наш дом. Зимой девятнадца- того года гимназия Пестова была слита с реальным училищем Лядова, а весной – с женской гимназией Бржозовской.

Мои читатели не учились до революции в средней школе и, без сомнения, не помнят, с каким презрением относились друг к другу гимназисты и реалисты. Не знаю, на чем была основана эта вражда, но еще в Энске до меня доходили интересные слухи о страшных дра- ках на катке, о благородных силачах–гимназистах, о подлецах реалистах, выходивших на бой, зажав в кулаке запрещенную правилами чести «свинчатку». Теперь в Москве я увидел все это своими глазами.

Пестовские гимназисты были самые отпетые сорвиголовы во всей Москве, – недаром в эту гимназию без экзамена принимали всех исключенных из других гимназий. Напротив, у Лядова учились главным образом благовоспитанные сыновья крупных чиновников, инже- неров, педагогов. Вражда была, стало быть, не только профессиональная, но и социальная. Она утроилась, когда между наследственными врагами декретом Наробраза была поставле- на женская гимназия Бржозовской.

Сколько поводов для ссор, для заговоров, для сплетен! Сколько речей на собраниях, сколько писем с объяснениями, сколько тайных и явных столкновений! Детский дом был в стороне: на нас никто не обращал внимания. Но легко угадать, кто были наши герои. Пе- стовские! Мы старались даже носить шапки, как они, – с проломом справа.

Из четвертой школы–коммуны вышли впоследствии известные и уважаемые люди. Я сам обязан ей очень многим. Но тогда, в девятнадцатом году, что это была за каша! Кстати, именно каша – иногда маисовая, иногда пшенная – в значительной степени определяла школьные интересы и лядовцев, и пестовцев. Ее привозили на санях, в огромном котле, бе- режно закутанную, похожую на старую бабушку, и так в санях и несли наверх в актовый зал. Хозяйственная комиссия в лице «тети Вари» – так все называли румяную, толстую де- вочку с толстой косой – уже расхаживала за прилавком с поварешкой в руке. Выстраивалась очередь, и каждый, без различия формы, возраста и происхождения, получал по ложке еще горячей каши, дьявольски вкусной, с лопающимися пузырьками.

Считалось, что раздача каши происходит на большой перемене. Но так как на уроки можно было не ходить, то весь школьный день состоял из одной большой перемены.

Однажды я попал на собрание пятиклассников, обсуждавших вопрос: заниматься или не заниматься? Лохматый пестовец, которому все кричали: «Браво, Ковычка!», доказывал, что ни в коем случае не заниматься. Посещение школы должно быть добровольное, а от- метки выставлять большинством голосов.

* Браво, Ковычка!
* Правильно!
* И вообще, товарищи, вопрос упирается в педагогов. Как быть с педагогами, на уроки которых ходит абсолютное меньшинство? Я предлагаю установить норму в пять человек. Если на уроки приходит меньше пяти человек, педагогу в этот день пайка не давать.
* Правильно!
* Дурак!
* Долой! – Браво!

Должно быть, речь шла не обо всех педагогах, а только об одном, потому что все стали оглядываться, перешептываться, подталкивать друг друга: в дверях, скрестив руки и внима- тельно слушая оратора, стоял высокий, еще не старый человек с пушистыми усами.

* Это кто? – спросил я тетю Варю, которая, ожидая приезда каши, с поварешкой в руке разгуливала по коридору.
* Это, брат, Усы, – ответила тетя Варя.
* Как усы?
* Эх, ты, не знаешь!

Скоро я узнал, кого в четвертой школе называли «Усы».

Это был учитель географии Кораблев, которого ненавидела вся школа. Во–первых, он явился неизвестно откуда – не лядовский, не бржозовский, не пестовский. Во–вторых, он, по общему мнению, был дурак и ничего не знал. В–третьих, он каждый день приходил на уроки и сидел положенные часы, хотя бы в классе было три человека. Это уж решительно всех

возмущало…

* Теперь так, товарищи, – продолжал Ковычка, пытаясь в ораторском пылу застегнуть пальто, на котором не было ни одной пуговицы. – От пятого класса в школьном совете один человек – я. Это неправильно. Мне одному трудно бороться за интересы пятого класса. Нас считают младшеклассниками. А посмотрите, кто в сто сорок четвертой председатель школьного коллектива? Муховеров. Какого класса? Пятого! Вообще, если на то пошло, нужно сперва доказать, что мы младшеклассники, а потом говорить. А как старший класс, мы должны иметь двух представителей. Один я, другого предлагаю Фирковича!
* Гладильщикова!
* Недодаева!
* Галая!

Я посмотрел на Кораблева. Должно быть, я выпучил глаза, потому что он вдруг пере- дразнил меня, – впрочем, едва заметно. Мне показалось, что он улыбается под усами. Но Ковычка снова заговорил, и Кораблев, отведя от меня лукавый взгляд, стал слушать его с необыкновенным вниманием.

**Глава 3.**

**СТАРУШКА ИЗ ЭНСКА.**

Этот день я помню отлично – солнечный, с весенним то набегающим, то проходящим дождем, – день, когда на Кудринской площади я встретил худенькую старушку и зеленом бархатном пальто–салопе. Она несла полный кошель всякой всячины – картошки, щавеля, луку, а в другой руке – большой зонтик. Видно было, что кошель тяжел для нее, но она шла с бодрым, озабоченным видом и все считала шепотом – я слышал: грибы полфунта пятьсот рублей; синька – полтораста; свекла – полтораста; молоко кружка – полтораста; поминанье – семьсот шестьдесят рублей; яйца три штуки – триста рублей; исповедь – пятьсот рублей. Тогда были такие деньги.

Наконец она легонько вздохнула и поставила кошель на сухой камень – отдышаться.

* Бабушка, давайте помогу, – сказал я ей.
* Пошел прочь, шалопут! Знаю я вас! Третий лимон до дому донести не могу. Она энергично погрозила мне и взялась за кошель.

Я отошел. Но мы шли в одну сторону и через несколько минут снова оказались рядом. Наверное, старушке хотелось удрать от меня, но с таким кошелем это было для нее трудно- вато.

* Бабушка, если вы думаете – я у вас украду, – сказал я, – пожалуйста, я бесплатно помогу; вот те крест, мне просто жалко смотреть, как вы страдаете.

Старушка рассердилась. Одной рукой она обняла кошель, а другой стала отмахиваться от меня зонтиком, как от пчелы.

* Как же, поверила! Третий лимон унесли. Знаю я вас!
* Как хотите. У вас беспризорные унесли, а я детдомовский.
* Вот детдомовские–то и разбойники.

Она посмотрела на меня, я – на нее. У нее нос был немного кверху, решительный, и вся она была какая–то добрая и решительная. Может быть, и я ей понравился. Вдруг она пе- рестала отмахиваться и спросила строго:

* Ты чей?
* Ничей.
* А откуда? Московский?

Я сразу понял, что если скажу – московский, она меня прогонит. Наверное, она думала, что это московские у нее лимоны украли.

* Нет, я из Энска.

Факт, она тоже была из Энска. У нее глаза засияли, а лицо стало еще добрее.

* Врешь ты, вралькин, – сказала она сердито. – Мне тоже один говорил
* не московский. А посмотрела – и нет лимона. Если ты из Энска, где там жил?
* На. Песчинке, за Базарной площадью.

* И все врешь.

Она видела, что я не вру.

* Мало ли что Песчинка. Может, еще где–нибудь такая река есть. Я тебя не помню.
* Вы, наверное, давно уехали, я еще маленький был.
* Нет, не давно, а недавно. Ну, бери кошель за одну ручку, а я за другую. Да не дергай. Мы несли кошель и разговаривали, Я ей рассказывал, как мы с Петькой пошли в Тур- кестан и застряли в Москве. Она слушала с интересом. – Вот тебе! Умники! Шагать пошли!

Шагалы какие! Придумали!

На Триумфальной я показал ей нашу школу.

* Совсем земляки, – загадочно сказала старушка.

Она жила на Второй Тверской–Ямской в маленьком кирпичном доме. Знакомый дом.

* Здесь наш заведующий живет, – сказал я. – Может, вы его знаете – Николай Анто-

ныч.

* Вот что! – отвечала старушка. – Ну как он? Хороший заведующий?
* Что надо!

Я не понял, почему она засмеялась. Мы поднялись на второй этаж и остановились пе-

ред чистой, обитой клеенкой дверью. На двери была дощечка, на дощечке – затейливо написанная фамилия, которую я не успел прочитать.

Шепча что–то, старушка вынула из салопа ключ. Я хотел уйти, она удержала.

* Я просто так, бабушка, бесплатно.
* Вот бесплатно и посиди.

Она вошла почему–то на цыпочках в маленькую переднюю и, не зажигая света, стала снимать салоп. Она сняла салоп, шаль с кистями, безрукавку, еще одну шаль, поменьше, платок и так далее. Потом она открыла зонтик, а потом она пропала. Как раз в эту минуту какая–то девочка отворила дверь из кухни и появилась на пороге. Я уже был готов поверить, что это моя старушка превратилась в девочку, как трансформатор. Но в это время и старуш- ка появилась. Оказалось, что она зашла в шкаф, вешая туда свои шали и безрукавки.

* А вот и Катерина Ивановна, – сказала старушка.

Катерине Ивановне было лет двенадцать – не больше, чем мне. Но куда там! Хотел бы я так выступать, как она, так гордо закидывать голову, так прямо смотреть в лицо темными живыми глазами, У нее были косички кольцами и такие же кольца на лбу. Она была румя- ная, но строгая, с таким же решительным, как у бабушки, носом. Вообще она была хоро- шенькая, но страшно задавалась – это было видно с первого взгляда.

* Поздравляю, Катерина Ивановна, – все еще раздеваясь, сказала старушка, – опять лимон утащили.
* Потому что я говорила, что нужно в пальто класть, – с досадой сказала Катерина Ивановна.
* О! В пальто! Из пальто–то и утащили.
* Значит, ты, бабушка, опять считала. – Ничего я не считала. Вот со мной и кавалер

шел.

Девочка посмотрела на меня. До сих пор она меня, кажется, и не замечала.

* Он мне кошелку донес. Как мама?
* Сейчас мерим, – спокойно разглядывая меня, сказала девочка.
* Ах, ты, господи! – вдруг всполошилась старушка. – Да что же так поздно–то? Ведь

доктор велел в двенадцать мерить.

Она торопливо вышла, и мы с девочкой остались одни. Минуты две молчали. Потом она нахмурилась и спросила строго:

* + «Елену Робинзон» читал?
  + Нет.
  + А «Робинзона Крузо»?
  + Тоже нет.
  + Почему?

Я чуть не сказал, что только с полгода как научился читать, но вовремя удержался.

* + У меня нету.
  + Ты в каком классе?

* + Ни в каком.
  + Он – путешественник, – вернувшись, сказала старушка. – Тридцать семь и две. Он пешком в Туркестан шел. Ты его не обижай, Катя.
  + Как пешком?
  + А вот так. Ноги в руки, и валяй–шагай.

В передней стоял столик под зеркалом. Катя подвинула к нему стул, села, устроилась, поставив под голову руку, и сказала:

* + Ну, рассказывай.

Мне не хотелось ей рассказывать: уж больно она задавалась. Если бы мы дошли до Туркестана, тогда другое дело. Поэтому я сказал вежливо.

* + Чего там, неохота. В другой раз.

Старушка стала совать мне хлеб с повидлом, но я отказался:

* + Сказано – бесплатно, значит – бесплатно.

Сам не знаю почему, я расстроился. Мне было даже приятно, что Катька покраснела, когда я не стал рассказывать и пошел к дверям.

* + Ну, ладно, не сердись, – провожая меня, сказала старушка. – Как тебя звать?
  + Григорьев Александр.
  + Ну, прощай, Александр Григорьев. Спасибо.

Я долго стоял на площадке, разбирая фамилию на дверной дощечке. Казаринов – не Казаринов…

* + Н.А.Татаринов, – вдруг прочел я.

Вот так штука! Татаринов Николай Антоныч. Наш заведующий. Это его квартира.

**Глава 4.**

**БЫЛО НАД ЧЕМ ПОДУМАТЬ.**

Лето мы провели в Серебряном Бору, в старинном заброшенном доме с маленькими лестницами–переходами, с резными деревянными потолками, с коридорами, внезапно кон- чавшимися глухой стеной. Все в этом доме скрипело – двери по–своему, ставни по–своему. Одна большая комната была заколочена наглухо. Но и там что–то поскрипывало, шуршало – и вдруг начинался мерный дребезжащий стук, как будто молоточек в часах бил мимо звонка. На чердаке росли дождевики, иностранные книги валялись с вырванными страницами, без переплетов.

До революции дом принадлежал старой цыганке–графине. Цыганка–графиня! Это бы- ло загадочно. По слухам, она перед смертью замуровала клад. Ромашка искал его все лето. Хилый, с большой головой, он ходил по дому с палочкой, стучал и прислушивался. Он сту- чал и по ночам, пока кто–то из старших не дал ему по шее. В тринадцать лет он твердо ре- шил разбогатеть. Его бледные уши начиняли пылать, когда он говорил о деньгах. Это был врожденный искатель кладов – суеверный и жадный.

Персидская сирень густо росла вокруг развалившихся беседок. Вдоль зеленых дорожек стояли статуи. Они были не похожи на греческих богов. Те – равнодушные, с белыми, сле- пыми глазами. А эти – как мы, такие же люди.

Одна статуя была с усами, вроде Кораблева, другая – обыкновенная девочка лет деся- ти. Она стояла в длинной, до пят, рубашке, потягивалась, терла кулаками глаза – как будто только что встала с постели.

Я попробовал вылепить ее, – и ничего не вышло. Вышли только косы колечками и та- кие же колечки на лбу, как у Катерины Ивановны, той девчонки с задранным носом. Пожа- луй, вышел и нос. Но все–таки людей не так просто было лепить, как жаб и зайцев.

Такая хорошая жизнь была только в начале лета, едва мы переехали в Серебряный Бор. Потом жизнь стала похуже, нас почти перестали кормить. Весь детдом перешел на «само- снабжение». Мы ловили рыбу, раков, у стадиона в дни состязаний продавали сирень, а то и попросту таскали все, что попадало под руку. По вечерам мы разводили в саду костры и жарили добычу.

Вот один такой вечер – они были все, как один.

Мы сидим у костра, усталые, голодные и злые. Все черно от дыма – манерка, рогатки, на которых она висит, наши лица, руки. Как индейцы, готовые съесть капитана Кука, мы молчим и смотрим на огонь. Головешки вдруг вспыхивают и рассыпаются, темно–красный дым стоит над костром клубящейся шапкой.

Мы – это «коммуна». Весь детдом делится на «коммуны»: в одиночку трудно добывать

«снабжение». У каждой «коммуны» свой председатель, свой костер и свои запасные фон- ды, – то, что по каким–либо причинам не съедено сегодня и осталось на завтра.

Наш председатель – Степка Иванов, пятнадцатилетний парень с гладкой мордой, об- жора и подлец, которого все боятся…

* Сыграли в ошички? – лениво говорит Степа.

Все молчат. Никому неохота играть в «ошички». Степка сыт, вот ему и охота.

* Ладно, Степа. Только ведь темно, – говорит Ромашка.
* Знаешь, где темно? Вставай!

Больше всего на свете наш председатель любит играть в «ошички». По–нашему, это козоты, или бабки. Биток у него жульнический, все это знают. Но все, кроме меня и Вальки, подлизываются к нему, в особенности Ромашка. Ромашка даже нарочно проигрывает ему, чтобы Степка его не обидел.

Не следует думать, что мы жарим тонкую дичь на нашем костре. В манерке, с бою за- хваченной на кухне варится суп. Это настоящий «суп из колбасной палочки», как в сказке, которую зимой читала нам Серафима Петровна. Разница, может быть, только в том, что тот суп был сварен из мышиного хвоста, а мы клали в свой суп все, что попадалась под руки, – случалось, что и лягушечьи лапки.

Но вот дверь нашего дома распахивается, и на веранду выходит низенький толстяк в широкополой шляпе.

* Дядя Петя, к нам!
* Сюда, дядя Петя!

Это Петр Андреевич Лопухов, наш повар. Пошатываясь – не от воды – и мурлыча под нос отрывки из оперных арий, он обходит «коммуны». Пробует из каждого котелка, спле- вывает и говорит с отвращением:

* А! Отрава.

Он – меломан, то есть любитель музыки и пения. Все оперы он знает наизусть. Для него нет большего наслаждения, как изобразить какую–нибудь сцену из «Евгения Онегина» или «Пиковой дамы», а для нас нет большего наслаждения, как послушать его и выразить свое восхищение.

* Здорово! Не хуже Шаляпина! Дядя Петя, почему ты в артисты не идешь?
* Боюсь.
* Чего, дядя Петя?
* Засосет.

Вот он останавливается у нашего костра, пробует, сплевывает, и начинается длинный рассказ о том, как ели в былые времена, очень давно, лет сто тому назад или даже двести. Он не только меломан, но еще и историк, знаток старинных блюд, заячьих соусов и оленьих грудинок.

* Королевская яичница, – загадочным шепотом говорит он. – Возьми желтки из во- семнадцати яиц, смешай с бисквитом, прибавь горького миндаля, сливок, сахару и пеки в масле. Едал?

Мы отвечаем хором:

* Не едал!

Но сам повар из всех блюд предпочитает одно, называемое «водки выпить». Он наш единственный руководитель летом двадцать первого года. Серафима Петровна растерялась, никто не обращает на нее никакого внимания. По дому бродят еще какие–то няни, с поваром они на ножах: им почему–то невыгодно, что он выдает нам паек в сухом виде. Словом, если бы не повар, мы бы все разбежались.

Итак, он стоит у нашего костра и рассказывает, как ели в старину. Иногда он переби- вает себя медицинскими примечаниями:

* Щука не всякому полезна. Отягчает желудок.

Или:

* Карп жидит кровь. Здоровая рыба.

Но вот он снимает нашу манерку и нюхает пар. Случается, что, понюхав пар, он гово- рит не «отрава», а «могила» и выплескивает суп в кусты. Что же он скажет на этот раз? Ню- хает, поднимает глаза к небу, молчит…

* Отрава!

Семь голов склоняются над манеркой, семь ложек по очереди лезут за супом. Едим! Нельзя сказать, чтобы мы поправились к осени на таком рационе. Кроме Степы Ива-

нова, который, как страус мог переварить что угодно, мы худели, болели и чувствовали себя очень плохо.

И все же эта было хорошее лето. Оно запомнилось мне, и вовсе не потому, что нас плохо кормили. Не привыкать, – я в ту пору ничего хорошего еще и не ел за всю свою жизнь. Нет, я запомнил это лето по другой причине. Впервые я почувствовал к себе уваже- ние.

Этот случай произошел в конце августа, незадолго до нашего возвращения в город, и как раз у костра, когда мы готовили ужин. Степа вдруг объявил новый порядок выдачи пи- щи. До сих пор мы ели по очереди – ложка за ложкой. Степа начинал, как председатель, за ним Ромашка и так далее. А теперь будем наваливаться все сразу, пока суп не остыл, и кто скорее.

Никому не понравился новый порядок. Еще бы! С таким председателем это был вер- ный гроб. Он мог в три приема выхлебать всю манерку.

* Не выйдет! – решительно объявил Валька.

Мы одобрительно загалдели. Степа медленно встал, почистил колени и ударил Вальку в лицо. Он страшно ударил его, кровь сразу залила все лицо и, должно быть, попала в глаза, потому что Валька, как слепой, замахал руками.

* Ну, – лениво сказал Степа, – кому еще охота?

Я был самый маленький в «коммуне», и он, конечно, мог уложить меня одной рукой, но все–таки я ударил Степу. И Степа вдруг зашатался и сел. Не знаю, куда я ему угодил, но, хлопая глазами, он сидел на земле с каким–то задумчивым видом. Правда, он быстро опом- нился, кинулся на меня, но тут уж ребята не дали меня в обиду. Степа был избит, как собака. Пока он лежал за костром и выл, мы поспешно выбрали другого председателя – меня. Степа, разумеется, не голосовал, но все равно он оказался бы в меньшинстве, потому что меня вы- брали единогласно.

Забегая вперед, могу сказать, что я был неплохим председателем. Когда голод кончил- ся и мы зимой вступили в пионеры, наша «коммуна» стала лучшим звеном в школе. Первое, отчаянное боевое звено «Чапаев».

Как ни странно, но это мордобитие было моим первым общественным делом. Я слы- шал, как ребята говорили про меня: «Слабый, а смелый». Я – смелый! Вообще, какой я? Было над чем подумать.

**Глава 5.**

**ЕСТЬ ЛИ В СНЕГУ СОЛЬ?**

Ничего не переменилось в школе за этот год. По–прежнему ссорились бывшие лядов- цы с бывшими пестовцами, по–прежнему привозили в санях закутанную, как бабушка, ка- шу. По–прежнему в десять часов утра Кораблев появлялся в школе.

Он приходил в длинном осеннем пальто, в широкополой шляпе, не торопясь причесы- вал перед зеркалом усы и шел на урок.

Однако теперь его уже нельзя было лишить пайка, как предлагал в прошлом году Ко- вычка: на его уроках было теперь больше пяти человек. Он никого не спрашивал, ничего не задавал на дом. Он просто рассказывал что–нибудь или читал. Оказывается, он был путеше- ственником и объездил весь мир. В Индии он видел иогов–фокусников, которых на год за- рывали в землю, а потом они вставали живехонькими, как ни в чем не бывало; в Китае ел самое вкусное китайское блюдо – гнилые яйца; в Персии видел шахсей–вахсей – кровавый

мусульманский праздник.

Лишь через несколько лет я узнал, что он никогда не выезжал из России. Он все вы- думывал, но как интересно! Хотя многие еще утверждали, что он – дурак, но теперь уже нельзя было сказать, что он ничего не знает…

По–прежнему первым лицом в четвертой школе был наш заведующий Николай Ан- тоныч. Он все решал, во все входил, присутствовал на всех собраниях. Старшеклассники ходили к нему на дом выяснять отношения. Споры между лядовцами и пестовцами он решал в десять минут, и самые отпетые подчинялись без возражений. Любой школьник – от пер- вого до последнего класса – мог явиться к нему поговорить о своих делах. «Я скажу Нико- лаю Антонычу, мне велел Николай Антоныч, меня послал Николай Антоныч» – то и дело слышалось в нашей школе.

Наконец и мне, случилось произнести эти четыре слова.

Накануне я стал школьником. Детский дом был подвергнут испытаниям, и меня по- слали во второй класс. Думая о том, как отнестись к этому событию, – не махнуть ли на Москву–реку или на Воробьевы горы, – я слонялся по актовому залу, когда дверь из учи- тельской приоткрылась и Николай Антоныч поманил меня пальцем.

* Григорьев, – сказал он, припоминая. (Он славился тем, что всю школу знал по фа- милиям.) – Ты знаешь, где я живу?

Я отвечал, что знаю.

* А что такое лактометр, знаешь? Я отвечал, что не знаю.
* Это прибор, показывающий, много ли воды в молоке. Известно, – Николай Антоныч поднял палец, – что молочницы разбавляют молоко водой. Положите в такое разбавленное молоко лактометр, и вы увидите, сколько молока и сколько воды. Понял?
* Понял.
* Вот ты мне его и принеси. Он написал записку.
* Да смотри не разбей. Он стеклянный.
* Не разобью, – отвечал я с жаром.

Записку было велено передать Нине Капитоновне.

Я и не подозревал, что так зовут старушку из Энска. Но открыла мне не старушка, а незнакомая худенькая женщина в черном платье.

* Что тебе, мальчик?
* Меня послал Николай Антоныч.

Эта женщина была, разумеется, Катькина мама и старушкина дочка. У всех троих бы- ли одинаковые решительные носы, одинаковые глаза – темные и живые. Но внучка и ба- бушка смотрели веселее. У дочки был печальный, озабоченный вид.

* Лактометр? – с недоумением сказала она, прочитав записку. – Ах, да!

Она зашла в кухню и вернулась с лактометром в руке. Я был разочарован. Просто гра- дусник, немного побольше.

* Не разобьешь?
* Что вы, – сказал я с презрением, – разобью…

Я отлично помню, что смелая мысль – проверить лактометр на снежную соль – яви- лась приблизительно через две минуты после того, как предполагаемая Катькина мама за- хлопнула за мной дверь.

Я только что спустился с лестницы и стоял, крепко держа прибор в руке, а руку в кар- мане. Еще Петька говорил, что в снегу есть соль. Может лактометр показать эту соль, или Петька наврал? Вот вопрос. Нужно было проверить.

Я выбрал тихое место – за сараем, рядом с помойной ямой. Домик из кирпичей был сложен на притоптанном снегу; от домика за сарай уходила на колышках черная нитка, – должно быть, ребята играли в полевой телефон. Я зачем–то подышал на лактометр и с бью- щимся сердцем сунул его рядом с домиком в снег. Судите сами, что за каша была у меня в голове, если через некоторое время я вынул лактометр и, не находя в нем никакой переме- ны, снова сунул в снег, на этот раз вниз головой.

Кто–то ахнул поблизости. Я обернулся.

– Беги, взорвешься! – закричали в сарае.

Это произошло в две секунды. Девочка в расстегнутом пальто вылетает из сарая и опрометью бежит ко мне. «Катька», – думаю я и на всякий случай протягиваю руку к при- бору. Но Катька хватает меня за руку и тащит за собой. Я отталкиваю ее, упираюсь, мы па- даем в снег. Трах! Осколки кирпича летят и воздух, сзади белой тучей поднимается и ло- жится на нас снежная пыль.

Однажды я уже был под обстрелом – когда хоронил мать. Но тут было пострашнее! Что–то долго грохало и рвалось у помойной ямы, и каждый раз, когда я поднимал голову, Катька вздрагивала и спрашивала: «Здорово? А?»

Наконец я вскочил.

* Лактометр! – заорал я и со всех ног побежал к помойке. – Где он? На том месте, где торчал мой лактометр, была глубокая яма.
* Взорвался!

Катька еще сидела на снегу. Она была бледная, глаза блестели.

* Балда, это гремучий газ взорвался, – сказала она с презрением. – А теперь лучше уходи, потому что сейчас придет милиционер – один раз уже приходил – и тебя сцапает, а я все равно удеру.
* Лактометр! – повторил я с отчаянием, чувствуя, что губы не слушаются и лицо начинает дрожать. – Николай Антоныч послал меня за ним. Я положил его в снег. Где он?

Катька встала. На дворе был мороз, она без шапки, темные волосы на прямой пробор, одна коса засунута в рот. Я тогда на нее не смотрел потом припомнил.

* Я тебя спасла, – сказала она и задумчиво шмыгнула носом, – ты бы погиб, раненный наповал в спину. Ты мне обязан жизнью. Что ты тут делал около моего гремучего газа?

Я ничего не отвечал. У меня горло перехватило от злости.

* Впрочем, знай, – торжественно добавила Катька, – что если бы даже кошка подсела к газу, я бы все равно ее спасла, – мне безразлично.

Я молча пошел со двора. Но куда идти? В школу теперь нельзя – это ясно: Катька догнала меня у ворот.

* Эй, ты, Николай Антоныч! – крикнула она. – Куда пошел? Жаловаться?

Я обернулся. Ох, с каким наслаждением я дал ей по шее! За все сразу – за погибший лактометр, за вздернутый нос, за то, что я не мог вернуться в школу, за то, что она меня спасла, когда ее никто не просил.

Впрочем, и она не зевала. Отступив на шаг, она двинула меня в подвздох. Пришлось взять ее за косу и сунуть носом в снег. Она вскочила.

* Ты неправильно подножку подставил, – сказала она оживленно. – Если бы не под- ножка, я бы тебе здорово залепила. Я у нас в классе всех мальчишек луплю. Ты в каком? Это ты бабушке кошелку нес? Во втором?
* Во втором, – сказал я с тоской. Она посмотрела на меня.
* Подумаешь, градусник разбил! – сказала она с презрением. – Хочешь, скажу, что это я? Мне ничего не будет. Подожди–ка.

Она убежала и через несколько минут пришла в шапочке, уже другая, важная, с лен- точками в косах.

* Я бабушке сказала, что ты приходил. Она спит. Она говорит: что же ты не зашел? Она говорит: хорошо, что лактометр разбился, а то было мученье каждый раз его в молоко пихать. Он все равно неверно показывал. Это Николая Антоныча выдумки, а бабушка всегда на вкус скажет, хорошее молоко или нет…

Чем ближе мы подходили к школе, тем все важнее становилась Катька. По лестнице она поднималась, закинув голову, независимо щурясь.

Николай Антоныч был в учительской, там, где я его оставил.

* Ты не говори, я сам, – пробормотал я Катьке.

Она презрительно фыркнула; одна коса торчала из–под шапки дугой.

Именно с этого разговора начались загадки, о которых я расскажу в следующей главе. Дело в том, что Николай Антоныч, тот самый важный и снисходительный Николай

Антоныч, которого мы привыкли считать неограниченным повелителем четвертой школы,

исчез куда–то, как только Катька переступила порог. Новый Николай Антоныч, разговари- вая, неестественно улыбался, наклонялся через стол, широко открывал глаза, поднимал брови, как будто Катька говорила бог весть какие необыкновенные вещи. Боялся он ее, что ли?

* Николай Антоныч, вы посылали его за лактометром? – небрежно, показав на меня глазами, спросила Катька.
* Посылал, Катюша.
* Правильно. А я его разбила.

У Николая Антоныча сделалось серьезное лицо.

* Врет, – мрачно сказал я, – он взорвался.
* Ничего не понимаю. Молчи, Григорьев! Объясни, в чем дело, Катюша.
* Дело ни в чем, – гордо закинув голову, отвечала Катька. – Я разбила лактометр, вот и все.
* Так, так, так. Но, кажется, я посылал этого мальчика, правда?
* А он не принес, потому что я разбила.
* Врет, – снова сказал я.

Катька грозно стрельнула в меня глазами.

* Хорошо, Катюша, допустим. – Николай Антоныч умильно сложил губы. – Но вот, видишь ли, в школу привезли молоко, и я задержал завтрак, чтобы определить качество этого продукта и, в зависимости от этого качества, решить, будем ли мы и в дальнейшем брать его у наших поставщиц или нет. Выходит, что я дожидался напрасно. Больше того: выходит, что ценный прибор разбит, да еще при невыясненных обстоятельствах. Теперь ты объясни, Григорьев, в чем дело.
* Вот скучища! Я пойду, Николай Антоныч, – объявила Катька.

Николай Антоныч посмотрел на нее. Не знаю почему, но мне показалось в эту минуту что он ее ненавидит.

* Хорошо, Катюша, иди, – ласково сказал он. – А с этим мальчиком мы еще потолку-

ем.

* Тогда я подожду.

Она уселась и нетерпеливо грызла косу все время, пока мы разговаривали. Пожалуй,

если бы она ушла, разговор не кончился бы так мирно. Лактометр был прощен. Николай Антоныч припомнил даже, что я был направлен в его школу как будущий скульптор. Катька прислушивалась с интересом.

С этого дня мы с ней подружились. Ей понравилось, что я не дал ей взять вину на себя, а когда рассказывал, как–то вывернулся и ничего не сказал о гремучем газе.

* Ты думал, что мне влетит, да? – спросила она, когда мы вышли из школы.
* Ага.
* Как бы не так! Приходи, тебя бабушка звала.

**Глава 6.**

**ИДУ В ГОСТИ.**

Утром я проснулся с этой мыслью – идти или нет? Две вещи смущали меня: штаны и Николай Антоныч. Штаны были действительно неважные – ни короткие, ни длинные, за- платанные на коленях. А Николай Антоныч был, как известно, завшколой, то есть довольно страшная личность. Вдруг начнет спрашивать: почему да зачем? но все–таки после уроков я почистил сапоги, крепко намочил голову и причесался на пробор. Иду в гости.

Как неловко я чувствовал себя, как стеснялся! Проклятые волосы все время вставали на макушке, и приходилось примачивать их слюной. Нина Капитоновна что–то рассказыва- ла нам с Катей и вдруг строго приказала мне:

– Закрой рот!

Я засмотрелся на нее и забыл закрыть рот.

Катя показала мне квартиру. В одной комнате жила она сама с мамой, в другой – Ни- колай Антоныч, а третья была столовая. У Николая Антоныча стоял на письменном столе

прибор «из Жизни богатыря Ильи Муромца», как объяснила мне Катя. Действительно, чер- нильница представляла собой бородатую голову в шишаке, пепельница – две скрещенные древнерусские рукавицы, и т.д. Под шишаком находились чернила, и, стало быть, Николаю Антонычу приходилось макать перо прямо в череп богатыря. Это показалось мне странным.

Между окнами помещался книжный шкаф; я никогда еще не видел столько книг сразу. Над шкафом висел поясной портрет моряка с широким лбом, сжатыми челюстями и серыми живыми глазами.

Я заметил тот же портрет, только поменьше, в столовой, а еще поменьше – в Катиной комнате над маленькой кроватью.

* Отец, – поглядев на меня исподлобья, объяснила Катя.

А я–то думал, что Николай Антоныч ее отец! Впрочем, она не стала бы родного отца называть по имени и отчеству. «Отчим», – подумал я и тут же решил, что нет. Я знал, что такое отчим. Нет, не похоже!

Потом Катя показала мне морской компас – очень интересную штуку. Это был медный обруч на подставке, в котором качалась чашечка, а в чашечке под стеклом – стрелка. Куда ни повернешь чашечку, хоть вверх ногами, все равно стрелка качается и одним концом с якорем показывает на север.

* Такому компасу любая буря нипочем.
* Откуда он у тебя?
* Отец подарил.
* А где он?

Катя нахмурилась.

* Не знаю.

«Развелся и бросил мать», – немедленно решил я. Мне такие факты были известны.

Я заметил, что в квартире много картин и, на мой взгляд, очень хороших. Одна – осо- бенно чудная: была нарисована прямая просторная дорога в саду и сосны, освещенные солнцем.

* Это Левитан, – небрежно, как взрослая, сказала Катя.

Я тогда не знал, что Левитан – фамилия художника, и решил, что так называется ме- сто, нарисованное на картине.

Потом старушка позвала нас пить чай с сахарином.

* Ну, Александр Григорьев, вот ты какой, – сказала она, – лактометр разбил! Она попросила меня рассказать про Энск, как и что. Даже про почту спросила:
* А почта что?

Она рассердилась, что я не слышал про каких–то Бубенчиковых.

* Сад у еврейской молельни! Вот уж! Не слышал! А сам, наверное, сто раз яблоки тас-

кал.

Она вздохнула.

* Давно мы оттуда. Я не хотела переезжать, вот уж не хотела! Все Николай наш Ан-

тоныч. Приехал – ждите, говорит, или не ждите, теперь все равно. Оставим адрес, – если нужно, найдут нас. Вещи все продали, вот только и осталось, – и сюда, в Москву.

* + Бабушка! – грозно сказала Катя.
  + Что – бабушка?
  + Опять?
  + Не буду. Пускай! Нам и тут хорошо.

Я ничего не понял – кого они ждали и почему теперь все равно. Но спрашивать я, по- нятно, не стал, тем более, что Нина Капитоновна сама заговорила о другом…

Так я провел время в квартире нашего зава на Второй Тверской–Ямской.

На прощанье я получил от Кати книгу «Елена Робинзон», а в залог оставил честное слово – переплет не перегибать и страницы не пачкать.

**Глава 7.**

**ТАТАРИНОВЫ.**

Татариновы жили без домработницы, и Нине Капитоновне, особенно в ее годы, при- ходилось довольно трудно. Я помогал ей. Мы вместе топили печи, кололи дрова, даже мыли посуду. Страшный враг моли, она вдруг, без всякой причины, принималась развешивать вещи во дворе и тут без меня не обходилось. Я притащил с ближайшего пустыря несколько кирпичей и починил дымившую печку в столовой. Словом, я с лихвой отрабатывал те обеды из воблы и пшена, которыми угощала меня старушка. Да и не нужны мне были эти обеды! Мне было интересно у них. Эта квартира была для меня чем–то вроде пещеры Али–Бабы с ее сокровищами, Опасностями и загадками. Старушка была для меня сокровищем, Марья Васильевна – загадкой, а Николай Антоныч – опасностями и неприятностями.

Марья Васильевна была вдова, а может быть, и не вдова: однажды я слышал, как Нина Капитоновня сказала про нее с вздохом: «Ни вдова, ни мужняя жена». Тем более странно, что она так убивалась по мужу. Всегда она ходила в черном платье, как монашка. Она учи- лась в медицинском институте. Тогда это мне казалось странным: мамам, по моим поняти- ям, учиться не полагалось. Вдруг она переставала разговаривать, никуда не шла, ни в Ин- ститут, ни на службу (она еще и служила), а садилась с ногами на кушетку и начинала курить. Тогда Катя говорила: «У мамы тоска», и все сердились друг на друга и мрачнели.

Николай Антоныч, как вскоре выяснилось, вовсе не был ее Мужем и вообще не был женат, несмотря на свои сорок пять лет.

* Он тебе кто? – как–то спросил я Катю.
* Никто.

Она наврала, конечно, потому что у нее с мамой и у Николая Антоныча была одна фамилия. Кате он приходился дядей, только не родным, а двоюродным.

Двоюродный дядя все–таки, а между тем к нему относились неважно. Это тоже было довольно странно, тем более, что он, наоборот, ко всем был очень внимателен, даже слиш- ком.

Старушка любила кино, не пропускала ни одной картины, и Николай Антоныч ходил с нею, даже заранее брал билеты. За ужином она всегда с увлечением рассказывала содержа- ние картины (и в эти минуты, между прочим, становилась похожа на Катьку). Николай Ан- тоныч терпеливо слушал ее – хотя бы только что вернулся из кино вместе с нею.

Впрочем, она, кажется, жалела его. Я видел однажды, как он сидел за пасьянсом, низко опустив голову, и задумчиво барабанил пальцами по столу, а она глядела на него с сожале- нием.

Вот кто относится к нему безжалостно – Марья Васильевна! Что только он не делал для нее! Он приносил ей билеты в театр, а сам оставался дома. Он дарил ей цветы. Я слы- шал, как он просил ее поберечь себя и бросить службу. Так же внимателен он был и к ее гостям. Стоило только кому–нибудь придти к Марье Васильевне, как сейчас же являлся и он. Очень радушный, веселый, он затевал с гостем длинный разговор, а Марья Васильевна сидела на кушетке, мрачно сдвинув брови, и курила.

Особенно любезен он был, когда приходил Кораблев. Без сомнения, он считал, что

«Усы» – его гость, потому что сразу же тащил его к себе или в столовую и не давал говорить о делах. Вообще все оживлялись, когда приходил Кораблев, в особенности Марья Василь- евна. В новом платье с белым воротничком, она сама накрывала на стол, хлопотала и стано- вилась еще красивее. Она даже смеялась иногда, когда, расчесав перед зеркалом усы, Ко- раблев начинал шумно ухаживать за старушкой. Николай Антоныч тоже смеялся и бледнел. У него была эта странная черта – он бледнел, от смеха.

Меня он не любил – я долго не догадывался об этом. Сперва он только удивлялся, встречая меня, потом он стал морщиться и как–то неприятно втягивать воздух носом. Потом начались поучения:

– Как ты сказал – «спасибо»? – Он услышал, как я за что–то сказал старушке спаси- бо. – А ты знаешь, что такое «спасибо»? Имей в виду, что в зависимости от того, знаешь ли ты это или не знаешь, понимаешь ли, или не понимаешь, может тем или иным путем пойти и вся твоя жизнь. Мы живем в человеческом обществе, и одной из движущих сил этого обще- ства является чувство благодарности. Может быть, тебе известно, что у меня был некогда брат. Неоднократно в течение всей его жизни я оказывал ему как нравственную, так и мате- риальную помощь. Он оказался неблагодарным. И что же? Это крайне пагубно отразилось

на его судьбе.

Слушая его, я как–то начинал чувствовать заплаты на штанах. Да, на лане плохие са- поги, я – маленький, грязный и слишком бледный. Я – это одно, а они, Татариновы, совсем другое. Они богатые, а я бедный. Они умные и ученые, а я дурак. Было над чем подумать!

Кстати сказать, Николай Антоныч не только со мной разговаривал о своем двоюрод- ном брате. Это была его любимая тема. Он утверждал, что всю жизнь заботился о нем, начиная с детских лет, в Геническе, на берегу Азовского моря. Двоюродный брат был из бедной рыбачьей семьи и, если бы не Николай Антоныч, так и остался бы рыбаком, как его отец, дед и все Предки до седьмого колена. Николай Антоныч, «заметив в мальчике недю- жинные способности и пристрастие к чтению», перетащил его из Геническа в Ро- стов–на–Дону и стал хлопотать, чтобы брата приняли в мореходные классы. Зимой он вы- плачивал, ему «ежемесячное пособие», а летом устраивал матросом на суда, ходившие между Батумом и Новороссийском. При его непосредственном участии брат поступил охотником на флот и сдал экзамен на морского прапорщика. С большим трудом Николай Антоныч выхлопотал для него разрешение держать за курс морского училища, а потом по- мог деньгами, когда по окончании училища брату нужно было заказать себе новую форму. Словом, он сделал для него очень много – понятно, почему он так любил о нем вспоминать. Он говорил медленно, подробно, и женщины слушали его с каким–то напряженным благо- говением.

Не знаю почему, но мне казалось, что в эти минуты они чувствуют себя в долгу перед ним – в неоплатном долгу за все, что он сделал для брата.

Впрочем, они и были в долгу – и именно в неоплатном, потому что этот брат, которого Николай Антоныч называл то «покойным», то «без вести пропавшим», был мужем Марьи Васильевны и, стало быть, Катиным отцом. Все, что находилось в квартире, прежде при- надлежало ему, а теперь Марье Васильевне и Кате. И картины, за которые, по старушкиным словам, «Третьяковка дает большие деньги», и какой–то «страховой полис», по которому следовало в парижском банке получить восемь тысяч рублей.

Этими сложными делами и отношениями взрослых меньше всего интересовался один человек – Катя. У нее были свои дела – поважнее. Она переписывалась с двумя подругами, оставшимися в Энске, и повсюду теряла свои письма, так что их читали все, кому не лень, даже гости. Подругам она писала как раз то же самое, что ей писали подруги. Подруга, например, пишет, что видела сон, будто она потеряла сумочку, и вдруг Мишка Купцов –

«помнишь, я тебе писала» – идет навстречу, и сумочка у него в руке. И Катя отвечает по- друге, что видела сон, будто она что–то потеряла, уж не сумочку, а вставочку или лету, а Шурка Голубенцов – «помнишь, я тебе писала» – нашел и принес. Подруга пишет, что была в кино, И Катя отвечает, что была, хотя бы она и сидела дома. Я потом догадался, что по- други были старше, и она им подражала.

Зато со своими одноклассницами она обращалась довольно сурово. Особенно коман- довала она одной девочкой, которая называла себя Кирен, – впрочем, у Татариновых все ее так называли. Она сердилась, что Кирен не любит читать.

* Кирка, ты читала «Дубровского»?
* Читала.
* Врешь!
* Плюнь мне в глаза.
* Ну, тогда отвечай, почему Маша за Дубровского не вышла?
* Вышла.
* Здравствуйте!
* А я читала, что вышла.

Точно так же Катя решила проверить и меня, когда я принес «Елену Робинзон». Не тут–то было! С любого места я продолжал наизусть. Она не любила удивляться и сказала только:

* Вызубрил, как скворец.

Надо полагать, что она считала себя не хуже Елены Робинзон и была уверена, что при подобных же отчаянных обстоятельствах вела бы себя не менее храбро. Но, по–моему, го- товясь к такой необыкновенной судьбе, не следовало так подолгу торчать перед зеркалом –

тем более, что на необитаемых островах зеркал не бывает. А Катька торчала.

В ту зиму, когда я стал бывать у Татариновых, она увлекалась взрывами. Пальцы у нее всегда были черные, обожженные, и от нее пахло, как одно время от Петьки, пистонами и пороховым дымом. Бертолетова соль лежала в сгибах книг, которые она мне давала. Вдруг взрывы кончились. Катя засела читать «Столетие открытий».

Это была превосходная книга – биографии замечательных мореплавателей и завоева- телей XV и XVI веков Христофора Колумба, Фердинанда Кортеса и других.

Она была написана с искренним восторгом перед этими великими людьми – их овальные портреты на фоне далеких каравелл я как будто вижу и сейчас.

Америго Веспуччи, именем которого названа Америка, был изображен перед глобу- сом, с циркулем, который он держал на раскрытой книге, бородатый, веселый и лукавый. Васко Нуньес Бальбоа – в панцире и в латах, в шлеме с пером, по колено в воде. Мне каза- лось, что это какой–то наш русский Васька, дорвавшийся до Тихого океана. Я тоже был увлечен. Но Катя! Она просто бредила этой книгой. Она ходила какая–то сонная и просыпа- лась, кажется, только для того, чтобы сообщить, что «сопровождаемый добрыми пожела- ниями тлакскаланцев, Кортес выступил в поход и через несколько дней вступил в много- людную столицу инков».

Кошку, которую до «столетия открытий» звали просто Васеной, она переименовала в Иптакчухуатль – в Мексике есть, оказывается, такая горная вершина. С другой горной вер- шиной, Попокатепетль, она подъезжала к Нине Капитоновне, но не вышло. Иначе, как на

«бабушку», Нина Капитоновна не отзывалась.

Словом, если Катя серьезно жалела о чем–нибудь, то, без сомнения, только о том, что не она завоевала Мексику, открыла и покорила Перу.

Но все еще впереди. Я знал, о чем она думает. Она хотела быть капитаном.

**Глава 8.**

**ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР.**

Казалось бы, что, кроме хорошего, мог я ожидать от этого знакомства? Между тем не прошло и полугода, как меня выгнали вон…

Эта история началась со школьного театра, а история школьного театра началась с то- го, что в один прекрасный день Кораблев явился на занятия и объявил, что на днях в акто- вом зале состоится спектакль.

Давно уже миновали те времена, когда на собрании пятого класса Ковычка предлагал объявить ненавистным «Усам» бойкот. Больше никого не раздражали длинные ноги нашего географа, его аккуратность и даже то, что он, как известно, «любит совать нос в чужие де- ла». Одно ему простили за то, что он видел живых йогов в Индии, другое – за то, что он ел гнилые яйца в Китае. Теперь он придумал новую штуку – школьный театр.

Для театра нужны были режиссеры, актеры, художники, плотники, портнихи – и вдруг оказалось, что представители всех этих профессий учатся в нашей школе. Нашелся даже поэт–драматург – Настя Щекачева.

К сожалению, я плохо помню трагедию «Настал час», которой был открыт первый се- зон нашего театра. Суть ее, кажется, заключалась в том, что какая–то бездетная баронесса берет к себе приемыша, не зная, что он еврей. Но это знает нянька – отрицательный тип, шантажистка, – и нянька требует денег, угрожая в противном случае открыть всему свету позор. Между тем ребенок вырос и хочет жениться. Вот тут и начиналась трагедия.

Немного странно было, что все лучшие роли в нашем театре Иван Павлович (так звали Кораблева) отдавал ребятам, на которых давно махнули рукой. В трагедии «Настал час» роль приемыша – благородный герой и положительный тип – играл Гришка Фабер, гроза педагогов, первый заводила – хулиганских затей. Он играл хорошо, только слишком орал. Его вызывали одиннадцать раз. Он стоял за куласами мокрый, как мышь дрожа от волнения, не веря своим ушам, а его вызывали и вызывали. Он прославился. Потом этот прославлен- ный актер стал дьявольски важничать, но перестал хулиганить.

Словом театр произвел самое неожиданное действие на четвертую школу. Ребята, хо-

дившие в школу «не столько заниматься, сколько питаться», как говорил Кораблев неожи- данно оказались в «трудовых отношениях».

Между прочим, не особенно хвастая, могу сказать, что это был превосходный театр.

Мы даже выезжали на гастроли в другие школы.

Каждый день мы ходили к Кораблеву – он жил в Воротниковском – и слушали, как репетируют наши актеры. Репетицию с участием Гришки Фабера можно было слушать со двора, не заходя в квартиру. Вообще это было страшно интересно. Сперва я расклеивал афиши, потом стал рисовать их, и одна, с зеленым попугаем, так удалась, что Кораблев взял ее на память.

О четвертой школе стали говорить в Москве, а в четвертой школе стали говорить о Кораблеве: главный режиссер, он же главный гример, бутафор и декоратор. Девочки из старших классов открыли, что Кораблев – красивый. Не красивый, а интересный! Ну что ж! Он и в самом деле был интересный, особенно когда приходил в новом сером костюме, су- хощавый, стройный, курил из длинного мундштука и, смеясь трогал пальцем усы.

Не знаю, понравился ли наш театр другим педагогам. Николай Антоныч на каждой премьере сидел в первом ряду и хлопал громче всех. Стало быть, понравился. Но, кажется он был не очень доволен тем, что теперь в школе на все лады склонялось имя Кораблева: «Я скажу Иван Палычу», «Меня послал Иван Павлыч» и т.д. Пожалуй, это было ни к чему – все время рассказывать Николаю Антонычу о Кораблеве, какой он, оказывается, хороший.

Николай Антоныч с интересом прислушивался, шевелил пальцами, смеялся и бледнел. И вдруг произошла катастрофа.

**Глава 9.**

**КОРАБЛЕВ ДЕЛАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДОЛГ.**

Это было воскресенье, и у Татариновых к обеду ждали гостей. Катя рисовала «Первую встречу испанцев с индейцами» из «Столетия открытий», а меня Нина Капитоновна моби- лизовала на кухню. Она была немного взволнована, все прислушивалась и говорила мне:

* Ш–ш, звонок.
* Это на улице, Нина Капитоновна. Но она еще прислушивалась.

В конце концов, она ушла в столовую и прохлопала звонок. Я открыл двери. Вошел Кораблев – в светлом легком пальто, в светлой шляпе. Таким нарядным я видел его впервые. Голос его немного дрогнул, когда он спросил, дома ли Марья Васильевна. Я сказал:

«Да». Но он постоял еще несколько секунд не раздеваясь. Потом он прошел к Марье Васи- льевне, а я увидел, что Нина Капитоновна на цыпочках возвращается из столовой. Почему на цыпочках, почему с таким взволнованным, таинственных видом?

С этой минуты дело у нас пошло из рук вон плохо. У Нины Капитоновны, чистившей картошку, нож сам собой стал выпадать из рук. Она выбегала будто бы за чем–нибудь в столовую и возвращалась с пустыми руками. Каждый раз она бралась за новую картофели- ну, и таким образом в корзине лежало теперь довольно много картошки, очищенной с одно- го боку. Но я был совсем озадачен, когда Нина Капитоновна взяла одну из таких картошек, разрезала на мелкие кусочки и с задумчивым лицом бросила в суп. Да, она была чем–то за- нята. Чем же? Очень скоро я это узнал. Нина Капитоновна была не из тех людей которые умеют хранить секреты.

Сперва она возвращалась молча, лишь делая руками разные загадочные знаки, которые можно было понять приблизительно так: «Господи, боже ты мой, что–то будет?»

Потом стала бормотать. Потом вздохнула и заговорила. Новость была необыкновенная Кораблев пришел делать предложение Марье Васильевне. Что такое «делать предложение», я, разумеется, знал. Он хотел жениться на ней и пришел спросить, согласна она или не со- гласна.

Согласна или не согласна? Если бы меня не было на кухне, Нина Капитоновна точно так же обсуждала бы этот вопрос со своими кастрюлями и горшками. Она не могла молчать.

* Говорит – все отдам, всю жизнь, – сообщила она, вернувшись из столовой в третий

или четвертый раз. – Ничего не пожалею.

Я сказал на всякий случай:

* Ну да?
* Ничего не пожалею, – торжественно повторила Нина Капитоновна. – Я вижу ваше существование. Оно – незавидное, на вас мне тяжело смотреть.

Она принялась было за картошку, но вскоре снова ушла и вернулась с мокрыми глаза-

ми.

* Говорит, что всегда тосковал по семье, – сообщила она. – Я был одинокий человек, и

мне никого не нужно, кроме вас. Я давно делю ваше горе. В этом роде.

«В этом роде» Нина Капитоновна добавила уже от себя. Минут через десять она снова ушла и вернулась озадаченная.

* + Я устал от этих людей, – сказала она, хлопая глазами. – Мне мешают работать. Вы знаете, о ком я говорю. Поверьте мне, это человек страшный.

Нина Капитоновна вздохнула и села.

* + Нет, не пойдет она за него. Она – удрученная, и он – в годах. Я не знал, что на это ответить, и на всякий случай снова сказал:
  + Ну да?
  + Поверьте мне, это человек страшный, – задумчиво повторила Нина Капитоновна. – Может быть! Господи, помилуй! Может быть!

Я сидел смирно. Обед был отставлен, белые водяные шарики катались по плите вода, в которой плавала картошка, кипела, кипела…

Старушка снова ушла и на этот раз провела в столовой минут пятнадцать. Вернувшись, она зажмурилась и всплеснула руками.

* + Не пошла, – объявила она. – Отказала. Господи, помилуй! Такой мужчина!

Кажется она и сама хорошенько не знала, радоваться или огорчаться, что Марья Васи- льевна отказала Кораблеву.

Я сказал:

* + Жалко.

Нина Капитоновна посмотрела на меня с изумлением.

* + Чего же, могла и выйти, – добавил я. – Еще молодая.
  + Полно врать… – сердито начала было Нина Капитоновна.

Вдруг она стала степенная, важная, поплыла из кухни и встретила Кораблева в перед- ней он был очень бледен. Марья Васильевна стояла в дверях и молча смотрела, как он оде- вался. По глазам было видно, что она недавно перестала плакать.

* + Бедный, бедный! – как бы про себя сказала Нина Капитоновна.

Кораблев поцеловал ей руку, а она его в лоб, – для этого ей пришлось встать на цы- почки, а ему – наклониться.

* + Иван Павлович, вы – мой друг и наш друг, – сказала Нина Капитоновна степенно. – И должны знать, что вы у нас всегда как в родном доме. И Маше вы – первый друг, я знаю. И она это знает.

Кораблев молча поклонился, Мне было очень жаль его. Я просто не мог понять, поче- му Марья Васильевна ему отказала. На мой взгляд, это была подходящая пара.

Должно быть, старушка ожидала, что Марья Васильевна позовет ее и все расскажет – как Кораблев делал предложение и как она ему отказала. Но Марья Васильевна не позвала ее. Наоборот, она заперлась в своей комнате на ключ, и слышно было, как она там расхажи- вает из угла в угол.

Катя кончила «Первую встречу испанцев с индейцами» и хотела ей показать, но она сказала из–за двери: «Потом, доченька», и не открыла.

Вообще в доме стало как–то скучно с тех пор, как ушел Кораблев, а потом и еще скуч- нее, когда пришел веселый Николай Антоныч и объявил, что к обеду будут не трое, как он рассчитывал, а шесть человек гостей.

Хочешь – не хочешь, а Нине Капитоновне пришлось серьезно браться за дело. Даже Катя была приглашена – стаканом вырезать для колдунов кружочки из теста. Она принялась очень энергично, раскраснелась, вся перемазалась мукой – нос и волосы, но скоро ей надое- ло, и она решила вырезать не стаканом, а старой чернильницей, чтобы получились не

кружочки, а звездочки.

– Бабушка, для красоты, – умоляюще сказала она Нине Капитоновне.

Потом она сваляла звездочки и объявила, что будет печь свой пирог, отдельно. Сло- вом, от нее было мало толку.

Шесть человек гостей! Кто же? Я смотрел из кухни и считал.

Первым пришел заведующий учебной частью Ружичек, по прозвищу Благородный Фаддей. Не знаю, откуда взялось это прозвище: всем хорошо было известно, какой он бла- городный! За ним явился толстый, лысый, с длинной смешной головой учитель Лихо. За ним еще кто–то, все педагоги. Потом пришла немка, она же француженка – преподавала немецкий и французский. Пришла наша Серафима с часиками на груди, и последним неожиданно приперся Возчиков из восьмого класса. Этот Возчиков был типичный «лядо- вец». Он чисто одевался, даже носил ремень с пряжкой МРУЛ, то есть Московское Реальное Училище Лядова», и был представителем старших классов в школьном совете.

Вообще здесь был почти весь школьный совет. Это было довольно странно

– пригласить почти весь школьный совет к обеду.

Я сидел в кухне и слушал, о чем они говорят. Двери были открыты. Сперва Лихо ска- зал о «продуктах питания», о том, что теперь будут новые деньги. Сегодня фунт масла стоит четырнадцать миллионов, а завтра – двадцать копеек, как в довоенное время. Сегодня двор- нику дают десять миллионов, а завтра десять Копеек, «и он еще будет кланяться и благода- рить».

– А я–то, дура, только что скатерть продала за двести тридцать миллионов, – вздохнув, сказала Серафима Петровна.

Потом заговорили о Кораблеве. Вот тебе на! Оказывается, он подлизался к советской власти. Он из кожи лезет вон, чтобы «сделать карьеру». Усы он красит. Эту крайне вредную затею с театром он провел только для того, чтобы «завоевать популярность». Он был женат и свел жену в могилу. На заседаниях он проливает, оказывается, «крокодиловы слезы».

Я не знал, что такое «крокодиловы слезы», но при этих словах мне представился Ко- раблев, выходящий из комнаты Марьи Васильевны, бледный, с повисшими, точно прикле- енными усами, и я сразу понял, что они все врут. И насчет театра, и насчет жены, и насчет

«крокодиловых слез», что бы это ни означало. Они – его враги, те самые, о которых он еще сегодня говорил Марье Васильевне: «Я устал от этих людей. Мне мешают работать».

До «крокодиловых слез» – это еще был разговор. Но вот я услышал голос Николая Антоныча и понял, что это не разговор, а заговор. Они хотели прогнать Кораблева из шко- лы.

Николай Антоныч начал издалека:

– Педагогика в числе внешних воспитательных факторов всегда предусматривала ис- кусство…

Потом он перешел к Кораблеву и, прежде всего «отдал должное его дарованиям». Оказывается, нам нет никакого дела до «причин гибели его покойной жены». Нас интересу- ет лишь «мера и степень его воздействия на детей». Нас волнует вредное направление, на которое Иван Павлыч толкает школу, и только поэтому мы должны поступить так, как нам подсказывает педагогический долг – «долг лояльных советских граждан».

Нина Капитоновна загремела пустыми тарелками, и я не расслышал, что именно под- сказывает Николаю Антонычу его педагогический долг. Но когда Нина Капитоновна пота- щила в столовую второе, я из общего разговора понял, что они хотят сделать.

Во–первых, на ближайшем заседании школьного совета Кораблеву будет предложено

«ограничиться преподаванием географии в пределах программы». Во–вторых, его деятель- ность будет оценена как «вульгаризация идеи трудового воспитания». В–третьих, школьный театр будет закрыт. В–четвертых и в–пятых еще что–то. Кораблев, конечно, обидится и уй- дет. Как сказал Благородный Фаддей – «скатертью дорога».

Да, это был подлый план, и я удивлялся, что Нина Капитоновна не вмешивалась, тер- пела. Но вскоре я понял, в чем дело. Приблизительно со второго блюдя она стала жалеть, что Марья Васильевна отказала Кораблеву. Больше она ни о чем не думала, ничего не слы- шала. Она что–то бормотала, пожимала плечами и один раз даже сказала громко:

– Вот как! Что теперь мать?

Должно быть, обижалась, что Марья Васильевна не посоветовалась с ней, прежде чем отказать Кораблеву…

Гости разошлись, а я все не мог решить – что делать?

Это было дьявольски неудачно, что именно в этот день Кораблев пришел со своим предложением. Сидел бы лучше дома. Тогда я мог бы рассказать Марье Васильевне все, что услышал. А теперь неудобно, даже невозможно: она не вышла к обеду, заперлась и никого не пускала. Катя засела за уроки. Нина Капитоновна вдруг объявила, что с ног падает – хо- чет спать, сейчас же легла и заснула. Я вздохнул, простился и пошел домой.

**Глава 10.**

**«ОТВЕТ С ОТКАЗОМ»**

Дежурный по детдому, хромой Яфет, уже дважды приходил смотреть, спим мы или бузим, все ли легли.

Ночная лампочка зажглась в коридоре. У Вальки Жукова веки вздрагивали во сне, как у собаки, – уж не снились ли ему его собаки? Ромашка храпел. Только я не спал, все думал.

Одна мысль смелее другой. Вот на школьном коллективе я выступаю против Николая Антоныча и открываю перед всеми подлый план изгнания Кораблева из школы. Вот я пишу Кораблеву письмо… Я стал сочинять письмо и заснул…

Очень странно, но, проснувшись (раньше всех), я продолжал сочинять это письмо как раз с того места, на котором остановился накануне. Вот когда пригодился бы мне Петькин письмовник! Я стал вспоминать письма, которые мы читали. «Ответ с отказом»: «Выра- женные вами чувства чрезвычайно лестны для меня…» Не годится!

«Письмо благодарственное за благосклонный прием» тоже не годилось, равно как и

«Письмо с требованием должной суммы». «Письмо от вдовца к девице» я забыл. Впрочем, и оно не годилось, тем более, что я не был вдовцом, а Кораблев – девицей.

Наконец я решился.

Было еще очень рано – восьмой час, на улицах темно, как ночью. Понятно, это меня не остановило. Остановить меня попробовал хромой Яфет, но я вывернулся и удрал с черного хода.

Кораблев жил в Воротниковском переулке, в деревянном одноэтажном флигеле со ставнями и верандой, похожем на дачу. Почему–то я был уверен, что он не спит. Ясно, не мог спать человек, который вчера получил от Марьи Васильевны «ответ с отказом». И он, правда, не спал. В комнате горел свет, он стоял у окна и смотрел во двор – так пристально и с таким вниманием, как будто во дворе происходили бог весть какие необыкновенные вещи. Так пристально и с таким вниманием, что долгое время не замечал меня, хотя я стоял под самым окном и делал знаки руками.

* Иван Павлыч!

Но Иван Павлыч зажмурился, тряхнул головой и ушел.

* Иван Павлыч, откройте, это я!

Он вернулся через несколько минут, накинув пальто, и вышел на веранду.

* Это я, Григорьев, – повторил я, испугавшись, что он забыл меня. Он смотрел как–то странно. – Я к вам пришел и сейчас расскажу одну штуку. Театр хотят закрыть, а вас… – Кажется, я не сказал «прогнать». А может быть, и сказал, потому что он вдруг очнулся.
* Зайди, – коротко сказал он.

Всегда у него было очень чисто, книги на полках, кровать под белым одеялом, на по- душке – накидка. Все в порядке. Не в порядке сегодня был, кажется, только сам хозяин. То он щурился, то широко раскрывал глаза – как будто все перед ним расплывалось. Без со- мнения, он не ложился в эту ночь. Таким усталым я его еще не видел.

* А, Саня, – нетвердо сказал он. – В чем дело?
* Иван Павлыч, я хотел вам письмо написать, – ответил я с жаром. – Вообще вопрос упирается в школьный театр. Про вас говорят, что вы заморили жену.
* Постой! – он засмеялся. – Кто говорит, что я заморил жену?
* Все. «Нам нет дела до причин гибели его покойной жены. Вульгаризация идей – вот

что нас возмущает».

* Ничего не понимаю, – серьезно сказал Кораблев.
* Да, вульгаризация, – повторил я твердо.

Еще с вечера я твердил эти слова: «вульгаризация», «популярность» и «лаояпьный долг». «Вульгаризацию» сказал, теперь остались «популярность» и «лаояльный долг».

* «На собраниях он проливает крокодиловы слезы», – продолжал я торопливо. – «Эту крайне вредную затею он провел, чтобы захватить популярность». Да, «популярность». «Он подлизался к советской власти». «Мы должны выполнить наш лаояльный долг».

Может быть, я что–нибудь и перепутал. Но мне легче было повторить наизусть все, что я накануне слышал, чем рассказать своими словами. Во всяком случае, Кораблев понял меня. Он отлично понял меня. Глаза его вдруг потеряли прежнее расплывчатое выражение, легкая краска проступила на щеках, и он быстро прошелся по комнате.

* Это весело, – пробормотал он, хотя ему было совсем не весело. – А ребята, значит, не хотят, чтобы театр закрыли?
* Ясно, не хотят.
* И ты из–за театра пришел?

Я промолчал. Может быть, из–за театра. А может быть, потому, что без Кораблева в школе стало бы скучно. Может быть, потому, что мне не понравилось, что они так подло сговаривались вытурить его из школы…

* О, дураки, – неожиданно сказал Кораблев, – скучнейшие в мире!

Он крепко пожал мне руку и опять стал задумчиво ходить из угла в угол. Так–то рас- хаживая, он вышел, должно быть, на кухню, принес кипятку, заварил чай, достал из стенно- го шкафчика стаканы.

* Хотел уехать, а теперь решил остаться, – объявил он. – Будем воевать. Верно, Саня?

А пока выпьем–ка чаю.

Не знаю, состоялось ли заседание школьного совета, на котором Кораблев должен был сурово расплатиться за «вульгаризацию идеи трудового воспитания». Очевидно, не состоя- лось, потому что он не расплатился. Каждое утро, как ни в чем не бывало, «Усы» расчесы- вал перед зеркалом усы и шел на урок…

Через несколько дней театр объявил новую постановку: «На всякого мудреца довольно простоты», и роль мудреца играл Гришка Фабер. По роли – ему лет двадцать пять, но он предпочел играть человека средних лет, с лысиной и золотыми зубами. Все время он бара- банил пальцем по столу, как Николай Антоныч, и вообще играл бы очень хорошо, если бы не так орал.

Из райкома комсомола пришли два черных курчавых мальчика и предложили органи- зовать в нашей школе комсомольскую ячейку. Валька спросил с места, можно ли записы- ваться детдомовцам, и, они ответили, что можно, но только начиная с четырнадцати лет. Я сам не знал, сколько мне лет. По моим расчетам выходило – скоро тринадцать. На всякий случай я сказал, что четырнадцать. Но мне все–таки не поверили. Быть может, потому, что я был тогда очень маленького роста.

Из педагогов на этом собрании были только Кораблев и Николай Антоныч. Кораблев сказал довольно торжественную речь, сперва коротко поздравил нас с ячейкой, а потом долго ругал за то, что мы плохо учимся и хулиганим. Николай Антоныч тоже сказал речь. Это была прекрасная речь – он приветствовал представителей райкома, как молодое поко- ление, и в конце прочитал стихотворение Некрасова «Идет–гудет Зеленый Шум». Странно было только, что, произнося эту речь, он вдруг громко затрещал пальцами, как будто ломая руки. При этом у него было очень веселое лицо, и он даже улыбался.

После собрания я встретил его в коридоре и сказал: «Здравствуйте, Николай Анто- ныч!» Но он почему–то не ответил.

Словом, все было в порядке, и я сам не знал, почему, собираясь к Татариновым, я вдруг решил, что не пойду, а лучше завтра встречу Катю на улице и на улице отдам ей стек и глину – она просила. Не прошло и получаса, как я передумал.

Мне открыла старушка и как–то придержала цепочкой двери, когда я хотел войти. Ка- залось, она раздумывала, впустить меня или нет. Потом она распахнула двери, шепнула мне быстро: «Иди на кухню», и легонько толкнула в спину.

Я замешкался – просто от удивления. В эту минуту Николай Антоныч вышел в пе- реднюю и, увидев меня, зажег свет.

* А–а! – каким–то сдавленным голосом сказал он. – Явился. Он больно схватил меня за плечо.
* Неблагодарный доносчик, мерзавец, шпион! Чтобы твоей ноги здесь не было! Слы- шишь?

Он злобно раздвинул губы, и я увидел, как ярко заблестел у него во рту золотой зуб. Но это было последнее, что я видел в доме Татариновых. Одной рукой Николай Антоныч открыл двери, а другой выбросил меня на лестницу, как котенка.

**Глава 11. УХОЖУ.**

Пусто было в детдоме, пусто в школе. Все разбежались – воскресный день. Только Ромашка бродил по пустым комнатам и все что–то считал, – должно быть, свои будущие богатства, да повар в кухне готовил обед и пел. Я пристроился в теплом уголке за плитой и стал думать.

Да, это сделал Кораблев. Я хотел ему помочь, а он подло отплатил мне. Он пошел к Николаю Антонычу и выдал меня с головой.

Они оказались правы. И Николай Антоныч, и немкафранцуженка, и даже Лихо, кото- рый сказал, что на собраниях Кораблев проливает «крокодиловы слезы». Он – подлец. А я–то еще жалел, что Марья Васильевна ему отказала.

* Дядя Петя, что такое «крокодиловы слезы»?

Дядя Петя вытащил из котла кусок горячей капусты.

* Кажись, соус такой.

Нет, это не соус… Я хотел сказать, что это не соус, но в эту минуту дядя Петя вдруг медленно поплыл вокруг меня вместе с капустой, которую он пробовал зубом, чтобы узнать, готовы ли щи. Голова закружилась. Я вздохнул и пошел в спальню.

Ромашка сидел в спальне у окна и считал.

* Теперь сто тысяч будет все равно, что копейка, – сказал он мне. – А если набрать от- мененных денег и поехать, где это еще неизвестно, накупить всего, а тут продать за новые деньги. Я сосчитал – на один золотой рубль прибыли сорок тысяч процентов.
* Прощай, Ромашка, – ответил я ему. – Ухожу.
* Куда?
* В Туркестан, – сказал я, хотя за минуту перед тем и не думал о Туркестане.
* Врешь!

Я молча снял с подушки наволочку и сунул в нее все, что у меня было: рубашку, за- пасные штаны, афишу: «Силами учеников 4–й школы состоится спектакль „Марат“, и чер- ную трубочку, которую когда–то оставил мне доктор Иван Иваныч. Всех своих жаб и зайцев я разбил и бросил в мусорный ящик. Туда же отправилась и девочка с колечками на лбу, немного похожая на Катьку.

Ромашка следил за мной с интересом. Он все еще считал шепотом, но уже без преж- него азарта:

* Если на один рубль сорок тысяч, – стало, на сто рублей…

Прощай, школа! Не буду я больше учиться никогда. Зачем? Писать научился, читать, считать. Хватит с меня. Хорош и так. И никто не будет скучать, когда я уйду. Разве Валька вспомнит один раз и забудет.

* Стало, на сто рублей четыреста, – шептал Ромашка. – Четыреста тысяч процентов на сто рублей.

Но я еще вернусь. Я приду к Нине Капитоновне, брошу ей деньги и скажу: «Вот, возьмите за все, что я съел у вас». И Кораблев, которого выгонят из школы, придет ко мне жаловаться и умолять, чтобы я простил его. Ни за что!

И вдруг я вспомнил, как он стоял у окна, когда я пришел к нему, стоял и внимательно смотрел во двор, очень грустный и немного пьяный. Полно, он ли это? Зачем ему выдавать меня? Напротив, он, наверное, и виду не подал, он должен был притвориться, что ничего не знает об этом тайном совете. Напрасно я ругал его. Это не он. Кто же?

– А, Валька! – вдруг сказал я себе. – Ведь когда я вернулся от Татариновых, я все рас- сказал ему. Это – Валька!

Но Валька, помнится, захрапел, не дослушав. И вообще Валька не сделает этого нико-

гда.

Может, Ромашка? Я посмотрел на него. Бледный, с красными ушами, он сидел на окне

и все умножал и умножал без конца. Мне почудилось, что он незаметно следит за мной, как птица, одним круглым, плоским глазом. Но ведь он ничего не знал…

Теперь, когда я твердо решил, что это сделал не Кораблев, можно было, пожалуй, и остаться. Но у меня болела голова, звенело в ушах и почему–то казалось, что теперь, когда я сказал Ромашке, что ухожу, остаться уже невозможно. С какой–то тоской в сердце я огля- нулся в последний раз. Вот белая лампа, на которую я всегда долго смотрел в темноте, когда гасили свет, стенка с клеточками, где лежит белье, – вот моя клеточка, а рядом Валькина. Кровати, кровати…

Я вздохнул, взял узел, кивнул Ромашке и вышел. Должно быть, у меня был уже силь- ный жар, потому что, выйдя на улицу, я удивился, что так холодно. Впрочем, еще в подъезде я снял курточку и надел пальто прямо на рубашку. Курточку решено было загнать, – по мо- им расчетам, за нее можно было взять миллионов пятнадцать.

По той же причине – сильный жар и головная боль – я плохо помню, что я делал на Сухаревке, хотя и провел там почти целый день. Помню только, что я стоял у ларька, из ко- торого пахло жареным луком, и, держа курточку, говорил слабым голосом:

– А вот кому…

Помню, что удивлялся, почему у меня такой слабый голос. Помню, что приметил в толпе мужчину огромного роста в двух шубах. Одна была надета в рукава, другая – та, ко- торую он продавал, – накинута на плечи. Очень странно, но куда бы я ни пошел со своим товаром, везде я натыкался на этого мужчину. Он стоял неподвижно, огромный, бородатый, в двух шубах, и, не глядя на покупателей, загибавших полы и щупавших воротник, мрачно говорил цену.

Помню, что, пробродив по рынку весь день, я променял рубашку на кусок хлебного пирога с морковкой, но откусил только раз – и расхотелось.

Где–то я грелся, заметив, что хотя мне самому уже не холодно, но пальцы все–таки посинели. Пирог я спрятал в наволочку и все, помнится, смотрел, не раскрошился ли он, Должно быть, я чувствовал, что заболеваю. Очень хотелось пить, и несколько раз я решал, что кончено: если через полчаса не продам, пойду в чайную и загоню курточку за стакан горячего чая. Но тут же мне начинало казаться, что именно в это время явится мой покупа- тель, и я решал, что постою еще полчаса.

Помнится, меня утешало, что высокий мужчина тоже никак не может продать своей шубы…

Пожалуй, я съел бы немного снега, но на Сухаревке снег был очень грязный, а до бульвара – далеко. Все–таки я пошел и поел, и, странно, снег показался мне теплым. Кажет- ся, меня вырвало, а может быть, и нет. Помню только, что я сидел на снегу и кто–то держал меня за плечи, потому что я падал. Наконец меня перестали держать, я лег и с наслаждением вытянул ноги. Надо мной говорили что–то, как будто: «Припадочный, припадочный…» По- том у меня хотели взять наволочку, и я слышал, как меня уговаривали: «Вот чудной, да тебе же под голову!», но я вцепился в наволочку и не отдал. Мужчина в двух шубах медленно прошел мимо и вдруг сбросил на меня одну шубу. Но это уже был бред, и я прекрасно по- нимал, что это бред… Наволочку еще тянули. Я услышал женский голос:

* Узел не отдает. И мужской:
* Ну что ж, так с узлом и кладите. Потом мужской голос сказал:
* Очевидно, испанка. И все провалилось…

Еще и теперь я сразу начинаю бредить, чуть только появляется жар, При тридцати

восьми я уже несу страшную чушь и до смерти пугаю родных и знакомых. Но такого при- ятного бреда, как во время испанки, у меня не было никогда. Вот в просторной, светлой комнате я рисую картину – водопад. Вода летит с отвесной скалы в узкое каменистое ложе. Как хорошо! Как блестит на солнце вода, какие чудесные зеленые камни!

Вот я еду куда–то в розвальнях, покрывшись овчиной. Темнеет, но я еще вижу, как снег бежит из–под розвальней между широкими полозьями, – кажется, что мы стоим, а он бежит, и только по следу, который чертит сбоку упавшая полость, видно, что мы едем и едем. И мне так хорошо, так тепло, что кажется – ничего больше не нужно, только бы ехать вот так зимой в розвальнях всю жизнь.

Почему у меня был такой хороший бред, не знаю. Я был при смерти, дважды меня как безнадежного отгораживали от других больных ширмой. Синюха – верный признак смерти

* была у меня такая, что все доктора, кроме одного, махнули рукой и только каждое утро спрашивали с удивлением:
  + Как, еще жив?

Все это я узнал, когда очнулся…

Как бы то ни было, я не умер. Наоборот, я поправился. Однажды я открыл глаза и хо- тел вскочить с кровати, вообразив, что нахожусь в детдоме… Чья–то рука удержала меня, чье–то лицо – забытое и необыкновенно знакомое – приблизилось ко мне. Хотите верьте, хотите нет – это был доктор Иван Иваныч.

* + Доктор, – сказал я ему и заплакал от радости, от слабости. – Доктор. Вьюга! Он смотрел мне прямо в глаза, наверно, думал, что я еще брежу.
  + Седло, ящик, вьюга, пьют, Абрам, – сказал я, чувствуя, что слезы льются прямо в рот. – Это я, доктор. Я – Санька. Помните, в деревне, доктор? Мы прятали вас. Вы меня учили.

Он еще раз заглянул мне в глаза, потом надул щеки и с шумом выпустил воздух.

* + Ого! – сказал он и засмеялся. – Как не помнить? А сестра где? Как же так? Ведь ты мог тогда только «ухо» сказать, да и то лаял. Научился, а? Да еще в Москву перебрался? Да еще умирать вздумал?

Я хотел сказать, что вовсе не собираюсь умирать, – напротив, но он вдруг закрыл мне рот ладонью, а другой рукой быстро достал платок и вытер мне лицо и нос.

* + Лежи, брат, смирно, – сказал он. – Тебе еще говорить нельзя. Немой и немой. Черт тебя знает, ты уже столько раз умирал, что теперь неизвестно: а вдруг скажешь лишнее сло- во – и готов. Поминайте, как звали.

**Глава 12.**

**СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР.**

Вы думаете, может быть, что, однажды очнувшись, я стал поправляться? Ничуть не бывало. Едва оправившись от испанки, я заболел менингитом. И снова Иван Иваныч не со- гласился с тем, что моя карта бита.

Часами сидел он у моей постели, изучал странные движения, которые я делал глазами и руками. В конце концов я снова пришел в себя и, хотя долго еще лежал с закаченными к небу глазами, однако был уже вне опасности.

«Вне опасности умереть, – как сказал Иван Иваныч, – но зато в опасности на всю жизнь остаться идиотом».

Мне повезло. Я не остался идиотом и после болезни почувствовал даже, что стал как–то умнее, чем прежде, Так оно и было. Но болезнь тут ни при чем.

Как бы то ни было, я провел в больнице не менее полугода. За это время мы очень ча- сто, чуть ли не через день, встречались с Иваном Иванычем. Но от этих встреч было мало толку. А когда я стал поправляться, он уже почти не бывал в больнице. Вскоре он уехал из Москвы. Куда и зачем – об этом ниже.

Удивительно, как мало переменился он за эти годы. По–прежнему он любил бормотать стихи. И я слышал, как однажды, выслушав меня, он пробормотал недовольным голосом:

Барон фон Гринвальдус, Сей доблестный рыцарь, Все в той же позицьи

На камне сидит.

К нам в палату приходили студенты, и он, оглядев их светлыми, живыми глазами, хва- тал одного за рукав и, читая лекцию, то отпускал, то снова хватал. Мы с ним вспомнили

«старое время», и он удивился, что я еще помню, как он делал из хлебного мякиша и еще из чего–то кошку в мышку, и кошка ловила мышку и мяукала, как настоящая кошка.

* Иван Иваныч, а ведь после, как вы ушли, – сказал я, – ведь мы с сестрой всю зиму пекли картошку на палочках.

Он засмеялся, потом задумался.

* А это, брат, меня на каторге научили.

Оказывается, он был ссыльным. В 1914 году, как член партии большевиков, он был сослан на каторгу, а потом на вечное поселение. Не знаю, где он отбывал каторгу, а на по- селении был где–то очень далеко, у Баренцева моря.

* А уж оттуда, – сказал он смеясь, – прибежал прямо к вам в деревню и чуть не замерз по дороге.

Вот когда выяснилось, почему он не спал по ночам. Черную трубочку – стетоскоп – он, оказывается, оставил нам с сестрой на память. Слово за словом пришлось рассказать ему, когда и почему я удрал из детдома.

Он слушал очень внимательно и почему–то все время смотрел мне прямо в рот.

* Да, здорово, – задумчиво сказал он. – Просто редкая штука.

Я решил, что он думает, что удрать из детдома – редкая штука, и хотел возразить, что совсем не редкая, но он снова сказал:

* Не глухо–, а глухонемота, то есть немота без глухоты. Stummht ohne Taubheit. И ведь не мог сказать «мама». А теперь извольте–ка! Оратор!

И он стал рассказывать обо мне другим докторам.

Я был немного огорчен, что доктор ни слова не сказал об этой истории, которая заста- вила меня удрать из детдома, и даже, кажется, вообще пропустил ее мимо ушей. Но я ошиб- ся, потому что в один прекрасный день двери нашей палаты открылись, сестра сказала:

* К Григорьеву гости. И вошел Кораблев.
* Здравствуй, Саня!
* Здравствуйте, Иван Павлыч!

Вся палата смотрела на нас с любопытством. Должно быть, по этой причине он снача- ла говорил только о моем здоровье. Но когда все занялись своими делами, он стал меня ру- гать. О, как он меня ругал! Как по писаному, он рассказал мне все, что я о нем думал, и объ- явил, что я обязан был явиться к нему и сказать: «Иван Павлыч, вы – подлец», если я думал, что он подлец. А я этого не сделал, потому что я – типичный индивидуалист. Он немного смягчился, когда, совершенно убитый, я спросил:

* Иван Павлыч, а что такое индиалист?

Словом, он ругал меня, пока не кончились приемные часы. Однако, прощаясь, он крепко пожал мне руку и сказал, что еще зайдет.

* Когда?
* На днях. У меня с тобой серьезный разговор. А пока подумай.

К сожалению, он не сказал, о чем мне думать, и мне пришлось думать о чем попало. Я вспомнил Энск, Сковородникова, тетю Дашу и решил, что, как только поправлюсь, напишу в Энск. Не вернулся ли Петька? О Петьке я думал очень часто. Окна нашей палаты выходи- ли в сад, и видны были вершины деревьев, качавшиеся от ветра. По вечерам, когда все за- сыпали, я слышал, как они шумят, и мне казалось, что Петька, так же как я, лежит где–то на белой койке, думает, слушает, как шумят деревья. Где он теперь? Быть может, Туркестан не понравился ему и он удрал куда–нибудь в Перу? Вдруг Петька – в Перу? Как Васко Нуньес Бальбоа, он стоит на берегу Тихого океана в латах, с мечом в руке. Едва ли. Но все–таки кто знает, где он побывал, пока я, как пай–мальчик, жил в детском доме…

В следующий приемный день пришел Валька Жуков и рассказал про своего ежа. Он где–то достал ежа и построил ему целый дом под своей кроватью. Зимой ежи спят, а этот почему–то не спал. Вообще это был удивительный еж. Вальке нравилось даже, как еж че- сался.

* Как собака! – с восторгом сказал он. – И даже лапкой об пол стучит, как собака.

Словом, два битых часа Валька говорил про ежа и, только прощаясь, спохватился и сказал, что Кораблев мне кланяется и на днях зайдет.

Я сразу понял, что это и будет серьезный разговор. Очень интересно! Я был уверен, что мне опять попадет. И не ошибся.

Разговор начался с того, что Кораблев спросил, кем я хочу быть.

* Не знаю, – отвечал я. – Может быть, художником. Он поднял брови и возразил:
* Не выйдет.

По правде говоря, я еще не думал, кем я хочу быть. В глубине души мне хотелось быть кем–нибудь вроде Васко Нуньес Бальбоа. Но Иван Павлыч с такой уверенностью сказал:

«Не выйдет», что я возмутился.

* Почему?
* По многим причинам, – твердо сказал Кораблев. – Прежде всего, потому, что у тебя слабая воля.

Я был поражен. Мне и в голову не приходило, что у меня слабая воля.

* Ничего подобного, – возразил я мрачно. – Сильная.
* Нет, слабая. Какая же воля может быть у человека, который не знает, что он сделает через час? Если бы у тебя была сильная воля, ты бы хорошо учился. А ты учишься плохо.
* Иван Павлыч, – сказал я с отчаянием, – у меня один «неуд».
* Да, плохо. А между тем мог бы учиться отлично.

Он подождал, не скажу ли я еще что–нибудь. Но я молчал.

* Ты воображаешь лучше, чем соображаешь. Он еще подождал.
* И вообще пора тебе подумать, кто ты такой и зачем существуешь на белом свете! Вот ты говоришь: хочу быть художником. Для этого, милый друг, нужно стать совсем дру- гим человеком.

**Глава 13. ДУМАЮ.**

Легко сказать: ты должен стать совсем другим человеком. А как это сделать? Я был не согласен, что плохо учусь. Один «неуд», и то по арифметике, и то, потому что однажды я почистил сапоги, а Ружичек вызвал меня и сказал:

* Чем это ты мажешь сапоги, Григорьев? Гнилыми яйцами на керосине?

Я нагрубил, и с тех пор он мне больше «неуда» не ставил. Но все–таки я чувствовал, что Кораблев прав и мне нужно стать совсем другим человеком. Что, если у меня действи- тельно слабая воля? Это нужно проверить. Нужно решить что–нибудь и непременно испол- нить. Для начала я решил прочитать книгу «Записки охотника», которую я уже читал в прошлом году и бросил, потому что она показалась мне очень скучной.

Странно! Только что я взял из больничной библиотеки «Записки охотника» и прочитал страниц пять, как книга показалась мне втрое скучнее, чем прежде. Больше всего на свете мне захотелось, чтобы не было этого решения. Но я дал себе слово, даже прошептал его под одеялом, а слово нужно держать.

Я прочел «Записки охотника» и решил, что Кораблев врет. У меня сильная воля. Разумеется, нужно было бы проверить себя еще раз! Скажем, каждое утро после за-

рядки обтираться холодной водой из–под крана. Или выйти в году по арифметике на «от- лично». Но все это я отложил до возвращения в школу, а пока оставалось только думать и думать.

«Ты воображаешь лучше, чем соображаешь». Почему он так сказал? Может быть, потому, что я хвастал своей лепкой? Это было обидно. Катька – вот кто воображает! Или Ко- раблев иначе понимает это слово? Я решил, что спрошу у него, если он придет еще раз. Но он не пришел, и только через год или два я узнал, что воображать – это значит не только

«задаваться». «Кто ты такой и зачем существуешь на белом свете?» Я думал над этим, читая газеты. В больнице я стал читать газеты. Интересно. Если бы не было так много иностран- ных слов! Я нашел среди них и «вульгаризацию» и «крокодиловы слезы».

Наконец Иван Иваныч осмотрел меня в последний раз и велел выписать из больницы.

Это был замечательный день. Мы простились, но он оставил мне свой адрес и велел зайти.

* Только, смотри, не позже двадцатого, – весело сказал он. – А то, брат, того и гляди, дома не застанешь…

С узлом в руках я вышел из больницы и, пройдя квартал, присел на тумбу – такая еще была слабость. Но как хорошо! Какая большая Москва! Я забыл ее. И как шумно на улицах! У меня закружилась голова, но я знал, что не упаду. Я здоров и буду жить. Я поправился. Прощай, больница! Здравствуй, школа!

По правде говоря, я был немного огорчен, что в школе меня встретили так равнодуш- но. Только Ромашка спросил:

* Выздоровел?

С таким выражением, как будто он немного жалел, что я не умер.

Валька обрадовался, но ему было не до меня. У него пропал еж, и он подозревал, что повар, по распоряжению Николая Антоныча, бросил ежа в помойную яму.

* Уж лучше бы я его продал, – грустно сказал Валька. – Мне двадцать пять копеек да- вали. Дурак – не взял пока я лежал в больнице, появились новые деньги – серебряные и зо- лотые.

В детдоме все было по–старому, только Серафима Петровна перешла в старшие клас- сы, и на ее место поступил мужчина–воспитатель Суткин. Валька сказал, что он: – подлиза. Подлизывается к Николаю Антонычу, немке, к Ружичеку и к ребятам.

Зато в школе за эти полгода произошли большие перемены. Во–первых, она стала вдвое меньше: часть старших классов перевели и другие школы.

Во–вторых, ее покрасили и побелили – просто не узнать стало прежних грязных ком- нат с тусклыми окнами и черными потолками…

В–третьих, все только и говорили о комсомольской ячейке. Секретарем была теперь тетя Варя, та самая девочка из хозяйственной комиссии, которая в двадцатом году с шумов- кой в руке деловито разгуливала по коридору. Должно быть, она оказалась хорошим секре- тарем, потому что, когда я вернулся маленькая комнатка комсомольской ячейки была самым интересным местом в нашей школе.

Я еще не был комсомольцем, но на третий день после возвращения из больницы уже получил от тети Вари задание – нарисовать парящий в облаках самолет и над ним надпись:

«Молодежь, вступай в ОДВФ!»

Пальцы у меня еще были как чужие, но я с жаром принялся за работу.

Словом, в школе стало в тысячу раз интереснее, чем прежде, и я, вступив сразу во все кружки и увлекшись коллективным чтением газет, совсем забыл о докторе Иване Иваныче и о том, что он просил меня зайти не позже двадцатого мая.

**Глава 14.**

**СЕРЕБРЯНЫЙ ПОЛТИННИК.**

В этот день, когда я, наконец, собрался, к нему, у нас с самого утра был переполох. Валькин еж нашелся. Оказывается, он забрался на чердак и каким–то образом попал в ста- рую капустную кадку.

Может быть, он вспомнил, что не спал зимой, может быть, ослабел, просидев в кадке две недели, но только вид у него был неважный. Во всяком случае, нужно было постараться поскорее его продать, потому что было, похоже, что он собирается подохнуть. Он больше не прятал рыла и не свертывался клубком, когда его трогали за нос. Рыжая борода как–то об- висла. Словом, он был совсем плох, и больше ничего не оставалось, как отнести его в уни-

верситет – в университете какая–то лаборатория покупала ежей. Валька завернул его в ста- рые штаны и ушел. Очень грустный, он вернулся через час и сел на кровать.

* Его вскроют, – сказал он мне и перекосился, чтобы не заплакать.
* Как вскроют?
* Очень просто. Разрежут живот и начнут копаться. Жалко.

Мы немного поспорили, у всех ли ежей внутренности на том же месте.

* Ладно, наплевать, – сказал я. – Другого купишь. Сколько тебе дали?

Валька молча разжал кулак. Еж был полудохлый, и дали только двадцать копеек.

* А у меня тридцать, – сказал я. – Сложимся и купим спиннинг.

Про спиннинг я нарочно сказал, чтобы его утешить. Спиннинг – это такая складная длинная удочка с длинной леской на колесе, так что наживу можно закидывать от берега метров на сорок. Я видел эту штуку еще в Энске. Один пристав в Энске ловил рыбу спин- нингом.

Мы сложились и даже обменяли наши гривенники и пятиалтынные наодин новенький серебряный полтинник. Полтинников я еще не видел, они почему–то редко попадались.

Вся эта история с Валькиным ежом сильно задержала меня, и, когда я выбрался к док- тору, уже начинало темнеть, Он жил далеко, на Зубовском бульваре, а трамваи были теперь платные, не то что в двадцатом году. Но я все–таки доехал бесплатно.

Только одно окно светилось в глубине сада, в белом доме с колоннами на Зубовском бульваре, и я решил, что это в комнате доктора горит свет. Я ошибся. Доктор жил, оказыва- ется, в третьем этаже, а свет горел во втором. Квартира восемь, Вот она. Под номером было крупно написано мелом:

«Здесь живет Павлов, а не Левенсон».

Павлов – это и был доктор Иван Иваныч.

Мне открыла женщина с ребенком на руках и, все время шикая, спросила, что мне нужно. Я сказал. Она, все шикая, сказала, что доктор дома, но, кажется, спит.

* Все–таки постучи, – шепотом сказала она. – Наверно, не спит.
* Не сплю! – закричал откуда–то доктор. – Кто там?
* Какой–то мальчик.
* Пусть войдет.

Я в первый раз был у доктора и удивился, что в комнате такой беспорядок. На полу, вперемешку с пакетами чаю и табаку, валялись кожаные перчатки и странные красивые ме- ховые сапоги. Вся комната была завалена открытыми чемоданами и заплечными мешками. И среди этого развала со штативом в руках стоял доктор Иван Иваныч.

* А, Саня! – весело сказал он. – Явился, Ну, как дела? Живешь?
* Живу.
* Отлично! Кашляешь?
* Нет.
* Молодец! А я, брат, о тебе статью написал. Я думал, что он шутит.
* Редкий случай немоты, – сказал доктор, – Можешь сам прочитать в N17 «Врачебной газеты». Больной Г. это, брат, ты. Считай, что прославился. Правда, пока еще в качестве больного. Но все впереди.

Он запел: «Все впереди, все впереди!» – и вдруг накинулся на самый большой чемо- дан, захлопнул и сел на него, чтобы он лучше закрылся.

Должно быть, доктор собирался уезжать из Москвы. Я хотел спросить, куда он едет, но решил сперва узнать, почему у него на двери написано, что здесь живет он, а не Левенсон.

* Иван Иваныч, почему у вас на двери написано, что здесь живете вы, а не Левенсон? Доктор засмеялся.
* Потому что здесь живу я, – сказал он. – А Левенсон живет в соседнем доме. У него номер восемь и у меня восемь. А ворота общие. Понял?
* Понял.

Доктор очень много говорил в этот день. Таким веселым я его еще не видел. Вдруг он

решил, что нужно что–нибудь мне подарить, и подарил кожаные перчатки, старые, но еще очень хорошие, застегивающиеся на ремешок. Я стал было отказываться, но он без разгово- ров сунул мне перчатки и сказал:

* Бери и молчи.

Нужно бы поблагодарить его за перчатки, но я, вместо благодарности, сказал:

* Вы куда это собрались? Уезжаете?
* Уезжаю, – сказал доктор. – На Крайний Север, за Полярный Круг. Слыхал? Я смутно вспомнил письмо штурмана дальнего плавания.
* Слыхал.
* Ну вот. У меня там, брат, невеста осталась. Знаешь, что это такое?
* Знаю.
* Врешь. Знаешь, да не понимаешь

Я стал рассматривать разные странные штуки, которые он брал с собой: меховые штаны с треугольным кожаным задом, какие–то металлические подошвы с ремнями, и так далее. А доктор, укладывая, все говорил. Один чемодан ни за что не закрывался, и он взял его за верхнюю крышку и опрокинул на кровать. При этом большая фотографическая кар- точка упала к моим ногам. Это была уже довольно старая, пожелтевшая карточка, согнутая в нескольких местах. На оборотной стороне было написано крупным круглым почерком:

«Судовая команда шхуны „Св. Мария“. Я стал рассматривать карточку и, к своему удивле- нию, нашел Катиного отца. Да, это был он! Он сидел в самой середине команды, скрестив руки на груди совершенно так же, как на портрете, висевшем у Татариновых в столовой. Но доктора я не нашел на карточке и спросил, почему его нет.

* А это потому, брат, что я не плавал на шхуне «Святая Мария», – затягивая ремнями чемодан и страшно пыхтя, сказал доктор.

Он взял у меня карточку и подумал, куда бы ее положить.

* Один человек оставил – на память.

Я хотел спросить, кто этот человек, не Катин ли отец, но он уже положил карточку в книгу и книгу – в заплечный мешок.

* Ну, Саня, – сказал он, – мне пора. А ты пиши, что делаешь и как себя чувствуешь.

Имей, брат, в виду, что ты – экземпляр интересный!

Я записал его адрес, и мы простились.

Домой я пошел пешком и по пути сделал небольшой крюк – послушать громкоговори- тель на Тверской. Это был первый в Москве громкоговоритель. Он был очень интересный, но немного слишком орал и напомнил мне, поэтому Гришку Фабера в трагедии «Настал час».

Когда я подходил к детдому, шел уже одиннадцатый час, и я немного боялся, что две- ри уже закрыты. Ничего подобного! Двери открыты, и во всех окнах свет. Что случилось?

Как пуля, я влетел в спальню. Пусто! Кровати постланы, – должно быть, уже собира- лись ложиться.

* Дядя Петя! – заорал я, увидя повара, выходившего из кухни в новом костюме, со шляпой в руке. – Что случилось?
* Приглашен на собрание, – загадочным шепотом ответил повар.
* Какое собрание? Куда.
* Собрание всех учащихся, преподавателей и служебного персонала, – так же зага- дочно сказал повар.

Должно быть, он успел здорово клюкнуть, потому что надолго закрывал глаза после каждого слова. Он начал было объяснять мне, что раз он приглашен на собрание, стало быть, должен одеться, как человек, но я уже бежал наверх, в школу.

Актовый зал был полон, яблоку негде упасть, и еще много ребят стояло у дверей, в коридоре. Но я–то пролез и сел в первом ряду, только не на стул, а на пол, перед самой эст- радой…

Это было торжественное собрание под председательством Вари. Очень красная, она сидела в президиуме с карандашом в руке и все время закидывала за ухо прядь полос, па- давшую ей прямо на нос. Это было первое большое собрание, на котором она председатель- ствовала, и понятно, почему она так волновалась. Другие ребята из ячейки сидели у нее по

бокам и что–то прилежно писали. А над ними, над столом президиума, над всем залом висел мой плакат. У меня занялось дыхание. Это был мой плакат – аэроплан, парящий в облаках, и над ним надпись: «Молодежь, вступай в ОДВФ!» Но при чем тут был мой плакат, этого я долго не мог понять, потому что все ораторы говорили исключительно о каком–то ультима- туме. Но вот выступил Кораблев, и все стало ясно.

– Товарищи! – негромко, но отчетливо сказал он. – Советскому правительству предъ- явлен ультиматум. В общем и целом, вы очень правильно оценили значение этого докумен- та. С вашей точки зрения, авторы его – типичные империалисты. Совершенно верно! Но было бы ошибкой предполагать, что они этого не знали или что от вас они об этом услыша- ли впервые. Нет, мы иначе должны ответить на ультиматум! Мы должны создать в нашей школе ячейку Общества друзей воздушного флота!

Все захлопали и потом хлопали после каждой фразы Кораблева. Между прочим, в конце он показал на мой плакат, и я почувствовал с гордостью, что вся школа смотрит на мой аэроплан парящий в облаках, и читает надпись: «Молодежь, вступай в ОДВФ!»

Потом выступил Николай Антоныч и тоже очень хорошо говорил, а потом тетя Варя объявила, что комсомольская ячейка полностью вступает в ОДВФ. Желающие могут запи- саться у нее завтра от десяти до десяти, а пока она предлагает устроить сбор в пользу совет- ской авиации и собранные деньги послать и адрес газеты «Правда».

Должно быть, я волновался, потому что Валька тоже сидевший на полу недалеко от меня, через три человека, смотрел на меня с удивлением. Я вынул серебряный полтинник и показал ему. Он понял. Он хотел что–то спросить, – должно быть про спиннинг, – но удер- жался и только кивнул головой.

Я вскочил на эстраду и отдал тете Варе полтинник…

* Иван Павлыч, – сказал я Кораблеву, который стоял и курил из длинного мундштука в коридоре. – С каких лет берут в летчики?

Он серьезно посмотрел на меня.

* Не знаю, Саня. Тебя–то, пожалуй, еще не возьмут…

Не возьмут? Клятва, которую когда–то мы с Петькой дали друг другу в Соборном са- ду, припомнилась мне: «Бороться и искать, найти и не сдаваться». Но я не сказал ее вслух. Все равно Кораблев бы ее не понял.

**ЧАСТЬ 3.**

**СТАРЫЕ ПИСЬМА.**

**Глава 1.**

**ЧЕТЫРЕ ГОДА.**

Как в старых немых фильмах, мне представляются большие часы, – но стрелка пока- зывает годы. Полный круг – и я вижу себя в третьем классе, на уроке Кораблева, на одной парте с Ромашкой. Пари заключено, – пари, что я не закричу и не отдерну руку, если Ро- машка полоснет меня по пальцам перочинным ножом. Это – испытание воли. Согласно

«правилам для развития воли, я должен научиться «не выражать своих чувств наружно. Каждый вечер я твержу эти правила, и вот, наконец, удобный случай. Я проверяю себя.

Весь класс следит за нами, никто не слушает Кораблева, хотя сегодня интересный урок: о нравах и обычаях чукчей.

* Режь, – говорю я Ромашке.

И этот подлец хладнокровно режет мне палец перочинным ножом. Я не кричу, но не- вольно отдергиваю руку и проигрываю пари.

Кто–то ахает, шепот пролетает по партам. Кровь течет, я нарочно громко смеюсь, чтобы показать, что мне нисколько не больно, и вдруг Кораблев выгоняет меня из класса. Я выхожу, засунув руку в карман.

* Можешь не возвращаться.

Но я возвращаюсь. Урок интересный, и я слушаю его, сидя на полу, под дверью…

Правила для развития воли! Я возился с ними целый год. Я пробовал не только «скры- вать свои чувства», но и «не заботиться о мнении людей, которых презираешь». Не помню, которое из этих правил было труднее. Пожалуй, первое, потому что мое лицо как раз выра- жало решительно все, что я чувствовал и думал.

«Спать как можно меньше, потому что во сне отсутствует воля» – также не было слишком трудной задачей для такого человек, как я. Но зато я научился «порядок дня опре- делять с утра» – и следую этому правилу всю мою жизнь. Что касается, главного правила:

«помнить цель своего существования», то мне не приходится очень часто повторять его, потому что эта цель была мне ясна уже и в те годы… Снова полный круг – раннее утро зи- мой двадцать пятого года. Я просыпаюсь раньше всех и лежу, не зная, сплю я или уже проснулся. Как во сне, мне представляется наш Энск, крепостной вал, понтонный мост, дома на пологом берегу. Гаер Кулий, старик Сковородников, тетя Даша, читающая чужие письма с поучительным выражением. Я – маленький, стриженый, в широких штанах. Полно, я ли это?

Лежу и думаю, сплю и не сплю. Энск отъезжает куда–то вместе с чужими письмами, с Гаером, с тетей Дашей. Я вспоминаю Татариновых… Я не был у них два года. Николай Ан- тоныч все еще ненавидит меня. В моей фамилии ни одного шипящего звука, тем не менее, он произносит ее с шипением. Нина Капитоновна все еще любит меня: недавно Кораблев передал от нее «поклон и привет». Как–то Марья Васильевна? Все сидит на диване и курит? А Катя?

Я смотрю на часы. Скоро семь. Пора вставать – я дал себе слово вставать до звонка. На цыпочках я бегу к умывальнику и делаю гимнастику перед открытым окном. Холодно, сне- жинки залетают в окно, крутятся, падают на плечи, тают. Я умываюсь до пояса – и за книгу. За чудесную книгу – «Южный полюс» Амундсена, которую и читаю в четвертый раз.

Я читаю о том, как юношей семнадцати лет он встретил Нансена, вернувшегося из своего знаменитого дрейфа, о том, как «весь день он проходил по улицам, украшенным флагами, среди толпы, кричавшей „ура“, и кровь стучала у него в висках, а юношеские мечты поднимали целую бурю в его душе».

Холод бежит по моим плечам, по спине, по ногам, и даже живот покрывается ледяны- ми мурашками. Я читаю, боясь пропустить хоть слово. Уже доносятся голоса из кухни: де- вушки, разговаривая, идут в столовую с посудой, а я все читаю. У меня горит лицо, кровь стучит в висках. Я все читаю – с волнением, с вдохновением. Я знаю, что навсегда запомню эту минуту…

Снова полный круг – и я вижу себя в маленькой, давно знакомой комнате, в которой за три года проведены почти все вечера. По поручению комсомольской ячейки я в первый раз веду кружок по коллективному чтению газет. В первый раз – это страшно. Я знаю «текущий момент», «национальную политику», «международные вопросы». Но международные ре- корды я знаю еще лучше – на высоту, на продолжительность, на дальность полета. А вдруг спросят о снижении цен? Но все проходит благополучно. Кто–то из девочек просит расска- зать биографию Ленина, а уж биографию–то Ленина я знаю отлично.

Все теснее становится в комсомольской ячейке. На пороге стоит и внимательно слу- шает меня Кораблев. Он трогает пальцами усы – ура! – значит, доволен. Чувство радости и гордости охватывает меня. Я говорю – и думаю с изумлением: «Ох, как я хорошо говорю!»

Это – мое первое общественное выступление, если не считать случая у костра, когда была низвергнута власть Степы Иванова. Кажется, оно удалось. На следующий день препо- даватель обществоведения вызвал меня, попросил повторить биографию Ленина и сказал.

«Если я заболею, меня заменит Саня Григорьев».

Еще один полный круг – и мне семнадцать лет.

Вся школа в актовом зале. За большим красным столом – члены суда. По левую руку – защитник. По правую – общественный обвинитель. На скамье подсудимых – подсудимый.

* Подсудимый, ваше имя? – говорит председатель.
* Евгений.
* Фамилия?
* Онегин.

Это был памятный день.

**Глава 2.**

**СУД НАД ЕВГЕНИЕМ ОНЕГИНЫМ.**

Сначала никто в школе не интересовался этой затеей. Но вот кто–то из актрис нашего театра предложил поставить «Суд над Евгением Онегиным» как пьесу, в костюмах, и сразу о нем заговорила вся школа.

Для главной роли был приглашен сам Гришка Фабер, который вот уже год как учился в театральном училище, но по старой памяти иногда еще заходил взглянуть на наши премь- еры. Свидетелей взялись играть наши актеры, только для няни Лариных не нашлось костю- ма, и пришлось доказывать, что в пушкинские времена няни одевались так же, как и в наши, Защиту поручили Вальке, общественным обвинителем был наш воспитатель Суткин, а председателем – я…

В парике, в синем фраке, в туфлях с бантами, в чулках до колен преступник сидел на скамье подсудимых и небрежно чистил ногти сломанным карандашом. Иногда он надменно и в то же время как–то туманно посматривал на публику, на членов суда. Должно быть, так, по его мнению, вел бы себя при подобных обстоятельствах Евгений Онегин.

В комнате свидетелей (бывшая учительская) сидели старуха Ларина с дочками и няня. Они, напротив, очень волновались, особенно няня, удивительно моложавая и хорошенькая для своих лет. Защитник тоже волновался и почему–то все время держал навесу толстую палку с документами. Вещественные доказательства – два старинных пистолета – лежали передо мной на столе. За моей спиной слышался торопливый шепот режиссеров.

* Признаете ли вы себя виновным? – спросил я Гришку.
* В чем?
* В убийстве под видом дуэли, – прошептали режиссеры.
* В убийстве под видом дуэли, – сказал, я и добавил, заглянув в обвинительное заклю- чение: – поэта Владимира Ленского, восемнадцати лет.
* Никогда! – надменно отвечал Гришка. – Надо различать, что дуэль – не убийство.
* В таком случае, приступим к допросу свидетелей, – объявил я. – Гражданка Ларина, что вы можете показать по этому делу?

На репетиции это было очень весело, а тут все невольно чувствовали, что ничего не выходит. Только Гришка плавал, как рыба в воде. То он вынимал гребешок и расчесывал баки, то в упор смотрел на членов суда каким–то укоряющим взором, то гордо закидывал голову и презрительно улыбался. Когда свидетельница, старуха Ларина, сказала, что у них в доме Онегин был как родной, Гришка одной рукой прикрыл глаза, я другую положил на сердце, чтобы показать, как он страдает. Он чудно играл, и я заметил, что свидетельницы, особенно Татьяна и Ольга, просто глаз с него не сводили. Татьяна – еще куда ни шло: ведь она влюблена в него по роману, а вот Ольга – та совершенно выходила из роли. Публика тоже смотрела только на Гришку, а на нас никто не обращал никакого внимания

Я отпустил свидетельницу, старуху Ларину, и вызвал Татьяну. Ого, как она затрещала! Она была совершенно не похожа на пушкинскую Татьяну, разве только своей татьянкой да локонами до плеч. На мой вопрос, считает ли она Онегина виновным в убийстве, она уклончиво ответила, что Онегин – эгоист.

Я дал слово защитнику, и с этой минуты все пошло вверх ногами, во–первых, потому, что защитник понес страшную чушь, а во–вторых, потому, что я увидел Катю.

Понято, она очень переменилась за четыре года. Но косы, перекинутые на грудь, по–прежнему были в колечках, и такие же колечки на лбу. По–прежнему она щурилась с независимым видом, и нос был такой же решительный, – кажется, и через сто лет я узнал бы ее по этому носу.

Она внимательно слушала Вальку. Это была самая главная ошибка – поручить защиту Вальке, который во всем мире интересовался одной зоологией. Он начал очень странного утверждения, что дуэли бывают и в животном мире, но никто не считает их убийствами. Потом он заговорил о грызунах и так увлекся, что стало просто непонятно, как он вернется к защите Евгения Онегина. Но Катя слушала его с интересом. Я знал по прежним годам, что

когда она грызет косу, значит ей интересно. Из девочек только она не обращала на Гришку никакого внимания.

Валька вдруг кончил, и слово получил общественный обвинитель. Это было уже со- всем скучно. Битый час общественный обвинитель доказывал, что хотя Ленского убило по- мещичье и бюрократическое общество начала XIX века, но все–таки Евгений Онегин цели- ком и полностью отвечает за это убийство, «ибо всякая дуэль – убийство, только с заранее обдуманным намерением».

Словом, общественный обвинитель считал, что Евгения Онегина нужно приговорить к десяти годам с конфискацией имущества.

Никто не ожидал такого предложения, и в зале раздался хохот. Гришка гордо вско- чил… Я дал ему слово.

Говорят, актеры чувствуют настроение зрителей. Должно быть, и Гришка чувствовал, потому что с первого слова он начал страшно орать, чтобы «поднять зал», как он потом объяснил, Но ему не удалось «поднять зал». В его речи был один недостаток: нельзя было понять, говорит он от своего имени или от имени Евгения Онегина. Едва ли Онегин мог сказать, что Ленский «любил задаваться». Или что у него «и теперь не дрогнула бы рука, чтобы попасть Владимиру Ленскому в сердце».

Словом, все свободно вздохнули, когда он сел, вытирая лоб, очень довольный собой.

* Суд удаляется на совещание.
* Поскорее, ребята!
* Скучно!
* Затянули!

Все это было совершенно верно, и мы, не сговариваясь, решили провести совещание в два счета. К моему изумлению, большинство членов суда согласилось с общественным об- винителем. Десять лет с конфискацией имущества. Ясно, что Евгений Онегин был тут ни при чем. К десяти годам собирались приговорить Гришку, который всем надоел, кроме сви- детельниц Татьяны и Ольги, Но я сказал, что это несправедливо: Гришка все–таки хорошо играл и без него было бы совсем скучно. Сошлись на пяти годах.

* Встать! Суд идет!

Все встали. Я объявил приговор.

* Неправильно!
* Оправдать!
* Долой!
* Ладно, товарищи, – сказал я мрачно. – Я тоже считаю, что неправильно. Я считаю, что Евгения Онегина нужно оправдать, а Гришке выразить благодарность. Кто – за?

Все с хохотом подняли руки.

* Принято единогласно. Заседание закрыто…

Я был страшно зол. Напрасно взялся я за это дело. Может быть, нужно было превра- тить весь этот суд в шутку. Но как это сделать? Мне казалось, что все видят, как я ненаход- чив и неостроумен.

В таком–то дурном настроении я выше в раздевалку и как раз встретился с Катей. Она только что получила пальто и пробивалась на свободное место, поближе к выходу.

* Здравствуй, – сказала она и засмеялась. – Подержи–ка пальто. Вот так суд! Она сказала это так, как будто мы вчера расстались.
* Здравствуй! – ответил я мрачно. Она посмотрела на меня с интересом.
* Вот ты какой стал!
* А что?
* Гордый. Ну, бери пальто, и пошли!
* Куда?
* Ну, господи, куда! Хоть до угла. Не очень–то вежливый. Я пошел с нею без пальто, но она вернула меня с лестницы:
* Холодно и сильный ветер…

Вот какой она запомнилась мне, когда я догнал ее на углу Тверской и Садо- во–Триумфальной.

Она была в сером треухе с не завязанными ушами, и колечки на лбу успели заинде- веть, пока я бегал в школу. Ветер относил полу ее пальто, и она стояла, немного наклонясь, придерживая пальто рукою. Она была среднего роста, стройная и, кажется, очень хоро- шенькая. Я говорю: кажется, потому что тогда об этом не думал. Конечно, ни одна девочка из нашей школы не посмела бы так командовать: «Бери пальто, пошли!»

Но ведь это была Катька, которую я таскал за косу и тыкал носом в снег. Все–таки это была Катька!

За те два часа, что она провела у нас, она успела познакомиться со всеми делами нашей школы. Она пожалела, что умер Бройтман, учитель рисования, которого все любили. Она знала, что все смеются над немкой, которая на старости лет постриглась и стала красить губы. Она рассказала мне содержание ближайшего номера нашей стенной газеты. Оказыва- ется, он будет целиком посвящен суду над Евгением Онегиным. Одна карикатура уже гуля- ла по рукам. Валька под лозунгом «Дуэли случаются и в животном мире» разнимал деру- щихся собак. Гришка Фабер был изображен с гребешком в руках, томно взирающим на свидетельниц Татьяну и Ольгу.

– Послушай, а почему все зовут тебя капитаном? Ты хочешь идти в морское училище,

да?

* Еще не знаю, – сказал я, хотя уже давным–давно знал, что пойду не в морское учи-

лище, а в летную школу.

Я проводил ее до ворот знакомого дома, и она пригласила меня заходить…

* + Неудобно.
  + Почему? Какое мне дело, что ты с Николаем Антонычем в плохих отношениях! О тебе бабушка вспоминала. Заходи, а?
  + Нет, неудобно.

Катя холодно пожала плечами.

* + Ну, как хочешь.

Я догнал ее во дворе.

* + Какая ты дура Катька! Я тебе говорю – неудобно. Лучше давай пойдем куда–нибудь вместе, а? На каток? Катя посмотрела на меня и вдруг задрала нос, как бывало в детстве.
  + Я подумаю, – важно сказала она. – Позвони мне завтра часа в четыре. Фу, как хо- лодно! Даже зубы мерзнут.

**Глава 3.**

**НА КАТКЕ.**

Еще в те годы, когда я увлекся Амундсеном, мне пришла в голову простая мысль. Вот она: на самолете Амундсен добрался бы до Южного полюса в семь раз быстрее. С каким трудом он продвигался день за днем по бесконечной снежной пустыне. Он шел два месяца вслед за собаками, которые, в конце концов, съели друг друга. А на самолете он долетел бы до Южного полюса за сутки. У него не хватило бы друзей и знакомых чтобы назвать все горные вершины, ледники и плоскогорья, которые он открыл бы в этом полете.

Каждый день я делал огромные выписки из полярных путешествий. Я вырезывал из газет заметки о первых полетах на север и вклеивал их в старую конторскую книгу. На пер- вой странице этой книги было написано: «вперед» – называется его корабль. «Вперед», – говорит он, и действительно стремится вперед. Нансен об Амундсене». Это было моим де- визом. Я мысленно пролетел на самолете за Скоттом, за Шеклтоном, за Робертом Пири. По всем маршрутам. А раз в моем распоряжении находился Самолет, нужно было заняться его устройством.

Согласно третьему пункту моих правил – «Что решено – исполни», – я прочитал

«Теорию самолетостроения». Ох, что это была за мука! Но все, чего я не понял, я, на всякий случай, выучил наизусть.

Каждый день я разбирал свой воображаемый самолет. Я изучил его мотор и винт. Я оборудовал его новейшими приборами. Я знал его, как свои пять пальцев. Одного только я еще не знал: как на нем летать. Но именно этому я и хотел научиться. Мое решение было тайной для всех, даже для Кораблева. В школе считали, что я раз- брасываюсь, а мне не хотелось, чтобы о моей авиации говорили: «Новое увлечение». Это было не увлечение. Мне казалось, что я давно решил сделаться, летчиком, еще в Энске, в тот день, когда мы с Петькой лежали в соборном саду, раскинув руки крестом, и старались днем увидеть луну и звезды, когда серый, похожий на крылатую рыбу самолет легко обошел об- лака и пропал на той стороне Песчинки. Конечно, это мне только казалось. Но все же неда- ром так запомнился мне этот самолет. Должно быть, и в самом деле тогда я впервые поду- мал о том, что теперь занимало все мои мысли.

Итак, я скрыл свою тайну от всех. И вдруг – открыл ее. Кому же? Кате.

В этот день мы с утра сговорились пойти на каток, и все нам что–то мешало. То Катя откладывала, то я. Наконец собрались, пошли, катанье началось неудачно. Во–первых, при- шлось на морозе прождать с полчаса: каток был завален снегом, закрыт, и снег убирали. Во–вторых, у Кати на первом же круге сломался каблук, и пришлось прихватить конек ре- мешком, который я взял с собой на всякий случай. Это бы еще полбеды. Но ремешок мой все время расстегивался. Пришлось вернуться в раздевалку и отдать его сердитому красно- щекому слесарю, который с ужасным скрежетом точил коньки на круглом грязном точиле. Только что починил он пряжку, как самый ремешок оборвался, а он был свиной, я попро- буйте–ка скрюченный свечой ремешок завязать на морозе! Наконец все было в порядке. Снова пошел снег, и мы долго катались, взявшись за руки, большими полукругами то впра- во, то влево. Эта фигура называется голландским шагом.

Снег мешает хорошим конькобежцам, но как приятно, когда на катке вдруг начинает идти снег! Никогда на катке снежинки не падают ровно на лед. Они начинают кружиться – потому что люди, кружащиеся на льду, поднимают ветер, – и долго взлетают то вверх, то вниз, пока не ложатся, на светлый лед. Это очень красиво, и я почувствовал, что все на свете хорошо. Я знал, что и Катя чувствует это, несмотря на твердый, как железо, свиной реме- шок, который уже натер ей ногу, и тоже радуется, что идет снег и что мы катаемся с ней просторным – голландским шагом.

Потом я стоял у каната, которым была огорожена фигурная площадка, и смотрел, как Катя делает двойную восьмерку. Сперва у нее ничего не выходило, она сердилась и говори- ла, что во всем виноват каблук, потом вдруг вышло, и так здорово, что какой–то толстяк, старательно выписывавший круги, даже крякнул и крикнул ей:

– Хорошо!

И я слышал, как она и ему пожаловалась на сломанный каблук.

Да, хорошо. Я замерз, как собака, и, махнув Кате рукой, сделал два больших круга – согреться.

Потом мы снова катались голландским шагом, а потом уселись под самым оркестром, и Катя вдруг приблизила ко мне разгоряченное, раскрасневшееся лицо с черными живыми глазами. Я подумал, что она хочет сказать мне что–нибудь на ухо, и спросил громко:

* А?

Она засмеялась.

* Ничего, просто так. Жарко.
* Катька, – сказал я. – Знаешь что?.. Ты никому не расскажешь?
* Никому.
* Я иду в летную школу.

Она захлопала глазами, потом молча уставилась на меня.

* Решил?
* Ага.
* Окончательно? Я кивнул головой.

Оркестр вдруг грянул, и я не расслышал, что она сказала, стряхивая снег с жакетки и платья.

* Не слышу!

Она схватила меня за руку, и мы поехали на другую сторону катка, к детской площад- ке. Здесь было темно и тихо, площадка завалена снегом. Вдоль катальной горки были наса- жаны ели и вокруг площадки маленькие ели – как будто мы были где–нибудь за городом, в

лесу.

* А примут?
* В школу?
* Да.

Это был страшный вопрос. Каждое утро я делал гимнастику по системе Анохина и

холодное обтирание по системе Мюллера. Я щупал свои мускулы и думал: «А вдруг не примут?» Я проверял глаза, уши, сердце. Школьный врач говорил, что я здоров. Но здоровье бывает разное, – ведь он не знал, что я собираюсь в летную школу. А вдруг я нервный? А вдруг еще что–нибудь? Рост! Проклятый рост! За последний год я вырос всего на полтора сантиметра.

* + Примут, – решительно отвечал я.

Катя посмотрела на меня, кажется, с уважением…

Мы ушли с катка, когда уже погасили свет и сторож в валенках, какой–то странный на льду, удивительно медленный, хотя он шел обыкновенным шагом, пронзительно засвистел и двинулся к нам с метлой.

В пустой раздевалке мы сняли коньки. Буфет был уже закрыт, но Катя подъехала к буфетчице, назвала ее «нянечкой», и та растрогалась и дала нам по булочке и по стакану холодного чая. Мы пили и разговаривали.

– Какой ты счастливый, что уже решил, – со вздохом сказала Катя, – а я еще, не знаю. После того как я сказал, что иду в летную школу, мы говорили только о серьезных ве-

щах, главным образом о литературе. Ей очень нравился «Цемент» Гладкова, и она ругала меня за то, что я еще не читал. Вообще Катя читала гораздо больше меня, особенно художе- ственной литературы.

Потом мы заговорили о любви и сошлись на том, что это – ерунда. Сперва я усомнил- ся, но Катя очень решительно сказала: «Разумеется, ерунда» – и привела какой–то пример из Гладкова. И я согласился.

Мы возвращались по темным ночным переулкам, таким таинственным и тихим, как будто это были не Скатертные и Ножовые переулки, а необыкновенные лунные улицы, на Луне.

**Глава 4.**

**ПЕРЕМЕНЫ.**

Мы Катей не говорили о ее домашних делах. Я только спросил, как Марья Васильевна, и она отвечала:

* Спасибо, ничего.
* А Нина Капитоновна?
* Спасибо, ничего.

Может быть, и «ничего», но я подумал, что плохо. Иначе Кате не пришлось бы, например, выбирать между катком и трамваем. Но дело было не только в деньгах. Я пре- красно помнил, как в Энске мне не хотелось возвращаться домой, когда Гаер Кулий стал у нас полным хозяином и мы с сестрой должны были называть его «папа». По–моему, что–то в этом роде чувствовала и Катя. Она помрачнела, когда нужно было идти домой. В доме у них было неладно. Вскоре я встретился с Марьей Васильевной и окончательно убедился в этом.

Мы встретились в театре на «Принцессе Турандот». Катя достала три билета – третий для Нины Капитоновны. Но Нина Капитоновна почему–то не пошла, и билет достался мне.

Я часто бывал в театре. Но одно дело – культпоход, а другое – Марья Васильевна и Катя. Я взял у Вальки рубашку с отложным воротничком, а у Ромашки – галстук. Этот под- лец потребовал залог.

* А вдруг потеряешь?

Пришлось оставить в залог рубль.

Мы пришли из разных мест, и Катя чуть не опоздала. Она примчалась, когда билетер- ша уже запирала двери

* А мама?

Мама была в зрительном зале. Она окликнула нас, когда, наступая в темноте на чьи–то ноги, мы искали наши места…

В нашей школе много говорили о «Принцессе Турандот» и даже пытались поставить. Гришка Фабер утверждал, что в этой пьесе все мужские роли написаны для него, как нароч- но. Поэтому в первом акте мне некогда было смотреть на Марью Васильевну. Я только за- метил, что она по–прежнему очень красивая, даже, может быть, стала еще красивее. Она переменила прическу, и весь высокий белый лоб был виден. Она сидела прямо и, не отры- ваясь, смотрела на сцену.

Зато в антракте я рассмотрел ее как следует – и огорчился. Она похудела, постарела. Глаза у нее стали совсем огромные и совсем мрачные. Я подумал, что тот, кто увидел бы ее впервые, мог бы испугаться этого мрачного взгляда.

Мы говорили о «Принцессе Турандот», и Катя объявила, что ей не очень нравится. Я не знал, нравится мне или нет, и согласился с Катей. Но Марья Васильевна сказала, что это – чудесно.

* А вы с Катей еще маленькие и не понимаете.

Она спросила меня о Кораблеве – как он поживает, и мне показалось, что она немного порозовела, когда я сказал:

* Кажется, хорошо.

На самом деле Кораблев поживал не очень–то хорошо. В начале зимы он был серьезно болен. Но мне казалось, Что Кораблев тоже ответил бы ей «хорошо», даже если бы он чув- ствовал себя очень плохо. Конечно, он не забыл, что она ему отказала.

Возможно, что теперь она немного жалела об этом. Пожалуй, она не стала бы так по- дробно расспрашивать о нем. Она интересовалась даже, в каких классах он преподает и как к нему относятся в школе.

Я отвечал односложно, и она, в конце концов, рассердилась.

– Фу, Саня, от тебя двух слов не добиться! «Да» и «нет». Как будто язык проглотил, – сказала она с досадой.

Без всякого перехода она вдруг заговорила о Николае Антоныче. Очень странно. Она сказала, что считает его замечательным человеком. Я промолчал.

Антракт кончился и мы пошли смотреть второе действие. Но в следующем антракте она опять заговорила о Николае Антоныче. Я заметил, что Катя нахмурилась. Губы у нее дрогнули, она хотела что–то сказать, но удержалась.

Мы ходили по кругу в фойе, и Марья Васильевна все время говорила о Николае Ан- тоныче. Это было невыносимо. Но это еще и поражало меня: ведь я не забыл, как они преж- де к нему относились.

Ничего похожего! Он оказывается, человек редкой доброты и благородства. Всю жизнь он заботился о своем двоюродном брате (я впервые услышал, как Марья Васильевна назвала покойного мужа Ваней), в то время как ему самому подчас приходилось туго. Он пожертвовал всем своим состоянием, чтобы снарядить его последнюю несчастную экспе- дицию.

– Николай Антоныч верил в него, – сказала она с жаром.

Все это я слышал от самого Николая Антоныча и даже в тех же выражениях. Прежде Марья Васильевна не говорила его словами. Тут что–то было, Тем более, что хотя она гово- рила очень охотно, даже с жаром, мне все мерещилось, что она сама хочет уверить себя, что все это именно так: что Николай Антоныч – необыкновенный человек и что покойный муж решительно всем ему обязан.

Весь третий акт я думал об этом. Я решил, что непременно расспрошу Катю об ее от- це. Портрет моряка с широким лбом, сжатыми челюстями и светлыми живыми глазами вдруг представился моему воображению. Что это за экспедиция, из которой он не вернул- ся?..

После спектакля мы остались в полутемном зрительном зале подождать, пока в разде- валке станет поменьше народу.

* Саня, что же ты никогда не зайдешь? – спросила Марья Васильевна. Я что–то пробормотал.

* Я думаю, что Николай Антоныч давно забыл об этой глупой истории, – продолжала Марья Васильевна строго. – Если хочешь, я поговорю с ним.

Мне вовсе не хотелось, чтобы она выпрашивала у Николая Антоныча позволение бы- вать у них, и я чуть–чуть не сказал ей: «Спасибо, не нужно».

Но в это время Катя заявила, что Николай Антоныч тут совершенно ни причем, потому что я буду приходить к ней, а не к нему.

* Нет, нет! – испуганно сказала Марья Васильевна. – Зачем же? И ко мне, и к маме.

**Глава 5.**

**КАТИН ОТЕЦ.**

Что же это была за экспедиция? Что за человек был Катин отец? Я знал только, что он был моряк и что он умер. Умер ли? Катя никогда не называла отца «покойный». Вообще, кроме Николая Антоныча, который, напротив, очень любил это слово, у Татариновых не очень часто говорили о нем. Портреты висели во всех комнатах, но говорили о нем не осо- бенно часто.

В конце концов, мне надоело гадать, тем более, что можно было просто спросить у Кати, где ее отец и жив он или умер. Я и спросил.

Вот что она мне рассказала.

Ей было три года, но она ясно помнит тот день, когда уезжал отец. Он был высокий, в синем кителе, с большими руками. Рано утром, когда она еще спала, он вошел в комнату и наклонился над ее кроватью. Он погладил ее и что–то сказал, кажется: «посмотри, Маша, какая она бледная. Обещаешь, что она побольше будет на воздухе, ладно?» И Катька чуть–чуть приоткрыла глаза и увидела заплаканную маму. Но она не показала, что просну- лась, ей было весело притворяться спящей. Потом они сидели в большом светлом зале за длинным столом, на котором стояли маленькие белые горки. Это были салфетки. Катька засмотрелась на эти салфетки и не заметила, что мама удрала от нее, а на ее месте теперь сидела бабушка, которая все вздыхала и говорила: «Господи!» А мама в странном, незнако- мом платье с шарами на плечах сидела рядом с отцом и издалека подмигивала Катьке.

За столом было очень весело, много народу, все смеялись и громко говорили. Но вот отец встал с бокалом вина, и сразу все замолчали. Катька не понимала, что он говорил, но она помнила, что все захлопали и закричали «ура», когда он кончил, а бабушка снова про- бормотала: «Господи!» – и вздохнула. Потом все прощались с отцом и еще с какими–то мо- ряками, и он на прощание высоко подкинул Катьку и поймал своими добрыми большими руками.

– Ну, Машенька, – сказал он маме. И они поцеловались крест на крест…

Это был прощальный ужин и проводы капитана Татаринова на Энском вокзале. В мае двенадцатого года он приехал в Энск проститься с семьей, а в середине июня вышел на шхуне «Св. Мария» Из Петербурга во Владивосток…

Первое время все было по–прежнему. Только в жизни появилась одна совершенно но- вая вещь: письмо от папы. «Вот подожди, придет письмо от папы». И письмо приходило. Случалось, что оно не приходило неделю–другую, но потом все–таки приходило. И вот пришло последнее письмо, из Югорского Шара. Правда, оно было последнее, но мама не особенно огорчилась и даже сказала, что так и должно быть: «Св. Мария» шла вдоль таких мест, где не было почты, да и ничего не было, кроме льда и снега.

Так и должно быть. И папа сам написал, что писем больше не будет. Но все–таки это было очень грустно, имама с каждым днем становилась все молчаливее и грустнее.

«Письмо от папы» – это была прекрасная вещь. Например, бабушка всегда пекла пи- рог, когда приходило письмо от папы. А теперь вместо этой прекрасной вещи, от которой всем становилось весело, в жизни появились длинные, скучные слова: «Так и должно быть», или: «Еще ничего и не может быть».

Эти слова повторялись каждый день, особенно по вечерам, когда Катька ложилась спать, а мама с бабушкой все говорили и говорили. А Катька слушала. Ей давно хотелось сказать: «Наверно, его волки съели», но она знала, что мама рассердится, и не говорила.

Отец «зимовал». В Энске давно уже было лето, а он все еще «зимовал». Это было очень странно, но Катька ничего не спрашивала. Она услышала, как бабушка однажды ска- зала соседке: «Все говорим – зимует, а жив ли – бог весть».

Потом мама написала «прошение на высочайшее имя». Это прошение Катька пре- красно помнила – она была уже большая. Жена капитана Татаринова просила о снаряжении вспомогательной экспедиции для сказания помощи ее несчастному мужу. Она указывала, что главным поводом путешествия «безусловно, являлись народная гордость и честь стра- ны». Она надеялась, что «всемилостивейший государь» не оставит без поддержки отважного путешественника, всегда готового пожертвовать жизнью ради «национальной славы»…

Катьке казалось, что «высочайшее имя» – это что–то вроде крестного хода: много народу и впереди архиерей в малиновой шапке. Оказалось, что это – просто царь. Царь дол- го не отвечал, и бабушка ругала его каждый вечер. Наконец пришло письмо из его канцеля- рии. В очень вежливой форме канцелярия советовала маме обратиться к морскому мини- стру. Но обращаться к морскому министру не стоило. Ему уже докладывали об этом, и он сказал: «Жаль, что капитан Татаринов не вернулся. За небрежное обращение с казенным имуществом я бы немедленно отдал его под суд».

Потом в Энск приехал Николай Антоныч, и в доме появились новые слова: «Никакой надежды». Он сказал это бабушке шепотом. Но все как–то узнали об этом: и бабушкины родственники Бубенчиковы, и Катькины подруги. Все, кроме мамы.

Никакой надежды. Никогда не вернется. Никогда не скажет что–нибудь смешное, не станет спорить с бабушкой, что «перед обедом полезно выпить рюмку водки, ну, а если не полезно, так уж не вредно, а если не вредно, так уж приятно». Никогда не станет смеяться над мамой, что она так долго одевается, когда они идут в театр. Никто не услышит, как он поет по утрам, одеваясь: «Что наша жизнь? Игра!»

Никакой надежды! Он остался где–то далеко, на Крайнем Севере, среди снега и льда, и никто из его экспедиции не вернулся.

Николай Антоныч говорил, что папа был сам виноват. Экспедиция была снаряжена превосходно. Одной муки было пять тысяч килограммов, австралийских мясных консервов

* тысяча шестьсот восемьдесят восемь килограммов, окороков – двадцать. Сухого бульона Скорикова – семьдесят килограммов. А сколько сухарей, макарон, кофе! Половина большо- го салона была отгорожена и завалена сухарями. Была взята даже спаржа – сорок килограм- мов. Варенье, орехи. И все это было куплено на деньги Николая Антоныча. Восемьдесят чудных собак, чтобы в случае аварии можно было вернуться домой на собаках.

Словом, если папа погиб, то, без сомнения, по своей собственной вине. Легко предпо- ложить, например, что там, где следовало подождать, он торопился. По мнению Николая Антоныча, он всегда торопился. Как бы то ни было, он остался там, на Крайнем Севере, и никто не знает, жив он или умер, потому что из тридцати человек команды ни один не вер- нулся домой.

Но у них в доме он долго еще был жив. А вдруг откроется дверь – и войдет! Таким же, каким он был последний день на Энском вокзале. В синем кителе, в твердом белом ворот- ничке, открытом, каких теперь уже не носят. Веселый, с большими руками.

Многое в доме было еще связано с ним. Мама курит – все знают, что она стала курить, когда он пропал. Бабушка гонит Катьку на улицу – снова он: он велел, чтобы Катька почаще бывала на воздухе. Книги с мудреными названиями в узком стеклянном шкафу, которые никому не давали читать, – его книги.

Потом они переехали в Москву, в квартиру Николая Антоныча – и все переменилось. Теперь никто не надеялся, что вдруг откроется дверь – и войдет. Ведь это был чужой дом, и котором он никогда не был.

**Глава 6.**

**СНОВА ПЕРЕМЕНЫ.**

Быть может, я не пошел бы к Татариновым, если бы Катя не пообещала мне показать книги и карты капитана. Я посмотрел маршрут, и оказалось, что это тот самый: знаменитый

«северо–восточный проход», который искали лет триста. Наконец шведский путешествен- ник Норденшельд прошел его в 1871 году. Без сомнения, это было не очень просто, потому что минуло еще двадцать пять лет, прежде чем другой путешественник – Велькицкий – по- вторил его путь, только в обратном направлении. Словом, все это было очень интересно, и я решил пойти…

Ничего не переменилось в квартире Татариновых, только вещей стало заметно мень-

ше.

Исчезла, между прочим, картина Левитана, которая мне когда–то так понравилась, –

прямая, просторная дорога в саду и сосны, освещенные солнцем. Я спросил у Кати, куда она делась.

* Подарили, – коротко отвечала Катя. Я промолчал.
* Николаю Антонычу, – вдруг язвительно добавила Катя, – он обожает Левитана. Должно быть, Николаю Антонычу подарили не только Левитана, потому что в столо-

вой вообще стало как–то пустовато. Но морской компас по–прежнему стоял на своем месте, и стрелка по–прежнему показывала на север.

Никого не было – ни Марьи Васильевны, ни старушки.

Потом старушка пришла. Я слышал, как она раздевалась в передней и жаловалась Ка- те, что все опять стало дорого: капуста шестнадцать копеек, телятина тридцать копеек, по- минанье сорок копеек, яйца рубль двадцать копеек.

Я засмеялся и вышел в переднюю.

* Нина Капитоновна, а лимон? Она обернулась с недоумением.
* Лимон мальчишки не утащили?
* Саня! – сказала Нина Капитоновна и всплеснула руками.

Она потащила меня к окну, осмотрела со всех сторон и осталась недовольна.

* Короток, – сказала она с огорчением. – Не растешь.

Она побежала в кухню – поставить молоко на примус – и через несколько минут вер- нулась обратно.

* Лимон вспомнил, – сказала она и засмеялась. – А что ж! И тащат!

Она стала совсем старенькая, согнулась и похудела. Знакомая безрукавка зеленого бархата висела на ней, худые плечи торчали. Но у нее по–прежнему был бодрый, озабочен- ный вид, а сейчас еще и веселый. Она очень обрадовалась мне, гораздо больше, чем я думал.

* Говорят, надо сырую гречу есть, – уверенно сказала она, – и вырастешь. У нас в Эн- ске попик был. Вот какой! Все гречу ел.
* И вырос? – серьезно спросила Катя.
* Не вырос, а у него голос гуще стал. А прежде был писклявый–писклявый. Она засмеялась и вдруг вспомнила о молоке.
* Ах! Убежало!

И она сама убежала.

Мы с Катей долго смотрели на книги и карты капитана. Здесь был Нансен

* «В стране льда и ночи», потом «Лоции Карского моря» и другие. В общем, книг было немного, но все до одной интересные. Очень хотелось попросить что–нибудь почитать, но я, разумеется, прекрасно понимал, что это неудобно. Поэтому я удивился, когда Катя вдруг сказала:
* Возьми что–нибудь, хочешь?
* А можно?
* Можно, – не глядя на меня, отвечала Катя.

Я не стал особенно размышлять, почему именно мне оказано такое доверие, а принял- ся, не теряя времени, отбирать книги. Ужасно хотелось взять все, но это было невозможно, и я отобрал штук пять. Среди них была, между прочим, брошюра самого капитана. Она назы- валась: «Причины гибели экспедиции Грили».

Я пришел к Татариновым нарочно с таким расчетом, чтобы не застать Николая Анто- ныча: в это время всегда происходило заседание педагогического совета. Но, должно быть, заседание отменили, потому что он вернулся домой. Мы с Катей так заболтались, что не

слышали звонка, и вдруг в соседней комнате раздались шаги и солидный кашель. Катя нахмурилась и захлопнула дверь.

Почти в ту же минуту дверь открылась, и Николай Антоныч появился на пороге.

* Я тысячу раз просил тебя, Катюша, не хлопать так громко дверьми, – сказал он. – Тебе пора отвыкать от этих привычек…

Конечно, он сразу увидел меня, но ничего не сказал, только немного прищурил глаза и кивнул. Я тоже кивнул.

* Мы живем в человеческом обществе, – мягко продолжал Николай Антоныч. – И од- ной из движущих сил этого общества является чувство уважения друг к другу, Ведь ты же знаешь, Катюша, что я не выношу громкого хлопанья дверьми. Остается подумать, что ты сделала это нарочно. Но я не хочу этого думать, да, не хочу…

И так далее, и так далее.

Я сразу понял, что он мелет эту галиматью, просто чтобы позлить Катю. Но прежде, помнится, он не осмеливался так разговаривать с ней.

Он ушел наконец, но нам уже расхотелось смотреть книги капитана. Кроме того, все время, пока Николай Антоныч говорил, Катя стояла спиной к столу, на котором лежали книги. Он ничего не заметил. Но я–то понял, в чем дело: он не должен знать, что она позво- лила мне взять эти книги.

Словом, настроение было испорчено, и я стал собираться домой. Жаль, что я не ушел в ту же минуту! Я замешкался, прощаясь с Катей, и Николай Антоныч вернулся.

* Возможно, что ты обиделась, Катюша, – начал он снова. – Напрасно! Ты, без сомне- ния, отлично знаешь, что я желаю тебе добра и как человек, и как педагог.

Он, мельком взглянул на меня, сморщился и неприятно потянул носом воздух.

* Другое дело, если бы ты была для меня совершенно чужим человеком! Но ты – дочь моего покойного любимого брата. Ты дочь человека, которому я пожертвовал всем – не только всем своим достоянием, но, можно сказать, и самой жизнью.

Я подумал, что Николай Антоныч с каждым годом жертвует покойному брату все больше и больше. Прежде речь шла только о поддержке, «как нравственной, так и матери- альной». Теперь, оказывается, он отдал ему всю жизнь.

* Вот почему, – продолжал Николай Антоныч, – я готов тысячу раз повторять тебе одно и то же, Катюша! Я устал после трудового дня, я имею право на отдых, а вот, видишь же, говорю, с тобой, стараюсь внушить тебе то, что ты давно должна была усвоить сама как по возрасту, так и по развитию.

Катя молчала.

Я видел, как ей это трудно! Но у нее была сильная воля.

Я не мог уйти, прежде чем он кончит. Кроме того, пришлось бы уйти без книг. Поэто- му я сел. Я вовсе не думал его обидеть, а просто устал стоять. Но он обозлился.

* Я напомню тебе, Катюша, – ровным, мягким голосом продолжал он, – одну извест- ную римскую поговорку: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Если ты считаешь возможным водить дружбу с человеком, которому не приходит в голову, что, прежде чем сесть, он должен предложить стул своему педагогу, тогда…

И Николай Антоныч беспомощно раскинул руки.

Я немного смутился – именно потому, что сделал это, вовсе не думая его обидеть. Но тут не выдержала Катя.

* Этомое дело, с кем я дружу! – быстро ответила она и покраснела.

Надо прлагать, что Нина Капитоновна была где–нибудь поблизости, может быть, даже за дверью, потому что, как только Катя сказала это, она сейчас же вошла и захлопотала, за- хлопотала. Молоко вскипело, не хочет ли Николай Антоныч кофе? А то она только что с базара пришла и до обеда далеко… Похоже было, что ей не в первый раз приходится пре- кращать эти – ссоры! Катя слушала ее, упрямо опустивголову, Николай Антоныч – вежливо, но снисходительно…

Я дождался, пока они ушли, и простился с Катей. Я вернулся домой с тяжелым чув- ством. Мне было жаль их – Марью Васильевну, старушку и Катю, Перемены в Доме Тата- риновых ужасно не понравились мне.

**Глава 7.**

**ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ. ВАЛЬКИНЫ ГРЫЗУНЫ. СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ.**

Это был последний год в школе, и, по правде говоря, нужно было заниматься, а не хо- лить на каток или в гости. По некоторым предметам я шел хорошо, например, по математике и географии. А по некоторым – довольно плохо, например, по литературе.

Литературу у нас преподавал Лихо, очень глупый человек, которого вся школа назы- вала Лихосел. Он всегда ходил в кубанской шапке, и мы рисовали эту шапку на доске и в ней проекцией – ослиные уши. Лихо меня не любил и вот по каким причинам. Во–первых, он однажды диктовал что–то и сказал: «Обстрактно». Я поправил его, мы заспорили, и я предложил запросить Академию наук. Он обиделся.

Во–вторых, большинство ребят составляло свои сочинения из книг и статей – прочтет критику и спишет. А а так не любил. Я сперва писал сочинение, а потом читал критику. Вот это–то и не нравилось Лихо! Он надписывал: *«Претензия на оригинальничанье. Слабо!»* Он, разумеется, хотел сказать – на оригинальность. Кто же станет претендовать на оригиналь- ничанье? Словом, я боялся, что по литературе у меня в году будет «плохо».

Для последнего, «выпускного» сочинения Лихо предложил нам несколько тем, из ко- торых самой интересной показалась мне «Крестьянство в послеоктябрьской литературе». Я принялся за нее с жаром, но скоро остыл возможно, что из–за книг, которые дала мне Катя. После этих книг мое сочинение начинало казаться мне дьявольски скучным.

Мало сказать, что это были просто интересные книги. Это были книги Катиного отца, полярного капитана, без вести пропавшего среди снега и льда, как пропали Франклин, Андрэ и другие.

Никогда в жизни я так медленно не читал! Почти на каждой странице были пометки, некоторые строчки подчеркнуты, на полях вопросительные и восклицательные знаки. То капитан был «совершенно согласен», то «совершенно не согласен». Он спорил с Нансеном – это меня поразило. Он упрекал его в том, что, не дойдя до полюса каких–нибудь четырехсот километров, Нансен повернул к земле. На карте, приложенной к книге Нансена, крайняя се- верная точка его дрейфя была обведена красным карандашом. Видимо, эта мысль очень за- нимала капитана, потому что он неоднократно возвращался к ней на полях других книг.

*«Лед сам решит задачу»*, – было написано вдоль одной страницы. Я перевернул ее – и вдруг листок пожелтевшей бумаги выпал из книги. Он был исписан тою же рукой. Вот он:

*«…Человеческий ум до того был поглощен этой задачей, что разрешение ее, несмотря на суровую могилу, которую путешественники по большей части там находили, сделалось сплошным национальным состязанием. В этом состя- зании участвовали почти все цивилизованные страны, и только не было русских, а между тем горячие порывы у русских людей к открытию Северного полюса проявлялись еще во времена Ломоносова и не угасли до сих пор. Амундсен же- лает, во что бы то ни стало оставить за Норвегией честь открытия Северно- го полюса, а мы пойдем в этом году и докажем всему миру, что и русские спо- собны на этот подвиг».*

Должно быть, это был отрывок из какого–то доклада, потому что на обороте стояла надпись: «Начальнику Главного гидрографического управления», и дата: *«17 апреля 1911 года»*.

Стало быть, вот куда метил Катин отец! Он хотел, как Нансен, пройти возможно дальше на север с дрейфующим льдом, а потом добраться до полюса на собаках. По при- вычке, я подсчитал, во сколько раз быстрее он долетел бы до полюса на самолете.

Непонятно было только одно: летом 1912 года шхуна «Св. Мария» вышла из Петер- бурга во Владивосток. При чем же здесь Северный полюс?

На другой день, еще до завтрака, я побежал в швейцарскую и позвонил Кате:

* Катька, разве твой отец отправился на Северный полюс?

Должно быть, она не ожидала такого вопроса, потому что я услышал в ответ удивленное, сонное мычанье. Потом она сказала:

* Н–н–нет. А что?
* Ничего. Он хотел от крайней точки Нансена добраться до полюса на собаках. Эх, ты!
* Почему «эх, ты»?
* О своем отце таких вещей не знаешь. Ты сегодня свободна?
* Иду с Киркой в Зоопарк.

Гм, в Зоопарк! Валька давно звал меня в Зоопарк посмотреть его грызунов, и это было просто свинство, что я до сих пор не собрался!

Я сказал Кате, что встречу ее у входа.

Кирка была та самая Кирен, которая когда–то читала «Дубровского» и доказывала, что

«Маша за него вышла». Она стала теперь огромной девицей с белокурыми косами, завязан- ными вокруг головы. По–прежнему она смотрела Кате в рот и слушалась каждого слова. Только иногда вместо возражений она начинала хохотать, и так неожиданно громко, что все вздрагивали, а Катя привычным терпеливым жестом затыкала уши.

Я условился с Валькой, что он встретит нас у входа, но его почему–то не было, а брать билеты было просто глупо, раз он хвастался, что может провести нас бесплатно.

Наконец он пришел. Он покраснел, когда я знакомил его с девицами, и пробормотал, что боится, что «грызуны – это вам неинтересно». Катя вежливо возразила, что, напротив, очень интересно, если судить о грызунах по той речи, которую он произнес в защиту Евге- ния Онегина. И мы чинно прошли мимо сторожа, которому Валька три раза сказал, что он – сотрудник лаборатории экспериментальной биологии и что это «к нему».

Тогда Зоосад был не то, что теперь. Многие отделения были закрыты, а другие пред- ставляли собою самые обыкновенные, покрытые снегом поля. Валька сказал, что на этих полях живут песцы, что у них есть норы и т.д. Но мы не видели никаких песцов и вообще, ничего, кроме снега, так что пришлось поверить Вальке на слово.

Ему не терпелось показать нам своих грызунов, и он не дал нам посмотреть тигра, слона и других интересных зверей, а через весь Зоосад потащил к какому–то грязноватому дому. В этом доме жили Валькины грызуны. Не знаю, что каждый из нас понимал под этим словом. Во всяком случае, мы сделали вид, что так и думали, что грызуны – это обыкно- венные мыши.

Их было очень много, и все они были чем–то заражены, как с гордостью объявил нам Валька. Он сказал, что в его ведении находятся также и летучие мыши и что он кормит их с рук червяками. В общем, это было довольно интересно, хотя в доме страшно воняло, а Валька все говорил и говорил без конца.

Мы слушали его с уважением. Особенно Кирен. Потом ее вдруг затрясло, и она сказа- ла, что ненавидит мышей.

* Дура, – тихо сказала ей Катя. Кирен засмеялась.
* Нет, правда, гадость, – сказала она.

Валька тоже засмеялся. Я видел, что он обиделся за своих мышей. Мы поблагодарили его и двинулись дальше.

* Вот скука! Посмотрим хоть обезьяны, – предложила Кирен. И мы пошли смотреть обезьян.

Вот где была вонь! И не сравнить с Валькиными грызунами! Кирен объявила, что не будет дышать.

* Эх, ты, а как же сторожа? – сказала Катя.

И мы посмотрели на сторожа, который стоял у клеток с глупым, но значительным ви-

дом.

Это был Гаер Кулий! С минуту я сомневался – ведь я его больше десяти лет не видел.

Но вот он выступил вперед и сказал своим густым противным голосом:

* Обезьяна–макака… Он!

Я посмотрел на него в упор, но он меня не узнал. Он постарел, нос стал какой–то ути- ный. И кудри были уже не те – редкие, грязные, седые. От прежнего молодцеватого Гаера остались только усы кольцами да угри.

* На груди и брюхе животного, – продолжал Гаер с хорошо знакомым мне назида- тельно–угрожающим видом, – вы найдете сосцы, известные как органы молочного развития ихних детей.

Он, он! Мне стало смешно, и Катя спросила меня, почему я улыбаюсь. Я шепнул:

* Взгляни–ка на него. Она посмотрела.
* Знаешь, кто это?
* Ну!
* Мой отчим.
* Врешь!
* Честное слово.

Она недоверчиво подняла брови, потом замигала и стала слушать.

* В следующей клетке вы найдете человекообразного обезьяну–гиббона, поражающего сходством последнего с человеком. У этого гиббона бывает известное помраченье, когда он, как бешеный, носится по своему помещению.

Бедный гиббон! Я вспомнил, как и на меня находило «помраченье», когда этот подлец начинал свои бесконечные разговоры.

Я взглянул на Катю и Киру. Конечно, они подумают, что я сошел с ума! Но я перестал бы себя уважать, если бы прозевал такой случай.

* Палочки должны быть попиндикулярны, – сказал я негромко.

Он покосился на меня, но я сделал вид, что рассматриваю гиббона.

* В следующей клетке, – продолжал Гаер, – вы найдете бесхвостую мартышку из Ги- бралтара. По развитию она, как дети. Она имеет карман во рту, куда обыкновенно кладет про запас лакомые куски своей пищи.
* Ну, понятно, – сказал я, – каждому охота схватить лакомый кусок. Но можно ли назвать подобный кусок обеспечивающим явлением – это еще вопрос.

Я сам не ожидал, что помню наизусть эту чушь. Кирка прыснула. Гаер замолчал и уставился на меня с глупым, но подозрительным видом. Какое–то смутное воспоминанье, казалось, мелькнуло в его тупой башке… Но он не узнал меня. Еще бы!

* Мы их обеспечиваем, – уже другим, угрюмо–деловым тоном сказал он. – Каждый день жрут и жрут. Человек иной не может столько сожрать, как такая тварь.

Он спохватился.

* Посмотрите на них с заду, – продолжал он, – и вы увидите, что эта область является у них ненормально красной. Это не кожа, а твердая кора, вроде мозоль.
* Скажите, пожалуйста, – спросил я очень серьезно, – а бывают говорящие обезьяны? Кирен засмеялась.
* Не слыхал, – недоверчиво возразил Гаер. Он не мог понять, смеюсь я или говорю се- рьезно.
* Мне рассказывали об одной обезьяне, которая служила на пароходной пристани, – продолжал я, – а потом ее выгнали, и она занялась воспитанием детей.

Гаер снисходительно улыбнулся.

* Каких детей?
* Чужих. Она била их подставкой для сапог, – продолжал я, чувствуя, что у меня сердце застучало от этих воспоминаний, – особенно девочку, потому что мальчик, чего доброго, мог бы дать и сдачи.

Я говорил все громче. Гаер слушал, открыв рот. Вдруг он испуганно захлопнул рот и заморгал, заморгал.

* После обеда нужно было благодарить ее… – я отмахнулся от Киры, которая испу- ганно схватила меня за локоть. – Хотя эта подлая обезьяна не работала, а жила на чужой счет и только с утра до вечера чистила свои проклятые сапожищи. Впрочем, потом она по- ступила в батальон смерти и получила за это двести рублей и новую форму. Она говорила речи! – Кажется, я заскрежетал зубами. – А когда этот батальон разгромили, она удрала из города и унесла все, что было в доме.

Наверное, я уже здорово орал, потому что Катя вдруг стала между Гаером и мной.

Гаер пробормотал что–то и прислонился к клетке. Он узнал меня. Губы у него так и

заходили.

* Саня! – повелительно сказала Катя.
* Подожди! – Я отстранил ее. – И это счастье, что он удрал. Потому что я бы его…
* Саня!

Помнится, меня поразило, что он неожиданно вскрикнул и схватился руками за голову.

Я опомнился. Неловко улыбаясь, я посмотрел на Катю. Мне стало стыдно, что и так орал.

* Пошли, – коротко сказала она.

Мы шли по Зоопарку и молчали. Я видел, что Кирка испуганно хлопает глазами и держится от меня подальше. Катя что–то шепнула ей.

* Подлец! – пробормотал я. Я еще не мог успокоиться.
* Сегодня же передам через Вальку заявление в Зоопарк. Зачем они держат такого подлеца? Он – белогвардеец.
* Я теперь тебя боюсь, – сказала Катя. – Ты, оказывается, бешеный. Вон, даже губы побелели.
* Это потому, что мне хотелось его убить, – сказал я. – Ладно, черт с ним! Поговорим о чем–нибудь другом. Как вам понравились гиббоны?

**Глава 8. БАЛ.**

При нашей школе была столярная мастерская, и я работал в ней по вечерам. Как раз в ту пору мы получили большой заказ на учебные пособия для сельских школ, и можно было хорошо заработать.

«Крестьянство в послеоктябрьской литературе» было окончено. Я рассердился и написал его в одну ночь. Но у меня были и другие долги, – например, немецкий, которого я не любил. Словом, в конце полугодия мы с Катей только раз собрались на каток – и то не катались. Лед был очень изрезан: с утра на катке тренировались хоккейные команды. Мы только выпили чаю в буфете.

Катя спросила меня, написал ли я заявление на отчима.

* Нет, не написал. Но Валька говорит, что его все равно уже нету.
* Где же он?
* А черт его знает. Сбежал.

Я видел, что Кате хочется спросить меня, почему я его так ненавижу, но мне неохота было вспоминать об этом подлеце, и я промолчал. Она все–таки спросила. Пришлось рас- сказать – очень кратко – о том, как мы жили в Энске, как умер в тюрьме отец и мать вышла за Гаера. Катя удивилась, что у меня есть сестра.

* Как ее зовут?
* Тоже Саня.

Но еще больше она удивилась, когда узнала, что я ни разу не написал сестре с тех пор, как уехал из Энска.

* Сколько ей лет?
* Шестнадцать.

Катя посмотрела на меня с негодованием.

* Свинья!

Это действительно было свинство, и я поклялся, что напишу в Энск.

* Когда школу кончу. А сейчас – что ж писать? Я уже принимался несколько раз. Ну, жив, здоров… Неинтересно.

Это была наша последняя встреча перед каникулами, потом снова занятия и занятия, чтение и чтение. Я вставал в шесть часов утра и садился за «Самолетостроение», а вечером работал в столярной, – случалось, что и до поздней ночи…

Но вот кончилось полугодие. Одиннадцать свободных дней! Первое, что я сделал, – позвонил Кате и пригласил ее в нашу школу на костюмированный бал.

В афише было написано, что бал – антирелигиозный. Но ребята равнодушно отнеслись

к этой затее, и только два или три костюма были на антирелигиозные темы. Так, Шура Коч- нев, о котором пели:

В двенадцать часов по ночам

Из спальни выходит Кочан, – оделся ксендзом. И очень удачно! Сутана и широкополая шляпа шли к его длинному росту. Он расхаживал с грозным видом и всему ужасался. Это было смешно, потому что он хорошо играл. Другие ребята просто волочили свои рясы по полу и хохотали.

Катя пришла довольно поздно, и я уже чуть было не побежал звонить ей по телефону. Она пришла замерзшая, красная, как бурак, и сразу, еще в раздевалке, побежала к печке, по- ка я сдавал ее пальто и калоши.

* Вот так мороз, – сказала она и приложилась щекой к печке, – градусов двести!

Она была в синем бархатном платье с кружевным воротничком, и над косой большой синий бант.

Удивительно, как шел ей этот бант и синее платье, и тоненькая коралловая нитка на шее! Она была такая крепкая, здоровая и вместе с тем легкая и стройная. Словом, едва только мы с ней вошли и актовый зал, где уже начались танцы, как самые лучшие танцоры нашей школы побросали своих дам и побежали к ней. Впервые в жизни я пожалел, что не танцую. Но делать нечего! Я сделал вид, что мне все равно, и пошел к артистам в уборные. Но там готовились к выступлению, и девочки выгнали меня. Я вернулся в зал. Как раз в это время вальс кончился. Я окликнул Катю. Мы уселись и стали болтать.

* Кто это? – вдруг спросила она с ужасом. Я посмотрел.
* Где?
* Вон – рыжий.

Ничего особенного, это был только Ромашка! Он приоделся и был в том самом гал- стуке, который я брал у него под залог. На мой взгляд, он сегодня был совсем недурен. Но Катя смотрела на него с отвращением.

* Как ты не понимаешь – он просто страшный, – сказала она. – Ты привык, и поэтому не замечаешь. Он похож на Урию Гипа.
* На кого?
* На Урию Гипа.

Я притворился, что знаю, кто такой Урия Гип, и сказал многозначительно:

* А–а.

Но Катю провести было не так–то просто!

* Эх, ты, Диккенса не читал, – оказала она. – А еще считаешься развитым.
* Кто это считает, что я развитой?
* Все. Я как–то разговорилась с одной девочкой из вашей школы, и она сказала: «Гри- горьев – яркая индивидуальность». Вот так индивидуальность! Диккенса не читал!

Я хотел объяснить ей, что Диккенса читал и только не читал про Урию Гипа, но в это время опять заиграл оркестр, и наш учитель физкультуры, которого все звали просто Гоша, пригласил Катю, и я опять остался один. На этот раз меня пустили к артистам и даже дали работу: загримировать одну девочку под раввина. Это была нелегкая задача. Я провозился с ней полчаса, а когда вернулся в зал, Катя все еще танцевала – теперь уже с Валькой.

В сущности, это была довольно забавная картина: Валька глаз не сводил со своих ног, как будто это были черт знает какие интересные вещи, а Катька подталкивала его, учила на ходу и сердилась. Но мне почему–то стало скучно.

Кто–то нацепил мне на пуговицу номер – играли в почту. Я сидел, как каторжник, с номером на груди и скучал. Вдруг пришли сразу два письма: «Довольно притворяться. Скажите аткровенно, кто вам нравится. Пиши ответ N140». Так и было написано: «аткро- венно». Другое было загадочное: «Григорьев – яркая индивидуальность, а Диккенса не чи- тал». Я погрозил Катьке. Она засмеялась, бросила Вальку и села рядом со мной.

– У вас весело, – сказала она, – только очень жарко. Что – теперь станешь учиться танцевать?

Я сказал, что не стану, и мы пошли в наш класс. Там было устроено что–то вроде фойе: по углам стояли бутафорские кресла из трагедии «Настал час», и лампочки были

обернуты красной и синей бумагой. Мы сели на мою парту – последнюю в правой колонне. Не помню, о чем мы говорили, о чем–то серьезном, – кажется, о говорящем кино. Катя со- мневалась в этой затее, и я в доказательство привел ей какие–то данные сравнительной быстроты звука и света.

Она была совершенно синяя – над нами горела синяя лампочка, и, должно быть, по- этому я так осмелел. Мне давно хотелось поцеловать ее, еще когда она только что пришла, замерзшая, раскрасневшаяся, и приложилась к печке щекой. Но тогда это было невозможно. А теперь, когда она была синяя, – возможно. Я замолчал на полуслове, закрыл глава и поце- ловал ее в щеку.

Ого, как она рассердилась!

* Что это значит? – спросила она грозно.

Я молчал. У меня билось сердце, и я боялся, что сейчас она скажет: «мы незнакомы» или что–нибудь в этом роде.

* Свинство какое! – сказала она с негодованием.
* Нет, не свинство, – возразил я растерянно.

С минуту мы молчали, а потом Катя попросила меня принести води. Когда я вернулся с водой, она прочитала мне целую лекцию. Как дважды два, она доказала, что я к ней рав- нодушен, что «это мне только кажется» и что если бы на ее месте в данную минуту была другая девушка, я бы и ее поцеловал.

* Ты просто стараешься себя в этом уверить, – сказала она убежденно, – а на самом деле – ничего подобного!

Она допускала, что я не хотел ее обидеть, – ведь верно же? Но все–таки мне не следо- вало так поступать именно потому, что я только обманываю себя, на самом деле ничего же чувствую…

* Никакой любви, – прибавила она, помолчав, и я почувствовал, что она покраснела.

Вместо ответа я взял ее руку и провел ею по своему лицу, по глазам. Она не отняла, и несколько минут мы сидели молча на моей парте в полутемном классе. Мы сидели в классе, где меня спрашивали и я «плавал», где я стоял у доски и доказывал теоремы, – на моей пар- те, в которой еще лежали скомканные Валькины шпаргалки. Это было странно. Но как хо- рошо! Не могу передать, как было хорошо в эту и минуту!

Потом мне показалось, что кто–то громко дышит в углу, я обернулся и увидел Ромаш- ку. Не знаю, почему он так громко дышал, но у него был необыкновенно подлый вид. Разу- меется, он сразу понял, что мы заметили его. Он что–то пробормотал и подошел к нам с вя- лой улыбкой.

* Григорьев, что ж ты меня не познакомишь?

Я встал. Должно быть, у меня был не особенно приветливый вид, потому что он испу- ганно заморгал и вышел. Это было довольно смешно, что он сразу так испугался. Мы оба прыснули, и Катя сказала, что он похож не только на Урию Гипа, но еще на сову, рыжую, с крючковатым носом и круглыми глазами. Она угадала: Ромашку в классе иногда дразнили совой. Мы вернулись в зал.

Шурка Кочнев встретил нас на пороге и комически ужаснулся. Я познакомил его с Катей, и он благословил ее, как настоящий ксендз, и даже сунул к губам дрожащую руку.

Танцы уже кончились, и началось концертное отделение – отрывки из «Ревизора», ко- торого репетировал наш театр.

Мы сидели с Катей в третьем ряду, но ничего не слышали. По крайней мере, я.

По–моему, и она тоже. Я шепнул ей:

– Мы еще поговорим. Хорошо?

Она серьезно посмотрела на меня и кивнула.

**Глава 9.**

**ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ. БЕССОННИЦА.**

Это случалось со мной не в первый раз, что жизнь, которая шла одним путем, – ска- жем, по прямой, – вдруг делала крутой поворот, и начинались «бочки» и «иммельманы»

/Названия фигур высшего пилотажа/.

Так было, когда восьмилетним мальчиком я потерял перочинный нож возле убитого сторожа на понтонном мосту. Так было, когда в распределителе Наробраза я начал со скуки лепить лясы. Так было, когда я оказался случайным свидетелем «заговора» против Кораб- лева и был с позором изгнан из дома Татариновых. Так было и теперь, когда я снова был изгнан, – и на этот раз навсегда!

Вот как начался очередной поворот. Мы с Катей назначили свидание на Оружейном, у жестяной мастерской, – и она не пришла.

Все не ладилось в этот печальный день! Я удрал с шестого урока, – это было – глуп, потому что Лихо обещал после занятий раздать домашние сочинения. Мне хотелось обду- мать наш разговор. Но где тут думать, если через несколько минут я замерз, как собака, и только и делал, что зверски топал ногами и хватался за нос да за уши!

И все–таки это было дьявольски интересно! Как необыкновенно все изменилось со вчерашнего дня! Вчера, например, я мог бы сказать: Катька – дура! А сегодня – нет. Вчера я выругал бы ее за опоздание, а сегодня – нет. Но еще интереснее было думать о том, что это и есть та самая Катька, которая когда–то спросила меня, читал ли я «Елену Робинзон», кото- рая взорвала лактометр и за это получила от меня но шее. Она ли это?

«Она!» – подумал я весело.

Но она была теперь не она, и я – не я.

Однако прошел уже целый час. Тихо было в переулке, только маленький носатый же- стянщик несколько раз выходил из своей мастерской и смотрел на меня с пугливым, подо- зрительным видом. Я повернулся к нему спиной, но это, кажется, только усилило его подо- зрения. Я перешел на другую сторону, а он все стоял на пороге в клубах пара, как бог на потолке энского собора. Пришлось спуститься вниз, к Тверской…

Уже пообедали, когда я вернулся в школу. Я пошел на кухню погреться и получил от повара нагоняй и тарелку теплой картошки. Я молча съел картошку и отправился искать Вальку. Но Валька был в Зоопарке. Мое сочинение Лихо отдал Ромашке.

Я был расстроен и поэтому не обратил внимания на то, с каким волнением встретил меня Ромашка. Он просто завертелся, когда я вошел в библиотеку, где мы имели обыкнове- ние учить уроки.

Несколько раз он засмеялся без всякой причины и поспешно отдал мне сочинение.

* Вот Лихосел так Лихосел, – сказал он заискивающе. – На твоем месте я бы пожало- вался.

Я перелистал свою работу. Вдоль каждой страницы шла красная черта, а в конце было написано: «Идеализм. Чрезвычайно слабо».

Я равнодушно сказал: «Дурак», захлопнул тетрадь и вышел. Ромашка побежал за мной. Удивительно, как он юлил сегодня: забегал вперед заглядывал мне в лицо! Должно быть, он был рад, что я провалился со своим сочинением. Мне и в голову не приходила ис- тинная причина его поведения.

* Вот так Лихосел, – все повторял он. – Хорошо про него Шура Кочнев сказал: «У него голова, как кокосовый орех: снаружи твердо, а внутри жидко».

Он неприятно засмеялся и опять забежал вперед.

* Иди ты к черту! – сказал я сквозь зубы. Он отстал наконец…

Еще ребята не вернулись из культпохода, а я уже был в постели. Но, пожалуй, мне не следовало ложиться так рано. Сон прошел, чуть только я закрыл глаза и повернулся на бок.

Это была первая бессонница в моей жизни. Я лежал очень спокойно и думал. О чем?

Кажется, обо всем на свете!

О Кораблеве – как я завтра отнесу к нему сочинение и попрошу прочитать. О жестян- щике, который принял меня за вора. О книге Катиного отца «Причины гибели экспедиции Грили».

Но о чем бы я ни думал – я думал о ней! Я начинал дремать и вдруг с такой нежностью вспоминал ее, что даже дух захватывало и сердце начинало стучать медленно и громко. Я видел ее отчетливее, чем, если бы она была рядом со мною. Я чувствовал на глазах ее руку.

«Ну ладно – влюбился так влюбился. Давай–ка, брат, спать», – сказал я себе.

Но теперь, когда так чудно стало на душе, жалко было спать, хотя и хотелось немного.

Я уснул, когда начинало светать и дядя Петя ворчал в кухне на Махмета, нашего котенка.

**Глава 10.**

**НЕПРИЯТНОСТИ.**

Первое свидание и первая бессонница – это была все–таки еще прежняя, хорошая жизнь. Но на другой день начались неприятности.

После завтрака я позвонил Кате – и неудачно. Подошел Николай Антоныч.

* Кто ее спрашивает?
* Знакомый.
* А именно? Я молчал.
* Ну–с?

Я повесил трубку…

В одиннадцать часов я засел в овощной лавке, из которой была видна вся Твер- ская–Ямская. На этот раз никто не принимал меня за вора. Я делал вид, что звоню по теле- фону, покупал моченые яблоки, стоял у дверей с равнодушным видом. Я ждал Нину Капи- тоновну. По прежним годам я знал, когда она возвращается с базара. Наконец она показалась – маленькая, сгорбленная, в своем зеленом бархатном пальто–салопе, с зонтиком

* в такой мороз! – с неизменной кошелкой.
  + Нина Капитоновна!

Она сурово взглянула на меня и, ни слова не сказав, пошла дальше. Я изумился.

* + Нина Капитоновна!

Она поставила кошель на землю, выпрямилась и посмотрела на меня с негодованием.

* + Вот что, голубчик мой, – сказала она строго. – Я на тебя, по старой памяти, не сер- жусь. Но только чтобы я тебя не видела и не слышала.

Голова у нее немного тряслась.

* + Ты – сюда, а мы – туда! И чтобы не писал, не звонил! Вот уж могу сказать: не думала я! Видно, ошиблась!

Она подхватила кошель, и – хлоп! – калитка закрылась перед самым моим носом. Открыв рот, я смотрел ей вслед. Кто из нас сошел с ума? Я или она?..

Это был первый неприятный разговор. За ним последовал второй, а за вторым – тре-

тий.

Возвращаясь домой, я встретил у подъезда Лихо. Вот уж когда не время было говорить

с ним о моем сочинении!

Мы вместе поднимались по лестнице: он, как всегда, закинув голову, глупо вертя но- сом, а я – испытывая страшное желание ударить его ногой.

* Товарищ Лихо, я получил сочинение, – вдруг сказал я. – Вы пишете: «идеализм». Это уже не оценка, а обвинение, которое нужно сперва доказать.
* Мы поговорим потом.
* Нет, мы поговорим сейчас, – возразил я. – Я комсомолец, а вы меня обвиняете в идеализме. Вы ничего не понимаете.
* Что, что такое? – спросил он и нахмурился.
* Вы не имеете понятия об идеализме, – продолжал я, замечая с радостью, что с каж- дым моим словом у него вытягивается морда. – Вы просто не знали, чем бы меня поддеть, и поэтому написали: «идеализм». Недаром про вас говорят…

Я остановился на секунду, почувствовав, что сейчас скажу страшную грубость, Потом все–таки сказал:

* Что у вас голова, как кокосовый орех: снаружи твердо, а внутри жидко.

Это было так неожиданно, что мы оба остолбенели. Потом он раздул ноздри и сказал коротко и зловеще:

* Так?!

И быстро ушел.

Ровно через час после этого разговора я был вызван к Кораблеву. Это был грозный признак: Кораблев редко вызывал к себе на квартиру.

Давно не видел я его таким сердитым. Опустив голову, он ходил по комнате, а когда я вошел, посторонился с каким–то отвращением.

* Вот что! – У него сурово вздрогнули усы. – Хорошие сведения о тебе! Приятно слы- шать!
* Иван Павлыч, я вам сейчас все объясню, – возразил я, стараясь говорить совершенно спокойно. – Я не люблю критиков, это правильно. Но ведь это еще не идеализм! Другие ре- бята все списывают у критиков, и это ему нравится. Пусть он прежде докажет, что я – идеа- лист. Он должен знать, что это для меня – оскорбление.

Я протянул Кораблеву тетрадку, но он даже не взглянул на, нее.

* Тебе придется объяснить свое поведение на педагогическом совете.
* Пожалуйста!.. Иван Павлыч, – вдруг сказал я, – вы давно были у Татариновых?
* А что?
* Ничего.

Кораблев посмотрел мне прямо в глаза.

* Ну, брат, – спокойно сказал он, – я вижу, ты неспроста нагрубил Лихо. Садись и рассказывай. Только, чур, не врать.

И родной матери я не рассказал бы о том, что влюбился в Катю и думал о ней целую ночь. Это было невозможно. Но мне давно хотелось рассказать Кораблеву о переменах в доме Татариновых, о переменах, которые так не понравились мне!

Он слушал меня, расхаживая из угла в угол, Время от времени он останавливался и оглядывался с печальным выражением. Вообще мой рассказ, кажется, расстроил его. Один раз он даже взялся рукой за голову, но спохватился и сделал вид, что гладит себя по лбу.

* Хорошо, – сказал он, когда я попросил его позвонить к Татариновым и выяснить, в чем дело. – Я сделаю это. А ты зайди через час.
* Иван Павлыч, через полчаса!

Он усмехнулся – печально и добродушно…

Я провел эти полчаса в актовом зале. Паркет в актовом зале выложен елочкой, и когда я шел от окон к дверям, темные полоски казались светлыми, а светлые – темными. Солнце светило вовсю, у широких окон медленно кружились пылинки. Как все хорошо! И как пло- хо!

Когда я вернулся, Кораблев сидел на диване и курил. Мохнатый зеленый френч, ко- торый он всегда надевал, когда чувствовал себя плохо, был накинут на плечи, и мягкий во- рот рубахи расстегнут.

* Ну, брат, напрасно ты просил меня звонить, – сказал он. – Я теперь знаю все твои тайны.
* Какие тайны?

Он посмотрел на меня, как будто впервые увидел.

* Только нужно уметь их хранить, – продолжал он. – А ты не умеешь. Сегодня, например, ты ухаживаешь за кем–нибудь, а завтра об этом знает вся школа. И хорошо еще, если только школа.

Должно быть, у меня был очень глупый вид, потому что Кораблев невольно усмех- нулся, – впрочем, едва заметно. По меньшей мере, двадцать мыслей сразу пронеслись в моей голове. «Кто это сделал? Ромашка! Я его убью! Так вот почему Катя не пришла! Вот почему старушка меня прогнала!»

* Иван Павлыч, я ее люблю, – сказал я твердо. Он развел руками.
* Мне все равно, пускай об этом говорит вся школа!
* Ну, школа–то – пожалуй, – сказал Кораблев. – Но вот что говорят Марья Васильевна и Нина Капитоновна, это тебе не все равно, не правда ли?
* Нет, тоже все равно! – возразил я с жаром.
* Позволь, но тебя, кажется, выгнали вон из дома?
* Из какого дома? Это не ее дом. Она только и мечтает, что кончит школу и уйдет из этого дома.

* Позволь, позволь… Значит, что же? Ты собрался жениться? Я немного опомнился.
* Это никого не касается!
* Разумеется, – поспешно сказал Кораблев. – Но понимаешь, я боюсь, что это не так просто! Нужно все–таки и Катю спросить. Может быть, она еще и не собирается замуж. Во всяком случае, придется подождать, пока она вернется из Энска.
* А, – сказал я очень спокойно. – Они отправили ее в Энск? Прекрасно.

Кораблев снова посмотрел на меня – на этот раз с нескрываемым любопытством.

* У нее заболела тетка, и она поехала ее проведать, – сказал он. – Она поехала на не- сколько дней и к началу занятий вернется. По этому поводу, кажется, не стоит волноваться!
* Я не волнуюсь, Иван Павлыч. А что касается Лихо, – если хотите, я перед ним из- винюсь. Только пускай и он возьмет назад свое заявление, что я идеалист…

Как будто ничего не случилось, как будто Катю не отправили в Энск, как будто я не решил убить Ромашку, – мы минут пятнадцать спокойно говорили о моем сочинении. Потом я простился, сказал, что, если можно, завтра снова зайду, и ушел.

**Глава 11.**

**ЕДУ В ЭНСК.**

Убить Ромашку! Я ни минуты не сомневался в том, что он это сделал. Кто же еще? Он сидел в фойе и видел, как я поцеловал Катю.

С ненавистью поглядывая на его кровать и ночной столик, я полчаса ждал его в спаль- не. Потом написал записку, в которой требовал объяснений и грозил, что в противном слу- чае перед всей школой назову его подлецом. Потом разорвал записку и отправился к Вальке в Зоопарк.

Конечно, он был у своих грызунов. В грязном халате, с карандашом за ухом, с боль- шим блокнотом подмышкой, он стоял у клетки и кормил из рук летучих мышей. Он кормил их червями и при этом насвистывал с очень довольным видом.

Я окликнул его. Он обернулся с недоумением, сердито махнул рукой и сказал:

* Подожди!
* Валя! На одну минуту!
* Постой, ты меня собьешь. Восемь, девять, десять… Он считал червей.
* Вот жадюга! Семнадцать, восемнадцать, двадцать…
* Валька! – взмолился я.
* Выгоню вон! – быстро сказал Валька.

Я с ненавистью посмотрел на летучих мышей. Они висели вниз головой, лопоухие, с какими–то странными, почти человеческими мордами. Мерзавцы! Ничего не поделаешь! Я должен был ждать, пока они нажрутся.

Наконец! Но, гладя себя по носу грязными пальцами, Валька еще с полчаса записывал что–то в блокнот. Вот кончилась и эта мука!

* Иди ты к черту! – сказал я ему. – Всю душу вымотал со своими зверями. У тебя есть деньги?
* Двадцать семь рублей, – с гордостью отвечал Валька.
* Давай все.

Это было жестоко: я знал, что Валька копит на каких–то змей. Но что же делать? У меня было только семнадцать рублей, а билет стоил ровно вдвое.

Валька слегка заморгал, потом серьезно посмотрел на меня и вынул деньги.

* Уезжаю.
* Куда?
* В Энск.
* Зачем?
* Приеду – расскажу. А пока вот что: Ромашка – подлец. Ты с ним дружишь, потому что не знаешь, какой он подлец. А если знаешь, то ты сам подлец. Вот и все. До свиданья.

Я был уже одной ногой за дверью, когда Валя окликнул меня – и таким странным го- лосом, что я мигом вернулся.

* Саня, – пробормотал он, – я с ним не дружу. Вообще… Он замолчал и снова начал сандалить свой нос.
* Это я виноват, – объявил он решительно. – Я должен был тебя предупредить. Пом- нишь историю с Кораблевым?
* Еще бы мне ее не помнить!
* Ну вот! Это – он.
* Что он?
* Он пошел к Николаю Антонычу и все ему рассказал.
* Врешь!

Мигом вспомнил я этот вечер, когда, вернувшись от Татариновых, я рассказал Вальке о заговоре против Кораблева.

* Позволь, но ведь я же с тобой говорил.
* Ну да, а Ромашка подслушал.
* Что ж ты молчал? Валька опустил голову.
* Он взял с меня честное слово, – пробормотал он. – Кроме того, он грозился, что но- чью будет на меня смотреть. Понимаешь, я терпеть не могу, когда на меня смотрят ночью. Теперь–то я понимаю, что это – ерунда. Это началось с того, что я один раз проснулся – и вижу: он на меня смотрит.
* Ты просто дурак, вот что.
* Он записывает в книжку, а потом доносит Николаю Антонычу, – печально продол- жал Валька. – Он меня изводит. Донесет, а потом мне рассказывает. Я уши затыкаю, а он рассказывает.

Года три тому назад в школе говорили, что Ромашка спит с открытыми глазами. Это была правда. Я сам видел однажды, как он спал, и между веками ясно была видна полоска глазного яблока – какая–то мутноватая, страшноватая… Это было неприятно – и спит, и не спит! Ромашка говорил, что он никогда не спит. Разумеется, врал – просто у него были ко- роткие веки. Но находились ребята, которые верили ему. Его уважали за то, что он «не спит», и немного боялись. Должно быть, отсюда пошла и Валькина боязнь: ведь он пять лет проспал рядом с Ромашкой, на соседней койке.

Все это смутно пронеслось в моей голове. «Балда, подумал я. – Хорош естествоиспы- татель!

* Эх, ты, тряпка! – сказал я. – Мне сейчас некогда разговаривать, но, по–моему, об этой книжечке ты должен написать в ячейку. По правде говоря, я не думал, что он тебя так оседлал. Сколько «честных» слов ты ему надавал?
* Не знаю, – пробормотал Валька.
* Посчитаем.

Он печально посмотрел на меня…

Из Зоопарка я поехал на вокзал за билетом, а оттуда в школу. У меня была хорошая готовальня, и я решил захватить ее с собой – на всякий случай, чтобы продать, если придет- ся туго.

И вот ко всем моим глупостям прибавилась еще одна – и я с лихвой за нее расплатил-

ся!

В спальне было человек десять, когда я вошел, и, между прочим, Таня Величко, де-

вочка из нашего класса.

Все были заняты – кто чтением, кто разговором.

Шура Кочнев изображал нового математика: подняв руки, он бросался к воображаемой доске и медленно, с достоинством садился. Кругом хохотали. Словом, никто не обращал внимания на Ромашку, который стоял на коленях у моей кровати и рылся в моем сундучке.

Эта новая подлость меня поразила. Кровь бросилась мне в голову, но я подошел к нему ровными шагами и спросил ровным голосом:

* Что ты ищешь, Ромашка?

Он испуганно поднял на меня глаза, и как я ни был взволнован, однако заметил, что в

эту минуту он необыкновенно походил на сову: удивительно бледный, с красными больши- ми ушами.

* Катины письма? – продолжал я. – Хочешь передать их Николаю Антонычу? Вот они.

Получай!

И я с размаху ударил его ногой в лицо.

Все было сказано тихим голосом, и поэтому никто не ожидал, что я его ударю. Кажет- ся, я двинул его еще два или три раза. Я бы убил его, если бы не Таня Величко. Пока маль- чики стояли, разинув рты, она смело бросилась между нами, вцепилась в меня и оттолкнула с такой силой, что я невольно сел на кровать.

* Ты с ума сошел!

Сквозь какой–то туман я увидел ее лицо и понял, что она смотрит на меня с отвраще- нием. Я опомнился.

* Ребята, я вам все объясню, – сказал я нетвердо.

Но они молчали. Ромашка лежал на полу, закинув голову, и тоже молчал. На щеке у него был синий кровоподтек. Я взял сундучок и вышел…

С тяжелым чувством я часа три бродил по вокзалу. С неприятным, отвратительным чувством я читал газету, изучал расписание, пил чай в буфете третьего класса. Мне хотелось есть, но чай показался мне невкусным, бутерброды не лезли в рот, – во рту был такой вкус, как будто я наелся червей, как Валькины летучие мыши. Я чувствовал себя каким–то гряз- ным после этой сцены. Эх, не нужно было возвращаться в школу! Готовальня! На кой она мне черт? Неужели не достал бы я на обратный билет у тети Даши?

**Глава 12.**

**РОДНОЙ ДОМ.**

Одно впечатление осталось у меня от этого путешествия по тем местам, где мы с Петькой Сковородниковым когда–то бродили, воруя и побираясь, – впечатление необыкно- венной свободы.

Впервые в жизни я ехал по железной дороге с железнодорожным билетом. Я мог си- деть у окна, разговаривать с соседями, курить, если бы я вообще курил. Не нужно было лезть под лавку, когда проходил контролер. С равнодушным видом, не прерывая разговора, я отдал ему свой билет. Это было необыкновенное ощущение, какое–то просторное, хотя в вагоне было довольно тесно. Оно развлекало меня, и я думал теперь об Энске – о сестре, о тете Даше, о том, как я свалюсь к ним, как снег на голову, и как они меня не узнают.

С этой мыслью я уснул и проспал так долго, что соседи стали беспокоиться – не умер ли? Но, как видите, я не умер.

Как хорошо вернуться в родной город после восьмилетней разлуки! Все знакомо – и все незнакомо. Неужели это губернаторский дом? Когда–то он казался мне огромным. Неужели это Застенная? Разве она была такая узенькая и кривая? Неужели это Лопухинский бульвар? Но бульвар утешил меня: за липами вдоль всей главной аллеи тянулись прекрас- ные новые здания. Черные липы были как будто нарисованы на белом фоне, и черные тени от них косо лежали на белом снегу – это было очень красиво.

Я быстро шел и на каждом шагу, то узнавал старое, то поражался переменам. Вот приют, в который тетя Даша собиралась отдать нас с сестрой; он стал зеленого цвета, и на стене появилась большая мраморная доска с золотыми буквами. Я прочел и не поверил гла- зам: «В этом доме в 1824 году останавливался Александр Сергеевич Пушкин». Черт возьми! В этом доме! То–то задрали бы носы приютские, если бы они это знали.

А вот и «присутственные места», в которые мы с мамой когда–то носили прошение! Они стали теперь совсем «неприсутственными», старинные низкие решетки были сняты с окон, и у ворот висела дощечка: «Дом культуры».

А вот и Крепостной вал, – сердце у меня застучало. Гранитная набережная открылась передо мной, и я с трудом узнал в ней наш бедный пологий берег. Но еще больше меня по- разило, что на том месте, где прежде стояли наши дома, был разбит сквер, и няньки с заку- танными младенцами, как идолы, сидели на скамейках. Этого я не ожидал. Долго стоял я на

Крепостном валу, изучая в немом изумлении сквер, гранитную набережную и бульвар, вдоль которого мы некогда играли в рюхи. На месте пустыря, за которым прежде начина- лись зады москательных рядов, стояло теперь высокое серое здание, и у подъезда в огром- ной шубе расхаживал охранник. Я подошел к нему.

* Энская электростанция, – важно ответил он, когда я показал на здание и спросил, что это за штука.
* Вы случайно не знаете, где живет Сковородников?
* Судья?
* Нет.
* Тогда не знаю. У нас один Сковородников – судья.

Я отошел. Может ли быть, что старик Сковородников стал судьей? Обернувшись, я вновь посмотрел на прекрасное высокое здание, построенное на месте наших нищих домов, и решил, что может.

* А каков из себя судья? Высокого роста?
* Высокого.
* Усатый?
* Нет, не усатый, – как бы обидясь за Сковородникова, возразил охранник. Гм… не усатый? Мало надежды.
* А где этот судья живет?
* На Гоголевской, в доме бывшем Маркузе.

Я знал этот дом – один из лучших в городе, с львиными мордами по обеим сторонам подъезда. Снова я стал в тупик. Но делать было нечего, и я пошел на Гоголевскую, впрочем, мало надеясь, что старик Сковородников снял усы, стал судьей и поселился в таком велико- лепном доме.

Через полчаса я был на Гоголевской, у дома Маркузе. Львиные морды постарели за восемь лет, но все–таки это были еще внушительные, сердитые морды. В нерешительности стоял я у широкого крытого подъезда. Позвонить, что ли? Или спросить у милиционера, где адресный стол?

Кисейные занавески в тети Дашином вкусе виднелись за окнами, – я вдруг решился и позвонил.

Мне открыла девушка лет шестнадцати, в синем фланелевом платье, гладко причесан- ная, с прямым пробором и смуглая. Смуглая – это меня сбило.

* Здесь живут Сковородниковы?
* Да.
* А… Дарья Гавриловна дома?
* Она скоро придет, – ответила девушка, улыбаясь и разглядывая меня с любопыт- ством. Она улыбалась совершенно как Саня, но Саня была светлая, с вьющимися косами и с голубыми глазами. Нет, не Саня.
* Можно подождать?
* Пожалуйста.

Я снял пальто в передней, и она провела меня в большую светлую комнату, чисто и даже богато прибранную. Главное место в ней занимал рояль – это было не похоже на тетю Дашу. Но портрет между вазами голубого стекла, портрет героя, сидящего на фоне снежных гор в камышовом кресле, – это была уже как бы сама тетя Даша.

Надо полагать, что я осматривался с довольно глупым, радостным выражением, пото- му что девушка глядела на меня во все глаза. Вдруг она наклонила голову и высоко подняла брови – совершенно как мать. Я понял, что это все–таки Саня.

* Саня? – сказал я не очень уверенно. Она удивилась.
* Да.
* Постой, ты же была белая, – продолжал я дрожащим голосом. – В чем дело? Когда мы жили в деревне, ты была совершенно белая. А теперь стала какая–то черная.

Она остолбенела, даже открыла рот.

* В какой деревне?
* Когда умер отец, – сказал я и засмеялся. – Эх, ты, забыла! Все забыла! И меня не

помнишь!

Язык у меня немного заплетался, – должно быть, от радости. Ведь я все–таки очень любил ее и восемь лет не видел, и она была так похожа на мать.

* Саня? – сказала и она, наконец. – Господи! Да ведь мы думали, что ты давно умер. Она обняла меня.
* Саня, Саня! Неужели это ты? И тети Даши нет. Да садись же, что ты стоишь? Откуда ты? Когда приехал?

Мы сели рядом, но она сейчас же вскочила и побежала в переднюю за моим сундуч-

ком.

* Да подожди же! Куда ты? Скажи хоть, как ты живешь? Как тетя Даша?
* А ты–то как? Почему не написал ни разу? Ведь мы искали тебя. Даже давали объяв-

ления в газетах.

* + Не читал, – сказал я с раскаянием.

Только теперь я в полной мере оценил, что это была за подлость – забыть о том, что у меня такая сестра. И такая чудная тетя Даша, которой нельзя было даже сказать, что я вер- нулся, потому что она могла умереть от радости, как мне только что заявила Саня.

* + И Петя разыскивал тебя, – продолжала она. – Вот еще недавно писал в Ташкент. Он думает, что ты живешь в Ташкенте.
  + Петька?
  + Ну да.
  + Сковородников?
  + Ну какой же еще!
  + Где он?
  + В Москве, – сказала Саня. Я был поражен.
  + Давно ли?
  + А вот как вы с ним удрали.

Петька в Москве! Я не мог придти в себя от изумления.

* + Саня, да ведь и я живу в Москве!
  + Ну да?
  + Честное слово! Как же он? Что делает?
  + Ничего, хорошо. Он в этом году школу кончает.
  + Фу, черт! Да ведь и я же! У тебя его карточки нет?

Мне показалось, что Саня немного смутилась, когда я спросил о карточке. Она сказала:

«Сейчас», вышла и сразу вернулась, точно вынула Петькину карточку из кармана.

* + Послушай, ведь он красивый, – сказал я и захохотал. – Рыжий?
  + Рыжий.
  + Фу, черт, как хорошо! А старик? Как старик? Не ужели правда?
  + Что правда?
  + Судья?
  + Эва! Да он уже пять лет судья.

Мы все спрашивали и перебивали друг друга и снова спрашивали. Потом Саня убежа- ла на кухню, но я пошел за ней и сказал, что мне без нее скучно. Это была святая правда – без нее мне сразу стало скучно.

Мы поставили самовар, затопили плиту, и потом прозвенел глухой колокольчик в пе- редней.

* + Тетя Даша!
  + Ты останься здесь, – сказала шепотом Саня, – а я ее подготовлю. Правда, у нее очень сердце плохое…

Она вышла, и вот я услышал в соседней комнате такой разговор:

* + Тетя Даша, ты, пожалуйста, не волнуйся. У меня очень хорошая новость, так что ты должна не волноваться, а наоборот.
  + Ну, говори, коза.
  + Тетя Даша, ты сегодня пироги раздумала ставить, а придется.
  + Петя приехал?

* + Петя–то Петя, да не совсем. Тетя Даша, не волнуешься?
  + Нет.
  + Честное слово?
  + Фу ты! Ну, честное слово.
  + Вот кто приехал! – И Саня открыла дверь в кухню. Замечательно, что тетя Даша узнала меня с первого взгляда.
  + Саня, – тихо сказала она.

Она обняла меня. Потом села и закрыла глаза. Я взял ее за руку.

* + Голубчик ты мой! Да ты ли это?
  + Я, тетя Даша.
  + Да не во сне ли я?
  + Нет, тетя Даша.

Но тетя Даша, кажется, не поверила мне, потому что снова закрыла глаза, как будто и точно уснула.

* + Голубчик ты мой! Жив? Да где же ты был? Ведь мы тебя по всему свету искали.
  + Знаю, тетя Даша. Это я виноват.
  + Виноват! Господи! приехал и еще говорит – виноват. Милый ты мой! Да какой же ты молодец стал! Какой красавец!

Тете Даше я всегда казался красавцем…

Что еще вспомнить, что еще рассказать об этой незабываемой встрече? Разве что тетя Даша вскочила на полуслове и сказала Сане шепотом, с ужасным выражением: «Не накор- мили?» Что я покатился со смеху, увидев заваленный всякой снедью стол и услышав, что это называется «закусить перед обедом».

С этой минуты я, кажется, только и делал, что ел. Рассказывал и ел. Потом тетя Даша объявила, что я грязный, и пришлось влезть в ванну и вымыться. Так прошел день.

К вечеру, намывшийся и объевшийся, я сидел в столовой, а Саня и тетя Даша сидели по правую и левую руку и смотрели на меня с такой любовью, что мне было совестно, чест- ное слово! Потом пришел судья.

Охранник не наврал – старик снял усы. Он помолодел лет на десять, и теперь уже трудно было представить, что он варил мездровый клей и возлагал на него такие надежды.

Он знал, что я вернулся: Саня звонила ему по телефону.

– Ну, блудный сын, – сказал он и обнял меня. – И не боишься, что я тебе голову сни- му? Ах, ты, прохвост!

Что я мог сказать в свое оправдание? Я только крякнул с раскаянием.

Поздней ночью мы с ним остались одни. Старик желал знать, что я делал и как жил с тех пор, как уехал из Энска. Точно, как судья, он строго спрашивал обо всех моих делах – школьных и личных.

Я сказал, что хочу быть летчиком, и он замолчал, надолго уставясь на меня из–под гу- стых бровей с длинными жесткими волосами.

* Военным летчиком?
* Полярным. А придется – военным. Он замолчал.
* Опасное, но замечательное, интересное дело, – сказал он.

Только одного я ему не рассказал: что приехал в Энск вслед за Катей. У меня язык не повернулся объявить ему, что если бы не Катя, быть может, еще немало времени прошло бы, прежде чем я вернулся в родной город, в родной дом.

**Глава 13.**

**СТАРЫЕ ПИСЬМА.**

Я проснулся оттого, что кто–то приоткрыл дверь в столовую и тихо сказал: «Спит». За стеной осторожно зазвенела ложечка о стакан, и я понял, что Саня, чтобы не разбудить ме- ня, завтракает в кухне. Я решил сейчас же встать и, кажется, встал. Но неизвестно, сколько времени прошло, и оказалось, что я не встал, а сплю и только ругаю себя во сне за то, что не

встал.

Словом, я проспал часов до одиннадцати. Саня давно уже была в школе, старик на службе, а тетя Даша успела уже «поставить обед», как она мне сообщила.

За чаем она все ужасалась, что я ничего не ем.

* Вот как вас кормят, – сказала она с негодованием. – Цыган лучше свою лошадь кор- мил, и то подохла.
* Тетя Даша, я же вчера объелся! Честное слово, до сих пор живот болит. Тетя Даша, а ведь я вас на старом месте искал. Дома–то снесли?
* Снесли, – сказала тетя Даша и вздохнула.

Мы поговорили о соседях. Оказывается, Минька, который когда–то поразил мое вооб- ражение, служит теперь капитаном на пароходе «Тургенев», бывший «Нептун». Дядя Миша, староста артели грузчиков, умер в прошлом году, а сын его – председатель городского Со- вета. Я рассказал тете Даше о Гаере Кулии. Она ахала и ужасалась.

* Тетя Даша, а ты знаешь Бубенчиковых?

Бубенчиковы были родственниками Нины Капитоновны, и я не сомневался, что Катя поехала к ним.

* Оглашенных–то? Кто их не знает!
* Почему оглашенных?
* Их поп оглашал, – сказала тетя Даша. – Они попа прогнали, и он их огласил. Это давно было, до революции. Ты еще маленький был. А тебе зачем?
* Мне нужно им привет из Москвы передать, – соврал я. Тетя Даша сомнительно покачала головой.
* Ну, разве привет…

Я знал адрес: собственный дом, у еврейской молельни. Но молельни теперь не было, и вообще все в городе переменилось, так что найти Бубенчиковых оказалось довольно трудно. Наконец я остановился перед высоким глухим забором, на котором висела дощечка: «Дом М.Г., Л.Г. и О.Г. Бубенчиковых. Лапутина, 8».

Калитка была на запоре, но я легко открыл ее и очутился в просторном саду, в глубине которого стоял маленький дом старинного вида, с деревянными колоннами и лепным орна- ментом на фронтоне. Только одна дорожка вела от ворот – обыкновенная, свеже протоптан- ная дорожка, по которой гуляла коза, – и я с легким сердцем направился по этой дорожке к дому.

Это было именно так, то есть очень просто: я вошел в сад – еще, помнится, удивился, что он такой красивый, весь в снегу, ярко освещенный солнцем, – вошел и направился по дорожке навстречу козе. Коза заблеяла. И вдруг, как в сказке, все преобразилось! Где–то хлопнула дверь. Раздался крик, и я увидел, что из дому бежит старуха с палкой в руке. Воз- можно, что это была не палка, а кочерга.

* Машенька! Машенька! – кричала она. – Свой! Свой!

Это было приятно – услышать, что я – свой. Но радоваться было еще рано. Вторая старуха вышла из дому и, слегка оскалясь, побежала ко мне. В руках она держала щетку на колесиках, которой чистят ковры. Без сомнения, она хотела побить меня этой щеткой.

* Машенька! – вопила первая старуха. – Это свой!

Но, должно быть, коза не верила ей, потому что кричала все громче. Я хотел предста- виться Бубенчиковым, у меня была даже заготовлена первая фраза, но при таких обстоя- тельствах это показалось мне невозможным. Я немного постоял и медленно, чтобы не поте- рять достоинства, направился обратно к воротам.

Злобно бормоча что–то, мрачная старуха прошла вслед за мной несколько шагов и вернулась.

Вот так штука! На улице мне стало смешно, и, наверно, они слышали, как я засмеялся. Это было поразительно, что они даже не спросили меня, кто я такой и что мне нужно. Наверно, подумали, что я забрел к ним в сад по ошибке. Странно было также, что Катя не вышла из дому на весь этот переполох. Впрочем, все было странно!

Тетя Даша удивилась, что я так скоро вернулся домой.

* Тетя Даша, а Саня пришла?
* Она в третьем часу придет. У нее сегодня шесть уроков.

Я попросил у тети Даши конверт и бумагу и принялся за письмо. «Напишу Катьке, а Саня отнесет. Авось ее не так сурово встретят».

«Катя», – написал я и задумался. Как всегда в таких случаях, Петькин письмовник жи- во припомнился мне: «Встретя в вас, милостивая государыня, все добродетели той, которую я так долго оплакивал, почитаю своим долгом сделаться вашим супругом и дать нежную мать моим малюткам».

Я внезапно захохотал и очень испугал тетю Дашу.

«Катя, – написал я, – пытался пробиться к тебе, но отступил, встретив в лице козы и двух бабушек непреодолимую преграду. Как видишь, я в Энске и очень хочу тебя видеть. Приходи в Соборный сад часа в четыре. Эту записку тебе передаст – угадай кто? – Моя сестра. А.Григорьев».

– Тетя Даша, у Петьки были когда–то интересные книги. Где они, а? Вообще, где у вас книги?

Петькины книги нашлись в Саниной комнате на этажерке. Должно быть, они были не в особенной чести, потому что стояли на самой нижней полке среди всякого хлама. Мне стало грустно, когда я взял в руки «Страшную ночь, или необыкновенно чудесные приключения донского казака в горах Кавказа». Черт знает, какой я был тогда маленький и несчастный!

Пакет, завернутый в желтую, выгоревшую газету, упал на пол, когда, увлекшись ро- зысками письмовника, я энергично передвинул книги. Это были старые письма! Я мигом узнал их. Это были письма, которые когда–то вода принесла к нам на двор в почтовой сум- ке. Долгие зимние вечера, когда тетя Даша читала их вслух, припомнились мне, – и как чу- десны, как необыкновенны показались мне эти чтения!

Чужие письма! Кто знает, где теперь эти люди, что писали их? Вот хоть это письмо, в толстом пожелтевшем конверте, – быть может, кто нибудь ночей не спал, все его дожидал- ся?

Машинально я открыл конверт и прочел несколько строк:

«Глубокоуважаемая Мария Васильевна!

Спешу сообщить Вам, что Иван Львович жив и здоров. Четыре месяца то- му назад я, согласно его предписаниям, покинул шхуну, и со мной тринадцать человек команды…»

Я читал – и не верил глазам. Это было письмо штурмана, которое я некогда знал наизусть, которое читал в поездах между Энском и Москвой! Но совсем другое поразило меня.

«Св. Мария» – прочитал я дальше, – замерзла еще в Карском море и с октября 1913 года беспрестанно движется на север вместе с полярными льдами». «Св. Мария»! Так назы- валась шхуна капитана Татаринова. Я перевернул письмо и начал снова:

«Глубокоуважаемая Мария Васильевна!» – Мария Васильевна! – «Спешу сообщить Вам, что Иван Львович…» – Иван Львович! Катю зовут Катерина Ивановна!

Тетя Даша решила, что я сошел с ума, потому что я вдруг коротко заорал и начал с дьявольской быстротой перебирать старые письма.

Но я знал, что делал: тетя Даша когда–то читала мне другое письмо, в котором рас- сказывалось о жизни во льдах, о каком–то матросе, разбившемся насмерть, о том, как лед вырубали в каютах.

* Тетя Даша, а все они тут?
* Господи, да что случилось?
* Ничего, тетя Даша! Тут должна быть одна такая штука. Я не слышал себя. Вот оно:

*«Друг мой, дорогая моя, родная Машенька!*

*Вот уже около двух лет прошло с тех пор, как я послал тебе письмо через телеграфную экспедицию на Югорском Шаре. Но как много с тех пор переме- нилось, я тебе и передать не могу! Начать с того, что тогда мы шли свободно по намеченному курсу, а с октября 1913 года медленно двигаемся на север вме-*

*сте с полярными льдами. Таким образом, волей–неволей мы должны были отка- заться от первоначального намерения – пройти во Владивосток вдоль берегов Сибири. Но нет худа без добра! Совсем другая мысль теперь занимает меня. Надеюсь, она не покажется тебе – как некоторым моим спутникам – «дет- ской» или «безрассудной»…*

Здесь кончался первый лист. Я перевернул его, но на другой стороне ничего нельзя было прочитать, кроме нескольких бессвязных слов, чуть сохранившихся среди подтеков и пятен.

Второй листок начинался с описания шхуны:

*«…достигающие местами значительной глубины. Среди одного такого поля и стоит наша „Св. Мария“, по самый планшир засыпанная снегом. Време- нами гирлянды инея срываются с такелажа и с тихим шуршаньем осыпаются вниз. Как видишь, Машенька, с горя я стал поэтом. Впрочем, у нас есть и настоящий поэт – наш повар Колпаков. Неунывающая душа! Целыми днями он распевает свою поэму. Вот тебе четыре строчки на память:*

*Под флагом матушки России Мы с капитаном в путь пойдем И обогнем брега Сибири*

*Своим красавцем кораблем.*

*Я пишу и перечитываю свое бесконечное письмо и снова пишу и вижу, что просто болтаю с тобой, а нужно сказать еще так много важного. Я посылаю с Климовым пакет на имя начальника Гидрографического управления. Это – мои наблюдения, письма служебные и отчет, в котором изложена история нашего дрейфа. Но на всякий случай пишу и тебе о нашем открытии: к северу от Тай- мырского полуострова на картах не значится никаких земель. Между тем, находясь на широте 79°35' между меридианами 86 и 87 к востоку от Гринвича, мы заметили резкую серебристую полоску, немного выпуклую, идущую от са- мого горизонта. Третьего апреля полоска превратилась в матовый щит лунного цвета, а на следующий день мы увидели очень странные по форме облака, по- хожие на туман, окутавший далекие горы. Я убежден, что это – земля. К со- жалению, я не мог оставить корабль в тяжелом положении, чтобы исследо- вать ее. Но все впереди. Пока я назвал ее твоим именем, так что на любой географической карте ты найдешь теперь сердечный привет от твоего…»*

Здесь кончалась оборотная сторона второго листа. Я отложил его и принялся за третий.

Первые строки были размыты. Потом:

*«…Горько подумать, что все могло быть совсем иначе. Я знаю, он будет оправдываться, пожалуй, сумеет убедить тебя, что я один во всем виноват. Молю тебя об одном: не верь этому человеку! Можно смело сказать, что всеми нашими неудачами мы обязаны только ему. Достаточно, что из шестидесяти собак, которых он продал нам в Архангельске, большую часть еще на Новой Земле пришлось пристрелить. Вот как дорого обошлась нам эта услуга! Не только я один – вся экспедиция шлет ему проклятия. Мы шли на риск, мы знали, что идем на риск, но мы не ждали такого удара. Остается делать все, что в наших силах. Как много я мог бы рассказать тебе о нашем путешествии! Для Катюшки хватило бы историй на целую зиму. Но какой ценой приходится рас- плачиваться, боже мой! Я не хочу, чтобы ты подумала, что наше положение безнадежно. Но вы все–таки не особенно ждите…»*

Как молния в лесу вдруг освещает местность, и тесная картина внезапно изменяется, и

видишь даже листья на дереве, которое минуту назад казалось не то зверем, не то велика- ном, так я понял все, читая эти строки. И даже такие мелочи припомнились мне, которые, казалось, были навсегда забыты.

Я понял лицемерные речи Николая Антоныча о «покойном брате». Я понял это фаль- шивое, значительное выражение лица, когда, рассказывая о нем Николай Антоныч строго сдвигал брови, как будто во всем, что случилось, были отчасти виноваты и вы. Я понял всю глубину низостями этого человека, притворявшегося, что он гордится своим благородством. Он не был назван, но это был он! Я не сомневался в этом.

У меня пересохло в горле от волнения, и я так громко говорил сам с собой, что тетя Даша испугалась не на шутку.

* Саня, да что с тобой?
* Ничего, тетя Даша. А где еще у вас эти старые письма?
* Да все тут!
* Не может быть! Помните, вы мне когда–то читали это письмо? Оно было длинное, на восьми страницах, – Не помню, голубчик

Больше я ничего не нашел в пакете – только три страницы из восьми. Но и этого до- вольно!

В Катиной записке я переправил «приходи в четыре» на «приходи в три». Потом на

«приходи в два». Но было уже два, и я снова переправил на три.

**Глава 14.**

**СВИДАНИЕ В СОБОРНОМ САДУ. «НЕ ВЕРЬ ЭТОМУ ЧЕЛОВЕКУ».**

Мальчиком я тысячу раз бывал в Соборном саду, но тогда мне и в голову не приходи- ло, что он такой красивый! Он расположен высоко на горе над слиянием двух рек, Песчинки и Тихой, и окружен крепостной стеной. Стена отлично сохранилась, но башни стали меньше с тех пор, как мы с Петькой встретились здесь в последний раз, чтобы дать друг другу «кро- вавую клятву дружбы».

Снегу было много, но все–таки я поднялся на первый скат у башни старца Мартына: нужно было посмотреть, что сталось с Ириновским лугом, с Никольской школой, с коже- венным заводом. Все оказалось на своем месте и везде снег и снег, до самого горизонта…

Наконец они пришли – Катя и Саня. Я видел, как Саня, похожая на бабушку в своем желтом меховом тулупе, повела вокруг рукой, как будто говоря: «Вот Соборный сад», – и сразу простилась и ушла, кивнув головой с таинственным выражением.

– Катя! – крикнул я.

Она вздрогнула, увидела меня и засмеялась…

С полчаса мы ругали друг друга: я ее – за то, что она не сообщила мне о своей поездке, она меня – за то, что я не дождался ее письма и приехал. Потом мы оба спохватились, что не рассказали друг другу самого важного. Оказывается, Николай Антоныч говорил с Катей.

«Именем покойного брата» он запретил ей встречаться со мной. Он сказал длинную речь и заплакал.

* Ты можешь мне не поверить, Саня, – сказала Катя серьезно, – но я, честное слово, видела это своими глазами!
* Так, – сказал я и положил руку на грудь.

На груди, в боковом кармашке, завернутое в компрессную бумагу, которую я выпро- сил у тети Даши, лежало письмо капитана Татаринова.

* Послушай, Катя, – сказал я решительно, – я хочу рассказать тебе одну историю. В общем, так: представь, что ты живешь на берегу реки и в один прекрасный день на этом бе- регу появляется почтовая сумка. Конечно, она падает не с неба, а ее выносит водой. Утонул почтальон! И вот эта сумка попадает в руки одной женщины, которая очень любит читать. А среди ее соседей есть мальчик, лет восьми, который очень любит слушать. И вот однажды она читает ему такое письмо: «Глубокоуважаемая Мария Васильевна…»

Катя вздрогнула и посмотрела на меня с изумлением.

* «…Спешу сообщить вам, что Иван Львович жив и здоров, – продолжал я быстро. –

Четыре месяца тому назад я, согласно его предписаниям…»

И я, не переводя дыхания, прочитал письмо штурмана наизусть. Я не останавливался, хотя Катя несколько раз брала меня за рукав с каким–то ужасом и удивлением.

* Ты видел это письмо? – спросила она и побледнела. – Он пишет об отце? – снова спросила она, как будто в этом могло быть какое–нибудь сомнение.
* Да. Но это еще не все!

И я рассказал ей о том, как тетя Даша однажды наткнулась на другое письмо, в кото- ром говорилось о жизни корабля, затертого льдами и медленно двигающегося на север.

* «Друг мой, дорогая моя, родная Машенька…» – начал я наизусть и остановился. Мурашки пробежали у меня по спине, горло перехватило, и я вдруг увидел перед со-

бой, как во сне, мрачное, постаревшее лицо Марьи Васильевны, с мрачными, исподлобья, глазами. Она была вроде Кати, когда он писал ей это письмо, а Катя была маленькой девоч- кой, которая все дожидалась «письма от папы». Дождалась, наконец!

* Словом, вот, – сказал я и вынул из бокового кармана письма в компрессной бумаге. – Садись и читай, а я пойду. Я вернусь, когда ты прочитаешь.

Разумеет я, я никуда не ушел. Я стоял под башней старца Мартына и смотрел на Катю все время, пока она читала. Мне было очень жаль ее, и в груди у меня все время становилось тепло, когда я думал о ней, – и холодно, когда я думал, как страшно ей читать эти письма. Я видел, как бессознательным движением она поправила волосы, мешавшие ей читать, и как встала со скамейки как будто для того, чтобы разобрать трудное слово. Я прежде не знал – горе или радость получить такое письмо. Но теперь, глядя на нее, понял, что это – страшное горе! Я понял, что она никогда не теряла надежды! Тринадцать лег тому назад ее отец про- пал без вести в полярных льдах, где нет ничего проще, как умереть от голода и от холода. Но для нее он умер только сейчас!

Когда я вернулся, у Кати были красные глаза, и она сидела на скамейке, опустив руки с письмами на колени.

* Замерзла? – спросил я, не зная, с чего начать разговор.
* Я не разобрала несколько слов… Вот эти: «Молю тебя…»
* Ах, вот эти! Здесь написано: «Молю тебя, не верь этому человеку…»

Вечером Катя была у нас в гостях, но мы ничего не говорили о старых письмах, – это было условленно заранее. Только тетя Даша не выдержала и рассказала историю утонувше- го почтальона. Оказывается, он не случайно утонул, а утопился «по насердке любви», как она объяснила. Он был влюблен в одну девушку, а девушку отдали за другого.

* Хоть бы письма–то вперед разнес! – с досадой добавила тетя Даша.

Катя была очень грустна. Все ухаживали за ней, особенно Саня, которая сразу привя- залась к ней, как это только девушки умеют. Потом мы с Саней проводили ее до самой козы, которая опять стояла на дорожке, но на этот раз не закатила истерики, только сердито за- трясла бородой.

Старики еще не спали, когда мы вернулись домой. Судья с некоторым опозданием ру- гал тетю Дашу за то, что она не доставила почту – «хотя бы те письма, на коих можно было разобрать адреса», – и находил для нее только одно оправдание – десятилетнюю давность. Тетя Даша говорила о Кате. Моя судьба, по ее мнению, была уже решена.

* Ничего, понравилась, – сказала она вздохнув. – Красивая, грустная. Здоровая.

Я попросил у Сани карту нашего Севера и показал путь, который должен был пройти капитан Татаринов из Ленинграда во Владивосток. Только теперь я вспомнил об его откры- тии. Что это за земля к северу от Таймырского полуострова?

* Постой–ка, – сказала Саня. – Да ведь это Северная Земля!

Что за черт! Это была Северная Земля, открытая в 1913 году лейтенантом Велькицким. Широта 79°35' между восемьдесят шестым и восемьдесят седьмым меридианами. Очень странно!

* Виноват, товарищи, – сказал я и, должно быть, немного побледнел, потому что тетя Даша посмотрела на меня с испугом. – Я все понимаю! Сперва это была серебристая полос- ка, идущая от самого горизонта. Третьего апреля полоска превратилась в матовый щит. Третьего апреля!
* Саня… – с беспокойством начала было тетя Даша.

* Виноват, товарищи! Третьего апреля. А Велькицкий открыл Северную Землю осе- нью, не помню точно когда, но только осенью, в сентябре или октябре. Осенью, через пол- года! Осенью, значит, он ни черта не открыл, потому что она была уже открыта.
* Саня! – сказал и судья.
* Открыта и названа в честь Марьи Васильевны, – продолжал я, крепко держа палец на Северной Земле, как будто боясь, как бы с ней опять не произошло какой–нибудь ошибки. – В честь Марьи Васильевны «Землей Марии» или что–нибудь в этом роде. А теперь садитесь, и я вам все объясню!..

Как уснуть после такого дня? Я пил воду, рассматривал карту. В столовой висели виды Энска, и я долго изучал их, не зная, что это Санины Картины, что она учится живописи и мечтает об Академии художеств. Я снова рассматривал карту. Я вспомнил, что Северной Землей эти острова стали называться недавно, что Велькицкий назвал их «Землей Николая Второго».

Бедный Катин отец! Он был удивительно, необыкновенно несчастлив. Ни в одной географической книге нет ни одного упоминания о нем, и никто в мире не знает о том, что он сделал.

Мне стало холодно от жалости и от восторга, и я лег, потому что был шестой час и на улице кто–то уже шаркал метлою. Но я не мог уснуть. Обрывки фраз из письма капитана мучили меня, я как будто слышал голос тети Даши и видел, как она читает это письмо, по- глядывая через очки, вздыхая и запинаясь. Картина, некогда представившаяся моему вооб- ражению, – белые палатки на снегу, собаки, запряженные в сани, великан в меховых сапо- гах, в меховой высоченной шапке, – вновь вернулась ко мне, и мне захотелось, чтобы все это случилось со мною, чтобы я был на этом корабле, медленно двигающемся навстречу гибели вместе с дрейфующими льдами, чтобы я был капитаном, который пишет прощальное пись- мо жене, – пишет и не может окончить. «Я назвал ее твоим именем, так что на любой гео- графической карте ты найдешь теперь сердечный привет от твоего…»

Как могла кончаться эта фраза?.. И вдруг что–то медленно прошло у меня в голове, очень медленно, как будто нехотя, и я сел на постели, не веря себе и чувствуя, что сейчас сойду с ума – сойду с ума, потому что я вспомнил:

*«…привет от твоего Монготимо Ястребиный Коготь, как ты когда–то меня называла. Как это было давно, боже мой! Впрочем, я не жалуюсь… Впро- чем, я не жалуюсь», – продолжал я вспоминать, бормотать, путаясь, что вот еще одно слово, еще одно, а дальше – забыл, не припомнил. «Я не жалуюсь. Мы увидимся, и все будет хорошо. Но одна мысль, одна мысль терзает меня!»*

Я вскочил, зажег лампу и бросился к столу, где лежали карандаши и карты.

*«Горько сознавать, – теперь я писал на карте, – горько сознавать, что все могло быть иначе Неудачи преследовали нас, и первая неудача – ошибка, за ко- торую приходится расплачиваться ежечасно, ежеминутно, – та, что снаря- жение экспедиции я поручил Николаю».*

Николаю? Верно ли? Да, Николаю!

Я остановился, потому что дальше в памяти был какой–то провал, а уже потом – это я снова помнил очень ясно – что–то о матросе Скачкове, который упал в трещину и разбился насмерть. Но это было уже совсем не то. Это было содержание письма, а не текст, из кото- рого я больше ничего не мог припомнить, кроме нескольких отрывочных слов.

Так я и не уснул. Судья встал в восьмом часу и испугался, найдя меня сидящим в од- ном белье у карты Севера, по которой я успел уже прочитать все подробности гибели шхуны

«Св. Мария», – подробности, которые, верно, удивили бы и самого капитан: Татаринова, если бы он вернулся…

Накануне мы условились пойти в городской музей. Саня хотела показать нам этот му- зей, которым в Энске очень гордились. Он помещался в Паганкиных палатах – старинном купеческом здании, о котором Петя Сковородников когда–то рассказывал, что оно набито

золотом, а в подвале замурован сам купец Паганкин, и кто войдет в подвал, того он задушит. И действительно, дверь в подвал была закрыта, и на ней висел огромный замок, наверно двенадцатого века, но зато окна открыты, и через них возчики бросали в подвал дрова.

На третьем этаже была выставка картин Саниного учителя художника Тува, и она, прежде всего, повела нас смотреть эти картины. Художник был тут же, при картинах, – ма- ленький, в бархатной толстовке, приветливый, с большой черной шевелюрой, а которой сверкали толстые седые нити. Картины его были недурны, но скучноваты – снова Энск и Энск, ночью и днем, при лунном и солнечном освещении, Энск старый и новый. Впрочем, мы хвалили их самым бессовестным образом: уж больно милый был этот Тува, и Саня гля- дела на него с таким обожанием!

Должно быть, она догадалась, что нам с Катей нужно поговорить, потому что вдруг извинилась и осталась на выставке под каким–то пустым предлогом, а мы спустились вниз, в большой зал, где стояли рыцари, в сетчатых железных кольчугах, вылезавших из–под нагрудника, как рубашка из–под жилета.

Понятно, мне не терпелось рассказать Кате о своих ночных открытиях. Но как начать такой разговор? Она сама начала.

* Саня, – сказала она, когда мы остановились перед воином времен Стефана Батория, чем–то напоминавшим Кораблева, – я думала, о ком он пишет: «Не верь этому человеку».
* Ну?
* И решила, что это… не о нем.

Мы молчали. Она не отрываясь смотрела на воина.

* Нет, о нем, – возразил я довольно мрачно. – Между прочим, твой отец открыл Се- верную Землю. Именно он, а вовсе не Велькицкий. Я это установил.

Но это известие, через несколько лет поразившее географов всего мира, не произвело на Катю особенного впечатления.

* А почему ты думаешь, – продолжала она с некоторым трудом, – что это именно он… Николай Антоныч? Ведь там, в письме, нет никаких указаний?
* Указаний сколько угодно. – Я чувствовал, что начинаю сердиться. – Во–первых, насчет собак. Кто тысячу раз хвастался, что купил для экспедиции превосходных собак? Во–вторых…

Саня подошла, и мы замолчали. Ничего не понимая, мы смотрели на «быт древнерус- ских князей», на «курную избу крестьянина Энской губернии при капиталистическом строе». Саня что–то объясняла нам, мы не слушали, по крайней мере Катя, которая все вре- мя поглядывала на меня с расстроенным видом. Она как будто спрашивала меня: «Ты в этом уверен?» И я отвечал, не говоря ни слова: «Совершенно уверен».

Потом Саня простилась и ушла, а мы еще долго бродили по темным залам Энского городского музея.

* А во–вторых?
* А во–вторых, сегодня ночью я вспомнил еще одно место этого письма. Вот оно.

И я прочел это место, начиная со слов: «Монготимо Ястребиный Коготь». Я прочитал его отчетливо, громко, как стихотворение, и Катя слушала меня, широко открыв глаза, серь- езная, как статуя. Вдруг какой–то холод мелькнул у нее в глазах, и я подумал, что она мне не верит.

* Ты мне веришь?

Она побледнела и сказала негромко:

* Да.

Больше мы не говорили об этом деле, Только я спросил, не помнит ли она, откуда это

«Монготимо Ястребиный Коготь», и она сказала, что не помнит, – кажется, из Густава Эма- ра, а потом сказала, что я не знаю, как это страшно для мамы.

* Все это гораздо сложнее, чем ты думаешь, – заметила она грустно и совершенно как взрослая. – Маме очень тяжело живется, а уж то; что у нее за плечами, нечего и говорить! А Николай Антоныч…

И Катя замолчала. Но потом она объяснила мне, в чем тут дело. Это тоже было от- крытие, и, пожалуй, еще более неожиданное, чем открытие Северной Земли капитаном Та- тариновым. Оказывается, Николай Антоныч уже много лет влюблен в Марью Васильевну!

Когда она была в прошлом году больна, он несколько дней совершенно не раздевался и нанял сестру, хотя это было совсем не нужно. После болезни он сам отвез ее в Сочи и устроил в гостиницу «Ривьера», хотя в санатории было бы гораздо дешевле. «Просто сошел с ума», – как сказала Нина Капитоновна. Весной он ездил в Ленинград и привез Марье Ва- сильевне меховую жакетку с рукавами крылышками, очень дорогую. Он никогда не ложится спать, если Марьи Васильевны нет дома. Он уговорил ее бросить университет, потому что ей было трудно служить и одновременно учиться. Но самая удивительная история произо- шла этой зимой: вдруг Марья Васильевна сказала, что она больше не хочет его видеть. И он исчез. Он ушел, в чем был, и не являлся домой дней десять. Неизвестно, где он жил, – наверное, в номерах. Тут уж вступилась Нина Капитоновна. Она сказала, что это «какая–то инквизиция», и сама привела его домой. Но Марья Васильевна не разговаривала с ним еще целый месяц…

Представить себе, что Николай Антоныч сходит с ума от любви, – это было просто невозможно! Николай Антоныч, с его пухлыми пальцами, с золотым зубом, такой старый! Но, слушая Катю, я представил себе эти сложные и мучительные отношения. Я представил себе, как прожила Марья Васильевна эти долгие годы. Ведь она была красавица и в двадцать лет осталась одна. «Ни вдова, ни мужняя жена!» Она заставляла себя жить воспоминаниями из уважения к памяти мужа! Я представил себе, как Николай Антоныч годами ухаживал за ней, обходил ее, вкрадчивый, настойчивый, терпеливый. Он сумел убедить ее – и не только ее – в том, что он один понимал и любил ее мужа. Катя была права. Для Марьи Васильевны это письмо было бы страшным ударом. Уж не лучше ли оставить его в Саниной комнате, на этажерке, между «Царем–Колоколом» и «Приключениями донского казака на Кавказе»?

**Глава 15.**

**ГУЛЯЕМ. НАВЕЩАЮ МАТЬ. БУБЕНЧИКОВЫ. ДЕНЬ ОТЪЕЗДА.**

Это была не особенно веселая, скорее даже грустная неделя в Энске. Но какие чудные воспоминания остались от нее на всю жизнь!

Мы с Катей гуляли каждый день, я показывал ей свои старые любимые места и гово- рил о своем детстве. Помнится, я где–то читал, что археологи по одной сохранившейся надписи восстанавливают историю и обычаи целого народа. Вот так и я – по сохранившимся кое–где уголкам старого Энска восстановил и рассказал Кате нашу прежнюю жизнь.

Но и сам я заново оценил этот прекрасный город. Мальчиком я не замечал всей преле- сти этих садов на горах, покатых улиц, высоких набережных, под углом расходящихся от Решеток – так и теперь еще называлось место слияния двух рек – Песчинки и Тихой…

Только один день был проведен без Кати. Я пошел на кладбище. Почему–то мне каза- лось, что от маминой могилы за эти годы и следа не осталось. Но я нашел ее. Она была об- несена ветхим деревянным заборчиком, и на покосившемся кресте еще можно было разо- брать надпись: «Помяни, господи, душу рабы твоея». Конечно, стояла зима, и все могилы одинаково занесены снегом, но все же видно было, что это – заброшенная могила.

Мне стало грустно, и я долго ходил по дорожкам, вспоминая мать. Сколько ей было бы лет теперь? Сорок. Еще совсем молодая. Горько мне было подумать, что она могла бы счастливо жить теперь, вот хоть так же, как живет тетя Даша. Я вспомнил ее усталый, тя- желый взгляд, руки, изъеденные стиркой, и как она вечерами не могла есть от усталости, которая уже почти ничем не отличалась от смерти. А ведь какая она была умная! Подлец Гаер Кулий, вот кто околдовал и погубил ее!

Я вернулся к могиле и как бы простился с ней. Потом нашел сторожа, который гулко колол дрова в полуразбитой часовне.

* Дядя, – сказал я ему, – тут у вас есть могила Аксиньи Григорьевой. Вот на этой до- рожке, за поворотом вторая.

Кажется, он притворился, что знает, о какой могиле я говорю.

* Нельзя ли ее прибрать? Я заплачу.

Сторож вышел на дорожку, посмотрел и вернулся.

* За этой могилой есть уход, – сказал он. – Сейчас зима, не видать. За другими – верно,

нету ухода, кресты повытянуты или что там. А за этой есть.

Я дал ему три рубля и ушел.

Возвращаясь домой, я думал о Гаере Кулий, о маме. Как она могла влюбиться в такого человека? Невольно и Марья Васильевна припомнилась мне, и я решил раз и навсегда, что вовсе не понимаю женщин…

Мы встречались каждый день, но только накануне отъезда я удосужился спросить Катю о старухах Бубенчиковых: правда ли, что они – оглашенные? Катя удивилась.

* Разве? Я не знала, – сказала она. – Но это вполне может быть, потому что они ате- истки и нигилистки. «Отцы и дети» читал?
* Читал.
* Помнишь, там есть нигилист Базаров?
* Помню.
* Ну вот, и они тоже такие нигилистки, как он.
* Постой, постой! Да ведь это же когда было?
* Ну так что ж! Они старые. А коза просто нервная. Они козье молоко пьют и меня упрашивали, но и отказалась. А когда коза нервничает, молоко портится.
* Ты меня просто дурачишь, – сказал я подумав.
* Нет, честное слово, – быстро возразила Катя.

Нервная коза, за которой ухаживают три нигилистки. Черт его знает! Все–таки это была какая–то ерунда!

И вот наступил последний, прощальный день! С шести часов утра тетя Даша пекла пироги, и, чуть проснувшись, я почувствовал запах шафрана и еще чего–то пахучего, вкус- ного, принадлежащего к тесту. Потом она вошла в столовую, где я спал, озабоченная, в оч- ках, перепачканная мукою, и принесла за уголок письмо от Петьки.

* Нужно Саню разбудить, – сказала она строго. – Письмо от Петеньки.

Письмо было действительно от Петеньки, краткое, но «подходящее», как сказал судья. Во–первых, он объяснял, почему не приехал на каникулы: он был с экскурсией в Ленингра- де. Во–вторых, он изумлялся моему появлению в Энске и выражал по этому поводу сер- дечные чувства. В–третьих, он страшно ругал меня за то, что я не писал, не искал его и во- обще «вел себя, как равнодушная лошадь». В–четвертых, в конверте было еще одно письмо, для Сани, и она засмеялась и сказала: «Вот дурак какой, мог бы просто приписать». Но, очевидно, он не мог просто приписать, потому что Саня взяла письмо и читала его в своей комнате часа три, пока я не ворвался к ней и не потребовал, чтобы она остановила действия тети Даши, которая хотела дать мне в дорогу пирог метр на метр.

Должно быть, та же картина наблюдалась в доме номер восемь по Лапутину переулку, потому что Катя не могла даже выйти из дому в этот день. Ее не только снабжали продук- тами, как будто она отправлялась на Северный полюс, – ее еще наряжали. Старинное, оставшееся без применения приданое трех нигилисток было пущено в ход – турецкие кру- жева, бархатные полосатые жакетки с буфами на плечах, тяжелые платья на подкладках.

Замечательно, что Саня, забежав к Бубенчиковым на минутку, опоздала к обеду. Она пришла немного смущенная и сказала, что это очень интересно. Все три старухи шьют, и выходит очень хорошенькое платье. Кате идет, а ей нет. Зато шапочка ей идет, и она себе непременно сделает такую.

– Одним словом, мы все перемерили, – сказала Саня и засмеялась. – Даже голова за- кружилась.

Судья успел со службы, чтобы отобедать вместе со мною в последний раз. Он принес бутылку вина, мы выпили, и он сказал речь. Это была очень хорошая речь, гораздо лучше, чем некогда на обеде, посвященном вступлению Гаера в батальон смерти. Петьку и меня он сравнил с орлами и выразил надежду, что мы еще не раз вернемся в родное гнездо. Он был бы рад похвастать, что вырастил таких ребят, но не может, потому что сама страна вырас- тила нас, не дала нам погибнуть. Так он сказал. Тетя Даша всплакнула в этом месте, как бы желая напомнить, что она и сама охотно взяла бы на себя наше воспитание, не прибегая к посторонней помощи… Я встал и ответил судье. Не помню, что я говорил, но тоже очень хорошо. В общем, я сказал, что хвастать нам еще нечем.

Мы до того дообедались, что чуть не опоздали. К вокзалу мы поехали на извозчиках.

Первый раз в жизни я так богато ехал: на извозчике, с корзинкой в ногах. Я бы мог сказать об этой корзине, что она неизвестно откуда взялась (ведь я приехал в Энск с пустыми рука- ми), если бы тетя Даша целый день на моих глазах не набивала ее пирогами.

Когда мы приехали, Катя стояла уже на ступеньках вагона, и старухи Бубенчиковы наперебой наставляли ее: чтобы она не простудилась в дороге, чтобы вещи не украли, чтобы на площадку не выходила, чтобы телеграфировала, как доедет, чтобы кланялась и писала.

Не знаю, может быть, они были и нигилистки. На мой взгляд – просто старые, заку- танные тетушки в лисьих шубах, с большими смешными муфтами на шнурах.

Мое место было в другом вагоне, и поэтому мы только издали поклонились Кате и Бубенчиковым. Катя помахала нам, а старухи чопорно закивали головами.

Второй звонок! Я обнимаю Саню, тетю Дашу. Судья просит навестить Петьку, и я даю честное слово, что зайду к Петьке в первый же день, как приеду. Я зову Саню в Москву, и она обещает приехать на весенние каникулы, – оказывается, об этом уже сговорено с Петь- кой.

Третий звонок! Я – в вагоне. Саня что–то пишет по воздуху, и я в ответ пишу наудачу:

«Ладно!» Тетя Даша начинает тихонько плакать, и последнее, что я вижу: Саня берет из ее рук платок и, смеясь, вытирает ей слезы. Поезд трогается, и милый энский вокзал трогается мне навстречу. Все быстрее! Вот и старые нигилистки проплывают мимо меня! Еще минута

* и перрон обрывается. Прощай, Энск!

На следующей станции я переменился местами с каким–то почтенным дяденькой, ко- торого устраивала моя нижняя полка, и переехал в Катин вагон. Во–первых, он был светлее, а во–вторых – Катин.

У нее все уже было устроено: на столике лежала чистая салфетка, окно завешено, как будто она сто лет жила в этом вагоне.

Мы оба только что отобедали, но нужно же было посмотреть, что старики положили в наши корзины.

В общем, Катина корзина все–таки побила мою. В ней оказались яблоки – чудесные зимние яблоки из собственного сада! Мы съели по яблоку и угостили соседа, маленького, небритого, сине–черного мужчину в очках, который все гадал, кто мы такие: брат и сестра – не похожи! Муж и жена – рановато!

Был уже третий час, и небритый сосед храпел во всю мочь, положив на нос маленький крепкий кулак, а мы с Катей все еще стояли и разговаривали в коридоре. Мы писали паль- цами по замерзшему стеклу – сперва инициалы, а потом первые буквы слов.

– Как в «Анне Карениной», – сказала Катя.

Но, по–моему, это было ничуть не похоже на «Анну Каренину» и вообще ни на что не похоже.

Катя стояла рядом со мной и была какая–то новая. Она была причесана по–взрослому, на прямой пробор, и из–под милых темных волос выглядывало удивительно новое ухо. Зубы тоже были новые, когда она смеялась. Никогда прежде она так свободно и вместе с тем гор- до не поворачивала голову, как настоящая красивая женщина, когда я начинал говорить! Она была новая, и снова совершенно другая, и я чувствовал, что страшно люблю ее – ну, просто больше всего на свете!

Вдруг становились видны за окнами ныряющие и взлетающие провода, и темное поле открывалось, покрытое темным снегом. Не знаю, с какой быстротой мы ехали, должно быть не больше сорока километров в час, но мне казалось, что мы мчимся с какой–то сказочной быстротой. Все было впереди. Я не знал, что ждет меня. Но я твердо знал, что это – навсе- гда, что Катя – моя, и я – ее на всю жизнь!

**Глава 16.**

**ЧТО МЕНЯ ОЖИДАЛО В МОСКВЕ.**

Представьте себе, что вы возвращаетесь в свой родной дом, где провели полжизни, – и вдруг на вас смотрят с удивлением, как будто вы не туда попали. Такое чувство я испытал, вернувшись в школу после Энска.

Первый человек, которого я встретил еще в раздевалке, был Ромашка. Он перекосился, увидев меня, а потом улыбнулся.

* С приездом! – злорадно сказал он. – Апчхи! Ваше здоровье! Этот подлец был чем–то доволен.

Ребят никого не было – последний день перед началом занятий, – и я прошел на кух- ню, чтобы поздороваться с дядей Петей. И дядя Петя встретил меня довольно странно.

* Ничего, брат, бывает, – шепотом сказал он.
* Дядя Петя, да что случилось?

Как будто не слыша меня, дядя Петя всыпал в котел пригоршню соли и замер. Он ню- хал пар.

Кораблев мелькнул в коридоре, и я побежал за ним.

* Здравствуйте, Иван Павлыч!
* А, это ты? – серьезно отвечал он. – Зайди ко мне. Мне нужно с тобой поговорить. Портрет молодой женщины стоял у Кораблева на столе, и я не сразу узнал Марью Ва-

сильевну – что–то уж слишком красива! Но я присмотрелся: на ней была коралловая ниточ- ка, та самая, в которой Катя была у нас на балу. Мне стало веселее, когда я разглядел эту ниточку. Это был как бы привет от Кати…

Кораблев пришел, и мы стали говорить.

* Иван Павлыч, в чем дело?
* Дело в том, – не торопясь отвечал Кораблев, что тебя собираются исключить из школы.
* За что?
* А ты не знаешь?
* Нет.

Кораблев сурово посмотрел на меня.

* Вот это уж мне не нравится.
* Иван Павлыч! Честное слово!
* За самовольную отлучку на девять дней, – загнув палец, сказал Кораблев. – За оскорбление Лихо. За драку.
* Ах, так! Прекрасно, – возразил я очень спокойно. – Но, прежде чем исключать, будьте любезны выслушать мои объяснения.
* Пожалуйста.
* Иван Павлыч, – начал я торжественно. – Вы хотите знать, за что я дал в морду Ро- машке?
* Без «морд», – сказал Кораблев
* Хорошо, без «морд». Я дал ему в морду потому, что он подлец. Во–первых, он рас- сказал Татариновым насчет меня и Кати. Во–вторых, он подслушивает, что ребята говорят о Николае Антоныче, а потом ему доносит. В–третьих, он без спросу рылся в моем сундучке. Это был форменный обыск. Ребята видели, как я его застал, и это верно – я его ударил. Я сознаю, что неправильно, особенно ногой, но ведь я тоже человек, а не камень. У меня сердце не выдержало. Это может с каждым случиться.
* Так. Дальше.
* Насчет Лихо вы уже знаете. Пускай он сперва докажет, что я – идеалист. Вы прочи- тали сочинение?
* Прочитал. Плохое.
* Ну, пусть плохое, но идеализм там и не ночевал, за это я могу поручиться.
* Допустим. Дальше.
* А дальше что же? Все.
* Нет, не все. Да ты знаешь, что тебя через милицию искали?
* Иван Павлыч… Ну, это верно. Я, правда, Вальке сказал, но пускай это не считается, ладно. Так неужели за то, что я на каникулах уехал – и куда же? – на родину, где я восемь лет не был, – меня исключат из школы?

Еще, когда Кораблев сказал насчет милиции, я понял, что без «грома» не обойтись. И не ошибся.

Однажды он уже орал на меня – в четвертом классе; когда Иська Грумант, купаясь,

ободрал ногу о камни и я стал лечить его солнечными ваннами и два пальца пришлось от- нять. Это был страшный «гром». Теперь он повторился. Выкатив глава, Кораблев кричал на меня, а я только робко говорил иногда:

* Иван Павлыч!
* Молчать!

И он сам умолкал на мгновенье – просто чтобы перевести дыхание…

Таким образом, я постепенно понял, что, действительно, во многом виноват. Но неужели меня исключат? Тогда все на свете прощай! Прощай, летная школа? Прощай, жизнь!

Кораблев замолчал, наконец.

* Ну просто из рук вон! – сказал он.
* Иван Павлыч, – начал я не очень дрожащим, а скорее этаким дребезжащим голо- сом, – я не стану вам возражать, хотя вы во многом не правы. Но это все равно. Ведь вы не хотите, чтобы меня исключили?

Кораблев молчал.

* Допустим.
* Тогда скажите сами, что я должен сделать.
* Ты должен извиниться перед Лихо.
* Хорошо. Только пускай сначала…
* Да я говорил с ним! – с досадой возразил Кораблев. – Он зачеркнул «идеализм». Но оценка осталась прежней.
* Оценка – пожалуйста. Хотя это неправильно, что я написал на «чрезвычайно слабо».

Такой отметки вообще нет. Плохо с минусом, что ли?

* Во–вторых, – продолжал Кораблев, – ты должен извиниться перед Ромашкой.
* Никогда!
* Но ты же сам сказал: «Сознаю, что это неправильно».
* Да, сказал. Можете меня исключать. Я перед ним извиняться не стану.
* Послушай, Саня, – серьезно сказал Кораблев, – мне с большим трудом удалось до- биться, чтобы тебя вызвали на заседание педагогического совета. Но теперь я начинаю жа- леть, что хлопотал об этом. Если ты явишься и начнешь говорить: «Никогда! Можете ис- ключать!» тебя наверняка исключат, можешь быть в этом совершенно уверен.

Он сказал эти слова с особенным выражением, и я сразу понял, на кого он намекает. Николай Антоныч, вежливый, обстоятельный, круглый, мигом представился мне. Вот кто сделает все, чтобы меня исключили!

* Мне кажется, что ты не имеешь права рисковать своим будущим ради мелкого са- молюбия.
* Это не мелкое самолюбие, а честь, Иван Павлыч! – продолжал я с жаром. – Вы что же хотите? Чтобы я смазал историю с Ромашкой, потому что она касается Николая Анто- ныча, от которого зависит – исключат меня или нет? Вы хотите, чтобы я пошел на такую страшную подлость? Никогда! Я теперь понимаю, почему он станет настаивать на моем ис- ключении! Он хочет избавиться от меня, чтобы я уехал куда–нибудь и больше не виделся с Катей. Как бы не так! Я все скажу на педсовете. Я скажу, что Ромашка – подлец и что только подлец станет перед ним извиняться.

Кораблев задумался.

* Постой, – сказал он. – Ты говоришь, Ромашов подслушивает, что ребята говорят о Николае Антоныче, а потом ему доносит. Но как ты это докажешь?
* У меня есть свидетель – Валька.
* Какой Валька?
* Жуков. Он мне буквально сказал: «Ромашка записывает в книжечку, а потом доносит Николаю Антонычу, что о нем говорят. Донесет, а потом мне рассказывает, Я уши затыкаю, а он рассказывает». Это я вам передаю буквально.
* Гм… интересно, – с живостью сказал Кораблев. – Так что же Валька молчал? Ведь он же, кажется, твой товарищ?
* Иван Павлыч, Ромашка на него влиял. Он на него смотрел ночью, а Валька этого не выносит. Потом он ему не просто так рассказывал, а под честным словом. Конечно, Валька –

дурак, что давал ему честное слово, но раз под честным словом, он уже должен был мол- чать. Верно?

Кораблев встал. Он прошелся, вынул гребенку и стал расчесывать усы, потом брови, потом снова усы. Он думал. У меня сердце стучало, но больше я не говорил ни слова. Пус- кай думает! Я даже стал дышать потише – так боялся ему помешать.

* Ну, что ж, Саня, ведь ты все равно не умеешь хитрить, – сказал, наконец, Кораблев. – Как ты сейчас мне обо всем этом рассказал, так же расскажешь и на педсовете. Но с усло- вием…
* С каким, Иван Павлыч?
* Не волноваться. Ты, например, сейчас сказал, что Николай Антоныч хочет тебя ис- ключить из–за Кати. Об этом не следует говорить на совете.
* Иван Павлыч! Неужели я не понимаю?
* Ты понимаешь, но слишком волнуешься… Вот, что Саня, давай сговоримся. Я по- ложу руку на стол – вот так, ладонью, вниз, а ты говори и на нее посматривай. Если я стану похлопывать по столу, – значит, волнуешься. Если нет, – нет.
* Ладно, Иван Павлыч. Спасибо. А когда заседание?
* Сегодня в три. Но тебя вызовут позже.

Он попросил меня прислать к нему Вальку, и мы расстались.

**Глава 17. ВАЛЬКА.**

Стараясь не очень волноваться, я на всякий случай уложил свои вещи, чтобы сразу уйти, если меня исключат. Потом прочитал стенгазету – обо мне ни слова, стало быть, этот вопрос не стоял на бюро. Или на каникулах не было ни одного заседания?

Это была самая страшная мысль: меня исключат не только из школы – из комсомола. В самом деле! Что ребята знают об этой истории? Что я ворвался в спальню, избил Ромашку и, никому не сказавшись, уехал в Энск? Конечно, я запятнал себя как комсомолец. Я обязан был объяснить свое поведение. Поздно!

Весь день я с тоской думал об этом. Комната комсомольской ячейки была закрыта, а из бюро была дома только Нинка Шенеман. Я ее не любил, и мне не хотелось говорить с ней о таком деле. По–моему, она была дура.

Я ждал Вальку, но время шло, а он не приезжал. Конечно, он был в Зоопарке! Я оста- вил ему мрачную записку – на случай, если разойдемся, и поехал на Пресню.

На этот раз я не сразу нашел его.

* Жуков у профессора, – сказал мне мальчик лет пятнадцати, немного похожий на Вальку, с таким же добрым и немного сумасшедшим лицом.
* А где профессор?
* На обходе.

Я переспросил.

* В парке, на обходе!

До сих пор я думал, что профессора делают обходы только в больницах. Но мальчик терпеливо объяснил мне, что не только в больницах, еще в зоопарках, и что в данном случае профессор обходит не больных, а зверей.

* Впрочем, случается, что и звери хворают, – добавил он подумав. – Хотя, разумеется, реже, чем люди.

Это был известный профессор Р., о котором Валька прожужжал мне все уши. Я сразу понял, что это – он, опять–таки потому, что он был тоже похож на Вальку, только на старого Вальку: с большим носом, в больших очках, в длинной шубе и в высокой каракулевой шап- ке.

Он стоял у обезьяньего флигеля, и вокруг него толпилось довольно много народу в белых халатах, надетых поверх пальто. Весь этот народ как бы стремился к нему, точно каждому хотелось о чем–нибудь ему рассказать. Но слушал он одного только Вальку, именно Вальку, и даже вынул из–под шапки большое морщинистое ухо.

Я остановился поодаль. Видно было, как Валька волнуется, моргает. «Молодец», – подумал я, сам не зная почему.

Он довольно долго говорил, а профессор все слушал и уже тоже стал моргать и вни- мательно шмыгать носом. Один раз он открыл рот и хотел, кажется, что–то возразить, но Валька энергично, сердито сунулся к нему, и профессор послушно закрыл рот.

Наконец Валька кончил, и профессор спрятал ухо и задумался. И вдруг, с каким–то веселым удивлением он хлопнул Вальку по плечу и заржал, совершенно как лошадь; все, громко разговаривая, двинулись дальше, а Валька остался стоять с идиотским, восторжен- ным видом. Вот тут–то я его и окликнул:

* Валя!
* А, это ты!

Никогда еще я не видел его в таком волнении. У него даже слезы стояли в глазах. Он растерянно улыбался.

* Что с тобой?
* А что?
* Ты плачешь?
* Что ты врешь! – отвечал Валька.

Он вытер кулаком глаза и радостно, глубоко вздохнул.

* Валька, что случилось?
* Ничего особенного. Я в последнее время занимался змеями, и мне удалось доказать одну интересную штуку.
* Какую штуку?
* Изменение крови у гадюк в зависимости от возраста.

Я посмотрел на него с изумлением. Плакать от радости, что кровь у гадюк меняется в зависимости от возраста? Это не доходило до моего сознания.

* Поздравляю, – сказал я. – Мне нужно с тобой поговорить. Как ты? В состоянии?
* В состоянии.

Мы прошли к мышам.

* Ты знаешь, что меня хотят исключить из школы?

Должно быть, Валька знал об этом, но совершенно забыл, потому что он сперва ши- роко открыл глаза, а потом хлопнул себя по лбу и сказал:

* Ах, да! Знаю!
* Это обсуждалось на бюро?

У меня был немного хриплый голос. Валька кивнул.

* Решили подождать, пока ты вернешься. У меня отлегло от сердца.
* Ты написал насчет Ромашки в ячейку? Валька отвел глаза.
* Видишь ли, – пробормотал он, – я не написал, а просто сказал ему, что если он еще будет приставать, тогда напишу. Он сказал, что больше не будет.
* Вот как! Значит, тебе наплевать, что меня исключают из школы?
* Почему? – с ужасом спросил Валька.
* Потому, что ты один мог бы подтвердить, что я бил его не только по личным причи- нам. А ты трус, и эта трусость переходит в подлость. Ты просто боишься за меня заступить- ся!

Это было жестоко – говорить Вале такие слова. Но я был страшно зол на него. Я счи- тал, что Ромашка – общественно–вредный тип, с которым нужно бороться.

* Я сегодня подам, – упавшим голосом сказал Валька.
* Ладно, – отвечал я сухо. – Только имей в виду, я тебя об этом не прошу. Я только считаю, что это твой долг как комсомольца. А теперь вот что: тебя просил зайти Кораблев.
* Когда?
* Сейчас.

Он стал клянчить хоть четверть часа, чтобы покормить какую–то пятнистую жабу, но я, не слушая, надел на него пальто и отвез к Кораблеву…

Очень сердитый, он вернулся через полчаса и долго сопел, гладя себя по носу пальцем.

Оказывается, Кораблев спросил его, правда ли, что он не любит, когда на него смотрят но- чью. Это его поразило.

* И я не понимаю, откуда он это узнал! Это ты сказал ему, скотина?
* Нет, не я, – соврал я.
* Главное, он спрашивает: «А если на тебя смотрят с любовью?»
* Ну?
* Я сказал, что «тогда не знаю…»

В половине шестого за мной пришел сторож.

* Григорьев, пожалуйста, просят на педсовет, вежливо сказал он.

**Глава 18.**

**СЖИГАЮ КОРАБЛИ.**

Это было самое обыкновенное заседание в нашей тесной учительской, за столом, по- крытым синей суконной скатертью с оборванными кистями. Но мне казалось, что все смот- рят на меня с каким–то таинственным, значительным видом. Серафима была в ботах, и даже это смутно представлялось мне какой–то загадкой. Кораблев смеялся, когда я вошел, и я подумал: «Нарочно!»

* Ну–с, Григорьев, – мягко начал Николай Антоныч, – ты, разумеется, знаешь, по ка- кому поводу мы вызвали тебя на это заседание. Ты огорчил нас – и не только нас, но, можно сказать, всю школу. Огорчил дикими поступками, недостойными человеческого общества, в котором мы живем и развитию которого должны способствовать по мере своих сил и воз- можностей.

Я сказал:

* Прошу мне задавать вопросы.
* Николай Антоныч, позвольте, – живо сказал Кораблев. – Григорьев, расскажи, по- жалуйста, где ты провел эти девять дней, с тех пор как убежал из дому?
* Я не убежал, а уехал в Энск, – отвечал я хладнокровно. – Там живет моя сестра, ко- торую я не видел около восьми лет. Это может подтвердить судья Сковородников, у кото- рого я останавливался, – Гоголевская, тринадцать, дом бывший Маркузе.

Если бы я прямо сказал: эти девять дней были проведены с Катей Татариновой, кото- рую отправили в Энск, чтобы мы хоть на каникулах не встречались, – и тогда мои слова не произвели бы большего впечатления на Николая Антоныча! Он побледнел, замигал и кротко наклонил голову набок.

* Почему же ты никого не предупредил о своем отъезде? – спросил Кораблев.

Я отвечал, что считаю себя виновным в нарушении дисциплины и даю обещание, что этого больше не будет.

* Прекрасно, Григорьев, – сказал Николай Антоныч. – Вот это прекрасный ответ.

Остается пожелать, чтобы ты так же удовлетворительно объяснил и другие свои поступки.

Он ласково смотрел на меня. У него было удивительное самообладание.

* Теперь расскажи нам о том, что у тебя произошло с Иваном Витальевичем Лихо.

До сих пор не могу понять, почему, рассказывая историю своих отношений с Лихо, я ни словом не упомянул об «идеализме». Должно быть, я считал, что раз Лихо снял это об- винение, нечего о нем и говорить. Это было страшной ошибкой. Кроме того, не стоило упоминать, что я пишу сочинения без «критиков». Это никому не понравилось. Кораблев нахмурился и положил руку на стол.

* Критики ты, значит, не любишь? – кротко сказал Николай Антоныч. – Что же ты сказал Ивану Витальевичу? Повтори дословно.

Перед всем педагогическим советом повторить то, что я сказал Лихо! Это было не- возможно! Не будь Лихо такой болван, он сам отвел бы этот вопрос. Но он только смотрел на меня с торжествующим видом.

* Ну–с! – провозгласил Николай Антоныч.
* Николай Антоныч, позвольте мне, – возразил Кораблев. – Нам известно, что он ска- зал Ивану Витальевичу. Хотелось бы знать, чем Григорьев объясняет свое поведение.
* Виноват, виноват, – сказал Лихо. – А я требую, чтобы он повторил! Я даже в школе Достоевского, от дефективных, таких вещей не слышал.

Я молчал. Если бы я умел читать мысли на расстоянии, то, верно, прочитал бы у Ко- раблева в глазах: «Саня, скажи, что ты обиделся за „идеализм“. Но я не умел.

* Ну! – снисходительно повторил Николай Антоныч.
* Не помню, – пробормотал я.

Это было глупо, потому что всем сразу стало ясно, что я соврал. Лихо зафыркал.

* Сегодня он меня за плохую отметку обругал, а завтра зарежет, – сказал он. – Хули- ганство какое!

Мне снова, как тогда на лестнице, захотелось ударить его ногой, но я, разумеется, удержался. Стиснув зубы, я молчал и смотрел на руку Кораблева. Рука поднялась, слегка похлопала по столу и спокойно легла на прежнее место.

* Конечно, сочинение плохое, – сказал я, стараясь не волноваться и думая с ненави- стью о том, как бы выбраться из этого глупого положения. – Может быть, не на «чрезвы- чайно слабо», потому что такой отметки вообще нет, но я сознаю, что неважное. В общем, если совет постановит, чтобы я извинился, я, ладно, извинюсь.

Очевидно, и это было глупо. Все зашумели, как будто я сказал невесть что, и Кораблев взглянул на меня с откровенной досадой.

* Да, Григорьев, – неестественно улыбаясь, сказал Николай Антоныч. – Стало быть, ты готов извиниться перед Иваном Витальевичем только в том случае, если по этому поводу состоится постановление совета. Иными словами, ты не считаешь себя виновным. Ну что ж! Примем к сведению и перейдем к другому вопросу.

«…Рисковать своим будущим ради мелкого самолюбия», – припомнилось мне.

* Извиняюсь, – повернувшись к Лихо, сказал я неловко.

Но Николай Антоныч уже снова заговорил, и Лихо сделал вид, что не слышит.

* Скажи, Григорьев: вот ты дико избил Ромашова. Ты бил его ногами по лицу, причи- нив таким путем тяжкие увечья, заметно отразившиеся на здоровье твоего товарища Рома- шова. Чем ты объясняешь это поведение, неслыханное в стенах нашей школы?

Кажется, больше всего я ненавидел его в эту минуту за то, что он говорил так длинно и кругло. Но рука Кораблева выразительно поднялась над столом, и я перестал волноваться.

* Во–первых, я не считаю Ромашова своим товарищем. Это было бы для меня позором
* такой товарищ! Во–вторых, я ударил его только один раз. А в–третьих, что–то незаметно, что у него стало плохое здоровье.

Все зашумели с возмущением, но Кораблев чуть заметно кивнул головой.

* + Мое поведение можно объяснить так, – продолжал я все более спокойно. – Я считаю Ромашова подлецом и могу доказать это когда угодно. Нужно было не бить его, а устроить общественный суд и позвать всю школу.

Николай Антоныч хотел остановить меня, но я не дал.

* + Ромашов – это типичный нэпман, который говорит только о деньгах и думает только об одном: как бы разбогатеть! У кого всегда можно достать деньги под залог? – У Ромашо- ва! У кого девчонки достают пудру и губную помаду? – У Ромашова! Он купит коробку пудры, а потом продает по щепотке. Это общественно–вредный тип, который портит всю школу.

Дальше я все время говорил в такой же форме, как будто и точно выступал обще- ственным обвинителем на суде. Иногда моя речь была чем–то похожа на речи Гаера Кулия, но мне некогда было думать об этом сходстве.

* + Но это еще не все! Я утверждаю, что Ромашов психологически влияет на более сла- бых ребят, с тем, чтобы взять их в свои руки. Если нужен пример, – пожалуйста! Валя Жу- ков. Ромашов воспользовался тем, что Валя нервный, и запугал его всяким вздором. Что он делает с ним? Он сперва берет с него честное слово, а потом рассказывает ему о своих под- лых секретах. Я был просто поражен, когда узнал об этом. Комсомолец, который дает чест- ное слово, что никому не расскажет, – о чем же? О том, чего он еще и сам не слыхал! Как это называется? Но это еще не все!

Кораблев давно уже похлопывал ладонью по столу. Но я больше не думал, волнуюсь я или нет. Мне казалось, что я ничуть не волнуюсь.

* + Это еще не все! Я вас спрашиваю, – сказал я громко и обернулся к Николаю Анто- нычу, – мог ли существовать в нашей школе такой Ромашов, если бы у него не было покро- вителей? Не мог бы! И они есть у него! По крайней мере, мне известен один из них – Нико- лай Антоныч!

Это было здорово сказано! Я сам не ожидал, что мне удастся так смело сказать! Все молчали, весь педагогический совет, и ждали – что–то будет. Николай Антоныч засмеялся и побледнел. Впрочем, он всегда немного бледнел, когда смеялся.

* + Как это доказать? Очень просто. Николай Антоныч всегда интересовался, что о нем говорят в нашей школе. Не знаю, зачем ему это нужно! Факт тот, что для этой цели он нанял Ромашова. Я говорю: именно нанял, потому что Ромашов ничего не станет делать бесплат- но. Он его нанял, и Ромашов стал подслушивать, что в школе говорят о Николае Антоныче, и доносить ему, а потом он брал с Жукова честное слово и рассказывал ему о своих доносах. Вы можете спросить меня: что же ты молчал. Я узнал об этом накануне отъезда, и Жуков тогда же обещал написать об этом в ячейку, но сделал это только сегодня.

Я замолчал. Кораблев снял руку со стола и с интересом обернулся к Николаю Анто- нычу. Впрочем, только он один держал себя так свободно. Остальным педагогам было как–то неловко.

* + Ты кончил свои объяснения, Григорьев? – ровным голосом, как будто ничего не случилось, сказал Николай Антоныч.
  + Да, кончил.
  + Может быть, вопросы?
  + Николай Антоныч, – любезно сказал Кораблев, я полагаю, что мы можем отпустить Григорьева. Может быть, мы пригласим теперь Жукова или Ромашова?

Николай Антоныч расстегнул верхнюю пуговицу жилета и положил руку на сердце. Он еще больше побледнел, и редкая прядь волос, зачесанная на затылок, вдруг отстала и свесилась на лоб. Он откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Все бросились к нему. Так кончилось заседание.

**Глава 19.**

**СТАРЫЙ ДРУГ.**

В школе только и говорили о моей речи на педсовете, и я поэтому был очень занят. Было бы преувеличением сказать, что я чувствовал себя героем. Но все–таки девочки из со- седних классов приходили смотреть на меня и довольно громко обсуждали мою наружность. Впервые в жизни мне был прощен маленький рост. Оказалось даже, что я чем–то похож на Чарли Чаплина. Таня Величко, которую очень уважали в школе, подошла и сказала, что на каникулах она систематически выступала против меня, а теперь считает, что я правильно дал Ромашову в морду.

* Но ты должен был сперва доказать, что он – общественно–вредный тип, – сказала она разумно.

Словом, я был неприятно удивлен, когда в разгар моей славы комсомольская ячейка вынесла мне строгий выговор с предупреждением. Педагогический совет не собирался из–за болезни Николая Антоныча, но Кораблев сказал, что меня могут перевести в другую школу.

Это было не очень весело и, главное, как–то несправедливо! С постановлением ячейки я был согласен. Но переводить меня в другую школу! За что? За то, что я доказал, что Ро- машка подлец? За то, что я уличил Николая Антоныча, который ему покровительствовал? В таком–то невеселом настроении я сидел в библиотеке, когда кто–то спросил в дверях гром- ким шепотом:

* Который?

И я увидел на пороге длинного рыжего парня с шевелюрой, вопросительно смотрев- шего на меня.

Рыжие вообще любят носить шевелюру, но у этого парня она была какая–то дикая, как в учебнике географии у первобытного человека. Интересно, что сперва я подумал именно об этом, а уже потом понял, что это Петька – Петька Сковородников собственной персоной

стоит на пороге нашей библиотеки и смотрит на меня с удивленным выражением. Я вскочил и бросился к нему, роняя стулья.

* Петя!

Мы пожали друг другу руки, а потом подумали и обнялись.

* Петя, ну как ты? Жив, здоров? Как же мы с тобой не встретились, ни разу!
* Это ты виноват, бес–дурак! – ответил Петька. – Я тебя по всему свету искал. А ты вот где приютился!

Он был очень похож на свою карточку, которую я видел у Сани, только на карточке он был причесан. Как я был рад! Я не чувствовал ни малейшей неловкости – точно встретился с родным братом.

* Петька! Черт возьми, ты молодец, что пришел! У меня твои письма! Вот! Я отдал ему письма.
* Как ты меня нашел? Из Энска написали?
* Ага! Я тебя давно жду. Думаю: не идет, подлец. Ну, как старики?
* Старики на ять, – отвечал я. Он засмеялся.
* Я думал, что ты в Туркестане живешь. Что ж ты? Так и не добрался?
* А ты?
* А я был, – сказал Петька. – Но мне не понравилось. Знаешь, жара, все время пить хочется, в тюрьму меня посадили, я соскучился и вернулся. Ты бы там подох.

Я провел его в спальню, но ребята обступили нас и стали смотреть прямо в рот, – и вдруг оказалось, что у нас в школе поговорить просто негде!

* А пошли на улицу, – предложил Петька. – Погода хорошая, почему не пройтись? А то ко мне?
* Ты один живешь?

Он показал на пальцах: вдвоем.

* Женился?

Он погрозил мне кулаком.

* С товарищем.

Мы взяли на дорогу по огромному куску энского пирога, оделись и стали спускаться по лестнице, разговаривая с набитыми ртами. И вот тут произошла очень странная встреча.

На площадке первого этажа, у географического кабинета, стояла женщина в шубке с беличьим воротником, Она стояла у перил и смотрела вниз, в пролет, – мне сперва показа- лось, что она собирается броситься в пролет, – она покачивалась у перил с закрытыми гла- зами. Но мы, должно быть, испугали ее, и она нерешительно подошла к двери. Это была Марья Васильевна, я сразу узнал ее, хотя у нее был незнакомый вид. Очень может быть, что, если бы я был один, она бы заговорила со мной. Но я был с Петькой и, кроме того, ел в эту минуту пирог, и она только молча кивнула в ответ на мой неловкий поклон и отвернулась.

Она похудела с тех пор, как я видел ее в последний раз, и лицо было неподвижное, мрачное… Думая об этом, я вышел на улицу, и мы с Петькой пошли гулять – опять вдвоем, опять зимой, в Москве, после долгой разлуки.

Удивительно, как Петина история была похожа на мою! Я слушал его с грустным чув- ством, как будто вспоминал старую книгу, прочитанную еще в детстве и пережитую с горе- чью и волнением. Но странно! Мне показалось, что тогда мы были опытнее, старше… Как будто мы были маленькими стариками.

В Ташкенте Петька прославился как гроза уток – не диких, разумеется, а домашних. Он выгонял уток на берег, а потом откручивал им головы и жарил на костре в саду детского дома. За это его, в конце концов, посадили в тюрьму, где он на всю жизнь получил отвра- щение к абрикосам: в тюрьме кормили отжимками абрикосов – на завтрак, на обед и на ужин. Потом его отпустили, он вернулся в Москву и попал в облаву на Казанском вокзале. В школу он поступил годом позже и догнал меня только в прошлом году, шагнув через класс.

* А помнишь: «Пфе! А, пфе! Як смиешь так робиць!»
* Ага! А помнишь: «Кто изменит этому честному слову, не получит пощады, пока не сосчитает, сколько деревьев в лесу, сколько падает с неба…»

Я сказал клятву до конца.

* Хорошо! – сказал с наслаждением Петька. – Хорошая клятва! Бороться и искать, найти и не сдаваться. А помнишь?
* А помнишь, – перебил я, – как мы твоего дядю искали? Кстати, где он? Ты его нашел?

Оказалось, что дядя умер на фронте от сыпного тифа.

* А помнишь?..

Так мы все время и говорили: «А помнишь…» Мы шли почему–то очень быстро, снег летел, на бульварах было много детей, и одна молоденькая няня посмотрела на нас и засме- ялась.

* Стой! Зачем мы так бежим? – спросил Петька, и мы пошли помедленнее.
* Петя, есть предложение, – сказал я, когда, нагулявшись, мы сидели в кафе на Твер-

ской.

* Давай!
* Я сейчас пойду звонить по телефону, а ты сиди, пей кофе и молчи. Он засмеялся.
* Смешно! – сказал он. Я заметил, что он любит говорить «смешно» и «бес–дурак». Телефон был далеко от нашего столика, у самого входа, и я нарочно говорил громко.
* Катя, мне очень хочется вас познакомить. Приходи, а? Что ты делаешь? Мне, между

прочим, необходимо с тобой поговорить.

* + Мне тоже. Я бы пришла. Но у нас все больны.

У нее был грустный голос, и мне вдруг страшно захотелось ее увидеть.

* + Как все? Я только что видел Марью Васильевну.
  + Где?
  + Она шла к Кораблеву.
  + А–а… – каким–то странным голосом сказала Катя. – Нет, бабушка больна.
  + А что с ней?
  + Да с табуретки упала, – с досадой сказала Катя. – Полезла зачем–то на полку и грох- нулась. Теперь бок болит. Просто беда с ней! И не лежит ни минуты… Саня, я отдала пись- ма, – вдруг шепотом сказала Катя, и я невольно плотнее прижал трубку к уху. – Я сказала, что ты был со мной в Энске, а потом отдала.
  + Ну? – тоже шепотом спросил я.
  + Очень плохо. Я тебе потом расскажу. Очень плохо. Она замолчала, и я услышал по телефону ее дыхание.

Мы простились, и я вернулся к столику с таким чувством, как будто я очень виноват перед ней. Мне стало грустно и как–то тревожно на душе, и Петька, кажется, понял это с первого взгляда.

* + Послушай, – сказал он. Он нарочно заговорил о другом. – Ты советовался с отцом насчет летной школы?
  + Да.
  + А он?
  + Одобрил.

Петька помолчал. Он сидел, вытянув длинные ноги, и задумчиво трогал пальцами те места, где должны били со временем вырасти борода и усы.

* + Мне тоже нужно с ним поговорить, – заметил он запинаясь. – Понимаешь, я в про- шлом году хотел идти в Академию художеств.
  + Ну?
  + А в этом – раздумал.
  + Почему?
  + А вдруг таланта не хватит?

Я засмеялся. Но у него был серьезный, озабоченный вид.

* + Вообще, если на то пошло, это странно, что ты идешь в Академию художеств. Мне всегда казалось, что ты станешь каким–нибудь путешественником или капитаном!
  + Конечно, это интереснее, – нерешительно сказал Петя. – Но что же делать, если у меня талант?
  + А ты кому–нибудь свои работы показывал?

* + Показывал……ову.

Он назвал фамилию известного художника.

* + Ну?
  + Говорит – ничего.
  + Ну, тогда баста! Придется идти! Это, брат, было бы свинство, если бы ты с твоим талантом пошел куда–нибудь в летную школу! Может, ты в себе будущего Репина загу- бишь.
  + Да нет, едва ли.
  + А вдруг?
  + Бес–дурак, ты смеешься, – с досадой сказал Петька. – Серьезный вопрос!

Мы расплатились, вышли, с полчаса бродили по Тверской, разговаривая обо всем сра- зу, – перелетая из Энска в Шанхай, который тогда был только что взят Народной армией, из Шанхая в Москву, в мою школу, а из моей школы в Петькину, – и стараясь доказать друг другу, что мы живем на свете не просто так, а философски целесообразно.

В кино «Арс» шло «Падение Романовых», мы остановились посмотреть фото. Все офицеры в свите были похожи на царя. Он сидел в большом смешном автомобиле, похожем на пролетку с откидывающимся верхом, и любезно улыбался.

* + Да, черт возьми, – вздохнув, сказал Петька, – положение отчаянное!
  + А давай я тебе прямо скажу, есть у тебя талант или нет.
  + Много ты понимаешь!
  + А понимаю!

И мы пошли к нему.

До прошлого года Петька, как и я, жил в детдоме.

Потом ему повезло: он подружился с одним рабфаковцем, у которого была комната на Собачьей Площадке, и они стали жить вместе. Фамилия рабфаковца была Хейфец, и он спал, когда мы пришли.

* Вот, – сказал Петька и, сняв лампочку, висевшую на спинке кровати, осветил одну из картин, которыми были увешаны довольно грязные стены. Я посмотрел сперва невоору- женным глазом, потом сощурившись и через кулак.

Это был портрет – я сразу догадался чей: Петькиного приятеля Хейфеца, который как раз в эту минуту открыл глаза, потревоженный передвижением света, и сразу опять заснул, вздохнув и закрыв лицо рукою. Это был чудный портрет: задумчивые детские глаза и реши- тельный лоб с прямыми, сросшимися бровями.

* Тушь?
* Да почти вода! – грустно отвечал Петька.

Портрет, был сделан слабой тушью, но с каким чувством контраста между черным и белым, как свободно!

* Да–а, – сказал я с невольным уважением. – Ну–ка, покажи еще что–нибудь!

Все остальные картины – это была моя сестра Саня. Саня в лодке и Саня у плиты, Саня в украинском костюме и Саня, как бабушка, в своем желтом меховом тулупе.

Я невольно вспомнил, как Саня смутилась, когда я спросил, нет ли у нее Петькиной карточки, и как быстро принесла ее – точно вышла за дверь и вынула карточку из кармана. Ну что ж! Подходяще, как говорит судья. Недаром Саня тоже собирается в Академию худо- жеств!

Нужно отдать Петьке справедливость – он не старался сделать Саню лучше, чем она была на самом деле. Но он был склонен подчеркивать в ее лице монгольские черты: узко- ватый разрез глаз, широкие скулы и взгляд, какой–то восточный, татарский. Быть может, поэтому на некоторых полотнах она была так необыкновенно похожа на мать.

Некоторые Сани были нарисованы хуже, чем Хейфец, но Саня у плиты – снова здоро- во. Особенно плита: все так и кипело в горшках, белые маленькие катышки катились, кипе- ли.

* Ну, брат, ничего не поделаешь!
* А что?
* Талант!

Петька вздохнул.

* Ну что художник! – сказал он. – Я тебе скажу откровенно, что я рисовать даже не люблю. Раньше любил, а теперь совершенно нет.
* Балда, да ведь это же редчайшая вещь!
* Да почему редчайшая? – с досадой возразил Петька. – Ты вот хочешь быть летчиком.

Тебе это интересно. А мне рисовать – неинтересно.

* Тише, разбудишь.
* Да, разбудишь его, – сердито глядя на рабфаковца, сказал Петька.
* Ты с ним советовался?
* Он говорит, что я – больной. Я засмеялся.
* А ведь были же такие случаи, – сказал Петька. – Например, Чехов. Доктор – и писа-

тель.

* Были. Я бы на твоем месте знаешь что сделал?
* Ну?
* Пошел бы в летчики и полетал лет двадцать. А потом стал рисовать.
* Разучишься, забудешь!

Я просидел у Пети до позднего вечера, и Хейфец так и не проснулся. Мы пробовали

разбудить его, но он только засмеялся во сне, как ребенок, и перевернулся на другой бок.

**Глава 20.**

**ВСЕ МОГЛО БЫТЬ ИНАЧЕ.**

Прошли те далекие времена, когда, возвращаясь после десяти часов домой, мы должны были с бьющимся сердцем обходить грозного Яфета, который в огромной шубе сидел на табурете перед входной дверью и спал – хорошо, если спал. Теперь я был выпускной, и мы могли возвращаться когда угодно.

Впрочем, было еще не так поздно – около двенадцати. Ребята еще болтали. Валя что–то писал, сидя на кровати с поджатыми ногами.

* Саня, тебя просил зайти Иван Павлыч, – сказал он. – Если ты придешь до двенадца- ти. Сейчас который?
* Половина.
* Вали!

Я накинул пальто и побежал к Кораблеву.

Это был необыкновенный и навсегда запомнившийся мне разговор, – и я должен пе- редать его совершенно спокойно. Я не должен волноваться, особенно теперь, когда, прошло так много лет. Разумеется, все могло быть иначе. Все могло быть иначе, если бы я понял, какое значение имело для нее каждое мое слово, если бы я мог предположить, что произой- дет после нашего разговора… Но этих «если бы» – без конца, а мне не в чем ни оправды- ваться, ни виниться. Итак, вот этот разговор.

Когда я пришел к Кораблеву, у него была Марья Васильевна. Она просидела у него весь вечер. Но она пришла не к нему, а ко мне, именно ко мне, и с первых же слов сказала мне об этом.

Она сидела выпрямившись, с неподвижным лицом и иногда поправляла узкой рукой прическу. На столе стояло вино и печенье, и Кораблев наливал и наливал себе, а она только раз пригубила и так и не допила свою рюмку. Все время она курила, и везде был пепел – и у нее на коленях. Знакомая коралловая нитка была на ней, и несколько раз она слабо оттянула ее – как будто нитка ее душила. Вот и все.

* Штурман пишет, что не рискует посылать это письмо почтой, – сказала она. – А между тем оба письма оказались в одной почтовой сумке. Как ты это объясняешь?

Я отвечал, что не знаю и что об этом нужно спросить штурмана, если он еще жив. Марья Васильевна покачала головой.

* Если бы он был жив!
* Может, его родные знают. Потом, Марья Васильевна, – сказал я с неожиданным вдохновением, – ведь штурмана подобрала экспедиция лейтенанта Седова. Вот кто знает. Он

им все рассказал, я в этом уверен.

* Да, может быть, – отвечала Марья Васильевна.
* Потом этот пакет для Гидрографического управления. Ведь если штурман отправил письма почтой, наверно, он и пакет той же почтой отправил. Нужно узнать.

Марья Васильевна снова сказала:

* Да.

Я замолчал. Я один говорил, Кораблев еще не проронил ни слова. Я не могу объяс- нить, с каким выражением он смотрел на Марью Васильевну. Вдруг он вставал из–за стола и начинал расхаживать по комнате, сложив руки на груди и приподнимаясь на цыпочках. Он был очень странный в этот вечер – какой–то летящий, точно на крыльях. Так и казалось, что усы его сейчас распушатся под ветром. Мне это не нравилось. Впрочем, я понимал его: он радовался, что Николай Антоныч оказался таким негодяем, гордился, что предсказал это, немного боялся Марьи Васильевны и страдал, потому что она страдала. Но больше всего он радовался, и это было мне почему–то противно.

* Что же ты делал в Энске? – вдруг спросила меня Марья Васильевна. – У тебя там родные?

Я отвечал, что – да, родные. Сестра.

* Я очень люблю Энск, – заметила Марья Васильевна, обращаясь к Кораблеву. – Там чудесно. Какие сады! Я потом уже не бывала в садах, как уехала из Энска.

И она вдруг заговорила об Энске. Она зачем–то рассказала, что у нее там живут три тетки, которые не верят в бога и очень гордятся этим, и что одна из них окончила философ- ский факультет в Гейдельберге. Прежде она не говорила так много. Она сидела бледная, прекрасная, с блестящими глазами и курила, курила.

* Катя говорила, что ты вспомнил еще какие–то фразы из этого письма, – сказала она, вдруг забыв о тетках, об Энске. – Но я никак не могла от нее добиться, что это за фразы.
* Да, вспомнил.

Я ждал, что она сейчас попросит меня сказать эти фразы, но она молчала, как будто ей страшно было услышать их от меня.

* Ну, Саня, – бодрым фальшивым голосом произнес Кораблев. Я сказал:
* Там кончалось: «Привет от твоего…» Верно? Марья Васильевна кивнула.
* А дальше было так: «…от твоего Монготимо Ястребиный Коготь…»
* Монготимо? – с изумлением переспросил Кораблев.
* Да, Монготимо, – повторил я твердо.
* «Монтигомо Ястребиный Коготь», – сказала Марья Васильевна, и в первый раз голос у нее немного дрогнул. – Я его когда–то так называла.

Может быть, теперь это кажется немного смешным, что капитана Татаринова она называла «Монтигомо Ястребиный Коготь». Особенно мне смешно, потому что я теперь знаю о нем больше, чем кто–нибудь другой на земном шаре. Но тогда это ничуть не было смешно – этот все время спокойный и вдруг задрожавший голос.

Между прочим, оказалось, что это имя совсем не из Густава Эмара, как думали мы с Катей, а из Чехова. У Чехова есть такой рассказ, в котором какой–то рыжий мальчик все время называет себя Монтигомо Ястребиный Коготь.

* Хорошо, Монтигомо, – сказал я. – А мне помнится – Монготимо… «как ты когда–то меня называла. Как это было давно, боже мой! Впрочем, я не жалуюсь. Мы увидимся, и все будет хорошо. Но одна мысль, одна мысль терзает меня». «Одна мысль» – два раза, это не я повторил, а так и было в письме – два раза.

Марья Васильевна снова кивнула.

* «Горько сознавать, – продолжал я с выражением, – что все могло быть иначе. Не- удачи преследовали нас, и первая неудача – ошибка, за которую приходится расплачиваться ежечасно, ежеминутно, – та, что снаряжение экспедиции я поручил Николаю».

Может быть, я напрасно сделал ударение на последнем слове, потому что Марья Ва- сильевна, которая была очень бледна, побледнела еще больше. Уже не бледная, а какая–то белая, она сидела перед нами и все курила, курила. Потом она сказала совсем странные сло-

ва – и вот тут я впервые подумал, что она немного сумасшедшая. Но я не придал этому зна- чения, потому что мне казалось, что и Кораблев был в этот вечер какой–то сумасшедший. Уж он–то, он–то должен был понять, что с ней происходит! Но он совсем потерял голову. Наверное, ему уже мерещилось, что Марья Васильевна завтра выйдет за него замуж.

* После этого заседания Николай Антоныч заболел, – сказала она, обращаясь к Кораб- леву. – Я предложила позвать доктора – не хочет. Я не говорила с ним об этих письмах. Тем более, он такой расстроенный. Не правда ли, пока не стоит?

Она была подавлена, поражена, но я все еще ничего не понимал.

* Ах, вот как, не стоит! – возразил я. – Очень хорошо. Тогда я сам это сделаю. Я по- шлю ему копию. Пусть почитает.
* Саня! – как будто очнувшись, закричал Кораблев.
* Нет, Иван Павлыч, я скажу, – продолжал я. – Потому что все это меня возмущает. Факт, что экспедиция погибла из–за него. Это – исторический факт. Его обвиняют в страш- ном преступлении. И я считаю, если на то пошло, что Марья Васильевна, как жена капитана Татаринова, должна сама предъявить ему это обвинение.

Она была не жена, а вдова капитана Татаринова. Она была жена Николая Антоныча и, стало быть, должна была предъявить это обвинение своему мужу. Но и это до меня не до- шло.

* Саня! – снова заорал Кораблев.

Но я уже замолчал. Больше мне не о чем было говорить. Разговор наш еще продол- жался, но говорить было больше не о чем. Я только сказал, что земля, о которой говорится в письме, это Северная Земля и что, стало быть, Северную Землю открыл капитан Татаринов. Но странно прозвучали все эти географические слова «Долгота, широта» здесь, в этой ком- нате, в этот час. Кораблев все метался по комнате, Марья Васильевна все курила, и уже це- лая гора окурков, розовых от ее накрашенных губ, лежала в пепельнице перед нею. Она бы- ла неподвижна, спокойна, только иногда слабо потягивала коралловую нитку на шее; точно эта широкая нитка ее душила. Как далека была от нее Северная Земля, лежащая между ка- кими–то меридианами!

Вот и все. Прощаясь, я пробормотал еще что–то, но Кораблев, нахмурясь, пошел прямо на меня, так что я как–то незаметно оказался за дверью.

**Глава 21.**

**МАРЬЯ ВАСИЛЬЕВНА.**

Больше всего меня удивило, что Марья Васильевна ни словом не обмолвилась о Кате. Мы с Катей провели в Энске девять дней. А Марья Васильевна не сказала об этом ни слова.

Это было подозрительное молчание, и я думал о нем ночью, пока не заснул, потом утром на физике, обществоведении и особенно на литературе.

Пожалуй, на литературе мне следовало думать о других вещах, более близких к Гого- лю и его бессмертной поэме «Мертвые души», которую мы тогда проходили. Мне следовало быть начеку, потому что Лихо, особенно после педсовета, из шкуры лез, только бы доказать всей школе, что если я не идеалист, так уж во всяком случае, знаю не больше, чем на

«чрезвычайно слабо».

Но я почему–то не ждал, что он меня вызовет, и даже вздрогнул, когда он громко назвал мою фамилию.

* Мы слышали, как некоторые ораторы позволяют себе оскорблять заслуженных лю- дей, – сказал он. – Посмотрим же, имеют ли они на это право.

И он спросил, читал ли я «Шинель» Гоголя, как будто таким образом можно было ре- шить этот вопрос.

Здесь еще не было ничего особенного, хотя «Шинель» мы проходили в первой ступе- ни, и это было хамство – спрашивать «Шинель», когда были заданы «Мертвые души». Но я спокойно ответил ему:

* Читал.
* Так–с. А в каком смысле следует понимать слова Достоевского: «Мы все вышли из

гоголевской „Шинели“?

Я объяснил, что хотя это сказал Достоевский, но на самом деле из «Шинели» ничего не вышло, а в литературе и в обществе появилась потом совсем другая нота. «Шинель» – это примиренье с действительностью, а литература – например, Лев Толстой – была борьбой с действительностью.

* Ты споришь с Достоевским? – презрительно усмехаясь, спросил Лихо.

Я отвечал, что – да спорю и что спорить с Достоевским – это еще не идеализм.

В классе засмеялись, и Лихо побагровел. Кажется, он сразу хотел поставить мне

«неуд», у него даже руки тряслись, но это было неудобно, и для приличия он задал мне еще один вопрос:

* Скажи, кого из героев Гоголя следует считать типом небокоптителя?

Я отвечал, что у Гоголя все герои – небокоптители, кроме типа Тараса Бульбы, кото- рый все–таки кое–что сделал согласно своим идеям. Но что Гоголя нельзя за это винить, потому что тогда была такая жизнь.

Лихо вытер пот и поставил мне «неуд».

* Иван Витальевич, я буду требовать, чтобы меня спросили в Академии наук, – сказал я садясь. – Мы с вами расходимся во взглядах на литературу.

Он что–то заквакал, но в это время раздался звонок.

Ребята считали, что в данном случае я был совершенно прав и что Лихо не имел права ставить мне «неуд» за то, что я не согласен с Достоевским, или за то, что я считаю всех го- голевских героев небокоптителями. Валя заметил, что у Гоголя есть еще какой–то положи- тельный тип – помещик Костанжогло из второй части «Мертвых душ», которую Гоголь сжег, но я возразил, что раз сам Гоголь ее сжег, стало быть, не о чем и говорить. Кроме того, помещик не может быть положительным типом. В эту минуту я увидел Петьку.

Это было неожиданно – Петька у нас в школе, на большой перемене!

* Петя, ты что?
* У меня тут дела, – возразил Петька и засмеялся.
* Какие дела?
* Разные. Вот хочу с тобой поговорить.
* О чем?
* Насчет Репина. Ты вчера говорил ерунду. Репин не мог не рисовать, и если бы ты ему предложил пойти в летную школу, он бы знаешь, куда тебя послал?

Я смотрел на него во все глаза.

* Вот ты, оказывается, какой!
* А что?
* Правда, больной. Петька нахмурился.
* Нет, – сказал он с досадой. – Я тебя серьезно спрашиваю.
* Я тебя тоже серьезно спрашиваю, почему ты не в школе?
* Я сегодня мотаю, – быстро сказал Петька. – Мне нужно это обдумать, а в школе я не могу думать. Мешают.

Перемена кончилась, но он сказал, что подождет меня в красном уголке, – у нас в этот день было четыре урока.

И он действительно не ушел. Он закинул голову на спинку стула, положил руки в кар- маны и закрыл глаза.

* Вот ты говоришь – летчик, – сказал он, когда, вернувшись через час, я нашел его в той же позе, на том же месте. – А может быть, у тебя нет никаких данных для летчика? Ты помнишь хоть один свой поступок в жизни, по которому можно было бы судить, что из тебя выйдет летчик?

Я вспомнил свое мгновенное твердое решение ехать в Энск за Катей.

* Есть.
* Например?
* Так я тебе и стану рассказывать!
* Допустим. А все–таки ты выбрал это логически, а не инстинктивно?
* Ясно – логически.

* Умом, а не сердцем? – сказал Петька и немного покраснел.
* Нет, сердцем.
* Врешь. Вот, например, другие ребята, которые идут в летчики, они строят модели, планеры.
* Ну и что же. Зато я теорию знаю.

Я мог бы ему возразить, что каждый год пытаюсь организовать в нашей школе кружок планеристов. Но эти кружки разваливались, потому что наши ребята интересовались ис- ключительно театром. Кроме меня и Вальки, все хотели стать актерами. И, между прочим, многие стали, например, Гриша Фабер.

* А я считаю, – помолчав, сказал Петька, – что нужно знаешь какую профессию выби- рать? В которой ты чувствуешь, что способен проявить все силы души. Я это читал, но это совершенно верно. Я вот не уверен, что как художник проявлю все силы души. А ты, значит, уверен?
* Уверен.
* Ну что ж, твое счастье.

Пора было обедать, но это был довольно интересный разговор, и я решил проводить Петьку до дому.

* Знаешь, а, по–моему, ты тоже не можешь не рисовать, – сказал я, когда, выйдя из школы, мы остановились на углу Воротниковского переулка. – Вот попробуй год или два – и соскучишься, потянет. И вообще, по–моему, это даже хорошо, что ты думаешь, что из тебя ничего не выйдет.
* Почему?
* Потому что это – «сомнения».
* Как «сомнения»?
* Очень просто. У настоящих художников непременно должны быть сомнения. То они тем недовольны, те этим. И очень хорошо, что ты сомневаешься, – сказал я с жаром. – Нет, Петька, это ясно: ты должен идти в Академию художеств.

Он вздохнул и покачал головой. Но, кажется, моя мысль о «сомнениях» понравилась

ему.

Так мы шли по Воротниковскому и разговаривали и, помнится, остановились у афиш-

ной будки, и я, слушая Петьку, машинально читал названия спектаклей, когда какая–то де- вушка вдруг вышла из–за угла и быстро перебежала дорогу.

Она была без шапки и в платье с короткими рукавами – в такой мороз! Может быть, поэтому я не сразу узнал ее.

* Катя!

Она оглянулась и не остановилась, только махнула рукой. Я догнал ее.

* Катя, почему ты без пальто? Что случилось?

Она хотела заговорить, но у нее застучали зубы, и она должна была крепко сжать их, чтобы пересилить себя, и уже потом заговорила:

* Саня, я бегу к доктору. Маме очень плохо.
* Что с ней?
* Не знаю. Мне кажется, она отравилась…

Бывают такие минуты, когда жизнь вдруг переходит на другую скорость – все начина- ет лететь, лететь и меняется быстрее, чем успеешь заметить.

С той минуты, как я услышал: «Мне кажется, она отравилась», – все стало меняться быстрее, чем это можно было заметить, и эти слова время от времени страшно повторялись где–то в глубине души.

Вместе с Петькой, который ничего не понимал, но ни о чем не спрашивал, мы побе- жали к доктору на Пименовский, потом к другому доктору, который жил над бывшим кино Ханжонкова, и все трое вломились в его тихую, прибранную квартиру с мебелью в чехлах и с неприятной старухой, тоже в каком–то синем чехле.

Неодобрительно качая головой, она выслушала нас и ушла. По дороге она прихватила что–то со стола – на всякий случай, чтобы мы не стащили.

Через несколько минут вышел доктор – низенький, румяный, с седым ежиком и сига- рой в зубах.

– Ну–с, молодые люди?

Пока он одевался, мы стояли в передней и боялись пошевелиться, а старуха в чехле тоже стояла и все время смотрела на нас, хотя из передней унести было нечего. Потом она притащила тряпку и стала вытирать наши следы, хотя никаких следов не было, только от Петькиных калош натекла небольшая лужа. Потом Петька остался торопить доктора, кото- рый все еще одевался – все еще одевался, хотя у Кати было такое лицо, что я несколько раз хотел заговорить с ней и не мог. Петька остался, а мы побежали вперед.

На улице я без разговоров надел на нее мое пальто. У нее волосы развалились, и она заколола их на ходу. Но одна коса опять упала, и она сердито засунула ее под пальто.

Карета скорой помощи стояла у ворот, и мы невольно остановились от ужаса. По лестнице санитары несли носилки с Марьей Васильевной.

Она лежала с открытым лицом, с таким же белым лицом, как накануне у Кораблева, но теперь оно было точно вырезанное из кости.

Я прижался к перилам и пропустил носилки, а Катя жалобно сказала: «Мамочка», – и пошла рядом с носилками. Но Марья Васильевна не открыла глаз, не шевельнулась. У нее был очень мертвый вид, и я понял, что она непременно умрет.

С убитым сердцем я стоял во дворе и смотрел, как носилки вкладывали в карету, как старушка дрожащими руками закутывала Марье Васильевне ноги, как у всех шел пар изо рта – и у санитара, который вынул откуда–то книгу и попросил расписаться, и у Николая Антоныча, который, болезненно заглядывая под очки, расписался в книге.

– Да не здесь, – грубо сказал санитар и, с досадой махнув рукой, положил книгу в большой карман халата.

Катя побежала домой и вернулась в своем пальто, а мое оставила на кухне. Она тоже села в карету. И вот дверцы, за которыми лежала страшная, изменившаяся, белая Марья Ва- сильевна, закрылись, и карета, рванувшись, как самый обыкновенный грузовик, помчалась в приемный покой.

Николай Антоныч и старушка одни остались во дворе. Некоторое время они стояли молча. Потом Николай Антоныч повернулся и первый пошел в дом, механически перестав- ляя ноги, как будто он боялся упасть. Таким я его еще не видел.

Старушка попросила меня встретить доктора и сказать, что не нужно. Я побежал и встретил доктора и Петьку на Триумфальной площади, у табачной будки. Доктор покупал спички.

* Умерла? – спросил он.

Я отвечал, что не умерла, а на скорой помощи отправили в больницу, и что я могу за- платить, если нужно.

* Не нужно, не нужно, – брезгливо сказал доктор.

Старушка сидела на кухне и плакала, когда, простившись с Петькой и пообещав завтра ему все рассказать, я вернулся на Тверскую–Ямскую. Николая Антоныча уже не было, он уехал в больницу.

* Нина Капитоновна, – спросил я, – может быть, вам что–нибудь нужно?

Долго она сморкалась, плакала, снова сморкалась. Я все стоял и ждал. Наконец она попросила меня помочь ей одеться, и мы поехали на трамвае в приемный покой.

**Глава 22. НОЧЬЮ.**

Ночью, все еще чувствуя скорость, от которой, кажется, свистело в ушах, все еще летя куда–то, хотя я лежал на своей постели, в темноте, я понял, что Марья Васильевна уже накануне, у Кораблева, решила покончить с собой.

Это было уже решено – вот почему она была так спокойна и так много курила и гово- рила такие странные вещи. У нее был свой загадочный ход мысли, о котором мы ничего не знали. Ко всему, о чем она говорила, присоединялось ее решение. Не меня она спрашивала, а себя и самой себе отвечала.

Может быть, она думала, что я ошибаюсь и что в письме речь идет о ком–нибудь другом. Может быть, она надеялась, что эти фразы, которые я вспомнил и которые Катя нароч- но не передала ей, окажутся не такими уж страшными для нее. Может быть, она ждала, что Николай Антоныч, который так много сделал для ее покойного мужа, так много, что только за него и можно было выйти замуж, окажется не так уж виноват или не так низок.

А я–то? Что же я сделал?

Мне стало жарко, потом холодно, потом снова жарко, и я откинул одеяло и стал глу- боко дышать, чтобы успокоиться и обдумать все хладнокровно. Я снова перебрал в памяти этот разговор. Как я теперь понимал его! Как будто каждое слово медленно повернулось передо мной, и я увидел его с другой, тайной стороны.

«Я люблю Энск. Там чудесно. Какие сады!» Ей было приятно вспомнить молодость в такую минуту. Она хотела как бы проститься с Энском – теперь, когда все уже было решено.

«Монтигомо Ястребиный Коготь, я его когда–то так называла». У нее задрожал голос, потому что никто не знал, что она его так называла, и это было неопровержимым доказа- тельством того, что я верно вспомнил эти слова.

«Я не говорила с ним об этих письмах. Тем более, он такой расстроенный. Не правда ли, пока не стоит?» И эти слова, которые вчера показались мне такими странными, – как они были теперь ясны для меня! Это был ее муж, – может быть, самый близкий человек на свете. И она просто не хотел расстраивать его, – она знала, что ему еще предстоят огорчения.

Давно уже я забыл, что нужно глубоко дышать, и все сидел на кровати с голыми нога- ми и думал, думал. Она хотела проститься и с Кораблевым – вот что! Ведь он тоже любил ее и, может быть, больше всех. Она хотела проститься с той жизнью, которая у них не вышла и о которой она, наверное, мечтала. Я всегда думал, что она мечтала о Кораблеве.

Давно пора было спать, тем более, что завтра предстояла очень серьезная контрольная, тем более, что совсем не весело было думать о том, что произошло в этот несчастный день.

Кажется, я уснул, но на одну минуту. Вдруг кто–то негромко сказал рядом со мной:

«Умерла». Я открыл глаза, но никого, разумеется, не было; должно быть, я сам сказал это, но не вслух, а в уме.

И вот, против своей воли, я стал вспоминать, как мы с Ниной Капитоновной приехали в приемный покой. Я старался уснуть, но ничего не мог поделать с собой и стал вспоминать.

…Мы сидели на большой белой скамейке у каких–то дверей, и я не сразу догадался, что носилки с Марьей Васильевной стоят в соседней комнате, так близко от нас.

И вот пожилая сестра вышла и сказала:

* Вы к Татариновой? Можно без пропуска.

И она сама торопливо надела на старушку, халат и завязала его.

У меня похолодело сердце, и я сразу понял, что если можно без пропуска, значит ей очень плохо, – и сразу же похолодело еще раз, потому что эта пожилая сестра подошла к другой сестре, помоложе, которая записывала больных, и та что–то спросила ее, а пожилая ответила:

* Ну, где там! Едва довезли.

Потом началось ожидание. Я смотрел на белую дверь и, кажется, видел, как все они – Николай Антоныч, старушка и Катя – стоят вокруг носилок, на которых лежит Марья Васи- льевна. Потом кто–то вышел, дверь на мгновение осталась открытой, и я увидел, что это со- всем не так, что никаких носилок уже нет, и что–то белое с черной головой лежит на низком диване, и перед этим белым с черной головой кто–то, тоже в белом, стоит на коленях. Я увидел еще голую руку, свесившуюся с дивана, – и дверь захлопнулась. Потом раздался тонкий хриплый крик – и сестра, записывавшая больных, остановилась, замолчала и снова стала записывать и объяснять. Не знаю, как я понял это, но я понял, что это кричал Николай Антоныч. Таким тонким голосом? Как ребенок?

Пожилая сестра вышла из дверей и с неестественным деловым видом стала разговари- вать с каким–то молодым парнем, который мял в руках шапку. Она посмотрела на меня – потому что я пришел с Ниной Капитоновной, – но сразу же отвела глаза. И я понял, что Ма- рья Васильевна умерла.

Потом я слышал, как сестра сказала кому–то: «Жалко, красивая». Но это было уже со- всем как во сне, и, может быть, это сказала не она, а кто–нибудь другой, когда Катя, и ста- рушка вышли из этой комнаты, в которой она умерла.

**Глава 23.**

**СНОВА ПРАВИЛА. ЭТО НЕ ОН.**

Это были очень грустные дни, и мне не хочется подробно писать о них, хотя я помню каждый разговор, каждую встречу, едва ли не каждую мысль. Это были дни, от которых как бы большая тень ложится на мою жизнь.

Сразу после похорон Марьи Васильевны я засел за работу. Мне кажется, было ка- кое–то чувство самосохранения в том отчаянном упорстве, с которым я занимался, заставляя себя не думать ни о чем. Если бы Петька снова спросил меня, есть ли в моей жизни ка- кой–нибудь поступок, по которому можно судить, что из меня выйдет летчик, я снова отве- тил бы ему «да» – и на этот раз с большим основанием.

Это было нелегко, особенно если представить себе, что на похоронах Марьи Василь- евны я подошел к Кате и она отвернулась.

До сих пор не могу вспомнить об этом без волнения, – судите же, что я почувствовал тогда, как был поражен и взволнован!

Вот как это было. На похороны Марьи Васильевны неожиданна пришло очень много народу – сослуживцы и даже студенты, с которыми она когда–то училась в Медицинском институте. Она всегда казалась одинокой, а ее, оказывается, многие знали и любили. Среди этих чужих людей, говоривших шепотом и подолгу смотревших на ворота, из которых все не выносили гроба, стоял Кораблев – с измученными глазами, с большими усами, которые казались совсем огромными на его похудевшем, постаревшем лице.

Я давно заметил, что родные всегда выходят вместе с гробом, а у ворот стоят и потом распоряжаются похоронами посторонние люди. Но тут было иначе, – должно быть, потому, что из родных гроб выносить было некому.

Николай Антоныч стоял в стороне, опустив голову, и Нина Капитоновна держала его за руку. Казалось, она поддерживала его, хотя он стоял совершенно прямо. Старухи Бубен- чиковы тоже были тут, похожие на монашенок, в старинных черных платьях со шлейфами.

Катя стояла подле них и упорно смотрела на ворота. Она была румяная, несмотря на все ее горе, которое было видно даже в том нетерпеливом движении, которым она поправ- ляла шапку, иногда съезжавшую на лоб, – наверно, она плохо заколола косы…

Ждали уже с полчаса, а гроб все не выносили. И вот я вдруг решился и подошел к ней.

Не знаю, может быть, это было неловко, что я подошел к ней в такую минуту. Но мне хотелось сказать ей хоть одно слово.

– Катя!

Она взглянула на меня и отвернулась…

По целым дням я сидел за книгами. Я возобновил свой старый порядок, то есть стал вставать в шесть часов, обливался холодной водой, делал гимнастику перед открытым ок- ном и занимался по расписанию. «Правила для развития воли», которые я составил в былые дни, опять пригодились мне, особенно одно: «Скрывать свои чувства или, по меньшей мере, не выражать их наружно». Я не выражал их наружно, хотя с каждым днем мне становилось все тяжелее. Как будто та большая тень, о которой я упомянул выше, все надвигалась на меня, и я видел ее сперва вдалеке, а потом уже ближе и ближе.

Это было мое последнее полугодие в школе, и я непременно хотел выйти по всем предметам на «весьма удовлетворительно». Это было совсем не так просто, особенно по ли- тературе.

Но вот однажды и Лихо, кряхтя и ежась, поставил мне «вуд». За выпускное сочинение я не боялся, – махнув рукой, я написал его согласно всем требованиям этого болвана и знал, что он от одного только удовлетворенного самолюбия поставит мне самую высокую отмет- ку.

Я вышел на одно из первых мест в классе, и только Валька был теперь впереди меня.

Но у него были удивительные способности, и, кроме того, он был гораздо умнее, меня.

А тень все надвигалась. Кораблев при встрече смотрел на меня с усилием, точно ему тяжело было меня видеть. Николай Антоныч не ходил в школу, и хотя никто не упоминал о

нашем столкновении на педсовете, однако все поглядывали на меня с каким–то упреком – как будто этот обморок, когда ему стало дурно на педсовете, а потом смерть Марьи Василь- евны совершенно оправдали его.

Всем было тяжело меня видеть. Я был одинок, как никогда. Но я еще не знал, какой удар меня ожидает.

Однажды – после смерти Марьи Васильевны прошло уже две недели – я зашел к Ко- раблеву. Я хотел попросить его пойти с нами в Геологический музей (я был тогда вожатым, и мои ребята просили показать им этот музей). Мы еще в первой ступени ходили туда с Ко- раблевым, и я помнил, как это было интересно.

Но он вышел ко мне очень взволнованный и попросил зайти потом.

* Когда, Иван Павлыч?
* Не знаю. Потом.

В передней висела шуба и шапка, а на столике лежал коричневый вязаный шарф, ко- торый когда–то на моих глазах вязала старушка. У Кораблева был Николай Антоныч.

Я ушел и с унылым сердцем принялся за книгу «Воздушный флот в, прошлом и буду- щем» – помню, что тогда читал эту книгу. Но не шло мое чтение – мысли бродили невесть где, и на каждой странице я должен был напоминать себе какое–нибудь из «правил для раз- вития воли». Зачем Николай Антоныч пришел к нему? Ведь он не был у Кораблева уже года четыре. Чем Кораблев был так взволнован?

Когда я вернулся к нему, Николая Антоныча уже не было. Как, сейчас помню – топи- лась печка, и Кораблев в толстом мохнатом френче, который он всегда надевал, когда был немного пьян или болен, сидел у печки и смотрел на огонь. Он поднял голову, когда я во- шел, и сказал:

* Что ты сделал, Саня! Боже мой, что ты сделал!
* Иван Павлыч!
* Боже мой, что ты сделал! – с отчаянием повторил Кораблев. – Ведь это не он, не он!

И он доказал это бесспорно, неопровержимо.

* Я не понимаю, Иван Павлыч. О ком вы говорите? Кораблев встал, потом сел и опять встал.
* У меня был Николай Антоныч. Он доказал мне, что в письме капитана речь идет не о нем. Это какой–то другой Николай. Какой–то промышленник фон Вышимирский.

Я был поражен.

* Иван Павлыч, это ложь, он все врет!
* Нет, это правда, – сказал Кораблев. – Это было огромное дело, о котором мы ничего не знаем. Там было много людей, какие–то купцы и поставщики, и капитан все знал с самого начала. Он знал, что экспедиция была снаряжена очень плохо, и он писал об этой Николаю Антонычу, я своими глазами видел эти письма.

Я слушал его, не веря ушам. Почему–то я всегда думал, что письмо, которое я нашел в Энске, – единственное, и это известие, что от капитана сохранились еще какие–то письма, ошеломило меня.

* Там было много неудач, – продолжал Кораблев. – Какой–то судовладелец снял ко- манду перед выходом в море, с большим трудом достали радиотелеграф, и его пришлось оставить, потому что не достали радиста, и еще что–то, – и почему же Николай Антоныч во всем виноват? Ведь это же ясно, боже мой! И я… Я догадывался об этом… Но я…

Он не договорил, и вдруг я увидел, что он плачет.

* Иван Павлыч, – сказал я, стараясь не смотреть на эту невероятную картину – плачу- щего Кораблева. – Значит, выходит, что он не виноват, а какой–то там «фон». Почему же в таком случае Николай Антоныч всегда утверждал, что он руководил этим делом? Спросите у него, сколько сухого бульона взяла с собой экспедиция, сколько макарон, сухарей и кофе. Почему же он прежде никогда не упоминал об этом «фоне»?

Кораблев вытер платком глаза, усы. Он достал из стенного шкафчика водку, налил полстакана и тут же немного отлил назад дрожащей рукой. Он выпил водку и сел.

* Ладно, теперь все равно. – И он махнул рукой. – Но как я был слеп, страшно слеп! – вдруг снова с отчаянием сказал он. – Я должен был убедить ее в том, что это – невозможно, невероятно, что даже если это Николай Антоныч, – все равно нельзя в неудаче такого

огромного дела винить одного человека. Я мог сказать, что ты настаиваешь, что это – он, потому, что ты его ненавидишь.

Я молча слушал Кораблева. Я всегда любил его и привык уважать, и мне неприятно было видеть его в таком жалком виде. Он сморкался, и у него были растрепаны волосы и усы.

* Ненавижу я его или нет, – оказал я спокойно, – это не имеет ни малейшего отноше- ния к делу. И я вообще не знаю, что вы хотите этим сказать. Что я настаивал нарочно, то есть из подлых личных побуждений?

…Кораблев молчал.

* Иван Павлыч! Он все молчал.
* Иван Павлыч! – заорал я. – Вы думаете, что я нарочно впутался в это дело, чтобы отомстить Николаю Антонычу? Вот почему вы говорили, что если даже это он, а не ка- кой–то там «фон», – все равно в неудаче такого большого дела нельзя обвинять одного че- ловека. Вы считаете, что я во всем виноват? Говорите же! Да? Считаете?

Кораблев молчал. У меня потемнело в глазах, и я услышал, как сильно и медленно бьется сердце.

* Иван Павлыч, – дрожащим, но решительным голосом сказал я. – Теперь мне остается хоть умереть, но доказать, что я – прав. И я докажу это. Я сегодня же пойду к Николаю Ан- тонычу и попрошу его показать мне эти документы и письма. Он убедил вас, что в письме речь идет не о нем, а о каком–то «фоне». Пускай же он и меня убедит.
* Делай, что хочешь, – уныло сказал Кораблев.

Я ушел. Он не тронулся с места, так и остался у печки, усталый и в полном отчаянии. Мы оба были в отчаянии, но у меня к этому чувству присоединялось какое–то хладнокров- ное бешенство, а он был в безнадежной усталости, старый и совершенно один в пустой, хо- лодной квартире.

**Глава 24. КЛЕВЕТА.**

Легко сказать: я пойду к нему и попрошу его показать эти письма. Мне тошно было и думать об этом. В самом деле, станет он говорить со мной! Он спустит меня с лестницы – и вся недолга. Не стану же я драться с ним. Он все–таки больной и старый.

Я бы не пошел. Но одна мысль не оставляла меня: Катя.

У меня начинала болеть голова, когда я вспоминал, как сурово она отвернулась от ме- ня на похоронах. Теперь мне было ясно, почему она сделала это: Николай Антоныч уверил ее, что я во всем виноват.

Я представлял себе, как он разговаривает с нею, и сердце у меня так и ходило: «А, у твоего друга такая превосходная память. Почему же до поездки в Энск он ни разу не вспомнил об этих письмах?»

В самом деле, как мог я забыть о них? Я, который был так поражен ими в детстве? Я, читавший их наизусть в поездах между Энском и Москвою? Забыть об этих письмах, как будто с далеких звезд упавших в наш маленький город?

У меня было только одно объяснение – судите сами, верное или нет.

Когда Катя рассказывала мне историю своего отца, когда я рассматривал его на старых фото, в кителе с погонами, в фуражке с белым, поднятым сзади чехлом, когда я читал его книги, мне всегда казалось, что это было очень давно, во всяком случае за много лет до того, как я уехал из Энска. А письма – это было мое детство, то есть совсем другое время. Мне просто не пришло в голову, что эти два совершенно разных времени следовали одно за дру- гим. Здесь была не ошибка памяти, а какая–то совсем другая ошибка.

Тысячу раз я думал о «фоне». Так это о нем писал капитан Татаринов: «Вся экспеди- ция шлет ему проклятия». Так это о нем он писал: «Всеми нашими неудачами мы обязаны только ему». А Кораблев сказал, что в неудаче такого дела нельзя винить одного человека. Капитан думал иначе.

Так это о нем он писал: «Вот как дорого обошлась нам эта услуга». А почему бы, соб- ственно говоря, какому–то «фону» оказывать капитану Татаринову эту услугу? Услугу ему мог оказать богатый двоюродный брат – недаром же я столько слышал от него об этой услуге.

Словом, у меня не было никакого плана действий, когда, в синей парадной курточке, вечером второго февраля я пришел к Татариновым и сказал незнакомой девушке, которая открыла мне дверь, что мне нужен Николай Антоныч.

Через открытую дверь было видно, что в столовой пьют чай. Нина Капитоновна не- громко сказала что–то, и я увидел ее в полосатой шали, сидящую у самовара…

Не знаю, что подумал, увидев меня, Николай Антоныч, но, появившись на пороге, он вздрогнул и немного отступил назад.

* Что тебе нужно?
* Я хотел поговорить с вами. Он немного подумал.
* Зайди.

Я хотел пройти к нему в кабинет, но он сказал:

* Нет, сюда.

Потом я догадался, что это было нарочно: он заманил меня в столовую, чтобы распра- виться со мной перед всеми.

Все немного испугались, когда вслед за ним я появился в столовой. Старухи Бубенчи- ковы, которых я вовсе не ожидал здесь увидеть, одновременно вскочили, и та, что в Энске гналась за мной, уронила на стол чайную ложечку. Катя вошла в столовую с другой стороны и так и замерла на пороге.

Я пробормотал:

* Может быть, здесь неудобно?
* Нет, здесь удобно.

Нужно было сразу поздороваться, как только я вошел, а теперь, пожалуй, не стоило, но я все–таки поклонился. Никто не ответил, только Нина Капитоновна чуть заметно кивнула.

* Ну–с?
* Вы сказали Ивану Павлычу, что капитан Татаринов писал вам о каком–то фон Вы- шимирском. Мне это необходимо знать, потому что выходит, будто я нарочно уверял Ма- рью Васильевну только для того, чтобы как–то насолить вам. Но так думает, например, Ко- раблев. И другие. Одним словом, я прошу вас показать мне эти письма, посредством которых вы хотите доказать, что в гибели экспедиции виноват какой–то фон Вышимирский, а в смерти (я проглотил это слово)… во всем остальном – я.

Это была довольно длинная речь, но я приготовил ее заранее и поэтому сказал без за- пинки. Только запнулся, когда сказал о смерти Марьи Васильевны, и потом еще на слове «и другие», потому что подумал о Кате. Она все еще стояла на пороге, вытянувшись и затаив дыхание.

Теперь только, во время этой речи, я заметил, как постарел Николай Антоныч. Он стал похож на старую птицу с горбатым носом, щеки опустились, и даже золотой зуб, который прежде как–то освещал все лицо, потускнел.

Он слушал меня и громко дышал. Казалось, он не знал, что мне ответить. Но в эту ми- нуту вторая Бубенчикова спросила его с удивлением:

* Кто это?

И он перевел дыхание и заговорил.

* Кто это? – свистящим шепотом переспросил он. – Это тот подлый клеветник, о ко- тором я говорю вам ежедневно и ежечасно.
* Николай Антоныч, если вы хотите ругаться…
* Это человек, который убил ее, – повторил Николай Антоныч. У него задрожало лицо, и он стал ломать пальцы. – Это человек, оклеветавший меня самой страшной клеветой, какая только доступна воображению. Но я еще жив!

Никто и не думал, что он умер, и я хотел сказать ему об этом, но он опять закричал:

* Я еще жив!

Нина Капитоновна взяла его за руку. Он вырвал руку.

* Я мог бы прибегнуть к закону и засудить его за все… За все, что он сделал, чтобы отравить мою жизнь. Но есть другие законы, другой суд, и по этим законам он когда–нибудь еще почувствует, что он сделал. Он убил ее, – сказал Николай Антоныч, и слезы так и брызнули из его глаз. – Она умерла из–за него. Пускай же он живет, если может…

Нина Капитоновна отодвинула стул и взяла его под руку, точно боялась, что он сейчас упадет. Он мутно посмотрел на нее. Это была минута, когда я усомнился в своей правоте. Но только одна минута.

* Из–за кого же? Боже мой, из–за кого? – продолжал Николай Антоныч. – Из–за этого мальчишки, который так низок, что осмелился снова придти в дом, где она умерла. Из–за этого мальчишки с нечистой кровью…

Не знаю, что он хотел этим сказать, и почему его кровь была чище, чем моя. Ничего! Я молча слушал его. Катя стояла у стены, вытянувшись, очень прямая.

–…Снова осмелился придти в этот дом, из которого я его выбросил, как змею. Вот ведь есть же судьба, боже мой! Я отдал ей свою жизнь, я сделал для нее все, что только в силах был сделать человек для любимого человека, а она умирает из–за этой подлой, гнус- ной змеи, которая говорит ей, что я – не я, что я всегда обманывал ее, что я убил ее мужа, своего брата.

Меня поразило, что он говорил с такой страстью, совершенно не помня себя. Я чув- ствовал, что очень бледен. Но ничего! Я знал, что ему ответить.

* Николай Антоныч, – сказал я, стараясь не волноваться и замечая, однако, что язык не очень слушается меня. – Я не буду отвечать на ваши эпитеты, потому что понимаю, в каком вы состоянии. Вы действительно выгоняли меня, но я снова пришел и буду приходить снова до тех пор, пока не докажу, что я совершенно не виноват в смерти Марьи Васильевны. И что если кто–нибудь виноват, так уж во всяком случае, не я, а кто–то другой. Факт тот, что у вас имеются письма покойного капитана Татаринова, посредством которых вы убедили Кораб- лева и, очевидно, вообще всех, что я вас оклеветал. Я прошу вас показать мне эти письма, чтобы все могли убедиться, что я действительно та подлая змея, о которой вы только что говорили.

Страшный шум поднялся вслед за этими словами. Бубенчиковы, все еще не понимая, кричали наперерыв:

* Кто это?!

Но им никто не объяснял, кто я, и они кричали все громче. Нина Капитоновна тоже кричала на меня, чтобы я уходил. Только Катя не говорила ни слова. Она стояла у стены и смотрела то на Николая Антоныча, то на меня.

Вдруг все замолчали. Николай Антоныч отстранил старушку и вышел в свою комнату. Он вернулся минуту спустя, держа в руках груду писем. Не два и не три, а именно груду – штук сорок. Не думаю, что все это были письма капитана Татаринова, вернее всего – разные письма, от разных лиц – переписка, связанная с экспедицией, или что–нибудь в этом роде. Он бросил эти письма мне в лицо, потом плюнул мне в лицо и упал в кресло. Старухи бро- сились к нему.

Очень может быть, что если бы он плюнул и попал мне в лицо, я бы его ударил или даже убил – мне в лицо еще не плевали, и я, несмотря на все свои правила, мог за это убить человека. Но он не попал. И письма не долетели.

Понятно, я не стал собирать эти письма, хотя было мгновенье, когда я чуть–чуть не поднял одно из них – то, на котором была большая сургучная печать с надписью «Святая Мария». Я не стал поднимать их. Я был в этом доме в последний раз. Катя стояла между нами у кресла, в котором он лежал, стиснув зубы и хватаясь за сердце. Я посмотрел на нее – прямо в ее глаза, которые видел в последний раз.

– Ладно, – сказал я. – Я не стану читать эти письма, которые, вы бросили мне в лицо. Я сделаю другое. Я найду экспедицию, я не верю, что она исчезла бесследно, и тогда посмот- рим, кто из нас прав.

Мне хотелось еще проститься с Катей и сказать ей, что я никогда не забуду, как она отвернулась от меня на похоронах. Но Николай Антоныч вдруг стал вставать с кресла, и снова поднялся ужасный шум. Старухи Бубенчиковы набросились на меня и чем–то больно ударили в спину. Я махнул рукой и ушел.

**Глава 25.**

**ПОСЛЕДНЕЕ СВИДАНИЕ.**

Я был одинок, как никогда. С еще большим ожесточением я набросился на книги. Ка- жется, я совсем разучился думать. И очень хорошо. Лучше было не думать.

Вдруг я вообразил, что меня могут не принять в летную школу по состоянию здоровья, и принялся за гимнастику, за всякие прыжки, ласточки, мостики, стойки. Каждое утро я щу- пал мускулы и осматривал зубы. Проклятый рост в особенности беспокоил меня – от всех огорчений я стал, кажется, ниже ростом.

Однако в конце марта я собрал документы и отправил их в Совет Осоавиахима. К до- кументам я приложил просьбу – послать меня в Ленинград, в летно–теоретическую школу.

Не нужно, кажется, объяснять, почему мне хотелось уехать из Москвы.

Петька тоже собирался в Ленинград. Он окончательно решил поступить в Академию художеств. Саня – тоже и с той же целью.

Когда–то я лепил коней барона Клодта, и мои представления о Ленинграде были свя- заны с этими чудными конями на мосту. Мне казалось, что в Ленинграде на каждом шагу памятники и мраморные здания. Петька посоветовал мне прочитать «Медный всадник», и мне еще больше захотелось в этот замечательный город. Но меня, конечно, могли и оставить в Москве, и послать в Севастополь.

На весенних каникулах мы с Петей съездили в Энск, между прочим, опять зайцами, потому что мы берегли деньги на «после школы».

Но это была совсем другая поездка, и сам я стал другим за эти полгода. Тетя Даша ра- зохалась, увидев меня, а судья объявил, что за такой вид нужно отвечать в судебном порядке и что он «примет все меры, чтобы выяснить причины, по коим ответчик потерял равновесие духа».

Но «ответчик» ничего не рассказал ему об этих причинах. Очень грустный, он бродил по Соборному саду, по набережной у Решеток, по тем местам, которые он так недавно по- казывал «истцу» с косами и в сером треухе с не завязанными ушами.

Только Петьке я рассказал – и то очень кратко – о своем разговоре с Кораблевым и о том, как принял меня Николай Антоныч. Но Петька подошел к этой истории с неожиданной стороны. Он выслушал меня и сказал с вдохновением:

* Послушай, а вдруг найдешь!
* Что найду?
* Экспедицию.

«А вдруг найду», – подумалось мне.

Мурашки побежали у меня по лицу, и мне стало весело и страшно. «А вдруг найду». И, как в далеком детстве, словно туманная картина, представилось мне: белые палатки на сне- гу; собаки, тяжело дыша, тащат сани. Огромный человек, великан в меховых сапогах, идет навстречу саням, а я, тоже в меховых сапогах и в огромной шапке, стою с трубкой в зубах на пороге палатки…

Нужно сказать, что Петька вел себя в Энске очень странно. Он все время чувствовал вдохновение. Недаром за каждым обедом судья подмигивал мне и заводил разговор о пользе ранних браков. Саня краснела, а Петька слушал его с туманным выражением и ел, ел… Наблюдая за ним, я догадывался, что, должно быть, на зимних каникулах я был такой же: очень много ел и все, что мне говорили, понимал с небольшим опозданием. Но мне казалось, что у них это не так необыкновенно.

В Энске я все время думал о Кате. Среди Саниных книг нашелся «Овод», и, читая этот прекрасный роман, я находил, что история Овода очень похожа на мою. Так же, как Овод, я был оклеветан, и любимая девушка отвернулась от него, как от меня. Мне представлялось, что мы встретимся через четырнадцать лет и она меня не узнает. Как Овод, я спрошу у нее, показывая на свой портрет:

* Кто это, если я осмелюсь спросить?
* Это детский портрет того друга, о котором я вам говорила.
* Которого вы убили?

Она вздрогнет и узнает меня. Тогда я брошу ей все доказательства своей правоты и откажусь от нее.

Но мало было надежды на такую встречу! Внутренне я был уверен в своей правоте. Но холод иногда заходил в сердце – особенно когда я вспоминал об этом проклятом «фоне». Незадолго до поездки в Энск Кораблев сказал мне, что Николай Антоныч показал ему под- линную доверенность на ведение всех дел экспедиции, выданную капитаном Татариновым Николаю Иванычу фон Вышимирскому.

* Ты ошибся, – сказал он коротко и беспощадно…

Я один вернулся и Москву. Петька простудился и остался на несколько дней в Энске. У меня было такое впечатление, что он нарочно простудился. Во всяком случае, он был очень доволен.

Я скучал в Энске, и мне казалось – вот приеду в Москву, возьмусь за книги, и не будет у меня времени, чтобы скучать. Но нашлось время. Злой и молчаливый, я бродил по шко- ле…

Именно в эти дни я, подрался с Мартыновой из нашего класса. Я дал ей по уху за под- лость: она стащила у Тани Величко вечное перо, а потом попыталась свалить на Вальку, – но отчасти и за то, что она была девчонка.

На другой день меня вызвали в ячейку и спросили, в чем дело. У нас с девчонками были товарищеские отношения, но драться с ними – это было все–таки не принято, особенно в последнем классе. Я сказал, что Мартынова – подлец, а что она девчонка – не играет роли. Если бы я дал по уху мальчишке, вызвали бы меня или нет?

Ребята подумали и согласились, что нет.

Но вот однажды, вернувшись откуда–то домой, я нашел в подъезде, на столе, куда почтальоны клали всю нашу корреспонденцию, письмо–секретку: «А.Григорьеву девятого класса».

Я развернул письмо:

*«Саня, мне хотелось бы поговорить с тобой. Если свободен, приходи сего- дня в половине восьмого в сквер на Триумфальной».*

*Даже смешно вспомнить, как все переменилось, едва только я прочитал это письмо. Я встретил на лестнице Лихо и поклонился ему, за обедом я отдал Вальке свою гурьевскую кашу, и даже Мартынова перестала казаться мне та- ким подлецом, – пожалуй, не стоило бить ее по уху, тем более, что она как–никак девчонка.*

*И вот – шесть часов. Половина седьмого. Семь. В семь я был уже в сквере. Четверть восьмого. Половина восьмого. Темнеет, но фонари еще не горят, и разные нелепые мысли приходят мне в голову: «Фонари не зажгутся, и я ее не узнаю… Фонари зажгутся, но она не придет… Фонари не зажгутся, и она меня не узнает…»*

Фонари зажигаются, и знакомый сквер, в котором мы с Петькой когда–то пытались продавать папиросы, в котором я тысячу раз зубрил уроки в весенние дни, шумный сквер, в котором только в семнадцать лет можно зубрить уроки, этот старый сквер, в котором вся наша школа и еще две – 143–я и 28–я – назначают свидания, – этот сквер преображается и становится, как театр. Сейчас мы встретимся. Вот и она!

Мы здороваемся и молчим. Совсем тепло, второе апреля, но вдруг начинает идти снег

* как будто нарочно для того, чтобы я запомнил его на всю жизнь.
  + Катя, я очень рад, что ты пришла. Мне тоже давно уже хочется поговорить с тобой. Тогда, у вас, я ничего не мог объяснить, потому что Николай Антоныч стал кричать, так что тут уж было не до объяснений. Конечно, если ты ему веришь…

Мне страшно окончить эту фразу, потому что, если она ему верит, я должен уйти из этого сквера, в котором мы сидим, бледные и серьезные, и разговариваем, не глядя друг на друга, – из этого сквера, в котором нет, кажется, никого, кроме нас, хотя на каждой скамейке кто–нибудь сидит и маленький сердитый сторож, прихрамывая, расхаживает по дорожкам.

* + Не будем больше говорить об этом.
  + Катя, я не могу не говорить об этом. Вообще нам не о чем говорить, если ты ему ве- ришь.

Она смотрит на меня грустная и совсем взрослая – гораздо старше и умнее, чем я.

* + Он говорит, что я во всем виновата.
  + Ты?!
  + Он говорит, что раз я первая поверила этой противоестественной мысли, что в папи- ном письме речь идет о нем, – значит, я во всем виновата.

Я вспоминаю, как однажды Кораблев сказал о нем Марье Васильевне: «Поверьте мне, это человек страшный». Я вспоминаю, что писал о нем капитан: «Молю тебя, не верь этому человеку», – и мне становится холодно от мысли, что этот человек теперь станет уверять Катю, что она во всем виновата, что она убила мать, что она лишила его единственного сча- стья на земле и, стало быть, и перед ним виновата, что он один знает, как она теперь после этого преступления должна устроить свою жизнь… И все это медленно, день за днем. Длинными, круглыми словами, от которых начинает кружиться голова.

Я вскакиваю в отчаянии, в ужасе.

* + Теперь он пятнадцать лет будет говорить, что ты виновата, и ты в конце концов по- веришь ему, как поверила Марья Васильевна. Разве ты не понимаешь, что это власть? Если ты виновата, он получает над тобой полную власть, и ты будешь делать все, что он захочет.
  + Я уеду.
  + Куда?
  + Еще не знаю. Я решила подать на геологоразведочный. Кончу и уеду.
  + Ты никуда не уедешь. Может быть, ты еще могла бы уехать сейчас, а через четыре года… Ручаюсь, что никуда не уедешь… Он тебя заговорит. Ведь поверила же Марья Васи- льевна, что он – добрый и благородный и, главное, что она перед ним в долгу за все его за- боты. Какого черта он пристал к тебе! Ведь он же говорил, что я во всем виноват.
  + Он говорит, что ты просто убийца.
  + Так.
  + И что ему ничего не стоит, чтобы тебя расстреляли.
  + Ладно. Все виноваты, кроме него. А я тебе скажу, что это – подлец, о котором даже страшно думать, что могут быть на земле такие люди.
  + Не будем больше говорить об этом…
  + Ладно. Теперь скажи: чему ты веришь из всей этой ерунды?

Катя долго молчит. Я снова сажусь рядом с нею. Очень страшно, но я беру ее за руку, и она не отодвигается, не отнимает руку.

* + Я верю, что ты не нарочно говорил, что это – он. Ты, в самом деле, думал, что это –

он.

* И теперь думаю.
* Но ты не должен был убеждать в этом меня и, тем более, маму.
* Но это он…

Катя отодвигается, отнимает от меня руку.

* Не будем больше говорить об этом.
* Ладно, не будем. Когда–нибудь я докажу, что это – он, хотя бы мне пришлось ухло-

пать всю свою жизнь.

* + Это не он. И если ты не хочешь, чтобы я ушла, не будем больше говорить об этом.
  + Ладно, не будем…

И больше мы не говорили об этом. Она спросила меня о весенних каникулах, о том, как я провел время в Энске, как поживают Саня и старики. И я передал ей привет от стари- ков и от Сани. Но я ничего не сказал о том, как мне было скучно без нее в Энске, особенно когда я один бродил по нашим местам, о том, как Петька много ел и все время чувствовал вдохновение, и о том, что у них это не так необыкновенно. Я не знал теперь, любит она меня или нет, и об этом невозможно было спросить, хотя мне все время очень хотелось. Но нельзя было даже произнести это слово – теперь, когда мы сидели и разговаривали, такие серьез- ные и бледные, и когда Катя была так похожа на мать. Я только вспомнил, как мы возвра- щались из Энска и писали пальцами по замерзшему стеклу и как вдруг за окном открыва-

лось темное поле, покрытое снегом. Все переменилось с тех пор. И мы не могли теперь от- носиться друг к другу, как прежде. Но мне очень хотелось узнать, любит ли она меня, или больше не любит.

* + Катя, – сказал я вдруг. – Ты меня не любишь?

Она вздрогнула и посмотрела на меня с изумлением. Потом она покраснела и обняла меня. Она меня обняла, и мы поцеловались с закрытыми глазами – по крайней мере я, но, кажется, и она тоже, потому что потом мы одновременно открыли глаза. Мы целовались в сквере на Триумфальной, в середине Москвы, в этом сквере, где нас могли видеть три шко- лы – наша, 143–я и 28–я. Но это был горький поцелуй. Это был прощальный поцелуй. Хотя, расставаясь, мы условились о новой встрече, я чувствовал, что этот поцелуй – прощальный.

Вот почему, когда Катя ушла, я остался в сквере и долго еще бродил по дорожкам в тоске, садился на эту скамейку, уходил и опять возвращался. Я снял кепку, у меня горела голова и сердце ныло. Я не мог уйти…

Когда я вернулся домой, на столике у моей кровати лежал большой конверт, на кото- ром стояла печать Осоавиахима и была крупно написана моя фамилия, имя и отчество. Впервые в жизни меня называли по имени и отчеству. Дрожащими руками я разорвал кон- верт. Осоавиахим извещал меня, что мои бумаги приняты и что второго мая мне надлежит явиться в медицинскую комиссию на предмет поступления в летную школу.

**ЧАСТЬ 4. СЕВЕР**

**Глава 1.**

**ЛЕТНАЯ ШКОЛА.**

Лето 1928 года. Я вижу себя с узелком в руках на улицах Ленинграда. В узелке – «вы- ходное пособие». Детдомовцы после окончания школы получали «выходное пособие» – ложку, кружку, две пары белья и «все для первого ночлега». Мы с Петей живем у Семы Гинзбурга, слесаря с «Электросилы», бывшего ученика нашей школы. Семина мама боится управдома, поэтому каждое утро я уношу «все для первого ночлега», а вечером опять при- ношу: я делаю вид, что только что приехал. В столовой по четным дням мы берем первое за пятнадцать копеек, а по нечетным – второе за двадцать пять. Мы бродим по широкому, про- сторному городу, по набережным вдоль просторной Невы, и Петя, который чувствует себя в Ленинграде, как дома, рассказывает мне о Медном всаднике, а я думаю: «Примут или не примут?»

Три комиссии – медицинская, мандатная и общеобразовательная. Сердце, легкие, уши, снова сердце! Кто я, где родился, где учился и почему хочу стать пилотом? Верно ли, что мне девятнадцать лет? Не подделаны ли года – на вид поменьше! Почему рекомендацию райкома подписал Григорьев, это кто же – брат или однофамилец?

И вот наконец – решительный день! Я стою перед Аэромузеем: здесь мы держали ис- пытания. Это огромный дом со львами на проспекте Рошаля. Петя говорил, что эти львы описаны в «Медном всаднике» и будто на них спасался от наводнения Евгений, – до сих пор не знаю, правда это или нет. Мне не до Пушкина. Львы смотрят на меня с таким видом, как будто они сейчас начнут спрашивать: кто я, где родился и верно ли, что мне девятнадцать лет?

Но вот когда становится по–настоящему страшно: когда я поднимаюсь на второй этаж и на черной витрине нахожу список принятых в летную школу.

Я читаю: «Власов, Воронов, Голомб, Грибков, Денисяк…» У меня темнеет в глазах, меня нет. Я снова читаю, «Власов, Воронов, Голомб, Грибков, Денисяк». Меня нет! Я наби- раю побольше воздуху, чтобы спокойно прочесть: «Власов, Воронов, Голомб, Грибков, Де- нисяк». Я смотрю на этот список, в котором есть, кажется, все фамилии на свете, кроме мо- ей, и мне становится так скучно, как бывает, когда больше не хочется жить.

Под проливным дождем я возвращался домой. «Власов, Воронов, Голомб…» Счаст- ливый Голомб!

Огромный мужчина, широкоплечий, с грубым лицом, какой–то Васко Нуньес Бальбоа, представляется мне, когда я произношу эту фамилию. Конечно! Куда же мне! Проклятый рост!

Петя открывает мне и пугается. Я – мокрый, бледный.

* Что с тобой?
* Петя, меня нет в списке.
* Врешь!

Семина мама вылетает на кухню и спрашивает, не встретил ли я управдома. Я молчу. Я сижу в кухне на стуле, и Петя, опустив голову, грустно стоит передо мной. Наутро мы вдвоем пошли в Аэромузей и нашли в списке мою фамилию. Она была в другом столбце, где тоже было несколько ребят на «Г» и Григорьевых даже два – Иван и Александр. Петя уверял, что я не нашел ее от волнения…

Время бежит, и вот я вижу себя в той же читальне Аэромузея, где мы сдавали испыта- ния. Тринадцать человек, отобранных мандатной и медицинской комиссией, стоят в строю, и начальник школы – большой, рыжий, веселый – выходит и говорит:

* Внимание, товарищи учлеты!

Товарищи учлеты! Я – учлет! Мурашки бегут у меня по спине, и кажется, что меня окунули сперва в горячую, а потом в холодную воду. Я – учлет! Я буду летать! Я не слышу, о чем говорит начальник…

Время бежит. Мы приходим на лекции прямо с завода – Сема Гинзбург устроил меня подручным слесаря на «Электросилу».

Мы слушаем материальную часть, теорию авиации, моторы. Очень хочется спать по- сле восьми часов на заводе, но мы слушаем материальную часть, теорию авиации, потом моторы, и только, время от времени Миша Голомб, который оказался такого же маленького роста, как и я, заваливается ко мне за спину и начинает тихонько сопеть. Потом он начинает сопеть погромче, и я осторожно бью его головой о стол…

Мы учимся в летной школе, но как не похожа она на то, что теперь называется, летной школой! У нас нет ни моторов, ни самолетов, ни помещения, ни денег. Правда, в Аэромузее стоит несколько старых, ободранных самолетов – при желании можно вообразить себя раз- ведчиком на «хавеланде» или истребителем на «ньюпоре», летавшем в последний раз на фронтах гражданской войны. Но на этих заслуженных «гробах» нельзя учиться.

Мы собираем моторы. С мандатом Осоавиахима, с великолепным мандатом, согласно которому мы имеем полное право снять со стены любую часть самолета, мы ездим по всем красным уголкам Ленинграда. Иногда эти части висят и не в красных уголках, а где–нибудь в домкоме над столом бухгалтера, любителя авиации. Мы забираем их и увозим на аэро- дром. Иногда это происходит мирно, иногда со скандалом. Три раза мы с техником ездим в клуб швейников и доказываем заведующему, что старый мотор, который стоит у него в фойе, не имеет агитационного значения.

Как мы возимся со всем этим заржавленным утилем, когда он, наконец, попадает в наши руки! Мы чистим и чистим его, и потом снова чистим и чистим. Первые полгода мы кажется, только и делаем, что чистим и собираем моторы. Мне это труднее, чем другим, – у нас почти все слесари и шоферы. Но я нарочно берусь за самую трудную работу. Навсегда, на всю жизнь я запоминаю левую плоскость самолета «У–1», на котором мы учились. Это – самое грязное место в самолете, масло из мотора выбрасывается под левую плоскость, и я на пари мою ее каждый день до окончания школы. Лежа на спине, я снимаю грязь щепкой, по- том щеткой, потом тряпкой, вода так и бежит по телу, от запаха касторки начинает мутить… Разумеется, мы не очень–то похожи на будущих пилотов, особенно когда поздней но-

чью возвращаемся домой с аэродрома и весь трамвай начинает принюхиваться и смотреть на нас с негодованием. Но мы не смущаемся. Мишка говорит:

– От какого это дьявола так пахнет касторкой? Тьфу! И демонстративно затыкает нос.

Наш день начинается очень рано – часов с семи утра. До десяти мы собираем моторы и по очереди объясняем Ване Грибкову, что такое горизонт. У нас был такой Ваня Грибков, которому вся школа объясняла, что такое горизонт. Потом приезжают инструкторы, и начи- наются полеты.

Мой инструктор, он же начальник школы, он же заведующий материальной и хозяй- ственной частью – старый летчик времен гражданской войны. Это большой веселый чело- век, любитель необыкновенных историй, которые он рассказывает часами, вспыльчивый и отходчивый, смелый и суеверный. Свои обязанности инструктора он понимает очень про- сто: он ругает меня, и чем выше от земли, тем все крепче становится ругань. Наконец она прекращается – первый раз за полгода!.. Это было великолепно! Минут десять я летел в за- мечательном настроении. Не ругается – как же я, должно быть, здорово веду самолет! Не- смотря на шум мотора, мне показалось, что я лечу в полной тишине – непривычное состоя- ние!

Но тут же я понял, в чем дело: телефон разъединился, и трубка болталась за бортом. Я поймал ее и вместе с ней последнюю фразу:

* Лопата! Вам бы не летать, а служить в ассенизационном обозе!

Мой инструктор самую страшную ругань соединяет с вежливым обращением «на вы»…

Другой образ встает передо мной, когда я вспоминаю свой первый год в Ленинграде. На Корпусный аэродром каждый день приезжает Ч. У него скромное дело – на старой, не однажды битой машине он катает пассажиров. Но мы знаем, что это за человек, мы знаем и любим его задолго до того, как его узнала и полюбила наша страна. Мы знаем, о ком гово- рят летчики, собираясь в Аэромузее, который был в те годы чем–то вроде нашего клуба. Мы знаем, кому подражает начальник школы, когда он говорит, немного окая, спокойным ба- сом:

* Ну, как дела? Получаются глубокие виражи? Только, чур, не врать! Ну–ка!

Со всех ног мы бежим к этому человеку, когда после своих удивительных фигур он возвращается на аэродром и зеленые, как трава, любители высшего пилотажа уползают чуть не на четвереньках, а он смотрит на нас из кабины без очков – летчик великого чутья, чело- век, в котором жил орел.

Вместе со стетоскопом, который оставил мне на память доктор Иван Иваныч, я всюду вожу с собой портрет этого летчика. Он подарил мне этот портрет не в Ленинграде, когда я был учлетом, а гораздо позже, через несколько лет, в Москве. На этом портрете написано его рукой: «Если быть – так быть лучшим». Это его слова…

Так проходил этот год – трудный, но прекрасный год в Ленинграде. Он был труден, потому что мы работали через силу и получали 46 рублей стипендии в месяц и обедали где придется или совсем не обедали и, вместо того чтобы учиться летать, три четверти времени тратили на чистку и сборку старых моторов. Но это был прекрасный год, потому что это был год мечтаний, который как бы пунктирной линией наметил мою будущую жизнь, год, когда я почувствовал, что в силах сделать ее такой, какой я хочу ее видеть.

Несмотря на то, что у меня не было ни одной свободной минуты, я вел нечто вроде дневника – запись некоторых мыслей и впечатлений. К сожалению, он не сохранился. Но я помню, что на первой странице была цитата из Клаузевица:

*«Маленький прыжок легче сделать, чем большой. Однако, желая пере- прыгнуть широкую канаву, мы не начнем с того, что половинным прыжком прыгнем на ее дно».*

Это и была моя главная мысль в Ленинграде – двигаться вперед, не делая половинных прыжков.

Время бежит и останавливается только на один день, в конце августа 1930 года. В этот день я сижу за богатым столом, за огромным столом, составленным из десятка других сто- лов – разной высоты и формы. Высокие окна, стеклянная крыша. Это ателье фотогра- фа–художника Беренштейна, у которого снимает комнату моя сестра Саня.

**Глава 2.**

**САНИНА СВАДЬБА.**

Я бывал у Сани каждый выходной день и должен сказать, – хотя, может быть, странно так говорить о сестре, – что она мне нравилась все больше и больше. Она была какая–то ве- селая, легкая и вместе с тем деловая.

Только что поступив в академию, она достала работу в Детском издательстве. Комнату она сняла превосходную, и фотограф–художник с семьей, для которого она тоже что–то де- лала, просто души в ней не чаял. Она постоянно была в курсе всех наших дел – Петиных и моих – и аккуратно писала за нас старикам. При этом она много работала в академии, и хотя у нее было не такое сильное и смелое дарование, как у Пети, но и она рисовала прекрасно. У нее была любовь к миниатюре – искусство, которым теперь почти не занимаются наши ху- дожники, и тонкость, с которой она выписывала все мелкие детали лица и одежды, была просто необыкновенная. Как и в детстве, она любила поговорить и, когда была задета чем–нибудь или увлечена, начинала говорить быстро и как–то так, что я в конце концов, ничего не понимал, в чем дело. Словом, это была чудная сестра, и вот теперь она выходила замуж.

Разумеется, нетрудно догадаться, за кого она выходила, хотя из всех ребят, собрав- шихся в этот вечер в ателье художника–фотографа, Петя меньше всех был похож на жениха. Он спокойно сидел рядом с каким–то остроносым мальчиком и молчал, а мальчик все наскакивал на него, точно хотел просверлить его своим носом. Я шепотом спросил у Сани, кто этот остроносый, и она ответила с уважением:

– Изя.

Но мне почему–то не понравился этот Изя.

Вообще это была странная свадьба. Весь вечер гости спорили о какой–то корове – правильно ли, что художник Филиппов уже два с половиной года рисует корову. Будто бы он расчертил ее на маленькие квадратики и каждый квадратик пишет отдельно. Я хотел ска- зать, что это просто больной, но Изя уже успел построить на этой корове целую теорию и даже назвал ее с окончанием на «изм». На молодых никто не обращал внимания.

Я шел на Санину свадьбу с торжественным чувством. Родная сестра выходит замуж – все–таки это не так уж часто бывает! Утром мы получили большую телеграмму от судьи и тети Даши на два адреса: жениху с невестой и копия – мне. Целый месяц я собирал для них маленький радиоприемник. Но этим художникам все было нипочем. Весь вечер они спорили о корове.

Впрочем, молодым было, кажется, весело, особенно Пете, который время от времени говорил: «Смешно!» – и оглядывался с довольным выражением. Саня была очень занята: тарелок не хватало, и гостей пришлось кормить в две смены.

Только на одну минуту она присела, раскрасневшаяся, захлопотавшаяся, в новом пла- тье с прошивками, которое почему–то напомнило мне Энск и тетю Дашу. Я воспользовался этой минутой и встал.

* Внимание, тост! – с любопытством взглянув на меня, сказал Изя. Все замолчали.
* Товарищи, во–первых, предлагаю выпить за молодую, – сказал я. – Хотя она мне сестра, но так как никому из гостей не приходит в голову, что нужно все–таки за нее выпить, приходится этот тост предложить мне.

Все закричали «ура» и стали чокаться с Саней.

* Во–вторых, я предлагаю выпить за молодого, – продолжал я, – хотя по сути дела он должен был прежде выпить за меня. Почему? Потому что именно я доказал ему, что он должен стать художником, а не летчиком. Возможно, я открываю тайну, но это факт, он хо- тел стать летчиком. Однажды мы спорили с ним об этом целый день, и он уверял меня, что совершенно не любит рисовать. Он боялся, что ему, как художнику, не удастся проявить все силы души.

Все захохотали, и я постучал ложечкой о стакан.

* Почему же я решил, что он должен стать именно художником? Очень просто: пото- му, что он показал мне свои картины. Могу удостоверить, что тогда его интересовал только один сюжет.

И я показал на Саню.

* Честное слово, все врет, – пробормотал Петя.

* Этот сюжет был изображен в самом разнообразном виде: в лодке, у плиты, на ска- меечке у ворот, на скамеечке в саду, в пальто, без, пальто, в украинской кофточке и в синем халате. Тут уж нетрудно было предсказать: во–первых, что когда–нибудь Петя станет ху- дожником, а во–вторых, что когда–нибудь мы соберемся за этим столом и будем пить за наших молодых, что я и предлагаю сделать.

И я чокнулся с Саней и Петей и выпил свой стакан до дна.

Потом выпили за меня, а потом за Изю, и это было ошибкой, потому что Изя в ответ произнес огромную речь, с какими–то остроумными выпадами против художника Филипо- ва, над которыми он один и смеялся. Петька слушал его с довольным видом и все говорил:

«Смешно!», а потом вдруг побагровел и сказал, что Изя – «типичный ахрровский пошляк».

«И притом бездарный пошляк», – добавил он подумав.

Но Изя не согласился, что он бездарный пошляк, и я не знаю, чем кончился бы спор, если бы в эту минуту не пришел Санин профессор, очень почтенный, с прекрасной черной бородой. Все побежали к нему навстречу, и спор прекратился.

По правде говоря, я впервые в жизни видел настоящего профессора. Он мне очень по- нравился. В два счета он напился и сказал мне, что всегда хотел стать авиатором, еще во время войны 1914 года. Потом он обнял Саню и целовал ее несколько дольше, чем это по- лагалось профессору с такой прекрасной почтенной бородой. Потом лег на диван и заснул.

Словом, на Саниной свадьбе было очень весело, но в глубине души я чувствовал тос- ку, в которой сам себе не хотел признаться. Художники казались мне какими–то странными

* и это очень понятно, потому что у меня была другая жизнь и другой круг интересов. Впрочем, кажется, то же самое и они думали обо мне, – я почувствовал это во время моей речи.

Но была и другая причина, заставлявшая меня тосковать. И Саня догадалась о ней, потому что, когда профессор, проснувшись, объявил во всеуслышание, что до защиты ди- плома он запрещает Сане выходить замуж и все с хохотом окружили его, она тихонько по- манила меня, и мы вышли на кухню.

* + А тебе привет… Знаешь, от кого?

Я сразу понял, от кого, но сказал спокойно:

* + Не знаю.
  + От Кати.
  + В самом деле? Спасибо.

Саня посмотрела на меня с огорчением. Она даже немного побледнела от огорчения и рассердилась на меня, – конечно, она прекрасно видела, что я притворяюсь.

* + Ты все врешь, – сказала она быстро. – Подумаешь, какой Чайльд–Гарольд нашелся! Пожалуйста, не смей мне врать, особенно сегодня, когда моя свадьба. Я ей напишу, что ты целый день просил у меня это письмо, а я не дала.
  + Ничего я у тебя не прошу.
  + Ты просишь в душе, – убежденно сказала Саня, – а внешне притворяешься, что тебе безразлично. В общем, я могу тебе его дать, только последней страницы не читай, ладно?

Она сунула мне в руки письмо и убежала. Конечно, я прочитал письмо, а последнюю страницу – три раза, потому что там шла речь обо мне. Вовсе Катя не просила передать мне привет, а просто спрашивала, как мои дела и когда я кончаю школу. На вид это было обык- новенное письмо, а на самом деле – очень грустное. Там было, например, такое место:

*«Теперь четыре часа, у нас уже темно, и я вдруг заснула, а когда просну- лась, то не могла понять, что случилось хорошее. Оказывается, мне приснился Энск и будто тетки одевают меня в дорогу…»*

Я несколько раз прочитал это место, и наш отъезд из Энска, памятный на всю жизнь, представился мне, Я вспомнил, как тетки вслед уходящему поезду кричали свои наставле- ния и как я потом перешел в Катин вагон и мы стали смотреть, что старики положили в наши корзины. Маленький небритый сосед гадал, кто мы такие, и Катя стояла рядом со мной в коридоре. Она стояла рядом со мной, и я смотрел на нее и говорил с ней, – как это трудно было вообразить теперь, когда она была так далеко.

Я не слышал, как вернулась Саня.

* Прочитал?
* Саня, напиши ей, пожалуйста, что мои дела очень хороши, что школу я кончаю в ок- тябре, а потом… Еще не знаю куда. Буду проситься на Север.
* Сейчас же садись и напиши ей все это сам!
* Нет, я не буду.
* А я тебя не отпущу, пока не напишешь!
* Саня!
* Вот я сейчас позову Петьку, – серьезным голосом сказала Саня, – и вообще всех, и мы станем на колени и будем тебя уговаривать, чтобы ты написал, потому что мы считаем, что ты поступаешь жестоко.
* Саня, иди ты к черту! Ты просто пьяна. Ну, я пойду.
* Куда? Ты с ума сошел?
* Нет, пойду. Поздно, а завтра рано вставать. И вообще…

Я не сказал, что «вообще», но она поняла и на прощанье сочувственно поцеловала ме- ня в щеку.

**Глава 3.**

**ПИШУ ДОКТОРУ ИВАНУ ИВАНОВИЧУ.**

Я сердился на Катю, потому что перед отъездом из Москвы хотел проститься с ней и написал ей письмо. Но она не ответила и не пришла, хотя знала, что я уезжаю надолго и что, может быть, мы не увидимся никогда. Конечно, я больше не стал ей писать. Что ж, наверно, Николай Антоныч уже успел уверить ее в том, что я оклеветал его «самой страшной клеве- той, которая только доступна человеческому воображению», и что я – «мальчишка с нечи- стой кровью», из–за которого умерла ее мать.

Ладно, все еще впереди! У меня кружилась голова, когда я вспоминал об этой сцене.

Что же мог я сделать в Ленинграде, работая на заводе с восьми до пяти и в летной школе – с пяти до часу ночи?

Зимой, до полетов, мы занимались в читальне Аэромузея. И вот однажды я спросил зав музеем, не знает ли он чего–нибудь о капитане Татаринове. Нет ли в библиотеке каких–либо книг или его собственной книги «Причины гибели экспедиции Грили»?

Не знаю почему, но зав музеем отнесся к этому вопросу с большим интересом. Кстати сказать, он был одним из организаторов нашей летной школы, и учлеты постоянно обраща- лись к нему со всеми своими делами.

* Капитан Татаринов? – переспросил он с удивлением. – Ого! Это здорово! А почему это тебя интересует?

Чтобы ответить на этот вопрос, мне пришлось бы рассказать ему все, что вы прочита- ли. Поэтому я ответил коротко:

* Я вообще люблю читать путешествия.
* Но об этом путешествии как раз почти ничего не известно, – сказал зав музеем. – А ну–ка, пойдем в библиотеку.

Конечно, без него я бы ничего не нашел, потому что все это были отдельные статьи в газетах, а книга только одна – маленькая брошюра в двадцать пять страниц, под названием

«Женщина на море». Оказывается, капитан написал не только об экспедиции Грили.

Что же это была за книга? Я прочел ее два раза и решил, что это интересная книга, особенно если вспомнить, что ее написал морской офицер, И когда! В 1910 году, при ца- ризме.

В этой книге доказывалось, что женщина может быть моряком, и приводились случаи из жизни рыбаков на побережье Азовского моря, когда женщины вели себя в опасных слу- чаях не хуже мужчин и даже еще смелее. Капитан утверждал, что «недопущение женщин к профессии моряка» приносит, вопреки распространенному суеверию, много бед морякам, принужденным надолго отрываться от оставленных на берегу семейств, и что в будущем он видит на борту корабля «женщину–механика, женщину–штурмана, женщину–капитана».

Читая эту брошюру, я вспомнил пометки капитана на путешествии Нансена и его до- кладную записку об экспедиции к Северному полюсу в 1911 году, и мне впервые пришло в голову, что это был не только смелый моряк, но человек с необыкновенно ясной головой и с широкими, передовыми взглядами на жизнь.

Но авторы некоторых статей, очевидно, думали иначе. В «Петербургской газете», например, какой–то журналист выступал против экспедиции на том основании, что Совет министров «отклонил просьбу капитана Татаринова об ассигновании необходимых средств». Между прочим, эта статья была написана таким языком: «…ввиду того, что, по удостоверению заинтересованных ведомств, соображения об условиях практического осу- ществления обсуждающегося путешествия представляются недостаточно обоснованными, причем вообще намечаемая экспедиция капитана Татаринова носит непродуманный харак- тер, Совет министров признал, что правительству через представителя Морского ведомства следует высказаться за отклонение сего предположения».

В другой газете я нашел интересное фото: красивый белый корабль, напомнивший мне каравеллы из «Столетия открытий». Это была шхуна «Св. Мария». Она выглядела тонкой, стройной, слишком тонкой и стройной, чтобы пройти из Петербурга во Владивосток вдоль берегов Сибири.

В следующем номере той же газеты был напечатан еще более интересный снимок: су- довая команда шхуны. Правда, очень трудно было что–нибудь разобрать на этом снимке, но самое расположение фигур и то, что капитан сидел посредине, скрестив руки на груди, – все это показалось мне очень знакомым. Где я видел этот снимок? Конечно, у Татариновых, среди других старых фото, которые когда–то показывала мне Катя. Но я продолжал вспо- минать. Нет, не у Татариновых! У доктора Ивана Ивановича – вот где я его видел!

В двадцать третьем году, когда я выписался из больницы, я зашел к нему проститься. Он уезжал на Север, и вот тогда–то, укладывая чемодан, он и выронил это фото. Я подобрал его, стал рассматривать и спросил, почему доктора нет среди судовой команды, а он отве- тил:

– Потому, что я не плавал на шхуне «Св. Мария». – А потом взял у меня карточку и добавил: Это у меня от одного человека осталось на память…

Кто же этот человек?

И вдруг у Меня мелькнула одна простая мысль. Но вместе с тем это была и необыкно- венная мысль, которую мог подтвердить только сам доктор Иван Иванович. Я тут же решил написать ему. Прошло около семи лет с тех пор, как он уехал из Москвы, но я почему–то был совершенно уверен, что он жив и здоров и так же читает стихи Козьмы Пруткова, и так же, разговаривая, берет со стола какую–нибудь вещь и начинает подкидывать ее и ловить, как жонглер.

Вот что я ему написал:

*«Уважаемый Иван Иванович!*

*Это пишет Вам «интересный больной», которого вы когда–то излечили от «слухонемоты», как вы определили. Помните ли вы меня еще или уже нет? Уезжая на Север, вы просили меня написать, что я делаю и как себя чувствую. И вот теперь, через семь лет, собрался, наконец, исполнить обещание. Я чув- ствую себя хорошо. Теперь я учлет, учусь в летной школе Осоавиахима и наде- юсь когда–нибудь прилететь к вам на самолете. Пишу вам, между прочим, по делу: когда я был у вас в Москве, вы держали в руках фотокарточку с изобра- жением судовой команды шхуны «Св. Мария» – капитан Татаринов, вышла из Петербурга в мае 1912 года, пропала без вести в Карском море осенью 1913 го- да. Помните, вы сказали, что это фото вам оставил на память какой–то че- ловек, а кто именно, не сказали. Мне очень важно знать, кто этот человек. Конечно, вы вправе спросить: а почему это тебя интересует? Отвечу кратко: меня интересует все, что касается капитана Татаринова, потому что я зна- ком с его семейством и для меня очень важно представить этому семейству правильную картину его жизни и смерти.*

*Буду очень благодарен, если вы ответите мне. Проспект Рошаля, 12.*

*Аэромузей, Летная школа Осоавиахима.*

**С приветом Александр Григорьев».**

Мог ли я рассчитывать, что получу ответ? Может быть, доктор уже давно вернулся в Москву? Может быть, переехал еще дальше на север? Или просто забыл меня и теперь чи- тает письмо и не может понять – какое фото, какой Григорьев?

**Глава 4.**

**ПОЛУЧАЮ ОТВЕТ.**

Прошел месяц, другой, третий. Мы кончили теоретические занятия и окончательно перебрались на Корпусный аэродром.

Это был «большой день» на аэродроме – 25 сентября 1930 года. До сих пор мы вспо- минаем его под этим названием. Он начался как обычно: в семь часов утра мы уже сидели за нашим «утилем», кто–то уже пробовал «удивить» Мишу Голомба, который никогда ничему не удивлялся, Ваня Грибков уже спрашивал у кого–то, что такое горизонт.

* Ну вот там, где небо сливается с землей. Понимаешь?
* А почему, когда я лечу, не сливается?

В конце концов, Ваня понял, что такое горизонт. Но он находил его всегда на одном и том же месте – за «Путиловцем», на заливе. Туда он и летел. Только что оторвавшись от земли, он начинал «жать на горизонт». Так он и «жал» до тех пор, пака его не перевели в мотористы.

В девять часов приехал инструктор, и начались события: во–первых, он привез с собой какого–то внушительного дядю в косоворотке и золотых очках, – как вскоре выяснилось, секретаря райкома. Секретарь посмотрел на самолеты, потом на ящики из–под самолетов, в которых мы устроили мастерские, и сказал:

* Вот что, дорогой мой. Прежде всего, нам нужно наладить охрану: это не дело, что по аэродрому все время шляются какие–то подозрительные люди.
* Где? – спросил инструктор. – Ах, это? Это мои учлеты.

Во–вторых, только что мы проводили гостя, как инструктор накинулся на нас за то, что мы проливаем бензин. Он побагровел и стал приблизительно такого же цвета, как его шевелюра. Это было уже не в первый раз, и мы думали, что он поорет и перестанет.

Но он сел на корточки и стал совать палец в ямки около бочки с бензином. В ямках была вода, но он объявил, что это – бензин.

* Нет, вода! – возразил Голомб.
* А я говорю – бензин!
* Вода!
* Бензин!
* Ну, ладно, бензин, – согласился Голомб.

Инструктор сунул палец в другую ямку, понюхал и встал. Он грозно нахмурился и понюхал еще раз.

* Вода, – упавшим голосом пробормотал он, и мы так и сели на землю от смеха. В–третьих… Но о том, что произошло в–третьих, нужно рассказать подробно.

Мы летали с ним в этот день несколько раз, и он все присматривался ко мне – и не ру- гал, против обыкновения.

* Ну–ка, – сказал он, наконец. – А теперь летите один.

Должно быть, у меня был взволнованный вид, потому что с минуту он смотрел на меня с внимательным добродушным выражением. Потом проверил, исправно ли работают при- боры, и закрепил ремни в первой, теперь пустой кабине.

* Нормальный полет по кругу. Оторветесь, наберете высоту. Ниже полутораста метров не разворачивайтесь. Разворот, коробочка и на посадку.

С таким чувством, как будто это делаю не я, а кто–то другой, я вырулил на старт и поднял руку, прося полета. Стартер взмахнул белым флагом – можно идти. Я дал газ, и ма- шина побежала по аэродрому…

Давно забыто было детское чувство досады, когда, впервые поднявшись в воздух, я понял, что такое полет. Тогда в глубине души мне все–таки казалось, что я полечу, как пти- ца, а я сидел в кресле совершенно так же, как на земле. Я сидел в кресле, и мне некогда было думать ни о земле, ни о небе. Только на десятый или одиннадцатый самостоятельный полет я заметил, что земля расчерчена, как географическая карта, и что мы живем в очень точном геометрическом мире. Мне понравились тени от облаков, разбросанные здесь и там по зем- ле, и вообще я догадался, что мир необыкновенно красив…

Итак, впервые я лечу один. Кабина инструктора пуста. Первый разворот. Она пуста, а машина летит. Второй разворот. С прекрасным чувством полной свободы я лечу совершен- но один. Третий разворот. Нужно идти на посадку. Четвертый разворот. Внимание! Я уби- раю мотор. Земля все ближе. Вот она под самой машиной. Добираю ручку. Пробег. Стоп.

Кажется, это было сделано недурно, потому что даже наш сердитый инструктор одоб- рительно кивнул, я Миша Голомб за его спиной показал мне большой палец.

– Санька, ты молодец, – сказал он, когда мы присели покурить на пригорке, – честное слово! Между прочим, тебе письмо. Я сегодня был в Аэромузее, и сторож говорит: «Григо- рьеву. Может, передадите?»

И он протянул мне письмо. Это писал доктор Иван Иванович.

*«Дорогой Саня! Очень рад, что ты хорошо себя чувствуешь. Однако напрасно ты пишешь, что я излечил тебя от „слухонемоты“. Такой, брат, и болезни нету. „Немота без глухоты“ – это так. Жду тебя с твоим самолетом, а то все приходится на собаках ездить. Так вот – насчет фотографии. Эту фотографию подарил мне штурман „Св. Марии“ Иван Дмитриевич Климов. В 1914 году его привезли в Архангельск с отмороженными ногами, и он умер в го- родской больнице от заражения крови. После него остались две тетрадки и письма – что–то много, – по–моему, штук двадцать. Конечно, это была почта, которую он привез с корабля, хотя возможно, что некоторые письма он напи- сал дорогой – его подобрала где–то экспедиция лейтенанта Седова. Когда он умер, больница разослала эти письма по адресам, а тетрадки и фотографии остались у меня. Раз ты знаком с семейством капитана Татаринова и намерен*

*„представить правильную картину его жизни и смерти“ (то есть, не семей- ства, очевидно, а капитана), тебя, понятно, интересует, что это за тетради. Это две обыкновенные ученические черновые тетради, исписанные каранда- шом, к сожалению, совершенно неразборчиво, так, что я несколько раз пробовал их прочитать и, наконец, отказался от этой мысли. Вот, кажется, и все, что я знаю. Это было в конце 1914 года, только что началась война, и экспедиция ка- питана Татаринова никого не интересовала. Тетради и фотографии и сейчас еще хранятся у меня – приезжай, то бишь прилетай, и читай, пока хватит терпения. Мой адрес: Заполярье, улица Кирова, 24.*

*Пожалуйста, пиши, интересный больной. Твой доктор И.Павлов.*

*…Как сестра поживает? Печете ли вы еще картошку на палочках?»*

Так я и думал! Фото осталось от штурмана. Доктор видел штурмана своими глазами! Того самого, который подписал: «с совершенным уважением штурман дальнего плавания И.Климов»! Того самого, который на всю жизнь поразил меня необыкновенными словами:

«широта», «шхуна», «Фрам», и необыкновенной вежливостью: «спешу Вас уверить…»,

«надеясь вскоре увидеться с Вами…» Того самого штурмана, из письма которого я узнал, что экспедиция – это не только грязное подвальное помещение под почтой, а дальнее пла- вание, капитаны, плавучие льды.

Я решил, что сразу же после окончания школы поеду в Заполярье и прочитаю его тет- ради. Доктор «отказался от этой мысли». Он бы не отказался, если бы надеялся найти в них хоть одно слово, подтверждающее его правоту, если бы ему плюнули в лицо, если бы Катя думала, что он убил ее мать…

Должно быть, я начал говорить вслух, потому что у Миши Голомба, сидевшего на

пригорке, был такой вид, как будто он собрался, наконец, удивиться.

* Мишка, – сказал я ему. – Кончим школу и айда на Север.
* Айда. А зачем?
* Нужно.
* Если нужно, айда!
* Значит, решено?
* Решено.

Впрочем, это было давно решено. Но на Север я попал только через три года.

**Глава 5.**

**ТРИ ГОДА.**

Юность кончается не в один день – и этот день не отметишь в календаре: «Сегодня окончилась моя юность». Она уходит незаметно – так незаметно, что с нею не успеваешь проститься. Только что ты был молодой и красивый, а смотришь – и пионер в трамвае уже говорит тебе: «Дяденька». И ты ловишь в темном трамвайном стекле свое отражение и ду- маешь с удивлением: «Да, дяденька». Юность кончилась, а когда, какого числа, в котором часу? Неизвестно.

Так кончилась и моя юность. Но день, когда я понял, что совсем иначе смотрю на то, что составляло прежний смысл моих стремлений, – этот день я помню отлично…

Из Ленинграда меня послали в Балашов, и, только что окончив одну летную школу, я стал учиться в другой – на этот раз у настоящего инструктора и на настоящей машине.

Не запомню в своей жизни другой полосы, когда бы я работал с таким прилежанием.

– Знаете, как вы летаете? – еще в Ленинграде сказал мне начальник школы. – Как сун- дук. А для Севера нужно иметь класс.

Я изучил ночные полеты, когда сразу за стартом начинается тьма и все время, пока набираешь высоту, кажется, что ощупью идешь по темному коридору. Внизу на аэродроме ярко светится Т, и черное поле точно пунктирам обведено красноватыми огнями. Линия же- лезной дороги мерцает сигналами разъездов, расставленных с необыкновенной ночной точ- ностью, так не похожей на дневную. Темный воздух, невидимая земля. Но вот зарево появ- ляется вдали, – еще несколько минут, и это не зарево, а город – тысячи огней, разноцветных, разнообразных… Фантастическая картина!

Я научился водить самолет вслепую, когда все вокруг окутано белой мглой и кажется, что ты летишь через миллионы лет в другую геологическую эпоху. Как будто не на самоле- те, а на машине времени ты несешься вперед и вперед!

Я понял, что летчик должен знать свойства воздуха, все его наклонности и капризы так же, как хороший моряк знает свойства воды…

Это были годы, когда Арктика, которая до сих пор казалась какими–то далекими, ни- кому не нужными льдами, стала близка нам и первые великие перелеты привлекли внимание всей страны.

У каждого из нас был свой идеал летчика, и мы спорили без конца, доказывая, что А. летает лучше Л., а Ч. – лучше их обоих. Полковник американской армии Бен Эйельсон с продавленным своей же левой рукой сердцем, закутанный в национальный флаг, бы л толь- ко что переброшен летчиком С. в Америку, и этот перелет почему–то поразил наше вообра- жение. Нет, это была еще юность!

Каждый день в газетах появлялись статьи об арктических экспедициях – морских и воздушных, – и я читал их с волнением. Всем сердцем я рвался на Север.

И вот однажды, – мне предстоял в этот день один из трудных зачетных полетов, – уже сидя в машине, я увидел в руках своего инструктора газету. А в газете я увидел то, что за- ставило меня снять шлем и очки и вылезть из самолета.

«Горячий привет и поздравление участникам экспедиции, успешно разрешившим за- дачу сквозного плавания по Ледовитому океану», – это было написано крупными буквами в середине первой страницы.

Не слушая, что говорит мне изумленный инструктор, я еще раз взглянул на эту стра-

ницу – мне хотелось прочесть ее одним взглядом. «Великий Северный путь открыт» – название одной статьи! «Сибиряков» в Беринговом проливе» – название другой! «Привет победителям» – третьей! Это было известие об историческом походе «Сибирякова», впер- вые в истории мореплавания прошедшего в одну навигацию Северный морской путь – путь, который пытался пройти капитан Татаринов на шхуне «Св. Мария».

* Что с вами? Вы больны?
* Нет, товарищ инструктор.
* Высота тысяча двести метров. Два глубоких виража в одну сторону и два в другую.

Четыре переворота через крыло.

* Слушаю, товарищ инструктор!

Я был так взволнован, что чуть не попросил разрешения отложить полет…

Весь этот день я думал о Кате, о покойной Марье Васильевне, о капитане, жизнь кото- рого таким удивительным образом переплелась с моей. Но теперь я думал о них иначе, чем прежде, и мои обиды представились мне в другом, более спокойном свете. Конечно, я ниче- го не забыл. Я не забыл мой последний разговор с Марьей Васильевной, в котором каждое слово имело тайный смысл, – ее прощание с молодостью и самой жизнью. Я не забыл, как на другой день мы со старушкой сидели в приемном покое, и дверь открылась, и я увидел что–то белое с черной головой и голую руку, свесившуюся с дивана. Я еще не забыл, как Катя отвернулась от меня на похоронах, и не забыл своих мечтаний о том, как мы встретим- ся через несколько лет и я брошу ей доказательства своей правоты. Я не забыл, как Николай Антоныч плюнул мне в лицо.

Но все это вдруг представилось мне как бы какой–то пьесой, в которой главное дей- ствующее лицо появляется в последнем акте, а до сих пор о нем лишь говорят. Все говорят о человеке, портрет которого висит на стене, – портрет моряка с широким лбом, сжатыми че- люстями и глубоко сидящими в орбитах глазами…

Да, он был главным действующим лицом в этой истории, и если в ней так много места заняла моя юность, так это лишь потому, что самые интересные мысли приходят в голову, когда тебе восемнадцать лет. Он был великим путешественником, которого погубило не- признание, и его история выходит далеко за пределы личных дел и семейных отношений. Великий Северный путь открыт – вот его история. Сквозное плавание по Ледовитому океану в одну навигацию – вот его мысль. Люди, решившие задачу, которая стояла перед человече- ством четыреста лет, – вот его люди. С ними он мог говорить, как с равными. Что же в сравнении с этим мои мечты, надежды, желания! Чего я хочу? Зачем я стал летчиком? По- чему я стремлюсь на Север?

И вот так же, как в моей воображаемой пьесе, все вдруг расставилось по своим местам, и совсем простые мысли пришли мне в голову о моем будущем и о моем деле. Многое из того, что я знал о жизни полярных летчиков, как бы повернулось другой стороной, и я пред- ставил себе бесконечные полугодовые ночи за Полярным кругом, недели изнуряющего ожидания погоды, полеты над снежными горными хребтами, когда глаза невольно высмат- ривают место для вынужденной посадки, полеты в пургу, когда не видишь крыльев своей машины, мучительную возню с запуском мотора на пятидесятиградусном морозе. Я вспом- нил формулу одного из полярных летчиков: «Что значит лететь на Север? – Пурговать и греть воду». Я вспомнил страшные рассказы об арктических метелях, которые хоронят че- ловека в двух метрах от дома.

Но разве испугались этих трудов и опасностей сибиряковцы, которые под парусами вывели потерявший винт ледокол к Берингову морю?

Нет, прав был Петя. Нужно выбирать ту профессию, в которой ты способен проявить все силы души. Я стремился на Север, к профессии полярного летчика, потому что это была профессия, которая требовала от меня терпения, мужества и любви к своей стране и своему делу.

Кто знает, может быть, и меня когда–нибудь назовут среди людей, которые могли бы говорить с капитаном Татариновым, как равные с равным?

Я отметил в памяти день, когда мне пришли в голову эти мысли, – 3 октября 1932 года. За месяц до окончания Балашовской школы я подал заявление, чтобы меня послали на Север. Но школа не отпустила меня. Я остался инструктором и еще целый год провел в Ба-

лашове. Не могу сказать, что я был хорошим инструктором. Конечно, я мог научить челове- ка летать, и при этом у меня не было ни малейшего желания ежеминутно ругать его. Я по- нимал своих учеников – мне, например, было совершенно ясно, почему один, выходя из са- молета, спешит закурить, а другой при посадке показывает напускную веселость. Но я не был учителем по призванию, и мне скучно было в тысячный раз объяснять другим то, что я давно знал.

В августе 1933 года я получил отпуск и поехал в Москву. Литер у меня был до Энска через Ленинград, и меня ждали в Ленинграде и в Энске. Но я все–таки решил заехать в Москву, где меня не ждали.

У меня были дела в Москве. Во–первых, я должен был заехать в Главсевморпуть и по- говорить о моем переводе на Север; во–вторых, мне хотелось повидать Валю Жукова и Ко- раблева. Вообще у меня было много дел, и я очень быстро доказал себе, что мне совершенно необходимо заехать в Москву…

Конечно, я совершенно не собирался звонить Кате, тем более, что за эти три года я только однажды получил от нее привет – через Саню – и все было давно кончено и забыто. Все было так давно кончено и забыто, что я даже решил позвонить ей и на всякий случай приготовил первую вежливо–равнодушную фразу. Но у меня почему–то задрожала рука, когда я снял трубку, и неожиданно я сказал другой номер – Кораблева.

Я не застал его, – он был в отпуске, – и незнакомый женский голос сообщил мне, что он вернется только к началу учебного года.

– Сердечный привет от его ученика, – сказал я. – Передайте, что звонил летчик Григо-

рьев.

Я положил трубку. Это было в гостинице, и нужно было сперва вызывать город, а уже

потом говорить номер, и я с тоской смотрел на телефон и не звонил – все думал. Что я скажу ей? Я не мог говорить с ней, как с чужим человекам.

И я решил сперва позвонить в Зоопарк Вале.

Но и Вали не было в Москве. Мне вежливо сообщили, что ассистент Жуков находится на Крайнем Севере и едва ли вернется в Москву раньше чем через полгода.

* А кто его спрашивает?
* Передайте привет, пожалуйста, – сказал я. – Это говорит летчик Григорьев.

Больше мне некому было звонить в Москве, разве только какому–нибудь секретарю из Управления гражданского воздушного флота. Но мне было не до секретарей. Я снял трубку и сказал:

* Город.

Город ответил, и я назвал номер.

Нина Капитоновна подошла к телефону, я сразу узнал ее добрый решительный голос.

* Можно Катю?
* Катю? – с удивлением переспросила Нина Капитоновна. – Ее нету.
* Нету дома?
* Дома нету и в городе. А кто ее спрашивает?
* Григорьев, – сказал я. – Не можете ли вы сообщить мне ее адрес?

Нина Капитоновна помолчала. Без сомнения, она не узнала меня. Мало ли Григорье- вых на свете!

* Она на практике. Адрес: город Троицк, геологическая партия Московского универ- ситета.

Я поблагодарил и повесил трубку.

Больше я не мог оставаться в этом скучном номере совершенно один, а до двух часов, когда меня должен был принять секретарь Главсевморпути, было еще далеко. Я вышел и стал бесцельно бродить по Москве.

Никогда не следует одному бродить по тем местам, где вы были вдвоем. Обыкновен- ный сквер в центре Москвы кажется самым грустным местом в мире. Не слишком шумная, довольно грязная улица, которых было в Москве сколько угодно, наводит такую тоску, что невольно начинаешь чувствовать себя гораздо старше и умнее.

Как будто я сам через несколько лет спокойно заглянул себе в душу и оценил все – и ненужную горячность в делах, которые касаются самого дорогого на земле – человеческого

сердца, и неуверенность в себе, преследующую меня, быть может, с тех пор, когда я был немым мальчиком и мир казался мне таким необъяснимо сложным. Мне казалось теперь, что во мне еще были последние черты этой немоты. Например, в своей любви я не сумел полностью высказать себя и промолчал о самом важном. Мне казалось, что моя любовь не удалась потому, что очень сложные обстоятельства обступили ее со всех сторон, – и это снова был тот же сложный мир, перед которым немым мальчиком я застывал в каком–то оцепенении.

Нет, все переменилось в моей душе, я чувствовал это! Я больше не был горячим маль- чиком, стремившимся, не теряя ни минуты, доказать свою правоту. Я знал теперь, что мне нужнее всего – спокойствие и твердость.

С чувством грусти и жалости к самому себе я думал об этих годах моей юности и школьной любви. Теперь кончено было с юностью и любовь уже не та. Но, как и прежде, все было впереди, и я смотрел вперед с еще большей надеждой, чем прежде.

Я недолго пробыл в Москве. Меня очень вежливо приняли в Главсевморпути, потом в Управлении гражданского воздушного флота. Но нечего было и думать о Севере – так мне сказали – до тех пор, пока меня не отпустит Балашовская школа.

Только через полтора года мне удалось добиться назначения на Север – и то совер- шенно случайно. Я познакомился в Ленинграде с одним старым полярным летчиком, кото- рый хотел вернуться в центр: ему уже не по годам были тяжелые северные полеты. Мы об- менялись. Он занял мое место, а я получил назначение вторым пилотом на одну из дальних северных линий.

**Глава 6.**

**У ДОКТОРА.**

Нетрудно было найти этот дом, потому что вся улица состояла только из одного дома, а все остальные существовали только в воображении строителей Заполярья.

Уже темнело, когда я постучался к доктору, и как раз окна осветились, и чья–то тень задумчиво прошла за шторой. Мне долго никто не открывал, и я сам тихонько открыл тя- желую дверь и очутился в чистых, просторных сенях.

– Хозяева есть?

Никто не откликнулся. В углу стоял голик, и я почистил им валенки: снег был по ко-

лено.

* Дома кто–нибудь?

Никого. Только маленький рыжий котенок выскочил из–под вешалки, испуганно по-

смотрел на меня и удрал. Потом в дверях появился доктор.

Может быть, это невероятно с медицинской точки зрения, но он не только не постарел за эти годы, но даже помолодел и снова стал похож на того длинного, веселого, бородатого доктора, который в деревне учил нас с сестрой печь картошку на палочках.

* Вы ко мне?
* Доктор, я хочу пригласить вас к больному, – сказал я быстро. – Интересный случай: немота без глухоты. Человек все слышит и не может сказать «мама».

Доктор медленно поднял очки на лоб.

* Виноват…
* Я говорю: интересный случай, – продолжал я серьезно. – Человек может произнести только шесть слов: кура, седло, ящик, вьюга, пьют, Абрам. Больной Г. Описано в журнале.

Доктор подошел ко мне с таким видом, как будто собрался взять меня за язык или за- глянуть в ухо. Но он просто сказал:

* Саня!

Мы обнялись.

* Прилетел все–таки!
* Прилетел.
* Ну, молодец! Летчик? Ну, молодец! Ну, молодец!

Он обнял меня за плечи и повел в столовую. Там стоял мальчик лет двенадцати, очень

похожий на доктора. Он подал мне руку и сказал на «о»: «Володя».

Здесь было светлее, чем в сенях, и доктор снова принялся рассматривать меня со всех сторон и на этот раз, кажется, с трудом удержался, чтобы действительно не заглянуть в ухо.

* Ну, молодец, – снова, раз десять повторил он. – А сестра? Где она? Тоже летает?
* От сестры сердечный привет, – сказал я. – Она художница, вышла замуж и живет в Ленинграде.
* Уже замужем? С косичками?

Я засмеялся. Саня в детстве носила косички.

* Ох, я старик, – со вздохом сказал доктор. – Приезжает маленький худенький маль- чик, который ходил в больших рваных штанах, и оказывается – он летчик. Девочка с косич- ками – художница, вышла замуж и живет в Ленинграде.
* Иван Иваныч, честное слово, вы не переменились. Просто поразительно. Даже по- молодели!

Он засмеялся. Ему было приятно, что я так говорю, и я потом весь вечер время от вре- мени повторял, что он помолодел или, во всяком случае, нисколько не переменился.

Мы сидели за чаем, когда пришла жена доктора, Анна Степановна, высокая полная женщина, которая показалась мне похожей в своей малице и пимах на какого–то северного бога. Она сняла малицу и сменила пимы и все–таки осталась такой большой, что даже длинный доктор выглядел в сравнении с ней каким–то не очень длинным, не говоря уже обо мне. У нее было совсем молодое лицо, и она очень подходила к этому чистому деревянному дому, к желтому полу и деревенским половикам. В ней было что–то старорусское, как, впрочем, и в самом Заполярье, хотя это был совершенно новый город, построенный только пять–шесть лет тому назад. Потом я узнал, что она поморка.

Мы заговорили о Заполярье, и я узнал историю этого удивительного деревянного го- рода с деревянными тротуарами и мостовыми – города, в котором самая почва состоит из слежавшихся опилок.

* Как дождь пройдет, кажется, что идешь по квартире, – сказала Анна Степановна. – Все полы, полы. И шоссе деревянное.

Оказалось, что доктор приехал в Заполярье с первым пароходом и весь город был по- строен у него на глазах.

* Здесь в двадцать восьмом году была тайга, – сказал он. – А вот на этом месте, где мы сейчас сидим и пьем чай, били зайцев.
* А теперь стоит один дом, – сказала Анна Степановна, – а улицу собирались постро- ить, да так и не собрались.
* А театр, скажешь, плохой?
* Театр хороший.
* К нам в прошлом году приезжал МХАТ, – сказал Володя и покраснел. – Мы их встречали с цветами. Они удивлялись, откуда у нас цветы, а у нас сколько угодно.

Все посмотрели на него, и он еще больше покраснел.

* Володя любит театр, – сказала Анна Степановна, – и еще очень любит…
* Мама!

Доктор засмеялся.

* Мамочка, можно тебя на минуту? – грозно сказал Володя и вышел. Анна Степановна тоже засмеялась и пошла за ним.
* Стихи пишет, – шепотом сказал доктор. – Нет, теперь, когда вспоминаешь, очень интересно, – продолжал он. – Это было здорово! Когда первый лесозавод строили – в газете вместо даты печатали: столько–то дней до пуска лесозавода. Двадцать дней. Девятнадцать дней. И наконец – один день! А первые самолеты! Как их встречали! А ты? – вдруг спохва- тился доктор. – Как ты? Что собираешься делать?
* Собираюсь летать.
* Куда?
* Еще не знаю. Планы большие, а пока буду возить в Красноярск пушнину.
* А планы – новая трасса?
* Да… Иван Иваныч, – сказал я, когда было съедено все, что было на столе, и мы при- нялись за очень вкусное самодельное вино из морошки, – помните ли вы те письма, кото-

рыми мы обменялись, когда я еще был в Ленинграде?

* Помню.
* Вы написали мне очень интересное письмо об этом штурмане, – продолжал я, – и мне, прежде всего, хочется узнать, сохранились ли его черновые тетради?
* Сохранились.
* Очень хорошо. А теперь выслушайте меня. Это довольно длинная история, но я все–таки расскажу ее вам. Как известно, не кто иной, как вы, в свое время научили меня го- ворить. Вот и расплачивайтесь.

И я рассказал ему все – начиная с чужих писем, которые когда–то читала мне вслух тетя Даша. О Кате я сказал только несколько слов – в порядке информации. Но доктор в этом месте почему–то улыбнулся и сейчас же принял равнодушный вид.

–…Это был очень усталый человек, – сказал он о штурмане. – В сущности, он умер не от гангрены, а от усталости. Он истратил слишком много сил, чтобы избежать смерти, и на жизнь уже не осталось. Такое он производил впечатление.

* Вы говорили с ним?
* Говорил.
* О чем?
* По–моему, о каком–то южном городе, – сказал доктор, – не то о Сухуме, не то о Ба- ку. Это у него была просто навязчивая идея. Все тогда говорили о войне: только что нача- лась война. А он о Сухуме – как там хорошо, тепло. Должно быть, он был оттуда родом.
* Иван Иваныч, эти дневники, они у вас здесь? В этом доме?
* Здесь.
* Покажите.

Я часто думал об этих дневниках, и в конце концов, они стали казаться мне какими–то толстыми, в черном клеенчатом переплете. Но доктор вышел и через несколько минут вер- нулся с двумя узенькими тетрадочками, похожими на школьные словари иностранных слов. Невольное волнение охватило меня, когда я наудачу открыл одну из тетрадок:

*«Штурману Ив. Дм. Климову.*

*Предлагаю Вам и всем нижепоименованным, согласно Вашего и их жела- ния, покинуть судно с целью достижение обитаемой земли…»*

* Доктор, но ведь у него превосходный почерк! Я читаю совершенно свободно!
* Нет, это у меня превосходный почерк, – возразил доктор. – Ты читаешь то, что мне удалось разобрать. Я в нескольких местах вложил листочки с прочитанным текстом. А все остальное – взгляни!

И он открыл тетрадку на первой странице.

Мне случалось видеть неразборчивые почерки: например, Валя Жуков писал так, что педагоги долгое время думали, что он над ними смеется. Но такой почерк я видел впервые: это были настоящие рыболовные крючки, величиной с булавочную головку, рассыпанные по странице в полном беспорядке.

Первые же страницы были залиты каким–то жиром, и карандаш чуть проступал на желтой прозрачной бумаге. Дальше шла какая–то каша из начатых и брошенных слов, потом набросок карты и снова каша, в которой не мог бы разобраться никакой графолог.

* Ладно, – сказал я и закрыл тетрадку. – Я это прочитаю. Доктор с удовольствием посмотрел на меня.
* Желаю успеха, – сердечно сказал он.

Я остался у него ночевать, потому что стало темно, пока я сидел в гостях, и начиналась вьюга, а в Заполярье не принято выходить на улицу, когда начинается вьюга. Анна Степа- новна приготовила мне постель в Володиной комнате, на складной кровати, и я перед сном долго рассматривал Володю, который спал на боку, подложив под щеку аккуратно сложен- ные ладони. Во сне это был настоящий маленький доктор, только бороды не хватало. Складная кровать громко заскрипела, когда я сел на нее, собираясь снять сапоги. Он на мгновение открыл большие синие глаза и что–то пробормотал не просыпаясь.

**Глава 7.**

**ЧИТАЮ ДНЕВНИКИ.**

Не могу назвать себя нетерпеливым человеком. Но, кажется, только гений терпения мог прочитать эти дневники! Без сомнения, они писались на привалах, при свете коптилок из тюленьего жира, на сорока пятиградусном морозе, замерзшей и усталой рукой. Видно было, как в некоторых местах рука срывалась и шла вниз, чертя длинную, беспомощную, бессмысленную линию.

Но я должен был прочитать их!

И снова я принимался за эту мучительную работу. Каждую ночь – а в свободные от полетов дни с утра – я с лупой в руках садился за стол, и вот начиналось это напряженное, медленное превращение рыболовных крючков в человеческие слова – то слова отчаяния, то надежды. Сперва я шел напролом – просто садился и читал. Но потом одна хитрая мысль пришла мне в голову, и я сразу стал читать целыми страницами, а прежде – отдельными словами.

Перелистывая дневники, я заметил, что некоторые страницы написаны гораздо отчет- ливее других, – например, приказ, который скопировал доктор. Я выписал из этих мест все буквы – от «а» до «я» – и составил «азбуку штурмана», причем в точности воспроизвел все варианты его почерка. И вот с этой азбукой дело пошло гораздо быстрее. Часто стоило мне, согласно этой азбуке, верно угадать одну или две буквы, как все остальные сами собой ста- новились на место.

Так день за днем я разбирал эти дневники.

*ДНЕВНИКИ ШТУРМАНА ДАЛЬНЕГО ПЛАВАНИЯ ИВ. ДМ. КЛИМОВА*

***Среда, 27 мая****. Снялись поздно и за 6 часов прошли 4 версты. Сегодня у нас юбилейный день. Мы считаем, что всего отошли от судна 100 верст. Конечно, это не так уж много для месяца хода, но и дорога, зато такая, какой мы не ожидали. Справили мы свой юбилей торжественно: сварили из сушеной черники суп и подправили его для сладости двумя банками консервированного молока.*

***Пятница, 29 мая****. Если мы доберемся до берега, то пусть эти люди – я не хочу даже называть их – помнят 29 мая, день своего избавления от смерти, и ежегодно чтут его. Но если спаслись люди, то все же утопили двустволку и нашу кормилицу–кухню. Благодаря этому мы должны были вчера есть сырое мясо и пить холодную воду, разведенную молоком. Эх, только бы привел мне бог благополучно добраться до берега с этими ротозеями!*

***Воскресенье, 31 мая****. Вот тот официальный документ, на основании ко- торого я должен был выступить во главе части команды:*

*«Штурману Ив. Дм. Климову.*

*Предлагаю Вам и всем нижепоименованным, согласно Вашего и их жела- ния, покинуть судно с целью достижения обитаемой земли, сделать это 10–го сего апреля, следуя пешком по льду, везя за собой нарты с каяками и провизией, взяв таковой с расчетом на два месяца. Покинув судно, следовать на юг до тех пор, пока не увидите земли. Увидев же землю, действовать сообразно с обсто- ятельствами, но предпочтительно стараться достигнуть Британского канала между островами Земли Франца Иосифа, следовать им, как наиболее извест- ным, к мысу Флора, где, я предполагаю, можно найти провизию и постройки. Далее, если время и обстоятельства позволят, направиться к Шпицбергену. Достигнув Шпицбергена, представится Вам чрезвычайно трудная задача найти там людей, о месте пребывания которых мы не знаем, но, надеюсь, на южной части его Вам удастся застать, если не живущих на берегу, то ка- кое–нибудь промысловое судно. С Вами пойдут, согласно их желания, трина- дцать человек из команды.*

*Капитан судна «Св. Мария» Иван Татаринов.*

*10 апреля 1914 года,*

*в Северном Ледовитом океане».*

*Видит бог, как тяжело мне было уйти, оставив его в тяжелом, почти безнадежном положении.*

***Вторник, 2 июня****. Еще на судне машинист Корнев сделал нам четыре па- ры очков, но нельзя сказать, что они достигают своего назначения, Стекла сделаны из бутылок от «джина». В передних нартах идут счастливцы «зря- чие», а «слепцы» тянутся по их следам с закрытыми глазами, только по време- нам поглядывая сквозь ресницы на дорогу. Глаза болят от мучительного, нестерпимого света. Вот картина нашего движения, которой я никогда не за- буду: мы идем мерно, в ногу, одновременно покачиваясь впереди, налегая на лямку грудью и держась одной рукой за борт каяка. Мы идем с плотно закры- тыми глазами. В правой руке – лыжная палка, которая с механической точно- стью заносится вперед, откидывается вправо и медленно остается позади. Как однообразно, как отчетливо скрипит снег под наконечником этой палки! Не- вольно прислушиваешься к этому поскрипыванию, и кажется – ясно слышишь:*

*«далеко, далеко». Как в забытьи, идем мы, механически переставляя ноги и налегая грудью на лямку… Сегодня мне представилось, что я иду по набережной жарким летом, в тени, высоких домов. В этих домах азиатские фруктовые склады, двери раскрыты настежь, и слышен ароматный, пряный запах свежих и сухих фруктов. Одуряюще пахнет апельсинами, персиками, сушеными ябло- ками, гвоздикой. Персы–торговцы поливают водой мягкую от жары асфальто- вую панель, и мне слышится их спокойная гортанная речь. Боже, как хорошо пахнет, какая приятная прохлада!.. Я очнулся, споткнувшись о свою палку, схватился за каяк и остановился пораженный – снег, снег, снег, докуда видит глаз. По–старому ослепительно светит солнце, по–старому нестерпимо болят глаза.*

***Четверг, 4 июня****. Сегодня, идя по следам Дунаева, я обратил внимание, что он плюет кровью. Осмотрел десны – цинга. Последние дни он жаловался на ноги.*

***Пятница, 6 июня****. У меня не выходит из головы Иван Львович – в ту ми- нуту, когда, провожая нас, он говорил прощальную речь и вдруг замолчал, сжав зубы и осмотревшись с какой–то беспомощной улыбкой. Он болен, я оставил его только что вставшим с постели. Боже мой, это самая страшная ошибка! Но не возвращаться же назад.*

***Суббота, 6 июня****. Еще третьего дня Морев все приставал ко мне, будто с вершины тороса он видел какую–то «ровнушку», то есть совершенно ровный лед, который тянется на юг очень далеко. «Своими глазами видел, господин штурман! Такая ровнушка, что копыто не пишет». Сегодня утром его не ока- залось в палатке. Он ушел без лыж, и следы его пим чуть заметны на тонком слое крепкого снега. Мы искали его целый день, кричали, свистели, стреляли. Он ответил бы нам – у него была с собой винтовка–магазинка и штук двенадцать патронов. Но ничего не было слышно.*

***Воскресенье, 7 июня****. Из каяков, лыж и лыжных палок связали мачту вы- шиной в пять сажен, прикрепили к ней два флага и поставили на вершине холма. Если он жив, он увидит наши сигналы.*

***Вторник, 9 июня****. Снова в путь. Осталось тринадцать человек – роковое число. Когда же, наконец, будет земля, хотя какая–нибудь, голая, неприветли- вая земля, которая стояла бы на месте, на которой мы не опасались бы еже- минутно, что нас относит на север!*

***Среда, 10 июня****. Сегодня к вечеру снова видение южного города, набе- режной и ночного кафе с людьми в белых панамах. Сухум? Снова пряный, ду-*

*шистый запах фруктов и горькие мысли: «Зачем я пошел в это плавание, в хо- лодное, ледяное море, когда так хорошо плавать на юге? Там тепло. В одной рубашке можно ходить и даже босиком. Можно есть много апельсинов, вино- града и яблок». Странно, почему я никогда особенно не любил фруктов? Впро- чем, и шоколад – хорошая вещь, с ржаными сухарями, как мы едим в полуденный привал. Только мы получаем его очень мало – по одной дольке, на которые раз- делена плитка. А хорошо бы поставить перед собой тарелку с просушенными ржаными сухарями, а в руку взять сразу целую плитку шоколада и есть, сколько хочется! Сколько верст до этой возможности, сколько часов, дней, недель!*

***Четверг, 11 июня****. Дорога отвратительная, с глубоким снегом, под ко- торым много воды. Полыньи все время преграждают наш путь. Прошли сего- дня не более трех верст. Весь день – туман и тот матовый свет, от которого так сильно болят глаза. И сейчас эту тетрадь я вижу, как сквозь кисею, и го- рячие слезы текут по моим щекам. Завтра Троица. Как хорошо будет в этот день «там», где–нибудь на юге, и как плохо здесь, на плавучем льду, сплошь из- резанном полыньями и торосами, под 82–м градусом, широты! Лед перестав- ляется ежеминутно, прямо на глазах, Одна полынья скрывается, другая от- крывается, как будто какие–то великаны играют в шахматы на исполинской доске.*

***Воскресенье, 14 июня****. Вот открытие, о котором я ничего не сказал моим спутникам: нас проносит мимо земли. Сегодня мы достигли широты Фран- ца–Иосифа и продолжаем двигаться на юг – между тем не видно и намека на острова. Нас проносит мимо земли. Это я вижу и по моему никуда не годному хронометру, и по господствующим ветрам, и по направлению выпущенного в воду линя.*

***Понедельник, 15 июня****. Я оставил его больным, в отчаянии, которое только он был в состоянии утаить. Это лишает меня веры в наше спасение.*

***Вторник, 16 июня****. Цинготных у меня теперь двое. Соткин тоже заболел, и десны у него кровоточат и припухли. Мое лечение заключается в том, что я посылаю их на лыжах искать дорогу, а на ночь даю облатку хины. Может быть, это жестокий способ лечения, но, по–моему, единственный до тех пор, пока человек не утратил нравственной силы. Самую тяжелую форму цинги я наблюдал у Ивана Львовича, который болел ею почти полгода и лишь нечелове- ческим усилием воли заставил себя выздороветь, то есть просто не позволил себе умереть. И эта воля, этот широкий, свободный ум, эта неистощимая бодрость души обречены на неизбежную гибель.*

***Четверг, 18 июня****. Широта 81. Опять приходится удивляться быстроте дрейфа на юг.*

***Пятница, 19 июня****. Около четырех часов на OSO от нашей стоянки я увидел «нечто». Это были два розоватых – облачка над самым горизонтом, которые не меняли своей формы, пока их не закрыло туманом. Кажется, нико- гда мы не были окружены таким количеством разводьев, как теперь. Много летает нырков и визгливых белых чаек. Ох, эти чайки! Как часто по ночам они не дают мне заснуть, суетясь, споря и ссорясь между собой около выброшен- ных на лед внутренностей убитого тюленя. Они, как злые духи, издеваются над нами, хохочут до истерики, визжат, свистят и едва ли не ругаются. Как долго я буду помнить эти «крики чайки белоснежной», эти бессонные ночи в палатке, это незаходящее солнце, просвечивающее сквозь полотно ее!*

***Суббота, 20 июня****. За неделю нашей стоянки мы продрейфовали со льдом к югу на целый градус.*

***Понедельник, 22 июня****. Вечером я по обыкновению забрался на высокий ропак, чтобы осмотреть горизонт. На этот раз я увидел на О от себя что–то такое, от чего я в волнении должен был присесть на ропак и поспешно стал вытирать и глаза и бинокль. Это была светлая полоска, похожая на аккурат- ный мазок кистью по голому полю. Сперва решил, что это луна, но почему–то*

*левая половина сегмента этой луны постепенно тускнела, а правая становилась резче. Ночью я раз пять выходил посмотреть в бинокль и каждый раз находил этот кусочек луны на том же месте. Я удивляюсь, что никто их моих спутни- ков ничего не видит. Какого труда стоит мне сдержать себя, не вбежать в палатку, не закричать во весь голос: «Что вы сидите чучелами, что вы спите, разве вы не видите, что нас подносит к земле?» Но я почему–то молчу. Кто знает, быть может, и это мираж. Видел же я себя в южном городе, на набе- режной, жарким летом, в тени высоких домов!*

(На этой фразе кончалась первая тетрадь, Вторая начиналась 11 июля).

***Суббота, 11 июля****. Убили тюленя, от которого собрали две миски крови и из этой крови и нырков сделали очень хорошую похлебку. Когда мы варим чай или похлебку, то обыкновенно шутить не любим. Сегодня утром мы съели ведро похлебки и выпили ведро чаю; в обед съели ведро похлебки и выпили ведро чаю; и сейчас на ужин мы съели больше чем по фунту мяса и дожидаемся с нетерпе- нием, когда вскипит наше ведро чаю. А ведро у нас большое, в форме усеченного конуса. Мы бы, пожалуй, не прочь и сейчас сварить и съесть ведро похлебки, но мы стесняемся, надо «экономить». Аппетиты у нас не волчьи, а много больше; это что–то ненормальное, болезненное.*

*Итак, мы сидим на острове, под нами не лед, с которого мы не сходили два года, а земля и мох. Все хорошо, но одна мысль по–прежнему не дает мне покоя: зачем капитан не отправился с нами? Он не хотел оставить корабль, он не мог вернуться «с пустыми руками». «Меня заклюют, если я вернусь с пу- стыми руками». И потом эта детская, безрассудная мысль: «Если безнадеж- ные обстоятельства заставят меня покинуть корабль, я пойду к земле, кото- рую мы открыли». Мне кажется, последнее время он был немного помешан на этой земле. Мы видели ее в апреле 1913 вода.*

***Понедельник, 13 июля****. На OSO море до самого горизонта свободно ото льда. Эх, «Св. Мария», вот бы куда, красавица, тебе попасть! Тут бы ты пошла чесать, не надо и машины!*

***Вторник, 14 июля****. Сегодня Соткин и Корольков, уйдя на оконечность острова, сделали замечательную находку. Недалеко от моря они увидали не- большой каменный холм. Их поразила правильная форма этого холма. Подойдя ближе, они увидали недалеко бутылку из–под английского пива с патентован- ной, завинчивающейся пробкой. Ребята сейчас же разбросали холм и скоро под камнями нашли железную банку. В банке оказался очень хорошо сохранившийся английский флаг, а под ним такая же бутылка. На бутылке была приклеена бу- мажка с несколькими именами, а внутри – записка на английском языке. Кое–как, соединенными усилиями, вместе с Нильсом мы разобрали, что англий- ская полярная экспедиция под начальством Джексона, отойдя в августе месяце 1897 года от мыса Флора, прибыла на мыс Мэри Хармсворт, где и положила этот флаг и записку. В конце сообщалось, что на судне «Виндворд» все благо- получно.*

*Вот неожиданное разъяснение всех моих сомнений: мы находимся на мысе Мэри Хармсворт. Это юго–западная оконечность Земли Александры. Завтра мы предполагаем перейти на южный берег острова и отправиться к мысу Флора, в имение этого знаменитого англичанина Джексона.*

***Среда, 15 июля****. Покинули лагерь. Нам предстоял выбор: идти ли всем по леднику и тащить за собой груз, или разделиться на две партии, из которых одна шла бы на лыжах по леднику, а другая, в пять человек, плыла бы вдоль ледника на каяках. Мы избрали этот последний способ передвижения.*

***Четверг, 16 июля****. Утром Максим с Нильсом стали перегонять каяки ближе к месту нашей стоянки, и Нильса так далеко отнесло течением, что двоим пришлось отправиться ловить его. Я смотрел в бинокль и видел, как*

*Нильс убрал весло и с самым беспомощным видом смотрел на идущий к нему на выручку каяк. Нильс очень болен, иначе я не могу объяснить его поведение. Да и вообще он стал какой–то странный: походка нетвердая и сидит все время в стороне. На ужин мы сегодня сварили двух нырков и одну гагу.*

***Пятница, 17 июля****. Погода отвратительная. Продолжаем сидеть на мы- се Гранта и ожидать береговую партию. Ночью прояснилось. Впереди, на ONO, кажется совсем недалеко, виден за сплошным льдом скалистый остров. Неужели это Нордбрук, на котором и есть мыс Флора? Приближается время, когда выяснится, прав ли я был, стремясь к этому мысу? Двадцать лет – срок большой. Может быть, там за это время и следа не осталось от построек Джексона? Но что было делать иначе? Делать большой обход? Да разве вы- держали бы его мои несчастные, больные спутники, в лохмотьях, пропитанных ворванью и полных паразитов?*

***Суббота, 18 июля****. Завтра, если позволит погода, мы отправимся дальше. Ждать я больше не могу. Нильс едва ходит, и Корольков немногим лучше его. Дунаев хотя и жалуется на ноги, но у него не заметно той страшащей меня апатии, того упадка сил, как у Нильса и Королькова. Что могло задержать пе- шеходцев? Не знаю, но оставаться здесь дольше – это верная смерть.*

***Понедельник, 20 июля****. Остров Белль, Выходя из каяков, мы убедились, что Нильс уже не может ходить; он падал и старался ползти на четвереньках. Устроив нечто вроде палатки, мы затащили туда Нильса и закутали в наше единственное одеяло. Он все намеревался куда–то ползти, но потом успокоился. Нильс – датчанин. За два года службы на «Св. Марии» он научился хорошо го- ворить по–русски. Но со вчерашнего дня он забыл русскую речь. Больше всего поражают меня его бессмысленные, полные ужаса глаза – глаза человека, по- терявшего рассудок. Мы сварили бульон и дали ему полчашки. Он выпил и лег. Жаль хорошего матроса, очень неглупого, старательного. Все легли спать, а я, взяв винтовку, пошел посмотреть с утесов на мыс Флора.*

***Вторник, 21 июля****. Нильс умер ночью. Он даже не сбросил одеяла, в ко- торое мы завернули его. Лицо его было спокойно и не обезображено пред- смертными муками. Часа через два мы вытащили своего успокоившегося това- рища и положили его на нарту. Могила была не глубока, так как земля сильно промерзла. Никто из нас не поплакал над этой одинокой далекой могилой. Смерть этого человека не очень поразила нас, как будто произошло самое обычное дело. Конечно, это не было черствостью, бессердечием. Это было не- нормальное отупение перед лицом смерти, которая у всех нас стояла за плеча- ми. Как будто и враждебно поглядывали мы теперь на следующего «кандида- та», на Дунаева, мысленно гадая, «дойдет он или уйдет ранее». Один из спутников даже как бы со злостью прикрикнул на него: «Ну, ты чего сидишь, мокрая курица? За Нильсом, что ли, захотел? Иди, ищи плавник, шевелись!» Ко- гда Дунаев покорно пошел, то ему еще вдогонку закричали: «Позапинайся у ме- ня, позапинайся!» Это не было озлоблением против Дунаева. Не важен был те- перь и плавник. Это было озлобление против болезни, забирающей товарища, призыв бороться со смертью до конца. Запинание, когда ноги подгибаются, как парализованные, очень характерно. Потом начинает плохо слушаться язык. Больной начинает старательно выговаривать некоторые слова, но, видя, что из этого ничего не выходит, как будто смущается и умолкает.*

***Среда, 22 июля****. В три часа отправились к мысу Флора. Снова думал об Иване Львовиче. Я больше не сомневаюсь, что он немного помешан на этой земле, которую мы открыли. В последнее время он постоянно упрекал себя в том, что не отправил партию, чтобы исследовать ее. Он сказал о ней и в своей прощальной речи. Никогда не забуду этого прощанья, этого бледного, вдохно- венного лица с делеким взглядом! Что общего с прежним румяным, полным жизни человеком, выдумщиком анекдотов и забавных историй, кумиром ко- манды, с шуткой подступавшим к любому, самому трудному делу? Никто не*

*ушел после его речи. Он стоял с закрытыми глазами, как будто собираясь с мыслями, чтобы сказать прощальное слово. Но вместо, слов вырвался чуть слышный стон, и в углу глаз сверкнули слезы. Он заговорил сперва отрывисто, потом все более спокойно: «Нам всем тяжело провожать друзей, с которыми мы сжились за два года нашей борьбы и работы. Но мы должны помнить, что хотя основная задача экспедиции не решена, все же мы сделали немало. Трудами русских в историю Севера записаны важнейшие страницы – Россия может гордиться ими. На нас лежала ответственность – оказаться достойными преемниками русских исследователей Севера. И если мы погибнем, с нами не должно погибнуть наше открытие. Пускай же ваши друзья передадут, что трудами экспедиции к России присоединена обширная земля, которую мы назвали „Землей Марии“. Он помолчал, потом обнял каждого из нас и сказал:*

*„Мне хочется сказать вам не „прощайте“, а «до свиданья“.*

***Четверг, 30 июля****. Теперь нас осталось только восемь – четверо на каяках и четверо где–то на Земле Александры.*

***Суббота, 1 августа****. Вот что произошло в этот день: мы были уже в двух–трех милях от мыса Флора, когда подул сильный NO ветер, который быстро стал крепчать и через полчаса дул, как из трубы, разводя крутую зыбь. Незаметно в тумане мы потеряли из виду второй каяк, с Дунаевым и Король- ковым. Бороться с ветром и течением на этой зыби было невозможно, и мы пристали к одному из айсбергов побольше, с подветренной стороны, влезли на него и втащили каяк. Забравшись на айсберг, мы воткнули в его вершину мачту и подняли флаг в надежде, что если Дунаев увидит его, то догадается тоже взобраться на какую–нибудь льдину. Было довольно холодно, и мы, порядком устав, решили лечь спать. Надев на себя малицы, мы легли на вершине айсберга друг к другу ногами, так что ноги Максима находились у меня в малице, за моей спиной, а мои ноги – в малице Максима, за его спиной. Таким образом мы засну- ли и безмятежно спали 7–8 часов. Пробуждение наше было ужасно. Мы проснулись от страшного треска, почувствовали, что летим вниз, а в следую- щую минуту наш двуспальный мешок был полон водой, мы погружались в воду и, делая отчаянные усилия выбраться из этого предательского мешка, отбивались друг от друга ногами. Мы были в положении кошек, которых бросили в воду, желая утопить. Не могу сказать, сколько секунд продолжалось наше барахта- нье, но мне оно показалось страшно продолжительным. Вместе с мыслями о спасении и гибели в голове моей пронеслись различные картины нашего путе- шествия: смерть Морева, Нильса, четырех пешеходцев. Теперь пришла наша очередь, и никто никогда не узнает об этом. В этот момент мои ноги попали на ноги Максима, мы вытолкали друг друга из мешка, а в следующее мгновение уже стояли мокрые на подводной «подошве» айсберга, швыряя на льдину сапо- ги, шапки, одеяла, рукавицы, плававшие вокруг нас в воде. Малицы были так тяжелы, что каждую мы должны были поднимать вдвоем, а одеяло так и не поймали – оно потонуло. Напрасно я ломал себе голову – что же нам теперь делать? Ведь мы замерзнем! Как бы в ответ на наш вопрос, с вершины полетел в воду наш каяк, который или сдуло ветром, или под которым подломился лед, как подломился он под нами. Теперь мы знали, что делать! Мы выжали свои носки и куртки, надели их опять, побросали в каяк все, что у нас осталось, сели и давай грести! Боже мой, с каким остервенением мы гребли! Только это, я ду- маю, и спасло нас. Часов через шесть мы подошли к мысу Флора…»*

Среди ранних записей, вскоре после ухода штурмана с корабля, я нашел интересную карту. У нее был старомодный вид, и я подумал, что она похожа на карту, приложенную к путешествию Нансена на «Фраме».

Но вот что поразило меня: это была карта дрейфа «Св. Марии» с октября 1912 года по апрель 1914 года, и дрейф был показан на тех местах, где лежала так называемая Земля Пе- термана. Кто теперь не знает, что этой земли не существует? Но кто знает, что этот факт

впервые установил капитан Татаринов на шхуне «Св. Мария»?

Что же он сделал, этот капитан, имя которого не встречается ни в одной географиче- ской книге? Он открыл Северную Землю, он доказал, что Земли Петермана не существует. Он изменил карту Арктики – и все же считал свою экспедицию неудачей…

Но вот что было самое главное: в пятый, в шестой, в седьмой раз перечитывая дневник уже по моей копии (так что мне больше не мешал самый процесс чтения), я обратил внима- ние на записи, в которых говорилось о том, как капитан относился к этому открытию:

*«В последнее время он постоянно упрекал себя в том, что не отправил партию, что- бы исследовать ее»* (то есть Северную Землю).

*«…Если мы погибнем, с нами не должно погибнуть наше открытие. Пус- кай же наши друзья передадут, что трудами экспедиции к России присоединена обширная земля, которую мы назвали „Землей Марии“.*

*«Если безнадежные обстоятельства заставят меня покинуть корабль, я пойду к земле, которую мы открыли».*

И штурман называет эту мысль детской и безрассудной.

Детской и безрассудной! В последнем письме капитана, которое когда–то читала мне тетя Даша, были эти два слова.

*«Волей–неволей мы должны были отказаться от первоначального наме- рения пройти во Владивосток вдоль берегов Сибири. Но нет худа без добра! Совсем другая мысль теперь занимает меня. Надеюсь, что она не покажется тебе, как некоторым моим спутникам, „детской или безрассудной…“*

Страница кончалась на этих словах, а следующего листа не хватало. Теперь я знал, что это за мысль: он хотел покинуть корабль и направиться к этой земле. Экспедиция, которая была главной целью его жизни, не удалась. Он не мог вернуться домой «с пустыми руками». Он стремился к своей земле, и для меня было ясно, что если где–либо еще сохранились следы его экспедиции, то их нужно искать на этой земле! Но, может быть, это было ясно только для меня? Может быть, это казалось мне таким ясным потому, что я знал женщину, именем которой была названа эта земля, и видел, как она умирала, и очень хотел найти сле- ды этой экспедиции, и еще больше хотел доказать Кате, что я люблю ее и никогда не пере- стану любить.

Поздней ночью в марте 1935 года я переписал последнюю страницу этого дневника, последнюю, которую мне удалось разобрать.

В большом двухэтажном доме окрисполкома, где я тогда жил, все давно спали, и только из моего окна свет падал на тоненькие деревца у дороги, прикрытые снегом. У меня немного болела голова, глаза. Я оделся и вышел.

Было тихо, морозно и не очень темно – много звезд, и на западе – слабое северное си- яние. И прежнее памятное чувство, которое я пережил на Балашовском аэродроме, верну- лось ко мне.

Как будто в театре вдруг зажгли свет и я увидел рядом с собой людей, которых только что видел на сцене. Неужели это действительно было? Кажется, еще минуту тому назад нельзя было сказать – живые ли это люди, или только игра, которая побледнеет и исчезнет при ясном свете реальной мысли; но вот свет зажгли, и ничего не исчезло. Напротив, с не- обыкновенной ясностью, во всей жизненной полноте, я увидел вокруг себя этих людей с их страхами и болезнями, с отчаяньем, видениями и надеждами. Когда они покинули корабль, он стоял в ста семидесяти километрах от берега, а они прошли около двух тысяч километров по ледяной пустыне, потому что их проносило мимо земли. Среди них не было капитана, но этот страшный дневник был полон им – его словами, любовью к нему и опасениями за его жизнь! Прощальная речь была написана карандашом, врезавшимся в бумагу, – и это было самое разборчивое место во всем дневнике. «Но вместо слов вырвался чуть слышный стон, и в углу глаз свернули слезы…»

Узнаю ли я когда–нибудь, что случилось с этим человеком, как будто поручившим мне

рассказать историю его жизни, его смерти? Оставил ли он корабль, чтобы изучить открытую им землю, или погиб от голода вместе со своими людьми, и шхуна, замерзшая во льдах у берегов Ямала, годами шла путем Нансена к Гренландии с мертвой командой? Или в хо- лодную бурную ночь, когда не видно ни звезд, ни луны, ни северного сияния, она была раз- давлена льдами, и с грохотом полетели вниз мачты, стеньги и реи, ломая все на палубе и убивая людей, в предсмертных судорогах затрещал корпус, и через два часа пурга уже за- несла снегом место катастрофы?

Или еще живут где–нибудь на безлюдном полярном острове люди со «Св. Марии», которые могли бы, рассказать о судьбе корабля, о судьбе капитана? Ведь прожили же не- сколько лет на необитаемом уголке Шпицбергена шесть русских матросов, били медведей и тюленей, питались их мясом, одевались в их шкуры, устилали шкурами пол своего шалаша, который они сделали из льда и снега?

Да нет, куда там! Минуло двадцать лет, как была высказана «детская», «безрассудная» мысль покинуть корабль и идти на Землю Марии. Пошли ли они на эту землю? Дошли ли?

**Глава 8.**

**СЕМЕЙСТВО ДОКТОРА.**

Всю зиму я разбирал эти дневники, а между тем моя жизнь в Заполярье шла своим пу- тем. Я возил в Красноярск инструменты для лесозаводов и в конце концов, довел этот маршрут до восьми с половиной летных часов. Я перебрасывал изыскательские партии в Норильск, возил учителей, врачей, партработников в глухие ненецкие районы. С известным летчиком М. я был на Диксоне. Мне приходилось летать по притокам Енисея – Курейке и Нижней Тунгуске.

Но, возвращаясь в Заполярье, я, прежде всего, отправлялся к доктору, – разумеется, после парикмахерской и бани.

Я очень привязался к доктору и его семейству, и они меня, кажется, полюбили. Это было очень смешно, что доктор относился ко мне, как к своему произведению, – он даже иногда прищуривал один глаз, как будто все–таки не совсем доверял, что я – тот самый ху- денький черный мальчик в больших штанах, который когда–то твердил: «кура, седло, ящик». Конечно, теперь он не казался мне таким загадочным, как в деревне, в детстве. Но и теперь никогда нельзя было сказать, что он станет делать в следующую минуту. Он мог, например, во время разговора вдруг бросить вам свой стул, и вы непременно должны были поймать его и бросить обратно. И через несколько минут такой гимнастики доктор как ни в чем не бывало садился на этот стул, и разговор продолжался. Ненцам, среди которых у него были настоящие друзья, он любил читать Козьму Пруткова.

Они приезжали к нему, смуглые, черноволосые, широколицые, в расшитых бисером оленьих шубах. Они сидели и разговаривали, а олени, серые, с печальными глазами, запря- женные в высокие нарты, подолгу стояли у крыльца.

Доктор говорил по–ненецки, и ненцы приезжали к нему советоваться – иногда по очень важным делам. Не все было им ясно в новом социалистическом строе, и они не вполне доверяли какому–то Ваське–председателю, который в тундровом Совете считался главным специалистом по колхозным вопросам. Так, однажды они приехали, чтобы спросить, как, по мнению доктора, следует поступить с бандитом: самим ли убить его, или выдать властям? В другой раз они явились, чтобы выяснить, как смотрит доктор на примус – годится ли эта машина в хозяйстве?

И доктор длинно доказывал, что бандита нужно выдать властям, что примус годится в хозяйстве, и ненцы молча слушали его с серьезным детским выражением. Впрочем, вскоре и мне случилось выступить перед ненцами с большой речью о примусе, – но об этом ниже.

Во всяком случае, это была прочная дружба, и доктор рассказывал мне, что она нача- лась после того, как в становище Хабарово он устроил глистогонный пункт. Это было настоящее торжество медицины. Доктора прозвали «изгоняющий червей», и слава его раз- неслась по тундре…

В доме было много зверей: кот Филька, черепаха, еж и филин, который жил под сто-

лом и кричал «ай, ай, ай», когда садились обедать. Все это было Володино хозяйство, – и еще две собаки, Буська и Тога, которых он учил ходить в упряжи; ненцы подарили ему пре- красную упряжь, украшенную пластинками из мамонтовой кожи. Мне очень нравилось, что Володя не хвастает своими стихами. Это была его тайна, и за зиму я только один раз слы- шал, как он прочитал стихи. Сперва он долго бормотал их, не зная, что я в соседней комнате и все слышу. Потом оказал вслух, с выражением:

Эвенок Чолкар приезжает из школы домой, Луною улыбка блестит в его узких глазенках,

Быстро с нарт соскочил он и радостно машет рукою, – В чум вливаются свежесть и радость ребенка…

Потом снова начал бормотать.

Я рассказал ему историю капитана Татаринова и объяснил, какое значение имеют для этой истории дневники покойного Климова. И вот каждый раз, когда я приходил к доктору с новой разобранной страницей, являлся Володя и слушал наши разговоры с таким взволно- ванным лицом, что доктор, переглянувшись со мной, ласково обнимал его за плечи. Без со- мнения, не одно стихотворение было посвящено этой истории, и, таким образом, жизнь ка- питана Татаринова описана не только в прозе.

Доктор заинтересовался болезнью, о которой пишет штурман, – это запинанье сперва в ногах, потом в речи и скорая, беспричинная смерть, – и Володя припомнил, что от такой же болезни умер Эванс, спутник капитана Скотта.

– Скотт пишет, что от этой болезни умирают самые сильные, – покраснев, сказал он. – Он думает – это что–то психическое.

Но особенно поразило его мое предположение, что, может быть, шхуна еще стоит с мертвой командой во льдах у какого–нибудь безлюдного острова. Он хотел что–то спросить, но промолчал, только по–детски открыл рот, и все лицо, щеки, даже шея покрылись гусиной кожей от волнения…

Главным человеком в доме была, разумеется, Анна Степановна. Все ее слушались, и даже филин, который никого не слушался и доктору всегда говорил «ай, ай, ай» с укориз- ненным выражением. Недаром ненцы говорили доктору: «Ой, хорошо, когда такой большой женка есть!» Она внушала уважение. Не только дома, но и во всем городе прислушивались к ее слонам.

Она была из известной морской семьи, и ее отец, дядя и все братья плавали капитана- ми на морских и речных судах. Иногда во время Карской – так называют в Заполярье меся- цы август и сентябрь, когда наши ледоколы проводят через Карское море советские и ино- странные пароходы, – эти братья и дядя появлялись в доме, такие же высокие и крепкие, как Анна Степановна, с большими усатыми лицами, с большими носами.

К истории капитана Татаринова Анна Степановна подошла с неожиданной стороны.

– Несчастные женщины! – сказала она, хотя о женщинах не было сказано ни слова. – И год ждут, и два; он, может быть, и умер давно, и следа не осталось, а они все ждут. Все надеются: может, вернется! А эти ночи бессонные! А дети! Что детям сказать? А эти чувства безнадежные, от которых лучше бы самой умереть! Нет, вы мне не говорите, – с силой ска- зала Анна Степановна, – я это видела своими глазами. И если вернется такой человек, – ко- нечно, герой, что и говорить. Ну и она – героиня!

**Глава 9.**

**«МЫ, КАЖЕТСЯ, ВСТРЕЧАЛИСЬ…»**

Володя заехал за мной в семь утра, я сквозь сон услышал, как он внизу ругает Буську и Тогу, двух своих передовых. Накануне мы с ним условились поехать в зверовой совхоз, и он вдруг предложил – на собаках.

* Они только поворачивать не умеют, – сказал он серьезно, – а так очень хорошо везут.

А на поворотах я слезаю и сам поворачиваю.

Я было возразил, что, не лучше ли все–таки на лыжах, но Володя обиделся за своих собак, и пришлось согласиться.

* Даже мама может подтвердить, – сказал он строго, – что по прямой они везут пре- восходно.

Как настоящий ненец, он бодро крикнул «хэсь!», когда мы уселись на нарты, – и соба- ки помчались. Ого, как ударило мелким снегом в лицо, закололо глаза и занялось дыхание! Нарты подбросило на сугробе, я схватился за Володю, но он обернулся с удивлением, и я отпустил его и стал подпрыгивать на каких–то ремешках, натянутых, по–моему, очень сла- бо.

Мне пришла в голову мысль, что хорошо бы ехать немного потише, – но куда там! Нечего было и думать! Грозно подняв палку, Володя орал на своих собак, и они мчались все быстрее и быстрее. Конечно, я мог бы крикнуть Володе, чтобы он придержал собак. Но это был верный способ навсегда потерять его уважение. Все–таки я крикнул бы, пожалуй, – уж больно высоко подпрыгивали на сугробах эти проклятые нарты! Но в эту минуту Володя еще раз обернулся ко мне, и у него было такое раскрасневшееся счастливое лицо и ушанка с таким ухарским видом сбилась набок, что я решил лечь животом вниз и покориться.

Раз! Вдруг собаки остановились, как вкопанные, и я сам не знаю, каким образом удер- жался на нартах. Ничего особенного! Оказывается, пора уже было поворачивать на Протоку, и Володя остановил собак, чтобы переменить направление.

Не припомню, сколько раз я давал себе слово никогда больше не ездить на собаках, – вероятно, столько же, сколько поворотов до острова, на котором расположен зверовой сов- хоз. Но Володя был в восторге:

– Правда, здорово, а?

И я согласился, что «здорово».

Вот, наконец, и Протока! Мы врезались в кустарники, скатились с берега и, подпры- гивая, помчались по льду. Теперь я окончательно убедился, что по прямой Володины собаки везут превосходно. Ежеминутно они приноравливались рассадить наши нарты о неровно замерзшие льдины, и Володя чуть не сорвал голос, крича на них и ругаясь. Счастье, что противоположный берег был очень крутой и бег их, естественно, стал замедляться.

Но вот мы миновали Протоку, собаки прибавили ходу, залаяли, и вдруг – что это? Как будто в ответ, разноголосый лай послышался из–за елей – сперва отдаленный, потом все ближе и ближе. Это был протяжный, дикий, беспорядочный лай, от которого невольно даже сжалось сердце.

* Володя, откуда здесь столько собак?
* Это не собаки! Это лисицы!
* Почему же они лают?
* Они собакообразные! – обернувшись, крикнул Володя. – Они лают!

Мне случалось, конечно, видеть черно–бурых лисиц, но Володя объяснил, что в этом совхозе разводят серебристо–черных и что это совсем другое. Таких лисиц больше нет во всем мире. Считается, что белый кончик хвоста – красиво, а здесь в совхозе стараются вы- вести лисицу без единого белого волоска.

Словом, он действительно заинтересовал меня, и я был очень раздосадован, когда че- рез четверть часа мы подъехали к воротам совхоза и сторож с винтовкой за плечами сказал нам, что питомник для осмотра закрыт.

* А для чего открыт?
* Для научной работы, – внушительно отвечал сторож.

Я чуть не сказал, что мы и приехали для научной работы, но вовремя посмотрел на Володю и придержал язык.

* А директора можно?
* Директор в отъезде.
* А кто его заменяет?
* Старший ученый специалист, – сказал сторож с таким выражением, как будто он и был этим старшим ученым специалистом.
* Ага! Вот его–то нам и нужно!

Я оставил Володю у ворот, а сам пошел искать старшего ученого специалиста.

Очевидно, в совхозе бывало не очень много народу, потому что только одна узенькая тропинка вела по широкому, покрытому снегом двору к дому, на который указал мне сто- рож. Этот дом еще издалека чрезвычайно напомнил мне грязновато–зеленую лабораторию Московского зоопарка, в которой Валя Жуков некогда показывал нам своих грызунов, – только та была немного побольше. Это было такое сильное впечатление сходства, что мне показалось даже, что я слышу тот же довольно противный мышиный запах, когда, отряхнув с валенок снег, я открыл дверь и очутился в большой, но низкой комнате, выходившей в другую, еще большую, в которой сидел за столом какой–то человек. Мне показалось даже, что этот человек и есть Валька, хотя в первую минуту я не мог отчетливо рассмотреть его после ослепительного снежного света, а он, к тому же, поднялся, увидев меня, и стал спиной к окну. Мне показалось, что этот человек смотрит на меня совершенно так же, как Валька, с таким же добрым и немного сумасшедшим выражением, что у него тот же самый черный Валькин пух на щеках, только погуще и почернее, и что он сейчас Валькиным голосом спросит меня: «Что вам угодно?»

* Валя! – сказал я. – Да ты ли это? Валька?
* Что? – растерянно спросил он и, как Валька, положил голову набок.
* Валька, скотина! – сказал я, чувствуя, как у меня сердце начинает прыгать. – Да ты что же! В самом деле не узнаешь меня?

Он стал неопределенно улыбаться и совать мне руку.

* Нет, как же, – фальшивым голосом сказал он. – Мы, кажется, встречались.
* Кажется! Мы, кажется, встречались! Я взял его за руку и потащил к окну.
* Ну, смотри! Корова!

Он посмотрел и нерешительно засмеялся.

* Черт, неужели не можешь узнать? – сказал я с изумлением. – Да что же это? Может быть, я ошибаюсь?

Он захлопал глазами. Потом неопределенное выражение сбежало с его лица, и это стал уж такой Валька, такой самый настоящий, что его больше нельзя было спутать ни с кем на свете. Но, должно быть, и я еще больше стал самим собой, потому что он, наконец, узнал меня.

* Саня! – заорал он и задохнулся. – Так это ты?

Мы поцеловались и сразу же куда–то пошли, обнявшись, и на пороге он поцеловал меня еще раз.

* Так это ты? Черт возьми! Какой молодец! Когда ты приехал?
* Я не приехал, а я здесь живу.
* Как живешь?
* Очень просто. Я здесь уже полгода.
* Позволь, как же так? – пробормотал Валя. – Ну да, я редко бываю в городе, а то бы я тебя встретил. Гм… полгода! Неужели полгода?

Он провел меня в другую комнату, которая ничем, кажется, не отличалась от той, в которой мы только что были, – разве что в ней стояла кровать да висело ружье на стене. Но то был кабинет, а это спальня. Где–то поблизости была еще лаборатория, о чем, впрочем, нетрудно было догадаться, потому что в доме воняло. Мне стало смешно – так подходил к Вале, к его рассеянным глазам, к его шевелюре, к его пуху на щеках этот звериный запах. От Вали всегда несло какой–то дрянью.

Он жил в этом большом доме из трех комнат и кухни – один. Он–то и был старший ученый специалист, и ему по штату полагался этот большой пустой дом, с которым он не знал, что делать.

Я спохватился, что оставил Володю у ворот, и Валя послал за ним младшего ученого специалиста, который был, однако, старше Вали лет на тридцать, довольно внушительного мужчину, бородатого, с диким двойным носом. Но на Володю он, очевидно, произвел хо- рошее впечатление, потому что они явились через полчаса, дружески беседуя, и Володя объявил, что Павел Петрович – так звали мужчину – обещал ему показать лисью кухню.

* И даже накормить лисьим обедом, – сказал Павел Петрович.
* А что сегодня у нас?

* Помидоры и манная каша.
* Покажите ему «джунгли», – сказал Валя.

Володя покраснел и, кажется, перестал дышать, услышав это слово. Еще бы! Джунгли!

* Павел Петрович, а можно мне сперва в «джунгли»? – шепотом спросил он.
* Нет, сперва в кухню, а то завтрак пропустим!

Они ушли, и мы с Валей остались вдвоем. Он пустился было угощать меня, заварил чай и принес из кухни ватрушку.

* Это у нас в столовой готовят! Правда, недурно?

От ватрушки тоже пахло каким–то зверем. Я попробовал и сказал, как наш детдомов- ский повар, дядя Петя:

* А! Отрава!

Валя счастливо засмеялся.

* Где они все? Где Танька Величко? Гришка Фабер? Где Иван Павлыч? Что с ним?
* Иван Павлыч ничего, – сказал Валя. – Я как–то был у него. Он и о тебе справлялся.
* Ну?
* Я сказал, что не знаю.
* Ну да, ты не знаешь! Еще бы! А кто звонил тебе в Москве? Тебе передали?
* Передали. Но мне сказали, что звонил летчик. А я тогда не знал, что ты летчик.
* Врешь ты все! А как же ты здесь очутился?
* А я, понимаешь, придумал одну интересную штуку, – сказал Валька, – от которой они быстро растут.
* Кто?
* Лисицы.

Я засмеялся.

* Опять изменение крови в зависимости от возраста?
* Что?
* Изменение крови у гадюк в зависимости от возраста, – повторил я торжественно. – Это тоже была такая штука, которую ты придумал. Черт, но как я рад, что я тебя вижу!

И я действительно был очень рад, от всего сердца! Мы с Валей всегда любили друг друга, но мы не знали, как это хорошо – вдруг встретиться нежданно–негаданно через не- сколько лет, когда вся прежняя жизнь кажется полузабытой.

Мы стали говорить о Кораблеве, но в это время Валя вспомнил, что ему нужно дать лисенятам какое–то лекарство.

* Так распорядись, чтобы дали!
* Нет, понимаешь, это я должен сам дать, лично, – озабоченно сказал Валя. – Это ви- гантоль, от рахита. Ты подождешь меня? Я скоро вернусь.

Мне не хотелось расставаться с ним, и мы пошли вместе.

**Глава 10.**

**СПОКОЙНОЙ НОЧИ!**

Начинало уже темнеть, когда Володя вернулся из «джунглей» – так, оказывается, назывался в совхозе отгороженный участок леса, где звери жили на свободе. Домики, в ко- торых жили лисы, – вот что больше всего его поразило.

– Да, здорово, – сказал Володя, стараясь не очень показывать, что он просто в востор- ге. – И вообще они живут совершенно как люди. Завтракают, потом у них мертвый час, по- том дети играют, а взрослые некоторые ходят в гости.

Валя уговорил меня остаться у него ночевать, и мы позвонили доктору, что Володя вернется домой один.

Заполярье – шумный город. Конечно, там не очень большое движение, хотя случается, что по улице одновременно двигаются, перегоняя друг друга, автомобили, олени, лошади и собачьи упряжки. Шумят пилы на лесозаводах – и в ушах днем и ночью отдается этот нарастающий воющий звук. В конце концов, его перестаешь замечать, но все–таки где–то далеко в голове звенит и звенит пила.

А здесь, в совхозе, было очень тихо. Мы гуляли в лесу и встретили Павла Петровича, который ходил ставить силки на куропаток, и долго разговаривали с ним о лесе, о Карской, о погоде.

* Валентин Николаевич, вы как, Дон–Карлоса сегодня себе на ночь будете брать? – спросил он, и это было очень смешно и приятно, что такой старый, почтенный мужчина с двойным носом называет Валю – Валентином Николаевичем и говорит с ним почтительно, как с настоящим старшим ученым специалистом. Дон–Карлосом звали лисенка, который боялся мороза.

Потом мы вернулись к Вале, выпили по рюмочке, и он объяснил мне, что действи- тельно за последние полгода он почти не выходил из совхоза. У него была интересная рабо- та: он потрошил желудки соболей и выяснял, из чего состоит их пища. Несколько желудков у него было своих, а еще штук двести любезно предоставил в его распоряжение какой–то заповедник. И он выяснил очень интересную штуку: что при заготовке мелких пушных ви- дов следует щадить бурундука, которым главным образом и питается соболь.

Я молча слушал его. Мы были совершенно одни, в пустом доме, и комната была со- вершенно пуста – большая, неуютная комната одинокого человека.

* Да, интересно, – сказал я, когда Валя кончил. – Значит, соболь питается бурундука- ми. Здорово! А тебе – знаешь, что тебе нужнее всего? Знаешь, что тебе просто дьявольски нужно? Жениться!

Валя заморгал, потом засмеялся.

* Почему ты думаешь? – нерешительно спросил он.
* Потому что ты живешь, как собака. И знаешь, какая жена тебе нужна? Которая бы таскала тебе бутерброды в лабораторию и не очень старалась, чтобы ты обращал на нее внимание.
* Ну да, ты скажешь, – пробормотал Валя. – А что ж! Я и женюсь со временем. Мне нужно вот только диссертацию защитить, а потом я буду совершенно свободен. Я ведь те- перь скоро в Москву вернусь. А ты?
* Что я?
* Что же ты не женишься? Я помолчал.
* Ну, я особая статья. У меня другая жизнь. Я, видишь, как: сегодня здесь, а завтра – за тридевять земель. Мне нельзя жениться.
* Нет, тебе тоже нужно жениться, – возразил Валя. – Послушай, – с неожиданным вдохновением сказал он, – а помнишь, вы приходили ко мне в Зоопарк, и Катя была со своей подругой? Как ее звали? Такая высокая, с косами.

У него стало такое доброе, детское лицо, что я посмотрел и невольно стал смеяться.

* Ну как же! Кирен! Красивая, правда?
* Очень, – сказал Валя. – Очень.
* Он хотел постлать мне на своей кровати, но я не дал и лег на полу. Коек было сколь- ко угодно, но я всегда любил спать на полу. Высокий сенник раздался, я сказал: «Ого», и Валя забеспокоился, что мне неудобно. Но мне было очень удобно – снизу было видно небо, такое тихое, будто и там кругом был лес и полно снега, и было очень хорошо смотреть на это небо и разговаривать. Спать не хотелось.

О чем только мы не переговорили! Мы вспомнили даже Валиного ежа, который был продан в университет за двадцать копеек. Потом опять вернулись к Кораблеву.

* Ты знаешь что, – вдруг сказал Валя, – конечно, может быть, я и ошибаюсь, – мне ка- жется, что он был немного влюблен в Марью Васильевну. Как ты думаешь?
* Пожалуй.
* Потому что – очень странная вещь. Я однажды зашел к нему и вижу: на столе стоит ее портрет. Я что–то спросил, потому что как раз на следующий день собирался к Татари- новым, и он вдруг стал говорить о ней. Потом замолчал, и у него было такое лицо… Я ре- шил, что тут что–то неладно.
* Валька, иди ты к черту! – сказал я с досадой. – Я не пойму, где ты живешь, честное слово! Немного влюблен! Он без нее жить не мог! И ведь вся эта история произошла перед твоими глазами. Ну, да ты тогда занимался гадюками, – понятно!

* Что ты говоришь! Вот бедняга!
* Да, он бедняга.

Мы помолчали. Потом я спросил:

* Ты часто бывал у Татариновых?
* Не очень часто. Раза три был.
* Ну, как они поживают?

Валя приподнялся на локте. Кажется, он хотел рассмотреть меня в темноте, хотя я ска- зал это совершенно спокойно.

* Ничего. Николай Антоныч теперь профессор.
* Вот как! Что же он читает?
* Педологию, – сказал Валя. – Уверяю тебя, очень почтенный профессор… И вооб-

ще…

* Что вообще?
* По–моему, ты в нем ошибался.
* В самом деле?
* Да, да, – с глубоким убеждением сказал Валя. – Ты в нем ошибался! Посмотри,

например, как он относится к своим ученикам. Он просто готов за них в огонь и в воду. Ро- машов рассказывал мне, что в прошлом году…

* + Ромашов? Этот еще откуда взялся?
  + Как откуда? Он–то меня к ним и привел.
  + Так и он бывает у Татариновых?
  + Он? Он Николая Антоныча ассистент. Он там каждый день бывает. И вообще он у них самый близкий человек в доме.
  + Постой, что ты говоришь? Я не понимаю. Ромашка?
  + Ну да, – сказал Валя. – Только его, понятно, теперь так никто не называет. Между прочим, он, по–моему, собирается жениться на Кате.

Что–то толкнуло меня прямо в сердце, и я сел, поджав под себя ноги. Валя тоже сел на кровати и уставился на меня с изумлением.

* + Что? – спросил он. – Ах, да! Черт! Я совсем забыл!

Он забормотал, потом растерянно оглянулся и слез с кровати.

* + Не то что собирается…
  + Да нет, ты уж договаривай, – сказал я совершенно спокойно.
  + То есть как договаривай? – пробормотал Валя. – Я тебе ничего не сказал. Я просто так думаю, но ведь мало ли что я думаю! Мне иногда приходят в голову такие мысли, что я сам удивляюсь.
  + Валя!
  + Да я не знаю! – в отчаянии сказал Валя. – Что ты ко мне пристал, скотина? Мне это просто кажется, но ведь мне иногда черт знает что кажется. Ты мне можешь не верить – и баста!
  + Тебе кажется, что Ромашов хочет жениться на Кате?
  + Нет! Черт! Я тебе говорю, что нет! Ничего подобного! Он стал одеваться шикарно, вот и все.
  + Валя!
  + Вот я тебе клянусь, что больше ничего не знаю.
  + Он с тобой говорил?
  + Ну, говорил. Он, например, рассказывал, что с тринадцати лет копил деньги, а сейчас взял да все и истратил за полгода – это, по–твоему, тоже имеет отношение, да?

Я больше не слушал его. Я лежал на полу, смотрел на небо, и мне казалось, что я лежу где–то в страшной глубине и надо мной шумит и разговаривает весь мир, а я лежу один, и мне некому сказать ни слова. Небо было еще темное и звезды видны, но неизвестно откуда уже залетал слабый, далекий свет, и я подумал, что мы проговорили всю ночь – и вот дого- ворились!

* + Спокойной ночи!
  + Спокойной ночи, – ответил я машинально.

Уж лучше бы я уехал с Володей! Что–то сдавило мне горло, и захотелось встать и

выйти на воздух, но я остался лежать, только повернулся и лег на живот, упершись в лицо руками. Так, значит, вот как! Это было еще невероятно, но об этом уже нельзя было забыть ни на одну минуту. Невероятен был только сам Ромашка, потому что я не мог вообразить его рядом с Катей. Но почему же я думал, что она до сих пор помнит меня? Ведь мы столько лет не встречались!

Я лежал и думал, думал – о чем придется, вовсе не только об этом. Я вспомнил, что Валя не любит, когда на него смотрят ночью, и как Кораблев однажды подшутил над ним, спросив: «А если смотрят с любовью?» Потом оказалось, что я думаю снова о Кате, и с ка- кою живостью я вспомнил вдруг – не ее, а то чудное состояние души, которое я всегда ис- пытывал, когда видел ее. Больше всего на свете мне хотелось бы в эту минуту заснуть, но я не мог не только закрыть глаза, но даже оторвать их от неба, которое очень медленно, но все же начинало светлеть.

Валя спал и, наверное, проснулся бы, если бы я вышел. Но мне не хотелось больше говорить с ним, и поэтому я лежал и лежал на животе, потом на спине, потом снова на жи- воте, упершись в лицо руками.

Потом – должно быть, это было часов семь утра – зазвонил телефон, и Валя вскочил, заспанный, и побежал в соседнюю комнату, волоча за собой одеяло.

* Слушаю! Это – тебя, – сказал он, вернувшись через минуту.
* Меня?

Я накинул шубу и пошел к телефону.

* Саня! – это говорил доктор. – Куда ты пропал? Я звоню из окрисполкома. Передаю трубку.
* Да, я слушаю, – сказал я.
* Товарищ Григорьев, – сказал другой голос. Это был уполномоченный НКВД по За- полярью. – Срочное дело. Вам предстоит полет с доктором Павловым в становище Ванокан. Вы знаете Ледкова?

Еще бы! Это был член окрисполкома – один из самых уважаемых людей на Севере.

Его все знали.

* Он ранен, требуется срочная помощь. Когда вы можете вылететь?
* Через час, – отвечал я.
* Доктор, а вы?

Я не слышал, что ответил доктор.

* И инструменты все в порядке? Отлично, через час я жду вас на аэродроме.

**Глава 11. ПОЛЕТ.**

Вот кто был на самолете утром пятого марта, когда мы поднялись в Заполярье и взяли курс на северо–восток: доктор, очень озабоченный, в темных очках, которые удивительно его изменили, мой бортмеханик Лури, один из самых популярных людей в Заполярье или в любом другом месте, где он появлялся хотя бы на три–четыре дня, и я.

Это был мой пятнадцатый полет на Севере, но впервые я летел в район, где еще не ви- дели самолета. Становище Ванокан – это очень глухое место в районе одного из притоков Пясины. Впрочем, доктор бывал на Пясине и говорил, что найти Ванокан нетрудно.

Член окрисполкома был ранен. Это произошло на охоте, а может быть – и не на охоте. Во всяком случае, уполномоченный НКВД просил нас, то есть меня и доктора, выяснить, при каких обстоятельствах это произошло. В Ванокан мы должны были прилететь прибли- зительно в третьем часу, еще засветло. Но на всякий случай мы взяли с собой: продоволь- ствие – из расчета на трех человек – на тридцать суток, примус, ракетницу с ракетами, ружье с патронами, лопаты, палатку, топор.

Насчет погоды я знал только одно: что в Заполярье прекрасная погода. Но какова она по маршруту – этого я не знал. «Заказывать» ее было и некогда и некому.

Итак, все было в порядке, когда мы поднялись в Заполярье и взяли курс на севе- ро–восток. Все в порядке – и я не думал больше о том, что накануне ночью услышал от Вали. Внизу был виден Енисей – широкая белая лента среди белых берегов, вдоль которых шел лес, то приближаясь, то удаляясь. Голова у меня немного болела после бессонной ночи, и иногда начинало звенеть в ушах, но именно в ушах, а мотор работал превосходно.

Потом я ушел от реки, и началась тундра – ровная, бесконечная, снежная, ни одной черной точки, не за что уцепиться глазу…

Почему я был так уверен, что этого не может случиться? Мне следовало написать ей, когда она прислала мне привет через Саню. Но я не хотел уступать ей ни в чем до тех пор, пока не докажу, что я ни в чем не виноват перед нею. Но никогда нельзя быть слишком уве- ренным в том, что тебя любят. Что тебя любят, несмотря ни на что. Что может пройти еще пять или десять лет, и тебя не разлюбят.

Снег, снег, снег – куда ни взглянешь. Впереди были облака, и я набрал высоту и вошел в них: лучше идти вслепую, чем над этим бесконечным, унылым, белым, искажающим пер- спективу фоном…

У меня не было никакой особенной злобы к Ромашке, хотя, если бы он был сейчас здесь, вероятно, я бы убил его. Я не чувствовал к нему злобы, потому что это было невоз- можно – вообразить этого человека с кошачьими космами на голове, с пылающими ушами, этого, человека, который в тринадцать лет решил разбогатеть и все копил и считал свои деньги, вообразить его рядом с Катей! Это было так же бессмысленно, что он смеет желать этого, как если бы он пожелал стать другим – не самим собою, а таким, как Катя, с ее пря- мотой и красотой.

Мы прошли эту облачность и вошли в другую за которой шел снег и только где–то внизу начинал сверкать под солнцем, которое было закрыто от нас облаками.

У меня стали мерзнуть ноги, и я пожалел, что надел эти унты, которые были мне малы, а не другую, более просторную пару.

Значит, решено – я еду в Москву. Нужно только предупредить ее о моем приезде. Я должен написать ей письмо – такое письмо, чтобы она прочитала и не забыла.

Мы вышли из слоя темных облаков, и солнце, как всегда, когда выходишь, показалось особенно ярким, – а я все никак не мог решить, начать ли свое письмо просто «Катя» или

«Дорогая Катя».

*«Мы давно не переписывались, Катя, и ты, вероятно, будешь удивлена, взглянув на эту подпись. Как ты живешь? Я не писал тебе так долго потому, что думал, что ты сердишься на меня. Конечно, ты права, я виноват в том, что мы так долго не встречались. Мне нужно было заехать в Москву на об- ратном пути из Энска и встретиться с тобою, а не бродить вокруг твоего до- ма, как будто мне восемнадцать лет…»*

Я уже забыл о письме. Мне нужно было просто увезти ее – ведь я же отлично знал, что она не должна оставаться в этом фальшивом и несчастном доме, с этим страшным и фаль- шивым Николаем Антонычем, которому она верит.

Вот и горы! Они торчали из облаков, освещенные солнцем, то голые, то покрытые ослепительным снегом. Я видел в зеркале, как Лури поднял руку, как будто поздоровался с ними, и что–то закричал доктору, и доктор, смешной, похожий на какого–то круглого за- бавного зверя, равнодушно кивнул головой.

В редких просветах были видны ущелья – прекрасные, очень длинные ущелья, – вер- ная смерть в случае вынужденной посадки. Я невольно подумал об этом, а потом снова стал сочинять письмо и сочинял до тех пор, пока мне не пришлось заняться другими, более срочными делами.

Как будто и ветра не было, когда первые огромные тучи снега стали срываться с вер- шин и кружиться, поднимаясь все выше и выше.

Зеркало, в котором я только что видел доктора и Лури, вдруг потемнело, замерзло, а еще через десять минут уже нельзя было вообразить, что над нами только что было солнце и небо. Теперь не было ни земли, ни солнца, ни неба. Все перемешалось. Ветер догнал нас и ударил сперва слева, потом в лоб, потом снова слева, так что нас сразу унесло куда–то в сторону, где тоже был туман и шел снег, мелкий, твердый, который очень больно бил по

лицу и сразу вцепился во все петли и щели одежды. Потом наступила ночь, так что, когда я снова посмотрел в зеркало, я больше уже ничего не увидел. Ничего не было видно вокруг, и некоторое время я вел самолет в полной темноте, как будто натыкаясь на стены, потому что всюду были настоящие стены из снега, со всех сторон подпираемого ветром. То я пробивал их, то отступал, то снова пробивал, то оказывался далеко под ними. Это было самое страш- ное – самолет вдруг падал на полтораста–двести метров, а я не знал, какой высоты были горы, почему–то не отмеченные на моей карте. Все, что я мог сделать, – это развернуться на сто восемьдесят градусов и пойти назад к Енисею. Я увижу берега, пройду над высоким бе- регом, и мы обойдем пургу или, в крайнем случае, вернемся назад в Заполярье.

Легко сказать – развернуться! Самолет почему–то затрясло, когда я дал левую ногу, и нас снова бросило в сторону, но я продолжал разворачиваться. Кажется, я что–то сказал машине. Именно в эту минуту я почувствовал, что с мотором творится что–то неладное, – жаль, потому что внизу были те же ущелья, которые – я очень на это рассчитывал – остались далеко позади. Они мелькнули и пропали, потом снова мелькнули – длинные и совершенно безнадежные, – нас бы не нашли, и никто бы никогда не узнал, как это случилось. Нужно было уйти от них, и я ушел, хотя самолет был то взвешен в воздухе, как будто эта проклятая пурга задумывалась на секунду, что бы еще с нами сделать, то болтался и шел, как хотел. Я ушел, но с мотором все–таки творилось что–то неладное, и нужно было садиться. Нужно было садиться очень медленно и следить за указателем поворотов, и не допускать кренов, и все время думать о земле, которая где–то внизу, и неизвестно, где она и какая. Что–то сту- чало у меня в голове, как часы, я громко разговаривал с самим собой и с машиной. Но я не боялся. Я помню только, как мне стало на мгновение жарко, когда какая–то масса пронес- лась рядом с самолетом; я бросился в сторону от нее и чуть не царапнул крылом о землю.

**Глава 12. ПУРГА.**

Не стану рассказывать о тех трех сутках, которые мы провели в тундре, недалеко от берегов Пясины. Это одно из самых тяжелых воспоминаний в моей жизни и – главное – это однообразное воспоминание. Один час был похож на другой, другой – на третий, и только первые минуты, когда нам нужно было как–то укрепить самолет, потому что иначе его унесло бы пургою, уже не повторялись.

Попробуйте сделать это в тундре без всякой растительности, при ветре, достигающем десяти баллов! Не выключая мотора, мы поставили самолет хвостом к ветру. Пожалуй, нам удалось бы закопать его, – но стоило только поддеть снег лопатой, как его уносило ветром. Самолет продолжало швырять, и нужно было придумать что–то безошибочное, потому что ветер все усиливался и через полчаса было бы уже поздно. Тогда мы сделали одну простую вещь – рекомендую всем полярным пилотам: мы привязали к плоскостям веревки, а к ним, в свою очередь, лыжи, чемоданчики, небольшой ящик с грузом, даже воронку, – словом, все, что могло бы помочь быстрому завихрению снега. Через пятнадцать минут вокруг этих ве- щей уже намело сугробы, а в других местах под самолетом снег по–прежнему выдувало ветром.

Теперь нам больше ничего не оставалось, как ждать. Это было не очень весело, но это было единственное, что нам оставалось. Ждать и ждать, а долго ли – кто знает!

Я уже упоминал о том, что у нас было все для вынужденной посадки, но что станешь делать, скажем, с палаткой, если просто вылезть из кабины – это сложное, мучительное де- ло, на которое можно решиться только один раз в день и то только потому, что один–то раз в день необходимо вылезать из кабины!

Пальцы начинали болеть, прежде чем удавалось развязать шнурки на чехлах, и прихо- дилось развязывать шнурки в три приема. Снег с первого шага сбивал с ног, так что нам пришлось выработать особый способ ходьбы – с наклоном в сорок пять градусов против ветра.

Так прошел первый день. Немного меньше тепла. Немного больше хочется спать, и, чтобы не уснуть, я придумываю разные штуки, которые берут очень много времени, но от

которых очень мало толку. Я пробую, например, разжечь примус, а Лури приказываю раз- жечь паяльную лампу. Трудная задача! Трудно разжечь примус, когда ежеминутно чув- ствуешь с ног до головы собственную кожу, когда вдруг становится холодно где–то глубоко в ушах, как будто мерзнет барабанная перепонка, когда снег мигом залепляет лицо и пре- вращается в ледяную маску. Лури пытается шутить, но шутки мерзнут на пятидесятигра- дусном морозе, и ему ничего не остается, как шутить над своей способностью шутить при любых обстоятельствах и в любое время.

Так кончается первая ночь. Еще немного меньше тепла. Еще немного больше хочется спать. А снег по–прежнему несется мимо нас, и, наконец, начинает казаться, что мимо нас пролетает весь снег, который только есть на земле…

Я снова оценил доктора Ивана Иваныча в эти дни, когда мы «куропачили» – так это называется – у берегов Пясины.

Сознание полной бездеятельности, полной невозможности выйти из безнадежного по- ложения – вот что было тяжелее всего! Кажется, было бы легче, если бы я не был так здоров и крепок. Это чувство перемешивается с другим невеселым чувством: я не выполнил ответ- ственного поручения, – а это еще и с третьим, которое никого не касается, с чувством оскорбленной гордости и обиды, – вот настроение, при котором нет аппетита и, в сущности говоря, не так уж страшно замерзнуть.

И доктор все понимал, все видел! Никогда в жизни я не находился под таким тща- тельным наблюдением. Для каждого из этих чувств у него был свой рецепт и даже, кажется, для того чувства, которое никого не касалось.

Третий день. Очень хочется спать. Все меньше тепла. Все больше сыреют малицы, и уже какой–то нервный холод заранее пробирает до костей, как подумаешь, что эта сырость может замерзнуть.

Но это даже лучше, может быть, что время от времени приходится выбирать из–под малицы лед, потому что просто сидеть и думать, думать без конца очень тоскливо. Потом еще поменьше тепла – ничего не поделаешь, ветер выдувает тепло, – и я надеваю на ноги под пимы летные рукавицы. Главное – не спать. Главное – не давать уснуть бортмеханику, который оказался самым слабым из нас, а на вид был самым сильным. Доктор время от вре- мени бьет его и встряхивает. Потом начинает дремать и доктор, и теперь уже мне приходит- ся время от времени встряхивать его – вежливо, но упрямо.

* Саня, да ничего подобного, я и не думаю спать, – бормочет он и с усилием открывает глаза.

А мне уже больше не хочется спать. Снег свистит в ушах и когда минутами наступает тишина, кажется, что вибрирующая тишина еще громче этого мрачного, мучительного, пу- стого свиста. Где–то далеко, на Диксоне, в Заполярье, радисты разговаривают о нас:

* Где они? Не пролетали ли там–то?
* Не пролетали.

Это было очень скучно – сидеть и ждать, когда же окончится эта пурга, – и я вспомнил наконец, что у меня есть книжка. Я перевязал малицу немного выше колен и влез в нее с головой и руками. Тесноватый домик, но если в левой руке над ухом держать карманный фонарик, а в правой книжку, – можно читать! У меня был фонарик с динамкой, и нужно было все время работать пальцами, чтобы он горел; но все время работать невозможно, и я разжимал пальцы, – тогда сразу становилось холодно, и все возвращалось на свои места, и я начинал чувствовать снег, который заносил меня сквозь щели кабины.

Через несколько лет я прочитал «Гостеприимную Арктику» Стифансона и понял, что это была ошибка – так долго не спать. Но тогда я был неопытный полярник, и мне казалось, что уснуть в таком положении и умереть – это одно и то же.

Должно быть, я все–таки уснул или наяву вообразил себя в очень маленьком узком ящике, глубоко под землей, потому что наверху был ясно слышен уличный шум и звон и грохот трамвая. Это было не очень страшно, но все–таки я был огорчен, что лежу здесь один и не могу пошевелить ни рукой, ни ногой, а между тем мне нужно лететь куда–то и нет ни одной свободной минуты. Потом я почему–то оказался на улице перед освещенным окном магазина, а в магазине, не глядя на меня, ровными, спокойными шагами ходила и ходила Катя. Это была, несомненно, она, хотя я немного боялся, что, может быть, потом это ока-

жется не она или что–нибудь другое помешает мне заговорить с ней. И вот я бросаюсь к дверям магазина – но все уже пусто, темно и на стеклянной двери надпись: «Закрыто».

Я открыл глаза – и снова закрыл: таким счастьем показалось мне то, что я увидел. Пурга улеглась. Снег больше не слепил нас – он лежал на земле. Над ним было солнце и небо, такое огромное, какое можно увидеть только на море или в тундре. На этом фоне снега и неба, шагах в двухстах от самолета, стоял человек. Он держал в руках хорей – палку, ко- торой направляют оленей, и за его спиной стояли олени, запряженные в нарты. Вдалеке, точно нарисованные, но уже не так резко, видны были две крутые снежные горки, – без со- мнения, ненецкие чумы. Это и была та темная масса, от которой я шарахнулся при посадке. Теперь они были завалены снегом, и только конуса, открытые сверху, чернели. Вокруг чу- мов стояли еще какие–то люди, взрослые и дети, и все были совершенно неподвижны и смотрели на наш самолет.

**Глава 13.**

**ЧТО ТАКОЕ ПРИМУС.**

Я никогда не думал, что сунуть ноги в огонь – это счастье. Но это настоящее, ни на что не похожее счастье! Вы чувствуете, как тепло поднимается по вашему телу и бежит все вы- ше и выше, и вот, наконец, неслышно, медленно согревается сердце.

Больше я ничего не чувствовал, ни о чем не думал. Доктор бормотал что–то за моей спиной, но я не слушал его, и мне наплевать было на этот спирт, которым он велел расти- рать мои ноги.

Дым яры, тундрового кустарника, похожий на дым горящей сырой сосны, стоял над очагом, но мне наплевать было и на этот дым – лишь бы было тепло. Мне тепло – этому по- чти невозможно поверить!

Ненцы сидели вокруг огня, поджав под себя ноги, и смотрели на нас. У них были се- рьезные лица. Доктор что–то объяснял им по–ненецки. Они внимательно слушали его и с понимающим видом кивали головами. Потом выяснилось, что они ничего не поняли, и док- тор, с досадой махнув рукой, стал изображать раненого человека и самолет, летящий к нему на помощь. Это было бы очень смешно, если бы я мог не спать еще хоть одну минуту. То он ложился, хватаясь за живот, то подпрыгивал и кидался вперед с поднятыми руками. Вдруг он обернулся ко мне.

* Каково! Они все знают, – сказал он с изумлением. – Они даже знают, куда ранен Ледков. Это покушение на убийство. В него стреляли.

Он снова заговорил но–ненецки, и я понял сквозь сон, что он спрашивал, не знают ли ненцы, кто стрелял в Ледкова.

* Они говорят: кто стрелял – домой пошел. Думать пошел. День будет думать, два.

Однако назад придет.

Теперь уже невозможно было не спать. Все вдруг поплыло передо мной, и мне стало смешно от радости, что я, наконец, сплю…

Когда я, проснулся, было совершенно светло, одна из шкур откинута и где–то в осле- пительном треугольнике стоял доктор, а ненцы на корточках сидели вокруг него. Вдалеке был виден самолет, и все вместе так напоминало какой–то знакомый кинокадр, что я даже испугался, что он сейчас мелькнет и исчезнет. Но это был не кадр. Это был доктор, который спрашивал у ненцев, где находится Ванокан.

* Там? – кричал он сердито и показывал рукой на юг.
* Там, там, – соглашались ненцы.
* Там? – он показывал на восток.
* Там.

Потом ненцы все, как один, стали показывать на юго–восток, и доктор нарисовал на снегу огромную карту побережья Северного Ледовитого океана. Но и это мало помогло де- лу, потому что ненцы отнеслись к географической карте как к произведению искусства, и один из них, еще совсем молодой, изобразил рядом с картой оленя, чтобы показать, что и он умеет рисовать…

Вот что нужно было сделать, прежде всего: освободить самолет от снега. И мы нико- гда не справились бы с этим делом, если бы нам не помогли ненцы. В жизни моей я не видел снега, который был так мало похож на снег! Мы рубили его топорами и лопатами, резали ножами. Но вот, наконец, последний снежный кирпич был вырезан и отброшен, крепленье, которое я предлагал вниманию полярных пилотов, разобрано. Во всех котлах и чайниках уже грелась вода для запуска мотора. Молодой ненец, тот самый, который нарисовал на снегу оленя, а теперь вызвался быть нашим штурманом, чтобы показать дорогу до Ванокана, уже прощался с заплаканной женой, и это было очень забавно, потому что жена была в штанах из оленьей шкуры, и только цветные суконные лоскутки в косах отличали ее от мужчины. Солнце вышло из–за высоких перистых облаков – признак хорошей погоды, – и я сказал доктору, который уже пускал кому–то в глаза свинцовые капли, что пора «закруг- ляться». В эту минуту Лури подошел ко мне и сказал, что мы лететь не можем.

Сломана была распорка шасси – без сомнения, когда при посадке я шарахнулся в сто- рону от чума. Ненцы освобождали от снега шасси – вот почему мы с Лури не заметили этого раньше.

Прошло уже полных четверо суток, как мы вылетели из Заполярья. Без сомнения, нас ищут, и найдут, в конце концов, хотя пурга отнесла нас в сторону от намеченной трассы. Нас найдут – но кто знает? Быть может, уже поздно будет лететь в Ванокан – или лететь за трупом?

Это было мое первое «боевое крещение» на Севере, и я вдруг испугался, что не сделаю ничего и вернусь домой с пустыми руками. Или – это было еще страшнее – меня найдут в тундре, беспомощного, как щенка, рядом с беспомощным самолетом. Что делать?

Я подозвал доктора и попросил его собрать ненцев…

Это было незабываемое заседание в чуме, вокруг огня, или, вернее, вокруг дыма, ко- торый уходил в круглую дырку над нашими головами. Совершенно непонятно, каким обра- зом в чуме могло поместиться так много народу! В нашу честь был заколот олень, и ненцы ели его: сырым, удивительно ловко отрезая у своих губ натянутые рукой полоски мяса. Как только они не отхватывали ножом кончик носа!

Я не брезглив, но все–таки старался не смотреть, как они макают эти полоски в чашку с кровью и, причмокивая, отправляют, в рот…

* Плохо, – так я начал свою речь, – что мы взялись помочь раненому человеку, уважа- емому человеку, и вот сидим здесь у вас четвертые сутки и ничем не можем ему помочь. Переведите, Иван Иваныч!

Доктор перевел.

* Но еще хуже, что прошло так много времени, а мы все еще далеко от Ванокана и да- же не знаем толком, куда лететь – на север или на юг, на восток или на запад.

Доктор перевел.

* Но еще хуже, что наш самолет сломался. Он сломался, и без вашей помощи мы не можем его починить.

Ненцы заговорили все сразу, но доктор поднял руку, и они замолчали. Еще днем я за- метил, что они относятся к нему с большим уважением.

* Нам было бы очень плохо без вас, – продолжал я. – Без вас мы бы замерзли, без вас мы не справились бы со снегом, которым был завален наш самолет, Переведите, Иван Ива- ныч!

Доктор перевел.

* Но вот еще одна просьба. Нам нужен кусок дерева. Нам нужен небольшой, но очень крепкий кусок дерева длиной в один метр. Тогда мы сможем починить самолет и лететь дальше, чтобы помочь уважаемому человеку.

Я старался говорить так, как будто в уме переводил с ненецкого на русский.

* Конечно, я понимаю, что дерево – это очень редкая и дорогая вещь. И я бы хотел дать вам за этот кусок крепкого дерева длиной в один метр очень много денег. Но у меня нет денег. Зато я могу предложить вам примус.

Лури – это было заранее условленно – вынул из–под малицы примус и поднял его вы- соко над головой.

* Конечно, вы знаете, что такое примус. Это машина, которая греет воду, варит мясо и

чай. Сколько времени нужно, чтобы разжечь костер? Полчаса. А примус вы можете разжечь в одну минуту. На примусе можно даже печь пироги, и вообще это превосходная вещь, ко- торая очень помогает в хозяйстве.

Лури накачал керосину, поднес спичку, и пламя сразу поднялось чуть не до потолка. Но проклятый примус как нарочно ни за что не хотел разжигаться, и нам пришлось сделать вид, что так и нужно, чтобы он разжигался не сразу. Это было не очень легко, потому что я ведь только что сказал, что разжечь его ничего не стоит.

* Подарите нам кусок крепкого дерева длиной в один метр, а мы взамен подарим вам этот примус.

Я немного боялся, что ненцы обидятся за такой скромный подарок, но они не обиде- лись. Они молча, серьезно смотрели на примус. Лури все подкачивал его, горелка раскали- лась, красные искорки стали перебегать по ней. Честное слово, в эту минуту, в дикой дале- кой тундре, в ненецком чуме, он даже и мне показался на мгновение каким–то живым, горящим, шумящим чудом! Все молчали и смотрели на него с искренним уважением.

Потом старик с длинной трубкой в зубах, повязанный женским платком, что, впрочем, ничуть не мешало ему держаться с необыкновенным достоинством, поднялся и что–то ска- зал по–ненецки, мне показалось – одну длинную–предлинную фразу. Он обращался к док- тору, но отвечал мне, и вот как перевел его речь Иван Иваныч:

* Есть три способа бороться с дымом: заслонить с наветренной стороны дымовое от- верстие, и тяга станет сильнее. Можно поднять нюк, то есть шкуру, которая служит дверью. И Можно сделать над дверью второе отверстие для выхода дыма. Но чтобы принять гостя, у нас имеется только один способ: отдать ему все, что он хочет. Сейчас мы будем есть оленя и спать. А потом мы принесем тебе все дерево, какое только найдется в наших чумах. Что ка- сается этого великолепного примуса, то ты можешь делать с ним все, что хочешь.

**Глава 14.**

**СТАРЫЙ ЛАТУННЫЙ БАГОР.**

И вот, только что был съеден сырой олень с головой, ушами и глазами, как ненцы по- тащили к нам все свои деревянные вещи. Выдолбленная тарелка, крючок для подвешивания котла, какое–то ткацкое орудие – доска с круглыми дырками по бокам, полоз от саней, лы- жи.

* Не годится? Они удивлялись.
* Однако крепкое дерево, сто лет простоит.

Они притащили даже спинку стула, бог весть как попавшую в Большеземельскую тундру, Наш будущий штурман принес бога – настоящего идола, украшенного разноцвет- ными суконными лоскутками, с остроконечной головкой и гвоздем, вбитым там, где у чело- века помещается пуп.

* Не годится? Однако крепкое дерево, сто лет простоит.

Признаться, мне стало стыдно за мой примус, когда я увидел, как этот ненец, что–то строго сказав своей бедной, заплаканной жене, вынес сундук, обитый жестью, без сомнения, единственное украшение чума. Он подошел ко мне очень довольный и поставил сундук на снег.

* Бери сундук, – перевел доктор. – Четыре крепких доски есть. Я комсомолец, мне ни- чего не надо. Я на твой примус плевать хотел.

Не знаю, может быть, доктор не совсем точно перевел последнюю фразу. Во всяком случае, это было здорово, и я от всей души пожал комсомольцу руку.

Случалось ли вам чувствовать, как вы полны одной мыслью, так что даже странным кажется, что есть на свете какие–нибудь другие желания и мысли, и вдруг точно буря вры- вается в вашу жизнь, и вы мгновенно забываете то, к чему только что стремились всей ду- шой?

Именно это случилось со мной, когда я увидел старый латунный, багор скромно ле- жавший на снегу среди жердей, из которых строятся чумы.

Конечно, все было как–то необыкновенно, начиная с этого «ай–бурданья», когда я чи- тал лекцию о примусе и ненцы слушали меня очень серьезно и между нами, как во сне, сто- ял прямой, точно сделанный из длинных серых лент, столб дыма.

Странными были эти домашние деревянные вещи, лежавшие на снегу вокруг самолета. Странным показался мне шестидесятилетний ненец с трубкой в зубах, что–то повелительно сказавший старухе, которая принесла нам кусок моржовой кости.

Но самым странным был этот багор. Кажется, во всем мире не было вещи более странной, чем он.

В эту минуту Лури выглянул из кабины и окликнул меня, и я что–то ответил ему очень издалека, из того далекого мира, в который меня внезапно перенесла эта вещь.

Что же это был за багор? Ничего особенного! Старый латунный багор. Но на этой ста- рой, позеленевшей латуни было вырезано совершенно ясно: «Шхуна „Св. Мария“.

Я оглянулся: Лури еще смотрел из кабины, и это был, несомненно, Лури, с его боро- дой, над которой я каждый день издевался, потому что он отпустил ее, подражая известному полярному летчику Ф., и она совершенно не шла к его молодому, подвижному лицу.

Вдалеке, подле крайнего чума, стоял окруженный ненцами доктор Иван Иваныч.

Все было на месте – точно так же, как минуту назад. Но передо мной лежал багор с надписью «Шхуна „Св. Мария“.

* Лури, – сказал я совершенно спокойно, – иди сюда.
* Годится? – закричал из кабины Лури.

Он выскочил, подошел ко мне и с недоумением уставился на багор.

* Читай!

Лури прочитал.

* С какого–то корабля, – сказал он. – Со шхуны «Святая Мария».
* Не может быть! Не может быть, Лури!

Я поднял багор и взял его на руки, как ребенка, и Лури, должно быть, подумал, что я сошел с ума, потому что он пробормотал что–то и со всех ног бросился к доктору. Доктор пришел, с беспокойством взял меня за голову немного дрожавшими руками и долго смотрел в глаза.

* Товарищи, идите вы к черту! – сказал я с досадой. – Вы думаете, я сошел с ума? Ни- чего подобного! Доктор, этот багор со «Святой Марии»!

Доктор снял очки и стал изучать багор.

* Очевидно, ненцы нашли его на Северной Земле, – продолжал я волнуясь. – Или нет, конечно, не на Северной Земле, а где–нибудь на побережье. Доктор, вы понимаете, что это значит?

Ненцы давно уже стояли вокруг нас, и у них был такой вид, как будто они уже тысячу раз видели, как я показывал доктору этот багор, кричал и волновался.

Доктор спросил, чей багор, и старый ненец с неподвижным лицом, глубоко изрезан- ным морщинами, как на деревянной скульптуре, выступил и сказал что–то по–ненецки.

* Доктор, что он говорит? Откуда у него этот багор?
* Откуда у тебя этот багор? – спросил по–ненецки доктор. Ненец ответил.
* Он говорит – нашел.
* Где нашел?
* В лодке, – перевел доктор.
* Как в лодке? А где он лодку нашел?
* На берегу, – перевел доктор.
* На каком берегу?
* Таймыр.
* Доктор, Таймыр! – заорал я таким голосом, что он снова невольно посмотрел на меня с беспокойством. – Таймыр! Самое близкое к Северной Земле побережье! А лодка где?
* Лодки нет, – перевел доктор. – Кусок есть.
* Какой кусок?
* Лодки кусок.
* Покажи!

Лури отвел доктора в сторону, и они о чем–то говорили шепотом, пока старик ходил за куском лодки. Кажется, Лури никак не мог проститься с мыслью, что я все–таки сошел с ума.

Ненец пришел через несколько минут и принес брезент, – очевидно, лодка, которую он нашел на Таймыре была из брезента.

* Не продается, – перевел доктор.
* Иван Иваныч, спросите у него, были ли в лодке еще какие–нибудь вещи? И если были, то какие и куда они делись?
* Были вещи, – перевел доктор. – Не знаю, куда делись. Давно было. Может быть, де- сять лет прошло. Иду на охоту, смотрю – нарты стоят. На нартах лодка стоит, а в лодке вещи лежат. Ружье было плохое, стрелять нельзя, патронов нету. Лыжи были плохие. Человек один был.
* Человек?!
* Постой–ка, – может быть, я наврал, – поспешно сказал доктор и переспросил что–то по–ненецки.
* Да, один человек, – повторил он. – Конечно, мертвый, медведи лицо съели. Тоже в лодке лежал. Все.
* Как все?
* Больше ничего не было.
* Иван Иваныч, спросите его, обыскал ли он этого человека, не было ли чего–нибудь в карманах: может быть, бумаги, документы?
* Были.
* Где же они?
* Где они? – спросил доктор.

Ненец молча пожал плечами. Кажется, самый вопрос показался ему довольно глупым.

* Из всех вещей остался только багор? Ведь был же он во что–то одет? Куда делась одежда?
* Одежды нет.
* Как нет?
* Очень просто, – сердито сказал доктор. – Или ты думаешь, что он нарочно берег ее, рассчитывая, что через десять лет ты свалишься к нему на голову со своим самолетом? Де- сять лет! Да еще, должно быть, десять, как он умер!
* Иван Иваныч, дорогой, не сердитесь. Все ясно! Нужно только записать этот рассказ – записать, и вы заверите, что сами слышали его, своими ушами. Спросите как его имя.
* Как тебя зовут? – спросил по–ненецки доктор.
* Вылка Иван.
* Сколько лет?
* Сто лет, – отвечал ненец.

Мы замолчали, а Лури так и покатился со смеху.

* Сколько? – переспросил доктор.
* Сто лет, – повторил ненец. Доктор беспомощно оглянулся.
* Черт его знает, как сто по–ненецки, – пробормотал он. – Может быть, я ошибаюсь?
* Сто лет, – на чистом русском языке упрямо повторил Иван Вылка.

Все время, пока в чуме записывали его рассказ, он повторял, что ему сто лет. Вероят- но, ему было меньше, – по крайней мере, на вид. Но чем дольше я всматривался в это дере- вянное лицо с ничего не выражавшим взглядом, тем все более убеждался, что он очень стар. Сто лет – это была его гордость, и он настойчиво повторял это, пока мы не записали в про- токоле: «Охотник Иван Вылка, ста лет».

**Глава 15. ВАНОКАН.**

Честное слово, до сих пор не знаю, откуда ненцы достали этот кусок бревна, из которого мы сделали распорку. Они куда–то ходили ночью на лыжах, – должно быть, на сосед- нее кочевье, и когда мы утром вылезли из чума, где я провел не самую спокойную ночь в моей жизни, этот кусок кедрового дерева лежал у входа.

Да, это была не очень веселая ночь, и только Иван Иваныч спал у огня, и длинные концы его шапки, завязанные на голове, смешно торчали из малицы, как заячьи уши. Лури ворочался и кашлял. Я не спал. Ненка сидела у люльки, и я долго слушал однообразную ме- лодию, которую она пела как будто безучастно, но в то же время с каким–то самозабвением. Одни и те же слова повторялись ежеминутно, и, наконец, мне стало казаться, что из этих двух или трех слов состоит вся ее песня. Ребенок давно уже спал, а она еще пела. Круглое лицо иногда освещалось, когда сырой ивняк разгорался, и тогда я видел, что она поет с за- крытыми глазами. Вот что она пела – утром доктор перевел мне эту песню:

Зимней порой Куда ни взгляну, Сыночек мой, Везде белое поле, Сыночек мой.

На озеро взгляну – Только лед синеет, – Сыночек мой.

На гору взгляну – Только камни чернеют, Сыночек мой.

Милая тундра, Белое поле, Сыночек мой, Быстроногий мой.

Какие у тебя милые ушки, Сыночек мой.

Какие у тебя милые глазки, Сыночек мой.

Какой у тебя милый носик, Сыночек мой.

На небо взгляну – Облака белеют.

Милая тундра.

То чувство, которое я испытал во время разговора с Валей, вернулось ко мне, и с такой силой, что мне захотелось встать и выйти из чума, чтобы хоть не слышать этой тоскливой песни, которую ненка пела с закрытыми глазами. Но я не встал. Она пела все медленнее, все тише, и вот замолчала, уснула. Весь мир спал, кроме Меня; и только я один лежал в темноте и чувствовал, что у меня сердце ноет от одиночества и обиды. Зачем эта находка, когда все кончено, когда между нами уже нет и не будет ничего и мы встретимся, как чужие? Я ста- рался справиться с тоской, но не мог и все старался и старался, пока, наконец, не уснул.

К полудню мы починили шасси. Мы выточили бревно и вставили его вместо распорки. Для большей прочности мы обмотали скрепы веревкой. У самолета был теперь жалкий, подбитый вид. Мы с Лури отошли и со стороны холодным взглядом оценили работу.

– Ну, как?

Лури с отвращением махнул рукой.

Ну что ж, будем считать, что все обстоит прекрасно. Нужно греть воду, пора запускать мотор.

Мы трамбуем снег в бидоны, ставим бидоны на примус. Томительное занятие! Плохо

горит наш примус, «великолепная машина, без которой ничего не стоит любое хозяйство».

Но вот все в порядке, мотор разогрет, начинается запуск. Ненцы тянут за концы амор- тизатора.

* Внимание!
* Есть внимание!
* Раз, два, три – пускай!

Амортизатор срывается, ненцы падают в снег. Снова:

* Внимание!
* Есть внимание!
* Раз, два, три – пускай!

Это повторяется четыре раза. Мотор вздрагивает, чихает, делает два десятка оборотов, останавливается и, наконец, начинает работать. Пора прощаться! Ненцы собираются у са- молета, я жму им руки, благодарю за помощь, желаю счастья в охоте. Они смеются – до- вольны. Наш штурман, застенчиво улыбаясь, лезет в самолет. Не знаю, что он на прощанье сказал жене, но она стоит у самолета веселая, в шубе, расшитой вдоль подола разноцветным сукном, в широком поясе, в капоре с огромными меховыми полями, отчего лицо ее кажется окруженным сиянием.

И этот капор, высотой в полметра, увешанный какими–то побрякушками, а под капо- ром маленькое круглое лицо – вот и все, что я вижу на прощанье.

По привычке я поднимаю руку, точно прошу старта у ненцев.

– До свиданья, товарищи! Летим!..

Не стану рассказывать, как мы летели до Ванокана, как поразил меня наш штурман, читавший однообразную снежную равнину, как географическую карту. Над одним кочевьем он попросил меня немного постоять и был очень огорчен, узнав, что постоять, к сожалению, не придется.

Не стану рассказывать, как мы садились в Ванокане. Летчикам–испытателям хорошо известно это особенное профессиональное чувство, какая–то горючая смесь из риска, ответ- ственности и азарта. В конце концов, мы тоже летели на машине новой конструкции, с де- ревянной распоркой – новость в самолетостроении! Кажется, я во время посадил самолет всей тяжестью на здоровую ногу, потому что он еще не остановился, а Лури уже выскочил из кабины, показывая мне большой палец.

Не стану рассказывать и о том, как нас встречали в Ванокане, как в трех домах распа- ялись самовары, а в четвертом выпал из люльки ребенок, которого доктору тут же пришлось лечить; о том, как нас закармливали семгой и пирогами; о том, как я организовал модельный кружок и катал пионеров на самолете; о том, как жители Ванокана уверяли меня, что в тот самый день и час, когда мы прилетели, над поселком кружились еще два самолета, и как я догадался наконец, что это и был наш самолет, сделавший три круга перед посадкой.

Но вот о чем нельзя не рассказать – о докторе Иване Иваныче в Ванокане.

Мы нашли Ледкова в плохом состоянии. Я не раз встречался с ним на собраниях и од- нажды даже возил из Красноярска в Игарку. Между прочим, он поразил меня своим знанием художественной литературы. Оказалось, что он окончил Педагогический институт в Ленин- граде и вообще – образованный человек, читавший не только Льва Толстого, но и Вольтера. До двадцати трех лет он был пастухом в тундре, и ненцы недаром всегда говорили о нем с гордостью и любовью.

И вот этот прекрасный, умный человек и замечательный политический деятель лежал, раненный какой–то собакой, и, когда я вошел, я не узнал его: так он переменился.

Нельзя даже сказать, что он лежал. Он сидел на кровати, скрипя зубами от боли, И эта боль вдруг поднимала его; он вставал, хватаясь за спинку кровати, и одним махом перебра- сывался на стул. Страшно было видеть, как боль швыряла это большое, сильное тело! Ино- гда она утихала на несколько минут, и тогда лицо его принимало человеческое выражение. Потом опять! Он закусывал верхнюю губу, глаза – страшные глаза силача, который не в си- лах справиться с собой, – начинали косить, и – раз! – он поднимался на здоровой ноге и с размаху швырял себя на кровать. Но и на кровати он поминутно пересаживался с места на

место. Попала ли пуля в какое–нибудь нервное сплетение, или рана так болезненно загнои- лась – не знаю. Но в жизни моей я не видел более страшной картины! На него жалко было смотреть, и все лица невольно искажались, когда он начинал ерзать по кровати, мучительно стараясь усидеть, и вдруг – раз! – со всего размаху перекидывался на стул.

Было от чего потерять голову при виде такого больного! Но Иван Иваныч не потерял – напротив! Он вдруг помолодел, надул губы и стал похож на решительного молодого воен- ного доктора, которого все боятся. Мигом он выгнал всех из комнаты больного, в том числе и председателя райисполкома, который почему–то непременно хотел присутствовать при осмотре Ледкова. Когда местная фельдшерица, сухонькая старушка в очках, трепеща, пред- стала перед ним, он спросил ее очень любезно:

– Ну–с, а случалось вам присутствовать при ампутации голени?

Какими–то умелыми, свободными движениями он в одну минуту переставил в комнате всю мебель. Он вынес лишний стол, а тот, на котором собирался производить операцию, выдвинул на середину комнаты, под висячую лампу.

Он приказал принести лампы со всего поселка, «да чтобы не коптили», и развесил их по стенам так, что комната сразу осветилась небывалым в Ванокане светом.

Он только поднял брови, а сухонькая фельдшерица выбежала с полотенцем, которое показалось ему не особенно чистым, и я слышал, как она сказала в кухне таким же злоб- но–любезным голосом, как доктор:

– Вы что, голубчики, вы меня в гроб вогнать хотите?

Но никто не хотел вогнать ее в гроб. Все бегали на цыпочках и называли доктора «он».

Отрывисто, хотя и вежливо, отдавая распоряжения, доктор не меньше получаса тер руки мылом и щеткой. Потом, не вытираясь, он вошел в комнату больного и остановился, расставив ноги, растопырив руки и критически оглядываясь вокруг. Потом дверь захлопну- лась, и удивительная для Ванокана картина ослепительной комнаты с больным, лежащим на ослепительно белом столе, и людьми в ослепительно белых халатах исчезла.

Так вел себя наш Иван Иваныч в Ванокане. Через сорок минут он вышел из операци- онной. Нужно полагать, операция прошла превосходно, потому что, снимая халат, он сказал мне что–то по–латыни, а потом из Козьмы Пруткова:

– «Если хочешь быть счастливым – будь им!»

Рано утром мы вылетели из Ванокана и через три с половиной часа без всяких при- ключений опустились в Заполярье.

Об этом случае, то есть о блестящей операции, которую доктору удалось сделать в та- ких трудных условиях, и вообще о нашем полете была потом заметка в «Известиях». Она кончалась словами: «Больной быстро поправляется». И действительно, больной поправился очень быстро.

Мы с Лури получили благодарность, а доктор – почетную грамоту от Ненецкого национального округа.

Старый латунный багор висел теперь у меня в комнате на стене рядом с большой кар- той, на которую был нанесен дрейф шхуны «Св. Мария».

В начале июня я поехал в Москву. К сожалению, у меня было очень мало времени: меня отпустили только на десять дней, а за эти десять дней я должен был устроить не только свои личные дела, но и личные и общественные дела моего капитана.

Я много думал дорогой – о себе и о своих отношениях с Катей, и снова история ее отца поднялась над этими мыслями, как будто требуя особого внимания и уважения. Вольно или невольно, я встречался с ним на каждом круге своей жизни, и в конце концов из этих оскол- ков его истории, которые я подобрал, составилась стройная картина. Старый латунный багор был последним логическим штрихом в этой картине доказательств. Самый сложный вопрос был решен этой находкой.

В самом деле, прочитав дневники штурмана, я спрашивал себя: «Узнаю ли я ко- гда–нибудь, что случилось с капитаном Татариновым? Оставил ли он корабль, чтобы изу- чить открытую им землю, или погиб от голода вместе со своими людьми, и шхуна годами двигалась к берегам Гренландии, увлекаемая плавучими льдами?»

* Да, – мог я теперь ответить. – Он оставил корабль. Мы не знаем, при каких обстоя- тельствах это произошло – погибла ли часть команды, или шхуна была раздавлена льдами.

Но он привел в исполнение свою «детскую, безрассудную» мысль.

Я спрашивал себя: «Дошел ли он до Северной Земли?»

* Да, – мог я теперь ответить. – Он дошел до Северной Земли. Иначе откуда взялись бы на побережье эти сани с брезентовой лодкой, которые нашел несколько лет назад охот- ник Иван Вылка?

Я спрашивал себя: «Где искать следы экспедиции и стоит ли их искать?»

* Да, – мог я теперь ответить. – Их стоит искать, потому что, логически рассуждая, можно с точностью до полу градуса определить район этих поисков. А научное значение задачи не вызывает сомнений.

Это был разговор, как на суде, – одни только вопросы и ответы. Но за сухими, холод- ными словами мне мерещились совсем другие слова, и я видел Катю, по которой так тоско- вал.

* Ты забыла меня? Это правда?
* Нет, – ответила она. – Но та жизнь, когда нам было по семнадцати лет, кончилась, а ты куда–то пропал, и я думала, что вместе с той жизнью окончилась и наша любовь.
* Ничего она не окончилась, – так я скажу ей. – Я знаю теперь о твоем отце больше тебя, больше всех людей на свете. Посмотри, что я привез тебе,
* здесь вся его жизнь. Я собрал его жизнь и доказал, что это была жизнь великого че- ловека. Знаешь, почему я сделал это? Из любви к тебе.

Тогда она спросит:

* Так ты не забыл меня? Это правда?.. И я отвечу ей:
* Я бы не забыл тебя, даже если бы ты меня разлюбила.

Это был чудный разговор, который я придумал дорогой. И нельзя сказать, что он был совсем не похож на тот разговор, который вскоре произошел между мною и Катей. Он был и похож и не похож – как сон похож и не похож на реальную жизнь.

**ЧАСТЬ 5.**

**ДЛЯ СЕРДЦА.**

**Глава 1.**

**ВСТРЕЧА С КАТЕЙ.**

Десять дней – это не так много, чтобы расстроить одну свадьбу и устроить другую. Тем более, что у меня было много других дел в Москве: я собирался прочитать в Географи- ческом обществе доклад «Об одной забытой полярной экспедиции», а между тем еще не написал его. Я должен был поставить в Главсевморпути вопрос о поисках «Св. Марии».

Валя подготовил некоторые дела: он договорился, например, с Географическим обще- ством о моем докладе. Но написать его он, конечно, не мог.

Я собирался остановиться у Кораблева, но потом передумал и заехал в гостиницу, ту самую, в которой останавливался два года назад, проездом из Балашова. Это была ошибка, потому что, как ни странно для бродячего человека, я не люблю гостиниц. В гостиницах у меня всегда становится меланхолическое настроение.

Я позвонил Кате, и она подошла к телефону.

* Я вас слушаю.
* Это говорит Саня.

Она замолчала. Потом спросила самым обыкновенным голосом:

* Саня?
* Он самый.

Она опять замолчала.

* Надолго в Москву?
* Нет, на несколько дней, – ответил я, тоже стараясь говорить обыкновенным голосом, как будто мне не казалось, что я вижу ее сейчас в том самом треухе с не завязанными ушами, в том пальто, мокром от снега, в котором она была на Триумфальной в последний раз.
* В отпуск?
* И в отпуск, и по делам.

Нужно было сделать усилие, чтобы не спросить ее: «Я слышал, что ты часто встреча- ешься с Ромашовым?» Я сделал это усилие и не спросил.

* А как Саня? – вдруг спросила она о сестре. – Мы с ней переписывались, а потом пе- рестали.

Мы заговорили о Сане, и Катя сказала, что на днях в Москву приезжал один ленин- градский театр, шла «Мать» Горького, и в программе было указано: «Художник – П. Ско- вородников».

* Да ну?
* И очень хорошие декорации. Смелые и вместе с тем простые.

Мне показалось, что она нарочно несколько раз не назвала меня по имени, а один раз назвала, понизив голос, как будто не хотела, чтобы дома знали, с кем она говорит. Ни разу она не сказала мне «ты», и мы говорили и говорили о чем–то обыкновенными голосами, по- ка мне не стало страшно, что все так – кончится, то есть мы поговорим обыкновенными го- лосами и разойдемся, и у меня не будет даже повода, чтобы позвонить ей снова.

* Катя, нам нужно встретиться. Когда ты можешь?

Я сказал, «Когда ты можешь?» И сразу стало ясно, что это было бы глупо, если бы я стал говорить ей «вы».

* У меня как раз сегодня свободный вечер.
* Часов в девять?

Я ждал, что она позовет меня к себе, но она не позвала, и мы условились встретиться – где же?

* Может быть, в сквере на Триумфальной?
* Этого сквера теперь нет, – холодно возразила Катя.

И мы условились встретиться между колоннами у Большого театра.

Вот и все, о чем мы говорили по телефону, и нечего было перебирать каждое слово, как я делал это весь первый длинный день в Москве.

Я поехал в Управление гражданского воздушного флота, потом к Вале в Зооинститут. Должно быть, у меня был рассеянный вид, потому что Валя несколько раз повторил мне, что завтра двадцатипятилетний юбилей педагогической деятельности Кораблева и что будет торжественное заседание в школе.

Наконец в девятом часу вечера я отправился к Большому театру…

Это была прежняя Катя с косами вокруг головы, завитками на лбу, которые я всегда вспоминал, когда думал о ней. Она побледнела и выросла и, конечно, была теперь не та де- вочка, которая когда–то поцеловала меня в сквере на Триумфальной. У нее стал сдержанный взгляд, сдержанный голос. Но все же это была Катя, и она совсем не стала так уж похожа на Марью Васильевну, как я этого почему–то боялся. Наоборот, все прежние Катины черты как–то определились, и она стала теперь еще больше Катя, чем прежде. Она была в белой шелковой блузке с короткими рукавами, синий бант с белыми горошинами приколот у вы- реза на груди, и у нее становилось строгое выражение, когда во время нашего разговора я старался заглянуть ей в лицо.

С таким чувством, как будто мы в разных комнатах и разговариваем через стену и только иногда приоткрывается дверь и Катя выглядывает, чтобы посмотреть, я это или не я, мы бродили по Москве в этот печальный день. Я говорил и говорил, – не запомню, когда еще я говорил так много. Но все это было совсем не то, что я хотел сказать ей. Я рассказал о том, как была составлена «азбука штурмана» и что это была за работа – прочитать его днев- ники. Я рассказал, как был найден старый латунный багор с надписью «Шхуна „Св. Мария“. Но ни слова не было сказано о том, зачем я делал все это! Ни слова. Как будто эта ис- тория давно умерла и не была наполнена обидами, любовью, смертью Марьи Васильевны,

ревностью к Ромашке, всей живой кровью, которая билась во мне и в Кате…

Это был год, когда Москва начинала строить метро, и в самых знакомых местах попе- рек улиц стояли заборы и нужно было идти вдоль этих заборов по гнущимся доскам и воз- вращаться, потому что забор кончался ямой, которой вчера еще не было и из которой теперь

слышались голоса и шум подземной работы.

Таков был и наш разговор – обходы, возвращения и заборы в самых знакомых местах, знакомых с детства и школьных лет. Все время мы натыкались на эти заборы, особенно ко- гда приближались к тому опасному месту, которое называлось «Николай Антоныч».

Я спросил, получила ли Катя мои письма – одно из Ленинграда, другое из Балашова, и, когда она сказала, что нет, намекнул, не попали ли эти письма в чужие руки.

– У нас в доме нет никаких чужих рук, – резко сказала Катя.

Мы вернулись на Театральную площадь. Был уже поздний вечер, но в ларьках еще продавали цветы, и после Заполярья мне казалось странным, что может быть так много все- го, – людей, автомобилей, домов и лампочек, качавшихся в разные стороны друг от друга.

Мы сидели на скамейке, Катя слушала меня, подставив руку под голову, и я вспомнил, как она всегда любила долго устраиваться, чтобы было удобнее слушать. Теперь я понял, что переменилось в ней, глаза. Глаза стали грустные.

Это была единственная хорошая минута. Потом я спросил, помнит ли она наш по- следний разговор в сквере на Триумфальной, и она ничего не сказала. Это был самый страшный ответ для меня. Это был прежний ответ: «Не будем больше говорить об этом».

Быть может, если бы мне удалось как следует посмотреть ей в лаза, я бы многое понял.

Но она смотрела в сторону, и я больше не пытался.

Я только чувствовал, что и она с каждой минутой становится все холоднее. Она кив- нула головой, когда я сказал:

* Я буду держать тебя в курсе.

И вежливо поблагодарила меня, когда я пригласил ее на доклад.

* Спасибо, я непременно приду.
* Буду очень рад. Мы помолчали.
* Я хотела тебе сказать, Саня, что очень тронута твоим отношением. Я была уверена, что ты давно забыл об этой истории.
* Нет, как видишь!
* Ты ничего не будешь иметь против, если я передам наш разговор Николаю Антоно- вичу?
* Напротив! Николаю Антонычу интересно будет узнать о моих находках. Ведь они касаются его очень близко – гораздо ближе, чем он может вообразить.

Они вовсе не касались его так уж близко, и у меня не было никаких оснований для намека, который я вложил в эти слова. Но я был очень зол.

Катя внимательно посмотрела на меня и немного подумала. Кажется, она еще о чем–то хотела спросить меня, но не решилась. Мы простились. Я ушел расстроенный, злой, уста- лый, и в гостинице у меня первый раз в жизни заболела голова.

**Глава 2.**

**ЮБИЛЕЙ КОРАБЛЕВА.**

Назначить юбилей преподавателя средней школы на каникулах, когда школьники а разъезде и сама школа закрыта, – это была странная мысль. Я даже сказал Вале, что, по–моему, никто не придет.

Ничуть не бывало! Школа была полна. Ребята еще убирали лестницу ветками березы и клена. Груда веток лежала на полу в раздевалке, и огромная цифра «25» качалась над входом в зал, где было назначено торжественное заседание. Девочки тащили куда–то гирлянды, у всех был серьезный, озабоченный вид, и мне вдруг стало весело от этой беготни и волнения и оттого главным образом, что я вернулся в свою родную школу.

Но мне не дали особенно долго заниматься воспоминаниями. Я был в форме, и ребята мигом окружили меня. Еще бы! Летчик! Я не успевал отвечать на вопросы.

Потом девочка из старшего класса, напомнившая мне тетю Варю, нашу «хозяйствен- ную комиссию», такая же толстая и румяная, подошла и сказала, покраснев, что меня ждет Иван Павлыч.

Он сидел в учительской, постаревший, немного согнувшийся, с седой – уже седой! – головой. Вот на кого он стал теперь похож – на Марка Твена! Конечно, он постарел, но мне показалось, что он стал крепче с тех пор, как мы виделись в последний раз. Усы, хотя тоже седоватые, стали еще пышнее и бодро торчали вверх, и над свободным мягким воротником была видна здоровая красная шея.

* Иван Павлыч, дорогой, поздравляю вас! – сказал я, и мы обнялись и долго целовали друг друга. – Поздравляю вас, – говорил я между поцелуями,
* и желаю, чтобы все ваши ученики были так же благодарны вам, как я.
* Спасибо, Санечка!

И он еще раз крепко обнял меня. Он был очень взволнован, и у него немного дрожали

губы.

Через час он сидел на эстраде, в том самом зале, где мы когда–то судили Евгения

Онегина, а мы, как почетные гости, сидели в президиуме по правую и левую руку от юби- ляра. Мы – это Валя, надевший для торжественного дня ярко–зеленый галстук, инже- нер–строитель Таня Величко, которая стала высокой полной женщиной, так что даже трудно было поверить, что это та самая тоненькая принципиальная Таня, и еще несколько учеников Ивана Павлыча, которые в наше время были младшими и которых мы по–настоящему даже не считали за людей. Среди этого поколения было много курсантов, и я с удовольствием узнал трех ребят из моего пионеротряда.

Потом пришел великолепный, снисходительный в белых гетрах, в очень толстом вя- заном жилете артист Московского драматического театра Гришка Фабер. Вот кто нисколько не переменился! С таким видом, как будто все, что происходит в этом зале, относится толь- ко к нему, он шикарно расцеловал юбиляра в обе щеки и сел, заложив ногу за ногу. Он сразу занял очень много места в президиуме, и стало казаться, что это его юбилей, а вовсе не Ко- раблева. С туманным видом он посмотрел на публику, потом вынул гребешок и причесался. Я написал ему записку: «Гришка, подлец, здорово!» Он прочитал и, снисходительно улыба- ясь, помахал мне рукой.

Это был превосходный вечер, и он был так хорош потому, что все, кто выступал, го- ворили чистую правду. Никто не врал – без сомнения потому, что о Кораблеве не трудно было говорить чистую правду, – ведь он никогда и не требовал ничего другого от своих учеников.

Я бы хотел, чтобы через двадцать пять лет работы обо мне говорили так, как об Иване Павлыче в этот вечер.

От родителей, от выпуска тридцать первого года, от рабочих мебельной фабрики, от райсовета, от гороно! Все с цветами – и одна корзина больше другой. Но вот председатель объявил, что «от имени актеров, вышедших из стен нашей школы, сейчас выступит Григо- рий Иванович Фабер», и два здоровых парня принесли такую корзину, что все ахнули, – шепот так и побежал по рядам.

Гришка встал. Как всегда, он говорил прекрасно, только слишком орал, и мне показа- лось странным, что в театре его не научили говорить потише. Он назвал Ивана Павлыча

«учителем жизни в искусстве» и добавил, что лично для него это сыграло огромную роль. Потом он еще раз расцеловал Кораблева и сел, очень довольный собой.

Цветов на эстраде становилось все больше, и Иван Павлыч сидел очень красный и время от времени растерянно поправлял усы. Кажется, он стеснялся, что чувствует себя та- ким счастливым. Когда его хвалили, у нем становились страдающие глаза.

Потом выступил лейтенант, который в наше время учился в каком–то там пятом клас- се, и сказал, что, поскольку товарищ Фабер говорил от имени артистов, он позволит себе произнести приветствие от имени курсантов и командиров Рабоче–крестьянской Красной Армии, также вышедших из стен этой школы.

– Дорогой Иван Павлыч, – сказал я, когда председатель дал мне слово, – теперь поз- вольте мне сказать от имени летчиков, потому что немало ваших учеников летают над нашей великой Советской страной, и все они без сомнения, присоединятся к каждому моему слову. Говорят, что писатели – инженеры человеческих душ. Но вы – тоже инженер челове- ческих душ. Однажды, например, проснувшись рано утром, я обнаружил, что мой сосед, не отрываясь, смотрит на потолок, и так внимательно, что даже не отвечает на мои вопросы. Я

проследил за его взглядом и увидел, что на потолке нарисован черный кружок величиной с полтинник. Это повторилось и на следующий день. Два месяца мой сосед каждое утро смотрел на этот черный кружок. Как вы думаете, зачем он это делал? Конечно, он сам мог бы ответить на этот вопрос, потому что в данную минуту он является моим соседом за этим столом. – Валя смущенно засмеялся, а за ним президиум и весь зал. – Но так и быть – скажу за него: он развивал силу взгляда. Чей же взгляд так поразил его? Знаменитый взгляд Ивана Павлыча Кораблева. Дорогой Иван Павлыч! Теперь я могу вам откровенно признаться: мы не выдерживали вашего взгляда. Бывало, натворишь что–нибудь и только соберешься со- врать, а встретишь вас или только вспомнишь о вас – и невольно говоришь правду. По–моему, это и есть самое главное, чему должна учить нас школа.

Я кончил речь и пошел к Ивану Павлычу целоваться. С другой стороны к нему полез целоваться Валька, и мы столкнулись лбами.

До сих пор мне хлопали довольно жидко, но когда мы столкнулись лбами, раздались оглушительные аплодисменты.

После меня выступила Таня Величко, но я уже не слушал ее, потому что приехал Ни- колай Антоныч.

Он вошел в зал – толстый, солидный, снисходительный, в каких–то широких брюках, и, немного наклонясь вперед, стал пробираться к президиуму. Я видел, как наша бедная старая Серафима, та самая, которая когда–то по комплексному методу обучала нас «утке», побежала перед ним, расчищая дорогу, – а он шел, не глядя на нее и не улыбаясь.

Я не видел его после той безобразной сцены, когда он кричал на меня и ломал пальцы, а потом плевался, – и нашел, что с тех пор он значительно переменился. За ним шел ка- кой–то человек, тоже довольно толстый и тоже немного наклонясь вперед и не улыбаясь.

Без сомнения я бы никогда не догадался, что это за человек, если бы Валя не шепнул мне в эту минуту: «А вот и Ромашка».

Как, это Ромашка? Такой причесанный, солидный, с таким большим, белым, вполне приличным лицом, в таком превосходном сером костюме? Куда делись желтые кошачьи космы? Куда делись неестественно круглые глаза – глаза совы, – которые не закрывались на ночь?

Все было приглажено, прибрано, по возможности смягчено, и даже тяжелый квадрат- ный подбородок стал теперь не очень квадратный, а скорее полный и тоже вполне прилич- ный. Если бы Ромашка мог по своему желанию вылепить себе новое лицо, он бы лучше, ка- жется, не вылепил. Пожалуй, на свежего человека он мог теперь произвести даже приятное впечатление.

Николай Антоныч прошел в президиум, он за ним, и все, что делал Николай Антоныч, делал за ним Ромашка. Николай Антоныч сдержанно, но в общем сердечно поздравил Ко- раблева, – не поцеловал, а только протянул руки. И Ромашка только протянул руки. Николай Антоныч окинул взглядом президиум и прежде всех поздоровался с заведующим гороно. И вслед за ним – Ромашка. Но – может быть, это покажется странным – Ромашка держался увереннее, смелее.

Меня Николай Антоныч не заметил, то есть сделал вид, что меня здесь нет. Но Ро- машка, дойдя до меня, остановился и слегка развел руками, как будто удивляясь – я ли это? И как будто я никогда не бил его ногой по морде.

– Здравствуй, Ромашка! – сказал я равнодушно.

Он перекосился, но сейчас же сделал вид, что мы, как старые друзья, так и должны называть друг друга: «Санька, Ромашка». Он подсел ко мне и стал что–то говорить, но я до- вольно презрительно остановил его и отвернулся, как будто слушая Таню.

Не слушал я Таню! Все во мне кипело и бурлило, и только усилием воли я сохранил прежнее спокойное выражение.

Торжественная часть кончилась, и гостей пригласили к столу. Ромашка догнал меня в коридоре.

* Правда, прекрасно прошел юбилей Ивана Павлыча? У него даже голос стал мягче, круглее.
* Да, очень хорошо.
* В самом деле, жаль, что мы так редко встречаемся. Все–таки старые товарищи. Ты

где служишь?

* В гражданской авиации.
* Это я вижу, – сказал он и засмеялся. – Нет, «где» в другом смысле, в территориаль-

ном.

* На Крайнем Севере.
* Да! Черт! Совсем забыл! Ведь Катя же мне говорила! В Заполярье!

Катя! Катя ему говорила. Мне стало жарко, но я ответил совершенно спокойно:

* Да, в Заполярье.

Он замолчал. Потом спросил осторожно:

* Надолго… к нам?
* Еще не знаю, – ответил я тоже осторожно. – Это зависит от многих обстоятельств. Мне самому понравилось, что я так спокойно, осторожно ответил, и с этой минуты все

мое волнение как рукой сняло. Я стал холоден, любезен и хитер, как змея.

* + Катя говорила, что ты собираешься выступить с докладом. Кажется, в Доме ученых?
  + Нет, в Географическом обществе.

Ромашка посмотрел на меня с удовольствием – как будто он был доволен, что я соби- раюсь прочитать доклад в Географическом обществе, а не в Доме ученых. Так оно и было, но тогда я еще ничего не знал.

* + Что же это за доклад?
  + А вот приходи, – сказал я равнодушно. – Это тебе будет интересно. Он снова перекосился, на этот раз заметно.
  + Да, – сказал он, – нужно записать и не пропустить. – И он стал что–то аккуратно за- писывать в блокноте. – Как он называется?
  + Забытая полярная экспедиция.
  + Постой–ка! Это об экспедиции Ивана Львовича?
  + Об экспедиции капитана Татаринова, – возразил я сухо. Но он пропустил мимо ушей мою поправку.
  + По новым материалам?

Знакомый тупой расчет мелькнул у него в глазах, и я сразу догадался, в чем дело.

«Ага, подлец, – подумал я хладнокровно, – тебя подослал Николай Антоныч. Тебе по- ручено узнать, не собираюсь ли я снова доказывать, что в гибели экспедиции виноват имен- но он, а не какой–то там фон Вышимирский!»

* + Да, по новым.

Ромашка внимательно посмотрел на меня. На секунду он превратился в прежнего Ро- машку, подсчитывающего, сколько процентов прибыли получится, если я проговорюсь, что это за материалы.

* + Кстати, об экспедиции, – сказал он. – Ведь у Николая Антоныча тоже есть материа- лы. У него много писем и есть очень интересные, он мне как–то показывал. Ты бы к нему обратился!

«Ага, понятно, – подумал я снова. – Николай Антоныч поручил тебе свести нас, чтобы поговорить об этом деле. Он боится меня. Но он хочет, чтобы я сделал первый шаг. Не тут–то было!»

* + Да нет, – ответил я равнодушно. – Он ведь, в сущности, мало знает. Как ни странно, но я знаю больше о его собственном участии в экспедиции, чем он сам.

Это был хорошо рассчитанный удар, и Ромашка, который все–таки был тупица, хотя и сильно развился, вдруг открыл рот и посмотрел на меня с откровенным затруднением.

«Катя, Катя», – подумал я и почувствовал, что у меня сердце сжимается от обиды за нее, за себя.

* + Да–а, – протянул Ромашка. – Такие–то дела.
  + Да, такие дела.

Мы подошли к столу, и разговор прекратился. С трудом я досидел до конца этот вечер

* только ради Ивана Павлыча, чтобы его не обидеть. У меня было неважное настроение, и очень хотелось выпить, но я выпил только одну рюмку – за юбиляра.

Ромашка произнес этот тост. Он поднялся и долго, с достоинством ждал, когда за сто- лом станет тихо. Самодовольное выражение мелькнуло на его лице, когда одна фраза вышла

особенно складно. Он сказал что–то насчет «дружбы, связывающей всех учеников нашего дорогого юбиляра». При этом он обратился ко мне и поднял рюмку, показывая, что пьет и за меня. Я тоже вежливо приподнял рюмку. Должно быть, у меня был при этом не очень при- ветливый вид, потому что Иван Павлыч внимательно посмотрел сперва на него, потом на меня и вдруг – я не сразу вспомнил, что это значит, – положил руку на стол и показал на нее глазами. Рука поднялась, похлопала по столу и спокойно опустилась. Это был наш старый условный знак. Не волноваться! Мы оба одновременно рассмеялись, и мне стало немного веселее.

**Глава 3.**

**БЕЗ НАЗВАНИЯ.**

В этот день у меня было назначено свидание с одним работником «Правды»: я хотел рассказать ему о своих находках. Два раза он откладывал – все был занят; наконец позвонил, и я поехал в «Правду».

Это был длинный внимательный дядя в очках, немного косой, так что все время каза- лось, что он смотрит в сторону и думает о чем–то своем. «Некоторым образом спец по лет- чикам», – сказал он. Кажется, он искренне заинтересовался моим рассказом, во всяком слу- чае, со второго слова стал записывать что–то в блокнот. Он заставил меня нарисовать мой способ крепления самолета во время пурги и сказал, что я должен послать об этом статью в журнал «Гражданская авиация». Тут же он позвонил в «Гражданскую авиацию» и сгово- рился, кому и когда я сдам материал. Он очень хорошо понял – так мне показалось – значе- ние экспедиции «Св. Марии» и сказал, что сейчас, когда у всех к Арктике такой огромный интерес, это своевременная и нужная тема.

* Но об этом уже была статья, – сказал он. – Помнится, в «Советской Арктике».
* В «Советской Арктике»?
* Да, в прошлом году.

Это была новость! Статья об экспедиции капитана Татаринова в «Советской Арктике» в прошлом году?

* Я не читал этой статьи, – сказал я. – Во всяком случае, автор не знает того, что знаю я. Я разобрал дневники штурмана – единственного члена экспедиции, который добрался до Большой Земли.

В эту минуту я понял, что передо мной настоящий журналист. У него вдруг заблестели глаза, он стал быстро записывать и даже сломал карандаш. Очевидно, это было что–то вроде сенсации. Он так и сказал:

* Да это сенсация!

Потом запер свой кабинет на ключ и повел меня к «начальству», как он объявил в ко- ридоре.

У «начальства» я кратко повторил свой рассказ, и мы условились: а) что я завтра принесу дневники в редакцию,

б) что «Правда» пошлет на мой доклад сотрудника и

в) что я напишу о своих находках статью, а там уже «мы посмотрим, где ее напеча- тать».

Мне нужно было поговорить в «Правде» и о розысках экспедиции, но я почему–то решил, что это особый вопрос, не имеющий отношения к печати. Жаль, потому что журна- листы посоветовали бы, к кому обратиться в Главсевморпути, а может быть, даже позвонили бы по телефону.

Я просидел в приемной часа два – все дожидался чести увидеть одного из секретарей Главного управления. Наконец дождался. Меня провели в кабинет, и тут я просидел еще полчаса. Секретарю было некогда: в кабинет поминутно заходили моряки, летчики, радисты, инженеры, столяры, агрономы, художники, – и все время нужно было делать вид, что он прекрасно разбирается в авиации, агрономии, живописи и радио. Наконец он обратился ко мне.

– Исторически интересно, – сказал он, когда я кое–как окончил свой рассказ. – У нас

другие задачи, более современные.

Я возразил, что прекрасно понимаю, что задача Главсевморпути отнюдь не заключа- ется в поисках пропавших экспедиций. Но поскольку в этом году к Северной Земле отправ- ляется высокоширотная экспедиция, вполне можно дать ей небольшое параллельное задание

* обследовать район гибели капитана Татаринова.
  + Татаринов, Татаринов… – припоминая, сказал секретарь. – Он об этом писал?

Я возразил, что он не мог об этом писать, так как экспедиция вышла из Петербурга приблизительно двадцать лет тому назад и последнее полученное известие было от 1914 го- да.

* + Хорошо, тогда какой же Татаринов об этом писал?
  + Татаринов – это капитан, – объяснил я терпеливо. – Он вышел осенью 1912 года на шхуне «Святая Мария» с целью пройти Северным морским путем, то есть тем самым Главсевморпутем, в управлении которого мы находимся. Экспедиция не удалась, но попут- но капитаном Татариновым были сделаны важные географические открытия. Есть все осно- вания утверждать, что Северная Земля, например, была открыта им, а не Велькицким.
  + Ну да, совершенно верно, – сказал секретарь. – Об этой экспедиции была статья, и я ее читал.
  + Чья статья?
  + По–моему, тоже Татаринова. Экспедиция Татаринова, статья Татаринова. Так что же вы предлагаете? Я повторил свое предложение.
  + Ладно, напишите докладную записку, – сказал секретарь таким тоном, как будто он сожалел, что мне придется писать это докладную записку, а потом она останется лежать у него в столе…

Я вышел.

Это не могло быть совпадением! В книжном магазине на улице Горького я перелистал все номера «Советской Арктики» за прошлый год. Статья называлась «Об одной забытой полярной экспедиции» – название моего доклада! – и была подписана: «Н.Татаринов». Ее написал Николай Антоныч!

Это была большая статья, написанная в духе воспоминаний, но в то же время с науч- ным оттенком. Она начиналась рассказом о том, как летом 1912 года в Петербурге, у Нико- лаевского моста, стояла шхуна «Св. Мария»: «Еще свежа была белая краска на ее стенах и потолках, как зеркало, блестело полированное красное дерево ее мебели, и ковры украшали полы ее кают. Кладовые и трюм были набиты всевозможными запасами. Чего только там не было! Орехи, конфеты, шоколад, различные консервированные компоты, ананасы, ящики с варенье и, печенье, пастила и много другого – вплоть до самого существенного, до консер- вированного мяса и целых штабелей муки и крупы».

Было смешно читать, как Николай Антоныч начинал, прежде всего, с продоволь- ствия, – для меня это было лишней уликой. Но дальше он писал поумнее. Указывая, что экспедиция была снаряжена на общественные средства, он скромно намекал, что именно ему впервые пришла в голову мысль «пройти по стопам Норденшельда». Он с горечью ука- зывал на препятствия, которые чинила ему реакционная печать и морское министерство. Он приводил надпись, которую сделал морской министр на рапорте о том, что «Св. Мария» пропала без вести: «Жаль, что капитан Татаринов не вернулся. За небрежное обращение с казенным имуществом я бы немедленно отдал его под суд».

С еще большей горечью он писал о том, как архангельские промышленники обманули его брата, подсунув ему плохих, невыезженных собак, едва ли не проданных уличными мальчишками «по двугривенному за пару», и как вообще пошатнулась организация всего дела, только что Николай Антоныч вследствие болезни был вынужден отойти от него. Он не называл фамилий промышленников – еще бы! Только один из них был обозначен буквой В. Николай Антоныч обвинял В. в том, что тот нажился на поставках мяса, которое пришлось выбросить в море, еще не дойдя до Югорского Шара.

Эта часть статьи была написана со знанием дела. Николай Антоныч даже приводил цитату из Амундсена: «Удача любой экспедиции полностью зависит от ее снаряжения», – и блестяще доказывал справедливость этой мысли на экспедиции своего «покойного брата». Он приводил отрывки из писем «покойного брата», который горько жаловался на торгашей,

воспользовавшихся тем, что стоянка в Архангельске была сокращена и нужно было торо- питься с выходом в море.

О самом путешествии Николай Антоныч почти не писал. Он упоминал только о том, что в Югорском Шаре «Св. Мария» встретила несколько торговых пароходов, стоявших на якорях в ожидании, когда разойдутся льды, заполнявшие южную часть Карского моря. Со- гласно рассказу одного из капитанов, «Св. Мария» на рассвете семнадцатого сентября смело вошла в Карское море и скрылась за линией горизонта, за сплошной линией льдов. «Задача, которую поставил перед собой И.Л.Татаринов, – писал дальше Николай Антоныч, – не была выполнена. Но попутно было сделано замечательное открытие. Речь идет об открытии Се- верной Земли, которую капитан Татаринов назвал „Землею Марии“…»

Я купил этот номер «Советской Арктики» – тем более, что в статье были ссылки на другие статьи того же автора по тому же вопросу, – и вернулся в гостиницу.

Нельзя сказать, что я вернулся в хорошем настроении. Мне почему–то казалось, что раз уж напечатана эта ложь и раз уж так давно напечатан – больше года, – значит, все кон- чено! Поздно возражать, и никто не станет слушать моих возражений. Он предупредил их. Это была ложь, но ложь, перепутанная с правдой. Он первый указал на значение экспедиции

«Св. Марии». Он первый указал, что Северная Земля была открыта капитаном Татариновым за полгода до того, как ее впервые увидел Велькицкий, – конечно, он взял это из письма ка- питана, которое я передал Кате. Он опередил меня во всем.

Я расхаживал по своему номеру и свистел.

По правде говоря, больше всего мне хотелось сейчас поехать на вокзал и взять билет Москва – Красноярск, а оттуда самолетом до Заполярья. Но я не поехал на вокзал, – наобо- рот, сел за докладную записку. Я писал ее целый день, а когда работаешь целый день, раз- ные невеселые мысли приходят и уходят, – ничего не поделаешь, помещение занято.

**Глава 4.**

**МНОГО НОВОГО.**

Когда я вошел, Иван Павлыч сидел на корточках и растапливал печку, и это была такая привычная картина – Иван Павлыч в своем старом толстом мохнатом френче, растаплива- ющий печку, что мне даже показалось, что не было всех этих лет, что я по–прежнему школьник и что сейчас будет страшный «гром», как в девятом классе, когда я уехал в Энск за Катей. Но он обернулся. «Как постарел», – подумал я, и все мигом вернулось на свое ме- сто.

* Наконец–то! – сказал Кораблев довольно сердито. – Что же ты ко мне не заехал?
* Спасибо, Иван Павлыч!
* Ты же писал – ко мне заедешь?
* Я бы все–таки вас стеснил.

Он посмотрел на меня, даже закрыл один глаз, чтобы оценить во всех деталях. Это был хозяйский взгляд – как на своих рук дело. Должно быть, я все–таки понравился, потому что он с удовольствием расчесал усы и велел мне садиться.

* Я тебя вчера как следует не рассмотрел, – сказал он, – некогда было.

Он накрыл на стол, достал из стенного шкафа бутылочку, нарезал хлеба, потом выта- щил из–за окна холодную телятину и тоже нарезал. По–прежнему он жил один, но в старой сырой квартире стало уютнее и, кажется, не так сыро. Мне только не понравилось, что пока я рассказывал, он выпил эту бутылочку и почти не закусывал, – это меня огорчило…

Я сказал, что сейчас расскажу ему только самое главное, – но разве вспомнишь, что самое главное, когда через столько лет встречаешься с родным человеком? Иван Павлыч расспрашивал меня о Севере, о летной работе, и все оставался недоволен, что я отвечаю так кратко.

* Иван Павлыч, дорогой, что мне рассказывать об этом? Ведь я еще мало летал. Ну, чуть не замерз однажды! Вы помните доктора, который лечил меня, когда я удрал из шко- лы? Вы еще ко мне приходили в больницу.
* Помню.

* Он тоже живет в Заполярье. Я его разыскал, и это единственный дом, в котором я бываю. Между прочим, замечено, Иван Павлыч, что я всю жизнь прислоняюсь к чужим се- мействам. Когда маленький был – к Сковородниковым, – помните, я вам рассказывал. По- том к Татариновым. А теперь к доктору.
* Пора, брат, уже и свое завести, – серьезно сказал Кораблев.
* Нет, Иван Павлыч.
* Почему так?
* У меня не идет это дело.

Кораблев помолчал. Он налил себе, мы чокнулись, выпили, и он снова налил. Потом расстегнул френч – приготовился к длинному разговору.

* Послушай, Саня, помнишь, что ты сказал мне, когда уезжал из Москвы? Ты сказал:

«Теперь мне остается хоть умереть, но доказать, что я прав». Ну, как? Доказал?

Это был неожиданный вопрос, и я ответил не сразу. Конечно, я помнил наш разговор. Я помнил, как Кораблев кричал: «Что ты сделал, Саня! Боже мой, что ты сделал!» И как он плакал и говорил, что я во всем виноват, потому что я настаивал, что в письме капитана речь шла о Николае Антоныче, а на самом деле речь шла о каком–то фон Вышимирском.

На месте Кораблева я не стал бы напоминать об этом разговоре. Но ему, как видно, очень хотелось, чтобы я о нем вспомнил. Он серьезно смотрел на меня и, кажется, был чем–то втайне доволен.

* Я не знаю, кому это нужно, чтобы я что–то доказывал, – возразил я мрачно. – Не ви- жу, что это кому–нибудь нужно.
* Вот тут–то ты и ошибаешься, Саня, – сказал Кораблев. – Это очень нужно – и для тебя, и для меня, и еще для одного человека. Тем более, что ты оказался прав.

Я смотрел на него во все глаза. Прошло пять лет после нашего разговора. Я знал те- перь об экспедиции капитана Татаринова больше всех на свете. Я разыскал дневники штур- мана и прочитал их – это была самая трудная работа в моей жизни. Мне повезло: я встре- тился со старым ненцем, последним человеком, который своими глазами видел нарты, принадлежавшие экспедиции, и на этих нартах – мертвеца, – быть может, самого капитана. И я не нашел ни единого доказательства своей правоты.

И вот теперь, когда я вернулся в Москву и зашел к своему старому учителю, который – так мне казалось – давно забыл об этой истории, – теперь мне говорят: «Ты оказался прав!»

* Иван Павлыч, – начал я не очень твердым голосом, – вы все–таки не должны утвер- ждать такие вещи, если у вас нет…

Я хотел сказать: «неопровержимых подтверждений», но он остановил меня. Как будто позвонили. Кораблев озабоченно закусил губу, оглянулся и взял меня за плечо.

* Вот что, Саня… Мне нужно поговорить с одним человеком, – сказал он. – А ты тут посиди.

И он провел меня в соседнюю комнату, напоминавшую большой, заваленный книгами шкаф, с дырявой зеленой портьерой на месте двери.

* И послушай – тебе это полезно.

Я забыл сказать, что Иван Павлыч в этот вечер сразу показался мне каким–то стран- ным. Несколько раз он принимался тихонько свистать. Он расхаживал, положив руки на го- лову, и в конце концов, съел черенок от груши, которым ковырял в зубах. Теперь, посадив меня в «шкаф», он поспешно убрал со стола водку, потом вынул что–то из письменного стола, съел немного, подышал, широко открыв рот. Потом пошел открывать двери.

Как вы думаете, с кем он вернулся из передней? С Ниной Капитоновной! Это была Нина Капитоновна – согнувшаяся, еще больше похудевшая, со старческими тенями вокруг глаз, в своей неизменной бархатной безрукавке.

Она что–то говорила, но я не слушал, глядя, как Иван Павлыч заботливо усаживает гостью. Он стал было наливать ей чаю, но она остановила:

* Не хочу. Только что напилась. Ну, как?
* Да что–то неважно, Нина Капитоновна, – сказал Кораблев. – Спину ломит.
* Ну? Застариковал! Придумал тоже! Спину ломит. А нужно бомбангье натереть. И пройдет.
* Как, как вы сказали? Бомбангье?

* Бомбангье. Мазь такая. А вы водку пьете?
* Честное слово, не пью, Нина Капитоновна, – сказал Кораблев. – Совершенно бросил.

Изредка одну рюмку перед обедом. Но это даже и врачи советуют.

* Нет, пьете. Вот я, когда была молодая, на хуторах жила. У меня ведь отец казак был. Бывало придет, на ногах не держится и говорит: «Это ничего, а самая смерть – это ежеднев- но пить по одной рюмке перед обедом».

Кораблев засмеялся. Нина Капитоновна посмотрела и тоже начала смеяться.

Потом она рассказала о какой–то пьянице–графине, которая «с утра, как проснется, – хлоп стакан водки! И ходит. Желтая такая, опухшая, простоволосая. Походит, походит и выпьет. Утром она еще нормальная, а к обеду уже качается. А вечером – полный дом гостей. Одета прекрасно, садится за рояль и поет. И добрая! Все к ней ходили. Чуть что – к графине! Прекрасный человек была! А пьяница!»

Кажется, Кораблеву не очень понравился этот пример, потому что он постарался пе- ревести разговор на другую тему. Он спросил, как поживает Катя.

Нина Капитоновна тихонько махнула рукой.

* Ссоримся мы все с ней, – сказала она со вздохом. – Она очень самолюбивая. Одного дела не добьется – и за другое. От этого она такая и нервная.
* Нервная?
* Нервная. И гордая. И все молчит, – сказала Нина Капитоновна. – Я ведь на этих–то, что молчат, насмотрелась. Мне это ужасно не нравится, что она все молчит. Ну что молчать, я не понимаю. Скажи, что тебя тяготит. А она – нет.
* А вы бы у нее спросили, Нина Капитоновна.
* Не скажет. Я сама такая. Никогда не скажу.
* Я как–то встретил ее, и мне показалось – ничего, – сказал Кораблев.
* Она в театр шла – одна, правда, и это мне показалось странным. Но она была до- вольна весела и, между прочим, сказала, что ей предлагают комнату при геологическом ин- ституте.
* Предлагали. А она не переехала.
* Почему?
* Жалеет его.
* Жалеет? – снова переспросил Кораблев.
* Жалеет. И в память матери жалеет, и так. А он без нее – вот как: приходит, сейчас:

«А Катя где? Звонила?»

Я сразу понял, кто это «он»: Николай Антоныч.

* Вот и не уехала. И все ждет кого–то.

Нина Капитоновна пересела на другое кресло, поближе.

* Я один раз письмо читала, – шепотом, лукаво сказала она и оглянулась, как будто Катя могла ее видеть. – Должно быть, они в Энске подружились, когда Катя на каникулах ездила. Его сестра. И она пишет: «В каждом письме одолевает просьбами: где Катя, что с ней, я бы все отдал, лишь бы увидеть ее. Он не может без тебя жить, и я не понимаю вашей беспричинной ссоры».
* Простите, Нина Капитоновна, я не понял. Чья сестра?
* Чья? Да этого. Вашего.

Кораблев невольно посмотрел в мою сторону, и я через дырку в портьере встретился с его глазами. Моя сестра? Саня?

* Ну что ж, наверно, так и есть, – сказал Кораблев, – наверно, и не может жить. Очень просто.
* «Одолевает просьбами, – с выражением повторила Нина Капитоновна. – И не может без тебя жить». Вот как! А она без него не может.

Кораблев снова посмотрел в мою сторону. Мне показалось, что он улыбается под усами.

* Ну вот. А сама за другого собралась?
* Не собралась она. Не ейный это выбор. – Она так и сказала: «ейный».
* Не хочет она за этого Ромашова и я его не хочу. Попович.
* Как попович?

* Попович он. И брехливый. Что ему ни скажи, он сейчас же добавит. Я таких нена- вижу. И вороватый.
* Да полно, Нина Капитоновна! Что вы!
* Вороватый. Он у меня сорок рублей взял, якобы на подарок, и не отдал. Конечно, я не напоминала. И все суется, суется. Боже мой! Если бы не старость моя…

И она горько махнула рукой.

Теперь представьте себе, с каким чувством я слушал этот разговор! Я смотрел на ста- рушку через дырку в портьере, и эта дырка была как бы объективом, в котором все, что произошло между мной и Катей, с каждой минутой становилось яснее, словно попадало в фокус. Все приблизилось и стало на свое место, и этого всего было так много – и так много хорошего, что у меня сердце стало как–то дрожать и я понял, что страшно волнуюсь. Только одно было совершенно непонятно: я никогда не «одолевал» сестру просьбами и никогда не писал ей, что «не могу жить без Кати».

* Санька выдумала это, вот что, – сказал я себе. – Она все врала ей. И все это было правдой.

Нина Капитоновна еще рассказывала что–то, но я больше не слушал ее. Я так забылся, что стал расхаживать в своем «шкафу» и пришел в себя, лишь, когда услыхал строгое по- кашливание Кораблева.

Так я и сидел в «шкафу», пока Нина Капитоновна не ушла. Не знаю, зачем она прихо- дила, – должно быть, просто душу отвести. Прощаясь, Кораблев поцеловал ей руку, а она его в лоб – они и прежде всегда так прощались.

Я задумался и не слышал, как он вернулся из передней, и вдруг увидел над собой, между половинками портьеры, его нос и усы.

* Жив?
* Жив, Иван Павлыч.
* Что скажешь?
* Скажу, что я страшный, безнадежный дурак, – ответил я, схватившись за голову. – Как я говорил с ней! Ох, как я говорил с ней! Как я ничего не понял! Как я ничего не сказал ей, а ведь она ждала! Что же она чувствовала, Иван Павлыч! Что она теперь думает обо мне!
* Ничего, передумает.
* Нет, никогда! Вы знаете, что я сказал ей: «Я буду держать тебя в курсе». Кораблев засмеялся.
* Иван Павлыч!
* Ты же писал, что без нее жить не можешь.
* Не писал! – возразил я с отчаянием. – Это Санька выдумала. Но это правда! Иван Павлыч! Это абсолютная правда. Я не могу жить без нее, и у нас действительно беспричин- ная ссора, потому что я думал, что она меня давно разлюбила. Но что же делать теперь? Что делать?!
* Вот что, Саня: у меня назначено на девять часов деловое свидание, – сказал он. – В одном театре. Так что ты…
* Ладно, я сейчас уйду. А можно мне сейчас зайти к Кате?
* Она тебя выгонит, и будет совершенно права.
* Пусть выгонит, Иван Павлыч! – сказал я и вдруг поцеловал его. – Черт его знает, я не понимаю, что теперь делать? Как вы думаете, а?
* Теперь мне нужно переодеться, – сказал Кораблев и пошел в «шкаф», – а что касает- ся тебя, то тебе, по–моему, нужно придти в себя.

Я видел, как он снял френч и, подняв воротник мягкой рубахи, стал повязывать гал-

стук.

* Иван Павлыч! – вдруг заорал я. – Постойте! Я совсем забыл! Вы сказали, что я был

тогда прав, когда мы спорили, о ком идет речь в письме капитана?

* + Да.
  + Иван Павлыч!

Кораблев вышел из «шкафа» причесанный, в новом сером костюме, еще молодой, представительный.

* + Сейчас мы поедем в театр, – сказал он серьезно, – и ты все узнаешь. У тебя будет та-

кая задача: сидеть и молчать. И слушать. Понимаешь?

* + Ничего не понимаю. Едем.

**Глава 5.**

**В ТЕАТРЕ.**

Московский драматический театр! Если судить по Грише Фаберу, можно было пред- ставить, что это большой, настоящий театр, в котором все актеры носят такие же шикарные белые гетры и так же громко, хорошо говорят. Вроде МХАТ. Но оказалось, что это малень- кий театр на Сретенке, в каком–то переулке.

Шел, как об этом извещала освещенная витрина у входа, спектакль «Волчья тропа», и в списке актеров мы тотчас же отыскали Гришу. Он играл доктора: «Доктор – Г.Фабер». Эта роль почему–то стояла на последнем месте.

Гриша встретил нас в вестибюле, такой же великолепный, как всегда, и немедленно пригласил в свою уборную.

* Я его позову, когда начнется второй акт, – загадочно сказал он Кораблеву.

Кого «его»? Я взглянул на Кораблева, но он в эту минуту вправлял в свой длинный мундштук папиросу сделал вид, что не заметил моего взгляда.

В Гришиной уборной сидели еще трое артистов, и у них почему–то был такой вид, как будто они сидят в своей уборной. Но пока Гриша усаживал нас, они деликатно вышли, и то- гда он извинился за помещение.

* В моей личной уборной сейчас ремонт, – сказал он.

Мы заговорили о нашем школьном театре, вспомнили трагедию «Настал час», в кото- рой Гриша когда–то играл приемыша–еврея, и я сказал, что, по–моему, он просто велико- лепно исполнял эту роль. Гриша засмеялся, и вдруг вся его важность слетела.

* Санька, я не понимаю, ты же тогда рисовал, – сказал он. – Что это ты вдруг стал ле- тать на небо? Ходи к нам в театр, какого черта! Мы сделаем из тебя художника. Что, плохо?

Я сказал, что согласен. Потом Гриша еще раз извинился – скоро на сцену, его ждет гример – и вышел. Мы остались одни.

* Иван Павлыч, дорогой, объясните вы мне наконец, в чем дело? Зачем вы привезли меня сюда? Кто это «он»? С кем вы хотите меня познакомить?
* А ты глупостей не наделаешь?
* Иван Павлыч!
* Ты уже сделал одну глупость, – сказал Кораблев. – Даже две. Во–первых, не заехал ко мне. А во–вторых, сказал Кате: «Я буду держать тебя в курсе!»
* Иван Павлыч, ведь я же ничего не знал! Вы мне просто писали: заезжай ко мне, и я не подозревал, что это так важно. Скажите мне, кого мы тут ждем? Кто этот человек и по- чему вы хотите, чтобы я его видел?
* Ну ладно, – сказал Кораблев. – Только помни уговор: сидеть и не говорить ни слова.

Это – фон Вышимирский.

Вы знаете, что мы сидели в Гришиной уборной в Московском драматическом театре. Но в эту минуту мне показалось, что все это происходит не в уборной, а на сцене, потому что едва Иван Павлыч произнес эти слова, как в комнату, нагнувшись, чтобы не удариться о низкий переплет двери, вошел фон Вышимирский.

Я сразу понял, что это он, хотя до сих пор мне даже и в голову никогда не приходило, что этот человек существует на свете. Мне всегда казалось, что Николай Антоныч выдумал фон Вышимирского, чтобы свалить на него все мои обвинения. Это была просто какая–то фамилия, и вот она вдруг реализовалась и превратилась в сухого длинного старика, сгорб- ленного, с желтыми седыми усами. Теперь он был, понятно, просто Вышимирский, а ника- кой не «фон». На нем была форменная куртка с блестящими пуговицами – гардеробщик! – на голове седой хохол, под подбородком висели длинные морщинистые складки кожи.

Кораблев поздоровался с ним, и он легко, даже снисходительно протянул ему руку.

* Вот, оказывается, кто меня ждет – товарищ Кораблев, – сказал он, – да еще не один, а с сыном. Сын? – спросил он быстро и быстро посмотрел на меня и на Кораблева, и снова на

меня и на Кораблева.

* Нет, это не сын, а мой бывший ученик. А теперь он летчик и хочет познакомиться с

вами.

* Летчик и хочет познакомиться, – неприятно улыбаясь, сказал Вышимирский. – Чем

же летчика заинтересовала моя персона?

* + Ваша персона интересует его в том отношении, – сказал Кораблев, – что он, видите ли, пишет историю экспедиции капитана Татаринова. А вы, как известно, принимали в этой экспедиции самое деятельное участие.

Кажется, это замечание не очень понравилось Вышимирскому. Он снова быстро взглянул на меня, и в его старых, водянистых глазах мелькнуло что–то – страх, подозрение? Не знаю.

Но тут же он приосанился и затрещал, затрещал. Поминутно он называл Ивана Пав- лыча «товарищ Кораблев» и хвастался невыносимо. Он сказал, что это была великая, исто- рическая экспедиция и что он много работал, очень много, «чтобы все было великолепно». При этом он ни минуты не мог усидеть на месте – вставал, делал разные движения руками, хватал себя за левый ус и нервно тянул его вниз и так далее.

* + Но это было очень давно, – наконец сказал он, как будто удивившись.
  + Ну, не очень давно, – возразил Кораблев. – Незадолго до революции.
  + Да, незадолго до революции. Я тогда не служил в артели инвалидов. Но это времен- ное, эта служба, потому что у меня большие заслуги. Мы тогда много трудились. Это были большие труды.

Я хотел спросить, в чем, собственно говоря, заключались его труды, но Кораблев по- смотрел на меня ровным, как бы ничего не выражавшим взглядом, и я послушно закрыл рот.

* + Николай Иваныч, вы мне как–то рассказывали об этой экспедиции, – сказал он. – У вас, помнится, сохранились какие–то бумаги и письма. У меня к вам просьба: повторите ваш рассказ вот этому молодому человеку, которого вы можете называть просто Саня. Назовите день и час, когда к вам придти, и оставьте ему адрес.
  + Пожалуйста! Буду очень рад! Я вас прошу к себе, хотя заранее извиняюсь за кварти- ру. Прежде у меня была квартира в одиннадцать комнат, и я этого не скрываю, а, наоборот, пишу в анкете, потому что принес много пользы народу. За это я хлопотал персональную пенсию, и мне ее дадут, потому что у меня большие заслуги. Эта экспедиция – только одна капля в море! Я построил мост через Волгу.

И он снова затрещал, затрещал. Со своим острым седым хохлом на голове он был по- хож на старую, замученную птицу.

Потом лампочка в Гришиной уборной на мгновенье погасла, – кончился акт! – и этот призрак прошлого века исчез так же внезапно, как и появился.

Весь этот разговор продолжался минут пять, но мне показалось, что он продолжался очень долго, как это бывает во сне. Кораблев посмотрел на меня и засмеялся, – должно быть, у меня был глупый вид.

* Иван Павлыч!
* Что, милый?
* Это он?
* Он.
* Может ли это быть?
* Может.
* Тот самый?
* Тот самый.
* Что он рассказывал вам? Он знает Николая Антоныча? Он у них бывает?
* Ну, нет, – сказал Кораблев. – Вот именно – нет.
* Почему?
* Потому что он ненавидит Николая Антоныча.
* За что?
* За разные штуки.
* Что же он рассказывал вам? Откуда взялась эти доверенность на имя фон Вышимир- ского, – помните, вы мне о ней говорили?

* А–а! Вот в этом все и дело! – сказал Кораблев. – Доверенность! Он затрясся, когда я спросил у него об этой доверенности.
* Иван Павлыч, прошу вас, расскажите вы мне все это толком! Вы думаете, это было хорошо, что вы в последнюю минуту сказали, что придет Вышимирский? Я только расте- рялся и, наверное, показался ему идиотом.
* Напротив, ты ему очень понравился, – серьезно сказал Кораблев. – У него взрослая дочь, и на всех молодых людей он смотрит с одной точки зрения: годен в женихи или не го- ден? Ты, безусловно, годен: молод, недурен собой, летчик.
* Иван Павлыч, – сказал я с упреком, – я вас не узнаю, честное слово. Вы очень пере- менились, просто очень! Зная, как все это для меня важно, вы надо мной смеетесь.
* Ну, ладно, Саня, не сердись, все расскажу, – сказал Кораблев. – А пока давай–ка от- сюда удирать, а то, как словит нас сейчас Гриша да как засадит смотреть пьесу в Москов- ском драматическом театре…

Но удрать не удалось. Лампочка еще раз мигнула, и в уборную поспешно вошел Гри- ша. Он был с рыжими бакенбардами, с длинным белым носом и гораздо больше похож на рыжего из цирка, чем на доктора, но на рыжего со смелым, благородным выражением лица. Мы с Иваном Павлычем не узнали его, и, к сожалению, последние слова: «Да как засадит смотреть пьесу в Московском драматическом театре», без сомнения, донеслись до него. Но Гриша, очевидно, не нашел в этих словах ничего обидного, а даже, наоборот, понял их как наше горячее желание немедленно пройти в зал и посмотреть пьесу и его самого в роли доктора.

* В чем дело, я вас сейчас же устрою! – сказал он.

По дороге – он вел нас какими–то внутренними артистическими ходами – я спросил, почему у него такой странный для доктора грим. Но он ответил важно:

* Это так задумано.

И я не нашелся, что ему возразить.

Иван Павлыч, кажется, был невысокого мнения о Гришином дарований. Но мне он искренне нравился, я находил в нем талант. В этой пьесе у него была очень маленькая роль, и, по–моему, он провел ее превосходно. Выйдя от больного, он задумался и довольно долго стоял на авансцене, «играя на нервах» и заставляя зрителя гадать, что же он сейчас скажет. Жаль, что по роли ему пришлось произнести совсем не то, что можно было ожидать, судя по всей его фигуре и смелому выражению лица. Он великолепно соображал что–то, выписывая рецепт, а принимая деньги, сделал неловкое движение рукой, как настоящий доктор. Пожа- луй, он мог бы говорить не так громко. Но вообще он прекрасно провел роль, и я серьезно сказал Ивану Павлычу, что, по–моему, из него выйдет хороший актер.

Когда он взял деньги и вышел, налетев по дороге на стул, что тоже вышло вполне естественно, мы с Иваном Павлычем больше не смотрели на сцену.

Мне все время хотелось поговорить о Вышимирском, но в ложе зашикали, чуть только я раскрыл рот, и я успел только спросить:

* Как вы нашли его?

И Иван Павлыч успел ответить:

* Очень просто: его сын учится в нашей школе.

**Глава 6.**

**ОПЯТЬ МНОГО НОВОГО.**

Я никогда ничего не понимал в векселях – самого этого слова уже не было, когда я начал учиться. Что такое «заемное письмо»? Что такое «передаточная надпись»? Что такое

«полис»? Не полюс, это все знают, а именно «полис»? Что такое «дисконт»? Не дискант, а

«дисконт».

Когда эти слова попадались мне в книгах, я почему–то всегда вспоминал энское «при- сутствие» – железные скамейки в полутемном высоком коридоре, невидимого чиновника за барьером, которому униженно кланялась мать. Это была прежняя, давно забытая жизнь, и она вновь постепенно оживала передо мной, когда Вышимирский рассказывал мне историю

своего несчастья.

Мы сидели в маленькой комнате с подвальным окном, в котором все время была видна метла и ноги: наверно, стоял дворник. В этой комнате все было старое – стулья с перевя- занными ножками, обеденный стол, на который я поставил локоть и сейчас же снял, потому что крайняя доска только и мечтала обвалиться. Везде была грязная обивочная материя – на окне вместо занавески, на диване поверх рваной обивки, и этой же материей было прикрыто висевшее на стене платье. Новыми в комнате были только какие–то дощечки, катушки, мотки проволоки, с которыми возился в углу за своим столом сын Вышимирского, мальчик лет двенадцати, круглолицый и загорелый. И сам этот мальчик был совершенно новый и бесконечно далек от того мира, который я смутно вспоминал теперь, слушая рассказ Вы- шимирского с его дисконтами и векселями.

Это был длинный путаный рассказ с бесконечными отступлениями, в которых было много вздора. Решительно все, что он делал в жизни, старик ставил себе в заслугу, потому что «все это для народа, для народа». В особенности он напирал на свою службу в качестве секретаря у митрополита Исидора, – он объявил, что прекрасно знает жизнь духовного со- словия и даже специально изучил ее в надежде, что это «пригодится народу». Разоблачить этого митрополита он был готов в любую минуту.

Почему–то он ставил себе в заслугу и другую свою службу – у какого–то адмирала Хекерта. У этого адмирала был «умалишенный сын», и Вышимирский возил его по ресто- ранам, чтобы никто не мог догадаться, что он умалишенный, потому что «они скрывали это от всех»…

Но вот он заговорил о Николае Антоныче, и я развесил уши. Я был убежден, что Ни- колай Антоныч всегда был педагогом. Типичный педагог! Ведь он и дома всегда поучал, объяснял, приводил примеры.

* Ничего подобного, – злобно сморщившись, возразил Вышимирский. – Это на худой конец, когда ничего не осталось. У него были дела. Он играл на бирже, и у него были дела. Богатый человек, который играл на бирже и вел дела.

Это была первая новость. За ней последовала вторая. Я спросил, какая же связь между экспедицией капитана Татаринова и биржевыми делами? Почему Николай Антоныч взялся за нее? Это было выгодно, что ли?

* Он взялся бы за нее с еще большей охотой, если бы экспедиция была на тот свет, – сказал Вышимирский. – Он на это надеялся, очень надеялся. Так и вышло!
* Не понимаю.
* Он был влюблен в его жену. Об этом тогда много говорили. Много говорили, очень. Это были большие разговоры. Но капитан ничего не подозревал. Он был прекрасный чело- век, но простой. И служака, служака!

Я был поражен.

* В Марью Васильевну? Еще в те годы?
* Да, да, да, – нетерпеливо повторил Вышимирский. – Тут были личные причины. Вы понимаете – личные. Личность, личность, личные. Он был готов отдать все свое состояние, чтобы отправить этого капитана на тот свет. И отправил.

Но любовь – любовью, а дело – делом. Николай Антоныч не отдал своего состояния, напротив – он его удвоил. Он принял, например, гнилую одежду для экспедиции, получив от поставщика взятку. Он принял бракованный шоколад, пропахший керосином, тоже за взят- ку.

* Вредительство, вредительство, – сказал Вышимирский. – План! Вредительский план! Впрочем, сам Вышимирский прежде был, очевидно, другого мнения об этом плане, потому что он принял в нем участие и был послан Николаем Антонычем в Архангельск,

чтобы встретить там экспедицию и дополнить ее снаряжение.

Вот тут–то и появилась на свет доверенность, которую Николай Антоныч показывал Кораблеву. Вместе с этой доверенностью Вышимирскому были переведены деньги – вексе- ля и деньги…

И, сердито сопя носом, старик вынул из комода несколько векселей. В общем, вексель

– это была расписка в получении денег с обязательством вернуть их в указанный срок. Но эта расписка писалась на государственной бумаге, очень плотной, с водяными знаками, и

имела роскошный и убедительный вид. Вышимирский объяснил мне, что эти векселя ходи- ли вместо денег. Но это были не совсем деньги, потому что «векселедатель» вдруг мог объ- явить, что у него нет денег.

Тут были возможны разные жульнические комбинации, и в одной из них Вышимир- ский обвинял Николая Антоныча.

Он обвинял его в том, что векселя, которые Николай Антоныч перевел на его имя вместе с доверенностью, были «безнадежные», то есть что Николай Антоныч заранее знал, что «векселедатели» уже разорились и ничего платить не станут. А Вышимирский этого не знал и принял векселя как деньги, – тем более, что «векселедатели» были разные купцы и другие почтенные по тем временам люди. Он узнал об этом, лишь, когда шхуна ушла, оста- вив долгов на сорок восемь тысяч. В уплату этих долгов никто, разумеется, не принимал

«безнадежных» векселей.

И вот Вышимирский должен был заплатить эти долги из своего кармана. А потом он должен был заплатить их еще раз, потому что Николай Антоныч подал на него в суд, и суд постановил взыскать с Вышимирского все деньги, которые были переведены на его имя в Архангельск.

Конечно, я очень кратко рассказываю здесь эту историю. Старик рассказывал ее два часа и все вставал и садился.

* Я дошел до Сената, – наконец грозно сказал он. – Но мне отказали.

Ему отказали – и это был конец, потому что имущество его было продано с молотка. Дом – у него был дом – тоже продан, и он переехал в другую квартиру, поменьше. Жена у него умерла от горя, и на руках остались малолетние дети. Потом началась революция, и от второй квартиры, поменьше, осталась одна комната, в которой ему теперь приходится жить. Конечно, «это – временное», потому что «правительство вскоре оценит его заслуги, которые у него есть перед народом», но пока ему приходится жить здесь, а у него взрослая дочь, ко- торая владеет двумя языками и из–за этой комнаты не может выйти замуж: мужу некуда въехать. Вот дадут персональную пенсию, и тогда он переедет.

* Куда–нибудь, хоть в дом инвалидов, – сказал он, горько махнув рукой. Очевидно, этой взрослой дочери очень хотелось замуж, и она его выживала.
* Николай Иваныч, – сказал я ему. – Можно мне задать один вопрос: вы говорите, что он прислал вам эту доверенность в Архангельск. Каким же образом она снова к нему попа- ла?

Вышимирский встал. У него раздулись ноздри, и седой хохол на голове затрясся от негодования.

* Я бросил эту доверенность ему в лицо, – сказал он. – Он побежал за водой, но я не стал ее пить. Я ушел, и со мной был обморок на улице. Да что говорить!

И он снова горько махнул рукой.

Я слушал его с тяжелым чувством. В этом рассказе было что–то грязное, такое же, как и все вокруг, так что мне все время хотелось вымыть руки. Мне казалось, что наш разговор будет новым доказательством моей правоты, таким же новым и удивительным, каким было внезапное появление этого человека. Так и вышло. Но мне было неприятно, что на этих но- вых доказательствах лежал какой–то грязный отпечаток.

Потом он снова заговорил о пенсии, что ему «непременно должны дать персональную пенсию, потому что у него сорок пять лет трудового стажа». К нему уже приходил один мо- лодой человек и взял бумаги и, между прочим, тоже интересовался Николаем Антонычем, а потом не пришел.

* Обещал хлопотать хлопотать, – сказал Вышимирский, – а потом не пришел.
* Николаем Антонычем?
* Да, да, да! Интересовался, как же!
* Кто же это?

Вышимирский развел руками.

* Был несколько раз, – сказал он. – У меня взрослая дочь, знаете, и они тут пили чай и разговаривали. Знакомство, знакомство!

Слабая тень улыбки пробежала по его лицу: должно быть, с этим знакомством были связаны какие–то надежды.

* Да, любопытно, – сказал я. – И взял бумаги?
* Да. Для пенсии, для пенсии. Чтобы хлопотать.
* И спрашивал о Николае Антоновиче?
* Да, да. И даже – не знаю ли я еще кого–нибудь… Может быть, известно еще ко- му–нибудь, что он проделывал… эта птица! Я послал его к одному.
* Интересно. Что же это за молодой человек?
* Такой представительный, – сказал Вышимирский. – Обещал хлопотать. Он сказал, что все это нужно для пенсии, именно персональной, именно!

Я спросил, как его фамилия, но старик не мог вспомнить.

* Как–то на «ша», – сказал он.

Потом пришла взрослая дочь, которую действительно нужно было срочно выдать за- муж. Но это была нелегкая задача, и вовсе не потому, что «мужу некуда въехать». Дело в том, что у дочери был огромный нос, и она шмыгала им с необыкновенно хищным видом. Не знаю, был ли это хронический насморк, или дурной характер заставлял ее поминутно де- лать такое движение, но когда я увидел, как она угрожающе шмыгнула на отца, мне сразу стало ясно, почему старику так хочется переехать в дом инвалидов.

Я очень приветливо поздоровался с нею, и она побежала куда–то и вернулась совсем другая: прежде на ней был какой–то арабский бурнус, а теперь – нормальное платье.

Мы разговорились: сперва о Кораблеве – это был наш единственный общий знако- мый, – потом о его ученике, который по–прежнему возился в углу со своими катушками и не обращал на нас никакого внимания. У нас был бы даже приятный разговор, если бы не это движение, которое она делала носом. Она сказала, что не любит кино за то, что в кино все люди «какие–то мертвенно–бледные», но в это время старик опять влез со своей пенси- ей.

* Нюточка, как фамилия того молодого человека? – робко спросил он.
* Какого молодого человека?
* Который обещал похлопотать насчет пенсии.

Нюточка сморщилась. У нее дрогнули губы, и сразу несколько чувств отразилось на лице. Главным образом – негодование.

* Не помню, кажется, Ромашов, – отвечала она небрежно.

**Глава 7.**

**«А У НАС ГОСТЬ»**

Ромашка! Ромашка бывал у них! Он обещал старику выхлопотать персональную пен- сию, он ухаживал за Нютой с ее носом! В конце концов, он пропал, взяв какие–то бумаги, и старик даже не мог в точности припомнить, что это были за бумаги. Сперва я думал, что это другой Ромашов, однофамилец. Нет, это был он. Я подробно описал его, и Нюта сказала с ненавистью:

– Он!

Он ухаживал за ней, это совершенно ясно. Потом он перестал ухаживать, иначе она не стала бы ругать его так, как она его ругала. Он ходил к старику и выведывал все, что тому было известно о Николае Антоныче. Он собирал сведения. Зачем? Зачем он взял у Выши- мирского эти бумаги, из которых, во всяком случае, можно вывести одно заключение, что до революции Николай Антоныч был не педагогом, а грязным биржевым дельцом?

Я возвращался от Вышимирского, и у меня голова кружилась. Тут могло быть только два решения: или для того, чтобы уничтожить все следы этого прошлого, или для того, чтобы держать Николая Антоныча в своих руках.

Держать его в руках? Зачем? Ведь это его ученик, самый преданный, самый верный! Так было всегда, еще в школе, когда он подслушивал, что ребята говорили о Николае Ан- тоныче, а потом доносил ему. Это поручение! Николай Антоныч поручил ему выяснить все, что знает о нем Вышимирский. Он подослал Ромашку, чтобы взять бумаги, которые могли повредить ему как советскому педагогу.

Я зашел в кафе и съел мороженого. Потом выпил какой–то воды. Мне было очень

жарко, и я все думал и думал. Ведь все–таки прошло много лет с тех пор, как мы с Ромаш- кой расстались после окончания школы. Тогда это была подлая, холодная душа. Но к Нико- лаю Антонычу он был искренне привязан – или нам это казалось? Теперь я не знал его. Быть может, он переменился? Быть может, без ведома Николая Антоныча, из одной привязанно- сти к нему он хотел уничтожить эти бумаги, которые могут бросить тень на доброе имя его учителя, его друга?

Но это была уже ерунда, и стоило только вспомнить самого Ромашку с его бледным лицом и неестественно круглыми глазами, чтобы вернуться к реальному представлению о нем.

Я съел еще мороженого, и девушка, которая мне подавала, засмеялась, когда я попро- сил третью порцию. Должно быть, ей понравилось, что я ем так много мороженого, потому что она подошла к зеркалу и стала поправлять наколку.

Нет, он ничего и никогда не сделал бы из одной привязанности к этому человеку. Здесь была какая–то тайная цель – я был в этом уверен. Я только не мог догадаться, что это была за цель, потому что мне приходилось судить по старым отношениям между Николаем Антонычем и Ромашкой, а новые я знал очень плохо.

Это могла быть какая–нибудь очень простая цель, связанная с повышением по службе. Ведь Николай Антоныч был профессором, а Ромашка его ассистентом. Даже деньги – неда- ром же в школе у него начинали пылать уши, когда он говорил о деньгах. Какое–нибудь жалованье, черт его знает!

Я позвонил Вале – мне хотелось посоветоваться с ним: ведь он все–таки бывал у Та- тариновых последние годы, но его не оказалось дома. Он где–то шлялся, как всегда, когда был очень нужен!

«Нет, не жалованье, не карьера, – продолжал я думать. – Этого он добился другими средствами, более простыми, стоит только посмотреть на него».

Пора было ехать домой, но вечер еще только что подошел, и это был такой московский вечер, такой не похожий на мои вечера в Заполярье, что мне захотелось пройтись пешком, хотя до гостиницы было далеко.

И я медленно пошел – сперва по направлению к улице Горького, потом по Воротни- ковскому переулку. Знакомые места! Гостиница осталась в стороне, а я все шел по Ворот- никовскому, а потом свернул на Садово–Триумфальную мимо нашей школы. А от Садо- во–Триумфальной, как известно, очень близко до Второй Тверской–Ямской, и я вышел на нее через несколько минут и остановился перед воротами знакомого дома. Я заглянул в во- рота – и увидел знакомый маленький чистый двор и знакомый каменный сарай, в котором я когда–то колол дрова – помогал старушке. Вот лестница, по которой я летел кубарем, а вот обитая черной клеенкой дверь и медная дощечка с затейливо написанной фамилией:

«Н.А.Татаринов»…

– Катя, я к тебе. Не прогонишь?

Потом Катя говорила, что едва она меня увидела, как сразу поняла, что я «совсем дру- гой, чем был третьего дня у Большого театра». Но одного она не могла понять: почему, придя к ней неожиданно и «совсем другим», я весь вечер не сводил глаз с Николая Антоны- ча и Ромашки.

Конечно, это преувеличение, но я действительно посматривал на них. В этот вечер у меня голова работала, как на экзамене, и я все угадывал и понимал с полуслова.

Забыл сказать, что, еще сидя в кафе, я купил цветы. Я шел к Татариновым с цветами в руках, и это было как–то неловко: с тех пор, как мы с Петькой таскали левкои в энском са- доводстве и после спектакля продавали их публике за пять копеек пучок, я не ходил по ули- цам с цветами в руках. Теперь, когда я пришел, нужно было отдать эти цветы Кате… Но я почему–то положил их на столик рядом с фуражкой.

Вероятно, я все–таки волновался, потому что сказал что–то, и у меня невольно зазве- нел голос, и Катя быстро посмотрела мне прямо в лицо.

Мы пошли было в ее комнату, но в эту минуту Нина Капитоновна вышла из столовой.

Я поклонился. Она посмотрела с недоумением и церемонно кивнула.

* Бабушка, это Саня Григорьев. Ты не узнала?
* Саня? Господи! Да неужели?

Она испуганно оглянулась, и через открытую дверь столовой я увидел Николая Анто- ныча, сидевшего в кресле с газетой в руках. Он был дома!

* Здравствуйте, Нина Капитоновна, дорогая! – сказал я. – Помните ли вы еще меня?

Наверно, давно забыли?

* Вот! Забыла! Ничего я не забыла, – отвечала старушка.

И мы еще целовались, когда из столовой вышел и остановился в дверях Николай Ан- тоныч.

Это была минута, когда мы снова оценили друг друга. Он мог не заметить меня, как он не заметил меня на юбилее Кораблева. Он мог подчеркнуть, что мы – незнакомы. Он мог, наконец, хотя это было довольно рискованно, снова указать мне на дверь. Он не сделал ни того, ни другого, ни третьего.

* А, молодой орел, – приветливо сказал он. – Залетел, наконец, и к нам? Давно пора. И он смело протянул мне руку.
* Здравствуйте, Николай Антоныч!

Катя смотрела на нас с удивлением, старушка растерянно хлопала глазами, но мне было очень весело, и я мог теперь разговаривать с Николаем Антонычем сколько угодно.

* Да–а… Ну что ж, прекрасно. – Николай Антоныч серьезно смотрел на меня. – Давно ли, кажется, был мальчик, а вот, поди же, полярный летчик. И ведь что за профессию вы- брал! Молодец!
* Обыкновенная профессия, Николай Антоныч, – отвечал я. – Такая же, как и всякая другая.
* Такая же? А самообладание? А мужество во время опасных случаев? А дисциплина – не только служебная, но и внутренняя, так сказать, самодисциплина!

По старой памяти мне стало тошно от этих фальшивых круглых фраз, но я слушал его очень внимательно, очень вежливо. Он показался мне гораздо старше, чем на юбилее, и у него было усталое лицо. Когда мы проходили в столовую, он обнял Катю за плечи, и она чуть заметно отстранилась.

В столовой, между прочим, сидела одна из тетушек Бубенчиковых, но теперь я уже не мог различить, была ли она той самой, которая хотела побить меня щеткой, или той, которая утешала козу. Во всяком случае, теперь она встретила меня очень любезно.

* Ну, ждем, ждем! – сказал Николай Антоныч, когда Нина Капитоновна, робко суе- тившаяся вокруг меня, налила мне чаю и подвинула все, что стояло на столе. – Ждем по- лярных рассказов. Слепые полеты, вечная мерзлота, дрейфующие льды, снежные пустыни!
* Все в порядке, Николай Антоныч, – возразил я весело. – Льды, как льды, пустыни, как пустыни.

Николай Антоныч засмеялся.

* Я встретил однажды старого приятеля, который в настоящее время служит в нашем торгпредстве в Риме, – сказал он. – Я его спрашиваю: «Ну, как Рим?» А он отвечает: «Да ничего! Рим как Рим». Похоже, правда?

У него был снисходительный тон. Катя слушала нас, опустив глаза. Нужно было под- держать разговор, и я действительно стал рассказывать о ненцах, о северной природе и, между прочим, о том, как мы с доктором летали в Ванокан. Нина Капитоновна все интере- совалась, высоко ли я летаю, – и это напомнило мне тети Дашино письмо, которое я получил еще в Балашовской школе: «Раз уж не судьба тебе, как все люди, ходить по земле, то прошу тебя, Санечка, летай пониже».

Я рассказал о том, как Миша Голомб стащил у меня письмо и как с тех пор, стоило мне надеть шлем, как со всего аэродрома неслись крики:

* Саня, летай пониже!

Тот же Миша организовал в школе комический журнал под названием: «Летай пони- же». В журнале был специальный отдел «Техника полета в рисунках» с такими стихами:

Хорошо скользить, когда есть высота, Плохо выравнивать на уровне крыши! Саня, не нужно собой рисковать, – Тетушка просит летать пониже.

Кажется, я довольно удачно рассказал эту историю, все смеялись, и громче всех Нико- лай Антоныч. Он так и закатился! При этом он побледнел, – он всегда немного бледнел от смеха.

Катя почти не сидела за столом, все вставала и подолгу пропадала на кухне, и мне ка- залось, что она уходит, просто чтобы остаться одной и немного подумать: такое у нее было выражение, когда она возвращалась. В одну такую минуту она, вернувшись, зачем–то по- дошла к буфету с плетеной сухарницей в руках и, как видно, забыла, зачем подошла. Я по- смотрел ей прямо в глаза, и она ответила мне озабоченным, недоумевающим взглядом.

Должно быть, Николай Антоныч заметил, как мы обменялись взглядами. Тень легла на его лицо, и он стал говорить еще медленнее и круглее.

Потом пришел Ромашка. Нина Капитоновна открыла ему, и я слышал, как она сказала в передней с робким ехидством:

* А у нас гость!

Он довольно долго топтался в передней, – наверно, прихорашивался, – потом вошел и нисколько не удивился, увидев меня.

* А, вот что это за гость! – кисло улыбаясь, сказал он. – Рад, рад, очень рад. Очень рад.

Видно было, как он рад. Вот я действительно был рад! Едва он вошел, я стал следить за каждым его движением. Я не спускал с него глаз. Что это за человек? Каков он стал? Как он относится к Николаю Антонычу, к Кате? Вот он подошел к ней, заговорил с ней, и каж- дое его движение, каждое слово были как бы маленькой загадкой для меня, которую я тут же разгадывал и снова и снова напряженно, внимательно следил за ним и думал о нем.

Теперь, когда я увидел их рядом – его и Катю, мне стало даже смешно: так он был ни- чтожен в сравнении с ней, так некрасив и мелок. Он очень уверенно заговорил с ней, и я от- метил в уме: «Слишком уверенно». Он что–то шутливо сказал Нине Капитоновне – никто не улыбнулся, и я отметил в уме: «Даже Николай Антоныч».

Впрочем, они сейчас же заговорили о своих профессиональных делах – о защите ка- кой–то диссертации, которую Николай Антоныч считал плохой, а Ромашка – хорошей.

Это было сделано, конечно, для того, чтобы подчеркнуть, что мое присутствие для них безразлично. Но мне это даже понравилось, потому что я мог теперь молча сидеть, смотреть на них, слушать и думать.

«Нет, – думал я, – это не прежний Ромашка, который как бы гордился тем, что Нико- лай Антоныч распоряжался им беспрекословно. Он говорит с ним пренебрежительно, почти нагло, и Николай Антоныч отвечает морщась, устало, Это сложные отношения, и они очень не нравятся Николаю Антонычу. Я был прав. Это – не поручение. Он взял у Вышимирского бумаги не для того, чтобы уничтожить их. Он сделал это, чтобы продать их Николаю Ан- тонычу, – вот что на него похоже! И, должно быть, дорого взял. Или еще не продал, торгу- ет».

Катя что–то спросила у меня, я ответил, Ромашка, слушая Николая Антоныча, по- смотрел на нас с беспокойством, – и вдруг одна мысль медленно прошла среди других и как будто остановилась в стороне, дожидаясь, когда я подойду к ней поближе. Это была очень странная мысль, но вполне реальная для того, кто с детских лет знал Ромашова. Но сейчас я не мог останавливаться на ней, потому что она была страшная, и лучше было сейчас об этом не думать. Я только как бы взглянул на нее издалека.

Потом Николай Антоныч с Ромашкой зачем–то пошли в кабинет, и мы остались со старушками, одна из которых ничего не слышала, а другая притворялась, что ничего не слышит.

* Катя, – негромко сказал я. – Завтра в семь часов тебя просил зайти Иван Павлыч. Ты придешь?

Она молча кивнула.

* Ничего, что я пришел? Мне очень хотелось тебя увидеть. Она снова кивнула.
* И забудь, пожалуйста, об этом вечере третьего дня. Все не то и не так, и вообще счи- тай, что мы еще не встречались.

Она смотрела на меня молча – и ничего не понимала.

**Глава 8.**

**ВЕРЕН ПАМЯТИ.**

Что же это была за мысль? Я думал над нею весь вечер и не заметил, как заснул, а утром проснулся с таким чувством, как будто и не спал – все думал.

Так было весь день. С этой мыслью я поехал в Главсевморпуть, в Географическое об- щество, в редакцию одного полярного журнала, По временам я забывал о ней, но это было так, как будто я просто оставлял ее у подъезда, а потом выходил и встречался с ней, как со старой знакомой.

В шестом часу, усталый и раздраженный, я добрался до Кораблева. Он работал, когда я пришел, – проверял тетради. Две большие кипы лежали подле него на столе, и он сидел в очках и читал, держа наготове руку с пером и время от времени безжалостно подчеркивая ошибки. Не знаю, что это была за работа – на каникулах, когда школа закрыта. Но он и на каникулах умел находить работу.

* Иван Павлыч, вы работайте, а я немного посижу. Ладно? Устал.

И некоторое время мы сидели в полной тишине, прерываемой только скрипом пера да сердитым ворчанием Кораблева. Прежде я не замечал, чтобы он так сердито ворчал за рабо- той.

* Ну, Саня, как дела?
* Иван Павлыч, я хочу задать вам один вопрос.
* Пожалуйста.
* Вы знаете, что у Вышимирского до последнего времени бывал Ромашов?
* Знаю.
* А вам известно, зачем он к нему приходил?
* Известно.
* Иван Павлыч, – сказал я с упреком. – Вот я вас опять не узнаю, честное слово! Вам была известна такая вещь, и вы мне ничего не сказали.

Кораблев серьезно посмотрел на меня. Он был очень серьезен в этот вечер – должно быть, немного волновался, поджидая Катю, и не хотел, чтобы я догадался об этом.

* Я тебе много чего не сказал, Саня, – возразил он. – Потому что ты, хотя теперь и пи- лот, а вдруг можешь взять, да и двинуть кого–нибудь ногой по морде.
* Когда это было! Иван Павлыч, дело в том, что мне пришла в голову одна мысль. Ко- нечно, может быть, я ошибаюсь. Тем лучше, если я ошибаюсь.
* Вот видишь, ты уже волнуешься, – сказал Кораблев.
* Я не волнуюсь, Иван Павлыч. Вы не думаете, что Ромашка мог потребовать от не- го… мог сказать, что он будет молчать, если Николай Антоныч поможет ему жениться на Кате?

Кораблев ничего не ответил.

* Иван Павлыч! – заорал я.
* Волнуешься?
* Я не волнуюсь. Но я одного не могу понять: как же Катя–то могла позволить ему даже думать об этом? Ведь это же Катя!

Кораблев задумчиво прошелся по комнате. Он снял очки, и у него стало грустное лицо. Я заметил, что он несколько раз взглянул на портрет Марьи Васильевны, тот самый, где она снята с коралловой ниткой на шее, портрет, который по–прежнему стоял у него на столе.

* Да, Катя, – медленно сказал он. – Которой ты совершенно не знаешь. Это была новость. Я не знаю Катю!
* Ты не знаешь, как она жила эти годы. А я знаю, потому что… интересовался, – быстро сказал Кораблев. – Тем более, что ею больше никто, кажется, особенно не интересо- вался.

Это было сказано обо мне.

* Она очень тосковала после смерти матери, – продолжал он. – И рядом с нею был один человек, который тосковал так же, как она, или, может быть, еще больше Ты знаешь, о

ком я говорю.

Он говорил о Николае Антоныче.

* Очень опытный, очень сложный человек, – продолжал Кораблев. – Человек страш- ный. Но он действительно всю жизнь любил ее мать, всю жизнь – не так мало. И эта смерть очень сблизила их, – вот в чем дело.

Он стал закуривать, и у него немного дрожали пальцы, когда он чиркнул спичкой, а потом тихонько положил ее в пепельницу.

* И вот появился Ромашов, – продолжал он. – Должен тебе сказать, что ты и его не знаешь. Это – тоже Николай Антоныч, только в другом роде. Во–первых, он энергичен. Во–вторых, у него нет совсем никакой морали – ни плохой, ни хорошей. В–третьих, он спо- собен на решительный шаг, то есть человек дела. И вот этот человек дела, который очень хорошо знает, что ему нужно, в один прекрасный день явился к своему учителю и другу и говорит ему: «Николай Антоныч, вообразите, оказывается, этот Григорьев был совершенно прав. Вы действительно обокрали экспедицию капитана Татаринова. Кроме того, за вами числятся еще разные штуки, о которых вы не упоминали в анкетах…» Нина Капитоновна слышала этот разговор. Она его не поняла и прибежала ко мне. Ну, а я – понял.
* Так, – сказал я. – Интересно. Мы помолчали.
* Ну, а дальше что же? – продолжал Кораблев. – Можно судить по результатам. Ты знаешь Николая Антоныча – он действует не торопясь: вероятно, сперва это было сказано полушутя, между прочим. Потом все серьезнее, чаще.
* Иван Павлыч, но ведь он же все–таки ее не уговорил, верно?
* Саня, Саня, ты чудак! Если бы он ее уговорил, разве стал бы я тебе писать, чтобы ты приехал? Но кто знает! Быть может, он добился бы своего, в конце концов, как он добился… Я понял, что он хотел сказать: «Как он добился того, что Марья Васильевна стала его

женой».

Я не знал, оставаться мне или уйти, – было уже семь часов, и каждую минуту могла позвонить Катя. Мне было просто физически трудно уйти от него. Я молча смотрел, как он курит, опустив седую голову и вытянув длинные ноги, и думал о том, как он глубоко любил Марью Васильевну, и как ему не повезло, и как он верен ее памяти, – вот почему он так пристально следил все эти годы за Катиной жизнью.

Потом он спохватился и сказал, что мне лучше уйти.

– Без тебя мне будет удобнее говорить с нею. Он проводил меня, и мы расстались до завтра.

Было еще совсем светло, когда я вышел на улицу; солнце заходило, отражаясь в окнах на другой стороне Садовой.

Я стоял у подъезда и смотрел вдоль улицы – оттуда должна была придти Катя. Должно быть, я довольно долго ждал, потому что окна стали темнеть по очереди, слева направо. Потом я увидел ее – и вовсе не там: она вышла из Оружейного переулка и стояла на тротуа- ре, дожидаясь, пока проедут машины. Мне стало почему–то страшно, когда я увидел, как она переходит улицу, задумчивая, в том самом платье, в котором она была у Большого теат- ра, и очень грустная. Теперь она была совсем близко, но она шла, опустив голову, и не ви- дела меня. Впрочем, я и не хотел, чтобы она меня видела. Я мысленно пожелал ей бодрости и всего самого лучшего, что я только мог пожелать ей в эту минуту, и до самого подъезда проводил ее взглядом. Она исчезла в подъезде, но мысленно я шел за нею – я видел, как Иван Павлыч встречает ее, волнуясь и стараясь казаться совершенно спокойным, и как он долго, нервно вставляет папиросу в свой длинный мундштук, прежде чем начать разговор…

Теперь окна стали быстро темнеть, и красноватый отсвет держался только в двух крайних окнах крайнего дома, выходящего на Оружейный; в этом доме, когда я учился, был художественный подотдел Московского Совета.

Было только восемь часов, и мне не хотелось идти домой. Я долго сидел в садике ка- кого–то дома; из этого садика был виден подъезд нашей школы. Несколько раз я заходил во двор, чтобы посмотреть, не зажегся ли уже свет в квартире Кораблева. Но они говорили в сумерках – Иван Павлыч говорил, а Катя слушала и молчала.

Другой разговор представился мне, когда я смотрел на эти темные окна: так же вдруг

вставал и начинал расхаживать по комнате Кораблев, сложив руки на груди, не находя себе места. И Марья Васильевна сидела выпрямившись, с неподвижным лицом и иногда поправ- ляла узкой рукой прическу: «Монтигомо Ястребиный Коготь, я его когда–то так называла». Уже не бледная, а какая–то белая, она сидела перед нами и все курила, везде был пепел – и у нее на коленях. Она была неподвижна, спокойна, только иногда слабо потягивала широкую коралловую нитку на шее, точно эта нитка ее душила. Они боялась правды, потому что не в силах была ее перенести. А Катя не боится правды, и все будет хорошо, когда она узнает ее.

…Давно уже горел свет, и на шторе я видел длинный черный силуэт Кораблева. Потом Катя появилась рядом с ним, но скоро ушла, как будто сказала только одну длинную фразу.

Теперь на улице совсем стемнело, и это было прекрасно, потому что стало, наконец, неудобно, что я так долго сижу в этом садике и время от времени хожу смотреть на окна.

И вдруг Катя вышла из подъезда одна и медленно пошла по Садовой.

Без сомнения, она шла домой. Но, как видно, она не очень–то торопилась домой, у нее было о чем подумать, прежде чем вернуться домой. Она шла и думала, и я шел за ней, и это было так, как будто мы одни шли в огромном городе, совершенно одни – Катя и я за ней, но она меня не видала. Трамваи оглушительно звенели, подлетая к площади, ревели перед красным огнем светофора машины, и мне казалось, что очень трудно думать, когда вокруг такой дьявольский шум, – еще не то придумаешь, не то, что нужно! Не то, что так нужно и мне, и ей, и капитану, если бы он был жив, Марье Васильевне, если бы она была жива, – всем живым и мертвым.

**Глава 9.**

**ВСЕ РЕШЕНО, ОНА УЕЗЖАЕТ.**

В номере давно уже было совершенно светло, но я забыл погасить лампу и, должно быть, поэтому казался себе в зеркале немного бледным. Мне было холодно, и на спине то появлялась, то проходила «гусиная кожа». Я снял трубку. Долго не отвечали. Наконец отве- тили, и я узнал Катин голос.

* Катя. Это я. Ничего, что так рано?

Она сказала, что ничего, хотя еще только пробило восемь.

* Не разбудил?
* Нет.

Я не спал эту ночь и был уверен, что и она не спала ни минуты.

* Катя, можно мне приехать? Она помолчала.
* Приезжай.

Совершенно незнакомая девушка, довольно толстая, с белокурыми косами вокруг го- ловы, открыла мне и покраснела, когда я спросил:

* Катя дома?
* Дома.

Я рванулся куда–то, сам не знаю, куда, в общем – к Кате, но эта девушка закрыла дверь перед моим носом и сказала насмешливо:

* Что вы, товарищ командир! Не так скоро.

Потом она захохотала – и так оглушительно, и так без всякого повода, что тут уже не узнать ее было невозможно.

* Кирен!

Катя вышла из столовой, как раз когда мы шагнули друг к другу через какие–то чемо- даны и чуть было не обнялись с разбегу, но Кирен застенчиво попятилась, и пришлось про- сто пожать ей руку.

* Кирен, да вы ли это? Откуда?
* Она самая, – хохоча, сказала Кирен. – Только, пожалуйста, не называйте меня Кирен.

Я теперь уже не такая дура.

И мы снова стали усердно трясти друг другу руки… Должно быть, она ночевала у Ка- ти, потому что на ней был Катин халат, от которого все время отлетали пуговицы, пока мы

укладывали вещи. Два открытых чемодана стояли в передней, потом в столовой, и мы укладывали в эти чемоданы белье, книги, какие–то приборы, – словом, все, что было Катино в этом доме. Она уезжает. Куда? Я не спрашивал. Она уезжает. Все решено. Она уезжает.

Я не спрашивал, потому что я и так знал каждое слово ее разговора с Кораблевым и каждое слово, которое она сказала Николаю Антонычу, когда вернулась домой. Николая Антоныча не было в городе, – кажется, он был где–то в области, в Волоколамске, но все равно я знал каждое слово, которое она сказала бы ему, если бы, вернувшись от Кораблева, она нашла его дома.

Решительная, бледная, она ходила, громко разговаривала, распоряжалась, Но это было спокойствие потрясенного человека, и я чувствовал, что сейчас не нужно говорить ни о чем. Я только крепко пожал ее руки и поцеловал их, и она в ответ тихонько сжала мои пальцы.

Но вот кто действительно растерялся – старушка. Она сурово встретила меня, только кивнула и гордо прошла мимо. Потом вдруг вернулась и с мстительным видом сунула в че- модан какую–то блузку.

* И очень хорошо. А что же? Так и нужно.

Она долго сидела в столовой и ничего не делала, только критиковала нашу укладку, а потом сорвалась и как ни в чем не бывало, побежала на кухню ругать домработницу за то, что та чего–то там мало купила.

* Я ей тыщу раз говорила: видишь ливер – бери, – сказала она мне, вернувшись, – ви- дишь заднюю часть хорошую – бери. «Да как же так, да я без вас не знаю». А что тут знать? Нерешительная. Я таких терпеть не могу.
* Бабушка, ничего не нужно, – сказала Катя.
* Не нужно? Как это так? Взяла бы.

Потом материальные заботы оставляли ее, и она начинала вздыхать и украдкой пить у буфета лавровишневые капли. Время от времени она забегала куда–нибудь, где никого не было, и уговаривала себя не волноваться. Но недолго действовали на нее эти самоуговоры – и снова нужно было бежать к буфету и украдкой пить лавровишневые капли…

Не много времени понадобилось нам, чтобы уложить Катины вещи. У нее было мало вещей, хотя она уезжала из дому, в котором провела почти всю свою жизнь. Все здесь при- надлежало Николаю Антонычу. Но зато из своих вещей она ничего не оставила, – она не хотела, чтобы хоть одна какая–нибудь забытая мелочь могла ей напомнить о том, что она жила в этом доме.

Она уезжала отсюда вся – со всей своей юностью, со своими письмами, со своими первыми рисунками, которые хранились у Марьи Васильевны, с «Еленой Робинзон» и

«Столетием открытий», которое я брал у нее в третьем классе.

В девятом классе я брал у нее другие книги, и, когда дошла очередь и до них, она по- звала меня к себе и прикрыла дверь.

* Саня, я хочу подарить тебе эти книги, – сказала она немного дрожащим голосом. – Это папины, я всегда очень берегла их. Но теперь мне хочется подарить их тебе. Здесь Нан- сен, потом разные лоции и его собственная.

Потом она провела меня в кабинет Николая Антоныча и сняла со стены портрет капи- тана – прекрасный портрет моряка с широким лбом, сжатыми челюстями и светлыми жи- выми глазами.

* Не хочу оставлять ему, – сказала она твердо, и я унес портрет в столовую и бережно упаковал его в тюк с подушками и одеялом.

Это была единственная вещь, принадлежавшая Николаю Антонычу, которую Катя увозила с собой. Если бы она могла, она увезла бы самую память о капитане из этого под- лого дома.

Не знаю, кому принадлежал маленький морской компас, который когда–то так поразил меня, – тайком от Кати я сунул и его в чемодан. Во всяком случае, он принадлежал капита- ну.

Вот и все. Вероятно, это было самое пустынное место на свете, когда, уложив вещи и взяв в руки пальто, мы прощались с Ниной Капитоновной в передней. Она оставалась, но ненадолго – пока Катя не переедет в комнату, которую ей предлагал институт.

– Ненадолго, – торжественно сказала старушка, заплакала и поцеловала Катю.

Кира споткнулась на лестнице, села на чемодан, чтобы не скатиться, и захохотала. Ка- тя сердито сказала ей: «Кирка, дура!» А я шел за ними, и мне казалось, что я вижу, как Ни- колай Антоныч поднимается по этой лестнице, звонит и молча слушает, что говорит ему старушка. Дрожащей рукой он проводит по лысой голове и идет в свой кабинет, механиче- ски переставляя ноги, как будто боится упасть. Один в пустом доме.

И он догадывается, что Катя не вернется никогда.

**Глава 10.**

**НА СИВЦЕВОМ–ВРАЖКЕ.**

До сих пор это был самый обыкновенный кривой московский переулок, вроде Соба- чьей Площадки, на которой когда–то жил Петька. Но вот Катя переехала на Сивцев–Вражек

– и с тех пор он удивительно переменился. Он стал именно тем переулком, в котором жила Катя и который поэтому был ничуть не похож на все другие московские переулки. И самое название, которое всегда казалось мне смешным, теперь стало значительным и каким–то

«Катиным», как все, что было связано с нею…

Каждый день я приходил на Сивцев–Вражек. Кати с Кирой еще не было дома, и меня встречала и занимала разговорами Кирина мама. Это была чудная мама, артист- ка–декламаторша, выступавшая в московских клубах с чтением классических произведений, маленькая, седеющая и романтическая – не то, что Кира. Обо всем она говорила как–то вос- торженно, и сразу было видно, что она обожает литературу. Это тоже было не очень похоже на Киру, особенно если вспомнить, с каким трудом она когда–то одолела «Дубровского» и как была убеждена, что в конце концов «Маша за него вышла».

С этой мамой мы разговаривали иной раз часа по два, к сожалению, все о какой–то Варваре Робинович, тоже декламаторше, но знаменитой, у которой Кирина мама собиралась брать уроки, но раздумала, потому что эта Варвара приняла ее с «задранным носом».

Потом являлась Кира – и каждый раз говорила одно и тоже:

– Ай–ай–ай, опять одни, в темноте. Интересно, интересно… Саня, я просто дрожу за мать, – говорила она трагически. – Она в тебя влюбилась. Мамочка, что с тобой? Такое увлечение на старости лет! Боюсь, что это может кончиться плохо.

И, как всегда, мама обижалась и уходила на кухню, а Кира топала за ней – объясняться и целоваться.

Потом приходила Катя. Иван Павлыч был прав – я не знал ее. И дело вовсе не в том, что я не знал многих фактов ее жизни, – например, что в прошлом году ее партия (она рабо- тала начальником партии) нашла богатое золотое месторождение на Южном Урале или что на выставке фотолюбителей ее снимки заняли первое место. Я не знал ее душевной твердо- сти, ее прямодушия, ее справедливого, умного отношения к жизни – всего, что Кораблев так хорошо назвал «нелегкомысленной, серьезной душой». Мне казалось, что она гораздо стар- ше меня, – особенно, когда она начинала говорить об искусстве, от которого я здорово от- стал за последние годы. Но вдруг в ней показывалась прежняя Катька, увлекавшаяся взры- вами и глубоко потрясенная тем, что «сопровождаемый добрыми пожеланиями тлакскаланцев, Фердинанд Кортес отправился в поход и через несколько дней вступил в Гонолулу». О Фердинанде Кортесе я вспомнил, увидев на одном фото Катю верхом, в муж- ских штанах и сапогах, с карабином через плечо, в широкополой шляпе. Геолог–разведчик! Капитан был бы доволен, увидев это фото.

Так прошло несколько дней, а мы еще не говорили о том, что произошло после нашей последней встречи, хотя произошло так много, что разговоров об этом могло бы, кажется, хватить на целую жизнь. Мы как будто чувствовали, что нужно сначала хорошенько вспом- нить друг друга. Ни слова о Николае Антоныче, о Ромашове, о том, что я виноват перед ней. Но это было не так–то легко, потому что почти каждый вечер на Сивцев–Вражек приходила старушка.

Сперва она приходила торжественная, церемонная, в платье с буфами и все рассказы- вала истории – это было, когда Николай Антоныч еще не вернулся. Так, она рассказала о своей подруге, которая вышла замуж за «попа–стрижака», и как поп нажился, а потом вышел на амвон и говорит: «Граждане, я пришел к убеждению, что бога нет». Не знаю, к чему это было рассказано, – должно быть, старушка находила между этим попом и Николаем Антонычем какое–то сходство.

Но вот однажды она прибежала расстроенная и сказала громким шепотом: «Приехал». И сейчас же заперлась с Катей. Уходя, она сказала сердито:

* Нужно тактику иметь – жить с людьми.

Но Катя ничего не ответила, только молча, задумчиво поцеловала ее на прощанье. Назавтра старушка пришла заплаканная, усталая, с зонтиком и села в передней.

* Заболел, – сказала она. – Доктора к нему позвала. Гомеопата. А он его прогнал. Го- ворит: «Я ей отдал всю жизнь, и вот благодарность».

Она всхлипнула.

* «Это последнее, что держало меня в жизни. Теперь – конец». В этом роде.

Очевидно, это был еще не конец, потому что Николай Антоныч поправился, хотя сильный сердечный припадок действительно уложил его на несколько дней в постель. Он звал Катю. Но она не пошла к нему. Я слышал, как она сказала Нине Капитоновне:

* Бабушка, больного или здорового, живого или мертвого, я не хочу его видеть. Ты поняла?
* Поняла, – отвечала Нина Капитоновна. – Вот и отец ее такой был, – уходя, жалова- лась она Кириной маме. – Как переломит ее – у–у. Хоть под поезд бросай! Фанатичная.

Но Николай Антоныч поправился, и старушка повеселела. Теперь она забегала иногда по два раза в день – и таким образом у нас все время были самые свежие новости о Николае Антоныче и Ромашке. Впрочем, о Ромашке однажды упомянула и Катя.

* Он заходил ко мне на службу, – кратко сказала она, – но я попросила передать, что у меня нет времени и никогда не будет.

–…Письмо пишут, – однажды сообщила старушка. Все летчик Г., летчик Г. Донос, поди. И этот просто из себя выходит, – попович–то. А Николай Антоныч молчит. Распух весь, сидит и молчит. В шали моей сидит…

Несколько раз на Сивцев–Вражек приходил Валя, и тогда все бросали свои дела и раз- говоры и смотрели, как он ухаживает за Кирой. И он действительно ухаживал за ней по всем правилам и в полной уверенности, что об этом никто не подозревает.

Он приносил Кире цветы в горшках – всегда одни и те же, так что ее комната превра- тилась в маленький питомник чайных роз и примул. Меня и Катю он видел, очевидно, в ка- ком–то полусне, а наяву только Киру и иногда Кирину маму, которой он тоже делал подар- ки, – так, однажды он принес ей «Чтец–декламатор» издания 1917 года.

Время от времени он просыпался и рассказывал какую–нибудь забавную историю из жизни тушканчиков или летучих мышей.

Хорошо, что Кире не много нужно было, чтобы рассмеяться…

Так проходили эти вечера на Сивцевом–Вражке – последние вечера перед моим воз- вращением на Север.

У меня было много хлопот: нельзя сказать, что мое предложение организовать поиски экспедиции капитана Татаринова было встречено с восторгом; или я бестолково взялся за дело?

Я написал несколько статей: о моем способе крепления самолета во время пурги – в журнал «Гражданская авиация», о дневниках штурмана – для «Правды» и докладную за- писку – в Главсевморпуть. Через несколько дней, как раз накануне отъезда, я должен был выступить со своим основным сводным докладом о дрейфе «Св. Марии» на выездной сессии Географического общества.

Очень веселый, я однажды вернулся к себе в первом часу ночи. Я подошел к портье за ключом, и он сказал:

* Вам письмо.

И дал мне письмо и газету.

Письмо было очень краткое: секретарь Географического общества извещал меня, что мой доклад не может состояться, так как я своевременно не представил его в письменном виде. Газета, только что я взял ее в руки, сама развернулась на сгибе. Статья называлась: «В защиту ученого». Я начал ее читать, и строчки слились перед моими глазами…

**Глава 11.**

**ДЕНЬ ХЛОПОТ.**

Вот что было написано в этой статье:

1. Что в Москве живет известный педагог и общественник, профессор Н.А.Татаринов, автор ряда статей по истории завоевания и освоения Арктики.
2. Что некий летчик Г. ходит по разным полярным учреждениям и всячески чернит этого уважаемого ученого, утверждая, что профессор Татаринов обокрал (!) экспедицию своего двоюродного брата капитана И.Л.Татаринова.
3. Что этот летчик Г. собирается даже выступить с соответствующим до- кладом, считая, очевидно, свою клевету крупным научным достижением.
4. Что Управлению Главсевморпути следовало бы обратить внимание на этого человека, позорящего своими действиями семью советских полярников.

Статья была подписана «И.Крылов», и я удивился, как у редакции хватило совести подписывать такую статью именем великого человека. Я не сомневался, что Николай Ан- тоныч сам написал ее, – это и было то «письмо», о котором говорила старушка. Газета была прислана почтой на мое имя.

«Черт возьми, а если это не он? – Был уже третий час, а я все ходил и думал. – Вот письмо из Географического общества – это, без сомнения, он. Еще Кораблев говорил, что Николай Антоныч состоит членом этого общества, и ругал меня за то, что я рассказал о своем докладе Ромашке. Но и статья – это он! Он растерялся. Катя уехала, и он растерялся».

И мне представилось, как он сидит в старушкиной шали и молчит, а Ромашка грубит ему. Это было очень возможно!

«…Меньше всего следовало бы им желать, чтобы меля вызвали в Главсевморпуть и потребовали объяснений! Только этого я и добиваюсь». Я думал об этом уже лежа в посте- ли. «Позорящего своими действиями…» Какими действиями? Еще ни с кем я не говорил о нем. Они надеются, что я отступлю, испугаюсь…

Очень может быть, что если бы не эта статья, я так и уехал бы из Москвы, почти ниче- го не сделав для капитана. Но статья подстегнула меня. Теперь я должен был действовать – и чем скорее, тем лучше.

Не следует думать, что я был так же спокоен, как теперь, когда вспоминаю об этом. Несколько раз я ловил себя на довольно диких мыслях, в которых, между прочим, прекрасно разбирается уголовный розыск. Но стоило мне вспомнить Катю и ее слова: «Больного или здорового, живого или мертвого, я не хочу его видеть», как все становилось на место, и я сам удивлялся спокойствию, с которым говорил и действовал в этот хлопотливый день.

С утра был намечен план – очень простой, но, пожалуй, по этому плану видно, что мне уже надоело разговаривать с делопроизводителями и секретарями.

1. Поехать в «Правду». Все равно, мне нужно было в «Правду», потому что я должен был перед отъездом сдать обещанную статью.
2. Поехать к Ч.

Эта мысль – поехать к Ч., к знаменитому Ч., который был когда–то героем Ленинград- ской школы, а потом стал Героем Советского Союза, которого знает и любит вся страна, – была у меня еще ночью, но тогда она показалась мне слишком смелой. Удобно ли звонить ему? Помнит ли он меня? Ведь мы расстались, когда я был учлетом!

Но теперь я решился – что же, он не откажется принять меня, даже если не помнит! Не знаю, кто подошел к телефону, должно быть жена.

* Это говорит летчик Григорьев.
* Да.
* Дело в том, что мне очень нужно повидать товарища Ч., – я назвал его по имени и отчеству. – Я приехал из Заполярья и вот… очень нужно.
* А вы заходите.
* Когда?
* Лучше сегодня, он в десять часов приедет с аэродрома…

Я приехал в «Правду» и на этот раз часа два ждал своего журналиста. Наконец он пришел.

* А, летчик Г.? – сказал он довольно приветливо. – Который позорит?
* Он самый.
* Что же так?
* Позвольте объясниться, – сказал я спокойно.

Это был очень серьезный разговор в кабинете ответственного редактора, разговор, во время которого на стол по очереди были положены:

а) Последнее письмо капитана (копия).

б) Письмо штурмана, которое начиналось словами: «Спешу сообщить вам, что Иван Львович жив и здоров» (копия).

в) Дневники штурмана.

г) Заверенная доктором запись рассказа охотника Ивана Вылки. д) Заверенная Кораблевым запись рассказа Вышимирского.

е) Фотоснимок латунного багра с надписью «Шхуна „Св. Мария“.

Кажется, это был удачный разговор, потому что один серьезный человек крепко пожал мне руку, а другой сказал, что в одном из ближайших номеров «Правды» будет напечатана моя статья о дрейфе «Св. Марии».

От «Правды» до квартиры Ч. по меньшей мере, шесть километров, но только на пол- пути я вспоминаю, что можно было воспользоваться трамваем. Я лечу, как сумасшедший, и думаю о том, как я сейчас расскажу ему об этом разговоре в «Правде».

И вот я поднимаюсь по лестнице, по чистой лестнице нового дома, останавливаюсь перед дверью и вытираю лицо – очень жарко – и стараюсь медленно думать о чем–нибудь – верное средство перестать волноваться.

Дверь открывается, я называю себя и слышу из соседней комнаты его низкий окающий голос:

* Ко мне?

И вот этот человек, которого мы полюбили в юности и с каждым годом, не видя его в глаза, только слыша о его гениальных полетах, с каждым годом любили все больше, выхо- дит ко мне и протягивает сильную руку.

* Товарищ Ч., – говорю я и называю его по имени и отчеству, – едва ли вы помните меня. Это говорит Григорьев. То есть не говорит, а просто Григорьев. Мы встречались в Ленинграде, когда я был учлетом.

Он молчит. Потом говорит с удовольствием:

* Ну как же! Орел был! Помню!

И мы идем в его кабинет, и я начинаю свой рассказ, волнуясь еще больше, потому что оказалось, что он меня помнит…

Это была та самая встреча с Ч., когда он подарил мне свой портрет с надписью: «Если быть – так быть лучшим». Он сказал, что я из той породы, «у которых билет дальнего сле- дования». Он выслушал меня и сказал, что завтра же будет звонить начальнику Главсевморпути о моем проекте.

**Глава 12.**

**РОМАШКА.**

В двенадцатом часу ночи я простился с Ч. и вернулся к себе. Поздний час для гостей.

Но меня ждал гость – правда, непрошеный, но все–таки гость.

Портье сказал:

– К вам.

И навстречу мне поднялся Ромашка.

Нужно полагать, что он не только душой, но и телом приготовился к этому визиту, потому что таким роскошным я его еще не видел. Он был в каком–то широком пальто

стального цвета и в мягкой шляпе, которая не сидела, а стояла на его большой неправильной голове. От него пахло одеколоном.

* А, Ромашка, – сказал я весело. – Здравствуй, Сова! Кажется, он был потрясен таким приветствием.
* А, да, Сова, – улыбаясь, сказал он. – Я совсем забыл, что так меня называли в школе.

Но удивительно, как ты помнишь эти школьные прозвища! Он тоже старался говорить в непринужденном духе.

* Я, брат, все помню. Ты ко мне?
* Если ты не занят.
* Ничуть, – сказал я. – Абсолютно свободен.

В лифте он все время внимательно смотрел на меня: как видно, прикидывал, не пьян ли я и, если пьян, какую выгоду можно извлечь из этого дела. Но я не был пьян – был выпит только один стакан вина за здоровье великого летчика и моего старшего друга…

* Вот ты где живешь, – заметил он, когда я вежливо предложил ему кресло. – Хороший номер.
* Ничего.

Я ждал, что сейчас он спросит, сколько я плачу за номер. Но он не спросил.

* Вообще это хорошая гостиница, – сказал он, – не хуже «Метрополя».
* Пожалуй.

Он надеялся, что я первый начну разговор. Но я сидел, положив ногу на ногу, курил и с глубоким вниманием изучал «Правила для приезжающих», лежавшие под стеклом, кото- рым был покрыт письменный стол. Тогда он вздохнул довольно откровенно и начал.

* Саня, нам нужно поговорить об очень многих вещах, – сказал он серьезно. – И мы, кажется, достаточно культурные люди, чтобы обсудить и решить все это мирным путем, Не так ли?

Очевидно, он еще не забыл, как я однажды решил «все это» не очень мирным путем.

Но с каждым словом голос его становился тверже.

* Я не знаю, какие непосредственные причины побудили Катю внезапно уехать из до- му, но я вправе спросить: не связаны ли эти причины с твоим появлением?
* А ты бы спросил об этом у Кати, – отвечал я спокойно.

Он замолчал. У него запылали уши, а глаза вдруг стали бешеные, лоб разгладился. Я смотрел на него с интересом.

* Однако мне известно, – начал он снова немного сдавленным голосом, – что она уехала с тобою.
* Совершенно верно. Я даже помогал ей укладывать вещи.
* Так, – сказал он хрипло. Один глаз у него теперь был почти закрыт, а другим он ко- сил – довольно страшная картина. Таким я видел его впервые.
* Так, – снова повторил он.
* Да, так.
* Да.
* Мы помолчали.
* Послушай, – начал он снова. – Мы с тобой не договорили тогда на юбилее Корабле- ва. Должен тебе сказать, что в общих чертах я знаю эту историю с экспедицией «Святой Марии». Я тоже интересовался ею так же, как и ты, но, пожалуй, с несколько иной точки зрения.

Я ничего не ответил. Мне была известна эта точка зрения.

* Между прочим, тебе, кажется, хотелось узнать, какую роль играл в этой экспедиции Николай Антоныч. По крайней мере, так я мог судить по нашему разговору.

Он мог судить об этом не только по нашему разговору. Но я не возражал ему. Я еще не понимал, куда он клонит.

* Думаю, что могу оказать тебе в этом деле серьезную услугу.
* В самом деле?
* Да.

Он вдруг бросился ко мне, и я инстинктивно вскочил и стал за кресло.

* Послушай, послушай, – пробормотал он, – я знаю о нем такие вещи! Я знаю такую

штуку! У меня есть доказательства, от которых ему не поздоровится, если только умеючи взяться за дело. Ты думаешь – он кто?

Три раза он повторил эту фразу, придвинувшись ко мне почти вплотную, так что мне пришлось взять его за плечи и слегка отодвинуть. Но он этого даже не заметил.

* Такие штуки, о которых он сам забыл, – продолжал Ромашка. – В бумагах. Конечно, он говорил о бумагах, взятых им у Вышимирского.
* Я знаю, отчего вы поссорились. Ты говорил, что он обокрал экспедицию, и он тебя выгнал. Но это – правда. Ты оказался прав.

Второй раз я слышал это признание, но теперь оно доставило мне мало удовольствия.

Я только сказал с притворным изумлением:

* Да что ты?
* Это он! – с каким–то подлым упоением повторил Ромашка. – Я помогу тебе. Я тебе все отдам, все доказательства. Он у нас полетит вверх ногами.

Нужно было промолчать, но я не удержался и спросил:

* За сколько? Он опомнился.
* Ты можешь принять это как угодно, – сказал он. – Но я тебя прошу только об одном: чтобы ты уехал.
* Один?
* Да.
* Без Кати?
* Да.
* Интересно. То есть, иными словами, ты просишь, чтобы я от нее отступился?
* Я люблю ее, – сказал он почти надменно.
* Ага, ты ее любишь! Это интересно. И чтобы мы не переписывались, не правда ли? Он молчал.
* Подожди–ка минутку, я сейчас вернусь, – сказал я и вышел.

Заведующая этажом сидела у столика в вестибюле; я попросил у нее разрешения по- звонить по телефону и, пока разговаривал, все время смотрел вдоль коридора, не ушел ли Ромашка. Но он не ушел – едва ли ему могло придти в голову, кому я звоню по телефону.

* Николай Антоныч? Это говорит Григорьев. – Он переспросил. Наверно, решил, что ослышался. – Николай Антоныч, – сказал я вежливо, – извините, что я так поздно беспокою вас. Дело в том, что мне необходимо вас видеть.

Он молчал.

* В таком случае, приезжайте ко мне, – наконец сказал он.
* Николай Антоныч! Как говорится, не будем считаться визитами. Поверьте мне, это очень важно, и не столько для меня, как для вас.

Он молчал, и мне было слышно его дыхание.

* Когда? Сегодня я не приеду.
* Нет, именно сегодня. Сейчас. Николай Антоныч, – сказал я громко, – поверьте мне хоть один раз в жизни. Вы приедете. Я вешаю трубку.

Он не спросил, в каком номере я остановился, и это было, между прочим, лишним подтверждением, что газету со статьей «В защиту ученого» прислал именно он. Но сейчас мне было не до таких мелочей. Я вернулся к Ромашке.

Не запомню, когда еще я так врал и изворачивался, как в эти двадцать минут, пока не приехал Николай Антоныч. Я притворился, что мне совсем не интересно, кем прежде был Николай Антоныч, расспрашивал, что это за бумаги, и уверял гнусавым от хитрости голо- сом, что не могу уехать без Кати. Но вот в дверь постучали, я крикнул:

* Войдите!

И Николай Антоныч вошел и, не кланяясь, остановился у порога.

* Здравствуйте, Николай Антоныч! – сказал я.

Я не смотрел на Ромашку, потом посмотрел: он сидел на краешке стула, втянув голову в плечи, и беспокойно прислушивался – настоящая сова, но страшнее.

* Вот, Николай Антоныч, – продолжал я очень спокойно, – вам, без сомнения, изве- стен этот гражданин. Это некто Ромашов, ваш любимый ученик и ассистент и без пяти ми-

нут родственник, если я не ошибаюсь. Я пригласил вас, чтобы передать в общих чертах со- держание нашего разговора.

Николай Антоныч все стоял у порога – очень прямой, удивительно прямой, в пальто и со шляпой в руке. Потом он уронил шляпу.

* Этот Ромашов, – продолжал я, – явился ко мне часа полтора тому назад и предложил следующее: он предложил мне воспользоваться доказательствами, из которых следует: во–первых, что вы обокрали экспедицию капитана Татаринова, а во–вторых, еще разные штуки, касающиеся вашего прошлого, о которых вы не упоминаете в анкетах.

Вот тут он уронил шляпу.

* У меня создалось впечатление, – продолжал я, – что этот товар он продает уже не в первый раз. Не знаю, может быть, я ошибаюсь.
* Николай Антоныч! – вдруг закричал Ромашка. – Это все ложь. Не верьте ему. Он

врет.

Я подождал, пока он перестанет кричать.

* Конечно, теперь это, в сущности, все равно, – продолжал я, – теперь это дело только

ваших отношений. Но вы сознательно…

Я давно чувствовал, что на щеке прыгает какая–то жилка, и это мне не нравилось, по- тому что я дал себе слово разговаривать с ними совершенно спокойно.

* + Но вы сознательно шли на то, что этот человек может стать Катиным мужем. Вы уговаривали ее – из подлости, конечно, – потому что вы его испугались. А теперь он же приходит ко мне и кричит: «Он у нас полетит вверх ногами».

Как будто очнувшись, Николай Антоныч сделал шаг вперед и уставился на Ромашку. Он смотрел на него долго, так долго, что даже и мне трудно было выдержать эту напряжен- ную тишину.

* + Николай Антоныч, – снова жалостно пробормотал Ромашка.

Николай Антоныч все смотрел. Но вот он заговорил, и я поразился: у него был надо- рванный, старческий голос.

* + Зачем вы пригласили меня сюда? – спросил он. – Я болен, мне трудно говорить. Вы хотели уверить меня, что он негодяй. Это для меня не новость. Вы хотели снова уничтожить меня, но вы не в силах сделать больше того, что уже сделали – и непоправимо. – Он глубоко вздохнул. Действительно, я видел, что говорить ему было трудно.
  + На ее суд, – продолжал он так же тихо, но уже с другим, ожесточенным выражени- ем, – отдаю я тот поступок, который она совершила, уйдя и не сказав мне ни слова, поверив подлой клевете, которая преследует меня всю жизнь.

Я молчал. Ромашка дрожащей рукой налил стакан воды и поднес ему.

* + Николай Антоныч, – пробормотал он, – вам нельзя волноваться.

Но Николай Антоныч с силой отвел его руку, и вода пролилась на ковер.

* + Не принимаю, – сказал он и вдруг сорвал с себя очки и стал мять их в пальцах. – Не принимаю ни упреков, ни сожаления. Ее дело. Ее личная судьба. А я одного ей желал: сча- стья. Но память о брате я никому не отдам, – сказал он хрипло, и у него стало угрюмое, одутловатое лицо с толстыми губами. – Я, может быть, рад был бы поплатиться и этим страданием – уж пускай до смерти, потому что мне жизнь давно не нужна. Но не было этого, и я отвергаю эти страшные, позорные обвинения. И хоть не одного, а тысячу ложных свиде- телей приведите, – все равно никто не поверит, что я убил этого человека с его мыслями ве- ликими, с его великой душой.

Я хотел напомнить Николаю Антонычу, что он не всегда был такого высокого мнения о своем брате, но он не дал мне заговорить.

* + Только одного свидетеля я признаю, – продолжал он, – его самого, Ивана. Он один может обвинить меня, и если бы я был виноват, он один бы имел на это право.

Николай Антоныч заплакал. Он порезал пальцы очками и стал долго вынимать носо- вой платок. Ромашка подскочил и помог ему, но Николай Антоныч снова отстранил его ру- ки.

* + Здесь бы и мертвый, кажется, заговорил, – сказал он и, болезненно, часто дыша по- тянулся за шляпой.
  + Николай Антоныч, – сказал я очень спокойно, – не думайте, что я намерен отдать

всю жизнь, чтобы убедить человечество в том, что вы виноваты. Для меня это давно ясно, а теперь и не только для меня. Я пригласил вас не для этого разговора. Просто я считал своим долгом раскрыть перед вами истинное лицо этого прохвоста. Мне не нужно то, что он со- общил о вас, – больше того, я давно знаю все это. Хотите ли вы сказать ему что–нибудь?

Николай Антоныч молчал.

* + Ну, тогда пошел вон! – сказал я Ромашке.

Он бросился было к Николаю Антонычу и стал ему что–то шептать. Но, как бесчув- ственный, стоял, глядя прямо перед собой, Николай Антоныч. Только теперь я заметил, как он постарел за эти дни, как был удручен и жалок. Но я не жалел его, – только этого еще не хватало.

* + Вон! – снова сказал я Ромашке.

Он не уходил, все шептал. Потом он подхватил Николая Антоныча под руку и повел его к двери. Это было неожиданно – тем более, что я выгонял именно Ромашку, а не Нико- лая Антоныча, которого сам же и пригласил. Мне хотелось еще спросить у него, кто написал статью «В защиту ученого» – И.Крылов не потомок ли баснописца? Но я опоздал, – они уже уходили.

Кажется, я все–таки не поссорил их. Они медленно шли под руку вдоль длинного ко- ридора, и только на одну минуту Николай Антоныч остановился. Он стал рвать волосы. У него не было волос, но на пальцах оставался детский пух, на который он смотрел с мучи- тельным изумлением. Ромашка придержал его за руки, почистил его пальто, и они степенно пошли дальше, пока не скрылись за поворотом.

Накануне отъезда Ч. позвонил мне и сказал, что он говорил с начальником Главсевморпути и сам прочитал ему мою докладную записку. Ответ положительный. В этом году уже поздно посылать экспедицию, но в будущем году – вполне вероятно. Проект раз- работан убедительно, подробно, но маршрутная часть нуждается в уточнении. Историческая часть весьма интересна. Буду вызван, извещение получу дополнительно.

Весь этот день я провел в магазинах: мне хотелось подарить что–нибудь Кате, мы опять расставались. Это было нелегкое дело. Бабу на чайник? Но у нее не было чайника. Платье? Но я никогда не мог отличить креп–сатэна от фай–дешина. Лейку? Лейка была бы ей очень нужна, но на лейку не хватало денег.

Без сомнения, я так бы ничего и не купил, если бы не встретил на Арбате Валю. Он стоял у окна книжного магазина и думал – прежде я бы безошибочно определил: о зверях. Но теперь у него был еще один предмет для размышлений.

* Валя, – сказал я. – Вот что. У тебя есть деньги?
* Есть.
* Сколько?
* Рублей пятьсот, – отвечал Валя.
* Давай все. Он засмеялся.
* А что – ты опять собираешься в Энск за Катей? Мы пошли в фотомагазин и купили лейку…

Для всех я уезжал ночью в первом часу, но с Катей мы стали прощаться с утра – я все забегал к ней то домой, то на службу. Мы расставались ненадолго: в августе она должна была приехать ко мне в Заполярье, а я ждал, что меня вызовут еще раньше – быть может, в июле. Но все–таки мне было немного страшно – как бы опять не расстаться надолго…

Валя принес на вокзал «Правду» с моей статьей. Все было напечатано совершенно так же, как я написал, только в одном месте исправлен стиль, а вся статья сокращена приблизи- тельно наполовину. Но выдержки из дневника были напечатаны полностью: «Никогда не забуду этого прощанья, этого бледного вдохновенного лица с далеким, взглядом. Что обще- го с прежним румяным, полным жизни человеком, выдумщиком анекдотов и забавных ис- торий, кумиром команды, с шуткой подступавшим к самому трудному делу. Никто не ушел после его речи. Он стоял с закрытыми глазами, как будто собираясь с силами, чтобы сказать прощальное слово. Но вместо слов вырвался чуть слышный стон, и в углу глаз сверкнули слезы…»

Мы с Катей читали это в коридоре вагона, и я чувствовал, как ее волосы касаются мо-

его лица, и чувствовал, что она сама чуть сдерживает слезы.

**ЧАСТЬ 6,**

**(рассказанная Катей Татариновой). МОЛОДОСТЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.**

**Глава 1.**

**«ТЫ ЕГО НЕ ЗНАЕШЬ»**

Иван Павлович деликатно ушел из вагона, а Валя все передавал приветы какому–то Павлу Петровичу из зверового совхоза: «Фу, черт! И доктору! Чуть не забыл!», пока Кира не вернулась и не увела его за руку. Мы остались одни. Ох, как мне не хотелось, чтобы Саня уезжал!

Вот какой он был в эту минуту – мне хотелось запомнить его всего, а не только глаза, в которые я смотрела: он стоял без фуражки и был такой молодой, что я сказала, что ему еще рано жениться. В форме он казался выше, но все–таки был маленького роста и, должно быть, поэтому иногда невольно поднимался на цыпочки – и сейчас, когда я обернулась. Он был подтянутый, аккуратный, но на макушке торчал хохол, который удивительно шел ему, особенно когда он улыбался. В эту минуту, когда мы обнялись и я в последний раз оберну- лась с площадки, он улыбался и был похож на того решительного, черного, милого Саню, в которого я когда–то влюбилась.

Все где–то стояли, но я не видела никого и чуть не упала, когда спускалась с площад- ки. Ох, как мне не хотелось, чтобы он уезжал!

Он взмахнул фуражкой, когда тронулся поезд, и я шла рядом с вагоном и все говорила:

«Да, да».

* Будешь писать?
* Да, да!
* Каждый день?
* Да!
* Приедешь?
* Да, да.
* Ты любишь меня?

Это он спросил шепотом, но я догадалась по движению губ.

* Да, да!

С вокзала мы поехали провожать Ивана Павловича, и дорогой он все говорил о Сане.

* Главное, не нужно понимать его слишком сложно, – сказал он. – А ты самолюбивая, и первое время вы будете ссориться. Ты, Катя, вообще его почти не знаешь.
* Здрасти!
* Знаешь, какая у него главная черта? Он всегда останется юношей, потому что это пылкая душа, у которой есть свои идеалы.

Он строго посмотрел на меня и повторил:

* Душа, у которой есть свои идеалы… А ты гордая – и можешь этого не заметить. Я засмеялась.
* И ничего смешного. Конечно, гордая, и девочкой, между прочим, была совсем дру- гая. А он – вспыльчивый. Ты вообще подумай о нем, Катя.

Я сказала, что я и так думаю о нем слишком много и не такой уж он хороший, чтобы о нем думать и думать.

Но вечером я так и сделала: села и стала думать о Сане. Все ушли. Валя с Кирой в ки- но, а Александра Дмитриевна в какой–то клуб – читать литмонтаж по Горькому «Стра- сти–мордасти», который она сама составила и которым очень гордилась, а я долго сидела над своей картой, а потом бросила ее и стала думать.

Да, Иван Павлович прав – я не знаю его! Мне все еще невольно представляется тот мальчик в куртке, который когда–то ждал меня в сквере на Триумфальной и все ходил и ходил, пока не зажглись фонари, пока я вдруг не решилась и не пошла к нему через площадь. Тот мальчик, которого я обняла, несмотря на то, что три школы – наша, 143–я и 28–я – мог- ли видеть, как мы целовались! Но тот мальчик существовал еще только в моем воображе- нии, а новый Саня был так же не похож на него, как не похож был наш первый поцелуй на то, что теперь было между нами.

Но я вовсе не понимала его слишком сложно! Я просто видела, что за тем миром мыс- лей и чувств, который я знала прежде, в нем появился еще целый мир, о котором я не имела никакого понятия. Это был мир его профессии – мир однообразных и опасных рейсов на Крайнем Севере, неожиданных встреч со знакомыми летчиками в Доме пилота, детских восторгов перед новой машиной, мир, без которого он не мог бы прожить и недели. Но мне в этом мире пока еще не было места. Однажды он рассказывал об опасном полете, и я пой- мала себя на очень странном чувстве – я слушала его, как будто он рассказывал о ком–то другом. Я не могла вообразить, что это он, застигнутый пургой, только чудом не погиб при посадке, а потом трое суток сидел в самолете, стараясь не спать и медленно замерзая. Это было глупо, но я сказала:

* А ты не можешь устроить, чтобы этого больше не было? У него стало смущенное лицо, и он сказал насмешливо:
* Есть! Больше не будет.

…Разумеется, он сам мог бы передать мне свой разговор с Вышимирским. Но он по- просил Ивана Павловича. Он почувствовал, что дело совсем не в том, что он лично оказался прав. Здесь была не личная правда, а совсем другая, и я должна была выслушать ее именно от Ивана Павловича, который любил маму и до сих пор одинок и несчастен. Я знала, что в этот вечер Саня ждал меня на улице, и нисколько не удивилась, увидев его у входа в садик на углу Воротниковского и Садовой. Но он не подошел, хотя я знала, что он идет за мной до самого дома. Он понял, что мне нужно побыть одной и что как бы я ни была близка к нему в эту минуту, а все–таки страшно далека, потому что он оказался прав, а я – не права и оскорблена тем, что узнала от Кораблева…

Мы провели только один вечер вместе за все время, что Саня был в Москве. Он при- шел очень усталый, и Александра Дмитриевна сейчас же ушла, хотя ей хотелось рассказать нам о том, как трудно выступать перед публикой и как непременно нужно волноваться, а то ничего не выйдет. Солнце садилось, и узенький Сивцев–Вражек был так полон им, как будто оно махнуло рукой на всю остальную землю и решило навсегда поместиться в этом кривом переулке. Я поила Саню чаем – он любит крепкий чай – и все смотрела, как он ест и пьет, и, наконец, он заставил меня сесть и тоже пить чай вместе с ним.

Потом он вдруг вспомнил, как мы ходили на каток, и выдумал, что один раз на катке поцеловал меня в щеку и что «это было что–то страшно твердое, пушистое и холодное». А я вспомнила, как он судил Евгения Онегина и все время мрачно смотрел на меня, а потом в заключительном слове назвал Гришку Фабера «мастистый».

* А помнишь, «Григорьев – яркая индивидуальность, а Диккенса не читал»?
* Еще бы! А с тех пор прочитал?
* Нет, – грустно сказал Саня, – все некогда было. Вольтера прочитал – «Орлеанская девственница». У нас в Заполярье, в библиотеке, почему–то много книг Вольтера.

У него глаза казались очень черными в сумерках, и мне вдруг показалось, что я вижу только эти глаза, а все вокруг темнеет и уходит. Я хотела сказать, что это смешно, что в За- полярье так много Вольтера, но мы вдруг много раз быстро поцеловались. В эту минуту по- звонил телефон, я вышла и целых полчаса разговаривала со своей старой профессоршей, которая называла меня «деточкой» и которой нужно было знать решительно все – и где я теперь обедаю, и купила ли я тот хорошенький абажур у «Мюра»… А когда я вернулась, Саня спал. Я окликнула его, но мне сразу же стало жалко, и я присела подле него на кор- точки и стала рассматривать близко–близко.

В этот вечер Саня передал мне дневник штурмана, и все бумаги, и фото. Дневник ле- жал в особой папке с замочком. Когда Саня ушел, я долго рассматривала эти обломанные по краям страницы, покрытые кривыми тесными строчками и вдруг – беспомощными, широ- кими, точно рука, разбежавшись, еще писала, а мысль уже бродила невесть где. Каким упорством, какой силой воли нужно обладать, чтобы прочитать эти дневники!

Багор с надписью «Св. Мария» остался в Заполярье, но Саня привез фото, и, должно быть, ни один багор в мире еще не был снят так превосходно!

Все это было как бы осколки одной большой истории, разлетевшейся по всему свету, и Саня подобрал их и написал эту историю или еще напишет. А я? Я не сделала ничего и, если бы не Саня, даже не узнала бы о своем отце ничего, кроме того, что мне было известно в тот прощальный день на Энском вокзале, когда отец взял меня на руки и в последний раз высо- ко подкинул и поймал своими добрыми большими руками.

Я обещала Сане писать каждый день, но каждый день писать было не о чем: по–прежнему я жила у Киры, много читала и работала, хотя это было не очень удобно, по-

тому что ящики с коллекциями так и стояли в передней, а карту приходилось чертить на ро- яле.

Тем летом я впервые не ездила в поле – нужно было обработать материал 34–го и 35–го годов, и Башкирское управление, в котором я служила, разрешило мне остаться на лето в Москве.

Бабушка приходила ко мне каждый день, и вообще все было прекрасно – между про- чим, еще и потому, что Валя с Кирой вдруг стали какие–то молчаливые, серьезные и все время сидели и тихо разговаривали в кухне. Больше им некуда было деться, потому что вся квартира состояла из одной большой старинной кухни, делившейся на «кухню вообще» и

«собственно кухню». Валя с Кирой сидели за перегородкой, то есть в «собственно кухне», так что Александре Дмитриевне приходилось теперь готовить ужин в «кухне вообще».

Больше Валя не дарил цветов, – очевидно, у него не было денег, – но зато однажды принес белую крысу и очень огорчился, когда Кира заорала и вскочила на стол. Он долго объяснял ей, что это прекрасный экземпляр – крыса–альбинос, редкая штука! Но Кира все орала и не хотела слезать со стола, так что ему пришлось завязать крысу–альбиноса в носо- вой платок и положить на столик в передней. Но там ее нашла Александра Дмитриевна, вернувшаяся со своего концерта, и тут поднялся такой крик, что Вале пришлось уйти со своим подарком.

Но по ночам, когда мы с Кирой, нашептавшись вволю, по очереди говорили друг дру- гу: «Ну, спать!», и она вдруг засыпала и во сне у нее становилось смешное, счастливое вы- ражение лица, а эти минуты, когда я оставалась одна, тоска, наконец, добиралась до сердца. Я начинала думать о том, какая у них чудная любовь, самое лучшее время в жизни, и как она не похожа на нашу! Они – вместе и видятся каждый день, а мы так далеко друг от друга!

И, как из окна вагона, мне виделись поля и леса, и снова поля, потом – тайга и холод- ные ленты северных рек, и равнины, равнины, покрытые снегом, – бесконечные простран- ства земли, которые легли между нами.

«Конечно, мы увидимся, – я уверяла себя. – Я поеду к нему, и все будет прекрасно. Два года я не брала отпуска, а теперь возьму и поеду, или он приедет, быть может, еще в июле».

Но тоска все не проходила.

Карта была трудная, потому что в прежних картах многое было напутано и теперь все приходилось делать сначала. Но чем труднее, тем с большим азартом я работала в эти дни, после Саниного отъезда. Несмотря на мои тоскливые ночи, я жила с таким чувством, как будто все тяжелое, скучное и неясное осталось позади, а впереди – только интересное и но- вое, от которого замирает сердце и становится весело, и легко, и немного страшно.

**Глава 2.**

**НА СОБАЧЬЕЙ ПЛОЩАДКЕ.**

Повсюду, где Саня был в последний день, он оставил мой телефон – и в Главсевморпути, и в «Правде». Я немного испугалась, когда он сказал мне об этом.

* А кто же я такая? Чтобы кого спрашивали?
* Катерину Ивановну Татаринову–Григорьеву, – серьезно ответил Саня.

Я решила, что он шутит. Но не прошло и трех дней после его отъезда, как кто–то по- звонил и попросил к телефону Катерину Ивановну Татаринову–Григорьеву.

* Я вас слушаю.

* Это говорят из «Правды».

И журналист, фамилию которого я часто встречала в «Правде», сказал, что Санина статья вызвала много численные отклики и что об авторе пришел даже запрос из Арктиче- ского института.

* Поздравьте вашего мужа с успехом.

Я хотела сказать, что он еще не мой муж, но почему–то промолчала.

* Насколько мне известно, я имею удовольствие разговаривать с дочерью капитана Татаринова?
* Да.
* Нет ли у вас еще каких–либо материалов, относящихся к жизни и деятельности ва- шего отца?

Я сказала, что есть, но без разрешения Александра Ивановича – первый раз в жизни я назвала Саню по имени–отчеству – я, к сожалению, не могу ими распоряжаться.

* Ну, мы ему напишем…

Из «Гражданской авиации» тоже позвонили и спросили, куда послать номер с Саниной статьей о креплении самолета во время пурги, – а я даже и не знала, что он написал эту ста- тью. Я попросила два номера – один для себя. Потом позвонили из «Литературной газеты» и спросили, какой Григорьев

* не писатель ли?

Но самым важным был разговор с Ч. Не знаю, что Саня рассказывал ему обо мне, но он позвонил и сразу стал говорить со мной, как со старой знакомой.

* Пенсию получаете? Я не поняла.
* За отца.
* Нет.
* Нужно хлопотать.

Потом он засмеялся и сказал, что в Главсевморпути перепугались, что мой отец от- крыл Северную Землю, а у них записано, что кто–то другой.

* Вообще мне что–то не того… не нравятся эти разговоры.
* А я думала, что экспедиция решена.
* Решена, а теперь вдруг оказывается – не решена. Главное, я им говорю: вы его с

«Пахтусовым» пошлите. А они говорят: там уже есть пилот. Мало ли что! Ведь у вашего–то определенная мысль!

Он так и говорил «ваш–то» и при этом басил и окал.

* Ну, ладно, я еще там… А вы к нам заходите.

Я сказала, что буду очень счастлива, и мы простились…

Каждый день я получала письмо, а то и два от Ромашова. «Вторая партия Башкирского геологического управления» – было написано на конверте, как будто письмо отправлялось в учреждение. Действительно, я была в те годы чем–то вроде учреждения – иначе никак нель- зя было оформить мою работу в Москве. Но этот адрес был шуткой, и такой жалкой выгля- дела эта шутка, которую он повторял каждый день!

Сперва я читала эти письма, потом стала возвращать нераспечатанными, а потом пе- рестала читать и возвращать. Но мне почему–то было страшно жечь эти письма; они валя- лись где попало, я невольно натыкалась на них – и отдергивала руку.

Точно так же я натыкалась и на автора этих писем. Прежде он всегда был очень занят, и я просто не могла понять, как он теперь находит время всегда стоять на улице, когда бы я ни вышла из дому. Я встречала его в магазинах, в театре, и это было очень неприятно, по- тому что он кланялся, а я не отвечала. Он делал движение, чтобы подойти, – я отворачива- лась.

Он приезжал к Вале, плакал и страшно накричал на него, когда Валя в шутку привел ему подобный пример отвергнутой любви среди обезьян шимпанзе.

Словом, он занимал так много места в моей жизни, что, в конце концов, у меня нача- лась какая–то болезнь: стоило мне закрыть глаза, как он мигом появлялся передо мной в новом сером пальто и в мягкой шляпе, которую он стал носить ради меня, – он сам однажды сказал мне об этом.

Конечно, это была очень странная мысль – идти к Ромашову и отобрать те бумаги, ко- торые передал ему Вышимирский. Это была жестокая мысль – идти к нему после всех его писем и цветов, которые я отсылала. Но чем больше я думала, тем все больше мне нравилась эта мысль. Я представляла себе, как я войду и он растеряется и долго будет смотреть на ме- ня, не говоря ни слова, как он потом побледнеет, бросится по коридору и распахнет дверь в свою комнату, а я скажу хладнокровно:

* Миша, я пришла к вам по делу.

Интересно, что все это произошло именно так, как я себе представляла.

Он был в теплой голубой пижаме, должно быть только что из ванны, и еще не успел причесаться – мокрые желтые волосы свисали на лоб. Он побледнел и стоял молча, пока я снимала жакетку. Потом бросился ко мне:

* Катя!
* Миша, я пришла к вам по делу, – сказала я хладнокровно. – Вы оденьтесь, причеши- тесь. Где мне подождать?
* Да, конечно, пожалуйста…

Он побежал по коридору и распахнул дверь в свою комнату.

* Вот сюда. Извините…
* Напротив, вы меня извините.

В прошлом году мы были у него в гостях втроем: Николай Антоныч, бабушка и я, и бабушка, между прочим, весь вечер намекала, что он взял у нее сорок рублей и не отдал.

Мне и тогда понравилась его комната, но сейчас, когда я вошла, она была особенно хороша. Она была очень приятно покрашена: стены светло–серые, а двери и стенной шкаф – еще немного светлее. Мебель была мягкая и удобная, и вообще все устроено удобно и кра- сиво. Из окна была видна Собачья Площадка – мое любимое место в Москве. Почему–то я с детства всегда любила Собачью Площадку – и этот маленький памятник погибшим собакам, и все переулки, которые на нее выходили…

* Миша, – сказала я, когда он вернулся, причесанный, надушенный и в новом синем костюме, который я еще не видала, – я пришла, чтобы ответить на все ваши письма. Что за ерунду вы пишете, что я буду раскаиваться, если не выйду за вас замуж! Вообще это маль- чишество – писать мне каждый день, когда вы знаете, что я даже не читаю ваших писем. Вы прекрасно знаете, что я никогда не собиралась за вас, и нечего писать, что я вас обманула.

Это было немного страшно – смотреть, как меняется у него лицо. Он вошел с нетер- пеливым, радостным выражением, как бы надеясь и не веря себе, – а теперь, с каждым моим словом, надежда исчезала и лицо мертвело, мертвело, 0н отвернулся и смотрел в пол.

* Долго объяснять, почему я прежде позволяла говорить об этом. Тут было много причин. Но ведь вы же умный человек! Вы никогда не обманывались в том, что я вас не любила.
* А с ним ты будешь несчастна!
* Почему вы говорите мне «ты»? – спросила я холодно. – Я сейчас же уйду.
* А с ним ты будешь несчастна, – повторил Ромашов.

У него дрожали колени, он несколько раз как–то странно прикрывал глаза, и я вспом- нила, как Саня рассказывал, что он спит с открытыми глазами.

* Я убью себя и вас, – наконец прошептал он.
* Если вы убьете себя, это будет просто прекрасно, – сказала я очень спокойно. – Я не хотела с вами ссориться, но если на то пошло, какое право вы имеете говорить подобные вещи? Вы затеяли интригу, как будто в наше время на девушках женятся с помощью ка- ких–то идиотских интриг! Вы человек без всякого достоинства, потому что иначе вы не стали бы каждый день ходить за мной по пятам, как собака. Вообще вы должны слушать меня и молчать, потому что все, что вы скажете, я отлично знаю. А теперь вот что: что это за бумаги, которые вы взяли у Вышимирского?
* Какие бумаги?
* Миша, не притворяйтесь, вы отлично знаете, о чем я говорю. Это те самые бумаги, которыми вы пугали Николая Антоныча, что он прежде был биржевой делец, а потом пред- лагали Сане, чтобы он отказался от меня и уехал. Дайте их сюда сейчас же, слышите! Сию же минуту!

Он несколько раз закрыл глаза и вздохнул. Потом хотел встать на колени. Но я очень громко сказала:

* Миша, не смейте, вы слышите!

И он удержался, только стиснул зубы, и у него стало такое безнадежное лицо, что у меня невольно защемило сердце.

Не то, что мне было жаль его! Но у меня было такое чувство, как будто я все–таки ви- новата, что он так мучается и не может даже заставить себя сказать ни слова. Мне было бы легче, если бы он стал ругать меня. Но он молчал и молчал.

* Миша, – снова сказала я, начиная волноваться, – поймите, что вам теперь совершен- но не нужны эти бумаги. Все равно ничего нельзя изменить, а между тем мне стыдно, что я почти ничего не знаю о моем отце, в то время как о нем уже пишут во всех газетах. Они мне нужны – лично мне и никому другому.

Не знаю, что ему почудилось, когда я сказала «нужны лично мне», но у него вдруг стали бешеные глаза, он закинул голову и легко прошелся по комнате. Он подумал о Сане.

* Ничего не дам, – грубо сказал он.
* Нет, дадите! Если вы не дадите, я буду думать, что это снова ложь – то, что вы мне писали.

Он вдруг вышел, и я осталась одна. Было очень тихо, только с улицы доносились дет- ские голоса да осторожно раза два прогудела машина. Это было неприятно, что он ушел и не возвращался так долго. А вдруг он в самом деле сделал что–нибудь над собой! У меня по- холодело сердце, я вышла в коридор и стали слушать. Ничего – только где–то льется и льет- ся вода.

* Миша!

Дверь в ванную комнату была приоткрыта, я заглянула и увидела, что он стоит, наклонившись над ванной. Я не сразу поняла, что с ним, – в комнате было полутемно, он не зажег света.

* Я сейчас приду, – внятно сказал он, не оборачиваясь.

Он стоял, согнувшись в три погибели, держа голову под краном; вода лилась на его лицо и на плечи, и новый костюм был уже совершенно мокрым.

* Что вы делаете? Вы сошли с ума!
* Идите, я сейчас приду, – сердито повторил он.

Через несколько минут он действительно пришел без воротничка, с красными глазами

* и принес четыре обыкновенные синие тетради.
  + Вот они, – сказал он, – никаких бумаг у меня больше нет. Возьмите.

Возможно, что это снова была неправда, потому что я наудачу открыла одну тетрадь и там оказалось что–то печатное – точно вырванная из книги страница, – но теперь с ним больше нельзя было говорить, и я только поблагодарила очень вежливо:

* + Спасибо, Миша.

Я вернулась домой, и прошло еще несколько часов, и прошел долгий вечер за чтением синих тетрадей, прежде чем я заставила себя забыть это лицо и как он вернулся в мокром костюме, похудевший и похожий на подбитую птицу.

**Глава 3.**

**СЧАСТЛИВОГО ПЛАВАНИЯ И ДОСТИЖЕНИЙ!**

Передо мной лежали четыре толстые синие тетради – старые, то есть дореволюцион- ные, потому что на обложках везде стояла фирма «Фридрих Кан». На первой странице пер- вой тетради было написано великолепными буквами с тенями: «Чему свидетель в жизни был» и дата – 1916. Мемуары! Но дальше шли просто вырезки из старых газет, в том числе из таких, о которых я прежде никогда не слышала: «Биржевые ведомости», «Земщина»,

«Газета Копейка». Вырезки были наклеены вдоль, во всю длину столбцами, но кое–где и поперек, например: «Экспедиция Татаринова. Покупайте открытые письма!

1. Молебен перед отправлением.
2. Судно «Св. Мария» на рейде».

Я быстро перелистала тетрадь до конца, потом вторую, третью. Никаких «бумаг», как в разговоре с Иваном Павловичем я поняла это слово, тут не было, а были только статьи и заметки об экспедиции из Петербурга во Владивосток вдоль берегов Сибири.

Что же это были за статьи? Я начала читать их и не могла оторваться. Вся жизнь прежних лет открылась передо мной, и я читала с горьким чувством непоправимости и обиды. Непоправимости – потому что шхуна «Св. Мария» погибла прежде, чем вышла из порта, вот в чем я убедилась после чтения этих статей. И обиды – потому что я узнала те- перь, как дерзко был обманут отец и как повредили ему доверчивость и прямота души.

Вот как описывал какой–то «очевидец» отплытие «Св. Марии»:

«…Бедно украшены флагами мачты уходящей в далекий путь шхуны. Приближается час отъезда. Последняя молитва „о плавающих и путешествую- щих“, последние напутственные речи… И вот медленно отчаливает „Св. Мария“, все дальше берег, уже дома и люди слились в одну пеструю полоску. Торже- ственный момент! С землей, с родиной порвалась последняя связь. Но грустно было нам и стыдно за эти бедные проводы, за равнодушные лица, на которых было написано лишь любопытство… Наступил вечер. „Св. Мария“ остановилась у устья Двины. Провожающие выпили по бокалу шампанского за успех экспе- диции. Еще одно крепкое рукопожатие, еще одно объятие – и нужно переходить на „Лебедин“, чтобы возвращаться в город. И вот женщины стоят на борту ма- ленького парохода и машут, машут… вытирают слезы и снова машут. Еще до- носится нервный лай собак с удаляющейся шхуны. Все мельче она, и вот, нако- нец, превратилась в маленькую точку на темнеющем вечернем горизонте… Что ждет вас впереди, смелые люди?»

И вот ушла в далекое плавание шхуна, архангельский маяк послал ей вслед прощаль- ный сигнал: «Счастливого плавания и достижений», и что же началось на берегу, боже мой! Какие грязные ссоры между торговцами, снаряжавшими шхуну, какие суды и аукционы – часть снаряжения и продовольствия пришлось оставить на берегу, и все это было продано с аукциона. И обвинения – в чем только не обвиняли моего отца! Не проходит и недели после отплытия шхуны, как его обвиняют в том, что он не застраховал ни себя, ни людей; в том, что он отплыл на три недели позже, чем этого требуют условия полярного плавания; в том, что он не дождался радиотелеграфиста. Его обвиняют в легкомыслии, в неумелом подборе команды, среди которой «нет ни одного лица, умеющего справляться с парусами». Над ним смеются, утверждают, что «в этой глупой авантюре, как в капле воды, отразилась наша со- временная напыщенная, бестолковая жизнь».

Через несколько дней после ухода «Св. Марии» в Карском море разразился жестокий шторм, и тотчас же распространились слухи о гибели экспедиции у берегов Новой Земли.

«Кто виноват?», «Судьба „Св. Марии“, „Где искать Татаринова?“ – первое страшное впе- чатление детства вспомнилось мне при чтении этих статей: мама вдруг быстро входит в мою маленькую комнатку в Энске с газетой в руках, в своем чудном черном шуршащем платье, и не видит меня, хотя я говорю ей что–то и соскакиваю с кроватки и бегу к ней босиком, в одной рубашке. Пол холодный, но она не велит мне идти назад в кроватку и не поднимает с полу, а все стоит у окна с газетой в руках. Я тоже стараюсь дотянуться до окна, но вижу только наш садик, весь в мокрых осенних листьях клена, и мокрые дорожки и лужи, по ко- торым еще шлепают последние крупные капли дождя. „Мама, зачем ты смотришь?“ Она молчит, я снова спрашиваю, и мне хочется к ней на руки, потому что становится страшно, что она все молчит. „Мама!“ Я начинаю реветь, и тогда она оборачивается и наклоняется, чтобы поднять меня, но что–то делается с нею, и она садится на пол, потом ложится и ти- хонько лежит, вытянувшись на полу, в своем чудном черном шуршащем платье. И вдруг безумный, бессознательный страх охватывает меня, я кричу и слышу только, как я ужасно кричу, и бьюсь обо что–то руками и ногами, и слышу испуганный мамин голос, и снова кричу и не могу остановиться. Потом я сплю и слышу сквозь сон, как бабушка разговарива- ет с мамой, как мама говорит:

– Она меня испугалась.

Но я молчу и притворяюсь, что сплю, потому что это все–таки мама и, потому что она говорит и плачет, как мама…

Только теперь, читая эти статьи, я поняла, что это было.

Но слухи оказались ложными, и через телеграфную экспедицию на Югорском Шаре капитан Татаринов прислал «сердечный привет и наилучшие благопожелания всем жертво- вателям и лицам, сочувствующим делу экспедиции».

Это письмо было напечатано в виде факсимиле, и над ним папин незнакомый портрет

* в морской форме, в кителе с белыми погонами: изящный офицер со старомодно подняты- ми кверху усами.

Недаром послал он «благопожелания всем жертвователям»: он надеялся, что сбор по- жертвований даст возможность «Комитету по исследованию русских полярных стран» под- держать семьи экипажа. Об этом он писал в своем донесении, посланном через Югорскую экспедицию и напечатанном 16 июня в газете «Новое время»:

«Я убежден, что Комитет не оставит на произвол судьбы семейства тех, кто посвятил свою жизнь общему национальному делу».

Напрасная надежда! В той же газете, от 27 июня, я прочла отчет о заседании Комитета:

«По словам секретаря Комитета Н.А.Татаринова, новая подписка дала совершенно ничтож- ные результаты. Равным образом не дали ожидаемых прибылей и многие другие способы, как устройство увеселительных развлечений и т.п. Таким образом, Комитет лишен возмож- ности оказать семьям экипажа предполагаемую помощь в 1000 рублей, собираемую путем доброхотных даяний».

Странно и дико было мне читать об этих «доброхотных даяниях»… Может быть, и мы с мамой жили, как нищие, на эту милостыню, собираемую путем «доброхотных даяний»?

Но все это только мелькнуло у меня в голове, и я не стала особенно раздумывать над обидами, которым было почти столько же лет, сколько и мне. Другое остановило и поразило меня в старых газетах: в один голос они утверждали, что шхуну «Св. Мария» ждет неиз- бежная гибель. Иные рассчитывали с карандашом в руках, что она едва дойдет до Новой Земли. Другие предполагали, что она будет затерта первыми же льдами и погибнет не- сколько позже, пройдя вдоль Земли Франца–Иосифа в качестве «пленника полярного моря».

В том, что она не пройдет Северным морским путем в одну ли, в две ли, в три ли навигации, безразлично, – не сомневался никто.

Только какой–то поэт напечатал в архангельской газете стихи: «И.Л.Татаринову», по которым можно было судить, что он держался иного мнения:

Он здоров! Хранит его судьбина! Его энергия и риск

Полярный разомкнули диск,

И отступает спаянная льдина…

Я много знала и прежде. В письме, которое Саня нашел в Энске, отец писал, что «из шестидесяти собак большую часть еще на Новой Земле пришлось застрелить. В записке, которую Саня составил со слов Вышимирского говорилось о гнилой одежде, о бракованном шоколаде. В газете „Архангельск“ я прочитала письмо купца Е.В.Демидова, который ука- зывал, что „засолка мяса и приготовление готового платья не являются его специальностью“ и что „в данном случае он был только комиссионером. При всем этом, имея свое большое торговое дело, он не мог, конечно, смотреть за каждым куском мяса и рыбы, положенным в бочку. Все время получались такие телеграммы от капитана Татаринова: „Остановите заго- товку – денег нет“. Или: „Продайте заготовленное – денег нет“. И так далее. Зачем же было снаряжать экспедицию, когда не было денег?.. Если что и оказалось худое при таком спеш- ном деле, так виновных в этом искать надо бы не среди местных коммерсантов, а где–либо выше…“

Но я не знала – и Саня не знал, и я не понимаю, почему мама никогда не говорила об этом, – что «за три дня до выхода „Св. Марии“ в фор–трюме, в обеих сторонах его баргоута,

под второй палубой, значительно ниже ватерлинии, обнаружены опасные для плавания вы- резы борта вместе со шпангоутами, вплоть до наружной обшивки со следами топора и пилы. Дыры эти, обмеренные и сфотографированные, оказались: самая большая шириной в 12 дюймов и длиной в 2 фута и 4 дюйма, а другие немногим меньше. Происхождение этих дыр, весьма загадочное, заставляет, однако, вспомнить о том, что в случае гибели судна новый владелец его получил бы соответствующую страховку».

Конечно, не нужны были новые подтверждения, что отец погиб и никогда не вернется.

Он не мог не погибнуть. Был послан на безусловную, верную смерть и погиб.

**Глава 4.**

**МЫ ПЬЕМ ЗА САНЮ.**

Я уже говорила, что у меня было очень много работы в то лето, между прочим еще и потому, что моя помощница, студентка третьего курса, оказалась очень тупой, и приходи- лось не только делать все за нее, но еще и утешать ее, потому что она огорчалась, что она такая тупая. Сама я тоже многого не могла понять и каждые два–три дня бегала к моей ста- ренькой профессорше, которая называла меня «деточкой» и все беспокоилась, что я похуде- ла. И действительно, я очень похудела и побледнела, потому что никогда еще, кажется, столько не думала и не волновалась. Я волновалась, читая статьи; волновалась, когда опаз- дывали письма от Сани; волновалась, потому что бабушка сердилась на меня и даже одно время перестала ходить. Кроме того, я еще волновалась из–за Вали и Киры.

Все у них было очень хорошо – они по–прежнему сидели в своей кухне и шептались, а потом пили чай с серьезными, счастливыми, глупыми лицами; но однажды шепот вдруг прекратился, и, немного помолчав, они стали кричать друг на друга. Я испугалась и тоже стала кричать, но в это время Валя вышел, весь красный, и полез в стенной шкаф, очевидно спутав его с входной дверью. Я подала ему шляпу и робко спросила, что случилось, но он ответил:

* Спросите у вашей подруги, что случилось.

Не помню, когда я в последний раз видела, что Кира плачет. Кажется, в пятом классе, из–за «неуда» по черчению. Теперь она снова плакала и, как маленькая, вытирала глаза ру- ками.

* Кира, что случилось?
* Ничего не случилось. Мы решили записаться, а он не хочет переезжать, вот и все.
* Из–за меня? Потому что тесно?
* Ничего не из–за тебя. Он говорит, что я сама должна догадаться. А я, честное слово, не могу. Он хочет, чтобы я к нему переехала. А я не хочу. Мне там нужно будет готовить и все, а когда мне готовить? Вообще здесь все есть и посуда, и скатерти, белье, все.
* И мама.
* Ну да, и мама.

Мы проговорили весь вечер, а ночью Кира пришла и сказала, что догадалась – просто он ее больше не любит. До семи утра я доказывала, что Валя ее любит и что так не волну- ются, когда не любят. Не знаю, убедила ли я Киру, но только она вдруг сказала, «что она прекрасно знает, что он хороший, а она плохая и что она напишет ему письмо, что она его не стоит и что он ее не любит, потому что считает, что она дура».

* Только, прежде чем отослать, покажи мне, ладно? – сказала я сонным голосом, и по- следнее, что я еще видела, засыпая, – это была Кира, которая в одной рубашке сидела за столом и писала, писала…

Наутро мы с ней разорвали ерунду, которую она сочинила, и я отправилась к Вале. Он работал в Зоопарке, и я вспомнила, как мы однажды были у него с Саней и как он показывал нам своих грызунов. Теперь и дома этого уже не было, а стоял красивый белый павильон с колоннами, и Вале не нужно было уверять сторожа, что он – сотрудник лаборатории экспе- риментальной биологии. Но в этом красивом белом павильоне совершенно так же пахло мышами, и Валя был такой же – только в белом халате и небритый. Мне стало смешно, по- тому что ночью Кира сказала, что он теперь перестанет бриться.

Он усадил меня и сам уныло сел.

* Валя, во–первых, имей в виду, что я пришла по собственной инициативе, – начала я сердито. – Так что ты не думай, пожалуйста, что Кира меня прислала.

Он сказал дрогнувшим голосом: «Да?», и мне стало жаль его. Но я продолжала строго:

* Если у тебя есть серьезные причины остаться у себя, хотя на Сивцевом вам будет в тысячу раз удобнее, ты должен ей сказать, и баста. А не требовать, чтобы она сама догада- лась.

Он помолчал.

* Понимаешь, в чем дело… я не могу переехать на Сивцев–Вражек, хотя, конечно, я не отрицаю, что это было бы просто прекрасно, Там, можно устроить что–то вроде кабинета и спальни, особенно если перегородку перенести, а где сейчас чулан – устроить маленькую лабораторию. Но это невозможно.
* Почему?
* Потому что… Послушай, а тебя она не заговаривает? – вдруг с отчаянием спросил

он.

* Кто?
* Кирина мама.

Я так и покатилась со смеху.

* Да, тебе смешно, – говорил Валя, – конечно, тебе смешно. А я не могу. У меня начи-

нается тошнота и слабость. Один раз спрашивает: «Почему ты такой бледный?» Я ей чуть не сказал… И все про какую–то Варвару Рабинович, будь она неладна… Нет, не перееду.

* + Вот что, Валя, – сказала я серьезно, – уж не знаю, кто у вас там кого заговаривает, но ты, во всяком случае, ведешь себя по отношению к Кире очень глупо. Она плакала и не спа- ла сегодня всю ночь, и вообще ты должен сразу же поехать к ней и объяснить, в чем дело.

У него стало несчастное лицо, и несколько раз он взволнованно прошелся по комнате.

* + Не поеду!
  + Валя!

Он упрямо молчал. «Ого, вот ты какой!» – подумала я с уважением.

* + Тогда и не лезьте больше ко мне, и черт с вами! – сказала я сердито и хотела уйти, но он не пустил, и мы еще два часа говорили о том, как бы устроить, чтобы Кирина мама не говорила так много…

Это было не особенно удобно, но я все–таки рассказала Кире, в чем дело. Она очень удивилась, а потом сказала, что мама каждый день жалуется, что Валя ее заговаривает, и однажды даже лежала после его ухода с мокрой тряпкой на лбу и говорила, что больше не может слышать о гибридах чернобурых лисиц и что Кира сумасшедшая, если выйдет замуж за человека, который никому не дает открыть рта, а сам говорит и говорит, как какой–то громкоговоритель.

Она мигом собралась и поехала к Вале, – хотя я сказала, что на ее месте никогда бы первая не поехала, – и вечером они уже снова сидели в «собственно кухне» и шептались. Они решили попробовать все–таки устроиться на Сивцевом–Вражке.

Это был прекрасный вечер – лучший из тех, что я провела без Сани. Накануне я полу- чила от него письмо – большое и очень хорошее, в котором он писал, между прочим, что много читает и стал заниматься английским языком. Я вспомнила, как он удивился, узнав, что я довольно свободно читаю по–английски, и как покраснел, когда при нем однажды за- говорили о композиторе Шостаковиче и оказалось, что он прежде никогда даже не слышал этой фамилии. Вообще это было чудное письмо, от которого у меня стало весело и спокойно на душе. Тайком от «молодых» мы с Александрой Дмитриевной приготовили великолепный ужин с вином, и хотя любимый Валин салат с омарами мы посолили по очереди – сперва я, потом Александра Дмитриевна, – все–таки он был съеден в одну минуту, потому что оказа- лось, что Валя со вчерашнего дня не только не брился, но и ничего не ел.

Мы выпили за Санино здоровье, потом за его удачу во всех делах.

– В его больших делах, – сказал Валя, – потому что я уверен, что в его жизни будут большие дела.

Потом он рассказал, как в двадцать пятом году он работал в бюро юных натуралистов при Московском комитете комсомола, и как однажды уговорил Саню поехать на экскурсию

в Серебряный Бор, и как Саня долго старался понять, почему это интересно, а потом вдруг стал говорить цитатами, и все поразились, какая у него необыкновенная память. Он проци- тировал:

Бороться, бороться, пока не покинет надежда, –

Что может быть в жизни прекрасней подобной игры?

и сказал, что ловить полевых мышей – это не его стихия.

Александре Дмитриевне хотелось тоже что–нибудь рассказать, и мы с Кирой боялись, что она опять заговорит о Варваре Рабинович. Но обошлось – она только прочитала нам не- сколько стихотворений и сказала, что у нее на стихи тоже необыкновенная память.

Так мы сидели и выпивали, и был уже двенадцатый час, когда кто–то позвонил, и Александра Дмитриевна, которая в эту минуту показывала нам, как нужно брать голос «в маску», сказала, что это дворник за мусором. Я побежала на кухню и так – с ведром в руке – и открыла дверь. Но это был не дворник. Это был Ромашов, который молча быстро отсту- пил, когда я открыла дверь, и снял шляпу.

* У меня срочное дело, и оно касается вас, поэтому я решился придти так поздно.

Он сказал это очень серьезно, и я сразу поверила, что дело срочное и что оно касается меня. Я поверила, потому что он был совершенно спокоен.

* Пожалуйста, зайдите.

Мы так и стояли друг против друга – он со шляпой, а я с помойным ведром в руке.

Потом я спохватилась и сунула ведро между дверей.

* Боюсь, это не совсем удобно, – вежливо сказал он: – у вас, кажется, гости?
* Нет.
* А можно здесь, на лестнице? Или спустимся вниз, на бульвар. Мне нужно сообщить вам…
* Одну минуту, – сказала я быстро.

Александра Дмитриевна звала меня. Я прикрыла дверь и пошла к ней навстречу.

* Кто там?
* Александра Дмитриевна, я сейчас вернусь, – сказала я быстро. – Или вот что… Пус- кай Валя через четверть часа спустится за мной. Я буду на бульваре.

Она еще говорила что–то, но я уже выбежала и захлопнула двери.

Вечер был прохладный, а я – в одном платье, и Ромашов на лестнице сказал: «Вы про- студитесь». Должно быть, ему хотелось предложить мне свое пальто – и он даже снял его и нес на руке, а потом, когда мы сидели, положил на скамейку, – но не решился. Впрочем, мне было не холодно. У меня горело лицо от вина, и я волновалась. Я чувствовала, что этот приход неспроста.

На бульваре было тихо и пусто, только, опираясь на палки, сидели старики – по ста- рику на скамейку – от памятника Гоголю до самого забора, за которым строили станцию

«Дворец Советов».

* Катя, вот о чем я хотел сказать вам, – осторожно начал Ромашов. – Я знаю, как важно для вас, чтобы экспедиция состоялась. И для…

Он запнулся, потом продолжал легко:

* И для Сани. Я не думаю, что это фактически важно, то есть что это может что–то переменить в жизни, например, вашего дядюшки, которого это очень пугает. Но дело каса- ется вас и поэтому не может быть для меня безразлично.

Он сказал это очень просто.

* Я пришел, чтобы предупредить вас.
* О чем?
* О том, что экспедиция не состоится.
* Неправда! Мне звонил Ч.
* Только что решили, что посылать не стоит, – спокойно возразил Ромашов.
* Кто решил? И откуда вы знаете?

Он отвернулся, потом взглянул на меня улыбаясь.

* Не знаю, как и сказать. Снова оказываюсь подлецом, как вы меня назвали.

* Как угодно.

Я боялась, что он встанет и уйдет – настолько он был спокоен и уверен в себе и не по- хож на прежнего Ромашова. Но он не ушел.

* Николай Антонович сказал мне, что заместитель начальника Главсевморпути доло- жил о проекте экспедиции и сам же и высказался против. Он считает, что не дело Главсевморпути заниматься розысками капитанов, исчезнувших более двадцати лет тому назад. Но, по–моему… – Ромашов запнулся: должно быть, ему стало жарко, потому что он снял шляпу и положил ее на колени, – это не его мнение.
* Чье же это мнение?
* Николая Антоновича, – быстро сказал Ромашов. – Он знаком с этим заместителем, и тот считает его великим знатоком истории Арктики. Впрочем, с кем же еще и посоветовать- ся о розысках капитана Татаринова, как не с Николаем Антоновичем? Ведь он снаряжал экспедицию и потом писал о ней. Он член Географического общества – и весьма почтенный. Я была так взволнована, что не подумала в эту минуту ни о том, почему Николай Ан- тонович так хлопочет, чтобы розыски провалились, ни о том, что же заставило Ромашова

снова выдать его. Я была оскорблена – не только за отца, но и за Саню.

* Как его фамилия?
* Чья?
* Этого человека, который говорит, что не стоит разыскивать исчезнувших капитанов. Ромашов назвал фамилию.
* С Николаем Антоновичем я, разумеется, не стану объясняться, – продолжала я, чув- ствуя, что у меня ноздри раздуваются, и стараюсь успокоиться. – Мы с ним объяснились раз навсегда. Но в Главсевморпути я кое–что расскажу о нем. У Сани не было времени, чтобы разделаться с ним, или он пожалел, не знаю… Да полно, правда ли это? – вдруг сказала я, взглянув на Ромашова и подумав, что ведь это же он, – он, который любит меня и, должно быть, только и мечтает, как бы вернее погубить Саню!
* Зачем я стану говорить неправду? – равнодушно возразил Ромашов. – Да вы узнаете! Вам тоже скажут… Конечно, нужно пойти туда и все объяснить. Но вы… не говорите, от кого вы об этом узнали. Или, впрочем, скажите, мне все равно, – надменно прибавил он, – только это может стать известно Николаю Антоновичу, и тогда мне не удастся больше об- мануть его, как сегодня.

Николай Антонович был обманут ради меня – вот что он хотел сказать этой фразой.

Он смотрел на меня и ждал.

* Я не просила вас никого обманывать, хотя, по–моему, нечего стыдиться, что вы ре- шились (я чуть не сказала: «первый раз в жизни») поступить честно и помочь мне. Я не знаю, как вы теперь относитесь к Николаю Антоновичу.
* С презрением.
* Ладно, это ваше дело. – Я поднялась, потому что мне стало очень противно. – Во всяком случае, спасибо, Миша. И до свидания…

У Сивцева–Вражка я встретила всех троих: Александру Дмитриевну, Киру и Валю. Они бежали взволнованные, и Александра Дмитриевна говорила что–то: «Господи, да отку- да же я знаю? Только сказала, что если я через десять минут не вернусь…»

Трамвай остановился как раз между нами, и, когда он прошел, все трое ринулись на бульвар с воинственным видом.

* Стоп!
* Да вот же она! Александра Дмитриевна! Она здесь! Катя, что случилось?
* А вино допили? – спросила я очень серьезно. – Если допили, нужно еще купить… Мне хочется еще раз выпить за Саню.

**Глава 5.**

**ЗДЕСЬ НАПИСАНО: «ШХУНА „СВ. МАРИЯ“.**

Начальником Главсевморпути был в те годы известный полярный деятель, имя кото- рого нетрудно найти на любой карте русской Арктики. Вероятно, попасть к нему было не

так просто. Но Ч. позвонил, и я была принята в тот же день. Правда, пришлось подождать, но это было даже интересно, так как в приемной сидели моряки и летчики, только что вер- нувшиеся из Заполярья. Один был похож немного на Саню, я невольно несколько раз взглянула на него и прислушалась к тому, что он говорил. Но он, должно быть, понял меня иначе, потому что приосанился и глупо улыбнулся. Потом они ушли, и я еще долго сидела и сердилась на себя за тоску, которая нет–нет, да и подступала к сердцу…

Я очень хорошо помню свой разговор с начальником Главсевморпути, потому что в письме, которое в тот же вечер отправила Сане, повторила его слово в слово.

Сперва я волновалась и чувствовала, что бледна, но только что он спросил низким, вежливым голосом: «Чем могу служить?», как все мое волнение пропало. Потом оно верну- лось, но это было уже другое, азартное волнение, от которого не помнишь себя и становится холодно и приятно.

* Летчик Григорьев представил вам проект поисковой экспедиции, – начала я, – и сперва было решено, что она состоится. Но вчера…

Он внимательно слушал меня. Он был так удивительно похож на свой портрет, тысячу раз печатавшийся в газетах и журналах, что у меня было странное чувство, как будто я раз- говариваю не с ним самим, а с его портретом.

* Нет, – возразил он, когда я спросила, думает ли и он, что не стоит заниматься розыс- ками пропавших капитанов, – но мы внимательно взвесили все «за» и «против» и решили, что подобные поиски заранее обречены на неудачу. В самом деле: во–первых, места, ука- занные в проекте, более или менее изучены за последние годы, и, однако, до сих пор не бы- ло обнаружено никаких следов экспедиции «Святой Марии»; во–вторых, от Северной Земли до устья Пясины более тысячи километров, и организовать поиски на таком расстоянии – это очень сложная задача. Наконец – и это самое главное – у меня нет уверенности, что экс- педицию вашего отца следует искать именно в этом районе.
* Нет никаких сомнений, что именно в этом, – возразила я энергично.
* Почему?
* Потому что… – Я вдруг забыла все доказательства, хотя еще в приемной повторила их еще раз и даже сосчитала на пальцах. – Потому что…

Он смотрел на меня и ждал. У него были совершенно светлые глаза, а борода черная, и он хладнокровно смотрел на меня и ждал. Это была страшная минута.

* Во–первых, это видно по дневникам штурмана, – сказала я немного дрожащим голо- сом. – Помните, он приводит слова отца: «Если безнадежные обстоятельства заставят меня покинуть корабль, я пойду к земле, которую мы открыли». Во–вторых… – И я вынула из портфеля фотографии, которые оставил мне Саня. – Вот взгляните… Здесь написано –

«Шхуна „Святая Мария“. Этот багор найден на Таймыре.

* Положим. Но почему не допустить, что он принадлежал партии штурмана, который двумя месяцами раньше оставил шхуну?
* Потому что штурман… Где у вас карта? – спросила я, хотя огромная карта Арктики висела над письменным столом и я все время смотрела на нее, но, должно быть, не видела от волнения. – Он шел по дрейфующему льду и совсем в другом направлении. Можно? Я взяла указку и влезла на стул, потому что с полу мне было не достать до мыса Флора. – Вот как он шел. Он вернулся в Архангельск с экспедицией лейтенанта Седова. Но пойдем даль- ше, – продолжала я, чувствуя, что мне становится холодно и что я снова бледнею, но теперь уже от воодушевления. – Вы говорите, что от Северной Земли до устья Пясины – изученные места и странно, что до сих пор никто не наткнулся на следы экспедиции хотя бы случайно. А Русанов? Сколько лет прошло до тех пор, как были найдены остатки его снаряжения? И где же? В тех местах, куда ходили суда и тысячу раз бывали люди. А этот матрос Амундсе- на, которого нашли на Диксоне в трех километрах от станции?

Я тогда не знала, что могила этого матроса (его звали Тиссен) находится у портовой столовой и что каждый, кто после обеда отправляется на полярную станцию, проходит тот путь, который оставалось пройти Тиссену, то есть путь от жизни до смерти.

* Нет, дело не в том, что это изученные места, а в том, что отца никогда не искали. Вот его путь: от 79 градуса 35 минут широты между 86–м и 87–м меридианами к Русским ост- ровам, архипелагу Норденшельда. Потом, вероятно после долгих блужданий, от мыса Стер-

легова к устью Пясины. Здесь старый ненец нашел лодку, поставленную на нарты. Потом к Енисею, потому что Енисей – это была единственная надежда встретить людей и помощь.

Я соскочила со стула. Он гладил бороду и смотрел на меня – кажется, с любопытством.

* Вы так уверены?
* Да. Не может быть иначе. Что же предлагает Григорьев? Ледокольный пароход

«Пахтусов» направляется к Северной Земле для научных работ. Это гидрографическая экс- педиция, верно?

* Да.
* Отлично. Дорогой он устраивает в нескольких местах базы для двух–трех поисковых партий. Григорьев считает, что нужны только две партии, по три человека в каждой. Мне кажется, что нужны три или моторный бот вместо третьей. Они пойдут мористой стороной прибрежных островов, а «Пахтусов» тем временем будет работать где–нибудь поблизости, так что от него можно будет почти не отрываться.

Я остановилась, потому что начальник Главсевморпути засмеялся и встал. Он обошел стол и сел рядом со мною.

* Да вы настоящая дочка капитана Татаринова, – весело сказал он. – Географ?
* Геолог.
* На котором курсе?

Я отвечала, что давно уже окончила университет и уже два года, как работаю в Баш- кирском геологическом управлении.

* У вас есть сестры, братья?
* Нет, я одна.
* А мать?
* Умерла.

Он деликатно помолчал некоторое время, потом вернулся к Саниному проекту.

* Конечно, все это далеко не так просто, – задумчиво сказал он. – Но не невозможно… Моторный бот тут, конечно, ни при чем. А вот Григорьева, очевидно, придется вызвать. Где он?
* В Заполярье.

У меня сердце стало биться и биться, и зачем–то я еще раз сказала:

* В Заполярье.

Он лукаво посмотрел на меня.

* Вот возьмем и вызовем, – с детским удовольствием повторил он, и я поняла, что Ч. рассказал ему обо мне и Сане. – Как вы полагаете, ведь он же нам тут необходим для реше- ния этого вопроса?
* Мне кажется, да, – сказала я смело.
* Ну вот. Я был очень рад, – серьезно сказал он, вставая, – познакомиться с вами. Со- стоится ли экспедиция или нет, но это превосходно, что вы пришли ко мне и так энергично, горячо говорили.

**Глава 6.**

**У БАБУШКИ.**

Я уже писала о том, что бабушка приходила ко мне каждый вечер. Она приходила надутая, важная и гордо разговаривала с Кириной мамой. Ей не нравилось, что я «живу у чужих людей», а дома – «чудная комната», и она боялась какой–то Доры Абрамовны, кото- рая уже два раза «забегала и нюхала».

* Уже и старость моя стала, – однажды сказала она мне со слезами, – а в таком одино- честве я еще не жила.

Но вот однажды бабушка не пришла, а наутро позвонила и сказала, что у нее что–то стало с сердцем. Она рассердилась, когда я спросила, дома ли Николай Антонович.

* Глупый вопрос, – сказала она строго. – А где же ему быть? Как ты, что ли? Хатки считать?

Потом она сказала, что он ушел, и я живо собралась и поехала к ней.

Она лежала на диване, покрывшись своею старенькой зеленой шубкой. Лавровишне- вые капли стояли на столике подле дивана – единственное лекарство, которое она признава- ла, и она только махнула рукой, когда я спросила о ее здоровье.

* Чуть что, поклоны бьет, – сказала она сердито. – Сейчас видно, что в монашках жи- ла. Религиозная. А я ее спрашиваю: «Тогда зачем служить?» И прогнала.

Она прогнала домработницу, и это было очень плохо, потому что домработница была, хотя религиозная, но хорошая, и прежде бабушке даже нравилось, что она когда–то жила в монашках.

* Бабушка, что же ты наделала? – сказала я. – Осталась больная и совершенно одна!

Теперь я тебя к себе заберу.

* Не поеду. Вот еще!

Она наотрез отказалась раздеться и лечь в постель и сказала, что это – не сердце, а просто она вчера не готовила, а поела редьки с постным маслом, и это у нее – от редьки.

* Если ты не ляжешь, я сейчас же уйду.
* О! Напугала.

Однако она разделась, кряхтя легла в постель и вдруг уснула…

В маминой комнате всегда был почему–то сквозняк, когда открывали окна, и я, чтобы проветрить, открыла дверь в коридор. Потом зашла к себе, и как же неуютна и пуста пока- залась мне комната, в которой я прожила столько лет! Все стало даже лучше в ней после моего отъезда. Кровать была покрыта бабушкиным старинным кружевным покрывалом, за- навески белые–пребелые и даже топорщились от крахмала, все чисто прибрано, и том эн- циклопедии, который я зачем–то читала перед отъездом, остался открытым на той же стра- нице. Меня здесь ждали…

На окне, среди старых школьных учебников, я нашла тетрадку с цитатами из любимых книг: «Странная вещь сердце человеческое вообще, а женское в особенности. Лермонтов».

Это были чудные, смешные цитаты, и я прочитала их от первой до последней страни- цы. Как во сне – я была в гостях у какой–то знакомой девочки, которая так прекрасно дума- ла обо всем и которой весь мир представлялся таким великолепным.

«Мир – театр, люди – актеры.

**Шекспир».**

Мне показалось, что кто–то метнулся по коридору, когда с этой тетрадкой в руках я вышла из комнаты.

Конечно, мне не пришло в голову, что это моя больная бабушка бегала по коридору в своей зеленой бархатной шубке, но кто–то бегал – и именно в зеленой шубке. И все–таки бабушка, потому что когда я вернулась, она, хотя по–прежнему лежала в постели, но видно было, что только что бухнулась и даже не успела покрыться.

Это было очень смешно – так старательно она притворялась, даже зажмурила глаза, чтобы показать, что она все время спала и вовсе не думала бегать по коридору. Конечно, она подглядывала за мною – а вдруг мне захочется домой?

* Бабушка, а доктор был? – спросила я, когда она, наконец, открыла глаза и фальшиво громко зевнула.

Не был. Не хочет она доктора. Она знает, что это от редьки.

* А по телефону сказала, что сердце.
* И сердце от редьки.
* Что за глупости! Я сейчас же позову.

Но бабушка вспылила и сказала, что если я позову доктора, она сейчас же оденется и уйдет к Марии Никитичне – так звали соседку.

И прежде нужно было скандалить, чтобы позвать к бабушке доктора, поэтому я не стала настаивать, – тем более, что бабушке с каждой минутой становилось все легче. Нако- нец ей стало совсем хорошо, потому что она вдруг с ужасом понюхала воздух и, сказав:

«Подгорел!..», накинула салоп и побежала в кухню.

Подгорел – не очень – пирог с мясом, который в чудо–печке стоял на керосинке, изда- вая великолепный запах, и бабушка объявила, что ей опять станет хуже, если я не попробую

этого пирога.

Все это было совершенно в бабушкином духе – эти хитрости и в особенности мой лю- бимый пирог с мясом, на который она не пожалела масла. Пирог должен был окончательно убедить меня в преимуществе своего дома перед «чужим». Но я съела два куска, потом по- целовала бабушку и сказала только, что очень вкусно.

Пока о Николае Антоновиче не было сказано ни слова. Но вот бабушка сделала рав- нодушное лицо, и я поняла, что сейчас начнется. Однако бабушка начала издалека.

* От Олечки с Ларой письмо получила, – сказала она строго. – Пишут «не входи, не входи в хозяйство», что это мне теперь тяжело.

Олечка и Лара – это были мои старенькие тетки Бубенчиковы, которые жили в Энске.

* А как мне не входить, когда ей замечанье делаешь, а она молчит. Еще делаешь – молчит. Из себя выходишь – молчит. Она по плану попа жила, – немного оживившись, ска- зала бабушка: – своим ничего, а все попам. Истеричка. Поп ей пишет: «Молчи, терпи и плачь». А она и рада. В гардероб гвозди набила, иконы навешала и все тихо так: «Слушаю». Я этаких ненавижу.
* Да уж теперь прогнала, бабушка, так что и говорить. Бабушка помолчала.
* Весь дом сокрушился, – снова сказала она со вздохом. – Ты отступилась, и он–то, что же? Ему теперь тоже все равно стало, есть ли что, нет ли. Когда поест, когда нет.

«Он» – это был Николай Антонович.

* И пишет, пишет, – продолжала бабушка, – день и ночь, день и ночь. Как с утра чаю попьет, так сейчас же в мою шаль закутается – я за стол. И говорит: «Это, Нина Капитонов- на, будет труд всей моей жизни. Виноват ли я, нет ли, пусть теперь об этом судят друзья и враги». А сам худой стал. Забывается, – шепотом сказала бабушка, – на днях в шапке к сто- лу пришел. Наверное, с ума сойдет.

В эту минуту входная дверь негромко хлопнула, кто–то вошел в переднюю и остано- вился. Я посмотрела на бабушку, она испуганно отвела глаза, и я поняла, что это Николай Антонович.

* Ну, бабушка, мне пора.
* Нет, не пора. И пирог не доела.

Он вошел, слабо постучав и не дождавшись ответа.

Я обернулась, кивнула – и мне даже самой стало весело, так я равнодушно, смело кив-

нула.

* Как дела, Катюша?
* Ничего, спасибо.

Очень странно, но для меня он был теперь просто каким–то бледным, старым челове-

ком, с короткими руками, с толстыми пальцам, которыми он неприятно нервно шевелил и все закладывал куда–то: за воротничок или в карманы жилетки, точно прятал. Он стал по- хож на старого актера. Когда–то я его знала – сто лет назад. А теперь мне было все равно, что он так бледен, и что у него такая жалкая, похудевшая шея, и что у него задрожали руки, когда он протянул их, чтобы подвинуть кресло

Первая неловкая минута прошла, он шутливо спросил что–то насчет моей карты, не спутала ли я Зильмердагскую свиту с Ашинской – еще в университете был со мной такой случай, – и я снова стала прощаться.

* До свиданья, бабушка.
* Я могу уйти, – негромко сказал Николай Антонович.

Он сидел в кресле, согнувшись и внимательно глядя на меня с простым, добродушным выражением. Таким он был, когда мы иной раз подолгу разговаривали – после маминой смерти. Но теперь это было для меня только далеким воспоминанием.

* Если ты торопишься, мы поговорим в другой раз.
* Бабушка, честное слово, меня ждут, – сказала я бабушке, которая крепко держала меня за рукав.
* Нет, не ждут. Как это так? Он тебе дядя.
* Полно, Нина Капитоновна, – добродушно сказал Николай Антонович, – не все ли равно – дядя я или не дядя. Очевидно, ты не хочешь выслушать меня, Катюша?

* Нет.
* Фанатичная, – с ненавистью сказала бабушка. Я засмеялась.
* Я не могу говорить с тобой ни о том, как мне было тяжело, когда ты ушла, даже не простившись со мной, – торопливо, но тем же простым, добродушным голосом продолжал Николай Антонович, – ни о том, что вы оба были введены в заблуждение, поверив несчаст- ному больному старику, лишь недавно выпущенному из психиатрической больницы.

Он посмотрел на меня поверх очков. Из психиатрической больницы! Это была новая ложь. Или не ложь – это теперь было для меня безразлично. Только одна мысль слабо коль- нула меня – что это коснется Сани или будет ему неприятно.

* Боже мой! Чего только не вообразила эта бедная запутанная голова! И что я разорил его при помощи каких–то векселей, и что нарочно так плохо снарядил экспедицию – поче- му, как ты думаешь? Потому, что хотел погубить Ивана!

Николай Антонович от души рассмеялся.

* Из ревности! Боже мой! Я любил твою мать и из ревности хотел погубить Ивана. Он снова засмеялся, но вдруг снял очки и стал вытирать слезы.
* Да, я любил ее, – плача, пробормотал он, – и, видит бог, все могло быть совсем ина- че. Если бы я и был виноват, кто, как не она, меня наказала? Уж так наказала, как и не ду- малось никогда.

Я слушала его, как во сне, когда начинает казаться, что все это уже было когда–то – и покрасневшая лысая голова с несколькими волосками, и те же слова с тем же выражением, и неприятное чувство, с которым смотришь на старого плачущего мужчину.

* Ну? – грозно спросила бабушка.
* Бабушка, превосходный пирог, отрежьте–ка еще кусочек, – сказала я весело. – Я вас слушаю, Николай Антонович.
* Катя, Катя!
* Товарищи, знаете что, – сказала я, чувствуя, что мне становится даже как–то весело от злости. – В конце концов, я уже не маленькая – мне двадцать четыре года, и я могу, ка- жется, делать все, что мне нравится. Я больше не хочу здесь жить, понятно? Я выхожу за- муж. Вероятнее всего, я буду жить на Крайнем Севере с моим мужем, которому здесь делать нечего, потому что он – полярный летчик. Что касается Николая Антоновича, то я уже мно- го раз видела, как он плачет, и мне это надоело. Могу только сказать, что если бы он не был виноват, едва ли он стал бы возиться с этой историей всю жизнь. Едва ли, например, он стал бы хлопотать в Главсевморпути, чтобы Санина экспедиция провалилась.

Очевидно, в эту минуту мне было уже не так весело, как прежде, потому что бабушка испуганно смотрела на меня и, кажется, потихоньку крестилась. У Николая Антоновича дрожала на щеке жилка. Он молчал.

* И оставьте меня в покое, – сказала я с бешенством, – навсегда, навсегда!

**Глава 7. ЗИМА.**

В ноябре я получила комнату в одном из пригородов, на берегу Москвы–реки, и сразу же переехала, хотя Валя с Кирой в один голос заявили, что без меня из семейной жизни у них ничего не выйдет, а Александра Дмитриевна добавила, отведя меня в сторону, что те- перь и она уйдет, потому что я была «все–таки каким–то громоотводом для чернобурых ли- сиц» и без меня Валя заговорит ее до смерти.

Комната была в новом доме, и нельзя сказать, чтобы этот пятиэтажный дом, одиноко торчавший на пустом берегу, имел особенно привлекательный вид. Рабочие только что ушли – и даже еще не ушли, а возились во дворе, убирая строительный мусор; ванны еще стояли на лестнице, здесь и там еще висели забытые ведра с краской.

Теперь до пригорода В. можно добраться в десять минут на метро, а тогда нужно было добрый час тащиться на трамвае. Теперь В. – та же Москва, а тогда это было скучное место, и наш неуклюжий одинокий дом, который так и хотелось огородить, выглядел очень стран-

но рядом с дряхлыми дачами, украшенными столбиками, перильцами и резными петушка- ми.

Но не только домом – и комнатой своей я не могла похвалиться. У нее было только одно достоинство – прекрасный вид на Москву–реку, которая и зимой была хороша, осо- бенно под вечер, когда сумеречный рассеянный свет приходил откуда–то издалека и под сугробами появлялись чистые овальные тени. И мне представлялся маленький портовый городок за Полярным кругом, где по деревянным улицам ходят в упряжке олени. «Но рядом с оленями, – писал Сеня, – бегут вперегонки лесовозы и автомобили, лошади и ездовые со- баки, и таким образом перед глазами проходит вся история человечества, начиная с родово- го строя и кончал социалистической культурой. Сейчас строим новый город, везде срубы и срубы, улицы засыпаны щепкой, и управление аэропорта переехало в новый великолепный трехэтажный дом с „холлом“ – по вечерам мы сидим в этом „холле“ и читаем Вольтера. Ин- тересно, что этот „современный“ автор стал у нас уже так популярен, что цитаты из его произведений украшают стенные газеты. Я думаю о тебе так много, что мне даже странно, откуда берется время на все остальное! Это потому, что все остальное – это тоже каким–то образом ты, особенно в полете, когда думаешь что–нибудь или поешь и снова думаешь – все о тебе…»

В ту зиму у меня было довольно трудно с деньгами, потому что мне присылали деньги из Уфы, где находилось Башкирское геологическое управление, и часто задерживали. Время от времени приходилось посылать ругательные телеграммы. Кроме того, мне негде было обедать, а готовить себе я ленилась. Словом, я совершенно одичала и однажды, примерив свое шелковое парадное платье, села и стала плакать от злости.

Первый раз за всю зиму я собралась в театр – к Вахтангову, на премьеру «Человече- ской комедии», – и оказалось, что у меня старомодное платье с какими–то хвостами, кото- рых уже сто лет как никто не носит. Потом мы с Кирой что–то сделали с платьем – подко- лоли, подшили. Но вечер был испорчен.

Это была одинокая зима в В. – такая одинокая, что едва ли не самым частым моим гостем был Ромашов. Теперь трудно было представить себе, что это тот самый Ромашов, который говорил, что убьет меня и себя. Он приезжал вежливый, спокойный, всегда пре- красно, даже франтовато одетый и говорил со мной ровным голосом, вероятно, тем самым голосом, которым он читал лекции у себя в институте…

Однажды он приехал очень усталый и голодный. Я сказала:

– Миша, хотите чаю?

Он сухо поблагодарил и отказался. Очевидно, он хотел показать, что не стремится к другим отношениям, кроме деловых, а деловые – это была экспедиция и все, что к ней от- носилось.

Почему он занимался ею? Конечно, потому, что дело касалось меня и, следовательно,

«не могло быть для него безразлично». Но здесь была и гордость – он как бы хотел показать, что я нисколько не обидела его своим отказом. И был, без сомнения, план, – вероятно, все тот же: жениться на мне с помощью каких–то тупых и сложных интриг. В нем самом было что–то тупое и одновременно сложное – в этой важности и в самом застывшем лице с дет- скими оттопыренными ушами. Но вдруг мелькало и что–то страшное. Недаром Иван Пав- лович как–то сказал, что это очень сложный человек, во всяком случае – способный на сильное движение души.

Но мне до его души было мало дела. Разумеется, я не писала Сане, что он у меня бы- вает. Саня сошел бы с ума – тем более, что у меня почему–то всегда получаются сухие, хо- лодные письма…

Вдруг оказалось, что в Главсевморпути далеко не уверены в том, что поиски следует поручить именно Сане. Он еще молод, и, хотя у него большой стаж, на Севере он работал еще сравнительно мало. Он известен как хороший, исполнительный пилот, но справится ли он с таким сложным делом, требующим организационного дарования? Вообще, что он за человек – помнится, в каком–то журнале его ругали за клевету, он кого–то оклеветал, ка- жется Н.А.Татаринова, известного полярного деятеля и двоюродного брата капитана.

И я требовала, чтобы редакция журнала напечатала опровержение, я доказывала, что организация поисковой партии, состоящей из шести человек, не такое уж сложное дело, я

требовала, чтобы поиски капитана Татаринова были поручены тому, кто с детских лет был воодушевлен этой мыслью, и никому другому.

Ромашов знал об этих хлопотах. О чем он думал, на что надеялся – я не спрашивала, и он не начинал разговора. Но был день, когда я догадалась о многом.

У меня не было никакого сомнения в том, что если экспедиция состоится, я поеду на Северную Землю вместе с Саней. Я написала об этом начальнику Главсевморпути и пред- ложила свои услуги как геолог. Вскоре пришел ответ из сектора кадров и, к сожалению, со- всем не тот, которого я ожидала: мне предлагали работу на одной из полярных станций – по моему выбору – и просили явиться в Главсевморпуть для переговоров.

В этот день я поздно вернулась домой – как всегда, когда попадала в «город», – и на лестнице вспомнила с досадой, что забыла запереть дверь. Между тем кто–то расхаживал у меня в комнате – без сомнения, воры. Но это были не воры. Это был Ромашов, который остановился, когда я вошла, и я сразу увидела, что он очень расстроен.

* Я прочитал это письмо, – сказал он, не здороваясь. – Вы хотите ехать в экспедицию, вот что!

Я посмотрела на него и невольно вспомнила, что в школе его дразнили «совой». У него были совершенно круглые глаза, и в эту минуту он был удивительно похож на сову. Но это была довольно большая сова, которая крикнула: «Вот что!» и с трудом перевела дыхание.

* А зачем вы читаете чужие письма? – спросила я довольно миролюбиво.
* Это не полагается, Миша.
* Вы скрываете от меня! А сами за моей спиной хлопочете чтобы уехать!
* Миша, что вы, в уме? Не хватает еще, чтобы я у вас спросилась!

Он вдруг как–то странно всхлипнул – не то засмеялся, не то заплакал.

* Я сам, – высоким голосом сказал он, – если вы хотите, сделаю это. Хорошо, вы по- едете!

Я промолчала. Мне почему–то не хотелось его обижать.

* Почему вы молчите?
* Потому, что не намерена отвечать на ваш вздор
* Катя, Катя!
* Послушайте, – сказала я спокойно, – вам нужно, знаете что? Отдохнуть. Вы устали.

С чего вы взяли, что я останусь в Москве?

* Да, вы останетесь.

Я хотела засмеяться, но он шагнул ко мне, и у него стало такое лицо, что, кажется, еще секунда, и он бы меня ударил.

* Ну, вот что, дорогой мой, – сказала я все еще спокойно, но уже не так, как бы мне хотелось, – где ваше пальто и шляпа?
* Катя! – снова с отчаянием пробормотал он.
* Вот вам и «Катя». Я знаю, на что вы рассчитываете, даже если бы я и осталась. Вы, вероятно, совсем сошли с ума, но это меня мало интересует. Ну–с?

Он молча надел пальто, шляпу и вышел.

Осенью 1935 года экспедиция была, наконец, решена. Известный полярник профессор В. выступил со статьей, в которой высказывал убеждение, что, судя по дневникам штурмана Климова, «материалы экспедиции Татаринова, если бы их удалось найти, могли бы иметь значение и для современного изучения Арктики». Даже мне эта мысль показалась слишком смелой. Но неожиданно она подтвердилась – и именно это обстоятельство сыграло самую большую роль в признании Саниного проекта. Дело в том, что, изучив карту дрейфа «Св. Марии» с октября 1912 по апрель 1914 года, профессор В. высказал предположение, что на широте 78(02'и долготе 64( должна находиться еще неизвестная земля. И вот эта гипотети- ческая земля, которую В. открыл, сидя в своем кабинете, была обнаружена во время нави- гации 1935 года. Правда, это оказалась не бог весть какая земля, а всего только клочок арк- тической суши, затерянной среди ползучих льдов и представлявшей собою крайне унылую картину, но, как бы то ни было, еще одно «белое пятно» было стерто с карты Советской Арктики, и это было сделано с помощью карты дрейфа «Св. Марии».

Не знаю, нужны ли были новые доводы в пользу Саниного проекта, но, так или иначе,

«поисковая партия при высокоширотной экспедиции по изучению Северной Земли» была

включена в план навигации следующего года. Весной Саня должен был приехать в Ленин- град, и мы условились встретиться в Ленинграде, где я еще никогда не была.

**Глава 8.**

**ЛЕНИНГРАД.**

О чем только не передумала, чего только не вообразила я в это утро 10 мая 1936 года, подъезжая к Ленинграду, где на другой день должна была встретиться с Саней! Вагон дре- безжал и скрипел, должно быть попался старый, но я прекрасно, спокойно спала всю ночь, а проснувшись, стала мечтать и мечтать. И как же хорошо было мне мечтать, точно за тысячу километров слыша однообразный железный шум колес и сонное дыхание соседей! Как пре- красно я устраивала в своей жизни и то, что могло и то, чего не могло быть! Мне казалось, что все могло быть – и даже то, что мой отец жив и мы найдем его и вернемся вместе. Это было невозможно, но у меня было так просторно и тихо на душе, что я допустила и это. Я как бы приказала в душе, чтобы мы нашли его, – и вот он стоит, седой, прямой, и нужно, чтобы он уснул, а то он сойдет с ума от волнения и счастья.

Вагон раскачивался и скрипел, и это было как бы равномерная громкая музыка, кото- рая все начиналась и начиналась. Я все ждала – что же дальше? – а она снова начиналась. Что еще придумать, что приказать себе – самое прекрасное, самое чудесное в жизни? И я придумала, что мы возвращаемся и нас встречают, как встречали героев–летчиков, спасших челюскинцев в 1933 году, когда эти люди, которых любили все и о которых все говорили, ехали в машинах, покрытых цветами, и вся Москва была белая от цветов и листовок и белых платьев, в которых женщины встречали героев. Но этого я хотела не для себя, а для Сани и для отца, если только допустить самое невозможное, что нельзя, допустить иначе, как толь- ко теперь, в полусне, в вагоне, под эту равномерную, монотонную музыку колес, которая все начиналась…

Тогда «стрела» приходила в Ленинград в 10.20, и соседи давно уже курили в коридоре, должно быть, ждали, когда я оденусь и выйду, а я все лежала. Я точно боялась, что долго теперь ко мне не вернется это чудное, детское состояние души.

Мы условились, что Санина сестра (которую я, в отличие от моего Сани, и в письмах всегда называла Сашей) встретит меня на вокзале «или Петя, – писала она, – если я буду не- здорова». Она не раз мельком упоминала о своем нездоровье, но письма были такие веселые, с рисунками, что я не придавала этим упоминаниям никакого значения. Впрочем, я подо- зревала, в чем дело. В одном из писем Петя был изображен с книгою в одной руке и а мла- денцем – в другой, причем, как ни странно, они были похожи.

Все уже стояли в шляпах и пальто, и соседи помогли мне снять с полки мой чемодан – довольно тяжелый, потому что я взяла все, что у меня было, и даже несколько интересных образцов горных пород, точно предчувствовала, что теперь долго не вернусь в Москву. Я волновалась – Ленинград! Между голов вдруг стал виден перрон, и я сразу начала искать Сковородниковых, но перрон пробегал, а их не было, и я вспомнила с досадой, что не теле- графировала им номер вагона.

Носильщик вытащил мой чемодан, и мы с ним стояли, пока все не прошли, а Сково- родниковых все не было.

– Может, у подъезда? – сказал носильщик.

Мы вышли к подъезду, и я простояла еще с добрых полчаса и, наконец, решила, что это свинство. Так приглашать к себе, а потом даже не встретить! И зная, что я в первый раз в Ленинграде.

Одну минуту я колебалась, не заехать ли в гостиницу, но немного беспокоилась, по- тому что это все–таки было странно, и поэтому поехала к Сковородниковым.

В сущности говоря, я их почти не знала. Мы познакомились с Сашей в Энске много лет тому назад и с тех пор виделись едва ли три–четыре раза. Но мы регулярно переписыва- лись, и больше всего в те тяжелые годы, когда я была так одинока в Москве после маминой смерти. Она пересказывала мне Санины письма и всегда уверяла, что он любит меня, даже когда он забыл обо мне – в Балашове, а потом в Заполярье.

Она была моим другом, и я нисколько не сомневалась, что теперь, когда мы увидимся, так и окажется, что она – мой друг, тем более, что она была сестрой Сани.

С Петей я тоже встречалась очень мало. В Энске это был длинный, лохматый молодой человек, который всегда делал что–нибудь неожиданное – неожиданно приходил в гости, когда его никто не ждал, и так же неожиданно срывался с места и уходил. Несколько раз он приезжал в Москву с одним из ленинградских театров и всегда заходил ко мне – такой же быстрый, лохматый и «неожиданный», разве что стал немного постарше.

В одном из писем Саша подробно рассказывала и даже рисовала, как с вокзала про- ехать к ним, на проспект Карла Либкнехта, где они жили. Но я все перепутала и, выйдя на Невский, спросила у какого–то вежливого ленинградца в пенсне:

– Скажите, пожалуйста, как пройти на Невский проспект? Это был позор, о котором я даже никому не сказала.

Потом меня зажали в трамвае, и единственное, что я успела заметить, это что в срав- нении с Москвой улицы были пустоваты. Пустовата была и та, по которой, сойдя с трамвая, я тащилась с моим чемоданом. А вот и номер 79. «Фотограф–художник Беренштейн».

Здесь.

Я стояла на площадке третьего этажа, потирая пальцы, онемевшие от проклятого че- модана, когда внизу хлопнула дверь и длинный человек в макинтоше, с кепкой в руке про- мчался мимо меня, прыгая через ступеньку.

* Петя, это вы?

Должно быть, он был в эту пору необыкновенно далек от какой бы то ни было мысли обо мне, потому что он остановился, взглянул и, не найдя во мне ничего интересного, сделал движение, чтобы бежать дальше. Но какое–то смутное воспоминание все же остановило его.

* Не узнаете?
* Ну, что вы, конечно узнаю! Катя, я бегу из больницы, – с отчаянием сказал он, – се- годня ночью Сашу взяли в больницу.
* Да что вы?
* Да, взяли. Пойдемте к нам. Поэтому мы не могли вас встретить.
* Что же с ней?
* Разве она вам не писала?
* Нет.
* Ну, пойдемте, я вам все расскажу…

Очевидно, семейство фотографа–художника Беренштейна принимало близкое участие в делах Саши и Пети, потому что маленькая, изящно одетая женщина встретила Петю в пе- редней и с волнением спросила:

* Ну, что?

Он отвечал, что ничего не знает и что его не пустили, но в эту минуту выбежала еще одна такая же маленькая, изящная женщина и тоже спросила с волнением:

* Ну, что?

И Петя ей тоже должен был подробно рассказать, что он ничего не знает и что его не пустили.

Саша ждала дочку или сына – вот почему ее увезли в больницу.

* Петя, что же вы так волнуетесь? Я уверена, что все будет прекрасно.

Мы были одни в его комнате, и он сидел напротив меня в кресле, опустив голову, подняв худые плечи. У него был очень унылый, расстроенный вид, и он болезненно сжал зубы, когда я сказала, что все будет прекрасно.

* Вы не знаете… Она очень больна, у нее грипп, и она кашляет. Она тоже говорила, что все будет прекрасно.

Он вскочил.

* Нужно поехать к Габричевскому. Я уже звонил, но он говорит, что ему неудобно, потому что Саша в другой больнице, а он в другой. Саша у Шредера.

Я поняла, что Габричевский – это врач, лечащий Сашу.

* Нет, поедем сперва к ней. Подумаешь, грипп! Я уверена, что все обойдется. Он растерянно смотрел на меня.
* Да ну же, Петя, очнитесь! – сказала я с досадой.

Я ругала его всю дорогу, и он постепенно пришел в себя и даже неожиданно засмеял- ся, когда я нарисовала ему торжественную картину, как Саша возвращается домой с дочкой или сыном.

* Вы, конечно, – хотите сына?
* Ох, хоть лягушку, только бы все кончилось поскорее!

Не знаю, что это за клиника – Петя сказал, что очень хорошая, – но мне показалось странным, что в ней не было никакой приемной и все просто стояли внизу в подъезде, отго- роженном от лестницы деревянным барьером. Несколько таких же, как Петя, расстроенных молодых отцов сидели на скамейках или уныло слонялись, наталкиваясь друг на друга. Петя тоже сел было на скамейку, но я потащила его наверх, и какая–то милая сестра сказала нам, что профессора нужно ловить в коридоре, когда он кончит обход и пойдет в другое отделе- ние.

Мы словили его наконец, и он только зажмурился и засмеялся, когда Петя набросился на него, подпрыгивая от волнения.

Он провел нас к себе в кабинет, и стыдно признаться, но за полчаса, что мы разгова- ривали, я просто влюбилась в этого человека. У него были добрые голубые глаза, и он крепко держал Петю за руку, объясняя, чего нужно опасаться и чего не нужно. Он удиви- тельно располагал к себе. Нельзя сказать, чтобы он говорил такие уж успокоительные вещи, но мы почему–то успокоились. Вообще профессор был почти уверен, что все кончится бла- гополучно, «хотя грипп в таком положении – это, конечно, совсем лишняя штука». Про Са- шу он сказал, что она – такой молодец, что ему редко приходилось видеть.

В прекрасном настроении мы вернулись домой, и тут Петя вспомнил, что я – с поезда, а он даже не напоил меня чаем. Двери захлопали, и я слышала, как кто–то сказал в коридоре:

– Петя, да полно вам, у нас еще горячий чайник.

Но он вернулся без чайника, взял из ящика стола деньги и снова ушел, хотя я клялась, что у меня все осталось с дороги и ничего не нужно…

Это была комната, в которой жили художники, – вот что бросалось в глаза с первого взгляда. Видно было даже, что здесь жили два художника и что им вдвоем было тесно. По- жалуй, можно было угадать, где работает один и где другой и где проходила зона, в которой они мешали друг другу.

Вот этот стол у окна, белый, красивый, хотя и очень простой, переделанный из чер- тежного, – без сомнения, Сашин. А вот этот грязный, на котором стоит макет и валяются в беспорядке карандаши, кисти и трубки бумаги, – без сомнения, Петин.

Жизнь совсем другая, удивительно не похожая на мою, была видна во всем, и я вдруг почувствовала, что жила в Москве, особенно последнее время, однообразно и скучно. Но это были люди искусства, таланта, а у меня не было никакого таланта, и я, конечно, совершенно напрасно расстроилась и напрасно думала об этом, пока не пришел Петя.

Он извинился, что не прибрано, – Сашу так неожиданно увезли, и мне стало стыдно, что, вместо того чтобы прибрать комнату, я стояла у окна, как дура…

* Ох, какой я голодный! Оказывается, я страшно голодный! И мы сели пить чай и разговаривать о Саше.

Совсем забыла сказать, что, уходя из клиники, мы сговорились с одной сиделкой, что она будет звонить каждый час, как себя чувствует Саша. При этом Петя отдал ей все, что у него было, – должно быть, порядочно, потому что у нее сделалось испуганное лицо и она стала совать деньги обратно. Теперь она позвонила – в два часа дня – и сказала, что все идет нормально.

* Нормально? – кричал Петя.
* Нормально.
* А как себя чувствует?
* Нормально.

Через час она снова позвонила и опять сказала, что – нормально.

* Покряхтывает маленько, – добавила она подумав.

И я слышала, как тот же голос, который недавно предлагал Пете горячий чайник, ска- зал с негодованием:

* Петя, не сходите с ума. Что значит – покряхтывает? А вы бы, думаете, не кряхтели?

Так продолжалось весь день. К вечеру я робко сказала, что хорошо бы пройтись, по- смотреть Ленинград, но у него стало такое расстроенное, испуганное лицо, что я осталась.

* Я буду вас развлекать, ладно?

И он стал показывать мне свою последнюю работу – проект памятника Пушкину к столетнему юбилею. Пушкин был изображен шагающим по набережной Невы, против ветра, в развевающейся шинели, с упрямым, вдохновенным лицом. Это был молодой, романтиче- ский Пушкин, похожий на негра, погруженный в себя и втайне веселый.

* Нравится?
* Очень. А я и не знала, что вы занялись скульптурой.

Он стал объяснять, почему он занялся скульптурой, потом неожиданно перешел к шахматному турниру в Москве с участием Ласкера и Капабланки, потом – к международ- ному положению. При этом он все время прислушивался, не звонит ли телефон, и во всем, что он говорил – будь то итало–абиссинская война, – была только Саша и Саша…

В восемь часов сиделка почему–то не позволила, и мы опять побежали в клинику и снова говорили – на этот раз с той милой сестрой, которая посоветовала нам ловить про- фессора после обхода. В общем, все было хорошо, а сиделка не позвонила, потому что ей, оказывается, совестно было так часто беспокоить.

Мы вернулись, и Петя стал знакомить меня с семейством фотографа–художника, с его маленькой, изящной седой супругой и с такой же маленькой, изящной седой сестрой супру- ги. Сам хозяин почему–то жил постоянно в Москве, но мне показали его портрет, и он ока- зался представительным мужчиной с красивой шевелюрой и в бархатной куртке – настоя- щий фотограф–художник и даже, пожалуй, больше художник, чем фотограф.

Во втором часу меня отправили спать на Сашину постель, а Петя сказал, что ему не хочется спать, и устроился с книгой под телефоном. Сиделка звонила теперь аккуратно, но каждый раз извинялась за беспокойство. Я уснула после одного из таких разговоров, но спала, кажется, только одну минуту, когда кто–то быстро, коротко постучал в стену, и я вскочила, не понимая, где я и что со мной. В коридоре был свет, и оттуда слышались голоса, как будто несколько человек громко говорили, перебивая друг друга. В ту же минуту Петя, со сна показавшийся мне каким–то длинным уродом, вбежал в комнату и затанцевал, затан- цевал…

Потом перегнулся через стол и стал что–то снимать со стены.

* Петя, куда вы? Что случилось?
* Мальчик! – заорал он. – Мальчик!

Все летело на пол, потому что он снимал со стены какой–то большой портрет в тяже- лой раме и сперва стал на колени, а теперь ходил по столу и старался залезть между стеной и портретом.

* А Саша? Как Саша? Вы сошли с ума! Зачем вы снимаете эту картину?
* Я обещал подарить ее Розалии Наумовне, если все обойдется. Он слез со стола, поцеловал меня и заплакал.

**Глава 9. ВСТРЕЧА.**

Все обошлось в тысячу раз лучше, чем можно было ожидать, и наутро мы уже послали Саше письмо, конфеты и корзину цветов – самую большую, какая только нашлась в мага- зине. Когда мы передавали все это, служитель сказал: «Ого!», и дежурная сестра тоже ска- зала: «Ого!»

Все обошлось, но профессор, в которого я накануне влюбилась, был, кажется, чем–то недоволен. Впрочем, может быть, это мне показалось. Почему–то Сашу долго не переводили в палату, но, в конце концов, перевели еще при нас. Мы подослали к ней сиделку, ту самую, что звонила, и она принесла от Саши записочку.

«Петенька очень похож на тебя, такой же носатый. Разве я не говорила, что все будет прекрасно? Катя, дорогая, целую, целую. Спасибо за чудные цветы. Не

нужно присылать всего так много. Привет Беренштейнам.

**Ваша Саша».**

Мне даже захотелось немного поплакать, когда я прочитала эту записку. Может быть, я немного всплакнула, но в это время кто–то в приемной спросил, который час, и оказалось, что уже без четверти десять.

И я простилась с Петей, которому ужасно не хотелось уходить из этого дома, и поеха- ла на вокзал, потому что поезд из Мурманска приходил в 10.40.

Я замечала, что прежде, когда я видела Саню после очень долгой разлуки, какое–то странное чувство разочарования вдруг охватывало меня. Как будто уже не могло быть ни- чего лучше того, что я испытала, тысячи раз представляя в уме эту встречу. Так было со мной в Москве, когда Саня приехал с Севера и мы встретились у Большого театра. Тогда мне казалось, что должно произойти что–то необыкновенное, какая–то перемена во всем – и на земле, и на небе. Но ничего не произошло, кроме того, что мы оба потом жалели об этом свидании.

И вот теперь, когда я приехала на вокзал, я вдруг испугалась этого чувства: другие люди, так же как я, пришли, чтобы встретить кого–то, носильщики бежали к поезду, некра- сивый кондуктор с седыми грязными усами за что–то грубо ругал проводника.

Но я поняла, что это чувство пройдет, потому что теперь у нас была совсем другая встреча…

Поезд показался – и волнение мигом передалось вдоль перрона. Встречающих было немного, но все–таки я встала далеко от всех, в стороне, чтобы он меня сразу заметил. Ка- жется, я была спокойна. Мне только казалось, что все происходит очень медленно – поезд медленно подходит к платформе, и первые пассажиры медленно сходят со ступенек и уди- вительно медленно идут ко мне навстречу – идут и идут, а Сани все нет, и опять идут, и у меня сердце начинает куда–то проваливаться, потому что его нет. Он не приехал.

* Катя!

Я оборачиваюсь. Он стоит у первого вагона, и я бегу к нему, бегу и чувствую, как все у меня внутри дрожит от волнения и счастья.

Мы тоже очень медленно шли по платформе, потому что все время останавливались, чтобы посмотреть друг на друга. Не помню, о чем мы говорили в первые минуты. Саня что–то быстро спрашивал, и я отвечала, не слыша. Потом я сказала о Саше, и мы снова остановились – на этот раз в неудобном месте, потому что нас сразу же стали очень тол- кать, – и долго говорили о Саше.

* А Петька? Он, наверно, весь Ленинград на ноги поднял. Он же сумасшедший. Ох!

Как я давно их не видел!

Мы поехали в «Асторию», потому что Саня сказал, что ему удобнее остановиться в гостинице, и оттуда стали звонить Пете, сперва домой, потом в клинику. В клинике его уже знали и сказали, что он пошел покупать маковки.

* Что?
* Маковки.
* Пошел покупать маковки, – с недоумением сказала я и повесила трубку. Саня так и покатился со смеху.
* Это он вспомнил, что Саша любит маковки, – Объяснил он. – Она всегда любила маковки. Ох! Милый! А «бес–дурак» он еще говорит? Он говорил «бес–дурак» и «смешно». Что ты смотришь?

Я смотрела, потому что он мне очень нравился, просто ужасно. Мы снова не виделись целый год, но странно, у меня было такое чувство, что мы в тысячу раз ближе, чем когда расставались. Мне почему–то показалось, что он стал выше ростом за этот год и шире в груди и плечах. У него определились черты, и лицо стало решительнее, сильнее, особенно линии подбородка и рта. Больше он не был похож на мальчика, и теперь о нем, пожалуй, нельзя было сказать, что ему еще рано жениться. Только на макушке торчал прежний упря- мый хохол, хотя приглаженный и тоже какой–то постарше.

* Я забыл, какая ты красивая, – сказал он – Очень странно, но там мне это было поче- му–то неважно.
* А здесь?

Он поцеловал меня, и мы снова стали звонить Пете.

На этот раз он оказался дома и бешено завыл в телефон, когда я сказала, что Саня сто- ит рядом со мной и тащит из моих рук трубку. Они долго беспорядочно орали: «Эй! Ну как, старик, а?» И ругали друг друга «бес–дурак». Потом Саня спросил, достал ли он маковки, и, задыхаясь от смеха, стал показывать мне знаками, что не достал. В конце концов, они сго- ворились: Саня заедет в клинику, и они вместе попробуют пробиться к Саше.

* А я?

Он снова обнял меня.

* Куда же я теперь без тебя? – сказал он. – Теперь, брат, кончено. Баста, баста! И он спросил меня шепотом, как тогда в поезде, когда я его провожала:
* Ты любишь меня?
* Да, да.

Конечно, к Саше нас не пустили, но мы опять передали ей записку и получили ответ, на этот раз с просьбой унять Петьку, который «всем надоел». Еще она писала, что ей хочет- ся погулять с нами, и в заключение спрашивала, обедали ли мы и, если еще нет, чтобы за- хватили мужа, потому что он «может по двое суток не есть, если ему не напомнить».

Из обеда ничего не вышло. Сане нужно было в Арктический институт, и я пошла его провожать – не только потому, что мне этого хотелось, а потому, что пора было все–таки поговорить о деле, ради которого мы встретились в Ленинграде. Мои последние письма не дошли до него, и он не знал новостей о «Пахтусове», который – это только что было решено

* + пойдет через Маточкин Шар, а потом, обогнув Северную Землю, направится к Ляховским островам.
    - Ну что ж, у нас будет больше времени, только и всего, – сказал Саня. – Меня больше всего беспокоит время.

Мы заговорили о составе поисковой партии, и он сказал, что предложил одного ради- ста с Диксона, потом доктора Ивана Ивановича и своего механика Лури, о котором он часто писал мне из Заполярья.

* + - Радист превосходный. Знаешь кто?
    - Нет.
    - Корзинкин, – торжественно сказал Саня. – Тот самый.

Я созналась, что впервые слышу эту фамилию, и Саня объяснил, что Корзинкин – один из двух русских, ходивших с Амундсеном на Южный полюс, и что Амундсен даже упоми- нает о нем в своей книге.

* + - Здорово, да? Пятый – я. А шестая – ты. Тебя предложил как «дочку».
    - В самом деле? А мне казалось, что я имею некоторое право на участие в этой экспе- диции не только как дочка капитана Татаринова. Что же, ты так и написал: профессия – дочка?

Саня смутился.

* + - А что? – пробормотал он. – Ничего особенного. Это глупо, да?
    - Очень.
    - А иначе вышло бы, что я хлопочу за жену. Неудобно.
    - Саня, я вообще не просила тебя хлопотать, – сказала я спокойно. – Дочка, жена! Я еще и племянница и внучка. Я старый геолог, Саня, и просила начальника Главсевморпути, чтобы он включил меня в состав экспедиции в качестве геолога, а не твоей жены. Кстати, я еще не твоя жена, и если ты будешь так глупо вести себя, я вот возьму и выйду за другого. Мы, кажется, еще не записывались?

Мне стало даже жалко его, так он заморгал и неловко засмеялся и, сняв фуражку, вы- тер ладонью лоб.

* + - Катя, прости, честное слово! – пробормотал он.

Я быстро поцеловала его, хотя мы стояли уже во дворе перед самым зданием Аркти- ческого института, и сказала:

* + - Ни пуха, ни пера.

К шести часам он обещал позвонить или, если удастся, заехать к Пете.

**Глава 10. НОЧЬ.**

Он вернулся не к шести, а к одиннадцати, и не к Пете, а в «Асторию», и потребовал, чтобы мы немедленно приехали к нему ужинать, потому что он так и не обедал и голоден, как дьявол, а есть одному ему скучно.

Но Петю сморило после тревожного дня; кроме того, он для бодрости еще хватил водки и теперь лежал на диване и сонно таращил глаза, похожий на Петрушку со своим ди- ким носом и нескладными руками и ногами.

…Я помню по числам все наши встречи с Саней, не только встречи, но и письма. В садике на Триумфальной мы встретились 2 апреля, а у Большого театра 13 июня. Этот вечер, памятный на всю жизнь, – когда он позвонил, вернувшись из Арктического института, и я поехала к нему – было 21 мая.

Мы знакомы с детских лет, и мне казалось, что я уже так хорошо знаю его, как он и сам, кажется, себя не знает. Но таким как в этот вечер, я прежде его не видала. Когда мы ужинали, я ему даже сказала об этом.

Проект был полностью принят, и ему наговорили в институте много комплиментов – очевидно, не без основания. Он виделся с профессором В., тем самым, который открыл ост- ров на основании дрейфа «Св. Марии», и В. отнесся к нему превосходно. Он был в Ленин- граде, прекрасном огромном городе, который он любил еще со времени летной школы, – в Ленинграде после тишины Заполярья! Все шло все удавалось.

И как видны были в его лице, во всех движениях, даже в том, как он ел, это счастье, эта удача! У него блестели глаза, он держался прямо и вместе с тем свободно. Если б я не была влюблена в него всю жизнь, так уж в этот вечер непременно бы влюбилась.

Мы что–то ели без конца, а потом пошли гулять, потому что я сказала, что еще не успела посмотреть Ленинград, и Саня загорелся и сказал, что он хочет сам «показать мне, что это за город».

Был третий час, и это был самый темный час ночи, но когда мы вышли из «Астории», было так светло, что я нарочно остановилась на улице Гоголя и стала читать газету.

Белая ночь! Но Саня сказал, что его не удивить белыми ночами и что в Ленинграде они хороши только тем, что не продолжаются по полгода.

Мы прошли под аркой Главного штаба, и великолепная пустынная площадь вдруг от- крылась перед нами – не очень большая, но просторная и какая–то сдержанная, не похожая на открытые площади Москвы. Очень обидно, но я не знала, что это за площадь, и Сане пришлось прочесть мне краткий урок русской истории с упоминанием 7 ноября 1917 года.

Потом мы пошли по улице Халтурина – я прочитала название под домовым фонарем – и долго стояли перед колоссами, поддерживающими на плечах высокий подъезд Эрмитажа. Не знаю, как Саня, а я смотрела на них с нежным чувством, точно они были живые, – им было так тяжело, и все–таки они были прекрасны.

Потом мы вышли на набережную, – вот где была эта белая ночь, – ни день, ни ночь, ни утро, ни вечер. Над зданиями Военно–медицинской академии небо было темно–синее, свет- ло–синее, желтое, оранжевое, – кажется, всех цветов, какие только есть на свете! Где–то там было солнце. А над Петропавловской крепостью все было совершенно другим, туман- но–серым, настолько другим, что нельзя было поверить, что это одно и то же небо. И мы сперва долго смотрели на крепость и на ее небо, а потом вдруг поворачивались к Воен- но–медицинской академии и к ее небу, и это был как будто мгновенный переезд из одной страны в другую – из неподвижной и серой в прекрасную, живую, с быстро меняющимися цветами.

Стало холодно, я была легко одета, и мы вдвоем завернулись в Санин плащ и долго сидели обнявшись и молчали.

Мы сидели на полукруглой гранитной скамейке, у самого спуска в Неву, и где–то внизу волна чуть слышно ударялась о каменный берег.

Не могу передать, как я была счастлива и как хорошо было у меня на душе этой но- чью! Мы были вместе, наконец, и теперь не расстанемся никогда. И больше ничего не нуж-

но было доказывать друг другу и не нужно было ссориться, как мы ссорились всю жизнь. Я взяла его руку, твердую, широкую, милую, и поцеловала, а он поцеловал мою.

Не помню, где мы еще бродили в эту ночь, только помню, что никак не могли уйти от Невы. Мечеть с голубым куполом и двумя минаретами повыше и пониже все время была где–то перед нами, и мы все время шли к ней, а она уходила от нас, как виденье.

Уже дворники подметали улицы и большой желтый круг солнца стоял довольно высо- ко над Выборгской стороной, и как нам ни жалко было расставаться с этой ночью, а она уходила, – когда Саня вдруг решил, что нужно немедленно позвонить Пете.

* Мы спросим его, – сказал он смеясь, – как он думал провести этот вечер.

Но я уговорила его не звонить, потому что телефон был в передней и мы разбудили бы все семейство фотографа–художника Беренштейна.

* Семейство очень милое, и это свинство – будить его ни свет, ни заря!

У мечети – мы все–таки дошли до мечети – Саня окликнул такси, и нам вдруг показа- лось так удобно в такси, что Саня стал уговаривать меня поехать еще на острова, а уж потом к Пете. Но ему предстоял трудный день, я хотела, чтобы сперва он заехал к себе и уснул хоть ненадолго…

И мы вернулись к нему в «Асторию» и стали варить кофе. Саня всегда возил с собой кофейник и спиртовку – он на Севере пристрастился к кофе.

* А страшно, что так хорошо, правда? – сказал он и обнял меня. – У тебя сердце так бьется! И у меня – посмотри.

Он взял мою руку и приложил к сердцу.

* Мы очень волнуемся, это смешно, правда?

Он говорил что–то, не слыша себя, и голос его вдруг стал совсем другой от волнения… Мы пошли к Сковородниковым только в первом часу. Маленькая, изящная старая дама

открыла нам и сказала, что Пети нет дома.

* Он уехал в клинику.
* Так рано?
* Да.

У нее было расстроенное лицо.

* Что случилось?
* Ничего, ничего. Он позвонил туда, и ему сказали, что Александре Ивановне стало немного хуже.

**Глава 11. СЕСТРА.**

И вот начались эти дни, о которых я еще и теперь вспоминаю с горьким чувством бес- силия и обиды. По три раза в день мы ходили в клинику Шредера и долго стояли перед ма- ленькой витриной, в которой висел температурный листок: «Сковородникова – 37; 37,3; 38,2; 39,9». Но это было не простое воспаление легких, когда на девятый день наступает кризис, а потом температура падает, как было у меня в школе. Это было проклятое «ползу- чее», как сказал профессор, воспаление. Были дни, когда у нее была почти нормальная тем- пература, и тогда мы возвращались очень веселые и сразу начинали ждать Сашу домой. Ро- залия Наумовна – так звали супругу фотографа–художника – рассказывала, что она тоже болела воспалением легких и что эта болезнь просто пустяки в сравнении с гнойным плев- ритом, которым болела ее сестра Берта. Петя начинал говорить о своей скульптуре, и одна- жды мне даже удалось уговорить его сходить со мной в Эрмитаж. Но наутро мы снова молча стояли перед витриной и смотрели, смотрели, смотрели… Я заметила, что Петя однажды закрыл глаза и снова быстро открыл, как в детстве, когда думаешь, что откроешь глаза и увидишь совсем другое. Но он увидел то же, что видела я и что мы надеялись больше не ви- деть: «Сковородникова – 38,1, Сковородникова – 39,3, Сковородникова – 40».

Три дня подряд температура держалась на 40, потом резко упала – на несколько часов

* и опять поднялась, на этот раз до 40,5. Я была уверена, что это не воспаление легких, и тайком от Сани поехала к профессору на квартиру. Но он подтвердил диагноз – фокус прослушивается совершенно ясно, – не один, а несколько и в обоих легких. Он сказал, что это не по его части и что Сашу уже смотрел терапевт.
  + И что же?
  + Грипп, осложнившийся воспалением легких.

Я знала, что он заходит к Саше по сто раз в день, что вообще в клинике относятся к ней прекрасно, но все–таки спросила, не думает ли он, что нужно пригласить еще како- го–нибудь терапевта.

* + Может быть, Габричевского?
  + Конечно, пожалуйста. Я сам позвоню ему.

Но температура не упала оттого, что Сашу посмотрел Габричевский.

Я почти не видела Саню в эти дни; он только звонил иногда по ночам, да однажды я забежала к нему в институт, в маленькую комнатку, отведенную для снаряжения поисковой партии. Он сидел за столом, заваленным оружием, фотоаппаратами, рукавицами и меховы- ми чулками. Усатый, серьезный человек в кожаном пальто собирал у него на столе дву- стволку и ругался, что стволы не подходят к ложам.

* + Ну, как она? Ты ее видела? Что говорят врачи?

Ежеминутно звонил телефон, и он, наконец, снял трубку и с досадой бросил ее на стол.

* + Все то же.
  + А температура?
  + Сегодня утром было сорок и две.
  + Черт! Неужели нет никакого средства?

Он очень похудел за эти дни, у него был тревожный, усталый вид, и он вообще не был похож на себя, особенно на себя в первый день приезда.

* + Как ты похудела, – не спишь? – спросил он. – Я не понимаю, но все–таки, какое же положение?
  + Непосредственной опасности нет.
  + Что?
  + Габричевский сказал, что непосредственной опасности нет.
  + Да ну их к дьяволу! – злобно сказал Саня. – Не могут вылечить человека! Ведь она была здорова. Я же знаю, она никогда даже ничуть не болела.

Я сказала, что, наверно, теперь не увижу его несколько дней, потому что мне разре- шили дежурить у Саши и с сегодняшнего вечера я перееду в больницу. Он взял меня за руку и с благодарностью посмотрел на меня. Потом проводил до ворот, и мы расстались…

Она лежала, глядя в потолок, изредка облизывая пересохшие губы, и не сразу узнала меня, может быть потому, что я была в колпаке и халате. Но первое время мне все казалось, что она принимает меня за кого–то другого.

Видно было, что она уже давно не спит и что у нее все перепуталось: утро и вечер – как будто время от нее уже отступило.

Что–то татарское стало заметно в ее лице, побледневшем под загаром, широковатом, с провалившимися глазами. Она всегда немного косила, и прежде это даже шло к ней, прида- вало ей невольное милое кокетство. Но теперь – это было почему–то ночами – ее тяжелый, косой взгляд исподлобья вдруг пугал меня. Она садилась в постели, прямая, смуг- ло–бледная, с косами, переброшенными на грудь, и молчала, молчала – никакими силами я не могла уговорить ее лечь. Однажды это случилось при Сане, и он долго не мог придти в себя – так она напомнила ему мать.

Мне прежде почти не приходилось ухаживать за больными, особенно такими тяжелы- ми, как Саша, но я научилась. Это было трудно, потому что Саша почти не спала или засы- пала и сразу же просыпалась, и нужно было все время следить за дыханием.

Были дни, когда жизнь возвращалась к ней – и с необыкновенной силой. Я помню один такой день, четвертый с тех пор, как я переселилась в больницу. Она хорошо спала ночь и утром проснулась и сказала, что хочет есть. Она выпила чаю с молоком и съела яйцо и, когда мы стали закутывать ее, чтобы проветрить палату, вдруг сказала:

* Катенька, да ты все время со мной? И ночуешь?

Должно быть, у меня немного задрожало лицо, потому что она посмотрела на меня с удивлением.

* Что ты? Я была очень больна? Да?
* Сашенька, мы сейчас откроем окно, а ты лежи тихонько и молчи, ладно? Ты была больна, а теперь ты поправляешься, и все будет прекрасно.

Она послушно замолчала и только ненадолго задержала мою руку в своей, когда я ароматическим уксусом вытирала ей лицо и руки. Потом принесли маленького, и мы стали рассматривать его, пока он ел, широко открыв глаза, с серьезным бессмысленным выраже- нием.

* Очень похож, да? – спросила под маской Саша.

Ей нравилось, что он похож на Петю, и в самом деле что–то длинное было в этом профиле – хотя ему было всего десять дней, у него был уже профиль. Но мне казалось, что он похож на Саню, – не на свою мать, а именно, на моего Саню: он так отчаянно, решитель- но ел!

* А Петя как? Очень волнуется, да? Мне сегодня снилось, что он пришел и сидит здесь, в этой комнате, а его от меня скрывают. Я его вижу, а Марья Петровна говорит – его нет.

Марьей Петровной звали сиделку.

* А он сидит вот здесь, где ты, и молчит. Ему нельзя говорить, потому что его от меня скрывают. Господи, я опять забыла, ведь ты его почти не знаешь!
* Мне кажется, что я с ним сто лет знакома.
* А Саня? Когда вы едете?
* Должно быть, недели через две. Еще наш «Пахтусов» ремонтируется. Только в конце июня выйдет из дока.
* А что такое док?
* Не знаю.

Саша засмеялась.

* Вы счастливые, милые!

Мы разговаривали, наверное, целый час, между прочим о Петином «Пушкине», и Са- ша сказала, что ей тоже кажется, что хорошо.

* Он очень разбрасывается, – сказала она с огорчением. – Я сперва была против, когда он занялся скульптурой. Но у него это есть и в рисунке.

Она вспомнила, как мы познакомились в Энске, как я была у них в гостях и тетя Даша сказала про меня: «Ничего, понравилась. Такая красивая, грустная. Здоровая».

* А где тетя Даша? – спросила я. – Почему она не приехала? Первый внук, такое со- бытие!
* Ты разве не знаешь? Она очень больна, у нее стало такое сердце, что врачи вот еще недавно велели ей лежать чуть не полгода. Мы с Петей часто ездим в Энск, почти каждое лето.

Она говорила еще с трудом и часто останавливалась, чтобы справиться с дыханием. Но все–таки со вчерашним днем не сравнить! Ей было гораздо лучше.

* А судья–то?
* Какой судья?
* Ну как же, наш судья!

И она рассказала мне, что судья Сковородников – Петин отец – награжден орденом

«Знак Почета».

* Там хорошо, правда? – сказала она помолчав. – В Энске. Вы приедете?
* Ну конечно!

Петя вызвал меня после обхода, я полетела со всех ног и сказала, что Саше гораздо лучше. И вот что произошло в приемной: вместе с Петей какой–то молодой человек в косо- воротке и кепке дожидался конца обхода. Я знала его по виду, потому что он часто одно- временно с нами приходил в клинику по утрам. Мы знали, что фамилия его больной Алек- сеева и что у нее тоже держится высокая температура: на всей доске только у нее и у Саши. И вот, когда я стояла с Петей в приемной, вдруг вышла сестра и быстро сказала ему:

* Вы к Алексеевой? Пройдите, пройдите.

И мы слышали, как она шепнула нянечке, дежурившей у гардероба:

* Скорее дайте халат… Может быть, еще застанет.

Это было страшно, когда, стараясь ни на кого не смотреть, он стал торопливо надевать халат и все не мог попасть в рукава, пока, наконец, нянечка не накинула ему халат на плечи, как пальто.

Мы продолжали разговаривать, но Петя больше не слушал меня. Вдруг он так поблед- нел, что я невольно схватила его за руки.

* Что с вами?
* Ничего, ничего.

Я усадила его и побежала за водой. Ему стало дурно.

Профессор–терапевт, с которым я говорила в этот день, отменил сердечные лекарства и сказал, что мы вообще «слишком пичкаем Сашу лекарствами». Уходя, он сказал, что на днях читал о замечательном новом средстве против воспаления легких – сульфидине, не- давно открытом учеными.

К вечеру Саше стало немного хуже, но я не очень расстроилась, потому что к вечеру ей обычно становилось хуже. Я читала, держа книгу под самой лампочкой, стоящей на кро- ватном столике, и набросив на абажур косынку, чтобы свет не беспокоил больную. Нака- нуне Саня прислал мне несколько книг, и я читала, как сейчас помню, «Гостеприимную Арктику» Стифансона. Мое участие в экспедиции было окончательно решено, и именно как геолога. Через несколько дней я должна была явиться к профессору В., который был назна- чен руководителем научной части. Конечно, я не собиралась скрывать, что пока еще знаю о Севере очень мало. Книги, которые прислал Саня, непременно нужно было прочитать, по- тому что это были основные книги.

Должно быть, в третьем часу я встала, чтобы послушать Сашу, и увидела, что она ле- жит с открытыми глазами.

* Ты что, Сашенька? Она помолчала.
* Катя, я умираю, – сказала она негромко.
* Ты поправляешься, сегодня тебе гораздо лучше.
* Так было бы не страшно, а что маленький – страшно.

У нее глаза были полны слез, и она старалась повернуть голову, чтобы вытереть их о подушку.

* Его возьмут в институт, да?
* Да полно тебе, Сашенька, в какой институт?

Я вытерла ей глаза и поцеловала. Лоб был очень горячий.

* Возьмут в институт, и я его потом не узнаю. А почему Пети нет? Почему его не пус- кают? Какое они имеют право его не пускать? Они думают, что я его не вижу? Вот же он, вот, вот!

Она хотела сесть, но я не дала. Сиделка вошла, и я послала ее за кислородной подуш- кой…

Что же рассказывать об ужасе, который начался с этой ночи!

Каждый час ей впрыскивали камфару, и все короче становились часы, когда она могла дышать без кислородной подушки. Температура падала, и уже ни камфара, ни дигален не действовали на сердце. Она лежала с синими пальцами, и лицо становилось уже восковым, но все еще что–то делали с этим бедным, измученным, исколотым телом.

Не знаю, как долго все это продолжалось, должно быть – долго, потому что снова была ночь, когда один из врачей, какой–то новый, которого я прежде не видала, осторожно вышел к нам в коридор из палаты. Мы стояли в коридоре. Саня, Петя и я. Нас зачем–то прогнали из палаты. Он остановился в дверях, потом медленно направился к нам.

**Глава 12.**

**ПОСЛЕДНЕЕ ПРОЩАНИЕ.**

Как много узнаешь о человеке, когда он умирает! Я слушала речи на гражданской па- нихиде в Академии художеств и думала, что едва ли Саше при жизни говорили и половину того хорошего, что о ней говорили после смерти.

Гроб стоял на возвышении, и было очень много цветов, так что ее бледное лицо было едва видно между цветами. Все обращались к ней почему–то на «ты» и говорили, что она была «прекрасным художником», «прекрасным советским человеком» и что «внезапная смерть бессмысленно оборвала» и так далее. И так далеки были эти речи от мертвого тор- жественно–строгого лица!

Я плохо чувствовала себя и с трудом простояла до конца панихиды. Больше нечего было делать – после такой ежечасной, ежеминутной работы, работы самой души, которая всеми силами стремилась спасти близкого человека. Теперь я была свободна. В каком–то оцепенении я стояла у гроба. Саня стоял рядом со мной, но я почему–то видела его то ясно, то как в тумане. Не отрываясь, он смотрел на сестру, и у него было усталое, злое лицо, как будто он сердился, что она умерла.

Он все сделал – заказал гроб и машину, распоряжался, ездил в загс и на кладбище, ме- ня отправил в «Асторию», а сам всю ночь провел с Петей. Теперь он стоял рядом со мной и смотрел, смотрел на сестру, как будто хотел насмотреться на всю жизнь. Я спросила у него, как Петя; он молча показал мне его в толпе, стоявшей в ногах у гроба.

Петя был ничего, но странным показалось мне его бледное, равнодушное лицо; он как будто терпеливо ждал, что вот, наконец, кончится эта длинная процедура и Саша снова бу- дет с ним, и все снова будет прекрасно. Старик Сковородников, накануне приехавший на похороны, стоял за ним, и слезы нет–нет, да и скатывались по щекам в его большие, акку- ратные седые усы. Потом у меня снова стал какой–то туман в глазах, и я не помню как кон- чилась панихида.

Должно быть, это было на второй или третий день после похорон Саши. Старик Ско- вородников возвращался в Энск и зашел к нам в «Асторию», чтобы проститься. У Сани кто–то был, кажется агент, отправлявший снаряжение в Архангельск, и мы прошли в спальню. Везде валялись ватные костюмы, варежки, рюкзаки… Экспедиция уже переехала в Санин номер из Арктического института.

Я усадила старика на кровать и стала угощать его кофе.

* Едете? – спросил он.
* Да, теперь скоро. Мы помолчали.
* Извините, я вас еще мало знаю, – сказал он, – но много слышал и от души рад, что Саня, которого я считаю за сына, соединил свою жизнь именно с вами. Конечно, грустно, что так случилось… Отпраздновали бы вместе… Но в жизни не закажешь…

Он вздохнул и повторил еще раз:

* В жизни не закажешь… Мне Петя говорил, что вы заботились о Сашеньке, и я от души вам благодарен.

Я спросила, как здоровье Дарьи Гавриловны.

* Да в том–то и дело, что плохо. Не велят ей вставать. Одышка страшнейшая. Если бы она была здорова, мы бы немедля взяли к себе ребеночка. И Петя жил бы у нас хоть некото- рое время. А теперь не то что взять – я не представляю себе, как и вернуться. Ведь она умрет, как узнает о Сашеньке. У нее вся жизнь была в Сашеньке и Пете.

Я знала, о чем он думает, вертя в руках старую медную зажигалку, переделанную из патрона, – должно быть, память со времен гражданской войны. Я сама подумала об этом, вернувшись на Петроградскую после похорон.

…Пуст был белый некрашеный стол, и не нужны никому маленькие кисти и неокон- ченный медальон–миниатюра в старинном духе, над которым Саша работала в последнее время.

«Так было бы не страшно, а что маленький – страшно». Она как бы оставила малень- кого сына у меня на руках. Она просила бы меня о нем, если бы умирала в сознании.

**Глава 13.**

**МАЛЕНЬКИЙ ПЕТЯ.**

Я могла провести с мальчиком только две недели – наш отъезд был назначен на сере-

дину июня. Но две недели – это не так уж мало для грудного ребенка, которому и всего–то было только две недели. Теперь мне смешно вспомнить, как я боялась не только взять его на руки, но даже дотронуться до него, когда мы с Петей пошли в клинику, чтобы взять его до- мой. Я ахнула, когда, рассказывая, как нужно обращаться с грудными детьми, сестра высоко подняла его на ладони. Она подняла его одной рукой. Он заревел, а она сказала хладно- кровно:

* Легкие развивает.

Бутылочки нужно было кипятить, кормить каждые три часа, купать через день. У меня голова пошла кругом от ее наставлений! Наконец, как это ни было страшно, я все–таки за- вернула ребенка и взяла его на руки. Должно быть, я сделала это слишком осторожно, по- тому что сестра засмеялась и сказала:

* Смелее, смелее!

И днем и ночью я была занята: то нужно было пеленать его, то кормить, то купать, утром и вечером я ездила в клинику за грудным молоком, – словом, возни было много. Но странно, с каждым днем мне было все труднее представить себе, что скоро не будет этих вечерних купаний, когда мальчик, который очень любил купаться, важный, как маленький король, лежал в корыте, и не будет бесконечных споров с Розалией Наумовной о соске – нужно ее давать или нет.

Разумеется, ничего не переменилось. Башкирское геологическое управление прислало мне командировку на год в распоряжение Арктического института, профессор В. вызвал меня, и мы подробно обсудили геологическую задачу высокоширотной экспедиции, причем я порядочно «плавала», потому что в геологии Крайнего Севера тогда еще ничего не пони- мала.

«Гостеприимную Арктику» я одолела, хотя не без труда, потому что читала ее по но- чам, то засыпая, то просыпаясь, и, помнится, так и не поняла, почему она гостеприимная: мне показалось – не очень.

И каждый раз, когда я бралась за книгу, мальчик начинал свое «ля, ля», точно чув- ствовал, что я уезжаю.

Давно пора было подумать о том, как устроить его на время моего отъезда, и не раз я пыталась поговорить об этом с Петей. Но, молчаливый, подавленный, усталый, он слушал меня, опустив голову, и не отвечал ни слова.

– Зачем няню? – как–то спросил он, и я поняла, что ему будет тяжело увидеть в этой комнате чужого человека.

Он ничего не ел, несмотря на все мои уговоры. Где–то он потерял кепку, должно быть на улице, и все искал ее дома. Ни разу он не взглянул на ребенка – вот что меня в особенно- сти поражало! Но однажды, когда под утро я задремала над книгой, вдруг шорох и бормо- танье разбудили меня. Мне послышалось: «Бедный, милый!»

Петя стоял над кроваткой, в одном белье, ужасно худой, с открытой грудью. Широко открыв глаза, с каким–то болезненным недоумением вглядывался он в спящего мальчика.

Он испугался, когда я спросила его:

* Что вы, Петя?

И поспешно отступил от кроватки. Глаза у него были полны слез, губы дрожали… Саня заезжал почти каждый день, и я всегда узнавала с первого взгляда, когда он до-

волен тем, как идут дела, и когда недоволен. Мы разговаривали, а потом он уходил в кори- дор покурить, и я вместе с ним, чтобы ему не было скучно.

* Какая ты… – сказал он однажды, когда маленький заплакал и я взяла его из кроватки и стала ходить по комнате, покачивая и напевая.
* Что?
* Да нет, ничего. Совсем мама.

Сама не знаю почему, но я почувствовала, что краснею. Он засмеялся, обхватил меня вместе с мальчиком и стал целовать…

* Не знаю, как быть, – сказал он мне я другой раз с усталым и озабоченным лицом: – несмотря на все мои хлопоты, денег отпустили мало. Денег мало, и поэтому времени мало.
* При чем же тут время?
* Над каждой ерундой часами думаешь – купить или нет. И все через бухгалтерию,

будь она неладна!

У него появилась привычка покусывать нижнюю губу, когда он был расстроен, и вот он сидел и покусывал, и глаза были черные, сердитые.

* Ты не могла бы мне помочь? – нерешительно продолжал он. – Я знаю, что ты занята.

Но, понимаешь, хоть разобраться в счетах.

На другой день, оставив Розалии Наумовне тысячу наставлений, расписав по часам, когда нужно кормить маленького, когда идти за молоком и так далее, я поехала к Сане в

«Асторию» и осталась на ночь и на другой день, потому что он действительно не мог спра- виться без меня и нельзя было даже отлучиться из номера – каждые пять минут звонили по телефону.

**Глава 14.**

**НОЧНОЙ ГОСТЬ.**

В одном разговоре со мной Ч. употребил выражение «заболеть Севером», и только те- перь, помогая Сане снаряжать поисковую партию, я вполне поняла его выражение. Не про- ходило дня, чтобы к Сане не явился человек, страдающий этой неизлечимой болезнью. Та- ков был П., старый художник, друг и спутник Седова, в свое время горячо отозвавшийся на Санину статью в «Правде» и впоследствии напечатавший свои воспоминания о том, как «Св. Фока», возвращаясь на Большую Землю, подобрал штурмана Климова на мысе Флора.

Приходили мальчики, просившие, чтобы Саня устроил их на «Пахтусове» кочегарами, коками – кем угодно.

Приходили честолюбцы, искавшие легких путей к почету и славе, приходили беско- рыстные мечтатели, которым Арктика представлялась страной чудес и сказочных превра- щений.

Среди этих людей однажды мелькнул человек, о котором я не могу не вспомнить те- перь, когда все изменилось и прежние волнения и заботы кажутся незначительными и даже смешными. Как сонное, ночное виденье, он мелькнул и исчез, и долгое время я даже не зна- ла, как его зовут и где Саня познакомился с ним. Но это была минута, когда будущее – и, может быть, близкое – вдруг представилось мне. Как будто я заглянула на несколько лет вперед, и сжалась душа, похолодело сердце…

Не дождавшись Сани, я уснула, забравшись с ногами в кресло, и, проснувшись среди ночи, увидела в номере незнакомого человека. Это был военный моряк, не знаю уж, в каком звании. Саня полусидел на столе, рисуя рожи, а он расхаживал по комнате – живой, быст- рый, с казацким чубом и темными насмешливыми глазами.

Они говорили о чем–то серьезном, и я поскорее закрыла глаза и притворилась, что сплю. Это было приятно – слушать и дремать или притворяться, что дремлешь, – можно было не знакомиться, не причесываться, не переодеваться.

– Нет ничего проще, как доказать, что розыски капитана Татаринова не имеют ничего общего с основными задачами Главсевморпути. Это, конечно, ерунда – стоит только вспомнить розыски Франклина. Вообще людей нужно искать – это перестраивает географи- ческую карту. Но я говорю о другом.

«Другое» – это была война, война в Арктике, на берегах Баренцева и Карского морей.

Я прислушивалась – это было ново!

С карандашом в руках он стал подсчитывать количество полезных ископаемых на Кольском полуострове – это было уже по моей части. Но ночной гость считал все эти мир- ные минералы «стратегическим сырьем», необходимым в случае войны, и я сейчас же стала мысленно возражать ему, потому что была убеждена, что войны не будет.

– Уверяю вас, – живо говорил моряк, – что капитан Татаринов прекрасно понимал, что в основе каждой полярной экспедиции должна лежать военная мысль.

«Ясно, понимал, – сейчас же сказала я в той смешной дремоте, когда можно думать и говорить, и это то же самое, что ни говорить, ни думать. – А войны не будет!»

–…Давно пора построить оборонительные базы вдоль всего пути следования наших караванов… На Новой Земле, например, я бы с удовольствием увидел хорошую дальнобой-

ную батарею…

«Вот так хватил! – сейчас же возразила я. – Это с кем же воевать? С белыми медведя- ми, что ли?»

Но он говорил и говорил, и вдруг из этого тихого, ночного номера гостиницы, где я полу спала с ногами в кресле, где Саня только что прикрыл краем скатерти лампу, чтобы свет не падал мне в глаза, я перенеслась в какой–то странный полусожженный город. И здесь – тишина, но страшная, напряженная. Все ждут чего–то, говорят шепотом, и нужно идти вниз, в подвал, ощупывая в темноте отсыревшие стены. Я не иду. Я стою на крыльце пустого темного деревянного дома, и ясное, таинственное небо простирается надо мной. Где он теперь? Несется в страшной звездной пустоте самолет, мотор задыхается, с каждым мгновеньем тяжелеют обледеневшие крылья. Это будет – ничего нельзя изменить. Все глу- ше стучит мотор, машина вздрагивает, с далеких станций уже не слышны позывные…

* Правильно, старая история, – вдруг громко сказал моряк, и я проснулась и радостно вздохнула, потому что все это был вздор: на днях мы вместе едем на Север, и вот он стоит передо мной, мой Саня, усталый, умный и милый, которого я люблю и с которым теперь никогда не расстанусь.
* Но в Главсевморпути не интересуются историей. Почитали бы, черти, хоть статью в БСЭ! Кстати, там приводится интересная цитата из Менделеева. Вот послушайте, я списал ее. Замечательная цитата!

И, по–детски картавя, он прочел известные слова Менделеева, которые я, между про- чим, встретила впервые где–то в бумагах отца: «Если бы хоть десятая доля того, что мы по- теряли при Цусиме, была затрачена на достижение полюса, эскадра наша, вероятно, прошла бы во Владивосток, минуя и Немецкое море, и Цусиму…»

Саня как–то рассказывал мне, что тетя Даша любила спрашивать его:

«Ну как, Санечка, твое путешествие в жизни?»

Сидя в кресле с ногами, притворяясь спящей, лениво рассматривая сквозь прищурен- ные веки нашего неожиданного ночного гостя, с его пылкостью, детской картавостью и его смешным казацким чубом, могла ли я вообразить, что мое «путешествие в жизни» через не- сколько лет приведет Саню в дом этого человека?

Но не будем заглядывать в будущее. Скучно было бы жить, если бы мы заранее знали свое «путешествие в жизни».

**Глава 15.**

**МОЛОДОСТЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.**

Няня была найдена наконец, очень хорошая, с рекомендациями, толстая, чистая, с со- рокалетним стажем – «не няня, а профессор», как с восторгом объявили мне Беренштейны. Она явилась, и следом за ней дворник втащил большой старинный сундук, из которого няня немедленно вынула белый передник, чепчик и старинную фотографию, на которой были еще немного видны нянины родители и она сама в виде семилетней девочки с остолбенелым выражением лица.

Передник и чепчик она надела, а фотографию повесила на место портрета, который Петя подарил Розалии Наумовне в честь рождения сына. С этой минуты всем стало ясно, кто является главным человеком в доме. Мне она сказала, что, согласно науке, у ребенка должна быть своя посуда, своя мебель, по возможности белая, и свой постоянный врач. Но что она, слава богу, выращивала детей без белой мебели, врача и своей посуды. Беренштейны слу- шали ее с благоговением и, кажется, немного боялись, а я нет. В сущности, это была добрая, простая старуха, глубоко убежденная в том, что ее профессия – важнее всех других на зем- ле.

Решено было, что мы вернемся осенью и заберем маленького Петю вместе с Дарьей Тимофеевной – так звали няню – в Москву. С большим Петей было сложнее. Но вот одна- жды Саня увел его к себе, а меня прогнал, и, запершись, они провели вдвоем целый вечер. Не знаю, о чем они говорили, но, когда я вернулась во втором часу ночи, у обоих были красные глаза – вероятно, от дыма, в номере было сильно накурено, а окно почему–то за-

крыто.

* Ведь жить–то нужно, старик, – негромко сказал Саня, когда я вошла.
* Вот сын у тебя. Ты посмотри на все одним взглядом и подумай спокойно. Петя вздохнул.
* Я постараюсь, – сказал он. – Ничего, это пройдет. Вы не беспокойтесь, ребята. Ты прав – что было, того не вернешь…

…Основная экспедиция запоздала со снаряжением, а наше снаряжение было готово и даже отправлено багажом в Архангельск, и у меня вдруг оказалось несколько свободных дней. У меня – потому что Саня все равно с утра до вечера пропадал в Арктическом инсти- туте. И вот в эти свободные два–три дня я решила хоть немного познакомиться с Ленингра- дом.

Глядя, как мальчишки лазают по пьедесталу Медного Всадника и садятся верхом на змея, я думала о том, что, если бы я родилась в Ленинграде, у меня было бы совсем другое детство – морское, балтийское. Именно здесь я должна была некогда прочитать «Столетие открытий».

Я была в квартире Пушкина, в голландском домике Петра, в Летнем саду.

На Неве стояли корабли, и однажды я видела, как матросы сходили на берег у Сената. Сигнальщик, стоя на парапете, передавал что–то флажками; оттуда, с корабля, чрез сиянье воздуха, солнца, Невы ему отвечали флажками; и все это было так празднично, так про- сторно, что у меня даже слезы подступили к глазам.

Впрочем, мне часто хотелось плакать в Ленинграде – горе и радость как–то перепута- лись в сердце, и я бродила по этому чудному просторному городу растерянная, очарованная, стараясь не думать о том, что скоро кончатся эти счастливые и печальные ленинградские дни.

Конечно, Саня видел, что со мной что–то происходит. Но ему, кажется, даже нрави- лось, что я стала такая сумасшедшая и что один раз даже приревновала его к девушке, кото- рая принесла в номер обед.

Неожиданные страшные мысли приходили мне в голову, и случалось, что, едва выйдя на улицу, я спешила вернуться домой. Поднимаясь по лестнице в «Асторию», я гадала, дома ли Саня, хотя это можно было просто узнать у портье, без гаданья.

Все это было глупо, конечно, но я ничего не могла поделать с собой. Как будто мало было одного моего страстного желания и нужны были еще какие–то сверхъестественные, чудесные силы, чтобы все было, наконец, хорошо.

…На всю жизнь запомнилась мне эта ночь – последняя перед отъездом. Вечером я за- бежала на Петроградскую. Петеньку только что выкупали, он спал, няня в чепчике и вели- колепном белом переднике сидела на сундуке и вязала.

– Графьев выращивали, – гордо сказала она в ответ на мои последние просьбы и наставления.

Мне вдруг стало страшно, что такая ученая няня может наделать массу глупостей, но я посмотрела на мальчика и успокоилась. Он лежал такой чистенький, беленький, и все вокруг так и сверкало чистотой.

Большой Петя и Беренштейны собирались приехать на вокзал.

Саня – спал, когда я вернулась; какие–то деньги валялись на ковре, я подобрала их и стала читать длинный список дел, которые Саня оставил на завтра.

Была уже ночь, но в номере – светло: Саня не задернул шторы. Я сняла платье, умы- лась и надела халатик. Не знаю почему, но у меня горели щеки и совсем не хотелось спать, даже наоборот, хотелось, чтобы Саня проснулся.

Телефон зазвонил, я сняла трубку.

* Он спит.
* Давно уснул?
* Только что.
* Ну, ладно, тогда не будите.

Еще бы я стала его будить! Это был В., я узнала по голосу, и дело, наверно, важное – иначе он не стал бы звонить ночью. Все равно, хорошо, что я не разбудила Саню. Он крепко спал, одетый, на диване и, должно быть, волновался во сне. Тень пробегала по лицу, губы

сжимались.

Ох, как мне хотелось, чтобы он проснулся! Я ходила по комнате, трогая горячие щеки. Это была чужая комната, и завтра здесь будут другие. Она была похожа на тысячу таких же комнат: с диваном, обитым голубым репсом, со шторами, обшитыми каймой с шариками, с маленьким письменным столом, на котором лежало стекло, – все равно: это был наш первый дом, и я хотела запомнить его навсегда.

Где–то за стеной играли на скрипке – уже давно, но я стала слушать только сейчас. Это играл тонкий рыжий мальчик, знаменитый скрипач, мне показали его в вестибюле. Я знала, что он живет рядом с нами.

Он играл совсем не то, о чем я думала: не это странное счастливое чувство, что Саня мой муж, а я его жена, – он играл наши прежние, молодые встречи, как будто видел нас на балу в четвертой школе, когда Саня поцеловал меня в первый раз…

«Молодость продолжается, – играл этот рыжий мальчик, который показался мне таким некрасивым. – За горем приходит радость, за разлукой – свидание. Помнишь, – ты приказала в душе, чтобы вы нашли его, – и вот он стоит, седой, прямой, и можно сойти с ума от вол- ненья и счастья. Завтра в путь – и все будет так, как ты приказала. Все будет прекрасно, по- тому что сказки, в которые мы верим, еще живут на земле».

Я легла на пол, на ковер, и слушала, сжимая виски, и плакала, и ругала себя за эти глупые слезы. Но я так давно не плакала и всегда так старательно притворялась, что не могу и даже не умею плакать…

Я разбудила Саню в седьмом часу и сказала, что ночью звонил В.

* Сердишься?
* За что?

Он сидел на диване сонный и смотрел на меня то правым, то левым глазом.

* За то, что я тебя не разбудила.
* Сержусь, – сказал он и засмеялся. – Ты помолодела. Вчера В. спросил, сколько тебе лет, и я сказал – восемнадцать.

Он поцеловал меня, потом побежал в ванную, выскочил в одних трусиках и стал де- лать зарядку. Он и меня заставлял делать зарядку, но я начинала и бросала, а он делал акку- ратно – два раза в день, утром и вечером.

Еще мокрый, растирая мохнатым полотенцем грудь, он подошел к телефону и снял трубку, хотя я сказала, что звонить В. еще рано. Я что–то делала: кажется, разжигала спир- товку, ставила кофе. Саня назвал В. по имени и отчеству. Потом каким–то странным голо- сом он спросил: «Что?» Я обернулась и увидела, что полотенце соскользнуло с плеча, упало, и он не стал поднимать его, а стоял, выпрямившись, и кровь отливала от его лица.

* Хорошо, я дам молнию, – сказал он и повесил трубку.
* Что случилось?
* Да нет, какая–то чушь, – поднимая полотенце, медленно сказал Саня.
* В. ночью получил телеграмму, что поисковая партия отменена. Мне приказано не- медленно выехать в Москву, в Управление ГВФ, за новым назначением.

**Глава 16.**

**«Я ВИЖУ ТЕБЯ С МАЛЫШОМ НА РУКАХ»**

Саня как–то говорил, что всю жизнь всегда бывало так: все хорошо – и вдруг крутой поворот, и начинаются «бочки» и «иммельманы». Но на этот раз можно было сказать, что машина пошла в штопор.

Разумеется, теперь, когда новые, в тысячу раз более сильные чувства заслонили все, чем мы жили, что радовало и огорчало нас до войны, кажется странным то необычайное впечатление, которое произвела на Саню эта неудача. Это было впечатление, которое отча- сти даже изменило его взгляды на жизнь.

– Кончено, Катя, – с бешенством сказал он, вернувшись от В. – Север, экспедиция,

«Святая Мария» – я больше не хочу слушать об этом. Все это детские сказки, о которых давно пора забыть.

И я дала ему слово, что мы вместе забудем об этих «детских сказках», хотя была уве- рена в том, что он не забудет о них никогда.

У меня была еще маленькая надежда, что Сане удастся в Москве добиться отмены приказа. Но телеграмма, которую я получила от него уже не из Москвы, а откуда–то по до- роге в Саратов, убедила меня в обратном. Уже самое назначение, которое он получил, как бы подчеркнуло полный провал экспедиции. Он был переброшен в сельскохозяйственную авиацию – так называемую авиацию спецприменения, и должен был теперь не больше не меньше, как сеять пшеницу и опылять водоемы. *«Отлично, я буду тем, за кого меня прини- мают, – писал он в первом письме из какого–то колхоза, в котором сидел уже вторую не- делю, „согласовывая и увязывая“ вопросы своей работы с местными властями, – к черту иллюзии – ведь, право же, это были иллюзии! Но Ч. был все–таки прав – если быть, так быть лучшим. Не думай, что я сдался. Все еще впереди».*

*«Будем благодарны этой старой истории*, – писал он в другом письме, – *хотя бы за то, что она помогла нам найти и полюбить друг друга. Но я уверен, что очень скоро эти старые личные счеты окажутся важными не только для нас».*

В критическом духе он писал мне о том, что постепенно привыкает к полезной роли

«сеятеля злаков» и «неукротимого борца с саранчой». Но, очевидно, он увлекся этой рабо- той, потому что вскоре я получила от него совсем другое письмо.

*«Дорогая старушка*, – писал он, – *представь себе, есть на свете так называемая па- рижская зелень, которую нужно распылять над озерами по одиннадцати килограммов на километр. Для этого, представь себе, нужно иметь класс, хотя бы потому, что эти озера маленькие, в лесу и похожи друг на друга, как братья. Подходишь к такому озерку на пол- ном ходу, сразу резко пикируешь – и круто вверх. Интересно, да? Как ни странно, но совсем другие, не сельскохозяйственные мысли одолевают меня, когда я пикирую над этими озерками или на бреющем полете сею пшеницу. Сто двадцать пять посадок в день – это пригодится, если парижскую зелень на моем самолете придется заменить другим, более основательным грузом. Все к лучшему, я ни о чем не жалею. Обнимаю тебя. Я вижу тебя с малышом на руках, ты ходишь и поешь, а косы плохо подколоты и расплелись, и ты подхо- дишь ко мне и садишься на корточки, чтобы я подколол косы…»*

Недаром я представлялась Сане с маленьким Петей на руках – я отдавала ему все сво- бодное время. Он менялся с каждым днем, и так интересно было наблюдать, как он посте- пенно начинает различать меня, и Розалию Наумовну, и няню; как в бессмысленных, еще младенческих глазах вдруг мелькают удивление, внимание. Это может показаться неверо- ятным, но ему еще не было месяца, а он уже улыбался. Он смотрел на лампочку и плакал, когда ее гасили. Первое время он пугался своих ручек, а потом подолгу смотрел на них и не пугался. Другие ребята в его возрасте бывают сморщенные, кислые, а он веселый, точно рад, что явился на свет. Мне казалось, что он похож на Саню больше, чем в клинике, когда я ви- дела его в первый раз. Он родился с черными волосиками, но только на макушке, а теперь уже вся головка заросла, и он стал очень хорошенький, аккуратный…

Все вышло не так, как думалось, мечталось! Я приехала в Ленинград на две–три неде- ли, чтобы встретиться с Саней, чтобы остаться с ним, где бы он ни был, и вот он снова был далеко от меня. Нежданно–негаданно у меня оказалась семья – маленький Петя, и большой, и няня, о которых нужно было заботиться и думать, причем никто не сомневался, что забо- титься и думать нужно было именно мне.

Почему–то я продолжала заниматься геологией Севера, хотя дала Сане слово навсегда выкинуть Север из головы. С деньгами было плохо, и я взяла скучную работу в Геологиче- ском институте.

Вероятно, прежде я бы терзалась, ругала себя и вообще думала о себе в тысячу ваз больше, чем нужно. Но странное спокойствие вдруг овладело мной. Точно вместе с «дет- скими сказками» я проводила свое самолюбие, гордость, свою обиду на то, что все произо- шло не так, как я страстно желала. «Что же делать, милый мой! – ответила я Сане, когда в одном письме он сетовал на себя за то, что вытащил меня в Ленинград и бросил, да еще с целым семейством. – Как говорит старый судья, в жизни не закажешь».

Я писала ему часто длинные письма о «научной» няне, о том, как быстро меняется ма- ленький Петя, о том, как большой вдруг с жадностью накинулся на работу, и проект памят-

ника Пушкину выходит замечательно, превосходно…

Но я не писала ни слова о том, как однажды, покупая что–то в «Гастрономе», на про- спекте 25 Октября, я увидела за окном знакомую фигуру в сером пальто и в мягкой шляпе, той самой, которая была куплена ради меня и которая неловко стояла на квадратной боль- шой голове…

Темнело, я могла ошибиться. Но нет, это был Ромашов. Сдержанный, бледный, не- много наклонясь вперед, он медленно прошел мимо витрины и затерялся в толпе.

**ЧАСТЬ 7.**

**РАЗЛУКА.**

**Глава 1.**

**ПЯТЬ ЛЕТ.**

Не помню, где я читала стихотворение, в котором годы сравниваются с фонариками, висящими «на тонкой нити времени, протянутой в уме».

И одни фонарики горят ярким, великолепным светом, а другие чадят и дымно вспыхи- вают в темноте.

Мы живем в Крыму и на Дальнем Востоке. Я – жена летчика, и у меня много новых знакомых – жен летчиков в Крыму и на Дальнем Востоке… Так же, как они, я волнуюсь, когда в отряд приходят новые машины. Так же, как они, я без конца звоню в штаб отряда, надоедаю дежурному, когда Саня уходит в полет и не возвращается в положенное время. Так же, как они, я уверена, что никогда не привыкну к профессии мужа, и так же, как они, в конце концов, привыкаю. Это почти невозможно, но я не оставляю своей геологии, хотя старенькая профессорша, которая до сих пор зовет меня «деточкой», утверждает, что «не выйди я замуж, да еще за летчика, давным давно получила бы кандидата». Она берет свои слова обратно, когда поздней осенью 1936 года я возвращаюсь в Москву с Дальнего Востока с новой работой, которую я сделала вместе с Саней. Аэромагнитная разведка! Поиски же- лезных руд с самолета.

Теперь Иван Павлович не мог бы сказать: «Ты его не знаешь». Как в заброшенном, покинутом доме горит по ночам загадочный свет и длинные, тонкие полоски пробиваются между щелями заколоченных ставен, так в далекой глубине Саниных мыслей и чувств я ви- жу свет арктических звезд, озаривших его детские годы. Закрыты, заколочены ставни. Но светлые полоски пробиваются, падают на дорогу, по которой мы идем, то находя, то теряя друг друга.

* Саня, теперь я поняла, кто ты.

Мы в купе международного вагона Владивосток–Москва. Невероятно, но факт – де- сять суток мы проводим под одной крышей, не расставаясь ни днем, ни ночью. Мы завтра- каем, обедаем и ужинаем за одним столом. Мы видим друг друга в дневные часы – говорят, что есть женщины, которым это не кажется странным.

* Кто же?
* Ты – путешественник.
* Да, Владивосток–Иркутск, отлет с Приморского аэродрома, семь сорок четыре.
* Это ничего не значит. Тебя не пускают. Но все равно – ты путешественник по при- званию, по страсти. Только путешественник мог спросить, сколько лет рыбе, которую мы съели за обедом.

Он смеется.

* Только путешественники так боятся канцелярских бумаг. Только путешественники так стесняются, когда дарят цветы. Только путешественники так свистят и думают о своем и по утрам мучают своих жен зарядкой из двадцати четырех упражнений.
* Не считая холодного обтирания.
* Да. Только путешественники так не стареют.
* Я старею.
* Ты знаешь, мне всегда казалось, что у каждого человека есть свой характерный воз- раст. Один родится сорокалетним, а другой на всю жизнь остается мальчиком девятнадцати лет. Ч. такой, и ты – тоже. Вообще многие летчики. Особенно те, которые любят перелетать океаны.
* А ты думаешь, я из тех, которые любят перелетать океаны?
* Да. Ты не бросишь меня, когда перелетишь океан?
* Нет. Но меня вернут с полдороги.

Я молчу. «Меня вернут» – это уже совсем другой разговор. Это разговор о том, как жизнь моего отца, которую Саня сложил из осколков, разлетевшихся от Энска до Таймыра, попала в чужие руки. Портрет капитана Татаринова висит в Географическом обществе, в Арктическом институте. Поэты посвящают ему стихи, в огромном большинстве довольно плохие. В БСЭ помещена большая статья о нем, подписанная скромными инициалами Н.Т. Его путешествие вошло в историю русского завоевания Арктики наряду с путешествиями Седова, Русанова, Толя…

И чем выше поднимается его имя, тем все чаще произносится рядом с ним имя его двоюродного брата, почтенного ученого–полярника, пожертвовавшего всем своим состоя- нием, чтобы организовать экспедицию «Св. Марии», и посвятившего всю свою жизнь био- графии великого человека.

Заслуги Николая Антоныча оценены по достоинству, книга «В ледяных просторах» издается каждый год для детей и для взрослых. В газетах сообщается о каких–то «ученых советах» под его председательством. На «ученых советах» он произносит речи, и в этих ре- чах я нахожу следы старого спора, окончившегося в тот день и час, когда женщину с очень белым лицом вынесли на холодный каменный двор и навсегда увезли из дома. Но нет, еще не кончился этот спор! Недаром же почтенный ученый не устает повторять в своих книгах, что в гибели капитана Татаринова виноваты «промышленники» и, в частности, некто фон Вышимирский. Недаром почтенный ученый приводит доводы, которыми некогда пытался уличить во лжи школьника, разгадавшего его тайну.

Теперь он молчит, этот школьник. Но все впереди.

Он молчит и работает без устали, днем и ночью. На Волге он опыляет водоемы. Он возит почту Иркутск–Владивосток и счастлив, когда удается за двое суток доставить во Владивосток московские газеты. Он получает звание пилота второго класса, и не он, а я оскорблена за него, когда он просит – в который раз! – отправить его на Север и когда вме- сто ответа его снова превращают в «воздушного извозчика», на этот раз между Симферопо- лем и Москвою. Что же это за тайная тень, которая каждый раз ложится поперек его дороги? Не знаю. Не знает и он.

Он работает, и ему говорят, что он работает превосходно. Но только я одна догадыва- юсь, как устал он от этих однообразных рейсов, похожих один на другой, как тысяча брать- ев…

це?

– На днях я нашел старую записную книжку. Знаешь, что написано на первой страни-

В белом платье я стою рядом с ним на белой, нарядной палубе парохода. Саня в от-

пуске, и я так счастлива, что он в отпуске и что мы вдруг решили поехать в Севастополь, а оттуда и сами не знаем куда.

– «Вперед» – называется его корабль. «Вперед», – говорит он и действительно стре- мится вперед. Нансен об Амундсене…» Это было моим девизом, когда мне было четырна- дцать лет. Здорово, да? А теперь вперед и назад. Москва–Симферополь.

…То разгорается, то гаснет фонарик, то горе, то радость освещает его колеблющийся свет. Время бежит, не оглядываясь, и останавливается лишь на один вечер, когда Саня рас- сказывает – не мне – всю свою жизнь. В саду клуба летчиков в Татарском поселке происхо- дит этот большой разговор. Сад разбит вдоль покатого склона, дорожки сбегают вниз и че- рез заросли цветущего иудина дерева пробираются к морю. Гравий скрипит под осторожными шагами входящих летчиков. Вдруг налетает ветер и вместе с ним лепестки вишен и яблонь из садов Ай–Василя. Это открытое партийное собрание, открытое в бук- вальном смысле слова – на площадке перед эстрадой, под южным, быстро темнеющим не- бом.

Саня рассказывает связно, спокойно, но я–то знаю, что скрывается за этими внезап- ными паузами, которыми он останавливает себя, когда начинает говорить слишком быстро. Волнуется. Еще бы!

Я слушаю Саню – и наша полузабытая юность встает передо мной, как в кино, когда чей–нибудь голос неторопливо говорит о своем, а на экране идут облака и вдоль широкой равнины далеко простирается туманная лента реки. Утро. И юность кажется мне туманной, счастливой.

Худенький черный комсомолец с хохолком на макушке судит Евгения Онегина в чет- вертой школе. На катке он впервые говорит мне, что идет в летную школу. Я вижу его в Энске, в Соборном саду, потрясенного тем, что он прочел в старых письмах. В Москве, на Севере, снова в Москве – перед целым миром он готов отстаивать свою правоту.

Но довольно воспоминаний! Послушаем, что о нем говорят.

Его воспитала школа. Советское общество сделало его человеком – вот что о нем го- ворят. Он выделяется своей начитанностью, культурностью. Как летчик он еще в 1934 голу получил благодарность от Ненецкого национального округа за отважные полеты в трудных полярных условиях и с тех пор далеко продвинулся вперед, усвоив, например, технику ноч- ного полета. Конечно, у него есть недостатки. Он вспыльчив, обидчив, нетерпелив. Но на вопрос: «Достоин ли товарищ Григорьев звания члена партии?» – мы должны ответить: «Да, достоин».

…Зимой 1937 гола Саню перебрасывают в Ленинград, мы живем у Беренштейнов, и все, кажется, было бы хорошо, если бы, просыпаясь по ночам, я не видела, что Саня лежит с открытыми глазами. Каждую неделю на Невском в театре кинохроники мы смотрим испан- скую войну. Юноши в клетчатых рубашках скрываются среди развалин Университетского городка под Мадридом с винтовками в руках – и вот поднялись, пошли в атаку. Пятый полк получает оружие. Из осажденного Мадрида увозят детей, и матери плачут и бегут за авто- бусами, а дети машут, машут – да правда ли это? Правда. Так пускай же никогда и нигде не повторится эта горькая правда. Никогда и нигде! Откуда же эти подступившие к горлу сле- зы, это горькое предчувствие, этот вихрь волнения, вдруг проносящийся в темноте малень- кого, душного зала?

А через две недели мы с Саней стоим в тесной передней у Беренштейнов, среди ка- ких–то старых шуб и ротонд, стоим и молчим. Последние четверть часа перед новой разлу- кой! Он едет в штатском, у него странный, незнакомый вид в этом модном пальто с широ- кими плечами, в мягкой шляпе.

* Саня, это ты? Может быть, это не ты? Он смеется:
* Давай считать, что не я. Ты плачешь?
* Нет. Береги себя, мой дорогой, мой милый.

Он говорит «я вернусь» и еще какие–то ласковые перепутанные слова. А я не помню, что говорю, только помню, что прошу его не пренебрегать парашютом. Он не всегда берет с собой парашют.

Куда он едет? Не знаю. Он говорит, что на Дальний Восток. Почему в штатском? По- чему, когда я начинаю спрашивать его об этой командировке, он не сразу отвечает на мои вопросы, а сперва подумает, потом скажет? Почему, когда поздней ночью ему звонят из Москвы, он отвечает только «да» или «нет», а потом долго ходит по комнате и курит, взволнованный, веселый и чем–то довольный? Чем он доволен? Не знаю, мне не положено знать. Почему я не могу проводить его на вокзал – ведь он же едет на Дальний Восток!

* Это не совсем удобно, – отвечает Саня, – я еду не один. Может быть, я еще не уеду.

Если это будет удобно, я позвоню тебе с вокзала.

Он звонил мне с вокзала – поезд отходит через десять минут. Не нужно беспокоиться, все будет прекрасно. Он будет писать мне через день. Конечно, он не станет пренебрегать парашютом…

Время от времени я получаю письма с московским штемпелем. Судя по этим письмам, он аккуратно получает мои. Незнакомые люди звонят по телефону и справляются о моем здоровье. Где–то за тысячи километров, в горах Гвадаррамы, идут бои, истыканная флаж- ками карта висит над моим ночным столиком, Испания, далекая и таинственная, Испания

Хосе Диаса и Долорес Ибаррури становится близка, как улица, на которой я провела свое детство.

В дождливый мартовский день республиканская авиация, «все, что имеет крылья», вылетает навстречу мятежникам, задумавшим отрезать Валенсию от Мадрида. Это победа под Гвадалахарой. Где–то мой Саня?

В июле армия республиканцев отбрасывает мятежников от Брунето. Где–то мой Саня? Баскония отрезана, на старых гражданских самолетах, в тумане, над горами нужно лететь в Бильбао. Где–то мой Саня?..

«Командировка затягивается, – пишет он, – мало ли что может случиться со мной. Во всяком случае, помни, что ты свободна, никаких обязательств».

У букиниста на проспекте Володарского я покупаю русско–испанский словарь 1836 года, изорванный, с пожелтевшими страницами, и отдаю его в переплетную. По ночам я учу длинные испанские фразы: «Да, я свободна от обязательств перед тобой. Я бы просто умер- ла, если бы ты не вернулся». Или: «Дорогой, зачем ты пишешь письма, от которых хочется плакать?»

Я бормочу эти испанские фразы, и, должно быть, дико, странно звучат они в темноте, потому что «научная няня», думая, что я брежу, встает и тихо крестит меня…

И вдруг происходит то, что казалось невозможным, невероятным. Происходит очень простая вещь, от которой все становится в тысячу раз лучше – погода, здоровье, дела.

Он возвращается, – поздней ночью звонит Москва, испуганная Розалия Наумовна бу- дит меня, я бегу к телефону… А еще через несколько дней похудевший, загорелый и впрямь чем–то похожий на испанца, он стоит передо мной. Своими руками я прикрепляю орден Красного Знамени к его гимнастерке.

…Осенью мы отправляемся в Энск. Петя с сыном и «научной няней» проводят в Энске каждое лето, в каждом письме тетя Даша зовет нас в Энск, и вот мы едем наконец – утром решаем, а вечером я стою у вагона и ругаю Саню, потому что до отхода поезда осталось не больше пяти минут, а его еще нет – поехал за тортом. Он вскакивает на ходу – запыхавший- ся, веселый.

* Чудачка, у них же там нет таких тортов!
* Сколько угодно!
* А конфеты?

Пожалуй, таких конфет действительно нет в Энске: даже нельзя понять, как открыва- ется коробка, и на маленьком красном медальоне написано золотыми буквами: «Будьте здоровы, живите богато».

Мы долго сидим в полутемном купе, не зажигая огня.

Когда это было? Как взрослые, мы возвращались из Энска, и старые нигилистки с большими смешными муфтами на шнурах провожали нас. Маленький небритый мужчина все гадал, кто мы такие: брат и сестра? Не похожи! Муж и жена? Рановато! А какие были яблоки – красные, крепкие, зимние! Почему получается, что такие яблоки едят только в детстве?

* Это и был день, когда я влюбился в тебя.
* Нет. Ты влюбился, когда мы однажды шли с катка и ты угощал меня стручками, а я отказалась, и ты отдал стручки какой–то девчонке.
* Это ты тогда влюбилась.
* Нет, я знаю, что ты. А то бы не отдал. Он думает очень серьезно.
* А когда же ты?
* Не знаю… Всегда.

Мы стоим в коридоре и, как тогда, провожаем глазами ныряющие и взлетающие про- вода. Все уже не то и не так, а все–таки по–прежнему – счастье. Толстый усатый проводник все посматривает на нас – или на меня? – и, вздохнув, говорит, что у него тоже красивая дочка…

Энск. Раннее утро. Трамваи еще не ходят, и нужно идти через весь город пешком. Вежливый оборванец несет наши вещи и болтает, болтает без конца – напрасно мы уверяем его, что сами родом из Энска. Он знает всех: покойных Бубенчиковых, тетю Дашу, судью, в

особенности судью, с которым ему не раз приходилось встречаться.

* Где же?
* В судебной камере Ленинского района.

На площади, у возов, с которых колхозники продают яблоки и капусту, с большим ко- чаном в руках, постаревшая, задумчивая – взять или нет? – стоит тетя Даша.

Саня окликает ее, она по–стариковски строго глядит на него из–под очков и вдруг беспомощно роняет кочан на землю.

* Санечка! Милые вы мои! Да как же это? На базар пришли?
* Нет, тетя Даша, это мы по дороге. Тетя Даша – жена.

Он подводит меня к тете Даше, и на Энском базаре прекращается торговля – даже ло- шади, и те, вынув морды из мешков, с интересом смотрят, как я целуюсь с тетей Дашей…

Дом Маркузе на Гоголевской с львиными мордами по обеим сторонам подъезда. Зав- трак в тети Дашином вкусе, после которого страшно подумать, что бывают на свете еще обед и ужин. Разговор по телефону с судьей, который находится в районе на выездной сес- сии, судя по слабому, далекому голосу – где–то на той стороне земного шара. Маленький Петя, которому уже третий год, – а давно ли, кажется, обсуждался генеральный вопрос: да- вать ему соску или нет, укачивать его на руках или в кроватке?

Большого Петю мы находим в Соборном саду, на том самом месте, где он и Саня ле- жали когда–то, стараясь днем увидеть луну и звезды. Здесь они читали письмовник, здесь дали друг другу «кровавую клятву дружбы».

Сложив ноги, как турок, Петя сидит, держа на коленях большой полотняный альбом. Он пишет Решетки – то место, где Песчинка сливается с Тихой, и Покровский монастырь, белый, строгий, уже врезан в огромный солнечный воздух, а за ним, на том берегу, поля и поля.

* Виноват, гражданин, вы тут маляра не видали? Он оборачивается и с изумлением смотрит на нас.
* Тут маляр проходил, – продолжает Саня, – такой в пиджачке, конопатый. И Петя вскакивает – неуклюжий, длинный, худой.
* Приехали? И Катя? Ну, молодцы! Вот рад! Ну, рассказывайте! Саня, ведь ты оттуда?
* Я оттуда.

Часа два мы сидим у башни старца Мартына, потом спускаемся вниз на набережную и садами обходим весь город. Как он хорош осенью! Как красны клены в Ботаническом саду! Как хорошо пройтись по заброшенной, забытой аллее к обрыву, под которым правильными рядами стоят низкие яблони, обмазанные чем–то белым!

* Когда–то мы лазили сюда за яблоками. И ты врал, что у сторожей ружья заряжены солью.
* А вот и не врал! Интересно, какими мы были мальчиками? Вот ты, например, ви- дишь себя мальчиком? Я – нет.
* Ты был довольно странным мальчиком. Помнишь, ты однажды выдумал, что у крыс бывает царица–матка? А Туркестан? Это была мечта. Ты уже и тогда был художником, во всяком случае – человеком искусства.
* А мне казалось, что именно ты будешь художником. Ведь ты хорошо лепил. Почему ты бросил?

Я смотрю на Саню – выдать или нет, но он делает мне страшные глаза, и я не говорю ни слова. В свободное время он и теперь еще лепит, разумеется, для себя.

Судья приезжает поздно вечером, когда мы его уже давно не ждем. Вдруг где–то за углом начинает стрелять и фыркать «газик», и старик появляется на дорожке в белом запы- ленном картузе, с двумя портфелями в руках.

* Ну, которые тут гости? Сейчас умоюсь и приду целоваться.

И мы слышим, как он долго, с наслаждением кряхтит в кухне, и тетя Даша ворчит, что он снова залил весь пол, а он все кряхтит и фыркает и говорит: «Ох, хорошо!» – и, наконец, появляется, причесанный, в туфлях на босу ногу, в чистой толстовке. По очереди он тащит нас на крыльцо – рассматривать, сперва меня, потом Саню. Орден он рассматривает от- дельно.

* Ничего, – говорит он с удовольствием. – Шпала?

* Шпала.
* Значит, капитан?
* Капитан.

И он крепко жмет Санину руку.

Так проходит этот прекрасный вечер в Энске, – мы так редко собираемся всей семьей, а между тем очень любим друг друга, и теперь, когда мы, наконец, встречаемся, всем ка- жется странным, что мы живем в разных городах.

До поздней ночи мы сидим за столом и болтаем, болтаем без конца. Мы вспоминаем Сашу и говорим о ней просто, свободно, как если бы она была среди нас. Она среди нас – с каждым месяцем маленький Петя все больше становится похож на нее: тот же монгольский разрез глаз, те же поросшие мягкими темными волосиками виски. Наклоняя голову, он так же высоко поднимает брови…

Саня рассказывает об Испании, и странное, давно забытое чувство охватывает меня: я слушаю его, как будто он рассказывает о ком–то другом. Так это он, вылетев однажды на разведку, увидел пять «юнкерсов» и без колебаний пошел к ним навстречу? Это он, проно- сясь между «юнкерсами», стрелял почти наугад, потому что не попасть было невозможно? Это он, закрыв перчаткой лицо, в прогоревшем реглане, посадил разбитый самолет и через час поднялся в воздух на другом самолете?

Судья слушает его – и детским удовольствием сияют его глаза из–под косматых седых бровей. С бокалом в руке он встает и произносит речь – еще в поезде Саня говорил мне, что судья непременно скажет речь.

* Не буду говорить высоких слов, хотя то, что ты сделал, Саня, стоит, чтобы говорить об этом высокими словами. Когда–то ты сказал мне, что хочешь стать летчиком, и я спро- сил: «Военным?» Ты ответил: «Полярным. А придется – военным». И вот – военный, боевой летчик, ты сидишь передо мной, и я с гордостью вспоминаю, что могу законно считать тебя за родного сына. Но и другие мысли приходят в голову, когда я вижу тебя перед собой. Я хочу сказать о твоей благородной мечте найти экспедицию капитана Татаринова, мечте, со- гревшей твои молодые годы. Ты как бы поставил своей задачей вмешаться в историю и ис- править ее по–своему. Это правильно. На то мы и большевики–революционеры. И, зная тебя с детских лет, я верю, что рано или поздно, но ты решишь эту большую задачу.

Мы чокаемся, и Саня говорит по–испански:

* Salud!.. Будем считать, что «путешествие в жизнь» еще только началось, – говорит он. – Корабль вчера покинул гавань, и еще виден вдалеке маяк, пославший ему прощальный привет: «Счастливого плавания и достижений». Когда–то, маленькие, но храбрые, мы шли по темным и тихим улицам этого города. Мы были вооружены одним финским ножом на двоих, тем самым ножом, для которого Петя сшил чехол из старого сапога. Но мы были во- оружены лучше, чем это может показаться с первого взгляда. Мы шли, потому что дали друг другу клятву: «Бороться и искать, найти и не сдаваться». Мы шли – и путь еще не кончен.

И, высоко подняв бокал, Саня пьет до дна и со звоном разбивает его о стену…

В 1939 году мы в Москве – и часто бываем у Вали и Киры на Сивцевом–Вражке. Тесно стало в квартире на Сивцевом–Вражке.

В «кухне вообще» спит маленькая беленькая девочка с косичками и с таким же боль- шим, крепким, как у мамы Киры, носом. В чулане, из которого Валя когда–то сделал фото- лабораторию, висят пеленки. В «собственно кухне» Саня едва не садится на сверток, из ко- торого выглядывает серьезное, рассеянное личико с черной прядкой волос на лбу – не хватает, кажется, только очков в роговой оправе, чтобы услышать лекцию о гибридах чер- нобурых лисиц.

Девочка уже читает стихи «с выражением», и вы чувствуете солидную школу Кириной мамы, во всем противоположную школе окончательно зазнавшейся Варвары Рабинович.

О чем же – бродяги и путешественники – мы с Саней думаем, сидя среди таких милых, таких «детных» друзей на Сивцевом–Вражке?

Конечно, о том, что всю жизнь мы живем под чужой крышей, о том, что у нас нет сво- его дома, хотя бы такого маленького и тесного, как у Вали и Киры.

И мы решаем, что теперь у нас будет такой дом – в Ленинграде…

То разгорается, то гаснет фонарик, то горе, то радость освещает его колеблющийся

свет.

В ясный зимний день мы стоим у Кремлевской стены, перед черной мраморной до-

щечкой, на которой высечено простое имя человека, которого мы любили. Саня вспоминает, как однажды он шел к нему, стараясь медленно думать, чтобы перестать волноваться, и, ко- гда пришел, обратился к нему, как будто по телефону:

– Товарищ Ч.? Это говорит Григорьев.

Прошел уже год, как большой город назван именем этого человека, сотни прекрасных улиц, театры, парки, сады, а нам с Саней все странным кажется, что никогда больше мы не услышим его низкий окающий голос…

В 1941 году мы переезжаем в Ленинград – окончательно, если это удастся. Мы сни- маем дачу из трех комнат, с колодцем и старым, красивым, похожим на древнерусского стрельца хозяином, которого Петя немедленно принимается рисовать. Мы живем на даче всей семьей – оба Пети с «научной няней» в этом году не поехали в Энск, – купаемся в озе- ре, пьем чай из настоящего пузатого медного самовара, и мне кажется странным, что такой прекрасной тишины, такого счастья другие женщины даже не замечают.

По субботам мы встречаем Саню. Всей семьей мы отправляемся на станцию, и, разу- меется, больше всех ждет дядю Саню маленький Петя – в тайной надежде на этот раз полу- чить броненосец. Надежда оправдывается – с большим великолепным кораблем Саня пры- гает со ступенек прошедшего мимо нас вагона, машет нам, но почему–то идет рядом с вагоном. Поезд останавливается, он протягивает руку. Маленькая, сухонькая старушка спускается по лесенке с бодрым, озабоченным лицом. В одной руке у нее зонтик, в другой – полотняный кошель–саквояж. Я готова не поверить глазам. Но это бабушка – в нарядном чесучовом костюме, в задорной соломенной шляпке, бабушка, которую Саня почтительно ведет под руку, оберегая от шумной толпы, сразу заполнившей небольшой перрон…

**Глава 2.**

**О ЧЕМ РАССКАЗАЛА БАБУШКА.**

Нужно сказать, что некоторые черты в характере моей бабушки стали казаться мне за- гадочными в последнее время. Всегда она с иронией относилась к картам, а тут вдруг увлеклась гаданьем, да так, что стала носить с собою колоду. Гадала она на червонного ко- роля, с которым, очевидно, у нее были сложные отношения.

* Так ты вот что задумал, голубчик, – говорила она сердито, – хорошо! А казенный дом тебе не по вкусу?..

Вдруг она вскакивала среди разговора и спешила домой – «по хозяйству», хотя только что жаловалась, что дома скучно и нечего делать.

* Нет, нужно идти, – испуганно говорила она. – Как же! Обязательно нужно!

Всегда она очень любила ходить в кино, а теперь даже испугалась, когда я ее пригла-

сила.

* Ходить в кинотеатр, – сказала она степенно, – следует исключительно в зависимости

от качества фильма.

«Исключительно в зависимости от качества» – так обстоятельно моя бабушка прежде не говорила.

Разумеется, я догадывалась, кто был червонный король, которому в глубине души ба- бушка сулила казенный дом, и почему она вдруг начинала спешить домой, и откуда эти длинные круглые фразы. Николай Антоныч – вот кто занимал все мысли моей бедной бабки.

Это была его власть, его удивительное влияние!

Не раз я принималась уговаривать ее пожить со мной хотя бы те немногие дни, кото- рые мы с Саней проводили в Москве, – какое там, не хотела и слышать!

* Уйду, а он найдет, – сказала она загадочно. – Нет, уж, видно, судьба такая.
* Как это найдет? Очень ты ему нужна! Да он тебя и искать не станет. Бабушка помолчала.
* Нет, станет! Для него это важно.
* Почему?

* Потому что тогда выходит – все по его. Если я в его доме живу. Не по–вашему.

Небось, он мне каждый вечер читает.

Каждый вечер Николай Антоныч читал бабушке свою книгу…

Мне очень хотелось, чтобы она переехала к нам, когда мы решили устроить свой дом в Ленинграде. Но с каждой новой встречей я убеждалась в том, что это невозможно. Все меньше бабушка ругала Николая Антоныча и все больше говорила о нем с каким–то суе- верным страхом. Очевидно, в глубине души она была убеждена в его сверхъестественной силе.

* Я только подумаю, а он уже знает, – однажды сказала она. – На днях задумала пиро- ги печь, а он говорит. «Только не с саго. Это тяжело для желудка».

Что же должно было случиться, чтобы, вдруг появившись на станции Л., моя бабушка бодро зашагала к нам с зонтиком в одной руке и полотняным саквояжем – в другой?

Дорогой она спросила, обязательно ли прописываться у нас на даче.

* Можно и так жить, без прописки, – отвечала я. – А почему это тебя беспокоит?
* Нет уж! Пускай пропишут, – махнув рукой, сказала бабушка, – теперь мне все равно. Я тысячу раз писала и рассказывала ей о большом и маленьком Пете, о покойной Са-

ше; Петя даже и бывал у нас, когда я девушкой жила на 2–й Тверской–Ямской, так что ба- бушка была с ним знакома. Но она так церемонно поздоровалась с ним, как будто увидала впервые. Маленького Петю она поцеловала с рассеянным видом, а о «научной няне» холод- но заметила, что у нее «зверское выражение лица».

Не было ни малейших сомнений, что бабушка потрясена. Но чем? Это была загадка.

В мезонине – мы снимали две комнаты «с мезонином», который был как будто нароч- но построен для бабушки: такой же маленький и сухонький, как она, – она, прежде всего, проверила шпингалеты на окнах и запираются ли двери на ключ.

* Ну, ладно, бабка, мне это надоело, – сказала я решительно. – Вот я закрою двери, никто не услышит. И чтобы сейчас же рассказать, в чем дело.

Бабушка помолчала.

* И расскажу! Ишь, напугала!

…Она поспала, умылась и явилась к столу помолодевшая, нарядная, в платье с буфами и в кремовых ботинках с длиннейшими носами.

* Экономку взял, – сказала она без предисловий. – И говорит: «Не экономка, а секре- тарь. Это будет мне помощь». А она мне на плиту грязные туфли ставит. Вот тебе и помощь! Грязные туфли на плиту поставила какая–то Алевтина Сергеевна. Это было очень ин- тересно. Мы сидели в саду, бабушка гордо рассказывала, и пока еще трудно было понять, в чем дело. Я видела, что Пете до смерти хочется ее нарисовать, и погрозила ему, чтобы не смел. Сане я тоже погрозила – он едва удерживался от смеха. Серьезно слушал только ма-

ленький Петя.

* Если ты секретарь, зачем туфли совать, где я готовлю? Это я не позволю никогда. А может быть, я сегодня плиту затоплю?
* Ну?
* И затопила.
* Ну?
* И сгорели, – гордо сказала бабушка. – Не ставь. Мы так и покатились со смеху.

Словом, экономка осталась без туфель, и это заставило Николая Антоныча пригласить к себе бабушку для серьезного разговора.

* «Я такой, я сякой!» – И бабушка надулась и изобразила, как Николай Антоныч гово- рит о себе. – А ты помолчи, если лучше всех. Пускай другие скажут. Квартиру мне показал:

«Нина Капитоновна, выбирайте!»

Квартиру Николай Антоныч получил в новом доме на улице Горького, и моей бедной бабке было предложено выбрать любую комнату в этой великолепной квартире. Целый ме- сяц он разъезжал по Москве – выбирал мебель. Квартира на 2–й Тверской–Ямской должна была, по мысли Николая Антоныча, превратиться в «Музей капитана Татаринова». Очевид- но, его мало смущало то обстоятельство, что капитан Татаринов никогда не переступал по- рога этой квартиры.

* А я поклонилась и говорю: «Покорно вас благодарю. Я еще по чужим домам не жи-

ла».

Именно после этого разговора бабушке пришла в голову мысль – удрать от Николая

Антоныча и переехать к нам. Но как же она боялась его, если вместо того, чтобы просто сложиться и уехать, она, прежде всего, помирилась с ним и даже постаралась расположить к себе экономку. Она разработала сложнейший психологический план, основанный на отъезде Николая Антоныча в Болшево, в Дом отдыха ученых. Впервые за двадцать лет она снялась с места и тайно исчезла из Москвы, с зонтиком в одной руке и полотняным саквояжем – в другой…

…Саня всегда вставал в седьмом часу, и мы еще до завтрака шли купаться. Так было и этим утром, которое ничем, кажется, не отличалось от любого воскресного утра.

Конечно, ничем! Но почему же я так помню его? Почему я вижу, точно это было вче- ра, как мы с Саней, взявшись за руки, бежим вниз по косогору и он, балансируя, скользит по осине, переброшенной через ручей, а я снимаю туфли, иду вброд, и нога чувствует плотные складки песчаного дна? Почему я могу повторить каждое слово нашего разговора? Почему мне кажется, что я до сих пор чувствую сонную, туманную прелесть озера, наискосок осве- щенного солнцем? Почему с нежностью, от которой начинает щемить на душе, я вспоминаю каждую незначительную подробность этого утра – капельки воды на смугло–румяном Са- нином лице, на плечах, на груди и его мокрый хохолок на затылке, когда он выходит из во- ды и садится рядом со мной, обняв руками колени? Мальчика в засученных штанах, с само- дельной сеткой, которому Саня объяснял, как ловить раков – на костер и на гнилое мясо?

Потому что прошло каких–нибудь три–четыре часа, и все это – наше чудное купанье вдвоем, и сонное озеро с неподвижно отраженными берегами, и мальчик с сеткой, и еще тысяча других мыслей, чувств, впечатлений, – все это вдруг ушло куда–то за тридевять зе- мель и, как в перевернутом бинокле, представилось маленьким, незначительным и беско- нечно далеким…

**Глава 3.**

**«ПОМНИ, ТЫ ВЕРИШЬ».**

Если бы можно было остановить время, я бы сделала это в ту минуту, когда, бросив- шись в город и уже не найдя Саню, я зачем–то слезла с трамвая на Невском и остановилась перед первой сводкой главного командования, вывешенной в огромном окне «Гастронома». Стоя перед самым окном, я прочитала сводку, потом обернулась, увидела серьезные, взвол- нованные лица, и странное чувство вдруг охватило меня: это чтение происходило уже в ка- кой–то новой, неизвестной жизни. В неизвестной, загадочной жизни был этот вечер, первый теплый вечер за лето, и эти бледные, шагающие по тротуару тени, и то, что солнце еще не зашло, а над Адмиралтейством уже стояла луна. Первые в этой жизни слова были написаны жирными буквами во всю ширину окна, все новые и новые люди подходили и читали их, и ничего нельзя было изменить, как бы страстно этого ни хотелось.

Розалия Наумовна передала мне Санину записку, и я все вынимала ее из сумочки и читала.

«*Милый Пира–Полейкин*, – было торопливо написано на голубоватом листке из его блокнота, – *обнимаю тебя. Помни, ты веришь* ».

Когда мы жили в Крыму, у нас был пес Пират, который всегда ходил за мной, когда я поливала клумбы, и Саня смеялся и называл нас обоих сразу «Пира–Полейкин»… «Помни, ты веришь» – это были его слова. Я как–то сказала, что верю в его жизнь. У него было пре- восходное настроение, вот в чем дело! Мы не простились, он уехал в одиннадцать, а в горо- де я его уже не застала, но об этом он даже не упоминал в своей записке, это было совер- шенно не важно.

Зачем–то я вернулась на дачу, провела там ночь, кажется, не спала ни одной минуты, и все–таки спала, потому что вдруг проснулась растерянная, с бьющимся сердцем: «Война. Ничего нельзя изменить».

Я встала и разбудила няню.

* Нужно укладываться, няня. Мы завтра едем.

* Семь пятниц на неделе! – сердито зевая, сказала няня.

Она сидела на кровати сонная, в длинной белой кофте и ворчала, а я ходила из угла в угол и не слушала ее, а потом распахнула окно. И там, в молодом, легком лесу, была такая тишина, такое счастье покоя!

Бабушка услышала наш разговор и позвала меня.

* Ну, Катя, что с тобой? – спросила она строго.
* Бабушка, мы не простились! Как это вышло, что мы не простились!

Она глядела на меня и целовала, потом украдкой перекрестила. «Хорошо, что не про- стились, – примета хорошая: значит, скоро вернется», – говорила она, а я чувствовала, что плачу и что я больше не могу, не могу, а что не могу, и сама не знаю…

Петя приехал вечерним поездом, озабоченный, усталый, но решительный, что было вовсе на него не похоже.

От него я впервые услышала о том, что детей будут вывозить из Ленинграда, и так ди- ко показалось мне, что нужно уезжать с дачи, где было так хорошо, где мы с няней посадили цветы – левкои и табак – и первые нежные ростки уже показались на клумбах. Везти ма- ленького Петю в переполненном, грязном вагоне, в жару – весь июнь был холодный, а в эти дни началась жара, духота, – и не только в Ленинград, а куда–то еще, в другой, незнакомый город!

Петя сказал, что Союз художников отправляет детей в Ярославскую область. Петеньку и Нину Капитоновну он уже записал. Насчет няни сложнее – придется хлопотать.

Очень быстро он уложил вещи, сбегал куда–то за подводой и отправился наверх, к ба- бушке, которая объявила, что в Ярославскую область она не поедет. Не знаю, о чем они го- ворили и почему именно к Ярославской области у бабушки было такое отвращение, но через полчаса они спустились вниз, очень довольные друг другом, и бабушка сейчас же принялась пришивать к мешкам лямки и язвительно критиковать научные действия няни.

Все что–то делали, кроме меня; даже маленький Петя, который деловито укладывал в детский фанерный чемоданчик свои игрушки и старался открутить у паяца голову, потому что она не влезала в чемоданчик.

Усталая, разбитая, я сидела среди всего этого разгрома и беспорядка отъезда и в конце концов, дождалась того, что Петя подошел ко мне и сказал ласково:

– Катя, голубчик, очнитесь!

…Не стану рассказывать о том, как мы вернулись в Ленинград, как Петя потащил меня в Союз художников и сказал кому–то, что я все могу, и как меня сейчас же засадили за бес- конечные списки.

Детей приказано было отправлять без мам и нянек, и главная борьба шла вокруг этих мам и нянек, которых вычеркивали и потом они каким–то образом снова оказывались в списках.

Должно быть, я неважно справлялась с этим делом, потому что маленькая свирепая художница вдруг отобрала у меня эти списки, и уж у нее–то, надо полагать, ни одна мама или няня не получила ни малейшего снисхождения. Наша няня была вычеркнута одной из первых.

Ярославскую область нужно было еще отстаивать в горсовете, так же, как классные, а не товарные вагоны, так же, как сотни других вещей, которые невозможно было предвидеть, потому что все, что происходило в эти дни, никогда не происходило прежде.

И мы ходили в горсовет и к ректору Академии художеств, чтобы он позвонил в горсо- вет, принимали вещи и продукты в дорогу, шили нарукавники с номерами, и как–то полу- чилось, что я тоже стала одной из тех женщин, которые должны были все знать и к которым обращались другие.

Отъезд был назначен на пятое июля, потом на шестое. Теперь кажется странным, что эти волнения и сборы, это горе предстоящей разлуки с детьми, каждый час подступавшие все ближе и, наконец, охватившие весь огромный четырехмиллионный город, что все это продолжалось всего несколько дней.

…Состав запоздал, и дети долго стояли в зале ожидания между рядами взрослых, – это было сделано, чтобы родители не мешали посадке. Но ряды давно сбились, и матери, уста- лые, подурневшие, давно уже стояли подле своих детей. Было жарко, дети просили пить,

нужно было уговаривать их потерпеть, и эта пыль и духота июльского дня тоже как–то участвовали в общем горе разлуки.

Наконец двинулись – сперва старшие школьники, потом младшие, потом совсем ма- ленькие, шести и семилетние лети. Они шли, взявшись за руки, бодро, но это было невоз- можно, невозможно видеть без слез, как они идут, такие маленькие и уже с мешками за спиной! Уезжают куда–то, – куда? Еще дома я сразу расстраивалась, когда под руки попа- дался Петенькин заплечный мешок. Каждый двинулся за своим ребенком, и я двинулась вслед за Петенькой, который шел в паре с кругленькой, аккуратной девочкой. Как все, я остановилась в заторе у входных дверей – дальше родителей не пускали. Как все, я прово- дила его взглядом, прикусив губу, чтобы все–таки не заплакать, а потом побежала на ба- гажную станцию, потому что привезли вещи и нужно было присматривать, чтобы детский багаж не спутали со взрослым.

Поезд должен был отойти в четыре часа и отошел совершенно точно. Петя прибежал в последнюю минуту – потом я узнала, что он ездил с ректором в Смольный. Сына подали ему через окно, он взял его на руки и немного постоял, прижав к лицу его черную головку. Ба- бушка стала нервничать, и тогда он торопливо поцеловал мальчика и поскорее передал об- ратно…

До сих пор я волнуюсь, вспоминая, как уезжали дети, между прочим, еще потому, что не в силах рассказать об этом со всей полнотой. Казалось бы, так много пришлось пережить за годы войны, такие странные, необычайно сильные впечатления поразили душу и остались в ней навсегда, а все же эти дни стоят передо мной отдельно, как бы в стороне…

**Глава 4.**

**«НЕПРЕМЕННО УВИДИМСЯ, НО НЕ СКОРО».**

От бабушки долго не было телеграммы, хотя в Худфонде говорили, что эшелон бла- гополучно прибыл и что в Ярославле детей встретили с цветами. Но из Ярославля они должны были ехать еще в какой–то Гнилой Яр, и мне почему–то казалось, что детям не мо- жет быть хорошо в селе с таким отвратительным названием. От Кирки я получила отчаянное письмо, она тоже куда–то эвакуировалась со всеми ребятами и мамой. Валя остался в Москве – это была их первая разлука, – и, к моему изумлению, она боялась не фашистских бомб, которые, разумеется, могли залететь и на Сивцев–Вражек, а какой–то Жени Колпакчи, которая кокетничала с Валей. Письмо было размазанное, бедная Кирка плакала над ним, и я от души пожалела ее, хотя было совершенно ясно, что с войной она поглупела.

Саня – это было самое большое беспокойство, с мучительными снами, в которых я сердилась на него – за что? – и он слушал, нахмурясь, бледный и ужасно усталый…

В конторе бывшего кино «Элит» Розалия Наумовна устроила санитарный пост, и обо- ронная тройка райсовета предложила мне работать сестрой, потому что Розалия Наумовна сказала, что у меня «большой опыт ухода за больными».

– Имейте в виду, товарищ Татаринова–Григорьева, – сказал мне по секрету седой доб- родушный доктор, член оборонной тройки, – что если вы откажетесь, мы немедленно от- правим вас на строительство укреплений…

Работать на укреплениях, или «на окопах», как говорили в Ленинграде, было, разуме- ется, тяжелее, чем сестрой. Но я поблагодарила и отказалась.

Мы поехали под вечер и всю ночь рыли противотанковые рвы за Средней Рогаткой. Грунт попался глинистый, твердый, и нужно было сперва дробить его киркой, а уж тогда пускать в ход лопату. Я попала в бригаду одного из ленинградских издательств, уже пока- завшую высокий класс по «рытью могилы для Гитлера», как шутили вокруг. Это были почти исключительно женщины: машинистки, корректоры, редакторы, и я удивилась, что многие из них почему–то были прекрасно одеты. У одной черненькой хорошенькой редакторши я спросила, почему она приехала на рытье окопов в таком нарядном платье, и она засмеялась и сказала, что у нее «просто нет ничего другого». Меня всегда интересовал этот круг людей совсем другого мира – мира театра, литературы, искусства. Но, очевидно, не до искусства было этим красивым, интеллигентным девушкам, дробившим кирками твердую, как камень,

темно–красную глину, и даже когда заходил разговор о чем–нибудь в этом роде – о послед- ней театральной премьере или о том, что художнику Р. не следовало браться за оформление

«Сильвы», – за всем этим мучительно неотвратимо стояла война, о которой забыть было невозможно.

Я оказалась в паре с черненькой редакторшей, и она сказала, что вчера отправились на фронт ее муж и два брата. О младшем она очень беспокоилась – он слабый, еще совсем мальчик, и муж очень отговаривал его, но ничего нельзя было сделать. Я рассказала ей о Сане, и некоторое время мы работали молча – в глубине окопа ставили носилки на землю, другие девушки наваливали на носилки глину, мы тащили ее наверх и опрокидывали на от- весной стороне окопа. Я не сказала ей, что с первого дня войны у меня не было известий о Сане. Накануне я звонила матери одного летчика из его отряда, и она сказала, что получила письмо из Рыбинска. Быть может, и Саня в Рыбинске? Должно быть, там формируется лет- ная часть. Но с равным основанием я могла назвать и другой город в Советском Союзе. Больше я не должна была знать, где он и что с ним. Если он умрет, я не буду знать, когда и как это случилось. Быть может, в этот час я буду в театре, или буду спать, ничего не чув- ствуя, или буду разговаривать с кем–нибудь и смеяться, как сейчас, когда бригадир посове- товал нам работать машинально, то есть думая о чем–нибудь другом, и мы с черненькой ре- дакторшей посмотрели друг на друга и рассмеялись. Это был превосходный совет – нам было о чем подумать.

Ночь переломилась незаметно; в сером, неопределенно рассеянном свете, неподвижно стоявшем между небом и землей, вдруг проглянуло что–то утреннее, свежее, точно самый ветерок, пробежавший по полю и тронувший кусты, которыми были замаскированы зенит- ки, был другого, утреннего света. Вдали, над городом, поднялись и скрылись в лучах еще невидимого солнца серебристые, похожие на огромных добродушных рыб аэростаты воз- душного заграждения.

Все немного побледнели к утру, одной девушке стало дурно, но все–таки наша бригада закончила свой «урок» раньше других. Хотелось пить, и моя новая подруга потащила меня в очередь за квасом. Палатки были разбиты возле старенькой, заброшенной церкви, мы стали в очередь, и редакторша вдруг предложила мне забраться на колокольню.

Это было глупо, у меня ныла спина, и вообще я очень устала, но я так же неожиданно согласилась.

По воткнутым в землю носилкам, на которых висела стенгазета, я отыскала наш уча- сток, к нему уже подходили новые люди. Неужели мы сделали так мало? Но он переходил в другой, другой – в третий, и так далеко, как достигал взгляд, женщины дробили глину в глубоких, трехметровых, с одной стороны отвесных, с другой – покатых рвах, выбрасывали лопатами, вывозили на тачках… Среди них не было ни одной, которая не рассмеялась бы от души, если бы месяц тому назад ей сказали, что, бросив дом, свою работу, она ночью поедет за город в пустое поле и будет рыться в земле и строить рвы, бастионы, траншеи… Но они поехали, и вот почти уже закончены эти гигантские пояса, охватывающие город и обрыва- ющиеся лишь у дорог, на которых стоят скрещенные рельсы.

Не знаю, как объяснить чувство, с которым я смотрела на бедное поле, разрезанное огромными полукружиями и освещенное неярким медленным светом ленинградского солн- ца. Мне стало страшно, как перед бурей, от которой никуда не уйдешь. Но и смелость, ка- кая–то молодая, веселая, вдруг проснулась в душе.

В полдень я вернулась домой и у подъезда встретила взволнованную Розалию Наумовну, которая объявила, что только что видела, как на Невском задержали шпиона.

– Такой толстый, с усами, – типичная шпионская рожа! Тьфу! – И она плюнула с от- вращением. – И какое счастье, что со мной не было Берты! Она сошла бы с ума!

Берта была очень пуглива.

На площадке второго этажа мы остановились, потому что Розалия Наумовна стала изображать, как это случилось. В это время какой–то военный, спускавшийся по лестнице, громко стуча сапогами, не дойдя до нас, перегнулся через перила, посмотрел вниз, и я узна- ла Лури.

Лури был штурман, Санин товарищ, они вместе работали на Севере, потом расстались, и где бы Саня ни служил, он всегда говорил, что ему не хватает Лури. «Шурку бы сюда!» –

писал он мне из Испании. Время от времени Лури появлялся у нас – веселый, хвастливый, с бородой, которая делала его похожим на иностранца.

* Катерина Ивановна! – Он лихо откозырял мне. – Стучал, звонил, потерял надежду и бросил письмо в ящик.
* От Сани?
* Так точно.

И так же лихо Лури откозырял Розалии Наумовне.

Он сказал, что у него, к сожалению, ровно пятнадцать минут, и я не стала читать при нем Санино письмо, только взглянула, и одна фраза в конце прочлась сама собой: «Непре- менно увидимся, но не скоро».

* Откуда вы? Вы в армии? В Ленинграде? Где Саня?

Лури был в армии и в Ленинграде. На эти два вопроса ему нетрудно было ответить. Но я еще раз настойчиво спросила:

* Где Саня?

И, немного подумав, он неопределенно ответил:

* В полку.
* Вы не хотите сказать, да? Но он здоров?
* Как штык, – смеясь, сказал Лури.

Розалия Наумовна побежала ставить кофе, хотя Лури повторил и даже «поклялся че- стью, что у него ровно пятнадцать минут»; мы остались одни, и я выудила у него, что где–то

* + неизвестно где – организуется полк особого назначения, что в основном летный состав – ГВФ, по полторы–две тысячи часов налета, и что сейчас все переучиваются на новых ма- шинах.

Что–то очень холодное медленно вошло в сердце, когда я услышала эти слова: «полк особого назначения», но я не стала расспрашивать, что это такое, – все равно Лури не отве- тил бы. Я только спросила, долго ли Саня будет переучиваться, и Лури, снова подумав, от- вечал, что недолго. На все он отвечал помолчав, подумав, и тревога сквозила за его беспеч- ным тоном.

Я написала Сане несколько слов, и Лури ушел, столкнувшись на пороге с Розалией Наумовной и пообещав еще раз зайти, «если это будет возможно». Мы еще несколько минут постояли у открытой двери и, прощаясь, вдруг обнялись, крепко расцеловались…

Письмо было грустное, хотя о том, что оно грустное, только я одна могла догадаться. Саня спрашивал о Пете большом и маленьком и советовал немедленно увезти мальчи-

ка из Ленинграда.

«Хорошо бы в Энск, к старикам!» Но тут же он беспокоился о судье и тете Даше, и можно было понять из одной осторожной фразы, что Энск бомбили, хотя он был еще очень далеко от линии фронта. Словом, Саня что–то знал, что–то плохое, вот откуда это «непре- менно увидимся, но не скоро».

Да, не скоро. Наступают трудные дни. Я расхаживала, стараясь ступать только на темные квадратики паркета, и когда я шла к окну, темные были одни, а когда назад – другие. Полк особого назначения – «ну что ж, и нечего холодеть», – это было сказано сердцу, с которым снова что–то сделалось, когда я вслух повторила эти слова. «Он был в Испании и

вернулся. Нужно только почаще писать ему, что я верю».

Вот когда я почувствовала, что смертельно устала. Я легла, закрыла глаза, и сразу все поехало: девушки, поднимающие носилки с тяжелой, твердой глиной, тачки, медленно сползающие по доскам, солнце, поблескивающее на темно–красных срезах окна.

Потом откуда–то появился свет, неяркий, медленный после белой ночи, все стало бледнеть, уходить, и я почувствовала, что засыпаю. Все было хорошо, очень хорошо, только хотелось, чтобы не было этого унылого долгого стона, или песни, которую кто–то завел за спиной…

* Катя, тревога!

Розалия Наумовна трясла меня за плечо.

* Вставайте, тревога!

…В конце июля я встретила на Невском Варю Трофимову, жену одного летчика, Героя Советского Союза, с которым Саня служил в «авиации спецприменения». Когда–то мы с

этой Варей ездили к мужьям в Саратов, и еще тогда я, помнится, удивилась, узнав, что она зубной врач.

Это была высокая, румяная женщина, сильная, с решительной походкой. Чем–то она напоминала мне Кирку, особенно когда громко смеялась, показывая длинные красивые зу- бы.

– А Гриша–то мой, – вздохнув, сказала она. – Берлин бомбит. Читали?

Мы разговорились, и она предложила мне работать в стоматологической клинике Во- енно–медицинской академии.

Я задумалась, и Варя сразу же сказала, что «прежде нужно посмотреть, что это такое», а то она порекомендовала одну дамочку, а та «поработала два дня и ушла, потому что ей, видите ли, не понравился запах».

«Дамочек» Варя ненавидела – это я тоже помнила еще со времен саратовской поездки. Нужно сказать, что запах действительно был невозможный, и я почувствовала это, ед-

ва войдя в коридор, по обеим сторонам которого были, расположены палаты. Запах был та- кой, что меня сразу стало тошнить, и тошнило все время, пока Варя Трофимова знакомила меня с другими сестрами, с рентгенологом, с женой главного врача и с кем–то еще и еще.

Здесь лежали люди, раненные в лицо. Только что я пришла, как привезли юношу, у которого все лицо было сорвано миной…

И, ухаживая за этими людьми, – я поняла это на второй или третий день работы, – нужно было все время как бы уверять их, что это ничего не значит, что не беда, если оста- нется рубец, что нужно только потерпеть и почти ничего не будет заметно. Мне случалось потом работать в клинике полевой хирургии, и там не было этой тайной, но сквозящей за каждым словом боязни уродства, этого ужаса, с которым человек бросал первый взгляд на свое обезображенное лицо, этого бесконечного стояния перед зеркалом накануне выписки, этих беспомощных попыток приукрасить себя, прихорошиться…

Впрочем, нужно сказать, что иногда мы вовсе не кривили душой, уверяя, что «ничего не будет заметно». Я прежде никогда не думала, что можно, например, сделать новый нос или пересадить на лицо кусок кожи. Сколько раз случалось, что на первых перевязках страшно было взглянуть на раненого, а через два–три месяца он возвращался в свою часть с едва заметными следами ран, которые должны были, казалось, обезобразить его навсегда.

Мне было трудно в стоматологической клинике, особенно первое время, и я была рада, что мне трудно и что нужно так внимательно следить за каждым словом и держаться уве- ренно, даже когда очень тяжело на душе.

Петина часть стояла на Университетской набережной. Сразу же после отъезда детей он записался в народное ополчение. В свободное время я забегала к нему, мы сидели на брев- нах, сваленных у парапета, или прохаживались от Филологического института до Сфинксов. Другие памятники были уже сняты или завалены мешками с песком, а Сфинксы почему–то еще лежали, как прежде, в далекие мирные времена, до 22 июня 1941 года. Бесстрастно уставясь на всю эту скучную человеческую возню, лежали они на берегу Невы, и у них были широко открытые глаза и высокомерные лапы. У Пети становилось доброе, хитрое лицо, когда он смотрел на Сфинксов.

– Сделать такую лапу и умереть, – как–то сказал он мне и стал длинно, интересно рас- сказывать, почему это гениальная лапа.

Мы с Розалией Наумовной перечинили ему все белье, но он ничего не взял, хотя белье, которое он получил в батальоне, было гораздо хуже. Вообще он очень старался поскорее стать настоящим солдатом.

**Глава 5. БРАТ.**

Накануне я была у него, и он ничего не сказал – очевидно, приказ был получен ночью. Я дежурила. Розалия Наумовна вызвала меня и сказала, что Петя звонил домой, просил зай- ти: если можно – немедленно, но, во всяком случае, не позже полудня. Мое дежурство кон- чалось только в полдень, но я отпросилась. Варя Трофимова заменила меня, и еще не было

десяти часов, как я уже была у Филологического института. Знакомый боец из Петиного ба- тальона мелькнул в окне, я окликнула его.

– Сковородникова? Сейчас сообразим…

Петя торопливо вышел из ворот, мы поздоровались и пошли по набережной, к Сфинк-

сам.

* + Катя, мы сегодня уходим, – сказал он. – Я очень рад. Он замолчал. Он был взволнован.
  + Никто не думал. Мы должны были на днях отправиться в учебный поход. Но, оче-

видно, положение изменилось.

Я кивнула. Раненые в последнее время поступали из–под Луги – нетрудно было дога- даться о том, что положение изменилось.

* + - Я написал письма, – продолжал он и стал рыться в сумке. – И хотел просить вас… Вот это не нужно посылать.

Он достал конверт, не заклеенный, ненаписанный, и протянул его мне.

* + - Это – Петьке. Вы ему отдадите, если меня…

Он хотел сказать «убьют», даже губы сложил, и вдруг улыбнулся по–детски.

* + - Понятно, не сейчас отдадите, а так – лет через десять.
    - Саня никогда не стал бы писать таких писем.
    - У него нет сына.

Должно быть, у меня немного дрогнуло лицо, потому что он испугался – подумал, что обидел меня… Мы остановились, и он крепко взял меня за руку.

* + - Что же Саня? Где он?
    - Не знаю.
    - Я писал ему на ППС, но не получил ответа. Все равно – он живив, и с ним ничего не случится.
    - Почему?

Он помолчал.

* + - Верю, что не случится. Помните, он говорил: «Небо меня не подведет. Вот за землю я не ручаюсь».

И правда, Саня так говорил. Но это было давно, а теперь, во время войны, как–то пусто прозвучали эти слова.

* + - А это отцу. – Петя достал из сумки второе письмо. – Если он жив.

Видите, все такие письма, что никак не пошлешь почтой, – добавил он горько. – Ра- боты мои возьмут в Русский музей. Я уже сговорился.

Я даже руками всплеснула.

* + - Да нет, это просто так, – поспешно сказал Петя, не потому, что могут убить, а вооб- ще. И Косточкин сделал то же, и Лифшиц, и Назаров.

Это были художники.

* + - Мало ли что может случиться… Да не со мной же, господи, – добавил он уже нетер- пеливо. – Или вы думаете, что Москву бомбят, а Ленинград так и не тронут?

Я этого не думала. Но он так распорядился всеми своими делами, как будто в глубине души и не надеялся на возвращение.

* + - Нам еще кажется, что мы – одно, а война – другое, – задумчиво сказал он. – А на са- мом деле…

В конце концов, он стал совать мне свои часы, но тут уж я возмутилась и стала так ру- гать его, что он засмеялся и положил часы обратно.

* + - Чудачка, мне же выдали новые, с компасом, – сказал он. – Ведь вы знаете, Катя, кто я? Младший лейтенант, – пожалуйста, не шутите!

Не знаю, когда он успел получить младшего лейтенанта, – он всего–то был в армии месяц. Но он сказал, что еще в академии прошел курс и числился командиром запаса.

Мы дошли до Сфинксов и, как всегда, остановились у того места, где почему–то был снят парапет и кусок сломанных перил болтался на талях. Вздохнув, Петя уставился на Сфинксов – прощался? Длинный, подняв голову, стоял он, и что–то орлиное было в этом худом профиле с гордо прикрытыми, рассеянными глазами. «Плевал он на эту смерть», как рассказывал мне потом, через много дней, командир его батальона. Как ни странно, но

именно в этот день, прощаясь с Петей у Сфинксов, я почувствовала эту гордость, это пре- зрение.

Он знал, что я всегда считала Петеньку за сына. Но, наверно, нужно было еще раз ска- зать ему об этом всеми словами. Расставаясь, непременно нужно говорить все слова – уж кому–кому, а мне–то пора было этому научиться! Но я почему–то не сказала ему и, вернув- шись домой, сразу же пожалела об этом.

Он снова взял меня за руки, поцеловал руки, мы крепко обнялись, и он чуть слышно сказал:

– Сестра…

Я проводила его до института и пешком пошла на Петроградскую, хотя чувствовала усталость после бессонной ночи.

Жарко было, свежий асфальт у Ростральных колонн плавился и оседал под ногами. Легкий запах смолы доносился от барок, стоявших за Биржевым мостом, и Нева, велико- лепная, просторная, не шла, а шествовала, раскинувшись на две такие же великолепные, просторные Невы, именно там, где это было прекрасно. И странно, дико было подумать о том, что в какой–нибудь сотне километров отсюда немецкие солдаты, обливаясь потом, со звериной энергией рвутся к этим зданиям, к этому праздничному летнему сиянию Невы, к этому новому, молодому скверу между Биржевым и Дворцовым мостами.

Но пока еще тихо, спокойно было вокруг, в сквере играли дети, и старый сторож с ме- таллическим прутиком в руке шел по дорожке, останавливаясь время от времени, чтобы наколоть на прутик бумажку.

**Глава 6.**

**ТЕПЕРЬ МЫ РАВНЫ.**

Как прежде я помнила по числам все наши встречи с Саней, так же теперь я запомни- ла, и, кажется, навсегда, те дни, когда получала от него письма. Второе письмо, если не счи- тать записочки, в которой он называл меня «Пира–Полейкин», я получила 7 августа – день, который потом долго снился мне и как–то участвовал в тех мучительных снах, за которые я даже сердилась на себя, как будто за сны можно сердиться.

Я ночевала дома, не в госпитале, и рано утром пошла разыскивать Розалию Наумовну, потому что квартира оставалась пустая. Я нашла ее во дворе: трое мальчиков стояли перед ней, и она учила их разводить краску.

* Слишком густо так же плохо, как и слишком жидко, – говорила она. – Где доска?

Воробьев, не чешись. Попробуйте на доске. Не все сразу.

По инерции она и со мной заговорила деловым тоном:

* Противопожарное мероприятие: окраска чердаков и других деревянных верхних ча- стей строений. Огнеупорный состав. Учу детей красить.
* Розалия Наумовна, – спросила я робко, – вы еще не скоро вернетесь домой? Мне должны позвонить.

Я ждала звонка из Русского музея. Петины работы давно были упакованы, но за ними почему–то не присылали.

* Через час. Пойду с детьми на чердак, задам каждому урок и буду свободна. Катя, да что же это я! – сказала она живо и всплеснула руками. – Вам же письмо, письмо! У меня руки в краске, тащите!

Я залезла к ней в карман и вытащила письмо от Сани…

Как всегда, я сначала пробежала письмо, чтобы поскорее узнать, что с Саней ничего не случилось, потом стала читать еще раз, уже медленно, каждое слово.

«*Помнишь ли ты Гришу Трофимова?* – писал он уже в конце, прощаясь. – *Когда–то мы вместе с ним распыляли над озерами парижскую зелень. Вчера мы его похоронили».*

Я плохо помнила Гришу Трофимова, он сразу же куда–то улетел, едва я приехала в Саратов, и я вовсе не знала, что он служит в одном полку с Саней. Но Варя, несчастная Варя мигом представилась мне – и письмо выпало из рук, листочки разлетелись.

…Пора было ехать в госпиталь, но я зачем–то побрела домой, совсем забыв, что отдала

Розалии Наумовне ключ от квартиры. На лестнице меня встретила «научная няня» и сразу стала жаловаться, что никак не может устроиться – никто не берет, потому что «не хватает питания», и что одна домработница поступила в Трест зеленых насаждений, а ей уже не под силу, и т.д. и т.д. Я слушала ее и думала: «Варя, бедная Варя».

Уже приехав в госпиталь и не зайдя в «стоматологию», где она могла увидеть меня, я снова перечла письмо и вдруг подумала о том, что Саня прежде никогда не писал мне таких писем. Я вспомнила, как однажды в Крыму он вернулся бледный, усталый и сказал, что от духоты у него весь день ломит затылок. А наутро жена штурмана сказала мне, что самолет загорелся в воздухе, и они сели с бомбами на горящем самолете. Я побежала к Сане, и он сказал мне смеясь:

– Это тебе приснилось.

Саня, который всегда так оберегал меня, который сознательно не хотел делить со мной все опасности своей профессиональной жизни, вдруг написал – и так подробно – о гибели товарища. Он описал даже могилу Трофимова. Саня описал могилу!

*«В середине мы положили неразорвавшиеся снаряды, потом крупные ста- билизаторы, как цветы, потом поменьше, и получилась как бы клумба с желез- ными цветами».*

Не знаю, может быть, это было слишком сложно – недаром Иван Павлович когда–то говорил, что я понимаю Саню слишком сложно, – но «теперь мы равны» – вот как я поняла его письмо, хотя об этом не было сказано ни слова. «Ты должна быть готова ко всему – я больше ничего от тебя не скрываю».

Шкаф с халатами стоял в «стоматологии», я поскорее надела халат, вышла на площад- ку – госпиталь был через площадку – и, немного не дойдя до своей палаты, услышала Варин голос.

– Нужно сделать самой, если больной еще не умеет, – сердито сказала она.

Она сердилась на сестру за то, что та не промыла больному рот перекисью водорода, и у нее был тот же обыкновенный, решительный голос, как вчера и третьего дня, и та же энергичная, немного мужская манера выходить из палаты, еще договаривая какие–то распо- ряжения. Я взглянула на нее: та же, та же Варя! Она ничего не знала. Для нее еще ничего не случилось!

Должна ли я сказать ей о гибели мужа? Или ничего ненужно, а просто в несчастный день придет к ней «похоронная» – «погиб в боях за родину», – как приходит она к сотням и тысячам русских женщин, и сперва не поймет, откажется душа, а потом забьется, как птица в неволе, – никуда не уйти, не спрятаться. Принимай – твое горе.

Не поднимая глаз, проходила я мимо кабинета, в котором работала, Варя, как будто я была виновата перед ней, в чем – и сама не знала.

День тянулся бесконечно, раненые все прибывали, пока, наконец, в палатах не оста- лось мест, и старшая сестра послала меня к главврачу спросить, можно ли поставить не- сколько коек в коридоре.

Я постучалась в кабинет, сперва тихо, потом погромче. Никто не отвечал. Я приот- крыла дверь и увидела Варю.

Главврача не было, должно быть она ждала его, стоя у окна, немного сутулясь, и крепко, монотонно выбивала пальцами дробь по стеклу.

Она не обернулась, не слышала, как я вошла, не видела, что я стою на пороге. Осто- рожно она сделала шаг вдоль окна и несколько раз сильно ударила головой об стену.

Впервые в жизни я увидела, как бьются головой об стену. Она билась не лбом, а как–то сбоку, наверно чтобы было больнее, и не плакала, с неподвижным выражением, точно это было какое–то дело. Волосы вздрагивали – и вдруг она прижалась лицом к стене, раскинула руки…

Она знала. Весь этот трудный, утомительный день, когда пришлось даже отложить несрочные операции, потому что не хватало рук на приеме, когда больных некуда было класть и все нервничали, волновались, она одна работала так, как будто ничего не случи- лось. В первой палате она учила разговаривать одного несчастного парня, лежавшего с вы-

сунутым языком, – и знала. Она долго скучным голосом отделывала повара за то, что кар- тофель был плохо протерт и застревал в трубках, – и знала. То в одной, то в другой палате слышался ее сердитый, уверенный голос – и никто, ни один человек в мире не мог бы дога- даться о том, что она знала.

**Глава 7.**

**«ЕКАТЕРИНЕ ИВАНОВНЕ ТАТАРИНОВОЙ–ГРИГОРЬЕВОЙ».**

Все чаще я оставалась в госпитале на ночь, потом на двое–трое суток и, наконец, стала приходить домой только тогда, когда Розалия Наумовна просила меня об этом.

– Что–то мне стало скучно без вас, Катя, – говорила она.

«Скучно» – это означало, что она снова не знает, что делать с Бертой, которая стано- вилась все более пугливой и молчаливой и уже не ходила по очередям, а целые дни лежала на диване и, главное, почти перестала есть.

Плохи были ее дела, и я советовала Розалии Наумовне немедленно увезти ее из Ле- нинграда. Но Розалия Наумовна боялась отпустить ее одну, а сама об отъезде не хотела и слышать.

…Тихо было в квартире и пусто, тонкие полоски света лежали на мебели, на полу, солнце сквозило через щели прикрытых ставен. Я подсела к Берте, задумалась, потом очну- лась, как от сна, от беспокойных, утомительных мыслей, которые точно за руку увели меня из этой комнаты, где стояла мебель в чехлах и худенькая старушка в чистой ночной коф- точке сидела и с детским вниманием вырезала бумажные салфетки – за последнее время это стало ее любимым занятием.

* Вот так возьмешь, да и сойдешь с ума…

Должно быть, я сказала это вслух, потому что Берта на мгновение оторвалась от своих салфеток и рассеянно посмотрела на меня.

* Там вас ждут, Катя, – сказала она, помолчав.
* Кто ждет?
* Не знаю.

Я побежала к себе. Совершенно незнакомый старый человек спал в моей комнате, сложив на животе руки.

* Он сказал, что знает меня? – спросила я, выйдя на цыпочках и вернувшись к Берте.
* Роза говорила с ним. А что?
* Да ничего, просто я вижу этого человека первый раз в жизни.
* Что вы говорите? – с ужасом спросила Берта. – Он же сказал, что знакомый!

Я успокоила ее. Но никогда у меня не было такого почтенного знакомого, длинного, бородатого, с полосками от пенсне на носу. Мне стало смешно. Вот так штука! Это был мо- ряк – китель и противогаз висели на стуле.

Наконец он проснулся. Длинно зевнув, он сел и, как все близорукие люди, пошарил вокруг себя – должно быть, искал пенсне. Я кашлянула. Он вскочил.

* Катерина Ивановна?
* Да.
* В общем, Катя, – добродушно сказал он. – А я вот пришел и уснул, как это ни стран-

но.

Я смотрела на него во все глаза.

* + Вам, конечно, трудно меня узнать. Но зато с вашим Саней мы знакомы… сколько,

давай бог?

Он считал в уме.

* + - Двадцать пять лет. Господи ты мой! Двадцать пять лет, не больше и не меньше.
    - Иван Иваныч?
    - Он самый.

Это был доктор Иван Иваныч, о котором я тысячу раз слышала от Сани. Он научил Саню говорить, и я даже помнила эти первые смешные слова: «Абрам, кура, ящик». Он ле- тал с Саней в Ванокан, и если бы не его удивительная энергия, плохо было бы дело, когда

трое суток Сане пришлось «пурговать» без малейшей надежды на помощь! Мне всегда ка- залось, что даже в том восторге, с которым Саня говорил о нем, было что–то детское, ска- зочное. И действительно, он был похож на доктора Айболита, со своим румяным морщини- стым лицом, с толстым носом, на котором задорно сидело пенсне, с большими руками, которыми он смешно размахивал, когда говорил, точно бросал вам в лицо какие–то вещи.

* + - А я–то ломала голову, какой же знакомый! Доктор, но откуда же вы? Вы же были где–то далеко?
    - Нет, недалеко. На шестьдесят девятой параллели.
    - Вы моряк?
    - Я моряк, красивый сам собою, – сказал доктор. – Все расскажу. Один стакан чаю!

Он зачем–то поцеловал меня, приложился бородкой, и я побежала ставить чай. Потом вернулась и сказала, что Саня до сих пор возит с собой стетоскоп, который доктор когда–то забыл в занесенной снегом избушке в глухой далекой деревне под Энском.

Он засмеялся, и через несколько минут мы сидели и разговаривали, как будто тысячу лет знакомы. Так оно и было – хотя не тысячу, но очень давно, с тех пор, когда я впервые услышала о нем от Сани.

Доктор служил на флоте совсем недавно, с начала войны. Он сам попросился, хотя Ненецкий национальный округ протестовал и какой–то Ледков говорил с ним целую ночь – все убеждал остаться. Но доктор настоял. Его сын Володя был в армии на Ленинградском фронте, и доктор считал, что надо воевать, а не сидеть у черта на куличках. Он был назначен в Полярное на базу подводного флота. Полярное – это не Заполярье. Это военный городок на Кольском заливе, в двух тысячах километров от Заполярья. Морские летчики в Полярном сказали ему, что Саня в АДД (авиация дальнего действия), что он летал на Кенигсберг и что один из полков АДД, по слухам, вскоре прилетит на Север.

* Как на Кенигсберг? Я ничего не знаю.
* Здрасти! – сердито сказал доктор. – А кто должен знать, голубчик, если не вы?
* Откуда? Ведь Саня об этом не напишет.
* Положим, – согласился доктор. – Все равно, надо знать, надо знать. Я принесла чай, он залпом выпил стакан и сказал: «Недурственно».
* Сейчас на фронтах тяжело, – сказал он. – Я видел Володю, и он тоже говорил, что тяжело. Именно здесь, под Ленинградом. Позвольте, но я же привез вам письмо!
* От кого?
* От старого друга, – загадочно сказал доктор и стал искать противогаз, который висел у него под носом: очевидно, письмо было в противогазе. – Служит с Володей в одной части. Именно он сказал мне, что вы в Ленинграде. Уезжая, просил передать вам письмо.

«*Екатерине Ивановне Татариновой–Григорьевой* », – было написано на конверте – и адрес, очень подробный. И второй адрес – госпиталя, на случай, если доктор не найдет меня дома. Почерк был ясный, острый и незнакомый. Нет, знакомый. С изумлением я смотрела на конверт. Письмо было от Ромашова.

* Ну, что? – торжественно спросил доктор. – Узнала?
* Узнала. – Я бросила письмо на стол. – Вы с ним знакомы?
* Познакомились у Володи. Превосходный человек. Заведует хозяйством, и Володя говорит, что он без него, как без рук. Очень милый. К сожалению, уехал.

Я что–то пробурчала.

* Да, очень милый, – продолжал доктор. – Пьет, правда, но кто не пьет?
* Интересно, откуда же он знает, что я в Ленинграде?
* Вот так раз! Разве он у вас не был? Я промолчала.
* Да–с, – поглядев на меня поверх пенсне, сказал доктор. – Я полагал, что именно друг. Он, например, рассказал мне всю вашу жизнь, особенно последние годы, о которых я знал очень мало.
* Это страшный человек, доктор.
* Ну да!
* И вообще, ну его к черту. Еще чаю?

Доктор выпил второй стакан, тоже залпом, потом стал угощать меня концентратом –

шоколад с какао.

* Очень странно, – задумчиво сказал он. – И что же, не станете читать письмо?
* Нет, прочитаю.

Я разорвала конверт. «*Катя, немедленно уезжайте из Ленинграда*, – было написано крупно, торопливо. – *Умоляю вас. Нельзя терять ни минуты. Я знаю больше, чем могу написать. Да хранит Вас моя любовь, дорогая Катя! Вот видите, какие слова. Разве я по- смел бы написать их, если бы не сходил с ума, что вы останетесь одна в Ленинграде? До Тихвина можно доехать на машине. Но лучше поездом, если они еще ходят. Не знаю, боже мой! Не знаю, увижу ли я Вас, моя дорогая, счастье мое и жизнь…»*

**Глава 8.**

**ЭТО СДЕЛАЛ ДОКТОР.**

Каждый вечер мы собирались на Петроградской. Как–то я пригласила Варю Трофи- мову, и с доктором она впервые заговорила о муже. Он что–то спросил очень просто, она ответила, и сразу стало видно, как это важно для нее – говорить о муже, и как трудно скры- вать свое горе. На другой день она принесла его письма, мы вспомнили саратовскую поезд- ку, даже всплакнули – это было так давно, и мы были тогда такие девчонки! У нее были спокойные, грустные глаза, когда я ее провожала. Ей стало легче жить.

Это сделал доктор.

За ту неделю, что он провел у нас, положение на Ленинградском фронте ухудшилось, немцы подтянули свежие силы, тревоги начинались с утра. Я плохо спала – волновалась за Саню. Однажды, когда я только что легла, не раздеваясь, доктор постучал, вошел и в темно- те сунул мне в руку маленького медвежонка.

– Работа Панкова, – сказал он, – отличный ненецкий мастер. На память. От имени доктора Ивана Иваныча этот белый медведь будет говорить вам, что Саня вернется.

Конечно, это была просто ерунда, но теперь, когда тоска добиралась до сердца, я вы- нимала из сумки медвежонка, смотрела на него, и, честное слово, мне становилось веселее.

По утрам доктор пел или бормотал стихи, комические, должно быть, собственного со- чинения, потом долго мылся в ванной и уверял, что между его мытьем и немецкими нале- тами существует таинственная связь: стоит ему залезть в ванну, как немедленно начинается тревога. Так и было несколько раз. К столу он приходил с мокрой, симпатичной бородкой и первым делом бросал мне стул, который я должна была поймать за ножки и бросить обрат- но. У него были какие–то веселые странности. Он любил удивлять.

Да, это была отличная неделя, которую доктор провел у меня! Это было так, как будто в грозе и буре вдруг послышался спокойный человеческий голос.

Но вот пришел день, когда он сложил свой мешок и связал книги, которые накупил в Ленинграде.

Я поехала провожать его…

Кажется, никогда еще на Невском не было так много народу. Беспокойно оглядываясь на усталых, запыленных детей, женщины везли на садовых тележках узлы, сундуки, коры- та… Не городские, загорелые старики, сгорбясь, шагали по тротуарам навстречу движению. Это были колпинцы, детскосельцы… Пригороды входили в город!

Добрых два часа мы добирались до Московского вокзала. Я не позволила доктору та- щить через площадь его мешок, потащила сама и остановилась на углу Старо–Невского, чтобы взяться удобнее. Иван Иваныч прошел вперед. Широкий подъезд был совершенно пуст – это показалось мне странным.

«Наверно, теперь садятся с Лиговки», – подумала я.

Удивительно, как запомнилась мне эта минута: площадь Восстания, залитая солнцем, длинный доктор в морской шинели, поднимающийся по ступеням, тень, которая сломилась на ступенях, поднималась за ним, тревожная пустота у главного входа…

Дверь была закрыта. Доктор постучал. Полная женщина в железнодорожной фуражке выглянула и сказала ему не знаю что, два слова. Он постоял, потом медленно вернулся ко мне. У него было строгое лицо.

– Ну–ка, давайте сюда мешок, Катя, – сказал он, – и – айда домой. Последняя дорога перерезана. Поезда больше не ходят…

Доктор улетел через несколько дней.

**Глава 9.**

**ОТСТУПЛЕНИЕ.**

Шофер в первый раз вел машину на этот участок фронта, и несколько раз мы останав- ливались у развилки дорог, чтобы посмотреть на карту. Мы ехали уже больше часу, и я удивлялась, что немцы все–таки еще далеко от Ленинграда. Но здесь был самый отдаленный участок – за Ораниенбаумом через Гостилицы, по направлению к Копорью. Моряки держа- ли эти места под огнем дальнобойных судовых батарей.

Мы ехали в дивизию народного ополчения, и дорогой я стала надеяться, что увижу Петю, потому что он служил именно в этой дивизии, и я даже знала фамилию комиссара полка.

…Уже волокли тягачи навстречу нам подбитые пушки. Легко раненные по двое, по трое брели по открытой, среди полей, пыльной дороге. Где–то впереди дорога прострелива- лась, об этом мне сказала коротенькая, крепкая, с детскими щечками санитарка Паня. Ко- сички у нее были заплетены вокруг головы, и каждый раз, когда машину подбрасывало на выбоинах, она не могла удержаться от смеха.

Мы проскочили место, которое простреливалось, хотя что–то раза два рванулось за нами, и, приоткрыв заднюю дверь, я увидела на дороге опускающееся облачко пыли. На полном ходу мы влетели в деревню, шофер затормозил, и пока он ругался, рассматривая надорванное крыло, мы с Паней пошли искать командира медсанбата.

Деревня была самая обыкновенная, и все вокруг самое обыкновенное: свежие плетни из ракиты, кое–где пустившие ростки, кирпичные очаги во дворах, амбары с оторванными, повисшими на одной петле дверями, за которыми чувствовалась прохладная темнота и пахло молодым сеном. Здесь стоял штаб дивизии, а передовая была отсюда за два–три ки- лометра, «вон там, где лесочек», сказала мне сандружинница в штанах, с большим наганом на ремне, указав в ту сторону, где луга переходили в жидкий перелесок, а за ним, сияя под солнцем, стояла березовая роща.

Раненых приказано было везти, когда начнет смеркаться, поближе к ночи, и только что выдавалась свободная минута, как я начинала искать Петю. Я спрашивала раненых, санд- ружинниц, связного комиссара дивизии, о котором мне сказали, что он знает всех команди- ров. Комиссар Петиного полка, тот самый, фамилию которого я знала, накануне был убит – об этом мне сообщили в политотделе.

– Скорняков тоже убит, – сказал мне огромный, плотный человек с двумя шпалами инструктора политотдела.

Должно быть, я побледнела, потому что он перестал есть суп – я застала его за обедом

* + и, оглянувшись, строгим, рычащим голосом спросил командира, лежащего под шинелью на лавке:
    - Рубен, Скорняков убит?

Командир под шинелью сказал, что убит.

* + - Сковородников, – не своим голосом поправила я. – Почему Скорняков? Младший лейтенант Сковородников!
    - Сковородников? Такого не знаю. Обедали?
    - Да, спасибо.

У меня ноги еще дрожали, когда я вышла из политотдела…

Самолет кружил над деревней, сандружинницы шли задними дворами, и слышно бы- ло, как они кричали: «Маруся, воздух!» Снаряды все чаще ложились вдоль улицы и теперь стало ясно, что немцы бьют не по батареям, а по самой деревне. Наши отходили – в одну минуту деревня наполнилась людьми в грязных, красных от глины шинелях и так же быстро опустела. Худенький горбоносый юноша со сжатыми губами, с разлетающимися бровями забежал в медсанбат, попросил напиться. Паня подала ему – и с такой сильной, чистой

нежностью, какой я не испытала ни к кому на свете, я смотрела, как он пьет, как ходит вверх и вниз его худой кадык, как со злобой косятся его глаза на дорогу, по которой еще отходили наши.

Мы выехали в девятом часу, и весь медсанбат снялся вместе с нами. Березовая роща, которая еще так недавно была легкой, сияющей, спокойной, теперь горела, и ветер гнал прямо на нас темные, шаткие столбы дыма. Это было кстати: мы без труда проскочили ту часть дороги, которая простреливалась, – на выезде из деревни. Теперь не так трясло – ма- шина была полна, но каждый раз, когда она ныряла в рытвину, раздавался стон, и мы с Па- ней совсем замотались, следя, чтобы кто–нибудь из раненых не ударился головой о раму.

Это было 8 сентября – день, когда, готовясь к решительному штурму, немцы впервые начали серьезно бомбить Ленинград. Мрачное зарево пожара летело навстречу машине. Мы выехали на Международный, и стало казаться, что весь город охвачен огнем. Говор послы- шался среди раненых, и в красных отблесках, искоса забегавших в автобус, я увидела, что один из них, плечистый моряк с забинтованной головой, рвет на себе тельняшку и плачет.

**Глава 10.**

**А ЖИЗНЬ ИДЕТ.**

Деревянные щиты перед окнами магазинов уже поста – рели, потрескались, облупи- лись; в садах и парках давно заросли травой: щели и траншеи; в квартирах с утра был полу- мрак, потому что тревога объявлялась по многу раз в день и не имело смысла все время от- крывать и закрывать ставни. «Окопы», на которые я ездила в июле, давно превратились в сильные укрепления с дзотами, стальные каркасы для которых отливались на заводах.

Кажется, никогда в жизни я столько не работала, как этой осенью в Ленинграде. Я училась на курсах РОКК ездила на фронт и даже получила благодарность в приказе за то, что под сильным огнем вывезла раненых с линии фронта.

А писем все не было – все чаще приходилось мне вынимать из сумки белого медве- жонка. Писем не было – напрасно искала я Саню среди летчиков, награжденных за полеты в Берлин, Кенигсберг, Плоешти.

Но я работала, «набирая скорость», как на сумасшедшем поезде, который мчится впе- ред, не разбирая сигнальных огней, – только свистит и бросается в сторону ветер осенней ночи!

И вот пришел день, когда поезд промчался мимо, а я одна осталась лежать под насы- пью, одинокая, разбитая, умирающая от горя.

Еще в детстве мне почему–то было стыдно рассказывать сны. Как будто я сама дове- ряла себе заветную тайну, а потом сама же раскрывала ее, рассказывая то, что было известно мне одной в целом свете. Но этот сон я все–таки должна рассказать.

Я уснула в госпитале после дежурства, на десять минут, и мне приснилось, что я сижу у окна и занимаюсь испанским. Так и было, когда мы жили в Крыму: Саня сердится, что я забросила языки, и я стала снова заниматься испанским. Но разве Крым за окном? Словно в раю, клонится вниз тяжелая ветка сливы с матовыми синими плодами, прозрачные желтые персики светятся, тают на солнце, и всюду – цветы, и цветы: табак, левкои, розы. Тишина – и вдруг оглушительный птичий крик, взмахи крыльев, волнение! Я бросаю книгу – и в сад, через стол, через окно. И что же? Коршун или ворон, не знаю, большая птица с горбатым клювом сидит на платане, раскинув острые крылья. И эта птица держит в клюве другую, маленькую, кажется, соколенка. Она держит соколенка за ноги, и тот уже не кричит, только смотрит, смотрит на меня человеческими глазами. У меня сердце падает, я кричу, ищу что–нибудь, палку, а коршун поднимается медленно и летит. Голова его повернута в сторо- ну от меня. Летит, раскинув, распластав неподвижные крылья.

* Вот, Лукерья Ильинична, объясните сон, – сказала я нашей канцеляристке, пожилой, старомодной и чем–то всегда напоминавшей мне тетю Дашу.
* Ваш муж прилетит.
* Почему же? Ведь улетел коршун и птичку унес? Она подумала.

* Все равно прилетит.

Весь день я была под впечатлением этого страшного, глупого сна, а вечером уговорила Варю поехать ко мне ночевать.

Тревоги начались, как обычно, в половине восьмого. Первую мы пересидели, хотя Розалия Наумовна звонила по телефону и от имени группы самозащиты приказывала спуститься. Вторую тоже пересидели. В бомбоубежищах на меня всегда находила тоска, и я давно решила, что если мне «не повезет» – пускай это случится на свежем воздухе, под ленинградским небом. Кроме того, мы жарили кофе – важное дело, потому что это был не только кофе, но и лепешки, если к гуще прибавить немного муки.

Но началась третья тревога, бомбы упали близко, дом качнулся, точно сделал шаг вперед и назад, в кухне посыпались с полок кастрюли, и Варя взяла меня за руку я повела вниз, не слушая возражений. Женщины стояли в темном подъезде и говорили быстро, тревожно. Я узнала знакомый голос дворничихи татарки Гюль Ижбердеевой, которую все в доме почему–то называли Машей.

– Девятка побита, – сказала она. – Очень побита. Комендант велел – бери лопата, пошла, отрывать нада.

«Девятка» – это был дом, в котором помещался гастрономический магазин номер де-

вять.

* Бери лопата, пошла. Все пошла! Кому нет лопата, там дадут. Бери, бабка, бери! Тебя

побьют, тебя отрывать будут.

Она гремела в темноте лопатами, одну сунула мне, другую Варе. Ужас как не хотелось идти! Мне уже случалось «отрывать», когда разбомбили нейрохирургическую клинику Во- енно–медицинской академии. Но женщины в подъезде поворчали и пошли – и мы пошли за ними.

Ночь была великолепная, ясная – самая «налетная», как говорили в Ленинграде. По- хожая на желтый воздушный шар луна висела над городом, первые заморозки только что начались, и воздух был легкий, крепкий. Гулять бы в такую ночь, сидеть на набережной с милым другом под одним плащом, и чтобы где–то внизу волна чуть слышно ударялась о каменный берег!

А мы шли, усталые, молчаливые, злые, с лопатами на плечах, доставать из–под разва- лин дома живых или мертвых.

«Девятка» была расколота надвое – бомба пробила все пять этажей, и в черном непра- вильном провале открылся узкий ленинградский двор с фантастическими ломаными тенями. Дом упал фасадом вперед, обломки загородили улицу, и в этой каше битого кирпича, мебе- ли, арматуры торчало черное крыло рояля. С третьего этажа висел, накренясь, буфет, на стене были ясно видны пальто и дамская шляпа.

Как и тогда, на развалинах клиники, тихо было вокруг, люди неторопливо, со стран- ным спокойствием приближались к дому, и голоса были неторопливые, осторожные. Жен- щина закричала, бросилась на землю, ее отнесли в сторону, и снова стало тихо. Мертвый старик в белом, засыпанном известью и щебнем пальто лежал на панели, на него натыка- лись, заглядывали в лицо и медленно обходили.

Вода залила подвалы. Прежде всего, нужно было что–то сделать с водой, и худенький ловкий сержант милиции, распоряжавшийся спасательными работами, поставил нас с Варей на откачку воды, к насосу.

Снова двинулась и остановилась под ногами земля, и прямо над нами, догоняя друг друга, пошли в небо желтой дугой трассирующие пули. Прожектора, чудесно укорачиваясь и удлиняясь, скрестились, и мне показалось, что в одной из точек скрещения мелькнул ма- ленький самолетик.

Зенитки стали бить – только что далеко, а вот уже ближе и ближе, точно кто–то огромный шагал через кварталы, ежеминутно стреляя вверх из тысячи пистолетов. Не от- рываясь от работы, я взглянула на небо и поразилась: так странен был контраст между безумством шарящих прожекторов и спокойствием чистой ночи с равнодушно желтой лу- ной, так страшна и нарядна была картина войны с коротким треском пулеметов, стреми- тельным полетом разноцветных ракет в ясном, высоком небе.

Санитарные машины остановились у веревок, которыми милиция огородила разру-

шенный дом. Работа шла полным ходом, шум и гулкие голоса доносились из подвала, и люди выходили, бледные, мокрые до пояса. Жертв, кажется, было немного.

Раскрасневшаяся, красивая Варя выдирала из груды сломанной мебели матрацы, одея- ла, подушки, укладывала раненых, делала кому–то искусственное дыхание, кричала на са- нитаров и два врача, приехавшие с санитарной машиной, бегали, как мальчики, и слушались каждого ее слова.

Подоткнув юбку, она спустилась в подвал и вылезла оттуда, таща за плечи мокрого человека. Худенький сержант подбежал, помог, санитары подтащили носилки.

* Посадите! – повелительно сказала она.

Это был красноармеец или командир, без фуражки, в почерневшей от воды шинели. Его посадили. Голова упала на грудь. Варя взяла его за подбородок, и голова легко, как у куклы, откинулась назад. Что–то знакомое мелькнуло в этом бледном лице с тем- но–желтыми космами волос, облепившими лоб, и несколько минут я работала, стараясь вспомнить, где я видела этого человека. – Вот так, сейчас будет здоров, – низким, сердитым голосом сказала Варя.

Она разжала ему зубы, сунула пальцы в рот. Онз амотался, затрепетал у нее в руках, хрипя и рывками втягивая воздух.

* Ага, кусаешься, милый! – снова сказала Варя.

Ручка насоса то поднималась, то опускалась, и мне то видно, то не видно было, что Варя делает с ним. Теперь он сидел, тяжело дыша, с закрытыми глазами, и при свете луны лицо его казалось белым, удивительно белым, с приплюснутым носом и квадратной нижней челюстью, точно очерченной мелом, – лицо, которое я видела тысячу раз, а теперь не верила глазам, не узнавала…

До сих пор не понимаю, почему я не позволила отправить Ромашова – это был он – в больницу. Может показаться невероятным, но я обрадовалась, когда, сидя на земле в рас- стегнутой шинели, он поднял глаза и сквозь туман, которым был еще полон страшноватый, неопределенный взгляд, увидел меня и сказал чуть слышно: «Катя». Он не удивился, убе- дившись в том, что именно я стою перед ним с какой–то бутылочкой в руках, которую Варя велела ему понюхать. Но когда я взяла его за руку, чтобы проверить пульс, он стиснул зубы, дрожа, сказал еще раз, погромче: «Катя, Катя».

К утру мы вернулись домой. Мы шли, шатаясь, мы с Варей не меньше чем Ромашов, хотя бомба не пробила над нами пять этажей и мы не болтались, не захлебывались в залитом водой подвале. Мы шли, а Маша с какой–то женщиной волокли за нами Ромашова. Он все беспокоился, не пропал ли его мешок, заплечный мешок и Маша наконец сердито сунула ему мешок под нос и сказала:

* Ты не мешок думай. Ты бога думай. Ты жизнь, дурак, спасал. Тебе молиться, куран читать нада!

Кофе – это было очень кстати, когда мы доплелись и, сдав Ромашова Розалии Наумовне, повалились в кухне на кровать, грязные и растрепанные, как черти.

* В общем, я так и не поняла, что это за дядя, – сказала Варя.
* Самый плохой человек на земле, – ответила я устало.
* Дура, зачем же ты его привела?
* Старый друг. Что делать?

Мне стало жарко от кофе, я начала снимать платье, запуталась, и последнее, что еще прошло перед глазами, было большое белое лицо, от которого я беспомощно отмахнулась во сне.

**Глава 11.**

**УЖИН. «НЕ ОБО МНЕ РЕЧЬ».**

Он еще спал, когда мы уходили, – Розалия Наумовна постелила ему в столовой. Одея- ло сползло, он спал в чистом нижнем белье, и Варя мимоходом привычным движением по- правила, подоткнула одеяло. Он дышал сквозь сжатые зубы, между веками была видна по- лоска глазного яблока – уж такой Ромашов, что его нельзя было спутать ни с одним

Ромашовым на свете!

* Так – самый плохой? – шепотом спросила Варя.
* Да.
* А, по–моему, ничего.
* Ты сошла с ума!
* Честное слово – ничего. Ты думаешь, почему он так спит? У него короткие веки. Отчего мне казалось, что к вечеру Ромашов должен исчезнуть, как виденье, принадле-

жащее той исчезнувшей ночи? Он не исчез. Я позвонила – и не Розалия Наумовна, а он по- дошел к аппарату.

* Катя, мне необходимо поговорить с вами, – почтительным, твердым голосом сказал он. – Когда вы вернетесь? Или разрешите приехать?
* Приезжайте.
* Но я боюсь, что в госпитале это будет неловко.
* Пожалуй. А домой я вернусь через несколько дней. Он помолчал.
* Я понимаю, что у вас нет ни малейшего желания видеть меня. Но это было так дав- но… Причина, по которой вы не хотели со мной встречаться…
* Ну, нет, не очень давно…
* Вы говорите об этом письме, которое я послал с доктором Павловым? – спросил он живо. – Вы получили его?

Я не ответила.

* Простите меня. Молчание.
* Это не случайно, что мы встретились. Я шел к вам. Я бросился в подвал, потому что кто–то закричал, что в подвале остались дети. Но это не имеет значения. Нам необходимо встретиться, потому что дело касается вас.
* Какое дело?
* Очень важное. Я вам все расскажу.

У меня сердце екнуло – точно я не знала, кто говорит со мной.

* Слушаю вас.

Теперь он замолчал и так надолго, что я чуть не повесила трубку.

* Хорошо, тогда не нужно. Я ухожу, и больше вы никогда не увидите меня. Но кля- нусь…

Он прошептал еще что–то; мне представилось, как он стоит, сжав зубы, прикрыв глаза, и тяжело дышит в трубку, и это молчание, отчаяние вдруг убедили меня. Я сказала, что приду, и повесила трубку.

На столе стояли сыр и масло – вот что я увидела, когда, открыв входную дверь своим ключом, остановилась на пороге столовой. Это было невероятно – настоящий сыр, голланд- ский, красный, и масло тоже настоящее, может быть даже сливочное, в большой эмалиро- ванной кружке. Хлеб, незнакомый, не ленинградский, был нарезан щедро, большими лом- тями. Кухонным ножом Ромашов открывал консервы, когда я вошла. Из мешка, лежавшего на столе, торчала бутылка…

Растрепанная, счастливая Розалия Наумовна вышла из спальни.

* Катя, как вы думаете, что делать с Берточкой? – шепотом спросила она. – Я могу ее пригласить?
* Не знаю.
* Боже мой, вы сердитесь? Но я только хотела узнать…
* Миша, – сказала я громко, – вот Розалия Наумовна просит меня выяснить, может ли она пригласить к столу свою сестру Берту.
* Что за вопрос! Где она? Я сам ее приглашу.
* Вас она испугается, пожалуй. Он неловко засмеялся.
* Прошу, прошу!

Это был очень веселый ужин. Бедная Розалия Наумовна дрожащими руками готовила бутерброды и ела их с религиозным выражением. Берта шептала что–то над каждым куском

* + маленькая, седая, с остреньким носиком, с расплывающимся взглядом. Ромашов болтал не умолкая, – болтал и пил.

Вот когда я как следует рассмотрела его!

Мы не виделись несколько лет. Тогда он был довольно толст. В лице, в корпусе, не- много откинутом назад, начинала определяться солидность полнеющего человека. Как все очень некрасивые люди, он старался тщательно, даже щегольски одеваться.

Теперь он был тощ и костляв, перетянут новыми скрипящими ремнями, одет и гимна- стерку с двумя шпалами на петлицах, – неужели майор? Кости черепа стали видны. В гла- зах, немигающих, широко открытых, появилось, кажется, что–то новое – усталость?

* Я изменился, да? – спросил он, заметив, что я гляжу на него. – Война перевернула меня. Все стало другим – душа и тело.

Если бы стало все другим, он бы не доложил мне об этом.

* Миша, откуда у вас столько добра? Украли? Очевидно, он не расслышал последнего слова.
* Кушайте, кушайте! Я достану еще. Здесь все можно достать. Вы просто не знаете.
* В самом деле?
* Да, да. Есть люди.

Не знаю, что он хотел сказать этими словами, но я невольно положила свой бутерброд на тарелку.

* Вы давно в Ленинграде?
* Третий день. Меня перебросили из Москвы в распоряжение начальника Военторга. Я был на Южном фронте. Попал в окружение и вырвался чудом.

Это было правдой, страшной для меня правдой, а я слушала его небрежно, с давно за- бытым чувством власти над ним.

* Мы отступали к Киеву. Мы не знали, что Киев отрезан, – сказал он. – Мы думали, что немцы черт знает где, а они встретили нас под Христиновкой, в двухстах километрах от фронта. Сущий ад, – добавил он смеясь, – но об этом потом. А сейчас я хотел сказать вам, что видел в Москве Николая Антоныча. Как ни странно, он никуда не поехал.
* В самом деле? – сказала я равнодушно. Мы помолчали.
* Вы, кажется, собирались поговорить о чем–то, Миша? Тогда пойдемте ко мне. Он встал и выпрямился. Вздохнул и поправил ремень.
* Да, пройдемте. Вы позволите взять с собой вино?
* Пожалуйста.
* Какое?
* Я не буду пить – какое хотите.

Он взял со стола бутылку, стаканы и, поблагодарив Розалию Наумовну, прошел за мной. Мы уселись – я на диван, он у стола, который был когда–то Сашиным и на котором так и стояли нетронутыми ее кисти в высоком бокале.

* Это длинный рассказ.

Он волновался. Я была спокойна.

* Очень длинный и… Вы курите?
* Нет.
* Многие женщины во время войны, стали курить.
* Да, многие. Меня ждут в госпитале. Вам дается ровно двадцать минут.
* Хорошо, – задумчиво, по слогам сказал Ромашов. – Вы знаете, что в августе я уехал с Ленинградского фронта. Мне не хотелось уезжать, я рассчитывал встретиться с вами. Но приказ есть приказ.

Саня часто повторял эту фразу, и мне неприятно было услышать ее от Ромашова.

* Не буду рассказывать о том, как я попами на юг. Мы дрались под Киевом и были разбиты.

Он сказал: «мы».

* В Христиновке я присоединился к санитарному эшелону, который шел в обход Кие- ва, на Умань. Это были обыкновенные теплушки, в которых лежали раненые. Много тяже- лых. Ехали три, четыре, пять дней, в жаре, в духоте, в пыли…

Берта молилась в соседней комнате. Он встал и нервно закрыл дверь.

* Я был контужен дня за два до того, как присоединился к эшелону.

Правда, легко – только по временам начинало покалывать левую сторону тела. Она у меня буреет, – напряженно улыбнувшись, добавил Ромашов. – Еще и теперь.

Варя, которая в ту ночь раздевала и одевала Ромашова, говорила, что у него левая сто- рона обожжена; должно быть, это и было то, что он назвал «буреет».

* И вот мне пришлось заняться хозяйством нашего эшелона. Прежде всего, нежно бы- ло наладить питание, и я с гордостью могу сказать, что в пути – мы ехали две недели – от голода ни один человек не умер. Но не обо мне речь.
* О ком же?
* Две девушки, студентки Пединститута из Станислава, ехали с нами.

Они носили раненым еду, меняли повязки, делали все, что могли. И вот однажды одна из них позвала меня к летчику – раненый летчик лежал в одной из теплушек.

Ромашов налил вина.

* Я спросил девушек, что случилось. «Поговорите с ним!» – «О чем?» – «Не хочет жить: говорит, что застрелится, плачет». Мы прошли к нему, – не знаю, как получилось, что в этой теплушке я не был ни разу. Он лежал вниз лицом, ноги забинтованы, но так небреж- но, неумело. Девушки подсели к нему, окликнули…

Ромашов замолчал.

* Что же вы не пьете, Катя? – немного охрипнувшим голосом спросил он.
* Все я один. Напьюсь, что станете делать?
* Прогоню. Досказывайте вашу историю.

Он выпил залпом, прошелся, сел, Я тоже пригубила. Мало ли летчиков на свете!

**Глава 12. ВЕРЮ.**

Вот эта история, как ее рассказал Ромашов.

Саня был ранен в лицо и ноги, рваная рана на лице уже подживала. Он не сказал, при каких обстоятельствах был ранен, – об этом Ромашов узнал совершенно случайно из мно- готиражки «Красные соколы», где была помещена заметка о Сане. Он вез мне этот номер газеты и, без сомнения, довез бы, если бы не глупая история, когда он чуть не утонул в под- вале, спасая детей. Но это не имеет значения – он помнит заметку наизусть:

«Возвращаясь с боевого задания, самолет, ведомый капитаном Григорье- вым, был настигнут четырьмя истребителями противника. В неравной схватке Григорьев сбил один истребитель, остальные ушли, не принимая боя. Машина была повреждена, но Григорьев продолжал полет. Недалеко от линии фронта он был вновь атакован, на этот раз двумя „юнкерсами“. На объятой пламенем ма- шине Григорьев успешно протаранил „юнкерс“. Летчики энской части всегда будут хранить память о сталинских соколах – коммунистах капитане Григорьеве, штурмане Лури, стрелке–радисте Карпенко и воздушном стрелке Ершове, до последней минуты своей жизни боровшихся за отчизну».

Может быть, текст неточен, слова стоят в другом порядке, но за содержание заметки Ромашов ручался головой. Он держал этот номер в планшете, вместе с другими бумагами, очень важными, планшет попал в воду, газета превратилась в мокрый комочек, и, когда он ее просушил, как раз той полосы, на которой была напечатана заметка, не оказалось. Но и это не имеет значения.

Итак, Саню считали погибшим, но он не погиб, он был только ранен в лицо и в ноги. В лицо легко, а в ноги, очевидно, серьезно – во всяком случае, сам передвигаться не мог.

«Как он попал в эшелон?» – «Не знаю, – сказал Ромашов, – мы не говорили об этом». –

«Почему?» – «Потому что через час после нашей встречи в двадцати километрах от Христиновки эшелон расстреляли немецкие танки». Он так и сказал: «расстрляли».

Это было неожиданно – наткнуться на немецкие танки в нашем тылу. Эшелон остано- вился – с первого выстрела был подбит паровоз. Раненые стали прыгать под насыпь, разбе- жались, и немцы через эшелон стали стрелять по ним шрапнелью.

Прежде всего, Ромашов бросился к Сане. Нелегко было под огнем вытащить его из теплушки, но Ромашов вытащил, и они спрятались за колеса. Тяжело раненные кричали в вагонах: «Братцы, помогите!», а немцы все били, уже близко, по соседним вагонам. Больше нельзя было лежать за колесами, и Саня сказал: «Беги, у меня есть пистолет, и они меня не получат». Но Ромашов не оставил его, поволок в сторону, канавой, по колено в грязи, хотя Саня бил его по рукам и ругался. Потом один лейтенант с обожженным лицом помог Рома- шову перетащить его через болото, и они остались вдвоем в маленькой мокрой осиновой роще.

Это было страшно, потому что большой немецкий десант захватил ближайшую стан- цию, вокруг шли бои, и немцы в любую минуту могли появиться в этой рощице, которая на открытой местности была единственным удобным для обороны местом. Необходимо было, не теряя времени, двигаться дальше. Но у Сани открылась рана на лице, температура под- нялась, он все говорил Ромашову: «Брось меня, пропадешь!» А один раз сказал: «Я думал, что в моем положении придется тебя опасаться». Когда он опускал ноги, у него появлялась мучительная боль – кровь приливала к ранам. Ромашов сделал ему костыль: расщепил сук, сверху привязал шлем, и получился костыль. Но Саня все равно не мог идти, и тогда Рома- шов пошел один, но не вперед, а назад, к эшелону, – он надеялся отыскать давешних деву- шек из Станислава. До эшелона он не дошел – за болотом по нему открыли огонь. Он вер- нулся.

– Я вернулся через час или немного больше, – сказал Ромашов, – и не нашел его. Роща была маленькая, и я пересек ее вдоль и поперек. Я боялся кричать, но все же крикнул не- сколько раз – никакого ответа. Я искал его всю ночь, наконец, свалился, уснул, а утром нашел то место, где мы расстались: мох был сорван, примят, самодельный костыль стоял под осиной…

Потом Ромашов попал в окружение, но пробился к своим с отрядом моряков из Дне- провской флотилии. Больше он ничего не слышал о Сане…

Тысячу раз представлялось мне, как я узнаю об этом. Вот приходит письмо, обыкно- венное, только без марки, я открываю письмо – и все перестает существовать, я падаю без слова. Вот приходит Варя, которую я столько раз утешала, и начинает говорить о нем – сперва осторожно, издалека, потом: «Если бы он погиб, что ты стала бы делать?» И я отве- чаю: «Не пережила бы». Вот в военкомате я стою среди других женщин, мы смотрим друг на друга, и у всех одна мысль: «Которой сегодня скажут – убит?» Все передумала я, только одно не приходило мне в голову: что об этом расскажет мне Ромашов.

Конечно, все это была ерунда, которую он сочинил или прочитал в журнале. Вернее всего, сочинил, потому что характерный для него расчет был виден в каждом слове. Но как несправедливо, как тяжко было, что на меня за что–то свалилась эта неясная, тупая игра! Как я не заслужила, чтобы этот человек явился в Ленинград, где и без него было так труд- но, – явился, чтобы подло обмануть меня!

* Миша, – сказала я очень спокойно. – Вы написали мне: «Счастье мое и жизнь». Это правда?

Он молча смотрел на меня. Он был бледен, а уши – красные, и теперь, когда я спроси- ла: «Это правда?», они стали еще краснее.

* Тогда зачем же вы придумали так мучить меня? Я должна сознаться, что иногда не- много жалела вас. Этого не бывает, чтобы женщина хоть раз в жизни не пожалела того, кто

любит ее так долго. Но как же вы не понимаете, тупой человек, что если бы, не дай бог, Са- ня погиб, я стала бы вас ненавидеть? Вы должны сознаться, что все это ложь, Миша. И по- просить у меня прощенья, потому что иначе я действительно прогоню вас, как негодяя. Ко- гда это было – то, что вы рассказывали?

* В сентябре.
* Вот видите – в сентябре. А я получила письмо от десятого октября, в котором Саня пишет, что жив и здоров и может быть, прилетит на денек в Ленинград, если позволит

начальство. Ну–ка, что вы на это скажете, Миша?

Не знаю, откуда взялись у меня силы, чтобы солгать в такую минуту! Не получала я никакого письма от десятого октября. Уже три месяца, как не было ни слова от Сани.

Ромашов усмехнулся.

* Это очень хорошо, что вы не поверили мне, – сказал он. – Я боялся другого. Пусть так, все к лучшему.
* Значит, все это – ложь?
* Да, – сказал Ромашов, – это ложь.

Он должен был убеждать меня, доказывать, сердиться, он должен был, – как тогда на Собачьей Площадке, – стоять передо мной с дрожащими губами. Но он сказал равнодушно:

* Да, это ложь.

И у меня забилось, упало, опустело сердце.

Должно быть, он почувствовал это. Он подошел и взял меня за руку – смело, свободно.

Я вырвала руку.

* Если бы я хотел обмануть вас, я просто показал бы вам газету, в которой черным по белому напечатано, что Саня погиб. А я рассказал вам то, чего не знает никто на свете. И это смешно, – сказал он надменно, – что я сделал это будто бы из низких личных побуждений. Или я думал, что подобное известие может расположить вас ко мне? Но это – правда, кото- рую я не смел скрыть от вас.

По–прежнему я сидела ровно, неподвижно, но все вокруг стало медленно уходить от меня: Сашин стол с кисточками в высоком бокале и этот рыжий военный у стола, фамилию которого я забыла. Я молчала, и мне не нужно было ничего, но этот военный почему–то по- спешно ушел и вернулся с маленькой седой, изящной женщиной, которая схватилась за го- лову, увидев меня, и сказала:

* Катя, боже мой! Дайте воды, воды! Да что же с вами, Катя?

**Глава 13. НАДЕЖДА.**

* Варенька, что со мной? Я больна?
* Ничуть не больна – здорова.

Она махнула рукой, и, осторожно скрипя сапогами, кто–то вышел и сказал негромко.

* Очнулась.
* Кто это?
* Да все тот же – рыжий твой, – с досадой сказала Варя. Я помолчала.
* Варенька, ты знаешь?
* Боже мой, да еще ничего не случилось. Ну, ранен, эка штука! Голубчик ты мой, – она прижалась ко мне, обняла. – Да разве можно так? Что же мне–то тогда – умереть? И ведь какая внешность обманчивая! Я бы о тебе ничего подобного никогда не сказала. Или прежде очень измучилась? Или он сказал неосторожно?
* Нет, осторожно. Это пройдет.
* Ну, конечно, пройдет. Уже прошло. Кофе хочешь? Я опять помолчала.
* Варенька!
* Что, голубчик?
* Я надеюсь.
* Ну, конечно, еще бы не так! И нужно надеяться! Я тебе говорю – вот запомни мои слова – никуда не денется, вернется твой Саня.

Газету «Красные соколы», в которой была напечатана заметка о Сане, очень трудно было достать в Ленинграде. Сперва я старалась достать, даже узнала у одного военного корреспондента, в какой части выходит эта газета. Потом перестала, когда Петя написал мне, что он читал заметку своими глазами: «Я думаю и думаю о вас, дорогая Катя. Саня по- гиб мужественно, великолепно! Для меня он был самым близким человеком на свете, с детских лет милым и любимым братом. Всегда у него что–то звенело в душе, и легче станови- лось жить, как, бывало, прислушаешься к этому молодому звону. Это было наше детство, наша мечта, наша клятва, которую он помнил всю жизнь. Как бы мне хотелось увидать вас, разделить ваше горе!»

В ответ я подробно изложила рассказ Ромашова и прибавила, что не теряю надежды… Все реже я возвращалась домой. Я кончила курсы РОКК и стала работать в госпитале

уже не «общественницей», а профессиональной сестрой. И голод долго не мешал мне, куда дольше, чем, например, Варе, которая на вид была гораздо крепче, чем я. Для меня было легче, что горе свалилось на меня в такие тяжелые дни в Ленинграде, где можно было по- пасть под артиллерийский снаряд, лежа в своей постели, где улицы были занесены первым снегом, а окна стояли открытыми, потому что многие ленинградцы, когда еще было тепло, перешли на казарменное положение и уже не вернулись домой.

Легче потому, что, сопротивляясь всему, что принесла блокада, я невольно сопротив- лялась и собственному горю. И Ромашов, как ни странно, понимал меня. Недаром он совер- шенно перестал уговаривать меня уехать из Ленинграда…

Он повторил свой рассказ, и я узнала много новых подробностей, о которых в первый раз он не упомянул ни слова. Когда Ромашов с лейтенантом тащили Саню через болото, они сложили руки крестом, и он обнял их руками за шеи. Одну из девушек звали Катей, и Саня ужасно обрадовался и потом только и звал ее: «Катя, Катя!» Когда Саня сказал: «А я думал, что мне придется тебя опасаться», Ромашов только засмеялся в ответ, и это действительно было смешно – каждую минуту в рощице могли появиться немцы.

Это была правда, зачем ему лгать? Ведь если бы он захотел обмануть меня, он просто показал бы газету, в которой черным по белому напечатано, что Саня погиб. Так он сказал – и это тоже было правдой. «Но ведь это Ромашов, – так я говорила себе. – Ромашов с его не- мигающими глазами. Ромашов, Сова, как называл его Саня».

«Война меняет людей, – так я отвечала себе. – Он видел смерть, ему стало скучно в этом мире притворства к лжи, который прежде был его миром. Он сделал для Сани все, что мог, – и сделал именно потому, что невозможно было предположить, что он способен на это».

Как–то мельком я сказала ему, что была бы очень рада увидеть Петю.

– Готово, – объявил он мне через несколько дней, – завтра приедет.

Возможно, что это было простым совпадением, хотя Ромашов уверял, что он устроил вызов через ректора Академии художеств. Но прошло несколько дней, и Петя приехал.

Я не видела его три с половиной месяца. Я провожала его с чувством страха за его рассеянность, поэтичность, погруженность в себя – черты, которые меньше всего могли пригодиться ему на фронте. А в комнату вошел крепкий, загорелый человек, не сутулый, как прежде, а прямой, с прямым, уверенным взглядом.

Мы обнялись.

* Катя, теперь и я думаю, что Саня вернется, – сразу сказал он. – Он воскрес, когда его считали погибшим. Теперь кончено. Будет жить. Это наша такая фронтовая примета. И в части уже знают, что он жив. Иначе прислали бы извещение, это же совершенно ясно!

Это было далеко не ясно, но я слушала, и у меня не было силы не верить…

Петя явился ко мне очень рано, в шестом часу утра. Мы ждали Ромашова до полудня. Петя рассказывал, и я слушала его с таким чувством, как будто это был не Петя, а его младший брат – грубоватый, румяный, в полушубке, который крепко пахнул овчиной, с желтыми пальцами, которыми он ловко сворачивал огромные «козьи ножки». Это была ис- тория характера – то, что он рассказал о себе. Художник, человек искусства, он и первые дни на фронте увидел не войну, а как бы панораму войны. Он был одно, война – другое. Но вот прошла неделя, другая. Он убил первого немца.

* Как случилось, что я, художник Сковородников, убил человека? Но я убил человека, который не имел права называть себя так. Убивая его, я защищал это право.

Так он стал «атомом войны». Больше он не наблюдал ее как художник. Он был теперь солдатом и делал все, что в его силах, чтобы стать настоящим солдатом.

* Что же мне делать в этом старом мире? – сказал он, легко оглянувшись кругом.

Мы не дождались Ромашова, и я ушла первая, потому что видела, что Пете хочется

побыть одному в этом «старом мире». Обернувшись с порога, я увидела, как он взял одно из своих свернутых трубкой полотен и стал осторожно развертывать его вдруг задрожавшими, огрубевшими пальцами.

Я позвонила Ромашову из госпиталя.

* Приехал? – весело сказал он. – Вот видите. А вы сомневались!
* Да, приехал. Приходите вечером, он хочет вас видеть.
* Вечером, к сожалению, не могу, – неотложное дело.
* Нет, придете.
* Никак не могу.
* Придете, вы слышите, Миша? И я бросила трубку.

Он пришел. Мы сидели в столовой, он появился в дверях и сразу же с протянутой ру- кой направился к Пете.

* Рад, рад, – сказал он, – очень рад. Признаться, я не думал, что выйдет, честное слово! Но вы, оказывается, знаменитый человек. Если бы вы не были знаменитым человеком, – ничего бы не вышло.
* Очень вам благодарен, товарищ майор, – казенным голосом отвечал Петя.
* Полно, какой майор! Интендант второго ранга, и только! Колеса не соберусь прице- пить, вот и хожу майором!

Петя посмотрел на него, потом куда–то мимо, в угол. Очевидно, он полагал, что нет ничего легче, как прицепить колеса, чтобы интенданта второго ранга впредь никто не при- нимал за майора.

* Ну, как на фронте, что слышно? Мне только что сказали, что Лигово взято.
* Насколько мне известно, не взято, – сказал Петя.
* Вот, извольте! А я уже думал: ну, кончено, на днях рванем в Москву в международ- ном вагоне. Придется подождать, да?

Такими словами – «рванем» – об этом не говорилось в Ленинграде. Мне стало неловко.

Но Петя, кажется, ничего не заметил.

Мы помолчали.

* Итак, – сказал Ромашов, – вопрос первый и единственный – Саня?

Почему он держался так неопределенно, так странно? Почему он улыбался то с ка- кой–то робостью, то с гордым, надменным выражением? Почему он рассказал длинную ис- торию о каких–то пожарных, которые в маскировочных халатах под артиллерийским огнем копали картошку? Не знаю, мне было все равно. Я думала только о Сане…

* Есть только один путь, – с каким–то тайным самодовольством сказал, наконец, Ро- машов. – Дело в том, что эти места под Киевом находятся сейчас в руках партизанских от- рядов. Без сомнения, партизаны держат связь с командованием фронта. Нужно включиться в эту связь – то есть поручить кому–то собрать все сведения о Сане.

Положив ногу на ногу, подпирая кулаком подбородок, Петя, не отрываясь, смотрел на

него.

* Здесь две трудности, – продолжал Ромашов. – Первая: мы в Ленинграде. Вторая: этот

приказ – разыскать Саню или собрать сведения о нем может дать только одна очень высокая инстанция, и добраться до нее чрезвычайно трудно. Но нет ничего невозможного. У меня есть знакомства здесь, в Ленинградском штабе партизанских отрядов. Я сделаю это, – при- бавил он побледнев. – Разумеется, если какие–либо исключительные обстоятельства не по- мешают.

«Исключительных обстоятельств» было сколько угодно – сама жизнь состояла из од- них «исключительных обстоятельств». Все, что находилось по ту сторону Ладожского озера, давно уже называлось «Большой Землей», и поддерживать с нею даже простую телеграф- ную связь день ото дня становилось все труднее.

* + Петя, что вы молчите?
  + Я слушаю, – точно очнувшись, сказал Петя. – Что же, все правильно. Мне трудно сказать, насколько возможно рассчитывать на эту связь, особенно сейчас. Но начинать все–таки нужно немедленно. В этом отношении товарищ Ромашов совершенно прав. А в часть я бы на вашем месте написал, Катя.

* + Голубчик, родная моя, – сказал он, когда Ромашов ушел, – что мне сказать вам? Он очень, очень не понравился мне, но мало ли что, правда? Это ничего не значит. В нем есть что–то неприятное, холодное, скрытное и вместе с тем какая обнаженность чувств в каждом движении, в каждом слове! Мне даже захотелось нарисовать его. Этот череп квадратный! Но все это пустяки, пустяки! Главное, что он, по–моему, человек дела.
  + О да!
  + И привязан к вам.
  + Без сомнения.
  + А вы не можете пойти вместе с ним в штаб партизанских отрядов?
  + Конечно, могу.
  + Вот и пойдите. И непременно нужно писать, запрашивать, это очень важно. Вам са- мой будет легче. Как вы похудели, измучились! – сказал он и взял меня за руки. – Бедная, родная! Вы, должно быть, не спите совсем?
  + Нет, сплю.
  + Саня вернется, вернется, – говорил он, и я слушала, закрыв глаза и стараясь удержать дрожащие губы. – Все снова будет прекрасно, потому что у вас такая любовь, что перед ней отступит самое страшное горе: встретится, посмотрит в глаза и отступит. Больше никто, ка- жется, и не умеет так любить, только вы и Саня. Так сильно, так упрямо, всю жизнь. Где же тут умирать, когда тебя так любят? Нельзя, никто бы не стал, я первый! А Саня? Да разве вы позволите ему умереть?

Он говорил, я слушала, и на душе становилось легче. Смутное, далекое воспоминание вдруг мелькнуло передо мной: Саня спит одетый и усталый, ночь, но в комнате светло. Ху- денький мальчик играет за стеной, а я лежу на ковре и слушаю, слушаю, сжимая виски. «За горем приходит радость, за разлукой – свиданье. Все будет прекрасно, потому что сказки, в которые мы верим, еще живут на земле…»

До фронта можно было доехать на трамвае, Петина дивизия стояла теперь в Славянске. Он просил не провожать его – это было рискованно, в Рыбацком без пропуска меня могли задержать. Но я поехала.

* + Ну задержат, подумаешь! Комендант меня уже знает.

В трамвае было тесно, шумно, но мне все–таки еще раз удалось посмотреть бабушки- ны письма. Петя на днях получил от бабушки с одной почтой четыре закрытых письма и двенадцать открыток. Так и бывало в те дни в Ленинграде – по две–три недели с «Большой Земли» никто не получал ни слова, и вдруг приходила целая пачка писем. Дома я успела прочитать только открытки. В одной из них маленький Петя приписал огромными квадрат- ными буквами: «Папа, у нас живет кролик», и я так живо представила, как он пишет, накло- няя голову и поднимая брови – с той милой манерой, которую я любила и которая делала его похожим на мать. Он был здоров, сыт и в безопасности, бабушка тоже. Чего же еще желать в такое тяжелое время?

* + Правда же, Петя?
  + Конечно, да, – грустно отвечал он. – Но как я скучаю без него, если бы вы знали!

Трамвай шел уже вдоль Рыбацкого, кто–то сказал, что на конечной остановке будут выпускать по одному, проверять документы. Петя беспокоился за меня, и я решила вер- нуться.

* + Будьте здоровы, дорогой!
  + Ладно, ладно, буду здоров, – отвечал он весело. Так бывало отвечал маленький Петя. Через головы чужих, озабоченных, занятых своими делами людей мы протянули друг другу руки, и, быть может, поэтому я подумала с раскаянием, что почти ничего о нем не

узнала. «Но ведь не в последний же раз мы видимся, – сказала я себе. – Отпрошусь в госпи- тале, его часть стоит совсем близко».

Если бы я знала, как много дней, томительных и тревожных, пройдет, прежде чем мы встретимся снова!

**Глава 14.**

**ТЕРЯЮ НАДЕЖДУ.**

Берта умерла в середине декабря, в один из самых «налетных» дней, когда бомбежка началась с утра, или, вернее, не прекращалась с ночи. Она умерла не от голода – бедная Ро- залия Наумовна десять раз повторила, что голод тут ни при чем.

Ей непременно хотелось похоронить сестру в тот же день, как полагается по обряду, Но это было невозможно. Тогда она наняла длинного, грустного еврея, и тот всю ночь читал молитвы над покойницей, лежавшей на полу, в саване из двух не сшитых простынь – тоже согласно обряду. Бомбы рвались очень близко, ни одного целого стекла не осталось в эту ночь на проспекте, Максима Горького, на улицах было светло и страшно от зарева, от розо- во–красного снега, а этот грустный человек сидел и бормотал молитвы, а потом преспокой- но уснул; войдя в комнату с рассветом, я нашла его мирно спящим подле покойницы, с мо- литвенником под головой.

Ромашов достал гроб – тогда, в декабре, это было еще возможно, – и, когда худенькая старушка легла в этот огромный, грубо сколоченный ящик, мне показалось, что и в гробу она забилась в угол со страху.

Могилу нужно было копать самим – могильщики заломили, по мнению Ромашова,

«неслыханную» цену. Он нанял мальчиков – тех самых, которых Розалия Наумовна учила красить.

Очень оживленный, он десять раз бегал вниз во двор, шептался о чем–то с комендан- том, похлопывал Розалию Наумовну по плечу и в конце концов, рассердился на нее за то, что она настаивала, чтобы Берту так и похоронили, в саване из не сшитых простынь.

* Простыни можно променять! – закричал он. – А ей они не нужны. В лучшем случае через два дня с нее эти простыни снимут.

Я прогнала его и сказала Розалии Наумовне, что все будет так, как она хочет.

Было раннее утро, мелкий и жесткий снежок крутился и вдруг, точно торопясь, падал на землю, когда, толкаясь о стены и неловко поворачивая на площадках, Ромашов с мальчи- ками снесли гроб и поставили его во дворе на салазки. Я хотела дать мальчикам денег, но Ромашов сказал, что сговорился за хлеб.

* По сто грамм авансом, – весело сказал он. – Ладно, ребята? Не глядя на него, мальчики согласились.
* Катя, вы идете наверх? – продолжал он. – Будьте добры, принесите, пожалуйста.

Хлеб лежит в шинели.

Не знаю, почему он положил хлеб в шинель, – должно быть, спрятал от Розалии Наумовны или давешнего еврея. Шинель висела в передней, он давно уже носил полушубок.

Я поднялась и, помнится, подумала на лестнице, что следует одеться потеплее. Меня с ночи немного знобило, и лучше было бы, пожалуй, не ходить на кладбище, до которого считалось добрых семь километров. Но я боялась, что без меня Розалия Наумовна свалится по дороге.

Завернутый в бумагу кусок хлеба лежал в кармане шинели, я стала доставать его. Вместе с хлебом полез какой–то мягкий мешочек. Мешочек упал, и я открыла дверь на лестницу, чтобы подобрать его – в передней было темно. Это был желтый замшевый кисет; среди других подарков мы посылали на фронт такие кисеты. Я подумала – и развязала его; карточка, сломанная пополам, лежала в нем и какие–то кольца. «Променял где–нибудь», – подумала я с отвращением. Карточка была очень старая, покоробившаяся, с надписью на обороте, которую трудно было разобрать, потому что буквы совершенно выцвели и слились. Я уже совсем собралась сунуть карточку обратно в кисет, но странное чувство остановило меня. Мне представилось, что некогда я держала ее в руках.

Я вышла – на лестнице было светлее – и стала по буквам разбирать надпись: «Если быть…» – прочитала я. Белый острый свет мелькнул перед моими глазами и ударил прямо в сердце. На фотографии было написано: «Если быть, так быть лучшим».

Не знаю, что сталось со мной. Я закричала, потом увидела, что сижу на площадке и шарю, шарю, ищу это фото. Через какую–то темноту перед глазами я прочитала надпись и узнала Ч. я шлеме, делавшем его похожим на женщину, Ч. с его большим орлиным лицом, с добрыми и мрачными из–под низких бровей глазами. Это была карточка Ч., с которой ни- когда не расставался Саня. Он носил ее в бумажнике вместе с документами, хотя я тысячу

раз говорила, что карточка изотрется в кармане и что нужно остеклить ее и поставить на стол.

С бешенством бросилась я обратно в переднюю, сорвала с вешалки шинель и, бросив ее на площадку, вывернула карманы. Саня умер, убит. Не знаю, что я искала. Ромашов утаил его. В другом кармане были какие–то деньги, я скомкала их и швырнула в пролет. Убил и взял это фото. Я не плакала. Украл документы, все бумаги и, может быть, медальон, чтобы никто не узнал, что этот мертвый в лесу, этот труп в лесу – Саня. «Другие бумаги, очень важные, они лежали в планшете», – мысленно услышала я, и словно кто–то зажег фонарь перед каждым словом Ромашова.

Это фото было в планшете. Другие бумаги и газета «Красные соколы» тоже были в планшете, но они размокли, пропали – ведь сам Ромашов сказал: «Газета превратилась в комочек». А фотография сохранилась, быть может, потому, что Саня всегда носил ее обер- нутой в кальку.

Внизу слышались голоса. Розалия Наумовна звала меня. Я спрятала фотографию на груди, положила кисет в карман шинели. Я повесила шинель на прежнее место и, спустив- шись во двор, отдала хлеб Ромашову.

Он спросил:

* Что с вами? Вы нездоровы? Я ответила:
* Нет, здорова.

Ничего не было. Не было пустынных бесшумных улиц, по которым, медленно пере- двигая ноги, как в страшном медленном сне, молча шли люди. Не было застрявших среди улиц обледеневших трамваев, с которых свисали, как с крыш деревенских домов, толстые карнизы снега. Не бежал все дальше и дальше от нас узкий след салазок, на которых лежало маленькое, как у ребенка, спеленутое тело. Только теперь я вспомнила, что Ромашов распо- рядился оставить гроб, не поместившийся на маленьких салазках.

* Ничего, продадим, – сказал он.

И Розалия Наумовна, должно быть, сошла с ума, потому что сказала, что по обряду так и нужно – без гроба. Я вспомнила об этом и сразу забыла. Девочка с крошечным старым лицом ступила в снег, чтобы пропустить нас – двоим было не разойтись на узкой дорожке, проложенной вдоль Пушкарской. Странно болтаясь в широком пальто, прошел еще кто–то – мужчина с портфелем, висящим на веревочке через плечо. Я увидела их – и тоже сразу за- была. Я видела все: бесшумные, занесенные снегом улицы, спеленутый труп на саночках и еще другой труп, который какая–то женщина везла по той стороне, но все останавливалась и, наконец, отстала. Как тени бесшумно, бесследно скользят по стеклу, так проходил передо мной белый, потонувший в снегу, стынущий город.

Другое видела я, другое терзало сердце: вытянув ноги в грязных, желтых от крови бинтах, Саня лежит, прижавшись щекою к земле, и убийца стоит над ним – одни, одни в маленькой мокрой осиновой роще!

**Глава 15.**

**ДА СПАСЕТ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ МОЯ!**

До еврейского кладбища было далеко, не добраться, и Розалия Наумовна решила по- хоронить сестру на Смоленском. За шестьсот граммов хлеба грустный еврей, читавший над Бертой молитвы, согласился придти на православное кладбище, чтобы проводить свою

«клиентку», как он сказал, согласно обряду.

Я плохо помню эти проводы, продолжавшиеся весь день – от самого раннего утра до сумерек, подступивших по декабрьскому рано. Как будто старая немая кинолента шла пе- редо мной, и сонное сознание то следовало за ней, то оступалось в снег, заваливший Васи- льевский остров.

Вот мы идем, не чувствуя ничего, кроме холода, усталости и нелюбви к окостеневше- му трупу. Мальчики тащат Берту по очереди, в гору вдвоем, а на скатах она поспешно съез- жает сама, точно торопясь поскорее освободить нас от этих скучных забот, которые она не-

вольно нам причинила.

Блестит на солнце привязанная к трупу лопата, и, глядя на этот блеск, я почему–то вспоминаю Крым и море. Нам было так хорошо в Крыму! Саня вставал в пять часов, я го- товила ему легкий завтрак, когда знала, что он идет на высокий полет. Мы купили душ

«стандарт», я все приладила, устроила, и после душа Саня садился за стол в желтой полоса- той пижаме. Как–то мы поехали в Севастополь, море было неспокойно, погода хмурилась – летчикам всегда давали отпуска в самое неподходящее время. Я огорчилась, и Саня сказал:

«Ничего, я тебе организую погоду». И правда, только отвалил пароход, как стала прекрасная погода.

Как весело, как легко было мне стоять с ним на белой нарядной палубе, в белом пла- тье, говорить и смеяться и стараться быть красивой, потому что я знала, что ему нравится, когда я нравлюсь другим! Как ослепительно сверкало солнце везде, куда ни кинешь взгляд, – на медных поручнях капитанского мостика, на гребешках закидывавшейся под ветром волны, на мокром крыле нырнувшей чайки!

…Сгорбившись, посинев, держа под руку Розалию Наумовну, чуть двигавшуюся – так тепло она была одета, – я плетусь за салазками, то уходящими от нас довольно далеко, то приближающимися, когда мальчики останавливаются, чтобы покурить. Мы две одинаковые жалкие старушки, я – совершенно такая же, как она. Должно быть, это сходство приходит в голову и Ромашову, потому что он догоняет нас и говорит с раздражением:

– Зачем вы пошли? Вы простудитесь, сляжете. Вернитесь домой, Катя.

Я гляжу на него: жив и здоров. В белом крепком полушубке, ремни крест на крест, на поясе кобура. Жив! Открытым ртом я вдыхаю воздух. И здоров! Я наклоняюсь и кладу в рот немного снега. Все поблескивает привязанная к трупу лопата, я все смотрю да смотрю на этот гипнотический блеск.

Кладбище. Мы долго ждем в тесной, грязной конторе с белыми полосами заиндевев- шей пакли вдоль бревенчатых стен. Опухшая конторщица сидит у буржуйки, приблизив к огню толстые, замотанные тряпками ноги. Ромашов за что–то кричит на нее. Потом нас зо- вут – могила готова. Опираясь на лопаты, мальчики стоят на куче земли и снега. Неглубоко же собрались они запрятать бедную Берту! Ромашов посылает их за покойницей, и вот ее уже везут. Длинный грустный еврей идет за салазками и время от времени велит постоять

* читает коротенькую молитву. Ромашов раскладывает на снегу веревку, ловко поднимает покойницу, ногой откатывает салазки. Теперь она лежит на веревках. Розалия Наумовна в последний раз целует сестру. Еврей поет, говорит то высоко, с неожиданными ударениями, то низко, как старая, печальная птица…

Мы возвращаемся в контору погреться. Мы – это я и Ромашов. Он делает мне таин- ственный знак, хлопает по карману, и, когда все направляются к воротам, мы заходим в контору – погреться.

* + Налить?

Ох, как загорается, заходится сердце, какие горячие волны бегут по рукам и ногам! Мне становится жарко. Я расстегиваюсь, сбрасываю теплый платок; на легких, веселых но- гах я хожу, хожу по конторе.

* + Еще?

Опухшая женщина с жадностью смотрит на нас, я велю Ромашову налить и ей. И он наливает – «Эх, была не была!» – веселый, бледный, с красными ушами, в треухе, лихо сби- том на затылок. Мне тоже весело, я шучу: я беру со стола одну из черных крашеных мо- гильных дощечек и протягиваю ее Ромашову:

* + Для вас. Он смеется:
  + Вот теперь вы стали прежняя Катя!
  + А все не ваша!

Он подходит ко мне, берет за руки. У него начинает дрожать рот, маленькие, точно детские, зубы открываются, – странно, прежде никогда я не замечала, какие у него острые маленькие зубы.

* + Нет, моя, – говорит он хрипло.

Я отнимаю у него правую руку. Молоток лежит на окне – должно быть, им прибивают

к могильным крестам дощечки. Очень медленно я беру с окна этот молоток, небольшой, но тяжелый, с железной ручкой…

Если бы удар пришелся по виску, я бы, пожалуй, убила Ромашова. Но он отшатнулся, молоток скользнул и рассек скулу. Женщина вскочила, закричала, бросилась в сени. Рома- шов догнал ее, втолкнул назад, захлопнул дверь. Потом подошел ко мне.

* Оставьте меня! – сказала я с отчаянием, с отвращением. – Вы – убийца! Вы убили Саню.

Он молчал. Кровь лила из рассеченной скулы. Он отер ее ладонью, стряхнул на пол, но она все лила на плечо, на грудь, и весь полушубок был уже в мокрых розовых пятнах.

* Надо зажать, – не глядя на меня, пробормотал он. – У вас не найдется чистого носо- вого платка, Катя?
* Хорошо, пусть так – я убил его! Тогда зачем же я берег это фото? Мы хотели зарыть документы, Саня держал их в руках и, должно быть, выронил фото. Я не сказал вам, что нашел его, – я боялся, что вы не поверите мне. Боже мой, вы не знаете, что такое война! Су- масшедшая мысль, что я мог убить своего! Кто бы он ни был, как бы я ни относился к нему! Убить раненого, Катя! Да это бред, которому никто не поверит!

Не в первый раз Ромашов повторял эти слова: «Никто не поверит». Он боялся, что я напишу о своих подозрениях в Военный трибунал или прокурору. Он оставил конторщице на кладбище все свои деньги и хлеб, и я слышала, как он сказал ей: «Никому ни единого слова». Он не пошел в больницу. Розалия Наумовна остановила кровь и залепила пластырем большой рубец на скуле.

* Да, я не любил его, это правда, которую я не собираюсь скрывать, – продолжал Ро- машов, – но когда я нашел его с отбитыми ногами, с пистолетом у виска, в грязной теплуш- ке, я подумал не о нем – о вас. Недаром же он обрадовался, увидев меня: он понял, что я – это его спасенье. И не моя вина, что он куда–то пропал, пока я ходил за людьми, чтобы от- нести его на носилках.

Он бегал по маленькой кухне, бегал и говорил, говорил… Он брался руками за голову, и тогда на тени, метавшейся за ним по стене, бесшумно вырастали две смешные носатые морды. Детское, забытое воспоминание чуть слышно коснулось меня. «А вот корова рога- тая» – это говорит мама; я лежу в кроватке, а мама сидит рядом, держит руки перед стеной и смеется, что я смотрю не на тень, а на руки. «А вот козел бородатый»… У меня были мок- рые глаза, но я не вытирала слез – очень холодно было вытаскивать руку из–под всех этих одеял, пальто и старого лисьего меха.

* И надо же было проклятой судьбе, чтобы я встретился с ним в эшелоне! Я мог убить его. Каждый день из теплушек выносили по несколько трупов, никто бы не удивился, если бы этого летчика, который пропал и хотел застрелиться, нашли наутро с простреленной го- ловой! Но я не мог убить его, – закричал Ромашов, – потому что не он, а вы лежали бы наутро с простреленной головой! Я понял это, когда он спросил у одной из девушек, как ее зовут, она ответила «Катя», и у него просветлело лицо. Я понял, что ничтожен, мелок перед ним со всеми своими мыслями о его смерти, которая должна была принести мне счастье. И я решил сделать все, чтобы спасти его для вас. А теперь вы смеете утверждать, что я убил Саню! Нет, – торжественно сказал Ромашов, – клянусь матерью, которая родила меня на это несчастье и горе! Святыней моей клянусь – любовью к вам! Если он погиб, не виноват я в этой смерти ни словом, ни делом!

Он стал застегивать полушубок и все не мог попасть крючком в петлю – руки дрожали. Если бы я могла, если бы смела снова поверить ему! Но равнодушно смотрела я на тощее лицо с неестественно запавшими глазами, на желтые космы волос, падающие на лоб,

на безобразный пластырь, перекосивший, стянувший щеку.

* Уходите.
* Вы плохо себя чувствуете, позвольте мне остаться.
* Уходите.

Не знаю, плакал ли он когда–нибудь. Но лицо его было залито слезами, когда, опу- стившись на колени, он уткнулся головой в постель и замер, вздрагивая и нервно глотая.

«Саня жив, – вдруг подумала я, и рванулось, замерло сердце от счастья. – Или уже не чело- век, а какой–то демон стоит на коленях передо мной? Нет, нет. Невозможно, немыслимо так

притворяться».

– Уходите.

Не знаю, куда я гнала его. Уже скоро месяц, как он жил у нас, – Розалия Наумовна за- чем–то прописала его. Была ночь и тревога. Но он вышел, и я осталась одна.

«Тик–так», – стучал метроном. Кто–то, помнится, говорил мне, что только в Ленин- граде передают стук метронома во время тревоги. Стекла вздрагивали и вместе с ними – желтый листок коптилки, стоявшей на столе. Что же было там, в маленькой мокрой осино- вой роще?

Под шубами, под одеялами, под старым лисьим мехом я не слышала, как сыграли от- бой. Сыграли – и вновь началась тревога. «Тик–так, – застучал метроном. – Веришь – не ве- ришь».

Это сердце стучало и молилось зимней ночью, в голодном городе, в холодном доме, в маленькой кухне, чуть освещенной желтым огоньком коптилки, которая слабо вспыхивала, борясь с тенями, выступавшими из углов. Да спасет тебя любовь моя! Да коснется тебя надежда моя! Встанет рядом, заглянет в глаза, вдохнет жизнь в помертвевшие губы! При- жмется лицом к кровавым бинтам на ногах. Скажет: это я, твоя Катя! Я пришла к тебе, где бы ты ни был. Я с тобой, что бы ни случилось с тобой. Пускай другая поможет, поддержит тебя, напоит и накормит – это я, твоя Катя. И если смерть склонится над твоим изголовьем и больше не будет сил, чтобы бороться с ней, и только самая маленькая, последняя сила оста- нется в сердце – это буду я, и я спасу тебя.

**Глава 16.**

**ПРОСТИ, ЛЕНИНГРАД!**

В январе 1942 года меня увезли из Ленинграда. Я была очень слаба, врачи не велели отправлять эшелоном, и Варя устроила меня на самолет.

За день до отъезда мне позвонили из сортировочного госпиталя и сказали, что лейте- нант Сковородников ранен и просил передать привет.

* Вы сестрица его?
* Да, – отвечала я дрожащим голосом. – Тяжело ранен?
* Никак нет. Надеется на встречу.

Я хотела идти, но Варя не пустила меня. Вероятно, она была права – я умерла бы до- рогой. Так слабо, чуть слышно билось во мне дыхание жизни, так бесконечно далеко был этот госпиталь, на Васильевском острове, – на краю света! Варя надеялась, что удастся пе- ребросить Петю в Военно–медицинскую академию, разумеется не в «стоматологию» – он был ранен в грудь и левую руку, – а в отделение полевой хирургии. Но это отделение было очень близко от «стоматологии». Она дала мне слово, что будет ежедневно заходить к нему и вообще заботиться о его здоровье. Без сомнения, она не догадывалась о том, как важно для нее самой – не только для Пети – сдержать это слово.

Как в легком, отлетающем сне, я смутно помню высокое деревянное строение – ан- гар? – в котором я долго сидела на полу среди таких же, как я, закутанных молчаливых лю- дей. Потом нас повели, куда–то узкой тропинкой по чистому снежному полю, мимо глубо- ких воронок, в которых валялись обломки разбитых самолетов, мимо полу засыпанных снегом розовых горок, – я не сразу догадалась, что это коровье мясо, которое на самолетах привезли в Ленинград. Потом по шаткой железной лесенке мы поднялись в самолет, пустой и холодный, с голыми лавками по бокам, с пулеметом, стоявшим на подставке под откину- тым прозрачным колпаком.

Вот и все. Маленький сердитый летчик в меховых сапогах прошел в кабину. Мотор заревел, качнулось и пошло мелькать направо и налево равнодушное сияющее поле. Я оч- нулась в эту минуту. Прости, Ленинград!

Я лечу над Ладожским озером, по которому через несколько дней пройдут первые машины с ленинградцами на «Большую Землю», с хлебом и мукой – в Ленинград. Вехи сто- ят здесь и там, намечая «дорогу жизни», люди работают по самое сердце в снегу.

Я лечу над картой великой войны, и уже не маленький сердитый летчик в меховых са-

погах, а само Время сидит за штурвалом моего самолета.

Вперед и вперед смотрит оно, и странные, величественные картины открываются пе- ред его глазами. По бесконечным магистралям тянутся на восток разобранные на части цехи гигантских заводов. Запорошенные снегом, идут и идут станки, и кажется, чтобы пустить их, нужны годы и годы. Но еще не тает снег, еще скупо греет зимнее солнце, а уже в глухих заповедных степях, где прежде одни кибитки лениво тащились от юрты до юрты, где бро- дили стада да старый казах–пастух играл на самодельной домбре, поднимаются, и день ото дня все выше, корпуса многоэтажных зданий. Откатилась, сжалась, затаила дыхание, при- готовилась к разбегу страна…

А меня чуть живую везут в Ярославль, в «ленинградские» палаты, где лежат, стараясь не думать о еде, очень тихие люди. Врачи не велят думать о еде, недоверчивых они ведут в кладовые. Полны кладовые!

Бабушка находит меня в этой больнице – и не находит: в недоумении стоит она на по- роге, обводя глазами палату. Она смотрит на меня и не узнает, пока мне не становится смешно и я не окликаю ее, смеясь и плача…

Вперед, вперед! День и ночь. И снова день. Но давно смешались день и ночь, и кажет- ся, само солнце не знает, когда, в какой час подняться над потрясенной землей.

Немецкий солдат лежит в снегу, выставив из снежного сугроба окостеневшие ноги. Судорожно сжимает он в пальцах чужую землю, и рот его набит чужой землей – точно хо- тел он проглотить ее и задохся.

Русский солдат рванулся вперед, занес гранату, и в это мгновенье ударила его в сердце роковая пуля. Прислонившись к сосне, так и застыл он на сорокаградусном морозе. Как ле- дяная статуя, он стоит с гордо откинутой головой в порыве не помнящего себя вдохновения боя.

Это – зима сорок первого года.

Но вот проходит эта памятная всему миру зима. Дыханье новых сил поднимается на всем необозримом пространстве Советского Союза. Как ветер, доносится оно до «ленин- градских» палат. И вновь разгорается сердце. Жизнь стучит и зовет, и уже досада на себя, на свое бездействие и слабость томит и волнует душу…

В марте я выхожу из больницы. Бабушка ведет меня на вокзал, и голова моя кружится, кружится от бегущих, сверкающих на солнце ручейков талой воды вдоль дороги, от воздуха, от мельканья людей и машин. Мы едем в Гнилой Яр.

Напрасно казалось мне, что детям не может быть хорошо в селе с таким неприятным названьем! Хорошо детям в этом селе. Петенька вырос, окреп и стал совсем деревенским мальчишкой, с облупившимся на солнце носом, с золотистыми волосиками на загорелых ногах.

Он уже стесняется, когда я целую его при других ребятах, он собирает марки и прези- рает Витьку Котелкова за то, что тот плакал и «ябедает» маме. Он переписывается с отцом, и – очень странно – время от времени папа передает ему привет от какой–то тетеньки по имени Варя.

* Она старая?
* Нет, молодая.
* А чего она кланяется? Познакомиться хочет?
* Наверно…

Сельское кладбище раскинулось на высоких холмах, в ясный день издалека видны его кресты и пятиконечные звезды. Мы – в лощине между кладбищем и дорогой, за которой бесконечные, темно–зеленые, светло–зеленые, простираются поля и поля. Мы в тени, между кустами дикой малины.

* А мама ведь тоже была молодая, когда она умерла?
* Совсем молодая.

О чем думает он, срывая травинку, по которой ползет и вдруг взлетает майский жучок?

* А дядя Саня был похож на маму?
* Был!

Он робко смотрит на меня, гладит по руке, целует. Я плачу, и слезы падают прямо на его загорелый, облупившийся нос. Обнявшись, мы молча сидим в кустах дикой малины, а

поодаль сидит, косясь, равнодушная, постылая Санина смерть.

Вперед, вперед! Не оглядываясь, не вспоминая…

Лето 1942 года. Лагерь Худфонда переведен в Новосибирскую область. Я возвращаюсь в Москву, суровую, затемненную, с крышами, на которых стоят зенитки, с площадями, на которых нарисованы крыши.

Метро, такое же чистое и новое, ничуть не изменившееся за год войны. Гоголевский бульвар – дети и няни. Сивцев–Вражек, кривой, узенький, милый, все тот же, несмотря на два новых дома, свысока поглядывающих на облупившихся, постаревших соседей. Знакомая грязная лестница. Медная дощечка на двери: «Профессор Валентин Николаевич Жуков». Ого, профессор! Это новость! Я звоню, стучу! Дверь открывается. Бородатый военный в оч- ках стоит на пороге.

Разумеется, я сразу узнала его. Кто же другой мог уставиться на меня с таким неопре- деленно вежливым выражением? Кто же другой мог так смешно положить голову набок и поморгать, когда я спросила:

* Здесь живет профессор Валентин Николаевич Жуков?

Кто же другой мог так оглушительно заорать и наброситься на меня и неловко поце- ловать куда–то в ухо? И при этом наступить мне на ногу так, что я сама заорала.

* Катя, милая, как я рад! Это чудо, что ты меня застала!

Он подхватил мой чемодан, и мы пошли – куда же, если не в «кухню вообще», ту саму о, которая была одновременно кабинетом, столовой и детской. Но, боже мой, во что пре- вратилась эта старинная уютная кухня! Какие–то плетенки с кашей стояли на столе, пол был не подметен, обрывки синей бумаги висели на окнах…

Валя взял меня за руки.

* Все знаю, все. – У него дрогнуло лицо, и он крепко зажмурился под очками. – Доро- гой друг, дорогой Саня… Но ведь есть надежда. Иван Павлыч читал мне твое письмо, мы советовались с одним полковником, и он тоже сказал, что очень многие возвращаются, очень.

Я сказала: «Да, многие», и он снова обнял меня.

* Я тебя никуда не пущу, – энергично сказал он. – Квартира совершенно пустая, и тебе будет очень удобно. Я уже немного прибрал, когда Иван Павлыч сказал, что ты приедешь. Здесь надо помыть, да? – нерешительно спросил он.

Я засмеялась. Он сел на кровать и тоже стал смеяться.

* Честное слово, некогда. Я ведь здесь почти не живу – все время на фронте. А зимой тут было очень прилично. Зимой я взял зверей к себе, потому что в институте был дьяволь- ский холод.

Разумеется, он взял не всех зверей, а только ценные экземпляры, и это была превос- ходная мысль, хотя бы потому, что какая–то редкая заморская крыса, которая до сих пор решительно отказывалась иметь детей, у Вали родила – так подействовала на нее семейная обстановка. Мебель Валя сжег, и это тоже было только к лучшему, потому что Кира, без сомнения, очень огорчилась бы, увидев, во что превратили ее «ценные экземпляры».

* Но из необходимой мебели я стопил только кухонный стол, – озабоченно сказал Ва- ля, – так что главное все–таки осталось. Вот стулья, тумбочка, которую Кира очень любила, портьеры и тик далее.

Весной звери вернулись в институт, а Валя получил звание капитана и стал работать в Военно–санитарном управлении. Я спросила, кому он нужен на фронте со своими грызуна- ми, и он сказал очень серьезно:

* А вот это уже военная тайна.

В общем, все было превосходно. Плохо только, что зимой он «пережег проклятый ли- мит» и свет выключили – просто пришли и перерезали провод. Но, в конце концов, день сейчас длинный, а по ночам Валя работает при спиртовой лампочке – великолепная штука!

* А воду согреть на этой лампочке можно? Валя растерянно посмотрел на меня.
* Боже мой, что я за болван! – закричал он. – Ты с дороги, а я даже не предложил тебе

чаю.

* Нет, мне нужно много воды, – сказала я, – очень много. У тебя ведро найдется?

Он только ахнул и жалобно завыл, когда, разувшись и подоткнув юбку, я с мокрой тряпкой в руке принялась наводить порядок.

Сандаля пальцами нос, он с изумлением смотрел, как я выгребаю из–под кровати кар- тофельную шелуху, как сдираю с окон грязную бумагу, как растет на полу гора заплесневе- лого хлеба.

Вот так–то, босиком, в подоткнутой юбке, я стояла на столе и наматывала на швабру мокрую тряпку, чтобы смести со стен паутину, когда кто–то постучал и Валя побежал в пе- реднюю, прихватив ведро с грязной водой.

Я слышала, как он шепотом сказал кому–то: «Ничего, хорошо держится! Молодец, превосходно!» И больше уже ничего не было слышно.

Длинная фигура мелькнула мимо открытых дверей. Кто–то снял шляпу, поставил пал- ку, вынул гребешок и расчесал перед зеркалом седые усы. Кто–то вошел, остановился и уставился на меня с удивлением.

* Иван Павлыч, дорогой!

Он знал, что я должна приехать, – мы переписывались, и не было ничего неожиданно- го в том, что он нашел меня у Вали; но как будто только во сне могла я увидеть эту встречу, так мы бросились в объятия друг друга. Я не сдержалась, заплакала, и он тоже всхлипнул и полез в карман за платком.

* Что же не ко мне? – сердито спросил он и стал долго вытирать глаза, усы.
* Иван Павлыч, сегодня собиралась заехать!

Я одевалась за открытой дверцей шкафа, и мы говорили, говорили без конца, о том, как я летела, как была больна, о ленинградской блокаде, о нашем наступлении под Моск- вой… Теперь стало видно, как постарел Иван Павлыч, как покрылся морщинами его высо- кий лоб и на щеках появилась неровная, старческая краснота. Но он был еще статен, изящен. В последний раз мы виделись в сороковом году. Но, боже мой, как давно это было!

Вдруг, соскучившись по старику, мы нагрянули к нему с тортом и французским вином на Садово–Триумфальную, в его одинокую, холостую квартиру. Как он был доволен, как сма- ковал вино, как они с Саней хохотали, вспоминая Гришу Фабера и трагедию «Настал час», в которой Гриша играл главную роль приемыша–еврея! До поздней ночи сидели мы у камина. То был другой мир, другое время!

* Постарел, да? – спросил он, заметив, что я все смотрю на него.
* Мы все постарели, Иван Павлыч, милый. А я? Он помолчал. Потом сказал грустно:
* А ты, Катя, стала похожа на мать…

Был уже вечер. Валя зажег свою лампочку, но мы сразу же погасили ее – приятно было сидеть без затемнения у открытого окна, при мягком, падавшем из переулка вечернем свете. Там, в переулке, была легкая, прозрачная темнота, а у Вали – комнатная, совсем другая. Не- заметно смеркалось, и уже не Ивана Павловича я видела, а только его седые усы, и не Валю, а только его очки, поблескивающие при каком–то повороте. Это было мгновение тишины, когда с удивительной силой я почувствовала себя среди настоящих, верных, на всю жизнь друзей. «Может быть, самое тяжелое уже позади, – сказала я себе, – раз так случилось, что эти люди, которые так любят меня, – раз они будут теперь вместе со мной, чтобы все в жиз- ни стало легче и лучше? Раз такая тишина и так смутно видны в темноте эти добрые седые усы?»

**ЧАСТЬ 8,**

**(рассказанная Саней Григорьевым).**

**БОРОТЬСЯ И ИСКАТЬ.**

**Глава 1. УТРО.**

Катя сидела на балконе у Нины Капитоновны; сквозь сон я слышал их негромкие,

чтобы не разбудить меня, голоса. Вчерашний вечер живо представился мне.

Ради приезда Нины Капитоновны впервые был вынесен в садик обеденный стол, мы долго ждали ее, и, наконец, она явилась, торжественная, строгая, в новом платье с буфами образца 1908 года и в ботинках с пуговицами и длиннейшими носами.

Как чудно рассказала она об экономке Николая Антоныча, которая поставила на плиту свои грязные туфли! Как представляла в лицах поездку в собственной машине на новую квартиру – Николай Антоныч получил новую квартиру на улице Горького, в четыре комна- ты, с газом и паровым отоплением! Она сказала голосом Николая Антоныча: «Выбирайте любую, Нина Капитоновна», и ответила своим голосом, с гордым выражением: «Мне, спа- сибо, Николай Антоныч, о зеленой декорации думать пора, а чужого от чужого не надо».

И я представил себе, как в Москве, в превосходной новой квартире, пользуясь светом, воздухом, газом и паровым отоплением, сидит старый человек и пишет все наоборот – то есть все белое называет черным, а все черное – белым.

Пора было вставать, четверть седьмого, но это было так приятно – лежать на спине с закрытыми глазами и слушать, как Катя ходит по старенькой дачке и сухие половицы осто- рожно скрипят у нее под ногами. Вот она постояла у моей двери – наверно, послушала, сплю ли я, и подумала, что жалко будить. Вот пошла на кухню и сказала «научной няне», что, может быть, сегодня не стоит идти на базар, потому что все равно с десятичасовым я уеду.

Жена! Мы так часто разлучались, и я так привык представлять ее в воображении, что представил и сейчас, хотя она была рядом: в полосатом шелковом халатике и причесанную, или, вернее, непричесанную, именно так, как мне понравилось в то утро, когда я впервые увидел ее с этой небрежной, наскоро заколотой косой. Мы так часто разлучались, что каж- дый раз у нас все как бы начинялось сначала.

Половина седьмого. Она вошла на цыпочках и поцеловала меня.

* Ты сто лет спишь. Купаться пойдем?
* А хорошо?

Это я спросил о погоде.

* Очень.
* Тогда пойдем.
* На речку?

Речка была совсем близко, под косогором. Но мы любили купаться на озере и пошли на озеро, хотя времени было маловато.

Мало сказать, что погода была хороша, – за все лето не было такого прекрасного утра! Солнце как будто торопилось как можно скорее сделать все сияющим, великолепным. Там, на озере, оно уже сделало все великолепным и теперь, царственно раскинувшись, наступало на нас, и белый ночной парок поспешно испуганно таял, запутавшись в лесу среди малень- ких елей. Только одна осина осталась от мостков через Коровий ручей, которые мы с Петей смастерили в прошлое воскресенье; я перемахнул по этой осине, а Катя пошла вброд, и, бо- же мой, как я запомнил ее в эту минуту! Она шла, придерживая халатик, осторожно и с наслаждением пробуя ногою песчаное дно; полотенце скользнуло с плеча, и она ловко пой- мала его над самой водой.

Мы поднялись наверх, к старинному шведскому кладбищу, обогнули его – вот и озеро. Вдоль низкого, осененного ракитами берега голый, синий от холода мальчик тянул сетку – ловил раков, чудак! Кто же в восьмом часу ловит раков?!

Катя стала смеяться, когда я вытащил его из воды вместе с сеткой и прочел небольшую лекцию о ловле раков, в частности голубых, которые идут исключительно на гнилое мясо. Здесь вообще была мелочь, – в Энске вот были раки!

Песок чуть дымился в тех местах, где солнце успело согреть его сквозь ветки ракиты. Здесь, под ракитами, была тень, а солнце – там, на озере, от берега несколько метров, и, как всегда, мы с Катей поплыли к солнцу и стали «загорать» в воде с закинутыми под голову руками…

Почему я вновь начинаю свой рассказ именно с этого утра, которое ничем, кажется, не отличалось от любого другого воскресного утра? Потому что такою ушла от меня прежняя жизнь, а на смену ей мгновенно возникла и по–своему распорядилась и мною, и Катей, и всеми нашими мыслями, чувствами и впечатлениями совсем другая…

Эта другая жизнь была война, и, быть может, я не стал бы писать о ней именно потому, что это была совсем другая жизнь, если бы то, что произошло со мной на войне, не пере- плелось самым удивительным образом с историей капитана Татаринова и «Св. Марии».

**Глава 2.**

**ОН.**

Со странным чувством невозможности передать то, что я вижу, вглядываюсь я в от- рывочные картины первых дней и недель войны. Я вижу большую, темную комнату кре- стьянской избы, стол, тускло освещенный огарком, завешенные плащ–палаткою окна. Дверь открывается, человек в расстегнутом кителе входит, шарит в печи, жадно ест. Это – Гриша Трофимов. Другой встает с койки и садится к столу рядом с ним. Это – Лури. И я слышу тихий разговор, от которого сердце начинает биться сильно и редко.

* На Ладоге был?

Ест и молча кивает Гриша.

* Ну, и что?
* То самое.
* А на Званке?

Ест. Молчит. Был на Званке.

И смотрят друг другу в лицо ленинградцы. Это первая ночь ленинградской блокады.

Я вижу вымпел с запиской, летящей через борт моего самолета, – так мы спасали лю- дей, которые были уверены, что они находятся в окружении, и ошибались.

Я вижу первую могилу, которую мы украсили железными цветами из стабилизаторов и снарядов и над которой проносились как можно ниже, возвращаясь домой после боевых полетов.

И снова озеро встает передо мной – то самое озеро, в сонной утренней рамке которого последним виденьем явилась прежняя жизнь. Теперь оно сумрачно, хмуро. Тускло блестит, точно налитая вровень с берегами, вода, сизый дым ползет по ее туманному зеркалу. Это горит подожженный немцами лес.

Вечерами мы выходим из подземного блиндажа на склоне горы. Катера стоят под ра- китами, мы мчимся среди брызг, плеска и пены по темной воде. Из стены леса, как огром- ные морские птицы, выплывают навстречу нам самолеты. Это – озеро Л., наша третья и четвертая база!

Я вижу многое. Но все, что я вижу, как бы проходит передо мной на фоне карты, ко- торая каждый день открывается под крыльями моего самолета, – карты с ломающимися ли- ниями фронта, с разливающейся все шире черной волной германского наступления.

Каждый день в часть прибывали новые летчики, все больше из ГВФ, – с одними я ра- ботал еще на Севере, с другими на Дальнем Востоке. Это были опытные пилоты, многие первого и второго класса, а трое даже «миллионеры», то есть налетавшие более миллиона километров, и забавно было наблюдать, с какими смешными ошибками становились воен- ными эти штатские люди. Об этом мы говорили часто, очень часто и в столовой и на дому, в землянке, где мы жили втроем: я с Лури и техник. Может быть, мы говорили об этом так часто потому, что молчаливо условились не говорить о «другом». О «другом» за нас гово- рили газеты.

В августе я с экипажем был переброшен в распоряжение ВВС Южного фронта.

Ночь была темная, «раменская», как назвал ее Лури. Моросил дождь, очень мелкий, переходивший в черно–белый туман, неподвижно стоявший над водою. Темно – хоть выко- ли глаз! Я бы не нашел катера, если бы техник не помигал нам фонариком, догадавшись, что я заблудился.

Полковник подозвал меня, и мы немного постояли молча – в темноте мне чуть видно было это энергичное, с коротким вздернутым носом, еще совсем молодое лицо. Говорить было, в сущности, не о чем. Но он все–таки спросил, взял ли я сабы (светящиеся бомбы). Я ответил, что взял. О сабах он спросил из вежливости, потому что на последнем разборе по- летов я доказывал, что сабы во много раз увеличивают точность ночного бомбометания.

…Очевидно, Лури был не в духе, иначе он не настроился бы на эту унылую румын- скую станцию. Я вспомнил, как он проснулся и не узнал меня, когда я разбудил его перед полетом. У него было усталое лицо, и, садясь на койке, он не сказал своей любимой цитаты из «Ваших крыльев»: «Если вы переутомлены, лучше не летайте, пока не отдохнете…»

От самого побережья прожектора устроили за нами световую погоню; их туманные блики то возникали, то расплывались в молочной бездне над нами. Это было еще полбеды. Мы шли в снегопаде, снег задувал в щит. Теперь Лури ловит Констанцу, и черт знает какую ерунду передает эта самая Констанца! Посвистываешь и думаешь, а вокруг вырастают и клубятся темные горы. Думаешь и посвистываешь, а горы нужно обходить, а под нижней кромкой облаков не пройдешь – снегопад, леденеет машина. Посвистываешь и думаешь:

«Вот видишь, а ты сердилась, что я ничего не пишу тебе о полетах».

Облака кончились именно тогда, когда стало казаться, что иначе и не бывает. Они не кончились, а как бы раздвинулись, и впереди открылся просторный коридор, наполненный великолепным утренним перламутровым светом. На нижнем слое облаков была видна наша тень и на верхнем – тоже. Это было странно, хотя бы потому, что ни один предмет в приро- де не может, как известно, отбрасывать одновременно две тени. Кажется, я удивился, а мо- жет быть, и нет, потому что понял, что вторая тень вовсе не наша, а «мессера», который шел довольно высоко над нами. Хорошо, если бы он был один. Но за ним, как рыбы на солнце, блеснули второй и третий.

Согласно всем правилам, мы должны были удрать от них возможно скорее. И мы бы удрали, если бы облака не остались где–то далеко позади в виде неподвижно мрачного си- него здания. Удирать было некуда, и уже – трр, трр, – точно камешки посыпались на плос- кости, разбежались по кабине.

Это был самый обыкновенный, ничем не замечательный бой, и я не стану рассказывать о нем, тем более, что он окончился очень скоро. Нам сразу удалось сбить один из «мессе- ров» – как он был в развороте, так и упал на землю. Два других сделали горку и, мешая друг другу, попытались пристроиться к хвосту нашего самолета. Это было, конечно, умно, но не очень, потому что мы были не такие люди, чтобы позволить заходить себе в хвост. Они за- шли раз – и не вышло. Зашли другой – и чуть не попали под нашу «трассу». Короче говоря, мы отстреливались, как могли, они отстали наконец, и я повел самолет по прямой, линия фронта была недалеко.

Легко сказать – я вел самолет по прямой. Четверть левой плоскости была снесена, баки пробиты, Я был ранен в ногу и в лицо, кровь заливала глаза.

…Странная слабость охватила меня. Кажется, именно в это мгновенье я вспомнил детские страшные сны, в которых меня убивали, топили, – и чувство счастья, когда проснешься – и жив.

«Но теперь, – это была очень спокойная мысль, – теперь я уже не проснусь».

Должно быть, я потерял сознание, но ненадолго, потому что очнулся от звука соб- ственного голоса, как будто стал говорить еще до того, как вернулось сознание. Я приказы- вал экипажу прыгать с парашютами. Радист и воздушный стрелок прыгнули, а Лури ворч- ливо сказал: «Ладно, ладно!», как будто речь шла о скучной прогулке, на которую он был готов согласиться только из уважения ко мне.

…Самое трудное было бороться с этим туманом, от которого закрывались глаза, сла- бели и падали руки. Кажется, только раз в тысячу лет мне удавалось справиться с ним, и то- гда я понимал, хотя не все, но зато самое важное, то, что необходимо было исправить сию же минуту. Тысяча лет – и я с трудом вывел машину, тащить приходилось одной левой но- гой. Еще тысяча – и я увидел «юнкерсы», два «юнкерса», которые были много ниже меня и, как тяжелые большие быки, неторопливо ползли нам навстречу. Это был, разумеется, конец, и они даже не торопились прикончить нас – я понял это с первого взгляда.

Лури прыгнул, они стали стрелять по нему. Убили? Потом вернулись, встали по сто- ронам и пошли рядом со мною.

…Какое лицо у этого немца – красивое или безобразное, старое или молодое? Мне все равно: не солдат, а убийца летит рядом со мной. Не солдат, а злодей обгоняет меня, отходит в сторону, вновь приближается и смотрит, не торопится, наслаждается своим торжеством.

Не знаю, как это объяснить, но мне представилось, что я вижу и его и себя в эту мину-

ту: себя, схватившегося слабыми руками за руль, с залитым кровью лицом, на распадаю- щемся самолете. И его – поднявшего очки, смотрящего на меня с выражением холодного любопытства и полной власти надо мной. Может быть, я сказал что–то Лури, забыв, что он прыгнул и что они, наверно, убили его. Немец стал проходить подо мною, плоскость с жел- тым крестом показалась слева. Я нажал ручку, дал ногой и бросил на эту плоскость машину.

Не знаю, куда пришелся удар, должно быть, по кабине, потому что немец даже не рас- крыл парашюта. Я убил его. Что это было за счастье!

И вот огромное, великолепное чувство охватило меня. Жить! Я победил его, этого убийцу, который, повернув голову, подняв очки, хладнокровно ждал моей смерти. Жить! Мне было все равно, пока я не увидел его. Я был ранен, я знал, что они добьют меня. Так нет же! Жить! Я видел землю, вот она, совсем близко, пашня и белая пыльная дорога.

Что–то горело на мне, реглан и сапоги, но я не чувствовал жара. Это было невозможно, но мне как–то удалось сделать перелом над самой землей. Я отстегнул ремни – и это было последнее, что мне удалось сделать в этот день, в эту неделю, в этот месяц, в эти четыре ме- сяца… Но не станем забегать вперед.

**Глава 3.**

**ВСЕ, ЧТО МОГЛИ.**

Мне очень хотелось пить, и всю дорогу, пока они тащили меня в село, я просил пить и спрашивал о Лури. В селе мне дали ведро воды, и я не понял, почему женщины громко за- плакали, когда я засунул голову в ведро и стал пить, ничего не видя и не слыша. Лицо у ме- ня было опалено, волосы слиплись, нога перебита, на спине две широкие раны. Я был стра- шен.

…Блаженное чувство становилось все шире, все тверже во мне. Я лежал у сарая, на сене, в деревенском дворе, и мне казалось, что это чувство идет от покалывания травинок, от запаха сена, от земли, на которой меня не убьют. Меня привезли на старой белой лошади, она была поодаль привязана к тыну, и у меня навернулись слезы от этого чувства, от сча- стья, когда я посмотрел на нее. Кажется, мы сделали все, что могли. Я не беспокоился о ра- дисте и воздушном стрелке, только сказал, чтобы меня не увозили отсюда, пока они не при- дут, «Лури тоже жив, – с восторгом думалось мне, – иначе не может быть, если мы так прекрасно отбились. Он жив, сейчас я увижу его».

Я увидел его. Лошадь захрапела, рванулась, когда его принесли, и какая–то суровая старая женщина – единственная, которую я почему–то запомнил, – подошла и молча ткнула ее кулаком в морду.

У него было спокойное лицо, совсем нетронутое, только ссадина на щеке – должно быть, проволокло парашютом, когда приземлился. Глаза открыты. Сперва я не понял, поче- му все сняли шапки, когда его опустили на землю. Давешняя старуха присела подле него и стала как–то устраивать руки… А потом я трясся на телеге в санбат; какая–то другая, не де- ревенская, женщина держала меня за руку, щупала пульс и все говорила:

* Осторожнее, осторожнее.

Я удивлялся и думал: «Почему осторожнее? Неужели я умираю?» Наверно, я сказал это вслух, потому что она улыбнулась и ответила:

* Останетесь живы.

И снова тряслась и подпрыгивала телега, голова лежала на чьих–то коленях, я видел Лури, лежавшего у крыльца с мертвыми сложенными руками, и рвался к нему, а меня не пускали.

Земля вставала то под левым, то под правым крылом. Какие–то люди толпились пере- до мной, я искал среди них мою Катю. Я звал ее. Но не Катя, у которой становилось строгое выражение, когда я обнимал ее, не Катя, которая была моим счастьем, вышла из нестройной туманной толпы и встала передо мною. Повернув голову, как птица, подняв очки, вышел он и уставился на меня с холодным вниманием.

* Ну, что, – сказал я этому немцу, – чья взяла? Я жив, я над лесом, над морем, над по- лем, над всей землей пролечу! А ты мертв, убийца! Я победил тебя!

**Глава 4.**

**«ЭТО ТЫ, СОВА?»**

Нас везли в теплушках, только впереди были два классных вагона, и, должно быть, плохи были мои дела, если маленький доктор с умным, замученным лицом после первого же обхода велел перевести меня в классный. Я был весь забинтован – голова, грудь, нога – и лежал неподвижно, как толстая белая кукла. Санитары на станции переговаривались под нашими окнами: «Возьми у тяжелых». Я был тяжелый. Но что–то стучало, не знаю где – в голове или в сердце, – и мне казалось, что это жизнь стучит и возится, и строит что–то еще слабыми, но цепкими руками.

Я познакомился с соседями. Один из них был тоже летчик, молодой, гораздо моложе меня. Мне не хотелось рассказывать, как я был ранен, а ему хотелось, и несколько раз я за- сыпал под его молодой глуховатый голос.

– Только я вышел из атаки, вижу – бензозаправщики. «Все», – думаю. Прицелился, нажимаю, бью. «Довольно, – думаю, – а то врежусь, пожалуй». Отвернул – и тут меня что–то ударило. Отошел я от этого места, нажимаю на педаль, а ноги не чувствую. «Ну, – думаю, – оторвало мне ногу». А в кабину не смотрю, боюсь…

Он летал на «Чайке» и был ранен в районе Борушан гораздо тяжелее, чем я, – так мне казалось. Потом я понял, что ему, наоборот, казалось, что я ранен гораздо тяжелее, чем он.

…Это были коротенькие мирные пробуждения, когда, слушая Симакова – так звали моего соседа, – я смотрел на медленно проходящую за окнами осеннюю степь, на белые ма- занки, на тяжелые тарелки подсолнухов в огородах у железнодорожных будок. Все, кажется, было в порядке: санитары приносили и шумно ставили на пол ведра с супом, койка покачи- валась, следовательно, мы двигались вперед, хотя и медленно, потому что то и дело прихо- дилось пропускать идущие на фронт составы с вооружением.

Но были и другие пробуждения, совсем другие! Наш поезд был уже не только воен- но–санитарный – вот что я понял во время, одного из этих томительных пробуждений. Платформы со станками были прицеплены к теплушкам, кухня сломалась, и нужно было ждать станции, чтобы купить молока и помидоров. Маленький доктор кричал надорванным голосом и грозил кому–то револьвером. На площадках, на буферах сидели со своими узлами женщины из Умани, Винницы, и «души нехватало», как сказал один санитар, чтобы выса- дить этих женщин, потрясенных, потерявших все, бесчувственных от горя.

Затерянный где–то в огромной сплетающейся сетке магистралей, наш ВСП уже не шел по назначению, а отступал вместе с народом.

…Большие, синие, твердые, как камни, мухи влетали в окна, и не согнать их было с загнивающих, не менявшихся уже третьи сутки повязок, – вот что увидел я, проснувшись вновь от жары, от тоски. Был полдень, мы стояли в поле. Босоногая девчонка с лукошком помидоров вышла из помятого квадрата пшеницы, который был виден из моего окна; не- сколько легко раненных бросились к ней, она остановилась и со всех ног побежала назад, роняя свои помидоры.

…Прошло всего несколько дней, как с борта моего самолета я видел то, чего не видел

* так мне казалось – ни один участник войны на земле. Но как бы в алгебраических форму- лах раскрывалась тогда передо мной картина нашего отступления. Теперь эти формулы ожили, превратились в реальные факты.

Не с высоты шести тысяч метров теперь я видел наше отступление! Я сам отступал, измученный ранами, жаждой, жарой и еще более – невеселыми мыслями, от которых так же не мог отделаться, как от этих синих твердых мух, садившихся на бинты с отвратительным громким жужжаньем.

Это было под вечер, и мы, очевидно, уже не стояли на месте, потому что моя «люлька» ритмично покачивалась в такт движениям вагона. Заходящее солнце косо смотрело в окно, и в его красноватом луче был ясно виден пыльный, тяжелый, пропахший йодом воздух. Кто–то стонал, негромко, но противно, – даже не стонал, а гудел сквозь зубы, однотонно, как зуммер. Я окликнул соседа. Нет, не он. Но где я слышал этот унылый голос? И почему

так стараюсь вспомнить, где я его слышал?

И вдруг школьные парты выстроились передо мной, и, как наяву, я увидел много жи- вых детских смеющихся лиц. Урок интересный – о нравах и обычаях чукчей. Но разве до урока, если пари заключено, если рыжий мальчик с широко расставленными глазами держит меня за палец и хладнокровно режет его перочинным ножом?

* Ромашка! – сказал я громко.

Он замолчал – конечно, от удивления.

* Это ты, Сова?

Он долго пробирался под койками, между ранеными, лежавшими на полу, и, наконец, вынырнул где–то среди торчавших забинтованных ног.

* В чем дело? – глядя прямо на меня и не узнавая, осторожно спросил он.

Мне показалось, что он стал немного больше похож на человека, хотя все еще, как го- ворила тетя Даша, «не страдал красотой». Во всяком случае, от его прежней мнимой вну- шительности теперь ничего не осталось. Он был тощ и бледен, уши торчали, как у Петруш- ки, левый глаз осторожно косил.

* Не узнаешь?
* Нет.
* А ну подумай.

Он никогда не умел по–настоящему скрывать своих чувств, и теперь они стали прохо- дить передо мной по порядку или, точнее, в полном беспорядке. Недоумение. Испуг. Ужас, от которого задрожали губы. Снова недоумение. Разочарование.

* Позволь, но ты же убит! – пробормотал он.

**Глава 5.**

**СТАРЫЕ СЧЕТЫ.**

В старинных русских песнях поется о доле, и хотя я совсем не фаталист, это слово не- вольно пришло мне в голову, когда в газете «Красные соколы» я прочел заметку о соб- ственной смерти. Я помню ее наизусть.

«Возвращаясь с боевого задания, самолет, ведомый капитаном Григорье- вым, был настигнут четырьмя истребителями противника. В неравной схватке Григорьев сбил один истребитель, остальные ушли, не принимая боя. Машина была повреждена, но Григорьев продолжал полет. Недалеко от линии фронта он был вновь атакован, на этот раз двумя „юнкерсами“. На объятой пламенем ма- шине Григорьев успешно протаранил „юнкерс“. Летчики энской части всегда будут хранить память о сталинских соколах – коммунистах капитане Григорьеве, штурмане Лури, стрелке–радисте Карпенко и воздушном стрелке Ершове, до последней минуты своей жизни боровшихся за отчизну».

Надо же было какому–то военному корреспонденту – это я узнал лишь летом 1943 го- да – явиться в деревню П., как только меня увезли! Колхозники видели воздушный бой, он расспросил их. Он сфотографировал остатки сгоревшей машины. Ему сказали, что я безна- дежен.

Потому ли, что я действительно лишь чудом спасся от смерти, или потому, что впер- вые в жизни пришлось мне прочитать собственный некролог, но эта заметка произвела на меня оскорбительное впечатление. Мысли мои вдруг разбежались. Катя представилась мне. Не та Катя, которая – я это знал, – вдруг проснувшись, встает с постели и бродит по комна- те, думая обо мне. Нет, другая, мрачная, постаревшая Катя, которая прочтет эту заметку и положит газету на стол, и сделает еще что–то, как будто ничего не случилось, быть может, заплетет и распустит косу с неподвижным лицом – и вдруг покатится на пол, как кукла…

* Так, – сказал я. – Бывает.

И я смял газетку и швырнул ее в окно. Ромашов ахнул. Все время, пока мы разговари- вали, он поглядывал в окно, – поезд стоял. Потом подобрал газетку – очевидно, ему достав-

ляло удовольствие хоть читать, что я умер, раз уж собственными глазами он убедился в об- ратном.

* Итак, ты жив. Я не верю глазам! Дорогой… Это было сказано: «дорогой».
* Черт возьми, как я рад! Это совпадение? Однофамилец? Впрочем, не все ли равно!

Ты жив, это основное.

Он стал спрашивать, куда я ранен, тяжело ли, задета ли кость, и т.д. И я снова разоча- ровал его, сказав, что ранен легко и что знакомый врач устроил меня в классный вагон.

* Но воображаю, как будет расстроена Катя! – сказал он. – Ведь эта заметка могла дойти до нее.

Я сказал: «Да, могла», и стал расспрашивать его о Москве. Ромашов мельком сказал, что нет еще и месяца, как он из Москвы.

Не только что разговаривать с ним, и притом самым мирным образом, но с первого слова дать ему понять, что между нами ничего не изменилось, – вероятно, именно так я должен был поступить. Но человек – странное существо, это старая новость. Я смотрел на его напряженное, неестественно бледное лицо, и ничто, кроме привычного презрения, пере- мешанного даже с каким–то интересом, не шевельнулось во мне. Разумеется, он как был, так и остался в моих глазах подлецом. Но в эту минуту он представился мне каким–то давно знакомым, привычным, так сказать, «своим» подлецом!

И он понял, все понял! Он заговорил о Кораблеве – знаю ли я, что, несмотря на свои шестьдесят три года, старик записался в народное ополчение и что в «Вечерней Москве» по этому поводу была помещена заметка? Он рассказал – с ироническим оттенком – о Николае Антоныче, который получил не только новую квартиру, но и научную степень. Какую же? Доктора географических наук – и без защиты диссертации, что, по мнению Ромашова, было почти невозможно.

– И знаешь, кто сделал ему карьеру? – со злобой, с блеском в глазах сказал Ромашов. –

Ты.

* Я?
* Да. Он – Татаринов, а ты сделал эту фамилию знаменитой.

Он хотел сказать, что моя работа по изучению экспедиции «Св. Марии» впервые при-

влекла общее внимание к личности капитана Татаринова и что Николай Антоныч восполь- зовался тем, что он носит ту же фамилию. И – нужно отдать Ромашову должное – он выра- зил эту мысль как нельзя короче и яснее.

Впрочем, меньше всего мне хотелось разговаривать с ним на эту тему. Он понял это и заговорил о другом.

– Знаешь, кого я встретил на Ленинградском фронте? – сказал он. – Лейтенанта Пав-

лова.

* А кто такой лейтенант Павлов?
* Вот тебе и на! А он–то утверждал, что знает тебя с детства. Такой огромный, плечи-

стый парень.

Но я никак не мог догадаться, что этот огромный, плечистый парень и есть тот самый Володя с детскими синими глазами, который писал стихи и катал меня на собаках Буське и Тоге.

* + Да, боже мой, к нему отец приезжал, старый доктор!
  + Иван Иваныч!

Даже от Ромашова мне было приятно узнать, что доктор Иван Иваныч жив и здоров и даже служит на флоте. Какой молодец!

Несколько раз Ромашов упомянул, что он был на Ленинградском фронте. Катя оста- лась в Ленинграде, я беспокоился о ней. Но не хватало еще, чтобы я спрашивал у Ромашова о Кате!

Вообще теперь, когда он уже немного привык к тому, что я жив, ему смертельно захо- телось рассказать о себе. Он уже, кажется, гордился тем, что встретил меня в ВСП, что он ранен так же, как и я, и т.д.

Война застала его в Ленинграде заместителем директора по хозяйственной части од- ного из институтов Академии наук. У него была броня, но он отказался, тем более что весь

институт до последнего человека записался в народное ополчение. Под Ленинградом он был ранен и остался в строю. Прежнее начальство, которое теперь стало крупным военным начальством, вызвало его в Москву. Он получил новое назначение и не доехал – под Вин- ницей разбомбили поезд. Взрывной волной его ударило о телеграфный столб, и теперь всю левую сторону тела время от времени начинает «невыносимо ломить».

* Ведь я во сне стонал, когда ты услышал, – объяснил он. – И доктора не знают, что делать со мной, решительно не знают.
* Ну, а теперь признавайся, – сказал я строго: – что ты соврал и что правда!
* Абсолютно все правда!
* Ну да!
* Ей–богу! Вообще прошли те времена, когда нам нужно было как–то хитрить друг перед другом.

Он сказал «нам».

* Теперь, брат, кончено. У меня одна жизнь, у тебя – другая. Что нам делить теперь? Ты, опять не поверишь, но, честное слово, я иногда удивляюсь, вспоминая историю, которая поссорила нас. В сравнении с тем, что происходит на наших глазах, она представляется просто вздором.
* Еще бы!
* И довольно об этом!

Он вопросительно посмотрел на меня. Очевидно, не был уверен – согласен ли я, что об

«этом» довольно.

Но я был согласен. Не до старых счетов было мне в эти дни! Тоска томила меня. То думал я о том, что стал жалок, беспомощен со своей перебитой ногой перед лицом гигант- ской тени, которая надвинулась на нашу страну и вот теперь идет за нами, догоняет наш за- блудившийся поезд. То госпиталь представлялся мне: день тянется бесконечно, однообраз- но, сестра в тапочках заходит и ставит на столик цветы, и, боже мой, как я не хотел всей душой, изо всех сил этого покоя, этих цветов на столе, этих бесшумных госпитальных ша- гов!

То мысль, страшнее которой я уже ничего не мог придумать, приходила ко мне. Эта мысль была: «Я больше не буду летать». Мне сразу становилось жарко, я начинал дышать открытым ртом, и сердце уходило так далеко, откуда, кажется, уже невозможно вернуться.

**Глава 6.**

**ДЕВУШКИ ИЗ СТАНИСЛАВА.**

Выше я рассказал о том, как раненые бросились подбирать помидоры. Это было одно из самых горьких и томительных моих пробуждений. И вот две девушки – тогда я увидел их впервые, – одетые во что–то штатское, вдруг появились в толпе. Они даже ничего не сдела- ли, а только что–то сказали одному и другому быстро – певуче, по–украински, – и раненые молча разошлись по вагонам.

Это были студентки педтехникума из Станислава – обе крупные, черные, с низкими бровями, с низкими голосами и необыкновенно «домашние», несмотря на свою решитель- ную, сильную внешность. Только что присоединившись к нам, они достали воды и бережно роздали ее, по кружке на брата. Они принесли откуда–то не бог весть что – лукошко калины, но как приятно было сосать горьковатую ягоду, как она освежала!

Почему среди тысяч людей, прошедших передо мной в те дни, я остановился на этих девушках, о которых даже ничего не знаю, кроме того, что одну из них звали Катей?

Потому что… Но я снова забегаю вперед.

Я лежал у окна спиной к движенью. Уходящая местность открывалась передо мной, и поэтому я увидел эти три танка, когда мы уже прошли мимо них. Ничего особенного, сред- ние танки! Открыв люки, танкисты смотрели на нас. Они были без шлемов, и мы приняли их за своих. Потом люки закрылись, и это была последняя минута, когда еще невозможно было предположить, что по санитарному эшелону, в котором находилось, вероятно, не меньше тысячи раненых, другие, здоровые люди могут стрелять из пушек.

Но именно это и произошло.

С железным скрежетом сдвинулись вагоны, меня подбросило, и я невольно застонал, навалившись на раненую ногу. Какой–то парень, гремя костылями, с ревом бросился вдоль вагона, его двинули, и он ткнулся в угол рядом со мной. Я видел через окно, как первые ра- неные, выскочив из теплушек, бежали и падали, потому что танки стреляли по ним шрапне- лью.

Мой сосед Симаков смотрел рядом со мной в окно. У него было белое лицо, когда, одновременно обернувшись, мы взглянули в глаза друг другу.

* Надо вылезать!
* Пожалуй, – сказал я. – Для этого нужны пустяки: ноги.

Но все же мы сползли кое–как с наших коек, и толпа раненых вынесла нас на площад-

ку.

Никогда не забуду чувства, с необычайной силой охватившего меня, когда, преодоле-

вая мучительную боль, я спустился с лесенки и лег под вагон. Это было презрение и даже ненависть к себе, которые я испытал, может быть, впервые в жизни. Странно раскинув руки, люди лежали вокруг меня. Это были трупы. Другие бежали и падали с криком, а я сидел под вагоном, беспомощный, томящийся от бешенства и боли.

Я вытащил пистолет – не для того, чтобы застрелиться, хотя среди тысячи мыслей, сменивших одна другую, может быть, мелькнула и эта. Кто–то крепко взял меня за кисть…

Это была одна из давешних девушек, именно та, посмуглее, которую звали Катей. Я показал ей на Симакова, который лежал поодаль, прижавшись щекой к земле Она мельком взглянула на него и покачала головой. Симаков был убит.

– К черту, я никуда не пойду! – сказал я второй девушке, которая вдруг появилась от- куда–то, удивительно неторопливая среди грохота и суматохи обстрела. – Оставьте меня! У меня есть пистолет, и живым они меня не получат.

Но девушки схватили меня, и мы все втроем скатились под насыпь. Ползущий, жел- тый, похожий на китайца Ромашов мелькнул где–то впереди в эту минуту. Он полз по той же канаве, что и мы; мокрая глинистая канава тянулась вдоль полотна, сразу за насыпью начиналось болото.

Девушкам было тяжело, я несколько раз просил оставить меня. Кажется, Катя крикну- ла Ромашову, чтобы он подождал, помог, но он только оглянулся и снова, не прижимаясь к земле, пополз на четвереньках, как обезьяна.

Так это было, только в тысячу раз медленнее, чем я рассказал.

Кое–как перебравшись через болото, мы залегли в маленькой осиновой роще. Мы – то есть девушки, я, Ромашов и два бойца, присоединившиеся к нам по дороге. Они были легко ранены, один в правую, другой в левую руку.

**Глава 7.**

**В ОСИНОВОЙ РОЩЕ.**

Я послал этих двух бойцов в разведку, и, вернувшись, они доложили, что на разных направлениях стоит до сорока машин, причем откуда–то взялись уже и походные кухни. Очевидно, танки, обстрелявшие наш эшелон, принадлежали к большому десанту.

– Уйти, конечно, можно. Но, поскольку капитан не может самостоятельно двигаться, лучше воспользоваться дрезиной.

Дрезину они нашли под насыпью у разъезда.

Помнится, именно в это время, когда мы стали обсуждать, можно ли поднять дрезину и поставить ее на рельсы, Ромашов лег на спину и начал стонать и жаловаться на сильные боли. Возможно, что у него действительно начался припадок, потому что, когда девушки расстегнули его гимнастерку, у него оказалась совершенно красной левая половина тела. Прежде я никогда не слыхал о подобных контузиях. Так или иначе, но в таком состоянии он, разумеется, не мог идти с бойцами к разъезду. Пошли девушки – все такие же неторопли- вые, решительные, не спеша переговариваясь по–украински низкими, красивыми голосами.

И мы с Ромашовым остались одни в маленькой мокрой осиновой роще.

Притворялся он или ему было действительно плохо? Пожалуй, не притворялся. Не- сколько раз он дернулся, как припадочный, потом погудел и затих. Я сказал:

* Ромашов!

Он молча лежал на спине с высоко поднятой грудью, и у него был совершенно мерт- вый, белый нос. Я снова окликнул его, и он отозвался таким слабым голосом, как будто уже побывал на том свете и теперь без всякого удовольствия возвращается в эту рощицу, нахо- дящуюся в районе действий немецкого десанта.

* Здорово схватило! – стараясь улыбнуться, пробормотал он.

Он поднял веки и с трудом привстал, машинально снимая с лица налипшие листья осины.

Мне трудно рассказать о том, как прошел этот день, вероятно потому, что, несмотря на всю сложность положения, он был довольно скучный, в особенности по сравнению с тем, что произошло наутро. Мы ждали и ждали без конца. Я лежал под разваленной поленницей на кучах прошлогодних листьев. Ромашов сидел, как турок, поджав под себя ноги, и кто знает, о чем он думал, полузакрыв птичьи глаза и положив руки на худые колени.

Роща была сырая, а тут еще недавно прошел дождь, и повсюду – на ветках, на паутине, дрожащей от тяжести, – блестели и глухо падали крупные капли. Таким образом, мы не страдали от жажды.

Раза два заглянуло к нам солнце. Сначала оно было справа от нас, потом, описав по- лукруг, оказалось слева, – стало быть, прошло уже часа три, как бойцы и девушки отправи- лись налаживать дрезину.

Уходя, та, которую звали Катей, сунула мне под голову свой заплечный мешок. Оче- видно, в мешке были сухари – что–то хрустнуло, когда я кулаком подбил мешок повыше. Ромашов стал ныть, что он умирает от голода, но я прикрикнул на него, и он замолчал.

* Они не вернутся, – через минуту нервно сказал он. – Они бросили нас.

Он оправился от своей дурноты и уже разгуливал, рискуя выдать нас, потому что ро- щица была редкая, а до полотна открывалась пустынная местность.

* Это ты виноват, – снова сказал он, вернувшись и садясь на корточки подле меня. – Ты отправил их всех. Нужно было, чтобы одна осталась.
* В залог?
* Да, в залог. А теперь пиши пропало! Так они и вернутся за нами! Это ручная дрезина, она вообще может взять только четырех человек.

Вероятно, у меня было плохое настроение, потому что я вытащил пистолет и сказал Ромашову, что убью его, если он не перестанет ныть. Он замолчал. Морда у него искриви- лась, и он, кажется, с трудом удержался, чтобы не заплакать.

Вообще говоря, плохо было дело! Уже первые сумерки, крадучись, стали пробираться в рощу, а девушки не возвращались. Разумеется, я и мысли не допускал, что они могли уехать на дрезине без нас, как это подло предполагал Ромашов. Пока лучше было не думать, что они не вернутся.

Лежа на спине, я смотрел в небо, которое все темнело и уходило от меня среди трепе- щущих жидких осин. Я не думал о Кате, но что–то нежное и сдержанное прошло в душе, и я почувствовал: «Катя». Это был уже сон, и если бы не Катя, я прогнал бы его, потому что нельзя было спать, я это чувствовал, но еще не знал – почему. Испания представилась мне или мое письмо из Испании, – что–то очень молодое, перепутанное, не бои, а крошечные фруктовые садики под Валенсией, в которых старухи, узнав, что мы русские, не знали, куда нас посадить и что с нами делать. «Так что все–таки помни, так я писал Кате, хотя чувство- вал, что она рядом со мной, – ты свободна, никаких обязательств».

Мне было страшно расстаться с этим сном, хотя и холодно было промокшей ноге, хотя далеко сползла с плеча и подмялась шинель. Я держал Катю за руки, я не отпускал этот сон, но уже случилось что–то страшное, и нужно было заставить себя проснуться.

Я открыл глаза. Освещенный первыми лучами солнца, туман лениво бродил между деревьями. У меня было мокрое лицо, мокрые руки. Ромашов сидел поодаль в прежней сонно–равнодушной позе. Все, кажется, было, как прежде, но все было уже совершенно другим.

Он не смотрел на меня. Потом посмотрел – искоса, очень быстро, и я сразу понял, по-

чему мне так неудобно лежать. Он вытащил из–под моей головы мешок с сухарями. Кроме того, он вытащил флягу с водкой и пистолет.

Кровь бросилась мне в лицо. Он вытащил пистолет!

* Сейчас же верни оружие, болван! – сказал я спокойно. Он промолчал.
* Ну!
* Ты все равно умрешь, – сказал он торопливо. – Тебе не нужно оружия.
* Умру я или нет, это уж мое дело. Но ты мне верни пистолет, если не хочешь попасть под полевой суд. Понятно?

Он стал коротко, быстро дышать.

* Какой там полевой суд! Мы одни, и никто ничего не узнает. В сущности, тебя уже давно нет. О том, что ты еще жив, ничего неизвестно.

Теперь он в упор смотрел на меня, и у него были очень странные глаза – какие–то торжественные, широко открытые. Может быть, он помешался?

* Знаешь что? Глотни–ка из фляги, – сказал я спокойно, – и приди в себя. А уж потом мы решим – жив я или умер.

Но Ромашов не слушал меня.

* Я остался, чтобы сказать, что ты мешал мне всегда и везде. Каждый день, каждый час! Ты мне надоел смертельно, безумно! Ты мне надоел тысячу лет!

Безусловно, он не был вполне нормален в эту минуту. Последняя фраза «надоел тыся- чу лет» убедила меня.

* Но теперь все кончено, навсегда! – в каком–то самозабвении продолжал Ромашов. – Все равно ты умер бы, у тебя гангрена. Теперь ты умрешь скорее, сейчас, вот и все.
* Допустим! – Между нами было не больше трех шагов, и, если удачно бросить ко- стыль, возможно, я мог бы оглушить его. Но я еще говорил спокойно. – Но за чем же ты взял планшет? Там мои документы.
* Зачем? Чтобы тебя нашли просто так. Кто? Неизвестно. (Он пропускал слова.) Мало ли валяется, чей–то труп. Ты будешь трупом, – сказал он надменно, – и никто не узнает, что я убил тебя.

Теперь эта сцена представляется мне почти фантастической. Но я не изменил и не прибавил ни слова.

**Глава 8.**

**НИКТО НЕ УЗНАЕТ.**

Мальчиком я был очень вспыльчив и прекрасно помню то опасное чувство наслажде- ния, когда я давал себе полную волю. Именно с этим чувством, от которого уже начинала немного кружиться голова, я слушал Ромашова. Нужно было приказать себе стать совер- шенно спокойным, и я приказал, а потом незаметно отвел руку за спину и положил ее на ко- стыль.

* Имей в виду, что я успел написать в часть, – сказал я ровным голосом, который удался мне сразу. – Так что на эту заметку ты рассчитываешь напрасно.
* А эшелон?

С тупым торжеством он взглянул на меня. Он хотел сказать, что после обстрела ВСП нет ничего легче, как объяснить мое исчезновение. В эту минуту я понял, что он очень дав- но, может быть со школьных лет, желал моей смерти.

* Допустим. Но, как ни странно, ты ничего не выиграешь на этом, – сказал я что–то такое – все равно что, лишь бы затянуть время.

Поленница мешала замахнуться. Нужно было незаметно отодвинуться от нее и уда- рить сбоку, чтобы вернее попасть в висок.

* Выиграю я или нет, это не имеет значения! Ты все равно проиграл. Сейчас я застре- лю тебя. Вот!

И он вытащил мой пистолет.

Если бы я поверил, что он действительно может застрелить меня, возможно, что он бы

решился. В таком азарте я еще не видел его ни разу. Но я просто плюнул ему в лицо и ска- зал:

* Стреляй!

Боже мой, как он завыл и закрутился, заскрипел и даже защелкал зубами! Он был бы страшен, если бы я не знал, что за этими штуками нет ничего, кроме трусости и нахальства. Борьба с самим собой – выстрелить или нет? – вот что означал этот дикий танец. Пистолет жег ему руку, он все наставлял его на меня с размаху и дрожал, так что я стал бояться, в конце концов, как бы он нечаянно не нажал собачку.

* Мерзавец! – закричал он. – Ты всегда мучил меня! Если бы ты знал, кому ты обязан своей жизнью, ничтожество, подлец! Если бы я мог, боже мой! И зачем, зачем тебе жить? Все равно ногу отнимут. Ты больше не будешь летать.

Это может показаться смешным, но из всех его идиотских ругательств самыми обид- ными показались мне именно слова о том, что я больше не буду летать.

* Можно подумать, что я больше всего мешал тебе в воздухе, – сказал я, чувствуя, что у меня страшный голос, и все еще стараясь говорить хладнокровно. – А на земле мы были Орестом и Пиладом.

Теперь он стоял боком ко мне да еще прикрыв левой ладонью глаза, как бы в отчаянии, что никак не может уговорить меня умереть. Минута была удобная, и я бросил костыль. Нужно было метнуть его, как копье, то ест сильно откинуться, а потом послать все тело вперед, выбросив руку. Я сделал все, что мог, и попал, но, к сожалению, не в висок, а в пле- чо и, кажется, не особенно сильно.

Ромашов остолбенел. Как кенгуру, он сделал огромный неуклюжий прыжок. Потом обернулся ко мне.

* Ах, так! – сказал он и выругался. – Хорошо же!

Не торопясь, он уложил мешки. Он связал их, чтобы было удобно нести, и надел один на правую, другой на левую руку. Не торопясь, он обошел меня, наклонился, чтобы поднять с земли какую–то ветку. Помахивая ею, он пошел по направлению к болоту, и через пять минут уже среди далеких осин мелькала его сутулая фигура. А я сидел, опершись руками о землю, с пересохшим ртом, стараясь не крикнуть ему: «Ромашов, вернись!», потому что это было, разумеется, невозможно.

**Глава 9. ОДИН.**

Оставить меня одного, голодного и безоружного, тяжело раненного, в лесу, в двух ша- гах от расположения немецкого десанта – я не сомневаюсь в том, что именно это было тща- тельно обдумано накануне. Все остальное Ромашов делал и говорил в припадке вдохнове- ния, очевидно надеясь, что ему удастся испугать и унизить меня. Ничего не вышло из этой попытки, и он ушел, что было вполне равносильно, а может быть, даже хуже убийства, на которое он не решился.

Не могу сказать, что мне стало легче, когда эта трезвая мысль явилась передо мною. Нужно было двигаться или согласиться с Ромашовым и навсегда остаться в маленькой оси- новой роще.

Я встал. Костыли были разной высоты. Я сделал шаг. Это была не та боль, которая без промаха бьет куда–то в затылок и от которой теряют сознание. Но точно тысячи дьяволов рвали мою ногу на части и скребли железными скребками едва поджившие раны на спине. Я сделал второй и третий шаг.

– Что, взяли? – сказал я дьяволам. И сделал четвертый.

Солнце стояло уже довольно высоко, когда я добрался до опушки, за которой откры- лось давешнее болото, пересеченное единственной полоской примятой, мокрой травы. Кра- сивые зеленые кочки–шары виднелись здесь и там, и я вспомнил, как они вчера переворачи- вались у девушек под ногами.

Какие–то люди ходили по насыпи – свои или немцы? Наш поезд еще горел; бледный

при солнечном свете огонь перебегал по черным доскам вагонов.

Может быть, вернуться к нему? Зачем? Раскаты орудийных выстрелов донеслись до меня, глухие, далекие и как будто с востока. Ближайшей станцией, до которой нам остава- лось еще километров двадцать, была Щеля Новая. Там шел бой, следовательно, были наши. Туда я и направился, если можно так назвать эту муку каждого шага.

Роща кончилась, и пошли кусты с сизо–черными ягодами, название которых я забыл, похожими на чернику, но крупнее. Это было кстати – больше суток я ничего не ел. Что–то неподвижно–черное лежало в поле за кустами, должно быть мертвый, и всякий раз, когда, навалившись на костыли, я тянулся за ягодой, этот мертвый почему–то беспокоил меня. Потом я забыл о нем – и снова вспомнил с неприятным чувством, от которого даже дрожь прошла по спине. Несколько ягод упало в траву. Я стал осторожно опускаться, чтобы найти их, и точно игла кольнула меня прямо в сердце: это была женщина. Теперь я шел к ней, как только мог быстрее.

Она лежала на спине с раскинутыми руками. Это была не Катя, другая. Пули попала в лицо, красивые черные брови были сдвинуты с выражением страдания.

Кажется, именно в это время я стал замечать, что говорю сам с собой и притом до- вольно странные вещи. Я вспомнил, как называется та сизо–черная ягода, похожая на чер- нику, – гонобобель, или голубика, – и страшно обрадовался, хотя это было не бог весть ка- кое открытие. Я стал вслух строить предположения о том, как была убита эта девушка: вероятнее всего, она вернулась за мной, и немцы с насыпи дали по ней очередь из автомата. Я сказал ей что–то ласковое, стараясь ее обнадежить, как будто она не была мертва, безна- дежно мертва, с низкими, страдальчески сдвинутыми бровями.

Потом я забыл о ней. Я шел куда–то и болтал, и мне ужасно не нравилось, что я так странно болтаю. Это был бред, подступивший удивительно незаметно, с которым я уже не боролся, потому что бороться нужно было только с одним непреодолимым желанием – от- швырнуть костыли, натершие мне подмышками водяные мозоли, и опуститься на землю, которая была покоем и счастьем.

…Должно быть, я ничего не видел вокруг себя задолго до того, как потерял сознание, – иначе, откуда мог бы появится рядом с моей головой этот пышный бледно–зеленый кочан капусты? Я лежал в огороде и с восторгом смотрел на кочан. Вообще все было бы превос- ходно, если бы пугало в черной изодранной шляпе не описывало медленные круги надо мной. Ворона, сидевшая на его плече, кружилась вместе с ним, и я подумал, что если бы не эта госпожа с плоско мигающим глазом, все на свете действительно было бы превосходно. Я закричал на нее, но таким беспомощно–хриплым голосом, что она только посмотрела на меня и равнодушно шевельнула крыльями, точно пожала плечами.

Да, все было бы превосходно, если бы я мог остановить этот медленно кружащийся мир. Может быть, тогда мне удалось бы рассмотреть рубленый некрашеный домик за ого- родом, крыльцо и во дворе высокую палку колодца. То темнело, то светлело одно из окон, и, кто знает, может быть, мне удалось бы увидеть того, кто ходит по дому и тревожно смотрит в окно.

Я встал. До порога было шагов сорок – пустяки в сравнении с тем расстоянием, кото- рое я прошел накануне. Но дорого достались мне эти сорок шагов! Без сил упал я на крыль- цо, загремев костылями.

Дверь приоткрылась. Мальчик лет двенадцати стоял на одном колене за табуретом. Лежа на крыльце, я не сразу различил его в глубине темноватой комнаты с низким потолком и большими двухэтажными нарами, отделенными ситцевой занавеской. Он целился прямо в меня, даже зажмурил глаз и крепко прижался щекой к прикладу.

* Вот что, нужно мне помочь, – сказал я, стараясь остановить эту комнату, которая уже начала вокруг меня свое проклятое медленное движение, – я раненый летчик из эшелона.
* Кирилл, отставить! – сказал мальчик с ружьем. – Это наш.

Мне показалось, что он раздвоился в эту минуту, потому что еще один совершенно такой же мальчик осторожно выглянул из–за полога. В руке он держал финский нож. Он еще пыхтел и моргал от волнения.

**Глава 10.**

**МАЛЬЧИКИ.**

Я плохо помню то, что было потом, и дни, проведенные у мальчиков, представляются мне в каких–то клубах пара. Пар был самый реальный, потому что большой чайник с утра до вечера кипел на таганчике в русской печке. Но был еще и другой, фантастический пар, от которого я быстро и хрипло дышал и обливался потом. Иногда он редел, и тогда я видел се- бя на постели, с ногой, под которую была подложена гора разноцветных подушек. Это сде- лали мальчики, чтобы кровь отлила от ран. Я уже узнал, что их зовут Кира и Вова, что они сыновья стрелочника Ионы Петровича Лескова, что отец накануне ушел на станцию, а им приказал запереться и никого не пускать. Они были близнецами – и это я превосходно знал, но все–таки пугался, когда видел их вместе: они были совершенно одинаковые, и это снова было похоже на бред.

…Точно два человека боролись во мне – один веселый, легкий, который старался припомнить и живо представить себе все самое хорошее в жизни, и другой – мрачный и мстительный, не забывающий обид, томящийся от невозможности отплатить за унижение.

То представлялось мне, как высокий бородатый человек, такой замерзший, что он даже не в силах запереть за собой дверь, входит в избу, где живем мы с сестрою. Но это не доктор Иван Иваныч. Это я. Без сил я падаю на крыльцо, дверь распахивается, мальчики целятся в меня, а потом говорят: «Это наш».

И все мне казалось, что они потому отнеслись ко мне так сердечно, что когда–то, мно- го лет назад, мы с сестрой помогли доктору, – одинокие, заброшенные дети в глухой, зане- сенной снегом деревне.

То видел я себя с оскаленными от злобы зубами, с пистолетом в руке, под вагоном. Странно раскинув руки, люди лежали вокруг меня. Что же я сделал, в чем провинился, что пропустил самое важное, самое необходимое в жизни? Как случилось, что эти люди пришли к нам и осмелились подло стрелять в раненых, точно не было на свете ни справедливости, ни чести, ни того, чему я учился в школе, ни того, во что я свято верил и что с детства при- вык уважать и любить?

Я старался ответить на этот вопрос и не мог, потому что у меня пропадало дыхание, и мальчики с беспокойством глядели на меня и все говорили, что если бы пришел отец, он бы что–то сделал со мной и мне сразу стало бы лучше.

И отец пришел. Без сомнения, это был он, такой же неуклюжий, как мальчики, с мрачным лицом и сияющими голубыми глазами. Они сияли в ту минуту, когда, опустив ру- ки и сгорбившись, он остановился подле постели.

* Десант разбит, – сказал он, – мы окружили их у Щели Новой и уничтожили всех до одного.

Потом он замолчал, уставясь на меня исподлобья, и я подумал, что, должно быть, плохи мои дела, если на меня смотрят такими добрыми глазами, если у меня спрашивают имя и отчество, фамилию и звание и, вздохнув, прикалывают к стене – чтобы не затерялся – листок бумаги. Но это еще не беда, пусть прикалывает, все равно я не стану смотреть на этот листок. И, взяв стрелочника за руку, я начинаю с жаром рассказывать о том, как встретили меня его сыновья. Может быть, я рассказываю слишком долго и немного путаюсь и повто- ряюсь, потому что он кладет мне на лоб что–то холодное и просит, чтобы я непременно уснул.

* Усните, усните!

Я знаю, что он будет доволен, если мне удастся уснуть, и закрываю глаза и притворя- юсь, что сплю. Но картина, которую я нарисовал перед ним, остается – где–то в бесконечной перспективе, между раздвинутых стен.

Тысячи маленьких домов представляются мне. Тысячи мальчиков стоят на коленях перед табуретами, на которых лежат тысячи ружей. Тысячи других прячутся за ситцевыми занавесками с ножами в руках. На великой Русской равнине, от горизонта до горизонта, в каждом доме в глубине темноватых комнат мальчики ждут врага. Ждут, чтобы убить его, когда он войдет.

**Глава 11. О ЛЮБВИ.**

Если сравнить, как это делают поэты, жизнь с дорогой, то можно сказать, что на самых крутых поворотах этой дороги я всегда встречал регулировщиков, которые указывали мне верное направление. Этот поворот отличался от других лишь тем, что меня выручил стре- лочник, то есть профессиональный регулировщик.

Двое суток я пролежал в его доме, то приходя в себя, то снова теряя сознание, и, от- крывая глаза, неизменно видел этого мрачного человека, который стоял у моей постели, не отходя ни на шаг, точно не пускал меня в ту сторону, где дорога срывается в пропасть. Ино- гда он превращался в мальчика с такими же удивительно светлыми глазами, и мальчик тоже твердо стоял на своем месте и держал меня здесь, в этой комнате с маленькими окнами и низким потолком, и ни за что не пускал туда, где (если верить газете «Красные соколы») я однажды уже успел побывать.

Замечательно, что ни разу – ни наяву, ни в бреду – я не вспомнил о Ромашове. Был ли это инстинкт самосохранения? Вероятно, да – это воспоминание не прибавило бы мне здо- ровья.

Но когда движение было восстановлено, когда семейство – на дрезине, без сомнения той самой, до которой не добрались девушки из Станислава, – доставило меня в Заозерье и, сияя тремя парами голубых глаз, застенчиво простилось со мной, когда я вновь оказался в ВСП и на этот раз в настоящем – с ванной, радио и вагоном читальней, – когда, вымытый, перебинтованный, сытый, с ногой, задранной к потолку по всем правилам медицинской науки, я проспал всю Среднюю Россию и уже где–то за Кировом, в другом, тыловом мире показались незатемненные, что было очень странно, окна, – вот когда я вспомнил и повто- рил в уме все, что произошло между мною и Ромашовым.

Я вспомнил наш разговор накануне того дня, когда эшелон обстреляли немецкие тан-

ки.

– Сознайся, что у тебя в жизни были подлости, – сказал я, – то есть подлости с твоей

собственной точки зрения.

– Допустим, – хладнокровно отвечал он. – Но что значит подлость? Я смотрю на жизнь, как на игру. Вот сейчас, например. Разве сама судьба не сдала нам на руки карты?

Не судьба, а война сдала эти карты. Не война, а отступление, потому что, если бы не отступление, он никогда не решился бы украсть у меня пистолет и бумаги и бросить меня в лесу одного.

Точно как на суде, я разобрал его поступок со всех точек зрения, в том числе и с воен- но–юридической, хотя об этой науке у меня было довольно смутное представление.

Я вспомнил всю историю наших отношений, очень сложную, в особенности если во- образить (теперь это было почти невозможно), что когда–то он серьезно собирался жениться на Кате.

Примирился ли он с тем, что она потеряна для него навсегда? Не знаю. Он женился на какой–то Алевтине Сергеевне, и Нина Капитоновна рассказала, что он страшно напился и плакал на свадьбе. И, слушая Нину Капитоновну, Катя смутилась и покраснела. Что же, она догадалась, что Ромашов все еще любит ее?

Без сомнения, он не помнил себя, когда кричал мне с пистолетом в руке: «Если бы ты знал, кому ты обязан жизнью!»

Но все–таки – кому?

Да, нетрудно было найти статью, согласно которой военный суд имел право расстре- лять интенданта второго ранга Ромашова.

Но, быть может, есть на свете еще один суд, приговор которого по всей совести нельзя предсказать заранее? На котором обвиняемый скажет:

* Да, я хотел убить его. И потом:
* Но не убил, потому что люблю ту, которая не в силах перенести эту смерть.

Нет такого суда! Не из любви к Кате, а из трусости он не убил меня! Да и что это за любовь, боже мой! Разве это та любовь, которая делает жизнь высокой и чистой? Которая превращает ее во что–то новое, великолепное? Которая, не спрашиваясь, делает человека в тысячу раз интереснее и добрее, чем прежде?

Нет, то была не любовь, а какое–то, бог весть, сложное, запутанное чувство, в котором оскорбленное самолюбие мешалось со страстью и, возможно, участвовал даже расчет, от которого (я в этом уверен) никогда не была свободна эта скучная душа подлеца.

Но все–таки я представил себе этот фантастический суд.

Я решил, что Иван Павлыч – кто же еще, если не наш старый, строгий учитель? – бу- дет судить Ромашова. И мне померещилось, что я вижу одинокую комнату с камином и са- мого Ивана Павлыча в толстом мохнатом френче. Сурово вздрагивают седые усы, и глаза смотрят печально и сурово. Он сидит за столом, а Ромашов, равнодушно–сонно щуря глаза, стоит перед ним. Он думает, что я мертв давным–давно. Не все ли равно, что скажет ему наш старый учитель!

Но еще кто–то бродит по комнате, останавливается у камина, протягивает руки к огню.

Свидетельница стоит у камина и греет руки, думая о чем–то своем…

Далеко была моя свидетельница! Кто знает, жива ли она? Вот уже два месяца, как я ничего не знаю о ней. И какие два месяца – осень 1941 года!

Она живет в городе, окруженном с юга и с севера, с запада и с востока, в городе, где мы решили устроить свой дом, если это когда–нибудь станет возможно. Бомбят и обстрели- вают этот город и делают все, что только в силах, чтобы голодной смертью умерли его жи- тели, которые не желают сдаваться. Льют тяжелые пушки и тащат их за тысячи километров. Из самой Германии везут бетон и заливают им стенки траншей и дотов. Каждую ночь осве- щают ракетами небо над Невой, чтобы не проскочила по темной воде баржа с мукой или хлебом. Трудятся ожесточенно, свирепо – все для того, чтобы умерла моя Катя.

**Глава 12.**

**В ГОСПИТАЛЕ.**

Не знаю, откуда взялось у меня это представление о госпитале: розы на ночном столи- ке, ослепительные палаты, бесшумные сестры, скользящие между коек, как феи, и т.д. Должно быть, из какого–нибудь рассказа. Действительность оказалась гораздо проще.

Это было огромное здание, переполненное до такой степени, что койки стояли во всех коридорах и даже в столовой, которая была устроена, впрочем, также в каком–то проходном помещении. Прежде здесь находился медицинский институт – еще висели на стенах муляжи с мертвыми, страшными лицами, наполовину содранными, чтобы показать, как расположе- ны нервы. В витринах еще сохранились расписание лекций и грозные приказы деканов.

Актовый зал, в котором я лежал, вполне соответствовал своему назначению. Но для палаты он был слишком велик – мне казалось, что конец его даже исчезал из глаз, как бы в тумане. В самом деле, когда широкие наклоненные столбы зимнего солнца пересекали зал, они немного дрожали, как в настоящем тумане. Здесь лежало около ста человек, почти все рядовые бойцы. У меня не было документов, и, пока из части не прислали справку, что есть на свете такой капитан, я лежал с рядовыми бойцами. Впрочем, разница сказывалась лишь в том, что нам выдавали махорку, а в командирские палаты – легкий табак.

Со всех фронтов собрались люди в нашей огромной палате, очень многие – с Ленин- градского, и, нужно сказать, мало утешительного могли в ту зиму рассказать люди с Ленин- градского фронта.

Я писал Кате еще с дороги, а из госпиталя почти каждый день. И на Петроградскую к Беренштейнам я писал, и Пете на полевую почту, и в Военно–медицинскую академию, где Катя работала с Варей Трофимовой, как она писала мне еще в июле. Железнодорожной свя- зи с Ленинградом не было, но все же письма доставлялись на самолетах, и я не мог понять, почему не доходят мои. Между прочим, это так и осталось загадкой. Я писал бабушке в Ярославскую область, не зная, что детский лагерь Худфонда был вторично эвакуирован ку- да–то под Новосибирск. Я успокаивал себя только тем, что если бы с Катей случилось не-

счастье, кто–нибудь непременно ответил бы мне.

…Мне запомнился этот несчастный день – 21 февраля 1942 года. Одна из обществен- ниц – так называли в госпитале женщин, которые добровольно и бесплатно ухаживали за нами, – рассказала, как она встречала на станции ленинградский эшелон с ремесленниками и учащимися спецшкол. Это была суровая женщина, которая со спокойствием, поразившим меня, однажды сказала, что у нее муж и сын погибли на фронте. Но она заплакала, расска- зывая о том, как мальчиков на руках выносили из теплушек.

Я с трудом заставил себя съесть обед в этот день. Нога, уже больше месяца лежавшая в гипсе, вдруг разболелась так, что я просто не находил себе места. Врач назначил меня на рентген, и вот тут я «поддался беде», как любила говорить тетя Даша.

Во–первых, рентген показал, что нога неправильно срослась и нужно снимать гипс и ломать какие–то кости, – словом, начинать лечение сначала. Во–вторых, в кабинете был дьявольский холод, а меня держали часа полтора, и я, должно быть, простудился, потому что уже к вечеру заметил, что несу вздор, – это у меня всегда было первым признаком по- вышения температуры.

Короче говоря, я заболел воспалением легких. Это задержало вторичную операцию, и врачи начали серьезно опасаться, что я останусь хромым.

Но, кажется, я слишком подробно пишу о своих болезнях – скучная материя, в осо- бенности как подумаешь, что я был ранен на третий месяц войны, не сделав почти ничего.

Почти ничего – в то время как уже совершилось «чудо под Москвой», как писали ино- странные газеты, когда на триста километров к западу от Москвы из всех сугробов торчали окостеневшие, в дурацких эрзац–валенках ноги! Почти ничего – в то время как уже шла полным ходом работа по созданию новейшей морской авиации дальнего действия, – без ме- ня, как будто я пятнадцать лет не крестил небо над морем во всех направлениях! Почти ни- чего – и я даже чувствовал, что с каждым днем от меня уходит то, что можно назвать «чув- ством войны», и подступает все ближе всякая ерунда госпитальной жизни.

Выше я упомянул, что из полка мне прислали справку, а вслед за ней я получил пись- мо от Миши Голомба, старого друга, с которым я когда–то летал на «гробах» в летной шко- ле Осоавиахима. Я не поверил глазам, когда взглянул на подпись. Но это был Миша; он служил теперь в нашем полку – приехал через два дня после того, как в газете появился мой некролог.

*«Саня, наконец, ты удивил меня*, – писал он, – *причем, заметь, не тогда, когда мы по- лучили твое письмо и убедились в том, что ты жив, но когда мне сказали, что ты сгорел. Дело в том, что это на тебя не похоже. Теперь представь, что никому, в том числе и тебе, не приходится возражать против этой ошибки. Люди стали писать на бомбах «За Григо- рьева», так что и после смерти ты продолжал воевать. Полковник сказал речь, в которой упомянул, что ты представлен к ордену Красного Знамени. Так что поздравляю тебя и желаю счастья и счастья».*

Ранней весной я стал понемногу выходить, или, вернее, выползать, в госпитальный садик. Впервые увидел я город, в котором провел уже почти полгода, и хотя только одна улица – аллея, засаженная липами, открылась передо мной, но по ней можно было, кажется, судить и обо всем М–ове. Потом, когда меня стали выпускать в город – сперва на костыле, потом с палочкой, – я убедился в том, что не ошибся. Город был просторный, спокойный. Все лучшие улицы стремились взлететь на высокий берег Камы, и этот разбег напомнил мне родной Энск с его взгорьями на берегах Песчинки и Тихой. Прежде мне не случалось жить в М–ове, я только пролетал над ним два–три раза.

Я был в театре – Ленинградский театр оперы и балета был эвакуирован в М–ов, – и странным показалось мне то чувство возвращения времени, которое я испытал, когда раз- двинулся занавес и великолепно одетые мужчины и женщины плавно, неторопливо про- шлись по сцене, как будто и не было никакой войны.

Конечно, не стоило бы и упоминать в этой книге, что я ходил в театр. Но, точно коле- сики в часах, так цепляется в жизни одно за другое. На балете «Лебединое озеро» я встретил Аню Ильину, жену моего товарища, с которым мы служили на Дальнем Востоке. Нам с Ка- тей нравились Ильины. Это были ровные, вежливые, веселые люди, любившие театр и спорт, в особенности теннис. Аня так и запомнилась мне с ракеткой в руке, в белом платье.

И, может быть, именно потому, что они были такие вежливые, со всеми одинаково ровные и напоминавшие прекрасную пару из какого–нибудь романа, к ним относились недоверчиво и, в общем, довольно плохо. А нам с Катей всегда казалось, что они вполне заслужили свое положение и счастье. Говорили, что Ильину везет. И действительно, все у него получалось удивительно вовремя и складно. Эти удачи продолжались и во время войны, потому что, начав ее подполковником, он весной 1942 года был уже генерал–майором.

Мы с Аней обрадовались, встретившись на спектакле, и условились встретиться снова, на другой день, у нее дома. Она была здешняя. В начале войны муж отправил ее с дочкой к родителям в М–ов.

…Это был дом, не тронутый войной. Впервые после фронта и госпиталя я был в таком доме. Мы сидели в столовой. Без сомнения, те же салфеточки лежали на стеклянной доске буфета, те же безделушки стояли на кустарных резных полочках, развешанных по стенам, и шелковый коврик над тахтой, должно быть, точно так же висел до войны. Я смотрел на изящную, приветливо–ровную женщину, которая сидела в этой красивой комнате, и мне было мучительно жаль мою Катю.

* Если бы я мог поехать хоть на два–три дня в Ленинград! Я бы нашел ее. Не сомне- ваюсь, что она в Ленинграде. Но меня не отпустят. А Дмитрий в Москве?
* Да.

И Аня сразу поняла, почему я спросил ее о муже.

* Он поможет вам, непременно! Я сейчас же напишу ему. Что нужно сделать?
* Вызвать меня в Москву, – сказал я, – потому что иначе комиссия направит меня в

тыл.

рить?

* А когда комиссия?
* В мае.
* Вот и прекрасно. Я успею получить от Мити ответ. Он знает, с кем нужно перегово-

* С отделом кадров ВВС Наркомата флота.

Аня записала в книжечку: «С отделом кадров…»

* Досадно, что вы не можете прямо из М–ова лететь в Ленинград. Сюда ходит «Ду-

глас». Правда, его давно не было, но говорят, что скоро придет. Как только подсохнут аэро- дромы. Я бы могла вас устроить.

Я поблагодарил ее и сказал, что это было бы, разумеется, превосходно, но что есть на свете такая книга – «Дисциплинарный устав», чтение которой не располагает к подобным полетам.

Меньше всего мог я предполагать, что пройдет всего несколько дней, и я смогу лететь куда угодно, не заглядывая в эту суровую книгу.

**Глава 13.**

**ПРИГОВОР.**

Медицинская комиссия всегда была для меня чем–то вроде суда, причем на этом суде мне каждый раз приходилось признавать себя виновным в том, что природа не создала меня высоким, широкоплечим человеком с квадратной челюстью и мускулами, способными вы- жать четыре пуда. Именно с этим неприятным чувством, совершенно голый, стоял я перед комиссией в М–ове. Я приседал, закрывал глаза, протягивал вперед руки, стараясь, чтобы они не дрожали, дрыгал ногой и великолепно узнавал на большом расстоянии самые мелкие буквы. Потом старая, седая женщина–врач послушала мое сердце и принялась стучать пальцами по спине и груди. Очевидно ей что–то не понравилось у меня в груди, потому что она приостановилась, нахмурилась и снова прошлась, точно сыграла гамму. Потом сказала:

– Дышите.

Вовсе не легкие беспокоили меня, когда я шел на комиссию. Нервничая, я почему–то начинал прихрамывать на раненую ногу – вот это было неприятно, особенно когда я думал о том, как нога будет вести себя в обстановке боевого полета. Легкие у меня всегда были пре- восходные, хотя в детстве я перенес испанку, потом тяжелый плеврит. Но на старую серди-

тую майоршу медицинской службы именно мои легкие произвели почему–то невыгодное впечатление. Она стучала и вертела меня и снова стучала и заставляла ложиться, точно ре- шилась непременно доказать, что я болен, болен, болен… Болен и больше не буду летать.

Прошло уже около полугода, с тех пор как я спрятал очень далеко, в самую глубину души, эту страшную мысль – спрятал и завалил чем попало. Но она не умерла и никуда не ушла, а только притаилась где–то рядом с другим беспокойством – о Кате.

И вот теперь, когда я голый стоял перед комиссией, со следами ран на ногах и спине, теперь стало невозможно скрывать эту мысль ни от себя, ни от других. Должно быть, док- торша прочитала ее в моих глазах, потому что, уже взяв в руки перо, не решилась, однако, написать заключение, а передала меня председателю комиссии, низенькому толстому врачу в роговых очках, и тот тотчас же принялся энергично выстукивать меня по ребрам, по ло- паткам, но не пальцами, я маленьким молотком. И молоток стучал то звонко, то глухо, точно спрашивал:

«Неужели ты болен, болен, болен? Болен и больше не будешь летать?»

* Не нужно волноваться, капитан, – сказал врач, мельком взглянув мне в лицо и засо- вывая резиновые трубки в большие волосатые уши. – Подлечитесь, и все будет в порядке.

Врач послушал меня и что–то отметил в истории болезни. Он повторил с ласковым выражением:

* Все будет в порядке.

Но он дал мне полугодовой отпуск, а я знал, в каких случаях медкомиссия давала по- добное заключение строевому командиру в 1942 году.

Кажется, у меня был неважный вид, когда я вернулся в госпиталь, потому что мой со- сед–армеец, без ног, но такой полный и румяный, что всегда было странно, когда его на но- силках приносили из ванны, оторвался от книги, взглянул на меня и ничего не спросил. По- том не выдержал и все–таки спросил:

* Ну, как?

И я почему–то сказал ему, что мне дали инвалидность, хотя в заключение вовсе не было этого слова. Принесли обед, я машинально съел его и ушел, хотя мне очень хотелось лечь и сунуть голову под подушку. Да, в заключение не было этого слова, и нечего было повторять и повторять его, каждый раз точно ныряя с головой в темную илистую болотную воду!

Может быть, нужно было убеждать их – эту старую ведьму с ее костяшками, сыграв- шую на моих ребрах нечто вроде похоронного марша? Этого толстяка, который и промолчал и сказал о том, что я не буду больше летать? Может быть, я должен был потребовать, чтобы меня направили в гарнизонную комиссию?

Я шел по улице–аллее, круто спускавшейся к Каме, и свистел – не очень громко, чтобы не остановить внимания прохожих. На стене лучшего в городе здания авиашколы я в ты- сячный раз прочел надпись на мраморной доске: «Здесь учился Попов, изобретатель радио, гениальный русский ученый».

Прихрамывая, я поднялся на высокий берег, и мутноватая, еще весенняя, с жел- то–серым отливом Кама открылась передо мной с ее пристанями и пароходами, тянущими огромные баржи, свистками и голосами людей, далеко разносящимися над широкой, про- сторной водой…

«Жаль, что вы не можете прямо из М–ова лететь в Ленинград. Я бы могла вас устро-

ить».

Что ж, теперь все в порядке. Садись и лети! И не нужно никаких разрешений. Из ка-

бины ты перешел в помещение для пассажиров. Кресло удобное, откинулся и лежи, отды- хай!

Наверно, я сказал это вслух, потому что стоявшие на берегу «ремесленники» в боль- ших, не по росту, курточках и фуражках засмеялись и немного прошли за мной. И мне вспомнилось, как после Испании мы с Катей поехали в Энск и как мальчики в Энске ходили за мной и все делали совершенно так же, как я. Я остановился, чтобы купить в ларьке папи- рос, и они остановились и купили те же папиросы, что я. Мне захотелось купаться. Катя осталась в Соборном саду, а я спустился к Тихой, разделся и бросился в воду. И они разде- лись немного поодаль и бросились в воду, совершенно так же, как я. Еще бы: летчик, кото-

рый дрался в Испании и вернулся с орденом Красного Знамени на груди! А теперь?

Пальцы у меня немного дрожали, но я все–таки свернул папиросу, закурил и некоторое время неподвижно стоял на берегу, глядя на всю эту незнакомую разнообразную жизнь большой реки. Прошел серый пассажирский пароход. Я прочитал название «Ляпидевский» и подумал: «А вот ты не стал Ляпидевским». Потом прошел еще один такой же небольшой пароход. Я прочел название «Каманин» и подумал: «И Каманиным, брат, тоже!» вдалеке у пристани стоял «Мазурук», и я невольно улыбнулся, подумав, что мне придется до поздней ночи укорять себя, если окажется, что в Камском пароходстве все суда названы фамилиями знаменитых летчиков, да еще моих хороших знакомых.

Так или иначе, теперь никто не мешал мне лететь в Ленинград, чтобы найти жену или убедиться в том, что я потерял ее навсегда.

Три недели я ждал самолета. Привык ли я к своей болезни, или надежда тайком про- бралась в сердце и стала шептать – уверять, что все обойдется, но понемногу я очнулся от неожиданного удара и привел в порядок все свои мысли и чувства.

Не о себе я думал теперь – о Кате. О ней – когда слушал по радио «Романс Нины», ко- торый она любила. О ней – когда смотрел разыгранный ранеными спектакль. Как редко мы бывали в театре! О ней – когда все спали в огромной палате и только здесь и там раздавался стон или быстрое, хриплое бормотанье.

Наконец Аня Ильина позвонила в госпиталь и сказала, что самолет пришел. Она по- знакомила меня с летчиком, огромным, добродушным майором, летавшим в М–ов по пору- чению штаба Ленфронта, и он охотно согласился взять меня в Ленинград.

**Глава 14.**

**ИЩУ КАТЮ.**

Шесть месяцев я провел на земле! Как же передать чувство, с которым я, наконец, оставил ее? Ничего не изменилось, напротив – еще горше стало у меня на душе, когда я по- думал, что впервые в жизни лечу пассажиром. Но за годы работы я привык лучше чувство- вать себя в воздухе, чем на земле. С наслаждением смотрел я в окно, точно проверяя, не случилось ли чего–нибудь плохого со всем этим просторным хозяйством весенних черных полей, светлых вьющихся рек, темно–зеленого бархата леса. С наслаждением прошел в ка- бину, всем телом почувствовав ее привычную рассчитанную тесноту. С наслаждением ждал, как пилот станет обходить грозу, – над Череповцом мы встретили ее, великолепную, с ту- чами, похожими на дворцы, стены которых разламывались от молний. Невольно вспомни- лись мне впечатления первых полетов, когда небо еще не стало для меня просто трассой.

…На случайной машине, приехавшей в Бернгардовку за матрицами «Правды», я до- брался до Литейного проспекта. Оттуда нужно было идти пешком или ждать трамвая; един- ственный трамвай ходил на Петроградскую – тройка. Но ленинградцы, расположившиеся на остановке, как дома, сказали, что ждать придется, возможно, около часа. Майор, которому тоже нужно было на Петроградскую, удерживал меня, тем более что у меня был тяжелый заплечный мешок – я привез для Кати продукты. Но разве мог я ждать, если должен был уже двадцать раз переводить дыхание при одной мысли, что мы с Катей, наконец, в одном горо- де, что, может быть, она в эту минуту… не знаю что – ждет меня, больна, умирает.

Не помня себя, пролетел я по аллее вдоль Летнего сада. Все я видел, все понимал: и огороды на Марсовом поле, среди которых стояли замаскированные зенитные батареи; и то, что никогда еще не бывало такой необыкновенной пышной зелени в Ленинграде; и то, что город был так прекрасно убран, – перед отъездом я читал в газетах о том, как триста тысяч ленинградцев весной 1942 года вышли на улицы и убрали свой город. Но все, что я видел, оборачивалось ко мне одной стороной: где Катя, найду ли я Катю? Мне казалось, что нет, не найду – если почти во всех домах были выбиты стекла и дома стояли молчаливые, как бы с печально опущенными глазами. Не найду – раз на каждой стене были впадины и разруше- ния от артиллерийских снарядов. Найду – раз даже у памятника Суворову на площади были засеяны морковка и свекла и молодые ростки стояли так твердо, как будто для них нельзя было и придумать лучших природных условий. Я вышел к Неве, невольно нашел глазами

адмиралтейский шпиль, – и не знаю, как передать, но это было Катино – то, что он потуск- нел, как на старой гравюре. Мы не простились, когда началась война, но другое прощание, перед Испанией, так живо вспомнилось мне, что я почти физически увидел ее в темной пе- редней у Беренштейнов, среди старых шуб и пальто. Что нужно сделать, чтобы все стало так, как тогда? Чтобы я снова обнял ее? Чтобы она спросила:

«Саня, это ты? Может быть, это не ты?»

Издалека увидел я дом, в котором жили Беренштейны. Дом стоял на месте и, как ни странно, показался мне еще красивее, чем прежде! Окна были целы, фасад нарядно отсве- чивал, точно свежая краска еще блестела на солнце. Но чем ближе я подходил, тем все больше беспокоила меня эта загадочная нарядная неподвижность. Еще десять, пятнадцать, двадцать шагов – и кто–то сильно взял меня за сердце, потом отпустил, и оно забилось, за- билось… Дома не было. Фасад был нарисован на больших фанерных листах.

Весь долгий летний день шумел в моих ушах далекий артиллерийский прибой – то набегал, то откатывался, как будто таща за собой крупную, гулкую гальку.

Весь день я искал Катю.

Женщина с треугольным зеленым лицом, которую я встретил подле разбитого дома, направила меня к доктору Ованесяну, члену райсовета. Старый армянин, черно–седой, не- бритый и добродушный, сидел в конторе бывшего кино «Элит» – теперь здесь помещался штаб ПВХО района. Я спросил его, знал ли он Екатерину Ивановну Татаринову–Григорьеву. Он ответил, что, «конечно, знал и даже в начале войны предлагал ей работать у него мед- сестрой».

* И что же?
* Она отказалась и уехала на окопы, – сказал доктор. – И больше, я ее, к сожалению, не видел.
* Может быть, вы знали и Розалию Наумовну, доктор?

Он посмотрел на меня добрыми старыми глазами, пожевал и выпятил губу.

* А вы кем приходитесь Розалии Наумовне?
* Никем. Просто знакомый.
* Ага.

Он помолчал.

* Это была отличная, превосходная женщина, – вздохнув, сказал он. – Мы отправили ее в стационар, но было уже поздно, и она умерла…

Я вернулся во двор разбитого дома. Фасад рухнул, но сторона, выходившая во двор, сохранилась. Сам не зная зачем, я поднялся по засыпанной щебнем лестнице до первой площадки. Дальше шли какие–то железные прутья и балки, торчавшие в пустоте лестничной клетки, и лишь на высоте третьего этажа вновь начались ступени.

Когда–то в этом доме жила сестра, которую я любил. Здесь мы отпраздновали ее сва- дьбу. Каждый выходной день я приходил сюда, учлет в синей спецовке, мечтавший о сча- стье великих открытий. Здесь мы с Катей всегда останавливались, когда приезжали в Ле- нинград, и когда бы мы ни приехали, в этом доме нас принимали, как самых близких и дорогих друзей. В этом доме Катя прожила больше года, когда я дрался в Испании. В этом доме она жила теперь, во время блокады, страдая от голода и холода, работая и помогая другим, распространяя на других свет своей чистоты и душевной силы. Где же она? Ужас охватил меня. Я сжал зубы, чтобы удержать дрожь.

В эту минуту послышался детский голос, и в проломе стены, как раз над моей головой, показался мальчик лет двенадцати, смуглый и широкоскулый.

* Вам кого, товарищ командир?
* Ты здесь живешь?
* Точно.
* Один?
* Зачем один? С матерью.
* А мать сейчас дома?
* Дома.

Он показал мне, как пройти, – в одном месте по узкой доске над провалом, – и через несколько минут я беседовал с его матерью, усталой женщиной с расплывающимися глаза-

ми – татаркой, как я понял с первого ее слова. Это была дворничиха дома N79, и она, разу- меется, отлично знала и Розалию Наумовну и Катю.

* Когда девятку побила, она отрывать пошла, – сказала она о Кате, и мальчик, чисто говоривший по–русски, объяснил, что «девятка» – это дом, в котором помещался гастроно- мический магазин N9. – Знакомый отрыла. Рыжий такой. Потом она ейной квартире жила.
* Отрыла рыжего знакомого, – быстро перевел мальчик, – и он потом жил в ейной квартире.
* Вторая старушка помирал, Хаким хоронить пошла.
* Вторая старушка – Розалии Наумовны сестра, – объяснил мальчик. – Я
* Хаким. Когда она померла, мы ее хоронить везли. На Смоленское. И рыжий этот там был. Он нас и нанимал. Тоже военный, майор.

Теперь нужно было спросить о Кате. Мне было страшно, но я спросил. Сердито тряся головой, дворничиха сказала, что она сама «три месяца в больнице лежал, мулла звал, ни один мулла в Ленинграде нет, все мулла помер». А когда она вернулась, квартира Розалии Наумовны уже стояла пустая.

* Жакт надо спросить, – сказала она, подумав, – а жакт тоже нет, помер. Может, уеха- ла? Она рыжего отрыла, у него хлеб был. Большой мешок, сам нес, меня не давал. А я ему сказал: «Ты дурак жадный. Мы тебе жизнь спасал. Тебе не хлеб, тебе молиться, куран читать нада».

Катя уже не жила у Розалии Наумовны, когда в дом попала бомба, – это было все, что я узнал. Я говорил еще, с какими–то женщинами, которые плакали, рассказывая о том, как помогала им Катя. Хаким привел своих товарищей, и они пожаловались на рыжего майора, который обещал им по триста граммов за «захоронение», а потом «зажилил» и выдал только по двести.

Бог весть, что это был за рыжий майор. Петя? Но Петя был не майор, да и невозможно было представить, что Петя способен украсть сто граммов у голодных мальчишек. Все рав- но! Кто бы ни был этот человек, он помог Розалии Наумовне похоронить сестру. Кто знает, может быть в трудные дни он поддерживал Катю? На похоронах она была вместе с ним и, очевидно, не так уж была слаба, если смогла добраться до Смоленского кладбища с Петро- градской. Но с тех пор никто больше не видел ее – не видел ни живой, ни мертвой.

Шел уже шестой час, когда, измученный, с головной болью, я отправился в Воен- но–медицинскую академию. Академия была эвакуирована, но клиники, с первого дня войны ставшие госпиталями, остались. Осталась и стоматологическая, в которой работала Катя. Меня отослали в канцелярию, и старая машинистка, чем–то напомнившая мне тетю Дашу, сказала, что Катя была очень плоха и доктор Трофимова помогла ей эвакуироваться из Ле- нинграда.

* Куда?
* Вот этого не могу сказать, не знаю.
* А сама доктор Трофимова в Ленинграде?
* Как отправила вашу супругу, сама сейчас же на фронт, – отвечала машинистка, – и с тех пор ни о той, ни о другой не было никаких известий.

**Глава 15.**

**ВСТРЕЧА С ГИДРОГРАФОМ Р.**

Теперь я понял, что это было наивно: полгода писать Кате, не получая в ответ ни сло- ва, и все–таки надеяться, что стоит мне приехать в Ленинград – и, протянув руки, она встретит меня у порога. Как будто не было страшной зимы сорок первого года, эшелонов с умирающими мальчиками, специальных больниц для ленинградцев во многих городах Со- юза. Как будто не было этих лиц со странно расплывающимся, водянистым взглядом. Как будто не доносился то с запада, то с востока гул артиллерийской стрельбы.

Я думал об этом, сидя в канцелярии стоматологической клиники и слушая рассказ машинистки о том, как молоденький краснофлотец, как две капли воды похожий на ее по- гибшего сына, вдруг пришел и отдал ей триста граммов хлеба, когда у нее уже не было сил

подняться с постели.

– А Катерина Ивановна найдется, – сказала она. – Ей сон приснился, что орел летит. Я говорю – муж. Она не поверила. И вот, видите, по–моему, вышло. И теперь я вам говорю – найдется!

Да, может быть. «Умирала, в то время как я, в сущности говоря, прекрасно жил в М–ове», – думал я, тупо глядя на старую женщину, которая все уверяла меня, что Катя найдется, вернется. «Обо мне заботились, меня лечили. А у нее не было ста граммов хлеба, чтобы заплатить мальчикам, похоронившим Берту». И с бешенством, с отчаяньем думал я о том, что еще в январе должен был лететь в Ленинград, настаивать, требовать, чтобы меня выписали из госпиталя, и, кто знает, быть может, вышел бы здоровее, чем сейчас, и нашел бы, спас мою Катю.

Но поздно было жалеть о том, чего никогда не вернешь. *«Я – как все»*, – писала мне Катя из Ленинграда. Только теперь понял я, что она хотела сказать этими простыми слова- ми.

Старая женщина, которой, вероятно, пришлось пережить гораздо больше, чем мне, все утешала меня. Я попросил у нее кипятку и угостил салом и луком, что было еще редкостью в Ленинграде.

С этой минуты как бы холод поселился в моей душе. Ко всему, что я ни делал, о чем ни думал, всегда присоединялось: «А Катя?»

…Еще в М–ове я восстановил по памяти почти все телефоны моих ленинградских знакомых. Но кому ни звонил я из клиники, никто не отвечал, точно эти звонки терялись где–то в таинственной пустоте Ленинграда. Наконец я набрал последний номер – един- ственный, в котором не был уверен, и долго держал трубку, слушая какие–то далекие шо- рохи и за ними еще более далекие нетерпеливые голоса.

* Алло, я вас слушаю, – неожиданно сказал низкий мужской голос.
* Можно попросить… Я назвал фамилию.
* Это я.
* С вами говорит летчик Григорьев. Молчание.
* Не может быть! Александр Иваныч?
* Да.
* Вот и не верь в судьбу! Третий день, как я только и думаю, где бы мне вас найти, дорогой Александр Иваныч.

Лет шесть тому назад, когда экспедиция по розыскам капитана Татаринова была ре- шена и я занимался организацией ее в Ленинграде, профессор В. познакомил меня с одним моряком, ученым–гидрографом, преподавателем училища имени Фрунзе.

Мы провели вместе только один вечер, но часто потом я вспоминал этого человека, с необычайной отчетливостью нарисовавшего передо мною картину будущей мировой войны. Он пришел тогда поздно. Катя уже спала, забравшись в кресло с ногами. Я хотел раз- будить ее, он не дал, и мы стали что–то пить и закусывать маслинами – у Кати всегда были в

запасе маслины.

Север глубоко занимал его. Он был уверен, что в будущей войне Север с его неисчер- паемым стратегическим сырьем должен сыграть огромную роль. Он смотрел на Северный морской путь как на военную дорогу и утверждал, что неудачи русско–японской кампании были результатом непонимания этой мысли, высказанной еще Менделеевым. Он требовал, чтобы военные базы были построены вдоль всех маршрутов, по которым идут караваны.

Помнится, тогда меня поразила эта точка зрения. Я снова оценил ее 14 июня 1942 года, за несколько дней до полета в Ленинград, когда, сидя на берегу Камы, услышал далекий го- лос диктора, с торжественным выражением читавшего договор между Англией и Советским Союзом. Нетрудно было догадаться, о каких путях шла речь в этом договоре, и встреча с

«ночным гостем», как потом называла этого гидрографа Катя, припомнилась мне.

В 1936 – 1940 годах я не раз встречался с ним, читал его статьи и книгу «Моря Совет- ской Арктики», ставшую знаменитой и переведенную на все европейские языки. С неиз- менной симпатией я следил за его судьбой, так же как он, кажется, следил за моею. Я знал,

что он ушел из училища Фрунзе, командовал гидрографическим судном, работал в Гидро- графическом управлении наркомата ВМФ. Незадолго до войны он защищал докторскую диссертацию – объявление о ней я прочел в «Вечерней Москве».

Я буду называть его Р.

…Это был редчайший случай – «раз в тысячу лет», как сказал Р., –что я застал его до- ма. Квартира была запечатана, и он распечатал ее и зашел к себе две минуты назад, и то лишь потому, что надолго уезжает из Ленинграда.

* Куда?
* Далеко. Вот заходите, расскажу. Где вы остановились?
* Пока нигде.
* Очень хорошо. Я жду вас.

Он жил у Литейного моста, в новом доме, в просторной квартире, разумеется, запу- щенной за год войны, но в которой чувствовалось что–то поэтическое, точно это была квар- тира артиста. Может быть, художественно сшитые куклы, стоявшие на пианино под стек- лянными колпаками, внушили мне эту мысль, или множество книг на полу и на полках, или сам хозяин, встретивший меня попросту, в рубахе, под распахнувшимся воротом которой была видна полная волосатая грудь. Где–то я видел подобный портрет Шевченко. Но Р. был не поэтом, а контр–адмиралом, в чем нетрудно было убедиться, взглянув на его китель, ви- севший на спинке кресла.

Где и когда бы мы ни встречались, с первого слова он начинал рассказывать о том, что сейчас было для него самым главным, без сомнения, потому, что наш интерес друг к другу всегда основывался на «самом главном» и мало касался личных или служебных дел.

Но на этот раз он, прежде всего, расспросил меня о том, где я был и что делал за год войны.

– Да, не повезло, – сказал он, когда я рассказал ему о своих неудачах. – Но вы навер- стаете. Что же вы, то на Балтике, то на Черноморском флоте? А Северу изменили? Ведь я считал, что вы северный человек – и навеки.

Это было слишком сложно – рассказывать, как я «изменил» Северу, и я только возра- зил, что ушел из гражданской авиации, лишь, когда потерял надежду вернуться на Север.

Р. замолчал. Не знаю, о чем он думал, щуря черные живые глаза и теребя свой казац- кий чуб, поседевший и поредевший. Мы сидели в креслах у окна, разумеется выбитого, как и во всей квартире. Литейный мост был виден, а за ним суда, странно–резко раскрашенные так, чтобы трудно было разобрать, где кончается дом на набережной и начинается корабль. Пусто было на улицах – «как в пять часов утра», подумалось мне, и я вспомнил – Катя од- нажды сказала мне, что это было ошибкой с ее стороны, что она не родилась в Ленинграде.

Я задумался и вздрогнул, когда Р. окликнул меня.

– Знаете что, ложитесь–ка спать, – сказал он. – Вы устали. А завтра поговорим.

Не слушая возражений, он принес подушку, снял с дивана валики, заставил меня лечь. И я мгновенно уснул, точно кто–то подошел на цыпочках и, недолго думая, набросил на все, что произошло в этот день, темное, плотное одеяло.

Было еще очень рано – должно быть, часа четыре, – когда я открыл глаза. Но Р. уже не спал – завешивал старыми газетами книжные полки, и я подумал почему–то с тоской, что сегодня он уезжает. Он подсел ко мне, не дал встать, заговорил: без сомнения, это и было то

«самое важное», о чем он сказал бы мне вчера, если бы я не был так измучен.

…В наши дни каждый школьник хотя бы и общих чертах представляет себе, что про- исходило на большой морской дороге из Англии и Америки в Советский Союз летом 1942 года. Но именно летом 1942 года то, что рассказывал Р., было новостью даже для меня, хотя я не переставал интересоваться Севером и ловил на страницах печати каждую заметку о действиях ВВС Северного флота.

Он развернул карты, приложенные к одной из его книг, и не сразу нашел ту, на кото- рой мог показать границы театра, – таков был, по его словам, этот огромный театр, на кото- ром действовали наши морские и воздушные силы. Очень кратко, однако гораздо подроб- нее, чем мне потом приходилось читать даже в специальных статьях, он нарисовал передо мною картину большой войны, происходящей в Баренцевом море. С жадностью слушал я о смелом походе подводной лодки–малютки в бухту Петсамо, то есть в главную морскую базу

врага, о Сафонове, сбившем над морем двадцать пять самолетов, о работе летчиков, атаку- ющих транспорты под прикрытием снежного заряда, я еще не забыл, что такое снежный за- ряд. Я слушал его, и впервые в жизни сознание неудачи язвительно кололо меня. Это был мой Север – то, о чем рассказывал Р.

От него я впервые узнал, что такое «конвой». Он указал мне возможные «точки ран- деву», то есть тайно условленные пункты, где встречаются английские и американские ко- рабли, и объяснил, как происходит передача их под охрану нашего флага.

* Вот где они идут, – сказал он и показал, разумеется в общих чертах, путь, о котором в 1942 году не принято было распространяться. – Колонна в стод–вести судов. Вы догады- ваетесь, не правда ли, в каком месте им приходится особенно трудно? – И не очень точно он показал это место. – Но оставим в покое западный путь, тем более что здесь (он показал где) сидят чрезвычайно толковые люди. Поговорим о другом, не менее важном… Ворота, кото- рые немцы стремятся захлопнуть, – живо сказал он и закрыл ладонью выход из Баренцева в Карское море, – потому что они прекрасно понимают хотя бы значение энских рудников для авиамоторостроения. Но, конечно, и транзитное значение Северного морского пути ужасно не нравится им, тем более, что весной этого года они уже стали надеяться…

Он не договорил, но я понял его. Случайно мне было известно, что весной немцам удалось серьезно повредить порт, имевший для западного пути большое значение.

* Представьте же себе, куда докатилась война, – продолжал Р., –если не так давно у Новой Земли немецкая подводная лодка обстреляла наши самолеты. Но и этого мало. Сего- дня я лечу в Москву на самолете, который прислал за мной военный совет Северного флота. Летчик, майор Карякин, рассказал мне, что он две недели охотился за немецким рейдером, – где, как бы вы думали? В районе…

И он назвал этот очень отдаленный район.

* Короче говоря, война уже идет в таких местах, где прежде кочевали одни гидрогра- фы да белые медведи. Так что пришлось вспомнить и обо мне, – сказал Р. и засмеялся. – И не только вспомнили, но и… – у него стало доброе, веселое лицо, – но и поручили одно ин- тереснейшее и важнейшее дело. Конечно, я ничего не могу рассказать вам о нем, потому что это именно и есть военная тайна. Скажу только, что, прежде всего, я подумал о вас. Это, ко- нечно, чудо, что вы позвонили. Александр Иваныч, – серьезно и даже торжественно сказал он, – я предлагаю вам лететь со мною на Север.

**Глава 16. РЕШЕНИЕ.**

Он уехал, и я остался один в пустой летней, как будто ничьей квартире. Все три про- сторные комнаты были к моим услугам, и я мог бродить и думать, думать сколько угодно. В пятнадцать часов Р. собирался вернуться, и я должен был сказать ему одно короткое слово:

* Да.

Или другое, немного длиннее:

* Нет.

И такая далекая, трудная дорога раскинулась между этими двумя словами, что я шел и шел по ней, отдыхал и снова шел, а все не видать было ни конца, ни края!

Немцы обстреливали район. Первая пристрелочная шрапнель разорвалась уже давно, а дымовое облачко, медленно рассеиваясь, все еще висело над Литейным мостом. Разрывы, прежде далекие, вдруг стали приближаться – справа налево, грубо шагая между кварталами прямо к этому дому, к этим пустынным комнатам, по которым я бродил между «да» и «нет», находившимися так бесконечно далеко друг от друга.

…Должно быть, это была детская. Грустно повесив голову, черный одноглазый Миш- ка сидел на шкафу, роллер валялся в углу, на низеньком круглом столе стояли какие–то коллекции, игры, – и мне представился маленький Р., такой же энергичный, сдержанно пылкий, со смешным казацким чубом, с круглым лицом. В этой комнате я отдыхал от «да» или «нет». Здесь можно было подумать даже о доме, который мы с Катей собирались неко- гда устроить в Ленинграде. А где дом, там и дети. Все ближе подступали разрывы снарядов. Вот один ударил совсем рядом, двери рас- пахнулись, где–то с веселым звоном посыпались стекла. В наступившей тишине чьи–то гулкие шаги послышались на улице, и, выглянув в окно, я увидел двух мальчиков с ужас- ными, как мне показалось, лицами, бежавших к дому. Вот они поравнялись, первый хлопнул второго по спине и с хохотом повернул обратно. Они играли в пятнашки.

…Р. вернется в пятнадцать часов, и я скажу ему:

* Да.

Как не бывало полугода томительного безделья – томительного и постыдного для каждого советского человека во время войны! Я поеду на Север. Чем дальше он был от меня в эти годы, тем ближе и привлекательнее становился он для меня. Разве не дрался я, как умел, на Западе и на Юге? Но там, на Севере, нужно мне быть, защищая края, которые я понимал и любил.

И вдруг я останавливался и говорил себе:

* Катя.

Уехать и оставить ее? Уехать далеко, надолго? Не попробовать разыскать Петю, у ко- торого – кто знает? – быть может, просто переменился номер полевой почты? Не предпри- нять других поисков здесь, в Ленинграде, и на Ленинградском фронте? Куда бы ни была эвакуирована Катя, при любых обстоятельствах она стремилась бы соединиться с Ниной Капитоновной и маленьким Петей. Потерять этот след, слабый, едва заметный, но, возмож- но, ведущий туда, где она живет, мучаясь, потому что проклятая заметка не могла не дойти до нее?

Решено! Я останусь в Ленинграде еще на несколько дней. Я найду Катю и тогда поеду на Север.

Р. вернулся в пятнадцать часов. Я сообщил ему свое решение. Он выслушал меня и сказал, что на моем месте поступил бы так же.

– Но нужно, чтобы в Москву мы приехали вместе. Я оформлю вас в управлении, а по- том Слепушкин отпустит вас на две недели для устройства семейных дел. Шутка сказать – жена! Да еще такая жена! Я же помню Екатерину Ивановну. Она умница, добрая и вообще редкая прелесть!

Не буду рассказывать о том, как на другой день я вернулся на Петроградскую и снова обошел многих жильцов дома N79; о том, как в Академии художеств я пытался узнать, где Петя, и узнал лишь, что он был ранен и лежал в сортировочном госпитале на Васильевском. Скульптор Косточкин навещал его. Но этот скульптор умер от голода, а Петя (по слухам) вернулся на фронт. О том, как я выяснил, почему не доходили мои письма в детский лагерь Худфонда, который был вновь эвакуирован под Новосибирск; о том, как доктор Ованесян ходил со мною в райсовет и накричал на какого–то равнодушного толстяка, который отка- зался навести справку о Кате.

Эшелоны в январе шли на Ярославль, где были устроены специальные больницы для ленинградцев. Это был единственный бесспорный факт, который мне удалось установить, и, по мнению всех ленинградцев, с которыми я говорил, Катю нужно было искать в Ярославле. Два обстоятельства убедили меня в том, что это именно так. Во–первых, лагерь Худфонда до второй эвакуации находился в Ярославской области, в деревне Гнилой Яр. Во–вторых, Лукерья Ильинична – так звали машинистку стоматологической клиники – вдруг объявила мне, что она вспомнила: доктор Трофимова отправила Катю именно в Яро-

славль.

– Господи боже ты мой! – сказала она с досадой. – Да мыслимо ли в таком деле со- врать? Я забыла, потому что у меня память стала слаба, и это от сахару, который я совер- шенно не ем. Но хотя не ем, а вспомнила! И я вам говорю – найдется она в Ярославле.

Самолет Р. уходил в полночь. Я созвонился и приехал за десять минут до старта.

**Глава 17.**

**ДРУЗЬЯ, КОТОРЫХ НЕ БЫЛО ДОМА.**

Если проложить на карте Москвы путь, который я прошел в течение немногих часов

между самолетом и поездом, можно подумать, что я нарочно сделал решительно все, чтобы не встретиться с теми, кого я давно и страстно хотел увидеть. Я сказал «страстно», и это было именно так, хотя одних людей я хотел увидеть по одним причинам, а других по со- вершенно другим. И те и другие были в Москве. Быть может, если снова взглянуть на карту, их путь прошел в этот день рядом с моим. Или пересек его двумя минутами позже. Или прошел навстречу по соседней улице, за узкой линией зданий. Так или иначе, мне не повез- ло, и, за одним исключением, я не встретил ни тех, ни других.

Прямо с аэродрома я поехал на Садовую, в Воротниковский переулок, к Кораблеву, – благо весь мой багаж составлял маленький чемоданчик.

…Покосился старый деревянный флигель, затерянный среди высоких, надстроенных домов, похожий на дачу со своими ставнями и верандой. Уже не один Иван Павлыч, как прежде, занимал половину нижнего этажа, и хотя с первого взгляда непривычно пустой по- казалась мне Москва, однако в этом маленьком доме почти из каждого окна торчала голова. Женщины вязали на крыльце, и едва я появился, как, по меньшей мере, два десятка глаз встретили меня с любопытством, точно это было в Энске, на нашем дворе.

* Вам кого?
* Кораблева.
* А, Ивана Павлыча? По коридору вторая дверь налево.
* Это мне известно, – поднимаясь на крыльцо, сказал я. – А он дома?
* Постучитесь, кажется дома.

В последний раз я видел Ивана Павлыча перед войной. Не предупредив старика, мы с Катей вдруг явились к нему с тортом и французским вином. Он долго брился и разговаривал с нами из соседней комнаты, а мы рассматривали старые школьные фотографии.

Наконец Иван Павлыч вышел – в новой паре, в твердом воротничке, с закрученными по–молодому усами. И теперь в темном коридоре я видел его именно таким, как в тот пре- красный памятный вечер. Сейчас он выйдет и с первого взгляда узнает меня:

«Ты ли это, Саня?»

Но два и три раза постучал я в знакомую, обитую войлоком дверь. Тишина. Ивана Павлыча не было дома.

*«Дорогой Иван Павлыч!* – Я писал ему, отойдя в сторону, потому что женщины смот- рели на меня, а мне не хотелось, чтобы они заметили, что я волнуюсь. – *Не знаю, удастся ли мне снова зайти к вам. Сегодня я еду в Ярославль, куда еще в январе месяце была эвакуиро- вана Катя. Возможно, что оттуда поеду и дальше – до тех пор, пока не найду ее. Не могу в этой записке объяснить, что произошло со мною и как мы потеряли друг друга. Если бы оказалось, что вы слышали о ней или Валя (которого, впрочем, надеюсь сегодня увидеть), прошу вас, напишите немедленно по адресу: Полярное, политуправление, контр–адмиралу Р., для меня. Дорогой Иван Павлыч, может быть, известие о моей смерти донеслось и до вас, но это пишу вам именно я, ваш Саня».*

Десять рук протянулось одновременно, чтобы взять у меня это письмо…

На метро, которое стало, кажется, еще красивее и солиднее, чем прежде, я проехал до Дворца Советов. Как будто война уже давным–давно кончилась, с таким видом сидели на Гоголевском бульваре старики, опираясь на свои стариковские толстые палки. Дети играли – и в эту минуту, занятый своими заботами и волнениями, я впервые почувствовал, что ведь это – Москва, Москва!

Медная дощечка висела на Валиной двери: «Профессор Валентин Николаевич Жуков».

Ого! Профессор! Я позвонил, постучал, потом двинул в дверь ногою…

Ничего удивительного не было в том, что летом 1942 года, когда почти все москвичи жили на работе, да еще днем, в служебное время, я не застал профессора Жукова дома. Но то, что Валька, мой Валька, шлялся где–то, в то время как он был мне дьявольски нужен, возмутило меня. Я снова ударил в дверь ногою, и, как живая, она вдруг подалась. Что–то жалобно скрипнуло в ней. Я дернул за ручку, и она отворилась.

Конечно, квартира была пуста, и слабая надежда, что Валька, может быть, спит, про- пала в это мгновение. Я прошел в «кухню вообще», которая некогда была одновременно и столовой и детской. Как ни странно, но была прибрана «кухня вообще»! Стол покрыт ска- тертью, белая, вырезанная узорами бумага висела на полках. Можно было подумать, что

женская рука прошлась по этим чисто обметенным стенам, по окнам, на которых стояли свежие ландыши и ночная фиалка. Валька, покупающий цветы, – нужно быть великим ху- дожником, чтобы вообразить такую картину.

Я прошел в «собственно кухню». Узкая железная кровать стояла у стены, в ногах было аккуратно сложено женское платье. У Кати было когда–то такое же синее в белую горо- шинку платье. Что же за женщина жила в «соломенной» Валиной квартире? Кира с детьми уехала в начале войны, я знал об этом еще из первых Катиных писем. «Кто же успел окру- тить тебя, милый мой?» И мне вспомнилось Катино письмо, в котором она подсмеивалась над Кирой, приревновавшей своего мужа, погруженного в изучение гибридов чернобурых лисиц, к какой–то «Женьке Колпакчи с разными глазами». Не потеряла времени Женька Колпакчи, даром что с разными глазами!

Так или иначе, но я не застал и Вали.

*«Дорогой мой, милый Валечка*, – написал я ему, – *по дороге в Ярославль, где надеюсь найти Катю или хоть разузнать о ней, заехал к тебе и, к глубокому сожалению, не нашел тебя дома. Уже минуло полгода, как у меня нет никаких известий о Кате. Она переписы- валась с Кирой, когда была в Ленинграде, – может быть, Кира или ты что–либо знаете о ней? Я был ранен, лежал в М–ове, писал тебе, но не получил ответа. Многое было пережи- то, но насколько было бы легче, если бы мы с Катей не то что встретились, но хоть узнали друг о друге, что живы! Пиши мне на Северный флот, Полярное, политуправление, контр–адмиралу Р., для меня. Это лишь вероятный адрес, но другого у меня пока нет. Будь здоров, дорогой друг. Дверь открылась сама. Теперь тебе придется ломать ее, – это все–таки лучше, чем оставить квартиру открытой. Может быть, мне удастся перед отъездом еще раз зайти к тебе».*

Я положил эту записку на стол в «кухне вообще». Потом пристроил крючок, чтобы он сам упал на петлю, сильно захлопнул дверь, и она превосходно закрылась.

Еще одно важное дело было у меня в этом районе. Недалеко от Вали жил человек, ко- торого я непременно хотел навестить, не особенно заботясь о том, обрадуется ли гостю хо- зяин.

Давно собирался я навестить его!

В госпитале бессонными ночами, задыхаясь в бреду, я думал об этом свиданье. Он был мне так нужен, что, кажется, не стоило и умирать, прежде чем я не увижу его!

Не раз я рисовал себе эту встречу. То хотелось мне явиться перед ним в легкую минуту его жизни, где–нибудь в театре, когда самая мысль обо мне будет бесконечно далека от не- го. То где–то в гостинице я запирал дверь на ключ и смотрел на него улыбаясь. Случалось, что в предрассветном сумраке я видел его на соседней койке: поджав под себя ноги, сидел он, и странно равнодушен был взгляд плоских, полу прикрытых глаз.

**Глава 18.**

**СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ. КАТИН ПОРТРЕТ.**

Однажды, проходя со мною по Собачьей Площадке, Катя сказала:

– Здесь живет Ромашов.

И указала на серовато–зеленый дом, кажется ничем не отличавшийся от своих соседей по правую и по левую руку. Но и тогда и теперь что–то неопределенно подлое померещи- лось мне в этих облупленных стенах.

Под воротами не висел, как до войны, список жильцов, и мне пришлось зайти в домо- управление, чтобы узнать номер квартиры.

И вот что произошло в домоуправлении: паспортистка, сердитая старомодная дама в пенсне, вздрогнула и сделала большие глаза, когда я спросил ее о Ромашове. В маленькой дощатой комнатке стояли и сидели люди в передниках, очевидно дворники, и между ними тоже как бы прошло движение.

* А вы бы ему позвонили, – посоветовала паспортистка. – У него как раз вчера теле- фон включили.
* Да нет, лучше я так, без звонка, – возразил я улыбаясь. – Это будет сюрприз. Дело в

том, что я его старый друг, которого он считает погибшим.

Кажется, ничего особенного не было в этом разговоре, но паспортистка неестественно улыбнулась, а из соседней, тоже дощатой комнаты вышел очень спокойный молодой, с медленными движениями человек в хорошенькой кепке и внимательно посмотрел на меня.

Нужно было вернуться на улицу, чтобы зайти в подъезд, и у подъезда я немного по- медлил. Оружия не было, и, может быть, стоило сказать несколько слов милиционеру, сто- явшему на углу. Но я передумал: «Никуда не уйдет».

Ни одной минуты не сомневался я, что он в Москве, вероятно не в армии, а если в ар- мии, все равно живет на своей квартире. Или на даче. По утрам он ходит в пижаме. Как жи- вого, увидел я перед собой Ромашку в пижаме, после ванны, с торчащими желтыми космами мокрых волос. Это было видение, от которого лиловые круги пошли перед моими глазами. Нужно было успокоиться, то есть подумать о другом, и я вспомнил о том, что в семнадцать часов Р. будет ждать меня в Гидрографическом управлении.

* Кто там?
* Можно товарища Ромашова?
* Зайдите через час.
* Может быть, вы позволите мне подождать Михаила Васильевича? – сказал я очень вежливо. – Второй раз, к сожалению, не смогу зайти. Боюсь, он будет огорчен, если наша встреча не состоится.

Цепочка звякнула. Но ее не сняли, напротив – надели, чтобы, приоткрыв дверь, по- смотреть на меня. Снова звякнула – вот теперь сняли. Но еще какие–то запоры двигались, железо скрежетало, звенели ключи. Старый человек в широких штанах на подтяжках, в рас- стегнутой нижней рубахе впустил меня в переднюю и, сгорбившись, недоверчиво уставился на меня. Что–то аристократически надменное и вместе с тем жалкое виднелось в этом су- хом, горбоносом лице. Желто–седой хохол торчал над лысым лбом. Длинные складки кожи свисали над кадыком, как сталактиты.

* Фон Вышимирский? – спросил я с недоумением. Он вздрогнул. – То есть не «фон», но все равно, Вышимирский. Николай Иваныч, не правда ли?
* Что?
* Вы не помните меня, уважаемый Николай Иваныч? – продолжал я весело.
* Я же был у вас. Он засопел.
* У меня было много, тысячи, – хмуро сказал он. – За стол садилось до сорока человек.
* Вы работали в Московском драматическом театре и еще носили такую куртку с бле- стящими пуговицами. Мой приятель Гриша Фабер играл рыжего доктора, и Иван Павлыч Кораблев познакомил нас в его уборной.

Почему мне стало так весело? Как хозяин, стоял я в квартире Ромашова. Через час он придет. Я немного подышал полуоткрытым ртом. Что я сделаю с ним?

* Не знаю, не знаю! Как фамилия?
* Капитан Григорьев, к вашим услугам. Вы что же, теперь живете здесь? У Ромашова? Вышимирский подозрительно посмотрел на меня.
* Я живу там, где прописан, – сказал он, – а не тут. И управдом знает, что я живу там, а не тут.
* Ясно.

Я вынул портсигар, весело хлопнул по крышке и предложил ему папиросу. Он взял. Двери в соседнюю комнату были открыты, и все там было чистое, светло–серое и тем- но–серое – стены и мебель: диван, перед ним круглый стол. И даже чей–то большой портрет над диваном был в гладкой светло–серой раме. «Все в тон», – тоже очень весело подумалось мне.

* Какой Иван Павлыч? Учитель? – вдруг спросил Вышимирский.
* Учитель.
* Ну да, Кораблев. Это был отличный человек, превосходный. Валечка учился у него. Нюта нет, она кончила женскую гимназию Бржозовской. А Валечка учился. Как же! Он по- могал, помогал… – И на старом усатом лице мелькнуло бог весть какое, но доброе чувство.

Притворно спохватившись, старик пригласил меня в комнаты – мы еще стояли в пе-

редней – и даже спросил, не с дороги ли я.

* Если с дороги, – сказал он, – то в военной столовой по командировке можно за гро- ши получить вполне приличный обед с хлебом.

Он еще трещал что–то, я не слышал его. Пораженный, остановился я на пороге. Это был Катин портрет – над диваном в светло–серой раме, – великолепный портрет, который я видел впервые. Она была снята во весь рост, в беличьей шубке, которая так шла к ней и ко- торую она шила перед самой войной. И еще хлопотала, чтобы попасть к какой–то знамени- той портнихе Манэ, и еще сердилась на меня за то, что я не понимал, что шапочка должна быть тоже меховая и такая же муфта. Что же это значит, боже мой?

По меньшей мере, десять мыслей, толкая друг друга, встали передо мной, и в том чис- ле одна, настолько нелепая, что теперь мне даже стыдно вспомнить о ней. О чем только не подумал я, кроме правды, которая оказалась еще нелепее, чем эта нелепая мысль!

* Признаться, я никак не ожидал встретить вас здесь, Николай Иваныч, – сказал я, ко- гда старик сообщил, что после театра он поступил в психиатрическую, тоже в гардероб, и его уволили, потому что «сумасшедшие незаконно объявили завхозу, что он крадет суп и кушает его по ночам». – Что же, вы работаете у Ромашова? Или просто поддерживаете зна- комство?
* Да, поддерживаю. Он предложил мне помочь в делах, и я согласился. Я служил сек- ретарем у митрополита Исидора, и не скрываю этого, а напротив, пишу в анкетах. Это была огромная работа, огромный труд. Одних писем в день мы получали полторы тысячи. Здесь тоже. Но здесь я работаю из любезности. Я получаю рабочую карточку, потому что Михаил Васильевич устроил меня в свое учреждение. И в учреждении известно, что я работаю здесь.
* А разве Михаил Васильевич теперь не в армии? Когда мы расстались, он носил во- енную форму.
* Да, не в армии. Как особо нужный, не знаю. У него броня до окончания войны.
* Что же это за письма, которые вы получаете?
* Это дела, очень важные, – сказал Вышимирский, – крайне важные, поскольку мы имеем задания. В настоящее время нам поручено найти одну женщину, одну даму. Но я по- дозреваю, что это не задание, а личное дело. Любовь, так сказать.
* Что же это за женщина?
* Дочь исторического лица, которое я прекрасно знал, – с гордостью сказал Выши- мирский. – Может быть, вы слышали, – некто Татаринов? Мы разыскиваем его дочь. И дав- но бы нашли, давно. Но страшная путаница. Она замужем, и у нее двойная фамилия.

**Глава 19.**

**«ТЫ МЕНЯ НЕ УБЬЕШЬ».**

Как будто жизнь остановилась с разбегу и, не рассчитав инерции движения, я крепко стукнулся лбом о воображаемую стену, с таким чувством смотрел я на старого, в общем нормального человека, стоявшего передо мной в светлой, тоже нормальной комнате и со- общившего, что Ромашов разыскивает Катю, то есть делает то же, что я.

Но наш разговор продолжался, как если бы ничего не случилось. От Кати Вышимир- ский перешел к какому–то члену месткома, который не имел права называть его «бывшим», потому что у него «пятьдесят лет трудового стажа», а потом пустился в воспоминания и рассказал, что когда в 1908 году он выходил из театра, капельдинер кричал: «Карета Вы- шимирского!», и подкатывала карета. Он ходил в цилиндре и плаще, теперь таких вещей не носят, и «очень жаль, потому что это было красиво».

* Когда он умер? – спросил он вдруг, сильно потянув вниз свои сталактиты.
* Кто?
* Кораблев.
* Почему же умер? Он жив и здоров, Николай Иваныч, – сказал я шутливо, в то время как все дрожало во мне и я думал: «Сейчас все узнаешь, но будь осторожен». – Так вы го- ворите, это личное дело, да? Насчет дамы?
* Да, личное. Но очень серьезное, очень. Капитан Татаринов – историческое лицо.

Михаил Васильевич был в Ленинграде. Он находился в осаде и так голодал, что ел обойный клей. Отрывал старые обои, варил и ел. Потом он уехал в командировку за мясом, и, когда вернулся, – уже никого. Увезли.

* Куда?
* Вот это и есть вопрос, – торжественно сказал Вышимирский. – Вы знаете, что про- исходило с этой эвакуацией? Иди ищи! И главное, если бы ее увезли в эшелоне. Тогда толь- ко выяснить – чей? Например, Хладкомбината. Куда он уехал? В Сибирь? Значит, она в Си- бири. Но ее отправили самолетом.
* Как самолетом?
* Да, именно. Очевидно, как привилегированную. И вот – пропала. Ищи. Только из- вестно, что самолет пролетел через Хвойную, то есть именно через ту станцию, на которой Михаил Васильевич брал мясо.

Должно быть, я инстинктивно чувствовал, когда нужно помолчать, а когда произнести два или три слова. Все было в порядке. Какой–то военный, должно быть недавно из госпи- таля, худой и черный, зашел к приятелю, с которым расстался на фронте, и вот расспраши- вает, что он поделывает и как живет. «Сейчас все узнаешь, но будь осторожен».

* Ну и как же? Нашли?
* Нет еще. Но найдем, – сказал Вышимирский, – по моему проекту. Я написал в Бугу- руслан, в Центральное бюро справок, но это ерунда, потому что нам прислали десять Тата- риновых и сто Григорьевых, а мы не знаем, на какую фамилию напирать в качестве первой. Тогда я лично обратился во все губернские города к председателям исполкомов. Это был большой труд, большое задание. Но капитан Татаринов был мой друг, и для его дочери я три месяца писал стандартный запрос – прошу вашего распоряжения, эвакопункт, историческое лицо, ждем ответа. И получили.

Резкий звонок раздался. Вышимирский сказал:

* Это он.

И у него стало испуганное лицо, острый седой хохол затрясся на голове, усы повисли. Он вышел в переднюю, а я, помедлив, встал у стены, подле двери, чтобы Ромашов, войдя, не сразу заметил меня.

Он мог выскочить на площадку, потому что Вышимирский в передней сказал ему:

* Вас ждут.

Он быстро спросил:

* Кто?

И старик ответил:

* Какой–то Григорьев.

Но он не выскочил, хотя вполне мог успеть – я не торопился. Он стоял в темном углу между платяным шкафом и стеною и вскрикнул, увидев меня, а потом по–детски поднял и прижал к лицу кулаки. В наружной двери торчал ключ, я повернул его, вынул и положил в карман. Вышимирский стоял где–то между нами, я наткнулся на него и переставил, как куклу. Потом зачем–то толкнул, и он механически упал в кресло.

* Ну, пойдем поговорим, – сказал я Ромашову.

Он молчал. В руках у него была кепка, он сунул ее в рот и прикусил, зажав зубами. Я снова сказал:

* Ну!

И он бешено тряхнул головой.

* Не пойдешь? Он крикнул:
* Нет!

Но это была последняя минута отчаяния, охватившего его, когда он увидел меня. Я рванул его за руку, он выпрямился, и, когда мы вошли в комнату, только один глаз немного косил, а лицо стало уже совершенно другим, ровным, с неподвижным выражением.

* Жив, как видишь, – сказал я негромко.
* Да, вижу!

Теперь я мог рассмотреть его. Он был в легком сером костюме, на лацкане желтая ленточка – знак тяжелого ранения, в то время как он был контужен очень легко, под лен-

точкой – пуговица, светящаяся в темноте. Он пополнел, и если бы не торчащие красные уши, которые, кажется, не хуже этой пуговицы могли светить в темноте, никогда еще он не выглядел таким представительным господином.

* Пистолет.

Я думал, что он начнет врать, что сдал пистолет, когда демобилизовался. Но пистолет был именной, я получил его от командира полка за бомбежку моста через Нарову. Сдавая пистолет, Ромашов выдал бы себя. Вот почему он молча выдвинул ящик письменного стола и достал пистолет. Пистолет был не заряжен.

* Документы. Он молчал.
* Ну!
* Размокли, пропали, – поспешно сказал он. В Ленинграде бомбоубежище затопило водой. Я был без сознания. Только фото Ч. сохранилось, я передал его Кате. Я спас ее.
* В самом деле?
* Да, я спас ее. Поэтому я не боюсь. Все равно ты меня не убьешь.
* Посмотрим. Рассказывай все, скотина, – сказал я, взяв его за ворот и сразу отпустив, потому что у него мягко подалось горло.
* Я отдал ей все, когда она умирала. Ах, ты мне не веришь! – с отчаяньем закричал он, как–то подлезая под меня сбоку, чтобы заглянуть в глаза. – Но ты поверишь мне, потому что я расскажу тебе все. Ты ничего не знаешь. Я не люблю тебя.
* Неужели?
* Но за что мне любить тебя? Ты отнял у меня все, что было хорошего в жизни. Я могу многое, очень многое, – сказал он надменно. – Мне всегда везло, потому что кругом дураки. Я бы сделал карьеру. Но я плевал на карьеру!

«Плевал на карьеру» – это было сказано слишком сильно. Насколько мне было из- вестно, Ромашов не только не плевал, а напротив, стремился сделать карьеру, разбогатеть и т.д. И это вполне удалось ему, в особенности, если вспомнить, что он всегда, еще в школе, был ужасным тупицей.

* Так слушай же, – сказал Ромашов, побледнев еще более, хотя это было, кажется, уже невозможно. – Ты поверишь мне, потому что я скажу тебе все. Экспедиция по розыскам ка- питана Татаринова – я провалил ее! Сперва я помогал Кате, потому что был уверен, что ты поедешь один. Но она решила ехать с тобой, и тогда я провалил экспедицию. Я написал за- явление, очень рискованное, – я бы сам полетел вверх тормашками, если бы мне не удалось его подтвердить. Но мне удалось.

Стопочка бумаги лежала в сером кожаном бюваре с золотыми буквами «М.Р.». Я по- тянул один лист, и Ромашов замер, вытаращив глаза и глядя куда–то поверх моей головы. Казалось, он стремился заглянуть вперед, в свое будущее, чтобы узнать, угадать, чем грозит ему это простое движение, которым я потянул из бювара лист бумаги и положил его перед собой.

* Да, запиши, – сказал он, – этот человек, который остановил экспедицию, был впо- следствии сослан и умер. Но все равно, запиши, если для тебя все это еще имеет значение.
* Ни малейшего, – ответил я хладнокровно.
* Я написал, что ты маньяк со своей идеей найти капитана Татаринова, который где–то пропал двадцать лет назад, что ты всегда был маньяк, я знаю тебя со школы. Но что за всем этим стоит другое, совершенно другое. Ты женат на дочери капитана Татаринова, и этот шум вокруг его имени необходим тебе для карьеры. Я писал не один.
* Еще бы!
* Ты помнишь статью «В защиту ученого»? Николай Антоныч напечатал ее, мы со- слались на нее в заявлении.
* То есть в доносе?

Я уже записывал, и как можно быстрее.

* Да, в доносе. И мы подтвердили, подтвердили все! Одну бумажку я подсунул Нине Капитоновне, она подписала, и как трудно было устроить, чтобы ее не вызывали потом, бо- же мой, как трудно! Ты даже не знаешь, как все это повредило тебе! И в ГВФ, и потом, ко- гда ты был уже в армии, наверно, наверно!

Как передать чувство, с которым выслушал я это признание? Я не знал, зачем говорит он правду, – впрочем, очень скоро стал ясен этот несложный расчет. Но как бы обратным светом озарилось все, о чем волей–неволей думалось мне, где бы я ни был и что бы ни слу- чалось со мною.

**Глава 20. ТЕНЬ.**

* Это началось давно, еще в школе, – продолжал Ромашов. – Я должен был просижи- вать ночи, чтобы ответить урок так же свободно, как ты. Мне хотелось не думать о деньгах, потому что я видел, что деньги нисколько не занимают тебя. Я мечтал стать таким, как ты, стать тобою, и мучился, потому что всегда и во всем ты был выше и сильнее, чем я.

Трясущимися пальцами он вынул из стеклянной коробочки, стоявшей на столе, папи- росу и стал искать огонь. Я чиркнул зажигалкой. Он прикурил, затянулся и бросил.

* Случалось, что я встречал тебя на улицах, – прячась в подъездах, я шел за тобою, как тень. Я сидел в театре за твоею спиной, и кажемся, боже мой, чем же отличался я от тебя? Но я знал, что вижу другое на сцене, потому что на все смотрел другими глазами, чем ты. Да, не только Катя была нашим спором. Все, что я чувствовал, всегда и везде боролось с тем, что чувствовал ты. Вот почему я знаю все о тебе: ты работал в сельскохозяйственной авиации на Волге, потом на Дальнем Востоке. Ты снова стал проситься на Север – тебе от- казали. Тогда ты поехал в Испанию – господи, это было так, как будто все, над чем я тру- дился долгие годы, неожиданно совершилось само. Но ты вернулся, – с отвращением закри- чал Ромашов, – и с тех пор все пошло хорошо у тебя. Ты поехал с Катей в Энск, – видишь, я знаю все и даже то, что ты давно забыл. Ты мог забыть, потому что был счастлив, а я – нет, потому что несчастен.

Он судорожно вздохнул и закрыл глаза. Потом открыл, и что–то очень трезвое, острое, бесконечно далекое от этих страстных признаний мелькнуло в его быстром взгляде. Я молча слушал его.

* Да, я хотел разлучить вас, потому что эта любовь всю жизнь была твоим удивитель- ным счастьем. Я умирал от зависти, думая, что ты любишь просто потому, что любишь, а я – еще и потому, что хочу отнять ее у тебя. Быть может, это смешно, что с тобой я говорю о любви! Но кончился спор, я проиграл, и что теперь для меня это унижение в сравнении с тем, что ты жив и здоров и что судьба снова обманула меня!

Телефонный звонок послышался в передней. Вышимирский сказал:

* Да, пришел. Откуда говорят?

Но почему–то не позвал Ромашова.

* И вот началась война. Я сам пошел. У меня была броня, но я отказался. Убьют – и прекрасно! Но втайне я надеялся – ты погибнешь, ты! Под Винницей я лежал в сарае, когда один летчик вошел и остановился в дверях, читая газету, «Вот это ребята! – сказал он. Жаль, что сгорели». – «Кто?» – «Капитан Григорьев с экипажем». Я прочел заметку тысячу раз, я выучил ее наизусть. Через несколько дней я встретил тебя в эшелоне.

Это было очень странно – то, что он как бы искал у меня же сочувствия в том, что, во- преки его надеждам, я оказался жив. Но он был так увлечен, что не замечал нелепости свое- го положения.

* Ты знаешь, что было потом. Бред, о котором мне совестно вспомнить! Еще в поезде меня поразило, что ты как бы не думал о Кате. Я видел, что эта грязь и бестолочь терзают тебя, но все это было твоим, ты отдал бы жизнь, чтобы не было этого отступления. А для меня это значило лишь, что ты снова оказался выше и сильнее меня.

Он замолчал. Как будто и не было никогда на свете осиновой рощи, кучи мокрых ли- стьев и поленницы, которая помешала мне размахнуться, как будто я не лежал, опершись руками о землю и стараясь не крикнуть ему: «Вернись, Ромашов!» – так он сидел передо мною, представительный господин в легком сером костюме. У меня даже руки заныли – так захотелось ударить его пистолетом.

* Да, это глубокая мысль, – сказал я, – кстати, подпиши, пожалуйста, эту бумагу.

Пока он каялся, я писал «показание», то есть краткую историю провала поисковой партии. Это было мукой для меня, я не умею писать канцелярских бумаг. Но «показание М.В.Ромашова», кажется, удалось, может быть потому, что я так и писал: «Подло обманув руководство Главсевморпути» и так далее…

Ромашов быстро прочитал бумагу.

* Хорошо, – пробормотал он, – но прежде я должен объяснить тебе…
* Ты сперва подпиши, а потом объяснишь.
* Но ты не знаешь…
* Подписывай, подлец! – сказал, я таким голосом, что он отодвинулся с ужасом и как–то медленно, словно нехотя, застучал зубами.
* Пожалуйста.

Он подписал и злобно бросил перо.

* Ты должен благодарить меня, а ты хочешь сыграть на моей откровенности. Ладно!
* Да, хочу сыграть.

Он посмотрел на меня и, должно быть, вот когда от всей души пожалел, что не при- кончил меня в осиновой роще!

* Я вернулся в Москву, – продолжал он, – и сразу же стал хлопотать, чтобы меня пе- ревели в Ленинград. Я ехал через Ладожское, немцы топили суда, но я добрался – и вовремя. Слава богу, слава богу, – добавил он торопливо, – еще день, много два, и мне досталось бы лишь похоронить ее.

Возможно, что это была правда. Еще, когда Вышимирский сказал, что Ромашов был в Ленинграде, я вспомнил рыжего майора, о котором рассказывали дворничиха и дети. «Она рыжего отрыла, у него хлеб был. Большой мешок, сам нес, мне не давал». Но другое волно- вало меня. Ромашов мог уверить Катю, что я погиб – разумеется, в бою, а не в осиновой ро- ще.

* И вот Ленинград. Ты не представляешь, что это было. Я получал триста грамм и по- ловину приносил Кате. В конце декабря мне удалось достать немного глюкозы, я искусал себе пальцы, пока нес ее Кате. Я свалился подле ее постели, она сказала: «Миша!» Но у меня не было силы подняться. Я спас ее, – мрачно повторил он, как будто страшная мысль, что я могу не поверить, снова поразила его, – и если сам не погиб, то лишь потому, что твердо знал, что нужен ей и тебе.
* И мне?
* Да, и тебе. Сковородников написал ей, что ты убит, она была полумертвая от горя, когда я приехал. И ты бы видел, что с нею сталось, когда я сказал, что видел тебя! Я понял в эту минуту, что жалок, – полным голосом сказал Ромашов, так громко, что в передней по- слышался даже какой–то стук, точно Вышимирский свалился со стула, – жалок перед этой любовью. И горько, мучительно раскаялся я в эту минуту, что хотел убить тебя. Это был ложный шаг. Твоя смерть не принесла бы мне счастья.
* Все?
* Да, все. В январе меня командировали в Хвойную, я отлучился на две недели, привез мясо, но квартира была уже пуста. Варя Трофимова, наверно ты знаешь ее, отправила Катю самолетом.
* Куда?
* В Вологду, я выяснил точно. А потом в Ярославль.
* Кого ты запросил в Ярославле?
* Эвакопункт, у меня знакомый начальник.
* И получил ответ?
* Да. Но там только написано, что она прошла через эвакопункт и отправлена в боль- ницу для ленинградцев.
* Покажи–ка.

Он нашел в столе и подал письмо. «Станция Всполье, – прочитал я. – В ответ на ваш запрос…»

* А почему Всполье?
* Там эвакопункт, это в двух километрах от Ярославля.
* Теперь все?

* Все.
* Так слушай же меня, – стараясь не волноваться, сказал я Ромашову. – Я не могу прощать или не прощать тебя, что бы ты ни сделал для Кати. Это уже не наш личный спор, после того, что ты сделал со мной. Не со мной спорил ты, когда хотел добить меня, тяжело раненного, обокрал и бросил в лесу одного. Это – воинское преступление. Ты его совершил, и тебя, прежде всего, будут судить как подлеца, который нарушил присягу.

Я взглянул ему прямо в глаза – и поразился. Он не слушал меня. Кто–то поднимался по лестнице, двое или трое, стук шагов гулко отдавался в лестничной клетке. Ромашов бес- покойно оглянулся, привстал. Постучали, потом позвонили.

* Открыть? – спросил за стеной Вышимирский.
* Нет! – крикнул Ромашов. – Спросите, кто, – как бы опомнясь, добавил он негромко и прошелся по комнате легким, почти танцующим шагом.
* Кто там?
* Откройте, из домоуправления. Ромашов вздохнул сквозь сжатые зубы.
* Скажите, что меня нет дома.
* Я не знал. Тут звонили, и я сообщил, что вы дома.
* Конечно, дома, – сказал я громко.

Ромашов бросился на меня, схватил за руки. Я оттолкнул его. Он завизжал, потом по- шел за мною в переднюю и встал, как прежде, между стеною и шкафом.

* Одну минуту, – сказал я, – сейчас открою.

Вошли двое – пожилой мужчина, очевидно управдом, судя по угрюмому, хозяйскому выражению лица, и тот молодой, с медленными движениями, в хорошенькой кепке, которо- го я видел в домоуправлении. Сперва молодой посмотрел на меня, потом, не торопясь, – на Ромашова.

* Гражданин Ромашов?
* Да.

Вышимирский лязгнул зубами так громко, что все обернулись.

* Оружие?
* Не имеется, – отвечал Ромашов почти хладнокровно. Только какая–то жилка билась на его неподвижном лице.
* Ну что же, соберите вещи. Немного: смену белья. Управдом, пройдите с арестован- ным. Товарищ капитан, прошу вас предъявить документы…
* Николай Иванович, это чушь, ерунда! – громко сказал Ромашов откуда–то из второй комнаты, где он собирал в заплечный мешок свои вещи. – Я вернусь через несколько дней. Все та же глупая история с требухой. Помните, я рассказывал вам – требуха из Хвойной.

Вышимирский снова лязгнул. По всему было видно, что он никогда не слыхал ни о какой требухе.

* Саня, я надеюсь, что ты найдешь ее в Ярославле, – еще громче сказал Ромашов, – передай ей…

Я видел из передней, как он уронил мешок и немного постоял с закрытыми глазами.

* Ладно, ничего, – пробормотал он.
* Виноват, не найдется ли у вас стакана воды? сказал Вышимирскому человек в хоро- шенькой кепке.

Вышимирский подал. Теперь все стояли в передней – Ромашов с мешком за спиной, управдом, который так и не сказал ни слова, растерянный Вышимирский с пустым стаканом в руке. Минуту все молчали. Потом агент толкнул дверь.

* До свидания, простите за беспокойство. И вежливо пригласил Ромашова пройти.

Вероятно, если бы у меня было время, я бы постарался найти глубокий смысл в том, что судьба, явившись на квартиру Ромашова в лице представителя московской милиции, так решительно помешала закончить наш разговор. Но поезд в Ярославль отходил в 20.20, а мне еще нужно было:

а) явиться к Слепушкину, и не только явиться, но оформиться, что могло занять часа полтора;

б) зайти в наградной отдел – еще в М–ове я получил известие, что мой второй орден Красного Знамени утвержден и я могу получить в наркомате документ;

в) достать что–нибудь на дорогу: почти все, что я привез из М–ова, я оставил одному балтийскому летчику однополчанину в Ленинграде;

г) достать билет, что, впрочем, мало беспокоило меня, потому что я уехал бы и без би-

лета.

Кроме того, мне еще нужно было написать о Ромашове военному прокурору.

Все это казалось мне совершенно необходимым, то есть моя жизнь в оставшиеся до

поезда четыре или пять часов должна была состоять именно из этих забот. А на самом деле мне нужно было просто вернуться к Вале Жукову, от которого я был в пяти минутах ходь- бы, и тогда – кто знает? – у меня, может быть, нашлось бы время даже и для того, чтобы по- думать над той смесью правды и лжи, которой пытался оправдаться передо мною Ромашов.

Я даже постоял на Арбатской площади: «Не заглянуть ли хоть на две минуты к Вале?» Но вместо Вали я зашел в парикмахерскую – нужно было побриться и сменить воротничок, прежде чем являться в Гидрографическое управление, где один контр–адмирал намеревался представить меня другому.

Ровно в 17 часов я пришел к Слепушкину, а в 18 был уже зачислен в кадры ГУ с отко- мандированием на Крайний Север, в распоряжение Р. Два или три года тому назад за этими скупыми канцелярскими словами открылась бы передо мною далекая дикая линия сопок, освещенная робким солнцем первого полярного дня, а теперь, полный забот и волнений, я машинально сунул удостоверение в карман и, думая о том, что напрасно не попросил Р. снестись с Ярославлем по военному телеграфу, вышел из управления.

Не буду рассказывать о том, как я потерял полтора часа в наградном отделе, и т.д. Но об этой, последней в Москве, памятной встрече я должен рассказать.

Очень усталый, с заплечным мешком в одной руке, с чемоданом в другой, на станции

«Охотный ряд» я спустился в метро. Служебный день кончился, и хотя летом 1942 года в метро было еще просторно, перед эскалатором стояла толпа. Движущаяся лента поднима- лась навстречу, я всматривался в лица москвичей, вдруг подумав, что за весь этот хлопот- ливый, утомительный день так и не увидел Москвы. Издалека приметил я грузного человека в толстой кепке, в пальто с широкими квадратными плечами, который не поднимался, а плыл, вырастал, снисходительно дожидаясь, когда доставит его наверх эта шумная машина.

Это был Николай Антоныч.

Узнал ли он меня? Едва ли. Но если и узнал – что было ему до какого–то маленького капитана в потертом кителе, с некрасивым мешком, из которого торчала горбушка хлеба?

Равнодушно скользнул он по моему лицу сонными и властными глазами.

**ЧАСТЬ 9.**

**НАЙТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ.**

**Глава 1. ЖЕНА.**

Точно сиянием светящейся бомбы озарен ночной, незнакомый вокзал на Всполье, полный забот, трудов и волнений войны. Чего не увидишь в этом ярком, неестественном свете! Старший собирает команду, ругаясь, и люди строятся, не выспавшиеся, хмурые, – война! На платформе в ларьке выдают довольствие по командировкам, по аттестату, и бе- режно берут черный хлеб солдатские руки, – война! Девочка лет пяти потерялась, отстала от эшелона, и уже по радио зовут ее мать – зовут и не могут дозваться, – война! Моряк с меш- ком в одной руке, с чемоданом в другой слезает с московского поезда, спрашивает, где эва- копункт, и становится в очередь к начальнику в маленькой грязной комнате, битком набитой сидящим, стоящим и спящим народом, – война!

Все вижу я и все помню. Но медленно среди света и тени находит дорогу сознание, над которым зажглась и повисла гигантская светящаяся бомба войны.

Я вижу себя шагающим в город вдоль ночных, по–летнему тихих полей. Прожектора бродят в покорном, мерцающем покорными звездами небе, Вот и город – на каждой улице меня останавливает и проверяет документы комендантский патруль. Вот и больница для ленинградцев – дежурная сестра обстоятельно объясняет мне, что прошло уже три месяца, как в больнице нет ни одного ленинградца.

– Канцелярия откроется в девять часов, – говорит она, – а сейчас половина четвертого

ночи.

Я ложусь на клеенчатый низкий диван. Я сплю и не сплю. Где моя Катя?

Наутро главный врач ведет меня в свой кабинет белый стол, матовые окна, низкая бе-

лая кушетка, покрытая свежей простыней. Далекое воспоминание охватывает меня – сем- надцатилетний мальчик, я сижу в приемном покое, я там, за приоткрытой дверью, на низкой белой кушетке лежит Марья Васильевны с белым, точно вырезанным из кости лицом.

– Имя, отчество, фамилия, возраст? – спрашивает главный врач.

Я называю имя, отчество, фамилию, возраст, и, завязывая халат, входит сестра, кото- рой он поручает найти Катину карточку и историю болезни.

Мы курим и разговариваем, разговариваем и курим. Тысяча английских самолетов вновь атаковала Бремен. Что в Москве – правда ли, что подняли хлебную норму? Теперь, когда между нами, США и Англией подписано соглашение, не думаю ли я, что скоро от- кроется второй фронт?

А в соседней комнате сестра перебирает карточки. Карточка – смерть, карточка – жизнь.

Звонит телефон, и главный врач долго ругает завхоза. Я молчу. Насколько все–таки легче молча ждать, что принесет мне сестра – Катину смерть или жизнь!

И сестра возвращается, наконец. Еще доругивая завхоза, главный врач берет карточку в маленькие, почти детские руки.

* Ну что ж, все в порядке, – говорит он – Состояние приличное. Выписалась в марте месяце сорок второго года.

Наверно, я бледнею немного больше, чем полагается в подобных случаях, потому что он встает, обходит стол и, положив руку на мое плечо, повторяет:

* Состояние приличное. Выписалась в марте месяце сорок второго гола.

И от души смеется, когда я прихожу в отчаяние, узнав, что в феврале у Кати было все- го сорок два процента гемоглобина.

Уехала с лагерем в Новосибирск, теперь это совершенно ясно. Хорошо бы в самый город… Нет! Лагерь расположился в каком–то колхозе, в двухстах километрах от Новоси- бирска.

В Ярославском облисполкоме я записываю точный адрес: станция Верхне–Ядомская, село Большие Лубни, Щукинского района, Щукинского сельсовета, и так далее – из двадца- ти пяти слов телеграммы Катин адрес занимает семнадцать. Я прибавляю к нему свой – и для того, чтобы выразить все, что я чувствую и думаю, остается четыре слова.

Кроме этой телеграммы, я отправляю из Ярославля еще три: в Энск тете Даше с изве- щением, что Катя жива и я вскоре надеюсь ее увидеть. В Москву Вале Жукову о том, что я не нашел Катю и что она, очевидно, выехала с лагерем в Новосибирск. В Москву же Сле- пушкину с просьбой разрешить мне дальнейшие розыски жены, как это было условленно в личном разговоре.

К сожалению, мне не удалось достать отдельный номер, а так хотелось остаться одно- му, отдохнуть и подумать! Впрочем, мой сосед, пожилой пехотный майор, без сомнения, нуждался в отдыхе не меньше, чем я, потому что в восемь часов вечера уже завалился спать, и ничто не могло разбудить его – ни скрип койки, на которой всю ночь я ворочался с боку на бок, ни то, что дежурная по коридору дважды приходила проверять затемнение.

Ночью он проснулся, чтобы покурить, и долго молча сидел, поджав под себя ноги, как турок. Я тоже закурил. Ничего я не знал о нем, он ничего обо мне – но мы молчали и думали об одном, глядя на красные огоньки наших папирос в темноте. Война соединила нас, двух незнакомых мужчин, в этом номере, и то, о чем мы думали, было войной. Накануне, после двухсот пятидесяти дней обороны, наши части оставили Севастополь.

Сосед докурил и уснул, я тоже. Но, должно быть, ненадолго, потому что в коридоре

кто–то громко сказал.

– Половина второго.

Севастополь представился мне – не тот суровый, раскаленно–пыльный, как бы рва- нувшийся навстречу своей великой доле, который я видел в сентябре сорок первого года, а прежний, полный смеха и молодых голосов. По воскресеньям мы с Катей приезжали в Се- вастополь; катера стояли у причалов, на Историческом бульваре, так далеко, как только ви- дит глаз, моряки гуляли с девушками в белых платьях и газовых шарфах. Мы любили смешную игру, которую придумала Катя: как будто она – моя девушка, мы только что по- знакомились и теперь, так же как эти ребята, должны назначать свиданья, писать письма и называть друг друга на «вы». Как прекрасно все было тогда! Я вставал в пять часов, а Катя уже готовила завтрак – легкий, когда я шел на высокий полет. Потом был жаркий, интерес- ный день, и не только потому, что были интересные полеты, а потому, что я знал, что впе- реди еще «наше время», когда мы будем купаться в черной, опрокинувшей небо воде и маяк на Хараксе будет медленно загораться и гаснуть.

Наверно, это было очень трудно – быть моей женой. Но Катя говорила, что ей было трудно, только когда она не знала, где я и что со мной.

И с необычайной ясностью вспомнилась мне наша единственная за всю жизнь ссора. Это было в Ленинграде, в 1936 году, когда поисковая партия была решена и со дня на день мы должны были ехать на Север. Не прошло и месяца, как скончалась, оставив маленького сына, моя сестра Саня, мы волновались, не знали, как оставить ребенка, и решились нако- нец, когда покойная Розалия Наумовна нашла «научную няню». Решились и собрались – и вдруг Петенька захворал.

…Бледная, расстроенная, Катя сидела над бельевой корзиной, в которой лежал, рас- кинувшись, больной ребенок, и горько заплакала, едва я вошел. Я обнял ее.

* Да что с тобой, полно же, – говорил я и гладил ее по мокрой щеке. – Ты поедешь. Ты догонишь нас в Архангельске, вот и все.

Что еще я мог ей сказать? В Архангельске поисковая партия должна была провести не более суток.

* О, как мне не хочется снова расставаться с тобой!
* Еще все устроится.
* Ничего не устроится. Всю зиму я хлопотала, чтобы экспедиция состоялась. Я сделала все, чтобы ты уехал, и вот теперь ты уедешь, и я даже не буду знать, где ты и что с тобой.
* Катя! Катя!
* Не нужно мне ничего. Не нужно этой экспедиции, все равно ты ничего не найдешь. Господи, неужели не стою я этого счастья, о котором другие женщины даже и не думают никогда! Да мало ли что может случиться с тобой!

Она видела, что я начинаю сердиться. Но она была в отчаянии, у нее сердце томилось, она вставала и начинала ходить, крепко прижимая руки к груди.

* Я знаю, ты не хотел, чтобы я ехала с тобой! Вот скажи, что это неправда.
* Ну, полно!
* Хорошо, – сказала она с тем спокойным отчаянием, которого, кажется, испугалась сама, – кончим этот спор. Я еду. Ты не хочешь, я знаю, потому что не любишь меня…

Мы говорили до утра. На другой день Петеньке стало лучше, а еще через день он был совершенно здоров.

Это был первый и последний разговор о том, что всю жизнь мучило и волновало ее. Ей было тяжело, когда она думала, что никогда не проникнет в тот мир, ради которого я так часто забывал о ней, покидал ее! И еще тяжелее, когда она старалась не думать об этом.

Что же нужно было переломить в душе, чтобы проводить меня, как она проводила ме- ня в Испанию? Когда в Сарабузе я впервые повел в ночной полет свою эскадрилью, от жены своего штурмана я случайно узнал, что Катя не спала всю ночь, дожидаясь меня.

Где же ты, Катя? У нас одна жизнь, одна любовь – приди ко мне, Катя! Впереди еще много трудов и забот, война еще только что началась. Не покидай меня. Катя! Я знаю, тебе было трудно со мной, ты очень боялась за меня, всю жизнь мы встречались под чужой кры- шей, а разве я не понимаю, как нужен, как важен для женщины дом? Может быть, я мало любил тебя, мало думал о тебе… Прости меня, Катя!

…Не знаю, наяву или во сне я умолял ее не покидать меня, хоть присниться, не верить тому, что я никогда не вернусь!

**Глава 2.**

**ЕЩЕ НИЧЕГО НЕ КОНЧИЛОСЬ.**

Не знаю, было ли часа четыре ночи, когда, открыв глаза, я увидел над собой бледное, сонное лицо дежурной по коридору.

* Вы Григорьев?
* Да.
* Телеграмма. Надо расписаться. Зайдите, товарищ, – сказала она, и, осторожно стуча сапогами, красноармеец вошел и остановился у порога. – С военного телеграфа.

Я расписался и вскрыл телеграмму. «Немедленно выезжайте Архангельск прибытие сообщите Лопатин».

Разумеется, телеграмма была из ГУ. Но почему не Слепушкин, с которым я догово- рился о дальнейших розысках Кати, если не найду ее в Ярославле, ответил мне, я какой–то Лопатин? Почему немедленно? Почему в Архангельск? Правда, для любых гидрологических работ по Северному морскому пути основной базой оставался Архангельск. Но разве Р. не говорил, что мы встретимся в Полярном, где его планы должен был утвердить командую- щий Северным флотом?

Все это разъяснилось – и очень скоро. Но тогда, в Ярославле, в маленьком, грязном номере гостиницы, приподняв синюю бумажную штору, я читал и перечитывал телеграмму, и досадное чувство запутанности, неясности, которое чем–то грозило Кате и отнимало у меня надежду вскоре увидеть ее, – это чувство все больше волновало меня.

Так ничего и не придумав, я вновь отправился на телеграф, и в село Большие Лубни, Щукинского района, Щукинского сельсовета и т.д. полетела еще одна, на этот раз срочная телеграмма. Накануне я послал простую, потому что у меня было только семьсот рублей, а путь предстоял далекий.

Теперь мне предстоял недалекий путь – только тысяча километров на север от Кати… С той минуты, как в М–ове я занял место в пассажирской кабине, прошло всего восемь

дней. Но так много увидел я за эти восемь дней, что душа как бы отказалась принять все впечатления и согласилась лишь на те, которые были связаны с моей судьбой. Более полу- года я видел одно и то же: стены госпитальной палаты – и за ними чужой уральский город на берегу Камы. Но вот он остался бог весть где, пропал, потонул в сизой дымке, как не был, а навстречу мне полетели моментальные снимки Ленинграда, Москвы, Ярославля. Я сказал моментальные. Но это были как бы запечатленные навек моментальные снимки. И равно вечен был суровый, требовательный Ленинград с его забитыми окнами–веками, под кото- рыми таилась небывалая воля, и ночной вокзал на Всполье с его бессонницей, усталостью и грязью войны…

Вот что я узнал, явившись прямо с поезда в штаб Беломорской военной флотилии; Лопатин, которого я ругал всю дорогу, оказался начальником отдела кадров Гидрографиче- ского управления – лишь теперь я припомнил, что в наркомате слышал эту фамилию. Ника- кой путаницы не было в его телеграмме. Со времени моего отъезда из Москвы на Крайнем Севере произошли события, которые заставили контр–адмирала Р. немедленно вылететь к месту назначения. В Полярном ни ему, ни мне уже нечего было делать, потому что коман- дующий флотом, инспектируя базы, сам выехал в Архангельск. Свидание его с Р. состоялось третьего дня. Очевидно, план «интереснейшей штуки» был утвержден, потому что немед- ленно после этого свидания Р. вылетел на Диксон. Без сомнения, он очень торопился или мог обойтись без меня, иначе на мой счет в штабе флотилии были бы оставлены указания…

– Вы опоздали, капитан, – сказал мне начальник отдела кадров, добродушный седой человек, с усами и подусниками, похожий на старого матроса времен первой севастополь- ской обороны. – Ума не приложу, что теперь с вами делать. Вдогонку посылать не станем.

И он приказал мне явиться через несколько дней…

Но как изменился Архангельск, как, оставшись самим собою, он стал удивительно не

похож на себя!

Американские матросы бродили по улицам, в шапочках с помпонами, в клешах, в шерстяных рубашках, обтягивающих талию и свободно выпущенных на штаны. Англичане; с начальными буквами HMS (его величества корабль) на бескозырке, держались немного строже, но и у них был беспечный вид, совершенно отличавший их от наших моряков и ка- завшийся мне странным. Негры встречались на каждом шагу, черные и оливково–черные, должно быть, мулаты. Китайцы стирали рубахи в Северной Двине, прямо под набережной, и, громко болтая на своем гортанно–глухом языке, растягивали их под солнцем между большими камнями.

А Двина, такая просторная, русская, что другой такой, казалось, и не могло быть на свете, свободно раскинувшись, вела вперед свои полные воды. Как ножом отваливая свер- кающую волну, проходили катера все на ту сторону, к торговому порту…

Не иностранцы, на которых я смотрел с острым, но поверхностным любопытством, занимали меня в эти дни. Это был город Седова, Пахтусова. На кладбище в Соломбале я долго стоял у могилы «корпуса штурманов поручика и кавалера Петра Кузьмича Пахтусова, скончавшегося 36 лет от роду от понесенных в походах трудов и огорчений». Отсюда капи- тан Татаринов повел в далекий путь свою белую шхуну. Здесь умер в городской больнице штурман Климов, единственный участник экспедиции, добравшийся до Большой Земли. В местном музее экспедиции «Св. Марии» был посвящен целый отдел, и среди знакомых экс- понатов я нашел интересные, новые для меня воспоминания художника П., друга Седова, о том, как штурман Климов был найден на мысе Флора.

С утра, написав очередное письмо в село Большие Лубни и не зная, чем еще заняться, я спускался вниз к Кузнечихе. Острый запах соснового бора стоял над рекой, мост был разве- ден, маленький пароходик, огибая бесконечные плоты, возил народ к пристани от пролета. Куда ни взглянешь, везде было дерево и дерево – узкие деревянные мостки вдоль приземи- стых николаевских зданий, в которых были разбиты теперь госпитали и школы, деревянные мостовые, а на берегах целые фантастические здания из штабелей свеже распиленных досок. Это была Соломбала, и я нашел дом, в котором жил капитан Татаринов летом 1913 года, когда снаряжалась «Св. Мария».

Он спускался с крыльца этого маленького бревенчатого дома и шел через садик – ши- рокоплечий, высокий, в белом кителе, с усами, по–старинному загнутыми вверх. Упрямо наклонив голову, он слушал какого–нибудь купца Демидова, который требовал у него денег за солонину или «приготовление готового платья». А там, в торговом порту, среди тяжелых грузовых пароходов с боковыми колесами была чуть видна тонкая и стройная шхуна – слишком тонкая и стройная, чтобы пройти из Архангельска во Владивосток вдоль берегов Сибири.

Одно незначительное, но важное для меня событие странным образом оживило эти туманные картины.

…Накануне пришел конвой, и я поехал в порт Б. посмотреть, как разгружают ино- странные суда.

Ого, как вырос, каким просторно–прочно–солидным стал этот старинный порт! Должно быть, километра два прошел я вдоль причалов, а все еще не было конца подъемным кранам, складывающим в высокие прямоугольные штабеля военные и невоенные грузы. И порт еще достраивали, удлиняли. Я дошел до конца и остановился, чтобы одним взглядом окинуть плавно заворачивающую, как бы откинувшуюся назад линию – панораму причалов. И вот именно в эту минуту маленький пароходик, энергично пыхтя, обогнул большое аме- риканское судно с «харрикейном» на носу и стал подходить к причалу. Я взглянул на его название: «Лебедин», и, помнится, подумал, что это красивое имя стало, очевидно, тради- ционным в северных водах. Так звался пароход, на котором друзья и родные Татаринова подошли к его шхуне, чтобы в последний раз обнять капитана и пожелать ему «счастливого плавания и достижений». Возможно ли, что это тот самый «Лебедин», который в одной ста- тье был назван «первым русским ледоколом»? Конечно, нет!

Матрос катил по сходням бочку с горючим, я попросил его позвать капитана, и минуту спустя румяный парень лет двадцати пяти, в простой синей спецовке, вышел на палубу, вы- тирая тряпкой черные от масла руки.

* Товарищ капитан, у меня к вам исторический вопрос, – сказал я. – Вы случайно не знаете, до революции ваш буксир тоже звался «Лебедином»?
* Да.
* Когда он спущен?
* В 1907 году.
* И всегда ходил под этим названием?
* Всегда.

Я объяснил ему, в чем дело, и он со спокойной гордостью оглядел свое судно, точно никогда и не сомневался, что оно займет свае место в истории русского флота. Быть может, это покажется немного смешным, но встреча с «Лебедином» обрадовала и необычайно оживила меня. Я прочел жизнь капитана Татаринова, но последняя ее страница осталась за- крытой.

«Еще ничего не кончилось, – как будто сказал мне этот старый буксир с таким румя- ным, молодым капитаном. – Кто знает, может быть, придет время, когда тебе удастся от- крыть и прочитать, эту страницу».

Явившись в третий раз к начальнику отдела кадров, я попросил его послать меня в полк или, если это невозможно, направить в распоряжение командования ВВС Северного флота.

Без сомнения, он был уже в курсе моих личных и служебных дел, потому что, помол- чав, спросил с добродушно–одобрительным видом:

* А здоровье?

Я отвечал, что здоровье в полном порядке. Это была правда или почти правда – на Се- вере я всегда чувствовал себя лучше, чем на юге, западе и востоке.

* Ладно, чем в такое время болтаться без дела, пускай найдут применение, – неопре- деленно, но вполне разумно сказал начальник отдела кадров.

Конечно, он имел в виду применение на земле. «Черта с два, буду летать», – немед- ленно подумал я, глядя на его старую, но крепкую руку, которая вывела и дважды подчерк- нула мою фамилию на перекидном блокноте–календаре.

**Глава 3.**

**СВОБОДНАЯ ОХОТА.**

Все превосходно – капитан является в полк, командир полка представляет его товари- щам, экипажу. Этот задумчивый, равнодушный штурман–латыш с трубкой, в широких шта- нах, заменит ли он дорогого погибшего Лури?

Среди летчиков капитан находит своих бывших учеников еще по Балашовской школе. Он живет в новом рубленом доме, стены которого еще пахнут смолой, в просторной комна- те, вместе со своим экипажем, и вид из окна напоминает ему молодость в маленьком городе за Полярным кругом.

С изумлением он убеждается в том, что многие летчики знают его и даже считают не- справедливым (разумеется, без малейших оснований), что у него только два ордена, а не четыре. Итак, все прекрасно. Но на деле все далеко не так прекрасно, как это кажется с пер- вого взгляда. На деле капитан не спит по ночам, читая и перечитывая письмо из села Боль- шие Лубни, в котором какой–то директор Перышкин сообщает ему, что Катерина Ивановна Григорьева–Татаринова, насколько ему известно, выехала из лагеря еще в мае месяце, то есть «до отъезда такового в Новосибирскую область», причем о бабушке и маленьком Пете директор Перышкин почему–то не упоминает ни слова.

На деле полк, в который командующий ВВС направил капитана, – торпед- но–бомбардировочный; следовательно, капитан должен изучить новую специальность.

На деле он глубоко потрясен, потому что в первом же полете убеждается, что совер- шенно отвык от Севера, так отвык, что забыл даже «чувство земли», которое здесь всегда было немного другим.

Но все это еще не беда. Все придет в свое время. Все можно исправить, кроме непо- правимого, которое приходит не спрашиваясь и от которого никуда не уйдешь.

Я не стану особенно много рассказывать о воздушной войне на Севере, хотя это очень интересно, потому что нигде не проявились с таким блеском качества русского летчика, как на Севере, где ко всем трудностям и опасностям полета и боя часто присоединяется плохая погода и где в течение полугода стоит полярная ночь. Один британский офицер при мне сказал: «Здесь могут летать только русские». Конечно, это было лестное преувеличение, но мы вполне заслужили его.

Сама обстановка боя на Севере тоже была куда сложнее, чем на других воздушных те- атрах войны. Немецкие транспорты обычно шли почти вплотную к высоким берегам – так близко, как только позволяла приглубость. Топить их было трудно – не только потому, что вообще очень трудно топить транспорты, а потому, что выйти на транспорт из–под высоко- го берега невозможно или почти невозможно. Мы не могли пользоваться почти половиной всех румбов (180°), а попробуйте–ка без этой половины атаковать корабль, над которым нужно пройти как можно ниже, чтобы торпеда, сброшенная в воду, вернее попала в цель! При этом корабль не ждет, разумеется, когда его утопят, а вместе с конвоем открывает огонь из всех своих зениток, пулеметов и орудий главного калибра. Сжав зубы, не узнавая себя в азарте боя, лезешь ты в этот шумный разноцветный ад!

Вероятно, если бы час за часом, день за днем рассказать, как мы жили на Н., получи- лась бы однообразная картина. Полеты и разборы полетов. Ученье, то есть те же полеты. Обеды в длинном деревянном бараке и за столом – разговор о полетах. По вечерам – офи- церский клуб, открывшийся при мне, которым в особенности увлекалась молодежь, с за- видной легкостью переходившая от смертельной опасности торпедной атаки к танцам и болтовне с девушками. Девушкам – младшим офицерам – разрешалось в штатском платье являться на эти вечера.

Быть может, именно эти переходы, как ничто другое, отражали не простоту или мни- мое однообразие, а, напротив, необычайность, почти фантастичность, которой на самом деле была полна наша жизнь. Лететь в темноте под крутящимся снегом, лететь над морем на пробитом, как решето, самолете, после боя, который еще звенит в остывающем теле, и через два часа явиться в светлые нарядные комнаты офицерского клуба, пить вино и болтать о пу- стяках – как же нужно было относиться к смерти, чтобы не замечать этого контраста или, по меньшей мере, не думать о нем? Впрочем, и я думал о нем только в первые дни.

Выше я упомянул, что в особенности молодежь увлекалась клубом. Но почти весь полк состоял из молодых людей – только трем или четырем «старикам», вроде меня, было за тридцать. Герой Советского Союза, которого все называли просто Петей, потому что иначе и нельзя было назвать этого румяного горбоносого юношу с азартно вылупленными глаза- ми, командовал полком. Ему едва исполнилось двадцать четыре года.

Это тоже был вопрос, о котором стоило подумать, – один из многих вопросов, которые нежданно–негаданно накатили на меня, когда я приехал на Север. Новое поколение летчи- ков было выдвинуто войной, поколение, у которого нам еще приходилось кое–чему по- учиться. Разумеется, между нами не было никакой пропасти – почему–то полагается думать, что между «отцами и детьми» непременно должна быть пропасть. Но что–то было – недаром же на Н. я был менее осторожен, чем всегда, и легче шел на разные рискованные штуки.

Кто знает, может быть именно потому, что я так «помолодел», судьба, которая сурово расправилась со мной в начале войны, здесь, на Н., отнеслась ко мне совершенно иначе.

В июле я ходил еще с бомбами на Киркинес – и довольно удачно, как показали сним- ки. В начале августа я уговорил командира полка отпустить меня на «свободную охоту» – так называется полет без данных разведки, но, разумеется, в такие места, где наиболее веро- ятна встреча с немецким конвоем. И вот в паре с одним лейтенантом мы утопили транспорт в четыре тысячи тонн. Утопил, собственно говоря, лейтенант, потому что моя торпеда, сброшенная слишком близко, сделала мешок под килем и «ушла налево». Но все было про- верено в этом бою, в том числе и раненая нога, которая вела себя превосходно. Я был дово- лен, хотя на разборе полетов командир эскадрильи (некогда в Балашове я чуть не отчислил его от школы, потому что у него никак не выходил разворот) с неопровержимой ясностью доказал, что именно так «не следует топить транспорты». Через два–три дня ему пришлось повторить свои доказательства, потому что я прошел над транспортом еще ниже – так низко, что принес домой кусок антенны, застрявшей в плоскости самолета. При этом транспорт –

мой первый – был потоплен, так что доказательства, не потеряв своей стройности, приобре- ли лишь теоретическое значение.

Короче говоря, в середине августа я утопил второй корабль – в шесть тысяч тонн, охранявшийся сторожевиком и миноносцем. На этот раз я шел в паре с командиром эскад- рильи и, к своему удовольствию, заметил, что он атаковал еще ниже, чем я. Разумеется, са- мому себе он выговора не сделал.

Так шла моя жизнь – в общем, очень недурно. В конце октября командующий ВВС поздравил меня с орденом Александра Невского.

У меня были уже и друзья на Н. – неподвижный, молчаливый штурман, с трубкой, в широких штанах, оказался умным, начитанным человеком. Правда, он говорил немного, а в полете и вообще не говорил, но зато на вопрос: «Где мы?» – всегда отвечал с точностью, которая меня поражала. Мне нравилась его манера выводить на цель. Мы были разные лю- ди, но невозможно не полюбить того, кто каждый день рядом с тобой делит тяжелый, рис- кованный труд полета и торпедной атаки. Если уж нас ждала смерть, так общая, в один день и час. А у кого общая смерть, у тех и общая жизнь.

Не только со своим штурманом я близко сошелся на Н. Но это была не та дружба, по которой я тосковал. Недаром же от этой поры у меня сохранилась груда не отправленных писем – я надеялся, что мы с Катей прочтем их после войны.

Между тем друг, и самый истинный, был так близко, что стоило только сесть на катер

– и через двадцать минут я мог обнять его и рассказать ему все, о чем я рассказывал Кате в своих не отправленных письмах.

**Глава 4.**

**ДОКТОР СЛУЖИТ В ПОЛЯРНОМ.**

Всю ночь мне снилось, что я снова ранен, доктор Иван Иваныч склоняется надо мной, я хочу сказать ему: «Абрам, вьюга, пьют», – и не могу, онемел. Это был повторяющийся сон, но с таким реальным, давно забытым чувством немоты я видел его впервые.

И вот, проснувшись еще до подъема и находясь в том забытьи, когда все чувствуешь и понимаешь, но даешь себе волю ничего не чувствовать и не понимать, я стал думать о док- торе и вспомнил рассказ Ромашова о том, как доктор приезжал к сыну на фронт. Не знаю, как это объяснить, но что–то неясное и как бы давно беспокоившее меня почудилось мне в этом воспоминании. Я стал перебирать его слово за словом и понял, в чем дело: Ромашов сказал, что доктор служит в Полярном.

Тогда, в эшелоне, я решил, что это просто вздор. Представить, что доктор может рас- статься с городом, в котором даже олени поворачивали головы, когда он проходил! С домом на улице его имени! С ненцами, которые прозвали его «изгоняющим червей» и приезжали советоваться о значении примуса в домашнем хозяйстве! Ромашов ошибся – не в Полярном, а в Заполярье.

Но в то утро на Н., сам не зная почему, я подумал: «А вдруг не ошибся?»

В самом деле – мог ли доктор приехать из Заполярья, которое было за тридевять зе- мель, в Ленинград летом 1941 года? Что, если он действительно служит в Полярном и я вот уже три месяца живу бок о бок с моим милым, старым, дорогим другом?..

Дежурный вошел, сказал негромко:

* Подъем, товарищи. И захлопал глазами, увидев, что одной рукой я поспешно натя- гиваю брюки, а другой снимаю китель, висевший на спинке стула.

Замечательно, что доктор вспомнил обо мне в тот же день и час – он уверял меня в этом совершенно серьезно. Накануне он прочел приказ о моем награждении и сперва не по- думал, что это я, потому что «мало ли Григорьевых на свете». Но на другой день, под утро, еще лежа в постели, решил, что это без сомнения я, и так же, как я, немедленно бросился к телефону.

* Иван Иваныч, дорогой, – сказал я, когда хриплый, совершенно невероятный для Ивана Иваныча голос донесся до меня, как будто с трудом пробившись сквозь вой осеннего ветра, разгулявшегося в то утро над Кольским заливом. – Это говорит Саня Григорьев. Вы

узнаете меня? Саня!

Осталось неизвестным, узнал ли меня доктор, потому что хриплый голос перешел в довольно мелодичный свист. Я бешено заорал, и телефонистка, оценив мои усилия, сооб- щила, что «докладывает военврач второго ранга Павлов».

* Что докладывает? Вы ему скажите – говорит Саня!
* Сейчас, – сказала телефонистка. – Он спрашивает, идете ли вы сегодня в полет. Я изумился:
* При чем тут полет? Вы ему скажите – Саня.
* Я сказала, что Саня, – сердито возразила телефонистка. – Будете ли вы сегодня ве- чером на Н. и где вас найти?
* Буду! – заорал я. – Пускай идет в офицерский клуб. Понятно?

Телефонистка ничего не сказала, потом что–то персставилось в трубке, и уже как буд- то не она, а кто–то другой буркнул:

* Придет.

Я еще хотел попросить доктора заглянуть в политуправление, узнать, нет ли для меня писем, – прошло дней десять, как я не справлялся о письмах, между тем адрес политуправ- ления в Полярном был оставлен Кораблеву и Вале. Но больше ничего уже не было слышно.

Конечно, это было чертовски приятно – узнать, что доктор в Полярном и что я сегодня увижу его, если не разыграется шторм. Но все–таки для меня так и осталось загадкой, поче- му, придя в клуб, я выпил сперва белого вина, потом красного, потом снова белого и т.д. Разумеется, все было в порядке, тем более, что командующий ВВС ужинал в соседней ком- нате с каким–то военным корреспондентом. Но знакомые девушки, время от времени, меж- ду фокстротами, садившиеся за мой столик, очень смеялись, когда я объяснял им, что если бы я умел танцевать, у меня была бы совершенно другая, блестящая жизнь. Все неудачи произошли только по одной причине – никогда в жизни я не умел танцевать.

В сущности, здесь не было ничего смешного, и мой штурман, например, который, за- думчиво посасывая трубочку, сидел напротив меня, сказал, что я совершенно прав. Но де- вушки почему–то смеялись.

В таком–то прекрасном, хотя и немного грустном настроении я сидел в офицерском клубе, когда у входа появился и стал осторожно пробираться между столиками высокий пожилой моряк с серебряными нашивками, по–моему, доктор Иван Иваныч.

Возможно, что я подумал о том, как он сгорбился и постарел, как поседела его бород- ка! Но все это, разумеется, был только мираж, а на деле прежний загадочный доктор моего детства шел ко мне, подняв очки на лоб и собираясь, кажется, взять меня за язык или загля- нуть в ухо.

* Доктор, я хочу пригласить вас к больному, – сказал я серьезно. – Интересный случай!

Человек может произнести только шесть слов: кура, седло, ящик, вьюга, пьют и Абрам.

* Саня!

Мы обнялись, взглянули друг на друга и опять обнялись.

* Дорогой Иван Иваныч, я немного пьян, неправда ли? – сказал я, заметив, что тень огорчения скользнуло по его доброму, смешному лицу. – Мы чертовски продрогли на аэро- дроме, и вот… Познакомьтесь, майор Озолин.
* Давно ли ты здесь, Саня? – говорил доктор, когда штурман, пробормотав что–то, ушел, чтобы не мешать нашей встрече. – Каким образом мы могли так долго не встретиться, Саня?
* Три месяца. Конечно, я виноват.
* Разве ты не знал, что я в Полярном? Ведь я же оставил Катерине Ивановне адрес!
* Кому?

Должно быть, у меня дрогнуло лицо, потому что он поправил очки и уставился на меня с тревожным выражением.

* Твоей жене, Саня, – осторожно сказал он. – Надеюсь, она здорова? Я был у нее в Ленинграде.
* Когда?
* В прошлом году, в августе месяце. Где она, где она? – спрашивал он, подвинувшись ко мне совсем близко и беспокойно моргая.

* Не знаю. Можно вам налить?

И я взялся за бутылку, не дожидаясь ответа.

* Полно, Саня, – мягко сказал доктор и отставил в сторону сперва свой стакан, потом мой. – Расскажи мне все. Ты помнишь Володю? Он убит, – вдруг скандал он, как будто чтобы доказать, что теперь я могу рассказать ему все. И у него глаза заблестели от слез под очками.

Опустив головы, сидели мы в светлом, шумном офицерском клубе. Оркестр играл фокстроты и вальсы, и медь слишком гулко отдавалась в небольших деревянных залах.

Молодые летчики смеялись и громко разговаривали в коридоре, отделявшем гостиные от ресторана. Быть может, вот этот, лет двадцати, с таким великолепным разворотом плеч, с такими сильными, сросшимися бровями, еще сегодня ночью, в тумане, над холодным, бес- покойным морем, увидит смерть, которая, как хозяйка, войдет в кабину его самолета… Точно что–то огромное, каменное, неудобное было внесено в дом, где мы прекрасно жили, и теперь, чтобы разговаривать, танцевать и смеяться, не думая об этом каменном и неудобном, нужно было умереть, как умер Володя.

Когда–то он писал стихи, и четыре строчки о том, как «эвенок Чолкар приезжает из школы домой», до сих пор я знал наизусть. Он гордился тем, что в Заполярье приезжал МХАТ, и встречал артистов с цветами. Это было счастье для доктора, что у него был такой сын, и вот старик сидит передо мной, повесив голову и стараясь справиться со слезами.

* Но где же Катя, что с ней?

Я рассказал, как мы потеряли друг друга.

* Господи, да ведь это же ты пропал, не она! – с изумлением сказал доктор. – Ты вое- вал на трех морях, был ранен, лежал в госпитале, не она. Жива и здорова! – торжественно объявил он. – И разыскивает тебя день и ночь. И найдет – или я не знаю, что такое женщина, когда она любит. Вот теперь действительно налей. Мы выпьем за ее здоровье…

Уже было сказано самое главное, уже прошла горькая минута сознания, что жизнь продолжается, хотя я не нашел жену и не знаю, жива ли она, а доктор потерял сына, а мы все никак не могли перешагнуть через эту минуту. Слишком много было пережито за последние годы – так много, что прежние мостики между нами показались теперь хрупкими и далеки- ми. Но у нас был один общий могущественный интерес, и едва отступило видение горя, как он ворвался в нашу беседу.

Конечно, это был Север. Как два старых опытных врача у постели больного, мы заго- ворили о том, как защитить Север, как уберечь его, как сделать, чтобы он стал самым луч- шим, веселым и гостеприимным местом на свете. Я рассказал доктору об однополчанах, о молодежи, которая превосходно дерется и при этом очень мало думает о будущем Севера и еще меньше о его прошлом.

* Некогда, вот и не думают, – сказал доктор. – Может быть, и правильно, что не дума- ют, – добавил он помолчав.

Но, вместо того чтобы доказать, что это правильно, он стал рассказывать «о тех, кто думает», то есть о коренных северянах.

Он рассказал о братьях Анны Степановны, которые служили на транспортных судах, а теперь на морских охотниках сражаются так, словно всю жизнь были военными моряками.

* Нет, ничего не пропало даром, – заключил он. – А что Север – фасад наш, как писал Менделеев, для меня никогда еще не было так очевидно, как теперь, во время войны!

Пора было уходить. Мы остались в ресторане одни. У доктора еще не было ночлега, следовательно, чтобы устроить ему койку, нужно было пораньше вернуться в полк.

Вообще вечер кончился, в этом не было никаких сомнений. Но, боже мой, как не хо- телось соглашаться с тем, что он уже кончился, в то время как мы не сказали друг другу и десятой доли того, что непременно хотели сказать! Ничего не поделаешь! Спустившись вниз, мы надели шинели, и теплый, светлый, немного пьяный мир остался за спиной, и впе- реди открылась черная, как вакса, Н., по которой гулял нехороший, невежливый, невеселый нордовый ветер.

**Глава 5.**

**ЗА ТЕХ, КТО В МОРЕ.**

Подводники были главными людьми в здешних местах – и не только потому, что в начале войны они сделали очень много, едва ли не больше всех на Северном флоте, но по- тому, что характерные черты их быта, их отношений, их напряженной боевой работы накладывали свой отпечаток на жизнь всего городка. Нигде не может быть такого равенства перед лицом смерти, как среди экипажа подводной лодки, на которой либо все погибают, либо все побеждают. Каждый военный труд тяжел, но труд подводников, особенно на «ма- лютках», таков, что я бы, кажется, не согласился променять на один поход «малютки» де- сять самых опасных полетов. Впрочем, еще в детстве мне представлялось, что между людь- ми, спускающимися так глубоко под воду, непременно должен быть какой–то тайный уговор, вроде клятвы, которую мы с Петькой когда–то дали друг другу.

В паре с одним капитаном мне удалось потопить третий транспорт в конце августа 1942 года. «Малютка» знаменитого Ф. с моей помощью утопила четвертый. Об этом не сто- ило бы и упоминать – я шел пустой и мог только сообщить в штаб координаты германского судна, но Ф. пригласил меня на «поросенка», и с этого «поросенка» начались события, о ко- торых стоит рассказать.

Кто не знает знаменитой флотской традиции – отмечать каждое потопленное судно торжественным обедом, на котором командование угощает победителей жареным поросен- ком? Накануне были пущены ко дну транспорт, сторожевик и эсминец, и озабоченные по- вара в белых колпаках внесли не одного, а целых трех поросят в просторную офицерскую столовую, где буквой «П» стояли столы и где за перекладиной этой буквы сидел адмирал – командующий Северным флотом.

Аппетитные, нежно–розовые, с бледными, скорбными мордами поросята лежали на блюде, и три командира стояли над ними с большими ножами в руках. И это было традици- ей – победители должны своими руками разделить поросенка на части. Ну и части! Огром- ный ломоть, набитый кашей и посыпанный затейливыми стружками хрена, плывет ко мне через стол! И нужно справиться с ним, чтобы не обидеть хозяев.

Адмирал встает с бокалом в руке. Первый тост – за командиров–победителей, за их экипажи. Я смотрю на него – он приезжал в наш полк, и мне запомнилось живое, молодое движение, с которым, закинув голову, он остановился, слушая командира полка, отдавав- шего рапорт. Он молод – всего на четыре года старше меня. Впрочем, я помню его еще по Испании.

За тех, кто в море, – второй тост! Звенят стаканы. Стоя пьют моряки за братьев, иду- щих на подвиг в пустыне арктической ночи. За воинскую удачу и спокойствие сердца в опасный, решительный час!

Теперь адмирал смотрит на меня через стол – я сижу справа от него, среди гос- тей–журналистов, которым Ф. с помощью вилки и ножа наглядно показывает, каким обра- зом был потоплен эсминец. Не сводя с меня глаз, адмирал что–то говорит соседу, и сосед, командир дивизиона, произносит третий тост. За капитана Григорьева, который «умело навел на германский караван подводную лодку». И адмирал показывает жестом, что пьет за меня…

Много было выпито в этот вечер, и я не стану перечислять всех тостов, тем более, что журналисты, о которых я упомянул, рассказали об этом «тройном поросенке» в периодиче- ской прессе. Скажу только, что адмирал исчез совершенно неожиданно – вдруг встал и вы- шел. Проходя за моим стулом, он наклонился и, не давая мне встать, сказал негромко:

– Прошу вас сегодня зайти ко мне, капитан.

**Глава 6.**

**БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ.**

Машина оторвалась, и через несколько минут эта каша из дождя и тумана, до которой на земле нам не было никакого дела, стала важной частью полета, который, как всякий по- лет, складывается из: а) задачи и б) всего, что мешает задаче.

Мы пошли «блинчиком», то есть с маленьким креном, развернулись и встали на курс. Итак, задача, или «особое задание», как сказал адмирал: немецкий рейдер (очевидно,

вспомогательный крейсер) прошел в Карское море, обстрелял порт Т. и бродит где–то дале- ко на востоке. Я должен был найти и утопить его – чем скорее, тем лучше, потому что наш караван с военными грузами шел по Северному морскому пути и находился сравнительно недалеко от этого порта. Да и вообще нетрудно было представить себе, что может сделать в мирных водах большой военный корабль!

…Как ни лень было тянуть, а пришлось добирать до пяти с половиной. Но и здесь не было ничего, кроме все той же унылой облачной каши, которую кто–то вроде самого госпо- да–бога круто размешивал великанской ложкой.

Итак – найти и утопить! Нельзя было даже сравнивать, насколько первое было слож- нее второго! Но как был поражен адмирал, когда я исправил на его карте почти все острова восточной части архипелага Норденшельда!

* Вы были там?
* Нет.

Он не знал, что я был и не был там. Карта архипелага Норденшельда была исправлена экспедицией «Норда» перед самой войной. Я не был там. Но когда–то в этих местах прошел капитан Татаринов и мысленно я, вслед за ним, тысячу раз.

Да, прав был доктор Иван Иваныч: ничто не пропадает даром! Жизнь поворачивает туда и сюда и падает, пробиваясь, как подземная река в темноте, в тишине вечной ночи, и вдруг выходит на простор, к солнцу и свету, как вышла сейчас моя машина из облачной ка- ши, выходит, и оказывается, что ничто не пропадает даром!

Это была привычная мысль – как шла бы моя жизнь на Севере, если бы Катя нашлась и мы вместе жили на Н.

Она бы проснулась, когда в четвертом часу ночи я зашел бы домой перед полетом. Она была бы румяная, теплая, сонная. Быть может, войдя, я поцеловал бы ее не так, как всегда, и она сразу поняла бы, как важно и интересно для меня то, что поручил адмирал.

Так это было тысячу раз, но будет ли когда–нибудь снова?

Вот мы сидим и пьем кофе, как в Сарабузе, Ленинграде, Владивостоке, когда я будил ее ночью. В халатике, с косами, заплетенными на ночь, она молча смотрит на меня и вдруг бежит куда–то, вспоминает, что у нее есть что–то вкусное для меня – пьяная вишня или маслины, которые мы оба любили. И потом, в полете, весь экипаж хвалит мою жену и ест маслины или пьяную вишню.

Да, это была моя Катя, с ее свободой и гордостью и любовью, от которой вечно, должно быть до гроба, будет кружиться моя голова. Катя, о которой я ничего не знаю, кроме того, что ее нет со мной. Хотя бы, поэтому нужно непременно найти и утопить этот рейдер.

– Штурман, курс!

На три градуса разошлись пилотский и штурманский курсы и превосходно сошлись, когда из карманов были выброшены портсигары, фонарики, зажигалки…

О чем я думал? О Кате. О том, что лечу в те места, куда некогда должен был отпра- виться с нею и куда меня не пускали так долго. Разве не знал я, наверное, безусловно, что придет время, и я прилечу в эти места? Разве не чертил с точностью до полуградуса марш- рут, по которому, как в детском ослепительном сне, прошли люди со шхуны «Св. Мария» – прошли, тяжело дыша, с закрытыми, чтобы не ослепнуть, глазами? Прошли, и впереди – большой человек, великан в меховых сапогах…

Но это был уже бред. Я прогнал его. Новая Земля была недалеко.

Вы бы соскучились, если бы я стал подробно рассказывать о том, как мы искали рей- дер. Однообразна пустыня арктических морей, трудно найти замаскированную, чуть замет- ную полоску военного корабля в этой беспредельной пустыне. Добрых две недели мы пере- летали с базы на базу. Один из полетов продолжался семь часов – лучше, если бы он был покороче, потому что, пройдя над Карским морем в двух направлениях и вернувшись к Но- вой Земле, мы не нашли ее, как будто эти огромные острова до сих пор просто по ошибке значились на географической карте. Пока хватало горючего, в черном тумане мы ходили над ней, и если бы ветер, на наше счастье, не проделал в тумане небольшую светлую дырку, по- жалуй, мне бы не удалось дописать эту книгу. Мы бросились к этому пятнышку, сразу за-

крыли газ и благополучно сели.

В другой раз мы на шлюпке подрулили под птичий базар. Миллионы черно–белых кайр сидели на скалах – так много, что весь берег мили на две казался круто посыпанным солью. Они кричали, хлопали крыльями, свистели, срывались и, расталкивая соседей, вновь садились на отвесные скалы, и в общем оглушительном шуме слышались отдельные воз- гласы, точно это и был базар, на котором ссорились, сидя на возах, бранчливые бабы. Вонь была страшная, и, разумеется, взглянув на это любопытное явление, нужно было немедлен- но отвернуть. Но стрелок–радист, где–то читавший о чайках–бургомистрах, на беду, нашел пару этих огромных птиц, сидевших отдельно над общим гнездовьем и как будто с важно- стью наблюдавших за порядком на шумном базаре. Он выстрелил и убил бургомистра. Но, боже мой, как расплатились мы за этот злосчастный выстрел! Все пропало – и земля, и небо! Черно–белая буря крыльев снялась с берега и рванулась над шлюпкой, крича свистя и раз- рывая воздух. Шум гигантского водопада обрушился на нас – и хорошо, если бы только шум! Сутки после этого случая мы мылись сами и отмывали шлюпку, причем я нашел помет даже в боковом, застегнутом на пуговицу кармане реглана.

В общем, это были две тяжелые недели на Новой Земле. Каждый раз мы стартовали с надеждой встретить рейдер, хотя мне давно было ясно, что его нужно искать гораздо во- сточнее, и ходили, ходили над морем, пока не кончалось горючее и пока штурман не спра- шивал меня хладнокровно:

– Домой?

И «дом» открывался – причудливо изрезанные дикие горы, синие ледники, как бы расколотые вдоль и готовые скользнуть в бездонные снеговые ущелья.

Но вот пришла минута, когда кончилась наша «новоземельская жизнь» – превосходная минута, о которой стоит рассказать немного подробнее.

Я стоял у амбара, крыша которого была обложена тушками убитых птиц, а на стенах распялены шкуры тюленей. Два маленьких ненца, похожих на пингвинов в своих меховых костюмах с глухими рукавами, играли на берегу, а я разговаривал с их родителями – ма- ленькой, как девочка, мамой и таким же папой, с коричневой, высовывающейся из малицы головой. Помнится, речь шла о международных делах, и хотя анализ безнадежного положе- ния Германии был взят мною из очень старого номера «Правды», ненец собирался сегодня же рассказать его приятелю, который жил сравнительно недалеко от него – всего в двухстах километрах. Маленькая жена едва ли разбиралась в политике, но кивала блестящей черной, стриженной в скобку головкой и все говорила:

* Холосо, холосо.
* Хочешь ехать на фронт? – спросил я ненца.
* Хоцу, хоцу.
* Не боишься?
* Зацем бояться, зацем?

Это и была минута, когда я увидел штурмана, который бежал ко мне, – не шел, а именно, бежал по берегу от мыска, за которым стоял самолет.

* Перебазируемся!
* Куда?
* В Заполярье!

Он сказал «в Заполярье», и, хотя не было ничего невозможного в том, что нас пере- брасывали в Заполярье, то есть именно в те места, где, по–моему, и нужно было разыскивать рейдер, я был поражен! Ведь это было мое Заполярье!

* Не может быть!

Штурман уже принял прежний хладнокровно–неторопливый, латышский вид.

* Прикажете проверить?
* Не нужно.
* Когда вылетаем?
* Через двадцать минут.

**Глава 7.**

**СНОВА В ЗАПОЛЯРЬЕ.**

Не дорога, а засаженная кедрами аллея вела к городу от аэродрома, и, глядя на эти шумные, богато раскинувшиеся кедры, я невольно подумал о том, что все–таки давно я не был в этом городе моей молодости и самых смелых за всю жизнь надежд.

Мне не сразу удалось найти улицу доктора Павлова по той причине, что в «мои» вре- мена на этой улице стоял только один дом, принадлежавший самому доктору, а все осталь- ные существовали лишь на плане, висевшем в окрисполкоме. Теперь среди высоких соседей затерялся маленький дом, в котором за чтением дневников штурмана Климова я некогда проводил свои вечера. Что это были за милые молодые вечера! Осторожно поскрипывали в соседней комнате половицы под легкими шагами Володи. Доктор вдруг крякал, крепко по- тирал руки и читал вслух понравившееся ему место из книги, а потом начинал кричать на ежа, который почему–то любил жевать его ночные туфли. Анна Степановна входила ко мне

* большая, решительная, справедливая, которой можно было все сказать, все доверить, – и молча ставила передо мной тарелку с огромным куском пирога.

…Она и теперь не согнулась, не поддалась горю, только поседела, и две большие, глубокие складки повисли над опустившимся ртом. Что–то мужское показалось в ее фигуре и выражении лица, как это бывает у очень больших стареющих женщин.

* + Как же вас называть теперь? – сказала она с недоумением, когда мы встретились в садике перед домом и вошли в столовую, кажется, совершенно прежнюю, с желтым чистым полом и деревенскими половиками. – Вы же мальчиком были тогда. Сколько лет прошло? Пятнадцать? Двадцать?
  + Только девять, Анна Степановна. А называйте Саня. Для вас я всегда буду Саня.

С первого взгляда она поняла, что я знаю о Володе, но долго не говорила о нем из того душевного такта, который – я это почувствовал – не позволил ей так сразу, в первые минуты встречи, заставить меня разделить с нею горе. Я сам что–то начал, но она перебила и быстро сказала: «Потом!»

* + Что же вы, к нам? Надолго ли? Как я рада, что живы–здоровы!
  + Ненадолго, Анна Степановна. Сегодня же улетаем.
  + Морской летчик, в орденах, – оказала она, как будто вместе со мной гордилась, что я морской летчик и в орденах. – Откуда же теперь? С какого фронта?
  + Сейчас с Новой Земли, а прежде из Полярного. Да прямо от Ивана Иваныча!
  + Полно!
  + Честное слово.

Анна Степановна замолчала.

* + Значит, видели его?
  + Да какое там видел! Мы встречаемся очень часто. Разве он не писал вам об этом?
  + Писал, – сказала Анна Степановна, и я понял, что она знает о Кате.

Но мне не нужно было останавливать ее, как она остановила меня, когда я заговорил о Володе. Кто же глубже и сильнее, чем она, мог почувствовать мою тоску и волнение, – все, о чем я ни с кем не мог говорить? Она не утешала меня, не сравнивала своего горя с моим – только обняла и поцеловала в голову, а я поцеловал ее руки.

* + Ну, как же старик мой? Здоров?
  + Совершенно здоров.
  + Стар уж стал служить, – задумчиво сказала Анна Степановна. – Ему тут легко с местным народом, на воле. А это не шутка – в шестьдесят один год военная служба. Можно, я друзьям сообщу, что вы прилетели? Как у вас время?

Я сказал, что время до ночи, и, поставив передо мной хлеб, рыбу и кружку самодель- ного вина, которое очень вкусно делали в Заполярье, она накинула платок, извинилась и вышла.

Да, это было легкомысленно с моей стороны – позволить Анне Степановне сообщить друзьям, что я прилетел. Не прошло и получаса, как легковая машина остановилась у сади- ка, и я с удивлением увидел в ней весь свой экипаж. Стрелок и радист чему–то громко сме- ялись, а штурман в знаменитых на весь Северный флот широких парадных штанах сидел

рядом с шофером и равнодушно пускал в воздух большие шары дыма.

* Саня, за нами прислал товарищ Ледков, – сказал он, когда я вышел. – Садись и едем к нему немедля. Мы позавтракаем у него, а потом…
* Какой товарищ Ледков?
* Не знаю. Высокая дама в платке приехала на аэродром и сказала, что за нами послал товарищ Ледков. Она вышла у окрисполкома.
* Ледков? Постойте–ка… ах, помню! Ну, конечно, Ледков!

Это был тот самый член окрисполкома, за которым мы с Иваном Иванычем некогда летали в становище Ванокан, где Ледков лежал, тяжело раненный в ногу. На ненецком Се- вере он был известен не меньше, чем знаменитый Илья Вылка на Новой Земле. Кстати ска- зать, совсем недавно в Полярном доктор рассказывал о Ледкове, каким он стал энергичным, смелым работником и как сумел в первые же недели подчинить всю жизнь огромного окру- га, с разбросанным кочевым населением, задачам войны.

* Между прочим, – сказал доктор, – он интересовался, нашел ли ты капитана Татари- нова. Помнишь, когда мы ждали тебя с экспедицией – ведь он даже ездил в какие–то стой- бища, опрашивал ненцев. По его сведениям, в одном из родов должны были храниться пре- дания о «Святой Марии».

Нетрудно представить себе, что Ледков (я смутно помнил его и удивился, когда еще далеко не старый человек с крепким, точно сложенным из булыжников лицом и острыми китайскими усами, встречая нас, вышел на крыльцо окрисполкома) радушно принял нас в Заполярье. После обеда, на котором я произнес длинную речь, посвященную доктору Ивану Иванычу и его боевой деятельности на Северном флоте, мы поехали на лесозавод, потом в новую поликлинику и т.д. Везде мы что–то ели и пили, и везде я рассказывал об Иване Иваныче, так что, в конце концов, мне самому стало казаться, что без участия Ивана Ива- ныча зашита наших северных морских путей могла бы, пожалуй, потерпеть неудачу.

С глубоким интересом осматривал я Заполярье. Когда я уехал, городу едва пошел ше- стой год, Теперь ему минуло пятнадцать, и с первого взгляда можно было заключить, что он не потерял времени даром, в особенности, если вспомнить, что три самых дорогих года бы- ли отданы на войну.

И здесь, за две с половиной тысячи километров от фронта, она чувствовалась, если вглядеться, во многом. Как прежде, в порту готовились к Карской, но уже не стояли у при- чалов огромные иностранные пароходы, не сновали по городу веселые, удивленные негры.

Как прежде, на лесную биржу с верховьев Енисея, Ангары, Нижней Тунгуски прибывали плоты, и домики на плотах с дымящимися трубами, с развешанным на веревках бельем, как прежде, создавали на Протоке мирное впечатление плавучей деревни. Но опытный взгляд легко мог определить далеко не мирное назначение деревянного сырья, из которого состояла эта деревня.

Однако совсем другая черта поразила меня, когда уже под вечер мы поехали в Медве- жий Лог, где когда–то стоял единственный чум моего приятеля эвенка Удагира, а теперь раскинулись два великолепных, просторных квартала двухэтажных домов: мне представи- лось, что в здешних местах уже как бы перекинут мост между «до войны» и «после войны». Отразившая нападение и победившая жизнь с прежним суровым упрямством утверждала себя в великой северной стройке.

Перед вылетом еще нужно было кое–что сделать, и я отправил штурмана и стрелков на аэродром, а сам остался с Ледковым в его кабинете в окрисполкоме.

Анна Степановна ушла. Но мы условились, что я непременно загляну к ней проститься перед отлетом.

* Ну, скажите откровенно, – сказал Ледков, – как там наш старик? Ведь мы без него, как без рук. И это совсем нетрудно устроить.
* Что именно?
* Вызвать и демобилизовать. Он из возраста вышел.
* Нет, не останется, – сказал я, вспоминая, как сердился Иван Иваныч, когда командир дивизиона не разрешил ему идти в рискованный поход на подводной лодке. – Может быть, в отпуск? А так, насовсем, не захочет. Особенно теперь.

Это «теперь» было сказано в смысле близкого окончания войны, но Ледков понял меня

иначе: «Теперь, когда убит Володя».

* Да, жалко Володю, – сказал он. – Что это был за скромный, благородный мальчик! И прекрасные стихи писал. Вы знаете, доктор тайком посылал их Горькому, и потом у Володи была переписка с Горьким. Одну фразу из письма Горького Володе мы взяли как тему для школьного плаката…

И он показал мне этот плакат: «Едва ли где–нибудь на земле есть дети, которые живут в таких же суровых условиях, как вы, но будущей вашей работой вы сделаете всех детей земли такими же гордыми смельчаками». Над этой действительно великолепной фразой был нарисован Горький, немного похожий на ненца.

Мы сидели в креслах у широкого окна, из которого открывалась панорама новых улиц, бегущих от прибрежья к тайге. Лесозавод дымил, электротележки бегали между штабелями у биржи, а вдалеке, нетронутые, сизые, стояли леса и леса…

Это была минута молчания, когда мы не говорили ни слова, но там, за окном, шел властный немой разговор – разговор, который начался в ту минуту, когда советский человек впервые вступил на забытые берега Енисея.

Я искоса взглянул на Ледкова. Он встал и, прихрамывая, – он был на протезе, – подо- шел к окну. Волнение пробежало по его суровому солдатскому лицу с умными, между при- пухших монгольских век, глазами я понял, что и он оценил эту минуту.

* Вы много сделали, – сказал я ему.
* Нет, едва коснулись, это первый шаг, – отвечал он. – До войны нам казалось, что сделано много. А теперь я вижу, что из тысячи задач мы решили две или три.

Прощаясь, я спросил о его давней поездке в ненецкие стойбища, где якобы должны были храниться какие–то предания о людях со шхуны «Св. Мария». Правда ли, что он ездил туда и опрашивал ненцев?

* Как же, ездил. Это стойбище рода Яптунгай.
* И что же?
* Нашел.

Как будто мне было семнадцать лет – так вдруг крепко стукнуло сердце.

* То есть? – спросил я хладнокровно.
* Нашел и записал. Сейчас, пожалуй, не вспомню, где эта запись, – сказал он, окиды- вая взглядом вертящуюся этажерку с множеством папок и свернутых трубок бумаги. – В общем, примерно так: в прежнее время, когда еще «отец отца жил», в род Яптунгай пришел человек, который назвался матросом со зверобойной шхуны, погибшей во льдах Карского моря. Этот матрос рассказал, что десять человек спаслись и перезимовали на каком–то ост- рове к северу от Таймыра. Потом пошли на землю, но дорогой «очень шибко помирать ста- ли». А он «на одном месте помирать не захотел», вперед пошел. И вот добрался до стойбища Яптунгай.
* А имени его не сохранилось?
* Нет. Он скоро умер. У меня записано: «Пришел, говорил – жить буду. Окончив го- ворить – умер».

Карта Ненецкого округа с куском Карского моря висела в кабинете Ледкова, я нашел привычный маршрут – к Русским островам, к мысу Стерлегова, к устью Пясины…

* А в каком районе кочует род Яптунгай?

Ледков указал. Но еще прежде, чем он указал, я нашел глазами и точно отметил се- верную границу района.

* Это был матрос со «Святой Марии».
* Вы думаете?
* А вот сосчитаем. По его словам, со шхуны спаслось десять человек.
* Да, десять.
* Со штурманом Климовым ушло тринадцать. На шхуне осталось двенадцать. Из них двое – механик Тисс и матрос Скачков – погибли в первый год дрейфа. Остается десять. Но дело даже не в этом. Я и прежде мог с точностью до полуградуса указать путь, которым они прошли. Но мне было неясно, удалось ли им добраться до Пясины.
* А теперь?
* Теперь ясно.

И я указал точку – точку, где находились остатки экспедиции капитана Татаринова, если они еще находились где–нибудь на земле…

* Дорогая Анна Степановна, это страшное свинство, что я так засиделся с Ледковым, – сказал я, заехав к Анне Степановне ночью и найдя ее поджидающей меня за накрытым сто- лом. – Но надо ехать. Только расцелую вас
* и айда.

Мы обнялись.

* Когда вы вернетесь?
* Кто знает? Может быть, завтра. А может быть, никогда.
* «Никогда» – это слово страшное, я его знаю, – сказала она, вздохнув, и перекрестила меня. – И вы не говорите его. Вернетесь и будете счастливы, и мы, старики, еще погреемся подле вашего счастья.

…Поздней ночью – о том, что была поздняя ночь, можно было догадаться, лишь взглянув на часы, – мы стартовали из Заполярья. Красноватое солнце высоко стояло на небе. Как дым огромного локомотива, бежали, быстро нарастая, пушистые облака.

Думал ли я, что наступает день, которого я ждал всю мою жизнь? Нет! Экипаж без меня проверял моторы, и я беспокоился, основательно ли была сделана эта проверка.

**Глава 8. ПОБЕДА.**

Мы вылетели в два часа ночи, а в половине пятого утра утопили рейтер. Правда, мы не видели, как он затонул. Но после нашей торпеды он начал «парить», как говорят моряки, то есть потерял ход и скрылся под облаками пара.

В общем, это произошло приблизительно так: он шел с таким видом, что между мною и штурманом произошел краткий спор (который лучше не приводить в этой книге) по во- просу о том, не принадлежит ли этот корабль к составу Северного флота. Убедившись, что это не так, мы ушли от него, как это любил делать мой штурман. Потом резко развернулись и взяли курс на цель.

Жаль, что я не могу нарисовать ту довольно сложную фигуру, которую мне пришлось проделать, чтобы сбросить торпеду по возможности точно. Это была восьмерка, почти пол- ная, причем в перехвате я произвел две атаки – первая была неудачной. Потом мы стали уползать, именно уползать, потому что, как это вскоре выяснилось, и немцы не потеряли времени даром.

Еще во время первого захода стрелок закричал:

– Полна кабина дыму!

Три сильных удара послышались, когда я заходил второй раз, но некогда было думать об этом, потому что я уже лез на рейдер со стиснутыми зубами. Зато теперь у меня было до- статочно времени, чтобы убедиться в том, что машина разбита. Горючее текло, масло текло, и если бы не штурман, своевременно пустивший в ход одну новую штуку, мы бы давно по- горели. Правый мотор еще над целью перешел с маленького шага на большой, а потом на очень большой – можно сказать, на гигантский.

Конечно, у нас были лодочки и можно было приказать экипажу выпрыгнуть с пара- шютами. Но эти лодочки мы испытывали под Архангельском, на тихом, глухом озерке, и то, вылезая из воды, дрожали, как собаки. А здесь под нами было такое неуютное, покрытое мелкобитым льдом холодное море!

Не буду перечислять тех кратких докладов о состоянии машины, которые делал мой экипаж. Их было много – гораздо больше, чем мне бы хотелось. После одного из них, очень печального, штурман спросил:

* Будем держаться, Саня?

Еще бы нет! Мы вошли в облачко, и в двойном кольце радуги я увидел внизу отчетли- вую тень нашего самолета. К сожалению, он снижался. Без всякого повода с моей стороны он вдруг резко пошел на крыло, и если бы можно было увидеть смерть, мы, без сомнения, увидели бы ее на этой плоскости, отвесно направленной к морю.

…Сам не знаю как, но я вывел машину. Чтобы облегчить ее, я приказал стрелку сбро- сить пулеметные диски. Еще десять минут – и самые пулеметы, кувыркаясь, полетели в мо- ре.

* Держимся, Саня?

Конечно, держимся! Я спросил штурмана, как далеко до берега, и он ответил, что не- далеко, минут двадцать шесть. Конечно, соврал, чтобы подбодрить меня, – до берега было не меньше чем тридцать.

Не впервые в жизни приходилось мне отсчитывать такие минуты. Случалось, что, преодолевая страх, я отсчитывал их с отчаянием, со злобой. Случалось, что они лежали на сердце, как тяжелые круглые камни, и я тоскливо ждал – когда же, наконец, скатятся в про- шлое еще один мучительный камень–минута!

Теперь я не ждал. С бешенством, с азартом, от которого какое–то страшное веселье разливалось в душе, я торопил и подталкивал их.

* Дотянем, Саня?
* Конечно, дотянем!

И мы дотянули. В полукилометре от берега, на который некогда было даже взглянуть, мы плюхнулись в воду и не пошли ко дну, как это ни было странно, а попали на отмель. Ко всем неприятностям теперь присоединились ледяные волны, которые немедленно окатили нас с головы до ног. Но что значили эти волны, и то, что машину мотало с добрый час, пока мы добрались до берега, и тысяча новых трудов и забот в сравнении с короткой фразой в очередной сводке Информбюро: «Один наш самолет не вернулся на базу»?

Почему я решил, что это залив Миддендорфа и что, следовательно, мы сели далеко от жилых мест? Не знаю. Штурману было не до вычислений, и, пока мы шли над морем, его интересовал единственный курс – берег. Теперь ему было снова не до вычислений, потому что я приказал закрепить машину, и мы работали до тех пор, пока не повалились кто где на сухом берегу, между камней, припекаемых солнцем. Тихо лежали мы, глядя в небо – чистое, просторное, ни облачка, ни тучки – и думая каждый о своем. Но это свое у каждого опреде- лялось общим чувством: «Победа».

Мы лежали совершенно без сил, трудно было даже стряхнуть с лица налипший песок, и он сам засыхал под солнцем и отваливался кусками. Победа. Погасшая трубка лежала у штурмана на груди, он вдруг громко всхрапнул, и трубка скатилась. Победа. Ничего не надо, только смотреть в это полное голубизны, сияния, могущества небо и чувствовать под ладо- нями теплые гальки. Победа.

Все было победой, даже то, что страшно хотелось есть, а я не мог заставить себя под- няться, чтобы достать из машины бутерброды, которые Анна Степановна сунула мне на до- рогу…

Не стоит рассказывать о том, как мы осматривали машину. Очевидно, причиной дыма, о котором доложил стрелок, был снаряд, разорвавшийся в кабине. Если не считать сотни или две пробоин, самолет выглядел вполне прилично – хотя бы в сравнении с той грудой железа, на которой мне иногда приходилось садиться. Но у него был один недостаток – он больше не мог летать, и своими средствами невозможно было привести в порядок моторы.

За обедом – у нас был превосходный обед: на первое суп из сухого молока, шоколада и сливочного масла, а на второе тот же суп, но уже в сухом виде, – было решено.

а) закрепить машину там, где она стояла, глубоко врезавшись в песчаную «кошку», – все равно мы не могли поднять ее на высокий берег;

б) оставить при машине стрелка; в) идти искать людей и помощь.

Я забыл упомянуть, что еще когда мы тянули над морем, кто–то, кажется радист, за- метил на берегу не то дом, не то деревянную вышку. Она пропала, едва мы подрулили под берег, – скрылась за поворотом. Возможно, что это был навигационный знак – то есть при- брежное сооружение, которое очень редко посещается судами. Тогда нам от него было бы мало толку. А если нет?

Впрочем, можно было и никуда не ходить, а после обеда снова завалиться между кам- ней, выбрав уютное подветренное местечко, и отдыхать, глядя на проходящие голубоватые льдины, с которых, звеня и сверкая, сбегала вода. Но радио, к сожалению, было разбито, и

как его ни вертел упрямый радист, оно было немо, как камень.

Словом, все–таки нужно было идти. Куда? Очевидно, к этому навигационному знаку, который мог оказаться электромаяком, или туманной предостерегательной станцией, или еще чем–нибудь в этом роде.

– Но, прежде всего, – сказал я штурману, где мы?

Прошло не меньше четверти часа, прежде чем он ответил на этот вопрос! Правда, он называл не те координаты, которые назвал я, когда Ледков спросил, где же, по моему мне- нию, находятся остатки экспедиции капитана Татаринова.

Но координаты штурмана были так близки к этой точке – точке, в которую я ткнул пальцем на карте Ледкова, – что я невольно осмотрелся вокруг – не увижу ли сейчас в двух шагах, вот за тем камнем, самого капитана…

**ЧАСТЬ 10.**

**ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЧКА.**

**Глава 1.**

**РАЗГАДКА.**

Пришлось бы написать еще одну книгу, чтобы подробно рассказать о том, как была найдена экспедиция капитана Татаринова. В сущности говоря, у меня было очень много данных – гораздо больше, чем, например, у известного Дюмон–Дюрвиля, который еще мальчиком с поразительной точностью указал, где он найдет экспедицию Лаперуза. Мне было даже легче, чем ему, потому что жизнь капитана Татаринова тесно переплелась с моей и выводы из этих данных, в конечном счете, касались и его и меня.

Вот путь, которым он должен был пройти, если считать бесспорным, что он вернулся к Северной Земле, которая была названа им «Землей Марии»: от 79°35' широты, между 86–м и 87–м меридианами, к Русским островам и к архипелагу Норденшельда. Потом – вероятно, после многих блужданий – от мыса Стерлегова к устью Пясины, где старый ненец встретил лодку на нартах. Потом к Енисею, потому что Енисей – это была единственная надежда встретить людей и помощь. Он шел мористой стороной прибрежных островов, по возмож- ности – прямо…

Мы нашли экспедицию, то есть то, что от нее осталось, в районе, над которым десятки раз летали наши самолеты, везя почту и людей на Диксон, машины и товары на Нордвик, перебрасывая геологические партии для розысков угля, нефти, руды. Если бы капитан Та- таринов теперь добрался до устья Енисея, он встретил бы десятки огромных морских судов. На островах, мимо которых он шел, он увидел бы теперь электрические маяки и радиомаяки, он услышал бы наутофоны, громко гудящие во время тумана и указывающие путь кораблям. Еще триста–четыреста километров вверх по Енисею, и он увидел бы Заполярную железную дорогу, соединяющую Дудинку с Норильском. Он увидел бы новые города, возникшие во- круг нефтяных промыслов, вокруг шахт и лесозаводов.

Выше я упомянул, что с первых дней на Севере я писал Кате. Груда не отправленных писем осталась на Н., я надеялся, что мы вместе прочтем их после войны. Эти письма стали чем–то вроде моего дневника, который я вел не для себя, а для Кати. Приведу из него лишь те места, в которых говорится о том, как была открыта стоянка.

* 1. *«…Я был поражен, узнав, как близко подступила жизнь к этому месту, которое казалось мне таким бесконечно далеким. В двух шагах от огромной морской дороги лежит оно, и ты была совершенно права, когда говорила, что*

*„отца не нашли лишь потому, что никогда не искали“. Между маяком и ра- диостанцией проведена телефонная линия, и не временная, а постоянная, на столбах. Горнорудные разработки ведутся в десяти километрах к югу, так что если бы мы не открыли стоянку, через некоторое время шахтеры наткнулись бы на нее.*

*…Штурман первый поднял с земли кусок парусины. Ничего удивительного! Мало ли что можно найти на морском берегу! Но это была парусиновая лямка, в которую впрягаются, чтобы тащить нарты. Потом стрелок нашел алюми- ниевую крышку от кастрюли, измятую жестянку, в которой лежали клубки ве- ревок, и тогда мы разбили ложбину от холмов до гряды на несколько квадратов и стали бродить – каждый по своему квадрату…*

*Я где–то читал, как по одной надписи, вырезанной на камне, ученые от- крыли жизнь целой страны, погибшей еще до нашей эры. Так постепенно стало оживать перед нами это место. Я первый увидел брезентовую лодку, то есть, вернее, понял, что этот сплющенный блин, боком торчащий из размытой зем- ли, – лодка, да еще поставленная на сани. В ней лежали два ружья, какая–то шкура, секстант и полевой бинокль, все заржавленное, заплесневелое, заросшее мхом. У гряды, защищающей лагерь с моря, мы нашли разную одежду, между прочим расползшийся спальный мешок из оленьего меха. Очевидно, здесь была разбита палатка, потому что бревна плавника лежали под углом, образуя вме- сте со скалой закрытый четырехугольник. В этой «палатке» мы нашли корзин- ку из–под провизии с лоскутом парусины вместо замка, несколько шерстяных чулок и обрывки белого с голубым одеяла. Мы нашли еще топор и «удочку» – то есть бечевку, на конце которой был привязан самодельный крючок из булавки. Часть вещей валялась около «палатки» – спиртовая лампочка, ложка, дере- вянный ящичек, в котором лежало много всякой всячины и, между прочим, не- сколько толстых, тоже самодельных, парусных игл. На некоторых вещах еще можно было разобрать круглую печать «Зверобойная шхуна „Св. Мария“ или надпись „Св. Мария“. Но этот лагерь был совершенно пуст – ни живых, ни мертвых».*

* 1. *«…Это была самодельная походная кухня – жестяной кожух, в кото- рый было вставлено ведро с крышкой. Обычно под такое ведро подставляют железный поддонок, в котором горит медвежье или тюленье сало. Но не под- донок, а обыкновенный примус стоял в кожухе; я потряс его – и оказалось, в нем еще был керосин. Попробовал накачать – и керосин побежал тонкой струйкой. Рядом мы нашли консервную банку с надписью: „Борщ малороссийский. Фабри- ка Вихорева. Санкт–Петербург, 1912“. При желании можно было вскрыть этот борщ и подогреть его на примусе, который пролежал в земле около тридцати лет».*
  2. *«…Мы вернулись в лагерь после безуспешных поисков по направлению к Гальчихе. На этот раз мы подошли к нему с юго–востока, и холмы, которые казались нам однообразно волнистыми, теперь предстали в другом, неожидан- ном виде. Это был один большой скат, переходящий в каменистую тундру и пе- ресеченный глубокими ложбинами, как будто вырытыми человеческой рукой. Мы шли по одной из этих ложбин, и никто сначала не обратил внимания на полу развалившийся штабель плавника между двумя огромными валунами. Бревен было немного, штук шесть, но среди них одно отпиленное. Отпиленное – это нас поразило! До сих пор мы считали, что лагерь был расположен между ска- листой грядой и холмами. Но он мог быть перенесен, и очень скоро мы убеди- лись в этом.*

*Трудно даже приблизительно перечислить все предметы, которые были найдены в этой ложбине. Мы нашли часы, охотничий нож, несколько лыжных палок, два одноствольных ружья системы «Ремингтон», кожаную жилетку, трубочку с какой–то мазью. Мы нашли полу истлевший мешок с фотопленками. И наконец – в самой глубокой ложбине мы нашли палатку, и под этой палаткой, на кромках которой еще лежали бревна плавника и китовая кость, чтобы ее не сорвало бурей, под этой палаткой, которую пришлось вырубать изо льда топо- рами, мы нашли того, кого искали…*

*Еще можно было догадаться, в каком положении он умер, – откинув пра- вую руку в сторону, вытянувшись и, кажется, прислушиваясь к чему–то. Он*

*лежал ничком, и сумка, в которой мы нашли его прощальные письма, лежала у него под грудью. Без сомнения, он надеялся, что письма лучше сохранятся, при- крытые его телом».*

* 1. *«…Не было и не могло быть надежды, что мы увидим его. Но пока не была названа смерть, пока я не увидел ее своими глазами, все светила в душе эта детская мысль. Теперь погасла – но ярко загорелась другая: не случайно, не напрасно искал я его – для него нет и не будет смерти. Час назад пароход по- дошел к электромаяку, и моряки, обнажив головы, перенесли на борт гроб, по- крытый остатками истлевшей палатки. Салют раздался, и пароход в знак траура приспустил флаг. Я один еще брожу по опустевшему лагерю „Св. Ма- рии“ и вот пишу тебе, мой друг, родная Катя. Как бы мне хотелось быть сей- час с тобою! Скоро тридцать лет, как кончилась эта мужественная борьба за жизнь, но я знаю, что для тебя он умер только сегодня. Как будто с фронта пишу я тебе – о друге и отце, погибшем в бою. Скорбь и гордость за него вол- нуют меня, и перед зрелищем бессмертия страстно замирает душа…»*

**Глава 2.**

**САМОЕ НЕВЕРОЯТНОЕ.**

*«Как бы мне хотелось быть сейчас с тобою»,* – я читал и перечитывал эти слова, и они казались мне такими холодными и пустыми, как будто в пустой и холодной комнате я говорил со своим отражением. Катя была нужна мне, а не этот дневник – живая, умная, ми- лая Катя, которая верила мне и любила меня. Когда–то, потрясенный тем, что она отверну- лась от меня на похоронах Марьи Васильевны, я мечтал о том, что приду к ней, как Овод, и брошу к ее ногам доказательства своей правоты. Потом я сделал то, что весь мир узнал об ее отце и он стал национальным героем. Но для Кати он остался отцом – кто же, если не она должна была первая узнать о том, что я нашел его? Кто же, если не она говорила мне, что все будет прекрасно, если сказки, в которые мы верим, еще живут на земле? Среди забот, трудов и волнений войны я нашел его. Не мальчик, потрясенный туманным видением Арк- тики, озарившим его немой, полусознательный мир, не юноша, с молодым упрямством стремившийся настоять на своем, – нет, зрелый, испытавший все человек, я стоял перед от- крытием, которое должно было войти в историю русской науки. Я был горд и счастлив. Но что мог я сделать с моим сердцем, которое томилось горьким чувством, что все могло быть иначе!

Лишь в конце января я вернулся в полк. На следующий день меня вызвал командую- щий Северным флотом.

…Никогда не забуду этого утра – и вовсе не потому, что своими бледными и в то же время смелыми красками оно представилось мне как бы первым утром на земле. Для Край- него Севера это характерное чувство. Но точно ожидание какого–то чуда стеснило мне грудь, когда, покурив и поболтав с командиром катера, я поднялся и встал на палубе среди тяжелого, разорванного тумана. То заходил он на палубу, то уходил, и между его дикими клочьями показывалась над сопками полная луна с вертикальными, вверх и вниз, снопами. Потом она стала ясная, как бы победившая все вокруг, но побледневшая, обессилевшая, ко- гда оказалось, что мы идем к утреннему, розовому небу. Через несколько минут она в по- следний раз мелькнула среди проносящегося, тающего тумана, и голубое, розовое, снежное утро встало над Кольским заливом.

Мы вошли в бухту, и такой же, как это утро, белый, розовый, снежный городок от- крылся передо мной.

Он был виден весь, как будто нарочно поставленный на серый высокий склон с кра- сивыми просветами гранита. Белые домики с крылечками, от которых в разные стороны разбегались ступени, были расположены линиями, одна над другой, а вдоль бухты стояли большие каменные дома, построенные полукругом. Потом я узнал, что они так и назывались

– циркульными, точно гигантский циркуль провел этот полукруг над Екатерининской бух-

той.

Поднявшись на высокую лестницу, которая вела под арку, перекинутую между этими

домами, я увидел бухту от берега до берега, и непонятное волнение, которое все утро то пробуждалось, то утихало в душе, вновь овладело мною с какой–то пронзительной силой. Бухта была темно–зеленая, непроницаемая, лишь поблескивающая от света неба. Что–то очень далекое, южное, напоминающее высокогорные кавказские озера, было в этой замкну- тости берегов, – но на той стороне убегали сопки, покрытые снегом, и на их ослепительном фоне лишь кое–где был виден тонкий черный рисунок каких–то невысоких деревьев.

Я не верю в предчувствия, но это слово невольно пришло мне в голову, когда, пора- женный красотой Полярного и Екатерининской бухты, я стоял у циркульного дома. Точно это была моя родина, которую до сих пор я лишь видел во сне и напрасно искал долгие го- ды, – таким явился передо мной этот город. И в радостном возбуждении я стал думать, что здесь непременно должно произойти что–то очень хорошее для меня и даже, может быть, самое лучшее в жизни.

В штабе еще никого не было. Я пришел до начала занятий. Ночной дежурный сказал, что, насколько ему известно, мне приказано явиться к десяти часам, а сейчас половина восьмого.

Не знаю отчего, но с облегчением, точно это было хорошо, что еще половина восьмо- го, я вышел и снова стал смотреть на бухту из–под арки циркульного дома.

Все изменилось, пока я был в штабе: бухта стала теперь серая, строгая между серых, строгих берегов, и в глубине перспективы медленно двигался к Полярному какой–то разла- пый пароходик. Мне захотелось взглянуть, как он будет подходить, и я перешел на другую лестницу, которая поворачивала под углом, переходя в просторную площадку.

Это был один из двух пассажирских пароходов, ходивших между Мурманском и По- лярным. Очередь к патрулю, проверявшему документы, выстроилась на сходнях. Среди мо- ряков, сошедших на берег, было несколько штатских и даже три или четыре женщины с корзинками и узлами…

Без сомнения, это осталось от тех печальных времен, когда, убежав от Гаера Кулия, я подолгу сиживал на пристани у слияния Песчинки и Тихой. Подходил пароход, канат летел с борта, матрос ловко, кругами закидывал его на косую торчащую стойку, сразу много лю- дей появлялось на пристани, так что она даже заметно погружалась в воду, – и никому из этих шумных, веселых, отлично одетых людей не было до меня никакого дела. Когда бы потом в жизни я ни видел радостную суматоху приезда, ощущение заброшенности и одино- чества неизменно возвращалось ко мне.

Но на этот раз, вероятно потому, что это был совсем другой приезд, зимний, и на берег сошли совсем другие, озабоченные, военные люди, я не испытал подобного чувства.

Очень странно, но, как все, что я видел в Полярном, мне был приятен этот старенький пароход, и нетерпеливая очередь, заполнившая сходни, и одинокие фигуры, идущие по бе- регу к домику, где нужно было зарегистрировать командировки. Все это относилось к моему ожиданию самого лучшего в жизни, но, как и почему – этого я бы не мог объяснить.

Еще рано было возвращаться в штаб, и я пошел искать доктора, но не в госпиталь, а на его городскую квартиру.

Конечно, он жил в одном из этих белых домиков, расположенных линиями, одна над другой. С моря они показались мне куда изящнее и стройнее. Вот и первая линия, а мне нужно на пятую линию, семь.

Как ненцы, я шел и думал обо всем, что видел. Англичане в смешных зимних шапках, похожих на наши ямщицкие, и в балахонах защитного цвета обогнали меня, и я подумал о том, что по этим балахонам видно, как плохо представляют они себе нашу зиму. Мальчик в белой пушистой шубке, серьезный и толстый, шел с лопаткой на плече, усатый моряк под- хватил его, немного пронес, и я подумал о том, что, наверное, в Полярном очень мало детей. Ничем не отличался этот дом на пятой линии, семь, от любого соседа по правую и ле-

вую руку, разве что на лестнице его был настоящий каток, сквозь который едва просвечи- вали ступени. С размаху я взбежал на крыльцо. Какие–то моряки вышли в эту минуту, я столкнулся с ними, и один из них, осторожно скользя по катку, сказал, что «неспособность разобраться в обстановке полярной ночи указывает на недостаток в организме витаминов».

Это были врачи. Несомненно, Иван Иваныч жил в этом доме.

Зайдя в переднюю, я толкнул одну дверь, потом другую. Обе комнаты были пустые, пропахшие табаком, с открытыми койками и по–мужски разбросанными вещами, и в обеих было что–то гостеприимное, точно хозяева нарочно оставили открытыми двери.

* Есть тут кто?

Нечего было и спрашивать. Я вернулся на улицу. Баба с подоткнутым подолом терла снегом босые ноги – я спросил у нее, точно ли этот дом номер семь.

* А вам кого?
* Доктора Павлова.
* Он, верно, спит еще, – сказала баба. – Вы обойдите, вон его окно. И стукните хоро- шенько!

Проще было постучать доктору в дверь, но я почему–то послушался и подошел к окну. Дом стоял на косогоре, и это окно на задней стороне приходилось довольно низко над зем- лей. Оно было в инее, но, когда я постучал и стал всматриваться, прикрыв глаза ладонью, мне почудились очертания женской фигуры. Казалось, женщина стояла, склонившись над корзиной или чемоданом, а теперь выпрямилась, когда я постучал, и подошла к окну. Так же, как я, она поставила ладонь козырьком над глазами, и сквозь дробящийся гранями иней я увидел чье–то тоже дробящееся за мутным стеклом лицо.

Женщина шевельнула губами. Она ничего не сделала, только шевельнула губами. Она была почти не видна за снежным, матовым, мутным стеклом. Но я узнал ее. Это была Катя.

**Глава 3.**

**ЭТО БЫЛА КАТЯ.**

Как рассказать о первых минутах нашей встречи, о беспамятстве, с которым я вгляды- вался в ее лицо, целовал и снова вглядывался, начинал спрашивать и перебивал себя, потому что все, о чем я спрашивал, было давно, тысячу лет назад, и как бы ни было страшно то, что она мучилась и умирала от голода в Ленинграде и перестала надеяться, что увидит меня, но все это прошло, миновало, и вот она стоит передо мной, и я могу обнять ее, – господи, этому невозможно поверить!

Она была бледна и очень похудела, что–то новое появилось в лице, потерявшем прежнюю строгость.

* Катька, да ты постриглась!
* Давно, еще в Ярославле, когда болела.

Она не только постриглась, она стала другая, но сейчас я не хотел думать об этом, – все летело, летело куда–то – и мы, и эта комната, совершенно такая же, как две соседние, с разбросанными вещами, с открытым Катиным чемоданом, из которого она что–то доставала, когда я постучал, с доктором, который, оказывается, все время был здесь же, стоял в углу, вытирая платком бороду, а потом стал уходить на цыпочках, но я его не пустил. Но главное, самое главное – все время я забывал о нем! – Катя в Полярном! Как это вышло, что Катя оказалась в Полярном?

* Господи, да я писала тебе каждый день! Мы на час разошлись в Москве. Когда ты заходил к Вале Жукову, я стояла на Арбате в очереди за хлебом.
* Не может быть!
* Ты оставил ему письмо, я сразу побежала искать тебя – но куда? Кто же мог думать, что ты пойдешь к Ромашову!
* Откуда ты знаешь, что я пошел к Ромашову?
* Я все знаю, все! Милый мой, дорогой! Она целовала меня.
* Я тебе все расскажу.

И она рассказала, что Вышимирский, перепуганный насмерть, разыскал Ивана Павлы- ча и объявил ему, что я арестовал Ромашова.

* Но кто этот контр–адмирал Р.? Я писала ему для тебя, потом лично ему – никакого ответа! Ты не знал, что едешь сюда? Почему я должна была писать ему для тебя?

* Потому что у меня не было своего адреса… Из Москвы я поехал искать тебя.
* Куда?
* В Ярославль. Я был в Ярославле. Я уже собрался в Новосибирск, когда получил назначение.
* Почему ты не написал Кораблеву, когда приехал сюда?
* Не знаю. Боже мой, неужели это ты? Ты – Катя?

Мы ходили обнявшись, натыкаясь на вещи, и снова все спрашивали – почему, почему, и этих «почему» было так же много, как много было причин, которые разлучили нас под Ленинградом, провели по соседним улицам в Москве, а теперь столкнули в Полярном, куда я только что приехал впервые и где еще полчаса назад невозможно было вообразить мою Катю!

О том, что я нашел экспедицию, она узнала из телеграммы ТАСС, появившейся в цен- тральных газетах. Она снеслась с доктором, и он помог ей получить пропуск в Полярное. Но они не знали, куда мне писать, – да если бы это и было известно, едва ли дошли бы до сто- янки экспедиции капитана Татаринова их телеграммы и письма!

Доктор куда–то исчез, потом вернулся с горячим чайником и не то что остановил эту скорость, с которой все летело куда–то вперед, а хоть посадил нас рядом на диван и стал угощать какими–то железными сухарями. Потом он притащил бидон со сгущенным моло- ком и поставил его на стол, извинившись за посуду.

Потом ушел. Я больше не задерживал его, и мы остались одни в этом холодном доме, с кухней, которая была завалена банками от консервов и грязной посудой, с передней, в ко- торой не таял снег. Почему мы оказались в этом доме, из окон которого видны сопки и вид- но, как тяжелая вода важно ходит между обрывистыми снежными берегами? Но это было еще одно «почему», на которое я не старался найти ответа.

Уходя, доктор сунул мне какую–то электрическую штуку, я сразу забыл о ней и вспомнил, когда, засмеявшись чему–то, заметил, что у меня, как у лошади на морозе, изо рта валит густой, медленно тающий пар. Эта штука была камином, очевидно местной кон- струкции, но очень хорошим, судя по тому, как он бодро, хрипло гудел до утра. Очень скоро в комнате стало тепло. Катя хотела прибрать ее, но я не дал. Я смотрел на нее. Я крепко держал ее за руки, точно она могла так же внезапно исчезнуть, как появилась…

Еще идя к доктору, я заметил, что погода стала меняться, а теперь, когда вышел из дому, потому что было уже без четверти десять, прежний холодный, звенящий ветер упал,

воздух стал непрозрачный, и мягкий снег повалил тяжело и быстро – верные признаки при- ближения пурги.

К моему изумлению, в штабе уже знали о том, что приехала Катя. Знал и командую- щий – почему бы иначе он встретил меня улыбаясь? Очень кратко я доложил ему, как был потоплен рейдер, и он не стал расспрашивать, только сказал, что вечером мне предстоит рассказать об этом на военном совете. Экспедиция «Св. Марии» – вот что интересовало его!

Я начал сдержанно, неловко – хотя самая странность того, что экспедиция была найдена во время выполнения боевого задания, вовсе не показалась бы странностью тому, кто знал мою жизнь. Каким же образом в двух словах передать эту мысль командующему флотом? Но он слушал с таким вниманием, с таким искренним, молодым интересом, что, в конце концов, я махнул рукой на эти «два слова», – начал рассказывать попросту, – и вдруг получилось именно так, как все это действительно было.

Мы расстались наконец, и то лишь потому, что адмирал вспомнил о Кате…

Не знаю, сколько времени я провел у него, должно быть час или немного больше, а между тем, выйдя, я не нашел Полярного, которое скрылось в кружении летящего, слепя- щего, свистящего снега.

Хорошо, что я был в бурках, – и то пришлось выше колен поднять отвороты. Какие там линии – и в помине не было линий! Лишь фантастическое воображение могло предста- вить, что где–то за этими черными тучами сталкивающегося снега стоят дома и в одном из них, на пятой линии, семь, Катя кладет твердые, как железо, галеты на камин, чтобы ото- греть их, по моему совету. Конечно, я добрался до этого дома. Самым трудным оказалось узнать его – за полчаса он стал похож на сказочную избушку, скосившуюся набок и зава- ленную снегом по окна. Как бог пурги, ввалился я в переднюю, и Кате пришлось обметать

меня веником, начиная с плеч, на которых выросли и примерзли высокие ледяные нашлеп- ки.

…Уже все, кажется, было переговорено, уже дважды мы наткнулись на прощальные письма капитана, – я привез их в Полярное, хотел показать доктору; другие материалы экс- педиции остались в полку. Но мы обошли эти письма и все, что было связано с ними, точно почувствовав, что в счастье нашей встречи об этом еще нельзя говорить.

Уже Катя рассказала, какой стал Петенька, – смуглый и чуть–чуть косит, одно лицо с покойной сестрой. Уже мы посоветовались, что делать с бабушкой, которая поссорилась с директором Перышкиным и сняла в колхозе «отдельную квартиру». Уже я узнал, что боль- шой Петя был снова ранен и награжден и вернулся на фронт – в Москве Катя случайно по- знакомилась с командиром его батальона, Героем Советского Союза, и тот сказал, что Петя

«плевал на эту смерть» – слова, поразившие Катю. И о Варе Трофимовой я узнал, что если все будет, как думает Катя, «для них обоих это счастье и счастье». Уже изменилось что–то в комнате – иначе, удобнее расположились вещи, точно были благодарны Кате за то, что в мужской, холодной комнате доктора стало тепло. Уже прошло пять или шесть часов с тех пор, как произошла эта чудная, бесконечно важная для меня перемена, – весь мир нашей семейной жизни, покинувший нас так надолго, на полтора страшных года, вернулся нако- нец, – а я все еще не мог привыкнуть к мысли, что Катя со мною.

* Знаешь, о чем я думал чаще всего? Что я мало любил тебя и забывал о том, как тебе трудно со мною.
* А я думала, как тебе было трудно со мною. Когда ты уезжал и я волновалась за тебя, со всеми тревогами, заботами, страхом, это было все–таки счастье.

Мы говорили, и она еще продолжала что–то устраивать, как всегда в гостиницах, даже в поездах, везде, где мы бывали вдвоем. Это была привычка женщины, постоянно переез- жающей с мужем с места на место, – и с какою жалостью, нежностью, раскаянием я почув- ствовал Катю в этой печальной привычке!

Потом пришел сосед, тот самый моряк, который сказал, что я неспособен разобраться в обстановке полярной ночи, – толстый, низенький, красный человек и великолепный едок – в этом мы убедились немного позднее.

Он зашел познакомиться и с первого слова объявил, что он – коллега Ивана Иванови- ча, приехавший в Полярное, чтобы испытать на подводных лодках какие–то спасательные приборы. Вечером он собирался в Мурманск, но проклятая пурга спутала все расчеты.

* Не дают «добро», – сказал он со вздохом, – так что больше ничего не остается, как закусить и выпить:

У Ивана Ивановича были вино и консервы, но он сказал, что это не то, и принес свои вино и консервы. Пыхтя, он открыл консервы и, зачем–то засучив рукава, стал подогревать их на камине. Мы с Катей что–то ели весь день, и он, не очень огорчившись нашим отказом, сам быстро, аппетитно все съел и выпил. Он уже знал от доктора, что мы потеряли и нашли друг друга, и поздравил нас, а потом объявил, что знает тысячи подобных историй.

* И это еще удачно, что ни вы, ни мадам не жалеете о холостой жизни, – поучительно сказал он. – Да–с, бывает и так!

Не помню, о чем еще мы болтали, только помню, что оттого, что, кроме нас, был кто–то чужой, еще острее чувствовалось счастье.

Потом он ушел и весь вечер звонил в порт – не дают ли «добро»? Но какое уж там

«добро», когда пурга еще только что пошла бродить–гулять над Баренцевым морем! Даже в доме окна начинали внезапно дрожать, точно кто–то тряс их снаружи, стучась то робко, то смело.

Мы были одни. Я не мог насмотреться на Катю. Боже мой, как я стосковался по ней! Я все забыл! Я забыл, например, как она убирает волосы на ночь – заплетает косички. Теперь волосы отрасли еще мало, и косички вышли коротенькие, смешные. Но все–таки она заплела их, открыв маленькие, красивые уши, которые я тоже забыл.

Опять мы говорили, теперь шепотом, и совсем о другом – после того, как долго мол- чали. Это другое было Ромашов.

Не помню, где я читал о палимпсестах, то есть старинных пергаментах, с которых позднейшие писцы стирали текст и писали счета и расписки, но через много лет ученые от-

крывали первоначальный текст, иногда принадлежавший перу гениальных поэтов.

Это было похоже на палимпсест, когда Катя рассказала мне, что, по словам Ромашова, произошло в осиновой роще, а затем я, как резинкой, стер эту ложь и под ней проступила правда. Я понял и объяснил ей тот сложный, подлый ход в его подлой игре, который он сде- лал дважды – сперва для того, чтобы показать Кате, что он спас меня, а потом – чтобы дока- зать мне, что он спас Катю.

Слово в слово я передал ей наш последний разговор на Собачьей Площадке, и Катя была поражена признанием Ромашова – признанием, объяснившим мои неудачи и рас- крывшим загадки, которые всегда тяготили ее.

* И ты все записал?
* Да. Изложил, как в протоколе, и заставил его подписаться.

Я повторял его рассказ о том, как всю жизнь он следил за мной, мучаясь от зависти, со школьных лет тяготившей его пустую, беспокойную душу. Но о великолепном Катином портрете над его столом я ничего не сказал. Я не сказал, потому что эта любовь была оскорбительна для нее.

Она слушала меня, и у нее было мрачное лицо, а глаза горели, горели… Она взяла мою руку и крепко прижала к груди. Она была бледна от волнения. Она ненавидела Ромашова вдвое и втрое, может быть, за то, о чем я не хотел говорить. А для меня он был далек и ни- чтожен, и мне было весело думать, что я победил его…

Все еще спрашивал толстый доктор, дают ли «добро», и по–прежнему не давали «доб- ро», потому что по–прежнему не унималась, рвалась, рассыпалась снежным зарядом пурга. И к нам заглянула она на Рыбачий и к немцам, гоня волну на их суда, спрятавшиеся в нор- вежских фиордах. Не дают «добро», закрыт порт, шторм девять баллов.

Спит жена, положив под щеку ладонь, красивая и умная, которая, не знаю за что, навсегда полюбила меня. Она спит, и можно долго смотреть на нее и думать, что мы одни и что хотя скоро кончится эта недолгая счастливая ночь, а все–таки мы отняли ее у этой дикой пурги, которая ходит–гуляет над миром.

Мне нужно было вставать в шестом часу, я упросил Катю, чтобы она позволила мне не будить ее, и мы даже простились накануне. Но, когда я открыл глаза, она уже мыла посуду, в халатике, и прислоняла мокрые тарелки к камину. Она знала, где я служу, но мы не гово- рили об этом. Только когда я заторопился и встал, оставив недопитый стакан, она спросила, как бывало прежде, беру ли я с собой парашют. Я сказал, что беру.

Мы вышли с толстым доктором. Пурга улеглась, и весь город был в длинных, протя- нувшихся вдоль дорог, круто срезанных снежных дюнах.

**Глава 4.**

**ПРОЩАЛЬНЫЕ ПИСЬМА.**

Уходя, я отдал Кате прощальные письма капитана. Когда–то в Энске, в Соборном саду, я так же оставил ее одну за чтением письма, которое мы с тетей Дашей нашли в сумке уто- нувшего почтальона. Я стоял тогда под башней старца Мартына, и мне становилось холод- но, когда мысленно вместе с Катей я читал строчку за строчкой.

Теперь я мог увидеть ее лишь через несколько дней. Но все равно, мы снова читали вместе, я знал, что Катя чувствует мое дыхание за своими плечами. Вот эти письма.

1

*Санкт–Петербург. Главное Гидрографическое управление. Капитану пер- вого ранта П.С.Соколову.*

*Дорогой мой Петр Сергеевич!*

*Надеюсь, что это письмо дойдет до вас. Я пишу его в ту минуту, когда наше путешествие подходит к концу, и, к сожалению, заканчиваю его в одино- честве. Не думаю, чтоб кто–нибудь на свете мог справиться с тем, что при- шлось перенести нам. Все мои товарищи погибли один за другим, а разведыва- тельная партия, которую я послал в Гальчиху, не вернулась.*

*Я оставляю Машу и вашу крестницу в тяжелом положении. Если бы я знал, что они обеспечены, то не очень терзался бы, покидая сей мир, потому что чувствую, что нашей родине не приходится нас стыдиться. У нас была большая неудача, но мы исправили ее, вернувшись к открытой нами земле и изучив ее, сколько в наших силах.*

*Мои последние мысли – о жене и ребенке. Очень хочется, чтобы у дочки была удача в жизни. Помогите им, как вы помогали мне. Умирая, я с глубокой благодарностью думаю о вас и о моих лучших годах молодости, когда я работал под вашим руководством.*

**Обнимаю вас. Иван Татаринов.**

2

*Его Превосходительству Начальнику Главного Гидрографического управления*

*Начальника экспедиции на судне «Св. Мария» И.Л.Татаринова*

*Рапорт*

*Настоящим имею честь довести до сведения Главного Гидрографического управления нижеследующее:*

*1915 года, марта месяца 16 дня, в широте, обсервированной 79°08'30», и в долготе от Гринвича 89°55'00», с борта дрейфующего судна «Св. Мария» при хорошей видимости и ясном небе была замечена на восток от судна неизвест- ная обширная земля с высокими горами и ледниками. На нахождение земли в этом районе и раньше указывали некоторые признаки: так, еще в августе 1912 года мы видели большие стаи гусей, летевших с севера курсом норд–норд–ост – зюйд–зюйд–вест. В начале апреля 1913 года мы видели на норд–остовом гори- зонте резкую серебристую полоску и над нею очень странные по форме облака, похожие на туман, окутавший далекие горы.*

*Открытие земли, тянущейся в меридиональном направлении, дало нам надежду покинуть судно при первом благоприятном случае, чтобы, выйдя на сушу, следовать вдоль ее берегов по направлению Таймырского полуострова и дальше, до первых сибирских поселений в устьях реки Хатанги или Енисея, смотря по обстоятельствам. В это время направление нашего дрейфа не оставляло сомнений. Судно двигалось вместе со льдом генеральным курсом норд 7° к весту. Даже в случае изменения этого курса на более западный, то есть параллельно движению нансеновского «Фрама», мы не могли выйти изо льдов раньше осени 1916 года, а провизии имели только до лета 1915 года.*

*После многочисленных затруднений, не имеющих отношения к существу настоящего рапорта, нам удалось 23 мая 1915 года выйти на берег вновь от- крытой земли в широте 81°09' и долготе 58°36'. Это был покрытый льдом остров, обозначенный на приложенной к сему рапорту карте под литерой А. Только через пять дней нам удалось достичь второго, огромного острова, од- ного из трех или четырех, составляющих новооткрытую землю. Определенный мною астрономический пункт на выдающемся мысе этого острова, обозначен- ного литерой Г, дал координаты 80°26'30» и 92°08'00».*

*Двигаясь к югу вдоль берегов этой неизвестной земли, я исследовал ее бе- рега между 81–й и 79–й нордовыми параллелями. В северной части берег пред- ставляет собой довольно низменную землю, частично покрытую обширным ледником. Дальше к югу он становится более высоким и свободен ото льда. Здесь мы нашли плавник. В широте 80° обнаружен широкий пролив или залив, идущий от пункта под литерой С в OSO направлении.*

*Начиная от пункта под литерой Ф, берег круто поворачивает в зюйд–зюйд–вестовом направлении. Я намеревался исследовать южный берег вновь открытой земли, но в это время было уже решено двигаться вдоль берега*

*Харитона Лаптева по направлению к Енисею.*

*Доводя до сведения Управления о сделанных мною открытиях, считаю не- обходимым отметить, что определения долгот считаю не вполне надежными, так как судовые хронометры, несмотря на тщательный уход, не имели по- правки времени в течение более двух лет.*

*Иван Татаринов.*

*При сем: 1. Заверенная копия вахтенного журнала судна «Св. Мария».*

1. *Копия хронометрического журнала.*
2. *Холщовая тетрадь с вычислениями и данными съемки.*
3. *Карта заснятой местности. 18 июня 1915 года.*

*Лагерь на острове 4 в Русском Архипелаге.*

3

Дорогая Маша!

Боюсь, что с нами кончено, и у меня нет надежды даже на то, что ты ко- гда–нибудь прочтешь эти строки. Мы больше не можем идти, мерзнем на ходу, на привалах, даже за едой никак не согреться. Ноги очень плохи особенно пра- вая, и я даже не знаю, как и когда я ее отморозил. По привычке, я пишу еще

«мы», хотя вот уже три дня, как бедный Колпаков умер. И я не могу даже похо- ронить его – пурга! Четыре дня пурги – оказалось, что для нас это слишком много.

Скоро моя очередь, но я совершенно не боюсь смерти, очевидно потому, что сделал больше, чем в моих силах, чтобы остаться жить.

Я очень виноват перед тобой, и эта мысль – самая тяжелая, хотя и другие не многим легче.

Сколько беспокойства, сколько горя перенесла ты за эти годы – и вот еще одно, самое большое. Но не считай себя связанной на всю жизнь и, если встре- тишь человека, с которым будешь счастлива, помни, что я этого желаю. Так скажи и Нине Капитоновне. Обнимаю ее и прошу помочь тебе, сколько в ее си- лах, особенно насчет Кати.

У нас было очень тяжелое путешествие, но мы хорошо держались и, веро- ятно, справились бы с нашей задачей, если бы не задержались со снаряжением и если бы, то снаряжение не было таким плохим.

Дорогая моя Машенька, как–то вы будете жить без меня! И Катя, Катя! Я знаю, кто мог бы помочь вам, но в эти последние часы моей жизни не хочу называть его. Не судьба была мне открыто высказать ему все, что за эти годы накипело на сердце. В нем воплотилась для меня та сила, которая всегда связы- вала меня по рукам и ногам, и горько мне думать о всех делах, которые я мог бы совершить, если бы мне не то что помогли, а хотя бы не мешали. Что делать? Одно утешение – что моими трудами открыты и присоединены к России новые обширные земли. Трудно мне оторваться от этого письма, от последнего разго- вора с тобой, дорогая Маша. Береги дочку да смотри, чтобы она не ленилась. Это

– моя черта, я всегда был ленив и слишком доверчив.

Катя, доченька моя! Узнаешь ли ты когда–нибудь, как много я думал о тебе и как мне хотелось еще хоть разок взглянуть на тебя перед смертью!

Но хватит. Руки зябнут, а мне еще писать и писать. Обнимаю вас. Ваш навеки.

**Глава 5.**

**ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА.**

Мне не хотелось, чтобы Катя оставалась в комнате доктора, тем более, что это была комната даже и не доктора, а одного погибшего командира. Вещи и мебель принадлежали ему. Вдруг остановившаяся жизнь была видна во всем – в робких, неоконченных акварелях, изображавших виды Полярного и симметрически висевших на стенах, в аккуратной стопоч- ке специальных книг, в фотографиях, которых здесь было очень много – все девушка с длинными косами, в украинском костюме, и она же постарше, с голым толстым младенцем на руках.

Разные, совершенно ненужные мысли сами собой рождаются в подобных комнатах, и женщине, у которой муж служит в авиации, не всегда легко прогнать подобные мысли. Но Катя решила остаться.

– Что ж такого! – сказала она. – Это самая обыкновенная вещь.

Я не настаивал, тем более, что мог приезжать в Полярное сравнительно редко, и мне было приятно знать, что Катя живет подле доктора Ивана Ивановича и видит его каждый день. Сразу же она стала работать – сперва в госпитале медицинской сестрой, а потом в Старом Полярном, где у доктора был амбулаторный прием. Когда через две недели я опять приехал, она была уже полна интересами своей новой жизни. Удивительно быстро вошла она в эту жизнь.

Из этих мест уходили суда, чтобы на дальних и ближних морских дорогах встречать союзные и топить германские конвои, и все, что происходило в городке, так или иначе было связано с этой борьбой. Любимых командиров знали по именам. Впрочем, многих из них давно уже знает по именам весь Советский Союз.

Необычайная близость тыла и фронта, поразившая меня в Н., здесь была еще заметнее, потому что сама жизнь в Полярном была гораздо сложнее и богаче. Не «случалась» эта жизнь, а шла – по всему было видно, что люди, от командующего до любого краснофлотца, прочно расположились среди этих диких скал и будут воевать до победы. Именно потому, что это было ровное напряжение, оно и проникало так глубоко в любую мелочь повседнев- ного существования.

Вспоминая зиму 1942 – 1943 года в Полярном, я вижу, что это была едва ли не самая счастливая семейная зима в нашей жизни. Это может показаться странным, если предста- вить себе, что почти через день я летал на бомбежку германских судов. Но одно было ле- тать, не зная, что с Катей, и совершенно другое – зная, что она в Полярном, жива и здорова и что на днях я увижу ее разливающей чай за столом. Зеленый шелковый абажур, к которому были приколоты чертики, искусно вырезанные Иваном Ивановичем из плотной бумаги, ви- сел над этим столом, и все, что радовало нас с Катей в ту памятную зиму, рисуется мне в светлом кругу, очерченном границами зеленого абажура, а все, что заботило и огорчало, прячется в далеких, темных углах.

Я помню наши вечера, когда после долгих, напрасных попыток связаться с доктором я ловил первый попавшийся катер, являлся в Полярное, и друзья, как бы ни было поздно, со- бирались в этом светлом кругу. Что ночь, и днем – ночь!

Толстый доктор–едок выползал из своей комнаты в огромной шубе–кухлянке и зани- мал за столом если не наиболее видное, то, во всяком случае, наиболее шумное место. Са- мый его вид нетерпеливого ожидания чего–то хорошего или хотя бы веселого, казалось, производил шум. Даже когда он молчал, слышно было, как он пыхтит, жует или просто громко дышит.

За ним – если считать по шуму – очевидно, следовал я. В самом деле, никогда я еще так много не говорил, не пил, не смеялся! Как будто чувство, которое овладело мною, когда я увидел Катю, так и осталось в душе – все летело, летело куда–то… Куда? Кто знает! Я ве- рил, что к счастью. Что касается доктора Ивана Иваныча, который чувствовал себя совсем больным после гибели сына, то и он оживал на наших вечерах и все чаще цитировал – главным образом по поводу международных проблем – своего любимого автора Козьму Пруткова.

Наконец на последнее место – если считать по шуму – нужно поставить моего штур-

мана, который вообще не говорил ни слова, а только задумчиво сдвигал брови и, вынув трубку изо рта, выпускал шары дыма. Я любил его – кажется, я уже упоминал об этом – за то, что он был превосходным штурманом и любил меня – черта, которая всегда нравилась мне в людях.

А Катя хозяйничала. Как у нее получалось, что это наш дом, что мы принимаем гостей и от души стараемся, чтобы они были сыты и пьяны, не знаю. Но получалось.

Конечно, не было бы этих вечеров, этого счастья встреч с Катей, когда на утро она провожала меня и робкое, молодое солнце, похожее на детский воздушный шар, солнце начала полярного дня, как будто нарочно для нас поднималось над линией сопок… не было бы этого душевного подъема или он был бы совершенно другим, если бы радио каждую ночь не приносило известий о наших победах. Это был общий подъем, который с одинаково нарастающей силой чувствовался не только здесь, на Севере, где был крайний правый фланг войны и где на диком, срывающемся в воду утесе стоял последний солдат сухопутного фронта, но и на любом участке этого фронта.

Уже отгремели последние выстрелы в Сталинграде, черные от копоти бойцы вылезли из водосточных люков и, щурясь от света, от снега, смотрели на испепеленный отвоеванный город, – среди гранитных сопок Полярного гулко отозвалось эхо этой великой победы. Ка- жется, мы сделали все возможное, чтобы оно покатилось и дальше – вдоль берегов Норве- гии, туда, где осторожно крадутся от чужой страны к чужой стране немецкие караваны, ту- да, где они выгружают чужое оружие и берут на борт чужую руду и везут, везут ее в настороженной, полной загадочных шумов ночи Баренцева моря…

Все свободное время мы – доктор, Катя и я – тратили на изучение и подбор материалов экспедиции «Св. Марии».

Не знаю, что было сложнее – проявить фотопленку или прочитать документы экспе- диции. Как известно, снимок с годами слабеет или покрывается вуалью – недаром на фу- тлярах всегда указывается срок, после которого фабрика не ручается за отчетливость изоб- ражения. Этот срок для пленки «Св. Марии» кончился в феврале 1914 года. Кроме того, металлические футляры были полны воды, пленки промокли насквозь и, очевидно, годами находились в таком состоянии. Лучшие фотографы Северного флота объявили, что это

«безнадежная затея» и что если бы даже они (фотографы) были божественного происхож- дения, то и в этом случае им не удалось бы проявить эту пленку. Я убедил их. В результате из ста двенадцати снимков, просушенных с бесконечными предосторожностями, около пя- тидесяти были признаны «достойными дальнейшей работы». После многократного копиро- вания удалось получить двадцать два совершенно отчетливых снимка.

В свое время я прочитал дневники штурмана Климова, исписанные мелким, неразбор- чивым, небрежным почерком, залитые тюленьим жиром. Но все же это были отдельные странички в двух переплетенных тетрадках. Документы же Татаринова, кроме прощальных писем, сохранившихся лучше других бумаг, были найдены в виде плотно слежавшейся бу- мажной массы, и превратить ее в хронометрический или вахтенный журнал, в карты и дан- ные съемки своими силами я, конечно, не мог. Это также было сделано в специальной лабо- ратории, под руководством опытного человека. В этой книге не найдется места для подробного рассказа о том, что было прочтено в холщовой тетради, о которой капитан Та- таринов упоминает, перечисляя приложения. Скажу только, что он успел сделать выводы из своих наблюдений и что формулы, предложенные им, позволяют вычислить скорость и направление движения льдов в любом районе Северного Ледовитого океана. Это кажется почти невероятным, если вспомнить, что сравнительно короткий дрейф «Св. Марии» про- ходил по местам, которые, казалось бы, не дают данных для таких широких итогов. Но для гениального прозрения иногда нужны немногие факты.

«Ты прочел жизнь капитана Татаринова, – так говорил я себе, – но последняя ее стра- ница осталась закрытой».

«Еще ничего не кончилось, – так я отвечал. – Кто знает, быть может, придет время, когда мне удастся открыть и прочесть эту страницу». Время пришло. Я прочел ее – и она оказалась бессмертной.

**Глава 6.**

**ВОЗВРАЩЕНИЕ.**

Летом 1944 года я получил отпуск, и мы с Катей решили провести три недели в Москве, а четвертую в Энске – навестить стариков.

Мы приехали 17 июля – памятная дата! В этот день через Москву прошли пленные немцы.

У нас были легкие чемоданы, мы решили доехать до центра на метро – и, выйдя из Аэропорта, добрых два часа не могли перейти дорогу. Сперва мы стояли, потом, утомив- шись, сели на чемоданы, потом снова встали. А они все шли. Уже их хорошо бритые, с жалкими надменными лицами, в высоких картузах, в кителях с «грудью» генералы, среди которых было несколько знаменитых мучителей и убийц, находились, должно быть, у Крымского моста, а солдаты все шли, ковыляли – кто рваный и босой, а кто в шинели нараспашку.

С интересом и отвращением смотрел я на них. Как многие летчики–бомбардировщики, за всю войну я вообще ни разу не видел врага, разве что пикируя на цель, – позиция, с кото- рой не много увидишь! Теперь «повезло» – сразу пятьдесят семь тысяч шестьсот врагов, по двадцати в шеренге, прошли передо мной, одни дивясь на Москву, которая была особенно хороша в этот сияющий день, другие потупившись, глядя под ноги равнодушно–угрюмо.

Это были разные люди, с разной судьбой. Но однообразно–чужим, бесконечно дале- ким от нас был каждый их взгляд, каждое движение.

Я посмотрел на Катю. Она стояла, прижав сумочку к груди, волновалась. Потом вдруг крепко поцеловала меня. Я спросил:

* Поблагодарила?

И она ответила очень серьезно:

* Да.

У нас было много денег, и мы сняли самый лучший номер в гостинице «Москва» – роскошный, с зеркалами, картинами и роялем.

Сперва нам было немного страшновато. Но оказалось, что к зеркалам, коврам, потол- ку, на котором были нарисованы цветы и амуры, совсем нетрудно привыкнуть. Нам было очень хорошо в этом номере, просторно и чертовски уютно.

Конечно, Кораблев явился в день приезда – нарядный, с аккуратно закрученными уса- ми, в свободной вышитой белой рубашке, которая очень шла к нему и делала похожим на какого–то великого русского художника – но на какого, мы с Катей забыли.

Он был в Москве, когда летом 1942 года я стучался в его лохматую, обитую войлоком дверь. Он был в Москве и чуть не сошел с ума, вернувшись домой и найдя письмо, в кото- ром я сообщал, что еду в Ярославль за Катей.

* Как это вам понравится! За Катей, которую я накануне провожал в милицию, потому что ее не хотели прописывать на Сивцевом–Вражке!
* Не беда, дорогой Иван Павлыч, – сказал я, – все хорошо, что хорошо кончается. В то лето я был не очень счастлив, и мне даже нравится, что мы встретились теперь, когда все действительно кончается хорошо. Я был черен, худ и дик, а теперь вы видите перед собой нормального, веселого человека. Но расскажите же о себе! Что вы делаете? Как живете?

Иван Павлыч никогда не умел рассказывать о себе. Зато мы узнали много интересного о школе на Садово Триумфальной, в которой некогда произошли такие важные события в моей и Катиной жизни. Мы кончили школу, с каждым годом она уходила все дальше от нас, и уже начинало казаться странным, что это были мы – пылкие дети, которым жизнь пред- ставлялась такою преувеличенно сложной. А для Ивана Павлыча школа все продолжалась. Каждый день он не торопясь расчесывал перед зеркалом усы, брал палочку и шел на урок, и новые мальчики, как под лучом прожектора, проходили перед его строгим, любящим, вни- мательным взглядом. О, этот взгляд! Я вспомнил Гришку Фабера, который утверждал, что

«взгляд – все» и что с таким взглядом он бы «в два счета сделал в театре карьеру».

* Иван Павлыч, где он?
* Гриша в провинции, – сказал Иван Павлыч, – в Саратове. Я давно не видел его. Кажется, он стал хорошим актером.
* Он и был хорошим. Мне всегда нравилась его игра. Немного орал, но что за беда!

Зато не пропадало ни слова.

Мы перебрали весь класс – грустно и весело было вспоминать старых друзей, которых по всей стране раскидала жизнь. Таня Величко строит дома в Сталинграде. Шура Кочнев – полковник артиллерии и недавно был упомянут в приказе. Но о многих и Иван Павлыч ни- чего не знал – время как будто прошло мимо них, и они остались в памяти мальчиками и девочками семнадцати лет.

Так–то мы сидели и разговаривали, и уже раза три позвонил профессор Валентин Ни- колаевич Жуков и был обруган, даром что профессор, за то, что не приходит, ссылаясь на какую–то очередную затею со змеями или гибридами черно–бурых лисиц.

Наконец он явился и застыл на пороге, задумчиво положив палец на нос. Ему, видите ли, почудилось, что он попал в чужой номер!

* Ну, профессор, заходи, заходи, – сказал я ему.

И он побежал ко мне, хохоча, а за ним в дверях появилась высокая, полная белокурая дама, которую, если не ошибаюсь, когда–то звали Кирен.

Конечно, прежде всего, я был подвергнут допросу, перекрестному, потому что слева меня допрашивал Валя, а справа – Кирен. Почему, каким образом и на каком основании, взломав чужую квартиру, обойдя комнаты, обнаружив, что Катя живет у профессора В.Н.Жукова, я не нашел ничего лучшего, как оставить записку, совершенно бессмысленную, потому что в ней не было указано ни где меня искать, ни долго ли я пробуду в Москве.

* Дубина, это была ее постель, – сказал Валя, – а в ногах лежало ее платье! Боже мой, да разве ты не догадался, что только женская рука могла навести у меня такой порядок?
* Нет, в том, что женская, – сказал я, – у меня не было ни малейших сомнений.

Кира захохотала, кажется, добродушно, а Валя сделал мне большие глаза. Очевидно, тень загадочной Женьки Колпакчи с разными глазами еще бродила в этом семейном доме.

Женщины ушли в соседнюю комнату. Кирен кормила своего четвертого, так что, нужно полагать, у них нашлось о чем поболтать.

А мы заговорили о войне. Во многом уже были видны признаки ее окончания, и Валя с Иваном Павлычем слушали меня с таким выражением, как будто именно мне предстояло в ближайшем будущем отдать командующему последний рапорт о том, что нашими войсками занят город Берлин: Валя спросил, почему мы не форсируем Вислу, и от души огорчился, когда я ответил, что не знаю. Что касается Севера, если судить по его вопросам, я командо- вал не эскадрильей, а фронтом.

Потом Иван Павлыч заговорил о капитане Татаринове, и, немного понизив голос, чтобы не услышала Катя, я рассказал некоторые подробности, о которых не упоминалось в печати. Недалеко от палатки капитана, в узкой расщелине скалы, были найдены могилы матросов – трупы были положены прямо на землю и завалены большими камнями. Медведи и песцы растащили и перемешали кости – один череп был найден в трех километрах от ла- геря, в соседней ложбине. Очевидно, последние дни капитан провел в одном спальном мешке с поваром Колпаковым, который умер раньше него. На письме к Марии Васильевне было написано сперва: «Моей жене», а потом исправлено: «Моей вдове». Под правой рукой капитана было найдено обручальное кольцо с инициалами М.Т. на внутренней стороне ободка.

Я вынул из чемодана и показал золотой медальон в виде сердечка. На одной стороне был миниатюрный портрет Марии Васильевны, а на другой – прядь черных волос, и, отойдя к окну, Иван Павлыч надел очки и долго рассматривал медальон. Так долго рассматривал он, вытирал платочком усы и снова рассматривал, что, в конце концов, мы с Валей подошли к нему и, обняв с обеих сторон, повели и посадили в кресло.

– Но Катя так похожа, боже мой! – сказал он, вздохнув. – В декабре будет семнадцать лет. Трудно поверить.

Он попросил меня познать Катю и рассказал ей, что весной ездил на кладбище, поса- дил цветы и нанял сторожа покрасить решетку.

До ночи сидели у нас друзья, и Кира уже успела съездить на Сивцев–Вражек покор- мить младшего и вернулась со старшей – той самой, которая в будущем подавала надежды

стать знаменитой артисткой. Во всяком случае, по мнению Кириной мамы, покойная Варва- ра Рабинович со всей своей знаменитой школой «не годилась в подметки» этой девочке, ко- торая еще в грудном возрасте умела великолепно «брать голос в маску», а теперь читала Пушкина не хуже знаменитого Степаняна.

Валя много и не так скучно, как всегда, рассказывал о своих зверях – между прочим, о борьбе с грызунами в траншеях. Я спросил, удалось ли ему, в конце концов, доказать, что у змей от возраста меняется кровь, или это так и осталось в науке загадкой. Он засмеялся и сказал, что да, удалось.

Это был превосходный день в Москве, начавшийся с того, что больше двух часов мы ждали, пока пленные немцы пройдут мимо нас, – лучше он начаться не мог! Это был день, когда вдруг сверкнуло в душе и осталось навеки ослепительное сознание победы. Еще она не была напечатана черными буквами на газетном листе, еще многие должны были отдать за нее жизнь, но уже она была ясно видна в том неуловимом «чувстве возвращения», которое было, казалось, разлито повсюду. Жизнь возвращалась на старые места, война сделала их совсем другими, и странным, молодым ощущением столкновения нового и старого была полна Москва лета 1944 года.

А вечером был салют. Позывные «важного сообщения» прозвенели без четверти одиннадцать, и Валя сказал, что нужно немедленно бежать на двенадцатый этаж. Лифт был полон, и мы пошли пешком – совершенно напрасно, потому что дорогой выяснилось, что на двенадцатый этаж нельзя попасть иначе, как лифтом. Но мы каким–то образом все же до- брались, и великолепная вечерняя Москва открылась передо мной, стеснив сердце горячим и острым волнением. Мы с Катей переглянулись улыбаясь. Взявшись за руки, мы стояли у какой–то стены. Как бы не торопясь, озарялось багровыми вспышками спокойное небо, а потом прямо над нами быстро летели вверх и медленно вниз пестрые цветные огни.

**Глава 7.**

**ДВА РАЗГОВОРА.**

Два дела было у меня в Москве. Первое – доклад в Географическом обществе о том, как мы нашли экспедицию «Св. Марии», и второе – разговор со следователем о Ромашове. Как ни странно, эти дела были связаны между собой, потому что еще из Н. я послал в про- куратуру копию моего объяснения с Ромашовым на Собачьей Площадке.

Начну со второго.

Осенью 1943 года Ромашов был осужден на десять лет – я узнал об этом от работника Особого отдела на Н., который снимал с меня допрос, когда в Москве разбиралось дело. Те- перь оно, не знаю почему, было передано в гражданские инстанции и пересматривалось – тоже не знаю почему. Незадолго до моего отъезда из Н. мне сообщили, что в Москве след- ствие потребует от меня каких–то дополнительных данных.

Все это было неприятно и скучно, и, вспоминая еще дорогой, что мне придется снова войти в утомительную и сложную атмосферу этого дела, я немного расстраивался – отпуск был бы так хорош без него!

На второй день приезда я доложил, что явился, и был немедленно приглашен к следо- вателю, который вел дело Ромашова…

Приемная была общая – полутемный зал, перегороженный деревянным барьером. Широкие старинные скамьи стояли вдоль стен, и самые разные люди – старики, девушки, какие–то военные без погон – сидели на них, дожидаясь допроса.

Я нашел кабинет моего следователя – на двери значилась его странная фамилия: Весе- лаго – и, так как было еще рановато, занялся перестановкой флажков на карте, висевшей в приемной. Карта была недурна, но флажки далеко отставали от линии фронта.

Знакомый голос оторвал меня от этого занятия – такой знакомый, круглый, солидный голос, что на одно мгновение я почувствовал себя плохо одетым мальчиком, грязным, с большой заплатой на штанах.

Голос спросил:

– Можно?

Очевидно, было еще нельзя, потому что, приоткрыв дверь к следователю, Николай Антоныч закрыл ее и сел на скамью с немного оскорбленным видом. Я встретил его в по- следний раз в метро летом 1942 года – таков он был и сейчас: величественный и снисходи- тельно–важный.

Насвистывая, я переставлял флажки на Втором Прибалтийском фронте. Прошло сем- надцать лет с тех пор, как я сказал ему: «Я найду экспедицию, и тогда посмотрим, кто из нас прав». Знает ли он, что я нашел экспедицию? Без сомнения. Но он не знает – в печати об этом не появилось ни слова – о том, что среди бумаг капитана Татаринова обнаружены бес- спорные, неопровержимые доказательства моей правоты…

Он сидел, опустив голову, опираясь руками о палку. Потом посмотрел на меня, и не- вольное быстрое движение пробежало по бледному большому лицу; «Узнал», – подумал я весело. Он узнал – и отвел глаза.

…Это была минута, когда он обдумывал, как держаться со мной. Сложная задача! Очевидно, он успешно решил ее, потому что вдруг встал и смело подошел ко мне, коснув- шись рукой шляпы.

* Если не ошибаюсь, товарищ Григорьев?
* Да.

Кажется, впервые в жизни я с таким трудом произнес это короткое слово. Но и у меня была минута, когда я решил, как нужно держаться с ним.

* Вижу, что время не прошло даром для вас, – глядя на мои орденские ленточки, про- должал он. – Откуда же сейчас? На каком фронте защищаете нас, скромных работников ты- ла?
* На Крайнем Севере.
* Надолго в Москву?
* В отпуск, на три недели.
* И принуждены терять драгоценные часы в этой приемной? Впрочем, это наш граж- данский долг, – прибавил он с почтительным выражением. – Я полагаю, что вы, как и я, вы- званы по делу Ромашова?
* Да.

Он помолчал. Ох, как было мне знакомо, как еще в детстве я ненавидел это мнимо значительное молчание!

* Не человек, а воплощенное зло, – наконец сказал он. – Я считаю, что общество должно освободиться от него – и как можно скорее.

Если бы я был художником, я бы залюбовался этим зрелищем эпического лицемерия. Но я был обыкновенным человеком, и мне захотелось сказать ему, что если бы общество своевременно освободилось от Николая Антоныча Татаринова, ему (обществу) не пришлось бы возиться с Ромашовым.

Я промолчал.

Ни слова еще не было сказано об экспедиции «Св. Марии», но я знал Николая Анто- ныча: он подошел, потому что боялся меня.

* Я слышал, – начал он осторожно, – что вам удалось довести до конца свое начина- ние, и хочу от души поблагодарить вас за то, что вы положили на него так много труда. Впрочем, я рассчитываю сделать это публично.

Это значило, что он придет на мой доклад и сделает вид, что мы всю жизнь были дру- зьями. Он предлагал мне мир. Очень хорошо! Нужно сделать вид, что я его принимаю.

* Да, кажется, кое–что удалось.

Больше я ничего не сказал. Но даже легкая краска появилась на полных бледных ще- ках – так он оживился. Все прошло и забыто, он теперь влиятельный человек, почему бы мне не наладить с ним отношения? Вероятно, я стал другим – в самом деле, разве жизнь не меняет людей? Я стал таким, как он, – у меня ордена, удача, и он может по себе, по своим удачам судить обо мне.

–…Событие, о котором в другое время заговорил бы весь мир, – продолжал он, – и прах национального героя, каковым по заслугам признан мой брат, был бы торжественно доставлен в столицу и предан погребенью при огромном стечении народа.

Я отвечал, что прах капитана Татаринова покоится на берегу Енисейского залива и что

он сам, вероятно, не пожелал бы для себя лучшей могилы.

* Без сомнения. Но я говорю о другом – о самой исключительности судьбы его. О том, что забвение как бы шло за ним по пятам и если бы не мы, – он сказал: «мы», – едва ли хоть один человек на земле знал бы, кто он таков и что он сделал для родины и науки.

Это было слишком, и я чуть не сказал ему дерзость. Но в эту минуту дверь открылась, и какая–то девушка, выйдя от следователя, пригласила меня к нему.

Мне все время казалось, что если бы следователь, или следовательница (потому что это была женщина) не была такой молодой и красивой, она не допрашивала бы меня так подчеркнуто сухо. Но потом моя история увлекла ее, и она совершенно оставила свой офи- циозный тон.

* Вам известно, товарищ Григорьев, – так она начала, когда я сообщил ей свой возраст, профессию, был ли я под судом и т.д., – по какому делу я вызвала вас?

Я отвечал, что известно.

* В свое время вы дали показания. – Очевидно, она имела в виду допрос в Н. – В них есть неясности, о которых мне, прежде всего, необходимо поговорить с вами.

Я сказал:

* К вашим услугам.
* Вот, например.

Она прочитала несколько мест, в которых я дословно передал наш разговор с Рома- шовым на Собачьей Площадке.

* Выходит, что когда Ромашов писал на вас заявление, он был как бы орудием в руках другого лица.
* Другое лицо названо, – сказал я. – Это Николай Антоныч Татаринов, который дожи- дается у вас в приемной. Кто из них был орудием, а кто руками
* этого я сказать не могу. Мне кажется, что решение подобного вопроса является не моей, а вашей задачей.

Я рассердился, может быть, потому, что донос Ромашова она почтительно назвала за- явлением.

* Так вот, остается неясным, какую же цель мог преследовать профессор Татаринов, пытаясь сорвать поисковую партию? Ведь он сам является ученым–полярником, и, казалось бы, розыски его пропавшего брата должны были встретить самое горячее сочувствие с его стороны.

Я отвечал, что профессор Татаринов мог преследовать несколько целей. Прежде всего, он боялся, что успешные поиски остатков экспедиции «Св. Марии» подтвердят мои обви- нения. Затем, он не является ученым–полярником, а представляет собою тип лжеученого, построившего свою карьеру на книгах, посвященных истории экспедиции «Св. Марии». Поэтому всякая конкуренция, естественно, задевала его жизненные интересы.

* А у вас были серьезные основания надеяться, что розыски подтвердят ваши обвине-

ния?

Я отвечал, что были. Но этот вопрос теперь не подлежит обсуждению, потому что я

нашел остатки экспедиции и среди них – прямые доказательства, которые намерен огласить публично.

Именно после этого ответа моя следовательница стала быстро съезжать с официаль- ного тона.

* Как нашли? – спросила она с искренним изумлением. – Ведь это же было давно. Лет двадцать тому назад или даже больше?
* Двадцать девять.
* Но что же может сохраниться через двадцать девять лет?
* Очень многое, – отвечал я.
* И самого капитана нашли?
* Да.
* И он жив?
* Ну, что вы конечно нет! Можно точно сказать, когда он погиб – между восемнадца- тым и двадцать вторым июня тысяча девятьсот пятнадцатого года.
* Ну, расскажите.

Конечно, я не мог рассказать ей все. Но долго ждал приема профессор Татаринов, и, должно быть, многое успел он перебрать в памяти и обо многом переговорить наедине с со- бой, прежде чем занял мое место у стола этой красивой любознательной женщины.

И о том, что подлежит суду, и о том, что не подлежит суду за давностью преступления, рассказал я ей. Старая история! Но старые истории долго живут, гораздо дольше, чем это кажется с первого взгляда.

Она слушала меня, и хотя это был по–прежнему следователь, но следователь, который вместе со мной разбирал письма, некогда занесенные на двор половодьем, и вместе со мной делал выписки из полярных путешествий, и вместе со мной перебрасывал учителей, врачей, партработников в глухие ненецкие районы. Дневники штурмана Климова были уже прочи- таны, и старый латунный багор найден – последний штрих, так мне казалось тогда, в строй- ной картине доказательств. Но вот я дошел до войны и замолчал, потому что беспредельная панорама всего, что мы пережили, открылась передо мной и в ее глубине лишь чуть–чуть светилась мысль, которая всю жизнь волновала меня. Это было трудно объяснить незнако- мому человеку. Но я объяснил.

– Капитан Татаринов понимал все значение Северного морского пути для России, – сказал я, – и нет ничего случайного в том, что немцы пытались перерезать этот путь. Я был человеком войны, когда летел к месту гибели экспедиции «Св. Марии», и я нашел ее пото- му, что был человеком войны.

**Глава 8. ДОКЛАД.**

На этот раз я не добивался чести выступить с докладом в Географическом обществе и не получал любезного приглашения представить свой доклад в письменном виде. Я дважды отказывался от выступления, потому что прошел лишь месяц с тех пор, как была опублико- вана замечательная статья профессора В. о научном наследстве «Св. Марии». Когда он сам позвонил мне, я согласился.

…Все пришли на этот доклад, даже Кирина мама. К сожалению, я не запомнил ту ма- ленькую приветственную речь с цитатами из классиков, которою она встретила меня. Речь немного затянулась, и мне стало смешно, когда я увидел, с каким покорным отчаянием Валя слушал ее.

Кораблева я посадил в первом ряду, прямо напротив кафедры, – ведь я привык смот- реть на него во время своих выступлений.

* Ну, Саня, – сказал он весело, – уговор. Я положу руку вот так, вниз ладонью, а ты говори и на нее посматривай! Стану похлопывать, значит волнуешься. Нет – значит нет.
* Иван Павлыч, дорогой.

Разумеется, я ничуть не волновался, хотя, в общем, это было довольно страшно. Я беспокоился лишь, придет ли на мой доклад Николай Антоныч.

Он пришел. Развешивая карты, я обернулся и увидел его в первом ряду, недалеко от Кораблева. Он сидел, положив ногу на ногу и глядя прямо перед собой с неподвижным вы- ражением. Мне показалось, что он изменился за эти несколько дней: в лице его появилось что–то собачье, щеки обвисли над воротником была высоко видна морщинистая похудевшая шея.

Конечно, мне было очень приятно, когда председатель, старый, знаменитый географ, прежде чем предоставить мне слово, сам сказал несколько слов обо мне. Я даже пожалел, что у него такой тихий голос. Он сказал, что я «один из тех людей, с которыми тесно связана история освоения Арктики большевиками». Потом он сказал, что именно моему «талантли- вому упорству» советская арктическая наука обязана одной из своих интереснейших стра- ниц, – и я тоже не стал возражать, тем более что в зале зааплодировали, и громче всех – Ки- рина мама.

Пожалуй, не стоило делать такого длинного вступления, посвященного истории Се- верного морского пути, хотя это была интересная история.

Я довольно плохо рассказал об этом – часто останавливался, забывал самые простые

слова и вообще «мекал», как потом объявила Кира.

Но вот я перешел к нашему времени, обрисовал в общих чертах военное значение се- верной проблемы и остановился на исторической дате, когда товарищ Сталин заложил ос- нование Северного флота.

В эту минуту где–то далеко, в темном конце прохода, мелькнула и скрылась моя Катя. Она была немного больна – простудилась – и обещала мне остаться дома. Но как это было хорошо, что она приехала, просто прекрасно! У меня сразу сделалось веселее на душе, и я стал говорить увереннее и тверже.

– Может быть, вам покажется странным, – сказал я, – что в дни войны я намерен до- ложить вам о старинной экспедиции, окончившейся около тридцати лет тому назад. Это – история. Но мы не забыли нашей истории, и возможно, что наша главная сила заключается именно в том, что война не отменила и не остановила ни одной из великих мыслей, которые преобразили нашу страну. Завоевание Севера советским народом принадлежит к числу этих мыслей.

Я запнулся, потому что мне захотелось рассказать, как мы с Ледковым осматривали Заполярье, но это было далеко от темы доклада, и не очень ловко я свернул на биографию капитана.

С непостижимым чувством я рассказывал о нем! Как будто не он, а я был этот маль- чик, родившийся в бедной рыбачьей семье на берегу Азовского моря. Как будто не он, а я в юности ходил матросом на нефтеналивных судах между Батумом и Новороссийском. Как будто не он, а я выдержал экзамен на «морского прапорщика» и потом служил в Гидрогра- фическом управлении, с гордым равнодушием перенося высокомерное непризнание офи- церства. Как будто не он, а я делал заметки на полях нансеновских книг и гениальная мысль:

«Лед сам решит задачу» была записана моей рукой. Как будто его история окончилась не поражением и безвестной смертью, а победой и счастьем. И друзья, и враги, и любовь по- вторились снова, но жизнь стала иной, и победили не враги, а друзья и любовь.

Я говорил и все с большей силой испытывал то чувство, которое не могу назвать ина- че, как вдохновением. Как будто на далеком экране под открытым небом я увидел мертвую, засыпанную снегом шхуну. Мертвую ли? Нет, стучат, забивают досками световые люки, обшивают толем и войлоком потолки – готовятся к зимовке…

Моряки, стоявшие в проходе, расступились перед Катей, когда она шла к своему крес- лу, и я подумал, что это очень справедливо, что они так почтительно расступаются перед дочерью капитана Татаринова. Но она была еще и лучше всех – особенно в этом простом английском костюме. Она была лучше всех – и тоже каким–то образом участвовала в этом восторге, в этом вдохновении, с которыми я говорил о плавании «Св. Марии».

Но пора было переходить к научной историй дрейфа, и я начал ее с утверждения, что факты, которые были установлены экспедицией капитана Татаринова, до сих пор не поте- ряли своего значения. Так, на основании изучения дрейфа известный полярник профессор В. предположил существование неизвестного острова между 78–й и 80–й параллелями, и этот остров был открыт в 1935 году – и именно там, где В. определил его место. Постоянный дрейф, установленный Нансеном, был подтвержден путешествием капитана Татаринова, а формулы сравнительного движения льда и ветра представляют собой огромный вклад в русскую науку.

Движение интереса пробежало по аудитории, когда я стал рассказывать о том, как бы- ли проявлены фотопленки экспедиции, пролежавшие в земле около тридцати лет.

Свет погас, и на экране появился высокий человек в меховой шапке, в меховых сапо- гах, перетянутых под коленями ремешками. Он стоял, упрямо склонив голову, опершись на ружье, и мертвый медведь, сложив лапы, как котенок, лежал у его ног. Он как будто вошел в этот зал – сильная, бесстрашная душа, которой было нужно так мало!

Все встали, когда он появился на экране, и такое молчание, такая торжественная ти- шина воцарилась в зале, что никто не смел даже вздохнуть, не то что сказать хоть слово.

И в этой торжественной тишине я прочитал рапорт и прощальное письмо капитана:

* *«…Горько мне думать о всех делах, которые я мог бы совершить, если бы мне не то что помогли, а хотя бы не мешали. Что делать? Одно утешение – что моими трудами открыты и присоединены к России новые обширные земли…»*

* Но в этом письме, – продолжал я, когда все селя, – есть еще одно место, на которое я должен обратить ваше внимание. Вот оно: *«Я знаю, кто мог бы помочь вам, но в эти по- следние часы моей жизни не хочу называть его. Не судьба была мне открыто высказать ему все, что за эти годы накипело на сердце. В нем воплотилась для меня та сила, которая всегда связывала меня по рукам и ногам…»* Кто же этот человек, самого имени которого ка- питан не хотел называть перед смертью? Это о нем он писал в другом письме: *«Можно смело сказать, что всеми своими неудачами мы обязаны только ему». О нем он писал: «Мы шли на риск, мы знали, что идем на риск, но мы не ждали такого удара». О нем он писал:*

*«Главная неудача – ошибка, за которую приходится расплачиваться ежедневно, ежеми- нутно, – та, что снаряжение экспедиции я поручил Николаю…»*

Николаю! Но мало ли Николаев на свете!

Конечно, на свете много Николаев, и даже в этой аудитории их было немало, но только один из них вдруг выпрямился, оглянулся, когда я громко назвал это имя, и палка, на кото- рую он опирался, упала и покатилась. Ему подали палку.

* Не для того я хочу сегодня полностью назвать это имя, чтобы решить старый спор между мною и этим человеком. Наш спор давно решен – самой жизнью. Но в своих статьях он продолжает утверждать, что всегда был благодетелем капитана Татаринова и что даже самая мысль «пройти по стопам Норденшельда», как он пишет, принадлежит ему. Он так уверен в себе, что имел смелость явиться на мой доклад и сейчас находится в этом зале.

Шепот пробежал по рядам, потом стало тихо, потом снова шепот. Председатель по- звонил в колокольчик.

* Странная судьба! До сих пор он действительно ни разу не был назван полностью – имя, отчество и фамилия. Но среди прощальных писем капитана мы нашли и деловые бума- ги. С одной из них, очевидно, капитан никогда не расставался. Это копия обязательства, со- гласно которому: 1. По возвращении на Большую Землю вся промысловая добыча принад- лежит Николаю Антоновичу Татаринову – полностью имя, отчество и фамилия. 2. Капитан заранее отказывается от всякого вознаграждения. 3. В случае потери судна капитан отвечает всем своим имуществом перед Николаем Антоновичем Татариновым – полностью имя, от- чество и фамилия. 4. Самое судно и страховая премия принадлежат Николаю Антоновичу Татаринову – полностью имя, отчество и фамилия. Когда–то в разговоре со мной этот чело- век сказал, что только одного свидетеля он признает: самого капитана. Пусть же он теперь перед всеми нами откажется от этих слов, потому что сам капитан теперь называет его – полностью имя, отчество и фамилия!

Страшная суматоха поднялась в зале, едва я кончил свою речь, – в передних рядах многие встали, в задних стали кричать, чтобы садились – не видно, а он стоял, подняв руку с палкой, и кричал:

* Я прошу слова, я прошу слова!

Он получил слово, но ему не дали говорить. В жизни моей я не слышал такого дья- вольского шума, который поднимался, едва он открывал рот. Но он все–таки сказал что–то – никто не расслышал – и, тяжело стуча палкой, сошел с кафедры и направился к выходу вдоль зрительного зала. Он шел в полной пустоте – и там, где он проходил, долго была еще пустота, как будто никто не хотел идти там, где он только что прошел, стуча своей палкой.

**Глава 9.**

**И ПОСЛЕДНЯЯ.**

Вагон шел до Энска, значит, все эти люди, расположившиеся где придется – на полу и на полках – в переполненном, полутемном вагоне, ехали в Энск. В прежние времена этого было достаточно, чтобы его народонаселение увеличилось чуть ли не вдвое.

Мы познакомились с соседями, или, вернее, с соседками (потому что это были сту- дентки московских вузов), и они сказали, что едут в Энск на работу.

* На какую же?
* Еще неизвестно. На шахты.

Если не считать подкопа в Соборном саду, о котором Петька когда–то говорил, что он

идет под рекой и что в нем «на каждом шагу скелеты», в Энске никогда не было ничего по- хожего на шахты. Но девушки утверждали, что едут на шахты.

Как всегда, уже через три–четыре часа в каждом отделении образовалась своя жизнь, не похожая на соседнюю, как будто тонкие, не доверху, дощатые стенки разделили не вагон, а чувства и мысли. В одних отделениях стало шумно и весело, а в других скучно. У нас – весело, потому что девушки, немного погрустив, что не удалось остаться на летнюю работу в Москве, и поругав какую–то Машку, которой это удалось, стали петь, и весь вечер мы с Катей слушали современные военные романсы, среди которых несколько было забавных. В общем, девушки пели до самого Энска, даже ночью – почему–то они решили не спать. Так и прошла вся недолгая дорога – тридцать четыре часа – в пенье девушек и в дремоте под это молодое, то веселое, то грустное, пенье.

Прежде поезд приходил рано утром, а теперь – под вечер, так что, когда мы слезли, маленький вокзал показался мне в сумерках симпатичным и старомодно–уютным. Но прежний Энск кончился там, где кончился широкий, в липах, подъезд к этому зданию, по- тому что, выйдя на бульвар, мы увидели вдалеке какие–то темные корпуса, над которыми быстро шли багрово–дымные облака, освещенные снизу. Это был такой странный для Энска пейзаж, что я даже сказал девушкам, что, очевидно, где–то в Заречной части пожар, и они поверили, потому что дорогой я долго хвастался, что родом из Энска и что мне знаком каждый камень. Но оказалось, что это не пожар, а пушечный завод, выстроенный в Энске за годы войны.

Я видел, как необыкновенно изменились за время войны наши города – например, М–ов, – но я не знал их в детские годы. Теперь, когда мы с Катей шли по быстро темнею- щим Застенной, Гоголевской, мне казалось, что эти улицы, прежде лениво растянувшиеся вдоль крепостного вала, теперь поспешно бегут вверх, чтобы принять участие в этом бес- престанном огненно–дымном движении облаков над заводскими корпусами. Это было пер- вое, но верное впечатление – перед нами был хорошо вооруженный город. Конечно, для меня он был прежним, родным Энском, но теперь я встретился с ним, как со старым дру- гом, – когда вглядываешься в знакомые изменившиеся черты и невольно смеешься от нежности к волнения и не знаешь, с чего начать разговор.

Еще из Полярного мы писали Пете, что приедем навестить стариков, и он рассчитывал подогнать к этому времени давно обещанный отпуск.

Никто не встретил нас на вокзале, хотя я телеграфировал из Москвы, и мы решили, что Пете не удалось приехать. Но первый, кого мы встретили у подъезда между сердитыми львиными мордами дома Маркузе, был именно Петя, которого я сразу узнал, даром что из рассеянной, задумчивой личности с вопросительным выражением лица он превратился в бравого, загорелого офицера.

* Ага, вот они где! – сказал он, как будто долго искал и, наконец, нашел нас.

Мы обнялись, а потом он шагнул к Кате и взял ее руки в свои. У них было свое – Ле- нинград, и когда они стояли, сжимая руки друг другу, даже я был далек от них, хотя, может быть, ближе меня у них не было человека на свете.

Тетя Даша спала, когда мы ворвались в ее комнату, и, вероятно, решила, что мы приснились ей, потому что, приподнявшись на локте, долго рассматривала нас с задумчи- вым видом. Мы стали смеяться, и она очнулась.

* Господи, Санечка! – сказала она. – И Катя! А сам–то опять уехал!

«Сам» – это был судья, а «опять уехал» – это значило, что когда мы с Катей лет пять назад приезжали в Энск, судья был на сессии где–то в районе.

Стоит ли рассказывать о том, как хлопотала, устраивая нас, тетя Даша, как она огор- чалась, что пирог приходится ставить из темной муки и на каком–то «заграничном сале». Кончилось тем, что мы силой усадили ее, Катя принялась за хозяйство, мы с Петей вызва- лись помогать ей, и тетя Даша только вскрикивала и ужасалась, когда Петя «для вкуса», как он объяснил, всадил в тесто какие–то концентраты, а я вместо соли едва не отправил туда же стиральный порошок. Но, как ни странно, тесто прекрасно подошло, и хотя тетя Даша, по- ложив кусочек его в рот, сказала, что мало «сдобы», видно было, что пирог, по военному времени, вышел недурной.

За обедом тетя Даша потребовала, чтобы ей было рассказано все, начиная с того дня и

часа, когда мы пять лет тому назад расстались с нею на Энском вокзале. Но я убедил ее, что подробный отчет нужно отложить до приезда судьи; зато Петю мы заставили рассказать о себе.

С волнением слушал я его. С волнением – потому что знал его больше двадцати пяти лет и теперь он вовсе не казался мне другим человеком, как его рисовала Катя. Но то зага- дочное для меня «зрение художника», которое всегда отличало Петю в моих глазах от обыкновенных людей, теперь стало определеннее и точнее.

Он показал нам свои альбомы – последний год Петя находился уже не в строю, рабо- тал художником фронтового театра. Это были зарисовки боевой жизни, часто беглые, то- ропливые. Но та нравственная сила, которую знает каждый, кто провел в нашей армии хотя бы несколько дней, была отражена в них с удивительной глубинной.

Часто я останавливался перед незабываемыми картинами войны, инстинктивно сожа- лея, что одна, бесследно исчезая, сменяет другую. Теперь я увидел их в едва намеченном, но глубоком, может быть, гениальном преображении.

– Ну вот, – добродушно улыбнувшись, сказал Петя, когда я поздравил его, – а судья говорит, что плохо. Мало героизма. И сын рисует, – добавил он, выпятив нижнюю губу, как всегда, когда бывал доволен. – Ничего, кажется, способный.

Катя достала из чемодана письма от Нины Капитоновны, которая еще жила с Петень- кой под Новосибирском, и тетя Даша, всегда интересовавшаяся бабушкой, потребовала, чтобы некоторые из них были прочитаны вслух.

Бабушка по–прежнему жила отдельно, не в лагере, хотя директор Перышкин лично посетил ее и, принеся извинения, просил вернуться в лагерь. Но бабушка «поблагодарила и отказалась, потому что смолоду кланяться не приучена», как она писала. Отказалась и вдруг, поразив весь район, поступила в культмассовый сектор местного Дома культуры.

*«Учу шить и кроить*, – кратко писала она, – *а тебя и Саню поздравляю. Я его давно узнала, еще когда мал был, и чтобы вырос, я его гречею кормила. Он славный… А ты не за- мучай его, у тебя характер неважный».*

Это был ответ на письмо, в котором мы сообщили ей, что нашли друг друга.

*«Не спала всю ночь,* – писала она, получив известие о том, что найдены остатки экс- педиции, – *все думала о бедной Маше. И думала, что это к лучшему, что страшная судьба твоего отца осталась ей неизвестна».*

Петенька был здоров, очень вырос, судя по фото, и стал еще больше похож на мать. Мы вспомнили Саню – и долго молчали, как бы вновь остановившись с тоской перед этой бессмысленной смертью.

Еще весной Катя стала хлопотать пропуска в Москву для бабушки и Петеньки, и была надежда, что мы увидим их на обратном пути.

Старая моя и Катина мысль, чтобы одной семьей поселиться в Ленинграде, не раз была повторена в этот вечер. Одной семьей – с бабушкой и обоими Петями, маленьким и боль- шим. Но большой немного смутился, когда в будущей квартире, которая была уже получена в воображении, и не где–нибудь, а на Кировском проспекте, мы отвели ему студию в сто- роне, чтобы никто не мешал. Кажется, он не имел ничего против того, чтобы одна женщина, о которой Катя отзывалась с восторгам, иногда мешала ему. Но, разумеется, в этот вечер никто не сказал о ней ни слова…

Еще весь дом спал, когда вернулся судья. Он так зарычал и стал сердиться, когда тетя Даша собралась поднять нас, что пришлось притвориться и полежать еще полчаса. Точно как пять лет назад, он долго фыркал и кряхтел в кухне – мылся. И слышно было, как прошел по коридору и с него гулко падали капли.

Катя снова уснула, а я тихонько оделся и пошел в кухню, где он сидел и пил чай, бо- сой, в чистой рубахе, с еще мокрыми после мытья головой и усами.

* Разбудил все–таки! – сказал он и, шагнув навстречу, крепко обнял меня.

Когда бы я ни вернулся в родной город, в родной дом, суровое: «Ну, рассказывай» неизменно ждало меня. Старик желал знать, что я делал и правильно ли я жил за годы раз- луки. Строго уставясь на меня из–под густых бровей, поросших длинными, толстыми воло- сами, он допрашивал меня, как настоящий судья, и я знал, что нигде на свете не найду более справедливого приговора… Но на этот раз – впервые в жизни – судья не потребовал у меня

отчета.

* Все ясно, – сказал он, с довольным видом проведя под носом рукой и уставясь на мои ордена. – Четыре?
* Да.
* И пятый – за капитана Татаринова, – серьезно сказал судья. – Это трудно формули- ровать, но получишь.

Это действительно было трудно формулировать, но, очевидно, старик серьезно взялся за дело, потому что вечером, когда мы снова встретились за столом, сказал речь и в ней по- пытался подвести итоги тому, что я сделал.

* Жизнь идет, – сказал он. – Зрелые, законченные люди, вы приехали в родной город и вот говорите, что его трудно узнать, так он изменился. Он не только изменился – он сло- жился, как сложились вы, открыв в себе силы для борьбы и победы. Но и другие мысли приходят в голову, когда я вижу тебя, дорогой Саня. Ты нашел экспедицию капитана Тата- ринова – мечты исполняются, и часто оказывается реальностью то, что в воображении представлялось наивной сказкой. Ведь это к тебе обращается он в своих прощальных пись- мах, – к тому, кто будет продолжать его великое дело. К тебе – и я законно вижу тебя рядом с ним, потому что такие капитаны, как он и ты, двигают вперед человечество и науку.

И он поднял рюмку и до дна выпил за мое здоровье.

До поздней ночи сидели мы за столом. Потом тетя Даша объявила, что пора спать, но мы не согласились и пошли гулять на Песчинку.

По–прежнему, сменяя друг друга, торопливо бежали над заводом огненно–темные об- лака. Мы спустились к реке и прошли до Пролома, подле, которого худенький черный мальчик в широких штанах когда–то ловил голубых раков на мясо. Как будто время оста- новилось и терпеливо ждало меня на этом берегу, между старинных башен, у слияния Пес- чинки и Тихой, – и вот я вернулся, и мы смотрим друг другу в лицо. Что ждет меня впереди? Какие новые испытания, новый труд, новые мечты, счастье или несчастье? Кто знает… Но я не опускаю глаз под этим неподкупным взглядом.

Пора было возвращаться, Кате стало холодно, и, пройдя вдоль набережной, заваленной лесом, мы повернули домой.

В городе было тихо и как–то таинственно. Мы долго шли, обнявшись, и молчали. Мне вспомнилось наше бегство из Энска. Город был такой же темный и тихий, а мы маленькие, несчастные и храбрые, а впереди страшная и неизвестная жизнь…

У меня были мокрые глаза, и я не вытирал этих радостных слез и не стеснялся, что плачу.

**ЭПИЛОГ**

Чудная картина открывается с этой высокой скалы, у подошвы которой растут, проби- ваясь между камней, дикие полярные маки. У берега еще видна открытая зеркальная вода, а там, дальше, полыньи и лиловые, уходящие в таинственную глубину ледяные поля. Здесь необыкновенной кажется прозрачность полярного воздуха. Тишина и простор. Только яст- реб иногда пролетит над одинокой могилой.

Льды идут мимо нее, сталкиваясь и кружась, – одни медленно, другие быстрее.

Вот проплыла голова великана в серебряном сверкающем шлеме: все можно рассмот- реть – зеленую косматую бороду, уходящую в море, и приплюснутый нос, и прищуренные глаза под нависшими седыми бровями.

Вот приближается ледяной дом, с которого, звеня бесчисленными колокольчиками, скатывается вода; а вот большие праздничные столы, покрытые чистыми скатертями.

Идут и идут, без конца и края!

Заходящие в Енисейский залив корабли издалека видят эту могилу. Они проходят ми- мо нее с приспущенными флагами, и траурный салют гремит из пушек, и долгое эхо катится не умолкая.

Могила сооружена из белого камня, и он ослепительно сверкает под лучами незахо- дящего полярного солнца.

На высоте человеческого роста высечены следующие слова:

«Здесь покоится тело капитана И.Л.Татаринова, совершившего одно из самых отважных путешествий и погибшего на обратном пути с открытой им Се- верной Земли в июне 1915 года.

Бороться и искать, найти и не сдаваться!»

**Вильям Шекспир. Ромео и Джульетта**

Трагедия в 5 актах

**ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:**

Эскал, князь веронский   
 Парис, молодой дворянин, родственник князя   
  
 Монтекки |   
 } главы двух враждующих семейств   
 Капулетти |   
  
 Старик, родственник Капулетти   
 Ромео, сын Монтекки   
 Меркуцио, родственник князя и друг Ромео.   
 Бенволио, племянник Монтекки и друг Ромео   
 Тибальт, племянник госпожи Капулетти   
  
 Брат Лаврентий |   
 } францисканцы   
 Брат Иоанн |   
  
 Бальтазар, слуга Ромео   
  
 Самсон |   
 } слуга Капулети   
 Григорий |   
  
 Петр, слуга кормилицы Джульетты   
 Абрам, слуга Монтекки   
 Аптекарь   
 Три музыканта   
 Паж Париса   
 2-й Паж   
 Пристав   
 Госпожа Монтекки, жена Монтекки   
 Госпожа Капулетти, жена Капулетти   
 Джульетта, дочь Капулетти   
 Кормилица Джульетты   
 Горожане Вероны; несколько мужчин и женщин - родственники обоих домов;   
 маски, стража, сторожа и свита князя   
  
 Место действия: Верона и Мантуя.

**ПРОЛОГ**

Входит Хор. {1}   
  
 Хор   
  
 Два дома, родовитостью равны   
 В Вероне, что театр наш представляет,   
 Вражды закоренелой вновь полны,   
 И кровь сограждан руки их пятнает.   
  
 И вот, от чресл двух роковых семей   
 Любовников злосчастных вышла пара,   
 Что жалостной судьбой своих смертей   
 Могилой стала вражеского жара.   
  
 Их страсти обреченное теченье,   
 Родни упорство в споре том суровом,   
 Что в смерти лишь имело пресеченье,   
 Покажем в представленье двухчасовом.   
  
 Чтоб взгляд ваш к промахам терпимей был,   
 Стараться будем мы по мере сил.

**АКТ I**

**СЦЕНА 1**

Верона. Площадь.   
 Входят Самсон и Григорий, слуги Капулетти, вооруженные мечами и щитами.   
  
 Самсон   
  
 Григорий, клянусь, мы не потерпим, чтобы нас чернили.   
  
 Григорий   
  
 Нет, а то бы мы стали угольщиками. {2}   
  
 Самсон   
  
 Я хочу сказать, что если мы почернеем от злобы, то будем драться.   
  
 Григорий   
  
 Ну, а пока ты жив, вытаскивай свою шею из черной петли.   
  
 Самсон   
  
 Если меня только тронут, я поколочу.   
  
 Григорий   
  
 Но не так-то легко тебя растрогать для колотушек.   
  
 Самсон   
  
 Всякая собака из дома Монтекки трогает меня.   
  
 Григорий   
  
 Трогаться - значит действовать. А быть отважным - значит стоять. Поэтому, если ты тронешься, то убежишь.   
  
 Самсон   
  
 Если только тронет меня собака из этого дома, я буду крепко стоять. Я буду один защищать стену от любого мужчины или девки из дома Монтекки.   
  
 Григорий   
  
 Это и показывает, что ты слабый раб: слабые становятся у стенки.   
  
 Самсон   
  
 Правильно; поэтому женщину, как более слабую посудину, всегда притыкают к стене. Вот я мужчин из дома Монтекки сброшу со стены, а девок припру к стене.   
  
 Григорий   
  
 Ссора между нашими господами, а мы их слуги.   
  
 Самсон   
  
 Все едино. Я буду настоящим извергом: приколотив мужчин, я буду жесток и с девками, я им отрежу головы.   
  
 Григорий   
  
 Головы - девкам?   
  
 Самсон   
  
 Ну, там, головы или что другое, - понимай, как знаешь.   
  
 Григорий   
  
 Должны понимать те, которые это почувствуют.   
  
 Самсон   
  
 Они здорово почувствуют, как я способен стоять: ведь известно, что у меня крепкое мясо.   
  
 Григорий   
  
 Хорошо, что ты не рыба. Будь ты рыба, был бы ты вяленой треской. Вытаскивай свое оружие, - сюда идут двое из дома Монтекки.   
  
 Входят Абрам и Бальтазар.   
  
 Самсон   
  
 Оружие мое обнажено. Начинай ссору, я буду у тебя за спиной.   
  
 Григорий   
  
 Не хочешь ли ты повернуть спину и бежать?   
  
 Самсон   
  
 Не бойся меня.   
  
 Григорий   
  
 Нет, чорт возьми, я боюсь за тебя!   
  
 Самсон   
  
 Пусть закон будет на нашей стороне, - пусть они начнут.   
  
 Григорий   
  
 Я нахмурюсь, когда буду проходить мимо них, и пусть принимают это, как хотят.   
  
 Самсон   
  
 Не как хотят, а как посмеют. Я покажу им кукиш. Это для них оскорбление, если они это потерпят.   
  
 Абрам   
  
 Вы нам показываете кукиш, сударь?   
  
 Самсон   
  
 Я показываю кукиш, сударь.   
  
 Абрам   
  
 Вы нам показываете кукиш, сударь?   
  
 Самсон (тихо Григорию)   
  
 Будет закон на нашей стороне, если я скажу: да?   
  
 Григорий   
  
 Нет.   
  
 Самсон   
  
 Нет, сударь, я не показываю вам кукиш, я просто показываю кукиш.   
  
 Григорий   
  
 Вы хотите ссориться, сударь?   
  
 Абрам   
  
 Ссориться, сударь? Нет, сударь.   
  
 Самсон   
  
 Если вы хотите ссориться, сударь, я готов. Мой господин не хуже вашего,   
  
 Абрам   
  
 Но не лучше.   
  
 Самсон   
  
 Ладно, сударь.   
  
 Входит Бенволио.   
  
 Григорий (тихо Самсону)   
  
 Скажи: "лучше"! Сюда идет один из родственников нашего хозяина.   
  
 Самсон   
  
 Лучше, сударь.   
  
 Абрам   
  
 Вы лжете!   
  
 Самсон   
  
 Сражайтесь, если вы мужчины. Григорий, вспомни свой хваленый удар.   
  
 Дерутся.   
  
 Бенволио (разнимает их шпаги)   
  
 Болваны!   
 Прочь шпаги! Что вы без толку сцепились?   
  
 Входит Тибальт.   
  
 Тибальт   
  
 Дерешься ты среди трусливых слуг?   
 Бенволио, повернись, на смерть взгляни!   
  
 Бенволио   
  
 Я их мирил. Возьми же шпагу прочь   
 Иль в ход ее пусти, чтоб помирить их.   
  
 Тибальт   
  
 Средь драки - и о мире? Слово мерзко,   
 Как ад, как все Монтекки и как ты.   
 Держись же, трус!   
  
 Дерутся.   
 Входят представители обоих домов, потом горожане   
 и приставы с дубинками.   
  
 1-й Пристав   
  
 Эй, палок, алебард, дубин! Бей их!   
 Бей Капулетти! Бей Монтекки всех!   
  
 Входят старик Капулетти в халате и госпожа Капулетти.   
  
 Капулетти   
  
 Что здесь за шум? Подать мой длинный меч!   
  
 Госпожа Капулетти   
  
 Костыль, костыль! Зачем вам нужен меч!   
  
 Капулетти   
  
 Сказал я - меч: идет старик Монтекки,   
 И на меня мечом своим он машет!   
  
 Входят старик Монтекки и госпожа Монтекки.   
  
 Монтекки   
  
 О подлый Капулет!   
 (Жене)   
 Пусти, иду!   
  
 Госпожа Монтекки   
  
 Нет, нет! Ища врага, найдешь беду!   
  
 Входит Князь Эскал со свитой.   
  
 Князь   
  
 Вы, непокорные враги покоя,   
 Пятнающие кровью ближних сталь,   
 Меня не слышите? Вы люди-звери,   
 Гасящие огонь смертельной злобы   
 Багровыми струями ваших жил, -   
 Под страхом пытки, из кровавых рук   
 Оружье наземь бросьте и внимайте   
 Разгневанного князя приговору.   
 Три раза попусту междоусобье   
 Ты, старый Капулетти, ты, Монтекки,   
 На улицах спокойных затевали,   
 Три раза заставляли древних граждан,   
 Пристойные отбросив украшенья, {3}   
 Хвататься за старинное оружье   
 И, мир поправ, вам в распре помогать.   
 Кто б впредь из вас порядок ни нарушил -   
 Умрет за преступленье против мира.   
 На этот раз пусть все уходят прочь! -   
 Со мной идите, старый Капулетти.   
 Монтекки, вы прийти должны сегодня,   
 Чтоб нашу волю выслушать в дальнейшем,   
 К нам в Вилла-Франку, где мы суд вершим. -   
 Вы ж все под страхом смерти - уходите!   
  
 Уходят все, кроме Монтекки, госпожи Монтекки и Бенволио.   
  
 Монтекки   
  
 Кто ссору старую опять затеял?   
 Вы не были ль, племянник, при начале?   
  
 Бенволио   
  
 Здесь вашего врага и ваши слуги   
 Уж крепко дрались к моему приходу.   
 Я их разнять хотел, но тут вошел   
 Тибальт горячий с обнаженной шпагой,   
 Которой, понося меня, махал он   
 Над головой своей и резал воздух, -   
 А воздух лишь свистел неуязвимый.   
 Пока сражались мы мечом и словом,   
 Народ сбежался; общий бой горел;   
 Но князь пришел - и всех разнять велел.   
  
 Госпожа Монтекки   
  
 О, где Ромео? Рада я, что он   
 Отсутствием был от беды спасен.   
  
 Бенволио   
  
 Сударыня, еще сквозь золотое   
 Восточное окно луч не глядел,   
 Когда тоска гулять меня погнала.   
 Под тению смоковниц, что на запад   
 От городской стены произрастают,   
 Я сына вашего там рано видел.   
 Пошел за ним, но от меня Он скрылся   
 И в чащу леса тотчас ускользнул.   
 Я, зная это чувство по себе, -   
 Когда и сам себе бываешь в тягость   
 И тем сильней стремишься от других, -   
 Не стал его преследовать и рад был   
 Бежать того, кто от меня бежал.   
  
 Монтекки   
  
 Утрами часто там его видали;   
 Слезами умножал росу он, к тучам   
 Он тучи прибавлял глубоких вздохов;   
 Но только лишь всерадостное солнце   
 Там на краю востока полог темный   
 Откроет над постелью у Авроры, -   
 Бежал домой мой грустный сын от света,   
 И в комнате своей он замыкался,   
 От солнца окна запирал свои   
 И ночь искусственную создавал.   
 В его душе - зловещий черный цвет;   
 Мог бы спасти его благой совет.   
  
 Бенволио   
  
 Вы знаете причину, добрый дядя?   
  
 Монтекки   
  
 Не знаю и узнать я не могу.   
  
 Бенволио   
  
 Настойчиво расспрашивали вы?   
  
 Монтекки   
  
 Я спрашивал, а также и друзья;   
 Но он у чувства лишь совета просит, -   
 Хорош ли тот советчик, не скажу, -   
 И так он скрытен, так неоткровенен,   
 Так неохотно сердце раскрывает, -   
 Как почка, что червяк уже грызет,   
 Хотя еще не распустились листья   
 И солнцу красота не отдана.   
 Узнать бы нам причину лишь печали -   
 Лекарство мы б охотно подыскали.   
  
 Входит Ромео.   
  
 Бенволио   
  
 Вот он идет. Прощу вас, отойдите!   
 Узнаю все, иль спутает все нити.   
  
 Монтекки   
  
 Да будет счастлива твоя игра,   
 Чтоб истину узнать. Идем, пора!   
  
 Уходят Монтекки и госпожа Монтекки.   
  
 Бенволио   
  
 Желаю утра доброго.   
  
 Ромео   
  
 Так рано?   
  
 Бенволио   
  
 Уж девять.   
  
 Ромео   
  
 Грустные часы длинны.   
 Отсюда не отец ли мой ушел?   
  
 Бенволио   
  
 Да, он. Что удлиняет вам часы?   
  
 Ромео   
  
 Отсутствие того, что коротит их.   
  
 Бенволио   
  
 Любовь?   
  
 Ромео   
  
 Отсутствие...   
  
 Бенволио   
  
 Любви?   
  
 Ромео   
  
 Отсутствие взаимности в любви.   
  
 Бенволио   
  
 Увы, любовь, столь сладостная с виду,   
 На деле столь жестока и тяжка!   
  
 Ромео   
  
 Увы, любовь слепа, но и без глаз   
 Она ведет, куда захочет, нас! -   
 Где мы обедаем? Увы, был шум здесь.   
 Не говори мне, все уж слышал я.   
 Страшна нам ненависть, любовь страшнее.   
 О злобная любовь, о нежный враг!   
 О нечто и ничто, и свет, и мрак!   
 Легко и тяжко, суетно и важно,   
 Нестройный хаос форм, на вид прекрасных,   
 Свинцовый пух, дым ясный, хладный пламень,   
 Недуг здоровый и бессонный сон.   
 Любовью нелюбовной я пронзен.   
 Ты не смеешься?   
  
 Бенволио   
  
 Нет, скорее плачу.   
  
 Ромео   
  
 О чем, добряк?   
  
 Бонволио   
  
 Да о твоей печали.   
  
 Ромео   
  
 Печальны все, что этим злом страдали.   
 И так печаль мне тяжела была, -   
 С твоей печалью вдвое тяжела.   
 И от любви, что ты мне показал,   
 Недуг мучительней мне вдвое стал.   
 Любовь - от вздохов стелющийся дым,   
 Но кажется огнем глазам моим,   
 Иль в горе морем, вскормленным слезами.   
 Что это - умное безумье, лед,   
 Что сковывает нас? Иль сладкий мед?   
 Прощай, мой брат.   
  
 Бенволио   
  
 Нет, с вами я пойду.   
 Обидно мне вас бросить на беду.   
  
 Ромео   
  
 Шш... Потерял себя, меня здесь нет.   
 А где Ромео - кто мне даст ответ?   
  
 Бенволио   
  
 Кого вы любите, скажите просто!   
  
 Ромео   
  
 Стонать я буду пред тобой?   
  
 Бенволио   
  
 О нет.   
 Скажите просто имя.   
  
 Ромео   
  
 Больному завещанье сделать просто   
 Ты прикажи. Жестоко приказанье.   
 Я просто женщину люблю, мой брат.   
  
 Бенволио   
  
 Сюда я целил, о любви подумав.   
  
 Ромео   
  
 Хорош стрелок! Любимая прекрасна.   
  
 Бенволио   
  
 Чем цель прекраснее, тем легче метить.   
  
 Ромео   
  
 Ошибся ты: Эрот напрасно метил   
 В нее стрелой; ведь ум Дианы светел,   
 Броня невинности неуязвима.   
 Стрела Эрота пролетает мимо.   
 К осаде слов она совсем спокойна   
 И к взглядам осаждающим строга   
 И золота соблазну недоступна.   
 Богата красотой она, но смерть   
 Красу ее бесплодную поглотит.   
  
 Бенволио   
  
 Что ж, целомудрия дала обет?   
  
 Ромео   
  
 Да, скупость выжжет, как в пустыне, цвет   
 Ее красы, что строгость истощает,   
 И цвет потомства жизни не узнает.   
 Она умна, красива через край -   
 Моим отчаяньем заслужит рай;   
 На горе мне клялась любви не знать.   
 Хоть мертв, живу, чтоб это повторять.   
  
 Бенволио   
  
 Вам мой совет: не думайте о ней.   
  
 Ромео   
  
 О, научи, как разучиться думать!   
  
 Бенволио   
  
 Дай волю собственным глазам: смотри   
 Ты на других красавиц.   
  
 Ромео   
  
 Это - способ   
 Увидеть, что она еще прелестней.   
 Та маска, что чело целует дамы,   
 Сама мертва, но красоту скрывает.   
 Тот, кто ослеп, забыть вовек не сможет   
 Сокровище потерянное - зренье.   
 Красавицу мне покажи - она   
 Лишь памятною книжкой мне послужит,   
 Где я прочту, что красота есть выше.   
 Прощай же. Кто забвению научит?   
  
 Бенволио   
  
 Я научу - иль долг меня замучит. {4}   
  
 Уходят.

**СЦЕНА 2**

Улица.   
 Входят Капулетти, Парис и Слуга.   
  
 Капулетти   
  
 Монтекки ведь наказан, как и я.   
 Одною пеней. Думаю, не трудно   
 Двум старым людям мир не нарушать.   
  
 Парис   
  
 Вы оба - уважаемые люди,   
 И жаль, что в давней ссоре вы живете.   
 Какой же вы ответ дадите мне?   
  
 Капулетти   
  
 Да тот же, что давал я прежде вам.   
 Ведь дочь моя еще не знает света. -   
 Идет лишь ей четырнадцатый год.   
 Два лета расцветут и два сомлеют -   
 Тогда она для свадьбы лишь созреет.   
  
 Парис   
  
 Есть матери счастливые моложе.   
  
 Капулетти   
  
 Зато и увядают слишком рано.   
 Земля пожрала всех моих детей:   
 Она - одна мне на земле надежда.   
 Понравьтесь ей, Парис, добейтесь счастья.   
 Мое желанье - часть ее согласья;   
 И если выбрать согласится вас,   
 Я голос свой вам отдаю тотчас.   
 У нас, как в старину, сегодня бал.   
 Я к вечеру гостей к себе созвал;   
 Но лишь любимых, вы же - среди них   
 Любимей и желанней всех других.   
 Придите в скромный дом, - в нем ярче звезды   
 Тех звезд, что освещают черный воздух,   
 И наслажденье юности здоровой,   
 Когда апрель нарядный входит снова   
 Вслед за хромой зимой, - вот эту радость   
 В моем дому получите и сладость   
 Всех девушек-цветов. Всех слышать, видеть,   
 Чтобы достойнейшую не обидеть,   
 Придется вам; средь них и дочь моя.   
 В ее победе сомневаюсь я.   
 Пойдемте, граф, со мной.   
 (Слуге, давая бумагу)   
 А ты шагай   
 По всей Вероне, всех оповещай,   
 Кто вписан здесь, и всех друзей моих,   
 Что вечером гостей жду дорогих.   
  
 Уходят Капулетти и Парис.   
  
 Слуга   
  
 Оповещай всех, кто сюда вписан! А может быть, тут написано, что сапожник должен орудовать аршином, а портной - шилом, рыбак - карандашом, а маляр - сетями! Меня послали отыскивать людей, что сюда вписаны, а я никак не разыщу, чт\_о\_ тут написал тот, кто писал. Обращусь к ученым людям. Да вот они.   
  
 Входят Бенволио и Ромео.   
  
 Бенволио   
  
 Поверь, пожрет один огонь другой,   
 Печаль другой печалью сократится,   
 Боль новая излечит боль собой,   
 И голова иначе закружится.   
 Пусть новая зараза влезет в глаз -   
 И старый яд исчезнет в тот же час.   
  
 Ромео   
  
 Твой подорожник очень здесь полезен.   
  
 Бенволио   
  
 Как? Для чего?   
  
 Ромео   
  
 Для сломанной ноги.   
  
 Бенволио   
  
 Да ты сошел с ума!   
  
 Ромео   
  
 Нет, не сошел, но связан, как безумец;   
 В тюрьму я брошен и лишен еды,   
 Избит, измучен... - Малый, добрый день!   
  
 Слуга   
  
 День добрый! Вы умеете читать?   
  
 Ромео   
  
 Да, в горести судьбу свою читаю.   
  
 Слуга   
  
 Этому вы, вероятно, выучились без книг. Но я вас спрашиваю, не можете ли вы прочесть то, что вы видите?   
  
 Ромео   
  
 Да, если я язык и буквы знаю.   
  
 Слуга   
  
 Вы честно отвечаете. Будьте веселы!   
  
 Ромео   
  
 Стой, малый, я прочту. (Читает) "Синьор Мартино с женой и дочерьми; граф Ансельм в его прекраснейшие сестры; вдовствующая госпожа Витрувио; синьор Плаченцио и его милые племянницы; Меркуцио и его брат Валентин; мой дядя Капулетти, его жена и дочери; моя прелестная племянница Розалина; Ливия; синьор Валенцио и его двоюродный брат Тибальт; Лючио и его резвая Елена". Отличное общество; куда же его приглашают?   
  
 Слуга   
  
 Наверх.   
  
 Ромео   
  
 А куда наверх?   
  
 Слуга   
  
 На ужин, в наш дом.   
  
 Ромео   
  
 Чей дом?   
  
 Слуга   
  
 Дом моего господина.   
  
 Ромео   
  
 Об этом должен был спросить я раньше.   
  
 Слуга   
  
 Теперь скажу вам без расспросов: мой господин - знаменитый богатый Капулетти. И если вы не из дома Монтекки, то приходите к нам опрокинуть стакан вина. Будьте веселы. (Уходит.)   
  
 Бенволио   
  
 На празднике у Капулетти будет   
 И Розалина милая твоя   
 Среди прославленных красавиц наших.   
 Иди туда, сравни спокойным взглядом   
 Тех девушек, что покажу я, с ней -   
 И станет галки лебедь твой черней.   
  
 Ромео   
  
 Когда глаза солгут любви моей,   
 Пусть слезы превратятся в жаркий пламень.   
 Еретикам прозрачным {5} казнь больней -   
 Гореть за ложь и не сгорать, как камень.   
 Красивей милой? Да ей равной нет   
 С тех пор, как существует белый свет!   
  
 Бенволио   
  
 Вы видели ее всегда одну,   
 И никогда никто с ней не был рядом.   
 Глаза - весы; на них ее кладу   
 И девушку другую. Ясным взглядом   
 Увидите, что есть ее милей,   
 И думать позабудете о ней.   
  
 Ромео   
  
 Пойду не новую красу смотреть,   
 А прежней восторгаться и гореть.   
  
 Уходят.

**СЦЕНА 3**

Комната в доме Капулетти.   
 Входят госпожа Капулетти и Кормилица.   
  
 Госпожа Капулетти   
  
 Где дочь моя? Зови ее сейчас же!   
  
 Кормилица   
  
 Своею девственностью в десять лет   
 Клянусь - звала уже. Овечка! Птичка!   
 Где девочка? О боже, где Джульетта?   
  
 Входит Джульетта.   
  
 Джульетта   
  
 Кто звал меня?   
  
 Кормилица   
  
 Да ваша мать.   
  
 Джульетта   
  
 Я здесь. Что, матушка, хотите?   
  
 Госпожа Капулетти   
  
 Вот что... - Оставь нас, няня, ненадолго;   
 Поговорить нам надо. - Нет, постой;   
 Я передумала: ты можешь слушать.   
 Ты знаешь, дочь моя уж подросла.   
  
 Кормилица   
  
 Ее года я знаю по часам.   
  
 Госпожа Капулетти   
  
 Ей нет четырнадцати.   
  
 Кормилица   
  
 Нет, клянусь   
 Зубами, нет четырнадцати ей,   
 Хоть у меня четыре зуба. Сколько   
 До дня Петрова? {6}   
  
 Госпожа Капулетти   
  
 Две недели с лишним.   
  
 Кормилица   
  
 Ну, две иль с лишним, только знаю я -   
 В ночь на Петра четырнадцать ей минет.   
 Сусанна ей (земля ей буди пухом)   
 Ровесница была, да бог прибрал.   
 Ее была я недостойна. Ну,   
 Так в день Петров четырнадцать ей будет.   
 Да, будет, право! Хорошо я помню -   
 Одиннадцать прошло с землетрясенья.   
 В тот день ее я отняла от груди. -   
 Я этот день вовеки не забуду;   
 Полынью я тогда соски натерла,   
 На солнышко у голубятни села, -   
 Вы и хозяин в Мантуе гостили. -   
 Нет, память какова! - Так я сказала,   
 Когда ребеночек полынь всосал   
 С сосков и горечь обожгла дурышку,   
 Обиделась она и - прочь сосок!   
 Вдруг зашаталась голубятня, - тут   
 Пустилась я бежать.   
 Одиннадцать уж лет с тех пор прошло;   
 Тогда она уже стояла, - нет,   
 Уж бегала вразвалочку, клянусь!   
 А за день перед тем разбила лобик.   
 Тогда мой муж - бог душу упокой,   
 Веселый был покойник! - взял ее:   
 "Что ж, - говорит, - ты падаешь лицом?   
 Уж скоро на спину ты будешь падать,   
 Как поумнеешь. Так, дитя?" Плутовка   
 Затихла и ему сказала: "Да!"   
 Сбывается, как видно, шутка эта.   
 Клянусь, хоть проживу я сотни лет,   
 Я не забуду: "Так, дитя?" - спросил он.   
 Дурышка плакать перестала: "Да!"   
  
 Госпожа Капулетти   
  
 Довольно, замолчи, прошу тебя!   
  
 Кормилица   
  
 Молчу. А все смех разбирает, - вспомню.   
 Как вдруг затихла и сказала: "Да!"   
 А шишка с петушиное яичко   
 У ней вскочила, уверяю вас, -   
 Ушиб опасный! - и рыдала горько.   
 "Что ж, - муж сказал, - ты падаешь лицом?   
 Уж скоро на спину ты будешь падать,   
 Как поумнеешь". Тут замолкла: "Да!"   
  
 Джульетта   
  
 Замолкни ты, прошу тебя я, няня.   
  
 Кормилица   
  
 Замолкла уж, храни тебя господь,   
 Красивей я не няньчила детей. -   
 Уж как мне хочется дожить до свадьбы   
 Твоей, малютка!   
  
 Госпожа Капулетти   
  
 Как раз о свадьбе говорить с тобой   
 Пришла я, дочь. Скажите мне? Джульетта,   
 Намерены ль вы замуж выходить?   
  
 Джульетта   
  
 Об этой чести я и не мечтала.   
  
 Кормилица   
  
 О чести! Не была б твоей я мамкой,   
 Сказала б: с молоком ты ум всосала.   
  
 Госпожа Капулетти   
  
 Так вот, подумайте теперь об этом.   
 Моложе вас в Вероне дамы есть, -   
 Уж матери они. Что ж до меня,   
 Моложе вас гораздо я была,   
 Когда вас родила. Вот вкратце дело!   
 Парис достойный сватается к вам.   
  
 Кормилица   
  
 Мужчина, - ах, сударыня, мужчина!   
 Уж лучше всех! Из воску будто он.   
  
 Госпожа Капулетти   
  
 В Вероне летом краше нет цветка.   
  
 Кормилица   
  
 Да, он цветок, он настоящий цветик.   
  
 Госпожа Капулетти   
  
 Что скажете, вам нравится ли он?   
 Вы на балу с ним встретитесь сегодня.   
 Лица его прочтете книгу, прелесть,   
 Что начертало красоты перо.   
 Заметьте каждую его черту   
 И как одна черта с другой согласна.   
 А если что не ясно в книге вам,   
 Вы на полях прочтете по глазам.   
 Любовной этой книге драгоценной   
 Необходим и переплет отменный:   
 Как рыбе нужен волн бессменный плеск,   
 Так красоте сокрытой нужен блеск.   
 Для многих книги просияет, слава   
 От золотых застежек и оправы.   
 От вашей красоты он станет краше,   
 Но в этом нет ущерба доле вашей.   
  
 Кормилица   
  
 Какой ущерб! Мы от мужчин толстеем!   
  
 Госпожа Капулетти   
  
 Понравится ль любовь Париса вам?   
  
 Джульетта   
  
 Взгляну, и как понравится - глазам   
 Дам волю, но их опущу тотчас,   
 Как только получу приказ от вас.   
  
 Входит Слуга.   
  
 Слуга   
  
 Сударыня, гости собрались, ужин подан, вас зовут, молодую госпожу ищут, кормилицу проклинают в кладовой, и все доведены до крайности. Я должен итти туда прислуживать. Прошу пожаловать за мной. (Уходит.)   
  
 Госпожа Капулетти   
  
 Идем сейчас. Джульетта, граф вас ждет!   
  
 Кормилица   
  
 Иди: за днем ночь сладкая придет.   
  
 Уходят.

**СЦЕНА 4**

Улица.   
 Входят Ромео, Меркуцио и Бенволио с пятью или   
 шестью другими масками; слуги с факелами.   
  
 Ромео   
  
 Что ж, скажем ли мы что-нибудь при входе   
 Иль без приветствия войдем туда?   
  
 Бенволио   
  
 Не в моде многословие такое.   
 Ведь с нами нет слепого Купидона,   
 Несущего цветной татарский лук, {7}   
 Как чучело пугающего дам.   
 Не надо нам для входа и пролога,   
 Что говорится робко под суфлера.   
 Пусть нас сочтут они, чем захотят.   
 Мы потанцуем с ними - и уйдем.   
  
 Ромео   
  
 Дай факел мне. Для танцев я не годен;   
 Хоть мрачен я, но свет нести могу.   
  
 Меркуцио   
  
 Ромео милый, танцовать должны вы.   
  
 Ромео   
  
 У вас ведь туфли на подошве легкой,   
 А у меня душа - свинец тяжелый,   
 Что не дает мне сдвинуться с земли.   
  
 Меркуцио   
  
 Любовник вы; у Купидона крылья   
 Займите, чтобы над землей парить.   
  
 Ромео   
  
 Его стрелой я слишком больно ранен,   
 Чтобы парить на этих легких перьях.   
 Я слишком связан, чтоб печаль связать,   
 И падаю под бременем любви.   
  
 Меркуцио   
  
 Упавши с бременем, любовь придавишь;   
 А груз тяжел для этой нежной вещи.   
  
 Ромео   
  
 Любовь - нежна? Она груба, резка,   
 Она свирепа, колет, как шипы.   
  
 Меркуцио   
  
 Так будьте с грубою любовью грубы;   
 Колите за укол, к земле прибейте.   
 (Надевает маску.)   
 Футляр мне дайте, чтоб лицо в нем спрятать.   
 На маске - маска. Что за дело мне,   
 Что строгий взор сочтет меня уродом?   
 Пусть за меня поддельный лоб краснеет.   
  
 Бенволио   
  
 Ну, постучим, войдем; но прежде все   
 Должны, как нужно, ноги приготовить.   
  
 Ромео   
  
 Нет, факел мне! Пусть молодость живая   
 Пол тростниковый {8} пятками шлифует;   
 А я, по нашей старой поговорке,   
 Свет для других внесу и погляжу.   
 Игра прекрасна, я же пропадаю.   
  
 Меркуцио   
  
 Ты надоел нам всем, а не пропал.   
 Коль ты пропал, из пропасти пропащей,   
 Из знаменитой той любви потянем   
 Мы за уши! - Свет зря горит. Идем!   
  
 Ромео   
  
 Все путаешь.   
  
 Меркуцио   
  
 Но медлим мы напрасно.   
 Огонь горит, как лампа в полдень ясный.   
 И речь моя, поверь, в пять раз умней   
 Всего, что мыслят пять умов о ней.   
  
 Ромео   
  
 Решенье хорошо итти на бал,   
 Но смысла в этом нет.   
  
 Меркуцио   
  
 Кто так сказал?   
  
 Ромео   
  
 Я видел нынче сон.   
  
 Меркуцио   
  
 И я видал.   
  
 Ромео   
  
 Что снилось вам?   
  
 Меркуцио   
  
 Что часто лгут сновидцы.   
  
 Ромео   
  
 В постели спящему и правда снится.   
  
 Меркуцио   
  
 О, вижу, верно, королева Меб {9}   
 У вас была. Она средь эльфов - бабка,   
 И росту всего-навсего с агат   
 У олдермена {10} в перстне. Цугом ездит   
 Она на атомах по человечьим   
 Носам, когда они заснут покрепче.   
 В колесах спицы - ноги пауков,   
 И крылышки кузнечика - верхушка.   
 Постромки - из нежнейшей паутинки,   
 И хомуты - из лунного луча,   
 И бич - из пленки с косточкой сверчка;   
 В ливрее серой маленький комарик   
 За кучера: он меньше червячка,   
 Что по руке ленивой девки бродит. {11}   
 Ее возок - пустой орех. Он белкой   
 Сработан или старым червяком,   
 Каретным мастером для фей старинным.   
 Так пышно скачет Меб за ночью ночь.   
 Путь - мозг любовника, - любовь им снится,   
 Колени царедворца - тут поклоны,   
 Или руки судьи - и снится взятка,   
 Иль губы дамы - снятся поцелуи;   
 Но эти губы злая Меб прыщами   
 За жадность к сладостям порой покроет.   
 Придворный нос подчас она заденет -   
 И запах милости ему приснится.   
 А иногда щетинкою свиною   
 Она поповский нос во сне щекочет -   
 И грезится ему приход богатый.   
 А то еще по шее у солдата   
 Прокатится - и видит он резню,   
 Войну, клинки испанские, засады   
 И кубки глубиной в пять футов. Вдруг   
 Бой барабанный слышится ему;   
 Проснется он, испуганно молитву   
 Прочтет - и снова спит. И та же Меб   
 Плетет ночами гривы лошадям   
 И в космы грязные их завивает;   
 Распутать космы - значит быть беде.   
 Она, колдунья, спящих на спине   
 Девчонок давит, чтоб привыкли к грузу   
 И превратились сразу в крепких женщин.   
 Она...   
  
 Ромео   
  
 Ну, хватит же, Меркуцио, хватит!   
 Ты о пустом болтаешь.   
  
 Меркуцио   
  
 Да, о снах,   
 О детях праздного ума людского,   
 Что зачаты фантазией пустой;   
 Они легки, как самый тонкий воздух,   
 Непостоянней ветра, что ласкает   
 Грудь ледяную северной земли,   
 Но, рассердившись, прочь летит на юг,   
 К земле, покрытой влажною росою.   
  
 Бенволио   
  
 От нас самих твой ветер нас уносит.   
 Там ужин кончен. Поздно мы придем.   
  
 Ромео   
  
 Боюсь, что рано. Чувствует душа,   
 Что в звездах будущее решено.   
 Начало горькое моей судьбы -   
 Вот этот пир ночной, а после жизнь   
 Недолго уж протянется, и смерть   
 Ужасная и ранняя наступит.   
 Но тот, кто правит кораблем моим, {12}   
 Пусть поднимает паруса. Идем!   
  
 Бенволио   
  
 Бей в барабан!   
  
 Входят в дом.

**СЦЕНА 5**

Зал в доне Капулетти.   
 Входят музыканты, затем слуги с салфетками.   
  
 1-й Слуга   
  
 Где этот Потпен? {13} Что он не помогает убирать? Это его дело - менять тарелки, скрести посуду.   
  
 2-й Слуга   
  
 Плохо, когда все лежит на двух людях, да и то с немытыми лапами.   
  
 1-й Слуга   
  
 Уносите скорей стулья. Пошевеливайтесь с поставцами. Присматривайте за серебром. - Эй, ты, сбереги мне кусок пряника и, если ты мне друг, вели привратнику пропустить Сусанну Грайндстон {14} и Нелли. Антон! Потпен!   
  
 2-й Слуга   
  
 Ладно, брат, будет сделано.   
  
 1-й Слуга   
  
 Вас ищут, кличут, требуют, зовут в большой зале.   
  
 3-й Слуга   
  
 Мы не можем быть зараз тут и там. Веселей, ребята! Поторапливайтесь! Кто других переживет, все заберет.   
  
 Уходят.   
 Входит Капулетти с Джульеттой и другими домочадцами;   
 они встречают гостей и маски.   
  
 Капулетти   
  
 Входите, господа. Сразятся с нами   
 Те дамы, у кого мозолей нет.   
 Ха, ха, голубушки! Ну, кто из вас   
 Откажется плясать? Клянусь, у той,   
 Что церемонится, мозоли есть!   
 (К Ромео и его спутникам)   
 Входите, господа. Ведь были дни,   
 Когда носил я маску; на ушко   
 Шептать умел я даме то, что ей   
 Понравится. Прошло, прошло то время!   
 Входите ж вы! - Играйте, музыканты! -   
 Ну, шире место! - Попляшите, детки!   
  
 Музыка играет. Гости танцуют.   
  
 Побольше света, слуги! Вон столы!   
 Камин гасите: слишком жарко стало.   
 Нежданное веселье мне приятно.   
 (Старику, своему родственнику)   
 Садись, садись, мой добрый Капулетти!   
 Прошли уж дни, когда плясали мы!   
 Когда в последний раз на маскараде   
 Мы были вместе?   
  
 Старик   
  
 Тридцать лет назад.   
  
 Капулетти   
  
 Ну, полно, милый. Вовсе не так много!   
 Люченцио свадьба в этот день была.   
 Не слишком подгоняйте Духов день: {15}   
 Тому лет двадцать пять мы были в масках.   
  
 Старик   
  
 Нет, больше, сударь. Сын его ведь старше:   
 Ему уж тридцать.   
  
 Капулетти   
  
 Что вы говорите!   
 Он год тому назад был малолетним.   
  
 Ромео (Слуге)   
  
 Кто эта дама, что красой сияет,   
 С тем кавалером?   
  
 Слуга   
  
 Не знаю, сударь.   
  
 Ромео   
  
 Вокруг нее блеск факелов погас!   
 В ночи она блистает, как алмаз,   
 Как в ухе мавра яркая серьга;   
 Она для мира слишком дорога!   
 Как голубь снежный бел среди ворон,   
 Ее краса всем спутницам урон.   
 Как кончат пляс, на страже должен встать.   
 Руки ее коснуться - благодать.   
 Любил ли прежде? Отрекитесь, очи!   
 Я красоты не знал до этой ночи.   
  
 Тибальт   
  
 Я слышу здесь Монтекки наглый голос. -   
 Дай мне рапиру, малый! - Этот раб   
 Зачем пришел под маской издеваться   
 И хохотать над нашим торжеством?   
 Клянусь я честью родовой: за смех   
 Убить его, считаю я, не грех!   
  
 Капулетти   
  
 Ну что, племянник, что шумишь ты так?   
  
 Тибальт   
  
 Но, дядя, здесь Монтекки, здесь наш враг;   
 Он, наглый и негодный безобразник,   
 Пришел, чтоб осмеять семейный праздник.   
  
 Капулетти   
  
 Ромео юный?   
  
 Тибальт   
  
 Да, подлец Ромео.   
  
 Капулетти   
  
 Оставь его в покое, милый мой;   
 Ведет себя он благородным гостем.   
 По правде говоря, в Вероне он   
 Известен как приличный, честный малый;   
 И дай мне все, чт\_о\_ стоит город наш,   
 Не оскорблю его в своем я доме.   
 Будь терпелив, не обращай вниманья;   
 Я так хочу. Приказ мой уважай.   
 Прими любезный вид, не хмурься больше.   
 На празднике вид хмурый неприличен.   
  
 Тибальт   
  
 Приличен, если в дом вошел подлец.   
 Его не потерплю!   
  
 Капулетти   
  
 Терпеть заставлю!   
 Молчать, мальчишка! Я сказал - заставлю!   
 Кто здесь хозяин? Я иль вы? Ступайте!   
 Вы "не потерпите", помилуй бог!   
 Среди моих гостей устроить бунт!   
 Хотите хорохориться? Посмотрим!   
  
 Тибальт   
  
 Но, дядя, это стыд!   
  
 Капулетти   
  
 Подите прочь!   
 Нахальный вы мальчишка - всем известно.   
 Вам эти шутки могут повредить.   
 Вы раздражаете меня! Довольно! -   
 Отлично сказано! - Наглец! Ступайте!   
 Сидите смирно! Или... - Света! - Стыдно!   
 Я усмирю вас. - Веселей, друзья! {16}   
  
 Тибальт   
  
 Дрожу от встречи чувств, но, одолев,   
 Терпенье силой не погасит гнев.   
 Я удалюсь. Вторженье сладко ныне,   
 Но станет горше желчи и полыни.   
 (Уходит.)   
  
 Ромео (Джульетте)   
  
 Руки коснулся грешною рукой, -   
 На искупленье право мне даруй.   
 Вот губы - пилигримы: грех такой   
 Сейчас готов смыть нежный поцелуй.   
  
 Джульетта   
  
 Вы слишком строги, милый пилигрим,   
 К рукам своим. Как грех ваш ни толкуй,   
 В таком касании мы свято чтим   
 Безгрешный пилигрима поцелуй.   
  
 Ромео   
  
 Нет губ у пилигрима и святой?   
  
 Джульетта   
  
 Есть, пилигрим, но только для псалмов.   
  
 Ромео   
  
 Губам, святая, счастье то открой,   
 Что есть у рук. Извериться готов.   
  
 Джульетта   
  
 Не движутся святые в знак согласья.   
  
 Ромео   
  
 Недвижны будьте - уж достиг я счастья.   
 (Целует ее.)   
 Вот с губ моих грех сняли губы ваши.   
  
 Джульетта   
  
 Так, значит, на моих - грех ваших губ?   
  
 Ромео   
  
 Грех губ моих - нет зла милей и краше.   
 Верни мой грех!   
  
 Джульетта   
  
 Нет, точный счет мне люб.   
 (Целует его,)   
  
 Кормилица (Джульетте)   
  
 Вам хочет матушка сказать два слова.   
  
 Ромео   
  
 Кто мать ее?   
  
 Кормилица   
  
 Клянусь вам, кавалер,   
 Что мать ее - хозяйка дома здесь,   
 Добрейшая, разумнейшая дама.   
 Я няня дочки, - с ней вы говорили.   
 Кто ею завладеет, тот немало   
 Получит.   
  
 Ромео   
  
 Капулетти дочь она!   
 О милый счет! Жизнь в долг врагу дана!   
  
 Бенволио   
  
 Пойдем же; шутка удалась на славу.   
  
 Ромео   
  
 Да, я боюсь, кончается забава.   
  
 Капулетти   
  
 Нет, господа, еще не уходите,   
 Сейчас вам будет легкая закуска, {18}   
 Итти пора вам? Ну, благодарю вас.   
 Благодарю вас всех. Покойной ночи! -   
 Эй, факелов сюда! - А мы - в постель.   
 И вправду, уж становится поздненько.   
 Пора и на покой.   
  
 Уходят все кроме Джульетты и Кормилицы.   
  
 Джульетта (Кормилице)   
  
 Поди сюда. Кто этот господин?   
  
 Кормилица   
  
 Сын и наследник старого Тиберио.   
  
 Джульетта   
  
 А этот, что выходит из дверей?   
  
 Кормилица   
  
 Мне кажется, Петручио молодой.   
  
 Джульетта   
  
 А этот, что не танцовал? Вон там?   
  
 Кормилица   
  
 Не знаю.   
  
 Джульетта   
  
 Узнай мне имя. Если он женат,   
 Мне брачная постель - могильный хлад.   
  
 Кормилица   
  
 Монтекки он, зовут его Ромео, -   
 Сын вашего великого врага.   
  
 Джульетта   
  
 Встает любовь из ненависти грозной!   
 Увидеть, не узнав! Узнать, но поздно!   
 Начало вижу страсти роковой:   
 Похитил сердце враг заклятый мой.   
  
 Кормилица   
  
 Что это? Что?   
  
 Джульетта   
  
 Стихи я услыхала   
 От кавалера на балу.   
  
 Кормилица   
  
 Ну, ну!   
 Уж гости все ушли. Пора ко сну.   
  
 Уходят.

**АКТ II**

**ПРОЛОГ**

Входит Хор.   
  
 Хор   
  
 На ложе смерти - старая любовь,   
 А молодая страсть уж смотрит в дверь;   
 Краса, которой посвящал он кровь,   
 С Джульеттой рядом - не краса теперь.   
  
 Теперь влюблен Ромео и любим,   
 Джульетты взорами заворожен.   
 Но он, как враг, ее родней гоним,   
 И ей желанен и опасен он.   
  
 Как враг, не может он проникнуть к ней,   
 Чтоб вместе принести любви обет;   
 Сильна в ней нежность, но запрет - сильней,   
 И с милым увидаться средства нет.   
  
 Однако все ж должна преграда пасть -   
 И усладит их злую долю страсть.   
 (Уходит.)

**СЦЕНА 1**

Переулок. Стена перед садом Капулетти.   
 Входит Ромео.   
  
 Ромео   
  
 Могу ль итти, когда осталось сердце?   
 О глупая земля, найди свой центр!   
 (Перелезает через стену и исчезает за ней.)   
  
 Входят Бенволио и Меркуцио.   
  
 Бенволио   
  
 Ромео! Брат Ромео!   
  
 Меркуцио   
  
 Он разумен.   
 Ей-богу, он ушел и лег в постель.   
  
 Бенволио   
  
 Он побежал сюда, здесь перелез!   
 Зови его, Меркуцио!   
  
 Меркуцио   
  
 Заклинаю!   
 Ромео, шут, безумец, страсть, любовник!   
 Явись под видом вздоха иль скажи   
 Лишь стих один - и буду я доволен.   
 Вздохни: "увы!", иль "кровь - любовь" срифмуй.   
 Венере-кумушке скажи словечко,   
 Иль подразни сынка ее кривого,   
 Амура, что в царя стрельнул так ловко,   
 Что тот влюбился в нищенку тотчас! {19}   
 Не движется, не отвечает он.   
 Мертва мартышка, я же - заклинай! -   
 Глазами Розалины заклинаю,   
 Ее челом и алыми губами,   
 Ногою тонкой, трепетным бедром   
 И всем добром, что по соседству с ним, -   
 Во образе своем явись нам ныне!   
  
 Бенволио   
  
 Рассердишь ты его, когда услышит.   
  
 Меркуцио   
  
 Нет, почему? Я б рассердил его,   
 Когда бы в круг любовный Розалины   
 Другого вызвал духа, и пришлось ей   
 Прогнать его, чтоб он не стал меж ними.   
 Вот здесь была б обида, а мое   
 Заклятье честно. Я ж прошу его   
 Во имя милой нам явиться здесь.   
  
 Бенволио   
  
 Пойдем, он под деревьями укрылся.   
 Здесь влажный мрак, он по сердцу ему.   
 Любовь слепа, и тьма подходит ей.   
  
 Меркуцио   
  
 Слепа любовь - ей в цель попасть трудней.   
 Сидит он под кизиловым кустом,   
 О деве грезит, о плоде открытом, -   
 Так это девушки тайком зовут.   
 Ромео, если бы она была   
 Открытой... знаешь чем, а ты был грушей!..   
 Прощай, Ромео, спать иду в постель:   
 Мне слишком холодно спать на земле.   
 Ну что ж, идем?   
  
 Бенволио   
  
 Идем. Напрасно будем   
 Искать того, кто спрятался от нас.   
  
 Уходят.

**СЦЕНА 2**

Сад Капулетти.   
 Входит Ромео.   
  
 Ромео   
  
 Над раной шутит тот, кто не был ранен.   
  
 Джульетта появляется в окне наверху.   
  
 Но что за свет мелькает в том окне?   
 Там золотой восток; Джульетта - солнце!   
 Завистницу-луну убей, о солнце;   
 Она от зависти бледна, больна,   
 Что ты, ее служанка, стала краше.   
 Завистливой хозяйке не служи,   
 Весталки {20} сбрось зеленую одежду:   
 Из всех людей ее шуты лишь носят.   
 О госпожа моя, любовь моя!   
 О, знала б, кто она!   
 Заговорила. Нет, молчит. Ну, что же?   
 Ведь говорят глаза - отвечу им!   
 Я дерзок, не со мною говорят.   
 Прекраснейшие две звезды, по делу   
 Желая с неба отлучиться, просят   
 Ее глаза сиять, пока вернутся.   
 Как! Если бы местами поменялись   
 Ее глаза и звезды? Блеск лица   
 Затмил бы звезды, как дневной свет лампу,   
 И птицы б, ночь приняв за день, запели -   
 Так ярко б в небесах глаза горели.   
 Щекой склонилась на руку она.   
 О, быть бы мне перчаткой, чтоб касаться   
 Ее щеки!   
  
 Джульетта   
  
 Увы мне!   
  
 Ромео   
  
 Говорит!   
 О светлый ангел, говори! В ночи   
 Над головой моей ты так прекрасна,   
 Как неба ясного крылатый гость,   
 Когда летит по облакам ленивым   
 Иль по воздушным волнам он плывет,   
 И с восхищеньем смертные глядят,   
 Закинув голову, глаза раскрыв.   
  
 Джульетта   
  
 Ромео. Почему Ромео ты?   
 От имени и дома отрекись.   
 А если не захочешь, поклянись   
 В любви - и я не буду Капулетти.   
  
 Ромео (про себя)   
  
 Послушать ли еще или ответить?   
  
 Джульетта   
  
 Не ты, а имя лишь твое - мой враг.   
 Ты сам собой, ты вовсе не Монтекки.   
 Монтекки ли - рука, нога, лицо   
 Иль что-нибудь еще, что человеку   
 Принадлежит? Возьми другое имя.   
 Что имя? Роза бы иначе пахла,   
 Когда б ее иначе называли?   
 Ромео, если б не Ромео стал, -   
 Свое все совершенство сохранил бы   
 И безыменный. Сбрось, Ромео, имя,   
 Отдай то, что не часть тебя, - возьми   
 Меня ты всю.   
  
 Ромео   
  
 Ловлю тебя на слове.   
 Любимым назови - крещен я снова   
 И никогда не буду уж Ромео.   
  
 Джульетта   
  
 Кто ты, что под покровом ночи тайну   
 Мою проведал?   
  
 Ромео   
  
 Именем каким   
 Себя я назову тебе - не знаю.   
 Мне имя ненавистно: ведь тебе   
 Оно враждебно, милая, святая.   
 Бумагу с подписью я разорвал бы.   
  
 Джульетта   
  
 Не услыхала я и сотни слов -   
 По звуку голос я узнала твой.   
 Ведь ты Ромео? Ты Монтекки? да?   
  
 Ромео   
  
 О нет! Ведь оба имени противны!   
  
 Джульетта   
  
 Как ты вошел сюда и для чего?   
 Здесь высока стена и неудобна;   
 Опасна для тебя: ведь если ты   
 Родным моим здесь попадешься, - смерть!   
  
 Ромео   
  
 Любовь на крыльях пронесла меня;   
 Ведь для любви и камень не преграда;   
 На все любовь посмеет посягнуть,   
 И не помеха мне твои родные.   
  
 Джульетта   
  
 Увидев лишь, они тебя убьют.   
  
 Ромео   
  
 Увы! Глаза твои опасней мне,   
 Чем двадцать шпаг. Лишь ласково взгляни -   
 И против злобы их я защищен.   
  
 Джульетта   
  
 Лишь бы тебя они не увидали!   
  
 Ромео   
  
 От них меня укроет ночи плащ.   
 Но пусть найдут, лишь ты б меня любила.   
 Уж лучше смерть от ненависти их,   
 Чем жизнь лишенная твоей любви!   
  
 Джульетта   
  
 Но кто тебя сюда привел, скажи?   
  
 Ромео   
  
 Любовь меня на поиски толкнула,   
 Дала совет, а я ей дал глаза.   
 Не мореход я, но была бы ты   
 На дальнем берегу за дальним морем -   
 Решился б за таким товаром плыть.   
  
 Джульетта   
  
 Ночная маска на моем лице, -   
 Иначе б видел ты, как я краснею,   
 Что ты сейчас слова мои подслушал.   
 Охотно б постыдилась, отреклась я   
 Отелов своих. - Теперь прощай, притворство!   
 Меня ты любишь? Знаю, скажешь: "да";   
 Тебе поверю я, а клясться будешь -   
 Солгать ты можешь. Над любовной клятвой   
 Смеются боги. Милый мой Ромео!   
 Скажи мне, вправду любишь ли меня?   
 А если думаешь, что слишком быстро   
 Я отдаюсь, - нахмурюсь, "нет" отвечу   
 Твоей мольбе. Иначе - ни за что.   
 Я слишком влюблена, Монтекки милый.   
 Я ветрена - подумать можешь ты?   
 Но верь, вернее тех я, кто искусно   
 Умеют равнодушными казаться.   
 Казалась бы я равнодушной, верь,   
 Когда бы ты внезапно не подслушал   
 Любовь мою и страсть. Прости, не думай;   
 Что ветрена уступчивость моя,   
 Которую ночь темная открыла.   
  
 Ромео   
  
 Благословенной я луной клянусь,   
 Что серебром деревья обливает...   
  
 Джульетта   
  
 О, не клянись изменчивой луною,   
 Что каждый месяц свой меняет лик, -   
 Чтобы любовь изменчивой не стала.   
  
 Ромео   
  
 Но чем же клясться?   
  
 Джульетта   
  
 Не клянись совсем:   
 Иль, если хочешь, прелестью своею.   
 Самим собою, божеством моим -   
 И я поверю.   
  
 Ромео   
  
 Если сердце страсть...   
  
 Джульетта   
  
 Нет, не клянись. Хоть рада я тебе,   
 Не рада договору я ночному:   
 Он слишком быстр, внезапен, неожидан,   
 На молнию похож, что гаснет прежде,   
 Чем "молния!" воскликнем. Доброй ночи!   
 Дыханье лета пусть росток любви   
 В цветок прекрасный превратит назавтра.   
 Покойной ночи! Пусть в тебя войдет   
 Покой, что в сердце у меня живет.   
  
 Ромео   
  
 Не одарив меня, прогонишь прочь?   
  
 Джульетта   
  
 Какой же дар ты хочешь в эту ночь?   
  
 Ромео   
  
 В обмен на клятву клятву я хочу.   
  
 Джульетта   
  
 До просьбы поклялась тебе в любви я,   
 Теперь бы заново хотела клясться.   
  
 Ромео   
  
 Зачем ту клятву хочешь ты отнять?   
  
 Джульетта   
  
 Чтоб щедрой быть и снова подарить.   
 Но я хочу того, чем обладаю:   
 Моя, как море, безгранична щедрость   
 И глубока любовь. Чем я щедрей   
 Дарю любовь, любовь тем бесконечней.   
  
 Кормилица зовет из-за двери.   
  
 Я слышу в доме шум. Прощай, любимый! -   
 Иду! - Монтекки милый мой, будь верен.   
 Постой минутку, я сейчас вернусь.   
 (Уходит.)   
  
 Ромео   
  
 О ночь благословенная! Боюсь,   
 Что этой ночью сон приснился мне;   
 Он слишком гладок, чтобы правдой быть.   
  
 Джульетта снова показывается наверху.   
  
 Джульетта   
  
 Три слова лишь, Ромео, и прощай.   
 Когда твоя ко мне любовь честна   
 И хочешь ты жениться, - дай мне знать   
 С тем, кто наутро от меня придет,   
 Где и когда венчаться хочешь ты, -   
 И я судьбу к твоим ногам сложу,   
 На край земли пойду за господином.   
  
 Кормилица (из-за двери)   
  
 Сударыня!   
  
 Джульетта   
  
 Иду! - Но если ты не с чистым сердцем...   
 Молю тебя...   
  
 Кормилица (из-за двери)   
  
 Сударыня!   
  
 Джульетта   
  
 Сейчас,   
 Сейчас приду! - Молю, не домогайся   
 И предоставь меня моей печали.   
 Пришлю к тебе с утра!   
  
 Ромео   
  
 Души блаженством...   
  
 Джульетта   
  
 Сто раз тебе привет.   
 (Уходит.)   
  
 Ромео   
  
 Сто раз больней мне ждать, придет ли свет.   
 Как с букварем расстаться школьник рад,   
 Так мне расстаться с милой - черный ад.   
 (Медленно направляется к выходу.)   
  
 Джульетта (появляется снова наверху)   
  
 Ромео! Почему мне не дал голос   
 Сокольничий, чтоб сокола манить!   
 Рабыни хриплый голос так бессилен, -   
 А то б пещеру Эхо потрясла я:   
 Воздушный голос бы сильней охрип,   
 Чем мой, за мной Ромео призывая, -   
 Ромео!   
  
 Ромео   
  
 Душа моя зовет меня. Как сладко,   
 Как серебристо голоса влюбленных   
 Звучат нежнейшей музыкой в ночи!   
  
 Джульетта   
  
 Ромео!   
  
 Ромео   
  
 Милая!   
  
 Джульетта   
  
 В каком часу -   
 Послать к тебе с утра?   
  
 Ромео   
  
 Пришли в девятом.   
  
 Джульетта   
  
 Пришлю. Но до утра ждать двадцать лет!   
 Забыла я, зачем тебя позвала.   
  
 Ромео   
  
 Позволь стоять, пока припомнишь ты!   
  
 Джульетта   
  
 Не вспомню я, чтоб ты стоял здесь дольше.   
 Я помню только - хорошо нам вместе.   
  
 Ромео   
  
 Останусь я, чтобы забыла ты, -   
 Забыв, что дом есть на земле другой.   
  
 Джульетта   
  
 Уж утро. Я хочу, чтоб ты ушел,   
 Как птица, что на ниточке летает;   
 Шалунья-девочка ее отпустит,   
 Как узника несчастного в цепях, -   
 И сразу же обратно тянет нитку,   
 К свободе птицу милую ревнуя.   
  
 Ромео   
  
 Хотел бы птицей быть твоей!   
  
 Джульетта   
  
 Да, милый.   
 Я задушила б ласками тебя.   
 Прощай! Прощанья сладостна игра!   
 С тобой бы я прощалась до утра.   
  
 Ромео   
  
 Сон и покой да будут над тобою! -   
 Хотел бы я быть сном тем и покоем!   
 Нужна мне помощь; я к монаху в келью   
 Пойду, сердечным поделюсь весельем.   
  
 Уходят.

**СЦЕНА 3**

Келья брата Лаврентия.   
 Входит брат Лаврентий с корзиной.   
  
 Брат Лаврентий   
  
 В ночь хмурую, смеясь, глядится день,   
 И тучи луч пестрит и гонит тень,   
 И грязный мрак сторонится, как пьяный,   
 С дороги огненной прочь от Титана,   
 Пока не взглянет солнца жгучий глаз,   
 Росу не выпьет, не приветит нас.   
 Плетеный короб я наполнил мой   
 Целебною и пагубной травой.   
 Земля - и чрево и могила, мать   
 Природы всей. В ней - зло и благодать,   
 Земного чрева ищем мы детей:   
 Земля питает грудью их своей.   
 Они исполнены прекрасных благ,   
 Таких различных - ни одно не враг.   
 О, сколько сил заключено благих   
 В камнях и травах, в верных свойствах их!   
 И низкое, что на земле живет,   
 Хоть что-то доброе земле дает.   
 Но доброе, коль плохо примененье,   
 Ведет к печальным злоупотребленьям, -   
 И благо обращается в порок,   
 Порок иной раз - в доблесть. Вот цветок, -   
 Здесь в юной оболочке яд разлит,   
 Но силу врачеванья он таит.   
 В нем запах радость тела возбуждает,   
 А если вкусишь - сердце убивает.   
 Два короля-врага живут, в цветах:   
 Добро и Зло живут в людских сердцах.   
 Когда над Благом Зло возобладает,   
 Растенье язва смертная съедает.   
  
 Входит Ромео.   
  
 Ромео   
  
 Отец мой, здравствуй!   
  
 Брат Лаврентий   
  
 Будь благословен!   
 Чей ласковый привет так рано слышу?   
 Мой сын, расстройство чувств ты доказал   
 Тем, что с постели нынче скоро встал.   
 Забота спать мешает старику;   
 Сон не обманет старости тоску;   
 Но где беспечный юноша ложится,   
 Сон золотой там тотчас воцарится.   
 Поэтому твой говорит приход,   
 Что ты во власти тягостных забот.   
 А коль не так и я не угадал, -   
 Сегодня ночью вовсе ты не спал.   
  
 Ромео   
  
 Сегодня ночью отдых я вкусил.   
  
 Брат Лаврентий   
  
 Прости господь, ты с Розалиной был?   
  
 Ромео   
  
 Я с Розалиной? Нет, отец святой;   
 И имя и она забыты мной.   
  
 Брат Лаврентий   
  
 Но где ты был? Что предпочел ты снам?   
  
 Ромео   
  
 Не спрашивай: тебе скажу я сам.   
 С врагами я сегодня пировал;   
 Внезапно враг в меня вонзил кинжал,   
 И мною ранен был. Лекарство нужно,   
 Твоя святая помощь - двум недужным.   
 Отец, я ненавидеть не могу:   
 Мне помоги и моему врагу.   
  
 Брат Лаврентий   
  
 Мой сын, скажи мне ясно, в чем твой грех:   
 Неясный грех простить труднее всех.   
  
 Ромео   
  
 Я буду ясен. Вот моя любовь:   
 Течет в любимой Капулетти кровь.   
 Любим я ею, все уж решено;   
 Венчание скрепить союз должно.   
 Где, как, когда ее я повстречал,   
 Как к ней посватался, как клятву дал -   
 Скажу я, но прошу мне обещать,   
 Что нынче же ты будешь нас венчать.   
  
 Брат Лаврентий   
  
 Святой Франциск! Что здесь за перемена?   
 Забыта Розалина, и измена   
 Пришла так скоро! Правда, что в глазах   
 У юношей любовь, а не в сердцах.   
 О боже, горьких слез какой поток   
 Лился вдоль этих бледных, впалых щек!   
 Воды соленой сколько зря пролил   
 За ту любовь! И к ней уж ты остыл?   
 Ведь луч не высушил пар воздыханий;   
 Еще я слышу звук твоих стенаний.   
 Я вижу: на щеке твоей пятно -   
 След прежних слез; не вымыто оно.   
 Собой ты был, твои ведь были слезы,   
 И Розалине отданы все грезы.   
 Ты изменился? Так признай, мой сын:   
 Грешна ль жена, коль сил нет у мужчин?   
  
 Ромео   
  
 Меня бранил ты, что любил ее.   
  
 Брат Лаврентий   
  
 За дурь, не за любовь, дитя мое.   
  
 Ромео   
  
 Сказал: "Зарой любовь".   
  
 Брат Лаврентий   
  
 Не с тем, мой милый,   
 Чтоб выкопать другую из могилы.   
  
 Ромео   
  
 Не упрекай! Та, что люблю теперь,   
 Любовью платит за любовь, поверь, -   
 Не то, что прежняя.   
  
 Брат Лаврентий   
  
 Прекрасно зная,   
 Что зазубрил любовь ты, не читая,   
 Не верила она. Повеса, в путь;   
 Тебе уж помогу я как-нибудь,   
 Чтоб через брак ваш семей ваших злоба   
 Сменилась дружбой искренней до гроба.   
  
 Ромео   
  
 Идем скорей, идем! Уж мне не ждется!   
  
 Брат Лаврентий   
  
 Потише: кто торопится - споткнется.   
  
 Уходят.

**СЦЕНА 4**

Улица.   
 Входят Бенволио и Меркуцио.   
  
 Меркуцио   
  
 Куда к чертям Ромео провалился?   
 Он дома ночевал?   
  
 Бенволио   
  
 Не ночевал. Я говорил с слугой.   
  
 Меркуцио   
  
 Ах, эта Розалина, девка злая,   
 Его замучит: он, сойдет с ума!   
  
 Бенволио   
  
 Тибальт, племянник юный Капулетти,   
 Прислал ему посланье на дом нынче.   
  
 Меркуцио   
  
 Клянусь, что это вызов.   
  
 Бенволио   
  
 Ответит он ему.   
  
 Меркуцио   
  
 Всякий, кто умеет писать, может ответить на письмо.   
  
 Бенволио   
  
 Нет, я не говорю, что он ответит на письмо; я говорю, что он на вызов ответит вызовом.   
  
 Меркуцио   
  
 Увы, бедный Ромео! Он уже мертвец. Он ранен черными глазами белолицей девки; его ухо прострелено любовной песней; самая середка его сердца расщеплена надвое стрелой слепого мальчишки. Где же ему устоять против Тибальта?   
  
 Бенволио   
  
 А что такое Тибальт?   
  
 Меркуцио   
  
 Побольше, чем кошачий царь, {21} могу вас уверить. О, он храбрый капитан изящных манер. Он фехтует, как по нотам, соблюдает время, расстояние и размер. Выдерживает коротенькую паузу; раз, два и три - у вас в груди; он настоящий губитель шелковых пуговиц, {22} дуэлянт, дуэлянт; он дворянин с ног до головы, знаток первых и вторых поводов к дуэли. Ах, бессмертное   
  
 Passado! punto reverso! hai! {23}   
  
 Бенволио   
  
 Что, что?   
  
 Меркуцио   
  
 Чума бы на всех этих шутов, сюсюкающих кривляк и фантазеров, настройщиков речи на новый лад. "Клянусь Иисусом, весьма прекрасный клинок! Весьма высокий мужчина! Весьма прелестная шлюха!" Не плачевно ли это, сударь мой, что нас одолевают эти иноземные мухи, эти модные продавцы, эти pardona-mi, {24} которые так ценят новые наряды, что уже не могут удобно сесть на старую скамью. Ох, уже эти их bones, bones! {25}   
  
 Входит Ромео.   
  
 Бенволио   
  
 Вот идет Ромео, вот идет Ромео!   
  
 Меркуцио   
  
 Без своей половинки он похож на селедку без молок. О мясо, мясо, как ты орыбилось! Сейчас он растекается как Петрарка; Лаура по сравнению с его милой - кухонная девка (правда, ее любовник получше ее воспевал), Дидона - грязнуха, Клеопатра - цыганка, Елена и Геро - потаскушки и подлянки, Фисба, {26} хоть и сероглаза или еще что-то в этом роде, но и она ни на что не годна. Синьор Ромео, bonjour! {27} Вот вам французское приветствие вашим дрянным французским штанам. Вы нас здорово провели вчера вечером.   
  
 Ромео   
  
 Доброе утро вам обоим. Как я вас провел?   
  
 Меркуцио   
  
 Ускользнули, сударь, ускользнули! Разве не понимаете?   
  
 Ромео   
  
 Простите меня, добрый Меркуцио, у меня было важное дело; и в таких случаях, как мой, можно нарушить правила учтивости.   
  
 Меркуцио   
  
 Это то же самое, как если бы вы сказали, что в таких случаях, как ваш, приходится подгибать колени.   
  
 Ромео   
  
 То есть, выражать учтивость.   
  
 Меркуцио   
  
 Ты милейшим способом понял это.   
  
 Ромео   
  
 Это наиболее учтивое объяснение.   
  
 Меркуцио   
  
 Я ведь настоящая гвоздика учтивости.   
  
 Ромео   
  
 Гвоздика - цветок.   
  
 Меркуцио   
  
 Конечно.   
  
 Ромео   
  
 Тогда и мои башмаки украшены гвоздиками.   
  
 Меркуцио   
  
 Хорошо сказано! Следуй за мной в этой шутке, пока ты не износишь башмаков. А когда единственная их подошва износится, придется твоей единственной шутке остаться в единственном числе.   
  
 Ромео   
  
 О единственная шутка, единственно единая в своем одиночестве!   
  
 Меркуцио   
  
 Стань между нами, добрый Бенволио: мое остроумие изнемогает!   
  
 Ромео   
  
 Подхлестывай его и шпорь, подхлестывай и шпорь, иначе объявлю, что я его обскакал.   
  
 Меркуцио   
  
 Нет, если мы с тобой погонимся за дикими гусями, {28} я уверен, что обгоню тебя, потому что в одном из твоих чувств больше дичи, чем в моих пяти. Не был ли я для вас гусем?   
  
 Ромео   
  
 Всегда вы были таким, что я мог сказать: "хорош гусь!" {29}   
  
 Меркуцио   
  
 Я укушу тебя в ухо за эту шутку.   
  
 Ромео   
  
 Нет, добрый гусь, не щиплись.   
  
 Меркуцио   
  
 Твоя шутка горько-сладкая; это очень крепкий соус.   
  
 Ромео   
  
 Разве это не славная приправка к нежному гусю?   
  
 Меркуцио   
  
 О, да твое остроумие становится похоже на козью кожу! Раньше ты скупился и на дюйм, а теперь растягиваешь его в вольную ширь до локтя.   
  
 Ромео   
  
 Я тяну его до слова "вольный", а если ты его прибавишь к слову "гусь", то и выйдет, что ты вольный на язык гусь.   
  
 Меркуцио   
  
 Ну, не лучше ли это, чем стонать от любви? Теперь с тобой можно разговаривать, ты стал Ромео. Теперь ты стал тем, чем был и по природе и по воспитанию. А эта слюнявая любовь похожа на длинного дурня, который мечется взад и вперед, чтобы спрятать свою шутовскую палку в дыру.   
  
 Бенволио   
  
 Стоп, стоп, довольно!   
  
 Меркуцио   
  
 Своим "стоп" ты гладишь мою историю против шерсти.   
  
 Бенволио   
  
 Иначе она у тебя слишком разрастется!   
  
 Меркуцио   
  
 Вот и ошибся! Я был бы короток, потому что моя история дошла до самой глубины, и я собирался кончить.   
  
 Входят Кормилица и Петр.   
  
 Ромео   
  
 Вот так наряд!   
  
 Меркуцио   
  
 Парус, парус!   
  
 Бенволио   
  
 Два: юбка и штаны.   
  
 Кормилица   
  
 Петр!   
  
 Петр   
  
 Что прикажете?   
  
 Кормилица   
  
 Мой веер, Петр!   
  
 Меркуцио   
  
 Добрый Петр, спрячь за веером ее лицо. Ее веер лучше ее лица.   
  
 Кормилица   
  
 Доброе утро, господа.   
  
 Меркуцио   
  
 Добрый вечер, прелестная госпожа.   
  
 Кормилица   
  
 Разве уже вечер подошел?   
  
 Меркуцио   
  
 Без сомнения, потому что сводня-стрелка указывает острием на полдень.   
  
 Кормилица   
  
 Убирайтесь! Что вы за человек?   
  
 Ромео   
  
 Такой человек, госпожа, которого бог сотворил во вред самому себе.   
  
 Кормилица   
  
 Клянусь, это хорошо сказано: во вред самому себе. А? Господа, кто из вас может мне сказать, где я найду молодого Ромео?   
  
 Ромео   
  
 Я вам могу сказать; но молодой Ромео будет старше, когда вы его найдете, чем когда вы начали искать его. Я - самый молодой из носящих это имя, если не худший.   
  
 Кормилица   
  
 Вы хорошо говорите.   
  
 Меркуцио   
  
 Разве худшее может быть хорошим? Хорошо сказано, нечего сказать! Умно, умно!   
  
 Кормилица   
  
 Если это вы, сударь, - мне надо вам сказать кое-что тайно.   
  
 Бенволио   
  
 Она пригласит его на какой-нибудь ужин.   
  
 Меркуцио   
  
 Сводня, сводня, сводня, - ату ее!   
  
 Ромео   
  
 Кого ты так травишь?   
  
 Меркуцио   
  
 Не зайца, сударь, а если бы и зайца, то он годен только в великопостный пирог, потому что еще до жаренья весь высох и заплесневел. (Поет)   
  
 "Я в строгий пост,   
 В самый строгий пост,   
 Съел бы зайца хвост.   
 Но еда не проста,   
 Не сглодать мне хвоста:   
 Высох заяц до поста".   
  
 Ромео, придете ли вы домой? Мы идем обедать к вашему отцу.   
  
 Ромео   
  
 Я скоро приду.   
  
 Меркуцио   
  
 Прощайте, древняя госпожа, прощайте! (Поет)   
  
 "Госпожа, госпожа, госпожа!"   
  
 Уходят Меркуцио и Бенволио.   
  
 Кормилица   
  
 Чорт возьми, прощайте! - Скажите мне, сударь, кто этот купец, набитый глупостями, за которые его повесить мало?   
  
 Ромео   
  
 Нянюшка, это господин, который любит слушать самого себя. И он может в минуту наговорить столько, сколько сам не выдержит за месяц.   
  
 Кормилица   
  
 Если он скажет что-нибудь против меня, я его сволоку наземь, даже если бы он был покрепче, чем он есть! Да и с двадцатью такими повесами справлюсь... А если сама не смогу, то найду для этого людей! Ах ты, шелудивый мошенник! Я ему, сударь, не потаскуха! Я ему не родня! (Петру) А ты тут стоишь и позволяешь каждому мошеннику пользоваться мной себе на потеху!   
  
 Петр   
  
 Я никогда не видел, чтобы какой-нибудь мужчина пользовался вами себе на потеху. Если бы я это заметил, уверяю вас, что я сразу обнажил бы оружие. Я так же готов драться, как и всякий другой, когда вижу повод к хорошей драке и когда закон на моей стороне.   
  
 Кормилица   
  
 Теперь, видит бог, я так оскорблена, что во мне все трясется. Шелудивый мошенник! На одно слово, сударь! Как я вам сказала, моя госпожа велела мне вас разыскать. То, что она велела передать вам, я оставлю при себе, но прежде всего позвольте вам сказать, что если вы хотите, как говорится, задурить ей голову, то это был бы, как говорится, очень грубый поступок, потому что моя благородная госпожа молода, так что если вы хотите надуть ее, право же, это был бы дурной поступок по отношению к благородной госпоже и дрянное дело.   
  
 Ромео   
  
 Нянюшка, передай привет твоей госпоже. Я заверяю тебя... {30}   
  
 Кормилица   
  
 Добрая душа, уж, конечно, я ей все расскажу! Господи, господи, что это будет за счастливая женщина!   
  
 Ромео   
  
 Что ж ты расскажешь ей, нянюшка? Ты же меня не дослушала.   
  
 Кормилица   
  
 Я ей расскажу, сударь, что бы заверяете, а это, как я понимаю, есть благородное предложение.   
  
 Ромео   
  
 Скажи же ей,   
 Чтоб к исповеди нынче отпросилась,   
 И после исповеди брат Лаврентий   
 Нас повенчает. За труды возьми!   
  
 Кормилица   
  
 Нет, сударь, что вы, не надо денег!   
  
 Ромео   
  
 Ладно, ладно, берите!   
  
 Кормилица   
  
 Сегодня к вечеру, сударь? Хорошо, она там будет!   
  
 Ромео   
  
 Ты за оградой монастырской жди.   
 Слуга мой через час придет туда   
 И лестницу веревочную даст;   
 По ней на мачту моего блаженства   
 В ночи таинственной я подымусь.   
 Прощай и будь верна! Тебя за труд   
 Я награжу. Привет мой госпоже.   
  
 Кормилица   
  
 Благослови господь вас... Сударь! Сударь!   
  
 Ромео   
  
 Кормилица, что скажешь?   
  
 Кормилица   
  
 Слуга ваш верен ли? Лишь тот секрет -   
 Секрет, пока второго в тайне нет.   
  
 Ромео   
  
 Ручаюсь я, что верен он, как сталь.   
  
 Кормилица   
  
 Хорошо, сударь. Моя хозяйка - самая прелестная госпожа на "свете. Господи, господи! Когда она была еще маленькой болтушкой... О! Здесь в городе есть благородный господин, некто Парис, который очень хотел бы ее подцепить. Но она, добрая душа, когда видит его - он ей как жаба, все равно как жаба. Я иногда ее сержу, говорю ей, что Парис - подходящий ей мужчина. Но, клянусь вам, когда я так говорю, она бледнеет как полотно. Правда, что "розмарин" {31} и "Ромео" начинаются на одну букву?   
  
 Ромео   
  
 Да, кормилица. Почему ты спрашиваешь? Да, оба на "р".   
  
 Кормилица   
  
 Ох, шутник! Это же собачье имя. {32} "Р" подходит только... Нет, я знаю, что оно начинается на другую букву. А она такие миленькие словечки говорит о нем, о розмарине, и о вас, что вам приятно было бы их, слышать.   
  
 Ромео   
  
 Кланяйся от меня твоей госпоже.   
  
 Кормилица   
  
 Да, тысячу раз.   
  
 Уходит Ромео.   
  
 Петр!   
  
 Петр   
  
 Что прикажете?   
  
 Кормилица   
  
 Петр, возьми мой веер и иди вперед, да поторапливайся.   
  
 Уходят.

**СЦЕНА 5**

Сад Капулетти.   
 Входит Джульетта.   
  
 Джульетта   
  
 Когда послала няню, было девять;   
 Вернуться обещала в полчаса.   
 Быть может, не нашла его? Да нет!   
 Она хромая! Вестницей любви   
 Должна быть мысль, что в десять раз быстрее   
 Луча, который тень с холмов сгоняет.   
 На быстрокрылых голубях любовь {33} -   
 Поэтому и у Амура крылья.   
 Достигло солнце самой высшей точки   
 За весь свой день, и с девяти до полдня -   
 Три длинных часа, - а ее все нет.   
 Будь в ней любовь, будь кровь в ней горячее,   
 Она как мячик бы летала; слово   
 Мое метнуло бы ее к нему,   
 Его - ко мне.   
 Но старичье все строит мертвеца:   
 Ленивы, тяжелы, бледней свинца.   
 Идет! О боже!   
  
 Входит Кормилица с Петром.   
  
 Няня золотая,   
 Ну что? Видала? Отошли слугу!   
  
 Кормилица   
  
 Жди у ворот нас, Петр!   
  
 Уходит Петр.   
  
 Джульетта   
  
 Ну, няня, милая... Грустна ты, боже!   
 Пусть грустны вести, - весело скажи их;   
 А если хороши, - зачем их портишь,   
 Играя музыку их с кислым видом?   
  
 Кормилица   
  
 Устала я, дай мне вздохнуть немного.   
 Фу, кости как болят! Что за прогулка!   
  
 Джульетта   
  
 Свои тебе дам кости - дай мне весть!   
 Ну, говори, ну, милая, прошу!   
  
 Кормилица   
  
 Что здесь за спех? Нельзя ли подождать?   
 Не видите, что я едва дышу?   
  
 Джульетта   
  
 Ну, как едва ты дышишь, коль хватило   
 Дыханья, чтоб сказать, что ты не дышишь?   
 А извинения твои длиннее   
 Тех слов, что, извиняясь, не сказала.   
 Весть хороша иль нет? Ответь на это!   
 Об остальном расскажешь мне потом.   
 Ну, отвечай мне: хороша иль нет?   
  
 Кормилица   
  
 Да уж неважно вы выбрали. Вы не знаете, как надо выбирать мужчину. Ромео? Ну, нет! Хоть лицо у него приятней, чем у многих мужчин, но нога лучше, чем у кого бы то ни было... А что касается руки, ступни и стана, то хотя о них и нечего сказать, но они выше всякого сравнения. Он не цветок учтивости, но, ручаюсь вам, ласков, как барашек. Иди своим путем, девка, служи богу. Что, вы уже обедали?   
  
 Джульетта   
  
 Нет, нет, ведь это все я раньше знала.   
 Что он сказал о свадьбе? Что об этом?   
  
 Кормилица   
  
 Как голова болит! Ох, голова!   
 На двадцать разрывается частей!   
 А уж спина моя - ох, ох, спина!   
 Уж чтоб тебе за то, что загоняла   
 Меня ты до смерти туда-сюда!   
  
 Джульетта   
  
 Прости меня, что ты страдаешь, няня.   
 Скажи мне, миленькая: что сказал он?   
  
 Кормилица   
  
 Ваш возлюбленный сказал, как честный господин, и учтивый, и милый, и приятный, и, клянусь, добродетельный... Где ваша мать?   
  
 Джульетта   
  
 Где мать моя? Ну, дома! Где ей быть?   
 Как ты нелепо отвечаешь мне!   
 "Возлюбленный, как честный господин,   
 Сказал: где ваша мать?"   
  
 Кормилица   
  
 О боже мой!   
 Вы горячитесь? Ну, пожалуй, будет   
 Припаркой это для больных костей.   
 Теперь уж сами будьте на посылках.   
  
 Джульетта   
  
 Чего шумишь? Ну, что сказал Ромео?   
  
 Кормилица   
  
 Отпустят вас на исповедь сегодня?   
  
 Джульетта   
  
 Отпустят.   
  
 Кормилица   
  
 К отцу Лаврентию идите в келью.   
 Там ждет вас муж, чтоб стали вы женой.   
 Кровь резвая уж прилила к щекам!   
 Сейчас они еще краснее станут.   
 Идите в церковь; мне же путь другой:   
 Достану лестницу, чтоб мог ваш милый,   
 Когда стемнеет, к вам в гнездо залезть...   
 Вам радость, мне работа. Будет время -   
 Уж этой ночью понесете бремя.   
 Иду обедать. В келью вам итти.   
  
 Джульетта   
  
 Итти мне к счастью. - Нянюшка, прости!   
  
 Уходят.

**СЦЕНА 6**

Келья брата Лаврентия.   
 Входят брат Лаврентий и Ромео.   
  
 Брат Лаврентий   
  
 Да будет сей обряд угоден небу,   
 Чтоб нас потом не наказало горем.   
  
 Ромео   
  
 Аминь. Но пусть теперь приходит горе, -   
 Не может радости оно лишить;   
 А радость - краткая минута с нею.   
 Соедини с молитвой наши руки,   
 А там пусть смерть придет, любви убийца!   
 Довольно, что ее своей я назвал.   
  
 Брат Лаврентий   
  
 Коль буйны радости, конец их буен;   
 В победе - смерть их; как огонь и порох,   
 Они сгорают в поцелуе. Мед   
 Сладчайшей сладостью своей противен,   
 И приторность лишает аппетита.   
 Люби умеренно - любовь прочнее;   
 Спеши иль нет - ты не придешь скорее.   
  
 Входит Джульетта.   
  
 Идет невеста. Так легка нога,   
 Что никогда б камней она не стерла.   
 Любовник ездил бы на паутинке,   
 Что в летнем нежном воздухе летает,   
 И не упал бы: суета легка.   
  
 Джульетта   
  
 Приветствую я вас, отец духовный.   
  
 Брат Лаврентий   
  
 Благодарит за нас двоих Ромео.   
  
 Джульетта   
  
 За благодарность и ему привет.   
  
 Ромео   
  
 О, если мера радости твоей   
 С моей сравнялась и ее пышнее   
 Прославить можешь ты своим дыханьем, -   
 Наполни воздух пеньем слов своих,   
 Раскрой то счастие, что нам обоим   
 Дарит блаженное свиданье наше.   
  
 Джульетта   
  
 То, что богаче делом, чем словами,   
 Гордится сущностью, а не нарядом.   
 Лишь нищий счесть свои богатства может.   
 Любовь моя без края и предела, -   
 И полбогатства я не сосчитаю.   
  
 Брат Лаврентий   
  
 Идем, скорее к делу. В плоть едину   
 Соединит святая церковь вас;   
 А до тех пор с вас не спущу я глаз.   
  
 Уходят.

**АКТ III**

**СЦЕНА 1**

Площадь.   
 Входят Меркуцио, Бенволио, Паж и слуги.   
  
 Бенволио   
  
 Давай уйдем, прошу тебя, Меркуцио:   
 День жаркий, и гуляют Капулетти.   
 Коль встретимся - не избежать нам драки.   
 В жару кровь сумасшедшая бунтует.   
  
 Меркуцио   
  
 Ты похож на тех парней, которые, входя в трактир, хлопают шпагой по столу и говорят: "Дай бог, чтобы ты мне не понадобилась!", а после второго кубка тычут шпагой в слугу, когда в этом совсем никакой надобности нет.   
  
 Бенволио   
  
 Неужели я похож на такого парня?   
  
 Меркуцио   
  
 Еще бы! Ты так же горяч, как всякий в Италии, и только тебя расшевелишь - горячишься, а как разгорячишься - начинаешь шевелиться.   
  
 Бенволио   
  
 Ну так что же?   
  
 Меркуцио   
  
 А то, что если бы здесь было двое таких, как ты, то скоро не осталось бы ни того, ни другого, потому что они убили бы один другого. Ты-то! Ты-то, который ругаешься с человеком, если в бороде у него на волос больше или на волос меньше, чем" у тебя! Или ругаешься с кем-нибудь, кто щелкает орехи, только потому, что у тебя глаза орехового цвета. А какие глаза, кроме твоих, найдут здесь повод для ссоры? Твоя голова полна ссор, как яйцо полно желтка. Хоть ты и столько дрался, что твоя битая голова так же пуста, как пустое яйцо. Ты поругался на улице с человеком, который кашлял и разбудил твою собаку, спавшую на солнце. Ты напал на портного за то, что он надел новый камзол до Пасхи, а на другого парня за то, что он завязал новые башмаки старой лентой, И ты еще хочешь удерживать меня от ссор!   
  
 Бенволио   
  
 Если бы я так любил ссориться, как ты, то всякий охотно купил бы право на мое наследство, и ждать ему пришлось бы не больше чем час с четвертью!   
  
 Меркуцио   
  
 Твое наследство! Ах ты, богач!   
  
 Бенволио   
  
 Клянусь готовой - идут Капупетти!   
  
 Меркуцио   
  
 Клянусь пяткой, я не обращаю на это внимания!   
  
 Входят Тибальт и другие.   
  
 Тибальт   
  
 За мною! С ними говорить хочу! -   
 Одно лишь слово с кем-нибудь из вас!   
  
 Меркуцио   
  
 Почему одно слово с кем-нибудь из нас? Соедините его с чем-нибудь. Например, пусть будет слово и удар!   
  
 Тибальт   
  
 Вы увидите, что я способен на это, если вы мне дадите случай!   
  
 Меркуцио   
  
 А вы не можете взять случай без того, чтоб вам его дали?   
  
 Тибальт   
  
 Меркуцио, ты поешь в один голос с Ромео!   
  
 Меркуцио   
  
 Пою в один голос? Кажется, ты нас принимаешь за уличных певцов! Если ты из нас сделал менестрелей, не жди, что наша музыка пойдет с твоей в лад. Вот мой смычок, - он сейчас заставит вас поплясать! К чорту! Пою в один голос?   
  
 Бенволио   
  
 Мы здесь на людной площади толкуем.   
 Или другого места поищите,   
 Или ваш спор спокойно продолжайте,   
 Иль разойдитесь. Здесь на вас глазеют.   
  
 Меркуцио   
  
 Глаза даны, чтоб видеть! Пусть глазеют!   
 Ни для кого отсюда я не сдвинусь.   
  
 Входит Ромео.   
  
 Тибальт   
  
 Ну, сударь, мир. Мой человек подходит.   
  
 Меркуцио   
  
 Клянусь, ливреи вашей он не носит.   
 Вот если б в поле вышли, - он за вами, -   
 Могли б его "мой человек" назвать.   
  
 Тибальт   
  
 Ромео, вся моя любовь к тебе   
 Не знает слова лучшего: подлец!   
  
 Ромео   
  
 Тибальт, причина, по которой я   
 Люблю тебя, - смягчила правый гнев,   
 На твой привет возникший; не подлец я.   
 Прощай. Я вижу, ты меня не знаешь.   
  
 Тибальт   
  
 Не извиненье это в тех обидах,   
 Что ты нанес, мальчишка. Становись!   
  
 Ромео   
  
 Не оскорблял тебя я никогда.   
 Ты не поймешь, как я тебя люблю,   
 Пока любви причины не узнаешь.   
 Мой добрый Капулетти, ты, чье имя   
 Мне мило, как мое, - будь же доволен.   
  
 Меркуцио   
  
 О подлая, бесчестная покорность!   
 (Обнажает шпагу.)   
 Alia stoccata {34} вмиг ее отмоет.   
 Тибальт, эй, крысолов, готовы вы?   
  
 Тибальт   
  
 Чего ты хочешь от меня?   
  
 Меркуцио   
  
 Почтенный кошачий царь, {35} я хочу только одну из ваших девяти жизней. Я собираюсь на нее покуситься и, если вы затем разрешите мне, выколотить из вас и остальные восемь. Не желаете ли вы вытащить вашу шпагу за уши из ее шубы? Поторапливайтесь, иначе моя будет раньше над моими ушами.   
  
 Тибальт   
  
 К услугам вашим.   
 (Обнажает шпагу.)   
  
 Ромео   
  
 Меркуцио добрый, спрячь свою рапиру.   
  
 Меркуцио   
  
 Теперь удар ваш, сударь.   
  
 Дерутся.   
  
 Ромео   
  
 Вперед, Бенволио! Оружье выбей! -   
 Стыд, господа! Насилье прекратите!   
 Тибальт, Меркуцио! Князь наш запретил   
 На улицах Вероны эти драки.   
 Тибальт! Меркуцио добрый!   
  
 Тибальт из-под руки Ромео ранит Меркуцио и убегает со своими спутниками.   
  
 Меркуцио   
  
 Ранен я!   
 Чума на ваши домы! Мне конец!   
 Ушел он? Невредим он?   
  
 Бенволио   
  
 Ранен ты?   
  
 Меркуцио   
  
 Царапина, но хватит и ее.   
 Где паж мой? Малый, позови хирурга!   
  
 Уходит Паж.   
  
 Ромео   
  
 Мужайся, друг; наверно твоя рана не опасна.   
  
 Меркуцио   
  
 Нет, она не так глубока, как колодезь, и не так широка, как церковные двери, но и этого достаточно, пригодится и она. Кликни меня завтра, и ты найдешь могильного человека. Я ручаюсь, что выбит из этого мира. Чума на ваши домы! Чорт возьми! Собака, крыса, мышь, кошка может исцарапать человека насмерть! Хвастунишка, бездельник, наглец, который дерется по всем правилам арифметики! Какого чорта сунулись вы между нами? Я был ранен из-под вашей руки!   
  
 Ромео   
  
 Я думал лучше сделать.   
  
 Меркуцио   
  
 Мне в дом какой-нибудь войти, Бенволио.   
 Слабею я. Чума на ваши домы,   
 Что превратили в мясо для червей   
 Меня так здорово... Ах, ваши домы!   
  
 Уходят Меркуцио и Бенволио.   
  
 Ромео   
  
 Увы мне! Князя родственник ближайший,   
 Мой лучший друг, смертельно ранен здесь,   
 Мстя за меня и защищая имя,   
 Запятнанное клеветой Тибальта,   
 Тибальта, что родным мне был на час.   
 Джульетта, красота твоя меня   
 Разнежила и доблесть размягчила!   
  
 Входит Бенволио.   
  
 Бенволио   
  
 Ромео, о Ромео! Мертв Меркуцио!   
 Вознесся к облакам бесстрашный дух,   
 Что слишком рано презрел нашу землю.   
  
 Ромео   
  
 О черный день, основа черных дней!   
 Начало страшное - конец страшней!   
  
 Бенволио   
  
 Вот бешеный Тибальт сюда спешит!   
  
 Ромео   
  
 Он жив, он счастлив, а мой друг убит!   
 Ты, кротость, улетай! Да будет ярость   
 Огненноокая моим вожатым!   
  
 Входит Тибальт.   
  
 Возьми, Тибальт, обратно подлеца,   
 Что подарил мне: дух Меркуцио здесь,   
 Невысоко над головой летает,   
 Ждет спутника, тебя, - и ты, иль я,   
 Иль оба мы должны лететь с ним вместе.   
  
 Тибальт   
  
 Мальчишка мерзкий, с ним стакнулся ты   
 И уберешься с ним!   
  
 Ромео   
  
 Решит вот это.   
  
 Дерутся. Тибальт падает.   
  
 Бенволио   
  
 Беги скорей, Ромео!   
 Убит Тибальт, идут там горожане!   
 Не стой столбом! Осудит на смерть князь,   
 Коль будешь схвачен! Убегай скорей!   
  
 Ромео   
  
 Я шут судьбы.   
  
 Бенволио   
  
 Ждешь гибели своей?   
  
 Уходит Ромео.   
 Входят горожане.   
  
 1-й Горожанин   
  
 Куда бежал тот, кто убил Меркуцио?   
 Тибальт-убийца убежал куда?   
  
 Бенволио   
  
 Он здесь лежит.   
  
 1-й Горожанин   
  
 За мною, господа!   
 Во имя князя я повелеваю!   
  
 Входят Князь со свитою, Монтекки и Капулетти с женами и другие.   
  
 Князь   
  
 Кто начал драку подлую - узнаю?   
  
 Бенволио   
  
 О добрый князь! Пусть слух узнает твой   
 Подробности дуэли роковой.   
 Того сразил Ромео, кто лежит,   
 Но им твой храбрый родственник убит.   
  
 Госпожа Капулетти   
  
 Тибальт, родной! Сын брата моего!   
 О князь! Племянник! Муж! О торжество   
 Врагов над кровью нашей! Справедлив   
 Ты будешь, князь, злодеев кровь пролив!   
 О милый родственник!   
  
 Князь (к Бенволио)   
  
 Скажи, кто первый волю злобе дал.   
  
 Бенволио   
  
 Тибальт, что от руки Ромео пал.   
 Ромео вежлив был; просил подымать,   
 Как ссора неважна, и убеждал   
 Не навлекать ваш гнев. Он говорил   
 Учтиво, с ясным взглядом и поклоном,   
 Но не добился мира: буйный нрав   
 Тибальта глух был к миру. Он направил   
 Рапиру в грудь отважного Меркуцио.   
 Меркуцио вспылил, клинки скрестились,   
 Одной рукой наносит он удар,   
 Другой же, смерть презрев, он отражает   
 Искусные и ловкие удары   
 Тибальта. Тут Ромео закричал:   
 "Друзья, довольно!" - и рука быстрее,   
 Чем голос, бьет по роковым клинкам;   
 Бросаюсь между них, - из-под руки   
 Сразил губительный удар Тибальта -   
 Меркуцио славного. Тибальт бежал.   
 Но вскоре возвратился он к Ромео,   
 Который лишь тогда задумал мщенье.   
 Был бой, как молния. Я не поспел   
 Разнять их, как убит Тибальт был славный.   
 Когда он пал, Ромео прочь бежал.   
 Пускай умру - ни слова не солгал!   
  
 Госпожа Капулетти   
  
 Монтекки он родня. Одна в них кровь.   
 Неправду он сказал: в нем лжет любовь.   
 Их было двадцать в этом черном деле,   
 А умертвить лишь одного поспели.   
 Мы ждем отмщенья наших злых обид:   
 Не должен жить тот, кем Тибальт убит!   
  
 Князь   
  
 Убит Тибальт, но ведь убил он сам.   
 За кровь Меркуцио кто заплатит нам? -   
  
 Монтекки   
  
 За что платить Ромео? Сделал он,   
 За друга мстя, что сделал бы закон:   
 Взял жизнь Тибальта.   
  
 Князь   
  
 Вот и преступленье.   
 Изгнанье присуждаю в искупленье.   
 Я нынче в вашей распре стал истцом:   
 Вот из-за вас в слезах мой кровный дом.   
 Жестоко накажу я вас и верю -   
 Вы все оплачете мою потерю.   
 К слезам и просьбам буду ныне глух,   
 Мольбами вам не обольстить мой слух.   
 Ромео пусть с моих исчезнет глаз,   
 Не то пробьет его последний час.   
 Возьмите труп. Чтоб все нам подчинилось!   
 Убийственна, убийц прощая, милость!   
  
 Уходят.

**СЦЕНА 2**

Сад Капулетти.   
 Входит Джульетта.   
  
 Джульетта   
  
 Быстрей скачите, огненные кони,   
 К жилищу Феба. Ведь такой возница,   
 Как Фаэтон, погнал бы вас на запад,   
 И сразу бы вас в ночи мрак домчал.   
 Пособница любви, ты, ночь, раскинь   
 Над нами полог, чтоб Ромео мог   
 Обнять меня неслышно и незримо. -   
 Любовникам любовный их обряд   
 Осветит их краса. Слепа любовь.   
 Ей ночь милее. - Ночь, приди, матрона,   
 Ты, скромница под черным покрывалом,   
 И научи, как выиграть игру,   
 В которую две чистоты играют.   
 Кровь дикую, прилившую к щекам,   
 Покрой, пока из дикой {36} станет смелой,   
 Поймет, что в истинной любви все - скромность.   
 Приди же, ночь! Ромео - день в ночи!   
 На крыльях ночи ты белее снега,   
 Что на спине у ворона лежит.   
 Приди, ночь чернобровая, родная,   
 Дай мне Ромео! Если он умрет,   
 Разрежь его на маленькие звезды -   
 И станет от него так нежно небо,   
 Что вся земля в ночь влюбится и солнцу   
 Веселому не будет поклоняться. -   
 Дворец любви купила я, но им   
 Я не владею; и меня купили,   
 Но не владеют мной. Противный день!   
 Как ночь пред праздником нетерпеливой   
 Девчонке, у которой есть обновка,   
 А надевать ее нельзя. - Ах, няня!   
 С вестями! О, красноречив, как небо.   
 Язык, что о Ромео говорит!   
  
 Входит Кормилица с веревками.   
  
 Какие вести, няня? Ты веревки   
 Достала для Ромео?   
  
 Кормилица   
  
 Да, веревки.   
 (Бросает веревки на землю.)   
  
 Джульетта   
  
 Какие вести? Что ломаешь руки?   
  
 Кормилица   
  
 Увы, увы! Он умер, умер, умер]   
 Погибли мы, погибли, госпожа!   
 Увы, скончался он! Убит он! Умер!   
  
 Джульетта   
  
 Так злобно небо может быть?   
  
 Кормилица   
  
 Ромео   
  
 То может, что не может небо! О!   
 Ромео, о Ромео! Кто б подумал!   
  
 Джульетта   
  
 Что ты за дьявол, что меня так мучишь?   
 От этой пытки взвыли бы в аду!   
 Убил себя Ромео? "Да" скажи -   
 И этот звук отрадней будет мне,   
 Чем смертоносный василиска {37} взгляд.   
 Я уж не я, коль это "да" ты скажешь.   
 Глаза закрылись, о которых "да"?   
 Убит он? "Да" скажи. А нет, так "нет".   
 Лишь звук один решит - печаль иль радость!   
  
 Кормилица   
  
 Мои, мои глаза видали рану,   
 О господи, здесь, на груди отважной!   
 Труп жалостный, труп жалостный, кровавый,   
 Как пепел, бледный, выпачканный кровью!   
 Запекшаяся кровь... Мне дурно стало.   
  
 Джульетта   
  
 Разбейся, сердце! Ты банкрот несчастный!   
 В тюрьму, глаза! Не нужно вам свободы!   
 Прах жалкий, в прах вернись, недвижим будь!   
 Вдвоем с Ромео в гроб ложись тяжелый!   
  
 Кормилица   
  
 Тибальт, Тибальт, мой лучший друг Тибальт!   
 О вежливый Тибальт! О благородный!   
 До смерти мне твоей пришлось дожить!   
  
 Джульетта   
  
 О, что за вихрь, что дует с двух сторон!   
 Убит Ромео, и Тибальт скончался?   
 Любимый брат! Любимейший супруг!   
 О судная труба, {38} труби всем гибель!   
 Кто жив еще, когда они мертвы?   
  
 Кормилица   
  
 Тибальт скончался, а Ромео изгнан.   
 Убил его Ромео, - изгнан он.   
  
 Джульетта   
  
 Ромео пролил кровь Тибальта? Боже!   
  
 Кормилица   
  
 О горе мне! Ее он пролил, пролил!   
  
 Джульетта   
  
 Цветущее лицо - и сердце змея!   
 В прекраснейшей пещере жил дракон!   
 О дьявол ангельский, злодей красивый,   
 Ты ворон-голубь, жадный волк-ягненок,   
 Тварь гнусная с божественным лицом -   
 Обратное тому, чем ты казался, -   
 Святой проклятый, честный негодяй!   
 О, что тебе в аду, природа, делать,   
 Когда ты заключила духа зла   
 В раю такой сладчайшей в мире плоти!   
 Была ль когда-нибудь столь подлой книга   
 В прелестном переплете, и обман   
 В дворце великолепном?   
  
 Кормилица   
  
 Чести нет,   
 Ни честности в мужчинах; вероломны,   
 Обманщики и негодяи все!   
 Ах, где слуга мой? Водки {39} мне скорей!   
 Уж эти горести меня состарят!   
 Позор Ромео!   
  
 Джульетта   
  
 Твой язык распухни   
 За слово! Не рожден он для позора.   
 На лбу его позору стыдно лечь.   
 Он трон, где честь должна короноваться,   
 Единая царица всей земли.   
 Что я за зверь, что я его ругала!   
  
 Кормилица   
  
 Хвалить ли вам того, кем брат убит?   
  
 Джульетта   
  
 Бранить ли мне супруга моего?   
 Кто имя, мой супруг, твое погладит,   
 Когда жена твоя трехчасовая   
 Его терзала? Брата ты убил,   
 Негодный! Но негодный брат убил бы   
 Супруга моего. Вернитесь, слезы,   
 К источнику. Вы - данники печали,   
 И по ошибке льетесь вы над счастьем:   
 Жив муж! Его убить Тибальт хотел.   
 Тибальт убит. Убить хотел он мужа.   
 Все хорошо. Зачем же плакать мне?   
 Но слово худшее, чем гибель брата,   
 Меня убило. Я б забыть хотела!   
 Но это слово память угнетает,   
 Как душу грешника гнетет вина.   
 "Тибальт скончался, а Ромео изгнан".   
 Да, "изгнан"! Слово это - "изгнан", "изгнан" -   
 Убило тысячи Тибальтов. Смерти   
 Довольно было: здесь бы и конец.   
 Но горе любит общество, чтоб следом   
 За ним другие беды шли рядами.   
 Зачем, когда "Тибальт убит" сказала,   
 Не умер мой отец иль мать: нет, оба -   
 Все те, о ком мне просто плакать можно?   
 Как можно было после смерти брата   
 Сказать: "Ромео изгнан!" Этим словом   
 Отец и мать, Тибальт, Ромео, я -   
 Мертвы, убиты все! "Ромео изгнан!"   
 Смертельный звук! Здесь всех он умертвил"   
 Без меры и конца. Для слов - нет сил.   
 Кормилиwа, где мой отец? Где мать?   
  
 Кормилица   
  
 Рыдают над Тибальтом, стонут, плачут.   
 Хотите к ним? Я вас сведу туда.   
  
 Джульетта   
  
 Пусть слезы льют над ним. Когда ж стенанья   
 Утихнут - я заплачу об изгнанье.   
 Возьми веревки! Бедные, - как я,   
 Обмануты! Изгнанье - смерть моя!   
 К моей постели были б вы тропой;   
 Но умираю девушкой-вдовой.   
 Идем к постели брачной и немой.   
 Смерть девственность возьмет, не милый мой!   
  
 Кормилица   
  
 Идите в комнату. Найду Ромео,   
 Чтоб вас утешить. Знаю я, где он.   
 Ромео к ночи будет возле вас.   
 Придется в келью мне за ним итти.   
  
 Джульетта   
  
 Найди его! Отдай кольцо тотчас;   
 Скажи: ему хочу сказать: "прости".   
  
 Уходят.

**СЦЕНА 3**

Келья брата Лаврентия.   
 Входит брат Лаврентий.   
  
 Брат Лаврентий   
  
 Ну, выходи, Ромео боязливый.   
 Печаль в твои достоинства влюбилась,   
 И с гибелью повенчан ты, мой сын.   
  
 Входит Ромео.   
  
 Ромео   
  
 Отец, какие вести? Приговор?   
 Какое незнакомое мне горе.   
 Знакомится со мной?   
  
 Брат Лаврентий   
  
 Мой милый сын,   
 С печалями ты крепко подружился;   
 Решенье князя я тебе принес.   
  
 Ромео   
  
 Что ж меньше смерти присудил мне князь?   
  
 Брат Лаврентий   
  
 Нестрогое изрек решенье он;   
 Не к смерти присужден ты, а к изгнанью.   
  
 Ромео   
  
 Изгнанье? Пожалей! Скажи мне: "смерть"!   
 Лицо изгнания страшнее смерти   
 Во много раз. Не говори: "изгнанье"!   
  
 Брат Лаврентий   
  
 Ты изгнан из Вероны. Терпелив   
 Ты должен быть: велик широкий мир.   
  
 Ромео   
  
 За стенами Вероны нету мира:   
 Чистилище там, пытки, самый ад.   
 Отсюда изгнан - я из мира изгнан!   
 Изгнание из мира - смерть! Изгнанье   
 Есть та же смерть. Ее так называя,   
 Ты золотой секирой рубишь шею,   
 И над ударом смертным ты смеешься.   
  
 Брат Лаврентий   
  
 О смертный грех! Неблагодарность злая!   
 Казнь - по закону за вину, но князь,   
 Взяв сторону твою, закон отбросил.   
 Смерть черную он заменил изгнаньем:   
 Ведь это милость, - ты ж ее не видишь.   
  
 Ромео   
  
 Не милость это, пытка! Где Джульетта,   
 Там небо. Каждая собака, кошка   
 И мышь и тварь ничтожная живет   
 Под этим небом, на него глядит, -   
 Ромео же не может. Больше прав,   
 Почета больше у стервятных мух,   
 Чем у Ромео. Ползать можно им   
 По чуду белому руки Джульетты   
 И класть бессмертное блаженство с губ,   
 Которые так девственно скромны,   
 Что от касаний собственных краснеют.   
 А для меня все кончено: я изгнан.   
 Все мухам можно; мне же - прочь лететь,   
 Они ведь - люди вольные, я ж изгнан.   
 И скажешь ты теперь: не смерть - изгнанье?   
 Ужели не было ножа иль яда,   
 Ни быстрой смерти, чтоб меня убить,   
 И слово ты "изгнанье" предпочел?   
 Ведь это слово грешники в аду   
 Кричат и воют. Как ты мог, отец,   
 Служитель бога, духовник, мой друг   
 И утешитель, - как хватило сердца,   
 Чтоб словом "изгнан" истерзать меня?   
  
 Брат Лаврентий   
  
 Послушай ты, безумец мой влюбленный...   
  
 Ромео   
  
 Заговоришь ты снова об изгнанье!   
  
 Брат Лаврентий   
  
 Я против слова дам тебе броню;   
 Напиток философии сладчайший   
 Тебя утешит, хоть и изгнан ты.   
  
 Ромео   
  
 Я изгнан! Философию к чертям!   
 Не философии создать Джульетту,   
 Иль сдвинуть город, отменить решенье.   
 Помочь она не может уж, молчи.   
  
 Брат Лаврентий   
  
 У сумасшедших нет ушей, я вижу.   
  
 Ромео   
  
 Как быть им, если глаз нет у здоровых?   
  
 Брат Лаврентий   
  
 Поговорим же о твоих делах.   
  
 Ромео   
  
 Не говори о том, чего не знаешь.   
 Будь молод ты, как я, люби Джульетту,   
 На час женат, как я, убей Тибальта   
 И будь в отчаянье, как я, будь изгнан -   
 Ты говорил бы? Волосы бы рвал   
 И падал бы на землю - вот, как я,   
 Чтоб мерку снять могилы неготовой!   
  
 Стук в дверь.   
  
 Брат Лаврентий   
  
 Встань! Там стучат! Ромео милый, спрячься!   
  
 Ромео   
  
 О нет! Пускай туманы горьких вздохов   
 Меня от ищущих сокроют глаз!   
  
 Стук.   
  
 Брат Лаврентий   
  
 Кто там стучит? - Кто там? - Уйди, Ромео!   
 Ты будешь схвачен! - Подождите! - Встань же!   
  
 Стук.   
  
 Беги в молельню! - Слышу я! - О боже!   
 Какая дурь! - Иду! Сейчас иду!   
  
 Стук.   
  
 Кто громко так стучит? Кто вы? Что нужно?   
  
 Кормилица (снаружи)   
  
 Впустите же! Узнаете вы все.   
 От госпожи Джульетты я.   
  
 Брат Лаврентий   
  
 Входите.   
  
 Входит Кормилица.   
  
 Кормилица   
  
 Отец святой, отец святой, скажите,   
 Где госпожи моей супруг, Ромео?   
  
 Брат Лаврентий   
  
 Вот на земле, от слез своих он пьян.   
  
 Кормилица   
  
 О, точно то же. с госпожой моей.   
  
 Брат Лаврентий   
  
 Да, точно. О несчастное согласье!   
  
 Кормилица   
  
 О состоянье жалкое! Лежит   
 Вот так же, - воет, плачет, плачет. -   
 Вставайте же, коли мужчина вы!   
 Ну, встаньте же, ради Джульетты встаньте!   
 Что так глубоко в горе погрузились?   
  
 Ромео   
  
 Кормилица!   
  
 Кормилица   
  
 Ах, сударь, сударь! Смерть - конец всему.   
  
 Ромео   
  
 Ты о Джульетте говоришь? Что с ней?   
 Считает ли она меня убийцей,   
 Что юность счастья нашего убил,   
 Пролив родную кровь? О, где она?   
 О, что супруга тайная моя   
 О браке, мной разбитом, говорит?   
  
 Кормилица   
  
 О сударь, ничего; все плачет, плачет.   
 То на кровать бросается, то встанет,   
 Зовет Тибальта и кричит: "Ромео!" -   
 И снова падает.   
  
 Ромео   
  
 Так будто имя   
 В нее из дула смертного стреляет   
 И бьет проклятою рукой, которой   
 Сражен был брат. - Скажи, отец, скажи,   
 В какой позорной части плоти имя   
 Мое живет? Скажи, чтоб мог разрушить   
 Жилище мерзкое.   
 (Вынимает шпагу.)   
  
 Брат Лаврентий   
  
 Прочь руку злую!   
 Мужчина ль ты? Твой вид хоть и мужской,   
 А слезы - женские. В твоих поступках -   
 Животного бессмысленного ярость;   
 Да, женщина в мужчине ты притворном,   
 Иль зверь дурной во образе двуполом.   
 Женя ты удивляешь, я клянусь!   
 Я думал, что ты будешь тверже духом.   
 Вслед за Тибальтом и себя убьешь?   
 Жену убьешь, живущую тобою,   
 Призвав на голову свою проклятье?   
 Зачем поносишь небо, землю, жизнь?   
 Ведь жизнь, земля и небо - заодно;   
 Все три в тебе, - и все ты потеряешь!   
 Фу, ты позоришь образ, ум, любовь:   
 Ты всем богат, но, ростовщик ленивый,   
 Своим богатством пользуешься плохо;   
 Не украшаешь образ, ум, любовь.   
 Твой образ куклой восковою стал,   
 Все свойства человечьи потеряв.   
 Твоя любовь клятвопреступной стала.   
 Жену беречь клялся, - а убиваешь.   
 И ум, краса любви и человека,   
 В поступках их обоих искажен.   
 Так порох у неловкого солдата   
 Взрывается в его пороховнице;   
 И ты разорван сам своим оружьем.   
 Ну, постыдись! Жива твоя Джульетта,   
 Из-за которой умирал недавно:   
 Удача! На тебя напал Тибальт,   
 А ты убил его: опять удача!   
 Закон, грозивший смертию, смягчен, -   
 И только изгнан ты: опять удача!   
 Да ты осыпан целой грудой благ!   
 Тебя нарядное ласкает счастье.   
 Но, как невежливая, злая девка,   
 Ты дуешься на счастье и любовь.   
 Одумайся, а то погибнешь жалко.   
 Иди, как было решено, к любимой,   
 Войди к ней в комнату, утешь ее,   
 Но уходи до первого дозора,   
 А то ты в Мантую не попадешь,   
 Где должен жить, пока наступит время   
 Открыть ваш брак и примирить друзей,   
 Прощенье испросить тебе и вызвать   
 Тебя сюда, - и радость в сотни раз   
 Сильнее будет, чем сегодня горе. -   
 Иди же, няня, госпоже - поклон,   
 И передай, чтоб всех послала спать:   
 Ведь нынче все от горя утомились.   
 Придет сейчас Ромео.   
  
 Кормилица   
  
 О боже, всю бы ночь я тут стояла   
 Да слушала советы! Вот ученость! -   
 Скажу я, сударь, что придете вы.   
  
 Ромео   
  
 Скажи, чтоб приготовилась бранить.   
  
 Кормилица   
  
 Вот, сударь, вам кольцо отдать просила.   
 Скорее, сударь, торопитесь, - поздно!   
 (Уходит.)   
  
 Ромео   
  
 Как все это утешило меня!   
  
 Брат Лаврентий   
  
 Иди. Покойной ночи. Все зависит   
 Лишь от того, успеешь ли до стражи   
 Или переодетым утром выйти.   
 Жди в Мантуе. Слугу я твоего   
 Найду и буду посылать тебе,   
 Как только что хорошее случится.   
 Дай руку мне; покойной ночи, - поздно!   
  
 Ромео   
  
 Когда б меня ждала не радость с милой,   
 С тобой расстаться больно бы мне было.   
 Прощай!   
  
 Уходят.

**СЦЕНА 4**

Комната в доме Капулетти.   
 Входят Капулетти, госпожа Капулетти и Парис.   
  
 Капулетти   
  
 Все так несчастливо сложилось, граф,   
 Что подготовить дочь мы не успели.   
 Она любила горячо Тибальта;   
 Я тоже. Все мы рождены для смерти.   
 Уж поздно. Нынче уж она не выйдет.   
 Когда б не ваше общество, я тоже   
 Уж час тому назад в постели был.   
  
 Парис   
  
 В час скорби - не до сватовства. Прощайте,   
 Сударыня. Привет Джульетте вашей.   
  
 Госпожа Капулетти   
  
 Я завтра утром расспрошу ее;   
 Теперь она в печаль погружена.   
  
 Капулетти   
  
 Я вам ручаюсь смело, граф Парис,   
 Что дочь полюбит вас. Уверен я,   
 Она мне подчинится: нет сомненья.   
 Жена, пойдите к ней еще до сна   
 И о любви Париса сообщите;   
 Скажите, чтобы в будущую среду...   
 Да что за день сегодня?   
  
 Парис   
  
 Понедельник.   
  
 Капулетти   
 Ах, понедельник! В среду - слишком рано;   
 В четверг пусть будет... Да, в четверг, скажите,   
 Венчается она с почтенным графом.   
 Поспеете ль? Вам по сердцу ли спех?   
 Не будет шума. Несколько друзей, -   
 А то недавно ведь убит Тибальт.   
 Подумают: о родственнике мы   
 Не плачем, если пировать мы будем.   
 Мы пригласим полдюжины друзей -   
 И все. Что скажете? В четверг удобно?   
  
 Парис   
  
 Хотел бы, чтоб четверг был завтра, сударь.   
  
 Капулетти   
  
 Идите, хорошо. В четверг быть свадьбе. -   
 К Джульетте вы еще до сна пойдите,   
 Жена, ее к дню свадьбы приготовьте! -   
 Прощайте, граф! - Эй, вы! Подайте света   
 Мне в комнату! Клянусь, уж больно поздно,   
 Так что уж скоро больно рано будет. -   
 Покойной ночи.   
  
 Уходят.

**СЦЕНА 5**

Сад Капулетти.   
 Ромео и Джульетта наверху, у окна.   
  
 Джульетта   
  
 Уйти ты хочешь? Ведь не скоро утро;   
 Не жаворонок, соловей пронзил   
 Твой слух настороженный. Ночью он   
 На дереве гранатовом поет.   
 Поверь, любимый, это соловей.   
  
 Ромео   
  
 То жаворонок был, глашатай утра,   
 Не соловей. Любимая, смотри:   
 За облаком - завистница заря.   
 Ночные свечи гаснут. День веселый   
 Стоит настороже в тумане гор.   
 Уйти мне - жить, остаться - умереть.   
  
 Джульетта   
  
 Тот свет не свет дневной: я знаю, верь,   
 То метеор от солнца отделился,   
 Чтоб факелом тебе в ночи служить   
 И в Мантую дорогу освещать.   
 Тебе не надо уходить, останься!   
  
 Ромео   
  
 Так пусть же схватят, смерти предадут!   
 Я буду рад, когда так хочешь ты.   
 Скажу, что этот серый свет - не утро,   
 А бледный отблеск лунного лица.   
 Не жаворонок песней разбивает   
 Над нашей головой небесный свод.   
 Сильней хочу остаться, чем уйти.   
 Приди, смерть, здравствуй! Хочет так Джульетта.   
 Не так ли, радость, утро не настало?   
  
 Джульетта   
  
 Нет, нет, настало! Уходи скорей!   
 То жаворонок так не в лад поет,   
 Вытягивая жесткий, острый звук.   
 Я слышала, что трель его нежна, -   
 Неправда: ведь она нас разлучает...   
 Что с жабой поменялся он глазами, -   
 И голосом пускай бы поменялся: {40}   
 Ведь он объятья наши разомкнул;   
 Он вместе с ночью и тебя спугнул.   
 О, уходи! Светлеет ясный день.   
  
 Ромео   
  
 Светлеет день - чернеет горя тень.   
  
 Входит Кормилица в комнату.   
  
 Кормилица   
  
 Сударыня!   
  
 Джульетта   
  
 Что, няня?   
  
 Кормилица   
  
 К вам матушка сейчас сюда придет.   
 День наступил. Смотри же! Не зевай!   
  
 Джульетта   
  
 Влетай же, день, в окно; жизнь, отлетай!   
  
 Ромео   
  
 Один лишь поцелуй - и я спущусь.   
  
 Спускается из окна.   
  
 Джульетта   
  
 Мой господин! Друг, муж, любовь моя!   
 Я о тебе хочу знать ежечасно;   
 В минуте каждой очень много дней.   
 При этом счете буду старой я,   
 Когда увижу моего Ромео!   
  
 Ромео   
  
 Прощай!   
 Не упущу я случая, мой свет,   
 Чтобы послать тебе любви привет.   
  
 Джульетта   
  
 Ты думаешь, увидимся мы снова?   
  
 Ромео   
  
 Не сомневаюсь. Скоро будем нежно   
 Беседовать об этой горькой боли.   
  
 Джульетта   
  
 Вещунья злая у меня душа.   
 Мне кажется, когда стоишь внизу,   
 Как будто ты мертвец на дне могилы.   
 Я плохо вижу, - или бледен ты?   
  
 Ромео   
  
 Для глаз моих и ты бледна, любовь.   
 Прощай, прощай! Печаль пьет нашу кровь.   
 (Уходит.)   
  
 Джульетта   
  
 Судьба, тебя неверною зовут.   
 Что сделаешь ты с тем, кто знаменит   
 Своею верностью? Так будь неверной:   
 Надолго не бери его и мне   
 Пришли обратно.   
  
 Госпожа Капулетти (за сценой)   
  
 Дочка, встали вы?   
  
 Джульетта   
  
 Кто это? Мать моя зовет меня?   
 Еще не спит иль встала очень рано?   
 Что привести ее могло сюда?   
  
 Входит госпожа Капулетти.   
  
 Госпожа Капулетти   
  
 Ну что, Джульетта?   
  
 Джульетта   
  
 Нездорова я.   
  
 Госпожа Капулетти   
  
 О смерти родственника слезы льешь?   
 Размыть могилу хочешь ты слезами?   
 Не воскресишь его, хоть и размоешь.   
 Довольно, прекрати! Грусть - знак любви,   
 Но в меру, а без меры - знак безумья.   
  
 Джульетта   
  
 О горестной утрате дайте плакать.   
  
 Госпожа Капулетти   
  
 Так, плача, чувствуете вы утрату,   
 А друга нет.   
  
 Джульетта   
  
 Но, чувствуя утрату,   
 Я не могу не плакать и о друге.   
  
 Госпожа Капулетти   
  
 Ты не о том, кто мертв, так плачешь, дочка,   
 О том, что жив подлец, его убивший.   
  
 Джульетта   
  
 Какой подлец?   
  
 Госпожа Капулетти   
  
 Да тот подлец, Ромео.   
  
 Джульетта (в сторону)   
  
 Ромео - и подлец! Не скажешь рядом.   
 (Громко)   
 Прости, господь! Прощаю я от сердца,   
 Хотя никто больней не ранил сердца.   
  
 Госпожа Капулетти   
  
 Все потому, что жив убийца подлый.   
  
 Джульетта   
  
 И далеко от рук моих сейчас.   
 Сама хотела б отомстить за брата!   
  
 Госпожа Капулетти   
  
 Мы отомстим за это, будь спокойна!   
 Вот в Мантую я к кой-кому пошлю;   
 Там изгнанный бродяга должен жить.   
 Мы угостим его таким напитком,   
 Что скоро он к Тибальту доберется.   
 Тогда довольна будешь ты, ведь правда?   
  
 Джульетта   
  
 Нет, никогда не буду я довольна,   
 Пока его я не увижу... мертвым... {41}   
 Устало сердце бедное мое.   
 Когда найдете человека вы,   
 Чтоб яд ему снести, - сама составлю,   
 Чтоб, получив его, Ромео мог   
 Заснуть спокойно. О, как ненавистно   
 Мне имя слышать - и далеко быть,   
 И не излить мою любовь к Тибальту   
 На голову того, кем он убит!   
  
 Госпожа Капулетти   
  
 Найди же яд; найду я человека. -   
 Теперь тебе я радость сообщу.   
  
 Джульетта   
  
 Когда так грустно, радость будет кстати.   
 Какую радость мне сказать хотите?   
  
 Госпожа Капулетти   
  
 Заботлив твой отец, дитя мое:   
 Чтоб снять с тебя печаль, он день внезапный   
 Для радости назначил. Не ждала ты?   
 И я его не ожидала, правда.   
  
 Джульетта   
  
 Но что за день, скажите мне скорее.   
  
 Госпожа Капулетти   
  
 Послушай, милая, в четверг поутру   
 Прекрасный, благородный дворянин,   
 Граф молодой Парис в Петровой церкви   
 Тебя женой счастливой назовет.   
  
 Джульетта   
  
 Клянусь Петровой церковью, Петром,   
 Что он меня женой не назовет!   
 Что за поспешность? Я должна венчаться,   
 Когда жених не сватался ко мне!   
 Скажите же отцу и господину,   
 Что я не выйду замуж; и клянусь -   
 Скорей за ненавистного Ромео   
 Я вышла бы, чем за Париса! - Новость!   
  
 Госпожа Капулетти   
  
 Идет отец ваш, сами вы скажите:   
 Увидите, как примет это он.   
  
 Входят Капулетти и Кормилица.   
  
 Капулетти   
  
 С заходом солнца падает роса,   
 Но моего племянника закат   
 Дождь заливает. -   
 Что, девочка, открытый кран? В слезах?   
 Все ливень? В теле маленьком твоем   
 И лодка есть, и море есть, и ветер.   
 В глазах твоих, что назвал бы я морем,   
 Прилив слез и отлив; а тело - лодка   
 В волнах соленых; ветры - эти вздохи,   
 Что борются с слезами. Тишина   
 Внезапная должна прийти, иначе   
 От потрясенья бурь погибнет тело.   
 (Госпоже Капулетти)   
 Решенье наше сообщили вы?   
  
 Госпожа Капулетти   
  
 Да, но она благодарит, не хочет.   
 Ей, дуре, надо б с гробом повенчаться!   
  
 Капулетти   
  
 В толк не возьму, в толк не возьму, жена!   
 Она не хочет? Нам не благодарна?   
 И не гордится, ни за что считает,   
 Что ей мы, недостойной, подобрали   
 Достойного такого жениха?   
  
 Джульетта   
  
 Я не горжусь, но благодарна вам!   
 Гордиться не могу я ненавистным,   
 Но и за этот дар я благодарна.   
  
 Капулетти   
  
 Что ты за спорщица! В чем дело здесь?   
 "Горжусь!" "благодарю!" "не благодарна!"   
 И "не горжусь!" Ты это брось, милашка;   
 Благодаришь иль нет, гордишься, нет ли -   
 А к четвергу готовь свою особу   
 Отправиться в Петрову церковь с графом, -   
 Иль я туда тебя силком стащу.   
 Вон, немочь бледная! Вон, пустомеля!   
 Вон, дура!   
  
 Госпожа Капулетти   
  
 Тьфу, да вы сошли с ума!   
  
 Джульетта   
  
 Отец мой добрый, на коленях я   
 Прошу - лишь слово дайте мне сказать!   
  
 Капулетти   
  
 К чертям, дрянь непослушная ты, девка!   
 Вот что: иль в церковь ты пойдешь в четверг,   
 Иль на глаза не попадайся вовсе.   
 Не говори, не отвечай, молчи!   
 (Госпоже Капулетти)   
 Уж чешется рука. Скорбели мы,   
 Что бог благословил одним ребенком,   
 Но вижу - одного нам слишком много.   
 Проклятье, что у нас есть эта дочь!   
 К чертям ее!   
  
 Кормилица   
  
 Спаси ее господь!   
 Вам стыдно, сударь, так ее ругать.   
  
 Капулетти   
  
 А почему, премудрая? Потише -   
 И сплетничать к своим идите бабам!   
  
 Кормилица   
  
 Дурного не сказала я.   
  
 Капулетти   
  
 Довольно!   
  
 Кормилица   
  
 Нельзя уж говорить?   
  
 Капулетти   
  
 Молчите, дура,   
 Да шамкайте о мудрости за чаркой:   
 Она здесь не нужна.   
  
 Госпожа Капулетти   
  
 Вы горячитесь.   
  
 Капулетти   
  
 Сойду с ума я, боже!   
 Я день и ночь, за делом и игрою,   
 Один иль в обществе... одна забота:   
 Как замуж выдать мне ее. Нашел   
 Из рода благородного ей мужа, -   
 Богат он, молод, хорошо воспитан,   
 Талантами набит, как говорится,   
 Красив, как только можно пожелать, -   
 И надо ж быть такой пищащей дурой,   
 Такой плаксивой куклой, недотрогой,   
 Чтоб отвечать: "Да нет", "я не люблю",   
 Да "слишком молода", да "мне простите"...   
 Прощу я, только замуж ты пойдешь.   
 А нет - кормись, как хочешь. Жить со мною   
 Не будешь. Не шучу я. Ты смотри!   
 Четверг уж близко. Рассуди сама:   
 Моя ты - другу я отдам тебя;   
 Нет - вешайся, на улице издохни,   
 Иль нищенствуй. Клянусь, ты мне чужая,   
 И уж мое добро твоим не будет.   
 Одумайся, поверь - не зря я клялся!   
 (Уходит.)   
  
 Джульетта   
  
 Ужель нет в небе жалости? Оно   
 Ведь видит глубину моей печали. -   
 О матушка, меня вы не гоните!   
 Отсрочьте брак на месяц, на неделю;   
 А если нет, - готовьте ложе мне   
 В том самом склепе, где Тибальт лежит.   
  
 Госпожа Капулетти   
  
 Не говори, тебе я не отвечу;   
 Что хочешь, делай, - все сказала я.   
 (Уходит.)   
  
 Джульетта   
  
 О боже, как мне помешать? О няня!   
 Супруг мой - на земле, на небе - клятва.   
 Как клятва может на землю вернуться,   
 Пока ее мне с неба не пришлет   
 Супруг, оставив землю? Помоги мне!   
 Утешь! Зачем воюют небеса   
 Со слабым и доверчивым созданьем?   
 Что скажешь? Неужели у тебя   
 Нет слова утешенья?   
  
 Кормилица   
  
 Как же, есть.   
 Ромео изгнан; я клянусь, что он   
 Прийти, чтоб требовать вас, не посмеет;   
 А если и придет, так уж тайком.   
 Поэтому при нынешних делах,   
 Я думаю, за графа надо выйти.   
 О, он прелестный господин!   
 Ромео - тряпка перед ним. Глаза   
 Живей и зеленей, чем у орла,   
 У графа. Сердцем поклянусь! Я верю,   
 Что брак второй для вас счастливым будет,   
 Муж - лучше первого. А коль не лучше, -   
 Ведь первый умер, иль как будто умер;   
 Хоть он и жив, а толку вам в нем нет.   
  
 Джульетта   
  
 От сердца говоришь ты?   
  
 Кормилица   
  
 И от души. Пропасть мне, если лгу!   
  
 Джульетта   
  
 Аминь!   
  
 Кормилица   
  
 Что?   
  
 Джульетта   
  
 Да, ты меня утешила чудесно!   
 Иди, скажи, что я ушла к монаху:   
 Отцу я нагрубила и хочу   
 Покаяться и получить прощенье.   
  
 Кормилица   
  
 Клянусь, скажу; вот это так умно!   
 (Уходит.)   
  
 Джульетта   
  
 Проклятая старуха, вредный дьявол!   
 Ведь страшный грех - желать, чтоб изменила   
 Я клятве, данной мужу, иль хулить   
 Его тем самым языком, которым   
 Его хвалила сотни раз. Иди же,   
 Советчица, отныне мне чужая.   
 Пойду к монаху; если средства нет   
 Спастись, - решусь покинуть белый свет.   
 (Уходит.)

**АКТ IV**

**СЦЕНА 1**

Келья брата Лаврентия.   
 Входят брат Лаврентий и Парис.   
  
 Брат Лаврентий   
  
 В четверг уж, сударь? Срок весьма короткий.   
  
 Парис   
  
 Так пожелал отец мой Капулетти; {42}   
 Не мне его поспешность замедлять.   
  
 Брат Лаврентий   
  
 Не знаете вы мнения невесты, -   
 Не ладно так; не нравится мне это.   
  
 Парис   
  
 Она безмерно плачет о Тибальте.   
 С ней о любви я мало говорил:   
 Венера не смеется в доме слез.   
 Отец ее, считая, что опасно   
 Во власть печали отдаваться ей,   
 Предусмотрительно торопит свадьбу,   
 Чтоб наводненье слез остановить,   
 Что льются в одиноких размышленьях,   
 Ведь общество осушит их тотчас.   
 Теперь вы знаете причину спеха.   
  
 Брат Лаврентий (в сторону)   
  
 Не знать бы мне причину промедленья!   
 (Громко)   
 Взгляните: вот идет к нам госпожа.   
  
 Входит Джульетта.   
  
 Парис   
  
 Я счастлив видеть вас, жена моя!   
  
 Джульетта   
  
 Так может быть, когда женой я буду.   
  
 Парис   
  
 Любимая, в четверг так должно быть.   
  
 Джульетта   
  
 Что должно быть, то будет.   
  
 Брат Лаврентий   
  
 Верно слово.   
  
 Парис   
  
 Сюда на исповедь пришли вы нынче?   
  
 Джульетта   
  
 Ответив, исповедалась бы вам.   
  
 Парис   
  
 Ему признайтесь вы в любви ко мне.   
  
 Джульетта   
  
 В любви к нему признаться вам могу.   
  
 Парис   
  
 Ну, а в любви ко мне - ему, ведь правда?   
  
 Джульетта   
  
 Когда б призналась, было бы ценнее   
 Сказать без вас, чем вам в глаза сказать.   
  
 Парис   
  
 Лицо тебе, бедняжка, портят слезы.   
  
 Джульетта   
  
 Победу слезы здесь не одержали:   
 Оно до слез уж было некрасиво.   
  
 Парис   
  
 Ему вреднее слез твое сужденье.   
  
 Джульетта   
  
 Но это истина, не клевета,   
 И говорю я о своем лице.   
  
 Парис   
  
 Оно мое, а ты о нем злословишь!   
  
 Джульетта   
  
 Возможно; ведь оно уж не мое. -   
 Свободны ль вы, святой отец, теперь?   
 Иль мне прийти к вам около вечерни?   
  
 Брат Лаврентий   
  
 Задумчивая дочь, свободен я.   
 (Парису)   
 Простите, нам одним остаться надо.   
  
 Парис   
  
 Избави бог нарушить благочестье! -   
 Джульетта, я в четверг вас разбужу.   
 Прощайте, поцелуй святой примите.   
 (Уходит.)   
  
 Джульетта   
  
 О, дверь закрой, приди, поплачь со мной:   
 Надежды нет, нет помощи, нет средства!   
  
 Брат Лаврентий   
  
 Джульетта, знаю я твое несчастье;   
 Мой ум не может охватить все это.   
 Я слышал, ты в четверг должна венчаться,   
 И свадьбу эту отложить нельзя.   
  
 Джульетта   
  
 Не говори о том, что слышал ты;   
 Скажи, как мне избавиться от свадьбы.   
 И если мудрость здесь твоя бессильна,   
 То назови мое решенье мудрым, -   
 И тотчас же мне этот нож поможет.   
 Соединил нам бог сердца, ты - руки;   
 И прежде, чем рука, что отдана,   
 Скрепит с другим мой договор, и прежде,   
 Чем сердце верное мне изменит,   
 Я их обоих поражу вот этим.   
 Пускай твой долгий опыт и лета   
 Совет мне подадут, - иль нож кровавый   
 Судьею будет между мной и горем   
 И то свершит, чего не могут сделать   
 Ни старость, ни искусство все твое, -   
 Найдет он из беды мне выход честный.   
 В словах будь краток, - умереть хочу!   
 Внимать я буду только лишь врачу.   
  
 Брат Лаврентий   
  
 Послушай, дочь, я вижу тень надежды;   
 Отчаянье тут нужно в исполненье,   
 Как то отчаянье, что нам грозит. {43}   
 Когда себя решаешься убить,   
 Чтоб только свадьбы с графом избежать, -   
 Решишься ты и на подобье смерти,   
 Чтоб от себя позор тот отвратить,   
 Который для тебя подобен смерти.   
 Решайся - и тебе я средство дам\*   
  
 Джульетта   
  
 О, лучше, чем мне быть женой Париса,   
 Вели мне спрыгнуть с высоты той башни,   
 Иль ночью ты запри меня в мертвецкой,   
 Что желтыми набита черепами,   
 Трещащими костями мертвецов,   
 Или заставь меня в могилу лечь   
 С покойником и саваном покрой.   
 От этих слов дрожу, - но я без страха,   
 Без колебаний сделаю все это,   
 Чтоб пред любимым быть женою чистой.   
  
 Брат Лаврентий   
  
 Так слушай же меня: иди домой;   
 Будь весела и согласись на брак.   
 Среда ведь завтра. Ночью ляг одна,   
 Кормилицу из комнаты ушли;   
 В постель ложась, возьми вот эту склянку   
 И выпей жидкость до последней капли.   
 Через мгновенье у тебя по венам   
 Прольется влажный и сонливый холод,   
 Замрет биенье пульса - ни дыханье,   
 Ни теплота не выдаст, что жива ты,   
 И станут пеплом розы губ и щек,   
 И веки, как у мертвых, западут,   
 Когда от нас свет жизни отлетает,   
 И тотчас же недвижным станет тело,   
 Холодным и негибким, словно в смерти, -   
 И сорок два часа ты пролежишь   
 В этом подобии ужасной смерти,   
 А встанешь, как от радостного сна.   
 Но поутру, когда придет жених   
 Тебя будить, - ты будешь словно мертвой;   
 И по обычаю родной страны   
 Тебя, нарядную, в гробу открытом   
 В старинный склеп снесут, где уж лежат   
 Все мертвые из рода Капулетти.   
 В то время, как тебе проснуться надо,   
 Ромео будет знать все из письма   
 И поспешит сюда. Мы оба будем   
 Ждать пробужденья твоего; а в ночь   
 Тебя Ромео в Мантую возьмет,   
 И от позора спасена ты будешь;   
 Но только если ветреная прихоть   
 Иль женский страх твою не сломит смелость.   
  
 Джульетта   
  
 О, дай мне, дай! Не говори о страхе!   
  
 Брат Лаврентий   
  
 Возьми; иди, будь счастлива, сильна   
 В решенье. В Мантую пошлю тотчас   
 Монаха я к Ромео с донесеньем.   
  
 Джульетта   
  
 Любовь, дай силу мне: в ней - избавленье. -   
 Прощай, отец мой!   
  
 Уходят.

**СЦЕНА 2**

В доме Капулетти.   
 Входят Капулетти, госпожа Капулетти, Кормилица и двое слуг.   
  
 Капулетти   
  
 Зови ко мне тех, кто сюда записан.   
  
 Уходит 1-й Слуга.   
  
 (2-му Слуге)   
 Ты двадцать ловких поваров найми.   
  
 2-й Слуга   
  
 Я вам плохих не подберу, сударь. Я посмотрю, облизывают ли они себе пальцы.   
  
 Капулетти   
  
 Но что докажешь этим?   
  
 2-й Слуга   
  
 Клянусь, сударь, плохой повар не станет облизывать пальцы. Поэтому я и не найму таких, которые не облизывают пальцы.   
  
 Капулетти   
  
 Иди, иди.   
  
 Уходит 2-й Слуга.   
  
 Боюсь, что во-время мы не поспеем. -   
 Что, не ушла ли дочь моя к монаху?   
  
 Кормилица   
  
 Да, сударь.   
  
 Капулетти   
  
 Ну, хорошо, он благо ей внушит.   
 Сварливая, упрямая чертовка!   
  
 Кормилица   
  
 Вот с исповеди радостно идет.   
  
 Входит Джульетта.   
  
 Капулетти   
  
 Ну что, строптивая? Где ты шаталась?   
  
 Джульетта   
  
 Там, где меня раскаянью учили   
 В моем сопротивленье непослушном   
 Вам и веленьям вашим. Приказал   
 Отец святой мне на колени пасть,   
 Прося простить. Простить молю я вас!   
 Отныне вашей воле я покорна.   
  
 Капулетти   
  
 Послать за графом! Сообщить ему!   
 И завтра утром узел мы завяжем.   
  
 Джульетта   
  
 Я графа юного видала в келье;   
 Как полагается, была любезна,   
 Границы скромности не преступая.   
  
 Капулетти   
  
 Ну, хорошо, доволен я, вставай.   
 Давно бы так! - Мне надо видеть графа.   
 Идите же, сюда его зовите. -   
 Ей-богу же, монах - святой отец,   
 И город наш ему обязан многим.   
  
 Джульетта   
  
 Пойдем же, няня, в комнату мою:   
 Поможешь ты мне выбрать украшенья,   
 Что к завтрашнему дню нужны мне будут.   
  
 Госпожа Капулетти   
  
 До четверга ведь времени нам хватит!   
  
 Капулетти   
  
 Иди же, няня, с ней. Мы завтра - в церковь.   
  
 Уходят Джульетта и Кормилица.   
  
 Госпожа Капулетти   
  
 Всего мы приготовить не поспеем,   
 Уж скоро ночь.   
  
 Капулетти   
  
 Молчи! Я все подвину!   
 Все будет хорошо, клянусь, жена.   
 Иди к Джульетте, выбери наряд.   
 Не лягу нынче я; оставь меня;   
 На этот раз хозяйку разыграю. -   
 Эй, вы! Ушли все? Ладно, сам пойду, -   
 Скажу я графу, чтоб готов был завтра.   
 Легко мне стало на сердце теперь;   
 Исправилась капризная девчонка.   
  
 Уходят.

**СЦЕНА 3**

Комната Джульетты.   
 Входят Джульетта и Кормилица.   
  
 Джульетта   
  
 Да, лучше всех наряд. - Прошу тебя,   
 Кормилица, оставь меня сегодня.   
 Молиться много нужно мне, чтоб небо   
 Склонилось над моей душой, - ты знаешь,   
 Смятенья и греха она полна.   
  
 Входит госпожа Капулетти.   
  
 Госпожа Капулетти   
  
 Вы заняты здесь? Не помочь ли вам?   
  
 Джульетта   
  
 Нет, матушка; мы выбирали вещи,   
 Что к свадьбе нам понадобятся завтра.   
 Позвольте мне теперь одной остаться.   
 Кормилицу к себе возьмите нынче:   
 Ведь дела неожиданного вам   
 Еще немало.   
  
 Госпожа Капулетти   
  
 Ну, покойной ночи.   
 Ложись, тебе покой необходим.   
  
 Уходят госпожа Капулетти и Кормилица,   
  
 Джульетта   
  
 Прощайте! - Знает бог час нашей встречи.   
 Холодный, томный страх сверлит мне вены,   
 Он замораживает жизни жар. -   
 Верну их: пусть они меня утешат. -   
 Кормилица! - К чему? Одна   
 Должна сыграть я жалобную сцену.   
 Приди же, склянка. -   
 А если не подействует состав   
 И замужем я буду завтра утром?   
 Нет, нет! Не даст вот это! Здесь лежи!   
 (Вынимает нож и кладет.)   
 А если это - яд, что мне лукаво   
 Монах дал, чтоб меня убить, - бесчестье   
 Легло бы на него за этот брак:   
 Он прежде нас с Ромео повенчал...   
 Боюсь, но все же думаю - не так:   
 Он до сих пор был человек святой. -   
 А если слишком рано я в могиле   
 Проснусь, пока Ромео не пришел,   
 Чтоб взять меня? Вот что страшней всего!   
 Не задохнусь ли в склепе я зловонном,   
 Куда не проникает свежий воздух,   
 И там умру, пока придет Ромео? -   
 А если выживу, боюсь другого:   
 Мысль страшная о темноте и смерти   
 И ужас склепа самого, который   
 Вместилищем старинным сотни лет   
 Служил семье моей, в котором кости   
 Погребены моих умерших предков, -   
 Тибальт кровавый там, недавний гость,   
 Гноится в саване, - там, говорят,   
 В какой-то час ночной выходят духи... -   
 Увы, увы! А если слишком рано   
 Проснусь от гнусных запахов и криков,   
 Что разума лишают, как ужасный   
 Крик мандрагоры, вырванной с корнями, {44} -   
 Вдруг я сойду с ума, когда закружит   
 Вокруг меня их мерзкий хоровод?   
 Играть безумно буду с прахом предков,   
 Срывать с убитого Тибальта саван   
 Иль в бешенстве прадедовскою костью,   
 Как палкой, выбью свой злосчастный мозг.   
 Мне кажется, я вижу, дух Тибальта   
 Ромео ищет, что пронзил его   
 Рапирою. - Остановись, Тибальт! -   
 Ромео, я иду! Пью за тебя!   
 (Падает на постель за занавеской.)

**СЦЕНА 4**

Зал в доме Капулетти.   
 Входят госпожа Капулетти и Кормилица.   
  
 Госпожа Капулетти   
  
 Возьми ключи и пряности достань.   
  
 Кормилица   
  
 Нужны на кухне финики, айва.   
  
 Входит Капулетти.   
  
 Капулетти   
  
 Скорей! Вторые петухи пропели!   
 Ударил колокол: уж три часа.   
 Смотри, Анджелика, {45} за пирогами.   
 Да не скупись.   
  
 Кормилица   
  
 Не суйтесь в наше дело.   
 Скорей в постель! Так можно захворать,   
 Не спавши ночь.   
  
 Капулетти   
  
 Ни чуточки! Случалось мне не спать   
 По меньшим поводам - и не хворал.   
  
 Госпожа Капулетти   
  
 Да, было время: на охоту часто   
 Ходили ночью. Уж теперь не дам!   
  
 Уходят госпожа Капулетти и Кормилица.   
  
 Капулетти   
  
 Вот ревность-то, вот ревность-то!   
  
 Входят трое или четверо слуг с вертелами, дровами и корзинами.   
  
 Эй, малый,   
 Что ты несешь?   
  
 1-й Слуга   
  
 Да что-то повару, а что - не знаю.   
  
 Капулетти   
  
 Скорей, скорей!   
  
 Уходит 1-й Слуга.   
  
 Ты дров сухих тащи!   
 Спроси Петра; он скажет, где они.   
  
 2-й Слуга   
  
 Есть голова, - я сам найти сумею;   
 Не стану из-за дров Петра тревожить.   
  
 Капулетти   
  
 Ну, ладно! Вижу, ты веселый малый!   
 Будь дровяною головой!   
  
 Уходит 2-й Слуга.   
  
 Уж утро.   
 Граф с музыкантами придет сейчас, -   
 Так он сказал. Я слышу - близко он.   
  
 За сценой музыка.   
  
 Кормилица! Жена! Эй, вы! Зову я!   
  
 Входит Кормилица.   
  
 Иди, буди Джульетту и одень!   
 С Парисом поболтаю я. Живей!   
 Поторопитесь, уж идет жених!   
 Живей, я говорю!   
  
 Уходят.

**СЦЕНА 5**

Комната Джульетты.   
 Входит Кормилица.   
  
 Кормилица   
  
 Сударыня! Джульетта! Ай, как крепко!   
 Овечка, госпожа! Ах, соня, фу!   
 Ну, милая, ну, душечка, невеста!   
 Ни слова мне? За целую неделю   
 Хотите выспаться? Ручаюсь, нынче   
 Парис уж настоит на том, чтоб вы   
 Поменьше спали ночью. - Боже правый, -   
 Клянусь, как здорово она заснула!   
 Будить-то надо... - Госпожа моя!   
 Застанет вас жених в постели, право!   
 Смотрите же, он испугает вас.   
 (Открывает занавеску.)   
 Уже одетая? И улеглась?..   
 Проснитесь же. Ах, госпожа, проснитесь!.. -   
 Увы, увы! На помощь! Умерла!   
 Увы, зачем на свет я родилась!   
 Ах, водки мне!.. Сударыня!.. Ах, сударь!..   
  
 Входит госпожа Капулетти.   
  
 Госпожа Капулетти   
  
 Что здесь за шум?   
  
 Кормилица   
  
 О горький, горький день!   
  
 Госпожа Капулетти   
  
 В чем дело?   
  
 Кормилица   
  
 О, как тяжело! Взгляните!   
  
 Госпожа Капулетти   
  
 Увы мне! О дитя, о жизнь моя!   
 Проснись, взгляни - иль я умру с тобой!   
 (Кормилице)   
 Кричи! Зови на помощь!   
  
 Входит Капулетти.   
  
 Капулетти   
  
 Да где ж Джульетта? Стыд! Жених пришел!   
  
 Кормилица   
  
 Она скончалась, умерла, увы!   
  
 Госпожа Капулетти   
  
 Увы, несчастный день! Мертва! Мертва!   
  
 Капулетти   
  
 Взглянуть мне дай! - Да, холодна! Конец!   
 Застыла кровь, оцепенели члены;   
 Жизнь уж давно слетела с этих губ,   
 И смертью схвачена она - цветок   
 Нежнейший, схваченный морозом ранним.   
  
 Кормилица   
  
 О горький день!   
  
 Госпожа Капулетти   
  
 О горестное дело!   
  
 Капулетти   
  
 Смерть, взявшая ее на горе мне,   
 Язык связала, - говорить нет сил.   
  
 Входят брат Лаврентий и Парис с музыкантами.   
  
 Брат Лаврентий   
  
 Готова ли итти невеста в храм?   
  
 Капулетти   
  
 Итти готова, но уж без возврата. -   
 О сын мой, накануне свадьбы смерть   
 С твоей женой спала. Вот здесь она,   
 Цветок, поруганный бесстыдной смертью.   
 И смерть - мой зять; и смерть - наследник мой,   
 Муж дочери моей; и я умру, -   
 Все смерть получит - и добро и жизнь!   
  
 Парис   
  
 Казалось, не дождаться утра мне.   
 Какое зрелище мне утро дарит!   
  
 Госпожа Капулетти   
  
 Несчастный, ненавистный, гнусный день!   
 Час худший изо всех, что знало время   
 В извечном, тяжком странствии своем!   
 Одна единая бедняжка-детка,   
 Единственное счастье и отрада, -   
 И ту жестокая схватила смерть.   
  
 Кормилица   
  
 О горе! Горький, горький, горький день!   
 День самый жалостный, день самый горький   
 Из всех тех дней, что мне пришлось прожить!   
 О день, о день, о ненавистный день!   
 Чернее дня не видела я в жизни!   
 О горький день! О горький день!   
  
 Парис   
  
 Обманут, разведен, убит, поруган!   
 Смерть мерзкая, тобою я обманут!   
 Тобой, жестокой, я совсем унижен!   
 Любовь, о жизнь! Не жизнь - любовь мертва!   
  
 Капулетти   
  
 Истерзан я, измучен и убит.   
 Несчастный час, зачем пришел сюда,   
 Чтобы убить, убить, убить наш праздник?   
 Дитя, дитя! Душа, а не дитя!   
 Ты мертвая, ты мертвая, малютка!   
 С тобой навек моя погибла радость!   
  
 Брат Лаврентий   
  
 Стыдитесь! Тише! В горе не поможет   
 Смятение. Прекрасной девой вы   
 Владели с небом пополам; теперь же   
 Одно владеет небо. Там ей лучше.   
 Вы часть свою от смерти не спасли,   
 А небо вечную дало ей жизнь.   
 Мечтали вы Джульетту превозвысить,   
 Вы до небес ее поднять хотели, -   
 Теперь же плачете, когда она   
 Превыше облаков, на самом небе!   
 О, дурно любите вы дочь свою,   
 Сходя с ума, когда ей хорошо,   
 Ведь счастлива не та, что долго в браке,   
 А та, что юной в браке умирает.   
 Вы слезы осушите. Розмарином   
 Усыпав тело, как велит обычай,   
 В уборах лучших в церковь отнесите.   
 Безумная природа стон родит,   
 Но разум осмеять его велит.   
  
 Капулетти   
  
 Все, что готовили мы для веселья,   
 Послужит похоронной, черной цели,   
 И станет музыка печальным звоном,   
 Поминками - веселый брачный пир,   
 И гимны панихидой зазвучат.   
 Венчальные цветы покроют труп,   
 И все в обратный образ превратится.   
  
 Брат Лаврентий   
  
 Идите, сударь. - Госпожа, вы - с ним. -   
 Вы тоже, граф Парис. - Готовьтесь все   
 Покойницу в могилу проводить.   
 Карает небо вас - сопротивленье   
 Не истощило б божьего терпенья.   
  
 Уходят, Капулетти, госпожа Капулетти, Парис и брат Лаврентий.   
  
 1-й Музыкант   
  
 Действительно, придется укладывать дудки и убираться.   
  
 Кормилица   
  
 Прячьте, прячьте, честные парни. Видите, какой тут плачевный случай! (Уходит.)   
  
 1-й Музыкант   
  
 Клянусь, и в таком случае надо заплатить!   
  
 Входит Петр.   
  
 Петр   
  
 Музыканты, о музыканты! Сыграйте "Радость сердца", "Радость сердца"! О, если хотите, чтоб я остался жив, сыграйте "Радость сердца"!   
  
 1-й Музыкант   
  
 Почему "Радость сердца"?   
  
 Петр   
  
 О музыканты! Потому что мое сердце поет: "Сердце полно печали". О, сыграйте мне какую-нибудь веселую жалобную песню, чтоб меня утешить.   
  
 1-й Музыкант   
  
 Не будет вам песни! Не время сейчас играть.   
  
 Петр   
  
 Значит, вы не хотите?   
  
 1-й Музыкант   
  
 Нет.   
  
 Петр   
  
 Тогда я вам здорово дам.   
  
 1-й Музыкант   
  
 Что вы нам дадите?   
  
 Петр   
  
 Не деньги, конечно, а трель с затрещиной, уличные певцы вы этакие!   
  
 1-й Музыкант   
  
 А я тебя поздравлю лакеем!   
  
 Петр   
  
 Вот я тебя хвачу лакейским ножом по башке! Да без всякого ключа! Как я вас \_ре\_! Да как я вас \_фа\_! Замечаете?   
  
 1-й Музыкант   
  
 Если вы нас \_ре\_, да если вы нас \_фа\_, значит вы нас по нотам заметите.   
  
 2-й Музыкант   
  
 Пожалуйста, спрячьте ваш нож и вытащите ум.   
  
 Петр   
  
 Так берегитесь моего ума! Я вас расколочу железным умом и спрячу железный нож. Отвечайте мне как люди:   
  
 "Когда душа во власти муки   
 И грусть наш ум отягощает,   
 Серебряные песни звуки..."   
  
 Почему "серебряные звуки", почему "серебряные песни звуки"? Что вы скажете, Симон Струна?   
  
 1-й Музыкант   
  
 Да просто потому, что серебро приятно звенит.   
  
 Петр   
  
 Ладно сказано! А вы что скажете, Гуго Гудок?   
  
 2-й Музыкант   
  
 Я думаю, что "серебряные звуки" - потому, что музыкантам платят за песни серебром.   
  
 Петр   
  
 Тоже хорошо! А вы что скажете, Яков Звучок?   
  
 3-й Музыкант   
  
 Право, не знаю что сказать.   
  
 Петр   
  
 Ну, уж ладно, извините. Вы ведь певец. Я за вас скажу. "Серебряные звуки" - потому, что музыкантам не за что платить золотом.   
  
 "Серебряные песни звуки   
 Нам быстро сердце подымают!"   
 (Уходит.)   
  
 1-й Музыкант   
  
 Что за чумная гадина, а?   
  
 2-й Музыкант   
  
 К чорту его! Войдем, подождем плакальщиков с похорон и останемся обедать.   
  
 Уходят.

**АКТ V**

**СЦЕНА 1**

Мантуя. Улица.   
 Входит Ромео.   
  
 Ромео   
  
 Когда б я верил льстивой правде сна,   
 Мой сон сулит весть радостную скоро.   
 Веселый бог любви царит во мне;   
 Весь день дух непривычный над землей   
 Меня легко носил. Приснилось мне,   
 Что милая нашла меня умершим -   
 Вот странный сон, в котором мертвый мыслит! -   
 И поцелуем в губы жизнь вдохнула,   
 И ожил я, и был я император.   
 О, как сладка сама любовь, когда   
 Лишь тени от любви так полны счастья!   
  
 Входит Бальтазар в высоких сапогах.   
  
 Весть из Вероны! Здравствуй, Бальтазар!   
 Принес ли ты мне письма от монаха?   
 Как госпожа моя и как отец?   
 Ну, как Джульетта, спрашиваю я!   
 Ничто не плохо, если хорошо ей.   
  
 Бальтазар   
  
 Ей хорошо. Ничто плохим не станет.   
 Спит плоть ее в гробнице Капулетти,   
 И среди ангелов живет душа.   
 Я видел гроб ее в семейном склепе   
 И тотчас прискакал вам сообщить.   
 Простите, что дурную весть принес я:   
 Ведь эту службу вы мне, сударь, дали!   
  
 Ромео   
  
 Так это правда? Звезды, вам шлю вызов! -   
 Мой дом найдешь? Достань перо, бумагу   
 И лошадей найми - я еду в ночь.   
  
 Бальтазар   
  
 Молю вас, господин, не торопитесь;   
 Ваш взгляд и дик и бледен - он сулит   
 Беду.   
  
 Ромео   
  
 Ты ошибаешься; молчи.   
 Оставь меня и сделай, что сказал я.   
 Ты от монаха письма мне принес?   
  
 Бальтазар   
  
 Нет, господин.   
  
 Ромео   
  
 Неважно. Уходи   
 И лошадей найми. Приду я тотчас.   
  
 Уходит Бальтазар.   
  
 С тобой, Джульетта, лягу нынче ночью.   
 А путь к тебе? - Как быстро входишь, зло,   
 В отчаянную душу человека!   
 Аптекаря я вспомнил. Здесь живет он   
 Поблизости. Недавно я заметил   
 Лохмотья собирателя лекарств:   
 Был взгляд его печален, угнетен,   
 И до костей его сглодала бедность.   
 Висела в жалкой лавке черепаха   
 И крокодила чучело и рыбы   
 С кой-как набитой кожею; {46} на полках   
 Порожних ящиков унылый ряд,   
 Горшечков глиняных и пузырьков,   
 Семян гнилых с обрывками бечевки,   
 Лепешки розовые - вид убогий.   
 Заметив эту нищету, сказал я:   
 "Когда яд будет нужен человеку, -   
 Хоть Манту я за то карает смертью, -   
 Живет здесь раб, что смерть ему продаст".   
 О, эта мысль - нужды моей предтеча,   
 И этот нищий - яд продаст мне нынче.   
 Мне помнится, что это дом его.   
 Закрыта лавка, ведь сегодня праздник. -   
 Эй, эй, аптекарь!   
  
 Входит Аптекарь.   
  
 Аптекарь   
  
 Кто зовет так громко?   
  
 Ромео   
  
 Поди сюда! Я вижу, беден ты.   
 Возьми дукаты - сорок их - и дай мне   
 Лишь драхму яда, но чтоб он проворно   
 Разлился гноем в венах, чтоб без жизни   
 Тот, кто устал от жизни, наземь пал,   
 И вырвалось дыхание из тела   
 Так яростно, так быстро, точно порох   
 Из рокового жерла рвется прочь.   
  
 Аптекарь   
  
 Есть снадобья. Но Мантуи закон   
 Карает смертью тех, кто продает их.   
  
 Ромео   
  
 Ты наг и нищ, а смерти так боишься!   
 Ведь голод на твоем лице, нужда   
 И смертная тоска в твоих глазах,   
 А за плечами нищета, презренье!   
 Ни мир тебе не друг, ни друг - закон;   
 Законов нет, чтоб стать тебе богатым;   
 Не будь же нищ, нарушь закон - возьми.   
  
 Аптекарь   
  
 Согласье нищета дает, не воля.   
 (Дает ему яд.)   
  
 Ромео   
  
 Не воле я плачу, а нищете.   
  
 Аптекарь   
  
 В любую жидкость это надо влить   
 И выпить; если двадцати людей   
 В вас сила - силу эту в вас убьет.   
  
 Ромео   
  
 Вот золото - яд худший для души,   
 Убийца худший в этом гнусном мире,   
 Чем жалкий, запрещенный тот состав.   
 Я продал яд, не ты его мне продал.   
 Прощай, купи еды и потолстей. -   
 Не яд - бальзам беру я в путь с собой.   
 У гроба милой наслажусь тобой.   
  
 Уходят.

**СЦЕНА 2**

Келья брата Лаврентия.   
 Входит брат Иоанн.   
  
 Брат Иоанн   
  
 Эй, францисканец, брат святой, эй, брат!   
  
 Входит брат Лаврентий.   
  
 Брат Лаврентий   
  
 Я брата Иоанна слышу голос. -   
 Из Мантуи? Ну, что сказал Ромео?   
 А если написал, дай мне письмо.   
  
 Брат Иоанн   
  
 Искал босого брата я, монаха   
 Из францисканцев, чтоб с собою взять?   
 Он в городе здесь посещал больных.   
 Его нашел, но городская стража,   
 Обоих нас подозревая в том,   
 Что дом мы зачумленный посещали,   
 Дверь запечатала, нас задержала, -   
 И вот я в Мантую не мог попасть.   
  
 Брат Лаврентий   
  
 А кто отвез мое письмо к Ромео?   
  
 Брат Иоанн   
  
 Его послать не мог я - вот оно -   
 Ни даже с кем-нибудь вернуть тебе;   
 Так напугала всех зараза злая.   
  
 Брат Лаврентий   
  
 Несчастная судьба! Клянусь я братством,:   
 В письме том не пустое дело было,   
 А очень важное: неисполненье   
 Грозит опасностью. Брат Иоанн,   
 Достань железный лом и принеси   
 Его мне в келью.   
  
 Брат Иоанн   
  
 Сейчас его я принесу.   
 (Уходит.)   
  
 Брат Лаврентий   
  
 Теперь один итти я должен в склеп,   
 Проснется через три часа Джульетта, -   
 Как будет проклинать меня за то,   
 Что ничего Ромео неизвестно!   
 Но снова в Мантую я напишу,   
 Ее же в келью спрячу до Ромео.   
 Лежит бедняжка заживо в гробу!   
 (Уходит.)

**СЦЕНА 3**

Кладбище; {47} на нем склеп Капулетти.   
 Входят Парис и Паж, несущий цветы и факел.   
  
 Парис   
  
 Дай факел, мальчик. Отойди подальше.   
 Теперь гаси, чтоб не видали нас.   
 Ложись под этим тисом и к земле   
 Изрытой крепко ухо приложи:   
 На кладбище ведь слышен каждый шаг.   
 Земля здесь неплотна, хрупка и гулка.   
 Что б ни услышал, свистни в знак того,   
 Что кто-то приближается сюда.   
 Дай мне цветы. Иди и повинуйся.   
  
 Паж (в сторону)   
  
 Побаиваюсь я один остаться   
 На этом кладбище, но все ж решусь.   
 (Прячется.)   
  
 Парис   
  
 Цветами ложе брачное покрою.   
 Цветок, твой балдахин - лишь пыль да камень.   
 Водой душистой я тебя омою   
 Или слезами жаркими как пламень.   
 Тебя я снова буду хоронить   
 И ночью над тобою слезы лить.   
  
 Паж свистит.   
  
 Знак мальчик подает: идет там кто-то.   
 Чья окаянная нога здесь бродит,   
 Любовный нарушая мой обряд?   
 Как? С факелом? Скрой, ночь, меня на время!   
 (Прячется.)   
  
 Входят Ромео и Бальтазар с факелом, ломом и т. п.   
  
 Ромео   
  
 Дай мне кирку и этот лом железный.   
 Возьми письмо и рано поутру   
 Отдай его отцу и господину.   
 Дай факел. Если дорожишь ты жизнью, -   
 Что б ни увидел, ни услышал ты,   
 Не подходи и делу не мешай.   
 Хочу спуститься я в обитель смерти,   
 Чтобы лицо жены моей увидеть,   
 Но больше - чтобы с мертвой снять руки   
 Бесценное кольцо: оно мне нужно   
 Для дела важного. Теперь иди.   
 Но если ты из любопытства станешь   
 Подсматривать, что делаю, - клянусь,   
 Я разорву тебя! Рассею члены   
 Твои на этом кладбище голодном!   
 Намеренья мои и время дики,   
 Свирепей и безжалостней, чем море   
 Ревущее или несытый тигр!   
  
 Бальтазар   
  
 Уйду я, сударь, вам мешать не буду.   
  
 Ромео   
  
 Докажешь этим, что ты друг. Возьми.   
 (Дает ему деньги.)   
 Живи, будь счастлив - и прощай, мой милый!   
  
 Бальтазар (в сторону)   
  
 Все ж, спрячусь тут. Вот до чего дошло.   
 Он смотрит странно и задумал зло.   
 (Прячется.)   
  
 Ромео   
  
 Ты, пасть проклятая, ты, смерти чрево,   
 Прекраснейшее на земле пожрало!   
 Тебе гнилую челюсть я раскрою,   
 Насильно новой пищей накормлю.   
 (Открывает склеп.)   
  
 Парис   
  
 Да здесь Монтекки, дерзкий тот изгнанник.   
 Убийца свойственника моего!   
 В слезах о нем Джульетта умерла.   
 Теперь пришел он надругаться подло   
 Над прахом дорогим. Его схвачу я!   
 (Выходит вперед.)   
 Работу гнусную останови,   
 Монтекки подлый! Мстишь ты и за гробом?   
 Ты осужден. Тебя я арестую.   
 Иди за мной - ты должен умереть.   
  
 Ромео   
  
 Да, должен. Потому сюда пришел. -   
 Отчаянье не искушай, дитя.   
 Оставь меня... Страшись судьбы умерших.   
 О милый юноша, молю тебя -   
 Не заставляй меня еще грешить   
 И гнев мой не зови. Уйди отсюда!   
 Люблю тебя я больше, чем себя.   
 Клянусь, против себя вооружен я,   
 Беги скорей, живи. Потом скажи,   
 Что милостью безумного ты жив.   
  
 Парис   
  
 Твои заклятья презираю я,   
 И как преступника я арестую.   
  
 Ромео   
  
 Меня ты вызываешь? Н\_а\_, мальчишка!   
  
 Дерутся.   
  
 Паж   
  
 Дерутся, боже! Стражу позову.   
  
 Парис   
  
 Я ранен!   
 (Падает.)   
 Если милосерден ты, -   
 Открой гробницу, положи к Джульетте.   
 (Умирает.)   
  
 Ромео   
  
 По чести, положу. - В лицо вгляжусь:   
 Меркуцио родня он, граф Парис!   
 Что говорил мой человек дорогой?   
 В волнении не слушал я. Сказал он:   
 Граф должен был жениться на Джульетте.   
 Он так сказал или приснилось мне?   
 Или сейчас, услышав о Джульетте,   
 Я разум потерял? О, дай мне руку,   
 Ты, вписанный со мною в скорби книгу!   
 В торжественной могиле схороню   
 Тебя, убитый мною. В светлой башне,   
 А не в могиле: здесь лежит Джульетта!   
 Стал светел склеп, как пиршественный зал.   
 Лежи здесь, мертвый, мертвым погребенный.   
 (Кладет Париса в склеп.)   
 Как часто люди перед самой смертью   
 Веселье чувствовали! Называют   
 Его предсмертной молнией. Вот это   
 Весельем назову ль? Любовь! Жена!   
 Смерть выпила мед твоего дыханья,   
 Но над красой твоей она не властна.   
 Ты не покорна ей. Знак красоты -   
 Цвет розоватый губ и щек твоих;   
 Не водружен здесь смерти бледный флаг. -   
 В кровавом саване ты здесь, Тибальт?   
 О, чем тебя почтить могу я боле,   
 Как тою же рукою растерзав   
 Врага, что молодость сгубил твою?   
 Прости мне, брат! Джульетта, почему   
 Ты хороша еще теперь? Ужели   
 Смерть бестелесная в тебя влюбилась?   
 И тощий, гнусный изверг в темноте   
 Тебя здесь держит для утех любовных?   
 Боюсь - и потому с тобой останусь,   
 И никогда из черного дворца   
 Я больше не уйду. Здесь, здесь, с червями,   
 Служанками твоими, я останусь.   
 Здесь вечный отдых для меня начнется.   
 И здесь стряхну ярмо зловещих звезд   
 С усталой шеи. - Ну, в последний раз,   
 Глаза, глядите; руки, обнимайте!   
 Вы, губы, жизни двери, поцелуем   
 Скрепите договор с корыстной смертью! -   
 Приди, вожатый горький и зловонный,   
 Мой кормчий безнадежный, и разбей   
 О камни острые худую лодку!   
 Пью за любовь мою!   
 (Пьет.)   
 Аптекарь честный,   
 Скор твой состав. - Целуя, умираю.   
 (Умирает.)   
  
 Входит с другой стороны кладбища брат Лаврентий   
 с фонарем, ломом и заступом.   
  
 Брат Лаврентий   
  
 Святой Франциск, спаси! Как часто нынче   
 Я спотыкался о могилы. - Кто здесь?   
  
 Бальтазар   
  
 Здесь друг; и знает вас он хорошо.   
  
 Брат Лаврентий   
  
 Дай бог вам счастья. Добрый друг, скажите,   
 Что там за факел, что напрасно светит   
 Для черепов безглазых и червей?   
 Он, кажется, в гробнице Капулетти?   
  
 Бальтазар   
  
 Да, так, святой отец. Там господин мой,   
 Любимый вами.   
  
 Брат Лаврентий   
  
 Кто, скажи?   
  
 Бальтазар   
  
 Ромео.   
  
 Брат Лаврентий   
  
 Давно он там?   
  
 Бальтазар   
  
 Уж полчаса, должно быть.   
  
 Брат Лаврентий   
  
 Пойдем со мною в склеп.   
  
 Бальтазар   
  
 Отец, не смею.   
 Мой господин не знает, что отсюда   
 Я не ушел. Он смертью мне грозил,   
 Коль я останусь здесь за ним следить.   
  
 Брат Лаврентий   
  
 Ну, оставайся, я один пойду. -   
 О, я боюсь какой-нибудь беды.   
  
 Бальтазар   
  
 Когда под этим тисом я заснул,   
 Мне снилось - господин мой с кем-то дрался;   
 Мой господин убил его.   
  
 Брат Лаврентий   
  
 Ромео!   
 (Подходит к склепу.)   
 Увы, увы, какая кровь пятнает   
 Ступени каменные в этот склеп?   
 Кто шпаги окровавленные бросил   
 В обители последнего покоя?   
 (Входит в склеп.)   
 Ромео! Бледный! Кто еще? Парис!   
 Он весь в крови! Какой недобрый час   
 Повинен в этом случае злосчастном?   
 Она проснулась.   
  
 Просыпается Джульетта.   
  
 Джульетта   
  
 О добрый мой отец! Где господин мой?   
 Я помню хорошо, где быть мне надо.   
 Вот в этом месте. Где же мой Ромео?   
  
 Шум за сценой.   
  
 Брат Лаврентий   
  
 Шум слышу! - Госпожа, уйдем отсюда,   
 Из этого гнезда заразы, смерти   
 И сна жестокого. Сильней нас сила   
 Разрушила наш замысел. Пойдем!   
 Здесь, на груди твоей, - твой мертвый муж;   
 И мертв Парис. Пойдем, тебя сведу я   
 К благочестивым сестрам в монастырь.   
 Не спрашивай, не медли. Вот уж стража.   
 Джульетта, в путь! Остаться не могу я.   
  
 Уходит брат Лаврентий.   
  
 Джульетта   
  
 И уходи. Я не уйду. Что это?   
 В руке любимого зажата склянка!   
 Яд, вижу я, причина ранней смерти. -   
 О скряга! Выпил, не оставив капли,   
 Чтоб мне помочь. Я губы поцелую:   
 Быть может, яд еще на них остался,   
 Чтоб перед смертью подкрепить меня.   
 (Целует Ромео.)   
 Теплы они.   
  
 1-й Стражник (за сценой)   
  
 Веди нас, мальчик. Где тут?   
  
 Джульетта   
  
 Там шум! Я поспешу. О нож счастливый!   
 (Вынимает нож Ромео из ножен.)   
 Вот ножны! {48}   
 (Закалывает себя.)   
 Здесь ржавей и дай мне смерть!   
 (Падает на тело Ромео и умирает.)   
  
 Входит стража с Пажом Париса.   
  
 Паж   
  
 Вот это место! Вон горит там факел!   
  
 1-й Стражник   
  
 Земля в крови. Кладбище обыщите!   
 Кого бы ни нашли - вяжите всех.   
 Вид жалостный! Лежит убитый граф;   
 Джульетта, теплая еще, в крови,   
 Хоть третий день ее уж схоронили.   
 Бегите к князю! Живо, к Капулетти!   
 Зовите всех! Монтекки разбудите!   
 Мы видим землю в горе и крови,   
 Но не подземную причину горя:   
 Без следствия не можем мы судить.   
  
 Входят некоторые из стражи с Бальтазаром.   
  
 2-й Стражник   
  
 Слуга Ромео; был здесь на кладбище.   
  
 1-й Стражник   
  
 Держи его, пока прибудет князь!   
  
 Входят другие стражники с братом Лаврентием.   
  
 3-й Стражник   
  
 Монах здесь; стонет он, дрожит и плачет,   
 Мы отобрали от него лопату   
 И лом. А шел он с кладбища, отсюда.   
  
 1-й Стражник   
  
 Да, подозрительно. Держать его!   
  
 Входит Князь с приближенными.   
  
 Князь   
  
 Что за несчастие случилось здесь,   
 Лишившее нас утреннего сна?   
  
 Входят Капулетти, госпожа Капулетти и другие.   
  
 Капулетти   
  
 Что там стряслось? Что значат эти крики?   
  
 Госпожа Капулетти   
  
 Народ на улице кричит: "Ромео!",   
 А кто: "Джульетта!", кто: "Парис!" - и все   
 К гробнице нашей с воплями бегут.   
  
 Князь   
  
 Какой здесь ужас слух тревожит наш?   
  
 1-й Стражник   
  
 Властитель, здесь Парис лежит убитый,   
 Ромео мертвый, мертвая Джульетта -   
 Тепла, сейчас убита.   
  
 Князь   
  
 Искать, найти виновников разбоя!   
  
 1-й Стражник   
  
 Слуга Ромео здесь; а вот - монах.   
 При них орудия нашли для взлома   
 Гробницы этой.   
  
 Капулетти   
  
 О погляди, жена, как кровь течет!   
 Ошибся нож: вот дом его пустой,   
 Здесь, у Монтекки на боку, а он   
 За ножны принял грудь моей Джульетты!   
  
 Госпожа Капулетти   
  
 Увы мне! Этот вид - звон похоронный,   
 Что старости моей смерть возвещает.   
  
 Входят Монтекки и другие.   
  
 Князь   
  
 Встал рано ты, Монтекки, чтоб увидеть,   
 Что сын единственный твой рано лег.   
  
 Монтекки   
  
 О государь, жена скончалась ночью:   
 Изгнанье сына жизнь ее разбило.   
 Еще какое горе мне грозит?   
  
 Князь   
  
 Смотри - увидишь.   
  
 Монтекки   
  
 О ты, невежа! Что за неучтивость -   
 Спешить к могиле, отстранив отца!   
  
 Князь   
  
 Уста не открывайте вы для жалоб,   
 Пока мы все не выясним - начало   
 Всех странностей, вершину и конец.   
 Тогда я стоны ваши сам возглавлю   
 И доведу до самой смерти. Нынче   
 Терпенью подчините ваше горе. -   
 Задержанных сюда нам привести!   
  
 Брат Лаврентий   
  
 Я главный здесь, хоть самый малый в деле:   
 Ужасного убийства время, место -   
 Улики тяжкие против меня.   
 Стою я здесь, защитник-обвинитель,   
 Чтоб осудить и оправдать себя.   
  
 Князь   
  
 Скажи нам сразу все, что знаешь ты.   
  
 Брат Лаврентий   
  
 Я буду краток, - жить недолго мне!   
 Мой срок короче горького рассказа.   
 Ромео мертвый был Джульетты мужем,   
 Джульетта мертвая - его женой.   
 Я их венчал; день тайного их брака   
 Днем смерти был Тибальта; эта смерть   
 Изгнала новобрачного отсюда:   
 Джульетта плакала не о Тибальте.   
 Но вы, желая утолить печаль,   
 Ее хотели силой выдать замуж   
 За графа. Тут она ко мне пришла   
 И с диким взглядом требовала средства,   
 Чтоб от второго брака ей спастись,   
 Или убить себя грозилась в келье.   
 Тогда я дал, наученный искусством,   
 Ей сонное питье - и, как задумал,   
 Оно дало ей видимость умершей.   
 Тогда же я Ромео написал,   
 Чтоб этой страшной ночью он приехал   
 Джульетту из могилы мнимой взять,   
 Когда настанет время ей проснуться.   
 Но посланный мой, брат Иоанн, случайно   
 Задержан был и только нынче ночью   
 Вернул мое письмо. Тогда один я   
 В час, предназначенный для пробужденья.   
 Пошел в семейный склеп, чтоб взять ее.   
 Хотел ее в своей я спрятать келье,   
 Пока смогу Ромео известить;   
 Увы, когда за несколько минут   
 Пришел я, здесь лежали мертвецы -   
 Ромео верный и Парис достойный.   
 Она проснулась; я просил ее   
 Уйти и покориться божьей воле.   
 Но шум спугнул меня; она ж со мной,   
 В отчаянье, итти не захотела   
 И, видимо, себя убила здесь.   
 Вот все, что знаю. Что ж до свадьбы - знала   
 О ней кормилица. Но если все   
 Погибло по моей вине - возьмите   
 За несколько часов до срока жизнь,   
 Отдайте строгому закону в жертву.   
  
 Князь   
  
 Нам всем известна праведность твоя. {49} -   
 Слуга Ромео где? Что скажет он?   
  
 Бальтазар   
  
 Ромео возвестил я смерть Джульетты;   
 Тогда из Мантуи он прискакал   
 Сюда, к гробнице этой, в это место.   
 Велел письмо вот это дать отцу;   
 И в склеп спустился он, и приказал мне   
 Под страхом смерти уходить отсюда.   
  
 Князь   
  
 Дай мне письмо. Его я прочитаю. -   
 Где графа паж, который вызвал стражу? -   
 Что в этом месте делал господин ваш?   
  
 Паж   
  
 Пришел с цветами к гробу госпожи,   
 Велел мне ждать здесь; подчинился я.   
 Вдруг кто-то с факелом - и склеп вскрывает.   
 Мой господин тут на него напал, -   
 Тогда я убежал, чтоб вызвать стражу.   
  
 Князь   
  
 Письмо слова монаха подтверждает,   
 И ход любви, и весть об этой смерти.   
 Он пишет здесь, что он купил отраву   
 У бедного аптекаря и к склепу   
 Пришел, чтоб умереть и лечь с Джульеттой. -   
 Монтекки! Капулетти! Где враги?   
 Для ненависти вашей плеть нашлась.   
 Любовью небо цвет ваш покарало!   
 А я за снисхожденье к вашей распре   
 Двух близких потерял: всем - назиданье.   
  
 Капулетти   
  
 О брат Монтекки, дай же руку мне:   
 Здесь вдовья часть Джульетты; больше   
 И не прошу.   
  
 Монтекки   
  
 Но я могу дать больше:   
 Ей статую из золота поставлю.   
 Пока Вероною Верона будет,   
 Не будет памятника здесь ценней,   
 Чем той, что верных всех была верней.   
  
 Капулетти   
  
 И ляжет с ней Ромео золотой,   
 О жертвы бедные вражды слепой!   
  
 Князь   
  
 Приносит утро мрачный мир всем вам,   
 И солнце грустное не хочет встать.   
 Пойдем. Еще придется думать нам -   
 Кого помиловать, кого карать.   
 Ведь горше не было во все столетья   
 Рассказа о Ромео и Джульетте.   
  
 Уходят.

**Джонатан Свифт. Путешествия Гулливера**

**ИЗДАТЕЛЬ К ЧИТАТЕЛЮ**

Автор этих путешествий мистер Лемюэль Гулливер - мой старинный и близкий друг; он приходится мне также сродни по материнской линии. Около трех лет тому назад мистер Гулливер, которому надоело стечение любопытных к нему в Редриф, купил небольшой клочок земли с удобным домом близ Ньюарка в Ноттингемшире, на своей родине, где и проживает сейчас в уединении, но уважаемый своими соседями.   
 Хотя мистер Гулливер родился в Ноттингемшире, где жил его отец, однако я слышал от него, что предки его были выходцами из Оксфордского графства. Чтобы удостовериться в этом, я осмотрел кладбище в Банбери в этом графстве и нашел в нем несколько могил и памятников Гулливеров.   
 Перед отъездом из Редрифа мистер Гулливер дал мне на сохранение нижеследующую рукопись, предоставив распорядиться ею по своему усмотрению. Я три раза внимательно прочел ее. Слог оказался очень гладким и простым, я нашел в нем только один недостаток: автор, следуя обычной манере путешественников, слишком уж обстоятелен. Все произведение, несомненно, дышит правдой, да и как могло быть иначе, если сам автор известен был такой правдивостью, что среди его соседей в Редрифе сложилась даже поговорка, когда случалось утверждать что-нибудь: это так же верно, как если бы это сказал мистер Гулливер.   
 По совету нескольких уважаемых лиц, которым я, с согласия автора, давал на просмотр эту рукопись, я решаюсь опубликовать ее, в надежде, что, по крайней мере, в продолжение некоторого времени, она будет служить для наших молодых дворян более занимательным развлечением, чем обычное бумагомарание политиков и партийных писак.   
 Эта книга вышла бы, по крайней мере, в два раза объемистее, если б я не взял на себя смелость выкинуть бесчисленное множество страниц, посвященных ветрам, приливам и отливам, склонениям магнитной стрелки и показаниям компаса в различных путешествиях, а также подробнейшему описанию на морском жаргоне маневров корабля во время бури. Точно так же я обошелся с долготами и широтами. боюсь, что мистер Гулливер останется этим несколько недоволен, но я поставил своей целью сделать его сочинение как можно более доступным для широкого читателя. Если же благодаря моему невежеству в морском деле я сделал какие-либо промахи, то ответственность за них падает всецело на меня; впрочем, если найдется путешественник, который пожелал бы ознакомиться с сочинением во всем его объеме, как оно вышло из-под пера автора, то я охотно удовлетворю его любопытство.   
 Дальнейшие подробности, касающиеся автора, читатель найдет на первых страницах этой книги.   
  
 Ричард Симпсон

**ПИСЬМО КАПИТАНА ГУЛЛИВЕРА К СВОЕМУ РОДСТВЕННИКУ РИЧАРДУ СИМПСОНУ**

Вы не откажетесь, надеюсь, признать публично, когда бы вам это ни предложили, что своими настойчивыми и частыми просьбами вы убедили меня опубликовать очень небрежный и неточный рассказ о моих путешествиях, посоветовав нанять нескольких молодых людей из которого-нибудь университета для приведения моей рукописи в порядок и исправления слога, как поступил, по моему совету, мой родственник Демпиер со своей книгой "Путешествие вокруг света"[1]. Но я не помню, чтобы предоставил вам право соглашаться на какие-либо пропуски и тем менее на какие либо вставки. Поэтому, что касается последних, то настоящим заявлением я отказываюсь от них совершенно, особенно от вставки, касающейся блаженной и славной памяти ее величества покойной королевы Анны, хотя я уважал и ценил ее больше, чем всякого другого представителя человеческой породы[2]. Ведь вы, или тот, кто это сделал, должны были принять во внимание, что мне несвойственно, да и было неприлично, хвалить какое либо животное нашей породы перед моим хозяином гуигнгнмом. Кроме того, самый факт совершенно неверен, насколько мне известно (в царствование ее величества я жил некоторое время в Англии), она управляла при посредстве первого министра, даже двух последовательно: сначала первым министром был лорд Годольфин, а затем лорд Оксфорд[3]. Таким образом, вы заставили меня говорить то, чего не было. Точно так же в рассказе об Академии Прожектеров и в некоторых частях моей речи к моему хозяину гуигнгнму вы либо опустили некоторые существенные обстоятельства, либо смягчили и изменили их таким образом, что я с трудом узнаю собственное произведение. Когда же я намекнул вам об этом в одном из своих прежних писем, то вам угодно было ответить, что вы боялись нанести оскорбление, что власть имущие весьма зорко следят за прессой и готовы не только истолковать по-своему все, что кажется им намеком (так, помнится, выразились вы), но даже подвергнуть за это наказанию[4]. Но позвольте, каким образом то, что я говорил столько лет тому назад на расстоянии пяти тысяч миль отсюда, в другом государстве, можно отнести к кому-либо из еху, управляющих теперь, как говорят, нашим стадом, особенно в то время, когда я совсем не думал и не опасался, что мне выпадет несчастье жить под их властью[5]. Разве не достаточно у меня оснований сокрушаться при виде того, как эти самые еху разъезжают на гуигнгнмах, как если бы они были разумными существами, а гуигнгнмы - бессмысленными тварями. И в самом деле, главною причиной моего удаления сюда было желание из бежать столь чудовищного и омерзительного зрелища.   
 Вот что почел я своим долгом сказать вам о вашем по ступке и о доверии, оказанном мною вам.   
 Затем мне приходится пожалеть о собственной большой оплошности, выразившейся в том, что я поддался просьбам и неосновательным доводам как вашим, так и других лиц, и, вопреки собственному убеждению, согласился на издание моих Путешествий. Благоволите вспомнить, сколько раз просил я вас, когда вы настаивали на издании Путешествий в интересах общественного блага, принять во внимание, что еху представляют породу животных, совершенно неспособных к исправлению путем наставлении или примеров. Ведь так и вышло. Уже шесть месяцев, как книга моя служит предостережением, а я не только не вижу, чтобы она положила конец всевозможным злоупотреблениям и порокам, по крайней мере, на нашем маленьком острове, как я имел основание ожидать, - но и не слыхал, чтобы она произвела хотя бы одно действие, соответствующее моим намерениям. Я просил вас известить меня письмом, когда прекратятся партийные распри и интриги, судьи станут просвещенными и справедливыми, стряпчие - честными, умеренными и приобретут хоть капельку здравого смысла, Смитсфильд[6] озарится пламенем пирамид собрания законов, в корне изменится система воспитания знатной молодежи, будут изгнаны врачи, самки еху украсятся добродетелью, честью, правдивостью и здравым смыслом, будут основательно вычищены и выметены дворцы и министерские приемные, вознаграждены ум, заслуги и знание, все, позорящие печатное слово в прозе или в стихах, осуждены на то, чтобы питаться только бумагой и утолять жажду чернилами. На эти и на тысячу других преобразований я твердо рассчитывал, слушая ваши уговоры, ведь они прямо вытекали из наставлений, преподанных в моей книге. И должно признать, что семь месяцев - достаточный срок, чтобы избавиться от всех пороков и безрассудств, которым подвержены еху, если бы только они имели малейшее расположение к добродетели и мудрости. Однако на эти ожидания не было никакого ответа в ваших письмах; напротив, каждую неделю вы обременяли нашего разносчика писем пасквилями, ключами, размышлениями, замечаниями и вторыми частями[7]; из них я вижу, что меня обвиняют в поношении сановников, в унижении человеческой природы (ибо у авторов хватает еще дерзости величать ее так) и в оскорблении женского пола. При этом я нахожу, что сочинители этого хлама даже не столковались между собой: одни из них не желают признавать меня автором моих "Путешествий", другие же приписывают мне книги, к которым я совершенно непричастен.   
 Далее, я обращаю внимание на крайнюю небрежность вашего типографа, допустившего большую путаницу в хронологии и ошибки в датах моих путешествий и возвращений и нигде не проставившего правильно ни год, ни месяц, ни число. Между тем я слышал, что оригинал совершенно уничтожен по отпечатании книги, а копии у меня не осталось. Тем не менее я посылаю вам несколько исправлений, которыми вы можете воспользоваться, если когда-либо понадобится второе издание книги. Впрочем, я не буду настаивать на них и отдаю вопрос на суд рассудительных и беспристрастных читателей; пусть они поступают, как им угодно.   
 Слышал я, что некоторые из наших еху-моряков находят ошибки в моем морском языке[8], считая его во многих случаях неправильным и в настоящее время устаревшим. Ничего не могу поделать. Во время моих первых путешествий, когда я был молод, я прошел выучку у старшего поколения моряков и усвоил их язык. Но впоследствии я убедился, что морские еху так же склонны выдумывать новые слова, как и сухопутные еху, которые чуть ли не ежегодно настолько меняют свой язык, что при каждом возвращении на родину я, помнится, находил большие перемены в прежнем диалекте и едва мог понимать его. Равным образом, когда какой-нибудь еху любопытства ради приезжает ко мне из Лондона, я замечаю, что мы не способны излагать друг другу наши мысли в выражениях, понятных для нас обоих.   
 Если бы суждения еху способны были сколько-нибудь задевать меня, то я имел бы достаточно оснований жаловаться на дерзость некоторых моих критиков, полагающих, что книга моя представляет только плод моей фантазии и даже позволяющих себе высказывать предположение, будто гуигнгнмы и еху обладают не больше реальностью, чем обитатели Утопии[9].   
 Правда, что касается лилипутов, бробдингрежцев[10] (ибо следует произносить Бробдингрег, а не Бробдингнег, как ошибочно напечатано) и лапутян, то я должен признаться, что мне еще не приходилось встречать ни одного еху, как бы он ни был самоуверен, который решился бы отрицать их существование или оспаривать факты, рассказанные мной относительно этих народов, ибо истина тут настолько очевидна, что сразу же убеждает всякого читателя. Неужели же мой рассказ о гуигнгнмах и еху менее правдоподобен? Ведь что касается еху, то очевидно, что даже в нашем отечестве их существуют тысячи и они отличаются от своих диких братьев из Гуигнгнмии только тем, что обладают способностью к бессвязному лепету и не ходят голыми. Я писал с целью их исправления, а не с тем, чтобы получить их одобрение. Единодушные похвалы всей их породы значили бы для меня меньше, чем ржание тех двух выродившихся гуигнгнмов, которых я держу у себя на конюшне; как они ни выродились, я не нахожу в них никаких пороков и могу еще кое-что позаимствовать у них по части добродетели.   
 Уж не дерзают ли эти жалкие животные думать, будто я настолько пал, что выступлю на защиту своей правдивости? Хоть я и еху, но во всей Гуигнгнмии отлично известно, что благодаря наставлениям и примеру моего досточтимого хозяина я в течение двух лет оказался способным (хоть это и стоило мне огромного труда) отделаться от адской привычки лгать, лукавить, обманывать и кривить душой - привычки, которая так глубоко коренится в самом естестве всей нашей породы, особенно у европейцев.   
 Я мог бы высказать еще и другие жалобы по поводу этого досадного обстоятельства, но не хочу больше докучать ни себе, ни вам. Должен откровенно признаться, что по моем возвращении из последнего путешествия некоторые пороки, свойственные моей натуре еху, ожили во мне благодаря совершенно неизбежному для меня общению с немногими представителями вашей породы, особенно с членами моей семьи. Иначе я бы никогда не предпринял нелепой затеи реформировать породу еху в нашем королевстве. Но теперь я навсегда покончил с этими химерическими планами.   
2 апреля 1727 года

**\* ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПУТЕШЕСТВИЕ В ЛИЛИПУТИЮ \***

**ГЛАВА I**

Автор сообщает кое-какие сведения о себе и о своем семействе. Первые побуждения к путешествиям. Он терпит кораблекрушение, спасается вплавь и благополучно достигает берега страны лилипутов. Его берут в плен и увозят внутрь страны.   
  
 Мой отец имел небольшое поместье в Ноттингемшире; я был третий из его пяти сыновей. Когда мне исполнилось четырнадцать лет, он послал меня в колледж Эмануила в Кембридже[11], где я пробыл три года, прилежно отдаваясь своим занятиям; однако издержки на мое содержание (хотя я получал очень скудное довольствие) были непосильны для скромного состояния отца, и поэтому меня отдали в учение к мистеру Джемсу Бетсу, выдающемуся хирургу в Лондоне, у которого я провел четыре года. Небольшие деньги, присылаемые мне по временам отцом, я тратил на изучение навигации и других отраслей математики, полезных людям, собирающимся путешествовать, так как я всегда думал, что рано или поздно мне выпадет эта доля. Покинув мистера Бетса, я возвратился к отцу и дома раздобыл у него, у дяди Джона и у других родственников сорок фунтов стерлингов и заручился обещанием, что мне будут ежегодно посылать в Лейден тридцать фунтов. В этом городе в течение двух лет и семи месяцев я изучал медицину, зная, что она мне пригодится в дальних путешествиях.   
 Вскоре по возвращении из Лейдена я, по рекомендации моего почтенного учителя мистера Бетса, поступил хирургом на судно Ласточка, ходившее под командой капитана Авраама Паннеля. У него я прослужил три с половиной года, совершив несколько путешествий в Левант и другие страны[12]. По возвращении в Англию я решил поселиться в Лондоне, к чему поощрял меня мистер Бетс, мой учитель, который порекомендовал меня нескольким своим пациентам. Я снял часть небольшого дома на Олд-Джюри и по совету друзей женился на мисс Мери Бертон, второй дочери мистера Эдмунда Бертона, чулочного торговца на Ньюгет-стрит, за которой получил четыреста фунтов приданого.   
 Но так как спустя два года мой добрый учитель Бетс умер, а друзей у меня было немного, то дела мои пошатнулись: ибо совесть не позволяла мне подражать нехорошим приемам многих моих собратьев. Вот почему, посоветовавшись с женой и некоторыми знакомыми, я решил снова стать моряком. В течение шести лет я был хирургом на двух кораблях и совершил несколько путешествий в Ост- и Вест-Индию, что несколько улучшило мое материальное положение. Часы досуга я посвящал чтению лучших авторов, древних и новых, так как всегда запасался в дорогу книгами; на берегу же наблюдал нравы и обычаи туземцев и изучал их язык, что благодаря хорошей памяти давалось мне очень легко.   
 Последнее из этих путешествий вышло не очень удачным, и я, утомленный морскою жизнью, решил сидеть дома с женой и детьми. Я перебрался с Олд-Джюри на Феттер-Лейн, а оттуда в Уоппин, надеясь иметь практику между моряками, но эта надежда не оправдалась. Прождав три года улучшения моего положения, я принял выгодное предложение капитана Вильяма Причарда, владельца судна Антилопа, отправиться с ним в Южное море. 4 мая 1699 года мы снялись с якоря в Бристоле, и наше путешествие было сначала очень удачно.   
 По некоторым причинам было бы неуместно утруждать читателя подробным описанием наших приключений в этих морях; довольно будет сказать, что при переходе в Ост-Индию мы были отнесены страшной бурей к северо-западу от Вандименовой Земли[13]. Согласно наблюдениям, мы находились на 30ь2' южной широты. Двенадцать человек нашего экипажа умерли от переутомления и дурной пищи; остальные были крайне обессилены. 5 ноября (начало лета в этих местах) стоял густой туман, так что матросы только на расстоянии полукабельтова от корабля заметили скалу; но ветер был такой сильный, что нас понесло прямо на нее, и корабль мгновенно разбился. Шестерым из экипажа, в том числе и мне, удалось спустить лодку и отойти от корабля и скалы. По моим расчетам, мы шли на веслах около трех лиг, пока совсем не выбились из сил, так как были переутомлены уже на корабле. Поэтому мы отдались на волю волн, и через полчаса лодка была опрокинута внезапно налетевшим с севера порывом ветра. Что сталось с моими товарищами по лодке, а равно и с теми, которые нашли убежище на скале или остались на корабле, не могу сказать; думаю, что все они погибли. Что касается меня самого, то я поплыл куда глаза глядят, подгоняемый ветром и приливом. Я часто опускал ноги, но не мог нащупать дно; когда я совсем уже выбился из сил и неспособен был больше бороться с волнами, я почувствовал под ногами землю, а буря тем временем значительно утихла. Дно в этом месте было так покато, что мне пришлось пройти около мили, прежде чем я добрался до берега; по моим предположениям, это случилось около восьми часов вечера. Я прошел еще с полмили, но не мог открыть никаких признаков жилья и населения; или, по крайней мере, я был слишком слаб, чтобы различить что-нибудь. Я чувствовал крайнюю усталость; от усталости, жары, а также от выпитой еще на корабле полупинты коньяку меня сильно клонило ко сну. Я лег на траву, которая была здесь очень низкая и мягкая, и заснул так крепко, как не спал никогда в жизни. По моему расчету, сон мой продолжался около девяти часов, потому что, когда я проснулся, было уже совсем светло. Я попробовал встать, но не мог шевельнуться; я лежал на спине и обнаружил, что мои руки и ноги с обеих сторон крепко привязаны к земле и точно так же прикреплены к земле мои длинные и густые волосы[14]. Равным образом я почувствовал, что мое тело, от подмышек до бедер, опутано целой сетью тонких бечевок. Я мог смотреть только вверх; солнце начинало жечь, и свет его ослеплял глаза. Кругом меня слышался какой-то глухой шум, но положение, в котором я лежал, не позволяло мне видеть ничего, кроме неба. Вскоре я почувствовал, как что-то живое задвигалось у меня по левой ноге, мягко поползло по груди и остановилось у самого подбородка. Опустив глаза как можно ниже, я различил перед собою человеческое существо, ростом не более шести дюймов, с луком и стрелой в руках и колчаном за спиной. В то же время я почувствовал, как вслед за ним на меня взбирается, по крайней мере, еще около сорока подобных же (как мне показалось) созданий. От изумления я так громко вскрикнул, что они все в ужасе побежали назад; причем некоторые из них, как я узнал потом, соскакивая и падая с моего туловища на землю, получили сильные ушибы. Однако скоро они возвратились, и один из них, отважившийся подойти так близко, что ему было видно все мое лицо, в знак удивления поднял кверху руки и глаза и тоненьким, но отчетливым голосом прокричал: "Гекина дегуль"; остальные несколько раз повторили эти слова, но я не знал тогда, что они значат.   
 Читатель может себе представить, в каком неудобном положении я лежал все это время. Наконец после большого усилия мне посчастливилось порвать веревочки и выдернуть колышки, к которым была привязана моя левая рука; поднеся ее к лицу, я понял, каким способом они связали меня. В то же время, рванувшись изо всей силы и причинив себе нестерпимую боль, я немного ослабил шнурки, прикреплявшие мои волосы к земле с левой стороны, что позволило мне повернуть голову на два дюйма. Но созданьица вторично спаслись бегством, прежде чем я успел изловить кого-нибудь из них. Затем раздался пронзительный вопль, и, когда он затих, я услышал, как кто-то из них громко повторил: "Толго фонак". В то же мгновение я почувствовал, что на мою левую руку посыпались сотни стрел, которые кололи меня, как иголки; после этого последовал второй залп в воздух, вроде того как у нас в Европе стреляют из мортир, причем, я полагаю, много стрел упало на мое тело (хотя я не почувствовал этого) и несколько на лицо, которое я поспешил прикрыть левой рукой. Когда этот град прошел, я застонал от обиды и боли и снова попробовал освободиться, но тогда последовал третий залп, сильнее первого, причем некоторые из этих существ пытались колоть меня копьями в бока, но, к счастью, на мне была кожаная куртка, которую они не могли пробить. Я рассудил, что самое благоразумное - пролежать спокойно до наступления ночи, когда мне нетрудно будет освободиться при помощи уже отвязанной левой руки; что же касается туземцев, то я имел основание надеяться, что справлюсь с какими угодно армиями, которые они могут выставить против меня, если только они будут состоять из существ такого же роста, как то, которое я видел. Однако судьба распорядилась мной иначе. Когда эти люди заметили, что я лежу спокойно, они перестали метать стрелы, но в то же время по усилившемуся шуму я заключил, что число их возросло. На расстоянии четырех ярдов от меня напротив моего правого уха я услышал стук, продолжавшийся больше часа, точно возводилась какая-то постройка. Повернув голову, насколько позволяли державшие ее веревочки и колышки, я увидел деревянный помост, возвышавшийся над землей на полтора фута, на котором могло уместиться четверо туземцев, и две или три лестницы, чтобы всходить на него[15]. Оттуда один из них, по-видимому знатная особа, обратился ко мне с длинной речью, из которой я ни слова не понял. Но я должен упомянуть, что перед началом своей речи высокая особа трижды прокричала: "Лангро де гюль сан" (эти слова, равно как и предыдущие, впоследствии мне повторили и объяснили). Сейчас же после этого ко мне подошли человек пятьдесят туземцев и обрезали веревки, прикреплявшие левую сторону головы, что дало мне возможность повернуть ее направо и, таким образом, наблюдать лицо и жесты оратора. Он мне показался человеком средних лет, ростом выше трех других, сопровождавших его; один из последних, чуть побольше моего среднего пальца, вероятно паж, держал его шлейф, два других стояли по сторонам в качестве его свиты. Он по всем правилам разыграл роль оратора: некоторые периоды его речи выражали угрозу, другие - обещание, жалость и благосклонность. Я отвечал в немногих словах, но с видом покорности, воздев к солнцу глаза и левую руку и как бы призывая светило в свидетели; и так как я почти умирал от голода, - в последний раз я поел за несколько часов перед тем, как оставить корабль, - то требования природы были так повелительны, что я не мог сдержать своего нетерпения и (быть может, нарушая правила благопристойности) несколько раз поднес палец ко рту, желая показать, что хочу есть. Гурго (так они называют важного сановника, как я узнал потом) отлично понял меня. Он сошел с помоста и приказал поставить к бокам моим несколько лестниц, по которым взобрались и направились к моему рту более ста туземцев, нагруженных корзинами с кушаньями, которые были приготовлены и присланы по повелению монарха, как только до него дошло известие о моем появлении. В кушанья эти входило мясо каких-то животных, но я не мог разобрать по вкусу, каких именно. Там были лопатки, окорока и филей, с виду напоминавшие баранину, очень хорошо приготовленные, но каждая часть едва равнялась крылу жаворонка. Я проглатывал разом по два и по три куска вместе с тремя караваями хлеба величиной не больше ружейной пули. Туземцы прислуживали мне весьма расторопно и тысячами знаков выражали свое удивление моему росту и аппетиту.   
 Потом я стал делать другие знаки, показывая, что хочу пить. По количеству съеденного они заключили, что малым меня удовлетворить нельзя, и, будучи народом весьма изобретательным, необычайно ловко втащили на меня, а затем подкатили к моей руке одну из самых больших бочек и вышибли из нее дно; я без труда осушил ее одним духом, потому что она вмещала не более нашей полупинты. Вино по вкусу напоминало бургундское, но было гораздо приятнее. Затем они поднесли мне другую бочку, которую я выпил таким же манером, и сделал знак, чтобы дали еще, но у них больше не было. Когда я совершал все описанные чудеса, человечки кричали от радости и танцевали у меня на груди, много раз повторяя свое первое восклицание: "Гекина дегуль". Знаками они попросили меня сбросить обе бочки на землю, но сначала приказали толпившимся внизу посторониться, громко крича: "Бора мивола"; а когда бочки взлетели в воздух, раздался единодушный возглас: "Гекина дегуль". Признаюсь, меня не раз искушало желание схватить первых попавшихся под руку сорок или пятьдесят человечков, когда они разгуливали взад и вперед по моему телу, и швырнуть их оземь. Но сознание, что они могли причинить мне еще большие неприятности, чем те, что я уже испытал, а равно торжественное обещание, данное мною им, - ибо так толковал я свое покорное поведение, - скоро прогнали эти мысли. С другой стороны, я считал себя связанным законом гостеприимства с этим народцем, который не пожалел для меня издержек на великолепное угощение. Вместе с тем я не мог достаточно надивиться неустрашимости крошечных созданий, отважившихся взбираться на мое тело и прогуливаться по нему, в то время как одна моя рука была свободна, и не испытывавших трепета при виде такой громадины, какой я должен был им представляться. Спустя некоторое время, когда они увидели, что я не прошу больше есть, ко мне явилась особа высокого чина от лица его императорского величества. Его превосходительство, взобравшись на нижнюю часть моей правой ноги, направился к моему лицу в сопровождении десятка человек свиты. Он предъявил свои верительные грамоты с королевской печатью, приблизя их к моим глазам, и обратился с речью, которая продолжалась около десяти минут и была произнесена без малейших признаков гнева, но твердо и решительно, причем он часто указывал пальцем вперед, как выяснилось потом, по направлению к столице, находившейся от нас на расстоянии полумили, куда, по постановлению его величества и государственного совета, меня должны были перевезти. Я ответил в нескольких словах, которые остались непонятыми, так что мне пришлось прибегнуть к помощи жестов: я показал своей свободной рукой на другую руку (но сделал это движение высоко над головой его превосходительства, боясь задеть его или его свиту), затем на голову и тело, давая понять таким образом, чтобы меня освободили.   
 Вероятно, его превосходительство понял меня достаточно хорошо, потому что, покачав отрицательно головой, жестами пояснил, что я должен быть отвезен в столицу как пленник. Наряду с этим он делал и другие знаки, давая понять, что меня будут там кормить, поить и вообще обходиться со мной хорошо. Тут у меня снова возникло желание попытаться разорвать свои узы; но, чувствуя еще жгучую боль на лице и руках, покрывшихся волдырями, причем много стрел еще торчало в них, и заметив, что число моих неприятелей все время возрастает, я знаками дал понять, что они могут делать со мной все, что им угодно. Довольные моим согласием, Гурго и его свита любезно раскланялись и удалились с веселыми лицами. Вскоре после этого я услышал общее ликование, среди которого часто повторялись слова: "пеплом селян", и почувствовал, что с левой стороны большая толпа ослабила веревки в такой степени, что я мог повернуться на правую сторону и всласть помочиться; потребность эта была отправлена мной в изобилии, повергшем в великое изумление маленькие создания, которые, догадываясь по моим движениям, что я собираюсь делать, немедленно расступились в обе стороны, чтобы не попасть в поток, извергшийся из меня с большим шумом и силой. Еще раньше они помазали мое лицо и руки каким-то составом приятного запаха, который в несколько минут успокоил жгучую боль, причиненную их стрелами. Все это, в соединении с сытным завтраком и прекрасным вином, благотворно подействовало на меня и склонило ко сну. Я проспал, как мне сказали потом, около восьми часов; в этом нет ничего удивительного, так как врачи, по приказанию императора, подмешали сонного питья в бочки с вином.   
 По-видимому, как только туземцы нашли меня спящего на земле после кораблекрушения, они немедленно послали гонца к императору с известием об этом открытии. Тотчас был собран государственный совет и вынесено постановление связать меня вышеописанным способом (что было исполнено ночью, когда я спал), отправить мне в большом количестве еду и питье и приготовить машину для перевозки меня в столицу. Быть может, такое решение покажется слишком смелым и опасным, и я убежден, что в схожем случае ни один европейский монарх не поступил бы так. Однако, по-моему, это решение было столь же благоразумно, как и великодушно. В самом деле, допустим, что эти люди попытались бы убить меня своими копьями и стрелами во время моего сна. Что же вышло бы? Почувствовав боль, я, наверное, сразу проснулся бы и в припадке ярости оборвал веревки, которыми был связан, после чего они не могли бы сопротивляться и ожидать от меня пощады.   
 Эти люди - превосходные математики и достигли большого совершенства в механике благодаря поощрениям и поддержке императора, известного покровителя наук. У этого монарха есть много машин на колесах для перевозки бревен и других больших тяжестей. Он часто строит громадные военные корабли, иногда достигающие девяти футов длины, в местах, где растет строевой лес, и оттуда перевозит их на этих машинах за триста или четыреста ярдов к морю. Пятистам плотникам и инженерам было поручено немедленно изготовить самую крупную телегу, какую только им приходилось делать. Это была деревянная платформа, возвышавшаяся на три дюйма от земли, около семи футов в длину и четырех в ширину, на двадцати двух колесах. Услышанные мною восклицания были приветствием народа по случаю прибытия этой телеги, которая была отправлена за мною, кажется, спустя четыре часа после того, как я вышел на берег. Ее поставили возле меня, параллельно моему туловищу. Главная трудность состояла, однако, в том, чтобы поднять и уложить меня в описанную телегу. С этой целью были вбиты восемьдесят свай, вышиною в один фут каждая, и приготовлены очень крепкие канаты толщиной в нашу бечевку; канаты эти были прикреплены крючками к многочисленным повязкам, которыми рабочие обвили мою шею, руки, туловище и ноги. Девятьсот отборных силачей стали тащить за канаты при помощи множества блоков, прикрепленных к сваям, и таким образом меньше чем за три часа меня подняли, положили в телегу и крепко привязали к ней. Все это рассказали мне потом, так как во время этой операции я спал глубоким сном, в который был погружен снотворной микстурой, примешанной к вину. Полторы тысячи самых крупных лошадей из придворных конюшен, вышиной около четырех с половиной дюймов каждая, понадобилось, чтобы привезти меня в столицу, расположенную, как уже было сказано, на расстоянии полумили от того места, где я лежал.   
 Мы были в дороге уже часа четыре, когда я проснулся благодаря весьма забавному случаю. Телега остановилась для какой-то починки; воспользовавшись этим, два или три молодых человека полюбопытствовали посмотреть, каков я, когда сплю; они взобрались на повозку и тихонько прокрались к моему лицу; тут один из них, гвардейский офицер, засунул мне в левую ноздрю острие своей пики; оно защекотало, как соломинка, и я громко чихнул. Испуганные храбрецы мгновенно скрылись, и только через три недели я узнал причину моего внезапного пробуждения. Весь остаток дня мы провели в дороге; ночью расположились на отдых, и подле меня было поставлено на страже по пятисот гвардейцев с обеих сторон, половина с факелами, а другая половина с луками наготове, чтобы стрелять при первой моей попытке пошевелиться. С восходом солнца мы снова тронулись в путь и к полудню находились в двухстах ярдах от городских ворот. Навстречу вышли император и весь его двор, но высшие сановники решительно воспротивились намерению его величества подняться на мое тело, боясь подвергнуть опасности его особу.   
 На площади, где остановилась телега, возвышался древний храм, считавшийся самым обширным во всем королевстве. Несколько лет тому назад храм этот был осквернен зверским убийством, и с тех пор здешнее население, отличающееся большой набожностью, стало смотреть на него как на место, недостойное святыни; вследствие этого он был обращен в общественное здание, из него были вынесены все убранства и утварь. Это здание и было назначено для моего жительства. Большая дверь, обращенная на север, имела около четырех футов в вышину и почти два фута в ширину, так что я мог довольно свободно проползать через нее. По обеим сторонам двери, на расстоянии каких-нибудь шести дюймов от земли, были расположены два маленьких окна; в левое окно придворные кузнецы провели девяносто одну цепочку, вроде тех, что носят с часами наши европейские дамы, и почти такой же величины; цепочки эти были закреплены на моей левой ноге тридцатью шестью висячими замками[16]. Против храма, по другую сторону большой дороги, на расстоянии двадцати футов, стояла башня, не менее пяти футов вышины. На эту башню взошел император с множеством придворных, чтобы лучше видеть меня, как мне передавали, потому что сам я не обратил на них внимания. По произведенным подсчетам, около ста тысяч народа с той же целью покинуло город, и я полагаю, что, невзирая на стражу, не менее десяти тысяч любопытных перебывало на мне в разное время, взбираясь на мое тело по лестницам. Скоро, однако, был издан указ, запрещавший это под страхом смертной казни. Когда кузнецы нашли, что вырваться мне невозможно, они обрезали связывавшие меня веревки, и я поднялся в таком сумрачном расположении, как никогда в жизни. Шум и изумление толпы, увидевшей, как я встал и хожу, не поддаются описанию. Цепи, приковывавшие мою левую ногу, были около двух ярдов длины и не только давали мне возможность гулять взад и вперед, описывая полукруг, но, будучи укреплены на расстоянии четырех дюймов от двери, позволяли также вползать в храм и ложиться в нем, вытянувшись во весь рост.

**ГЛАВА II**

Император Лилипутии в сопровождении многочисленных вельмож приходит навестить автора в его заключении. Описание наружности и одежды императора. Автору назначают учителей для обучения языку лилипутов. Своим кротким поведением он добивается благосклонности императора. Обыскивают карманы автора и отбирают у него саблю и пистолеты   
  
 Поднявшись на ноги, я осмотрелся кругом. Должен признаться, что мне никогда не приходилось видеть более привлекательный пейзаж. Вся окружающая местность представлялась сплошным садом, а огороженные поля, из которых каждое занимало не более сорока квадратных футов, были похожи на цветочные клумбы. Эти поля чередовались с лесом, вышиной вполстанга, где самые высокие деревья, насколько я мог судить, были не более семи футов. Налево лежал город, имевший вид театральной декорации.   
 Уже несколько часов меня крайне беспокоила одна естественная потребность, что и неудивительно, так как в последний раз я облегчался почти два дня тому назад. Чувство стыда сменялось жесточайшими позывами. Самое лучшее, что я мог придумать, было вползти в мой дом; так я и сделал; закрыв за собою двери, я забрался в глубину, насколько позволяли цепочки, и освободил свое тело от беспокоившей его тяжести. Но это был единственный случай, который может послужить поводом для обвинения меня в нечистоплотности, и я надеюсь на снисхождение беспристрастного читателя, особенно если он зрело и непредубежденно обсудит бедственное положение, в котором я находился. Впоследствии я отправлял означенную потребность рано утром на открытом воздухе, отойдя от храма, насколько позволяли цепочки, причем были приняты должные меры, чтобы двое назначенных для этой цели слуг увозили в тачках зловонное вещество до прихода ко мне гостей. Я бы не останавливался так долго на предмете, с первого взгляда как будто неважном, если бы не считал необходимым публично оправдаться по части чистоплотности, которую, как мне известно, некоторым моим недоброжелателям угодно было, ссылаясь на этот и другие случаи, подвергать сомнению.   
 Покончив с этим делом, я вышел на улицу подышать свежим воздухом. Император уже спустился с башни и направлялся ко мне верхом на лошади. Эта смелость едва не обошлась ему очень дорого. Дело в том, что хотя его лошадь была прекрасно тренирована, но при таком необычайном зрелище - как если бы гора двинулась перед ней - взвилась на дыбы. Однако император, будучи превосходным наездником, удержался в седле, пока не подоспели слуги, которые, схватив коня под уздцы, помогли его величеству сойти. Сойдя с лошади, он с большим удивлением осмотрел меня со всех сторон, держась, однако, за пределами длины приковывавших меня цепочек. Он приказал своим поварам и дворецким, стоявшим наготове, подать мне есть и пить, и те подкатили ко мне провизию и вино в особых тележках на такое расстояние, чтобы я мог достать их. Я брал их и быстро опорожнял; в двадцати таких тележках находились кушанья, а в десяти напитки. Каждая тележка с провизией уничтожалась мной в два или три глотка, а что касается вина, то я вылил содержимое десяти глиняных фляжек в одну повозочку и разом осушил ее; так же я поступил и с остальным вином. Императрица, молодые принцы и принцессы крови вместе с придворными дамами сидели в креслах на некотором расстоянии, но после приключения с лошадью императора все они встали и подошли к его особе, которую я хочу теперь описать. Ростом он почти на мой ноготь выше всех своих придворных[17]; одного этого совершенно достаточно, чтобы внушать почтительный страх. Черты лица его резкие и мужественные, губы австрийские, нос орлиный, цвет лица оливковый, стан прямой, туловище, руки и ноги пропорциональные, движения грациозные, осанка величественная[18]. Он уже не первой молодости - ему двадцать восемь лет и девять месяцев, и семь из них он царствует, окруженный благополучием, и большей частью победоносно. Чтобы лучше рассмотреть его величество, я лег на бок, так чтобы мое лицо пришлось как раз против него, причем он стоял на расстоянии всего трех ярдов от меня; кроме того, впоследствии я несколько раз брал его на руки и потому не могу ошибиться в его описании. Одежда императора была очень скромная и простая, фасон - нечто среднее между азиатским и европейским, но на голове надет был легкий золотой шлем, украшенный драгоценными камнями и пером на верхушке. Он держал в руке обнаженную шпагу для защиты, на случай если бы я разорвал цепь; шпага эта была длиною около трех дюймов, ее золотой эфес и ножны украшены бриллиантами. Голос его величества пронзительный, но чистый и до такой степени внятный, что даже стоя я мог отчетливо его слышать. Дамы и придворные все были великолепно одеты, так что занимаемое ими место было похоже на разостланную юбку, вышитую золотыми и серебряными узорами. Его императорское величество часто обращался ко мне с вопросами, на которые я отвечал ему, но ни он, ни я не понимали ни слова из того, что говорили друг другу. Здесь же находились священники и юристы (как я заключил по их костюму), которым было приказано вступить со мною в разговор; я, в свою очередь, заговаривал с ними на разных языках, с которыми был хотя бы немного знаком: по-немецки, по-голландски, по-латыни, по-французски, по-испански, по-итальянски и на лингва франка[19], но все это не привело ни к чему. Спустя два часа двор удалился, и я был оставлен под сильным караулом - для охраны от дерзких и, может быть, даже злобных выходок черни, которая настойчиво стремилась протискаться поближе ко мне, насколько у ней хватало смелости; у некоторых достало даже бесстыдства пустить в меня несколько стрел в то время, как я сидел на земле у дверей моего дома; одна из них едва не угодила мне в левый глаз. Однако полковник приказал схватить шестерых зачинщиков и решил, что самым лучшим наказанием для них будет связать и отдать в мои руки. Солдаты так и сделали, подталкивая ко мне озорников тупыми концами пик; я сгреб их всех в правую руку и пятерых положил в карман камзола; что же касается шестого, то я сделал вид, будто хочу съесть его живьем. Бедный человечек отчаянно завизжал, а полковник и офицеры пришли в сильное беспокойство, когда увидели, что я вынул из кармана перочинный нож. Но скоро я успокоил их: ласково глядя на моего пленника, я разрезал связывавшие его веревки и осторожно поставил на землю; он мигом убежал. Точно так же я поступил и с остальными, вынимая их по одному из кармана. И я увидел, что солдаты и народ остались очень довольны моим милосердием, о котором в очень выгодном для меня свете было доложено при дворе.   
 С наступлением ночи я не без затруднений вошел в свой дом и лег спать на голой земле. Таким образом я проводил ночи около двух недель, в течение которых по приказанию императора для меня была изготовлена постель. Были привезены шестьсот матрасов обыкновенной величины, и в моем доме началась работа: сто пятьдесят штук были сшиты вместе, и так образовался один матрас, подходящий для меня в длину и ширину; четыре таких матраса положили один на другой, но твердый пол из гладкого камня, на котором я спал, стал от этого не намного мягче. По такому же расчету были изготовлены простыни, одеяла и покрывала, достаточно сносные для человека, давно привыкшего к лишениям.   
 Едва весть о моем прибытии разнеслась по королевству, как отовсюду начали стекаться, чтобы посмотреть на меня, толпы богатых, досужих и любопытных людей. Деревни почти опустели, отчего последовал бы большой ущерб для земледелия и домашнего хозяйства, если бы своевременные распоряжения его величества не предупредили бедствия. Он повелел тем, кто меня уже видел, возвратиться домой и не приближаться к моему помещению ближе чем на пятьдесят ярдов без особенного на то разрешения двора, что принесло министрам большой доход.   
 Между тем император держал частые советы, на которых обсуждался вопрос, как поступить со мной. Позднее я узнал от одного моего близкого друга, особы весьма знатной и достаточно посвященной в государственные тайны, что двор находился в большом затруднении относительно меня. С одной стороны, боялись, чтобы я не разорвал цепи; с другой - возникло опасение, что мое содержание окажется слишком дорогим и может вызвать в стране голод. Иногда останавливались на мысли уморить меня или, по крайней мере, засыпать мое лицо и руки отравленными стрелами, чтобы скорее отправить на тот свет; но потом принимали в расчет, что разложение такого громадного трупа может вызвать чуму в столице и во всем королевстве. В разгар этих совещаний у дверей большой залы совета собралось несколько офицеров, и двое из них, будучи допущены в собрание, представили подробный доклад о моем поступке с шестью упомянутыми озорниками. Это произвело такое благоприятное впечатление на его величество и весь государственный совет, что немедленно был издан указ императора, обязывавший все деревни, находящиеся в пределах девятисот ярдов от столицы, доставлять каждое утро по шести быков, сорока баранов и другой провизии для моего стола, вместе с соответствующим количеством хлеба, вина и других напитков, по установленной таксе и за счет сумм, ассигнованных с этой целью из собственной казны его величества. Нужно заметить, что этот монарх живет главным образом на доходы от своих личных имений и весьма редко, в самых исключительных случаях, обращается за субсидией к подданным[20], которые зато обязаны по его требованию являться на войну в собственном вооружении. Кроме того, при мне учредили штат прислуги в шестьсот человек, для которого были отпущены харчевые деньги и построены по обеим сторонам моей двери удобные палатки. Равным образом отдан был приказ, чтобы триста портных сшили для меня костюм местного фасона; чтобы шестеро величайших ученых его величества занялись обучением меня местному языку и, наконец, чтобы возможно чаще производились в моем присутствии упражнения на лошадях, принадлежащих императору, придворным и гвардии, с целью приучить их ко мне. Все эти приказы были должным образом исполнены, и спустя три недели я сделал большие успехи в изучении лилипутского языка. В течение этого времени император часто удостаивал меня своим посещением и милостиво помогал моим наставникам обучать меня. Мы уже могли объясняться друг с другом, и первые слова, которые я выучил, выражали желание, чтобы его величество соизволил даровать мне свободу; слова эти я ежедневно на коленях повторял императору. В ответ на мою просьбу император, насколько я мог понять его, говорил, что освобождение есть дело времени, что оно не может быть даровано без согласия государственного совета и что прежде я должен "люмоз кельмин пессо деемарлон эмпозо", то есть дать клятву сохранять мир с ним и его империей. Впрочем, обхождение со мной будет самое любезное; и император советовал терпением и скромностью заслужить доброе к себе отношение как его, так и его подданных. Он просил меня не обижаться, если он отдаст приказание особым чиновникам обыскать меня[21], так как он полагает, что на мне есть оружие, которое должно быть очень опасным, если соответствует огромным размерам моего тела. Я просил его величество быть спокойным на этот счет, заявив, что готов раздеться и вывернуть карманы в его присутствии. Все это я объяснил частью словами, частью знаками. Император ответил мне, что по законам империи обыск должен быть произведен двумя его чиновниками; что понимает, что это требование закона не может быть осуществлено без моего согласия и моей помощи; что, будучи высокого мнения о моем великодушии и справедливости, он спокойно передаст этих чиновников в мои руки; что вещи, отобранные ими, будут возвращены мне, если я покину эту страну, или же мне будет за них заплачено, сколько я сам назначу. Я взял обоих чиновников в руки и положил их сначала в карманы камзола, а потом во все другие, кроме двух часовых и одного потайного, которого я не хотел показывать, потому что в нем было несколько мелочей, никому, кроме меня, не нужных. В часовых карманах лежали: в одном серебряные часы, а в другом кошелек с несколькими золотыми. Господа эти имели при себе бумагу, перо и чернила и составили подробную опись всему, что нашли[22]. Когда опись была закончена, они попросили меня высадить их на землю, чтобы они могли представить ее императору. Позднее я перевел эту опись на английский язык. Вот она слово в слово:   
  
 Во-первых, в правом кармане камзола великого Человека Горы (так я передаю слова Куинбус Флестрин), после тщательнейшего осмотра, мы нашли только большой кусок грубого холста, который по своим размерам мог бы служить ковром для главной парадной залы дворца Вашего Величества. В левом кармане мы увидели громадный серебряный сундук с крышкой из того же металла, которую мы, досмотрщики, не могли поднять. Когда, по нашему требованию, сундук был открыт и один из нас вошел туда, то он по колени погрузился в какую-то пыль, часть которой, поднявшись до наших лиц, заставила нас обоих несколько раз громко чихнуть. В правом кармане жилета мы нашли громадную кипу тонких белых субстанций, сложенных одна на другую; кипа эта, толщиною в три человека, перевязана прочными канатами и испещрена черными знаками, которые, по скромному нашему предположению, суть не что иное, как письмена, каждая буква которых равняется половине нашей ладони. В левом жилетном кармане оказался инструмент, к спинке которого прикреплены двадцать длинных жердей, напоминающих частокол перед двором Вашего Величества; по нашему предположению, этим инструментом Человек Гора расчесывает свои волосы, но это только предположение: мы не всегда тревожим его расспросами, потому что нам было очень трудно объясняться с ним. В большом кармане с правой стороны среднего чехла (как я перевожу слово "ранфуло", под которым они разумели штаны) мы увидели полый железный столб, длиною в рост человека, прикрепленный к крепкому куску дерева, более крупному по размерам, чем сам столб; с одной стороны столба торчат большие куски железа, весьма странной формы, назначения которых мы не могли определить. Подобная же машина найдена нами и в левом кармане. В меньшем кармане с правой стороны оказалось несколько плоских дисков из белого и красного металла, различной величины; некоторые белые диски, по-видимому серебряные, так велики и тяжелы, что мы вдвоем едва могли поднять их. В левом кармане мы нашли две черные колонны неправильной формы; стоя на дне кармана, мы только с большим трудом могли достать их верхушку. Одна из колонн заключена в покрышке и состоит из цельного материала, но на верхнем конце другой есть какое-то круглое белое тело, вдвое больше нашей головы. В каждой колонне заключена огромная стальная пластина; полагая, что это опасные орудия, мы потребовали у Человека Горы объяснить их употребление. Вынув оба орудия из футляра, он сказал, что в его стране одним из них бреют бороду, а другим режут мясо. Кроме того, на Человеке Горе мы нашли еще два кармана, куда не могли войти. Эти карманы он называет часовыми; они представляют две широких щели, прорезанных в верхней части его среднего чехла, а потому сильно сжатых давлением его брюха. Из правого кармана спускается большая серебряная цепь с диковинной машиной, лежащей на дне кармана. Мы приказали ему вынуть все, что было прикреплено к этой цепи; вынутый предмет оказался похожим на шар, одна половина которого сделана из серебра, а другая из какого-то прозрачного металла; когда мы, заметя на этой стороне шара какие-то странные знаки, расположенные по окружности, попробовали прикоснуться к ним, то пальцы наши уперлись в это прозрачное вещество. Человек Гора приблизил эту машину к нашим ушам; тогда мы услышали непрерывный шум, похожий на шум колеса водяной мельницы. Мы полагаем, что это либо неизвестное нам животное, либо почитаемое им божество. Но мы более склоняемся к последнему мнению, потому что, по его уверениям (если мы правильно поняли объяснение Человека Горы, который очень плохо говорит на нашем языке), он редко делает что-нибудь, не советуясь с ним. Этот предмет он называет своим оракулом и говорит, что он указывает время каждого шага его жизни. Из левого часового кармана Человек Гора вынул сеть почти такой же величины, как рыболовная, но устроенную так, что она может закрываться и открываться наподобие кошелька, чем она и служит ему; в сети мы нашли несколько массивных кусков желтого металла, и если это настоящее золото, то оно должно представлять огромную ценность.   
 Таким образом, во исполнение повеления Вашего Величества, тщательно осмотрев все карманы Человека Горы, мы перешли к дальнейшему обследованию и открыли на нем пояс, сделанный из кожи какого-то громадного животного; на этом поясе с левой стороны висит сабля, длиною в пять раз более среднего человеческого роста, а с правой - сумка или мешок, разделенный на два отделения, из коих в каждом можно поместить трех подданных Вашего Величества. Мы нашли в одном отделении сумки множество шаров из крайне тяжелого металла; каждый шар, будучи величиной почти с нашу голову, требует большой силы, чтобы поднять его; в другом отделении лежала кучка каких-то черных зерен не очень большого объема и веса: мы могли поместить на ладони до пятидесяти таких зерен.   
 Такова точная опись найденного нами при обыске Человека Горы, который держал себя вежливо и с подобающим почтением к исполнителям приказаний Вашего Величества. Скреплено подписью и приложением печати в четвертый день восемьдесят девятой луны благополучного царствования Вашего Величества.   
  
 Клефрин Фрелок,   
 Марси Фрелок   
  
  
 Когда эта опись была прочитана императору, его величество потребовал, хотя и в самой деликатной форме, чтобы я отдал некоторые перечисленные в ней предметы. Прежде всего он предложил вручить ему саблю, которую я снял вместе с ножнами и со всем, что было при ней. Тем временем император приказал трем тысячам отборных войск (которые в этот день несли охрану его величества) окружить меня на известном расстоянии и держать на прицеле лука, чего я, впрочем, не заметил, так как глаза мои были устремлены на его величество. Император пожелал, чтобы я обнажил саблю, которая хотя местами и заржавела от морской воды, но все-таки ярко блестела. Я повиновался, и в тот же момент все солдаты испустили крик ужаса и удивления: отражавшиеся на стали лучи солнца ослепляли их, когда я размахивал саблей из стороны в сторону. Его величество, храбрейший из монархов, испугался меньше, чем я мог ожидать. Он приказал мне вложить оружие в ножны и возможно осторожнее бросить его на землю футов на шесть от конца моей цепи. Затем он потребовал показать один из полых железных столбов, под которыми он разумел мои карманные пистолеты. Я вынул пистолет и, по просьбе императора, растолковал, как мог, его употребление; затем, зарядив его только порохом, который благодаря герметически закрытой пороховнице оказался совершенно сухим (все предусмотрительные моряки принимают на этот счет особые меры предосторожности), я предупредил императора, чтобы он не испугался, и выстрелил в воздух. На этот раз удивление было гораздо сильнее, чем при виде моей сабли. Сотни человек попадали, как бы пораженные насмерть, и даже сам император, хотя и устоял на ногах, некоторое время не мог прийти в себя. Я отдал оба пистолета тем же способом, что и саблю, и так же поступил с пулями и порохом, но просил его величество держать последний подальше от огня, так как от малейшей искры он может воспламениться и взорвать на воздух императорский дворец. Равным образом я отдал часы, которые император осмотрел с большим любопытством и приказал двум самым дюжим гвардейцам унести их, надев на шест и положив шест на плечи, вроде того как носильщики в Англии таскают бочонки с элем. Всего более поразили императора непрерывный шум часового механизма и движение минутной стрелки, которое ему было хорошо видно, потому что лилипуты обладают более острым зрением, чем мы. Он предложил ученым высказать свое мнение относительно этой машины, но читатель и сам догадается, что ученые не пришли ни к какому единодушному заключению, и все их предположения, которых, впрочем, я хорошенько не понял, были весьма далеки от истины; затем я сдал серебряные и медные деньги, кошелек с десятью крупными и несколькими мелкими золотыми монетами, нож, бритву, гребень, серебряную табакерку, носовой платок и записную книжку. Сабля, пистолеты и сумка с порохом и пулями были отправлены на телегах в арсенал его величества, остальные вещи возвращены мне.   
 Я уже сказал выше, что у меня был секретный карман, которого не обнаружили мои сыщики; в нем лежали очки (благодаря слабому зрению я иногда пользуюсь ими), карманная подзорная труба и несколько других мелочей. Так как эти вещи не представляли никакого интереса для императора, то я не считал долгом чести заявлять о них, тем более что боялся, как бы они не были потеряны или попорчены, если бы попали в чужие руки.

**ГЛАВА III**

Автор весьма оригинально развлекает императора, придворных дам и кавалеров. Описание развлечений при дворе в Лилипутии. Автору на определенных условиях даруется свобода   
  
 Моя кротость и доброе поведение до такой степени примирили со мной императора, двор, армию и вообще весь народ, что я начал питать надежду на скорое получение свободы. Я всячески старался укрепить это благоприятное расположение. Население постепенно привыкло ко мне и стало меньше меня бояться. Иногда я ложился на землю и позволял пятерым или шестерым лилипутам плясать на моей руке. Под конец даже дети отваживались играть в прятки в моих волосах. Я научился довольно сносно понимать и говорить на их языке. Однажды императору пришла мысль развлечь меня акробатическими представлениями, в которых лилипуты своею ловкостью и великолепием превосходят другие известные мне народы. Но ничто меня так не позабавило, как упражнения канатных плясунов, совершаемые на тонких белых нитках длиною в два фута, натянутых на высоте двенадцати дюймов от земли. На этом предмете я хочу остановиться несколько подробнее и попрошу у читателя немного терпения.   
 Эти упражнения производятся только лицами, которые состоят в кандидатах на высокие должности и ищут благоволения двора. Они смолоду тренированы в этом искусстве и не всегда отличаются благородным происхождением или широким образованием. Когда открывается вакансия на высокую должность, вследствие смерти или опалы (что случается часто), пять или шесть таких соискателей подают прошение императору разрешить им развлечь его императорское величество и двор танцами на канате; и кто прыгнет выше всех, не упавши, получает вакантную должность. Весьма часто даже первые министры получают приказ показать свою ловкость и засвидетельствовать перед императором, что они не утратили своих способностей. Флимнап, канцлер казначейства, пользуется известностью человека, совершившего прыжок на туго натянутом канате, по крайней мере, на дюйм выше, чем какой удавался когда-нибудь другому сановнику во всей империи. Мне пришлось видеть, как он кувыркался несколько раз сряду на небольшой доске, прикрепленной к канату толщиною не более обыкновенной английской бечевки. Мой друг Рельдресель, главный секретарь тайного совета, по моему мнению, - если только моя дружба к нему не ослепляет меня, - может занять в этом отношении второе место после канцлера казначейства. Остальные сановники стоят почти на одном уровне в означенном искусстве[23].   
 Эти развлечения часто сопровождаются несчастьями, память о которых сохраняет история. Я сам видел, как два или три соискателя причинили себе увечья. Но опасность увеличивается еще более, когда сами министры получают повеление показать свою ловкость. Ибо, стремясь превзойти самих себя и своих соперников, они проявляют такое усердие, что редко кто из них не срывается и не падает, иногда даже раза по два и по три. Меня уверяли, что за год или за два до моего прибытия Флимнап непременно сломал бы себе шею, если бы одна из королевских подушек, случайно лежавшая на полу, не смягчила удара от его падения[24].   
 Кроме того, в особых случаях здесь устраивается еще одно развлечение, которое дается в присутствии только императора, императрицы и первого министра. Император кладет на стол три тонких шелковых нити - синюю, красную и зеленую, в шесть дюймов длины каждая. Эти нити предназначены в награду лицам, которых император пожелает отличить особым знаком своей благосклонности[25]. Церемония происходит в большом тронном зале его величества, где соискатели подвергаются испытанию в ловкости, весьма отличному от предыдущего и не имеющему ни малейшего сходства с теми, что мне доводилось наблюдать в странах Старого и Нового Света. Император держит в руках палку в горизонтальном положении, а соискатели, подходя друг за другом, то перепрыгивают через палку, то ползают под ней взад и вперед несколько раз, смотря по тому, поднята палка или опущена; иногда один конец палки держит император, а другой - его первый министр, иногда же палку держит только последний. Кто проделает все описанные упражнения с наибольшей легкостью и проворством и наиболее отличится в прыганье и ползанье, тот награждается синей нитью; красная дается второму по ловкости, а зеленая - третьему. Пожалованную нить носят в виде пояса, обматывая ее дважды вокруг талии. При дворе редко можно встретить особу, у которой бы не было такого пояса.   
 Каждый день мимо меня проводили лошадей из полковых и королевских конюшен, так что они скоро перестали пугаться меня и подходили к самым моим ногам, не кидаясь в сторону. Всадники заставляли лошадей перескакивать через мою положенную на землю руку, а раз императорский ловчий на рослом коне перепрыгнул даже через мою ногу, обутую в башмак; это был поистине удивительный прыжок.   
 Однажды я имел счастье позабавить императора самым необыкновенным образом. Я попросил достать несколько палок длиною в два фута и толщиной в обыкновенную трость; его величество приказал главному лесничему сделать соответствующие распоряжения, и на следующее утро семь лесников привезли требуемое на семи телегах, из которых каждая была запряжена восемью лошадьми. Я взял девять палок и крепко вбил их в землю в виде квадрата, каждая сторона которого была длиною в два с половиной фута; на высоте около двух футов я привязал к четырем углам этого квадрата другие четыре палки параллельно земле; затем на девяти кольях я натянул носовой платок туго, как барабан; четыре горизонтальные палки, возвышаясь над платком приблизительно на пять дюймов, образовали с каждой стороны нечто вроде перил. Окончив эти приготовления, я попросил императора отрядить двадцать четыре лучших кавалериста для упражнений на устроенной мною площадке. Его величество одобрил мое предложение, и, когда кавалеристы прибыли, я поднял их поочередно на лошадях и в полном вооружении вместе с офицерами, которые ими командовали. Построившись, они разделились на два отряда и начали маневры: пускали друг в друга тупые стрелы, бросались друг на друга с обнаженными саблями, то обращаясь в бегство, то преследуя, то ведя атаку, то отступая, - словом, показывая лучшую военную выучку, какую мне когда-либо доводилось видеть. Горизонтальные палки не позволяли всадникам и их лошадям упасть с площадки. Император пришел в такой восторг, что заставил меня повторить это развлечение несколько дней сряду и однажды соизволил сам подняться на площадку и лично командовать маневрами[26]. Хотя и с большим трудом, ему удалось убедить императрицу разрешить мне подержать ее в закрытом кресле на расстоянии двух ярдов от площадки, так что она могла хорошо видеть все представление. К счастью для меня, все эти упражнения прошли благополучно; раз только горячая лошадь одного из офицеров пробила копытом дыру в моем носовом платке и, споткнувшись, упала и опрокинула своего седока, но я немедленно выручил обоих и, прикрыв одной рукой дыру, спустил другой рукой всю кавалерию на землю тем же способом, каким поднял ее. Упавшая лошадь вывихнула левую переднюю ногу, но всадник не пострадал. Я тщательно починил платок, но с тех пор перестал доверять его прочности в подобных опасных упражнениях.   
 За два или за три дня до моего освобождения, как раз в то время, когда я развлекал двор своими выдумками, к его величеству прибыл гонец с донесением, что несколько подданных, проезжая возле того места, где я был найден, увидели на земле какое-то громадное черное тело, весьма странной формы, с широкими плоскими краями кругом, занимающими пространство, равное спальне его величества, и с приподнятой над землей на высоту человеческого роста серединой; что это не какое-нибудь живое существо, как они первоначально опасались, ибо оно лежало на траве неподвижно, и некоторые из них несколько раз обошли его кругом; что, становясь на плечи друг другу, они взобрались на вершину загадочного тела, которая оказалась плоской поверхностью, а само тело внутри полым, в чем они убедились, топая по нему ногами; что они смиренно высказывают предположение, не есть ли это какая-нибудь принадлежность Человека Горы; и если будет угодно его величеству, то они берутся доставить его всего только на пяти лошадях. Я тотчас догадался, о чем шла речь, и сердечно обрадовался этому известию. По-видимому, добравшись после кораблекрушения до берега, я был так расстроен, что не заметил, как по дороге к месту моего ночлега у меня слетела шляпа, которую я привязал к подбородку шнурком, когда греб в лодке, и плотно надвинул на уши, когда плыл по морю. Вероятно, я не обратил внимания, как разорвался шнурок, и решил, что шляпа потерялась в море. Описав свойства и назначение этого предмета, я умолял его величество отдать распоряжение, чтобы он как можно скорее был мне доставлен. На другой день шляпа была привезена мне, но в не блестящем состоянии. Возчики пробили в полях две дыры на расстоянии полутора дюймов от края, зацепили за них крючками, крючки привязали длинной веревкой к упряжи и волокли таким образом мой головной убор добрых полмили. Но благодаря тому, что почва в этой стране необыкновенно ровная и гладкая, шляпа получила меньше повреждений, чем я ожидал.   
 Спустя два или три дня после описанного происшествия император отдал приказ по армии, расположенной в столице и окрестностях, быть готовой к выступлению. Его величеству пришла фантазия доставить себе довольно странное развлечение. Он пожелал, чтобы я стал в позу Колосса Родосского, раздвинув ноги насколько возможно шире[27]. Потом он приказал главнокомандующему (старому опытному военачальнику и моему большому покровителю) построить войска сомкнутыми рядами и провести их церемониальным маршем между моими ногами - пехоту по двадцать четыре человека в ряд, а кавалерию по шестнадцати - с барабанным боем, развернутыми знаменами и поднятыми пиками. Весь корпус состоял из трех тысяч пехоты и тысячи кавалерии. Его величество отдал приказ, чтобы солдаты, под страхом смертной казни, вели себя вполне благопристойно по отношению к моей особе во время церемониального марша, что, однако, не помешало некоторым молодым офицерам, проходя подо мною, поднимать глаза вверх; и сказать правду, мои панталоны находились в то время в таком плохом состоянии, что давали некоторый повод посмеяться и прийти в изумление.   
 Я подал императору столько прошений и докладных записок о даровании мне свободы, что наконец его величество поставил этот вопрос на обсуждение сперва своего кабинета, а потом государственного совета, где никто не высказал возражений за исключением Скайреша Болголама, которому угодно было, без всякого повода с моей стороны, стать моим смертельным врагом[28]. Но, несмотря на его противодействие, дело было решено всем советом и утверждено императором в мою пользу. Болголам занимал пост гальбета, то есть адмирала королевского флота, пользовался большим доверием императора и был человеком весьма сведущим в своем деле, но угрюмым и резким. Однако и его наконец убедили дать свое согласие, но он настоял, чтобы ему было поручено составление условий, на которых я получу свободу, после того как мной будет дана торжественная клятва свято соблюдать их. Условия эти Скайреш Болголам доставил мне лично, в сопровождении двух помощников-секретарей и нескольких знатных особ. Когда они были прочитаны, я должен был присягнуть, что я не нарушу их, причем обряд присяги был совершен сперва по обычаям моей родины, а затем по способу, предписанному местными законами, заключавшемуся в том, что я должен был держать правую ногу в левой руке, положа в то же время средний палец правой руки на темя, а большой на верхушку правого уха. Но, быть может, читателю любопытно будет составить себе некоторое представление о стиле и характерных выражениях этого народа, а также познакомиться с условиями, на которых я получил свободу; поэтому я приведу здесь полный буквальный перевод означенного документа, сделанный мною самым тщательным образом.   
  
 Гольбасто момарен эвлем гердайло шефинмоллиоллигу, могущественнейший император Лилипутии, отрада и ужас вселенной, коего владения, занимая пять тысяч блестрегов (около двенадцати миль в окружности), распространяются до крайних пределов земного шара[29]; монарх над монархами, величайший из сынов человеческих, ногами своими упирающийся в центр земли, а головою касающийся солнца; при одном мановении которого трясутся колени у земных царей; приятный как весна, благодетельный как лето, обильный как осень и суровый как зима. Его высочайшее величество предлагает недавно прибывшему в наши небесные владения Человеку Горе следующие пункты, которые Человек Гора под торжественной присягой обязуется исполнять:   
 1. Человек Гора не имеет права оставить наше государство без нашей разрешительной грамоты с приложением большой печати.   
 2. Он не имеет права входить в нашу столицу без нашего особого повеления, причем жители должны быть предупреждены за два часа, чтобы успеть укрыться в своих домах.   
 3. Названный Человек Гора должен ограничивать свои прогулки нашими главными большими дорогами и не смеет гулять или ложиться на лугах и полях.   
 4. Во время прогулок по названным дорогам он должен внимательно смотреть под ноги, дабы не растоптать кого-нибудь из наших любезных подданных или их лошадей и телег; он не должен брать в руки названных подданных без их на то согласия.   
 5. Если потребуется быстрое доставление гонца к месту его назначения, то Человек Гора обязуется раз в луну относить в своем кармане гонца вместе с лошадью на расстояние шести дней пути и (если потребуется) доставлять названного гонца в целости и сохранности обратно к нашему императорскому величеству.   
 6. Он должен быть нашим союзником против враждебного нам острова Блефуску и употребить все усилия для уничтожения неприятельского флота, который в настоящее время снаряжается для нападения на нас.   
 7. Упомянутый Человек Гора в часы досуга обязуется оказывать помощь нашим рабочим, поднимая особенно тяжелые камни при сооружении стены нашего главного парка, а также при постройке других наших зданий.   
 8. Упомянутый Человек Гора в течение двух лун должен точно измерить окружность наших владений, обойдя все побережье и сосчитав число пройденных шагов.   
 Наконец, под торжественной присягой названный Человек Гора обязуется в точности соблюдать означенные условия, и тогда он, Человек Гора, будет получать ежедневно еду и питье в количестве, достаточном для прокормления 1728 наших подданных, и будет пользоваться свободным доступом к нашей августейшей особе и другими знаками нашего благоволения. Дано в Бельфабораке, в нашем дворце, в двенадцатый день девяносто первой луны нашего царствования.   
  
 Я с большой радостью и удовлетворением дал присягу и подписал эти пункты, хотя некоторые из них не были так почетны, как я бы желал; они продиктованы были исключительно злобой Скайреша Болголама, верховного адмирала. После принесения присяги мои цепи были немедленно сняты, и я получил полную свободу; сам император удостоил меня своим присутствием на церемонии моего освобождения. В знак благодарности я пал ниц к ногам его величества, но император велел мне встать и после многих милостивых слов, которых я - во избежание упреков в тщеславии - не стану повторять, прибавил, что надеется найти во мне полезного слугу и человека вполне достойного тех милостей, которые он уже оказал мне и может оказать в будущем.   
 Пусть читатель благоволит обратить внимание на то, что в последнем пункте условий возвращения мне свободы император постановляет выдавать мне еду и питье в количестве достаточном для прокормления 1728 лилипутов. Спустя некоторое время я спросил у одного моего друга придворного, каким образом была установлена такая точная цифра. На это он ответил, что математики его величества, определив высоту моего роста при помощи квадранта и найдя, что высота эта находится в таком отношении к высоте лилипута, как двенадцать к единице, заключили, на основании сходства наших тел, что объем моего тела равен, по крайней мере, объему 1728 тел лилипутов, а следовательно, оно требует во столько же раз больше пищи. Из этого читатель может составить понятие как о смышлености этого народа, так и о мудрой расчетливости великого его государя.

**ГЛАВА IV**

Описание мильдендо, столицы Лилипутии, и императорского дворца. Беседа автора с первым секретарем о государственных делах. Автор предлагает свои услуги императору в его войнах   
  
 Получив свободу, я прежде всего попросил разрешения осмотреть Мильдендо, столицу государства. Император без труда мне его дал, но строго наказал не причинять никакого вреда ни жителям, ни их домам. О моем намерении посетить город население было оповещено особой прокламацией. Столица окружена стеной вышиною в два с половиной фута и толщиною не менее одиннадцати дюймов, так что по ней совершенно безопасно может проехать карета, запряженная парой лошадей; стена эта прикрыта крепкими башнями, возвышающимися на расстоянии десяти футов одна от другой. Перешагнув через большие Западные Ворота, я очень медленно, боком, прошел по двум главным улицам в одном жилете, из боязни повредить крыши и карнизы домов полами своего кафтана. Подвигался я крайне осмотрительно, чтобы не растоптать беспечных прохожих, оставшихся на улице вопреки отданному жителям столицы строгому приказу не выходить для безопасности из дому. Окна верхних этажей и крыши домов были покрыты таким множеством зрителей, что, я думаю, ни в одно из моих путешествий мне не случалось видеть более людного места. Город имеет форму правильного четырехугольника, и каждая сторона городской стены равна пятистам футам. Две главные улицы, шириною в пять футов каждая, пересекаются под прямым углом и делят город на четыре квартала. Боковые улицы и переулки, куда я не мог войти и только видел их, имеют в ширину от двенадцати до восемнадцати дюймов. Город может вместить до пятисот тысяч душ. Дома трех- и пятиэтажные. Лавки и рынки полны товаров.   
 Императорский дворец находится в центре города на пересечении двух главных улиц. Он окружен стеною в два фута вышины, отстоящей от построек на двадцать футов. Я имел позволение его величества перешагнуть через стену, и так как расстояние, отделявшее ее от дворца, было достаточно велико, то легко мог осмотреть последний со всех сторон. Внешний двор представляет собою квадрат со стороной в сорок футов и вмещает два других двора, из которых во внутреннем расположены императорские покои. Мне очень хотелось их осмотреть, но осуществить это желание было трудно, потому что главные ворота, соединяющие один двор с другим, имели только восемнадцать дюймов в вышину и семь дюймов в ширину. С другой стороны здания внешнего двора достигают вышины не менее пяти футов, и потому я не мог перешагнуть через них, не нанеся значительных повреждений постройкам, несмотря на то, что стены у них прочные, из тесаного камня, и в толщину четыре дюйма. В то же время и император очень желал показать мне великолепие своего дворца. Однако мне удалось осуществить наше общее желание только спустя три дня, которые я употребил на подготовительные работы. В императорском парке, в ста ярдах от города, я срезал своим перочинным ножом несколько самых крупных деревьев и сделал из них два табурета вышиною около трех футов и достаточно прочных, чтобы выдержать мою тяжесть. Затем после второго объявления, предостерегающего жителей, я снова прошел ко дворцу через город с двумя табуретами в руках. Подойдя со стороны внешнего двора, я стал на один табурет, поднял другой над крышей и осторожно поставил его на площадку шириною в восемь футов, отделявшую первый двор от второго. Затем я свободно перешагнул через здания с одного табурета на другой и поднял к себе первый длинной палкой с крючком. При помощи таких ухищрений я достиг самого внутреннего двора; там я лег на землю и приблизил лицо к окнам среднего этажа, которые нарочно бы ли оставлены открытыми: таким образом я получил возможность осмотреть роскошнейшие палаты, какие только можно себе представить. Я увидел императрицу и молодых принцев в их покоях, окруженных свитой. Ее императорское величество милостиво соизволила улыбнуться мне и грациозно протянула через окно свою ручку, которую я поцеловал[30].   
 Однако я не буду останавливаться на дальнейших подробностях, потому что приберегаю их для почти готового уже к печати более обширного труда, который будет заключать в себе общее описание этой империи со времени ее основания, историю ее монархов в течение длинного ряда веков, наблюдения относительно их войн и политики, законов, науки и религии этой страны; ее растений и животных; нравов и обычаев ее обитателей и других весьма любопытных и поучительных материй. В настоящее же время моя главная цель заключается в изложении событий, которые произошли в этом государстве во время почти девятимесячного моего пребывания в нем.   
 Однажды утром, спустя две недели после моего освобождения, ко мне приехал, в сопровождении только одного лакея, Рельдресель, главный секретарь (как его титулуют здесь) по тайным делам. Приказав кучеру ожидать в сторонке, он попросил меня уделить ему один час и выслушать его. Я охотно согласился на это из уважения к его сану и личным достоинствам, а также принимая во внимание многочисленные услуги, оказанные им мне при дворе. Я изъявил готовность лечь на землю, чтобы его слова могли легче достигать моего уха, но он предпочел, чтобы во время нашего разговора я держал его в руке. Прежде всего он поздравил меня с освобождением, заметив, что в этом деле и ему принадлежит некоторая заслуга; он прибавил, однако, что если бы не теперешнее положение вещей при дворе, я, пожалуй, не получил бы так скоро свободы. Каким бы блестящим ни казалось иностранцу наше положение, сказал секретарь, однако над нами тяготеют два страшных зла: жесточайшие раздоры партий внутри страны и угроза нашествия могущественного внешнего врага. Что касается первого зла, то надо вам сказать, что около семидесяти лун тому назад[31] в империи образовались две враждующие партии, известные под названием Тремексенов и Слемексенов[32], от высоких и низких каблуков на башмаках, при помощи которых они отличаются друг от друга. Утверждают, что высокие каблуки всего более согласуются с нашим древним государственным укладом, однако, как бы там ни было, его величество постановил, чтобы в правительственных должностях, а также во всех должностях, раздаваемых короной, употреблялись только низкие каблуки, на что вы, наверное, обратили внимание. Вы, должно быть, заметили также, что каблуки на башмаках его величества на один дрерр ниже, чем у всех придворных (дрерр равняется четырнадцатой части дюйма). Ненависть между этими двумя партиями доходит до того, что члены одной не станут ни есть, ни пить, ни разговаривать с членами другой. Мы считаем, что тремексены, или Высокие Каблуки, превосходят нас числом, хотя власть всецело принадлежит нам[33]. Но мы опасаемся, что его императорское высочество, наследник престола, имеет некоторое расположение к Высоким Каблукам; по крайней мере, не трудно заметить, что один каблук у него выше другого, вследствие чего походка его высочества прихрамывающая[34]. И вот, среди этих междоусобиц, в настоящее время нам грозит нашествие с острова Блефуску - другой великой империи во вселенной, почти такой же обширной и могущественной, как империя его величества. И хотя вы утверждаете, что на свете существуют другие королевства и государства, населенные такими же громадными людьми, как вы, однако наши философы сильно сомневаются в этом: они скорее готовы допустить, что вы упали с луны или с какой-нибудь звезды, так как несомненно, что сто смертных вашего роста в самое короткое время могли бы истребить все плоды и весь скот владений его величества. Кроме того, наши летописи за шесть тысяч лун не упоминают ни о каких других странах, кроме двух великих империй - Лилипутии и Блефуску. Итак, эти две могущественные державы ведут между собой ожесточеннейшую войну в продолжение тридцати шести лун. Поводом к войне послужили следующие обстоятельства. Всеми разделяется убеждение, что вареные яйца при употреблении их в пищу испокон веков разбивались с тупого конца; но дед нынешнего императора, будучи ребенком, порезал себе палец за завтраком, разбивая яйцо означенным древним способом. Тогда император, отец ребенка, обнародовал указ, предписывающий всем его подданным под страхом строгого наказания разбивать яйца с острого конца[35]. Этот закон до такой степени озлобил население, что, по словам наших летописей, был причиной шести восстаний, во время которых один император потерял жизнь, а другой - корону[36]. Мятежи эти постоянно разжигались монархами Блефуску, а после их подавления изгнанники всегда находили приют в этой империи. Насчитывают до одиннадцати тысяч фанатиков, которые в течение этого времени пошли на казнь, лишь бы не разбивать яйца с острого конца. Были напечатаны сотни огромных томов, посвященных этой полемике, но книги Тупоконечников давно запрещены, и вся партия лишена законом права занимать государственные должности. В течение этих смут императоры Блефуску часто через своих посланников делали нам предостережения, обвиняя нас в церковном расколе путем нарушения основного догмата великого нашего пророка Люстрога, изложенного в пятьдесят четвертой главе Блундекраля (являющегося их Алькораном). Между тем это просто насильственное толкование текста, подлинные слова которого гласят: Все истинно верующие да разбивают яйца с того конца, с какого удобнее. Решение же вопроса: какой конец признать более удобным, по моему скромному суждению, должно быть предоставлено совести каждого или, в крайнем случае, власти верховного судьи империи[37]. Изгнанные Тупоконечники возымели такую силу при дворе императора Блефуску и нашли такую поддержку и поощрение со стороны своих единомышленников внутри нашей страны, что в течение тридцати шести лун оба императора ведут кровавую войну с переменным успехом. За это время мы потеряли сорок линейных кораблей и огромное число мелких судов с тридцатью тысячами лучших моряков и солдат[38]; полагают, что потери неприятеля еще значительнее. Но, несмотря на это, неприятель снарядил новый многочисленный флот и готовится высадить десант на нашу территорию. Вот почему его императорское величество, вполне доверяясь вашей силе и храбрости, повелел мне сделать настоящее изложение наших государственных дел.   
 Я просил секретаря засвидетельствовать императору мое нижайшее почтение и довести до его сведения, что, хотя мне, как иностранцу, не следовало бы вмешиваться в раздоры партий, тем не менее я готов, не щадя своей жизни, защищать его особу и государство от всякого иноземного вторжения.

**ГЛАВА V**

Автор благодаря чрезвычайно остроумной выдумке предупреждает нашествие неприятеля. Его жалуют высоким титулом. Являются послы императора Блефуску и просят мира. Пожар в покоях императрицы вследствие неосторожности и придуманный автором способ спасти остальную часть дворца   
  
 Империя Блефуску есть остров, расположенный на северо-северо-восток от Лилипутии и отделенный от нее лишь проливом, шириною в восемьсот ярдов. Я еще не видел этого острова; узнав же о предполагаемом нашествии, старался не показываться в той части берега из опасения быть замеченным с кораблей неприятеля, который не имел никаких сведений о моем присутствии, так как во время войны всякие сношения между двумя империями были строго запрещены под страхом смертной казни и наш император наложил эмбарго на выход всех без исключения судов из гаваней. Я сообщил его величеству составленный мною план захвата всего неприятельского флота, который, как мы узнали от наших разведчиков, стоял на якоре, готовый поднять паруса при первом попутном ветре. Я осведомился у самых опытных моряков относительно глубины пролива, часто ими измерявшейся, и они сообщили мне, что при высокой воде глубина эта в средней части пролива равняется семидесяти глюмглеффам, - что составляет около шести европейских футов, - во всех же остальных местах она не превышает пятидесяти глюмглеффов. Я отправился на северо-восточный берег, расположенный напротив Блефуску, лег за бугорком и направил свою подзорную трубу на стоявший на якоре неприятельский флот, в котором насчитал до пятидесяти боевых кораблей и большое число транспортов. Возвратившись домой, я приказал (у меня было на то полномочие) доставить мне как можно больше самого крепкого каната и железных брусьев. Канат оказался толщиною в бечевку, а брусья величиной в нашу вязальную иголку. Чтобы придать этому канату большую прочность, я свил его втрое и с тою же целью скрутил вместе по три железных бруска, загнув их концы в виде крючков. Прикрепив пятьдесят таких крючков к такому же числу веревок, я возвратился на северо-восточный берег и, сняв с себя кафтан, башмаки и чулки, в кожаной куртке вошел в воду за полчаса до прилива. Сначала я быстро двинулся вброд, а у середины проплыл около тридцати ярдов, пока снова не почувствовал под собою дно; таким образом, меньше чем через полчаса я достиг флота.   
 Увидев меня, неприятель пришел в такой ужас, что попрыгал с кораблей и поплыл к берегу, где его собралось не менее тридцати тысяч. Тогда, вынув свои снаряды и зацепив нос каждого корабля крючком, я связал все веревки в один узел. Во время этой работы неприятель осыпал меня тучей стрел, и многие из них вонзились мне в руки и лицо. Помимо ужасной боли, они сильно мешали моей работе. Больше всего я боялся за глаза и наверное лишился бы их, если бы не придумал тотчас же средства для защиты. Среди других необходимых мне мелочей у меня сохранились очки, которые я держал в секретном кармане, ускользнувшем, как я уже заметил выше, от внимания императорских досмотрщиков. Я надел эти очки и крепко привязал их. Вооружась таким образом, я смело продолжал работу, несмотря на стрелы неприятеля, которые хотя и попадали в стекла очков, но не причиняли им особого вреда. Когда все крючки были прилажены, я взял узел в руку и начал тащить; однако ни один из кораблей не тронулся с места, потому что все они крепко держались на якорях. Таким образом, мне оставалось совершить самую опасную часть моего предприятия. Я выпустил веревки и, оставя крючки в кораблях, смело обрезал ножом якорные канаты, причем более двухсот стрел угодило мне в лицо и руки. После этого я схватил связанные в узел веревки, к которым были прикреплены мои крючки, и легко потащил за собою пятьдесят самых крупных неприятельских военных кораблей[39].   
 Блефускуанцы, не имевшие ни малейшего представления о моих намерениях, сначала от изумления растерялись. Увидя, как я обрезываю якорные канаты, они подумали, что я собираюсь пустить корабли на волю ветра и волн или столкнуть их друг с другом; но когда весь флот двинулся в порядке, увлекаемый моими веревками, они пришли в неописуемое отчаяние и стали оглашать воздух горестными воплями. Оказавшись вне опасности, я остановился, чтобы вынуть из рук и лица стрелы и натереть пораненные места упомянутой ранее мазью, которую лилипуты дали мне при моем прибытии в страну. Потом я снял очки и, обождав около часа, пока спадет вода, перешел вброд середину пролива и благополучно прибыл с моим грузом в императорский порт Лилипутии. Император и весь его двор стояли на берегу в ожидании исхода этого великого предприятия. Они видели корабли, приближавшиеся широким полумесяцем, но меня не замечали, так как я по грудь был в воде. Когда я проходил середину пролива, их беспокойство еще более увеличилось, потому что я погрузился в воду по шею. Император решил, что я утонул и что неприятельский флот приближается с враждебными намерениями. Но скоро его опасения исчезли. С каждым шагом пролив становился мельче, и меня можно было даже слышать с берега. Тогда, подняв вверх конец веревок, к которым был привязан флот, я громко закричал: "Да здравствует могущественнейший император Лилипутии!" Когда я ступил на берег, великий монарх осыпал меня всяческими похвалами и тут же пожаловал мне титул нардака, самый высокий в государстве.   
 Его величество выразил желание, чтобы я нашел случай захватить и привести в его гавани все остальные корабли неприятеля. Честолюбие монархов так безмерно, что император задумал, по-видимому, не больше не меньше, как обратить всю империю Блефуску в собственную провинцию и управлять ею через своего наместника, истребив укрывающихся там Тупоконечников и принудив всех блефускуанцев разбивать яйца с острого конца, вследствие чего он стал бы единственным властителем вселенной. Но я всячески старался отклонить императора от этого намерения, приводя многочисленные доводы, подсказанные мне как политическими соображениями, так и чувством справедливости; в заключение я решительно заявил, что никогда не соглашусь быть орудием порабощения храброго и свободного народа. Когда этот вопрос поступил на обсуждение государственного совета, то самые мудрые министры оказались на моей стороне[40].   
 Мое смелое и откровенное заявление до такой степени противоречило политическим планам его императорского величества, что он никогда не мог простить мне его. Его величество очень искусно дал понять это в совете, где, как я узнал, мудрейшие его члены были, по-видимому, моего мнения, хотя и выражали это только молчанием; другие же, мои тайные враги, не могли удержаться от некоторых замечаний, косвенным образом направленных против меня. С этого времени со стороны его величества и злобствующей против меня группы министров начались происки, которые менее чем через два месяца едва не погубили меня окончательно. Так, величайшие услуги, оказываемые монархам, не в силах перетянуть на свою сторону чашу весов, если на другую бывает положен отказ в потворстве их страстям.   
 Спустя три недели после описанного подвига от императора Блефуску прибыло торжественное посольство с покорным предложением мира, каковой вскоре был заключен на условиях, в высшей степени выгодных для нашего императора, но я не буду утомлять ими внимание читателя. Посольство состояло из шести посланников и около пятисот человек свиты; кортеж отличался большим великолепием и вполне соответствовал величию монарха и важности миссии. По окончании мирных переговоров, в которых я благодаря моему тогдашнему действительному или, по крайней мере, кажущемуся влиянию при дворе оказал немало услуг посольству, их превосходительства, частным образом осведомленные о моих дружественных чувствах, удостоили меня официальным посещением. Они начали с любезностей по поводу моих храбрости и великодушия, затем от имени императора пригласили посетить их страну и, наконец, попросили показать им несколько примеров моей удивительной силы, о которой они наслышались столько чудесного. Я с готовностью согласился исполнить их желание, но не стану утомлять читателя описанием подробностей.   
 Позабавив в течение некоторого времени их превосходительства к большому их удовольствию и удивлению, я попросил послов засвидетельствовать мое глубокое почтение его величеству, их повелителю, слава о доблестях которого по справедливости наполняла весь мир восхищением, и передать мое твердое решение лично посетить его перед возвращением в мое отечество. Вследствие этого в первой же аудиенции у нашего императора я попросил его соизволения на посещение блефускуанского монарха; император хотя и дал свое согласие, но высказал при этом явную ко мне холодность, причину которой я не мог понять до тех пор, пока одно лицо не сказало мне по секрету, что Флимнап и Болголам изобразили перед императором мои сношения с посольством как акт нелояльности, хотя я могу поручиться, что совесть моя в этом отношении была совершенно чиста. Тут впервые у меня начало складываться некоторое представление о том, что такое министры и дворы[41].   
 Необходимо заметить, что послы разговаривали со мною при помощи переводчика. Язык блефускуанцев настолько же отличается от языка лилипутов, насколько разнятся между собою языки двух европейских народов. При этом каждая из этих наций гордится древностью, красотой и выразительностью своего языка, относясь с явным презрением к языку своего соседа. И наш император, пользуясь преимуществами своего положения, созданного захватом неприятельского флота, обязал посольство представить верительные грамоты и вести переговоры на лилипутском языке. Впрочем, надо заметить, что оживленные торговые сношения между двумя государствами, гостеприимство, оказываемое изгнанникам соседнего государства как Лилипутией, так и Блефуску, а также обычай посылать молодых людей из знати и богатых помещиков к соседям с целью отшлифоваться, посмотрев свет и ознакомившись с жизнью и нравами людей, приводят к тому, что здесь редко можно встретить образованного дворянина, моряка или купца из приморского города, который бы не говорил на обоих языках. В этом я убедился через несколько недель, когда отправился засвидетельствовать свое почтение императору Блефуску. Среди великих несчастий, постигших меня благодаря злобе моих врагов, это посещение оказалось для меня очень благодетельным, о чем я расскажу в своем месте.   
 Читатель, может быть, помнит, что в числе условий, на которых мне была дарована свобода, были очень для меня унизительные и неприятные, и только крайняя необходимость заставила меня принять их. Но теперь, когда я носил титул нардака, самый высокий в империи, взятые мной обязательства роняли бы мое достоинство, и, надо отдать справедливость императору, он ни разу мне о них не напомнил. Однако незадолго перед тем мне представился случай оказать его величеству, как, по крайней мере, мне тогда казалось, выдающуюся услугу. Раз в полночь у дверей моего жилья раздались крики тысячной толпы; я в ужасе проснулся и услышал непрестанно повторяемое слово "борглум". Несколько придворных, пробившись сквозь толпу, умоляли меня явиться немедленно во дворец, так как покои ее императорского величества были объяты пламенем по небрежности одной фрейлины, которая заснула за чтением романа, не погасив свечи. В один миг я был на ногах. Согласно отданному приказу, дорогу для меня очистили; кроме того, ночь была лунная, так что мне удалось добраться до дворца, никого не растоптав по пути. К стенам горевших покоев уже были приставлены лестницы и было принесено много ведер, но вода была далеко. Ведра эти были величиной с большой наперсток, и бедные лилипуты с большим усердием подавали их мне; однако пламя было так сильно, что это усердие приносило мало пользы. Я мог бы легко потушить пожар, накрыв дворец своим кафтаном, но, к несчастью, я второпях успел надеть только кожаную куртку. Дело казалось в самом плачевном и безнадежном положении, и этот великолепный дворец, несомненно, сгорел бы дотла, если бы благодаря необычному для меня присутствию духа я внезапно не придумал средства спасти его. Накануне вечером я выпил много превосходнейшего вина, известного под названием "лимигрим" (блефускуанцы называют его "флюнек", но наши сорта выше), которое отличается сильным мочегонным действием. По счастливейшей случайности я еще ни разу не облегчился от выпитого. Между тем жар от пламени и усиленная работа по его тушению подействовали на меня и обратили вино в мочу; я выпустил ее в таком изобилии и так метко, что в какие-нибудь три минуты огонь был совершенно потушен, и остальные части величественного здания, воздвигавшегося трудом нескольких поколений, были спасены от разрушения.   
 Между тем стало совсем светло, и я возвратился домой, не ожидая благодарности от императора, потому что хотя я оказал ему услугу великой важности, но не знал, как его величество отнесется к способу, каким она была оказана, особенно если принять во внимание основные законы государства, по которым никто, в том числе и самые высокопоставленные особы, не имел права мочиться в ограде дворца, под страхом тяжелого наказания. Однако меня немного успокоило сообщение его величества, что он прикажет великому юстициарию вынести официальное постановление о моем помиловании, которого, впрочем, я никогда не добился. С другой стороны, меня конфиденциально уведомили, что императрица, страшно возмущенная моим поступком, переселилась в самую отдаленную часть дворца, твердо решив не отстраивать прежнего своего помещения; при этом она в присутствии своих приближенных поклялась отомстить мне[42].

**ГЛАВА VI**

О жителях Лилипутии; их наука, законы и обычаи; система воспитания детей. Образ жизни автора в этой стране. Реабилитирование им одной знатной дамы   
  
 Хотя подробному описанию этой империи я намерен посвятить особое исследование, тем не менее для удовлетворения любознательного читателя я уже теперь выскажу о ней несколько общих замечаний. Средний рост туземцев немного выше шести дюймов, и ему точно соответствует величина как животных, так и растений: например, лошади и быки не бывают там выше четырех или пяти дюймов, а овцы выше полутора дюймов; гуси равняются нашему воробью, и так далее вплоть до самых крохотных созданий, которые были для меня почти невидимы. Но природа приспособила зрение лилипутов к окружающим их предметам: они хорошо видят, но на небольшом расстоянии. Вот представление об остроте их зрения по отношению к близким предметам: большое удовольствие доставило мне наблюдать повара, ощипывавшего жаворонка, величиной не больше нашей мухи, и девушку, вдевавшую шелковинку в ушко невидимой иголки. Самые высокие деревья в Лилипутии не больше семи футов; я имею в виду деревья в большом королевском парке, верхушки которых я едва мог достать, протянув руку. Вся остальная растительность имеет соответственные размеры; но я предоставляю самому читателю произвести расчеты.   
 Сейчас я ограничусь лишь самыми беглыми замечаниями об их науке, которая в течение веков процветает у этого народа во всех отраслях. Обращу только внимание на весьма оригинальную манеру их письма: лилипуты пишут не так, как европейцы - слева направо, не так, как арабы - справа налево, не так, как китайцы - сверху вниз, но как английские дамы - наискось страницы, от одного ее угла к другому.   
 Лилипуты хоронят умерших, кладя тело головою вниз, ибо держатся мнения, что через одиннадцать тысяч лун мертвые воскреснут; и так как в это время земля (которую лилипуты считают плоской) перевернется вверх дном, то мертвые при своем воскресении окажутся стоящими прямо на ногах. Ученые признают нелепость этого верования; тем не менее в угоду простому народу обычай сохраняется и до сих пор.   
 В этой империи существуют весьма своеобразные законы и обычаи, и, не будь они полной противоположностью законам и обычаям моего любезного отечества, я попытался бы выступить их защитником. Желательно только, чтобы они строго применялись на деле. Прежде всего укажу на закон о доносчиках[43]. Все государственные преступления караются здесь чрезвычайно строго; но если обвиняемый докажет во время процесса свою невиновность, то обвинитель немедленно подвергается позорной казни, и с его движимого и недвижимого имущества взыскивается в четырехкратном размере в пользу невинного за потерю времени, за опасность, которой он подвергался, за лишения, испытанные им во время тюремного заключения, и за все расходы, которых ему стоила защита. Если этих средств окажется недостаточно, они щедро дополняются за счет короны. Кроме того, император жалует освобожденного каким-нибудь публичным знаком своего благоволения, и по всему государству объявляется о его невиновности.   
 Лилипуты считают мошенничество более тяжким преступлением, чем воровство, и потому только в редких случаях оно не наказывается смертью. При известной осторожности, бдительности и небольшой дозе здравого смысла, рассуждают они, всегда можно уберечь имущество от вора, но у честного человека нет защиты от ловкого мошенника; и так как при купле и продаже постоянно необходимы торговые сделки, основанные на кредите и доверии, то в условиях, когда существует попустительство обману и он не наказывается законом, честный коммерсант всегда страдает, а плут окажется в выигрыше. Я вспоминаю, что однажды я ходатайствовал перед монархом за одного преступника, который обвинялся в хищении большой суммы денег, полученной им по поручению хозяина, и в побеге с этими деньгами; когда я выставил перед его величеством как смягчающее вину обстоятельство то, что в данном случае было только злоупотребление доверием, император нашел чудовищным, что я привожу в защиту обвиняемого довод, как раз отягчающий его преступление; на это, говоря правду, мне нечего было возразить, и я ограничился шаблонным замечанием, что у различных народов различные обычаи; надо признаться, я был сильно сконфужен.   
 Хотя мы и называем обыкновенно награду и наказание двумя шарнирами, на которых вращается вся правительственная машина, но нигде, кроме Лилипутии, я не встречал применения этого принципа на практике. Всякий представивший достаточное доказательство того, что он в точности соблюдал законы страны в течение семи лун, получает там право на известные привилегии, соответствующие его званию и общественному положению, и ему определяется соразмерная денежная сумма из фондов, специально на этот предмет назначенных; вместе с тем такое лицо получает титул снильпела, то есть блюстителя законов; этот титул прибавляется к его фамилии, но не переходит в потомство. И когда я рассказал лилипутам, что исполнение наших законов гарантируется только страхом наказания и нигде не упоминается о награде за их соблюдение, лилипуты сочли это огромным недостатком нашего управления. Вот почему в здешних судебных учреждениях справедливость изображается в виде женщины с шестью глазами - два спереди, два сзади и по одному с боков, - что означает ее бдительность; в правой руке она держит открытый мешок золота, а в левой - меч в ножнах в знак того, что она готова скорее награждать, чем карать[44].   
 При выборе кандидатов на любую должность больше внимания обращается на нравственные качества, чем на умственные дарования. Лилипуты думают, что раз уж человечеству необходимы правительства, то все люди, обладающие средним умственным развитием, способны занимать ту или другую должность, и что провидение никогда не имело в виду создать из управления общественными делами тайну, в которую способны проникнуть только весьма немногие великие гении, рождающиеся не более трех в столетие. Напротив, они полагают, что правдивость, умеренность и подобные качества доступны всем и что упражнение в этих добродетелях вместе с опытностью и добрыми намерениями делают каждого человека пригодным для служения своему отечеству в той или другой должности, за исключением тех, которые требуют специальных знаний. По их мнению, самые высокие умственные дарования не могут заменить нравственных достоинств, и нет ничего опаснее поручения должностей даровитым людям, ибо ошибка, совершенная по невежеству человеком, исполненным добрых намерений, не может иметь таких роковых последствий для общественного блага, как деятельность человека с порочными наклонностями, одаренного уменьем скрывать свои пороки, умножать их и безнаказанно предаваться им.   
 Точно так же неверие в божественное провидение делает человека непригодным к занятию общественной должности[45]. И в самом деле, лилипуты думают, что раз монархи называют себя посланниками провидения, то было бы в высшей степени нелепо назначать на правительственные места людей, отрицающих авторитет, на основании которого действует монарх.   
 Описывая как эти, так и другие законы империи, о которых будет речь дальше, я хочу предупредить читателя, что мое описание касается только исконных установлений страны, не имеющих ничего общего с современною испорченностью нравов, являющейся результатом глубокого вырождения. Так, например, известный уже читателю позорный обычай назначать на высшие государственные должности людей, искусно танцующих на канате, и давать знаки отличия тем, кто перепрыгнет через палку или проползет под нею, впервые был введен дедом ныне царствующего императора и теперешнего своего развития достиг благодаря непрестанному росту партий и группировок[46].   
 Неблагодарность считается у них уголовным преступлением (из истории мы знаем, что такой взгляд существовал и у других народов), и лилипуты по этому поводу рассуждают так: раз человек способен платить злом своему благодетелю, то он необходимо является врагом всех других людей, от которых он не получил никакого одолжения, и потому он достоин смерти.   
 Их взгляды на обязанности родителей и детей глубоко отличаются от наших. Исходя из того, что связь самца и самки основана на великом законе природы, имеющем цель размножение и продолжение вида, лилипуты полагают, что мужчины и женщины сходятся, как и остальные животные, руководясь вожделением, и что любовь родителей к детям проистекает из такой же естественной склонности; вследствие этого они не признают никаких обязательств ребенка ни к отцу за то, что тот произвел его, ни к матери за то, что та родила его, ибо, по их мнению, принимая во внимание бедствия человека на земле, жизнь сама по себе не большое благо, да к тому же родители при создании ребенка вовсе не руководствуются намерением дать ему жизнь, и мысли их направлены в другую сторону. Опираясь на эти и подобные им рассуждения, лилипуты полагают, что воспитание детей менее всего может быть доверено их родителям, вследствие чего в каждом городе существуют общественные воспитательные заведения, куда обязаны отдавать своих детей обоего пола все, кроме крестьян и рабочих, и где они взращиваются и воспитываются с двадцатилунного возраста, то есть с того времени, когда, по предположению лилипутов, у ребенка проявляются первые зачатки понятливости[47]. Школы эти нескольких типов, соответственно общественному положению и полу детей. Воспитание и образование ведутся опытными педагогами, которые готовят детей к роду жизни, соответствующей положению их родителей и их собственным наклонностям и способностям. Сначала я скажу несколько слов о воспитательных заведениях для мальчиков, а потом о воспитательных заведениях для девочек.   
 Воспитательные заведения для мальчиков благородного или знатного происхождения находятся под руководством солидных и образованных педагогов и их многочисленных помощников. Одежда и пища детей отличаются скромностью и простотой. Они воспитываются в правилах чести, справедливости, храбрости; в них развивают скромность, милосердие, религиозные чувства и любовь к отечеству. Они всегда за делом, кроме времени, потребного на еду и сон, очень непродолжительного, и двух рекреационных часов, которые посвящаются телесным упражнениям. До четырех лет детей одевает и раздевает прислуга, но начиная с этого возраста, то и другое они делают сами, каким бы знатным ни было их происхождение. Служанки, которых берут не моложе пятидесяти лет (переводя на наши годы), исполняют только самые низкие работы. Детям никогда не позволяют разговаривать с прислугой, и во время отдыха они играют группами, всегда в присутствии воспитателя или его помощника. Таким образом, они ограждены от ранних впечатлений глупости и порока, которым предоставлены наши дети. Родителям разрешают свидания со своими детьми только два раза в год, каждое свидание продолжается не более часа. Им позволяется целовать ребенка только при встрече и прощанье; но воспитатель, неотлучно присутствующий в таких случаях, не позволяет им шептать на ухо, говорить ласковые слова и приносить в подарок игрушки, лакомства и тому подобное.   
 Если родители не вносят своевременно платы за содержание и воспитание своих детей, то эта плата взыскивается с них правительственными чиновниками.   
 Воспитательные заведения для детей рядового дворянства, купцов и ремесленников устроены по тому же образцу, с тою разницею, что дети, предназначенные быть ремесленниками, с одиннадцати лет обучаются мастерству, между тем как дети знатных особ продолжают общее образование до пятнадцати лет, что соответствует нашему двадцати одному году. Однако строгости школьной жизни постепенно ослабляются в последние три года.   
 В женских воспитательных заведениях девочки знатного происхождения воспитываются почти так же, как и мальчики, только вместо слуг их одевают и раздевают благонравные няни, но всегда в присутствии воспитательницы или ее помощницы; по достижении пяти лет девочки одеваются сами. Если бывает замечено, что няня позволила себе рассказать девочкам какую-нибудь страшную или нелепую сказку или позабавить их какой-нибудь глупой выходкой, которые так обыкновенны у наших горничных, то виновная троекратно подвергается публичной порке кнутом, заключается на год в тюрьму и затем навсегда ссылается в самую безлюдную часть страны. Благодаря такой системе воспитания молодые дамы в Лилипутии так же стыдятся трусости и глупости, как и мужчины, и относятся с презрением ко всяким украшениям, за исключением благопристойности и опрятности. Я не заметил никакой разницы в их воспитании, обусловленной различием пола; только физические упражнения для девочек более легкие да курс наук для них менее обширен, но зато им преподаются правила ведения домашнего хозяйства. Ибо там принято думать, что и в высших классах жена должна быть разумной и милой подругой мужа, так как ее молодость не вечна. Когда девице исполняется двенадцать лет, то есть наступает по-тамошнему пора замужества, в школу являются ее родители или опекуны и, принеся глубокую благодарность воспитателям, берут ее домой, причем прощание молодой девушки с подругами редко обходится без слез.   
 В воспитательных заведениях для девочек низших классов детей обучают всякого рода работам, подобающим их полу и общественному положению. Девочки, предназначенные для занятий ремеслами, остаются в воспитательном заведении до семи лет, а остальные до одиннадцати.   
 Семьи низших классов вносят казначею, кроме годовой платы, крайне незначительной, небольшую часть своего месячного заработка; из этих взносов образуется приданое для дочери. Таким образом, расходы родителей ограничены здесь законом, ибо лилипуты думают, что было бы крайне несправедливо позволить человеку, в угождение своим инстинктам, производить на свет детей и потом возложить на общество бремя их содержания. Что же касается знатных лиц, то они дают обязательство положить на каждого ребенка известный капитал, соответственно своему общественному положению; этот капитал всегда сохраняется бережно и в полной неприкосновенности.   
 Крестьяне и рабочие держат своих детей дома[48]; так как они занимаются лишь возделыванием и обработкой земли, то их образование не имеет особенного значения для общества. Но больные и старики содержатся в богадельнях, ибо прошение милостыни есть занятие, неизвестное в империи.   
 Но, быть может, любознательному читателю будут интересны некоторые подробности относительно моих занятий и образа жизни в этой стране, где я пробыл девять месяцев и тринадцать дней. Принужденный обстоятельствами, я нашел применение своей склонности к механике и сделал себе довольно удобные стол и стул из самых больших деревьев королевского парка. Двум сотням швей было поручено изготовление для меня рубах, постельного и столового белья из самого прочного и грубого полотна, какое только они могли достать; но и его им пришлось стегать, сложив в несколько раз, потому что самое толстое тамошнее полотно тоньше нашей кисеи. Куски этого полотна бывают обыкновенно в три дюйма ширины и три фута длины. Белошвейки сняли с меня мерку, когда я лежал на земле; одна из них стала у моей шеи, другая у колена, и они протянули между собою веревку, взяв каждая за ее конец, третья же смерила длину веревки линейкой в один дюйм. Затем они смерили большой палец правой руки, чем и ограничились; посредством математического расчета, основанного на том, что окружность кисти вдвое больше окружности пальца, окружность шеи вдвое больше окружности кисти, а окружность талии вдвое больше окружности шеи, и при помощи моей старой рубахи, которую я разостлал на земле перед ними как образец, они сшили мне белье как раз по росту. Точно так же тремстам портным было поручено сшить мне костюм, но для снятия мерки они прибегли к другому приему. Я стал на колени, и они приставили к моему туловищу лестницу; по этой лестнице один из них взобрался до моей шеи и опустил отвес от воротника до полу, что и составило длину моего кафтана; рукава и талию я смерил сам. Когда костюм был готов (а шили его в моем замке, так как самый большой их дом не вместил бы его), то своим видом он очень напоминал одеяла, изготовляемые английскими дамами из лоскутков материи, с той только разницей, что не пестрел разными цветами.   
 Стряпали мне триста поваров в маленьких удобных бараках, построенных вокруг моего дома, где они и жили со своими семьями, и обязаны были готовить мне по два блюда на завтрак, обед и ужин. Я брал в руку двадцать лакеев и ставил их себе на стол; сотня их товарищей прислуживала внизу на полу: одни носили кушанья, другие таскали на плечах бочонки с вином и всевозможными напитками; лакеи, стоявшие на столе, по мере надобности очень искусно поднимали все это на особых блоках, вроде того как у нас в Европе поднимают ведра воды из колодца. Каждое их блюдо я проглатывал в один прием, каждый бочонок вина осушал одним глотком. Их баранина по вкусу уступает нашей, но зато говядина превосходна. Раз мне достался такой огромный кусок филея, что пришлось разрезать его на три части, но это исключительный случай. Слуги бывали очень изумлены, видя, что я ем говядину с костями, как у нас едят жаворонков. Здешних гусей и индеек я проглатывал обыкновенно в один прием, и, надо отдать справедливость, птицы эти гораздо вкуснее наших. Мелкой птицы я брал на кончик ножа по двадцати или тридцати штук зараз.   
 Его величество, наслышавшись о моем образе жизни, заявил однажды, что он будет счастлив (так было угодно ему выразиться) отобедать со мною, в сопровождении августейшей супруги и молодых принцев и принцесс. Когда они прибыли, я поместил их на столе против себя в парадных креслах, с личной охраной по сторонам. В числе гостей был также лордканцлер казначейства Флимнап, с белым жезлом в руке; я часто ловил его недоброжелательные взгляды, но делал вид, что не замечаю их, и ел более обыкновенного во славу моей дорогой родины и на удивление двору. У меня есть некоторые основания думать, что это посещение его величества дало повод Флимнапу уронить меня в глазах своего государя. Означенный министр всегда был тайным моим врагом, хотя наружно обходился со мною гораздо ласковее, чем того можно было ожидать от его угрюмого нрава. Он поставил на вид императору плохое состояние государственного казначейства, сказав, что вынужден был прибегнуть к займу за большие проценты; что курс банковых билетов упал на девять процентов ниже альпари; что мое содержание обошлось его величеству более чем в полтора миллиона спругов (самая крупная золотая монета у лилипутов, величиною в маленькую блестку) и, наконец, что император поступил бы весьма благоразумно, если бы воспользовался первым благоприятным случаем для высылки меня за пределы империи.   
 На мне лежит обязанность обелить честь одной невинно пострадавшей из-за меня почтенной дамы. Канцлеру казначейства пришла в голову фантазия приревновать ко мне свою супругу на основании сплетен, пущенных в ход злыми языками, которые говорили ему, будто ее светлость воспылала безумной страстью к моей особе; много скандального шума наделал при дворе слух, будто раз она тайно приезжала ко мне. Я торжественно заявляю, что все это самая бесчестная клевета, единственным поводом к которой послужило невинное изъявление дружеских чувств со стороны ее светлости. Она действительно часто подъезжала к моему дому, но это делалось всегда открыто, причем с ней в карете сидели еще три особы: сестра, дочь и подруга; таким же образом ко мне приезжали и другие придворные дамы. В качестве свидетелей призываю моих многочисленных слуг: пусть кто-нибудь из них скажет, видел ли он у моих дверей карету, не зная, кто находится в ней. Обыкновенно в подобных случаях я немедленно выходил к двери после доклада моего слуги; засвидетельствовав свое почтение прибывшим, я осторожно брал в руки карету с парой лошадей (если она была запряжена шестеркой, форейтор всегда отпрягал четырех) и ставил ее на стол, который я окружил передвижными перилами вышиной в пять дюймов для предупреждения несчастных случайностей. Часто на моем столе стояли разом четыре запряженные кареты, наполненные элегантными дамами. Сам я садился в свое кресло и наклонялся к ним. В то время, как я разговаривал таким образом с одной каретой, другие тихонько кружились по моему столу. Много послеобеденных часов провел я очень приятно в таких разговорах, однако ни канцлеру казначейства, ни двум его соглядатаям Клестрилю и Дренло (пусть они делают что угодно, а я назову их имена) никогда не удастся доказать, чтобы ко мне являлся кто-нибудь инкогнито, кроме государственного секретаря Рельдреселя, посетившего меня раз по специальному повелению его императорского величества, как рассказано об этом выше. Я бы не останавливался так долго на этих подробностях, если бы вопрос не касался так близко доброго имени высокопоставленной дамы, не говоря уже о моем собственном, хотя я и имел честь носить титул нардака, которого не имел сам канцлер казначейства, ибо всем известно, что он только глюм-глюм, а этот титул в такой же степени ниже моего, в какой титул маркиза в Англии ниже титула герцога; впрочем, я согласен признать, что занимаемый им пост ставит его выше меня. Эти наветы, о которых я узнал впоследствии по одному не стоящему упоминания случаю, на некоторое время озлобили канцлера казначейства Флимнапа против его жены и еще пуще против меня. Хотя он вскоре и примирился с женой, убедившись в своем заблуждении, однако я навсегда потерял его уважение и вскоре увидел, что положение мое пошатнулось также в глазах самого императора, который находился под сильным влиянием своего фаворита.

**ГЛАВА VII**

Автор, будучи осведомлен о замысле обвинить его в государственной измене, предпринимает побег в Блефуску. Прием, оказанный ему там   
  
 Прежде чем рассказать, каким образом я оставил это государство, пожалуй, уместно посвятить читателя в подробности тайных происков, которые в течение двух месяцев велись против меня.   
 Благодаря своему низкому положению я жил до сих пор вдали от королевских дворов. Правда, я много слыхал и читал о нравах великих монархов, но никогда не ожидал встретить такое ужасное действие их в столь отдаленной стране, управляемой, как я думал, в духе правил, совсем не похожих на те, которыми руководятся в Европе.   
 Как раз когда я готовился отправиться к императору Блефуску, одна значительная при дворе особа (которой я оказал очень существенную услугу в то время, когда она была в большой немилости у его императорского величества) тайно прибыла ко мне поздно вечером в закрытом портшезе и, не называя себя, просила принять ее. Носильщики были отосланы, и я положил портшез вместе с его превосходительством в карман своего кафтана, после чего, приказав одному верному слуге говорить каждому, что мне нездоровится и что я пошел спать, я запер за собою дверь, поставил портшез на стол и сел на стул против него.   
 Когда мы обменялись взаимными приветствиями, я заметил большую озабоченность на лице его превосходительства и пожелал узнать о ее причине. Тогда он попросил выслушать его терпеливо, так как дело касалось моей чести и жизни, и обратился ко мне со следующей речью, которую тотчас же по его уходе я в точности записал.   
 Надо вам сказать, начал он, что в последнее время относительно вас происходило в страшной тайне несколько совещаний особых комитетов, и два дня тому назад его величество принял окончательное решение.   
 Вы прекрасно знаете, что почти со дня вашего прибытия сюда Скайреш Болголам (гельбет, или верховный адмирал) стал вашим смертельным врагом. Мне неизвестна первоначальная причина этой вражды, но его ненависть особенно усилилась после великой победы, одержанной вами над Блефуску, которая сильно помрачила его славу адмирала. Этот сановник, в сообществе с Флимнапом, канцлером казначейства, неприязнь которого к вам из-за жены всем известна, генералом Лимтоком, обер-гофмейстером Лелькеном и верховным судьей Бельмафом, приготовил акт, обвиняющий вас в государственной измене и других тяжких преступлениях.   
 Это вступление настолько взволновало меня, что я, зная свои заслуги и свою невиновность, от нетерпения чуть было не прервал оратора, но он умолял меня сохранять молчание и продолжал так:   
 Руководствуясь чувством глубокой благодарности за оказанные вами услуги, я добыл подробные сведения об этом деле и копию обвинительного акта, рискуя поплатиться за это своей головой[49].   
  
  
 **ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ**   
 АКТ   
 против   
 КУИНБУС ФЛЕСТРИНА   
 ЧЕЛОВЕКА ГОРЫ   
  
 **II. 1**   
  
 Принимая во внимание, что, хотя законом, изданным в царствование его императорского величества Келина Дефара Плюне, постановлено, что всякий, кто будет мочиться в ограде королевского дворца, подлежит карам и наказаниям как за оскорбление величества; однако, невзирая на это, упомянутый Куинбус Флестрин, в явное нарушение упомянутого закона, под предлогом тушения пожара, охватившего покои любезной супруги его императорского величества, злобно, предательски и дьявольски выпустив мочу, погасил упомянутый пожар в упомянутых покоях, находящихся в ограде упомянутого королевского дворца, вопреки существующему на этот предмет закону, в нарушение долга и пр. и пр.   
  
 **II. 2**   
  
 Что упомянутый Куинбус Флестрин, приведя в императорский порт флот императора Блефуску и получив повеление от его императорского величества захватить все остальные корабли упомянутой империи Блефуску, с тем чтобы обратить эту империю в провинцию под управлением нашего наместника, уничтожить и казнить не только всех укрывающихся там Тупоконечников, но и всех подданных этой империи, которые не отступятся немедленно от тупоконечной ереси, - упомянутый Флестрин, как вероломный изменник, подал прошение его благосклоннейшему и светлейшему императорскому величеству избавить его, Флестрина, от исполнения упомянутого поручения под предлогом нежелания применять насилие в делах совести и уничтожать вольности невинного народа.   
  
 **II. 3**   
  
 Что, когда прибыло известное посольство от двора Блефуску ко двору его величества просить мира, он, упомянутый Флестрин, как вероломный изменник, помогал, поощрял, одобрял и увеселял упомянутых послов, хорошо зная, что они слуги монарха, который так недавно был открытым врагом его императорского величества и вел открытую войну с упомянутым величеством.   
  
 **II. 4**   
  
 Что упомянутый Куинбус Флестрин, в противность долгу верноподданного, собирается теперь совершить путешествие ко двору и в империю Блефуску, на которое получил только лишь словесное соизволение его императорского величества, и что, под предлогом упомянутого соизволения, он имеет намерение вероломно и изменнически совершить упомянутое путешествие с целью оказать помощь, ободрить и поощрить императора Блефуску, так недавно бывшего врагом вышеупомянутого его императорского величества и находившегося с ним в открытой войне.   
  
 В обвинительном акте есть еще пункты, но прочтенные мною в извлечении наиболее существенны.   
  
 Надо признаться, что во время долгих прений по поводу этого обвинения его величество проявил к вам большую снисходительность, весьма часто ссылаясь на ваши заслуги перед ним и стараясь смягчить ваши преступления. Канцлер казначейства и адмирал настаивали на том, чтобы предать вас самой мучительной и позорной смерти. Они предложили поджечь ночью ваш дом, поручив генералу вывести двадцатитысячную армию, вооруженную отравленными стрелами, предназначенными для вашего лица и рук. Возникла также мысль дать тайное повеление некоторым вашим слугам напитать ваши рубахи и простыни ядовитым соком, который скоро заставил бы вас разодрать ваше тело и причинил бы вам самую мучительную смерть. Генерал присоединился к этому мнению, так что в течение долгого времени большинство было против вас. Но его величество, решив по возможности щадить вашу жизнь, в заключение привлек на свою сторону обер-гофмейстера.   
 В разгар этих прений Рельдресель, главный секретарь по тайным делам, который всегда выказывал себя вашим истинным другом, получил повеление его императорского величества изложить свою точку зрения, что он и сделал, вполне оправдав ваше доброе о нем мнение. Он признал, что ваши преступления велики, но что они все же оставляют место для милосердия, этой величайшей добродетели монархов, которая так справедливо украшает его величество. Он сказал, что существующая между ним и вами дружба известна всякому, и потому высокопочтенное собрание, может быть, найдет его мнение пристрастным; однако, повинуясь полученному приказанию его величества, он откровенно изложит свои мысли; что если его величеству благоугодно будет, во внимание к вашим заслугам и согласно свойственной ему доброте, пощадить вашу жизнь и удовольствоваться повелением выколоть вам оба глаза, то он смиренно полагает, что такая мера, удовлетворив в некоторой степени правосудие, в то же время приведет в восхищение весь мир, который будет приветствовать столько же кротость монарха, сколько благородство и великодушие лиц, имеющих честь быть его советниками; что потеря глаз не нанесет никакого ущерба вашей физической силе, благодаря которой вы еще можете быть полезны его величеству; что слепота, скрывая от вас опасность, только увеличит вашу храбрость; что боязнь потерять зрение была для вас главной помехой при захвате неприятельского флота и что вам достаточно будет смотреть на все глазами министров, раз этим довольствуются даже величайшие монархи.   
 Это предложение было встречено высоким собранием с крайним неодобрением. Адмирал Болголам не в силах был сохранить хладнокровие; в бешенстве вскочив с места, он сказал, что удивляется, как осмелился секретарь подать голос за сохранение жизни изменника; что оказанные вами услуги, по соображениям государственной безопасности, еще более отягощают ваши преступления; что раз вы были способны простым мочеиспусканием (о чем он говорил с отвращением) потушить пожар в покоях ее величества, то в другое время вы будете способны таким же образом вызвать наводнение и затопить весь дворец; что та самая сила, которая позволила вам захватить неприятельский флот, при первом вашем неудовольствии послужит на то, что вы отведете этот флот обратно; что у него есть веские основания думать, что в глубине души вы - тупоконечник; и так как измена за рождается в сердце прежде, чем проявляет себя в действии, то он обвинил вас на этом основании в измене и настаивал, чтобы вы были казнены.   
 Канцлер казначейства был того же мнения: он показал, до какого оскудения доведена казна его величества благодаря лежащему на ней тяжелому бремени содержать вас, которое скоро станет невыносимым, и предложение секретаря выколоть вам глаза не только не вылечит от этого зла, но, по всей вероятности, усугубит его, ибо, как свидетельствует опыт, некоторые домашние птицы после ослепления едят больше и скорее жиреют; и если его священное величество и члены совета, ваши судьи, обращаясь к своей совести, пришли к твердому убеждению в вашей виновности, то это является достаточным основанием приговорить вас к смерти, не затрудняясь подысканием формальных доказательств, требуемых буквой закона.   
 Но его императорское величество решительно высказался против смертной казни, милостиво изволив заметить, что если совет находит лишение вас зрения приговором слишком мягким, то всегда будет время вынести другой, более суровый. Тогда ваш друг секретарь, почтительно испросив позволение выслушать его возражения на замечания канцлера казначейства касательно тяжелого бремени, которым ложится ваше содержание на казну его величества, сказал: так как доходы его величества всецело находятся в распоряжении его превосходительства, то ему нетрудно будет принять меры против этого зла путем постепенного уменьшения расходов на ваше иждивение; таким образом, вследствие недостаточного количества пищи, вы станете слабеть, худеть, потеряете аппетит и зачахнете в несколько месяцев; такая мера будет иметь еще и то преимущество, что разложение вашего трупа станет менее опасным, так как тело ваше уменьшится в объеме больше чем наполовину, и немедленно после вашей смерти пять или шесть тысяч подданных его величества смогут в два или три дня отделить мясо от костей, сложить его в телеги, увезти и закопать за городом во избежание заразы, а скелет сохранить как памятник, на удивление потомству.   
 Таким образом, благодаря чрезвычайно дружескому расположению к вам секретаря, удалось прийти к компромиссному решению вашего дела. Было строго приказано сохранить в тайне план постепенно заморить вас голодом; приговор же о вашем ослеплении занесен в книги по единогласному решению членов совета, за исключением адмирала Болголама, креатуры императрицы, который, благодаря непрестанным подстрекательствам ее величества, настаивал на вашей смерти; императрица же затаила на вас злобу из-за гнусного и незаконного способа, которым вы потушили пожар в ее покоях.   
 Через три дня ваш друг секретарь получит повеление явиться к нам и прочитать все эти пункты обвинительного акта; при этом он объяснит, насколько велики снисходительность и благосклонность к вам его величества и государственного совета, благодаря которым вы приговорены только к ослеплению, и его величество не сомневается, что вы покорно и с благодарностью подчинитесь этому приговору; двадцать хирургов его величества назначены наблюдать за надлежащим совершением операции при помощи очень тонко заостренных стрел, которые будут пущены в ваши глазные яблоки в то время, когда вы будете лежать на земле.   
 Засим, предоставляя вашему благоразумию позаботиться о принятии соответствующих мер, я должен, во избежание подозрений, немедленно удалиться так же тайно, как прибыл сюда.   
 С этими словами его превосходительство покинул меня, и я остался один, одолеваемый мучительными сомнениями и колебаниями.   
 У лилипутов существует обычай, заведенный нынешним императором и его министрами (очень непохожий, как меня уверяли, на то, что практиковалось в прежние времена): если в угоду мстительности монарха или злобе фаворита суд приговаривает кого-либо к жестокому наказанию, то император произносит в заседании государственного совета речь, изображающую его великое милосердие и доброту как качества, всем известные и всеми признанные. Речь немедленно оглашается по всей империи; и ничто так не устрашает народ, как эти панегирики императорскому милосердию[50]; ибо установлено, что чем они пространнее и велеречивее, тем бесчеловечнее было наказание и невиннее жертва. Однако должен признаться, что, не предназначенный ни рождением, ни воспитанием к роли придворного, я был плохой судья в подобных вещах и никак не мог найти признаков кротости и милосердия в моем приговоре, а, напротив (хотя, быть может, и несправедливо), считал его скорее суровым, чем мягким. Иногда мне приходило на мысль предстать лично перед судом и защищаться, ибо если я и не мог оспаривать фактов, изложенных в обвинительном акте, то все-таки надеялся, что они допускают некоторое смягчение приговора. Но, с другой стороны, судя по описаниям многочисленных политических процессов[51], о которых приходилось мне читать, все они оканчивались в смысле, желательном для судей, и я не решился вверить свою участь в таких критических обстоятельствах столь могущественным врагам. Меня очень соблазнила было мысль оказать сопротивление; я отлично понимал, что, покуда я пользовался свободой, все силы этой империи не могли бы одолеть меня, и я легко мог бы забросать камнями и обратить в развалины всю столицу; но, вспомнив присягу, данную мной императору, все его милости ко мне и высокий титул нардака, которым он меня пожаловал, я тотчас с отвращением отверг этот проект. Я с трудом усваивал придворные взгляды на благодарность и никак не мог убедить себя, что теперешняя суровость его величества освобождает меня от всяких обязательств по отношению к нему.   
 Наконец я остановился на решении, за которое, вероятно, многие не без основания меня осудят. Ведь, надо признаться, я обязан сохранением своего зрения, а стало быть, и свободы, моей великой опрометчивости и неопытности. В самом деле, если бы в то время я знал так же хорошо нрав монархов и министров и их обращение с преступниками, гораздо менее виновными, чем был я, как я узнал это потом, наблюдая придворную жизнь в других государствах, я бы с величайшей радостью и готовностью подчинился столь легкому наказанию. Но я был молод и горяч; воспользовавшись разрешением его величества посетить императора Блефуску, я еще до окончания трехдневного срока послал моему другу секретарю письмо, в котором уведомлял его о своем намерении отправиться в то же утро в Блефуску согласно полученному мной разрешению. Не дожидаясь ответа, я направился к морскому берегу, где стоял на якоре наш флот.   
 Захватив большой военный корабль, я привязал к его носу веревку, поднял якоря, разделся и положил свое платье в корабль (вместе с одеялом, которое принес в руке), затем, ведя корабль за собою, частью вброд, частью вплавь, я добрался до королевского порта Блефуску, где население уже давно ожидало меня. Мне дали двух проводников показать дорогу в столицу Блефуску, носящую то же название, что и государство. Я нес их в руках, пока не подошел на двести ярдов к городским воротам; тут я попросил их известить о моем прибытии одного из государственных секретарей и передать ему, что я ожидаю приказаний его величества. Через час я получил ответ, что его величество в сопровождении августейшей семьи и высших придворных чинов выехал встретить меня. Я приблизился на сто ярдов. Император и его свита соскочили с лошадей, императрица и придворные дамы вышли из карет, и я не заметил у них ни малейшего страха или беспокойства. Я лег на землю, чтобы поцеловать руку императора и императрицы. Я объявил его величеству, что прибыл сюда согласно моему обещанию и с соизволения императора, моего повелителя, чтобы иметь честь лицезреть могущественнейшего монарха и предложить ему зависящие от меня услуги, если они не будут противоречить обязанностям верноподданного моего государя; я ни словом не упомянул о постигшей меня немилости, потому что, не получив еще официального уведомления, я вполне мог и не знать о замыслах против меня. С другой стороны, у меня было полное основание предполагать, что император не пожелает предать огласке мою опалу, если узнает, что я нахожусь вне его власти; однако скоро выяснилось, что я сильно ошибся в своих предположениях.   
 Не буду утомлять внимание читателя подробным описанием приема, оказанного мне при дворе императора Блефуску, который вполне соответствовал щедрости столь могущественного монарха. Не буду также говорить о неудобствах, которые я испытывал благодаря отсутствию подходящего помещения и постели: мне пришлось спать на голой земле, укрывшись своим одеялом.

**ГЛАВА VIII**

Благодаря счастливому случаю автор находит средство оставить императора Блефуску и после некоторых затруднений благополучно возвращается в свое отечество   
  
 Через три дня после прибытия в Блефуску, отправившись из любопытства на северо-восточный берег острова, я заметил на расстоянии полулиги в открытом море что-то похожее на опрокинутую лодку. Я снял башмаки и чулки и, пройдя вброд около двухсот или трехсот ярдов, увидел, что благодаря приливу предмет приближается; тут уже не оставалось никаких сомнений, что это настоящая лодка, оторванная бурей от какого-нибудь корабля. Я тотчас возвратился в город и попросил его императорское величество дать в мое распоряжение двадцать самых больших кораблей, оставшихся после потери флота, и три тысячи матросов под командой вице-адмирала. Флот пошел кругом острова, а я кратчайшим путем возвратился к тому месту берега, где обнаружил лодку; за это время прилив еще больше пригнал ее. Все матросы были снабжены веревками, которые я предварительно ссучил в несколько раз для большей прочности. Когда прибыли корабли, я разделся и отправился к лодке вброд, но в ста ярдах от нее принужден был пуститься вплавь. Матросы бросили мне веревку, один конец которой я привязал к отверстию в передней части лодки, а другой - к одному из военных кораблей, но от всего этого было мало пользы, потому что, не доставая ногами дна, я не мог работать как следует. Ввиду этого мне пришлось подплыть к лодке и по мере сил подталкивать ее вперед одной рукой. С помощью прилива я достиг наконец такого места, где мог стать на ноги, погрузившись в воду до подбородка. Отдохнув две или три минуты, я продолжал подталкивать лодку до тех пор, пока вода не дошла у меня до подмышек. Когда, таким образом, самая трудная часть предприятия была исполнена, я взял остальные веревки, сложенные на одном из кораблей, и привязал их сначала к лодке, а потом к девяти сопровождавшим меня кораблям. Ветер был попутный, матросы тянули лодку на буксире, я подталкивал ее, и мы скоро подошли на сорок ярдов к берегу. Подождав отлива, когда лодка оказалась на суше, я при помощи двух тысяч человек, снабженных веревками и машинами, перевернул лодку и нашел, что повреждения ее незначительны.   
 Не буду докучать читателю описанием затруднений, которые пришлось преодолеть, чтобы на веслах (работа над которыми отняла у меня десять дней) привести лодку в императорский порт Блефуску, куда при моем прибытии стеклась несметная толпа народа, пораженная невиданным зрелищем такого чудовищного судна. Я сказал императору, что эту лодку послала мне счастливая звезда, чтобы я добрался на ней до места, откуда мне можно будет вернуться на родину; и я попросил его величество снабдить меня необходимыми материалами для оснастки судна, а также дать дозволение на отъезд. После некоторых попыток убедить меня остаться император соизволил дать свое согласие.   
 Меня очень удивило, что за это время, насколько мне было известно, ко двору Блефуску не поступало никаких запросов обо мне от нашего императора. Однако позднее мне частным образом сообщили, что его императорское величество, ни минуты не подозревая, что мне известны его намерения, усмотрел в моем отъезде в Блефуску простое исполнение обещания, согласно данному на то дозволению, о котором было хорошо известно всему нашему двору; он был уверен, что я возвращусь через несколько дней, когда церемония приема будет закончена. Но через некоторое время мое долгое отсутствие начало его беспокоить; посоветовавшись с канцлером казначейства и другими членами враждебной мне клики, он послал ко двору Блефуску одну знатную особу с копией моего обвинительного акта. Этот посланец имел инструкции поставить на вид монарху Блефуску великое милосердие своего повелителя, удовольствовавшегося наложением на меня такого легкого наказания, как ослепление, и объявить, что я бежал от правосудия и если в течение двух часов не возвращусь назад, то буду лишен титула нардака и объявлен изменником. Посланный прибавил, что, в видах сохранения мира и дружбы между двумя империями, его повелитель питает надежду, что брат его, император Блефуску, даст повеление отправить меня в Лилипутию связанного по рукам и ногам, чтобы подвергнуть наказанию за измену[52].   
 Император Блефуску после трехдневных совещаний послал весьма любезный ответ со множеством извинений. Он писал, что брат его понимает всю невозможность отправить меня в Лилипутию связанного по рукам и ногам; что, хотя я и лишил его флота, он считает себя обязанным мне за множество добрых услуг, оказанных мною во время мирных переговоров; что, впрочем, оба монарха скоро вздохнут свободнее, так как я нашел на берегу огромный корабль, на котором могу отправиться в море; что он отдал приказ снарядить этот корабль с моей помощью и по моим указаниям и надеется, что через несколько недель обе империи избавятся наконец от столь невыносимого бремени.   
 С этим ответом посланный возвратился в Лилипутию, и монарх Блефуску сообщил мне все, что произошло, предлагая мне в то же время (но под строжайшим секретом) свое милостивое покровительство, если мне угодно будет остаться у него на службе. Хотя я считал предложение императора искренним, однако решил не доверяться больше монархам, если есть возможность обойтись без их помощи, и потому, выразив императору благодарность за его милостивое внимание, я почтительнейше просил его величество извинить меня и сказал, что хотя неизвестно, к счастью или невзгодам судьба послала мне это судно, но я решил лучше отдать себя на волю океана, чем служить поводом раздора между двумя столь могущественными монархами. И я не нашел, что императору не понравился этот ответ; напротив, я случайно узнал, что он остался очень доволен моим решением, как и большинство его министров.   
 Эти обстоятельства заставили меня поспешить и уехать скорее, чем я предполагал. Двор, в нетерпеливом ожидании моего отъезда, оказывал мне всяческое содействие. Пятьсот человек под моим руководством сделали два паруса для моей лодки, простегав для этого сложенное в тринадцать раз самое прочное тамошнее полотно. Изготовление снастей и канатов я взял на себя, скручивая вместе по десяти, двадцати и тридцати самых толстых и прочных тамошних веревок. Большой камень, случайно найденный на берегу после долгих поисков, послужил мне якорем. Мне дали жир трехсот коров для смазки лодки и других надобностей. С невероятными усилиями я срезал несколько самых высоких строевых деревьев на весла и мачты; в изготовлении их мне оказали, впрочем, большую помощь корабельные плотники его величества, которые выравнивали и обчищали то, что мною было сделано вчерне.   
 По прошествии месяца, когда все было готово, я отправился в столицу получить приказания его величества и попрощаться с ним. Император с августейшей семьей вышли из дворца; я пал ниц, чтобы поцеловать его руку, которую он очень благосклонно протянул мне; то же сделали императрица и все принцы крови. Его величество подарил мне пятьдесят кошельков с двумястами спругов в каждом, свой портрет во весь рост, который я тотчас спрятал себе в перчатку для большей сохранности. Но весь церемониал моего отъезда был так сложен, что сейчас я не буду утомлять читателя его описанием.   
 Я погрузил в лодку сто воловьих и триста бараньих туш, соответствующее количество хлеба и напитков и столько жареного мяса, сколько могли приготовить четыреста поваров. Кроме того, я взял с собою шесть живых коров, двух быков и столько же овец с баранами, чтобы привезти их к себе на родину и заняться их разведением. Для прокормления этого скота в пути я захватил с собою большую вязанку сена и мешок зерна. Мне очень хотелось увезти с собою с десяток туземцев, но император ни за что не согласился на это; не довольствуясь самым тщательным осмотром моих карманов, его величество обязал меня честным словом не брать с собою никого из его подданных даже с их согласия и по их желанию.   
 Приготовившись, таким образом, как можно лучше к путешествию, я поставил паруса 24 сентября 1701 года в шесть часов утра. Пройдя при юго-восточном ветре около четырех лиг по направлению к северу, в шесть часов вечера я заметил на северо-западе, на расстоянии полулиги, небольшой островок. Я продолжал путь и бросил якорь с подветренной стороны острова, который был, по-видимому, необитаем. Немного подкрепившись, я лег отдохнуть. Спал я хорошо и, по моим предположениям, не меньше шести часов, потому что проснулся часа за два до наступления дня. Ночь была светлая. Позавтракав до восхода солнца, я поднял якорь и при попутном ветре взял с помощью карманного компаса тот же курс, что и накануне. Моим намерением было достигнуть по возможности одного из островов, лежащих, по моим расчетам, на северо-восток от Вандименовой Земли. В этот день я ничего не открыл, но около трех часов пополудни следующего дня, находясь, согласно моим вычислениям, в двадцати четырех милях от Блефуску, я заметил парус, двигавшийся на юго-восток; сам же я направлялся прямо на восток. Я окликнул его, но ответа не получил. Однако скоро ветер ослабел, и я увидел, что могу догнать судно. Я поставил все паруса, и через полчаса корабль заметил меня, выбросил флаг и выстрелил из пушки. Трудно описать охватившее меня чувство радости, когда неожиданно явилась надежда вновь увидеть любезное отечество и покинутых там дорогих моему сердцу людей. Корабль убавил паруса, и я пристал к нему в шестом часу вечера 26 сентября. Мое сердце затрепетало от восторга, когда я увидел английский флаг. Рассовав коров и овец по карманам, я взошел на борт корабля со всем своим небольшим грузом. Это было английское купеческое судно, возвращавшееся из Японии северными и южными морями; капитан его, мистер Джон Билль из Дептфорда, был человек в высшей степени любезный и превосходный моряк. Мы находились в это время под 50ь южной широты. Экипаж корабля состоял из пятидесяти человек, и между ними я встретил одного моего старого товарища, Питера Вильямса, который дал капитану обо мне самый благоприятный отзыв. Капитан оказал мне любезный прием и попросил сообщить, откуда я еду и куда направляюсь. Когда я вкратце сказал ему это, он подумал, что я заговариваюсь и что перенесенные несчастья помутили мой рассудок. Тогда я вынул из кармана коров и овец; это привело его в крайнее изумление и убедило в моей правдивости. Затем я показал ему золото, полученное от императора Блефуску, портрет его величества и другие диковинки. Я отдал капитану два кошелька с двумястами спрутов в каждом и обещал ему подарить, по прибытии в Англию, стельную корову и овцу.   
 Но не буду докучать читателю подробным описанием этого путешествия, которое оказалось очень благополучным. Мы прибыли в Даунс 15 апреля 1702 года. В пути у меня была только одна неприятность: корабельные крысы утащили одну мою овечку, и я нашел в щели ее обглоданные кости. Весь остальной скот я благополучно доставил на берег и в Гринвиче пустил его на лужайку для игры в шары; тонкая и нежная трава, сверх моего ожидания, послужила им прекрасным кормом. Я бы не мог сохранить этих животных в течение столь долгого путешествия, если бы капитан не давал мне своих лучших сухарей, которые я растирал в порошок, размачивал водою и в таком виде давал им. В продолжение моего недолгого пребывания в Англии я собрал значительную сумму денег, показывая этих животных многим знатным лицам и другим, а перед началом второго путешествия продал их за шестьсот фунтов. Возвратившись в Англию из последнего путешествия, я нашел уже довольно большое стадо; особенно расплодились овцы, и я надеюсь, что они принесут значительную пользу суконной промышленности благодаря необыкновенной тонине своей шерсти[53].   
 Я оставался с женой и детьми не больше двух месяцев, потому что мое ненасытное желание видеть чужие страны не давало мне покоя и я не мог усидеть дома. Я оставил жене полторы тысячи фунтов и водворил ее в хорошем доме в Редрифе[54]. Остальное свое имущество, частью в деньгах, частью в товарах, я увез с собою в надежде увеличить свое состояние. Старший мой дядя Джон завещал мне поместье недалеко от Эппинга, приносившее в год до тридцати фунтов дохода; столько же дохода я получал от бывшей у меня в долгосрочной аренде харчевни Черный Бык на Феттер-Лейн. Таким образом, я не боялся, что оставляю семью на попечение прихода[55]. Мой сын Джонни, названный так в честь своего дяди, посещал грамматическую школу и был хорошим учеником. Моя дочь Бетти (которая теперь замужем и имеет детей) училась швейному мастерству. Я попрощался с женой, дочерью и сыном, причем дело не обошлось без слез с обеих сторон, и сел на купеческий корабль "Адвенчер", вместимостью в триста тонн; назначение его было Сурат[56], капитан - Джон Николес из Ливерпуля. Но отчет об этом путешествии составит вторую часть моих странствований.

**\* ЧАСТЬ ВТОРАЯ . ПУТЕШЕСТВИЕ В БРОБДИНГНЕГ**

**ГЛАВА I**

Описание сильной бури. Посылка баркаса за пресной водой. Автор отправляется на нем для исследования страны. Он оставлен на берегу, его подбирает один туземец и относит к фермеру. Прием автора на ферме и различные происшествия, случившиеся там. Описание жителей   
  
 Обреченный самой природой и судьбой вести деятельную и беспокойную жизнь, я через два месяца после возвращения домой, 20 июня 1702 года, снова оставил отечество и сел в Даунсе на корабль "Адвенчер", отправлявшийся в Сурат под командой капитана Джона Николеса. Ветер был попутный до мыса Доброй Надежды, где мы бросили якорь, чтобы запастись свежей водой. Но на корабле открылась течь; мы выгрузили товары и зазимовали, потому что капитан заболел перемежающейся лихорадкой, и мы не могли покинуть мыс до конца марта, когда мы поставили наконец паруса и благополучно прошли Мадагаскарский пролив. Но когда мы вышли к северу от Мадагаскара и находились приблизительно на 5ь южной широты, то умеренные северные и западные ветры, по наблюдениям моряков постоянно дующие в этом поясе с начала декабря и до начала мая, 19 апреля вдруг сменились гораздо более сильным ветром, налетевшим прямо с запада и продолжавшимся двадцать дней подряд. Нас занесло за это время немного восточнее Молуккских островов, на 5ь к северу от экватора, как выходило по вычислениям капитана, сделанным 2 мая, когда ветер прекратился и наступил полный штиль, немало меня обрадовавший. Но капитан, человек опытный в плавании по этим морям, приказал всем нам приготовиться к буре, которая действительно и разразилась на следующий же день, когда поднялся южный ветер, известный под именем муссона.   
 Видя, что ветер сильно крепчает, мы убавили блинд и приготовились убрать фок-зейль. Но погода становилась хуже; осмотрев, прочно ли привязаны пушки, мы убрали бизань. Корабль находился в открытом море, и было решено лучше идти под ветром, чем убрать все паруса и отдаться на волю волн. Мы взяли рифы от фок-зейля и поставили его, затем натянули шкот. Румпель лежал на полном ветре. Корабль бодро держался. Мы закрепили спереди нирал, но парус разорвался. Тогда мы спустили рею, сняли с нее парус и весь такелаж. Буря была ужасная, море сильно бушевало. Мы натянули тали у ручки румпеля, чтобы облегчить рулевого. Мы не думали спускать стеньги, но оставили всю оснастку, потому что корабль шел под ветром, а известно, что стеньги помогают управлению кораблем и увеличивают его ход, тем более что перед нами было открытое море. Когда буря стихла, поставили грот фок-зейль и легли в дрейф. Затем мы поставили бизань, большой и малый марсели. Мы шли на северо-восток при юго-западном ветре. Мы укрепили швартовы к штирборту, ослабили брасы у рей за ветром, сбрасопили под ветер и крепко притянули булиня, закрепив их. Мы маневрировали бизанью, стараясь сохранить ветер и поставить столько парусов, сколько могли выдержать корабельные мачты. Во время этой бури, сопровождавшейся сильным ЗЮЗ ветром, нас отнесло, по моим вычислениям, по крайней мере, на пятьсот лиг к востоку, так что самые старые и опытные моряки не могли сказать, в какой части света мы находимся. Провианта у нас было вдоволь, корабль в хорошем состоянии, экипаж совершенно здоров, и только ограниченность запасов пресной воды внушала нам сильное беспокойство. Мы сочли за лучшее держаться прежнего направления, нежели отклоняться более к северу, так как при этом нас могли унести в северо-западные области Великой Татарии или к Ледовитому морю[57].   
 Шестнадцатого июня 1705 года стоявший на стеньге юнга увидел землю. Семнадцатого мы подошли к большому острову или континенту (мы не знали), на южной стороне которого выдавалась в море коса и виднелась бухта, но слишком мелкая, чтобы в нее мог войти корабль более ста тонн водоизмещением. Мы бросили якорь на расстоянии лиги от этой бухты, капитан послал баркас с десятком хорошо вооруженных людей, снабдив их сосудами для воды, если она будет ими найдена. Я попросил у капитана позволения присоединиться к ним, чтобы осмотреть страну и сделать открытия, какие будут в моих силах. Прибыв к берегу, мы не нашли ни реки, ни источника и никаких признаков населения. Поэтому матросы разбрелись по побережью в поисках пресной воды, а я отправился один в противоположную сторону, но на расстоянии мили кругом тянулись все те же бесплодные и скалистые места. Почувствовав усталость и не находя ничего любопытного, я стал медленно возвращаться к бухте; море широко открывалось передо мною, и я увидел, что наши матросы уже сели в баркас и гребут что есть мочи по направлению к кораблю. Я уже собирался окликнуть их, хотя это было и бесполезно, как вдруг заметил, что их энергично преследует в море человек исполинского роста; вода едва доходила ему до колен, и он делал огромные шаги, но так как наши успели отъехать не меньше чем на поллиги от него и море кругом было покрыто острыми скалами, то чудовище не могло догнать лодку. Все это мне рассказали потом, потому что в ту минуту я не имел мужества наблюдать исход погони, но со всех ног пустился бежать по той самой дороге, по которой теперь возвращался. Запыхавшись, я взобрался на крутой холм, откуда мог обозреть окрестности. Земля кругом была хорошо возделана, но меня поразила высота травы на лугах, достигавшая двадцати футов.   
 Я вышел на большую дорогу - так, по крайней мере, мне казалось, хотя для туземцев это была только тропинка, пересекавшая ячменное поле. В течение некоторого времени я почти ничего не мог видеть по сторонам, потому что приближалось время жатвы и ячмень был высотой футов сорок. Только через час я достиг конца этого поля, обнесенного изгородью не менее чем в сто двадцать футов вышины, а деревья были так велики, что я совсем не мог определить их высоту. Чтобы попасть с этого поля на соседнее, нужно было подняться на четыре ступени да еще перешагнуть сверху через огромный камень. Мне не по силам было взобраться на эту лестницу, потому что каждая ступень имела шесть футов вышины, а верхний камень - больше двадцати. Поэтому я старался найти какую-нибудь щель в изгороди, как вдруг увидел, что с соседнего поля к лестнице подходит исполин, такой же огромный, как и тот, который гнался за нашим баркасом. Ростом он был с колокольню, а каждый его шаг, насколько я мог прикинуть, равнялся десяти ярдам. Объятый ужасом и изумлением, я поспешно убежал и спрятался в ячмене, откуда увидел, как, взобравшись на ступеньки, великан оглянулся на соседнее поле направо и стал звать кого-то голосом, звучавшим во много раз громче, чем наш голос в рупор; он раздавался с такой высоты, что сначала я принял его за раскаты грома. На зов к нему тотчас подошли семь таких же чудовищ с серпами в руках, величиной с шесть наших кос. Эти люди были одеты беднее первого и являлись, по-видимому, его слугами или работниками, потому что после нескольких его слов отправились жать на то поле, где я спрятался. Я старался держаться от них подальше, но мог двигаться лишь с большим трудом, так как в некоторых местах расстояние между стеблями было не больше фута и я едва мог протиснуться между ними. Тем не менее я кое-как добрался до части поля, где ячмень был повален дождем и ветром. Здесь я не в силах был сделать ни шагу дальше: стебли так переплелись, что не было никакой возможности пробраться между ними, а ости поваленных колосьев были так крепки и остры, что прокалывали мне платье и вонзались в тело. Между тем я слышал, что жнецы находятся от меня не дальше ста ярдов. Разбитый усталостью и совершенно подавленный горем и отчаянием, я лег в борозду и от всего сердца желал смерти. Я оплакивал овдовевшую жену и сирот-детей. Я горько сетовал на свои безрассудство и упрямство, толкнувшие меня на второе путешествие вопреки советам родных и друзей. В этом расстроенном состоянии я невольно вспомнил Лилипутию, жители которой смотрели на меня как на величайшее чудо в свете, где я был способен тащить одной рукой весь императорский флот и совершить много других подвигов, которые будут увековечены в летописях этой империи и покажутся невероятными потомству, хотя они и засвидетельствованы миллионами очевидцев. Я представил себе унижение, ожидающее меня у этого народа, где я буду казаться таким же ничтожным существом, каким казался бы среди нас любой лилипут. Но, без сомнения, это было еще не самое худшее из несчастий, ожидавших меня; ведь если человеческая дикость и жестокость, как свидетельствует наблюдение, возрастают пропорционально росту, то чего мне было ожидать теперь, кроме печальной участи быть съеденным первым же огромным варваром, которому случится поймать меня. Несомненно, философы правы, утверждая, что понятия великого и малого суть понятия относительные. Быть может, судьбе угодно будет устроить так, что и лилипуты встретят людей, столь же малых сравнительно с ними, как они были малы по сравнению со мной. И кто знает, быть может, в какой-нибудь отдаленной части света существует порода смертных, превосходящих своим ростом даже этих гигантов?   
 Таким размышлениям предавался я, несмотря на овладевшие мной страх и смятение, как вдруг один из жнецов подошел на десять ярдов к борозде, в которой я лежал; испугавшись, что при следующем его шаге я буду растоптан или разрезан пополам серпом, я в ужасе закричал благим матом. Великан остановился, внимательно всмотрелся под ноги и наконец заметил меня, лежащего на земле. С минуту он наблюдал меня с тем опасливым видом, какой бывает у нас, когда мы хотим ухватить какого-нибудь зверька так, чтобы он не оцарапал или не укусил нас; я сам хватал иногда таким образом хорьков в Англии. Наконец он отважился взять меня сзади за талию большим и указательным пальцами и поднести к глазам на расстояние трех ярдов, чтобы получше рассмотреть. Я угадал его намерение, и, к счастью, у меня достало столько самообладания, что я решил не сопротивляться, когда он держал меня в воздухе на высоте шестидесяти футов от земли, хотя он страшно сдавил мне ребра, боясь, чтобы я не выскользнул из его пальцев. Я позволил себе только поднять глаза к солнцу, умоляюще сложить руки и сказать несколько слов смиренным и печальным тоном, подобающим положению, в котором я находился. Ибо я все время был в страхе, что великан швырнет меня о землю, как мы бросаем противное маленькое животное, собираясь раздавить его. Но, благодарение моей счастливой звезде, мой голос и жесты, по-видимому, понравились ему, и он начал рассматривать меня как диковинку, изумляясь моей членораздельной речи, смысл которой был ему непонятен. Однако я не мог больше удержаться от стона и слез и, повернув голову, старался повыразительнее показать ему, что своими пальцами он причиняет мне нестерпимую боль. По-видимому, он понял мою мимику, так как, подняв полу камзола, осторожно положил меня туда и бегом пустился со мной к своему хозяину - тому самому зажиточному фермеру, которого я прежде других увидел на поле.   
 Фермер, получив от своего работника (как я заключил из их разговора) все сведения обо мне, какие тот мог дать ему, взял соломинку, толщиною в трость, и стал поднимать ею полы моего кафтана: очевидно, он полагал, что природа одарила меня чем-то вроде оболочки. Затем он дунул на мои волосы, чтобы лучше рассмотреть лицо. Созвав своих батраков, он спросил их (как я потом узнал), не случалось ли им находить когда-нибудь на полях других зверьков, похожих на меня. Затем он осторожно опустил меня на землю и поставил на четвереньки, но я тотчас поднялся на ноги и стал расхаживать взад и вперед, желая показать этим людям, что у меня нет ни малейшего намерения бежать. Они сели в кружок, чтобы лучше наблюдать за моими движениями. Я снял шляпу и сделал глубокий поклон фермеру. Затем, став на колени, я поднял к небу глаза и руки и как можно громче произнес несколько слов; я вынул из кармана кошелек с золотом и с видом полной покорности вручил его хозяину. Тот принял кошелек в ладонь, поднес его к самым глазам, чтобы увидеть, что это такое, затем несколько раз потыкал его кончиком булавки (которую вынул у себя из рукава), но так и не понял его назначения. Тогда я сделал знак, чтобы он положил руку на землю; затем, взяв кошелек и открыв его, высыпал к нему на ладонь все золото. Там было шесть испанских золотых, в четыре пистоли каждый, и двадцать или тридцать монет помельче. Послюнив кончик мизинца, он поднял им сперва одну большую монету, потом другую; но видно было, что он остался в полном неведении, что это за вещицы. Он знаком приказал мне положить монеты обратно в кошелек и спрятать кошелек в карман, что я в конце концов и сделал после неоднократных бесплодных предложений принять от меня кошелек в подарок.   
 Мало-помалу фермер убедился, что имеет дело с разумным существом. Он часто заговаривал со мною, но шум его голоса отдавался у меня в ушах подобно шуму водяной мельницы, хотя слова произносились им достаточно внятно. Я отвечал на разных языках как можно громче, и он часто приближал свое ухо на два ярда ко мне, но все было напрасно, потому что мы совершенно не понимали друг друга. Наконец фермер приказал слугам вернуться к своей работе, вынул из кармана носовой платок, сложил его вдвое, покрыл им левую руку, которую положил на землю ладонью вверх, и сделал мне знак взойти на нее, что было нетрудно исполнить, так как его рука была толщиною не более фута. Я счел благоразумным повиноваться и, чтобы не упасть, лег на платок; для большей безопасности фермер закутал меня в него, как в одеяло, и в таком виде понес к себе в дом. Придя туда, он кликнул свою жену и показал меня ей; но та завизжала и попятилась, точь-в-точь как английские дамы при виде жабы или паука. Однако, видя мое примерное поведение и полное повиновение всем знакам ее мужа, она скоро привыкла ко мне и стала обходиться со мной очень ласково.   
 Был полдень, и слуга подал обед, который состоял (в соответствии со скромной обстановкой земледельца) только из одного большого куска говядины на блюде около двадцати четырех футов в диаметре. За стол сел фермер, его жена, трое детей и старуха бабушка. Фермер посадил меня около себя на стол, возвышавшийся на тридцать футов от пола. Боясь свалиться с такой высоты, я отодвинулся подальше от края. Фермерша отрезала ломтик говядины, накрошила хлеба на тарелку и поставила ее передо мною. Сделав ей глубокий поклон, я вынул свою вилку и нож и начал есть, что доставило им чрезвычайное удовольствие. Хозяйка велела служанке подать ликерную рюмочку, вместимостью около двух галлонов, и налила в нее какого-то питья. С большим трудом я взял рюмку обеими руками и самым почтительным образом выпил за здоровье хозяйки, громко произнеся тост по-английски; это до такой степени рассмешило присутствующих, что своим хохотом они едва не оглушили меня. Напиток, напоминавший слабый сидр, был довольно приятен на вкус. Затем хозяин знаками пригласил меня подойти к его тарелке. Проходя по столу, я споткнулся о корку хлеба и шлепнулся носом, но не ушибся; благосклонный читатель легко поймет и извинит мою неловкость, если примет во внимание, в каком удивлении я пребывал все это время. Я тотчас же поднялся и, увидя, что мое падение сильно встревожило этих добрых людей, взял шляпу (которую, как подобает благовоспитанному человеку, держал под мышкой), помахал ею над головой и трижды прокричал ура в знак того, что все обошлось благополучно. Но когда я подходил к моему хозяину (так я буду называть впредь фермера), то сидевший подле него младший сын, десятилетний шалун, схватил меня за ноги и поднял так высоко, что у меня захватило дух. К счастью, отец выхватил меня из рук сына и дал ему такую оплеуху, которая, наверное, сбросила бы с лошадей целый эскадрон европейской кавалерии; он приказал мальчику выйти из-за стола. Но, не желая оставлять в ребенке злобное к себе чувство и вспомнив, как обыкновенно бывают жестоки наши дети к воробьям, кроликам, котятам и щенкам, я упал на колени и, указывая пальцем на мальчика, всеми силами старался дать понять моему хозяину, что прошу простить сына. Отец смягчился, и мальчишка снова занял свое место. Тогда я подошел к нему и поцеловал его руку, которую хозяин мой взял и нежно погладил ею меня.   
 Во время обеда к хозяйке вскочила на колени ее любимая кошка. Я услышал позади себя сильный шум, точно десяток чулочных вязальщиков работали на станках. Обернувшись, я увидел, что это мурлычет кошка, которую кормила и ласкала хозяйка; судя по голове и лапе, она была, по-видимому, в три раза больше нашего быка. Свирепый вид этого животного совсем расстроил меня, несмотря на то что я находился на другом конце стола, на расстоянии пятидесяти футов от него, и хозяйка крепко держала кошку, боясь, как бы она не прыгнула и не схватила меня своими когтями. Однако мои опасения были напрасны: хозяин поднес меня к кошке на три ярда, и она не обратила на меня ни малейшего внимания. Мне часто приходилось слышать и во время путешествий убедиться на опыте, что бежать или выказывать страх перед хищным животным есть верный способ подвергнуться его преследованию или нападению, и потому в данном опасном положении я решил не проявлять ни малейшего беспокойства. Пять или шесть раз я бесстрашно подходил к самой морде кошки на расстояние полуярда, и она пятилась назад, словно была больше испугана, чем я. Во время того же обеда, как это обыкновенно бывает в деревенских домах, в комнату вбежали три или четыре собаки, но они меньше испугали меня. Одна из них была мастиф, величиною в четыре слона, другая - борзая, выше мастифа, но тоньше его.   
 В самом конце обеда вошла кормилица с годовалым ребенком на руках, который немедленно заметил меня и, согласно ораторскому искусству детей, поднял такой вопль, что его, наверное, услышали бы с Лондонского моста, если бы он находился в Челси: он принял меня за игрушку. Хозяйка, руководясь чувством материнской нежности, взяла меня и поставила перед ребенком, и тот тотчас же схватил меня за талию и засунул к себе в рот мою голову, где я завопил таким благим матом, что ребенок в испуге выронил меня и я непременно сломал бы себе шею, если бы мать не подставила свой передник. Чтобы успокоить младенца, кормилица стала забавлять его погремушкой, которая имела вид пустого сосуда, наполненного камнями, и была привязана канатом к поясу ребенка. Но все было напрасно, так что оставалось последнее средство унять его - дать ему грудь. Должен признаться, что никогда в жизни не испытывал я такого отвращения, как при виде этой чудовищной груди, и нет предмета, с которым бы я мог сравнить ее, чтобы дать любопытному читателю слабое представление об ее величине, форме и цвете. Она образовывала выпуклость вышиною в шесть футов, а по окружности была не меньше шестнадцати футов. Сосок был величиной почти в пол моей головы; его поверхность, как и поверхность всей груди, до того была испещрена пятнами, прыщами и веснушками, что нельзя было себе представить более тошнотворное зрелище. Я наблюдал его совсем вблизи, потому что кормилица, давая грудь, села поудобнее как раз около меня. Это навело меня на некоторые размышления по поводу нежности и белизны кожи наших английских дам, которые кажутся нам такими красивыми только потому, что они одинакового роста с нами и их изъяны можно видеть не иначе как в лупу, ясно показывающую, как груба, толста и скверно окрашена самая нежная и белая кожа.   
 Помню, во время моего пребывания в Лилипутии мне казалось, что нет в мире людей с таким прекрасным цветом лица, каким природа одарила эти крошечные создания. Когда я беседовал на эту тему с одним ученым лилипутом, моим близким другом, то он сказал мне, что мое лицо производит на него более приятное впечатление издали, когда он смотрит на меня с земли, чем с близкого расстояния, и откровенно признался мне, что когда я в первый раз взял его на руки и поднес к лицу, то своим видом оно ужаснуло его. По его словам, у меня на коже можно заметить большие отверстия, цвет ее представляет очень неприятное сочетание разных красок, а волосы на бороде кажутся в десять раз толще щетины кабана; между тем, позволю себе заметить, я ничуть не безобразнее большинства моих соотечественников и, несмотря на долгие путешествия, загорел очень мало. С другой стороны, беседуя со мной о тамошних придворных дамах, ученый этот говорил мне, что у одной лицо покрыто веснушками, у другой слишком велик рот, у третьей большой нос; а я ничего этого не замечал. Конечно, эти рассуждения в достаточной мере банальны, но я не мог удержаться от них, чтобы читатель не подумал, будто великаны, к которым я попал, действительно очень безобразны. Напротив, я должен отдать им справедливость и сказать, что это красивая раса; и, в частности, черты лица моего хозяина, несмотря на то что он простой фермер, казались мне очень правильными, когда я видел его на высоте шести - десяти футов.   
 После обеда хозяин ушел к работникам, наказав жене, насколько можно было судить по его голосу и жестам, обращаться со мной позаботливее. Я очень устал и хотел спать; заметя это, хозяйка положила меня на свою постель и укрыла чистым белым носовым платком, который, однако, был больше и толще паруса военного корабля.   
 Я проспал около двух часов, и мне снилось, что я дома в кругу семьи. Это еще усилило мою печаль, когда я проснулся и увидел, что нахожусь один в обширной комнате, шириною в двести или триста футов, а вышиною более двухсот, и лежу на кровати в двадцать ярдов ширины. Моя хозяйка отправилась по делам и заперла меня одного. Кровать возвышалась над полом на восемь ярдов; между тем некоторые естественные потребности побуждали меня сойти на землю. Позвать на помощь я не решался, да это было и бесполезно, потому что мой слабый голос не мог быть услышан на громадном расстоянии, отделявшем мою комнату от кухни, где находилась семья. Когда я пребывал в этом затруднительном положении, две крысы взобрались по пологу на постель и стали бегать, обнюхивая ее, взад и вперед. Одна подбежала к самому моему лицу; я в ужасе вскочил и вынул для защиты тесак. Эти гнусные животные имели дерзость атаковать меня с обеих сторон, и одна крыса даже уперлась передними лапами в мой воротник; к счастью, мне удалось распороть ей брюхо, прежде чем она успела причинить мне какой-нибудь вред. Она упала к моим ногам, а другая, видя печальную участь товарки, обратилась в бегство, получив в спину рану, которою я успел угостить ее, так что и она оставила за собою кровавый след. После этого подвига я стал прохаживаться взад и вперед по кровати, чтобы перевести дух и прийти в себя. Крысы эти были величиной с большую дворнягу, но отличались гораздо большим проворством и лютостью, так что, если бы, ложась спать, я снял свой тесак, они непременно растерзали бы меня на куски и сожрали. Я измерил хвост мертвой крысы и нашел, что он равен двум ярдам без одного дюйма. Однако у меня недостало присутствия духа сбросить крысу с постели, где кровь все еще шла из нее; заметив в ней некоторые признаки жизни, я сильным ударом разрубил ей шею и доконал ее.   
 Вскоре после этого в комнату вошла хозяйка. Увидя, что я весь окровавлен, она поспешно бросилась ко мне и взяла меня на руки. Я указал на убитую крысу, улыбкой и другими знаками давая ей понять, что сам я не ранен, чему она сильно обрадовалась. Позвав служанку, она велела ей взять крысу щипцами и выбросить за окно, а сама поставила меня на стол; тогда я показал ей окровавленный тесак, вытер его полой кафтана и вложил в ножны. Но я чувствовал настоятельную потребность сделать то, чего никто не мог сделать вместо меня, и поэтому всячески старался дать понять хозяйке, что хочу спуститься на пол. Когда это желание было исполнено, стыд помешал мне изъясниться более наглядно, и я ограничился тем, что указывая пальцем на дверь, поклонился несколько раз. С большим трудом добрая женщина поняла наконец, в чем дело; взяв меня в руку, она отнесла в сад и там поставила на землю. Отойдя ярдов на двести, я сделал знак, чтобы она не смотрела на меня, спрятался между двумя листками щавеля и совершил свои нужды.   
 Надеюсь, благосклонный читатель извинит меня за то, что я останавливаю его внимание на такого рода подробностях; однако, сколь ни незначительными могут показаться они умам пошлым и низменным, они, несомненно, помогут философу обогатиться новыми мыслями и применить их на благо общественное и личное, попечение о коем являлось моей единственной целью при опубликовании описания как настоящего, так и других моих путешествий; больше всего заботился я в них о правде, ни сколько не стараясь блеснуть ни образованностью, ни слогом. Все, что случилось со мной во время этого путешествия, произвело такое глубокое впечатление на мой ум и так отчетливо удержалось в моей памяти, что, поверяя эти события бумаге, я не мог опустить ни одного существенного обстоятельства. Тем не менее, после внимательного просмотра своей рукописи, я вычеркнул много мелочей, содержавшихся в первоначальной редакции, из боязни показаться скучным и мелочным, в чем так часто, может быть не без основания, обвиняют путешественников.

**ГЛАВА II**

Портрет дочери фермера. Автора отвозят в соседний город, а потом в столицу. Подробности его путешествия   
  
 Моя хозяйка имела девятилетнюю дочь, очень развитую для своего возраста, искусно владевшую иголкой и отлично одевавшую свою куклу. Вместе с матерью она смастерила мне на ночь постель в колыбельке куклы; колыбелька эта была положена в небольшой ящик из комода, а ящик поставлен на подвешенную к потолку полку, чтобы уберечь меня от крыс. Такова была моя постель все время, пока я жил с этими людьми, но она становилась более удобной по мере того, как я, начав усваивать их язык, мог объяснять, что мне нужно. Девочка была настолько сметлива, что, увидя раз или два, как я раздеваюсь, могла и сама одевать и раздевать меня, но я никогда не злоупотреблял ее услугами и предпочитал, чтобы она позволяла мне делать то и другое самому. Она сшила мне семь рубашек и другое белье из самого тонкого полотна, какое только можно было достать, но, говоря без преувеличения, это полотно было гораздо толще нашей дерюги; она постоянно собственноручно стирала его для меня. Она была также моей учительницей и обучила меня своему языку: когда я пальцем указывал на какой-нибудь предмет, она называла его, так что через несколько дней я мог попросить все, что мне было нужно. Она отличалась прекрасным характером и была для своих лет небольшого роста - всего около сорока футов. Она дала мне имя Грильдриг, которое утвердилось за мной сперва в семье, а потом и во всем королевстве. Это слово означает то же, что латинское "homunculus", итальянское "homynceletino" и английское "mannikin". Я был обязан главным образом ей сохранением своей жизни в этой стране. Мы никогда не разлучались во все время моего пребывания там. Я называл ее моей Глюмдальклич, то есть нянюшкой, и заслужил бы упрек в глубокой неблагодарности, если бы не упомянул здесь о заботах и теплой ко мне привязанности Глюмдальклич; мне от души хотелось бы отплатить ей по заслугам, вместо того чтобы стать невольным, но пагубным орудием постигшей ее немилости, как я имею большие основания опасаться.   
 Вскоре после моего прибытия между соседями хозяина начали распространяться слухи, что он нашел в поле странного зверька, величиной почти со сплекнока, но по виду своему совершенно похожего на человека; говорили, что этот зверек подражает всем действиям человека, что он как будто даже говорит на каком-то собственном наречии и уже выучился произносить несколько слов на их языке; что он ходит, держась прямо на двух ногах, что он ручной, покорный, идет на зов и делает все, что ему приказывают; что строение его очень нежное, а лицо белее, чем у дворянской трехлетней девочки. Другой фермер, близкий сосед и большой приятель моего хозяина, пришел к нему разведать, насколько справедливы все эти слухи. Меня немедленно вынесли и поставили на стол, где я по команде расхаживал, вынимал из ножен мой тесак и вкладывал его обратно, делал реверанс гостю моего хозяина, спрашивал на его языке, как он поживает, говорил, что рад его видеть, - словом, в точности исполнял все, чему научила меня моя нянюшка. Чтобы лучше рассмотреть меня, фермер этот, человек старый и слабый глазами, надел очки; взглянув на него, я не мог удержаться от смеха, ибо глаза его казались похожими на полную луну, когда она светит в комнату в два окошка. Домашние, поняв причину моей веселости, стали тоже смеяться, и старикан оказался настолько глуп, что рассердился и счел себя обиженным. Он был известен как большой скряга, и на мое несчастье эта репутация оказалась вполне заслуженной, потому что он тут же дал моему хозяину проклятый совет показывать меня как диковину на ярмарке в ближайшем городе, до которого было от нашего дома полчаса езды, то есть около двадцати двух миль. Я догадался, что затевается какое-то дурное дело, когда старик начал долго перешептываться с хозяином, указывая по временам на меня; от страха мне показалось даже, что я уловил и понял несколько слов. На другой день утром моя нянюшка Глюмдальклич рассказала мне, в чем дело, искусно выведав все у матери. Прижав меня к груди, бедная девочка заплакала от стыда и горя. Она боялась, как бы мне не вышло какого-нибудь худа от этих грубых, неотесанных людей, которые, беря меня на руки, могли задушить меня или причинить мне увечье. С другой стороны, зная мою природную скромность и чувствительность в делах чести, она предвидела, в каком я буду негодовании, если меня станут показывать за деньги на потеху толпы. Она сказала, что ее папа и мама обещали подарить ей Грильдрига, но она видит теперь, что они хотят поступить с ней так же, как в прошлом году, когда подарили ягненка: как только он откормился, его продали мяснику. Признаюсь откровенно, я был меньше огорчен этими известиями, чем моя нянюшка. Я твердо надеялся - и эта надежда никогда меня не покидала, - что в один прекрасный день я верну себе свободу; что же касается позора быть выставленным напоказ как чудище, то я чувствовал себя совершенно чужим в этой стране и полагал, что в моем несчастье никто не вправе будет упрекнуть меня, если мне случится возвратиться в Англию, так как даже сам король Великобритании, оказавшись на моем месте, принужден был бы подвергнуться такому же унижению.   
 Послушавшись совета своего друга, мой хозяин в ближайший базарный день повез меня в ящике в соседний город, взяв с собой и маленькую дочь, мою нянюшку, которую он посадил на седло позади себя. Ящик был закрыт со всех сторон; в нем была только небольшая дверца, чтобы я мог входить и выходить, и несколько отверстий для доступа воздуха. Девочка была настолько заботлива, что положила в ящик стеганое одеяло с кроватки своей куклы, на которое я мог лечь. Все же эта поездка страшно растрясла и утомила меня, несмотря на то что она продолжалась всего полчаса. Лошадь каждым своим шагом покрывала около сорока футов и бежала такой крупной рысью, что ее движения напоминали мне движения корабля во время бури, который то поднимается волной в гору, то низвергается в бездну, с той только разницей, что они совершались с большей скоростью. Сделанный нами путь приблизительно равнялся пути между Лондоном и Сент-Олбансом[58]. Хозяин сошел с коня у гостиницы, где обычно останавливался. Посовещавшись с содержателем гостиницы и сделав некоторые приготовления, он нанял грультруда, то есть глашатая, чтобы объявить по городу о необыкновенном существе, которое будут показывать в гостинице под вывескою "Зеленого Орла"; существо это не больше сплекнока (местного очень изящного зверька шести футов длины), всей своей внешностью похоже на человека, умеет произносить несколько слов и проделывает разные забавные штуки.   
 Меня поставили на стол в самой большой комнате гостиницы, величиной, вероятно, в триста квадратных футов. Моя нянюшка стояла на табурете возле самого стола, чтобы охранять меня и указывать, что я должен делать. Во избежание толкотни хозяин впускал в комнату не более тридцати человек сразу. По команде девочки я ходил взад и вперед по столу; она задавала мне вопросы, которые были мне понятны, и я громко отвечал на них. Несколько раз я обращался к присутствующим, то свидетельствуя им свое почтение, то выражая желание снова их видеть у себя, то произнося еще и другие фразы, которые я выучил. Я брал наперсток, наполненный вином, который Глюмдальклич дала мне вместо рюмки, и выпивал за здоровье публики. Я вынимал тесак и размахивал им, как показывают учителя фехтования в Англии. Моя нянюшка дала мне соломинку, и я проделывал ею упражнения, как пикой, искусству владеть которой меня обучали в юности. В этот день было двенадцать перемен зрителей, и каждый раз мне приходилось сызнова повторять те же штуки, так что они страшно надоели мне и утомили до полусмерти. Видевшие представление передавали обо мне такие чудеса, что народ буквально ломился в гостиницу. Оберегая свои интересы, мой хозяин не позволял никому, кроме дочери, прикасаться ко мне, и для предупреждения опасности скамьи были отставлены далеко от стола. Несмотря на это, какой-то школьник запустил мне в голову орех с такой силой, что, не промахнись он, орех этот, наверное, раскроил бы мне череп, так как величиной он был с нашу тыкву. К моему удовлетворению, озорника поколотили и выгнали вон из залы.   
 Мой хозяин объявил по городу, что снова будет показывать меня в ближайший базарный день. Тем временем он изготовил для меня более удобную повозку, в которой я очень нуждался, так как первое путешествие и непрерывное восьмичасовое представление до того изнурили меня, что я насилу стоял на ногах и едва мог выговорить слово. Мне понадобилось целых три дня, чтобы прийти в себя и восстановить свои силы, тем более что и дома я не знал покоя, так как все соседние дворяне, на сто миль в окружности, наслышавшись обо мне, приезжали к хозяину посмотреть на диковину. Каждый день у меня бывало не менее тридцати человек с женами и детьми (так как страна эта густо населена); и мой хозяин, показывая меня дома, всегда требовал плату за полную залу, хотя бы в ней находилось только одно семейство. Таким образом, в течение некоторого времени я почти не имел отдыха (кроме среды - их воскресенья), несмотря на то, что меня не возили в город.   
 Видя, что я могу принести ему большие барыши, хозяин решил объехать со мною все крупные города королевства. Собрав все необходимое для долгого путешествия и сделав распоряжения по хозяйству, он простился с женой, и 17 августа 1705 года, то есть через два месяца после моего прибытия, мы отправились в столицу, расположенную почти в центре этого государства, на расстоянии трех тысяч миль от нашего дома. Хозяин поместил позади себя свою дочь Глюмдальклич. Она держала меня на коленях в ящике, привязанном к ее талии. Девочка обила стенки ящика самой мягкой материей, какую только можно было найти, а пол устлала войлоком, поставила мне кроватку куклы, снабдила меня бельем и всем необходимым и вообще постаралась устроить меня как можно удобнее. Нас сопровождал один работник, ехавший за нами с багажом.   
 Мой хозяин собирался показывать меня во всех городах, лежавших на нашем пути; кроме того, он удалялся иногда на пятьдесят и даже на сто миль в сторону от дороги, в какую-нибудь деревню или к какому-нибудь знатному лицу, если рассчитывал заработать деньги. Мы делали в день не больше ста сорока или ста шестидесяти миль, потому что Глюмдальклич, заботясь обо мне, жаловалась, что она устает от верховой езды. По моему желанию, она часто вынимала меня из ящика, чтобы дать подышать свежим воздухом и показать окрестности, но всегда крепко держала меня за помочи. Мы переправились через пять или шесть рек, в несколько раз шире и глубже Нила и Ганга, и едва ли нам встретился хоть один такой маленький ручеек, как Темза у Лондонского моста. Мы были в пути десять недель, и в течение этого времени меня показывали в восемнадцати больших городах, не считая множества деревень и частных домов.   
 Двадцать пятого октября мы прибыли в столицу, называемую на тамошнем языке Лорбрульгруд, или "Гордость Вселенной". Мой хозяин остановился на главной улице, недалеко от королевского дворца, и выпустил афиши с точным описанием моей особы и моих дарований. Он нанял большую залу, шириною в триста или четыреста футов, и поставил в ней стол футов шестидесяти в диаметре, на котором я должен был проделывать свои упражнения; стол этот обнесен был решеткой вышиной в три фута и на таком же расстоянии от краев, чтобы предохранить меня от падений. К общему удовлетворению и восхищению, меня показывали по десяти раз в день. В это время я уже довольно сносно говорил на местном языке и превосходно понимал все задаваемые мне вопросы. Мало того, я выучил азбуку и мог читать нетрудные фразы, чем я обязан моей Глюмдальклич, которая занималась со мной дома, а также в часы досуга во время путешествия. При ней была в кармане книжечка немного побольше атласа Сансона[59], заключавшая в себе краткий катехизис для девочек. По этой книге она выучила меня азбуке и чтению.

**ГЛАВА III**

Автора требуют ко двору. Королева покупает его у фермера и представляет королю. Автор вступает в диспут с великими учеными его величества. Ему устраивают помещение во дворце. Он в большой милости у королевы. Он защищает честь своей родины. Его ссоры с карликом королевы   
  
 Непрерывные ежедневные упражнения, продолжавшиеся в течение нескольких недель, сильно подорвали мое здоровье. Чем более я доставлял выгод моему хозяину, тем ненасытнее он становился. Я совсем потерял аппетит и стал похож на скелет. Заметя это, фермер пришел к заключению, что я скоро умру, и потому решил извлечь из меня все, что только возможно. Когда он пришел к такому выводу, к нему явился слардрал, или королевский адъютант, с требованием немедленно доставить меня во дворец для развлечения королевы и придворных дам. Некоторые из последних меня уже видели и распустили необыкновенные слухи о моей красоте, хороших манерах и большой сообразительности. Ее величество и ее свита пришли от меня в неописуемый восторг. Я упал на колени и попросил позволения поцеловать ногу ее величества, но королева милостиво протянула мне мизинец (после того как меня поставили на стол), который я обнял обеими руками и с глубоким почтением поднес к губам. Она задала мне несколько общих вопросов относительно моей родины и путешествий, на которые я ответил как только мог короче и отчетливее. Затем она спросила, буду ли я доволен, если меня оставят во дворце. Я низко поклонился королеве и скромно ответил, что я раб своего хозяина, но что если бы я был свободен распоряжаться своей судьбой, то с радостью посвятил бы свою жизнь служению ее величеству. Тогда королева спросила моего хозяина, согласен ли он продать меня за хорошую цену. Так как мой хозяин боялся, что я не проживу и месяца, то очень обрадовался случаю отделаться от меня и запросил тысячу золотых, которые тут же ему были отсчитаны. Каждый из этих золотых равнялся восьмистам мойдорам, но если принять во внимание соотношение между всеми предметами этой страны и Европы, а также высокую цену золота там, то эта сумма едва окажется равной тысяче английских гиней[60]. Тогда я сказал королеве, что теперь, сделавшись преданнейшим вассалом ее величества, я осмеливаюсь просить милости, чтобы Глюмдальклич, которая всегда проявляла столько заботливости и доброты ко мне и умела так хорошо за мной ухаживать, была принята на службу ее величества и по-прежнему оставалась моей нянюшкой и учительницей. Ее величество согласилась исполнить мою просьбу и легко получила согласие фермера, очень довольного тем, что его дочь была устроена при дворе, что же касается самой Глюмдальклич, то бедная девочка не могла скрыть свою радость. Мой бывший хозяин удалился, пожелав мне всякого добра и сказав, что оставляет меня на прекрасной службе. Я не ответил ему ни слова и ограничился только легким поклоном.   
 Королева заметила мою холодность и, когда фермер оставил апартаменты, спросила о причине ее. Я взял на себя смелость ответить ее величеству, что я обязан этому человеку только тем, что мне, бедному, безобидному созданию, не размозжили голову, когда случайно нашли на его поле; что я с избытком вознаградил фермера за это одолжение теми деньгами, которые он выручил, показав меня едва ли не половине королевства, и которые получил сейчас, продав меня; что, находясь у него, я влачил самое тяжелое существование, которое едва ли вынесло бы животное, сильнейшее меня в десять раз; что мое здоровье очень подорвано непрерывной повинностью забавлять зевак с утра до ночи и что если бы фермер не считал мою жизнь в опасности, то ее величество не приобрела бы меня за такую дешевую цену. Но так как теперь мне нечего страшиться дурного обращения под покровительством столь великой и милостивой государыни, украшения природы, любви вселенной, услады своих подданных, феникса творения, то я надеюсь, что опасения моего бывшего хозяина окажутся неосновательны, потому что я уже чувствую восстановление душевных сил под влиянием августейшего присутствия ее величества[61].   
 Такова была в общих чертах моя речь, произнесенная очень нескладно и с большими запинками. Последняя часть этой речи была составлена в принятом здесь стиле, с которым познакомила меня Глюмдальклич, научив нескольким фразам по дороге во дворец. Королева, отнесясь весьма снисходительно к моему недостаточному знанию языка, была поражена тем, что нашла в таком маленьком создании столько ума и здравого смысла. Она взяла меня в руку и понесла к королю, находившемуся тогда в своем кабинете. Его величество, государь важный и суровый, не рассмотрев меня хорошенько с первого взгляда, холодно спросил королеву, с каких это пор она пристрастилась к сплекнокам; ибо он, по-видимому, принял меня за это животное, когда я лежал ничком на правой руке ее величества. Но государыня, отличавшаяся тонким умом и веселым характером, бережно поставила меня на письменный стол и приказала рассказать его величеству о моих приключениях, что я и сделал в немногих словах. Глюмдальклич, стоявшая у дверей кабинета, - она ни на минуту не упускала меня из виду, - получив позволение войти, подтвердила все случившееся со мной со времени моего появления в доме ее отца.   
 Хотя король был ученейшим человеком во всем государстве и получил отличное философское и особенно математическое образование, однако, рассмотрев внимательно мою внешность и видя, что я хожу прямо, он сначала принял меня за заводную фигурку с часовым механизмом, сделанную каким-нибудь изобретательным мастером (нужно заметить, что искусство строить механизмы доведено здесь до величайшего совершенства). Но когда он услышал мой голос и нашел, что речь у меня складная и разумная, то не мог скрыть своего удивления. Он не поверил ни одному слову из моего рассказа о том, как я прибыл в его королевство, и подумал, что вся эта история выдумана Глюмдальклич и ее отцом, которые заставили меня заучить ее, чтобы выгоднее меня продать. Ввиду этого он задал мне ряд других вопросов, на которые получил разумные ответы, не содержавшие никаких недостатков, кроме иностранного акцента, несовершенного знания языка и нескольких простонародных выражений, заимствованных мною в семье фермера и недопустимых в лощеной придворной речи.   
 Его величество велел пригласить трех больших ученых, отбывавших в то время недельное дежурство во дворце, согласно обычаям этого государства. Эти господа после продолжительного весьма тщательного исследования моей внешности пришли к различным заключениям относительно меня. Все трое, однако, согласились, что я не мог быть произведен на свет согласно нормальным законам природы, потому что не наделен способностью самосохранения, поскольку не обладаю ни быстротой ног, ни умением взбираться на деревья или рыть норы в земле. Обследовав внимательно мои зубы, они признали, что я животное плотоядное; но так как большинство четвероногих сильнее меня, а полевая мышь и некоторые другие отличаются гораздо большим проворством, то они не могли понять, каким образом я добываю себе пищу, разве только питаюсь улитками и разными насекомыми, каковое предположение было, однако, при помощи многих ученых аргументов, признано несостоятельным. Один из этих виртуозов склонялся к мысли, что я являюсь только эмбрионом или недоноском. Но это мнение было отвергнуто двумя другими, которые указали на то, что мои члены развиты в совершенстве и закончены и что я живу уже много лет, о чем красноречиво свидетельствует моя борода, волоски которой они отчетливо видели в лупу. Они не допускали также, чтобы я был карлик, потому что мой крошечный рост был вне всякого сравнения; и, например, любимый карлик королевы, самый маленький человек во всем государстве, был ростом в тридцать футов. После долгих дебатов они пришли к единодушному заключению, что я не что иное, как "рельплюм сколькатс", что в буквальном переводе означает "lusus naturae' ("игра природы") - определение как раз в духе современной европейской философии, профессора которой, относясь с презрением к ссылке на "скрытые причины", при помощи которых последователи Аристотеля тщетно стараются замаскировать свое невежество, изобрели это удивительное разрешение всех трудностей, свидетельствующее о необыкновенном прогрессе человеческого знания[62].   
 После этого заключительного решения я попросил позволения сказать несколько слов. Обратившись к королю, я уверил его величество, что прибыл из страны, населенной миллионами существ обоего пола одинакового со мной роста, где все животные, деревья, дома имеют соответственно уменьшенные размеры и где, вследствие этого, я так же способен защищаться и добывать пищу, как делает это здесь каждый подданный его величества, так что все аргументы господ ученых несостоятельны. На это они ответили лишь презрительной улыбкой, заявив, что фермер давал мне прекрасные уроки. Король, человек гораздо более смышленый, чем эти ученые мужи, отпустил их и послал за фермером, который, к счастью, еще не уехал из города. Расспросив фермера сперва наедине, а потом устроив ему очную ставку со мной и дочерью, его величество стал склоняться к мысли, что все рассказанное нами близко к истине. Он выразил желание, чтобы королева окружила меня особыми заботами, и изъявил согласие оставить при мне Глюмдальклич, потому что заметил нашу большую привязанность друг к другу. Для девочки было отведено помещение при дворе; ей назначили гувернантку, которая должна была заняться ее воспитанием, горничную, чтобы одевать ее, и еще двух служанок для других услуг; но попечение обо мне было возложено всецело на Глюмдальклич. Королева приказала своему придворному столяру смастерить ящик, который мог бы служить мне спальней, по образцу, одобренному мной и Глюмдальклич. Этот столяр был замечательный мастер: в три недели он соорудил по моим указаниям деревянную комнату в шестнадцать футов длины и ширины и двенадцать футов высоты, с опускающимися окнами, дверью и двумя шкафами, как обыкновенно устраиваются спальни в Лондоне. Доска, из которой был сделан потолок, поднималась и опускалась на петлях, чтобы можно было ставить в спальне кровать, отделанную обойщиком ее величества. Глюмдальклич каждый день выносила эту кровать на воздух, собственноручно убирала ее и вечером снова ставила ее на место, опустив надо мною потолок. Другой мастер, известный искусным изготовлением мелких безделушек, сделал для меня из какого-то особенного материала, похожего на слоновую кость, два кресла с подлокотниками и спинками, два стола и комод для моих вещей. Все стены комнаты, а также потолок и пол были обиты войлоком для предупреждения несчастных случайностей от неосторожности носильщиков, а также для того, чтобы ослабить тряску во время езды в экипаже. Я попросил сделать в двери замок, чтобы оградить мою комнату от крыс и мышей. После нескольких проб слесарь сделал наконец самый маленький, какой когда-либо был видан здесь, но мне случилось видеть больший у ворот одного барского дома в Англии. Ключ я всегда носил в кармане, боясь, чтобы Глюмдальклич не потеряла его. Королева приказала также сделать мне костюм из самой тонкой шелковой материи, какую только можно было найти; эта материя оказалась все же толще английских одеял и очень беспокоила меня, пока я не привык к ней. Костюм был сшит по местной моде, напоминавшей частью персидскую, частью китайскую, и был очень скромен и приличен.   
 Королева так полюбила мое общество, что никогда не обедала без меня. На стол, за которым сидела ее величество, ставили мой столик и стул, возле ее левого локтя. Глюмдальклич стояла около меня на табурете; она присматривала и прибирала за мной. У меня был полный серебряный сервиз, состоявший из блюд, тарелок и другой посуды; по сравнению с посудой королевы он имел вид детских кукольных сервизов, которые мне случалось видеть в лондонских игрушечных лавках. Моя нянюшка носила этот сервиз в кармане в серебряном ящике; за обедом она ставила что было нужно на моем столе, а после обеда сама все мыла и чистила. Кроме королевы, за ее столом обедали только две ее дочери принцессы; старшей было шестнадцать лет, а младшей тринадцать и один месяц. Ее величество имела обыкновение собственноручно класть мне на блюдо кусок говядины, который я резал сам; наблюдать за моей едой и моими крошечными порциями доставляло ей большое удовольствие. Сама же королева (несмотря на свой нежный желудок) брала в рот сразу такой кусок, который насытил бы дюжину английских фермеров, так что в течение некоторого времени я не мог без отвращения смотреть на это зрелище. Она грызла и съедала с костями крылышко жаворонка, хотя оно было в десять раз больше крыла нашей индейки, и откусывала кусок хлеба величиной в две наши ковриги по двенадцати пенни. В один прием выпивала она золотой кубок вместимостью в нашу бочку. Ее столовые ножи были в два раза больше нашей косы, если ее выпрямить на рукоятке. Соответственного размера были также ложки и вилки. Я вспоминаю, что раз Глюмдальклич понесла меня в столовую показать лежавшие вместе десять или двенадцать этих огромных ножей и вилок: мне кажется, что я никогда не видел более страшного зрелища.   
 Каждую среду (которая, как я уже сказал, была их воскресеньем) король, королева и их дети обыкновенно обедали вместе в покоях его величества, большим фаворитом которого я теперь сделался. На таких обедах мой стул и стол ставили по левую руку его величества, перед одной из солонок. Государь этот с удовольствием беседовал со мной, расспрашивая о европейских нравах, религии, законах, управлении и науке, и я давал ему обо всем самый подробный отчет. Ум короля отличался большой ясностью, а суждения точностью, и он высказал весьма мудрые заключения и наблюдения по поводу рассказанного мной. Но, признаюсь, когда я слишком распространился о моем любезном отечестве, о нашей торговле, войнах на суше и на море, о религиозном расколе и политических партиях, король не выдержал, - видно было, что в нем заговорили предрассудки воспитания, - взял меня в правую руку и, лаская левой, с громким хохотом спросил, кто же я: виг или тори? Затем, обратясь к первому министру, который стоял тут же с белым жезлом, длиною в грот-мачту английского корабля "Царственный Монарх", заметил, как ничтожно человеческое величие, если такие крохотные насекомые, как я, могут его перенимать. Кроме того, сказал он, я держу пари, что у этих созданий существуют титулы и ордена; они мастерят гнездышки и норки и называют их домами и городами; они щеголяют нарядами и выездами; они любят, сражаются, ведут диспуты, плутуют, изменяют. Он продолжал в таком же тоне, и краска гнева покрыла мое лицо; я кипел от негодования, слыша этот презрительный отзыв о моем благородном отечестве, владыке искусств и оружия, биче Франции, третейском судье Европы, кладезе добродетели, набожности, чести и истины, гордости и зависти вселенной.   
 Но так как положение мое было не таково, чтобы злобствовать на обиды, то, по зрелом размышлении, я начал сомневаться, следует ли мне считать себя обиженным. Действительно, привыкнув в течение нескольких месяцев к внешности и разговорам этих людей и увидев, что все предметы, на которые обращались мои взоры, были пропорциональны величине обитателей, я мало-помалу утратил страх, первоначально овладевавший мной при виде их огромных размеров, и мне стало казаться, будто я нахожусь в обществе разряженных в праздничные платья английских лордов и леди, с их важной поступью, поклонами и пустой болтовней, самым изысканным и учтивым образом исполнявших свои роли; сказать правду, у меня возникло такое же сильное искушение посмеяться над ними, какое испытывал король и его вельможи, глядя на меня. И я не мог также удержаться от улыбки над самим собой, когда королева, поставя меня на руку, подносила к зеркалу, где мы оба были видны во весь рост; ничто не могло быть смешнее этого контраста, так что у меня возникла настоящая иллюзия, будто я в несколько раз стал меньше своего действительного роста.   
 Никто меня так не раздражал и не оскорблял, как карлик королевы. До моего приезда во всей стране не было человека ниже его (ибо я в самом деле думаю, что ростом он был неполных тридцати футов), и потому при виде создания, в несколько раз меньшего, карлик становился нахальным и всегда подбоченивался и смотрел на меня свысока, когда проходил мимо в передней королевы; видя, как я стою на столе и беседую с придворными, он не пропускал случая кольнуть меня и бросить остроту насчет моего роста. Отомстить ему я мог, только называя его своим братом, вызывая его на поединок, вообще бросая в ответ реплики, какие обычны в устах придворных пажей. Однажды за обедом этот злобный щенок был так задет каким-то моим замечанием, что, взобравшись на подлокотник кресла ее величества, схватил меня за талию в то время, как я спокойно сидел за своим столиком, и бросил в серебряную чашку со сливками, после чего убежал со всех ног. Я окунулся с головой в сливки, и, не будь я хороший пловец, мне пришлось бы, вероятно, очень туго, потому что Глюмдальклич в эту минуту находилась на другом конце комнаты, а королева так испугалась, что у нее не хватило сообразительности помочь мне. Но вскоре на выручку прибежала моя нянюшка и вынула меня из чашки, после того как я проглотил пинты две сливок. Меня уложили в постель; к счастью, все ограничилось порчей костюма, который пришлось выбросить. Карлика больно высекли и, кроме того, заставили выпить чашку сливок, в которых по его милости я искупался. С тех пор карлик навсегда потерял расположение королевы, и, спустя некоторое время, она подарила его одной знатной даме, так что, к моему великому удовольствию, я его больше не видел; ибо трудно сказать, до каких пределов могла дойти злоба этого урода.   
 Еще раньше он сыграл со мной одну грубую шутку, которая хотя и рассмешила королеву, но в то же время рассердила ее, так что она немедленно прогнала бы его, если бы не мое великодушное заступничество. Однажды за обедом ее величество взяла на тарелку мозговую кость и, вытряхнув из нее мозг, положила обратно на блюдо. Карлик, улучив момент, когда Глюмдальклич пошла к буфету, вскочил на табурет, на котором она всегда стояла, присматривая за мной во время обеда, схватил меня обеими руками и, стиснув мне ноги, засунул выше пояса в пустую кость, где я и оставался некоторое время, предоставляя очень смешную фигуру. Прошло, вероятно, не меньше минуты, прежде чем кто-то заметил эту проказу, так как я считал ниже своего достоинства закричать. При дворе редко подают горячие кушанья, и только благодаря этому обстоятельству я не обжег ног, но мои чулки и панталоны оказались в плачевном состоянии. Карлика высекли, однако же вследствие моего заступничества наказание этим и ограничилось.   
 Королева часто потешалась над моей боязливостью и спрашивала, все ли мои соотечественники такие трусы. Поводом к насмешкам королевы послужило следующее обстоятельство. Летом здесь множество мух; эти проклятые насекомые величиной с данстеблского жаворонка[63], непрерывно жужжа и летая вокруг меня, не давали мне за обедом ни минуты покоя. Они садились иногда на мое кушанье, оставляя на нем свои омерзительные экскременты или яйца; все это, отчетливо видимое мною, оставалось совершенно незаметным для туземцев, громадные глаза которых не были так зорки, как мои, по отношению к небольшим предметам. Иногда мухи садились мне на нос или на лоб и кусали до крови, распространяя отвратительный запах, причем мне нетрудно было видеть на их лапках следы того липкого вещества, которое, по словам наших натуралистов, позволяет этим насекомым свободно гулять по потолку. Мне стоило больших хлопот защищаться от гнусных тварей, и я невольно содрогался, когда они садились на мое лицо. Любимой забавой карлика было набрать в кулак несколько мух, как это делают у нас школьники, и неожиданно выпустить их мне под нос, чтобы таким образом испугать меня и рассмешить королеву. Единственной моей защитой в этом случае был нож, которым я рассекал мух на части в то время, когда они подлетали ко мне, вызывая своей ловкостью общее восхищение.   
 Помню еще, как однажды утром Глюмдальклич поставила меня в ящик на подоконник, что обыкновенно делала в хорошую погоду, желая дать мне возможность подышать свежим воздухом (я никогда не соглашался, чтобы ящик вешали на гвозде за окном, как мы вешаем клетки с птицами в Англии). Я поднял одно из моих окон, сел за стол и стал завтракать куском сладкого пирога, как вдруг штук двадцать ос, привлеченные запахом, влетели в мою комнату с таким жужжанием, будто заиграло двадцать волынок. Одни завладели моим пирогом и раскрошили его на кусочки, другие летали над головой, оглушая меня жужжанием и наводя неописуемый ужас своими жалами. Тем не менее у меня достало храбрости вынуть из ножен тесак и атаковать их в воздухе. Четырех я убил, остальные улетели, после чего я мгновенно захлопнул окно. Эти насекомые были величиною с куропатку. Я повынимал у них жала, оказавшиеся острыми, как иголки, и достигавшие полутора дюймов в длину. Все четыре эти жала я тщательно сохранил и потом показывал вместе с другими редкостными вещами в разных частях Европы; по возвращении в Англию три я отдал в Грешэм-колледж, а четвертое оставил себе[64].

**ГЛАВА IV**

Описание страны. Предлагаемое автором исправление географических карт. Королевский дворец и несколько слов о столице. Способ путешествия автора. Описание главного храма   
  
 Теперь я собираюсь дать читателю краткое описание страны, по крайней мере той ее части, которую я объехал и которая простиралась не более чем на две тысячи миль вокруг Лорбрульгруда, столицы королевства. Королева, возившая меня с собой, никогда не отъезжала от столицы дальше, сопровождая короля в его путешествиях; там она обыкновенно делала остановку и ожидала возвращения его величества с границ государства. Владения этого монарха простираются на шесть тысяч миль в длину и от трех до пяти тысяч миль в ширину. Отсюда я заключаю, что наши европейские географы совершают большую ошибку, предполагая существование сплошного океана между Японией и Калифорнией[65]; я был всегда того мнения, что здесь необходимо должна быть земля, служащая противовесом громадному материку Татарии; вследствие этого им необходимо исправить свои карты и планы, присоединив обширное пространство земли к северо-западным частям Америки, в чем я охотно окажу им помощь.   
 Описываемое королевство есть полуостров, ограниченный на северо-востоке горным хребтом высотой до тридцати миль; этот хребет совершенно непроходим по причине вулканов, венчающих его вершины. Величайшие ученые не знают, какого рода смертные живут по ту сторону гор и даже вообще обитаемы ли те места. С остальных трех сторон полуостров окружен океаном. Во всем королевстве нет ни одного морского порта, и те побережья, где реки впадают в море, так густо усеяны острыми скалами и море там так бурно, что никто не отваживается проникнуть в него даже в самой маленькой лодке; таким образом, эти люди совершенно отрезаны от общения с остальным миром. Но их большие реки покрыты судами и изобилуют превосходной рыбой; морскую же рыбу они ловят редко, потому что она такой же величины, как и в Европе, и, следовательно, для них слишком мелка. Отсюда ясно, что природа, произведя растения и животных столь огромных размеров, ограничила их распространение только этим континентом; причины этого явления пусть определяют философы. Впрочем, иногда туземцы ловят китов, когда последних прибивает к скалам, и простой народ охотно употребляет их в пищу. Я видел там таких китов, что человек едва мог нести их на плечах. Иногда, как диковинку, их привозят в корзинах в Лорбрульгруд. Мне привелось видеть кита редкой величины на блюде за королевским столом, но я не заметил, чтобы это кушанье понравилось королю; мне кажется даже, что он чувствовал отвращение к этой громаде, хотя в Гренландии я встречал китов еще больших размеров.   
 Страна эта плотно населена, ибо она заключает в себе пятьдесят один большой город, около ста крепостей, обнесенных стенами, и большое число деревень. Для удовлетворения любопытства читателей достаточно будет описать Лорбрульгруд. Город этот расположен по обоим берегам реки, которая делит его на две почти равные части. В нем свыше восьмидесяти тысяч домов и около шестисот тысяч жителей. Он тянется в длину на три глонглюнга (что составляет около пятидесяти четырех английских миль), а в ширину на два с половиной глонглюнга. Я сам произвел эти измерения на карте, составленной по приказанию короля и нарочно для меня разложенной на земле, где она занимала пространство в сто футов. Разувшись, я прошел несколько раз по диаметру и окружности карты, сосчитал число моих шагов и без труда определил по масштабу точное протяжение города.   
 Королевский дворец не представляет собой одного правильного здания: это скученная масса построек, занимающих семь миль в окружности; главные комнаты имеют обыкновенно двести сорок футов вышины и соответствующую длину и ширину. Для меня и Глюмдальклич была предоставлена карета, в которой она вместе с гувернанткой часто ездила осматривать город или делать покупки. В этих прогулках я всегда принимал участие, сидя в своем ящике; но по моей просьбе девочка вынимала меня оттуда и держала на руке, чтобы мне было удобнее рассматривать дома и людей, когда мы проезжали по улицам. Мне кажется, что наша карета была не меньше Вестминстер-Холла, но не такая высокая; впрочем, я не могу поручиться за точность моих сравнений. Однажды гувернантка приказала кучеру остановиться возле лавок; воспользовавшись этим случаем, по сторонам кареты столпились нищие, и тут для моего непривычного европейского глаза открылось самое ужасное зрелище. Среди них была женщина, пораженная раком; ее грудь была чудовищно вздута, и на ней зияли раны такой величины, что в две или три из них я легко мог забраться и скрыться там целиком. У другого нищего на шее висел зоб величиной в пять тюков шерсти; третий стоял на деревянных ногах, вышиною в двадцать футов каждая. Но омерзительнее всего было видеть вшей, ползавших по их одежде. Простым глазом я различал лапы этих паразитов гораздо лучше, чем мы видим в микроскоп лапки европейской вши; так же ясно я видел их рыла, которыми они копались, как свиньи. В первый раз в жизни я встретил подобных животных, и я бы с большим интересом анатомировал одно из них, несмотря на то что отвратительный их вид возбуждал во мне тошноту, если бы у меня были хирургические инструменты (которые, к несчастью, остались на корабле).   
 Кроме большого ящика, в котором меня обыкновенно носили, королева заказала специально для поездок другой, поменьше, около двенадцати футов в длину и ширину и около десяти футов в высоту, так как первый был слишком велик для колен Глюмдальклич и загромождал карету. Этот второй ящик был сделан по моим указаниями тем же самым мастером; он был совершенно квадратный, и в трех его стенках было проделано по окну; каждое окно было защищено снаружи железной проволокой для ограждения от всяких случайностей во время далеких путешествий. К четвертой, глухой, стороне были прикреплены две прочных скобы, в которые лицо, бравшее меня с собой, когда у меня являлось желание ехать на лошади, просовывало кожаный ремень и застегивало его у себя на поясе. Обязанность эта всегда поручалась какому-нибудь верному и опытному слуге, на которого я мог положиться, сопровождал ли я короля и королеву в их путешествиях, хотелось ли мне посмотреть сады или сделать визит придворной даме или министру в то время, когда Глюмдальклич чувствовала себя нездоровой; ибо я скоро познакомился с самыми высокими сановниками, которые стали оказывать мне величайшее почтение, хотя, вероятно, не столько вследствие моих личных достоинств, сколько потому, что я был в милости у их величеств. Если во время путешествия меня утомляла езда в карете, то слуга, ехавший верхом, пристегивал к себе мой ящик и ставил его на подушку перед собой. Таким образом, я мог из окон осматривать окрестности с трех сторон. В ящике у меня были походная постель, гамак, подвешенный к потолку, два стула и стол, крепко привинченные к полу, чтобы они не могли падать и опрокидываться во время движения лошади или кареты. Мне, как человеку, давно привыкшему к морю, эти движения, хотя по временам они были очень резкими, не причиняли большого беспокойства.   
 Каждый раз, когда у меня возникало желание посмотреть город, я входил в свой дорожный кабинет, Глюмдальклич ставила его себе на колени, садилась в открытый портшез, и нас, согласно обычаю этой страны, несли четыре человека в сопровождении двух камер-лакеев королевы. Народ, наслышавшись обо мне, всегда толпился вокруг портшеза, и тогда девочка приказывала носильщикам остановиться и ставила меня на руку, чтобы любопытным было удобнее меня рассматривать.   
 Мне очень хотелось посетить главный храм и особенно возвышавшуюся над ним башню, которая считалась самой высокой в королевстве. И вот однажды моя нянюшка подняла меня туда. Однако я, признаться, спустился разочарованным, так как высота башни была не более трех тысяч футов, считая от основания до вершины, что, если принять во внимание разницу в росте европейца и туземца, не представляло ничего достойного удивления, так как башня эта (если память мне не изменяет) далеко не достигала высоты колокольни в Солсбери, в соответствующей пропорции[66]. Но, не желая уничижать нацию, которой я так много обязан, - о чем не перестану повторять всю свою жизнь, - я должен сказать, что небольшая высота этой башни сторицей возмещается ее красотой и прочностью. Стены, толщиной почти в сто футов, построены из тесаных камней, каждый из которых равняется почти сорока квадратным футам, и украшены со всех сторон статуями богов и императоров, больше натурального роста, высеченными из мрамора и поставленными в нишах. Я измерил сломанный мизинец от одной статуи, который валялся в куче мусора, и нашел, что длина его равняется четырем футам и одному дюйму. Глюмдальклич завернула этот обломок в платок и принесла домой в кармане, чтобы присоединить к другим безделушкам, которые она очень любила, как и все дети ее возраста.   
 Королевская кухня - поистине величественное сводчатое строение высотою около шестисот футов. Главная печь имеет в ширину на десять шагов меньше, чем купол собора св. Павла, который я нарочно измерил по возвращении в Англию. Но, я думаю, мне с трудом поверили бы, если бы я стал описывать рашперы, чудовищные горшки и котлы, туши, поджариваемые на вертеле, или другие подробности; по крайней мере, строгие критики, чего доброго, подумают, что я немного преувеличиваю, подобно всем путешественникам. С другой стороны, желая избежать этого упрека, я боюсь впасть и в противоположную крайность; и если этот трактат будет переведен на бробдингнежский язык (Бробдингнег - название этого королевства) и попадет туда, то мне не хотелось бы, чтобы король и его подданные имели основание жаловаться на обиду, которую я причинил им, дав ложное и преуменьшенное представление об их стране.   
 Его величество редко держит в своих конюшнях более шестисот лошадей. Ростом они от пятидесяти четырех до шестидесяти футов. Во время торжественных выездов короля сопровождает гвардия в количестве пятисот всадников, что представляет зрелище, блистательнее которого, казалось мне, ничего не может быть, пока я не увидел его армии в боевом порядке, о чем буду иметь случай рассказать потом.

**ГЛАВА V**

Различные приключения автора. Казнь преступника. Автор показывает свое искусство в мореплавании   
  
 Жизнь моя была бы довольно счастливой в этой стране, если бы маленький рост не подвергал меня разным смешным и досадным случайностям, о которых я позволю себе рассказать читателям. Глюмдальклич часто выносила меня в меньшем ящике в дворцовый сад и иногда вынимала оттуда и держала на руке или спускала на землю прогуляться. Я вспоминаю, как однажды, еще в то время, когда карлик жил при дворе, он пошел в сад следом за нами. Моя нянюшка спустила меня - землю возле карликовых яблонь, где остановился также и он. И тут меня дернуло блеснуть своим остроумием и сделать глупый намек на то, что деревья являются такими же карликами, как и он (тамошний язык выражал это так же хорошо, как и наш). В отместку злой шут, улучив момент, когда я проходил под одной из яблонь, встряхнул ее прямо над моей головой, вследствие чего с десяток яблок, величиной в бристольский бочонок каждое, посыпалось вокруг меня, причем одно из них угодило мне в спину, когда я нагнулся, сшибло меня с ног, и я плашмя растянулся на земле, но не ушибся, и по моей просьбе карлик был прощен, тем более что я сам вызвал его на шалость.   
 В другой раз Глюмдальклич, оставив меня одного на зеленой лужайке, отлучилась куда-то со своей гувернанткой. Тем временем внезапно разразился такой страшный град, что я немедленно был повален им на землю, и, когда я упал, градины стали пребольно стегать меня по всему телу, точно теннисные мячи. Кое-как на четвереньках мне удалось доползти до края грядки с тимьяном и найти там убежище, уткнувшись лицом в землю, но я был так исколочен, что пролежал в постели десять дней. В этом нет ничего удивительного, потому что природа соблюдает здесь точное соответствие во всех своих явлениях, и каждая градина почти в тысячу восемьсот раз больше, чем у нас в Европе; я могу утверждать это на основании опыта, потому что из любопытства взвешивал тамошние градины и измерял их.   
 В том же саду со мной случилось другое, более опасное приключение. Однажды моя нянюшка, оставив меня в безопасном, по ее предположению, месте (о чем я часто просил ее, чтобы иметь возможность на свободе предаться своим размышлениям) и не взяв с собой моего ящика, чтобы не утруждать себя его переноской, ушла с гувернанткой и другими знакомыми дамами в другую часть сада, откуда не могла слышать моего голоса. Во время ее отсутствия небольшой белый спаниель, принадлежавший одному из садовников, забравшись случайно в сад, пробегал недалеко от места, где я лежал. Почуяв меня, собака устремилась ко мне, схватила меня в пасть и принесла к хозяину, подле которого осторожно положила меня на землю, виляя хвостом. По счастливой случайности, она была так хорошо выдрессирована, что принесла меня в зубах, не только не повредив моего тела, но даже не порвав платья. Бедный садовник, хорошо знавший меня и чувствовавший ко мне большое расположение, страшно перепугался. Он осторожно поднял меня обеими руками и спросил, как я себя чувствую; но от неожиданности у меня захватило дух, и я не мог выговорить ни слова. Спустя несколько минут я пришел в себя, и садовник отнес меня невредимым к моей нянюшке, которая в это время возвратилась, и, не найдя меня на прежнем месте, а также не получая ответа на зов, была в смертельном испуге. Она сильно выбранила садовника за собаку. Но мы умолчали об этом случае - она из боязни гнева королевы, а я, по правде говоря, из нежелания разглашать при дворе историю, в которой я играл не очень завидную роль.   
 После этого случая Глюмдальклич твердо решила ни на минуту не выпускать меня из виду, когда мы выходили из дому. Я давно боялся такого решения и потому скрывал от нее некоторые незначительные приключения, случавшиеся со мной в ее отсутствие. Раз коршун, паривший над садом, ринулся на меня, и если бы я не вытащил храбро тесак и, обороняясь им, не убежал под густой шпалерник, он, наверное, унес бы меня в своих когтях. В другой раз, взобравшись на вершину кротовины, я провалился по шею в нору, через которую крот выбрасывал землю; чтобы объяснить, почему у меня испорчено платье, я выдумал какую-то небылицу, которую не стоит повторять. Точно так же, гуляя раз в одиночестве и вспоминая мою бедную Англию, я споткнулся о раковину улитки и сломал себе голень правой ноги.   
 Не могу определить, удовольствие или унижение испытывал я во время этих одиноких прогулок, когда даже самые маленькие птицы не выказывали никакого страха в моем присутствии, но прыгали на расстоянии ярда от меня, отыскивая червяков и букашек с таким равнодушием и спокойствием, точно вблизи никого не было. Помню, раз дрозд настолько обнаглел, что клювом выхватил у меня из рук кусок пирога, который Глюмдальклич дала мне на завтрак. Когда я пытался поймать какую-нибудь птицу, она смело поворачивалась ко мне и норовила клюнуть в пальцы, а затем как ни в чем не бывало продолжала охотиться за червяками или улитками. Но однажды я взял толстую дубинку и так ловко запустил ею изо всей силы в коноплянку, что она повалилась замертво; тогда, схватив ее за шею обеими руками, я с торжеством побежал с ней к нянюшке. Между тем птица, которая была только оглушена, оправилась и начала наносить мне крыльями такие удары по голове и телу (хотя я держал ее вытянутыми руками и она не могла достать меня своими когтями), что раз двадцать я едва не выпустил ее. Но на выручку подоспел слуга, который свернул птице шею. На следующий день, по приказанию королевы, мне подали эту коноплянку на обед. Насколько могу припомнить, она показалась мне более крупной, чем наш лебедь.   
 Часто фрейлины приглашали Глюмдальклич в свои комнаты и просили ее принести меня с собой ради удовольствия посмотреть и потрогать меня. Часто они раздевали меня донага и голого клали себе на грудь, что мне было очень противно, потому что, говоря правду, их кожа издавала весьма неприятный запах. Я упоминаю здесь об этом обстоятельстве вовсе не с намерением опорочить этих прелестных дам, к которым я питаю всяческое почтение; просто мне кажется, что мои чувства, в соответствии с моим маленьким ростом, были более изощренны и нет никаких оснований думать, чтобы эти достопочтенные особы были менее приятны своим поклонникам или друг другу, чем особы того же ранга у нас в Англии. Наконец, я нахожу, что их природный запах гораздо сноснее тех духов, которые они обыкновенно употребляют и от которых мне всегда бывало дурно. Я никогда не забуду, как однажды в жаркую погоду, после того как я долго занимался физической работой, один мой близкий друг лилипут позволил себе пожаловаться на исходящий от меня резкий запах, хотя я так же мало страдаю этим недостатком, как и большинство представителей моего пола, и полагаю, что чувствительность лилипута была столь же тонкой по отношению ко мне, как моя по отношению к этим великанам. Но я не могу при этом не отдать должного моей повелительнице королеве и Глюмдальклич, моей нянюшке, тело которых было так же душисто, как тело самой деликатной английской леди.   
 Неприятнее всего у этих фрейлин (когда моя нянюшка приносила меня к ним) было слишком уж бесцеремонное их обращение со мной, словно я был существом, не имеющим никакого значения. Они раздевались донага, меняли сорочки в моем присутствии, когда я находился на туалетном столе перед их обнаженными телами; но я уверяю, что это зрелище совсем не соблазняло меня и не вызывало во мне никаких других чувств, кроме отвращения и гадливости; когда я смотрел с близкого расстояния, кожа их казалась страшно грубой и неровной, разноцветной и покрытой родимыми пятнами величиной с тарелку, а волоски, которыми она была усеяна, имели вид толстых бечевок; обойду молчанием остальные части их тела. Точно так же они нисколько не стеснялись выливать при мне то, что было ими выпито в количестве, по крайней мере, двух бочек, в сосуд, вмещавший не менее трех тонн. Самая красивая из этих фрейлин, веселая шаловливая девушка шестнадцати лет, иногда сажала меня верхом на один из своих сосков и заставляла совершать по своему телу другие экскурсии, но читатель разрешит мне не входить в дальнейшие подробности. Это до такой степени было неприятно мне, что я попросил Глюмдальклич придумать какое-нибудь извинение, чтобы не видеться больше с этой девицей.   
 Однажды молодой джентльмен, племянник гувернантки моей нянюшки, пригласил дам посмотреть смертную казнь[67]. Приговоренный был убийца близкого друга этого джентльмена. Глюмдальклич от природы была очень сострадательна, и ее едва убедили принять участие в компании; что касается меня, то хотя я питал отвращение к такого рода зрелищам, но любопытство соблазнило меня посмотреть вещь, которая, по моим предположениям, должна была быть необыкновенной. Преступник был привязан к стулу на специально воздвигнутом эшафоте; он был обезглавлен ударом меча длиною в сорок футов. Кровь брызнула из вен и артерий такой обильной и высокой струей, что с ней не мог бы сравняться большой версальский фонтан, и голова, падая на помост эшафота, так стукнула, что я привскочил, несмотря на то что находился на расстоянии, по крайней мере, английской полумили от места казни.   
 Королева, часто слышавшая мои рассказы о морских путешествиях и пользовавшаяся каждым удобным случаем, чтобы доставить мне развлечение, когда видела меня печальным, спросила однажды, умею ли я обращаться с парусами или с веслами и не будет ли полезно для моего здоровья позаниматься немного греблей. Я отвечал, что то и другое я умею в совершенстве, потому что хотя по профессии своей я хирург, или корабельный врач, но в критические минуты мне приходилось исполнять обязанности простого матроса. Правда, я не видел, каким образом желание королевы могло быть исполнено в этой стране, где самая маленькая лодка по своим размерам равнялась нашему первоклассному военному кораблю; с другой стороны, судно, которым я был бы в силах управлять, не выдержало бы напора воды ни одной здешней реки. Тогда ее величество сказала, что ее столяр сделает лодку, если я буду руководить его работой, и что она прикажет устроить бассейн для катания в этой лодке. Столяр, весьма искусный мастер, в десять дней соорудил по моим указаниям игрушечную лодку со всеми снастями, которая могла свободно выдержать восемь европейцев. Когда лодка была окончена, королева пришла " такой восторг, что тотчас же понесла показать ее королю. Последний приказал пустить ее для испытания в лохань с водой, но по недостатку места я не мог действовать там веслами. Однако королева еще раньше составила другой проект. Она приказала столяру сделать деревянное корыто в триста футов длины, пятьдесят ширины и восемь глубины. Это корыто, хорошо просмоленное для предохранения от течи, было поставлено на полу у стены одной из комнат дворца. На дне его находился кран для спуска воды, когда она начинала застаиваться, и двое слуг легко могли в полчаса снова наполнить его водой. В нем я часто занимался греблей как для собственного развлечения, так и для удовольствия королевы и ее фрейлин, которых очень забавляли мое искусство и ловкость. Иногда я ставил парус, и тогда моя работа ограничивалась управлением им, дамы же производили ветер своими веерами, когда же они уставали, то на мой парус дули пажи, между тем как я с настоящим искусством моряка держал лодку то на штирборте, то на бакборте. После катания Глюмдальклич уносила лодку в свою комнату и вешала ее на гвоздь для просушки.   
 Раз во время этих упражнений случилось происшествие, которое едва не стоило мне жизни. Когда паж опустил лодку в корыто, гувернантка Глюмдальклич любезно подняла меня, чтобы посадить в лодку. Но я проскользнул у нее между пальцами и непременно упал бы на пол с высоты сорока футов, если бы, по счастливой случайности, меня не задержала большая булавка в корсаже этой любезной дамы. Головка булавки прошла между рубашкой и поясом моих штанов, и, таким образом, я повис в воздухе, пока Глюмдальклич не прибежала ко мне на помощь.   
 В другой раз слуга, на обязанности которого лежало наполнять мое корыто каждые три дня свежей водой, по небрежности не доглядел, как вылил из ведра вместе с водой громадную лягушку. Когда меня сажали в лодку, лягушка притаилась; но едва увидев место, на которое можно было сесть, она вскарабкалась в лодку и так сильно накренила ее на одну сторону, что я должен был налечь всею тяжестью тела на противоположный борт, чтобы не дать лодке опрокинуться. Очутившись в лодке, лягушка стала прыгать взад и вперед над моей головой, обдавая мое лицо и платье своей вонючей слизью. Благодаря огромным своим размерам и нескладности она казалась мне самым безобразным животным, какое можно себе представить. Тем не менее я просил Глюмдальклич предоставить мне самому разделаться с ней. После нескольких тумаков веслом я наконец заставил ее выскочить из лодки.   
 Но величайшая опасность, какой только я подвергался в этом королевстве, исходила от обезьяны, принадлежавшей одному из служащих королевской кухни. Ушедши куда-то по делу или в гости, Глюмдальклич заперла меня в своей комнате. Погода стояла жаркая, и потому окно комнаты было открыто, точно так же как окна и дверь моего большого ящика, в котором я любил проводить время, так как он был обширен и удобен. Я сидел спокойно за столом и предавался размышлениям, как вдруг услышал, что кто-то проник через окно в комнату Глюмдальклич и стал прыгать по ней из конца в конец. Несмотря на сильный испуг, я все же рискнул, не трогаясь с места, взглянуть, что там происходит.   
 Я увидел обезьяну: она резвилась и скакала взад и вперед, пока не наткнулась на мой ящик, который стала рассматривать с большим любопытством и удовольствием, заглядывая во все окна и в дверь. Я забился в дальний угол своей комнаты, то есть ящика, но взор обезьяны, исследовавший его содержимое, привел меня в такой ужас, что я потерял способность соображать и не догадался спрятаться под кровать, хотя легко мог это сделать. Между тем обезьяна, с гримасами и дикими воплями осматривавшая мою комнату, в заключение обнаружила меня; тогда, просунув в дверь лапу, как кошка, играющая с мышью, она, - хотя я часто перебегал с места на место, чтобы ускользнуть от чудовища, - изловчилась, схватила меня за полу кафтана (сшитого из местного шелка, очень толстого и прочного) и вытащила наружу. Она взяла меня в верхнюю правую лапу и стала держать так, как кормилица держит ребенка, которому собирается дать грудь; у нас в Европе я сам наблюдал, как обезьяны берут таким образом котят. Когда я попытался сопротивляться, она так сильно сжала меня, что я счел более благоразумным покориться. По всей вероятности, она приняла меня за детеныша своей породы, потому что часто нежно гладила меня по лицу свободной лапой. Шум отворяемой двери прервал эти нежности; обезьяна мгновенно бросилась в окно, через которое она проникла в комнату, а оттуда на трех лапах, держа меня в четвертой, полезла по водосточным трубам на крышу соседней постройки. Я услышал крик Глюмдальклич в ту минуту, когда обезьяна уносила меня. Бедная девочка едва не помешалась; весь дворец был поднят на ноги, слуги побежали за лестницами; сотни людей видели со двора, как обезьяна уселась на самом коньке крыши: одной лапой она держала меня, как ребенка, а другой набивала мой рот яствами, которые вынимала из защечных мешков, и угощала тумаками, когда я отказывался от этой пищи. Стоявшая внизу челядь покатывалась со смеху, глядя на эту картину; и мне кажется, что людей этих нельзя строго осуждать, так как зрелище бесспорно было очень забавно для всех, кроме меня. Некоторые стали швырять камнями, надеясь прогнать таким образом обезьяну с крыши, но дворцовая полиция строго запретила это, так как иначе мне, вероятно, размозжили бы голову.   
 Были приставлены лестницы, и по ним поднялось несколько человек; увидя себя окруженной и сообразив, что на трех лапах ей не удрать, обезьяна бросила меня на конек крыши и дала тягу. Я остался на высоте трехсот ярдов от земли, ожидая каждую минуту, что меня сдует ветер или что вследствие головокружения я сам упаду и кубарем скачусь с конька до края крыши; но тут один бравый парень, слуга моей нянюшки, взобрался на крышу, положил меня в карман своих штанов и благополучно спустился вниз.   
 Я почти задыхался от дряни, которой обезьяна набила мой рот; но моя милая нянюшка извлекла ее оттуда небольшой иголкой, после чего меня вырвало, и я почувствовал большое облегчение. Однако я так ослабел и так был помят объятиями этого мерзкого животного, что пятнадцать дней пролежал в постели. Король, королева и все придворные каждый день осведомлялись о моем здоровье, и ее величество несколько раз навещала меня во время болезни. Обезьяну убили, и был отдан приказ не держать во дворце подобных животных.   
 Когда, по выздоровлении, я явился к королю благодарить его за оказанные мне милости, его величество изволил много шутить над моим приключением и спрашивал, какие мысли мне приходили в голову, когда я был в лапах обезьяны, как мне понравились ее кушанье и ее способ угощенья; подействовал ли свежий воздух на мой аппетит. Его величеству угодно было также знать, что я стал бы делать при подобной оказии у себя на родине. На эти вопросы я отвечал его величеству, что в Европе нет обезьян, кроме тех, которые как диковинки привозятся из чужих стран и которые так малы, что я бы справился с целой дюжиной их, если бы они осмелились на меня напасть. Что же касается чудовища, с которым мне недавно пришлось иметь дело (обезьяна в самом деле величиной была со слона), то, не отними у меня страх способности владеть тесаком (произнося эти слова, я стал в воинственную позу и ухватился за рукоятку своего тесака), я, может быть, нанес бы этому страшилищу, когда оно просунуло лапу в мою комнату, такую рану, что оно радо было бы как можно скорее убраться от меня. Все это я сказал твердым тоном, как человек, ревниво заботящийся о том, чтобы не возникло никаких сомнений насчет его храбрости. И все же речь моя вызвала лишь громкий смех придворных, от которого они не могли удержаться, несмотря на все почтение к его величеству. Это навело меня на грустные мысли о тщете попыток добиться уважения к себе со стороны людей, стоящих неизмеримо выше нас. Однако поведение, подобное моему, я очень часто наблюдал по приезде в Англию, где какой-нибудь ничтожный и презренный плут, не имея за собой ни благородного происхождения, ни личных заслуг, ни ума, ни здравого смысла, осмеливается иногда напускать на себя важный вид и ставить себя на одну ногу с величайшими людьми в государстве.   
 Каждый день я давал при дворе повод для веселого смеха; и даже Глюмдальклич, несмотря на свою нежную привязанность ко мне, не упускала случая рассказать королеве о моих выходках, когда считала, что они способны будут позабавить ее величество. Однажды девочке нездоровилось, и она была взята гувернанткой на загородную прогулку, миль за тридцать от дворца, подышать чистым воздухом. Карета остановилась у тропинки, пересекавшей поле; Глюмдальклич поставила мой дорожный ящик на землю, и я отправился прогуляться. На пути лежала куча коровьего помета, и мне вздумалось испытать свою ловкость и попробовать перескочить через эту кучу. Я разбежался, но, к несчастью, сделал слишком короткий прыжок и оказался в самой середине кучи, по колени в помете. Немало труда стоило мне выбраться оттуда, после чего один из лакеев тщательно вытер своим носовым платком мое перепачканное платье, а Глюмдальклич больше не выпускала меня из ящика до возвращения домой. Королева немедленно была извещена об этом приключении, а лакеи разнесли его по всему дворцу, так что в течение нескольких дней я был предметом общих насмешек.

**ГЛАВА VI**

Различные выдумки автора для развлечения короля и королевы. Он показывает свои музыкальные способности. Король интересуется общественным строем Европы, который автор излагает ему. Замечания короля по этому поводу   
  
 Обыкновенно раз или два в неделю я присутствовал при утреннем туалете короля и часто видел, как его бреет цирюльник, что сначала наводило на меня ужас, так как его бритва была почти в два раза длиннее нашей косы. Следуя обычаям страны, его величество брился только два раза в неделю. Однажды я попросил у цирюльника дать мне помылки или мыльную пену и вытащил оттуда около сорока или пятидесяти самых толстых волос. Затем, раздобыв тоненькую щепочку, я обстрогал ее в виде спинки гребешка, просверлив в ней на равных расстояниях, с помощью самой тонкой иголки, какую можно было достать у Глюмдальклич, ряд отверстий. В отверстия я вставил волоски, обрезав и оскоблив их на концах моим перочинным ножом так искусно, что получился довольно сносный гребень. Эта обновка оказалась очень кстати, потому что на моем гребне зубцы пообломались, а здесь не было такого искусного мастера, который мог бы сделать мне новый. Это навело меня на мысль устроить одно развлечение, которому я посвятил много часов моего досуга. Я попросил камеристку королевы сохранять для меня вычески волос ее величества. Через некоторое время у меня набралось их довольно много. Тогда, посоветовавшись с моим приятелем столяром, получившим приказание исполнять все мои маленькие заказы, я поручил ему сделать под моим наблюдением два стула такой же величины, как те, что стояли у меня в спальне, и просверлить в них тонким шилом отверстия вокруг тех частей, которые предназначались для сиденья и спинки. В эти отверстия я вплел самые крепкие волосы, какие мне удалось набрать, как это делается в плетеных английских стульях. Окончив работу, я подарил стулья королеве, которая поставила их в своем будуаре, показывая всем как редкость; они действительно вызывали удивление всех, кто их видел. Королева изъявила желание, чтобы я сел на один из этих стульев, но я наотрез отказался ей повиноваться, заявив, что я лучше соглашусь претерпеть тысячу смертей, чем помещу низкую часть моего тела на драгоценные волосы, украшавшие когда-то голову ее величества. Из этих волос я сделал также небольшой изящный кошелек (я всегда отличался наклонностью мастерить разные вещицы) длиною около пяти футов, с вензелем ее величества, вытканным золотыми буквами; с согласия королевы я подарил его Глюмдальклич. Но, говоря правду, этот кошелек годился скорее на показ, чем для практического употребления, так как он не мог выдержать тяжести больших монет; поэтому она клала туда только безделушки, которые так нравятся девочкам.   
 Король любил музыку[68], и при дворе часто давались концерты, на которые иногда приносили и меня и помещали в ящике на столе; однако звуки инструментов были так оглушительны, что я с трудом различал мотив. Я уверен, что все барабанщики и трубачи королевской армии, заиграв разом под вашим ухом, не произвели бы такого эффекта. Во время концерта я старался устраиваться подальше от исполнителей, запирал в ящике окна, двери, задергивал гардины и портьеры; только при этих условиях я находил их музыку не лишенной приятности.   
 В молодости я научился немного играть на шпинете[69]. В комнате Глюмдальклич стоял такой же инструмент; два раза в неделю к ней приходил учитель давать уроки. Я называю этот инструмент шпинетом по его некоторому сходству с последним и, главное, потому, что играют на нем точно так же, как и на шпинете. Мне пришла в голову мысль развлечь короля и королеву исполнением английских мелодий на этом инструменте. Но предприятие это оказалось необыкновенно трудным, так как инструмент имел в длину до шестидесяти футов и каждая его клавиша была шириной в фут, так что, растянув обе руки, я не мог захватить больше пяти клавиш, причем для нажатия клавиши требовался основательный удар кулаком по ней, что стоило бы мне большого труда и дало бы ничтожные результаты. Придуманный мной выход был таков: я приготовил две круглые палки величиной в обыкновенную дубинку, один конец у них был толще другого; я обтянул толстые концы мышиной кожей, чтобы при ударах по клавишам не испортить их и не осложнять игру посторонними звуками. Перед шпинетом была поставлена скамья на четыре фута ниже клавиатуры, куда подняли меня. Я бегал по это скамье взад и вперед со всей доступной для меня быстротой, ударяя палками по нужным клавишам, и таким образом ухитрился сыграть жигу, к величайшему удовольствию их величеств. Но это было самое изнурительное физическое упражнение, какое мне случалось когда-либо проделывать; и все же я ударял не более чем по шестнадцати клавишам и не мог, следовательно, играть на басах и на дискантах одновременно, как делают другие артисты, что, разумеется, сильно вредило моему исполнению.   
 Король, который, как я уже заметил, был монарх весьма тонкого ума, часто приказывал приносить меня в ящике к нему в кабинет и ставить на письменный стол. Затем он предлагал мне взять из ящика стул и сажал меня на расстоянии трех ярдов от себя на бюро, почти на уровне своего лица. В таком положении мне часто случалось беседовать с ним. Однажды я осмелился заметить его величеству, что презрение, выражаемое им к Европе и всему остальному миру, не согласуется с высокими качествами его благородного ума; что умственные способности не возрастают пропорционально размерам тела, а, напротив, в нашей стране наблюдается, что самые высокие люди обыкновенно в наименьшей степени наделены ими; что среди животных пчелы и муравьи пользуются славой более изобретательных, искусных и смышленых, чем многие крупные породы, и что каким бы ничтожным я ни казался в глазах короля, все же я надеюсь, что рано или поздно мне представится случай оказать его величеству какую-нибудь важную услугу. Король слушал меня внимательно и после этих бесед стал гораздо лучшего мнения обо мне, чем прежде. Он просил меня сообщить ему возможно более точные сведения об английском правительстве, ибо, как бы ни были государи привязаны к обычаям своей страны (такое заключение о других монархах он сделал на основании прежних бесед со мной), он был бы рад услышать что-нибудь, что заслуживало бы подражания.   
 Сам вообрази, любезный читатель, как страстно желал я обладать тогда красноречием Демосфена или Цицерона, которое дало бы мне возможность прославить дорогое мне отечество в стиле, равняющемся его достоинствам и его величию.   
 Я начал свою речь с сообщения его величеству, что наше государство состоит из двух островов, образующих три могущественных королевства под властью одного монарха; к ним нужно еще прибавить наши колонии в Америке. Я долго распространялся о плодородии нашей почвы и умеренности нашего климата. Потом я подробно рассказал об устройстве нашего парламента, в состав которого входит славный корпус, называемый палатой пэров, лиц самого знатного происхождения, владеющих древнейшими и обширнейшими вотчинами. Я описал ту необыкновенную заботливость, с какой всегда относились к их воспитанию в искусствах и военном деле, чтобы подготовить их к положению прирожденных советников короля и королевства, способных принимать участие в законодательстве; быть членами верховного суда, решения которого не подлежат обжалованию; благодаря своей храбрости, отменному поведению и преданности всегда готовых первыми выступить на защиту своего монарха и отечества[70]. Я сказал, что эти люди являются украшением и оплотом королевства, достойными наследниками своих знаменитых предков, почести которых были наградой за их доблесть, неизменно наследуемую потомками до настоящего времени; что в состав этого высокого собрания входит некоторое количество духовных особ, носящих сан епископов, особливой обязанностью которых являются забота о религии и наблюдение за теми, кто научает ее истинам народ; что эти духовные особы отыскиваются и избираются королем и его мудрейшими советниками из среды духовенства всей нации как наиболее отличившиеся святостью своей жизни и глубиною своей учености; что они действительно являются духовными отцами духовенства и своего народа.   
 Другую часть парламента, - продолжал я, - образует собрание, называемое палатой общин, членами которой бывают перворазрядные джентльмены, свободно избираемые из числа этого сословия самим народом, за их великие способности и любовь к своей стране, представлять мудрость всей нации. Таким образом, обе эти палаты являются самым величественным собранием в Европе, коему вместе с королем поручено все законодательство.   
 Затем я перешел к описанию судебных палат, руководимых судьями, этими почтенными мудрецами и толкователями законов, для разрешения тяжеб, наказания порока и ограждения невинности. Я упомянул о бережливом управлении нашими финансами и о храбрых подвигах нашей армии как на суше, так и на море. Я назвал число нашего населения, подсчитав, сколько миллионов может быть у нас в каждой религиозной секте и в каждой политической партии. Я не умолчал также об играх и увеселениях англичан и вообще ни о какой подробности, если она могла, по моему мнению, служить к возвеличению моего отечества. И я закончил все кратким историческим обзором событий в Англии за последнее столетие.   
 Этот разговор продолжался в течение пяти аудиенций, из которых каждая заняла несколько часов. Король слушал меня очень внимательно, часто записывая то, что я говорил, и те вопросы, которые он собирался задать мне.   
 Когда я окончил свое длинное повествование, его величество в шестой аудиенции, справясь со своими заметками, высказал целый ряд сомнений, недоумений и возражений по поводу каждого из моих утверждений. Он спросил, какие методы применяются для телесного и духовного развития знатного юношества и в какого рода занятиях проводит оно обыкновенно первую и наиболее переимчивую часть своей жизни? Какой порядок пополнения этого собрания в случае угасания какого-нибудь знатного рода? Какие качества требуются от тех, кто впервые возводится в звание лорда: не случается ли иногда, что эти назначения бывают обусловлены прихотью монарха, деньгами, предложенными придворной даме или первому министру, или желанием усилить партию, противную общественным интересам? Насколько основательно эти лорды знают законы своей страны и позволяет ли им это знание решать в качестве высшей инстанции дела своих сограждан? Действительно ли эти лорды всегда так чужды корыстолюбия, партийности и других недостатков, что на них не может подействовать подкуп, лесть и тому подобное? Действительно ли духовные лорды, о которых я говорил, возводятся в этот сан только благодаря их глубокому знанию религиозных доктрин и благодаря их святой жизни? Неужели никогда не угождали они мирским интересам, будучи простыми священниками, и нет среди них растленных капелланов какого-нибудь вельможи, мнениям которого они продолжают раболепно следовать и после того, как получили доступ в это собрание?   
 Затем король пожелал узнать, какая система практикуется при выборах тех депутатов, которых я назвал членами палаты общин: разве не случается, что чужой человек, с туго набитым кошельком, оказывает давление на избирателей, склоняя их голосовать за него вместо их помещика или наиболее достойного дворянина в околотке? Почему эти люди так страстно стремятся попасть в упомянутое собрание, если пребывание в нем, по моим словам, сопряжено с большим беспокойством и издержками, приводящими часто к разорению семьи, и не оплачивается ни жалованьем, ни пенсией? Такая жертва требует от человека столько добродетели и гражданственности, что его величество выразил сомнение, всегда ли она является искренней. И он желал узнать, нет ли у этих ревнителей каких-нибудь видов вознаградить себя за понесенные ими тягости и беспокойства путем принесения в жертву общественного блага намерениям слабого и порочного монарха вкупе с его развращенными министра ми. Он задал мне еще множество вопросов и выпытывал все подробности, касающиеся этой темы, высказав целый ряд критических замечаний и возражений, повторять которые я считаю неудобным и неблагоразумным. По поводу моего описания наших судебных палат его величеству было угодно получить разъяснения относительно нескольких пунктов. И я мог наилучшим образом удовлетворить его желание, так как когда-то был почти разорен продолжительным процессом в верховном суде, несмотря на то, что процесс был мной выигран с присуждением мне судебных издержек[71]. Король спросил, сколько нужно времени для определения, кто прав и кто виноват, и каких это требует расходов? Могут ли адвокаты и стряпчие выступать в судах ходатаями по делам заведомо несправедливым, в явное нарушение чужого права? Оказывает ли какое-нибудь давление на чашу весов правосудия принадлежность к религиозным сектам и политическим партиям? Получили ли упомянутые мной адвокаты широкое юридическое образование, или же они знакомы только с местными, провинциальными и национальными обычаями? Принимают ли какое-нибудь участие эти адвокаты, а равно и судьи, в составлении тех законов, толкование и комментирование которых предоставлено их усмотрению? Не случалось ли когда-нибудь, чтобы одни и те же лица защищали такое дело, против которого в другое время они возражали, ссылаясь на прецеденты для доказательства противоположных мнений? Богатую или бедную корпорацию составляют эти люди? Получают ли они за свои советы и ведение тяжбы денежное вознаграждение? В частности, допускаются ли они в качестве членов в нижнюю палату?   
 Затем король обратился к нашим финансам. Ему казалось, что мне изменила память, когда я называл цифры доходов и расходов, так как я определил первые в пять или шесть миллионов в год, между тем как расходы, по моим словам, превышают иногда означенную цифру больше чем вдвое. Заметки, сделанные королем по этому поводу, были особенно тщательны, потому что, по его словам, он надеялся извлечь для себя пользу из знакомства с ведением наших финансов и не мог ошибиться в своих выкладках. Но раз мои цифры были правильны, то король недоумевал, каким образом государство может расточать свое состояние, как частный человек[72]. Он спрашивал, кто наши кредиторы и где мы находим деньги для платежа долгов. Он был поражен, слушая мои рассказы о столь обременительных и затяжных войнах, и вывел заключение, что мы - или народ сварливый, или же окружены дурными соседями и что наши генералы, наверное, богаче королей[73]. Он спрашивал, что за дела могут быть у нас за пределами наших островов, кроме торговли, дипломатических сношений и защиты берегов с помощью нашего флота. Особенно поразило короля то обстоятельство, что нам, свободному народу, необходима наемная регулярная армия в мирное время[74]. Ведь если у нас существует самоуправление, осуществляемое выбранными нами депутатами, то - недоумевал король - кого же нам бояться и с кем воевать? И он спросил меня: разве не лучше может быть защищен дом каждого из граждан его хозяином с детьми и домочадцами, чем полдюжиной случайно завербованных на улице за небольшое жалованье мошенников, которые могут получить в сто раз больше, перерезав горло охраняемым лицам?   
 Король много смеялся над моей странной арифметикой (как угодно было ему выразиться), по которой я определил численность нашего народонаселения, сложив количество последователей существующих у нас религиозных сект и политических партий. Он не понимал, почему того, кто исповедует мнения, пагубные для общества, принуждают изменить их, но не принуждают держать их при себе. И если требование перемены убеждений является правительственной тиранией, то дозволение открыто исповедовать мнения пагубные служит выражением слабости; в самом деле, можно не запрещать человеку держать яд в своем доме, но нельзя позволять ему продавать этот яд как лекарство.   
 Король обратил внимание, что в числе развлечений, которым предается наша знать и наше дворянство, я назвал азартные игры. Ему хотелось знать, в каком возрасте начинают играть и до каких лет практикуется это занятие; сколько времени отнимает оно; не приводит ли иногда увлечение им к потере состояния; не случается ли, кроме того, что порочные и низкие люди, изучив все тонкости этого искусства, игрой наживают большие богатства и держат подчас в зависимости от себя людей весьма знатных и что в то же время последние, находясь постоянно в презренной компании, отвлекаются от совершенствования своего разума и бывают вынуждены благодаря своим проигрышам изучать все искусство ловкого мошенничества и применять его на практике.   
 Мой краткий исторический очерк нашей страны за последнее столетие поверг короля в крайнее изумление. Он объявил, что, по его мнению, эта история есть не что иное, как куча заговоров, смут, убийств, избиений, революций и высылок, являющихся худшим результатом жадности, партийности, лицемерия, вероломства, жестокости, бешенства, безумия, ненависти, зависти, сластолюбия, злобы и честолюбия.   
 В следующей аудиенции его величество взял на себя труд вкратце резюмировать все, о чем я говорил; он сравнивал свои вопросы с моими ответами; потом, взяв меня в руки и тихо лаская, обратился ко мне со следующими словами, которых я никогда не забуду, как не забуду и тона, каким они были сказаны: "Мой маленький друг Грильдриг, вы произнесли удивительнейший панегирик вашему отечеству; вы ясно доказали, что невежество, леность и порок являются подчас единственными качествами, присущими законодателю; что законы лучше всего объясняются, истолковываются и применяются на практике теми, кто более всего заинтересован и способен извращать, запутывать и обходить их. В ваших учреждениях я усматриваю черты, которые в своей основе, может быть, и терпимы, но они наполовину истреблены, а в остальной своей части совершенно замараны и осквернены. Из сказанного вами не видно, чтобы для занятия у вас высокого положения требовалось обладание какими-нибудь достоинствами; еще менее видно, чтобы люди жаловались высокими званиями на основании их добродетелей, чтобы духовенство получало повышение за свое благочестие или ученость, военные - за свою храбрость и благородное поведение, судьи - за свою неподкупность, сенаторы - за любовь к отечеству и государственные советники - за свою мудрость. Что касается вас самого (продолжал король), проведшего большую часть жизни в путешествиях, то я расположен думать, что до сих пор вам удалось избегнуть многих пороков вашей страны. Но факты, отмеченные мной в вашем рассказе, а также ответы, которые мне с таким трудом удалось выжать и вытянуть из вас, не могут не привести меня к заключению, что большинство ваших соотечественников есть порода маленьких отвратительных гадов, самых зловредных из всех, какие когда-либо ползали по земной поверхности."

**ГЛАВА VII**

Любовь автора к своему отечеству. Он делает весьма выгодное предложение королю, но король его отвергает. Великое невежество короля в делах политики. Несовершенство и ограниченность знаний этого народа. Его законы, военное дело и партия   
  
 Лишь моя крайняя любовь к истине помешала мне утаить эту часть моей истории. Напрасно было выказывать свое негодование, потому что, кроме смеха, оно ничего не могло возбудить; и мне пришлось спокойно и терпеливо выслушивать это оскорбительное третирование моего благородного и горячо любимого отечества. Я искренне сожалею, что на мою долю выпала такая роль, как сожалел бы, вероятно, любой из моих читателей; но монарх этот был так любознателен и с такой жадностью стремился выведать малейшие подробности, что ни моя благодарность, ни благовоспитанность не позволяли отказать ему в посильном удовлетворении его любопытства. Однако же - да будет разрешено мне заметить в мое оправдание - я очень искусно обошел многие вопросы короля и каждому пункту придал гораздо более благоприятное освещение, чем то было совместимо с требованиями строгой истины. Таким образом, в свой рассказ я всегда вносил похвальное пристрастие к своему отечеству, которое Дионисий Галикарнасский столь справедливо рекомендует всем историкам[75]; мне хотелось скрыть слабости и уродливые явления в жизни моей родины и выставить в самом благоприятном свете ее красоту и добродетель. Таково было мое чистосердечное старание во время моих многочисленных бесед с этим могущественным монархом, к сожалению, однако, не увенчавшееся успехом.   
 Но нельзя быть слишком требовательным к королю, который совершенно отрезан от остального мира и вследствие этого находится в полном неведении нравов и обычаев других народов. Такое неведение всегда порождает известную узость мысли и множество предрассудков, которых мы, подобно другим просвещенным европейцам, совершенно чужды. И, разумеется, было бы нелепо предлагать в качестве образца для всего человечества понятия добродетели и порока, принадлежащие столь далекому монарху.   
 Для подтверждения сказанного, а также чтобы показать прискорбные последствия ограниченного образования, упомяну здесь о происшествии, которое покажется невероятным. В надежде снискать еще большее благоволение короля я рассказал ему об изобретении три или четыре столетия тому назад некоего порошка, обладающего свойством мгновенно воспламеняться в каком угодно огромном количестве от малейшей искры и разлетаться в воздухе, производя при этом шум и сотрясение, подобные грому[76]. Я сказал, что определенное количество этого порошка, будучи забито в полую медную или жестяную трубу, выбрасывает, смотря по величине трубы, железный или свинцовый шар с такой силой и быстротой, что ничто не может устоять против его удара; что наиболее крупные из пущенных таким образом шаров не только уничтожают целые шеренги солдат, но разрушают до основания самые крепкие стены, пускают ко дну громадные корабли с тысячами людей, а скованные цепью вместе рассекают мачты и снасти, крошат на куски сотни человеческих тел и сеют кругом опустошение; что часто мы начиняем этим порошком большие полые железные шары и особыми орудиями пускаем их в осаждаемые города, где они взрывают мостовые, разносят на куски дома, зажигают их, разбрасывая во все стороны осколки, которые проламывают череп каждому, кто случится вблизи; что мне в совершенстве известны составные части этого порошка, которые стоят недорого и встречаются повсюду; что я знаю, как их нужно смешивать, и могу научить мастеров изготовлять металлические трубы, согласуя их калибр с остальными предметами в королевстве его величества, причем самые большие не будут превышать ста футов в длину, и что, наконец, двадцать или тридцать таких труб, заряженных соответствующим количеством пороха и соответствующими ядрами, в несколько часов разрушат крепостные стены самого большого города в его владениях и обратят в развалины всю столицу, если бы население ее вздумало сопротивляться его неограниченной власти. Я скромно предложил его величеству эту маленькую услугу в знак благодарности за многие его милости и покровительство.   
 Выслушав описание этих разрушительных орудий и мое предложение, король пришел в ужас. Он был поражен, как может такое бессильное и ничтожное насекомое, каким был я (это его собственное выражение), не только питать столь бесчеловечные мысли, но и до того свыкнуться с ними, чтобы совершенно равнодушно рисовать сцены кровопролития и опустошения как самые обыкновенные действия этих разрушительных машин, изобретателем которых, сказал он, был, должно быть, какой-то злобный гений, враг рода человеческого. Он заявил, что, хотя ничто не доставляет ему такого удовольствия, как открытия в области искусства и природы, тем не менее он скорее согласится потерять половину своего королевства, чем быть посвященным в тайну подобного изобретения, и советует мне, если я дорожу своей жизнью, никогда больше о нем не упоминать.   
 Странное действие узких принципов и ограниченного кругозора! Этот монарх, обладающий всеми качествами, обеспечивающими любовь, почтение и уважение, одаренный большими способностями, громадным умом, глубокой ученостью и удивительным талантом управлять, почти обожаемый подданными, - вследствие чрезмерной ненужной щепетильности, совершенно непонятной нам, европейцам, упустил из рук средство, которое сделало бы его властелином жизни, свободы и имущества своего народа. Говоря так, я не имею ни малейшего намерения умалить какую-нибудь из многочисленных добродетелей этого превосходного короля, хотя я отлично сознаю, что мой рассказ сильно уронит его в мнении читателя-англичанина; но я утверждаю, что подобный недостаток является следствием невежества этого народа, у которого политика до сих пор не возведена на степень науки, какою сделали ее более утонченные умы Европы. Я очень хорошо помню, как однажды в разговоре с королем мое замечание насчет того, что у нас написаны тысячи книг об искусстве управления, вызвало у него (в противоположность моим ожиданиям) самое нелестное мнение о наших умственных способностях. Он заявил, что ненавидит и презирает всякую тайну, утонченность и интригу как у государей, так и у министров. Он не мог понять, что я разумею под словами "государственная тайна", если дело не касается неприятеля или враждебной нации. Все искусство управления он ограничивает самыми тесными рамками и требует для него только здравого смысла, разумности, справедливости, кротости, быстрого решения уголовных и гражданских дел и еще нескольких очевидных для каждого качеств, которые не стоят того, чтобы на них останавливаться. По его мнению, всякий, кто вместо одного колоса или одного стебля травы сумеет вырастить на том же поле два, окажет человечеству и своей родине большую услугу, чем все политики, взятые вместе.   
 Знания этого народа очень недостаточны; они ограничиваются моралью, историей, поэзией и математикой, но в этих областях, нужно отдать справедливость, ими достигнуто большое совершенство. Что касается математики, то она имеет здесь чисто прикладной характер и направлена на улучшение земледелия и разных отраслей техники, так что у нас она получила бы невысокую оценку[77]. А относительно идей, сущностей, абстракций и трансценденталий мне так и не удалось внедрить в их головы ни малейшего представления.   
 В этой стране не дозволяется формулировать ни один закон при помощи числа слов, превышающего число букв алфавита, а в нем их насчитывают всего двадцать две; но лишь очень немногие законы достигают даже этой длины. Все они выражены в самых ясных и простых терминах, и эти люди не отличаются такой изворотливостью ума, чтобы открывать в законе несколько смыслов; писать комментарий к какому-либо закону считается большим преступлением. Что касается гражданского и уголовного судопроизводства, то прецедентов в этих областях у них так мало, что они не могут похвастаться особенным искусством по этой части[78].   
 Искусство книгопечатания у них, как и у китайцев, существует с незапамятных времен. Но библиотеки их не очень велики. Так, например, королевская, считающаяся самой значительной, заключает в себе не более тысячи томов, помещенных в галерее длиною в сто двадцать футов, откуда мне было дозволено брать любую книгу. Столяр королевы смастерил в одной из комнат Глюмдальклич деревянный станок, вышиною в двадцать пять футов, по форме похожий на стоячую лестницу, каждая ступенька которой имела пятьдесят футов длины. Он составлял передвижной ряд ярусов, и нижний конец помещался на расстоянии десяти футов от стены комнаты. Книга, которую я желал читать, приставлялась к стене; я взбирался на самую верхнюю ступень лестницы и, повернув лицо к книге, начинал чтение с верху страницы, передвигаясь вдоль нее слева направо на расстояние восьми или десяти шагов, смотря по длине строки; до тех пор, пока строки не опускались ниже уровня моих глаз; тогда я спускался на следующую ступеньку, пока постепенно не доходил до конца страницы, после чего поднимался снова и прочитывал таким же образом другую страницу; листы книги я переворачивал обеими руками, что было нетрудно делать, так как каждый из них по толщине и плотности не превосходил нашего картона, и в книге самого большого формата имел длину всего от восемнадцати до двадцати футов.   
 Их слог отличается ясностью, мужественностью и гладкостью, без малейшей цветистости, ибо более всего они стараются избегать нагромождения ненужных слов и разнообразия выражений[79]. Я прочитал много их книг, особенно исторического и нравственного содержания. Между прочим, мне доставил большое удовольствие маленький старинный трактат, который всегда лежал в спальне Глюмдальклич и принадлежал ее гувернантке, почтенной пожилой даме, много читавшей на моральные и религиозные темы. Книга повествует о слабости человеческого рода и не пользуется большим уважением, исключая женщин и простого народа. Однако мне было любопытно узнать, что мог сказать местный писатель на подобную тему. Он повторяет обычные рассуждения европейских моралистов, показывая, каким слабым презренным и беспомощным животным является по своей природе человек; как он не способен защищаться от климатических условий и ярости диких животных; как эти животные превосходят его - одни своей силой, другие быстротой, третьи предусмотрительностью, четвертые трудолюбием. Он доказывает, что в последние упадочные столетия природа вырождается и может производить только каких-то недоносков сравнительно с людьми, которые жили в древние времена[80]. По его мнению, есть большое основание думать, что не только человеческая порода была первоначально крупнее, но что в прежние времена существовали также великаны, о чем свидетельствуют история и предания и что подтверждается огромными костями и черепами, случайно откапываемыми в различных частях королевства, по своим размерам значительно превосходящими нынешних измельчавших людей. Он утверждает, что сами законы природы необходимо требуют, чтобы вначале мы были крупнее ростом и сильнее, менее подвержены гибели от незначительной случайности - упавшей с крыши черепицы, камня, брошенного рукой мальчика, ручейка, в котором мы тонем. Из этих рассуждений автор извлекает несколько нравственных правил, полезных для повседневной жизни, которые незачем здесь повторять. Прочитав эту книгу, я невольно задумался над вопросом, почему у людей так распространена страсть произносить поучения на нравственные темы, а также досадовать и сетовать на свои слабости, обнаруживающиеся при борьбе со стихиями. Мне кажется, тщательное исследование вопроса может доказать всю необоснованность подобных жалоб как у нас, так и у этого народа.   
 Что касается военного дела, то туземцы гордятся численностью королевской армии, которая состоит из ста семидесяти шести тысяч пехоты и тридцати двух тысяч кавалерии, если можно назвать армией корпус, составленный в городах из купцов, а в деревнях из фермеров, под командой больших вельмож или мелкого дворянства, не получающих ни жалованья, ни другого вознаграждения. Но армия эта достаточно хорошо делает свои упражнения и отличается прекрасной дисциплиной, что, впрочем, не удивительно, ибо как может быть иначе там, где каждый фермер находится под командой своего помещика, а каждый горожанин под командой первых людей в городе, и где эти начальники избираются баллотировкой, как в Венеции.   
 Мне часто приходилось видеть военные упражнения столичного ополчения на большом поле в двадцать квадратных миль, недалеко от города. Хотя в сборе было не более двадцати пяти тысяч пехоты и шести тысяч кавалерии, но я ни за что не мог бы сосчитать их - такое громадное пространство занимала армия. Каждый кавалерист, сидя на лошади, представлял собой колонну вышиною около ста футов. Я видел, как весь этот кавалерийский корпус по команде разом обнажал сабли и размахивал ими в воздухе. Никакое воображение не может придумать ничего более грандиозного и поразительного! Казалось, будто десять тысяч молний разом вспыхивали со всех сторон небесного свода.   
 Мне было любопытно узнать, каким образом этот государь, владения которого нигде не граничат с другим государством, пришел к мысли организовать армию и обучить свой народ военной дисциплине. Вот что я узнал по этому поводу как из рассказов, так и из чтения исторических сочинений. В течение нескольких столетий эта страна страдала той же болезнью, которой подвержены многие другие государства: дворянство часто боролось за власть, народ - за свободу, а король - за абсолютное господство. Силы эти, хотя и счастливо умеряемые законами королевства, по временам выходили из равновесия и не раз затевали гражданскую войну. Последняя из таких войн благополучно окончилась при деде ныне царствующего монарха и привела все партии к соглашению и взаимным уступкам. Тогда с общего согласия было сформировано ополчение, которое всегда стоит на страже порядка.

**ГЛАВА VIII**

Король и королева предпринимают путешествие к границам государства. Автор сопровождает их. Подробный рассказ о том, каким образом автор оставляет страну. Он возвращается в Англию   
  
 У меня всегда было предчувствие, что рано или поздно я возвращу себе свободу, хотя я не мог ни предугадать, каким способом, ни придумать никакого проекта, который имел бы малейшие шансы на успех. Корабль, на котором я прибыл сюда, был первый, показавшийся у этих берегов, и король отдал строжайшее повеление, на случай, если появится другой такой же корабль, притащить его к берегу и доставить со всем экипажем на телеге в Лорбрульгруд. Король имел сильное желание достать мне женщину моего роста, от которой у меня могли бы быть дети. Однако, мне кажется, я скорее согласился бы умереть, чем принять на себя позор оставить потомство, которое содержалось бы в клетках, как прирученные канарейки, и со временем, может быть, продавалось бы как диковинка для развлечения знатных лиц. Правда, обращались со мной очень ласково: я был любимцем могущественного короля и королевы, предметом внимания всего двора, но в этом обращении было нечто оскорбительное для моего человеческого достоинства. Я никогда не мог забыть оставленную на родине семью. Я чувствовал потребность находиться среди людей, с которыми мог бы общаться как равный с равными и ходить по улицам и полям, не опасаясь быть растоптанным, подобно лягушке или щенку. Однако мое освобождение произошло раньше, чем я ожидал, и не совсем обыкновенным образом. Я добросовестно расскажу все обстоятельства этого удивительного происшествия.   
 Уже два года я находился в этой стране. В начале третьего мы с Глюмдальклич сопровождали короля и королеву в их путешествии к южному побережью королевства. Меня, по обыкновению, возили в дорожном ящике, который, как я уже описывал, был очень удобной комнатой шириною в двенадцать футов. В этой комнате, при помощи шелковых веревок, я велел прикрепить к четырем углам потолка гамак, который ослаблял силу толчков, когда слуга, верхом на лошади, держал меня перед собой, согласно изъявленному мной иногда желанию. Часто в дороге я засыпал в этом гамаке. В крыше моего ящика, прямо над гамаком, было устроено столяром, по моей просьбе, отверстие величиною в квадратный фут для доступа свежего воздуха в жаркую погоду во время моего сна; я мог по желанию открывать и закрывать это отверстие при помощи доски, двигавшейся в желобках.   
 Когда мы достигли цели нашего путешествия, король решил провести несколько дней во дворце близ Фленфласника, города, расположенного в восемнадцати английских милях от морского берега. Глюмдальклич и я были сильно утомлены; я схватил небольшой насморк, а бедная девочка так сильно заболела, что вынуждена была оставаться в своей комнате. Мне очень хотелось видеть океан - единственное место, которое могло служить театром моего бегства, если бы ему суждено было когда-нибудь осуществиться. Я притворился более больным, чем был на самом деле, и просил отпустить меня подышать свежим морским воздухом с пажом, которого очень любил и которому меня доверяли уже несколько раз. Никогда не забуду, с какой неохотой Глюмдальклич согласилась на эту прогулку и сколько наставлений дала она пажу заботливо беречь меня; она была вся в слезах, как будто предчувствуя, что должно было произойти. Мальчик нес меня в ящике около получаса по направлению к скалистому морскому берегу. Здесь я велел ему поставить ящик и, открыв одно из окон, начал с тоской смотреть на воды океана. Я чувствовал себя нехорошо и сказал пажу, что хочу вздремнуть в гамаке, надеясь, что сон принесет мне облегчение. Я лег, и паж плотно закрыл окно, чтобы мне не надуло. Я скоро заснул, и все мои предположения сводятся к тому, что паж, думая, что во время сна со мной не может случиться ничего опасного, направился к скалам искать птичьи гнезда; ибо и раньше мне случалось наблюдать из моего окна, как он находил эти гнезда в расщелинах скал и доставал оттуда яйца. Как бы то ни было, но я внезапно проснулся от резкого толчка, точно кто-то с силой дернул за кольцо, прикрепленное к крышке моего ящика, чтобы удобнее было носить его. Я чувствовал, как мой ящик поднялся высоко в воздух и затем понесся со страшной скоростью. Первый толчок едва не выбросил меня из гамака, но потом движение стало более плавным. Я не сколько раз принимался кричать во всю глотку, но без всякой пользы. Я смотрел в окна и видел только облака и небо. Над головой я слышал шум, похожий на всплески крыльев, и мало-помалу начал сознавать опасность моего положения: должно быть, орел, захватив клювом кольцо моего ящика, понес его с намерением бросить о скалу, как черепаху в панцире, и затем извлечь из-под обломков мое тело и пожрать его: смышленость и чутье этой птицы дают ей возможность выследить добычу на большом расстоянии, хотя бы она была скрыта лучше, чем я, огражденный досками толщиною в два дюйма.   
 Спустя некоторое время я заметил, что шум усилился, а взмахи крыльев участились, и что мой ящик закачался из стороны в сторону, как вывеска на столбе в ветреный день. Я услышал несколько ударов или тумаков, нанесенных, по моему предположению, орлу (ибо я был уверен, что именно орел держал в клюве кольцо моего ящика); затем вдруг я почувствовал, что падаю отвесно вниз около минуты, но с такой невероятной скоростью, что у меня захватило дух. Мое падение было остановлено страшным всплеском, который отдался в моих ушах сильнее, чем шум Ниагарского водопада. После этого я в продолжение минуты был во мраке, затем мой ящик начал подниматься, и в верхнюю часть окон я увидел свет. Тогда я понял, что упал в море. Благодаря тяжести моего тела, а также различным вещам и железным пластинам, которыми ящик был скреплен для прочности по всем четырем углам сверху и снизу, он погрузился в воду на пять футов. Я предполагал и предполагаю теперь, что на орла, летевшего с ящиком, напали два или три соперника, надеясь поделиться добычей, и что во время битвы орел выпустил меня из клюва. Железные пластины, укрепленные на дне ящика (самые тяжелые из всех), помогли ему сохранить во время падения равновесие и не дали разбиться о поверхность воды. Все скрепы были тесно пригнаны; двери отворялись не на петлях, а поднимались и опускались, как подъемные окна. Словом, моя комната была закрыта так плотно, что воды туда проникло очень немного. С трудом выйдя из гамака, я отважился отодвинуть в крышке упомянутую выше доску, чтобы впустить свежего воздуху, от недостатка которого я почти задыхался.   
 Как часто возникало у меня тогда желание быть с моей милой Глюмдальклич, от которой один только час так отдалил меня! По совести говорю, что среди собственных несчастий я не мог удержаться от слез при мысли о моей бедной нянюшке, о горе, которое причинит ей эта потеря, о неудовольствии королевы и о крушении ее надежд. Вряд ли многим путешественникам выпадало на долю такое трудное и отчаянное положение, в каком находился я в это время, ежеминутно ожидая, что мой ящик разобьется или, в лучшем случае, будет опрокинут первым же порывом ветра и первой же волной. Стоило только разбиться хотя бы одному оконному стеклу, и мне грозила бы неминуемая смерть; между тем эти стекла были защищены только железными решетками, поставленными снаружи в ограждение от дорожных случайностей. Заметив, что вода начинает просачиваться сквозь щели, хотя они были незначительны, я как мог законопатил их. Я был не в силах поднять крышу моего ящика, что непременно сделал бы и взобрался бы наверх; там я мог, по крайней мере, протянуть несколько часов дольше, чем сидя взаперти в этом, если можно так сказать, трюме. Но если бы даже мне удалось избежать опасности в продолжение одного или двух дней, то затем чего я мог ожидать, кроме смерти от голода и холода? В таком состоянии я пробыл около четырех часов, каждую минуту ожидая и даже желая гибели.   
 Я уже говорил читателю, что к глухой стороне моего ящика были прикреплены две прочные скобы, в которые слуга, возивший меня на лошади, продевал кожаный ремень и пристегивал его к своему поясу. Находясь в этом неутешительном положении, я вдруг услышал, или мне только почудилось, что по этой стороне ящика что-то царапается; скоро после этого мне показалось, что ящик тащат или буксируют по морю, так как по временам я чувствовал как бы дерганье, от которого волны подымались до самых верхушек моих окон, погружая меня в темноту. Это поселило во мне слабую надежду на освобождение, хотя я не мог понять, откуда могла прийти помощь. Я решился отвинтить один из моих стульев, прикрепленных к полу, и с большими усилиями снова привинтил его под подвижной доской, которую незадолго перед тем отодвинул. Взобравшись на этот стул и приблизив, насколько возможно, свой рот к отверстию, я стал громко звать на помощь на всех известных мне языках. Потом я привязал платок к палке, которая всегда была со мной, и, просунув ее в отверстие, стал махать платком с целью привлечь внимание лодки или корабля, если бы таковые находились поблизости, и дать знать матросам, что в ящике заключен несчастный смертный.   
 Но все это, казалось, не приводило ни к каким результатам; однако же я ясно ощущал, что моя комната все подвигается вперед. Спустя час или более сторона ящика, где находились скобы, толкнулась о что-то твердое. Я испугался, не скала ли это, и почувствовал, что ящик качается больше, чем прежде. Я ясно расслышал на крыше моей комнаты шум, словно был брошен канат, затем он заскрипел, как если бы его продевали в кольцо. После этого я почувствовал, что в несколько приемов меня подняли фута на три выше, чем я был прежде. Я снова выставил палку с платком и начал призывать на помощь, пока не охрип. В ответ я услышал громкие восклицания, повторившиеся три раза, которые привели меня в неописуемый восторг, понятный только тому, кто сам испытал его. Затем я услышал топот ног над моей головой, и кто-то громко закричал мне в отверстие по-английски: "Если есть кто-нибудь там внизу, пусть говорит". Я отвечал, что я англичанин, вовлеченный злою судьбою в величайшие бедствия, какие постигали когда-нибудь разумное существо, и заклинал всем, что может тронуть сердце, освободить меня из моей темницы. На это голос сказал, что я в безопасности, так как мой ящик привязан к кораблю и немедленно явится плотник, который пропилит в крыше отверстие, достаточно широкое, чтобы вытащить меня. Я отвечал, что в этом нет надобности и даром будет потрачено много времени; гораздо проще кому-нибудь из экипажа просунуть палец в кольцо ящика, вынуть его из воды и поставить в каюте капитана. Услыхав мои нелепые слова, некоторые матросы подумали, что имеют дело с сумасшедшим, другие смеялись. И в самом деле, я совершенно упустил из виду, что нахожусь теперь среди людей одинакового со мной роста и силы. Явился плотник и в несколько минут пропилил дыру в четыре квадратных фута, затем спустил небольшую лестницу, по которой я вышел наверх, после чего был взят на корабль в состоянии крайней слабости.   
 Изумленные матросы задавали мне тысячи вопросов, на которые я не имел расположения отвечать. В свою очередь, и я был приведен в замешательство при виде стольких пигмеев, потому что такими казались эти люди моим глазам, привыкшим долгое время смотреть только на предметы чудовищной величины. Но капитан, мистер Томас Вилькокс, достойный и почтенный шропширец, заметив, что я готов упасть в обморок, отвел меня в свою каюту, дал укрепляющего лекарства и уложил в свою постель, советуя мне немного отдохнуть, что действительно было мне крайне необходимо. Прежде чем заснуть, я сообщил капитану, что в моем ящике находится ценная мебель, которую было бы жаль потерять; что там есть прекрасный гамак, походная постель, два стула, стол и комод, что комната вся увешана или, лучше сказать, обита шелком и бумажными тканями и что если капитан прикажет кому-нибудь из матросов принести в каюту ящик, то я открою его и покажу ему все мои богатства. Услышав этот вздор, капитан подумал, что я в бреду, однако (я полагаю, чтобы успокоить меня) обещал распорядиться исполнить мое желание. Затем он вышел на палубу и велел нескольким матросам спуститься в мой ящик, откуда они вытащили (как я узнал потом) все мои вещи и содрали обивку, причем стулья, комод и постель, привинченные к полу, были сильно испорчены, так как матросы по неведению стали их вырывать. Они сняли некоторые доски для корабельных нужд и, взяв все, что обратило на себя их внимание, бросили остов ящика в море; получив теперь много повреждений в полу и стенках, он быстро наполнился водой и пошел ко дну. Я был очень доволен, что мне не пришлось присутствовать при этом разрушении, так как уверен, что оно бы очень расстроило меня, приведя мне на память пережитое, которое я предпочел бы забыть.   
 Я проспал несколько часов, но неспокойно, так как мне все время снились только что покинутые мной места и опасности, которых мне удалось избежать. Все же, проснувшись, я почувствовал, что силы мои восстановились. Было около восьми часов вечера, и капитан, полагавший, что я долго уже голодаю, приказал немедленно подать ужин. Он гостеприимно угощал меня, заметив, что взгляд мой не безумен и речь не бессвязна. Когда мы остались одни, он попросил меня рассказать о моих приключениях и сообщить, какие обстоятельства бросили меня в этом чудовищном деревянном сундуке на волю ветра и волн. Он сказал, что около полудня заметил его в зрительную трубу и сначала принял его за парус. Так как курс капитана лежал недалеко, то он решил к нему направиться в надежде купить немного сухарей, в которых у него чувствовался недостаток. Подойдя ближе и убедившись в своей ошибке, он послал шлюпку узнать, в чем дело. Матросы в испуге воротились назад, клятвенно уверяя, что видели плавучий дом. Посмеявшись над их глупостью, капитан сам спустился в шлюпку, приказав матросам взять с собою два прочных каната. Так как море было спокойно, то он несколько раз объехал вокруг ящика и заметил в нем окна с железными решетками. Затем он обнаружил две скобы на одной стороне, которая была вся дощатая, без отверстий для пропуска света. Капитан приказал подплыть к этой стороне и, привязав канат к одной скобе, велел матросам тащить мой сундук (как он его называл) на буксире к кораблю. Когда его притащили, капитан приказал привязать другой канат к кольцу, прикрепленному на крыше, и на блоках поднять ящик; но, несмотря на участие всей команды, меня удалось поднять только на два или на три фута. Капитан сказал, что они видели мою палку с платком, просунутую в дыру, и решили, что в ящике заключены какие-то несчастные. Я спросил капитана, не видел ли он или кто-нибудь из экипажа на небе громадных птиц, перед тем как меня заметили с корабля. На это он ответил, что когда он обсуждал событие с матросами во время моего сна, то один из матросов сообщил, что видел трех орлов, летевших по направлению к северу, но они не показались ему больше обыкновенных; последнее обстоятельство, я полагаю, объясняется большой высотой, на которой летели птицы. Капитан не мог понять, почему я задаю такой вопрос. Затем я спросил его, далеко ли мы находимся от земли. На это он ответил, что, по самым точным вычислениям, мы находимся от берега на расстоянии не менее ста лиг. Я сказал капитану, что он больше чем на половину ошибается, так как я упал в море спустя каких-нибудь два часа, после того как покинул страну, в которой жил. После моего замечания капитан снова стал думать, что мозги мои не в порядке, на что он мне намекнул и посоветовал отправиться спать в каюту, которая для меня приготовлена. Я уверил капитана, что благодаря его любезному приему и прекрасному обществу я совершенно восстановил свои силы и что ум мой ясен как никогда. Тогда он принял серьезный вид и, попросив позволения говорить со мной откровенно, спросил, не повредился ли мой рассудок оттого, что на совести у меня лежит тяжкое преступление, в наказание за которое я и был посажен, по повелению какого-нибудь государя, в этот сундук: ведь существует же в некоторых странах обычай сажать больших преступников без пищи в дырявые суда и пускать эти суда в море[81]; хотя он очень бранит себя за то, что принял на корабль такого преступника, однако дает слово доставить меня в целости в первый же порт. Он добавил, что подозрения его сильно укрепили нелепости, которые я говорил сначала матросам, а потом и ему по поводу моей комнаты, или сундука, мои беспокойные взгляды и странное поведение за ужином.   
 Я просил капитана терпеливо выслушать рассказ о моих приключениях, которые я добросовестно изложил, начиная с последнего отъезда из Англии и до той минуты, когда он заметил мой ящик. И так как истина всегда находит доступ в рассудительный ум, то этот достойный и почтенный джентльмен, обладавший большим здравым смыслом и не лишенный образования, был скоро убежден в моей искренности и правдивости. Однако, желая еще более подтвердить все сказанное мною, я попросил капитана приказать принести мой комод, ключ от которого был у меня в кармане (ибо он уже сообщил мне, каким образом матросы распорядились с моей комнатой). Я открыл комод в присутствии капитана и показал ему небольшую коллекцию редкостей, собранных мною в стране, которую я покинул таким странным образом. Там был гребень, который я смастерил из волос королевской бороды, и другой, сделанный из того же материала, но вместо дерева на его спинку я употребил обрезок ногтя с большого пальца ее величества. Там была коллекция иголок и булавок длиною от фута до полуярда; несколько вычесок из волос королевы; золотое кольцо, которое королева однажды любезно подарила, сняв его с мизинца и надев мне на шею как ожерелье. Я просил капитана принять кольцо в благодарность за оказанные им мне услуги, но он наотрез отказался. Я показал ему также мозоль, которую собственными руками срезал с пальца на ноге одной фрейлины; эта мозоль, величиною с кентское яблоко, была так тверда, что по возвращении в Англию я вырезал из нее кубок и оправил в серебро. Наконец, я попросил его рассмотреть штаны из мышиной кожи, которые были тогда на мне.   
 Я едва убедил капитана принять от меня в подарок хотя бы зуб одного лакея, заметив, что он с большим любопытством рассматривает этот зуб, видимо, очень поразивший его воображение. Капитан принял подарок с благодарностью, которой не заслуживала такая безделица. Зуб этот по ошибке был выдернут неопытным хирургом у одного из лакеев Глюмдальклич, страдавшего зубной болью, но оказался совершенно здоровым. Вычистив его, я спрятал как диковину себе в комод. Он был около фута в длину и четыре дюйма в диаметре.   
 Капитан остался очень доволен моим безыскусственным рассказом и выразил надежду, что по возвращении в Англию я окажу услугу всему свету, изложив его на бумаге и сделав достоянием гласности. На это я ответил, что, по моему мнению, книжный рынок и без того перегружен книга ми путешествий; что в настоящее время нет ничего, что показалось бы нашему читателю необыкновенным, и это заставляет меня подозревать, что многие авторы менее заботятся об истине, чем об удовлетворении своего тщеславия и своей корысти, и ищут только развлечь невежественных читателей; что моя история будет повествовать только о самых обыкновенных событиях и читатель не найдет в ней красочных описаний диковинных растений, деревьев, птиц и животных или же варварских обычаев и идолопоклонства дикарей, которыми так изобилуют многие путешествия. Во всяком случае, я поблагодарил капитана за его доброе мнение и обещал подумать об этом.   
 Капитан очень удивлялся, почему я так громко говорю, и спросил меня, не были ли туги на ухо король или королева той страны, где я жил. Я ответил, что это следствие привычки, приобретенной за последние два года, и что меня, в свою очередь, удивляют голоса капитана и всего экипажа, которые мне кажутся шепотом, хотя я слышу их совершенно ясно. Чтобы разговаривать с моими великанами, необходимо было говорить так, как говорят на улице с человеком, стоящим на вершине колокольни, за исключением тех случаев, когда меня ставили на стол или брали на руки. Я сообщил ему также и мое другое наблюдение: когда я вошел на корабль и вокруг собрались все матросы, они показались мне самыми ничтожными по своим размерам существами, каких только я когда-либо видел. И в самом деле, с тех пор, как судьба забросила меня во владения этого короля, глаза мои до того привыкли к предметам чудовищной величины, что я не мог смотреть на себя в зеркало, так как сравнение порождало во мне очень неприятные мысли о моем ничтожестве. Тогда капитан сказал, что, наблюдая меня за ужином, он заметил, что я с большим удивлением рассматриваю каждый предмет и часто делаю над собой усилие, чтобы не рассмеяться; не зная, чем объяснить такую странность, он приписал ее расстройству моего рассудка. Я ответил, что его наблюдения совершенно правильны, но мог ли я держать себя иначе при виде блюда величиною в три пенса, свиного окорока, который можно было съесть в один прием, при виде чашки, напоминавшей скорлупу ореха, - и я описал ему путем таких же сравнений всю обстановку и все припасы. И хотя королева снабдила меня всем необходимым, когда я состоял на ее службе, тем не менее мои представления всегда были в соответствии с тем, что я видел кругом, причем я так же закрывал глаза на свои ничтожные размеры, как люди закрывают их на свои недостатки. Капитан отлично понял мою шутку и весело ответил мне старой английской поговоркой, что у меня глаза больше желудка, так как он не заметил у меня большого аппетита, несмотря на то что я постился в течение целого дня. И, продолжая смеяться, заявил, что заплатил бы сто фунтов за удовольствие посмотреть на мою комнату в клюве орла и в то время, как она падала в море со страшной высоты; эта поистине удивительная картина достойна описания в назидание грядущим поколениям. При этом сравнение с Фаэтоном было настолько очевидно, что он не мог удержаться, чтобы не применить его ко мне, хотя я не был особенно польщен им[82].   
 Побывав в Тонкине, капитан на обратном пути в Англию занесен был на северо-восток к 44ь северной широты и 145ь долготы. Но так как спустя два дня после того, как я был взят на борт, мы встретили пассатный ветер, то долго шли к югу и, миновав Новую Голландию, взяли курс на ЗЮЗ, потом на ЮЮЗ, пока не обогнули мыс Доброй Надежды. Наше плавание было очень счастливо, но я не буду утомлять читателя его описанием. Раз или два капитан заходил в порты запастись провизией и свежей водой, но я ни разу не сходил с корабля до самого прибытия в Даунс, что произошло 5 июня 1706 года, то есть спустя девять месяцев после моего освобождения. Я предложил капитану в обеспечение платы за мой переезд все, что у меня было, но он не согласился взять ни одного фартинга. Мы дружески расстались, и я взял с него слово навестить меня в Редрифе. Затем я нанял лошадь и проводника за пять шиллингов, взятых в долг у капитана.   
 Наблюдая по дороге ничтожные размеры деревьев, домов, людей и домашнего скота, я все думал, что нахожусь в Лилипутии. Я боялся раздавить встречавшихся на пути прохожих и часто громко кричал, чтобы они посторонились; такая грубость с моей стороны привела к тому, что мне раз или два чуть не раскроили череп.   
 Когда я пришел домой, куда принужден был спрашивать дорогу, и один из слуг отворил мне двери, я на пороге нагнулся (как гусь под воротами), чтобы не удариться головой о притолоку. Жена прибежала обнять меня, но я наклонился ниже ее колен, полагая, что иначе ей не достать моего лица. Дочь стала на колени, желая попросить у меня благословения, но я не увидел ее, пока она не поднялась, настолько я привык задирать голову и направлять глаза на высоту шестидесяти футов; затем я сделал попытку поднять ее одной рукой за талию. На слуг и на одного или двух находившихся в доме друзей я смотрел сверху вниз, как смотрит великан на пигмеев. Я заметил жене, что они, верно, вели слишком экономную жизнь, так как обе вместе с дочерью заморили себя и обратились в ничто. Короче сказать, я держал себя столь необъяснимым образом, что все составили обо мне то же мнение, какое составил капитан, увидя меня впервые, то есть решили, что я сошел с ума. Я упоминаю здесь об этом только для того, чтобы показать, как велика сила привычки и предубеждения.   
 Скоро все недоразумения между мной, семьей и друзьями уладились, но жена торжественно заявила, что больше я никогда не увижу моря. Однако же моя злая судьба распорядилась иначе, и даже жена не могла удержать меня, как скоро узнает об этом читатель. Этим я оканчиваю вторую часть моих злосчастных путешествий.

**\* ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ПУТЕШЕСТВИЕ В ЛАПУТУ, БАЛЬНИБАРБИ, ЛАГГНЕГГ, ГЛАББДОБДРИБ И ЯПОНИЮ \***

**ГЛАВА I**

Автор отправляется в третье путешествие. Он захвачен пиратами. Злоба одного голландца. Прибытие автора на некий остров. Его поднимают на Лапуту   
  
 Не пробыл я дома и десяти дней, как ко мне пришел в гости капитан Вильям Робинсон, из Корнуэлса, командир большого корабля "Добрая Надежда" в триста тонн водоизмещения. Когда-то я служил хирургом на другом судне, являвшемся в четвертой части его собственностью и ходившем под его командой в Левант. Он всегда обращался со мной скорее как с братом, чем как с подчиненным. Услышав о моем приезде, он посетил меня, по-видимому, только из дружбы, потому что не сказал больше того, что обычно говорится между друзьями после долгой разлуки. Но он стал заходить ко мне часто, выражал радость, что находит меня в добром здравии, спрашивал, окончательно ли я решил поселиться дома, говорил о своем намерении через два месяца отправиться в Ост-Индию и в заключение напрямик пригласил меня, хотя и с некоторыми извинениями, хирургом на свой корабль, сказав, что, кроме двух штурманов, мне будет подчинен еще один хирург, что я буду получать двойной оклад жалованья против обыкновенного и что, убедившись на опыте в том, что я знаю морское дело нисколько не хуже его, он обязуется считаться с моими советами, как если бы я командовал кораблем наравне с ним.   
 Капитан наговорил мне столько любезностей, и я знал его за такого порядочного человека, что я не мог отказаться от его предложения: несмотря на все постигшие меня невзгоды, жажда видеть свет томила меня с прежней силой. Оставалось единственное затруднение - уговорить жену; но в конце концов и она дала свое согласие, когда я изложил те выгоды, которые путешествие сулило нашим детям.   
 Мы снялись с якоря 5 августа 1706 года и прибыли в форт С.-Жорж 11 апреля 1707 года[83]. Мы оставались там три недели с целью обновить экипаж судна, так как между матросами было много больных. Оттуда мы отправились в Тонкин, где капитан решил простоять некоторое время, потому что товары, которые он намеревался закупить, не могли быть изготовлены и сданы раньше нескольких месяцев. Таким образом, в надежде хотя бы отчасти покрыть расходы по этой стоянке, капитан купил шлюп, нагрузил его различными товарами, составляющими предмет всегдашней торговли тонкинцев с соседними островами, и отправил на нем под моей командой четырнадцать человек, из которых трое были туземцы, дав мне полномочие распродать эти товары, пока он будет вести свои дела в Тонкине.   
 Не прошло и трех дней нашего плавания, как поднялась сильная буря, и в продолжение пяти дней нас гнало по направлению к северо- востоку и затем к востоку; после этого настала хорошая погода, хотя не переставал дуть сильный западный ветер. На десятый день за нами пустились в погоню два пирата, которые скоро настигли нас, так как мой сильно нагруженный шлюп мог только медленно подвигаться вперед; вдобавок мы были лишены возможности защищаться[84].   
 Мы были взяты на абордаж почти одновременно обоими пиратами, которые ворвались на наш корабль во главе своих людей; но, найдя нас лежащими ничком (таков был отданный мной приказ), они удовольствовались тем, что крепко связали нас и, поставив над нами стражу, принялись обыскивать судно.   
 Я заметил среди них одного голландца, который, по-видимому, пользовался некоторым авторитетом, хотя не командовал ни одним из кораблей. По нашей наружности он признал в нас англичан и, обратившись к нам на своем языке, поклялся связать спинами одного с другим и бросить в море. Я довольно сносно говорил по-голландски; я объяснил ему, кто мы, и просил его, приняв во внимание, что мы христиане и протестанты, подданные соседнего государства, которое находится в дружественных отношениях с его отечеством, ходатайствовать за нас перед командирами, чтобы те отнеслись к нам милостиво[85]. Эти слова привели голландца в ярость; он повторил угрозы и, обратясь к своим товарищам, начал с жаром что-то говорить, по-видимому, на японском языке, часто произнося слово "христианос".   
 Командиром более крупного судна пиратов был японец, который говорил немного по-голландски, хотя и очень плохо. Подойдя ко мне и задав несколько вопросов, на которые я ответил очень почтительно, он объявил, что мы не будем преданы смерти. Низко поклонившись капитану, я обратился к голландцу и сказал, что мне прискорбно видеть в язычнике больше милосердия, чем в своем брате христианине. Но мне пришлось скоро раскаяться в своих необдуманных словах, ибо этот злобный негодяй, после неоднократных тщетных стараний убедить обоих капитанов бросить меня в море (на что те не соглашались после данного ими обещания сохранить мою жизнь), добился все же назначения мне наказания, худшего, чем сама смерть. Люди мои были размещены поровну на обоих пиратских суднах, а на моем шлюпе была сформирована новая команда. Меня же самого решено было посадить в челнок и, снабдив веслами, парусом и провизией на четыре дня, предоставить на волю ветра и волн. Капитан-японец был настолько милостив, что удвоил количество провизии из собственных запасов и запретил обыскивать меня. Когда я спускался в челнок, голландец, стоя на палубе, покрывал меня всеми проклятиями и ругательствами, какие только существуют на его языке.   
 За час до нашей встречи с пиратами я вычислил, что мы находились под 46ь северной широты и 185ь долготы[86]. Отойдя на довольно значительное расстояние от пиратов, я при помощи карманной зрительной трубки открыл несколько островов на юго-востоке. Я поставил парус и с помощью попутного ветра надеялся достигнуть ближайшего из этих островов, что мне и удалось в течение трех часов. Остров был весь скалистый; однако мне посчастливилось найти много птичьих яиц, и, добыв кремнем огонь, я развел костер из вереска и сухих водорослей, на котором испек яйца. Ужин мои состоял из этого единственного кушанья, так как я решил по возможности беречь запас своей провизии. Я провел ночь под защитой скалы, постелив себе немного вереска, и спал очень хорошо.   
 На следующий день, подняв парус, я отправился к другому острову, а оттуда к третьему и к четвертому, прибегая иногда к парусу, а иногда к веслам. Но чтобы не утомлять внимание читателя подробным описанием моих бедствий, достаточно будет сказать, что на пятый день я прибыл к последнему из замеченных мною островов, расположенному на юго-юго-восток от первого.   
 Этот остров был гораздо дальше, чем я предполагал, и потому только после пятичасового перехода я достиг его берегов. Я объехал его почти кругом, прежде чем мне удалось найти подходящее место для высадки; то была небольшая бухточка, где могло бы поместиться всего три моих челнока. Весь остров был скалист и лишь кое-где испещрен кустиками травы и душистыми растениями. Я достал мою скудную провизию и, подкрепившись немного, остаток спрятал в один из гротов, которыми изобиловал остров. На утесах я собрал много яиц, затем принес сухих водорослей и травы, намереваясь на другой день развести костер и как-нибудь испечь эти яйца (так как при мне были огниво, кремень, трут и зажигательное стекло). Ночь я провел в том гроте, где поместил провизию. Постелью мне служили те же водоросли и травы, которые я приготовил для костра. Спал я очень мало, потому что беспокойное душевное состояние взяло верх над усталостью и не давало заснуть. Я думал о том, как безнадежно пытаться сохранить жизнь в столь пустынном месте и какой печальный ждет меня конец. Я был так подавлен этими размышлениями, что у меня недоставало решимости встать, и когда наконец я собрался с силами и выполз из пещеры, было уже совсем светло. Я немного прошелся между скалами; небо было совершенно ясно, и солнце так жгло, что я принужден был отвернуться. Вдруг стало темно, но совсем не так, как от облака, когда оно закрывает солнце. Я оглянулся назад и увидел в воздухе большое непрозрачное тело, заслонявшее солнце и двигавшееся по направлению к острову; тело это находилось, как мне казалось, на высоте двух миль и закрывало солнце в течение шести или семи минут; но я не ощущал похолодания воздуха и не заметил, чтобы небо потемнело больше, чем в том случае, если бы я стоял в тени, отбрасываемой горой. По мере приближения ко мне этого тела оно стало мне казаться твердым; основание же его было плоское, гладкое и ярко сверкало, отражая освещенную солнцем поверхность моря. Я стоял на возвышенности в двухстах ярдах от берега и видел, как это обширное тело спускается почти отвесно на расстоянии английской мили от меня. Я вооружился карманной зрительной трубкой и мог ясно различить на нем много людей, спускавшихся и поднимавшихся по отлогим, по-видимому, сторонам тела; но что делали там эти люди, я не мог рассмотреть.   
 Естественная любовь к жизни наполнила меня чувством радости, и у меня явилась надежда, что это приключение так или иначе поможет мне выйти из пустынного места и отчаянного положения, в котором я находился. Но, с другой стороны, читатель едва ли будет в состоянии представить себе, с каким удивлением смотрел я на парящий в воздухе остров, населенный людьми, которые (как мне казалось) могли поднимать и опускать его или направлять вперед по своему желанию. Но я не был тогда расположен философствовать по поводу этого явления, и для меня представляло гораздо больше интереса наблюдать, в какую сторону двинется остров, так как на мгновение он как будто остановился. Скоро, однако, он приблизился ко мне, и я мог рассмотреть, что его стороны окружены несколькими галереями, расположенными уступами и соединенными между собой на известных промежутках лестницами, позволявшими переходить с одной галереи на другую. На самой нижней галерее я увидел нескольких человек, из которых одни ловили рыбу длинными удочками, а другие смотрели на эту ловлю. Я стал махать ночным колпаком (моя шляпа давно уже износилась) и платком по направлению к острову, и, когда он приблизился еще больше, я закричал во всю глотку. Затем, вглядевшись внимательнее, я увидел, что на обращенной ко мне стороне острова собирается толпа. Судя по тому, что находившиеся тут люди указывали на меня пальцами и оживленно жестикулировали, я заключил, что они заметили меня, хотя и не отвечали на мои крики. Я видел только, что из толпы отделились четыре или пять человек и поспешно стали подниматься по лестницам на вершину острова, где и исчезли. Я догадывался, и совершенно основательно, что эти люди были посланы к какой-нибудь важной особе за распоряжениями по поводу настоящего случая.   
 Толпа народа увеличилась, и менее чем через полчаса остров пришел в движение и поднялся таким образом, что нижняя галерея оказалась на расстоянии около ста ярдов от места, где я находился. Тогда, приняв молящее положение, я начал говорить самым подобострастным тоном, но не получил никакого ответа. Люди, стоявшие ближе всего ко мне, были, по-видимому, если судить по их костюмам, знатные особы. Они вели между собою какое-то серьезное совещание, часто посматривая на меня. Наконец один из них что-то закричал на чистом, изящном и благозвучном наречии, по звуку напоминавшем итальянский язык, почему я и ответил на этом языке, рассчитывая, по крайней мере, что для их слуха он будет приятнее. Хотя мы и не поняли друг друга, но намерение мое было легко угадать, ибо они видели, в каком бедственном положении я находился.   
 Мне сделали знак спуститься со скалы и идти к берегу, что я и исполнил. Летучий остров поднялся на соответствующую высоту, так что его край пришелся как раз надо мной, затем с нижней галереи была спущена цепь с прикрепленным к ней сиденьем, на которое я сел и при помощи блоков был поднят наверх.

**ГЛАВА II**

Описание характера и нравов лапутян. Представление об их науке. О короле и его дворе. Прием, оказанный при дворе автору. Страхи и тревоги лапутян. Жены лапутян   
  
 Едва я высадился на остров, как меня окружила толпа народа; стоявшие ко мне поближе, по-видимому, принадлежали к высшему классу. Все рассматривали меня с знаками величайшего удивления; но и сам я не был в долгу в этом отношении, потому что мне никогда еще не приходилось видеть смертных, которые бы так поражали своей фигурой, одеждой и выражением лиц. У всех головы были скошены направо или налево; один глаз смотрел внутрь, а другой прямо вверх к зениту. Их верхняя одежда была украшена изображениями солнца, луны, звезд вперемежку с изображениями скрипки, флейты, арфы, трубы, гитары, клавикордов и многих других музыкальных инструментов, неизвестных в Европе. Я заметил поодаль множество людей в одежде слуг с наполненными воздухом пузырями, прикрепленными наподобие бичей к концам коротких палок, которые они держали в руках. Как мне сообщили потом, в каждом пузыре находились сухой горох или мелкие камешки. Этими пузырями они время от времени хлопали по губам и ушам лиц, стоявших подле них, значение каковых действий я сначала не понимал. По-видимому, умы этих людей так поглощены напряженными размышлениями, что они не способны ни говорить, ни слушать речи собеседников, пока их внимание не привлечено каким-нибудь внешним воздействием на органы речи и слуха; вот почему люди достаточные держат всегда в числе прислуги одного так называемого хлопальщика (по-туземному "клайменоле") и без него никогда не выходят из дому и не делают визитов. Обязанность такого слуги заключается в том, что при встрече двух, трех или большего числа лиц он должен слегка хлопать по губам того, кому следует говорить, и по правому уху того или тех, к кому говорящий обращается. Этот хлопальщик равным образом должен неизменно сопровождать своего господина на его прогулках и в случае надобности легонько хлопать его по глазам, так как тот всегда бывает настолько погружен в размышления, что на каждом шагу подвергается опасности упасть в яму или стукнуться головой о столб, а на улицах - спихнуть других или самому быть спихнутым в канаву[87].   
 Мне необходимо было сообщить читателю все эти подробности, иначе ему, как и мне, затруднительно было бы понять те ужимки, с какими эти люди проводили меня по лестницам на вершину острова, а оттуда в королевский дворец. Во время восхождения они несколько раз забывали, что они делали, и оставляли меня одного, пока хлопальщики не выводили из забытья своих господ; по-видимому, на них не произвели никакого впечатления ни мои непривычные для них наружность и костюм, ни восклицания простого народа, мысли и умы которого не так поглощены созерцанием.   
 Наконец мы достигли дворца и проследовали в аудиенц-залу, где я увидел короля на троне, окруженного с обеих сторон знатнейшими вельможами. Перед троном стоял большой стол, заваленный глобусами, планетными кругами и различными математическими инструментами. Его величество не обратил на нас ни малейшего внимания, несмотря на то что наш приход был достаточно шумным благодаря сопровождавшей нас придворной челяди; король был тогда погружен в решение трудной задачи, и мы ожидали, по крайней мере, час, пока он ее решил. По обеим сторонам короля стояли два пажа с пузырями в руках. Когда они заметили, что король решил задачу, один из них почтительно хлопнул его по губам, а другой по правому уху; король вздрогнул, точно внезапно разбуженный, и, обратив свои взоры на меня и сопровождавшую меня свиту, вспомнил о причине нашего прихода, о котором ему было заранее доложено. Он произнес несколько слов, после чего молодой человек, вооруженный пузырем, тотчас подошел ко мне и легонько хлопнул меня по правому уху; я стал делать знаки, что не нуждаюсь в подобном напоминании, и это - как я заметил позднее - внушило его величеству и всему двору очень невысокое мнение о моих умственных способностях. Догадываясь, что король задает мне вопросы, я отвечал на всех известных мне языках. Наконец, когда выяснилось, что мы не можем понять друг друга, меня отвели, по приказанию короля (который относится к иностранцам гораздо гостеприимнее, чем его предшественники), в один из дворцовых покоев, где ко мне приставили двух слуг. Подали обед, и четыре знатные особы, которых я видел подле самого короля в тронном зале, сделали мне честь, сев со мной за стол. Обед состоял из двух перемен, по три блюда в каждой. В первой перемене были баранья лопатка, вырезанная в форме равностороннего треугольника, кусок говядины в форме ромбоида и пудинг в форме циклоида. Во вторую перемену вошли две утки, приготовленные в форме скрипок, сосиски и колбаса в виде флейты и гобоя и телячья грудинка в виде арфы. Слуги резали нам хлеб на куски, имевшие форму конусов, цилиндров, параллелограммов и других геометрических фигур.   
 Во время обеда я осмелился спросить названия различных предметов на их языке; и эти знатные особы, при содействии хлопальщиков, любезно отвечали мне в надежде, что мое восхищение их способностями еще более возрастет, если я буду в состоянии разговаривать с ними. Скоро я уже мог попросить хлеба, воды и всего, что мне было нужно.   
 После обеда мои сотрапезники удалились, и ко мне, по приказанию короля, прибыло новое лицо в сопровождении хлопальщика. Лицо это принесло с собой перья, чернила, бумагу и три или четыре книги и знаками дало мне понять, что оно прислано обучать меня языку. Мы занимались четыре часа, и за это время я написал большое количество слов в несколько столбцов с переводом каждого из них, и кое-как выучил ряд небольших фраз. Учитель мой приказывал одному из слуг принести какой-нибудь предмет, повернуться, поклониться, сесть, встать, ходить и т. п., после чего я записывал произнесенную им фразу. Он показал мне также в одной книге изображения солнца, луны, звезд, зодиака, тропиков и полярных кругов и сообщил название многих плоских фигур и стереометрических тел. Он назвал и описал мне все музыкальные инструменты и познакомил меня с техническими терминами, употребляющимися при игре на каждом из них. Когда он ушел, я расположил все эти слова с их толкованиями в алфавитном порядке. Благодаря такой методе и моей хорошей памяти я в несколько дней приобрел некоторые познания в лапутском языке.   
 Я никогда не мог узнать правильную этимологию слова "Лапута", которое перевожу словами "летучий" или "плавучий остров"[88]. "Лап" на древнем языке, вышедшем из употребления, означает высокий, а "унту" - правитель; отсюда, как утверждают ученые, произошло слово "Лапута", искаженное "Лапунту". Но я не могу согласиться с подобным объяснением, и оно мне кажется немного натянутым. Я отважился предложить тамошним ученым свою гипотезу относительно происхождения означенного слова; по-моему, "Лапута" есть не что иное, как "лап аутед": "лап" означает игру солнечных лучей на морской поверхности, а "аутед" - крыло; впрочем, я не настаиваю на этой гипотезе, а только предлагаю ее на суд здравомыслящего читателя.   
 Лица, попечению которых вверил меня король, видя плохое состояние моего костюма, распорядились, чтобы на следующий день явился портной и снял мерку для нового костюма. При совершении этой операции мастер употреблял совсем иные приемы, чем те, какие практикуются его собратьями по ремеслу в Европе. Прежде всего он определил при помощи квадранта мой рост, затем вооружился линейкой и циркулем и вычислил на бумаге размеры и очертания моего тела. Через шесть дней платье было готово; оно было сделано очень скверно, совсем не по фигуре, что объясняется ошибкой, вкравшейся в его вычисления. Моим утешением было то, что я наблюдал подобные случайности очень часто и перестал обращать на них внимание[89].   
 Так как у меня не было платья и я чувствовал себя нездоровым, то я провел несколько дней в комнате и за это время значительно расширил свой лексикон, так что при первом посещении двора я мог более или менее удовлетворительно отвечать королю на многие его вопросы. Его величество отдал приказ направить остров на северо-восток по направлению к Лагадо, столице всего королевства, расположенному внизу, на земной поверхности. Для этого нужно было пройти девяносто лиг, и наше путешествие продолжалось четыре с половиною дня, причем я ни в малейшей степени не ощущал поступательного движения острова в воздухе. На другой день около одиннадцати часов утра король, знать, придворные и чиновники, вооружась музыкальными инструментами, начали концерт, который продолжался в течение трех часов непрерывно, так что я был совершенно оглушен; я не мог также понять цели этого концерта, пока мой учитель не объяснил мне, что уши народа, населяющего летучий остров, одарены способностью воспринимать музыку сфер, которая всегда раздается в известные периоды, и что каждый придворный готовится теперь принять участие в этом мировом концерте на том инструменте, каким он лучше всего владеет.   
 Во время нашего полета к Лагадо, столичному городу, его величество приказывал останавливать остров над некоторыми городами и деревнями для приема прошений от своих подданных. С этой целью спускались вниз тонкие веревочки с небольшим грузом на конце. К этим веревочкам население подвешивало свои прошения, и они поднимались прямо вверх, как клочки бумаги, прикрепляемые школьниками к концу веревки, на которой они пускают змеев. Иногда мы получали снизу вино и съестные припасы, которые поднимались к нам на блоках.   
 Мои математические познания оказали мне большую услугу в усвоении их фразеологии, заимствованной в значительной степени из математики и музыки (ибо я немного знаком также и с музыкой). Все их идеи непрестанно вращаются около линий и фигур. Если они хотят, например, восхвалить красоту женщины или какого-нибудь животного, они непременно опишут ее при помощи ромбов, окружностей, параллелограммов, эллипсов и других геометрических терминов или же терминов, заимствованных из музыки, перечислять которые здесь ни к чему. В королевской кухне я видел всевозможные математические и музыкальные инструменты, по образцу которых повара режут жаркое для стола его величества.   
 Дома лапутян построены очень скверно: стены поставлены криво, ни в одной комнате нельзя найти ни одного прямого угла; эти недостатки объясняются презрительным их отношением к прикладной геометрии, которую они считают наукой вульгарной и ремесленной; указания, которые они делают, слишком утонченны и недоступны для рабочих, что служит источником беспрестанных ошибок. И хотя они довольно искусно владеют на бумаге линейкой, карандашом и циркулем, однако что касается обыкновенных повседневных действий, то я не встречал других таких неловких, неуклюжих и косолапых людей, столь тугих на понимание всего, что не касается математики и музыки. Они очень плохо рассуждают и всегда с запальчивостью возражают, кроме тех случаев, когда бывают правы, но это редко с ними случается. Воображение, фантазия и изобретательность совершенно чужды этим людям, в языке их нет даже слов для выражения этих понятий, и вся их умственная деятельность заключена в границах двух упомянутых наук.   
 Большинство лапутян, особенно те, кто занимается астрономией, верят в астрологию, хотя и стыдятся открыто признаваться в этом. Но что меня более всего поразило и чего я никак не мог объяснить, так это замеченное мной у них пристрастие к новостям и политике; они вечно осведомляются насчет общественных дел, высказывают суждения о государственных вопросах и ожесточенно спорят из-за каждого вершка партийных мнений. Впрочем, ту же наклонность я заметил и у большинства европейских математиков, хотя никогда не мог найти ничего общего между математикой и политикой: разве только, основываясь на том, что самый маленький круг имеет столько же градусов, как и самый большой, они предполагают, что и управление миром требует не большего искусства, чем какое необходимо для управления и поворачивания глобуса. Но я думаю, что эта наклонность обусловлена скорее весьма распространенной человеческой слабостью, побуждающей нас больше всего интересоваться и заниматься вещами, которые имеют к нам наименьшее касательство и к пониманию которых мы меньше всего подготовлены нашими знаниями и природными способностями.   
 Лапутяне находятся в вечной тревоге и ни одной минуты не наслаждаются душевным спокойствием, причем их треволнения происходят от причин, которые не производят почти никакого действия на остальных смертных. Страхи их вызываются различными изменениями, которые, по их мнению, происходят в небесных телах[90]. Так, например, они боятся, что земля вследствие постоянного приближения к ней солнца со временем будет всосана или поглощена последним; что поверхность солнца постепенно покроется коркой от его собственных извержений и не будет больше давать света; что земля едва ускользнула от удара хвоста последней кометы, который, несомненно, превратил бы ее в пепел, и что будущая комета, появление которой, по их вычислениям, ожидается через тридцать один год, по всей вероятности, уничтожит землю, ибо если эта комета в своем перигелии приблизится на определенное расстояние к солнцу (чего заставляют опасаться вычисления), то она получит от него теплоты в десять тысяч раз больше, чем ее содержится в раскаленном докрасна железе, и, удаляясь от солнца, унесет за собой огненный хвост длиною в миллион четырнадцать миль; и если земля пройдет сквозь него на расстоянии ста тысяч миль от ядра, или главного тела кометы, то во время этого прохождения она должна будет воспламениться и обратиться в пепел[91]. Лапутяне боятся далее, что солнце, изливая ежедневно свои лучи без всякого возмещения этой потери, в конце концов целиком сгорит и уничтожится, что необходимо повлечет за собой разрушение земли и всех планет, получающих от него свой свет.   
 Вследствие страхов, внушаемых как этими, так и другими не менее грозными опасностями, лапутяне постоянно находятся в такой тревоге, что не могут ни спокойно спать в своих кроватях, ни наслаждаться обыкновенными удовольствиями и радостями жизни. Когда лапутянин встречается утром со знакомым, то его первым вопросом бывает: как поживает солнце, какой вид имело оно при заходе и восходе и есть ли надежда избежать столкновения с приближающейся кометой? Такие разговоры они способны вести с тем же увлечением, с каким дети слушают страшные рассказы о духах и привидениях: жадно им внимая, они от страха не решаются ложиться спать.   
 Женщины острова отличаются весьма живым темпераментом; они презирают своих мужей и проявляют необыкновенную нежность к чужеземцам, каковые тут всегда находятся в порядочном количестве, прибывая с континента ко двору по поручениям общин и городов или по собственным делам; но островитяне смотрят на них свысока, потому что они лишены созерцательных способностей. Среди них-то местные дамы и выбирают себе поклонников; неприятно только, что они действуют слишком бесцеремонно и откровенно: муж всегда настолько увлечен умозрениями, что жена его и любовник могут на его глазах дать полную волю своим чувствам, лишь бы только у супруга под рукой были бумага и математические инструменты и возле него не стоял хлопальщик.   
 Жены и дочери лапутян жалуются на свою уединенную жизнь на острове, хотя, по-моему, это приятнейший уголок в мире; несмотря на то что они живут здесь в полном довольстве и роскоши и пользуются свободой делать все, что им вздумается, островитянки все же жаждут увидеть свет и насладиться столичными удовольствиями; но они могут спускаться на землю только с особого каждый раз разрешения короля, а получить его бывает нелегко, потому что высокопоставленные лица на основании долгого опыта убедились, как трудно бывает заставить своих жен возвратиться с континента на остров. Мне рассказывали, что одна знатная придворная дама - мать нескольких детей, жена первого министра, самого богатого человека в королевстве, очень приятного по наружности, весьма нежно любящего ее и живущего в самом роскошном дворце на острове, - сказавшись больной, спустилась в Лагадо и скрывалась там в течение нескольких месяцев, пока король не отдал приказ разыскать ее во что бы то ни стало; и вот знатную леди нашли в грязном кабаке, всю в лохмотьях, заложившую свои платья для содержания старого безобразного лакея, который ежедневно колотил ее и с которым она была разлучена вопреки ее желанию. И хотя муж принял ее как нельзя более ласково, не сделав ей ни малейшего упрека, она вскоре после этого ухитрилась снова улизнуть на континент к тому же поклоннику, захватив с собой все драгоценности, и с тех пор о ней нет слуху.   
 Читатель, может быть, подумает, что история эта заимствована скорее из европейской или английской жизни, чем из жизни столь отдаленной страны[92]. Но пусть он благоволит принять во внимание, что женские причуды не ограничены ни климатом, ни национальностью и что они гораздо однообразнее, чем кажется с первого взгляда.   
 Меньше чем через месяц я сделал порядочные успехи в лапутском языке, так что мог свободно отвечать на большинство вопросов, задаваемых мне королем, когда я имел честь посещать его. Его величество нисколько не интересовался законами, правлением, историей, религией, нравами и обычаями стран, которые я посетил. Он ограничился только расспросами о состоянии математики, причем выслушивал мои ответы с величайшим пренебрежением и равнодушием, несмотря на то что внимание его было часто возбуждаемо хлопальщиками, стоявшими по обеим сторонам его.

**ГЛАВА III**

Задача, решенная современной философией и астрономией. Большие успехи лапутян в области последней. Королевский метод подавления восстаний   
  
 Я просил у его величества дозволения осмотреть достопримечательности острова, на что он любезно дал свое согласие, приказав моему наставнику быть моим руководителем. Больше всего хотелось мне знать, какой искусственной или естественной причине остров обязан разнообразными движениями. По этому поводу я представлю теперь читателю философское объяснение.   
 Летучий, или плавучий, остров имеет форму правильного круга диаметром в 7857 ярдов, или около четырех с половиной миль; следовательно, его поверхность равняется десяти тысячам акров. Высота острова равна тремстам ярдам. Дно, или нижняя поверхность, видимая только наблюдателям, находящимся на земле, есть гладкая правильная алмазная пластина, толщиной около двухсот ярдов. На ней лежат различные минералы в обычном порядке, и все это покрыто слоем богатого чернозема в десять или двенадцать футов глубины. Наклон поверхности острова от окружности к центру служит естественной причиной того, что роса и дождь, падающие на остров, собираются в ручейки и текут к его середине, где вливаются в четыре больших бассейна, каждый из которых имеет около полумили в окружности и находится в двухстах ярдах от центра острова. Под действием солнечных лучей вода бассейнов непрерывно испаряется в течение дня, что препятствует их переполнению. Кроме того, монарх обладает возможностью поднимать остров в заоблачные сферы, где нет водяных паров, и, следовательно, может предотвратить падение росы и дождей, когда ему заблагорассудится: ведь, по единогласному мнению натуралистов, самые высокие облака не поднимаются выше двух миль; по крайней мере, таких случаев никогда не наблюдалось в этой стране.   
 В центре острова находится пропасть около пятидесяти ярдов в диаметре, через которую астрономы опускаются в большую пещеру, имеющую форму купола и называющуюся поэтому "Фландона Гагноле", или Астрономической Пещерой; она расположена на глубине ста ярдов в толще алмаза. В этой пещере всегда горят двадцать ламп, которые, отражаясь от алмазных стенок, ярко освещают каждый уголок. Вся пещера заставлена разнообразнейшими секстантами, квадрантами, телескопами, астролябиями и другими астрономическими приборами. Но главной достопримечательностью, от которой зависит судьба всего острова, является огромный магнит, по форме напоминающий ткацкий челнок. Он имеет в длину шесть ярдов, а в ширину - в самой толстой своей части - свыше трех ярдов. Магнит этот укреплен на очень прочной алмазной оси, проходящей через его середину; он вращается на ней и подвешен так точно, что малейшее прикосновение руки может повернуть его. Он охвачен полым алмазным цилиндром, имеющим четыре фута в высоту, столько же в толщину и двенадцать ярдов в диаметре и поддерживаемым горизонтально на восьми алмазных ножках, вышиною в шесть ярдов каждая. В середине внутренней поверхности цилиндра сделаны два гнезда, глубиною в двенадцать дюймов каждое, в которые всажены концы оси и в которых, когда бывает нужно, она вращается.   
 Никакая сила не может сдвинуть с места описанный нами магнит, потому что цилиндр вместе с ножками составляет одно целое с массой алмаза, служащего основанием всего острова.   
 При помощи этого магнита остров может подниматься, опускаться и передвигаться с одного места в другое[93]. Ибо, по отношению к подвластной монарху части земной поверхности, магнит обладает с одного конца притягательной силой, а с другого - отталкивательной. Когда магнит поставлен вертикально и его притягательный полюс обращен к земле, остров опускается, но когда обращен книзу полюс магнита, обладающий отталкивательной силой, то остров поднимается прямо вверх. При косом положении магнита остров тоже движется в косом направлении, ибо силы этого магнита всегда действуют по линиям, параллельным его направлению.   
 При помощи такого косого движения остров переносится в разные части владений монарха. Для объяснения способа перемещения острова допустим, что AB есть линия, проходящая через государство Бальнибарби, cd - магнит, у которого d - отталкивательный полюс, а c - притягательный, и что остров находится над точкой C. Пусть магнит будет поставлен в положение cd, при котором его отрицательный полюс направлен вниз, тогда остров будет подталкиваться наискось вверх по направлению к D. По прибытии его в D пусть магнит будет повернут на оси так, чтобы его притягательный полюс был направлен к E, тогда и остров будет двигаться наискось по направлению к E. Если теперь снова повернуть магнит и поставить его в положение EF отталкивательным полюсом книзу, остров поднимется наискось по направлению к F, откуда, направляя притягательный полюс к G, остров можно перенести к G и от G к H, повернув магнит так, чтобы его отталкивательный полюс был обращен прямо вниз. Таким образом, изменяя по мере надобности положение камня, можно поднимать и опускать остров в косых направлениях, и при помощи таких попеременных подъемов и спусков (при незначительных уклонениях вкось) остров переносится из одной части государства в другую.   
 Однако надо заметить, что Лапута не может двигаться за пределы своего государства, а равно и не может подниматься на высоту больше четырех миль. Астрономы (написавшие обширные исследования касательно свойств этого магнита) дают следующее объяснение указанного явления: магнитная сила не простирается далее четырех миль; с другой стороны, действующие на магнит минералы в недрах земли и в море, на расстоянии шести лиг от берега, залегают не по всему земному шару, а только в пределах владений его величества. Пользуясь преимуществами столь выгодного положения, монарх этот без труда мог привести к повиновению все страны, лежащие в пределах притяжения магнита.   
 Если поставить магнит в положение, параллельное плоскости горизонта, то остров останавливается; в самом деле, в этом случае полюсы магнита, находясь на одинаковом расстоянии от земли, действуют с одинаковой силой, - один притягивая остров книзу, другой - толкая его вверх, вследствие чего не может произойти никакого движения.   
 Описанный магнит находится в ведении надежных астрономов, которые время от времени меняют его положение согласно приказаниям монарха. Эти ученые большую часть своей жизни проводят в наблюдениях над движениями небесных тел при помощи зрительных труб, которые своим качеством значительно превосходят наши. И хотя самые большие тамошние телескопы не длиннее трех футов, однако они увеличивают значительно сильнее, чем наши, имеющие длину в сто футов, и показывают небесные тела с большей ясностью. Это преимущество позволило лапутянам в своих открытиях оставить далеко позади наших европейских астрономов. Так, ими составлен каталог десяти тысяч неподвижных звезд, между тем как самый обширный из наших каталогов содержит не более одной трети этого числа[94]. Кроме того, они открыли две маленьких звезды или два спутника, обращающихся около Марса, из которых ближайший к Марсу удален от центра этой планеты на расстояние, равное трем ее диаметрам, а более отдаленный находится от нее на расстоянии пяти таких же диаметров[95]. Первый совершает свое обращение в течение десяти часов, а второй в течение двадцати одного с половиной часа, так что квадраты времен их обращения почти пропорциональны кубам их расстояний от центра Марса, каковое обстоятельство с очевидностью показывает, что означенные спутники управляются тем же самым законом тяготения, которому подчинены другие небесные тела[96].   
 Лапутяне произвели наблюдения над девяносто тремя различными кометами и установили с большой точностью периоды их возвращения. Если это справедливо (а утверждения их весьма категоричны), то было бы весьма желательно, чтобы результаты их наблюдений сделались публичным достоянием, ибо тогда теория комет, которая теперь полна недостатков и сильно хромает, была бы доведена до того же совершенства, что и другие области астрономии.   
 Король мог бы стать самым абсолютным монархом в мире, если бы ему удалось убедить своих министров действовать с ним заодно. Но последние, будучи владельцами собственности на континенте и принимая во внимание, что положение фаворита весьма непрочно, никогда не соглашались на порабощение своего отечества[97].   
 Если какой-нибудь город поднимает мятеж или восстание, если в нем вспыхивает междоусобица или он отказывается платить обычные подати, то король располагает двумя средствами привести его к покорности. Первое и более мягкое из них заключается в помещении острова над таким городом и окружающими его землями: вследствие этого король лишает их благодетельного действия солнца и дождя, так что в непокорной стране начинаются голод и болезни. Смотря по степени преступления, эта карательная мера усиливается метанием сверху больших камней, от которых население может укрыться только в подвалах или в погребах, предоставляя полному разрушению крыши своих жилищ. Но если мятежники продолжают упорствовать, король прибегает ко второму, более радикальному, средству: остров опускается прямо на головы непокорных и сокрушает их вместе с их домами. Однако к этому крайнему средству король прибегает в очень редких случаях и весьма неохотно, да и министры не решаются рекомендовать ему подобное мероприятие, так как оно, с одной стороны, способно внушить к ним народную ненависть, а с другой - может причинить большой вред их собственному имуществу, находящемуся на континенте, ибо остров есть владение короля.   
 Кроме того, существует другая, еще более важная причина, почему короли этого государства всегда питали отвращение к столь страшной мере и прибегали к ней только в случае самой крайней необходимости. Если город, осужденный на разрушение, расположен среди высоких скал, - а так именно и расположены в большинстве случаев крупные города, вероятно, для предохранения от указанной катастрофы, - или если в таком городе существует много колоколен или каменных башен, то внезапное падение острова может повредить его основание, или нижнюю поверхность, которая хотя и состоит, как я уже говорил, из одного цельного алмаза толщиною в двести ярдов, все же при сильном толчке может расколоться, а при приближении к пламени расположенных под ней построек - треснуть, как это случается с железными или каменными стенками наших каминов. Все это отлично известно населению, которое соответственно соразмеряет свое сопротивление, когда дело касается его свободы и имущества. И король, несмотря на свое крайнее раздражение и твердую решимость стереть в порошок мятежный город, отдает распоряжение опустить остров как можно тише, под предлогом милостивого отношения к своему народу, на самом же деле из боязни разбить алмазное основание, так как в этом случае, по общему мнению всех философов, магнит не в состоянии будет удержать остров в воздухе, и вся его масса рухнет на землю.   
 Года за три до моего прибытия к лапутянам, когда король совершал полет над своими владениями, произошло необыкновенное событие, которое чуть было не оказалось роковым для этой монархии, по крайней мере для ее теперешнего строя[98]. Линдалино, второй по величине город в королевстве, был первым удостоившимся посещения его величества. Через три дня по его отъезде горожане, часто жаловавшиеся на большие притеснения, заперли городские ворота, арестовали губернатора и с невероятной быстротой и энергией воздвигли четыре массивные башни по четырем углам города (площадь которого представляет собой правильный четырехугольник) такой же высоты, как и гранитная остроконечная скала, возвышающаяся как раз в центре города. На верхушке каждой башни, так же как и на верхушке скалы, они утвердили по большому магниту и, на случай крушения их замысла, запаслись огромным количеством весьма горючего топлива, надеясь расколоть сильным пламенем алмазное основание острова, если бы проект с магнитами оказался неудачным.   
 Только через восемь месяцев король получил донесение о том, что Линдалино поднял мятеж. Он отдал тогда распоряжение направить остров к городу. Население было исполнено единодушия, запаслось провиантом. Посреди города протекает большая река. Король парил над мятежниками несколько дней, лишая их солнца и дождя. Он велел опустить с острова множество бечевок, но никто и не подумал обратиться к нему с челобитной; зато во множестве полетели весьма дерзкие требования возместить все причиненные городу несправедливости, вернуть привилегии, предоставить населению право выбора губернатора и тому подобные несуразности. В ответ на это его величество приказал всем островитянам бросать с нижней галереи на город большие камни; но от этого несчастья горожане обереглись, укрывшись со своими пожитками в четырех башнях и других каменных зданиях, а также в погребах.   
 Тогда король, твердо решивший привести к покорности этих гордецов, приказал медленно опустить остров на сорок ярдов от верхушек башен и скалы. Приказание короля было исполнено; однако виновники, приводившие его в исполнение, обнаружили, что спуск совершился гораздо быстрее, чем обыкновенно, и, повернув магнит, только с большим трудом могли удержать остров в неподвижном положении, но заметили, что он все же обнаруживает наклонность к падению. Они немедленно дали знать об этом удивительном явлении и просили у его величества разрешения поднять остров выше; король дал согласие, был созван большой совет; и чиновники, ведающие магнитом, получили приказание присутствовать на нем. Один из старейших и опытнейших среди них испросил позволение произвести придуманный им опыт. Он взял прочный шнурок в сто ярдов длины и, когда остров поднялся над городом на такую высоту, что прекратилось действие подмеченной притягательной силы, прикрепил к концу шнурка кусок алмаза, содержавший в себе некоторое количество железной руды подобно алмазу, составлявшему основание, или нижнюю поверхность острова, и стал медленно спускать его с нижней галереи к верхушке одной из башен. Не спустился алмаз и на четыре ярда, как чиновник почувствовал, что камень с такой силой увлекается вниз, что ему едва удалось вытащить его обратно. После этого он сбросил с острова несколько обломков алмаза и заметил, что все они с силой были притянуты верхушкой башни. Тот же опыт был проделан по отношению к остальным трем башням и скале, и результат каждый раз получался одинаковый.   
 Это событие расстроило все планы короля, и (мы не будем останавливаться на подробностях) ему пришлось оставить город в покое.   
 Один из министров уверял меня, что, если бы остров опустился над городом так низко, что не мог бы больше подняться, то горожане навсегда лишили бы его возможности передвигаться, убили бы короля и всех его прислужников и совершенно изменили бы образ правления.   
 Основной закон государства запрещает королю и двум его старшим сыновьям оставлять остров. То же запрещение распространяется и на королеву, пока она не утратит способности к деторождению[99].

**ГЛАВА IV**

Автор оставляет Лапуту. Его спускают в Бальнибарби. Прибытие автора в столицу. Описание столицы и прилегающей местности. Один сановник гостеприимно принимает у себя автора. Его беседы с этим сановником   
  
 Хотя я не могу пожаловаться на прием, оказанный мне на острове, все же я должен сознаться, что не пользовался там особенным вниманием и меня даже в некоторой степени презирали. Это и понятно, если вспомнить, что король и население не интересовались ничем, кроме математики и музыки, а в этом отношении я стоял значительно ниже их и потому не пользовался большим уважением.   
 С другой стороны, осмотрев все достопримечательности острова, я сам очень хотел его оставить, так как мне смертельно надоели эти люди. Они действительно чрезвычайно сведущи в математике и музыке, и хотя я питаю большое уважение к этим двум знаниям и сам кое-что в них смыслю, тем не менее лапутяне настолько рассеянны и так глубоко погружены в умозрения, что я в жизни не встречал более неприятных собеседников. В течение двухмесячного моего пребывания на острове я разговаривал только с женщинами, купцами, хлопальщиками и пажами, вследствие чего все стали относиться ко мне с крайним презрением, хотя перечисленные мной лица были единственными, от которых я мог получить разумный ответ на заданный вопрос.   
 Благодаря усиленным занятиям я довольно хорошо изучил местный язык. Я томился заключением на острове, где мне оказывали так мало внимания, и решил покинуть его при первом удобном случае.   
 Между придворными находился один вельможа, близкий родственник короля. Это обстоятельство было единственной причиной уважения к нему царедворцев, так как все они считали его человеком крайне глупым и невежественным. Он оказал много весьма важных услуг государству, обладал большими природными способностями, а также опытом, и отличался прямотой и честностью; но ухо его было так нечувствительно к музыке, что, по уверению его недоброжелателей, он часто отбивал такт невпопад; и наставники лишь с крайним трудом могли научить его доказывать простейшие математические теоремы. Этот вельможа оказывал мне большое благоволение: часто навещал меня, желая получить сведения о европейской жизни, о законах и обычаях, нравах и науках различных посещенных мною стран. Он слушал меня с большим вниманием и делал очень мудрые замечания по поводу моих рассказов. По чину при нем состояли два хлопальщика, но он никогда не прибегал к их услугам, исключая придворных церемоний и официальных визитов, и постоянно отпускал их, когда мы оставались наедине.   
 Я попросил эту почтенную особу исходатайствовать мне у его величества разрешение покинуть остров. Вельможа исполнил мою просьбу, хотя и с сожалением, как ему угодно было сказать мне; он сделал мне много лестных предложений, но я отказался от них с выражением глубочайшей признательности.   
 Шестнадцатого февраля я попрощался с его величеством и придворными. Король наградил меня подарками, ценностью около двухсот английских фунтов; такие же подарки я получил и от моего покровителя, родственника короля, который вместе с тем дал мне рекомендательное письмо к своему другу, жившему в Лагадо, столице королевства. В это время остров парил над горой на расстоянии двух миль от города, и меня спустили с нижней галереи тем же способом, каким прежде подняли сюда.   
 Континент в пределах власти монарха Летучего Острова известен под общим именем Бальнибарби, а столица, как я уже говорил, называется Лагадо. Опустившись на твердую землю, я почувствовал некоторое удовлетворение. Так как я был одет в местный костюм и достаточно владел языком, чтобы разговаривать с местными жителями, то без всяких затруднений добрался до столицы. Я скоро отыскал дом лица, к которому у меня было рекомендательное письмо, передал ему письмо от его вельможного друга с острова и был любезно принят. Этот сановник, по имени Мьюноди, велел приготовить у себя в доме для меня комнату, где я и прожил все время моего пребывания в столице, пользуясь самым радушным гостеприимством хозяина[100].   
 На другой день по моем приезде он повез меня в своей коляске осмотреть город, который приблизительно равняется половине Лондона[101]; но дома в нем построены очень странно, и многие из них полуразрушены. Прохожие на улицах куда-то мчались, имели дикий вид, глаза их были неподвижно устремлены в одну точку, и почти все они были одеты в лохмотья. Миновав городские ворота, мы поехали полем, сделав около трех миль. Здесь я увидел много крестьян, работавших с помощью разнообразных орудий, но не мог разобрать, что, собственно, они делают, тем более что поля, бывшие перед моими глазами, не имели ни малейших признаков травы или хлеба, хотя почва была, по-видимому, превосходная. Я не мог не выразить своего удивления по поводу столь странного вида города и деревни и решил обратиться к своему спутнику с просьбой объяснить мне, что означают эти озабоченные лица, эти занятые работой руки как на улицах, так и на полях, ибо я не замечал никаких благотворных результатов, произведенных ими; напротив, мне никогда не приходилось видеть полей, хуже возделанных, домов, хуже построенных и обвалившихся, и людей, внешность и платье которых свидетельствовали бы о такой нищете и лишениях[102].   
 Господин Мьюноди был очень знатной особой и несколько лет состоял губернатором Лагадо, но благодаря интригам министров его отстранили от должности за неспособность. Тем не менее король относился к нему благосклонно, считая его человеком благомыслящим, хотя и недалекого ума.   
 На откровенно высказанное мною мнение об этой стране и ее жителях он ограничился замечанием, что я нахожусь у них слишком короткое время для того, чтобы составить правильное суждение, стал говорить, что у различных наций существуют различные нравы и обычаи, и тому подобные общие места. Но, когда мы возвратились в его дворец, он спросил, как я нахожу постройку, какие несуразности замечаю я в ней и какого рода замечания есть у меня по поводу платья и внешности его слуг. Он мог смело задавать подобные вопросы, так как все у него было великолепно, изящно, в порядке. Я ответил, что мудрость, знатность и богатство его превосходительства предохранили его от недостатков его соотечественников, которые являются следствием безрассудства и нищеты. Тогда он сказал мне, что если я пожелаю отправиться с ним в его загородный дом, расположенный приблизительно в двадцати милях, в его поместье, то там у нас будет больше досуга для подобного рода бесед. Я заявил его превосходительству, что я весь к его услугам, и на следующий день утром мы отправились в путь.   
 По дороге Мьюноди обратил мое внимание на различные методы, применяемые фермерами при обработке земли, которые были для меня совершенно непонятны, ибо, за весьма редкими исключениями, я не мог заметить на полях ни одного колоса и ни одной былинки. Но после трехчасового пути картина совершенно переменилась. Перед нами открылась прекрасная местность: аккуратно построенные фермерские домики на небольшом расстоянии друг от друга, огороженные поля, разделенные на виноградники, хлебные нивы и луга. Я давно не видел такого приятного пейзажа. Его превосходительство, заметя, что лицо мое проясняется, сказал мне со вздохом, что здесь начинаются его владения, которыми мы будем ехать до самого дома и которые все будут в таком же роде; что его соотечественники смеются над ним и презирают его за то, что он плохо ведет хозяйство и подает государству столь дурной пример, которому, впрочем, подражают очень немногие, такие же своенравные и хилые старики, как он сам.   
 Наконец мы подъехали к дому. Это было великолепное здание, построенное по лучшим правилам старинной архитектуры. Фонтаны, сады, аллеи, рощи - все было устроено очень умно и со вкусом. Я воздал виденному заслуженную похвалу, но его превосходительство не обращал на мои слова ни малейшего внимания до конца ужина. Когда мы остались вдвоем, мой хозяин с очень грустным видом сказал мне, что часто он подумывает, не лучше ли ему срыть свои дома в городе и деревне и перестроить их по теперешней моде, уничтожить свое полевое хозяйство и завести другое, согласно новейшим требованиям, ознакомив с ними также и фермеров; в противном случае он рискует навлечь на себя упреки в гордости, оригинальничанье, кривлянье, невежестве, самодурстве и, чего доброго, увеличить неудовольствие его величества. Он выразил предположение, что восхищение мое, вероятно, остынет или ослабеет, когда он познакомит меня с вещами, о которых я вряд ли слышал при дворе, где люди слишком погружены в свои умозрения и им некогда обращать внимание на то, что делается на земле.   
 Речь его сводилась к следующему. Около сорока лет тому назад несколько жителей столицы поднялись на Лапуту - одни по делам, другие ради удовольствия, - и после пятимесячного пребывания на острове спустились обратно с весьма поверхностными познаниями в математике, но в крайне легкомысленном расположении, приобретенном в этой воздушной области. Возвратившись на землю, лица эти прониклись презрением ко всем нашим учреждениям и начали составлять проекты пересоздания науки, искусства, законов, языка и техники на новый лад. С этой целью они выхлопотали королевскую привилегию на учреждение Академии прожектеров в Лагадо. Затея эта имела такой успех, что теперь в королевстве нет ни одного сколько- нибудь значительного города, в котором бы не возникла такая академия. В этих заведениях профессора изобретают новые методы земледелия и архитектуры и новые орудия и инструменты для всякого рода ремесел и производств, с помощью которых, как они уверяют, один человек будет исполнять работу десятерых; в течение недели можно будет воздвигнуть дворец из такого прочного материала, что он простоит вечно, не требуя никакого ремонта; все земные плоды будут созревать во всякое время года, по желанию потребителей, причем эти плоды по размерам превзойдут в сто раз те, какие мы имеем теперь... но не перечтешь всех их проектов осчастливить человечество. Жаль только, что ни один из этих проектов еще не доведен до конца, а между тем страна в ожидании будущих благ приведена в запустение, дома в развалинах и население голодает или ходит в лохмотьях. Однако все это не только не охлаждает рвения прожектеров, но еще пуще подогревает его, и их одинаково воодушевляют как надежда, так и отчаяние. Что касается самого Мьюноди, то он, не будучи человеком предприимчивым, продолжает действовать по старинке, живет в домах, построенных его предками, и во всем следует их примеру, не заводя никаких новшеств. Еще несколько человек из знати и среднего дворянства поступают так же, как и он, но на них смотрят с презрением и недоброжелательством, как на врагов науки, невежд и вредных членов общества, приносящих прогресс и благо страны в жертву своему покою и лени.   
 В заключение его превосходительство сказал, что он воздерживается от сообщения мне дальнейших подробностей, не желая лишить меня удовольствия, которое я, наверное, получу при личном осмотре главной Академии, куда он решил свести меня. Он только попросил меня обратить внимание на разрушенные постройки на склоне горы, в трех милях от нас; он рассказал мне, что на расстоянии полумили от дома у него была отличная мельница, которая работала водой, отведенной из большой реки, и удовлетворяла потребности как его семьи, так и большого числа его арендаторов. Около семи лет тому назад к нему явилась компания прожектеров с предложением разрушить эту мельницу и построить новую на склоне горы, по хребту которой они собирались прорыть длинный канал в качестве водохранилища, куда вода будет подниматься при помощи труб и машин и приводить в движение мельницу, так как ветер и воздух, волнуя воду на вершине, сделают ее будто бы более текучей и при падении по склону ее понадобится для вращения мельничного колеса вдвое меньше, чем в том случае, когда она течет по почти ровной местности. Его превосходительство сказал, что, будучи в несколько натянутых отношениях с двором и уступая увещаниям друзей, он согласился привести этот проект в исполнение; после двухлетних работ, на которых было занято сто человек, предприятие развалилось, и прожектеры скрылись, свалив всю вину на него; с тех пор они постоянно издеваются над ним и подбивают других проделать такой же эксперимент, с таким же ручательством за успех и с таким же разочарованием напоследок.   
 Спустя несколько дней мы возвратились в город. Его превосходительство, приняв во внимание дурную репутацию, которой он пользовался в Академии, не счел удобным сопровождать меня сам, но поручил свести меня туда одному своему другу. Мой хозяин отрекомендовал меня как человека, увлекающегося проектами, весьма любознательного и легковерного, что, впрочем, было недалеко от истины, ибо в молодости я и сам был большим прожектером.

**ГЛАВА V**

Автору дозволяют осмотреть Большую Академию в Лагадо. Подробное описание Академии. Искусства, изучением которых занимаются профессора   
  
 Эта Академия занимает не одно отдельное здание, а два ряда заброшенных домов по обеим сторонам улицы, которые были приобретены и приспособлены для ее работ[103].   
 Я был благосклонно принят президентом и посещал Академию ежедневно в течение довольно продолжительного времени. Каждая комната заключала в себе одного или нескольких прожектеров, и я думаю, что побывал не менее чем в пятистах комнатах.   
 Первый ученый, которого я посетил, был тощий человек с закопченным лицом и руками, с длинными всклокоченными и местами опаленными волосами и бородой. Его платье, рубаха и кожа были такого же цвета. Восемь лет он разрабатывал проект извлечения из огурцов солнечных лучей, которые предполагал заключить в герметически закупоренные склянки, чтобы затем пользоваться ими для согревания воздуха в случае холодного и дождливого лета. Он выразил уверенность, что еще через восемь лет сможет поставлять солнечный свет для губернаторских садов по умеренной цене; но он жаловался, что запасы его невелики, и просил меня дать ему что- нибудь в поощрение его изобретательности, тем более что огурцы в то время года были очень дороги. Я сделал ему маленький подарок из денег, которыми предусмотрительно снабдил меня мой хозяин, хорошо знавший привычку этих господ выпрашивать подачки у каждого, кто посещает их.   
 Войдя в другую комнату, я чуть было не выскочил из нее вон, потому что едва не задохся от ужасного зловония. Однако мой спутник удержал меня, шепотом сказав, что необходимо войти, иначе мы нанесем большую обиду; таким образом, я не посмел даже заткнуть нос. Изобретатель, сидевший в этой комнате, был одним из старейших членов Академии. Лицо и борода его были бледно-желтые, а руки и платье все вымазаны нечистотами. Когда я был ему представлен, он крепко обнял меня (любезность, без которой я отлично мог бы обойтись). С самого своего вступления в Академию он занимался превращением человеческих экскрементов в те питательные вещества, из которых они образовались, путем отделения от них некоторых составных частей, удаления окраски, сообщаемой им желчью, выпаривания зловония и выделения слюны. Город еженедельно отпускал ему посудину, наполненную человеческими нечистотами, величиной с бристольскую бочку.   
 Там же я увидел другого ученого, занимавшегося пережиганием льда в порох. Он показал мне написанное им исследование о ковкости пламени, которое он собирался опубликовать.   
 Там был также весьма изобретательный архитектор, придумавший новый способ постройки домов, начиная с крыши и кончая фундаментом. Он оправдывал мне этот способ ссылкой на приемы двух мудрых насекомых - пчелы и паука.   
 Там был, наконец, слепорожденный, под руководством которого занималось несколько таких же слепых учеников. Их занятия состояли в смешивании для живописцев красок, каковые профессор учил их распознавать при помощи обоняния и осязания. Правда, на мое несчастье, во время моего посещения они не особенно удачно справлялись со своей задачей, да и сам профессор постоянно совершал ошибки. Ученый этот пользуется большой поддержкой и уважением своих собратьев[104].   
 В другой комнате мне доставил большое удовольствие прожектер, открывший способ пахать землю свиньями и избавиться таким образом от расходов на плуги, скот и рабочих. Способ этот заключается в следующем: на десятине земли вы закапываете на расстоянии шести дюймов и на глубине восьми известное количество желудей, фиников, каштанов и других плодов или овощей, до которых особенно лакомы свиньи; затем вы выгоняете на это поле штук шестьсот или больше свиней, и они в течение немногих дней, в поисках пищи, взроют всю землю, сделав ее пригодной для посева и в то же время удобрив ее своим навозом. Правда, произведенный опыт показал, что такая обработка земли требует больших хлопот и расходов, а урожай дает маленький или никакой. Однако никто не сомневается, что это изобретение поддается большому усовершенствованию.   
 Я вошел в следующую комнату, где стены и потолок были сплошь затянуты паутиной, за исключением узкого прохода для изобретателя. Едва я показался в дверях, как последний громко закричал, чтобы я был осторожнее и не порвал его паутины. Он стал жаловаться на роковую ошибку, которую совершал до сих пор мир, пользуясь работой шелковичных червей, тогда как у нас всегда под рукой множество насекомых, бесконечно превосходящих упомянутых червей, ибо они одарены качествами не только прядильщиков, но и ткачей. Далее изобретатель указал, что утилизация пауков совершенно избавит от расходов на окраску тканей, и я вполне убедился в этом, когда он показал нам множество красивых разноцветных мух, которыми кормил пауков и цвет которых, по его уверениям, необходимо должен передаваться изготовленной пауком пряже. И так как у него были мухи всех цветов, то он надеялся удовлетворить вкусам каждого, как только ему удастся найти для мух подходящую пищу в виде камеди, масла и других клейких веществ и придать, таким образом, большую плотность и прочность нитям паутины[105].   
 Там же был астроном, затеявший поместить солнечные часы на большой флюгер ратуши, выверив годовые и суточные движения земли и солнца так, чтобы они соответствовали и согласовались со всеми случайными переменами направления ветра.   
 Я пожаловался в это время на легкие колики, и мой спутник привел меня в комнату знаменитого медика, особенно прославившегося лечением этой болезни путем двух противоположных операций, производимых одним и тем же инструментом. У него был большой раздувальный мех с длинным и тонким наконечником из слоновой кости. Доктор утверждал, что, вводя трубку на восемь дюймов в задний проход и втягивая ветры, он может привести кишки в такое состояние, что они станут похожи на высохший пузырь. Но, если болезнь более упорна и жестока, доктор вводит трубку, когда мехи наполнены воздухом, и вгоняет этот воздух в тело больного; затем он вынимает трубку, чтобы вновь наполнить мехи, плотно закрывая на это время большим пальцем заднепроходное отверстие. Эту операцию он повторяет три или четыре раза, после чего введенный в желудок воздух быстро устремляется наружу, увлекая с собой все вредные вещества (как вода из насоса), и больной выздоравливает. Я видел, как он произвел оба опыта над собакой, но не заметил, чтобы первый оказал какое-нибудь действие. После второго животное страшно раздулось и едва не лопнуло, затем так обильно опорожнилось, что мне и моему спутнику стало очень противно. Собака мгновенно околела, и мы покинули доктора, прилагавшего старание вернуть ее к жизни при помощи той же операции[106].   
 Я посетил еще много других комнат, но, заботясь о краткости, не стану утруждать читателя описанием всех диковин, которые я там видел.   
 До сих пор я познакомился только с одним отделением Академии; другое же отделение было предоставлено ученым, двигавшим вперед спекулятивные науки[107]; о нем я и скажу несколько слов, предварительно упомянув еще об одном знаменитом ученом, известном здесь под именем "универсального искусника". Он рассказал нам, что вот уже тридцать лет он посвящает все свои мысли улучшению человеческой жизни. В его распоряжении были две большие комнаты, наполненные удивительными диковинами, и пятьдесят помощников. Одни сгущали воздух в вещество сухое и осязаемое, извлекая из него селитру и процеживая водянистые и текучие его частицы; другие размягчали мрамор для подушек и подушечек для булавок; третьи приводили в окаменелое состояние копыта живой лошади, чтобы предохранить их от изнашивания. Что касается самого искусника, то он занят был в то время разработкой двух великих замыслов: первый из них - обсеменение полей мякиной, в которой, по его утверждению, заключена настоящая производительная сила, что он доказывал множеством экспериментов, которые, по моему невежеству, остались для меня совершенно непонятными; а второй - приостановка роста шерсти на двух ягнятах при помощи особого прикладываемого снаружи состава из камеди, минеральных и растительных веществ; и он надеялся в недалеком будущем развести во всем королевстве породу голых овец.   
 После этого мы пересекли улицу и вошли в другое отделение Академии, где, как я уже сказал, заседали прожектеры в области спекулятивных наук.   
 Первый профессор, которого я здесь увидел, помещался в огромной комнате, окруженный сорока учениками. После взаимных приветствий, заметив, что я внимательно рассматриваю раму, занимавшую большую часть комнаты, он сказал, что меня, быть может, удивит его работа над проектом усовершенствования умозрительного знания при помощи технических и механических операций[108]. Но мир вскоре оценит всю полезность этого проекта; и он льстил себя уверенностью, что более возвышенная идея никогда еще не зарождалась ни в чьей голове. Каждому известно, как трудно изучать науки и искусства по общепринятой методе; между тем благодаря его изобретению самый невежественный человек с помощью умеренных затрат и небольших физических усилий может писать книги по философии, поэзии, политике, праву, математике и богословию при полном отсутствии эрудиции и таланта. Затем он подвел меня к раме, по бокам которой рядами стояли все его ученики. Рама эта имела двадцать квадратных футов и помещалась посредине комнаты. Поверхность ее состояла из множества деревянных дощечек, каждая величиною в игральную кость, одни побольше, другие поменьше. Все они были сцеплены между собой тонкими проволоками. Со всех сторон каждой дощечки приклеено было по кусочку бумаги, и на этих бумажках были написаны все слова их языка в различных наклонениях, временах и падежах, но без всякого порядка. Профессор попросил меня быть внимательнее, так как он собирался пустить в ход свою машину. По его команде каждый ученик взялся за железную рукоятку, которые в числе сорока были вставлены по краям рамы, и быстро повернул ее, после чего расположение слов совершенно изменилось. Тогда профессор приказал тридцати шести ученикам медленно читать образовавшиеся строки в том порядке, в каком они разместились в раме; если случалось, что три или четыре слова составляли часть фразы, ее диктовали остальным четырем ученикам, исполнявшим роль писцов. Это упражнение было повторено три или четыре раза, и машина была так устроена, что после каждого оборота слова принимали все новое расположение, по мере того как квадратики переворачивались с одной стороны на другую.   
 Ученики занимались этими упражнениями по шесть часов в день, и профессор показал мне множество фолиантов, составленных из подобных отрывочных фраз; он намеревался связать их вместе и от этого богатого материала дать миру полный компендий всех искусств и наук; его работа могла бы быть, однако, облегчена и значительно ускорена, если бы удалось собрать фонд для сооружения пятисот таких станков в Лагадо и обязать руководителей объединить полученные ими коллекции.   
 Он сообщил мне, что это изобретение с юных лет поглощало все его мысли, что теперь в его станок входит целый словарь и что им точнейшим образом высчитано соотношение числа частиц, имен, глаголов и других частей речи, употребляемых в наших книгах.   
 Я принес глубочайшую благодарность этому почтенному мужу за его любезное посвящение меня в тайны своего великого изобретения и дал обещание, если мне удастся когда-нибудь вернуться на родину, воздать ему должное как единственному изобретателю этой изумительной машины, форму и устройство которой я попросил у него позволения срисовать на бумаге и прилагаю свой рисунок к настоящему изданию. Я сказал ему, что в Европе хотя и существует между учеными обычай похищать друг у друга изобретения, имеющий, впрочем, ту положительную сторону, что возбуждает полемику для разрешения вопроса, кому принадлежит подлинное первенство, тем не менее я обещаю принять все меры, чтобы честь этого изобретения всецело осталась за ним и никем не оспаривалась.   
 После этого мы пошли в школу языкознания, где заседали три профессора на совещании, посвященном вопросу об усовершенствовании родного языка. Первый проект предлагал сократить разговорную речь путем сведения многосложных слов к односложным и упразднения глаголов и причастий, так как в действительности все мыслимые вещи суть только имена[109]. Второй проект требовал полного упразднения всех слов; автор этого проекта ссылался главным образом на его пользу для здоровья и сбережение времени. Ведь очевидно, что каждое произносимое нами слово сопряжено с некоторым изнашиванием легких и, следовательно, приводит к сокращению нашей жизни. А так как слова суть только названия вещей, то автор проекта высказывает предположение, что для нас будет гораздо удобнее носить при себе вещи, необходимые для выражения наших мыслей и желаний. Это изобретение благодаря его большим удобствам и пользе для здоровья, по всей вероятности, получило бы широкое распространение, если бы женщины, войдя в стачку с невежественной чернью, не пригрозили поднять восстание, требуя, чтобы языку их была предоставлена полная воля, согласно старому дедовскому обычаю: так простой народ постоянно оказывается непримиримым врагом науки! Тем не менее многие весьма ученые и мудрые люди пользуются этим новым способом выражения своих мыслей при помощи вещей. Единственным его неудобством является то обстоятельство, что, в случае необходимости вести пространный разговор на разнообразные темы, собеседникам приходится таскать на плечах большие узлы с вещами, если средства не позволяют нанять для этого одного или двух дюжих парней. Мне часто случалось видеть двух таких мудрецов, изнемогавших под тяжестью ноши, подобно нашим торговцам вразнос. При встрече на улице они снимали с плеч мешки, открывали их и, достав оттуда необходимые вещи, вели таким образом беседу в продолжение часа; затем складывали свою утварь, помогали друг другу взваливать груз на плечи, прощались и расходились.   
 Впрочем, для коротких и несложных разговоров можно носить все необходимое в кармане или под мышкой, а разговор, происходящий в домашней обстановке, не вызывает никаких затруднений. Поэтому комнаты, где собираются лица, применяющие этот метод, наполнены всевозможными предметами, пригодными служить материалом для таких искусственных разговоров.   
 Другим великим преимуществом этого изобретения является то, что им можно пользоваться как всемирным языком, понятным для всех цивилизованных наций[110], ибо мебель и домашняя утварь всюду одинакова или очень похожа, так что ее употребление легко может быть понято. Таким образом, посланники без труда могут говорить с иностранными королями или министрами, язык которых им совершенно неизвестен.   
 Я посетил также математическую школу, где учитель преподает по такому методу, какой едва ли возможно представить себе у нас в Европе. Каждая теорема с доказательством тщательно переписывается на тоненькой облатке чернилами, составленными из микстуры против головной боли. Ученик глотает облатку натощак и в течение трех следующих дней не ест ничего, кроме хлеба и воды. Когда облатка переваривается, микстура поднимается в его мозг, принося с собой туда же теорему. Однако до сих пор успех этого метода незначителен, что объясняется отчасти какой-то ошибкой в определении дозы или состава микстуры, а отчасти озорством мальчишек, которым эта пилюля так противна, что они обыкновенно отходят в сторону и выплевывают ее прежде, чем она успеет оказать свое действие; к тому же до сих пор их не удалось убедить соблюдать столь продолжительное воздержание, которое требуется для этой операции.

**ГЛАВА VI**

Продолжение описания Академии. Автор предлагает некоторые усовершенствования, которые с благодарностью принимаются   
  
 В школе политических прожектеров я не нашел ничего занятного. Ученые там были, на мой взгляд, людьми совершенно рехнувшимися, а такое зрелище всегда наводит на меня тоску. Эти несчастные предлагали способы убедить монархов выбирать себе фаворитов из людей умных, способных и добродетельных; научить министров считаться с общественным благом, награждать людей достойных, одаренных, оказавших обществу выдающиеся услуги; учить монархов познанию их истинных интересов, которые основаны на интересах их народов; поручать должности лицам, обладающим необходимыми качествами для того, чтобы занимать их, и множество других диких и невозможных фантазий, которые никогда еще не зарождались в головах людей здравомыслящих. Таким образом, я еще раз убедился в справедливости старинного изречения, что на свете нет такой нелепости, которую бы иные философы не защищали как истину.   
 Я должен, однако, отдать справедливость этому отделению Академии и признать, что не все здесь были такими фантастами. Так, я познакомился там с одним весьма остроумным доктором, который, по- видимому, в совершенстве изучил природу и механизм управления государством. Этот знаменитый муж с большой пользой посвятил свое время нахождению радикальных лекарств от всех болезней и нравственного разложения, которым подвержены различные общественные власти благодаря порокам и слабостям правителей, с одной стороны, и распущенности управляемых - с другой. Так, например, поскольку все писатели и философы единогласно утверждают, что существует полная аналогия между естественным и политическим телом, то не яснее ли ясного, что здоровье обоих тел должно сохраняться и болезни лечиться одними и теми же средствами? Всеми признано, что сенаторы и члены высоких палат часто страдают многословием, запальчивостью и другими дурными наклонностями; многими болезнями головы и особенно сердца; сильными конвульсиями с мучительными сокращениями нервов и мускулов обеих рук и особенно правой; разлитием желчи, ветрами в животе, головокружением, бредом; золотушными опухолями, наполненными гнойной и зловонной материей; кислыми отрыжками, волчьим аппетитом, несварением желудка и массой других болезней, которые ни к чему перечислять. Вследствие этого знаменитый доктор предлагает, чтобы во время созыва сената на первых трех его заседаниях присутствовало несколько врачей, которые, по окончании прений, щупали бы пульс у каждого сенатора; затем, по зрелом обсуждении характера каждой болезни и метода ее лечения, врачи эти должны возвратиться на четвертый день в залу заседаний в сопровождении аптекарей, снабженных необходимыми медикаментами, и, прежде чем сенаторы начнут совещание, дать каждому из них утолительного, слабительного, очищающего, разъедающего, вяжущего, облегчительного, расслабляющего, противоголовного, противожелтушного, противомокротного, противоушного, смотря по роду болезни; испытав действие лекарств, в следующее заседание врачи должны или повторить, или переменить, или перестать давать их.   
 Осуществление этого проекта должно обойтись недорого, и он может, по моему скромному мнению, принести много пользы для ускорения делопроизводства в тех странах, где сенат принимает какое- нибудь участие в законодательной власти; породить единодушие, сократить прения, открыть несколько ртов, теперь закрытых, и закрыть гораздо большее число открытых, обуздать пыл молодости и смягчить сухость старости, расшевелить тупых и охладить горячих.   
 Далее: так как все жалуются, что фавориты государей страдают короткой и слабой памятью, то тот же доктор предлагает каждому, получившему аудиенцию у первого министра, по изложении в самых коротких и ясных словах сущности дела, на прощание потянуть его за нос, или дать ему пинок в живот, или наступить на мозоль, или надрать ему уши, или уколоть через штаны булавкой, или ущипнуть до синяка руку и тем предотвратить министерскую забывчивость. Операцию следует повторять каждый приемный день, пока просьба не будет исполнена или не последует категорический отказ.   
 Он предлагает также, чтобы каждый сенатор, высказав в большом национальном совете свое мнение и приведя в его пользу доводы, подавал свой голос за прямо противоположное мнение, и ручается, что при соблюдении этого условия исход голосования всегда будет благодетелен для общества.   
 Если раздоры между партиями становятся ожесточенными, он рекомендует замечательное средство для их примирения. Оно заключается в следующем: вы берете сотню лидеров каждой партии и разбиваете их на пары, так, чтобы головы людей, входящих в каждую пару, были приблизительно одной величины; затем пусть два искусных хирурга отпилят одновременно затылки у каждой пары таким образом, чтобы мозг разделился на две равные части. Пусть будет произведен обмен срезанными затылками и каждый из них приставлен к голове политического противника. Операция эта требует, по-видимому, большой тщательности, но профессор уверял нас, что если она сделана искусно, то выздоровление обеспечено. Он рассуждал следующим образом: две половинки головного мозга, принужденные спорить между собой в пространстве одного черепа, скоро придут к доброму согласию и породят ту умеренность и ту правильность мышления, которые так желательны для голов людей, воображающих, будто они появились на свет только для того, чтобы стоять на страже его и управлять его движениями. Что же касается качественного или количественного различия между мозгами вождей враждующих партий, то, по уверениям доктора, основанным на продолжительном опыте, это сущие пустяки.   
 Я присутствовал при жарком споре двух профессоров о наиболее удобных и действительных путях и способах взимания податей, так чтобы они не отягощали население. Один утверждал, что справедливее всего обложить известным налогом пороки и безрассудства, причем сумма обложения в каждом отдельном случае должна определяться самым беспристрастным образом жюри, составленным из соседей облагаемого. Другой был прямо противоположного мнения: должны быть обложены налогом те качества тела и души, за которые люди больше всего ценят себя; налог должен повышаться или понижаться, смотря по степени совершенства этих качеств, оценку которых следует всецело предоставить совести самих плательщиков. Наиболее высоким налогом облагаются лица, пользующиеся наибольшей благосклонностью другого пола, и ставка налога определяется соответственно количеству и природе полученных ими знаков благорасположения; причем сборщики податей должны довольствоваться их собственными показаниями. Он предлагал также обложить высоким налогом ум, храбрость и учтивость и взимать этот налог тем же способом, то есть сам плательщик определяет степень, в какой он обладает указанными качествами. Однако честь, справедливость, мудрость и знания не подлежат обложению, потому что оценка их до такой степени субъективна, что не найдется человека, который признал бы их существование у своего ближнего или правильно оценил их в самом себе.   
 Женщины, по его предложению, должны быть обложены соответственно их красоте и уменью одеваться, причем им, как и мужчинам, следует предоставить право самим расценивать себя. Но женское постоянство, целомудрие, здравый смысл и добрый нрав не должны быть облагаемы, так как доходы от этих статей не покроют издержек по взиманию налога.   
 Чтобы заставить сенаторов служить интересам короны, он предлагает распределять среди них высшие должности по жребию; причем каждый из сенаторов должен сперва присягнуть и поручиться в том, что будет голосовать в интересах двора, независимо от того, какой жребий ему выпадет; однако неудачники обладают правом снова тянуть жребий при появлении вакансии. Таким образом, у сенаторов всегда будет поддерживаться надежда на получение места; никто из них не станет жаловаться на неисполнение обещания, и неудачники будут взваливать свои неудачи на судьбу, у которой плечи шире и крепче, чем у любого министра.   
 Другой профессор показал мне обширную рукопись инструкций для открытия противоправительственных заговоров[111]. Он рекомендует государственным мужам исследовать пищу всех подозрительных лиц; разузнать, в какое время они садятся за стол; на каком боку спят, какой рукой подтираются; тщательно рассмотреть их экскременты[112] и на основании цвета, запаха, вкуса, густоты и степени переваренности составить суждение об их мыслях и намерениях: ибо люди никогда не бывают так серьезны, глубокомысленны и сосредоточенны, как в то время, когда они сидят на стульчаке, в чем он убедился на собственном опыте; в самом деле, когда, находясь в таком положении, он пробовал, просто в виде опыта, размышлять, каков наилучший способ убийства короля, то кал его приобретал зеленоватую окраску, и цвет его бывал совсем другой, когда он думал только поднять восстание или поджечь столицу.   
 Все рассуждение написано с большой проницательностью и заключает в себе много наблюдений, любопытных и полезных для политиков, хотя эти наблюдения показались мне недостаточно полными. Я отважился сказать это автору и предложил, если он пожелает, сделать некоторые добавления. Он принял мое предложение с большей благожелательностью, чем это обычно бывает у писателей, особенно тех, которые занимаются составлением проектов, заявив, что будет рад услышать дальнейшие указания.   
 Тогда я сказал ему, что в королевстве Трибниа, называемом туземцами Лангден[113], где я пробыл некоторое время в одно из моих путешествий, большая часть населения состоит сплошь из разведчиков, свидетелей, доносчиков, обвинителей, истцов, очевидцев, присяжных, вместе с их многочисленными подручными и прислужниками, находящимися на жалованье у министров и их помощников. Заговоры в этом королевстве обыкновенно являются махинацией людей, желающих укрепить свою репутацию тонких политиков, вдохнуть новые силы в одряхлевшие органы власти, задушить или отвлечь общественное недовольство, наполнить свои сундуки конфискованным имуществом, укрепить или подорвать доверие к государственному кредиту, согласуя то и другое со своими личными выгодами. Прежде всего они соглашаются и определяют промеж себя, кого из заподозренных лиц обвинить в заговоре; затем прилагаются все старания, чтобы захватить письма и бумаги таких лиц, а их собственников заковать в кандалы. Захваченные письма и бумаги передаются в руки специальных знатоков, больших искусников по части нахождения таинственного значения слов, слогов и букв. Так, например, они открыли, что: сидение на стульчаке означает тайное совещание; стая гусей - сенат; хромая собака - претендента; чума - постоянную армию; сарыч - первого министра; подагра - архиепископа; виселица - государственного секретаря; ночной горшок -комитет вельмож; решето - фрейлину; метла - революцию; мышеловка - государственную службу; бездонный колодезь - казначейство; помойная яма - двор; дурацкий колпак - фаворита; сломанный тростник - судебную палату; пустая бочка - генерала; гноящаяся рана - систему управления[114].   
 Если этот метод оказывается недостаточным, они руководствуются двумя другими, более действительными, известными между учеными под именем акростихов и анаграмм. Один из этих методов позволяет им расшифровать все инициалы, согласно их политическому смыслу. Так, N будем означать заговор; B - кавалерийский полк; L - флот на море.   
 Пользуясь вторым методом, заключающимся в перестановке букв подозрительного письма, можно прочитать самые затаенные мысли и узнать самые сокровенные намерения недовольной партии. Например, если я в письме к другу говорю: "Наш брат Том нажил геморрой", искусный дешифровальщик из этих самых букв прочитает фразу, что заговор открыт, надо сопротивляться и т. д. Это и есть анаграмматический метод[115].   
 Профессор горячо поблагодарил меня за сообщение этих наблюдений и обещал сделать почетное упоминание обо мне в своем трактате.   
 Больше ничто не привлекало к себе моего внимания в этой стране, и я стал подумывать о возвращении в Англию.

**ГЛАВА VII**

Автор оставляет Лагадо и прибывает в Мальдонаду. Он не попадает на корабль. Совершает короткое путешествие в Глаббдобдриб. Прием, оказанный автору правителем этого острова   
  
 Континент, частью которого является это королевство, простирается, как я имею основание думать, на восток по направлению к неисследованной области Америки, к западу от Калифорнии; на север он тянется по направлению к Тихому океану, который находится на расстоянии не более ста пятидесяти миль от Лагадо; здесь есть прекрасный порт, ведущий оживленную торговлю с большим островом Лаггнегг, расположенным на северо-запад под 29ь северной широты и 140ь долготы. Остров Лаггнегг лежит на юго-восток от Японии на расстоянии около ста лиг. Японский император и король Лаггнегга живут в тесной дружбе, благодаря которой между двумя этими островами происходят частые сообщения. Поэтому я решил направить свой путь туда с целью при первом случае возвратиться в Европу. Я нанял двух мулов и проводника, чтобы он указал мне дорогу и перевез мой небольшой багаж. Простившись с моим благородным покровителем, оказавшим мне столько услуг и сделавшим богатый подарок, я отправился в путь.   
 Мое путешествие прошло без всяких случайностей или приключений, о которых стоило бы упомянуть. Когда я прибыл в Мальдонаду (морской порт острова), там не только не было корабля, отправляющегося в Лаггнегг, но и не предвиделось в близком будущем. Город этот величиной с Портсмут. Вскоре я завел некоторые знакомства и был принят весьма гостеприимно. Один знатный господин сказал мне, что так как корабль, идущий в Лаггнегг, будет готов к отплытию не ранее, чем через месяц, то мне, может быть, доставит некоторое удовольствие экскурсия на островок Глаббдобдриб, лежащий в пяти лигах к юго-западу. Он предложил сопровождать меня вместе со своим другом и достать мне для этой поездки небольшой удобный баркас.   
 Слово "Глаббдобдриб", насколько для меня понятен его смысл, означает "остров чародеев" или "волшебников". Он равняется одной трети острова Уайта и очень плодороден. Им управляет глава племени, сплошь состоящего из волшебников. Жители этого острова вступают в браки только между собою, и старейший в роде является монархом или правителем. У него великолепный дворец с огромным парком в три тысячи акров, окруженным каменной стеной в двадцать футов вышины. В этом парке есть несколько огороженных мест для скотоводства, хлебопашества и садоводства.   
 Слуги этого правителя и его семьи имеют несколько необычный вид. Благодаря хорошему знанию некромантии правитель обладает силой вызывать по своему желанию мертвых и заставлять их служить себе в течение двадцати четырех часов, но не дольше; равным образом, он не может вызывать одно и то же лицо чаще чем раз в три месяца, кроме каких-нибудь чрезвычайных случаев.   
 Когда мы прибыли на остров, было около одиннадцати часов утра; один из моих спутников отправился к правителю испросить у него аудиенцию для иностранца, который явился на остров в надежде удостоиться высокой чести быть принятым его высочеством. Правитель немедленно дал свое согласие, и мы все трое вошли в дворцовые ворота между двумя рядами стражи, вооруженной и одетой по весьма старинной моде; на лицах у нее было нечто такое, что наполнило меня невыразимым ужасом. Мы миновали несколько комнат между двумя рядами таких же слуг и пришли в аудиенц-залу, где, после трех глубоких поклонов и нескольких общих вопросов, нам было разрешено сесть на три табурета у нижней ступеньки трона его высочества. Правитель понимал язык Бальнибарби, хотя он отличается от местного наречия. Он попросил меня сообщить о моих путешествиях и, желая показать, что со мной будут обращаться запросто, дал знак присутствующим удалиться, после чего, к моему величайшему изумлению, они мгновенно исчезли, как исчезает сновидение, когда мы внезапно просыпаемся. Некоторое время я не мог прийти в себя, пока правитель не уверил меня, что я нахожусь здесь в полной безопасности. Видя спокойствие на лицах моих двух спутников, привыкших к подобного рода приемам, я понемногу оправился и вкратце рассказал его высочеству некоторые из моих приключений; но я не мог окончательно подавить своего волнения и часто оглядывался назад, чтобы взглянуть на те места, где стояли исчезнувшие слуги-призраки. Я удостоился чести обедать вместе с правителем, причем новый отряд привидений подавал кушанья и прислуживал за столом. Однако теперь все это не так пугало меня, как утром. Я оставался во дворце до захода солнца, но почтительно попросил его высочество извинить меня за то, что я не могу принять его приглашение остановиться во дворце. Вместе со своими друзьями я переночевал на частной квартире в городе, являющемся столицей этого островка, и на другой день утром мы снова отправились к правителю засвидетельствовать ему свое почтение и предоставить себя в его распоряжение.   
 Так мы провели на острове десять дней, оставаясь большую часть дня у правителя и ночуя на городской квартире. Скоро я до такой степени свыкся с обществом теней и духов, что на третий или четвертый день они уже совсем не волновали меня, или, по крайней мере, если у меня и осталось немного страха, то любопытство превозмогло его. Видя это, его высочество правитель предложил мне назвать имена каких мне вздумается лиц и в каком угодно числе среди всех умерших от начала мира и до настоящего времени и задать им какие угодно вопросы, лишь бы только они касались событий при их жизни. И я, во всяком случае, могу быть уверен, что услышу только правду, так как ложь есть искусство, совершенно бесполезное на том свете.   
 Я почтительно выразил его высочеству свою признательность за такую высокую милость. В это время мы находились в комнате, откуда открывался красивый вид на парк, и так как мне хотелось сперва увидеть сцены торжественные и величественные, то я попросил показать Александра Великого во главе его армии, тотчас после битвы под Арбелой И вот, по мановению пальца правителя, он немедленно появился передо мной на широком поле под окном, у которого мы стояли. Александр был приглашен в комнату; с большими затруднениями я разбирал его речь на древнегреческом языке, с своей стороны он тоже плохо понимал меня. Он поклялся мне, что не был отравлен, а умер от лихорадки благодаря неумеренному пьянству[116].   
 Затем я увидел Ганнибала во время его перехода через Альпы, который объявил мне, что у него в лагере не было ни капли уксуса[117].   
 Я видел Цезаря и Помпея во главе их войск, готовых вступить в сражение[118]. Я видел также Цезаря во время его последнего триумфа[119]. Затем я попросил вызвать римский сенат в одной большой комнате и для сравнения с ним современный парламент в другой. Первый казался собранием героев и полубогов, второй - сборищем разносчиков, карманных воришек, грабителей и буянов.   
 По моей просьбе правитель сделал знак Цезарю и Бруту приблизиться к нам. При виде Брута я проникся глубоким благоговением: в каждой черте его лица нетрудно было увидеть самую совершенную добродетель, величайшее бесстрастие и твердость духа, преданнейшую любовь к родине и благожелательность к людям[120]. С большим удовольствием я убедился, что оба эти человека находятся в отличных отношениях друг с другом, и Цезарь откровенно признался мне, что величайшие подвиги, совершенные им в течение жизни, далеко не могут сравниться со славой того кто отнял у него эту жизнь. Я удостоился чести вести долгую беседу с Брутом, в которой он между прочим сообщил мне, что его предок Юний, Сократ, Эпаминонд, Катон-младший, сэр Томас Мор и он сам всегда находятся вместе - секстумвират, к которому вся история человечества не в состоянии прибавить седьмого члена[121].   
 Я утомил бы читателя перечислением всех знаменитых людей, вызванных правителем для удовлетворения моего ненасытного желания видеть мир во все эпохи его древней истории. Больше всего я наслаждался лицезрением людей, истреблявших тиранов и узурпаторов и восстанавливавших свободу и попранные права угнетенных народов. Но я не способен передать волновавшие меня чувства в такой форме, чтобы они заинтересовали читателя.

**ГЛАВА VIII**

Продолжение описания Глаббдобдриба. Поправки к древней и новой истории   
  
 Желая увидеть мужей древности, наиболее прославившихся умом и познаниями, я посвятил этому особый день. Мне пришло на мысль вызвать Гомера и Аристотеля во главе всех их комментаторов; но последних оказалось так много, что несколько сот их принуждены были подождать на дворе и в других комнатах дворца. С первого же взгляда я узнал этих двух героев и не только отличил их от толпы, но и друг от друга. Гомер был красивее и выше Аристотеля, держался очень прямо для своего возраста, и глаза у него были необыкновенно живые и проницательные. Аристотель был сильно сгорблен и опирался на палку; у него были худощавое лицо, прямые редкие волосы и глухой голос. Я скоро заметил, что оба великих мужа совершенно чужды остальной компании, никогда этих людей не видали и ничего о них не слышали. Один из призраков, имени которого я не назову, шепнул мне на ухо, что на том свете все эти комментаторы держатся на весьма почтительном расстоянии от своих принципалов благодаря чувству стыда и сознанию своей виновности в чудовищном искажении для потомства смысла произведений этих авторов. Я познакомил Дидима и Евстафия с Гомером и убедил его отнестись к ним лучше, чем, может быть, они заслужили, ибо он скоро обнаружил, что оба комментатора слишком бездарны и не способны проникнуть в дух поэта. Но Аристотель потерял всякое терпение, когда я представил ему Скотта и Рамуса и стал излагать ему их взгляды; он спросил их, неужели и все остальное племя комментаторов состоит из таких же олухов, как они[122].   
 Затем я попросил правителя вызвать Декарта и Гассенди, которым предложил изложить Аристотелю их системы[123]. Этот великий философ откровенно признал свои ошибки в естественной философии, потому что во многих случаях его рассуждения были основаны на догадках, как это приходится делать всем людям; и он высказал предположение, что Гассенди, подновивший по мере сил учение Эпикура, и Декарт с его теорией вихрей будут одинаково отвергнуты потомством. Он предсказал ту же участь теории тяготения, которую с таким рвением отстаивают современные ученые. При этом он заметил, что новые системы природы, подобно новой моде, меняются с каждым поколением и что даже философы, которые пытаются доказать их математическим методом, успевают в этом ненадолго и выходят из моды в назначенные судьбой сроки.   
 В продолжение пяти дней я вел беседы также и со многими другими учеными древнего мира. Я видел большинство римских императоров. Я стал упрашивать правителя вызвать поваров Гелиогабала[124], чтобы они приготовили для нас обед, но за недостатком материалов они не могли показать нам как следует свое искусство. Один илот Агесилая[125] сварил нам спартанскую похлебку, но, отведав ее, я не мог проглотить второй ложки.   
 Сопровождавшие меня на остров два джентльмена принуждены были вернуться по делам домой на три дня. Это время я употребил на свидания с великими людьми, умершими в течение двух или трех последних столетий, славными в моем отечестве или в других европейских странах. Будучи всегда большим поклонником древних знаменитых родов, я попросил правителя вызвать дюжину или две королей с их предками, в количестве восьми или девяти поколений. Но меня постигло мучительное и неожиданное разочарование. Вместо величественного ряда венценосных особ я увидел в одной династии двух скрипачей, трех ловких царедворцев и одного итальянского прелата; в другой - цирюльника, аббата и двух кардиналов. Но я питаю слишком глубокое почтение к коронованным головам, чтобы останавливаться дольше на этом щекотливом предмете. Что же касается графов, маркизов, герцогов и тому подобных людей, то с ними я не был так щепетилен и, признаюсь, не без удовольствия прослеживал до первоисточника своеобразные черточки, которыми отличаются некоторые знатные роды. Я без труда мог открыть, откуда в одном роду происходит длинный подбородок; почему другой род в двух поколениях изобилует мошенниками, а в двух следующих дураками; почему третий состоит из помешанных, а четвертый из плутов; чем объясняются слова, сказанные Полидором Вергилием[126] по поводу одного знатного рода: "Nec vir fortis, nec foemina casta" [Не было ни мужа доблестного, ни жены целомудренной (лат.).], каким образом жестокость, лживость и трусость стали характерными чертами некоторых родов отличающими их так же ясно, как фамильные гербы; кто первый занес в тот или другой благородный род сифилис, перешедший в следующие поколения в форме золотушных опухолей. Все это перестало меня поражать, когда я увидел столько нарушений родословных линий пажами, лакеями кучерами, игроками, скрипачами, комедиантами, военными и карманными воришками.   
 Особенно сильное отвращение почувствовал я к новой истории. И в самом деле, тщательно рассмотрев людей, которые в течение прошедшего столетия пользовались громкой славой при дворах королей, я понял, в каком заблуждении держат мир продажные писаки, приписывая величайшие военные подвиги трусам, мудрые советы дуракам, искренность льстецам, римскую доблесть изменникам отечеству, набожность безбожникам, целомудрие содомитам, правдивость доносчикам. Я узнал, сколько невинных превосходных людей было приговорено к смерти или изгнанию благодаря проискам могущественных министров, подкупавших судей, и партийной злобе; сколько подлецов возводилось на высокие должности, облекалось доверием, властью, почетом и осыпалось материальными благами; какое огромное участие принимали в решениях дворов, государственных советов и сенатов сводники, проститутки, паразиты и шуты. Какое невысокое составилось у меня мнение о человеческой мудрости и честности, когда я получил правильные сведения о пружинах и мотивах великих мировых событий и революций и о тех ничтожных случайностях, которым они обязаны своим успехом.   
 Там я открыл недобросовестность и невежество тех, кто берется писать анекдоты или секретную историю; кто отправляет стольких королей в могилу, поднося им кубок с ядом; кто пересказывает происходившие без свидетелей разговоры государя с первым министром; кто открывает мысли и ящики посланников и государственных секретарей, но, к несчастью, постоянно при этом ошибается. Там узнал я истинные причины многих великих событий, поразивших мир; увидел, как непотребная женщина может управлять задней лестницей, задняя лестница советом министров, а совет министров сенатом. Один генерал сознался в моем присутствии, что он одержал победу единственно благодаря своей трусости и дурному командованию, а один адмирал открыл, что он победил неприятеля вследствие плохой осведомленности, тогда как собирался сдать ему свой флот[127]. Три короля объявили мне, что за все их царствование они ни разу не назначили на государственные должности ни одного достойного человека[128], разве что по ошибке или вследствие предательства какого-нибудь министра, которому они доверились, но они ручались, что подобная ошибка не повторилась бы, если бы им пришлось царствовать снова; и с большой убедительностью они доказали мне, что без развращенности нравов невозможно удержать королевский трон, потому что положительный, смелый, настойчивый характер, который создается у человека добродетелью, является постоянной помехой в государственной деятельности.   
 Я любопытствовал получить точные сведения, каким способом масса людей добыла знатные титулы и огромные богатства. Я ограничил свои исследования самой недавней эпохой, не касаясь, впрочем, настоящего времени, из страха причинить обиду хотя бы иноземцам (ибо, я надеюсь, читателю нет надобности говорить, что все сказанное мной по этому поводу не имеет ни малейшего касательства к моей родине). По моей просьбе вызвано было множество интересовавших меня лиц, и после самых поверхностных расспросов передо мной раскрылась такая картина бесчестья, что я не могу спокойно вспоминать об этом. Вероломство, угнетение, подкуп, обман, сводничество и тому подобные немощи были еще самыми простительными средствами из упомянутых ими, и потому, как требовало того благоразумие, я отнесся к ним весьма снисходительно. Но когда одни из них сознались, что своим величием и богатством они обязаны содомии и кровосмешению, другие - торговле своими женами и дочерьми; третьи - измене своему отечеству или государю, четвертые - отраве, а большая часть - нарушению правосудия с целью погубить невинного, - то эти открытия, - я надеюсь, мне простят это, - побудили меня несколько умерить чувство глубокого почтения, которым я от природы проникнут к высокопоставленным особам, как и подобает маленькому человеку по отношению к лицам, наделенным высокими достоинствами.   
 Часто мне приходилось читать о великих услугах, оказанных монархам и отечеству, и я исполнился желанием увидеть людей, которыми эти услуги были оказаны. Однако мне ответили, что имена их невозможно найти в архивах, за исключением немногих, которых история изобразила отъявленнейшими мошенниками и предателями. Об остальных мне никогда не приходилось слышать ни слова. Все они появились передо мной с удрученным видом и в очень худом платье, заявляя в большинстве случаев, что умерли от нищеты и немилости, иногда даже на эшафоте или на виселице.   
 Среди них находился человек, судьба которого показалась мне исключительной. Подле него стоял восемнадцатилетний юноша. Человек этот сказал мне, что много лет он командовал кораблем, и в морском сражении при Акциуме[129] счастливая судьба помогла ему пробиться сквозь ряды неприятельского флота и потопить три первоклассных неприятельских корабля, а четвертый захватить в плен, что было единственной причиной бегства Антония и последовавшей затем победы; юноша же, стоявший подле него, был его единственный сын, убитый в этом сражении. Он прибавил, что в сознании своих заслуг он явился по окончании войны в Рим ко двору Августа с просьбой назначить его командиром большого корабля, капитан которого был убит; но ходатайство его было оставлено без внимания, и командование кораблем было поручено юноше, никогда не видевшему моря, сыну либертины[130], служанки одной из любовниц императора. По возвращении на свой корабль достойный человек был обвинен в нерадивом исполнении служебных обязанностей, и его судно передано одному пажу, фавориту вице-адмирала Публиколы[131]; после этого он удалился на бедную ферму, вдали от Рима, где и окончил свою жизнь. Мне так хотелось узнать, насколько справедлива эта история, что я попросил вызвать Агриппу[132], который командовал римским флотом в сражении при Акциуме. Явившийся Агриппа подтвердил справедливость рассказа и добавил к нему много подробностей в пользу капитана, из скромности преуменьшившего или утаившего большую часть своих заслуг в этом деле.   
 Я был поражен глубиной и быстротой роста развращенности этой империи, обусловленными поздно проникшей в нее роскошью. Вследствие этого на меня не произвели уже такого впечатления подобные явления в других странах, где всевозможные пороки царили гораздо дольше и где вся слава и вся добыча издавна присвоены главнокомандующими, которые, быть может, меньше всего имеют право и на то и на другое.   
 Так как все вызываемые с того света люди сохранили в мельчайших подробностях внешность, которую они имели при жизни, то я наполнился мрачными мыслями при виде вырождения человечества за последнее столетие; насколько венерические болезни со всеми их последствиями и наименованиями изменили черты лица англичанина, уменьшили рост, расслабили нервы, размягчили сухожилия и мускулы, прогнали румянец, сделали все тело дряблым и протухшим.   
 Я опустился до того, что попросил вызвать английских поселян старого закала[133], некогда столь славных простото нравов, пищи и одежды, справедливостью своих поступков, подлинным свободолюбием, храбростью и любовью к отечеству. Сравнив живых с покойниками, я не мог остаться равнодушным при виде того, как все эти чистые отечественные добродетели опозорены из-за мелких денежных подачек их внуками, которые, продавая свои голоса и орудуя на выборах в парламент, приобрели все пороки и развращенность, каким только можно научиться при дворе.   
  
ГЛАВА IX   
  
 Автор возвращается в Мальдонаду и отплывает в королевство Лаггнегг. Его арестовывают и отправляют во дворец. Прием, оказанный ему во дворце. Милостливое отношение короля к своим подданным   
  
 Когда наступил день нашего отъезда, я простился с его высочеством правителем Глаббдобдриба и возвратился с двумя моими спутниками в Мальдонаду, где после двухнедельного ожидания один корабль приготовился к отплытию в Лаггнегг. Два моих друга и еще несколько лиц были настолько любезны, что снабдили меня провизией и проводили на корабль. Я провел в дороге месяц. Мы перенесли сильную бурю и вынуждены были взять курс на запад, чтобы достигнуть области пассатных ветров, дующих здесь на пространстве около шестидесяти лиг. 21 апреля 1708 года[134] мы вошли в реку Клюмегниг, устье которой служит морским портом, расположенным на юго-восточной оконечности Лаггнегга. Мы бросили якорь на расстоянии одной лиги от города и потребовали сигналом лоцмана. Менее чем через полчаса к нам на борт взошли два лоцмана и провели нас между рифами и скалами по очень опасному проходу в большую бухту, где корабли могли стоять в совершенной безопасности на расстоянии одного кабельтова от городской стены.   
 Некоторые из наших матросов, со злым ли умыслом или по оплошности, рассказали лоцманам, что у них на корабле есть иностранец, знаменитый путешественник. Последние сообщили об этом таможенному чиновнику, который подверг меня тщательному досмотру, когда я вышел на берег. Он говорил со мной на языке бальнибарби, который благодаря оживленной торговле хорошо известен в этом городе, особенно между моряками и служащими в таможне. Я вкратце рассказал ему некоторые из моих приключений, стараясь придать рассказу возможно больше правдоподобия и связности. Однако я счел необходимым скрыть мою национальность и назвался голландцем, так как у меня было намерение отправиться в Японию, куда, как известно, из всех европейцев открыт доступ только голландцам[135]. Поэтому я сказал таможенному чиновнику, что, потерпев кораблекрушение у берегов Бальнибарби и будучи выброшен на скалу, я был поднят на Лапуту, или Летучий Остров (о котором таможеннику часто приходилось слышать), а теперь пытаюсь добраться до Японии, откуда мне может представиться случай возвратиться на родину. Чиновник ответил мне, что он должен меня арестовать до получения распоряжений от двора, куда он напишет немедленно, и надеется получить ответ в течение двух недель. Мне отвели удобное помещение, у входа в которое был поставлен часовой. Однако я мог свободно гулять по большому саду; обращались со мною довольно хорошо, и содержался я все время на счет короля. Множество людей посещали меня, главным образом из любопытства, ибо разнесся слух, что я прибыл из весьма отдаленных стран, о существовании которых здесь никто не слышал.   
 Я пригласил переводчиком одного молодого человека, прибывшего вместе со мною на корабле; он был уроженец Лаггнегга, но несколько лет прожил в Мальдонаде и в совершенстве владел обоими языками. При его помощи я мог разговаривать с посетителями, но разговор этот состоял лишь из их вопросов и моих ответов.   
 Письмо из дворца было получено к ожидаемому сроку. В нем содержался приказ привезти меня со свитой, под конвоем десяти человек, в Тральдрегдаб, или Трильдрогдриб (насколько я помню, это слово произносится двояко). Вся моя свита состояла их упомянутого бедного юноши-переводчика, которого я уговорил поступить ко мне на службу; по моей почтительной просьбе каждому из нас дали по мулу. За полдня до нашего отъезда был послан гонец с донесением королю о моем скором прибытии и просьбой, чтобы его величество назначил день и час, когда он милостиво соизволит удостоить меня чести лизать пыль у подножия его трона. Таков стиль здешнего двора, и я убедился на опыте, что это не иносказание. В самом деле, когда через два дня по моем прибытии я получил аудиенцию, то мне приказали ползти на брюхе и лизать пол по дороге к трону; впрочем, из уважения ко мне, как иностранцу, пол был так чисто выметен, что пыли на нем осталось немного. Это была исключительная милость, оказываемая лишь самым высоким сановникам, когда они испрашивают аудиенцию. Больше того: пол иногда нарочно посыпают пылью, если лицо, удостоившееся высочайшей аудиенции, имеет много могущественных врагов при дворе. Мне самому случилось раз видеть одного важного сановника, у которого рот до такой степени был набит пылью, что, подползя к трону на надлежащее расстояние, он неспособен был вымолвить ни слова. И ничем от этого не избавиться, так как плевать и вытирать рот во время аудиенции в присутствии его величества считается тяжким преступлением. При этом дворе существует еще один обычай, к которому я отношусь с крайним неодобрением. Когда король желает мягким и милостивым образом казнить кого-нибудь из сановников, он повелевает посыпать пол особым ядовитым коричневым порошком, полизав который, приговоренный умирает в течение двадцати четырех часов. Впрочем, следует отдать должное великому милосердию этого монарха и его попечению о жизни подданных (в этом отношении европейским монархам не мешало бы подражать ему) и к чести его сказать, что после каждой такой казни отдает строгий приказ начисто вымыть пол в аудиенц-зале, и в случае небрежного исполнения этого приказа слугам угрожает опасность навлечь на себя немилость монарха. Я сам слышал, как его величество давал распоряжение отстегать плетьми одного пажа за то, что тот, несмотря на свою очередь, злонамеренно пренебрег своей обязанностью и не позаботился об очистке пола после казни; благодаря этой небрежности был отравлен явившийся на аудиенцию молодой, подававший большие надежды вельможа, хотя король в то время вовсе не имел намерения лишить его жизни. Однако добрый монарх был настолько милостив, что освободил пажа от порки, после того как тот пообещал, что больше не будет так поступать без специального распоряжения короля.   
 Возвратимся, однако, к нашему повествованию: когда я дополз ярда на четыре до трона, я осторожно стал на колени и, стукнув семь раз лбом о пол, произнес следующие слова, заученные мною накануне: "Икплинг глоффзсроб сквутсеромм блиоп мляшнальт звин тнодбокеф слиофед гардлеб ашт!" Это приветствие установлено законами страны для всех лиц, допущенных к королевской аудиенции. Перевести его можно так: "Да переживет ваше небесное величество солнце на одиннадцать с половиною лун!" Выслушав приветствие, король задал мне вопрос, которого я хотя и не понял, но ответил ему, как меня научили: "Флофт дрин клерик дуольдам прастред мирпуш", что означает: "Язык мой во рту моего друга". Этими словами я давал понять, что прошу обратиться к услугам моего переводчика. Тогда был введен уже упомянутый мной молодой человек, и с его помощью я отвечал на все вопросы, которые его величеству было угодно задавать мне в течение более часа. Я говорил на бальнибарбийском языке, а переводчик передавал все сказанное мною по-лаггнежски.   
 Я очень понравился королю, и он приказал своему блиффмарклубу, то есть обер-гофмейстеру, отвести во дворце помещение для меня и моего переводчика, назначив мне довольствие и предоставив кошелек с золотом на прочие расходы.   
 Я прожил в этой стране три месяца, повинуясь желанию его величества, который изволил осыпать меня высокими милостями и делал мне очень лестные предложения. Но я счел более благоразумным и справедливым провести остаток дней моих с женою и детьми.

**ГЛАВА X**

Похвальное слово лаггнежцам. Подробное описание струльдбругов со включением многочисленных бесед автора по этому поводу с некоторыми выдающимися людьми   
  
 Лаггнежцы - обходительный и великодушный народ. Хотя они не лишены некоторой гордости, свойственной всем восточным народам, тем не менее они очень любезны с иностранцами, особенно с теми, кто пользуется расположением двора. Я сделал много знакомств среди людей самого высшего общества и при посредстве переводчика вел с ними не лишенные приятности беседы.   
 Однажды, когда я находился в избранном обществе, мне был задан вопрос: видел ли я кого-нибудь из струльдбругов, или бессмертных? Я отвечал отрицательно и попросил объяснить мне, что может означать это слово в приложении к смертным существам. Мой собеседник сказал мне, что время от времени, впрочем, очень редко, у кого-нибудь из лаггнежцев рождается ребенок с круглым красным пятнышком на лбу, как раз над левой бровью; это служит верным признаком, что такой ребенок никогда не умрет. Пятнышко, как он описал его, имеет сначала величину серебряной монеты в три пенса, но с течением времени разрастается и меняет свой цвет; в двадцать лет оно делается зеленым и остается таким до двадцати пяти, затем цвет его переходит в темно-синий; в сорок пять лет пятно становится черным, как уголь, и увеличивается до размеров английского шиллинга, после чего не подвергается дальнейшим изменениям. Дети с пятнышком рождаются, впрочем, так редко, что, по мнению моего собеседника, во всем королевстве не наберется больше тысячи ста струльдбругов обоего пола; до пятидесяти человек живет в столице, и среди них есть девочка, родившаяся около трех лет тому назад. Рождение таких детей не составляет принадлежности определенных семей, но является чистой случайностью, так что даже дети струльдбругов смертны, как и все люди.   
 Признаюсь откровенно, этот рассказ привел меня в неописуемый восторг; и так как мой собеседник понимал язык бальнибарби, на котором я очень хорошо говорил, то я не мог сдержать свои чувства, выразив их, быть может, чересчур пылко. В восхищении я воскликнул: "Счастливая нация, где каждый рождающийся ребенок имеет шанс стать бессмертным! Счастливый народ, имеющий столько живых примеров добродетелей предков и стольких наставников, способных научить мудрости, добытой опытом всех прежних поколений! Но стократ счастливы несравненные струльдбруги, самой природой изъятые от подчинения общему бедствию человеческого рода, а потому обладающие умами, независимыми и свободными от подавленности и угнетенности, причиняемыми постоянным страхом смерти!" Я выразил удивление, что не встретил при дворе ни одного из этих славных бессмертных; черное пятно на лбу - настолько бросающаяся в глаза примета, что я не мог бы не обратить на нее внимания; между тем невозможно допустить, чтобы его величество, рассудительнейший монарх, не окружил себя столь мудрыми и опытными советниками. Разве что добродетель этих почтенных мудрецов слишком сурова для испорченных и распущенных придворных нравов; ведь мы часто познаем на опыте, с каким упрямством и легкомыслием молодежь не хочет слушаться трезвых советов старших. Как бы то ни было, если его величество соизволило предоставить мне свободный доступ к его особе, я воспользуюсь первым удобным случаем и при помощи переводчика подробно и свободно выскажу ему мое мнение по этому поводу. Однако, угодно ли ему будет последовать моему совету или нет, сам я, во всяком случае, с глубочайшей благодарностью приму неоднократно высказанное его величеством милостивое предложение поселиться в его государстве и проведу всю свою жизнь в беседах со струльдбругами, этими высшими существами, если только им угодно будет допустить меня в свое общество.   
 Человек, к которому я обратился с этой речью, потому что (как я уже заметил) он говорил на бальнибарбийском языке, взглянув на меня с той улыбкой, какая обычно вызывается жалостью к простаку, сказал, что он рад всякому предлогу удержать меня в стране и просит моего позволения перевести всем присутствующим то, что мной было только что сказано. Закончив свой перевод, он в течение некоторого времени разговаривал с ними на местном языке, которого я совершенно не понимал; точно так же я не мог догадаться по выражению их лиц, какое впечатление произвела на них моя речь. После непродолжительного молчания мой собеседник сказал мне, что его и мои друзья (так он счел удобным выразиться) восхищены моими тонкими замечаниями по поводу великого счастья и преимуществ бессмертной жизни и что они очень желали бы знать, какой образ жизни я избрал бы себе, если бы волей судьбы я родился струльдбругом.   
 Я отвечал, что нетрудно быть красноречивым на столь богатую и увлекательную тему, особенно мне, так часто тешившему себя мечтами о том, как бы я устроил свою жизнь, если бы был королем, генералом или видным сановником; что же касается бессмертия, то я нередко до мелочей обдумывал, как бы я распорядился собой и проводил время, если бы обладал уверенностью, что буду жить вечно.   
 Итак, если бы мне суждено было родиться на свет струльдбругом, то, едва только научившись различать между жизнью и смертью и познав, таким образом, мое счастье, я бы прежде всего решил всеми способами и средствами добыть себе богатство. Преследуя эту цель при помощи бережливости и умеренности, я с полным основанием мог бы рассчитывать лет через двести стать первым богачом в королевстве. Далее, с самой ранней юности я предался бы изучению наук и искусств и таким образом со временем затмил бы всех своей ученостью. Наконец, я вел бы тщательную летопись всех выдающихся общественных событий и беспристрастно зарисовывал бы характеры сменяющих друг друга монархов и выдающихся государственных деятелей, сопровождая эти записи своими размышлениями и наблюдениями. Я бы аккуратно заносил в эту летопись все изменения в обычаях, в языке, в покрое одежды, в пище и в развлечениях. Благодаря своим знаниям и наблюдениям я стал бы живым кладезем премудрости и настоящим оракулом своего народа.   
 После шестидесяти лет я перестал бы мечтать о женитьбе, но был бы гостеприимен, оставаясь по-прежнему бережливым. Я занялся бы формированием умов подающих надежды юношей, убеждая их на основании моих воспоминаний, опыта и наблюдений, подкрепленных бесчисленными примерами, сколь полезна добродетель в общественной и личной жизни. Но самыми лучшими и постоянными моими друзьями и собеседниками были бы мои собратья по бессмертию, между которыми я бы избрал человек двенадцать, начиная от самых глубоких стариков и кончая своими сверстниками. Если бы между ними оказались нуждающиеся, я отвел бы им удобные жилища вокруг моего поместья и всегда приглашал бы некоторых из них к своему столу, присоединяя к ним небольшое число наиболее выдающихся смертных; с течением времени я привык бы относиться равнодушно к смерти друзей и не без удовольствия смотрел бы на их потомков, вроде того как мы любуемся ежегодной сменой гвоздик и тюльпанов в нашем саду, нисколько не сокрушаясь о тех, что увяли в прошлое лето.   
 Мы, струльдбруги, будем обмениваться друг с другом собранными нами в течение веков наблюдениями и воспоминаниями, отмечать все степени проникновения в мир разврата и бороться с ним на каждом шагу нашими предостережениями и наставлениями, каковые, в соединении с могущественным влиянием нашего личного примера, может быть, предотвратят непрестанное вырождение человечества, вызывавшее испокон веков столь справедливые сокрушения.   
 Ко всему этому прибавьте удовольствие быть свидетелем различных переворотов в державах и империях, удовольствие видеть перемены во всех слоях общества от высших до низших; древние города в развалинах; безвестные деревушки, ставшие резиденцией королей; знаменитые реки, высохшие в ручейки; океан, обнажающий один берег и наводняющий другой; открытие многих неизвестных еще стран; погружение в варварство культурнейших народов и приобщение к культуре народов самых варварских. Я был бы, вероятно, свидетелем многих великих открытий, например, непрерывного движения, универсального лекарства и определения долготы.   
 Каких только чудесных открытий мы не сделали бы тогда в астрономии, обладая возможностью самолично проверять правильность наших собственных предсказаний, наблюдать появление и возвращение комет и все перемены в движениях солнца, луны и звезд!   
 Я распространился также на множество других тем, которые в изобилии были доставлены мне естественным желанием бесконечной жизни и подлунного счастия. Когда я кончил и содержание моей речи было переведено тем из присутствующих, которые не понимали ее, лаггнежцы начали оживленно разговаривать между собой на местном языке, по временам с насмешкой поглядывая на меня. Наконец господин, служивший мне переводчиком, сказал, что все просят его вывести меня из заблуждений, в которые я впал вследствие слабоумия, свойственного человеческой природе вообще, что до некоторой степени извиняет меня; тем более что порода струльдбругов составляет исключительную особенность их страны, ибо подобных людей нельзя встретить ни в Бальнибарби, ни в Японии, где он имел честь быть посланником его величества и где к его рассказу о существовании этого замечательного явления отнеслись с большим недоверием; да и мое удивление, когда он в первый раз упомянул мне о бессмертных, ясно свидетельствует, насколько новым был для меня этот факт и с каким трудом я верил своим ушам. Во время своего пребывания в обоих названных королевствах он вел долгие беседы с местными жителями и сделал наблюдение, что долголетие является общим желанием, заветнейшей мечтой всех людей, и что всякий стоящий одной ногой в могиле старается как можно прочнее утвердить свою другую ногу на земле. Самые дряхлые старики дорожат каждым лишним днем жизни и смотрят на смерть как на величайшее зло, от которого природа всегда побуждает бежать подальше; только здесь, на острове Лаггнегге, нет этой бешеной жажды жизни, ибо у всех перед глазами пример долголетия - струльдбруги.   
 Придуманный мной образ жизни безрассуден и нелеп, потому что предполагает вечную молодость, здоровье и силу, на что не вправе надеяться ни один человек, как бы ни были необузданны его желания. Вопрос, стало быть, не в том, предпочтет ли человек сохранить навсегда свежесть молодости и ее спутников - силу и здоровье, а в том, как он проведет бесконечную жизнь, подверженную всем невзгодам, которые приносит с собой старость. Ибо, хотя немного людей изъявят желание остаться бессмертными на таких тяжелых условиях, все же собеседник мой заметил, что в обоих упомянутых королевствах, то есть в Бальнибарби и в Японии, каждый старается по возможности отдалить от себя смерть, в каком бы преклонном возрасте она ни приходила; и ему редко приходилось слышать о людях, добровольно лишавших себя жизни, разве что их побуждали к этому нестерпимые физические страдания или большое горе. И он спросил меня, не наблюдается ли то же самое явление и в моем отечестве, а также в тех странах, которые привелось посетить мне во время моих путешествий.   
 После этого предисловия он сделал мне подробное описание живущих среди них струльдбругов. Он сказал, что почти до тридцатилетнего возраста они ничем не отличаются от остальных людей; затем становятся мало-помалу мрачными и угрюмыми, и меланхолия их растет до восьмидесяти лет. Это он узнал из их признаний; так как их рождается не больше двух или трех в столетие, то они слишком малочисленны для того, чтобы можно было прийти к прочному выводу на основании общих наблюдений над ними.   
 По достижении восьмидесятилетнего возраста, который здесь считается пределом человеческой жизни, они не только подвергаются всем недугам и слабостям, свойственным прочим старикам, но бывают еще подавлены страшной перспективой влачить такое существование вечно. Струльдбруги не только упрямы, сварливы, жадны, угрюмы, тщеславны и болтливы, но они не способны также к дружбе и лишены естественных добрых чувств, которые у них не простираются дальше чем на внуков. Зависть и немощные желания непрестанно снедают их, причем главными предметами зависти являются у них, по-видимому, пороки молодости и смерть стариков. Размышляя над первыми, они с горечью сознают, что для них совершенно отрезана всякая возможность наслаждения; а при виде похорон ропщут и жалуются, что для них нет надежды достигнуть тихой пристани, в которой находят покой другие. В их памяти хранится лишь усвоенное и воспринятое в юности или в зрелом возрасте, да и то в очень несовершенном виде, так что при проверке подлинности какого- нибудь события или осведомлении о его подробностях надежнее полагаться на устные предания, чем на самые ясные их воспоминания. Наименее несчастными среди них являются впавшие в детство и совершенно потерявшие память; они внушают к себе больше жалости и участия, потому что лишены множества дурных качеств, которые изобилуют у остальных бессмертных.   
 Если случится, что струльдбруг женится на женщине, подобно ему обреченной на бессмертие, то этот брак, благодаря снисходительности законов королевства, расторгается, лишь только младший из супругов достигает восьмидесятилетнего возраста. Ибо закон считает неразумной жестокостью отягчать бедственную участь безвинно осужденных на вечную жизнь бременем вечной жены.   
 Как только струльдбругам исполняется восемьдесят лет, для них наступает гражданская смерть; наследники немедленно получают их имущество; лишь небольшой паек оставляется для их пропитания, бедные же содержатся на общественный счет. По достижении этого возраста они считаются неспособными к занятию должностей, соединенных с доверием или доходами; они не могут ни покупать, ни брать в аренду землю, им не разрешается выступать свидетелями ни по уголовным, ни по гражданским делам, ни даже по тяжбам из-за границ земельных владений.   
 В девяносто лет у струльдбругов выпадают зубы и волосы; в этом возрасте они перестают различать вкус пищи, но едят и пьют все, что попадается под руку, без всякого удовольствия и аппетита. Болезни, которым они подвержены, продолжаются без усиления и ослабления. В разговоре они забывают названия самых обыденных вещей и имена лиц, даже своих ближайших друзей и родственников. Вследствие этого они не способны развлекаться чтением, так как их память не удерживает начала фразы, когда они доходят до ее конца; таким образом, они лишены единственного доступного им развлечения.   
 Так как язык этой страны постоянно изменяется, то струльдбруги, родившиеся в одном столетии, с трудом понимают язык людей, родившихся в другом, а после двухсот лет вообще не способны вести разговор (кроме небольшого количества фраз, состоящих из общих слов) с окружающими их смертными, и, таким образом, они подвержены печальной участи чувствовать себя иностранцами в своем отечестве.   
 Вот какое описание струльдбругов было сделано мне, и я думаю, что передаю его совершенно точно. Позднее я собственными глазами увидел пять или шесть струльдбругов различного возраста, и самым молодым из них было не больше двухсот лет; мои друзья, приводившие их ко мне несколько раз, хотя и говорили им, что я великий путешественник и видел весь свет, однако струльдбруги не полюбопытствовали задать мне ни одного вопроса: они просили меня только дать им сломскудаск, то есть подарок на память. Это благовидный способ выпрашивания милостыни в обход закона, строго запрещающего струльдбругам нищенство, так как они содержатся на общественный счет, хотя, надо сказать правду, очень скудно.   
 Струльдбругов все ненавидят и презирают. Рождение каждого из них служит дурным предзнаменованием и записывается с большой аккуратностью; так что возраст каждого можно узнать, справившись в государственных архивах, которые, впрочем, не восходят дальше тысячи лет или, во всяком случае, были уничтожены временем или общественными волнениями. Но обыкновенный способ узнать лета струльдбруга - это спросить его, каких королей и каких знаменитостей он может припомнить, и затем справиться с историей, ибо последний монарх, удержавшийся в его памяти, мог начать свое царствование только в то время, когда этому струльдбругу еще не исполнилось восьмидесяти лет.   
 Мне никогда не приходилось видеть такого омерзительного зрелища, какое представляли эти люди, причем женщины были еще противнее мужчин. Помимо обыкновенной уродливости, свойственной глубокой дряхлости, они с годами все явственней становятся похожими на привидения, ужасный вид которых не поддается никакому описанию. Среди пяти или шести женщин я скоро различил тех, что были старше, хотя различие в годах между ними измерялось всего какой-нибудь сотней или двумя годов.   
 Читатель легко поверит, что после всего мной услышанного и увиденного мое горячее желание быть бессмертным значительно поостыло. Я искренне устыдился заманчивых картин, которые рисовало мое воображение, и подумал, что ни один тиран не мог бы изобрести казни, которую я с радостью не принял бы, лишь бы только избавиться от такой жизни.   
 Король весело посмеялся, узнав о разговоре, который я вел с друзьями, и предложил мне взять с собой на родину парочку струльдбругов, чтобы излечить моих соотечественников от страха смерти. Я бы охотно принял на себя заботу и расходы по их перевозке, если бы основные законы королевства не запрещали струльдбругам оставлять свое отечество.   
 Нельзя не согласиться, что здешние законы относительно струльдбругов отличаются большой разумностью и что всякая другая страна должна была бы в подобных обстоятельствах ввести такие же законы. Иначе благодаря алчности, являющейся необходимым следствием старости, эти бессмертные со временем захватили бы в собственность всю страну и присвоили бы себе всю гражданскую власть, что, вследствие их полной неспособности к управлению, привело бы к гибели государства.

**ГЛАВА XI**

Автор оставляет Лаггнегг и отплывает в Японию. Отсюда он возвращается на голландском корабле в Амстердам, а из Амстердама в Англию   
  
 Я полагаю, что рассказ о струльдбругах доставил некоторое развлечение читателю, так как он отличается некоторой необычностью; по крайней мере, я не помню, чтобы встречал что-нибудь подобное в других книгах путешествий, попадавших мне в руки. Если же я ошибаюсь, пусть извинением моим послужит то, что путешественники, описывая одну и ту же страну, часто невольно останавливаются на одних и тех же подробностях, не заслуживая вследствие этого упрека в заимствовании или списывании у тех, кто раньше их побывал в посещенных ими местах.   
 Между королевством Лаггнегг и великой Японской империей существуют постоянные торговые сношения, и весьма вероятно, что японские писатели упоминают о струльдбругах; но мое пребывание в Японии было настолько кратковременно и мне настолько непонятен японский язык, что я не имел возможности узнать что-нибудь по этому поводу. Но я надеюсь, что голландцы, на основании моего рассказа, заинтересуются бессмертными и исправят мои неточности.   
 Его величество очень уговаривал меня занять при его дворе какую- нибудь должность, но, видя мое непреклонное решение возвратиться на родину, согласился отпустить меня и соизволил даже собственноручно написать рекомендательное письмо к японскому императору. Он подарил мне также четыреста сорок четыре крупных золотых монеты (здесь любят четные числа) вместе с красным алмазом, который я продал в Англии за тысячу сто фунтов.   
 Шестого мая 1709 года я торжественно расстался с его величеством и со всеми моими друзьями. Король был настолько любезен, что повелел отряду своей гвардии сопровождать меня до Глангвенстальда, королевского порта, лежащего на юго-западной стороне острова. Через шесть дней я нашел корабль, готовый к отплытию в Японию, и провел в пути пятнадцать дней. Мы бросили якорь в небольшом порту Ксамоши, расположенном в юго-восточной части Японии. Город построен на длинной косе, от которой узкий пролив ведет к северу в длинный морской рукав, на северо-западной стороне которого находится Иедо, столица империи[136]. Высадившись на берег, я показал таможенным чиновникам письмо его императорскому величеству от короля Лаггнегга. В таможне прекрасно знали королевскую печать величиной с мою ладонь. На ней изображен был король, помогающий хромому нищему подняться с земли. Городской магистрат, услыхав об этом письме, принял меня как посла дружественной державы. Он снабдил меня экипажами и слугами и взял на себя расходы по моей поездке в Иедо. По прибытии туда я получил аудиенцию и вручил письмо. Оно было вскрыто с большими церемониями и прочитано императору через переводчика, который, по приказанию его величества, предложил мне выразить какую-нибудь просьбу, и она немедленно будет исполнена императором в уважение к его царственному брату, королю Лаггнегга. На обязанности этого переводчика лежало ведение дел с голландцами; поэтому он скоро догадался по моей внешности, что я европеец, и повторил слова его величества на нижнеголландском языке, которым он владел в совершенстве. Согласно ранее принятому решению я отвечал, что я голландский купец, потерпевший кораблекрушение в одной далекой стране, откуда морем и сушей добрался в Лаггнегг, а из Лаггнегга прибыл на корабле в Японию, с которой, как мне было известно, мои соотечественники ведут торговлю; я надеюсь, что мне представится случай вернуться с кем-нибудь из них на родину, и в ожидании такого случая я почтительно прошу его величество разрешить мне под охраной отправиться в Нагасаки. Я попросил также, чтобы его величество, из уважения к моему покровителю, королю Лаггнегга, милостиво освободил меня от совершения возлагаемого на моих соотечественников обряда попрания ногами распятия[137], ибо заброшен в его страну несчастиями и не имею намерения вести торговлю. Когда переводчик передал императору эту просьбу, его величество был несколько удивлен и сказал, что я первый из моих соотечественников обнаруживаю щепетильность в этом вопросе, так что у него закрадывается сомнение, действительно ли я голландец; из моих слов видно только, что я настоящий христианин. Тем не менее во внимание к моим доводам и главным образом из желания оказать любезность королю Лаггнегга необычным знаком своего благоволения, он соглашается на мою странную прихоть, но предупреждает, что придется действовать осторожно, и он отдаст своим чиновникам приказание пропустить меня как бы по забывчивости; ибо если узнают об этом мои соотечественники - голландцы, то они, по уверению императора, перережут мне по дороге горло. Я выразил при помощи переводчика благодарность за столь исключительную милость. Так как в это время в Нагасаки собирался выступить отряд солдат, то офицер, начальствовавший над этим отрядом, получил приказ охранять меня по пути и специальные инструкции насчет распятия.   
 После весьма долгого и утомительного путешествия я прибыл в Нагасаки 9 июня 1709 года. Здесь скоро я познакомился с компанией голландских моряков, служивших на амстердамском корабле "Амбоина", вместимостью в 450 тонн. Я долго жил в Голландии, учился в Лейдене и хорошо говорил по-голландски. Матросы скоро узнали, откуда я прибыл, и стали с любопытством расспрашивать о моих путешествиях и о моей жизни. Я сочинил коротенькую, но правдоподобную историю, утаив большую часть событий. У меня было много знакомых в Голландии, и потому я без труда придумал фамилию моих родителей, которые, по моим словам, были скромные поселяне из провинции Гельдерланд. Я предложил капитану корабля (некоему Теодору Вангрульту) взять с меня сколько ему будет угодно за доставку в Голландию; но, узнав, что я хирург, он удовольствовался половиной обычной платы с условием, чтобы я исполнял у него на корабле обязанности врача. Перед тем как отправиться в путь, матросы не раз спрашивали меня, исполнил ли я упомянутую выше церемонию, но я отделывался неопределенным ответом, что мной были исполнены все требования императора и двора. Однако шкипер, злобный парень, указал на меня японскому офицеру, говоря, что я еще не топтал распятие. Но офицер, получивший секретный приказ не требовать от меня исполнения формальностей, дал негодяю в ответ двадцать ударов бамбуковой палкой по плечам, после чего ко мне никто больше не приставал с подобными вопросами.   
 Во время этого путешествия не произошло ничего заслуживающего упоминания. До мыса Доброй Надежды у нас был попутный ветер. Мы сделали там небольшую остановку, чтобы взять пресной воды. 10 апреля 1710 года мы благополучно прибыли в Амстердам, потеряв в дороге только четырех человек: трое умерли от болезней, а четвертый упал с бизань-мачты в море у берегов Гвинеи. Из Амстердама я скоро отправился в Англию на небольшом судне, принадлежащем этому городу.   
 Шестнадцатого апреля мы бросили якорь в Даунсе. Я высадился на другой день утром и снова увидел свою родину после пяти с половиной лет отсутствия. Я отправился прямо в Редриф, куда прибыл в два часа пополудни того же дня, и застал жену и детей в добром здоровье.

**\* ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ПУТЕШЕСТВИЕ В СТРАНУ ГУИГНГНМОВ \***

**ГЛАВА I**

Автор отправляется в путешествие капитаном корабля. Его экипаж составляет против него заговор, держит долгое время под стражей в каюте и высаживает на берег в неизвестной стране. Он направляется внутрь этой страны. Описание особенной породы животных еху. Автор встречает двух гуигнгнмов   
  
 Я провел дома с женой и детьми около пяти месяцев и мог бы назвать себя очень счастливым, если бы научился наконец познавать, что такое счастье. Я оставил мою бедную жену беременной и принял выгодное предложение занять должность капитана на корабле "Адвенчюрер", хорошем купеческом судне вместимостью в 550 тонн. Я хорошо изучил мореходное искусство, а обязанности хирурга мне порядочно надоели; вот почему, не отказываясь при случае заняться и этим делом, я пригласил в качестве корабельного врача Роберта Пьюрефой, человека молодого, но искусного. Мы отплыли из Портсмута 7 сентября 1710 года; 14-го мы встретили у Тенерифа капитана Пококка, из Бристоля, который направлялся в Кампеши за сандаловым деревом. Но поднявшаяся 16-го числа буря разъединила нас; по возвращении в Англию я узнал, что корабль его потонул и из всего экипажа спасся один только юнга. Этот капитан был славный парень и хороший моряк, но отличался некоторым упрямством в своих мнениях, и этот недостаток погубил его, как он погубил уже многих других. Ибо если бы он последовал моему совету, то теперь, подобно мне, преспокойно находился бы дома в своей семье.   
 На моем корабле несколько матросов умерло от тропической лихорадки, так что я принужден был пополнить экипаж людьми с Барбадоса и других Антильских островов, у которых я останавливался согласно данным мне хозяевами корабля инструкциям. Но скоро мне пришлось горько раскаяться в этом: оказалось, что большая часть набранных мною матросов были морские разбойники. Я имел пятьдесят человек на борту, и мне было поручено вступить в торговые сношения с индейцами Южного океана и произвести исследование этих широт. Негодяи, которых я взял на корабль, подговорили остальных матросов, и все они составили заговор с целью завладеть кораблем и арестовать меня. Однажды утром они привели свой замысел в исполнение: ворвались ко мне в каюту, связали мне руки и ноги и угрожали выбросить за борт, если я вздумаю сопротивляться. Мне оставалось только сказать им, что я их пленник и покоряюсь своей участи. Они заставили меня поклясться в этом и, когда я исполнил их требование, развязали меня, приковав лишь за ногу цепью к кровати и поставив возле моей двери часового с заряженным ружьем, которому приказали стрелять при малейшей моей попытке к освобождению. Они присылали мне пищу и питье, а управление кораблем захватили в свои руки. Целью их было сделаться пиратами и грабить испанцев; однако вследствие своей малочисленности они не могли заняться этим немедленно. Поэтому они решили распродать товары, находившиеся на корабле, и направиться к острову Мадагаскар для пополнения экипажа, так как некоторые из них умерли во время моего заключения. В течение немногих недель разбойники плавали по океану, занимаясь торговлей с индейцами. Но я не знал взятого ими курса, так как все это время находился под строжайшим арестом в каюте, ежеминутно ожидая жестокой казни, которой они часто угрожали мне.   
 Девятого мая 1711 года ко мне в каюту спустился некий Джемс Уэлч и объявил, что по приказанию капитана он высадит меня на берег. Я пытался было усовестить его, но напрасно; он отказался даже сказать мне, кто был их новым капитаном. Разбойники посадили меня в баркас, позволив надеть мое лучшее, почти новое платье и взять небольшой узел белья, а из оружия оставили мне только тесак; и они были настолько любезны, что не обыскали моих карманов, в которых находились деньги и кое-какие мелочи. Отплыв от корабля на расстояние лиги, разбойники высадили меня на берег. Я просил сказать мне, что это за страна. Мои люди побожились, что знают об этом не больше меня; они сказали только, что капитан (как они называли его), распродав весь корабельный груз, решил отделаться от меня, лишь только они увидят где-нибудь землю. Затем они немедленно отчалили и, посоветовав мне торопиться, чтобы не быть захваченным приливом, пожелали мне счастливого пути.   
 В этом горестном положении я направился вперед наудачу и скоро выбрался с песчаного берега и присел на холмик отдохнуть и поразмыслить, что делать дальше. Отдых немного подкрепил мои силы, и я продолжал путь, решив отдаться в руки первым дикарям, которых встречу по дороге, и купить у них жизнь за несколько браслетов, стекляшек и других безделушек, какими обыкновенно запасаются моряки, отправляясь в дикие страны; несколько таких безделушек находилось и у меня. Местность была пересечена длинными рядами деревьев, которые, по-видимому, были посажены здесь не рукою человека, а природой; между деревьями расстилались большие луга и поля, засеянные овсом. Я осторожно подвигался вперед, оглядываясь по сторонам из боязни, как бы кто-нибудь не напал на меня врасплох или не подстрелил сзади или сбоку из лука. Через несколько времени я вышел на проезжую дорогу, на которой заметил много следов человеческих ног, несколько коровьих, но больше всего лошадиных. Наконец я увидел в поле каких-то животных; два или три таких же животных сидели на деревьях. Их крайне странная и безобразная внешность несколько смутила меня, и я прилег за кустом, чтобы лучше их разглядеть. Некоторые подошли близко к тому месту, где я лежал, так что я мог видеть их очень отчетливо. Голова и грудь у них были покрыты густыми волосами - у одних вьющимися, у других гладкими; бороды их напоминали козлиные; вдоль спины и передней части лап тянулись узкие полоски шерсти; но остальные части их тела были голые, так что я мог видеть кожу темно-коричневого цвета. Хвоста у них не было, и ягодицы были голые, исключая места вокруг заднего прохода; я полагаю, что природа покрыла эти места волосами, чтобы предохранить их во время сидения на земле; ибо эти существа сидели, лежали и часто становились на задние лапы. Вооруженные сильно развитыми крючковатыми и заостренными когтями на передних и задних лапах, они с ловкостью белки карабкались на самые высокие деревья. Они часто прыгали, скакали и бегали с удивительным проворством. Самки были несколько меньше самцов; на голове у них росли длинные гладкие волосы, но лица были чистые, а другие части тела были покрыты только легким пушком, кроме заднепроходного отверстия и срамных частей; вымя их висело между передними лапами и часто, когда они ползли на четвереньках, почти касалось земли. Волосы как у самцов, так и у самок были различных цветов: коричневые, черные, красные и желтые. В общем, я никогда еще во все мои путешествия не встречал более безобразного животного, которое с первого же взгляда вызывало бы к себе такое отвращение. Полагая, что я достаточно насмотрелся на них, я встал с чувством омерзения и гадливости и продолжал свой путь по дороге в надежде, что она приведет меня к хижине какого-нибудь индейца. Но не успел я сделать нескольких шагов, как встретил одно из описанных мною животных, направлявшееся прямо ко мне. Заметив меня, уродина остановилась и с ужасными гримасами вытаращила на меня глаза как на существо, никогда ею не виданное; затем, подойдя ближе, подняла свою переднюю лапу - то ли из любопытства, то ли со злым умыслом, - я не мог определить. Тогда я вынул тесак и плашмя нанес им сильный удар по лапе животного; я не хотел бить его лезвием, ибо боялся, что навлеку на себя недовольство обитателей этой страны, если им станет известно, что я убил или изувечил принадлежащую им скотину. Почувствовав боль, животное пустилось наутек и завизжало так громко, что из соседнего поля прибежало целое стадо, штук около сорока, таких же тварей, которые столпились вокруг меня с воем и ужасными гримасами. Я бросился к дереву и, прислонясь спиной к его стволу, стал размахивать тесаком, не подпуская их к себе. Однако же несколько представителей этой проклятой породы, ухватившись за ветви сзади меня, взобрались на дерево и начали оттуда испражняться мне на голову. Правда, мне удалось увернуться, прижавшись плотнее к стволу дерева, но я чуть не задохся от падавшего со всех сторон вокруг меня кала.   
 Вдруг в этом бедственном положении я увидел, что животные бросились убегать со всех ног. Тогда я решился оставить дерево и продолжать путь, недоумевая, что бы могло их так напугать. Но, взглянув налево, я увидел спокойно двигавшегося по полю коня; появление этого коня, которого мои преследователи заметили раньше, и было причиной их поспешного бегства. Приблизившись ко мне, конь слегка вздрогнул, но скоро оправился и стал смотреть мне прямо в лицо с выражением крайнего удивления. Он осмотрел мои руки и ноги и несколько раз обошел кругом меня. Я хотел было идти дальше, но конь загородил дорогу, продолжая кротко смотреть на меня и не выражая ни малейшего намерения причинить мне какое-либо насилие. Так мы и стояли некоторое время, оглядывая друг друга; наконец я набрался смелости протянуть руку к шее коня с намерением его погладить, насвистывая и пустив в ход приемы, какие обычно применяются жокеями с целью приручить незнакомую лошадь. Но животное отнеслось к моей ласке, по-видимому, с презрением, замотало головой, нахмурилось и, тихонько подняв правую переднюю ногу, отстранило мою руку. Затем конь заржал три или четыре раза, так разнообразно акцентируя это ржание, что я готов был подумать, уж не разговаривает ли он на своем языке.   
 Когда мы стояли таким образом друг против друга, к нам подошел еще один конь. Он обратился к первому с самым церемонным приветствием: они легонько постукались друг с другом правыми передними копытами и стали поочередно ржать, варьируя звуки на разные лады, так что они казались почти членораздельными. Затем они отошли от меня на несколько шагов, как бы с намерением посовещаться, и начали прогуливаться рядышком взад и вперед подобно людям, решающим важный вопрос, но часто при этом посматривали на меня, словно наблюдая, чтобы я не удрал. Пораженный такими действиями и поведением неразумных животных, я пришел к заключению, что обитатели этой страны должны быть мудрейшим народом на земле, если только они одарены разумом в соответственной степени. Эта мысль подействовала на меня так успокоительно, что я решил продолжать путь, пока не достигну какого- нибудь жилья или деревни, или не встречу кого-нибудь из туземцев, оставляя лошадей беседовать между собой, сколько им вздумается. Но первый конь, серый в яблоках, заметив, что я ухожу, заржал мне вслед таким выразительным тоном, что мне показалось, будто я понимаю, чего он хочет; я тотчас повернул назад и подошел к нему в ожидании дальнейших приказаний. При этом я всячески старался скрыть свой страх, ибо начал уже немного побаиваться исхода этого приключения; и читатель легко может себе представить, что положение мое было не из приятных.   
 Обе лошади подошли ко мне вплотную и с большим вниманием начали рассматривать мое лицо и руки. Серый конь потер со всех сторон мою шляпу правым копытом передней ноги, отчего она так помялась, что мне пришлось снять ее и поправить; проделав это, я снова надел ее. Мои движения, по-видимому, сильно поразили серого коня и его товарища (караковой масти): последний прикоснулся к полам моего кафтана, и то обстоятельство, что они болтались свободно, снова привело обоих в большое изумление. Караковый конь погладил меня по правой руке, по-видимому, удивляясь ее мягкости и цвету, но он так крепко сжал ее между копытом и бабкой, что я не вытерпел и закричал. После этого оба коня стали прикасаться ко мне осторожнее. В большое замешательство повергли их мои башмаки и чулки, которые они многократно ощупывали с ржанием и жестами, очень напоминая философа, пытающегося понять какое-либо новое и трудное явление.   
 Вообще поведение этих животных отличалось такой последовательностью и целесообразностью, такой обдуманностью и рассудительностью, что в конце концов у меня возникла мысль, уж не волшебники ли это, которые превратились в лошадей с каким-нибудь неведомым для меня умыслом и, повстречав по дороге чужестранца, решили позабавиться над ним, а может быть, были действительно поражены видом человека, по своей одежде, чертам лица и телосложению очень непохожего на людей, живущих в этой отдаленной стране. Придя к такому заключению, я отважился обратиться к ним со следующей речью: "Господа, если вы действительно колдуны, как я имею достаточные основания полагать, то вы понимаете все языки; поэтому я осмеливаюсь доложить вашей милости, что я - бедный англичанин, которого злая судьба забросила на ваш берег; и я прошу разрешения сесть верхом на одного из вас, как на настоящую лошадь, и доехать до какого-нибудь хутора или деревни, где я мог бы отдохнуть и найти приют. В благодарность за эту услугу я подарю вам вот этот ножик или этот браслет, - тут я вынул обе вещицы из кармана. Во время моей речи оба коня стояли молча, как будто слушая меня с большим вниманием; когда я кончил, они стали оживленно что-то ржать друг другу, словно ведя между собой серьезный разговор. Для меня стало ясно тогда, что их язык отлично выражает чувства и что при незначительном усилии слова его можно разложить на звуки и буквы, пожалуй, даже легче, чем китайские слова.   
 Я отчетливо расслышал слово "еху", которое оба коня повторили несколько раз. Хотя я не мог понять его значения, все же, пока они были заняты разговором, я сам старался произнести это слово; как только лошади замолчали, я громко прокричал "еху, еху", всячески подражая ржанью лошади. Это, по-видимому, очень удивило их, и серый конь дважды повторил это слово, как бы желая научить меня правильному его произношению. Я стал повторять за ним возможно точнее и нашел, что с каждым разом делаю заметные успехи, хотя и очень далек от совершенства. После этого караковый конь попробовал научить меня еще одному слову, гораздо более трудному для произношения; согласно английской орфографии его можно написать так: houyhnhnm (гуигнгнм)[138]. Произношение этого слова давалось мне не так легко, как произношение первого, но после двух или трех попыток дело пошло лучше, и оба коня были, по-видимому, поражены моей смышленостью. Поговорив еще немного, вероятно, по-прежнему обо мне, друзья расстались, постукавшись копытами, как и при встрече; затем серый конь сделал мне знак, чтобы я шел вперед, и я счел благоразумным подчиниться его приглашению, пока не найду лучшего руководителя. Когда я замедлял шаги, конь начинал ржать: "ггуун, ггуун". Догадавшись, что означает это ржанье, я постарался по мере сил объяснить ему, что устал и не могу идти скорее; тогда конь останавливался, чтобы дать мне возможность отдохнуть.

**ГЛАВА II**

Гуигнгнм приводит автора к своему жилищу. Описание этого жилища. Прием, оказанный автору. Пища гуигнгнмов. Затруднения автора вследствие отсутствия подходящей для него пищи и устранение этого затруднения. Чем питался автор в этой стране   
  
 Сделав около трех миль, мы подошли к длинному низкому строению, крытому соломой и со стенами из вбитых в землю и перевитых прутьями кольев. Здесь я почувствовал некоторое облегчение и вынул из кармана несколько безделушек, которыми обыкновенно запасаются путешественники для подарков дикарям- индейцам Америки и других стран; я надеялся, что благодаря этим безделушкам хозяева дома окажут мне более радушный прием. Конь знаком пригласил меня войти первым, и я очутился в просторной комнате с гладким глиняным полом; по одной ее стене во всю длину тянулись ясли с решетками для сена. Там были трое лошаков и две кобылицы: они не стояли возле яслей и не ели, а сидели по-собачьи, что меня крайне удивило. Но я еще более удивился, когда увидел, что другие лошади заняты домашними работами, исполняя, по-видимому, обязанности рабочего скота. Все это окончательно укрепило меня в моем первоначальном предположении, что народ, сумевший так выдрессировать неразумных животных, несомненно, должен превосходить своею мудростью все другие народы земного шара. Серый конь вошел следом за мной, предупредив, таким образом, возможность дурного приема со стороны других лошадей. Он несколько раз заржал повелительным тоном хозяина, на что другие отвечали ему. Кроме этой комнаты, там было еще три, тянувшиеся одна за другой вдоль здания; мы прошли в них через три двери, расположенные по одной линии в виде просеки. Во второй комнате мы остановились; серый конь вошел в третью комнату один, сделав мне знак обождать. Я остался во второй комнате и приготовил подарки для хозяина и хозяйки дома; это были два ножа, три браслета с фальшивыми жемчужинами, маленькое зеркальце и ожерелье из бус. Конь заржал три или четыре раза, и я насторожился в надежде услышать в ответ человеческий голос; но я услышал такое же ржание, только в немного более высоком тоне. Я начал думать тогда, что дом этот принадлежит очень важной особе, раз понадобилось столько церемоний, прежде чем быть допущенным к хозяину. Но чтобы важная особа могла обслуживаться только лошадьми - было выше моего понимания. Я испугался, уж не помутился ли мой рассудок от перенесенных мною лишений и страданий. Я сделал над собой усилие и внимательно осмотрелся кругом: комната, в которой я остался один, была убрана так же, как и первая, только с большим изяществом. Я несколько раз протер глаза, но передо мной находились все те же предметы. Я стал щипать себе руки и бока, чтобы проснуться, так как мне все еще казалось, что я вижу сон. После этого я окончательно пришел к заключению, что вся эта видимость есть не что иное, как волшебство и магия. Не успел я остановиться на этой мысли, как в дверях снова показался серый конь и знаками пригласил последовать за ним в третью комнату, где я увидел очень красивую кобылу с двумя жеребятами; они сидели, поджав под себя задние ноги, на недурно сделанных, очень опрятных и чистых соломенных циновках.   
 Когда я вошел, кобыла тотчас встала с циновки и приблизилась ко мне; внимательно осмотрев мои руки и лицо, она отвернулась с выражением величайшего презрения; после этого она обратилась к серому коню, и я слышал, как в их разговоре часто повторялось слово "еху", значения которого я тогда еще не понимал, хотя и изучил его произношение прежде других слов. Но, к величайшему своему уничижению, я скоро узнал, что оно значит. Случилось это таким образом: серый конь, кивнув мне головой и повторяя слово "ггуун, ггуун", которое я часто слышал от него в дороге и которое означало приказание следовать за ним, вывел меня на задний двор, где находилось другое строение в некотором отдалении от дома. Когда мы вошли туда, я увидел трех таких же отвратительных тварей, с какими я повстречался вскоре по прибытии в эту страну; они пожирали коренья и мясо каких-то животных, - впоследствии я узнал, что то были трупы дохлых или погибших от какого-нибудь несчастного случая собак, ослов и изредка коров. Все они были привязаны за шею к бревну крепкими ивовыми прутьями; пищу свою они держали в когтях передних ног и разрывали ее зубами.   
 Хозяин-конь приказал своему слуге, гнедому лошаку, отвязать самое крупное из этих животных и вывести его во двор; поставив нас рядом, хозяин и слуга произвели тщательное сравнение нашей внешности, после чего несколько раз повторили слово "еху". Невозможно описать ужас и удивление, овладевшие мной, когда я заметил, что это отвратительное животное по своему строению в точности напоминает человека. Правда, лицо у него было плоское и широкое, нос приплюснутый, губы толстые и рот огромный, но эти особенности свойственны всем вообще дикарям, потому что матери кладут своих детей ничком на землю и таскают их за спиной, отчего ребенок постоянно тыкается носом о плечи матери. Передние лапы еху отличались от моих рук только длиной ногтей, загрубелостью и коричневым цветом ладоней да тем, что их тыльная сторона была покрыта волосами. Такое же сходство и такие же различия существовали и между нашими ногами; я сразу понял это, хотя лошади и не могли ничего заметить, так как на мне были чулки и башмаки; то же надо сказать и относительно всего тела вообще, исключая только цвет кожи и волос, что было уже описано мною выше.   
 Но обеих лошадей повергало, по-видимому, в большое недоумение то обстоятельство, что благодаря платью, о котором они не имели никакого понятия, все остальные части моего тела сильно отличались от тела еху. Гнедой лошак подал мне какой-то корень, взяв его между копытом и бабкой (каким образом они это делают, будет описано в своем месте), я взял его и, понюхав, самым вежливым образом возвратил ему; тогда он принес из хлева еху кусок ослиного мяса, но от него шел такой противный запах, что я с омерзением отвернулся; лошак бросил мясо еху, и животное с жадностью сожрало его. Потом он показал мне охапку сена и полный гарнец овса; но я покачал головою, давая понять, что ни то, ни другое не годится мне в пищу. Тут я испугался, что мне придется умереть с голоду, если я не встречу здесь человека, подобного мне; что же касается трех гнусных еху, то хотя мало найдется больших поклонников рода человеческого, чем я был в ту пору, но, признаюсь, никогда я не видел столь отвратительных во всех отношениях одушевленных существ; и чем ближе я с ними знакомился во время моего пребывания в этой стране, тем более усиливалась моя ненависть к ним. Заметя это отвращение по моим жестам, конь-хозяин велел отвести еху обратно в хлев. После этого он поднес ко рту переднее копыто, чем я был немало изумлен, хотя он совершил это движение с непринужденностью, свидетельствовавшей, что оно было для него самым естественным, и делал также другие знаки, желая узнать, что же я буду есть; но я не мог ответить на этот вопрос понятным для него образом, да если бы даже он и понял меня, было бы не легче, так как я не видел, откуда бы он мог достать мне подходящую пищу. Во время этих переговоров прошла мимо корова; я показал на нее пальцем и выразил желание подойти к ней и подоить ее. Меня поняли, ибо серый конь повел меня обратно в дом и приказал кобыле-служанке открыть одну комнату, где стояло много молока в глиняной и деревянной посуде, очень чистой и в большом порядке; кобыла подала мне большую чашку с молоком, и я с удовольствием напился, после чего почувствовал себя гораздо бодрее и свежее.   
 Около полудня к дому подкатила особенного устройства повозка, которую тащили подобно санкам четыре еху. В повозке сидел старый конь, по-видимому, знатная особа; он сошел на землю, опираясь на задние ноги, потому что передняя левая нога у него была повреждена. Этот конь приехал обедать к моему хозяину, который принял его с большой любезностью. Они обедали в лучшей комнате, и на второе блюдо им подали овес, варенный в молоке; гость ел это кушанье в горячем виде, а остальные лошади - в холодном. Их ясли расположены были кругообразно посреди комнаты и разгорожены на несколько отделений, возле которых все и уселись на подостланную солому. Над яслями помещалась большая решетка с сеном, разгороженная на столько же отделений, как и ясли, так что каждый конь и каждая кобыла ели отдельно свои порции сена и овсяной каши с молоком, очень благопристойно и аккуратно. Жеребята держали себя очень скромно, а хозяева были крайне любезны и предупредительны к своему гостю. Серый велел мне подойти к нему и завел со своим другом длинный разговор обо мне, как я мог заключить по тому, что гость часто поглядывал на меня и собеседники то и дело произносили слово "еху".   
 Случилось, что я в то время надел перчатки; серый хозяин, заметив это, был поражен и знаками стал спрашивать, что это я сделал со своими передними ногами; три или четыре раза он прикоснулся к ним своим копытом, как бы давая понять, что я должен привести их в прежнее состояние, что я и сделал, сняв перчатки и положив их в карман. Этот эпизод вызвал оживленный разговор, и я заметил, что мое поведение расположило всех в мою пользу, в благодетельных последствиях чего я вскоре убедился. Мне было приказано произнести усвоенные мной слова, и во время обеда хозяин научил меня называть овес, молоко, огонь, воду и некоторые другие предметы, что давалось мне очень легко, так как еще смолоду я отличался большими способностями к языкам.   
 После обеда конь-хозяин отвел меня в сторону и дал понять мне знаками и словами свое огорчение по поводу того, что для меня не было подходящей еды. Овес на языке гуигнгнмов называется "глуннг". Это слово я произнес два или три раза, так как хотя сначала я отказался от овса, однако по некотором размышлении нашел, что из него можно приготовить нечто вроде хлеба; а хлеб с молоком могли бы поддержать мое существование до тех пор, пока мне не представится случай уйти отсюда в какую-нибудь другую страну к таким же людям, как и я. Конь тотчас же приказал белой кобыле-служанке принести овса на деревянном блюде. Я кое-как поджарил этот овес на огне и стал тереть, пока не отстала шелуха, которую я постарался отвеять от зерна; затем я истолок зерно между двумя камнями, взял воды, приготовил тесто, испек его на огне и съел в горячем виде, запивая молоком. Сначала это кушанье показалось мне крайне безвкусным, хотя оно очень распространено во многих европейских странах, но с течением времени я к нему привык. К тому же это был не первый случай в моей жизни, когда приходилось довольствоваться самой грубой пищей, и я еще раз убедился в том, как мало взыскательна человеческая природа. Не могу не заметить при этом, что за все время моего пребывания на острове я ни одной минуты не был болен. Правда, иногда мне удавалось поймать в силки, сделанные из волос еху, кролика или какую-нибудь птицу, иногда я находил съедобные травы, которые варил и ел в виде приправы к своим лепешкам, а изредка сбивал себе масло и пил сыворотку. Сначала я очень болезненно ощущал отсутствие соли, но скоро привык обходиться без нее; и я убежден, что обильное употребление этого вещества есть результат сластолюбия, и соль была введена, главным образом, для возбуждения жажды, исключая, конечно, случаев, когда она необходима для сохранения мяса в далеких путешествиях или в местах, удаленных от рынков. Ведь мы не знаем ни одного животного, которое любило бы соль. Что касается меня, то должен признаться, что, покинув эту страну, я очень нескоро научился переносить вкус соли в кушаньях, которые я ел[139].   
 Но довольно об этом; я не хочу подражать другим путешественникам, наполняющим целые главы своих книг описанием своей пищи, как будто читателю так уж интересно, хорошо или дурно кушал автор. Однако мне было необходимо коснуться этого предмета, чтобы устранить всякие недоразумения относительно того, каким образом мог я просуществовать три года в такой стране и среди такого населения.   
 С наступлением вечера конь-хозяин распорядился отвести мне особое помещение в шести ярдах от дома и отдельно от хлева еху. Я нашел там немного соломы и, покрывшись платьем, крепко заснул. Но вскоре я устроился гораздо удобнее, как читатель узнает из дальнейшего рассказа, посвященного более подробному описанию моего образа жизни в этой стране.

**ГЛАВА III**

Автор прилежно изучает туземный язык. Гуигнгнм, его хозяин, помогает ему в занятиях. Язык гуигнгнмов. Много знатных гуигнгнмов приходят взглянуть из любопытства на автора. Он вкратце рассказывает хозяину о своем путешествии   
  
 Моим главным занятием было изучение языка; и все в доме, начиная с хозяина (так я буду с этих пор называть серого коня) и его детей и кончая последним слугою, усердно помогали мне в этом. Им казалось каким-то чудом, что грубое животное обнаруживает свойства разумного существа. Я показывал на предмет пальцем и спрашивал его название, которое запоминал; затем, оставшись наедине, записывал в свой путевой дневник; заботясь об улучшении выговора, я просил кого- нибудь из членов семьи произносить почаще записанные слова. Особенно охотно помогал мне в этих занятиях гнедой лошак, слуга моего хозяина.   
 Произношение гуигнгнмов - носовое и гортанное, и из всех известных мне европейских языков язык их больше всего напоминает верхнеголландский или немецкий, но он гораздо изящнее и выразительнее. Император Карл V сделал почти аналогичное наблюдение, сказав, что если бы ему пришлось разговаривать со своею лошадью, то он обращался бы к ней по-верхнеголландски[140].   
 Любознательность и нетерпение моего хозяина были так велики, что он посвящал много часов своего досуга на обучение меня языку. Он был убежден (как рассказывал мне потом), что я еху; но моя понятливость, вежливость и опрятность поражали его, так как подобные качества были совершенно несвойственны этим животным. Более всего его сбивала с толку моя одежда, и он нередко задавался вопросом, составляет ли она часть моего тела или нет, ибо я никогда не снимал ее, пока все в доме не засыпали, и надевал рано утром, когда все еще спали. Мой хозяин сгорал желанием узнать, откуда я прибыл и каким образом я приобрел видимость разума, которую обнаруживал во всех моих поступках; ему хотелось поскорее услышать из моих собственных уст всю историю моих приключений. Он надеялся, что ждать ему придется недолго: настолько велики были успехи, сделанные мной в заучивании и произношении слов и фраз. Для облегчения запоминания я расположил все выученные мною слова в порядке английского алфавита и записал их с соответствующим переводом. Спустя некоторое время я решился производить свои записи в присутствии хозяина. Мне стоило немало труда объяснить ему, что я делаю, ибо гуигнгнмы не имеют ни малейшего представления о книгах и литературе.   
 Приблизительно через десять недель я уже способен был понимать большинство вопросов моего хозяина, а через три месяца мог давать на них довольно сносные ответы. Мой хозяин особенно интересовался, из какой страны я прибыл к ним и каким образом научился подражать разумным существам, так как еху (на которых, по его мнению, я был поразительно похож головой, руками и лицом, то есть теми частями тела, которые не были закрыты одеждой), при всех свойственных им задатках хитрости и большом предрасположении к злобе, поддаются обучению хуже всех других животных. На это я ответил, что я прибыл по морю очень издалека со многими другими подобными мне существами в большой полой посудине, сделанной из стволов деревьев, и что мои спутники высадили меня на этом берегу и оставили на произвол судьбы. С большими затруднениями и только при помощи знаков мне удалось сделать свою речь понятной. Мой хозяин ответил мне, что я, должно быть, ошибаюсь или "говорю то, чего не было". (Дело в том, что на языке гуигнгнмов совсем нет слов, обозначающих ложь и обман.) Ему казалось невозможным, чтобы за морем были какие-либо земли и чтобы кучка диких зверей двигала по воде деревянное судно, куда ей вздумается. Он был уверен, что никто из гуигнгнмов не в состоянии соорудить такое судно, а тем более доверить управление им еху.   
 Слово "гуигнгнм" на языке туземцев означает лошадь, а по своей этимологии - совершенство природы. Я ответил хозяину, что мне еще трудно выражать свои мысли, но я прилагаю все усилия к лучшему усвоению языка и надеюсь, что в скором времени буду в состоянии рассказать ему много чудес. Он был так добр, что поручил своей кобыле, жеребятам и прислуге не упускать ни одного случая для усовершенствования моих познаний в языке, и сам посвящал ежедневно два или три часа занятиям со мной. Скоро всюду по окрестностям разнеслась молва о появлении удивительного еху, который говорит как гуигнгнм и в своих словах и поступках как будто обнаруживает проблески разума, так что многие знатные кони и кобылы часто приходили к нам взглянуть на меня. Им доставляло удовольствие разговаривать со мной; они задавали мне много вопросов, на которые я отвечал как умел. Благодаря всем этим благоприятным обстоятельствам я сделал такие успехи, что через пять месяцев по приезде понимал все, что мне говорили, и мог довольно сносно объясняться сам.   
 Гуигнгнмы, приходившие в гости к моему хозяину с целью повидать меня и поговорить со мной, с трудом верили, чтобы я был настоящий еху, потому что поверхность моего тела отличалась от поверхности тела других еху. Гуигнгнмы были удивлены тем, что видят у меня голую кожу и волосы только на голове, лице и руках; однако вскоре одна случайность открыла хозяину мою тайну.  
 Я уже сказал читателю, что с наступлением ночи, когда весь дом ложился спать, я раздевался и укрывался моим платьем. Однажды рано утром хозяин послал за мной своего камердинера, гнедого лошака; когда он вошел, я крепко спал, прикрывавшее меня платье свалилось, а рубашка задралась выше пояса. Проснувшись от произведенного им шума, я заметил, что он находится в некотором замешательстве. Кое- как исполнив свое поручение, он в большом испуге прибежал к своему господину и смущенно рассказал ему все, что увидел. Я сейчас же узнал об этом, ибо когда, наскоро одевшись, я отправился засвидетельствовать свое почтение его милости, то первым делом хозяин спросил меня, что означает рассказ слуги, доложившего, будто во время сна я совсем не тот, каким бываю всегда, и будто некоторые части моего тела совершенно белые, другие - желтые или, по крайней мере, не такие белые, а некоторые - совсем темные.   
 До сих пор я сохранял тайну моей одежды, чтобы как можно больше отличаться от гнусной породы еху; но после этого случая было бесполезно хранить ее долее. Кроме того, моя одежда и башмаки сильно износились, и недалеко было время, когда они совсем развалятся и мне придется заменить их каким-нибудь изделием из кожи еху или других животных и, следовательно, выдать всю свою тайну. Поэтому я сказал хозяину, что в стране, откуда я прибыл, подобные мне существа всегда закрывают свое тело искусно выделанной шерстью некоторых животных, отчасти из скромности, а отчасти для защиты тела от жары и стужи. Что же касается лично меня, то, если ему угодно, я готов немедленно представить доказательство справедливости сказанного мной; я только прошу извинения, что не обнажу перед ним тех частей тела, которые сама природа научила нас скрывать. Выслушав меня, хозяин сказал, что вся моя речь показалась ему крайне странной и особенно ее последняя часть; он не мог понять, каким образом природа может научить нас скрывать то, что сама же дала нам. Ни сам он, ни его домочадцы не стыдятся никакой части своего тела; впрочем, я могу поступать, как мне угодно. В ответ на это я расстегнул кафтан и снял его, затем снял жилет, башмаки, чулки и штаны; спустив рубашку до поясницы, я обмотал ею, как поясом, середину тела, чтобы скрыть мою наготу.   
 Хозяин наблюдал все мои действия с огромным любопытством и удивлением. Он брал одну за другой все принадлежности моего туалета между копытом и бабкой и рассматривал их с большим вниманием; потом он легонько погладил мое тело и несколько раз осмотрел его со всех сторон. Обследовав меня, он заявил, что без всякого сомнения я - настоящий еху и отличаюсь от остальных представителей моей породы только мягкостью, белизною и гладкостью кожи, отсутствием волос на некоторых частях тела, формой и длиной когтей на задних и передних ногах и, наконец, тем, что притворяюсь, будто постоянно хожу на задних ногах. Он не пожелал производить дальнейший осмотр и разрешил мне одеться, потому что я дрожал от холода.   
 Я выразил хозяину неудовольствие по поводу того, что он так часто называет меня еху - этой гнусной скотиной, к которой я питаю глубочайшее отвращение и презрение. Я просил его не прилагать ко мне этого слова, а также запретить его употребление по отношению ко мне как в его семье, так и среди его друзей, которым он позволял видеть меня. Я просил его также сохранить тайну искусственной оболочки моего тела, по крайней мере, до тех пор, пока она совершенно не износится; что же касается его слуги, гнедого лошака, то его милость пусть соблаговолит приказать ему молчать.   
 На все это мой хозяин благосклонно согласился, и таким образом тайна моей одежды была сохранена до тех пор, пока она не стала изнашиваться, так что я должен был ухитриться чем-нибудь заменить ее, но об этом будет рассказано ниже. Со своей стороны хозяин выразил желание, чтобы я как можно старательнее продолжал изучать их язык, так как он больше поражен моим умом и способностями к членораздельной речи, чем видом моего тела, покрыто ли оно одеждой или нет, и с большим нетерпением ожидает услышать от меня чудеса, которые я обещал ему рассказать.   
 С этих пор хозяин с удвоенным усердием стал обучать меня: он водил меня с собой в гости и просил всех обращаться со мною вежливо, потому что, по его словам, такое обхождение приводит меня в хорошее расположение и я становлюсь более занятным.   
 Не ограничиваясь взятым на себя трудом обучать меня языку, хозяин задавал мне ежедневно, когда я бывал в его обществе, множество вопросов относительно меня самого, на которые я отвечал как умел; таким образом, у него постепенно составилось некоторое общее, хотя и очень несовершенное представление о том, что я собирался рассказать ему. Было бы скучно излагать шаг за шагом мои успехи, позволившие мне вести более связный разговор; скажу только что первый мой более или менее обстоятельный рассказ о себе был приблизительно таков.   
 Я прибыл, как я уже пробовал разъяснить ему, из весьма отдаленной страны вместе с пятьюдесятью такими же существами, как и я. Мы плавали по морям в большой деревянной посудине, размерами превосходящей дом его милости. Тут я описал хозяину корабль в возможно более понятных выражениях и при помощи развернутого носового платка показал, каким образом он приводится в движение ветром. После ссоры, происшедшей между нами, продолжал я, меня высадили на этот берег, и я пошел вперед куда глаза глядят, пока не подвергся нападению отвратительных еху, от которых его появление освободило меня. Тогда хозяин спросил меня, кто сделал этот корабль и как случилось, что гуигнгнмы моей страны предоставили управление им диким животным. На это я ответил, что я только в том случае решусь продолжать свой рассказ, если он даст мне честное слово не обижаться, что бы он ни услышал; при этом условии я расскажу ему об обещанных мною чудесах. Он согласился. Тогда я сказал ему, что корабль был построен такими же существами, как и я, которые во всех странах, где мне приходилось путешествовать, так же как и в моем отечестве, являются единственными разумными творениями, господствующими над всеми остальными животными; и что по прибытии сюда я был так же поражен при виде разумного поведения гуигнгнмов, как поразили бы его или его друзей проблески ума в том создании, которое ему угодно было назвать еху, я должен, конечно, признать полное сходство моего тела с телом этих животных, но не могу понять причину их вырождения и одичания. Я прибавил далее, что если судьба позволит мне возвратиться когда-нибудь на родину и я расскажу там об этом путешествии, как я решил это сделать, то мне никто не поверит, и каждый будет думать, будто я говорю то, чего не было, и что я выдумал свои приключения от начала до конца; и, несмотря на все мое уважение к нему, к его семье и его друзьям, я, помня его обещание не обижаться, беру на себя смелость утверждать, что мои соотечественники едва ли признают вероятным, чтобы гуигнгнмы были где-нибудь господствующей породой, а еху грубыми скотами.

**ГЛАВА IV**

Понятие гуигнгнмов об истине и лжи. Речь автора приводит в негодование его хозяина. Более подробный рассказ автора о себе и о своих путешествиях   
  
 Хозяин слушал меня с выражением большого неудовольствия на лице, так как сомнение и недоверие настолько неизвестны в этой стране, что гуигнгнмы не знают, как вести себя в таком положении. И я помню, что когда в моих продолжительных беседах с хозяином о качествах людей, живущих в других частях света, мне приходилось упоминать о лжи и обмане, то он лишь с большим трудом понимал, что я хочу сказать, несмотря на то что отличался большой остротой ума. Он рассуждал так: способность речи дана нам для того, чтобы понимать друг друга и получать сведения о различных предметах; но если кто- нибудь станет утверждать то, чего нет, то назначение нашей речи совершенно извращается, потому что в этом случае тот, к кому обращена речь, не может понимать своего собеседника; и он не только не получает никакого осведомления, но оказывается в состоянии худшем, чем неведение, потому что его уверяют, что белое - черно, а длинное - коротко. Этим и ограничивались все его понятия относительно способности лгать, в таком совершенстве известной и так широко распространенной во всех человеческих обществах.   
 Но возвратимся к нашему рассказу. Когда я заявил, что еху являются единственными господствующими животными на моей родине, что, по словам моего хозяина, было совершенно недоступно его пониманию, он пожелал узнать, есть ли у нас гуигнгнмы и чем они занимаются. Я ответил ему, что их у нас очень много и летом они пасутся на лугах, а зимою их держат в особых домах и кормят сеном и овсом, где слуги еху чистят их скребницами, расчесывают им гриву, обмывают ноги, задают корм и готовят постель. "Теперь я понимаю вас, - заметил мой хозяин, - из сказанного вами ясно, что, как ваши еху ни льстят себя мыслью, будто они разумные существа, все-таки господами у вас являются гуигнгнмы, и я от всей души желал бы, чтобы и наши еху были так же послушны". Тут я стал упрашивать его милость позволить мне не продолжать рассказ, так как я уверен, что подробности, которых он ожидает от меня, будут для него очень неприятны. Но он настаивал, говоря, что желает знать все, как хорошее, так и дурное. Я отвечал, что буду повиноваться, и признался, что наши гуигнгнмы, которых мы называем лошадьми, самые красивые и самые благородные из всех животных; что они отличаются силой и быстротой, и когда принадлежат особам знатным, то ими пользуются для путешествий, для бегов, запрягают в колесницы и обращаются с ними очень ласково и заботливо, пока они здоровы и ноги у них крепкие, но едва только силы изменяют им, как их продают и пускают во всевозможную грязную работу, за которой они и умирают; а после смерти с них сдирают кожу, продают ее за бесценок, труп же бросают на съедение собакам и хищным птицам. Но судьба лошадей простой породы не так завидна. Большая часть их принадлежит фермерам, извозчикам и другим низкого звания людям, которые заставляют их исполнять более тяжелую работу и кормят их хуже. Я подробно описал ему наш способ ездить верхом, форму и употребление уздечки, седла, шпор, кнута, упряжи и колес.   
 Я прибавил, что к копытам наших лошадей мы прикрепляем пластины из особого твердого вещества, называемого железом, для предохранения их от повреждений о каменистые дороги, по которым мы часто ездим.   
 Несколько раз выразив свое крайнее негодование, мой хозяин был особенно поражен тем, что мы осмеливаемся садиться верхом на гуигнгнма, так как он был уверен, что самый слабый слуга способен сбросить самого сильного еху или же, упав с ним на землю и катаясь на спине, раздавить скотину. На это я ответил, что наших лошадей объезжают с трех или четырех лет для различных целей, к которым мы их предназначаем; что тех, которые остаются все же норовистыми, запрягают в телеги; что в молодом возрасте их жестоко бьют кнутом за каждую своевольную выходку; что самцов, предназначаемых для упряжи или верховой езды, по достижении двухлетнего возраста обыкновенно холостят, чтобы выгнать из них дурь и сделать более ручными и послушными; что все они очень чувствительны к наградам и наказаниям; но пусть его милость благоволит принять во внимание, что, подобно здешним еху, наши гуигнгнмы не обладают ни малейшими проблесками разума.   
 Мне пришлось прибегнуть ко множеству иносказаний, чтобы дать хозяину правильное представление о том, что я говорил; дело в том, что язык гуигнгнмов не отличается обилием и разнообразием слов, ибо потребностей и страстей у них меньше, чем у нас. Но невозможно описать благородное возмущение моего хозяина, которое вызвано было рассказом о нашем варварском обращении с гуигнгнмами и особенно описанием нашего способа холостить лошадей, чтобы сделать их более покорными и помешать им производить потомство. Он согласился с тем, что если есть страна, в которой только одни еху одарены разумом, то по всей справедливости им и должно принадлежать господство над остальными животными, так как разум в конце концов всегда возобладает над грубой силой; но, рассматривая внимательно строение нашего тела, в частности моего, он находит, что ни одно животное одинаковой с нами величины не является так худо приспособленным для употребления этого разума на службу повседневным жизненным потребностям. Поэтому он желал бы знать, с кем имеют большее сходство существа, среди которых я жил: со мною или с здешними еху. Я стал уверять его, что я так же хорошо сложен, как и большинство моих сверстников; но что подростки и самки гораздо более деликатны и нежны, и кожа у самок обыкновенно бывает бела, как молоко. Хозяин ответил мне, что я действительно отличаюсь от других еху, что я гораздо опрятнее их и далеко не так безобразен, но с точки зрения подлинных преимуществ сравнение с ними будет, по его мнению, не в мою пользу. Так, мои ногти мне совсем ни к чему ни на передних, ни на задних ногах; передние мои ноги, собственно, нельзя даже назвать ногами, так как он никогда не видел, чтобы я ходил на них; они слишком нежны, чтобы выдержать соприкосновение с твердой землей, и я по большей части держу их открытыми, а если иногда и закрываю, то покровы эти не той формы и не так прочны, как те, что я ношу на задних ногах; таким образом, я не могу ходить уверенно, потому что если одна из моих задних ног поскользнется, то я неизбежно должен упасть. Затем он стал находить недостатки в остальных частях моего тела: плоское лицо, выдающийся нос, глаза, помещенные прямо во лбу, так что я не могу смотреть по сторонам, не поворачивая головы, не могу есть, не прибегая к помощи передних ног, для чего, вероятно, природа и наделила их столькими суставами. Он не понимал назначения расчлененных отростков на концах моих задних ног; по его мнению, не покрытые кожей какого-нибудь другого животного, они слишком нежны для твердых и острых камней, да и все мое тело не имеет никакой защиты от стужи и зноя, кроме платья, и я обречен на скучное и утомительное занятие ежедневно надевать и снимать его. Наконец, по его наблюдениям, все животные этой страны питают инстинктивное отвращение к еху, причем более слабые убегают от них, а те, что посильнее, прогоняют их от себя. Таким образом, если даже допустить, что мы одарены разумом, все же непонятно, как мы могли не только победить эту общую к нам антипатию всех живых существ, но даже приручить их и заставить служить себе. Однако он не стал вести дальнейшее обсуждение этого вопроса, потому что ему больше хотелось выслушать историю моей жизни, узнать, где я родился и что со мною было до моего прибытия сюда.   
 Я заверил его, что с величайшей охотой готов удовлетворить его любопытство, но сильно сомневаюсь, удастся ли мне быть достаточно ясным относительно вещей, о которых у его милости не может быть никакого представления, так как я не заметил в этой стране ничего похожего на них; тем не менее я буду всячески стараться выражать свои мысли путем сравнений и прошу его любезной помощи, когда я встречу затруднение в подыскании нужных слов. Его милость обещал исполнить мою просьбу.   
 Я сказал ему, что родился от почтенных родителей на острове, называемом Англией, который так далеко отсюда, что самый крепкий слуга его милости едва ли мог бы добежать до него в течение годичного оборота солнца; что я изучал хирургию, то есть искусство излечивать раны и повреждения, полученные от несчастных случайностей или нанесенные чужой рукой; что моя родина находится под управлением самки той же породы, что и я, которую мы называем королевой; что я уехал с целью разбогатеть и по возвращении жить с семьей в достатке; что в последнее мое путешествие я был капитаном корабля и под моей командой находилось около пятидесяти еху, из которых многие умерли в пути, и я принужден был заменить их другими еху, набранными среди различных народов; что наш корабль дважды подвергался опасности потонуть - один раз во время сильной бури, а другой - наскочив на скалу. Здесь мой хозяин остановил меня, спросив, каким образом я мог уговорить чужеземцев из разных стран отважиться на совместное со мной путешествие после всех понесенных мною потерь и испытанных опасностей. Я отвечал, что это были люди, отчаявшиеся в своей судьбе, которых выгнали с родины нищета или преступления. Одни были разорены бесконечными тяжбами; другие промотали свое имущество благодаря пьянству, разврату и азартной игре; многие из них обвинялись в измене, убийстве, воровстве, отравлении, грабеже, клятвопреступлении, подлоге, чеканке фальшивой монеты, изнасиловании или мужеложстве и дезертирстве к неприятелю; большинство были беглые из тюрем; они не отваживались вернуться на родину из страха быть повешенными или сгнить в заточении и потому были вынуждены искать средств к существованию в чужих краях.   
 Во время этого рассказа моему хозяину угодно было несколько раз прерывать меня. Мне часто пришлось прибегать к иносказаниям, чтобы описать ему многочисленные преступления, принудившие большую часть моего экипажа покинуть свою родину. Понадобилось несколько дней, прежде чем он научился понимать меня. Он был в полном недоумении, что могло побудить или вынудить этих людей предаваться таким порокам. Чтобы уяснить ему это, я постарался дать ему некоторое представление о свойственной всем нам ненасытной жажде власти и богатства, об ужасных последствиях сластолюбия, невоздержанности, злобы и зависти. Все это приходилось определять и описывать при помощи примеров и сравнений. После моих объяснений хозяин с удивлением и негодованием поднял глаза к небу, как мы делаем это, когда наше воображение бывает поражено чем-нибудь никогда невиданным и неслыханным. Власть, правительство, война, закон, наказание и тысяча других вещей не имели соответствующих терминов на языке гуигнгнмов, что почти лишало меня возможности дать хозяину сколько-нибудь правильное представление о том, что я говорил ему. Но, обладая от природы большим умом, укрепленным размышлением и беседами, он в заключение довольно удовлетворительно уяснил себе, на что бывает способна природа человека в наших странах, и пожелал, чтобы я дал ему более подробное описание той части света, которую мы называем Европой, и особенно моего отечества.

**ГЛАВА V**

По приказанию своего хозяина автор знакомит его с положением Англии. Причины войн между европейскими государствами. Автор приступает к изложению английской конституции   
  
 Пусть читатель благоволит принять во внимание, что нижеследующие выдержки из многочисленных моих бесед с хозяином содержат лишь наиболее существенное из того, что было нами сказано в течение почти что двух лет, его милость требовал от меня все больших подробностей, по мере того как я совершенствовался в языке гуигнгнмов. Я изложил ему как можно яснее общее положение Европы, рассказал о торговле и промышленности, науках и искусствах; и ответы, которые я давал ему на вопросы, возникавшие у него по разным поводам, служили, в свою очередь, неиссякаемым источником для новых бесед. Но я ограничусь здесь только самым существенным из того, что было нами сказано относительно моей родины, приведя эти разговоры в возможно более строгий порядок, при этом я не стану обращать внимание на хронологическую последовательность и другие побочные обстоятельства, а буду только заботиться об истине. Меня беспокоит лишь то, что я вряд ли сумею точно передать доводы и выражения моего хозяина, и они сильно пострадают как от моей неумелости, так и от их перевода на наш варварский язык.   
 Итак, исполняя желание его милости, я рассказал про последнюю английскую революцию, произведенную принцем Оранским, и про многолетнюю войну с Францией, начатую этим принцем и возобновленную его преемницей, ныне царствующей королевой, - войну, в которую вовлечены были величайшие христианские державы и которая продолжается и до сих пор. По просьбе моего хозяина я вычислил, что в течение этой войны было убито, должно быть, около миллиона еху, взято около ста городов и в три раза более этого сожжено или затоплено кораблей[141].   
 Хозяин спросил меня, что же служит обыкновенно причиной или поводом, побуждающим одно государство воевать с другим. Я отвечал, что их несчетное количество, но я ограничусь перечислением немногих, наиболее важных. Иногда таким поводом является честолюбие монархов, которым все бывает мало земель или людей, находящихся под их властью; иногда - испорченность министров, вовлекающих своих государей в войну, чтобы заглушить и отвлечь жалобы подданных на их дурное управление. Различие мнений стоило многих миллионов жизней[142]; например, является ли тело хлебом или хлеб телом; является ли сок некоторых ягод кровью или вином; нужно ли считать свист грехом или добродетелью; что лучше: целовать кусок дерева или бросать его в огонь; какого цвета должна быть верхняя одежда: черного, белого, красного или серого; какова она должна быть: короткая или длинная, широкая или узкая, грязная или чистая, и т. д. и т. д.[143] Я прибавил, что войны наши бывают наиболее ожесточенными, кровавыми и продолжительными именно в тех случаях, когда они обусловлены различием мнений, особенно, если это различие касается вещей несущественных.   
 Иногда ссора между двумя государями разгорается из-за решения вопроса, кому из них надлежит низложить третьего, хотя ни один из них не имеет на то никакого права. Иногда один государь нападает на другого из страха, как бы тот не напал на него первым; иногда война начинается потому, что неприятель слишком силен, а иногда, наоборот, потому, что он слишком слаб. Нередко у наших соседей нет того, что есть у нас, или же есть то, чего нет у нас; тогда мы деремся, пока они не отберут у нас наше или не отдадут нам свое. Вполне извинительным считается нападение на страну, если население ее изнурено голодом, истреблено чумою или втянуто во внутренние раздоры. Точно так же признается справедливой война с самым близким союзником, если какой-нибудь его город расположен удобно для нас или кусок его территории округлит и завершит наши владения. Если какой-нибудь монарх посылает свои войска в страну, население которой бедно и невежественно, то половину его он может законным образом истребить, а другую половину обратить в рабство, чтобы вывести этот народ из варварства и приобщить к благам цивилизации. Весьма распространен также следующий очень царственный и благородный образ действия: государь, приглашенный соседом помочь ему против вторгшегося в его пределы неприятеля, по благополучном изгнании последнего захватывает владения союзника, на помощь которому пришел, а его самого убивает, заключает в тюрьму или изгоняет. Кровное родство или брачные союзы являются весьма частой причиной войн между государями, и чем ближе это родство, тем больше они склонны к вражде. Бедные нации алчны, богатые - надменны, а надменность и алчность всегда не в ладах. По всем этим причинам ремесло солдата считается у нас самым почетным, так как солдат есть еху, нанимающийся хладнокровно убивать возможно большее число подобных себе существ, не причинивших ему никакого зла.   
 Кроме того, в Европе существует особый вид нищих государей, неспособных вести войну самостоятельно и отдающих свои войска внаем богатым государствам за определенную поденную плату с каждого солдата, из каковой платы они удерживают в свою пользу три четверти, что составляет существеннейшую статью их доходов; таковы государи Германии и других северных стран Европы[144].   
 Все, что вы сообщили мне (сказал мой хозяин) по поводу войн, как нельзя лучше доказывает действия того разума, на обладание которым вы притязаете; к счастью, однако, ваше поведение не столько опасно, сколько постыдно, ибо природа создала вас так, что вы не можете причинить особенно много зла.   
 В самом деле, ваш рот расположен в одной плоскости с остальными частями лица, так что вы вряд ли можете кусать друг друга, разве что по обоюдному согласию. Затем ваши когти на передних и задних ногах так коротки и нежны, что каждый наш еху легко справится с дюжиной ваших собратьев. Поэтому что касается приведенных вами чисел убитых в боях, то мне кажется, простите, вы говорите то, чего нет.   
 При этих словах я покачал головой и не мог удержаться от улыбки. Военное искусство было мне не чуждо, и потому я обстоятельно описал ему, что такое пушки, кулеврины, мушкеты, карабины, пистолеты, пули, порох, сабли, штыки, сражения, осады, отступления, атаки, мины и контрмины, бомбардировки, морские сражения, потопление кораблей с тысячью матросов, десятки тысяч убитых с каждой стороны; стоны умирающих, взлетающие в воздух члены, дым, шум, смятение, смерть под лошадиными копытами; бегство, преследование, победа; поля, покрытые трупами, брошенными на съедение собакам, волкам и хищным птицам; разбой, грабежи, изнасилования, пожары, разорение. И, желая похвастаться перед ним храбростью моих дорогих соотечественников, я сказал, что сам был свидетелем, как при осаде одного города они взорвали на воздух сотню неприятельских солдат и столько же в одном морском сражении, так что куски человеческих тел падали точно с неба к великому удовольствию всех зрителей.   
 Я хотел было пуститься в дальнейшие подробности, но хозяин приказал мне замолчать. Всякий, кто знает природу еху, сказал он, без труда поверит, что такое гнусное животное способно на все описанные мною действия, если его сила и хитрость окажутся равными его злобе. Но мой рассказ увеличил его отвращение ко всей этой породе и поселил в уме его беспокойство, которого он никогда раньше не испытывал. Он боялся, что, привыкнув слушать подобные гнусные слова, он со временем станет относиться к ним с меньшим отвращением. Хотя он гнушался еху, населяющими эту страну, все же он не больше порицал их за их противные качества, чем гинэйх (хищную птицу) за ее жестокость, или острый камень за то, что он повредил ему копыто. Но, узнав, что существа, притязающие на обладание разумом, способны совершать подобные ужасы, он опасается, что развращенный разум, пожалуй, хуже какой угодно звериной тупости. Поэтому он склонен думать, что мы одарены не разумом, а какой-то особенной способностью, содействующей росту наших природных пороков, подобно тому как волнующийся поток, отражая уродливое тело, не только увеличивает его, но еще более обезображивает.   
 Тут он заявил, что уже достаточно наслушался о войне как в этот наш разговор, так и раньше[145]. Теперь его немного смущал другой вопрос. Я сообщил ему, что некоторые матросы моего бывшего экипажа покинули свою родину, потому что были разорены законом; хотя я уже объяснил ему смысл этого слова, однако он недоумевал, каким образом закон, назначение которого охранять интересы каждого, может привести кого-нибудь к разорению. Поэтому он желал услышать от меня более обстоятельные разъяснения относительно того, что я разумею под законом и его блюстителями согласно практике, существующей в настоящее время у меня на родине: ибо, по его мнению, природа и разум являются достаточными руководителями разумных существ, какими мы считаем себя, и ясно показывают нам, что мы должны делать и чего должны избегать.   
 Я ответил его милости, что закон есть наука, в которой я мало сведущ, так как все мое знакомство с ней ограничивается безуспешным обращением к помощи стряпчих по поводу некоторых причиненных мне несправедливостей; все же по мере сил я постараюсь удовлетворить его любопытство. Я сказал, что у нас есть сословие людей, смолоду обученных искусству доказывать при помощи пространных речей, что белое - черно, а черное - бело, соответственно деньгам, которые им за это платят. Это сословие держит в рабстве весь народ. Например, если моему соседу понравилась моя корова, то он нанимает стряпчего с целью доказать, что он вправе отнять у меня корову. Со своей стороны, для защиты моих прав мне необходимо нанять другого стряпчего, так как закон никому не позволяет защищаться в суде самостоятельно. Кроме того, мое положение законного собственника оказывается в двух отношениях невыгодным. Во-первых, мои стряпчий, привыкнув почти с колыбели защищать ложь, чувствует себя не в своей стихии, когда ему приходится отстаивать правое дело, и, оказавшись в положении неестественном, всегда действует крайне неуклюже и подчас даже злонамеренно. Невыгодно для меня также и то, что мой стряпчий должен проявить крайнюю осмотрительность, иначе он рискует получить замечание со стороны судей и навлечь неприязнь своих собратьев за унижение профессионального достоинства. Таким образом, у меня есть только два способа сохранить свою корову. Либо я подкупаю двойным гонораром стряпчего противной стороны, который предает своего клиента, намекнув суду, что справедливость на его стороне. Либо мой защитник изображает мои претензии как явно несправедливые, высказывая предположение, что корова принадлежит моему противнику; если он сделает это достаточно искусно, то расположение судей в мою пользу обеспечено.   
 Ваша милость должна знать, что судьями у нас называются лица, на которых возложена обязанность решать всякого рода имущественные тяжбы, а также уголовные дела; выбираются они из числа самых искусных стряпчих, состарившихся и обленившихся. Выступая всю свою жизнь против истины и справедливости, судьи эти с роковой необходимостью потворствуют обману, клятвопреступлению и насилию, и я знаю, что сплошь и рядом они отказываются от крупных взяток, предлагаемых им правой стороной, лишь бы только не подорвать авторитет сословия совершением поступка, не соответствующего его природе и достоинству.   
 В этом судейском сословии установилось правило, что все однажды совершенное может быть законным образом совершено вновь; на этом основании судьи с великою заботливостью сохраняют все старые решения, попирающие справедливость и здравый человеческий смысл. Эти решения известны у них под именем прецедентов; на них ссылаются как на авторитет, для оправдания самых несправедливых мнений, и судьи никогда не упускают случая руководствоваться этими прецедентами.   
 При разборе тяжеб они тщательно избегают входить в существо дела; зато кричат, горячатся и говорят до изнеможения, останавливаясь на обстоятельствах, не имеющих к делу никакого отношения. Так, в упомянутом уже случае они никогда не выразят желания узнать, какое право имеет мой противник на мою корову и какие доказательства этого права он может представить; но проявят величайший интерес к тому, рыжая ли корова или черная; длинные у нее рога или короткие; круглое ли то поле, на котором она паслась, или четырехугольное; дома ли ее доят или на пастбище; каким болезням она подвержена и т. п.; после этого они начнут справляться с прецедентами, будут откладывать дело с одного срока на другой и через десять, двадцать или тридцать лет придут наконец к какому-нибудь решению.   
 Следует также принять во внимание, что это судейское сословие имеет свой собственный язык, особый жаргон, недоступный пониманию обыкновенных смертных, на котором пишутся все их законы. Законы эти умножаются с таким усердием, что ими совершенно затемнена подлинная сущность истины и лжи, справедливости или несправедливости; поэтому потребовалось бы не меньше тридцати лет, чтобы разрешить вопрос, мне ли принадлежит поле, доставшееся мне от моих предков, владевших им в шести поколениях, или какому-либо чужеземцу, живущему за триста миль от меня.   
 Судопроизводство над лицами, обвиняемыми в государственных преступлениях, отличается несравненно большей быстротой, и метод его гораздо похвальнее: судья первым делом осведомляется о расположении власть имущих, после чего без труда приговаривает обвиняемого к повешению или оправдывает, строго соблюдая при этом букву закона.   
 Тут мой хозяин прервал меня, выразив сожаление, что существа, одаренные такими поразительными способностями, как эти судейские, если судить по моему описанию, не поощряются к наставлению других в мудрости и добродетели. В ответ на это я уверил его милость, что во всем, не имеющем отношения к их профессии, они являются обыкновенно самыми невежественными и глупыми из всех нас, неспособными вести самый простой разговор, заклятыми врагами всякого знания и всякой науки, так же склонными извращать здравый человеческий смысл во всех других областях, как они извращают его в своей профессии.

**ГЛАВА VI**

Продолжение описания Англии[146]. Характеристика первого или главного министра при европейских дворах   
  
 Мой хозяин все же был совершенно не способен понять, что заставляет это племя законников тревожиться, беспокоиться, утруждать себя и вступать в союз с несправедливостью только ради причинения вреда своим ближним; он не мог также постичь, что я разумею, говоря, что они делают это за наемную плату. В ответ на это мне пришлось с большими затруднениями описать ему употребление денег, материал, из которого они изготовляются, и цену благородных металлов; я сказал ему, что когда еху собирает большой запас этого драгоценного вещества, то он может приобрести все, что ему вздумается: красивые платья, великолепные дома, большие пространства земли, самые дорогие яства и напитки; ему открыт выбор самых красивых самок. И так как одни только деньги способны доставить все эти штуки, то нашим еху все кажется, что денег у них недостаточно на расходы или на сбережения, в зависимости от того, к чему они больше предрасположены: к мотовству или к скупости. Я сказал также, что богатые пожинают плоды работы бедных, которых приходится по тысяче на одного богача, и что громадное большинство нашего народа принуждено влачить жалкое существование, работая изо дня в день за скудную плату, чтобы меньшинство могло жить в изобилии. Я подробно остановился на этом вопросе и разных связанных с ним частностях, но его милость плохо схватывал мою мысль, ибо он исходил из положения, что все животные имеют право на свою долю земных плодов, особенно те, которые господствуют над остальными. Поэтому он выразил желание знать, каковы же эти дорогие яства и почему некоторые из нас нуждаются в них. Тогда я перечислил все самые изысканные кушанья, какие я только мог припомнить, и описал различные способы их приготовления, заметив, что за приправами к ним, за напитками и бесчисленными пряностями приходится посылать корабли за море во все страны света. Я сказал ему, что нужно, по крайней мере, трижды объехать весь земной шар, прежде чем удастся достать провизию для завтрака какой-нибудь знатной самки наших еху или чашку, в которой он должен быть подан. Бедна же, однако, страна, - сказал мой собеседник, - которая не может прокормить своего населения! Но особенно его поразило то, что описанные мной обширные территории совершенно лишены пресной воды и население их вынуждено посылать в заморские земли за питьем. Я ответил ему на это, что Англия (дорогая моя родина), по самому скромному подсчету, производит разного рода съестных припасов в три раза больше, чем способно потребить ее население, а что касается питья, то из зерна некоторых злаков и из плодов некоторых растений мы извлекаем или выжимаем сок и получаем, таким образом, превосходные напитки; в такой же пропорции у нас производится все вообще необходимое для жизни. Но для утоления сластолюбия и неумеренности самцов и суетности самок мы посылаем большую часть необходимых нам предметов в другие страны, откуда взамен вывозим материалы для питания наших болезней, пороков и прихотей. Отсюда неизбежно следует, что огромное количество моих соотечественников вынуждено добывать себе пропитание нищенством, грабежом, воровством, мошенничеством, сводничеством, клятвопреступлением, лестью, подкупами, подлогами, игрой, ложью, холопством, бахвальством, торговлей избирательными голосами, бумагомаранием, звездочетством, отравлением, развратом, ханжеством, клеветой, вольнодумством и тому подобными занятиями; читатель может себе представить, сколько труда мне понадобилось, чтобы растолковать гуигнгнму каждое из этих слов[147].   
 Я объяснил ему, что вино, привозимое к нам из чужих стран, служит не для восполнения недостатка в воде и в других напитках, но влага эта веселит нас, одурманивает, рассеивает грустные мысли, наполняет мозг фантастическими образами, убаюкивает несбыточными надеждами, прогоняет страх, приостанавливает на некоторое время деятельность разума, лишает нас способности управлять движениями нашего тела и в заключение погружает в глубокий сон; правда, нужно признать, что от такого сна мы просыпаемся всегда больными и удрученными и что употребление этой влаги рождает в нас всякие недуги, делает нашу жизнь несчастной и сокращает ее.   
 Кроме все этого, большинство населения добывает у нас средства к существованию снабжением богачей и вообще друг друга предметами первой необходимости и роскоши. Например, когда я нахожусь у себя дома и одеваюсь как мне полагается, я ношу на своем теле работу сотни ремесленников; постройка и обстановка моего дома требуют еще большего количества рабочих, а чтобы нарядить мою жену, нужно увеличить это число еще в пять раз.   
 Я собрался было рассказать ему еще об одном разряде людей, добывающих себе средства к жизни уходом за больными, ибо не раз уже упоминал его милости, что много матросов на моем корабле погибло от болезней; но тут мне пришлось затратить много времени на то, чтобы растолковать ему мои намерения. Для него было вполне понятно, что каждый гуигнгнм слабеет и отяжелевает за несколько дней до смерти или может случайно поранить себя. Но он не мог допустить, чтобы природа, все произведения которой совершенны, способна была взращивать в нашем теле болезни, и пожелал узнать причину этого непостижимого бедствия. Я рассказал ему, что мы употребляем в пищу тысячу различных веществ, которые часто оказывают на наш организм самые противоположные действия; что мы едим, когда мы не голодны, и пьем, не чувствуя никакой жажды; что целые ночи напролет мы поглощаем крепкие напитки и ничего при этом не едим, что располагает нас к лени, воспаляет наши внутренности, расстраивает желудок или препятствует пищеварению; что занимающиеся проституцией самки еху наживают особую болезнь, от которой гниют кости, и заражают этой болезнью каждого, кто попадает в их объятия; что эта болезнь, как и многие другие, передается от отца к сыну, так что многие из нас уже при рождении на свет носят в себе зачатки недугов; что понадобилось бы слишком много времени для перечисления всех болезней, которым подвержено человеческое тело, так как не менее пяти- или шестисот их поражают каждый его член и сустав; словом, всякая часть нашего тела, как внешняя, так и внутренняя, подвержена множеству свойственных ей болезней. Для борьбы с этим злом у нас существует особый род людей, обученных искусству лечить или морочить больных. И так как я обладал некоторыми сведениями в этом искусстве, то в знак благодарности к его милости изъявил готовность посвятить его в тайны и методы их действий.   
 Но, кроме действительных болезней, мы подвержены множеству мнимых, против которых врачи изобрели мнимое лечение; эти болезни имеют свои названия и соответствующие лекарства; ими всегда страдают самки наших еху.   
 Особенно отличается это племя в искусстве прогноза; тут они редко совершают промах; действительно, в случае настоящей болезни, более или менее злокачественной, медики обыкновенно предсказывают смерть, которая всегда в их власти, между тем как излечение от них не зависит; поэтому при неожиданных признаках улучшения, после того как ими уже был произнесен приговор, они, не желая прослыть лжепророками, умеют доказать свою мудрость своевременно данной дозой лекарства.   
 Равным образом они бывают весьма полезны мужьям и женам, если те надоели друг другу, старшим сыновьям, министрам и часто государям.   
 Мне уже раньше приходилось беседовать с моим хозяином о природе правительства вообще и в частности о нашей превосходной конституции, вызывающей заслуженное удивление и зависть всего света. Но когда я случайно при этом упомянул государственного министра, то мой хозяин спустя некоторое время попросил меня объяснить ему, какую именно разновидность еху обозначаю я этим словом.   
 Я ответил ему, что первый или главный государственный министр[148], особу которого я намереваюсь описать, является существом, совершенно не подверженным радости и горю, любви и ненависти, жалости и гневу; по крайней мере, он не проявляет никаких страстей, кроме неистовой жажды богатства, власти и титулов; что он пользуется словами для самых различных целей, но только не для выражения своих мыслей; что он никогда не говорит правды иначе как с намерением, чтобы ее приняли за ложь, и лжет только в тех случаях, когда хочет выдать свою ложь за правду; что люди, о которых он дурно отзывается за глаза, могут быть уверены, что они находятся на пути к почестям; если же он начинает хвалить вас перед другими или в глаза, с того самого дня вы человек пропащий. Наихудшим предзнаменованием для вас бывает обещание, особенно когда оно подтверждается клятвой; после этого каждый благоразумный человек удаляется и оставляет всякую надежду.   
 Есть три способа, при помощи которых можно достигнуть поста главного министра. Первый способ - уменье благоразумно распорядиться женой, дочерью или сестрой; второй - предательство своего предшественника или подкоп под него; и, наконец, третий - яростное обличение в общественных собраниях испорченности двора. Однако мудрый государь обыкновенно отдает предпочтение тем, кто применяет последний способ, ибо эти фанатики всегда с наибольшим раболепием будут потакать прихотям и страстям своего господина. Достигнув власти, министр, в распоряжении которого все должности, укрепляет свое положение путем подкупа большинства сенаторов или членов большого совета; в заключение, оградив себя от всякой ответственности особым актом, называемым амнистией (я изложил его милости сущность этого акта), он удаляется от общественной деятельности, отягченный награбленным у народа богатством.   
 Дворец первого министра служит питомником для выращивания других подобных ему людей: пажи, лакеи, швейцары, подражая своему господину, становятся такими же министрами в своей сфере и в совершенстве изучают три главных составных части его искусства: наглость, ложь и подкуп. Вследствие этого у каждого из них есть свой маленький двор, образуемый людьми высшего круга. Подчас благодаря ловкости и бесстыдству им удается, поднимаясь со ступеньки на ступеньку, стать преемниками своего господина. Первым министром управляет обыкновенно какая-нибудь старая распутница или лакей- фаворит, они являются каналами, по которым разливаются все милости министра, и по справедливости могут быть названы в последнем счете правителями государства.   
 Однажды, услышав мое упоминание о знати нашей страны, хозяин удостоил меня комплиментом, которого я совсем не заслужил. Он сказал, что я, наверное, родился в благородной семье, так как по сложению, цвету кожи и чистоплотности я значительно превосхожу всех еху его родины, хотя, по-видимому, и уступаю последним в силе и ловкости, что, по его мнению, обусловлено моим образом жизни, отличающимся от образа жизни этих животных; кроме того, я не только одарен способностью речи, но также некоторыми зачатками разума в такой степени, что все его знакомые почитают меня за чудо.   
 Он обратил мое внимание на то, что среди гуигнгнмов белые, гнедые и темно-серые хуже сложены, чем серые в яблоках, караковые и вороные; они не обладают такими природными дарованиями и в меньшей степени поддаются развитию; поэтому всю свою жизнь они остаются в положении слуг, даже и не мечтая о лучшей участи, ибо все их притязания были бы признаны здесь противоестественными и чудовищными.   
 Я выразил его милости мою нижайшую благодарность за доброе мнение, которое ему угодно было составить обо мне, но уверил его в то же время, что происхождение мое очень невысокое, так как мои родители были скромные честные люди, которые едва имели возможность дать мне сносное образование; я сказал ему, что наша знать совсем не похожа на то представление, какое он составил о ней; что молодые ее представители с самого детства воспитываются в праздности и роскоши и, как только им позволяет возраст, сжигают свои силы в обществе распутных женщин, от которых заражаются дурными болезнями; промотав, таким образом, почти все свое состояние, они женятся ради денег на женщинах низкого происхождения, не отличающихся ни красотой, ни здоровьем, которых они ненавидят и презирают; что плодом таких браков обыкновенно являются золотушные, рахитичные или уродливые дети, вследствие чего знатные фамилии редко сохраняются долее трех поколений, разве только жены предусмотрительно выбирают среди соседей и прислуги здоровых отцов в целях улучшения и продолжения рода; что слабое болезненное тело, худоба и землистый цвет лица служат верными признаками благородной крови, здоровое и крепкое сложение считается даже бесчестием для человека знатного, ибо при виде такого здоровяка все тотчас заключают, что его настоящим отцом был конюх или кучер. Недостатки физические находятся в полном соответствии с недостатками умственными и нравственными, так что люди эти представляют собой смесь хандры, тупоумия, невежества, самодурства, чувственности и спеси.   
 И вот без согласия этого блестящего класса не может быть издан, отменен или изменен ни один закон; эти же люди безапелляционно решают все наши имущественные отношения[149].

**ГЛАВА VII**

Великая любовь автора к своей родной стране. Замечания хозяина относительно описанных автором английской конституции и английского правления, с приведением параллелей и сравнений. Наблюдения хозяина над человеческой природой   
  
 Читатель будет, пожалуй, удивлен, каким образом я мог решиться изобразить наше племя в столь неприкрытом виде перед породой существ, и без того очень склонявшихся к самому неблагоприятному мнению о человеческом роде благодаря моему полному сходству с тамошними еху. Но я должен чистосердечно признаться, что сопоставление множества добродетелей этих прекрасных четвероногих с человеческой испорченностью до такой степени раскрыло мне глаза и расширило мой кругозор, что поступки и страсти человека предстали мне в совершенно новом свете, и я пришел к заключению, что не стоит щадить честь моего племени; впрочем, мне бы это и не удалось в присутствии лица со столь проницательным умом, как мой хозяин, ежедневно изобличавший меня в тысяче пороков, которых я вовсе не замечал до сих пор и которые у нас, людей, не считались бы даже легкими недостатками. Равным образом, следуя его примеру, я воспитал в себе глубокую ненависть ко всякой лжи и притворству, и истина стала мне столь любезной, что ради нее я решил пожертвовать всем.   
 Но я хочу быть вполне откровенным с читателем и сознаюсь, что у меня было еще более могущественное побуждение не церемониться, изображая положение вещей у нас. Не прожив в этой стране даже года, я проникся такой любовью и уважением к ее обитателям, что принял твердое решение никогда больше не возвращаться к людям и провести остаток дней своих среди этих удивительных гуигнгнмов, созерцая всяческую добродетель и упражняясь в ней; в стране, где передо мной вовсе не было дурных примеров и поощрений к пороку. Но судьба, мой вечный враг, постановила не отпускать на мою долю столь великого счастья. Однако я не без удовольствия думаю сейчас, что в рассказах о моих соотечественниках я смягчил их недостатки, насколько это было возможно в присутствии столь проницательного ума, и каждый пункт оборачивал так, чтобы представить его в наиболее выгодном освещении. Ибо есть разве живое существо, которое не питало бы слабости и не относилось бы пристрастно к месту своего рождения?   
 Я передал только самое существенное из моих многочисленных бесед с хозяином, продолжавшихся почти все время, пока я имел честь состоять у него на службе, и для краткости опустил гораздо больше, чем приведено мной здесь.   
 Когда я ответил на все вопросы хозяина и его любопытство было, по-видимому, вполне удовлетворено, он послал однажды рано утром за мной и, пригласив меня сесть на некотором от него расстоянии (честь, которой раньше я никогда не удостаивался), сказал, что он серьезно размышлял по поводу рассказанного мной как о себе, так и о моей родине, и пришел к заключению, что мы являемся особенной породой животных, наделенных благодаря какой-то непонятной для него случайности крохотной частицей разума, каковым мы пользуемся лишь для усугубления прирожденных нам пороков и для приобретения новых, от природы нам несвойственных. Заглушая в себе многие дарования, которыми наделила нас она, мы необыкновенно искусны по части умножения наших первоначальных потребностей и, по- видимому, проводим всю свою жизнь в суетных стараниях удовлетворить их при помощи изобретенных нами средств. Что касается меня самого, то я, очевидно, не обладаю ни силой, ни ловкостью среднего еху; нетвердо хожу на задних ногах; ухитрился сделать свои когти совершенно бесполезными и непригодными для защиты и удалить с подбородка волосы, предназначенные служить прикрытием от солнца и непогоды. Наконец, я не могу ни быстро бегать, ни взбираться на деревья, подобно моим братьям (как он все время называл их), местным еху.   
 Существование у нас правительства и законов, очевидно, обусловлено большим несовершенством нашего разума, а следовательно, и добродетели; ибо для управления разумным существом достаточно одного разума[150]; таким образом, мы, по-видимому, вовсе не притязаем на обладание им, даже если судить по моему рассказу, хотя он ясно заметил, что я стараюсь утаить многие подробности для более благоприятного представления о моих соотечественниках и часто говорю то, чего нет.   
 Еще более укрепился он в этом мнении, когда заметил, что - подобно полному сходству моего тела с телом еху, кроме немногих отличий не в мою пользу: меньшей силы, ловкости и быстроты, коротких когтей и еще некоторых особенностей искусственного происхождения - образ нашей жизни, наши нравы и наши поступки, согласно нарисованной мной картине, обнаруживают такое же сходство между нами и еху и в умственном отношении. Еху, сказал он, ненавидят друг друга больше, чем животных других видов; причину этого явления обыкновенно усматривают в их внешнем безобразии, которое они видят у других представителей своей породы, но не замечают у себя самих. Поэтому он склонен считать не таким уж неразумным наш обычай покрывать тело и при помощи этого изобретения прятать друг от друга телесные недостатки, которые иначе были бы невыносимы. Но теперь он находит, что им была допущена ошибка и что причины раздоров среди этих скотов здесь, у него на родине, те же самые, что и описанные мной причины раздоров среди моих соплеменников. В самом деле (сказал он), если вы даете пятерым еху корму, которого хватило бы для пятидесяти, то они, вместо того чтобы спокойно приступить к еде, затевают драку, и каждый старается захватить все для себя. Поэтому, когда еху кормят вне дома, то к ним обыкновенно приставляют слугу; дома же их держат на привязи на некотором расстоянии друг от друга. Если падает корова от старости или от болезни и гуигнгнм не успеет вовремя взять ее труп для своих еху, то к ней стадами сбегаются окрестные еху и набрасываются на добычу; тут между ними завязываются целые сражения, вроде описанных мной; они наносят когтями страшные раны друг другу, но убивать противника им удается редко, потому что у них нет изобретенных нами смертоносных орудий. Иногда подобные сражения между еху соседних местностей начинаются без всякой видимой причины; еху одной местности всячески стараются напасть на соседей врасплох, прежде чем те успели приготовиться. Но если они терпят почему-либо неудачу, то возвращаются домой и, за отсутствием неприятеля, завязывают между собой то, что я назвал гражданской войной.   
 В некоторых местах этой страны попадаются разноцветные блестящие камни, к которым еху питают настоящую страсть; и если камни эти крепко сидят в земле, как это иногда случается, они роют когтями с утра до ночи, чтобы вырвать их, после чего уносят свою добычу и кучами зарывают ее у себя в логовищах; они действуют при этом с крайней осторожностью, беспрестанно оглядываясь по сторонам из боязни, как бы товарищи не открыли их сокровищ. Мой хозяин никак не мог понять причину столь неестественного влечения и узнать, для чего нужны еху эти камни; но теперь ему кажется, что влечение это проистекает от той самой скупости, которую я приписываю человеческому роду. Однажды, ради опыта, он потихоньку убрал кучу этих камней с места, куда один из его еху зарыл их; скаредное животное, заметив исчезновение своего сокровища, подняло такой громкий и жалобный вой, что сбежалось целое стадо еху и стало подвывать ему; ограбленный с яростью набросился на товарищей, стал кусать и царапать их, потом затосковал, не хотел ни есть, ни спать, ни работать, пока хозяин не приказал слуге потихоньку положить камни на прежнее место; обнаружив свои драгоценности, еху сразу же оживился и повеселел, но заботливо спрятал сокровище в более укромное место и с тех пор всегда был скотиной покорной и работящей.   
 Хозяин утверждал также, - да я и сам это наблюдал, - что наиболее ожесточенные сражения между еху происходят чаще всего на полях, изобилующих блестящими камнями, потому что поля эти подвергаются постоянным нашествиям окрестных еху.   
 Когда два еху, продолжал хозяин, находят в поле такой камень и вступают в борьбу за обладание им, то сплошь и рядом он достается третьему, который, пользуясь случаем, схватывает и уносит его. Мой хозяин усматривал тут некоторое сходство с нашими тяжбами; щадя наше доброе имя, я не стал разубеждать его, ибо упомянутое им разрешение спора было гораздо справедливее многих наших судебных постановлений. В самом деле, здесь тяжущиеся не теряют ничего, кроме оспариваемого ими друг у друга камня, между тем как наши совестные суды никогда не прекращают дела, пока вконец не разорят обеих сторон.   
 Продолжая свою речь, мой хозяин сказал, что ничто так не отвратительно в еху, как их прожорливость, благодаря которой они набрасываются без разбора на все, что попадается им под ноги: травы, коренья, ягоды, протухшее мясо или все это вместе; и замечательной их особенностью является то, что пищу, похищенную ими или добытую грабежом где-нибудь вдали, они предпочитают гораздо лучшей пище, приготовленной для них дома. Если добыча их велика, они едят ее до тех пор, пока вмещает брюхо, после чего инстинкт указывает им особый корень, вызывающий радикальное очищение желудка.   
 Здесь попадается еще один очень сочный корень, правда, очень редко, и найти его нелегко; еху старательно разыскивают этот корень и с большим наслаждением его сосут; он производит на них то же действие, какое на нас производит вино. Под его влиянием они то целуются, то дерутся, ревут, гримасничают, что-то лопочут, выписывают мыслете, спотыкаются, падают в грязь и засыпают.   
 Я обратил внимание, что в этой стране еху являются единственными животными, которые подвержены болезням; однако этих болезней у них гораздо меньше, чем у наших лошадей. Все они обусловлены не дурным обращением с ними, а нечистоплотностью и обжорством этих гнусных скотов. Язык гуигнгнмов знает только одно общее название для всех этих болезней, образованное от имени самого животного: гниеху, то есть болезнь еху; средством от этой болезни является микстура из кала и мочи этих животных, насильно вливаемая больному еху в глотку. По моим наблюдениям, лекарство это приносит большую пользу, и в интересах общественного блага я смело рекомендую его моим соотечественникам как превосходное средство против всех недомоганий, вызванных пресыщением.   
 Что касается науки, системы управления, искусства, промышленности и тому подобных вещей, то мой хозяин признался, что в этом отношении он не находит почти никакого сходства между еху его страны и нашей. А его интересовали только те черты, в которых обнаруживается сходство нашей природы. Правда, он слышал от некоторых любознательных гуигнгнмов, что в большинстве стад еху бывают своего рода правители (подобно тому как в наших парках стада оленей имеют обыкновенно своих вожаков), которые всегда являются самыми безобразными и злобными во всем стаде. У каждого такого вожака бывает обыкновенно фаворит, имеющий чрезвычайное с ним сходство, обязанность которого заключается в том, что он лижет ноги и задницу своего господина и поставляет самок в его логовище; в благодарность за это его время от времени награждают куском ослиного мяса. Этого фаворита ненавидит все стадо, и потому для безопасности он всегда держится возле своего господина. Обыкновенно он остается у власти до тех пор, пока не найдется еще худшего; и едва только он получает отставку, как все еху этой области, молодые и старые, самцы и самки, во главе с его преемником, плотно обступают его и обдают с головы до ног своими испражнениями. Насколько все это приложимо к нашим дворам, фаворитам и министрам, хозяин предложил определить мне самому.   
 Я не осмелился возразить что-нибудь на эту злобную инсинуацию, ставившую человеческий разум ниже чутья любой охотничьей собаки, которая обладает достаточной сообразительностью, чтобы различить лай наиболее опытного кобеля в своре и следовать за ним, никогда при этом не ошибаясь.   
 Хозяин мой заметил мне, что у еху есть еще несколько замечательных особенностей, о которых я или не упомянул вовсе в своих рассказах о человеческой породе, или коснулся их только вскользь.   
 У этих животных, продолжал он, как и у прочих зверей, самки общие; но особенностью их является то, что самка еху подпускает к себе самца даже во время беременности и что самцы ссорятся и дерутся с самками так же свирепо, как и друг с другом. Оба эти обыкновения свидетельствуют о таком гнусном озверении, до какого никогда не доходило ни одно одушевленное существо.   
 Другой особенностью еху, не менее поражавшей моего хозяина, было непонятное их пристрастие к нечистоплотности и грязи, в то время как у всех других животных так естественна любовь к чистоте. Что касается двух первых обвинений, то я должен был оставить их без ответа, так как, несмотря на все мое расположение к себе подобным, я не мог найти ни слова в их оправдание. Зато мне было бы нетрудно снять с моих соплеменников обвинение, будто они одни отличаются нечистоплотностью, если бы в стране гуигнгнмов существовали свиньи, но, к моему несчастью, их там не было. Хотя эти четвероногие более благообразны, чем еху, они, однако, по справедливости не могут, как я скромно полагаю, похвастаться большей чистоплотностью; его милость, наверное, согласился бы со мной, если бы увидел, как противно они едят и как любят валяться и спать в грязи.   
 Мой хозяин упомянул еще об одной особенности, которая была обнаружена его слугами у некоторых еху и осталась для него совершенно необъяснимой. По его словам, иногда еху приходит фантазия забиться в угол, лечь на землю, выть, стонать и гнать от себя каждого, кто подойдет, несмотря на то что такие еху молоды, упитаны и не нуждаются ни в пище, ни в питье; слуги никак не могут взять в толк, что с ними такое. Единственным лекарством против этого недуга является тяжелая работа, которая неизменно приводит пораженного им еху в нормальное состояние. На этот рассказ я ответил молчанием из любви к моим соотечественникам, хотя для меня очевидно, что описанное состояние есть зачаток хандры - болезни, которою страдают обыкновенно только лентяи, сластолюбцы и богачи и от которой я взялся бы их вылечить, подвергнув режиму, применяемому в таких случаях гуигнгнмами.   
 Далее его милость сказал, что ему часто случалось наблюдать, как самка еху, желая поглазеть на проходящих молодых самцов, прячется за бугорок или за куст, откуда по временам выглядывает со смешными жестами и гримасами; было подмечено, что в такие минуты от нее распространяется весьма неприятный запах. Если некоторые из самцов подходят ближе, она медленно удаляется, поминутно оглядываясь, затем в притворном страхе убегает в удобное место, прекрасно зная, что самец последует туда за ней.   
 Если в стадо забегает чужая самка, то три или четыре представительницы ее пола окружают ее, таращат на нее глаза, что-то лепечут, скалят зубы, все ее обнюхивают и отворачиваются с жестами презрения и отвращения.   
 Быть может, мой хозяин немного пересолил в этих выводах из собственных наблюдений или из рассказов, слышанных от других; однако я не мог не прийти к несколько курьезному и очень прискорбному заключению, что зачатки разврата, кокетства, придирчивости и злословия прирождены всему женскому полу.   
 Я все ожидал услышать от моего хозяина обвинение еху в противоестественных наклонностях, которые так распространены у нас среди обоих полов. Однако природа, по-видимому, малоопытный наставник в этих утонченных наслаждениях, и они целиком порождены искусством и разумом на нашей части земного шара.

**ГЛАВА VIII**

Автор описывает некоторые особенности еху. Великие добродетели гуигнгнмов. Воспитание и упражнения их молодого поколения. Их генеральное собрание   
  
 Так как я понимал природу человеческую лучше, чем, по моим предположениям, мог понимать ее мой хозяин, то мне было нетрудно приложить изображенный им характер еху к себе самому и к моим соотечественникам, и я полагал, что при помощи самостоятельных наблюдений мне удастся сделать дальнейшие открытия. Поэтому я часто просил его милость позволения посещать окрестные стада еху, на что он всегда любезно соглашался, будучи вполне уверен, что отвращение, питаемое мной к этим скотам, предохранит меня от всякого дурного влияния с их стороны; но его милость приказал одному из своих слуг, сильному гнедому лошаку, очень славному и добродушному созданию, сопровождать меня. Без его охраны я не отважился бы предпринимать такие экскурсии: я уже рассказал читателю, какой прием оказали мне эти противные животные по прибытии моем в страну. Впоследствии я три или четыре раза чуть было не попал в их лапы, когда удалялся на некоторое расстояние от дома, не захватив с собой тесака. У меня есть основание думать, что животные эти подозревали во мне одного из себе подобных, чему я сам часто содействовал, засучивая рукава и показывая им мои обнаженные руки и грудь, когда мой охранитель находился подле меня. В таких случаях они старались подойти как можно ближе и подражали моим движениям на манер обезьян, но всегда с выражением величайшей ненависти; так дикие галки преследуют прирученную, одетую в колпачок и чулочки, если она случайно залетает в их стаю.   
 Еху с детства отличаются удивительным проворством. Однако раз мне удалось поймать трехлетнего самца; я всячески старался успокоить его ласками, но чертенок начал так отчаянно орать, царапаться и кусаться, что я вынужден был отпустить его, и хорошо сделал, потому что на шум сбежалось все стадо; но видя, что детеныш невредим (он в это время удрал), а мой гнедой подле меня, еху не посмели подойти к нам. Я заметил, что тело молодого еху издает резкий кислый запах, нечто среднее между запахом хорька и лисицы, но гораздо более неприятный. Я забыл упомянуть еще об одной подробности (хотя, вероятно, читатель извинил бы меня, если бы я опустил ее совсем): когда я держал этого паршивца в руках, он загадил мне все платье своими жидкими желтыми испражнениями; к счастью, мы находились подле небольшого ручья, в котором я тщательно вымылся; однако же я не решился показаться на глаза своему хозяину до тех пор, пока платье совершенно не проветрилось.   
 По моим наблюдениям, еху являются самыми невосприимчивыми к обучению животными и не способны ни к чему больше, как только к тасканию тяжестей. Однако я думаю, что этот недостаток объясняется главным образом упрямым и недоверчивым характером этих животных. Ибо они хитры, злобны, вероломны и мстительны; они сильны и дерзки, но вместе с тем трусливы, что делает их наглыми, низкими и жестокими. Замечено, что рыжеволосые обоих полов более похотливы и злобны, чем остальные, которых они значительно превосходят силой и ловкостью.   
 Гуигнгнмы держат еху, которыми они пользуются в качестве рабочего скота, в хлевах недалеко от дома; остальных же выгоняют на поля, где те роют коренья, едят различные травы, разыскивают падаль, а иногда ловят хорьков и люхимухс (вид полевой крысы), которых с жадностью пожирают. Природа научила этих животных рыть когтями глубокие норы на склонах холмов, в которых они живут поодиночке; только логовища самок побольше, так что в них могут поместиться еще два или три детеныша.   
 Они с детства плавают, как лягушки, и могут долго держаться под водой, где часто ловят рыбу, которую самки носят своим детенышам. Надеюсь, читатель извинит меня, если я расскажу ему в связи с этим одно странное приключение.   
 В одну из моих прогулок день выдался такой жаркий, что я попросил у своего гнедого провожатого позволения выкупаться в речке. Получив согласие, я тотчас разделся догола и спокойно вошел в воду. Случилось, что за мной все время наблюдала стоявшая за пригорком молодая самка еху. Воспламененная похотью (так объяснили мы, гнедой и я, ее действия), она стремительно подбежала и прыгнула в воду на расстоянии пяти ярдов от того места, где я купался. Никогда в жизни я не был так перепуган. Гнедой щипал траву поодаль, не подозревая никакой беды. Самка обняла меня самым непристойным образом; я закричал во всю глотку, и гнедой галопом примчался ко мне на выручку; тогда она с величайшей неохотой выпустила меня из своих объятий и выскочила на противоположный берег, где стояла и выла, не спуская с меня глаз все время, пока я одевался.   
 Это приключение очень позабавило моего хозяина и его семью, но для меня оно было глубоко оскорбительно. Ибо теперь я не мог более отрицать, что был настоящим еху, с головы до ног, раз их самки чувствовали естественное влечение ко мне как к представителю той же породы. Вдобавок эта самка не была рыжая (что могло бы служить некоторым оправданием ее несколько беспорядочных инстинктов), но смуглая, как ягода терновника, и не отличалась таким безобразием, как большинство самок еху, на вид ей было не более одиннадцати лет.   
 Так как я прожил в этой стране целых три года, то читатель, наверное, ожидает, что, по примеру других путешественников, я дам ему подробное описание нравов и обычаев туземцев, которые действительно были главным предметом моего изучения.   
 Так как благородные гуигнгнмы от природы одарены общим предрасположением ко всем добродетелям и не имеют ни малейшего понятия о том, что такое зло в разумном существе, то основным правилом их жизни является совершенствование разума и полное подчинение его руководству. Для них разум не является, как для нас, инстанцией проблематической, снабжающей одинаково правдоподобными доводами за и против; наоборот, он действует на мысль с непосредственной убедительностью, как это и должно быть, когда он не осложнен, не затемнен и не обесцвечен страстью и интересом. Я помню, какого труда стоило мне растолковать моему хозяину значение слова мнение или каким образом утверждение может быть спорным; ведь разум учит нас утверждать или отрицать только то, в чем мы уверены, а чего не знаем, того не вправе ни утверждать, ни отрицать. Таким образом, споры, пререкания, прения и упорное отстаивание ложных или сомнительных положений суть пороки, неизвестные гуигнгнмам. Равным образом, когда я попытался разъяснить ему наши различные системы естественной философии, он засмеялся и выразил недоумение, каким образом существо, притязающее на разумность, может вменять себе в заслугу знание домыслов других существ, притом относительно вещей, где это знание, даже если бы оно было достоверно, не могло бы иметь никакого практического значения. В этом отношении мысли его вполне согласовались с изречениями Сократа, как они переданы Платоном, и мне кажется, что, упоминая об этом, я оказываю величайшую честь царю философов. С тех пор я часто думал, какие опустошения произвела бы эта доктрина в библиотеках Европы и сколько путей к славе было бы закрыто для ученого мира.   
 Дружба и доброжелательство являются двумя главными добродетелями гуигнгнмов, и они не ограничиваются отдельными особями, но простираются на всю расу. Таким образом, чужестранец из самых далеких мест встречает здесь такой же прием, как и самый близкий сосед, и, куда бы он ни пришел, везде чувствует себя как дома. Гуигнгнмы строго соблюдают приличия и учтивость, но они совершенно незнакомы с тем, что мы называем этикетом. Они не балуют своих жеребят, но заботы, проявляемые родителями по отношению к воспитанию детей, диктуются исключительно разумом[151]. И я заметил, что мой хозяин так же ласково относится к детям соседа, как и к своим собственным. Гуигнгнмы думают, что природа учит их одинаково любить всех подобных им и один только разум устанавливает различие между индивидуумами соответственно высоте их добродетели.   
 Мать семейства гуигнгнмов, произведя на свет по одному ребенку обоего пола, прекращает супружеские отношения, - кроме тех случаев, когда почему-либо теряет одного из своих питомцев, что бывает очень редко; но в подобных случаях супруги возобновляют отношения, или, если супруга больше не способна к деторождению, другая пара дает осиротелым родителям одного из своих жеребят, а сама снова сходится, пока мать не забеременеет. Такая предосторожность является необходимою, чтобы предохранить страну от перенаселения. Но гуигнгнмы низшей породы не так строго ограничены в этом отношении; им разрешается производить по три детеныша обоего пола, которые становятся потом слугами в благородных семьях.   
 При заключении браков гуигнгнмы тщательно заботятся о таком подборе мастей супругов, чтобы были предотвращены неприятные сочетания красок у потомства. У самца ценится по преимуществу сила, а у самки миловидность - ценится не в интересах любви, а ради предохранения расы от вырождения; поэтому, если случится, что самка отличается силой, то при выборе ей супруга обращают внимание прежде всего на красоту. Волокитство, любовь, подарки, приданое, вдовьи доли совершенно неизвестны гуигнгнмам, и на языке вовсе не существует слов для выражения этих понятий. Молодая пара встречается и сочетается браком просто для исполнения воли родителей и друзей; подобные браки совершаются на ее глазах ежедневно, и молодые смотрят на них как на необходимое действие всякого разумного существа. Такие вещи, как развод или прелюбодеяние, там неслыханны, и супружеская чета проходит свой жизненный путь с теми же дружескими чувствами и взаимным доброжелательством, какие она питает ко всем представителям своего племени, встречающимся на ее пути; им неизвестны ревность, припадки нежности, ссоры и досада друг на друга.   
 Их система воспитания юношества обоего пола поистине удивительна и вполне заслуживает нашего подражания. Молодым гуигнгнмам не дают ни зернышка овса, кроме некоторых дней, пока они не достигнут восемнадцати лет; им позволяют пить молоко только в самых редких случаях. Летом они пасутся два часа утром и два часа вечером, подобно своим родителям; но слугам разрешается пастись только половину этого времени, и большая часть корма приносится им домой, где они и поедают его в свободные от работы часы.   
 Умеренность, трудолюбие, физические упражнения и опрятность суть вещи, равно обязательные для молодежи обоего пола; и мой хозяин находил уродливым наш обычай давать самкам воспитание, отличное от воспитания самцов, исключая только ведение домашнего хозяйства; вследствие этого, по его справедливому замечанию, половина нашего населения годна только на то, чтобы рожать детей; доверять же заботу о наших детях таким никчемным животным, значит, прибавил он, давать лишнее свидетельство нашей дикости[152].   
 Гуигнгнмы развивают в молодежи силу, прыткость и смелость, упражняя жеребят в бегании по крутым подъемам и твердой каменистой почве; затем, когда они бывают в мыле, их заставляют окунуться с головой в пруду или в реке. Четыре раза в год молодежь определенного округа собирается, чтобы показать свои успехи в беганье, прыганье и других упражнениях, требующих силы и ловкости. Победитель или победительница награждаются сочиненным в честь их гимном. В день такого празднества слуги пригоняют на арену стадо еху, нагруженных сеном, овсом и молоком для угощения гуигнгнмов, после чего эти животные немедленно прогоняются, чтобы вид их не вызывал отвращения у собрания.   
 Через каждые четыре года в весеннее равноденствие здесь происходит совет представителей всей нации, собирающийся на равнине в двадцати милях от дома моего хозяина и продолжающийся пять или шесть дней. На этом совете обсуждается положение различных округов: достаточно ли они снабжены сеном, овсом, коровами и еху. И если в этом отношении оказывается недостаток (что случается очень редко), он тотчас пополняется общими взносами, которые всегда принимаются единодушно. На этом же совете производится распределение детей. Например, если у какого-нибудь гуигнгнма два самца, то он меняется с другим, у которого две самки; и если какая-нибудь семья лишилась ребенка, а мать его не может больше рожать детей, то собрание решает, какая другая семья в округе должна произвести на свет нового ребенка, чтобы восполнить потерю.

**ГЛАВА IX**

Большие прения в генеральном собрании гуигнгнмов и как они окончились. Знания гуигнгнмов. Их постройки. Обряды погребения. Недостатки их языка   
  
 Одно из таких больших собраний происходило во время моего пребывания в стране, месяца за три до моего отъезда; мой хозяин участвовал в нем в качестве представителя от нашего округа. На этом собрании обсуждался давнишний больной вопрос, можно сказать, единственный вопрос, вызывавший разногласия у гуигнгнмов. По возвращении домой мой хозяин подробно рассказал мне обо всем, что там происходило.   
 Вопрос, поставленный на обсуждение, был: не следует ли стереть еху с лица земли? Один из членов собрания, высказывавшийся за положительное решение вопроса, привел ряд сильных и веских доводов в защиту своего мнения. Он утверждал, что еху являются не только самыми грязными, гнусными и безобразными животными, каких когда- либо производила природа, но отличаются также крайним упрямством, непослушанием, злобой и мстительностью; что, не будь за ними постоянного надзора, они тайком сосали бы молоко у коров, принадлежащих гуигнгнмам, убивали бы и пожирали их кошек, вытаптывали бы овес и траву и совершали тысячу других безобразий. Он напомнил собранию общераспространенное предание, гласившее, что еху не всегда существовали в стране, но много лет тому назад на одной горе завелась пара этих животных, и были ли они порождены действием солнечного тепла на разлагающуюся тину или грязь или образовались из ила и морской пены - осталось навсегда неизвестно; что эта пара начала размножаться, и ее потомство скоро стало так многочисленно, что наводнило и загадило всю страну; что для избавления от этого бедствия гуигнгнмы устроили генеральную облаву, в результате которой им удалось оцепить все стадо этих тварей; истребив взрослых, гуигнгнмы забрали каждый по два детеныша, поместили их в хлевах и приручили, насколько вообще может быть приручено столь дикое животное; им удалось научить их таскать и возить тяжести. В означенном предании есть, по-видимому, много правды, так как нельзя себе представить, чтобы эти создания могли быть "илнгниамши" (или аборигенами страны), - так велика ненависть к ним не только гуигнгнмов, но и всех вообще животных, населяющих страну; и хотя эта ненависть вполне заслужена их злобными наклонностями, все же она никогда бы не достигла таких размеров, если бы еху были исконными обитателями, иначе они давно бы уже были истреблены. Оратор заявил, что гуигнгнмы поступили крайне неблагоразумно, задумав приручить еху и оставив в пренебрежении ослов, красивых, нетребовательных животных, более смирных и добронравных, не издающих дурного запаха и вместе с тем достаточно сильных, хотя и уступающих еху в ловкости; правда, крик их не очень приятен, но все же он гораздо выносимее ужасного воя еху.   
 После того как еще несколько членов собрания высказали свои мнения по этому поводу, мой хозяин внес предложение, основная мысль которого была внушена ему мной. Он считал достоверным предание, приведенное выступавшим здесь почтенным членом собрания, но утверждал, что двое еху, впервые появившиеся в их стране, прибыли к ним из-за моря; что они были покинуты товарищами и, высадившись на берег, укрылись в горах; затем, из поколения в поколение, потомки их вырождались и с течением времени сильно одичали по сравнению со своими одноплеменниками, живущими в стране, откуда прибыли двое их прародителей. В подкрепление своего мнения он сослался на то, что с некоторого времени у него живет один удивительный еху (он подразумевал меня), о котором большинство собрания слышало и которого многие даже видели. Тут хозяин рассказал, как он нашел меня; он сообщил, что все мое тело покрыто искусственным изделием, состоящим из кожи и шерсти других животных; что я владею даром речи и в совершенстве изучил язык гуигнгнмов; что я изложил ему события, которые привели меня сюда; что он видел меня без покровов и нашел, что я вылитый еху, только кожа моя побелее, волос меньше да когти покороче. Он передал далее собранию, как я пытался убедить его, будто на моей родине и в других странах еху являются господствующими разумными животными и держат гуигнгнмов в рабстве; как он наблюдал у меня все качества еху, хотя я и являюсь существом немного более цивилизованным благодаря слабым проблескам разума; впрочем, в этом отношении я стою настолько же ниже гуигнгнмов, насколько возвышаюсь над здешними еху. Он упомянул о рассказанном ему мной нашем обычае холощения молодых гуигнгнмов с целью сделать их более смирными и заявил, что операция эта легкая и безопасная и что нет ничего постыдного учиться мудрости у животных, например, трудолюбию у муравья, а строительному искусству у ласточки (так я передаю слово "лиханнх", хотя это гораздо более крупная птица); что операцию эту можно применить здесь к молодым еху и она не только сделает их более послушными и пригодными для работ, но и положит конец в течение одного поколения целому племени, так что не придется прибегать к лишению их жизни; а тем временем хорошо бы гуигнгнмам заняться воспитанием ослов, которые не только являются животными во всех отношениях более ценными, но обладают еще тем преимуществом, что могут работать с пяти лет, тогда как еху ни к чему не пригодны раньше двенадцати.   
 Вот все, что в тот раз счел уместным сообщить мне хозяин относительно прений в Большом совете. Но ему угодно было утаить одну частность, касавшуюся лично меня, пагубные последствия которой я вскоре почувствовал, как об этом узнает читатель в свое время. Тот день я считаю началом всех последующих несчастий моей жизни.   
 У гуигнгнмов нет письменности, и поэтому все их знания сохраняются путем предания. Но так как в жизни народа, столь согласного, от природы расположенного ко всяческой добродетели, управляемого исключительно разумом и отрезанного от всякого общения с другими нациями, происходит мало сколько-нибудь важных событий, то его история легко удерживается в памяти, не обременяя ее. Я уже заметил, что гуигнгнмы не подвержены никаким болезням и поэтому не нуждаются во врачах; однако у них есть отличные лекарства, составленные из трав, которыми они лечат случайные ушибы и порезы бабки и стрелки об острые камни, равно как повреждения и поранения других частей тела.   
 Они считают годы и месяцы по обращениям солнца и луны, но у них нет подразделения времени на недели. Они достаточно хорошо знакомы с движением этих двух светил и понимают природу затмений; это - предельное достижение их астрономии.   
 Зато нужно признать, что в поэзии они превосходят всех остальных смертных: меткость их сравнений, подробность и точность их описаний действительно неподражаемы. Стихи их изобилуют обоими качествами, и темой их является либо возвышенное изображение дружбы и доброжелательства, либо восхваление победителей на бегах или в других телесных упражнениях. Постройки их, несмотря на свою большую грубость и незатейливость, не лишены удобства и отлично приспособлены для защиты от зноя и стужи. У них растет одно дерево, которое, достигнув сорока лет, делается шатким у корня и рушится с первой бурей; заострив совершенно прямой ствол этого дерева отточенным камнем (употребление железа им неизвестно), гуигнгнмы втыкают полученные таким образом колья в землю на расстоянии десяти дюймов друг от друга и переплетают их овсяной соломой или прутьями. Крыша и двери делаются таким же способом.   
 Гуигнгнмы пользуются углублением между бабкой и копытом передних ног так же, как мы пользуемся руками, и проявляют при этом ловкость, которая сначала казалась мне совершенно невероятной. Я видел, как белая кобыла из нашего дома вдела таким образом нитку в иголку (которую я дал ей, чтобы произвести опыт). Они доят коров, жнут овес и исполняют всю работу, которую мы делаем руками. При помощи особенного твердого кремня они обтачивают другие камни и выделывают клинья, топоры и молотки. Орудиями, изготовленными из этих кремней, они косят также сено и жнут овес, который растет здесь на полях, как трава. Еху привозят снопы с поля в телегах, а слуги топчут их ногами в особых крытых помещениях, вымолачивая зерно, которое хранится в амбарах. Они выделывают грубую глиняную и деревянную посуду и обжигают первую на солнце.   
 Если не происходит несчастного случая, гуигнгнмы умирают только от старости, и их хоронят в самых глухих и укромных местах, какие только можно найти. Друзья и родственники покойного не выражают ни радости, ни горя, а сам умирающий не обнаруживает ни малейшего сожаления, покидая этот мир, словно он возвращается домой из гостей от какого-нибудь соседа. Помню, как однажды мой хозяин пригласил к себе своего друга с семьей по одному важному делу; в назначенный день явилась только жена друга с двумя детьми, притом поздно вечером; она извинилась прежде всего за мужа, который, по ее словам, сегодня утром "схнувнх". Слово это очень выразительно на тамошнем языке, но нелегко поддается переводу; буквально оно означает возвратиться к своей праматери. Потом она извинилась за себя, сказав, что муж ее умер утром и она долго совещалась со слугами относительно того, где бы удобнее положить его тело; и я заметил, что она была такая же веселая, как и все остальные. Через три месяца она умерла.   
 Гуигнгнмы живут обыкновенно до семидесяти или семидесяти пяти лет, очень редко до восьмидесяти. За несколько недель до смерти они чувствуют постепенный упадок сил, но он не сопровождается у них страданиями. В течение этого времени их часто навещают друзья, потому что они не могут больше выходить из дому с обычной своей легкостью и непринужденностью. Однако за десять дней до смерти - срок, в исчислении которого они редко ошибаются, - гуигнгнмы возвращают визиты, сделанные им ближайшими соседями; они садятся при этом в удобные сани, запряженные еху. Кроме этого случая, они пользуются такими санями только в глубокой старости, при далеких путешествиях или когда им случается повредить ноги. И вот, отдавая последние визиты, умирающие гуигнгнмы торжественно прощаются со своими друзьями, словно отправляясь в далекую страну, где они решили провести остаток своей жизни.   
 Не знаю, стоит ли отметить, что в языке гуигнгнмов нет слов, выражающих что-либо относящееся ко злу, исключая тех, что обозначают уродливые черты или дурные качества еху. Таким образом, рассеянность слуги, проступок ребенка, камень, порезавший ногу, ненастную погоду и тому подобные вещи они обозначают прибавлением к слову эпитета еху. А именно: "гхнм еху", "гвнагольм еху", "инлхмндвиглма еху", а плохо построенный дом называют "инголмгнмроглнв еху".   
 Я с большим удовольствием дал бы более обстоятельное описание нравов и добродетелей этого превосходного народа; но, намереваясь опубликовать в близком будущем отдельную книгу, посвященную исключительно этому предмету, я отсылаю читателя к ней. Теперь же перехожу к изложению постигшей меня печальной катастрофы.

**ГЛАВА X**

Домашнее хозяйство автора и его счастливая жизнь среди гуигнгнмов. Он совершенствуется в добродетели благодаря общению с ними. Их беседы. Хозяин объявляет автору, что он должен покинуть страну. От горя он лишается чувств, но подчиняется. С помощью товарища-слуги ему удается смастерить лодку; он пускается в море наудачу   
  
 Я устроил мое маленькое хозяйство по своему вкусу. Хозяин велел отделать для меня помещение по тамошнему образцу в шести ярдах от дома. Стены и пол моей комнаты я обмазал глиной и покрыл камышовыми матами собственного изготовления. Я набрал конопли, которая растет там в диком состоянии, натрепал ее и смастерил что-то вроде чехла для матраса. Я наполнил его перьями птиц, пойманных мною в силки из волос еху и очень приятных на вкус. Я соорудил себе два стула при деятельной помощи гнедого лошака, взявшего на себя всю более тяжелую часть работы. Когда платье мое износилось и превратилось в лохмотья, я сшил себе новое из шкурок кроликов и других красивых зверьков приблизительно такой же величины, называемых "ннухнох" и покрытых очень нежным пухом. Из таких же шкурок я сделал себе очень сносные чулки. Я снабдил свои башмаки деревянными подошвами, подвязав их к верхам, а когда износились верхи, я заменил их подсушенной на солнце кожей еху. В дуплах деревьев я часто находил мед, который разводил водой или ел его со своим овсяным хлебом. Никто лучше меня не познал истинности двух афоризмов: "природа довольствуется немногим", и "нужда - мать изобретательности". Я наслаждался прекрасным телесным здоровьем и полным душевным спокойствием; мне нечего было бояться предательства или непостоянства друга и обид тайного или явного врага. Мне не приходилось прибегать к подкупу, лести и сводничеству, чтобы снискать милости великих мира и их фаворитов. Мне не нужно было ограждать себя от обмана и насилия; здесь не было ни врачей, чтобы разрушить мое тело, ни юристов, чтобы разорить меня, ни доносчиков, чтобы подслушивать мои слова, или подглядывать мои действия, или возводить на меня ложные обвинения за плату; здесь не было зубоскалов, пересудчиков, клеветников, карманных воров, разбойников, взломщиков, стряпчих, сводников, шутов, игроков, политиканов, остряков, ипохондриков, скучных болтунов, спорщиков, насильников, убийц, мошенников, виртуозов; не было лидеров и членов политических партий и кружков; не было пособников порока соблазнами и примером; не было тюрем, топоров, виселиц, наказания кнутом и позорным столбом; не было обманщиков-купцов и плутов- ремесленников; не было чванства, тщеславия, притворной дружбы; не было франтов, буянов, пьяниц, проституток и венерических болезней; не было сварливых, бесстыдных, расточительных жен; не было тупых, спесивых педантов; не было назойливых, требовательных, вздорных, шумливых, крикливых, пустых, самомнящих, бранчливых сквернословов-приятелей; не было негодяев, поднявшихся из грязи благодаря своим порокам, и благородных людей, брошенных в грязь за свои добродетели; не было вельмож, скрипачей, судей и учителей танцев.   
 Я имел честь быть допущенным к гуигнгнмам, приходившим в гости к моему хозяину; и его милость любезно позволял мне присутствовать в комнате и слушать их беседу. И он и его гости часто снисходительно задавали мне вопросы и выслушивали мои ответы. Иногда я удостаивался чести сопровождать моего хозяина при его визитах. Я никогда не позволял себе выступать с речью и только отвечал на задаваемые вопросы, притом с искренним сожалением, что приходится терять много времени, которое я мог бы с пользой употребить на свое совершенствование; но мне доставляла бесконечное наслаждение роль скромного слушателя при этих беседах, где говорилось только о деле и мысли выражались в очень немногих, но весьма полновесных словах; где (как я сказал уже) соблюдалась величайшая пристойность без малейшей церемонности; где речи говорящего всегда доставляли удовольствие как ему самому, так и его собеседникам; где не перебивали друг друга, не скучали, не горячились, где не было расхождения мнений. Гуигнгнмы полагают, что разговор в обществе хорошо прерывать краткими паузами, и я нахожу, что они совершенно правы, ибо во время этих небольших перерывов в умах их рождались новые мысли, которые очень оживляли беседу. Обычными темами ее являлись дружба и доброжелательство, порядок и благоустройство; иногда - видимые явления природы или преданья старины; пределы и границы добродетели, непогрешимые законы разума или какие-либо постановления, которые предстояло принять на ближайшем большом собрании; часто также различные красоты поэзии. Могу прибавить без тщеславия, что достаточный материал для разговора часто давало им мое присутствие, которое служило для хозяина поводом рассказать друзьям повесть моей жизни и описать мою родину; выслушав его, они изволили отзываться не очень почтительно о человеческом роде; по этой причине я не буду повторять, что они говорили. Я лишь позволю себе заметить, что его милость, к великому моему удивлению, постиг природу еху всех стран, по-видимому, гораздо лучше, чем я сам. Он перечислял все наши пороки и безрассудства и открывал много таких, о которых я никогда не упоминал ему; для этого ему достаточно бывало предположить, на что оказались бы способны еху его родины, если бы были наделены малой частицей разума; и он заключал с весьма большим правдоподобием, сколь презренным и жалким должно быть такое создание.   
 Я чистосердечно сознаюсь, что все мои скудные знания, имеющие какую-нибудь ценность, я почерпнул из мудрых речей моего хозяина и из его бесед с друзьями; и я бы с большей гордостью внимал им, чем приковывал к себе внимание величайшего и мудрейшего парламента Европы. Я удивлялся силе, красоте и быстроте обитателей этой страны; и столь редкое соединение добродетелей в столь обходительных существах наполняло меня глубочайшим уважением. Сначала я, правда, не испытывал того естественного благоговения, которым проникнуты к ним еху и все другие животные, но постепенно это чувство овладело мной, притом гораздо скорее, чем я предполагал; оно соединилось с почтительной любовью и живой признательностью за то, что они удостоили выделить меня из остальных представителей моей породы.   
 Когда я думал о моей семье, моих друзьях и моих соотечественниках или о человеческом роде вообще, то видел в людях, в их внешности и душевном складе то, чем они были на самом деле,- еху, может быть, несколько более цивилизованных и наделенных даром слова, но употребляющих свой разум только на развитие и умножение пороков, которые присущи их братьям из этой страны лишь в той степени, в какой их наделила ими природа. Когда мне случалось видеть свое отражение в озере или в ручье, я с ужасом отворачивался и наполнялся ненавистью к себе; вид обыкновенного еху был для меня выносимее, чем вид моей собственной особы. Благодаря постоянному общению с гуигнгнмами и восторженному отношению к ним я стал подражать их походке и телодвижениям, которые вошли у меня теперь в привычку, так что друзья часто без церемонии говорят мне, что я бегаю как лошадь, но я принимаю эти слова как очень лестный для себя комплимент. Не стану также отрицать, что в разговоре я склонен подражать интонациям и манерам гуигнгнмов и без малейшей обиды слушаю насмешки над собой по этому поводу.   
 Посреди всего этого благоденствия, когда я считал себя устроившимся на всю жизнь, мой хозяин прислал за мной однажды утром немного раньше, чем обыкновенно. По лицу его я заметил, что он был в некотором смущении и раздумывал, как приступить к своей речи. После непродолжительного молчания он сказал мне, что не знает, как я отнесусь к тому, что он собирается сказать. На последнем генеральном собрании, когда был поставлен вопрос об еху, представители нации сочли за оскорбление то, что он держит в своем доме еху (они подразумевали меня) и обращается с ним скорее как с гуигнгнмом, чем как с диким животным. Им известно, что он часто разговаривает со мной, словно находя какую-нибудь пользу или удовольствие в моем обществе. Такое поведение противно разуму и природе и является вещью, никогда раньше неслыханной у них. Поэтому собрание увещевает его либо обходиться со мной, как с остальными представителями моей породы, либо приказать мне отплыть туда, откуда я прибыл. Первое предложение было решительно отвергнуто всеми гуигнгнмами, когда-либо видевшими меня и разговаривавшими со мной, на том основании, что, обладая некоторыми зачатками разума и природной порочностью этих животных, я вполне способен сманить еху в покрытую лесом горную часть страны и стаями приводить их ночью для нападения на домашний скот гуигнгнмов, что так естественно для породы прожорливой и питающей отвращение к труду.   
 Мой хозяин добавил, что окрестные гуигнгнмы ежедневно побуждают его привести в исполнение увещание собрания и он не может больше откладывать. Он сомневался, чтобы я был в силах доплыть до какой-нибудь другой страны, и выражал поэтому желание, чтобы я соорудил себе повозку, вроде тех, что я ему описывал, на которой мог бы ехать по морю; в этой работе мне окажут помощь как его собственные слуги, так и слуги его соседей. Что же касается его самого, заключил свою речь хозяин, то он был бы согласен держать меня у себя на службе всю мою жизнь, ибо он находит, что я излечился от некоторых дурных привычек и наклонностей, всячески стараясь подражать гуигнгнмам, насколько это по силам моей низменной природе.   
 Я должен обратить внимание читателя, что постановления генерального собрания этой страны называются здесь "гнглоайн", что в буквальном переводе обозначает "увещание", ибо гуигнгнмы не понимают, каким образом разумное существо можно принудить к чему-нибудь; можно только советовать ему, увещевать его; и кто не повинуется разуму, тот не вправе притязать на звание разумного существа.   
 Речь его милости крайне меня огорчила и повергла в полное отчаяние; не будучи в силах вынести постигшее меня горе, я упал в обморок у ног хозяина, который подумал, что я умер, как он признался мне, когда я очнулся (ибо гуигнгнмы не подвержены таким слабостям). Я отвечал еле слышным голосом, что смерть была бы для меня слишком большим счастьем; что, хотя я нисколько не осуждаю увещание собрания и настойчивость его друзей, все же, как мне кажется, по слабому моему и порочному разумению, решение могло бы быть и менее суровым, оставаясь совместимым с разумом; что я не мог бы проплыть и лиги, между тем как до ближайшего материка или острова, вероятно, больше ста лиг; что многих материалов, необходимых для сооружения маленького судна, на котором я мог бы отправиться в путь, вовсе нет в этой стране; но что я все же сделаю попытку в знак повиновения и благодарности его милости, хотя считаю предприятие безнадежным и, следовательно, смотрю на себя как на человека, обреченного гибели; что перспектива верной смерти является наименьшим из зол, которым я подвергаюсь, ибо - если даже допустить, что каким-либо чудом мне удастся спасти свою жизнь - каким образом могу я примириться с мыслью проводить дни свои среди еху и снова впасть в свои старые пороки, не имея перед глазами примеров, наставляющих меня и удерживающих на путях добродетели. Однако я прекрасно знаю, что все решения мудрых гуигнгнмов покоятся на очень прочных основаниях, и не мне, жалкому еху, поколебать их своими доводами; поэтому, выразив хозяину мою нижайшую благодарность за предложение дать мне в помощь своих слуг при сооружении судна и испросив достаточное время для такой трудной работы, я сказал ему, что постараюсь сохранить постылую жизнь, и если возвращусь в Англию, то питаю надежду принести пользу своим соотечественникам, восхваляя достославных гуигнгнмов и выставляя их добродетели как образец для подражания человеческого рода.   
 Его милость в немногих словах очень любезно ответил мне и предоставил два месяца на постройку лодки; он приказал гнедому лошаку, моему товарищу-слуге (ибо на столь далеком расстоянии я вправе называть его так), исполнять мои распоряжения, так как я сказал хозяину, что помощи одного работника мне будет достаточно и я знаю, что гнедой очень расположен ко мне.   
 Я начал с того, что отправился с ним на берег, где мой взбунтовавшийся экипаж приказал мне высадиться. Я взошел на холм и, осмотрев кругом море, как будто заметил на северо-востоке небольшой остров; я вынул тогда подзорную трубу и мог ясно различить его; по моим предположениям, он находился на расстоянии около пяти лиг. Однако для гнедого остров был просто синеватым облаком: не имея никакого понятия о существовании других стран, он не мог различать отдаленные предметы на море с таким искусством, как мы, люди, так много общающиеся с этой стихией.   
 Открыв остров, я не делал дальнейших изысканий и решил, что он будет, если возможно, первым пристанищем в моем изгнании, предоставляя дальнейшее судьбе.   
 Я вернулся домой и, посоветовавшись с гнедым лошаком, отправился с ним в близлежащую рощу, где я своим ножом, а он острым кремнем, очень искусно прикрепленным по тамошнему способу к деревянной рукоятке, нарезали много дубовых веток толщиной с обыкновенную палку и несколько более крупных. Но я не буду утомлять читателя подробным описанием моих работ; достаточно будет сказать, что в течение шести недель с помощью гнедого лошака, выполнившего более тяжелую часть работы, я соорудил нечто вроде индейской пироги, только гораздо более крупных размеров, и покрыл ее шкурами еху, крепко сшитыми одна с другой пеньковыми нитками моего собственного изготовления. Парус точно так же я сделал из шкур упомянутых животных, выбрав для этого те, что принадлежали самым молодым из них, так как шкуры старых еху были слишком грубыми и толстыми; я заготовил также четыре весла, сделал запас вареного мяса кроликов и домашней птицы и взял с собой два сосуда - один наполненный молоком, а другой - пресной водой.   
 Я испытал свою пирогу в большом пруду подле дома моего хозяина и исправил все обнаружившиеся в ней изъяны, замазав щели жиром еху и приведя ее в такое состояние, чтобы она могла вынести меня и мой груз. Сделав все, что было в моих силах, я погрузил лодку на телегу, и она очень осторожно была отвезена еху на морской берег, под наблюдением гнедого лошака и еще одного слуги.   
 Когда все было готово и наступил день отъезда, я простился с моим хозяином, его супругой и всем семейством; глаза мои были наполнены слезами и сердце изнывало от горя. Но его милость, отчасти из любопытства, а отчасти, может быть, из доброжелательства (если только я вправе сказать так без тщеславия), пожелал увидеть меня в моей пироге и попросил нескольких своих соседей сопровождать его. Около часа мне пришлось подождать прилива; заметив, что ветер очень благоприятно дует по направлению к острову, куда я решил держать путь, я вторично простился с моим хозяином; но когда я собирался пасть ниц, чтобы поцеловать его копыто, он оказал мне честь, осторожно подняв его к моим губам. Мне известны нападки, которым я подвергся за упоминание этой подробности. Моим клеветникам угодно считать невероятным, чтобы столь знатная особа снизошла до оказания подобного благоволения такому ничтожному существу, как я. Мне памятна также наклонность некоторых путешественников хвастаться оказанными им необыкновенными милостями. Но если бы эти критики были больше знакомы с благородством и учтивостью гуигнгнмов, они скоро переменили бы свое мнение.   
 Засвидетельствовав свое почтение остальным гуигнгнмам, сопровождавшим его милость, я сел в пирогу и отчалил от берега.

**ГЛАВА XI**

Опасное путешествие автора. Он прибывает в Новую Голландию, рассчитывая поселиться там. Один из туземцев ранит его стрелой из лука. Его схватывают и насильно сажают на португальский корабль. Очень любезное обращение с ним капитана. Автор возвращается в Англию   
  
 Я начал это безнадежное путешествие 15 февраля 1714/15 года в девять часов утра[153]. Ветер был попутный; тем не менее сначала я пользовался только веслами; но, рассудив, что гребля скоро меня утомит, а ветер может измениться, я отважился поставить свой маленький парус; таким образом, при содействии отлива, я шел, по моим предположениям, со скоростью полутора лиг в час. Мой хозяин и его друзья оставались на берегу, пока я совсем почти не скрылся из виду; и до меня часто доносились возгласы гнедого лошака (который всегда любил меня): "гнуй илла ниха мэйджах еху" (береги себя хорошенько, милый еху).   
 Намерением моим было открыть, если удастся, какой-нибудь необитаемый островок, где бы я мог добывать средства к существованию собственным трудом; подобная жизнь больше прельщала меня, чем пост первого министра при самом лощеном европейском дворе: столь ужасной казалась мне мысль возвратиться в общество еху и жить под их властью. Ибо в желанном мною уединении я мог, по крайней мере, размышлять о добродетелях неподражаемых гуигнгнмов, не подвергаясь опасности снова погрязнуть в пороках и разврате моего племени.   
 Читатель, может быть, помнит рассказ мой о том, как матросы составили против меня заговор и заключили меня в капитанской каюте; как я оставался там несколько недель, не зная, в каком направлении мы едем, и как матросы, высадившие меня на берег, с клятвами, искренними или притворными, уверяли меня, что они и сами не знают, в какой части света мы находимся. Однако я считал тогда, что мы плывем градусах в десяти к югу от мыса Доброй Надежды или под 45ь южной широты. Я заключил об этом на основании случайно подслушанных нескольких слов между матросами об их намерении идти на Мадагаскар и о том, что мы находимся к юго-западу от этого острова. Хотя это было простой догадкой, все же я решил держать курс на восток, надеясь достигнуть юго-западных берегов Новой Голландии, а может быть, желанного мной острова к западу от этих берегов. Ветер все время был западный, и в шесть часов вечера, когда, по моим расчетам, мной было пройдено на восток, по крайней мере, восемнадцать лиг, я заметил в полумиле от себя маленький островок, которого вскоре достиг.   
 Это был голый утес с бухточкой, размытой в нем бурями. Поставив в ней свою пирогу, я взобрался на утес и ясно различил на востоке землю, тянувшуюся с юга на север. Ночь я провел в пироге, а рано поутру снова отправился в путь и в семь часов достиг юго-восточного берега Новой Голландии[154]. Это утвердило меня в давнишнем моем мнении, что карты помещают эту страну, по крайней мере, градуса на три восточнее, чем она лежит в действительности; много лет тому назад я высказал это предположение моему уважаемому другу мистеру Герману Моллю, подкрепив его рядом доводов, но он предпочел следовать мнению других авторитетов[155].   
 Я не заметил туземцев у места, где я высадился, и так как со мной не было оружия, то не решался углубляться внутрь материка. На берегу я нашел несколько ракушек и съел их сырыми, не рискнув развести огонь из боязни привлечь к себе внимание туземцев. Три дня питался я устрицами и другими ракушками, чтобы сберечь надольше мою провизию; к счастью, я нашел ручеек с пресной водой, которая сильно подкрепила меня.   
 На четвертый день, отважившись пройти немножко дальше в глубь материка, я увидел на возвышенности двадцать или тридцать туземцев, приблизительно в пятистах ярдах от меня. Вес они - мужчины, женщины и дети - были совершенно голые и сидели, должно быть, около костра, насколько я мог заключить по густому дыму. Один из них заметил меня и указал другим; тогда пятеро мужчин направились ко мне, оставив женщин и детей у костра. Я со всех ног пустился наутек к берегу, бросился в лодку и отчалил. Дикари, увидя, что я убегаю, помчались за мной и, прежде чем я успел отъехать на достаточно далекое расстояние, пустили мне вдогонку стрелу, которая глубоко вонзилась мне в левое колено (шрам от раны останется у меня до могилы). Я испугался, как бы стрела не оказалась отравленной; поэтому, усиленно заработав веслами и оказавшись за пределами досягаемости их выстрелов (день был очень тихий), я старательно высосал рану и кое-как перевязал ее.   
 Я был в нерешительности, что мне предпринять, опасаясь вернуться к месту, где я высадился, и взял курс на север, причем был вынужден идти на веслах, потому что ветер был хотя и незначительный, но встречный, северо-западный. Осматриваясь кругом в поисках удобного места для высадки, я заметил на северо-северо- востоке парус, который с каждой минутой обрисовывался все явственнее; я был в некотором сомнении, поджидать ли его или нет; однако в конце концов моя ненависть к породе еху превозмогла, и, повернув пирогу, я на парусе и веслах направился к югу и вошел в ту же бухточку, откуда отправился поутру, предпочитая лучше отдаться в руки варваров, чем жить среди европейских еху. Я подвез свою пирогу к самому берегу, а сам спрятался за камнем у упомянутого мной ручейка с пресной водой.   
 Корабль подошел к этой бухточке на расстояние полулиги и отправил к берегу шлюпку с бочками за пресной водой (место было, по-видимому, хорошо ему известно); однако я заметил шлюпку, лишь когда она подходила к самому берегу, и было слишком поздно искать другого убежища. При высадке на берег матросы заметили мою пирогу и, внимательно осмотрев ее, легко догадались, что хозяин ее находится где-нибудь недалеко. Четверо из них, хорошо вооруженные, стали обшаривать каждую щелочку, каждый кустик и наконец нашли меня, лежащего ничком за камнем. Некоторое время они с удивлением смотрели на мой странный неуклюжий наряд: кафтан из кроличьих шкурок, башмаки с деревянными подошвами и меховые чулки; наряд этот показал им, однако, что я не туземец, так как все туземцы ходили голые. Один из матросов приказал мне по-португальски встать и спросил меня, кто я. Я отлично его понял (так как знаю этот язык) и, поднявшись на ноги, сказал, что я несчастный еху, изгнанный из страны гуигнгнмов, и умоляю позволить мне удалиться. Матросы были удивлены, услышав ответ на своем родном языке, и по цвету моего лица признали во мне европейца; но они не могли понять, что я разумел под словами "еху" и "гуигнгнмы", и в то же время смеялись над странными интонациями моей речи, напоминавшими конское ржание. Все время я дрожал от страха и ненависти и снова стал просить позволения удалиться, тихонько отступая по направлению к моей пироге, но они удержали меня, пожелав узнать, из какой страны я родом, откуда я прибыл, и задавая множество других вопросов. Я ответил им, что я родом из Англии, откуда я уехал около пяти лет тому назад, когда их страна и моя были в мире между собой. Поэтому я надеюсь, что они не будут обращаться со мной враждебно, тем более что я не хочу им никакого зла; я просто бедный еху, ищущий какого- нибудь пустынного места, где бы провести остаток моей несчастной жизни.   
 Когда они заговорили, мне показалось, что я никогда не слышал и не видел ничего более противоестественного; это было для меня так же чудовищно, как если бы в Англии заговорили собака или корова или в стране гуигнгнмов - еху. Почтенные португальцы были не менее поражены моим странным костюмом и чудной манерой произношения, хотя они прекрасно меня понимали. Они говорили со мной очень любезно и заявили, что их капитан, наверное, перевезет меня даром в Лиссабон, откуда я могу вернуться к себе на родину; что двое матросов отправятся обратно на корабль уведомить капитана о том, что они видели, и получить его распоряжения; а тем временем, если я не дам им торжественного обещания не убегать, они удержат меня силой. Я счел за лучшее согласиться с их предложением. Они очень любопытствовали узнать мои приключения, но я проявил большую сдержанность; тогда они решили, что несчастья повредили мой рассудок. Через два часа шлюпка, которая ушла нагруженная бочками с пресной водой, возвратилась с приказанием капитана доставить меня на борт. Я упал на колени и умолял оставить меня на свободе, но все было напрасно, и матросы, связав меня веревками, бросили в лодку, откуда я был перенесен на корабль и доставлен в каюту капитана.   
 Капитан назывался Педро де Мендес и был человек очень учтивый и благородный; он попросил меня дать какие-нибудь сведения о себе и пожелал узнать, что я хочу есть или пить, поручился, что со мной будут обращаться на корабле, как с ним самим, наговорил мне кучу любезностей, так что я был поражен, встретив такую обходительность у еху. Однако я оставался молчаливым и угрюмым и чуть не упал в обморок от одного только запаха этого капитана и его матросов. Наконец я попросил, чтобы мне принесли чего-нибудь поесть из запасов, находившихся в моей пироге. Но капитан приказал подать мне цыпленка и отличного вина и распорядился, чтобы мне приготовили постель в очень чистой каюте. Я не захотел раздеваться и лег в постель, как был; через полчаса, когда по моим предположениям экипаж обедал, я украдкой выскользнул из своей каюты и, пробравшись к борту корабля, намеревался броситься в море и спастись вплавь, лишь бы только не оставаться среди еху. Но один из матросов помешал мне и доложил о моем покушении капитану, который велел заковать меня в моей каюте.   
 После обеда дон Педро пришел ко мне и пожелал узнать причины, побудившие меня решиться на такой отчаянный поступок. Он уверил меня, что его единственное желание оказать мне всяческие услуги, какие в его силах; он говорил так трогательно и убедительно, что мало- помалу я согласился обращаться с ним как с животным, наделенным малыми крупицами разума. В немногих словах я рассказал ему о своем путешествии, о бунте экипажа на моем корабле, о стране, куда меня высадили бунтовщики, и о моем трехлетнем пребывании в ней. Капитан принял мой рассказ за бред или галлюцинацию, что меня крайне оскорбило, так как я совсем отучился от лжи, так свойственной еху во всех странах, где они господствуют, и позабыл об их всегдашней склонности относиться недоверчиво к словам себе подобных. Я спросил его, разве у него на родине существует обычай говорить то, чего нет, уверив его при этом, что я почти забыл значение слова "ложь" и что, проживи я в Гуигнгнмии хотя бы тысячу лет, я никогда бы не услышал там лжи даже от самого последнего слуги; что мне совершенно безразлично, верит он мне или нет, однако в благодарность за его любезность я готов отнестись снисходительно к его природной порочности и отвечать на все возражения, какие ему угодно будет сделать мне, так что он сам легко обнаружит истину.   
 Капитан, человек умный, после множества попыток уличить меня в противоречии на какой-нибудь части моего рассказа, в заключение составил себе лучшее мнение о моей правдивости[156]. Но он заявил, что раз я питаю такую глубокую привязанность к истине, то должен дать ему честное слово не покушаться больше на свою жизнь во время этого путешествия, иначе он будет держать меня под замком до самого Лиссабона. Я дал требуемое им обещание, но заявил при этом, что готов претерпеть самые тяжкие бедствия, лишь бы только не возвращаться в общество еху.   
 Во время нашего путешествия не произошло ничего замечательного. В благодарность капитану я иногда уступал его настоятельным просьбам и соглашался посидеть с ним, стараясь не обнаруживать неприязни к человеческому роду; все же она часто прорывалась у меня, но капитан делал вид, что ничего не замечает. Большую же часть дня я проводил в своей каюте, чтобы не встречаться ни с кем из матросов. Капитан не раз уговаривал меня снять мое дикарское одеяние, предлагая лучший свой костюм, но я все отказывался, гнушаясь покрыть себя вещью, прикасавшейся к телу еху. Я попросил его только дать мне две чистые рубашки, которые, будучи выстираны после того как он носил их, не могли, казалось мне, особенно сильно замарать меня. Я менял их каждый день и стирал собственноручно. Мы прибыли в Лиссабон 15 ноября 1715 года. Перед высадкой на берег капитан накинул мне на плечи свой плащ, чтобы вокруг меня не собралась уличная толпа. Он провел меня к своему дому и, по настойчивой моей просьбе, поместил в самом верхнем этаже в комнате, выходящей окнами во двор. Я заклинал его никому не говорить то, что я сообщил ему о гуигнгнмах, потому что малейший намек на мое пребывание у них не только привлечет ко мне толпы любопытных, но, вероятно, подвергнет даже опасности заключения в тюрьму или сожжения на костре по приговору инквизиции[157]. Капитан уговорил меня заказать себе новое платье, однако я ни за что не соглашался, чтобы портной снял с меня мерку; но так как дон Педро был почти одного со мной роста, то платья, сшитые для него, были мне как раз впору. Он снабдил меня также другими необходимыми для меня вещами, совершенно новыми, которые я, впрочем, перед употреблением проветривал целые сутки.   
 Капитан был не женат, и прислуга его состояла всего из трех человек, ни одному из которых он не позволял прислуживать за столом; вообще все его обращение было таким предупредительным, он проявлял столько подлинной человечности и понимания, что я постепенно примирился с его обществом. Под влиянием его увещаний я решил даже посмотреть в заднее окошко. Потом я начал переходить в другую комнату, откуда выглянул было на улицу, но сейчас же в испуге отшатнулся. Через неделю капитан уговорил меня сойти вниз посидеть у выходной двери. Страх мой постепенно уменьшался, но ненависть и презрение к людям как будто возрастали. Наконец я набрался храбрости выйти с капитаном на улицу, но плотно затыкал при этом нос табаком или рутой.   
 Через десять дней по моем приезде дон Педро, которому я рассказал кое-что о своей семье и домашних делах, заявил мне, что долг моей чести и совести требует, чтобы я вернулся на родину и жил дома с женой и детьми. Он сказал, что в порту стоит готовый к отплытию английский корабль, и выразил готовность снабдить меня всем необходимым для дороги. Было бы скучно повторять его доводы и мои возражения. Он говорил, что совершенно невозможно найти такой пустынный остров, на каком я мечтал поселиться; в собственном же доме я хозяин и могу проводить время каким угодно затворником.   
 В конце концов я покорился, находя, что ничего лучшего мне не остается. Я покинул Лиссабон 24 ноября на английском коммерческом корабле, но кто был его хозяином, я так и не спросил. Дон Педро проводил меня на корабль и дал в долг двадцать фунтов. Он любезно со мной распрощался и, расставаясь, обнял меня, но при этой ласке я едва сдержал свое отвращение. В пути я не разговаривал ни с капитаном, ни с матросами и, сказавшись больным, заперся у себя в каюте. 5 декабря 1715 года мы бросили якорь в Даунсе около девяти часов утра, и в три часа пополудни я благополучно прибыл к себе домой в Росергайс.   
 Жена и дети встретили меня с большим удивлением и радостью, так как они давно считали меня погибшим; но я должен откровенно сознаться, что вид их наполнил меня только ненавистью, отвращением и презрением, особенно когда я подумал о близкой связи, существовавшей между нами. Ибо хотя со времени моего злополучного изгнания из страны гуигнгнмов я принудил себя выносить вид еху и иметь общение с доном Педро де Мендес, все же моя память и воображение были постоянно наполнены добродетелями и идеями возвышенных гуигнгнмов. И мысль, что благодаря соединению с одной из самок еху я стал отцом еще нескольких этих животных, наполняла меня величайшим стыдом, смущением и отвращением.   
 Как только я вошел в дом, жена заключила меня в объятия и поцеловала меня; за эти годы я настолько отвык от прикосновения этого гнусного животного, что не выдержал и упал в обморок, продолжавшийся больше часу. Когда я пишу эти строки, прошло уже пять лет со времени моего возвращения в Англию[158]. В течение первого года я не мог выносить вида моей жены и детей; даже их запах был для меня нестерпим; тем более я не в силах был садиться с ними за стол в одной комнате. И до сих пор они не смеют прикасаться к моему хлебу или пить из моей чашки, до сих пор я не могу позволить им брать меня за руку. Первые же свободные деньги я истратил на покупку двух жеребцов, которых держу в прекрасной конюшне; после них моим наибольшим любимцем является конюх, так как запах, который он приносит из конюшни, действует на меня самым оживляющим образом. Лошади достаточно хорошо понимают меня; я разговариваю с ними, по крайней мере, четыре часа ежедневно. Они не знают, что такое узда или седло, очень ко мне привязаны и дружны между собою.

**ГЛАВА XII**

Правдивость автора. С каким намерением опубликовал он этот труд. Он порицает путешественников, отклоняющихся от истины. Автор доказывает отсутствие у него дурных целей при писании этой книги. Ответ на одно возражение. Метод насаждения колоний. Похвала родине. Бесспорное право короны на страны, описанные автором. Трудность завоевать их. Автор окончательно расстается с читателем; он излагает планы своего образа жизни в будущем, дает добрые советы и заканчивает книгу   
  
 Итак, любезный читатель, я дал тебе правдивое описание моих путешествий, продолжавшихся шестнадцать лет и свыше семи месяцев, в котором я заботился не столько о прикрасах, сколько об истине. Может быть, подобно другим путешественникам, я мог бы удивить тебя странными и невероятными рассказами, но я предпочел излагать голые факты наипростейшими способом и слогом, ибо главным моим намерением было осведомлять тебя, а не забавлять.   
 Нам, путешественникам в далекие страны, редко посещаемые англичанами или другими европейцами, нетрудно сочинить описание диковинных животных, морских и сухопутных. Между тем главная цель путешественника - просвещать людей и делать их лучшими, совершенствовать их умы как дурными, так и хорошими примерами того, что они передают касательно чужих стран.   
 От всей души я желал бы издания закона, который обязывал бы каждого путешественника перед получением им разрешения на опубликование своих путешествий давать перед лордом верховным канцлером клятву, что все, что он собирается печатать, есть безусловная истина по его добросовестному мнению. Тогда публика не вводилась бы больше в обман, как это обыкновенно бывает оттого, что некоторые писатели, желая сделать свои сочинения более занимательными, угощают доверчивого читателя самой грубой ложью. В юности я с огромным наслаждением прочел немало путешествий; но, объехав с тех пор почти весь земной шар и убедившись в несостоятельности множества басен на основании собственных наблюдений, я проникся большим отвращением к такого рода чтению и с негодованием смотрю на столь бесстыдное злоупотребление человеческим легковерием. И так как моим знакомым угодно было признать скромные мои усилия небесполезными для моей родины, то я поставил своим правилом, которому неуклонно следую, строжайше придерживаться истины; да у меня и не может возникнуть ни малейшего искушения отступить от этого правила, пока я храню в своей памяти наставления и пример моего благородного хозяина и других достопочтенных гуигнгнмов, скромным слушателем которых я так долго имел честь состоять.   
  
 Nec, si miserum Fortuna Sinonem   
 Finixit, vanum etiam, mendacemque improba finget[159].   
  
 Я отлично знаю, что сочинения, не требующие ни таланта, ни знаний и никаких вообще дарований, кроме хорошей памяти или аккуратного дневника, не могут особенно прославить их автора. Мне известно также, что авторы путешествий, подобно составителям словарей, погружаются в забвение тяжестью и величиной тех, кто приходит им на смену и, следовательно, ложится поверх. И весьма вероятно, что путешественники, которые посетят впоследствии страны, описанные в этом моем сочинении, обнаружив мои ошибки (если только я их совершил) и прибавив много новых открытий, оттеснят меня на второй план и сами займут мое место, так что мир позабудет, что был когда-то такой писатель. Это доставило бы мне большое огорчение, если бы я писал ради славы; но так как моей единственной заботой является общественное благо, то у меня нет никаких оснований испытывать разочарование. В самом деле, кто способен читать описанные мной добродетели славных гуигнгнмов, не испытывая стыда за свои пороки, особенно если он рассматривает себя как разумное, господствующее животное своей страны? Я ничего не скажу о тех далеких народах, где первенствуют еху, среди которых наименее испорченными являются бробдингнежцы; соблюдать мудрые правила поведения и управления было бы для нас большим счастьем. Но я не буду больше распространяться на эту тему и предоставлю рассудительному читателю самому делать заключения и выводы.   
 Немалое удовольствие доставляет мне уверенность, что это произведение не может встретить никаких упреков. В самом деле, какие возражения можно сделать писателю, который излагает одни только голые факты, имевшие место в таких отдаленных странах, не представляющих для нас ни малейшего интереса ни в торговом, ни в политическом отношении? Я всячески старался избегать промахов, в которых так часто справедливо упрекают авторов путешествий. Кроме того, я не смотрю на вещи с точки зрения какой-нибудь партии, но пишу беспристрастно, без предубеждений, без зложелательства к какому-нибудь лицу или к какой-нибудь группе лиц. Я пишу с благороднейшей целью просветить и наставить человечество, над которым, не нарушая скромности, я вправе притязать на некоторое превосходство благодаря преимуществам, приобретенным мной от долгого пребывания среди таких нравственно совершенных существ, как гуигнгнмы. Я не рассчитываю ни на какие выгоды и ни на какие похвалы. Я не допускаю ни одного слова, которое могло бы быть сочтено за насмешку или причинить малейшее оскорбление даже самым обидчивым людям. Таким образом, я надеюсь, что с полным правом могу объявить себя писателем совершенно безупречным, у которого никогда не найдут материала для упражнения своих талантов племена возражателей, обозревателей, наблюдателей, порицателей, ищеек и соглядатаев.   
 Признаюсь, что мне нашептывали, будто мой долг английского подданного обязывает меня сейчас же по возвращении на родину представить одному из министров докладную записку, так как все земли, открытые подданным, принадлежат его королю. Но я сомневаюсь, чтобы завоевание стран, о которых я говорю, далось нам так легко, как завоевание Фердинандом Кортесом беззащитных американцев[160]. Лилипуты, по моему мнению, едва ли стоят того, чтобы для покорения их снаряжать армию и флот, и я не думаю, чтобы было благоразумно или безопасно произвести нападение на бробдингнежцев или чтобы английская армия хорошо себя чувствовала, когда над нею покажется Летучий Остров. Правда, гуигнгнмы как будто не так хорошо подготовлены к войне - искусство, которое совершенно для них чуждо, особенно что касается обращения с огнестрельным оружием. Однако, будь я министром, я никогда не посоветовал бы нападать на них. Их благоразумие, единодушие, бесстрашие и любовь к отечеству с избытком возместили бы все их невежество в военном искусстве. Представьте себе двадцать тысяч гуигнгнмов, врезавшихся в середину европейской армии, смешавших строй, опрокинувших обозы, превращающих в котлету лица солдат страшными ударами своих задних копыт. Ибо они вполне заслуживают характеристику, данную Августу: "recalcitrat undique tutus"[161]. Но вместо предложения планов завоевания этой великодушной нации я предпочел бы, чтобы они нашли возможность и согласились послать достаточное количество своих сограждан для цивилизации Европы путем научения нас первоосновам чести, справедливости, правдивости, воздержания, солидарности, мужества, целомудрия, дружбы, доброжелательства и верности. Имена этих добродетелей удержались еще в большинстве европейских языков, и их можно встретить как у современных, так и у древних писателей. Я могу это утверждать на основании скромных моих чтений.   
 Но существует еще и другая причина, удерживающая меня от содействия расширению владений его величества открытыми мной странами. Правду говоря, меня берет некоторое сомнение насчет справедливости, проявляемой государями в таких случаях. Например: буря несет шайку пиратов в неизвестном им направлении; наконец юнга открывает с верхушки мачты землю; пираты выходят на берег, чтобы заняться грабежом и разбойничеством; они находят безобидное население, оказывающее им хороший прием; дают стране новое название, именем короля завладевают ею, водружают гнилую доску или камень в качестве памятного знака, убивают две или три дюжины туземцев, насильно забирают на корабль несколько человек в качестве образца, возвращаются на родину и получают прощение. Так возникает новая колония, приобретенная по божественному праву. При первой возможности туда посылают корабли; туземцы либо изгоняются, либо истребляются, князей их подвергают пыткам, чтобы принудить их выдать свое золото; открыта полная свобода для совершения любых бесчеловечных поступков, для любого распутства, земля обагряется кровью своих сынов. И эта гнусная шайка мясников, занимающаяся столь благочестивыми делами, образует современную колонию, отправленную для обращения в христианство и насаждения цивилизации среди дикарей-идолопоклонников.   
 Но это описание, разумеется, не имеет никакого касательства к британской нации, которая может служить примером для всего мира благодаря своей мудрости, заботливости и справедливости в насаждении колоний; своим высоким духовным качествам, содействующим преуспеянию религии и просвещения; подбору набожных и способных священников для распространения христианства; осмотрительности в заселении своих провинций добропорядочными и воздержанными на язык жителями метрополии[162]; строжайшему уважению к справедливости при замещении административных должностей во всех своих колониях чиновниками величайших дарований, совершенно чуждыми всякой порочности и продажности; и - в увенчание всего - благодаря назначению бдительных и добродетельных губернаторов, горячо пекущихся о благоденствии вверенного их управлению населения и блюдущих честь короля, своего государя.   
 Но так как население описанных мной стран, по-видимому, не имеет никакого желания быть завоеванным, обращенным в рабство, истребленным или изгнанным колонистами и так как сами эти страны не изобилуют ни золотом, ни серебром, ни сахаром, ни табаком, то, по скромному моему мнению, они являются весьма мало подходящими объектами для нашего рвения, нашей доблести и наших интересов. Однако, если те, кого это ближе касается, считают нужным держаться другого мнения, то я готов засвидетельствовать под присягой, когда я буду призван к тому законом, что ни один европеец не посещал этих стран до меня, поскольку, по крайней мере, можно доверять показаниям туземцев; спор может возникнуть лишь по отношению к двум еху, которых, по преданию, видели много веков тому назад на одной горе в Гуигнгнмии и от которых, по тому же преданию, произошел весь род этих гнусных скотов; эти двое еху были, должно быть, англичане, как я очень склонен подозревать на основании черт лица их потомства, хотя и очень обезображенных. Но насколько факт этот может быть доказательным, - предоставляю судить знатокам колониальных законов[163].   
 Что же касается формального завладения открытыми странами именем моего государя, то такая мысль никогда не приходила мне в голову; да если бы и пришла, то, принимая во внимание мое тогдашнее положение, я, пожалуй, поступил бы благоразумно и предусмотрительно, отложив осуществление этой формальности до более благоприятного случая.   
 Ответив, таким образом, на единственный упрек, который можно было бы сделать мне как путешественнику, я окончательно прощаюсь со всеми моими любезными читателями и удаляюсь в свой садик в Редрифе наслаждаться размышлениями, осуществлять на практике превосходные уроки добродетели, преподанные мне гуигнгнмами, просвещать еху моей семьи, насколько эти животные вообще поддаются воспитанию, почаще смотреть на свое отражение в зеркале и, таким образом, если возможно, постепенно приучить себя выносить вид человека; сокрушаться о дикости гуигнгнмов на моей родине, но всегда относиться к их личности с уважением ради моего благородного хозяина, его семьи, друзей и всего рода гуигнгнмов, на которых наши лошади имеют честь походить по своему строению, значительно уступая им по своим умственным способностям.   
 С прошлой недели я начал позволять моей жене садиться обедать вместе со мной на дальнем конце длинного стола и отвечать (как можно короче) на немногие задаваемые мной вопросы. Все же запах еху по- прежнему очень противен мне, так что я всегда плотно затыкаю нос рутой, лавандой или листовым табаком. И хотя для человека пожилого трудно отучиться от старых привычек, однако я совсем не теряю надежды, что через некоторое время способен буду переносить общество еху-соседей и перестану страшиться их зубов и когтей.   
 Мне было бы гораздо легче примириться со всем родом еху, если бы они довольствовались теми пороками и безрассудствами, которыми наделила их природа. Меня ничуть не раздражает вид судейского, карманного вора, полковника, шута, вельможи, игрока, политика, сводника, врача, лжесвидетеля, соблазнителя, стряпчего, предателя и им подобных; существование всех их в порядке вещей. Но когда я вижу кучу уродств и болезней как физических, так и духовных, да в придачу к ним еще гордость, - терпение мое немедленно истощается; я никогда не способен буду понять, как такое животное и такой порок могут сочетаться. У мудрых и добродетельных гуигнгнмов, в изобилии одаренных всеми совершенствами, какие только могут украшать разумное существо, нет даже слова для обозначения этого порока; да и вообще язык их не содержит вовсе терминов, выражающих что-нибудь дурное, кроме тех, при помощи которых они описывают гнусные качества тамошних еху; среди них они, однако, не могли обнаружить гордости вследствие недостаточного знания человеческой природы, как она проявляется в других странах, где это животное занимает господствующее положение. Но я благодаря моему большому опыту ясно различал некоторые зачатки этого порока среди диких еху.   
 Однако гуигнгнмы, живущие под властью разума, так же мало гордятся своими хорошими качествами, как я горжусь тем, что у меня две руки; ни один человек, находясь в здравом уме, не станет кичиться этим, хотя и будет очень несчастен, если лишится одной из них. Я так долго останавливаюсь на этом предмете из желания сделать, по мере моих сил, общество английских еху более переносимым; поэтому я очень прошу лиц, в какой-нибудь степени запятнанных этим нелепым пороком, не отваживаться попадаться мне на глаза.

**Вальтер Скотт. Айвен**

**ПРЕДИСЛОВИЕ**

До сих пор автор "Уэверли" неизменно пользовался успехом у читателей и в избранной им области литературы мог по праву считаться баловнем судьбы. Однако было ясно, что, слишком часто появляясь в печати, он в конце концов должен был исчерпать благосклонность публики, если бы не изобрел способа придать видимость новизны своим последующим произведениям. Прежде для оживления повествования автор обращался к шотландским нравам, шотландскому говору и шотландским характерам, которые были ему ближе всего знакомы. Но такая односторонность, несомненно, должна была привести его к некоторому однообразию и повторениям и заставила бы наконец читателя заговорить языком Эдвина из "Повести" Парнелла:   
 Кричит он: "Прекрати рассказ!   
 Уже довольно! Хватит с нас!   
 Брось фокусы свои!" [1]   
 Нет ничего опаснее для репутации профессора изящных искусств (если только в его возможностях избежать этого), чем приклеенный к нему ярлык художникаманьериста или предположение, что он способен успешно творить лишь в одном и весьма узком плане. Публика вообще склонна считать, что художник, заслуживший ее симпатии за какую-нибудь одну своеобразную композицию, именно благодаря своему дарованию не способен взяться за другие темы. Публика недоброжелательно относится к тем, кто ее развлекает, когда они пробуют разнообразить используемые ими средства; это проявляется в отрицательных суждениях, высказываемых обычно по поводу актеров или художников, которые осмелились испробовать свои силы в новой области, для того чтобы расширить возможности своего искусства.   
 В этом мнении есть доля правды, как и во всех общепринятых суждениях. В театре часто бывает, что актер, обладающий всеми внешними данными, необходимыми для совершенного исполнения комедийных ролей, лишен из-за этого возможности надеяться на успех в трагедии. Равным образом и в живописи и в литературе художник или поэт часто владеет лишь определенными изобразительными средствами и способами передачи некоторых настроений, что ограничивает их в выборе предметов для изображения. Но гораздо чаще способности, доставившие человеку популярность в одной области, обеспечивают ему успех и в других. Это в значительно большей степени относится к литературе, чем к театру или живописи, потому что здесь автор в своих исканиях не ограничен ни особенностями своих черт лица, ни телосложением, ни навыками в использовании кисти, соответствующими лишь известному роду сюжетов.   
 Быть может, эти рассуждения и неправильны, но, во всяком случае, автор чувствовал, что если бы он ограничился исключительно шотландскими темами, он не только должен был бы надоесть читателям, но и чрезвычайно сузил бы возможности, которыми располагал для доставления им удовольствия. В высокопросвещенной стране, где столько талантов ежемесячно занято развлечением публики, свежая тема, на которую автору посчастливилось натолкнуться, подобна источнику в пустыне:   
 Хваля судьбу, в нем люди видят счастье.   
 Но когда люди, лошади, верблюды и рогатый скот замутят этот источник, его вода становится противной тем, кто только что пил ее с наслаждением, а тот, кому принадлежит заслуга открытия этого источника, должен найти новые родники и тем самым обнаружить свой талант, если он хочет сохранить уважение своих соотечественников.   
 Если писатель, творчество которого ограничено кругом определенных тем, пытается поддержать свою репутацию, подновляя сюжеты, которые уже доставили ему успех, его, без сомнения, ожидает неудача. Если руда еще не вся добыта, то, во всяком случае, силы рудокопа неизбежно истощились. Если он в точности подражает прозаическим произведениям, которые прежде ему удавались, он обречен "удивляться тому, что они больше не имеют успеха".   
 Если он пробует по-новому подойти к прежним темам, он скоро понимает, что уже не может писать ясно, естественно и изящно, и вынужден прибегнуть к карикатурам, для того чтобы добиться необходимого очарования новизны. Таким образом, желая избежать повторений, он лишается естественности.   
 Быть может, нет необходимости перечислять все причины, по которым автор шотландских романов, как их тогда называли, попытался написать роман на английскую тему В то же время он намеревался сделать свой опыт возможно более полным, представив публике задуманное им произведение как создание нового претендента на ее симпатии, чтобы ни малейшая степень предубеждения, будь то в пользу автора или против него, не воспрепятствовала беспристрастной оценке нового романа автора "Уэверли", но впоследствии он оставил это намерение по причинам, которые изложит позднее.   
 Автор избрал для описания эпоху царствования Ричарда I: это время богато героями, имена которых способны привлечь общее внимание, и вместе с тем отмечено резкими противоречиями между саксами, возделывавшими землю, и норманнами, которые владели этой землей в качестве завоеваетелей и не желали ни смешиваться с побежденными, ни признавать их людьми своей породы. Мысль об этом противопоставлении была взята из трагедии талантливого и несчастного Логана "Руннемед", посвященной тому же периоду истории; в этой пьесе автор увидел изображение вражды саксонских и норманских баронов. Однако, сколько помнится, в этой трагедии не было сделано попытки противопоставить чувства и обычаи обоих этих племен; к тому же было очевидно, что изображение саксов как еще не истребленной воинственной и высокомерной знати было грубым насилием над исторической правдой.   
 Ведь саксы уцелели именно как простой народ; правда, некоторые старые саксонские роды обладали богатством и властью, но их положение было исключительным по сравнению с униженным состоянием племени в целом. Автору казалось, что если бы он выполнил свою задачу, читатель мог бы заинтересоваться изображением одновременного существования в одной стране двух племен: побежденных, отличавшихся простыми, грубыми и прямыми нравами и духом вольности, и победителей, замечательных стремлением к воинской славе, к личным подвигам - ко всему, что могло сделать их цветом рыцарства, и эта картина, дополненная изображением иных характеров, свойственных тому времени и той же стране, могла бы заинтересовать читателя своей пестротой, если бы автор, со своей стороны оказался на высоте положения.   
 Однако последнее время именно Шотландия служила по преимуществу местом действия так называемого исторического романа, и вступительное послание мистера Лоренса Темплтона тем самым становится здесь уместным.   
 Что касается этого предисловия, то читатель должен рассматривать его как выражение мнений и намерений автора, предпринявшего этот литературный труд с той оговоркой, что он далек от мысли, что ему удалось достичь конечной цели. Едва ли необходимо добавить, что здесь не было намерения выдавать предполагаемого мистера Темплтона за действительное лицо. Однако недавно каким-то анонимным автором были сделаны попытки написать продолжение "Рассказов трактирщика". В связи с этим можно предположить, что это посвящение будет принято за такую же мистификацию и поведет любопытных по ложному следу, заставляя их думать, что перед ними произведение нового претендента на успех.   
 После того как значительная часть этой книги была закончена и напечатана, издатели, которым казалось, что она должна иметь успех, выступили против того, чтобы произведение появилось в качестве анонимного. Они утверждали, что книгу нельзя лишать преимущества, заключающегося в ее принадлежности перу автора "Уэверли". Автор не очень стойко сопротивлялся им, так как он начал думать вместе с доктором Уилером (из прекрасной повести мисс Эджуорт "Ловкость"), что "хитрость, прибавленная к хитрости", может вывести из терпения снисходительную публику, которая может подумать, что автор пренебрегает ее милостями.   
 Поэтому книга появилась просто как один из романов Уэверли, и было бы неблагодарностью со стороны автора не отметить, что она была принята так же благосклонно, как и предыдущие его произведения.   
 Примечания, которые могут помочь читателю разобраться в характере еврея, тамплиера, капитана наемников, или, как они назывались, вольных товарищей, и проч., даны в сжатой форме, так как все сведения по этому предмету могут быть найдены в книгах по всеобщей истории.   
 Тот эпизод романа, который имел успех у многих читателей, заимствован из сокровищницы старинных баллад. Я имею в виду встречу короля с монахом Туком в келье этого веселого отшельника. Общая канва этой истории встречается во все времена и у всех народов, соревнующихся друг с другом в описании странствий переодетого монарха, который, спускаясь из любопытства или ради развлечений в низшие слои общества, встречается с приключениями, занятными для читателя или слушателя благодаря противоположности между подлинным положением короля и его наружностью. Восточный сказочник повествует о путешествиях переодетого Харуна ар-Рашида и его верными слугами, Месруром и Джафаром, по полуночным улицам Багдада; шотландское предание говорит о сходных подвигах Иакова V, принимавшего во время таких похождений дорожное имя хозяина Балленгейха, подобно тому как повелитель верующих, когда он желал оставаться инкогнито, был известен под именем Иль Бондокани. Французские менестрели не уклонились от столь распространенной темы. Должен существовать норманский источник шотландской стихотворной повести "Rauf Colziar", в которой Карл предстает в качестве безвестного гостя угольщика, - как будто и другие произведения этого рода были подражаниями указанной повести.   
 В веселой Англии народным балладам на эту тему нет числа. Стихотворение "Староста Джон", упомянутое епископом Перси в книге "Памятники старой английской поэзии", кажется, посвящено подобному случаю; кроме того, имеются "Король и Бамвортский дубильщик", "Король и Мэнсфилдский мельник" и другие произведения на ту же тему. Но произведение этого рода, которому автор "Айвенго" особенно обязан, на два века старше тех, что были упомянуты выше.   
 Впервые оно было опубликовано в любопытном собрании произведений древней литературы, составленном соединенными усилиями сэра Эгертона Бриджа и мистера Хейзлвуда, выходившем в виде периодического издания под названием "Британский библиограф". Отсюда он был перепечатан достопочтенным Чарлзом Генри Хартшорном, издателем весьма интересной книги, озаглавленной "Старинные повести в стихах, напечатанных главным образом по первоисточникам, 1829 г. ". Мистер Хартшорн не указывает для интересующего" нас отрывка никакого другого источника, кроме публикации "Библиографа", озаглавленной "Король и отшельник". Краткий пересказ содержания этого отрывка покажет его сходство с эпизодом встречи короля Ричарда с монахом Туком.   
 Король Эдуард (не указывается, какой именно из монархов, носивших это имя, но, судя по характеру и привычкам, мы можем предположить, что это Эдуард IV) отправился со всем своим двором на славную охоту в Шервудские леса, где, как это часто случается с королями в балладах, он напал на след необычайно большого и быстрого оленя; король преследовал его до тех пор, пока не потерял из виду свою свиту и не замучил собак и коня. С приближением ночи король очутился один в сумраке огромного леса. Охваченный беспокойством, естественным в таком положении, король вспомнил рассказы о том, что бедняки, которые боятся остаться ночью без крова, молятся святому Юлиану, считающемуся, согласно католическому календарю, главным квартирмейстером, доставляющим убежище всем сбившимся с дороги путникам, которые почитают его должным образом. Эдуард помолился и, очевидно благодаря заступничеству этого святого, набрел на узкую тропу, которая привела его к келье отшельника, стоящей у лесной часовни. Король услышал, как благочестивый муж вместе с товарищем, разделявшим его одиночество, перебирал в келье четки, и смиренно попросил у них приюта на ночь.   
 - Мое жилище не подходит для такого господина, как вы, - сказал отшельник. - Я живу здесь в глуши, питаюсь корнями и корой и не могу принять у себя даже самого жалкого бродягу, разве что речь шла бы о спасении его жизни".   
 Король осведомился о том, как ему попасть в ближайший город. Когда он понял, что дорогу туда он мог бы найти только с большим трудом, даже если бы ему помогал дневной свет, он заявил: как отшельнику угодно, а он, король, решил стать его гостем на эту ночь.   
 Отшельник согласился, намекнув, однако, что если бы он не был в монашеском одеянии, то не обратил бы внимания на угрозы, и что уступил бы не из страха, а просто чтобы не допустить бесчинства.   
 Короля впустили в келью. Ему дали две охапки соломы, чтобы он мог устроиться поудобнее. Он утешался тем, что теперь у него есть кров и что   
 Наступит скоро день.   
 Но в госте пробуждаются новые желания. Он требует ужина, говоря:   
 Прошу вас помнить об одном:   
 Что б ни было со мною днем,   
 Всегда я веселился ночью.   
 Но хотя он и сказал, что знает толк в хорошей еде, а также объяснил, что он придворный, заблудившийся во время большой королевской охоты, ему не удалось вытянуть у скупого отшельника ничего, кроме хлеба и сыра, которые не были для него особенно привлекательны; еще менее приемлемым показался ему "трезвый напиток". Наконец король стал требовать от хозяина, чтобы тот ответил на вопрос, который гость несколько раз безуспешно задавал ему:   
 Дичь ты не умеешь бить?   
 Этого не может быть!   
 В славных ты живешь местах;   
 Как уйдет лесничий спать,   
 Можешь вволю дичь стрелять.   
 Здесь олени есть в лесах.   
 Я б с тобой поспорить мог,   
 Что отличный ты стрелок,   
 Хоть, конечно, ты монах.   
 В ответ на это отшельник выражает опасение, не хочет ли гость вырвать у него признание в том, что он нарушал лесные законы; а если бы такое признание дошло до короля, оно могло бы стоить монаху жизни. Эдуард уверяет отшельника, что он сохранит тайну, и снова требует, чтобы тот достал оленину. Отшельник возражает ему, ссылаясь на свои монашеские обеты, и продолжает отвергать подобные подозрения:   
 Я питаюсь молоком,   
 А с охотой незнаком,   
 Хоть живу здесь много дней.   
 Грейся перед очагом,   
 Тихо спи себе потом,   
 Рясою укрыт моей.   
 По-видимому, рукопись здесь неисправна, потому что нельзя понять, что же, в конце концов, побуждает несговорчивого монаха удовлетворить желание короля. Но, признав, что его гость - на редкость "славный малый", святой отец вытаскивает все лучшее, что припрятано в его келье. На столе появляются две свечи, освещающие белый хлеб и пироги; кроме того, подается соленая и свежая оленина, от которой они отрезают лакомые куски. "Мне пришлось бы есть хлеб всухомятку, - сказал король, - если бы я не выпросил у тебя твоей охотничьей добычи. А теперь я бы поужинал по-царски, если бы только у нас нашлось что выпить".   
 Гостеприимный отшельник соглашается и на это и приказывает служке извлечь из тайника подле его постели бочонок в четыре галлона, после чего все трое приступают к основательной выпивке. Этой попойкой руководит отшельник, который следит за тем, чтобы особо торжественные слова повторялись всеми участниками пирушки по очереди перед каждым стаканом; с помощью этих веселых восклицаний они упорядочивали свои возлияния, подобно тому как в новое время это стали делать с помощью тостов. Один пьяница говорит "Fusty bondias"[2], другой должен ответить "Ударь пантеру"; монах отпустил немало шуток насчет забывчивости короля, который иногда забывал слова этого святого обряда.   
 В таких забавах проходит ночь. Наутро, расставаясь со своим почтенным хозяином, король приглашает его ко двору, обещая отблагодарить за гостеприимство и выражая полное удовлетворение оказанным ему приемом. Веселый монах соглашается явиться ко двору и спросить Джека Флетчера (этим именем назвался король). После того как отшельник показал королю свое искусство в стрельбе из лука, веселые приятели расстаются. Король отправляется домой и по дороге находит свою свиту. Баллада дошла до нас без окончания, и поэтому мы не знаем, как раскрывается истинное положение вещей; по всей вероятности, это происходит так же, как и в других произведениях сходного содержания: хозяин ждет казни за вольное обращение с монархом, скрывшим свое имя, и приятно поражен, когда вместо этого получает почести и награды.   
 В собрании мистера Хартшорна имеется баллада на тот же сюжет под названием: "Король Эдуард и пастух"; с точки зрения описания нравов она гораздо интереснее "Короля и отшельника"; но приводить ее не входит в наши задачи. Читатель уже познакомился с первоначальной легендой, из которой мы заимствовали этот эпизод романа, и отождествление грешного монаха с братом Туком из истории Робина Гуда должно показаться ему вполне естественным.   
 Имя Айвенго было подсказано автору старинным стихотворением. Всем романистам случалось высказывать пожелание, подобное восклицанию Фальстафа, который хотел бы узнать, где продаются хорошие имена. В подобную минуту автор случайно вспомнил стихотворение, где упоминались названия трех поместий, отнятых у предка знаменитого Хемпдена в наказание за то, что он ударил Черного принца ракеткой, поссорившись с ним во время игры в мяч:   
 Тогда был в наказанье взят   
 У Хемпдена поместий рядом   
 Тринг, Винт, Айвенго. Был он рад   
 Спастись ценой таких утрат.   
 Это имя соответствовало замыслу автора в двух отношениях: во-первых, оно звучит на староанглийский лад; во-вторых, в нем нет никаких указаний относительно характера произведения. Последнему обстоятельству автор придавал большое значение. Так называемые "захватывающие" заглавия прежде всего служат интересам книгопродавцев или издателей, которые с помощью этих заглавий продают книгу прежде, чем она вышла из печати. Но автор, допустивший, чтобы к его еще не изданному произведению было искусственно привлечено внимание публики, ставит себя в затруднительное положение: если, возбудив всеобщие ожидания, он не сможет их удовлетворить, это может стать роковым для его литературной славы. Кроме того, встречая такое заглавие, как "Пороховой заговор" или какое-нибудь другое, связанное со всемирной историей, всякий читатель еще до того, как он увидит книгу, составляет себе определенное представление о том, как должно развиваться повествование и какое удовольствие оно ему доставит. По всей вероятности, читатель будет обманут в своих ожиданиях, и в таком случае он осудит автора или его произведение, причинившее ему разочарование. В этом случае писателя осуждают не за то, что он не попал в намеченную им самим цель, а за то, что он не пустил стрелу в том направлении, о котором и не помышлял. Опираясь на непринужденность отношений, которые автор завязал с читателями, он может, между прочим, упомянуть о том, что Окинлекская рукопись, приводящая имена целой орды норманских баронов, подсказала ему чудовищное имя Фрон де Беф.   
 "Айвенго" имел большой успех при появлении и, можно сказать, дал автору право самому предписывать себе законы, так как с этих пор ему позволяется изображать в создаваемых им сочинениях как Англию, так и Шотландию.   
 Образ прекрасной еврейки возбудил сочувствие некоторых читательниц, которые обвинили автора в том, что, определяя судьбу своих героев, он предназначил руку Уилфреда не Ревекке, а менее привлекательной Ровене. Но, не говоря уже о том, что предрассудки той эпохи делали подобный брак почти невозможным, автор позволяет себе попутно заметить, что временное благополучие не возвышает, а унижает людей, исполненных истинной добродетели и высокого благородства. Читателем романов является молодое поколение, и было бы слишком опасно преподносить им роковую доктрину, согласно которой чистота поведения и принципов естественно согласуется или неизменно вознаграждается удовлетворением наших страстей или исполнением наших желаний. Словом, если добродетельная и самоотверженная натура обделена земными благами, властью, положением в свете, если на ее долю не достается удовлетворение внезапной и несчастной страсти, подобной страсти Ревекки к Айвенго, то нужно, чтобы читатель был способен сказать - поистине добродетель имеет особую награду. Ведь созерцание великой картины жизни показывает, что самоотречение и пожертвование своими страстями во имя долга редко бывают вознаграждены и что внутреннее сознание исполненных обязанностей дает человеку подлинную награду - душевный покой, который никто не может ни отнять, ни дать.   
 Эбботсфорд, 1 сентября 1830 года.

**ПОСВЯЩЕНИЕ ДОСТОПОЧТЕННОМУ Д-РУ ДРАЙЕЗДАСТУ Ф. А. С. В КАСЛ-ГЕЙТ, ЙОРК**

Многоуважаемый и дорогой сэр,   
 Едва ли необходимо перечислять здесь разнообразные, но чрезвычайно веские соображения, побуждающие меня поместить ваше имя перед нижеследующим произведением. Однако, если мой замысел не увенчается успехом, основная из этих причин может отпасть. Если бы я мог надеяться, что эта книга достойна Вашего покровительства, читатели сразу поняли бы полную уместность посвящения труда, в котором я пытаюсь изобразить быт старой Англии и в особенности быт наших саксонских предков, ученому автору очерков о Роге короля Ульфуса и о землях, пожертвованных им престолу св. Петра.   
 Однако я сознаю, что поверхностное, далеко не удовлетворительное и упрощенное изложение результатов моих исторических разысканий на страницах этого романа ставит мое сочинение гораздо ниже тех, которые носят гордый девиз: Detur digniori [3]. Напротив, я боюсь подвергнуться осуждению за самонадеянность, помещая достойное, уважаемое всеми имя д-ра Джонаса Драйездаста на первых страницах книги, которую более серьезные знатоки старины поставят на одну доску с современными пустыми романами и повестями. Мне было бы очень желательно снять с себя это обвинение, потому что, хотя я и надеюсь заслужить снисхождение в Ваших глазах, рассчитывая на Вашу дружбу, мне бы отнюдь не хотелось быть обвиненным читателями в столь серьезном проступке, который предвидит мое боязливое воображение.   
 Поэтому я хочу напомнить Вам, что, когда мы впервые совместно обсуждали этого рода произведения, в одном из которых так неделикатно затронуты частные и семейные дела Вашего ученого северного друга мистера Олдбока из Монкбарнса, у нас возникли разногласия относительно причин популярности этих произведений в наш пустой век. Каковы бы ни были их многочисленные достоинства, нужно согласиться, что все они написаны чрезвычайно небрежно и нарушают все законы эпических произведений.   
 Тогда Вы, казалось, придерживались мнения, что весь секрет очарования заключается в искусстве, с которым автор, подобно второму Макферсону, использует сокровища старины, разбросанные повсюду, обогащая свое вялое и скудное воображение готовыми мотивами из недавнего прошлого родной страны и вводя в рассказ действительно существующих людей, порою даже не изменяя имен.   
 Вы отмечали, что не прошло еще шестидесяти - семидесяти лет с тех пор, как весь север Шотландии находился под управлением, почти таким же простым и патриархальным, как управление наших добрых союзников мохоков и ирокезов. Признавая, что сам автор мог и не быть уже свидетелем событий того времени, Вы указывали, что он все же должен был общаться с людьми, которые жили и страдали в ту эпоху. Но уже за последние тридцать лет нравы Шотландии претерпели такие глубокие изменения, что сами шотландцы смотрят на нравы и обычаи своих прямых предков как мы на нравы времен царствования королевы Анны или даже времен Революции. При таких условиях единственное, что могло бы, по Вашему мнению, смутить автора, при наличии огромного количества отдельных фактов и материалов, - это трудность выбора. Поэтому не было ничего удивительного, что, начав разрабатывать столь богатую жилу, он получил от своих работ выгоду и славу, не оправдываемые сравнительной легкостью его труда.   
 Соглашаясь в общем с правильностью Вашей точки зрения, я не могу не удивляться тому, что до сих пор никто не попытался возбудить интерес к преданиям и нравам старой Англии, тогда как по отношению к нашим бедным и менее знаменитым соседям мы имеем целый ряд таких попыток.   
 Зеленое сукно, несмотря на то, что оно древнее, должно, конечно, быть не менее дорого нашему сердцу, чем пестрый тартан северянину. Имя Робина Гуда, если с умом им воспользоваться, может так же воодушевлять, как и имя Роб Роя, а английские патриоты заслуживают не меньших похвал в нашей среде, чем Брюс и Уоллес в Каледонии. Если южные пейзажи не так романтичны и величественны, как северные горные ландшафты, то зато они превосходят их своей мягкой и спокойной красотой. Все это дает им право воскликнуть вместе с патриотом Сирии: "Не прекрасней ли всех рек Израиля - Фарфар и Авана, реки Дамаска?"   
 Ваши возражения против такого рода попыток, дорогой доктор, если Вы разрешите напомнить, были двоякими. С одной стороны. Вы настаивали на преимуществах шотландцев, в чьей стране еще совсем недавно существовал тот самый быт, который должен был служить фоном для развивающегося действия. Еще и теперь многие хорошо помнят людей, которые не только видели знаменитого Роя Мак-Грегора, но и пировали и даже сражались вместе с ним. Все мельчайшие подробности, относящиеся к частной жизни и быту того времени, все, что придает правдоподобие рассказу и своеобразие выведенным характерам, - все это хорошо знают и помнят в Шотландии. Напротив, в Англии цивилизация уже давно достигла такого высокого уровня, что единственным источником сведений о наших предках стали старые летописи, авторы которых как бы сговорились замалчивать все интересные подробности для того, чтобы дать место цветам монашеского красноречия и избитым рассуждениям о морали. Вы утверждали, что было бы несправедливо равнять английских и шотландских писателей, соперничающих в воплощении и оживлении преданий своих стран. Вы говорили, что шотландский волшебник, подобно лукановской колдунье, может свободно бродить по еще свежему полю битвы, выбирая, чтобы воскресить своим колдовством, те тела, где только что трепетала жизнь и на чьих устах только что замерли последние стоны.   
 А ведь сама могущественная Эрихто должна была выбирать именно таких мертвецов, ибо только их могло воскресить ее искусное волшебство:   
 ...gelidas leto scrutata medullas,   
 Pulmonis rigidi stantes sine vulnere fibras   
 Invenit, et vocem defuncto in corpore quaerit". [4]   
 А в то же время английскому писателю, - будь он столь же могущественен, как Северный Волшебник, - предоставлено, в поисках своих сюжетов, рыться в пыли веков, где ничего нельзя найти, кроме сухих, безжизненных, истлевших и разметанных костей, подобных тем, какими была усеяна Иосафатова долина. С другой стороны, Вы выражали опасения, что лишенные патриотизма предрассудки моих земляков не позволяет им справедливо оценить то произведение, возможность успеха которого мне хотелось доказать. Это обстоятельство, говорили Вы, лишь отчасти обусловлено всеобщим предпочтением иностранного своему; оно зависит еще также от той особой обстановки, в которой находится английский читатель.   
 Если Вы будете рассказывать ему о первобытном состоянии общества и диких нравах, существующих в горной Шотландии, он охотно согласится со всеми Вашими рассказами. И это вполне понятно. Рядовой читатель либо вообще никогда не бывал в этих отдаленных районах, либо проезжал эти пустынные области во время своих летних поездок. Плохие обеды, убогие ночлеги, нищета и разорение, встречаемые на каждом шагу, достаточно подготовили его к самым необыкновенным рассказам о необузданном, своеобразном народе, так хорошо гармонирующем с диким пейзажем. Но тот же самый уважаемый читатель, очутившись в своей уютной гостиной, окруженный комфортом английского семейного очага, будет не особенно склонен выслушивать рассказы о том, что его предки вели совершенно иной образ жизни, что покачнувшаяся башня, виднеющаяся из его окна, некогда принадлежала барону, который не задумываясь вздернул бы его на воротах его собственного дома без всякого суда, что батраки, работающие в его маленьком поместье, два или три века тому назад были бы его рабами и что неограниченная власть феодальной тирании простиралась на соседнюю деревушку, где сейчас адвокат играет более видную роль, чем землевладелец.   
 Хоть я и понимаю всю серьезность этих возражений, однако должен сознаться, что они не кажутся мне решающими. Конечно, недостаток материала - трудно преодолимое препятствие, но кому же, как не д-ру Драйездасту, знать, что для тех, кто умеет хорошо читать и любить нашу старину, мелкие указания на нравы и обычаи наших предков разбросаны повсюду, в различных исторических трудах; конечно, они представляют совсем ничтожный процент по отношению ко всему содержанию этих сочинений, но все же, собранные вместе, они могут пролить свет на vie privee [5] наших предков. Конечно, сам я могу потерпеть неудачу в предпринятом труде. Однако я убежден, что более упорные поиски подходящего материала и более удачное использование найденного всегда обеспечат успех способному художнику, как это показывают труды доктора Генри, покойного мистера Стратта, а более всего мистера Шерона Тернера. И потому я заранее протестую против каких бы то ни было общих выводов в случае неудачи настоящего опыта.   
 Но повторяю: если мне удастся нарисовать правдивую картину старых английских нравов, я хочу надеяться, что добродушие и здравый смысл моих соотечественников обеспечат мне благоприятный прием.   
 Ответив, насколько было возможно, на Ваши первые возражения или по крайней мере высказав твердое намерение преодолеть все трудности, о которых Вы меня предупреждали, я хочу сказать несколько слов о том, что более непосредственно относится к моему произведению. Вы, по-видимому, придерживаетесь мнения, что сама профессия исследователя старины, занимающегося трудными и, как принято утверждать, кропотливыми и мелочными изысканиями, делает его неспособным создать занимательный рассказ из этого материала. Разрешите мне сказать, дорогой доктор, что это возражение имеет скорее формальный характер, нежели касается существа дела. Конечно, подобные легкомысленные произведения не гармонируют со строгим умонастроением нашего друга мистера Олдбока. Однако Гораций Уолпол сумел написать леденящий кровь рассказ о нечистой силе, а Джорджу Эллису удалось вложить живое очарование юмора, столь же восхитительного, как и своеобразного, в свои переложения древних стихотворений. Так что если мне придется пожалеть о своей смелости, я могу сослаться в свое оправдание на уважаемых предшественников.   
 Все же строгий историк может подумать, что, перемешивая таким образом правду с вымыслом, я засоряю чистые источники истории современными измышлениями и внушаю подрастающему поколению ложное представление о веке, который описываю. Соглашаясь лишь в незначительной степени с справедливостью этих суждений, я попытаюсь противопоставить им следующие соображения.   
 Правда, я не могу, да и не пытаюсь, сохранить абсолютную точность даже в вопросе о костюмах, не говоря уже о таких более существенных моментах, как язык и нравы.   
 Но те же причины, которые не позволяют мне передавать диалоги моего романа на англосакском или франко-норманском языке или предложить его публике напечатанным шрифтом Кэкстона или Винкен де Ворда, мешают мне строго придерживаться рамок того времени, в котором происходит действие.   
 Для того чтобы пробудить в читателе хоть некоторый интерес, необходимо изложить избранную Вами тему языком и в манере той эпохи, в какую Вы живете. Ни одно произведение восточной литературы не пользовалось таким успехом, как первый перевод арабских сказок мистером Гэлландом: сохранив дикость восточного вымысла вместе с пышными восточными костюмами, он ввел в них простые чувства и естественные поступки героев, что сделало их интересными и понятными для всех; а в то же время он сократил растянутые эпизоды и однообразные рассуждения и отбросил бесконечные повторения арабского оригинала. Конечно, в таком виде рассказы меньше отзываются Востоком, но зато значительно больше соответствуют потребностям европейского рынка; благодаря этому они вызвали такое одобрение, какого никогда бы не заслужили, если бы по своей форме и стилю не были до известной степени приспособлены к чувствам и привычкам западных читателей. Учитывая вкусы толпы, которая, я надеюсь, с жадностью набросится на эту книгу, я постарался в такой мере переложить старые нравы на язык современности и так подробно развить характеры и чувства моих героев, чтобы современный читатель не испытывал никакого утомления от сухого изображения неприкрашенной старины. Но я считаю, что, приспособляясь к этим вкусам, я не превысил здесь прав и полномочий автора художественного произведения.   
 Талантливый писатель - покойный мистер Стратт в своем романе "Куинху-холл" действовал по другому принципу: противопоставляя старину современности, он, казалось, совершенно забыл о нравах и чувствах, общих как для наших предков, так и для нас самих - частью полученных нами по наследству, частью же в такой мере общечеловеческих по своей природе, что их существование во все эпохи не подлежит никакому сомнению. Исключив из своей работы все, что недостаточно старо, чтобы быть чуждым и забытым, этот человек, обладавший огромной эрудицией и талантом, тем самым лишил свое произведение значительной доли общедоступности. Права художника на некоторую вольность в обращении с материалом, которые я отстаиваю, настолько важны для успешного осуществления моего замысла, что я буду умолять Вас терпеливо выслушать мои дальнейшие доказательства.   
 Тот, кто впервые открывает сочинения Чосера или какого-нибудь другого старого поэта, до такой степени пугается при виде устарелого правописания бесчисленных согласных и старого языка вообще, что в отчаянии откладывает эту книгу, как слишком загроможденную обломками древних развалин и потому чересчур трудную для понимания ее достоинства и восприятия ее красот. Но если умный и образованный друг укажет ему, что пугающие его трудности только кажущиеся, если он прочтет это произведение вслух, если он заменит старинное правописание знакомых слов современным, - он докажет своему ученику, что, быть может, только одна десятая слов в этой книге действительно вышла из употребления. Таким образом, начинающего легко будет уговорить подойти к "источнику чисто английского" с полной уверенностью, что при небольшом терпении он вскоре сможет наслаждаться тем юмором и пафосом, которыми старый Джефри восхищал век Кресси и Пуатье.   
 Пойдем дальше. Предположим, что наш неофит в своем новоявленном увлечении древностью попытается подражать тому, что вызывает его восхищение; он поступит крайне неразумно, если извлечет из словаря устарелые слова и будет пользоваться ими вместо слов и выражений, употребительных в наши дни. Именно такие ошибки нередко совершал Чаттертон. Стараясь придать своему языку старинный характер, он отбросил все современные слова и создал наречие, не имевшее ничего общего ни с одним из тех, на которых когда-либо говорили в Великобритании. Тот, кто хочет подражать старинному языку, должен уловить общий характер его грамматических форм, выражений, оборотов, принципов сочетания слов, а отнюдь не изощряться в выискивании редкостных и устарелых слов. Как я уже говорил, в произведениях старых авторов устаревшие слова встречаются гораздо реже, чем слова, до сих пор употребительные, но взятые с измененным значением и с иной орфографией. Отношение между ними равно приблизительно одному к десяти.   
 Все, что я говорил о языке, тем более применимо для изображения чувств и нравов. Важнейшие человеческие страсти во всех своих проявлениях, а также и источники, которые их питают, общи для всех сословий, состояний, стран и эпох; отсюда с несомненностью следует, что хотя данное состояние общества влияет на мнения, образ мыслей и поступки людей, эти последние по самому своему существу чрезвычайно сходны между собой. Наши предки отличались от нас, конечно, не более, чем еврей отличается от христианина. "Разве у них нет рук, органов, членов тела, чувств, привязанностей, страстей? Разве не та же самая пища насыщает его, разве не то же оружие ранит его, разве он не подвержен тем же недугам, разве не те же лекарства исцеляют его, разве не согревают и не студят его те же лето и зима, как и христианина?" Поэтому их чувства и страсти по своему характеру и по своей напряженности приближаются к нашим. И когда автор приступает к роману или другому художественному произведению, вроде того, какое я решился написать, то оказывается, что материал, которым он располагает, как языковой, так и исторически-бытовой, в такой же мере принадлежит современности, как и эпохе, избранной им для изображения. Это обстоятельство предоставляет автору свободу выбора и облегчает его задачу в большей мере, чем кажется на первый взгляд. Возьмем пример из области смежного искусства. Можно сказать, что в картинах антикварные детали придают ландшафту специфические черты. Феодальный замок должен возвышаться во всем своем величии, художник должен изображать людей в костюмах и позах, свойственных эпохе; местность, которую художник избрал для изображения, должна быть передана со всеми своими особенностями, с возвышающимися утесами или стремительным падением водопада. Колорит также должен отличаться естественностью. Небо должно быть ясным или облачным, соответственно климату, а краски именно теми, которые преобладают в самой натуре.   
 В этих пределах законы искусства вынуждают художника строго следовать природе. Но вовсе не обязательно, чтобы он погружался в воспроизведение мельчайших черт оригинала, чтобы он с совершенной точностью изображал траву, цветы и деревья, украшающие местность. Все это, так же как и детали распределения света и тени, принадлежит любому месту действия, естественно для любой страны и потому может быть подсказано личными вкусами и пристрастиями художника.   
 Правда, этот произвол всегда строго ограничен. Художник должен избегать всех тех красивых подробностей, которые не соответствуют климатическим или географическим особенностям изображаемого пейзажа: не следует сажать кипарисы на Меррейских островах или шотландские ели среди развалин Персеполиса; такого же рода ограничениям подлежит и писатель. Писатель может себе позволить обрисовать чувства и страсти своих героев гораздо подробнее, чем это имеет место в старинных хрониках, которым он подражает, но, как бы далеко он тут ни зашел, он не должен вводить ничего не соответствующего нравам эпохи; его рыцари, лорды, оруженосцы и иомены могут быть изображены более подробно и живо, нежели в сухом и жестком рассказе старинной иллюстрированной рукописи, но характер и внешнее обличье эпохи должны оставаться неприкосновенными; все эти фигуры должны остаться теми же, но только нарисованными более искусным карандашом или, чтобы быть скромнее, должны соответствовать требованиям эпохи с более развитым пониманием задач искусства. Язык не должен быть сплошь устарелым и неудобным, но он, по возможности, должен избегать оборотов явно новейшего происхождения. Одно дело - вводить в произведение слова и чувства, общие у нас с нашими предками, другое дело - наделять предков речью и чувствами, свойственными исключительно их потомкам.   
 Именно это, дорогой друг, оказалось самой трудной частью моей задачи; и, откровенно говоря, я почти не имею надежды Вас удовлетворить; ведь я едва кажусь приемлемым для самого себя, тогда как Ваши суждения гораздо менее пристрастны, а Ваши познания в области истории гораздо обширнее моих. Полагаю, что поведение и внешний облик моих героев заслужат немало упреков со стороны лиц, расположенных строго разбирать мою повесть, учитывая нравы того времени, когда жили ее герои. Возможно, что я ввел мало таких бытовых черт и поступков, которые можно было бы назвать явно современными; но, с другой стороны, весьма возможно, что я смешал нравы двух или трех столетий и приписал царствованию Ричарда I явления, имевшие место либо гораздо раньше, либо значительно позже изображенного мною времени. Я утешаюсь тем, что ошибки такого рода ускользнут от внимания среднего читателя, и что я смогу разделить незаслуженный успех с теми архитекторами, которые, без всякой системы и правил, не задумываясь вводили в модную готику орнаменты, свойственные различным стилям и различным периодам искусства. Те же читатели, которым их обширные научные изыскания позволят строго судить мои промахи, проявят известную снисходительность именно в силу своего понимания всей трудности моей задачи. Мой почтенный, но находящийся в пренебрежении друг Ингульфус доставил мне много ценных указаний; но свет, излучаемый Кройдонским монахом и Джефри де Винсау, затемнен таким нагромождением неинтересного и неудобопонятного материала, что я с радостью обратился за помощью к страницам любезного Фруассара, хотя он и процветал в эпоху, весьма отдаленную от описываемых мною событий. Но если, дорогой друг. Вы все же будете достаточно великодушны, чтобы простить мне самонадеянную попытку сплести себе венок менестреля частью из чистейших жемчужин древности, частью из бристольских подделок, которыми я пытался подменить настоящие, я убежден, что Ваше понимание трудностей моей задачи примирит Вас с несовершенством ее выполнения. О материалах мне остается сказать немного: они все содержатся в одной англо-норманской рукописи; сэр Артур Уордор ревностно хранит ее в третьем ящике своего дубового стола; он никому не позволяет к ней прикоснуться, сам же не в силах прочесть из нее ни одного слова. Во время моего пребывания в Шотландии я никогда не получил бы разрешения надолго углубиться в эти драгоценные страницы, если бы не обещал отметить ее каким-нибудь необыкновенным шрифтом под именем "рукопись Уордора", выделив ее тем самым из всех других и придав ей такую же значительность, какой обладают рукописи Бэннетайн, Окинлек и другие памятники терпения средневековых переписчиков. Я послал Вам для ознакомления оглавление этой любопытной вещи, которое я с Вашего разрешения приложу к третьему тому моего романа, если только дьявол книгопечатания все еще не будет удовлетворен после набора всего моего произведения.   
 Прощайте, дорогой друг, я сказал достаточно для того, чтобы объяснить, если не оправдать, мою попытку. Несмотря на Ваши сомнения и мою собственную неспособность, я все еще хочу надеяться, что эта попытка сделана мною не напрасно. Я надеюсь, что Вы уже оправились после весеннего припадка подагры, и буду счастлив, если Ваши ученые врачи посоветуют Вам поездку в здешние края. Недавно при раскопках возле стен древнего Габитанкума были найдены интересные древности. Кстати, Вы, вероятно, уже знаете, что грубый, неотесанный невежда уничтожил старинную статую или, вернее, барельеф, известный под названием Робина из Ридесдаля. По-видимому, слава Робина привлекала слишком много посетителей и помешала росту вереска на болоте, стоящем по шилингу за акр. - Достопочтенный сэр, - как Вы себя сами именуете, - будьте раз в жизни мстительны и молитесь вместе со мной, чтобы у этого человека появились камни в печени такой величины, как если бы все обломки бедного Робина скопились у него в этом органе. Не рассказывайте об этом в Гэте, не подавайте шотландцам повода радоваться тому, что наконец их соседи совершили поступок столь же варварский, как уничтожение Артуровой печи. Но нет конца сетованиям, когда речь заходит о таких вещах. Передайте мой почтительный привет мисс Драйездаст. Во время моего последнего пребывания в Лондоне я пытался подобрать по ее поручению очки; надеюсь, что она получила их в сохранности и что они оказались подходящими. Я посылаю это письмо с нарочным, и оно, вероятно, задержится в пути. По последним известим из Эдинбурга джентльмен, занимающий место секретаря Общества любителей шотландской старины, - лучший в королевстве любитель рисовальщик, и можно многого ожидать от его усердия и искусства в области реставрации образцов национальных памятников, либо разрушаемых медленным действием времени, либо сметенных духом современности при помощи той же разрушительной метлы, какой пользовался Джон Нокс во время реставрации.   
 Еще раз прощайте: vale tandem, non immemor mei [6]. Остаюсь, достопочтенный сэр, Вашим покорным слугой.   
 Лоренс Темплтон Топингвод, близ Эгремонта, Камберленд, 17 ноября 1817 года.

**Глава I**

Они беседовали той порой,   
 Когда стада с полей брели домой,   
 Когда, наевшись, но не присмирев,   
 Шли свиньи с визгом нехотя в свой хлев.   
 Поп, "Одиссея"   
  
 В той живописной местности веселой Англии, которая орошается рекою Дон, в давние времена простирались обширные леса, покрывавшие большую часть красивейших холмов и долин, лежащих между Шеффилдом и Донкастером. Остатки этих огромных лесов и поныне видны вокруг дворянских замков Уэнтворт, Уорнклиф-парк и близ Ротерхема. По преданию, здесь некогда обитал сказочный уонтлейский дракон; здесь происходили ожесточенные битвы во время междоусобных войн Белой и Алой Розы; и здесь же в старину собирались ватаги тех отважных разбойников, подвиги и деяния которых прославлены в народных песнях.   
 Таково главное место действия нашей повести, по времени же - описываемые в ней события относятся к концу царствования Ричарда I, когда возвращение короля из долгого плена казалось желанным, но уже невозможным событием отчаявшимся подданным, которые подвергались бесконечным притеснениям знати. Феодалы, получившие непомерную власть в царствование Стефана, но вынужденные подчиняться королевской власти благоразумного Генриха II, теперь снова бесчинствовали, как в прежние времена; пренебрегая слабыми попытками английского государственного совета ограничить их произвол, они укрепляли свои замки, увеличивали число вассалов, принуждали к повиновению и вассальной зависимости всю округу; каждый феодал стремился собрать и возглавить такое войско, которое дало бы ему возможность стать влиятельным лицом в приближающихся государственных потрясениях.   
 Чрезвычайно непрочным стало в ту пору положение мелкопоместных дворян, или, как их тогда называли, Франклинов, которые, согласно букве и духу английских законов, должны были бы сохранять свою независимость от тирании крупных феодалов. Франклины могли обеспечить себе на некоторое время спокойное существование, если они, как это большей частью и случалось, прибегали к покровительству одного из влиятельных вельмож их округи, или входили в его свиту, или же обязывались по соглашениям о взаимной помощи и защите поддерживать феодала в его военных предприятиях; но в этом случае они должны были жертвовать своей свободой, которая так дорога сердцу каждого истого англичанина, и подвергались опасности оказаться вовлеченными в любую опрометчивую затею их честолюбивого покровителя. С другой стороны, знатные бароны, располагавшие могущественными и разнообразными средствами притеснения и угнетения, всегда находили предлог для того, чтобы травить, преследовать и довести до полного разорения любого из своих менее сильных соседей, который попытался бы не признать их власти и жить самостоятельно, думая, что его безопасность обеспечена лояльностью и строгим подчинением законам страны.   
 Завоевание Англии норманским герцогом Вильгельмом значительно усилило тиранию феодалов и углубило страдания низших сословий. Четыре поколения не смогли смешать воедино враждебную кровь норманнов и англосаксов или примирить общностью языка и взаимными интересами ненавистные друг другу народности, из которых одна все еще упивалась победой, а другая страдала от последствий своего поражения. После битвы при Гастингсе власть полностью перешла в руки норманских дворян, которые отнюдь не отличались умеренностью. Почти все без исключения саксонские принцы и саксонская знать были либо истреблены, либо лишены своих владений; невелико было и число мелких саксонских собственников, за которыми сохранились земли их отцов. Короли непрестанно стремились законными и противозаконными мерами ослабить ту часть населения, которая испытывала врожденную ненависть к завоевателям. Все монархи норманского происхождения оказывали явное предпочтение своим соплеменникам; охотничьи законы и другие предписания, отсутствовавшие в более мягком и более либеральном саксонском уложении, легли на плечи побежденных, еще увеличивая тяжесть и без того непосильного феодального гнета.   
 При дворе и в замках знатнейших вельмож, старавшихся ввести у себя великолепие придворного обихода, говорили исключительно по-нормано-французски; на том же языке велось судопроизводство во всех местах, где отправлялось правосудие. Словом, французский язык был языком знати, рыцарства и даже правосудия, тогда как несравненно более мужественная и выразительная англосаксонская речь была предоставлена крестьянам и дворовым людям, не знавшим иного языка.   
 Однако необходимость общения между землевладельцами и порабощенным народом, который обрабатывал их землю, послужила основанием для постепенного образования наречия из смеси французского языка с англосаксонским, говоря на котором, они могли понимать друг друга. Так мало-помалу возник английский язык настоящего времени, заключающий в себе счастливое смешение языка победителей с наречием побежденных и с тех пор столь обогатившийся заимствованиями из классических и так называемых южноевропейских языков.   
 Я счел необходимым сообщить читателю эти сведения, чтобы напомнить ему, что хотя история англосаксонского народ после царствования Вильгельма II не отмечена никакими значительными событиями вроде войн или мятежей, все же раны, нанесенные завоеванием, не заживали вплоть до царствования Эдуарда III. Велики национальные различия между англосаксами и их победителями; воспоминания о прошлом и мысли о настоящем бередили эти раны и способствовали сохранению границы, разделяющей потомков победоносных норманнов и побежденных саксов.   
 Солнце садилось за одной из покрытых густой травою просек леса, о котором уже говорилось в начале этой главы. Сотни развесистых, с невысокими стволами и широко раскинутыми ветвями дубов, которые, быть может, были свидетелями величественного похода древнеримского войска, простирали свои узловатые руки над мягким ковром великолепного зеленого дерна. Местами к дубам примешивались бук, остролист и подлесок из разнообразных кустарников, разросшихся так густо, что они не пропускали низких лучей заходящего солнца; местами же деревья расступались, образуя длинные, убегающие вдаль аллеи, в глубине которых теряется восхищенный взгляд, а воображение создает еще более дикие картины векового леса. Пурпурные лучи заходящего солнца, пробиваясь сквозь листву, отбрасывали то рассеянный и дрожащий свет на поломанные сучья и мшистые стволы, то яркими и сверкающими пятнами ложились на дерн. Большая поляна посреди этой просеки, вероятно, была местом, где друиды совершали свои обряды. Здесь возвышался холм такой правильной формы, что казался насыпанным человеческими руками; на вершине сохранился неполный круг из огромных необделанных камней. Семь из них стояли стоймя, остальные были свалены руками какого-нибудь усердного приверженца христианства и лежали частью поблизости от прежнего места, частью - по склону холма. Только один огромный камень скатился до самого низа холма, преградив течение небольшого ручья, пробивавшегося у подножия холма, - он заставлял чуть слышно рокотать его мирные и тихие струи.   
 Два человека оживляли эту картину; они принадлежали, судя по их одежде и внешности, к числу простолюдинов, населявших в те далекие времена лесной район западного Йоркшира. Старший из них был человек угрюмый и на вид свирепый. Одежда его состояла из одной кожаной куртки, сшитой из дубленой шкуры какого-то зверя, мехом вверх; от времени мех так вытерся, что по немногим оставшимся клочкам невозможно было определить, какому животному он принадлежал. Это первобытное одеяние покрывало своего хозяина от шеи до колен и заменяло ему все части обычной одежды. Ворот был так широк, что куртка надевалась через голову, как наши рубашки или старинная кольчуга. Чтобы куртка плотнее прилегала к телу, ее перетягивал широкий кожаный пояс с медной застежкой. К поясу была привешена с одной стороны сумка, с другой - бараний рог с дудочкой. За поясом торчал длинный широкий нож с роговой рукояткой; такие ножи выделывались тут же, по соседству, и были известны уже тогда под названием шеффилдских. На ногах у этого человека были башмаки, похожие на сандалии, с ремнями из медвежьей кожи, а более тонкие и узкие ремни обвивали икры, оставляя колени обнаженными, как принято у шотландцев. Голова его была ничем не защищена, кроме густых спутанных волос, выцветших от солнца и принявших темно-рыжий, ржавый оттенок и резко отличавшихся от светло-русой, скорей даже янтарного цвета, большой бороды. Нам остается только отметить одну очень любопытную особенность в его внешности, но она так примечательна, что нельзя пропустить ее без внимания: это было медное кольцо вроде собачьего ошейника, наглухо запаянное на его шее. Оно было достаточно широко для того, чтобы не мешать дыханию, но в то же время настолько узко, что снять его было невозможно, только распилив пополам. На этом своеобразном воротнике было начертано саксонскими буквами:   
 "Гурт, сын Беовульфа, прирожденный раб Седрика Ротервудского".   
 Возле свинопаса (ибо таково было занятие Гурта) на одном из поваленных камней друидов сидел человек, который выглядел лет на десять моложе первого. Наряд его напоминал одежду свинопаса, но отличался некоторой причудливостью и был сшит из лучшего материала. Его куртка была выкрашена в ярко-пурпурный цвет, а на ней намалеваны какие-то пестрые и безобразные узоры. Поверх куртки был накинут непомерно широкий и очень короткий плащ из малинового сукна, изрядно перепачканного, отороченный ярко-желтой каймой. Его можно было свободно перекинуть с одного плеча на другое или совсем завернуться в него, и тогда он падал причудливыми складками, драпируя его фигуру. На руках у этого человека были серебряные браслеты, а на шее - серебряный ошейник с надписью: "Вамба, сын Безмозглого, раб Седрика Ротервудского". Он носил такие же башмаки, что и его товарищ, но ременную плетенку заменяло нечто вроде гетр, из которых одна была красная, а другая желтая. К его шапке были прикреплены колокольчики величиной не более тех, которые подвязывают охотничьим соколам; каждый раз, когда он поворачивал голову, они звенели, а так как он почти ни одной минуты не оставался в покое, то звенели они почти непрерывно. Твердый кожаный околыш этой шапки был вырезан по верхнему краю зубцами и сквозным узором, что придавало ему сходство с короной пэра; изнутри к околышу был пришит длинный мешок, кончик которого свешивался на одно плечо, подобно старомодному ночному колпаку, треугольному ситу или головному убору современного гусара. По шапке с колокольчиками, да и самой форме ее, а также по придурковатому и в то же время хитрому выражению лица Вамбы можно было догадаться, что он один их тех домашних клоунов или шутов, которых богатые люди держали для потехи в своих домах, чтобы как-нибудь скоротать время" по необходимости проводимое в четырех стенах.   
 Подобно своему товарищу, он носил на поясе сумку, но ни рога, ни ножа у него не было, так как предполагалось, вероятно, что он принадлежит к тому разряду человеческих существ, которым опасно давать в руки колющее или режущее оружие. Взамен всего этого у него была деревянная шпага наподобие той, которой арлекин на современной сцене производит свои фокусы.   
 Выражение лица и поведение этих людей было не менее различно, чем их одежда. Лицо раба или крепостного было угрюмо и печально; судя по его унылому виду, можно было подумать, что его мрачность делает его ко всему равнодушным, но огонь, иногда загоравшийся в его глазах, говорил о таившемся в нем сознании своей угнетенности и о стремлении к сопротивлению. Наружность Вамбы, напротив того, обличала присущее людям этого рода рассеянное любопытство, крайнюю непоседливость и подвижность, а также полное довольство своим положением и своей внешностью. Они вели беседу на англосаксонском наречии, на котором, как уже говорилось раньше, в ту пору изъяснялись в Англии все низшие сословия, за исключением норманских воинов и ближайшей свиты феодальных владык. Однако приводить их разговор в оригинале было бы бесполезно для читателя, незнакомого с этим диалектом, а потому мы позволим себе привести его в дословном переводе.   
 - Святой Витольд, прокляни ты этих чертовых свиней! - проворчал свинопас после тщетных попыток собрать разбежавшееся стадо пронзительными звуками рога. Свиньи отвечали на его призыв не менее мелодичным хрюканьем, однако нисколько не спешили расстаться с роскошным угощением из буковых орехов и желудей или покинуть топкие берега ручья, где часть стада, зарывшись в грязь, лежала врастяжку" не обращая внимания на окрики своего пастуха.   
 - Разрази их, святой Витольд! Будь я проклят, если к ночи двуногий волк не задерет двух-трех свиней". Сюда, Фанге! Эй, Фанге! - закричал он во весь голос мохнатой собаке, не то догу, не то борзой, не то помеси борзой с шотландской овчаркой. Собака, прихрамывая, бегала кругом и, казалось, хотела помочь своему хозяину собрать непокорное стадо.   
 Но то ли не понимая знаков, подаваемых свинопасом, то ли забыв о своих обязанностях, то ли по злому умыслу, пес разгонял свиней в разные стороны, тем самым увеличивая беду, которую он как будто намеревался исправить.   
 - А, чтоб тебе черт вышиб зубы! - ворчал Гурт. - Провалиться бы этому лесничему. Стрижет когти нашим собакам, а после они никуда не годятся. Будь другом, Вамба, помоги. Зайди с той стороны холма и пугни их оттуда. За ветром они сами пойдут домой, как ягнята.   
 - Послушай, - сказал Вамба, не трогаясь с места. - Я уже успел посоветоваться по этому поводу со своими ногами: они решили, что таскать мой красивый наряд по трясине было бы с их стороны враждебным актом против моей царственной особы и королевского одеяния. А потому, Гурт, вот что я скажу тебе: покличь-ка Фангса, а стадо предоставь его судьбе. Не все ли равно, повстречаются ли твои свиньи с отрядом солдат, или с шайкой разбойников, или со странствующими богомольцами! Ведь к утру свиньи все равно превратятся в норманнов, и притом к твоему же собственному удовольствию и облегчению.   
 - Как же так - свиньи, к моему удовольствию и облегчению, превратятся в норманнов? - спросил Гурт. - Ну-ка, объясни. Голова у меня тупая, а на уме одна досада и злость. Мне не до загадок.   
 - Ну, как называются эти хрюкающие твари на четырех ногах? - спросил Вамба.   
 - Свиньи, дурак, свиньи, - отвечал пастух. - Это всякому дураку известно.   
 - Правильно, "суайн" - саксонское слово. А вот как ты назовешь свинью, когда она зарезана, ободрана, и рассечена на части, и повешена за ноги, как изменник?   
 - Порк, - отвечал свинопас.   
 - Очень рад, что и это известно всякому дураку, - заметил Вамба. - А "порк", кажется, нормано-французское слово. Значит, пока свинья жива и за ней смотрит саксонский раб, то зовут ее по-саксонски; но она становится норманном и ее называют "порк", как только она попадает в господкий замок и является на пир знатных особ. Что ты об этом думаешь, друг мой Гурт?   
 - Что правда, то правда, друг Вамба. Не знаю только, как эта правда попала в твою дурацкую башку.   
 - А ты послушай, что я тебе скажу еще, - продолжал Вамба в том же духе. - Вот, например, старый наш олдермен бык: покуда его пасут такие рабы, как ты, он носит свою саксонскую кличку "оке", когда же он оказывается перед знатным господином, чтобы тот его отведал, бык становится пылким и любезным французским рыцарем Биф. Таким же образом и теленок - "каф" - делается мосье де Во: пока за ним нужно присматривать - он сакс, но когда он нужен для наслаждения - ему дают норманское имя.   
 - Клянусь святым Дунстаном, - отвечал Гурт, - ты говоришь правду, хоть она и горькая. Нам остался только воздух, чтобы дышать, да и его не отняли только потому, что иначе мы не выполнили бы работу, наваленную на наши плечи. Что повкусней да пожирнее, то к их столу; женщин покрасивее - на их ложе; лучшие и храбрейшие из нас должны служить в войсках под началом чужеземцев и устилать своими костями дальние страны, а здесь мало кто остается, да и у тех нет ни сил, ни желания защищать несчастных саксов. Дай бог здоровья нашему хозяину Седрику за то, что он постоял за нас, как подобает мужественному воину; только вот на днях прибудет в нашу сторону Реджинальд Фрон де Беф, тогда и увидим, чего стоят все хлопоты Седрика... Сюда, сюда! - крикнул он вдруг, снова возвышая голос. - Вот так, хорошенько их. Фанге! Молодец, всех собрал в кучу.   
 - Гурт, - сказал шут, - по всему видно, что ты считаешь меня дураком, иначе ты не стал бы совать голову в мою глотку. Ведь стоит мне намекнуть Реджинальду Фрон де Бефу или Филиппу де Мальвуазену, что ты ругаешь норманнов, вмиг тебя вздернут на одно из этих деревьев. Вот и будешь качаться для острастки всем, кто вздумает поносить знатных господ.   
 - Пес! Неужели ты способен меня выдать? Сам же ты вызвал меня на такие слова! - воскликнул Гурт.   
 - Выдать тебя? Нет, - сказал шут, - так поступают умные люди, где уж мне, дураку... Но тише... Кто это к нам едет? - прервал он сам себя, прислушиваясь к конскому топоту, который раздавался уже довольно явственно.   
 - А тебе не все равно, кто там едет? - спросил Гурт, успевший тем временем собрать все свое стадо и гнавший его вдоль одной из сумрачных просек.   
 - Нет, я должен увидеть этих всадников, - отвечал Вамба. - Может быть, они едут из волшебного царства с поручением от короля Обсрона...   
 - Замолчи! - перебил его свинопас. - Охота тебе говорить об этом, когда тут под боком страшная гроза с громом и молнией. Послушай, какие раскаты. А дождь-то! Я в жизни не видывал летом таких крупных и отвесных капель. Посмотри, ветра нет, а дубы трещат и стонут, как в бурю. Помолчи-ка лучше, да поспешим домой, прежде чем налетит гроза! Ночь будет страшной.   
 Вамба, по-видимому, постиг всю силу этих доводов и последовал за своим товарищем, который взял длинный посох, лежавший возле него на траве, и пустился в путь. Этот новейший Эвмей торопливо шел к опушке леса, подгоняя с помощью Фангса пронзительно хрюкающее стадо.

**Глава II**

Монах был монастырский ревизор,   
 Наездник страстный, он любил охоту   
 И богомолье - только не работу,   
 И хоть таких аббатов и корят,   
 Но превосходный был бы он аббат:   
 Его конюшню вся округа знала,   
 Его уздечка пряжками бренчала,   
 Как колокольчики часовни той,   
 Доход с которой тратил он, как свой. [7]   
 Чосер   
  
 Конский топот все приближался, и, несмотря на увещевания и брань своего спутника, Вамба, которому не терпелось поскорее увидеть всадников, то и дело останавливался под разными предлогами: то рвал с высокого куста незрелые орехи, то заглядывался под проходившую мимо деревенскую девицу, и поэтому всадники довольно скоро настигли их.   
 Кавалькада состояла из десяти человек; двое, ехавшие впереди, были, по-видимому, важные особы, а остальные - их слуги. Сословие и звание одной из этих особ нетрудно было установить: это было, несомненно, духовное лицо высокого ранга. На нем была одежда монахафранцисканца, сшитая из прекрасной материи, что противоречило уставу этого ордена; плащ с капюшоном из самого лучшего фламандского сукна, ниспадая красивыми широкими складками, облекал его статную, хотя и немного полную фигуру.   
 Его лицо так же мало говорило о смирении, как и одежда - о презрении к мирской роскоши. Черты его лица были бы приятны, если бы глаза не блестели из-под нависших век тем лукавым эпикурейским огоньком, который изобличает осторожного сластолюбца. Впрочем, его профессия и положение приучили его так владеть собой, что при желании он мог придать своему лицу торжественность, хотя от природы оно выражало благодушие и снисходительность. Вопреки монастырскому уставу, равно как и эдиктам пап и церковных соборов, одежда его была роскошна: рукава плаща у этого церковного сановника были подбиты и оторочены дорогим мехом, а мантия застегивалась золотой пряжкой, и вся орденская одежда была столь изысканна и нарядна, как в наши дни платья красавиц квакерской секты: они сохраняют положенные им фасоны и цвета, но выбором материалов и их сочетанием умеют придать своему туалету кокетливость, свойственную светскому тщеславию.   
 Почтенный прелат ехал верхом на сытом, шедшем иноходью муле, сбруя которого была богато украшена, а уздечка, по тогдашней моде, увешана серебряными колокольчиками. В посадке прелата не было заметно монашеской неуклюжести - напротив, она отличалась грацией и уверенностью хорошего наездника. Казалось, что как ни приятна была спокойная иноходь мула, как ни роскошно его убранство, все же щеголеватый монах пользовался таким скромным средством передвижения только для переездов по большой дороге. Один из служителей-мирян, составлявших его свиту, вел в поводу превосходного испанского жеребца, на котором монах выезжал в торжественных случаях. В те времена купцы с величайшим для себя риском и бесконечными затруднениями вывозили из Андалузии таких лошадей, бывших в моде у богатых и знатных вельмож. Седло и сбруя на этом великолепном коне были покрыты длинной попоной, спускавшейся почти до самой земли и расшитой изображениями крестов и иных церковных эмблем. Другой служитель вел в поводу вьючного мула, нагруженного, вероятно, поклажей настоятеля; двое монахов того же ордена, но низших степеней, ехали позади всех, пересмеиваясь, оживленно разговаривая и не обращая никакого внимания на остальных всадников.   
 Спутником духовной особы был человек высокого роста, старше сорока лет, худощавый, сильный и мускулистый. Его атлетическая фигура вследствие постоянных упражнений, казалось, состояла из одних костей, мускуле" и сухожилий; видно было, что он перенес множество тяжелых испытаний и готов перенести еще столько же. На нем была красная шапка с меховой опушкой из тех, что французы зовут mortier за сходство ее формы со ступкой, перевернутой вверх дном. На лице его ясно выражалось желание вызвать в каждом встречном чувство боязливого почтения и страха. Очень выразительное, нервное лицо его с крупными и резкими чертами, загоревшее под лучами тропического солнца до негритянской черноты, в спокойные минуты казалось как бы задремавшим после взрыва бурных страстей, но надувшиеся жилы на лбу и подергивание верхней губы показывали, что буря каждую минуту может снова разразиться. Во взгляде его смелых, темных, проницательных глаз можно было прочесть целую историю об испытанных и преодоленных опасностях. У него был такой вид, точно ему хотелось вызвать сопротивление своим желаниям - только для того, чтобы смести противника с дороги, проявив свою волю и мужество. Глубокий шрам над бровями придавал еще большую суровость его лицу и зловещее выражение одному глазу, который был слегка задет тем же ударом и немного косил.   
 Этот всадник, так же как и его спутник, был одет в длинный монашеский плащ, но красный цвет этого плаща показывал, что всадник не принадлежит ни к одному из четырех главных монашеских орденов. На правом плече был нашит белый суконный крест особой формы. Под плащом виднелась несовместимая с монашеским саном кольчуга с рукавами и перчатками из мелких металлических колец; она была сделана чрезвычайно искусно и так же плотно и упруго прилегала к телу, как наши фуфайки, связанные из мягкой шерсти. Насколько позволяли видеть складки плаща, его бедра защищала такая же кольчуга; колени были покрыты тонкими стальными пластинками, а икры - металлическими кольчужными чулками. За поясом был заткнут большой обоюдоострый кинжал - единственное бывшее при нем оружие.   
 Ехал он верхом на крепкой дорожной лошади, очевидно для того, чтобы поберечь силы своего благородного боевого коня, которого один из оруженосцев вел позади. На коне было полное боевое вооружение; с одной стороны седла висел короткий бердыш с богатой дамасской насечкой, с другой - украшенный перьями шлем хозяина, его колпак из кольчуги и длинный обоюдоострый меч. Другой оруженосец вез, подняв вверх, копье своего хозяина; на острие копья развевался небольшой флаг с изображением такого же креста, какой был нашит на плаще. Тот же оруженосец держал небольшой треугольный щит, широкий вверху, чтобы прикрывать всю грудь, а книзу заостренный. Щит был в чехле из красного сукна, а поэтому нельзя было увидеть начертанный на нем девиз.   
 Вслед за этими двумя оруженосцами ехали еще двое слуг; темные лица, белые тюрбаны и особый покрой одежды изобличали в них уроженцев Востока. Вообще в наружности этого воина и его свиты было что-то дикое и чужеземное. Одежда его оруженосцев блистала роскошью, восточные слуги носили серебряные обручи на шеях и браслеты на полуобнаженных смуглых руках и ногах. Их одежда из шелка, расшитая узорами, указывала на знатность и богатство их господина и составляла в то же время резкий контраст с простотой его собственной военной одежды. Они были вооружены кривыми саблями с золотой насечкой на рукоятках и ножнах и турецкими кинжалами еще более тонкой работы. У каждого торчал при седле пучок дротиков фута в четыре длиною, с острыми стальными наконечниками. Этот род оружия был в большом употреблении у сарацин и поныне еще находит себе применение в военной игре, любимой восточными народами и называемой "эль-джерид". Лошади, на которых ехали слуги, были арабской породы; сухощавые, легкие, с упругим шагом, тонкогривые, они ничем не напоминали тех тяжелых и крупных жеребцов, которых разводили в Нормандии и Фландрии для воинов в полном боевом вооружении. Рядом с этим громадными животными арабские лошади казались изящной, легкой тенью.   
 - Необычный вид этой кавалькады возбудил любопытство не только Вамбы, но и его менее легкомысленного товарища. В монахе он тотчас узнал приора аббатства Жорво, известного по всей округе за большого любителя охоты, веселых пирушек, а также, если верить молве, и других мирских утех, еще менее совместимых с монашескими обетами.   
 Но в те времена не слишком строго относились к поведению монахов и священников, так что приор Эймер пользовался доброй славой среди соседей своего аббатства. Его веселый и вольный нрав и постоянная готовность даровать отпущение мелких прегрешений делали его любимцем всех местных дворян, титулованных и нетитулованных, со многими из которых он был в родстве, так как принадлежал к именитой норманской фамилии. Дамы в особенности были расположены относиться без излишней суровости к поведению человека, который не только являлся неизменным поклонником прекрасного пола, но и отличался умением прогонять смертельную скуку, слишком часто одолевавшую их в старинных покоях феодальных замков. Настоятель с азартом увлекался охотой, у него были лучшие соколы и борзые во всей северной округе, этим видом спорта он завоевал симпатии дворянской молодежи; с людьми почтенного возраста он разыгрывал другую роль, что отлично ему удавалось, когда это было нужно. Его поверхностная начитанность была достаточно велика, чтобы внушать окружающим невеждам почтение к его учености, а важная осанка и возвышенные рассуждения об авторитете церкви и духовенства поддерживали мнение о его святости. Даже простой народ, который всех строже судит поведение высших сословий, относился снисходительно к легкомыслию приора Эймера. Дело в том, что Эймер был очень щедр, а за милосердие, как известно, отпускается множество грехов. Большая часть монастырских доходов находилась в его полном распоряжении. Это давало ему возможность не только много тратить на свои прихоти, но и оказывать щедрую помощь соседним крестьянам. Если и случалось приору Эймеру с излишней пылкостью скакать на охоте или чересчур засиживаться на пиру, если кому-нибудь приходилось видеть, как на рассвете он пробирается через боковую калитку в стене своего аббатства, возвращаясь домой после свидания, продолжавшегося целую ночь, люди только пожимали плечами и примирялись с такими проступками настоятеля, вспоминая, что точно так же грешили и многие из его собратий, не искупая своих грехов теми качествами, какими отличался этот монах. Словом, приор Эймер был очень хорошо известен и нашим саксам. Они неуклюже поклонились ему и получили его благословение: "Benedicite, mes filz". [8]   
 Но диковинная внешность спутника Эймера и его свиты поразила воображение свинопаса и Вамбы так, что они не слыхали вопроса настоятеля, когда он осведомился, не знают ли они, где можно было бы остановиться на ночлег. Особенно удивила их полумонашеская-полувоенная одежда загорелого иностранца и странный наряд и невиданное вооружение его восточных слуг. Очень вероятно также, что для слуха саксонских крестьян неприятен был язык, на котором было им преподано благословение и задан вопрос, хотя они и понимали, что это значит.   
 - Я вас спрашиваю, дети мои, - повторил настоятель, возвысив голос и перейдя на тот диалект, на котором объяснялись между собой норманны и саксы, - нет ли по соседству доброго человека, который из любви к богу и по усердию к святой нашей матери-церкви оказал бы на нынешнюю ночь гостеприимство и подкрепил бы силы двух смиреннейших ее служителей и их спутников? - Несмотря на внешнюю скромность этих слов, он произнес их с большой важностью.   
 "Двое смиреннейших служителей матери-церкви! Хотел бы я поглядеть, какие же у нее бывают дворецкие, кравчие и иные старшие слуги", - подумал про себя Вамба, однако же, хотя и слыл дураком, остерегся произнести свою мысль вслух.   
 Сделав мысленно такое примечание к речи приора, он поднял глаза и ответил:   
 - Если преподобным отцам угодны сытные трапезы и мягкие постели, то в нескольких милях отсюда находится Бринксвортское аббатство, где им, по их сану, окажут самый почетный прием; если же они предпочтут провести вечер в покаянии, то вон та лесная тропинка доведет их прямехонько до пустынной хижины в урочище Копменхерст, где благочестивый отшельник приютит их под своей крышей и разделит с ними вечерние молитвы.   
 Но приор отрицательно покачал головой, выслушав оба предложения.   
 - Мой добрый друг, - сказал он, - если бы звон твоих бубенчиков не помутил твоего разума, ты бы знал, что Clericus clericum non decimal [9], то есть у нас, духовных лиц, не принято просить гостеприимства друг у друга, и мы обращаемся за этим к мирянам, чтобы дать им лишний случай послужить богу, оказывая, помощь его служителям.   
 - Я всего лишь осел, - отвечал Вамба, - и даже имею честь носить такие же колокольчики, как и мул вашего преподобия. Однако мне казалось, что доброта матери-церкви и ее служителей проявляется, как и у всех прочих людей, прежде всего к своей семье.   
 - Перестань грубить, нахал! - крикнул вооруженный всадник, сурово перебивая болтовню шута. - И укажи нам, если знаешь, дорогу к замку... Как вы назвали этого франклина, приор Эймер?   
 - Седрик, - отвечал приор, - Седрик Сакс... Скажи мне, приятель, далеко ли мы от его жилья и можешь ли ты показать нам дорогу?   
 - Найти дорогу будет трудновато, - отвечал Гурт, в первый раз вступая в беседу. - Притом у Седрика в доме рано ложатся спать.   
 - Ну, не мели пустяков! - сказал воин. - Могут и встать, чтобы принять таких путников, как мы. Нам не пристало унижаться и просить гостеприимства там, где мы вправе его требовать.   
 - Уж не знаю, - угрюмо сказал Гурт, - хорошо ли я сделаю, если укажу дорогу к дому моего господина таким людям, которые хотят требовать то, что другие рады получить из милости.   
 - Ты вздумал еще спорить со мной, раб! - воскликнул воин.   
 С этими словами он пришпорил свою лошадь, заставил ее круто повернуть и поднял хлыст, собираясь наказать дерзкого простолюдина.   
 Гурт метнул на него злобный и мстительный взгляд и с угрозой, хотя и нерешительно, схватился за нож; но в ту же минуту приор Эймер двинул своего мула вперед и, встав между воином и свинопасом, предупредил опасное столкновение.   
 - Нет, именем святой Марии прошу вас, брат Бриан, помнить, что вы теперь не в Палестине, где владычествовали над турецкими язычниками и неверными сарацинами; здесь, на нашем острове, мы не любим ударов и принимаем их только от святой церкви, которая карает любя... Скажи мне, доб- рый человек, - продолжал он, обращаясь к Вамбе и подкрепляя свою речь небольшой серебряной монетой, - как проехать к Седрику Саксу. Ты должен знать туда дорогу и обязан указать ее любому путнику, а тем более духовным лицам вроде нас.   
 - Право же, честной отец, - отвечал шут, - сарацинская голова вашего преподобного брата до того перепугала мою, что я позабыл дорогу домой... Не знаю даже, попаду ли и сам туда сегодня...   
 - Вздор! - сказал настоятель. - Коли захочешь, так вспомнишь. Этот преподобный собрат мой всю жизнь сражался с сарацинами за обладание гробом господним. Он принадлежит к ордену рыцарей Храма, о которых ты, может быть, слышал: он наполовину монах, наполовину воин.   
 - Если он хоть наполовину монах, - сказал шут, - то ему не пристало так неразумно обращаться с прохожими, если они замедлят с ответом на вопросы, до которых им нет дела.   
 - Ну, я прощаю тебя с тем условием, что ты покажешь мне дорогу к дому Седрика, - сказал аббат.   
 - Ладно, - отвечал Вамба. - Извольте, ваше преподобие, ехать по этой тропинке до того места, где увидите вросший в землю крест; от него едва одна верхушка виднеется, да и то не больше как на локоть вышиной. От этого креста в разные стороны идут четыре дороги. Но вы поверните влево, и надеюсь, что ваше преподобие достигнет ночлега прежде, чем разразится гроза.   
 Аббат поблагодарил мудрого советчика, и вся кавалькада, прмшпорив коней, поскакала с той быстротой, с какой люди спешат достигнуть ночлега, спасаясь от ночной бури.   
 Когда топот копыт замер в отдалении, Гурт сказал своему товарищу:   
 - Если преподобные отцы последуют твоему умному совету, вряд ли они доедут сегодня до Ротервуда.   
 - Да, - сказал шут ухмыляясь, - но зато они могут доехать до Шеффилда, коли им посчастливится, а для них и то хорошо. Не такой уж я плохой лесничий, чтоб указывать собакам, где залегла дичь, если не хочу, чтобы они ее задрали.   
 - Это ты хорошо сделал, - сказал Гурт. - Плохо будет, если Эймер увидит леди Ровену, а еще хуже, пожалуй, если Седрик поссорится с этим монахом, что легко может случиться. А мы с тобой - добрые слуги: будем только смотреть да слушать и помалкивать.   
 Возвратимся к обоим всадникам, которые вскоре оставили рабов Седрика далеко позади и вели беседу на нормано-французском языке, как и все тогдашние особы высшего сословия, за исключением тех немногих, которые еще гордились своим саксонским происхождением.   
 - Чего хотели эти наглецы, - спросил рыцарь Храма у аббата, - и почему вы не позволили мне наказать их?   
 - Но, брат Бриан, - отвечал приор, - один из них совсем дурак, и странно было бы требовать у него ответа за его глупости; что же касается другого грубияна, то он из породы тех неукротимых, свирепых дикарей, которые, как я вам не раз говорил, все еще встречаются среди потомков покоренных саксов: для них нет большего удовольствия, чем показывать при каждом удобном случае свою ненависть к победителям.   
 - Ну, вежливость я бы живо в них вколотил! - ответил храмовник. - С подобными людьми я умею обращаться. Наши турецкие пленные в своей неукротимой ярости кажутся страшнее самого Одина; однако, пробыв два месяца у меня в доме под руководством моего смотрителя за невольниками, они становились смирными, послушными, услужливыми и даже раболепными. Правда, сэр, с ними приходится постоянно остерегаться яда и кинжала, потому что они при каждом удобном случае охотно пускают в ход и то и другое.   
 - Но ведь у всякого народа свои обычаи и нравы, - возразил приор Эймер. - Прибей вы этого малого, мы так и не узнали бы дороги к дому Седрика; кроме того, если бы нам самим и удалось добраться туда, то Седрик непременно затеял бы с вами ссору из-за побоев, нанесенных его рабам. Помните, что я вам говорил: этот богатый франклин горд, вспыльчив, ревнив и раздражителен, он настроен против нашего дворянства и в ссоре даже со своими соседями - Реджинальдом Фрон де Бефом и Филиппом Мальвуазеном, которые шутить не любят. Он так крепко держится за права своего рода и так гордится тем, что происходит по прямой линии от Херварда, одного из знаменитых поборников семицарствия, что его не называют иначе, как Седрик Сакс. Он похваляется своим кровным родством с тем самым народом, от которого многие из его соплеменников охотно отрекаются, чтобы избегнуть - - vae victis [10] - бедствий, выпадающих на долю побежденного.   
 - Приор Эймер, - сказал храмовник, - вы большой любезник, знаток женской красоты и не хуже трубадуров знакомы со всем, что касается уставов любви; но эта хваленая Ровена должна быть поистине чудом красоты, чтобы вознаградить меня за снисходительность и терпение, которые мне придется проявить, чтобы снискать расположение такого мужлана и мятежника, каков, по вашим словам, ее отец Седрик.   
 - Седрик ей не отец, а только дальний родственник, - сказал аббат. - Она происходит из более знатного рода, чем он. Он сам напросился ей в опекуны и привязан к ней так, что и собственная дочь не была бы ему дороже. О красоте ее вы в скором времени сможете судить сами. И путь я буду еретиком, а не истинным сыном церкви, если белизна ее лица и величественное и вместе кроткое выражение голубых глаз не изгонят из вашей памяти черноволосых дев Палестины или гурий мусульманского рая.   
 - Ну, а если ваша прославленная красавица, - сказал храмовник, - окажется не так хороша, вы помните ваш заклад?   
 - Моя золотая цепь, - отвечал аббат, - а ваш заклад - десять бочек хиосского вина. Я могу считать их своими, словно они уже стоят в монастырском подвале под ключом у старого Дениса, моего келаря.   
 - Но вы предоставляете мне самому решение спора, - сказал рыцарь Храма, - и я проиграю только в том случае, если сознаюсь, что с троицына дня прошедшего года не видывал такой красивой девицы. Так ведь мы с вами уговорились? Ну, приор, прощайтесь со своей золотой цепью. Я надену ее поверх своего нагрудника на ристалище в Ашби де ля Зуш.   
 - Если выиграете честно, то и носите когда вам заблагорассудится, - сказал приор. - Я поверю вам на слово, как рыцарю и церковнику. А все-таки, брат, примите мой совет и будьте повежливей: ведь вам придется иметь дело не с пленными язычниками или восточными рабами. Седрик Сакс такой человек, что если сочтет себя оскорбленным - а он очень чувствителен к оскорблениям, - то не обратит внимания на ваше рыцарство, и мое высокое положение, и на наш священный сан и выгонит нас ночевать под открытое небо, хотя бы на дворе стояла полночь. И, кроме того, остерегайтесь слишком пристально смотреть на Ровену: он охраняет ее чрезвычайно ревниво. Если мы дадим ему малейший повод к опасениям с этой стороны, мы с вами пропали. Говорят, что он изгнал из дому единственного сына только за то, что тот дерзнул поднять влюбленные глаза на эту красавицу. По-видимому ей можно поклоняться только издали; приближаться же к ней разрешается лишь с такими мыслями, с какими мы подходим к алтарю пресвятой девы.   
 - Ну, так и быть, - отвечал храмовник, - постараюсь сдержаться и вести себя как скромная девица. Во всяком случае, не опасайтесь, что кто-нибудь посмеет выгнать нас из дому. Мы с моими оруженосцами и слугами, Аметом и Абдаллой, достаточно сильны, чтобы добиться хорошего приема.   
 - Ну, так далеко нам нельзя заходить... - отвечал приор. - Но вот и вросший в землю крест, о котором говорил нам шут. Однако ночь такая темная, что трудно различить дорогу. Он, кажется, сказал, что нужно повернуть влево.   
 - Нет, вправо, - сказал Бриан, - мне помнится, что вправо.   
 - Налево, конечно, налево. Я помню, что он именно налево указывал концом своей деревянной шпаги.   
 - Да, но шпагу-то он держал в левой руке и указывал поперек своего тела в противоположную сторону, - сказал храмовник.   
 Как это всегда бывает, каждый упрямо защищал свое мнение; спросили слуг, но свита все время держалась поодаль и потому не слыхала того, что говорил Вамба. Наконец Бриан, вглядывавшийся в темноту, заметил у подножия креста какую-то фигуру и сказал:   
 - Тут кто-то лежит: либо спящий, либо мертвый. Гуго, потрогай-ка его концом твоего копья.   
 Оруженосец не успел дотронуться до лежавшего, как тот вскочил, воскликнув на чистом французском языке:   
 - Кто бы ты ни был, но невежливо так прерывать мои размышления!   
 - Мы только хотели спросить тебя, - сказал приор, - как проехать в Ротсрвуд, к жилищу Седрика Сакса.   
 - Я сам иду в Ротервуд, - сказал незнакомец. - Будь у меня верховая лошадь, я бы проводил вас туда. Дорогу, хотя она и очень запутана, я знаю отлично.   
 - Мой друг, мы тебя поблагодарим и вознаградим, - сказал приор, - если ты проведешь нас к Седрику.   
 Аббат приказал одному из служителей уступить свою лошадь незнакомцу, а самому пересесть на своего испанского жеребца.   
 Проводник направился в сторону, как раз противоположную той, которую указал Вамба. Тропинка скоро углубилась в самую чащу леса, пересекая несколько ручьев с топкими берегами; переправляться через них было довольно рискованно, но незнакомец, казалось, чутьем выбирал самые сухие и безопасные места для переправы. Осторожно продвигаясь вперед, он вывел наконец отряд на широкую просеку, в конце которой виднелось огромное, неуклюжее строение.   
 Указав на него рукою, проводник сказал аббату:   
 - Вот Ротервуд, жилище Седрика Сакса.   
 Это известие особенно обрадовало Эймера, который обладал не очень крепкими нервами и во время переезда по топким низинам испытывал такой страх, что не имел ни малейшего желания разговаривать со своим проводником. Зато теперь, чувствуя себя в безопасности и недалеко от пристанища, он мигом оправился; любопытство его тотчас пробудилось, и приор спросил проводника, кто он такой и откуда.   
 - Я пилигрим и только что вернулся из Святой Земли, - отвечал тот.   
 - Лучше бы вы там и оставались воевать за обладание святым гробом, - сказал рыцарь Храма.   
 - Вы правы, достопочтенный господин рыцарь, - ответил пилигрим, которому наружность храмовника была, по-видимому, хорошо знакома. - Но что же удивляться, если простой поселянин вроде меня вернулся домой; ведь даже те, кто клялся посвятить всю жизнь освобождению святого города, теперь путешествуют вдали от тех мест, где они должны были бы сражаться согласно своему обету?   
 Храмовник уже собрался дать гневный ответ на эти слова, но аббат вмешался в разговор, выразив удивление, как это проводник, давно покинувший эти места, до сих пор еще так хорошо помнит все лесные тропинки.   
 - Я здешний уроженец, - отвечал проводник.   
 И в ту же минуту они очутились перед жилищем Седрика. Это было огромное, неуклюжее здание с несколькими внутренними дворами и оградами. Его размеры указывали на богатство хозяина, однако оно резко отличалось от высоких, обнесенных каменными стенами и защищенных зубчатыми башнями замков, где жили норманские дворяне; впоследствии эти дворянские жилища стали типичным архитектурным стилем во всей Англии.   
 Впрочем, и в Ротервуде имелась защита. В те смутные времена ни одно поместье не могло обойтись без укреплений, иначе оно немедленно было бы разграблено и сожжено. Вокруг всей усадьбы шел глубокий ров, наполненный водой из соседней речки. По обеим сторонам этого рва проходил двойной частокол из заостренных бревен, которые доставлялись из соседних лесов. С западной стороны в наружной ограде были сделаны ворота; подъемный мост вел от них к воротам внутренней ограды. Особые выступы по бокам ворот давали возможность обстреливать противника перекрестным огнем из луков и пращей.   
 Остановившись перед воротами, храмовник громко и нетерпеливо затрубил в рог. Нужно было торопиться, так как дождь, который так долго собирался, полил в эту минуту как из ведра.

**Глава III**

Тогда - о горе! - доблестный   
 Саксонец,   
 Золотокудрый и голубоглазый,   
 Пришел из края, где пустынный берег   
 Внимает реву Северного моря.   
 Томсон, "Свобода"   
  
 В просторном, но низком зале, на большом дубовом столе, сколоченном из грубых, плохо оструганных досок, приготовлена была вечерняя трапеза Седрика Сакса.   
 Комнату ничто не отделяло от неба, кроме крыши, крытой тесом и тростником и поддерживаемой крепкими стропилами и перекладинами.   
 В противоположных концах зала находились огромные очаги, их трубы были устроены так плохо, что большая часть дыма оставалась в помещении. От постоянной копоти бревенчатые стропила и перекладины под крышей были густо покрыты глянцевитой коркой сажи, как черным лаком. По стенам висели различные принадлежности охоты и боевого вооружения, а в углах зала были створчатые двери, которые вели в другие комнаты обширного дома.   
 Вся обстановка отличалась суровой саксонской простотой, которой гордился Седрик. Пол был сделан из глины с известью, сбитой в плотную массу, какую и поныне нередко можно встретить в наших амбарах. В одном конце зала пол был немного приподнят; на этом месте, называвшемся почетным помостом, могли сидеть только старшие члены семейства и наиболее уважаемые гости. Поперек помоста стоял стол, покрытый дорогой красной скатертью; от середины его вдоль нижней части зала тянулся другой, предназначенный для трапез домашней челяди и простолюдинов.   
 Все столы вместе имели сходство с формой буквы "Т" или с теми старинными обеденными столами, сделанными по тому же принципу, какие и теперь встречаются в старомодных колледжах Оксфорда и Кембриджа. Вокруг главного стола на помосте стояли крепкие стулья и кресла из резного дуба. Над помостом был устроен суконный балдахин, который до некоторой степени за- щищал сидевших там важных лиц от дождя, пробивавшегося сквозь плохую крышу.   
 Возле помоста на стенах висели пестрые, с грубым рисунком, драпировки, а пол был устлан таким же ярким ковром. Над длинным нижним столом, как мы уже говорили, совсем не было никакого потолка, не было ни балдахина, ни драпировок на грубо выбеленных стенах, ни ковра на глиняном полу; вместо стульев тянулись массивные скамьи.   
 У середины верхнего стола стояли два кресла повыше остальных, предназначавшиеся для хозяйки и хозяина, которые присутствовали и возглавля- ли все трапезы и потому носили почетное звание "Раздаватели хлеба". К каждому из этих кресел была подставлена скамеечка для ног, украшенная резьбой и узором из слоновой кости, что указывало на особое отличие тех, кому они принадлежали.   
 На одном из этих кресел сидел сейчас Седрик Сакс, нетерпеливо ожидая ужина. Хотя он был по своему званию не более как тан или, как называли его норманны, Франклин, однако всякое опоздание обеда или ужина приводило его в не меньшее раздражение, чем любого олдермена старого или нового времени.   
 По лицу Седрика было видно, что он человек прямодушный, нетерпеливый и вспыльчивый. Среднего роста, широкоплечий, с длинными руками, он отличался крепким телосложением человека, привыкшего переносить суровые лишения на войне или усталость на охоте. Голова его была правильной формы, зубы белые, широкое лицо с большими голубыми глазами дышало смелостью и прямотой и выражало такое благодушие, которое легко сменяется вспышками внезапного гнева. В его глазах блистали гордость и постоянная настороженность, потому что этот человек всю жизнь защищал свои права, посягательства на которые непрестанно повторялись, а его скорый, пылкий и решительный нрав всегда держал его в тревоге за свое исключительное положение. Длинные русые волосы Седрика, разделенные ровным пробором, шедшим от темени до лба, падали на плечи; седина едва пробивалась в них, хотя ему шел шестидесятый год.   
 На нем был кафтан зеленого цвета, отделанный у ворота и обшлагов серым мехом, который ценится ниже горностая и выделывается, как полагают, из шкурок серой белки. Кафтан не был застегнут, и под ним виднелась узкая, плотно прилегающая к телу куртка из красного сукна. Штаны из такого же материала доходили лишь до колен, оставляя голени обнаженными. Его обувь была той же формы, что и у его крестьян, но из лучшей кожи и застегивалась спереди золотыми пряжками. На руках он носил золотые браслеты, на шее - широкое ожерелье из того же драгоценного металла, вокруг талии - пояс, богато выложенный драгоценными камнями; к поясу был прикреплен короткий прямой двусторонний меч с сильно заостренным концом. За его креслом висели длинный плащ из красного сукна, отороченный мехом, и шапка с нарядной вышивкой, составлявшие обычный выходной костюм богатого землевладельца. К спинке его кресла была прислонена короткая рогатина с широкой блестящей стальной головкой, служившая ему во время прогулок вместо трости или в качестве оружия.   
 Несколько слуг, одежды которых были как бы переходными ступенями между роскошным костюмом хозяина и грубой простотой одежды свинопаса Гурта, смотрели в глаза своему властелину и ожидали его приказаний. Из них двое или трое старших стояли на помосте, за креслом Седрика, остальные держались в нижней части зала. Были тут слуги и другой породы: три мохнатые борзые собаки из тех, с которыми охотились в ту пору за волками и оленями; несколько огромных поджарых гончих и две маленькие собачки, которых теперь называют терьерами. Они с нетерпением ожидали ужина, но, угадывая своим особым собачьим чутьем, что хозяин не в духе, не решались нарушить его угрюмое молчание; быть может, они побаивались и белой дубинки, лежавшей возле его прибора и предназначенной для того, чтобы предупреждать назойливость четвероногих слуг. Один только страшный старый волкодав с развязностью избалованного любимца подсел поближе к почетному креслу и время от времени отваживался обратить на себя внимание хозяина, то кладя ему на колени свою большую лохматую голову, то тычась носом в его ладонь. Но даже и его отстраняли суровым окриком: "Прочь, Болдер, прочь! Не до тебя теперь!"   
 Дело в том, что Седрик, как мы уже заметили, был в дурном настроении. Леди Ровена, ездившая к вечерне в какую-то отдаленную церковь, только что вернулась домой и замешкалась у себя, меняя платье, промокшее под дождем. О Гурте не было ни слуху ни духу, хотя давно уже следовало пригнать стадо домой. Между тем времена стояли тревожные, и можно было опасаться, что стадо задержалось из-за встречи с разбойниками, которых в окрестных лесах было множество, или нападения какого-нибудь соседнего барона, настолько уверенного в своей силе, чтобы пренебречь чужой собственностью. А так как большая часть богатств саксонских помещиков заключалась именно в многочисленных стадах свиней, особенно в лесистых местностях, где эти животные легко находили корм, то у Седрика были основательные причины для беспокойства.   
 Вдобавок ко всему этому наш саксонский тан соскучился по любимому шуту Вамбе, который своими шутками приправлял вечернюю трапезу и придавал особый вкус вину и элю. Обычный час ужина Седрика давно миновал, а он ничего не ел с самого полудня, что всегда способно испортить настроение почтенному землевладельцу, как это нередко случается даже и в наше время. Он выражал свое неудовольствие отрывистыми замечаниями, то бормоча их про себя, то обращаясь к слугам, чаще всего к своему кравчему, подносившему ему для успокоения время от времени серебряный стаканчик с вином.   
 - Почему леди Ровена так замешкалась?   
 - Она сейчас придет, только переменит головной убор, - отвечала одна из женщин с той развязностью, " с какой любимая служанка госпожи обыкновенно разговаривает в наше время с главою семейства. - Вы же сами не захотите, чтобы она явилась к столу в одном чепце и в юбке, а уж ни одна дама в нашей округе не одевается скорее леди Ровены.   
 Такой неопровержимый довод как будто удовлетворил Сакса, который в ответ промычал что-то нечленораздельное, потом заметил:   
 - Дай бог, чтобы в следующий раз была бы ясная погода, когда она поедет в церковь святого Иоанна. Однако, - продолжал он, обращаясь к кравчему и внезапно повышая голос, словно обрадовавшись случаю сорвать свою досаду, не опасаясь возражений, - какого черта Гурт до сих пор торчит в поле? Того и гляди дождемся плохих вестей о нашем стаде. А ведь он всегда был старательным и осмотрительным слугой! Я уже подумывал дать ему лучшую должность - хотел даже назначить его одним из своих телохранителей.   
 Тут кравчий Освальд скромно осмелился заметить, что сигнал к тушению огней был подан не более часа тому назад. Это заступничество было малоудачным, потому что кравчий коснулся предмета, упоминание о котором было невыносимо для слуха Сакса.   
 - Дьявол бы побрал этот сигнальный колокол, - воскликнул Седрик, - и того мучителя, который его выдумал, да и безголового раба, который смеет говорить о нем по-саксонски саксонским же ушам!.. Сигнальный колокол, - продолжал он, помолчав. - Как же... Сигнальный колокол заставляет порядочных людей гасить у себя огонь, чтобы в темноте воры и разбойники могли легче грабить. Да, сигнальный колокол! Реджинальд Фрон де Беф и Филипп де Мальвуазен знают пользу сигнального колокола не хуже самого Вильгельма Ублюдка и всех прочих норманских проходимцев, сражавшихся под Гастингсом. Того и гляди услышу, что мое имущество отобрано, чтобы спасти от голодной смерти их разбойничью шайку, которую они могут содержать только грабежами. Мой верный раб убит, мое добро украдено, а Вамба... Где Вамба? Кажется, кто-то говорил, что и он ушел с Гуртом?   
 Освальд ответил утвердительно.   
 - Ну вот, час от часу не легче! Стало быть, и саксонского дурака тоже забрали служить норманскому лорду. Да и правда: все мы дураки, коли соглашаемся им служить и терпеть их насмешки; будь мы от рождения полоумными, и то у них было бы меньше оснований издеваться над нами. Но я отомщу! - воскликнул он, вскакивая с кресла и хватаясь за рогатину при одной мысли о воображаемой обиде. - Я подам жалобу в Главный совет - у меня есть друзья, есть и сторонники. Я вызову норманна на честный бой, как подобает мужчине. Пускай выступит в панцире, в кольчуге, во всех доспехах, придающих трусу отвагу. Мне случалось вот таким же дротиком пробивать ограды втрое толще их боевых щитов. Может, они считают меня стариком, но я им покажу, что, хотя я и одинок и бездетен, все-таки в жилах Седрика течет кровь Херварда! О Уилфред, Уилфред, - произнес он горестно, - если бы ты мог победить свою безрассудную страсть, твой отец не оставался бы на старости лет как одинокий дуб, простирающий свои поломанные и оголенные ветви навстречу налетающей буре!   
 Эти мысли, по-видимому, превратили его гнев в тихую печаль. Он отложил в сторону дротик, сел на прежнее место, понурил голову и глубоко задумался. Вдруг его размышления прервал громкий звук рога; в ответ на него все собаки в зале, да еще штук тридцать псов со всей усадьбы, подняли оглушительный лай и визг. Белой дубинке и слугам пришлось немало потрудиться, пока удалось утихомирить псов.   
 - Эй, слуги, ступайте же к воротам! - сказал Седрик, как только в зале поутихло и можно было расслышать его слова. - Узнайте, какие вести принес нам этот рог. Посмотрим, какие бесчинства и хищения учинены в моих владениях.   
 Минуты через три возвратившийся слуга доложил, что приор Эймер из аббатства Жорво и добрый рыцарь Бриан де Буагильбер, командор доблестного и досточтимого ордена храмовников, с небольшою свитой просят оказать им гостеприимство и дать ночлег на пути к месту турнира, назначенного неподалеку от Ашби де ла Зуш на послезавтра.   
 - Эймер? Приор Эймер? И Бриан де Буагильбер? - бормотал Седрик. - Оба норманны... Но это все равно, норманны они или саксы, - Ротервуд не должен отказать им в гостеприимстве. Добро пожаловать, раз пожелали здесь ночевать. Приятнее было бы, если б они проехали дальше. Но неприлично отказать путникам в ужине и ночлеге; впрочем, я надеюсь, что в качестве гостей и норманны будут держать себя поскромнее. Ступай, Гундиберт, - прибавил он, обращаясь к дворецкому, стоявшему за его креслом с белым жезлом в руке. - Возьми с собой полдюжины слуг и проводи приезжих в помещение для гостей. Позаботься об их лошадях и мулах и смотри, чтобы никто из их свиты ни в чем не терпел недостатка. Дай им переодеться, если пожелают, разведи огонь, подай воды для омовения, поднеси вина и эля. Поварам скажи, чтобы поскорее прибавили что-нибудь к нашему ужину, и вели подавать на стол, как только гости будут готовы. Скажи им, Гундиберт, что Седрик и сам бы вышел приветствовать их, но не может, потому что дал обет не отходить дальше трех шагов от своего помоста навстречу гостям, если они не принадлежат к саксонскому королевскому дому. Иди. Смотри, чтобы все было как следует: пусть эти гордецы не говорят потом, что грубиян Сакс показал себя жалким скупцом.   
 Дворецкий и несколько слуг ушли исполнять приказания хозяина, а Седрик обратился к кравчему Освальду и сказал:   
 - Приор Эймер... Ведь это, если не ошибаюсь, родной брат того самого Жиля де Мольверера, который ныне стал лордом Миддлгемом.   
 Освальд почтительно наклонил голову в знак согласия.   
 - Его брат занял замок и отнял земли и владения, принадлежавшие гораздо более высокому роду - роду Уилфгора Миддлгемского. А разве все норманские лорды поступают иначе? Этот приор, говорят, довольно веселый поп и предпочитает кубок с вином и охотничий рог колокольному звону и требнику. Ну, да что говорить. Пускай войдет, я приму его с честью. А как ты назвал того, храмовника?   
 - Бриан де Буагильбер.   
 - Буагильбер? - повторил в раздумье Седрик, как бы рассуждая сам с собой, как человек, который живет среди подчиненных и привык скорее обращаться к себе самому, чем к другим, - Буагильбер?.. Это имя известное. Много говорят о нем и доброго и худого. По слухам, это один из храбрейших рыцарей ордена Храма, но он погряз в обычных для них пороках: горд, дерзок, злобен и сластолюбив. Говорят, что это человек жестокосердый, что он не боится никого ни на земле, ни на небе. Так отзываются о нем те немногие воины, что воротились из Палестины. А впрочем, он переночует у меня только одну ночь; ничего, милости просим и его. Освальд, начни бочку самого старого вина; подай к столу лучшего меду, самого крепкого эля, самого душистого мората, шипучего сидра, пряного пигмента и налей самые большие кубки! Храмовники и аббаты любят добрые вина и большие кубки. Эльгита, доложи леди Ровене, что мы не станем сегодня ожидать ее выхода к столу, если только на то не будет ее особого желания.   
 - Сегодня у нее будет особое желание, - отвечала Эльгита без запинки, - последние новости из Палестины ей всегда интересно послушать.   
 Седрик метнул на бойкую служанку гневный взор. Однако леди Ровена и все, кто ей прислуживал, пользовались особыми привилегиями и были защищены от его гнева. Он сказал только:   
 - Придержи язык! Иди передай твоей госпоже мое поручение, и пусть она поступает как ей угодно. По крайней мере здесь внучка Альфреда может повелевать как королева.   
 Эльгита ушла из зала.   
 - Палестина! - проговорил Сакс. - Палестина... Сколько ушей жадно прислушивается к басням, которые приносят из этой роковой страны распутные крестоносцы и лицемерные пилигримы. И я бы мог спросить, и я бы мог осведомиться и с замирающим сердцем слушать сказки, которые рассказывают эти хитрые бродяги, втираясь в наши дома и пользуясь нашим гостеприимством... Но нет, сын, который меня ослушался, - не сын мне, и я забочусь о его судьбе не более, чем об участи самого недостойного из тех людишек, которые, пришивая себе на плечо крест, предаются распутству и убийствам да еще уверяют, будто так угодно богу.   
 Нахмурив брови, он опустил глаза и минуту сидел в таком положении. Когда же он снова поднял взгляд, створчатые двери в противоположном конце зала распахнулись настежь, и, предшествуемые дворецким с жезлом и четырьмя слугами с пылающими факелами, поздние гости вошли в зал.

**Глава IV**

Свиней, козлов, баранов кровь текла;   
 На мрамор туша брошена вола;   
 Вот мясо делят, жарят на огне,   
 И свет играет в розовом вине.   
 Без почестей Улисс на пир пришел:   
 Его в сторонке за треногий стол   
 Царевич усадил...   
 "Одиссея", книга 21   
  
 Аббат Эймер воспользовался удобным случаем, чтобы сменить костюм для верховой езды на еще более великолепный, поверх которого надел затейливо вышитую мантию. Кроме массивного золотого перстня, являвшегося знаком его духовного сана, он носил еще множество колец с драгоценными камнями, хотя это и запрещалось монастырским уставом, обувь его была из тончайшего испанского сафьяна, борода подстрижена так коротко, как только это допускалось его саном, темя прикрыто алой шапочкой с нарядной вышивкой.   
 Храмовник тоже переоделся - его костюм был тоже богат, хотя и не так старательно и замысловато украшен, но сам он производил более величественное впечатление, чем его спутник. Он снял кольчугу и вместо нее надел тунику из темно-красной шелковой материи, опушенную мехом, а поверх нее - длинный белоснежный плащ, ниспадавший крупными складками. Восьмиконечный крест его ордена, вырезанный из черного бархата, был нашит на белой мантии. Он снял свою высокую дорогую шапку: густые черные как смоль кудри, под стать смуглой коже, красиво обрамляли его лоб. Осанка и поступь, полные величавой грации, были бы очень привлекательны, если бы не надменное выражение лица, говорившее о привычке к неограниченной власти.   
 Вслед за почетными гостями вошли их слуги, а за ними смиренно вступил в зал и проводник, в наружности которого не было ничего примечательного, кроме одежды пилигрима. С ног до головы он был закутан в просторный плащ из черной саржи, который напоминал нынешние гусарские плащи с такими же висячими клапанами вместо рукавов и назывался склавэн, или славянский. Грубые сандалии, прикрепленные ремнями к обнаженным ногам, широкополая шляпа, обшитая по краям раковинами, окованный железом длинный посох с привязанной к верхнему концу пальмовой ветвью дополняли костюм паломника. Он скромно вошел позади всех и, видя, что у нижнего стола едва найдется место для прислуги Седрика и свиты его гостей, отошел к очагу и сел на скамейку под его навесом. Там он стал сушить свое платье, терпеливо дожидаясь, когда у стола случайно очистится для него место или дворецкий даст ему чего-нибудь поесть тут же у очага.   
 Седрик с величавой приветливостью встал навстречу гостям, сошел с почетного помоста и, ступив три шага им навстречу, остановился.   
 - Сожалею, - сказал он, - достопочтенный приор, что данный мною обет воспрещает мне двинуться далее навстречу даже таким гостям, как ваше преподобие и этот доблестный рыцарь-храмовник. Но мой дворецкий должен был объяснить вам причину моей кажущейся невежливости. Прошу вас также извинить, что буду говорить с вами на моем родном языке, и вас попрошу сделать то же, если вы настолько знакомы с ним, что это вас не затруднит; в противном случае я сам настолько разумею по-нормански, что разберу то, что вы пожелаете мне сказать.   
 - Обеты, - сказал аббат, - следует соблюдать, почтенный франклин, или, если позволите так выразиться, почтенный тан, хотя этот титул уже несколько устарел. Обеты суть те узы, которые связуют нас с небесами, или те вервии, коими жертва прикрепляется к алтарю; а потому, как я уже сказал, их следует держать и сохранять нерушимо, если только не отменит их святая наша матьцерковь. Что же касается языка, я очень охотно объяснюсь на том наречии, на котором говорила моя покойная бабушка Хильда Миддлгемская, блаженная кончина которой была весьма сходна с кончиною ее достославной тезки, если позволительно так выразиться, блаженной памяти святой и преподобной Хильды в аббатстве Витби - упокой боже ее душу!   
 Когда приор кончил эту речь, произнесенную с самыми миролюбивыми намерениями, храмовник сказал отрывисто и внушительно:   
 - Я всегда говорил по-французски, на языке короля Ричарда и его дворян; но понимаю английский язык настолько, что могу объясниться с уроженцами здешней страны.   
 Седрик метнул на говорившего один из тех нетерпеливых взоров, которыми почти всегда встречал всякое сравнение между нациями-соперницами; но, вспомнив, к чему его обязывали законы гостеприимства, подавил свой гнев и движением руки пригласил гостей сесть на кресла пониже его собственного, но рядом с собою, после чего велел подавать кушанья.   
 Прислуга бросилась исполнять приказание, и в это время Седрик увидел свинопаса Гурта и его спутника Вамбу, которые только что вошли в зал.   
 - Позвать сюда этих бездельников! - нетерпеливо крикнул Седрик.   
 Когда провинившиеся рабы подошли к помосту, он спросил:   
 - Это что значит, негодяи? Почему ты, Гурт, сегодня так замешкался? Что ж, пригнал ты свое стадо домой, мошенник, или бросил его на поживу бродягам и разбойникам?   
 - Стадо все цело, как угодно вашей милости, - ответил Гурт.   
 - Но мне вовсе не угодно, мошенник, - сказал Седрик, - целых два часа проводить в тревоге, представлять себе разные несчастия и придумывать месть соседям за те обиды, которых они мне не причиняли! Помни, что в другой раз колодки и тюрьма будут тебе наказанием за подобный проступок.   
 Зная вспыльчивый нрав хозяина, Гурт и не пытался оправдываться; но шут, которому многое прощалось, мог рассчитывать на большую терпимость со стороны Седрика и поэтому решился ответить за себя и за товарища:   
 - Поистине, дядюшка Седрик, ты сегодня совсем не дело говоришь.   
 - Что такое? - отозвался хозяин. - Я тебя пошлю в сторожку и прикажу выдрать, если ты будешь давать волю своему дурацкому языку!   
 - А ты сперва ответь мне, мудрый человек, - сказал Вамба, - справедливо и разумно ли наказывать одного за провинности другого?   
 - Конечно, нет, дурак.   
 - Так что же ты грозишься заковать в кандалы бедного Гурта, дядюшка, за грехи его собаки Фангса? Я готов хоть сейчас присягнуть, что мы ни единой минуты не замешкались в дороге, как только собрали стадо, а Фанге еле-еле успел загнать их к тому времени, когда мы услышали звон к вечерне.   
 - Стало быть, Фангса и повесить, - поспешно объявил Седрик, обращаясь к Гурту, - он виноват. А себе возьми другую собаку.   
 - Постой, постой, дядюшка, - сказал шут, - ведь и такое решение, выходит, не совсем справедливо: чем же виноват Фанге, коли он хромает и не мог быстро собрать стадо? Это вина того, кто обстриг ему когти на передних лапах; если б Фангса спросили, так, верно, бедняга не согласился бы на эту операцию.   
 - Кто же осмелился так изувечить собаку, принадлежащую моему рабу? - спросил Сакс, мигом приходя в ярость.   
 - Да вот старый Губерт ее изувечил, - отвечал Вамба, - начальник охоты у сэра Филиппа Мальвуазена. Он поймал Фангса в лесу и заявил, будто тот гонялся за оленем. А это, видишь ли, запрещено хозяином. А сам он лесной сторож, так вот...   
 - Черт бы побрал этого Мальвуазена, да и его сторожа! - воскликнул Седрик. - Я им докажу, что этот лес не входит в число охотничьих заповедников, установленных великой лесной хартией... Но довольно об этом. Ступай, плут, садись на свое место. А ты. Гурт, достань себе другую собаку, и если этот сторож осмелится тронуть ее, я его отучу стрелять из лука. Будь я проклят, как трус, если не отрублю ему большого пальца на правой руке! Тогда он перестанет стрелять... Прошу извинить, почтенные гости. Мои соседи - не лучше ваших язычников в Святой Земле, сэр рыцарь. Однако ваша скромная трапеза уже перед вами. Прошу откушать, и пусть добрые пожелания, с какими предлагаются вам эти яства, вознаградят вас за их скромность.   
 Угощение, расставленное на столах, не нуждалось, однако, в извинениях хозяина дома. На нижний стол было подано свиное мясо, приготовленное различными способами, а также множество кушаний из домашней птицы, оленины, козлятины, зайцев и рыбы, не говоря уже о больших караваях хлеба, печенье и всевозможных сластях, варенных из ягод и меда. Мелкие сорта дичи, которой было также большое количество, подавались не на блюдах, а на деревянных спицах или вертелах. Пажи и прислуга предлагали их каждому из гостей по порядку; гости уже сами брали себе столько, сколько им хотелось. Возле каждого почетного гостя стоял серебряный кубок; на нижнем столе пили из больших рогов.   
 Только что собрались приняться за еду, как дворецкий поднял жезл и громко произнес:   
 - Прошу прощения - место леди Ровене! Позади почетного стола, в верхнем конце зала, отворилась боковая дверь, и на помост взошла леди Ровена в сопровождении четырех прислужниц.   
 Седрик был удивлен и недоволен тем, что его воспитанница по такому случаю появилась на людях, тем не менее он поспешил ей навстречу и, взяв за руку, с почтительной торжественностью подвел к предназначенному для хозяйки дома креслу на возвышении, по правую руку от своего места. Все встали при ее появлении. Ответив безмолвным поклоном на эту любезность, она грациозно проследовала к своему месту за столом. Но не успела она сесть, как храмовник шепнул аббату:   
 - Не носить мне вашей золотой цепи на турнире, а хиосское вино принадлежит вам!   
 - А что я вам говорил? - ответил аббат. - Но умерьте свои восторги - франклин наблюдает за вами.   
 Бриан де Буагильбер, привыкший считаться только со своими желаниями, не обратил внимания на это предостережение и впился глазами в саксонскую красавицу, которая, вероятно, тем более поразила его, что ничем не была похожа на восточных султанш.   
 Ровена была прекрасно сложена и высока ростом, но не настолько высока, однако ж, чтобы это бросалось в глаза. Цвет ее кожи отличался ослепительной белизной, а благородные очертания головы и лица были таковы, что исключали мысль о бесцветности, часто сопровождающей красоту слишком белокожих блондинок. Ясные голубые глаза, опушенные длинными ресницами, смотрели из-под тонких бровей каштанового цвета, придававших выразительность ее лбу. Казалось, глаза эти были способны как воспламенять, так и умиротворять, как повелевать, так и умолять. Кроткое выражение больше всего шло к ее лицу. Однако привычка ко всеобщему поклонению и к власти над окружающими придала этой саксонской девушке особую величавость, дополняя то, что дала ей сама природа. Густые волосы светлорусого оттенка, завитые изящными локонами, были украшены драгоценными камнями и свободно падали на плечи, что в то время было признаком благородного происхождения. На шее у нее висела золотая цепочка с подвешенным к ней маленьким золотым ковчегом. На обнаженных руках сверкали браслеты. Поверх ее шелкового платья цвета морской воды было накинуто другое, длинное и просторное, ниспадавшее до самой земли, с очень широкими рукавами, доходившими только до локтей. К этому платью пунцового цвета, сотканному из самой тонкой шерсти, была прикреплена легкая шелковая вуаль с золотым узором. Эту вуаль при желании можно было накинуть на лицо и грудь, на испанский лад, или набросить на плечи.   
 Когда Ровена заметила устремленные на нее глаза храмовника с загоревшимися в них, словно искры на углях, огоньками, она с чувством собственного достоинства опустила покрывало на лицо в знак того, что столь пристальный взгляд ей неприятен. Седрик увидел ее движение и угадал его при- чину.   
 - Сэр рыцарь, - сказал он, - лица наших саксонских девушек видят так мало солнечных лучей, что не могут выдержать столь долгий и пристальный взгляд крестоносца.   
 - Если я провинился, - отвечал сэр Бриан, - прошу у вас прощения, то есть прошу леди Ровену простить меня; далее этого не может идти мое смирение.   
 - Леди Ровена, - сказал аббат, - желая покарать смелость моего друга, наказала всех нас. Надеюсь, что она не будет столь жестока к тому блестящему обществу, которое мы встретим на турнире.   
 - Я еще не знаю, отправимся ли мы на турнир, - сказал Седрик. - Я не охотник до этих суетных забав, которые были неизвестны моим предкам в ту пору, когда Англия была свободна.   
 - Тем не менее, - сказал приор, - позвольте нам надеяться, что в сопровождении нашего отряда вы решитесь туда отправиться. Когда дороги так небезопасны, не следует пренебрегать присутствием сэра Бриана де Буагильбера.   
 - Сэр приор, - отвечал Сакс, - где бы я ни путешествовал в этой стране, до сих пор я не нуждался ни в чьей защите, помимо собственного доброго меча и верных слуг. К тому же, если мы надумаем поехать в Ашби де ла Зуш, нас будет сопровождать мой благородный сосед Ательстан Конингсбургский с такой свитой, что нам не придется бояться ни разбойников, ни феодалов. Поднимаю этот бокал за ваше здоровье, сэр приор, - надеюсь, что вино мое вам по вкусу, - и благодарю вас за любезность. Если же вы так строго придерживаетесь монастырского устава, - прибавил он, - что предпочитаете пить кислое молоко, надеюсь, что вы не будете стесняться и не станете пить вино из одной только вежливости.   
 - Нет, - возразил приор, рассмеявшись, - мы ведь только в стенах монастыря довольствуемся свежим или кислым молоком, в миру же мы поступаем как миряне; поэтому я отвечу на ваш любезный тост, подняв кубок этого честного вина, а менее крепкие напитки предоставляю моему послушнику.   
 - А я, - сказал храмовник, наполняя свой бокал, - пью за здоровье прекрасной Ровены. С того дня как ваша тезка вступила в пределы Англии, эта страна не знала женщины, более достойной поклонения. Клянусь небом, я понимаю теперь несчастного Вортигерна! Будь перед ним хотя бы бледное подобие той красоты, которую мы видим, и то этого было бы достаточно, чтобы забыть о своей чести и царстве.   
 - Я не хотела бы, чтобы вы расточали столько любезностей, сэр рыцарь, - сказала Ровена с достоинством и не поднимая покрывала, - лучше я воспользуюсь вашей учтивостью, чтобы попросить вас сообщить нам последние новости о Палестине, так как это предмет, более приятный для нашего английского слуха, нежели все комплименты, внушаемые вам вашим французским воспитанием.   
 - Не много могу сообщить вам интересного, леди, - отвечал Бриан де Буагильбер. - Могу лишь подтвердить слухи о том, что с Саладином заключено перемирие.   
 Его речь была прервана Вамбой. Шут пристроился шагах в двух позади кресла хозяина, который время от времени бросал ему подачки со своей тарелки. Впрочем, такой же милостью пользовались и любимые собаки, которых, как мы уже видели, в зале было довольно много. Вамба сидел перед маленьким столиком на стуле с вырезанными на спинке ослиными ушами. Подсунув пятки под перекладину своего стула, он так втянул щеки, что его челюсти стали похожи на щипцы для орехов, и наполовину зажмурил глаза, что не мешало ему ко всему прислушиваться, чтобы не упустить случая совершить одну из тех проделок, которые ему разрешались.   
 - Уж эти мне перемирия! - воскликнул он, не обращая внимания на то, что внезапно перебил речь величавого храмовника. - Они меня совсем состарили!   
 - Как, плут? Что это значит? - сказал Седрик, с явным удовольствием ожидая, какую шутку выкинет шут.   
 - А то как же, - отвечал Вамба. - На моем веку было уже три таких перемирия, и каждое - на пятьдесят лет. Стало быть, выходит, что мне полтораста лет.   
 - Ну, я ручаюсь, что ты умрешь не от старости, - сказал храмовник, узнавший в нем своего лесного знакомца. - Тебе на роду написано умереть насильственной смертью, если ты будешь так показывать дорогу проезжим, как сегодня приору и мне.   
 - Как так, мошенник? - воскликнул Седрик. - Сбивать с дороги проезжих! Надо будет тебя постегать: ты, значит, такой же плут, как и дурак.   
 - Сделай милость, дядюшка, - сказал шут, - на этот раз позволь моей глупости заступиться за мое плутовство. Я только тем и провинился, что перепутал, которая у меня правая рука, а которая левая. А тому, кто спрашивает у дурака совета и указания, надо быть поснисходительнее.   
 Тут разговор был прерван появлением слуги, которого привратник прислал доложить, что у ворот стоит странник и умоляет впустить его на ночлег.   
 - Впустить его, - сказал Седрик, - кто бы он ни был, все равно. В такую ночь, когда гроза бушует на дворе, даже дикие звери жмутся к стадам и ищут покровительства у своего смертельного врага - человека, лишь бы не погибнуть от расходившихся стихий. Дайте ему все, в чем он нуждается. Освальд, присмотри за этим хорошенько.   
 Кравчий тотчас вышел из зала и отправился исполнять приказания хозяина.

**Глава V**

Разве у евреев нет глаз?   
 Разве у них нет рук, органов, членов тела, чувств, привязанностей, страстей? Разве не та же самая пища насыщает его, разве не то же оружие ранит его, разве он не подвержен тем же недугам, разве не те же лекарства исцеляют его, разве не согревают и не студят его те же лето и зима, как и христианина?   
 "Венецианский купец"   
  
 Освальд воротился и, наклонившись к уху своего хозяина, прошептал:   
 - Это еврей, он назвал себя Исааком из Йорка. Хорошо ли будет, если я приведу его сюда?   
 - Пускай Гурт исполняет твои обязанности, Освальд, - сказал Вамба с обычной наглостью. - Свинопас как раз подходящий церемониймейстер для еврея.   
 - Пресвятая Мария, - молвил аббат, осеняя себя крестным знамением, - допускать еврея в такое общество!   
 - Как! - отозвался храмовник. - Чтобы собака еврей приблизился к защитнику святого гроба!   
 - Вишь ты, - сказал Вамба, - значит, храмовники любят только еврейские денежки, а компании их не любят!   
 - Что делать, почтенные гости, - сказал Седрик, - я не могу нарушить законы гостеприимства, чтобы угодить вам. Если господь бог терпит долгие века целый народ упорных еретиков, можно и нам потерпеть одного еврея в течение нескольких часов. Но я никого не стану принуждать общаться с ним или есть вместе с ним. Дайте ему отдельный столик и покормите особо. А впрочем, - прибавил он, улыбаясь, - быть может, вон те чужеземцы в чалмах примут его в свою компанию?   
 - Сэр франклин, - отвечал храмовник, - мои сарацинские невольники - добрые мусульмане и презирают евреев ничуть не меньше, чем христиане.   
 - Клянусь, уж я не знаю, - вмешался Вамба, - чем поклонники Махмуда и Термаганта лучше этого народа, когда-то избранного самим богом!   
 - Ну, пусть он сядет рядом с тобой, Вамба, - сказал Седрик. - Дурак и плут - хорошая пара.   
 - А дурак сумеет по-своему отделаться от плута, - сказал Вамба, потрясая в воздухе костью от свиного окорока.   
 - Тес!.. Вот он идет, - сказал Седрик.   
 Впущенный без всяких церемоний, в зал боязливой и нерешительной поступью вошел худощавый старик высокого роста; он на каждом шагу отвешивал смиренные поклоны и казался ниже, чем был на самом деле, от привычки держаться в согбенном положении. Черты его лица были тонкие и правильные; орлиный нос, проницательные черные глаза, высокий лоб, изборожденный морщинами, длинные седые волосы и большая борода могли бы производить благоприятное впечатление, если бы не так резко изобличали его принадлежность к племени, которое в те темные века было предметом отвращения для суеверных и невежественных простолюдинов, а со стороны корыстного и жадного дворянства подвергалось самому лютому преследованию.   
 Одежда еврея, значительно пострадавшая от непогоды, состояла из простого бурого плаща и темно-красного хитона. На нем были большие сапоги, отороченные мехом, и широкий пояс, за который были заткнуты небольшой ножик и коробка с письменными принадлежностями. На голове у него была высокая четырехугольная желтая шапка особого фасона: закон повелевал евреям носить их, в знак отличия от христиан. При входе в зал он смиренно снял шапку.   
 Прием, оказанный этому человеку под кровом Седрика Сакса, удовлетворил бы требованиям самого ярого противника израильского племени. Сам Седрик в ответ на многократные поклоны еврея только кивнул головой и указал ему на нижний конец стола. Однако там никто не потеснился, чтобы дать ему место. Когда он проходил вдоль ряда ужинавших, бросая робкие и умоляющие взгляды на каждого из сидевших за нижним концом стола, слуги-саксы нарочно расставляли локти и, приподняв плечи, продолжали поглощать свой ужин, не обращая ни малейшего внимания на нового гостя. Монастырская прислуга крестилась, оглядываясь на него с благочестивым ужасом; даже сарацины, когда Исаак проходил мимо них, начали гневно крутить усы и хвататься за кинжалы, готовые самыми отчаянными мерами предотвратить его приближение.   
 Очень вероятно, что по тем же причинам, которые побудили Седрика принять под свой кров потомка отверженного народа, он настоял бы и на том, чтобы его люди обошлись с Исааком учтивее, но как раз в ту пору аббат завел с ним такой интересный разговор о породах и повадках его любимых собак, что Седрик никогда не прервал бы его и для более важного дела, чем вопрос о том, пойдет ли еврей спать без ужина.   
 Исаак стоял в стороне от всех, тщетно ожидая, не найдется ли для него местечка, где бы он мог присесть и отдохнуть. Наконец пилигрим, сидевший на скамье у камина, сжалился над ним, встал с места и сказал:   
 - Старик, моя одежда просохла, я уже сыт, а ты промок и голоден.   
 Сказав это, он сгреб на середину широкого очага разбросанные и потухавшие поленья и раздул яркое пламя; потом пошел к столу, взял чашку го- рячей похлебки с козленком, отнес ее на столик, у которого сам ужинал, и, не дожидаясь изъявлений благодарности со стороны еврея, направился в противоположный конец зала: быть может, он не желал дальнейшего общения с тем, кому услужил, а может быть, ему просто захотелось стать поближе к почетному помосту.   
 Если бы в те времена существовали живописцы, способные передать подобный сюжет, фигура этого еврея, склонившегося перед огнем и согревающего над ним свои окоченевшие и дрожащие руки, могла бы послужить им хорошей натурой для изображения зимнего времени года. Несколько отогревшись, он с жадностью принялся за дымящуюся похлебку и ел так поспешно и с таким явным наслаждением, словно давно не отведывал пищи.   
 Тем временем аббат продолжал разговаривать с Седриком об охоте; леди Ровена углубилась в беседу с одной из своих прислужниц, а надменный рыцарь Храма, поглядывая то на еврея, то на саксонскую красавицу, задумался о чем-то, по-видимому, очень для него интересном.   
 - Дивлюсь я вам, достопочтенный Седрик, - говорил аббат. - Неужели же вы при всей вашей большой любви к мужественной речи вашей родины не хотите признать превосходство нормано-французского языка во всем, что касается охотничьего искусства? Ведь ни в одном языке не найти такого обилия специальных выражений для охоты в поле и в лесу.   
 - Добрейший отец Эймер, - возразил Седрик, - да будет вам известно, что я вовсе не гонюсь за всеми этими заморскими тонкостями; я и без них очень приятно провожу время в лесах. Трубить в рог я умею, хоть не называю звук рога receat или mort [11], умею натравить собак на зверя, знаю, как лучше содрать с него шкуру и как его распластать, и отлично обхожусь без этих новомодных словечек: curee, arbor, nombles [12] и прочей болтовни в духе сказочного сэра Тристрама.   
 - Французский язык, - сказал храмовник со свойственной ему при всех случаях жизни надменной заносчивостью, - единственный приличный не только на охоте, но и в любви и на войне. На этом языке следует завоевывать сердца дам и побеждать врагов.   
 - Выпьем-ка с вами по стакану вина, сэр рыцарь, - сказал Седрик, - да кстати и аббату налейте! А я тем временем расскажу вам о том, что было лет тридцать тому назад. Тогда простая английская речь Седрика Сакса была приятна для слуха красавиц, хотя в ней и не было выкрутасов французских трубадуров. Когда мы сражались на полях Норталлертона, боевой клич сакса был слышен в рядах шотландского войска не хуже cri de guerre [13] храбрейшего из норманских баронов. Помянем бокалом вина доблестных бойцов, бившихся там. Выпейте вместе со мною, мои гости.   
 Он выпил свой стакан разом и продолжал с возрастающим увлечением:   
 - Сколько щитов было порублено в тот день! Сотни знамен развевались над головами храбрецов. Кровь лилась рекой, а смерть казалась всем краше бегства. Саксонский бард прозвал этот день праздником мечей, слетом орлов на добычу; удары секир и мечей по шлемам и щитам врагов, шум битвы и боевые клики казались певцу веселее свадебных песен. Но нет у нас бардов. Наши подвиги стерты деяниями другого народа, наш язык, самые наши имена скоро предадут забвению. И никто не пожалеет об этом, кроме меня, одинокого старика... Кравчий, бездельник, наполняй кубки! За здоровье храбрых в бою, сэр рыцарь, к какому бы племени они ни принадлежали, на каком бы языке ни говорили! За тех, кто доблестнее всех воюет в Палестине в рядах защитников креста!   
 - Я сам ношу знамение креста, и мне не пристало говорить об этом, - сказал Бриан де Буагильбер, - но кому же другому отдать пальму первенства среди крестоносцев, как не рыцарям Храма - верным стражам гроба господня!   
 - Иоаннитам, - сказал аббат. - Мой брат вступил в этот орден.   
 - Я и не думаю оспаривать их славу, - сказал храмовник, - но...   
 - А знаешь, дядюшка Седрик, - вмешался Вамба, - если бы Ричард Львиное Сердце был поумнее да послушался меня, дурака, сидел бы он лучше дома со своими веселыми англичанами, а Иерусалим предоставил бы освобождать тем самым рыцарям, которые его сдали.   
 - Разве в английском войске никого не было, - сказала вдруг леди Ровена, - чье имя было бы достойно стать наряду с именами рыцарей Храма и иоаннитов?   
 - Простите меня, леди, - отвечал де Буагильбер, - английский король привел с собой в Палестину толпу храбрых воинов, которые уступали в доблести только тем, кто своею грудью непрерывно защищал Святую Землю.   
 - Никому они не уступали, - сказал пилигрим, который стоял поблизости и все время с заметным нетерпением прислушивался к разговору.   
 Все взоры обратились в ту сторону, откуда раздалось это неожиданное утверждение.   
 - Я заявляю, - продолжал пилигрим твердым и сильным голосом, - что английские рыцари не уступали никому из обнаживших меч на защиту Святой Земли. Кроме того, скажу, что сам король Ричард и пятеро из его рыцарей после взятия крепости Сен-Жан д'Акр дали турнир и вызвали на бой всех желающих. Я сам видел это, потому и говорю. В тот день каждый из рыцарей трижды выезжал на арену и всякий раз одерживал победу. Прибавлю, что из числа их противников семеро принадлежали к ордену рыцарей Храма. Сэру Бриану де Буагильберу это очень хорошо известно, и он может подтвердить мои слова.   
 Невозможно описать тот неистовый гнев, который мгновенно вспыхнул на еще более потемневшем лице смуглого храмовника. Разгневанный и смущенный, схватился он дрожащими пальцами за рукоять меча, но не обнажил его, вероятно сознавая, что расправа не пройдет безнаказанно в таком месте и при таких свидетелях. Но простой и прямодушный Седрик, который не привык одновременно заниматься различными делами, так обрадовался известиям о доблести соплеменников, что не заметил злобы и растерянности своего гостя.   
 - Я бы охотно отдал тебе этот золотой браслет, пилигрим, - сказал он, - если бы ты перечислил имена тех рыцарей, которые так благородно поддержали славу нашей веселой Англии.   
 - С радостью назову их по именам, - отвечал пилигрим, - и никакого подарка мне не надо: я дал обет некоторое время не прикасаться к золоту.   
 - Хочешь, друг пилигрим, я за тебя буду носить этот браслет? - сказал Вамба.   
 - Первым по доблести и воинскому искусству, по славе и по положению, им занимаемому, - начал пилигрим, - был храбрый Ричард, король Англии.   
 - Я его прощаю! - воскликнул Седрик. - Прощаю то, что он потомок тирана, герцога Вильгельма.   
 - Вторым был граф Лестер, - продолжал пилигрим, - а третьим - сэр Томас Малтон из Гилсленда.   
 - О, это сакс! - с восхищением сказал Седрик.   
 - Четвертый - сэр Фолк Дойли, - молвил пилигрим.   
 - Тоже саксонец, по крайней мере с материнской стороны, - сказал Седрик, с величайшей жадностью ловивший каждое его слово. Охваченный восторгом по случаю победы английского короля и сородичей-островитян, он почти забыл свою ненависть к норманнам. - Ну, а кто же был пятый? - спросил он.   
 - Пятый был сэр Эдвин Торнхем.   
 - Чистокровный сакс, клянусь душой Хенгиста! - крикнул Седрик. - А шестой? Как звали шестого?   
 - Шестой, - отвечал пилигрим, немного помолчав и как бы собираясь с мыслями, - был совсем юный рыцарь, малоизвестный и менее знатный; его приняли в это почетное товарищество не столько ради его доблести, сколько для круглого счета. Имя его стерлось из моей памяти.   
 - Сэр пилигрим, - сказал Бриан де Буагильбер с пренебрежением, - такая притворная забывчивость после того, как вы успели припомнить так много, не достигнет цели. Я сам назову имя рыцаря, которому из-за несчастной случайности - по вине моей лошади - удалось выбить меня из седла. Его звали рыцарь Айвенго; несмотря на его молодость, ни один из его соратников не превзошел Айвенго в искусстве владеть оружием. И я громко, при всех, заявляю, что, будь он в Англии и пожелай он на предстоящем турнире повторить тот вызов, который послал мне в Сен-Жан д'Акре, я готов сразиться с ним, предоставив ему выбор оружия. При том коне и вооружении, которыми я теперь располагаю, я отвечаю за исход поединка.   
 - Ваш вызов был бы немедленно принят, - отвечал пилигрим, - если бы ваш противник здесь присутствовал. А при настоящих обстоятельствах не подобает нарушать покой этого мирного дома, похваляясь победою в поединке, который едва ли может состояться. Но если Айвенго когда-либо вернется из Палестины, я вам ручаюсь, что он будет драться с вами.   
 - Хороша порука! - возразил храмовник. - А какой залог вы мне можете предложить?   
 - Этот ковчег, - сказал пилигрим, вынув из-под плаща маленький ящик из слоновой кости и творя крестное знамение. - В нем хранится частица настоящего креста господня, привезенная из Монт-Кармельского монастыря.   
 Приор аббатства Жорво тоже перекрестился и набожно стал читать вслух "Отче наш". Все последовали его примеру, за исключением еврея, мусульман и храмовника. Не обнаруживая никакого почтения к святыне, храмовник снял с шеи золотую цепь, швырнул ее на стол и сказал:   
 - Прошу аббата Эймера принять на хранение мой залог и залог этого безыменного странника в знак того, что, когда рыцарь Айвенго вступит на землю, омываемую четырьмя морями Британии, он будет вызван на бой с Брианом де Буагильбером. Если же означенный рыцарь не ответит на этот вызов, он будет провозглашен мною трусом с высоты стен каждого из существующих в Европе командорств ордена храмовников.   
 - Этого не случится, - вмешалась леди Ровена, прерывая свое продолжительное молчание. - За отсутствующего Айвенго скажу я, если никто в этом доме не желает за него вступиться. Я заявляю, что он примет любой вызов на честный бой. Если бы моя слабая порука могла повысить значение бесценного залога, представленного этим праведным странником, я бы поручилась своим именем и доброй славой, что Айвенго даст этому гордому рыцарю желаемое удовлетворение.   
 В душе Седрика поднялся такой вихрь противоречивых чувств, что он не в состоянии был проронить ни слова во время этого спора. Радостная гордость, гнев, смущение сменялись на его открытом и честном лице, точно тени от облаков, пробегающих над сжатым полем. Домашние слуги, на которых имя Айвенго произвело впечатление электрической искры, затаив дыхание ждали, что будет дальше, не спуская глаз с хозяина. Но когда заговорила Ровена, ее голос как будто заставил Седрика очнуться и прервать молчание.   
 - Леди Ровена, - сказал он, - это излишне. Если бы понадобился еще залог, я сам, несмотря на то, что Айвенго жестоко оскорбил меня, готов своей собственной честью поручиться за его честь. Но, кажется, предложенных залогов и так достаточно - даже по модному уставу норманского рыцарства. Так ли я говорю, отец Эймер?   
 - Совершенно верно, - подтвердил приор, - ковчег со святыней и эту богатую цепь я отвезу в наш монастырь и буду хранить в ризнице до тех пор, пока это дело не получит должного исхода.   
 Он еще несколько раз перекрестился, бормоча молитвы и совершая многократные коленопреклонения, и передал ковчег в руки сопровождавшего его монаха - брата Амвросия; потом уже без всякой церемонии, но, может быть, с неменьшим удовольствием сгреб со стола золотую цепь и опустил ее в надушенную сафьяновую сумку, висевшую у него на поясе.   
 - Ну, сэр Седрик, - сказал аббат, - ваше доброе вино так крепко, что у меня в ушах уже звонят к вечерне. Позвольте нам еще раз выпить за здоровье леди Ровены, да и отпустите нас на отдых.   
 - Клянусь бромхольским крестом, - сказал Сакс, - вы плохо поддерживаете свою добрую славу, сэр приор. Молва отзывается о вас как об исправном монахе: говорят, будто вы только тогда отрываетесь от доброго вина, когда зазвонят к заутрене, и я на старости лет боялся осрамиться, состязаясь с вами. Клянусь честью, в мое время двенадцатилетний мальчишка-сакс дольше вашего просидел бы за столом.   
 Однако у приора были причины настойчиво придерживаться на этот раз правил умеренности. Он не только по своему званию был присяжным миротворцем, но и на деле терпеть не мог всяких ссор и столкновений. Это происходило, впрочем, не от любви к ближнему или к самому себе; он опасался вспыльчивости старого сакса и предвидел, что запальчивое высокомерие храмовника, уже не раз прорывавшееся наружу, в конце концов вызовет весьма неприятную ссору. Поэтому он стал распространяться о том, что по части выпивки ни один народ не может сравниться с крепкоголовыми и выносливыми саксами, намекнув даже, как бы мимоходом, на святость своего сана, и закончил настойчивой просьбой позволить удалиться на покой.   
 Вслед за тем прощальный кубок обошел круг. Гости, низко поклонившись хозяину и леди Ровене, встали и разбрелись по залу, а хозяева в сопровождении ближайших слуг удалились в свои покои.   
 - Нечестивый пес, - сказал храмовник еврею Исааку, проходя мимо него, - так ты тоже пробираешься на турнир?   
 - Да, собираюсь, - отвечал Исаак, смиренно кланяясь, - если угодно будет вашей досточтимой доблести.   
 - Как же, - сказал рыцарь, - затем и идешь, чтобы своим лихоимством вытянуть все жилы из дворян, а женщин и мальчишек разорять красивыми безделушками. Готов поручиться, что твой кошелек битком набит шекелями.   
 - Ни одного шекеля, ни единого серебряного пенни, ни полушки нет, клянусь богом Авраама! - сказал еврей, всплеснув руками. - Я иду просить помощи у собратий для уплаты налога, который взыскивает с меня палата еврейского казначейства. Да ниспошлет мне удачу праотец Иаков. Я совсем разорился. Даже плащ, что я ношу, ссудил мне Рейбен из Тадкастера.   
 Храмовник желчно усмехнулся и проговорил:   
 - Проклятый лгун!   
 С этими словами он отошел от еврея и, обратившись к своим мусульманским невольникам, сказал им что-то на языке, не известном никому из присутствующих.   
 Бедный старик был так ошеломлен обращением к нему воинственного монаха, что тот успел уже отойти на другой конец зала, прежде чем бедняга решился поднять голову и изменить свою униженную позу. Когда же он наконец выпрямился и оглянулся, лицо его выражало изумление человека, только что ослепленного молнией и оглушенного громом.   
 Вскоре храмовник и аббат отправились в отведенные им спальни. Провожали их дворецкий и кравчий. При каждом из них шло по два прислужника с факелами, а еще двое несли на подносах прохладительные напитки; в то же время другие слуги указывали свите храмовника и приора и остальным гостям места, где для них был приготовлен ночлег.

**Глава VI**

С ним подружусь, чтобы войти в доверье:   
 Получится - прекрасно, нет - прощай.   
 Но я прошу, меня не обессудь!   
 "Венецианский купец"   
  
 Когда пилигрим, сопровождаемый слугою с факелом, проходил по запутанным переходам этого огромного дома, построенного без определенного плана, его нагнал кравчий и сказал ему на ухо, что если он ничего не имеет против кружки доброго меда, то в его комнате уже собралось много слуг, которым хотелось бы послушать рассказы о Святой Земле, а в особенности о рыцаре Айвенго. Вслед за кравчим с той же просьбой явился Вамба, уверяя, будто один стакан вина после полуночи стоит трех после сигнала к тушению огней.   
 Не оспаривая этого утверждения, исходившего от такого сведущего лица, пилигрим поблагодарил обоих за любезное приглашение, но сказал, что данный им обет воспрещает ему беседовать на кухне о том, о чем нельзя говорить за господским столом.   
 - Ну, такой обет, - сказал Вамба, обращаясь к кравчему, - едва ли подходит слуге.   
 - Я было собирался дать ему комнату на чердаке, - сказал кравчий, с досадой пожимая плечами, - но раз он не хочет водить компанию с добрыми христианами, пускай ночует рядом с Исааком. Энвольд, - продолжал он, обращаясь к факельщику, - проводи пилигрима в южную келью. Какова любезность, такова и благодарность. Спокойной ночи, сэр пилигрим.   
 - Спокойной ночи, и награди вас пресвятая дева, - невозмутимо отвечал пилигрим и последовал за своим провожатым.   
 В небольшой, освещенной простым железным фонарем прихожей, откуда несколько дверей вели в разные стороны, их остановила горничная леди Ровены, которая повелительным тоном объявила, что ее госпожа желает поговорить с пилигримом, и, взяв факел из рук Энвольда и велев ему подождать своего возвращения, она подала знак пилигриму следовать за ней. По-видимому, пилигрим считал неприличным отклонить это приглашение, как отклонил предыдущее; по крайней мере он повиновался без всяких возражений, хотя и казалось, что он был удивлен таким приказанием.   
 Небольшой коридор и лестница, сложенная из толстых дубовых бревен, привели его в комнату Ровены, грубое великолепие которой соответствовало почтительному отношению к ней хозяина дома. Все стены были завешены вышивками, на которых разноцветными шелками с примесью золотых и серебряных нитей были изображены различные эпизоды псовой и соколиной охоты. Постель под пурпурным пологом была накрыта богато вышитым покрывалом. На стульях лежали цветные подушки; перед одним стулом, более высоким, чем все остальные, стояла скамеечка из слоновой кости с затейливой резьбой.   
 Комната освещалась четырьмя восковыми факелами в серебряных подсвечниках. Однако напрасно современная красавица стала бы завидовать роскошной обстановке саксонской принцессы. Стены комнаты были так плохо проконопачены и в них были такие щели, что нарядные драпировки вздувались от ночного ветра. Жалкое подобие ширм защищало факелы от сквозняка, но, несмотря на это, их пламя постоянно колебалось от ветра, как развернутое знамя военачальника. Конечно, в убранстве комнаты чувствовалось богатство и даже некоторое изящество; но комфорта не было, а так как в те времена о нем не имели представления, то и отсутствие его не ощущалось.   
 Три горничные, стоя за спиной леди Ровены, убирали на ночь ее волосы. Сама она сидела на высоком, похожем на трон стуле. Весь ее вид и манеры были таковы, что, казалось, она родилась на свет для преклонения. Пилигрим сразу признал ее право на это, склонив перед ней колени.   
 - Встань, странник, - сказала она приветливо, - заступник отсутствующих достоин ласкового приема со стороны каждого, кто дорожит истиной и чтит мужество.   
 Потом, обратясь к своей свите, она сказала:   
 - Отойдите все, кроме Эльгиты. Я желаю побеседовать со святым пилигримом.   
 Девушки отошли в другой конец комнаты и сели на узкую скамью у самой стены, где оставались неподвижны и безмолвны, как статуи, хотя свободно могли бы шептаться, не мешая разговору их госпожи со странником.   
 Леди Ровена помолчала с минуту, как бы не зная, с чего начать, потом сказала:   
 - Пилигрим, сегодня вечером вы произнесли одно имя. Я хочу сказать, - продолжала она с усилием, - имя Айвенго; по законам природы и родства это имя должно было бы встретить более теплый и благосклонный отклик в здешнем доме; но таковы странные превратности судьбы, что хотя у многих сердце дрогнуло при этом имени, но только я решаюсь вас спросить, где и в каких условиях оставили вы того, о ком упомянули. Мы слышали, что он задержался в Палестине из-за болезни и что после ухода оттуда английского войска он подвергся преследованиям со стороны французской партии, а нам известно, что к этой же партии принадлежат и храмовники.   
 - Я мало знаю о рыцаре Айвенго, - смущенно ответил пилигрим, - но я хотел бы знать больше, раз вы интересуетесь его судьбой. Кажется, он избавился от преследований своих врагов в Палестине и собирался возвратиться в Англию. Вам, леди, должно быть известно лучше, чем мне, есть ли у него здесь надежда на счастье.   
 Леди Ровена глубоко вздохнула и спросила, не может ли пилигрим сказать, когда именно следует ожидать возвращения рыцаря Айвенго на родину, а также не встретит ли он больших опасностей в пути.   
 Пилигрим ничего не мог сказать относительно времени возвращения Айвенго; что же касается второго вопроса леди Ровены, пилигрим уверил ее, что путешествие может быть безопасным, если ехать через Венецию и Геную, а оттуда - через Францию и Англию.   
 - Айвенго, - сказал он, - так хорошо знает язык и обычаи французов, что ему ничто не угрожает в этой части его пути.   
 - Дай бог, - сказала леди Ровена, - чтобы он доехал благополучно и был в состоянии принять участие в предстоящем турнире, где все рыцарство здешней страны собирается показать свое искусство и отвагу. Если приз достанется Ательстану Конингсбургскому, Айвенго может услышать недобрые вести по возвращении в Англию. Скажите мне, странник, как он выглядел, когда вы его видели в последний раз? Не уменьшил ли недуг его телесные силы и красоту?   
 - Он похудел и стал смуглее с тех пор, как прибыл в Палестину с острова Кипра в свите Ричарда Львиное Сердце. Мне казалось, что лицо его омрачено глубокой печалью. Но я не подходил к нему, потому что незнаком с ним.   
 - Боюсь, - молвила Ровена, - то, что он увидит на родине, не сгонит с его чела мрачной тени... Благодарю, добрый пилигрим, за вести о друге моего детства. Девушки, - обратилась она к служанкам, - подайте этому святому человеку вечерний кубок. Пора дать ему покой, я не хочу его задерживать долее.   
 Одна из девушек принесла серебряный кубок горячего вина с пряностями, к которому Ровена едва прикоснулась губами, после чего его подали пилигриму. Он низко поклонился и отпил немного.   
 - Прими милостыню, друг, - продолжала леди Ровена, подавая ему золотую монету. - Это - знак моего уважения к твоим тяжким трудам и к святыням, которые ты посетил.   
 Пилигрим принял дар, еще раз низко поклонился и вслед за Эльгитой покинул комнату.   
 В коридоре его ждал слуга Энвольд. Взяв факел из рук служанки, Энвольд поспешно и без всяких церемоний повел гостя в пристройку, где целый ряд чуланов служил для ночлега низшему разряду слуг и пришельцев простого звания.   
 - Где тут ночует еврей? - спросил пилигрим.   
 - Нечестивый пес проведет ночь рядом с вашим преподобием, - отвечал Энвольд. - Святой Дунстан, ну и придется же после него скоблить и чистить этот чулан, чтобы он стал пригодным для христианина!   
 - А где спит Гурт, свинопас? - осведомился странник.   
 - Гурт, - отвечал слуга, - спит в том чулане, что по правую руку от вас, а еврей - по левую, держитесь подальше от сына этого неверного племени. Вам бы дали более почетное помещение, если бы вы приняли приглашение Освальда.   
 - Ничего, мне и здесь будет хорошо, - сказал пилигрим.   
 С этими словами он вошел в отведенный ему чулан и, приняв факел из рук слуги, поблагодарил его и пожелал спокойной ночи. Притворив дверь своей кельи, он воткнул факел в деревянный подсвечник и окинул взглядом свою спальню, всю обстановку которой составляли грубо сколоченный деревянный стул и заменявший кровать плоский деревянный ящик, наполненный чистой соломой, поверх которой были разостланы две или три овечьи шкуры.   
 Пилигрим потушил факел, не раздеваясь растянулся на этом грубом ложе и уснул или по крайней мере лежал неподвижно до тех пор, пока первые лучи восходящего солнца не заглянули в маленькое решетчатое окошко, сквозь которое и свет и свежий воздух проникали в его келью. Тогда он встал, прочитал утренние молитвы, поправил на себе одежду и, осторожно отворив дверь, вошел к еврею.   
 Исаак тревожно спал на такой же точно постели, на какой провел ночь пилигрим. Все части одежды, которые снял накануне вечером, он навалил на себя или под себя, чтобы их не стащили во время сна. Лицо его выражало мучительное беспокойство; руки судорожно подергивались, как бы отбиваясь от страшного призрака; он бормотал и издавал какие-то восклицания на еврейском языке, перемешивая их с целыми фразами на местном наречии; среди них можно было разобрать следующие слова: "Ради бога Авраамова, пощадите несчастного старика! Я беден, у меня нет денег, можете заковать меня в цепи, разодрать на части, но я не могу исполнить ваше желание".   
 Пилигрим не стал дожидаться пробуждения Исаака и слегка дотронулся до него концом своего посоха. Это прикосновение, вероятно, связалось в сознании спящего с его сном: старик вскочил, волосы его поднялись дыбом, острый взгляд черных глаз впился в стоявшего перед ним странника, выражая дикий испуг и изумление, пальцы судорожно вцепились в одежду, словно когти коршуна.   
 - Не бойся меня, Исаак, - сказал пилигрим, - я пришел к тебе как друг.   
 - Награди вас бог Израиля, - сказал еврей, немного успокоившись. - Мне приснилось... Но будь благословен праотец Авраам - то был сон.   
 Потом, очнувшись, он спросил обычным своим голосом:   
 - А что же угодно вашей милости от бедного еврея в такой ранний час?   
 - Я хотел тебе сказать, - отвечал пилигрим, что, если ты сию же минуту не уйдешь из этого дома и не постараешься отъехать как можно дальше и как можно скорее, с тобой может приключиться в пути большая беда.   
 - Святой отец, - воскликнул Исаак, - да кто захочет напасть на такого ничтожного бедняка, как я?   
 - Это тебе виднее, - сказал пилигрим, - но знай, что, когда рыцарь Храма вчера вечером проходил через зал, он обратился к своим мусульманским невольникам на сарацинском языке, который я хорошо знаю, и приказал им сегодня поутру следить за тем, куда поедет еврей, схватить его, когда он подальше отъедет от здешней усадьбы, и отвести в замок Филиппа де Мальвуазена или Реджинальда Фрон де Бефа.   
 Невозможно описать ужас, овладевший евреем при этом известии; казалось, он сразу потерял всякое самообладание. Каждый мускул, каждый нерв ослабли, руки повисли, голова поникла на грудь, ноги подкосились, и он рухнул к ногам пилигрима, как бы раздавленный неведомыми силами; это был не человек, поникший в мольбе о сострадании, а скорее безжизненное тело.   
 - Бог Авраама! - воскликнул он. Не подымая седой головы с полу, он сложил свои морщинистые руки и воздел их вверх. - О Моисей! О блаженный Аарон! Этот сон приснился мне недаром, и видение посетило меня не напрасно! Я уже чувствую, как они клещами тянут из меня жилы. Чувствую зубчатые колеса по всему телу, как те острые пилы, бороны и секиры железные, что полосовали жителей Раббы и чад Аммоновых.   
 - Встань, Исаак, и выслушай, что я тебе скажу, - с состраданием, но не без презрения сказал пилигрим, глядя на его муки. - Мне понятен твой страх: принцы и дворяне безжалостно расправляются с твоими собратьями, когда хотят выжать из них деньги. Но встань, я тебя научу, как избавиться от беды. Уходи из этого дома сию же минуту, пока не проснулись слуги, - они крепко спят после вчерашней попойки.   
 Я провожу тебя тайными тропинками через лес, который мне так же хорошо известен, как и любому из лесных сторожей. Я тебя не покину, пока не сдам с рук на руки какому-нибудь барону или помещику, едущему на турнир; по всей вероятности, у тебя найдутся способы обеспечить себе его благоволение.   
 Как только у Исаака появилась надежда на спасение, он стал приподниматься, все еще оставаясь на коленях; откинув назад свои длинные седые волосы и расправив бороду, он устремил пытливые черные глаза на пилигрима. В его взгляде отразились страх, и надежда, и подозрение.   
 Но при последних словах пилигрима ужас вновь овладел им, он упал ничком и воскликнул:   
 - У меня найдутся средства, чтобы обеспечить себе благоволение! Увы! Есть только один способ заслужить благоволение христианина, но как получить его бедному еврею, если вымогательства довели его до нищеты Лазаря? Ради бога, молодой человек, не выдавай меня! Ради общего небесного отца, всех нас создавшего, евреев и язычников, сынов Израиля и сынов Измаила, не предавай меня. - Снова подозрительность взяла верх над остальными его чувствами, и он воскликнул: - У меня нет таких средств, чтобы обеспечить доброе желание христианского странника, даже если он потребует все, до последнего пенни.   
 При этих словах он с пламенной мольбой ухватился за плащ пилигрима.   
 - Успокойся, - сказал странник. - Если бы ты имел все сокровища своего племени, зачем мне обижать тебя. В этой одежде я обязан соблюдать обет бедности, и если променяю ее, то единственно на кольчугу и боевого коня. Впрочем, не думай, что я навязываю тебе свое общество, оставайся здесь, если хочешь. Седрик Сакс может оказать тебе покровительство.   
 - Увы, нет! - воскликнул еврей. - Не позволит он мне ехать в своей свите. Саксонец и норманн одинаково презирают бедного еврея. А одному проехать по владениям Филиппа де Мальвуазена или Реджинальда Фрон де Бефа... Нет! Добрый юноша, я поеду с тобой! Поспешим! Препояшем чресла, бежим! Вот твой посох... Скорее, не медли!   
 - Я не медлю, - сказал пилигрим, уступая настойчивости своего компаньона, - но мне надо прежде всего найти средство отсюда выбраться. Следуй за мной!   
 Он вошел в соседнюю каморку, где, как уже известно читателю, спал Гурт.   
 - Вставай, Гурт, - сказал пилигрим, - вставай скорее. Отопри калитку у задних ворот и выпусти нас отсюда.   
 Обязанности Гурта, которые в наше время находятся в пренебрежении, в ту пору в саксонской Англии пользовались таким же почетом, каким Эвмей пользовался в Итаке. Гурту показалось обидным, что пилигрим заговорил с ним в таком повелительном тоне.   
 - Еврей уезжает из Ротервуда, - надменно молвил он, приподнявшись на одном локте и не двигаясь с места, - а с ним за компанию и пилигрим собрался.   
 - Я бы скорее подумал, - сказал Вамба, заглянувший в эту минуту в чулан, - что еврей с окороком ветчины улизнет из усадьбы.   
 - Как бы то ни было, - сказал Гурт, снова опуская голову на деревянный обрубок, служивший ему вместо подушки, - и еврей и странник могут подождать, пока растворят главные ворота. У нас не полагается, чтобы гости уезжали тайком, да еще в такой ранний час.   
 - Как бы то ни было, - сказал пилигрим повелительно, - я думаю, что ты не откажешь мне в этом.   
 С этими словами он нагнулся к лежавшему свинопасу и прошептал ему что-то на ухо по-саксонски. Гурт мгновенно вскочил на ноги, а пилигрим, подняв палец в знак того, что надо соблюдать осторожность, прибавил:   
 - Гурт, берегись! Ты всегда был осмотрителен. Слышишь, отопри калитку. Остальное скажу после.   
 Гурт повиновался с необычайным проворством, а Вамба и еврей пошли вслед за ним, удивляясь внезапной перемене в поведении свинопаса.   
 - Мой мул! Где же мой мул? - воскликнул еврей, как только они вышли из калитки.   
 - Приведи сюда его мула, - сказал пилигрим, - да и мне достань тоже мула, я поеду с ним рядом, пока не выберемся из здешних мест. После я доставлю мула в целости кому-нибудь из свиты Седрика в Ашби. А ты сам... - Остальное пилигрим сказал Гурту на ухо.   
 - С величайшей радостью все исполню, - отвечал Гурт и убежал исполнять поручение.   
 - Желал бы я знать, - сказал Вамба, когда ушел его товарищ, - чему вас, пилигримов, учат в Святой Земле.   
 - Читать молитвы, дурак, - отвечал пилигрим, - а еще каяться в грехах и умерщвлять свою плоть постом и долгой молитвой.   
 - Нет, должно быть чему-нибудь покрепче этого, - сказал шут. - Виданное ли дело, чтобы покаяние и молитвы заставили Гурта сделать одолжение, а за пост и воздержание он дал бы кому-нибудь мула! Думаю, что ты мог бы с таким же успехом толковать о воздержании и молитвах его любимому черному борову.   
 - Эх, ты! - молвил пилигрим. - Сейчас видно, что ты саксонский дурак, и больше ничего.   
 - Это ты правильно говоришь, - сказал шут, - будь я норманн, как и ты, вероятно на моей улице был бы праздник, а я сам слыл бы мудрецом.   
 В эту минуту на противоположном берегу рва показался Гурт с двумя мулами. Путешественники перешли через ров по узкому подъемному мосту, шириной в две доски, размер которого соответствовал ширине калитки и того узкого прохода, который был устроен во внешней ограде и выходил прямо в лес. Как только они достигли того берега, еврей поспешил подсунуть под седло своего мула мешочек из просмоленного синего холста, который он бережно вытащил из-под хитона, бормоча все время, что это "перемена белья, только одна перемена белья, больше ничего". Потом взобрался в седло с таким проворством и ловкостью, каких нельзя было ожидать в его преклонные годы, и, не теряя времени, стал расправлять складки своего плаща.   
 Пилигрим сел на мула менее поспешно и, уезжая, протянул Гурту руку, которую тот поцеловал с величайшим почтением. Свинопас стоял, глядя вслед путешественникам, пока они не скрылись в глубине леса. Наконец голос Вамбы вывел его из задумчивости.   
 - Знаешь ли, друг мой Гурт, - сказал шут, - сегодня ты удивительно вежлив и сверх меры благочестив. Вот бы мне стать аббатом или босоногим пилигримом, тогда и я попользовался бы твоим рвением и усердием. Но, конечно, я бы захотел большего, чем поцелуй руки.   
 - Ты неглупо рассудил, Вамба, - отвечал Гурт, - только ты судишь по наружности; впрочем, и умнейшие люди делают то же самое... Ну, мне пора приглядеть за стадом.   
 С этими словами он воротился в усадьбу, а за ним поплелся и шут.   
 Тем временем путешественники торопились и ехали с такой скоростью, которая выдавала крайний испуг еврея: в его годы люди обычно не любят быстрой езды. Пилигрим, ехавший впереди, по-видимому отлично знал все лесные тропинки и нарочно держался окольных путей, так что подозрительный Исаак не раз подумывал - уж не собирается ли паломник завлечь его в какую-нибудь ловушку.   
 Впрочем, его опасения были простительны, если принять во внимание, что в те времена не было на земле, в воде и воздухе ни одного живого существа, только, пожалуй, за исключением летающих рыб, которое подвергалось бы такому всеобщему, непрерывному и безжалостному преследованию, как еврейское племя. По малейшему и абсолютно безрассудному требованию, так же как и по нелепейшему и совершенно неосновательному обвинению, их личность и имущество подвергались ярости и гневу. Норманны, саксонцы, датчане, британцы, как бы враждебно ни относились они друг к другу, сходились на общем чувстве ненависти к евреям и считали прямой религиозной обязанностью всячески унижать их, притеснять и грабить.   
 Короли норманской династии и подражавшая им знать, движимые самыми корыстными побуждениями, неустанно теснили и преследовали этот народ. Всем известен рассказ о том, что принц Джон, заключив какогото богатого еврея в одном из своих замков, приказал каждый день вырывать у него по зубу. Это продолжалось до тех пор, пока несчастный израильтянин не лишился половины своих зубов, и только тогда он согласился уплатить громадную сумму, которую принц стремился у него вытянуть. Наличные деньги, которые были в обращении, находились главным образом в руках этого гонимого племени, а дворянство не стеснялось следовать примеру своего монарха, вымогая их всеми мерами принуждения, не исключая даже пыток. Пассивная смелость, вселяемая любовью к приобретению, побуждала евреев пренебрегать угрозой различных несчастий, тем более что они могли извлечь огромные прибыли в столь богатой стране, как Англия. Несмотря на всевозможные затруднения и особую налоговую палату (о которой уже упоминалось), называемую еврейским казначейством, созданную именно для того, чтобы обирать и причинять им страдания, евреи увеличивали, умножали и накапливали огромные средства, которые они передавали из одних рук в другие посредством векселей; этим изобретением коммерция обязана евреям. Векселя давали им также возможность перемещать богатства из одной страны в другую, так что, когда в одной стране евреям угрожали притеснения и разорения, их сокровища оставались сохранными в другой стране. Упорством и жадностью евреи до некоторой степени сопротивлялись фанатизму и тирании тех, под властью которых они жили; эти качества как бы увеличивались соразмерно с преследованиями и гонениями, которым они подвергались; огромные богатства, обычно приобретаемые ими в торговле, часто ставили их в опасное положение, но и служили им на пользу, распространяя их влияние и обеспечивая им некоторое покровительство и защиту. Таковы были условия их существования, под влиянием которых складывался их характер: наблюдательный, подозрительный и боязливый, но в то же время упорный, непримиримый и изобретательный в избежании опасностей, которым их подвергали.   
 Путники долго ехали молча окольными тропинками леса, наконец пилигрим прервал молчание.   
 - Видишь старый, засохший дуб? - сказал он. - Это - граница владений Фрон де Бефа. Мы давно уже миновали земли Мальвуазена. Теперь тебе нечего опасаться погони.   
 - Да сокрушатся колеса их колесниц, - сказал еврей, - подобно тому как сокрушились они у колесниц фараоновых! Но не покидай меня, добрый пилигрим. Вспомни о свирепом храмовнике и его сарацинских рабах. Они не посмотрят ни на границы, ни на усадьбы, ни на звание владельца.   
 - С этого места наши дороги должны разойтись. Не подобает человеку моего звания ехать рядом с тобой дольше, чем этого требует прямая необходимость. К тому же какой помощи ты ждешь от меня, мирного богомольца, против двух вооруженных язычников?   
 - О добрый юноша! - воскликнул еврей. - Ты можешь заступиться за меня, я сумею наградить тебя - не деньгами, у меня их нет, помоги мне отец Авраам.   
 - Я уже сказал тебе, - прервал его пилигрим, - что ни денег, ни наград твоих мне не нужно. Проводить тебя я могу. Даже сумею защитить тебя, так как оказать покровительство еврею против сарацин едва ли запрещается христианину. А потому я провожу тебя до места, где ты можешь добыть себе подходящих защитников. Мы теперь недалеко от города Шеффилда. Там ты без труда отыщешь многих соплеменников и найдешь у них приют.   
 - Да будет над тобой благословение Иакова, добрый юноша! - сказал еврей. - В Шеффилде я найду пристанище у моего родственника Зарета, а там поищу способов безопасно проехать дальше.  
 - Хорошо, - молвил пилигрим. - Значит, в Шеффилде мы расстанемся. Через полчаса мы подъедем к этому городу.   
 В течение этого получаса оба не произнесли ни одного слова; пилигрим, быть может, считал для себя унизительным разговаривать с евреем, когда в этом не было необходимости, а тот не смел навязываться с беседой человеку, который совершил странствие к гробу господню и, следовательно, был отмечен некоторой святостью. Остановившись на вершине отлогого холма, пилигрим указал на город Шеффилд, раскинувшийся у его подножия, и сказал:   
 - Вот где мы расстанемся.   
 - Но не прежде, чем бедный еврей выразит вам свою признательность, хоть я и не осмеливаюсь просить вас заехать к моему родственнику Зарету, который помог бы мне отплатить вам за доброе дело, - сказал Исаак.   
 - Я уже говорил тебе, - сказал пилигрим, - что никакой награды не нужно. Если в длинном списке твоих должников найдется какой-нибудь бедняк христианин и ты ради меня избавишь его от оков и долговой тюрьмы, я сочту свою услугу вознагражденной.   
 - Постой! - воскликнул Исаак, хватая его за полу. - Мне хотелось бы сделать больше, чем это, для тебя самого. Богу известно, как я беден... Да, Исаак - нищий среди своих соплеменников. Но прости, если я возьмусь угадать то, что в настоящую минуту для тебя всего нужнее...   
 - Если бы ты и угадал, что мне всего нужнее, - сказал пилигрим, - ты все равно не мог бы доставить мне это, хотя бы ты был настолько же богат, насколько представляешься бедным.   
 - Представляюсь бедным? - повторил еврей. - О, поверь, я сказал правду: меня разорили, ограбили, я кругом в долгу. Жестокие руки лишили меня всех моих товаров, отняли деньги, корабли и все, что я имел... Но я все же знаю, в чем ты нуждаешься, и, быть может, сумею доставить тебе это. Сейчас ты больше всего хочешь иметь коня и вооружение.   
 Пилигрим невольно вздрогнул и, внезапно обернувшись к нему, торопливо спросил:   
 - Как ты это угадал?   
 - Все равно, как бы я ни угадал, лишь бы догадка моя была верна. Но раз я знаю, что тебе нужно, я все достану.   
 - Прими же во внимание мое звание, мою одежду, мои обеты...   
 - Знаю я вас, христиан, - ответил еврей. - Знаю и то, что даже самые знатные среди вас в суеверном покаянии берут иногда страннический посох и пешком идут в дальние страны поклониться могилам умерших.   
 - Не кощунствуй! - сурово остановил его странник.   
 - Прости, - сказал Исаак. - Я выразился необдуманно. Но вчера вечером, да и сегодня поутру ты проронил несколько слов, которые, подобно искрам, высекаемым кремнем, озарили для меня твое сердце. Кроме того, под твоим странническим одеянием спрятаны рыцарская цепь и золотые шпоры. Они блеснули, когда ты наклонился к моей постели сегодня утром.   
 Пилигрим не мог удержаться от улыбки и сказал:   
 - А что, если бы и в твои одежды заглянуть такими же зоркими глазами, Исаак? Думаю, что и у тебя нашлось бы немало интересного.   
 - Что об этом толковать! - сказал еврей, меняясь в лице, и, поспешно вынув из сумки письменные принадлежности, он поставил на седло свою желтую шапку и, расправив на ней листок бумаги, начал писать, как бы желая этим прекратить щекотливый разговор. Дописав письмо, он, лукаво сощурив глаза, вручил его пилигриму со словами:   
 - В городе Лестере всем известен богатый еврей Кирджат Джайрам из Ломбардии. Передай ему это письмо. У него есть теперь на продажу шесть рыцарских доспехов миланской работы - худший из них годится и для царской особы; есть у него и десять жеребцов - на худшем из них не стыдно выехать и самому королю, если б он отправился на битву за свой трон. По этой записке он даст тебе на выбор любые доспехи и боевого коня. Кроме того, он снабдит тебя всем нужным для предстоящего турнира. Когда минует надобность, возврати ему в целости товар или же, если сможешь, уплати сполна его стоимость.   
 - Но, Исаак, - сказал пилигрим улыбаясь, - разве ты не знаешь, что если рыцаря вышибут из седла во время турнира, то его конь и вооружение делаются собственностью победителя? Такое несчастье и со мной может случиться, а уплатить за коня и доспехи я не могу.   
 Еврей, казалось, был поражен мыслью о такой возможности, но, собрав все свое мужество, он поспешно ответил:   
 - Нет, нет, нет. Это невозможно, я и слышать не хочу об этом. Благословение отца нашего будет с тобою... И копье твое будет одарено такою же мощной силой, как жезл Моисеев.   
 Сказав это, он поворотил мула в сторону, но тут пилигрим сам поймал его за плащ и придержал:   
 - Нет, постой, Исаак, ты еще не знаешь, чем рискуешь. Может случиться, что коня убьют, а панцирь изрубят, потому что я не буду щадить ни лошади, ни человека. К тому же сыны твоего племени ничего не делают даром. Чем-нибудь же придется заплатить за утрату имущества.   
 Исаак согнулся в седле, точно от боли, но великодушие, однако, взяло верх над чувствами более для него привычными.   
 - Нужды нет, - сказал он, - все равно. Пусти меня. Если случатся убытки, ты за них не будешь отвечать. Кирджат Джайрам простит тебе этот долг ради Исаака, своего родственника, которого ты спас. Прощай и будь здоров. Однако послушай, добрый юноша, - продолжал он, еще раз обернувшись, - не суйся ты слишком вперед, когда начнется эта сумятица. Я это не с тем говорю, чтобы ты берег лошадь и панцирь, но единственно ради сохранения твоей жизни и тела.   
 - Спасибо за попечение обо мне, - отвечал пилигрим улыбаясь, - я воспользуюсь твоей любезностью и во что бы то ни стало постараюсь вознаградить тебя.   
 Они расстались и разными дорогами направились в город Шеффилд.

**Глава VII**

Идет со свитой рыцарей отряд,   
 На каждом - пестрый щегольской наряд.   
 Несет один оруженосец щит,   
 Со шлемом - этот, тот с копьем спешит;   
 Нетерпеливый конь копытом бьет   
 И золотые удила грызет;   
 В руках напильники и молотки   
 У оружейников - они ловки:   
 Щиты они починят и древки.   
 Толпа богатых иоменов идет,   
 С дубинками в руках валит простой народ.   
 "Паламон и Арсит"   
  
 В ту пору английский народ находился в довольно печальном положении. Ричард Львиное Сердце был в плену у коварного и жестокого герцога Австрийского. Даже место заключения Ричарда было неизвестно; большинство его подданных, подвергавшихся в его отсутствие тяжелому угнетению, ничего не знало о судьбе короля.   
 Принц Джон, который был в союзе с французским королем Филиппом - злейшим врагом Ричарда, использовал все свое влияние на герцога Австрийского, чтобы тот как можно дольше держал в плену его брата Ричарда, который в свое время оказал ему столько благодеяний.   
 Пользуясь этим временем, Джон вербовал себе сторонников, намереваясь в случае смерти Ричарда оспаривать престол у законного наследника - своего племянника Артура, герцога Британского, сына его старшего брата, Джефри Плантагенета. Впоследствии, как известно, он осуществил свое намерение и незаконно захватил власть. Ловкий интриган и кутила, принц Джон без труда привлек на свою сторону не только тех, кто имел причины опасаться гнева Ричарда за преступления, совершенные во время его отсутствия, но и многочисленную ватагу "отчаянных беззаконников" - бывших участников крестовых походов. Эти люди вернулись на родину, обогатившись всеми пороками Востока, но обнищав, и теперь только и ждали междоусобной войны, чтобы поправить свои дела.   
 К числу причин, вызывавших общее беспокойство и тревогу, нужно отнести также и то обстоятельство, что множество крестьян, доведенных до отчаяния притеснениями феодалов и беспощадным применением законов об охране лесов, объединялись в большие отряды, которые хозяйничали в лесах и пустошах, ничуть не боясь местных властей. В свою очередь, дворяне, разыгрывавшие роль самодержавных властелинов, собирали вокруг себя целые банды, мало чем отличавшиеся от разбойничьих шаек.   
 Чтобы содержать эти банды и вести расточительную и роскошную жизнь, чего требовали их гордость и тщеславие, дворяне занимали деньги у евреев под высокие проценты. Эти долги разъедали их состояние, а избавиться от них удавалось путем насилия над кредиторами. Не мудрено, что при таких тяжелых условиях существования английский народ испытывал великие бедствия в настоящем и имел все основания опасаться еще худших в будущем. В довершение всех зол по всей стране распространилась какая-то опасная заразная болезнь. Найдя для себя благоприятную почву в тяжелых условиях жизни низших слоев общества, она унесла множество жертв, а оставшиеся в живых нередко завидовали покойникам, избавленным от надвигавшихся бед.   
 Но, несмотря на эти несчастья, все - богатые и бедные, простолюдины и дворяне - с одинаковой жадностью стремились на турнир. Это было самое интересное и великолепнейшее из зрелищ того времени, и население относилось к нему с такой же страстью, с какой полуголодный обитатель Мадрида, вместо того чтобы купить еды для своей семьи, тратит все, до последнего реала, чтобы насладиться зрелищем боя быков. Никакие обязанности, никакие немощи не в силах были удержать старых и молодых от такого спектакля. Прошел слух, что боевая потеха, назначенная близ города Ашби, в графстве Лестерском, произойдет между прославленными рыцарями в присутствии принца Джона, что вызвало еще больший интерес, и наутро того дня, когда назначено было начало состязания, бесчисленное множество людей всех званий и сословий устремилось толпами к месту боевой потехи.   
 Место турнира было чрезвычайно живописно. У опушки большого леса, в расстоянии одной мили от города Ашби, расстилалась покрытая превосходным зеленым дерном обширная поляна, окаймленная с одной стороны густым лесом, а с другой - редкими старыми дубами. Отлогие склоны ее образовывали в середине широкую и ровную площадку, обнесенную крепкой оградой. Ограда имела форму четырехугольника с закругленными для удобства зрителей углами.   
 Для въезда бойцов на арену в северной и южной стенах ограды были устроены ворота, настолько широкие, что двое всадников могли проехать в них рядом. У каждых ворот стояли два герольда, шесть трубачей и шесть вестников и, кроме того, сильный отряд солдат для поддержания порядка. Герольды обязаны были проверять звание рыцарей, желавших принять участие в турнире.   
 С наружной стороны южных ворот на небольшом холме стояло пять великолепных шатров, украшенных флагами коричневого и черного цветов; таковы были цвета, выбранные рыцарями - устроителями турнира. Шнуры на всех пяти шатрах были тех же цветов. Перед каждым шатром был вывешен щит рыцаря, которому принадлежал шатер, а рядом со щитом стоял оруженосец, наряженный дикарем, или фавном, или каким-нибудь другим сказочным существом, смотря по вкусам своего хозяина. Средний шатер, самый почетный, был предоставлен Бриану де Буагильберу. Молва о его необычайном искусстве во всех рыцарских упражнениях, а также его близкие связи с рыцарями, затеявшими настоящее состязание, побудили устроителей турнира не только принять его в свою среду, но даже избрать своим предводителем, несмотря на то, что он совсем недавно прибыл в Англию. Рядом с его шатром с одной стороны были расположены шатры Реджинальда Фрон де Бефа и Филиппа де Мальвуазена, а с другой - Гуго де Гранмениля, знатного барона, один из предков которого был лордом-сенешалем Англии во времена Вильгельма Завоевателя и его сына Вильгельма Рыжего. Пятый шатер принадлежал иоанниту Ральфу де Випонту, крупному землевладельцу из местечка Гэсер, расположенного неподалеку от Ашби де ла Зуш. Площадка с шатрами была обнесена крепким частоколом и соединялась с ареной широким и отлогим спуском, также огороженным. Вдоль частокола стояла стража.   
 За северными воротами арены на такой же огороженной площадке помещалась палатка, предназначенная для рыцарей, которые пожелали бы выступить против зачинщиков турнира. Здесь были приготовлены всевозможные яства и напитки, а рядом расположились кузнецы, оружейники и иные мастера и прислужники, готовые во всякую минуту оказать бойцам надлежащие услуги.   
 Вдоль ограды были устроены особые галереи. Эти галереи были увешаны драпировками и устланы коврами. На коврах были разбросаны подушки, чтобы дамы и знатные зрители могли здесь расположиться с возможно большими удобствами. Узкое пространство между этими галереями и оградой было предоставлено мелкопоместным фермерам, так называемым иоменам, так что эти места можно приравнять к партеру наших театров. Что же касается простонародья, то оно должно было размещаться на дерновых скамьях, устроенных на склонах ближайших холмов, что давало зрителям возможность созерцать желанное зрелище поверх галерей и отлично видеть все, что совершалось на арене.   
 Кроме того, несколько сот человек уселось на ветвях деревьев, окаймлявших поляну; даже колокольня ближайшей сельской церкви была унизана зрителями.   
 По самой середине восточной галереи, как раз против центра арены, было устроено возвышение, где под балдахином с королевским гербом стояло высокое кресло вроде трона. Вокруг этой почетной ложи толпились пажи, оруженосцы, стража в богатой одежде, и по всему было видно, что она предназначалась для принца Джона и его свиты. Напротив королевской ложи, в центре западной галереи, возвышался другой помост, украшенный еще пестрее, хотя не так роскошно. Там также был трон, обитый алой и зеленой тканью, он был окружен множеством пажей и молодых девушек, самых красивых, каких могли подобрать, все они были нарядно одеты в причудливые костюмы, тоже зеленого и алого цветов. Ложа была убрана флагами и знаменами, на которых были изображены пронзенные сердца, пылающие сердца, истекающие кровью сердца, луки, колчаны со стрелами и тому подобные эмблемы торжества Купидона. Тут же красовалась пышная надпись, гласившая, что этот почетный трон предназначен для королевы любви и красоты. Но кто будет этой королевой, было неизвестно.   
 А тем временем зрители разных званий толпами направлялись к арене. Уже немало ссорились из-за того, что многие пытались занять неподобающие им места. В большинстве случаев споры довольно бесцеремонно разрешались стражей, которая для убеждения наиболее упорных спорщиков пускала в ход рукояти своих мечей и древки секир. Когда же препирательства из-за мест происходили между более важными лицами, их претензии решались двумя маршалами ратного поля: Уильямом де Вивилем и Стивеном де Мартивалем. Эти маршалы, вооруженные с головы до ног, разъезжали взад и вперед по арене, поддерживая среди публики строгий порядок.   
 Мало-помалу галереи наполнились рыцарями и дворянами; их длинные мантии темных цветов составляли приятный контраст с более светлыми и веселыми нарядами дам, которых здесь было еще больше, чем мужчин, хотя казалось бы, что такие кровавые и жестокие забавы малопривлекательны для прекрасного пола. Нижние галереи и проходы вскоре оказались битком набиты зажиточными иоменами и мелкими дворянами, которые по бедности или незначительному положению в свете не решались занять более почетные места. Само собою разумеется, что именно в этой части публики чаще всего происходили недоразумения из-за прав на первенство.   
 - Нечестивый пес! - восклицал пожилой человек, потертая одежда которого свидетельствовала о бедности, а меч на боку, кинжал за поясом и золотая цепь на шее говорили о претензиях на знатность. - Сын волчицы, ублюдок! Как ты смеешь толкать христианина, да еще и норманна из благородной дворянской фамилии Мондидье!   
 Эти резкие слова были обращены не к кому другому, как к нашему знакомому, Исааку, который, на этот раз богато разодетый, в великолепном плаще, протискивался сквозь толпу, стараясь найти место в переднем ряду нижней галереи для своей дочери, красавицы Ревекки. Она приехала к нему в Ашби и теперь, уцепившись за его руку, тревожно оглядывалась кругом, испуганная общим недовольством, вызванным, по-видимому, поведением ее отца. Мы видели, что Исаак бывал труслив в некоторых случаях, но здесь он знал, что ему бояться нечего. При таком стечении народа ни один из самых корыстных и злобных его притеснителей не решился бы его обидеть. На подобных сборищах евреи находились под защитой общих законов, а если этого было недостаточно, в толпе дворян всегда оказывалось несколько знатных баронов, которые из личных выгод были готовы за них вступиться. Кроме того, Исааку было хорошо известно, что принц Джон хлопочет о том, чтобы занять у богатых евреев в Йорке крупную сумму денег под залог драгоценностей и земельных угодий. Исаак сам имел близкое отношение к этому и отлично знал, как хотелось принцу поскорее его уладить. А потому он был уверен, что в случае неприятных столкновений принц непременно заступится за него.   
 Исаак смело протискивался вперед и неосторожно толкнул норманского дворянина. Однако жалобы старика возбудили негодование окружающих. Рослый иомен в зеленом суконном платье, с дюжиной стрел за поясом, с серебряным значком на груди и огромным луком в руке, резко повернулся, лицо его, потемневшее от загара и ветров как каленый орех, вспыхнуло гневом, и он посоветовал еврею запомнить, что хоть он и надулся, как паук, высасывая кровь своих несчастных жертв, но что пауков терпят, пока они смирно сидят по углам, а как только они вылезут на свет - их давят. Его угрозы, резкий голос и суровый взгляд заставили еврея попятиться. Очень вероятно, что Исаак и убрался бы подальше от столь опасного соседства, если бы в эту минуту общее внимание не было отвлечено появлением на арене принца Джона и его многочисленной и веселой свиты. Свита эта состояла частью из светских, частью из духовных лиц, столь же нарядно одетых и державших себя не менее развязно, чем их сотоварищи-миряне. В числе духовных был и приор из Жорво, в самом изящном костюме, какой по своему сану он мог себе позволить. Мех и золото обильно украшали его одежду, а носки его сапог были загнуты так высоко, что перещеголяли и без того нелепую тогдашнюю моду. Они были такой величины, что подвязывались не к коленям, а к поясу, мешая всаднику вставить ногу в стремя. Впрочем, это не смущало галантного аббата. Быть может, он даже рад был случаю выказать в присутствии такой многочисленной публики и в особенности дам свое искусство держаться на коне, обходясь без стремян. Остальная свита принца Джона состояла из его любимцев - начальников наемного войска, нескольких баронов, распутной шайки придворных и рыцарей ордена Храма и иоаннитов.   
 Здесь не лишним будет заметить, что рыцари этих двух орденов считались врагами Ричарда: во время бесконечных распрей в Палестине между Филиппом Французским и английским королем они приняли сторону Филиппа. Всем было известно, что именно благодаря этим распрям все победы Ричарда над сарацинами оказались бесплодными, а его попытки взять Иерусалим закончились неудачей; плодом же завоеванной славы было только ненадежное перемирие, заключенное с султаном Саладином. По тем же политическим соображениям, которые руководили их собратьями в Святой Земле, храмовники и иоанниты, жившие в Англии и Нормандии, присоединились к партии принца Джона, не имея причин желать ни возвращения Ричарда в Англию, ни воцарения его законного наследника, принца Артура.   
 Со своей стороны, принц Джон ненавидел и презирал уцелевшую саксонскую знать и старался при любом случае всячески ее унизить. Он понимал, что саксонские феодалы вместе с остальным саксонским населением Англии враждебно относятся к его проискам, опасаясь дальнейшего ограничения своих старинных прав, чего они могли ожидать от такого необузданного тирана, каким был принц Джон.   
 Окруженный своими приближенными, принц Джон выехал на арену верхом на резвом коне серой масти и с соколом на руке. На нем был великолепный пурпурный с золотом костюм, а на голове - роскошная меховая шапочка, украшенная драгоценными каменьями, из-под которой падали на плечи длинные локоны. Он ехал впереди, громко разговаривая и пересмеиваясь со своей свитой и дерзко, как это свойственно членам королевской фамилии, рассматривал красавиц, украшавших своим присутствием верхние галереи.   
 Даже те, кто замечал в наружности принца выражение разнузданной дерзости, крайнего высокомерия и полного равнодушия к чувствам других людей, не могли отрицать того, что он не лишен некоторой привлекательности, свойственной открытым чертам лица, правильным от природы и приученным воспитанием к выражению приветливости и любезности, которые легко принять за естественное простодушие и честность. Такое выражение лица часто и совершенно напрасно также принимают за признак мужественности и чистосердечия, тогда как под ними обычно скрываются беспечное равнодушие и распущенность человека, сознающего себя, независимо от своих душевных качеств, стоящим выше других благодаря знатности происхождения, или богатства, или каким-нибудь иным случайным преимуществам.   
 Однако большинство зрителей не вдавалось в такие глубокие размышления. Для них достаточно было увидеть великолепную меховую шапочку принца Джона, его пышную мантию, отороченную дорогими соболями, его сафьяновые сапожки с золотыми шпорами и, наконец, ту грацию, с какой он управлял своим конем, чтобы прийти в восторг и приветствовать его громкими кликами.   
 Принц весело гарцевал вокруг арены. Внезапно внимание его было привлечено продолжавшейся суматохой, вызванной притязаниями Исаака на лучшее место. Зоркий взгляд Джона мигом разглядел еврея, но гораздо более приятное впечатление произвела на него красивая дочь Сиона, боязливо прильнувшая к руке своего старого отца.   
 И в самом деле, даже на взгляд такого строгого ценителя, каким был Джон, прекрасная Ревекка могла с честью выдержать сравнение с самыми знаменитыми английскими красавицами. Она была удивительно хорошо сложена, и восточный наряд не скрывал ее фигуры. Желтый шелковый тюрбан шел к смуглому оттенку ее кожи; глаза блестели, тонкие брови выгибались горделивой дугой, белые зубы сверкали, как жемчуг, а густые черные косы рассыпались по груди и плечам, прикрытым длинной симаррой из пурпурного персидского шелка с вытканными по нему цветами всевозможных оттенков, спереди прикрепленной множеством золотых застежек, украшенных жемчугом, - все вместе создавало такое чарующее впечатление, что Ревекка могла соперничать с любой из прелестнейших девушек, сидевших вокруг. Ее платье было застегнуто жемчужными запонками; три верхние запонки были расстегнуты, так как день был жаркий, и на открытой шее было хорошо видно бриллиантовое ожерелье с подвесками огромной ценности; страусовое перо, прикрепленное к тюрбану алмазным аграфом, также сразу бросалось в глаза, и хотя горделивые дамы, сидевшие на верхней галерее, презрительно поглядывали на прелестную еврейку, втайне они завидовали ее красоте и богатству.   
 - Клянусь лысиной Авраама, - сказал принц Джон, - эта еврейка - образец тех чар и совершенств, что сводили с ума мудрейшего из царей. Как ты думаешь, приор Эймер? Клянусь тем храмом мудрого Соломона, которого наш еще более мудрый братец Ричард никак не может взять, она хороша, как сама возлюбленная в Песни Песней.   
 - Роза Сарона и Лилия Долин, - отвечал приор. - Однако, ваша светлость, вы не должны забывать, что она не более как еврейка.   
 - Эге! - молвил принц, не обратив никакого внимания на его слова. - А вот и мой нечестивый толстосум... Маркиз червонцев и барон сребреников препирается изза почетного места с оборванцами, у которых в карманах, наверно, не водится ни одного пенни. Клянусь святым Марком, мой денежный вельможа и его хорошенькая еврейка сейчас получат места на верхней галерее. Эй, Исаак, это кто такая? Кто она тебе, жена или дочь? Что это за восточная гурия, которую ты держишь под мышкой, точно это шкатулка с твоей казной?   
 - Это дочь моя Ревекка, ваша светлость, - отвечал Исаак с низким поклоном, нимало не смутившись приветствием принца, в котором сочетались насмешка и любезность.   
 - Ну, ты, мудрец! - сказал принц с громким хохотом, которому тотчас начали подобострастно вторить его спутники. - Но все равно, дочь ли она тебе или жена, ее следует чествовать, как то подобает ее красоте и твоим заслугам... Эй, кто там сидит наверху? - продолжал Он, окинув взглядом галерею. - Саксонские мужланы... Ишь как развалились. Выгнать их вон отсюда! Пускай потеснятся и дадут место моему князю ростовщиков и его прекрасной дочери. Я покажу этим неучам, что лучшие места в синагоге они обязаны делить с теми, кому синагога принадлежит по праву!   
 Зрители, к которым была обращена эта грубая и оскорбительная речь, были Седрик Сакс со своими домашними и его союзник и родственник Ательстан Конингсбургский, который, как потомок последнего короля саксонской династии, пользовался величайшим почетом со стороны всех саксов, уроженцев северной Англии. Но вместе с царственной кровью своих предков Ательстан унаследовал и многие из их слабостей. Он был высокого роста, крепкого телосложения, в цвете лет, но его красивое лицо было так вяло, глаза смотрели так тупо и сонно, движения были так ленивы и он был так медлителен в своих решениях, что его прозвали Ательстаном Неповоротливым. Его друзья, а их было немало, и все они, так же как Седрик, были к нему страстно привязаны, утверждали, что эта вялость объяснялась не недостатком мужества, а только нерешительностью. По мнению других, пьянство, бывшее его наследственным пороком, ослабило его волю, а длительные периоды запоя были причиной того, что он утратил все свои лучшие качества, за исключением храбрости и вялого добродушия.   
 И вот именно к нему обратился принц Джон с приказанием посторониться и очистить место для Исаака и Ревекки. Ательстан, ошеломленный таким требованием, которое, по тогдашнему времени и понятиям, было неслыханно оскорбительным, не был расположен повиноваться принцу. Однако он не знал, как ему ответить на подобный приказ. Он ограничился полным бездействием. Не сделав ни малейшего движения для исполнения приказа, он широко открыл свои огромные серые глаза и смотрел на принца с таким изумлением, которое могло бы вызвать смех. Но нетерпеливому Джону было не до смеха.   
 - Этот саксонский свинопас или спит, или не понимает меня! - сказал он. - Де Браси, пощекочи его копьем, - продолжал Джон, обратившись к ехавшему рядом с ним рыцарю, предводителю отряда вольных стрелков-кондотьеров, то есть наемников, не принадлежавших ни к какой определенной нации и готовых служить любому принцу, который платил им жалованье.   
 Даже в свите принца послышался ропот. Но де Браси, чуждый по своей профессии всякой щепетильности, протянул длинное копье и, вероятно, исполнил бы приказание принца прежде, чем Ательстан Неповоротливый успел подумать, что надо увернуться от оружия, если бы Седрик с быстротою молнии не выхватил свой короткий меч и одним ударом не отсек стальной наконечник копья.   
 Кровь бросилась в лицо принцу Джону. Он злобно выругался и хотел было разразиться не менее сильной угрозой, но замолчал, отчасти потому, что свита принялась всячески его уговаривать и успокаивать, отчасти потому, что толпа приветствовала поступок Седрика громкими возгласами одобрения.   
 Принц с негодованием обвел глазами зрителей, как бы выбирая более беззащитную жертву для своего гнева. Взгляд его случайно упал на того самого стрелка в зеленом кафтане, который только что грозил Исааку. Увидев, что этот человек громко и вызывающе выражает свое одобрение Седрику, принц спросил его, почему он так кричит.   
 - А я всегда кричу ура, - отвечал иомен, - когда вижу удачный прицел или смелый удар.   
 - Вот как! - молвил принц. - Пожалуй, ты и сам ловко попадаешь в цель?   
 - Да не хуже любого лесничего, - сказал иомен.   
 - Он и за сто шагов не промахнется по мишени Уота Тиррела, - произнес чей-то голос из задних рядов, но чей именно - разобрать было нельзя.   
 Этот намек на судьбу его деда, Вильгельма Рыжего, одновременно рассердил и испугал принца Джона.   
 Однако он ограничился тем, что приказал страже присматривать за этим хвастуном иоменом.   
 - Клянусь святой Гризельдой, - прибавил он, - мы испытаем искусство этого поклонника чужих подвигов.   
 - Я не против такого испытания, - сказал иомен со свойственным ему хладнокровием.   
 - Что же вы не встаете, саксонские мужланы? - воскликнул раздосадованный принц. - Клянусь небом, раз я сказал - еврей будет сидеть рядом с вами!   
 - Как же можно? С позволения вашей светлости, нам совсем не подобает сидеть рядом с важными господами, - сказал Исаак; хотя он и поспорил из-за места с захудалым и разоренным представителем фамилии Мондидье, но отнюдь не собирался нарушать привилегии зажиточных саксонцев.   
 - Полезай, нечестивый пес, я приказываю тебе! - крикнул принц Джон. - Не то я велю содрать с тебя кожу и выдубить ее на конскую сбрую.   
 Услышав такое приглашение, Исаак начал взбираться по узкой и крутой лесенке на верхнюю галерею.   
 - Посмотрим, кто осмелится его остановить, - сказал принц, пристально глядя на Седрика, который явно намеревался сбросить еврея вниз головой.   
 Но шут Вамба предотвратил несчастье неожиданным вмешательством: он выскочил вперед и, став между своим хозяином и Исааком, воскликнул:   
 - А ну-ка, я попробую! - С этими словами он выхватил из-под полы плаща большой кусок свинины и поднес его к самому носу Исаака.   
 Без сомнения, он захватил с собой этот запас продовольствия на случай, если турнир затянется дольше, чем в состоянии выдержать его аппетит. Увидав перед собой этот омерзительный для него предмет и заметив, что шут занес над его головой свою деревянную шпагу, Исаак резко попятился назад, оступился и покатился вниз по лестнице. Отличная шутка для зрителей, вызвавшая взрывы смеха, да и сам принц Джон и вся его свита расхохотались от души.   
 - Ну-ка, брат принц, давай мне приз, - сказал Вамба. - Я победил врага в честном бою: мечом и щитом, - прибавил он, размахивая шпагой в одной руке и куском свинины - в другой.   
 - Кто ты такой и откуда взялся, благородный боец? - сказал принц Джон, продолжая смеяться.   
 - Я дурак по праву рождения, - отвечал шут, - зовут меня Вамба, я сын Безмозглого, который был сыном Безголового, а тот, в свой черед, происходил от олдермена.   
 - Ну, очистите место еврею в переднем ряду нижней галереи, - сказал принц Джон, быть может радуясь случаю отменить свое первоначальное распоряжение. - Нельзя же сажать побежденного с победителем? Это противоречит правилам рыцарства.   
 - Все лучше, чем сажать мошенника рядом с дураком, а еврея - рядом со свиньей.   
 - Спасибо, приятель, - воскликнул принц Джон, - ты меня потешил! Эй, Исаак, дай-ка мне взаймы пригоршню червонцев!   
 Озадаченный этой просьбой, Исаак долго шарил рукой в меховой сумке, висевшей у его пояса, пытаясь выяснить, сколько монет может поместиться в руке, но принц сам разрешил его сомнения: он, наклонясь с седла, вырвал из рук еврея сумку, вынул оттуда пару золотых монет, бросил их Вамбе и поскакал дальше вдоль края ристалища. Зрители начали осыпать насмешками еврея, а принца наградили такими одобрительными возгласами, как будто он совершил честный и благородный поступок.

**Глава VIII**

Труба зачинщика надменный вызов шлет,   
 И рыцаря труба в ответ поет,   
 Поляна вторит им и небосвод,   
 Забрала опустили седоки,   
 И к панцирям прикреплены древки;   
 Вот кони понеслись, и наконец   
 С бойцом вплотную съехался боец.   
 "Паламон и Арсит"   
  
 Во время дальнейшего объезда арены принц Джон внезапно остановил коня и, обращаясь к аббату Эймеру, заявил, что совсем было позабыл о главной заботе этого дня.   
 - Святые угодники, - сказал он, - знаете ли, сэр приор, что мы позабыли назначить королеву любви и красоты, которая своей белой рукой будет раздавать награды! Что касается меня, я подам голос за черноокую Ревекку. У меня нет предрассудков.   
 - Пресвятая дева, - сказал приор, с ужасом подняв глаза к небу, - за еврейку!.. После этого нас непременно побьют камнями и выгонят с турнира, а я еще не так стар, чтобы принять мученический венец. К тому же, клянусь моим святым заступником, Ревекка далеко уступает в красоте прелестной саксонке Ровене.   
 - Не все ли равно, - отвечал принц, - саксонка или еврейка, собака или свинья! Какое это имеет значение? Право, изберем Ревекку, хотя бы для того, чтобы хорошенько подразнить саксонских мужланов.   
 Тут даже свита принца зароптала.   
 - Это уж не шутка, милорд, - сказал де Браси, - ни один рыцарь не поднимет копья, если нанести такую обиду здешнему собранию.   
 - К тому же это очень неосторожно, - сказал один из старейших и наиболее влиятельных вельмож в свите принца, Вальдемар Фиц-Урс. - Такая выходка может помешать осуществлению намерений вашей светлости.   
 - Сэр, - молвил принц надменно, придержав свою лошадь и оборачиваясь к нему, - я вас пригласил состоять в моей свите, а не давать мне советы.   
 - Всякий, кто следует за вашей светлостью по тем путям, которые вы изволили избрать, - сказал Вальдемар, понизив голос, - получает право подавать вам советы, потому что ваши интересы и безопасность неразрывно связаны с нашими собственными.   
 Это было сказано таким тоном, что принц счел себя вынужденным уступить своим приближенным.   
 - Я пошутил, - сказал он, - а вы уж напали на меня, как гадюки! Черт возьми, выбирайте кого хотите!   
 - Нет, нет, - сказал де Браси, - оставьте трон незанятым, и пусть тот, кто выйдет победителем, сам изберет прекрасную королеву. Это увеличит прелесть победы и научит прекрасных дам еще более ценить любовь доблестных рыцарей, которые могут так их возвысить.   
 - Если победителем окажется Бриан де Буагильбер, - сказал приор, - я уже заранее знаю, кто будет королевой любви и красоты.   
 - Буагильбер, - сказал де Браси, - хороший боец, но здесь немало рыцарей, сэр приор, которые не побоятся помериться с ним силами.   
 - Помолчим, господа, - сказал Вальдемар, - и пускай принц займет свое место. И зрители и бойцы приходят в нетерпение - время позднее, давно пора начинать турнир.   
 Хотя принц Джон и не был еще монархом, но благодаря Вальдемару Фиц-Урсу уже терпел все неудобства, сопряженные с существованием любимого первого министра, который согласен служить своему повелителю, но не иначе, как на свой собственный лад. Принц был склонен к упрямству в мелочах, но на этот раз уступил. Он сел в свое кресло и, когда свита собралась вокруг него, подал знак герольдам провозгласить правила турнира. Эти правила были таковы.   
 Пять рыцарей-зачинщиков вызывают на бой всех желающих.   
 Каждый рыцарь, участвующий в турнире, имеет право выбрать себе противника из числа пяти зачинщиков. Для этого он должен только прикоснуться копьем к его щиту. Прикосновение тупым концом означает, что рыцарь желает состязаться тупым оружием, то есть копьями с плоскими деревянными наконечниками или "оружием вежливости", - в таком случае единственной опасностью являлось столкновение всадников. Но если бы рыцарь прикоснулся к щиту острием копья, это значило бы, что он желает биться насмерть, как в настоящих сражениях.   
 После того как каждый из участников турнира преломит копье по пяти раз, принц объявит, кто из них является победителем в состязании первого дня, и прикажет выдать ему приз - боевого коня изумительной красоты и несравненной силы. Вдобавок к этой награде победителю предоставлялась особая честь самому избрать королеву любви и красоты.   
 В заключение объявлялось, что на другой день состоится всеобщий турнир; в нем смогут принять участие все присутствующие рыцари. Их разделят на две равные партии, и они будут честно и мужественно биться, пока принц Джон не подаст сигнала к окончанию состязания. Вслед за тем избранная накануне королева любви и красоты увенчает рыцаря, которого принц признает наиболее доблестным из всех, лавровым венком из чистого золота.   
 На третий день были назначены состязания в стрельбе из луков, бой быков и другие развлечения для простого народа. Подобным праздником принц Джон думал приобрести расположение тех самых людей, чувства которых он непрерывно оскорблял своими опрометчивыми и часто бессмысленными нападками.   
 Место ожидаемых состязаний представляло теперь великолепнейшее зрелище. Покатые галереи были заполнены всем, что было родовитого, знатного, богатого и красивого на севере Англии и в средних ее частях; разнообразные цвета одежды этих важных зрителей производили впечатление веселой пестроты, составляя приятный контраст с более темными и тусклыми оттенками платья солидных горожан и иоменов, которые, толпясь ниже галерей вдоль всей ограды, образовали как бы темную кайму, еще резче оттенявшую блеск и пышность верхних рядов.   
 Герольды закончили чтение правил обычными возгласами: "Щедрость, щедрость, доблестные рыцари!" В ответ на их призыв со всех галерей посыпались золотые и серебряные монеты. Герольды вели летописи турниров, и рыцари не жалели денег для историков своих подвигов. В благодарность за полученные дары герольды восклицали: "Любовь к дамам! Смерть противникам! Честь великодушному! Слава храброму!" Зрители попроще присоединяли к этим возгласам свои радостные клики, между тем как трубачи оглашали воздух воинственными звуками своих инструментов. Когда стих весь этот шум, герольды блистательной вереницей покинули арену. Одни лишь маршалы, в полном боевом вооружении, верхом на закованных в панцири конях, неподвижно, как статуи, стояли у ворот по обоим концам поля.   
 К этому времени все огороженное пространство у северного входа на арену наполнилось толпой рыцарей, изъявивших желание принять участие в состязании с зачинщиками. С верхних галерей казалось, что там целое море колышущихся перьев, сверкающих шлемов и длинных копий; прикрепленные к копьям значки в ладонь шириною колебались и реяли, подхваченные ветром, придавая еще больше движения и без того чрезвычайно оживленной картине.   
 Наконец ворота открыли, и пять рыцарей, выбранных по жребию, медленно въехали на арену: один впереди, остальные за ним попарно. Все они были великолепно вооружены, и саксонский летописец, рассказ которого служит для меня первоисточником, чрезвычайно подробно описывает их девизы, цвета, даже вышивки на чепраках их коней. Но нам нет надобности распространяться обо всем этом. Говоря словами одного из современных поэтом, автора очень немногих произведений:   
 Рыцарей нет,   
 На оружии - ржавчины след,   
 Души воинов этот покинули свет.   
 Их гербы без следа исчезли со стен замков, да и сами замки превратились в зеленые холмы и жалкие развалины. Там, где их знали когда-то, теперь не помнят - нет! Много поколений сменилось и было забыто в том самом краю, где царили эти могущественные феодальные властелины. Какое же дело читателю до их имен и рыцарских девизов!   
 Но не предвидя, какому полному забвению будут преданы их имена и подвиги, бойцы выехали на арену, сдерживая своих горячих коней и принуждая их медленно выступать, чтобы похвастать красотой их шага и своей собственной ловкостью и грацией. И тотчас же из-за южных шатров, где были скрыты музыканты, грянула дикая, варварская музыка: обычай этот был вывезен рыцарями из Палестины. Оркестр состоял из цимбал и колоколов и производил такое впечатление, словно зачинщики посылали одновременно и привет и вызов рыцарям, которые к ним приближались. На глазах у зрителей пятеро рыцарей проехали арену, поднялись на пригорок, где стояли шатры зачинщиков, разъехались в разные стороны, и каждый слегка ткнул тупым концом копья щит того, с кем желал сразиться. Зрители попроще, да, впрочем, и многие знатные особы и даже, как говорят, некоторые дамы были несколько разочарованы тем, что рыцари пожелали биться тупым оружием. Определенный сорт людей, который в наши дни восхищается самыми страшными трагедиями, в те времена интересовался турнирами лишь в той мере, насколько эта забава являлась опасной для сражающихся.   
 Поставив в известность о своих относительно мирных намерениях, рыцари отъехали в другой конец арены и выстроились в ряд. Тогда зачинщики вышли из своих шатров, сели на коней и под предводительством Бриана де Буагильбера, спустившись с пригорка, также стали рядом, каждый против того рыцаря, который дотронулся до его щита.   
 Заиграли трубы и рожки, и противники помчались друг на друга. Схватка продолжалась недолго: искусство и счастье зачинщиков были таковы, что противники Буагильбера, Мальвуазена и Фрон де Бефа разом свалились с лошадей на землю. Противник Гранмениля, вместо того чтобы направить копье в шлем или в щит врага, переломил его о туловище рыцаря, что считалось более позорным, чем просто свалиться с лошади: последнее можно было приписать случайности, тогда как первое доказывало неловкость и даже неумение обращаться со своим оружием. Один лишь пятый рыцарь поддержал честь своей партии: он схватился с иоаннитом, оба переломили копья и расстались, причем ни один из них не добился преимущества.   
 Крики зрителей, возгласы герольдов и звуки труб возвестили торжество победителей и поражение побежденных. Победители возвратились в свои шатры, а побежденные, кое-как поднявшись с земли, со стыдом удалились с арены; им предстояло теперь вступить с победителями в переговоры о выкупе своих доспехов и коней, которые, по законам турниров, стали добычею победивших. Один лишь пятый несколько замешкался и погарцевал по арене, так что дождался рукоплесканий публики, что, без сомнения, способствовало унижению его соратников.   
 Вслед за первой вторая и третья партии рыцарей выезжали на арену попытать свое боевое счастье. Однако победа решительно оставалась на стороне зачинщиков. Ни один из них не был вышиблен из седла и не сделал постыдного промаха копьем, тогда как подобные неудачи постоянно случались у их противников. Поэтому та часть зрителей, которая не сочувствовала зачинщикам, весьма приуныла, видя их неизменный успех. В четвертую очередь выехало только три рыцаря; они обошли щиты Буагильбера и Фрон де Бефа и вызвали на состязание только троих остальных - тех, которые выказали меньшую ловкость и силу. Но такая осторожность ни к чему не привела. Зачинщики по-прежнему имели полный успех. Один из их противников вылетел из седла, а два других промахнулись, то есть потерпели поражение в приеме боя, который требовал точности и сильного удара копьем, причем копье могло упарить по шлему или о щит противника, переломиться от силы этого удара или сбросить самого нападающего на землю.   
 После четвертого состязания наступил довольно долгий перерыв. Как видно, охотников возобновить битву не находилось. Среди зрителей начался ропот; дело в том, что из числа пяти зачинщиков Мальвуазен и Фрон де Беф не пользовались расположением народа за свою жестокость, а остальных, кроме Гранмениля, не любили, потому что они были чужестранцы.   
 Никто не был так огорчен исходом турнира, как Седрик Сакс, который в каждом успехе норманских рыцарей видел новое оскорбление для чести Англии. Сам он смолоду не был обучен искусному обращению с рыцарским оружием, хотя и не раз показывал свою храбрость и твердость в бою. Теперь он вопросительно поглядывал на Ательстана, который в свое время учился этому модному искусству. Седрик, казалось, хотел, чтобы Ательстан попытался вырвать победу из рук храмовника и его товарищей. Но, несмотря на свою силу и храбрость, Ательстан был так ленив и настолько лишен честолюбия, что не мог сделать усилия, которого, по-видимому, ожидал от него Седрик.   
 - Не посчастливилось сегодня Англии, милорд, - сказал Седрик многозначительно. - Не соблазняет ли это вас взяться за копье?   
 - Я собираюсь побиться завтра, - отвечал Ательстан. - Я приму участие в melee. He стоит уж сегодня надевать ратные доспехи.   
 Этот ответ вдвойне был не по сердцу Седрику: во-первых, его покоробило от норманского слова melee, означавшего общую схватку, а во-вторых, в этом ответе сказалось равнодушие Ательстана к чести своей родины. Но так как это говорил человек, к которому Седрик питал глубокое почтение, он не позволил себе обсуждать его мотивы или недостатки. Впрочем, его опередил Вамба, который поспешил вставить свое словечко.   
 - Куда лучше! - сказал он. - Хоть оно и труднее, зато куда почетнее быть первым из ста человек, чем первым из двух.   
 Ательстан принял эти слова за похвалу, сказанную всерьез, но Седрик, понявший затаенную мысль шута, бросил на него суровый и угрожающий взгляд. К счастью для Вамбы, время и обстоятельства не позволили хозяину расправиться с ним.   
 Состязание все еще не возобновлялось; были слышны только голоса герольдов, восклицавших:   
 - Вас ждет любовь дам, преломляйте копья в их честь! Выступайте, храбрые рыцари! Прекрасные очи взирают на ваши подвиги!   
 Время от времени музыканты оглашали воздух дикими звуками фанфар, выражавшими торжество победы и вызов на бой. В толпе ворчали, что вот наконец выдался праздничный денек, да и то ничего хорошего не увидишь. Старые рыцари и пожилые дворяне шепотом делились между собой замечаниями, вспоминали триумфы своей молодости, жаловались на то, что совсем вымирает воинственный дух, но, впрочем, соглашались, что ныне нет уже больше таких ослепительных красавиц, какие в старые годы воодушевляли бойцов. Принц Джон со своими приближенными начал толковать о приготовлении пиршества и о присуждении приза Бриану де Буагильберу, который одним и тем же копьем сбросил двух противников с седел, а третьего победил.   
 Наконец, после того как сарацинские музыканты еще раз сыграли какой-то продолжительный марш, на северном конце арены из-за ограды послышался звук одинокой трубы, означавший вызов. Все взоры обратились в ту сторону, чтобы посмотреть, кто этот новый рыцарь, возвещающий о своем прибытии. Ворота поспешили отпереть, и он въехал на ристалище.   
 Насколько можно было судить о человеке, закованном в боевые доспехи, новый боец был немногим выше среднего роста и казался скорее хрупкого, чем крепкого телосложения. На нем был стальной панцирь с богатой золотой насечкой; девиз на его щите изображал молодой дуб, вырванный с корнем; под ним была надпись на испанском языке: "Desdichado", что означает "Лишенный наследства". Ехал он на превосходном вороном коне. Проезжая вдоль галерей, он изящным движением склонил копье, приветствуя принца и дам. Ловкость, с которой он управлял конем, и юношеская грация его движений сразу расположили к нему сердца большинства зрителей, и из толпы раздались крики:   
 - Тронь копьем щит Ральфа де Випонта! Вызывай иоаннита: он не так-то крепок в седле, с ним легче будет сладить!   
 Сопутствуемый такими благосклонными советами, рыцарь поднялся на пригорок и, к изумлению всех зрителей, приблизившись к среднему шатру, с такой силой ударил острым концом своего копья в щит Бриана де Буагильбера, что тот издал протяжный звон. Все были крайне удивлены такой смелостью, но больше всех удивился сам грозный рыцарь, получивший вызов на смертный бой. Нисколько не ожидая столь решительного вызова, он в самой непринужденной позе стоял в ту минуту у входа в свой шатер.   
 - Были ли вы сегодня у исповеди, братец? - сказал он. - Сходили ли к обедне, раз так отважно рискуете своей жизнью?   
 - Я лучше тебя приготовился к смерти, - отвечал рыцарь Лишенный Наследства, который под этим именем и был занесен в список участников турнира.   
 - Так ступай, становись на свое место на арене, - сказал де Буагильбер, - да полюбуйся на солнце в последний раз: нынче же вечером ты уснешь в раю.   
 - Благодарю за предупреждение, - ответил рыцарь Лишенный Наследства. - Прими же и от меня добрый совет: садись на свежую лошадь и бери новое копье: клянусь честью, они тебе понадобятся.   
 Сказав это, он заставил свою лошадь задом спуститься с холма и пятиться через всю арену вплоть до северных ворот. Тут он остановился как вкопанный в ожидании своего противника. Удивительное искусство, с которым он управлял конем, снова вызвало громкие похвалы большинства зрителей.   
 Как ни досадно было де Буагильберу выслушивать советы от своего противника, тем не менее он последовал им в точности: его честь зависела от исхода предстоявшей борьбы, и поэтому он не мог пренебречь ничем, что содействовало бы его успеху. Он приказал подать себе свежую лошадь, сильную и резвую, выбрал новое, крепкое копье, опасаясь, что древко старого не так уже надежно после предыдущих стычек, и переменил щит, поврежденный в прежних схватках. На первом щите у него была обычная эмблема храмовников - двое рыцарей, едущих на одной лошади, что служило символом смирения и бедности. В действительности вместо этих качеств, считавшихся первоначально необходимыми для храмовников, рыцари Храма в то время отличались надменностью и корыстолюбием, что и послужило поводом к уничтожению их ордена. На новом щите де Буагильбера изображен был летящий ворон, держащий в когтях череп, а под ним надпись: "Берегись ворона".   
 Когда оба противника, решившие биться насмерть, стали друг против друга на противоположных концах арены, тревожное ожидание зрителей достигло высшего предела. Немногие полагали, чтобы состязание могло окончиться благополучно для рыцаря Лишенного Наследства, но его отвага и смелость расположили большинство зрителей в его пользу.   
 Как только трубы подали сигнал, оба противника с быстротою молнии ринулись на середину арены и сшиблись с силой громового удара. Их копья разлетелись обломками по самые рукояти, и какое-то мгновение казалось, что оба рыцаря упали, потому что кони под ними взвились на дыбы и попятились назад. Однако искусные седоки справились с лошадьми, пустив в ход и шпоры и удила. С минуту они смотрели друг на друга в упор; казалось, взоры их мечут пламя сквозь забрала шлемов; потом, поворотив коней, они поехали каждый в свою сторону и у ворот получили новые копья из рук своих оруженосцев.   
 Громкие восклицания, возгласы одобрения многочисленных зрителей, которые при этом махали платками и шарфами, доказывали, с каким интересом все следили за этим поединком; впервые в тот день выехали на арену бойцы, столь равные по силе и ловкости. Но как только они снова стали друг против друга, крики и рукоплескания смолкли, народ вокруг ристалища замер, и настала такая глубокая тишина, как будто зрители боялись перевести дыхание.   
 Дав лошадям и всадникам отдохнуть несколько минут, принц Джон подал знак трубачам играть сигнал к бою. Во второй раз противники помчались на середину ристалища и снова сшиблись с такой же быстротой, такой же силой и ловкостью, но не с равным успехом, как прежде.   
 На этот раз храмовник метил в самую середину щита своего противника и ударил в него так метко и сильно, что копье разлетелось вдребезги, а рыцарь покачнулся в седле. В свою очередь, Лишенный Наследства, вначале также метивший в щит Буагильбера, в последний момент схватки изменил направление копья и ударил по шлему противника. Это было гораздо труднее, но при удаче удар был почти неотразим. Так оно и случилось, удар пришелся по забралу, а острие копья задело перехват его стальной решетки. Однако храмовник и тут не потерял присутствия духа и поддержал свою славу. Если б подпруга его седла случайно не лопнула, быть может он и не упал бы. Но вышло так, что седло, конь и всадник рухнули на землю и скрылись в столбе пыли.   
 Выпутаться из стремян, вылезть из-под упавшей лошади и вскочить на ноги было для храмовника делом одной минуты. Вне себя от ярости, которая увеличивалась от громких и радостных криков зрителей, приветствовавших его падение, он выхватил меч и замахнулся им на своего победителя. Рыцарь Лишенный Наследства соскочил с коня и также обнажил меч. Но маршалы, пришпорив коней, подскакали к ним и напомнили бойцам, что по законам турнира они не имеют права затевать подобный поединок.   
 - Мы еще встретимся, - сказал храмовник, метнув гневный взгляд на своего противника, - и там, где нам никто не помешает.   
 - Если встретимся, в том будет не моя вина, - отвечал рыцарь Лишенный Наследства. - Пешим или на коне, копьем ли, секирой или мечом - я всегда готов сразиться с тобой.   
 Они бы, вероятно, еще долго обменивались гневными речами, если бы маршалы, скрестив копья, не принудили их разойтись. Рыцарь Лишенный Наследства возвратился на свое прежнее место, а Бриан де Буагильбер - в свой шатер, где провел весь остаток дня в гневе и отчаянии.   
 Не слезая с коня, победитель потребовал кубок вина и, отстегнув нижнюю часть забрала, провозгласил, что пьет "за здоровье всех честных английских сердец и на погибель иноземным тиранам!" После этого он приказал своему трубачу протрубить вызов зачинщикам и попросил герольда передать им, что не хочет никого выбирать, но готов сразиться с каждым из них в том порядке, какой они сами установят.   
 Первым выехал на ристалище Фрон де Беф, громадный богатырь, в черной броне и с белым щитом, на котором была нарисована черная бычья голова, изображение которой наполовину стерлось в многочисленных схватках, с хвастливым девизом: "Берегись, вот я". Над этим противником рыцарь Лишенный Наследства одержал легкую, но решительную победу: у обоих рыцарей копья переломились, но при этом Фрон де Беф потерял стремя, и судьи решили, что он проиграл.   
 Третья стычка незнакомца произошла с сэром Филиппом де Мальвуазеном и была столь же успешна: он с такой силой ударил барона копьем в шлем, что завязки лопнули, шлем свалился, и только благодаря этому сам Мальвуазен не упал с лошади, однако был объявлен побежденным.   
 Четвертая схватка была с Гранменилем. Тут рыцарь Лишенный Наследства выказал столько же любезности, сколько до сих пор выказывал мужества и ловкости. У Гранмениля лошадь была молодая и слишком горячая; во время стычки она так шарахнулась в сторону, что всадник не мог попасть в цель, противник же его, вместо того чтобы воспользоваться таким преимуществом, поднял копье и проехал мимо. Вслед за тем он воротился на свое место в конце арены и через герольда предложил Гранменилю еще раз помериться силами. Но тот отказался, признав себя побежденным не только искусством, но и любезностью своего противника.   
 Ральф де Випонт дополнил список побед незнакомца, с такой силой грохнувшись оземь, что кровь хлынула у него носом и горлом, и его замертво унесли с ристалища.   
 Тысячи радостных голосов приветствовали единодушное решение принца и маршалов, присудивших приз этого дня рыцарю Лишенному Наследства.

**Глава IX**

...Другими девами окружена,   
 Стояла как владычица она -   
 Царицей быть могла она одна.   
 Там не было красавиц, равных ей,   
 Ее убор был всех одежд милей.   
 Ее венец и праздничный наряд   
 Красив без пышности, без роскоши богат;   
 И вербы ветвь в руке ее бела -   
 Она ее в знак власти подняла.   
 "Цветок и лист"   
  
 Уильям де Вивиль и Стивен де Мартиваль, маршалы турнира, первые поздравили победителя.   
 Они попросили его снять шлем или поднять забрало, прежде чем он предстанет перед принцем Джоном, чтобы получить из его рук приз. Однако рыцарь Лишенный Наследства с изысканной вежливостью отклонил их просьбу, говоря, что на этот раз не может предстать с открытым лицом по причинам, которые объяснил герольдам перед выступлением на арену. Маршалы вполне удовлетворились этим ответом, тем более что в те времена рыцари часто произносили самые странные обеты и нередко давали клятву хранить полное инкогнито на определенный срок или пока не случится то или другое намеченное ими происшествие. Поэтому они не стали доискиваться причин, по которым победитель желает оставаться неизвестным, а просто доложили о том принцу Джону и попросили разрешения у его светлости представить ему рыцаря, чтобы принц лично вручил ему награду за доблесть.   
 Любопытство Джона было сильно возбуждено этой таинственностью. Он и так был недоволен исходом турнира, во время которого зачинщики, бывшие его любимцами, потерпели поражение от руки одного и того же рыцаря. Поэтому он высокомерно ответил маршалам:   
 - Клянусь пресвятой девой, этот рыцарь, очевидно, лишен не только наследства, но и вежливости, раз он желает предстать перед нами с закрытым лицом! Как вы думаете, господа, - обратился он к своей свите, - кто этот гордый храбрец?   
 - Не могу догадаться, - отвечал де Браси. - Вот уж не думал, чтобы в пределах четырех морей, омывающих Англию, нашелся боец, способный в один и тот же день победить этих пятерых рыцарей! Клянусь честью, мне не забыть, как он сбил де Випонта! Бедняга иоаннит вылетел из седла, точно камень из пращи.   
 - Ну, об этом нечего особенно распространяться, - сказал один из рыцарей иоаннитского ордена, - храмовнику также порядком досталось. Я сам видел, как ваш знаменитый Буагильбер трижды перевернулся на земле, каждый раз захватывая целые пригоршни песку.   
 Де Браси, который был в дружеских отношениях с храмовниками, собирался возразить иоанниту, но принц Джон остановил его.   
 - Молчите, господа! - сказал он. - Что вы спорите попусту?   
 - Победитель, - молвил маршал де Вивиль, - все еще ожидает решения вашей светлости.   
 - Нам угодно, - отвечал Джон, - чтобы он дожидался, пока не найдется кто-нибудь, кто мог бы угадать его имя и звание. Даже если ему бы пришлось простоять в ожидании до ночи, он не озябнет после такой горячей работы.   
 - Плохо же вы изволите чествовать победителя! - сказал Вальдемар Фиц-Урс. - Вы хотите заставить его ждать до тех пор, пока мы не скажем вашей светлости того, о чем мы понятия не имеем. Я по крайней мере ума не приложу. Разве что это один из тех доблестных воинов, которые вслед за королем Ричардом ушли в Палестину, а теперь пробираются домой из Святой Земли.   
 - Может быть, это граф Солсбери? - сказал де Браси. - Он примерно его роста.   
 - Скорее сэр Томас де Малтон, рыцарь Гилслендский, - заметил Фиц-Урс, - Солсбери шире в кости.   
 И вдруг в свите зашептались, но кто шепнул первым, трудно было сказать:   
 - Уж не король ли это? Быть может, это сам Ричард Львиное Сердце?   
 - Помилуй бог! - сказал принц Джон, побледнев как смерть и попятившись назад, как будто рядом ударила молния. - Вальдемар!.. Де Браси... И все вы, храбрые рыцари и джентльмены, не забывайте своих обещаний, будьте моими верными сторонниками!   
 - Бояться нечего! - сказал Вальдемар Фиц-Урс. - Неужели вы так плохо помните богатырское сложение сына вашего отца, что подумали, будто он мог уместиться в панцире этот бойца? Де Вивиль и Мартиваль, вы окажете наилучшую услугу принцу, если сию же минуту приведете победителя к подножию трона и положите конец сомнениям, от которых у его светлости не осталось румянца на лице! Всмотритесь в него хорошенько, - продолжал Вальдемар, обращаясь к принцу, - и вы увидите, что он на три дюйма ниже короля Ричарда и вдвое уже в плечах. И лошадь под ним не такая, чтобы могла выдержать тяжесть короля Ричарда.   
 Во время его речи маршалы подвели рыцаря Лишенного Наследства к подножию деревянной лестницы, подымавшейся с арены к трону принца. Джон был чрезвычайно расстроен мыслью, что его царственный брат, которому он был так много обязан и которого столько раз оскорблял, внезапно появился в пределах своего королевства, и даже все доводы Фиц-Урс а не могли окончательно рассеять его подозрения. Прерывающимся голосом принц сказал несколько слов в похвалу доблести рыцаря Лишенного Наследства и велел подвести боевого коня, приготовленного в награду победителю; сам же он все время тревожно ждал, не раздастся ли из-под опущенного забрала этого покрытого стальными доспехами рыцаря низкий и грозный голос Ричарда Львиное Сердце!   
 Но рыцарь Лишенный Наследства ни слова не сказал в ответ на приветствие принца, а только низко поклонился.   
 Двое богато одетых конюхов вывели на арену великолепного коня в полном боевом снаряжении самой тонкой работы. Упершись одной рукой о седло, рыцарь Лишенный Наследства вскочил на коня, не дотронувшись до стремян, и, подняв копье, дважды объехал арену с искусством первоклассного наездника, испытывая прекрасные стати лошади и заставляя ее менять аллюр.   
 При других обстоятельствах можно было бы подумать, что им руководит простое тщеславие. Но теперь все усмотрели в этом лишь вполне естественное желание получше ознакомиться со всеми достоинствами полученного в дар коня, и зрители снова приветствовали рыцаря хвалебными криками.   
 Между тем неугомонный аббат Эймер шепотом напомнил принцу, что теперь настало время, когда победитель должен проявить уже не доблесть, а изящный вкус, избрав среди прелестных дам, украшавших галереи, ту, которая займет престол королевы любви и красоты и вручит приз победителю на завтрашнем турнире. Поэтому принц Джон поднял жезл, как только рыцарь, во второй раз объезжая арену, поравнялся с его ложей. Рыцарь тотчас повернул лошадь и, став перед троном, опустил копье почти до самой земли и замер, как бы ожидая дальнейших приказаний принца. Все были восхищены искусством, с которым седок мгновенно справился с разгоряченным конем и заставил его застыть, как изваяние.   
 - Сэр рыцарь Лишенный Наследства, - сказал принц Джон, - раз это единственный титул, каким мы можем именовать вас... Вам предстоит теперь почетная обязанность избрать прекрасную даму, которая займет трон королевы любви и красоты и будет главенствовать на завтрашнем празднике. Если вы, как чужестранец, затрудняетесь сделать выбор и пожелаете прислушаться к советам другого лица, мы можем только заметить, что леди Алисия, дочь доблестного рыцаря Вальдемара Фиц-Урса, давно считается при нашем дворе первой красавицей и занимает в то же время наиболее почетное положение. Тем не менее вам предоставляется полное право вручить этот венец кому вам будет угодно. Та дама, которой вы его передадите, и будет провозглашена королевой завтрашнего турнира. Поднимите ваше копье.   
 Рыцарь повиновался, и принц Джон надел на конец копья венец из зеленого атласа, который был окружен золотым обручем, украшенным зубцами в виде сердец и наконечников стрел, наподобие того, как герцогская корона представляет ряд земляничных листьев, чередующихся с шариками.   
 Делая прозрачный намек относительно дочери Вальдемара Фиц-Урса, принц Джон думал одновременно достигнуть нескольких целей, ибо ум его представлял странную смесь беспечности и самонадеянности с хитростью и коварством. Во-первых, ему хотелось изгладить из памяти свиты неуместную шутку по поводу Ревекки, а во-вторых - расположить к себе отца Алисии, Вальдемара, которого он побаивался и чье неудовольствие он навлек на себя уже несколько раз на протяжении этого дня. Да и к самой Алисии он не прочь был войти в милость, потому что Джон был почти так же распутен в своих забавах, как безнравствен в своем честолюбии. Кроме того, он мог создать рыцарю Лишенному Наследства (к которому он уже чувствовал сильнейшее нерасположение) могущественного врага в лице Вальдемара Фиц-Урса, который был бы оскорблен, если бы его дочь обошли выбором, что было весьма вероятно.   
 Именно так и случилось. Рыцарь Лишенный Наследства миновал расположенную вблизи от трона принца ложу, где Алисия восседала во всей славе своей горделивой красоты, и медленно проехал дальше вдоль арены, пользуясь своим правом пристально разглядывать многочисленных красавиц, украшавших своим присутствием это блистательное собрание.   
 Любопытно было наблюдать, как различно они себя вели в то время, когда рыцарь объезжал арену: одни краснели, другие старались принять гордый и неприступный вид; иные смотрели прямо перед собой, притворяясь, что ничего не замечают. Многие откидывались назад с несколько деланным испугом, тогда как их подруги с трудом удерживались от улыбки; две или три открыто смеялись. Были и такие, что поспешили скрыть свои прелести под покрывалом; но, по свидетельству саксонской летописи, это были красавицы, уже лет десять известные в свете. Возможно, что мирская суета несколько им наскучила, и они добровольно отказывались от своих прав, уступая место более молодым.   
 Наконец рыцарь остановился перед балконом, где сидела леди Ровена, и ожидание зрителей достигло высшей степени напряжения.   
 Должно сознаться, что если бы, намечая свой выбор, рыцарь Лишенный Наследства руководствовался тем, где во время турнира наиболее интересовались его успехами, ему следовало отдать предпочтение именно этой части галереи. Седрик Сакс, восхищенный поражением храмовника, а еще более неудачей, постигшей обоих его злокозненных соседей - Фрон де Бефа и Мальвуазена, - перегнувшись через перила балкона, следил за подвигами победителя не только глазами, но всем сердцем и душой. Леди Ровена не меньше его была захвачена событиями дня, хотя она ничем не выдавала своего волнения. Даже невозмутимый Ательстан как будто вышел из своей обычной апатии: он потребовал большую кружку мускатного вина и объявил, что пьет за здоровье рыцаря Лишенного Наследства.   
 Другая группа, помещавшаяся как раз под галереей, занятой саксами, не меньше их интересовалась исходом турнира.   
 - Праотец Авраам! - говорил Исаак из Йорка в ту минуту, как происходило первое столкновение между храмовником и рыцарем Лишенным Наследства. - Как прытко скачет этот христианин! Доброго коня привезли издалека, из самой Берберии, а он с ним так обходится, как будто это осленок! А великолепные доспехи, которые так дорого обошлись Иосифу Перейре, оружейнику в Милане! Он совсем не бережет их, словно нашел их на большой дороге!   
 - Но если рыцарь рискует собственной жизнью и телом, отец, - сказала Ревекка, - можно ли ожидать, что он будет беречь коня и доспехи в такой страшной битве.   
 - Дитя, - возразил Исаак с раздражением, - ты сама не знаешь, что говоришь! Его тело и жизнь принадлежат ему самому, тогда как конь и вооружение... О отец наш Иаков, о чем я говорю... Он хороший юноша. Молись, дитя мое, за спасение этого доброго юноши, его коня и доспехов. Смотри, Ревекка, смотри! Он опять собирается вступить в бой с филистимлянином. Бог отцов моих! Он победил! Нечестивый филистимлянин пал от его копья, подобно тому как Ог, царь Бешана, и Сихон, царь Армаритов, пали от мечей отцов наших! Ну, теперь он отберет их золото и серебро, их боевых коней и доспехи. Все будет его добычей!   
 Такую же тревогу и такое же волнение испытывал почтенный еврей при каждом новом подвиге рыцаря, всякий раз пытаясь наскоро вычислить стоимость лошади и доспехов, которые должны были поступить во владение победителя. Стало быть, в той части публики, перед которой остановился рыцарь Лишенный Наследства, особенно интересовались его успехами.   
 То ли по нерешительности, то ли в силу каких-либо других причин победитель с минуту стоял неподвижно. Зрители молча, с напряженным вниманием следили за каждым его движением. Потом он медленно и грациозно склонил копье и положил венец к ногам прекрасной Ровены. В ту же минуту заиграли трубы, а герольды провозгласили леди Ровену королевой любви и красоты, угрожая покарать всякого, кто дерзнет оказать ей неповиновение. Затем они повторили свой обычный призыв к щедрости, и Седрик в порыве сердечного восторга вручил им крупную сумму, да и Ательстан, хотя и не так быстро, прибавил со своей стороны такую же солидную подачку.   
 Среди норманских девиц послышалось недовольное перешептывание, они так же мало привыкли к тому, чтобы им предпочитали саксонок, как норманские рыцари не привыкли к поражениям в введенных ими же самими рыцарских играх. Но эти выражения неудовольствия потонули в громких криках зрителей: "Да здравствует леди Ровена - королева любви и красоты!" А из толпы простого народа слышались восклицания: "Да здравствует саксонская королева! Да здравствует род бессмертного Альфреда!"   
 Как ни неприятно было принцу Джону слышать такие возгласы, тем не менее он был вынужден признать выбор, сделанный победителем, вполне законным. Приказав подавать лошадей, он сошел с трона, сел на своего скакуна и в сопровождении свиты вновь выехал на арену. Приостановившись на минуту у галереи, где сидела леди Алисия, принц Джон приветствовал ее с большой любезностью и сказал, обращаясь к окружающим:   
 - Клянусь святыми угодниками, господа, хотя подвиги этого рыцаря показали нам сегодня крепость его мышц и костей, но надо признать, что, судя по его выбору, глаза у него не слишком зоркие.   
 Но на этот раз, как и в течение всей своей жизни, принц Джон, к несчастью для себя, не мог угадать характер тех, кого стремился задобрить. Вальдемар Фиц-Урс скорее обиделся, нежели почувствовал себя польщенным тем, что принц так явно подчеркнул пренебрежение, оказанное его дочери.   
 - Я не знаю ни одного правила рыцарства, - сказал Фиц-Урс, - которое было бы так драгоценно для каждого свободного рыцаря, как право избрать себе даму. Моя дочь ни у кого не ищет предпочтения; в своем кругу она, конечно, всегда будет получать ту долю поклонения, которой она достойна.   
 Принц Джон на это ничего не сказал, но так пришпорил своего коня, как будто хотел сорвать на нем свою досаду. Лошадь рванулась с места и вмиг очутилась подле той галереи, где сидела леди Ровена, у ног которой все еще лежал венец.   
 - Прекрасная леди, - сказал принц, - примите эмблему вашей царственной власти, которой никто не подчинится более искренне, чем Джон, принц Анжуйский. Не будет ли вам угодно вместе с вашим благородным родителем и друзьями украсить своим присутствием наш сегодняшний пир в замке Ашби, чтобы дать нам возможность познакомиться с королевой, служению которой мы посвящаем завтрашний день?   
 Ровена осталась безмолвной, а Седрик отвечал за нее на своем родном языке.   
 - Леди Ровена, - сказал он, - не знает того языка, на котором должна была бы ответить на вашу любезность, поэтому же она не может принять участия в вашем празднестве. Так же и я и благородный Ательстан Конингсбургский говорим только на языке наших предков и следуем их обычаям. Поэтому мы с благодарностью отклоняем любезное приглашение вашего высочества. А завтра леди Ровена примет на себя обязанности того звания, к которому призвал ее добровольный выбор победившего рыцаря, утвержденный одобрением народа.   
 С этими словами он поднял венец и возложил его на голову Ровены в знак того, что она принимает временную власть.   
 - Что он говорит? - спросил принц Джон, притворяясь, что не знает по-саксонски, тогда как на самом деле отлично знал этот язык.   
 Ему передали смысл речи Седрика по-французски.   
 - Хорошо, - сказал он, - завтра мы сами проводим эту безмолвную царицу к ее почетному месту. Но по крайней мере вы, сэр рыцарь, - прибавил он, обращаясь к победителю, все еще стоявшему перед галереей, - разделите с нами трапезу?   
 Тут рыцарь впервые заговорил. Ссылаясь на усталость и на то, что ему необходимо сделать некоторые приготовления к предстоящему завтра состязанию, он тихим голосом скороговоркой принес свои извинения принцу.   
 - Хорошо, - сказал принц Джон высокомерно, - хотя мы и не привыкли к подобным отказам, однако постараемся как-нибудь переварить свой обед, несмотря на то, что его не желают удостоить своим присутствием ни рыцарь, наиболее отличившийся в бою, ни избранная им королева красоты.   
 Сказав это, он собрался покинуть ристалище и повернул коня назад, что было сигналом к окончанию турнира.   
 Но уязвленная гордость бывает злопамятна, особенно при остром сознании неудачи. Джон не успел отъехать и трех шагов, как, оглянувшись, бросил гневный взгляд на того иомена, который так рассердил его поутру, и, обратясь к страже, сказал повелительно:   
 - Вы мне отвечаете головой, если этот молодец ускользнет.   
 Иомен спокойно и твердо выдержал суровый взгляд принца и сказал с улыбкой:   
 - Я и не намерен уезжать из Ашби до послезавтра. Хочу посмотреть, хорошо ли стаффордширские и лестерские ребята стреляют из лука. В лесах Нидвуда и Чарнвуда должны водиться хорошие стрелки.   
 Не обращаясь прямо к иомену, принц Джон сказал своим приближенным:   
 - Вот мы посмотрим, как он сам стреляет, и горе ему, если его искусство не оправдает его дерзости.   
 - Давно пора, - сказал де Браси, - примерно наказать кого-нибудь из этих мужланов. Они становятся чересчур нахальны.   
 Вальдемар Фиц-Урс только пожал плечами и ничего не сказал. Про себя он, вероятно, подумал, что его патрон избрал не тот путь, который ведет к популярности. Принц Джон покинул арену. Вслед за ним начали расходиться все зрители.   
 Разными дорогами, судя по тому, кто откуда пришел, потянулись группы людей по окружающей поляне. Большая часть зрителей устремилась в Ашби, где многие знатные гости проживали в замке, а другие нашли себе пристанище в самом городе. В число их входило и большинство рыцарей, участвовавших в турнире или собиравшихся принять участие в завтрашнем состязании. Они медленно ехали верхом, толкуя между собой о происшествиях этого дня, а шедший мимо народ приветствовал их громкими кликами. Такими же кликами проводили и принца Джона, хотя эти приветствия скорее были вызваны пышностью одежды и великолепием блестящей свиты, чем его достоинствами.   
 Гораздо более искренними и единодушными возгласами был встречен победитель. Но ему так хотелось поскорее уклониться от этих знаков всеобщего внимания, что он с благодарностью принял любезное предложение маршалов ратного поля занять один из шатров, раскинутых у дальнего конца ограды. Как только он удалился в свой шатер, разошлась и толпа народа, собравшаяся поглазеть на него и обменяться на его счет различными соображениями и догадками.   
 Шум и движение, неразлучные с многолюдным сборищем, мало-помалу затихли. Некоторое время доносился говор людей, расходившихся в разные стороны, но вскоре и он замолк в отдалении. Теперь слышались только голоса слуг, убиравших на ночь ковры и подушки, да раздавались их споры и брань из-за недопитых бутылок вина и остатков различных закусок, которые разносили зрителям в течение дня.   
 На лугу, за оградой, во многих местах расположились кузнецы. По мере того как сумерки сгущались, огни их костров разгорались все ярче и ярче; это говорило о том, что оружейники всю ночь проведут за работой, занимаясь починкой или переделкой оружия, которое понадобится назавтра.   
 Сильный отряд вооруженной стражи, сменявшийся через каждые два часа, окружил ристалище и охранял его всю ночь.

**Глава X**

Как вещий ворон - прорицатель жуткий.   
 Летит во мраке молчаливой ночи,   
 Когда больному предрекает гибель,   
 Заразу сея с черных крыл своих,   
 Так в ужасе бежит Варавва бедный,   
 Жестоко проклиная христиан.   
 "Мальтийский еврей"   
  
 Едва рыцарь Лишенный Наследства вошел в свой шатер, как явились оруженосцы, пажи и иные приспешники, прося позволения помочь ему снять доспехи и предлагая свежее белье и освежительное омовение. За их любезностью скрывалось, вероятно, желание узнать, кто этот рыцарь, стяжавший в один день столько лавров и не соглашавшийся ни поднять забрало, ни сказать своего настоящего имени, несмотря на приказание самого принца Джона. Но их назойливое любопытство не получило удовлетворения. Рыцарь Лишенный Наследства наотрез отказался от всяких услуг, говоря, что у него есть свой оруженосец. На этом мужиковатом на вид слуге, похожем на иомена, был широкий плащ из темного войлока, а на голове черная норманская меховая шапка. По-видимому, опасаясь, как бы его не узнали, он надвинул ее на самый лоб. Выпроводив всех посторонних из палатки, слуга снял с рыцаря тяжелые доспехи и поставил перед ним еду и вино, что было далеко не лишним после напряжения этого дня.   
 Рыцарь едва успел наскоро поесть, как слуга доложил, что его спрашивают пятеро незнакомых людей, каждый из которых привел в поводу коня в полном боевом снаряжении. Когда рыцарь снял доспехи, он накинул длинную мантию с большим капюшоном, под которым можно было почти так же хорошо скрыть свое лицо, как под забралом шлема. Однако сумерки уже настолько сгустились, что в такой маскировке не было надобности: рыцаря мог бы узнать только очень близкий знакомый.   
 Поэтому рыцарь Лишенный Наследства смело вышел из шатра и увидел оруженосцев всех пятерых зачинщиков турнира: он узнал их по коричнево-черным кафтанам и по тому, что каждый из них держал в поводу лошадь своего хозяина, навьюченную его доспехами.   
 - По правилам рыцарства, - сказал первый оруженосец, - я, Болдуин де Ойлей, оруженосец грозного рыцаря Бриана де Буагильбера, явился от его имени передать вам, ныне именующему себя рыцарем Лишенным Наследства, того коня и то оружие, которые служили упомянутому Бриану де Буагильберу во время турнира, происходившего сегодня. Вам предоставляется право удержать их при себе или взять за них выкуп. Таков закон ратного поля.   
 Четверо остальных оруженосцев повторили почти то же самое и выстроились в ряд, ожидая решения рыцаря Лишенного Наследства.   
 - Вам четверым, господа, - отвечал рыцарь, - равно как и вашим почтенным и доблестным хозяевам, я отвечу одинаково: передайте благородным рыцарям мой привет и скажите, что я бы дурно поступил, лишив их оружия и коней, которые никогда не найдут себе более храбрых и достойных наездников. К сожалению, я не могу ограничиться таким заявлением. Я не только по имени, но и на деле лишен наследства и принужден сознаться, что господа рыцари весьма обяжут меня, если выкупят своих коней и оружие, ибо даже и то, которое я ношу, я не могу назвать своим.   
 - Нам поручено, - сказал оруженосец Реджинальда Фрон де Бефа, - предложить вам по сто цехинов выкупа за каждого коня вместе с вооружением.   
 - Этого вполне достаточно, - сказал рыцарь Лишенный Наследства. - Обстоятельства вынуждают меня принять половину этой суммы. Из остающихся денег прошу вас, господа оруженосцы, половину разделить между собой, а другую раздать герольдам, вестникам, менестрелям и слугам.   
 Оруженосцы сняли шапки и с низкими поклонами стали выражать глубочайшую признательность за такую исключительную щедрость. Затем рыцарь обратился к Болдуину, оруженосцу Бриана де Буагильбера:   
 - От вашего хозяина я не принимаю ни доспехов, ни выкупа. Скажите ему от моего имени, что наш бой не кончен и не кончится до тех пор, пока мы не сразимся и мечами и копьями, пешие или конные. Он сам вызвал меня на смертный бой, и я этого не забуду. Пусть он знает, что я отношусь к нему не так, как к его товарищам, с которыми мне приятно обмениваться любезностями: я считаю его своим смертельным врагом.   
 - Мой господин, - отвечал Болдуин, - умеет на презрение отвечать презрением, за удары платить ударами, а за любезность - любезностью. Если вы не хотите принять от него хотя бы часть того выкупа, который назначили за доспехи других рыцарей, я должен оставить здесь его оружие и коня. Я уверен, что он никогда не снизойдет до того, чтобы снова сесть на эту лошадь или надеть эти доспехи.   
 - Отлично сказано, добрый оруженосец! - сказал рыцарь Лишенный Наследства. - Ваша речь обличает смелость и горячность, подобающие тому, кто отвечает за отсутствующего хозяина. И все же не оставляйте мне ни коня, ни оружия и возвратите их хозяину. А если он не пожелает принять их обратно, возьмите их себе, друг мой, и владейте ими сами. Раз я имею право ими распоряжаться, охотно дарю их вам.   
 Болдуин низко поклонился и ушел вместе с остальными, а рыцарь Лишенный Наследства возвратился в шатер.   
 - До сих пор. Гурт, - сказал он своему служителю, - честь английского рыцарства не пострадала в моих руках.   
 - А я, - подхватил Гурт, - для саксонского свинопаса недурно сыграл роль норманского оруженосца.   
 - Это правда, - отвечал рыцарь Лишенный Наследства. - А все-таки я все время был в тревоге, как бы твоя неуклюжая фигура не выдала тебя.   
 - Ну, вот этого, - сказал Гурт, - я нисколько не боюсь! Если кто может меня узнать, то разве только шут Вамба! До сих пор я не знаю в точности, дурак он или плут. Ох, и трудно же мне было удержаться от смеха, когда старый мой хозяин проходил так близко от меня; он-то думал, что Гурт пасет его свиней за много миль отсюда, среди кустов и болот Ротервуда! Если меня узнают...   
 - Ну, довольно об этом, - прервал его рыцарь. - Ты знаешь, что я обещал тебе.   
 - Не в этом дело! - сказал Гурт. - Я никогда не предам друга из страха перед наказанием. Шкура у меня толстая, выдержит и розги и скребки не хуже любого борова из моего стада.   
 - Поверь, я вознагражу тебя за те опасности, которым ты подвергаешься из любви ко мне, Гурт, - сказал рыцарь. - А пока что возьми, пожалуйста, десять золотых монет.   
 - Я теперь богаче, - сказал Гурт, пряча деньги в сумку, - чем любой раб или свинопас во все времена.   
 - А вот этот мешок с золотом, - продолжал его хозяин, - снеси в Ашби. Разыщи там Исаака из Йорка. Пускай он из этих денег возьмет себе то, что следует за коня и доспехи, которые он достал мне в долг.   
 - Нет, клянусь святым Дунстаном, этого я не сделаю! - воскликнул Гурт.   
 - Как не сделаешь плут? - спросил рыцарь. - Как же ты смеешь не исполнять моих приказаний?   
 - Всегда исполняю, коли то, что вы приказываете, честно, и разумно, и по-христиански, - отвечал Гурт. - А это что ж такое! Чтобы еврей сам платил себе - нечестно, так как это все равно, что надуть своего хозяина; да и неразумно, ибо это значит остаться в дураках; да и не по-христиански, так как это значит ограбить единоверца, чтобы обогатить еретика.   
 - По крайней мере уплати ему как следует, упрямец! - сказал рыцарь Лишенный Наследства.   
 - Вот это я исполню, - ответил Гурт, сунув мешок под плащ. Но, выходя из шатра, он проворчал себе под нос:   
 - Де будь я Гурт, коли не заставлю Исаака согласиться на половину той суммы, которую он запросит!   
 С этими словами он ушел, предоставив рыцарю Лишенному Наследства углубиться в размышления о своих личных делах. По многим причинам, которых мы пока не можем разъяснить читателю, эти размышления были самого тяжелого и печального свойства.   
 Теперь мы должны перенестись мысленно в селение возле Ашби, или, скорее, в усадьбу, стоявшую в его окрестностях и принадлежавшую богатому еврею, у которого поселился на это время Исаак со своей дочерью и прислугой. Известно, что евреи оказывали широкое гостеприимство своим единоверцам и, напротив, сухо и неохотно принимали тех, кого считали язычниками; впрочем, те и не заслуживали лучшего приема, так как сами притесняли евреев.   
 В небольшой, но роскошно убранной в восточном вкусе комнате Ревекка сидела на вышитых подушках, нагроможденных на низком помосте, устроенном у стен комнаты в замену стульев и скамеек. Она с тревогой и дочерней нежностью следила за движениями своего отца, который взволнованно шагал взад и вперед. По временам он всплескивал руками и возводил глаза к потолку, как человек, удрученный великим горем.   
 - О Иаков, - восклицал он, - о вы, праведные праотцы всех двенадцати колен нашего племени! Я ли не выполнял всех заветов и малейших правил Моисеева закона, за что же на меня такая жестокая напасть? Пятьдесят цехинов сразу вырваны у меня когтями тирана!   
 - Мне показалось, отец, - сказала Ревекка, - что ты охотно отдал принцу Джону золото.   
 - Охотно? Чтоб на него напала язва египетская! Ты говоришь - охотно? Так же охотно, как когда-то в Лионском заливе собственными руками швырял в море товары, чтобы облегчить корабль во время бури. Я одел тогда кипящие волны в свои лучшие шелка, умастил их пенистые гребни миррой и алоэ, украсил подводные пещеры золотыми и серебряными изделиями! То был час неизреченной скорби, хоть я и собственными руками приносил такую жертву!   
 - Но эта жертва была угодна богу для спасения нашей жизни, - сказала Ревекка, - и разве с тех пор бог отцов наших не благословил твою торговлю, не приумножил твоих богатств?   
 - Положим, что так, - отвечал Исаак, - а что, если тиран вздумает наложить на них свою руку, как он сделал сегодня, да еще заставит меня улыбаться, пока он будет меня грабить? О дочь моя, мы с тобой обездоленные скитальцы! Худшее зло для нашего племени в том и заключается, что, когда нас оскорбляют и грабят, все кругом только смеются, а мы обязаны глотать обиды и смиренно улыбаться!   
 - Полно, отец, - воскликнула Ревекка, - и мы имеем некоторые преимущества! Правда, эти язычники жестоки и деспотичны, однако и они до некоторой степени зависят от детей Сиона, которых преследуют и презирают. Если бы не наши богатства, они были бы не в состоянии ни содержать войско во время войны, ни давать пиров после побед; а то золото, что мы им даем, с лихвою возвращается снова в наши же сундуки. Мы подобны той траве, которая растет тем пышнее, чем больше ее топчут. Даже сегодняшний блестящий турнир не обошелся без помощи презираемого еврея и только по его милости мог состояться.   
 - Дочь моя, - сказал Исаак, - ты затронула еще одну струну моей печали! Тот добрый конь и богатые доспехи, что составляют весь чистый барыш моей сделки с Кирджат Джайрамом в Лестере, пропали. Да, пропали, поглотив заработок целой недели, целых шести дней, от одной субботы до другой! Впрочем, еще посмотрим, может быть это дело будет иметь лучший конец. Он, кажется, в самом деле добрый юноша!   
 - Но ведь ты, - возразила Ревекка, - наверное, не раскаиваешься в том, что отплатил этому рыцарю за его добрую услугу.   
 - Это так, дочь моя, - сказал Исаак, - но у меня так же мало надежды на то, что даже лучший из христиан добровольно уплатит свой долг еврею, как и на то, что я своими глазами увижу стены и башни нового храма.   
 Сказав это, он снова зашагал по комнате с недовольным видом, а Ревекка, понимая, что ее попытки утешить отца только заставляют его жаловаться на новые и новые беды и усиливают мрачное настроение, решила воздержаться от дальнейших замечаний. (Решение в высшей степени мудрое, и мы бы посоветовали всем утешителям и советчикам в подобных случаях следовать ее примеру.)   
 Между тем совсем стемнело, и вошедший слуга поставил на стол две серебряные лампы, горящие фитили которых были погружены в благовонное масло; другой слуга принес драгоценные вина и тончайшие яства и расставил их на небольшом столе из черного дерева, выложенном серебром. В то же время он доложил Исааку, что с ним желает поговорить назареянин (так евреи называли между собою христиан). Кто живет торговлей, тот обязан во всякое время отдавать себя в распоряжение каждого посетителя, желающего вести с ним дело. Исаак поспешно поставил на стол едва пригубленный кубок с греческим вином, сказал дочери: "Ревекка, опусти покрывало" - и приказал слуге позвать пришедшего.   
 Едва Ревекка успела опустить на свое прекрасное лицо длинную фату из серебряной вуали, как дверь отворилась и вошел Гурт, закутанный в широкие складки своего норманского плаща. Наружность его скорее внушала подозрение, чем располагала к доверию, тем более что, входя, он не снял шапки, а еще ниже надвинул ее на хмурый лоб.   
 - Ты ли Исаак из Йорка? - сказал Гурт по-саксонски.   
 - Да, это я, - отвечал Исаак на том же наречии; ведя торговлю в Англии, он свободно говорил на всех языках, употребительных в пределах Британии. - А ты кто такой?   
 - До этого тебе нет дела, - сказал Гурт.   
 - Столько же, сколько и тебе до моего времени, - сказал Исаак. - Как же я стану с тобой разговаривать, если не буду знать, кто ты такой?   
 - Очень просто, - отвечал Гурт, - платя деньги, я должен знать, тому ли лицу я плачу, а тебе, я думаю, совершенно все равно, из чьих рук ты их получишь.   
 - О бог отцов моих! Ты принес мне деньги? Ну, это совсем другое дело. От кого же эти деньги?   
 - От рыцаря Лишенного Наследства, - сказал Гурт. - Он вышел победителем на сегодняшнем турнире, а деньги шлет тебе за боевые доспехи, которые, по твоей записке, доставил ему Кирджат Джайрам из Лестера. Лошадь уже стоит в твоей конюшне; теперь я хочу знать, сколько следует уплатить за доспехи.   
 - Я говорил, что он добрый юноша! - воскликнул Исаак в порыве радостного волнения. - Стакан вина не повредит тебе, - прибавил он, подавая свинопасу бокал такого чудесного напитка, какого Гурт сроду еще не пробовал. - А сколько же ты принес денег?   
 - Пресвятая дева! - молвил Гурт, осушив стакан и ставя его на стол. - Вот ведь какое вино пьют эти нечестивцы, а истинному христианину приходится глотать один только эль, да еще такой мутный и густой, что он не лучше свиного пойла! Сколько я денег принес? - продолжал он, прерывая свои нелюбезные замечания. - Да небольшую сумму, однако для тебя будет довольно. Подумай, Исаак, надо же и совесть иметь.   
 - Как же так, - сказал Исаак, - твой хозяин завоевал себе добрым копьем отличных коней и богатые доспехи. Но, я знаю, он хороший юноша. Я возьму доспехи и коней в уплату долга, а что останется сверх того, верну ему деньгами.   
 - Мой хозяин уже сбыл с рук весь этот товар, - сказал Гурт.   
 - Ну, это напрасно! - сказал еврей. - Никто из здешних христиан не в состоянии скупить в одни руки столько лошадей и доспехов. Но у тебя есть сотня цехинов в этом мешке, - продолжал Исаак, заглядывая под плащ Гурта, - он тяжелый.   
 - У меня там наконечники для стрел, - соврал Гурт без запинки.   
 - Ну хорошо, - сказал Исаак, колеблясь между страстью к наживе и внезапным желанием выказать великодушие. - Коли я скажу, что за доброго коня и за богатые доспехи возьму только восемьдесят цехинов, тут уж мне ни одного гульдена барыша не перепадет. Найдется у тебя столько денег, чтобы расплатиться со мной?   
 - Только-только наберется, - сказал Гурт, хотя еврей запросил гораздо меньше, чем он ожидал, - да и то мой хозяин останется почти ни с чем. Ну, если это твое последнее слово, придется уступить тебе.   
 - Налей-ка себе еще стакан вина, - сказал Исаак. - Маловато будет восьмидесяти цехинов: совсем без прибыли останусь. А как лошадь, не получила ли она каких-нибудь повреждений? Ох, какая жестокая и опасная была эта схватка! И люди и кони ринулись друг на друга, точно дикие быки бешанской породы. Немыслимо, чтобы коню от того не было никакого вреда.   
 - Конь совершенно цел и здоров, - возразил Гурт, - ты сам можешь осмотреть его. И, кроме того, я говорю прямо, что семидесяти цехинов за глаза довольно за доспехи, а слово христианина, надеюсь, не хуже еврейского: коли не хочешь брать семидесяти, я возьму мешок (тут он потряс им так, что червонцы внутри зазвенели) и снесу его назад своему хозяину.   
 - Нет, нет, - сказал Исаак, так и быть, выкладывай таланты... то есть шекели... то есть восемьдесят цехинов, и увидишь, что я сумею тебя поблагодарить.   
 Гурт выложил на стол восемьдесят цехинов, а Исаак, медленно пересчитав деньги, выдал ему расписку в получении коня и денег за доспехи.   
 У еврея руки дрожали от радости, пока он завертывал первые семьдесят золотых монет; последний десяток он считал гораздо медленнее, разговаривая все время о посторонних предметах, и по одной спускал монеты в кошель. Казалось, что скаредность борется в нем с лучшими чувствами, побуждая опускать в кошель цехин за цехином, в то время как совесть внушает, что надо хоть часть возвратить благодетелю или по крайней мере наградить его слугу. Речь Исаака была примерно такой:   
 - Семьдесят один, семьдесят два; твой хозяин - хороший юноша. Семьдесят три... Что и говорить, превосходный молодой человек... Семьдесят четыре... Эта монета немножко обточена сбоку... Семьдесят пять... А эта и вовсе легкая... Семьдесят шесть... Если твоему хозяину понадобятся деньги, пускай обращается прямо к Исааку из Йорка... Семьдесят семь... То есть, конечно, с благонадежным обеспечением...   
 Тут он помолчал, и Гурт уже надеялся, что остальные три монеты избегнут участи предыдущих.   
 Однако счет возобновился:   
 - Семьдесят восемь... И ты тоже славный парень... Семьдесят девять... И, без сомнения, заслуживаешь награды.   
 Тут Исаак запнулся и поглядел на последний цехин, намереваясь подарить его Гурту. Он подержал его на весу, покачал на кончике пальца, подбросил на стол, прислушиваясь к тому, как он зазвенит. Если бы монета издала тупой звук, если бы она оказалась хоть на волос легче, чем следовало, великодушие одержало бы верх; но, к несчастью для Гурта, цехин покатился звонко, светился ярко, был новой чеканки и даже на одно зерно тяжелее узаконенного веса. У Исаака не хватило духу расстаться с ним, и он, как бы в рассеянности, уронил его в свой кошель, сказав:   
 - Восемьдесят штук; надеюсь, что твой хозяин щедро наградит тебя. Однако ж, - прибавил он, пристально глядя на мешок, бывший у Гурта, - у тебя тут, наверное, еще есть деньги?   
 Гурт осклабился, что означало у него улыбку, и сказал:   
 - Пожалуй, будет еще столько же, как ты сейчас сосчитал.   
 Гурт сложил расписку, бережно спрятал ее в свою шапку и заметил:   
 - Только смотри у меня, коли ты расписку написал неправильно, я тебе бороду выщиплю.   
 С этими словами, не дожидаясь приглашения, он налил себе третий стакан вина, выпил его и вышел не прощаясь.   
 - Ревекка, - сказал еврей, - этот измаилит чуть не надул меня. Впрочем, его хозяин - добрый юноша, и я рад, что рыцарь добыл себе и золото и серебро, и все благодаря быстроте своего коня и крепости своего копья, которое, подобно копью Голиафа, могло соперничать в быстроте с ткацким челноком.   
 Он обернулся, ожидая ответа от дочери, но оказалось, что ее нет в комнате: она ушла, пока он торговался с Гуртом.   
 Между тем Гурт, выйдя в темные сени, оглядывался по сторонам, соображая, где же тут выход. Вдруг он увидел женщину в белом платье с серебряной лампой в руке. Она подала ему знак следовать за ней в боковую комнату. Гурт сначала попятился назад. Во всех случаях, когда ему угрожала опасность со стороны материальной силы, он был груб и бесстрашен, как кабан, но он был боязлив во всем, что касалось леших, домовых, белых женщин и прочих саксонских суеверий так же, как его древние германские предки. Притом он помнил, что находится в доме еврея, а этот народ, помимо всех других неприятных черт, приписываемых ему молвою, отличался еще, по мнению простонародья, глубочайшими познаниями по части всяких чар и колдовства. Однако же после минутного колебания он повиновался знакам, подаваемым привидением. Последовав за ним в комнату, он был приятно изумлен, увидев, что это привидение оказалось той самой красивой еврейкой, которую он только что видел в комнате ее отца и еще днем заметил на турнире.   
 Ревекка спросила его, каким образом рассчитался он с Исааком, и Гурт передал ей все подробности дела.   
 - Мой отец только подшутил над тобой, добрый человек, - сказала Ревекка, - он задолжал твоему хозяину несравненно больше, чем могут стоить какие-нибудь боевые доспехи и конь. Сколько ты заплатил сейчас моему отцу?   
 - Восемьдесят цехинов, - отвечал Гурт, удивляясь такому вопросу.   
 - В этом кошельке, - сказала Ревекка, - ты найдешь сотню цехинов. Возврати своему хозяину то, что ему следует, а остальное возьми себе. Ступай! Уходи скорее! Не треть времени на благодарность! Да берегись: когда пойдешь через город, легко можешь потерять не только кошелек, но и жизнь... Рейбен, - позвала она слугу, хлопнув в ладоши, - посвети гостю, проводи его из дому и запри за ним двери!   
 Рейбен, темнобровый и чернобородый сын Израиля, повиновался, взял факел, отпер наружную дверь дома и, проведя Гурта через мощеный двор, выпустил его через калитку у главных ворот. Вслед за тем он запер калитку и задвинул ворота такими засовами и цепями, какие годились бы и для тюрьмы.   
 - Клянусь святым Дунстаном, - говорил Гурт, спотыкаясь в темноте и ощупью отыскивая дорогу, - это не еврейка, а просто ангел небесный! Десять цехинов я получил от молодого хозяина да еще двадцать от этой жемчужины Сиона. О, счастливый мне выдался денек! Еще бы один такой, и тогда конец твоей неволе, Гурт! Внесешь выкуп и будешь свободен, как любой дворянин! Ну, тогда прощай мой пастуший рожок и посох, возьму добрый меч да щит и пойду служить моему молодому хозяину до самой смерти, не скрывая больше ни своего лица, ни имени.

**Глава XI**

Первый разбойник   
 Остановитесь! Все отдайте нам!   
 Не то в карманах ваших станем шарить.   
 Спид   
 Сэр, мы пропали! Это те мерзавцы,   
 Которые на всех наводят страх.   
 Валентин   
 Друзья мои...   
 Первый разбойник   
 Нет, сэр, мы вам враги.   
 Второй разбойник   
 Постой, послушаем его.   
 Третий разбойник   
 Конечно!   
 Он по сердцу мне.   
 "Два веронца"   
  
 Ночные приключения Гурта этим не кончились. Он и сам начал так думать, когда, миновав одну или две усадьбы, расположенные на окраине селения, очутился в овраге. Оба склона его густо заросли орешником и остролистом; местами низкорослые дубы сплетались ветвями над дорогой. К тому же она была вся изрыта колеями и выбоинами, потому что ко дню турнира по ней проезжало множество повозок со всякими припасами. Склоны оврага были так высоки и растительность так густа, что сюда вовсе не проникал слабый свет луны.   
 Из селения доносился отдаленный шум гулянья - взрывы громкого смеха, крики, отголоски дикой музыки. Все эти звуки, говорившие о беспорядках в городке, переполненном воинственными дворянами и их развращенной прислугой, стали внушать Гурту некоторое беспокойство.   
 "Еврейка-то была права, - думал он про себя. - Помоги мне бог и святой Дунстан благополучно добраться до дому со своей казной! Здесь такое сборище не то чтобы записных воров, а странствующих рыцарей, странствующих оруженосцев, странствующих монахов да музыкантов, странствующих шутов да фокусников, что любому человеку с одной монеткой в кармане станет страшновато, а уж про свинопаса с целым мешком цехинов и говорить нечего. Скорее бы миновать эти проклятые кусты! Тогда по крайней мере заметишь этих чертей раньше, чем они вскочат тебе на плечи".   
 Гурт ускорил шаги, чтобы выйти из оврага на открытую поляну. Однако это ему не удалось. В самом конце оврага, где чаща была всего гуще, на него накинулись четыре человека, по двое с каждой стороны, и схватили его за руки.   
 - Давай свою ношу, - сказал один из них, - мы подносчики чужого добра, всех избавляем от лишнего груза.   
 - Не так-то легко было бы вам избавить меня от груза, - угрюмо пробормотал честный Гурт, который не мог смириться даже перед непосредственной опасностью, - кабы я поспел хоть три раза стукнуть вас по шее.   
 - Посмотрим, - сказал разбойник. - Тащите плута в лес, - обратился он к товарищам. - Как видно, этому парню хочется, чтобы ему и голову проломили и кошелек отрезали.   
 Гурта довольно бесцеремонно поволокли по склону оврага в густую рощу, отделявшую дорогу от открытой поляны. Он поневоле должен был следовать за своими свирепыми провожатыми в самые густые заросли. Вдруг они неожиданно остановились на открытой лужайке, залитой светом луны. Здесь к ним присоединились еще два человека, по-видимому из той же шайки. У них были короткие мечи на боку, а в руках - увесистые дубины. Гурт только теперь заметил, что все шестеро были в масках, это настолько явно свидетельствовало о характере их занятий, что не вызывало никаких дальнейших сомнений.   
 - Сколько при тебе денег, парень? - спросил один.   
 - Тридцать цехинов моих собственных денег, - угрюмо ответил Гурт.   
 - Отобрать, отобрать! - закричали разбойники. - У сакса тридцать цехинов, а он возвращается из села трезвый! Тут не о чем толковать! Отобрать у него все без остатка! Отобрать непременно!   
 - Я их копил, чтобы внести выкуп и освободиться, - сказал Гурт.   
 - Вот и видно, что ты осел! - возразил один из разбойников. - Выпил бы кварту-другую доброго эля и стал бы так же свободен, как и твой хозяин, а может быть, даже свободнее его, коли он такой же саксонец, как ты.   
 - Это горькая правда, - отвечал Гурт, - но если этими тридцатью цехинами я могу от вас откупиться, отпустите мне руки, я вам их сейчас же отсчитаю.   
 - Стой! - сказал другой, по виду начальник. - У тебя тут мешок. Я его нащупал под твоим плащом, там гораздо больше денег, чем ты сказал.   
 - То деньги моего хозяина, доброго рыцаря, - сказал Гурт. - Я бы про них и не заикнулся, если бы вам хватило моих собственных денег.   
 - Ишь какой честный слуга! - сказал разбойник. - Это хорошо. Ну, а мы не так уж преданы дьяволу, чтобы польститься на твои тридцать цехинов. Только расскажи нам все по чистой правде. А пока давай сюда мешок.   
 С этими словами он вытащил у Гурта из-за пазухи кожаный мешок, внутри которого вместе с оставшимися цехинами лежал и кошелек, данный Ревеккой. Затем допрос возобновился.   
 - Кто твой хозяин?   
 - Рыцарь Лишенный Наследства, - отвечал Гурт.   
 - Это тот, кто своим добрым копьем выиграл приз на нынешнем турнире? - спросил разбойник. - Ну-ка, скажи, как его зовут и из какого он рода?   
 - Ему угодно скрывать это, - отвечал Гурт, - и, уж конечно, не мне выдавать его тайну.   
 - А тебя самого как зовут?   
 - Коли скажу вам свое имя, вы, пожалуй, отгадаете имя хозяина, - сказал Гурт.   
 - Однако ты изрядный нахал! - сказал разбойник. - Но об этом после. Ну, а как это золото попало к твоему хозяину? По наследству он его получил или сам раздобыл?   
 - Добыл своим добрым копьем, - отвечал Гурт. - В этих мешках лежит выкуп за четырех добрых коней и за полное вооружение четырех рыцарей.   
 - Сколько же тут всего?   
 - Двести цехинов.   
 - Только двести цехинов! - сказал разбойник. - Твой хозяин великодушно поступил с побежденными и взял слишком мало выкупа. Назови по именам, от кого он получил это золото.   
 Гурт перечислил имена рыцарей.   
 - А как же доспехи и конь храмовника Бриана де Буагильбера? Сколько же он за них назначил? Ты видишь, что меня нельзя надуть.   
 - Мой хозяин, - отвечал Гурт, - ничего не возьмет от храмовника, кроме крови. Они в смертельной вражде, и потому между ними не может быть мира.   
 - Вот как! - молвил разбойник и слегка задумался. - А что же ты делал теперь в Ашби, имея при себе такую казну?   
 - Я ходил платить Исааку, еврею из Йорка, за доспехи, которые он доставил моему хозяину к этому турниру.   
 - Сколько же ты уплатил Исааку? Судя по весу этого мешка, мне сдается, что там все еще есть двести цехинов.   
 - Я уплатил Исааку восемьдесят цехинов, - сказал Гурт, - а он взамен дал мне сто.   
 - Как! Что ты мелешь! - воскликнули разбойники. - Уж не вздумал ли ты подшутить над нами?   
 - Я говорю чистую правду, - сказал Гурт. - Это такая же святая правда, как то, что месяц светит на небе. Можете сами проверить: ровно сто цехинов в шелковом кошельке лежат в этом мешке отдельно от остальных.   
 - Опомнись, парень, - сказал старший. - Ты говоришь о еврее: да они не расстанутся с золотом, как сухой песок в пустыне - с кружкой воды, которую выльет на него странник. Раздуйте огонь. Я посмотрю, что у него там в мешке. Если этот парень сказал правду, щедрость еврея - поистине такое же чудо, как та вода, которую его предки иссекли из камня в пустыне.   
 Мигом добыли огня, и разбойник принялся осматривать мешок. Остальные столпились вокруг; даже те двое, что держали Гурта, увлеченные общим примером, перестали обращать внимание на пленника. Гурт воспользовался этим, стряхнул их с себя и мог бы бежать, если бы решился бросить хозяйские деньги на произвол судьбы. Но об этом он и не думал. Выхватив дубину у одного из разбойников, он хватил старшего по голове, как раз когда тот меньше всего ожидал подобного нападения. Еще немного, и Гурт схватил бы свой мешок. Однако разбойники оказались проворнее и снова овладели как мешком, так и верным оруженосцем.   
 - Ах ты, мошенник! - сказал старший, вставая. - Ведь ты мог мне голову проломить! Попадись ты в руки другим людям, которые промышляют тем же, чем мы, плохо бы тебе пришлось за такую дерзость! Но ты сейчас узнаешь свою участь. Поговорим сначала о твоем хозяине, а потом уж о тебе; впереди рыцарь, а за ним - его оруженосец, так ведь по рыцарским законам? Стой смирно! Если ты только шелохнешься, мы тебя успокоим на всю жизнь. Друзья мои, - продолжал он, обращаясь к своей шайке, - кошелек вышит еврейскими письменами, и я думаю, что этот иомен сказал правду. Хозяин его - странствующий рыцарь и похож на нас самих, пусть пройдет через наши руки без пошлины: ведь и собаки не грызутся между собой в таких местах, где водится много лисиц и волков.   
 - Чем же он похож на нас? - спросил один из разбойников. - Желал бы я послушать, как это можно доказать!   
 - Глупый ты человек! - сказал атаман. - Да разве этот рыцарь не так же беден и обездолен, как мы? Разве он не добывает себе хлеб насущный острым мечом? Не он ли побил Фрон де Бефа и Мальвуазена так, как мы сами побили бы их, если б могли? И не он ли объявил вражду не на жизнь, а насмерть Бриану де Буагильберу, которого нам самим приходится бояться по множеству причин? Так неужели же у нас меньше совести, чем ее оказалось у иудея?   
 - Нет, это было бы стыдно! - проворчал другой. - Однако, когда я был в шайке старого крепыша Ганделина, мы в такие тонкости не входили... А как же быть с этим наглецом? Так и отпустить его не проучивши?   
 - Попробуй-ка сам проучить его, - отвечал старший. - Эй, слушай! - продолжал он, обращаясь к Гурту. - Коли ты с такой охотой ухватился за дубину, может быть ты умеешь ею орудовать?   
 - Про то тебе лучше знать, - сказал Гурт.   
 - Да, признаться, ты знатно меня хватил, - сказал атаман. - Отколоти этого парня, тогда и ступай на все четыре стороны; а коли не сладишь с ним... Нечего делать, ты такой славный малый, что я, кажется, сам внесу за тебя выкуп. Ну-ка, Мельник, бери свою дубину и береги голову, а вы, ребята, отпустите пленника и дайте ему такую же дубину. Здесь теперь света довольно, и они смогут отлично оттузить друг друга.   
 Вооруженные одинаковыми дубинками, бойцы выступили на освещенную середину лужайки, а разбойники расположились вокруг.   
 Мельник, ухватив дубину по самой середке и быстро вертя ею над головой, тем способом, который французы называют faire le moulinet, хвастливо вызывал Гурта на поединок:   
 - Ну-ка, деревенщина, выходи! Только сунься, я тебе покажу, каково попадаться мне под руку!   
 - Коли ты и вправду мельник, - отвечал Гурт, с таким же проворством вертя своей дубинкой, - значит, ты вдвойне грабитель. А я честный человек и вызываю тебя на бой!   
 Обменявшись такими любезностями, противники сошлись и в течение нескольких минут с одинаковой силой и храбростью наносили друг другу удары и отражали их. Это делалось с такой ловкостью и быстротой, что по поляне шел непрерывный стук и треск их дубинок и издали могло показаться, что здесь дерутся по крайней мере по шесть человек с каждой стороны. Менее упорные и менее опасные побоища не раз бывали описаны в звучных героических балладах. Но бой Мельника с Гуртом так и останется невоспетым за неимением поэта, который воздал бы им должное. Все же, хотя бой на дубинках уже вышел из моды, мы постараемся если не в стихах, то в прозе отдать дань справедливости этим отважным бойцам.   
 Долго они сражались с равным успехом. Наконец Мельник, встретив упорное сопротивление, которое сопровождали насмешки и хохот его товарищей, потерял всякое терпение. Такое состояние духа очень неблагоприятно для этой благородной забавы, где выигрывает наиболее хладнокровный. Это обстоятельство дало решительный перевес Гурту, который с редким мастерством сумел воспользоваться ошибками своего противника.   
 Мельник яростно наступал, нанося удары обоими концами своей дубины и стараясь подойти поближе. Гурт только защищался, вытянув руки и быстро вращая палкой. На этой оборонительной позиции он держался до тех пор, пока не заметил, что противник начинает выдыхаться. Тогда он наотмашь занес дубину. Мельник только что собрался отпарировать этот удар, как Гурт проворно перехватил дубину в правую руку и изо всей силы треснул его по голове. Мельник тут же растянулся на траве.   
 - Молодец, честно побил! - закричали разбойники. - Многие лета доброй потехе и старой Англии! Сакс унесет в целости и казну и свою собственную шкуру, а Мельник-то сплоховал перед ним.   
 - Ну, друг мой, можешь идти своей дорогой, - сказал Гурту предводитель разбойников, выражая общее мнение. - Я дам тебе в провожатые двух товарищей. Они тебя доведут кратчайшим путем до палатки твоего хозяина и в случае чего защитят от ночных бродяг, у которые совесть не такая чувствительная, как у нас. Нынешней ночью много их шатается по здешним местам. Берегись, однако, - прибавил он сурово. - Ты ведь не сказал нам своего имени, так и наших имен не спрашивай и не пытайся узнавать, кто мы и откуда. Если не послушаешься, пеняй на себя.   
 Гурт поблагодарил предводителя и обещал следовать его советам. Двое разбойников взяли свои дубины и повели Гурта окольной тропинкой через чащу вниз, к оврагу. На опушке им навстречу вышли двое людей. Они обменялись несколькими словами с проводниками и опять скрылись в глубине леса. Отсюда Гурт заключил, что шайка большая и сборное место охраняется зорко.   
 Выйдя на открытую равнину, поросшую вереском, Гурт не знал бы, куда ему направить свои шаги, если бы разбойники не повели его прямо на вершину холма. Оттуда были видны освещенные луной частокол, окружавший ристалище, шатры, раскинутые у обоих его концов, знамена, развевавшиеся над ними. Гурт мог даже расслышать тихое пение, которым развлекалась ночная стража.   
 Разбойники остановились.   
 - Дальше мы не пойдем, - сказал один из них, - иначе нам самим несдобровать. Помни, что тебе сказано: помалкивай о том, что с тобой приключилось сегодня, и увидишь, что все будет хорошо. Но, если позабудешь наши советы, от мщения не убережешься, хотя бы ты и спрятался в Тауэре.   
 - Спокойной ночи, милостивые господа, - сказал Гурт, - я ваших приказаний не забуду и надеюсь, что вы не примете за обиду, коли я пожелаю вам заняться более безопасным и честным ремеслом.   
 На этом они расстались. Разбойники повернули обратно, а Гурт направился к шатру своего хозяина и, невзирая на только что выслушанные увещевания, не замедлил рассказать ему все свои приключения.   
 Рыцарь Лишенный Наследства был удивлен щедростью Ревекки, которой он, впрочем, решил не пользоваться, не менее, чем великодушием разбойников. Впрочем, он недолго размышлял об эти странных событиях, потому что хотел поскорее лечь спать. Ему было необходимо как следует отдохнуть, чтобы набраться сил для завтрашнего состязания.   
 Итак, рыцарь лег на роскошную постель, приготовленную в его шатре, а верный Гурт растянулся на полу, покрытом вместо ковра медвежьими шкурами, у самого входа, чтобы никто не мог проникнуть к ним, не разбудив его.

**Глава XII**

Герольды уж не ездят взад-вперед,   
 Гремит труба, и в бой рожок зовет.   
 Вот в западной дружине и в восточной   
 Втыкаются древки в упоры прочно,   
 Вонзился шип преострый в конский бок.   
 Тут видно, кто боец и кто ездок.   
 О толстый щит ломается копье,   
 Боец под грудью чует острие.   
 На двадцать футов бьют обломки ввысь...   
 Вот, серебра светлей, мечи взвились,   
 Шишак в куски раздроблен и расшит,   
 Потоком красным грозно кровь бежит [14].   
 Чосер   
  
 Настало безоблачное, великолепное утро. Солнце только что показалось на горизонте, и наиболее праздные - или самые ревностные - зрители уже потянулись с разных сторон по зеленому лугу к ристалищу, чтобы пораньше занять удобные места. Вслед за ними явились маршалы со своими прислужниками и герольды. Они должны были составить списки участников общего турнира; каждый рыцарь обязан был указать, на чьей стороне он собирается выступить. Подобная предосторожность была нужна для того, чтобы равномерно распределить сражающихся и не давать численного перевеса ни той, ни другой партии.   
 В соответствии с обычаями турниров рыцарь Лишенный Наследства был признан главой первой партии, Бриан де Буагильбер, как лучший после него боец предыдущего дня, назначен был главой второй. К нему примкнули, конечно, все зачинщики турнира, за исключением Ральфа де Випонта, который все еще не оправился после своего падения. С обеих сторон не было недостатка в доблестных и знатных рыцарях.   
 Несмотря на то, что общие турниры были гораздо опаснее одиночных состязаний, они всегда пользовались большим успехом среди рыцарей. Многие рыцари, которые не отваживались на единоборство с прославленными бойцами из числа зачинщиков, охотно выступали в общем турнире, где могли выбрать себе равного по силам противника. Так и на этот раз: в каждую партию записалось по пятидесяти рыцарей, и маршалы, к великой досаде опоздавших, объявили, что больше не могут принять.   
 К десяти часам утра все поле, окружавшее ристалище, было усеяно всадниками, всадницами и пешеходами, опешившими на турнир. Вскоре затрубили трубы, возвещавшие прибытие принца Джона и его свиты, а за ними - и целой толпы рыцарей, как желавших сразиться, так и других, не имевших такого намерения.   
 К этому времени приехал и Седрик Сакс с леди Ровеной, но без Ательстана, который облекся в боевой панцирь и заявил, что станет в ряды бойцов. К немалому удивлению Седрика, он записался в партию Бриана де Буагильбера.   
 Седрик решительно возражал против неблагоразумного выбора своего друга, но Ательстан дал ему такой ответ, какие могут давать люди, которые упорствуют, но не в состоянии доказать свою правоту.   
 У него была особая причина присоединиться к партии храмовника, но он умолчал о ней из осторожности. Хотя по вялости характера он ничем не проявил своей особой преданности леди Ровене, тем не менее он был далеко не равнодушен к ее красоте. Ательстан считал, что его брак с Ровеной дело решенное, так как Седрик и другие родственники красавицы выразили свое согласие. Поэтому гордый властитель Конингсбурга с затаенным неудовольствием смотрел на то, как герои вчерашнего по праву победителя избрал Ровену королевой праздника. Ательстан вознамерился наказать его за такое предпочтение, которое, как ему казалось, чем-то вредило его собственному сватовству. Уверенный в своей несокрушимой силе и убежденный льстецами в том, что он в бою обладает большим искусством, он решился не только оставить рыцаря Лишенного Наследства без своей могучей помощи, но и при случае обрушиться на него всею тяжестью своей боевой секиры.   
 Так как принц Джон намекнул, что ему хотелось бы обеспечить победу партии зачинщиков, де Браси и другие приближенные к принцу рыцари записались в их партию. С другой стороны, много славных рыцарей саксонского и норманского происхождения, как уроженцев Англии так и чужих стран, записалось в противную партию, желая выступить под началом такого превосходного бойца, каким оказался рыцарь Лишенный Наследства.   
 Как только принц Джон заметил, что избранная королева турнира подъехала к ристалищу, он с самым любезным видом, который умел принять, когда хотел. поскакал к ней навстречу, снял шляпу и сам помог ей сойти с лошади, а вся его свита обнажила головы, и один из важнейших сановников спешился и взял под уздцы ее лошадь.   
 - Как видите, - сказал принц Джон, - мы первые подаем пример проявления верноподданнических чувств королеве любви и красоты и сами возведем ее на трон. Благородные дамы, - обратился он к галерее, - извольте следовать за вашей повелительницей, если желаете, в свою очередь, удостоиться таких же почестей.   
 С этими словами принц провел леди Ровену к тронной ложе, а самые красивые и знатные из присутствующих дам поспешили вслед за нею, стараясь сесть как можно ближе к своей временной королеве.   
 Когда леди Ровена заняла свое место, раздалась торжественная музыка, наполовину заглушаемая приветственными криками толпы. Блестящее оружие и доспехи рыцарей ослепительно сверкали на солнце; бойцы толпились по обоим концам ристалища и с жаром обсуждали расположение своих сил.   
 Герольды призвали к молчанию на время чтения правил турнира. Правила эти были введены для того, чтобы по возможности уменьшить опасность состязания, во время которого рыцари должны были сражаться отточенными мечами и заостренными копьями.   
 Бойцам воспрещалось колоть мечами, а позволено было только рубить. Им предоставлялось право пустить в ход палицу или секиру, но отнюдь не кинжал. Упавший с коня мог продолжать бой только с пешим противником. Всадникам же воспрещалось нападать на пешего. Если бы рыцарю удалось загнать противника на противоположный конец ристалища, где он сам, или его оружие, или лошадь коснулись бы внешней ограды, противник был бы обязан признать себя побежденным и предоставить своего коня и доспехи в распоряжение победителя. Рыцарь, потерпевший такое поражение, не имел права участвовать в дальнейших состязаниях. Если выбитый из седла не в состоянии был подняться сам, его оруженосец или паж имел право выйти на арену и помочь своему хозяину выбраться из свалки, но в таком случае рыцарь считался побежденным и проигрывал своего коня и оружие. Бой должен был прекратиться, как только принц Джон бросит на арену свой жезл или трость. Это была мера предосторожности на случай, если состязание окажется слишком кровопролитным и долгим. Каждый рыцарь, нарушивший правила турнира или как-нибудь иначе погрешивший против законов рыцарства, подвергался лишению доспехов; вслед за тем ему на руку надевали щит, перевернутый нижним концом вверх, и сажали верхом на ограду, на всеобщее посмеяние.   
 После того как были объявлены эти правила, герольды в заключение призвали всех добрых рыцарей дополнить свой долг и заслужить благосклонность королевы любви и красоты. Возвестив все это, герольды стали на свои места. Тогда с обоих концов арены длинными вереницами выступили рыцари и выстроились друг против друга двойными рядами; предводитель каждой партии занял место в центре переднего ряда, после того как разместил в полном порядке всех бойцов.   
 Красивое и вместе с тем устрашающее зрелище представляли эти рыцари, молодцевато сидевшие на конях, в богатых доспехах, готовые устремиться в ожесточенный бой. Словно железные изваяния возвышались они на своих боевых седлах и с таким же нетерпением ожидали сигнала к битве, как их резвые кони, которые звонко ржали и били копытами, выражая желание ринуться вперед.   
 Рыцари подняли длинные копья, на их отточенных остриях засверкало солнце, а плюмажи и вымпелы заколебались над их шлемами. Так они стояли, пока маршалы проверяли ряды обеих партий, желая убедиться, что в каждой из них равное число бойцов. Счет подтвердил, что все в сборе. Тогда маршалы удалились с ристалища, и Уильям де Вивиль громовым голосом воскликнул:   
 - Laissez aller! [15]   
 Трубы затрубили, копья разом склонились и укрепились в упорах, шпоры вонзились в бока коней, передние ряды обеих партий полным галопом понеслись друг на друга и сшиблись посреди арены с такой силой, что гул был слышен за целую милю. Задние ряды с обеих сторон медленно двинулись вперед, чтобы оказать поддержку тем из своих, которые пали, либо попытать свое счастье с теми, кто победил.   
 Об исходе схватки сразу нельзя было ничего сказать, так как поднялось густое облако пыли. Только через минуту взволнованные зрители получили возможность увидеть, что происходит на поле битвы. Оказалось, что добрая половина рыцарей обеих партий выбита из седла. Одни упали от ловкого удара копьем, другие были смяты непомерной силой и тяжестью противника на коне, иные лежали на арене, не имея сил подняться; иные успели вскочить на ноги и вступить в рукопашный бой с теми из врагов, которых постигла та же участь; получившие тяжелые раны шарфами зажимали льющуюся кровь и пытались выбраться из толпы.   
 Всадники, лишившиеся копий, сломанных в яростной схватке, снова сомкнулись и, обнажив мечи, с боевыми кликами обменивались такими ударами с противниками, как будто от исхода этого боя зависели их честь и самая жизнь.   
 Сумятица увеличилась еще более, когда к месту схватки подоспели вторые ряды, бросившиеся на помощь своим товарищам. Сторонники Бриана де Буагильбера кричали: "Босеан, Босеан! За храм, за храм!" А противники их отвечали на это криками: "Desdichado! Desdichado! ", превратив девиз, начертанный на щите их вождя, в свой боевой клич.   
 По мере того как бойцы сражались с возрастающей яростью и с переменным успехом, волна победы перекатывалась то к южному, то к северному концу ристалища, смотря по тому, которая партия одерживала верх. Лязг оружия, возгласы сражающихся и звуки труб сливались в ужасающий шум, заглушая стоны раненых, беспомощно распростертых на арене под копытами коней. Блестящие доспехи рыцарей покрывались пылью и кровью, а удары мечей и секир оставляли на них вмятины и трещины. Пышные перья, сорванные со шлемов, падали, как снежные хлопья. Вид рыцарского войска утратил воинское великолепие и пышность и мог внушать только ужас или сострадание.   
 Но такова сила привычки, что не только простолюдины, всегда жадные до кровавых зрелищ, но даже знатные дамы, наполнявшие галереи, глядели, не отрываясь, на побоище с захватывающим интересом и волнением; однако они не выражали желания отвести глаза от столь ужасного зрелища. Правда, иные прелестные щечки бледнели; по временам, когда чей-нибудь возлюбленный, брат или муж внезапно падал с лошади, раздавались испуганные возгласы. Но большинство дам поощряли бойцов рукоплесканиями, махали платками и шарфами и восклицали: "Молодецкое копье! Добрый меч!", когда ловкий удар или толчок попадал в поле их зрения.   
 Если даже прекрасный пол принимал такое живое участие в кровавой потехе, можно себе представить, с каким азартом следили за ней мужчины. Их волнение выражалось громкими кликами при каждом новом повороте боя; взоры всех были прикованы к происходящему на арене; глядя на зрителей, можно было подумать, что они сами раздают или получают удары. В минуты затишья слышались громкие восклицания герольдов:   
 - Сражайтесь, храбрые рыцари! Человек умирает, а слава живет! Сражайтесь! Смерть лучше поражения! Сражайтесь, храбрые рыцари, ибо прекрасные очи взирают на ваши подвиги.   
 Битва шла с переменным успехом. Каждый из зрителей старался отыскать глазами предводителей, державшихся в самой гуще сражения и ободрявших товарищей восклицаниями и собственным примером. Оба совершали славные подвиги, оба не находили среди всех остальных рыцарей равных противников. Побуждаемые взаимной враждой, прекрасно понимая, что падение одного из них равносильно решительной победе другого, они все время искали встречи. Но сумятица и беспорядок в начале боя были таковы, что все их старания ни к чему не приводили: их постоянно разлучали другие участники турнира, в свою очередь стремившиеся помериться силами с предводителем враждебной партии.   
 Но мало-помалу ряды сражавшихся стали редеть: одни признали себя побежденными, других прижали к ограде в конце арены, третьи лежали на земле раненые, и храмовник с рыцарем Лишенным Наследства сошлись наконец лицом к лицу. Соперники схватились со всей яростью смертельной вражды. Искусство, с каким они наносили и отражали удары, было таково, что у зрителей невольно вырывались единодушные возгласы восторга и одобрения.   
 Но именно в эту минуту партия рыцаря Лишенного Наследства оказалась в очень трудном положении: на одном фланге его сторонников теснила богатырская рука Реджинальда Фрон де Бефа, на другом - могучий Ательстан опрокидывал и рассеивал всех, попадавшихся ему на пути. Видя, что перед ними нет более непосредственных противников, оба эти рыцаря, по-видимому, подумали одновременно, что доставят решительную победу своей партии, если помогут храмовнику сладить с его врагом. Поэтому оба разом повернули коней и с разных сторон помчались на рыцаря Лишенного Наследства. Невероятно, чтобы один человек мог устоять против такого неожиданного и неравного нападения, если бы его не предупредили общие крики зрителей, которые не могли оставаться безучастными свидетелями такой неминуемой опасности.   
 - Берегись, берегись, сэр Лишенный Наследства! - кричали со всех сторон, так что рыцарь успел вовремя заметить новых противников.   
 Изо всей силы ударив храмовника, он осадил свою лошадь назад и увернулся от нападения Ательстана и Реджинальда Фрон де Бефа. Оба эти рыцаря едва не столкнулись друг с другом и, не удержав вовремя своих лошадей, промчались между соперниками. Однако они тотчас исправили свой промах и вместе с Брианом де Буагильбером втроем напали на рыцаря Лишенного Наследства.   
 Ничто не могло бы спасти его, если бы не удивительная сила и резвость благородного коня, доставшегося ему накануне после победы. Это его выручило, тем более что лошадь Буагильбера была ранена, а кони Ательстана и Реджинальда Фрон де Бефа изнемогали под грузом своих гигантских хозяев, закованных в тяжелые доспехи. Рыцарь Лишенный Наследства с таким искусством управлял своим конем, а благородное животное так быстро ему повиновалось, что в течение нескольких минут он мог отбиваться сразу от трех противников. С быстротою сокола увертывался он от врагов, бросаясь то на одного, то на другого, на лету ударяя мечом и тотчас отскакивая назад, не получая предназначенных ему ответных ударов.   
 Все зрители бешено рукоплескали его искусству, однако было ясно, что он все-таки должен пасть под напором троих противников. Тогда вся знать, окружавшая принца Джона, стала единодушно упрашивать его поскорее бросить жезл на арену, чтобы спасти доблестного рыцаря от бесславного поражения, вызванного численным превосходством противников.   
 - Ну нет, клянусь небом, - отвечал принц Джон, - этот выскочка, скрывающий свое имя да еще пренебрегающий нашим хлебосольством, уже получил приз, пускай теперь выигрывают другие.   
 Едва он произнес эти слова, как неожиданный случай решил судьбу турнира.   
 В числе сторонников Desdichado был один рыцарь в черных доспехах, верхом на вороной лошади, такой же крепкой и мощной, как и сам всадник. У этого рыцаря на щите не было никакого девиза, и до сих пор он почти не принимал участия в битве, ограничиваясь отражением случайных противников, никого не преследуя и сам никого не вызывая. Словом, он играл скорее роль зрителя, нежели деятельного участника в турнире, и зрители прозвали его Le noir Faineant - Черным Лентяем. Теперь этот рыцарь словно проснулся. Видя, как яростно теснят предводителя его партии, он вонзил шпоры в бока своей лошади и, как молния, помчался на помощь товарищу, зычным голосом крикнув:   
 - Desdichado! Иду на выручку! И пора было выручать его. В то время как рыцарь Лишенный Наследства бился с храмовником, Фрон де Беф занес над ним меч. Однако, прежде чем Фрон де Беф успел нанести удар, черный всадник хватил его по голове. Скользнув по гладкому шлему, меч со страшной силой обрушился на броню коня, и Фрон де Беф, оглушенный яростным ударом, рухнул на землю вместе с лошадью. Тогда Черный Лентяй направил коня к Ательстану Конингсбургскому. Бросив меч, сломавшийся в схватке с Фрон де Бефом, он выхватил из рук увальня сакса тяжелую секиру и так ударил его по гребню шлема, что Ательстан без чувств растянулся на земле. Совершив эти два подвига, за которые зрители наградили его тем более бурными выражениями восторга, что их не ожидали, Черный Рыцарь, казалось, снова впал в состояние вялого безучастия и спокойно отъехал в северный конец ристалища, предоставляя своему предводителю самому расправиться с Брианом де Буагильбером. Теперь это было уже не такой трудной задачей, как раньше. Потеряв много крови, лошадь храмовника не выдержала последнего столкновения с рыцарем Лишенным Наследства и свалилась. Бриан де Буагильбер скатился на землю, запутавшись ногой в стремени. Его противник мигом соскочил с коня и, занеся роковой меч над головой поверженного врага, велел ему сдаваться. Тогда принц Джон, взволнованный опасностью, в какой находился рыцарь Храма, избавил Буагильбера от унижения признать себя побежденным: принц бросил на арену свой жезл и тем положил конец состязанию.   
 Впрочем, последние вспышки битвы догорали сами собой, так как большинство рыцарей, остававшихся еще на поле битвы, как бы по взаимному соглашению воздерживалось от дальнейшей борьбы, предоставив предводителям самим решать судьбу партии.   
 Оруженосцы, благоразумно избегавшие подавать помощь своим хозяевам во время битвы, толпой устремились на арену, чтобы подобрать раненых, которых с величайшей заботливостью и вниманием перенесли в соседние шатры и в другие помещения, заготовленные в ближайшем селении.   
 Так кончилась достопамятная ратная потеха при Ашби де ла Зуш - один из самых блестящих турниров того времени. Правда, только четыре рыцаря встретили смерть на ристалище, а один из них попросту задохнулся от жары в своем панцире, однако более тридцати получили тяжкие раны и увечья, от которых четверо или пятеро вскоре также умерли, а многие на всю жизнь остались калеками. А потому в старинных летописях этот турнир именуется "благородным и веселым ратным игрищем при Ашби".   
 Теперь принцу Джону предстояло рассудить, кто из рыцарей наиболее отличился в бою, и он решил отдать пальму первенства тому рыцарю, которого народная молва окрестила Черным Лентяем.   
 Некоторые из присутствовавших возражали принцу, указывая, что честь победы на турнире принадлежала рыцарю Лишенному Наследства: он один одолел шестерых противников и выбил из седла и поверг на землю предводителя противной партии. Но принц Джон стоял на своем, утверждая, что рыцарь Лишенный Наследства и его сторонники непременно проиграли бы состязание, если не подоспел на выручку могучий рыцарь в черных доспехах, а потому ему и следует присудить приз.   
 Однако, к удивлению всех присутствующих. Черного Рыцаря нигде не могли отыскать. В ту минуту, как кончилось состязание, он покинул ристалище, и некоторые из зрителей видели, как он медленно ехал к лесу с тем апатичным и равнодушным видом, за который его и прозвали Черным Лентяем. Тщетно дважды трубили, трубы и герольды громким голосом вызывали его вперед - он не явился. Принцу Джону пришлось снова решать, кому следует вручить приз. Теперь уже нельзя было долее откладывать признание прав рыцаря Лишенного Наследства; потому он и был провозглашен героем дня.   
 По залитому кровью, усеянному обломками оружия и трупами лошадей полю маршалы повели победителя к подножию трона принца Джона.   
 - Рыцарь Лишенный Наследства, - сказал принц Джон, - если вы все еще не согласны объявить нам свое настоящее имя, мы под этим титулом вторично признаем вас победителем на турнире и заявляем, что вы имеете право получить из рук королевы любви и красоты почетный венец, который вы своею доблестью вполне заслужили.   
 Рыцарь почтительно и изящно поклонился, но не произнес ни слова в ответ.   
 Опять зазвучали трубы, и герольды громогласно провозгласили честь храбрым и славу победителю. Дамы замахали своими шелковыми платками и вышитыми покрывалами. Зрители всех сословий единодушно изъявляли свой восторг, а маршалы проводили рыцаря к подножию почетного трона, где сидела леди Ровена.   
 Победителя поставили на колени на нижней ступени подножия трона. Казалось, что с той минуты, как прекратилась битва, он двигался и действовал уже не по собственной воле, а скорей по указке окружавших его людей. Некоторые заметили, что, когда его вторично вели через ристалище, он шатался. Ровена величавой поступью сошла с возвышения и только хотела возложить венец, который она держала в руках, на шлем рыцаря, как все маршалы воскликнули в один голос:   
 - Так нельзя. Нужно, чтоб он обнажил голову.   
 Рыцарь слабым голосом пробормотал несколько слов, которые глухо и неясно прозвучали из-под забрала. Только и можно было разобрать, что он просит не снимать с него шлема.   
 Но маршалы - из желания ли соблюсти все формальности или из любопытства - не обратили внимания на его заявление и, разрезав завязки шлема, расстегнув латный нашейник, обнажили его голову. Перед взорами присутствующих предстало красивое, потемневшее от загара лицо молодого человека лет двадцати пяти, обрамленное короткими светлыми волосами. Это лицо было бледно как смерть и в одном или двух местах запятнано кровью.   
 Слабый крик вырвался из груди Ровены, когда она увидела его. Однако, овладев собой и вся дрожа от сдерживаемого волнения, она принудила себя выдержать роль до конца. Она возложила на склоненную перед ней голову рыцаря великолепный венок, назначенный в награду победителю, и произнесла внятно и спокойно следующие слова:   
 - Жалую тебе этот венец, сэр рыцарь, как награду, предназначенную доблестному победителю на сегодняшнем турнире. - Тут она замолкла на несколько секунд, но потом прибавила с твердостью: - И никогда венец рыцарства не был возложен на более достойное чело.   
 Рыцарь склонил голову и поцеловал руку прекрасной королевы, вручившей ему награду за храбрость, потом внезапно пошатнулся и упал у ее ног.   
 Последовало всеобщее смятение. Седрик, онемевший от изумления при внезапном появлении своего изгнанного сына, бросился было вперед, словно желая разлучить его с Ровеной. Но маршалы успели предупредить его: угадав причину обморока Айвенго, они поспешили расстегнуть его панцирь и увидели, что у него в боку зияет рана, нанесенная ударом копья.

**Глава XIII**

"Пусть каждый, кто искусством знаменит,   
 Ко мне приблизится, - сказал   
 Атрид, -   
 Пускай ко мне героя подойдут,   
 Которым строгий ваш не страшен суд,   
 И тучного быка получит тот,   
 Кто всех стрелке" уменьем превзойдет".   
 "Илиада"   
  
 Как только было произнесено имя Айвенго, оно стало передаваться из уст в уста со всею быстротой, какую могло сообщить усердие одних и любопытство других. Очень скоро оно достигло слуха принца Джона, лицо его омрачилось, когда он услышал эту новость, затем, оглянувшись вокруг, сказал с пренебрежительным видом:   
 - Что вы думаете, господа, а в особенности вы, сэр приор, о рассуждениях ученых относительно не зависящих от нас симпатий и антипатий? Недаром я сразу почувствовал неприязнь к этому молодцу, хотя и не подозревал, что под его доспехами скрывается любимчик моего брата.   
 - Фрон де Беф, пожалуй, должен будет возвратить свое поместье Айвенго, - сказал де Браси, который, с честью выполнил свои обязанности на турнире, успел снять щит и шлем и присоединился к свите принца.   
 - Да, - молвил Вальдемар Фиц-Урс, - этот воин, вероятно, потребует обратно замок и поместье, пожалованные ему Ричардом, а потом благодаря великодушию вашего высочества перешедшие во владение Фрон де Бефа.   
 - Фрон де Беф, - возразил принц Джон, - скорее способен поглотить еще три таких поместья, как поместье Айвенго, чем вернуть обратно хоть одно. Впрочем, я полагаю, что никто из вас не станет отрицать моего права раздавать ленные поместья тем верным слугам, которые сомкнулись вокруг меня и готовы нести воинскую службу не так, как те бродяги, которые скитаются по чужим странам и не способны ни охранять отечество, ни показать нам свою преданность.   
 Окружающие были лично заинтересованы в этом вопросе, и потому никто и не подумал оспаривать мнимые права принца.   
 - Щедрый принц! Вот истинно благородный властелин: он принимает на себя труд вознаграждать своих преданных сторонников!   
 Таковы были слова, раздавшиеся среди приближенных принца: каждый из них сам надеялся поживиться за счет любимцев и сторонников короля Ричарда, а многие уже преуспели в этом.   
 Аббат Эймер присоединился к общему мнению, заметив только, что "благословенный Иерусалим" нельзя, собственно, причислять к чужим странам, ибо он есть наш общий отец, отец всех христиан.   
 - Однако я не вижу, - продолжал аббат, - какое отношение имеет рыцарь Айвенго к Иерусалиму? Насколько мне известно, крестоносцы под начальством Ричарда не бывали дальше Аскалона, который, как всем ведомо, есть город филистимлян и не может пользоваться привилегиями священного города.   
 Вальдемар, ходивший из любопытства взглянуть на Айвенго, воротился в ложу принца.   
 - Этот храбрец, - сказал он, - вряд ли наделает много хлопот вашему высочеству, а Фрон де Беф может спокойно владеть своими поместьями: рыцарь очень серьезно ранен.   
 - Какова бы ни была его судьба, он все-таки победитель нынешнего дня, - сказал принц Джон, - и, будь он самым опасным из наших врагов или самым верным из друзей нашего брата - что почти одно и тоже, - следует залечить его раны: наш собственный врач подаст ему помощь.   
 При этих словах коварная улыбка появилась на губах принца. Вальдемар поспешил ответить, что Айвенго уже унесен с ристалища и находится на попечении друзей.   
 - Мне было грустно смотреть, - продолжал он, - на печаль королевы любви и красоты: ей предстояло царствовать всего один день, да и тот по милости этого происшествия превратился в день скорби. Я вообще не такой человек, чтобы женская печаль могла меня растрогать, но эта леди Ровена с таким достоинством сдерживала свою скорбь, что о ней можно было догадываться лишь по ее стиснутым рукам и сухим глазам, смотревшим на бездыханное тело у ее ног.   
 - Кто эта леди Ровена, о которой столько говорят? - спросил принц Джон.   
 - Она богатейшая наследница знатного саксонского рода, - отвечал аббат Эймер, - роза красоты и бесценная жемчужина, прекраснейшая из тысячи, зерно ладана, благовонная мирра.   
 - Мы утешим ее скорбь, - сказал принц Джон, - и заодно улучшим ее род, выдав замуж за норманна. Она, должно быть, несовершеннолетняя, а следовательно, мы имеем королевское право располагать ее рукой. Что ты на это скажешь, де Браси? Не желаешь ли получить землю и доходы, сочетавшись браком с саксонкой, по примеру соратников Завоевателя?   
 - Если земли окажутся мне по вкусу, невеста мне наверняка понравится, и я буду крайне признателен вашему высочеству за это доброе дело, - отвечал де Браси. - Оно с избытком покроет все обещания, данные вашему верному слуге и вассалу.   
 - Мы этого не забудем, - сказал принц Джон. - А чтобы не терять даром времени, вели нашему сенешалю распорядиться, чтобы на сегодняшнем вечернем пиру была эта леди Ровена. Пригласите также и того мужлана - ее опекуна, да и саксонского быка, которого Черный Рыцарь свалил нынче на турнире. Де Бигот, - продолжал принц, обращаясь к своему сенешалю, - постарайся передать им наше вторичное приглашение в такой учтивой форме, чтобы польстить их саксонской гордости и лишить их возможности отказать нам еще раз. Хотя, клянусь костями Бекета, оказывать им любезность - все равно что метать бисер перед свиньями!   
 Сказав это, принц Джон собрался уже подать сигнал к отбытию с ристалища, когда ему вручили маленькую записку.   
 - Откуда? - спросил принц, оглянувшись на подателя.   
 - Из-за границы, государь, но не знаю откуда, - отвечал слуга, - это письмо привез сюда француз, который говорит, что скакал день и ночь, чтобы вручить его вашему высочеству.   
 Принц Джон внимательно посмотрел на адрес, потом на печать, скреплявшую шелковую нить, которой была обмотана свернутая записка: на печати были изображены три лилии. Принц с явным волнением развернул письмо и, когда прочел его, встревожился еще сильнее. Записка гласила:   
 "Будьте осторожны - дьявол спущен с цепи".   
 Принц побледнел как смерть, сначала потупился, потом поднял глаза к небу, как человек, только что узнавший, что он приговорен к смерти. Оправившись от первого потрясения, он отвел в сторону Вальдемара Фиц-Урса и де Браси и дал им поочередно прочесть записку.   
 - Это значит, - сказал он упавшим голосом, - что брат мой Ричард получил свободу.   
 - Быть может, это ложная тревога или поддельное письмо? - спросил де Браси.   
 - Нет, это подлинный почерк и печать самого короля Франции, - возразил принц Джон.   
 - В таком случае, - предложил Фиц-Урс, - пора нашей партии сосредоточиться в каком-нибудь сборном месте, например в Йорке. Через несколько дней, наверно, будет уже слишком поздно. Вашему высочеству следует прекратить эти забавы.   
 - Однако, - сказал де Браси, - нельзя распустить простолюдинов и иоменов без обещанных состязаний.   
 - Ну что ж, - сказал Вальдемар, - еще далеко до ночи, пускай стрелки выпустят в цель несколько десятков стрел, а потом можно присудить приз. Тогда все, что принц обещал этому стаду саксонских рабов, будет выполнено с избытком.   
 - Спасибо, Вальдемар, - сказал принц. - Между прочим, ты мне напомнил, что я должен еще отплатить тому дерзкому простолюдину, который осмелился вчера оскорбить нашу особу. Пускай и вечерний пир пройдет своим чередом, как было назначено сначала. Даже если это - последний час моей власти, я посвящу его мщению и удовольствиям: пусть новые заботы приходят завтра.   
 Вскоре звуки труб вновь собрали зрителей, начавших было расходиться. Вслед за тем было объявлено, что принц Джон ввиду неотложных дел вынужден отменить завтрашний праздник. Тем не менее ему не хотелось отпускать добрых иоменов, не испытав их искусства и ловкости. Поэтому он соблаговолил распорядиться, чтобы назначенное на завтра состязание в стрельбе из луков состоялось теперь же, до захода солнца. Наилучшему стрелку полагается приз: рог в серебряной оправе и шелковая перевязь с великолепной вышивкой и медальоном святого Губерта, покровителя охоты.   
 Сначала более тридцати иоменов явились на состязание. Среди них были и королевские лесничие из Нидвуда и Чарнвуда. Но когда стрелки поняли, с кем им придется мериться силами, человек двадцать сразу же отказались от своего намерения, так как никому не хотелось идти на заведомый проигрыш. В те времена каждый искусный стрелок был хорошо известен во всей округе, и все состязавшиеся знали, чего они могут ждать друг от друга, вроде того, как в наши дни известны каждому любителю спорта приметы и свойства лошади, которая бежала на скачках в Ньюмаркете.   
 Однако и после этого в списке соперников значилось восемь иоменов. Желая поближе рассмотреть этих отборных стрелков, принц Джон спустился на арену. Некоторые из них носили форму королевских стрелков. Удовлетворив свое любопытство, он огляделся вокруг, отыскивая ненавистного ему иомена. Оказалось, что тот спокойно стоит там же, где вчера.   
 - Эй, молодец! - сказал принц Джон. - Я так и думал, что ты только нахальный хвастун, а не настоящий стрелок! Я вижу, ты не решаешься выступить рядом с этими ребятами.   
 - Прошу извинить, сэр, - отвечал иомен, - у меня есть другая причина, чтобы воздержаться от стрельбы, а не боязнь поражения.   
 - Какая же именно? - осведомился принц Джон. Сам не зная почему, он испытывал мучительный интерес к этому человеку.   
 - Я не знаю, - отвечал иомен, - та ли у них мишень, что у меня, привыкли ли они к ней, как я? И еще потому, что сомневаюсь, будет ли приятно вашей светлости, если и третий приз достанется человеку, невольно заслужившему ваше неудовольствие.   
 Принц Джон покраснел и спросил:   
 - Как тебя зовут?   
 - Локсли, - отвечал иомен.   
 - Ну, Локсли, - продолжал принц, - ты непременно примешь участие в состязании после того, как эти иомены покажут свое искусство. Если выиграешь приз, я надбавлю тебе двадцать червонцев, но если проиграешь, с тебя сдерут твой зеленый кафтан и прогонят с арены кнутом, как наглого болтуна.   
 А что, если я не захочу стрелять на таких условиях? - сказал иомен. - Ваша милость - человек могущественный, что и говорить! У вас большая стража, так что содрать с меня одежду и отстегать легко, но принудить меня натянуть лук и выстрелить нельзя.   
 - Если ты откажешься от моего предложения, начальник стражи сломает твой лук и стрелы и выгонит тебя отсюда, как малодушного труса.   
 - Вы не по совести ставите мне условия, гордый принц, - сказал иомен. - Принуждаете меня к соперничеству с лучшими стрелками Лестера и Стаффордшира, а в случае неудачи грозите мне таким позором. Но я повинуюсь вашему желанию.   
 - Воины, присматривать за ним хорошенько! - сказал принц Джон. - Он уже струсил, а я не хочу, чтобы он уклонился от испытания. А вы, друзья, стреляйте смелее. Жареный олень и бочонок вина приготовлены для вас вон в той палатке. После вручения приза вы можете подкрепить свои силы и отведать прекрасного вина.   
 Мишень установили в верхнем конце южного проезда на ристалище. Участники состязания должны были поочередно становиться на нижнем конце про- езда; отсюда до мишени было достаточное расстояние для стрельбы из лука, что называлось "на ветер". Очередь устанавливалась по жребию, каждый стрелок должен был выпустить по три стрелы. Состязанием заведовал старшина низшего звания, носивший титул "старшины игр", так как маршалы турнира считали для себя унизительным руководить забавами иоменов.   
 Выступая один за другим, стрелки уверенно посылали в цель свои стрелы. Из двадцати четырех стрел десять вонзились в мишень, а остальные расположились так близко от нее, что попадание можно было считать хорошим. Из десяти стрел, попавших в мишень, две вонзились во внутренний круг, и обе принадлежали Губерту - лесничему, состоявшему на службе у Мальвуазена. Его и признали победителем.   
 - Ну что же, Локсли? - со злой усмешкой сказал принц Джон, обращаясь к смелому иомену. - Хочешь ты помериться с Губертом или предпочитаешь сразу отдать свой лук и колчан?   
 - Коли иначе нельзя, - сказал Локсли, - я не прочь попытать счастья. Только с одним условием: если я дважды попаду в цель Губерта, он должен будет стрелять в ту цель, которую я выберу.   
 - Это справедливое требование, - сказал принц Джон, - и мы на него согласны. Губерт, если ты побьешь этого хвастуна, я насыплю тебе полный рог серебра.   
 - Человек может сделать только то, что в его силах, - отвечал Губерт. - Мой дедушка отлично стрелял из лука в битве при Гастингсе, и я надеюсь, что не посрамлю его памяти.   
 Первую мишень сняли и поставили другую такую же. Губерт, как победивший на предварительном состязании, стрелял первым. Он долго целился, прикидывая глазом расстояние, в то же время держал лук натянутым, наложив стрелу на тетиву. Наконец он ступил шаг вперед и, вытянув левую руку так, что середина или прицел лука пришелся вровень с лицом, оттянул тетиву вплоть до самого уха. Стрела засвистела в воздухе и вонзилась в круг, но не в центр мишени.   
 - Вы не приняли в расчет ветра, Губерт, - сказал его соперник, натягивая свой лук, - а то вы попали бы еще лучше.   
 С этими словами Локсли стал на назначенное место и спустил стрелу с беспечным видом, почти не целясь. Его стрела вонзилась в мишень на два дюйма ближе к центру, чем у Губерта.   
 - Клянусь небом, - сказал принц Джон Губерту, - тебя стоит повесить, если ты потерпишь, чтобы этот негодяй тебя превзошел в стрельбе.   
 Но у Губерта на все случаи был только один ответ.   
 - Да хоть повесьте меня, ваше высочество, - сказал он, - человек может сделать только то, что в его силах. А вот мой дедушка важно стрелял из лука...   
 - Черт побери твоего деда и все его потомство! - прервал его принц Джон. - Стреляй, бездельник, да хорошенько, а не то тебе будет плохо!   
 Понукаемый таким образом, Губерт снова стал на место и, помня совет своего соперника, принял в расчет только что поднявшийся слабый ветерок, прицелился и выстрелил так удачно, что попал в самую середину мишени.   
 - Ай да Губерт! Ай да Губерт! - закричала толпа, которая гораздо более сочувствовала известному ей стрелку, чем незнакомцу. - В самую серединку! В самую середку! Да здравствует Губерт!   
 - Лучше этого выстрела тебе не удастся сделать, Локсли, - сказал принц со злорадной улыбкой.   
 - Ну-ка, я подшибу его стрелу, - отвечал Локсли и, прицелившись, расщепил торчащую в мишени стрелу Губерта. Зрители, теснившиеся вокруг, были так потрясены этим чудом искусства, что даже не выражали своего изумления обычными в таких случаях возгласами.   
 - Это, должно быть, не человек, а дьявол! - шептали друг другу иомены. - С тех пор как в Англии согнули первый лук, такого стрелка еще не видывали.   
 - Теперь, - сказал Локсли, - разрешите мне, ваша милость, поставить такую мишень, какая в обычае у нас в северной области, и прошу пострелять по ней любого доблестного иомена, который хочет заслужить улыбку своей красотки.   
 С этими словами он направился за пределы ограды, но, оглянувшись, прибавил:   
 - Если угодно, пошлите со мной стражу. Мне нужно срезать ветку с ближайшей ивы.   
 Принц Джон подал было знак сторожам следовать за ним. Но со всех сторон раздались крики: "Позор, позор!" - и принцу пришлось отменить свое оскорбительное распоряжение.   
 Через минуту Локсли воротился и принес прямой прут толщиной в палец и футов в шесть длиной. Он принялся сдирать с него кору, говоря, что предлагать хорошему охотнику стрелять по такой широченной мишени, какая была поставлена раньше, - значит насмехаться над ним. У него на родине всякий сказал бы, что тогда уж лучше сделать мишенью круглый стол короля Артура, вокруг которого умещалось шестьдесят человек.   
 - У нас, - говорил он, - семилетний ребенок попадает тупой стрелой в такую мишень.   
 Потом он степенным шагом перешел на противоположный конец ристалища, воткнул ивовый прут отвесно в землю и сказал:   
 - А вот если кто попадет в эту палку за сто ярдов, того я назову достойным носить лук и стрелы в присутствии короля, будь это сам славный Ричард.   
 - Мой дед, - сказал Губерт, - изрядно стрелял из лука в битве при Гастингсе, но в такие мишени не стреливал, да и я не стану. Коли этот иомен подшибет такую тростинку, я охотно уступлю первенство ему или, скорее, тому бесу, что носит его куртку, потому что человек не может так стрелять. Человек может сделать только то, что в его силах. Я не стану стрелять, раз сам знаю, что наверняка промахнусь. Ведь это все равно, что стрелять в острие ножа, или в соломинку, или в солнечный луч... Эта белая черточка так тонка, что я и разглядеть-то ее не могу.   
 - Трусливый пес! - воскликнул принц Джон. - Ну, Локсли, плут, стреляй хоть ты, и, если попадешь в такую цель, я скажу, что ты первый человек, которому это удалось. Нечего хвастать своим превосходством, пока оно не подтверждено делом.   
 - Я сделаю то, что в моих силах, - отвечал Локсли. - Большего от человека нельзя требовать, как говорит Губерт.   
 Сказав это, он снова взялся за лук, но предварительно переменил тетиву, находя, что она недостаточно кругла и успела немного перетереться от двух предыдущих выстрелов. На этот раз он прицеливался гораздо тщательнее, и толпа народа, затаив дыхание, ждала, что будет. Стрелок оправдал общую уверенность в его искусстве: стрела расщепила ивовый прут, в который была направлена. Последовал взрыв восторженных восклицаний. Сам принц Джон позабыл на минуту свою неприязнь к Локсли, так он был поражен его ловкостью.   
 - Вот тебе двадцать золотых, - сказал принц, - и охотничий рог. Ты честно заслужил приз. Мы дадим тебе пятьдесят золотых, если ты согласишься носить нашу форму и поступить к нам на службу телохранителем. Еще никогда ни у кого не было такой сильной руки и верного глаза, как у тебя.   
 - Простите меня, благородный принц, - сказал Локсли. - Я дал обет, что если когда-либо поступлю на службу, то не иначе, как к царственному брату вашего величества, королю Ричарду. Эти двадцать золотых я предоставляю Губерту: он сегодня стрелял из лука ничуть не хуже, чем его покойный дед в битве при Гастингсе. Если бы Губерт из скромности не отказался от состязания, он бы так же попал в прутик, как и я.   
 Губерт покачал головой и неохотно принял щедрый подарок незнакомца. Вслед за тем Локсли, желая поскорее избегнуть общего внимания, смешался с толпой и больше не показывался.   
 Быть может, победоносный стрелок не ускользнул бы так легко от принца, если бы принц Джон не был в эту минуту занят гораздо более важными и тревожными мыслями. Подав знак к окончанию состязаний, он подозвал своего камергера и приказал ему немедленно скакать в Ашби и разыскать там еврея Исаака.   
 - Скажи этой собаке, - сказал он, - чтобы он сегодня же, до солнечного заката, непременно прислал мне две тысячи крон. Он знает, какое я дам обеспечение, но ты все-таки покажи ему этот перстень, чтобы он не сомневался, что ты от меня. Остальную сумму пусть он доставит мне в Йорк не позже, чем через шесть дней. Если он не исполнит этого, я с него голову сниму. Поглядывай повнимательнее, не пропусти его невзначай по дороге - этот поганый нечестивец еще сегодня щеголял перед нами своими крадеными нарядами.   
 Сказав это, принц сел на коня и поехал в Ашби, а после этого стали расходиться и все остальные зрители.

**Глава XIV**

Была одета пышно рать,   
 И было рыцарям под стать   
 Великолепье их забав,   
 Когда, бывало, всех собрав -   
 И дам и воинов - в кружок   
 Звучал в старинном замке рог.   
 Уортон   
  
 Принц Джон давал роскошный пир в замке Ашби. Это было не то здание, величавые развалины которого и поныне интересуют путешественников; последнее было выстроено в более поздний период лордом Гастингсом, обергофмейстером английского двора, одной из первых жертв тирании Ричарда III; впрочем, этот лорд более известен как лицо, выведенное на сцену Шекспиром, нежели славой исторического деятеля.   
 В ту пору замок и городок Ашби принадлежали Роджеру де Квинси, графу Уинчестеру, который отправился вместе с Ричардом в Палестину. Принц Джон занял его замок и без зазрения совести распоряжался его имуществом. Желая ослепить всех своим хлебосольством и великолепием, он приказал приготовить пиршество как можно роскошней.   
 Поставщики принца, используя полномочия короля, опустошили всю округу. Приглашено было множество гостей. Принц Джон, сознавая необходимость снискать популярность среди местного населения, пригласил несколько знатных семейств саксонского и датского происхождения, а также местных нетитулованных дворян. Многочисленность презираемых и угнетаемых саксов должна была сделать их грозной силой во время приближавшейся смуты, и поэтому, по политическим соображениям, необходимо было заручиться поддержкой их вождей.   
 В связи с этим принц намеревался обойтись со своими гостями-саксами с непривычной любезностью. Не было человека, который мог бы с такой готовностью, как принц Джон, подчинять свои чувства корыстным интересам, но свойственные ему легкомыслие и вспыльчивость постоянно разрушали и сводили на нет все, что успевало завоевать его лицемерие.   
 В этом смысле особенно показательно было его поведение в Ирландии, куда послал его отец, Генрих II, с целью завоевать симпатии жителей этой страны, только что присоединенной к Англии. Ирландские вожди старались оказать юному принцу всевозможные почести, выразить верноподданнические чувства и стремление к миру. Вместо того чтобы любезно отнестись к встретившим его ирландским вождям, принц Джон и его свита не могли удержаться от искушения подергать их за длинные бороды. Подобное поведение, разумеется, жестоко оскорбило именитых представителей Ирландии и роковым образом повлияло на отношение этой страны к английскому владычеству. Нужно помнить об этой непоследовательности, свойственной принцу Джону, для того чтобы понять его поведение на пиру.   
 Следуя решению, принятому в более спокойные минуты, принц Джон встретил Седрика и Ательстана с отменной вежливостью и выразил только сожаление, а не гнев, когда Седрик извинился, говоря, что леди Ровена по нездоровью не могла принять его любезное приглашение. Седрик и Ательстан были в старинной саксонской одежде. Их костюмы, сшитые из дорогой материи, вовсе не были безобразны, но по своему покрою они так отличались от модных нарядов остальных гостей, что принц и Вальдемар Фиц-Урс при виде саксов насилу удержались от смеха. Однако, с точки зрения здравого смысла, короткая и плотно прилегающая к телу туника и длинный плащ саксов были красивее и удобнее, чем костюм норманнов, состоявший из широкого и длинного камзола, настолько просторного, что он более походил на рубашку или кафтан извозчика, поверх которого надевался короткий плащ. Плащ этот не защищал ни от дождя, ни от холода и только на то и годился, чтобы на него нашивали столько дорогих мехов, кружев и драгоценных камней, сколько удавалось уместить здесь портному. Карл Великий, в царствование которого эти плащи впервые вошли в употребление, был поражен их нелепостью. "Скажите, ради бога, - говорил он, - к чему эти кургузые плащи? В постели они вас не прикроют, на коне не защитят от ветра и дождя, а в сидячем положении не предохранят ног от сырости или мороза".   
 Тем не менее короткие плащи все еще были в моде в то время, в особенности при дворах принцев из дома Анжу. Они были широко распространены и среди свиты принца Джона. Понятно, что длинные мантии, составляющие верхнюю одежду саксов, казались тут очень смешными.   
 Гости сидели за столом, ломившимся под бременем вкусных яств. Сопровождавшие принца многочисленные повара, стремясь как можно больше разнообразить блюда, подаваемые на стол, ухитрялись так приготовить кушанья, что они приобретали необычайный вид, вроде того, как и нынешние мастера кулинарного искусства доводят обыкновенные съестные припасы до степени полной неузнаваемости. Помимо блюд домашнего изготовления, тут было немало тонких яств, привезенных из чужих краев, жирных паштетов, сладких пирогов и крупитчатого хлеба, который подавался только за столом у знатнейших особ. Пир увенчивался наилучшими винами, как иностранными, так и местными.   
 Норманское дворянство, привыкшее к большой роскоши, было довольно умеренно в пище и питье. Оно охотно предавалось удовольствию хорошо поесть, но отдавало предпочтение изысканности, а не количеству съеденного. Норманны считали обжорство и пьянство отличительными качествами побежденных саксов и считали эти качества свойственными низшей породе людей.   
 Однако принц Джон и его приспешники, подражавшие его слабостям, сами были склонны к излишествам в этом отношении. Как известно, принц Джон оттого и умер, что объелся персиками, запивая их молодым пивом. Но он, во всяком случае, составлял исключение среди своих соотечественников.   
 С лукавой важностью, лишь изредка подавая друг другу таинственные знаки, норманские рыцари и дворяне взирали на бесхитростное поведение Седрика и Ательстана, не привыкших к подобным пирам. И пока их поступки были предметом столь насмешливого внимания, эти не обученные хорошим манерам саксы несколько раз погрешили против условных правил, установленных для хорошего общества. Между тем, как известно, человеку несравненно легче прощаются серьезные прегрешения против благовоспитанности или даже против нравственности, нежели незнание малейших предписаний моды или светских приличий. Седрик после мытья рук обтер их полотенцем, вместо того чтобы обсушить их, изящно помахав ими в воздухе. Это показалось присутствующим гораздо смешнее того, что Ательстан один уничтожил огромный пирог, начиненный самой изысканной заморской дичью и носивший в то время название карум-пай. Но когда после перекрестного допроса выяснилось, что конингсбургский тан не имел никакого понятия о том, что он проглотил, и принимал начинку карум-пая за мясо жаворонков и голубей, тогда как на самом деле это были беккафичи и соловьи, его невежество вызвало гораздо больше насмешек, чем проявленная им прожорливость.   
 Долгий пир наконец кончился. За круговой чашей гости разговорились о подвигах прошедшего турнира, о неизвестном победителе в стрельбе из лука, о Черном Рыцаре, отказавшемся от заслуженной славы, и о доблестном Айвенго, купившем победу столь дорогой ценой. Обо всем говорилось с военной прямотой, шутки и смех звучали по всему залу. Один принц Джон сидел, угрюмо нахмурясь; видно было, что какая-то тяжкая забота легла на его душу. Только иногда под влиянием своих приближенных он на минуту принуждал себя заинтересоваться окружающими. В такие минуты он хватал со стола кубок с вином, выпивал его залпом и, чтобы поднять настроение, вмешивался в общий разговор, нередко невпопад.   
 - Этот кубок, - сказал он, - мы поднимем за здоровье Уилфреда Айвенго, героя нынешнего турнира. Мы сожалеем, что рана препятствует его участию в нашем пире. Пускай же выпьют вместе со мной за его здоровье. В особенности же Седрик Ротервудский, почтенный отец подающего большие надежды сына.   
 - Нет, государь, - возразил Седрик, вставая и ставя обратно на стол невыпитый кубок, - я не считаю больше сыном непокорного юношу, который ослушался моих приказаний и отрекся от нравов и обычаев предков.   
 - Не может быть! - воскликнул принц Джон с хорошо разыгранным изумлением. - Возможно ли, чтобы столь доблестный рыцарь был непокорным и недостойным сыном?   
 - Да, государь, - отвечал Седрик, - таков Уилфред. Он покинул отчий дом и присоединился к легкомысленным дворянам, составляющим двор вашего брата. Там он и научился наездническим фокусам, которые вы так высоко цените. Он покинул меня, вопреки моему запрещению. В дни короля Альфреда такой поступок назывался бы непослушанием, а это считалось преступлением, которое наказывалось очень строго.   
 - Увы! - молвил принц Джон с глубоким вздохом притворного сочувствия. - Уж если ваш сын связался с моим несчастным братом, так нечего спрашивать, где и от кого он научился неуважению к родителям.   
 И это говорил принц Джон, намеренно забывая, что из всех сыновей Генриха II именно он больше всех отличался своим непокорным нравом и неблагодарностью по отношению к отцу.   
 - Мне кажется, - сказал он, помолчав, - что мой брат намеревался даровать своему любимцу богатое поместье.   
 - Он так и сделал, - отвечал Седрик. - Одной из главных причин моей ссоры с сыном и послужило его унизительное согласие принять на правах вассала именно те поместья, которыми его предки владели по праву, независимо ни от чьей воли.   
 - Стало быть, вы не будете возражать, добрый Седрик, - сказал принц Джон, - если мы закрепим это поместье за лицом, которому не будет обидно принять землю в подарок от британской короны. Сэр Реджинальд Фрон де Беф, - продолжал он, обращаясь к барону, - надеюсь, вы сумеете удержать за собой доброе баронское поместье Айвенго. Тогда сэр Уилфред не навлечет на себя вторично родительского гнева, снова вступив во владение им.   
 - Клянусь святым Антонием, - отвечал чернобровый богатырь, - я согласен, чтобы ваше высочество зачислили меня в саксы, если Седрик, или Уилфред, или даже самый родовитый англичанин сумеет отнять у меня имение, которое вы изволили мне пожаловать!   
 - Ну, сэр барон, - молвил Седрик, обиженный этими словами, в которых выразилось обычное презрение норманнов к англичанам, - если бы кому вздумалось назвать тебя саксом, это была бы для тебя большая и незаслуженная честь.   
 Фрон де Беф хотел было возразить, но принц Джон со свойственными ему легкомыслием и грубостью перебил его.   
 - Разумеется, господа, - сказал он, - благородный Седрик вполне прав: их порода первенствует над нашей как длиною родословных списков, так и длиною плащей.   
 - Ив ратном поле они тоже бегут впереди нас, - заметил Мальвуазен, - как олень, преследуемый собаками.   
 - Им не следует идти впереди нас, - сказал приор Эймер. - Не забудьте их превосходство в манерах и знании приличий.   
 - А также их умеренность в пище и трезвое поведение, - прибавил де Браси, позабыв, что ему обещали саксонскую невесту.   
 - И мужество, которым они отличались при Гастингсе и в других местах, - заметил Бриан де Буагильбер.   
 Пока придворные с любезной улыбкой наперебой изощрялись в насмешках, лицо Седрика багровело от гнева, и он с яростью переводил взгляд с одного обидчика на другого, как будто столь быстро наносимые обиды лишали его возможности ответить на каждую в отдельности. Словно затравленный бык, окруженный своими мучителями, он, казалось, не мог сразу решить, на ком из них сорвать свою злобу.   
 Наконец, задыхаясь от бешенства, он обратился к принцу Джону, главному зачинщику полученных оскорблений.   
 - Каковы бы ни были недостатки и пороки нашего племени, - сказал он, - каждый сакс счел бы себя опозоренным, если бы в своем доме допустил такое обращение с безобидным гостем, какое ваше высочество изволил допустить сегодня. А кроме того, каковы бы ни были неудачи, испытанные нашими предками в битве при Гастингсе, об этом следовало бы помолчать тем (тут он взглянул на Фрон де Бефа и храмовника), кто за последние два-три часа не раз был выбит из седла копьем сакса.   
 - Клянусь богом, ядовитая шутка! - сказал принц Джон. - Как вам это нравится, господа? Наши саксонские подданные совершенствуются в остроумии и храбрости. Вот какие настали времена! Что скажете, милорды? Клянусь солнцем, уж не лучше ли нам сесть на суда да вовремя убраться назад, в Нормандию?   
 - Это со страху-то перед саксами! - подхватил де Браси со смехом. - Нам не надо иного оружия, коме охотничьих рогатин, чтобы этих кабанов припереть к стене.   
 - Полноте шутить, господа рыцари, - сказал ФицУрс. - А вашему высочеству пора уверить почтенного Седрика, что в подобных шутках никакой обиды для него нет, хотя наше зубоскальство и может показаться обидным непривычному человеку.   
 - Обиды? - повторил принц Джон, снова становясь чрезвычайно вежливым. - Надеюсь, никто не может подумать, что я позволю в своем присутствии нанести обиду гостю. Ну вот, я снова наполняю кубок и пью за здоровье самого Седрика, раз он отказывается пить за здоровье своего сына.   
 И снова пошла кругом заздравная чаша, сопровождаемая лицемерными речами придворных, которые, однако, не произвели на Седрика желаемого действия. Хотя от природы он был не особенно сметлив, но все же обладал достаточной чуткостью, чтобы не поддаться на все эти любезности. Он молча выслушал следующий тост принца, провозглашенный "за здравие сэра Ательстана Конингсбургского", и выпил вместе со всеми.   
 Сам Ательстан только поклонился и в ответ на оказанную ему честь разом осушил огромный кубок.   
 - Ну, господа, - сказал принц Джон, у которого от выпитого вина начинало шуметь в голове, - мы оказали должную честь нашим саксам. Теперь их очередь отплатить нам любезностью. Почтенный тан, - продолжал он, обратясь к Седрику, - не соблаговолите ли вы назвать нам такого норманна, имя которого менее всего вам неприятно. Если оно все-таки оставит после себя неприятный вкус на ваших губах, то вы заглушите его добрым кубком вина.   
 Фиц-Урс поднялся со своего места и, остановившись за креслом Седрика, шепнул ему, что он не должен упускать удобного случая восстановить доброе согласие между обойма племенами, назвав имя принца Джона.   
 Сакс ничего не ответил на это дипломатическое предложение, встал со своего места и, налив полную чашу вина, обратился к принцу с такой речью:   
 - Ваше высочество выразили желание, чтобы я назвал имя норманна, достойного упоминания на нашем пиру. Для меня это довольно тяжелая задача: все равно что рабу воспеть своего властелина или побежденному, переживающему все бедственные последствия завоевания, восхвалять своего победителя. Однако я хочу назвать такого норманна - первого среди храбрых и высшего по званию, лучшего и благороднейшего представителя своего рода. Если же кто-нибудь откажется признать со мною его вполне заслуженную славу, я назову того лжецом и бесчестным человеком и готов ответить за это моей собственной жизнью. Подымаю мой кубок за Ричарда Львиное Сердце!   
 Принц Джон, ожидавший, что сакс закончит свою речь провозглашением его имени, вздрогнул, услышав имя оскорбленного им брата. Он машинально поднес к губам кубок с вином, но тотчас поставил его на стол, желая посмотреть, как будут вести себя при этом неожиданном тосте его гости. Не поддержать тост было, пожалуй, так же опасно, как и присоединиться к нему. Иные из придворных, постарше и опытнее других, поступили точно так же, как принц, то есть поднесли кубок к губам и поставили его обратно. Другие, одушевляемые более благородными чувствами, воскликнули: "Да здравствует король Ричард! За его скорейшее возвращение к нам!" Некоторые, в том числе Фрон де Беф и храмовник, вовсе не притронулись к своим кубкам, причем лица их не выражали угрюмое презрение. Однако никто не дерзнул открыто возразить против тоста в честь законного короля.   
 Насладившись своим торжеством, Седрик обратился к своему спутнику:   
 - Пойдем, благородный Ательстан, - сказал он. - Мы пробыли здесь достаточно долго, отплатив за любезность принца Джона, пригласившего нас на свой гостеприимный пир. Кому угодно ближе ознакомиться с нашими простыми саксонскими обычаями, милости просим к нам, под кров наших отцов. На королевское пиршество мы довольно насмотрелись. Довольно с нас норманских учтивостей.   
 С этими словами он встал и вышел из зала, а за ним последовали Ательстан и некоторые другие гостисаксы, которые также сочли себя оскорбленными издевательством принца Джона и его приближенных.   
 - Клянусь костями святого Фомы, - сказал принц Джон, когда они ушли, - эти саксонские чурбаны сегодня отличились на турнире и с пира ушли победителями!   
 - Conclamatum est, poculatum est, - сказал приор Эймер, - то есть выпили мы довольно, покричали вдоволь - пора оставить наши кубки в покое.   
 - Должно быть, монах собирается исповедовать на ночь какую-нибудь красавицу, что так спешит выйти из-за стола, - сказал де Браси.   
 - Нет, ошибаетесь, сэр рыцарь, - отвечал аббат, - мне необходимо сегодня же отправиться домой.   
 - Начинают разбегаться, - шепотом сказал принц, обращаясь к Фиц-Урсу. - Заранее струсили! И этот подлый приор первый отрекается от меня.   
 - Не опасайтесь, государь, - сказал Вальдемар, - я приведу ему такие доводы, что он сам поймет, что необходимо примкнуть к нам, когда мы соберемся в Йорке... Сэр приор, мне нужно побеседовать с вами наедине, перед тем как вы сядете на коня.   
 Между тем остальные гости быстро разъезжались. Остались только лица, принадлежавшие к партии принца, и его слуги.   
 - Вот результат ваших советов, - сказал принц, гневно обратившись к Фиц-Урсу. - За моим собственным столом меня одурачил пьяный саксонский болван, и при одном имени моего брата люди разбегаются от меня, как от прокаженного!   
 - Потерпите, государь, - сказал советник, - я бы мог возразить на ваше обвинение, сославшись на то, что ваше собственное легкомыслие разрушило мои планы и увлекло вас за пределы благоразумной осторожности. Но теперь не время попрекать друг друга. Де Барси и я тотчас отправимся к этим нерешительным трусам и постараемся доказать им, что они уж слишком далеко зашли, чтобы отступать.   
 - Ничего из этого не выйдет, - сказал принц Джон, шагая по комнате в сильном возбуждении, которому отчасти способствовало и выпитое им вино. - Они уже видели на стене начертанные письмена; заметили на песке следы львиной лапы; слышали приближающийся львиный рев, потрясший лес. Теперь ничто не воскресит их мужества.   
 - Дай бог, чтобы сам-то он не струсил, - шепнул Фиц-Урс, обращаясь к де Браси. - От одного имени брата его трясет как в лихорадке! Плохо быть советником принца, которому не хватает твердости и постоянства как в добрых, так и в худых делах.

**Глава XV**

Смешно! Он думает, что я всего лишь   
 Его орудие, его слуга.   
 Ну что ж, пускай. Но в путанице бед,   
 Его коварством низким порожденных,   
 Я проложу дорогу к высшим целям,   
 И кто меня осудит?   
 "Базиль", трагедия   
  
 Никогда паук не затрачивал столько усилий на восстановление своей разорванной паутины, сколько затратил Вальдемар Фиц-Урс, чтобы собрать разбежавшихся сторонников клики принца Джона. Немногие из них присоединились к нему, разделяя его стремления, и никто - из личной привязанности. Поэтому ФицУрсу приходилось напоминать им о преимуществах, которыми они пользовались, и сулить им новые выгоды. Распутных молодых дворян он прельщал картинами необузданного разгула; честолюбивым он обещал власть, корыстным - богатство и увеличение их поместий. Вожаки наемных отрядов получили денежные подарки, как довод, наиболее доступный их пониманию, и притом такой, без которого всякие другие были бы совершенно напрасны. Деятельный агент принца сыпал обещаниями еще щедрее, чем деньгами. Было сделано все для того, чтобы положить конец колебаниям сомневающихся и ободрить малодушных. Он отзывался о возвращении короля Ричарда как о событии совершенно невероятном; но когда по сомнительным ответам и недоверчивому виду своих сообщников замечал, что именно этого они опасаются больше всего, он тотчас менял тактику и смело утверждал, что если бы и случилось такое происшествие, оно не должно оказать никакого влияния на их политические расчеты.   
 "Если Ричард вернется, - говорил Фиц-Урс, - он вернется с тем, чтобы обогатить своих обедневших и обнищавших крестоносцев за счет тех, кто не последовал за ним в Святую Землю. Он вернется, чтобы предать страшной каре тех, кто в его отсутствие провинился против законов государства или привилегий короны. Он отомстит рыцарям Храма и иоаннитского ордена за то предпочтение, которое они оказывали Филиппу, королю французскому, во время войн в Палестине. Короче говоря, вернувшись, он будет карать, как изменников, всех сторонников своего брата, принца Джона... Неужели вы так страшитесь его могущества? - продолжал хитрый наперсник принца. - Мы признаем его за храброго и сильного рыцаря, но теперь уже не то время, что было при короле Артуре, когда один воин шел против целой армии. Если Ричард действительно вернется, нужно, чтобы он оказался один... Да за ним и некому прийти. Пески Палестины побелели от костей его рыцарского войска, а те из его сторонников, которые вернулись на родину, стали нищими бродягами вроде Уилфреда Айвенго".   
 "К чему вы говорите о правах Ричарда на престол? - продолжал Фиц-Урс, возражая тем, кого смущала эта сторона дела. - Разве герцог Роберт, старший сын Вильгельма Завоевателя, не имел таких же прав? Между тем престол заняли его младшие братья - сначала Уильям Рыжий, потом Генрих. Роберт был одарен теми же хорошими качествами, какие выдвигаются теперь в пользу Ричарда: он был отважный рыцарь, искусный полководец, щедрый к своим сторонникам, усердный к церкви; вдобавок участвовал в крестовом походе и освободил гроб господень. И, однако же, сам он умер жалким, слепым пленником в Кардиффском замке, потому что противился воле народа, который не пожелал иметь его своим королем! Мы вправе, - говорил Фиц-Урс, - выбрать из числа принцев королевской крови того, кто всех достойней высшей власти... То есть, - поспешил он оговориться, - того, кто, будучи королем, будет более полезен для дворян, чем остальные. Возможно, что Ричард превосходит принца Джона своими личными достоинствами; но когда мы примем во внимание, что Ричард вернется с мечом мстителя, тогда как Джон обеспечит нам награды, льготы, права, богатства и почести, мы поймем, кого из них должно поддерживать дворянство".   
 Оратор выставлял еще и другие доводы в том же духе, стараясь приспособиться к воззрениям каждого, с кем имел дело; подобные доводы произвели нужное впечатление на дворян, примыкавших к партии принца Джона. Большинство из них согласилось явиться в Йорк, где они должны были окончательно договориться о короновании принца Джона.   
 Поздним вечером Вальдемар Фиц-Урс, измученный всеми этими хлопотами, хотя и довольный результатами своих трудов, возвратился в замок Ашби. При входе в один из залов он встретился с де Браси, который сменил свой нарядный костюм на зеленый короткий камзол и штаны того же цвета, надел кожаную шапочку, повесил сбоку короткий меч, через плечо перекинул охотничий рог, за пояс заткнул пучок стрел, а в руках держал длинный лук. Если бы Фиц-Урс встретил его при входе в замок, он прошел бы мимо, приняв его за иомена из стражи; но тут он присмотрелся внимательнее и под одеждой английского иомена узнал норманского рыцаря.   
 - Что за маскарад, де Браси? - сказал Фиц-Урс с досадой. - Время ли заниматься ряженьем, как на вятках, теперь, когда решается участь нашего вождя, принца Джона! Почему ты вместе со мной не пошел к этим малодушным трусам, которые от одного имени короля Ричарда приходят в ужас, как дети от слова "сарацин"?   
 - Я занимался своими делами, - отвечал де Браси спокойно, - так же как и вы, Фиц-Урс, занимались вашими.   
 - Это я-то занимался своими делами! - воскликнул Вальдемар. - Нет, я улаживал дела принца Джона, нашего общего патрона.   
 - Но разве при этом ты думал о чем-нибудь другом, - сказал де Браси, - кроме своего личного блага? Полно, Фиц-Урс, мы с тобой отлично знаем друг друга. Тобой руководит честолюбие - я стремлюсь к наслаждению, и то и другое соответствует нашим возрастам. А о принце Джоне мы одного мнения. Он слишком слабый человек, чтобы стать решительным монархом, слишком деспотичен, чтобы быть приятным монархом, слишком самонадеян и дерзок, чтобы быть популярным монархом, и слишком неустойчив и труслив, чтобы долгое время оставаться монархом. Но это тот монарх, в царствование которого Фиц-Урс и де Браси надеются возвыситься и процветать; а потому вы помогайте ему своей политикой, а я - добрыми копьями моих вольных дружинников.   
 - Хорош союзник! - молвил Фиц-Урс нетерпеливо. - В самый решительный час разыгрывает из себя шута! Скажи на милость, к чему ты затеял этот нелепый маскарад?   
 - Чтобы добыть себе жену, - хладнокровно отвечал де Браси. - По способу колена Вениаминова.   
 - Колена Вениаминова? - повторил Фиц-Урс. - Не понимаю, о чем ты говоришь!   
 - Как, разве тебя тут не было вчера вечером, когда приор Эймер рассказывал нам историю, после того как менестрель спел романс?.. Он расска- зал, что в отдаленные времена в Палестине возникла смертельная вражда между племенем Вениамина и остальными коленами израильского народа. И вот они перебили почти всех рыцарей этого племени, а те поклялись именем пресвятой богородицы, что не допустят, чтобы оставшиеся в живых женились на женщинах из вражеских колен. Впоследствии они раскаялись, что дали такой обет, и послали к его святейшеству папе спросить совета, как бы им снять с себя эту клятву; и тогда, по совету святого отца, молодежь из колена Вениаминова отправилась на великолепный турнир и похитила оттуда всех присутствовавших дам и таким образом добыла себе жен, не спрашивая согласия ни самих невест, ни их семейств.   
 - Я слышал эту историю, - сказал Фиц-Урс, - но только сдается мне, что либо ты, либо приор все спутали - и время этих событий и самые обстоятельства дела.   
 - Э, не все ли равно! - сказал де Браси. - Я тебе сказал, что собираюсь добыть себе жену по способу колена Вениаминова. Это значит, что в этом самом наряде я намерен напасть на стадо саксонских быков, ехавших сегодня из Ашби, и отнять у них красавицу Довену.   
 - Да ты с ума сошел, де Браси! - сказал ФицУрс. - Подумай, ведь эти люди, хотя они и саксы, богаты и влиятельны. Они пользуются уважением среди своих соплеменников; таких знатных саксов осталось немного.   
 - А нужно, чтобы ни одного не осталось, - сказал де Браси. - Следует довершить дело завоевания.   
 - Во всяком случае, теперь не время заниматься этим, - сказал Фиц-Урс. - Близится смута. Нам необходимо заручиться сочувствием народа. Помни, что принцу Джону придется покарать всякого, кто обидит народных любимцев.   
 - Посмотрим, пусть только он посмеет! - сказал де Браси. - Тогда он узнает разницу между поддержкой таких славных молодцов, как мои, и этого сброда саксонских чурбанов. Впрочем, я и не думаю сразу объявлять свое имя и звание. Разве я в этой одежде не похож на смелого охотника из тех, что весело трубят в рожок? Во всем будут винить разбойников из йоркширских лесов. У меня верные лазутчики, и я знаю, как и куда поедут саксы. Сегодня они ночуют в монастыре святого Витоля или, как его называют саксы, Витольда в Бертоне на Тренте. А завтра они доберутся как раз до нашей засады, и мы, как соколы, налетим на них. Тут я вдруг предстану в своем обычном наряде, разыграю роль любезного рыцаря и освобожу несчастную красавицу из рук грубых похитителей. Я провожу ее в замок Арон де Бефа или увезу в Нормандию, коли понадобится, и до тех пор не покажу родственникам, пока она не превратится в законную супругу Мориса де Браси.   
 - Нечего сказать, план хоть куда, - сказал ФицУрс. - Я даже думаю, что ты не сам его придумал. Слушай, де Браси, скажи откровенно, кто тебе его подсказал и кто взялся тебе содействовать? Ведь твой собственный отряд, кажется, далеко отсюда, чуть ли не в Йорке.   
 - Если тебе непременно хочется это знать - изволь, - сказал де Браси. - Это задумал Бриан де Буальбер, а первоначальная мысль принадлежит мне и пришла мне в голову после того, как я услышал о приключениях Вениаминова племени. Буагильбер поможет мне совершить нападение; он со своими людьми будет изображать разбойников, а я потом, переменив платье, отобью у них красавицу.   
 - Клянусь моим спасением, - сказал Фиц-Урс, - вот план, достойный ваших умных голов! Твоя предусмотрительность, де Браси, как нельзя лучше показана в этом плане: оставить красотку в руках своего почтенного союзника. Возможно, что тебе посчастливится отнять ее у саксов, но как ты вырвешь ее из когтей Буагильбера? Это такой сокол, который привык сам хватать куропаток и умеет крепко держать свою добычу.   
 - Да ведь он храмовник, - сказал де Браси. - Ему нельзя жениться, значит он не может быть мне соперником. Ну, а если бы он попытался нанести бесчестье будущей невесте де Браси, - клянусь небом, даже если бы он один представлял собой весь свой орден, и тогда он не посмел бы нанести мне такое оскорбление!   
 - Ну, я вижу, что все мои речи ни к чему не ведут, - сказал Фиц-Урс. - Мне хорошо известно твое упрямство. Я только прошу тебя: не теряй времени даром, пусть эта глупая и неуместная затея кончится как можно скорее.   
 - Уверяю тебя, - отвечал де Браси, - что через несколько часов все будет кончено. Я вовремя попаду в Йорк со своими молодцами и поддержу любой твой смелый замысел... Но я слышу, что мои товарищи уже собрались, - на заднем дворе топот и ржание коней... Прощай. Как истый рыцарь, я лечу заслужить улыбку красавицы.   
 - "Как истый рыцарь"! - повторил Фиц-Урс, глядя ему вслед. - Вернее сказать - как глупец, как дитя, способное бросить важное дело, чтобы ловить пушинку, летящую мимо. Да, вот с какими людьми предстоит мне действовать, и ради кого? Чтобы добыть корону этому легкомысленному и развратному принцу, который, наверно, окажется таким же неблагодарным монархом, каким был непокорным сыном и бессердечным братом. Но ведь и он не более как орудие в моих руках. Сколько бы он ни гордился своей знатностью, вздумай он поступить наперекор моим желаниям, он тотчас же узнает, чем это ему грозит.   
 Тут размышления этого государственного мужа были прерваны голосом принца, послышавшимся из внутренних покоев:   
 - Благородный Вольдемар Фиц-Урс! И, сняв с головы шапочку, будущий канцлер (ибо таково было звание, к которому стремился этот хитрый норманн) поспешил на зов будущего монарха.

**Глава XVI**

В глуши, от суеты мирской вдали,   
 Отшельника святого дни текли;   
 Он спал на мху, в пещере жизнь влача,   
 Он ел плоды, пил воду из ключа,   
 О боге думал, избегал людей   
 И лишь молитвой занят был своей.   
 Парнелл   
  
 Читатель, вероятно, не забыл, что исход турнира был решен вмешательством неизвестного рыцаря - того самого, кто за свое равнодушие и безучастность получил сначала прозвище Черного Лентяя. Оказав помощь Айвенго, рыцарь, когда поединок закончился победой, тотчас покинул арену, и его нигде не могли отыскать, чтобы вручить награду за доблесть. Пока трубачи и герольды призывали его, рыцарь давно уже углубился в пес, держа путь к северу, избегая торных дорог. Он остановился на ночлег в маленькой харчевне, стоявшей в стороне от большой дороги. Там он узнал от странствующего менестреля, чем кончился турнир.   
 На другой день рыцарь выехал рано, предполагая совершить длинный переезд; накануне он так заботливо берег силы своего коня, что теперь имел полную возможность ехать без длительных остановок. Но чрезвычайно запутанные тропинки помешали ему выполнить свое намерение. К наступлению сумерек он достиг лишь западной границы Йоркшира. А между тем ночь надвигалась быстро. Всадник и его лошадь были крайне утомления. Необходимо было подумать о ночлеге.   
 Казалось, в местах, где очутился к тому времени рыцарь, негде было найти кров для ночлега и ужин. По-видимому, ему, как это часто случалось со странствующими рыцарями, оставалось одно: пустить свою лошадь пастись, а самому лечь под дубом и предаться мечтам о своей возлюбленной. Но у Черного Рыцаря, должно быть, не было возлюбленной; или, обладая таким же хладнокровием в любви, какое проявлял в битве, он не мог настолько погрузиться в мысли о ее красоте и непреклонности, чтобы забыть о собственной усталости и голоде; любовные мечты, как видно, не могли заменить ему существенных радостей ночлега и ужина. Поэтому он с большим неудовольствием озирался вокруг, видя, что забрался в такую глушь, где хоть и много было лужаек, следов и тропинок, но было ясно, что они протоптаны пасущимися стадами или дикими оленями и теми охотниками, которые за ними гонялись.   
 До сих пор рыцарь держал свой путь по солнцу; но оно уже скрылось за Дербиширскими холмами, и легко было сбиться с дороги. Тщетно пробовал он выбирать торные тропы в надежде наткнуться на пастушеский шалаш или домик лесного сторожа. Все было напрасно. Тогда, не надеясь больше на себя, рыцарь решился положиться на чутье своего коня. По собственному опыту он хорошо знал, что лошади нередко обладают удивительной способностью находить нужное направление.   
 Как только добрый конь, изнемогающий под тяжелым седоком в боевых доспехах, почувствовал по ослабленным поводьям, что он предоставлен собственной воле, силы его как бы удвоились. До сир пор он только жалобным ржаньем отзывался на понукания и пришпоривание. Теперь же, словно гордясь оказанным ему доверием, он насторожил уши и пошел гораздо быстрее. Выбранная им тропинка круто сворачивала в сторону от прежнего пути, но, видя, с какой уверенностью его конь двинулся по новой дороге, рыцарь не противился ему.   
 Конь оправдал такое доверие. Тропинка стала шире, утоптаннее, а слабый звон небольшого колокола указывал на то, что где-то поблизости есть часовня или хижина отшельника.   
 Вскоре рыцарь выехал на открытую поляну; на другой стороне ее возвышался огромный утес с крутыми, изъеденными ветром и дождем серыми скло- нами. Кое-где в его расщелинах пустили корни и росли дубки и кусты остролиста, местами густой плющ зеленой мантией окутывал склоны и колыхался над обрывами, подобно султанам над шлемами воинов, придавая изящество тому, что само по себе было грозно и внушительно. У подножия скалы, прилепившись к ней одной стеной, стояла хижина, сложенная из нетесаных бревен, добытых в соседнем лесу; щели, которые оставались между ними, были замазаны глиной, смешанной со мхом. Перед дверью воткнуто было в землю очищенное от ветвей молодое сосновое деревце с перекладиной наверху, служившее бесхитростной эмблемой креста. Немного правее из расселины утеса выбивалась прозрачная струя воды, падавшая на широкий камень, выдолбленный наподобие чащи. Переполняя этот естественный бассейн, вода переливалась через край на поляну и, проложив себе естественное русло, журча текла по ней, чтобы потеряться в ближайшем лесу.   
 Возле источника видны были развалины очень маленькой часовни с обвалившейся крышей. Все здание когда-то было никак не больше шестнадцати футов в длину и двенадцати в ширину, а низкая крыша покоилась на четырех концентрических сводах, опиравшихся по углам на короткие и толстые колонны; еще были целы две арки, хотя крыша между ними обрушилась. Низкий, закругленный вверху вход в эту старинную часовню был украшен высеченными из камня зубцами наподобие зубов акулы, что нередко встречается на древних образцах орнамента саксонского зодчества. Над порталом на четырех небольших колоннах возвышалась колокольня, где висел позеленевший от времени и непогод колокол. Его слабый звон и слышал в лесу Черный Рыцарь.   
 В полумраке сгустившихся сумерек открылась взорам путника эта мирная и спокойная картина, внушая ему твердую надежду на пристанище, так как одной из непременных обязанностей отшельников, удалявшихся на житье в леса, было гостеприимство, оказываемое запоздавшим или сбившимся с дороги путникам.   
 Рыцарь не терял времени на то, чтобы рассматривать в подробностях описанную нами картину, а, соскочив с коня и поблагодарив святого Юлиана - покровителя путешественников за ниспослание ему надежного ночлега, древком копья постучал в дверь хижины.   
 Довольно долго никто не отзывался. И когда он наконец добился ответа, нельзя сказать, чтобы он был приятным.   
 - Проходи мимо, - послышался низкий, сиплый голос, - не мешай служителю господа и святого Дунстана читать вечерние молитвы.   
 - Преподобный отец, - сказал рыцарь, - я бедный странник, заблудившийся в этих лесах; воспользуйся случаем проявить милосердие и гостеприимство.   
 - Добрый брат мой, - отвечал обитатель хижины, - пресвятой деве и святому Дунстану угодно было, чтобы я сам нуждался и в милосердии и в гостеприимстве, где уже тут оказывать их. Моя пища такова, что и собака от нее отвернется, а постель такая, что любая лошадь из барской конюшни откажется от нее. Проходи своей дорогой, бог тебе поможет.   
 - Как же мне искать дорогу, - возразил рыцарь, - в такой глуши, да еще темной ночью? Прошу тебя, честной отец, если ты христианин, отопри дверь и укажи мне по крайней мере, в какую сторону ехать.   
 - А я тебя прошу, брат мой во Христе, не приставай ко мне, сделай милость! - сказал пустынник. - Ты и так заставил меня пропустить молитвы - одну pater, две aves и одну credo, которые я, окаянный грешник, должен был, согласно своему обету, прочитать до восхода луны.   
 - Дорогу! Укажи мне дорогу! - заорал рыцарь. - Хоть дорогу-то укажи, если ничего больше от тебя не дождешься!   
 - Дорогу, - отвечал отшельник, - указать нетрудно. Как выйдешь по тропинке из лесу, тут тебе будет болото, а за ним - река. Дождей на этих днях не было, так через нее, пожалуй, можно переправиться. Когда переправишься через брод, ступай по левому берегу. Только смотри не оборвись, потому что берег-то крут. Да еще я слыхал, что тропинка в некоторых местах осыпалась. Оттуда уже все прямо...   
 - Что же это - и тропинка осыпалась, и крутизна, и брод, да еще и болото! - прервал его рыцарь. - Ну, сэр отшельник, будь ты хоть рассвятой, не заставишь ты меня пуститься ночью по такой дороге. Я тебе толком говорю... Ты живешь подаянием соседей и не имеешь права отказать в ночлеге заблудившемуся путнику. Скорей отпирай дверь, не то, клянусь небом, я ее выломаю!   
 - Ах, друг мой, - сказал отшельник, - перестань надоедать мне! Если ты принудишь меня защищаться мирским оружием, тебе же будет хуже.   
 В этот момент отдаленное ворчанье и тявканье собак, которое путник слышал уже давно, превратилось в яростный лай. Рыцарь догадался, что отшельник, испуганный его угрозой ворваться насильно, кликнул на помощь собак, находившихся внутри. Взбешенный этими приготовлениями, рыцарь ударил в дверь ногой с такой силой, что стены и столбы хижины дрогнули.   
 Пустынник, как видно не желая вторично подвергать дверь такому удару, громким голосом закричал:   
 - Имей же терпение! Подожди, добрый странник, сейчас я сам отопру дверь, хотя не ручаюсь, что этим доставлю тебе удовольствие.   
 Дверь распахнулась, и перед рыцарем предстал отшельник - человек высокого роста, крепкого телосложения, в длинной власянице, подпоясанной соломенным жгутом. В одной руке он держал зажженный факел, а в другой - толстую и увесистую дубинку. Две большие мохнатые собаки, помесь борзой с дворняжкой, стояли по сторонам, готовые по первому знаку броситься на непрошеного гостя. Но когда при свете факела сверкнули высокий шлем и золотые шпоры рыцаря, стоявшего снаружи, отшельник изменил свое первоначальное намерение. Он усмирил разъяренных псов и вежливо пригласил рыцаря войти, объяснив свой отказ отпереть дверь боязнью воров и разбойников, которые не почитают ни пресвятую богородицу, ни святого Дунстана, а потому не щадят и святых отшельников, проводящих жизнь в молитвах.   
 - Однако, мой отец, - сказал рыцарь, рассматривая жалую обстановку хижины, где не было ничего, кроме кучи сухих листьев, служивших постелью, деревянного распятия, молитвенника, грубо обтесанных стола и двух скамеек, - вы так бедны, что могли бы, кажется, не бояться грабителей; к тому же ваши собаки так сильны, что, по-моему, могут свалить и оленя, а не то что человека.   
 - Это добрый лесной сторож привел мне собак, - сказал отшельник, - чтобы они охраняли мое одиночество до тех пор, пока не наступят более спокойные времена.   
 Говоря это, он воткнул факел в согнутую полосу железа, заменявшую подсвечник, поставил трехногий дубовый стол поближе к очагу, подбросил на угасавшие уголья несколько сухих поленьев, придвинул скамью к столу и движением руки пригласил рыцаря сесть напротив.   
 Они уселись и некоторое время внимательно смотрели друг на друга. Каждый из них думал, что редко ему случалось встречать более крепкого и атлетически сложенного человека, чем тот, который в эту минуту сидел перед ним.   
 - Преподобный отшельник, - сказал рыцарь, долго и пристально смотревший на хозяина, - позвольте еще раз прервать ваши благочестивые размышления. Мне бы хотелось спросить вашу святость о трех вещах: во-первых, куда мне поставить коня, во-вторых, чем мне поужинать и, в-третьих, где я могу отдохнуть?   
 - Я тебе отвечу жестом, - сказал пустынник, - потому что я придерживаюсь правила не употреблять слова, когда можно объясниться знаками. - Сказав это, он указал на два противоположных угла хижины и добавил: - Вот тебе конюшня, а вот постель, а вот и ужин, - закончил он, сняв с полки деревянную тарелку, на которой было горсти две сушеного гороха, и поставил ее на стол.   
 Рыцарь, пожав плечами, вышел из хижины, ввел свою лошадь, которую перед тем привязал к дереву, заботливо расседлал ее и покрыл собственным плащом.   
 На отшельника, видимо, произвело впечатление то, с какой заботой и ловкостью незнакомец обращался с конем. Пробормотав что-то насчет корма, оставшегося после лошади лесничего, он вытащил откуда-то охапку сена и положил ее перед рыцарским конем, потом принес сухого папоротника и бросил его в том углу, где должен был спать рыцарь. Рыцарь учтиво поблагодарил его за любезность. Сделав все это, оба снова присели к столу, на котором стояла тарелка с горохом. Отшельник произнес длинную молитву, от латинского языка которой осталось всего лишь несколько слов; по окончании молитвы он показал гостю пример, скромно положив себе в рот с белыми и крепкими зубами, похожими на кабаньи клыки, три или четыре горошины - слишком жалкий помол для такой большой и благоустроенной мельницы.   
 Желая последовать этому похвальному примеру, гость отложил в сторону шлем, снял панцирь и часть доспехов. Перед пустынником предстал статный воин с грустными курчавыми светло-русыми волосами, орлиным носом, голубыми глазами, сверкавшими умом и живостью, и красиво очерченным ртом, оттененным усами более темными, чем волосы; вся его осанка изобличала смелого и предприимчивого человека.   
 Отшельник, как бы желая ответить доверием на доверчивость гостя, тоже откинул на спину капюшон и обнажил круглую, как шар, голову человека в расцвете лет. Его бритая макушка была окружена венцом жестких черных волос, что придавало ей сходство с приходским загоном для овец, обнесенным высокой живой изгородью. Черты его лица не обличали ни монашеской суровости, ни аскетического воздержания. Напротив, у него было открытое свежее лицо с густыми черными бровями, черная курчавая борода, хорошо очерченный лоб и такие круглые пунцовые щеки, какие бывают у трубачей. Лицо и могучее сложение отшельника говорили скорее о сочных кусках мяса и окороках, нежели о горохе и бобах, и это сразу бросилось в глаза рыцарю.   
 Рыцарь с большим трудом прожевал горсть сухого гороха и попросил благочестивого хозяина дать ему запить эту еду. Тогда отшельник поставил перед ним большую кружку чистейшей родниковой воды.   
 - Это из купели святого Дунстана, - сказал он. - В один день, от восхода до заката солнца, он окрестил там пятьсот язычников - датчан и британцев. Благословенно имя его!   
 С этими словами он приник своей черной бородой к кружке и отпил маленький глоточек.   
 - Мне кажется, преподобный отче, - сказал рыцарь, - что твоя скудная пища и священная, но безвкусная влага, который ты утоляешь свою жажду, отлично идут тебе впрок. Тебе куда больше подходило бы драться на кулачках или дубинках, чем жить в пустыне, читать молитвенник да питаться сухим горохом и холодной водой.   
 - Ах, сэр рыцарь, - отвечал пустынник, - мысли у вас, как и у всех невежественных мирян, заняты плотью. Владычице нашей богородице и моему святому покровителю угодно было благословить мою скудную пищу, как издревле благословенны были стручья и вода, которыми питались отроки Содрах, Мисах и Авденаго, не пожелавшие вкушать от вин и яств, присылаемых им сарацинским царем.   
 - Святой отец, - сказал рыцарь, - поистине бог творит чудеса над тобою, а потому дозволь грешному мирянину узнать твое имя.   
 - Можешь звать меня, - отвечал отшельник, - причетником из Копменхерста, ибо так меня прозвали в здешнем краю. Правда, прибавляют еще к этому имени прозвище святой, но на этом я не настаиваю, ибо недостоин такого титула. Ну, а ты, доблестный рыцарь, не скажешь ли, как мне называть моего почтенного гостя?   
 - Видишь ли, святой причетник из Копменхерста, - сказал рыцарь, - в здешнем краю меня зовут Черным Рыцарем; многие прибавляют к этому титул Лентяй, но я тоже не гонюсь за таким прозвищем.   
 Отшельник едва мог скрыть улыбку, услыхав такой ответ.   
 - Вижу, сэр Ленивый Рыцарь, что ты человек осмотрительный и разумный, - сказал он, - и вижу, кроме того, что моя бедная монашеская пища тебе не по нутру; может, ты привык к роскоши придворной жизни, избалован городскими излишествами... Помнится мне, сэр Лентяй, что когда здешний щедрый лесной сторож привел мне этих собак и сложил у часовни корм для своей лошади, он как будто оставил здесь кое-какие съестные припасы. Так как они для меня непригодны, то я едва не позабыл о них, обремененный своими размышлениями.   
 - Готов поклясться, что он оставил, - сказал рыцарь. - С той минуты, как ты откинул свой капюшон, святой причетник, я убедился, что у тебя в келье водится пища получше гороха. Сдается мне, что твой сторож - добрый малый и весельчак. Да и всякий, кто видел, как твои крепкие зубы грызут этот горох, а горло глотает такую пресную жидкость, не мог бы оставить тебя на этом лошадином корме и захотел бы снабдить чем-нибудь посытнее. Ну-ка, доставай скорее, что там принес тебе сторож.   
 Отшельник внимательно посмотрел на рыцаря. Видно было, что он колебался, не зная, благоразумно ли откровенничать с гостем.   
 Но у рыцаря было открытое и смелое лицо, а усмехнулся он так добродушно и забавно, что поневоле внушил хозяину доверие и симпатию.   
 Обменявшись с ним молчаливыми взглядами, отшельник пошел в дальний конец хижины и открыл потайной чулан, доступ к которому скрыт был очень тщательно и даже довольно замысловато. Из глубины темного сундука, стоявшего внутри чулана, он вытащил громадный запеченный в оловянном блюде пирог. Это кушанье он поставил на стол, и гость, не теряя времени, своим кинжалом разрезал корку, чтобы познакомиться с начинкой.   
 - Как давно приходил сюда добрый сторож? - спросил рыцарь у хозяина, проглотив несколько кусков этого блюда.   
 - Месяца два назад, - отвечал отшельник, не подумав.   
 - Клянусь истинным богом, - сказал рыцарь, - в твоей хижине то и дело натыкаешься на чудеса! Я готов поклясться, что жирный олень, послуживший начинкой этому пирогу, еще на днях бегал по лесу.   
 Отшельник смутился; он сидел с довольно жалким видом, глядя, как быстро убывает пирог, на который гость набросился с особым рвением. После всего, что он наговорил о своем воздержании, ему было неловко самому последовать примеру гостя, хотя он бы тоже с удовольствием отведал пирога.   
 - Я был в Палестине, сэр причетник, - сказал рыцарь, вдруг сразу перестав есть, - и вспоминаю, что, по тамошним обычаям, каждый хозяин, угощая гостя, должен сам принимать участие в трапезе, чтобы не подумали, что в пище есть отрава. Я, конечно, не дерзаю заподозрить святого человека в предательстве, однако буду тебе премного благодарен, если ты последуешь этому восточному обычаю.   
 - Чтобы рассеять ваши неуместные опасения, сэр рыцарь, я согласен на этот раз отступить от своих правил, - отвечал отшельник, и так как в те времена еще не было в употреблении вилки, он немедленно погрузил пальцы во внутренность пирога.   
 Когда таким образом лед был сломан и церемонии отброшены в сторону, гость и хозяин начали состязаться в том, кто из них окажется лучшим едоком; но хоть гость, вероятно, постился дольше, отшельник съел гораздо больше его.   
 - Святой причетник, - сказал рыцарь, утолив голод, - я готов прозакладывать своего коня против цехина, что тот честный малый, которому мы обязаны этой отличной дичью, оставил здесь и бутыль с вином, или бочонок канарского, или что-нибудь в этом роде, чтобы запить этот чудеснейший пирог. Конечно, это такой пустяк, что он не мог удержаться в памяти строгого постника. Но я думаю, что если ты хорошенько поищешь в той норе, то убедишься, что я не ошибаюсь.   
 Вместо ответа отшельник только ухмыльнулся и вытащил из своего сундука кожаную бутыль вместимостью в полведра. Потом он принес два больших кубка из буйволового рога в серебряной оправе; полагая, что теперь уже можно не стесняться, он налил их до краев и, сказав по обычаю саксов: "Твое здоровье, сэр Ленивый Рыцарь", - разом осушил свой кубок.   
 - Твое здоровье, святой причетник из Копменхерста, - ответил рыцарь и также осушил свой кубок.   
 - А знаешь ли, святой причетник, - сказал затем пришелец, - я никак не могу понять, почему это такой здоровенный молодец и мастер покушать, как ты, задумал жить один в этой глуши. По-моему, тебе куда больше подошло бы жить в замке, есть жирно, пить крепко, а не питаться стручками да запивать их водой или хотя бы подачками какого-то сторожа... Будь я на твоем месте, я бы нашел себе и забаву и пропитание, охотясь за королевской дичью. Мало ли добрых стад в этих лесах, и никто не подумает хватиться того оленя, который пойдет на пользу служителю святого Дунстана.   
 - Сэр Ленивый Рыцарь, - отвечал причетник, - это опасные слова, прошу, не произноси их. Я поистине отшельник перед королем и законом. Если бы я вздумал пользоваться дичью моего владыки, не миновать бы мне тюрьмы, а может, если не спасет моя ряса, - и виселицы.   
 - А все-таки, - сказал рыцарь, - будь я на твоем месте, я бы выходил в лунные ночи, когда лесники и сторожа завалятся спать, и, бормоча молитвы, нет-нет да и пускал бы стрелу в стадо бурых оленей, что пасутся на зеленых лужайках... Разреши мои сомнения, святой причетник: неужели ты никогда не занимаешься такими делами?   
 - Друг Лентяй, - отвечал отшельник, - ты знаешь о моем хозяйстве все, что тебе нужно, и даже больше того, что заслуживает непрошеный гость, врывающийся силою. Поверь мне, пользуйся добром, которое посылает тебе Бог, и не допытывайся, откуда что берется. Наливай свою чашу на здоровье, но, пожалуйста, не задавай мне больше дерзких вопросов. Не то я тебе докажу, что, кабы не моя добрая воля, ты бы не нашел здесь пристанища.   
 - Клянусь честью, это еще больше разжигает мое любопытство! - сказал рыцарь. - Ты самый таинственный отшельник, какого мне доводилось встречать. Прежде чем мы расстанемся, я хочу хорошенько с тобой познакомиться. А что до твоих угроз, знай, святой человек, что мое ремесло в том и состоит, чтобы выискивать опасности всюду, где они водятся.   
 - Сэр Ленивый Рыцарь, пью за твое здоровье, - сказал пустынник. - Я высоко ценю твою доблесть, но довольно низкого мнения о твоей скромности. Если хочешь сразиться со мной равным оружием, я тебя поприятельски и по братской любви так отделаю, что на целых двенадцать месяцев отучу от греха излишнего любопытства.   
 Рыцарь выпил с ним и попросил назначить род оружия.   
 - Да нет такого оружия, начиная от ножниц Далилы и копеечного гвоздя Иаили до меча Голиафа, - отвечал отшельник, - с которым я не был бы тебе под пару... Но раз уж ты предоставляешь мне выбор оружия, что ты скажешь, друг мой, о таких безделках?   
 С этими словами он отпер другой чулан и вынул оттуда два палаша и два щита, какие обычно носили иомены. Рыцарь, следивший за его движениями, заметил в этом втором потайном чулане два или три отличных лука, арбалет, связку прицелов для него и шесть колчанов со стрелами. Между прочими предметами, далеко не приличествующими для особ духовного звания, в глубине темного чулана бросилась ему в глаза арфа.   
 - Ну, брат причетник, обещаю тебе, что не стану больше приставать с обидными расспросами, - сказал рыцарь. - То, что я вижу в этом шкафу, разрешает все мои недоумения. Кроме того, я заметил там одну вещицу, - тут он наклонился и сам вытащил арфу, - на которой буду состязаться с тобой гораздо охотнее, чем на мечах.   
 - Думается мне, сэр рыцарь, - сказал отшельник, - что тебя понапрасну прозвали Лентяем. Признаюсь, ты кажешься мне очень подозрительным молодцом. Тем не менее ты у меня в гостях, и я не стану испытывать твое мужество иначе, как по твоему собственному желанию. Садись, наполни свой кубок, будем пить, петь и веселиться. Коли знаешь хорошую песню, всегда будешь приятным гостем в Копменхерсте, пока я состою настоятелем при часовне святого Дунстана, а это, Бог даст, продлится до тех пор, пока вместо серой рясы не покроют меня зеленым дерном. Ну, что же ты не пьешь? Наливай чашу полнее, потому что эту арфу теперь не скоро настроишь. А ничто так не прочищает голос и не обостряет слух, как чаша доброго вина. Что до меня, я люблю, чтобы винцо пробрало меня до кончиков пальцев; вот тогда я могу ловко перебирать струны.

**Глава XVII**

Я вечером в углу своем   
 Читаю книгу перед сном,   
 Немало в книгах есть моих   
 Рассказов о делах святых;   
 И, затушив свечу свою,   
 Церковный мерный гимн пою.   
 Кто не уйдет от всех забав,   
 Отшельнический посох взяв,   
 И кто не предпочтет покой   
 Безумной суете мирской?   
 Уортон   
  
 Гость исполнил в точности совет гостеприимного отшельника, однако довольно долго возился с арфой, прежде чем ее настроил.   
 - Мне кажется, святой отец, - сказал он, - что тут не хватает одной струны, да и остальные в плохом виде.   
 - Ага, так ты заметил это? - сказал отшельник. - Значит, ты мастер своего дела. Вино и яблочная настойка, - прибавил он, с важностью подняв глаза к небу. - Вся беда от вина и яблочной настойки. Я уж говорил Аллену из Лощины, северному менестрелю, что после седьмой кружки лучше не трогать арфы. Но уж больно он упрям, с ним не сговоришься... Друг, пью за успех твоего исполнения.   
 Сказав это, он с важным видом опорожнил свой кубок, все время покачивая головой при воспоминании о пьяном шотландском певце.   
 Тем временем рыцарь кое-как привел струны в порядок и после краткой прелюдии спросил хозяина, что ему больше нравится: спеть ли сервенту на языке ок или ле на языке уа, или виреле, или балладу на простонародном английском языке?   
 - Балладу, балладу, - сказал отшельник. - Это будет лучше всякой французской дребедени. Я чистейший англичанин, сэр рыцарь, такой же англичанин, каким был мой заступник святой Дунстан, а он, наверно, так же чурался этих ок и уа, как чертова копыта. У меня в келье допускаются только английские песни.   
 - Ну хорошо, - согласился рыцарь, - я попробую припомнить балладу, сочиненную одним саксом, которого я знавал в Святой Земле.   
 Оказалось, что если рыцарь и не был вполне искусным менестрелем, то по крайней мере его вкус развился под влиянием наставников. Голос его, который от природы был грубоват и обладал небольшим диапазоном, был хорошо обработан. Поэтому он пел очень недурно и мог бы удовлетворить и более взыскательного критика, чем наш отшельник; рыцарь пел выразительно, то протяжными, то задорными звуками, оттенял слова и придавал силу и значение стихам.   
 ВОЗВРАЩЕНИЕ КРЕСТОНОСЦА   
 Из Палестины прибыл он,   
 Военной славой осенен,   
 Он через вихри битв и гроз   
 Крест на плечах своих пронес.   
 В боях рубцами был покрыт   
 Его победоносный щит.   
 Когда темнеет небосвод,   
 Любимой песню он поет:   
 "Возлюбленная! Рыцарь твой   
 Вернулся из страны чужой;   
 Добыча не досталась мне:   
 Богатство все мое - в коне,   
 В моем копье, в мече моем,   
 Которым я сражусь с врагом.   
 Пусть воина вознаградят   
 Твоя улыбка и твой взгляд.   
 Возлюбленная! Я тобой   
 Подвигнут был на славный бой.   
 Ты будешь при дворе одна   
 Вниманием окружена;   
 Глашатай скажет и певец:   
 "Она владычица сердце,   
 В турнирах билось за нее   
 Непобедимое копье.   
 И ею меч был вдохновлен,   
 Сразивший мужа стольких жен:   
 Пришел султану смертный час -   
 Его и Магомет не спас.   
 Сияет золотая прядь.   
 Числа волос не сосчитать, -   
 Так нет язычникам числа,   
 Которых гибель унесла".   
 Возлюбленная! Честь побед   
 Тебе дарю; мне - славы нет.   
 Скорее дверь свою открой!   
 Оделся сад ночной росой;   
 Зной Сирии мне был знаком,   
 Мне холодно под ветерком.   
 Покои отвори свои -   
 Принес я славу в дар любви".   
 Пока продолжалось пение, отшельник вел себя, словно присяжный критик нашего времени, присутствующий на первом представлении новой оперы. Он откинулся на спинку сиденья, зажмурился и то слегка вертел пальцами, то разводил руками или тихо помахивал ими в такт музыке. При некоторых переходах мелодии, когда его искушенному вкусу казалось, что голос рыцаря недостаточно высок для исполнения, он сам приходил ему на помощь и подтягивал. Когда баллада была пропета до конца, пустынник решительно заявил, что песня хороша и спета отлично.   
 - Только вот что я тебе скажу, - сказал он. - По моему мнению, мои земляки саксы слишком долго водились с норманнами и стали на их манер сочинять печальные песенки. Ну к чему добрый рыцарь уезжал из дому? Неужто он думал, что возлюбленная в его отсутствие не выйдет замуж за его соперника? Само собой разумеется, что она не обратила ни малейшего внимания на его серенаду, или как бишь это у вас называется, потому что его голос для нее - все равно что завыванье кота в канаве... А впрочем, сэр рыцарь, пью за твое здоровье и за успех всех верных любовников. Боюсь, что ты не таков, - прибавил он, видя, что рыцарь, почувствовавший шум в голове от беспрестанных возлияний, наполнил свою чашу не вином, а водой из кувшина.   
 - Как же, - сказал рыцарь, - не ты ли мне говорил, что это - вода из благословенного источника твоего покровителя, святого Дунстана?   
 - Так-то так, - отвечал отшельник, - он крестил в нем язычников целыми сотнями. Только я никогда не слыхивал, чтобы он сам пил эту воду. Всему свое место и свое назначение в этом мире. Святой Дунстан, верно, не хуже нашего знал привилегии веселого монаха.   
 С этими словами он взял арфу и позабавил гостя следующей примечательной песенкой, приспособив к ней известный хоровой мотив старинных английских песен дерри-даун. Эти песни, как предполагают, относились к далекой старине, более далекой, чем эпоха семи государств англов и саксов; их пели во времена друидов, прославляя жрецов, когда те уходили в лес за омелой.   
 БОСОНОГИЙ МОНАХ   
 Ты можешь объехать за несколько лет   
 Испанию и Византию - весь свет;   
 Кого б ты ни встретил в заморских краях,   
 Счастливее всех босоногий монах.   
 В честь дамы отправился рыцарь в поход,   
 А вечером раненный насмерть придет.   
 Его причащу: если ж дама в слезах,   
 Утешит ее босоногий монах.   
 Цари своих мантий величье не раз   
 Меняли на скромность монашеских ряс,   
 Но вдруг захотеть оказаться в царях   
 Не мог ни один босоногий монах.   
 Привольное лишь у монаха житье:   
 Чужое добро он сочтет за свое,   
 Монаха во всех принимают домах,   
 Везде отдохнет босоногий монах,   
 Ведь лакомства, что для него берегут,   
 Бывают обычно вкуснее всех блюд;   
 Всегда он обедает славно в гостях -   
 Почетнейший гость, босоногий монах.   
 За ужином пьет он отменнейший эль,   
 И мягкую стелют монаху постель:   
 Хозяина выгонят вон впопыхах,   
 Чтоб сладко поспал босоногий монах.   
 Да здравствует бедность одежды моей,   
 Власть римского папы и вера в чертей!   
 Рвать розы, не думать совсем о шипах   
 Могу только я, босоногий монах.   
 - Поистине, - сказал рыцарь, - спел ты хорошо и весело и прославил свое звание как следует. А кстати о черте, святой причетник: неужели ты не боишься, что он когда-нибудь пожалует к тебе как раз во время таких мирских развлечений?   
 - Мирских? Это я-то мирянин? - возмутился отшельник. - Да я служу в своей часовне верой и правдой две обедни каждый божий день, утреню и вечерню, часы, кануны, повечерия.   
 - Только не лунными ночами, когда можно поохотиться за дичью, - заметил гость.   
 - Exceptis excipiendis, [16] - отвечал отшельник, - как наш старый аббат научил меня отвечать, в случае если дерзновенный мирянин вздумает расспрашивать, все ли канонические правила я исполняю в точности.   
 - Это так, святой отец, - сказал рыцарь, - но черт подстерегает нас именно за исключительными занятиями. Ты сам знаешь, что он всюду бродит, аки лев рыкающий.   
 - Пусть зарычит, коли посмеет, - сказал монах. - От моей веревки он завизжит, как визжал от кочерги святого Дунстана. Я сроду не боялся ни одного человека - не боюсь и черта с его приспешниками. Молитвами святого Дунстана, святого Дубрика, святых Винибальда и Винифреда, святых Суиберта и Уиллика, а также святого Фомы Кентского, не считая моих собственных малых заслуг перед Богом, я ни во что не ставлю чертей, как хвостатых, так и бесхвостых. Но по секрету скажу вам, друг мой, что никогда не упоминаю о таких предметах до утренней молитвы.   
 Он перевел разговор на другое, и попойка продолжалась на славу. Уже много песен было спето обоими, как вдруг их веселую пирушку нарушил сильнейший стук в дверь лачуги.   
 Чем была вызвана эта помеха, мы сможем объяснить только тогда, когда возвратимся к другим действующим лицам нашего рассказа, ибо, по примеру старика Ариосто, мы не любим иметь дело только с одним каким-нибудь героем, охотно меняя и персонажей и обстановку нашей драмы.

**Глава XVIII**

Вперед! Пойдем мы долом и лощиной,   
 Где молодой олень бежит за ланью,   
 Где дуб широкий крепкими ветвями   
 Свет не пускает в просеку лесную.   
 Вперед! Ведь хорошо идти по тропам,   
 Пока на троне радостное солнце;   
 Пусть станет мрачным и небезопасным   
 В обманчивом мерцании Дианы.   
 "Эттрикский лес"   
  
 Когда Седрик Сакс увидел, как сын его упал без чувств на ристалище в Ашби, первым его побуждением было послать своих людей позаботиться о нем, но эти слова застряли у него в горле. В присутствии такого общества он не мог заставить себя признать сына, которого изгнал из дома и лишил наследства. Однако он приказал Освальду не выпускать его из виду и с помощью двух крепостных слуг перенести в Ашби, как только толпа разойдется. Но Освальд опоздал с исполнением этого распоряжения: толпа разошлась, а рыцаря уже нигде не было видно.   
 Напрасно кравчий Седрика озирался по сторонам, отыскивая, куда девался его молодой хозяин; он видел кровавое пятно на том месте, где лежал юный рыцарь, но самого рыцаря не видел: словно волшебницы унесли его куда-то. Может быть, Освальд именно так и объяснил бы себе исчезновение Айвенго (потому что саксы были крайне суеверны), если бы случайно не бросилась ему в глаза фигура человека, одетого оруженосцем, в котором он признал своего товарища Гурта. В отчаянии от внезапного исчезновения своего хозяина, бывший свинопас разыскивал его повсюду, позабыв всякую осторожность и подвергая себя нешуточной опасности. Освальд счел своим долгом задержать Гурта, как беглого раба, чью судьбу должен был решить сам хозяин.   
 Кравчий продолжал расспрашивать всех встречных, не знает ли кто, куда делся Айвенго. В конце концов ему удалось узнать, что несколько хорошо одетых слуг бережно положили раненого рыцаря на носилки, принадлежавшие одной из присутствовавших на турнире дам, и сразу же унесли за ограду. Получив эти сведения, Освальд решил воротиться к своему хозяину за дальнейшими приказаниями и увел с собой Гурта, считая его беглецом.   
 Седрик Сакс был во власти мучительных и мрачных предчувствий, вызванных раной сына. Его патриотический стоицизм сакса боролся с отцовскими чувствами. Но природа все-таки взяла свое. Однако стоило ему узнать, что Айвенго, по-видимому, находится на попечении друзей, как чувства оскорбленной гордости и негодования, вызванные тем, что он называл "сыновней непочтительностью Уилфреда", снова взяли верх над родительской привязанностью.   
 - Пускай идет своей дорогой, - сказал он. - Пусть те и лечат его раны, ради кого он их получил. Ему больше подходит проделывать фокусы, выдуманные норманскими рыцарями, чем поддерживать честь и славу своих английских предков мечом и секирой - добрым старым оружием нашей родины.   
 - Если для поддержания чести и славы своих предков, - сказала Ровена, присутствовавшая здесь же, - достаточно быть мудрым в делах совета и храбрым в бою, если достаточно быть отважнейшим из отважных и благороднейшим из благородных, то кто же, кроме его отца, станет отрицать...   
 - Молчите, леди Ровена! Я не хочу вас слушать! Приготовьтесь к вечернему собранию у принца. На сей раз нас приглашают с таким небывалым по- четом и любезностью, о каких саксы и не слыхивали с рокового дня битвы при Гастингсе. Я отправлюсь туда немедленно, хотя бы для того, чтобы показать гордым норманнам, как мало меня волнует участь сына, даром что он победил сегодня их храбрейших воинов.   
 - А я, - сказала леди Ровена, - туда не поеду, и, прошу вас, остерегайтесь, потому что те качества, которые вы считаете твердостью и мужеством, можно принять за жестокосердие.   
 - Так оставайся же дома, неблагодарная! - отвечал Седрик. - Это у тебя жестокое сердце, если ты жертвуешь благом несчастного, притесняемого народа в угоду своему пустому и безответному чувству! Я найду благородного Ательстана и с ним отправлюсь на пир к принцу Джону Анжуйскому.   
 И он поехал на этот пир, главные события которого мы описали выше. После возвращения из замка саксонские таны в сопровождении всей своей свиты сели на лошадей. Тут-то в суматохе отъезда беглый Гурт в первый раз и попался на глаза Седрику. Мы уже знаем, что благородный сакс возвратился с пиршества отнюдь не в мягком настроении, и ему нужен был повод, чтобы выместить на ком-нибудь свой гнев.   
 - В кандалы его! В кандалы! - закричал он. - Освальд! Гундиберт! Подлые псы! Почему этого плута до сих пор не заковали?   
 Не смея противоречить, товарищи Гурта связали его ременным поводом, то есть первым, что попалось под руку. Гурт подчинился этому без сопротивления, но укоризненно взглянул на хозяина и только сказал:   
 - Вот что значит любить вашу плоть и кровь больше своей собственной!   
 - На коней - и вперед! - крикнул Седрик.   
 - И давно пора, - сказал высокородный Ательстан. - Боюсь, что, если мы не поторопимся, у достопочтенного аббата Вальтоффа испортятся все кушанья, приготовленные к ужину.   
 Однако путешественники ехали так быстро, что достигли монастыря святого Витольда прежде, чем произошла та неприятность, которой опасался Ательстан. Настоятель, родом из старинной саксонской фамилии, принял знатных саксонских гостей с таким широким гостеприимством, что они просидели за ужином до поздней ночи - или вернее, до раннего утра. На другой день они только после роскошного завтрака смогли покинуть кров своего гостеприимного хозяина.   
 В ту минуту, как кавалькада выезжала с монастырского двора, произошел случай, несколько встревоживший саксов. Из всех народов, населявших в то время Европу, ни один с таким вниманием не следил за приметами, как саксы; большая часть всяких поверий, до сих пор живущих в нашем народе, берет начало от их суеверий. Норманны в то время были гораздо лучше образованны, притом они были смесью весьма различных племен, с течением времени успевших освободиться от многих предрассудков, вынесенных их предками из Скандинавии; они даже чванились тем, что не верят в приметы.   
 В данном случае предсказание об угрожающей беде исходило от такого малопочтенного пророка, каким являлась огромная тощая черная собака, сидевшая на дворе. Она подняла жалобный вой в ту минуту, когда передовые всадники выехали из ворот, потом вдруг громко залаяла и, бросаясь из стороны в сторону, очевидно намеревалась присоединиться к отъезжающим.   
 - Не люблю я этой музыки, отец Седрик, - сказал Ательстан, называвший его таким титулом в знак почтения.   
 - И я тоже не люблю, дядюшка, - сказал Вамба. - Боюсь, как бы нам не пришлось заплатить волынщику.   
 - По-моему, - сказал Ательстан, в памяти которого эль настоятеля оставил благоприятное впечатление (ибо городок Бертон уже и тогда славился приготовлением этого живительного напитка), - по-моему, лучше бы воротиться и погостить у аббата до обеда. Не следует трогаться в путь, если дорогу перешел монах, или перебежал заяц, или если завыла собака. Лучше переждать до тех пор, пока не минует следующая трапеза.   
 - Пустяки! - сказал Седрик нетерпеливо. - Мы и так потеряли слишком много времени. А собаку эту я знаю. Это пес моего беглого раба Гурта - такой же бесполезный дармоед, как и его хозяин.  
 С этими словами Седрик приподнялся на стременах и пустил дротик в бедного Фангса - так как это действительно был Фанге, повсюду сопровождавший своего хозяина и на свой лад выражавший теперь свой восторг по поводу того, что вновь обрел его. Дротик задел плечо собаки и едва не пригвоздил ее к земле. Бедный пес взвыл еще пуще прежнего и опрометью кинулся прочь с дороги разгневанного тана.   
 У Гурта сердце облилось кровью при этом зрелище: Седрик хотел убить его верного друга и помощника, и это задело его гораздо больше, чем то жестокое наказание, которое он сам только что вынес. Он тщетно старался вытереть себе глаза и наконец сказал Вамбе, который, видя своего господина не в духе, счел более безопасным держаться подальше от него:   
 - Сделай милость, пожалуйста, вытри мне глаза полой твоего плаща: их совсем разъела пыль, а ремни не дают поднять руки.   
 Вамба оказал требуемую услугу, и некоторое время они ехали рядом. Гурт все время угрюмо молчал. Наконец он не выдержал и отвел свою душу такой речью.   
 - Друг Вамба, - сказал он, - из всех дураков, находящихся в услужении у Седрика, ты один только так ловок, что можешь угождать ему своей глупостью. А потому ступай и скажи ему, что Гурт ни из любви, ни из страха не станет больше служить ему. Он может снять с меня голову, может отстегать меня плетьми, может заковать в цепи, но я ему больше не слуга. Поди скажи ему, что Гурт, сын Беовульфа, отказывается ему служить.   
 - Хоть я и дурак, - отвечал Вамба, - но таких дурацких речей и не подумаю передавать ему. У Седрика за поясом еще довольно осталось дротиков, и ты знаешь, что иной раз он очень метко попадает в цель.   
 - А мне все равно, - сказал Гурт, - пускай хоть сейчас убьет меня. Вчера он оставил валяться в крови на арене Уилфреда, моего молодого хозяина, сегодня хотел убить у меня на глазах единственную живую тварь, которая ко мне привязана. Призываю в свидетели святого Эдмунда, святого Дунстана, святого Витольда, святого Эдуарда Исповедника и всех святых саксонского календаря (надо заметить, что Седрик никогда не произносил имен тех святых, которые были не саксонского происхождения, и все его домочадцы также урезывали свои святцы), - я никогда ему этого не прощу!   
 - А по-моему, - возразил Вамба, нередко выступавший в роли миротворца, - Седрик вовсе не собирался вбивать Фангса, а хотел только попугать его. Ты заметил, что он привстал на стременах, чтобы пустить дротик через голову собаки, но, на беду, Фанге в эту самую минуту подпрыгнул. Вот он и получил эту царапину, которую я берусь залечить комочком дегтя.   
 - Если бы так, - сказал Гурт, - если бы я мог так подумать!.. Да нет! Я видел, как метко он целился, и слышал, как дротик зажужжал в воздухе, а потом, воткнувшись в землю, все еще дрожал, как будто с досады, что не попал в цель. Так бросить можно только со злым смыслом. Нет, клянусь любимой свиньей святого Антония, не стану я ему служить!   
 И возмущенный свинопас снова погрузился в мрачное молчание, из которого шут не мог его вывести.   
 Между тем Седрик и Ательстан, ехавшие впереди, беседовали о состоянии страны, о несогласиях в королевской фамилии, о распрях и вражде среди норманских дворян; они обсуждали, возможно ли во время приближавшейся междоусобной войны избавиться от норманского ига или по крайней мере добиться большей национальной независимости. Говоря о подобных предметах, Седрик всегда воодушевлялся. Восстановление независимости саксов было кумиров его души, и этому кумиру он добровольно принес в жертву свое семейное счастье и судьбу своего сына. Но для того чтобы осуществить этот великий переворот в пользу коренных англичан, необходимо было объединиться и действовать под водительством вождя, и этот вождь должен был происходить из древнего королевского рода. Это требование выдвигали те, кому Седрик поверял свои тайные замыслы и надежды. Ательстан удовлетворял этому условию. Правда, он не отличался большим умом и не блистал никакими талантами, однако у него была довольно представительная фигура, он был не трус, искусен во всяких военных упражнениях и, казалось, охотно прислушивался к советам людей поумнее себя. Сверх того, было известно, что он человек щедрый, гостеприимный и добрый. Но каковы бы ни были достоинства Ательстана, многие из саксов склонны были признавать первенство за леди Ровеной. Она происходила от короля Альфреда, а ее отец настолько прославился своей мудростью, отвагой и благородным нравом, что память его высоко чтили все его соотечественники.   
 Если бы Седрик захотел, ему бы ничего не стоило стать во главе третьей партии, не менее сильной, чем две другие. За Ательстана и леди Ровену говорило их королевское происхождение, но он мог противопоставить им свою храбрость, деятельный нрав, энергию и, главное, ту страстную преданность делу, которая заставила земляков прозвать его Саксом. А по рождению он сам был так знатен, что в этом смысле никому не уступал, за исключением Ательстана и своей питомицы. Но даже тень тщеславного себялюбия была чужда Седрику, и, вместо того чтобы еще более разъединить свой и без того слабый народ созданием собственной партии, Седрик стремился устранить уже существовавший раскол; важной частью его плана было выдать леди Ровену замуж за Ательстана и таким образом слить воедино обе партии. Препятствием к его осуществлению послужила взаимная привязанность леди Ровены и его сына. Это и было главной причиной изгнания Уилфреда из родительского дома.   
 Седрик прибегнул к этой суровой мере в надежде, что в отсутствие Уилфреда Ровена изменит свои чувства. Но он ошибся: Ровена оказалась непреклонной, что объяснялось отчасти характером ее воспитания. В глазах Седрика Альфред был чем-то вроде божества. Поэтому он относился к последней представительнице его рода с исключительным почтением, какое вряд ли внушали кому бы то ни было принцессы царствующих династий того времени. В его доме каждое желание Ровены считалось законом, и сам Седрик, словно решив, что ее права должны быть полностью признаны хотя бы в пределах этого маленького круга, гордился тем, что подчинялся ей, как первый из ее подданных.   
 Она с детства приучилась не только действовать по своей собственной воле, но и повелевать другими; а потому нет ничего удивительного, что в таком вопросе, в котором другие девушки, даже воспитанные в полном подчинении и покорности, склонны проявлять некоторую самостоятельность и способны оспаривать власть своих опекунов и родителей, Ровена высказала возмущение и негодование. Она решительно противилась всякому внешнему давлению и наотрез отказалась давать кому-либо право направлять ее привязанности или располагать ее наукой наперекор ее воле. Свои суждения и чувства она высказывала смело, и Седрик, будучи не в силах противостоять привычному почтительному подчинению ее воле, встал в тупик и не знал теперь, каким способом заставить ее слушаться своего опекуна.   
 Тщетно пытался он пленять ее воображение картиной будущей королевской власти. Ровена, одаренная большим здравым смыслом, считала планы Седрика совершенно неосуществимыми, а для себя лично нежелательными. Равена и не думала скрывать предпочтение, которое высказывала Уилфреду Айвенго. Более того - она неоднократно заявляла, что скорее пойдет в монастырь, чем согласится разделить трон с Ательстаном. Она всегда питала презрение к Конингсбургскому тану, а теперь, после стольких неприятностей, перенесенных из-за него, чувствовала к нему нечто вроде отвращения.   
 Тем не менее Седрик, не очень-то веривший в женское постоянство, всемерно хлопотал о том, чтобы устроить этот брак, полагая, что этим оказывает важную услугу делу борьбы за независимость саксов. Внезапное и ро- мантичное появление сына на турнире в Ашби он справедливо рассматривал как смертельный удар по его надеждам. Правда, родительская любовь на минуту взяла верх над гордостью и преданностью делу саксов. Однако вслед за тем оба эти чувства снова возникли в его душе, и он решил приложить необходимые усилия к соединению Ательстана с Ровеной, считая, что этот брак вместе с другими мерами будет способствовать скорейшему восстановлению независимости саксов.   
 Теперь он беседовал с Ательстаном о саксонских делах. Надо признаться, что в течение этой беседы Седрику, подобно Хотсперу, не раз пришлось пожалеть что ему приходится побуждать такую "крынку снятого молока" на столь великие дела. Правда, Ательстан был не чужд тщеславия, ему было приятно выслушивать речи о своем высоком происхождении и о том, что он по праву рождения должен пользоваться почетом и властью. Но его мелкое тщеславие вполне удовлетворялось тем почетом, который оказывали ему домочадцы и все окружавшие его саксы. Ательстан встречал опасность без боязни, но был слишком ленив, чтобы добровольно искать ее. Он был вполне согласен с Седриком в том, что саксам следовало бы отвоевать себе независимость; еще охотнее соглашался он царствовать над ними, когда эта независимость будет достигнута. Но лишь только начинали обсуждать планы, как возвести его на королевский престол - тут он оказывался все тем же Ательстаном Неповоротливым, туповатым, нерешительным и непредприимчивым. Страстные и пылкие речи Седрика так же мало действовали на его вялый нрав, как раскаленное ядро - на холодную воду: несколько мгновений оно шипит и дымится, а затем остывает.   
 Видя, что убеждать Ательстана почти все равно, что пришпоривать усталую клячу или ковать холодное железно, Седрик подъехал ближе к своей питомице, но разговор с ней оказался для него едва ли более приятным. Так как его появление прервало беседу леди Ровены с ее любимой прислужницей о доблестном Уилфреде и его судьбе, Эльджита в отместку за себя и свою повелительницу тотчас припомнила, как Ательстан был выбит из седла на ристалище, а всякое упоминание об этом плачевном событии было чрезвычайно неприятно Седрику. Таким образом, для честного сакса это путешествие было исполнено всевозможных неприятностей и огорчений. Не раз он принимался мысленно проклинать турнир и того, кто его выдумал, да и себя самого - за то, что имел неосторожность туда поехать.   
 В полдень, по желанию Ательстана, остановились в роще возле родника, чтобы дать отдых лошадям, а самим немного подкрепиться: хлебосольный аббат щедро снабдил их провиантом на дорогу, который навьючили на осла. Трапеза затянулась надолго, а так как и других помех в пути было много, они потеряли надежду засветло добраться до Ротервуда. Это обстоятельство заставило их поторопиться и ехать гораздо быстрее, чем раньше.

**Глава XIX**

Те воины, что в свите состоят   
 Какой-то знатной дамы (как узнал   
 Я из подслушанного разговора),   
 Находятся уже вблизи от замка   
 И в нем намерены заночевать.   
 "Орра", трагедия   
  
 Путешественники должны были теперь углубиться в глухие места дремучих лесов, которые в то время считались крайне опасными из-за множества разбойников или беглецов; доведенные до отчаяния притеснениями и нищетой, крестьяне скрывались в лесах, объединяясь в такие большие ватаги, что местная стража ничего не могла с ними поделать. Впрочем, несмотря на позднее время, Седрик и Ательстан, имея при себе десять человек хорошо вооруженных слуг, не считая Вамбы и Гурта, так как один был шут, а другой - связанный арестант, не опасались нападения этих разбойников. Нужно добавить, что, пускаясь в путь по лесам в столь позднее время, Седрик и Альтестан полагались не только на свою храбрость, но также на свое происхождение и добрую репутацию.   
 Разбойники были большей частью крестьяне и иомены саксонского происхождения, вынужденные вести такую отчаянную бродячую жизнь из-за жесто- ких лесных и охотничьих законов; обычно они не трогали своих соплеменников.   
 Продолжая углубляться в лес, путешественники встревожились, услышав крики, взывавшие о помощи. Подъехав к тому месту, откуда раздавались голоса, они с удивлением увидели лежащие на земле конные носилки; рядом с ними на траве сидела молодая женщина в богатой еврейской одежде, а немного подальше метался старик, который, судя по его желтой шапке, тоже был евреем, он бегал взад и вперед и, ломая себе руки, стенал и жестами выражал такое отчаяние, точно с ним случилось величайшее несчастье.   
 Сначала на все расспросы Ательстана и Седрика старый еврей взывал ко всем патриархам Ветхого завета, умоляя поразить сынов Измаила, которые сейчас придут и изрубят их острыми мечами. Наконец Исаак из Йорка (ибо это был наш старый приятель) кое-как объяснил, что в Ашби он нанял шесть человек вооруженной стражи на мулах и конные носилки для перевозки больного друга; нанятые люди взялись проводить его до Донкастера. До сих пор они ехали вполне благополучно, но встречный дровосек сказал им, что тут, в лесу, засела большая шайка разбойников. Наемные слуги выпрягли лошадей из носилок и бежали, покинув Исаака с дочерью, и они не могли ни защищаться, ни продолжать свой путь, каждую минуту ожидая нападения разбойников, которые могли их ограбить и даже убить.   
 - Если бы угодно было вашей вельможной милости, - говорил Исаак тоном глубочайшего смирения, - дозволить нам продолжать путь под вашей охраной, клянусь скрижалями нашего закона, с тех пор как Израиль был в плену, ни один еврей не платил за услугу так щедро, как мы вам отплатим за такую милость.   
 - Ах ты, собака! - сказал Ательстан, который особенно хорошо помнил всякие мелкие обиды. - Я еще не забыл, как ты дерзко держал себя в галерее на ристалище! Хочешь - защищайся, хочешь - беги либо откупись от разбойников, но не ожидай от нас помощи. Если бы разбойники грабили только вас, всесветных грабителей, я бы считал, что они честнейшие люди!   
 Но Седрик не согласился с таким суровым решением Ательстана.   
 - Мы лучше вот что сделаем, - сказал он. - Дадим им лошадей и двоих людей из нашей свиты, пускай проводят их до ближнего селения. Мы от этого немного потеряем, а с помощью вашего доброго меча, благородный Ательстан, и остальной прислуги нам нетрудно будет справиться хотя бы и с двумя десятками бродяг.   
 Ровена, несмотря на страх, вызванный упоминанием о разбойниках, горячо поддержала предложение своего опекуна. И тут Ревекка, безучастная до сих пор, пробралась сквозь толпу слуг к лошади Ровены, преклонила колена и, по восточному обычаю, поцеловала край одежды саксонской леди. Потом она поднялась и, откинув с лица покрывало, стала умолять ее во имя великого Бога, которому они обе поклоняются, во имя откровения на горе Синай, в которое они обе веруют, сжалиться над ними и позволить им ехать под охраной их отряда.   
 - Я не для себя молю вас о такой милости, - говорила Ревекка, - и даже не ради этого несчастного старика. Я знаю, что обижать и обирать наш народ считается у христиан малым грехом, чуть ли не заслугой, и не все ли равно, где это делается - в городах ли, в пустыне или в чистом поле. Но я обращаюсь к вам ради того, кем и вы дорожите, и умоляю вас, ради этого больного человека, позвольте нам продолжать путь под вашим покровительством. Если с ним приключится беда, то и последние минуты вашей жизни будут отравлены мыслью, что вы не исполнили того, о чем я прошу вас.   
 Торжественный тон этих слов произвел сильное впечатление на саксонскую красавицу.   
 - Этот старик так слаб и беспомощен, - сказала Ровена своему опекуну, - а девушка так молода и привлекательна. Притом с ними опасно больной. Хоть они и евреи, но мы, как христиане, не должны бросать их в такую минуту. Прикажите снять вьюки с двух мулов. Мулов можно впрячь в носилки, а старику и его дочери предоставить пару запасных верховых лошадей.   
 Седрик охотно согласился на это предложение, а Ательстан потребовал, чтобы евреи ехали позади всех: гам их будет сопровождать Вамба со своим щитом из свинины.   
 - Я свой щит оставил на ристалище, - отвечал шут. - Таков же был удел и многих других рыцарей почище меня.   
 Ательстан густо покраснел, ибо его самого постигла такая участь на второй день - турнира. Между тем леди Ровена, желая загладить грубую шутку своего неуклюжего поклонника, попросила Ревекку ехать рядом с ней.   
 - Мне бы не следовало этого делать, - сказала Ребекка с гордым смирением. - Мое общество может оказаться унизительным для моей покровительницы.   
 Перемещение вьюков совершилось очень быстро. Однако слова "разбойники" было достаточно, чтобы заставить слуг спешить, тем более что приближались сумерки. Во время суматохи Гурта сняли с лошади, и он воспользовался этой минутой, чтобы попросить шута ослабить веревки, которыми были связаны его руки. Вамба исполнил его просьбу и, быть может, намеренно так небрежно завязал новые узлы, что Гурт без особого труда высвободил руки и юркнул в кусты. Никто не обратил внимания на его бегство.   
 Новые распоряжения доставили столько хлопот и возни, что Гурта хватились не скоро. Зная о приказе посадить его верхом вместе с одним из слуг, каждый думал, что Гурт сидит за спиной у товарища; когда же они заметили, что Гурт исчез, опасность со стороны разбойников казалась столь непосредственной, что некогда было думать ни о чем другом.   
 Между тем тропа, по которой ехали путники, стала настолько узкой, что нельзя было проехать по ней более чем двоим всадникам в ряд; к тому же начался спуск в лощину, по которой протекал ручей с осыпающимися или топкими берегами, поросшими низкими кустами ивы. Седрик и Ательстан, ехавшие впереди, поняли, насколько здесь опасно нападение. Однако ни тот, ни другой не имели достаточного боевого опыта. Они решили, что лучше всего как можно скорее проскочить через лощину. Не соблюдая никакого порядка, отряд помчался вперед. Но едва предводители с частью своих спутников перебрались через ручей, как разбойники набросились на них сразу спереди, сзади и с обеих сторон с такой стремительностью, что всякое сопротивление оказалось невозможным. Кругом раздавались неистовые крики нападавших разбойников:   
 - Белый Дракон! Белый Дракон! Святой Георгий постоит за старую Англию! - боевой клич нападающих, которые изображали саксонских разбойников.   
 Враги появились так неожиданно, бросились на путешественников так отважно и расправились с ними так быстро, что, казалось, их было вдвое больше, чем на самом деле.   
 Оба саксонских вождя попали в плен одновременно, но каждый при таких обстоятельствах. Которые служили отражением его характера. Завидев первого врага, Седрик метнул в него дротик и попал на этот раз так метко, что пригвоздил противника к дубу, возле которого тот находился. Справившись с одним, он выхватил меч и, повернув коня, кинулся навстречу другому. Однако Седрик размахнулся мечом с такой запальчивостью, что задел за толстую ветвь соседнего дерева и обезоружил себя этим неловким ударом. Два или три разбойника бросились на него, стащили с лошади и взяли в плен. Ательстан был задержан почти одновременно с Седриком. Он еще не успел приготовиться к защите, как его стащили с седла и связали.   
 Слуги, стесненные поклажей, изумленные и перепуганные участью своих господ, даже не сопротивлялись; леди Ровена, ехавшая в центре отряда, и еврей с дочерью, бывшие в тылу, также были взяты в плен.   
 Из всего отряда одному только Вамбе удалось спастись. Он выказал при этом гораздо более мужества, чем те, кто считался умнее его. Он завладел мечом одного из слуг и, размахивая им, заставил нападавших отступить, а затем сделал смелую, но безуспешную попытку пробиться на помощь Седрику. Убедившись, что это невозможно, Вамба улучил удобную минуту, спрыгнул с лошади и скрылся в кустах.   
 Впрочем, очутившись в безопасности, храбрый шут несколько раз останавливался в нерешимости, раздумывая, не лучше ли воротиться и разделить участь своего господина, к которому он был искренне привязан.   
 - Слыхал я, как люди восхваляли свободу, - пробормотал он, - а вот теперь мне хотелось бы, чтобы какой-нибудь мудрец надоумил меня, что делать с этой свободой!   
 Он произнес эти слова довольно громко и вдруг услыхал очень близко от себя голос, осторожно и тихо проговоривший: "Вамба!" В ту же минуту собака, в которой он сразу узнал Фангса, бросилась к нему.   
 - Гурт! - ответил Вамба таким же осторожным шепотом.   
 И свинопас тотчас предстал перед ним.   
 - Что это значит? - спросил Гурт поспешно. - Что гам за крики и стук мечей?   
 - Обычная история, - отвечал Вамба, - всех забрали в плен.   
 - Кого забрали? - воскликнул Гурт нетерпеливо.   
 - Нашего господина, и леди Ровену, и Ательстана, и Гундиберта, и Освальда... всех!   
 - Господи помилуй! - воскликнул Гурт. - Как же они попали в плен и к кому?   
 - Наш хозяин сразу вступил в драку, - продолжал шут. - Ательстан не поспел, а остальные и подавно. А забрали их черные маски и зеленые кафтаны. Теперь все они лежат, связанные, на зеленой траве, словно такие яблоки, вроде тех, что ты трясешь в лесу на корм своим свиньям. Даже смешно, право! Я бы смеялся, кабы не слезы! - сказал честный шут, роняя слезы неподдельного горя.   
 На лице Гурта отразилось сильное волнение.   
 - Вамба, - сказал он, - у тебя есть оружие, а храбрости у тебя оказалось больше, чем ума; нас с тобой только двое, но внезапное нападение смелых людей может изменить многое. Пойдем!   
 - Куда и зачем? - спросил шут.   
 - Выручать Седрика.   
 - Не ты ли недавно отказывался служить ему?   
 - Теперь все по-другому, - возразил Гурт, - тогда ему было хорошо, а теперь он в беде... Пойдем!   
 Только что шут собрался повиноваться, как перед ними появился какой-то человек, приказавший им остановиться. Судя по его одежде и вооружению, Вамба сначала принял его за одного из разбойников, взявших в плен Седрика. Однако на нем не было маски, и по роскошной перевязи с великолепным охотничьим рогом, спокойным манерам, повелительному голосу Вамба тотчас узнал в нем того самого иомена по имени Локсли, который одержал победу на состязании стрелков.   
 - Что значит этот шум? - спросил он. - Кто осмеливается чинить грабеж и насилие в этих лесах?   
 - Погляди поближе на их кафтаны, - отвечал Вамба, - не принадлежат ли они твоим детям: уж очень похожи они на твой собственный, как два зеленых стручка гороха друг на друга.   
 - Это я сейчас узнаю, - сказал Локсли, - а вам приказываю, во имя спасения вашей жизни, не сходить с места, пока я не вернусь. И вам и вашим господам будет лучше, если вы послушаетесь меня. Только сперва надо привести себя в такой вид, чтобы походить на этих грабителей.   
 Говоря это, он снял с себя перевязь с рогом, сорвал перо со своей шапки и все это передал Вамбе. Потом вынул из сумки маску, надел ее и, повторив приказание не трогаться с места, пошел на разведку.   
 - Будем, что ли, ждать его, - спросил Вамба, - или попробуем дать тягу? Уж слишком у него наготове все разбойничье снаряжение, чтобы он был честным человеком.   
 - А хоть бы он оказался самим чертом, пусть его, - сказал Гурт. - Нам не будет хуже от того, что мы его подождем. Если он из той же шайки, он теперь успел их предупредить, и нам не удастся ни напасть на них, ни убежать. К тому же за последнее время я убедился, что настоящие разбойники не самые плохие люди.   
 Через несколько минут иомен вернулся.   
 - Друг мой Гурт, - сказал он, - я сейчас побывал у тех молодцов и теперь знаю, что это за люди и куда направляются. Я думаю, что они не собираются убивать своих пленников. Нападать на них втроем было бы просто безумием: это настоящие воины, и, как люди опытные, они расставили часовых, которые при первой попытке подойти к ним тотчас поднимут тревогу. Но я надеюсь собрать такую дружину, которая сможет их одолеть, несмотря ни на какие предосторожности. Вы оба слуги, и, как мне кажется, преданные слуги Седрика Сакса - защитника английских вольностей. Найдется немало английских рук, чтобы выручить его из беды. Идите за мной.   
 С этими словами он быстро пошел вперед, а свинопас и шут молча последовали за ним. Однако Вамба не мог долго молчать.   
 - Сдается мне, - сказал он, разглядывая перевязь и рог, которые все еще держал в руках, - что я сам видел, как летела стрела, выигравшая этот славный приз, и было это совсем недавно.   
 - А я, - сказал Гурт, - готов поклясться своим спасением, что слышал голос того доброго иомена, который выиграл приз, и слышал я его и днем и в ночную пору, и месяц состарился с тех пор никак не больше чем на три дня.   
 - Любезные друзья мои, - обратился к ним иомен, - теперь не время допытываться, кто я и откуда. Если мне удастся выручить вашего хозяина, вы по справедливости будете считать меня своим лучшим другом. А как меня зовут и точно ли я умею стрелять из лука получше пастуха, и когда я люблю гулять, днем или ночью, - это все вас не касается, а потому вы лучше не ломайте себе голову.   
 - Ну, попали мы в львиную пасть! - шепотом сказал Вамба своему товарищу. - Что теперь делать?   
 - Тес! Замолчи, ради бога! - сказал Гурт. - Только не рассерди его своей дурацкой болтовней, и увидишь, что все кончится благополучно.

**Глава XX**

Осенний вечер мрачен был,   
 Угрюмый лес темнел вокруг,   
 Был путнику ночному мил   
 Отшельнической песни звук.   
 Казалось, так душа поет,   
 Расправив звучные крыла,   
 И птицей, славящей восход,   
 Та песня к небесам плыла.   
 "Отшельник у ручья святого Клементия".   
  
 Слуги Седрика, следуя за своим таинственным проводником, часа через три достигли небольшой поляны среди леса, в центре ее огромный дуб простирал во все стороны свои мощные ветви. Под деревом на траве лежали четверо или пятеро иоменов; поблизости, освещенный светом луны, медленно расхаживал часовой.   
 Заслышав приближение шагов, он тотчас поднял тревогу; спящие мигом проснулись, вскочили на ноги, и все разом натянули луки. Шесть стрел легли на тетиву и направились в ту сторону, откуда слышался шорох, но как только стрелки завидели и узнали проводника, они приветствовали его с глубоким почтением.   
 - Где Мельник? - было его первым вопросом.   
 - На дороге к Ротерхему.   
 - Сколько при нем людей? - спросил предводитель, ибо таково было, по-видимому, его звание.   
 - Шесть человек, и есть надежда на хорошую поживу, коли поможет Николай-угодник.   
 - Благочестиво сказано! - сказал Локсли. - А где Аллен из Лощины?   
 - Пошел на дорогу к Уотлингу - подстеречь приора из Жорво.   
 - И это хорошо придумано, - сказал предводитель. - А где монах?   
 - У себя в келье.   
 - Туда я пойду сам, - сказал Локсли, - а вы ступайте в разные стороны и соберите всех товарищей. Старайтесь собрать как можно больше народу, потому что есть на примете крупная дичь, которую трудно загнать, притом она кусается. На рассвете все приходите сюда, я буду тут... Постойте, - прибавил он. - Я чуть было не забыл самого главного. Пусть двое из вас отправятся поскорее к Торклистону, замку Фрон де Бефа. Отряд переодетых молодцов везет туда несколько человек пленных. Наблюдайте за ними неотступно. Даже в том случае, если они доберутся до замка, прежде чем мы успеем собраться с силами, честь обязывает нас покарать их. Поэтому следите за ними хорошенько, и пусть самый проворный из вас принесет мне весть о том, что у них делается.   
 Стрелки обещали все исполнить в точности и быстро разошлись в разные стороны. Тем временем их предводитель и слуги Седрика, глядевшие на него теперь с величайшим почтением и некоторой боязнью, продолжали свой путь к часовне урочища Копменхерст.   
 Когда они достигли освещенной луною поляны и увидели полуразрушенные остатки часовни, а рядом с нею бедное жилище отшельника, вполне соответствующее строгому благочестию его обитателя, Вамба прошептал на ухо Гурту:   
 - Коли тут точно живет вор, стало быть, правду говорит пословица: "Чем ближе к церкви, тем дальше от господа бога". Я готов прозакладывать свою шапку, что это так и есть. Послушай-ка, что за песнопение в этой келье подвижника.   
 В эту минуту отшельник и его гость во все горло распевали старинную застольную песенку с таким припевом:   
 Эх, давай-ка чашу, начнем веселье наше,   
 Милый мой, милый мой!   
 Эх, давай-ка чашу, начнем веселье наше.   
 Ты, Дженкин, пьешь неплохо - ты плут и выпихова!   
 Эх, давай-ка чашу, начнем веселье наше...   
 - Недурно поют, право слово! - сказал Вамба, пробуя подтянуть припев. - Но скажите на милость, кто бы мог подумать, что услышит в глухую полночь в келье отшельника такой веселенький псалом.   
 - Что же тут удивительного, - сказал Гурт. - Всем известно, что здешний причетник - превеселый парень; он убивает добрую половину всей дичи, какая пропадает в этих местах. Говорят, будто лесной сторож жаловался на него своему начальству, и, если отшельник не образумится, с него сорвут и рясу и скуфью.   
 Пока они разговаривали, Локсли что было силы стучался в дверь; наконец отшельник и его гость услыхали этот стук.   
 - Клянусь святыми четками, - молвил отшельник, - внезапно оборвав свои звонкие рулады, - кто-то стучится! Ради моего клобука, я не хотел бы, чтобы нас застали за таким приятным занятием. У всякого человека есть недоброжелатели, почтеннейший Лентяй; чего доброго, найдутся злые сплетники, которые гостеприимство, с каким я принял усталого путника и провел с ним часа три ночного времени, назовут распутством и пьянством.   
 - Вот ведь какая низкая клевета! - сказал рыцарь. - Мне хотелось бы проучить их как следует. Однако это правда, святой причетник, что у всякого человека есть враги. В здешнем краю есть такие люди, с которыми я сам охотнее стал бы разговаривать сквозь решетку забрала, чем с открытым лицом.   
 - Так надевай скорее на голову свой железный горшок, друг Лентяй, и поспешай, как только можешь. А я тем временем уберу эти оловянные фляги. То, что в них было налито, бултыхается теперь в моей башке. А чтобы не слышно было звяканья посуды, потому что у меня немного руки трясутся, подтяни ту песню, которую я сейчас запою. Тут дело не в словах. Я и сам-то не больно твердо их помню.   
 Сказав это, он громовым голосом затянул псалом: "Из бездны воззвал..." - и принялся уничтожать следы пиршества. Рыцарь, смеясь от души, продолжал облекаться в свои боевые доспехи, усердно подтягивая хозяину всякий раз, как успевал подавить душивший его хохот.   
 - Что у вас за чертова заутреня в такой поздний час? - послышался голос из-за двери.   
 - Прости вам боже, сэр странник, - отвечал отшельник, из-за поднятого шума, а может быть, и спьяну не узнавший голоса, который, однако, был ему очень хорошо знаком. - Ступайте своей дорогой, ради Бога и святого Дунстана, и не мешайте мне и праведному собрату моему читать молитвы.   
 - Не с ума ли ты сошел, монах? - отвечал голос снаружи. - Отопри, это я, Локсли!   
 - А-а! Ну ладно, все в порядке! - сказал отшельник, обращаясь к гостю.   
 - Это кто же такой? - спросил Черный Рыцарь. - Мне нужно знать.   
 - Кто такой? Я же говорю тебе, что друг, - отвечал отшельник.   
 - Какой такой друг? - настаивал рыцарь. - Может быть, он тебе друг, а мне враг?   
 - Какой друг-то? - сказал отшельник. - Это, знаешь ли, такой вопрос, который легче задать, чем ответить на него. Какой друг? Да вот, коли хорошенько сообразить, это тот самый добряк, честный сторож, о котором я тебе давеча говорил.   
 - Понимаю, - молвил рыцарь, - значит, он такой же честный сторож, как ты благочестивый монах. Отвори же ему дверь, не то он выломает ее.   
 Между тем собаки, сначала поднявшие отчаянный лай, теперь как будто узнали по голосу того, кто стоял за дверью. Они перестали лаять, начали царапаться в дверь и повизгивать, требуя, чтобы пришедшего скорее впустили. Отшельник снял с двери засовы и впустил Локсли и обоих его спутников.   
 - Слушай-ка, отче, - сказал иомен, войдя и увидев рыцаря, - что это у тебя за собутыльник?   
 - Это монах нашего ордена, - отвечал отшельник, покачивая головой, - мы с ним всю ночь молитвы читали.   
 - Должно быть, он служитель воинствующей церкви, - сказал Локсли, - эта братия теперь повсюду встречается. Я тебе говорю, монах, отложи свои четки в сторону и берись за дубину. Нам теперь каждый человек дорог - все равно, духовного ли он звания или светского. Да ты, кажется, помутился в рассудке! - прибавил Локсли, отведя отшельника в сторону и понижая голос. - Как же можно принимать совсем неизвестного рыцаря? Разве ты позабыл наши правила?   
 - Как - неизвестного? - смело ответил монах. - Я его знаю не хуже, чем нищий знает свою чашку.   
 - Как же его зовут? - спросил Локсли.   
 - Как его зовут-то? - повторил отшельник. - А зовут его сэр Энтони Скрэблстон. Вот еще! Стану я пить с человеком, не зная, как его зовут!   
 - Ты слишком много пил сегодня, братец, - сказал иомен, - и, того и гляди, слишком много наболтал.   
 - Друг иомен, - сказал рыцарь, подходя к ним, - не сердись на веселого хозяина. Он оказал мне гостеприимство, это правда, но если бы он не согласился принять меня, я бы заставил его это сделать.   
 - Ты бы заставил? - сказал отшельник. - Вот погоди, сейчас я сменю свою серую хламиду на зеленый камзол, и пусть я не буду ни честным монахом, ни хорошим лесником, если не разобью тебе башку своей дубиной.   
 С этими словами он сбросил с себя широкую рясу и мигом облекся в зеленый кафтан и штаны того же цвета.   
 - Помоги мне, пожалуйста, зашнуровать все петли, - сказал он, обращаясь к Вамбе. - За труды я тебе поднесу чарку крепкого вина.   
 - Спасибо на ласковом слове, - отвечал Вамба, - только не совершу ли я святотатства, если помогу тебе превратиться из святого отшельника в грешного бродягу?   
 - Не бойся, - сказал отшельник. - Стоит исповедать грехи моего зеленого кафтана моему же серому балахону, и все будет ладно.   
 - Аминь! - сказал шут. - Суконному грешнику подобает иметь дело с холщовым духовником, так что заодно пускай уж твой балахон даст отпущение грехов и моей куртке.   
 Говоря это, он помог монаху продеть шнурки в бесчисленные петли, соединявшие штаны с курткой.   
 Пока они занимались этим, Локсли отвел рыцаря в сторону и сказал ему:   
 - Не отрицайте, сэр рыцарь, вы тот самый герой, благодаря которому победа осталась за англичанами на второй день турнира в Ашби.   
 - Что ж из того, если ты угадал, друг иомен? - спросил рыцарь.   
 - В таком случае, - отвечал иомен, - я могу считать вас сторонником слабейшей партии.   
 - Такова прямая обязанность каждого истинного рыцаря, - сказал Черный Рыцарь, - и мне было бы прискорбно, если бы обо мне подумали иначе.   
 - Но для моих целей, - сказал иомен, - мало того, что ты добрый рыцарь, надо, чтобы ты был и добрым англичанином. То, о чем я хочу поговорить с тобой, является долгом всякого честного человека, но еще большим долгом каждого честного сына этой страны.   
 - Едва ли найдется человек, - отвечал рыцарь, - которому Англия и жизнь каждого англичанина была бы дороже, чем мне.   
 - Охотно этому поверю, - сказал иомен. - Никогда еще наша страна не нуждалась так в помощи тех, кто ее любит. Послушай, я тебе расскажу об одном деле. В нем ты сможешь принять почетное участие, если ты действительно таков, каким мне кажешься. Шайка негодяев, переодетых в платье людей, которые гораздо лучше их самих, захватила в плен одного знатного англичанина, по имени Седрик Сакс, а также его воспитанницу и его друга, Ательстана Конингсбургского, и увезла их в один из замков в этом лесу, под названием Торкилстон. Скажи мне как добрый рыцарь и добрый англичанин: хочешь помочь нам выручить их?   
 - Произнесенный обет вменяет мне в обязанность это сделать, - отвечал рыцарь, - но я хотел бы знать, кто же просит меня помочь им.   
 - Я, - сказал иомен, - человек без имени, но друг твоей родины и тех кто любит ее. Удовольствуйтесь пока этими сведениями о моей личности, тем более что и сами вы желаете оставаться неизвестным. Знайте, однако, что мое честное слово так же верно, как если бы я носил колотые шпоры.   
 - Этому я охотно поверю, - сказал рыцарь. - Твое лицо говорит о честности и твердой воле. Поэтому я больше не буду ни о чем тебя расспрашивать, а просто помогу тебе освободить этих несчастных пленников. А там, надеюсь, мы с тобой познакомимся поближе и, расставаясь, будем довольны друг другом.   
 Между тем отшельник наконец переоделся, а Вамба перешел на другой конец хижины и случайно услышал конец разговора.   
 - Вот как, - шепнул он Гурту, - у нас, значит, будет новый союзник? Будем надеяться, что доблесть этого рыцаря окажется не такой фальшивой монетой, как благочестие отшельника или честность иомена. Этот Локсли кажется мне прирожденным охотником за чужой дичью, а поп - гуляка и лицемер.   
 - Придержи язык, Вамба, сделай милость! - сказал Гурт. - Оно, может быть и так; но явись сейчас хоть сам рогатый черт и предложи нам свои услуги, чтобы вызволить из беды Седрика и леди Ровену, боюсь - у меня не хватило бы набожности отказаться от его помощи.   
 Тем временем отшельник вооружился, как настоящий иомен, мечом, щитом, луком и колчаном со стрелами, через плечо перекинул тяжелый бердыш. Он первый вышел из хижины, а потом тщательно запер дверь и засунул ключ под порог.   
 - Ну что, брат, годишься ты теперь в дело, - спросил Локсли, - или хмель все еще бродит у тебя в голове?   
 - Чтобы прогнать его, - отвечал монах, - будет довольно глотка воды из купели святого Дунстана. В голове, правда, жужжит что-то и ноги не слушаются, но все это мигом пройдет.   
 С этими словами он подошел к каменному бассейну, на поверхности которого падавшая в него струя образовала множество пузырьков, белевших и прыгавших при бледном свете луны, припал к нему ртом и пил так долго, как будто задумал осушить источник.   
 - Случалось ли тебе раньше выпивать столько воды, святой причетник из Копменхерста? - спросил Черный Рыцарь.   
 - Только один раз: когда мой бочонок с вином рассохся и вино утекло незаконным путем. Тогда мне нечего было пить, кроме воды по щедрости святого Дунстана, - отвечал монах.   
 Тут он погрузил руки в воду, а потом окунул голову и смыл таким образом все следы полночной попойки.   
 Протрезвившись окончательно, веселый отшельник ухватил свой тяжелый бердыш тремя пальцами и, вертя его над головой, как тростинку, закричал:   
 - Где они, подлые грабители, что похищают девиц? Черт меня побери, коли я не справлюсь с целой дюжиной таких мерзавцев!   
 - Ты и ругаться умеешь, святой причетник? - спросил Черный Рыцарь.   
 - Полно меня к причетникам причислять! - возразил ему преобразившийся монах. - Клянусь святым Георгием и его драконом, я только до тех пор и монах, пока у меня ряса на плечах... А как надену зеленый кафтан, так могу пьянствовать, ругаться и ухаживать за девчонками не хуже любого лесника.   
 - Ступай вперед, балагур, - сказал Локсли, - да помолчи немного; ты сегодня шумишь, как целая толпа монахов в сочельник, когда отец игумен уснул. Пойдемте, друзья, медлить нечего. Надо поскорее собрать людей, и все же у нас мало будет народу, чтобы взять приступом замок Реджинальда Фрон де Бефа.   
 - Что? - воскликнул Черный Рыцарь. - Так это Фрон де Беф выходит нынче на большую дорогу и берет в плен верноподанных короля? Разве он стал вором и притеснителем?   
 - Притеснителем-то он всегда был, - сказал Локсли.   
 - А что до воровства, - подхватил монах, - то хорошо, если бы он хоть вполовину был так честен, как многие из знакомых мне воров.   
 - Иди, иди, монах, и помалкивай! - сказал иомен. - Лучше бы ты попроворнее провел нас на сборное место и не болтал, о чем следует помалкивать как из приличия, так и ради осторожности!

**Глава XXI**

Увы, прошло так много дней и лет   
 С тех пор, как тут за стол садились люди,   
 Мерцанием свечей озарены!   
 Но в сумраке высоких этих сводов   
 Мне слышится времен далеких шепот,   
 Как будто медлящие голоса   
 Тех, кто давно в своих могилах спит.   
 "Орра", трагедия   
  
 Пока принимались все эти меры для освобождения Седрика и его спутников, вооруженный отряд, взявший их в плен, спешил к укрепленному замку, где предполагалось держать их в заключении. Но вскоре наступила полная темнота, а лесные тропинки были, очевидно, мало знакомы похитителям. Несколько раз они останавливались и раза два поневоле возвращались назад. Летняя заря занялась, прежде, чем они попали на верную дорогу, но зато теперь отряд продвигался вперед очень быстро. В это время между двумя предводителями происходил такой разговор:   
 - Тебе пора уезжать от нас, сэр Морис, - говорил храмовник рыцарю де Браси. - Для того чтобы разыграть вторую часть нашей мистерии, ведь теперь ты должен выступать в роли освободителя.   
 - Нет, я передумал, - сказал де Браси. - Я до тех пор не расстанусь с тобой, пока добыча не будет доставлена в замок Фрон де Бефа. Тогда я предстану перед леди Ровеной в моем настоящем виде и надеюсь уверить ее, что всему виной сила моей страсти.   
 - А что заставило тебя изменить первоначальный план, де Браси? - спросил храмовник.   
 - Это тебя не касается, - отвечал его спутник.   
 - Надеюсь, однако, сэр рыцарь, - сказал храмовник, - что такая перемена произошла не от того, что ты заподозрил меня в бесчестных намерениях, о которых тебе нашептывал Фиц-Урс?   
 - Что я думаю, то пусть остается при мне, - отвечал де Браси. - Говорят, что черти радуются, когда один вор обокрадет другого. Но всем известно, что никакие черти не в силах помешать рыцарю Храма поступить по-своему.   
 - А вождю вольных наемников, - подхватил храмовник, - ничто не мешает опасаться со стороны друга тех обид, которые он сам чинит всем на свете.   
 - Не будем без пользы упрекать друг друга, - отвечал де Браси. - Довольно того, что я имею понятие о нравственности рыцарей, принадлежащих к ордену храмовников, и не хочу дать тебе возможность отбить у меня красавицу, ради которой я пошел на такой риск.   
 - Пустяки! - молвил храмовник. - Чего тебе бояться? Ведь ты знаешь, какие обеты налагает наш орден!   
 - Еще бы! - сказал де Браси. - Знаю также, как эти обеты выполняются. Полно, сэр рыцарь. Все знают, что в Палестине законы служения даме подвергаются очень широкому толкованию. Говорю прямо: в этом деле я не положусь на твою совесть.   
 - Так знай же, - сказал храмовник, - что я нисколько не интересуюсь твоей голубоглазой красавицей. В одном отряде с ней есть другая, которая мне гораздо больше нравится.   
 - Как, неужели ты способен снизойти до служанки? - сказал де Браси.   
 - Нет, сэр рыцарь, - отвечал храмовник надменно, - до служанки я не снизойду. В числе пленных есть у меня добыча, ничем не хуже твоей.   
 - Не может быть. Ты хочешь сказать - прелестная еврейка? - сказал де Браси.   
 - А если и так, - возразил Буагильбер, - кто может мне помешать в этом?   
 - Насколько мне известно, никто, - отвечал де Браси, - разве что данный тобою обет безбрачия. Или просто совесть не позволит завести интригу с еврейкой.   
 - Что касается обета, - сказал храмовник, - наш гроссмейстер освободит от него, а что касается совести, то человек, который собственноручно убил до трехсот сарацин, может и не помнить свои мелкие грешки. Ведь я не деревенская девушка на первой исповеди в страстной четверг.   
 - Тебе лучше знать, как далеко простираются твои привилегии, - сказал де Браси, - однако я готов поклясться, что денежные мешки старого ростовщика пленяют тебя гораздо больше, чем черные очи его дочери.   
 - То и другое привлекательно, - отвечал храмовник. - Впрочем, старый еврей лишь наполовину моя добыча. Его придется делить с Реджинальдом Фрон де Бефом. Он не позволит нам даром расположиться в своем замке. Я хочу получить свою долю в этом набеге и решил, что прелестная еврейка будет моей нераздельной добычей. Ну, теперь ты знаешь мои намерения, значит можешь придерживаться первоначального плана. Сам видишь, что тебе нечего опасаться моего вмешательства.   
 - Нет, - сказал де Браси, - я все-таки останусь поближе к своей добыче. Все, что ты говоришь, вполне справедливо, но меня беспокоит разрешение гроссмейстера, да и те особые привилегии, которые дает тебе убийство трехсот сарацин. Ты так уверен, что тебе все простится, что не станешь церемониться из-за пустяков.   
 Пока между рыцарями происходил этот разговор, Седрик всячески старался выпытать от окружавшей его стражи, что они за люди и с какой целью совершили нападение.   
 - С виду вы англичане, - говорил он, - а между тем накинулись на своих земляков, словно настоящие норманны. Если вы мне соседи, значит мои приятели: кто же из моих английских соседей когда-либо враждовал со мной? Говорю вам, иомены: даже те из вас, которые запятнали себя разбоем, пользовались моим покровительством; я жалел их за нищету и вместе с ними проклинал их притеснителей, бессовестных дворян. Что же вам нужно от меня? Зачем вы подвергаете меня насилию? Что же вы молчите? Вы поступаете хуже, чем дикие звери; неужели же вы хотите уподобиться бессловесным скотам?   
 Но все эти речи были напрасны. У его стражи было много важных причин не нарушать молчания, а потому он не мог донять их ни гневом, ни уговорами. Они продолжали все так же быстро везти его вперед, пока впереди, в конце широкой аллеи, не возник Торкилстон - древний замок, принадлежавший в те времена Реджинальду Фрон де Бефу. Этот замок представлял собою высокую четырехугольную башню, окруженную более низкими постройками и обнесенную снаружи крепкой стеной. Вокруг этой стены тянулся глубокий ров, наполненный водой из соседней речушки. Фрон де Беф нередко враждовал со своими соседями, а потому позаботился прочнее укрепить замок, построив во всех углах внешней стены еще по одной башне. Вход в замок, как во всех укреплениях того времени, находился под сводчатым выступом в стене, защищенным с обеих сторон маленькими башенками.   
 Как только Седрик завидел очертания поросших мхом зубчатых серых стен замка, высившихся над окружавшими их лесами, ему все сразу стало понятно.   
 - Понапрасну я обидел воров и разбойников здешних лесов, - сказал он, - подумав, что эти бандиты могут принадлежать к их ватаге... Это все равно что приравнять лисиц наших лесов к хищным волкам Франции. Говорите, подлые собаки, чего добивается ваш хозяин: моей смерти или моего богатства? Должно быть, ему обидно, что еще осталось двое саксов, я да благородный Ательстан, владеющих земельными угодьями в этой стране. Так убейте же нас и завершите тем свое злодейство. Вы отняли наши вольности, отнимите и жизнь. Если Седрик Сакс не в силах спасти Англию, он готов умереть за нее. Скажите вашему бесчеловечному хозяину, что я лишь умоляю его отпустить без всякой обиды леди Ровену. Она женщина; ему нечего бояться ее, а с нами умрут последние бойцы, которые имеют дерзость за нее заступаться.   
 Стража на эту речь отвечала молчанием; к тому времени они остановились перед воротами замка. Де Браси трижды протрубил в рог. Тогда стрелки, высыпавшие на стены при их приближении, поспешили сойти вниз, опустить подъемный мост и впустить отряд в замок. Стража заставила пленников сойти с лошадей и отвела их в зал, где им был предложен завтрак; но никто, кроме Ательстана, не притронулся к нему. Впрочем, потомку короляисповедника тоже не дали времени основательно заняться поданными яствами, так как стража сообщила ему и Седрику, что их поместят отдельно от леди Ровены. Сопротивляться было бесполезно. Их заставили пройти в большую комнату, сводчатый потолок которой, опиравшийся на неуклюжие саксонские колонны, придавал ей сходство с трапезными залами, какие и теперь еще можно встретить в наиболее древних из наших монастырей.   
 Потом леди Ровену разлучили и с ее служанками и проводили - очень вежливо, но не спросив о ее желании, - в отдельную комнату. Такой же сомнительный почет был оказан и Ревекке, невзирая на мольбы ее отца. Старик в отчаянии предлагал даже деньги, лишь бы дочери дозволено было оставаться при нем.   
 - Нечестивец, - ответил ему один из стражей, - когда ты увидишь, какая берлога тебе приготовлена, так сам не захочешь, чтобы дочь оставалась с тобой!   
 И без дальнейших разговоров старого Исаака потащили в сторону от остальных пленных. Всех слуг тщательно обыскали, обезоружили и заперли в особом помещении. Леди Ровену лишили даже присутствия ее служанки Эльгиты.   
 Комната, куда заключили обоих саксонских вождей, в то время служила чем-то вроде караульного помещения, хотя в старину это был главный зал. С тех пор она получила менее важное назначение, потому что нынешний владелец, в числе других пристроек, возводимых ради большего удобства, безопасности и красоты своего баронского жилища, построил себе новый великолепный зал, сводчатый потолок которого поддерживался легкими и изящными колоннами, а внутренняя отделка свидетельствовала о большом искусстве в деле украшений и орнаментов, вводимых норманнами в архитектуру.   
 Исполненный гневных размышлений о прошедшем и настоящем, Седрик взволнованно шагал взад и вперед по комнате; между тем Ательстан, которому природная апатия заменяла терпение и философскую твердость духа, равнодушно относился ко всему, кроме мелких лишений. Но и они так мало его тревожили, что он большей частью молчал, лишь изредка отзывался на возбужденные и пылки речи Седрика.   
 - Да, - говорил Седрик, рассуждая сам с собой, но в то же время обращаясь и к Ательстану, - в этом самом зале пировал мой дед с Торкилем Вольфгангером, который угощал здесь доблестного и несчастного Гарольда. Гарольд шел тогда воевать с норвежцами, ополчившимися против него под предводительством бунтовщика Тости. В этом самом зале Гарольд принял посла своего восставшего брата и дал тогда посланнику такой благородный ответ! Сколько раз, бывало, отец с восторгом рассказывал мне об этом событии! Посланец от Тости был введен в зал, переполненный именитыми саксонскими вождями, которые распивали красное вино, собравшись вокруг своего монарха.   
 - Я надеюсь, - сказал Ательстан, заинтересованный этой подробностью, - что в полдень они не забудут прислать нам вина и какой-нибудь еды. Поутру мы едва успели дотронуться до завтрака. Притом же пища не идет мне впрок, если я за нее принимаюсь тотчас после верховой езды, хотя лекари и уверяют, что это очень полезно.   
 Седрик не обратил внимания на эти замечания и продолжал свой рассказ:   
 - Посланец от Тости прошел через весь зал, не боясь хмурых взоров, устремленных на него со всех сторон, и, остановившись перед троном короля Гарольда, отвесил ему поклон.   
 "Поведай, государь, - сказал посланец, - на какие условия может надеяться брат твой Тости, если сложит оружие и будет просить у тебя мира?"   
 "На мою братскую любовь, - воскликнул великодушно Гарольд, - и на доброе графство Нортумберлендское в придачу!"   
 "А если Тости примет такие условия, - продолжал посланец, - какие земельные угодья даруешь ты его верному союзнику Хардраду, королю норвежскому?"   
 "Семь футов английской земли! - отвечал Гарольд, пылая гневом. - А если правда, что этот Хардрад такого богатырского роста, мы можем прибавить еще двенадцать дюймов".   
 Весь зал огласился восторженными кликами, кубки и рога наполнились вином; вожди пили за то, чтобы норвежец как можно скорее вступил во владение своей "английской землей".   
 - И я бы с величайшим удовольствием выпил с ними, - сказал Ательстан, - потому что у меня пересохло во рту, даже язык прилипает к небу.   
 - Смущенный посланец, - продолжал Седрик с большим воодушевлением, хотя слушатель не проявлял никакого интереса к рассказу, - ретировался, унося с собой для Тости и его союзника зловещий ответ оскорбленного брата. И вот тогда башни Йорка и обагренные кровью струи Дервента сделались свидетелями лютой схватки, во время которой, показав чудеса храбрости, пали и король норвежский и Тости, а с ними десять тысяч лучшего их войска. И кто бы подумал, что в тот самый день, когда одержана была это великая победа, тот самый ветер, что развевал победные саксонские знамена, надувал и норманские паруса, направляя их суда к роковым берегам Сассекса! Кто бы подумал, что через несколько дней сам Гарольд лишится своего королевства и получит взамен столько английской земли, сколько назначил в удел своему врагу норвежскому королю! И кто бы подумал, что ты, благородный Ательстан, ты, потомок доблестного Гарольда, и я, сын одного из храбрейших защитников саксонской короны, попадем в плен к подлому норманну, и что нас будут держать под стражей в том самом зале, где наши отцы задавали столь блестящие и торжественные пиры!   
 - Да, это довольно печально, - отозвался Ательстан. - Надеюсь, что нам назначат умеренный выкуп. Во всяком случае, едва ли они имеют в виду морить нас голодом. Однако полдень уже, наверно, настал, а я не вижу никаких приготовлений к обеду. Посмотрите в окно, благородный Седрик, и постарайтесь угадать по направлению солнечных лучей, близко ли к полудню.   
 - Может быть, и близко, - отвечал Седрик, - но, глядя на эти расписные окна, я думаю совсем о другом, а не о наших мелких лишениях. Когда пробивали это окно, благородный друг мой, нашим доблестным предкам было неизвестно искусство выделывать стекла, а тем более их окрашивать. Гордый отец Вольфгангера вызвал из Нормандии художника, дабы украсить этот зал новыми стеклами, которые окрашивали золотистый свет божьего дня всякими причудливыми цветами. Чужестранец явился сюда нищим бедняком, низкопоклонным и угодливым холопом, готовым ломать шапку перед худшим из всей челяди. А уехал он отсюда разжиревший и важный и рассказал своим корыстным соотечественникам о великих богатствах и простодушии саксонских дворян. Это была великая ошибка, Ательстан, ошибка, издавна предвиденная теми потомками Хенгиста и его храбрых дружин, которые преднамеренно хранили и поддерживали простоту старинных нравов. Мы принимали этих чужестранцев с распростертыми объятиями. Они нам были и друзья и доверенные слуги, мы учились у них ремеслам, приглашали их мастеров. В конце концов мы стали относиться с пренебрежением к честной простоте наших славных предков; норманское искусство изнежило нас гораздо раньше, чем норманское оружие нас покорило. Лучше было бы нам жить мирно и свободно, питаться домашними яствами, чем привыкать к заморским лакомствам, пристрастие к которым связало нас по рукам и по ногам и предало в неволю иноземцу!   
 - Мне теперь и самая простая пища показалась бы лакомством, - сказал Ательстан. - Я удивляюсь, благородный Седрик, как это вы так хорошо помните прошлое и в то же время забываете, что пора обедать!   
 - Только понапрасну теряешь время, - пробормотал про себя Седрик с раздражением, - если говоришь ему о чем-либо, кроме еды! Как видно, душа Хардиканута поселилась в нем. Он только и думает, как бы попит да поесть. Увы, - продолжал он, с сожалением глядя на Ательстана, - как жаль, что такой вялый дух обитает в столь величественной оболочке! И надо же, чтобы великое дело возрождения Англии зависело от работы такого скверного рычага! Если он женится на Ровене, ее возвышенный дух еще может пробудить в нем лучшие стороны его натуры... Но какая тут свадьба, когда все мы - и Ровена, и Ательстан, да и сам я - находимся в плену у этого грубого разбойника!.. Быть может, потому он и постарался захватить нас, что опасается нашего влияния и чувствует, что, пока мы на свободе, власть, неправедно захваченная его соплеменниками, может уйти из их рук.   
 Пока Сакс предавался таким печальным размышлениям, дверь их тюрьмы распахнулась и вошел дворецкий с белым жезлом в руке - знаком его старшинства среди прочей челяди. Этот важный слуга торжественным шагом всту- пил в зал, а за ним четверо служителей внесли стол, уставленный кушаньями, вид и запах которых мгновенно изгладили в душе Ательстана все предыдущие неприятности. Слуги, принесшие обед, были в масках и в плащах.   
 - Это что за маскарад? - сказал Седрик. - Не воображаете ли вы, что мы не знаем, кто забрал нас в плен, раз мы находимся в замке вашего хозяина? Передайте Реджинальду Фрон де Бефу, - продолжал он, пользуясь случаем начать переговоры, - что единственной причиной совершенного над нами насилия мы считаем противозаконное желание обогатиться за наш счет. Скажите ему, что мы готовы так же удовлетворить его корыстолюбие, как если бы мы имели дело с заправским разбойником. Пусть назначит выкуп за наше освобождение, и если он не превысит наших средств, мы ему заплатим.   
 Дворецкий вместо ответа только кивнул головой.   
 - И еще передайте Реджинальду Фрон де Бефу, - сказал Ательстан, - что я посылаю ему вызов на смертный бой и предлагаю биться пешим или конным в любом месте через восемь дней после нашего освобождения. Если он настоящий рыцарь, то он не дерзнет отложить поединок или отказаться дать мне удовлетворение.   
 - Передам рыцарю ваш вызов, - отвечал дворецкий, - а пока предлагаю вам откушать.   
 Вызов, посланный Ательстаном, произнесен был недостаточно внушительно: большой кусок, который он усердно прожевывал в это время, усиливал его природную медлительность и значительно ослаблял впечатление от его гордой речи. Тем не менее Седрик приветствовал ее как несомненный признак пробуждения воинственного духа в своем спутнике, равнодушие которого начинало его бесить, невзирая на все почтение, какое он питал к высокому происхождению Ательстана. Зато теперь, в знак полного одобрения, он принялся от всей души пожимать ему руку, но немного огорчился, когда Ательстан сказал, что "готов сразиться хоть с дюжиной таких молодцов, как Фрон де Беф, лишь бы поскорее выбраться из этого замка, где кладут в похлебку так много чесноку".   
 Не обратив внимания на то, что Ательстан вернулся к прежнему безучастию и обжорству, Седрик занял место против него и вскоре доказал, что хотя и мог ради помыслов о бедствиях родины забывать о еде, но за столом с яствами проявлял отличный аппетит, унаследованный им от саксонских предков.   
 Не успели пленники хорошенько насладиться завтраком, как внимание их было отвлечено от этого важного занятия звуками рога, раздавшимися перед воротами замка. Звуки эти трижды повторили вызов, и притом с такой силой, как будто трубивший в рог был сказочный рыцарь, остановившийся перед заколдованным замком И желавший снять с него заклятие, чтобы стены, башни, зубцы и бойницы исчезли, подобно утреннему туману.   
 Саксы встрепенулись, вскочили с мест и поспешили к окну, но ничего не увидели, потому что окна выходили во двор замка. Однако, судя по тому, что в ту же минуту в замке поднялась суматоха, было ясно, что произошло какое-то важное событие.

**Глава XXII**

О дочь моя! Мои дукаты! Дочь!..   
 Дукаты христианские мои!   
 Где суд? Закон? О дочь моя... дукаты!   
 "Венецианский купец"   
  
 Предоставим саксонским вождям вернуться к прерванному завтраку, как только их неудовлетворенное любопытство позволит им отдаться зову не утоленного еще голода, и посмотрим на еще более несчастного пленника - Исаака из Йорка. Бедного еврея втолкнули в тюремный подвал замка, находившийся глубоко под землей, глубже, чем дно окружающего рва, и потому там было очень сыро. Свет проходил туда лишь через одно или два небольших отверстия, до которых пленник не мог достать рукой. Даже в яркий полдень эти дыры пропускали очень мало света, и задолго до захода солнца в подвале становилось темно. Цепи и кандалы, оставшиеся от прежних узников, висели по стенам темницы. В кольцах одних кандалов торчали две полуразрушенные кости человеческой ноги, словно здесь один из заключенных успел не только умереть, но и превратиться в скелет.   
 В одном конце этого зловещего подземелья находился широкий очаг, над которым была укреплена заржавевшая железная решетка.   
 Весь вид темницы мог привести в трепет и более храброго человека, чем Исаак. Однако теперь, перед лицом действительной опасности, он был гораздо спокойнее, нежели раньше, когда находился во власти воображаемых ужасов. Любители охоты утверждают, что заяц испытывает большие мучения, пока собаки гонятся за ним, нежели тогда, как попадает им в зубы. Вероятно, и евреи, которым приходилось всегда чего-нибудь опасаться, привыкали к мысли о мучениях, каким их могут подвергнуть, так что какое бы испытание ни предстояло им в действительности, оно не явилось бы для них неожиданностью. А именно неожиданность и заставляет людей терять голову. К тому же Исаак не первый раз попадал в опасное положение. Он был уже довольно опытен и надеялся, что и теперь ему удастся вывернуться из беды, подобно тому как добыча иногда ускользает из рук охотника. Но превыше всего его поддерживало непреклонное упорство его племени и та твердая решимость, с которой дети Израиля переносили жесточайшие притеснения властей и насильников, лишь бы не дать своим мучителям того, что те желали от них получить.   
 В этот час пассивного сопротивления, закутавшись в плащ, чтобы защититься от сырости, Исаак сидел в одном из углов подземелья. Вся его фигура, сложенные руки, растрепанные волосы и борода, меховой плащ и высокая желтая шапка при тусклом и рассеянном свете могли бы послужить отличной моделью для Рембрандта. Так, не меняя позы, просидел Исаак часа три сряду. Вдруг на лестнице, ведшей в подземелье, послышались шаги. Заскрипели отодвигаемые засовы, завизжали ржавые петли, низкая дверь отворилась, и в темницу вошел Реджинальд Фрон де Беф в сопровождении двух сарацинских невольников Буагильбера.   
 Фрон де Беф, человек высокого роста и крепкого телосложения, вся жизнь которого проходила на войне или в распрях с соседями, не останавливался ни перед чем ради расширения своего феодального могущества. Черты его лица вполне соответствовали его характеру, выражая преимущественно жестокость и злобу. Многочисленные шрамы от ран, которые на лице другого человека могли бы возбудить сочувствие и почтение, как доказательства мужества и благородной отваги, его лицу придавали еще более свирепое выражение и увеличивали ужас, который оно внушало. На грозном бароне была надета плотно прилегавшая к телу кожаная куртка, поцарапанная панцирем и засаленная. У него не было иного оружия, кроме кинжала за поясом, уравновешивавшего связку тяжелых ключей с другой стороны.   
 Чернокожие невольники, пришедшие вместе с бароном, были не в обычном роскошном одеянии, а в длинных рубашках и штанах из грубого холста. Рукава у них были засучены выше локтей, как у мясников, когда они принимаются за дело на бойне. Оба держали в руках по корзинке. Войдя в темницу, они стали по обеим сторонам двери, которую Фрон де Беф собственноручно накрепко запер. Приняв такие меры предосторожности, он медленной поступью прошел через весь подвал к Исааку, пристально глядя на него. Этим взглядом он желал отнять у еврея волю - так иные звери, как говорят, парализуют свою добычу. И точно, можно было подумать, что глаза барона имеют подобную силу над несчастным пленником. Иссак сидел неподвижно, раскрыв рот, и с таким ужасом глядел на свирепого рыцаря, что все тело его как бы уменьшилось в объеме под этим упорным зловещим взглядом лютого норманна. Несчастный Исаак был не в состоянии не только встать и поклониться - он не мог даже снять шапку или выговорить хотя бы слово мольбы: он был убежден в том, что сейчас начнутся пытки и, быть может, его умертвят.   
 Величавая фигура норманна все росла и росла в его глазах, как вырастает орел в ту минуту, как перья его становятся дыбом и он стремглав бросается на беззащитную добычу. Рыцарь остановился в трех шагах от угла, где несчастный еврей съежился в комочек, и движением руки подозвал одного из невольников. Чернокожий прислужник подошел, вынул из своей корзинки большие весы и несколько гирь, положил их к ногам Фрон де Бефа и снова отошел к двери, где его сотоварищ стоял все так же неподвижно. Движения этих людей были медленны и торжественны, как будто в их душах заранее жило предчувствие ужасов и жестокостей. Фрон де Беф начал с того, что обратился к злополучному пленнику с такой речью.   
 - Ты, проклятый пес! - сказал он, пробуждая своим низким и злобным голосом суровые отголоски под сводами подземелья. - Видишь ты эти весы?   
 Несчастный Исаак только опустил голову.   
 - На этих самых весах, - сказал беспощадный барон, - ты отвесишь мне тысячу фунтов серебра по точному счету и весу, определенному королевской счетной палатой в Лондоне.   
 - Праотец Авраам! - воскликнул еврей. - Слыханное ли дело назначать такую сумму? Даже и в песнях менестрелей не поется о тысяче фунтов серебра... Видели ли когда-нибудь глаза человеческие такое сокровище? Да в целом городе Йорке, обыщи хоть весь мой дом и дома всех моих соплеменников, не найдется и десятой доли того серебра, которое ты с меня требуешь!   
 - Я человек разумный, - отвечал Фрон де Беф, и если у тебя недостанет серебра, удовольствуюсь золотом. Из расчета за одну монету золотом шесть фунтов серебра, можешь выкупить свою нечестивую шкуру от такого наказания, какое тебе еще и не снилось.   
 - Смилуйся надо мною, благородный рыцарь! - воскликнул Исаак. - Я стар, беден и беспомощен! Недостойно тебе торжествовать надо мной. Не великое дело раздавить червяка.   
 - Что ты стар, это верно, - ответил рыцарь, - тем больше стыда тем, кто допустил тебя дожить до седых волос, погрязшего по уши в лихоимстве и плутовстве. Что ты слаб, это также, быть может, справедливо, потому что когда же евреи были мужественны или сильны? Но что ты богат, это известно всем.   
 - Клянусь вам, благородный рыцарь, - сказал Исаак, - клянусь всем, во что я верю, и тем, во что мы с вами одинаково веруем...   
 - Не произноси лживых клятв, - прервал его норманн, - и своим упорством не предрешай своей участи, а прежде узнай и зрело обдумай ожидающую тебя судьбу. Не думай, Исаак, что я хочу только запугать тебя, воспользовавшись твоей подлой трусостью, которую ты унаследовал от своего племени. Клянусь тем, во что ты не веришь, - тем евангелием, которое проповедует наша церковь, теми ключами, которые даны ей, чтобы вязать и разрешать, что намерения мои тверды и непреложны. Это подземелье - не место для шуток. Здесь бывали узники в десять тысяч раз поважнее тебя, и они умирали тут, и никто об этом не узнавал никогда. Но тебе предстоит смерть медленная и тяжелая - по сравнению с ней они умирали легко.   
 Он снова движением руки подозвал невольников и сказал им что-то вполголоса на их языке: Фрон де Беф побывал в Палестине и, быть может, имен- но там научился столь варварской жестокости. Сарацины достали из своих корзин древесного угля, мехи и бутыль с маслом. Один из них высек огонь, а другой разложил угли на широком очаге, о котором мы говорили выше, и до тех пор раздувал мехи, пока уголья не разгорелись докрасна.   
 - Видишь, Исаак, эту железную решетку над раскаленными угольями? - спросил Фрон де Беф. - Тебя положат на эту теплую постель, раздев догола. Один из этих невольников будет поддерживать огонь под тобой, а другой станет поливать тебя маслом, чтобы жаркое не подгорело. Выбирай, что лучше: ложиться на горячую постель или уплатить мне тысячу фунтов серебра? Клянусь головой отца моего, иного выбора у тебя нет.   
 - Невозможно! - воскликнул несчастный еврей. - Не может быть, чтобы таково было действительное ваше намерение! Милосердный творец никогда не создаст сердца, способного на такую жестокость.   
 - Не верь в это, Исаак, - сказал Фрон де Беф, - такое заблуждение - роковая ошибка. Неужели ты воображаешь, что я, видевший, как целые города предавали разграблению, как тысячи моих собратий христиан погибали от меча, огня и потопа, способен отступить от своих намерений из-за криков какого-то еврея?.. Или ты думаешь, что эти черные рабы, у которых нет ни роду, ни племени, ни совести, ни закона, ничего, кроме желания их владыки, по первому знаку которого они жгут, пускают в ход отраву, кинжал, веревку - что прикажут... Уж не думаешь ли ты, что они способны на жалость? Но они не поймут даже тех слов, которыми ты взмолился бы о пощаде! Образумься, старик, расстанься с частью своих сокровищ, возврати в руки христиан некоторую долю того, что награбил путем ростовщичества. Если слишком отощает от этого твой кошелек, ты сумеешь снова его наполнить. Но нет того лекаря и того целебного снадобья, которое залечило бы твою обгорелую шкуру и мясо после того, как ты полежишь на этой решетке. Соглашайся скорее на выкуп и радуйся, что так легко вырвался из этой темницы, откуда редко кто выходит живым. Не стану больше тратить слов с тобою. Выбирай, что тебе дороже: твое золото или твоя плоть и кровь. Как сам решишь, так и будет.   
 - Так пусть же придут мне на помощь Авраам, Иаков и все отцы нашего племени, - сказал Исаак. - Не могу я выбирать, и нет у меня возможности удовлетворить ваши непомерные требования.  
 - Хватайте его, рабы, - приказал рыцарь, - разденьте донага, и пускай отцы и пророки его племени помогают ему, как знают!   
 Невольники, повинуясь скорее движениям и знакам, нежели словам барона, подошли к Исааку, схватили несчастного, подняли с полу и, держа его под руки, смотрели на хозяина, дожидаясь дальнейших распоряжений. Бедный еврей переводил глаза с лица барона на лица прислужников, в надежде заметить хоть искру жалости, но Фрон де Беф взирал на него с той же холодной и угрюмой усмешкой, с которой начал свою жестокую расправу, тогда как в свирепых взглядах сарацин, казалось, чувствовалось радостное предвкушение предстоящего зрелища пыток, а не ужас или отвращение к тому, что они будут их деятельными исполнителями.   
 Тогда Исаак взглянул на раскаленный очаг, над которым собирались растянуть его, и, убедившись, что его мучитель неумолим, потерял всю свою решимость.   
 - Я заплачу тысячу фунтов серебра, - сказал он упавшим голосом и, несколько помолчав, прибавил: - Заплачу... Разумеется, с помощью моих собратий, потому что мне придется, как нищему, просить милостыню у дверей нашей синагоги, чтобы собрать такую неслыханную сумму. Когда и куда ее внести?   
 - Сюда, - отвечал Фрон де Беф, - вот здесь ты ее и внесешь весом и счетом, вот на этом самом полу. Неужели ты воображаешь, что я с тобой расстанусь прежде, чем получу выкуп?   
 - А какое ручательство в том, что я получу свободу, когда выкуп будет уплачен? - спросил Исаак.   
 - Довольно с тебя и слова норманского дворянина, ростовщичья душа, - отвечал Фрон де Беф. - Честь норманского дворянина чище всего золота и серебра, каким владеет твое племя.   
 - Прошу прощения, благородный рыцарь, - робко сказал Исаак, - но почему же я должен полагаться на ваше слово, когда вы сами ни чуточки мне не доверяете?   
 - А потому, еврей, что тебе ничего другого не остается, - отвечал рыцарь сурово. - Если бы ты был в эту минуту в своей кладовой, в Йорке, а я пришел бы к тебе просить взаймы твоих шекелей, тогда ты назначил бы мне срок возврата ссуды и условия обеспечения. Но здесь моя кладовая. Тут ты в моей власти, и я не стану повторять условия, на которых возвращу тебе свободу.   
 Исаак испустил горестный вздох.   
 - Освобождая меня, - сказал он, - даруй свободу и тем, которые были моими спутниками. Они презирали меня, как еврея, но сжалились над моей беспомощностью, из-за меня замешкались в пути, а потому и разделили со мной постигшее меня бедствие; кроме того, они могут взять на себя часть моего выкупа.   
 - Если ты разумеешь тех саксонских болванов, то знай, что за них истребуют иной выкуп, чем за тебя, - возразил Фрон де Беф. - Знай свое дело, а в чужие дела не суйся.   
 - Стало быть, - сказал Исаак, - ты отпускаешь на свободу только меня да моего раненого друга?   
 - Уж не должен ли я, - воскликнул Фрон де Беф, - два раза повторять сыну Израиля, чтобы он знал свое дело, а в чужие не вмешивался? Твой выбор сделан, тебе остается лишь уплатить выкуп, да поскорее.   
 - Послушай, - обратился к нему еврей, - ради того, чтобы добыть этот самый выкуп, который ты с меня требуешь вопреки своей...   
 Тут он запнулся, опасаясь раздражить сердитого норманна. Но Фрон де Беф рассмеялся и сам подсказал ему пропущенное слово:   
 - Вопреки моей совести, хотел ты сказать, Исаак? Что же ты запнулся? Я тебе говорил, что я человек рассудительный и легко переношу упреки проигравшей стороны, даже если проигравший - еврей. А ты не был так терпелив, Исаак, в ту пору, как подавал жалобу на Жака Фиц-Доттреля за то, что он обозвал тебя кровопийцей и ростовщиком, когда ты довел его до полного разорения.   
 - Клянусь талмудом, - вскричал еврей, - ваша милость заблуждается: Фиц-Доттрель замахнулся на меня кинжалом в моей собственной комнате за то, что я попросил его возвратить занятые у меня деньги. Срок уплаты долга наступил еще на пасху.   
 - Ну, это мне все равно, - сказал Фрон де Беф, - для меня интереснее узнать, когда я получу свое серебро. Когда ты мне доставишь шекели, Исаак?   
 - Пусть дочь моя Ревекка поедет в Йорк, - отвечал Исаак, - под охраной ваших служителей, благородный рыцарь, и так скоро, как только всаднику возможно воротиться оттуда обратно, деньги будут доставлены сюда, и вы сможете взвесить и смерить их вот тут, на полу.   
 - Твоя дочь? - молвил Фрон де Беф, как будто с удивлением. - Клянусь, Исаак, жаль, что я этого не знал. Я думал, что эта чернобровая девушка - твоя наложница, и по обычаю древних патриархов, подавших нам такой пример, приставил ее служанкой к сэру Бриану де Буагильберу.   
 Вопль, вырвавшийся из груди Исаака при этих словах рыцаря, отозвался во всех углах свода и так изумил обоих сарацин, что они невольно выпустили из рук несчастного еврея. Он воспользовался этим, бросился на пол и обхватил колени Реджинальда Фрон де Бефа.   
 - Сэр рыцарь, - сказал он, - бери все, что потребовал, бери вдесятеро больше, разори меня, доведи до нищеты. Нет! Порази меня своим кинжалом, изжарь на этом огне, но только пощади дочь мою, отпусти ее с честью, без обиды. Заклинаю тебя тою женщиной, от которой ты рожден, пощади честь беззащитной девушки! Она живой портрет моей умершей Рахили, последний оставшийся мне залог ее любви, а их было у меня шестеро! Не лишай одинокого вдовца его единственной отрады. Неужели ты хочешь, чтобы родной отец пожалел, что единственная дочь его не лежит рядом с матерью в склепе наших предков?   
 - Жаль, - молвил норманн, в самом деле как будто тронутый, - жаль, что я не знал об этом прежде. Я думал, что ваше племя ничего не любит, кроме своих мешков с деньгами.   
 - Не думай о нас так низко, хоть мы и евреи, - сказал Исаак, спеша воспользоваться минутой кажущегося сочувствия. - Ведь и загнанная лисица и замученная дикая кошка любят своих детенышей, так же и притесненные, презираемые потомки Авраамовы любят детей своих.   
 - Положим, что и так, - сказал Фрон де Беф, - вперед я буду знать это, Исаак, ради тебя. Но теперь уже поздно. Я не могу изменить того, что случилось или должно случиться. Я уже дал слово своему товарищу по оружию, а слову своему я не изменю и для десяти евреев с десятью еврейками в придачу. К тому же почему ты думаешь, что с девушкой приключится беда, если она достанется Буагильберу?   
 - Неминуемо приключится! - воскликнул Исаак, ломая себе руки в смертельной тоске. - Чего же иного ждать от храмовника, как не жестокости к мужчинам и бесчестья для женщин?   
 - Нечестивый пес, - сказал Фрон де Беф, сверкнув глазами и, быть может, радуясь найти предлог для гнева, - не смей поносить священный орден рыцарей Сионского Храма! Придумывай способ уплатить мне обещанный выкуп, не то я сумею заткнуть твою глотку!   
 - Разбойник, негодяй! - вскричал еврей, невзирая на свою полную беспомощность, будучи не в силах удержать страстного порыва. - Ничего тебе не дам! Ни одного серебряного пенни не увидишь от меня, пока не возвратишь мне дочь честно и без обиды!   
 - В уме ли ты, еврей? - сурово сказал норманн. - Или твоя плоть и кровь заколдованы против каленого железа и кипящего масла?   
 - Мне все равно! - воскликнул Исаак, доведенный до отчаяния поруганным чувством родительской любви. - Делай со мной что хочешь. Моя дочь - поистине кровь и плоть моя, она мне в тысячу раз дороже моего тела, которое ты угрожаешь истерзать. Не видать тебе моего серебра! Ни одной серебряной монетки не дам тебе, назарянин, хотя бы от этого зависело спасение твоей окаянной души, осужденной на гибель за преступления. Бери мою жизнь, коли хочешь, а потом рассказывай, как еврей, невзирая ни на какие пытки, сумел досадить христианину.   
 - А вот посмотрим, - сказал Фрон де Беф. - Клянусь благословенным крестом, которого гнушается твое проклятое племя, ты у меня отведаешь и огня и острой стали. Раздевайте его, рабы, и привяжите цепями к решетке.   
 Несмотря на слабое сопротивление старика, сарацины сдернули с него верхнее платье и только что собрались совсем раздеть его, как вдруг раздались звуки трубы, которые трижды повторились так громко, что проникли даже в глубины подземелья. В ту же минуту послышались голоса, призывавшие сэра Реджинальда Фрон де Бефа. Не желая, чтобы его застали за таким бесовским занятием, свирепый барон дал знак невольникам снова одеть еврея и вместе с прислужниками ушел из темницы, предоставив Исааку или благодарить бога за свое спасение, или же оплакивать судьбу своей дочери, в зависимости от того, чья участь его больше тревожила - своя ли собственная или дочерняя.

**Глава XXIII**

Но если трогательность нежных слов   
 Не может вас ко мне расположить,   
 Тогда - как воин, а не как влюбленный -   
 Любить меня вас я заставлю силой.   
 "Два веронца"   
  
 Комната, в которую привели леди Ровену, была убрана с некоторой претензией на роскошь; помещая ее здесь, желали, по-видимому, выказать ей особое уважение по сравнению с остальными пленниками. Но жена барона Фрон де Бефа, жившая в этой комнате, умерла очень давно, и немногие украшения, сделанные по ее вкусу, успели обветшать. Обивка стен местами порвалась и висела клочьями, кое-где она поблекла от солнца и истлела от времени. Но как ни заброшена была эта комната, она была единственной, которую нашли подходящей для саксонской наследницы.   
 Тут и оставили ее размышлять о своей судьбе, пока актеры, игравшие в этой зловещей драме, готовились к исполнению своих ролей. Эти роли были распределены на совещании, происходившем между Реджинальдом Фрон де Бефом, де Браси и храмовником. Они долго и горячо спорили о тех выгодах, которые каждый из них хотел извлечь для себя из этого дерзкого набега, и наконец решили участь своих несчастных пленников.   
 Около полудня де Браси, ради которого и был затеян набег, явился выполнять задуманное намерение, то есть добиваться руки и приданого леди Ровены.   
 Было видно, что он не все время потратил на совещание со своими союзниками, так как успел нарядиться по последней моде того времени. Зеленый кафтан и маска были отложены в сторону. Длинные, густые волосы его обильными локонами ниспадали на богатый плащ, обшитый мехом. Бороду де Браси сбрил начисто. "Камзол его спускался ниже колен, а пояс с прицепленной к нему тяжелой саблей был вышит золотом и застегнут золотой пряжкой. Мы уже имели случай упоминать о нелепой модной обуви того времени, а носки башмаков Мориса де Браси, загнутые вверх и скрученные наподобие бараньих рогов, могли бы взять первый приз на состязании в нелепости костюма. Таков был изысканный наряд тогдашнего щеголя. Впечатление усиливалось красивой наружностью рыцаря, осанка и манеры которого представляли смесь придворной любезности с военной развязностью.   
 Он приветствовал Ровену, сняв перед ней свой бархатный берет, украшенный золотым аграфом с изображением архангела Михаила, поражающего дьявола. В то время он грациозным движением руки пригласил ее сесть. Так как леди Ровена продолжала стоять, рыцарь снял перчатку с правой руки, намереваясь подвести ее к креслу. Но леди Ровена жестом отклонила эту любезность и сказала:   
 - Если я нахожусь в присутствии моего тюремщика, сэр рыцарь, - а обстоятельства таковы, что я не могу думать иначе, - то узнице приличнее стоя выслушать свой приговор.   
 - Увы, прелестная Ровена, - отвечал де Браси, - вы находитесь в присутствии пленника ваших прекрасных глаз, а не тюремщика. Это де Браси должен получить приговор.   
 - Я не знаю вас, сэр, - заявила она, выпрямляясь с гордым видом оскорбленной знатной красавицы, - я не знаю вас, а дерзкая фамильярность, с которой вы обращаетесь ко мне на жаргоне трубадура, не оправдывает разбойничьего насилия.   
 - Твои прелести, - продолжал де Браси в том же тоне, - побудили меня совершить поступки, недостаточно почтительные по отношению к той, кого я избрал царицей моего сердца и путеводною звездой моих очей.   
 - Повторяю вам, сэр рыцарь, что я не знаю вас, и напоминаю вам, что ни один мужчина, носящий рыцарскую цепь и шпоры, не должен позволять себе навязывать свое общество беззащитной даме.   
 - Что я вам незнаком, в том действительно заключается мое несчастье, - сказал де Браси, - однако позвольте надеяться, что имя де Браси небезызвестно, оно звучит иногда в песнях и речах менестрелей и герольдов, восхваляющих рыцарские подвиги на турнирах или на поле битв.   
 - Так и предоставь менестрелям и герольдам восхвалять тебя, сэр рыцарь, - сказала Ровена. - Им это приличнее, чем тебе самому. Скажи мне, кто из них увековечит в песне или в записях турниров достопамятный подвиг нынешней ночи - победу, одержанную над стариком и горстью робких слуг, а также и добычу, доставшуюся победителю, - несчастную девушку, против воли увезенную в разбойничий замок?   
 - Вы несправедливы, леди Ровена, - сказал рыцарь, смутившись и принимая свой обычный тон, - вы сами бесстрастны и потому не находите оправдания пылкой страсти другого человека, хотя бы она была вызвана вашей красотой.   
 - Прошу вас, сэр, - сказала Ровена, - прекратить эти речи! Они приличны странствующим менестрелям, но вовсе не подходят рыцарям и дворянам... Я в самом деле принуждена сесть, потому что вы, по-видимому, никогда не кончите произносить такие пошлости, каких и у всякого уличного певца хватит до самого рождества.   
 - Гордая девица, - с досадой сказал де Браси, - видя, что на все его изысканные любезности она отвечает пренебрежением, - гордая девица, я тебе докажу, что и моя гордость не меньше твоей. Знай же, что я заявил претензии на твою руку тем способом, какой наиболее соответствует твоему нраву. При твоем характере тебя легче покорить с оружием в руках, чем светскими обычаями и учтивыми речами.   
 - Когда учтивые слова прикрывают грубые поступки, - сказала Ровена, - они похожи на рыцарский пояс на подлом рабе. Я не удивлюсь, что сдержанность так трудна для вас. Вам было бы лучше сохранить одежду и речь разбойника, чем скрывать воровские дела под личиной деликатных манер и любезных фраз.   
 - Твой совет хорош, - сказал норманн, - и на том смелом языке, который оправдывает смелое дело, я скажу тебе: или ты вовсе не выйдешь из этого замка, или выйдешь супругой Мориса де Браси. Я не привык к неудачам в своих предприятиях, а для норманского дворянина нет надобности оправдываться перед саксонской девицей, которой он делает честь, предлагая ей свою руку. Ты горда, Ровена, но тем более ты годишься мне в жены. И каким иным способом можешь ты достигнуть высших почестей, как не союзом со мною? Как иначе избавишься ты от жизни в жалком деревенском сарае, где саксы спят вповалку со своими свиньями, составляющими все их богатство? Как займешь иначе подобащее тебе почетное положение среди того общества, в котором собралось все, что есть в Англии могущественного и прекрасного?   
 - Сэр рыцарь, - отвечал Ровена, - тот сарай, о котором вы упомянули с таким презрением, с младенчества служил мне надежным приютом. Поверьте, что если я когда-нибудь его покину, то не иначе, как с таким человеком, который не станет презрительно отзываться о жилище, где я выросла и воспитывалась.   
 - Я угадываю вашу мысль, леди, - сказал де Браси, - хотя вы, может быть, думаете, что выразились слишком неясно для моего понимания. Но не воображайте, что Ричард Львиное Сердце когда-либо займет свой трон. Еще менее того вероятно, чтобы его любимчик Уилфред Айвенго подвел вас к его трону и представил ему вас как свою супругу. Другой претендент на вашу руку, возможно, испытывал бы чувство ревности, но на мое решение не может повлиять мысль об этой ребяческой и безнадежной страсти. Знайте, леди, что этот соперник находится в моей власти. От меня зависит выдать тайну его пребывания в этом замке Реджинальду Фрон де Бефу, а если барон узнает об этом, его ревность будет иметь худшие последствия, чем моя.   
 - Уилфред здесь? - молвила Ровена презрительно. - Это так же справедливо, как то, что Фрон де Беф - его соперник.   
 Де Браси с минуту пристально смотрел на нее.   
 - Ты в самом деле не знала об этом? - спросил он. - Разве ты не знала, что в носилках Исаака везли Уилфреда Айвенго? Нечего сказать, приличный способ передвижения для крестоносца, взявшегося завоевать своею доблестной рукой святой гроб! - И он презрительно рассмеялся.   
 - Да если бы он и был здесь, - сказала Ровена, принуждая себя говорить равнодушно, хотя вся дрожала от охвативших ее мучительных опасений, - в чем же он может быть соперником барону Фрон де Бефу? Чего ему бояться, помимо кратковременного заключения в этом замке, а потом приличного выкупа, как водится между рыцарями?   
 - Неужели же и ты, Ровена, - сказал де Браси, - подобно всем женщинам, думаешь, что на свете не бывает иного соперничества, кроме как из-за ваших прелестей? Неужели ты не знаешь, что честолюбие и корысть порождают не меньшую ревность, чем любовь? Наш хозяин Фрон де Беф будет отстаивать свои права на богатое баронское поместье Айвенго с таким же рвением, как если бы дело шло о любви какой-нибудь голубоглазой девицы. Но взгляни благосклонно на мое сватовство, и раненому рыцарю нечего будет опасаться Реджинальда Фрон де Бефа, или тебе придется его оплакивать, потому что он в руках человека, никогда не ведавшего жалости.   
 - Спаси его, ради господа бога! - молвила Ровена, теряя всю свою твердость и холодея от ужаса при мысли об опасности, угрожающей ее возлюбленному.   
 - Это я могу сделать и сделаю, - сказал де Браси. - Когда Ровена согласится стать женою де Браси, кто же осмелится подвергнуть насилию ее родственника, сына ее опекуна, товарища ее детства? Но только твоя любовь может купить ему мое покровительство. Я не такой глупец, чтобы спасать жизнь или устраивать судьбу человека, который может стать моим счастливым соперником. Употреби свое влияние на меня в его пользу, и он будет спасен. Но если ты не захочешь так поступить, Уилфред умрет, а ты от этого не станешь свободнее.   
 - В холодной откровенности твоих речей, - сказала Ровена, - есть что-то, что не вяжется с их ужасным смыслом. Я не верю, чтобы твои намерения были так жестоки или твое могущество было так велико.   
 - Ну, льсти себя такой надеждой, пока не убедишься в противном, - сказал де Браси. - Твой возлюбленный лежит раненый в стенах этого замка. Он может оказаться помехой для Фрон де Бефа в притязаниях на то, что для Фрон де Бефа дороже чести и красоты. Что ему стоит одним ударом кинжала или дротика прикончить соперника? И даже если бы Фрон де Беф не решился на такое дело, стоит лекарю ошибиться лекарством или служителю выдернуть подушку из-под головы больного, и дело обойдется без кровопролития. Уилфред теперь в таком положении, что и от этого может умереть. Седрик тоже.   
 - И Седрик тоже... - повторила Ровена. - Мой благородный, мой великодушный опекун! Я заслужила постигшее меня несчастье, если могла позабыть о судьбе Седрика, думая о его сыне!   
 - Судьба Седрика также зависит от твоего решения, - сказал де Браси, - советую тебе хорошенько подумать об этом.   
 До сих пор Ровена выдерживала свою роль с непоколебимой стойкостью, потому что не считала опасность ни серьезной, ни неминуемой. От природы она была кротка и застенчива, что физиономисты считают неразлучным с белизною кожи и светло-русыми волосами. Однако благодаря условиям воспитания характер ее изменился Она привыкла к тому, что все, даже Седрик (державший себя довольно деспотично по отношению к другим), преклонялись перед ее волей, и приобрела тот сорт мужества и самоуверенности, который развивается от постоянного почтения и внимательности со стороны всех окружающих. Она не представляла себе, как можно противиться ее воле или не исполнять ее просьб и желаний.   
 Но под ее величавой самоуверенностью скрывалась мягкая и нежная душа. Поэтому, когда леди Ровену постигла беда, угрожавшая ей самой, ее возлюбленному и ее опекуну, когда ее воля столкнулась с волей сильного, решительного и бесчестного человека, притом имеющего власть над ней и решившегося воспользоваться своим могуществом, она упала духом и растерялась.   
 Она обвела глазами вокруг себя, как бы ища помощи, издала несколько прерывистых восклицаний, потом подняла сжатые руки к небу и разразилась горькими слезами. Нельзя было видеть горе этого прелестного создания и не тронуться таким зрелищем. Де Браси был тронут, хотя ощущал гораздо больше смущения, чем сочувствия. Он зашел так далеко, что отступать было уже поздно; однако ж Ровена была в таком состоянии, что ни уговорами, ни угрозами нельзя было на нее подействовать. Он ходил взад и вперед по комнате, тщетно стараясь успокоить перепуганную девушку и раздумывая, что же ему теперь делать.   
 "Если, - думал он, - я позволю себе растрогаться слезами этой девицы, как я возмещу себе утрату всех блестящих надежд, ради которых я пошел на такой риск? Вдобавок, будут смеяться принц Джон и его веселые приспешники. Но я чувствую, что не гожусь для взятой на себя роли. Не могу равнодушно смотреть на это прелестное лицо, искаженное страданием, на чудесные глаза, утопающие в слезах. Уж лучше бы она продолжала держаться все так же высокомерно, или я имел бы побольше той выдержки и жестокости, что у барона Фрон де Бефа".   
 Волнуемый этими мыслями, он только пытался утешить Ровену уверениями, что пока еще нет никаких оснований для такого отчаяния. Но эти речи внезапно были прерваны громкими звуками охотничьего рога, в ту же минуту встревожившими и других обитателей замка, помешав им выполнить их различные корыстные или распутные планы. Де Браси пришлось покинуть красавицу и поспешить в общий зал. Впрочем, он едва ли сожалел об этом, так как его беседа с леди Ровеной приняла такой оборот, что ему было одинаково трудно как продолжать настаивать на своем, так и отказаться от своих намерений.   
 Здесь мы считаем не лишним оговориться и привести доводы более серьезные, нежели сцепление чисто романических событий, в подтверждение того, что представленное нами печальное состояние нравов того времени нимало не преувеличено нами. Прискорбно думать, что храбрые бароны, боровшиеся из-за английских вольностей с представителями коронной власти, те самые бароны, которым мы обязаны существованием этих вольностей, были сами по себе жесточайшими притеснителями и запятнали себя такими крайностями деспотизма, которые были противны не только английским законам, но и велениям самой природы и простого человеколюбия. Но, увы, стоит нам привести хоть одну из многочисленных страниц труда нашего известного историка Генри, собравшего столько ценного материала из летописей тогдашнего времени, чтобы доказать, что трудно выдумать что-либо мрачнее и ужаснее того, что тогда творилось в действительности.   
 "Саксонская хроника" описывает, какие жестокости учиняли в царствование короля Стефана важные бароны и владельцы замков, которые были все сплошь норманны; это описание служит разительным доказательством того, на какие неистовства были они способны, когда разжигались их буйные страсти:   
 "Они жестоко угнетали бедняков, заставляя строить себе замки; а когда замки были готовы, они наполняли их порочными людьми, скорее дьяволами, которые хватали без разбора мужчин и женщин, в случае если подозревали, что у них есть деньги, ввергали в темницы и подвергали мучениям более лютым, чем те, которые претерпевали святые мученики. Одних они душили, забивая им рот грязью, других вешали за ноги, или за голову, или за большие пальцы, а под ними разводили огонь. Иным обвязывали головы веревками с узлами и затягивали узлы, пока не лопались черепа; других бросали в подземелья, кишевшие змеями и жабами..."   
 Но мы не будем терзать читателя дальнейшими описаниями этих страшных дел.   
 Другим, пожалуй наиболее сильным, примером того, каковы были горькие плоды завоевания, является следующий исторический факт. Принцесса Матильда, дочь шотландского короля, а впоследствии английская королева, племянница Эдгара Этлинга и мать императрицы германской, следовательно - дочь, супруга и мать коронованных особ, воспитываясь в Англии, принуждена была в ранней молодости постричься в монахини, так как это было для нее единственным средством спастись от распутных преследований норманских дворян. Таково было единственное объяснение, данное ею этому поступку на великом собрании английского духовенства, когда она призвана была заявить, по какой причине приняла монашеский сан. Духовенство признало правильность этой меры, а также и настоятельность причин, ее вызвавших, дав, таким образом, несомненное и убедительное подтверждение того, что в то время существовала столь значительная распущенность нравов. Духовенство так и выразилось в своем постановлении: всем известно, что после завоевания Англии королем Вильгельмом его норманские витязи, возгордившись столь великою победой, не признавали никаких законов, исключая своей злой воли, и не только отняли у завоеванных саксов все их земельные угодья и имущество, но посягали на честь их жен и дочерей с самой необузданной наглостью; а потому в то время и вошло в обычай, что женщины и девицы благородных фамилий постригались в монахини, ища защиты в стенах монастырских не по призванию, но единственно ради спасения своей чести от необузданного распутства мужчин.   
 Таковы были развращенность и падение тогдашних нравов, по единодушному свидетельству собравшегося духовенства, как рассказывает летописец Идмер. Считаем излишним приводить дальнейшие доказательства правдоподобности описанных сцен, а также и тех, которые встретятся дальше, хотя мы приняли за основание своего рассказа только те факты, которые передает нам менее достоверная саксонская рукопись.

**Глава XXIV**

Как лев, я покорю свою невесту.   
 Дуглас   
  
 Пока описанные нами сцены происходили в различных частях замка, еврейка Ревекка ожидала решения своей участи, запертая в дальней уединенной башне. Сюда привели ее двое замаскированных слуг и втолкнули в маленькую комнату, где она очутилась лицом к лицу со старой колдуньей, которая, сидя за пряжей, мурлыкала себе под нос саксонскую песню в такт своему веретену, танцевавшему по полу. При входе Ревекки старуха подняла голову и уставилась на красивую еврейку с той злобной завистью, с какой старость и безобразие, сочетающиеся с болезненным состоянием, взирают на юность и красоту.   
 - Убирайся прочь отсюда, старый сверчок! - сказал один из спутников Ревекки. - Так приказал наш благородный хозяин. Освободи эту комнату для красотки.   
 - Да, - проворчала старуха, - вот как нынче награждают за службу. Было время, когда одного моего слова было достаточно, чтобы лучшего из воинов ссадить с седла и прогнать со службы. А теперь мне приходится убираться по приказу такого, как ты, первого попавшегося слуги!   
 - Нечего разговаривать, Урфрида, - сказал другой, - уходи, вот и все. Приказы господина надо исполнять быстро. Были и у тебя светлые деньки, а теперь твое солнце закатилось. Ты теперь все равно что старая боевая лошадь, пущенная пастись на голый вереск. Хорошо скакала ты когда-то, а нынче хоть рысцой труси, а и то ладно. Ну-ну, пошевеливайся!   
 - Да преследуют вас всегда дурные предзнаменования! Оба вы нечестивые собаки, - сказала старуха, - и схоронят вас на псарне. Пусть демон Зернобок разорвет меня на куски, если я уйду из своей собственной комнаты, прежде чем допряду эту пряжу!   
 - Сама скажи об этом хозяину, старая ведьма, - отвечал слуга и ушел вместе со своим товарищем, оставив Ревекку наедине со старухой, которой поневоле навязали ее общество.   
 - Какие еще бесовские дела они затеяли? - говорила старуха, бормоча себе под нос и злыми глазами поглядывая искоса на Ревекку. - Догадаться нетрудно: красивые глазки, черные кудри, кожа - как белая бумага, пока монах не наследил по ней своим черным снадобьем... Да, легко угадать, зачем ее привели в эту одинокую башню: отсюда не услышишь никакого крика, все равно как из-под земли. Тут по соседству с тобой живут одни совы, моя красавица. На твои крики обратят внимания не больше, чем на их. Чужестранка, кажется, - продолжала она, взглянув на костюм Ревекки. - Из какой страны? Сарацинка или египтянка? Что же ты не отвечаешь? Коли умеешь плакать, небось умеешь и говорить.   
 - Не сердись, матушка, - сказала Ревекка.   
 - Э, больше и спрашивать нечего, - молвила Урфрида. - Лисицу узнают по хвосту, а еврейку - по говору.   
 - Сделай великую милость, - сказала Ревекка, - скажи, чего мне еще ждать? Меня притащили сюда насильно - может быть, они собираются убить меня за то, что я исповедую еврейскую веру? Коли так, я с радость отдам за нее свою жизнь.   
 - Твою жизнь, милашка! - отвечала старуха. - Что же им за радость лишать тебя жизни? Нет, поверь моему слову, твоей жизни не угрожает опасность. А поступят с тобой, так как поступили когда-то с родовитой саксонской девицей. Неужели же для еврейки будет зазорно то, что считалось хорошим для саксонки? Посмотри на меня: и я была молода и еще вдвое краше тебя, когда Фрон де Беф, отец нынешнего, Реджинальда, со своими норманнами взял приступом этот замок. Мой отец и его семь сыновей упорно бились, шаг за шагом защищая свое жилище. Не было ни одной комнаты, ни одной ступени на лестницах, где бы не стало скользко от пролитой ими крови. Они пали, умерли все до единого, и не успели тела их остыть, не успела высохнуть их кровь, как я стала презренной жертвой их победителя.   
 - Нельзя ли как-нибудь спастись? Разве нет способов бежать отсюда? - сказала Ревекка. - Я бы щедро - о, как щедро! - заплатила тебе за помощь!   
 - И не думай, - сказала старуха. - Есть только один способ уйти отсюда - через ворота смерти; а смерть долго-долго не открывает их, - прибавила она, качая седой головой. - Но хоть то утешительно, что после нашей смерти другие будут так же несчастны, как были мы. Ну, прощай, еврейка! Что еврейка, что язычница - все равно! Тебя постигнет та же участь, потому что ты попала во власть людей, которые не ведают ни жалости, ни совести. Прощай! Моя пряжа спрядена, а твоя еще только начинается.   
 - Постой, погоди, ради бога! - взмолилась Ревекка. - Останься здесь! Брани меня, ругай, только не уходи! Твое присутствие все-таки будет мне некоторой защитой!   
 - Присутствие самой матери божьей не защитит тебя, - отвечала старуха, указывая на стоявшее в углу изображение девы Марии. - Вот она стоит, посмотри; узнаешь, спасет ли она тебя от твоей судьбы.   
 С этими словами она ушла, злорадно усмехаясь, что делало ее еще более безобразной, чем в минуты обычной для нее мрачности. Она заперла за собой дверь, и Ревекка еще долго слышала, как она бранилась, с трудом спускаясь по крутой лестнице, проклиная каждую ступеньку.   
 Ревекке угрожала гораздо более ужасная участь, чем леди Ровене. Если саксонская наследница могла рассчитывать на некоторую вежливость в обращении, то еврейке не на что было надеяться, кроме крайней грубости. Зато на ее стороне были прирожденная сила воли, острый ум и, кроме того, ей уже приходилось бороться с опасностями. С раннего детства она отличалась твердой волей, наблюдательностью и острым умом. Роскошь, которой окружал ее отец и которую она видела в домах других богатых евреев, не мешала ей ясно понимать, как ненадежны были условия, в которых они жили. Подобно Дамоклу на знаменитом пиру, Ревекка непрестанно видела среди всей этой пышности меч, висевший на волоске над головами ее соплеменников. Такие размышления постепенно привели ее к трезвому взгляду на жизнь и смягчили ее характер, который при иных условиях мог бы сделаться надменным и упрямым.   
 Пример и наставления отца приучили Ревекку к ровному и учтивому обхождению со всеми. Правда, Ревекка была не в силах подражать его угодливости и низкопоклонству, потому что трусость была чужда ее душе. Она держала себя с горделивой скромностью, как бы подчиняясь неблагоприятным обстоятельствам, в которые ставила ее принадлежность к презираемому племени, но в то же время она сознавала себя достойной более высокого положения, чем то, на которое позволял ей надеяться деспотический гнет религиозных предрассудков.   
 Подготовленная таким образом ко всяким неожиданным бедствиям, она не растерялась и в данном случае. Настоящее ее положение требовало большого присутствия духа, и она взяла себя в руки.   
 Прежде всего она тщательно осмотрела комнату и поняла, что надеяться на спасение бегством было нечего. Комната не имела никаких тайных дверей и, находясь в уединенной башне с толстыми наружными стенами, по-видимому, не сообщалась с другими помещениями замка. Изнутри дверь не запиралась ни на ключ, ни на задвижку. Единственное окно отворялось на огороженную зубцами верхнюю площадку, что в первую минуту подало Ревекке надежду на возможность бежать отсюда; но она тотчас убедилась, что оттуда не было хода ни в какие другие здания. Эта площадка представляла собою нечто вроде балкона, защищенного парапетом с амбразурами, где можно было поставить несколько стрелков для защиты башни и боковой обороны.   
 Таким образом, Ревекке оставалось только запастись терпением и всю надежду возложить на бога, к чему обычно прибегают выдающиеся и благородные души. Ревекка научилась ошибочно толковать священное писание и превратно понимала обещания, данные богом избранному народу израильскому; но она не ошибалась, считая настоящий период часом их испытания и твердо веря в то, что настанет день, когда чада Сиона будут призваны разделять блага, дарованные другим народам. Все, что творилось вокруг нее, показывало, что их настоящее положение было этим временем кары и всяческих гонений, и главнейшею их обязанностью она считала безграничное терпение и безропотное перенесение всяких зол. И на себя она смотрела как на жертву, заранее обреченную на бедствия, и с ранних лет приучала свой ум к встрече с опасностями, которым, вероятно, суждено ей подвергнуться.   
 Узница вздрогнула и побледнела, когда на лестнице послышались шаги. Дверь тихо растворилась, и мужчина высокого роста, одетый так же, как все бандиты, бывшие причиной ее несчастья, медленной поступью вошел в комнату и закрыл за собой дверь. Надвинутая на лоб шляпа скрывала верхнюю часть его лица. Закутавшись в плащ так, что он прикрывал нижнюю часть лица, он молча стоял перед испуганной Ревеккой. Казалось, он сам стыдился того, что намерен был сделать, и не находил слов, чтобы объяснить цель своего прихода. Наконец Ревекка, сделав над собой усилие, сама решилась начать разговор. Она протянула разбойнику два драгоценных браслета и ожерелье, которые сняла с себя еще раньше, предполагая, что, удовлетворив его корыстолюбие, она может задобрить его.   
 - Вот возьми, друг мой, - сказала она, - и, ради бога, смилуйся надо мной и моим престарелым отцом! Это ценные вещи, но они ничто в сравнении с тем, что отец даст тебе, если ты отпустишь нас из этого замка без обиды.   
 - Прекрасный цветок Палестины, - отвечал разбойник, - эти восточные перлы уступают белизне твоих зубов. Эти бриллианты сверкают, но им не сравниться с твоими глазами, а с тех пор, как я принялся за свое вольное ремесло, я дал обет всегда ценить красоту выше богатства.   
 - Не бери на душу такого греха, - сказала Ревекка, - возьми выкуп и будь милосерд! Золото тебе доставит всякие радости, а обидев нас, ты будешь испытывать муки совести. Мой отец охотно даст тебе все, что ты попросишь. И если ты сумеешь распорядиться своим богатством, с помощью денег ты снова займешь место среди честных людей, сможешь добиться прощения за все прежние провинности и будешь избавлен от необходимости грешить снова.   
 - Хорошо сказано! - молвил разбойник по-французски, очевидно затрудняясь поддерживать разговор, начатый Ревеккой по-саксонски. - Но знай, светлая лилия, что твой отец находится в руках искуснейшего алхимика. Этот алхимик сумеет обратить в серебро и золото даже ржавую решетку тюремной печи. Почтенного Исаака выпарят в таком перегонном кубе, который извлечет все, что есть у него ценного, и без моих просьб или твоих молений. Твой же выкуп должен быть выплачен красотой и любовью. Иной платы я не признаю.   
 - Ты не разбойник, - сказала Ревекка также пофранцузски: - ни один разбойник не отказался бы от такого предложения. Ни один разбойник в здешней стране не умеет говорить на твоем языке. Ты не разбойник, а просто норманн, быть может благородного происхождения. О, будь же благороден на деле и сбрось эту страшную маску жестокости и насилия!   
 - Ты так хорошо умеешь угадывать, - сказал Бриан де Буагильбер, отнимая плащ от лица, - ты не простая дочь Израиля. Я назвал бы тебя Эндорской волшебницей, если бы ты не была так молода и прекрасна. Да, я не разбойник, прелестная Роза Сарона. Я человек, который скорее способен увешать твои руки и шею жемчугами и бриллиантами, чем лишить тебя этих украшений.   
 - Так чего ж тебе надо от меня, - сказала Ревекка, - если не богатства? Между нами не может быть ничего общего: ты христианин, я еврейка. Наш союз был бы одинаково беззаконен в глазах вашей церкви и нашей синагоги.   
 - Совершенно справедливо, - отвечал храмовник рассмеявшись. - Жениться на еврейке! Despardieux! [17] О нет, хотя бы она была царицей Савской! К тому же да будет тебе известно, прекрасная дочь Сиона, что если бы христианнейший из королей предложил мне руку своей христианнешей дочери и отдал бы Лангедок в приданое, я и туда не мог бы на ней жениться. Мои обеты не позволяют мне любить ни одной девушки иначе, как par amours, - так я хочу любить и тебя. Я рыцарь Храма. Посмотри, вот и крест моего священного ордена.   
 - И ты дерзаешь призывать его в свидетели в такую минуту! - воскликнула Ревекка.   
 - Если я это делаю, - сказал храмовник, - тебе-то какое дело? Ведь ты не веришь в этот благословенный символ нашего спасения.   
 - Я верю тому, чему меня учили, - возразила Ревекка, - и да простит мне бог, если моя вера ошибочна. Но какова же ваша вера, сэр рыцарь, если вы ссылаетесь на свою величайшую святыню, когда собираетесь нарушить наиболее торжественный из ваших обетов.   
 - Ты проповедуешь очень красноречиво, о дочь Сираха! - сказал храмовник. - Но, мой прекрасный богослов, твои еврейские предрассудки делают тебя слепой к нашим высоким привилегиям. Брак был бы серьезным преступлением для рыцаря Храма, но за мелкие грешки я мигом могу получить отпущение в ближайшей исповедальне нашего ордена. Мудрейший из ваших царей и даже отец его, пример которого должен же иметь в твоих глазах некоторую силу, пользовались в этом отношении более широкими привилегиями, нежели мы, бедные воины Сионского Храма, стяжавшие себе такие права тем, что так усердно защищаем его. Защитники Соломонова храма могут позволять себе утехи, воспетые вашим мудрейшим царем Соломоном.   
 - Если ты только затем читаешь библию и жизнеописания праведников, - сказала еврейка, - чтобы находить в них оправдание своему распутству и беззаконию, то повинен в таком же преступлении, как тот, кто извлекает яд из самых здоровых и полезных трав.   
 Глаза храмовника сверкнули гневом, когда он выслушал этот упрек.   
 - Слушай, Ревекка, - сказал он, - до сих пор я с тобой обращался мягко. Теперь я буду говорить как победитель. Я завоевал тебя моим луком и копьем, и, по законам всех стран и народов, ты обязана мне повиноваться. Я не намерен уступить ни пяди своих прав или отказаться взять силой то, в чем ты отказываешь просьбам.   
 - Отойди, - сказала Ревекка, - отойди и выслушай меня, прежде чем решишься на такой смертный грех. Конечно, ты можешь меня одолеть, потому что бог сотворил женщину слабой, поручив ее покровительству мужчины. Но я сделаю твою низость, храмовник, известной всей Европе. Суеверие твоих собратий сделает для меня то, чего я не добилась бы от их сострадания. Каждой прецептории, каждому капитулу твоего ордена будет известно, что ты, как еретик, согрешил с еврейкой. И те, которые не содрогнутся от твоего преступления, все-таки обвинят тебя за то, что ты обесчестил носимый тобой крест, связавшись с дочерью моего племени.   
 - Как ты умна, Ревекка! - воскликнул храмовник, отлично сознавая, что она говорит правду: в уставе его ордена действительно существовали правила, запрещавшие под угрозой суровых наказаний интриги вроде той, какую он затеял. И бывали даже случаи, когда за это изгоняли рыцарей из ордена, покрывая их позором. - Ты очень умна, но громко же придется тебе кричать, если хочешь, чтобы твой голос был услышан за пределами этого замка. А в его стенах ты можешь плакать, стенать, звать на помощь сколько хочешь, и все равно никто не услышит. Только одно может спасти тебя, Ревекка: подчинись своей судьбе и прими нашу веру. Тогда ты займешь такое положение, что многие норманские дамы позавидуют блеску и красоте возлюбленной лучшего из храбрых защитников святого Храма.   
 - Подчиниться моей участи! - сказала Ревекка. - Принять твою веру! Да что ж это за вера, если она покровительствует такому негодяю? Как! Ты лучший воин среди храмовников? Ты подлый рыцарь, монахклятвопреступник и трус! Презираю тебя, гнушаюсь тобою! Бог Авраама открыл средство к спасению своей дочери даже из этой пучины позора!   
 С этими словами она распахнула решетчатое окно, выходившее на верхнюю площадку башни, вспрыгнула на парапет и остановилась на самом краю, над бездной. Не ожидая такого отчаянного поступка, ибо до этой минуты Ревекка стояла неподвижно, Буагильбер не успел ни задержать, ни остановить ее. Он попытался броситься к ней, но она воскликнула:   
 - Оставайся на месте, гордый рыцарь, или подойди, если хочешь! Но один шаг вперед - и я брошусь вниз. Мое тело разобьется о камни этого двора, прежде чем я стану жертвой твоих грубых страстей.   
 Говоря это, она подняла к небу свои сжатые руки, словно молилась о помиловании души своей перед роковым прыжком. Храмовник заколебался. Его решительность, никогда не отступавшая ни перед чьей скорбью и не ведавшая жалости, сменилась восхищением перед ее твердостью.   
 - Сойди, - сказал он, - сойди вниз, безумная девушка. Клянусь землей, морем и небесами, я не нанесу тебе никакой обиды!   
 - Я тебе не верю, храмовник, - сказала Ревекка, - ты научил меня ценить по достоинству добродетели твоего ордена. В ближайшей исповедальне тебе могут отпустить и это клятвопреступление - ведь оно касается чести только презренной еврейской девушки.   
 - Ты несправедлива ко мне! - воскликнул храмовник с горячностью. - Клянусь тебе именем, которое ношу, крестом на груди, мечом, дворянским гербом моих предков! Клянусь, что я не оскорблю тебя! Если не для себя, то хоть ради отца твоего сойди вниз. Я буду ему другом, а здесь, в этом замке, ему нужен могущественный защитник.   
 - Увы, - сказала Ревекка, - это я знаю. Но можно ли на тебя положиться?   
 - Пускай мой щит перевернут вверх ногами, пускай публично опозорят мое имя, - сказал Бриан де Буагильбер, - если я подам тебе повод на меня жаловаться. Я преступал многие законы, нарушал заповеди, но своему слову не изменял никогда.   
 - Ну хорошо, я тебе верю, - сказала Ревекка, спрыгнув с парапета и остановившись у одной из амбразур, или machicolles, как они назывались в ту пору. - Тут я и буду стоять, - продолжала она, - а ты оставайся там, где стоишь. Но если ты сделаешь хоть один шаг ко мне, ты увидишь, что еврейка скорее поручит свою душу богу, чем свою честь - храмовнику.   
 Мужество и гордая решимость Ревекки, в сочетании с выразительными чертами прекрасного лица, придали ее осанке, голосу и взгляду столько благородства, что она казалась почти неземным существом. Во взоре ее не было растерянности, и щеки не побледнели от страха перед такой ужасной и близкой смертью, напротив - сознание, что теперь она сама госпожа своей судьбы, вызвало яркий румянец на ее смуглом лице и придало блеск ее глазам. Буагильбер, человек гордый и мужественный, подумал, что никогда еще не видывал такой вдохновенной и величественной красоты.   
 - Помиримся, Ревекка, - сказал он.   
 - Помиримся, если хочешь, - отвечала она, - помиримся, но только на таком расстоянии.   
 - Тебе нечего больше бояться меня, - сказал Буагильбер.   
 - Я и не боюсь тебя, - сказала она. - По милости того, кто построил эту башню так высоко, по милости его и бога Израилева я тебя не боюсь.   
 - Ты несправедлива ко мне, - сказал храмовник. - Клянусь землей, морем и небесами, ты ко мне несправедлива! Я от природы совсем не таков, каким ты меня видишь - жестоким, себялюбивым, беспощадным. Женщина научила меня жестокосердию, а потому я и мстил всегда женщинам, но не таким, как ты. Выслушай меня, Ревекка. Ни один рыцарь не брался за боевое копье с сердцем, более преданным своей даме, чем мое. Она была дочь мелкопоместного барона. Все их достояние заключалось в полуразрушенной башне, в бесплодном винограднике да в нескольких акрах тощей земли в окрестностях Бордо. Но имя ее было известно повсюду, где оружием совершались подвиги, оно стало известнее, чем имена многих девиц, за которыми сулили в приданое целые графства. Да, - продолжал он, в волнении шагая взад и вперед по узкой площадке и как бы забыв о присутствии Ревекки, - да, мои подвиги, перенесенные мной опасности, пролитая кровь прославили имя Аделаиды де Монтемар от королевских дворов Кастилии и до Византии. А как она мне отплатила за это? Когда я воротился к ней с почестями, купленными ценой собственной крови и трудов, оказалось, что она замужем за мелким гасконским дворянином, неизвестным за пределами его жалкого поместья. А я искренне любил ее и жестоко отомстил за свою поруганную верность. Но моя месть обрушилась на меня самого. С того дня я отказался от жизни и всех ее привязанностей. Никогда я не буду знать семейного очага. В старости не будет у меня своего теплого угла. Моя могила останется одинокой, у меня не будет наследника, чтобы продолжать старинный род Буагильберов. У ног моего настоятеля я сложил все права на самостоятельность и отказался от своей независимости. Храмовник только по имени не раб, а в сущности, он живет, действует и дышит по воле и приказаниям другого лица.   
 - Увы, - сказала Ревекка, - какие же преимущества могут возместить такое полное отречение?   
 - А возможность мести, Ревекка, - возразил храмовник, - и огромный простор для честолюбивых замыслов.   
 - Плохая награда, - сказала Ревекка, - за отречение от всех благ, наиболее драгоценных для человека.   
 - Не говори этого! - воскликнул храмовник. - Нет, мщение - это пир богов. И если правда, как уверяют нас священники, что боги приберегают это право для самих себя, значит они считают это наслаждение слишком ценным, чтобы предоставлять его простым смертным. А честолюбие! Это такое искушение, которое способно тревожить человеческую душу даже среди небесного блаженства. - Он помолчал с минуту, затем продолжал: - Клянусь богом, Ревекка, та, которая предпочла смерть бесчестию, должна иметь гордую и сильную душу. Ты должна стать моей. Нет, не пугайся, - прибавил он, - я разумею моей, но добровольно, по собственному желанию. Ты должна согласиться разделить со мною надежды более широкие, чем те, что открываются с высоты царского престола. Выслушай меня, прежде чем ответишь, и подумай, прежде чем отказываться. Рыцарь Храма теряет, как ты справедливо сказала, свои общественные права и возможность самостоятельной деятельности, но зато он становится членом такой могучей корпорации, перед которой даже троны начинают трепетать. Так одна капля дождя, упавшая в море, становится составной частью того непреодолимого океана, что подтачивает скалы и поглощает королевские флоты. Такова же всеобъемлющая сила нашей грозной лиги, и я далеко не последний из членов этого мощного ордена. Я состою в нем одним из главных командоров и могу надеяться со временем получить жезл гроссмейстера. Рыцари Храма не довольствуются тем, что могут стать пятой на шею распростертого монарха. Это доступно всякому монаху, носящему веревочные туфли. Нет, наши тяжелые стопы поднимутся по ступеням тронов, и наши железные перчатки будут вырывать скипетры из рук венценосцев. Даже в царствование вашего тщетно ожидаемого мессии рассеянным коленам вашего племени не видать такого могущества, к какому стремится мое честолюбие. Я искал лишь родственную мне душу, с кем бы мог разделить свои мечты, и в тебе я обрел такую душу.   
 - И это говоришь ты женщине моего племени! - воскликнула Ревекка. - Одумайся!   
 - Не ссылайся, - прервал ее храмовник, - на различие наших верований. На тайных совещаниях нашего ордена мы смеемся над этими детскими сказками. Не думай, чтобы мы долго оставались слепы к бессмысленной глупости наших основателей, которые предписали нам отказаться от всех наслаждений жизни во имя радости принять мученичество, умирая от голода, от жажды, от чумы или от дротиков-дикарей, тщетно защищая своими телами голую пустыню, которая имеет ценность только в глазах суеверных людей. Наш орден скоро усвоил себе более смелые и широкие взгляды и нашел иное вознаграждение за все наши жертвы. Наши громадные поместья во всех королевствах Европы, наша военная слава, гремящая во всех странах и привлекающая в нашу среду цвет рыцарства всего христианского мира, - все это служит целям, которые и не снились нашим благочестивым основателям, но мы храним это в тайне от тех слабых умов, которые вступают в наш орден на основании старинного устава и пребывают в старых предрассудках, а мы используем их как слепое орудие нашей воли. Но я не стану больше разоблачать перед тобой наши тайны. Я слышу звуки трубы. Быть может, мое присутствие необходимо. Подумай о том, что я сказал тебе. Прощай! Не прошу прощения за то, что угрожал тебе насилием. Благодаря этому я узнал твою душу. Только на пробном камне узнается чистое золото. Я скоро вернусь, и мы еще поговорим.   
 Он прошел через комнату и стал спускаться по лестнице, оставив Ревекку одну. Даже перед лицом страшной смерти, которой она собиралась себя подвергнуть, не испытывала она такого ужаса, какой ощущала при виде яростного честолюбия отважного злодея, во власть которого попала. Когда она возвратилась в башенную комнату, первым ее делом было возблагодарить бога за оказанное ей покровительство, моля его и далее простереть свой покров над нею и ее отцом. Еще одно имя проскользнуло в ее молитве: то было имя раненого христианина, которого судьба предала в руки кровожадных людей, личных врагов его. Правда, совесть упрекала ее за то, что, даже обращаясь к божеству, она в набожной молитве вспоминала о человеке, с которым ей никогда не суждено было соединиться, о назареянине и враге ее веры. Но молитва была уже произнесена, и, каковы бы ни были предрассудки ее единоверцев, Ревекка не хотела от нее отказаться.

**Глава XXV**

В жизни своей не видел я таких омерзительных каракулей! Тут сам черт ногу сломит!   
 "Она уступает, чтобы победить"   
  
 Войдя в большой зал замка, храмовник застал там де Браси.   
 - Ваши любовные похождения, - сказал де Браси, - вероятно, были прерваны, как и мои, этими оглушительными звуками. Но вы пришли позднее меня и с явной неохотой, из чего я заключаю, что ваше свидание было гораздо приятнее, чем мое.   
 - Значит, вы успешно сватались к саксонской наследнице? - спросил храмовник.   
 - Клянусь костями Фомы Бекета, - отвечал де Браси, - эта леди Ровена, наверно, слышала, что я не выношу женских слез.   
 - Вот тебе раз! - молвил храмовник. - Предводитель вольной дружины обращает внимание на женские слезы? Удивительно! Если несколько капель и упадет на факел любви, пламя разгорится еще ярче.   
 - Спасибо за несколько капель! - возразил де Браси. - Эта девица пролила столько слез, что потушила бы целый костер. Такой скорби, таких потоков слез не видано со времен святой Ниобы, о которой нам рассказывал приор Эймер. Точно сам водяной бес вселился в прекрасную саксонку.   
 - А в мою еврейку вселился, должно быть, целый легион бесов, - сказал храмовник, - потому что едва ли один бес, будь он хоть сам Аполлион, мог бы внушить ей столько неукротимой гордости, столько решимости. Но где же Фрон де Беф? Этот рог трубит все громче и пронзительнее.   
 - Он, вероятно, занялся Исааком, - хладнокровно сказал де Браси. - Возможно, что вопли Исаака заглушают рев этого рога. Ты, я думаю, знаешь по опыту, сэр Бриан, что когда еврей расстается со своими сокровищами на таких условиях, какие, вероятно, поставил ему Фрон де Беф, он так кричит, что из-за его визга не услышишь и двадцати рогов с трубой в придачу. Однако пора послать за хозяином.   
 Вскоре подоспел к ним и Фрон де Беф, прервавший свои жестокие занятия. Он слегка замешкался на пути в зал, отдавая необходимые приказания слугам.   
 - Посмотрим, в чем причина такого дьявольского шума, - сказал он. - Вот письмо. Если не ошибаюсь, оно написано по-саксонски.   
 Он смотрел на письмо, вертя его в руках, словно надеясь таким путем добраться до его смысла. Наконец он передал его Морису де Браси.   
 - Не знаю, что это за магические знаки, - сказал де Браси. Он был так же невежествен, как и большинство рыцарей того времени. - Наш капеллан пробовал учить меня писать, - продолжал он, - но у меня вместо букв выходили наконечники копий или лезвия мечей, так что старый поп махнул на меня рукой.   
 - Дайте мне письмо, - сказал храмовник, - мы хоть тем похожи на монахов, что немножко учимся, чтобы осветить знаниями нашу доблесть.   
 - Так мы воспользуемся вашими почтенными познаниями, - сказал де Браси. - Ну, что же говорится в этом свитке?   
 - Это письмо - формальный вызов на бой, - отвечал храмовник. - Но, клянусь вифлеемской богородицей, это самый диковинный вызов, какой когда-либо посылался через подъемный мост баронского замка, если только это не глупая шутка.   
 - Шутка! - воскликнул Фрон де Беф. - Желал бы я знать, кто отважился пошутить со мной таким образом. Прочти, сэр Бриан.   
 Храмовник начал читать вслух:   
 - "Я, Вамба, сын Безмозглого, шут в доме благородного и знатного дворянина Седрика Ротервудского, по прозванию Сакс, и я. Гурт, сын Беовульфа, свинопас"...   
 - Ты с ума сошел! - прервал его Фрон де Беф.   
 - Клянусь святым Лукой, здесь так написано, - отвечал храмовник и продолжал: - "... я, Гурт, сын Беовульфа, свинопас в поместье вышеозначенного Седрика, при содействии наших союзников и единомышленников, состоящих с нами заодно в этом деле, а именно: храброго рыцаря, именуемого Черный Лентяй, и доброго иомена Роберта Локсли, по прозвищу Меткий Стрелок, объявляем вам, Реджинальд Фрон де Беф, и всем, какие есть при вас сообщники и союзники, что вы без всякой причины и без объявления вражды, хитростью и лукавством захватили в плен нашего хозяина и властелина, означенного Седрика, а также высокорожденную девицу леди Ровену из Харготстандстида, а также благородного дворянина Ательстана Конингсбурского, а также и нескольких человек свободно рожденных людей, находящихся у них в услужении, равно как и нескольких крепостных, также некоего еврея Исаака из Йорка с дочерью, а также завладели лошадьми и мулами; указанные высокорожденные особы, со своими слугами и рабами, лошадьми и мулами, а равно и означенные еврей с еврейкой, ничем не провинились перед его величеством, а мирно проезжали королевской дорогой, как подобает верным подданным короля, а потому мы просим и требуем дабы означенные благородные особы, сиречь Седрик Ротервудский, Ровена из Харготстандстида и Ательстан Конингсбургский со своими слугами, рабами, лошадьми, мулами, евреем и еврейкою, а также все их добро и пожитки были не позже как через час по получении сего выданы нам или кому мы прикажем принять их в целости и сохранности, не поврежденными ни телесно, ни в рассуждении имущества их. В противном случае объявляем вам, что считаем вас изменниками и разбойниками, намереваемся драться с вами, донимать осадой, приступом или иначе и чинить вам всякую досаду и разорение. Чего ради и молим бога помиловать вас. Писано накануне праздника Витольда, под большим Сборным Дубом на Оленьем Холме; а писал те слова праведный чело- век, служитель господа, богоматери и святого Дунстана, причетник лесной часовни, что в Копменхерсте".   
 Внизу документа был нацарапан сначала грубый рисунок, изображавший петушью голову со стоячим гребешком и подписью, что такова печать Вамбы, сына Безмозглого. Крест, начертанный ниже этой почетной эмблемы, обозначал подпись Гурта, сына Беовульфа; затем следовали четко и крупно написанные слова: "Черный Лентяй"; а еще ниже довольно удачное изображение стрелы служило подписью иомена Локсли.   
 Рыцари выслушали до конца этот необыкновенный документ и в недоумении переглянулись, не понимая, что это значит. Де Браси первый нарушил молчание взрывом неудержимого хохота, храмовник последовал, правда более сдержанно, его примеру. Но Фрон де Беф, казалось, был недоволен их несвоевременной смешливостью.   
 - Предупреждаю вас, господа, - сказал он, - что при настоящих обстоятельствах нам следует серьезно подумать, что предпринять, а не предаваться легкомысленному веселью.   
 - Фрон де Беф все еще не может опомниться с тех пор, как его свалили с лошади, - сказал де Браси. - Его коробит при одном упоминании о вызове, хотя бы этот вызов шел от шута и от свинопаса.   
 - Клянусь святым Михаилом, - отвечал Фрон де Беф, - было бы гораздо лучше, если бы ты один отвечал за эту затею, де Браси! Эти людишки не дерзнули бы обращаться ко мне с такой наглостью, если бы им на подмогу не подоспели сильные разбойничьи шайки. В этом лесу множество бродяг. Все они на меня злы за то, что я строго охраняю дичь. Я только раз захватил на месте преступления одного парня - у него еще и руки были в крови - и велел его привязать к рогам дикого оленя. Правда, тот в пять минут разорвал его в клочья. Так вот, с тех пор столько раз стреляли в меня из лука, точно я та мишень, что стояла на днях в Ашби... Эй ты! - крикнул он одному из слуг. - Посылал ли ты узнать, сколько их там собралось?   
 - В лесу по крайней мере двести человек, - отвечал слуга.   
 - Прекрасно! - сказал Фрон де Беф. - Вот что значит предоставить свой замок в распоряжение людей, которые не умеют тихо выполнить свое предприятие! Очень нужно было дразнить этот осиный рой!   
 - Осиный рой? - сказал де Браси. - Просто трутни, у которых и жала нет. Ведь все они - обленившиеся рабы, которые бегут в леса и промышляют грабежом, чтобы не работать.   
 - Жала нет? - возразил Фрон де Беф. - Стрела с раздвоенным концом в три фута длиной, что попадает в мелкую французскую монету, - хорошее жало.   
 - Стыдитесь, сэр рыцарь! - воскликнул храмовник. - Соберем своих людей и сделаем против них вылазку. Один рыцарь и даже один вооруженный воин стоят двадцати таких вояк.   
 - Еще бы! - сказал де Браси. - Мне совестно выехать на них с копьем.   
 - Это было бы верно, - сказал Фрон де Беф, - будь это турки или мавры, сэр храмовник, или трусливые французские крестьяне, доблестный де Браси, но тут речь идет об английских иоменах. Единственное наше преимущество - рыцарское вооружение и боевые кони. Но на лесных тропинках от них проку мало. Ты говоришь, сделаем вылазку. Да ведь у нас так мало народу, что едва хватит на защиту замка! Лучшие из моих людей - в Йорке; твоя дружина вся целиком там же, де Браси. В замке едва наберется человек двадцать, не считая той горстки людей, которые принимали участие в вашей безумной затее.   
 - Ты опасаешься, - спросил храмовник, - что их набралось достаточно, чтобы пойти на приступ замка?   
 - Нет, сэр Бриан, - ответил Фрон де Беф, - у этих разбойников, правда, очень отважный начальник, но без осадных машин, без составных лестниц и без опытных руководителей они ничего не поделают с моим замком.   
 - Разошли гонцов к соседям, - сказал храмовник, - пускай поторопятся на выручку к трем рыцарям, осаждаемым шутом и свинопасом в баронском замке Реджинальда Фрон де Бефа.   
 - Вы шутите, сэр рыцарь! - отвечал барон. - К кому же послать? Мальвуазен, наверно, успел уже отправиться в Йорк со своими людьми, остальные мои союзники - тоже. Да и мне самому следовало бы быть там, если бы не эта проклятая затея.   
 - Так пошли в Йорк отозвать наших людей обратно, - сказал де Браси. - Если эти бродяги не разбегутся, завидя мое знамя и моих стрелков, я скажу, что они храбрейшие из разбойников, когда-либо пускавших стрелы в зеленых лесах.   
 - А кто отвезет такое письмо? - сказал Фрон де Беф. - Они устроят засады на каждой тропинке, поймают гонца и вытащат у него из-за пазухи письмо... Вот что я надумал, - прибавил он, помолчав немного. - Сэр храмовник, ты умеешь не только читать, но и писать... Лишь бы нам отыскать письменные принадлежности моего капеллана, умершего в прошлом году, в разгар святочного веселья.   
 - Осмелюсь доложить, - вмешался оруженосец, все еще стоявший перед хозяином, - старая Урфрида, кажется, хранит их у себя, на память о своем духовнике. Я слышал, как она говорила, будто он был последним человеком, от которого она слыхала такие речи, какие прилично слушать женщинам...   
 - Так ступай и принеси что нужно, Энгельред, - сказал Фрон де Беф, - а ты, сэр храмовник, напиши ответ на их дерзкий вызов.   
 - Я бы предпочел отвечать им мечом, а не пером, - сказал Буагильбер, - но как хотите, будь по-вашему.   
 Он сел к столу и на французском языке сочинил письмо такого содержания:   
 Сэр Реджинальд Фрон де Беф и благородные рыцари, его единомышленники и союзники, не принимают вызова со стороны рабов, крепостных и беглых людей. Если лицо, именующее себя Черным Рыцарем, действительно имеет честь принадлежать к рыцарскому сословию, ему должно быть известно, что он унизил себя подобным союзом и не имеет права требовать уважения со стороны знатных особ благородного происхождения. Что касается пленных, то мы, соблюдая христианское милосердие, просим вас прислать какое-либо духовное лицо, чтобы исповедать их и примирить с богом, ибо мы порешили казнить их сегодня до полудня и выставить их головы на стенах замка, чтобы показать всем, как мы мало считаемся с теми, кто взялся их освобождать. А потому, как уже сказано, просим прислать священника, дабы приготовить их к смерти. Исполнением нашей просьбы вы окажете последнюю услугу в земной их жизни.   
 Сложив это письмо, Фрон де Беф отдал его слуге для вручения гонцу, дожидавшемуся у ворот ответа на принесенное им послание.   
 Иомен, исполнивший это поручение, возвратился в главную квартиру союзников, расположенную под старым, развесистым дубом, на расстоянии трех выстрелов из лука от замка. Здесь Вамба, Гурт, Черный Рыцарь и Локсли, а также веселый отшельник с нетерпением ожидали ответа на свой вызов. Немного дальше виднелось немало отважных иоменов, зеленая одежда и загорелые лица которых показывали, какого рода ремеслом они промышляли. Их собралось уже более двухсот человек, к ним непрестанно присоединялись все новые и новые отряды. Их вожди только тем и отличались от своих подчиненных, что на шапке у них было по одному перу; во всем остальном они были одеты и вооружены совершенно одинаково с прочими.   
 Помимо этих ватаг на подмогу сходились саксы из ближайших местечек, а также крепостные люди и слуги из обширных поместий Седрика, явившиеся выручать своего хозяина. Они были вооружены по преимуществу вилами, косами, цепами и другими хозяйственными орудиями. Норманны, придерживаясь обычной политики завоевателей, не позволяли побежденным саксам владеть мечами и копьями. По этой причине саксы были далеко не так страшны для осажденных, как могли бы оказаться, если принять в расчет их крепкое телосложение, их многочисленность, а также воодушевление, с которым они взялись постоять за правое дело. Предводителям этого пестрого войска и было вручено письмо храмовника.   
 Прежде всего отдали его отшельнику, прося прочесть, что там написано.   
 - Клянусь посохом святого Дунстана, - сказал этот почтенный монах, - а этим посохом он собрал такую паству, как ни один святой в раю... Клянусь, что не только не могу прочитать вам то, о чем тут сказано, но не скажу даже, по-французски оно написано или поарабски.   
 С этими словами он передал письмо Гурту, который угрюмо мотнул головой и отдал его Вамбе. Ухмыляясь с таким хитрым видом, какой мог бы быть у обезьяны при подобных обстоятельствах, шут осмотрел все четыре угла бумаги, потом подпрыгнул и отдал письмо Роберту Локсли.   
 - Кабы длинные буквы были луки, а короткие - стрелы, я бы что-нибудь разобрал, - сказал честный иомен. - А теперь я так же не могу понять смысл этих знаков, как подстрелить оленя, который гуляет за двенадцать миль отсюда.   
 - Придется уж мне послужить вам чтецом, - сказал Черный Рыцарь и, взяв письмо из рук Локсли, прочел его сначала про себя, а потом по-саксонски изложил его содержание своим союзникам.   
 - Казнить благородного Седрика! - воскликнул Вамба. - Клянусь крестом, ты, должно быть, ошибся, сэр рыцарь.   
 - Нет, мой почтенный друг, - отвечал рыцарь, - я вам в точности передал то, что тут написано.   
 - В таком случае, - сказал Гурт, - клянусь святым Фомой, надо взять замок, хотя бы пришлось голыми руками разобрать его по камешку.   
 - Нам с тобой больше и нечем орудовать, - сказал Вамба, - только мои руки вряд ли годятся на это.   
 - Это они так говорят, чтобы выиграть время, - сказал Локсли. - Они не решатся на дело, за которое им придется отвечать своей головой.   
 - Было бы хорошо, - сказал Черный Рыцарь, - если бы кто-нибудь из нас ухитрился проникнуть в замок, чтобы разузнать, как там обстоят дела. Они просят прислать священника для принятия исповеди; по-моему, наш святой отшельник мог бы исполнить эту благочестивую обязанность; заодно он доставил бы нам нужные сведения.   
 - А, черт бы тебя побрал с твоими советами! - воскликнул святой пустынник. - Я же тебе говорил, сэр Лентяй, что когда я сбрасываю рясу, вместе с ней снимаю и мой духовный сан, так что вся моя святость и даже латынь пропадают. В зеленом кафтане я скорее способен подстрелить двадцать оленей, чем исповедать одного христианина.   
 - Боюсь, - сказал Черный Рыцарь, - что здесь никого не найдется, кто бы годился на роль отца-исповедника.   
 Все переглядывались между собой и молчали.   
 - Ну, я вижу, - сказал Вамба после короткой паузы, - что дураку на роду написано оставаться в дураках и совать шею в такое ярмо, от которого умные люди шарахаются. Да будет вам известно, дорогие братья и земляки, что до шутовского колпака я носил рясу и до тех пор готовился в монахи, пока не началось у меня воспаление мозгов и осталось у меня ума не больше чем на дурака. Вот я и думаю, что с помощью той святости, благочестия и латинской учености, которые зашиты в капюшоне доброго отшельника, я сумею доставить как мирское, так и духовное утешение нашему хозяину, благородному Седрику, а также и его товарищам по несчастью.   
 - Как ты думаешь, годится он на это? - спросил у Гурта Черный Рыцарь.   
 - Уж право не знаю, - отвечал Гурт. - Если окажется негодным, то это будет первый случай, когда его ум не подоспеет на выручку его глупости.   
 - Так надевай рясу, добрый человек, - сказал Черный Рыцарь, - и пускай твой хозяин через тебя пришлет нам весть о том, как обстоят дела у них в замке. Там, должно быть, мало народу, так что внезапное и смелое нападение может увенчаться полным успехом. Однако время не терпит, иди скорее.   
 - А мы между тем, - сказал Локсли, - так обложим все стены кругом, что ни одна муха оттуда не вылетит без нашего ведома. Ты скажи этим злодеям, друг мой, - продолжал он, обращаясь к Вамбе, - что за всякое насилие, учиненное над пленниками, мы с них самих взыщем вдесятеро.   
 - Pax vobiscum! [18] - сказал Вамба, успевший напялить на себя полное монашеское облачение.   
 Произнося эти слова, он принял степенную и торжественную осанку и чинной поступью отправился выполнять свою миссию.

**Глава XXVI**

Конь вдруг начнет плестись рысцой,   
 А клячи вскачь пойдут;   
 Так станет вдруг шутом святой,   
 Монахом станет шут.   
 Старинная песня   
  
 Когда шут, облаченный в рясу отшельника и препоясанный узловатою веревкою, появился перед воротами замка Реджинальда Фрон де Бефа, привратник спросил, как его зовут и зачем он пришел.   
 - Pax vobiscum! - отвечал шут. - Я смиренный монах францисканского ордена, пришел преподать утешение несчастным узникам, находящимся в стенах этого замка.   
 - Храбрый же ты монах, - сказал привратник, - коли отважился прийти сюда; здесь, за исключением нашего пьяного капеллана, уже двадцать лет не кукарекали такие петухи, как ты.   
 - Уж, пожалуйста, сделай милость, - сказал мнимый монах, - доложи обо мне хозяину замка. Поверь, что он меня примет охотно. А петух так громко закукарекает, что по всему замку будет слышно.   
 - Вот за это спасибо! - сказал привратник. - Но если мне достанется за то, что я покинул сторожку ради твоего поручения, я посмотрю, выдержит ли серая одежда монаха стрелу дикого гуся.   
 С этими словами привратник вышел из башенки и отправился в большой зал замка с небывалым известием, что у ворот стоит святой монах и просит позволения немедленно войти. К немалому его удивлению, хозяин приказал тотчас впустить святого человека, и привратник, поставив часовых охранять ворота, без дальнейших рассуждении отправился исполнять порученное приказание.   
 Всей храбрости и находчивости Вамбы едва хватило на то, чтобы не растеряться в присутствии такого человека, каким был страшный Фрон де Беф. Бедный шут произнес свое "pax vobiscum", на которое сильно полагался в исполнении своей роли, таким дрожащим и слабым голосом, каким еще никогда не возглашали этого приветствия. Но Фрон де Беф привык, чтобы люди всякого сословия трепетали перед ним, так что робость мнимого монаха не возбудила в нем никаких подозрений.   
 - Кто ты, монах, и откуда? - спросил он.   
 - Pax vobiscum! - повторил шут. - Я бедный служитель святого Франциска, шел через эти леса и попал в руки разбойников, как сказано в писании - guidam viator incidit in latrones [19], которые послали меня в этот замок исполнить священную обязанность при двух особах, осужденных вашим досточтимым правосудием на смерть.   
 - Так, так, - молвил Фрон де Беф. - А не можешь ли ты мне сказать, святой отец, много ли там этих бандитов?   
 - Доблестный господин, - отвечал Вамба, - nomen illis legio - имя им легион.   
 - Ты мне просто скажи, сколько их, монах, не то ни твоя ряса, ни веревка не защитят тебя.   
 - Увы, - сказал мнимый монах, - cor meum eructavit [20], что значит - я чуть не умер со страху! Но сдается мне, что всех - и иоменов и простолюдинов - там наберется по крайней мере пятьсот человек.   
 - Как! - воскликнул храмовник, в эту минуту вошедший в зал. - Так много слетелось этих ос? Значит, пора передавить их зловредный рой.   
 Он отвел хозяина в сторону и спросил его:   
 - Знаешь ты этого монаха?   
 - Нет, - отвечал Фрон де Беф, - он не здешний, из дальнего монастыря, и я его не знаю.   
 - В таком случае не передавай ему на словах того, что ты хотел поручить, - сказал храмовник. - Пускай он отнесет письмо от имени де Браси с приказанием его вольной дружине поспешить сюда. А тем временем, чтобы этот монах не догадался, в чем дело, дозволь ему выполнить свою задачу и приготовить саксонских свиней к бойне.   
 - Хорошо, пусть так и будет, - отвечал Фрон де Беф и велел одному из слуг проводить Вамбу в ту комнату, где содержались Седрик и Ательстан.   
 Между тем нетерпение Седрика все росло и росло. Он расхаживал из конца в конец по залу с видом человека, который бросается в атаку или берет приступом крепость. Он то издавал какие-то восклицания, то взывал к Ательстану, который со стоическим хладнокровием ожидал исхода приключения, преспокойно переваривая весьма сытный обед. По-видимому, вопрос, долго ли продлится их тюремное заключение, мало его тревожил: он твердо уповал, что, подобно всякому земному злу, когда-нибудь и это кончится.   
 - Pax vobiscum! - молвил шут, войдя к ним. - Да будет над вами благословение святого Дунстана, святого Дениса, святого Дютока и всех святых!   
 - Войди, милости просим, - сказал Седрик мнимому монаху. - Зачем ты пришел к нам?   
 - Я пришел приготовить вас к смерти, - отвечал шут.   
 - Не может быть! - воскликнул Седрик, вздрогнув. - Как они ни злобны, как ни бесстрашны, они не осмелятся учинить такую явную и беспричинную расправу.   
 - Увы, - сказал шут, - взывать к их человеколюбию было бы столь же напрасно, как удержать закусившую удила лошадь шелковой ниткой вместо уздечки. А потому подумай хорошенько, благородный Седрик, а также и вы, доблестный Ательстан, какие прегрешения совершили вы во плоти, ибо сегодня же будете призваны к ответу пред высшее судилище.   
 - Слышишь ты это, Ательстан? - сказал Седрик. - Укрепимся духом для последнего нашего подвига, ибо лучше умереть как подобает мужчинам, нежели жить в неволе.   
 - Я готов, - сказал Ательстан, - выдержать все, что может придумать их злоба, и пойду на смерть так же спокойно, как пошел бы обедать.   
 - Так приступим к святому таинству, отец мой, - сказал Седрик.   
 - Погоди минутку, дядюшка, - сказал шут своим обыкновенным голосом, - что это ты больно скоро собрался? Лучше осмотрись хорошенько, прежде чем прыгать во тьму кромешную.   
 - Право, - сказал Седрик, - его голос мне знаком.   
 - То голос вашего верного раба и шута, - отвечал Вамба, сбрасывая с головы капюшон. - Если бы вы раньше послушались моего дурацкого совета, вы бы сюда не попали. Последуйте же хоть теперь совету дурака, и вы недолго тут останетесь.   
 - То есть как же это, плут? - спросил Седрик.   
 - А вот как, - отвечал Вамба. - Надевай эту рясу и веревку - только в них ведь и заключается мой священный сан - и преспокойно уходи из замка, а мне оставь свой плащ и пояс, чтобы я мог занять твое место и прыгнуть за тебя, куда придется.   
 - Тебе занять мое место? - сказал Седрик, удивленный таким предложением. - Но ведь они тебя повесят, бедный мой дурень!   
 - Пусть делают что хотят, там - как богу угодно, - отвечал Вамба. - Я надеюсь, что Вамба, сын Безмозглого, может висеть на цепи так же важно, как цепь висела на шее у его предка олдермена.   
 - Ну, Вамба, я согласен принять твое предложение, только с одним условием, - сказал Седрик. - Поменяйся платьем не со мной, а с лордом Ательстаном.   
 - Э нет, клянусь святым Дунстаном, - отвечал Вамба, - это для меня не подходит! Сын Безмозглого согласен пострадать, спасая жизнь сыну Херварда, но какая же мне корысть помирать из-за человека, отец которого не был знаком с моим отцом?   
 - Негодяй, - сказал Седрик, - предки Ательстана были владыками Англии!   
 - Мне все равно, кем бы они ни были, - возразил Вамба, - но я не желаю, чтобы мне свернули голову ради его предков. А потому, мой добрый хозяин, соглашайтесь скорее на мое предложение либо позвольте мне уйти из этой башни.   
 - Предоставь старому дереву засохнуть, - продолжал Седрик, - лишь бы сохранилась в целости краса всего леса! Спаси благородного Ательстана, мой верный Вамба. Каждый, в ком течет саксонская кровь, обязан это сделать. Мы с тобой вместе отдадим себя в жертву ярости жестоких притеснителей. А он, освободившись из плена, пробудит дух мести в наших соплеменниках и отплатит за нее врагам.   
 - Ну нет, батюшка, - сказал Ательстан, пожимая ему руку. Каждый раз, когда какие-либо крайние обстоятельства расшевеливали его мысль и деятельность, чувства его и деяния были достойны его высокого происхождения. - Нет, - повторил он. - Я скорее соглашусь целую неделю просидеть в этом зале на хлебе и воде, чем воспользуюсь возможностью спастись, которую придумала преданность слуги для его хозяина.   
 - Вот вы называетесь умными людьми, господа, - сказал шут, - а я слыву дураком. Однако, дядюшка Седрик и братец Ательстан, дурак-то и вынесет решение и тем положит конец всем вашим спорам. Я все равно что Джонова кобыла, которая никому не дает на себя садиться, кроме Джона. Я пришел затем, чтобы спасти своего хозяина. Если он откажется от моей помощи - ну что же, уйду домой, и дело с концом. Преданность нельзя перебрасывать из одних рук в другие, как кольцо или шар в игре. Я согласен болтаться в петле, но не иначе, как вместо моего родового властелина.   
 - Уходите, благородный Седрик, - сказал Ательстан, - не упускайте такого случая. Ваше присутствие там, вне стен этого замка, воодушевит наших друзей и ускорит наше спасение, а если вы останетесь здесь, все мы пропали.   
 - А разве там, за стенами, есть надежда на выручку? - спросил Седрик, взглянув на шута.   
 - И еще какая надежда! - воскликнул Вамба. - Да будет вам известно, что, натянув мой балахон, вы одеваетесь в мундир полководца. Пятьсот человек собралось под стенами этого замка, и сегодня я был одним из главных предводителей. Моя дурацкая шапка сошла за каску, а погремушка - за маршальский жезл. Вот увидим, много ли они выиграют, сменив дурака на умного человека. Право, я боюсь, как бы они, разжившись премудростью, не потеряли храбрости. Итак, прощай, хозяин, будь милостивее к бедному Гурту и сжалься над его собакой Фангсом, а мой колпак повесь на стену в Ротервуде, в память того, что я отдал свою жизнь за хозяина как верный... дурак.   
 Последнее слово он произнес как-то двусмысленно - не то серьезно, не то в шутку. Слезы выступили на глазах у Седрика.   
 - Память о тебе будет жить, - сказал он, - пока верность и любовь будут в чести в этом мире. Если бы я не думал, что найду средства спасти Ровену и тебя, Ательстан, да и тебя тоже, мой бедный Вамба, я бы не дал уговорить себя на такое дело.   
 Они переоделись, но тут у Седрика возникло новое затруднение.   
 - Я никаких языков не знаю, кроме своего родного наречия да нескольких фраз по-нормански; как же я буду выдавать себя за настоящего монаха?   
 - Вся штука в двух словах, - сказал Вамба. - Что бы ни говорили тебе, отвечай: "Pax vobiscum!" При встрече или прощаясь, благословляя или проклиная, повторяй: "Pax vobiscum!" - и все тут. Для монаха эти словечки так же необходимы, как помело для ведьмы или палочка для фокусника. Произноси только низким голосом и с важностью: "Pax vobiscum!" - и против этого никто не устоит. Стража ли, привратник, рыцарь или оруженосец, пеший или конный - безразлично: эти слова на всех действуют как заклинание. Если меня завтра поведут вешать (что еще очень сомнительно), я непременно испытаю силу этих слов на палаче.   
 - Коли так, - сказал Седрик, - я мигом превращусь в монаха. Pax vobiscum! Надеюсь, что запомню этот пароль. Благородный Ательстан, прощай... Прощай и ты, мой бедняга. Сердце у тебя такое, что стоит любой здоровой головы. Я вас выручу либо возвращусь и умру вместе с вами. Державная кровь саксонских королей не прольется, пока моя собственная кровь еще течет в жилах. Не дам волосу упасть с твоей головы, мой добрый слуга, рисковавший своей жизнью, чтобы спасти хозяина, хотя бы пришлось ради этого пожертвовать своей жизнью. Прощай.   
 - Прощайте, благородный Седрик! - сказал Ательстан. - Помните, что монахи никогда не отказываются закусить, если им предложат подкрепить силы.   
 - Прощай, дядюшка! - прибавил Вамба. - Не забывай pax vobiscum.   
 С такими напутствиями Седрик отправился в путь. Ему очень скоро пришлось испробовать силу магических слов, которым научил его шут. Пробираясь низким сводчатым коридором к большому залу, он вдруг увидел перед собой женскую фигуру.   
 - Pax vobiscum! - сказал мнимый монах, пытаясь поскорее пройти мимо.   
 - Et vobis pater reverendissime! [21] - ответил ему нежный женский голос.   
 - Я немножко глух, - отвечал Седрик по-саксонски и проворчал себе под нос: - Черт бы побрал дурака и его pax vobiscum! В первый раз выстрелил - и сразу же промахнулся.   
 Однако в те времена довольно часто случалось, что духовные лица плохо разумели по-латыни, и собеседница Седрика отлично знала это.   
 - Прошу вас, преподобный отец, - продолжала она уже по-саксонски, - будьте милосердны, навестите раненого пленника и преподайте ему утешение. За это доброе дело ваш монастырь получит щедрое подаяние, какого еще никогда не получал.   
 - Дочь моя, - отвечал Седрик в великом смущении, - мне нельзя оставаться в этом замке и терять время на исполнение обычных моих обязаннос- тей. Я должен уйти как можно скорее. Жизнь и смерть многих зависит от этого.   
 - Отец мой, молю вас во имя обетов, которые вы на себя приняли, не покиньте несчастного, не откажите ему в своих советах и помощи! - продолжала просительница.   
 - Чтоб меня черт побрал и засадил в Ифрин заодно с душами Одина и Тора, - проговорил в раздражении Седрик.   
 Он, вероятно, произнес бы еще несколько фраз в том же духе, но их беседа была прервана грубым голосом Урфриды - той старухи, что жила в уединенной башенке.   
 - Что это значит, милочка? - обратилась она к собеседнице Седрика. - Так-то ты платишь мне за мою доброту, за то, что я позволила тебе выйти из темницы? Святого человека довела до того, что он начал ругаться, чтобы избавиться от приставаний еврейки!   
 - Еврейки! - воскликнул Седрик, придираясь к случаю, чтобы как-нибудь улизнуть от обеих. - Дай мне пройти, женщина! Не задерживай меня. Я только что исполнил святой долг и не хочу оскверняться.   
 - Иди сюда, отец мой, - сказала старуха. - Ты не здешний и без провожатого не выберешься из замка. Поди сюда, мне хочется с тобой поговорить. А ты, дочь проклятого племени, ступай к больному и ухаживай за ним, пока я не ворочусь. И горе тебе, если осмелишься еще раз уйти оттуда без моего разрешения!   
 Ревекка скрылась. Урфрида, уступая ее мольбам, позволила ей уйти из башни, а затем приставила ее ухаживать за раненым Айвенго. Ревекка хорошо понимала, какая опасность угрожает пленным, и не упускала ни малейшего случая что-нибудь сделать для их спасения. Услышав от Урфриды, что в этот безбожный замок попал священник, она надеялась на его защиту заключенных. Для этого она и поджидала в коридоре мнимого монаха. Но мы видели, что попытка ее кончилась неудачей.

**Глава XXVII**

"Во всем, что ты б сказать могла,   
 Должны быть грех, печаль и стыд.   
 Известны все твои дела...   
 Но что ж преступница молчит?"   
 "Я стала жертвой новых бед -   
 От них душа еще мрачней;   
 А у меня и друга нет -   
 Кто б мог внимать тоске моей;   
 Но выслушай - и дай ответ   
 На исповедь моих страстей".   
 Крабб, "Дворец правосудия"   
  
 Когда Урфрида криками и угрозами прогнала Ревекку обратно в комнату больного, она насильно потащила за собой Седрика в отдельную каморку и, войдя туда, крепко заперла дверь. После этого она достала с полки флягу с вином и два стакана, поставила их на стол и сказала скорее тоном утверждения, чем вопроса:   
 - Ты сакс, отец мой? - заметив, что Седрик не торопится с ответом, она продолжала: - Не спорь, не спорь. Звуки родного языка сладки для моих ушей, хотя и редко я их слышу, разве только из уст жалких и приниженных рабов, на которых гордые норманны возлагают лишь самую черную работу в этом доме. А ты сакс, отец, и хотя служитель божий, а все-таки свободный человек. Приятно мне слушать твою речь.   
 - Разве священники из саков не заходят сюда? - спросил Седрик. - Мне кажется, их долг - утешать отверженных и угнетенных детей нашей земли.   
 - Нет, не заходят, - отвечала Урфрида, - а если и заходят, то предпочитают пировать за столом своих завоевателей, а не слушать жалобы своих земляков. Так по крайней мере говорят о них, сама-то я мало кого вижу. Вот уже десять лет, как в этом замке не бывало ни одного священника, исключая того распутного норманна, который был здесь капелланом и по ночам пьянствовал вместе с Реджинальдом Фрон де Бефом. Но и он давно отправился на тот свет давать богу отчет в своей пастырской деятельности. А ты сакс, да еще саксонский священник, и мне нужно задать тебе один вопрос.   
 - Да, я сакс, - отвечал Седрик, - но недостоин звания священника. Отпусти меня, пожалуйста! Клянусь, что я вернусь сюда или пришлю к тебе другого духовника, более меня достойного выслушать твою исповедь.   
 - Погоди еще немного, - сказала Урфрида, - скоро голос, который ты слышишь, замолкнет в сырой земле. Но я не хочу уходить туда без исповеди в своих грехах, как животное. Так пусть вино даст мне силы поведать тебе все ужасы моей жизни.   
 Она налила себе стакан и с жадностью осушила его до дна, как бы опасаясь проронить хоть одну каплю. Выпив вино, она подняла глаза и проговорила:   
 - Оно одурманивает, но ободрить уже не может. Выпей и ты, отец мой, иначе не выдержишь и упадешь на пол от того, что я собираюсь рассказать тебе.   
 Седрик охотно отказался бы от такого зловещего приглашения, но ее жест выражал такое нетерпение и отчаяние, что он уступил ее просьбе и отпил большой глоток вина. Словно успокоенная его согласием, она начала свой рассказ.   
 - Родилась я, - сказала она, - совсем не такой жалкой тварью, какой ты видишь меня теперь, отец мой. Я была свободна, счастлива, уважаема, любима и сама любила. Теперь я раба, несчастная и приниженная. Пока я была красива, я была игрушкой страстей своих хозяев, а с тех пор как красота моя увяла, я стала предметом их ненависти и презрения. Разве удивительно, отец мой, что я возненавидела род человеческий и больше всего то племя, которому я была обязана такой переменой в моей судьбе? Разве хилая и сморщенная старуха, изливающая свою злобу в бессильных проклятиях, может забыть, что когда-то она была дочерью благородного тана Торкилстонского, перед которым трепетали тысячи вассалов?   
 - Ты дочь Торкиля Вольфгангера! - сказал Седрик, пятясь от нее. - Ты... ты родная дочь благородного сакса, друга моего отца и его ратного товарища?   
 - Друг твоего отца! - воскликнула Урфрида. - Стало быть, передо мной Седрик, по прозвищу Сакс, потому что у благородного Херварда Ротервудского только и был один сын, и его имя хорошо известно среди его соплеменников. Но если точно ты Седрик из Ротервуда, что означает твое монашеское платье? Неужели и ты отчаялся спасти свою родину и в стенах монастыря обрел пристанище от притеснений?   
 - Все равно, кто бы я ни был, - сказал Седрик. - Продолжай, несчастная, свой рассказ об ужасах и преступлениях. Да, преступлениях, ибо то, что ты осталась в живых, - преступление.   
 - Да, я преступница, - отвечала несчастная старуха. - Страшные, черные, гнусные преступления тяжким камнем давят мне грудь, их не в силах искупить даже огонь посмертных мучений. Да, в этих самых комнатах, запятнанных чистой кровью моего отца и моих братьев, в этом доме я жила любовницей их убийцы, рабой его прихотей, участницей его наслаждений. Каждое мое дыхание, каждое мгновение моей жизни было преступлением.   
 - Несчастная женщина! - воскликнул Седрик. - В то время когда друзья твоего отца, молясь об упокоении души его и всех его сыновей, не забывали в своих молитвах помянуть имя убиенной Ульрики, пока все мы оплакивали умерших и чтили их память, ты жила! Жила, чтобы заслужить наше омерзение и ненависть... Жила в союзе с подлым тираном, умертвившим всех, кто был тебе всего ближе и дороже, с тираном, пролившим кровь младенцев, чтобы не оставить в живых ни одного отпрыска славного и благородного рода Торкиля Вольфгангера. Вот с каким злодеем ты жила... да еще предавалась наслаждениям беззаконной любви!   
 - В беззаконном союзе - да, но не в любви, - возразила старуха, - скорее в аду есть место для любви, чем под этими нечестивыми сводами. Нет, в этом я не могу упрекнуть себя. Не было минуты, даже в часы преступных ласк, чтобы я не ненавидела Фрон де Бефа и всю его породу.   
 - Ненавидела его, а все-таки жила! - воскликнул Седрик. - Несчастная! Разве у тебя под рукой не было ни кинжала, ни ножа, ни стилета? Счастье твое, что тайны норманского замка - все равно что могильные тайны! Если бы я только представил себе, что дочь Торкиля живет в гнусном союзе с убийцей своего отца, меч истого сакса разыскал бы тебя и в объятиях твоего любовника!   
 - Неужели действительно ты заступился бы за честь рода Торкиля? - сказала Ульрика (отныне мы можем отбросить ее второе имя - Урфрида). - Тогда ты настоящий сакс, каким прославила тебя молва! Даже в этих проклятых стенах, окутанных загадочными тайнами, даже здесь произносили имя Седрика, и я, жалкая и униженная тварь, радовалась при мысли о том, что есть еще на свете хоть один мститель за наше несчастное племя. У меня тоже бывали часы мщения. Я подстрекала наших врагов к ссорам и во время их пьяного разгула возбуждала среди них смертельную вражду. Я видела, как лилась их кровь, слышала их предсмертные стоны! Взгляни на меня, Седрик, не осталось ли на моем увядшем и гнусном лице каких-нибудь черт, напоминающих Торкиля?   
 - Не спрашивай об этом, Ульрика, - отвечал Седрик с тоской и отвращением. - Так мертвец напоминает живого, когда бес оживляет бездыханный труп, вызывая его из могилы.   
 - Пусть будет так, - ответила Ульрика, - а когда-то это бесовское лицо могло посеять вражду между старшим Фрон де Бефом и его сыном Реджинальдом. То, что потом случилось, следовало бы навеки скрыть под покровом адской тьмы, но я подниму завесу и на мгновение покажу тебе то, от чего мертвецы встают из гробов и громко вопиют. Долго разгоралась глухая вражда между тираном отцом и его свирепым сыном. Долго я тайно раздувала эту противоестественную ненависть. Она вспыхнула в час пьяного разгула, и за своим собственным столом мой обидчик пал от руки родного сына... Вот какие тайны прячутся под этими сводами. Развалитесь на куски, проклятые своды, - продолжала она, подняв глаза вверх, - рухните, стены, и задавите всех, кому известна эта чудовищная тайна!   
 - А ты, преступная и несчастная, - сказал Седрик, - что же сталось с тобой после смерти твоего любовника?   
 - Угадывай, но не спрашивай. Я осталась здесь и жила, пока преждевременная старость не обезобразила мое лицо. И тогда меня стали осыпать обидами и клеймить презрением там, где прежде слушались и преклонялись передо мною. Прежде было широкое поле для моей мстительности и злобы, а тут я была вынуждена ограничить мою месть мелкими кознями раздраженной служанки или пустой бранью беспомощной старухи; с высоты своей одинокой башни обречена была я слушать отголоски пиров, в которых прежде участвовала, или крики и стоны новых жертв насилия!   
 - Ульрика, - сказал Седрик, - мне кажется, что в глубине сердца ты все еще не перестала сожалеть об утрате тех радостей, которые покупала ценою злодеяний; как же ты дерзаешь обратиться к человеку, облаченному в эти священные одежды? Подумай, несчастная, если бы сам святой Эдуард явился сюда во плоти, что мог бы он сделать для тебя? Царственный исповедник имел от бога дар исцелять телесные язвы, но язвы души исцеляются одним лишь господом богом.   
 - Погоди, суровый прорицатель! - воскликнула она. - Скажи, что значат новые и страшные чувства, которые с недавних пор стали одолевать меня в моем одиночестве? Почему давно минувшие дела встают передо мною, внушая неодолимый ужас? Какая участь постигнет за гробом ту, которой бог судил пережить на земле столько страданий? Не лучше ли мне обратиться к божествам наших некрещеных предков, к Водену, Герте и Зернебоку, к Мисте и Скогуле, чем переносить те страшные видения, которые терзают меня и наяву и во сне?   
 - Я не священник, - сказал Седрик, с отвращением отшатываясь от нее, - я не священник, хотя и надел монашеское платье.   
 - Монах ты или мирянин, мне все равно, - ответила Ульрика. - За последние двадцать лет я, кроме тебя, не видала никого, кто бы боялся бога и уважал человека. Скажи, неужели мне нет надежды на спасение?   
 - Я думаю, что тебе пора покаяться, - сказал Седрик. - Прибегни к молитве и покаянию, и дай тебе боже обрести прощение. Но я не могу и не хочу оставаться больше с тобой.   
 - Постой еще минуту, - сказала Ульрика, - не покидай меня теперь, сын друга моего отца. Иначе тот демон, что управлял моей жизнью, может ввести меня во искушение отомстить тебе за твое безжалостное презрение. Как ты думаешь, долго ли пришлось бы тебе прожить на свете, если бы Фрон де Беф застал Седрика Сакса в своем замке и в такой одежде? Он и так уже не спускал с тебя глаз, как хищный сокол с добычи.   
 - Что ж, пускай, - сказал Седрик. - Пусть он и клювом и когтями растерзает меня, и все-таки мой язык не произнесет ни единого слова лжи. Я умру саксом, правдивым в речах и честным на деле. Отойди прочь! Не прикасайся ко мне и не задерживай меня. Сам Реджинальд Фрон де Беф не так омерзителен для моих глаз, как ты, низкое и развратное существо.   
 - Ну, будь по-твоему, - сказала Ульрика. - Ступай своей дорогой и позабудь в своем высокомерии, что стоящая перед тобой старуха была дочерью друга твоего отца. Иди своим путем. Я останусь одна. Зато и мое мщение будет делом только моих рук. Никто не станет мне помогать, но все услышат о том деянии, на которое я отважусь. Прощай! Твое презрение оборвало последнюю связь мою с миром. Ведь я надеялась, что мои несчастья смогут пробудить сострадание в моих соплеменниках.   
 - Ульрика, - сказал Седрик, тронутый ее словами, - ты так много вынесла и претерпела в этой жизни, так неужели ты будешь предаваться отчаянию именно теперь, когда глаза твои узрели твои преступления, когда тебе необходимо принести покаяние?   
 - Седрик, - отвечала Ульрика, - ты мало знаешь человеческое сердце. Чтобы жить так, как я жила, нужно носить в своей душе безумную жажду наслаждений, мести и гордое сознание своей силы. Напиток, слишком ядовитый для человеческого сердца, но отказаться от него нет силы. Старость не дает наслаждений, морщинистое лицо перестает пленять, а мстительность выдыхается, размениваясь на бессильные проклятия. Тогда-то возникают угрызения совести, а с ними - бесплодные сожаления о прошлом и безнадежность в будущем. И когда все остальные сильные побуждения покидают нас, мы становимся похожи на бесов в аду, которые могут ощущать угрызения, но не раскаиваться никогда... Для раскаяния здесь нет места... Однако твои речи пробудили во мне новую душу. Правду ты сказал: те, кому не страшна смерть, способны на все. Ты указал мне средства к отмщению, и будь уверен, что я ими воспользуюсь. Доселе в моей иссохшей груди наряду с мщением боролись еще другие страсти; отныне оно одно воцарится в ней. Ты сам скажешь потом, что, какова бы ни была жизнь Ульрики, ее смерть была достойна дочери благородного Торкиля. Перед стенами этого проклятого замка собралась боевая дружина - ступай, веди их скорее в атаку. Когда же увидишь красный флаг на боковой башне, в восточном углу крепости, наступай смелее - норманнам будет довольно дела и внутри замка, и вы сможете прорваться, невзирая на их стрелы и пращи. Иди, прошу тебя. Выполняй свое назначение, а меня предоставь моей судьбе.   
 Седрик охотно расспросил бы Ульрику подробнее о ее планах, но в эту минуту раздался суровый голос Реджинальда Фрон де Бефа:   
 - Куда девался этот бездельник монах? Клянусь богом, я сделаю из него мученика, если он вздумает сеять предательство среди моей челяди!   
 - Какое верное чутье у нечистой совести! - молвила Ульрика. - Но ты не обращай на него внимания, уходи скорее к своим. Возгласи боевой клич саксов, и пусть они запоют свою воинственную песнь. Моя месть послужит им припевом.   
 Сказав это, она исчезла в боковую дверь, а Реджинальд Фрон де Беф вошел в комнату. Седрик не без труда принудил себя отвесить гордому барону смиренный поклон, на который тот отвечал небрежным кивком.   
 - Долго же тебя задержали кающиеся грешники, мой отец! Впрочем, тем лучше для них, потому что это их последняя исповедь. Ты приготовил их к смерти?   
 - Я нашел их, - сказал Седрик, кое-как стараясь изъясняться по-французски, - готовыми к самому худшему исходу, так как они знают, кто их хозяин.   
 - Это что же такое, монах! Твоя речь смахивает на саксонское произношение! - сказал фрон де Беф.   
 - Я воспитывался в обители святого Витольда, что в Бертоне, - отвечал Седрик.   
 - Вот как, - молвил барон. - Было бы лучше, если бы ты был норманном. Но нечего делать - других гонцов нет. Этот Витольдов монастырь в Бертоне просто совиное гнездо. Давно пора разорить его до основания. Скоро настанет такое время, что ни ряса, ни кольчуга не спасут сакса.   
 - Да будет воля божия, - проговорил Седрик голосом, дрожавшим от сдержанной ярости, которую Фрон де Беф принял за проявление страха.   
 - Вижу, - сказал он, - что у тебя душа ушла в пятки и ты уже вообразил себе, что наши воины ворвались в вашу трапезную и хозяйничают в ваших погребах. Но окажи мне сегодня услугу, и, что бы ни случилось с остальной братией, обещаю тебе, что ты сможешь жить так же безопасно, как улитка в раковине.   
 - Приказывайте, - сказал Седрик, подавляя волнение.   
 - Так иди за мной, я тебя провожу в боковую калитку.   
 Фрон де Беф крупными шагами пошел вперед и по пути стал наставлять мнимого монаха, шедшего за ним следом, как он должен вести себя.   
 - Ты видишь, монах, это стадо саксонских свиней, которые дерзнули окружить мой замок Торкилстон? Наговори им чего хочешь насчет непрочности этой твердыни или вообще скажи что вздумается, лишь бы они еще сутки простояли под стенами. А ты между тем снеси это письмо. Однако постой. Скажи, ты умеешь читать?   
 - Нисколько, - отвечал Седрик, - я умею читать только свой требник. Да и то потому, что я знаю наизусть службу господню милостью богородицы и святого Витольда...   
 - Ну, тем лучше. Итак, отнеси это письмо в замок Филиппа де Мальвуазена. Скажи, что письмо от меня, а писал его храмовник Бриан де Буагильбер и что я прошу его как можно скорее отослать это письмо в Йорк. Впрочем, скажи ему, чтобы он не очень беспокоился за нашу судьбу. Стыдно подумать, что мы вынуждены прятаться от горсточки негодяев, которые обычно пускаются бежать, едва заслышат топот наших коней. Я тебе говорю, монах, ухитрись выдумать какой-нибудь предлог, чтобы удержать на месте этих мерзавцев, пока не подоспеют наши сторонники. Моя мстительность пробудилась, а это такой сокол, который не уснет, пока не насытится добычей.   
 - Клянусь моим святым покровителем, - сказал Седрик с такой силой, какой нельзя было ожидать от смиренного монаха, - клянусь и всеми остальными святыми угодниками, живыми и умершими в Англии, ваши приказания будут исполнены! Ни один сакс не уйдет изпод этих стен, если мое влияние будет в силах удержать их здесь.   
 - Эге, монах, - сказал Фрон де Беф, - ты переменил тон, говоришь твердо и смело и сразу так приободрился, словно жаждешь истребления саксонского стада; а между тем ведь эти свиньи тебе сродни!   
 Седрик был не мастер притворяться и от души пожалел, что с ним нет Вамбы, который, наверно, подсказал бы ему подходящий ответ. Но, как гласит старинная поговорка, нужда изощряет ум, а потому он пробормотал, что если люди разбойничают, то церковь предает их отлучению, а государство ставит вне закона.   
 - Despardieux, - сказал Фрон де Беф, - ты говоришь сущую правду! Я и забыл, что эти негодяи способны ободрать донага жирного аббата ничуть не хуже своих французских собратьев. Ведь это они, кажется, поймали настоятеля Сент-Ивского аббатства, привязали его к дубу и заставили петь обедню, пока шарили в его сундуках и сумках? Нет, клянусь святой девой, эту штуку проделал Готье из Миддлтона, один из наших соратников. Но те, что ограбили часовню Сент-Би и утащили оттуда чашу, дароносицу и подсвечник, были саксы, не правда ли?   
 - Это были безбожники, - отвечал Седрик.   
 - Да еще выпили все вино и пиво, заготовленное для ваших тайных пирушек, когда вы притворяетесь, будто поститесь и молитесь, а сами пьянствуете. Знаешь, ведь твое дело - отомстить за такое святотатство.   
 - Я и то поклялся отомстить, - проворчал Седрик. - Святой Витольд будет свидетелем моей клятвы.   
 Между тем Фрон де Беф вывел его через калитку ко рву, поперек которого была перекинута одна доска. Перейдя через ров, они очутились в небольшом барбикене, или внешнем укреплении стены, откуда через хорошо защищенные ворота для вылазок можно было выйти в открытое поле.   
 - Теперь ступай скорее, - сказал Фрон де Беф. - Только исполни мое поручение, и ты увидишь, что мясо саксов будет здесь так же дешево, как бывает свинина на бойнях в Шеффилде. Да, вот что: ты, кажется, довольно веселый поп, так приходи после побоища, я тебе выставлю столько мальвазии, что хватит напоить допьяна весь ваш монастырь.   
 - Разумеется, мы еще встретимся, - ответил Седрик.   
 - А пока вот тебе, - прибавил норманн у последних ворот, сунув в руку Седрика золотую монету. - Но помни: если не выполнишь моего поручения, я с тебя сдеру и рясу и твою собственную шкуру.   
 - Предоставляю тебе и то и другое, - отвечал Седрик, выйдя за ворота и радостно шагая по чистому полю. - Можешь казнить меня, если в следующий раз, когда мы встретимся, я не заслужу от тебя ничего лучшего.   
 Тут он обернулся в сторону замка, швырнул золотую монету и проговорил:   
 - Провалиться бы тебе вместе со своими деньгами, вероломный норманн!   
 Фрон де Беф не расслышал этих слов, но видел сопровождавшее их движение, которое показалось ему подозрительным.   
 - Эй, стрелки, - крикнул он часовым, стоявшим на страже у наружного бастиона, - пустите-ка стрелу вдогонку этому монаху! Нет, стойте, - прибавил он, видя, что они уже натягивают луки. - Не нужно стрелять. Ведь другого гонца нет - приходится верить этому. Я думаю, что он не посмеет меня обмануть. В худшем случае придется заключить договор с теми саксонскими псами, что сидят у меня на цепи. Эй, Жиль Тюремщик, распорядись, чтобы привели ко мне Седрика Ротервудского и другого болвана, его товарища, Конингсбургского. Как его звать, Ательстаном, что ли? У них такие имена, что норманскому рыцарю и выговорить трудно, и во рту остается от них привкус ветчины. Дай-ка мне вина - прополоскать рот после этих имен, как говорит веселый принц Джон. Подай вино в оружейную и туда же приведи пленных.   
 Приказание было исполнено. Войдя в зал, увешанный множеством всякого оружия, добытого как им самим, так и его отцом, Фрон де Беф застал там обоих саксонских пленных под конвоем четверых его слуг. Вино уже стояло на массивном дубовом столе. Фрон де Беф сначала отпил большой глоток вина, а потом обратился к пленным.   
 Надвинутая на самые глаза шапка Вамбы, его новая одежда и тусклый мерцающий свет, проникавший в зал сквозь цветные стекла, помешали грозному барону при его недостаточном знакомстве с наружностью Седрика (редко выезжавшего из пределов своего поместья и не водившего приятельских сношений со своими норманскими соседями) заметить, что главный пленник бежал.   
 - Ну, саксонские храбрецы, - сказал Фрон де Беф, - как вам нравится гостить в Торкилстоне? Поняли ли вы теперь, что значит брезговать гостеприимством принца из дома Анжу? Помните, как вы отплатили за любезный прием нашему царственному принцу Джону? Клянусь богом и святым Денисом, если вы не заплатите знатного выкупа, я повешу вас за ноги на железной решетке вот этих самых окон, и вы будете там висеть, покуда коршуны и вороны не превратят вас в скелеты... Говорите, саксонские псы, много ли вы дадите за спасение своей подлой жизни? Что скажете вы, вы из Ротервуда?   
 - Я-то ни копейки не дам, - отвечал бедный Вамба, - а что касается вашего обещания повесить меня за ноги, так это, пожалуй, недурно. У меня, говорят, мозги перевернулись вверх ногами с той минуты, как на меня надели колпак. Так если меня повесят головой ввниз - может, мозги-то и станут опять на место.   
 - Пресвятая Женевьева, - воскликнул Фрон де Беф, - кто это со мной говорит?   
 Он сшиб шапку Седрика с головы шута и при этом заметил на его шее роковой признак рабства - серебряный ошейник.   
 - Жиль! Клеман! Псы окаянные! - крикнул разъяренный норманн. - Кого вы мне привели?   
 - На это, кажется, я могу ответить, - сказал де Браси, только что вошедший в зал. - Это потешный дурак Седрика, тот самый, что так мужественно вступил в состязание с Исааком из Йорка на турнире по вопросу о том, кому занять место почетнее.   
 - Ну, это я за них решу, - сказал Фрон де Беф, - повешу их на одной виселице, и пускай висят рядом, если его хозяин и этот боров из Конингсбурга не выкупят их жизнь дорогой ценой. Но одним выкупом они от меня не отделаются: пусть дадут обязательство увести с собой толпы бродяг, окруживших замок, подпишут отречение от своих прав и вольностей и признают себя нашими вассалами. Пусть они будут счастливы, если при новом положении в стране, которое скоро наступит, мы оставим за ними право дышать... Ступайте, - обратился он к двоим из прислужников, - приведите мне настоящего Седрика. На этот раз я не стану взыскивать с вас за ошибку, потому что, в самом деле, трудно отличить простого дурака от саксонского франклина.   
 - Но ваша рыцарская светлость скоро узнает, что среди нас дураков осталось гораздо больше, чем франклинов, - сказал Вамба.   
 - Что за вздор болтает этот плут? - сказал Фрон де Беф, глядя на слуг, которые, переминаясь с ноги на ногу, робко намекнули, что если это не Седрик, то они не знают, куда он девался.   
 - Господи помилуй! - воскликнул де Браси. - Должно быть, он бежал, переодевшись монахом!   
 - Кой черт! - крикнул Фрон де Беф. - Стало быть, я сам проводил ротервудского борова до ворот и своими руками выпустил его из замка! А ты, - обратился он к Вамбе, - своим дурачеством перехитрил идиотов, еще более безмозглых, чем ты, - я тебя посвящу в монашеский сан! Я велю обрить тебе макушку по всем правилам. Эй, кто там! Содрать ему кожу с головы и выбросить его с башни за стену!.. Ну, шут, посмотрим, как ты дальше будешь шутить!   
 - Благородный рыцарь, ваши поступки лучше ваших слов, - захныкал бедный Вамба, который по привычке острил даже перед смертью. - Коли вы точно нарядите меня в красную шапочку, значит из простого монаха я стану кардиналом.   
 - Бедняга, - молвил де Браси, - он решил до смерти остаться шутом! Фрон де Беф, не казните его, а подарите мне. Пусть он забавляет мою вольную дружину. Что ты на это скажешь, плут? Согласен ты собраться с духом и отправиться со мной на войну?   
 - Пожалуй, только надо у хозяина спроситься, потому что, видишь ли, - сказал Вамба, указывая на свой ошейник, - мне нельзя снять этот воротничок без его разрешения.   
 - Э, норманская пила мигом распилит саксонский ошейник, - сказал де Браси.   
 - Еще бы, ваша милость, - сказал Вамба, - оттого, должно быть, и пошла у нас пословица:   
 Норманские пилы на наших дубах,   
 Норманское иго на наших плечах,   
 Норманские ложки в английской каше,   
 Норманны правят родиной нашей.   
 Пока все четыре не сбросим долой,   
 Не будет веселья в стране родной [22].   
 - Хорош же ты, де Браси, - сказал Фрон де Беф, - стоишь и слушаешь дурацкие россказни, когда нам угрожает опасность! Разве ты не видишь, что они нас перехитрили? Ведь по милости того самого шута, с которым ты вздумал потешаться, нам не удалось снестись с нашими союзниками. Чего же нам ждать, кроме близкого штурма?   
 - Так пойдем к бойницам, - сказал де Браси. - Разве ты видел, чтобы я был мрачен перед боем? Позови храмовника, пусть он хоть вполовину так же храбро защищает свою жизнь, как бился во славу своего ордена. Да и ты сам взбирайся на стену. Ручаюсь тебе, что саксонским разбойникам не удастся влезть на стены Торкилстона, так же как и залезть на облака. А если предпочитаешь вступить в переговоры с бандитами, почему бы не воспользоваться посредничеством этого почтенного франклина, который так углубился в созерцание бутылки с вином? Эй, сакс, - продолжал он, обращаясь к Ательстану и протягивая ему кружку, - промочи себе глотку этим благородным напитком, соберись с духом и скажи, что ты нам посулишь за свое освобождение?   
 - То, что я в силах уплатить, - отвечал Ательстан, - лишь бы это не было противно чести и мужеству. Отпусти меня на свободу вместе со всеми моими спутниками, и я дам тысячу золотых выкупа.   
 - И, кроме того, отвечаешь нам за немедленное отступление этого сброда, что толпится вокруг замка, нарушая мир божеский и королевский? - сказал Фрон де Беф.   
 - Насколько это будет в моей власти, - отвечал Ательстан, - постараюсь удалить их и не сомневаюсь, что названый отец мой Седрик поможет мне в этом.   
 - Стало быть, дело улажено, - сказал Фрон де Беф. - Тебя и твоих спутников мы отпустим с миром, а ты за это уплатишь нам тысячу золотых. Сумма довольно незначительная, и ты должен быть нам благодарен, сакс, за то, что мы согласились принять такую безделицу в обмен за ваши особы. Только вот что: эта сделка не касается еврея Исаака.   
 - Ни его дочери, - сказал храмовник, вошедший в зал во время переговоров.   
 - Да они и не принадлежат к компании этого сакса, - сказал Фрон де Беф.   
 - Если бы они были из нашей компании, - сказал Ательстан, - я бы постыдился назваться христианином. Делайте что хотите с этими нечестивцами.   
 - Вопрос о выкупе не касается также и леди Ровены, - сказал де Браси. - Пусть никто не скажет, что я отказался от такой добычи, не успев хорошенько подраться из-за нее.   
 - Наш договор, - вмешался Фрон де Беф, - не касается также и этого проклятого шута. Я оставляю его за собой и намерен показать на нем, каково со мной шутки шутить.   
 - Леди Ровена, - ответил Ательстан с невозмутимым спокойствием, - моя нареченная невеста. Лучше я дам разодрать себя на клочья дикими лошадьми, чем соглашусь расстаться с нею. А невольник Вамба пожертвовал собою для спасения жизни моего названого отца Седрика. Поэтому я скорее сам погибну, чем дозволю нанести ему хотя бы малейшую обиду.   
 - Твоя нареченная невеста? Леди Ровена просватана за такого вассала, как ты? - сказал де Браси. - Ты, кажется, вообразил, сакс, что вернулись времена вашего семицарствия! Знай же, что принцы из дома Анжу не выдают опекаемых ими невест за людей такого низкого происхождения, как твое.   
 - Мой род, гордый норманн, - отвечал Ательстан, - гораздо древнее и чище, чем у какого-нибудь нищего французика, который только тем и зарабатывает на жизнь, что торгует кровью воров и бродяг, набирая их целыми отрядами под свое бесславное знамя. Мои предки были королями: сильные в бою, мудрые в совете, они всякий день угощали за своим столом больше народу, чем ты водишь за собой. Имена их воспеты менестрелями, законы их были закреплены Советом старейшин. Кости их погребались под пение молитв святыми угодниками, а над прахом их воздвигнуты соборы.   
 - Что, де Браси, попало тебе? - сказал Фрон де Беф, радуясь отповеди, полученной его приятелем. - Сакс отделал тебя довольно метко.   
 - Да, насколько пленник способен попадать в цель, - отвечал де Браси с притворной беззаботностью. - У кого руки связаны, тот и дает волю своему языку. Но хотя ты и боек на язык, дружок, - продолжал он, обращаясь к Ательстану, - леди Ровена от этого не станет свободнее.   
 Ательстан, только что произнесший небывало длинную для него речь, ничего не ответил на это замечание. Но тут разговор был прерван приходом слуги, который доложил, что у ворот стоит монах и умоляет впустить его.   
 - Ради святого Беннета, покровителя этой нищей братии, - сказал Фрон де Беф, - желал бы я знать, настоящий ли это монах или опять переодетый обманщик! Обыщите его, рабы, и если окажется, что вас опять надули, я велю вырвать вам глаза, а в раны набить горячих углей.   
 - Я соглашаюсь подвигнуться вашему гневу, милорд, если этот монах ненастоящий, - сказал Жиль. - Ваш оруженосец Джослин узнал его и готов поручиться, что это не кто иной, как отец Амвросий - монах, служащий приору из Жорво.   
 - Впустить его! - приказал Фрон де Беф. - По всей вероятности, он принес нам вести от своего веселого хозяина. Должно быть, ныне у черта праздник и монахи на время освобождены от своих трудов, судя по тому, что так свободно разгуливают по всему краю. Уведите обратно пленных. А ты, сакс, хорошенько подумай о том, что здесь слышал.   
 - Я требую, - сказал Ательстан, - чтобы меня держали в заключении с почетом и чтобы заботились как следует о моей пище и ночлеге, согласно моему происхождению и правилам обхождения с лицами, подлежащими выкупу. Я заявляю, что тот из вас, кто считает себя старшим, лично ответит мне за посягательство на мою свободу. Я уже посылал тебе вызов через твоего дворецкого, стало быть ты знаешь, чего я требую, и обязан ответить мне. Вот моя перчатка.   
 - Я не отвечаю на вызов своего пленника, - сказал Фрон де Беф, - и ты также не должен отвечать, Морис де Браси. Жиль, - продолжал он, - повесь перчатку Франклина на один из оленьих рогов там, на стене. Пусть она и висит там до тех пор, пока ее владелец не будет выпущен на свободу. А тогда, если он вздумает требовать ее обратно или скажет, что я противозаконно взял его в плен, клянусь поясом святого Христофора, он будет иметь дело с человеком, который никогда еще не отказывался идти навстречу врагу, все равно пешему или конному, одному или сопровождаемому своими вассалами!   
 Саксонских пленных увели прочь и в ту же минуту впустили монаха Амвросия, находившегося в полном смятении.   
 - Вот это настоящий Deus vobiscum! [23] - сказал Вамба, проходя мимо духовного лица. - А все остальные были фальшивые.   
 - Мать пресвятая, - сказал монах, озираясь на собравшихся рыцарей, - наконец-то я в безопасности и среди настоящих христиан!   
 - В безопасности - это верно, - сказал де Браси, - а что до настоящих христиан, то вот тебе могущественный барон Реджинальд Фрон де Беф, который чувствует глубочайшее омерзение ко всем евреям. А это добрый рыцарь Храма, Бриан де Буагильбер, беспощадный истребитель сарацин. Коли это плохие христиане - уж не знаю, каких тебе еще надо!   
 - Вы друзья и союзники преподобного отца нашего во Христе, приора Эймера из аббатства Жорво, - сказал монах, не замечая иронии в ответе де Браси, - и по рыцарскому обету и по христианскому милосердию ваш долг - выручить его, ибо, как говорит блаженный Августин в своем трактате De Civitate Dei... [24]   
 - К черту все это! - прервал его Фрон де Беф. - Скорее скажи, в чем дело, монах! Нам некогда слушать тексты из писаний святых отцов.   
 - Sancta Maria! [25] - воскликнул отец Амвросий. - Как быстро эти грешные миряне приходят в раздражение! Но да будет вам известно, храбрые рыцари, что некие лютые злодеи, позабывшие страх божий и уважение к церкви и не убоявшиеся велений святого папского престола - si quis suadente Diabolo... [26]   
 - Слушай-ка, отче, - сказал храмовник, - все это мы сами знаем или наперед угадываем. Скажи-ка лучше прямо, что сталось с твоим хозяином: не в плену ли он, и если в плену, то у кого?   
 - Так оно и есть, - отвечал Амвросий, - он в руках бесовских слуг. Ими полны здешние леса, и они знать не хотят, что в писании сказано: "Не прикасайся к помазаннику моему и пророкам моим не учиняй никакого зла".   
 - Вот еще новая работа для наших мечей, господа, - сказал Фрон де Беф своим товарищам. - Итак, вместо того чтобы прислать нам людей на подмогу, приор Эймер от нас же ожидает помощи! Всегда приходится помогать этим ленивым попам в самое неподходящее время. Но говори же, монах, скажи толком: чего хочет от нас твой хозяин?   
 - Извольте выслушать, - сказал Амвросий. - Учинив дерзновенными руками насилие над нашим преподобным настоятелем, эти бесовские исчадия ограбили все его сундуки и сумки, отняли у него двести монет чистейшего золота и теперь требуют еще большую сумму денег. Без этого они не соглашаются выпустить его из своих нечестивых рук. А потому преподобный наш отец обращается к вам - к своим друзьям - с просьбой выручить его, то есть уплатить за него требуемый выкуп или же отбить его у неприятеля силой оружия.   
 - Черт бы побрал твоего приора! - сказал Фрон де Беф. - Должно быть, он сегодня натощак хлебнул через край. Где же это видано, чтобы норманский барон раскошеливался в пользу какого-то духовного лица, когда всем известно, что у них денег вдесятеро больше, чем у нас? И что можем мы предпринять для его освобождения силой оружия, когда нас держит взаперти враг в десять раз сильней нас самих и мы с минуты на минуту ожидаем приступа?   
 - Я и об этом хотел доложить вам, - сказал монах, - да вы так спешите, что не даете мне договорить. Но, господи помилуй, я уж стар, а эти богопротивные драки совсем сбили меня с толку. Дело в том, что они окружают замок и подвигаются к его стенам.   
 - На стены! - вскричал де Браси. - Посмотрим, что делают эти негодяи!   
 Он распахнул решетчатое окно, которое выходило на площадку, одного из выступов, и тотчас крикнул оттуда тем, кто оставался в зале:   
 - Клянусь святым Денисом, старый монах говорит правду! Они несут большие щиты, а стрелки их на опушке леса темнеют, словно грозовая туча.   
 Реджинальд Фрон де Беф также взглянул на поле, схватил рог, громко затрубил и приказал своим людям становиться по местам на стены замка.   
 - Де Браси, охраняй восточную сторону, где стены пониже остальных. Благородный Буагильбер, ты опытен в науке нападения и обороны - возьми на себя присмотр за западной стеной. Я сам стану у барбикена. Но прошу вас, доблестные друзья мои, не ограничиваться обороною одного определенного места. Сегодня мы должны поспевать всюду, помогать всем, кому приходится туго. Нас очень немного, но храбростью и быстротой действий можно возместить этот недостаток. Не забывайте, что мы имеем дело с мошенниками и ворами.   
 - Благородные рыцари! - вопил отец Амвросий среди поднявшейся суматохи. - Неужели никто из вас не выслушает поручения преподобного отца, приора Эймера из Жорво? Заклинаю тебя, благородный сэр Реджинальд, выслушай меня!   
 - Отстань! Ступай бормочи свои заклинания небесам, - отвечал разгоряченный норманн, - а нам, на земле, некогда их слушать... Эй, Ансельм, распорядись, чтобы кипятили смолу и масло - мы выльем их на головы этим наглецам! Смотри, чтобы у самострелов было побольше стрел. Поднять на башне мое знамя! То, старое, на котором бычья голова. Эти мерзавцы скоро узнают, с кем им придется иметь дело.   
 - Доблестный господин, - приставал к нему отец Амвросий, - я дал обет послушания, должен же я исполнить волю моего настоятеля. Дозволь доложить тебе...   
 - Уберите этого болтуна! - крикнул Фрон де Беф. - Заприте его в часовню, пускай перебирает свои четки, пока не кончится побоище. Для святых Торкилстона будет новостью услышать молитвы да акафисты. Такой чести им не оказывали, пожалуй, с тех пор, как изваяли их из камня.   
 - Не оскорбляй святых, сэр Реджинальд, - сказал де Браси, - нам может понадобиться их помощь, прежде чем мы разгоним этот сброд.   
 - Ну, я не жду от них никакой помощи, - отвечал Фрон де Беф. - Вот разве притащить их к бойницам да свалить на головы этих злодеев. Там есть святой Христофор, такой огромный, что он один может раздавить целый отряд.   
 Между тем храмовник наблюдал за движениями неприятеля гораздо внимательнее, нежели грубый Фрон де Беф или его легкомысленный собеседник.   
 - Клянусь честью моего ордена, - сказал он, - эти люди наступают в таком образцовом порядке, какого трудно было ожидать от них. Посмотрите, как искусно они пользуются каждым деревом или кустарником и как успешно укрываются от наших самострелов. Я не вижу у них ни знамен, ни знаков, но готов прозакладывать свою золотую цепь, что ими предводительствует какой-нибудь рыцарь или благородный дворянин, опытный в военном деле.   
 - Я вижу его, - сказал де Браси. - Вот мелькают перья рыцарского шлема и блестит панцирь. Видите высокого человека в черной кольчуге? Он ведет вон тот дальний отряд мошенников-иоменов. Клянусь святым Денисом, это, наверно, тот самый рыцарь, которого мы прозвали Черным Лентяем. Помнишь, Фрон де Беф, он вышиб тебя из седла на турнире в Ашби?   
 - Тем лучше, - сказал Фрон де Беф, - значит, он сам напрашивается на мою месть. Это, должно быть, какой-нибудь трус. Недаром он побоялся остаться на ристалище и не решился взять приз, который достался ему случайно. Мне бы, конечно, никогда не удалось встретить его среди дворян и настоящих рыцарей, и я очень рад, что он все-таки попался мне на глаза среди подлых иоменов.   
 Тут разговор прервался, так как неприятель решительно двинулся на приступ. Каждый из рыцарей отправился на свой пост в сопровождении тех немногих людей, которых удалось собрать для защиты замка, и стал в холодной решимости ждать грозившего им нападения.

**Глава XXVIII**

Бродячее отверженное племя   
 Таинственные знанья сохранило;   
 Они в пустынях, чащах и морях   
 Подспудные сокровища находят,   
 И в их руках полны волшебной силы   
 Обыкновенные цветы и травы.   
 "Еврей"   
  
 Мы принуждены сделать небольшое отступление, чтобы сообщить читателю некоторые сведения, необходимые для понимания последующего рассказа. Впрочем, читатель и сам, конечно, догадался, что Ревекка упросила своего отца подобрать Айвенго, оставленного без помощи на арене, и увезти его в занимаемый Исааком дом на окраине города Ашби.   
 При других обстоятельствах ничего не стоило бы уговорить Исаака согласиться на это. От природы человек он был добрый и не способный забыть оказанные ему благодеяния. Но над ним тяготели вековые предрассудки его гонимого племени.   
 - Праведный Авраам! - воскликнул еврей. - Он хороший юноша, и у меня сердце болит, глядя, как кровь сочится сквозь его вышитую куртку и течет по панцирю, который недешево обошелся... Но взять его к нам в дом... Подумай хорошенько, что ты говоришь! Ведь он христианин, а по нашему закону нам разрешается вступать в сношения с иноверцами и язычниками только по торговым делам.   
 - Не говори так, дорогой отец! - возразила Ревекка. - Правда, нам не следует участвовать в их играх и веселье, но когда язычник ранен и в несчастье, он становится братом еврея.   
 - Жаль, что я не знаю, что сказал бы на этот счет раввин Иаков Бен-Тудель! - сказал Исаак. - Однако нельзя допустить, чтобы этот добрый юноша до смерти истек кровью! Позови Сифа и Рейбена, пускай несут его в Ашби.   
 - Нет, - сказала Ревекка, - его надо положить на мои носилки, а я доеду на одной из верховых лошадей.   
 - Но тогда на тебя будут глазеть эти нечестивые псы! - прошептал Исаак, подозрительно оглядывая толпу рыцарей и оруженосцев.   
 Ревекка, занятая различными распоряжениями, уже не слушала его, но Исаак схватил ее за рукав и вполголоса с ужасом сказал:   
 - Праведный Аарон! А что, если юноша не выживет? Если он умрет под нашим кровом, нас обвинят в его смерти, и толпа разорвет нас на части.   
 - Не умрет он, батюшка, - отвечала Ревекка, осторожно высвободив свой рукав из пальцев отца. - Он останется жив, если мы подберем его, но если мы этого не сделаем, то поистине будем отвечать за его гибель перед богом и перед людьми.   
 - Ох, - молвил Исаак, - мне нестерпимо жалко глядеть на кровь, сочащуюся из его ран, будто каждая капля - золотая монета, уходящая из моего кошелька. И мне ли не знать, что праведная Мириам, дочь раввина Манассии из Византии, душа которого в раю, научила тебя искусству врачевания и ты отлично знаешь свойства зелий и силу эликсиров. А потому поступай как хочешь. Ты у меня хорошая девушка, ты мне ниспослана как благословение божие, как радостная песнь, и мне самому, и дому моему, и всему народу израильскому...   
 Однако опасения Исаака не были напрасны. Благородный и великодушный поступок Ревекки на обратном пути в Ашби привлек к ней внимание хищного Бриана де Буагильбера. Храмовник дважды поворачивал коня, чтобы еще и еще раз полюбоваться на прекрасную еврейку, и мы уже видели, какое впечатление произвели на него ее прелести, когда случай предал ее во власть этого бессовестного развратника.   
 Ревекка, не теряя времени, проводила больного в дом, который временно занимал ее отец, и собственными руками омыла и перевязала раны Айвенго. Юные читатели романов и баллад, вероятно, помнят, как часто в те, как говорится, темные времена женщины были знакомы с тайнами врачебной науки, и нередко случалось, что за ранеными рыцарями ухаживали красавицы, чьи взоры наносили сердцам воинов неизлечимые раны.   
 Но евреи, как мужчины, так и женщины, знали медицинскую науку во всех ее разновидностях и практиковали с таким успехом, что в случаях тяжких ран или болезней тогдашние монархи и могущественные бароны нередко обращались за помощью к тому или другому мудрецу этого презираемого племени. Еврейские врачи нимало не теряли от того обстоятельства, что среди христиан существовало тогда убеждение, будто бы еврейские раввины имели глубокие познания в колдовстве и особенно в кабалистике, самое название которой произошло от таинственной науки израильских мудрецов. Раввины и не опровергали слухов о своих сношениях со сверхъестественными силами, потому что, с одной стороны, такая молва ничего не прибавляла (да и можно ли было что-либо еще прибавить!) к той ненависти, которую питали к их национальности, но, с другой стороны, за это к ним относились с меньшим презрением. Еврейского чародея можно было ненавидеть не меньше, чем ростовщика из евреев, но нельзя было обходиться с ним так же презрительно. Впрочем, принимая во внимание некоторые изумительные случаи исцеления ими различных болезней (случаи, занесенные в летописи), можно предполагать, что евреи действительно обладали тайнами врачевания, которые передавали друг другу из рода в род, но тщательно скрывали их от христиан, среди которых жили, по весьма понятному духу обособленности, вытекавшему из их положения гонимой национальности.   
 Прекрасная Ревекка основательно обучалась всему, чему могли научить ее соплеменники; ее природные способности и сила ее ума помогли ей все это запомнить, привести в порядок и развить самостоятельным мышлением гораздо глубже того, чего можно было ожидать от юной особы ее пола в том веке, когда она жила. Сведения по медицине и врачебному искусству она получила от пожилой женщины по имени Мириам, дочери одного из знаменитейших еврейских раввинов и докторов. Мириам любила Ревекку, как собственную дочь. Ходили слухи, что она передала Ревекке все тайные познания, которые получила от своего мудрого отца. Мириам стала жертвой суеверия и изуверства тех времен. Но ее врачебные секреты перешли по наследству даровитой ученице. Ревекка, обладавшая не только красотой, но и обширными познаниями, пользовалась чрезвычайным уважением среди своего народа, ее считали почти равной тем одаренным женщинам, о которых упоминается в священном писании. Сам отец ее, отдавая невольную дань восхищения ее талантам, что не мешало ему любить ее безгранично, предоставлял ей несравненно большую свободу, чем было в обычае у евреев, и не только часто спрашивал у нее совета, но, как мы видели, подчас действовал, считаясь с ее мнением больше, чем со своим собственным.   
 Когда Айвенго принесли в жилище Исаака, он все еще был в бессознательном состоянии, так как потерял много крови. Ревекка, осмотрев рану и приложив к ней свои лекарства, сказала отцу, что если у больного не будет лихорадки, а бальзам старой Мириам не утратил своей целебной силы, то нечего опасаться за жизнь их гостя и он может завтра же отправиться с ними в Йорк. Исаак немного смутился при таком известии. Его милосердие не простиралось дальше Ашби. Он охотно оставил бы здесь раненого христианина, поручив его уходу тех евреев, у которых он остановился, уверив хозяев этого дома, что все расходы возьмет на себя. Но Ревекка решительно высказалась против этого, приведя целый ряд веских возражений. Прежде всего она наотрез отказалась передать в другие руки склянку с драгоценным бальзамом из опасения, что таким образом откроется важная врачебная тайна. Кроме того, она напомнила отцу, что Айвенго - любимец Ричарда Львиное Сердце. А между тем в случае возвращения Ричарда в Англию Исаак, снабжавший мятежного принца Джона деньгами, будет сильно нуждаться в могущественном заступнике перед королем.   
 - Ты права, Ревекка, - в раздумье произнес Исаак. - Было бы грешно разоблачать секреты блаженной Мириам; когда бог посылает человеку добро, не следует расточать его по-пустому и отдавать другим - все равно, будет ли то золотая монета, или серебряная, или таинственное снадобье, завещанное тебе мудрым врачом; что бы ни было, раз провидение даровало нам что-либо, мы обязаны хранить его дары. А что касается Ричарда Львиное Сердце, мне лучше попасть в лапы идумейского льва, чем в его руки, если только он узнает о моих денежных сделках с его братом. Поэтому я послушаюсь твоего совета и возьму этого юношу в Йорк. Пусть наш дом будет его домом, пока он не излечится от ран своих. И когда тот, кто прозывается Львиным Сердцем, возвратится в Англию, о чем уже ходят слухи, тогда Уилфред Айвенго послужит мне каменной стеной, чтобы укрыться от королевского гнева. Он добрый юноша и хороший человек - соблюдает назначенный срок и возвращает то, что занял. Он оказывает помощь израильтянину - защитил даже сына отца моего, когда тот был окружен разбойниками и исчадиями дьявола.   
 Вечер уже подходил к концу, когда Айвенго пришел в себя и начал сознавать окружающее. Он очнулся от забытья, находясь под смутными впечатлениями, которые естественно сопровождают возврат к сознанию из обморока. Некоторое время он никак не мог связно или последовательно представить себе события вчерашнего дня. Он чувствовал большую слабость и боль от ран. В его уме беспорядочно теснились неясные воспоминания об ударах мечей и копий, о жестоких схватках и нападениях, а в ушах звучали боевые возгласы и бряцанье оружия. Наконец с большим усилием ему удалось отдернуть полог своей постели, невзирая на боль от раны, мешавшую ему двигаться.   
 К своему удивлению, он увидел, что находится в комнате, великолепно убранной в восточном вкусе; ему в первую минуту даже показалось, что он перенесен во время сна обратно в Палестину. Это впечатление еще усилилось, когда тяжелая драпировка приподнялась и в комнату проскользнула женщина в богатом восточном одеянии. Вслед за нею вошел смуглый прислужник.  
 Раненый рыцарь собрался было обратиться с вопросом к этому прелестному видению, но она, приложив тонкий пальчик к рубиновым устам, приказала ему молчать. Слуга, подойдя к кровати, раскрыл раненого, и прекрасная еврейка проверила, не сползла ли со своего места повязка и нет ли каких-либо осложнений. Она выполнила это с такой грацией, так просто и скромно, что даже и самый строгий блюститель нравов не нашел бы здесь ничего оскорбительного для женского достоинства. Самая мысль о том, что юная и красивая девушка ухаживает за мужчиной и собственноручно перевязывает ему рану, совершенно заслонялась и исчезала при виде этого благодетельного существа, явившегося на помощь тяжелобольному, чтобы облегчить его страдания и спасти от смерти. Ревекка сделала несколько указаний старому слуге, который часто помогал ей в уходе за больными; тот быстро и ловко повиновался ей.   
 Ревекка говорила по-еврейски, и звуки незнакомого языка произвели на Айвенго такое чарующее впечатление, словно это были магические заклинания какойнибудь добрей волшебницы. Они были непонятны для слуха, но мягкость голоса и кроткое выражение лица говорившей ласкали и трогали сердце слушателя. Не пытаясь возобновить вопросы, Айвенго безмолвно подчинился всему, что она считала нужным сделать для него. Но когда все было кончено и красавица, бывшая его врачом, собралась уходить, он не мог больше противиться овладевшему им любопытству и сказал, обращаясь к ней по-арабски (этот язык он изучил во время своих странствований по Востоку и думал, что он лучше других подходит для стоявшей перед ним девицы в тюрбане и восточном одеянии):   
 - Прошу вас, любезная девица, будьте так добры...   
 Но тут она прервала его речь с невольной улыбкой, которая на мгновение озарила ее лицо, обычно задумчивое и грустное.   
 - Я живу в Англии, сэр рыцарь, - сказала она, - и говорю по-английски, хотя по одежде и происхождению принадлежу к другой стране.   
 - Благородная девица... - начал Айвенго, но Ревекка снова поспешила его прервать.   
 - Сэр рыцарь, - сказала она, - не величайте меня титулом благородной. Лучше сразу узнайте, что ваша служанка - не более как бедная еврейка, дочь того самого Исаака из Йорка, которому вы недавно оказали покровительство. А потому и он и все его домочадцы обязаны вас окружить самым заботливым уходом и попечениями.   
 Не знаю, довольна ли была бы прекрасная Ровена, если бы узнала, с каким чувствам ее верный рыцарь взирал вначале на красивые черты и блестящие глаза прекрасной Ревекки; блеск этих глаз был так смягчен и как бы затенен густой бахромой шелковистых ресниц, что какойнибудь менестрель, наверно, сравнил бы их с вечерней звездой, сверкающей из-за переплетающихся ветвей жасмина... Но Айвенго был слишком искренним католиком, чтобы сохранить те же чувства к еврейке. Ревекка сама предвидела это, почему и поспешила назвать имя своего отца. Однако прекрасная и мудрая дочь Исаака была не лишена женских слабостей, и она грустно вздохнула, видя, как быстро у Айвенго почтительное восхищение и даже нежность уступили место холодному и не очень глубокому чувству признательности за неожиданную помощь. Правда, и раньше в обхождении Айвенго не было заметно ничего, кроме естественного для каждого юноши преклонения перед красотой; но в том, что одно слово могло подействовать как магическое заклинание и лишить Ревекку заслуженного благородного преклонения, было нечто унизительное не только для нее, но и для ее угнетенного народа, которому не полагалось воздавать должное.   
 Впрочем, Ревекка благодаря своей мягкости и беспристрастности и не подумали винить Айвенго в том, что он разделял общие предрассудки того времени и своего вероисповедания, как ни больно было ей видеть, что он относится к ней как к представительнице отверженного племени. Напротив, прекрасная еврейка продолжала с теми же терпением и преданностью ухаживать за ним. Она сообщила ему, что им необходимо спешить с отъездом в Йорк и что Исаак решил и его взять с собою и до тех пор заботиться о нем, пока его здоровье не будет окончательно восстановлено. Айвенго решительно воспротивился этому плану, ссылаясь на то, что вовсе не желает доставлять своим благодетелям дальнейшие хлопоты.   
 - Разве нет в Ашби, - сказал он, - или где-нибудь в окрестностях какого-нибудь франклина или хотя бы богатого крестьянина, который согласился бы взять на свое попечение раненого земляка, пока он не будет в состоянии снова носить оружие? Неужели нет поблизости саксонского монастыря, куда бы меня приняли?.. Нельзя ли по крайней мере перенести меня в Бертон, где мне наверно, окажет гостеприимство наш родственник, настоятель аббатства святого Витольда?   
 - Бесспорно, - отвечала Ревекка с печальной улыбкой, - и худший из перечисленных вами приютов был бы для вас более приличным жилищем, нежели дом презренного еврея. Однако, сэр рыцарь, если вы не желаете лишиться своего врача, вам надо ехать с нами. Как вам известно, евреи умеют лечить раны, хоть и не наносят их. А в нашем семействе к тому же еще со времен царя Соломона хранятся некоторые врачебные секреты, целебную силу одного из этих средств вы испытали. Ни один назареянин... простите, я обмолвилась, сэр рыцарь... ни один христианский лекарь в пределах четырех британских морей не в силах поставить вас на ноги скорее чем через месяц.   
 - А как скоро ты можешь сделать это? - спросил с нетерпением Айвенго.   
 - Через восемь дней, если будешь терпеливо и послушно исполнять мои предписания, - отвечала Ревекка.   
 - Клянусь пречистой девой, - сказал Уилфред, - коли не грех произносить ее святое имя в таком месте, теперь ни мне, ни другому рыцарю не время валяться в постели. Если ты выполнишь свое обещание, девица, я тебе заплачу. Добуду денег и наполню шлем серебряными монетами.   
 - Я свое обещание выполню, - сказала Ревекка, - и ты на восьмой день от настоящего часа облачишься в свои ратные доспехи, если ты даруешь мне только одну великую милость взамен обещанного серебра.   
 - Если в моей власти исполнить твое желание, - отвечал Айвенго, - и если честь дозволяет христианскому рыцарю сделать это для особы твоего племени, я с радостью и благодарностью готов удовлетворить твою просьбу.   
 - Так вот, - сказала Ревекка, - я только о том и хочу просить, чтобы ты впредь верил, что еврей способен оказать христианину добрую услугу, ничего не желая получить взамен, кроме благословения великого отца нашего, одинаково сотворившего и евреев и христиан.   
 - Грешно мне было бы сомневаться в этом, - ответил Айвенго. - Я без дальнейших колебаний и вопросов вверяюсь твоему искусству, твердо надеясь, что благодаря тебе на восьмой день надену свой панцирь.   
 А теперь, мой добрый врач, скажи мне, не знаешь ли ты чего нового о благородном саксонце Седрике, о его домочадцах? О той красивой даме... - Он запнулся, как бы не решаясь выговорить имя Ровены в доме еврея. - О той, что была избрана королевой турнира?   
 - О той, которую вы же избрали, сэр рыцарь, - сказала Ревекка. - Ваш выбор заслужил не меньшее одобрение, чем ваша доблесть.   
 Несмотря на то, что Айвенго потерял очень много крови, лицо его вспыхнуло ярким румянцем при мысли, что, пытаясь скрыть свои настоящие чувства к Ровене, он только яснее их обнаружил.   
 - Я хотел говорить не о ней, а о принце Джоне, - сказал он. - Кроме того, мне хотелось бы знать, куда девался мой верный оруженосец и почему он теперь не при мне.   
 - А я воспользуюсь своей властью врача и прикажу вам молчать, - сказала Ревекка. - Пожалуйста, избегайте всяких тревожных мыслей, я постараюсь сообщить вам все, что вы желаете знать. Принц Джон прервал турнир и поспешно отправился в Йорк вместе со своими дворянами, рыцарями и прелатами, правдой и неправдой собрав столько денег, сколько они могли выжать из тех, кто слывет в здешней стране богачами. Говорят, что он намеревается завладеть короной своего брата.   
 - Ну, это ему не удастся без борьбы, - молвил Айвенго, приподнявшись на постели, - если хоть один верноподданный найдется в Англии. Я буду драться за Ричарда с храбрейшими из его противников.   
 - Но для того, чтобы вы были в состоянии это сделать, - сказала Ревекка, дотронувшись до его плеча, - вы должны прежде всего слушаться меня и лежать смирно.   
 - Правда, правда, - сказал Айвенго, - так смирно, как только будет возможно в эти беспокойные времена... Ну, так что же Седрик и его домочадцы? Расскажи скорее о благородном саксонце.   
 - Только что был у нас его дворецкий, - сказала еврейка. - Прибежал, запыхавшись, к моему отцу за деньгами, которые отец должен Седрику за шерсть.   
 От этого человека я узнала, что Седрик и Ательстан Конингсбургский ушли из дома принца Джона в великом гневе и тотчас собрались уезжать домой.   
 - А была ли с ними какая-нибудь дама на этом пиру? - спросил Уилфред.   
 - Леди Ровена, - отвечала Ревекка с большей определенностью, чем был поставлен вопрос, - леди Ровена не поехала на пир к принцу и теперь, по словам того же дворецкого, отправилась в Ротервуд вместе с своим опекуном. Что же касается вашего верного оруженосца Гурта...   
 - Ах! - воскликнул рыцарь. - Ты знаешь его имя?.. Да и как тебе не знать, - прибавил он тотчас, - когда еще вчера он получил от тебя сотню цехинов, - как я теперь убедился, только благодаря твоему великодушию и щедрости!   
 - Не говори об этом! - сказала Ревекка, сильно покраснев. - Я сама вижу, как язык легко обнаруживает тайны, которые сердце предпочло бы скрыть!   
 - Но что касается этих денег, - сказал серьезно Айвенго, - честь обязывает меня возвратить их твоему отцу.   
 - Делай как тебе угодно, - сказала Ревекка, - но дождись, чтобы миновало восемь дней, а до тех пор не думай и не говори ни о чем таком, что могло бы замедлить твое выздоровление.   
 - Хорошо, добрая девушка, - сказал Айвенго, - с моей стороны было бы неблагодарностью сопротивляться твоим велениям... Еще слово о судьбе бедного Гурта, и больше я ни о чем не буду тебя спрашивать.   
 - К сожалению, я должна тебе сказать, сэр рыцарь, что он взят под стражу по приказанию Седрика, - отвечала еврейка. Но, заметив, что это известие произвело на Уилфреда удручающее впечатление, она тотчас прибавила: - Впрочем, кравчий Освальд говорил мне, что если Гурт ничем не навлечет на себя хозяйского гнева, то Седрик простит его, потому что Гурт - верный слуга, всегда был на лучшем счету и теперь только тем и провинился, что доказал свою преданность сыну Седрика. К тому же он добавил, что если слуги заметят, что Седрик продолжает гневаться на Гурта, то все они, особенно шут Вамба, помогут Гурту бежать с дороги.   
 - Дай бог, чтобы это удалось им! - сказал Айвенго. - Мне как будто на роду написано приносить несчастье всякому, кто будет питать привязанность ко мне. Мой король почтил меня своей привязанностью, приблизил к себе - и вот, как видишь, родной брат, всем ему обязанный, поднимает оружие против него и хочет завладеть его короной. Моя преданность навлекла гонения на прекраснейшую из женщин. А теперь мой отец в гневе и может убить бедного раба только за его преданность и любовь ко мне. Ты видишь сама, какого носителя злой судьбы вздумалось тебе врачевать и спасать. Образумься, отпусти меня, прежде чем несчастья, следующие за мной по пятам, как гончие псы, настигнут и тебя.   
 - Нет, - сказала Ревекка, - твоя слабость и печаль, сэр рыцарь, заставляют тебя неправильно толковать волю провидения. Ты возвратился к себе на родину в такое время, когда она всего более нуждается в содействии сильной руки и верного сердца. Ты смирил гордость твоих врагов и брата твоего короля в ту минуту, когда они особенно кичились своим превосходством. Правда, ты тяжело пострадал при этом, но разве ты не видишь, что бог послал тебе и помощь и врача, хотя избрал его из среды презреннейшего племени. Поэтому не падай духом и верь, что провидение сохранило тебя для чудесного подвига, который ты совершишь для своего народа. Прощай! Прими лекарство, которое я тебе пришлю через Рейбена, и после постарайся хорошенько уснуть, чтобы набраться сил для предстоящего тебе завтра переезда.   
 Айвенго уступил этим доводам и подчинился распоряжению Ревекки. Успокоительное питье, которое принес Рейбен, помогло ему уснуть крепким и освежающим сном. Поутру приветливый врач увидел, что больной вполне избавился от всяких признаков лихорадки и способен перенести тяготы утомительного путешествия.   
 Айвенго положили на конные носилки, в которых его привезли с турнира, так, чтобы ему было удобно и покойно. Только в одном отношении даже мольбы Ревекки не могли обеспечить достаточное внимание к удобствам раненого рыцаря. Подобно тому разбогатевшему путнику, который описан в десятой сатире Ювенала, Исааку всюду чудились воры и грабители. Зная, что и буйные норманские дворяне и отважные саксонские разбойники охотно поживились бы на его счет, он боялся их как огня. Поэтому он всю дорогу гнал лошадей, останавливался только на самое короткое время и сокращал трапезы. В конце концов ему удалось перегнать Седрика и Ательстана, которые выехали на несколько часов раньше, но задержались в пути благодаря долгому пиру в аббатстве святого Витольда. Но такова была целебная сила бальзама старой Мириам или такой силой обладал организм Айвенго, что он не пострадал от быстрой езды, как того опасалась лечившая его добрая девушка.   
 Но все же чрезмерная торопливость Исаака возымела роковые последствия. Его настойчивые требования ехать быстрее вызвали недовольство проводников. Эти нанятые для охраны саксы были далеко не чужды свойственному их национальности пристрастию к покою и сытной еде, за что норманны и прозвали их лентяями и обжорами. Согласившись сопровождать Исаака в надежде полакомиться на его счет, они были в высшей степени разочарованы, когда оказалось, что тот нигде не позволяет останавливаться. Они протестовали против быстрой езды и опасения загнать лошадей. В конце концов Исаак совсем поссорился с ними из-за количества вина и пива, которое они поглощали при каждой трапезе. Таким образом, когда действительно наступила тревожная минута и опасения Исаака, казалось, начали сбываться, он был покинут недовольными наемниками, на защиту которых полагался, не позаботясь, однако, расположить их в свою пользу.   
 Именно в это время, как уже известно читателю, Исаака догнал Седрик, а вслед за тем они все вместе попали в руки де Браси и его товарищей. Сначала никто не обратил внимания на конные носилки. Однако де Браси в поисках леди Ровены вздумалось заглянуть в них. Каково же было его удивление, когда вместо леди Ровены там оказался раненый рыцарь! Думая, что он взят в плен саксонскими разбойниками, и надеясь на популярность своего имени среди саксонцев, Айвенго поспешил назвать себя.   
 Строгие понятия о рыцарской чести, никогда окончательно не покидавшие де Браси, несмотря на все его легкомыслие и распущенность, запрещали ему совершить какое-либо насилие над рыцарем, находившимся в беспомощном состоянии. Точно так же он не мог предать его во власть Фрон де Бефа, зная, что тот не задумается при первом удобном случае умертвить человека, имевшего право на его поместье. Но в то же время у де Браси не хватило великодушия отпустить на волю своего соперника. Тем более что и по поведению леди Ровены на турнире и еще раньше, по слухам об изгнании Седриком сына из дома, он знал о предпочтении, оказываемом леди Ровеной Айвенго.   
 Итак, де Браси оказался способным лишь к чему-то среднему между добром и злом. Он приказал двум из своих слуг ехать по обеим сторонам носилок и никого не подпускать к ним. Если к ним будут приставать с расспросами, хозяин велел им говорить, что это пустые носилки леди Ровены, в которые положили одного из их товарищей, раненного во время свалки. По приезде в Торкилстон, пока храмовник и Фрон де Беф были поглощены своими делами, один - устремив свое внимание на деньги Исаака, а другой - на его дочь, слуги Мориса де Браси отнесли Айвенго, продолжая называть его раненым товарищем, в одну из отдаленных комнат замка. То же объяснение дали они и хозяину дома, когда он потребовал, чтобы они шли на стены и приняли участие в защите замка.   
 - Раненый товарищ! - воскликнул барон в великом изумлении и гневе. - Не удивительно, что мужики и иомены отваживаются осаждать баронские замки, а шуты и свинопасы дерзают присылать дворянам вызовы, коли воины превращаются в сиделок при больных, а бойцы из вольной дружины нанимаются стеречь умирающего в ту минуту, когда замок в осаде! Ступайте на стены, проклятые лентяи! - крикнул он таким громовым голосом, что грозное эхо прокатилось под сводчатым потолком. - Я вам говорю, по местам! Не то я все кости вам переломаю этой дубиной.   
 Слуги угрюмо отвечали, что и сами рады идти на стены, лишь бы Фрон де Беф взялся оправдать их перед хозяином, который приказал им ухаживать за умирающим.   
 - За умирающим, мошенники! - кричал Фрон де Беф. - Говорю вам: мы все превратимся в умирающих, если не примемся за дело как следует! Я сейчас пришлю вам смену - приставлю другую сиделку к вашему презренному товарищу. Эй, Урфрида! Проклятая старуха! Эй, саксонская ведьма! Не слышишь, что ли? Ступай, ухаживай за раненым негодяем, раз за ним непременно нужен уход, а эти плуты пусть возьмутся за оружие! Вот вам два арбалета, молодцы, и к ним вороты и стрелы. Становитесь у бойницы и смотрите, чтобы каждый выстрел попадал в саксонскую башку!   
 Слуги де Браси, скучавшие в бездействии, с радостью отправились на свои посты, а забота о раненом Айвенго была возложена на Урфриду, или Ульрику. Но она в это время терзалась такими жгучими воспоминаниями, была так поглощена сознанием пережитых обид и надеждой на мщение, что очень охотно передала Ревекке обязанность присматривать за раненым.

**Глава XXIX**

О воин доблестный, взойди на башню,   
 Взгляни на поле, расскажи о битве.   
 Шиллер, "Орлеанская дева"   
  
 Минуты серьезной опасности нередко совпадают с минутами сердечной откровенности. Душевное волнение заставляет нас забыть об осторожности, и мы обнаруживаем такие чувства, которые в более спокойное время постарались бы скрыть, если не в силах вовсе подавить их. Очутившись опять у постели Айвенго, Ревекка сама удивилась той острой радости, которую ощутила при этом, несмотря на всю опасность их положения. Нащупывая его пульс и спрашивая о здоровье, она дотрагивалась до него так нежно и говорила так ласково, что невольно обнаружила гораздо более горячее участие, чем сама того хотела. Голос ее прерывался, и рука ее дрожала, и только холодный вопрос Айвенго: "Ах, это вы, любезная девица?" - заставил ее прийти в себя и вспомнить, что испытываемое ею чувство никогда не может стать взаимным. Чуть слышный вздох вырвался из ее груди. Однако дальнейшие вопросы о его здоровье она задавала уже тоном спокойной дружбы.   
 Айвенго поспешил ответить, что чувствует себя прекрасно, гораздо лучше, чем мог ожидать.   
 - И все благодаря твоему искусству, милая Ревекка! - прибавил он.   
 "Он назвал меня милой Ревеккой, - подумала про себя девушка, - но таким равнодушным и небрежным тоном, что он не подходит к этому слову. Его боевой конь или охотничья собака для него дороже презренной еврейки!"   
 - Мой дух страждет, добрая девушка, - продолжал Айвенго, - от тревоги гораздо сильнее, нежели тело мучиться от боли. Из того, что при мне говорили здесь мои бывшие сторожа, я догадался, что нахожусь в плену. А если я не ошибаюсь, грубый голос человека, который только что прогнал их отсюда, принадлежит Фрон де Бефу; по-видимому, мы в его замке. Если так, то чем же это может кончиться и каким образом могу я защитить Роверу и моего отца?   
 "А о еврее и о еврейке он не упоминает, - подумала опять Ревекка. - Да и что ему за дело до нас, и как справедливо наказывает меня бог за то, что я позволила себе так много думать о рыцаре".   
 Осудив таким образом самое себя, она поспешила сообщить Айвенго все сведения, какие успела собрать. Но их было очень немного. Ревекка сообщила ему, что в замке всем распоряжаются храмовник Буагильбер и барон Фрон де Беф, что снаружи замок осаждают, - но кто - неизвестно. Она сказала ему еще, что в настоящую минуту в замке заходится христианский священник, который, быть может, знает больше.   
 - Священник! - радостно воскликнул Айвенго. - Позови его сюда, Ревекка, если можно! Скажи, что больной просит его духовного утешения. Скажи ему что хочешь, только приведи сюда. Должен же я предпринять что-нибудь! Но как я могу действовать, не зная, как обстоит дело?   
 Согласно этому желанию Айвенго, Ревекка попыталась привести Седрика в комнату раненого рыцаря. Но мы видели, что ей это не удалось из-за вмешательства Урфриды, также подстерегавшей мнимого монаха. Ревекка возвратилась к Айвенго сообщить ему об этом.   
 Они не успели даже посетовать на свою неудачу и придумать какой-нибудь иной план, как глухой шум, уже давно раздававшийся в замке, превратился в отчаянный грохот и гам.   
 Наверху, вдоль зубчатых стен, равно как и по узким и извилистым лестницам и коридорам, ведущим к бойницам и другим защитным пунктам, раздавались тяжелые и торопливые шаги вооруженных слуг. Слышны были голоса рыцарей, воодушевлявших своих подчиненных и распоряжавшихся обороной; их возгласы заглушались звоном оружия и воинственными кликами тех, к кому они обращались. Как ни тревожны были эти звуки, говорившие о чем-то еще более ужасном, в них было все же что-то торжественное, и благородная душа Ревекки не могла не почувствовать этого даже в минуту страшной опасности. Глаза ее загорелись, хотя вся кровь отхлынула от щек, и она, трепеща от ужаса, смешанного с восторгом, шепотом повторяла не то про себя, не то обращаясь к своему собеседнику слова из священного писания: "Колчан грохочет, копье и щит сверкают... раздаются голоса начальников и возгласы воинов!"   
 Но Айвенго, подобно боевому коню, описанному там же, сгорал от нетерпения и всей душой стремился принять участие в бою, который предвещали все эти воинственные звуки.   
 - Если бы мне доползти хотя бы до того окошка, - говорил он, - хотя бы поглядеть, как произойдет эта битва! Если бы мне добыть лук и пустить стрелу или хоть раз ударить секирой ради нашего освобождения! Но все напрасно, все напрасно - я бессилен и безоружен!   
 - Не волнуйся, благородный рыцарь, - сказала Ревекка. - Слышишь, как все вдруг смолкло? Может быть, и не будет битвы.   
 - Ничего ты не понимаешь! - нетерпеливо сказал Уилфред. - Это затишье означает только, что все воины заняли свои места на стенах и сейчас ждут нападения. То, что мы слышали, было лишь отдаленным предвестником штурма. Через несколько минут услышишь, как он разразится во всей своей ярости... Ах, если бы мне доползти как-нибудь до того окна!   
 - Такая попытка будет тебе во вред, благородный рыцарь, - заметила Ревекка, но, видя его крайнее волнение, прибавила: - Я сама стану у окна и, как умею, буду описывать тебе, что там происходит.   
 - Нет, не надо, не надо! - воскликнул Айвенго. - Каждое окно, каждое малейшее отверстие в стенах послужит целью для стрелков. Какая-нибудь шальная стрела...   
 - Вот было бы хорошо! - пробормотала Ревекка про себя, твердой поступью взойдя на две или три ступени, которые вели к окну.   
 - Ревекка, милая Ревекка! - воскликнул Айвенго. - Это совсем не женское дело. Не подвергай себя опасности, тебя могут ранить или убить, и я всю жизнь буду мучиться сознанием, что я тому причиной. По крайней мере возьми тот старый щит, прикройся им и постарайся как можно меньше высовываться из-за оконной решетки.   
 Ревекка сейчас же последовала его указаниям и, загородив нижнюю часть окна старым щитом, так ловко укрылась под его защитой, что почти с полной безопасностью для себя могла видеть все происходившее за стенами замка и сообщить Айвенго, как осаждающие готовились к штурму. Место, занятое ею, было особенно пригодно для этой цели, потому что окно находилось на углу главного здания и Ревекка могла видеть не только то, что происходило вне замка, но и передовое укрепление, на которое, по-видимому, намеревались прежде всего напасть осаждающие. Это была небольшая башня, предназначенная для того, чтобы защищать те самые боковые ворота, через которые Фрон де Беф выпустил Седрика. Они отделялись от остальной крепости глубоким рвом, и, убрав дощатый мостик, легко было прервать сообщение между этим укреплением и замком. Внутри передового укрепления были ворота против ворот в стене самого замка, и все оно было обнесено крепким частоколом. По числу людей, отряженных на защиту этого форта, Ревекка могла заключить, что осажденные особенно опасались нападения с этой стороны. Да и сами осаждающие сосредоточили против него свои главные силы, считая его самым слабым из всех укреплений замка.   
 Она поспешила сообщить Айвенго эти подробности, прибавив:   
 - На опушке леса сплошной стеной стоят стрелки, но они в тени, под деревьями, очень немногие вышли в открытое поле.   
 - А под каким они знаменем? - спросил Айвенго.   
 - Я не вижу ни знамен, ни флагов, - отвечала Ревекка.   
 - Это странно! - пробормотал рыцарь. - Идти на штурм такой крепости - и не развернуть ни знамени, ни флагов! Не видно ли по крайней мере, кто их вожди?   
 - Всех заметнее рыцарь в черных доспехах, - сказала еврейка. - Он один из всех вооружен с головы до ног и, по-видимому, всем распоряжается.   
 - Какой девиз на его щите? - спросил Айвенго.   
 - Что-то вроде железной полосы поперек щита и на черном поле - висячий замок голубого цвета.   
 - Оковы и скрепы лазурные, - поправил ее Айвенго (употребляя выражения, принятые в геральдике). - Не знаю, у кого бы мог быть такой девиз, хотя чувствую, что в эту минуту он был бы вполне пригоден для меня самого! А что написано на щите?   
 - На таком расстоянии я едва вижу девиз, - отвечала Ревекка, - и то он появляется тогда только, когда солнце ударяет в щит.   
 - А других вождей незаметно? - продолжал расспрашивать раненый.   
 - Отсюда я никого не вижу, - сказала Ревекка, - но нет сомнения, что на замок наступают и с других сторон. Кажется, они теперь двинулись вперед. Приближаются... Боже, помилуй нас! Какое страшное зрелище! Те, что идут впереди, несут огромные щиты и дощатые заграждения. Остальные следуют за ними, на ходу натягивая луки. Вот они подняли луки... Бог Моисеев, прости сотворенных тобою!   
 Ее описания были внезапно прерваны сигналом к приступу. Осаждающие пронзительно затрубили в рог, а со стен зазвучали норманские трубы и барабаны, задорно отвечавшие на вызов неприятеля. Оглушительный шум усиливался яростными криками осаждающих и осажденных. Саксонцы кричали: "Святой Георгий за веселую Англию! ", а норманны возглашали: "En avant De Bracy! Beau-seant! Beau-seant! Front-de-Boeuf a la rescousse!" - "Вперед, де Браси! Босеан! Босеан! Фрон де Беф, на подмогу! ", смотря по тому, у которого из командующих состояли они на службе.   
 Однако не одними криками надеялись обе стороны решить судьбу этого дня. Яростный натиск осаждающих встретил отчаянный отпор со стороны осажденных. Стрелки, привыкшие в своих скитаниях по лесам мастерски управляться с луком и стрелами, действовали так "единокупно", по старинному выражению, что ни один пункт, в котором защитники замка хоть на минуту показывались наружу, не ускользнул от метких стрел длиною в целый ярд. Стрельба была такая частая и ровная, что стрелы падали, как град, хотя каждая из них имела свою особую цель. Они десятками влетали в каждую бойницу или амбразуру, в каждое окно, где мог случайно находиться кто-нибудь из защитников, и в самом скором времени двое или трое защитников были убиты и несколько человек ранены. Но сторонники Реджинальда Фрон де Бефа и его союзники, вполне полагаясь на свое отличное вооружение и неприступность замка, обнаружили упорство в защите, равное ярости осаждающих. На беспрерывно сыпавшуюся на них тучу стрел они отвечали выстрелами из своих арбалетов, луков, пращей и других метательных снарядов. Осаждающие пользовались очень слабым прикрытием и поэтому несли гораздо большие потери, чем осажденные. Свист стрел и метательных снарядов сопровождался громкими возгласами, отмечавшими всякую значительную потерю или удачу с той или другой стороны.   
 - А я должен тут лежать недвижимо, точно расслабленный монах, - восклицал Айвенго, - пока другие ведут игру, от которой зависит моя свобода или смерть! Посмотри опять в окно, добрая девушка, только осторожно, чтобы стрелки тебя не приметили! Выгляни и скажи мне, идут ли они на приступ?   
 Подкрепив себя безмолвной молитвой, Ревекка терпеливо и смело заняла опять свое место у окна, прикрывшись щитом так, чтобы снизу нельзя было ее увидеть.   
 - Что ты видишь, Ревекка? - снова спросил раненый рыцарь.   
 - Только тучу летящих стрел. Они мелькают так часто, что у меня рябит в глазах и я не могу рассмотреть самих стрелков.   
 - Это не может продолжаться долго, - сказал Айвенго. - Что же можно сделать с помощью одних луков да стрел против каменных стен и башен? Посмотри, прекрасная Ревекка, где теперь Черный Рыцарь и как он себя ведет, потому что каков предводитель, таковы будут и его подчиненные.   
 - Я не вижу его, - отвечала Ревекка.   
 - Подлый трус! - воскликнул Айвенго. - Неужели он бросит руль, когда буря разыгралась?   
 - Нет, он не отступает, не отступает! - сказала Ревекка. - Вот он, я его вижу: он ведет отряд к внешней ограде передовой башни. Они валят столбы и частоколы, рубят ограду топорами. Высокие черные перья развеваются на его шлеме над толпой, словно ворон над ратным полем. Они прорубили брешь в ограде... ворвались... Их оттеснили назад. Во главе защитников - барон Фрон де Беф. Его громадная фигура высится среди толпы... Опять бросились на брешь и дерутся врукопашную... Бог Иакова! Точно два бешеных потока встретились и смешались! Два океана, движимых противными ветрами!   
 Она отвернулась от окна, как бы не в силах более выносить столь страшное зрелище.   
 - Выгляни опять, Ревекка, - сказал Айвенго, превратно поняв причину ее движения, - стрельба из луков теперь, наверно, стала реже, раз они вступили в рукопашный бой. Посмотри еще, теперь не так опасно стоять у окна.   
 Ревекка снова выглянула и почти тотчас воскликнула:   
 - Святые пророки! Фрон де Беф схватился с Черным Рыцарем! Они дерутся один на один в проломе, а остальные только смотрят на них и кричат. Боже праведный, заступись за угнетенных и пленных! - Тут она воскликнула: - Он упал!   
 - Кто упал? - спросил Айвенго. - Ради пресвятой девы, скажи, кто упал?   
 - Черный Рыцарь, - отвечала Ревекка чуть слышно, но вслед за тем закричала с радостным волнением: - Нет, нет, благодарение богу битв! Он опять вскочил на ноги и дерется так, как будто в одной его руке таится сила двадцати человек. У него меч переломился надвое... Он выхватил топор у одного из иоменов... Он теснит барона Фрон де Бефа удар за ударом. Богатырь клонится и содрогается, словно дуб под топором дровосека. Упал!.. Упал!   
 - Кто? Фрон де Беф? - вскричал Айвенго.   
 - Да, Фрон де Беф! - отвечала еврейка. - Его люди бросились ему на помощь. Во главе их стал гордый храмовник. Общими силами они вынуждают рыцаря остановиться. Теперь потащили Фрон де Бефа во внутренний двор замка.   
 - Осаждающие ведь прорвались за ограду? - спросил Айвенго.   
 - Да, да, прорвались! - воскликнула Ревекка. - Прижали защитников к наружной стене! Иные приставляют лестницы, другие вьются, как пчелы, стремясь взобраться, вскакивают на плечи друг другу. На них валят камни, бревна, стволы деревьев летят им на головы. Раненых оттаскивают прочь, и тотчас же на их место становятся новые бойцы. Боже великий, не затем же ты сотворил человека по твоему образу и подобию, чтобы его так жестоко обезображивали руки его братьев!   
 - Ты не думай об этом, - сказал Айвенго, - теперь не время предаваться таким мыслям... Скажи лучше, которая сторона уступает? Кто одолевает?   
 - Лестницы повалены, - отвечала Ревекка, содрогаясь, - воины лежат под ними, распростертые как раздавленные черви!.. Осажденные взяли верх!   
 - Помоги нам, святой Георгий! - воскликнул рыцарь. - Неужели эти предатели иомены отступают?   
 - Нет, - сказала Ревекка, - они ведут себя как подобает отважным иоменам. Вот теперь Черный Рыцарь со своей огромной секирой подступает к воротам, рубит их. Гул от наносимых им ударов можно услышать сквозь шум и крики битвы. Ему на голову валят со стен камни и бревна. Но храбрый рыцарь не обращает на них никакого внимания, словно это пух или перья!   
 - Клянусь святым Иоанном, - радостно сказал Айвенго, приподнявшись на локте, - я думал, что во всей Англии только один человек способен на такое дело!   
 - Ворота дрогнули! - продолжала Ревекка. - Вот они трещат, распадаются под его ударами... Они бросились через пролом, взяли башню! О боже, хватают защитников и бросают в ров с водою! О люди, если в вас есть что-либо человеческое, пощадите же тех, кто более не может вам сопротивляться!   
 - А мостик? Мостик, соединяющий башню с замком? Они и им овладели? - добивался Айвенго.   
 - Нет, - отвечала Ревекка, - храмовник уничтожил доску, по которой они перешли через ров. Немногие из защитников спаслись с ним в стенах замка. Слышишь эти вопли и крики? Они возвещают тебе, какая участь постигла остальных. Увы, теперь я знаю, что зрелище победы еще ужаснее зрелища битвы!   
 - Что они теперь делают? - сказал Айвенго. - Посмотри опять! Теперь не время падать в обморок при виде крови.   
 - Затихли на время, - отвечала Ревекка. - Наши друзья укрепляются в завоеванной башне. Она так хорошо укрывает их от выстрелов неприятеля, что осажденные лишь изредка посылают туда свои стрелы, и то больше ради того, чтобы тревожить их, а не наносить вред.   
 - Наши друзья, - сказал Уилфред, - не откажутся от своего намерения захватить замок, которое так доблестно начали приводить в исполнение. Они уже многого достигли. Я возлагаю все мои надежды на доброго рыцаря, своим топором проломившего дубовые ворота и железные скрепы... Странно, - продолжал он бормотать, - неужели есть на свете еще один, способный на такую безумную отвагу? Оковы и скрепы на черном поле... Что бы это могло означать? Ревекка, ты не видишь других знаков, по которым можно бы узнать этого Черного Рыцаря?   
 - Нет, - отвечала еврейка, - все на нем черно как вороново крыло. Ничего не вижу, никаких знаков. Но после того как я была свидетельницей его мощи и доблести в бою, мне кажется, что я его узнаю и отличу среди тысячи других воинов. Он бросается в битву, точно на веселый пир. Не одна сила мышц управляет его ударами - кажется, будто он всю свою душу вкладывает в каждый удар, наносимый врагу. Отпусти ему, боже, горе кровопролития! Это страшное и величественное зрелище, когда рука и сердце одного человека побеждают сотни людей.   
 - Ревекка, - сказал Айвенго, - ты описываешь настоящего героя. Если они бездействуют, то лишь потому, что собираются с силами либо придумывают способ переправиться через ров. С таким начальником, каким ты описала этого рыцаря, не может быть ни малодушных опасений, ни хладнокровного промедления, ни отказа от смелого предприятия, ибо чем больше препятствий и затруднений, тем больше славы впереди. Клянусь честью моего дома! Клянусь светлым именем той, которую люблю! Я отдал бы десять лет жизни - согласился бы провести их в неволе - за один день битвы рядом с этим доблестным рыцарем и за такое же правое дело!   
 - Увы! - сказала Ревекка, покидая свое место у окна и подходя к постели раненого рыцаря. - Такая нетерпеливая жажда деятельности, такое возбуждение и борьба со своей слабостью непременно задержат твое выздоровление! Как ты можешь надеяться наносить раны другим людям, прежде чем заживет твоя собственная рана?   
 - Ах, Ревекка, - отвечал он, - ты не можешь себе представить, как трудно человеку, искушенному в рыцарских подвигах, оставаться в бездействии подобно какомунибудь монаху или женщине, в то время как вокруг него другие совершают доблестные подвиги! Ведь бой - наш хлеб насущный, дым сражения - тот воздух, которым мы дышим! Мы не живем и не хотим жить иначе, как окруженные ореолом победы и славы! Таковы законы рыцарства, мы поклялись их выполнять и жертвуем ради них всем, что нам дорого в жизни.   
 - Увы, доблестный рыцарь, - молвила прекрасная еврейка, - что же это, как не жертвоприношение демону тщеславия и самосожжение перед Молохом? Что будет вам наградой за всю кровь, которую вы пролили, за все труды и лишения, которые вы вынесли, за те слезы, которые вызвали ваши деяния, когда смерть переломит ваши копья и опередит самого быстрого из ваших боевых коней?   
 - Что будет наградой? - воскликнул Айвенго. - Как что? Слава, слава! Она позлатит наши могилы и увековечит наше имя!   
 - Слава? - повторила Ревекка. - Неужели та ржавая кольчуга, что висит в виде траурного герба над темным и сырым склепом рыцаря, или то полустертое изваяние с надписью, которую невежественный монах с трудом может прочесть в назидание страннику, - неужели это считается достаточной наградой за отречение от всех нежных привязанностей, за целую жизнь, проведенную в бедствиях ради того, чтобы причинять бедствия другим? Или есть сила и прелесть в грубых стихах какого-нибудь странствующего барда, что можно добровольно отказаться от семейного очага, от домашних радостей, от мирной и счастливой жизни, лишь бы попасть в герои баллад, которые бродячие менестрели распевают по вечерам перед толпой подвыпивших бездельников?   
 - Клянусь душою Херварда, - нетерпеливо сказал рыцарь, - ты говоришь, девушка, о том, чего не можешь знать! Тебе хотелось бы потушить чистый светильник рыцарства, который только и помогает нам распознавать, что благородно, а что низко. Рыцарский дух отличает доблестного воителя от простолюдина и дикаря, он учит нас ценить свою жизнь несравненно ниже чести, торжествовать над всякими лишениями, заботами и страданиями, не страшиться ничего, кроме бесславия. Ты не христианка, Ревекка, оттого и не ведаешь тех возвышенных чувств, которые волнуют душу благородной девушки, когда ее возлюбленный совершает высокий подвиг, свидетельствующий о силе его любви. Рыцарство! Да знаешь ли ты, девушка, что оно источник чистейших и благороднейших привязанностей, опора угнетенных, защита обиженных, оплот против произвола властителей! Без него дворянская честь была бы пустым звуком.   
 И свобода находит лучших покровителей в рыцарских копьях и мечах!   
 - Правда, - сказала Ревекка, - я происхожу из такого племени, которое отличалось храбростью только при защите собственного отечества и даже в те времена, когда оно еще было единым народом, не воевало иначе, как по велению божества или ради защиты страны от угнетения. Звуки труб больше не оглашают Иудею, и ее униженные сыны стали беспомощными жертвами гонения. Правду ты сказал, сэр рыцарь: доколе бог Иакова не явит из среды своего избранного народа нового Гедеона или Маккавея, не подобает еврейской девушке толковать о сражениях и о войне.   
 Гордая девушка произнесла последние слова таким печальным тоном, который ясно показывал, как глубоко она чувствует унижение своего народа. Быть может, к этому чувству примешивалось еще горькое сознание, что Айвенго считает ее чуждой вопросам чести и не способной ни питать в своей душе высокие чувства, ни высказывать их.   
 "Как мало он меня знает, - подумала про себя Ревекка, - если воображает, что в моей душе живут лишь трусость и низость, раз я себе позволила неодобрительно отозваться о рыцарстве назареян! Как бы я была счастлива, если бы богу было угодно источить всю мою кровь по капле, чтобы вывести из плена колено Иудино! Да что я говорю! Хотя бы этой ценой господь позволил мне освободить моего отца и его благодетеля из оков притеснителей. Тогда эти высокомерные христиане увидели бы, что дочь избранного богом народа умирает так же храбро, как и любая из суетных назарейских девушек, хвастающихся происхождением от какого-нибудь мелкого вождя с дикого, холодного Севера!"   
 Она посмотрела на раненого рыцаря и проговорила про себя:   
 "Он спит! Истомленный ранами и душевной тревогой, воспользовался минутой затишья, чтобы погрузиться в сон. Разве это преступление, что я смотрю на него, и, может быть, в последний раз! Кто знает, пройдет немного времени, и эти красивые черты не будут более оживлены энергией и смелостью, которые не покидают их даже и во сне? Лицо осунется, уста раскроются, глаза нальются кровью и остановятся. И тогда каждый подлый трус из проклятого замка волен будет попирать ногами этого гордого и благородного рыцаря, и он останется недвижим... А отец мой? О мой отец! Горе дочери твоей, если она позабыла о твоих сединах, заглядевшись на золотистые кудри юности! Не за то ли покарал Иегова недостойную дочь, которая думает о пленном чужестранце больше, чем о своем отце, забывает о бедствиях Иудеи и любуется красотой иноверца? Но я вырву эту слабость из своего сердца, хотя бы оно разодралось на куски и истекло кровью!"   
 Она плотнее закуталась в покрывало и, отвернувшись от постели раненого рыцаря, села к нему спиной, укрепляя (или по крайней мере стараясь укрепить) свой дух не только против внешних зол, но и против тех предательских чувств, которые бушевали в ней самой.

**Глава XXX**

Взгляни на ложе смертное его.   
 Совсем не так, на крыльях слез и вздохов.   
 Безгрешная душа взлетает ввысь,   
 Как жаворонок, что взмывает к небу   
 На утренней росе, под ветерком, -   
 Ансельм иначе умирает.   
 Старинная пьеса   
  
 Во время затишья, которое наступило после первого успеха нападающих, пока одна партия укреплялась на завоеванных позициях, а вторая готовилась к обороне, храмовник и Морис де Браси сошлись в большом зале замка.   
 - Где Фрон де Беф? - спросил де Браси, который ведал обороной замка с противоположной стороны. - Правду ли говорят, будто он убит?   
 - Нет, жив, - отвечал храмовник хладнокровно, - жив пока; но, будь на его плечах та же бычья голова, что нарисована у него на щите, и будь она закована хоть в десять слоев железа, ему бы все-таки не удалось устоять против этой роковой секиры. Еще несколько часов, и Фрон де Беф отправится к праотцам. Мощного соратника лишился в его лице принц Джон.   
 - Зато сатане большая прибыль, - заметил де Браси. - Вот что значит кощунствовать над ангелами и святыми угодниками и приказывать валить их изображения и статуи на головы этим мерзавцам иоменам!   
 - Ну и глуп же ты! - сказал храмовник. - Твое суеверие равно безбожию Реджинальда Фрон де Бефа. Оба вы одинаково безрассудны: один - в своей вере, другой - в своем неверии.   
 - Benedicite, сэр рыцарь! - сказал де Браси. - Прошу, не давай воли своему языку. Клянусь царицей небесной, я лучший христианин, чем ты и члены твоего братства. Недаром поговаривают, что в лоне святейшего ордена рыцарей Сионского Храма водится немало еретиков, и сэр Бриан де Буагильбер из их числа.   
 - Теперь нам не до молвы, - сказал храмовник, - подумаем лучше о том, как бы нам отстоять замок... Ну, что ты скажешь об этих подлых иоменах, как они дерутся на твоей стороне замка?   
 - Дерутся как сущие дьяволы, - отвечал де Браси. - Великое множество их подступило к стенам под предводительством чуть ли не того самого плута, который выиграл приз в стрельбе из лука, - я узнал его рог и перевязь. Вот результат хваленой политики старого ФицУрса - ведь это он подзадоривал этих проклятых рабов бунтовать против нас. Если бы на мне не было непробиваемой брони, этот негодяй семь раз подстрелил бы меня так же хладнокровно, как матерого оленя. В каждую спайку моего панциря он попадал длиннейшей стрелой. Не носи я под панцирем испанской кольчуги, мне бы несдобровать.   
 - Но вы все-таки удержали за собой позицию? - спросил храмовник. - Мы свою башню потеряли.   
 - Это серьезная потеря! - сказал де Браси. - Под прикрытием этой башни негодяи могут подступить к замку гораздо ближе. Если не смотреть за ними в оба, того и гляди они проберутся в какой-нибудь незащищенный угол или в забытое окошко и застанут нас врасплох. Нас так мало, что нет возможности оборонять каждый пункт. Люди и без того жалуются, что чуть только высунешься из-за стены, сейчас на тебя посыплется столько стрел, сколько не попадает в приходскую мишень под праздник. Вот и Фрон де Беф при смерти; стало быть, нечего ждать помощи от его бычьей головы и звериной силы. Как вы полагаете, сэр Бриан, не договориться ли нам в силу необходимости с этими мерзавцами, выдав им пленников?   
 - Что? - воскликнул храмовник. - Выдать наших пленников и стать всеобщим посмешищем? Какие доблестные вояки: сумели ночной порой напасть на беззащитных проезжих и взять их в плен, а среди бела дня не сумели защитить крепкий замок против скопища какихто бродяг и воров под предводительством шутов да свинопасов! Стыдись подавать подобные советы, Морис де Браси. Пусть этот замок обрушится на меня и похоронит мое тело и мой позор, прежде чем я соглашусь на такую низкую и бесславную сделку.   
 - Ну что же, пойдем защищать стены, - молвил де Браси беспечно. - Еще не родился тот человек, будь он хоть турок или храмовник, который бы меньше меня ценил жизнь. Но, надеюсь, нет ничего позорного в том, что мне хотелось бы иметь теперь под рукой человек сорок бойцов из моей храброй дружины. О мои бравые копьеносцы! Если бы вы знали, как туго приходится сегодня вашему начальнику, то я бы скоро увидел свое знамя над вашими пиками! И тогда мы мигом бы справились с этими подлыми бунтовщиками!   
 - Мечтать можешь о чем угодно, - сказал храмовник, - но подумай, как бы получше наладить оборону с теми воинами, которые у нас налицо. Это большею частью слуги барона Фрон де Бефа, заслужившие ненависть местного населения тысячью дерзких поступков.   
 - Тем лучше, - сказал де Браси, - значит, эти рабы будут защищаться до последней капли крови, лишь бы ускользнуть от мщения крестьян. Идем же и будем драться, Бриан де Буагильбер. Останусь ли я жив или умру - увидишь, что сегодня поведение Мориса де Браси будет достойно родовитого и благородного дворянина.   
 - По местам! - воскликнул храмовник.   
 И оба пошли на стены, чтобы сделать все возможное для обороны крепости. Они оба считали, что наиболее опасным пунктом были ворота напротив той передовой башни, которой успел овладеть неприятель. Правда, эта башня отделялась от самого замка глубоким рвом, наполненным водою, и осаждающим нельзя было иначе подступиться к стенам и атаковать ворота, как преодолев это препятствие. Тем не менее и храмовник и де Браси полагали, что если осаждающие будут действовать по тому плану, который уже обнаружил их предводитель, то они при помощи отчаянного натиска постараются привлечь к этому пункту главные силы защитников замка, а тем временем примут все меры, чтобы использовать малейшую оплошность обороняющихся в других местах. Ввиду малочисленности защитников замка рыцари могли только расставить по всем стенам часовых, чтобы они в случае неожиданного нападения немедленно подняли тревогу. Было решено, что де Браси займется обороной ворот против передовой башни, а храмовник наберет человек двадцать в резерв, готовых защитить любое место замка, которое окажется под угрозой нападения.   
 Утрата передовой башни ухудшила положение осажденных еще и потому, что, хотя стены замка были гораздо выше этой башни, осажденные не могли, как прежде, определить движение неприятеля. Разбросанные по лугу деревья и кустарники так близко подходили к боковым воротам башни, что осаждающие имели возможность незаметно для противника провести туда сколько угодно людей. Поэтому де Браси и храмовник не могли предугадать, где именно развернется главное наступление, и их воины, несмотря на свою отвагу, все время находились под гнетом тревожной неизвестности, как всегда бывает, когда люди, окруженные врагами, не знают ни времени нападения, ни способов атаки, подготовляемой неприятелем.   
 Между тем властелин осажденного замка лежал на смертном одре, испытывая телесные и душевные муки. У него не было обычного утешения всех ханжей того суеверного времени, надеявшихся заслужить прощение и искупить свои грехи щедрыми пожертвованиями на церковь и этим способом притупить свой страх. И хотя купленное таким путем успокоение было не более похоже на душевный мир, следующий за искренним раскаянием, чем сонное оцепенение от опиума похоже на здоровый и натуральный сон, все-таки такое состояние духа было легче переносить, нежели угрызения пробудившейся совести. Среди всех пороков Фрон де Бефа, человека грубого и алчного, корыстолюбие было наиболее сильным: он предпочитал пренебрегать церковью и ее служителями, нежели покупать себе отпущение грехов ценой золота и земельных угодий. Храмовник, безбожник совсем иного порядка, неправильно понимал своего приятеля, говоря, что Фрон де Беф не в состоянии разумно объяснить причины своего неверия и презрения к установленным обрядам, ибо барон мог ответить на это, что церковь слишком дорого продает свои товары, что духовную свободу, которую она пустила в продажу, можно было купить, подобно должности старшего начальника Иерусалимского ордена, за "огромную сумму", и Фрон де Беф предпочитал отрицать целебное действие медицины, чтобы не платить врачу.   
 Но вот настала такая минута, когда все земные сокровища начали утрачивать свои прелести, и сердце жестокого барона, которое было не мягче мельничного жернова, исполнилось страха, глядя в черную пучину будущего. Лихорадочное состояние его тела еще более усиливало мучительную тревогу души; его предсмертные часы проходили в борьбе проснувшегося ужаса с привычным упорством непреклонного нрава - состояние безвыходное и страшное, и можно сравнить его лишь с пребыванием в тех грозных сферах, где раздаются жалобы без надежд, где угрызения совести не сопровождаются раскаянием, где царствует сознание неизъяснимого мучения и наряду с ним - предчувствие, что нет ему ни конца, ни утоления!   
 - Куда запропастились эти попы, - ворчал барон, - эти монахи, что за такую дорогую цену устраивают свои духовные представления! Где теперь все босоногие кармелиты, для которых старый Фрон де Беф основал монастырь святой Анны, ограбил в их пользу своего наследника, отобрав у него столько хороших угодий, тучных нив и выгонов? Где теперь эти жадные собаки? Небось пьянствуют где-нибудь, попивают эль либо показывают свои фокусы у постели какого-нибудь подлого мужика!.. А меня, наследника их благодетеля, меня, за кого они обязаны молиться по распоряжению дарственной грамоты, эти неблагодарные подлецы допускают умирать без исповеди и причащения, точно бездомную собаку, что бегает по выгону. Позовите мне храмовника: он ведь тоже духовное лицо и может что-нибудь сделать. Но нет: я лучше черту исповедуюсь, чем Бриану де Буагильберу, которому ни до рая, ни до ада нет дела. Слыхал я, что старые люди сами за себя молятся, таким не надо ни просить, ни подкупать лицемерных попов. Но я не смею.   
 - Вот как, Фрон де Беф сам сознается, что чего-то не смеет? - произнес у его постели чей-то прерывистый, пронзительный голос.   
 Фрон де Беф был настолько потрясен и совесть его была так нечиста, что, когда раздался этот вопрос, ему почудилось, будто он слышит голос одного из тех бесов, которые, по суеверным понятиям того времени, обступают умирающего человека, стараясь рассеять и отвлечь его от благочестивых размышлений о вечном блаженстве.   
 Он содрогнулся, но, тотчас призвав на помощь обычную свою решимость, воскликнул:   
 - Кто там? Кто ты, дерзающий отзываться на мои речи голосом, похожим на карканье ночного ворона? Стань перед моей постелью, чтобы я мог видеть тебя.   
 - Я твой злой дух, Реджинальд Фрон де Беф, - отвечал голос.   
 - Так покажись мне в своем телесном образе, коли ты настоящий бес, - сказал умирающий рыцарь. - Не думай, что я испугаюсь тебя. Клянусь страшным судом, если бы я мог бороться с ужасами, обступившими меня теперь, как прежде - с земными опасностями, то ни рай, ни ад не посмели бы сказать, что я отступаю от борьбы.   
 - Думай о своих греха, Реджинальд Фрон де Беф, - сказал странный, почти нечеловеческий голос, - думай о своем бунтарстве, о корыстолюбии, об убийствах! Кто подстрекал распутного Джона против седого отца, против великодушного брата?   
 - Кто бы ты ни был - бес, монах или черт, - ты изрыгаешь ложь! - воскликнул Фрон де Беф. - Не я подстрекал Джона к восстанию, не я один. Нас было до пятидесяти рыцарей и баронов, цвет всех графств средней Англии. Лучше нас не было бойцов в государстве. Почему же я один должен отвечать за грех, совершенный полестней таких людей? Лживый бес, я презираю тебя! Уходи и не смей больше являться. Если ты смертный - дай мне умереть спокойно; если сатана - твой час еще не настал.   
 - Нет, я не дам тебе умереть спокойно, - повторил тот же голос. - Умирая, ты будешь думать о своих злодеяниях, о стонах, раздававшихся в этих стенах, о крови, впитавшейся в пол твоего замка.   
 - Твоя низкая злоба меня не собьет с толку! - возразил Фрон де Беф с мрачным и натянутым смехом. - Что касается нечестивого еврея, то мой поступок с ним был богоугодным делом; за что же тогда люди, обагряющие свои руки кровью сарацин, почитаются святыми? Саксонские свиньи, которых я уничтожил, были врагами моей родины, моего рода и моего повелителя. Ха-ха! Как видишь, не удалось тебе меня пронять. Что, убежал? Я заставил тебя молчать.   
 - Нет, гнусный отцеубийца, не заставил! - отвечал голос. - Подумай о своем отце, припомни его смерть, вспомни зал пиршества, где пол был залит его кровью, пролитой рукой его собственного сына.   
 - Ага, - произнес барон после довольно продолжительного молчания, - ты знаешь это! Поистине ты дух зла, всеведущий, как говорят монахи. Я считал эту тайну погребенной в моей груди и в груди той, которая была искусительницей и участницей моего преступления. Уйди, бес, оставь меня! Отыщи саксонскую колдунью Ульрику. Она одна могла бы поведать тебе то, чему мы с ней были единственными свидетелями. Иди к ней, говорю я: она омыла его раны и придала убитому вид умершего естественной смертью. Иди к ней: она соблазнила меня, она уговорила меня совершить это гнусное дело, она же и отплатила мне за него еще более гнусной наградой. Пускай же и она отведает той муки, которой я теперь мучаюсь, - хуже этого не будет и в аду.   
 - Она и так уже отведала этой муки, - сказала Ульрика, подходя к постели барона Фрон де Бефа. - Она давно пила из этой горькой чаши, но ее горечь смягчилась теперь, когда она увидела, что и тебе приходится пить из нее. Напрасно ты скрежещешь зубами, Реджинальд, и угрожаешь глазами, нечего сжимать кулаки. Еще недавно твоя рука, подобно руке знаменитого предка, передавшего тебе свое имя, могла одним ударом свалить быка, а теперь она так же слаба и беспомощна, как моя.   
 - Подлая, лютая ведьма! - проговорил Фрон де Беф. - Зловещая сова! Так это ты пришла издеваться над человеком, которого сама же погубила?   
 - Да, Реджинальд Фрон де Беф, - ответила она, - это я, Ульрика, дочь убитого Торкиля Вольфгангера, сестра его зарезанных сыновей. Это я пришла требовать отчета у тебя и всего твоего рода: что сталось с моим отцом и семьей, с моим именем, с честью - со всем, что отнял у меня проклятый род Фрон де Бефов? Подумай о перенесенных мною обидах и скажи: правду ли я говорю? Ты был моим злым духом, а я хочу быть твоим. Я буду мучить тебя до последнего твоего вздоха.   
 - Мерзкая фурия, - воскликнул Фрон де Беф, - ты не будешь свидетельницей моего конца! Эй, Жиль, Клеман, Юстес, Сен-Мор, Стивен! Схватите эту проклятую ведьму и сбросьте ее с высоты стен! Она предала нас саксонцам! Эй, Сен-Мор, Клеман, подлые трусы, рабы, куда вы запропастились?   
 - Ну-ка, позови их еще, доблестный барон, - молвила старуха со злобной усмешкой, - созывай своих вассалов, пригрози им за промедление кнутом и тюрьмой. Но знай, могучий вождь, что отныне не будет тебе ни ответа, ни помощи, ни повиновения. Слышишь ты эти страшные звуки? - продолжала она, внезапно меняя тон; до них вновь доносился оглушительный шум разгоревшейся битвы. - Эти крики возвещают падение твоего дома. Скрепленное потоками крови могущество баронов Фрон де Бефов потрясено до самых основ руками тех врагов, которых ты так презирал. Ведь там саксы, Реджинальд! Презренные саксы берут приступом стены твоего замка! Что же ты лежишь тут, как избитый холоп? Ведь саксы овладевают твоей твердыней!   
 - Боги и бесы! - вскричал раненый рыцарь. - О, если бы хоть на минуту воротилась моя прежняя сила, чтобы дотащиться до места боя и умереть как подобает рыцарю!   
 - И не думай об этом, храбрый воин! - возразила она. - Ты умрешь не как честный воин, а как лисица в своей норе, когда крестьяне поджигают хворост вокруг ее логова.   
 - Врешь, ненавистная старуха! - воскликнул Фрон де Беф. - Мои слуги - отважные молодцы, мои стены крепки и высоки! Мои ратные товарищи не побоятся любого полчища саксов, хотя бы их вождями были сам Хенгист и Хорса! Это боевой клич храмовника и воинов - вольной дружины покрывает шум битвы. Клянусь честью, когда мы зажжем потешный костер на радостях нашей победы, ты сгоришь в нем - и тело и кости твои сгорят! А я доживу до того времени, когда буду знать, что ты из земного огня попала в адское пламя, в то сатанинское царство, которое никогда еще не порождало худшего беса, чем ты.   
 - Думай что хочешь, - отвечала Ульрика, - пока не убедишься в другом... Да нет, - сказала она, прерывая самое себя, - можешь и сейчас узнать свою участь, которую не могут предотвратить ни все твое могущество, ни сила и отвага, хотя она подготовлена моими слабыми руками. Замечаешь ли ты удушливый дым, который черными клубами ходит по комнате? Ты, может быть, думаешь, что у тебя в глазах темнеет и начинается предсмертное удушье? Нет, Реджинальд, тому причина иная. Ты помнишь про хворост и дрова, что сложены внизу, под этими комнатами?   
 - Женщина! - воскликнул Фрон де Беф вне себя от ярости. - Неужели ты подожгла его? Так и есть - замок объят пламенем!   
 - Да, пожар разгорается быстро, - сказала Ульрика с устрашающим спокойствием. - Вскоре я подам сигнал осаждающим, чтобы они смелее теснили тех, кто бросится тушить пожар. Прощай, Фрон де Беф! Пускай Миста, Скогула и Зернебок, божества древних саксов, или бесы, как зовут их нынешние монахи, займут место утешителей у твоего смертного одра - Ульрика покидает тебя. Но знай, если это может тебя утешить, знай, что Ульрика пойдет с тобой одной дорогой и разделит твою кару, как делила твои злодеяния. Прощай, отцеубийца, прощай навсегда! И пусть каждый камень этих сводов обретет язык и повторяет: "Отцеубийца!"   
 С этими словами она вышла из комнаты, и Фрон де Беф расслышал, как заскрипел громадный ключ и два раза повернулся в дверном замке, лишив его всякой надежды на спасение. В исступлении и тревоге он стал изо всех сил звать на помощь слуг и союзников:   
 - Стивен и Сен-Мор! Клеман и Жиль! Я сгорю здесь без помощи. Помогите, помогите! Храбрый Буагильбер, отважный де Браси! Это я, Фрон де Беф, призываю вас! Это я, ваш хозяин, предатели вассалы! Ваш союзник, соратник, вероломные рыцари-обманщики! Пусть проклятия разразятся над вашими малодушными головами за то, что вы бросили меня на погибель!.. Но они не слышат, не могут слышать: мой голос заглушается шумом битвы. А дым все гуще, все чернее, уже огонь пробивается сквозь пол. О, хоть бы один глоток чистого воздуха, а там пусть гибель! - В безумном припадке отчаяния и тоски несчастный то отдавал какие-то боевые приказания, то бормотал невнятные речи, проклиная себя самого, и род человеческий, и сами небеса.   
 - Вон показались красные языки пламени сквозь густой дым! - восклицал он. - Сатана идет против меня под знаменем своей стихии. Прочь, злой дух! Я не пойду за тобой без моих товарищей! Все, все тебе предназначены, все защитники этих стен. Ты думаешь, Фрон де Беф согласится пойти к тебе один? Нет! И безбожный храмовник, и распутный де Браси, и Ульрика, гнусная развратница, и слуги, что помогали мне во всем, и саксонские псы, и проклятые евреи, мои пленники, - все, все пойдут со мной... Славная компания по дороге в ад! Ха-ха-ха! - В исступлении он расхохотался, и своды потолка ответили эхом. - Кто здесь хохочет? - воскликнул Фрон де Беф изменившимся голосом, ибо шум битвы не мог заглушить отзвуки его безумного смеха. - Кто смеялся? Ульрика, это ты? Отвечай же, ведьма! Скажи хоть слово, и я прощу тебя. Только ты могла смеяться в такую минуту или сам сатана! Прочь! Прочь!

**Глава XXXI**

Вперед, мои друзья! В брешь, напролом!   
 Закроем брешь стеной английских тел!   
 ...Вы, иомены мои,   
 Вы англичане родом - покажите,   
 Что от природы и по воспитанью   
 Вы храбрецы...   
 "Король Генрих V"   
  
 Хотя Седрик не слишком полагался на слова Ульрики, все же он поспешил сообщить Черному Рыцарю и иомену Локсли о данном ею обещании. Они были рады узнать, что в осажденной крепости у них есть союзница, которая в случае нужды облегчит им доступ в замок. И Черный Рыцарь и Локсли были вполне согласны с саксом, что следует попытаться во что бы то ни стало взять стены приступом, так как это единственное средство выручить пленных, попавших в руки жестокого барона Фрон де Бефа.   
 - Потомок короля Альфреда в опасности, - сказал Седрик.   
 - Честь благородной дамы в опасности, - прибавил Черный Рыцарь.   
 - Клянусь образом святого Христофора, что у меня на перевязи, - воскликнул иомен, - если бы дело шло только о спасении верного слуги, бедня- ги Вамбы, я бы не пожалел своей руки или ноги, лишь бы ни один волос не упал с его головы!   
 - И я также, - сказал отшельник. - Как можно, сэры! Я уверен, что дурак - такой дурак, который ни в чем не виноват, да еще мастер своего дела и умеет придать вкус и смак каждой чаше вина, не хуже доброго ломтя ветчины, - такой дурак, братцы, говорю я, всегда может рассчитывать на умного монаха. Тот за него и помолится и подерется, пока сам не забудет, как читать молитвы и орудовать бердышом! - С этими словами он завертел над головой своей тяжелой дубиной, словно это был легкий пастушеский посох.   
 - Дело говоришь, святой причетник! - воскликнул Черный Рыцарь. - Это так же верно, как если бы это говорил не ты, а сам святой Дунстан. Ну, добрый мой Локсли, не пора ли благородному Седрику принять на себя начальство и вести нас на приступ?   
 - Нет, я не возьмусь, - возразил Седрик. - Я не обучен ни искусству осады, ни обороны тех твердынь, которые норманские тираны воздвигли в нашей угнетенной стране. Драться я готов в первых рядах. Но мои честные соседи знают, что я не солдат и не обучен воинскому искусству вести штурм крепостей.   
 - Коли так, благородный Седрик, - сказал Локсли, - я с охотой возьмусь командовать стрелками, и повесьте меня на том дубе, под которым собирался мой отряд, если хоть один из защитников, показавшийся изза стен, не будет осыпан таким множеством стрел, сколько бывает чесноку в рождественском окороке.   
 - Хорошо сказано, бравый иомен! - отвечал Черный Рыцарь. - Если вы считаете меня подходящим человеком для командования и если среди этих смелых молодцов найдется достаточное количество желающих идти за настоящим английским рыцарем, каким я смело могу считать себя, я с радостью предлагаю свое искусство и боевой опыт - и поведу атаку на стены замка.   
 Распределив таким образом роли, вожди пошли на приступ, исход которого уже известен читателю.   
 Когда передовая башня была завоевана, Черный Рыцарь послал эту радостную весть иомену Локсли; в то же время он просил Локсли как можно внимательнее наблюдать за осажденными и помещать им сосредоточить свои силы для внезапной атаки, чтобы снова отбить взятое у них укрепление. Для рыцаря было особенно важно не допустить неприятеля произвести вылазку: он знал, что плохо вооруженные и вовсе не обученные добровольцы, которыми он командовал, не будут в состоянии выдержать натиск опытных воинов, составлявших свиту норманских рыцарей, так как те не только превосходили осаждающих своим вооружением, но и обладали спокойной самоуверенностью, возникающей под влиянием дисциплины и долгих военных упражнений.   
 Рыцарь воспользовался временем затишья, приказав соорудить плавучий мост или, вернее, длинный плот, с помощью которого он надеялся перебраться через ров. Устройство такого плота задерживало дальнейшее наступление, но предводители не очень жалели об этом промедлении, тем более что оно давало возможность Ульрике оказать осаждающим обещанную помощь.   
 Когда плот был готов. Черный Рыцарь обратился к осаждающим с такой речью:   
 - Больше ждать нечего, друзья мои. Солнце склоняется к западу, а у меня есть такое дело, которое не дозволит мне провести с вами еще один день. К тому же будет чудо, если на помощь противнику из Йорка не подоспеет конница. Нам надо торопиться. Один из вас пойдет к Локсли и скажет ему, чтобы он начинал стрельбу из луков с противоположной стороны замка и подвигался вперед, как бы на приступ. А вы, стойкие английские молодцы, оставайтесь со мной и приготовьтесь спустить на воду плот, как только откроют ворота башни. Смело следуйте за мной по доскам и помогите мне разбить вон те ворота в главной стене крепости. Те из вас, кто не желает участвовать в этом деле или у кого нет подходящего оружия, пусть займут вершину передовой башни, хорошенько натянут луки и стреляют в каждого, кто покажется на противоположной стене замка. Благородный Седрик, ты возьмешь на себя труд распоряжаться остающимися?   
 - О нет! Клянусь душой Херварда, - отвечал Сакс, - распоряжаться я не умею! Но пусть потомство проклинает меня и в могиле, если я не стану биться в первом ряду, куда бы ты ни повел нас. Ведь это мое кровное дело, и потому мне прилично идти впереди всех.   
 - Подумай, однако, благородный Сакс, - возразил рыцарь, - на тебе ни панциря, ни кольчуги, ты в одном легком шлеме, а вместо ратных доспехов у тебя только шит да меч.   
 - Тем лучше, - отвечал Седрик. - Тем легче мне будет лезть на эту стену. И - не сочти за похвальбу, сэр рыцарь, - я тебе покажу сегодня, что саксонец с обнаженной грудью так же смело идет в бой, как норманн в стальном панцире.   
 - Ну, так с богом! - сказал Черный Рыцарь. - Растворяйте ворота и спускайте на воду плавучий мост.   
 Ворота, которые вели из передовой башни ко рву и приходились напротив ворот для вылазок в главной стене замка, внезапно распахнулись. Плот столкнули на воду. Он образовал поперек рва скользкий и опасный переход, на котором умещалось не больше двух человек в ряд. Вполне сознавая, как важно захватить неприятеля врасплох, Черный Рыцарь, а за ним и Седрик спрыгнули на плавучий мост и быстро перебрались на другой берег. Тут рыцарь принялся наносить громовые удары топором по воротам замка. От сыпавшихся сверху стрел и камней он был несколько защищен остатками подъемного моста, уничтоженного храмовником во время отступления из передовой башни. Часть настила этого моста вместе с подъемными блоками так и осталась прикрепленной к верхнему выступу портала, образуя нечто вроде навеса над Седриком и рыцарем. Люди, перешедшие по плавучему мосту вслед за рыцарем, были лишены этого прикрытия. Двое, пронзенные стрелами, были убиты наповал, двое других упали в ров, остальные поспешно скрылись в башне.   
 Положение Седрика и Черного Рыцаря было поистине опасно. Оно было бы еще опаснее, если бы не дружная помощь стрелков, засевших в передовой башне: они не переставали осыпать стрелами бойницы на стенах, отвлекая внимание защитников замка и мешая им обрушивать на обоих вождей метательные снаряды, которые угрожали уничтожить навес над их головами. Тем не менее грозившая Черному Рыцарю опасность увеличивалась с каждой минутой.   
 - Не стыдно ли вам! - кричал де Браси своим солдатам. - Какие же вы стрелки, если эти два пса хозяйничают под самыми стенами замка! Сворачивайте зубцы с вершины стены и валите их вниз! Доставьте ломы, рычаги и своротите вот этот зубец! - Он указал на тяжелый каменный выступ, украшенный резьбой и выдававшийся над парапетом.   
 В эту минуту осаждающие увидели красный флаг, выставленный из окна угловой башни, о которой Ульрика говорила Седрику. Отважный иомен Локсли, пробираясь в передовое укрепление, чтобы узнать, как идет осада, первый заметил этот сигнал.   
 - Георгий Победоносец! - крикнул он. - Святой Георгий за Англию! Вперед, смелые иомены! Что же вы оставили рыцаря и благородного Седрика? Вдвоем, что ли, они будут штурмовать крепость? Эй, монах, шальная голова, покажи, как ты умеешь драться за свои четки! Вперед, отважные иомены! Замок наш, у нас есть союзники внутри крепости. Видите красный флаг? Это условный сигнал. Замок Торкилстон наш! Подумайте о чести, о добыче! Еще одно усилие - и мы возьмем крепость!   
 С этими словами он натянул лук и пронзил стрелой грудь одного из воинов, который, по приказу де Браси, принялся сдвигать огромный камень со стены, собираясь обрушить его на головы Седрика и Черного Рыцаря. Другой воин выхватил из рук умирающего железный лом, которым тот орудовал, подсунул его под каменный зубец, но меткая стрела вонзилась в его шлем, и он мертвый упал через парапет в ров, полный воды. Остальные бойцы растерялись, видя, что никакие доспехи не могут устоять против страшного стрелка.   
 - Струсили, подлецы? - крикнул де Браси. - Mount joye Saint Denis! [27] Подайте мне лом!   
 Он схватил лом и начал подсовывать под камень, который был так велик и тяжел, что если бы упал вниз, то, наверно, сломал бы упоры подъемного моста, служившие прикрытием для осаждающих, и, кроме того, потопил бы плот, по которому они переправились через ров. Все увидели опасность, и даже храбрейшие (в том числе и отважный отшельник) не решались ступить на плот. Локсли трижды стрелял в де Браси, и всякий раз стрела отскакивала от его непроницаемой брони.   
 - Черт бы побрал твои испанские доспехи! - ворчал Локсли. - Будь они сработаны английским кузнецом, мои стрелы давно бы прокололи их насквозь, как шелк или холстину. - И он закричал во весь голос: - Эй, товарищи! Друзья! Благородный Седрик! Идите назад! Дайте свалить глыбу!   
 Но они не слышали его голоса, так как грохот, производимый топором рыцаря, разбивавшего ворота, мог бы заглушить даже двадцать боевых труб. Правда, верный Гурт спрыгнул на мостик и побежал предупредить Седрика об угрожавшей опасности или разделить его участь. Но предупреждение пришло бы слишком поздно, потому что громадный камень начинал уже колебаться и де Браси в конце концов свалил бы его вниз, если бы у самого его уха не раздался голос храмовника:   
 - Все пропало, де Браси: замок горит.   
 - Да ты с ума сошел! - воскликнул рыцарь.   
 - Вся западная сторона охвачена пламенем. Я пробовал тушить, но все было тщетно.   
 Бриан де Буагильбер сообщил эту ужасную новость с суровым спокойствием, составлявшим основную черту его характера; но не так принял это известие его изумленный товарищ.   
 - Святые угодники! - сказал де Браси. - Что делать? Обещаю поставить святому Николаю в Лиможе подсвечник из чистого золота...   
 - Не торопись со своими обетами, - прервал его храмовник. - Выслушай меня, веди своих людей вниз, будто бы на вылазку, раствори ворота. Там на плоту только двое человек, опрокинь их в ров, а сам со своими людьми бросайся к передовой башне. Тем временем я подоспею к наружным воротам и буду атаковать башню с той стороны. Если нам удастся снова овладеть этим пунктом, будь уверен, что мы сумеем защищаться до тех пор, пока не придут к нам на выручку, или по крайней мере сдадимся на выгодных условиях.   
 - Это хорошая мысль, - сказал де Браси. - Я свою задачу выполню... А ты, храмовник, меня не выдашь?   
 - Вот тебе моя рука и перчатка, не выдам, - отвечал Буагильбер. - Но надо спешить! Скорее, во имя бога!   
 Де Браси наскоро собрал своих людей и бросился вниз, к воротам, которые приказал распахнуть настежь. Как только это было исполнено, чудовищная сила Черного Рыцаря позволила ему ворваться внутрь, невзирая на сопротивление де Браси и его воинов. Двое передовых тотчас упали мертвыми, а остальные были оттеснены назад, как ни старался их начальник остановить отступавших.   
 - Скоты! - кричал де Браси. - Неужели вы дадите двоим овладеть нашим единственным средством к спасению?   
 - Да ведь это сам черт! - сказал один старый воин, сторонясь от ударов Черного Рыцаря.   
 - А хоть бы и черт! - возразил де Браси. - В ад вы, что ли, хотите от него бежать? Замок горит, негодяи! Пусть отчаяние придаст вам храбрости, или пустите меня вперед - я сам разделаюсь с этим рыцарем!   
 И вправду, в этот день де Браси постоял за свою рыцарскую честь и показал, что он достоин славы, завоеванной им в междоусобных войнах этого ужасного времени. Сводчатый проход в стене, куда вели ворота, стал ареной рукопашной схватки двух бойцов. Гулко отдавались под каменными сводами яростные удары, которые наносили они друг другу: де Браси - мечом, а Черный Рыцарь - тяжелым топором. Наконец де Браси получил такой удар, отчасти отраженный щитом, что во весь рост растянулся на каменном полу.   
 - Сдавайся, де Браси, - сказал Черный Рыцарь, склонившись над ним и занеся над решеткой его забрала роковой кинжал, которым рыцари приканчивали поверженных врагов (оружие это называлось кинжалом милосердия), - сдавайся, Морис де Браси, покорись без оглядки, не то сейчас тебе конец!   
 - Не хочу сдаваться неизвестному победителю, - отвечал де Браси слабым голосом, - скажи мне свое имя или прикончи меня... Пусть никто не сможет сказать, что Морис де Браси сдался в плен безымянному простолюдину.   
 Черный Рыцарь прошептал несколько слов на ухо поверженному противнику.   
 - Сдаюсь в плен, - отвечал норманн, переходя от упрямого и вызывающего тона к полной, хотя и мрачной покорности.   
 - Ступай в передовую башню, - сказал победитель властно, - и там ожидай моих приказаний.   
 - Сначала позволь доложить тебе, - сказал де Браси, - что Уилфред Айвенго, раненый и плененный, погибнет в горящем замке, если не оказать ему немедленной помощи.   
 - Уилфред Айвенго, - воскликнул Черный Рыцарь, - в плену и погибает! Если хоть один волос на его голове опалит огнем, все население замка ответит мне за это жизнью. Укажи мне, в которой он комнате.   
 - Вон там витая лестница, - сказал де Браси. - Взойди наверх, она ведет в его комнату... Если угодно, я провожу тебя, - прибавил он покорным тоном.   
 - Нет, иди в передовую башню и жди моих распоряжений. Я тебе не доверяю, де Браси.   
 В продолжение этой схватки и последовавшего за ней краткого разговора Седрик во главе отряда, среди которого особенно видное место занимал отшельник, оттеснил растерявшихся и впавших в отчаяние воинов де Браси; одни из них просили пощады, другие тщетно пытались сопротивляться, а большая часть бросилась бежать ко внутреннему двору. Сам де Браси поднялся на ноги и печальным взглядом проводил своего победителя.   
 - Он мне не доверяет! - прошептал де Браси. - Но разве я заслужил его доверие?   
 Он поднял меч, валявшийся на полу, снял шлем в знак покорности и, перейдя через ров, отдал свой меч иомену Локсли.   
 Пожар между тем разгорался все сильнее; отсветы его постепенно проникли в ту комнату, где Ревекка ухаживала за раненым Айвенго. Шум возобновившейся битвы пробудил его от короткого сна. По его настоятельной просьбе заботливая сиделка снова заняла место у окна, с тем чтобы наблюдать за ходом борьбы и сообщать ему, что делается под стенами; но некоторое время она ничего не могла разобрать, так как все заволокло какимто смрадным туманом. Наконец дым черными клубами ворвался в комнату; затем, невзирая на оглушительный шум сражения, послышались крики: "Воды, воды!" - и они поняли, что им угрожает новая опасность.   
 - Замок горит! - сказала Ревекка. - Пожар! Как нам спастись?   
 - Беги, Ревекка, спасай свою жизнь, - сказал Айвенго, - а мне уже нет спасения.   
 - Я не уйду от тебя, - отвечала Ревекка. - Вместе спасемся или погибнем. Но, великий боже, мой отец, отец! Какая судьба постигнет его?   
 В эту минуту дверь распахнулась настежь, и на пороге появился храмовник. Вид его был ужасен: золоченые доспехи - проломлены и залиты кровью, а перья на шлеме частью сорваны, частью обгорели.   
 - Наконец-то я нашел тебя, Ревекка! - сказал он. - Ты увидишь теперь, как я сдержу свое обещание делить с тобой и горе и радости. Нам остался один только путь к спасению. Я преодолел десятки препятствий, чтобы указать тебе этот путь, - вставай и немедля иди за мной.   
 - Одна я не пойду, - сказала Ревекка. - Если ты рожден от женщины, если есть в тебе хоть капля милосердия, если твое сердце не так жестоко, как твоя железная броня, - спаси моего старого отца, спаси этого раненого рыцаря.   
 - Рыцарь, - отвечал храмовник со свойственным ему спокойствием, - всякий рыцарь, Ревекка, должен покоряться своей участи, хотя бы ему пришлось погибнуть от меча или огня. И какое мне дело до того, что станет с евреем?   
 - Свирепый воин, - воскликнула Ревекка, - я скорее погибну в пламени, чем приму спасение от тебя!   
 - Тебе не придется выбирать, Ревекка, - один раз ты заставила меня отступить, но ни один смертный не добьется от меня этого дважды.   
 С этими словами он схватил испуганно кричавшую девушку и унес ее вон из комнаты, невзирая на ее отчаянные крики и на угрозы и проклятия, которые посылал ему вслед Айвенго:   
 - Храмовник, подлый пес, позор своего ордена! Отпусти сейчас же эту девицу! Предатель Буагильбер! Это я, Айвенго, тебе приказываю! Негодяй! Ты заплатишь мне за это своей кровью.   
 - Я бы, пожалуй, не нашел тебя, Уилфред, если бы не услышал твоих криков, - сказал Черный Рыцарь, входя в эту минуту в комнату.   
 - Если ты настоящий рыцарь, - отвечал Уилфред, - не заботься обо мне, а беги за тем похитителем, спаси леди Ровену и благородного Седрика.   
 - Всех по порядку, - сказал Рыцарь Висячего Замка, - но твоя очередь первая.   
 И, схватив на руки Айвенго, он унес его так же легко, как храмовник унес Ревекку, добежал с ним до ворот и, поручив свою ношу заботам двух иоменов, сам бросился обратно в замок выручать остальных пленных.   
 Одна башня была вся объята пламенем; огонь стремительно вырывался изо всех окон и бойниц. Но в других частях замка толщина стен и сводчатых потолков еще противилась действию огня, и тут бушевала человеческая ярость, едва ли не более страшная и разрушительная, чем пламя пожара. Осаждающие преследовали защитников замка из одной комнаты в другую и, проливая их кровь, удовлетворяли ту жажду мести, которая давно уже накопилась у них против свирепых воинов тирана Фрон де Бефа. Большинство защищалось до последнего вздоха; немногие просили пощады, но никто не получил ее. Воздух был наполнен стонами и звоном оружия, на полу было скользко от крови умирающих и раненых.   
 Среди этого смятения Седрик бегал по всему замку, отыскивая Ровену, а верный Гурт, поминутно рискуя жизнью, следовал за ним, чтобы отвратить удары, направленные на его хозяина. Благородному Саксу посчастливилось достигнуть комнаты его питомицы в ту минуту, когда она уже совершенно отчаялась в возможности спасения и, крепко прижимая к груди распятие, сидела в ожидании неминуемой смерти. Седрик поручил Ровену попечениям Гурта, приказав проводить ее до передовой башни, куда путь был уже очищен от врагов и еще не был прегражден пожаром. Покончив с этим делом, честный Седрик поспешил на выручку своему другу Ательстану, твердо решившись любой ценой спасти последнего отпрыска саксонской королевской фамилии. Но находчивость Вамбы уже обеспечила свободу ему самому и его товарищу по злоключениям, прежде чем Седрик дошел до старинного зала.   
 Когда шум битвы возвестил, что сражение в самом разгаре, Вамба принялся кричать изо всех сил: "Святой Георгий и дракон! Победоносец святой Георгий, постой за родную Англию! Ура, наша взяла!" Чтобы эти крики были страшнее, он стал грохотать ржавым оружием, находившися в зале, где они были заключены.   
 Часовой, стоявший в смежной комнате, струсил, но еще больше испугался он шума, производимого Вамбой, и, растворив настежь наружную дверь, побежал доложить храмовнику, что неприятель ворвался в старый зал. Между тем пленники без всяких затруднений вышли в эту смежную комнату, а оттуда пробрались во двор замка, где разыгрывалась последняя схватка. Тут был высокомерный Буагильбер, верхом на коне, окруженный горстью конных и пеших защитников замка, сплотившихся вокруг своего знаменитого вождя, в надежде под его руководством как-нибудь спастись отсюда. Подъемный мост был по его распоряжению спущен, но осаждающие уже успели занять его. Стрелки, которые до сих пор только издали обстреливали своими стрелами эту часть замка, как только увидели пожар и заметили, что подъемный мост спускают, кинулись к воротам, чтобы помешать бегству защитников и обеспечить себе долю добычи, прежде чем замок успеет сгореть.   
 В то же время часть осаждающих, прорвавшаяся со стороны передового укрепления, только что проникла во двор и яростно нападала на уцелевших защитников, которые, таким образом, подверглись нападению и спереди и с тыла.   
 Одушевленные отчаянием и ободренные примером своего бесстрашного вождя, оставшиеся защитники замка дрались с величайшим мужеством; их было немного, но они были хорошо вооружены, и им удалось несколько раз оттеснить напиравшую на них толпу осаждающих. Ревекка, посаженная на лошадь одного из сарацинских невольников Буагильбера, находилась в самой середине его маленького отряда, и храмовник, невзирая на беспорядочный кровавый бой, все время заботился о ее безопасности. Он беспрестанно возвращался к ней и, не думая о том, как защитить самого себя, держал перед ней свой треугольный, выложенный сталью щит. Время от времени он покидал ее, выскакивал вперед, выкрикивая боевой клич, опрокидывал на землю нескольких передовых бойцов из числа нападавших и тотчас снова возвращался к Ревекке.   
 Ательстан, который, как известно читателю, был великий лентяй, но не трус, увидев на коне женскую фигуру, так ревностно охраняемую рыцарем Храма, вообразил, что это леди Ровена и что Буагильбер задумал ее похитить, несмотря на ее отчаянное сопротивление.   
 - Клянусь душой святого Эдуарда, - воскликнул он, - я отниму ее у этого зазнавшегося рыцаря, и он умрет от моей руки!   
 - Что вы делаете? - закричал Вамба. - Погодите! Поспешить - людей насмешить. Клянусь моей погремушкой, что это вовсе не леди Ровена. Вы посмотрите, какие у нее длинные черные волосы. Ну, раз вы не умеете отличать черного от белого, можете быть вождем, а я вам не свита. Не дам ломать себе кости неведомо ради кого. Да на вас и панциря нет. Подумайте, да разве шелковая шапка устоит против стального меча? Ну, повадился кувшин по воду ходить, тут ему и голову сломить! Deus vobiscum, доблестный Ательстан! - заключил он свою речь, выпустив полу камзола, за которую старался удержать сакса.   
 Ательстан мигом схватил с земли палицу, выпавшую из рук умирающего бойца, и, размахивая ею направо и налево, кинулся к отряду храмовника, каждым ударом сбивая с ног то того, то другого из защитников замка, что при его мощной силе, разжигаемой внезапным припадком ярости, было нетрудно. Очутившись вскоре в двух шагах от Буагильбера, он громко крикнул ему:   
 - Поворачивай назад, вероломный храмовник! Отдавай сейчас ту, которой ты недостоин коснуться! Поворачивай" говорят тебе, ты, разбойник и лицемер из разбойничьего ордена!   
 - Пес! - произнес Буагильбер, заскрежетав зубами. - Я покажу тебе, что значит богохульствовать против священного ордена рыцарей Сионского Храма!   
 С этими словами он повернул коня и, заставив его взвиться на дыбы, приподнялся на стременах, а в то мгновение, когда лошадь опускалась на передние ноги, использовал силу ее падения и нанес Ательстану сокрушительный удар мечом по голове.   
 Правду говорил Вамба, что шелковая шапка не защитит от стального меча. Напрасно Ательстан попытался парировать удар своей окованной железом палицей. Острый меч храмовника разрубил ее, как тростинку, и обрушился на голову злополучного сакса, который замертво упал на землю.   
 - А! Босеан! - воскликнул Буагильбер. - Вот как мы расправляемся с теми, кто оскорбляет рыцарей Храма. Кто хочет спастись - за мной!   
 И, устремившись через подъемный мост, он, пользуясь замешательством, вызванным падением Ательстана, рассеял стрелков, пытавшихся остановить его. За ним поскакали его сарацины и человек пять-шесть воинов, успевших вскочить на коней. Отступление храмовника было тем более опасно, что целая туча стрел понеслась вслед за ним и его отрядом. Ему удалось доскакать до передовой башни, которой Морис де Браси должен был овладеть, согласно их первоначальному плану.   
 - Де Браси! - закричал он. - Де Браси, здесь ли ты?   
 - Здесь, - отозвался де Браси, - но я пленный.   
 - Могу я выручить тебя? - продолжал Буагильбер.   
 - Нет, - отвечал де Браси, - я сдался в плен на милость победителя и сдержу свое слово. Спасайся сам. Сокол прилетел. Уходи из Англии за море. Больше ничего не смею тебе сказать.   
 - Ладно, - сказал храмовник, - оставайся, коли хочешь, но помни, что и я сдержал свое слово. Какие бы соколы ни прилетали, полагаю, что от них можно укрыться в прецептории Темплстоу, - это убежище надежное, туда я и отправлюсь, как цапля в свое гнездо.   
 Сказав это, он поскакал дальше, а за ним и его свита.   
 После отъезда храмовника те из защитников замка, которым не удалось бежать с ним, продолжали оказывать отчаянное сопротивление осаждавшим, так как не надеялись на пощаду. Огонь быстро распространялся по всему зданию. Вдруг Ульрика, виновница пожара, появилась на верху одной из боковых башен, словно какая-то древняя фурия, и громко запела боевую песню, похожую на те, какие во времена язычества распевали саксонские скальды на полях сражений. Ее растрепанные волосы длинными прядями развевались вокруг головы, безумное упоение местью сверкало в ее глазах, она размахивала в воздухе своей прялкой, точно одна из роковых сестер, по воле которых прядется и прекращается нить человеческой жизни. Предание сохранило несколько строф того варварского гимна, который она пела среди окруженного огнем побоища:   
 Точите мечи,   
 Дракона сыны!   
 Факел зажги,   
 Хенгиста дочь!   
 Мы не на пиршестве мясо разрежем   
 Крепким, широким и острым ножом.   
 Факел не к мирному ложу невесты   
 Пламенем синим нам путь осветит.   
 Точите мечи - ворон кричит!   
 Факел зажги - ревет Зернебок!   
 Точите мечи. Дракона сыны!   
 Факел зажги, Хенгиста дочь!   
 Тучею черною замок окутан,   
 Как всадник - на туче летящий орел.   
 Наездник заоблачный, ты не тревожься,   
 Пир твой готов.   
 Девы Валгаллы, ждите гостей -   
 Хенгиста племя вам их пошлет.   
 О чернокудрые девы Валгаллы,   
 Радостно в бубны бейте свои!   
 Множество воинов гордых придет   
 К вам во дворец.   
 Вот темнота опустилась на замок,   
 Тучи вокруг собрались.   
 Скоро они заалеют, как кровь!   
 Красная грива того, кто леса разрушает,   
 взметнется над ними!   
 Это он, сжигающий замки,   
 Пылающим знаменем машет,   
 Знамя его багровеет   
 Над полем, где храбрые бьются.   
 Рад он звону мечей и щитов,   
 Любит лизать он шипящую кровь,   
 что из раны течет.   
 Все погибает, все погибает!   
 Меч разбивает шлемы,   
 Копье пронзает доспехи,   
 Княжьи хоромы огонь пожирает.   
 Удары таранов разрушат ограду.   
 Все погибает! Все погибает!   
 Хенгиста род угас,   
 Имя Хорсы забыто!   
 Не бойтесь судьбы своей, дети мечей!   
 Пусть кинжалы пьют кровь, как вино!   
 Угощайтесь на пиршестве битвы!   
 Озаряют вас стены в огне!   
 Крепко держите мечи, пока горяча ваша кровь,   
 Ни пощады, ни страха не знайте!   
 Мщения время пройдет,   
 Ненависть скоро угаснет,   
 Скоро сама я погибну!   
 Неудержимое пламя победило теперь все препятствия и поднялось к вечерним небесам одним громадным огненным столбом, который был виден издалека. Одна за другой обрушивались высокие башни; горящие крыши и балки летели вниз; сражающиеся были вытеснены со двора замка. Немногие из побежденных, оставшиеся в живых, разбежались по соседним лесам. Победители с изумлением и даже со страхом взирали на пожар, отблески которого окрашивали багровым цветом их самих и их оружие. Исступленная фигура саксонски Ульрики еще долго виднелась на верхушке избранного ею пьедестала. Она с воплями дикого торжества взмахивала руками, словно владычица пожарища, ею зажженного. Наконец и эта башня с ужасающим треском рухнула, и Ульрика погибла в пламени, уничтожившем ее врага и тирана. Ужас сковал язык всем бойцам, и в течение нескольких минут они не шелохнулись, только осеняли себя крестным знамением. Потом раздался голос Локсли:   
 - Радуйтесь, иомены: гнездо тиранов разрушено! Тащите добычу на сборное место, к дубу у Оленьего холма: на рассвете мы честно разделим все между собою и нашими достойными союзниками, которые помогли нам выполнить это великое дело мщения.

**Глава XXXII**

Есть в каждом государстве свой порядок:   
 Уставы городов, царей указы,   
 И даже у разбойников лесных   
 Гражданственности видим мы подобье.   
 Так повелось не со времен Адама -   
 Законы были созданы позднее,   
 Чтобы тесней объединить людей.   
 Старинная пьеса   
  
 Утренее солнце озарило лужайки дубового леса. Зеленые ветви засверкали каплями жемчужной росы. Лань вывела детеныша из чащи на открытую поляну, и не было поблизости ни одного охотника, чтобы выследить и облюбовать стройного оленя, который величавой поступью расхаживал во главе своего стада.   
 Разбойники собрались вокруг заветного дуба у Оленьего холма. Они провели ночь, подкрепляя свои силы после вчерашней осады: одни - вином, другие - сном, а многие слушали или сами рассказывали различные происшествия боя или же подсчитывали добычу, попавшую после победы в распоряжение их начальника.   
 Добыча эта была очень значительна. Несмотря на то, что многое сгорело во время пожара, бесстрашные молодцы все-таки награбили множество серебряной посуды, дорогого оружия и великолепного платья. Однако никто из них не пытался самовольно присвоить себе хотя бы малейшую часть добычи, в ожидании дележа сваленной в общую кучу.   
 Место сборища было у старого дуба. Но это было не то дерево, к которому Локсли привел в первый раз Гурта и Вамбу. Этот дуб стоял среди лесной котловины, на расстоянии полумили от разрушенного замка Торкилстон. Локсли занял свое место - трон из дерна, воздвигнутый под сплетенными ветвями громадного дерева, а его лесные подданные столпились кругом. Он указал Черному Рыцарю место по правую руку от себя, а слева посадил Седрика.   
 - Простите меня за мою смелость, благородные гости, - сказал он, - но в этих дебрях я повелитель: это мое царство, и мои отважные вассалы возымели бы низкое понятие о моем могуществе, если бы я вздумал в пределах своих владений уступить власть кому-нибудь другому... Но где же наш капеллан? Куда девался куцый монах? Христианам прилично начать деловой день с утренней молитвы.   
 Оказалось, что никто не видел причетника из Копменхерста.   
 - Помилуй бог! - сказал вождь разбойников. - Надеюсь, что наш веселый монах опоздал потому, что чуточку пересидел, беседуя с флягою вина. Кто его видел после взятия замка?   
 - Я, - отозвался Мельник. - Я видел, как он возился у дверей одного подвала и клялся всеми святыми, что отведает, какие у барона Фрон де Бефа водились гасконские вина.   
 - Ну, - сказал Локсли, - пусть же святые, сколько их ни есть, охранят его от искушения там напиться. Как бы он не погиб под развалинами замка. Мельник, возьми с собой отряд людей и ступай туда, где ты его приметил в последний раз. Полейте водой изо рва накалившиеся камни. Я готов разобрать все развалины по камешку, только бы не лишиться моего куцего монаха.   
 Несмотря на то, что каждому хотелось присутствовать при дележе добычи, охотников исполнить поручение предводителя нашлось очень много. Это показывало, насколько все были привязаны к своему духовному отцу.   
 - А мы тем временем приступим к делу, - сказал Локсли. - Как только пройдет молва о нашем смелом деле, отряды де Браси, Мальвуазена и других союзников барона Фрон де Бефа пустятся нас разыскивать, и нам лучше поскорее убраться из здешних мест... Благородный Седрик, - продолжал он, обращаясь к Саксу, - добыча разделена, как видишь, на две кучи: выбирай, что тебе понравится, для себя и для своих слуг, участников нашего общего сражения.   
 - Добрый иомен, - сказал Седрик, - сердце мое подавлено печалью. Нет более благородного Ательстана Конингсбургского, последнего отпрыска блаженного Эдуарда Исповедника. С ним погибли такие надежды, которым никогда более не сбыться. Его кровь погасила такую искру, которую больше не раздуть человеческим дыханием. Мои слуги, за исключением немногих, состоящих теперь при мне, только и ждут моего возвращения, чтобы перевезти его благородные останки к месту последнего успокоения. Леди Ровена пожелала воротиться в Ротервуд, и необходимо проводить ее под охраной сильного отряда вооруженных слуг. Так что мне бы следовало еще раньше отбыть из этих мест. Но я ждал не добычи - нет, клянусь богом и святым Витольдом, ни я, ни кто-либо из моих людей не притронется к ней! Я ждал только возможности принести мою благодарность тебе и твоим храбрым товарищам за сохранение нашей жизни и чести.   
 - Как же так, - сказал Локсли, - мы сделали самое большее только половину дела. Если тебе самому ничего не нужно, то возьми хоть что-нибудь для твоих соседей и сторонников.   
 - Я достаточно богат, чтобы наградить их из своей казны, - отвечал Седрик.   
 - А иные, - сказал Вамба, - были настолько умны, что сами себя наградили. Не с пустыми руками ушли. Не все ведь ходят в дурацких колпаках.   
 - И хорошо сделали, - сказал Локсли. - Наши уставы обязательны только для нас самих.   
 - А ты, мой бедняга, - сказал Седрик, обернувшись и обняв своего шута, - как мне наградить тебя, не побоявшегося предать свое тело оковам и смерти ради моего спасения? Все меня покинули, один бедный шут остался мне верен.   
 Когда суровый тан произносил эти слова, в глазах у него стояли слезы - такого проявления чувства не могла вызвать даже смерть Ательстана; в беззаветной преданности шута было нечто такое, что взволновало Седрика гораздо глубже, чем печаль по убитому.   
 - Что же это такое? - сказал шут, вырываясь из объятий своего хозяина. - Ты платишь за мои услуги соленой водой? Этак и шуту придется плакать за компанию. А как же он станет шутить? Слушай-ка, дядюшка, если, в самом деле, хочешь доставить мне удовольствие, прости, пожалуйста, моего приятеля Гурта за то, что он украл одну недельку службы у тебя и отдал ее твоему сыну.   
 - Простить его! - воскликнул Седрик. - Не только прощаю, но и награжу его. Гурт, становись на колени!   
 Свинопас мгновенно повиновался.   
 - Ты больше не раб и не невольник, - промолвил Седрик, дотронувшись до него жезлом, - отныне ты свободный человек и волен проживать в городах и вне городов, в лесах и в чистом поле. Дарую тебе участок земли в моем Уолбругемском владении, прими его от меня и моей семьи в пользу твою и твоей семьи отныне и навсегда, и пусть бог покарает всякого, кто будет тому противиться.   
 Уже не раб, а свободный человек и землевладелец, Гурт вскочил на ноги и дважды высоко подпрыгнул.   
 - Кузнеца бы мне, пилу! - воскликнул он. - Долой этот ошейник с вольного человека! Благородный господин мой, от вашего дара я стал в два раза сильней и драться за вас буду в два раза лучше! Свободная душа в моей груди! Совсем другим человеком стал и для себя и для всех! Что, Фанге, - продолжал он, обращаясь к верному псу, который, увидев восторг своего хозяина, принялся в знак сочувствия скакать около него, - узнаешь ли ты своего хозяина?   
 - Как же, - сказал Вамба, - мы с Фангсом все еще признаем тебя, Гурт, даром что сами не избавились от ошейника; лишь бы ты нас не забывал теперь, да и сам не слишком бы забывался.   
 - Скорее я себя самого забуду, чем тебя, мой друг и товарищ, - сказал Гурт, - а если бы свобода тебе подходила, Вамба, хозяин, наверно, дал бы волю и тебе.   
 - Нет, братец Гурт, - сказал Вамба, - не подумай, что я тебе завидую: раб-то сидит себе у теплой печки, а вольный человек сражается. Сам знаешь, что говорил Олдхелм из Момсбери: дураку за обедом лучше, чем умному в драке.   
 Послышался стук копыт, и появилась леди Ровена в сопровождении нескольких всадников и большого отряда пеших слуг. Они весело потрясали своими пиками и стучали алебардами, радуясь ее освобождению. Сама она, в богатом одеянии, верхом на гнедом коне, вновь обрела свою прежнюю величавую осанку. Только необычайная бледность ее напоминала о перенесенных страданиях. Ее прелестное лицо было грустно, но в глазах светились вновь пробудившиеся надежды на будущее и признательность за избавление от минувших зол. Она знала, что Айвенго жив, и знала, что Ательстан умер. Первое наполняло ее сердце искренним восторгом, и она чувствовала невольное (и довольно простительное) облегчение от сознания, что теперь кончились ее недоразумения с Седриком в том вопросе, в котором ее желания расходились с замыслами ее опекуна.   
 Когда Ровена приблизилась к месту, где сидел Локсли, храбрый иомен и все его сподвижники встали и пошли ей навстречу. Щеки ее окрасились румянцем, она приветствовала их жестом руки и, наклонившись так низко, что ее великолепные распущенные косы на минуту коснулись гривы коня, в немногих, но достойных словах выразила самому Локсли и его товарищам свою признательность за все, чем она была им обязана.   
 - Да благословит вас бог! - сказала она в заключение. - Молю бога и его пречистую матерь наградить вас, храбрые мужи, за то, что вы с опасностью для своей жизни заступились за угнетенных. Кто из вас будет голоден, помните, что у Ровены есть чем накормить вас, для жаждущих у нее довольно вина и пива. А если бы норманны вытеснили вас из здешних мест, знайте, что у Ровены есть свои лесные угодья, где ее спасители могут бродить сколько им вздумается, и ни один сторож не посмеет спрашивать, чья стрела поразила оленя.   
 - Благодарю, благородная леди, - отвечал Локсли, - благодарю за себя и за товарищей. Но ваше спасение само является для нас наградой. Скитаясь по зеленым лесам, мы совершаем немало прегрешений, так пусть же избавление леди Ровены зачтется нам во искупление грехов.   
 Ровена еще раз низко поклонилась и повернула коня, но не отъехала, дожидаясь, пока Седрик прощался с Локсли и его сподвижниками. Но тут совершенно неожиданно она очутилась лицом к лицу с пленным де Браси. Он стоял под деревом в глубоком раздумье, скрестив руки на груди, и Ровена надеялась, что он ее не заметит. Но он поднял голову, и при виде ее яркая краска стыда залила его красивое лицо. С минуту он стоял нерешительно, потом шагнул вперед, взял ее лошадь под уздцы и опустился на колени:   
 - Удостоит ли леди Ровена бросить хоть один взгляд на пленного рыцаря, опозоренного воина?   
 - Сэр рыцарь, - отвечала Ровена, - в действиях, подобных вашим, настоящий позор не в поражении, а в успехе.   
 - Победа должна смягчать сердца, - продолжал рыцарь. - Лишь бы мне знать, что леди Ровена прощает оскорбление, нанесенное ей под влиянием несчастной страсти, и она вскоре увидит, что де Браси сумеет служить ей и более благородным образом.   
 - Прощаю вас, сэр рыцарь, - сказала Ровена, - прощаю как христианка.   
 - Это значит, что она вовсе и не думает его прощать, - сказал Вамба.   
 - Но я никогда не прощу тех зол и бедствий, которые были последствиями вашего безумия, - продолжала Ровена.   
 - Отпусти уздечку, не держи коня этой дамы! - сказал Седрик подходя. - Клянусь ясным солнцем, если бы ты не был пленником, я бы пригвоздил тебя к земле моим дротиком. Но будь уверен, Морис де Браси, что ты еще ответишь мне за свое участие в этом гнусном деле.   
 - Пленному угрожать легко, - сказал де Браси. - Впрочем, какой же вежливости можно ждать от сакса!   
 Он отступил на два шага и пропустил Ровену вперед.   
 Перед отъездом Седрик горячо благодарил Черного Рыцаря и приглашал его с собой в Ротервуд.   
 - Я знаю, - говорил он, - что у вас, странствующих рыцарей, все счастье - на острие копья. Вас не прельщают ни богатства, ни земли. Но удача в войне переменчива, подчас захочется тихого угла и тому, кто всю жизнь воевал да странствовал. Ты себе заработал такой приют в Ротервуде, благородный рыцарь. Седрик так богат, что легко может поправить твое состояние, и все, что имеет, он с радостью предлагает тебе. Поэтому приезжай в Ротервуд и будь там не гостем, а сыном или братом.   
 - Я и то разбогател от знакомства с Седриком, - отвечал рыцарь. - Он научил меня ценить саксонскую добродетель. Я приеду в Ротервуд, честный Сакс, скоро приеду, но в настоящее время неотложные и важные дела мешают мне воспользоваться твоим приглашением. А может случиться, что, приехав, я потребую такой награды, которая подвергнет испытанию даже твою щедрость.   
 - Заранее на все согласен, - молвил Седрик, с готовностью хлопнув ладонью по протянутой ему руке в железной перчатке. - Бери что хочешь, хотя бы половину всего, что я имею.   
 - Ну, смотри не расточай своих обещаний с такой легкостью, - сказал Рыцарь Висячего Замка. - Впрочем, я все же надеюсь получить желаемую награду. А пока прощай!   
 - Я должен предупредить тебя, - прибавил Сакс, - что, пока будут продолжаться похороны благородного Ательстана, я буду жить в его замке, Конингсбурге. Залы замка будут все время открыты для всякого, кто пожелает участвовать в погребальной тризне. Я говорю от имени благородной Эдит, матери покойного Ательстана: двери этого замка всегда будут открыты для того, кто так храбро, хотя и безуспешно, потрудился ради избавления Ательстана от норманских оков и от норманского меча.   
 - Да, да, - молвил Вамба, занявший свое обычное место возле хозяина, - там будет превеликое кормление. Жалко, что благородному Ательстану нельзя покушать на своих собственных похоронах. Но, - прибавил шут с серьезным видом, подняв глаза к небу, - он, вероятно, теперь ужинает в раю, и, без сомнения, с аппетитом.   
 - Не болтай и поезжай вперед! - сказал Седрик. Воспоминания об услуге, недавно оказанной Вамбой, смягчили его гнев, вызванный неуместной шуткой дурака.   
 Ровена грациозно помахала рукой, посылая прощальное приветствие Черному Рыцарю. Сакс пожелал ему удачи, и они отправились в путь по широкой лесной дороге.   
 Едва они отъехали, как из чащи показалась другая процессия и, обогнув опушку леса, направилась вслед за Седриком, Ровеной и их свитой. То были монахи соседнего монастыря, привлеченные известием, что Седрик сулит богатые пожертвования на "помин души". Они сопровождали носилки с телом Ательстана и пели псалмы, пока вассалы покойного печально и медленно несли его на плечах в замок Конингсбург. Там его должны были схоронить в усыпальнице рода Хенгиста, от которого Ательстан вел свою длинную родословную. Молва о его кончине привлекла сюда многих его вассалов, и они в печали следовали за носилками. Разбойники снова встали, оказывая этим уважение смерти, как перед тем красоте. Тихое пение и мерное шествие монахов напоминали им о тех ратных товарищах, которые пали накануне, во время сражения. Но подобные воспоминания недолго держатся в умах людей, проводящих жизнь среди опасностей и смелых нападений: не успели замереть вдали последние отголоски похоронных песнопений, как разбойники снова занялись дележом добычи.   
 - Доблестный рыцарь, - сказал Локсли Черному Рыцарю, - без вашего мужества и могучей руки нас неминуемо постигла бы неудача, а потому не угодно ли вам выбрать из этой кучи добра то, что вам понравится, на память о заветном дубе?   
 - Принимаю ваше предложение так же искренне, как вы его сделали, - отвечал рыцарь, - и прошу вас отдать в мое распоряжение сэра Мориса де Браси.   
 - Он и так твой, - сказал Локсли, - и это для него большое счастье. Иначе висеть бы ему на самом высоком суку этого дерева, а вокруг мы повесили бы его вольных дружинников, каких удалось бы изловить. Но он твой пленник, и потому я его не трону, даже если бы он перед этим убил моего отца.   
 - Де Браси, - сказал Черный Рыцарь, - ты свободен! Ступай! Тот, кто взял тебя в плен, гнушается мстить за прошлое. Но впредь будь осторожен, берегись, как бы не постигла тебя худшая участь. Говорю тебе, Морис де Браси, берегись!   
 Де Браси молча низко поклонился, и когда повернулся, чтобы уйти, все иомены разразились проклятиями и насмешками. Гордый рыцарь остановился, повернулся к ним лицом, скрестил руки, выпрямился во весь рост и воскликнул:   
 - Молчать, собаки! Теперь залаяли, а когда травили оленя, так не решались подойти! Де Браси презирает ваше осуждение и не ищет ваших похвал. Убирайтесь назад в свои логова и трущобы, подлые грабители. Молчать, когда благородные рыцари говорят вблизи ваших лисьих нор!   
 Если бы предводитель иоменов не поспешил вмешаться, эта неуместная выходка могла бы навлечь на Мориса де Браси целую тучу стрел. Между тем де Браси схватил за повод одного из оседланных коней, выведенных из конюшен барона Фрон де Бефа и составлявших едва ли не самую ценную часть награбленной добычи, мигом вскочил на него и ускакал в лес.   
 Когда сумятица, вызванная этим происшествием, несколько улеглась, предводитель разбойников снял со своей шеи богатый рог и перевязь, недавно доставшиеся ему на состязании стрелков близ Ашби.   
 - Благородный рыцарь, - сказал он Черному Рыцарю, - если не побрезгаете принять в подарок охотничий рог, побывавший в употреблении у английского иомена, прошу вас носить его в память о доблестных ваших подвигах. А если есть у вас на уме какая-нибудь затея и если, как нередко случается с храбрыми рыцарями, понадобится вам дружеская помощь в лесах между Трентом и Тисом, вы только протрубите в этот рог вот так: "Уо-хо-хо-о!" - и очень может быть, что тотчас явится вам подмога.   
 Тут он несколько раз кряду протрубил сигнал, пока рыцарь не запомнил его.   
 - Большое спасибо за подарок, отважный иомен! - сказал рыцарь. - Лучших помощников, чем ты и твои товарищи, я и искать не стану, как бы круто мне ни пришлось.   
 Он взял рог и, в свою очередь, затрубил тот же сигнал так, что по всему лесу пошли отголоски.   
 - Славно ты трубишь, очень чисто у тебя выходит, - сказал иомен. - Провалиться мне на этом месте, коли ты не такой же знатный охотник, как знатный воин. Бьюсь об заклад, что ты на своем веку пострелял довольно дичи. Друзья, хорошенько запомните этот призыв: он будет сигналом Рыцаря Висячего Замка. Всякого, кто его услышит и не поспешит на помощь, я велю гнать из нашего отряда тетивой от его собственного лука.   
 - Слава нашему предводителю! - закричали иомены. - Да здравствует Черный Рыцарь Висячего Замка? Пусть скорее нас позовет, мы докажем, что рады служить ему!   
 Наконец Локсли приступил к дележу добычи и проделал это с похвальным беспристрастием. Десятую долю всего добра отчислили в пользу церкви и на богоугодные дела; еще одну часть отделили в своеобразную общественную казну; другую часть - на долю вдов и сирот убитых, а также на панихиды за упокой души тех, которые не оставили после себя семьи. Остальное поделили между всеми членами отряда согласно их положению и заслугам. Во всех сомнительных случаях начальник находил удачное решение, и ему подчинялись беспрекословно. Черный Рыцарь немало удивлялся тому, как эти люди, стоявшие вне закона, сумели установить в своей среде такой справедливый и строгий порядок, и все, что он видел, подтверждало его высокое мнение о беспристрастности и справедливости их предводителя.   
 Каждый отобрал свою долю добычи; казначей с четырьмя рослыми иоменами перетаскал все предназначенное в общую казну в какое-то потаенное место; но все добро, отчисленное на церковь, оставалось нетронутым.   
 - Хотелось бы мне знать, - сказал Локсли, - что сталось с нашим веселым капелланом. Прежде никогда не случалось, чтобы он отсутствовал, когда надо было благословить трапезу или делить добычу. Это его дело - распорядиться десятой долей нашей добычи; быть может, эта обязанность зачтется ему во искупление некоторых нарушений монашеского устава. Кроме того, есть у меня тут поблизости пленный, тоже духовного звания, так мне бы хотелось, чтобы наш монах помог мне с ним обойтись как следует. Боюсь, не видеть нам больше нашего весельчака.   
 - Я бы искренне пожалел об этом, - сказал Черный Рыцарь, - я у него в долгу за гостеприимство и за веселую ночь, проведенную в его келье. Пойдем назад, к развалинам замка; быть может, там что-нибудь узнаем о нем.   
 Только он произнес эти слова, как громкие возгласы иоменов возвестили приближение того, о ком они беспокоились. Богатырский голос монаха был слышен еще издали.   
 - Расступитесь, дети мои! - кричал он. - Шире дорогу вашему духовному отцу и его пленнику! Ну-ка, еще раз! Здоровайтесь погромче! Я возвратился, мой благородный вождь, как орел с добычей в когтях.   
 И, прокладывая дорогу сквозь толпу под всеобщий хохот, он торжественно приблизился к дубу. В одной руке он держал тяжелый бердыш, а в другой - уздечку, конец которой был обмотан вокруг шеи несчастного Исаака. Бедный еврей, согбенный горем и ужасом, насилу тащился за победоносным монахом.   
 - Где же Аллен-менестрель, чтобы воспеть мои подвиги в балладе или хоть побасенку сочинить? Ей-богу, этот шут гороховый всегда путается под ногами, когда ему нечего делать, а вот когда он нужен, чтобы прославить доблесть, его и в помине нет!   
 - Куцый монах, - сказал предводитель, - ты, кажется, с раннего утра промочил себе горло? Скажи на милость, кого это ты подцепил?   
 - Собственным мечом и копьем добыл себе пленника, благородный начальник, - отвечал причетник из Копменхерста, - или, лучше сказать, луком и алебардой.   
 А главное, я его избавил от худшего плена. Говори, еврей, не я ли тебя вырвал из власти сатаны? Разве я не научил тебя истинной вере в святого отца и деву Марию? Не я ли всю ночь напролет пил за твое здоровье и излагал тебе таинства нашей веры?   
 - Ради бога милосердного, - воскликнул бедный еврей, - отвяжите меня от этого сумасшедшего, то есть, я хотел сказать, от этого святого человека!   
 - Как так, еврей? - сказал отшельник, принимая грозный вид. - Ты опять отступаешь от веры? Смотри у меня, если вздумаешь снова впасть в беззаконие! Хоть ты и не слишком жирен, все-таки тебя можно поджарить. Слушай хорошенько, Исаак, и повторяй за мной: "Ave Maria..."   
 - Нет, шальной монах, кощунствовать не дозволяется, - сказал Локсли. - Расскажи лучше, где и как ты нашел своего пленника?   
 - Клянусь святым Дунстаном, - сказал отшельник, - нашел я его в таком месте, где думал найти кое-что получше. Я спустился в подвалы посмотреть, нельзя ли спасти какое-нибудь добро, потому что хоть и правда, что стакан горячего вина, вскипяченного со специями, годится на сон грядущий и для императора, однако зачем же сразу кипятить его так много? Вот ухватил я бочонок испанского вина и пошел созвать на помощь побольше народу. Но где же разыщешь этих лентяев? Известно, их никогда нельзя найти, если нужно сделать доброе дело. Вдруг вижу крепкую дверь. Ага, подумал я, вот, значит, где самые-то отборные вина - они в отдельном тайнике. А перепуганный виночерпий, видно, сбежал, оставив ключ в замке. Я вошел в тайник, а там ровно ничего нет. Только ржавые цепи валяются да еще вот этот еврей-собака, который сдался мне в плен на милость победителя. Я едва успел пропустить стаканчик вина для подкрепления сил после возни с нечестивцем и собирался вместе с пленником вылезть из подвала, как вдруг раздался страшнейший грохот, точно гром ударил. Это обрушилась одна из крайних башен - черт бы побрал того, кто ее так худо выстроил! - и обломками завалило выход из подвала. Тут стали валиться одна башня за другой, и я подумал - не жить мне больше на свете.   
 В моем звании непристойно отправляться на тот свет в обществе еврея, ну я и замахнулся алебардой, чтобы раскроить ему череп, да жаль стало его седых волос. Тогда отложил я боевое оружие, взялся за духовное и стал обращать еврея в христианскую веру. И верно, с благословения святого Дунстана, семя попало на добрую почву. Всю ночь напролет объяснял я ему значение таинств и совсем обессилел, потому что если я и прихлебывал изредка по глоточку вина для подкрепления, так это не в счет. Вот Гилберт и Виббальд - свидетели. Они скажут, в каком виде меня застали, я совсем обессилел.   
 - Как же, - сказал Гилберт, - мы и вправду свидетели. Когда мы разгребли щебень и с помощью святого Дунстана отыскали ход в подвал, бочонок с вином оказался наполовину пуст, еврей полумертв, а монах почти совсем обессилен, как он говорит.   
 - Вот и врешь, негодяй! - возразил обиженный монах. - Ты сам со своими товарищами и выпил весь бочонок и сказал, что это только утренняя порция. А я - будь я еретик, коли не берег этого вина для нашего начальника! Но это не беда. Главное, что я обратил еврея, и он понимает все, что ему говорил, почти так же хорошо, как я сам, коли не лучше.   
 - Слушай-ка, еврей, - сказал Локсли, - это правда? Точно ли ты отказался от своей веры?   
 - Пощадите меня, милосердный господин! - сказал еврей. - Я ни словечка не расслышал из всего, что почтенный прелат говорил мне в течение этой ужасной ночи! Увы, я так терзался и страхом, и печалью, и горем, что если бы даже сам святой праотец Авраам пришел поучать меня, я и то оставался бы глух к его голосу.   
 - Врешь, еврей, ведь сам знаешь, что врешь! - сказал монах. - Я тебе напомню только одно словечко из всего нашего разговора: помнишь, как ты обещался отдать все свое состояние нашему святому ордену?   
 - Клянусь богом, милостивые господа, - воскликнул Исаак, встревоженный еще больше прежнего, - никогда мои уста не произносили такого обета! Я бедный, нищий старик, боюсь, что теперь даже и бездетный! Сжальтесь надо мной, отпустите меня!   
 - Нет, - подхватил отшельник, - если ты отказываешься от обещания, данного в пользу святой церкви, ты подлежишь строжайшему наказанию.   
 Сказав это, он поднял алебарду и собирался рукояткой хорошенько стукнуть несчастного еврея, но Черный Рыцарь заступился за старика и тем са- мым обратил гнев святого отца на собственную особу.   
 - Клянусь святым Фомой из Кента, - закричал причетник, - я тебя научу соваться не в свое дело, сэр Лентяй, даром что ты спрятался в железный ящик!   
 - Ну-ну, - сказал рыцарь, - зачем же на меня гневаться? Ведь ты знаешь, что я поклялся быть тебе другом и товарищем.   
 - Ничего такого я не знаю, - отвечал монах, - а хочу с тобой подраться, потому что ты пустомеля и нахал.   
 - Как же так, - возразил рыцарь, которому, по-видимому, нравилось поддразнивать своего недавнего хозяина, - неужели ты забыл, что ради меня (я не хочу поминать искушения в образе винной фляги я пирога) ты добровольно нарушил свой обет воздержания и поста?   
 - Знаешь ли, друг, - молвил отшельник, сжимая свой здоровенный кулак, - я хвачу тебя по уху!   
 - Таких подарков я не принимаю, - сказал рыцарь. - Зато могу взять у тебя пощечину взаймы. Изволь, только я тебе отплачу с такими процентами, каких и пленник твой никогда не видывал.   
 - А вот посмотрим, - сказал монах.   
 - Стой! - закричал Локсли. - Что ты это затеял, шальной монах? Ссориться под нашим заветным деревом?   
 - Это не ссора, - успокоил его рыцарь, - а просто дружеский обмен любезностями. Ну, монах, ударь, как умеешь. Я устою на месте. Посмотрим, устоишь ли ты.   
 - Тебе хорошо говорить, имея на голове этот железный горшок, - сказал монах, - но все равно я тебя свалю с ног, будь ты хоть сам Голиаф в медном шлеме.   
 Отшельник обнажил свою жилистую руку по самый локоть и изо всех сил ударил рыцаря кулаком по уху. Такая затрещина могла бы свалить здорового быка, но противник его остался недвижим, как утес. Громкий крик одобрения вырвался из уст иоменов, стоявших кругом: кулак причетника вошел в пословицу между ними, и большинство на опыте узнало его мощь - кто в шуточных потасовках, а кто и в серьезных.   
 - Видишь, монах, - сказал рыцарь, снимая свою железную перчатку, - хотя на голове у меня и было прикрытие, но на руке ничего не будет. Держись!   
 - Geman meam dedi vapulatori - сиречь, подставляю щеку мою ударяющему, - сказал монах, - и я наперед говорю тебе: коли ты сдвинешь меня с места, я дарю тебе выкуп с еврея полностью.   
 Так говорил монах, принимая гордый и вызывающий вид. Но от судьбы не уйдешь. От могучего удара рыцаря монах кубарем полетел на землю, к великому изумлению всех зрителей. Однако он встал и не выказал ни гнева, ни уныния.   
 - Знаешь, братец, - сказал он рыцарю, - при такой силе надо быть осторожнее. Как я буду теперь обедню служить, коли ты мне челюсть свернул? Ведь и на дудке не сыграешь, не имея нижних зубов. Однако вот тебе моя рука, как дружеский залог того, что обмениваться с тобой пощечинами я больше не буду, это мне невыгодно. Стало быть, конец всякому недоброжелательству. Давай возьмем с еврея выкуп, потому что как горбатого только могила исправит, так и еврей всегда останется евреем.   
 - Монах-то не так уверен в обращении еврея с тех пор, как получил по уху, - сказал Мельник.   
 - Отстань, бездельник! Что ты там болтаешь насчет обращения? Что такое, никто меня не уважает! Все стали хозяевами, а слуг нет! Говорю тебе, парень: я был немножко нетверд на ногах, когда добрый рыцарь меня ударил, а то я непременно устоял бы. Если же ты желаешь еще потолковать на этот счет, так давай я тебе докажу, что умею дать сдачи.   
 - Будет вам, перестаньте! - сказал Локсли. - А ты, еврей, подумай о своем выкупе. Ты понимаешь, что мы добрые христиане и не можем допустить, чтобы ты оставался среди нас. Вот ты и подумай на досуге, какой выкуп в силах предложить, а я пока займусь допросом другого пленного.   
 - А много ли удалось захватить людей Фрон де Бефа? - спросил Черный Рыцарь.   
 - Ни одного такого, который мог бы дать за себя выкуп, - ответил Локсли. - Было несколько трусливых подлецов, да мы их отпустили на волю - пускай ищут других хозяев. Для мщения и ради выгоды и так было довольно сделано, а эта кучка сброда и вся-то не стоила медной монеты. Тот пленный, о котором я упомянул, более ценная добыча: это щеголь монах, наверно ехал в гости к своей возлюбленной, судя по его франтовской одежде и по убранству его коня. Да вот и почтенный прелат идет, бойкий как сорока.   
 Тут двое иоменов привели и поставили перед зеленым троном начальника нашего старого знакомого - приора Эймера из аббатства Жорво.

**Глава XXXIII**

...Цвет воинства, а что же наш   
 Тит Ларций?   
 Марцин   
 Он занят составлением указов:   
 Велит одних казнить, других изгнать,   
 С тех выкуп требует, а тем грозит.   
 "Кориолан"   
  
 Черты лица и осанка пленного аббата выражали забавную смесь оскорбленной гордости, растерянности и страха.   
 - Что это значит, господа? - заговорил он таким тоном, в котором разом отразились все эти три чувства. - Что за порядки у вас, скажите на милость? Турки вы или христиане, что так обращаетесь с духовными лицами? Знаете ли вы, что значит налагать руки на слуг господа? Вы разграбили мои сундуки, разорвали мою кружевную ризу тончайшей работы, которую и кардиналу было бы не стыдно надеть. Другой на моем месте попросту отлучил бы вас от церкви, но я не злопамятен, и если вы сейчас велите подать моих лошадей, отпустите мою братию, возвратите в целости мою поклажу, внесете сотню крон на обедни в аббатстве Жорво и дадите обещание не вкушать дичи до будущей троицы, тогда я, может быть, постараюсь как-нибудь замять эту безрассудную проделку, и о ней больше речи не будет.   
 - Преподобный отец, - сказал главарь разбойников, - мне прискорбно думать, что кто-либо из моих товарищей мог так обойтись с вами, чтобы вызвать с вашей стороны надобность в таком отеческом наставлении.   
 - Какое там обхождение! - возразил аббат, ободренный мягким тоном Локсли. - Так нельзя обходиться и с породистой собакой, не только с христианином, а тем более с духовным лицом, да еще приором аббатства Жорво! Какой-то пьяный менестрель по имени Аллен из Лощины - nebulo quidam [28] - осмелился грозить мне телесным наказанием и даже смертью, если я не уплачу четырехсот крон выкупа, помимо всего, что он у меня награбил, а там было одних золотых цепочек и перстней с самоцветными камнями на несметную сумму. Да, кроме того, они переломали и попортили своими грубыми руками много ценных вещиц, как-то: ящичек с духами, серебряные щипчики для завивки волос...   
 - Может ли быть, чтобы Аллен из Лощины поступил так невежливо с особой вашего священного звания? - спросил предводитель.   
 - Все это такая же истина, как евангелие от святого Никодима, - отвечал приор. - При этом он ругался на своем грубом северном наречии и поклялся повесить меня на самом высоком дереве в этом лесу.   
 - Да неужели клялся? В таком случае, преподобный отец, по-моему вам придется удовлетворить его требования. Потому что, видите ли, Аллен из Лощины такой человек, что коли раз сказал, то непременно сдержит свое слово.   
 - Вы все шутите, - сказал растерявшийся приор с натянутым смехом. - Я и сам большой охотник до удачной шутки. Однако - xa-xa-xal - эта шутка продолжается уже целую ночь напролет, так что пора бы ее прекратить.   
 - Я теперь так же серьезен, как монах в исповедальне, - отвечал Локсли. - Вам придется уплатить порядочный выкуп, сэр приор, иначе вашей братии предстоит избирать себе нового настоятеля, потому что вы уже не воротитесь к своей пастве.   
 - Да вы что - христиане или нет? Как вы осмеливаетесь держать такие речи, обращаясь к духовному лицу? - сказал приор.   
 - Как же, мы христиане, и даже держим своего капеллана, - отвечал разбойник. - Позовите нашего веселого монаха, путь выступит вперед и приведет почтенному аббату тексты, подходящие к настоящему случаю.   
 Отшельник, немного протрезвившийся, напялил монашеский балахон поверх своего зеленого кафтана, наскреб в своей памяти несколько латинских фраз, когдато заученных наизусть, и, выйдя из толпы, сказал:   
 - Преподобный отец, deus facial salvam benignitatem vestram! [29] Добро пожаловать в наши леса!   
 - Это что за нечестивый маскарад? - сказал приор. - Друг мой, если ты действительно духовное лицо, ты бы лучше научил меня, как избавиться от этих людей, чем кривляться да гримасничать, словно ярмарочный плясун.   
 - Поистине, преподобный отец, - отвечал монах, - я только и знаю один способ, которым ты можешь освободиться. Мы празднуем сегодня святого Андрея - стало быть, собираем десятину.   
 - Только не с церкви, надеюсь, добрый брат мой? - спросил приор.   
 - И с церкви и с мирян, - отвечал отшельник, - а потому, сэр приор, facite vobis amicos de Mammone iniquitatis - вступай в дружбу с мамоною беззакония, иначе никакая дружба тебе не поможет.   
 - Люблю веселых охотников, всем сердцем люблю! - сказал приор более спокойно. - Ну полно, к чему эти строгости! Я ведь и сам большой мастер охотничьего дела и умею трубить в рог так зычно и чисто, что каждый дуб мне отзывается. Со мной можно бы и помягче обойтись.   
 - Дайте ему рог, - сказал Локсли, - пускай покажет свое хваленое искусство.   
 Приор Эймер протрубил сигнал. Предводитель только головой покачал.   
 - Сэр приор, - сказал он, - трубить-то ты умеешь, но этим от нас не отделаешься. Мы не можем отпустить тебя на волю за одну музыку. К тому же я вижу, что ты только портишь старинные английские роговые лады разными французскими тру-ля-ля. Нет, приор, за них ты заплатишь еще пятьдесят крон штрафа сверх выкупа, и поделом: не порти старинных сигналов псовой охоты.   
 - Ну, друг, - промолвил аббат недовольным тоном, - тебе, я вижу, трудно угодить. Прошу тебя, будь посговорчивее насчет моего выкупа. Одним словом, раз уж мне придется послужить дьяволу, скажи напрямик: сколько ты желаешь с меня взять, чтобы отпустить на все четыре стороны без десятка сторожей?   
 - Не сделать ли так, - шепнул начальнику отряда его помощник, - чтобы аббат назначил выкуп с еврея, а еврей пусть назначит, сколько взять с аббата?   
 - Ты хоть и безмозглый парень, а выдумал отличную штуку! - отвечал Локсли. - Эй, еврей, поди сюда! Посмотри, вот преподобный отец Эймер, приор богатого аббатства в Жорво. Скажи, много ли можно взять с него выкупа? Я поручусь, что ты до тонкости знаешь, каковы доходы их монастыря.   
 - О, еще бы мне не знать, - сказал Исаак. - Я постоянно веду торговые дела с преподобными отцами, покупаю у них и пшеницу, и ячмень, и разные плоды земные, а также много шерсти. О, это богатейшая обитель, и святые отцы у себя в Жорво кушают сытно и пьют сладкие вина. Ах, если бы у такого отверженного бедняка, как я, было такое пристанище да еще такие ежегодные и ежемесячные доходы, тогда я дал бы много золота и серебра в награду за свое освобождение из плена!   
 - Ах ты, собака! - воскликнул приор. - Тебе, я думаю, всех лучше известно, что мы до сих пор в долгу за недостроенный придел к храму...   
 - И за доставку в ваши погреба обычных запасов гасконского вина в прошлом году, - перебил его еврей, - но это пустяки.   
 - Что он там за вздор несет, нечестивый пес! - сказал приор. - Послушать его, так подумаешь, что наша святая братия задолжала за вино, которое разрешено нам пить propter necessitatem, et ad frigus depellendum [30]. Подлый еврей богохульствует против святой церкви, а христиане слушают и не остановят его!   
 - Это все пустые слова, - сказал Локсли. - Исаак, реши, сколько с него взять, чтобы целиком не содрать с него шкуры.   
 - Шестьсот крон, - сказал Исаак. - Эту сумму почтенный приор вполне может уплатить вашей доблестной милости. От этого он не разорится.   
 - Шестьсот крон, - повторил начальник с важностью. - Ну хорошо, я доволен. Ты справедливо решил, Исаак. Так, значит, шестьсот крон. Таково решение, сэр приор.   
 - Решено, решено! - раздались крики разбойников. - Сам Соломон не мог бы лучше рассудить.   
 - Ты слышал приговор, приор? - спросил начальник.   
 - С ума вы сошли, господа! - сказал приор. - Где же я возьму такую сумму? Если я продам и дароносицу и подсвечники с алтаря, и то я едва выручу половину этой суммы! А для этого нужно мне самому поехать в Жорво. Впрочем, можете оставить у себя заложниками моих двух монахов.   
 - Ну, на это нельзя полагаться, - сказал начальник. - Лучше ты у нас оставайся, а монахов мы пошлем за выкупом. Мы голодом тебя морить не станем: стакан вина и кусок запеченной дичи всегда к твоим услугам, а если ты в самом деле настоящий охотник, мы тебе покажем такую охоту, какой ты и не видывал.   
 - А не то, коли вашей милости угодно, - вмешался Исаак, желавший заслужить милость разбойников, - я могу послать в Йорк за шестью сотнями крон, взяв их заимообразно из доверенного мне капитала, лишь бы его высокопреподобие господин приор согласился выдать мне расписку.   
 - Расписку он тебе даст, какую хочешь, Исаак, - сказал Локсли, - и ты сразу заплатишь выкуп и за приора Эймера и за себя.   
 - За себя! Ах, доблестные господа, - сказал еврей, - я совсем разоренный человек! Попросту говоря - нищий: если я заплачу за себя, положим, пятьдесят крон, мне придется пойти по миру.   
 - Ну, это пускай рассудит приор, - возразил начальник. - Отец Эймер, как вы полагаете, может ли этот еврей дать за себя хороший выкуп?   
 - Может ли он? - подхватил приор. - Да ведь это Исаак из Йорка, такой богач, что мог бы выкупить из ассирийского плена все десять колен израильских! Я лично с ним очень мало знаком, но наш келарь и казначей ведут с ним дела, и они говорят, что его дом в Йорке полон золота и серебра. Даже стыдно, как это возможно в христианской стране.   
 - Погодите, отец, - сказал еврей, - умерьте свой гнев. Прошу ваше преподобие помнить, что я никому не навязываю своих денег. Когда же духовные лица или миряне, принцы и аббаты, рыцари и монахи приходят к Исааку, стучатся в его двери и занимают у него шекели, они говорят с ним совсем не так грубо. Тогда только и слышишь: "Друг Исаак, сделай такое одолжение. Я заплачу тебе в срок - покарай меня бог, коли пропущу хоть один день", или: "Добрейший Исаак, если тебе когда-либо случалось помочь человеку, то будь и мне другом в беде". А когда наступает срок расплаты и я прихожу получать долг, тогда иное дело - тогда я "проклятый еврей". Тогда накликают все казни египетские на наше племя и делают все, что в их силах, дабы восстановить грубых, невежественных людей против нас, бедных чужестранцев.   
 - Слушай-ка, приор, - сказал Локсли, - хоть он и еврей, а на этот раз говорит правду. Поэтому перестань браниться и назначь ему выкуп, как он тебе назначил.   
 - Надо быть latro famosus [31] (это латинское выражение, но я его объясню когда-нибудь впоследствии), - сказал приор, - чтобы поставить на одну доску христианского прелата и некрещеного еврея. А впрочем, если вы меня просите назначить выкуп с этого подлеца, я прямо говорю, что вы останетесь в накладе, взяв с него меньше тысячи крон.   
 - Решено! Решено! - сказал вождь разбойников.   
 - Решено! - подхватили его сподвижники. - Христианин доказал, что он человек воспитанный, и поусердствовал в нашу пользу лучше еврея.   
 - Боже отцов моих, помоги мне! - взмолился Исаак. - Вы хотите вконец погубить меня, несчастного! Я лишился сейчас дочери, а вы хотите отнять у меня и последние средства к пропитанию?  
 - Коли ты бездетен, еврей, тем лучше для тебя: не для кого копить деньги, - сказал Эймер.   
 - Увы, милорд, - сказал Исаак, - ваши законы воспрещают вам иметь семью, а потому вы не знаете, как близко родное детище родительскому сердцу... О Ревекка, дочь моей возлюбленной Рахили! Если бы каждый листок этого дерева был цехином и все эти цехины были моей собственностью, я бы отдал все эти сокровища, чтобы только знать, что ты жива и спаслась от рук назареянина.   
 - А что, у твоей дочери черные волосы? - спросил один из разбойников. - Не было ли на ней шелкового покрывала, вышитого серебром?   
 - Да! Да! - сказал старик, дрожа от нетерпения, как прежде трепетал от страха. - Благословение Иакова да будет с тобою! Не можешь ли сказать мне что-нибудь о ней?   
 - Ну, так, значит, ее тащил гордый храмовник, когда пробивался через наш отряд вчера вечером, - сказал иомен. - Я хотел было послать ему вслед стрелу, уж и лук натянул, да побоялся нечаянно попасть в девицу, так и не выстрелил.   
 - Ох, лучше бы ты выстрелил! Лучше бы твоя стрела пронзила ее грудь! Лучше ей лежать в могиле своих предков, чем быть во власти развратного и лютого храмовника! Горе мне, горе, пропала честь моего дома!   
 - Друзья, - сказал предводитель разбойников, - хоть он и еврей, но горе его растрогало меня. Скажи честно, Исаак: уплатив нам тысячу крон, ты в самом деле останешься без гроша?   
 Этот вопрос Локсли заставил Исаака побледнеть, и он пробормотал, что, может быть, все-таки останутся кое-какие крохи.   
 - Ну ладно, - сказал Локсли, - торговаться мы не станем. Без денег тебе так же мало надежды спасти свое дитя из когтей сэра Бриана де Буагильбера, как тупой стрелой убить матерого оленя. Мы возьмем с тебя такой же выкуп, как с приора Эймера, или еще на сто крои дешевле. Эта сотня составила бы мою долю, и я от нее отказываюсь в твою пользу, от этого никто из нашей почтенной компании не пострадает. Таким образом, мы не совершим еще одного ужасного греха: не оценим еврейского купца так же высоко, как христианского прелата, а у тебя в кармане останется пятьсот крон на выкуп дочери. Храмовники любят блеск серебряных шекелей не меньше, чем блеск черных очей. Поспеши пленить Буагильбера звоном монет, не то может случиться большая беда. Судя по тому, что нам донесли лазутчики, ты его застанешь в ближайшей прецептории ордена. Так ли я решил, лихие мои товарищи?   
 Иомены по обыкновению выразили свое полное согласие с мнением вождя. А Исаак, утешенный вестью, что его дочь жива и можно попытаться ее выкупить, бросился к ногам великодушного разбойника; он терся бородой о его башмаки и ловил полу его зеленого кафтана, желая облобызать ее.   
 - Локсли попятился назад и, стараясь высвободиться, воскликнул не без некоторого презрения:   
 - Ну, вставай скорее! Я англичанин и не охотник до таких восточных церемоний. Кланяйся богу, а не такому бедному грешнику, как я.   
 - Да, Исаак, - сказал приор Эймер, - преклони колена перед богом в лице его служителя, и кто знает - быть может, искреннее твое раскаяние и добрые пожертвования на усыпальницу святого Роберта доставят неожиданную благодать и тебе и твоей дочери Ревекке. Я скорблю об участи этой девицы, ибо она весьма красива и привлекательна. Я ее видел на турнире в Ашби. Что же касается Бриана де Буагильбера, то на него я имею большое влияние. Подумай же хорошенько, чем ты можешь заслужить мое благоволение, дабы я ему замолвил за тебя доброе слово.   
 - Ох, ох, - стонал еврей, - со всех сторон меня обобрать хотят! Попал в плен к ассирийцам, и египтянин также считает меня своей добычей!   
 - Какой же иной участи может ожидать твое проклятое племя? - возразил приор. - Ибо что говорится в священном писании: "Verbum domini projecerunt, et sapientia est nulla in eis", то есть отвергли слово божие, и мудрости нет в них; "propterea dabo mulieres eorum exteris" - и отдам жен их чужестранцам, то есть храмовникам, в настоящем случае, "et thesauros eorum hceredibus alienis" - а сокровища их другим, сиречь, в настоящем случае, вот этим честным джентльменам.   
 Исаак громко застонал и стал ломать руки в припадке скорби и отчаяния.   
 Тут Локсли отвел Исаака в сторону и сказал ему:   
 - Обдумай хорошенько, Исаак, как тебе действовать; мой совет - постарайся задобрить этого попа. Он человек тщеславный и алчный и, кроме то- го, сильно нуждается в деньгах на удовлетворение своих прихотей, так что тебе легко ему угодить. Не думай, что я поверил твоим уверениям, будто бы ты очень беден. Я прекрасно знаю железный сундук, в котором ты держишь мешки с деньгами. Да это еще что! Я знаю и тот большой камень под яблоней, что скрывает потайной ход в сводчатый подвал под твоим садом в Йорке.   
 Исаак побледнел.   
 - Но ты не опасайся меня, - продолжал иомен, - потому что мы с тобою ведь старые приятели. Помнишь ли ты больного иомена, которого дочь твоя Ревекка выкупила из йоркской тюрьмы и держала у себя в доме, пока он совсем не выздоровел? Когда же он поправился и собрался уходить от вас, ты дал ему серебряную монету на дорогу. Хоть ты и ростовщик, а никогда еще не помещал своего капитала так выгодно, как в тот раз: эта серебряная монета сберегла тебе сегодня целых пятьсот крон.   
 - Стало быть, ты тот самый человек, кого мы звали Дик Самострел? - сказал Исаак. - Мне и то казалось, будто твой голос мне знаком.   
 - Да, я Дик Самострел, - отвечал главарь, - а также Локсли.   
 - Только ты ошибаешься, мой добрый Дик Самострел, касательно этого самого сводчатого подвала. Бог свидетель, что там ничего нет, кроме кое-какого товара, с которым я охотно поделюсь с тобой, а именно: сто ярдов зеленого линкольне кого сукна на камзолы твоим молодцам, сотня досок испанского тисового дерева, годного на изготовление луков, и сто концов шелковой тетивы, ровной, круглой... Вот это все я пришлю тебе, честный Дик, за твое доброе ко мне расположение... Только, уж пожалуйста, мой добрый Дик, помолчим насчет сводчатого подвала.   
 - Будь спокоен, буду молчать, как сурок. И поверь, что я искренне печалюсь о судьбе твоей дочери. Но помочь делу не могу. В открытом поле мои стрелы бессильны против копий храмовника: он мигом сотрет меня в порошок. Если бы я знал, что с Буагильбером была Ревекка, я бы попытался тогда ее освободить. А теперь одно средство: действуй хитростью. Ну, хочешь, я за тебя войду в сделку с приором?   
 - С благословения бога, Дик, делай как знаешь, только помоги мне выручить мое родное детище!   
 - Только не ввязывайся не вовремя со своими расчетами, - сказал разбойник, - тогда я сговорюсь с аббатом.   
 Локсли пошел к Эймеру, Исаак последовал за ним как тень.   
 - Приор Эймер, - сказал Локсли, - прошу тебя, подойди ко мне сюда, под дерево; говорят, будто ты больше любишь доброе вино и приятное женское общество, чем это подобает твоему званию, сэр аббат. Но до этого мне нет дела. Еще говорят, что ты любишь породистых собак и резвых лошадей, и легко может статься, что, имея пристрастие к вещам, которые обходятся дорого, ты не откажешься и от мешка с золотом. Но я никогда не слышал, чтобы ты любил насилие и жестокость. Ну так вот: Исаак не прочь доставить тебе кошелек с сотней марок серебра на твои удовольствия и прихоти, если ты уговоришь своего приятеля храмовника, чтобы он отпустил на свободу дочь Исаака.   
 - И возвратил бы ее честно и без обиды, как взял от меня, иначе я не плательщик, - сказал еврей.   
 - Молчи, Исаак, - остановил его разбойник, - не то я не стану вмешиваться. Что вы скажете на мое предложение, приор Эймер?   
 - Это дело довольно сложное, - отвечал приор. - С одной стороны, это доброе дело, а с другой - оно на пользу еврею и потому противно моей совести. Впрочем, если еврей пожертвует сверх того что-нибудь на церковные нужды, например на пристройку общей спальни для братии, я, пожалуй, возьму грех на душу и помогу ему выручить его дочь.   
 - Мы не станем спорить с вами из-за каких-нибудь двадцати марок серебра на спальню - помолчи, Исаак! - или из-за пары серебряных подсвечников для алтаря, - сказал главарь.   
 - Как же так, мой добрый Дик Самострел... - попробовал опять вмешаться Исаак.   
 - Добрый... кой черт, добрый! - перебил его Локсли, теряя всякое терпение. - Если ты будешь ставить свою мерзкую наживу на одну доску с жизнью и честью своей дочери, ей-богу я сделаю тебя нищим не позже как через три дня.   
 Исаак съежился и замолчал.   
 - А кто поручится мне за исполнение этих обещаний? - спросил приор.   
 - Когда Исаак воротился домой, добившись успеха благодаря вашему посредничеству, - ответил главарь, - клянусь святым Губертом, я уж прослежу, чтобы он честно расплатился с вами звонкой монетой. Не то я расправлюсь с ним таким манером, что он скорее согласится заплатить в двадцать раз больше.   
 - Ну хорошо, Исаак, - сказал Эймер, - давай сюда свои письменные принадлежности. А впрочем, нет. Я скорее останусь целые сутки без пищи, чем возьму в руки твое перо. Однако где же мне взять другое?   
 - Если ваше преподобие не побрезгает воспользоваться чернильницей еврея, перо я вам сейчас достану, - предложил Локсли.   
 Он натянул лук и выстрелил в дикого гуся, летевшего в вышине над их головами впереди целой стаи, которая направлялась к уединенным болотам далекого Холдернесса. Слегка взмахивая крыльями, птица, пронзенная стрелой, упала на землю.   
 - Смотрите-ка, приор, - сказал Локсли, - тут вам такое множество гусиных перьев, что всему аббатству в Жорво на сто лет хватит, благо ваши монахи не ведут летописей.   
 Приор уселся и не спеша сочинил послание к Бриану де Буагильберу. Потом тщательно запечатал письмо и вручил его еврею, говоря:   
 - Это будет тебе охранной грамотой и поможет не только найти доступ в прецепторию Темплстоу, но и добиться освобождения дочери. Только смотри предложи хороший выкуп за нее, потому что, поверь мне, добрый рыцарь Буагильбер принадлежит к числу тех людей, которые ничего не делают даром.   
 - Теперь, приор, - сказал главарь, - я не стану задерживать тебя. Напиши только расписку Исааку на те шестьсот крон, которые назначены за твой выкуп. Я сам получу их с него, но если я услышу, что ты вздумаешь торговаться с ним или оттягивать уплату, клянусь пресвятой Марией, я сожгу твое аббатство с тобой вместе, хотя бы мне пришлось за это быть повешенным десятью годами раньше, чем следует.   
 Приор менее охотно принялся писать расписку, но все-таки написал, что взятые заимообразно у Исаака из Йорка шестьсот крон он обязуется возвратить ему в такой-то срок честно и непременно.   
 - А теперь, - сказал приор Эймер, - я попрошу возвратить мне мулов и лошадей, отпустить на свободу сопровождавших меня преподобных отцов, а также выдать мне обратно драгоценные перстни, бриллианты, равно как и дорогое платье, отобранное у меня.   
 - Что касается ваших монахов, сэр приор, - сказал Локсли, - мы их, конечно, тотчас отпустим, потому что было бы несправедливо их задерживать. Лошадей и мулов также отдадут вам, дадим и немного денег, чтобы вы могли благополучно доехать до Йорка. Было бы жестоко лишать вас средств для этого путешествия. Но что до перстней, цепочек, запонок и прочего, вы должны понять, что мы народ совестливый и не решимся подвергать ваше преподобие искушению праздного тщеславия. Ведь вы давали обет отказаться от мирской суеты и от всех мирских соблазнов, так зачем же мы будем искушать вас, возвращая вам перстни, цепочки и иные светские украшения?   
 - Подумайте хорошенько, господа, над тем, что вы делаете! - сказал приор. - Ведь это значит налагать руку на церковное имущество. Эти предметы inter res sacras [32], и я не знаю, какие бедствия могут вас постигнуть за то, что вы, миряне, прикасаетесь к ним своими руками.   
 - Об этом я позабочусь, ваше преподобие, - вмешался отшельник из Копменхерста, - я сам буду носить эти вещи.   
 - Друг или брат мой, - сказал приор в ответ на такое неожиданное разрешение своих сомнений, - если ты действительно принадлежишь к духовному сословию, прошу тебя серьезно подумать об ответственности, какую ты понесешь перед своим епархиальным начальством за участие в событиях нынешнего дня.   
 - Э, друг приор, - возразил отшельник, - надо тебе знать, что я принадлежу к очень маленькой епархии. В ней я сам себе начальник и не боюсь ни епископа Йоркского, ни аббатов, ни приора из Жорво.   
 - Стало быть, ты не настоящий священник, - сказал приор, - а просто один из тех самозванцев, которые беззаконно присваивают себе священное звание, кощунствуют над богослужением и подвергают опасности души тех, кто получает от них наставления: lapides pro pane condonantes iis, то есть камни им дают вместо хлеба, как говорится в писании.   
 - Да у меня, - сказал отшельник, - башка лопнула бы от всей этой латыни, если бы ее помнить, а потому она помаленьку и вылетела из моих мозгов. Что же касается того, чтобы избавить свет от тщеславия и франтовства таких попов, как ты, отобрав у них перстеньки и прочую нарядную дребедень, так я нахожу, что это вполне законное и похвальное дело.   
 - А я нахожу, что ты наглый самозванец! - воскликнул приор вне себя от гнева. - Отлучаю тебя от церкви!   
 - Сам ты вор и еретик! - заорал отшельник, также взбешенный. - Я не намерен переносить твои оскорбления, да еще в присутствии моих прихожан! Как не стыдно тебе порочить меня, своего собрата? Ossa ejus perfringam, - я тебе все кости переломаю, как сказано в Вульгате.   
 - Ого! - воскликнул Локсли. - Вот до чего договорились преподобные отцы! Ну, монах, перестань. А ты, приор, сам знаешь, что не все свои грехи замолил перед богом, так не приставай больше к нашему отшельнику. Слушай, отшельник, отпусти с миром преподобного аббата - ведь он уже заплатил выкуп.   
 Иомены кое-как разняли разъяренных монахов, которые продолжали перебраниваться на плохом латинском языке. Приор выражался более гладко и свободно, но отшельник превосходил его силой и выразительностью своей речи. Наконец приор опомнился и сообразил, что роняет свое достоинство, вступая в споры с разбойничьим капелланом. Он позвал своих спутников, и они вместе отправились в дорогу, безо всякой пышности, но более сообразно апостольскому званию, чем при начале своего путешествия.   
 Локсли оставалось получить у еврея какое-нибудь обязательство в том, что он уплатит выкуп за себя и за приора. Исаак выдал за своей подписью вексель в тысячу сто крон на имя одного из своих собратий в Йорке, прося, кроме того, передать ему некоторые товары, тут же в точности обозначенные.   
 - Ключ от моих складов находится у брата моего Шебы, - проговорил он с глубоким вздохом.   
 - И от сводчатого подвала также? - шепнул ему Локсли.   
 - Нет, нет... Боже сохрани! - сказал Исаак. - Недобрый тот час, когда кто-либо проникнет в эту тайну!   
 - Со мной ты ничем не рискуешь, - сказал разбойник, - лишь бы по твоему документу можно было действительно получить обозначенную в нем сумму. Да что ты, Исаак, окаменел, что ли? Или совсем одурел? Неужели из-за потери тысячи крон ты позабыл об опасном положении своей дочери?   
 Еврей вскочил на ноги.   
 - Нет, Дик, нет... Сейчас я пойду! Ну, прощай, Дик, - сказал он затем. - Не могу назвать тебя добрым, но не смею, да и не хочу считать злым.   
 На прощание предводитель разбойников еще раз посоветовал Исааку:   
 - Не скупись на щедрые предложения, Исаак, не жалей своей мошны ради спасения дочери. Поверь, если и в этом деле станешь беречь золото, потом оно отзовется тебе такой мукою, что легче было бы, если бы тебе его влили в глотку расплавленным.   
 Исаак с глубоким стоном согласился с этим.   
 Он отправился в путь в сопровождении двух рослых лесников, которые взялись проводить его через лес и в то же время служить ему охраной.   
 Черный Рыцарь, все время с величайшим интересом следивший за всем, что тут происходило, в свою очередь начал прощаться с разбойниками. Он не мог не выразить своего удивления по поводу того порядка, какой он видел в среде людей, стоящих вне закона.   
 - Да, сэр рыцарь, - отвечал иомен, - случается, что и плохое дерево дает добрые плоды, а плохие времена порождают не одно лишь зло. В числе людей, оказавшихся вне закона, без сомнения есть такие, которые пользуются своими вольностями с умеренностью, а иные, быть может, даже жалеют, что обстоятельства принудили их приняться за такое ремесло.   
 - И, по всей вероятности, - спросил рыцарь, - я теперь беседую с одним из их числа?   
 - Сэр рыцарь, - ответил разбойник, - у каждого из нас свой секрет. Предоставляю вам судить обо мне как вам угодно. Я сам имею на ваш счет кое-какие догадки, но очень возможно, что ни вы, ни я не попадаем в цель. Но так как я не прошу вас открыть мне вашу тайну, не обижайтесь, коли и я вам своей не открою.   
 - Прости меня, отважный иомен, - сказал рыцарь, - твой упрек справедлив. Но может случиться, что мы еще встретимся и тогда не станем друг от друга скрываться. А теперь, надеюсь, мы расстанемся друзьями?   
 - Вот вам моя рука в знак дружбы, - сказал Локсли, - и я смело могу сказать, что это рука честного англичанина, хотя сейчас я и разбойник.   
 - А вот тебе моя рука, - сказал рыцарь, - и знай, что я почитаю за честь пожать твою руку. Ибо кто творит добро, имея неограниченную возможность делать зло, тот достоин похвалы не только за содеянное добро, но и за все то зло, которого он не делает. До свидания, храбрый разбойник!   
 Так расстались эти славные боевые товарищи. Рыцарь Висячего Замка сел на своего крепкого боевого коня и поехал через лес.

**Глава XXXIV**

Король Иоанн   
 Мой друг, послушай, что тебе скажу я:   
 Он, как змея, мне преграждает путь.   
 Куда я ни ступлю - повсюду он.   
 Я выразился, кажется, понятно?   
 "Король Иоанн"   
  
 Принц Джон давал в Йоркском замке большой пир и пригласил на него тех дворян и церковников, с помощью которых надеялся завладеть престолом своего брата. Вальдемар Фиц-Урс, его хитрый и ловкий пособник, тайно орудовал среди собравшихся, стараясь поднять их на открытое выступление. Но дело задерживалось из-за отсутствия нескольких главных заговорщиков. Для успешного выполнения такого замысла нельзя было обойтись без суровой настойчивости и отчаянной храбрости барона Фрон де Бефа, без отваги и задора Мориса де Браси, без боевой опытности Бриана де Буагильбера. Принц Джон и его любимый советчик втайне проклинали их безрассудное поведение, но не решались действовать без них. Еврей Исаак также куда-то скрылся, а с ним исчезла и надежда на порядочную сумму денег, которую принц хотел занять у местных евреев через его посредство. В такую критическую минуту недостаток в денежных средствах мог оказаться гибельным.   
 Поутру на другой день после падения замка Торкилстон в городе Йорке распространился слух, будто де Браси, Буагильбер и союзник их Фрон де Беф взяты в плен или убиты. Фиц-Урс сам сообщил принцу об этом слухе, прибавив, что считает его очень правдоподобным, так как у рыцарей был совсем небольшой отряд, с которым они собирались напасть на Седрика и его спутников.  
 В другое время принц счел бы подобное насилие очень забавным, но на этот раз такой поступок задерживал выполнение его собственных замыслов, а потому он стал порицать его участников. Он горячо толковал о соблюдении законов, о нарушении порядка и неприкосновенности частной собственности, словно его устами говорил сам король Альфред.   
 - Своевольные грабители! - кричал принц. - Если я когда-нибудь стану английским королем, я буду вешать таких ослушников на подъемных мостах их собственных замков!   
 - Но для того чтобы сделаться английским королем, - хладнокровно сказал присяжный советчик принца, - необходимо, чтобы ваша светлость не только терпеливо переносили своеволие этих грабителей, но и оказывали бы им покровительство, несмотря на то, что они то и дело нарушают законы, которые вы намерены охранять с таким похвальным усердием. Нечего сказать, велика была бы для нас выгода, если бы неотесанные саксы осуществили намерения вашей светлости и превратили подъемные мосты феодальных замков в виселицы! А этот Седрик как раз такой человек, которому подобные мысли могут прийти в голову. Вашей светлости хорошо известно, что нам было бы опасно начать выступление, не имея в своих рядах барона Фрон де Бефа, де Браси и храмовника, а с другой стороны, мы зашли слишком далеко, чтобы отступать.   
 Принц Джон с раздражением хлопнул себя ладонью по лбу и начал крупными шагами расхаживать по комнате.   
 - Подлецы, - сказал он, - предатели! Покинули меня в такую важную минуту!   
 - Скорее можно их назвать повесами, - сказал Вальдемар, - потому что они занимаются пустяками вместо серьезного дела.   
 - Что же делать? - спросил принц, останавливаясь перед Вальдемаром.   
 - Все необходимые распоряжения мною уже сделаны, - отвечал Фиц-Урс. - Я не пришел бы к вашей светлости говорить о такой неудаче, если бы не сделал до этого все, что было в моих силах, чтобы помочь делу.   
 - Ты всегда был моим добрым гением, Вальдемар, - сказал принц. - Если у меня всегда будет такой канцлер, мое царствование будет прославлено в летописях этой страны. Ну, как же ты распорядился?   
 - Я приказал Луи Винкельбранду, старшему помощнику Мориса де Браси, трубить сбор дружины, сесть на коней, развернуть знамя и скакать к замку барона Фрон де Бефа на выручку нашим друзьям.   
 Принц Джон покраснел, как своенравный и балованный ребенок, воображающий, что его оскорбляют.   
 - Клянусь ликом господним, - сказал он, - не слишком ли много ты на себя берешь, Вальдемар ФицУрс? Какова дерзость! Велит и в трубы трубить и знамя распускать, тогда как - мы сами здесь присутствует и никаких приказаний на этот счет не отдавали!   
 - Простите, ваше высочество, - сказал Фиц-Урс, в душе проклиная пустое тщеславие своего патрона, - но медлить было нельзя - каждая минута дорога, а потому я и признал возможным распорядиться лично в деле, столь важном для преуспеяния вашей светлости.   
 - Я тебе прощаю, Фиц-Урс, - промолвил принц с важностью. - Доброе намерение искупает твою необдуманную поспешность... Но кого я вижу? Клянусь крестом, это сам де Браси! И в каком странном виде он является перед нами!   
 И точно, это был де Браси. Его лицо разгорелось от бешеной скачки, шпоры были окровавлены. Все его вооружение носило явные следы недавней упорной битвы: оно было проломлено, измято, во многих местах обагрено кровью, забрызгано грязью, а пыль густым слоем покрывала рыцаря с головы до ног. Отстегнув шлем, он поставил его на стол и с минуту стоял молча, словно не решаясь объявить привезенные вести.   
 - Де Браси, - спросил принц Джон, - что это значит? Говори, я тебе приказываю. Саксы, что ли, возмутились?   
 - Говори, де Браси, - сказал Фиц-Урс почти в одно слово с принцем. - Ты всегда был мужественным человеком. Где храмовник? Где Фрон де Беф?   
 - Храмовник бежал, - ответил де Браси, - а барона Фрон де Бефа вы больше не увидите: он погиб в раскаленной могиле, среди пылающих развалин своего замка. Я один спасся и пришел поведать вам об этом.   
 - Озноб пробирает от таких вестей, - сказал Вальдемар, - хоть ты и говоришь о пожаре и пламени!   
 - Худшая весть впереди, - сказал де Браси и, подойдя ближе к принцу, проговорил тихим и выразительным голосом: - Ричард здесь, в Англии. Я его видел и говорил с ним.   
 Принц Джон побледнел, зашатался и ухватился за спинку дубовой скамьи, чтобы не упасть, как человек, раненный в грудь.   
 - Ты бредишь, де Браси, - воскликнул Фиц-Урс, - этого не может быть!   
 - Это чистейшая правда, - сказал де Браси. - Я был его пленником, он говорил со мной.   
 - Ты говорил с Ричардом Плантагенетом? - продолжал допрашивать Фиц-Урс.   
 - Да, с Ричардом Плантагенетом, - отвечал де Браси, - с Ричардом Львиное Сердце, с Ричардом, королем английским.   
 - И ты был его пленником? - спросил Вальдемар. - Стало быть, он идет во главе сильного войска?   
 - Нет, он был лишь с горстью вольных иоменов, и они не знают, кто он. Я слышал, как он выражал намерение расстаться с ними. Он присоединился к ним только для того, чтобы помочь им взять замок Торкилстон.   
 - Так, так, - молвил Фиц-Урс, - в этом виден весь Ричард. Настоящий странствующий рыцарь, всегда готовый на всякие приключения, как какой-нибудь сэр Гай или сэр Бевис, в надежде на свою силу и ловкость. А важные государственные дела между тем запущены, и даже жизнь его в опасности. Что же ты предлагаешь, де Браси?   
 - Я? Я предлагал Ричарду услуги моей вольной дружины, но он отказался. Отведу своих людей в Гулль, посажу на суда и уеду с ними во Фландрию. В смутные времена военному человеку везде найдется дело. А ты, Вальдемар? Не пора ли тебе отложить политику в сторону, взяться за копье и отправиться вместе со мной?   
 - Я слишком стар, Морис. К тому же у меня дочь, - отвечал Вальдемар.   
 - Отдай ее за меня, Фиц-Урс. С помощью меча я сумею доставить ей все, что подобает ее высокому происхождению, - сказал де Браси.   
 - Нет, - отвечал Фиц-Урс, - я думаю укрыться в здешнем храме святого Петра. Архиепископ - мой названый брат.   
 Пока они беседовали, принц Джон очнулся от оцепенения, в которое повергла его неожиданная весть. Он внимательно прислушивался к разговору своих сторонников.   
 "Они от меня отступаются, - думал он. - Рассеялись, как сухие листья при первом порыве ветра. Силы бесовские! Неужели ничего нельзя будет предпринять, когда эти подлецы покинут меня?"  
 Он помолчал, потом разразился натянутым смехом, придавшим поистине дьявольское выражение его лицу и голосу, прервал их разговор этим смехом.   
 - Ха-ха-ха, друзья мои! Клянусь ликом святой девы, я считал вас умными людьми и храбрецами. И что же! Вы отказываетесь от богатства, от почестей, от радостей жизни - словом, от всего, что нам сулила благородная затея. Отказываетесь в такую минуту, когда стоит лишь сделать один смелый шаг - и мы одержим победу.   
 - Не понимаю, на что вы рассчитываете, - сказал де Браси. - Как только разнесется слух, что Ричард воротился, около него мигом соберется целая армия, и тогда нам конец. Я бы вам посоветовал, милорд, бежать во Францию либо искать покровительства королевы-матери.   
 - Я ни у кого не ищу защиты! - надменно отвечал принц Джон. - Мне стоит сказать одно слово брату, и безопасность моя обеспечена. Но хотя вы оба, - и ты, де Браси, и ты, Вальдемар Фиц-Урс, - не задумываясь отступаетесь от меня, мне было бы не очень приятно смотреть, как ваши отрубленные головы торчат над Клиффордскими воротами. Ты, кажется, воображаешь, Вальдемар, что хитрый архиепископ не выдаст тебя даже у алтаря, если такое предательство поможет ему выслужиться перед Ричардом? А ты, де Браси, должно быть, позабыл, что на пути отсюда в Гулль стоит лагерем Роберт Эстотвил и граф Эссекс созвал туда своих приверженцев? Если мы имели причины опасаться этих скопищ еще до возвращения Ричарда, то как ты полагаешь - чью сторону примут теперь их вожди? Поверь мне, у одного Эстотвиля достаточно войска, чтобы потопить тебя со всей твоей вольной дружиной в водах Хамбера.   
 Фиц-Урс и де Браси в страхе переглянулись.   
 - Нам остается одно средство, - продолжал принц, и лицо его омрачилось, как темная ночь. - Тот, кого мы страшимся, странствует в одиночку. Надо где-нибудь настигнуть его.   
 - Я за это не возьмусь, - поспешно отвечал де Браси. - Он взял меня в плен и помиловал. Я не согласен повредить хотя бы одно перо на его шлеме.   
 - Да кто же тебе велит наносить ему вред? - молвил принц Джон с резким смехом. - Ты, пожалуй, еще будешь рассказывать, что я тебя подговариваю его убить. Нет, тюрьма лучше всего. А где он будет заключен, в Австрии или в Англии, не все ли равно? Он очутится в том самом положении, в каком был, когда мы начинали свое предприятие. Ведь мы затеяли все дело в надежде, что Ричард останется в плену в Германии. Известно, что дядя наш, Роберт, жил и умер в замке Кардифф.   
 - Так-то так, - сказал Вальдемар, - но ваш предок Генрих гораздо крепче сидел на престоле, чем это возможно для вашей светлости. По-моему, самая лучшая тюрьма та, от которой ключ хранится у пономаря; нет лучше подземелья, чем склеп под церковью. Больше мне нечего сказать.   
 - Тюрьма ли, могила ли - это меня не касается, - сказал де Браси. - Я умываю руки.   
 - Негодяй! - сказал принц Джон. - Надеюсь, ты не донесешь ему о нашей беседе?   
 - Я еще никогда не был доносчиком, - надменно сказал де Браси, - и не привык, чтобы меня называли негодяем.   
 - Полно, полно, сэр рыцарь, - вмешался Вальдемар. - А вы, государь, простите щепетильность доблестного де Браси. Я надеюсь его уговорить.   
 - Даром потратишь свое красноречие, Фиц-Урс, - возразил де Браси.   
 - Ну, полно, мой добрый сэр Морис, - продолжал хитрый дипломат. - Не кидайтесь в сторону, точно испуганный конь. Чего вам бояться? Этот Ричард... Не далее как третьего дня твоим самым большим желанием было встретиться с ним лицом к лицу на ратном поле. Я сто раз слышал, как ты мечтал об этом.   
 - Да, - молвил де Браси, - лицом к лицу в открытом бою. А когда же я говорил, что желал бы напасть на него в глухом лесу?   
 - Какой же ты рыцарь, если это тебя пугает? - сказал Вальдемар. - Разве Ланселот де Лак и сэр Тристрам стяжали свою славу в сражениях? Они именно тем и прославились, что нападали на богатырей и великанов в глубине диких неизведанных лесов.   
 - Да, - сказал де Браси, - только ручаюсь, что ни Тристрам, ни Ланселот не справились бы в рукопашной схватке с Ричардом Плантагенетом. А отправляться вдвоем против одного человека у них было не в обычае.   
 - Ты с ума сошел, де Браси! - сказал Фиц-Урс. - Ведь ты наемный начальник вольной дружины, за деньги взявшейся служить принцу Джону. Тебе известно, где находится наш враг, и ты колеблешься, тогда как судьба твоего хозяина, участь твоих товарищей, собственная жизнь твоя и честь каждого из нас поставлены на карту!   
 - Я вам говорю, - угрюмо сказал де Браси, - что он даровал мне жизнь. Правда, он прогнал меня с глаз долой, отказался от моих услуг. Стало быть, я не обязан ему ни повиновением, ни преданностью. Но я не могу поднять на него руку.   
 - Да этого и не требуется. Пошли Луи Винкельбранда с двумя десятками твоих копейщиков.   
 - У вас довольно и своих мерзавцев, - сказал де Браси, - из моих ни один не пойдет на это дело.   
 - И упрям же ты, де Браси! - сказал принц Джон. - Неужели ты меня покинешь после всех твоих уверений в преданности и усердии?   
 - Я не хочу вас покидать, - сказал де Браси. - Я готов служить вам, как подобает рыцарскому званию, на турнирах и в ратном поле. Но эти темные дела противны произнесенным мною обетам.   
 - Вальдемар, подойди ко мне поближе, - сказал принц Джон. - Какой я несчастный принц! Вот у отца моего, короля Генриха, были верные слуги: стоило ему сказать, что ему надоел такой-то бунтарь из духовного звания, и кровь Фомы Бекета - даром что его почитали святым! - пролилась на ступени алтаря, у которого он служил. О Траси, Морвил, Брито, отважные и преданные слуги! Исчезли ваши имена, ваше мужество, и нет подобных вам по доблести! Хоть у Реджинальда Фиц-Урса и остался сын, но он не унаследовал ни верности, ни отваги своего отца.   
 - Нет, у него нет недостатка ни в том, ни в другом! - сказал Вальдемар Фиц-Урс. - Если больше некому выполнить это опасное дело, я беру его на себя. Отец мой дорого поплатился за свою славу усердного приверженца, но он доказал свою преданность более легким способом, нежели тот, что предстоит мне. Для меня легче было бы напасть на всех святых, упоминаемых в святцах, чем поднять копье против Львиного Сердца. Де Браси, поручаю тебе поддержать бодрое настроение среди наших союзников. Будь личным телохранителем принца. Если мне удастся прислать вам благоприятную весть, успех нашего предприятия обеспечен. Эй, паж беги ко мне домой и скажи оружейнику, чтобы ждал меня в полной готовности! Передай Стивену Уезеролу, дюжему Торсби и трем копьеносцам из Спайнгау чтобы немедленно явились ко мне. И пускай позовут Хью Бардона, разведчика... Прощай, государь, до лучших времен!   
 Сказав это, он вышел из комнаты.   
 - Отправляется брать в плен моего брата, - сказал принц Джон Морису де Браси, - и чувствует при этом так же мало угрызений совести, как будто дело идет о лишении свободы какого-нибудь саксонского франклина. Надеюсь, что он строго выполнит наши предписания и с должным почтением отнесется к особе нашего любезного брата Ричарда.   
 Де Браси вместо ответа только усмехнулся.   
 - Клянусь пресвятой девой, - продолжал принц, - мы дали ему точнейшие указания. Только ты, может быть, не слыхал нашего разговора, потому что мы с ним стояли в нише окна. Я строго приказал ему беречь Ричарда, и горе Вальдемару, если он преступит мою волю!   
 - Не лучше ли мне сходить к нему, - сказал де Браси, - и еще раз повторить повеления вашей светлости? Если я не слыхал ваших слов, так, может быть, и Вальдемар их не расслышал?   
 - Нет, нет! - сказал принц раздраженно. - Он расслышал, поверь мне. К тому же мне нужно с тобой потолковать. Подойди сюда, Морис, дай мне опереться на твое плечо.   
 В этой дружеской позе они обошли весь зал, и принц завел приятельскую беседу в таком тоне:   
 - Какого ты мнения об этом Вальдемаре Фиц-Урсе, мой милый де Браси? Он надеется быть при мне канцлером. Но мы хорошенько подумаем, прежде чем поручить такую важную должность человеку, который не слишкомто уважает нашу семью, судя по тому, с какой охотой он взялся захватить Ричарда. Ты, может быть, думаешь, что несколько потерял наше расположение из-за того, что так смело отказался от этого неприятного поручения? Нет, Морис. Мое уважение к тебе скорее усилилось при виде твоей честности и твердости. Случается, что нам оказывают большие услуги, а мы все-таки не в силах ни любить, ни уважать тех, кто их оказывает. Бывает также, что отказываются нам служить, а мы еще больше уважаем этих ослушников. Я нахожу, что арестовать моего несчастного брата - не такая великая заслуга, чтобы за нее награждать титулом канцлера. Но зато ты своим рыцарским отказом заслуживаешь жезл главного маршала. Подумай-ка об этом, де Браси, и поди исполняй свое дело.   
 - Капризный тиран! - бормотал про себя де Браси, выйдя от принца. - Плохо будет тому, кто тебе доверится. Твой канцлер! Скажите пожалуйста! Тот, кто доверится твоей совести, быстро станет жертвой. Но главный маршал Англии, - проговорил он, простирая руку вперед, как бы желая схватить этот жезл, и принимая величавую осанку, - это такое звание, ради которого стоит потрудиться.   
 Как только де Браси вышел из его покоев, принц Джон позвал слугу и сказал ему:   
 - Скажи Хью Бардону, нашему старшему разведчику, чтобы пришел ко мне тотчас после того, как поговорит с Вальдемаром Фиц-Урсом.   
 Через самое короткое время, в течение которого принц тревожными, быстрыми шагами прохаживался по комнате, старший разведчик явился к нему.   
 - Бардон, - сказал принц, - что тебе приказывал Вальдемар?   
 - Прислать ему двух отважных людей, хорошо знакомых с северными лесными чащами и умеющих разыскивать следы человека и лошади.   
 - И ты можешь дать ему таких людей?   
 - Будьте спокойны, государь, - отвечал глава шпионов. - Один - из Хексамшира, он так же ловко выслеживает тайндейлских и тевиотдейлских воров, как гончая собака чует след раненого оленя. Другой - из Йоркшира; он на своем веку пострелял немало дичи в Шервудских лесах; он знает каждую тропинку, каждый брод, каждую полянку и овраг отсюда вплоть до Ричмонда.   
 - Ну хорошо, - молвил принц. - А сам Вальдемар тоже едет с ними?   
 - Немедленно, государь, - сказал Бардон.   
 - А кто еще при нем? - спросил принц Джон беспечным тоном.   
 - С ним поедет дюжий Торсби и Уезерол, которого за его жестокость прозвали Стивен Стальное Сердце, и еще трое северян из бывшего отряда Ральфа Миддлтона; их зовут копьеносцами из Спайнгау.   
 - Хорошо, - сказал принц Джон и, помолчав с минуту, прибавил: - Бардон, необходимо, чтобы ты установил строгий надзор за Морисом де Браси, но только так, чтобы он об этом не проведал. Время от времени доноси нам, как он себя держит, с кем беседует, что затевает. Постарайся все узнать в точности, так как ответственность падает на тебя.   
 Хью Бардон поклонился и вышел.   
 - Если Морис мне изменит, - сказал принц Джон, - если он меня предаст, как того можно ожидать, судя по его поведению, я с него голову сниму, хотя бы в эту минуту сам Ричард был у ворот города Йорка.

**Глава XXXV**

В пустыне дикой тигра разбудить,   
 У льва голодного отнять добычу -   
 Все лучше, чем расшевелить огонь   
 Слепого изуверства.   
 Неизвестный автор   
  
 Возвратимся теперь к Исааку из Йорка. Усевшись верхом на мула, подаренного ему разбойником, он в сопровождении двух иоменов отправился в прецепторию Темплстоу вести переговоры о выкупе своей дочери. Прецептория находилась на расстоянии одного дня пути от разрушенного замка Торкилстон, и он надеялся засветло добраться туда. Поэтому, как только лес кончился, он отпустил проводников, наградив их за труды серебряной монетой, и стал погонять своего мула с таким усердием, какое дозволяли его слабые силы и крайняя усталость. Но не доезжая четырех миль до Темплстоу, он почувствовал себя дурно: в спине и во всем теле поднялась такая ломота, а душевная тревога так изнурила его и без того слабый организм, что лишь с большим трудом дотащился он до небольшого торгового местечка, где проживал еврейский раввин, известный своими медицинскими познаниями и хорошо знакомый Исааку.   
 Натан Бен-Израиль принял своего страждущего собрата с тем радушием, которое предписывается еврейскими законами и строго исполняется. Он тотчас уложил его в постель и заставил принять лекарство против лихорадки, начавшейся у бедного старика под влиянием испытанных им ужасов, утомления, побоев и горя.   
 На другой день поутру Исаак собрался встать и продолжать свой путь, но Натан воспротивился этому не только как гостеприимный хозяин, но и как врач, утверждая, что такая неосторожность может стоить ему жизни.   
 Исаак возразил на это, что от его поездки в Темплстоу зависит больше, чем его жизнь и смерть.   
 - В Темплстоу? - повторил Натан с удивлением. Он еще раз пощупал пульс Исаака и пробормотал себе под нос: - Лихорадки как будто нет, однако бредит или слегка помешался.   
 - Отчего же мне не ехать в Темплстоу? - сказал Исаак. - Я с тобою не стану спорить, Натан, что это - жилище людей, которые ненавидят презираемых сынов избранного народа, считая их камнем преткновения на своем пути; однако тебе известно, что по важным торговым делам мы иногда вынуждены сноситься с кровожадными назарейскими воинами и бывать в прецепториях храмовников так же, как в командорствах иоаннитских рыцарей.   
 - Знаю, знаю, - сказал Натан, - но известно ли тебе, что там теперь Лука Бомануар, начальник ордена, или гроссмейстер?   
 - Этого я не знал! - сказал Исаак. - По последним известиям, какие я имел от наших соплеменников из Парижа, Бомануар был в столице Франции и умолял Филиппа о помощи в борьбе против султана Саладина.   
 - После этого он прибыл в Англию неожиданно для своих собратий, - продолжал Бен-Израиль. - Он явился с поднятой рукой, готовый карать и преследовать. Лицо его пылает гневом против нарушителей обетов, произносимых при вступлении в их орден, и сыны Велиала трепещут перед ним. Ты, вероятно, и прежде слыхал его имя?   
 - Да, оно мне очень знакомо, - отвечал Исаак. - Язычники говорят, что этот Лука Бомануар казнит смертью за каждый проступок против назарейского закона. Наши братья прозвали его яростным истребителем сарацин и жестоким тираном сынов израильских.   
 - Правильно дано это прозвище! - заметил Натанцелитель. - Других храмовников удается смягчить, посулив им наслаждения или золото, но Бомануар совсем не таков: он ненавидит сладострастие, презирает богатство и стремится всей душой к тому, что у них называется венцом мученика. Бог Иаков да ниспошлет скорее этот венец ему и всем его сподвижникам! Этот гордый человек занес свою железную руку над головами сынов Иудеи, как древний Давид над Эдомом, считая убиение еврея столь же угодным богу, как и смерть сарацина. Он подвергает хуле и поношению даже целебность наших врачебных средств, приписывая им сатанинское происхождение. Покарай его бог за это!   
 - И все-таки, - сказал Исаак, - я должен ехать в Темплстоу, хотя бы лик Бомануара пылал, как горнило огненное, семь раз раскаленное...   
 Тут он наконец объяснил Натану, почему он так спешит. Раввин внимательно выслушал Исаака, выказал ему свое сочувствие и, по обычаю своего народа, разорвал на себе одежду, горестно сетуя:   
 - О, дочь моя! О, дочь моя! О, горе мне! Погибла краса Сиона! Когда же будет конец пленению Израиля!   
 - Ты видишь, - сказал ему Исаак, - почему мне невозможно медлить. Быть может, присутствие этого Луки Бомануара, их главного начальника, отвлечет Бриана де Буагильбера от задуманного злодеяния. Быть может, он еще отдаст мне мою возлюбленную дочь Ревекку.   
 - Так поезжай, - сказал Натан Бен-Израиль, - и будь мудр, ибо мудрость помогла Даниилу даже во рву львином. Однако, если окажется возможным, постарайся не попадаться на глаза гроссмейстеру, ибо предавать гнусному посмеянию евреев - его любимое занятие и утром и вечером. Может быть, всего лучше было бы тебе с глазу на глаз объясниться с Буагильбером - носятся слухи, будто среди этих окаянных назареян нет полного единодушия... Да будут прокляты их нечестивые совещания, и да покроются они позором! Но ты, брат, возвратись ко мне, словно в дом отца твоего, и дай мне знать о своих делах. Я твердо надеюсь, что привезешь с собою и Ревекку, ученицу премудрой Мириам, которую оклеветали эти нечестивцы: целебное действие ее лекарств они называли колдовством.   
 Исаак распростился с другом и через час подъехал к прецептории Темплстоу.   
 Обитель рыцарей Храма была расположена среди тучных лугов и пастбищ, дарованных ордену мирянами благодаря усердию прежнего настоятеля. Постройки были прочные - прецептория была тщательно укреплена, что в тогдашние беспокойные времена было не лишним. Двое часовых в черных одеяниях и с алебардами на плечах стояли на страже у подъемного моста. Другие такие же мрачные фигуры мерным шагом прохаживались взад и вперед по стенам, напоминая скорее привидения, чем живых воинов. Все младшие чины этого ордена носили платье черного цвета с тех пор, как выяснилось, что в горах Палестины завелось множество самозваных братьев, носивших белые одежды, подобно рыцарям и оруженосцам этого ордена, и также выдававших себя за храмовников, но своим поведением навлекших самую позорную репутацию на рыцарей Сионского Храма. Время от времени по двору проходил кто-нибудь из рыцарей в длинной белой мантии, со склоненной головой и сложенными на груди руками. При встречах друг с другом они молча обменивались медленными и торжественными поклонами. Молчание было одним из правил их устава, согласно библейским текстам: "Во многоглаголании несть спасения" и "Жизнь и смерть во власти языка". Аскетическая строгость устава, давно сменившаяся распутной и вольной жизнью, снова вступила в свои права под суровым оком Бомануара.   
 Исаак остановился у ворот, раздумывая, как ему лучше всего пробраться в ограду обители. Он отлично понимал, что вновь пробужденный фанатизм храмовников не менее опасен для его несчастного племени, чем их распущенность. Вся разница заключалась в том, что теперь религия могла стать источником ненависти и изуверства братии, и раньше он подвергся бы обидам и вымогательствам из-за своего богатства.   
 В это время Лука Бомануар прогуливался в садике прецептории, который лежал в границах внешних укреплений, и вел доверительную и печальную беседу с одним из членов своего ордена, вместе с ним приехавшим из Палестины.   
 Гроссмейстер был человек преклонных лет; его длинная борода и густые щетинистые брови давно уже поседели, но глаза сверкали таким огнем, который и годы не в состоянии были погасить. Когда-то он был грозным воином, и суровые черты его худощавого лица сохраняли выражение воинственной свирепости. Вместе с тем во внешности этого изувера аскетическая изможденность сочеталась с самодовольством святоши. Однако в его осанке и лице было нечто величественное, сразу было видно, что он привык играть важную роль при дворах монархов различных стран и повелевать знатными рыцарями, отовсюду стекавшимися под знамя его ордена. Он был высок ростом, статен и, невзирая на старость, держался прямо. Его мантия из грубого белого сукна с красным восьмиконечным крестом на левом плече была сшита со строгим соблюдением всех правил орденского устава. На ней не было никакой меховой опушки, но по причине преклонного возраста гроссмейстера его камзол был подбит мягчайшей овчиной, что допускалось и уставом ордена, - большей роскоши он себе не мог позволить. В руке он держал ту странную абаку, или трость, с которой обыкновенно изображают храмовников. Вместо набалдашника у нее был плоский кружок с выгравированным на нем кольцом, в середине которого был начертан восьмиконечный крест ордена. Собеседник великого сановника носил такую же одежду. Однако крайнее подобострастие в его обращении с начальником показывало, что равенства между ними не было. Прецептор (ибо таково было звание этого лица) шел даже не рядом с гроссмейстером, но несколько позади, на таком расстоянии, чтобы тот мог с ним разговаривать, не оборачиваясь.   
 - Конрад, - говорил гроссмейстер, - дорогой товарищ моих битв и тяжких трудов, тебе одному могу я поверить свои печали. Тебе одному могу сказать, как часто с той поры, как я вступил в эту страну, томлюсь я желанием смерти и как стремлюсь успокоиться в лоне праведников. Ни разу не пришлось мне увидеть в Англии ничего такого, на чем глаз мог бы остановиться с удовольствием, кроме гробниц наших братии под тяжелой кровлей нашего соборного храма в здешней гордой столице. "О доблестный Роберт де Рос! - воскликнул я в душе, созерцая изваяния этих добрых воинов-крестоносцев. - О почтенный Уильям де Маршал! Отворите свои мраморные кельи и примите на вечный покой усталого брата, который охотнее боролся бы с сотней тысяч язычников, чем быть свидетелем падения своего священного ордена!"   
 - Совершенно справедливо, - отвечал Конрад Монт-Фитчет, - все это святая истина. Наши английские братья ведут жизнь еще более неправедную, нежели французские.   
 - Потому что здешние богаче, - сказал гроссмейстер. - Прости мне, брат, если я несколько похвалюсь перед тобой. Ты знаешь, как я жил, как соблюдал каждую статью нашего устава, как боролся с бесами, воплощенными в образе человеческом или потерявшими его, как поражал этого рыкающего льва, который бродит вокруг нас. Всюду, где он встречался мне, я его побивал как рыцарь и усердный священнослужитель, согласно велению блаженной памяти святого Бернарда. Ut Leo semper feriatur [33]. И, клянусь святым Храмом, мое ревностное усердие пожирало мое существо, мое бытие, даже мышцы и самый мозг в костях моих. Клянусь святым Храмом, кроме тебя и очень немногих соблюдающих строгий устав нашего ордена, не вижу я таких людей, которым в глубине души мог бы дать священный титул брата. Что сказано в нашем законе и как они исполняют его? Сказано: не носить суетных украшений, не иметь перьев на шлеме, ни золотых шпор, ни раззолоченных уздечек. А между тем кто самые большие щеголи, как не наши воины Храма? Устав воспрещает делать одну птицу средством ловли другой, воспрещает убивать животных из лука или арбалета, возбраняет трубить в охотничьи рога и даже пришпоривать коня в погоне за дичью. И что же? Кто, как не храмовники, выезжает на охоту с соколами, занимается стрельбой, травлей по лесам и другими суетными забавами! Им воспрещено читать чтолибо без особого разрешения настоятеля, воспрещено и слушать чтение каких бы то ни было книг, кроме тех, которые читаются вслух во время общей трапезы. А между тем они преклоняют слух к пению праздных менестрелей и зачитываются пустыми росказиями. Им предписано искоренять колдовство и ересь, а они, по слухам, изучают окаянные кабалистические знаки евреев и заклинания язычников-сарацин. Устав велит им быть умеренными в пище, питаться кореньями, похлебкой, кашей, есть мясо не более трех раз в неделю, потому что привычка к мясным блюдам - позорное падение, а посмотришь - столы их ломятся от изысканных яств. Им следует пить одну воду, а между тем среди веселых гуляк сложилась уже пословица: "Пить как храмовник". Взять хотя бы этот сад, наполненный диковинными цветами из дальних стран Востока. Он гораздо более похож на сад, окружающий гарем какого-нибудь мусульманского владыки, чем на скромный участок земли на котором христианские монахи разводят необходимые им овощи. Ах, Конрад, если бы только этим ограничивались отступления от нашего устава! Тебе известно, что нам воспрещалось общение с теми благочестивыми женщинами, которые вначале были сопричислены к нашему ордену в качестве сестер. Воспрещалось, на том основании, что как сказано в главе сорок шестой устава, исконный враг человечества при помощи женщин многих совращал с пути к царствию небесному. А в последней главе, служащей как бы краеугольным камнем чистого и непорочного учения, преподанного нам блаженным основателем ордена, нам возбраняется даже родным сестрам и матерям нашим воздавать лобзание ut omnium mulierum fugiantur oscula [34]. Но мне стыдно говорить, стыдно даже подумать, какие темные пороки гнездятся ныне в нашем ордене! Души благочестивых основателей ордена Гуго де Пайена, Готфрида де Сент-Омера и тех семерых, которые прежде других заключили союз, посвятив себя служению Храму, - их души и в раю не знают себе покоя. Я созерцал их, Конрад, в ночных видениях. Святые очи их источали слезы о грехах и заблуждениях своих собратий, о гнусном и постыдном сладострастии, в коем они погрязли. "Бомануар, - говорили они, - ты спишь! Проснись! Вот оно, пятно на здании церковном, неискоренимое и тлетворное, как дыхание проказы, с незапамятных времен впитавшееся в стены зараженных домов. Воины креста, которые должны бы избегать взгляда женских очей, как змеиного жала, открыто живут во грехе не только с женщинами своего племени, но и с дочерьми проклятых язычников и еще более проклятых евреев. Бомануар, ты спишь! Встань же и отомсти за правое дело! Умертви грешников обоего пола! Вооружись мечом Финеаса!" Видение рассеялось, Конрад, но, проснувшись, я все еще слышал бряцание их кольчуг и видел, как развевались полы их белоснежных мантий. И я поступлю так, как они повелели мне: я очищу стены Храма, а нечистые камни, рассадник заразы, я вышвырну вон.   
 - Подумай, преподобный отец, - сказал Монт-Фитчет, - ведь эта плесень благодаря времени и привычке въелась глубоко. Твои преобразования будут праведны и мудры, но не лучше ли приступить к ним осторожнее?   
 - Нет, Монт-Фитчет, - отвечал суровый старик. - Это нужно сделать резко и неожиданно. Наш орден в очень тяжелом положении, вся его будущность зависит от настоящей минуты. Трезвость, самоотречение, благочестие наших предшественников повсюду создали нам могущественных приверженцев. Наша надменность, наши богатства и роскошное житье восстановили против нас сильных врагов. Мы должны выбросить накопленные сокровища, которые соблазняют великих мира сего, мы должны отбросить всякую самонадеянность и надменность, потому что она обидна для них; мы должны искоренить распущенность, которая опозорила нас на весь мир. Иначе, попомни мое слово, орден рыцарей Храма исчезнет с лица земли, и народы не найдут его следов.   
 - Боже, сохрани и помилуй от такого бедствия! - молвил прецептор.   
 - Аминь! - торжественно произнес гроссмейстер. - Но мы должны заслужить помощь божию. Говорю тебе, Конрад: ни силы небесные, ни земные владыки не могут более терпеть порочность нынешнего поколения. Почва, на которой мы строим свое здание, колеблется, чем более мы стремимся возвеличиться, тем скорее обрушимся в бездну. Нужно вернуться назад, доказать, что мы верные защитники креста и по своему призванию жертвуем не только своими похотями и порочными склонностями, но и всеми удобствами, всеми утехами жизни, даже семейными привязанностями, и действуем как люди, убежденные в том, что многие радости, вполне законные для других, для нас, воинов, посвятивших себя защите святого Храма, незаконны и непростительны.   
 В эту минуту на дорожке сада появился оруженосец в поношенном платье (новички, поступавшие на искус в этот монашеский орден, обязаны были одеваться в обноски старших рыцарей). Он почтительно поклонился гроссмейстеру и молча остановился перед ним, ожидая позволения говорить.   
 - Ну вот, - сказал гроссмейстер, - не приличнее ли выглядит Дамиан, облеченный в ризы христианского смирения, в почтительном безмолвии перед своим начальником, чем два дня тому назад, когда я застал его в пестром наряде, прыгающим, словно попугай! Говори, мы разрешаем тебе, зачем ты пришел?   
 - Благородный и преподобный отец, - отвечал оруженосец, - у ворот стоит еврей и просит дозволения переговорить с братом Брианом де Буагильбером.   
 - Ты хорошо сделал, что пришел доложить мне об этом, - сказал гроссмейстер. - В нашем присутствии каждый прецептор - такой же член ордена, как и остальная братия, и не должен иметь своей воли, но обязан исполнять волю своего начальника. Как в писании сказано: "Что достигло его слуха, в том и обязан мне послушанием..." А что касается этого Буагильбера, то нам особенно важно знать о его делах, - прибавил гроссмейстер, обращаясь к своему спутнику.   
 - По слухам, это храбрый и доблестный рыцарь, - сказал Конрад.   
 - Это слух справедливый, - сказал гроссмейстер. - В доблести мы еще не уступаем нашим предшественникам, героям креста. Но когда брат Бриан вступал в наш орден, он казался мне человеком угрюмым и разочарованным. Казалось, что, произнося обеты и отказываясь от мира, он поступал не по искреннему влечению, а скорее с досады на какую-то неудачу, заставившую его искать утешения в покаянии. С тех пор он превратился в деятельного и пылкого мятежника. Он ропщет, строит козни; он стал во главе тех, кто оспаривает наши права. Он забыл, что власть наша знаменуется все тем же символом креста, состоящего из двух пересекающихся жезлов: один жезл дан нам как опора для слабых, а другой - для наказания виновных. Дамиан, - продолжал он, обратившись к послушнику, - приведи сюда еврея.   
 Оруженосец, низко поклонившись, вышел и через несколько минут возвратился в сопровождении Исаака из Йорка.   
 Ни один невольник, призванный пред очи могучего властелина, не мог бы с большим почтением и ужасом приближаться к его трону, чем Исаак подходил к гроссмейстеру. Когда он очутился на расстоянии трех ярдов от него, Бомануар мановением своего посоха приказал ему не подходить ближе. Тогда еврей стал на колени, поцеловал землю в знак почтения, потом поднялся на ноги и, сложив руки на груди, остановился перед храмовником с поникшей головой, в покорной позе восточного раба.   
 - Дамиан, - сказал гроссмейстер, - распорядись, чтобы сторож был готов явиться по первому нашему зову. Никого не впускать в сад, пока мы не уйдем отсюда.   
 Оруженосец отвесил низкий поклон и удалился.   
 - Еврей, - продолжал надменный старик, - слушай внимательно. В нашем звании не подобает вести с тобою продолжительные разговоры, притом мы ни на кого не любим тратить время и слова. Отвечай как можно короче на вопросы, которые я буду задавать тебе. Но смотри, говори правду. Если же твой язык будет лукавить передо мною, я прикажу вырвать его из твоих нечестивых уст.   
 Исаак хотел что-то ответить, но гроссмейстер продолжал:   
 - Молчать, нечестивец, пока тебя не спрашивают! Говори, зачем тебе нужно видеть нашего брата Бриана де Буагильбера?   
 У Исаака дух занялся от ужаса и смущения. Он не знал, что ему делать. Если рассказать все, как было, это могут признать клеветой на орден. Если не говорить, то как же иначе выручить Ревекку? Бомануар заметил его смертельный страх и снизошел до того, что слегка успокоил его.   
 - Не бойся за себя, несчастный еврей, - сказал он, - говори прямо и откровенно. Еще раз спрашиваю: какое у тебя дело к Бриану де Буагильберу?   
 - У меня к нему письмо, - пролепетал еврей, - смею доложить вашему доблестному преподобию, письмо к сэру благородному рыцарю от приора Эймера из аббатства в Жорво.   
 - Вот в какие времена мы с тобой живем, Конрад! - сказал гроссмейстер. - Аббат-цистерцианец посылает письмо воину святого Храма и не может найти лучшего посланца, чем этот безбожник еврей! Подай сюда письмо!   
 Еврей дрожащими руками расправил складки своей шапки, куда для большей сохранности спрятал письмо, и хотел приблизиться, намереваясь вручить его самому гроссмейстеру. Но Бомануар грозно крикнул:   
 - Назад, собака! Я не дотрагиваюсь до неверных иначе, как мечом. Конрад, возьми у него письмо и дай мне.   
 Приняв таким способом в свои руки послание приора, Бомануар тщательно осмотрел его со всех сторон и начал распутывать нитку, которой оно было обмотано.   
 - Преподобный отец, - сказал Конрад опасливо, хотя в высшей степени почтительно, - ты и печать сломаешь?   
 - А почему же нет? - молвил Бомануар, нахмурив брови. - Разве не сказано в сорок второй главе "De Lectione Literarum" [35], что рыцарь Храма не должен получать письма даже от родного отца без ведома гроссмейстера и обязан читать их не иначе как в его присутствии?   
 Он сначала бегло прочел письмо про себя, причем на лице его изобразились удивление и ужас; затем перечитал его вторично и наконец, протянув Конраду, ударил рукой по исписанным листкам и воскликнул:   
 - Нечего сказать, хорошая тема для письма от одного христианского мужа к другому! Особенно если оба довольно видные духовные лица. Когда же, - спросил он, торжественно возведя глаза к небу, - когда же, господи, снизойдешь ты на ниву и отвеешь плевелы от зерна доброго?   
 Монт-Фитчет взял письмо из рук начальника и стал читать.   
 - Читай вслух, Конрад, - сказал гроссмейстер, - а ты, - он обратился к Исааку, - слушай внимательно, ибо мы учиним тебе допрос.   
 Конрад прочел вслух следующее:   
 - "Эймер, милостию божьею приор цистерцианского монастыря святой Марии в Жорво, сэру Бриану де Буагильберу, рыцарю священного ордена храмовников, с пожеланием доброго здоровья и обильных даров кавалера Бахуса и дамы Венеры. Что до нас лично, дорогой брат, мы в настоящую минуту находимся в плену у неких беззаконных и безбожных людей, не побоявшихся задержать нашу особу и назначить с нас выкуп. При этом случае узнали мы и о несчастии, постигшем барона Фрон де Бефа, и о твоем бегстве с прекрасной еврейской чародейкой, которая околдовала тебя своими черными очами. Сердечно порадовались мы твоему спасению от плена. Но тем не менее просим тебя: будь как можно осторожнее с этой новой Эндорской волшебницей. Ибо частным образом нам удалось узнать, что ваш гроссмейстер, который ничего не смыслит ни в черных очах, ни в алых ланитах, едет к вам из Нормандии, чтобы помешать вам веселиться и поправлять ваши ошибки. А потому усердно советуем вам соблюдать осторожность, дабы вас застали бодрствующими, как сказано в святом писании, Invenientur vigilantes, а так как отец Ревекки, богатый еврей Исаак из Йорка, просит у меня, чтобы я замолвил за него словечко перед тобою, то я и поручаю ему сие послание и притом серьезно советую и даже умоляю непременно взять за эту девицу выкуп, так как он отвалит за нее столько денег, что на них можно будет достать полсотни девиц на менее опасных условиях. Подожди только, когда мы снова будем вместе. Тогда повеселимся" как подобает истинным братьям, причем не забудем и винной чаши. Ибо в писании сказано: "Vinum loetificat cor hominis"[36], а также: "Rex delectabitur pulchritudine tua" [37].   
 В ожидании столь приятного свидания желаю тебе доброго здоровья. Писано в вертепе разбойников, в часы утренней молитвы.   
 Эймер, приор аббатства святой Марии, что в Жорво.   
 Postscriptum. А твоя золотая цепь недолго у меня погостила: она досталась ворам и отныне будет красоваться на шее одного из разбойников. Он повесит на нее свой охотничий свисток, которым сзывает собак".   
 - Что ты на это скажешь, Конрад? - спросил гроссмейстер. - Вертеп разбойников! Для такого приора это и есть самое подходящее жилище. Нечего дивиться, что десница божья поднялась на нас и в Святой Земле мы теряем один город за другим, что неверные отбивают у нас землю пядь за пядью, если завелись среди нас такие духовные сановники, как этот Эймер. Только желал бы я знать, что он разумеет под именем "новой Эндорской волшебницы"? - обратился он вполголоса к своему наперснику.   
 Конрад гораздо лучше настоятеля был знаком с условным языком тогдашних любезников, быть может даже сам когда-нибудь пользовался им. Он объяснил слова, поставившие в тупик гроссмейстера, заметив, что многие светские люди употребляют подобные выражения, говоря о своих любовницах. Но это объяснение не удовлетворило упрямого фанатика.   
 - Нет, Конрад, тут кроется нечто более серьезное. В простоте души ты и не подозреваешь, что это может быть целая пучина беззакония. Ревекка из Йорка, должно быть, воспитанница той самой Мириам, о которой ты, наверно, слыхал. Увидишь, что еврей сам сознается в этом. - И, повернувшись к Исааку, он громко спросил: - Так, значит, твоя дочь - пленница Бриана де Буагильбера?   
 - Это так, ваше доблестное преподобие, - проговорил трепещущий Исаак. - Какой потребуется выкуп с бедного человека, я готов...   
 - Молчать! - сказал гроссмейстер. - Дочь твоя занималась врачеванием или нет?   
 - Как же, милостивый господин, - отвечал Исаак гораздо смелее, - и рыцари, и иомены, и оруженосцы, и вассалы благословляют счастливый дар, ниспосланный ей от бога. Многие могут засвидетельствовать, что она своим искусством исцелила их, когда все другие средства уже не могли помочь. Бог Израилев благословляет ее труды.   
 Бомануар с горькой усмешкой взглянул на Конрада.   
 - Видишь, брат, - сказал он, - каковы ухищрения врага человеческого! Вот какие приманки закидывает он для уловления душ, давая им жалкое продление земной жизни взамен вечного блаженства за гробом. Недаром говорится в нашем святом уставе: Semper percutiatur leo vorans [38]. Восстанем на льва! Ополчимся на губителя! - воскликнул он, потрясая в возду- хе своим посохом и как бы угрожая нечистой силе. Потом, обращаясь к еврею, он спросил: - Твоя дочь лечит, конечно, нашептыванием, заклинаниями, талисманами и прочими кабалистическими средствами?   
 - Ах, нет, преподобный и храбрый рыцарь, - отвечал Исаак, - лечит она бальзамом, обладающим чудесными свойствами.   
 - А откуда она достала секрет этого состава? - спросил Бомануар.   
 - Ее научила премудрая Мириам, - сказал Исаак с запинкой. - Мудрая и почтенная женщина нашего племени.   
 - Ага, лукавый еврей! - воскликнул гроссмейстер. - Это, должно быть, та самая Мириам, о колдовских кознях которой знает весь мир христианский. (При этих словах гроссмейстер осенил себя крестным знамением). Ее тело было сожжено у позорного столба и пепел рассеян на четыре стороны. И пусть то же будет со мною и с моим орденом, если я не поступлю так же с ученицей этой ведьмы. Я отучу ее колдовать и своими чарами привлекать воинов святого Храма! Дамиан, гони этого еврея вон, за ворота! Если он вздумает упираться или возвращаться назад, убей его на месте. А с дочерью его мы поступим так, как предписывает христианский закон и как прилично нашему высокому сану.   
 Бедного Исаака схватили за шиворот и вытолкали вон из прецептории, невзирая на его мольбы и щедрые посулы. Ему ничего не оставалось делать, как возвратиться в дом раввина и постараться через него получить хоть какие-нибудь сведения об участи дочери. До сих пор он страшился за ее честь, теперь он трепетал за ее жизнь. Между тем гроссмейстер приказал позвать к себе прецептора обители Темплстоу.

**Глава XXXVI**

Я не мошенник. Все живут притворством.   
 Благодаря притворству нищий жив,   
 А у придворного есть чин и земли.   
 С притворством воинство и духовенство   
 Равно знакомы. Все с ним неразлучны;   
 Ведь в церкви, в лагере и в государстве   
 Добиться ничего нельзя одной   
 Правдивостью. На этом мир стоит.   
 Старинная пьеса   
  
 Альберт Мальвуазен, настоятель, или, на языке ордена, прецептор, обители Темплстоу, был родным братом уже известного нам Филиппа Мальвуазена. Подобно своему брату, он был в большой дружбе с Брианом де Буагильбером.   
 Среди развратных и безнравственных людей, которых немало числилось в ордене Храма, Альберт из Темплстоу по праву занимал одно из первых мест, но, в отличие от смелого Буагильбера, он умел скрывать свои пороки и честолюбивые замыслы под личиной лицемерного благочестия и пылкого фанатизма, к которому в душе питал презрение. Если бы гроссмейстер не приехал так неожиданно, он не нашел бы в Темплстоу никаких упущений. Но даже и теперь, когда его застали врасплох, Альберт Мальвуазен так подобострастно и с таким сокрушением выслушал упреки своего взыскательного начальника и так усердно принялся водворять аскетическое благочестие в своей обители, где еще накануне царила полная распущенность, что Лука Бомануар возымел теперь гораздо более высокое мнение о нравственности местного прецептора, чем в первые дни по приезде.   
 Но благоприятное мнение гроссмейстера резко изменилось, когда он узнал, что Альберт Мальвуазен принял в стены своей обители пленную еврейку, по всей вероятности находившуюся в любовной связи с одним из братьев ордена. И когда Альберт явился на зов, гроссмейстер встретил его с необычайной суровостью.   
 - В здешней обители ордена рыцарей святого Храма, - строго сказал Бомануар, - находится женщина еврейского племени, привезенная сюда одним из наших братьев во Христе и водворенная здесь с вашего разрешения, сэр прецептор.   
 Альберт Мальвуазен был крайне смущен. Злосчастная Ревекка была помещена в одной из самых отдаленных, потайных частей здания. Были приняты всевозможные меры предосторожности, дабы ее присутствие осталось неизвестным. Во взгляде гроссмейстера прецептор прочел гибель и себе и Буагильберу, в случае если он не сумеет предотвратить надвинувшуюся бурю.   
 - Что же вы молчите? - продолжал гроссмейстер.   
 - Дозволяется ли мне отвечать? - произнес Мальвуазен тоном глубочайшего смирения, хотя, в сущности, своим вопросом хотел только выиграть время, чтобы собраться с мыслями.   
 - Говори, я разрешаю, - сказал гроссмейстер. - Отвечай, знаешь ли ты главу нашего святого устава: De commilitonibus Templi in sancta civitate, qui cum miserrimis mulieribus versantur, propter oblectationem carnis? [39]   
 - Конечно, высокопреподобный отец, - отвечал прецептор. - Как бы я мог достигнуть столь высокой степени в нашем ордене, если бы не знал важнейших статей его устава?   
 - Еще раз спрашиваю тебя, как могло случиться, что ты позволил осквернить священные стены сей обители, допустив, чтобы один из братьев привез сюда любовницу, да еще колдунью?   
 - Колдунью? - повторил Альберт Мальвуазен. - Силы небесные да будут с нами!   
 - Да, да, брат, колдунью, - строго произнес гроссмейстер. - Именно так. Посмеешь ли ты отрицать, что эта Ревекка, дочь подлого ростовщика Исаака из Йорка и ученица гнусной колдуньи Мириам, об этом даже подумать стыдно, в настоящую минуту находится в стенах твоей прецептории?   
 - Благодаря вашей мудрости, преподобный отец, - сказал прецептор, - темная завеса спала с глаз моих. Я никак не мог понять, почему такой доблестный рыцарь, как Бриан де Буагильбер, мог так увлечься прелестями этой женщины. Я принял ее в обитель с той целью, чтобы помешать их дальнейшему сближению, ибо в противном случае наш храбрый и почтенный брат во Христе подвергался опасности впасть в великий грех.   
 - Стало быть, до сих пор между ними не было ничего такого, что было бы нарушением обетов? - спросил гроссмейстер.   
 - Как, под нашим кровом! - с ужасом произнес прецептор, осеняя себя крестным знамением. - Сохрани нас, святая Магдалина и десять тысяч праведных дев! Нет! Если я и погрешил, приняв ее в нашу обитель, то лишь потому, что надеялся искоренить безрассудную привязанность нашего брата к этой еврейке. Его страсть к ней казалась мне до того странной и противоестественной, что я мог приписать ее только припадку умопомешательства, и думал, что легче излечить его состраданием, нежели попреками. Но раз ваша высокочтимая мудрость обнаружила, что эта распутная еврейка занимается колдовством, быть может, этим и объясняется его непонятное и безумное увлечение.   
 - Так и есть! Так и есть! - воскликнул Бомануар. - Вот видишь, брат Конрад, как опасно бывает поддаваться лукавым ухищрениям сатаны. Смотришь на женщину только для того, чтобы усладить свое зрение и полюбоваться тем, что называется ее красотой, а извечный враг, лев рыкающий, и овладевает нами в это время. А какойнибудь талисман или иное волхвование довершает дело, начатое от праздности и по легкомыслию. Весьма возможно, что в настоящем случае брат Бриан заслуживает скорее жалости, чем строгой кары, более нуждается в поддержке, нежели в наказании лозою, и наши увещания и молитвы отвратят его от этого безумия и вернут заблудшего в ряды братии.   
 - Было бы достойно сожаления, - сказал Конрад Монт-Фитчет, - если бы орден потерял одного из лучших воинов именно тогда, когда наша святая община особенно нуждается в помощи своих сынов. Бриан де Буагильбер собственноручно уничтожил до трехсот сарацин.   
 - Кровь этих окаянных псов, - сказал гроссмейстер, - будет угодным и приятным приношением святым и ангелам, которых эти собаки поносили. С благостной помощью святых мы постараемся рассеять чары, в сетях которых запутался наш брат. Он расторгнет узы этой новой Далилы, как древний Самсон разорвал веревки, которыми связали его филистимляне, и опять будет умерщвлять полчища неверных. Что же касается гнусной волшебницы, околдовавшей рыцаря святого Храма, то ее, несомненно, следует предать смертной казни.   
 - Но английские законы... - начал было прецептор, обрадованный тем, что так удачно отвратил гнев гроссмейстера от себя и Буагильбера, но все же опасаясь, как бы Бомануар не зашел слишком далеко.   
 - Английские законы, - прервал его гроссмейстер, - дозволяют и предписывают каждому судье чинить суд и расправу в пределах, на которые простирается его правосудие. Всякий барон имеет право задержать, судить и приговорить к казни колдунью, которая была обнаружена в его владениях. Так неужели же гроссмейстеру ордена храмовников откажут в этом праве в пределах одной из прецепторий его ордена? Нет! Мы будем ее судить и осудим. Колдунья исчезнет с лица земли, и бог простит причиненное ею зло. Приготовьте большой зал для суда над колдуньей.   
 Альберт Мальвуазен поклонился и вышел, но, прежде чем распорядиться приготовить зал для суда, он отправился искать Бриана де Буагильбера, чтобы сообщить ему о вероятном исходе дела.  
 Он застал Бриана в бешенстве от отпора, который он снова только что получил от прекрасной еврейки.   
 - Какое безрассудство! - воскликнул он. - Какая неблагодарность отвергать человека, который среди потоков крови и пламени рисковал собственной жизнью ради ее спасения! Клянусь богом, Мальвуазен, пока я искал ее, вокруг меня валились и трещали горящие потолки и перекладины. Я служил мишенью для сотен стрел; они стучали о мой панцирь, точно град об оконные ставни, но, не заботясь о себе, я прикрывал моим щитом ее. Все это претерпел я ради нее; а теперь эта своенравная девушка меня же упрекает, зачем я не дал ей там погибнуть, и не только не выказывает никакой признательности, но не дает ни малейшей надежды на взаимность. Словно бес, наградивший ее племя упорством, собрал все свои силы и вселился в нее одну.   
 - А по-моему, вы оба одержимы дьяволом, - сказал прецептор. - Сколько раз я вам советовал соблюдать осторожность, если не воздержание! Не я ли вам повторял, что на свете многое множество христианских девиц, которые сочтут грехом для себя отказать такому храброму рыцарю le don cTamoureux merci? [40] Так нет же, вам непременно понадобилось обратить вашу привязанность на эту упрямую и своенравную еврейку! Я начинаю думать, что старый Лука Бомануар прав в своем предположении, что она вас околдовала.   
 - Лука Бомануар! - воскликнул Буагильбер с укоризной. - Так-то ты соблюдаешь предосторожности, Мальвуазен! Как же ты мог допустить, чтобы этот выживший из ума сумасброд узнал о присутствии Ревекки в прецептории?   
 - А что же мне было делать? - сказал прецептор. - Я не пренебрегал ни одной мелочью, чтобы сохранить дело в тайне, но кто-то пронюхал и донес, а кто донес, сам черт или кто другой, про то известно только черту. Но я, как умел, постарался выгородить тебя. Ты не пострадаешь. Лишь бы ты отрекся от Ревекки. Тебя жалеют... считают тебя жертвою волхвования; а она колдунья и должна за это понести кару.   
 - Ну нет, клянусь богом, я этого не допущу! - сказал Буагильбер.   
 - А я клянусь богом, что так должно быть и так будет! - сказал Мальвуазен. - Ни ты, ни кто другой не в силах ее спасти. Лука Бомануар заранее решил, что казнь еврейки послужит очистительной жертвой за все любовные грехи рыцарей Храма. А тебе известно, какова его власть, и он, конечно, воспользуется ею для осуществления столь премудрого и благочестивого намерения.   
 - Наши потомки никогда не поверят, чтобы могло существовать такое бессмысленное изуверство! - воскликнул Буагильбер, в волнении расхаживая взад и вперед по комнате.   
 - Чему они поверят или не поверят, я не знаю, - спокойно сказал Мальвуазен, - но я отлично знаю, что в наше время и духовенство и миряне, по крайности девяносто девять человек на каждую сотню, провозгласят аминь на решение нашего гроссмейстера.   
 - Знаешь, что я придумал? - сказал Буагильбер. - Ты ведь мне друг, Альберт, помоги мне. Устрой так, чтобы она могла бежать. А я увезу ее куда-нибудь подальше, в безопасное и потаенное место.   
 - Не могу, если бы и хотел, - возразил прецептор. - Весь дом полон прислужниками гроссмейстера или его приверженцами. Притом, откровенно говоря, я не хотел бы впутываться в эту историю, даже имея надежду выйти сухим из воды. Я уже довольно рисковал для тебя, и мне вовсе нет охоты заслужить понижение в должности или даже потерять место прецептора из-за прекрасных глаз какой-то еврейки. Послушайся моего совета: брось эту погоню за дикими гусями и направь своего сокола на какую-нибудь другую дичь. Подумай, Буагильбер: твое теперешнее положение, твое будущее - все зависит от того места, какое ты занимаешь в ордене. Если ты заупрямишься и не откажешься от своей страсти к этой Ревекке, помни, что ты тем самым дашь право Бомануару исключить тебя из ордена. Бомануар, конечно, не упустит такого случая. Он ревниво охраняет верховный жезл в своей старческой руке и очень хорошо знает, что ты стремишься получить этот жезл. Он тебя погубит непременно, особенно если ты ему доставишь такой прекрасный предлог, как заступничество за еврейскую колдунью. Лучше уступи ему на этот раз, потому что помешать ты все равно не можешь. Вот когда его жезл перейдет в твои собственные твердые руки, тогда можешь сколько угодно ласкать иудейских девиц или сжигать их на костре - как тебе заблагорассудится.   
 - Мальвуазен, - сказал Буагильбер, - какой же ты хладнокровный...   
 - ...друг, - подсказал прецептор, поспешно прерывая его фразу из опасения, чтобы Буагильбер не сказал чего-нибудь похуже. - Да, я хладнокровный друг, а потому и могу подать тебе разумный совет. Еще раз повторяю, что спасти Ревекку невозможно. Еще раз говорю тебе, что ты и себя погубишь вместе с ней. Иди лучше, покайся гроссмейстеру: припади к его ногам и скажи ему...   
 - Только не к его ногам! Нет, я просто пойду к старому ханже и выскажу...   
 - Ну хорошо, - продолжал Мальвуазен спокойно, - объяви ему, что ты страстно любишь эту пленную еврейку. Чем больше ты будешь распространяться о своей пламенной страсти, тем скорее он поспешит положить ей конец, казнив твою прелестную чародейку. Между тем, сознавшись в нарушении обетов, не жди уж никакой пощады со стороны братии; тогда тебе придется променять то могущество и высокое положение, на которые ты надеешься в будущем, на судьбу наемного воина, участвующего в мелких столкновениях между Фландрией и Бургундией.   
 - Ты говоришь правду, Мальвуазен, - сказал Бриан де Буагильбер после минутного размышления. - Я не дам старому изуверу такого сильного оружия против себя. Ревекка не заслужила того, чтобы из-за нее я жертвовал своей честью и будущим. Я отрекусь от нее. Да, я ее предоставлю на волю судьбы, если только...   
 - Не ставь никаких условий, раз ты уже принял такое разумное решение, - сказал Мальвуазен. - Что такое женщина, как не игрушка, забавляющая нас в часы досуга? Настоящая цель жизни - в удовлетворении честолюбия. Пускай погибают сотни таких хрупких существ, как эта еврейка, лишь бы ты смело двигался вперед на пути к славе и почестям... Ну, а теперь я покину тебя: не следует, чтобы нас видели за дружеской беседой. Пойду распорядиться, чтобы приготовили зал к предстоящему судилищу.   
 - Как! - воскликнул Буагильбер. - Так скоро!   
 - О да, - отвечал прецептор, - суд всегда совершается очень быстро, если судья заранее вынес приговор.   
 Оставшись один, Буагильбер прошептал:   
 - Дорого ты обойдешься мне, Ревекка! Но почему я не в силах покинуть тебя, как советует этот бездушный лицемер? Я сделаю еще одно усилие ради твоего спасения. Но берегись! Если ты опять отвергнешь меня, мое мщение будет так же сильно, как и моя любовь. Буагильбер не может жертвовать своей жизнью и честью, если ему платят за это только попреками и презрением.   
 Прецептор едва успел отдать необходимые приказания, как к нему пришел Конрад Монт-Фитчет и заявил, что гроссмейстер предполагает немедленно судить еврейку по обвинению в колдовстве.   
 - Это обвинение, несомненно, не соответствует действительности, - сказал прецептор. - Мало ли у нас врачей из евреев, и никто не считает их колдунами, хотя они и достигают удивительных успехов в деле исцеления больных.   
 - Гроссмейстер другого мнения, - сказал МонтФитчет. - Вот что, Альберт, я с тобой буду вполне откровенен. Колдунья она или нет, все равно: пусть лучше погибнет какая-то еврейка, чем допустить, чтобы Бриан де Буагильбер погиб для нашего дела или чтобы наш орден был потрясен внутренними раздорами. Ты знаешь, какого он знатного происхождения и как прославился в битвах. Знаешь, с каким почтением относятся к нему многие из братии. Но все это не поможет, если гроссмейстер усмотрит в нем не жертву, а сообщника этой еврейки. Даже если бы она воплощала в себе души всех двенадцати колен своего племени, и то лучше, чтобы она одна пострадала, чем вместе с ней погиб бы и Буагильбер.   
 - Я только сейчас убеждал его отказаться от нее, - сказал Мальвуазен. - Однако имеются ли улики, чтобы осудить эту Ревекку за колдовство? Быть может, гроссмейстер еще изменит свое намерение, когда убедится, что доказательства слишком шатки.   
 - Нужно подкрепить их, Альберт, - возразил Монт-Фитчет. - Нужно найти подтверждения... Понимаешь?   
 - Понимаю, - ответил прецептор. - Я сам готов всеми мерами служить преуспеянию нашего ордена. Но у нас так мало времени! Где же мы найдем подходящих свидетелей?   
 - Мальвуазен, я тебе говорю, что их необходимо найти, - повторил Конрад. - Это послужит на пользу и ордену и тебе самому. Здешняя обитель Темплстоу - небогатая прецептория. Обитель по имени "Божий дом" вдвое богаче. Тебе известно, что я пользуюсь некоторым влиянием на нашего старого владыку. Отыщи людей, нужных для этого дела, и ты будешь прецептором "Божьего дома" в плодородной области Кента. Что ты на это скажешь?   
 - Видишь ли, - сказал Мальвуазен, - в числе слуг, прибывших сюда вместе с Буагильбером, есть два молодца, которых я давно знаю. Они прежде служили у моего брата, Филиппа де Мальвуазена, а от него перешли на службу к барону Фрон де Бефу. Быть может, им известно что-нибудь о колдовстве этой женщины.   
 - Так иди скорее, отыщи их. И слушай, Альберт; если несколько золотых освежат их память, ты денег не жалей.   
 - Они за один цехин готовы будут присягнуть, что у них родная мать - колдунья, - сказал прецептор.   
 - Так поторопись, - сказал Монт-Фитчет, - в полдень надо приступить к делу. С тех пор как наш владыка присудил к сожжению Амета Альфаги, мусульманина, который крестился, а потом опять перешел в ислам, я ни разу еще не видел его таким деятельным.   
 Тяжелый колокол на башне замка пробил полдень, когда Ревекка услышала шаги на потайной лестнице, которая вела к месту ее заключения. Судя по топоту, было ясно, что поднимаются несколько человек, и это обстоятельство обрадовало ее, так как она больше всего боялась посещений свирепого и страстного Буагильбера. Дверь отворилась, и Конрад Монт-Фитчет и прецептор Мальвуазен вошли в комнату в сопровождении стражи в черном одеянии и с алебардами.   
 - Дочь проклятого племени, - сказал прецептор, - встань и следуй за нами!   
 - Куда и зачем? - спросила Ревекка.   
 - Девица, - отвечал Конрад, - твое дело не спрашивать, а повиноваться! Однако знай, что тебя ведут в судилище, и ты предстанешь перед лицом гроссмейстера нашего святого ордена, и там ты дашь ответ в своих преступлениях.   
 - Хвала богу Авраамову, - сказала Ревекка, благоговейно сложив руки. - Один титул судьи, хотя бы враждебного моему племени, подает мне надежду на покровительство. Я пойду за вами с величайшей охотой.   
 Медленным и торжественным шагом спустились они по лестнице, прошли длинную галерею и через двустворчатые двери вступили в обширный зал, где должен был совершиться суд.   
 Нижняя часть просторного зала была битком набита оруженосцами и иоменами, и Ревекке пришлось пробираться сквозь толпу при содействии прецеп- тора и Монт-Фитчета, а также и сопровождавших ее четверых стражей. Проходя к назначенному ей месту с поникшей головой и со скрещенными на труди руками, Ревекка даже не заметила, как кто-то из толпы сунул ей в руку обрывок пергамента. Она почти бессознательно взяла его и продолжала держать, ни разу не взглянув на него. Однако уверенность, что в этом страшном собрании у нее есть какой-то доброжелатель, придала ей смелости оглядеться. И она увидела картину, которую мы попытаемся описать в следующей главе.

**Глава XXXVII**

Жесток закон, что запрещает горе   
 И о людском не даст грустить позоре;   
 Жесток закон, что запрещает смех   
 При виде милых, радостных утех;   
 Жесток закон: людей карая строго,   
 Тирана власть зовет он властью бога.   
 "Средневековье"   
  
 Трибунал, перед которым должна была предстать несчастная и ни в чем не повинная Ревекка, помещался на помосте огромного зала, который мы уже описывали как почетное место, занимаемое хозяевами и самыми уважаемыми гостями, и был обычною принадлежностью каждого старинного дома.   
 На этом помосте на высоком кресле, прямо перед подсудимой, восседал гроссмейстер ордена храмовников в пышном белом одеянии; в руке он держал посох, символ священной власти, увенчанный крестом ордена. У ног его стоял стол, за которым сидели два капеллана, на обязанности которых лежало вести протокол процесса. Их черные одеяния, бритые макушки и смиренный вид составляли прямую противоположность воинственному виду присутствовавших рыцарей - как постоянных обитателей прецептории, так и приехавших приветствовать своего гроссмейстера. Четверо прецепторов занимали места позади кресла гроссмейстера и на некотором от него расстоянии; еще дальше, на таком же расстоянии от прецепторов, на простых скамьях, сидели рядовые члены ордена, а за ними на том же возвышении стояли оруженосцы в белоснежных одеяниях.   
 Картина была чрезвычайно торжественной; в присутствии гроссмейстера рыцари старались изобразить на своих лицах, обычно выражавших воинскую отвагу, важность, которая подобает людям духовного звания.   
 По всему залу стояла стража, вооруженная бердышами, и толпилось множество народа, собравшегося поглазеть на гроссмейстера и на колдунью-еврейку. Впрочем, большинство зрителей принадлежало к обитателям Темплстоу и потому носило черные одежды. Соседним крестьянам также был открыт доступ в зал суда. Бомануар желал, чтобы как можно больше народу при- сутствовало при столь назидательном зрелище. Большие голубые глаза гроссмейстера блестели, и на лице его отражалось сознание важности принятой на себя роли.   
 Заседание открылось пением псалма, в котором принял участие Бомануар, присоединив свой глубокий, звучный голос, не потерявший силы, несмотря на преклонный возраст. Раздались торжественные звуки "Venite, exultemus Domino" [41]. Этот псалом храмовники часто пели, вступая в битву с земными врагами, и Лука Бомануар счел его наиболее уместным в данном случае, так как был уверен, что ополчается против духа тьмы и непременно восторжествует над ним. Сотни мужских голосов, привычных к стройному пению хоралов, вознеслись под своды и рокотали среди арок, создавая приятный и торжественный поток звуков, напоминающих грохот мощного водопада.   
 Когда пение смолкло, гроссмейстер медленно обвел глазами все собрание и заметил, что место одного из прецепторов было свободно. Место это принадлежало Бриану де Буагильберу, покинувшему его и стоявшему около одной из скамей, занятых рыцарями. Левой рукой он приподнял свой плащ, словно желая скрыть лицо, в правой держал меч, задумчиво рисуя его острием какие-то знаки на дубовом полу.   
 - Несчастный, - проговорил вполголоса гроссмейстер, удостоив его сострадательного взгляда. - Замечаешь, Конрад, как он страдает от нашего святого дела? Вот до чего при содействии нечистой силы может довести храброго и почтенного воина легкомысленный взгляд женщины! Видишь, он не в силах смотреть на нас. И на нее не в силах взглянуть. Как знать, не бес ли его мучит в эту минуту, что он с таким упорством выводит на полу эти кабалистические знаки? Не замышляет ли он покушение на нашу жизнь и на спасение души нашей? Но нам не страшны дьявольские козни, и мы не боимся врага рода человеческого! Semper leo percutiaturl. [42]   
 Эти замечания, произнесенные шепотом, были обращены к одному лишь наперснику владыки - Конраду Монт-Фитчету. Затем гроссмейстер возвысил голос и обратился ко всему собранию:   
 - Преподобные и храбрые мужи, рыцари, прецепторы, друзья нашего святого ордена, братья и дети мои! И вы также, родовитые и благочестивые оруженосцы, соискатели честного креста! Также и вы, наши братья во Христе, люди всякого звания! Да будет известно вам, что не по недостатку личной нашей власти созвали мы настоящее собрание, ибо я, смиренный раб божий, силою сего врученного мне жезла облечен правом чинить суд и расправу во всем, касающемся блага нашего святого ордена. Преподобный отец наш святой Бернард, составивший устав нашей рыцарской и святой общины, упомянул в пятьдесят девятой главе оного, что братья могут собираться на совет не иначе, как по воле и приказанию своего настоятеля, а нам и другим достойным отцам, предшественникам нашим в сем священном сане, предоставил судить, по какому поводу, в какое время и в каком месте должен собираться капитул нашего ордена. При этом вменяется нам в обязанность выслушать мнение братии, но поступить согласно собственному убеждению. Однако когда бешеный волк забрался в стадо и унес одного ягненка, добрый пастырь обязан созвать всех своих товарищей, дабы они луками и пращами помогали ему истребить врага, согласно всем известной статье нашего устава: "Всемерно и во всякое время предавать льва избиению". А посему призвали мы сюда еврейскую женщину по имени Ревекка, дочь Исаака из Йорка, - женщину, известную своим колдовством и гнусными волхвованиями. Этим колдовством возмутила она кровь и повредила рассудок не простого человека, а рыцаря. Не мирянина, а рыцаря, посвятившего себя служению святого храма, и не рядового рыцаря, а прецептора нашего ордена, старшего по значению и почету. Собрат наш Бриан де Буагильбер известен не только нам, но и всем здесь присутствующим как храбрый и усердный защитник креста, совершивший множество доблестных подвигов в Святой Земле и многих других святых местах, очистив их от скверны кровью язычников, поносивших их святость. Не менее чем своей храбростью и воинскими заслугами, прославился он среди братии и мудростью своей, так что рыцари нашего ордена привыкли видеть в нем собрата, к которому перейдет сей жезл, когда господу угодно будет избавить нас от тягости владеть им. Когда же мы услышали, что этот благородный рыцарь внезапно изменил уставу нашего Храма и, вопреки произнесенным обетам, невзирая на товарищей, презрев открывающуюся ему будущность, связался с еврейской девицей, рисковал ради нее собственной жизнью и, наконец, привез ее и водворил в одну из прецепторий нашего ордена, - чему мы могли приписать все это, как не дьявольскому наваждению или волшебным чарам? Если бы мы могли думать иначе, ни высокий сан его, ни личная доблесть, ни его слава не помешали бы нам подвергнуть его строгому наказанию, дабы искоренить зло. Auferte malum ex vobis [43]. Ибо в этой прискорбной истории мы находили целый ряд преступлений против нашего святого устава. Во-первых, рыцарь действовал самовольно, в противность главе тридцать третьей: "Quod nullus juxta propriam voluntatem incedat" [44]. Во-вторых, вступил в сношения с особой, отлученной от церкви, а в главе пятьдесят седьмой сказано: "Ut fratres поп participent cum excommunicatis" [45], следовательно, обрек себя Anathema Maranatha [46]. В-третьих, он знался с чужеземными женщинами, вопреки главе "Ut fratres поп conversantur cum extraneis mulieribus" [47]. В-четвертых, не избегал, но есть основание опасаться, что сам просил поцелуи женщины, а этого, согласно последней статье нашего устава "Ut fugiantur oscula" [48], есть повод к великому соблазну для воинов святого креста. За все эти богомерзкие прегрешения Бриана де Буагильбера следовало бы исторгнуть из нашего братства, хоть бы он был правой рукой и правым глазом нашего ордена.   
 Гроссмейстер умолк. По всему собранию прошел тихий ропот. Иные из молодых людей начинали было посмеиваться, слушая рассуждения гроссмейстера о статье "De osculis fugiendis" [49], но теперь и они присмирели и с замиранием сердца ждали, что он скажет дальше.   
 - Такова, - сказал гроссмейстер, - была бы тяжелая кара, которой подлежал рыцарь Храма, если бы нарушил столько важнейших статей нашего устава по собственной воле. Если же с помощью колдовства и волхвований рыцарь подпал под власть сатаны лишь потому, что легкомысленно взглянул на девичью красу, то мы вправе скорее скорбеть о его грехах, нежели карать за них; нам подобает, наложив на него наказание, которое поможет ему очиститься от беззакония, всю тяжесть нашего гнева обратить на суд дьявольский, едва не послуживший к его окончательной гибели. А потому выступайте вперед все, кто был свидетелями этих деяний, дабы мы могли выяснить, может ли правосудие наше удовлетвориться наказанием нечестивой женщины, или же нам надлежит с сокрушенным сердцем покарать также и нашего брата.   
 Вызвано было несколько человек, которые показали, что они сами видели, как Буагильбер рисковал своей жизнью, спасая Ревекку из пылающего здания, и каким подвергал себя опасностям, заботясь единственно только о ней. Подробности этого происшествия описывались с теми преувеличениями, которые свойственны простым людям, когда их воображение поражено каким-нибудь необычайным событием. К тому же склонность ко всему чудесному усиливалась здесь приятным сознанием, что их показания доставляют видимое удовольствие важному сановнику. Благодаря этому опасности, которым в действительности подвергался Буагильбер, приобрели в их рассказах чудовищные размеры. Пылкая отвага, проявленная рыцарем ради спасения Ревекки, выходила, судя по этим показаниям, за пределы не только благоразумия, но и величайших подвигов рыцарской преданности. А его почтительное отношение к речам красавицы, жестким и полным упреков, изображалось с такими прикрасами, что для человека, прославившегося гордостью и надменным нравом, казалось сверхъестественным.   
 Затем был вызван прецептор обители Темплстоу, рассказавший о приезде Буагильбера с Ревеккой в прецепторию. Мальвуазен давал показания очень осмотрительно. Казалось, он всячески старается пощадить чувства Буагильбера, однако по временам он вставлял в свой рассказ такие намеки, которые показывали, что он считает рыцаря впавшим в какое-то безумие. С тяжким вздохом прецептор покаялся в том, что сам принял Ревекку и ее любовника в свою обитель.   
 - Все, что я мог сказать в оправдание моего поступка, - сказал он в заключение, - уже сказано мною на исповеди перед высокопреподобным отцом гроссмейстером. Ему известно, что я сделал это не из дурных побуждений, хотя поступил неправильно. Я с радостью готов подвергнуться любому наказанию, какое ему угодно будет наложить на меня.   
 - Ты хорошо сказал, брат Альберт, - сказал Бомануар. - Твои побуждения не были дурны, так как ты рассудил за благо остановить заблудшего брата на пути к погибели, но поведение твое было ошибочно. Ты поступил как человек, который, желая остановить коня, хватает его за стремя, вместо того чтобы поймать за узду. Так можно только повредить себе и не достигнуть цели. Наш благочестивый основатель повелел нам читать "Отче наш" тринадцать раз на заутрене и девять раз за вечерней, а ты читай вдвое против положенного. Храмовнику трижды в неделю дозволяется кушать мясо, но ты постись во все семь дней. Такое послушание назначается тебе на шесть недель, по истечении которых ты и отбудешь срок своего наказания.   
 С лицемерным видом глубочайшей покорности прецептор Темплстоу поклонился владыке до земли и вернулся на свое место.   
 - Теперь, братья, - сказал гроссмейстер, - будет уместно углубиться в прошлое этой женщины и проверить, способна ли она колдовать и наводить порчу на людей. Судя по всему, что мы здесь слышали, приходится думать, что заблудший брат наш действовал под влиянием бесовского наваждения и волшебных чар.   
 Герман Гудольрик был четвертым из прецепторов, присутствовавших на суде. Трое остальных были Конрад Монт-Фитчет, Альберт Мальвуазен и сам Бриан де Буагильбер. Герман, старый воин, лицо которого покрывали шрамы от мусульманских сабель, пользовался большим почетом и уважением среди своих собратий. Он встал и поклонился гроссмейстеру, который тотчас дозволил ему говорить.   
 - Я желал бы узнать, высокопреподобный отец, из уст брата нашего, доблестного Бриана де Буагильбера, что он сам думает обо всех этих удивительных обвинениях и о своей злосчастной страсти к этой девице.   
 - Бриан де Буагильбер, - сказал гроссмейстер, - ты слышал вопрос нашего брата Гудольрика? Повелеваю тебе ответить ему!   
 Буагильбер повернул голову в сторону гроссмейстера, но продолжал безмолвствовать.   
 - Он одержим бесом молчания, - сказал гроссмейстер, - Сгинь, сатана! Говори, Бриан де Буагильбер, заклинаю тебя крестом, этим символом нашего святого ордена!   
 Буагильбер с величайшим усилием подавил возрастающее негодование и презрение, зная, что, обнаружив их, он ничего не выиграет.   
 - Бриан де Буагильбер, - отвечал он, - не может отвечать, высокопреподобный отец, на такие дикие и нелепые обвинения. Но если затронут его честь, он будет защищать ее своим телом и вот этим мечом, который неред- ко сражался за пользу христианства.   
 - Мы тебе прощаем, брат Бриан, - сказал гроссмейстер, - хоть ты и согрешил перед нами, похваляясь своими боевыми подвигами, ибо восхваление собственных заслуг идет от дьявола. Но мы даруем тебе прощение, видя, что ты говоришь не сам от себя, а по наущению того, кого мы, с божьей помощью, изгоним из среды нашей.   
 Презрение и злоба сверкнули в черных глазах Буагильбера, но он ничего не ответил.   
 - Ну вот, - продолжал гроссмейстер, - хотя на вопрос нашего брата Гудольрика и не было дано прямого ответа, но мы будем продолжать наше расследование, братия. С благословения нашего святого покровителя мы до конца раскроем тайну этого зла. Пусть те, кому что-либо известно о жизни и поступках этой женщины, выступят вперед и свидетельствуют о том перед нами.   
 В дальнем конце зала послышались какой-то шум и суматоха; на вопрос гроссмейстера, что там происходит, ему отвечали, что в толпе есть калека, которому подсудимая возвратила возможность двигаться, излечив его чудодейственным бальзамом.   
 Из толпы вытолкнули вперед бедного крестьянина, саксонца родом. Он был в смертельном страхе, ожидая наказания за то, что его вылечила от паралича еврейка. Однако это излечение не было полным: бедняга до сих пор мог передвигаться только на костылях.   
 Крайне неохотно, с горькими слезами рассказал он, что два года тому назад, когда он проживал в Йорке и работал столяром у богатого еврея Исаака, он внезапно заболел и слег в постель; тогда Ревекка стала лечить его каким-то бальзамом, пахнувшим пряностями, который вернул ему способность двигаться. А когда он немного поправился, она дала ему с собой баночку этой драгоценной мази и денег на возвращение домой, к отцу, живущему вблизи обители Темплстоу.   
 - И дозвольте доложить вашей преподобной милости, - закончил свидетель, - не может того быть, чтобы эта девица имела на меня злой умысел, хотя и правда, на ее беду, она еврейка. Однако, когда я мазался ее зельем, я всякий раз читал про себя "Отче наш" и "Верую", а снадобье от того действовало не хуже.   
 - Молчи, раб, - сказал гроссмейстер, - и ступай прочь! Таким скотам, как ты, только и пристало лечиться у дьявольских знахарей да работать на пользу исчадий сатаны! Я тебе говорю: враг рода человеческого насылает болезнь только для того, чтобы ее вылечить и тем вызвать доверие к дьявольскому врачеванию. У тебя еще осталась та мазь, о которой ты говоришь?   
 Крестьянин дрожащей рукой полез себе за пазуху и вытащил оттуда маленькую баночку с крышкой, на которой было написано несколько слов еврейскими буквами. Для большинства присутствующих это было явным доказательством, что сам дьявол стряпал снадобье. Бомануар перекрестился, взял в руки баночку и, хорошо зная восточные языки, без труда прочел надпись: "Лев из колена Иуды победил".   
 - Удивительна власть сатаны! - молвил гроссмейстер. - Ведь сумел же он обратить священное писание в орудие богохульства, смешав отраву с необходимою нам пищей! Нет ли здесь лекаря, который бы мог нам сказать, из чего приготовлена эта волшебная мазь?   
 Двое медиков, как они себя величали, - один монах, а другой цирюльник, - выступили вперед и, рассмотрев бальзам, объявили, что состав этой мази им совершенно неизвестен, а пахнет она мирой и камфарой, каковые суть, по их мнению, восточные травы. Однако, движимые профессиональною ненавистью к успешной сопернице по ремеслу, они не преминули намекнуть, что мазь сделана из каких-нибудь таинственных, колдовских зелий противозаконным способом; что сами они хотя и не колдуны, но основательно знакомы со всеми отраслями медицины, насколько она совместима с исповеданием христианской веры. По окончании этой врачебной экспертизы сакс смиренно попросил, чтобы ему возвратили мазь, приносившую облегчение, но гроссмейстер нахмурился и спросил его:   
 - Как тебя зовут?   
 - Хигг, сын Снелля, - отвечал крестьянин.   
 - Так слушай же, Хигг, сын Снелля, - сказал Бомануар, - лучше быть прикованным к ложу, чем исцелиться, принимая снадобья нечестивых еретиков, и начать ходить. И лучше также вооруженной рукой отнять у еврея его сокровища, нежели принимать от него подарки или работать на него за деньги. Ступай и делай, как я приказываю.   
 - Ох, - сказал крестьянин, - как угодно вашей преподобной милости! Для меня-то уж поздно последовать вашему поучению - я ведь калека, - но у меня есть два брата, они служат у богатого раввина Натана Бен-Самуэля, так я передам им слова вашего преподобия, что лучше ограбить еврея, чем служить ему честно и усердно.   
 - Что за вздор болтает этот негодяй! Гоните его вон! - сказал Бомануар, не зная, как опровергнуть этот практический вывод из своего наставления.   
 Хигг, сын Снелля, смешался с толпой, но не ушел, ожидая решения участи своей благодетельницы. Он остался послушать, чем кончится ее дело, хотя и рисковал при этом снова встретиться с суровым взглядом судьи, перед которым трепетало от ужаса все его существо.   
 В эту минуту гроссмейстер приказал Ревекке снять покрывало. Она впервые нарушила свое молчание и сказала со смиренным достоинством, что для дочерей ее племени непривычно открывать лицо, если они находятся перед собранием незнакомцев. Ее нежный голос и кроткий ответ пробудили в присутствующих чувство жалости. Но Бомануар, считавший особой заслугой подавить в себе всякие чувства, когда речь шла об исполнении того, что он считал своим долгом, повторил свое требование. Стража бросилась вперед, намереваясь сорвать с нее покрывало, но она встала и сказала:   
 - Нет, заклинаю вас любовью к вашим дочерям. Увы, я позабыла, что у вас не может быть дочерей! Хотя бы в память ваших матерей, из любви к вашим сестрам, ради соблюдения благопристойности, не дозволяйте так обращаться со мною в вашем присутствии! Но я повинуюсь вам, - прибавила она с такой печальной покорностью в голосе, что сердце самого Бомануара дрогнуло, - вы старейшины, и по вашему приказанию я сама покажу вам лицо несчастной девушки.   
 Она откинула покрывало и взглянула на них. Лицо ее отражало и застенчивость и чувство собственного достоинства. Ее удивительная красота вызвала общее изумление, и те из рыцарей, которые были помоложе, молча переглянулись между собой. Эти взгляды, казалось, говорили, что необычайная красота Ревекки гораздо лучше объясняет безумную страсть Буагильбера, чем ее мнимое колдовство. Но особенно сильное впечатление произвело выражение ее лица на Хигга, сына Снелля.   
 - Пустите меня, пустите! - закричал он, обращаясь к страже, охранявшей выходную дверь. - Дайте мне уйти отсюда, не то я умру с горя - ведь я свидетельствовал против нее!   
 - Полно, бедняга, успокойся, - сказала Ревекка, услышавшая его восклицание. - Ты не сделал мне вреда, сказав правду, и не можешь помочь мне слезами и сожалением. Успокойся, прошу тебя, иди домой и позаботься о себе.   
 Стража сжалилась над Хиггом и, опасаясь, что его громкие причитания навлекут на них гнев начальства, решила выпроводить его из зала. Но он обещал молчать, и ему позволили остаться.   
 Вызвали двух наемников, которых Альберт Мальвуазен заранее научил, что им показывать. Хотя они оба были бессердечными негодяями, однако даже их поразила дивная красота пленницы. В первую минуту оба как будто растерялись; однако Мальвуазен бросил на них такой выразительный взгляд, что они опомнились и снова приняли уверенный вид. С точностью, которая могла бы показаться подозрительной менее пристрастным судьям, они дали целый ряд показаний. Многие из них были целиком вымышлены, другие касались простых, естественных явлений, но обо всем этом рассказывалось в таком таинственном тоне и с такими подробностями и толкованием, что даже самые безобидные происшествия принимали зловещую окраску. В наше время подобные свидетельские показания были бы разделены на два разряда, а именно - на несущественные и на невероятные. Но в те невежественные и суеверные времена эти показания принимались за доказательства виновности.   
 Так, например, свидетели говорили о том, что иногда Ревекка что-то бормочет про себя на непонятном языке, а поет так сладко, что у слушателей начинает звенеть в ушах и бьется сердце; что по временам она разговаривает сама с собою и поднимает глаза кверху, словно в ожидании ответа; что покрой ее одежды странен и удивителен - не такой, как у обыкновенной честной женщины; что у нее на перстнях есть таинственные знаки, а покрывало вышито какими-то диковинными узорами.   
 Все эти рассказы об обыкновенных вещах были выслушаны с глубочайшей серьезностью и зачислены в разряд если не прямых доказательств, то косвенных улик, подтверждающих сношения Ревекки с нечистой силой.   
 Но были и другие показания, более важные, хотя и явно вымышленные; тем не менее невежественные слушатели отнеслись к ним с полным доверием. Один из солдат видел, как Ревекка излечила раненого человека, вместе с ними прибывшего в Торкилстон. По его словам, она начертила какие-то знаки на его ране, произнося при этом таинственные слова (которых он, слава богу, не понял), и вдруг из раны вышла железная головка стрелы, кровотечение остановилось, рана зажила, и умиравший человек спустя четверть часа сам вышел на крепостную стену и стал помогать свидетелю устанавливать машину для метания камней в неприятеля. Эта выдумка сложилась, вероятно, под впечатлением того, что Ревекка ухаживала за раненым Айвенго, привезенным в Торкилстон. В заключение свидетель подтвердил свое показание, вытащив из сумки тот самый наконечник, который, по его уверению, так чудесно вышел из раны. А так как эта железная штука оказалась весом в целую унцию, то не оставалось никаких сомнений в достоверности рассказа, каким бы чудесным он ни казался.   
 Товарищ его с ближайшей зубчатой стены укреплений видел, как Ревекка во время разговора с Буагильбером вскочила на парапет и собиралась броситься с башни. Чтобы не отстать от собрата, этот молодец рассказал, что, став на край парапета, Ревекка обернулась белоснежным лебедем, трижды облетела вокруг замка Торкилстон, потом снова опустилась на башню и приняла вид женщины.   
 И половины этих веских показаний было бы достаточно, чтобы уличить в колдовстве бедную безобразную старуху, даже если бы она не была еврейкой. Но даже молодость и дивная красота Ревекки не могли перевесить всей тяжести этих улик, усугубляемых тем, что обвиняемая была еврейкой.   
 Гроссмейстер собрал мнения своих советчиков и торжественно спросил Ревекку, что она может сказать против смертного приговора, который он намерен сейчас произнести.   
 - Взывать к вашему состраданию, - сказала прекрасная еврейка голосом, дрогнувшим от волнения, - было бы, как я вижу, напрасно и унизительно. Объяснять вам, что лечение больных и раненых не может быть неугодно богу, в которого все мы верим, было бы тщетно. Доказывать, что многие поступки, в которых обвиняют меня эти люди, совершенно невозможны, бесполезно: по-видимому, вы верите в их возможность. Точно так же бессмысленно оправдываться в том, что моя одежда, мой язык и мои привычки чужды вам, ибо свойственны моему народу - я чуть не сказала: моей родине, но, увы, у нас нет отечества. В свое оправдание я не стану даже разоблачать моего притеснителя, который стоит здесь и слышит, как на меня возводят ложное обвинение, а его из тирана превращают в жертву. Пусть бог рассудит меня с ним, но мне легче перенести любую казнь, какую вам угодно будет присудить мне, чем выслушивать предложения, которыми этот воплощенный дьявол преследовал меня, свою пленницу, беззащитную и беспомощную девушку. Но он одной с вами веры, а потому малейшее его возражение имеет в ваших глазах большую цену, чем торжественные клятвы несчастной еврейки. Стало быть, бесполезно было бы пытаться обратить против него возведенные на меня обвинения. Но я спрашиваю его - да, Бриан де Буагильбер, я обращаюсь к тебе самому - скажи, разве все эти обвинения не ложны? Разве все это не самая чудовищная клевета, столь же нелепая, как и смертоносная?   
 Наступило молчание. Взоры всех устремились на Бриана де Буагильбера. Он молчал.   
 - Говори же, - продолжала она, - если ты мужчина, если ты христианин! Говори! Заклинаю тебя одеянием, которое ты носишь, именем, доставшимся тебе в наследие от предков, рыцарством, которым ты похваляешься. Честью твоей матери, могилой и прахом твоего отца! Молю тебя, скажи: правда ли все, что здесь было сказано?   
 - Отвечай ей, брат, - сказал гроссмейстер, - если только враг рода человеческого, с которым ты борешься, не одолел тебя.   
 Буагильбера, казалось, обуревали противоречивые страсти, которые исказили лицо его судорогой. Наконец он смог только с величайшим усилием выговорить, глядя на Ревекку:   
 - Письмена, письмена...   
 - Вот, - молвил Бомануар, - вот это поистине неоспоримое свидетельство. Жертва ее колдовства только и могла сослаться на роковые письмена, начертанные заклинания, которые вынуждают его молчать.   
 Но Ревекка иначе истолковала эти слова. Мельком взглянув на обрывок пергамента, который она продолжала держать в руке, она прочла написанные там поарабски слова: "Проси защитника".   
 Гул, прошедший по всему собранию после странного ответа Буагильбера, дал время Ревекке не только незаметно прочесть, но и уничтожить записку. Когда шепот замолк, гроссмейстер возвысил голос:   
 - Ревекка, - сказал он, - никакой пользы не принесло тебе свидетельство этого несчастного рыцаря, который, видимо, все еще находится во власти сатаны. Что ты можешь еще сказать?   
 - Согласно вашим жестоким законам мне остается только одно средство к спасению, - сказала Ревекка. - Правда, жизнь была очень тяжела для меня, по крайней мере в последнее время, но я не хочу отказываться от божьего дара, раз господь дарует мне хоть слабую надежду на спасение. Я отрицаю все ваши обвинения, объявляю себя невиновной, и показания ложными. Требую назначения божьего суда, и пусть мой защитник подтвердит мою правоту.   
 - Но кто же, Ревекка, - сказал гроссмейстер, - согласится выступить защитником еврейки, да еще колдуньи?   
 - Бог даст мне защитника, - ответила Ревекка. - Не может быть, чтобы во всей славной Англии, стране гостеприимства, великодушия и свободы, где так много людей всегда готово рисковать жизнью во имя чести, не нашлось человека, который захотел бы выступить во имя справедливости. Я требую назначения поединка. Вот мой вызов.   
 Она сняла со своей руки вышитую перчатку и бросила ее к ногам гроссмейстера с такой простотой, и с таким чувством собственного достоинства, которые вызвали общее изумление и восхищение.

**Глава XXXVIII**

...Тебе бросаю вызов   
 И храбрость воинскую покажу   
 В единоборстве нашем.   
 "Ричард II"   
  
 Красота и выражение лица Ревекки произвели глубокое впечатление даже на самого Луку Бомануара. От природы он не был ни жестоким, ни даже суровым. Но он всегда был человеком бесстрастным, с возвышенными, хотя и ошибочными представлениями о долге, и сердце его постепенно ожесточилось благодаря аскетической жизни и могущественной власти, которой он пользовался, а также вследствие его уверенности в том, что на нем лежит обязанность карать язычников и искоренять ересь. Суровые черты его лица как будто смягчились, пока он смотрел на стоявшую перед ним прекрасную девушку, одинокую, беспомощную, но защищавшуюся с удивительным присутствием духа и редкой отвагой. Он дважды осенил себя крестным знамением, как бы недоумевая, откуда явилась такая необычайная мягкость в его душе, в таких случаях всегда сохранявшей твердость несокрушимой стали. Наконец он заговорил.   
 - Девица, - сказал он, - если та жалость, которую я чувствую к тебе, есть порождение злых чар, наведенных на меня твоим лукавством, то велик твой грех перед богом. Но думаю, что чувства мои скорее можно приписать естественной скорби сердца, сетующего, что столь красивый сосуд заключает в себе гибельную отраву. Покайся, дочь моя, сознайся, что ты колдунья, отрекись от своей неправой веры, облобызай эту святую эмблему спасения, и все будет хорошо для тебя - и в этой жизни и в будущей. Поступи в одну из женских обителей строжайшего ордена, и там будет тебе время замолить свои грехи и подвергнуться достойному покаянию. Сделай это - и живи. Чем тебе так дорог закон Моисеев, что ты готова умереть за него?   
 - Это закон отцов моих, - отвечала Ревекка, - он снизошел на землю при громе и молнии на вершине горы Синай из огненной тучи. Если вы христиане, то и вы этому верите. Но, по-вашему, этот закон сменился новым, а мои наставники учили меня не так.   
 - Пусть наш капеллан выступит вперед, - сказал Бомануар, - и внушит этой нечестивой упрямице...   
 - Простите, если я вас прерву, - кротко промолвила Ревекка, - но я девушка и не умею вести религиозные споры. Однако я сумею умереть за свою веру, если на то будет воля божия. Прошу вас ответить на мою просьбу о назначении суда божьего.   
 - Подайте мне ее перчатку, - сказал Бомануар, - Вот поистине слабый и малый залог столь важного дела, - продолжал он, глядя на тонкую ткань маленькой перчатки. - Видишь, Ревекка, как непрочна и мала твоя перчатка по сравнению с нашими тяжелыми стальными рукавицами, - таково и твое дело по сравнению с делом Сионского Храма, ибо вызов брошен всему нашему ордену.   
 - Положите на ту же чашу весов мою невиновность, - отвечала Ревекка, - и шелковая перчатка перетянет железную рукавицу.   
 - Стало быть, ты отказываешься признать свою вину и все-таки повторяешь свой смелый вызов?   
 - Повторяю, благородный сэр, - отвечала Ревекка.   
 - Ну, да будет так, во имя божие, - сказал гроссмейстер, - и пускай господь обнаружит истину!   
 - Аминь! - произнесли все прецепторы, а за ними и все собрание хором повторило то же слово.   
 - Братия, - сказал Бомануар, - вам известно, что мы имели полное право отказать этой женщине в испытании божьим судом, но хоть она и еврейка и некрещеная, все-таки она существо одинокое и беззащитное. Она прибегла к покровительству наших мягких законов, и мы не можем ответить ей отказом. Кроме того, мы не только духовные лица, но рыцари и воины, а потому для нас было бы позорно уклоняться от поединка. Следовательно, дело обстоит так: Ревекка, дочь Исаака из Йорка, на основании многочисленных веских улик обвиняется в том, что околдовала одного из благородных рыцарей нашего ордена, а в оправдание свое вызвала нас на бой - по суду божию. Как, по-вашему, преподобные братья, кому следует вручить этот залог, назначив его в то же время защитником нашей стороны в предстоящей битве?   
 - Бриану де Буагильберу, - сказал прецептор Гудольрик, - тем более что ему лучше всех известно, на чьей стороне правда.   
 - Однако, - сказал гроссмейстер, - как же быть, если наш брат Бриан все еще находится под влиянием чар или талисмана? Впрочем, мы сделали эту оговорку лишь ради предосторожности, ибо ничьей доблестной руке из всего нашего ордена не доверили бы мы с большею готовностью как это, так и любое другое важное дело.   
 - Преподобный отец, - отвечал прецептор Гудольрик, - никакой талисман не в силах одолеть рыцаря, который выступает на бой за правое дело на божьем суде.   
 - Ты рассудил правильно, брат, - согласился гроссмейстер. - Альберт Мальвуазен, вручи этот залог Бриану де Буагильберу. Тебе, брат Бриан, поручаем мы это дело, дабы ты мужественно вступил в бой, не сомневаясь в том, что победа достанется правому. А тебе, Ревекка, мы даем два дня сроку, чтобы найти себе защитника.   
 - Не много же вы даете мне времени, - сказала Ревекка. - Я чужестранка и не вашей веры, так что нелегко мне будет найти человека, который рискнул бы своей жизнью и честью ради меня, да еще в бою против рыцаря, слывущего знаменитым бойцом.   
 - Более мы не можем откладывать, - отвечал гроссмейстер, - битва должна состояться в нашем присутствии, а важные дела заставляют нас отбыть отсюда не позже как через три дня.   
 - Да будет воля божья, - молвила Ревекка. - Возлагаю на него все мое упование - у господа одно мгновение имеет такую же силу, как целый век.   
 - Это ты хорошо сказала, девица, - заметил гроссмейстер, - но нам отлично известно, кто умеет принимать на себя ангельский образ. Значит, остается лишь назначить место, приличное для битвы, а также, если понадобится, то и для казни. Где прецептор здешней обители?   
 Альберт Мальвуазен, все еще державший в руке перчатку Ревекки, стоял возле Буагильбера и что-то горячо ему доказывал вполголоса.   
 - Как, - сказал гроссмейстер, - он не хочет принимать залог?   
 - Нет, он хочет, он принял залог, высокопреподобный отец, - отвечал Мальвуазен, проворно сунув перчатку под свою мантию. - Что же касается места для поединка, то, по моему мнению, для этой цели всего пригоднее ристалище святого Георгия, близ нашей прецептории.   
 - Хорошо, - сказал гроссмейстер. - Ревекка, на это ристалище ты должна представить своего защитника. Если же ты не исполнишь этого или если твой защитник будет побежден на суде божьем, ты умрешь, как колдунья, согласно приговору. Пусть наш суд и решение будут записаны и это решение прочитано во всеуслышание, дабы никто не мог отговориться незнанием нашего постановления.   
 Один из капелланов, исправлявших должность писцов, внес протокол заседания в огромную книгу, куда записывались все деяния рыцарей Храма, собиравшихся ради подобных целей. Когда он кончил, другой капеллан громко прочитал вслух приговор гроссмейстера, который, в переводе с нормано-французского языка, звучит следующим образом:   
 "Ревекка, еврейка, дочь Исаака из Йорка, будучи обличаема в колдовстве, обольщении и иных пагубных деяниях против одного из рыцарей святейшего ордена Сионского Храма, не признала себя виновною; она утверждает, что свидетельские показания, в сей день данные против нее, лживы, злостны и недобросовестны. Посредством законного отвода собственной особы, как непригодной для ратного дела, она предлагает выставить себе защитника, дабы решить дело божьим судом, и ручается, что оный ее защитник сразится за нее по всем правилам истинных рыцарских законов и обычаев, в чем представила свой залог, приняв на себя ответственность за все расходы и убытки. Оный залог ее вручен благородному дворянину и рыцарю Бриану де Буагильберу, члену святого ордена Храма, и рыцарь этот должен биться в помянутом поединке от имени своего ордена и ради собственной защиты, так как лично пострадал от порчи и вредоносных волхвований жалобщицы. А посему высокопреподобный отец и могущественный господин Лука, маркиз Бомануар, изволил удовлетворить означенное прошение и согласиться на замещение ее личности посредством полномочного заступника и назначил поединок на третий день от сего дня, а местом оного избрал ристалище в ограде святого Георгия, близ прецептории Темплстоу. Сверх того, гроссмейстер повелевает жалобщице явиться на поединок в лице своего заступника, в противном же случае она подвергнется казни, установленной законом за колдовство и волхвования. Равно повелевает он явиться в назначенный срок на ристалище и защитнику ордена, угрожая провозгласить его в противном случае подлым предателем. При сем оный благородный лорд и высокопреподобный отец назначил помянутой битве состояться в его личном присутствии, с соблюдением всех правил и обычаев, пристойных для настоящего случая. И да поможет бог правому делу".   
 - Аминь! - произнес гроссмейстер, а за ним повторили все присутствующие.   
 Ревекка ничего не сказала, но, сложив руки, устремила глаза к небу. Потом скромно напомнила гроссмейстеру, что следует дозволить ей снестись со своими друзьями, чтобы известить их о том положении, в котором она находится, и просить их отыскать защитника, который может за нее сразиться.   
 - Это законно и справедливо, - сказал гроссмейстер, - Избери сама посыльного, которому могла бы довериться, и мы дозволим ему свободный доступ в ту келью, где ты содержишься.   
 - Нет ли здесь кого-нибудь, - сказала Ревекка, - кто из любви к справедливости или за щедрое вознаграждение согласился бы исполнить поручение несчастной девушки, находящейся в бедственном положении?   
 Все молчали. В присутствии гроссмейстера никто не решался выказать участие к оклеветанной пленнице, из опасения, что его могут заподозрить в сочувствии к евреям. Этот страх был так силен, что пересиливал даже охоту получить обещанную награду, а о чувстве сострадания нечего было и говорить. Несколько минут Ревекка в невыразимой тревоге ждала ответа и наконец воскликнула:   
 - Да неужели в такой стране, как Англия, я буду лишена последнего, жалкого способа спасти свою жизнь из-за того, что никто не хочет оказать мне милости, в которой не отказывают и худшему из преступников!   
 Хигг, сын Снелля, наконец подал голос. Он сказал:   
 - Хотя я калека, но все же кое-как могу двигаться благодаря ее милосердной помощи. Я исполню твое поручение, - продолжал он, обращаясь к Ревекке, - я постараюсь поспешить, насколько могу при моем убожестве. Уж как бы я был рад, если бы мои ноги были так быстры, чтобы исправить зло, какое наделал тебе мой язык! Ох, когда я поминал о твоем милосердии, не думал я, что тебе же от этого будет хуже.   
 - Все в руках божьих, - сказала Ревекка. - Он может и слабейшим орудием выручить из плена иудеев. А для выполнения его предначертаний и улитка годится не хуже сокола. Отыщи Исаака из Йорка. Вот тебе деньги, тут их довольно для уплаты за лошадь и за посыльного. Доставь ему письмо от меня. Не знаю, быть может, само небо внушает мне это чувство, а только я убеждена, что не этой смертью мне суждено умереть и что найдется для меня заступник. Прощай. Жизнь и смерть зависят от твоего проворства.   
 Крестьянин принял из ее рук письмо, заключавшее несколько строк на еврейском языке. Многие в толпе уговаривали его не прикасаться к нечестивой записке. Но Хигг твердо решил оказать услугу своей благодетельнице. Она, по его словам, спасла ему тело, и он был уверен, что она не захочет погубить его душу.   
 - Я достану себе, - сказал он, - добрую лошадь у соседа Ботана и на ней поскачу в Йорк.   
 Но, по счастью, ему не пришлось так спешить: за четверть мили от ворот прецептории навстречу ему попались два всадника, которых он по их одежде и высоким желтым шапкам тотчас признал за евреев. Поравнявшись с ними, он увидел, что один из них был его прежний хозяин Исаак из Йорка, а другой - раввин Бен-Самуэль. Они прослышали, что в прецептории собрался капитул ордена храмовников под председательством гроссмейстера и что там происходит суд над колдуньей. Поэтому они и направились к прецептории, но держались несколько поодаль от нее.   
 - Брат Бен-Самуэль, - говорил Исаак, - не знаю отчего, но моя душа неспокойна. Обвинения в колдовстве часто возводят на людей нашего племени и такой клеветой прикрывают злодейства, учиняемые над евреями.   
 - Будь спокоен, брат, - отвечал лекарь, - ты имеешь возможность всегда поладить с назареянами, потому что богат, а следовательно, во всякое время можешь купить себе у них всякие льготы. Деньги имеют такую же власть над грубыми умами этих нечестивцев, как в древности печать Соломона над злыми духами... Но что за жалкий калека идет к нам по дороге, опираясь на костыли? Он, верно, хочет со мной посоветоваться. Друг мой, - продолжал он, обращаясь к Хигту, сыну Снелля, - я не откажу тебе во врачебной помощи, но я никогда не даю нищим, просящим милостыню на большой дороге. Ступай прочь. Что это? У тебя, кажется, ноги парализованы? Но ты можешь все-таки заработать себе пропитание руками. Правда, на посылки ты не годишься, и хорошим пастухом тоже не будешь, и в солдаты тебя не примут, и к нетерпеливому хозяину на службу лучше не поступай, но все-таки есть такие занятия... Брат, что с тобой? - воскликнул он, прервав свою речь и повернувшись к Исааку; тот, пробежав письмо, поданное Хиггом, испустил глубокий стон, упал со своего мула на землю и лежал без сознания, как умирающий.   
 В великом смятении раввин соскочил с седла и поспешил пустить в ход все средства, чтобы привести в чувство своего друга. Он достал даже из кармана инструмент для пускания крови, как вдруг Исаак ожил, сорвал с себя шапку и, схватив горсть дорожной пыли, осыпал ею голову. Сначала врач подумал, что столь внезапное и резкое проявление чувств есть признак умопомешательства, и еще раз взялся за ланцет, но вскоре убедился в противном.   
 - Дитя моей печали! - воскликнул Исаак. - Тебя следовало назвать не Ревеккой, а Бенони. Зачем, кому это нужно, чтобы твоя смерть свела меня в могилу и чтобы я в отчаянии скорбящего сердца, умирая, проклинал бога?   
 - Брат, - сказал потрясенный раввин, - ты ли произносишь такие слова, будучи отцом во Израиле? Ведь дочь твоя, надеюсь, еще жива?   
 - Жива, - ответил Исаак, - но лишь как Даниил, ввергнутый в ров со львами! Она в плену у этих дьяволов, и они обрекли ее на жестокую казнь, не пощадив ни юности ее, ни дивной красоты! А она ли не была венцом пальмовым, украшавшим свежей зеленью мою седую голову... И она должна увянуть в одну ночь, как тыква Ионы! Дитя любви моей! Дитя моих преклонных лет! О Ревекка, дочь Рахили! Смерть уже покрыла тебя своей мрачной тенью!   
 - Да ты прочти письмо, - сказал раввин, - быть может, мы еще найдем средство спасти ее.   
 - Читай лучше сам, брат, - отвечал Исаак, - мои глаза обратились в источник слез.   
 Лекарь взял письмо и прочел вслух по-еврейски:   
 - "Исааку, сыну Адоникама, иноверцами называемому Исааком из Йорка, привет, да будет с тобой мир и благословение, обетование да умножится тебе на многие годы. Отец мой, я обречена на казнь за то, чего не ведала душа моя, - за колдовство и волхвование. Отец мой, если можно, найди сильного человека, который бы ради меня сразился мечом и копьем, по обычаю назареян, на ристалище близ Темплстоу на третий день от сего дня. Быть может, бог отцов наших даст ему силу защитить неповинную, заступиться за беззащитную. Если же это будет невозможно, пусть девушки нашего племени оплачут меня как умершую, ибо я погибну, как олень, пораженный рукою охотника, и как цветок, срезанный косой земледельца. А потому подумай, что можно сделать и есть ли возможность меня спасти. Есть один такой воин из назареян, который мог бы взяться за оружие в мою защиту. Это Уилфред, сын Седрика, у иноверцев именуемый Айвенго. Но он в настоящее время еще не в силах облечься в ратные доспехи. Тем не менее дай ему знать об этом, ибо он пользуется любовью и почетом среди могучих сынов своего племени и был в плену вместе с нами, а потому может найти мне защитника среди своих товарищей. И скажи ему, Уилфреду, сыну Седрика, что останется ли Ревекка в живых или умрет, она и в жизни и в смерти неповинна в том грехе, в котором ее обвиняют. И если такова будет воля божия, что ты лишишься своей дочери, не оставайся, отец, в этой стране кровопролитий и жестокостей, но отправляйся в Кордову, где брат твой проживает в безопасности под покровительством трона, занимаемого Боабдилом, сарацином, ибо жестокость мавританского народа к сынам Иакова далеко не столь ужасна, как жестокость английских назареян".   
 Исаак довольно спокойно выслушал чтение письма, но как только Бен-Самуэль окончил его, он снова начал выражать свою скорбь, раздирая на себе одежды, посыпая голову пылью и восклицая:   
 - О, дочь моя, дочь моя! Плоть от плоти моей! Кость от костей моих!   
 - Ободрись, - сказал раввин, - печалью ничему не поможешь, препояшь свои чресла и ступай отыскивай этого Уилфреда, сына Седрика. Может быть, он окажет тебе помощь если не личной доблестью, то хоть советом, ибо этот юноша весьма угоден Ричарду, прозванному у назареян Львиным Сердцем, а по стране все упорнее распространяются слухи, что он воротился. Может быть, юноша выпросит у него грамоту за его подписью и печатью с повелением остановить злодеяние кровожадных людей, которые осмелились присвоить святое имя Храма своему ордену.   
 - Я отыщу его, - сказал Исаак, - отыщу, ибо он хороший юноша и питает сострадание к гонимым сынам Иакова. Но он еще не в силах владеть оружием, а какой же другой христианин захочет сразиться за угнетенную дочь Сиона?   
 - Ах, - сказал раввин, - ты говоришь, как будто вовсе не знаешь христиан! Золотом ты купишь их доблесть точно так же, как золотом покупаешь себе безопасность. Ободрись, соберись с духом и поезжай разыскивать Уилфреда Айвенго. Я тоже не буду сидеть сложа руки, ибо великий грех покинуть тебя в таком несчастье. Я отправлюсь в город Йорк, где теперь собрались многие воины и сильные мужи, и, без сомнения, найду среди них охотника сразиться за твою дочь. Ибо золото - их божество и они готовы из-за денег во всякое время прозакладывать свою жизнь, как закладывают земельные угодья. Слушай, брат мой, ведь ты не отступишься от обещаний, какие мне придется, быть может, предложить им от твоего имени?   
 - О, конечно, брат! - отвечал Исаак. - И благодарю создателя, давшего мне утешителя в моей скорби. Однако ты не соглашайся сразу на всякое их требование, потому что таково свойство этих людей, что они запрашивают фунты, а потом согласны принять и унции. Поступай как тебе угодно, ибо я совсем потерял голову, и к чему мне будет все мое золото, если погибнет дитя любви моей?   
 - Прощай, - сказал лекарь, - и да сбудется все, как того желает твое сердце.   
 Они обнялись на прощанье и разъехались в разные стороны. Калека остался на дороге и некоторое время смотрел им вслед.   
 - Эти собаки, - сказал он, - не обратили на меня внимания, как если бы я был раб, или турок, или такой же еврей, как они сами, а я, слава богу, вольный человек и цеховой мастер. Могли бы, кажется, бросить мне хоть серебряную монетку. Я не обязан разносить их неосвященные каракули да еще опасаться, что они меня заворожат, как добрые люди предсказывали. Много ли мне прибыли от того червонца, что дала мне девчонка, если придется на пасху идти на исповедь и поп так меня застращает, что я ему вдвое больше заплачу за отпущение. Того и гляди, назовут меня еврейской почтой, да и останешься с этой кличкой на всю жизнь. Должно быть, эта девушка и в самом деле околдовала меня. Да и со всеми так было, кто имел с ней дело, все равно еврей или христианин, - все ее слушали. Но вот как подумаю о ней, кажется отдал бы и мастерскую свою и все инструменты, лишь бы спасти ее жизнь.

**Глава XXXIX**

О дева, ты неумолимо бесстрастна,   
 Я ж гордостью спорю с тобой.   
 Сьюард   
  
 Под вечер того дня, когда происходил суд над Ревеккой (если только это можно назвать судом), кто-то тихо постучал в дверь ее темницы. Но она не обратила никакого внимания, потому что была занята чтением вечерних молитв, которые закончила пением гимна; мы попытаемся перевести его в следующих словах:   
 Когда Израиля народ   
 Из рабства шел, бежав от бед,   
 Он знал: его господь ведет,   
 Ужасным пламенем одет;   
 Над изумленною землей   
 Столб дыма шел, как туча, днем,   
 А ночью отблеск огневой   
 Скользил за пламенным столбом.   
 Тогда раздался гимн похвал   
 Великой мудрости твоей,   
 И воин пел, и хор звучал   
 Сиона гордых дочерей.   
 Нам в нашей горестной судьбе   
 Нет больше знамений твоих:   
 Забыли предки о тебе,   
 И ты, господь, забыл о них!   
 Теперь невидим ты для нас,   
 Но если светит яркий день,   
 В обманчиво счастливый час   
 Нас облаком своим одень;   
 И в темной грозовой ночи,   
 Когда вокруг лишь мгла и дым,   
 Ты нас терпенью научи   
 И светом озари своим.   
 Нет арф у нас. Разрушен храм.   
 Мы столько вынесли обид!   
 Наш не курится фимиам,   
 И звучный тамбурин молчит.   
 Но ты сказал нам, наш отец:   
 "От вас я жертвы не приму;   
 Смирение своих сердец   
 Несите к храму моему!"   
 Когда звуки этого гимна замерли, у дверей опять раздался осторожный стук.   
 - Войди, - отозвалась Ревекка, - коли друг ты мне, а если недруг - не в моей воле запретить тебе войти.   
 - Это я, - сказал Бриан де Буагильбер, входя, - а друг ли я или недруг, это будет зависеть от того, чем кончится наше свидание.   
 Встревоженная появлением человека, неудержимую страсть которого она считала главной причиной своих бедствий, Ревекка попятилась назад с взволнованным и недоверчивым, но далеко не робким видом, показывавшим, что она решила держаться от него как можно дальше и ни за что не сдаваться. Она выпрямилась, глядя на него с твердостью, но без всякого вызова, видимо не желая раздражать его, но обнаруживая намерение в случае нужды защищаться до последней возможности.   
 - У тебя нет причин бояться меня, Ревекка, - сказал храмовник, - или, вернее, тебе нечего бояться меня теперь.   
 - Я и не боюсь, сэр рыцарь, - ответила Ревекка, хотя учащенное дыхание не соответствовало героизму этих слов. - Вера моя крепка, и я вас не боюсь.   
 - Да и чего тебе опасаться? - подтвердил Буагильбер серьезно. - Мои прежние безумные порывы теперь тебе не страшны. За дверью стоит стража, над которой я не властен. Им предстоит вести тебя на казнь, Ревекка. Но до тех пор они никому не позволят обидеть тебя, даже мне, если бы мое безумие, - потому что ведь это чистое безумие, - еще раз побудило бы меня к этому.   
 - Слава моему богу, - сказала еврейка. - Смерть меньше всего страшит меня в этом жилище злобы.   
 - Да, пожалуй, - согласился храмовник, - мысль о смерти не должна страшить твердую душу, когда путь к ней открывается внезапно. Меня не пугает удар копья или меча, тебе же прыжок с высоты башни или удар кинжала не страшны по сравнению с тем, что каждый из нас считает позором. Заметь, что я говорю о нас обоих. Очень может быть, что мои понятия о чести так же нелепы, как и твои, Ревекка, но зато мы оба сумеем умереть за них.   
 - Несчастный ты человек! - воскликнула Ревекка. - Неужели ты обречен рисковать жизнью из-за верований, которых не признает твой здравый смысл? Ведь это все равно, что отдавать свои сокровища за то, что не может заменить хлеба. Но обо мне ты так не думай. Твоя решимость зыблется на бурных и переменчивых волнах людского мнения, а моя держится на скалах вечности.   
 - Перестань, - сказал храмовник, - теперь бесполезны такие рассуждения. Ты обречена умереть не той быстрой и легкой смертью, которую добровольно избирает скорбь и радостно приветствует отчаяние, но смертью медленной, в ужасных пытках и страданиях, которую присуждают за то, что дьявольское ханжество этих людей называет твоим преступлением.   
 - А кому же, - возразила Ревекка, - если такова будет моя участь, кому я ею обязана? Конечно, тому, кто из эгоистичных, низких побуждений насильно притащил меня сюда, а теперь - уж и не знаю, ради каких целей - пришел запугивать меня, преувеличивая ужасы той горькой участи, которую сам же мне уготовил.   
 - Не думай, - сказал храмовник, - не думай, что я был виновен в этом. Я собственной грудью оборонил бы тебя от этой опасности, как защищал тебя от стрел.   
 - Если бы ты это делал с благородным намерением оказать покровительство невиновной, - сказала Ревекка, - я была бы благодарна тебе за эту заботу, но ты с тех пор столько раз ставил себе в заслугу этот поступок, что мне противна стала жизнь, сохраненная той ценою, которую ты требуешь от меня.   
 - Оставь свои упреки, Ревекка, - сказал храмовник, - у меня довольно и своего горя, не усугубляй его своими нападками.   
 - Так чего же ты хочешь, сэр рыцарь? - спросила еврейка. - Говори прямо, если ты пришел не для того, чтобы полюбоваться причиненным тобою несчастьем, говори. А потом, сделай милость, оставь меня. Переход от времени к вечности короток, но страшен, а мне остается так мало часов, чтобы приготовиться к нему.   
 - Я вижу, Ревекка, - сказал Буагильбер, - что ты продолжаешь считать меня виновником тех страданий, от которых я хотел бы тебя избавить.   
 - Сэр рыцарь, я не желаю попрекать тебя. Но разве не твоей страсти я обязана своей ужасной участью?   
 - Ты заблуждаешься. Это неправда, - поспешно возразил храмовник. - Ты приписываешь мне то, чего я не мог предвидеть и что случилось помимо моей воли. Мог ли я предугадать неожиданный приезд сюда этого полоумного старика, который благодаря нескольким вспышкам безумной отваги и благоговению глупцов перед его бессмысленными самоистязаниями возвеличен превыше своих заслуг, а теперь он царит над здравым смыслом, надо мной и над сотнями членов нашего ордена, которые и думают и чувствуют как люди, свободные от тех нелепых предрассудков, которые являются основанием для его суждений и поступков.   
 - Однако, - сказала Ревекка, - и ты был в числе судей; и хотя ты знал, что я невиновна, ты не протестовал против моего осуждения и даже, насколько я понимаю, сам выступишь на поединке суда божьего, чтобы доказать мою преступность и подтвердить приговор.   
 - Терпение, Ревекка! - сказал храмовник. - Ни один народ не умеет покоряться времени так, как твой, и, покоряясь ему, вести свою ладью, используя даже противные ветры.   
 - В недобрый час научился Израиль такому печальному искусству, - молвила Ревекка. - Но человеческое сердце под влиянием несчастий делается покорным, как твердая сталь под действием огня, а тот, кто перестал быть свободным гражданином родной страны, поневоле должен гнуть шею перед иноземцами. Таково проклятие, тяготеющее над нами, сэр рыцарь, заслуженное нашими прегрешениями и грехами отцов наших. Но вы, вы, кто превозносит свою свободу как право первородства, насколько же глубже ваш позор, когда вопреки вашим собственным убеждениям, вы унижаетесь до потворства предрассудкам других людей.   
 - В твоих словах есть горькая правда, Ревекка, - сказал Буагильбер, в волнении шагая взад и вперед по комнате, - но я пришел не за тем, чтобы обмениваться с тобой упреками. Знай, что Буагильбер никому в мире не уступает, хотя, смотря по обстоятельствам, иногда меняет свои планы. Воля его подобна горному потоку: если на пути его встречается утес, он может на некоторое время уклониться от прямого пути в своем течении, но непременно пробьется вперед и найдет дорогу к океану. Ты помнишь обрывок пергамента, на котором был написан совет потребовать защитника? Как ты думаешь, кто это написал, если не Буагильбер? В ком ином могла ты пробудить такое участие?   
 - Короткая отсрочка смертной казни, и ничего больше, - отвечала Ревекка. - Не много пользы мне от этого; и неужели ничего другого ты не мог сделать для той, на голову которой обрушил столько горя и наконец привел на край могилы?   
 - Нет, это далеко не все, что я намерен был сделать для тебя, - сказал Буагильбер. - Если бы не проклятое вмешательство того старого изувера и глупца Гудольрика (он, будучи рыцарем Храма, все-таки притворяется, будто думает и рассуждает так же, как все), роль бойца за честь ордена поручили бы не прецептору, а одному из рядовых рыцарей. Тогда бы я сам при первом призыве боевой трубы явился на ристалище - конечно, под видом странствующего рыцаря, искателя приключений - и с оружием в руках объявил бы себя твоим заступником. И если бы Бомануар выставил против меня не одного, а двоих или троих из присутствующих братьев, не сомневаюсь, что я каждого поочередно вышиб бы из седла одним и тем же копьем. Вот как я намерен был поступить, Ревекка. Я отстоял бы твою невиновность и от тебя самой надеялся бы получить награду за свою победу.   
 - Все это пустая похвальба, сэр рыцарь, - сказала Ревекка, - ты хвастаешься тем, что мог бы совершить; однако ты счел более удобным действо- вать совсем по-иному. Ты принял мою перчатку. Значит, мой защитник - если только для такого одинокого существа, как я, найдется защитник, - явившись на ристалище, должен будет сразиться с тобой. А ты все еще представляешься моим другом и покровителем.   
 - Я и хочу быть твоим другом и покровителем, - отвечал храмовник, - но подумай, чем я при этом рискую или, лучше сказать, какому бесславию неминуемо подвергнусь. Так не осуждай же меня, если я поставлю некоторые условия, прежде чем ради твоего спасения пожертвую всем, что для меня было дорого.   
 - Говори, - сказала Ревекка, - я не понимаю тебя.   
 - Ну хорошо, - сказал Буагильбер, - я буду говорить все, как не говорит даже грешник, пришедший на исповедь к своему духовному отцу. Если я не явлюсь на ристалище, Ревекка, я лишусь своего сана и доброго имени - потеряю все, чем дышал до сих пор - уважение моих товарищей и надежду унаследовать то могущество, ту власть, которой теперь владеет старый изувер Лука де Бомануар и которой я воспользовался бы иначе. Таков будет мой удел, если я не явлюсь сразиться с твоим заступником. Черт бы побрал этого Гудольрика, устроившего мне такую дьявольскую западню! И да будет проклят Альберт Мальвуазен, остановивший меня, когда я хотел бросить твою перчатку в лицо выжившему из ума изуверу, который мог поверить нелепой клевете на существо, столь возвышенное и прекрасное, как ту.   
 - К чему теперь все эти напыщенные речи в льстивые слова! - сказала Ревекка. - Тебе предстоял выбор: пролить кровь неповинной женщины или рискнуть своими земными выгодами и надеждами. Зачем ты все это говоришь - твой выбор сделан.   
 - Нет, Ревекка, - сказал рыцарь более мягким голосом, подойдя к ней поближе, - мой выбор еще не сделан. Нет. И знай - тебе самой предстоит сделать выбор. Если я появлюсь на ристалище, я обязан поддержать свою честь и боевую славу. И тогда, будет ли у тебя защитник или не будет, - все равно ты умрешь на костре, привязанная к столбу, ибо не родился еще тот рыцарь, который был бы мне равен в бою или одолел меня, разве только Ричард Львиное Сердце да его любимец Уилфред Айвенго. Но, как тебе известно, Айвенго еще не в силах носить панцирь, а Ричард далеко, в чужеземной тюрьме. Итак, если я выеду на состязание, ты умрешь, хотя бы твоя красота и побудила какого-нибудь пылкого юношу принять вызов в твою защиту.   
 - К чему ты столько раз повторяешь одно и то же?   
 - Для того, - ответил храмовник, - чтобы ты яснее могла представить себе ожидающую тебя участь.   
 - Так переверни ее другой стороной, - сказала еврейка, - что тогда будет?   
 - Если я выеду, - продолжал Буагильбер, - и покажусь на роковом ристалище, ты умрешь медленной и мучительной смертью, в такой пытке, какая предназначена для грешников за гробом. Если же я не явлюсь, меня лишат рыцарского звания, я буду опозорен, обвинен в колдовстве, в общении с неверными; знатное имя, еще более прославленное моими подвигами, станет мне укором и посмешищем. Я утрачу свою славу, свою честь, лишусь надежды на такое величие и могущество, какого достигали немногие из императоров. Пожертвую честолюбивыми замыслами, разрушу планы столь же высокие, как те горы, по которым язычники чуть не взобрались на небеса, если верить их сказаниям, и всем этим, Ревекка, я готов пожертвовать, - прибавил он, бросаясь к ее ногам, - откажусь и от славы, и от величия, и от власти, хотя она уже почти в моих руках, - все брошу, лишь бы ты сказала: "Буагильбер, будь моим возлюбленным".   
 - Это безрассудно, сэр рыцарь, - отвечала Ревекка, - Торопись, поезжай к регенту, к королеве-матери, к принцу Джону. Из уважения к английской короне они не могут позволить вашему гроссмейстеру так своевольничать. Этим ты можешь оказать мне действительное покровительство, без всяких жертв со своей стороны и не требуя от меня никаких наград.   
 - Я не хочу иметь с ними дела, - продолжал он, хватаясь за полу ее платья, - я обращаюсь только к тебе. Что же заставляет тебя делать такой выбор? Подумай, будь я хоть сам сатана, - ведь смерть еще хуже сатаны, а мой соперник - смерть.   
 - Я не взвешиваю этих зол, - сказала Ревекка, опасаясь слишком прогневить необузданного рыцаря, но преисполненная твердой решимости не только не принимать его предложений, но и не прикидываться благосклонной к нему. - Будь же мужчиной, призови на помощь свою веру. Если правда, что ваша вера учит милосердию, которого у вас больше на словах, чем на деле, избавь меня от страшной смерти, не требуя вознаграждения, которое превратило бы твое великодушие в низкий торг.   
 - Нет! - воскликнул надменный храмовник, вскакивая. - Этим ты меня не обманешь! Если я откажусь от добытой славы и от будущих почестей, я сделаю это только ради тебя, и мы спасемся не иначе, как вместе. Слушай, Ревекка, - продолжал он снова, понизив голос. - Англия, Европа - ведь это не весь мир. Есть и другие страны, где мы можем жить, и там я найду простор для своего честолюбия. Поедем в Палестину. Там живет мой друг Конрад, маркиз де Монсеррат, человек, подобный мне, свободный от глупых предрассудков, которые держат в оковах наш прирожденный здравый смысл. Скорее можно вступить в союз с Саладином, чем терпеть пренебрежение этих изуверов, которых мы презираем. Я проложу новые пути к величию, - продолжал он, расхаживая крупными шагами по комнате, - Европа еще услышит звонкую поступь того, кого изгнала из числа сынов своих. Сколько бы миллионов крестоносцев ни посылала она во имя защиты Палестины, какое бы великое множество сарацинских сабель ни давало им отпор, никто не сумеет пробиться так глубоко в эту страну, из-за которой состязаются все народы, никто не сможет основаться там так прочно, как я и те мои товарищи, которые пойдут за мной и в огонь и в воду, что бы там ни делал и ни говорил этот старый ханжа. И ты будешь царицей, Ревекка. На горе Кармель создадим мы тот престол, который я завоюю своей доблестью тебе, и вместо гроссмейстерского жезла у меня в руке будет царский скипетр.   
 - Мечты, - молвила Ревекка, - одни мечты и грезы! Но если бы и осуществились они наяву, мне до них нет дела. Какого бы могущества ты ни достиг, я его не смогу разделять с тобою. Для меня любовь к Израилю и твердость в вере так много значат, что я не могу уважать человека, если он охотно отрекается от родины, разрывает связь с орденом, которому клялся служить, и все это только для того, чтобы удовлетворить страсть к женщине чуждого ему племени. Не назначай платы за мое избавление, сэр рыцарь, не продавай великодушного подвига - окажи покровительство несчастию из одного милосердия, а не из личных выгод. Обратись к английскому престолу. Ричард преклонит слух к моим молениям и освободит меня от жестокости моих мучителей.   
 - Ни за что, Ревекка, - отвечал храмовник с яростью. - Уж если я отрекусь от моего ордена, то сделаю это ради тебя одной! Но если ты отвергнешь мою любовь, мои честолюбивые мечты останутся со мной. Я не позволю одурачить тебя! Склонить голову перед Ричардом! Просить милости у этого гордого сердца! Никогда этого не будет, Ревекка! Орден Храма в моем лице не падет к ногам Ричарда! Я могу отказаться от ордена, но унизить или предать его - никогда.   
 - Все мои надежды - на милость божью, - сказала Ревекка, - люди, как видно, не помогут.   
 - Так знай, - отвечал храмовник. - Ты очень горда, но и я тоже горд. Если я появлюсь на ристалище в полном боевом вооружении, никакие земные помыслы не помешают мне пустить в ход всю мою силу, все мое искусство. Подумай же, какова будет тогда твоя участь! Ты умрешь смертью злейших преступников, тебя сожгут на пылающем костре, и ничего не сохранится от этого прекрасного образа, даже тех жалких останков, о которых можно было б сказать: вот это недавно жило, двигалось... Нет, Ревекка, женщине не перенести мысли о такой участи. Ты еще уступишь моим желаниям!   
 - Буагильбер, - отвечала еврейка, - ты не знаешь женского сердца или видел только таких женщин, которые утратили лучшие женские достоинства. Могу тебя уверить, гордый рыцарь, что ни в одном из самых страшных сражений не обнаруживал ты такого мужества, какое проявляет женщина, когда долг или привязанность призывает ее к страданию. Я сама женщина, изнеженная воспитанием, от природы робкая и с трудом переносящая телесные страдания; но когда мы с тобой явимся на роковое ристалище, ты - сражаться, а я - на казнь, я твердо уверена, что моя отвага будет много выше твоей... Прощай, я не хочу больше терять слов с тобою. То время, которое осталось дочери Израиля провести на земле, нужно употребить иначе: она должна обратиться к утешителю, который отвратил лицо свое от ее народа, но никогда не бывает глух к воплям человека, искренне взывающего к нему.   
 - Значит, мы расстаемся, - проговорил храмовник после минутного молчания. - И зачем бог допустил нас встретиться в этом мире! Почему ты не родилась от благородных родителей и в христианской вере! Клянусь небесами, когда я смотрю на тебя и думаю, где и когда я тебя снова увижу, я начинаю жалеть, что не принадлежу к твоему отверженному племени. Пускай бы рука моя рылась в сундуках с декелями, не ведая ни копья, ни щита, гнул бы я спину перед мелкой знатью и наводил бы страх на одних лишь должников!.. Вот до чего я дошел, Ревекка, вот чего бы желал, чтобы только быть ближе к тебе в жизни, чтобы избавиться от той страшной роли, какую должен сыграть в твоей смерти.   
 - Ты говоришь о евреях, какими сделали их преследования людей, тебе подобных, - сказала Ревекка. - Гнев божий изгнал евреев от отечества, но трудолюбие открыло им единственный путь к власти и могуществу, и на этом одном пути им не поставили преград. Почитай древнюю историю израильского народа и скажи: разве те люди, через которых Иегова творил такие чудеса среди народов, были торгаши и ростовщики? Знай же, гордый рыцарь, что среди нас немало есть знатных имен, по сравнению с которыми ваши хваленые дворянские фамилии - все равно что тыква перед кедром. У нас есть семья, родословное древо которых восходит к тем временам, когда в громе и молнии являлось божество, окруженное херувимами... Эти семьи получали свой высокий сан не от земных владык, а от Голоса, повелевавшего их предкам приблизиться к богу и властвовать над остальными. Таковы были князья из дома Иакова!   
 Щеки Ревекки загорелись румянцем, пока она говорила о древней славе своего племени, но снова побледнели, когда она добавила со вздохом:   
 - Да, таковы были князья иудейские, ныне исчезнувшие. Слава их попрана, как скошенная трава, и смешана с дорожной грязью. Но есть еще потомки великого рода, есть и такие, что не посрамят своего высокого происхождения, и в числе их будет дочь Исаака, сына Адоникама. Прощай! Я не завидую почестям, добытым ценою крови человеческой, не завидую твоему варварскому роду северных язычников, не завидую и вере твоей, которая у тебя на языке, но которой нет ни в твоем сердце, ни в поступках.   
 - Я околдован, клянусь небесами! - сказал Буагильбер. - Мне начинает казаться, что выживший из ума скелет был прав, я не в силах расстаться с тобой, точно меня удерживает какая-то сверхъестественная сила. Прекрасное создание! - продолжал он, подходя к ней ближе, но с великим почтением. - Так молода, так хороша, так бесстрашна перед лицом смерти! И обречена умереть в позоре и в мучениях. Кто может не плакать над тобой? Двадцать лет слезы не наполняли мои глаза, а теперь я плачу, глядя на тебя. Но этому суждено свершиться, ничто не спасет тебя. Мы с тобой оба - слепые орудия судьбы, неудержимо влекущие нас по предназначенному пути, как два корабля, которые несутся по бурным волнам, а бешеный ветер сталкивает их между собой на общую погибель. Прости меня, и расстанемся как друзья. Тщетно старался я поколебать твою решимость, но и сам остаюсь тверд и непреклонен, как сама несокрушимая судьба.   
 - Люди нередко сваливают на судьбу последствия своих собственных буйных страстей, - сказала Ревекка. - Но я прощаю тебя, Буагильбер, тебя, виновника моей безвременной смерти. У тебя сильная душа; иногда в ней вспыхивают благородные и великие порывы. Но она - как запущенный сад, принадлежащий нерадивому хозяину: сорные травы разрослись в ней и заглушили здоровые ростки.   
 - Да, Ревекка, - сказал храмовник, - я именно таков, как ты говоришь: неукротимый, своевольный и гордый тем, что среди толпы пустоголовых глупцов и ловких ханжей я сохранил силу духа, возвышающую меня над ними. Я с юности приучался к воинским подвигам, стремился к высоким целям и преследовал их упорно и непоколебимо. Таким я и останусь: гордым, непреклонным, неизменным. Мир увидит это, я покажу ему себя; но ты прощаешь меня, Ревекка?   
 - Так искренне, как только может жертва простить своему палачу.   
 - Прощай, - сказал храмовник и вышел из комнаты.   
 Прецептор Альберт Мальвуазен с нетерпением ожидал в соседнем зале возвращения Буагильбера.   
 - Как ты замешкался! - сказал Альберт. - Я был вне себя от беспокойства. Что, если бы гроссмейстер или Конрад, его шпион, вздумали зайти сюда? Дорого бы я поплатился за свое снисхождение!.. Но что с тобою, брат? Ты еле держишься на ногах, и лицо твое мрачно, как ночь. Здоров ли ты, Буагильбер?   
 - Здоров, - отвечал храмовник, - здоров, как несчастный, который знает, что через час его казнят. Да нет, впрочем, - вдвое хуже, потому что иные из приговоренных к смерти расстаются с жизнью, как с изношенной одеждой. Клянусь небесами, Мальвуазен, эта девушка превратила меня в тряпку! Я почти решился идти к гроссмейстеру, бросить ему в лицо отречение от ордена и отказаться от жестокости, которую навязал мне этот тиран.   
 - Ты с ума сошел! - сказал Мальвуазен. - Таким поступком ты погубишь себя, но не спасешь еврейку, которая, по всему видно, так дорога тебе. Бомануар выберет вместо тебя кого-нибудь другого на защиту ордена, и осужденная все равно погибнет.   
 - Вздор! Я сам выступлю на ее защиту, - ответил храмовник надменно, - и тебе, Мальвуазен, я думаю, известно, что во всем ордене не найдется бойца, способного выдержать удар моего копья.   
 - Эх, - сказал лукавый советчик, - ты совсем упускаешь из виду, что тебе не дадут ни случая, ни возможности выполнить твой безумный план. Попробуй пойти к Луке Бомануару, объяви ему о своем отречении от клятвы послушания и посмотри, долго ли после этого деспотичный старик оставит тебя на свободе. Ты едва успеешь произнести эти слова, как очутишься на сто футов под землей, в темнице тюремной башни прецептории, где будешь ждать суда, - а судить тебя будут, как подлого отступника и малодушного рыцаря. Если же решат, что все-таки ты околдован, тебя закуют в цепи, отвезут в какой-нибудь отдаленный монастырь, запрут в уединенную келью, и ты будешь валяться там на соломе, в темноте, одуревший от заклинаний и насквозь промокший от святой воды, которой будут тебя усердно поливать, чтобы изгнать из тебя беса. Нет, ты должен явиться на ристалище, Бриан, иначе ты погиб!   
 - Я вырвусь отсюда и убегу! - сказал Буагильбер. - Убегу в какую-нибудь дальнюю страну, куда еще не проникли человеческая глупость и изуверство. По крайней мере ни одна капля крови этой прекрасной девушки не прольется при моем участии.   
 - Тебе не удастся бежать, - сказал Мальвуазен. - Твои безумства возбудили подозрения, и тебя не выпустят из стен прецептории. Пойди попытайся. Подойди к воротам, прикажи спустить подъемный мост, и ты увидишь, исполнят ли твое приказание. Ты удивлен, обижен? Но для тебя же лучше, что это так. Твое бегство ни к чему не приведет. Твой герб будет перевернут, ты обесславишь своих предков и сам будешь изгнан из ордена. Подумай хорошенько: куда деваться от стыда твоим товарищам, когда Бриана де Буагильбера, лучшего бойца в рядах храмовников, публично провозгласят предателем и собравшиеся освищут твое имя? Каково будет горе французского двора! С какой радостью надменный Ричард узнает, что тот самый рыцарь, который доставил ему немало хлопот в Палестине и едва не омрачил его всесветную славу, сам потерял честь и доброе имя из-за еврейки и все-таки не смог спасти ее, даже ценой такой великой жертвы.   
 - Мальвуазен, - сказал рыцарь, - благодарю тебя. Ты затронул ту струну, которая сильнее всего волнует мою душу. Будь что будет, но слово "изменник" никогда не станет рядом с именем Буагильбера. Дай бог, чтобы сам Ричард или один из его хваленых любимчиков выехал против меня на ристалище. Но нет, там будет пусто - никто не захочет рискнуть жизнью за неповинную, одинокую...   
 - Тем лучше для тебя, если дело этим кончится, - сказал прецептор. - Если ее защитник не явится, не ты будешь повинен в смерти злосчастной девицы, а гроссмейстер, приговоривший ее к казни. На нем и будет лежать ответственность за это дело, и он его поставит себе не в вину, а в заслугу, достойную всяких похвал.   
 - Это правда, - сказал Буагильбер, - если не будет у нее защитника, я буду лишь частью пышного зрелища, то есть появлюсь на ристалище верхом на коне в полном вооружении, но не приму никакого участия в том, что последует дальше.   
 - Разумеется! - подхватил Мальвуазен. - Не больше, чем статуя Георгия Победоносца в церковной процессии.   
 - Что ж, пусть будет так, как я решил прежде, - сказал надменный храмовник. - Она меня отвергла и унизила, пренебрегла мною. Для чего я стану жертвовать ей своей славой и уважением других людей? Мальвуазен, я выеду на ристалище.   
 Сказав эти слова, он поспешно вышел из зала, а прецептор последовал за ним, дабы присмотреть и поддержать его в принятом решении, ибо он сам был сильно заинтересован в успехах Буагильбера, ожидая для себя больших выгод в случае, если тот со временем станет во главе ордена, не говоря уже о надеждах получить место, обещанное ему Конрадом Монт-Фитчетом с условием, чтобы он всячески способствовал осуждению несчастной Ревекки. Оспаривая лучшие побуждения в душе своего друга, Мальвуазен имел над ним все преимущества хитрого и хладнокровного себялюбца в борьбе с человеком, одержимым пылкими и противоречивыми страстями. Тем не менее потребовалось все его искусство, чтобы заставить Буагильбера следовать принятому решению. Он должен был неотступно наблюдать за своим другом, чтобы тот опять не вздумал бежать, и предупреждать возможность его встречи с гроссмейстером, чтобы не допустить его до открытого с ним разрыва; кроме того, Альберт должен был снова и снова приводить различные доводы в пользу того, что Бриан обязан явиться на ристалище, так как на судьбу Ревекки это не может оказать никакого влияния, а для негр самого является единственным способом спастись от бесславия и позора.

**Глава XL**

Вновь Ричард стал самим собой,   
 Прочь, тени!   
 "Ричард III"   
  
 Но возвратимся к приключениям Черного Рыцаря. Отъехав от заветного дуба великодушного разбойника, он направил свой путь к соседнему монастырю, скромному и небогатому, носившему название аббатства святого Ботольфа, куда после падения замка Торкилстон перевезли раненого Айвенго под надзором верного Гурта и великодушного Вамбы. Пока мы не станем говорить о том, что произошло между Уилфредом и его избавителем. Довольно сказать, что после долгой и важной беседы аббат разослал гонцов в разные стороны, а на другой день поутру Черный Рыцарь собрался уезжать из монастыря, взяв с собой в проводники шута Вамбу. Перед отъездом рыцарь обратился к Айвенго и сказал ему:   
 - Мы с тобой увидимся в Конингсбурге, замке покойного Ательстана, куда отправился твой отец Седрик на поминки по своему благородному родственнику. Я посмотрю там на твою саксонскую родню, сэр Уилфред, и познакомлюсь с ними покороче. И ты туда приезжай, я берусь примирить тебя с отцом.   
 Сказав это. Черный Рыцарь ласково простился с Айвенго, который выразил пламенное желание проводить своего спасителя. Но об этом Черный Рыцарь и слышать не хотел.   
 - Сегодня отдыхай хорошенько, - сказал он. - Пожалуй, и завтра ты еще не в силах будешь пуститься в дорогу. Мне не нужно иного проводника, кроме честного Вамбы; он будет играть при мне роль попа или шута, смотря по моему настроению.   
 - А я, - сказал Вамба, - готов служить вам от всего сердца. Я охотно побываю на поминках Ательстана, потому что, коли еда будет не очень сытная, а подавать будут не часто, он восстанет из мертвых и начнет взыскивать с поваров, прислуги и кравчего. А это такое зрелище, что стоит посмотреть. Я уж надеюсь, сэр рыцарь, что ваша доблесть будет мне защитой перед моим хозяином Седриком, когда мое остроумие потерпит неудачу.   
 - Но на что может пригодиться моя доблесть, шут, там, где бессильно твое остроумие? Разреши-ка мне эту загадку.   
 - Видите ли, сэр рыцарь, - отвечал Вамба, - шутка может много сделать. Услужливый и наблюдательный плут сразу подмечает, которым глазом сосед его хуже видит, и с этой стороны держится, когда тот разгорячится и даст волю своим страстям. А доблесть - это дюжий малый, который прет напролом. Ему нипочем и прилив и бурные ветры, знай себе гребет веслом и в конце концов причалит к берегу. А потому, добрый сэр рыцарь, я буду пользоваться только ясной погодой в душе моего благородного хозяина, а в бурное время, уж надеюсь, вы потрудитесь меня выручать.   
 - Сэр Рыцарь Висячего Замка, раз уж вам угодно так называть себя, - сказал Айвенго, - боюсь, что вы изволили избрать себе в проводники чересчур болтливого и назойливого шута. Но он знает каждую тропинку в лесу не хуже любого охотника; притом, как вы сами видели, бедняга верен и надежен, как булат.   
 - Ничего, - молвил рыцарь, - лишь бы он сумел указать мне дорогу. Что за беда, если он захочет позабавить меня в пути. Ну, прощай, Уилфред, выздоравливай, друг мой. Но смотри, я тебе запрещаю выезжать по крайней мере до завтра.   
 С этими словами он протянул руку Уилфреду, который ее поцеловал, простился с аббатом, сел на коня и поехал в сопровождении одного Вамбы.   
 Айвенго проводил их взглядом, пока они не скрылись в чаще окружающих лесов, потом воротился в монастырь.   
 Но вскоре после ранней обедни он послал сказать аббату, что желает его видеть. Старик прибежал в испуге и с беспокойством осведомился, как он себя чувствует.   
 - Лучше, - отвечал он, - гораздо лучше, нежели мог надеяться вначале: или моя рана была не так серьезна, как я думал, судя по большой потери крови, или целебный бальзам оказал на нее чудесное действие, но я себя так чувствую, что, пожалуй, могу надеть панцирь; это большое счастье, потому что мне такие мысли приходят на ум, что я не могу больше здесь оставаться в бездействии.   
 - Сохрани бог, - сказал аббат, - чтобы сын Седрика Сакса покинул нашу обитель, прежде чем зажили его раны. Стыдно нам будет, если мы допустим это!   
 - Я и сам не покинул бы вашу гостеприимную обитель, святой отец, - сказал Айвенго, - если бы не чувствовал себя способным пуститься в дорогу и если бы не было в том нужды.   
 - А что же вынуждает тебя к такому внезапному отъезду? - допрашивал аббат.   
 - Разве никогда вам не случалось, святой отец, томиться зловещим предчувствием, ожидать какой-то беды, тщетно доискиваясь, какая бы могла быть тому причина? - сказал рыцарь. - Разве никогда не омрачалась ваша душа, словно зеленый луг в солнечный день, над которым вдруг проходит черная туча, предвестница грозы? Разве ты не думаешь, что такие предчувствия достойны нашего внимания, что, быть может, это ангелы-хранители подают нам весть о близкой опасности?   
 - Не отрицаю, - сказал аббат, осеняя себя крестным знамением, - такие вещи случаются, и они бывают от бога. Но подобные внушения приходят недаром и клонятся к пользе и преуспеянию. А ты, раненый и немощный, на что ты можешь пригодиться тому, за кем желаешь следовать? Ведь в случае нападения ты не в силах будешь защищать его.   
 - Ты ошибаешься, приор, - сказал Айвенго, - сил у меня довольно, и я отлично могу выдержать бой со всяким, кто захочет со мной помериться. Но если бы это и не было нужно, разве я не могу быть ему полезен иными способами, кроме оружия? Слишком хорошо известно, что саксы не любят норманнов. Как знать, что может случиться, если он вдруг явится среди них в такую минуту, когда сердца их раздражены смертью Ательстана, а головы отуманены чрезмерным употреблением вина. Сдается мне, что его появление в такое время может иметь в высшей степени опасные последствия. Вот я и решился или предупредить беду или разделить его участь. А для того чтобы я мог исполнить свое намерение, прошу тебя: достань мне верховую лошадь, у которой шаг был бы помягче, чем у моего боевого коня.   
 - Что ж, - отвечал почтенный аббат, - я тебе уступлю мою испанскую кобылу: она ходит иноходью, жаль только, что все-таки не такой ровной, как лошадка приора Сент-Альбанской обители. Могу, однако ж, поручиться, что у моей Метлы - так зову я своего иноходца - очень мягкая и ровная рысь. И она очень послушная лошадка, пожалуй только у проезжего фокусника найдется скотина еще послушнее моей. Но ведь та даже умеет плясать меж разложенных яиц. А едучи на Метле, я сочинял целые проповеди, и хорошие выходили проповеди, одинаково поучительные как для монастырской братии, так и для прочих христианских душ.   
 - Так, пожалуйста, преподобный отец, прикажите сейчас же оседлать Метлу и велите Гурту принести сюда мое вооружение.   
 - Однако ж, любезный сэр, - сказал аббат, - я прошу вас принять в соображение, что Метла так же неопытна по части оружия, как и ее хозяин. Я не ручаюсь за то, что может произойти, когда она увидит ваши доспехи, а в особенности, когда почует их тяжесть на себе. О, Метла, я вам скажу, животное преумное и не потерпит на себе никакой излишней тяжести. Один раз случилось, что я у соседнего священника захватил взаймы только один том латинского сочинения "Fructus Temporum" [50], так моя лошадь до тех пор не соглашалась выйти за ворота, пока я не заменил увесистую книжицу обычным своим малым требником.   
 - Поверьте, святой отец, - сказал Айвенго, - я не стану беспокоить вашу лошадь излишней тяжестью, а если она заупрямится, так ей же будет хуже.   
 Эти слова были произнесены в ту минуту, когда Гурт прикреплял к сапогам рыцаря пару больших позолоченных шпор, способных убедить любую упрямую лошадь, что для нее выгоднее всего повиноваться воле ездока.   
 Острые колесики, торчавшие на сапогах Айвенго, произвели на аббата такое впечатление, что он начал раскаиваться в том, что так любезно предложил свою лошадь.   
 - Позвольте, любезный сэр! - воскликнул он. - Моя Метла совсем не выносит шпор. Я было и позабыл об этом. Лучше подождите немного, я пошлю за кобылой моего эконома - он живет тут поблизости, на ферме. Вам придется подождать какой-нибудь час, а уж эта лошадь, наверно, будет послушна, так как на ней возят дрова, а овса никогда ей не дают.   
 - Благодарю вас, преподобный отец, я предпочитаю воспользоваться первоначальным вашим предложением, тем более что, как я вижу, вашу Метлу уже подвели к воротам. Гурт повезет мое вооружение, а что касается остального, будьте спокойны: так как я не навалю ей на спину лишней тяжести, то надеюсь, что и она не выведет меня из терпения. А теперь прощайте.   
 И Айвенго быстро и легко сбежал с крыльца, чего нельзя было ожидать от недавно раненного человека. Он вскочил на лошадь, желая избежать приставаний аббата, который поспешил за ним так проворно, как только позволяли ему тучность и преклонный возраст, все время восхваляя свою Метлу и умоляя рыцаря обращаться с ней осторожнее.   
 - Она находится теперь в самом опасном возрасте для девицы, - сказал старик, смеясь своей же шутке, - так как ей недавно пошел пятнадцатый год.   
 Но Уилфред был слишком озабочен, чтобы выслушивать важные советы аббата и его забавные шутки. Поэтому, сев на кобылу и приказав своему оруженосцу (так Гурт назывался теперь) не отставать, он направился в лес по следам Черного Рыцаря, между тем как аббат восклицал, стоя у ворот монастыря и глядя ему вслед:   
 - Пресвятая дева! Как прытки и проворны эти вояки! И зачем я ему доверил свою Метлу! Если с ней случится недоброе, как я без нее обойдусь при моей ломоте в костях. А все-таки, - продолжал он рассуждать, спохватившись, - как я не пожалел бы собственных старых и больных костей для блага старой Англии, так и моя Метла пускай послужит тому же правому делу. Может статься, они сочтут нашу бедную обитель достойной какого-нибудь богатого вклада. А если они этого не сделают, потому что великие мира сего легко забывают услуги маленьких людей, и то ничего: я найду себе награду в сознании, что поступил правильно. А теперь, кажется, самое время созвать братию к завтраку в трапезную. Только кажется мне, что на этот зов они сходятся гораздо охотнее, чем на звон к заутрене и к обедне!   
 И настоятель аббатства святого Ботольфа побрел назад в трапезную занять председательское место за столом, на который только что подали вяленую треску и пиво на завтрак монахам. Отдуваясь, с важным видом уселся он за стол и начал делать туманные намеки насчет того, что монастырь вправе ожидать теперь щедрых даров, да и сам он оказал кое-какие важные услуги. В другое время подобные речи возбудили бы всеобщее любопытство. Но так как треска была очень соленой, а пиво - довольно крепким, братия слишком усердно работала челюстями и не могла как следует навострить уши. Летописи упоминают лишь об одном лице, обратившем внимание на таинственные слова настоятеля, - об отце Диггори. У него была сильная зубная боль, так что он мог жевать лишь одной стороной, поэтому он кое-что расслышал и даже задумался над слышанным.   
 Тем временем Черный Рыцарь и его проводник не спеша подвигались вперед сквозь лесную чащу. Бравый рыцарь то напевал себе под нос песни влюбленных трубадуров, то задавал своему спутнику забавные вопросы, Благодаря этому их беседа была пересыпана прибаутками и песнями. Нам хотелось бы дать читателю хоть приблизительное понятие об их разговоре.   
 Итак, вообразите себе рыцаря высокого роста, плотного телосложения, широкоплечего, могучего, верхом на крупном вороном коне, как бы нарочно созданном для него, так легко он нес своего тяжелого седока. Верх забрала на шлеме всадника был поднят, чтобы легче было дышать, наустник же оставался застегнутым, так что черты лица было трудно разобрать. Всего лучше были видны его загорелые скулы, покрытые здоровым румянцем, и большие голубые глаза, блестевшие из-под поднятого забрала. Осанка и манеры рыцаря выражали беззаботное веселье и удаль, изобличая ум, не способный предвидеть опасность, но всегда готовый отразить ее. Мысль об опасностях была ему привычна, как это естественно для того, кто посвятил себя войне и приключениям.   
 Шут был в обычном своем пестром одеянии, но события последнего времени заставили его заменить деревянный меч острым палашом и продолговатым щитом. При штурме Торкилстона выяснилось, что он очень недурно владеет этим оружием, хотя такое искусство было необязательно для его ремесла. В сущности, умственный недостаток Вамбы выражался лишь в том, что он был одержим какой-то нервной непоседливостью, ни в каком положении не мог оставаться спокойным или последовательно вести рассуждения. Однако он был проворен и ловок и если дело не требовало большой выдержки и постоянства, мог толково выполнить любое поручение или подхватить на лету любую мысль. Сидя верхом, он ни минуты не оставался в покое: то и дело поворачивался в седле, сползал то на шею лошади, то на самый круп, то обе ноги свешивал на один бок, то садился лицом к хвосту, кривлялся, гримасничал, как настоящая обезьяна, и наконец так надоел лошади, что она сбросила его, и он во весь рост растянулся на зеленой траве. Этот случай сильно позабавил рыцаря, но спутник его после этого стал спокойнее.   
 В ту минуту, когда мы настигли их в пути, эта веселая пара распевала старинную песню. Рыцарь Висячего Замка исполнял ее довольно искусно, а шут только подтягивал ему и пел припев. Содержание песни было следующее:   
 Рыцарь   
 Анна-Мария, солнце взошло,   
 Анна, любимая, стало светло,   
 Туман разошелся, и птицы запели.   
 Анна, мой друг, подымайся с постели!   
 Анна, вставай! Озарился восток,   
 Слышишь охотничий радостный рог?   
 Вторят ему и деревья и скалы.   
 Анна-Мария, вставай - солнце встало!   
 Ваиба   
 О Тибальт, мой милый, совсем еще рано;   
 Мне спится так сладко! Я, Тибальт, не встану!   
 И что наяву может радовать нас   
 В сравнении с тем, что я вижу сейчас?   
 Пусть охотник трубит в свой рожок все чудесней   
 И птицы встречают зарю своей песней, -   
 Счастливее их я бываю во сне,   
 Но, Тибальт, не думай, что снишься ты мне.   
 - Славная песня, - сказал Вамба, когда оба закончили припев. - Клянусь моей дурацкой шапкой, и нравоучение прекрасное. Мы ее часто певали с Гуртом. Когда-то мы с ним были товарищами, а теперь он, по милости божьей и по господской воле, сам себе господин и вольный человек. А однажды нам с ним изрядно досталось из-за этой самой песни: мы так увлеклись, что два часа лишних провалялись в постели, распевая ее сквозь сон. С тех пор как вспомню этот напев, так у меня кости и заноют. Однако я все-таки спел партию Анны-Марии в угоду вам, сэр.   
 После этого шут сам затянул другую песню, а рыцарь подхватил мотив и стал ему вторить.   
 Рыцарь и Вамба   
 Приехали славные весельчаки, -   
 Об этом есть в песенке старой рассказ, -   
 У вдовушки Викомба просят руки.   
 И может ли вдовушка дать им отказ?   
 Был рыцарь из Тиндаля первый средь них, -   
 Об этом есть в песенке старой рассказ, -   
 Кичился он славою предков своих.   
 Вдовы был, конечно, немыслим отказ.   
 "Мой дядя был сквайром, и лордом - отец", -   
 Так начал он свой горделивый рассказ.   
 Ушел восвояси хвастливый храбрец -   
 Услышал он вдовушки смелый отказ.   
 Вамба   
 "Я родом из Уэльса!" - второй говорит. -   
 Об этом есть в песенке старой рассказ, -   
 Он кровью поклялся, что он родовит.   
 Вдовы был, конечно, немыслим отказ.   
 "Я Морган ап Гриффит ап Хью, - я Давид   
 Ап Тюдор ап Рейс", - свой повел он рассказ;   
 Вдова же в ответ: "Меня это страшит:   
 Как выйти мне замуж за стольких зараз?"   
 А третий был иомен, что в Кенте живет, -   
 Об этом есть в песенке старой рассказ, -   
 И вдовушке он описал свой доход,   
 А иомену дать невозможно отказ.   
 Оба   
 Отвергнут один и другой дворянин,   
 О иомене слышим зато мы рассказ:   
 Он в Конте живет, получает доход,   
 И иомену дать невозможно отказ.   
 - Хотел бы я, - сказал рыцарь, - чтобы наш гостеприимный хозяин из-под заветного дуба или его капеллан, - веселый монах - услышали эту песню во славу иоменов.   
 - Ну, я этого не хотел бы, - сказал Вамба, - разве что ради того рожка, который висит у вас на перевязи.   
 - Э, - молвил рыцарь, - это знак дружеского расположения со стороны Локсли, но вряд ли мне когда-нибудь он понадобится. Впрочем, я уверен, что у случае нужды стоит только затрубить в него, как тотчас явится на выручку целая ватага этих славных иоменов.   
 - Я бы сказал: боже упаси, - возразил шут, - кабы не знал, что по милости этого рожка они во всякое время пропустят нас без всякой обиды.   
 - Что ты хочешь сказать? - спросил рыцарь. - Или ты думаешь, что, если бы не этот залог приязни, они бы на нас напали?   
 - Я ничего не говорю, - сказал Вамба, - уши бывают и у зеленых ветвей, как и у каменных стен... Но разгадай мне загадку, сэр рыцарь: когда пустая винная бутыль и пустой кошелек лучше, чем полные?   
 - Да никогда, я думаю, - отвечал рыцарь.   
 - Ну, за такой ответ тебе не стоило бы давать ни полной бутыли, ни набитого кошелька. Знай же, что опорожнить бутыль следует перед тем, как передать ее саксу, а деньги высыпать и оставить дома перед тем, как пускаться в зеленый лес.   
 - Стало быть, ты считаешь наших приятелей за настоящих грабителей? - сказал Рыцарь Висячего Замка.   
 - Эх, милостивый господин, разве я это говорил? - возразил Вамба. - Если человек пускается в дальний путь, его лошади легче будет, когда с нее снимут мешок, а ему самому легче будет спасти свою душу, коли у него отберут то, что есть корень всякого зла. Поэтому я не назову бранным словом людей, которые оказывают подобные услуги. Только мешок свой лучше оставлю дома, да и кошелек спрячу в сундук, чтобы избавить добрых людей от лишнего труда.   
 - Однако мы обязаны молиться за них, друг мой, невзирая на то, что ты так отзываешься о них.   
 - Молиться-то за них я готов от всего сердца, - сказал Вамба, - только лучше в городе, а не здесь. Не то и нам пришлось бы так же туго, как тому аббату, которого они заставили петь обедню, посадив его в дупло дуба вместо кафедры.   
 - Говори что угодно, Вамба, - сказал рыцарь, - а все-таки эти иомены сослужили верную службу твоему хозяину Седрику в Торкилстоне.   
 - Что правда, то правда, - отвечал Вамба, - но и тут они помогли на манер своих расчетов с господом богом.   
 - Какие же это расчеты, Вамба? Ну-ка расскажи, - попросил его спутник.   
 - А вот какие, - ответил шут. - С богом они ведут двойной счет, как, бывало, наш старый эконом называл свои цифры. Такой же расчет, какой ведет Исаак со своими должниками: дать поменьше, а за это в кредит получить побольше, вот и они рассчитывают за всякое благое дело получить воздаяние в семикратном размере, согласно священному писанию.   
 - Поясни примером, Вамба, я не мастер считать и в цифрах ничего не смыслю, - сказал рыцарь.   
 - Ну, коли вы такой недогадливый, - отвечал Вамба, - так я поясню вашей милости, что эти честные молодцы соблюдают ровный счет, и на каждое доброе дело у них приходится другое, менее похвальное. Подадут, например, нищему монаху одну серебряную монету, а у жирного аббата стащат сотню золотых... Или окажут помощь бедной вдове, а в лесу расцелуют пригожую девицу...   
 - Какое же из этих дел доброе, а какое злое? - прервал его рыцарь.   
 - Вот так загадка! Отличная загадка! - воскликнул Вамба. - Что и говорить, с умным поведешься - ума наберешься. Я готов побожиться, сэр рыцарь, что лучше этого вы не могли сказать, когда служили пьяную всеношную с шалым отшельником... Наши лесные приятели иной раз построят домишко бедняку, а соседний замок сожгут; починят крышу над церковью, а ризницу ограбят; бедного колодника выручат из тюрьмы, а гордого судью укокошат; или попросту говоря, освободят саксонского франклина и для этого живьем сожгут норманского барона. Что и говорить, добрые они воры и самые любезные грабители, но повстречаться с ними выгоднее в такое время, когда у них побольше грехов.   
 - Как так, Вамба? - спросил рыцарь.   
 - Да потому, что в это время у них совесть просыпается и они не прочь произвести расчеты с господом богом. Но когда они свели расчеты и у них с богом вышло так на так, тогда спаси, боже, тех, с кого они откроют новый счет задолженности. Плохо будет тому путешественнику, кто первым попадется им под руку после их доброго дела в Торкилстоне. А все-таки, - прибавил Вамба, понизив голос и подъехав поближе к рыцарю, - водятся здесь такие встречные, которые для проезжих гораздо опаснее, чем наши разбойники.   
 - Кто же это такие? Ведь ни волков, ни медведей у нас не водится, - сказал рыцарь.   
 - Зато у нас водится вооруженная челядь Мальвуазена, - сказал Вамба, - и уж поверьте, что полдюжины таких молодцов стоят целой стаи добрых волков! Теперь они выехали на добычу, да с ними же рыщут и солдаты, бежавшие из Торкилстона. Так что, если бы мы с ними повстречались, дорого пришлось бы нам поплатиться за наши подвиги. А что, сэр рыцарь, если бы, к примеру, попалась нам пара таких молодцов, что бы вы сделали?   
 - Если бы они вздумали преградить нам дорогу, пригвоздил бы мерзавцев к земле моим копьем.   
 - А если бы они оказались вчетвером?   
 - И тех угостил бы тем же, - отвечал рыцарь.   
 - А если бы их было шестеро, а нас с вами двое, вот как теперь, - продолжал Вамба, - неужели вы не вспомнили бы о роге Локсли?   
 - Что? Звать на помощь против подобной своры? - воскликнул рыцарь. - Да один настоящий рыцарь может разогнать их, как осенний ветер гонит сухую листву!   
 - Так, так, - сказал Вамба, - я у вас попрошу позволения рассмотреть поближе этот самый рог, издающий такие мощные звуки.   
 Рыцарь отстегнул застежку своей перевязи и удовлетворил любопытство своего спутника, передав ему рог. Вамба сию же минуту надел его себе на шею.   
 - Тра-ли-ра-ля! - пропел шут. - Теперь и я сумею протрубить сигнал не хуже кого другого.   
 - Ах вот как, плут! - сказал рыцарь. - Отдай рог обратно!   
 - Будьте спокойны, сэр рыцарь, он будет у меня в сохранности. Когда доблесть путешествует рядом с глупостью, рог следует надевать на глупость, потому что она умеет лучше трубить.   
 - Берегись, мошенник, - сказал Черный Рыцарь, - ты слишком много себе позволяешь! Смотри не выводи меня из терпения!   
 - А вы лучше не грозите мне, сэр рыцарь, - отвечал шут, отъехав на почтительное расстояние от раздраженного рыцаря, - иначе глупость даст тягу и предоставит доблести самой искать себе дорогу в лесу.   
 - На этом ты меня поймал, это верно, - сказал рыцарь, - притом, по правде говоря, недосуг мне с тобой браниться. Пожалуй, оставь рог при себе, только поедем скорее.   
 - А вы не станете меня обижать? - спросил Вамба.   
 - Я тебе говорю, что не стану, плут ты этакий!   
 - Нет, вы прежде дайте мне в том свое рыцарское слово, - продолжал Вамба, с опаской приближаясь к Рыцарю Висячего Замка.   
 - Ну, даю тебе рыцарское слово, а теперь не мешкай и указывай дорогу.   
 - Ладно, - сказал шут, с готовностью подъезжая к рыцарю. - Значит, доблесть с глупостью опять поприятельски поехали рядом. Дело в том, что я, в самом деле, не охотник до таких затрещин, какую вы тогда закатили отшельнику. И покатился его преподобие на траву, словно кегля от удачного удара! Ну, раз глупость овладела рожком, пускай доблесть маленько расправит свои члены да взмахнет гривой. Если не ошибаюсь, вон в том кустарнике нас поджидает теплая компания. Засаду нам устроили.   
 - С чего это ты взял? - спросил рыцарь.   
 - Ас того и взял, что раза два или три видел, как среди зелени мелькали шишаки. Будь они честные люди, они бы выехали на открытую тропинку. Но эта чаща - как раз подходящее место для таких переделок.   
 - Клянусь честью, - ответил рыцарь, опуская забрало, - на этот раз ты прав!   
 И хорошо, что он успел это сделать, потому что в ту же секунду из придорожных кустов вылетели три стрелы, пущенные ему в голову и в грудь; одна из них вонзилась бы ему в мозг, если бы не отскочила от стального забрала. Две остальные попали в нагрудник и в щит, висевший у него на шее.   
 - Спасибо оружейнику, прочно сработал мои доспехи! - сказал рыцарь. - Вамба, вперед! Схватимся с ними!   
 С этими словами он направил коня на кусты. Навстречу ему выскочили из чащи шесть или семь вооруженных всадников и во весь опор понеслись на него с копьями наперевес. Три копья разлетелись на куски, как бы ударившись о стальную башню. Глаза Черного Рыцаря сверкнули гневом сквозь узкие глазницы забрала. Он величаво приподнялся на стременах и крикнул:   
 - Что это значит? Вместо ответа воины выхватили мечи и напали на него со всех сторон.   
 - Умри, тиран! - кричали они.   
 - Ага! Вот тебе, во славу святого Эдуарда! Вот тебе, во славу Георгия Победоносца! - С каждым возгласом Черный Рыцарь сшибал на землю воина. - Вот как, у нас есть изменники?   
 Как ни были храбры его противники, однако они попятились назад от могучей руки, каждый взмах которой сулил им смерть. Казалось, что он один одолеет всех врагов. Но тут подоспел рыцарь в синих доспехах, до сих пор державшийся поодаль; он пришпорил своего коня и, направив копье не на всадника, а на лошадь, смертельно ранил это благородное животное.   
 - Это предательский удар! - воскликнул Черный Рыцарь, когда его конь повалился набок, увлекая его за собою.   
 В ту же минуту Вамба затрубил в рог: все совершилось с такой быстротой, что он не успел сделать этого раньше. Внезапный звук рога заставил убийц снова попятиться назад, а Вамба, невзирая на то, что был плохо вооружен, не задумываясь ринулся вперед и помог Черному Рыцарю встать.   
 - Не стыдно ли вам, подлые трусы! - воскликнул рыцарь в синем панцире, казавшийся предводителем. - Уж не разбежались ли вы от простого рожка, на котором вздумал поиграть шут?   
 Ободренные этими словами, они снова напали на Черного Рыцаря, который прислонился к стволу толстого дуба и отбивался одним мечом. Вероломный рыцарь вооружился между тем другим копьем и, выждав минуту, когда его могучий противник вынужден был отбиваться со всех сторон, помчался на него с намерением пригвоздить его копьем к дереву. Но Вамба помешал и на этот раз. Не обладая большой силой, но отличаясь ловкостью, шут воспользовался тем, что бойцы, занятые борьбой с рыцарем, не обращали на него внимания, и успел предотвратить нападение Синего Рыцаря, покалечив ноги его лошади ударом палаша. Конь и всадник покатились на землю. Однако положение Черного Рыцаря оставалось крайне опасным, так как его со всех сторон теснили воины, вооруженные с головы до ног. Он непрерывно оборонялся мечом от нападающих и уже начал изнемогать от усталости, как вдруг меткая стрела положила на месте одного из самых рослых его противников. В ту же минуту на поляну высыпала толпа иоменов под предводительством Локсли и веселого отшельника. Они немедля приняли участие в борьбе, и вскоре негодяи все до одного полегли мертвые или смертельно раненные.   
 Черный Рыцарь поблагодарил своих избавителей с таким величавым достоинством, какого они раньше не замечали в нем, принимая его скорее за отважного воина, чем за знатную особу.   
 - Прежде чем выразить признательность моим преданным и усердным друзьям, - сказал он, - для меня чрезвычайно важно узнать, кто такие эти неожиданные враги. Вамба, подними забрало Синего Рыцаря. Он, кажется, начальник шайки.   
 Шут подбежал к предводителю убийц, который лежал, придавленный своим конем, и так сильно расшибся, что был не в состоянии ни бежать, ни сопротивляться.   
 - Ну-ка, храбрый воин, - сказал Вамба, - дай я тебе послужу оруженосцем, как послужил конюхом. Я тебя с лошади снял, я же с тебя и шлем сниму.   
 С этими словами он довольно бесцеремонно снял шлем с головы Синего Рыцаря, и глазам зрителей представились седые кудри и лицо, которое Черный Рыцарь никак не ожидал встретить при подобных обстоятельствах.   
 - Вальдемар Фиц-Урс! - воскликнул он в изумлении. - Что могло побудить человека твоего звания и с твоей доброй славой взяться за такое гнусное дело?   
 - Ричард, - отвечал пленный рыцарь, подняв на него глаза, - плохо же ты разбираешься в людях, если не знаешь, до чего могут довести честолюбие и мстительность.   
 - Мстительность? - повторил Черный Рыцарь. - Но я никогда не обижал тебя. За что же ты мне мстишь?   
 - За мою дочь, Ричард, на которой ты не захотел жениться. Разве это не достаточная обида для норманна такого же знатного рода, как и ты?   
 - Твоя дочь? - спросил Черный Рыцарь. - Вот странный предлог для вражды, дошедшей до кровавой расправы! Отойдите прочь, - господа, мне нужно поговорить с ним наедине. Ну, Вальдемар Фиц-Урс, теперь говори чистую правду: сознавайся, кто тебя подбил на это предательство?   
 - Сын твоего отца, - отвечал Вальдемар. - Как видишь, он карает тебя за то лишь, что ты был непокорным сыном своего отца.   
 Глаза Ричарда сверкнули негодованием, но лучшие чувства пересилили в нем гнев. Он провел рукой по лбу и с минуту стоял, глядя в лицо поверженному барону, в чертах которого гордость боролась со стыдом.   
 - Ты не просишь пощады, Вальдемар? - сказал король.   
 - Кто попал в лапы льва, тот знает, что это было бы бесполезно, - отвечал Фиц-Урс.   
 - Так бери ее непрошеную, - сказал Ричард, - лев не питается падалью. Дарю тебе жизнь, но с тем условием, что в течение трех дней ты покинешь Англию, поедешь укрыть свой позор в своем нормандском замке и никогда не дерзнешь упоминать имя Джона Анжуйского в связи с этим вероломным преступлением. Если ты окажешься на английской земле позднее положенного мною срока, то умрешь, а если малейшим намеком набросишь тень на честь моего дома, клянусь святым Георгием, не уйдешь от меня и даже в церкви от меня не спасешься! Я тебя повешу на башне твоего собственного замка на пищу воронам... Локсли, я вижу, что ваши иомены успели уже переловить разбежавшихся коней. Дайте одну лошадь этому рыцарю и отпустите его с миром!   
 - Если бы я не думал, что слышу голос, которому должен повиноваться беспрекословно, - отвечал иомен, - я бы с охотой послал вслед этому подлецу добрую стрелу, чтобы избавить его от длинного путешествия.   
 - У тебя английская душа, Локсли, - сказал Черный Рыцарь, - и ты чутьем угадал, что обязан мне повиноваться. Я Ричард Английский!   
 При этих словах, произнесенных с величием, подобающим высокому положению и благородному характеру Ричарда Львиное Сердце, все иомены преклонили колена, почтительно выразили свои верноподданнические чувства и просили прощения в своих провинностях.   
 - Встаньте, друзья мои, - милостиво сказал Ричард, глядя на них с обычной приветливостью, успевшей потушить пламя внезапного гнева. Выражение его лица, хотя и горевшего еще от сильного напряжения, уже ничем не напоминало о недавней отчаянной схватке. - Встаньте, друзья мои! Ваши бесчинства как в лесах, так и в чистом поле искупаются верной службой, которую вы сослужили моим несчастным подданным под стенами Торкилстона, а также и тем, что сегодня выручили из беды вашего короля. Встаньте, мои вассалы, и будьте мне впредь добрыми подданными. А ты, храбрый Локсли...   
 - Не зовите меня более Локсли, государь, и узнайте то имя, которое получило широкую известность и, быть может, достигло даже и вашего царственного слуха... Я Робин Гуд из Шервудского леса.   
 - Стало быть, король разбойников и глава добрых молодцов? - сказал король. - Кто же не знает твоего имени! Оно прогремело до самой Палестины! Но будь уверен, мой славный разбойник, ни одно дело, совершенное в мое отсутствие и в порожденные им смутные времена, не будет вменено тебе в преступление.   
 - Вот уж правду говорит пословица, - вмешался тут Вамба, несколько менее развязно, чем обычно, -   
 Когда уходит кот,   
 Нет у мышей забот.   
 - Как, Вамба, и ты здесь! - сказал Ричард. - Я так давно не слышал твоего голоса, что думал - ты спасся бегством.   
 - Это я-то спасся бегством? Как бы не так! - сказал Вамба. - Когда же видно, чтобы глупость добровольно расставалась с доблестью? Вон лежит жертва моего меча - славный серый мерин. Я бы предпочел, чтобы он стоял здесь в добром здоровье, а на его месте валялся его хозяин. Сначала я немного сплоховал, это верно, потому что пестрая куртка - не такая хорошая защита от острых копий, как стальной панцирь. Но хоть я и не все время сражался мечом, согласитесь, что я первый протрубил сбор.   
 - И очень кстати, честный Вамба, - сказал король. - Я не забуду твоей верной услуги.   
 - Confiteor! Confiteor! [51] - раздался смиренный голос поблизости от короля. - Ох, остальная латынь вся из головы вылетела! Но я сам исповедуюсь в смертном грехе и прошу только, чтобы простились мне мои прегрешения перед тем, как меня поведут на казнь!   
 Ричард оглянулся и увидел веселого отшельника, который, стоя на коленях, перебирал четки, а дубинка его, изрядно поработавшая во время недавней свалки, лежала на траве рядом с ним. Он состроил такую рожу, которая по его мнению, должна была выражать глубочайшее сокрушение: глаза закатил, а углы рта опустил книзу, словно шнурки у кошелька, по выражению Вамбы. Однако все эти признаки величайшего раскаяния не внушили особого доверия, так как на лице отшельника проглядывало сильное желание расхохотаться, а глаза его так весело блестели, что и страх и покаяние были, очевидно, притворны.   
 - Ты с чего приуныл, шальной монах? - сказал Ричард. - Боишься, что твой епископ узнает, как ты усердно служишь молебны богородице и святому Дунстану?.. Не бойся, брат: Ричард, король Англии, никогда не выдаст тех секретов, которые узнает за бутылкой.   
 - Нет, премилостивейший государь, - отвечал отшельник (всем любителям народных баллад про Робина Гуда известный под именем брата Тука), - мне страшен не посох епископа, а царский скипетр. Подумать только, что мой святотатственный кулак дерзнул коснуться уха помазанника божия!   
 - Ха-ха! - рассмеялся Ричард. - Вот откуда ветер дует! А я позабыл о твоем тумаке, хотя после того у меня весь день в ухе звенело. Правда, затрещина была знатная, но я сошлюсь на свидетельство этих добрых людей: разве я не отплатил тебе той же монетой? Впрочем, если считаешь, что я у тебя в долгу, я готов сию же минуту...   
 - Ох, нет, - отвечал монах, - я свое получил сполна, да еще с лихвой! Дай бог вашему величеству все свои долги платить так же аккуратно.   
 - Если бы можно было всегда расплачиваться тумаками, мои кредиторы не жаловались бы на пустую казну, - сказал король.   
 - А все же, - сказал отшельник, снова состроив плаксивую рожу, - я не знаю, какое будет на меня наложено наказание за этот богопротивный удар.   
 - Об этом, брат, и говорить не стоит, - сказал король. - Мне столько доставалось ударов от руки всяких язычников и неверных, что нет причины сетовать на одну-единственную пощечину от такого святого человека, каков причетник из Копменхерста. А не лучше ли будет, друг мой, и для тебя и для святой церкви, если я добуду тебе позволение сложить с себя духовный сан и возьму тебя в число своей стражи, дабы ты столь же усердно охранял нашу особу, как прежде охранял алтарь святого Дунстана?   
 - Ах, государь, - сказал монах, - смиренно прошу ваше величество простить меня и уволить от такой милости! Если бы вы знали, до чего я изленился! Святой Дунстан (да предстательствует он за нас перед господом!) стоит себе преспокойно в своей нише, хотя я и забываю иногда помолиться ему в погоне за какимнибудь оленем. И по ночам иногда отлучаюсь из кельи, занимаюсь пустяками, а святой Дунстан - ни гугу! Самый спокойный хозяин, уж поистине миротворец, хоть и вырезан из дерева. Если же я буду иоменом и телохранителем при особе моего государя - это, конечно, большая честь, но стоит мне маленько отвлечься в сторону, пострелять дичи в лесу, утешить ли вдовицу где-нибудь в укромном уголке, так и пойдут розыски: "Куда девался этот монах, вражий пес?" Или: "Кто знает, где запропастился проклятый Тук?" А лесные сторожа станут говорить: "Один этот расстрига уничтожает больше дичи, чем все остальные охотники!" Или: "Какую ни завидит робкую лань, сейчас вдогонку за ней!" Короче говоря, государь мой милостивый, оставьте вы меня на прежнем месте. А если будет, такая ваша милость, что пожелаете оказать мне, бедному служителю святого Дунстана в Копменхерсте, какое-нибудь благодеяние, то всякий дар я приму с великой благодарностью.   
 - Понимаю! - молвил король. - И дарую тебе, благочестивому служителю церкви, право охоты в моих Уорнклиффских лесах. Смотри, однако ж, я тебе разрешаю убивать не более трех матерых оленей на каждое время года. Но готов прозакладывать свое звание христианского рыцаря и английского короля, что ты воспользуешься этим правом иначе и будешь бить по тридцати штук.   
 - Уж это как водится, ваше величество, - сказал отшельник. - Молитвами святого Дунстана я найду способ приумножить ваше щедрое даяние.   
 - Я в этом не сомневаюсь, братец. А так как дичь не так вкусна всухомятку, нашему эконому дан будет приказ доставлять тебе ежегодно бочку испанского вина, бочонок мальвазии да три бочки эля первейшего сорта. Если и этим ты не утолишь свою жажду, приходи ко двору и сведи знакомство с моим дворецким.   
 - А что же для самого святого Дунстана? - сказал монах.   
 - Получишь еще камилавку, стихарь и покров для алтаря, - продолжал король, осеняя себя крестным знамением. - Но не будем балагурить на этот счет, чтобы не прогневить бога тем, что больше думаем о своих забавах, чем о молитве и о прославлении его имени.   
 - За своего покровителя я ручаюсь! - радостно подхватил монах.   
 - Ты отвечай лучше за себя самого, - молвил король сурово, но тотчас же протянул руку смущенному отшельнику, который еще раз преклонил колено и поцеловал ее.   
 - Моей разжатой руке ты оказываешь меньшее уважение, чем сжатому кулаку, - сказал король Ричард, - перед ней только на колени стал, а перед кулаком растянулся плашмя.   
 Но отшельник побоялся продолжать беседу в таком шутливом тоне, видя, что это не всегда выходит удачно, - предосторожность, далеко не лишняя для тех, кому случается разговаривать с монархами. Поэтому вместо ответа он низко поклонился королю и отступил назад.   
 В эту минуту появились на сцене еще два новых лица.

**Глава XLI**

Привет вам, о доблестные господа!   
 Бедны мы, зато веселы мы всегда!   
 Вас зовем без стыда   
 Туда, где оленей пасутся стада.   
 Пожалуйста, милости просим сюда!   
 Макдоналд   
  
 Вновь прибывшие были Уилфред Айвенго, верхом на кобыле ботольфского аббата, и Гурт на боевом коне, принадлежавшем самому рыцарю. Велико было изумление Уилфреда, когда он увидел своего монарха забрызганным кровью, а на поляне вокруг него шесть или семь человек убитых. Не менее удивило его и то что Ричард был окружен таким множеством людей, по виду похожих на вольных иоменов, то есть на разбойников, а в лесу это была довольно опасная свита для короля. Айвенго не знал, как ему следует обращаться с Ричардом: как с королем или как со странствующим Черным Рыцарем. Король вывел его из затруднения.   
 - Ничего не опасайся, Уилфред, - сказал он, - здесь можешь признавать меня Ричардом Плантагенетом, потому что, как видишь, я окружен верными английскими сердцами, хотя они немножко и сбились с прямого пути по милости своей горячей английской крови.   
 - Сэр Уилфред Айвенго, - сказал отважный вождь разбойников, выступая вперед, - я ничего не могу прибавить к словам его величества. Но все-таки с гордостью скажу, что из числа людей, пострадавших за последнее время, нет у короля слуг более верных и преданных, чем мы!   
 - Я в этом не сомневаюсь, - сказал Уилфред, - раз ради них ты, добрый иомен. Но что означает это зловещее зрелище? Здесь мертвые тела, и панцирь моего государя забрызган кровью?   
 - На нас напали изменники, Айвенго, - сказал король, - и только благодаря этим отважным молодцам измена получила законную кару. А впрочем, мне только сейчас пришло в голову, что ты тоже изменник, - прибавил Ричард улыбаясь, - и самый непокорный изменник. Не мы ли решительно запретили тебе уезжать из аббатства святого Ботольфа, пока не заживет твоя рана?   
 - Она зажила, - сказал Айвенго, - осталась одна царапина. Но зачем, о зачем, благородный государь, сокрушаете вы сердца верных слуг и подвергаете опасности жизнь вашу, предпринимая одинокие поездки и ввязываясь в приключения, словно ваша жизнь не имеет большей цены, чем жизнь простого странствующего рыцаря, который ценит только то, что может добыть мечом и копьем!   
 - А Ричард Плантагенет и не ищет иной славы, - отвечал король, - ему всего дороже та слава, которую он добывает своим мечом и копьем. Да, Ричард Плантагенет больше гордится победой, одержанной в одиночку своей твердой рукой и мечом, чем завоеванной во главе стотысячного войска.   
 - Но подумайте о вашем королевстве, государь, - сказал Айвенго, - вашему королевству грозит распад и междоусобная война, а вашим подданным угрожают тысячи зол, если они лишатся своего монарха в одной из тех стычек, в которые вам угодно вмешиваться каждый божий день, вроде той, от которой вы только что спаслись.   
 - Вот как, мое королевство, мои подданные? - нетерпеливо спросил Ричард. - Могу сказать, сэр Уилфред, что если я делаю глупости, то мои подданные платят мне тем же. Например, есть у меня вернейший слуга Уилфред Айвенго, который не слушается моих приказаний, но позволяет себе делать выговоры своему королю за то, что король не поступает точно по его советам. Кто из нас имеет больше поводов укорять другого? Ну, прости меня, мой верный Уилфред. Я недаром скрывал свое пребывание. Некоторое время мне необходимо оставаться в безвестности, как я уже объяснил тебе вчера в аббатстве святого Ботольфа. Это нужно для того, чтобы дать время моим друзьям и верным вассалам собрать свои дружины. Ибо к тому времени, когда всем станет" известно, что Ричард вернулся, он должен иметь такое войско, чтобы сразу устрашить врагов и подавить задуманный мятеж, не обнажив меча. Пройдут еще сутки, прежде чем Эстотвил и Бохун наберут достаточно сил, чтобы двинуться на Йорк. Сперва нужно получить вести с юга - от Солсбери да от Бошана из графства Уорикшир, а потом еще с севера - от Малтона и Перси. Тем временем лорд-канцлер должен заручиться содействием Лондона. Внезапное мое появление может подвергнуть меня таким опасностям, от которых не защитит меня и собственный добрый меч, даже в союзе с меткими стрелами отважного Робина, дубинкой брата Тука и охотничьим рогом моего мудрого Вамбы.   
 Уилфред поклонился с покорным видом. Он знал, что было совершенно бесполезно бороться с духом удалого рыцарства, так часто вовлекавшим его государя в опасности, которых тот легко мог избежать; искать же их, что он делал, было совершенно непростительно в его положении.   
 Поэтому юный рыцарь вздохнул и промолчал, а Ричард, очень довольный, что заставил его замолчать, хотя и чувствовал в душе справедливость его укоров, завел разговор с Робин Гудом.   
 - А что, разбойничий король, - сказал Ричард, - не найдется ли у вас чего-нибудь перекусить твоему брату королю? Эти предатели заставили меня потрудиться, и я проголодался.   
 - По правде сказать, - отвечал Робин Гуд, - а лгать вашему величеству я не стану, - наши съестные припасы состоят главным образом из... - Он замялся и, видимо, находился в затруднении.   
 - Из дичи, вероятно? - весело подсказал Ричард. - Что же лучше такого кушанья? Притом, если королю не сидится дома и он сам своей дичи не стреляет, нечего ему шуметь, когда она попадает к нему в руки убитой.   
 - Если ваше величество, - сказал Робин, - еще раз удостоите своим присутствием одно из сборных мест дружины Робина Гуда, в дичи недостатка не будет. Найдутся и кружка доброго эля и кубок довольно порядочного вина как приправа к еде.   
 Разбойник пошел вперед, указывая дорогу, а веселый король последовал за ним, вероятно испытывая большее удовольствие от предстоящей трапезы с Робином Гудом и его лесными товарищами, чем от пышного пира за королевским столом среди блестящей свиты. Ричард Львиное Сердце ничего так не любил, как заводить новые знакомства и пускаться в неожиданные приключения; если при этом встречались серьезные опасности, для него было высшим наслаждением преодолевать их. Король, наделенный львиным сердцем, был образцом рыцаря, совершающего блестящие, но бесполезные подвиги, описываемые в романах того времени; слава, добытая собственной доблестью, была для него гораздо дороже той, какую он мог бы приобрести мудростью и правильной политикой своего правления. Поэтому его царствование было подобно полету стремительного и сверкающего метеора, который, проносясь по небу, распространяет ненужный и ослепительный свет, а затем исчезает, погружаясь в полную тьму. Его рыцарские подвиги послужили темой для бесчисленных песен бардов и менестрелей, но он не совершил никаких плодотворных деяний из числа тех, о которых любят повествовать историки, ставя их в пример потомству.   
 Зато теперь, в компании случайных спутников, Ричард чувствовал себя как нельзя лучше. Он был весел, благодушен и приветлив к людям любого звания и положения.   
 В тени огромного дуба наскоро приготовлена была незатейливая трапеза для английского короля, окруженного людьми, нарушавшими законы его государства, но в эту минуту служившими ему телохранителями и придворной свитой. Когда пошла в ход бутыль с вином, грубые дети лесов быстро утратили всякую боязнь перед королем. Начались песни, шутки, хвастливые рассказы об удачных разбойничьих подвигах и успешных для них нарушениях законов; собутыльники увлекались, и ни один и не вспоминал, что все это говорится перед лицом законного властелина. Веселый монарх не более остальных придавал значение своему высокому титулу, смеялся, шутил и опрокидывал полные кубки. Однако врожденный здравый смысл Робина Гуда внушил ему желание поскорее покончить с этой пирушкой, пока ничто еще не нарушило общего согласия, тем более что он видел, как начал хмуриться и волноваться Уилфред Айвенго.   
 - Нам очень лестно, - сказал Робин вполголоса Уилфреду, - находиться в обществе нашего доблестного монарха, но я не хотел бы, чтобы он терял среди нас время, которое при данных обстоятельствах так дорого для государства.   
 - Ты правильно рассудил, славный Робин Гуд, - сказал Уилфред так же тихо. - К тому же надо тебе знать, что шутить с королями, хотя бы под самую веселую руку, все равно что заигрывать со львенком, который каждую минуту может выпустить когти и показать клыки.   
 - Этого-то я и боюсь, - сказал Робин Гуд. - У меня народ грубый и по природе и по занятиям, а король благодушен, но вспыльчив. Нельзя даже предвидеть, чем можно ему не угодить и как мои молодцы примут его гнев. Пора бы как-нибудь прекратить эту пирушку.   
 - Так придумай, как это сделать, - сказал Айвенго, - потому что все мои намеки побуждают его только затягивать ее.   
 - Значит, мне предстоит рисковать только что приобретенным прощением и милостью короля, - задумчиво произнес Робин Гуд. - Но, клянусь святым Христоформ, будь что будет. Я бы не стоил его милостей, если б не рисковал потерять их для его же пользы... Эй, Скетлок, поди стань вон там, за кустами, и протруби мне норманский сигнал. Да проворнее у меня, иначе берегись!   
 Скетлок повиновался распоряжению своего предводителя, и не прошло пяти минут, как пирующие были подняты со своих мест звуком его рожка.   
 - Это сигнал Мальвуазена, - сказал Мельник, встрепенувшись и хватаясь за свой лук.   
 Отшельник бросил бутыль и взялся за дубину. Вамба поперхнулся на какой-то прибаутке и стал разыскивать свой меч и щит. Все остальные тоже взялись за оружие.   
 Людям, ведущим жизнь, полную опасностей, нередко случается сразу переходить от обеда к битве, а для Ричарда такой переход только усиливал удовольствие. Он крикнул, чтобы ему подали его шлем и те доспехи, которые он было снял перед обедом, и пока Гурт помогал ему надеть их, он усердно уговаривал Уилфреда, под страхом своего гнева, не принимать участия в побоище, которое считал неизбежным.   
 - Ты за меня сто раз сражался, Уилфред, я сам был тому свидетелем. Сделай мне удовольствие сегодня, сиди смирно и смотри, как Ричард будет биться ради своего друга и вассала.   
 Между тем Робин Гуд разослал людей в разные стороны, будто бы на разведку, и когда убедился, что собеседники разошлись и трапеза окончена, подошел к Ричарду, успевшему вооружиться с головы до ног, и, преклонив перед ним колено, попросил короля простить его.   
 - За что еще? - с раздражением спросил Ричард. - Кажется, мы уже объявили тебе прощение за все прошлые провинности. Или ты думаешь, что наше слово - все равно что перо, летящее по ветру? Ведь ты, надеюсь, с тех пор еще не успел ни в чем провиниться?   
 - В том-то и дело, что успел, - отвечал иомен, - если считать за грех то, что я обманул своего государя для его же пользы. Тот рог, который мы слышали, принадлежал не Мальвуазену: это я сам велел трубить с целью прекратить пиршество, так как думал, что оно отнимет у вас драгоценные часы, нужные для иных, более важных дел.   
 Сказав это, Робин поднялся на ноги, сложил руки на груди и с выражением скорее почтительным, чем покорным, ждал, что скажет ему король. Видно было, что он сознает вину, но все-таки убежден в чистоте своих побуждений. Краска гнева залила щеки Ричарда, но это была лишь минутная вспышка, и чувство справедливости тотчас одержало верх над нею.   
 - Шервудский король пожалел своей дичи и вина для короля Англии, - сказал Ричард. - Ну ладно, смелый Робин! Когда приедешь ко мне в гости в веселый Лондон, надеюсь, я окажусь менее скупым хозяином. А впрочем, ты правильно поступил. Ну, так на коней и в путь! Уилфред и то уж целый час в нетерпении. Скажика мне, добрый Робин, бывал ли у тебя в отряде такой друг, который мало того, что подает советы, но еще хочет руководить каждым твоим движением и прикидывается несчастным всякий раз, как ты вздумаешь поступить по-своему?   
 - Как же, есть у меня помощник, - отвечал Робин, - по прозвищу Маленький Джон. Его теперь нет с нами: он отправился в дальнюю экспедицию, на границу Шотландии. Я признаюсь вашему величеству, его советы часто меня тяготят. Однако, подумав, я не могу на него сердиться, зная, что он в своем усердии думает только о моей пользе.   
 - А ты прав, честный иомен, - сказал Ричард. - Будь при мне с одной стороны Айвенго, который дал бы мне нужный совет, сопроводив его своим хмурым и печальным видом, а с другой стороны - ты, надувающий меня ради моей же пользы, я бы ничего не мог решить по своей воле, впрочем как и всякий король христианской или языческой страны... Ну что ж, господа, в путь. Отправимся с легким сердцем в Конингсбург, а об этом забудем.   
 Робин Гуд сказал Ричарду, что послал в ту сторону отряд, который сейчас же предупредит их, если по дороге окажется какая-либо засада. Но, по всей вероятности, путь туда вполне безопасен. В противном случае они вовремя будут оповещены об опасности и смогут отступить на соединение с сильным отрядом стрелков, во главе которых он сам решил двинуться в том же направлении.  
 Такое внимание к его безопасности тронуло Ричарда и рассеяло последние следы досады на хитрость, которой предводитель разбойников заставил его тронуться в путь. Он еще раз протянул руку Робину Гуду, подтвердил уверения в полном прощении за прошлое и в своем благоволении в будущем, а также выразил твердую решимость ограничить произвол в применении лесных законов, под давлением которых так много английских иоменов превратилось в бунтовщиков.   
 Но благие намерения Ричарда не успели осуществиться из-за его безвременной кончины. Новый уста" об охране лесов и охоты был вырван из рук короля Джона, когда он вступил на престол после смерти своего братагероя.   
 Что до Робина Гуда, его дальнейшей судьбы и смерти от руки предателя, - рассказ обо всем этом можно найти в тех старинных песенках, отпечатанных готическими буквами, которые когда-то продавались по полупенни за штуку.   
 Теперь дороже золота они.   
 Предсказание разбойника сбылось: король в сопровождении Айвенго, Гурта и Вамбы без всякой помехи проехал по намеченной дороге и еще засветло достиг замка Конингсбург.   
 Мало есть в Англии местностей более красивых, чем окрестности этой древней твердыни. Среди холмов, расположенных амфитеатром, протекает тихая, спокойная река Дон, обрамленная лесами вперемежку с возделанными нивами. На горе, над самой рекой, возвышается окруженный крепкими стенами и глубокими рвами древний замок, саксонское название которого показывает, что до завоевания норманнами здесь была резиденция английских королей. Наружные крепостные стены, по всей вероятности, были выстроены норманнами, но главное здание носит следы глубокой древности. Оно стоит на холме в одном из углов внутреннего двора и образует полный круг, не более двадцати пяти футов в диаметре. Стены его чрезвычайно толсты и подперты, или защищены, с внешней стороны шестью громадными устоями. Эти массивные устои, широкие у основания, суживаются вверху; у вершины они полые и образуют своего рода башенки, сообщающиеся с внутренней частью строения. Эта тяжелая громада видна издалека, и ее странные формы и удивительные устои так же интересны для любителей живописных видов, как внутреннее устройство любопытно для любителя старины, перенося его воображение к временам семицарствия. Вблизи замка есть курган, предполагаемая могила знаменитого Хенгиста, а на соседнем кладбище множество замечательных памятников седой старины.   
 Когда Ричард и его свита достигли этого неуклюжего, но величественного здания, вокруг него еще не было каменных стен. По-видимому, саксонский зодчий израсходовал все свое искусство на защиту главной твердыни, но не позаботился о наружных укреплениях, так как вместо них был поставлен простой частокол.   
 Большой черный флаг, поднятый на вершине главной башни, возвещал о том, что похоронные торжества все еще продолжаются и тело хозяина дома еще не предано земле. На этом флаге не было никаких эмблем, указывающих на происхождение и звание покойного. В то время гербы едва начинали входить в употребление среди норманнов, а саксы и вовсе не знали о них. Но над воротами висел другой флаг - с изображением белой лошади, что служило указанием на национальность и знатное происхождение умершего, так как было знаменем Хенгиста и его саксонских воинов.   
 Вокруг замка царило необычайное оживление. Похоронные торжества сопровождались тогда щедрым угощением не только близких покойного и его вассалов, но и всех случайных прохожих. На поминках богатого и знатного Ательстана это хлебосольство развернулось особенно широко.   
 Поэтому толпы народа непрерывно спускались и поднимались по горе, на которой стоял замок. Когда же король и его спутники въехали через растворенные настежь ворота во двор замка, глазам их представилась картина, которая совсем не вязалась с мрачным похоронным обрядом. В одном углу ограды повара жарили быка и жирных овец, в другом стояли открытые бочки с пивом, предоставленные в полное распоряжение прохожих. И всюду небольшие группы людей всякого звания, поедавшие обильное угощение и запивавшие его домашним пивом. Тут толпились и полунагие саксонские рабы, голодавшие полгода подряд и пришедшие сюда, чтобы хоть один денек попить и поесть вволю. Там зажиточные горожане и цеховые мастера угощались с большим разбором, степенно обсуждая количество затраченных припасов и искусство пивовара. Кое-где виднелись и бедные дворяне норманского происхождения. Они отличались от прочих бритыми подбородками, короткими плащами, а также тем, что держались особняком и с величайшим презрением смотрели на все окружающее, не упуская в то же время случая угоститься за счет щедрых хозяев.   
 Само собою разумеется, что нищие сновали по всему двору, вперемежку с солдатами, воротившимися, по их словам, из Палестины. Разносчики раскладывали здесь свои товары; бродячие мастеровые расспрашивали о работе; тут же разные странники, богомольцы, самозваные монахи, саксонские менестрели и уэльские барды бормотали молитвы и извлекали нестройные звуки из своих арф, шестиструнных скрипок и гитар. Один прославлял Ательстана в горестном панегирике, другой пел песню о его родословной, перечисляя трудные имена его благородных предков. Не было недостатка в фокусниках и скоморохах; их представления в таком месте и по такому поводу никому не казались неуместными или предосудительными. В этом отношении взгляды саксов отличались крайней простотой. Если человек с горя захотел есть - вот ему пища, если захотел пить - вот питье, а если его брала тоска - вот и развлечения. И гости всем этим пользовались без малейшего стеснения. Но время от времени, как бы вспоминая, по какому случаю они сюда явились, все мужчины принимались стонать, а женщины (их тоже было немало) начинали вопить и причитать во весь голос.   
 Таково было зрелище, представшее глазам Ричарда и его спутников при входе в ограду замка Конингсбург. Дворецкий, или сенешаль, не удостаивал вниманием беспрестанно приходивших и уходивших гостей низшего звания, вмешиваясь в дело лишь в тех случаях, когда надо было наводить порядок. Однако он был невольно поражен наружностью короля и Айвенго, лицо которого показалось ему хорошо знакомым. К тому же появление рыцарей было довольно редким случаем на саксонских торжествах и считалось большой честью для покойника и его семейства. Эта важная персона в траурном одеянии и с белым жезлом в руке выступила вперед и расчистила дорогу среди разношерстеной толпы для Ричарда и Айвенго ко входу в башню.   
 Гурт и Вамба остались на дворе, где они тотчас повстречали приятелей и дожидались, пока их позовут.

**Глава XLII**

Я видел - одевали труп Марчелло.   
 И слышалось торжественное пенье.   
 Вокруг и плакали и голосили;   
 Обычно так поют и причитают   
 Старухи, что проводят ночь у гроба.   
 Старинная пьеса   
  
 Вход в главную башню Конингсбурга очень своеобразен и свидетельствует о грубой простоте той эпохи, в которую был выстроен этот замок. Несколько очень крутых, почти отвесных ступенек ведут в низкий проход в южной стене башни, сквозь который любознательный исследователь старины может (или мог по крайней мере несколько лет тому назад) проникнуть внутрь замка и по узенькой лестнице, высеченной в толще самой стены, подняться на третий этаж.   
 Два нижних этажа служили погребами или казематами и получали свет и воздух через четырехугольное отверстие в полу третьего этажа; проникнуть туда можно было только при помощи переносной деревянной лестницы. Сообщение с четвертым поддерживалось через ходы в устоях замка.   
 Такими-то сложными путями и повели доброго короля Ричарда и его верного Айвенго в круглый зал, занимавший весь третий этаж. Пока они медленно подвигались по крутым лестницам, Уилфред постарался так закутаться в плащ, чтобы скрыть свое лицо. Он считал неуместным показываться отцу, пока король не подаст ему знака.   
 В зале вокруг большого дубового стола сидело человек двенадцать знатных саксов, собравшихся из всех соседних округов. Все это были старики или люди пожилые, ибо молодое поколение, к великому неудовольствию старших, последовало примеру Уилфреда Айвенго, нарушив многие из преград, полвека отделявших покоренных саксов от победивших норманнов. Унылый и печальный вид этих почтенных людей, их безмолвие и грустные позы составляли разительную противоположность веселью и оживлению, царившим под стенами замка. Их распущенные по плечам седые волосы, длинные, окладистые бороды, куртки старинного покроя и широкие черные плащи вполне соответствовали простоте своеобразной комнаты, где они заседали, и придавали им вид древних поклонников Одина, оживших лишь для того, чтобы оплакивать былое величие своего племени.   
 Седрик занимал место рядом с остальными, но, по общему молчаливому соглашению, был главным лицом в этом зале. Когда вошел Ричард (известный ему лишь как храбрый Рыцарь Висячего Замка), Седрик важно встал с места и, подняв кубок, произнес приветствие: "Добро пожаловать!" Король, уже освоившийся с обычаями своих саксонских подданных, ответил: "За ваше здоровье!" - и выпил кубок, поданный ему прислужником. Та же любезность оказана была Уилфреду, но он только поклонился в ответ, боясь, как бы его не узнали по голосу.   
 Когда эта предварительная церемония была кончена, Седрик опять встал и, подав руку Ричарду, повел его в тесную и бедную капеллу, как бы выдолбленную в толще одного из устоев крепости. Так как вместо окон здесь была одна узкая бойница, то внутри помещения царила почти полная темнота. Только два дымных факела бросали слабый красноватый свет на сводчатый потолок, голые стены и грубый каменный алтарь с распятием.   
 Перед этим алтарем установлен был гроб, а по обеим сторонам его по три монаха, стоя на коленях, с благочестивым видом перебирали четки и бормотали молитвы. За эту церемонию мать покойного Ательстана внесла богатейший вклад на помин души в монастырь святого Эдмунда. Для того чтобы в полной мере заслужить ее приношение, вся братия (за исключением одного только хромого пономаря) переселилась на время в Конингсбург, где по шесть человек одновременно выполняли богослужение при гробе Ательстана, а остальные, не теряя времени, угощались всеми яствами, какие в ту пору предлагались в замке, не забывая и о развлечениях. При отправлении богослужения у гроба благочестивые монахи пуще всего заботились о том, чтобы духовные песнопения не прекращались ни на одну секунду, из опасения, как бы Зернобок, этот Аполлион древних саксов, не наложил своих когтей на покойника. Не менее заботливо охраняли они от прикосновения мирян погребальный покров на гробе, так как этот покров употреблялся при похоронах святого Эдмунда и, следовательно, мог подвергнуться осквернению, если бы до него коснулась рука непосвященного. Если верить, что все эти заботы и знаки внимания могли принести какую-либо пользу покойнику, то он имел полное право ожидать их от монастырской братии святого Эдмунда, потому что, помимо ста золотых марок, внесенных когда-то самим Ательстаном на помин своей души, мать покойного уже объявила о намерении пожертвовать обители большую часть земель и угодий, принадлежавших ее сыну, на вечное поминовение его души и души ее мужа.   
 Ричард и Уилфред вошли за Седриком в часовню и, когда он торжественно указал им на гроб безвременно почившего Ательстана, набожно перекрестились и пробормотали краткую молитву об упокоении его души.   
 Исполнив этот благочестивый обряд, Седрик подал им знак следовать за ним и, бесшумно скользя по каменному полу, повел их дальше. Поднявшись на несколько ступеней, он с величайшей осторожностью отворил дверь небольшой молельни рядом с часовней. Это была квадратная комнатка, не больше восьми футов в длину и ширину, уместившаяся, так же как и капелла, в толще стены; узкая бойница, служившая вместо окна и обращенная на запад, сильно расширялась внутри комнаты.   
 Лучи заходящего солнца проникли в это темное убежище и озарили величавую женщину, лицо которой хранило следы былой красоты. Длинное траурное платье и покрывало из черного крепа оттеняли белизну ее кожи и пре- лесть роскошных светлых волос, еще не посеребренных временем. Лицо ее выражало самую глубокую печаль, какая только может быть совместима с христианской покорностью. На каменном столе перед нею стояло распятие из слоновой кости и возле него - раскрытый молитвенник в золотом окладе и с застежками из того же драгоценного металла; его страницы были украшены затейливыми заглавными буквами и рисунками.   
 - Благородная Эдит, - сказал Седрик, с минуту постояв в молчании, дабы дать время Ричарду и Уилфреду рассмотреть хозяйку дома, - я привел к тебе почтенных незнакомых людей. Они пришли разделить твою печаль. Вот это - доблестный рыцарь, он храбро сражался ради освобождения из плена того, кого мы ныне оплакиваем.   
 - Благодарю его за доблестный подвиг, - отвечала леди Эдит, - хотя богу не угодно было, чтобы этот подвиг увенчался успехом. Благодарю также за любезность, побудившую его и его спутника прийти сюда, чтобы увидеть вдову Аделинга, мать Ательстана, в часы ее тяжелого горя. Вашему попечению, мой добрый родственник, поручаю я наших достойных гостей и уверена, что они не испытают недостатка в гостеприимстве, пока оно существует в этих печальных стенах.   
 Гости отвесили глубокий поклон опечаленной матери и удалились вслед за своим гостеприимным проводником.   
 Другая винтовая лестница привела их наверх, в зал точно таких же размеров, как тот, в который они вошли с самого начала. Этот зал занимал четвертый этаж здания. Когда дверь комнаты приоткрылась, послышалось унылое хоровое пение. Войдя, они застали там собрание почтенных матрон и девиц из знатных саксонских семейств. Четыре девушки, с Ровеной во главе, пели гимн душе умершего; но мы из этого поэтического произведения могли разобрать лишь две или три строфы:   
 У бренных тел   
 Один удел -   
 В прах превратится плоть.   
 Всему взамен -   
 Распад и тлен,   
 Его не побороть.   
 Оставив нас,   
 Ты в этот час   
 Летишь в обитель зла,   
 Чтоб в вышине,   
 Горя в огне,   
 Душа спастись могла.   
 От муки той   
 Слова святой   
 Тебя освободят.   
 Петь будем мы   
 Свои псалмы -   
 И ты покинешь ад.   
 Под это тихое и печальное пение четырех девушек остальные занимались вышиванием, по собственному вкусу и умению, большого шелкового покрова на гроб Ательстана или выбирали из расставленных перед ними корзин цветы и плели венки. Девицы держали себя скромно, как полагалось на похоронах, но нельзя было сказать, что они горевали. Иные украдкой перешептывались или улыбались, что всякий раз вызывало нарекания со стороны пожилых дам. Можно было заметить, что некоторые из девиц гораздо больше думали о том, идет ли к ним траурный наряд, чем о печальной церемонии. Нужно сознаться, что появление двух незнакомых рыцарей еще более усилило это настроение: девушки стали оглядываться, шептаться и подталкивать друг друга. Одна Ровена, слишком гордая, чтобы быть тщеславной, поклонилась своему избавителю с любезной грацией. Она была серьезна, но не печальна, и нельзя было решить, чем был вызван ее озабоченный вид - отсутствием известий о судьбе Айвенго или же кончиной ее родственника.   
 Седрик, как мы уже не раз имели случай заметить, не отличался особой проницательностью, и уныние его питомицы казалось ему столь глубоким и естественным, что он счел приличным объяснить его гостям, шепнув им на ухо: "Она была нареченной невестой благородного Ательстана". Вряд ли это сообщение могло побудить Уилфреда особенно грустить о кончине конингсбургского тана и сочувствовать тем, кто его оплакивал.   
 Обойдя с гостями все покои замка, где происходили погребальные торжества, Седрик провел их в небольшую комнату, предназначенную, по его словам, для почетных гостей, которые были не так близко знакомы с покойным, а потому, быть может, не желали проводить все время с теми, для кого эта скорбь была особенно чувствительна. Сказав, что им немедленно будет доставлено все, что они пожелают, он уже собрался уходить, но Черный Рыцарь удержал его за руку.   
 - Позвольте вам напомнить, благородный тан, - сказал он, - что когда мы с вами в последний раз расставались, вы обещали за те услуги, которые мне удалось оказать вам, сделать мне подарок.   
 - Все, что угодно, благородный рыцарь, - сказал Седрик, - но в такую печальную минуту...   
 - Я и об этом подумал, - прервал его король, - но у меня мало времени. К тому же, мне кажется, что в тот час, когда мы опустим в могилу благородного Ательстана, было бы желательно похоронить вместе с его останками некоторые предрассудки и несправедливые суждения...   
 - Сэр Рыцарь Висячего Замка, - сказал Седрик, покраснев и, в свою очередь, прерывая гостя, - я надеюсь, что подарок, которого вы просите, касается только вашей собственной особы. Во все, что относится к чести моего дома, постороннему человеку не подобает вмешиваться.   
 - Я и не желаю вмешиваться, - сказал король мягко, - во всяком случае, до тех пор, пока вы не признаете, что я на это имею некоторое право. До сих пор вы меня знали под именем Черного Рыцаря Висячего Замка. Знайте же, что я Ричард Плантагенет.   
 - Ричард Анжуйский! - воскликнул Седрик, отступив в величайшем изумлении.   
 - Нет, благородный Седрик, я Ричард, король английский. Заветное мое желание заключается в том, чтобы все сыны Англии жили между собою в мире и согласии... Что же, почтенный тан, ты и не думаешь преклонить колено пред твоим государем?   
 - Перед норманской кровью оно никогда не преклонялось, - сказал Седрик.   
 - Тогда воздержись от присяги, - сказал король, - пока не убедишься, что я одинаково покровительствую и норманнам и саксам.   
 - Государь, - отвечал Седрик, - я всегда отдавал справедливость твоей храбрости и достоинствам. Знаю также, на чем основаны твои права на корону: ты потомок Матильды, а она была племянницей Эдгара Атлинга и дочерью шотландского короля Малькольма. Но Матильда, хоть и королевской саксонской крови, не была наследницей престола.   
 - Я не буду спорить с тобой о моих правах, благородный тан, - сказал Ричард спокойно, - но попрошу тебя оглянуться вокруг и сказать, кого же ты теперь можешь выставить мне соперником.   
 - И ты явился сюда только затем, чтобы сказать мне об этом? - сказал Седрик. - Пришел укорять меня в гибели моего племени, когда еще не засыпана могила последнего отпрыска саксонских королей! - При этих словах лицо его омрачилось гневом. - Это смелый и опрометчивый шаг!   
 - Нисколько, клянусь святым крестом! - возразил король. - Я поступил так в полной уверенности, что один храбрый человек может положиться на другого, ничего не опасаясь.   
 - Ты хорошо сказал, государь, и я признаю, что ты король Англии и будешь им впредь, невзирая на мое слабое сопротивление. Не смею прибегнуть к тому средству, которое могло бы этому помешать, хоть ты и ввел меня в сильное искушение.   
 - А теперь вернемся к моей просьбе, - сказал король, - и я ее выскажу так же прямо и откровенно, как ты отказался признать во мне законного короля. Итак, на основании данного тобою слова и под страхом обвинения в вероломстве и клятвопреступлении прошу, чтобы ты простил доброго рыцаря Уилфреда Айвенго и снова даровал ему свою родительскую любовь. Согласись, что в этом примирении и я лично заинтересован, так как оно касается счастья моего друга и должно прекратить распри среди моих верных подданных.   
 - Это Уилфред? - спросил Седрик, указывая на сына.   
 - Отец, отец! - воскликнул Айвенго, бросаясь к его ногам. - Даруй мне твое прощение!   
 - Дарую, сын мой, - сказал Седрик, поднимая его с пола. - Потомок Херварда знает, как держать свое слово, даже если оно дано норманну. Но ты должен носить одежду наших предков - чтобы не было в моем доме куцых плащей, пестрых шапок и перьев! Если хочешь быть сыном Седрика, то и держись как потомок саксонского рода. Ты, я вижу, хочешь что-то сказать, - продолжал он сурово, - и я заранее знаю, о чем будет речь. Знай, что леди Ровена два года будет ходить в трауре по своему нареченному. Все наши саксонские предки отказались бы от нас, если бы мы вздумали говорить о другом союзе, еще не успев опустить в могилу того, с кем она должна была соединиться, кто и знатностью и родом своим был несравненно достойнее ее руки, нежели ты. Сам Ательстан сбросил бы с себя гробовые пелены и призрак его предстал бы перед нами, чтобы воспретить такое оскорбление его памяти.   
 Казалось, будто этими словами Седрик действительно вызвал призрак. Только он успел их произнести, как дверь распахнулась, и на пороге явился Ательстан - в длинном саване, бледный, худой, похожий на выходца с того света.   
 Его появление произвело на всех потрясающее впечатление. Седрик попятился к стене, прислонился к ней, словно был не в силах держаться на но- гах, и, широко разинув рот, уставился на своего друга неподвижным взглядом. Айвенго крестился, произнося молитвы, посаксонски, по-латыни и на нормано-французском наречии. А Ричард вперемежку то читал молитву: "Benedicite", то ругался по-французски: "Mort de ma vie!" [52]   
 Между тем в нижнем этаже слышался ужасный шум и раздавались крики: "Держи их, монахов-предателей! Упрятать их в подземелье! Швырнуть их с самой высокой башни!"   
 - Именем божьим заклинаю тебя, - сказал Седрик, обращаясь к тому, кого он принимал за призрак своего умершего друга, - если ты смертный - говори! Если же ты бесплотный дух - поведай, зачем ты явился к нам и что я могу сделать для упокоения твоей души? Живой или мертвый, благородный Ательстан, откройся Седрику!   
 - Погоди, - отвечал призрак очень спокойно, - дай сперва перевести дух и отдохнуть немного. Ты спрашиваешь, жив ли я? Вот уж именно чуть жив - как человек, три дня сидевший на хлебе и воде, - три дня, но они мне показались тремя веками. Да, отец Седрик, на хлебе и воде! Клянусь небесами и всеми святыми, иной пищи у меня не было целых трое суток, и только по воле бога случилось так, что я здесь и могу рассказать об этом.   
 - Как же так, благородный Ательстан, - сказал Черный Рыцарь, - я сам видел, как вы пали от руки бешеного храмовника в Торкилстоне. Я думал, да и Вамба нам говорил, что вам прорубили череп до самых зубов.   
 - Вы ошиблись, сэр рыцарь, а Вамба просто соврал, - сказал Ательстан. - Зубы у меня все целы, и я докажу это сегодня за ужином. Впрочем, за это нечего благодарить храмовника: просто меч перевернулся в его руке и удар пришелся плашмя; к тому же я отразил его плицей. Будь у меня на голове стальной шишак, я бы не заметил этого удара и сам так бы хватил Буагильбера, что он бы не сбежал. А тут я упал, правда оглушенный, но невредимый. В этой драке на меня навалились убитые и раненые норманны и иомены, а я так и не пришел в сознание до тех пор, пока не очнулся в гробу, по счастью не заколоченном; гроб стоял перед алтарем в монастырской церкви святого Эдмунда. Я несколько раз чихал, стонал, наконец пришел в себя и собрался было встать, как на шум прибежали сильно испуганные пономарь с аббатом. Они, конечно, очень удивились, но совсем не обрадовались, когда увидели живым того человека, наследством которого собрались поживиться. Я попросил у них вина. Вина-то они дали, но, должно быть" подсыпали в него снотворного, потому что я заснул крепче прежнего и проспал очень долго. Когда же я проснулся, то оказалось, что руки у меня связаны, а ноги стянуты так крепко, что до сих пор, как вспомню, щиколотки ноют. В помещении было совсем темно, видимо, это была подземная темница проклятого монастыря, а судя по затхлому, смрадному запаху, ею пользовались как покойницкой. Я никак не мог сообразить, что же это со мной происходит, но тут заскрипела дверь и вошли два негодяя монаха. Они принялись меня уверять, что я попал в чистилище, только я сразу узнал по голосу и одышке отца настоятеля. Святые угодники! Совсем по-другому заговорил, и тон совсем не тот, каким он, бывало, просил меня отрезать ему еще ломоть говядины! Проклятый пес! Ведь пировал у меня с первого дня рождества до крещения.   
 - Погодите, благородный Ательстан, - сказал король, - переведите дух и рассказывайте спокойней. Будь я проклят! Но ваш рассказ стоит того, чтобы его послушать как роман.   
 - Ну, - сказал Ательстан, - клянусь бромхольским крестом, нет ничего похожего на роман! Краюха ячменного хлеба да кувшин воды - вот все, что они давали мне, скаредные прохвосты; мой отец и я обогатили их, раньше их доходов только всего и было, что копченое сало да мерка зерна, которые они вымогали у рабов и крепостных за свои молитвы, - гнездо гнусных, неблагодарных гадюк! Ячменный хлеб и вода из канавы такому благодетелю! Ну, погодите, я их выкурю из гнезда, пусть даже отлучают меня от церкви!   
 - Именем пресвятой девы, благородный Ательстан, - сказал Седрик, хватая его за руку, - скажи, как же ты избавился от неминуемой опасности? Смягчились ли их сердца?   
 - Их сердца смягчились! - воскликнул Ательстан. - Ну нет, скорее скалы растают от солнца. Я бы и до сих пор оставался там, если бы не поднялась суматоха из-за моих поминок: они, как рой пчел из улья, прилетели сюда обжираться, а уж им-то хорошо было известно, как и где я заживо похоронен. Я сам слышал, как они пели погребальные псалмы, но мне и в голову не приходило, что это они пекутся о моей душе, а тем временем морят голодом мое тело. В конце концов они ушли, а я долго ждал, что мне дадут чего-нибудь поесть. И не диво: хромой пономарь слишком усердно занялся собственным угощением, чтобы подумать обо мне. Наконец он явился и едва сполз по ступеням, так его качало, да и несло же от него вином и пряностями! Должно быть, хорошая еда расположила его к милосердию, потому что он принес мне кусок пирога и флягу вина. Я поел, выпил и подкрепился. На мое счастье, пономарь был так пьян, что не мог исправно исполнять обязанности тюремщика. Уходя, он повернул ключ, но дверь не захлопнул, так что она приоткрылась. От света, сытной еды и вина в голове у меня прояснилось. Железная скоба, к которой были прикреплены мои цепи, совсем перержавела, чего не подозревали ни я, ни этот подлец аббат. У них в проклятом подвале такая сырость, что и железо не может долго выдержать.   
 - Вы бы отдохнули, благородный Ательстан, - сказал Ричард, - вам следует чем-нибудь подкрепиться, прежде чем закончить рассказ об этих страшных событиях.   
 - Подкрепиться? - молвил Ательстан. - Я сегодня уже раз пять поел, а впрочем, не худо бы отведать вот этой сочной ветчины. Прошу вас, любезный сэр, выпить со мной кружку вина.   
 Гости, все еще не опомнившиеся от удивления, выпили за здоровье воскресшего хозяина дома, и он продолжал свой рассказ. Теперь слушателей у него было гораздо больше. Леди Эдит, сделав все нужные распоряжения, последовала за своим восставшим из гроба сыном. Вслед за ней набралось столько любопытных, сколько могла вместить тесная комната; остальные же столпились в дверях и на лестнице. Они подхватывали на лету то, что успевали услышать из рассказа Ательстана, и передавали дальше. Переходя из уст в уста, история окончательно искажалась и доходила до ушей толпы, собравшейся на дворе замка, в неузнаваемом виде. Между тем Ательстан продолжал рассказ о своем освобождении:   
 - Кое-как вывернув железную скобу, я с трудом вылез из подвала, потому что цепи были тяжелые, а я совсем ослабел от такого поста. Долго я бродил наугад, но веселенькая песенка привела меня в то помещение, где почтенный пономарь служил молебен черту с какимто здоровенным монахом в сером балахоне с капюшоном - больше похожим на вора, чем на духовную особу. Я появился внезапно, в могильном саване, под звон цепей - сущий выходец с того света. Оба остолбенели, но когда я кулаком сшиб с ног пономаря, его собутыльник замахнулся на меня тяжелой дубиной.   
 - Бьюсь об заклад, что это был наш отшельник! - сказал Ричард Уилфреду Айвенго.   
 - А хоть бы сам черт, мне все равно, - сказал Ательстан. - По счастью, он промахнулся, а когда я подступил, чтобы сцепиться с ним, он бросился бежать. В связке ключей, что висели у пономаря на поясе, я нашел один, которым отомкнул кандалы и так освободился от цепей. Думал было той же связкой вышибить мозги у этого мерзавца, да вспомнил, что он усладил мою неволю куском пирога и флягой вина, и пожалел. Дал я ему несколько хороших пинков и оставил валяться на полу; потом, захватив кусок жареного мяса и кожаную флягу с вином, которым угощались преподобные отцы, я поспешил в конюшню. Там, в отдельном стойле, я нашел моего лучшего скакуна, очевидно припрятанного почтеннейшим аббатом для себя, и помчался сюда со всей быстротой, на какую была способна лошадь. Народ в ужасе разбегался, принимая меня за привидение, тем более что я, из опасения быть узнанным, надвинул колпак савана на лицо. Меня и в собственный замок не впустили бы, если б не подумали, что я помощник фокусника, который потешает народ во дворе замка, что довольно странно, принимая во внимание, что они тут собрались на похороны хозяина... Дворецкий вообразил, что я нарочно так нарядился для участия в представлении, и пропустил меня в замок. Я явился к матушке и наскоро перекусил, а потом отправился искать вас, мой благородный друг.   
 - И застаешь меня, - сказал Седрик, - готовым немедленно взяться за осуществление наших смелых замыслов, касающихся завоевания чести и свободы. Говорю тебе: еще ни одна утренняя заря не была так благоприятна для освобождения саксонского племени, как заря завтрашнего дня.   
 - Пожалуйста, не толкуй мне о том, что кого-то нужно освобождать, - сказал Ательстан. - Спасибо, что хоть сам-то я освободился. Для меня теперь важнее всего хорошенько наказать подлеца аббата. Повешу его на самой верхушке конингсбургской башни как есть - в стихаре и в епитрахили, а если его жирное брюхо не пролезет по лестнице, велю втащить его по наружной стене.   
 - Но, сын мой, - сказала леди Эдит, - подумай о его священном сане!   
 - Я думаю о своем трехдневном посте, - отвечал Ательстан, - и жажду крови каждого из них. Фрон де Беф сгорел живьем, а виноват был меньше их, потому что кормил своих пленников вполне сносно, если не считать, что в последний раз в похлебку положили слишком много чесноку. Сколько раз эти лицемеры и неблагодарные рабы сами напрашивались ко мне на обед, а мне даже не дали пустой похлебки и головки чесноку! Всех казню, клянусь душой Хенгиста!   
 - Но римский папа, мой благородный друг... - начал Седрик.   
 - А хоть бы и сам сатана, мой благородный друг, - перебил его Ательстан. - Казню, да и только! Будь они самые лучшие монахи на земле, мир обойдется и без них.   
 - Стыдись, благородный Ательстан! - сказал Седрик. - Стоит ли заниматься такими ничтожными людишками, когда перед тобой открыто поприще славы! Скажи вот этому норманскому принцу, Ричарду Анжуйскому, что хоть у него и львиное сердце, но он не вступит без борьбы на престол Альфреда, пока жив потомок святого Исповедника, имеющий право его оспаривать.   
 - Как! - воскликнул Ательстан. - Разве это - благородный король Ричард?   
 - Да, это Ричард Плантагенет, - отвечал Седрик, - и едва ли следует напоминать тебе, что он добровольно приехал сюда в гости, - следовательно, нельзя ни обидеть его, ни задержать в плену. Ты сам хорошо знаешь свои обязанности по отношению к гостям.   
 - Еще бы мне не знать! - сказал Ательстан. - А также и обязанности верноподданного: от всего сердца свидетельствую ему свою верность и готовность служить.   
 - Сын мой, - воскликнула леди Эдит, - подумай о твоих королевских правах!   
 - Подумай об английских вольностях, отступник! - сказал Седрик.   
 - Матушка, и вы, друг мой, оставьте ваши попреки, - сказал Ательстан. - Хлеб, вода и тюрьма - великолепные укротители честолюбия. Я встал из могилы гораздо более разумным человеком, чем сошел в нее. Добрую половину этих тщеславных глупостей напел мне в уши не кто иной, как тот же вероломный аббат Вольфрам, а вы теперь сами можете судить, что он за советчик. С тех пор как начались эти планы и переговоры, я только и знал, что спешные поездки, плохое пищеварение, драки да синяки, плен и голодовку. К тому же я знаю, что все это кончится избиением нескольких тысяч невинных людей. Говорю вам: я хочу быть королем только в своих собственных владениях и нигде больше! И первым делом моего правления будет повесить аббата.   
 - А как же Ровена? - спросил Седрик. - Надеюсь, ты не намерен ее покинуть?   
 - Эх, отец Седрик, будь же благоразумен! - сказал Атсльстан. - Леди Ровена ко мне совсем не расположена. Для нее один мизинец перчатки моего родственника Уилфреда дороже всей моей особы. Вот она сама тут и может подтвердить справедливость моих слов. Нечего краснеть, Ровена: нет ничего зазорного в том, что ты любишь пригожего и учтивого рыцаря больше, чем деревенского увальня франклина. И смеяться тоже нечего, Ровена, потому что исхудалое лицо и могильный саван вовсе не заслуживают смеха. А коли непременно хочешь смеяться, я найду тебе более подходящую причину. Дай мне руку, или, лучше сказать, ссуди ее мне, так как я прошу ее по дружбе. Ну вот, Уилфред Айвенго, объявляю, что я отказываюсь... Эге, клянусь святым Дунстаном, Уилфред исчез. Неужто у меня от истощения все еще в глазах рябит? Мне казалось, что он сию минуту стоял тут.   
 Все стали оглядываться в поисках Айвенго, но он исчез. Наконец выяснилось, что за ним приходил какойто еврей и что после короткого разгово- ра с ним Уилфред позвал Гурта, потребовал свой панцирь и вооружение и уехал из замка.   
 - Любезная родственница, - сказал Ательстан Ровене, - я не сомневаюсь, что только особо важное дело могло заставить Уилфреда отлучиться. Иначе я сам с величайшим удовольствием возобновил бы...   
 Но в ту минуту, как, озадаченный отсутствием Уилфреда, он выпустил руку Ровены, она тотчас ускользнула из комнаты, находя, вероятно, свое положение слишком затруднительным.   
 - Ну, - сказал Ательстан, - из всех живущих на земле менее всего можно полагаться на женщину, правда не считая монахов и аббатов. Ей-богу, я думал, что она по крайности скажет мне спасибо да еще поцелует придачу. Эти могильные пелены, наверно, заколдованы; все бегут от меня как от чумы... Обращаюсь теперь к вам, благородный король Ричард, и повторяю свою клятву в верности, как подобает подданному.   
 Но король тоже скрылся, и никто не знал, куда. Потом уже узнали, что он поспешно сошел во двор, позвал того еврея, с которым разговаривал Айвенго, и после минутной беседы с ним потребовал, чтобы ему как можно скорее подали коня, сам вскочил в седло, заставил еврея сесть на другую лошадь и помчался с такой быстротой, что, по свидетельству Вамбы, старый еврей наверняка сломит себе шею.   
 - Клянусь святыми угодниками, - сказал Ательстан, - должно быть, за время моего отсутствия Зернебок овладел замком. Я воротился в могильном саване, можно сказать - восстал из гроба, и с кем ни заговорю, тот исчезает, заслышав мой голос! Но лучше об этом не толковать. Что ж, друзья мои, те из вас, которые остались тут, пойдемте в трапезный зал, поужинаем, пока еще кто-нибудь не исчез. Надеюсь, что на столе всего вдоволь, как подобает на поминках саксонского дворянина знатного рода. Коли слишком замешкаемся - кто знает, не унесет ли черт наш ужин?

**Глава XLIII**

Пусть Моубрея грехи крестец сломают   
 Его разгоряченному коню   
 И на ристалище он упадет,   
 Презренный трус!   
 "Ричард II"   
  
 Возвратимся теперь к стенам прецептории Темплстоу в час, когда кровавый жребий должен был решить, жить или умереть Ревекке. Вокруг стен было очень людно и оживленно. Сюда, как на сельскую ярмарку или храмовой праздник, сбежались все окрестные жители.   
 Желание посмотреть на кровь и смерть - явление не только того темного и невежественного времени, хотя тогда народ привык к таким кровавым зрелищам, в которых один храбрец погибал от руки другого во время рыцарских состязаний, поединков или смешанных турниров. И в наше, более просвещенное время, при значительном смягчении нравов, зрелище публичной казни, кулачный бой, уличная свалка или просто митинг радикалов собирают громадные толпы зевак, которые при этом нередко рискуют собственными боками и, в сущности, вовсе не интересуются личностями героев дня, а только желают посмотреть, как все обойдется, и решить, по образному выражению возбужденных зрителей, который из героев кремень, а кто просто куча навоза.   
 Итак, взоры многочисленной толпы были обращены к воротам прецептории Темплстоу в надежде увидеть редкостную процессию.   
 Еще больше народа окружало ристалище прецептории. То была гладкая поляна, прилегавшая к стенам обители и тщательно выровненная для военных и рыцарских упражнений членов ордена.   
 Арена была расположена на мягком склоне покатого холма и была обнесена прочным частоколом, а так как храмовники охотно приглашали желающих полюбоваться их искусством и рыцарскими подвигами, то вокруг было настроено множество галерей и наставлено скамеек для зрителей.   
 Для гроссмейстера в восточном конце ристалища был устроен трон, окруженный почетными сиденьями для прецепторов и рыцарей ордена. Над троном развевалось священное знамя храмовников, называвшееся Босеан, - это название было эмблемой храмовников, и в то же время их боевым кличем.   
 На противоположном конце ристалища стоял врытый в землю столб; вокруг него лежали дрова, между которыми оставался проход в роковой круг для жертвы, предназначенной к сожжению. К столбу были привинчены цепи, которыми должны были ее привязать. Возле этого ужасного сооружения стояло четверо чернокожих невольников. Их черные лица, в те времена малознакомые английскому населению, наводили ужас на толпу, смотревшую на них как на чертей, собравшихся исполнять свое дьявольское дело.   
 Невольники стояли недвижно, лишь изредка поправляя или перекладывая хворост, по указанию слуги, игравшего роль их начальника. Они не глядели на народ, как будто не замечая его присутствия, и вообще ни на что не обращали внимания - только выполняли свои страшные обязанности. Когда, разговаривая друг с другом, они растягивали толстые губы и обнажали белые зубы, как бы усмехаясь, казалось, будто им весело при мысли о предстоящей трагедии; перепуганные зрители начинали верить, что это и есть те самые бесы, с которыми водилась колдунья, а вот теперь ей вышел срок, и они станут ее поджаривать.   
 В толпе перешептывались, рассказывая друг другу о том, что за последнее смутное время успел натворить сатана, и при этом, конечно, не преминули приписать ему всякие были и небылицы.   
 - Слыхали вы, дядюшка Деннет, - говорил один крестьянин другому, пожилому человеку, - слыхали вы, что черт унес знатного саксонского тана, Ательстана из Конингсбурга?   
 - Знаю. Но ведь он сам же и принес его назад, по милости божьей и молитвами святого Дунстана.   
 - Как так? - спросил молодцеватый юноша в зеленом кафтане с золотым шитьем. За ним шел коренастый подросток с арфой за плечами, что указывало на их профессию. Менестрель казался не простого звания: на нем была богато вышитая нижняя куртка, а на шее висела серебряная цепь с ключом для натягивания струн на арфе. На правом рукаве, повыше локтя, была серебряная пластинка, но вместо обычного изображения герба того барона, к домашней челяди которого принадлежал менестрель, на пластинке было выгравировано одно только слово: "Шервуд".   
 - О чем вы тут толкуете? - спросил молодцеватый менестрель, вмешиваясь в беседу крестьян. - Я пришел сюда искать тему для песни, но, клянусь святой девой, вместо одной напал, кажется, на две.   
 - Достоверно известно, - сказал пожилой крестьянин, - что после того, как четыре недели Ательстан Конингсбургский был мертв...   
 - Это выдумка, - прервал его менестрель, - я сам видел его живым и здоровым на турнире в Ашби де ла Зуш.   
 - Ну нет, он умер, это верно, - сказал молодой крестьянин, - или его утащили из здешнего мира. Я сам слышал, как монахи в обители святого Эдмунда пели по нем панихиду. А в Конингсбурге были богатые поминки. Я было хотел туда сходить, да Мейбл Перкинс...   
 - Да, да, умер Ательстан, - сказал старик, покачивая головой, - и такая это жалость, потому что немного уже остается старинной саксонской крови...   
 - Да что же случилось, господа честные? Расскажите, пожалуйста, - прервал менестрель довольно нетерпеливо.   
 - Да, да, расскажите, как было дело, - вступился дюжий монах, стоявший возле них, опершись на толстую палку, более похожую на дубину, чем на посох богомольца, и, вероятно, исполнявшую обе должности, смотря по надобности. - Да рассказывай покороче, - прибавил он, - потому что времени остается немного.   
 - Изволите видеть, преподобный отец, - сказал старый Деннет, - к пономарю в обители святого Эдмунда пришел в гости один пьяный поп...   
 - Я и слушать не хочу, что бывают на свете такие животные, как пьяные попы, - возразил на это монах, - а если и бывают, то негоже, чтобы мирянин так отзывался о духовном лице! Соблюдай приличия, друг мой, и скажи, что святой человек был погружен в размышления, а от этого нередко бывает, что голова кружится и ноги дрожат, словно желудок переполнен молодым вином. Я на себе испытал такое состояние.   
 - Ну ладно, - отвечал Деннет. - Так вот, к пономарю у святого Эдмунда пришел в гости святой брат. Монах этот так себе, забулдыга: из всей дичи, что пропадает в лесу, половина убита его руками, звон оловянной кружки для него куда приятнее церковного колокола, а один ломоть ветчины ему милее десяти листов его требника. Однако ж он славный парень, весельчак, мастер и на дубинках подраться, и из лука стрелять, и поплясать - не хуже любого молодца в Йоркшире.   
 - Последние твои слова, Деннет, - сказал менестрель, - спасли тебе пару ребер.   
 - Полно, я не боюсь его, - сказал Деннет. - Конечно, я Теперь немного состарился и не так уже поворотлив, как прежде. А посмотрел бы ты, как я, бывало, дрался на ярмарке в Донкастере.   
 - Историю-то расскажите мне, историю! - снова пристал менестрель.   
 - Вся история в том и заключается, что Ательстана Конингсбургского похоронили в обители святого Эдмунда.   
 - Это ложь, а попросту - брехня, - сказал монах. - Я собственными глазами видел, как его понесли в замок Конингсбург.   
 - Ну, так сами и рассказывайте, коли так! - сказал Деннет, раздосадованный тем, что его непрестанно прерывают. Его товарищу и менестрелю стоило немалого труда уговорить старика продолжать свое повествование. Наконец он сказал:   
 - И вот эти двое трезвых монахов, раз его преподобие непременно хочет, чтобы они были трезвыми, добрую половину летнего дня пили себе добрый эль, и вино, и всякую всячину, как вдруг услышали протяжный стон, потом звяканье цепей, потом на пороге комнаты появился покойный Ательстан, да и говорит: "А, нерадивые пастыри!.."   
 - Вздор! - поспешно перебил монах. - Он ни одного слова не сказал!   
 - Вот как! - сказал менестрель, отводя монаха прочь от крестьян. - У тебя опять новое приключение, брат Тук.   
 - Тебе я скажу, Аллен из Лощины, - сказал отшельник. - Я видел Ательстана так же ясно, как живой может видеть живого. И саван на нем, и такой тяжелый запах, как из могилы. Бочка вина не смоет этого из памяти!   
 - А еще что скажешь? - сказал менестрель. - Смеешься ты надо мной!   
 - Хочешь - верь, хочешь - не верь, - продолжал монах, - я его хватил дубиной так, что от моего удара и бык свалился бы, а дубина прошла через него, как сквозь столб дыма.   
 - Клянусь святым Губертом, - сказал менестрель, - это презанятная история и стоит того, чтобы переложить ее в стихи на мотив старинной песни "Приключилась с монахом превеликая беда..."   
 - Ладно, смейся, коли тебе охота, - отвечал Тук. - Только такую песнь я петь не стану. Пусть лучше привидение или сам черт утащит меня с собой в преисподнюю, если запою. Нет, нет! Я тут же решил потрудиться ради спасения души - подсобить сжечь колдунью, подраться за правое дело или сделать еще что-нибудь угодное богу. Затем и пришел сюда.   
 Внезапно удар большого колокола церкви святого Михаила в Темплстоу, старинного здания, возвышавшегося среди поселка на некотором расстоянии от прецептории, прервал их беседу. Один за другим редкие и зловещие удары колокола раскатывались отдаленным эхом и наполняли воздух звуками железного надгробного плача. Унылый звон, возвещавший начало церемонии, заставил содрогнуться сердца присутствующих; все взоры обратились к стенам прецептории в ожидании выхода гроссмейстера и преступницы.   
 Наконец подъемный мост опустился, ворота распахнулись, и выехали сначала рыцарь со знаменем ордена, предшествуемый шестью трубачами, за ними прецепторы, по два в ряд, потом гроссмейстер верхом на великолепной лошади в самом простом убранстве, за ним Бриан де Буагильбер в блестящих боевых доспехах, но без копья, щита и меча, которые несли за ним оруженосцы. Лицо его, отчасти скрытое длинным пером, спускавшимся с его шапочки, отражало жестокую внутреннюю борьбу гордости с нерешительностью. Он был бледен как смерть, словно не спал несколько ночей сряду. Однако он управлял нетерпеливым конем привычной рукой искусного наездника и лучшего бойца ордена храмовников. Осанка его была величава и повелительна, но, вглядываясь пристальнее в выражение его мрачного лица, люди читали на нем нечто такое, что заставляло их отворачиваться.   
 По обеим сторонам его ехали Конрад Монт-Фитчет и Альберт Мальвуазен, исполнявшие роль поручителей боевого рыцаря. Они были в длинных белых одеждах, которые члены ордена носили в мирное время. За ними ехали другие рыцари Храма и длинная вереница оруженосцев и пажей, одетых в черное; это были послушники, добивавшиеся чести посвящения в рыцари ордена. За ними шел отряд пешей стражи, также в черных одеждах, а в середине виднелась бледная фигура подсудимой, тихими, но твердыми шагами подвигавшейся к месту, где должна была решиться ее судьба.   
 С нее сняли все украшения, опасаясь, что среди них могут быть амулеты, которыми, как тогда считалось, сатана снабжает свою жертву, чтобы помешать ей покаяться даже на пытке. Вместо ярких восточных тканей на ней была белая одежда из самого грубого полотна. Но на ее лице запечатлелось трогательное выражение смелости и покорности судьбе, и даже в этой одежде, без всяких украшений, кроме распущенных длинных черных волос, она внушала всем такое сострадание, что никто не мог без слез смотреть на нее. Даже самые закоснелые ханжи жалели, что такое прекрасное создание превращено в сосуд злобы и стало преданной рабой сатаны.   
 Вслед за жертвой шла толпа низших чинов, служителей прецептории. Они двигались в строгом порядке, сложа руки на груди и потупив глаза в землю.   
 Процессия медленно поднялась на отлогий пригорок, на вершине которого расположено было ристалище, проникла внутрь ограды, обошла ее кругом справа налево и, достигнув снова тех же ворот, остановилась. Тут произошла небольшая задержка, так как гроссмейстер и все остальные всадники, кроме Буагильбера и его поручителей, сошли с коней, которых немедленно увели за ограду состоявшие при рыцарях конюхи и оруженосцы.   
 Несчастную Ревекку подвели к черному стулу, поставленному рядом с костром. При первом взгляде на страшное место казни, такой же ужасной для воображения, как и мучительной для тела, она вздрогнула, закрыла глаза и, вероятно, молилась про себя, судя по тому, что губы ее шевелились; но она ничего не произносила вслух. Через минуту она открыла глаза, пристально посмотрела на костер, как бы желая мысленно освоиться с предстоящей участью, потом медленно отвела свой взор.   
 Между тем гроссмейстер занял свое место, и, когда все рыцари расположились вокруг него и за его спиной в строгом соответствии со званием каждого из них, раздались громкие и протяжные звуки труб, возвестившие, что суд собрался и приступает к действиям.   
 Мальвуазен в качестве поручителя за Буагильбера выступил вперед и положил к ногам гроссмейстера перчатку еврейки, служившую залогом предстоящей битвы.   
 - Доблестный государь и преподобный отец, - сказал Мальвуазен, - вот стоит добрый рыцарь Бриан де Буагильбер, прецептор ордена храмовников, который, приняв залог поединка, ныне положенный мною у ног вашего преподобия, тем самым обязался исполнить долг чести в состязании нынешнего дня для подтверждения того, что сия еврейская девица, по имени Ревекка, по справедливости заслуживает осуждения на смертную казнь за колдовство капитулом сего святейшего ордена Сионского Храма. И вот здесь стоит этот рыцарь, готовый честно и благородно сразиться, если ваше преподобие изъявит на то свое высокочтимое и мудрое согласие.   
 - А присягал ли он в том, что будет биться за честное и правое дело? - спросил гроссмейстер. - Подайте сюда распятие и аналой.   
 - Государь и высокопреподобный отец, - с готовностью отвечал Мальвуазен, - брат наш, здесь стоящий, принес уже клятву в правоте своего обвинения в присутствии храброго рыцаря Конрада Монт-Фитчета. Здесь же присягать ему не подобает, принимая во внимание, что противница его не христианка и, следовательно, не может принести присягу.   
 Это объяснение показалось удовлетворительным, к великой радости Мальвуазена: хитрец заранее предвидел, как трудно и, пожалуй, даже невозможно будет уговорить Бриана де Буагильбера публично произнести такую клятву, а потому придумал отговорку, чтобы избавить его от этого.   
 Выслушав объяснения Альберта Мальвуазена, гроссмейстер приказал герольду выступить вперед и выполнить свою обязанность. Снова зазвучали трубы, и герольд, выйдя на арену, воскликнул громким голосом:   
 - Слушайте! Слушайте! Слушайте! Вот храбрый рыцарь сэр Бриан де Буагильбер, готовый сразиться со всяким свободнорожденным рыцарем, который захочет выступить на защиту еврейки Ревекки, вследствие дарованного ей права выставить за себя бойца на поединке. Таковому ее заступнику преподобный и доблестный владыка гроссмейстер, здесь присутствующий, дозволяет биться на равных правах, предоставляя ему одинаковые условия в отношении места, направления солнца и ветра и всего прочего, до сего доброго поединка относящегося.   
 Опять зазвучали трубы, и затем наступила тишина, длившаяся довольно долго.   
 - Никто не желает выступить защитником? - сказал гроссмейстер. - Герольд, ступай к подсудимой и спроси ее, ожидает ли она кого-нибудь, кто захочет биться за нее в настоящем деле.   
 Герольд пошел к месту, где сидела Ревекка. В ту же минуту Буагильбер внезапно повернул свою лошадь и, невзирая на все попытки Мальвуазена и Монт-Фитчета удержать его, поскакал на другой конец ристалища и очутился перед Ревеккой одновременно с герольдом.   
 - Правильно ли это и допускается ли уставами поединка? - сказал Мальвуазен, обращаясь к гроссмейстеру.   
 - Да, Альберт Мальвуазен, допускается, - отвечал Бомануар, - ибо в настоящем случае мы взываем к суду божьему и не должны препятствовать сторонам сноситься между собою, дабы не помешать торжеству правды.   
 Тем временем герольд говорил Ревекке следующее:   
 - Девица, благородный и преподобный владыка гроссмейстер приказал спросить: есть ли у тебя заступник, желающий сразиться в сей день от твоего имени, или ты признаешь себя справедливо осужденной на казнь?   
 - Скажите гроссмейстеру, - отвечала Ревекка, - что я настаиваю на своей невиновности, не признаю, что я заслуживаю осуждения, и не хочу сама быть повинна в пролитии собственной крови. Скажите ему, что я требую отсрочки, насколько то допускается его законами, и подожду, не пошлет ли мне заступника милосердный бог, к которому взываю в час моей крайней скорби. Но если по прошествии назначенного срока не будет мне защитника, то да свершится святая воля божия!   
 Герольд воротился к гроссмейстеру и передал ответ Ревекки.   
 - Сохрани боже, - сказал Лука Бомануар, - чтобы кто-нибудь мог пожаловаться на нашу несправедливость, будь то еврей или язычник! Пока вечерние тени не протянутся с запада на восток, мы подождем, не явится ли заступник этой несчастной женщины. Когда же солнце будет клониться к закату, пусть она готовится к смерти.   
 Герольд сообщил Ревекке эти слова гроссмейстера. Она покорно кивнула головой, сложила руки на груди и подняла глаза к небу, как будто искала там помощи, на которую едва ли могла рассчитывать на земле. В эту страшную минуту она услышала голос Буагильбера. Он говорил шепотом, но она вздрогнула, и его речь вызвала в ней гораздо большую тревогу, чем слова герольда.   
 - Ревекка, - сказал храмовник, - ты слышишь меня?   
 - Мне до тебя нет дела, жестокосердный, - отвечала несчастная девушка.   
 - Да, но ты понимаешь, что я говорю? - продолжал храмовник. - Я сам пугаюсь звуков своего голоса и не вполне понимаю, где мы находимся и для какой цели очутились здесь. Эта ограда, ристалище, стул, на котором ты сидишь, эти вязанки хвороста... Я знаю, для чего все это, но не могу себе представить, что это действительность, а не страшное видение. Оно наполняет ум чудовищными образами, но рассудок не допускает их возможности.   
 - Мой рассудок и все мои чувства, - сказала Ревекка, - убеждают меня, что этот костер предназначен для сожжения моего тела и открывает мне мучительный, но короткий переход в лучший мир.   
 - Это все призраки, Ревекка, и видения, отвергаемые учением ваших же саддукейских мудрецов. Слушай, Ревекка, - заговорил Буагильбер с возрастающим одушевлением, - у тебя есть возможность спасти жизнь и свободу, о которой и не помышляют все эти негодяи и ханжи. Садись скорей ко мне за спину, на моего Замора, благородного коня, еще ни разу не изменившего своему седоку. Я его выиграл в единоборстве против султана трапезундского. Садись, говорю я, ко мне за спину, и через час мы оставим далеко позади всякую погоню. Тебе откроется новый мир радости, а мне - новое поприще для славы. Пускай произносят надо мной какие им угодно приговоры - я презираю их! Пускай вычеркивают имя Буагильбера из списка своих монастырских рабов - я смою кровью всякое пятно, каким они дерзнут замарать мой родовой герб!   
 - Искуситель, - сказала Ревекка, - уйди прочь! Даже и в эту минуту ты не в силах ни на волос поколебать мое решение. Вокруг меня только враги, но тебя я считаю самым страшным из них. Уйди, ради бога!   
 Альберт Мальвуазен, встревоженный и обеспокоенный их слишком продолжительным разговором, подъехал в эту минуту, чтобы прервать беседу.   
 - Созналась она в своем преступлении, - спросил он у Буагильбера, - или все еще упорствует в отрицании?   
 - Именно, упорствует и отрекается, - сказал Буагильбер.   
 - В таком случае, благородный брат наш, - сказал Мальвуазен, - тебе остается лишь занять твое прежнее место и подождать до истечения срока. Смотри, тени уже начали удлиняться. Пойдем, храбрый Буагильбер, надежда нашего священного ордена и будущий наш владыка.   
 Произнеся эти слова примирительным тоном, он протянул руку к уздечке его коня, как бы с намерением увести его обратно, на противоположный конец ристалища.   
 - Лицемерный негодяй! Как ты смеешь налагать руку на мои поводья? - гневно воскликнул Буагильбер, оттолкнув Мальвуазена, и сам поскакал назад, к своему месту.   
 - Нет, у него еще много страсти, - сказал Мальвуазен вполголоса Конраду Монт-Фитчету, - нужно только направить ее как следует; она, как греческий огонь, сжигает все, до чего ни коснется.   
 Два часа просидели судьи перед ристалищем, тщетно ожидая появления заступника.   
 - Да оно и понятно, - говорил отшельник Тук, - потому что она еврейка. Клянусь моим орденом, жалко, право, что такая молодая и красивая девушка погибнет из-за того, что некому за нее подраться. Будь она хоть десять раз колдунья, да только христианской веры, моя дубинка отзвонила бы полдень на стальном шлеме свирепого храмовника.   
 Общее мнение склонялось к тому, что никто не вступится за еврейку, да еще обвиняемую в колдовстве, и рыцари, подстрекаемые Мальвуазеном, начали перешептываться, что пора бы объявить залог Ревекки проигранным. Но в эту минуту на поле показался рыцарь, скакавший во весь опор по направлению к арене... Сотни голосов закричали: "Заступник, заступник!" - и, невзирая на суеверный страх перед колдуньей, толпа громкими кликами приветствовала въезд рыцаря в ограду ристалища. Но, увидев его вблизи, зрители были разочарованы. Лошадь его, проскакавшая многие мили во весь дух, казалось, падала от усталости, да и сам всадник, так отважно примчавшийся на арену, еле держался в седле от слабости, или от усталости, или от того и другого.   
 На требование герольда объявить свое имя, звание и цель своего прибытия рыцарь ответил смело и с готовностью:   
 - Я, добрый рыцарь дворянского рода, приехал оправдать мечом и копьем девицу Ревекку, дочь Исаака из Йорка, доказать, что приговор, против нее произнесенный, несправедлив и лишен основания, объявить сэра Бриана де Буагильбера предателем, убийцей и лжецом, в подтверждение чего готов сразиться с ним на сем ристалище и победить с помощью божьей, заступничеством богоматери и святого Георгия.   
 - Прежде всего, - сказал Мальвуазен, - приезжий обязан доказать, что он настоящий рыцарь и почетной фамилии. Наш орден не дозволяет своим защитникам выступать против безымянных людей.   
 - Мое имя, - сказал рыцарь, открывая забрало своего шлема, - более известно, чем твое, Мальвуазен, да и род мой постарше твоего. Я Уилфред Айвенго.   
 - Я сейчас не стану с тобой драться, - сказал храмовник глухим, изменившимся голосом. - Залечи сперва свои раны, достань лучшего коня, и тогда, быть может, я сочту достойным себя выбить из твоей головы этот дух ребяческого удальства.   
 - Вот как, надменный храмовник, - сказал Айвенго, - ты уже забыл, что дважды был сражен моим копьем? Вспомни ристалище в Акре, вспомни турнир в Ашби! Припомни, как ты похвалялся в столовом зале Ротервуда и выложил свою золотую цепь против моего креста с мощами в залог того, что будешь драться с Уилфредом Айвенго ради восстановления твоей потерянной чести. Клянусь моим крестом и святыней, что хранится в нем, если ты сию же минуту не сразишься со мной, я тебя обесславлю, как труса, при всех дворах Европы и в каждой прецептории твоего ордена!   
 Буагильбер в нерешительности взглянул на Ревекку, потом с яростью воскликнул, обращаясь к Айвенго:   
 - Саксонский пес, бери свое копье и готовься к смерти, которую сам на себя накликал!   
 - Дозволяет ли мне гроссмейстер участвовать в сем поединке? - сказал Айвенго.   
 - Не могу оспаривать твои права, - сказал гроссмейстер, - только спроси девицу, желает ли она признать тебя своим заступником. Желал бы и я, чтобы ты был в состоянии, более подходящем для сражения. Хотя ты всегда был врагом нашего ордена, я все-таки хотел бы обойтись с тобой честно.   
 - Нет, пусть будет так, как есть, - сказал Айвенго, - ведь это - суд божий, его милости я и поручаю себя... Ревекка, - продолжал он, подъехав к месту, где она сидела, - признаешь ли ты меня своим заступником?   
 - Признаю, - отвечала она с таким волнением, какого не возбуждал в ней и страх смерти. - Признаю, что ты защитник, посланный мне провидением. Однако ж, нет, нет! Твои раны еще не зажили. Не бейся с этим надменным человеком. Зачем же и тебе погибать?   
 Но Айвенго уж поскакал на свое место, опустил забрало и взялся за копье. То же сделал и Буагильбер. Его оруженосец, застегивая забрало шлема у храмовника, заметил, что лицо Буагильбера, которое все утро оставалось пепельно-бледным, несмотря на множество разных страстей, обуревавших его, теперь вдруг покрылось багровым румянцем.   
 Когда оба бойца встали на места, герольд громким голосом трижды провозгласил:   
 - Исполняйте свой долг, доблестные рыцари! После третьего раза он отошел к ограде и еще раз провозгласил, чтобы никто, под страхом немедленной смерти, не дерзнул ни словом, ни движением препятствовать или вмешиваться в этот честный поединок. Гроссмейстер, все время державший в руке перчатку Ревекки, наконец бросил ее на ристалище и произнес роковое слово:   
 - Начинайте! Зазвучали трубы, и рыцари понеслись друг на друга во весь опор. Как все и ожидали, измученная лошадь Айвенго и сам ослабевший всадник упали, не выдержав удара меткого копья храмовника и напора его могучего коня. Все предвидели такой исход состязания. Но несмотря на то, что копье Уилфреда едва коснулось щита его противника, к общему удивлению всех присутствующих, Буагильбер покачнулся в седле, потерял стремена и упал на арену.   
 Айвенго высвободил ногу из-под лошади и быстро поднялся, стремясь попытать счастья с мечом в руках. Но противник его не вставал. Айвенго наступил ногой ему на грудь, приставил конец меча к его горлу и велел ему сдаваться, угрожая иначе немедленной смертью. Буагильбер не отвечал.   
 - Не убивай его, сэр рыцарь! - воскликнул гроссмейстер. - Дай ему исповедаться и получить отпущение грехов, не губи и душу и тело. Мы признаем его побежденным.   
 Гроссмейстер сам сошел на ристалище и приказал снять шлем с побежденного рыцаря. Его глаза были закрыты, и лицо пылало все тем же багровым румянцем. Пока они с удивлением смотрели на него, глаза его раскрылись, но взор остановился и потускнел. Румянец сошел с лица и сменился мертвенной бледностью. Не поврежденный копьем своего противника, он умер жертвой собственных необузданных страстей.   
 - Вот поистине суд божий, - промолвил гроссмейстер, подняв глаза к небу. - Fiat voluntas tua! [53]

**Глава XLIV**

Как сплетня кумушки, рассказ окончен.   
 Уэбстер   
  
 Когда общее изумление несколько улеглось, Уилфред Айвенго спросил у гроссмейстера, как верховного судьи настоящего поединка, так ли мужественно и правильно выполнил он свои обязанности, как требовалось уставом состязания.   
 - Мужественно и правильно, - отвечал гроссмейстер. - Объявляю девицу свободной и неповинной! Оружием, доспехами и телом умершего рыцаря волен распорядиться по своему желанию победитель.   
 - Я равно не хочу и пользоваться его доспехами и предавать его тело на позор, - сказал рыцарь Айвенго. - Он сражался за веру христианскую. А ныне он пал не от руки человеческой, а по воле божьей. Но пусть его похоронят тихо и скромно, как подобает погибшему за неправое дело. Что касается девушки...   
 Его прервал конский топот. Всадников было так много и скакали они так быстро, что под ними дрожала земля. На ристалище примчался Черный Рыцарь, а за ним - многочисленный отряд конных воинов и несколько рыцарей в полном вооружении.   
 - Я опоздал, - сказал он, озираясь вокруг, - Буагильбер должен был умереть от моей руки... Айвенго, хорошо ли было с твоей стороны брать на себя такое дело, когда ты сам едва держишься в седле?   
 - Сам бог, государь, покарал этого надменного человека, - отвечал Айвенго. - Ему не суждена была честь умереть той смертью, которую вы предназначили ему.   
 - Мир ему, - молвил Ричард, пристально вглядываясь в лицо умершего, - если это возможно: он был храбрый рыцарь и умер в стальной броне, как подобает рыцарю. Но нечего терять время. Бохун, исполняй свою обязанность!   
 Из среды королевской свиты выступил рыцарь и, положив руку на плечо Альберта Мальвуазена, сказал:   
 - Я арестую тебя, как государственного изменника! До сих пор гроссмейстер молча дивился внезапному появлению такого множества воинов. Те- перь он заговорил:   
 - Кто смеет арестовать рыцаря Сионского Храма в пределах его прецептории и в присутствии гроссмейстера? И по чьему повелению наносится ему столь дерзкая обида?   
 - Я арестую его, - отвечал рыцарь, - я, Генри Бохун, граф Эссекс, лорд-главнокомандующий войсками Англии.   
 - И по приказанию Ричарда Плантагенета, здесь присутствующего, - сказал король, открывая забрало своего шлема, - Конрад Монт-Фитчет, счастье твое, что ты родился не моим подданным. Что до тебя, Мальвуазен, ты и брат твой Филипп подлежите смертной казни до истечения этой недели.   
 - Я воспротивлюсь твоему приговору, - сказал гроссмейстер.   
 - Гордый храмовник, ты не в силах это сделать, - возразил король. - Взгляни на башни своего замка, и ты увидишь, что там развевается королевское знамя Англии вместо вашего орденского флага. Будь благоразумен, Бомануар, и не оказывай бесполезного сопротивления. Твоя рука теперь в пасти льва.   
 - Я подам на тебя жалобу в Рим, - сказал гроссмейстер - Обвиняю тебя в нарушении неприкосновенности и вольностей нашего ордена.   
 - Делай что хочешь, - отвечал король, - но ради твоей собственной безопасности сейчас лучше не толкуй о нарушении прав. Распусти членов капитула и поезжай со своими последователями в другую прецепторию, если только найдется такая, которая не стала местом изменнического заговора против короля Англии. Впрочем, если хочешь, оставайся. Воспользуйся нашим гостеприимством и посмотри, как мы будем вершить правосудие.   
 - Как! Мне быть гостем там, где я должен быть повелителем? - воскликнул гроссмейстер. - Никогда этого не будет! Капелланы, возгласите псалом "Quare fremuerunt gentes"! [54] Рыцари, оруженосцы и служители святого Храма, следуйте за знаменем нашего ордена Босеан!   
 Гроссмейстер говорил с таким достоинством, которое не уступало самому королю Англии и вдохнуло мужество в сердца его оторопевших и озадаченных приверженцев. Они собрались вокруг него, как овцы вокруг сторожевой собаки, когда заслышат завывание волка. Но в осанке их не было робости, свойственной овечьему стаду, напротив - лица у храмовников были хмурые и вызывающие, а взгляды выражали вражду, которую они не смели высказать словами. Они сомкнулись в ряд, и копья их образовали темную полосу, сквозь которую белые мантии рыцарей рисовались на фоне черных одеяний свиты подобно серебристым краям черной тучи. Толпа простонародья, поднявшая было против них громкий крик, притихла и в молчании взирала на грозный строй испытанных воинов. Многие даже попятились назад.   
 Граф Эссекс, видя, что храмовники стоят в боевой готовности, дал шпоры своему коню и помчался к своим воинам, выравнивая их ряды и приводя их в боевой порядок против опасного врага. Один Ричард, искренне наслаждавшийся испытываемой опасностью, медленно проезжал мимо фронта храмовников, громко вызывая их:   
 - Что же, рыцари, неужели ни один из вас не решится преломить копье с Ричардом? Эй, господа храмовники! Ваши дамы, должно быть, уж очень смуглы, коли ни одна не стоит осколка копья, сломанного в честь ее!   
 - Слуги святого Храма, - возразил гроссмейстер, выезжая вперед, - не сражаются по таким пустым и суетным поводам. А с тобой, Ричард Английский, ни один храмовник не преломит копья в моем присутствии. Пускай папа и монархи Европы рассудят нас с тобой и решат, подобает ли христианскому принцу защищать то дело, ради которого ты сегодня выступил. Если нас не тронут - и мы уедем, никого не тронув. Твоей чести вверяем оружие и хозяйственное добро нашего ордена, которое оставляем здесь; на твою совесть возлагаем ответственность в том соблазне и обиде, какую ты нанес ныне христианству.   
 С этими словами, не ожидая ответа, гроссмейстер подал знак к отбытию. Трубы заиграли дикий восточный марш, служивший обычно сигналом к выступлению храмовников в поход. Они переменили строй и, выстроившись колонной, двинулись вперед так медленно, как только позволял шаг их коней, словно хотели показать, что удаляются лишь по приказу своего гроссмейстера, а никак не из страха перед выставленными против них превосходящими силами.   
 - Клянусь сиянием богоматери, - сказал король Ричард, - жаль, что эти храмовники такой неблагонадежный народ, а уж выправкой и храбростью они могут похвалиться.   
 Толпа, подобно трусливой собаке, которая начинает лаять, когда предмет ее раздражения поворачивается к ней спиной, что-то кричала вслед храмовникам, выступившим за пределы прецептории.   
 Во время суматохи, сопровождавшей отъезд храмовников, Ревекка ничего не видела и не слышала. Она лежала в объятиях своего престарелого отца, ошеломленная и почти бесчувственная от множества пережитых впечатлений. Но одно слово, произнесенное Исааком, вернуло ей способность чувствовать.   
 - Пойдем, - говорил он, - пойдем, дорогая дочь моя, бесценное мое сокровище, бросимся к ногам доброго юноши!   
 - Нет, нет, - сказала Ревекка. - О нет, не теперь! В эту минуту я не решусь заговорить с ним! Увы! Я сказала бы больше, чем... Нет, нет... Отец, скорее оставим это зловещее место!   
 - Но как же, дочь моя, - сказал Исаак, - как можно не поблагодарить мужественного человека, который, рискуя собственной жизнью, выступил с копьем и щитом, чтобы освободить тебя из плена? Это такая услуга, за которую надо быть признательным.   
 - О да, о да! Признательным и благодарным, благодарным свыше всякой меры, - сказала Ревекка, - но только не теперь. Ради твоей возлюбленной Рахили молю тебя, исполни мою просьбу - не теперь.   
 - Нельзя же так, - настаивал Исаак, - не то они подумают, что мы неблагодарнее всякой собаки.   
 - Но разве ты не видишь, дорогой мой отец, что здесь сам король Ричард, и, стало быть...   
 - Правда, правда, моя умница, моя премудрая Ревекка! Пойдем отсюда, пойдем скорее. Ему теперь деньги понадобятся, потому что он только что воротился из Палестины, да говорят еще, что вырвался из тюрьмы... А если бы ему понадобился предлог к тому, чтобы меня обобрать, довольно будет и того, что я имел дело с его братом Джоном... Лучше мне пока не попадаться на глаза королю.   
 И, в свою очередь увлекая Ревекку, он поспешно увел ее с ристалища к приготовленным носилкам и благополучно прибыл с нею в дом раввина Натана Бен-Израиля.   
 Таким образом, еврейка, судьба которой в этот день представляла для всех наибольший интерес, скрылась, никем не замеченная, и всеобщее внимание устремилось теперь на Черного Рыцаря. Толпа громко и усердно кричала: "Многая лета Ричарду Львиное Сердце! Долой храмовников!"   
 - Несмотря на эти громогласные заявления верноподданнических чувств, - сказал Айвенго, обращаясь к графу Эссексу, - хорошо, что король проявил предусмотрительность и вызвал тебя, благородный граф, и отряд твоих воинов.   
 Граф Эссекс улыбнулся и тряхнул головой.   
 - Доблестный Айвенго, - сказал он, - ты так хорошо знаешь нашего государя, и все же ты заподозрил его в мудрой предосторожности! Я просто направлялся к Йорку, где, по слухам, принц Джон сосредоточил свои силы, и совершенно случайно встретился с королем. Как настоящий странствующий рыцарь, наш Ричард мчался сюда, желая самолично решить судьбу поединка и тем самым завершить эту историю еврейки и храмовника. Я с моим отрядом последовал за ним почти против его воли.   
 - А какие вести из Йорка, храбрый граф? - спросил Айвенго. - Мятежники ждут нас там?   
 - Не более, чем декабрьские снега ждут июльского солнца, - отвечал граф. - Они разбежались! И как ты думаешь, кто поспешил привезти нам эти вести? Сам принц Джон, своею собственной персоной.   
 - Предатель! Неблагодарный, наглый изменник! - сказал Айвенго. - И Ричард приказал посадить его в тюрьму?   
 - О, он его так принял, как будто встретился с ним после охоты! - сказал граф. - Указал на меня и на наших воинов и говорит ему: "Вот видишь, брат, со мной тут сердитые молодцы, так ты поезжай лучше к матушке, передай ей мою сыновнюю любовь и почтение и оставайся при ней, пока не умиротворятся умы людей".   
 - И это все? - спросил Айвенго. - Как не сказать, что таким милостивым обхождением король сам напрашивается на предательство.   
 - Именно, - отвечал Эссекс. - Но можно ведь сказать и то, что человек сам напрашивается на смерть, пускаясь в битву, когда у него еще не зажила опасная рана.   
 - Прощаю тебе насмешку, граф, - сказал Айвенго, - но помни, что я рисковал лишь собственной жизнью, а Ричард - благом целого королевства.   
 - Тот, кто легкомысленно относится к своему благу, редко отличается заботливостью о других, - возразил Эссекс. - Однако поедем скорее в замок, потому что Ричард задумал примерно наказать некоторых второстепенных членов заговора, даром что простил самого главного зачинщика.   
 Из последовавшего затем судебного следствия, занесенного в рукописную летопись, явствует, что Морис де Браси бежал за море и поступил на службу к Филиппу, королю Франции, что Филипп Мальвуазен и его брат Альберт, прецептор в Темплстоу, были казнены, что Вальдемар Фиц-Урс, являвшийся душою заговора, отделался изгнанием из Англии, а принц Джон, в пользу которого он был составлен, не получил даже выговора от своего добродушного брата. Впрочем, никто не пожалел об участии обоих Мальвуазенов: они понесли вполне заслуженную кару, потому что многократно проявляли двоедушие, жестокость и деспотизм.   
 Вскоре после поединка в Темплстоу Седрик Сакс был приглашен ко двору Ричарда; своим местопребыванием король сделал в это время город Йорк, чтобы лично содействовать успокоению провинций, где сильнее всего сказались происки его брата Джона.   
 Получив приглашение, Седрик сначала ворчал и злился, однако повиновался. В сущности, возвращение Ричарда положило конец всякой надежде на восстановление саксонской династии на английском престоле, ибо, кого бы саксонская партия ни выставила своим кандидатом, в случае междоусобной войны она не имела бы никаких шансов на успех при той чрезвычайной популярности, которою пользовался Ричард, всеми любимый за свои личные добрые качества и боевую славу, несмотря на то, что он правил государством, проявляя своенравное легкомыслие и был то чрезмерно снисходителен, то крайне строг и почти деспотичен.   
 Кроме того, даже Седрик с неохотой вынужден был признать, что его проект брака Ровены с Ательстаном для объединения саксов окончательно рухнул, так как заинтересованные стороны решительно воспротивились ему. Он совершенно не ожидал подобной развязки - даже тогда, когда жених и невеста ясно и откровенно высказались против этого союза; Седрик никак не мог поверить, чтобы две особы королевской крови могли из личных соображений отказываться от брака, столь необходимого для блага нации. Тем не менее таков был неоспоримый факт: Ровена всегда выражала нерасположение к Ательстану, а теперь и Ательстан не менее решительно заявил, что ни за что не будет более свататься к Ровене. Перед такими препятствиями принуждено было отступить даже и великое упрямство, от природы свойственное Седрику, так как ему приходилось насильно тащить под венец двух людей, которые упорно сопротивлялись. Он, впрочем, попробовал еще раз произвести решительный натиск на Ательстана. Но, приехав к нему, Седрик застал этого воскресшего отпрыска саксонских королей занятым войной с местным духовенством.  
 После всех смертельных угроз аббату святого Эдмунда дух мстительности, по-видимому, оставил Ательстана, то ли потому, что сам он был по природе слишком ленив и благодушен, то ли уступая просьбам своей матери, леди Эдит, которая, подобно большинству дам того времени, была почитательницей духовных лиц. Он ограничился трехдневным заключением аббата и всей монастырской братии в подвальных помещениях замка Конингсбург на самой скудной пище. За такую жестокость аббат пригрозил ему отлучением от церкви и составил длинный список желудочных и кишечных болезней, нажитых им и его монахами вследствие испытанного ими тиранства и беззаконного задержания в тюрьме.   
 Седрик застал своего друга Ательстана до такой степени поглощенным этими препирательствами и изобретением средств к обороне против преследований духовенства, что ни о чем ином он и думать не хотел. Когда же произнесено было имя Ровены, благородный Ательстан попросил позволения опорожнить за ее здоровье полный кубок и выразил пожелание, чтобы она скорее сочеталась браком с его родственником Уилфредом. Очевидно, с Ательстаном ничего нельзя было поделать. По выражению Вамбы, с тех пор вошедшему во всеобщее употребление, "коли петух не драчливый, из него не сделаешь бойца".   
 Итак, к достижению цели, к которой стремились влюбленные, оставались лишь два препятствия: упрямство Седрика и его предубеждение против норманской династии. Первое из этих чувств постепенно смягчилось под влиянием ласк его питомицы и той гордости, которую он не мог не испытывать, видя славу своего сына. К тому же ему лестно было породниться с домом Альфреда, раз потомок Эдуарда Исповедника решительно отказался от этой чести.   
 Отвращение Седрика к королям норманской крови также начинало ослабевать. С одной стороны, он ясно видел, что избавить Англию от новой ди- настии не было никакой возможности, а такое убеждение значительно способствует признанию правящего короля. С другой стороны, король Ричард выказывал ему лично большое внимание, искренне наслаждался резким юмором Седрика и, по свидетельству той же рукописной хроники, сумел так очаровать благородного Сакса, что не прошло и недели со дня его приезда ко двору, как он дал согласие на брак своей питомицы леди Ровены с сыном своим Уилфредом Айвенго.   
 Свадьба нашего героя совершилась в самом величественном из храмов - в кафедральном соборе города Йорка. Сам король присутствовал на бракосочетании, и, судя по вниманию, какое он оказал в этом и во многих других случаях дотоле притесняемым и униженным саксам, они увидели, что мирными средствами могли добиться гораздо больших успехов, чем в результате ненадежного успеха в междоусобной войне.   
 Церемония бракосочетания была исполнена со всем тем великолепием, какое римские прелаты умеют придавать своим торжествам.   
 Гурт, нарядно одетый, исполнял должность оруженосца при молодом хозяине, которому он так преданно служил; тут же был и самоотверженный Вамба, в новом колпаке с великолепным набором серебряных колокольчиков. Гурт и Вамба вместе с Уилфредом переносили бедствия и опасности, а потому имели полное право разделять с ним его благополучие и счастье.   
 Но, помимо домашней свиты, эта блестящая свадьба была отмечена присутствием множества знатных норманнов и саксонских дворян, при всеобщем восторге низших классов, приветствовавших в союзе этой четы залог будущего мира и согласия двух племен; с того периода времени эти враждующие племена слились и потеряли свое различие. Седрик дожил до начала этого слияния, ибо, по мере того как обе национальности встречались в обществе и заключали между собою брачные союзы, норманны умеряли свою спесь, а саксы утрачивали свою неотесанность. Впрочем, тот смешанный язык, который ныне мы называем английским, окончательно вошел в употребление при лондонском дворе только в царствование Эдуарда III; и в то же время, по-видимому, исчезли последние следы розни между норманнами и саксами.   
 Прошло два дня после счастливого бракосочетания, и леди Ровена сидела в своей комнате, когда Эльгита доложила ей, что какая-то девица просит позволения поговорить с ней без свидетелей. Ровена удивилась, подумала, поколебалась, но любопытство пересилило, и она кончила тем, что приказала просить девицу к себе.   
 Вошла девушка высокого роста и благородной наружности. Длинное белое покрывало скорее оттеняло, чем скрывало изящество ее фигуры и величавую осанку. Манеры ее были почтительны, но без всякой примеси страха и без желания снискать расположение. Ровена была всегда готова прийти на помощь и проявить внимание к чувствам других. Она встала и хотела взять гостью за руку и подвести ее к креслу, но та оглянулась на Эльгиту и еще раз попросила о разрешении побеседовать с леди Ровеной наедине. Как только Эльгита ушла (что сделала очень неохотно), прекрасная посетительница, к великому удивлению леди Айвенго, преклонила колено, прижала обе руки к своему лбу и, склонившись до пола, поцеловала край вышитой одежды Ровены, невзирая на ее сопротивление.   
 - Что это значит? - сказала удивленная новобрачная. - Почему вы мне оказываете столь необычное почтение?   
 - Потому что вам, леди Айвенго, я могу законно и достойно отдать долг благодарности, которой обязана Уилфреду Айвенго, - сказала Ревекка, вставая и снова приняв обычную свою осанку, исполненную достоинства и спокойствия. - Простите, что я осмелилась оказать вам знаки почтения, принятые у моего народа. Я та несчастная еврейка, для спасения которой ваш супруг рисковал жизнью на ристалище в Темплстоу, когда все было против него.   
 - Любезная девица, - сказала Ровена, - в тот день Уилфред Айвенго лишь в слабой мере отплатил вам за неусыпный уход и врачевание его ран, когда с ним случилось такое несчастье. Скажите, не можем ли он и я еще чем-нибудь быть вам полезны?   
 - Нет, - спокойно отвечала Ревекка, - я лишь попрошу вас передать ему на прощание выражение моей признательности и мои наилучшие пожелания.   
 - Разве вы уезжаете из Англии? - спросила Ровена, все еще не вполне опомнившись от удивления, вызванного таким необыкновенным посещением.   
 - Уезжаю, миледи, еще до конца этого месяца. У моего отца есть брат, пользующийся особым расположением Мухаммеда Боабдила, короля гранадского. Туда мы и отправимся и будем жить там спокойно и без обиды, заплатив дань, которую мусульмане взимают с людей нашего племени.   
 - Разве в Англии вы не пользуетесь такой безопасностью? - сказала Ровена. - Мой муж в милости у короля, да и сам король - человек справедливый и великодушный.   
 - В этом я не сомневаюсь, леди, - сказала Ревекка, - но англичане - жестокое племя. Они вечно воюют с соседями или между собою, безжалостны и готовы пронзить друг друга мечом. Небезопасно жить среди них детям нашего племени. В этой стране войн и кровопролитий, окруженной враждебными соседями и раздираемой внутренними распрями, странствующий Израиль не может надеяться на отдых и покой.   
 - Но вы, - сказала Ровена, - вы сами, без сомнения, ничего не должны опасаться. Ты, что бодрствовала у одра раненого Уилфреда Айвенго, - продолжала она с возрастающей горячностью, - тебе нечего бояться в Англии, где и саксы и норманны наперебой будут воздавать тебе почести.   
 - Твои речи, леди, хороши, - сказала Ревекка, - а твои намерения еще лучше. Но этого не может быть: бездонная пропасть пролегает между нами. Наше воспитание, наши верования ни вам, ни нам не дозволяют перешагнуть через эту пропасть. Прощай, но, прежде чем я уйду, окажи мне одну милость. Фата новобрачной скрывает твое лицо; дай мне увидеть черты, столь прославленные молвою.   
 - Они едва ли таковы, чтобы стоило на них смотреть, - сказала Ровена, - но в надежде, что и ты сделаешь то же, я откину фату.   
 Она приподняла фату и то ли от сознания своей красоты, то ли от застенчивости покраснела так сильно, что ее щеки, лоб, шея и грудь покрылись краской. Ревекка также вспыхнула, но лишь на мгновение. Через минуту она справилась со своими чувствами, и краска сбежала с ее лица, как меняет цвет алое облако, когда солнце садится за горизонт.   
 - Леди, - сказала она, - ваше лицо, которое вы соблаговолили мне показать, долго будет жить в моей памяти. В нем преобладают кротость и доброта, а если среди этих прекрасных качеств можно найти оттенок мирской гордости или тщеславия, то можно ли винить плоть земную в том, что она обладает земными свойствами? Долго буду я вспоминать ваше лицо и благодарить бога за то, что покидаю моего благородного избавителя в союзе с той...   
 Глаза ее наполнились слезами, и она умолкла, потом поспешно отерла их и на тревожные расспросы Ровены отвечала:   
 - Нет, я здорова, леди, совсем здорова. Но сердце мое переполняется горестью при воспоминании о Торкилстоне и ристалище в Темплстоу. Прощайте! Я не исполнила еще одной, самой незначительной части своего долга. Примите этот ларец и не удивляйтесь тому, что найдете в нем.   
 Ровена открыла небольшой ящичек в серебряной оправе и увидела ожерелье и серьги из бриллиантов несметной ценности.   
 - Это невозможно, - сказала она, отдавая Ревекке ларчик. - Я не смею принять такой драгоценный подарок.   
 - Оставьте его у себя, леди, - сказала Ревекка. - Вы обладаете властью, знатностью, влиянием - у нас же только и есть богатство, источник нашей силы, а также и нашей слабости. Ценою этих погремушек, будь они в десять раз дороже, не купишь и половины того, чего вы достигнете, молвив одно слово. Стало быть, для вас это подарок не особенно ценный, а для меня, если я расстаюсь с ними, и подавно. Позвольте мне думать, что вы не такого ужасного мнения о моем народе, как ваши простолюдины. Неужели вам кажется, что я ценю эти сверкающие камешки больше, чем свою свободу? Или что мой отец считает их дороже чести своей единственной дочери? Возьмите их, леди. Мне они совсем не нужны. Я никогда больше не буду носить драгоценностей.   
 - Значит, вы несчастны? - сказала Ровена, пораженная тоном, каким Ревекка произнесла последние слова. - О, оставайтесь у нас! Праведные наставники сумеют убедить вас отказаться от вашей ложной веры, а я буду вам вместо сестры.   
 - Нет, леди, - отвечала Ревекка с той же спокойной грустью, - это невозможно. Не могу я менять веру отцов моих, как меняю платье в зависимости от климата той страны, где собираюсь поселиться. А несчастная не буду. Тот, кому я посвящу остаток своей жизни, будет мне утешителем, если я исполню его волю.   
 - Стало быть, и у вас есть монастыри, и вы хотите укрыться в одном из них? - спросила Ровена.   
 - Нет, леди, - отвечала еврейка, - но в нашем народе со времен Авраама и до наших дней всегда были женщины, посвящавшие свои мысли богу, а дела - подвигам любви к людям. Они ухаживают за больными, кормят голодных, помогают бедным. И Ревекка будет делать то же. Скажи это твоему властелину, если случится, что он спросит о судьбе той, которую спас от смерти.   
 Голос Ревекки невольно дрогнул, и в нем послышалась такая нежность, которая обнаружила нечто большее, чем она думала выразить. Девушка поспешила проститься с Ровеной.   
 - Прощайте, - сказала Ревекка, - пусть тот, кто сотворил и евреев и христиан, осыплет вас всеми благами жизни... Корабль, на котором мы отплываем отсюда, подымет якорь, как только мы доберемся до гавани.   
 Она тихо выскользнула из комнаты, оставив Ровену в таком удивлении, как будто ей явился какой-то призрак. Прекрасная саксонка не преминула рассказать об этой необычайной посетительнице своему мужу, на которого рассказ не произвел глубокое впечатление.   
 Айвенго долго и счастливо жил с Ровеной, ибо с ранней юности их связывали узы взаимной любви. И любили они друг друга еще более оттого, что испытали столько препятствий к своему соединению. Но было бы рискованным слишком подробно допытываться, не приходило ли ему на ум воспоминание о красоте и великодушии Ревекки гораздо чаще, чем то могло понравиться прекрасной наследнице Альфреда.   
 Айвенго успешно служил при Ричарде и по-прежнему пользовался милостью короля. Вероятно, он достиг бы самых высших почестей, если бы этому не помешала преждевременная смерть Львиного Сердца, павшего у замка Шалю, близ Лиможа. С кончиной этого великодушного, но опрометчивого и романтического монарха погибли все честолюбивые мечты и стремления Уилфреда Айвенго. А к самому Ричарду можно применить те стихи, которые написал доктор Джонсон о шведском короле Карле:   
 Рукой презренной он сражен в бою   
 У замка дальнего, в чужом краю;   
 И в грозном имени его для нас   
 Урок и назидательный рассказ.